



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

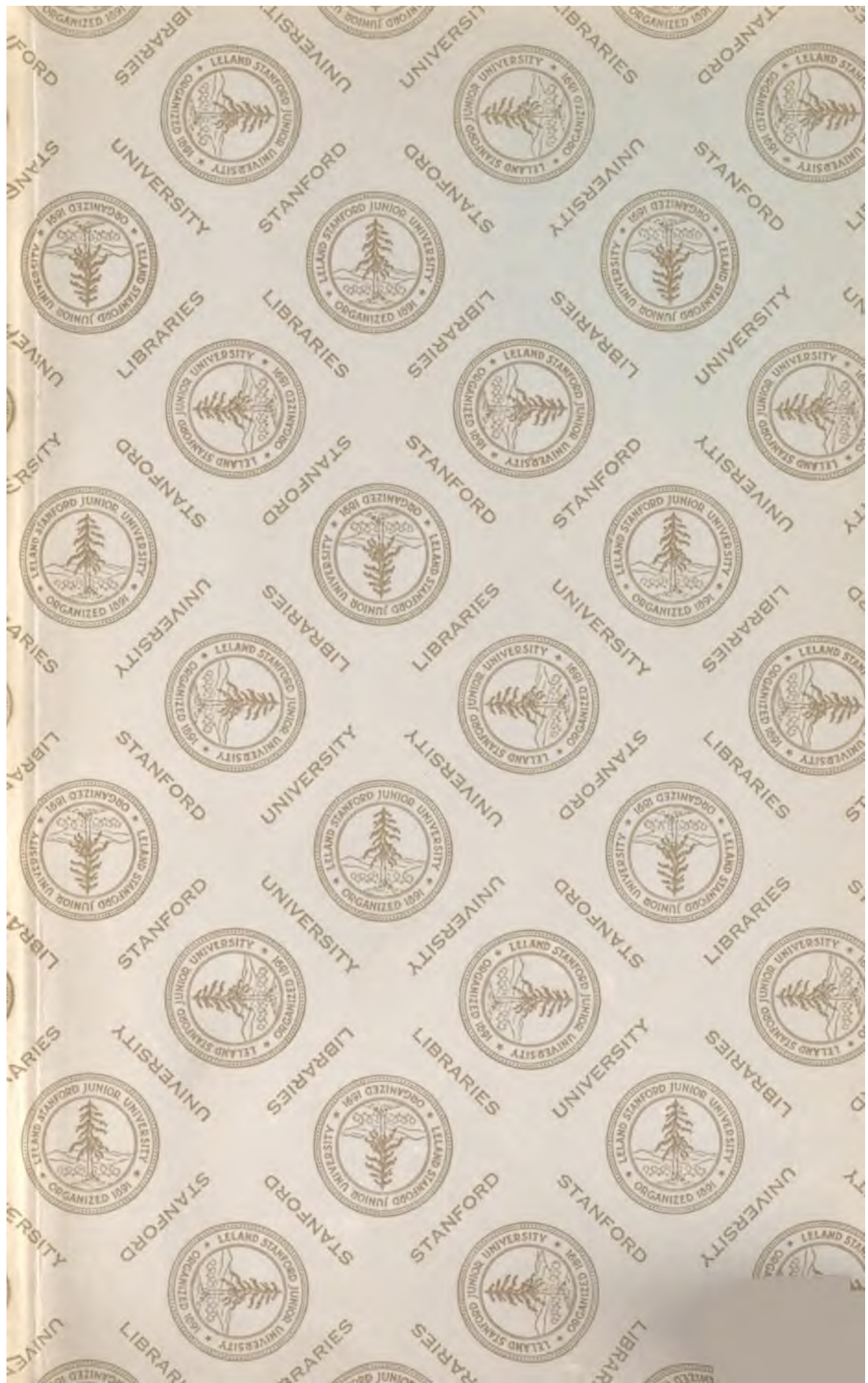
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Stanford University Libraries

3 6105 115 527 579













СОЧИНЕНІЯ Д. И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и статьей ЕВГЕНІЯ СОЛОВЬЕВА (автора біографіи Писарева).

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ ТОМОВЪ

1-й ТОМЪ. Первые литературные опыты. Несоразмѣрные претензіи. Народныя книжки. Идеализмъ Платона. Физиологическіе эскизы Мюллера. Процессъ жизни (по Фоксу). Схоластика XIX вѣка. Стоячая вода. Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ. Женскіе типы въ романахъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова. Библиографическія записки. Меттернихъ.

2-й ТОМЪ. Аполлоній Тианскій. Московскіе мыслители. Русскій Донъ-Кихотъ. Вольныя русскіе переводчики. Генрихъ Гейне. Пчелы. Физиологическія картины. Бальзакъ. Очерки изъ исторіи печати во Франціи. Зарожденіе культуры.

3-й ТОМЪ. Наша университетская наука. Историческіе эскизы. Цѣлыя невиннаго юмора. Мотивы русской драмы. Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растений. Историческое развитіе европейской мысли.

4-й ТОМЪ. Реалисты. Кукольная трагедія. Промѣхи незрѣлой мысли. Романъ вѣселей дѣвушки. Сердитое безсудіе. Прогулка по садамъ русской словесности. Переломъ въ умственной жизни средневѣковой Европы. Мысли Баркова о воспитаніи женщинъ. Педагогическіе софизмы. Разрушеніе эстетики. Школа и жизнь.

5-й ТОМЪ. Пушкинъ и Бѣлинскій. Подвиги европейскія авторитетовъ. Посмотримъ! Подростающая гуманность. Историческія идеи Огюста Канта. Погибшіе и погибающіе. Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ. Взгляды англійскихъ мыслителей на умственные потребности современнаго общества. Льюисъ и Геккель.

6-й ТОМЪ. Очерки изъ исторіи европейскаго народа. Образованная толпа. Борьба за жизнь. Романы Анджело. Старое барство. Французскій крестьянинъ 1789 г. — Приложение: Литературный процессъ по 3-му тому Сочиненій Д. И. Писарева въ 1868 году.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Обложка напечатана въ типографіи Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.

1894.

Цѣна каждаго тома 1 рубль.

Литература, публицистика и законовѣдѣніе.

Сочиненія Чирльза Диккенса. Полное собраніе. Цѣна каждаго тома (равнаго 75 журнальнымъ листамъ)—1 р. 50 к.—До 10 декабря 1893 г. вышли первые пять томовъ: 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3) Холодный домъ. Повѣсть о двухъ городахъ, 4) Крошка Дорритъ. Большія ожиданія. 5) Нашъ общій другъ и Оливеръ Твистъ, 6) Записки Пиквикскаго клуба. Тяжелыя времена. 7) Николай Никльби. Три святочныхъ разсказа. 8-й томъ печатается.

Сочиненія Пушкина. Съ портр., біографіей и 500 письмами. Полное собр. въ 1-мъ томѣ и въ 10 томахъ. Ц. 1-томнаго и 10-томнаго изд. одна и та же: безъ карт.—1 р. 50 к. Съ 44 кар.—2 р. 50 к. На лучшей бумагѣ—на 50 к. дороже. За переплетъ: для 1-томн. изд.—40 к. и 1 р. Для 10-томнаго (въ 5 пер.) 1 р. и 2 р.

Сочиненія Лермонтова (въ одномъ томѣ). Полное собраніе всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ, біографіей, написанной А. М. Скабичевскимъ, и 115 рисунками въ текстѣ. Ц. 1 р., въ простомъ перепл.—1 р. 40 к., въ коленкоровомъ съ золотымъ тисненіемъ—2 руб.

Сочиненія Лермонтова (въ четырехъ томсахъ). Полное собраніе всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ автора, его біографіей и 115 рисунками въ текстѣ. Цѣна за всѣ 4 тома 1 р., въ двухъ простыхъ переплетахъ—1 р. 50 к., въ двухъ роскошныхъ переплетахъ—2 руб.

Сочиненія Н. Шелгунова. Въ двухъ томахъ. Съ портретомъ автора и вступительной статьей Н. Михайловскаго. Ц. 3 р., въ пер.—4 р.

Повѣсти и разсказы И. Н. Потапенко. Восемь томовъ. Ц. каждаго—1 р. Перепл. для 2 том. выѣстъ по 75 к.

Сочиненія Глѣба Успенскаго. 3 изданіе въ 2 томахъ, съ портретомъ автора и статей Н. К. Михайловскаго. Ц. за два тома—3 р. Переплеты въ 50 к. и въ 1 р.

Сочиненія Глѣба Успенскаго. Томъ 3-й. Ц. 1 р. 50 к.

Сочиненія Ѳ. Рѣшетникова. Въ двухъ томахъ, съ портретомъ автора и статей М. Протопопова. Ц. за все собраніе—2 р. 50 к. Переплеты въ 50 к. и 1 р.

Сочиненія А. М. Скабичевскаго. Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литерат. характеристики. Съ портр. автора. Ц. за все собраніе въ двухъ больш. том. (до 1700 стр.) 3 р. Перепл.—въ 50 к. и 1 р.

Большой альбомъ къ „Сочиненіямъ Пушкина“. 44 иллюстраціи съ подписями, портреты и сининомъ съ почерка. Цѣна въ папкѣ 1 р. 50 к.

Малый альбомъ къ „Сочиненіямъ Пушкина“. Тѣ же иллюстраціи, но меньшаго формата. Ц. въ коленкоровомъ переплетѣ—1 р. 25 к.

120 рисунковъ къ Лермонтову. Художественный альбомъ М. Е. Малышева. Ц. въ папкѣ 50 к.

Герои и героическое въ исторіи. Томъ Карлейля. Перев. В. Яковенко. Ц. 1 р. 50 к.

По волнамъ безнонечности. Астрономическая фантазія К. Фламмаріона. Съ франц. 350 стр. 2-е изд. Ц. 80 к.

Грядущая раса. Фантастическій романъ Эд. Бульвера. Переводъ съ англійск. А. Каменскаго. Ц. 50 к.

Исторія французской революціи. И. Карно. Переводъ съ франц. Около 400 страницъ. Ц. 1 р.

Европейскіе монархи и ихъ дворы. Politicos'a. Пер. съ англ. и дополнит. В. Ранцовъ. Съ 16 портр. Ц. 1 р.

Черезъ сто лѣтъ. Соціологическій романъ Э. Беллами. 3-е изданіе, дополненное научно-предсказательнымъ очеркомъ Ринге: «Куда мы идемъ?». Ц. 1 руб.

Въ тущахъ Англіи. (Планъ соціал. борьбы съ эконом. извѣями современнаго общества) Бутса. Ц. 1 р.

Нашъ офицерскій суды. Ф. Павленкова. Ц. 85 к.

Напитанская дочка. Повѣсть А. Пушкина. Роскошное изд. съ 188 рис. Ц. 60 к. въ пап. 75 к. въ пер. 1 р.

Голодь. Романъ К. Гамсуна. Съ норвежскаго. Ц. 60 к.

Забота. Романъ Зудермана. Съ 14 нѣм. изд. Ц. 60 к.

До потопу. Романъ изъ жизни первобытныхъ людей. Рони. Съ 16 рис. Ц. 50 к.

Въ небесахъ (Uranie). Астрономическій романъ К. Фламмаріона. Съ 89 рис. 2-е изд. Ц. 75 к.

Новѣйшіе русскіе писатели. Книга для домашняго чтенія. А. Цеткова. Съ 72 портр. Ц. 3 р. въ пер. 3 р. 75 к.

Исторія новѣйшей Рус. литературы (1848—1892 гг.). А. М. Скабичевскаго. 2-е исправленное изд. Ц. 2 р.

Исторія русской цензуры. А. М. Скабичевскаго. Ц. 2 р.

Счастье и трудъ. И. М. Мантегана. 2-е изд. Ц. 75 к.

Въ раздумьи. Очерки и разсказы изъ жизни русской

Врожденіе. Психопатическія явленія въ современной литературѣ и искусствѣ. Макса Переводъ съ нѣмецкаго, подъ редакціей и словіемъ Р. Сементковскаго. Ц. 1 р. 60 к.

Исторія культуры. Линперта. Перев. съ нѣм. 85 рис. Ц. 1 р. 60 к.

Матери великихъ людей. Блока. Переводъ З. Го. многими рисунками. Ц. 60 к.

Долой оружіе! Анти-военный романъ В. Зун. пактвное изданіе. Цѣна 80 коп.

Подъ маской благочестія. (Преступленія и орг.) Романъ Э. Постери. Съ итальянскаго. Ц. Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа третоизъ И. С. Тургенева. Ц. 15 к.

Литература и жизнь. Письма о разныхъ ра. Н. К. Михайловскаго. Ц. 1 руб.

Въ поискахъ за истиной. Макса Нордау. Перев. нѣмецкаго изд. Э. Зауеръ. 3-е изд. Ц. 1 р.

Большая любовь. Гигиеннч. романъ Мантегана. Роль общественнаго житія въ государственн.

Профес. Голцендорфа. Цѣна 75 к.

Очерки самоуправленія (земскаго, городского и го). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.

Борьба съ земельнымъ хищничествомъ. Бытовъ. И. Тимошенкова. Ц. 1 р.

Брюхо Петербурга. Общественно-физиологическі. А. Бахтіарова. Ц. 1 р. 50 к.

Бестды о законахъ и порядкахъ. С. Горянскою. Я. Абрамова. Цѣна 15 к.

Законы о гражданскихъ договорахъ, общепонят. женные и объясненіе. Составилъ В. Фарм.

Исторія книги на Руси. А. Бахтіарова. Со мно.

Русскіе фланеры въ Парижѣ. Попова. 2-е изд.

По градамъ и веснямъ. Романъ изъ исторіи нашего. Володина (Засодимскаго). Ц. 1 р. 50 к.

Обложки разбитаго корабля. Сцены у мировыхъ. Составилъ В. Никитинъ. Ц. 1 р.

Популярно-научныя книги.

Наука о жизни. Популярная физиологія человѣка. кевича. Съ 91 рис. Ц. 1 р.

Преступная толпа. Опытъ коллективной пси. С. Сигеле. 116 стр. Ц. 80 к.

Пессимизмъ. Сочиненіе Джемса Селли. Популяр.

Философія Герберта Спенсера, въ сокращ. излож. мина. Перев. съ англійскаго И. Мокіевскаго.

Законы подражанія. Тарда. Пер. съ фр. Ц. 1 р.

Домашній опредѣлитель поддѣлочъ. А. Альмедимено. На всякій случай! Научно-практическіе совѣты се.

Гигіена женщины. Д-ра М. Тило. Ц. 40 к.

Гигіена семьи. Гебера. Переводъ съ нѣм. Ц. 50

Берегите легіал! Гигиеническія бестды д-ра И. Съ 30 рисунками. Цѣна 75 к.

Уходъ за больными дѣтьми. Д-ра Э. Перье. Пере.

Сохраненіе здоровья. Общая гигиена въ прим. къ об. жизни. Д-ра Эйдама. Съ 7 рис. Ц. 40 к.

Дѣтскій докторъ. Популярное руководство для и воспитателей. Д-ра Варіо. Перев. съ фран.

Бантеріи и ихъ роль въ жизни человѣка. Д-ра Перев. съ нѣм. ц. 35 рис. Ц. 1 р.

Предсказаніе погоды. Г. Далле. Переводъ съ

Съ 40 рисун. Цѣна 1 р. 25 к.

Дарвинизмъ. Э. Ферьера. Переводъ съ франц. П

Жизнь на Стѣрти Югѣ (отъ полюса до экватора). А. Дополн. къ его сочин. „Жизнь животн.“. Со мн. ри

Первобытные люди. Дебьера. Перев. съ франц. и

Фабричная гигиена. Сялтовскаго. Съ 153 рис. Ц.

Усталость. Популярно-научныя бестды проф. А. Перев. М. чей. Съ 30 рис. Ц. 1 р.

Рабочій вог

СОЧИНЕНІЯ
Д. И. ПИСАРЕВА

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ

ТОМЪ ПЯТЫЙ

.....
Цѣна каждаго тома 1 рубль
.....

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности помѣ-
щены при шестомъ томѣ

Изданіе Ф. Павленкова

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія Высочайше утвержд. Товарищества „Общественная Польза“, Большая Подъячская, № 39

1894

154

AC65

P5

v.5-6

Оглавленіе пятаго тома.

1865.

| | стр. |
|--|------|
| 1 Пушкинъ и Бѣлинскій | 1 |
| 2) Подвиги европейскіхъ авторитетовъ | 123 |
| 3) Посмотримъ! | 143 |
| 4) Подростающая гуманность | 213 |
| 5) Погибшіе и погибающіе | 253 |
| 6) Историческія идеи Огюста Конта | 313 |

1866.

| | |
|---|-----|
| 7) Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ | 465 |
|---|-----|

1867.

| | |
|---|-----|
| 8) Взгляды англійскихъ мыслителей на умственныя потребности современнаго общества | 527 |
| 9) Льюисъ и Гексли (предисловіе къ книгѣ Гексли: «Уроки элементарной физіологіи»). | 579 |



1865.

ПУШКИНЪ И ВЪЛИНСКІЙ.

ЕВГЕНІЙ ОНЪГИНЪ.

I.

Онъгинъ» — говоритъ Вѣлинскій — есть самое лучшее произведеніе Пушкина, самое любимое его фантазіи, и можно указать слѣдующія немногія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась бы съ такой полнотой, о и ясно, какъ отразилась въ «Онъгинѣ» личность Пушкина. Здѣсь вся жизнь, вся душа, любовь его; здѣсь его чувства, понятія, мыслы. Онъгинъ такое произведеніе — значитъ, это самое поэта во всемъ объемѣ его творческой дѣятельности.» («Соч. Вѣл.» Томъ VIII. 509.) Дѣйствительно, «Онъгинъ» серьезнѣе остальныхъ произведеній Пушкина; онъ романъ поэта становится лицомъ къ современной дѣйствительности, ставъ въ нее какъ можно глубже, въ крайнюю мѣру не истощаетъ своей фантазіи въ эффектныхъ, но совершенно безплодныхъ изображеніяхъ молодыхъ черкешенокъ, цыганскихъ хановъ, высоко-нравственныхъ и неправдоподобно-гнусныхъ измѣнниковъ, которые «не вѣдаютъ святости и не почитаютъ благостности».

И творческая дѣятельность Пушкина даетъ нѣкоторые отвѣты на тѣ вопросы, которые въ дѣйствительной жизни, то безъ сомнѣній, отвѣтовъ мы должны искать въ лицѣ Онъгина. Къ разбору «Онъгина» Вѣлинскій приступалъ съ благоговѣніемъ и, какъ самъ сознается, не безъ нѣкоторой робости. Объ «Онъгинѣ» Вѣлинскій написалъ большія статьи онъ говоритъ, что «эта

поэма имѣетъ для насъ, русскихъ, огромное историческое и общественное значеніе», и что «въ ней Пушкинъ является представителемъ пробудившагося общественного самосознанія».

Посмотримъ, насколько самый романъ оправдываетъ и объясняетъ собою всѣ эти восторги нашего гениальнаго критика. Прежде всего надо рѣшить вопросъ: что за человѣкъ самъ Евгений Онъгинъ? — Вѣлинскій опредѣляетъ Онъгина такъ: «Онъгинъ — добрый малый, но при этомъ недюжинный человѣкъ. Онъ не годится въ гении, не лѣзетъ въ великіе люди, но бездѣятельность и пошлость жизни душатъ его; онъ даже не знаетъ, чего ему надо, чего ему хочется; но онъ знаетъ и очень хорошо знаетъ, что ему не надо, что ему не хочется того, чѣмъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая посредственность». Самъ Пушкинъ относится къ своему герою съ уваженіемъ и съ любовью:

Мнѣ нравились его черты,
Мечтамъ невольная преданность,
Неподражательная странность
И рѣзкій, охлажденный умъ.
Я былъ озлобленъ, онъ — угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоихъ насъ;
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ,
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой Фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дней.
Кто жилъ и мыслить, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей;
Кто чувствовалъ, того тревожитъ
Призракъ невозвратимыхъ дней,
Тому ужъ нѣтъ очарованій,
Того змѣя воспоминаній,
Того раскаянье грызетъ.
Все это часто придаетъ
Вольшую прелесть разговору.

Сперва Онѣгина языкъ
 Меня смущалъ, но я привыкъ
 Къ его язвительному спору
 И къ шуткѣ, съ жадью пополамъ,
 И къ злости мрачныхъ эпиграммъ.
 Какъ часто лѣтнею порою,
 Когда прозрачно и свѣтло
 Ночное небо надъ Неввою
 И водъ веселое стекло
 Не отражаетъ ликъ Дианы,
 Воспомни прежнихъ лѣтъ романы,
 Воспомни прежнюю любовь,
 Чувствительны, безпечны вновь,
 Дыханьемъ ночи благосклонной
 Безмолвно упивались мы!
 Какъ въ лѣсъ зеленый изъ тюрьмы
 Перенесенъ колодникъ сонный,
 Такъ уносились мы мечтой
 Къ началу жизни молодой.»

(Глава I. Стрфы XLV, XLVI, XLVII.)

Въ этомъ отрывкѣ Пушкинъ постоянно употребляетъ такіа эластическіа слова, которые сами по себѣ не имѣютъ никакого опредѣленнаго смысла и въ которыхъ вслѣдствіе этого каждый читатель можетъ втиснуть какой угодно смыслъ. — Человѣкъ обладаетъ рѣзкимъ, охлажденнымъ умомъ, знаетъ игру страстей; онъ жилъ, мыслилъ и чувствовалъ; въ немъ погасъ жаръ сердца; его томить жизнь; его ожидаетъ злоба людей и слѣпой Фортуны; — всѣ эти слова могутъ быть приложены къ какому-нибудь очень крупному человѣку, къ замѣчательному мыслителю, даже къ историческому дѣятелю, который старался вразумить людей и котораго не поняли, осмѣяли или проклали тупоумные современники. Обманутый хорошими эластическими словами, — тѣми словами, въ которыхъ онъ самъ, мыслитель и дѣятель, привыкъ вкладывать живую душу, — Бѣлинскій посмотрѣлъ на Онѣгина благосклонно и смѣло выдвинулъ его изъ безчисленной толпы дюжинныхъ личностей. Но мнѣ кажется, что Бѣлинскій ошибся. Онъ повѣрилъ словамъ и забылъ то обстоятельство, что люди очень часто произносятъ хорошіа слова, не отдавая себѣ яснаго отчета въ ихъ значенія или по крайней мѣрѣ придавая этимъ словамъ узкій, односторонній и нищенскій смыслъ. Въ самомъ дѣлѣ, попробуемъ задать себѣ вопросы: *чѣмъ* же охлажденъ умъ Онѣгина? *Какую* игру страстей онъ испыталъ? *На что* тратилъ и истратилъ онъ жаръ своего сердца? *Что* подразумеваетъ онъ подъ словомъ *жизнь*, когда онъ говоритъ себѣ и другимъ, что жизнь томить его? *Что* значитъ, на языкѣ Пушкина и Онѣгина, *жить, мыслить и чувствовать*?

Отвѣта на всѣ эти вопросы мы должны искать въ описаніи тѣхъ занятій, которымъ предавался Онѣгинъ съ самой ранней молодости и которые наконецъ вогнали его въ хандру. — Въ первой главѣ, начиная съ XV-ой до XXXVII строфы, Пушкинъ описываетъ цѣлый день Онѣгина съ той минуты, когда онъ просыпается утромъ, до

той минуты, когда онъ ложится спать, тоже утромъ. Лежа еще въ постели, Онѣгинъ получаетъ три приглашенія на вечеръ; онъ одѣвается и въ утреннемъ уборѣ ѣдетъ на бульваръ и гуляетъ тамъ до тѣхъ поръ,

«Пока недремлющій брегетъ
 Не прозвонитъ ему обѣдъ.»

Онъ ѣдетъ обѣдать въ ресторанъ Талона, и такъ какъ дѣло происходитъ зимой, то, при семъ удобномъ случаѣ, его бобровый воротникъ серебрится морозной пылью; и это достопамятное обстоятельство даетъ Бѣлинскому поводъ замѣтить, что Пушкинъ обладаетъ удивительной способностью «дѣлать поэтическими самыа прозаическіе предметы».

Еслибы Бѣлинскій дожилъ до нашихъ временъ, то онъ принужденъ былъ-бы сознаться, что нѣкоторые художники далеко превзошли великаго Пушкина даже въ этой удивительной и специально-художественной способности. Наши великіе живописцы, господа Зарянки и Тютрюмовы, воспѣваютъ бобровые воротники красками, и воспѣваютъ ихъ такъ неподражаемо-хорошо, что каждый отдѣльный волосокъ превращается въ поэтическую картину и въ перлъ созданія. Увидѣвъ великіа произведенія этихъ великихъ живописцевъ, Бѣлинскій былъ-бы поставленъ въ трагическую альтернативу: ему пришлось-бы или преклониться передъ творческимъ величіемъ господъ Зарянки и Тютрюмова, или отречься отъ тѣхъ эстетическихъ понятій, которыа видать заслугу поэта въ его удивительной способности воспѣвать бобровые воротники.

Воспѣвъ бобровый воротникъ, Пушкинъ воспѣваетъ всѣ кушанья того обѣда, которымъ занимается Онѣгинъ у Талона. Обѣдъ недуренъ: тутъ появляются окровавленный ростбифъ, трюфели, которые Пушкинъ называетъ почему-то роскошью юныхъ лѣтъ, нетлѣнный пирогъ Страсбурга, живой лимбургскій сыръ, золотой ананасъ и котлеты, очень горячіа, очень жирныа и возбуждающія жажду, которая утоляется шампанскимъ. Въ какомъ порядкѣ эти поэтическіе предметы слѣдуютъ одинъ за другимъ, — этого Пушкинъ намъ къ сожалѣнію не объясняетъ, и прямая обязанность нашихъ антикваріевъ и библіофиловъ состоитъ въ томъ, чтобы пополнить этотъ важный пробѣлъ посредствомъ тщательныхъ изслѣдованій.

Когда обѣдъ еще не доконченъ, когда горячій жиръ котлетъ еще недостаточно залить волнами шампанскаго (какого именно шампанскаго? — это тоже весьма интересный вопросъ для усердныхъ комментаторовъ), звонъ брегета доноситъ обѣдающимъ, что начался новый балетъ.

Какъ злой законодатель театра, какъ неостоянный обожатель очаровательныхъ актрисъ (объ актрисахъ, разумеется, нечего напоминать

комментаторамъ; они, разумѣется, всѣхъ ихъ знаютъ по имени, по отчеству, по фамилиі и по самымъ подробнымъ формулярнымъ спискамъ) и какъ почетный гражданинъ кулисъ, Онѣгинъ летитъ въ балетъ. (Здѣсь я съ ужасомъ вспоминаю, что мы рѣшительно не знаемъ, какой масти была лошадь Онѣгина, и что эту великую тайну по всей вѣроятности не раскроютъ намъ никакія изслѣдованія комментаторовъ). Войдя въ театральную залу, Онѣгинъ начинаетъ обнаруживать охлажденность своего ума; окинувъ взоромъ всѣ ярусы, онъ, по словамъ Пушкина, все видѣлъ и остался ужасно недоволенъ лицами и уборомъ; потомъ, раскланявшись съ мужчинами, взглянулъ на сцену въ большомъ разсѣяннѣ, потомъ даже отворотился извнудъ, и молвилъ:

«Всѣхъ пора на смѣху,
Балеты долго я терпѣлъ,
Но и Дидло мнѣ надѣлъ.»

Приведа это суровое анти-балетное восклицаніе разочарованнаго Онѣгина, Пушкинъ самъ почувствовалъ, что онъ ставитъ своего героя въ довольно смѣшное положеніе, потому что люди, дѣйствительно обладающіе рѣзкимъ и охлажденнымъ умомъ, не стануť тратить своей ироніи на отрицаніе балетмейстера Дидло и дамскихъ уборовъ. Почувствовавъ смѣшное положеніе Онѣгина, Пушкинъ придѣлалъ къ XXI строфѣ слѣдующее юмористическое примѣчаніе: «Черта охлажденнаго чувства, достойная Чайльдъ-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображенія и прелести необыкновенной. Одинъ изъ нашихъ романтическихъ писателей находилъ въ нихъ гораздо болѣе поэзіи, нежели во всей французской литературѣ». Этимъ примѣчаніемъ Пушкинъ очевидно хотѣлъ показать, что онъ самъ подтруниваетъ надъ бутадой Онѣгина и не принимаетъ этой бутады за симптомъ серьезной разочарованности. Но примѣчаніе это производитъ очень слабое впечатлѣніе на внимательнаго и недовѣрчиваго читателя; такой читатель видитъ, что, кромѣ забавныхъ бутадъ, рѣзкій и охлажденный умъ Онѣгина не порождаетъ ровню ничего. Въ XXI строфѣ I-й главы Онѣгинъ отрицаетъ балеты Дидло, а въ IV и въ V-й строфахъ III главы Онѣгинъ отрицаетъ брусничную воду, красоту Ольги Лариной, глупую луну и глупый небосклонъ. И этими немногими, весьма невинными выходками исчерпывается до самаго дна та злость мрачныхъ эпиграммъ, которою угрожалъ намъ Пушкинъ въ XLVI строфѣ I главы. Злѣе и мрачнѣе этихъ эпиграммъ мы отъ Онѣгина ничего и не услышимъ до самаго конца романа. Если всѣ эпиграммы Онѣгина были такъ-же мрачны и такъ-же злы, то неумудрено, что Пушкинъ привыкъ къ нимъ очень скоро.

Продолжая проявлять свою разочарованность, Онѣгинъ уѣзжаетъ изъ театра въ то время, когда амуры, черти и зѣбы еще скачутъ и шумятъ

на сценѣ. Не интересуясь ихъ скаканіемъ и шумѣніемъ, онъ ѣдетъ домой, переодевается для бала и отправляется танцовать до утра. Въ то время, когда Онѣгинъ переодевается, Пушкинъ превращаетъ въ поэтические предметы тѣ гребенки, пилочки, ножницы и щетки, которыя украшаютъ кабинетъ «философа въ осьмнадцатъ лѣтъ». Философомъ-же юный Онѣгинъ оказался вѣроятно именно потому, что у него очень много гребенокъ, пилочекъ, ножницъ и щетокъ; но и самъ Пушкинъ по части философіи не желаетъ отставать отъ Онѣгина, и вслѣдствіе этого высказываетъ весьма категорически ту философскую истину, любезную Павлу Кирсанову, что можно быть дѣльнымъ человекомъ и думать о красотѣ ногтей. Эту великую истину Пушкинъ поддерживаетъ другой истиной, еще болѣе великой. «Къ чему, спрашиваетъ онъ, бесплодно спорить съ вѣкомъ?» Такъ какъ XIX вѣкъ очевидно направляетъ всѣ свои усилія къ тому, чтобы превратить ногти въ поэтические предметы, то, разумѣется, относится равнодушно къ красотѣ ногтей значить быть ретроградомъ и обскурантомъ... «Обычай,—продолжаетъ философъ Пушкинъ,—деспотъ межъ людей». Ну, разумѣется, и притомъ обычай всегда останется деспотомъ *межъ* такихъ философовъ, какъ Онѣгинъ и Пушкинъ. Къ сожалѣнію, число такихъ драгоцѣнныхъ мыслителей понемногу начинаетъ убывать.—Пушкинъ насказалъ-бы намъ еще много философскихъ истинъ, но Онѣгинъ уже одѣлся, уподобился вѣтренной Венерѣ, надѣвшей мужской нарядъ, и въ ямской каретѣ поскакалъ *стремглавъ* (вѣроятно вслѣдствіе охлажденности ума) на балъ. Пушкинъ, разумѣется, спѣшитъ за нимъ, и потокъ философскихъ истинъ на нѣсколько времени изсякаетъ.—На балѣ мы совершенно теряемъ изъ виду Онѣгина и рѣшительно не знаемъ, въ чемъ выразилось его несомнѣнное превосходство надъ презрѣнной толпой. Введя своего героя въ балъную залу, Пушкинъ весь предается воспоминаніямъ о ножкахъ и рассказываетъ съ неподражаемымъ увлеченіемъ, какъ онъ однажды завидовалъ волнамъ, «бѣгущимъ бурной чередою съ любовью лечь къ ея ногамъ». Недовѣрчивый читатель быть-можетъ усомнится въ томъ, чтобы волны дѣйствительно ложились къ ея ногамъ *съ любовью*, но я отвѣчу такому неотесанному читателю, что прозаическія волны превращены здѣсь въ поэтические предметы, и что поэтому со стороны поэта даже очень похвально приписать имъ, для пущей поэтичности, любовь къ женщинѣ вообще или къ ея ногамъ въ особенности. Что-же касается до завидованія неодушевленному предмету, прикасающемуся или приближающемуся къ красивой женщинѣ такъ или иначе, то я надѣюсь, что противъ этого даже самый неотесанный читатель не осмѣлится представить никакого скептического возраженія.

потому что этот мотив выяснен и разработан до последней тонкости глубокомысленным и изящным романом: «ах, зачѣмъ я не бревно», — романомъ, достаточно известнымъ не только грамотной, но даже и безграмотной Россіи. — Объяснивъ читателямъ, что милыя ноги привлекали его сильѣе и даже несравненно сильѣе, чѣмъ уста, ланиты и перси, Пушкинъ вспоминаетъ о своемъ Онѣгинѣ, везетъ его съ бала домой и укладываетъ въ постель въ то время, когда рабочій Петербургъ уже начинаетъ просыпаться. Когда Онѣгинъ встаетъ отъ сна, тогда начинается опять та-же исторія: гулянье, обѣдъ, театръ, переодѣванье, балъ и сонъ.

II.

Итакъ, Онѣгинъ ѣстъ, пьетъ, критикуетъ балеты, танцуетъ цѣлыя ночи на пролетъ, — словомъ, ведетъ очень веселую жизнь. Преобладающимъ интересомъ въ этой веселой жизни является «наука страсти нѣжной», которой Онѣгинъ занимается съ величайшимъ усердіемъ и съ блестящимъ успѣхомъ. «Но былъ-ли счастливъ мой Евгений?» — спрашиваетъ Пушкинъ. Оказывается, что Евгений не былъ счастливъ, и изъ этого послѣднего обстоятельства Пушкинъ выводитъ заключеніе, что Евгений стоялъ выше пошлой, презрѣнной и самодовольной толпы. Съ этимъ заключеніемъ соглашается, какъ мы видѣли выше, Вѣлиинскій; но я, къ крайнему моему сожалѣнію, принужденъ здѣсь противорѣчить, какъ нашему величайшему поэту, такъ и нашему величайшему критику. Скука Онѣгина не имѣетъ ничего общаго съ недовольствомъ жизнью; въ этой скукѣ нельзя подмѣтить даже инстинктивнаго протеста противъ тѣхъ неудобныхъ формъ и отношеній, съ которыми мирится и уживается по привычкѣ и по силѣ инерціи пассивное большинство. Эта скука есть не что иное, какъ простое физиологическое послѣдствіе очень безпорядочной жизни. Эта скука есть видоизмѣненіе того чувства, которое нѣмцы называютъ *Katzenjammer* и которое обыкновенно постигаетъ каждаго кутилу на другой день послѣ хорошей попойки. Человѣкъ такъ устроенъ отъ природы, что онъ не можетъ постоянно обжираться, упиваться и изучать «науку страсти нѣжной». Самый крѣпкій организмъ надламывается или по крайней мѣрѣ истаскивается и утомляется, когда онъ черезчуръ роскошно пользуется разнообразными дарами природы. Всякое наслажденіе притупляетъ, въ болѣе или менѣе продолжительное время ту способность нашего организма, которая воспринимаетъ это наслажденіе. Если отдѣльные приемы наслажденія быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ и если эти приемы очень сильны, то наша способность наслаждаться совершенно притупляется, и мы говоримъ, что намъ

надоѣло и опротивѣло то или другое пріятное занятіе. Это притупленіе одной изъ нашихъ способностей совершается помимо всякихъ умственныхъ соображеній и совершенно независимо отъ какихъ-бы то ни было критическихъ взглядовъ на то занятіе, которое мы прежде любили и къ которому мы потомъ охладѣли.

Представьте себѣ, что вы очень любите какое-нибудь питательное и здоровое кушанье, наприкладъ пуддингъ; въ одинъ прекрасный день это любимое ваше кушанье изготовлено особенно хорошо; вы обѣдаетесь имъ и сильно разстраиваете себѣ желудокъ; послѣ этого легко можетъ случиться, что вы получите къ пуддингу непобѣдимое отвращеніе, которое, разумѣется, будетъ совершенно независимо отъ вашихъ теоретическихъ понятій о пуддингѣ. Вы знаете очень хорошо весь составъ пуддинга; вы знаете, что въ него не кладутъ никакихъ ядовитыхъ веществъ; вы видите, что другіе люди при васъ ѣдятъ его съ удовольствіемъ, и при всемъ томъ вамъ, прежнему любителю пуддинга, это кушанье не идетъ въ горло.

Отношенія Онѣгина къ различнымъ удовольствіямъ свѣтской жизни похожи, какъ двѣ капли воды, на ваши отношенія къ пуддингу. Онѣгинъ всѣмъ обѣлся и его отъ всего тошнитъ. Если не всѣхъ свѣтскихъ людей тошнитъ такъ, какъ Онѣгина, то это происходитъ единственно оттого, что не всѣмъ удается обѣстись. Какъ специалистъ въ «наукѣ нѣжной страсти», Онѣгинъ, разумѣется, стоитъ выше многихъ своихъ сверстниковъ. Онъ красивъ собою, ловокъ, *il a la langue bien pendue*, какъ говорятъ французы, и въ этихъ особенностяхъ его личности заключается вся тайна его разочарованности и его мнимаго превосходства надъ презрѣнной толпой. Другіе свѣтскіе люди, ведущіе вмѣстѣ съ Онѣгинымъ пустую и веселую жизнь, совсѣмъ не одерживаютъ побѣдъ надъ свѣтскими женщинами или одерживаютъ этихъ побѣдъ очень немного, такъ что не успѣваютъ притупить своего чувства съ этой стороны. «Наука нѣжной страсти» продолжаетъ быть для нихъ привлекательной, потому что они встрѣчаютъ въ ней серьезныя трудности, которыя они желаютъ и надѣются преодолѣть. Для Онѣгина эти трудности не существуютъ; онъ наслаждается тѣмъ, къ чему другіе только стремятся, и вслѣдствіе неумѣреннаго наслажденія онъ притупляетъ въ себѣ вкусъ и влеченіе ко всему, что составляетъ содержаніе свѣтской жизни.

До сихъ поръ превосходство Онѣгина заключается только въ томъ, что онъ лучше многихъ другихъ умѣлъ «тревожить сердца кокетокъ записныхъ». Легко можетъ быть, что Пушкинъ любитъ и уважаетъ своего героя именно за эту особенность его личности. Но кто имѣетъ понятіе о Вѣлиинскомъ, тотъ конечно знаетъ, что

Влѣнскій не могъ-бы относиться къ Онѣггину съ сочувствіемъ, еслибы видѣлъ въ немъ только искуснаго соблазителя записныхъ кокетокъ.

Итакъ, посмотримъ, что будетъ дальше; посмотримъ, за какое средство ухватится обѣщавшійся Онѣггинъ, чтобы побѣдить свой Katzenjammer и чтобы снова помириться съ жизнью. Когда человѣку надобно наслажденіе и когда этотъ человѣкъ въ то-же время чувствуетъ себя молодымъ и сильнымъ, тогда онъ непременно начинаетъ искать себѣ труда. Для него наступаетъ пора тяжелаго раздумья; онъ всматривается въ самого себя, всматривается въ общество; онъ взвѣшиваетъ качество и количество своихъ собственныхъ силъ; онъ оцѣниваетъ свойства тѣхъ препятствій, съ которыми ему придется бороться, и тѣхъ общественныхъ потребностей, которыя стоятъ на очереди и ожидаютъ себѣ удовлетворенія. Наконецъ изъ его раздумья выходитъ какое-нибудь рѣшеніе, и онъ начинаетъ дѣйствовать; жизнь ломаетъ по своему его теоретическія выкладки; жизнь старается обезличить его самого и переработать по общей, казенной мѣркѣ весь строй его убѣжденій; онъ упорно борется за свою умственную и нравственную самостоятельность, и въ этой неизбежной борьбѣ обнаруживаются размѣры его личныхъ силъ. Когда человѣкъ прошелъ черезъ эту школу размышленія и житейской борьбы, тогда мы имѣемъ возможность поставить вопросъ: возвышается-ли этотъ человѣкъ надъ безличной и пассивной массой, или не возвышается? Но пока человѣкъ не побывалъ въ этой передѣлкѣ, до тѣхъ поръ онъ въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніи составляетъ для насъ такую-же неизвѣстную величину, какую мы видимъ напримѣръ въ грудномъ ребенкѣ. Если-же человѣкъ, утомленный наслажденіемъ, не умѣетъ даже попасть въ школу раздумья и житейской борьбы, то мы тутъ уже прямо можемъ сказать, что этотъ эмбрионъ никогда не сдѣлается мыслящимъ существомъ и слѣдовательно никогда не будетъ имѣть законнаго основанія смотрѣть съ презрѣніемъ на пассивную массу. — Къ числу этихъ вѣчныхъ и безнадѣжныхъ эмбрионовъ принадлежатъ и Онѣггинъ.

«Отступникъ бурныхъ наслажденій,
Онѣггинъ дома заперся,
Зѣвая за перо взялся,—
Хотѣлъ писать, но трудъ упорный
Ему былъ тошенъ; ничего
Не вышло изъ пера его.»

(Глава I. Строфа XLIII.)

Шляться втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ по ресторанамъ и по балетамъ, потомъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, устыдиться за письменный столъ и взять перо въ руки съ тѣмъ, чтобы сдѣлаться писателемъ,—это фантазія по меньшей мѣрѣ очень странная. Браться за перо

звѣлая и въ то-же время ожидать, что перо напишетъ что-нибудь мало-мальски сносное,—это также нисколько не остроумно. Наконецъ отвращеніе Онѣггина къ упорному труду,—отвращеніе, которое такъ откровенно признаетъ самъ Пушкинъ, составляетъ симптомъ очень печальный, по которому мы уже заранее имѣемъ право предугадывать, что Онѣггинъ навсегда останется эмбриономъ. Но не будемъ торопиться въ произнесеніи окончательнаго приговора. Когда человѣкъ входитъ въ новую фазу жизни, тогда онъ поневолѣ идетъ ошупью, берется за непривычное дѣло очень неискусно, переходитъ отъ одной ошибки къ другой, испытываетъ множество неудачъ и только посредствомъ этихъ ошибокъ и неудачъ выучивается понемногу работать надъ тѣми вопросами, которые настоятельно требуютъ отъ него разрѣшенія.

Онѣггинъ увидалъ, что онъ не можетъ быть писателемъ, и что сдѣлаться писателемъ гораздо труднѣе, чѣмъ пообѣдать у Талона. Эта крошечная частица житейской опытности, вынесенная имъ изъ перваго столкновенія съ вопросомъ о трудѣ, повидимому не пропала для него даромъ. Но крайней мѣрѣ вторая попытка его оказывается гораздо благоразумнѣе первой.

«И снова, преданный бездѣлю,
Томасъ душевной пустотой,
Усѣлся онъ съ похвальной цѣлью
Себѣ усвоить умъ чужой.»

(Строфа XLIV.)

Значить,—началъ читать. Это придумано недурно. Но именно эта удачная, хотя и очень простая выдумка тотчасъ раскрывается передъ нами ту истину, что Онѣггинъ—человѣкъ безнадѣжно-пустой и совершенно ничтожный.

«Отрядомъ книгъ оставилъ полку;
Читалъ, читалъ, а все безъ толку:
Тамъ скука, тамъ обманъ и бредъ,
Въ томъ совѣсти,—въ томъ смысла нѣтъ;
На всѣхъ различія вериги;
И устарѣла старина,
И старымъ бредить новизна.
Какъ женщина, онъ оставилъ книги
И полку съ пыльной ихъ семьей
Задержнулъ траурной тафтой.»

(Строфа XLV.)

Еслибы Онѣггинъ расправился такъ бойко съ одиными русскими книгами, то въ словахъ поэта можно было-бы видѣть злую, но справедливую сатиру на нашу тогдашнюю вялую и ничтожную литературу. Но къ сожалѣнію мы знаемъ доподлинно, изъ другихъ мѣстъ романа, что Онѣггинъ умѣлъ читать всякія книжки, и французскія, и нѣмецкія (Гердера), и англійскія (Гиббона и Байрона), и даже итальянскія (Манзони). Въ его распоряженіи находилась вся европейская литература XVIII вѣка, а онъ съумѣлъ только задержать полку съ книгами траурной тафтой. Пушкинъ повидимому желалъ показать, что провинциальный умъ и неукро-

такий дух Ойгина ничѣмъ не могутъ удовлетвориться и ищутъ такого совершенства, котораго даже и на свѣтѣ не бываетъ. Но показавъ онъ совѣтъ не то. Онъ показалъ одно изъ двухъ: или то, что Ойгинъ не умѣлъ себѣ выбрать хорошихъ книгъ, или то, что Ойгинъ не умѣлъ оцѣнить и полюбить мыслителей, съ которыми онъ позавоимился. По всей вѣроятности Ойгина постигли оба эти неудачи, т. е. и выборъ книгъ былъ неудовлетворителенъ, и пониманіе было изъ рукъ вонъ плохое. Ойгинъ вѣроятно накупилъ себѣ всякой всячины, началъ глотать одну книгу за другой безъ цѣли, безъ системы, безъ руководящей идеи, почти ничего не понимая, почти ничего не запомнилъ и бросилъ наконецъ это безтолковое чтеніе, убѣдивши себя въ томъ, что онъ произвелъ всю человѣческую науку, что все мыслители — дурачки и что всѣхъ ихъ надо повѣсить на одну осину. Это отрицаніе конечно очень отважно и очень безпощадно, но оно кромѣ того чрезвычайно смѣшно и для отрицаемыхъ предметовъ совершенно безвредно. Когда человѣкъ отрицаетъ рѣшительно все, то это значитъ, что онъ не отрицаетъ ровно ничего и что онъ даже ничего не знаетъ и не понимаетъ. Если этимъ легкимъ дѣломъ сплошного отрицанія занимается не ребенокъ, а взрослый человѣкъ, то можно даже смѣло утверждать, что этотъ бойкій господинъ одаренъ такими неподвижными и лѣнивыми умами, который никогда не усвоитъ себѣ и не пойметъ ни одной дѣльной мысли. Ойгинъ расправляется съ книгами такъ, какъ онъ расправился выше съ балетами Дидло и какъ онъ въ III главѣ будетъ расправляться съ глупой душой и съ глупымъ небосклономъ. Онъ произноситъ рѣзкую фразу, которую доверчивые люди принимаютъ за смѣлую мысль. Враждебное столкновеніе его съ книгами составляетъ въ его жизни послѣднюю попытку отыскать себѣ трудъ. Послѣ этой попытки Ойгинъ и Пушкинъ окончательно убѣждаются въ томъ, что для высшихъ натуръ не существуетъ въ жизни увлекательнаго труда, и что чѣмъ человѣкъ умнѣе, тѣмъ больше онъ долженъ скучать. Сваливать такимъ образомъ всякую вину на роковые законы природы конечно очень удобно и даже лестно для тѣхъ людей, которые не привыкли и не умѣютъ размышлять и которые, посредствомъ этого сваливанья, могутъ безъ дальнѣйшихъ хлопотъ перечислить себя изъ тунейцевъ въ высшія натуры. У Пушкина особенно развита эта замашка выдумывать законы природы и ставить эти выдуманые законы, какъ границу, за которую не можетъ проникнуть никакое изслѣдованіе. Спрашивается напримѣръ, отчего люди скучаютъ? — На это можно отвѣчать: оттого, что они ничего не дѣлаютъ. — А отчего они ничего не дѣлаютъ? — Оттого, что за нихъ работаютъ другіе

люди. — А это отчего происходитъ? — На этот вопросъ также можно отыскать отвѣтъ, и только, разумеется, тутъ придется вѣзти въ исторію, и въ политическую экономію, и въ фізіологію, и въ опытную психологію. Но! Пушкина дѣло не доходитъ даже до втораго вопроса. У него сію минуту готовы законъ природы. Пушкинскій Фаустъ говоритъ наизусть Мефистофелю: «мнѣ скучно, бѣсъ», а Мефистофель немедленно объясняетъ ему, что «такое вамъ положенъ предѣлъ» и что «всѣ твари разумная скучаетъ». И Фаустъ доверчивъ и даже съ нѣкоторымъ ужасомъ выслушиваетъ вздорную болтовню Мефистофеля, а потомъ имъ развлеченія приказываетъ Мефистофелю унять испанскій тріумфаторскій корабль, готовый пристать къ берегамъ Голландіи. Эта, такъ называемая, «Сцена изъ Фауста» составляетъ превосходный комментарий къ «Евгенію Ойгину». Въ этой «сценѣ» демонизмъ, какъ понимаетъ его Пушкинъ, доведенъ уже до послѣднихъ границъ злѣлаго и смѣшнаго. Тутъ уже для читателя становится ясно, что пушкинскій Фаустъ — совсѣмъ не Фаустъ и совсѣмъ не высшая натура, а просто развеселый купеческій сыночекъ, которому свойственно не топить тріумфаторские испанскіе корабли, а разрушать большія зеркала въ русскіхъ увеселительныхъ заведеніяхъ. Надъ Мефистофелемъ этотъ рѣзкій юноша не имѣетъ ни малѣйшей власти, но должность Мефистофеля исправляетъ при этомъ русскій Фаустъ толстый бумажникъ, напичканный кредитными билетами. Именно этотъ карманный Мефистофель и даетъ ему возможность бить зеркала для того, чтобы разнообразить жизнь и прогнать на нѣсколько минутъ роковую скуку. Отнимите у русскаго Фауста бумажникъ, и онъ тотчасъ сдѣлается тѣшею воды, нивже травы, скромнѣе красной дѣвушки. Выбѣтъ съ вспышками демонической натуры пропадетъ и роковая скука. Фаустъ пойдетъ въ чернорабочіе и затеряется въ той сѣрой толпѣ, которую онъ отважно давилъ своими рысакими во времена своего господства надъ карманнымъ Мефистофелемъ.

По натурѣ своей Ойгинъ чрезвычайно похожъ на Фауста, который въ романѣ топилъ испанскіе корабли, а въ жизни крушилъ русскія зеркала. И демонизмъ Ойгина также цѣлкомъ сидитъ въ его бумажникѣ. Какъ только бумажникъ опустѣетъ, такъ Ойгинъ тотчасъ пойдетъ въ чиновники и превратится въ Фамусова. И тогда самый опытный наблюдатель ни за что не отличитъ его отъ той толпы, которую онъ презиралъ на томъ основаніи, что онъ будто бы «жилъ и мыслилъ».

Итакъ, Ойгинъ скучаетъ не оттого, что онъ не находитъ себѣ разумной дѣятельности, и не оттого, что онъ — высшая натура, и не оттого, что «вся тварь разумная скучаетъ», а

просто оттого, что у него лежатъ въ карманѣ шальные деньги, которыя даютъ ему возможность много ѣсть, много пить, много заниматься «научкой вѣрной страсти» и корчить всякія гримасы, какія онъ только пожелаетъ состроить. Умъ его ничѣмъ не охлажденъ, — онъ только совершенно не тронуть и неразвить. *Ниру страстей* онъ испыталъ настолько, насколько эта игра входитъ въ «науку страсти вѣрной». О существованіи другихъ, болѣе сильныхъ страстей, — страстей, направленныхъ къ идеѣ, онъ даже не имѣетъ никакого понятія, подобно тому, какъ не имѣетъ о нихъ понятія пушкинскій Фаустъ. *Жаръ своего сердца* Онѣгинъ истратилъ на будуарныя сцены и на маскарадные похождения. Если Онѣгинъ думаетъ, что *жизнь томитъ* его, то онъ думаетъ чистый вздоръ; кого жизнь дѣйствительно томитъ, тотъ не поскачетъ на почтовыхъ за наслѣдствомъ въ деревню умирающаго дяди. *Жить*, на языкѣ Онѣгина, значить гулять по бульвару, обѣдать у Талона, ѣздить въ театры и на балы. *Мыслимъ* — значить критиковать балеты Дядю и ругать луну душой за то, что она очень кругла. *Чувствовать* — значить завидовать волнамъ, которыя ложатся къ ногамъ хорошенькой барыни. *Кто жилъ и мыслилъ*, подобно Онѣгину, тотъ, разумѣется, не можетъ не презирать людей, живущихъ менѣе роскошно и мыслящихъ не столь оригинально. *Кто чувствовалъ*, подобно Онѣгину, тотъ, разумѣется, тревожится призракомъ невозвратимыхъ дней, т. е. тѣхъ дней, когда случалось видѣть вблизи ножки, ланиты, перси и разныя другія интересныя подробности женскаго тѣла. — Такимъ образомъ я отвѣтилъ на всѣ вопросы, поставленные мною въ первой главѣ, и у насъ оказался тотъ неожиданный результатъ, что Онѣгинъ совсѣмъ не «духъ отрицанья, духъ сомнѣнья», а просто коварный измѣнщикъ и жестокій тиранъ дамскихъ сердецъ. Мы увидимъ ниже, что этотъ результатъ оправдывается всѣмъ дальнѣйшимъ ходомъ романа.

III.

Пушкинъ подружился съ Онѣгинымъ и призналъ за нимъ право презирать людей въ то время, когда Онѣгинъ, постигнувъ суетность науки, задергивалъ траурной тафтой полку съ книгами. Вслѣдъ затѣмъ умеръ отецъ Онѣгина и Евгенийъ предоставилъ наслѣдство кредиторамъ,

«Большой потери въ томъ не видя,
Иль предузнавъ издалека
Кончину дяди-старика»

Дѣйствительно, дядя вскорѣ занемогаетъ, и,
«Прочтя печальное посланье,
Евгеній готчасъ на свиданье

Стремглавъ по почтѣ поскакалъ
И ужъ заранѣе зѣвалъ,
Приготовляясь, денегъ ради,
На вздохъ, скуку и обманъ.»

О предстоящихъ занятіяхъ съ болѣннымъ дядей Онѣгинъ размышлялъ такъ:

«Но, Боже мой, какая скука
Съ болѣннымъ сидѣть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь.
Какое низкое коварство —
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство.
Вздыхать и думать про себя:
Когда-же чортъ возьметъ тебя!»

Все это очень естественно и изложено очень хорошими стихами, но все это очевидно совершенно уравниваетъ Онѣгина съ самыми презрѣнными людьми презрѣнной толпы. Изъ-за чего суетятся, сгибаются въ дугу, актерствуютъ и подличаютъ самые презрѣнные люди? Изъ-за чего Молчалинъ ходитъ на заднихъ лапкахъ передъ Фамусовымъ и передъ всѣми его важными гостями? — Изъ-за презрѣннаго металла, которымъ поддерживается брѣнное существованіе. А ради чего Онѣгинъ скачетъ *стремглавъ по почтѣ* и готовится къ хожденію на заднихъ лапкахъ передъ умирающимъ родственникомъ? — *Денегъ ради*, отвѣчаетъ Пушкинъ съ свойственной ему откровенностью. Онѣгинъ унижается передъ дядей, Молчалинъ унижается передъ начальникомъ; побудительная причина у обоихъ одна и та-же. Съ какой-же стати Пушкинъ даетъ Онѣгину право презирать толпу, въ которой молчалинство составляетъ самую темную и грязную сторону? Если Онѣгину необходимо упражняться въ презрѣніи, то ему слѣдовало бы начать съ самого себя и даже кончить самимъ собою, т. е. сосредоточить навсегда все свое презрѣніе на собственной личности и оставить толпу въ покоѣ, потому что даже такой мелкій человекъ толпы, какъ Молчалинъ, все-таки стоитъ выше блестящаго дѣнди Онѣгина. Молчалинъ подличаетъ потому, что въ русской жизни господствуетъ, какъ остроумно замѣтилъ Помяловскій, своеобразный экономическій законъ, вслѣдствіе котораго человекъ, дающій работу, считаетъ себя благодѣтелемъ человека, получающаго и выполняющаго работу. Очень немногія отрасли труда освободились отъ господства этого своеобразнаго закона, и, разумѣется, то поприще, на которомъ подвизается Молчалинъ, относится къ числу неосвободившихся отраслей. Подличая передъ Фамусовымъ, Молчалинъ добивается только того, чтобы у него не отняли работы и чтобы ему платили за эту работу хорошія деньги. Разумна-ли и полезна-ли сама работа — за это Молчалинъ не отвѣчаетъ, потому что не онъ ее выдумалъ. Дѣло Молчалина — трудиться, и онъ дѣй-

ствительно трудится, и его начальник, Фанусовъ, сознается, что Молчалинъ — дѣловой человѣкъ. Когда же Онегинъ поднимаетъ передъ дадей, тогда онъ ждетъ отъ дади не работы и не задѣльной платы, а даровой подачки, что конечно несравненно унижительно для человѣческаго достоинства. Онегину постылъ упорный трудъ, и вслѣдствіе этого каждый человѣкъ, способный трудиться, имѣетъ полное и разумное право смотрѣть на Онегина съ презрѣніемъ, какъ на вѣчнаго недоросля въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніи. Получивъ наслѣдство, Онегинъ улучшаетъ положеніе мужиковъ:

«Иремъ онъ барщины старинной
Оброкомъ легкимъ замѣнить:
Мужикъ судьбу благословилъ.»

Это конечно недурно со стороны Онегина. Но это доказываетъ только, во-первыхъ, что Онегинъ не Плюшкинъ и не Гарпагонъ, и не Скупой Рыцарь; а во-вторыхъ, что полученное наслѣдство было достаточно велико. Легкій оброкъ, несмотря на всю свою легкость, все-таки давалъ Онегину полную возможность имѣть въ деревнѣ «обѣдъ довольно прихотливый», пить съ Ленскимъ бордо и шампанское, а потомъ, послѣ смерти Ленскаго, разѣзжать втеченіи двухъ лѣтъ по Россіи. Еслибы наслѣдство было менѣе значительно, то по всей вѣроятности мужику не пришлось-бы благословлять судьбу, потому что Онегинъ врядъ-ли отказался-бы отъ бордо, отъ странствованій по Россіи и отъ разныхъ другихъ удобствъ жизни, которыя должны оплачиваться «легкимъ оброкомъ» или «старинной барщиной». Значитъ, отношенія Онегина къ мужикамъ украшаютъ нашего героя только отрицательнымъ достоинствомъ, то-есть, спасаютъ его отъ упрека въ корыстолюбіи.

«Два дня ему казались новы
Уединенныя поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихаго ручья...
На третій — роща, холмы и поле
Его не занимали болѣ,
Потомъ ужъ наводили сонъ.»

(Гл. I. Стр. LIV.)

И, разумеется, хандра стала бѣгать за нимъ, «какъ тѣнь иль вѣрная жена». Многимъ — въ томъ числѣ и Пушкину — эта способность скучать всегда и вездѣ кажется привилегіей сильныхъ умовъ, неспособныхъ удовлетворяться тѣмъ, что составляетъ счастье обыкновенныхъ людей. Пушкинъ здѣсь, какъ и вездѣ, подмѣтилъ и обрисовалъ самый фактъ совершенно вѣрно; но, чуть только дѣло доходитъ до объясненія представленнаго факта, Пушкинъ тотчасъ впадаетъ въ самую грубую ошибку. Дѣйствительно, человѣкъ, подобный Онегину, испорченный до мозга костей систематической праздностью мысли, долженъ скучать постоянно; дѣй-

ствительно, такой человѣкъ долженъ кидаться съ жадностью на всякую новизну и долженъ охладѣвать къ ней, какъ только усѣтитъ въ ней взглянуть; все это совершенно вѣрно, но изъ это доказываетъ не то, что онъ слишкомъ много жаль, мыслить и чувствовалъ, а, совсѣмъ напротивъ, то, что онъ вовсе не мыслить, вовсе не умѣетъ мыслить, и что всѣ его чувства были всегда такъ-же мелки и ничтожны, какъ чувства остроумнаго джентльмена, завидуящаго счастливому бревну, на которое оперлась чья-то хорошенькая ножка. Въ области мысли Онегинъ остался ребенкомъ, несмотря на то, что онъ соблазнилъ многихъ женщинъ и прочиталъ много книжекъ. Онегинъ, какъ десятилѣтній ребенокъ, умѣетъ только воспринимать впечатлѣнія и совсѣмъ не умѣетъ ихъ перерабатывать. Оттого онъ и нуждается въ постоянномъ притоку свѣжихъ впечатлѣній: пока передъ его глазами мелькаютъ новыя картинки, невиданные переливы красокъ, непривычныя комбинаціи линий и тѣней, до тѣхъ поръ онъ спокоенъ, не изурится и не пищитъ. Умъ его по обыкновенію находится въ бездѣйствіи; нашъ герой широко раскрываетъ глаза и черезъ эти раскрытыя форточки совершенно пассивно втягиваетъ въ себя впечатлѣнія окружающаго міра; когда декорации быстро перемѣняются, тогда форточки работаютъ исправно и пассивное втягиваніе впечатлѣній мѣшаетъ нашему герою оставаться наединѣ съ самимъ собою; когда-же передвиженіе декораций прекращается и когда вслѣдствіе этого безцѣльное глазное становится невозможнымъ, тогда хроническое бездѣйствіе ума выдвигается на первый планъ, Онегинъ остается наединѣ съ своей умственной нищетой, и, разумеется, ощущеніе этой безнадежной нищеты погружаетъ его въ то психическое состояніе, которое называется скукой, тоской или хандрой. Все это вѣсколько не величественно и ни мало не трогательно. — Постояннымъ собесѣдникомъ и пріятелемъ Онегина, скучающаго въ деревнѣ, становится его молодой сосѣдъ,

«По имени Владиміръ Ленскій,
Съ душою прямо геттингенской,
Красавецъ, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ,
Поклонникъ Канта и поэта.
Онъ изъ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь
И кудри черныя до плечъ.»

(Г. П. Стр. VI.)

Плоды учености этого господина были по всей вѣроятности никуда негодны, потому что этому господину было «безъ малаго осмысленно дѣлать»; а между тѣмъ онъ считалъ уже свое образованіе оконченнымъ и помышлялъ только о томъ, чтобы поскорѣе жениться на Ольгѣ Лариной, наплодить побольше дѣтей и

писать побольше стихотвореній о романти-
скихъ розахъ и о туманной дали. Въ чемъ
ключались геттингенскія свойства его души
въ чемъ проявлялось его уваженіе къ
нѣту,—это остается для насъ вѣчной тайной.
его вольнолюбивыхъ мечтахъ мы также равно
чего не узнаемъ, потому что во время своихъ
иданій съ Онѣгинымъ геттингенская душа
лишь и дѣлаетъ, что тянетъ шампанское да
етъ эротическія глупости. Неотъемлемой соб-
ственностью Ленскаго остаются такимъ обра-
зомъ длинные черные волосы, всегдашняя вос-
рещенность рѣчи и пылкость духа съ доста-
точною примѣсью странности. Все это вмѣстѣ
лично было дѣлать его общество совершенно
выносимымъ для всякаго мало-мальски серьез-
наго и мыслящаго человѣка; но Онѣгину эта
доучившаяся пнеія, разумѣется, очень попра-
лась по той простой причинѣ, что Онѣгину
еже всего было необходимо хотѣть чѣмъ-ни-
будь занять ту или другую пару форточекъ,
—есть дать какую-нибудь работу или глазамъ,
и ушамъ. А такъ какъ Ленскій болталъ вос-
рещенно и неудержимо, то, стало-быть, участъ
ѣгинскихъ ушей была вполне обезпечена.
Пушкинъ увѣрялъ насъ, что бесѣды этихъ
двухъ мыслителей были чрезвычайно разно-
разны:

«Межъ ними все рождало споры
И къ размышленію влекло:
Племень минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предрассудки вѣковые,
И гроба тайны роковыя,
Судьба и жизнь въ свою чреду,
Все подвергалось ихъ суду.»

(Гл. II. Стр. XVI.)

Въ этихъ бесѣдахъ могли-бы обнаружиться
особенности геттингенской души и охлажден-
ности онѣгинскаго ума; въ этихъ бесѣдахъ
сли-бы обрисоваться со всѣхъ сторонъ поли-
тическія, нравственныя и всякія другія убѣж-
нія Онѣгина и Ленскаго; но къ сожалѣнію
романъ не представлено ни одной такой бе-
ды, и вслѣдствіе этого мы имѣемъ полное
аво крѣпко сомнѣваться въ томъ, имѣлись-
ли у этихъ двухъ праздношатающихся джентль-
меновъ какія-нибудь убѣжденія.

Читатели мои по всей вѣроятности знаютъ
помянуть очень хорошо, что Пушкинъ въ
всѣхъ Онѣгинѣхъ разсуждаетъ чрезвычайно
остранно о всевозможныхъ предметахъ, очень
по относящихся къ дѣлу: тутъ и дамскія
жизни, и сравненіе *ан* съ *бордо*, и негодова-
ніе противъ альбомовъ петербургскихъ дамъ, и
ображенія о томъ, что наше сѣверное лѣто —
рикатура южныхъ зимъ, воспоминанія о са-
хъ лицахъ и многое множество другихъ встакъ
и украшеній. А между тѣмъ когда нужно
шить дѣйствительно важный вопросъ, когда
доказать, что у главныхъ дѣйствующихъ

лицъ были опредѣленные понятія о жизни и
о между-человѣческихъ отношеніяхъ, тогда
нашъ великій поэтъ отдѣливается короткимъ
и совершенно неопредѣленнымъ намекомъ на
какія-то разнообразныя бесѣды, которыя будто-
бы рождали споры и влекли къ размышленію.
Одинъ такой споръ очевидно охарактеризовалъ-
бы Онѣгина несравненно полнѣе, чѣмъ десятки
очень милыхъ, но совершенно ненужныхъ по-
дробностей о томъ, какъ онъ игралъ на бил-
лиардѣ тупымъ кіемъ, какъ онъ садился въ
ванну со льдомъ, въ которомъ часу онъ обѣ-
далъ, и такъ далѣе. Ни одного такого спора
мы не видимъ въ романѣ. И это еще не все.
Пушкинъ упоминаетъ о разнообразныхъ бесѣ-
дахъ въ XIV строфѣ II главы, а въ XV стро-
фѣ онъ сообщаетъ намъ такія подробности, ко-
торыя быть-можетъ дѣлаютъ величайшую честь
нѣжности онѣгинскаго сердца, но которыя въ
то-же время совершенно уничтожаютъ возмож-
ность серьезныхъ споровъ, влекущихъ къ раз-
мышленію.

«Поэта пылкій разговоръ,
И умъ, еще въ сужденіяхъ зыбкій,
И вѣчно вдохновенный взоръ —
Онѣгину все было ново;
Онъ охладительное слово
Въ устахъ старался удержать
И думалъ: глупо мнѣ мѣшать
Его минутному блаженству —
И безъ меня пора придетъ;
Пускай покаместъ онъ живетъ
Да вѣрить міра совершенству.»

Какой-же дѣльный споръ, какой-же серьез-
ный обменъ мыслей возможенъ тогда, когда
одинъ изъ собесѣдниковъ постоянно старается
воздерживаться отъ охладительныхъ словъ и
когда другой собесѣдникъ постоянно пылаетъ,
то-есть постоянно нуждается въ охлажденіи?
Если мы пересмотримъ тѣ предметы разговора,
которые перечислены Пушкинымъ въ XV стро-
фѣ, то мы немедленно убѣдимся въ томъ, что
споры объ этихъ предметахъ были совершенно
невозможны безъ охладительныхъ словъ со сто-
роны Онѣгина. Если эти споры дѣйствительно
влекли къ размышленіямъ, то они должны были
состоять почти исключительно въ томъ, что
Ленскій фантазировалъ и предавался сладост-
ному оптимизму, а Онѣгинъ произносилъ раз-
ныя печальныя истины и охладительныя слова.
Въ самомъ дѣлѣ, что ихъ занимало? Во-пер-
выхъ — *племень минувшихъ договоры*. Хотя
это выраженіе очень неудачно и неясно, одна-
ко можно понять, что тутъ дѣло идетъ объ
историческихъ вопросахъ. Ясное дѣло, что
Ленскій, какъ идеалистъ и какъ поэтъ, дол-
женъ былъ строить въ области исторіи раз-
ныя красивыя и трогательныя тенденціи, а
Онѣгинъ, какъ скептикъ, долженъ былъ разрѣ-
шать эти построенія охладительными аргумента-
ми. Если даже мы примемъ слово *договоры* въ

его точномъ и буквальному значеніи, то и тогда споръ врядъ-ли обойдется безъ охладительныхъ словъ. Объ Анталкидовомъ мирѣ или о договорѣ Олега съ греками можно конечно разсуждать совершенно безопасно и безпристрастно, но по всей вѣроятности друзья наши не забирались въ такую глубокую древность; если-же они бесѣдовали о какомъ-нибудь договорѣ новѣе, на примѣръ о священномъ союзѣ или о вѣнскомъ конгрессѣ, или о карлсбадскихъ конференціяхъ, то Ленскій съ большимъ удобствомъ могъ предаваться неосновательнымъ восторгамъ, противъ которыхъ необходимо было дѣйствовать охладительными словами. Во вторыхъ—*плоды наукъ*. Тутъ все зависитъ отъ того, *какіе* плоды. О математическихъ сочиненіяхъ Эйлера или Лагранжа можно разсуждать безъ охладительныхъ словъ. Но если только друзья наши брали что-нибудь поживѣе, на примѣръ систему міра Лапласа или теорію перерожденій Ламарка, то охладительныя слова становились неизбѣжными, потому что такіе ученые, какъ Лапласъ и Ламаркъ, разрушаютъ очень многія заблужденія, весьма драгоценныя для юныхъ идеалистовъ и романтиковъ. А такъ какъ друзья наши врядъ-ли бесѣдовали объ аналитической геометріи, и такъ какъ по всей вѣроятности они выбирали тѣ *плоды науки*, которые, такъ или иначе, затрогиваютъ общіе вопросы міросозерцанія, то, стало быть, и о *плодахъ науки* нельзя было спорить безъ охладительныхъ словъ. Въ-третьихъ—*добро и зло*, то-есть основанія нравственности. Тутъ столкновеніе противоположныхъ убѣжденій совершенно неизбѣжно, и необходимость охладительныхъ словъ до такой степени очевидна, что нечего объ этомъ и распространяться. Въ-четвертыхъ—*предразсудки вѣковые*. Если происходилъ споръ о вѣковыхъ предразсудкахъ, то этотъ споръ могъ принимать одну изъ двухъ главныхъ формъ: или Онѣгинъ считалъ какое-нибудь мнѣніе за предразсудокъ, а Ленскій доказывалъ его разумность, или-же наоборотъ, Ленскій нападалъ на предразсудокъ, а Онѣгинъ его отстаивалъ. Въ первомъ случаѣ Ленскій, какъ юноша и поэтъ, бралъ подъ свое покровительство разныя красивыя иллюзіи, которыя Онѣгинъ, какъ человѣкъ, познакомившійся съ жизнью, отрицалъ и осмѣивалъ. Во-второмъ случаѣ Ленскій, какъ юный и горячій представитель чистой теоріи, несклонявшейся ни на какіе компромиссы, осуждалъ съ высоты своей идеи, разныя мелкія слабости общества, которыя Онѣгинъ, какъ опытный человѣкъ, считалъ извинительными или даже неизбѣжными. Въ томъ и другомъ случаѣ Онѣгину пришлось-бы совершенно отказаться отъ спора, еслибы онъ захотѣлъ воздерживаться отъ охладительныхъ словъ. Въ-пятыхъ—*гроба тайны роковыя*. Часъ отъ часу

не легче. Если возможенъ какой-нибудь споръ о *роковыхъ тайнахъ гроба*, то этотъ споръ можетъ происходить только на счетъ безсмертія души. Между Онѣгинымъ и Ленскимъ споръ безъ сомнѣнія долженъ былъ завязаться такъ, что Онѣгинъ отрицалъ, а Ленскій утверждалъ. Начиная такой споръ, Онѣгинъ очевидно затрогивалъ такой предметъ, который составлялъ для юнаго идеалиста величайшую и неприкосновеннѣйшую драгоценность. Какъ онъ мягко и осторожно Онѣгинъ ни выражался, въ всякомъ случаѣ уже тотъ фактъ, что онъ ставилъ знакъ вопросительный тамъ, гдѣ Ленскій ставилъ точку или знакъ восклицательный,—одинъ этотъ фактъ, говорю я, долженъ былъ произвести на несчастнаго поэта гораздо болѣе потрясающее впечатлѣніе, чѣмъ всевозможныя охладительныя слова. Въ-шестыхъ—*судьба и жизнь*. Ну, это выраженіе такъ неясно и такъ растяжимо, что о немъ нечего и говорить.

Подробный анализъ тѣхъ высокихъ предметовъ, о которыхъ разговаривали Онѣгинъ и Ленскій, приводитъ меня къ тому заключенію, что они ни о какихъ высокихъ предметахъ не разговаривали, и что Пушкинъ не имѣетъ никакого понятія о томъ, что значитъ серьезный споръ, влекущій къ размышленію, и какому значенію имѣетъ для человѣка сознательное и глубоко-прочувствованное убѣжденіе. Пушкинъ хотѣлось, чтобы Онѣгинъ въ своихъ отношеніяхъ къ Ленскому обнаруживалъ граціозную мягкость своего характера, и Пушкинъ, какъ человѣкъ, хорошо знакомый съ граціозной мягкостью и совершенно незнакомый съ убѣжденіями, не сообразилъ того, что, навязывая своему герою это изящное свойство, онъ осуждалъ его на такую жалкую безцѣлность, при которой возможны только пренія о погодѣ, достоинствахъ шампанскаго, да пожалуй еще о договорахъ Олега съ греками. Еслибы Онѣгинъ дѣйствительно имѣлъ какія-нибудь убѣжденія, то, подружившись съ Ленскимъ, онъ, именно изъ привязанности къ нему, старался-бы откровенно подѣлиться съ нимъ своими взглядами на жизнь и разрушить дружескими разговорами тѣ юношескія заблужденія, которыя, рано или поздно, грубо и безжалостно разрушитъ презрѣнная житейская проза. Но Онѣгинъ, по своей незрѣлости и по совершенному отсутствію убѣжденій, соблюдаетъ въ отношеніи къ Ленскому ту знаменитую политику скриванія и педагогическаго обмана, которую постоянно прилагаютъ къ своимъ питомцамъ всѣ родители и воспитатели, отличающіеся теплотой чувствъ и ограниченностью ума.

Я уже показалъ выше, что при этой политикѣ совершенно невозможны серьезные разговоры о предметахъ, вызывающихъ на раз-

мышление. И такъ какъ Пушкинъ намъ дѣйстви-
тельно не сообщаетъ ни одного подобнаго раз-
говора, то мы имѣемъ полное право утверждать,
что Онегинъ и Ленскій были совершенно не-
способны къ серьезнымъ разсужденіямъ, и что
Пушкинъ, желая поставить ихъ на пьедесталъ,
упомянулъ мимоходомъ о разныхъ высокихъ
предметахъ, до которыхъ ни ему самому, ни
его героямъ никогда не было никакого дѣла.
Договоры племенъ, вѣковые предрасудки, ро-
ковыя тайны, все это—одни слова, къ кото-
рымъ критикъ долженъ относиться съ крайней
недовѣрчивостію.

IV.

Любопытно замѣтить, что граціозная мягкость
измѣняетъ Онегину именно тогда, когда она
была необходима и когда охладительное слово
было не только очень невѣжливо, но еще кромѣ
того совершенно бесполезно. Вотъ какимъ об-
разомъ Онегинъ разсуждаетъ объ Ольгѣ, въ
которую, какъ ему извѣстно, давно уже влюб-
ленъ Ленскій:

«Въ чертахъ у Ольги жизни нѣтъ,
Точь въ точь въ Вандиковой Мадонѣ:
Кругла, красна лицомъ она,
Какъ эта глупая луна
На этомъ глупомъ небосклонѣ.»

(Гл. III. Стр. V.)

Эта тирада очевидно была сказана только
для того, чтобы полюбоваться насмѣшливой
солодностью своего взгляда на природу и на
жизнь. Ленскому эта грубая и безтолковая вы-
содка противъ Ольги показалась очень неприя-
тной, и, кромѣ этой, совершенно безплодной не-
приятности, ровно ничего не вышло и не могло
выйти изъ охладительнаго слова, произнесен-
наго Онегинымъ ни къ селу, ни къ городу, для
услажденія собственнаго слуха. Впрочемъ надо
то сказать, что Ленскій самъ спрашивается
на подобныя дерзости: онъ лѣзетъ къ Онегину
съ такими конфиденціальными разговорами объ
Ольгѣ, которые совершенно несомнѣны съ
серьезнымъ уваженіемъ любящаго мужчины къ
любимой женщинѣ. Онъ за бокаломъ шампан-
скаго анализируетъ Ольгу съ пластической
точкой зрѣнія, и этому занятію онъ предается
уже послѣ того, какъ Онегинъ сравнилъ эту
Ольгу съ глупой луной. Вотъ его подлинныя
слова:

«Ахъ, милый, какъ похорошѣли
У Ольги плечи, что за груди!
Что за душа!»

(Гл. IV. Стр. XLVIII.)

Когда Базаровъ сказалъ своему другу нѣ-
сколько словъ о плечахъ женщины, которую
онъ видѣлъ въ первый разъ, тогда паша кри-
тика и наша публика порѣшили, что Базаровъ—
ужасный циникъ. Но еслибы критика и пуб-

лика потрудились перечитать «Евгенія Оне-
гина», то онѣ увидѣли-бы, что идеалистъ и ро-
мантикъ Ленскій далеко перещеголялъ мате-
риалиста и эмпирика Базарова. Базаровъ го-
ворилъ о незнакомой женщинѣ, Ленскій, напро-
тивъ того,—о той дѣвушкѣ, въ которую онъ
былъ влюбленъ съ дѣтства; Базаровъ говорилъ
только о плечахъ, Ленскій—о плечахъ и о груди.
Стало бытъ, упрекъ въ цинизмѣ относится по
всѣмъ правамъ къ пламеннымъ идеалистамъ
20-хъ годовъ, а не къ холоднымъ реалистамъ
нашего времени. Впрочемъ это совершенно
естественно, потому что, какъ намъ извѣстно
даже изъ прописей, праздность есть мать всѣхъ
пороковъ, а въ дѣлѣ праздности Базарову ко-
нечно мудрено тягаться съ Онегинымъ и съ
Ленскимъ. Праздность Онегина такъ колос-
сальна, что онъ даже

«— — Дома пѣлый день
Одинъ, въ расчеты погруженный,
Тунимъ кіемъ вооруженный,
На билліардѣ въ два шара
Играетъ съ самаго утра.»

(Гл. IV. Стр. XLIV.)

При такомъ бездѣйствіи мысли вранье на
разныя темы составляетъ конечно одно изъ
лучшихъ украшеній жизни.

Чтобы дорисовать личность Ленскаго, надо
разобрать его дуэль съ Онегинымъ. Тутъ чи-
татель рѣшительно не знаетъ, кому отдать
пальму первенства по части тупоумія—Оне-
гину или Ленскому. Единственное возможное
объясненіе этого нелѣпѣйшаго случая состоитъ
въ томъ, что оба они, Ленскій и Онегинъ, со-
вершенно ошалѣли отъ бездѣлья и отъ мертвя-
щей скуки. Онегину захотѣлось взбѣсить Лен-
скаго и такимъ образомъ отмстить ему за то,
что у Лариныхъ на именины Татьяны собра-
лось много гостей, между тѣмъ какъ Ленскій
говорилъ Онегину, что не будетъ никого изъ
постороннихъ. Чтобы исполнить свое намѣреніе,
Онегинъ танцуетъ съ Ольгой сначала вальсъ,
потомъ мазурку, потомъ котильонъ. Во время
танцевъ онъ,

«Наклонясь, ей шепчетъ лѣжно
Какой-то пошлый мадригалъ,
И руку жметъ—и запыхалъ
Въ ея лицѣ самолюбивомъ
Румянецъ ярче.»

(Гл. V. Стр. XLIV.)

Но, спрашивается, что-же онъ могъ видѣть?
Что Онегинъ наклонялся къ Ольгѣ и шепталъ
ей что-то, въ этомъ, кажется, нѣтъ ничего
преступнаго. Кавалеры обыкновенно говорятъ
съ дамами во время танцевъ, и никто не обя-
зываетъ ихъ говорить такъ громко, чтобы каж-
дое слово было слышно во всѣхъ концахъ залы.
Пошлаго мадригала Ленскій не могъ ни видѣть,
ни слышать, потому что онъ былъ произне-
сенъ шопотомъ. Замѣтить пожатіе руки было

также невозможно, потому что это движение мускуловъ совершенно неуловимо для глазъ. Что Ольга улыбалась и краснѣла—это Ленскій конечно могъ видѣть; но, во-первыхъ, во время танцевъ никто не хмурится; а во-вторыхъ, Ольга могла раскраснѣться именно отъ движенія; наконецъ, еслибы даже Ленскій могъ быть твердо убѣжденъ въ томъ, что Онѣгинъ говоритъ Ольгѣ комплименты на счетъ ея наружности, и что Ольга улыбается и краснѣетъ отъ удовольствія, то и тогда онъ не имѣлъ-бы никакого основанія сердиться ни на Онѣгина, ни на Ольгу. Въ двадцатыхъ годахъ комплименты были еще въ полномъ ходу, и дамы были еще такъ наивны, что находили ихъ лестными и пріятными. Стало быть, ни Онѣгинъ, ни Ольга не позволяли себѣ рѣшительно ничего такого, что выходило-бы изъ уровня принятыхъ обычаевъ. Но Ленскій лѣзетъ на стѣны:

«Не въ силахъ Ленскій снести удара;
Проказы женскія кляня,
Выходить, требуетъ коня
И скачетъ. Пистолетовъ пара,
Двѣ пули—больше ничего—
Вдругъ разрѣшатъ судьбу его.»

(Гл. V. Стр. XLV.)

А весь ударъ состоялъ въ томъ, что Ольга не пошла танцевать съ нимъ котильонъ. А не пошла она по той законной причинѣ, что ее уже заранѣе пригласилъ Онѣгинъ. Легко можетъ быть, что въ двадцатыхъ годахъ дѣйствительно существовали такіе чудачки, которые принимали подобныя событія за жестокіе удары. Но въ такомъ случаѣ надо будетъ сознаться, что у романтиковъ двадцатыхъ годовъ была въ головѣ своя оригинальная логика, о которой мы въ настоящее время не можемъ составить себѣ почти никакого понятія. Кромѣ того не мѣшаетъ замѣтить, что женамъ этихъ чувствительныхъ и пламенныхъ романтиковъ было по всей вѣроятности очень скверно жить на свѣтѣ.

Трагедія по поводу котильона происходитъ за недѣлю съ небольшимъ до срока, назначеннаго для свадьбы Ленскаго, который зналъ и любилъ свою невѣсту съ самаго дѣтства. Если Ленскій осмѣливается оскорблять безмысленными подозрѣніями ту дѣвушку, которую онъ знаетъ съ малыхъ лѣтъ, и если эти подозрѣнія могутъ возникнуть отъ каждаго взгляда, брошеннаго Ольгою на посторонняго мужчину, то спрашивается, когда-же и при какихъ условіяхъ установятся между мужемъ и женою разумныя отношенія, основанныя на взаимномъ довѣріи? И если о разумномъ взглядѣ на женщину не имѣетъ никакого понятія геттингенская душа, читающая Шиллера и поклоняющаяся Канту, то, спрашивается, какая-же разница существуетъ между геттингенской душой и душою вятской или симбирской? И что за

охота была Пушкину посылать Ленскаго туманную Германію за плодами учености, какими-то вольнолюбивыми мечтами, и этому Ленскому суждено было только сказать и сдѣлать въ романѣ нѣсколько плоскостей, торымъ онъ могъ-бы съ величайшимъ стараніемъ научиться не только въ своей деревнѣ, но даже и въ какой-нибудь буковинской охотничьей избушкѣ. Что-же касается до длинныхъ волосъ, которыми Ленскій, по свидѣтельству Пушкина, причесанъ съ собою также изъ туманной Германіи, то кажется, что они, при тщательномъ уходе, могли-бы вырасти и въ Россіи.

Пріѣхавъ домой послѣ измѣны ковыльи, Ленскій посылаетъ Онѣгину

... «Пріятный, благородный,
Короткій вызовъ, или картель.»

Къ сожалѣнію, Пушкинъ не представилъ намъ того письма, которое написалъ по поводу «поклонникъ» Канта и поэтъ». У насъ сказано только, что

«Учтиво, съ ясностью холодной
Звалъ друга Ленскій на дуэль.»

Но такъ какъ вызовъ надо-же чѣмъ-нибудь мотивировать, то было-бы очень любопытно посмотрѣть, какимъ образомъ Ленскій вывернулъ изъ этой задачи, то-есть, какимъ образомъ ухитрился написать къ Онѣгину о небывающемъ оскорбленіи. Впрочемъ рыбакъ рыбака въ издалека. Ленскій вѣроятно предчувствовалъ, что всякая пошлость непременно найдетъ сочувственный отзывъ въ душѣ его друга, и что слѣдовательно въ сношеніяхъ этимъ бывшимъ другомъ можно нарушать совершенно безбоязненно всѣ правила общественной человѣческой логики. Ленскій по этому понималъ, что Онѣгинъ, какъ свѣтъ челоуѣкъ, есть прежде всего машина, которая при извѣстномъ прикосновеніи непременно должна произвести извѣстное движеніе, хотя это движеніе при данныхъ условіяхъ совершенно безмысленно и даже крайне неумѣстно. Разумѣется, Онѣгинъ вполне одобряетъ надежды своего достойнаго друга, получивши «пріятный, благородный, короткий вызовъ», онъ, какъ образованный дѣнди, требуетъ никакихъ дальнѣйшихъ объясненій, отвѣчаетъ пріятно, благородно, коротко, онъ *всегда готовъ*. Секундантъ Ленскаго, въ свою очередь, часть утѣшаетъ, а Онѣгинъ «наединѣ съ душой» начинаетъ соображать, что эта надѣлала премного глупостей. Онѣгинъ не лезъ самъ собой. Пушкинъ говоритъ:

«И по дѣломъ: въ разборѣ строгомъ,
На тайный судъ себя призвавъ,
Онъ обвинялъ себя во многомъ:
Во-первыхъ, онъ ужъ былъ неправъ,
Что надъ любовью робкой, нѣжной
Такъ подшутилъ вѣщоръ небрежно.»

А во-вторыхъ, пускай поэтъ
 Дурачится: въ осемнадцать лѣтъ
 Оно простиительно. Евгенийъ,
 Всѣмъ сердцемъ юношу любя,
 Былъ долженъ оказать себя
 Не мячикомъ предразсуждений,
 Не пылкимъ мальчикомъ-бойцомъ,
 Но мужемъ съ честью и умомъ.
 Онъ могъ-бы чувства обнаружить,
 А не щетиниться, какъ звѣрь;
 Онъ долженъ былъ обезоружить
 Младое сердце. «Но теперь
 Уже поздно, время улетѣло...
 Къ тому-жъ—онъ мыслить—въ это дѣло
 Въмѣшался старый дуэлистъ;
 Онъ золъ, онъ сплетникъ, онъ рѣчиствъ...
 Конечно быть должно презрѣнье
 Цѣной его забавныхъ словъ;
 Но шопотъ, хохотня глупцовъ...»
 И вотъ общественное мнѣніе!..
 Пружина чести, нашъ кумиръ!
 И вотъ на чемъ вертится міръ!»

(Гл. VI. Стр. X, XI.)

Евгений, какъ видите, любить юношу всѣмъ
 сердцемъ; кромѣ того строгій разборъ, произ-
 веденный на тайномъ судѣ совѣсти, говоритъ
 намъ, что мужъ съ честью и съ умомъ не сталъ
 щетиниться, какъ звѣрь, и не позволилъ
 себѣ стрѣлять въ осемнадцатилѣтняго ра-
 гравшагося мальчика. На одну чашку вѣ-
 съ Онегина кладетъ жизнь юноши, котораго
 онъ любитъ всѣмъ сердцемъ, и кромѣ того
 явныя требованія ума и чести, — тѣ требова-
 нія, которыя сформулированы строгимъ разбо-
 ромъ тайнаго суда. На другую чашку Онегинъ
 кладетъ шопотъ и хохотню глупцовъ, которыхъ
 гравитъ старый дуэлистъ и злой сплетникъ,
 стойкий, по мнѣнію самого-же Онегина, са-
 мого полного презрѣнья. Вторая чашка тотъ-
 же перетягиваетъ, и догадливый читатель
 немедленно можетъ составить себѣ очень на-
 дѣльное понятіе о томъ, какъ сильно умѣетъ
 Онегинъ любить и какъ высоко цѣнитъ онъ
 свое собственное уваженіе. — Я долженъ убить
 его друга, разсуждаетъ Онегинъ, я долженъ
 встать передъ тайнымъ судомъ моей совѣ-
 сти и мужемъ безъ чести и безъ ума, я долженъ
 сдѣлать непременно, потому что, въ про-
 шломъ случаѣ, дураки, которыхъ я презираю,
 шутятъ и смѣются.

Изъ этого процесса мысли мы видимъ ясно,
 что слова: «другъ», «совѣсть», «честь», «умъ»,
 «дураки», «презирать» — не имѣютъ для Оне-
 гина никакого осязательнаго смысла. Какъ
 трутъ, задавленный непосильнымъ трудомъ, тя-
 желыми лишеніями и ежедневными побоями,
 теряетъ способность любить, ненавидѣть, пре-
 зирать и разсуждать, превращается въ тупое
 животное, способное только къ пас-
 сивному повиновенію и къ машинальной рабо-
 тѣ подъ палкой, такъ и Онегинъ, задавлен-
 ный умственной пустотой и гнетомъ свѣтскихъ
 предразсудковъ, навсегда потерялъ силу и
 способность чувствовать, мыслить и дѣйствовать,

не испрашивая на то соизволенія у той толпы,
 которую онъ величественно презираетъ. Лич-
 ные понятія, личные чувства, личные жела-
 нія Онегина такъ слабы и вялы, что они не
 могутъ имѣть никакого ощутительнаго вліянія
 на его поступки. Поступить онъ во всякомъ
 случаѣ такъ, какъ того потребуетъ отъ него
 свѣтская толпа; онъ даже не подождетъ, что-
 бы эта толпа выразила ясно свое требованіе; онъ
 его угадаетъ заранѣе; онъ съ утонченной угодли-
 востью раба, воспитаннаго въ рабствѣ съ колыбе-
 ли, предупредитъ всѣ желанія этой толпы, кото-
 рая, какъ избалованный властелинъ, разумеет-
 ся, даже и вниманія не обратитъ на то, каки-
 ми усиліями и жертвами ея вѣрный рабъ, Оне-
 гинъ, купилъ себѣ право оставаться въ ея гла-
 захъ джентльменомъ самой безукоризненной
 безцвѣтности. И толпа поступаетъ совершенно
 справедливо, когда не обращаетъ вниманія на
 усилія и жертвы вѣрнаго раба; вѣрный рабъ
 вѣренъ только потому, что не смѣетъ сдѣлать-
 ся невѣрнымъ; онъ боится своего господина и
 въ то-же время вмѣстѣ съ другими, столь-же
 трусливыми и вѣрными рабами ежеминутно ру-
 гаетъ его за глаза, подобно тому, какъ это
 дѣлаютъ всѣ лакеи, проникнутые духомъ ла-
 кейства до мозга костей. Этой лакейской за-
 машкой ругать за глаза строгаго господина
 объясняется то презрѣніе къ толпѣ, которымъ
 драпируется Онегинъ. Это красивое презрѣ-
 ніе — чувство совершенно платоническое; оно
 цѣликомъ улетучивается въ словахъ; какъ
 только приходится дѣйствовать, такъ это пре-
 зрѣніе смѣняется тотчасъ самымъ плоскимъ и
 раболовнымъ благоговѣніемъ.

Спрашивается теперь, какимъ образомъ дол-
 женъ былъ отнестись поэтъ къ этой чертѣ въ
 характерѣ Онегина? Мнѣ кажется, онъ дол-
 женъ былъ понять весь глубокій комизмъ этой
 черты, онъ долженъ былъ всѣми силами своего
 таланта подмѣтить и разработать въ этой чер-
 тѣ всѣ ея смѣшныя стороны, онъ долженъ
 былъ осмѣять, опозилить и втоптать въ грязь
 безъ малѣйшаго состраданія ту низкую тру-
 сость, которая заставляетъ неглупаго человѣ-
 ка играть роль вреднаго идіота для того, что-
 бы не подвергнуться робкимъ и косвеннымъ
 насмѣшкамъ настоящихъ идіотовъ, достойныхъ
 полного презрѣнія. Поступая такимъ образомъ,
 поэтъ оказалъ бы дѣйствительную и серьезную
 услугу общественному самосознанію; онъ-бы
 заставилъ толпу смѣяться надъ тѣми форму-
 лами тупоумія и безличности, на которыя она,
 по своей недогадливости и инерціи мысли,
 привыкла смотрѣть не только равнодушно, но
 даже благосклонно.

Такъ-ли поступилъ Пушкинъ? Нѣтъ, онъ
 поступилъ какъ разъ наоборотъ. Въ своемъ
 взглядѣ на положеніе Онегина онъ самъ ока-
 зался человѣкомъ свѣтской толпы и утратилъ

билъ всѣ силы своего таланта на то, чтобы изъ мелкаго, трусливаго, безхарактернаго и праздноватающагося франтика сдѣлать трагическую личность, изнемогающую въ борьбѣ съ непреодолимыми требованіями вѣка и народа. Въ-сто того, чтобы сказать читателю: какъ пусть, смѣшонъ и ничтоженъ мой Онѣгинъ, убивающій своего друга въ угоду дуракамъ и негодяямъ, Пушкинъ говоритъ: «и вотъ на чемъ вертится міръ», точно будто-бы отказаться отъ бессмысленнаго вызова значить нарушить міровой законъ.

Возвышая такимъ образомъ въ глазахъ читающей массы тѣ типы и тѣ черты характера, которые сами по себѣ низки, пошлы и ничтожны, Пушкинъ всѣми силами своего таланта усыпляетъ то общественное самосознаніе, которое истинный поэтъ долженъ пробуждать и воспитывать своими произведеніями. Сваливая на общія причины, на неумолимую судьбу и на міровые законы вину позорныхъ ошибокъ, отъ которыхъ каждый умный и энергическій человѣкъ можетъ уберечься силами своей собственной личности, Пушкинъ оправдываетъ и поддерживаетъ своимъ авторитетомъ робость, безпечность и неповоротливость индивидуальной мысли. Онъ подавляетъ личную энергію, обезоруживаетъ личный протестъ и укрѣпляетъ тѣ общественные предрасудки, которые каждый мыслящій человѣкъ обязанъ разрушать всѣми силами своего ума и всѣмъ запасомъ своихъ знаній. «И вотъ на чемъ вертится міръ!» Какъ вамъ правится это наивное признаніе Пушкина, что для него весь міръ сосредоточивается въ тѣхъ малочисленныхъ кружкахъ фешенебельнаго общества, въ которыхъ люди, обожающіе «пружину чести», изъ благоговѣнія къ этой пружинѣ стрѣляются со своими друзьями противъ собственнаго желанія и противъ собственнаго убѣжденія?

Сдѣлавши замѣчательное открытіе, что міръ вертится на пружинѣ чести, Пушкинъ далеко превосходитъ Людовика-Филиппа, придумавшаго остроумное выраженіе «le pays légal» для обозначенія тѣхъ французовъ, которые пользовались правомъ голоса на выборахъ депутатовъ. У Людовика-Филиппа огромное большинство французовъ остается за предѣлами законной Франціи, а у Пушкина огромное большинство людей остается за предѣлами существующаго міра, — что безъ сомнѣнія гораздо болѣе остроумно.

V.

Онѣгинъ остается ничтожнѣйшимъ пошлякомъ до самаго конца своей исторіи съ Ленскимъ, а Пушкинъ до самаго конца продолжаетъ воспѣвать его поступки, какъ грандіозныя и

трагическія событія. Благодаря превосходному разсказу нашего поэта, читатель видитъ постоянно не внутреннюю дрянность и мелкость побужденій, а внѣшнюю красоту и величавость хладнокровнаго мужества и безукоризненнаго джентльмэнства.

«— Хладнокровно,
Еще не дѣля, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертныя ступени.
Свой пистолетъ тогда Евгенийъ,
Не переставая наступать,
Сталъ первый тихо поднимать
Вотъ пять шаговъ еще ступили,
И Ленскій, жмури лѣвый глазъ,
Сталъ также дѣлать, но какъ разъ
Онѣгинъ выстрѣлилъ... Пробыли
Часы урочные: поэтъ
Роняетъ молча пистолетъ,
На грудь кладетъ тихонько руку
И падаетъ.»

(Гл. VI. Стр. XXX, XXXI)

Господи, какъ красиво! Люди переходятъ *твердою походкою, тихо, ровно* четыре шага, *четыре смертныя ступени*. Два человека безъ всякой надобности идутъ на смерть и смотрятъ ей въ глаза, не обнаруживая ни малѣйшаго волненія. Такъ это красиво и такъ это старательно воспѣто, что читатель, замирая отъ ужаса и преклоняясь передъ доблестями храбрыхъ героевъ, даже не осмѣлится и не съумѣетъ подуматъ о томъ, до какой степени глупо все это происшествіе и до какой степени похожи величественные герои, соблюдающіе твердость и тишину походки, на жалкихъ дресированныхъ гладіаторовъ, тратившихъ всю свою энергію на то, чтобы въ предсмертныхъ мукахъ доставить удовольствіе зрителямъ красивой позитурой тѣла. А между тѣмъ эти зрители были злѣйшими врагами гладіаторовъ, и еслибы гладіаторы направили свою энергію не на красивыя позы, а на тупоумныхъ любителей этихъ позъ, то легко могло-бы случиться, что они навсегда избавили-бы себя отъ печальной необходимости тѣшить праздныхъ дураковъ красивыми позами. Надо полагать, что гладіаторы были очень глупы и что глупость ихъ къ сожалѣнію не умерла вмѣстѣ съ ними.

Но, кромѣ общей гладіаторской глупости, поведение Онѣгина въ сценѣ дуэли заключаетъ въ себѣ еще свою собственную, совершенно спеціальную глупость или дрянность, которая до сихъ поръ, сколько мнѣ извѣстно, была упущена изъ виду самыми внимательными критиками. То обстоятельство, что онъ принялъ вызовъ Ленскаго и явился на поединокъ, еще можетъ быть до нѣкоторой степени объяснено, хотя конечно не оправдано, — вліяніемъ свѣтскихъ предрасудковъ, сдѣлавшихся для Онѣгина второй природой. Но то обстоятельство, что онъ, «всѣмъ сердцемъ юношу любя» и сознавая себя

кругомъ виноватымъ, *цѣлмъ* въ Ленскаго и потому что, какъ ни ругай нашу юдоль бѣдствій, а все-таки въ этой юдоли есть для богатаго собственника и устрицы, и омары, и бордо и клико, и прекрасный полъ. Устроить себѣ какую-нибудь новую жизнь ему также совсѣмъ не хочется, потому что ни для какой другой жизни онъ не годится. Онъ съ своей вѣчной скукой можетъ прожить очень спокойно, пріятно и комфортабельно лѣтъ до восьмидесяти, и когда Ленскій сталъ цѣлиться, тогда Онегина смекнулъ въ одну секунду, что милую скуку позволительно ругать и проклинать, но что съ нею вовсе не слѣдуетъ разставаться преждевременно.

Пушкинъ такъ красиво описываетъ мелкія чувства, дрянныя мысли и пошлые поступки, что ему удалось подкупить въ пользу ничтожнаго Онегина не только простодушную массу читателей, но даже такого замѣчательнаго человека и такого тонкаго критика, какъ Вѣлискій. «Мы—говоритъ Вѣлискій—нисколько не оправдываемъ Онегина, который, какъ говорить поэтъ, былъ долженъ оказать себя не мячикомъ предразсужденій, не пылкимъ мальчикомъ-бойцомъ, но мужемъ съ честью и умомъ; но тиранія и деспотизмъ свѣтскихъ и житейскихъ предразсудковъ таковы, что требуютъ для борьбы съ собою героевъ. Подробности дуэли Онегина съ Ленскимъ—верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи.»

И это все! Хорошъ приговоръ. Онъ не оправдываетъ Онегина, а между тѣмъ тутъ же утверждаетъ, что только герой на мѣстѣ Онегина поступилъ-бы иначе. Значитъ, вполне оправдываетъ, потому что мы не имѣемъ никакого права требовать отъ обыкновенныхъ людей такихъ подвиговъ нравственнаго мужества, которые превышаютъ средній уровень обыкновенныхъ человѣческихъ силъ. Но развѣ-жъ это правда? Развѣ въ самомъ дѣлѣ надо быть героемъ, чтобы умирать за своего друга и чтобы не убивать собственноручно, изъ низкой трусости, тѣхъ людей, которыхъ мы любимъ всѣмъ сердцемъ? Высказывая ту дикую мысль, что эти отрицательные подвиги доступны только героямъ, Вѣлискій унижаетъ человѣческую природу и безъ всякой надобности является защитникомъ нравственной гнили и тряпичности. А вводить его въ этотъ тяжелый грѣхъ крайняя впечатлительность, подкупленная тѣмъ обстоятельствомъ, что «подробности дуэли Онегина съ Ленскимъ—верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи». Еслибы Вѣлискій потруился задать себѣ вопросъ, на что потрачено это художественное совершенство и къ чему оно клонится, то онъ немедленно убѣдился-бы въ томъ, что за такіе художественные фокусы надо не превозносить, а строго порицать поэта. Фанатическія драмы Кальдерона могли бытъ

Почему-же онъ это сдѣлалъ? Или потому, что не сообразилъ заранѣе, *какъ* ему слѣдовало распорядиться, или-же потому, что чувство самосохраненія одержало верхъ надъ всѣми предварительными соображеніями. Первое предположеніе очень неправдоподобно; сообразить было немудрено; если Онегинъ не умѣетъ подумать даже тогда, когда отъ его размышленій зависитъ жизнь юноши, котораго онъ любитъ всѣмъ сердцемъ, то, значить, онъ совсѣмъ неспособенъ шевелить мозгами. Съ этимъ трудно согласиться, хотя, разумѣется, умственные способности Онегина очень неблистательны и совершенно испорчены бездѣйствіемъ. Остается второе предположеніе, которое, по моему мнѣнію, совершенно основательно. Онегинъ, несмотря на свое хроническое званіе и несмотря на свою замашку ругать жизнь всякими скверными словами, очень любитъ эту самую жизнь и никакъ не согласится промѣнять ее не только на «покой небытія», но даже и на какую-нибудь другую жизнь, болѣе разумную и болѣе дѣятельную. Умирать ему совсѣмъ не хочется,

превосходны въ художественномъ отношеніи, но вліяніе ихъ на испанское общество было во всякомъ случаѣ отвратительно.

Къ Ленскому Бѣлинскій относится очень справедливо и безъ малѣйшей нѣжности, вѣроятно потому, что ему самому приходилось встрѣчать романтиковъ въ дѣйствительной жизни. «Люди, подобные Ленскому,—говоритъ Бѣлинскій,—при всѣхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ (?), нехороши тѣмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохраняютъ навсегда свой первоначальный типъ, дѣлаются тѣми устарѣлыми мистиками и мечтателями, которые такъ-же непріятны, какъ и старыя идеальныя дѣвы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Вѣчно копясь въ самихъ себѣ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрятъ на все, что дѣлается въ мірѣ, и твердятъ о томъ, что счастье внутри насъ, что должно стремиться душою въ надзвѣздную сторону мечтаній и не думать о суетахъ этой земли, гдѣ есть и голодъ, и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь: они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего, что такъ обаятельно прекрасно (?) было въ Ленскомъ; въ нихъ нѣтъ дѣвственной чистоты его сердца (?), въ нихъ только претензіи на великость и страсть марать бумагу. Всѣ они поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.»

Съ этими словами Бѣлинскаго я совершенно согласенъ; не вижу я только никакихъ *неоспоримыхъ достоинствъ* въ Ленскомъ, не нахожу въ немъ ничего *обаятельно-прекраснаго* и не умѣю восхищаться *дѣвственной чистотой его сердца*, потому что рѣшительно не понимаю, кому нужна эта дѣвственная чистота, какую она можетъ принести пользу и какими прочными качествами ума и характера она застрахована отъ грозящихъ и развращающихъ прикосновеній дѣйствительной жизни. Если изъ приведенной мною цитаты выбросить вонъ *неоспоримыя достоинства, обаятельно-прекрасное и дѣвственную чистоту*, то въ остаткѣ получится энергическій и строгій приговоръ послѣдовательнаго реалиста не только надъ одними романтиками, но и надъ всѣми художниками, оставляющими безъ вниманія горе и нужду современной дѣйствительности. Если, по мнѣнію Бѣлинскаго, несносны, пусты и пошлы тѣ люди, которые стремятся душою въ надзвѣздную сторону мечтаній, то очевидно не за что миловать и тѣхъ людей, которые стремятся душою въ мертвую тишину историческаго прошедшаго. И тѣ, и другіе одинаково отвертываются отъ суеты этой земли, «*гдѣ есть и голодъ, и нужда, и...*», а именно въ этомъ презрѣніи къ суетѣ земли и заключается ихъ

настоящая вина. Разъ какъ они уже отлились отъ суеты земли, тогда уже рѣшительно все равно, въ какую-бы сторону они и трѣли. Тогда они уже отрѣзанный лом отъ жизни, и ихъ можно совершенно справедливо вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, что «*это темные несносные, самые пустые и пошлые люди*».

Не мѣшаетъ также замѣтить, что этъ Бѣлинскаго чрезвычайно сильно задѣвалъ Пущина, который втеченіи всей поэтической дѣятельности постоянно и математически игнорировалъ и голодъ, и нужду, и всѣ остальные болячки дѣйствительной жизни. Когда-же онъ случайно наткнулся на некую крошечную болячку, тогда онъ охотно бралъ ее подъ свое покровительство, старался доказать ея роковую необходимость. Это пожалуй будетъ даже похуже, чѣмъ мѣшаться душою въ надзвѣздную сторону мечтаній.

Послѣ смерти Ленскаго Онѣгинъ началъ странствовать по Россіи, вездѣ ищетъ пищи, вездѣ смотритъ съ безсмысленнымъ презрѣніемъ на завятія суетной толпы, и нецѣло доходить до такой нелѣпости, что начинаетъ завидовать больнымъ, которыхъ онъ видитъ на кавказскихъ минеральныхъ водахъ.

«Питая горьки размышленія,
Среди печальной ихъ семьи,
Онѣгинъ взоромъ сожалѣнья
Глядитъ на дымныя струи
И мыслить, грустью огуманенъ:
Зачѣмъ я пулей въ грудь не раненъ?
Зачѣмъ не хилый я старикъ,
Какъ этотъ бѣдный откупщикъ?
Зачѣмъ, какъ тульскій засѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель!
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка;
Чего мнѣ ждаты! Тоска, тоска!»

Размышленія Бѣлинскаго по поводу безсмысленныхъ жалобъ чрезвычайно любопытны; они даютъ намъ самое наглядное по глубокости искренности нашего великаго критика о его необыкновенной правдивости и о его удивительной способности принимать за монету каждое человѣческое слово, даже въ которомъ очень нетрудно разпознать грубую ложь и самое нахальное шарлатанство. «Какая жизнь!—восклицаетъ Бѣлинскій.—оно, то страданіе, о которомъ такъ мно пишутъ и въ стихахъ, и въ прозѣ, на которое столько жалуются, какъ-будто и въ сдѣлѣ знаютъ его; вотъ оно, страданіе истинное, безъ котурна, безъ ходуль, безъ дѣловки, безъ фразъ,—страданіе, которое не отнимаетъ ни сна, ни аппетита, ни здравия, но которое тѣмъ ужаснѣе!.. Спать почью, и днемъ, видѣть, что всѣ изъ-за чего-то

чуть, чѣмъ-то заняты, одинъ—деньгами, другой—женитьбой, третій—болѣзью, четвертый—нуждою и кровавымъ потомъ работы,—видѣть вокругъ себя и веселье, и печаль, и смѣхъ, и слезы, видѣть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Вѣчному Жиду, который среди волнующейся вокругъ него жизни сознаетъ себя чуждымъ жизни и мечтаетъ о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствѣ; это страданіе не вѣсѣмъ понятное, но оттого не меньше страшное. Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ; чего-бы, кажется, больше для жизни и счастья? Такъ думаетъ тупая чернь и называетъ подобное страданіе модной причудой.»

Я безъ малѣйшаго колебанія записываюсь въ ряды *тупой черни* и вмѣстѣ съ этой *тупой чернью* радикально отрицаю и безпощадно осмѣиваю то ужасное страданіе, надъ которымъ такъ добродушно сокрушается Вѣлинскій. На Вѣчнаго Жиду Россійскій помѣщикъ Онѣгинъ непохожъ нисколько и сравнивать ихъ между собою нѣтъ ни малѣйшей надобности. Вѣчный Жидъ, говорятъ, былъ такъ устроенъ, что никакъ не могъ умереть; вслѣдствіе этой странной особенности своего организма онъ дѣйствительно имѣлъ полное основаніе *мечтать о смерти, какъ о величайшемъ блаженствѣ*. Но Онѣгинъ этого основанія вовсе не имѣетъ, и фантастическая фигура Вѣчнаго Жиды, воплотившаго въ себя такое страданіе, которое далеко превышаетъ размѣры человѣческихъ силъ и человѣческаго терпѣнія, приплетена тутъ ни къ селу, ни къ городу. Вѣлинскій самъ подозреваетъ, что «онѣгинское страданіе» *не существуетъ ни сна, ни аппетита, ни здоровья*, но, по своей великодушнѣйшей довѣрчивости, нашъ критикъ полагаетъ, что оно *тѣмъ ужаснѣе*.

Да, дѣйствительно ужасно! Такимъ страданіемъ страдаютъ въ водевилахъ неутѣшныя вдовы, которыя во время пьесы плачутъ о мужѣ и сквозь слезы кокетничаютъ съ юнымъ офицеромъ, а передъ самымъ паденіемъ занавѣси вытираютъ глазки платочкомъ и объявляютъ растроганнымъ зрителямъ въ заключительномъ куплетѣ, что спасительное время и новая любовь исцѣляютъ самыя глубокія раны растерзанныхъ вдовьихъ сердецъ. У этихъ милыхъ вдовъ страданіе тоже сидитъ въ самой глубинѣ души, такъ глубоко, что не можетъ имѣть никакого вліянія на различныя отправления физическаго организма. Сердце вдовы разбито, но тѣло ея жирѣетъ и процвѣтаетъ во все свое удовольствіе. Простое человѣческое страданіе, не водеvilное и не онѣгинское, не забирается въ такую недосигаемую глубину и вслѣдствіе этого развѣдываетъ и прожигаетъ насквозь тотъ организмъ, въ которомъ оно гнѣздится. Я долженъ признаться, что, какъ грубый

реалистъ, я только это послѣднее, грубое и неглубокое страданіе считаю истиннымъ. Когда-же несчастный страдалецъ спитъ по восьми часовъ въ сутки, ѣстъ, какъ здоровый бурлакъ, и толстѣетъ отъ глубокой печали, тогда я осмѣливаюсь утверждать, что этотъ цвѣтущій мученикъ—большой шутникъ, выкидывающій самыя уморительныя колѣнца. Посудите сами: не шутникъ-ли этотъ Онѣгинъ? Вздумалъ насъ увѣрять, что онъ завидуетъ больнымъ и раненымъ! Но онъ насъ не обманетъ. Мы знаемъ очень хорошо, что зависть возможна только тогда, когда она направлена на такой предметъ, котораго завидующій человѣкъ не можетъ себѣ присвоить собственными силами. Больной можетъ завидовать здоровому, потому что больной не въ состояніи сдѣлаться здоровымъ по собственному желанію. Нищій можетъ завидовать миллионеру по той-же самой причинѣ. Но въ обратномъ направленіи зависть не имѣетъ никакого смысла, потому что здоровый человѣкъ можетъ, когда ему заблагоразсудится, разстроить свое здоровье, а миллионеръ во всякую данную минуту можетъ превратиться въ нищаго. Зачѣмъ, говоритъ Онѣгинъ, я пулей въ грудь не раненъ? — Ну, не шутъ-ли онъ гороховый? Это онъ говорить на Кавказѣ, и говорить въ то время, когда Кавказъ еще не былъ покоренъ и замиренъ. Да кто-жъ ему мѣшаетъ поступить юнкеромъ въ дѣйствующую армію и получить въ грудь не только одну пулю, а пожалуй даже хоть цѣлую дюжину? Но ему вовсе не хочется имѣть въ груди пулю; ему желательно только разсуждать объ удовольствіи быть раненымъ, о блаженствѣ тульского засѣдателя, лежащаго въ параличѣ, и о великомъ несчастіи того человѣка, который молодъ и чувствуетъ въ себѣ присутствіе крѣпкой жизни. О всѣхъ этихъ предметахъ онъ разсуждаетъ совершенно безпрепятственно; довѣрчивые люди принимаютъ его слова за чистую монету; на него смотрятъ, какъ на загадочную личность; его отдѣляютъ отъ толпы не какъ шута гороховаго, а какъ высшую натуру; значить, онъ катается какъ сыръ въ маслѣ, и сокрушеніе Вѣлинскаго надъ его несуществующими страданіями не имѣетъ рѣшительно никакого основанія. Вѣлинскій очевидно принялъ Онѣгина за другого, хотъ бы напримѣръ за Бельтова, за того чиновника, который не дослужилъ до пряжки четырнадцати лѣтъ и шести мѣсяцевъ. Но вѣдь Бельтовъ не истратилъ своей молодости на обольщеніе записныхъ кокетокъ; Бельтовъ не былъ способенъ убить друга изъ низкой трусости; Бельтовъ никогда не мечталъ о пріятности имѣть въ груди пулю и никогда не завидовалъ ни тульскому засѣдателю, ни бѣдному откупщику. Словомъ, Бельтовъ такъ-же далекъ отъ Онѣгина, какъ творецъ Бельтова далекъ отъ Пушкина.

Я рѣшительно не могу объяснить себѣ, ка-

кииъ образомъ Вѣлискій смѣшалъ эти два совершенно различные типа. Онѣгинъ — не что иное, какъ Митрофанушка Простаковъ, одѣтый и причисанный по столичной модѣ двадцатыхъ годовъ; у нихъ даже и виѣшніе приемы почти одни и тѣ-же: Митрофанушка говоритъ: не хочу учиться, хочу жениться, а Онѣгинъ изучаетъ «науку страсти нѣжной» и задерживаетъ траурной тафтой всѣхъ мыслителей XVIII вѣка. Бельтовъ, напротивъ того, вмѣстѣ съ Чацкимъ и Рудинимъ изображаютъ собою мучительное пробужденіе русскаго самосознанія. Это люди мысли и горячей любви. Они тоже скучаютъ, но не отъ умственной праздности, а оттого, что вопросы, давно рѣшенные въ ихъ умѣ, еще не могутъ быть даже поставлены въ дѣйствительной жизни.

Время Бельтовыхъ, Чацкихъ и Рудиныхъ прошло навсегда съ той минуты, какъ сдѣлалось возможнымъ появленіе Базаровыхъ, Лопуховыхъ и Рахметовыхъ; но мы, повѣйшіе реалисты, чувствуемъ свое кровное родство съ этимъ отжившимъ типомъ; мы узнаемъ въ немъ нашихъ предшественниковъ, мы уважаемъ и любимъ въ немъ нашихъ учителей, мы понимаемъ, что безъ нихъ не могло-бы быть и насъ. Но съ онѣгинскимъ типомъ мы не связаны рѣшительно ничѣмъ; мы ничѣмъ ему не обязаны; это типъ бесплодный, неспособный ни къ развитію, ни къ перерожденію; онѣгинская скука не можетъ произвести изъ себя ничего, кромѣ нелѣпостей и гадостей. Онѣгинъ скучаетъ, какъ толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалѣетъ о томъ, что не можетъ выпить ихъ тридцать-три. Еслибъ человеческое брюхо не имѣло предѣловъ, то онѣгинская скука не могла-бы существовать. Вѣлискій любитъ Онѣгина по недоразумѣнію, но со стороны Пушкина тутъ нѣтъ никакихъ недоразумѣній.

VI.

Теперь я начинаю разбирать характеръ Татьяны и ея отношенія къ Онѣгину. Вводя насъ въ семейство Лариныхъ, Пушкинъ тотчасъ старается предрасположить насъ въ пользу Татьяны; эта, дескать, старшая, Татьяна, пускай будетъ интересная личность, высшая натура и героиня, а та, младшая, Ольга, пускай будетъ неинтересная личность, простая натура и прачичная фигурка. Довѣрчивые читатели конечно тотчасъ предрасполагаются и начинаютъ смотрѣть на каждый поступокъ и на каждое слово Татьяны совсѣмъ иначе, чѣмъ какъ они стали-бы смотрѣть на такіе-же поступки и на такіе-же слова, сдѣланные и произнесенныя Ольгой. Нелзя-же въ самомъ дѣлѣ. Господинъ Пушкинъ изволятъ быть знаменитымъ сочинителемъ. Стало быть, если господинъ Пушкинъ изволятъ любить и жаловать Татьяну, то и мы, мелкіе чи-

тающіе люди, обязаны питать къ той-же янѣ нѣжныя и почтительныя чувства. Одна я попробую отрѣшиться отъ этихъ предвзятыхъ чувствъ любви и уваженія. Я взгляну на яну, какъ на совершенно незнакомую мѣвушку, которой умъ и характеръ должны криваться предо мною не въ рекомендательныхъ словахъ автора, а въ ея собственныхъ поступкахъ и разговорахъ.

Первый поступокъ Татьяны — ея письмо Онѣгину. Поступокъ очень крупный и до степени выразительный, что въ немъ сразу кривается весь характеръ дѣвушки. Надо полную справедливость Пушкину: характеръ держанъ превосходно до конца романа; но какъ и вездѣ, Пушкинъ понимаетъ совершенно превратно тѣ явленія, которыя онъ рисуетъ совершенно вѣрно. Представьте себѣ живописца, который, желая нарисовать цвѣтущаго молодого на томъ основаніи, что у того бодрость и играетъ на щекахъ очень яркій румянецъ, но такъ поступаетъ и Пушкинъ. Въ своей янѣ онъ рисуетъ съ восторгомъ и съ энтузиазмомъ такое явленіе русской жизни, какъ можно и должно рисовать только съ глубокимъ состраданіемъ или съ рѣзкой ироніей.

Что я не клевету на Пушкина, приписываю ему восторгъ и сочувствіе, это я могу доказать многочисленными цитатами. На первый случай достаточно будетъ привести XXXI стофу главы:

«Письмо Татьяны предо мною
Его я свято берегу,
Читаю съ тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей ввухалъ и эту нѣжность,
И словъ любезную небрежность?
Кто ей ввухалъ умильный вздоръ,
Безумный сердца разговоръ
И увлекательный, и вредный?
Я не могу понять. Но вотъ
Неполный, слабый переводъ,
Съ живою картины списокъ блѣдный
Или разыгранный «Фрейшицъ»
Перстами робкихъ ученицъ.»

Чтобы читатели поняли послѣднюю фразу, долженъ имъ напомнить, что, какъ гово- рилъ Пушкинъ въ XXVI строфѣ, письмо Татьяны написано по французски. Посмотримъ теперь, что это за письмо и при какихъ условіяхъ Татьяна почувствовала необходимость писать Онѣгину.

Онѣгинъ, во все продолженіе романа, встречается у Лариныхъ три раза. Въ первый разъ тогда Ленскій его представилъ и когда обоимъ угощали вареньемъ и брусничной водой. Во второй разъ тогда, когда онъ получилъ письмо отъ Татьяны. И въ третій разъ на именинъ Татьяны. Передавая Онѣгину приглашеніе Лариныхъ на именины, Ленскій говоритъ ем-

«А то, мой другъ, суди ты самъ:
Два раза заглянулъ, а тамъ
Ужъ къ нимъ и носу не покажешь.»

Значить, до именинъ было дѣйствительно *только два* визита, и мы не имѣемъ никакой возможности предполагать, чтобы нѣкоторые визиты Онѣгина были пройдены молчаніемъ въ романѣ. Значить, Татьяна влюбилась въ Онѣгина *сразу* и рѣшилась къ нему написать письмо, проникнутое самой странной нѣжностью, видѣвши его всего только одинъ разъ. Но что же такое произошло во время этого перваго свиданья? Въ какихъ поступкахъ, въ какомъ разговорѣ обнаружили обаятельныя особенностн онѣгинскаго ума и характера?

Еслибы «Евгеній Онѣгинъ» былъ сочиненъ мною, то можетъ-быть я былъ-бы въ состояніи отвѣчать на эти вопросы, которые неизбежно должны возникнуть въ умѣ каждаго внимательнаго читателя, неспособнаго удовлетворяться одной звучностью и плавностью стиха. Но такъ какъ я не повиненъ въ сочиненіи «Евгенія Онѣгина», то, въ отвѣтъ на эти неизбежные вопросы, я могу только выписать разсказъ объ этомъ первомъ визитѣ, погубившемъ прелестную Татьяну во цвѣтъ юныхъ лѣтъ.

«— Поскакали други,
Явились; имъ расточены
Порой тяжелыя услуги
Гостепріимной старины.
Обрядъ извѣстный угощенья:
Несутъ на блюдечкахъ варенья,
На столы ставятъ вощаной
Кувшинъ съ брусничною водой.»

(Гл. III. Стр. III.)

Затѣмъ слѣдуетъ пять строкъ точекъ, а потомъ: «они дорогой самой краткой домой летятъ во весь опоръ». Летя домой, они разговариваютъ между собой, и изъ ихъ разговора мы узнаемъ, что Онѣгинъ выпилъ нѣкоторое количество брусничной воды и боится отъ нея дурныхъ послѣдствій. Пожаловавшись на брусничную воду, Онѣгинъ спрашиваетъ: «скажи, которая Татьяна?»—Ленскій отвѣчаетъ:

«Да та, которая грустна
И молчалива, какъ Святлана,
Вошла и сѣла у окна.»

Знакомство было очевидно самое поверхностное, когда Онѣгинъ даже не знаетъ, «*которая Татьяна*». Легко можетъ быть, что Онѣгинъ не сказалъ съ Татьяной ни одного слова; это обстоятельство тѣмъ болѣе правдоподобно, что Ленскій называетъ Татьяну молчаливой; по всей вѣроятности разговоромъ владела постоянно старуха Ларина; Онѣгинъ на возвратномъ пути говорить о ней:

«А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка.»

Значить, онъ только объ одной старухѣ и успѣлъ составить себѣ довольно определенное понятіе. А въ разговорѣ съ *простою* старухой онъ очевидно не могъ высказать ничего такого замѣчательнаго, что оправдывало-бы или объясняло-бы возникновеніе внезапнаго и страстнаго чувства въ душѣ умной и разсудительной дѣвушки. Какъ-бы то ни было, результатомъ перваго, совершенно поверхностнаго знакомства Татьяны съ Онѣгинымъ оказалось то знаменитое письмо, которое Пушкинъ *свято бережетъ и читаетъ съ тайною тоскою*. Татьяна начинаетъ свое письмо довольно умѣренно; она выражаетъ желаніе видѣть Онѣгина хоть разъ въ недѣлю, чтобы только слышать его рѣчи, чтобы молвить ему слово и чтобы потомъ день и ночь думать о немъ до новой встрѣчи. Все это было-бы очень хорошо, еслибы мы знали, какія это рѣчи такъ понравились Татьянѣ, и какое слово она желаетъ молвить Онѣгину. Но къ сожалѣнію намъ достоверно извѣстно, что Онѣгинъ не могъ говорить старухѣ Лариной никакихъ замѣчательныхъ рѣчей, и что Татьяна не вымолвила ни одного слова. Если-же она желаетъ молвить слова, подобныя тѣмъ, которыми она наполняетъ свое письмо, то ей право не зачѣмъ приглашать Онѣгина въ недѣлю разъ, потому что въ этихъ словахъ нѣтъ никакого смысла, и отъ нихъ не можетъ быть никакого облегченія ни тому, кто ихъ произноситъ, ни тому, кто ихъ выслушиваетъ. Татьяна поவிному предчувствуетъ, что Онѣгинъ не станетъ ѣздить къ нимъ разъ въ недѣлю, чтобы говорить ей рѣчи и выслушивать слова; вслѣдствіе этого начинаются въ письмѣ нѣжные упреки; ужъ если, дескать, не будете вы, коварный тиранъ, ѣздить къ намъ разъ въ недѣлю, такъ не зачѣмъ было и показываться у насъ; безъ васъ я-бы можетъ-быть сдѣлалась вѣрной женой и добродѣтельной матерью; а теперь я, по вашей милости, жестокой мужчина, пропадать должна. Все это, разумѣется, изложено самымъ благороднымъ тономъ и втиснуто въ самые безукоризненные четырехстопные ямбы. — Ни за кого я не хочу замужъ идти, продолжаетъ Татьяна, а за тебя даже очень хочу, потому что «то въ высшемъ суждено совѣтъ... то воля неба, я твоя», и потому что ты мнѣ посланъ Богомъ и ты мой хранитель по гробъ моей жизни. Тутъ Татьяна какъ будто спохватилась и вѣроятно подумала про себя: что-жъ это я однако за глупости пишу, и съ какой стати я это такъ раскутилась? Вѣдь я его всего на всего только одинъ разъ видѣла. Такъ нѣтъ-же вотъ, продолжаетъ она: не одинъ разъ; не такая-же я въ самомъ дѣлѣ шальная дура, чтобы вѣшать на шею первому встрѣчному: я влюбилась въ него потому, что онъ—мой идеалъ; а я ужъ

давно мечтаю объ идеалѣ, значить, я видѣла его много разъ; волосы, усы, глаза, носъ—все, какъ есть, такъ, какъ должно быть у идеала; и кромѣ того въ высшемъ совѣтѣ такъ суждено; и кромѣ того во всѣхъ романахъ г-жи Коттея и г-жи Жанлисъ такъ дѣлается; значить, не о чемъ и толковать: влюблена я въ него до безумія, буду ему вѣрна въ сей жизни и въ будущей, буду о немъ мечтать денно и нощно и напишу къ нему такое пламенное письмо, отъ котораго затрепещетъ самое безчувственное сердце. Затѣмъ Татьяна бросаетъ въ сторону послѣдніе остатки своего здраваго смысла и начинаетъ взводить на несчастнаго Онегина самыя неправдоподобныя напраслины. «Ты въ сновидѣніяхъ мнѣ являлся».—Да я-то чѣмъ же виноватъ? подумаетъ Онегинъ. Мало ли что ей могло присниться? Не отвѣчать-же мнѣ за всякую глупость, какую она во снѣ видѣла.

«Въ душѣ твоей голосъ раздавался
Давно... нѣтъ, это былъ не сонъ!»

Вотъ тебѣ разъ! Даже не сонъ. Теперь она еще нагородитъ, что я къ ней на яву приходилъ. И она дѣйствительно городитъ это:

«Ты говорил со мной въ тиши,
Когда я бѣднымъ помогала
Или молитвой улаждала
Тоску волнѣмой души.»

Это съ вашей стороны очень похвально, Татьяна Дмитриевна, что вы помогаете бѣднымъ и усердно молитесь Богу, но только зачѣмъ же вы сочиняете небылицы? Отъ роду я никогда съ вами не говорилъ ни въ тиши, ни въ шумѣ, и вы сами это очень хорошо знаете.—Съ каждой дальнѣйшей строчкой письма Татьяна завирается хуже и хуже, по русской пословицѣ: чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ:

«И въ это самое мгновеніе
Не ты-ли, милое видѣнье,
Въ прозрачной темнотѣ мелькнулъ,
Приникнулъ тихо къ изголовью?»

Да перестаньте-же наконецъ, Татьяна Дмитриевна. Вѣдь вы ужъ до галлюцинацій договорились. Во-первыхъ, я совсѣмъ не видѣнье, а вашъ сосѣдъ, русскій дворянинъ и помѣщикъ Онегинъ, пріѣхавшій въ деревню получить наслѣдство отъ дяди. Это дѣло совершенно практическое, и никакія милыя видѣнія подобныя дѣламъ не занимаютъ. Во-вторыхъ, за какимъ дьяволомъ я буду мелькать по ночамъ въ прозрачной темнотѣ и тихо прикидываться къ вашему изголовью! Мельканье — дѣло очень скучное и бесполезное; а тихое прикидываніе привело-бы въ неописанный ужасъ вашу добрую мамашу, которую я отъ души уважаю за ея простоту. И наконецъ могу вамъ объявить разъ

навсегда, что я по ночамъ не мелькаю, а сплю, тѣмъ болѣе, что и все мое интересное страданіе, по справедливому замѣчанію Бѣлинскаго, состоитъ въ томъ, что я ночью сплю, а днемъ зѣваю. Значить, мелькать мнѣ некогда, и я могу вамъ сказать по совѣсти, что еслибы вы подражали моему благоразумному примѣру, то есть, крѣпко-бы спали по ночамъ, вмѣсто того чтобы мечтать о писанныхъ красавчикахъ и читать раздражающіе романчики, то вы никогда не стали-бы увѣрять меня въ томъ, что вы видали меня во снѣ, что мой голосъ раздавался въ вашей душѣ и что я прикидаю къ вашему изголовью. Вы-бы тогда понимали очень хорошо, что все это—пустая, смѣшная и безтолковая болтовня.

Было-бы очень недурно и очень полезно для Татьяны, еслибы Онегинъ отвѣчалъ ей словесно или письменно въ томъ рѣзко-насмѣшливомъ и холодно-трезвомъ тонѣ, въ какомъ я написалъ отъ его лица нѣсколько фразъ. Такой отвѣтъ конечно заставилъ-бы Татьяну пролить несмѣтное количество слезъ; но если только мы допустимъ предположеніе, что Татьяна была неглупа отъ природы, что ея врожденный умъ не былъ еще окончательно истребленъ безтолковыми романами и что ея нервная система не была вполне разстроена ночными мечтаніями и сладкими сновидѣніями,—то мы придемъ къ тому убѣжденію, что горькія слезы, пролитыя ею надъ прозаическимъ отвѣтомъ жестокаго идеала, должны были-бы произвести во всей ея умственной жизни необходимый и чрезвычайно благотворительный переворотъ. Глубокая рана, нанесенная ея самолюбію, мгновенно истребила-бы ея фантастическую любовь къ очаровательному сосѣду. Что-жъ, подумала-бы она, должно-быть, это въ самомъ дѣлѣ не онъ мелькалъ въ прозрачной темнотѣ. А если не онъ, такъ кто-же? Да, должно быть, никто не мелькалъ. И зачѣмъ это я ему такъ много глупостей написала? И зачѣмъ это я сама такъ много о разныхъ глупостяхъ думаю? И зачѣмъ это я по ночамъ мечтаю? И зачѣмъ это я такія книги читаю, въ которыхъ пишутъ только о мечтаніяхъ, мельканіяхъ и прикидываніяхъ?

Татьяна увидала-бы ясно, что ея любовь къ Онегину, лопнувшая какъ мыльный пузырь, была только поддѣлкой любви, смѣшной и жалкой пародіей на любовь, безплодной и мучительной игрой празднаго воображенія: она поняла-бы въ то-же время, что эта ошибка, стоившая ей многихъ слезъ и заставляющая ее краснѣть отъ стыда и досады, была естественнымъ и необходимымъ выводомъ изъ всего строя ея понятій, которыя она черпала съ страстной жадностью изъ своего безпорядочнаго чтенія; она сообразила-бы, что ей надо застраховать себя на будущее время отъ повторенія подоб-

ныхъ ошибокъ, и что для такого застрахованія ей необходимо изломать и перестроить заново весь міръ ея идей. Необходимо или отыскать себѣ другое, здоровое чтеніе, или по крайней мѣрѣ прислониться къ дѣйствительной жизни, къ какому-нибудь хорошему и разумному дѣлу, которое могло-бы постоянно поддерживать въ ней умственную трезвость и отвлекать ее отъ туманной области наркотическихъ мечтаній. Такое хорошее и разумное дѣло отыскать не трудно; намекъ на него существуетъ даже въ нелѣпомъ письмѣ Татьяны; она говоритъ, что помогаетъ бѣднымъ,—ну, и помогай; но только займись этимъ дѣломъ серьезно и смотри на него, какъ на постоянный и любимый трудъ, а не какъ на дешевое средство стереть съ своей совѣсти кое-какіе микроскопическіе грѣшки. Имѣй въ виду при этомъ помоганіи дѣйствительныя потребности нуждающихся людей, а не то, чтобы подать бѣдному копѣечку и потомъ погладить себя за это по головкѣ. Словомъ, несмотря на пустоту и безцвѣтность той жизни, на которую была осуждена Татьяна съ самаго дѣтства, наша героиня все-таки имѣла возможность дѣйствовать въ этой жизни съ пользой для себя и для другихъ, и она непременно принялась-бы за какую-нибудь скромную, но полезную дѣятельность, еслибы нашелся умный человѣкъ, который-бы энергическимъ словомъ и рѣзкой насмѣшкой выбросилъ ее вонъ изъ ядовитой атмосферы фантастическихъ видѣній и глухихъ романовъ.

Но, разумеется, Онѣгинъ, стоящій на одномъ уровнѣ умственного развитія съ самимъ Пушкинымъ и съ Татьяной, не могъ своимъ вліяніемъ охладить беспорядочные порывы ея разгоряченнаго воображенія. Онѣгину очень понравилось сумасбродное письмо фантазирующей барышни.

«...Получивъ посланье Тани,
Онѣгинъ живо тронуть былъ;
Языкъ дѣвическихъ мечтаній
Въ немъ думы роємъ возмutilъ;
И вспомнилъ онъ Татьяну милой
И блѣдный цвѣтъ, и видъ унылый;
И въ сладостный, безгрѣшный сонъ
Душою погрузился онъ...»

(Гл. IV. Стр. XI.)

Онѣгину представлялась возможность расположить свои отношенія къ Татьянѣ по одному изъ четырехъ слѣдующихъ плановъ: во-первыхъ, онъ могъ на ней жениться; во-вторыхъ, онъ въ своемъ объясненіи съ ней могъ осмѣять ея письмо; въ-третьихъ, онъ въ этомъ-же объясненіи могъ деликатно отклонить ея любовь, наговоривши ей при семъ удобномъ случаѣ множество любезностей на счетъ ея прекрасныхъ качествъ; въ-четвертыхъ, онъ могъ поиграть съ нею, какъ кошка играетъ съ мышкою, то есть могъ измучить, обезчестить и потомъ бросить ее.

Жениться Онѣгинъ не хотѣлъ, и онъ самъ очень наивно объясняетъ Татьянѣ причину своего нежеланія: «Я, сколько ни любилъ-бы васъ, привыкнувъ, разлюблю тотчасъ». Сомнѣваться въ томъ же не желаетъ, отчасти потому, что онъ не подлець, а отчасти и потому, что это дѣло ведетъ за собою слезы, сцены и множество непріятныхъ хлопотъ, особенно когда дѣйствующимъ лицомъ является такая энергическая и восторженная дѣвушка, какъ Татьяна. Въ онѣгинскія времена уровень нравственныхъ требованій стоялъ такъ низко, что Татьяна, вышедши замужъ, въ концѣ романа считаетъ своей обязанностью благодарить Онѣгина за то, что онъ поступилъ съ ней благородно. А все это благородство, котораго Татьяна никакъ не можетъ забыть, состояло въ томъ, что Онѣгинъ не оказался въ отношеніи къ ней воромъ.—Итакъ, два плана—первый и четвертый, отвергнуты. Второй планъ для Онѣгина неосуществимъ: осмѣять письмо Татьяны онъ не въ состояніи, потому что онъ самъ, подобно Пушкину, находилъ это письмо не смѣшнымъ, а трогательнымъ. Насмѣшка показалась-бы ему профанаціей и жестокостью, потому что ни Онѣгинъ, ни Пушкинъ не имѣютъ понятія о той высшей и вполне сознательной гуманности, которая очень часто заставляетъ мыслящаго человѣка произнести горькое и оскорбительное слово. Такое слово обожгло-бы Татьяну, но оно было-бы для нея несравненно полезнѣе, чѣмъ всѣ сладости, разсыпанныя въ рѣчи Онѣгина. Но время Онѣгина не было временемъ той göttliche Grobheit, которую совершенно справедливо превозноситъ Вёрне. Онѣгинъ рѣшился поднести Татьянѣ золоченую пилюлю, которая не могла подѣйствовать на нее благотворно именно потому, что она была позолочена. Рѣчь Онѣгина, занимающаго въ романѣ пять строфъ, вся цѣликомъ, какъ будто-бы нарочно, направлена къ тому, чтобы еще больше закружить и отуманить бѣдную голову Татьяны. «Я, говоритъ Онѣгинъ,—

прочелъ
Души доверчивой признанья,
Любви невинной изліанья;
Мнѣ ваша искренность мила (тонъ довольно султанскій!);
Она въ волненье привела
Давно умолкнувшія чувства.»

Съ самаго начала Онѣгинъ дѣлаетъ грубую и непоправимую ошибку: онъ принимаетъ любовь Татьяны за дѣйствительно-существующій фактъ; а ему, напротивъ того, надо было сказать и доказать ей, что она его совсѣмъ не любитъ и не можетъ любить, потому что съ перваго взгляда люди влюбляются только въ глухихъ романахъ.

«Когда-бъ семейственной картиной (продолжаетъ Онѣгинъ),
Плѣнился я хоть мигъ единый,

То вѣрно-бъ, кромѣ васъ одной,
Невѣсты не писалъ иной.»

Это все за безтолковое письмо; разумѣтся, послѣ этихъ словъ сама Татьяна будетъ смотрѣть на свое посланіе, какъ на образцовое произведеніе, отразившее въ себѣ самое неподдѣльное чувство, самый замѣчательный умъ. Эти лестныя и къ сожалѣнію искреннія слова Онѣгина должны подѣйствовать на бѣдную Татьяну такъ, какъ подѣйствовала на несчастнаго Донъ-Кихота его побѣда надъ цирюльникомъ и завоеваніе мѣднаго таза, который немедленно былъ переименованъ въ шлемъ Мамбрины. Добывши себѣ трофей, Донъ-Кихотъ очевидно долженъ былъ утвердиться въ томъ печальномъ заблужденіи, что онъ—дѣйствительно странствующій рыцарь и что онъ дѣйствительно можетъ и долженъ совершать великіе подвиги. Выслушавъ комплименты Онѣгина, Татьяна точно также должна была утвердиться въ томъ столь-же печальномъ заблужденіи, что она очень влюблена, очень страдаетъ и очень похожа на несчастную героиню какого-нибудь раздирательнаго романа. Каждое дальнѣйшее слово Онѣгина подноситъ несчастному Донъ-Кихоту новые шлемы Мамбрины. Онѣгинъ объявляетъ своей собесѣдницѣ «безъ блескоу мадригалныхъ», что онъ нашелъ въ ней свой «прежній идеалъ», но что, къ крайнему своему сожалѣнію, онъ, по дряблости своего сердца, никакъ не можетъ воспользоваться этой пріятной находкой:

«Напрасны ваши совершенства:
Ихъ вовсе не достоинъ я.»
.....
«И того-ль искали
Вы чистой пламенной душой,
Когда съ такою простотой,
Съ такимъ умомъ ко мнѣ писали?»
.....
Я васъ люблю любовью брата
И можетъ быть еще нѣжнѣй.»

Длинный хвалебный гимнъ Онѣгина заканчивается плоскимъ и безцвѣтнымъ правоученіемъ, которое находится въ непримиримомъ разладѣ со всѣми предыдущими комплиментами и которое вслѣдствіе этого, разумѣтся, будетъ пропущено Татьяною мимо ушей:

«Учитесь властвовать собою,
Не всякій васъ, какъ я, пойметъ...
Къ бѣдѣ неопытность ведетъ.»

— Къ какой-же бѣдѣ? должна подумать Татьяна. Благодаря моей неопытности, я написала къ нему письмо, въ которомъ онъ нашелъ очень много ума и очень много *простоты*; благодаря моей неопытности, я раскрыла передъ нимъ мои совершенства, я обнаружила передъ нимъ чистую пламенность моей души, я попала въ *прежніе идеалы* и возбу-

дила въ немъ *любовь брата* и можетъ-быть другую любовь, еще *болѣе нѣжную*. А не напиши я этого письма, такъ ничего бы этого не случилось. А если онъ говоритъ, что не всякій меня пойметъ, то вѣдь мнѣ до *всякаго* нѣтъ никакого дѣла. Сердце мое наполнено навсегда моей несчастной любовью, и я до дверей холодной могилы буду влачить въ моемъ истерзанномъ сердцѣ эту несчастную любовь по тернистому пути моей мучительной жизни.

Что Татьяна разсуждаетъ именно такимъ образомъ и что ея мысли облакаются въ еяголовѣ именно въ такіа напыщенныя формы,—это мы видимъ между прочимъ изъ тѣхъ размышленій, которыми она занимается ночью послѣ дня своихъ именинъ, когда она сидитъ

«Одна, печально подъ окномъ
Озарена лучомъ Діаны.»—

«Погибну, Галя говоритъ:
Но гибель отъ него любезна.
Я не ропщу: зачѣмъ роптать?
Не можетъ онъ мнѣ счастья дать.»

Голова несчастной дѣвушки до такой степени засорена всякой дрянью и до такой степени разгорячена глупыми комплиментами Онѣгина, что нелѣпыя слова—«гибель отъ него любезна»—произносятся съ глубокимъ убѣжденіемъ и очень добросовѣстно проводятся въ жизнь. Забывъ Онѣгина, прогнать мысль о немъ какими-нибудь дѣльными занятіями, подумать о какомъ-нибудь новомъ чувствѣ и вообще превратиться какими-нибудь средствами изъ несчастной страдальницы въ обыкновенную, здоровую и веселую дѣвушку,—все это возвышенная Татьяна считаетъ для себя величайшимъ безчестіемъ; это, по ея мнѣнію, значило-бы свалиться съ неба на землю, смѣшаться съ пошлой толпой, погрузиться въ грязный омутъ житейской прозы. Она говоритъ, что «гибель отъ него любезна», и поэтому находитъ, что гораздо величественнѣе страдать и чахнуть въ мірѣ воображаемой любви, чѣмъ жить и веселиться въ сферѣ презрѣнной дѣйствительности. И въ самомъ дѣлѣ, ей удастся довести себя слезами, бессонными ночами и печальными размышленіями подъ лучомъ Діаны до совершеннаго изнеможенія.

«Увы, Татьяна увядаетъ,
Блѣднѣетъ, гаснетъ и молчитъ!
Ничто ее не занимаетъ,
Ея души не шевелитъ.»

И все это въ значительной степени было результатомъ ея разговора съ Онѣгинымъ.

«Что было слѣдствіемъ свиданья?
Увы, нетрудно угадать!
Любви безумныя страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нѣтъ, пуще страстью безотрадной
Татьяна бѣдна горитъ.»

Читатель видитъ теперь, что утонченная любовь Онегина принесла самые богатые плоды.

VII.

Послѣ отъѣзда Онегина изъ деревни Татьяна, стараясь поддержать въ себѣ неугасимый огонь своей вѣчной любви, посѣщаетъ неоднократно кабинетъ уѣхавшаго идеала и читаетъ съ большимъ вниманіемъ его книги. Съ особеннымъ любопытствомъ вглядывается и вдумывается она въ тѣ страницы, на которыхъ рукою Онегина сдѣлана какая-нибудь отиѣтка. Такимъ образомъ она прочитала сочиненія Байрона и нѣсколько романовъ,

«Въ которыхъ отразился въкъ
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно.»

«И ей открылся міръ иной», объявляетъ намъ Пушкинъ. Слова: «міръ иной» должны повидимому обозначать собою новый взглядъ на человѣческую жизнь вообще и на личность Онегина въ особенности. Затѣмъ Пушкинъ продолжаетъ:

«И начинаетъ понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь ясіе, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхаетъ
Осуждена судьбою властной:
Чужакъ печальный и опасный,
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Что-жъ онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?...
Ужъ не пародія-ли онъ?
Ужель загадку разрѣшила?
Ужели слово найдено?»

(Гл. VII. Стр. XXIV, XXV.)

Невозможно понять, зачѣмъ Пушкинъ навязалъ Татьянѣ всѣ эти критическія размышленія и зачѣмъ онъ хочетъ насъ увѣрить, что ей открылся міръ иной. Этотъ «міръ иной» и эти размышленія о москвичѣ въ гарольдовомъ плащѣ не обнаруживаютъ ни малѣйшаго вліянія ни на фантастическую любовь Татьяны, ни на ея поступки. До открытія новаго міра она вообразала себѣ, что влюблена по гробъ жизни; послѣ своего открытія она остается при томъ же самомъ убѣжденіи. До открытія новаго міра она непрекословно повиновалась мамашѣ; и послѣ открытія она продолжаетъ повиноваться также непрекословно. Это съ ея стороны очень похвально, но для того, чтобы повиноваться мамашѣ въ самыхъ важныхъ случаяхъ жизни, не было ни малѣйшей надобности открывать новый міръ, потому что и старый нашъ міръ основанъ цѣликомъ на смиреніи и послушаніи.

Пока Татьяна въ кабинетѣ Онегина открыв-

шаетъ новые міры, одинъ изъ жителей стараго міра совѣтуетъ ея мамашѣ повезти дочь «въ Москву, на ярмарку невѣстъ». Ларина соглашается съ этой мыслью, и когда Татьяна узнаетъ объ этомъ рѣшеніи, тогда она съ своей стороны не представляетъ никакихъ возраженій. Надо полагать, что «ярмарка невѣстъ» занимаетъ очень почетное мѣсто въ томъ новомъ мірѣ, который открыла Татьяна. Но если новый міръ допускаетъ ярмарку невѣстъ, то любопытно было-бы узнать, чѣмъ онъ отличается отъ стараго міра и какая надобность была его открывать?

Въ Москвѣ Татьяна ведетъ себя именно такъ, какъ обязана вести себя благовоспитанная барышня, привезенная заботливой родительницей на ярмарку невѣстъ. Разумѣется,

«Ей душно здѣсь... она мечтой
Стремится къ жизни полевой,
Въ деревню, къ бѣднымъ поселянамъ,
Въ уединенный уголокъ, гдѣ
Льется свѣтлый ручеекъ,
Къ своимъ цвѣтамъ, къ своимъ романамъ,
И въ сумракъ липовыхъ аллей,—
Туда, гдѣ онъ явился ей.»

(Гл. VII. Стр. LIII.)

Но вѣдь это все пустые слова, и наивнѣе было-бы тотъ читатель, который-бы принялъ ихъ за чистую монету. Куда-бы она ни стремилась мечтой—это рѣшительно все равно. Тѣло ея, затаенное въ корсетъ, во всякомъ случаѣ находится тамъ, гдѣ ему велятъ находиться, и дѣлаетъ именно тѣ движенія, которыя ему приказуютъ дѣлать. Въ то время, когда она стремится въ сумракъ липовыхъ аллей, двѣ тетушки предписываютъ ей смотрѣть налево, на толстаго генерала, и она смотритъ. Потомъ ей приказываютъ выйти замужъ за этого толстаго генерала, и она выходитъ за него замужъ.

Если всѣ эти дѣйствія находятся въ строгомъ согласіи съ законами ея новаго міра, то я осмѣливаюсь думать, что она съ большимъ удобствомъ могла-бы избавить себя отъ труда производить свои открытія, потому что всѣ эти открытія были давно уже сдѣланы самими отдаленными ея предками. Я полагаю, что въ умственной жизни Татьяны онегинскія книжки не произвели никакого переворота. Татьяна до конца романа остается тѣмъ самымъ рыцаремъ печальнаго образа, какимъ мы видѣли ее въ ея письмѣ къ Онегину. Ея болѣзненно-развитое воображеніе постоянно создаетъ ей поддѣльные чувства, поддѣльные потребности, поддѣльные обязанности, цѣлую искусственную программу жизни, и она выполняетъ эту искусственную программу съ тѣмъ поразительнымъ упорствомъ, которымъ обыкновенно отличаются люди, одержимые какой-нибудь мономаніей. Она вообразила себѣ, что влюблена въ Онегина, и дѣйствительно влюбила себя въ него, начала пы-

лать страстью и дѣлать глупости, подобныя кувырканиямъ влюбленнаго Донъ-Кихота въ горахъ Сьерры-Морены. Потомъ она вообразила себѣ, что ея жизнь разбита, и вслѣдствіе этого начала худѣть и блѣднѣть. Потомъ, видя, что ей не удастся умереть, она себѣ вообразила, что теперь она ко всему равнодушна; тогда она отдала себя въ полное распоряженіе своихъ родственницъ, которыя повезли ее на ярмарку невѣсть и тамъ сбыли ее, какъ хорошій товаръ, толстому генералу. Очутившись въ рукахъ своего новаго хозяина, она вообразила себѣ, что она превращена въ украшеніе генеральскаго дома; тогда всѣ силы ея ума и ея воли направились къ той цѣли, чтобы на это украшеніе не попало ни одной пылинки. Она поставила себя подъ стеклянный колпакъ и обязала себя простоять подъ этимъ колпакомъ втеченіи всей своей жизни. И сама она смотритъ на себя со стороны и любитъ своей неприкосновенностью и твердостью своего характера. Мнѣ, думаетъ она, очень скучно подъ колпакомъ, а я все-таки изъ подъ него не выйду ни для кого на свѣтѣ, потому что я—украшеніе генеральскаго дома; а генераль пріобрѣлъ меня не за тѣмъ, чтобы я жила въ свое удовольствіе.

Онѣгинъ встрѣчается съ нею въ Петербургѣ въ то время, когда она, драпируясь въ свою неприкосновенность, уже украшаетъ своею добродѣтельной особой жилище толстаго генерала. Видя, что украшеніе генеральскаго дома блеститъ самыми яркими красками, Онѣгинъ проникается предосудительнымъ желаніемъ вытащить это украшеніе изъ подъ стекляннаго колпака. Но украшеніе не трогается съ мѣста и, оставаясь подъ колпакомъ, читаетъ оттуда предпримчивому дэнди такую проповѣдь, которая доставляетъ ему очень мало удовольствія. Этой проповѣдью, какъ извѣстно, заканчивается весь романъ. Знаменитый монологъ Татьяны заключается въ себѣ слѣдующій смыслъ: зачѣмъ вы не влюбились въ меня прежде? Теперь вы ухаживаете за мной потому, что я превратилась въ блестящее украшеніе богатаго дома. Я васъ все-таки люблю, но прошу васъ убираться къ чорту; свѣтъ мнѣ противенъ, но я намѣрена безусловно исполнять всѣ его требованія.

Этотъ монологъ доказываетъ ясно, что Татьяна и Онѣгинъ другъ друга стоятъ; оба они до такой степени исковеркали себя, что совершенно потеряли способность думать, чувствовать и дѣйствовать по человѣчески. Монологъ Татьяны отличается самой полной откровенностью, и именно по этой причинѣ онъ весь составленъ изъ непримиримыхъ противорѣчій. Подозрѣвая Онѣгина въ мелкояе тщеславіи, она очевидно отказываетъ ему въ своемъ уваженіи и въ то-же время, не уважая его, она его любитъ; и въ то-же время, любя его, она его отталкиваетъ; отталкивая его изъ уваженія

къ требованіямъ свѣта, она презираетъ «всю эту ветошь маскарада»; презирая всю эту ветошь, она занимается ею съ утра до вечера. Всѣ эти противорѣчія доказываютъ совершенно очевидно, что она ничего не любитъ, ничего не уважаетъ, ничего не презираетъ, ни о чемъ не думаетъ, а просто живетъ со дня на день, подчиняясь заведенному порядку и разгоняя свою непроходимую скуку разными крошечными подобіями чувствъ и мыслей,—такими подобіями, которыя могутъ выдавить изъ прекрасныхъ очей нѣсколько слезинокъ, но которыя никогда не создадутъ ни одного рѣшительнаго поступка. Само по себѣ чувство Татьяны мелко и дрябло; но по отношенію къ своему предмету это чувство точъ въ точъ такое, какимъ оно должно быть; Онѣгинъ—вполнѣ достойный рыцарь такой дамы, которая сидитъ подъ стекляннымъ колпакомъ и обливается горячими слезами другого, болѣе энергическаго чувства. Онѣгинъ даже не выдержалъ-бы; такое чувство испугало и обратило-бы въ бѣгство нашего героя; безумная и несчастная была-бы та женщина, которая изъ любви къ Онѣгину рѣшилась-бы нарушить величественное благочиніе генеральскаго дома. Самъ Онѣгинъ вѣроятно отшатнулся-бы отъ нея, какъ отъ неистовствующей фурии, и уже во всякомъ случаѣ Онѣгинъ поступилъ-бы съ нею по той программѣ, которую онъ наивно раскрылъ передъ Татьяною въ липовой аллеѣ, то есть, *привыкнувъ, разлюбилъ бы тотчасъ*. Стоитъ же въ самомъ дѣлѣ затѣвать въ генеральскомъ домѣ скандалъ для того, чтобы доставить Онѣгину нѣсколько пріятныхъ минутъ и попользоваться его благосклонностью до тѣхъ поръ, пока онъ не привыкнетъ!

Татьяна задаетъ Онѣгину вопросъ: отчего вы меня не полюбили прежде, когда я была лучше и моложе, и когда я любила васъ? Этотъ вопросъ поставленъ очень удачно, и еслибы Онѣгинъ хотѣлъ и умѣлъ отвѣчать на него совершенно искренно, то ему пришлось бы сказать: оттого, что люди, подобные мнѣ, способны только шутить и забавляться съ женщинами. Когда вы были дѣвушкой, тогда мнѣ предстояла необходимость принять на себя, въ отношеніи къ вамъ, серьезныя обязанности; мнѣ надо было тогда взять на себя заботу о вашемъ счастьи, то есть объ удовлетвореніи всѣхъ вашихъ матеріальныхъ и умственныхъ потребностей; разъ принявши на себя эту заботу, я бы уже не имѣлъ возможности сложить ее на кого-нибудь другого; а такая перспектива приводила меня въ ужасъ, потому что я неспособенъ ни къ какому серьезному дѣлу, неспособенъ даже заботиться о матеріальномъ и умственномъ благосостояніи той женщины, которая доставляетъ мнѣ пріятныя минуты. Теперь дѣло совсѣмъ другое. Теперь я могу завести съ вами веселую

интрижку, съ таинственными свиданьями, съ пламенными объятіями и безъ всякихъ будничныхъ, то есть серьезныхъ и спокойно-дружескихъ отношеній. Эта интрижка будетъ продолжаться мѣсяцевъ пять-шесть, и потомъ я засвидѣтельствую вамъ мое почтеніе, не обращая никакого вниманія на то, любите-ли вы меня, или нѣтъ.

Когда Овѣгинъ писалъ къ Татьянѣ страстные письма и когда онъ у нея въ домѣ бросился къ ея ногамъ, тогда онъ, разумѣется, добивался только интрижки. Пушкину представлялся очень удобный случай измѣрить глубину и силу овѣгинской любви, но Пушкинъ конечно не воспользовался этимъ случаемъ, потому что онъ не имѣлъ ни малѣйшаго желанія выставить на показъ самыя мелкія и дрянныя стороны овѣгинскаго характера. Это полное разоблаченіе ничтожной личности было-бы неизбежно, еслибы на мѣстѣ Татьяны стояла энергическая женщина, любящая Овѣгина дѣйствительно, а не придуманной любовью. Еслибы эта женщина бросилась на шею къ Овѣгину и сказала ему: я твоя на всю жизнь, но, во что-бы то ни стало, увези меня прочь отъ мужа, потому что я не хочу и не могу играть съ нимъ подлую комедію,—тогда восторги Овѣгина въ одну минуту охладѣли-бы очень сильно. Можетъ-быть онъ посоветился-бы обнаружить сразу всю свою трусость, всю свою несостоятельность передъ серьезной заботой; можетъ-быть онъ не осмѣлился-бы отшатнуться тотчасъ отъ женщины, передъ которой онъ за минуту передъ тѣмъ самъ стоялъ на коѣнкахъ; можетъ-быть даже, чувствуя невозможность отступленія, онъ рѣшился бы, скрѣпя сердце, увезти эту женщину куда-нибудь за-границу; но между невольнымъ похитителемъ и несчастной жертвой завязались-бы немедленно такія скрипучія и мучительныя отношенія, которыхъ-бы не выдержала ни одна порядочная женщина. Дѣло кончилось-бы тѣмъ, что она убѣжала-бы отъ него, выучившись презирать его до глубины души; и, разумѣется, бѣдной, опозоренной женщиной пришлось-бы или умереть въ самой ужасной нищетѣ, или втянуться поневолѣ въ самый жалкій развратъ. Еслибы Пушкинъ хотѣлъ и сумѣлъ написать такую главу, то она, мнѣ кажется, обрисовала-бы овѣгинскій типъ ярче, полнѣе и справедливѣе, чѣмъ обрисовываетъ его теперь весь романъ. Но для того, чтобы подвергнуть овѣгинскій типъ такому жестокому и воплѣ заслуженному униженію, самому Пушкину очевидно было необходимо стоять выше этого типа и относиться къ нему совершенно отрицательно.

VIII.

Вѣлинскій посвятилъ характеристикѣ Татьяны цѣлую отдѣльную статью. Въ этой статьѣ

онъ по своему обыкновенію высказалъ много превосходныхъ мыслей, которыя даже теперь, по прошествіи двадцати лѣтъ, могутъ еще изумлять и приводить въ ужасъ неисправимыхъ филистеровъ. Но, отдавая полную справедливость превосходнымъ частностямъ этой статьи, я долженъ замѣтить, что, по своей основной идѣ, по своему взгляду на характеръ Татьяны, она оказывается совершенно несостоятельной. Вѣлинскій ставитъ Татьяну на пьедесталъ и приписываетъ ей такія высокія достоинства, на которыя она не имѣетъ никакого права и которыми самъ Пушкинъ, при своемъ поверхностномъ и ребяческомъ взглядѣ на жизнь вообще и на женщину въ особенности, не хотѣлъ и не могъ надѣлать любимое созданіе своей фантазіи.

Главная причина неосновательнаго пристрастія Вѣлинскаго къ Татьянѣ заключается, по моему мнѣнію, въ томъ, что Вѣлинскому приходится защищать какъ самого Пушкина, такъ и Татьяну противъ тупыхъ и пошлыхъ нападеній тогдашняго филистерства. Въ увлеченіи полемики трудно сохранять постоянно трезвость критическаго взгляда. Опровергая глупыя замѣчанія филистеровъ, Вѣлинскій впадаетъ часто въ противоположную крайность. Филистеры говорятъ напримѣръ: такой-то поступокъ отвратителенъ. Вѣлинскій, въ пику имъ, утверждаетъ, что онъ великолѣпенъ. А при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что филистеры конечно городятъ ужасный вздоръ, но что и Вѣлинскій совершенно неправъ, потому что въ разбираемомъ поступкѣ нѣтъ ничего ни отвратительнаго, ни великолѣпнаго.—Это вліяніе филистерскихъ толковъ на процессъ мысли, совершавшійся въ головѣ великаго бойца Вѣлинскаго, выразилось очень ясно во многихъ мѣстахъ его критическихъ статей о Пушкинѣ. Вотъ напримѣръ, какъ рассуждаетъ Вѣлинскій о письмѣ Татьяны къ Овѣгину:

«Татьяна вдругъ рѣшается писать къ Овѣгину: порывъ наивный и благородный, но его источникъ заключается не въ сознаниі, а въ безсознательности: бѣдная дѣвушка не знала, что дѣлала. Послѣ, когда она стала знатной барыней, для нея совершенно исчезла возможность такихъ наивно-великодушныхъ движеній сердца». Затѣмъ слѣдуетъ нѣсколько эстетическихъ замѣчаній о той формѣ, въ какой выразилось чувство Татьяны. Потомъ начинаются сраженія съ филистерствомъ. «Замѣчательно, продолжаетъ Вѣлинскій, съ какимъ усиліемъ старается поэтъ оправдать Татьяну за ея рѣшимость написать и послать это письмо; видно, что поэтъ слишкомъ хорошо зналъ общество, для котораго писалъ.»

Выдержавъ нѣсколько строфъ изъ «Овѣгина», Вѣлинскій продолжаетъ: «Нельзя не жалѣть о поэтѣ, который видитъ себя принужденнымъ

такимъ образомъ оправдывать свою героиню передъ обществомъ—и въ чемъ-же?—въ томъ, что составляетъ сущность женщины, ея лучшее право на существованіе,—что у нея есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомъ! Но еще болѣе нельзя не жалѣть объ обществѣ, передъ которымъ поэтъ видѣлъ себя принужденнымъ оправдывать героиню своего романа въ томъ, что она—женщина, а не деревяшка, выточенная по подобію женщины.»

Благодаря ослинымъ воплямъ филистеровъ, весь вопросъ о Татьянѣ сдвинутъ въ сторону и поставленъ совершенно неправильно. Бѣлинскій доказываетъ, что, любя Онѣгина, Татьяна имѣла полное право написать къ нему письмо. Это не подлежитъ сомнѣнію, и противъ этого могутъ спорить только филистеры. Но сущность вопроса состоитъ совсѣмъ не въ этомъ, а въ томъ: можетъ-ли и должна-ли умная дѣвушка влюбиться въ мужчину съ перваго взгляда? Бѣлинскій смотритъ на Татьяну очень благосклонно за то, что у нея оказалось въ груди сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомъ. Это съ его стороны очень похвально, но, увлекшись этимъ достоинствомъ ея личности, Бѣлинскій совершенно забываетъ справиться о томъ, имѣлось-ли въ ея красивой головѣ достаточное количество мозга, и если имѣлось, то въ какомъ положеніи находился этотъ мозгъ. Еслибы Бѣлинскій задалъ себѣ эти вопросы, то онъ немедленно сообразилъ-бы, что количество мозга было весьма незначительно, что это малое количество находилось въ самомъ плачевномъ состояніи и что только это плачевное состояніе мозга, а никакъ не присутствіе сердца, объясняетъ собою внезапный взрывъ вѣжности, проявившейся въ сочиненіи сумасброднаго письма. Бѣлинскій благодаритъ Татьяну за то, что она—женщина, а не деревяшка; тутъ нашъ критикъ очевидно хватилъ черезъ край и, замахнувшись на филистеровъ, самъ потерялъ равновѣсіе. Развѣ въ самомъ дѣлѣ надо непремѣнно быть деревяшкой для того, чтобы, послѣ перваго свиданья съ красивымъ дэнди, не упасть къ его ногамъ? И развѣ быть женщиной значить писать къ незнакомымъ людямъ раздражительныя письма?

Бѣлинскій съ замѣчательною силой анализа очерчиваетъ тотъ типъ, къ которому принадлежатъ Татьяна; онъ называетъ этотъ типъ—*типомъ идеальнымъ дѣвѣ*; онъ подмѣчаетъ всѣ его смѣшныя стороны и относится къ нему совершенно отрицательно. Читая это описаніе идеальныхъ дѣвъ, вы ожидаете, что онъ немедленно подведетъ Татьяну подъ эту категорію и осмѣетъ самымъ безопаснымъ образомъ всѣ ея глупыя вздыханія объ Онѣгигнѣ. Не тутъ-то было! Бѣлинскій напрягаетъ всѣ силы своего великаго таланта, чтобы провести рѣзкую раздѣлительную черту между полчищемъ идеаль-

ныхъ дѣвъ и личностью пушкинской героини; но эта задача оказывается неразрѣшимой, и всѣ аргументы Бѣлинскаго остаются очень неубѣдительными по той простой причинѣ, что они не находятъ себѣ никакой опоры въ фактахъ самаго романа. «Татьяна,—говоритъ Бѣлинскій,—существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или величайшимъ блаженствомъ или величайшимъ бѣдствіемъ жизни, безъ всякой примирительной середины. При счастьи взаимности, любовь такой женщины—ровное свѣтлое пламя; въ противномъ случаѣ—упорное пламя, которому сила воли можетъ быть не позволить прорваться наружу, и которое тѣмъ разрушительнѣе и жгуче, чѣмъ болѣе оно сдвлено внутри. Счастливая жена Татьяна, спокойно, но тѣмъ не менѣе страстно и глубоко любила-бы своего мужа, вполне пожертвовала-бы собою дѣтямъ, вся отдалась-бы своимъ материнскимъ обязанностямъ, все по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвѣ, въ строгомъ выполненіи своихъ обязанностей, съ этимъ спокойствіемъ, съ этимъ вѣншимъ безстрастіемъ, съ этой наружной холодною, которая составляютъ достоинство и величіе глубокихъ и сильныхъ натуръ. Такова Татьяна.»

Да, такова Татьяна, сочиненная Бѣлинскимъ, но совсѣмъ не такова Татьяна Пушкина. Въ глубина пушкинской Татьяны состоитъ въ томъ, что она сидитъ по ночамъ подъ лучомъ Ланы. Вся ея исключительность—въ томъ, что она бродитъ по полямъ

«Съ печальной думою въ очахъ,
Съ французской книжкою въ рукахъ.»

Вся ея страстность выкипаетъ безъ остатка въ одномъ восторженномъ письмѣ. Написавши это письмо, она находитъ, что она заплатила достаточную дань молодости и что ей затѣмъ остается только превратиться въ неприступную свѣтскую даму. Во всемъ романѣ мы видимъ только два поступка Татьяны: во-первыхъ, ея письмо, во-вторыхъ, ея заключительный монологъ; только по этимъ двумъ моментамъ въ ея жизни мы должны составлять себѣ понятіе о ея характерѣ; въ антрактѣ между этими двумя рѣшительными моментами она только мечтаетъ, худѣетъ, груститъ, тоскуетъ и вообще ведетъ себя съ одной стороны, какъ идеальная дѣва, а съ другой стороны, какъ пассивный товаръ, который можно везти на ярмарку и продавать лицомъ. Что-же касается до выдающихся точекъ въ ея жизни, то, основываясь на нихъ, можно только примѣнить къ Татьянѣ извѣстныя слова Пушкина:

«Блаженъ, кто съ молодю былъ молодъ;—
Блаженъ, кто во время созрѣлъ.»

Въ молодости своей Татьяна отличалась эксцентрическими выходками; созрѣвши, она превратилась въ воплощенную солидность. Чрезъ такія превращенія проходятъ самые отчаянные филистеры, которые во время своего студенчества бывають обыкновенно самыми разбитыми буршами. Возможность этого превращенія превосходно понимаетъ и самъ БѢлинскій. «Многія изъ нихъ, говоритъ онъ объ идеальныхъ дѣвахъ, не прочь-бы отъ замужества, и при первой возможности вдругъ измѣняютъ свои убѣжденія и изъ идеальныхъ дѣвъ дѣлаются самыми простыми бабами.» Татьяна сдѣлалась не самой простой бабой, а самой блестящей дамой. Разница, кажется, не очень значительна, и превращеніе разбитного бурша въ солиднаго филистера такъ-же несомнѣнно во второмъ случаѣ, какъ и въ первомъ.

Что случилось-бы съ Татьяной, еслибы она вышла замужъ по страстной любви,—объ этомъ мы ровно ничего не знаемъ, но мы можемъ замѣтить, что у самого БѢлинскаго на этотъ счетъ встрѣчается очень любопытное противорѣчіе. Разсматривая характеръ Татьяны отдѣльно и передѣлывая его по своему произволу, БѢлинскій утверждаетъ, что она можетъ быть превосходной супругой и образцовой матерью. Но, анализируя тотъ-же характеръ въ связи съ характеромъ Онегина, БѢлинскій приходитъ къ тому заключенію, что Онегинъ не долженъ былъ жениться на Татьянѣ, потому что Татьяна была-бы съ нимъ несчастнѣйшей женщиной и сдѣлалась-бы для него невыносимой обузой. «Что-бы нашелъ онъ потомъ въ Татьянѣ?—спрашиваетъ БѢлинскій.—Или прихотливое дитя, которое плакало-бы оттого, что онъ не можетъ, подобно ей, дѣтски смотрѣть на жизнь и дѣтски играть въ любовь,—это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось-бы ему, не понимая его, что не имѣло-бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойіе, но зато скучіе». Вотъ видите, какъ неудобно умному человѣку (БѢлинскій считаетъ Онегина за умнаго человѣка) жениться на Татьянѣ. Куда ни кинь—все клинъ. А между тѣмъ она полагаетъ, что влюблена въ него, и притомъ влюблена на всю жизнь, и ни о какой другой любви не хочетъ слышать. Если, вышедши замужъ за этого любимаго человѣка, она неизбѣжно должна сдѣлаться для него невыносимой обузой, то, спрашивается, какія-же условія необходимы для того, чтобы она могла развернуть свою способность быть превосходной женой и образцовой матерью? По какому рецепту долженъ быть составленъ тотъ человѣкъ, въ котораго она могла бы влюбиться и котораго кромѣ того она могла бы осчастливить своею любовью? Кажется мнѣ,

что Татьяна никого не можетъ осчастливить, и что еслибы она вышла замужъ не за толстаго генерала, а за простого смертнаго, желавшаго найти въ ней не украшеніе дома, а добраго и умнаго друга, то ея семейная жизнь расположилась-бы по слѣдующей программѣ, очень остроумно составленной БѢлинскимъ для нѣкоторыхъ идеальныхъ дѣвъ: «Ужаснѣ всѣхъ другихъ,—говоритъ БѢлинскій,—тѣ изъ идеальныхъ дѣвъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракѣ съ предметомъ любви своей видятъ высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствіи всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазіи, онѣ создаютъ свой идеалъ брачнаго счастья,—и когда увидятъ невозможность осуществленія ихъ нелѣпаго идеала, то вымѣщаютъ на мужьяхъ горечь своего разочарованія.» Именно такъ; и поэтому идеальной дѣвѣ Татьянѣ Дмитріевнѣ Лариной всего лучше и безопаснѣе было отправиться на ярмарку невѣстъ, чтобы потомъ превратиться въ самую простую бабу или въ самую блестящую свѣтскую даму.

Думать, что Пушкинъ способенъ создать типъ образцовой жены и превосходной матери, значить положительно взводить напраслину на нашего рѣзкаго любимца музъ и грацій. Въ такой серьезной идеѣ Пушкинъ рѣшительно неповиновенъ. На женщину онъ смотритъ исключительно съ точки зрѣнія ея миловидности. «Женщины,—говоритъ онъ въ одномъ письмѣ,—не имѣютъ характера; онѣ имѣютъ страсти въ молодости; оттого нетрудно и выводить ихъ.» Въ бракѣ онъ видитъ только «рядъ утомительныхъ картинъ, романъ во вкусѣ Лафонтена». Къ слову «женатъ» у него есть непремѣнно двѣ постоянныя рѣмы: «халатъ» и «рогатъ». За женитьбой, по его мнѣнію, неизбѣжно слѣдуетъ опошленіе; а тѣ люди, которые способны опошлиться, оказываются самыми скверными мужьями и живутъ съ своими женами, какъ кошка съ собакой. Дѣйствительно, надо быть высоко развитымъ человѣкомъ, надо быть фанатикомъ великой идеи и плодотворнаго труда, чтобы понять и выразить всю безконечную поэзію постоянной любви. У насъ всѣ романы обыкновенно оканчиваются тамъ, гдѣ начинается семейная жизнь молодыхъ супруговъ. Доведя своего героя до свадьбы, романистъ прощается съ нимъ навсегда. Когда выводится въ романѣ брачная чета, то она выводится или затѣмъ, чтобы изобразить бури семейной жизни, или затѣмъ, чтобы нарисовать сонное царство, вродѣ «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ».

IX.

Въ началѣ этой статьи я привелъ нѣсколько восторженныхъ отзывовъ БѢлинскаго объ огром-

номъ историческомъ и общественномъ значеніи «Евгенія Онегина». Теперь, разобравъ главные характеры романа, я могу рѣшить, по моему крайнему разумію, вопросъ о томъ: оправдываются-ли эти восторженные отзывы Бѣлинскаго дѣйствительными достоинствами «самаго задушевнаго произведенія» Пушкина? Бѣлинскій говоритъ, что «Онегина» можно назвать энциклопедіей русской жизни». Эта поэма была, по его мнѣнію, «актомъ сознанія для русскаго общества, почти первымъ, но зато какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ былъ богатырскимъ размахомъ, и послѣ него стояніе на одномъ мѣстѣ сдѣлалось уже невозможнымъ.»

Если сознаніе общества должно состоять въ томъ, чтобы общество отдавало себѣ полный и строгій отчетъ въ своихъ собственныхъ потребностяхъ, страданіяхъ, предразсудкахъ и порокахъ, то «Евгеній Онегинъ» ни въ какомъ случаѣ и ни съ какой точки зрѣнія не можетъ быть названъ *актомъ сознанія*. Если движеніе общества впередъ должно состоять въ томъ, чтобы общество выясняло себѣ свои потребности, изучало и устраняло причины своихъ страданій, отрѣшало отъ своихъ предразсудковъ и клеймило презрѣніемъ свои пороки, то «Евгеній Онегинъ» не можетъ быть названъ ни первымъ, ни великимъ, ни вообще какимъ-бы то ни было *шагомъ впередъ* въ умственной жизни нашего общества. Что-же касается до *богатырскаго размаха* и до *невозможности стоять на одномъ мѣстѣ* послѣ «Евгенія Онегина», то, разумѣется, читателю при встрѣчѣ съ такими смѣлыми и чисто фантастическими гиперболами остается только улыбнуться, пожать плечами и припомнить то недалекое прошедшее, которое ежеминутно, какъ упорная и плохо вылеченная болѣзнь, даетъ себя чувствовать въ настоящемъ.

Отношенія Пушкина къ изображаемымъ явленіямъ жизни до такой степени пристрастны, его понятія о потребностяхъ и о нравственныхъ обязанностяхъ человѣка и гражданина до такой степени смутны и неправильны, что «*любимое дитя*» пушкинской музы должно было дѣйствовать на читателей, какъ усыпительное питье, по милости котораго человѣкъ забываетъ о томъ, что ему необходимо помнить постоянно, и примиряется съ тѣмъ, противъ чего онъ долженъ бороться неутомимо. Весь «Евгеній Онегинъ» — не что иное, какъ яркая и блестящая апофеоза самаго безсмысленнаго status quo. Всѣ картины этого романа нарисованы такими свѣтлыми красками, вся грязь дѣйствительной жизни такъ старательно отодвинута въ сторону, крупныя нелѣпости нашихъ общественныхъ нравовъ описаны въ такомъ величественномъ видѣ, крошечныя погрѣшности осѣяны съ такимъ невозмутимымъ добродушіемъ, самому поэту жи-

вется такъ весело и дышется такъ легко, — что впечатлительный читатель непременно долженъ вообразить себя счастливымъ обитателемъ какой-то Аркадіи, въ которой съ завтрашняго дня непременно долженъ водвориться золотой вѣкъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какія человѣческія страданія Пушкинъ сумѣлъ подмѣтить и съчелъ необходимымъ воспѣть? Во-первыхъ, — скуку и хандру; а во-вторыхъ, — несчастную любовь, а въ третьихъ... въ третьихъ... больше ничего. Больше никакихъ страданій не оказалось въ русскомъ обществѣ двадцатыхъ годовъ. Сначала Онегинъ скучаетъ оттого, что онъ слишкомъ счастливъ, слишкомъ безгранично наслаждается всѣми благами жизни; потомъ Татьяна страдаетъ оттого, что Онегинъ не хочетъ на ней жениться; потомъ Онегинъ страдаетъ оттого, что Татьяну желаетъ сдѣлаться его любовницей. Значитъ, въ русскомъ обществѣ двадцатыхъ годовъ были два капитальные порока, два такіе порока, на которые величайшій поэтъ Россіи непременно долженъ былъ обратить свое просвѣщенное вниманіе. Во-первыхъ, въ тогдашней Россіи было слишкомъ много благъ жизни, такъ что русскіе юноши могли объѣдаться ими, разстронывать себѣ желудки и вслѣдствіе этого впадать въ хандру. Во-вторыхъ, русскіе мужчины и русскія женщины были такъ устроены отъ природы, что они не всегда одновременно влюблялись другъ въ друга; случалось напримѣръ такъ, что женщина уже пламенѣетъ, а мужчина еще едва начинаетъ разогрѣваться; потомъ женщина пылаетъ, а женщина уже сторѣла до тѣхъ и гаснетъ. Такое неудобное устройство причиняло много огорченій какъ просвѣщеннымъ россиянамъ, такъ и очаровательнымъ россиянкамъ. Романъ Пушкина бросилъ яркій свѣтъ на обѣ главныя язвы русской жизни; такъ какъ этотъ романъ былъ *богатырскимъ размахомъ*, то стоять на одномъ мѣстѣ послѣ его появленія было уже невозможно, и русское общество, вникнувъ въ страданія Онегина и Татьяны, немедленно сдѣлало необходимыя распоряженія, во-первыхъ, на счетъ того, чтобы количество жизненныхъ благъ было приведено въ строгую соразмѣрность съ объемомъ юношескихъ желудковъ, а во-вторыхъ, на счетъ того, чтобы просвѣщенные россияне и очаровательныя россиянки воспламенялись взаимной любовью одновременно. Когда это равновѣсіе вошло въ надлежащую силу, тогда уничтожились хандра и несчастная любовь; въ Россіи водворился золотой вѣкъ; юноши стали вкушать блага жизни съ благоразумной умѣренностью, а дѣвы, благодаря этимъ умѣреннымъ юношамъ, стали въ надлежащее время превращаться въ счастливыхъ женъ и превосходныхъ матерей. Но золотой вѣкъ исчезъ, какъ легкое сновидѣніе; и смотреть юные потомки аркадскихъ жителей

на богатырскій размахъ «Евгенія Онѣгина», какъ на совершенно несообразную грезу, которую послѣ пробужденія трудно не только понять, но даже припомнить. И смекаютъ эти развращенные потомки, что если «Евгеній Онѣгинъ» есть энциклопедія русской жизни, то, значитъ, энциклопедія и русская жизнь нисколько другъ на друга непохожи, потому что энциклопедія—сама по себѣ, а русская жизнь—тоже сама по себѣ.

По нѣкоторымъ темнымъ преданіямъ и по нѣкоторымъ глубокимъ историческимъ изслѣдованіямъ позволительно напримѣръ думать, что въ Россіи двадцатыхъ годовъ существовало то явленіе общественной жизни, которое извѣстно теперь подъ именемъ крѣпостного права. Интересно было-бы знать, какъ отразилось это явленіе русской жизни въ энциклопедіи? Спрашиваемся и, узнаемъ, что Онѣгинъ, пріѣхавъ въ деревню, замѣнилъ яремъ старинной барщины легкимъ оброкомъ, и что мужикъ благословилъ судьбу; что старуха Ларина «служанокъ была, осердясь», «брила лбы» и «стала звать Акулькой прежнюю Селину»; что служанки, собирая ягоды, пѣли по барскому приказанію пѣсни для того, «чтобъ барской ягоды тайкомъ уста лукавыя не бѣли»; что «крестьянинъ, торжествуя, на дровняхъ обновляетъ путь»; что дворовый мальчикъ бѣгаетъ по двору, «въ салазки жучку посадивъ, себя въ коня преобразивъ»; что на святкахъ

«Служанки со всего двора
Про барышень своихъ гадали
И имъ судили каждый годъ
Мужьевъ военныхъ и походы.»

Вотъ и все, что мы можемъ почерпнуть изъ энциклопедіи касательно крѣпостного права. Надо сказать правду, на этихъ свѣдѣніяхъ лежитъ свѣтло-розовый колоритъ; помѣщикъ облегчаетъ положеніе мужика; мужикъ благословляетъ судьбу; мужикъ торжествуетъ при появленіи зимы; значитъ, любить зиму; значитъ, ему тепло зимой и хлѣба у него вдоволь; а такъ какъ русская зима продолжается по крайней мѣрѣ полгода, то, значитъ, мужикъ проводить въ торжествѣ и благодушествѣ по крайней мѣрѣ половину своей жизни. Сынъ двороваго человѣка тоже ликуетъ и забавляется; его никто не бьетъ, его хорошо кормятъ, тепло одѣваютъ и не превращаютъ съ малыхъ лѣтъ въ казачка, обязаннаго торчать на коникѣ въ лакейской и ежеминутно бѣгать то за носовымъ платкомъ, то за стаканомъ воды, то за трубкой, то за табакеркой. Свѣтло-розовый колоритъ немного помрачается тѣмъ неожиданнымъ извѣстіемъ, что Ларина была служанокъ; но, во-первыхъ, она ихъ была только «осердясь»; а сердилась она вѣроятно очень рѣдко и только за дѣло, потому что, еслибы она была способна сердиться часто и несомнѣнно, то, разумѣется, проницательный

Онѣгинъ, пріятель и любимецъ автора энциклопедіи, не сказалъ-бы о Лариной, что она «очень милая старушка». Во-вторыхъ, служанокъ и нельзя было не бить, потому что онѣ, какъ мы узнаемъ изъ той-же энциклопедіи, были очень большія мерзавки; онѣ были способны похищать барскія ягоды, и барыня, для огражденія священной собственности и для предохраненія мерзкихъ служанокъ отъ гнуснаго преступленія, была принуждена утруждать свою барскую голову и придумывать замысловатое средство, которое называется въ энциклопедіи *затѣей сельской остроуми* и которое приучало служанокъ предпочитать высокія эстетическія наслажденія, какъ-то пѣніе, — низкимъ матеріальнымъ предметамъ, именно ягодамъ. Въ третьихъ, служанокъ били не только, потому что ни самые побои, ни воспоминанія объ оныхъ не мѣшали имъ проводить святки въ пѣснопѣніяхъ, въ которыхъ онѣ имѣли случай усовершенствоваться во время лѣта, при своихъ нерѣдкихъ столкновеніяхъ съ низкими матеріальными предметами, то-есть съ ягодами.

Итакъ, основываясь на свѣдѣтельствѣ энциклопедіи, мы имѣемъ полное право умозаключить, что крѣпостное право доставляло весьма много пользы и удовольствія какъ помѣщикамъ, такъ и мужикамъ. Помѣщики имѣли возможность обнаруживать свое великодушіе, мужики имѣли возможность учиться у нихъ безкорыстію, служанки развивали въ себѣ эстетическое чувство и способность нравственнаго самооблагоданія, — словомъ, всѣ благоденствовали и взаимно совершенствовались другъ друга.

Х.

Если вы пожелаете узнать, чѣмъ занималась образованнѣйшая часть русскаго общества въ двадцатыхъ годахъ, то энциклопедія русской жизни отвѣтитъ вамъ, что эта образованнѣйшая часть ѣла, пила, плясала, посѣщала театры, влюблялась и страдала то отъ скуки, то отъ любви. И только? Спросите вы.—И только! отвѣтитъ энциклопедія.—Это очень весело, подумаете вы, но не совсѣмъ правдоподобно. Неужели въ тогдашней Россіи не было ничего другого? Неужели молодые люди не мечтали о карьерахъ и не старались проложить себѣ такъ или иначе дорожку къ богатству и къ почестямъ? Неужели каждый отдѣльный человѣкъ былъ доволенъ своимъ положеніемъ и не шевелилъ ни однимъ пальцемъ для того, чтобы улучшить это положеніе? Неужели Онѣгину приходилось презирать людей только за то, что они очень громко стучали каблуками во время мазурки? И неужели не было въ тогдашнемъ обществѣ такихъ людей, которые не задерживали мыслителей XVIII вѣка траурной тафтой и которые могли смотрѣть на Онѣгина съ такимъ-же пре-

зрѣніемъ, съ какимъ самъ Онегинъ смотрѣлъ на Буянова, Пустыкова и разныхъ другихъ представителей провинціальной фауны?—На послѣдній вопросъ энциклопедія отвѣчаетъ совершенно отрицательно. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что Онегинъ на всѣхъ смотритъ сверху внизъ, и что на него самого не смотритъ такимъ образомъ никто. Всѣ остальные вопросы оставлены совершенно безъ отвѣта.

Зато энциклопедія сообщаетъ намъ очень подробныя свѣдѣнія о столичныхъ ресторанахъ, о танцовщицѣ Истоминой, которая летаетъ по сценѣ, «какъ пухъ отъ устъ Эола»; о томъ, что варенье подается на блюдечкахъ, а брусничная вода въ кувшинѣ; о томъ, что дамы говорили по-русски съ грамматическими ошибками; о томъ, какіе стихи пишутся въ альбомахъ уѣздныхъ барышень; что шампанское замѣняется иногда въ деревняхъ пылянскимъ; о томъ, что котильонъ танцуетъ послѣ мазурки, и такъ далѣе. Словомъ, вы найдете описаніе многихъ мелкихъ обычаевъ, но изъ этихъ крошечныхъ кусочковъ, годныхъ только для записного антикварія, вы не извлечете почти ничего для физиологіи или для патологіи тогдашняго общества; вы рѣшительно не узнаете, какими идеями или иллюзіями жило это общество; вы рѣшительно не узнаете, что давало ему смыслъ и направленіе или что поддерживало въ немъ безсмыслицу и апатію. Исторической картины вы не увидите; только коллекцію старинныхъ костюмовъ и причесокъ, старинныхъ прейскурантовъ и афишъ, старинной мебели и старинныхъ ужинокъ. Все это описано чрезвычайно живо и весело, но вѣдь этого мало; чтобы нарисовать историческую картину, надо быть не только внимательнымъ наблюдателемъ, но еще кромѣ того замѣчательнымъ мыслителемъ; надо изъ окружающей васъ пестроты лицъ, мыслей, словъ, радостей, огорченій, глупостей и подлостей выбрать именно то, что сосредоточиваетъ въ себѣ весь смыслъ данной эпохи, что накладываетъ свою печать на всю массу второстепенныхъ явленій, что втискиваетъ въ свои рамки и видоизмѣняетъ своимъ вліяніемъ всѣ остальные отрасли частной и общественной жизни.

Такую громадную задачу дѣйствительно выполнилъ для Россіи двадцатыхъ годовъ Грибоедовъ; что-же касается до Пушкина, то онъ даже не подошелъ близко къ этой задачѣ, даже не составилъ себѣ о ней приблизительно вѣрнаго понятія. Начать съ того, что выборъ героя въ высшей степени неудаченъ. Въ такомъ романѣ, который долженъ изобразить въ данный моментъ жизнь цѣлаго общества, герой долженъ быть непременно или такой человѣкъ, который сосредоточиваетъ въ своей личности смыслъ и типическія особенности status quo, или такой, который носитъ въ себѣ самое сильное стремленіе къ будущему и самое ясное пониманіе на-

стоящихъ общественныхъ потребностей. Говоря иными словами: герой долженъ быть мѣрно или рыцарь прошедшаго, или будущего, но во всякомъ случаѣ чѣлвчательный, имѣющій въ жизни какую-цѣль, толкающійся между людьми, суетивіестъ съ толпой, развѣтывающій и нащій такъ или иначе, въ честномъ или въ нечестномъ дѣлѣ, всѣ силы своего ума и энергіи. Только жизнь такой активной личности можетъ показать намъ въ наглядномъ мѣрѣ достоинства и недостатки общества, механизма и общественной нравственности.

За какими благами гонится большинство? Кія средства ведутъ къ желанному успѣху? Относится къ различнымъ средствамъ общественное мнѣніе, изъ какихъ составныхъ элементовъ складывается это общественное мнѣніе? кончается рутинная и гдѣ начинается прѣкрасная? Каковы сравнительныя силы рутинеровъ и тестантовъ, какъ велико между ними ожесточеніе, — всѣ эти и многіе другіе вопросы, которые необходимо должны быть поставлены въ энциклопедіи общественной физиологіи, могутъ быть затронуты только тогда, когда средоточіемъ всей картины будетъ сдѣланы не сонная фигура праздношатающегося шалопаа. Чичикова, Молчалина и Лизаветы можно сдѣлать героями историческаго романа, но Онегина и Обломова — ни въ какомъ видѣ. Чичиковъ, Молчалинъ, Кутузовъ, какъ люди, чего то добивающіеся, не могутъ быть героями историческаго романа, потому что они только въ обществѣ и въ дѣлѣ общества могутъ осуществлять свои стремленія. Заставляя ихъ идти по тому или другому пути, заставляя ихъ въ одномъ мѣстѣ сдѣлать то, а въ другомъ силковать, въ третьемъ проявить чувствительную рѣчь, въ четвертомъ отклониться отъ низкаго поклонъ, — общество обтесываетъ своего героя по своему образу и подобию, измѣняетъ ихъ характеры, опредѣляетъ ихъ понятія и понуждаетъ ихъ готовить изъ нихъ типическихъ представителей даннаго времени, даннаго народа и даннаго общества. Напротивъ того, Онегинъ и Обломовъ, люди обезпеченные въ своемъ материальномъ существованіи и недаренные отъ природы великими умами, ни сильными страстями, ни высокими идеями, не могутъ почти совершенно отдѣлиться отъ общества, не могутъ подчиниться исключительно требованіямъ своего темперамента и такимъ образомъ не могутъ въ своемъ характерѣ ни дурныхъ, ни хорошихъ сторонъ даннаго общественнаго устройства. Люди, какъ отдѣльныя личности, не проявляютъ рѣшительно никакого интереса дѣлу, не являются агентами общественной жизни, не являются слителемъ, изучающаго физиологію общества, не приобретаютъ значеніе только въ томъ случаѣ, когда они, по многочисленности, превращаются въ замѣтный статистическій фактъ. Если въ образованнѣйшей части какого-нибудь общества

встрѣчаются на каждомъ шагу сотни или тысячи Онегинныхъ и Обломовыхъ, то-есть людей, игнорирующихъ существованіе общества и неимѣющихъ никакого понятія ни о какихъ общественныхъ интересахъ, то, разумеется, такой фактъ можетъ навести мыслящаго наблюдателя на очень поучительныя размышленія. Этотъ наблюдатель будетъ имѣть полное право подумать, что движеніе общественной жизни чрезвычайно вяло и слабо, потому что это движеніе не затягиваетъ въ себя и не увлекаетъ за собою тѣхъ людей, которые живутъ въ данномъ обществѣ. Но даже и въ этомъ случаѣ мыслящему писателю не зачѣмъ приниматься за специальное изученіе расплодившихся Онегинныхъ и Обломовыхъ. Какъ-бы они ни были многочисленны, они все-таки составляютъ пассивный продуктъ, а не дѣятельную причину общественнаго застоя. Не оттого въ погребѣ сыро, что въ немъ живутъ мокрицы, а оттого въ него набрались мокрицы, что въ немъ было сыро. А отчего сыро—это уже другой вопросъ, при изслѣдованіи котораго мокрицы должны быть совершенно отодвинуты въ сторону. Не оттого общественная жизнь движется медленно, что въ обществѣ много Обломовыхъ и Онегинныхъ, а напротивъ того, Обломовы и Онегины расплодился въ обществѣ по той причинѣ, что общественная жизнь движется медленно. А почему она движется медленно—это уже другой вопросъ, при изслѣдованіи котораго надо имѣть въ виду не Обломовыхъ и Онегинныхъ, а Чичиковыхъ, Молчалиныхъ, Калиновичей съ одной стороны, и Чацкихъ, Рудинныхъ, Базаровыхъ съ другой стороны.

Такимъ образомъ въ произведеніи мыслящаго писателя, задумавшаго нарисовать картину данного общества, — фигуры, подобныя Онегину, могутъ быть допущены только какъ вводныя лица, стоящія на второмъ планѣ, какъ стоятъ напримѣръ Загорѣцкій и Репетиловъ въ комедіи Грибоедова. Первые мѣста по всей справедливости принадлежатъ Фамусову и Скалозубу, которые даютъ читателю ключъ къ пониманію цѣлаго историческаго періода и которые, своими типическими и рѣзко обозначенными фizioноміями, объясняютъ намъ и низкопоклонство Молчалина, и глущую сентиментальность Софьи, и безплодное краснорѣчіе Чацкаго. Грибоедовъ въ своемъ анализѣ русской жизни дошелъ до той крайней границы, дальше которой поэтъ не можетъ идти, не переставая быть поэтомъ и не превращаясь въ ученаго изслѣдователя. Пушкинъ же, напротивъ того, даже и не приступалъ ни къ какому анализу; онъ съ полной искренностью и съ очень похвальной скромностью говоритъ въ VII главѣ «Онегина»: «пою пріятеля млада и множество его причудъ». Дѣйствительно, въ этомъ и заключается вся его задача. Почему онъ обратилъ свое вни-

маніе именно на этого «пріятеля млада», а не на кого-нибудь другого,—объ этомъ въ его не спрашивайте. На то онъ и поэтъ, чтобы дѣлать въ области своего творчества все, что ему вздумается, не отдавая въ томъ отчета никому на свѣтѣ, ни даже самому себѣ. Чѣмъ объясняются причуды этого пріятеля—этимъ онъ также нисколько не интересуется.

Еслибы критика и публика поняли романъ Пушкина такъ, какъ онъ самъ его понималъ; еслибы они смотрѣли на него, какъ на невинную и безцѣльную штучку, подобную «Графу Нулину» или «Домику въ Коломнѣ»; еслибы они не ставили Пушкина на пьедесталъ, на который онъ не имѣетъ ни малѣйшаго права, и не навязывали ему насильно великихъ задачъ, которыхъ онъ вовсе не умѣетъ и не желаетъ ни рѣшать, ни даже задавать себѣ, тогда я и не подумалъ-бы возмущать чувствительныя сердца русскихъ эстетиковъ моими непочтительными статьями о произведеніяхъ нашего, такъ называемаго, *великаго поэта*. Но, къ сожалѣнію, публика временъ Пушкина была такъ неразвита, что принимала хорошіе стихи и яркія описанія за великія событія въ своей умственной жизни. Эта публика съ одинаковымъ усердіемъ переписывала и «Горе отъ ума»,—одно изъ величайшихъ произведеній нашей литературы, и «Бахчисарайскій фонтанъ», въ которомъ нѣтъ ровно ничего, кромѣ пріятныхъ звуковъ и яркихъ красокъ.

Спустя 20 лѣтъ, за вопросъ о Пушкинѣ взялся превосходный критикъ, честный гражданинъ и замѣчательный мыслитель, Виссарионъ Вѣлинскій. Кажется, такой человекъ могъ рѣшить этотъ вопросъ удовлетворительно и отвѣсти Пушкину то скромное мѣсто, которое должно принадлежать ему въ исторіи нашей умственной жизни. Вышло однако наоборотъ. Вѣлинскій написалъ о Пушкинѣ одиннадцать превосходныхъ статей и рассыпалъ въ этихъ статьяхъ множество самыхъ свѣтлыхъ мыслей о правахъ и обязанностяхъ человека, объ отношеніяхъ между мужчинами и женщинами о любви, о ревности, о частной и объ общественной жизни, но вопросъ о Пушкинѣ въ концѣ концовъ оказался совершенно затемненнымъ. Читателямъ, а быть-можетъ и самому Вѣлинскому, показалось, что именно Пушкинъ породилъ своими произведеніями всѣ эти замѣчательныя мысли, которыя однако цѣлкомъ принадлежали критикѣ и которыя по всей вѣроятности вовсе не понравились-бы разбираемому поэту. Вѣлинскій преувеличилъ значеніе всѣхъ главныхъ произведеній Пушкина и каждому изъ этихъ произведеній приписалъ такой серьезный и глубокий смыслъ, котораго самъ авторъ никакъ не могъ и не хотѣлъ въ нихъ вложить.

Статьи Вѣлинскаго о Пушкинѣ сами по себѣ, какъ самостоятельныя литературныя про-

изведенія, были чрезвычайно полезны для умственного развитія нашего общества; но какъ восхваленія стараго кумира, какъ зазыванія въ старыя храмы, въ которыхъ было много пищи для воображенія и въ которыхъ не было никакой пищи для ума, эти самыя статьи могли принести и дѣйствительно принесли свою долю вреда. Бѣлинскій любилъ того Пушкина, котораго онъ самъ себѣ создалъ; но многіе изъ горячихъ послѣдователей Бѣлинскаго стали любить настоящаго Пушкина, въ его натуральномъ и необлагороженномъ видѣ. Они стали превозносить въ немъ именно тѣ слабыя стороны, которыя Бѣлинскій затушевывалъ или перетолковывалъ по своему. Вслѣдствіе этого имя Пушкина сдѣлалось знаменемъ несправимыхъ романтиковъ и литературныхъ филистеровъ. Вся критика Аполлона Григорьева и его послѣдователей была основана на превознесеніи той всеобъемлющей любви, которой будто-бы проникнуты насквозь всѣ произведенія Пушкина. Превознося кроткаго и любвеобильнаго Пушкина, романтики и филистеры почти совершенно игнорируютъ произведенія Грибоѣдова и относятся почти враждебно къ Гоголю. Въ нѣкоторыхъ журналахъ не разъ высказывалось забавное мнѣніе, что Гоголь не зналъ великорусской жизни. Если прибавить къ этому, что нѣкоторые малороссійскіе писатели упрекаютъ Гоголя въ незнаніи малорусскаго быта, то окажется, что Гоголь совсѣмъ ничего не зналъ, и что онъ произвелъ полный переворотъ въ русской литературѣ именно своимъ незнаніемъ.

Восхищаясь своимъ возлюбленнымъ Пушкинымъ, какъ величайшимъ представителемъ филистерскаго взгляда на жизнь, наши романтики въ то-же время прикрываются великимъ именемъ Бѣлинскаго, какъ надежнымъ громоотводомъ, спасающимъ ихъ отъ всякаго подозрѣнія въ филистерскихъ вкусахъ и тенденціяхъ. Мы — за одно съ Бѣлинскимъ, говорятъ романтики, а вы, нигилисты или реалисты, вы — просто самолюбивыя мальчишки, старающіеся обратить на себя вниманіе публики вашими дерзкими отношеніями къ незабвеннымъ авторитетамъ.

Благоговѣніе романтиковъ передъ Пушкинымъ доводитъ ихъ иногда до самыхъ смѣшныхъ и нелѣпыхъ крайностей. Аполлонъ Григорьевъ написалъ однажды, въ одномъ изъ своихъ писемъ, изданныхъ Страховымъ, что тремя послѣдними великими поэтами онъ считаетъ Байрона, Мицкевича и Пушкина. Довольно забавно уже то обстоятельство, что рядомъ съ Байрономъ поставлены Мицкевичъ и Пушкинъ. Это совершенно все равно, что поставить Кайданова и Смарагова рядомъ съ Шлоссеромъ. Но еще гораздо забавнѣе то обстоятельство, что Мицкевичъ и Пушкинъ *попались* въ число великихъ поэтовъ, а Гейне *не попалъ*. Оно и понятно. Не заслуживаетъ онъ этой чести, потому что былъ свистуномъ и отрицателемъ. Понятно также, почему панегиристы Пушкина молчатъ о Грибоѣдовѣ и не долюбиваютъ Гоголя. И Грибоѣдовъ, и Гоголь стоятъ гораздо ближе къ окружающей насъ дѣйствительности, чѣмъ къ мирнымъ и тихимъ снамъ романтиковъ и филистеровъ.

Такъ какъ борьба литературныхъ партій сдѣлалась теперь упорной и непримиримой, такъ какъ духомъ партій обуславливаются теперь взгляды пишущихъ людей на прежнихъ писателей даже въ тѣхъ органахъ нашей печати, которые сами вопіютъ противъ духа партій, то и реалисты, сражаясь за свои идеи, поставлены въ необходимость посмотреть повнимательнѣе съ своей точки зрѣнія, на тѣ старыя литературныя кумиры и на тѣ почтенныя имена, за которыя прячутся наши очень свѣрѣпыя, но очень трусливые гонители. Мы надѣемся доказать нашему обществу, что старыя литературныя кумиры разваливаются отъ своей ветхости при первомъ прикосновеніи серьезной критикѣ. Что-же касается до почтеннаго имени Бѣлинскаго, то оно повернется противъ нашихъ литературныхъ враговъ. Расходясь съ Бѣлинскимъ въ оцѣнкѣ отдѣльных фактовъ, замѣчая въ немъ излишнюю довѣрчивость и слишкомъ сильную впечатлительность, мы въ то-же время гораздо ближе нашихъ противниковъ подходимъ къ его основнымъ убѣжденіямъ.

ЛИРИКА ПУШКИНА.

I.

Слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ, именно въ 1844 году, была напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» пятая статья Бѣлинскаго о Пушкинѣ. Вотъ оглавленіе этой статьи: «Взглядъ на русскую критику. — Понятіе о современной критикѣ. — Исслѣдованіе паеоса

поэта, какъ первая задача критики. — Паеосъ поэзіи Пушкина вообще. — Разборъ лирическихъ произведеній Пушкина». — Въ этой статьѣ Бѣлинскаго встрѣчаются болѣе или менѣе опредѣленные намеки на всѣ тѣ идеи, которыми живетъ наша теперешняя реальная критика. Въ этой-же самой статьѣ Бѣлинскій предается самымъ необузданнымъ эстетическимъ востор-

гамъ. Читая внимательно эту статью, мы видимъ, какъ эстетикъ борется въ Бѣлинскомъ съ общественнымъ дѣятелемъ, и предчувствуемъ, что побѣда непременно должна склониться на сторону послѣдняго. Чтобы доказать читающей публикѣ кровное родство реальной критики съ Бѣлинскимъ, я приведу изъ этой статьи, напечатанной двадцать лѣтъ тому назадъ, нѣсколько обширныхъ выписокъ.

«Гёте гдѣ-то сказалъ: «какого читателя желаю я?—Такого, который-бы меня, себя и цѣлый міръ забыть и жилъ-бы только въ книгѣ моей.» Нѣкоторые нѣмецкіе аристархи оперлись на это выраженіе великаго поэта, какъ на основной краеугольный камень эстетической критики. И однакожъ односторонность гётевой мысли очевидна. Подобное требованіе очень выгодно для всякаго поэта, не только великаго, но и маленькаго; принявъ его на вѣру и безусловно, критика только и дѣлала-бы, что кланялась въ-поясъ то тому, то другому поэту, ибо такъ какъ все имѣетъ свою причину и основаніе—даже эгоизмъ, дурное направленіе, самое невѣжество поэта, то, если критикъ будетъ смотрѣть на произведеніе поэта безъ всякаго отношенія къ его личности, забывъ о самомъ себѣ и цѣломъ мірѣ,—естественно, что творенія этого поэта, будь они только означены болѣе или менѣе степеню таланта, явятся непогрѣшительными и достойными безусловной похвалы.»

Изъ приведенныхъ словъ читатель видитъ, что у Гёте была губа не дура и что онъ придумалъ очень вѣрное средство затуманить слабыя стороны своей поэтической дѣятельности. Чистые эстетики приняли искусную выдумку Гёте за святую истину, но Бѣлинскій оказался гораздо проникательнѣе *нѣмецкихъ аристарховъ* и такимъ образомъ внесъ въ критику элементъ, совершенно враждебный эстетикѣ. Въ словахъ Бѣлинскаго мы видимъ ясное выраженіе той идеи, что поэтический талантъ одинъ самъ по себѣ еще не даетъ поэту права пользоваться уваженіемъ и сочувствіемъ современниковъ и потомства. Бѣлинскій относится очень сурово къ *невѣжеству* поэта, къ *дурному направленію* и къ *эгоизму*. Слово *эгоизмъ* конечно употреблено неправильно; но такъ какъ этимъ словомъ Бѣлинскій очевидно хочетъ обозначить узкость ума и мелкость чувства, то съ его идей мы можемъ совершенно согласиться. Если такимъ образомъ критика, по мнѣнію Бѣлинскаго, должна непременно требовать отъ поэта широкаго умственнаго развитія, хорошаго, то-есть честнаго направленія и разумной любви къ человѣчеству, то очевидно критика Добролюбова и теперешняя критика «Русскаго Слова» по своему основному принципу совершенно соответствуютъ стремленіямъ Бѣлинскаго. Критика Бѣлинскаго,

критика Добролюбова и критика «Русскаго Слова» оказываются развитіемъ одной и той-же идеи, которая съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе очищается отъ всякихъ постороннихъ примѣсей.

«При нѣмецкой апатической терпимости ко всему, что бываетъ и дѣлается на бѣломъ свѣтѣ,—продолжаетъ Бѣлинскій,—при нѣмецкой безличной универсальности, которая, признавая все, сама не можетъ сдѣлаться ничѣмъ, мысль, высказанная Гёте, поставляетъ искусство цѣлью самому себѣ и черезъ это самое освобождаетъ его отъ всякаго соотношенія съ жизнью, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни.»

Какъ вамъ это нравится, господа читатели? Уже въ 1844 году была провозглашена въ русской журналистикѣ та великая идея, что *искусство не должно быть цѣлью самому себѣ и что жизнь выше искусства*. А слишкомъ двадцать лѣтъ спустя, тотъ самый журналъ, который бросилъ русскому обществу эти двѣ блестящія и плодотворныя идеи, съ тупымъ самодовольствомъ возстаетъ противъ «эстетическихъ отношеній», которыя цѣликомъ построены на этихъ двухъ идеяхъ. Этотъ поучительный фактъ доказываетъ ясно, что человѣческая мысль не можетъ стоять на одномъ мѣстѣ. Когда она не хочетъ или не умѣетъ двигаться впередъ, тогда она поневолѣ пятится назадъ. «Отечественныя Записки» хотѣли забастовать на Бѣлинскомъ. Оказывается теперь, что онѣ забыли Бѣлинскаго и подвинулись къ двадцатымъ годамъ нынѣшняго столѣтія. «Современникъ» хочетъ забастовать на Добролюбовѣ, и мы видимъ дѣйствительно, что «Современникъ» быстро забываетъ Добролюбова и также путешествуетъ въ область двадцатыхъ годовъ. Повторять слова учителя—не значитъ быть его продолжателемъ. Надо понимать ту цѣль, къ которой шелъ учитель. Идя къ извѣстной цѣли, учитель произносилъ извѣстные слова. Въ ту минуту, когда эти слова произносились, они дѣйствительно подвигали людей впередъ къ предположенной цѣли. Но когда эти слова уже подѣйствовали, когда люди, подчиняясь ихъ вліянію, сдѣлали нѣсколько шаговъ впередъ, тогда все положеніе вопроса обрисовывается иначе, тогда произнесенныя слова теряютъ свою двигательную силу и слѣдовательно перестаютъ быть умѣстными, полезными и цѣлесообразными. Тогда надо произносить новыя слова, примѣняя ихъ къ новымъ потребностямъ времени; эти новыя слова могутъ находиться въ рѣзкомъ разногласіи съ старыми словами, и это разногласіе нисколько не мѣшаетъ ни тѣмъ, ни другимъ быть одинаково вѣрными выраженіями одной и той-же основной тенденціи.

Основная тенденція всей критической школы Бѣлинскаго, продолжающей дѣйствовать и развиваться до настоящей минуты, выражается совершенно ясно и отчетливо въ тѣхъ двухъ положеніяхъ, что *искусство не должно быть цѣлью самому себѣ и что жизнь выше искусства*. Изъ этихъ двухъ простыхъ и скромныхъ положеній выводятся совершенно логично и неизбежно всѣ самыя смѣлыя и блистательныя salto mortale моего уважаемаго сотрудника Зайцева, на котораго смотреть до сихъ поръ съ такимъ непритворнымъ ужасомъ и съ такимъ комическимъ недоумѣніемъ всѣ солидные тихомыслы нашей періодической литературы. При тѣхъ условіяхъ, при которыхъ развивался и дѣйствовалъ Бѣлинскій, онъ конечно не могъ вывести изъ этихъ двухъ положеній всѣ ихъ логическія послѣдствія. Въ сороковыхъ годахъ онъ даже не могъ ихъ предвидѣть. Онъ ежеминутно уклоняется въ своей дѣятельности отъ этихъ двухъ основныхъ положеній, но смыслъ и сила его дѣятельности заключаются конечно не въ этихъ случайныхъ нарушеніяхъ логики. Высказать вѣрную мысль еще не значитъ послѣдовательно провести эту мысль въ анализъ всѣхъ явленій жизни, науки и искусства. Вторая задача, разумѣется, гораздо труднѣе и многосложнѣе первой. Если высказанная мысль дѣйствительно велика и плодотворна, то на ея послѣдовательное проведеніе могутъ потратиться силы нѣсколькихъ поколѣній. Эта завидная участь выпала на долю мыслямъ Бѣлинскаго. Продолженіи двадцати лѣтъ лучшіе люди русской литературы развиваютъ его мысли и впереди еще не видно конца этой работѣ. Та тѣсная родственная связь, которая несомнѣнно существуетъ между Бѣлинскимъ и теперешними реалистами, доказываетъ, съ одной стороны, умственное величіе нашего общаго учителя, а съ другой стороны — то обстоятельство, что такъ называемый нигилизмъ есть дитя нашего времени, имѣющее своихъ законныхъ и весьма почетныхъ родителей въ прошедшемъ періодѣ нашей умственной жизни. Проклиная нигилизмъ, солидные люди очень охотно вычеркиваютъ изъ исторіи русской литературы «Эстетическія отношенія» и Добролюбова, въ которыхъ они видятъ случайныя или болѣзненные явленія. Теперь я попрошу солидныхъ людей, для радикальнаго уничтоженія нигилистовъ, начать работу вычеркиванія съ Виссаріона Бѣлинскаго. Года четыре тому назадъ «Русскій Вѣстникъ», какъ самый послѣдовательный и дальновидный врагъ нигилизма, дѣйствительно попробовалъ занести руку и на Бѣлинскаго. Въ 1861 году Лонгиновъ силился уличить Бѣлинскаго въ заносчивомъ невѣжествѣ. Еслибы эта попытка увѣчалась успѣхомъ, тогда по всей вѣроятности ядъ вольнодумства былъ-бы искорененъ вполне, и настоящими, здоровыми

и совершенно незаподозрѣнными представителями русской мысли оказались-бы: въ прошедшемъ — Мерзляковъ и Шевыревъ, а въ настоящемъ — Лонгиновъ и Анненковъ. Вся остальная русская критика была-бы причислена къ ложнымъ и отреченнымъ книгамъ. Этотъ результатъ былъ-бы конечно очень блистателенъ и утѣшителенъ, но къ сожалѣнію усердная попытка Лонгинова осталась, по какой-то необъяснимой случайности, совершенно незамѣченной. Совѣтую солиднымъ людямъ повторить эту попытку, потому что для искорененія нигилизма необходимо убить Бѣлинскаго во мнѣніи русскаго общества.

II.

«Дѣйствительно, — продолжаетъ Бѣлинскій, — нѣмецкая критика при разсматриваніи произведеній искусства всегда опирается на само искусство и на духъ художника, и потому исключительно вращается въ тѣсной сферѣ эстетики, выходя изъ нея только для того, чтобы обращаться изрѣдка къ характеристикѣ личности поэта, а на исторію, общество, — словомъ, на жизнь не обращаетъ никакого вниманія. И оттого жизнь давно уже оставила тѣхъ нѣмецкихъ поэтовъ, которые своими произведеніями угождаютъ такой критикѣ.»

Нѣмецкая критика, противъ которой возстаютъ Бѣлинскій и сама жизнь, поступаетъ въ высшей степени благородно. Она тщательно поддерживаетъ тѣ перегородки, которыми паденіе приснорѣчиво оплакиваетъ нечестный преемникъ Бѣлинскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ», г. Incognito. Когда эта нѣмецкая критика говоритъ объ искусствѣ, тогда она опирается на само искусство. Если-же Бѣлинскій находитъ сферу эстетики *тѣсною*, если онъ требуетъ, чтобы критика вырвалась изъ этой *тѣсной сферы* и вступила въ безпредѣльный міръ дѣйствительной жизни — прошедшей и настоящей, — то онъ очевидно оказывается гнуснымъ сообщникомъ нынѣшней реальной критики. — Но чтобы показать солиднымъ людямъ, что Бѣлинскій еще не совсѣмъ пропащій человекъ, и чтобы напомнить несолиднымъ мальчишкамъ и дѣвчонкамъ, что Бѣлинскій еще не совсѣмъ послѣдовательный реалистъ, я прошу господъ читателей, солидныхъ и несолидныхъ, отыскать въ томъ-же VIII томѣ и въ той-же критической статьѣ страницу 352, на которой изображены слѣдующія строки:

«Каждое поэтическое произведеніе есть плодъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ. Еслибы мы допустили, что эта мысль есть только результатъ дѣятельности его разсудка, мы убавили бы этимъ не только искусство, но и самую возможность искусства. Въ самомъ дѣлѣ, что мудренаго было-бы сдѣлаться поэтомъ и кто-бы

не въ состояніи былъ сдѣлаться поэтомъ по нуждѣ, по выгодѣ или по прихоти, еслибъ для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втиснуть ее въ придуманную-же форму? Нѣтъ, не такъ это дѣлается поэтами по натурѣ и по призванію! У того, кто не поэтъ по натурѣ, пусть придуманная имъ мысль будетъ глубока, истинна, даже свята, — произведение все-таки выйдетъ мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убѣдитъ оно, а скорѣе разочаруетъ каждого въ выраженной имъ мысли, несмотря на всю ея правдивость! Но между тѣмъ такъ-то именно и понимаетъ толпа искусство, этого-то именно и требуетъ она отъ поэтовъ! Придумайте ей, на досугѣ, мысль получше, да потомъ и обдѣлайте ее въ какой-нибудь вымыселъ, словно брильянтъ въ золото. Вотъ и дѣло съ концомъ!»

Здѣсь Вѣлинскій очевидно платитъ очень богатую дань тому эстетическому мистицизму, который проводитъ рѣзкую раздѣлительную черту между поэтами и простыми смертными. Поэтомъ надо родиться, поэтъ — высшая натура, на его высокомъ челѣ горитъ печать его высокаго призванія, процессъ творчества составляетъ непостижимую тайну, — всѣ эти глупыя фразы принимаются эстетиками за чистую монету, и даже острый умъ Вѣлинскаго не всегда умѣетъ устоять противъ одуряющей атмосферы подобныхъ фразъ. Поэты, разумѣется, очень рады производить себя въ полубоги и, видя, что имъ вѣрятъ на слово, интересничаютъ и шарлатанятъ безъ зазрѣнія совѣсти. Большая часть ихъ времени и ихъ умственныхъ силъ уходитъ на дѣлишки, на картишки, на интрижки, а между тѣмъ они стараются увѣрить и себя, и другихъ, что постоянно созерцаютъ духовными очами высокія идеи или прекрасные образы. Ни дать, ни взять, тотъ Александръ Ивановичъ, который навязываетъ Зююшкѣ бумажку на хвостъ, а между тѣмъ при появленіи пріятеля тотчасъ принимаетъ удрученный видъ, свойственный ревностному администратору, преобразовавшему цѣлый департаментъ. Шарлатанство поэтовъ проявляется особенно ярко въ томъ высокомъ и туманномъ слогѣ, которымъ они любятъ говорить о таинственномъ процессѣ творчества. Одинъ увѣряетъ, что онъ, какъ богъ, ходитъ по чертогамъ Зевса; другой заявляетъ, что его сердце не полный мускулъ, а родникъ, и что его стихи не рифмованныя строчки, а волна; третій объясняетъ, что юная Татьяна и съ нею Онѣгина являлись ему въ смутномъ снѣ, и что онъ неясно различалъ даль свободнаго романа сквозь магическій кристалль. Наслушается добродушный и довѣрчивый человекъ этихъ удивительныхъ рѣчей, отъ которыхъ уши вянутъ, наслушается и поневолѣ погрузится въ недоумѣніе. Вѣдь вотъ, подумаетъ онъ, я тоже размышляю, тоже увлекаюсь моими

мыслями, ихъ тоже излагаю иногда на бумагѣ, а между тѣмъ со мною никогда не происходитъ ничего такого, что привело-бы мнѣ въ голову чертоги Зевса, или сердце, выпускающее изъ себя рифмованную волну, или магическій кристалль, заключающій въ себѣ даль свободнаго романа. Не можетъ-же быть, чтобы всѣ эти стихотворцы говорили чистую и ни на чемъ несостоятельную ложь; надо, стало-быть, полагать, что въ ихъ нервной системѣ дѣйствительно происходятъ какія-то такія эволюціи, которыхъ я не испытываю и неспособенъ испытать. Значитъ, они — высшія натуры, а я — низшая или обыкновенная натура. И рождается такимъ образомъ, благодаря отъявленному шарлатанству однихъ и трогательной довѣрчивости другихъ, тотъ эстетическій мистицизмъ, которымъ глубоко зараженъ Вѣлинскій и отъ котораго не совсѣмъ уберется даже Добролюбовъ. Этотъ мистическій туманъ разсѣвается однако при первомъ прикосновеніи трезвой критики.

Если для существованія искусства необходима привилегированная каста жрецовъ Аполлона, то, разумѣется, трезвая критика убиваетъ искусство, потому что она превращаетъ его въ общее достояніе всѣхъ умныхъ людей. Вѣлинскій полагаетъ, что немудрено было-бы создавать поэтическія произведенія, еслибы для этого надо было *только придумать какую-нибудь мысль, да и втиснуть ее въ придуманную-же форму*. На самомъ дѣлѣ всѣ поэтическія произведенія создаются именно такимъ образомъ, тотъ человекъ, котораго мы называемъ поэтомъ: придумываетъ какую-нибудь мысль и потомъ втискиваетъ ее въ придуманную форму. Это втискиваніе обыкновенно стоитъ поэту очень большого труда; сначала онъ набрасываетъ планъ своего будущаго произведенія, потомъ придумываетъ отдѣльныя сцены, картины и подробности, потомъ шлифуетъ языкъ или стихъ. Ни стройность плана, ни красота подробностей, ни картинность языка, ни виѣшнее изящество стиха, — словомъ, ни одно изъ достоинствъ поэтическаго произведенія не даются поэту сразу. Оконченное произведение обыкновенно представляетъ очень мало сходства съ первоначальнымъ замысломъ. Весь осто́въ поэтическаго произведенія подвергается во время работы очень значительнымъ и глубокимъ видоизмѣненіямъ. Однѣ подробности, которыя сначала казались поэту необходимыми, оказываются излишними и неумѣстными; другія подробности, которыхъ онъ сначала не имѣлъ въ виду, оказываются необходимыми. Поэтъ, какъ плохой портной, кроитъ и перекраиваетъ, урѣзываетъ и приставляетъ, сшиваетъ и утюжитъ до тѣхъ поръ, пока не получится въ окончательномъ результатѣ нѣчто правдоподобное и благообразное.

Желающіе могутъ найти въ «Матеріалахъ для біографіи Пушкина», собранныхъ Аннен-

ковымъ, многочисленные примѣры той тяжелой, черной работы, посредствомъ которой Пушкинъ втискивалъ придуманную мысль въ придуманную форму. Если поэтъ дѣйствительно придумываетъ и втискиваетъ, то стало-быть всякій, кто умѣетъ хорошо придумать и хорошо втиснуть, можетъ сдѣлаться замѣчательнымъ поэтомъ. Это несомнѣнно, но слѣдуетъ-ли изъ этого то заключеніе, что поэтомъ сдѣлаться легко?—Нисколько не слѣдуетъ. *Придумать мысль*, какъ выражается Бѣлинскій, совсѣмъ не легко. Умныя мысли приходятъ въ голову только умнымъ людямъ, и приходятъ сами, помимо нашей воли. Придумать мысль, то есть привести ее насильно къ себѣ въ голову, вѣтъ даже никакой возможности. Затѣмъ, когда мысль пришла въ голову, необходимо много энергіи и напряженного умственного труда для того, чтобы разсмотрѣть эту мысль со всѣхъ сторонъ и чтобы развить изъ нея всѣ ея послѣдствія. Наконецъ для того, чтобы передать другимъ людямъ ясно и отчетливо то, что вы сами поняли и переживали, надо потратить очень много труда на втискиваніе мысли въ форму. Умъ, энергія, трудолюбіе, техническая ловкость или сноровка,—всѣ эти качества необходимы тому человѣку, который хочетъ сдѣлаться поэтомъ,—необходимы точно въ такой-же мѣрѣ, въ какой они необходимы тому человѣку, который хочетъ сдѣлаться ораторомъ, профессоромъ, адвокатомъ, историкомъ, публицистомъ, критикомъ или вообще словесныхъ дѣлъ мастеромъ по какой-бы то ни было отрасли словеснаго искусства. Такой человѣкъ, къ которому заходятъ въ голову умныя мысли, который умѣетъ задерживать и разрабатывать эти мысли въ своей головѣ и который, посредствомъ упражненія, сдѣлался мастеромъ словесныхъ дѣлъ, такой человѣкъ, говорю я, можетъ, если только пожелаетъ, сдѣлаться поэтомъ, то есть создать нѣсколько произведеній, которыя подѣйствуютъ на читателей такъ точно, какъ дѣйствуютъ на нихъ произведенія, созданныя настоящими, патентованными поэтами.

Бѣлинскій говоритъ: «у того, кто не поэтъ по натурѣ, пусть придуманная имъ мысль будетъ глубока, истинна, даже свята,—произведеніе все-таки выйдетъ мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убѣдитъ оно, а скорѣе разочаруетъ cadaго въ выраженной имъ мысли, несмотря на всю ея правдивость».—Любопытно было-бы узнать, что сказали-бы Бѣлинскій, еслибы ему пришлось прочитать романъ «Что дѣлать?». Сказалъ-ли бы онъ объ этомъ романѣ, что онъ—произведеніе мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое? Еслибы даже, паче чаянія, Бѣлинскій рѣшился произнести надъ нимъ этотъ приговоръ, то во всякомъ случаѣ онъ не имѣлъ-бы никакой возможности сказать, что этотъ романъ никого не убѣдилъ и всѣхъ разочаровалъ. Тутъ сама

жизнь опровергнула-бы сужденіе Бѣлинскаго. Всѣмъ друзьямъ и врагамъ этого романа одинаково извѣстно, что онъ произвелъ на читающее общество такое глубокое впечатлѣніе, какого не производило до сихъ поръ ни одно твореніе патентованныхъ поэтовъ. Но неужели-же мы, на основаніи этого глубокаго впечатлѣнія, должны будемъ сказать, что авторъ этого романа—*поэтъ по натурѣ и по призванію*? Если Чернышевскій, трезвѣйшій изъ трезвыхъ мыслителей, окажется поэтомъ по натурѣ и по призванію, то тогда надо будетъ признать поэтами всѣхъ умныхъ людей безъ исключенія.—Значитъ, *толпа*, надъ которой смѣется Бѣлинскій, совершенно права, когда она требуетъ отъ поэта, чтобы онъ придумывалъ ей мысль получше и потомъ обдѣлывалъ эту мысль въ какой-нибудь вымыселъ, словно брильянтъ въ золото.

Бѣлинскій поясняетъ далѣе, что настоящий поэтъ является страстно влюбленнымъ въ идею, страстно проникнутымъ ею, и что онъ созерцаетъ ее не разумомъ, не разсудкомъ, не чувствомъ, но всей полнотой и цѣлостью своего нравственнаго бытія. — Все это очень хорошо, но эти страстныя отношенія къ идеѣ вовсе не составляютъ исключительной особенности поэта. Всѣ великія дѣла, совершенныя замѣчательными людьми, были совершены именно посредствомъ страсти. Развѣ Колумбъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею, ради которой онъ, человѣкъ очень гордый и самостоятельный, таскался въ продолженіи восемнадцати лѣтъ, въ качествѣ смиреннаго и убогаго просителя, по прихотямъ разныхъ португальскихъ и испанскихъ вельможъ? Развѣ Джонъ Говардъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею, ради которой онъ в теченіи своей жизни шлепалъ по тюрьмамъ и госпиталямъ? Развѣ аболіціонистъ Джонъ Брунъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею, ради которой онъ на старости лѣтъ пошелъ на висѣлицу? Бокъ за нѣсколько минутъ до своей смерти сокрушался исключительно о томъ, что ему не удастся дописать до конца «Исторію цивилизаціи въ Англіи». Развѣ этотъ человѣкъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею? Когда Ньютонъ повѣрялъ свою теорію мірового тяготѣнія посредствомъ вычисленій надъ движеніемъ луны, тогда онъ подъ конецъ вычисленія почувствовалъ такое сильное волненіе, что принужденъ былъ оставить работу и попросилъ одного изъ своихъ друзей докончить за него самую простую математическую выкладку. Развѣ этотъ человѣкъ не *созерцалъ* свою идею *всей полнотой и цѣлостью своего нравственнаго бытія*?—Желая изслѣдовать вопросъ о питательныхъ свойствахъ сахара, докторъ Старикъ сталъ производить опыты надъ самимъ собою и такъ долго продолжалъ себя исключительно сахаромъ, что наконецъ занемогъ и умеръ отъ истощенія

силь. Кажется, страстиѣе, безграничнѣе и даже безумнѣе этой любви къ идеѣ невозможно себѣ ничего вообразить. Вообще, если вы хотите собрать самые крупные и рельефные примѣры тѣхъ странныхъ отношеній, которыя могутъ существовать между человѣкомъ и идеей, то вы должны будете обратиться не къ художникамъ, а къ изслѣдователямъ или къ политическимъ дѣятелямъ. Къ чести человѣческой природы вообще, человѣческаго ума въ особенности, надо замѣтить, что до сихъ поръ, кажется, ни одинъ человѣкъ не пошелъ на смерть за то, что онъ считалъ красивымъ, и что, напротивъ того, нѣтъ числа тѣмъ людямъ, которые съ радостью отдавали жизнь за то, что они считали истиннымъ или общепользнымъ. У искусства не было и не можетъ быть мучениковъ. Наука и общественная жизнь, напротивъ того, уже давно потеряли счетъ своимъ мученикамъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что способность влюбляться въ идею никакъ не должна считаться исключительной привилегіей художниковъ. Эта способность составляетъ тотъ священный огонь, безъ котораго вообще невозможно и немислимъ сознательный прогрессъ человечества. Этой способностью въ гораздо сильнѣйшей степени, чѣмъ художники, обладаютъ тѣ люди, которыхъ мы привыкли называть холодными и положительными прозаиками, спокойными, суровыми и чорствыми дѣятелями жизни или науки. Вильгельмъ Оранскій, освободитель Нидерландовъ, Фердинандъ Магелланъ, сѣвшій вмѣстѣ съ своимъ экипажемъ всѣхъ мышей и всѣ кожаныя вещи своего корабля для того, чтобы довести до конца свое кругосвѣтное плаваніе, Джонъ Лилбернъ, боровшій втеченіи всей своей жизни, словомъ и перомъ, сначала съ самовластіемъ Карла I, а потомъ съ самовластіемъ Кромвеля,— всѣ эти люди, разумѣется, любили идею гораздо страстиѣе, чѣмъ умѣли любить ее тѣ господа, которые изъ любви къ ней писали пріятные стихи или потрясательныя драмы. Если дѣятели науки и жизни не пишутъ стиховъ и драмъ, то, разумѣется, это происходитъ не оттого, что у нихъ не хватаетъ ума, и не оттого, что въ нихъ слаба любовь къ идеѣ, а напротивъ именно оттого, что размѣры ихъ ума и сила ихъ любви не позволяютъ имъ удовлетворяться созданіемъ красивыхъ беллетристическихъ произведеній. Эти люди тоже поэты, но ихъ поэмами оказываются ихъ великія дѣла, которыя, разумѣется, не только полезнѣе, но даже грандіознѣе всевозможныхъ иліадъ и всевозможныхъ шекспировскихъ драмъ. И различіе между поэтами и не-поэтами, которое хотятъ установить эстетики и вмѣстѣ съ ними полу-эстетики Вѣлинскій, оказывается пустымъ оптическимъ обманомъ. То извѣстное латинское изреченіе, что ораторомъ можно сдѣлаться,

а поэтомъ надо родиться, оказывается чистой нелѣпостью. Поэтомъ можно сдѣлаться точно такъ-же, какъ можно сдѣлаться адвокатомъ, профессоромъ, публицистомъ, сапожникомъ или часовщикомъ. Стихотворецъ или вообще беллетристъ, или, еще шире, вообще художникъ— такой-же точно ремесленникъ, какъ и всѣ остальные ремесленники, удовлетворяющіе своимъ трудомъ различнымъ естественнымъ или искусственнымъ потребностямъ общества. Подобно всѣмъ остальнымъ ремесленникамъ, поэтъ или художникъ нуждается въ извѣстныхъ врожденныхъ способностяхъ; но та доза способностей, которая необходима для того, чтобы человѣкъ могъ приступить къ изученію ремесла, встрѣчается обыкновенно у всѣхъ нормальныхъ и здоровыхъ экземпляровъ человѣческой породы. Затѣмъ все остальное довершается въ образованіи художника впечатлѣніями жизни, чтеніемъ и размышленіемъ, и преимущественно упражненіемъ и навыкомъ. Какъ только эти предварительныя занятія дали человѣку способность придумывать идеи и втискивать ихъ въ формы, такъ поэтъ оказывается готовымъ къ услугамъ всѣхъ любителей легкаго чтенія.

III.

Чтобы окончательно реабилитировать Вѣлинскаго въ глазахъ солидныхъ людей, я приведу его отзывъ о стихѣ Пушкина. «И что-же это за стихъ! — восклицаетъ нашъ критикъ. — Античная пластика и строгая простота сочетались въ немъ съ обаятельной игрой романтической рѣзмы; все акустическое богатство, вся сила русскаго языка явились въ немъ въ удивительной полнотѣ; онъ нѣженъ, сладостенъ, мягокъ, какъ ропотъ волны, тягучъ и густъ, какъ смола, ярокъ, какъ молнія, прозраченъ и чистъ, какъ кристаллъ, душистъ и благовоненъ, какъ весна, крѣпокъ и могучъ, какъ ударъ меча въ рукѣ богатыря». — Напрасно Вѣлинскій не прибавилъ еще, что стихъ Пушкина красенъ, какъ варенный ракъ, сладокъ, какъ сотовый медъ, питателенъ, какъ гороховый кисель, вкусенъ, какъ жареная тетерька, упоителенъ, какъ рижскій бальзамъ, и ѣдокъ, какъ сарептская горчица. Если можно сравнивать стихъ съ волною, со смолою, съ молніею, съ кристалломъ, съ весною, съ ударомъ меча, то я не вижу резона, почему не сравнить его съ варенымъ ракомъ, съ гороховымъ киселемъ, съ сарептской горчицей и вообще со всѣми предметами, существующими въ землѣ, на землѣ и подъ землею. — Простые смертные смотрятъ конечно съ нѣмымъ изумленіемъ на ту эстетическую оргію, которой предается Вѣлинскій; но это изумленіе въ порядкѣ вещей; простые смертные не могутъ и не должны понимать тѣхъ высшихъ красокъ,

которыми упиваются посвященные. Это существование высших красот, доступных только избранным натурам, подтверждает своим свидетельством другой посвященный, — Гоголь, которого слова с особенным удовольствием, сочувствием и уважением цитирует Бѣлинскій въ концѣ той-же пятой статьи о Пушкинѣ.

«Чтобы быть способнымъ понимать ихъ, — разсуждаетъ Гоголь, — нужно имѣть слишкомъ тонкое обоняніе, нуженъ вкусъ выше того, который можетъ понимать только одніе слишкомъ рѣзкія и крупныя черты. Для этого нужно быть въ нѣкоторомъ отношеніи сибаритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ѣсть птичку не болѣе наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совсѣмъ неопредѣленнымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности привыкшему глотать издѣлія крѣпостного повара.»

Можно было бы нахохотаться вдоволь, глядя на Гоголя и Бѣлинскаго, съ умиленіемъ и съ гастрономическимъ благоговѣніемъ бесѣдующихъ между собою о необходимости *слишкомъ тонкаго обонянія*, о смолистой тягучести пушкинскаго стиха и о непостижимыхъ достоинствахъ *птички не болѣе наперстка*. Но не до смѣха будетъ тому читателю, который подумаетъ, что не съ жиру, а съ горя бесѣдовали эти люди о птичкахъ величиною съ наперстокъ. Поневоля приходилось разсуждать о подобныхъ птичкахъ, когда о болѣе крупной дичи разсуждать было неудобно. Отъ недостатка упражненія въ тогдашнихъ людяхъ слабѣла способность и наконецъ замирало даже желаніе подвергать анализу такіа явленія жизни, которыми нельзя *услаждаться*, какъ жареною птичкою. Удивительно не то, что Бѣлинскій поетъ нелѣпый дифирамбъ во славу жаренымъ рабчикамъ, соединяющимъ въ себѣ тягучесть смолы съ благовоніемъ весны и съ яркостью молніи, а то, что онъ еще умѣетъ находить область эстетики *тихой* и душевной для мыслящаго критика. Удивительно то, что Бѣлинскій, въ самомъ разгарѣ своего эстетическаго восторга, не упустилъ изъ виду ни одного изъ существенныхъ недостатковъ пушкинской поэзіи. Вслѣдъ за той неустойчивой тирадой, которая приписываетъ пушкинскому стиху свойства смолы, весны и молніи, является слѣдующее очень вѣрное, хотя конечно черезчуръ любовное опредѣленіе характеристическихъ особенностей нашего поэта. «Въ Пушкинѣ, *напротивъ*, прежде всего увидите вы художника, вооруженнаго всѣми чарами поэзіи, призваннаго для искусства, какъ для искусства, исполненнаго любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящаго все и потому терпимаго ко всему. Отсюда всѣ достоинства, всѣ недостатки его поэзіи; и если вы будете разсматривать его съ этой точки, то съ удвоенной полнотой наста-

дитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое слѣдствіе, какъ обратную сторону его-же достоинствъ.»

Въ этихъ кроткихъ и ласковыхъ словахъ заключается самое полное и безошибочное сужденіе не только одной пушкинской поэзіи, но и вообще всякаго чистаго искусства. Кто любить все, тотъ не любитъ ровно ничего; кто любитъ одинаково сильно истца и отвѣтника, страдальца и обидчика, истину и предразсудокъ, тупого обскуранта и гениальнаго мыслителя, тотъ очевидно не можетъ желать, чтобы истецъ выигралъ свой процессъ, чтобы страдалецъ поборолъ обидчика, чтобы истина истребила предразсудокъ и чтобы гениальный мыслитель одержалъ рѣшительную побѣду надъ тупыми обскурантами. Всеобъемлющая, тепловатая любовь по совершенно справедливому замѣчанію Бѣлинскаго, непременно ведетъ за собою всестороннюю терпимость, возможную только при совершенно безсмысленномъ, безучастномъ и безстрастномъ взглядѣ на жизнь. Кто во всѣхъ явленіяхъ жизни ищетъ только эстетически-прекраснаго, тотъ очевидно долженъ *смотреть* на людей такъ, какъ ребенокъ смотритъ на пестрые камушки и цвѣтныя стеклышки калѣй-доскопа. При такихъ отношеніяхъ къ жизни не можетъ быть ни любви къ людямъ, ни *глубокаго* и *глубокаго* пониманія ихъ стремленій и страданій. Это ребяческое равнодушіе къ людямъ, это тупое непониманіе жизни составляютъ дѣйствительно, какъ замѣчаетъ Бѣлинскій, необходимое слѣдствіе или *оборотную сторону* тѣхъ достоинствъ, которыми восхищаются эстетики въ произведеніяхъ чистаго художника. Если бы не было этой *оборотной стороны*, тогда чистый художникъ превратился-бы въ страстнаго бойца за ту или за другую идею, и тогда онъ уже потерял-бы способность угощать эстетическихъ гастрономовъ птичками величиною съ наперстокъ. Но такъ какъ эта *оборотная сторона* достойна самаго *поэта* и *неумолимаго* презрѣнія и такъ какъ она составляетъ, по словамъ самого-же Бѣлинскаго, необходимую принадлежность самой медали, то нетрудно сообразить, что и вся медала совсѣмъ нигде не годится.

Несмотря на всю ласковость своихъ отношеній къ Пушкину, Бѣлинскій самъ глубоко чувствуетъ неудовлетворительность этой медали. Во-первыхъ, я попрошу читателей обратить вниманіе на слово *напротивъ*, подчеркнутое *жиромъ* въ моей послѣдней выпискѣ изъ Бѣлинскаго. Это слово поставлено Бѣлинскимъ потому, что онъ противопоставляетъ Пушкина Шекспиру, Байрону, Гёте и Шаллеру. — Шекспиръ, по словамъ Бѣлинскаго, «*глубокій сердцеподемъ, миро-объемлющій созерцатель*». Въ Байронѣ Бѣлинскаго поражаетъ «*ужасомъ удивленія колоссальная личность поэта, митаническая*

смѣлость и гордость его чувствъ и мыслей». Гёте — «поэтически-созерцательный мыслитель, могучій царь и властелинъ внутренняго міра души челоѣка». Передъ Шиллеромъ Бѣлинскій преклоняется «съ любовью и благоговѣніемъ», какъ «передъ трибуномъ челоѣчества, провозвѣстникомъ гуманности, страстнымъ поклонникомъ всего высокаго и нравственно-прекраснаго».

Набросавъ такимъ образомъ эти четыре характеристики, Бѣлинскій вводитъ въ это избранное общество гениальныхъ поэтовъ нашего маленькаго Пушкина. Вводя его, онъ произноситъ ту рекомендательную фразу, которую я выписалъ выше. Благоклонность этой рекомендательной фразы выставляетъ особенно рельефно то печально-комическое обстоятельство, что нашему маленькому Пушкину рѣшительно нечего дѣлать въ той знатной компаніи, въ которую онъ попалъ совершенно не кстати, по милости своего лукаваго доброжелателя, Бѣлинскаго. Нашъ маленький и миленькій Пушкинъ неспособенъ не только вставить свое слово въ разговоръ важныхъ господъ, но даже и понять то, о чемъ эти господа между собою толкуютъ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое Пушкинъ и что такое тѣ люди, съ которыми сводитъ его Бѣлинскій? Одинъ изъ этихъ людей — *глубокій сердцевѣдецъ*, другой — *смѣлый и гордый титанъ*, третій — *царь и властелинъ внутренняго міра*, четвертый — *трибунъ челоѣчества*. Какъ видите, народъ все чиновный! Все тузы литературной колоды и у каждаго туза своя собственная фізіономія. Ну, а Пушкинъ-то что-же такое? — Пушкинъ — художникъ? Вотъ тебѣ разъ! — Это что-же за рекомендація? А Шекспиръ, небось, не художникъ? Байронъ — не художникъ? Гете — не художникъ? Шиллеръ — не художникъ? — Кажется, всѣ они художники, но кромѣ того каждый изъ нихъ оказывается еще крупнымъ челоѣкомъ съ ясно-обозначеннымъ характеромъ и съ совершенно своеобразнымъ складомъ ума. Художественная виртуозность для каждаго изъ нихъ является только средствомъ выразить въ общепонятныхъ и привлекательныхъ формахъ то, что составляетъ внутреннее содержаніе, внутренній смыслъ, жизнь и силу ихъ энергическихъ и рѣзко-очерченныхъ личностей. Художественная виртуозность для нихъ то-же самое, что приличное платье для каждаго изъ насъ. Когда вы отправляетесь въ общество, вы конечно заботитесь о томъ, чтобы ваше платье было опрятно и неизорвано; но, разумѣется, вы отправляетесь въ общество не за тѣмъ, чтобы показать людямъ ваше новое платье. Бываютъ конечно и такіе господа, которые выѣзжаютъ въ свѣтъ именно съ этой послѣдней цѣлью, но такихъ господъ умные люди не уважаютъ и клеймятъ названіемъ праздношатающихся ша-

лопаевъ или ходячихъ въшалоковъ, или говорящихъ манекеновъ (*mannequin*). Еслибы, собирая свѣдѣнія о незнакомомъ вамъ челоѣкѣ, вы услышали-бы о немъ отъ самыхъ близкихъ его друзей только то, что онъ отменно-хорошо одѣвается, то вы безъ сомнѣнія подумали-бы о немъ, что онъ совершенно пустой, ничтожный и ограниченный челоѣкъ, потому что въ противномъ случаѣ его друзья обратили-бы вниманіе не на покрой его платья, а на особенности его ума и характера. Представьте-же себѣ, что отзывъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ совершенно равносильнъ этому отзыву близкихъ друзей о господинѣ, одѣтомъ по послѣдней модѣ. Пушкинъ — художникъ и больше ничего! Это значить, что Пушкинъ пользуется своей художественной виртуозностью, какъ средствомъ посвятить всю читающую Россію въ печальныя тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственнаго безсилія. Этотъ неотразимый выводъ особенно настоятельно запрашивается на вниманіе читателя именно потому, что Бѣлинскій свелъ своего *protégé* Пушкина съ такими людьми, которыхъ значеніе состоитъ совсѣмъ не въ безукоризненномъ покрое платья.

Было-бы очень неосновательно думать, что это сопоставленіе Пушкина съ тузами поэзіи было сдѣлано печально, или что Бѣлинскій самъ не предвидѣлъ тѣхъ опасныхъ послѣдствій, которыя можетъ повести за собою для литературной славы Пушкина это коварное сопоставленіе. Бѣлинскій на каждой страницѣ своихъ статей наноситъ Пушкину жестокіе удары, которые проходили и до сихъ поръ проходятъ незамѣченными только потому, что они облечены въ чрезвычайно почтительную форму и сопровождаются самыми глубокими реверансами. «И такъ какъ его назначеніе, — говоритъ Бѣлинскій о Пушкинѣ, — было завоевать, усвоить навсегда русской землѣ поэзію, какъ искусство, такъ чтобы русская поэзія имѣла потомъ возможность быть выраженіемъ всякаго направленія, всякаго созерцанія, не боясь перестать быть поэзіей и перейти въ рѣчованную прозу, — то естественно, что Пушкинъ долженъ былъ явиться художникомъ.» — Соскоблите съ этой фразы шелуху гегелизма и переведите ее съ высокаго эстетическаго языка на общепонятный русскій языкъ, и знаете-ли, что вы получите? — Получите вы то, что я сказалъ о Пушкинѣ въ третьей части «Реалистовъ», а именно то, что Пушкинъ — просто великій стилистъ и что усовершенствованіе русскаго стиха составляетъ его единственную заслугу передъ лицомъ русскаго общества и русской литературы, если только это усовершенствованіе дѣйствительно можно назвать заслугою.

Шелухой гегелизма я называю идею органическаго развитія, которая засѣла очень глѣ-

боку въ головѣ Вѣлинскаго и которую онъ, всѣми правдами и неправдами, старается провести даже тамъ, гдѣ она совершенно неприложима. Увлекаясь этой идеей, онъ видитъ что-то органическое и необходимое во всѣхъ стихотворныхъ шалостяхъ Батюшкова, Жуковского и Пушкина. Онъ полагаетъ, что каждый изъ этихъ господъ имѣлъ и исполнилъ свое особенное назначеніе, свою специальную миссію въ исторіи развитія русской поэзіи. Въ настоящее время такія добродушныя мечтанія, разумѣется, кажутся намъ странными и смѣшными. Мы знаемъ очень хорошо, что во времена Батюшкова, Жуковского и Пушкина русская мысль спала крѣпкимъ сномъ, а русская поэзія представляла собою даже не тепличное растение, а просто картонную декорацію. Мы знаемъ также, что всѣ эти господа, которымъ Вѣлинскій навязываетъ миссіи и назначенія, были просто quelques gentilshommes, которые, по выраженію госпожи Сталь, se sont occupés de littérature en Russie, точно такъ, какъ они могли s'occuper en Russie разведеніемъ борзыхъ собакъ или воздѣлываніемъ тюльпановъ, или плеваніемъ въ потолокъ. Появленіе комедіи «Горе отъ ума» нисколько не опровергаетъ моей мысли о совершенной мертвенности и искусственности тогдашней поэзіи. Напротивъ, оно даже подтверждаетъ мою мысль. «Горе отъ ума» стоитъ совершенно одиноко. Оно ничѣмъ не связано ни съ тѣмъ, что было до него, ни съ тѣмъ, что существовало рядомъ съ нимъ, ни съ тѣмъ, что было послѣ него. До него былъ Озеровъ, послѣ него былъ Кукольникъ; въ одно время съ нимъ блистали стихотворныя шалости Жуковского и Пушкина.—Итакъ, Грибоѣдовъ оказывается преемникомъ Озерова, предшественникомъ Кукольника и сподвижникомъ романтика Жуковского. Какое превосходное органическое развитіе! Какъ много заимствовалъ Грибоѣдовъ у Озерова и какъ много онъ далъ Кукольнику! И какъ легко догадаться, что Грибоѣдовъ и Жуковский были современниками!

Итакъ, шелуху гегелизма надо соскабливать съ сочиненій Вѣлинскаго. Толковать о значеніи Пушкина—напрасный трудъ. Та фраза, что Пушкинъ завоевалъ русской землѣ поэзію, или не имѣетъ никакого осязательнаго смысла, или заключаетъ въ себѣ тотъ очень скромный смыслъ, что Пушкинъ усовершенствовалъ русскій стихъ и осмѣлился заговорить въ стихахъ о *пивной кружкѣ* и о *бобровомъ воротникѣ*, между тѣмъ какъ его предшественники говорили только о *фіалахъ* и *гламидахъ*. Изъ этого слѣдуетъ очевидно то заключеніе, что Пушкинъ можетъ имѣть теперь только историческое значеніе, а для тѣхъ людей, которымъ некогда и не зачѣмъ заниматься исторіей литературы, не имѣетъ даже совсѣмъ никакого значенія.

Вѣлинскій очень ясно понималъ даже и это сокрушительное обстоятельство. «Какъ бы ни было,—говоритъ онъ,—но по своему возрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только, какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго.»

Если жизнью всякой истинной поэзіи сдѣлалось *страстное мышленіе, полное вражды и любви*, то очевидно поэзія Пушкина—уже не поэзія, а только археологическій образчикъ того, что считалось поэзіей въ старые годы. Мѣсто Пушкина—не на письменномъ столѣ современнаго работника, а въ пыльномъ кабинетѣ антикварія, рядомъ съ заржавленными латами и съ изломанными аркебузами. Вѣлинскій осмѣливается высказать даже и эту печальную истину. «Каждый умный человѣкъ,—говоритъ онъ,—вправѣ требовать, чтобы поэзія поэта или давала ему отвѣты на вопросы времени, или по крайней мѣрѣ исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ, неразрѣшимыхъ вопросовъ. Кто поэтъ про себя и для себя, пренебрегая толпу, тотъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній.» Ага! какой пассажъ! И все это съ глубокими реверансами и съ неизмѣнной ласковостью голоса! Видите, какой пакостный озорникъ этотъ Вѣлинскій, и какія онъ произноситъ дерзкія и зловѣщія пророчества? Если Вѣлинскій могъ говорить такіе вещи въ *сороковыхъ годахъ*, то меня, человѣка, пишущаго въ *шестидесятыхъ годахъ*, можно упрекать не въ томъ, что я говорю неслыханныя дерзости, а развѣ только въ томъ, что я надоедаю читателямъ повтореніемъ слишкомъ старыхъ истинъ.

IV.

Внутреннія противорѣчія, которыми переполнены статьи Вѣлинскаго, не должны возбуждать въ читателѣ ни изумленія, ни негодованія. Читатель долженъ постоянно помнить, что Вѣлинскій стоитъ на рубежѣ двухъ противоположныхъ міросозерцаній, и въ его могучей личности совершается мучительный переходъ къ тому строю понятій, съ которымъ даже до настоящей минуты еще не сужѣли освоиться и помириться солидные люди нашей литературы. Во время такого перехода, колебанія, ошибки и внутреннія противорѣчія оказываются совершенно неиз-

бѣжными даже для самыхъ сильныхъ и здоровыхъ умовъ. «Есть,—говоритъ Бѣлинскій,— всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина. Въ этомъ отношеніи, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себѣ чловѣка, и такое чтеніе особенно полезно для молодыхъ людей обоого пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юншества, образователемъ юнаго чувства.» — Въ концѣ своего труда о Пушкинѣ Бѣлинскій повторяетъ ту-же мысль въ слѣдующихъ словахъ: «придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство».

Сопоставляя эти изреченія Бѣлинскаго съ тѣми сужденіями того-же критика, которыя были приведены и разобраны мной въ концѣ предыдущей главы, мы получаемъ тотъ неожиданный и изумительный результатъ, что *«для молодыхъ людей обоого пола особенно полезно»* чтеніе такого поэта, котораго произведенія для нашего времени уже перестали быть поэзіей; далѣе, что поэтъ, который *«рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній, будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ»*, и наконецъ, что *«можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себѣ чловѣка, читая творенія такого поэта, который систематически уклоняется отъ отвѣта «ни тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго» и который поетъ про себя и для себя, презирая толпу.»* — Еслибы мы приняли слова Бѣлинскаго о благотворномъ вліяніи Пушкина на молодыхъ людей обоого пола за выраженіе прочно-установившагося убѣжденія, то мы принуждены были-бы назвать Бѣлинскаго законнымъ поборникомъ квіетизма и индифференцизма, тупымъ обожателемъ застоя и рутинны, и систематическимъ развратителемъ молодого поколѣнія. Дѣйствительно, для тѣхъ людей, въ которыхъ произведенія Пушкина не возбуждаютъ истерической зѣвоты,—эти произведенія оказываются вѣрнѣйшимъ средствомъ притупить здоровый умъ и усыпить чловѣческое чувство. Кому Пушкинъ безвреденъ, тотъ не станетъ его читать; а кому онъ понравится, того онъ испортитъ въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Испортитъ онъ не тѣмъ, что дастъ ложное направленіе силамъ молодого ума, а тѣмъ, что не дастъ имъ совсѣмъ никакого направленія, тѣмъ, что приучитъ *«молодыхъ людей обоого пола»* обходиться въ жизни безъ всякихъ убѣжденій и относиться съ воробынымъ легкомысліемъ къ самымъ серьезнымъ вопросамъ, поглощающимъ всѣ силы лучшихъ дѣятелей данной эпохи. Воспитывать молодыхъ людей

на Пушкинѣ—значитъ готовить изъ нихъ трутней или тѣхъ сибаритовъ, которые, по словамъ Гоголя, пресытившись грубыми и тяжелыми яствами, улаждаются жареными птичками величиной съ наперстокъ.

Чтобы доказать вѣрность моей мысли на отдѣльных примѣрахъ, я приступаю теперь къ анализу Пушкинской лирики. Изъ всей массы лирическихъ стихотвореній Пушкина, занимающихъ въ изданіи Анненкова до *шестисотъ* страницъ, я буду выбирать только тѣ, которыя считаются самыми лучшими, которыя заключаютъ въ себѣ поползновеніе къ мысли и которыя Бѣлинскій рекомендуетъ съ особеннымъ жаромъ молодымъ людямъ обоого пола.—Съ чего-бы начать? Возьмемъ наприимѣръ стихотвореніе «19 октября», написанное въ 1825 году и пользующееся полнѣйшимъ сочувствіемъ Бѣлинскаго.—19 октября, какъ извѣстно,—день открытія лицей, въ которомъ воспитывался Пушкинъ. Въ 1825 году Пушкину было 26 лѣтъ, и онъ пользовался уже громкой извѣстностью. — Итакъ, молодой и блестящій поэтъ, полный жизни и энергій, обращается къ своимъ бывшимъ лицейскимъ товарищамъ и бесѣдуетъ съ ними шестистопнымъ ямбомъ на пяти большихъ страницахъ. Какъ много чувства и мысли должно заключать въ себѣ это стихотвореніе! Подумайте въ самомъ дѣлѣ: чловѣкъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, уже познакомившійся съ волненіями и съ радостями жизни, уже провѣтрившій житейскимъ опытомъ юношескія мечты, уже отбросившій прочь воздушные замки, но сохранившій юношескую смѣлость мысли и свѣжесть чувства,—такой чловѣкъ, говорю я, вступаетъ въ разговоръ съ тѣми людьми, которые знали его, когда онъ былъ мальчикомъ, которые вмѣстѣ съ нимъ росли и развивались, вмѣстѣ съ нимъ мечтали о жизни, чертили роскошные планы и строили воздушные замки. Въ откровенномъ разговорѣ съ друзьями своего дѣтства поэтъ развернетъ конечно всю свою житейскую философію. Мы узнаемъ отъ него, какъ онъ смотритъ на свое прошедшее, чего онъ требуетъ отъ будущаго, какое мѣсто отводитъ онъ своей собственной дѣятельности въ общей толкотнѣ и суетѣ житейскихъ явленій. Вообще мы вправѣ ожидать отъ поэта серьезнаго слова: тѣ люди, къ которымъ онъ обращается, знаютъ его насквозь, слѣдовательно, онъ можетъ и долженъ быть съ ними совершенно откровененъ; онъ самъ дорожитъ дружбой и уваженіемъ этихъ людей, слѣдовательно онъ по всей вѣроятности чувствуетъ потребность высказаться передъ ними такъ, чтобы они получили полное и вѣрное понятіе объ его сложившейся и возмужалой личности. Тутъ нѣтъ мѣста легкомыслію и фразерству. Если Пушкинъ вообще способенъ смотрѣть серьезно и разумно на людей и на жизнь, то эта способность должна

непримѣнно проявиться въ стиховореніи: «19 октября 1825 года».

Въ первыхъ сорока-восьми строкахъ Пушкинъ говоритъ, что онъ проводитъ этотъ день одинъ въ своей «пустынной кельѣ», потомъ вспоминаетъ о товарищѣ, умершемъ въ Италіи, и о другомъ товарищѣ, служащемъ во флотѣ. Идей въ этихъ сорока-восьми строкахъ нѣтъ; есть только фактическія подробности и неопредѣленные выраженія дружелюбія и чувствительности. Вслѣдъ затѣмъ онъ говоритъ:

«Друзья мои, прекрасенъ нашъ союзъ!
Онъ, какъ душа, нераздѣлимъ и вѣченъ.
Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ
Срослася онъ подлѣ сѣнью дружныхъ Музъ.
Куда-бы насъ ни бросила судьбина
И счастье куда-бъ ни повело,—
Все тѣ-же мы: намъ цѣлый міръ—чужбина,
Отечество намъ—Царское Село.»

Случалось-ли вамъ, читатель мой, бывать на официальныхъ обѣдахъ, которые даются чиновниками въ честь благодѣтельнаго начальника? На такихъ обѣдахъ послѣ жаркого солидѣйшій изъ чиновниковъ обращается обыкновенно къ герою торжества съ неистово-хвалебной и безукоризненно-официальной рѣчью, которая также обыкновенно заставляетъ скромнаго героя уронить въ полный бокалъ шампанскаго такую-же безукоризненно-официальную слезу умиленія. Эта неизбежная рѣчь приписываетъ присутствующему герою такіе изумительные подвиги усердія и человѣколюбія, которыхъ онъ никогда не совершалъ и даже, по своему чину и положенію, никогда не могъ совершить. Я долженъ признаться, что дифирамбъ Пушкина въ честь прекраснаго союза, который нераздѣлимъ и вѣченъ, какъ душа, очень сильно напоминаетъ мнѣ тонъ безукоризненно-официальныхъ рѣчей, произносимыхъ послѣ жаркого во славу благодѣтельнаго начальства. Весь куплетъ состоитъ изъ гипербола. Какъ вамъ нравится напримѣръ тотъ возгласъ, что имъ цѣлый міръ—чужбина, и что ихъ отечество находится исключительно въ Царскомъ Селѣ? Если это не правда, то какая плоскость! Надо быть совершенно исковерканнымъ человѣкомъ, двойникомъ Онегина, чтобы говорить приторные и заведомо-ложные комплименты школьнымъ товарищамъ и друзьямъ дѣтства. Если даже тутъ нѣтъ мѣста искренности, то гдѣ-же она укроется и какіе тайники человѣческаго чувства останутся застрахованными отъ наплыва безукоризненной официальности?—А если Пушкинъ говоритъ правду, то какая узкость ума и какая дряблость чувства? Человѣкъ во всемъ мірѣ любить только то училище, въ которомъ онъ воспитывался. Человѣкъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ отверачивается отъ будущаго и утѣшается только воспоминаніями дѣтства. Хорошъ муж-

чина, хорошъ боецъ, хорошъ общественный дѣятель! А если онъ не мужчина, не боецъ, не общественный дѣятель, то какъ-же онъ можетъ быть замѣчательнымъ поэтомъ? Или одно изъ двухъ: или это плоскій и лживый комплиментъ, или росписка въ собственномъ инстинктѣ. Какъ то, такъ и другое одинаково недостойно умнаго и энергическаго человѣка.

Одинъ изъ послѣдующихъ куплетовъ показываетъ намъ ясно, какую цѣну мы должны давать гиперболамъ Пушкина. Вотъ его длинныя слова:

«Ты, Горчаковъ, счастливцевъ съ первыхъ дней
Хвала тебѣ! Фортуны блескъ холодной
Не измѣнилъ души твоей свободной:
Все тотъ-же ты для чести и друзей.
Намъ разный путь судьбой назначенъ строго
Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встрѣтились и братски обнялись.»

Поняли вы, за что Пушкинъ воздастъ за своему товарищу? За то, что этотъ товарищъ не отвернулся отъ него при нечаянной встрѣчѣ; за то, что онъ дружески поздоровался с нимъ. Значить, этотъ поступокъ былъ Пушкина неожиданностью, если онъ вѣнчалъ его въ заслугу своему бывшему товарищу. Значить, Пушкинъ ожидалъ, что одинъ изъ куплетовъ *прекраснаго союза, нераздѣлимаго, вѣчнаго, какъ душа*, при свиданіи съ другимъ членомъ того-же прекраснаго и душеподеготого союза можетъ посмотреть на этого друга члена съ высоты своего величія и протянуть для пожатія кончики двухъ пальцевъ, даже совсѣмъ ничего не протянуть и при этомъ спросить сквозь зубы: кого я имѣю удовольствіе видѣть?

Еслибъ я не былъ твердо убѣжденъ въ истинѣ пушкинскаго сердца и въ совершенной неспособности его ума къ лукавымъ сомнѣніямъ, то я подумалъ-бы, что, сравнивая *красный союзъ* съ душою, Пушкинъ этотъ лукавымъ сравненіемъ старается поколебать въ своихъ читателяхъ вѣру въ безсмертіе души. Всего восемь лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Пушкинъ разстался съ лицеемъ, и уже приходитъ въ восторгъ отъ того, *блескъ холодной фортуны не измѣнилъ свободной души* его товарища. Плохо-же вѣрить въ прочность того союза, который для пущей сладости, называется вѣчнымъ и нераздѣлимымъ, какъ душа. И какой-же это союзъ особенный *блескъ фортуны* могъ озадачить его товарища в теченіи восьми лѣтъ? Или-ли они въ это время дѣйствительно сойдись на очень далекое разстояніе?—Ничего не бывало. Пушкинъ никогда не былъ ничемъ, ни даже ничимъ. Что-же касалось до счастливца съ первыхъ дней, то видно, какъ-бы ни былъ онъ счастливъ,

онъ въ восемь лѣтъ не могъ сдѣлаться ни фельдмаршаломъ, ни министромъ, ни чрезвычайнымъ посломъ, ни генералъ-губернаторомъ. Значитъ, встрѣтившись на проселочной дорогѣ, Пушкинъ и *счастливцы* все не стояли на двухъ крайнихъ ступеняхъ общественной лѣстницы. Вся разница между ними могла состоять только въ томъ, что одинъ былъ двумя или тремя чинами старше другого. Союзъ *тѣмный и нераздѣлимый, какъ души*, оказался столь крѣпкимъ, что не лопнулъ даже отъ этого громаднаго различія: коллежскій советникъ великодушно объялъ титулярнаго, и Пушкинъ восклицаетъ съ восторгомъ: хвала тебѣ, ваше высокоблагородіе!

Затѣмъ Пушкинъ обращается къ другому, не столь чиновному члену *прекраснаго союза*. «Съ младенчества, говорить онъ ему,

духъ пѣсенъ въ насъ горѣлъ,
И дивное волненье мы познали;
Съ младенчества двѣ Музы къ намъ летали,
И сладокъ былъ ихъ лаской нашъ удѣлъ;
Но я любилъ уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пѣлъ для музъ и для души;
Свой даръ, какъ жизнь, я тратилъ безъ
вниманья,
Ты гений свой воспитывалъ въ тиши.

Служенье Музъ не терпѣть суеты;
Прекрасное должно быть величаво;
Но юность намъ советуетъ лукаво
И шумныя насъ радуютъ мечты...
Опомнися, но поздно! И уныло
Глядимъ назадъ, слѣдовъ не вида тамъ.
Скажи, Вильгельмъ *), не то-ль и съ нами
было,

Мой братъ родной по Музѣ, по судьбамъ?

Пора, пора! Душевныхъ нашихъ мукъ
Не стоитъ міръ, оставимъ заблужденья!
Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!

Если всю эту рюмованную болтовню переложить на простой и ясный прозаическій языкъ, то получится слѣдующій, весьма тощій и блѣдный смыслъ: — мы съ тобою оба пописывали стихи; я отдавалъ свои стихи въ печать, а ты своихъ не отдавалъ; теперь и я перестану печатать мои стихотворенія. — Почему Пушкину пришла въ голову эта послѣдняя фантазія и почему онъ оставилъ ее безъ исполненія — этого недоумѣвающей читатель никогда не узнаетъ. Что значать громкія фразы о служеніи Музъ, которое не терпѣть суеты, и о прекрасномъ, которое должно быть величаво, — это также остается неизвѣстнымъ. Вѣришь всего то, что эти фразы ровно ничего не значать и изображаютъ собою стилистическія упражненія и риторическія амплификаціи. Какія душевныя муки принялъ на себя Пушкинъ изъ любви къ міру и чѣмъ провинился передъ Пушкинымъ неблагодарный міръ — объ этомъ также молчатъ исто-

рія. Надо полагать, что подъ благозвучнымъ именемъ душевныхъ мукъ здѣсь подразумѣвается многотрудное исканіе рюмы. Что-же касается до сокрытія жизни подъ сѣнь уединенія, то этой меланхолической фразой очевидно плѣнился и вдохновился Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, приглашавшій прелестную городничиху удалиться вмѣстѣ съ нимъ подъ сѣнь струй.

Перехожу къ послѣднимъ двумъ куплетамъ, которые особенно понравились Бѣлинскому. — «Пируйте-же, говорить Пушкинъ,

пока еще мы тутъ!

Увы, нашъ кругъ часъ отъ-часу рѣдѣетъ,
Кто въ гробѣ спитъ, кто дальній сиротѣтъ,
Судьба глядитъ (?), мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему...
Кому-жъ изъ насъ подъ старость день лицея
Торжествовать придется одному?

Несчастный другъ! Средь новыхъ поколѣній
Докучный гость и лишний, и чужой,
Онъ вспомнитъ насъ и дни соединенія,
Закрывъ глаза дрожащею рукой...»

Выписавъ эти строки, Бѣлинскій разсуждаетъ о нихъ или, вѣрнѣе, восторгается ими слѣдующимъ образомъ: «Какая глубокая и вмѣстѣ съ тѣмъ свѣтлая скорбь! Каждая мысль сама по себѣ такъ исполнена поэзіи, независимо отъ формы, вполне художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! (Гм! А *судьба глядитъ*?) Это — не метафора?) Этотъ пережившій всѣхъ друзей своихъ другъ, докучный, лишний и чужой гость среди новыхъ поколѣній, дрожащей рукой закрывающій глаза при воспоминаніи о своихъ друзьяхъ — это не просто поэтическое стихи, это — поэтическая картина.» А по моему, эта *поэтическая картина* составляетъ именно самое крупное пятно во всемъ стихотвореніи, которое, по правдѣ сказать, есть не что иное, какъ сплошной рядъ болѣе или менѣе крупныхъ пятенъ. Эта *поэтическая картина* показываетъ намъ особенно наглядно жалкую неспособность автора возвыситься до разумнаго пониманія жизни. Авторъ думаетъ повидимому, что новыя поколѣнія будутъ уже не людьми, а орангутангами, и что вслѣдствіе этого «*несчастный другъ*» непременно долженъ оказаться среди этихъ новыхъ поколѣній *докучнымъ, лишимъ и чужимъ гостемъ*.

Автору было 26 лѣтъ, когда онъ писалъ свое стихотвореніе; рисуя поэтическую картину несчастнаго друга, закрывающаго глаза дрожащею рукою, онъ захватывалъ впередъ лѣтъ на сорокъ. И между тѣмъ, хватая такъ далеко впередъ, онъ не умѣетъ указать *несчастному другу* никакого предохранительнаго средства противъ того печальнаго положенія, которое онъ ему пророчитъ въ далекомъ будущемъ. Видя впе-

*) Кюхельбекеръ.

реди разладъ съ новыми поколѣніями и холодное одиночество, Пушкинъ даже не задаетъ себѣ вопроса о томъ, есть-ли возможность избѣгнуть этого печальнаго разлада и избавиться отъ этого тягостнаго одиночества. Онъ безъ малѣйшаго размышленія принимаетъ разладъ и одиночество за роковую необходимость. Конечно тѣмъ людямъ, для которыхъ *«цѣлый міръ — чужбина и отечество — Царское Село»*, дѣйствительно на старости лѣтъ придется непременно закрывать глаза дрожащею рукою. Но имъ за это надо будетъ пенять на самихъ себя, а никакъ не на новые поколѣнія. Вольно-же было этимъ людямъ смотрѣть на весь міръ, какъ на чужбину, и сосредоточивать въ самомъ тѣсномъ и ограниченномъ кругу всѣ свои симпатіи и стремленія. Еслибы они съ ранней молодости умѣли полюбить всѣми силами своего существа тѣ идеи, въ которыхъ заключается весь смыслъ и весь интересъ текущаго историческаго періода; еслибы они въ зрѣломъ возрастѣ умѣли съ наслажденіемъ прилагать всѣ свои способности къ добычанію теоретическихъ истинъ или къ проведенію добытыхъ истинъ въ дѣйствительную жизнь; еслибы они состарѣлись и посѣдѣли въ этихъ общепользовательныхъ трудахъ, — тогда цѣлый міръ былъ-бы ихъ отечествомъ, тогда липейская годовщина не имѣла-бы для нихъ мистически-торжественнаго значенія, тогда преждевременная смерть двухъ-трехъ товарищей не приводила-бы ихъ въ отчаяніе и тогда новые поколѣнія были-бы для нихъ не дикими орангутангами, а молодыми, нѣжными и почти-тельными друзьями, среди которыхъ старые и утомленные работники съ законнымъ удовольствіемъ отдыхали-бы отъ своихъ честныхъ и полезныхъ трудовъ. Такіе старики, какъ Ньютонъ, Вольтеръ, Франклинъ, Александръ Гумбольдтъ, никогда не могли чувствовать себя докучными, лишними и чужими гостями. Въ наше время также много такихъ стариковъ, которыхъ жизнь драгоцѣнна для всего образованнаго міра и которые, по своей кипучей энергіи и по своей страстной любви ко всему живому, могутъ смѣло потягаться съ любымъ юношей. И эту свѣтлую и радостную старость можетъ приготовить себѣ каждый человѣкъ, хотябы онъ былъ одаренъ очень обыкновенными умственными способностями. Для этого ему надо только постоянно и добросовѣстно, по мѣрѣ силъ своихъ, жить и работать въ кругу тѣхъ идей, которыми увлечены лучшіе люди даннаго общества. Для этого ему надо только дѣлать какъ разъ противное тому, что совѣтуетъ Пушкинъ, желающій устранить суету изъ служенія Музъ, отказаться отъ душевныхъ мукъ и скрыть жизнь подъ сѣнью уединенія. Благо-разумные совѣты Пушкина, разумѣется, превращаютъ живого и сильнаго человѣка въ ходячую окаменѣлость и уже съ 26-лѣтняго возраста

воспитають въ здоровомъ мужчинѣ вѣжливаго и брызгливаго старика, который не можетъ закрывать себѣ глаза дрожащею рукою, а отчасти для того, чтобы проливать безполезныя и бессмысленныя слезы надъ невозвратными прошедшими, а отчасти, и даже преимущественно для того, чтобы не видѣть отвратительныхъ молодыхъ орангутанговъ. «Но, — продолжаетъ Вѣлинскій, — не въ духѣ Пушкина новиться на скорбномъ чувствѣ: словно ты не знаешь, что такое музыкальный аккордъ, а считаешь пѣсню этими полными бодраго чувства стихами:

«Пускай-же онъ съ отрадой хоть печаль
Тогда сей день за чашей проведетъ,
Какъ нинѣ я, затворникъ вашъ опальный
Его провелъ безъ горя и заботъ.»

Пушкинъ, — говоритъ Вѣлинскій, — не судитъ побѣды надъ собой; онъ вырываетъ изъ себя часть отнятой у него отрады.

Переведите торжественный музыкальный аккордъ на общепотребительный бытовой языкъ и вы получите слѣдующую очень удобоисполнимый совѣтъ: «Несчастье! Когда ты останешься одинъ, то займись нализаться за обѣдомъ до полноты, а послѣ обѣда завались спать до слѣдующаго утра». — Если несчастный другъ твердо запомнитъ совѣтъ великаго дождика, то можно сказать навѣрное, что онъ усердно прилагая этотъ совѣтъ къ дѣлу, несчастный другъ приобрететъ себѣ бодрую жизнь, который и будетъ изображать часть отрады, вырванную имъ у его судьбы. Еслибы такіе полезные совѣты предложены топорной прозой, Вѣлинскій сомнѣнія назвалъ-бы такіе совѣты вошлостью. Но эти совѣты втиснуты въ поэтическія строчки, и Вѣлинскій называетъ ихъ «торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ». Вѣлинскій въ этихъ строчкахъ даже «доброе чувство». Я, напротивъ, вижу въ нихъ во-первыхъ умственную лѣнь, а во-вторыхъ всю напущенность, шизаго и неискренняго чувства. Умственная лѣнь состоитъ въ томъ, что Пушкинъ не смѣетъ смотрѣть прямо и спокойно на печальную картину, которую онъ нарицаетъ своимъ несчастнымъ другомъ. Поставивъ своего несчастнаго друга въ скверное положеніе, Пушкинъ самъ не можетъ найти выхода изъ этого положенія и въ то же время не осмѣливается сознаться собою и передъ читателями въ томъ, что считаетъ это положеніе безвыходнымъ. Онъ на-скоро отыскиваетъ ложный выходъ, выдаетъ его за истинный, хотя самъ онъ знаетъ, что это ложь. Всякой развѣ всѣмъ своей колоссальной неразвитости такъ не можетъ думать, что рюмка водки и стаканъ шампанскаго дѣйствительно

яютъ полезное лекарство противъ глубокаго горченія.

Напущенность и неискренность чувства обнаживаются именно въ томъ обстоятельстве, что Пушкинъ рѣшается поднести *несчастному другу* рюмку водки. Подумайте самъ дѣлѣ: развѣ вы осмѣлитесь поступить такимъ образомъ съ тѣмъ человекомъ, котораго вы уважаете, котораго огорченіе вы охотѣе понимаете и сами глубоко прочувствовали? Не покажется-ли вамъ въ такомъ случаѣ рюмка водки нелѣпой и дерзкой профанаціей къ чувству и той личности, съ которыми вы вѣдете дѣло? Но для Пушкина *несчастный другъ* есть лицо чисто фантастическое, придуманное только для того, чтобы закончить разсказъ пѣсней эффектной картиной. Поэтому Пушкинъ на самомъ дѣлѣ нисколько не сочувствуетъ фантастическому горю этого фантастическаго лица. Поэтому Пушкинъ обходится съ *несчастливымъ другомъ* самымъ нахальнымъ образомъ. Ничего, молъ, старый чортъ; хлебнишь малую толику—и всю твою печаль какъ рукой сниметъ. Съ такимъ циническимъ неуваженіемъ, съ такимъ возмутительнымъ легкомысліемъ конечно никогда не отнесутся къ горченію бѣднаго, одинокаго старика тѣ молодые и свирѣпыя орангутанги, отъ которыхъ старикъ будетъ закрываться дрожащею рукою.

Кстати объ орангутангахъ. Изъ разобранныхъ стиховъ Пушкина читатели видятъ ясно, что мысль о необходимомъ разладѣ между различными поколѣніями существовала въ нашемъ обществѣ задолго до появленія реальной критики и базаровскаго типа. Суровая и злобная реальная критика не только не старается усилить этого разлада, а напротивъ того указываетъ единственное вѣрное средство противъ той общественной болѣзни, которую кроткій любвеобильный Пушкинъ совѣтуетъ заливать водкой и шампанскимъ. Реальная критика доказываетъ, что любовь къ идеѣ можетъ образовывать неразрывную связь между различными поколѣніями. Пушкинъ, напротивъ того, не имѣетъ никакого понятія ни объ идеѣ, ни о связывающей любви. Читатель видитъ такимъ образомъ, что весь теперешній разладъ заготовленъ нашими прошедшимъ, и что намъ приходится теперь сводить непріятные и убыточные счеты съ тѣмъ, что выросло и укрѣпилось задолго до нашего появленія на свѣтъ, во время обаятельнаго господства чистаго искусства, гегелевской философіи и тѣхъ историческихъ условій, которыя обнаруживаютъ всегда и вездѣ трогательную солидарность съ этими милыми явленіями умственной жизни.

V.

Пушкинъ неоднократно выражалъ свой взглядъ на призваніе поэта. Поэтъ разгова-

ривается съ книгопродавцемъ, потомъ съ червью, потомъ съ другомъ и во всѣхъ этихъ разговорахъ выказываетъ много самыхъ диковинныхъ штукъ, имѣющихъ претензію быть мыслями. Кромѣ того Пушкинъ не разъ обращается къ поэту со стороны и усматриваетъ въ немъ то орла, то эхо, то жреца. Видно, что Пушкину было очень пріятно позировать передъ зеркаломъ и примѣривать на себѣ разные риторическіе наряды. Такъ какъ эти бесѣды съ поэтомъ и о поэтѣ, то-есть съ собой и о себѣ, составляютъ все-таки самую глубокомысленную часть пушкинской лирики, то я разберу эти бесѣды одну за другой въ хронологическомъ порядкѣ. Въ стихотвореніяхъ 1824 года находится «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ». Книгопродавцу желательно купить у поэта его произведеніе, а поэту по всей вѣроятности желательно взять за это произведеніе какъ можно дороже. Желанія обѣихъ заинтересованныхъ сторонъ одинаково естественны и законны, и поэту повидимому просто слѣдовало-бы торговаться съ книгопродавцемъ такъ, какъ торгуются вообще всякіе поэты, прозаики и простые смертные. Но поэту, выведенному Пушкинымъ и составляющему по всей вѣроятности идеаль Пушкина, хочется сначала помолиться, и поэтому онъ душистъ несчастнаго книгопродавца длиннѣйшими монологами, неимѣющими никакого отношенія ни къ книжной торговлѣ, ни къ цѣнѣ того товара, который поэтъ держитъ въ своемъ портфелѣ. Книгопродавецъ, разумѣется, слушаетъ болтливаго «любимца Музъ и Грацій» съ почтительнымъ вниманіемъ и отвѣчаетъ на его монологи приличными комплиментами, потому что предвидитъ отъ его лиры много добра или, проще, надѣется зашибить на его новой поэмѣ порядочный барышъ. Конечно поэтъ прежде всего старается заявить, что ему тяжело и больно продавать свое вдохновеніе. Когда книгопродавецъ говоритъ ему: «стишки любимца Музъ и Грацій мы вамъ рублями замѣнимъ», тогда поэтъ вздыхаетъ и притомъ столь глубоко, что книгопродавецъ изъ вѣжливости принужденъ изъяснить свое участіе и осведомиться о причинѣ такого вздоха. Поэту только того и нужно было. Придравшись къ вопросу книгопродавца, онъ немедленно приступаетъ къ изготовленію монологовъ:

«Я былъ далеко,
И время то воспоминалъ,
Когда, надеждами богатый,
Поэтъ безпечный, я писалъ
Изъ вдохновенія, не изъ платы.
Я видѣлъ вновь пріюти скалъ...»

Ну, и такъ далѣе; начинаются картины природы, потомъ оказывается, что какой-то демонъ обладалъ его играми и шепталъ ему дивные звуки, что его голова была полна тяжкимъ пламеннымъ недугомъ, что его соперникомъ въ

гармонія былъ шумъ лѣсовъ и буйный вихрь, и живой напѣвъ иволги; что онъ не унижалъ постыднымъ торгомъ сладостныхъ даровъ музы и не хотѣлъ дѣлиться съ толпою пламеннымъ восторгомъ.

Видя, что поэтъ напираетъ на какую-то постыдность торга, и предчувствуя, съ содроганіемъ сердца, въ этомъ возвышенномъ разговорѣ коварѣйшій маневръ, направленный къ тому, чтобы набить цѣну, которая очевидно должна будетъ покрыть собою не только трудъ поэта, но еще и *позоръ* торговой сдѣлки, — несчастный книгопродавецъ, не кстаті осведомившійся о причинѣ вздоха, старается показать своему собесѣднику лицевую сторону медали и заговариваетъ о славѣ, которая, по его мнѣнію, замѣнила поэту «мечтанья тайнаго отрады». Но поэтъ твердо рѣшился ободрать книгопродавца, какъ линку, и поэтому относится къ славѣ очень сурово. «Что слава? спрашиваетъ онъ; шопотъ-ли чтеца? Гоненье-ль низкаго невѣжды? Иль восхищеніе глупца?»

Тутъ поэтъ повидимому самъ признается въ томъ, что только глупецъ можетъ восхищаться его произведеніями. Не будемъ съ нимъ спорить. Книгопродавецъ, изъ чувства самосохраненія, никакъ не хочетъ однако согласиться съ тѣмъ, что слава — звукъ пустой. Онъ напоминаетъ поэту, что «сердце женщины славы проситъ: для нихъ пишите».

Поэтъ, продолжая жеманиться и кривляться, увѣряетъ, что ему и до женщины нѣтъ никакого дѣла, тѣмъ болѣе, что для него это не диковинка. Тутъ онъ никакъ не можетъ утерпѣть, чтобы не намекнуть книгопродавцу о своихъ побѣдахъ и говорить:

«Глаза прелестные читали
Меня съ улыбкою любви;
Уста волшебныя шептали
Мнѣ звуки сладкіе мои.»

Но мнѣ, дескать, это все нипочемъ.

«Нечисто въ нихъ воображенье,
Не понимаетъ насъ оно,
И, призракъ Бога, вдохновенье
Для нихъ и чуждо, и смѣшно.»

Значитъ, не стоитъ съ ними и связываться. Но книгопродавецъ является галантерейнымъ защитникомъ прекраснаго пола, у котораго оказалось такое пакостное воображеніе, и спрашиваетъ:

«Ужели вы одна не стоите
Ни вдохновенья, ни страстей
И вашихъ пѣсень не присвоите
Всесильной красотѣ своей?»

Поэтъ отвѣчаетъ весьма пространно и восторженно, что такая отмиѣнно-хорошая барыня, безъ нечистаго воображенія, дѣйствительно существуетъ, но что къ сожалѣнію она его знать не хочетъ. Книгопродавцу въ это время уже до смерти надоѣло выслушивать и

почтительно одобрять безтолковые мнѣнія. Поэтому онъ торопится придти къ практическому заключенію и говорить:

«Теперь, оставя шумный свѣтъ
И Музъ, и вѣтреную моду,
Что-жъ изберете вы?»

Поэтъ отвѣчаетъ: «Свободу!» Это неожиданное рѣшеніе можетъ показаться читателю резчуръ храбрымъ и пожалуй даже невиннымъ. Но читатель долженъ помнить, вѣдь эта пушкинская свобода — свобода смирная и неприхотливая, и даже незамѣтная въ томъ смыслѣ, что ее можно принять за что-то вовсе непохожее на свободу. Пушкинъ во многихъ своихъ стихотвореніяхъ проявляетъ свободу, но это обстоятельство никоимъ образомъ не должно вредить его репутаціи въ зачетъ солидныхъ и добродѣтельныхъ качествъ. Книгопродавецъ очень хорошо понимаетъ, какой свободѣ тутъ идетъ рѣчь, и вслѣдствіе этого очень основательно замѣчаетъ поэту:

«Въ сей вѣкъ желѣзный
Безъ денегъ и свободы нѣтъ.»

Вы, дескать, сначала извольте мнѣ проявить вашу поэмочку, а потомъ ложитесь на диванъ, задерите ноги кверху и плюйте въ потолокъ, то есть, наслаждайтесь вашей свободой до поры, пока не истратите всѣхъ полученныхъ денегъ. Поэту повидимому тоже надоѣло вѣдаться и пустословить. Онъ отвѣчаетъ книгопродавцу прозой: «Вы совершенно правы. Вотъ вамъ моя рукопись. Условимся.» — и оканчивается вся пьеса.

Не знаю, стоитъ-ли эта пьеса выше или ниже критики, но знаю навѣрное, что она стоить выше критики, потому что въ ней нѣтъ ни одной мысли, — ни такой, при которой можно было-бы спорить, — ни такой, при которой можно было бы согласиться. Во всемъ разговорѣ нѣтъ ничего, кромѣ непроходимаго и бессмысленнаго словія, и все это пустословіе выставляетъ въ самомъ мизерномъ видѣ. Онъ оказывается похожимъ на старую кокетку, которой до того хочется согрѣшить, но которая при непремѣнно желаетъ, чтобы ее вовлекли въ грѣхъ почти насильно. Если Пушкинъ смотрѣлъ на своего поэта съ уваженіемъ, то онъ хотѣлъ внушить это чувство своимъ телямъ, то мнѣ остается только подивиться, какъ проникательности Пушкина, такъ искусству. Если-же Пушкинъ хотѣлъ дѣйствительно написать сатиру на поэтовъ, то онъ замѣтитъ, что эта сатира длинна, скучна и не даетъ полнымъ отсутствіемъ остроумія.

Въ 1827 году Пушкинъ написалъ стихотвореніе: «Поэтъ». Вотъ оно:

«Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта

Онъ малодушно погруженъ;
 Молчить его святая лира,
 Душа вкушаетъ хладный сонъ,
 И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
 Быть можетъ, всѣхъ ничтожней онъ.
 Но лишь божественный глаголъ
 До слуха чуткаго коснется,
 Душа поэта встрепенется,
 Какъ пробудившійся орелъ.
 Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
 Людской чуждается молвы;
 Къ погамъ народнаго кумира
 Не клонитъ гордой головы;
 Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
 И звуковъ, и смятенія полтъ,
 На берега пустынныхъ волнъ,
 Въ широкошумныя дубровы...

Хотя Бѣлинскій и превозноситъ Пушкина за то, что Пушкинъ замѣнилъ *фіалы пыльными пусками*, однако нельзя не замѣтить, что и поэтъ до самаго конца своей жизни не отдѣлался вполне отъ стараго и совершенно измышленнаго мнѳологическаго языка. Этотъ языкъ невыносимъ для тѣхъ писателей, которые чувствуютъ въ себѣ потребность высказывать обществу какія-нибудь опредѣленные и ясно-извѣданные мысли. Но для тѣхъ писателей, которые, подобно пушкинскому поэту, полны не мыслей, а только *звукѡвъ и смятенія*, мнѳологическій языкъ составляетъ незамѣнимое сокровище, потому что разные Аполлоны, Музы, раціи, Киприды, Парки даютъ такимъ писателямъ, кромѣ богатаго запаса подставныхъ именъ, полную возможность не высказывать въ своихъ стихахъ ровно ничего, притворяясь въ тоже время, будто они высказываютъ чрезвычайно много. Въ стихотвореніи «Поэтъ» мнѳологическій языкъ оказалъ Пушкину драгоценную услугу. Попробуйте выгнать изъ этого стихотворенія Аполлона, и все стихотвореніе окажется несуществующимъ, потому что тогда немедленно откроется вся его бессмысленность. Въ этомъ стихотвореніи поэтъ приведенъ въ зависимость отъ какой-то верховной, таинственной власти, неимѣющей никакихъ необходимыхъ отношеній къ интересамъ и волненіямъ живыхъ людей. Аполлонъ призываетъ поэта къ священной жертвѣ, божественный глаголъ касается до чуткаго слуха — это конечно только поэтическіе образы или, вѣрнѣе, аллегорическіе обороты речи, но именно только эти аллегорическіе обороты могутъ до нѣкоторой степени заслонить, какъ отъ самого автора, такъ и отъ читателя, овершенную несостоятельность основного мотива. Называя Аполлономъ ту силу, которая обуждаетъ поэта творить, Пушкинъ, однимъ этимъ риторическимъ маневромъ, приписываетъ той силѣ совершенно самостоятельное существованіе. По теоріи Пушкина поэтъ творитъ не тогда, когда онъ взволнованъ такъ или иначе, впечатлѣніями, воспріятыми изъ окружающей жизни, то есть изъ сношеній съ людьми, изъ созерцанія природы или изъ чтенія книгъ, а

тогда, когда на него, безъ всякой посторонней и видимой причины, находитъ какое-то особенное, священное бѣшенство, во время котораго онъ бѣгаетъ по берегамъ пустынныхъ волнъ и по широкошумнымъ дубровамъ. Вся теорія, очень любезная многимъ поэтамъ и превращающая поэта въ совершенно исключительное существо, непохожее на обыкновенныхъ людей, выразилась чрезвычайно ярко въ той фикціи, что Аполлонъ требуетъ поэта къ священной жертвѣ. Эта фикція оказывается непереводаемой на обыкновенный человѣческій языкъ, потому что въ дѣйствительной жизни нѣтъ такого процесса, который соответствовалъ-бы призыванію поэта къ священной жертвѣ. Уничтожая Аполлона, то есть обособленіе и олицетвореніе вдохновляющей силы, вы уничтожаете не только внѣшнюю форму, но также и все внутреннее содержаніе пушкинской пьесы.

Въ дѣйствительности, вся поэтическая дѣятельность всякаго поэта зависитъ безусловно, во-первыхъ, отъ его организма, то есть отъ склада его ума и характера, а во-вторыхъ, — отъ того общества, въ которомъ онъ живетъ. Стало бытъ, въ дѣйствительности между личностью поэта и его дѣятельностью никогда не бываетъ и не можетъ быть того рѣзкаго противорѣчія, которое такъ эффектно воспѣваетъ Пушкинъ. Если самъ поэтъ ничтоженъ и если онъ живетъ среди ничтожныхъ дѣтей міра, то и произведенія его окажутся вполне ничтожными. Въ дѣйствительности роль *божественнаго глагола* могутъ играть, въ отношеніи къ поэту, только впечатлѣнія окружающей жизни. Но этотъ *божественный глаголъ* не умолкаетъ ни на одну минуту; жизнь постоянно волнуется, такъ или иначе, умъ и чувство того человѣка, который способенъ вглядываться въ ея явленія и понимать ея выразительный, но не для всѣхъ одинаково доступный языкъ. Стало бытъ, если человѣкъ обладаетъ *чуткимъ слухомъ* и если душа этого человѣка способна *встрепенуться, какъ пробудившійся орелъ*, слышавъ *божественный глаголъ* жизни, то этому человѣку некогда будетъ *малодушно погружаться въ заботы суетнаго свѣта* и этой душѣ некогда будетъ *вкушать хладный сонъ*. Душа, способная слышать и понимать *божественный глаголъ* жизни, будетъ слушать его постоянно и слѣдовательно будетъ постоянно находиться въ страстно напряженномъ положеніи бодрствующаго орла.

На это можно возразить, что человѣческіе нервы не выносятъ постояннаго напряженія. Это справедливо. Поэтъ, какъ и всякій другой человѣкъ, нуждается въ отдыхѣ, но отдыхъ, то есть полоса бездѣйствія, необходимая для возстановленія потраченныхъ силъ, не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ *малодушнымъ погруженіемъ въ суетныя заботы свѣта*. Это

малодушное погруженіе для каждаго умнаго и замѣчательнаго человѣка бываетъ обыкновенно гораздо изнурительнѣе, чѣмъ самый напряженный процессъ творчества. Во время отдыха поэтъ, изслѣдователь или какой-нибудь другой общественный дѣятель откладываютъ въ сторону трудъ, но они все-таки постоянно остаются на той высотѣ умственнаго развитія, на которую они сумѣли поставить себя всѣмъ процессомъ своей трудовой жизни. Если поэтъ искренно презираетъ дряблость и мелочность того общества, среди котораго ему приходится жить, то это презрѣніе будетъ оставаться въ его душѣ даже и тогда, когда оно не будетъ служить ему тѣмою и канвою для стихотвореній или для романовъ. Если изслѣдователь сумѣлъ отдѣлаться посредствомъ своихъ научныхъ занятій отъ различныхъ предрасудковъ, то онъ не подчинится этимъ предрасудкамъ въ то время, когда будетъ отдыхать отъ своихъ работъ. Если членъ парламента глубоко проникнуть извѣстными политическими стремленіями, то онъ не откажется отъ этихъ стремленій тогда, когда превратится на нѣсколько недѣль въ беззаботнаго туриста или въ скромнаго сельскаго джентльмена. Спящій атлетъ все-таки остается атлетомъ, то-есть не превращается въ плюгаваго и безсильнаго карлика, хотя, разумѣется, онъ не можетъ совершать во время сна никакихъ подвиговъ силы, ловкости и мужества.

Бываютъ конечно минуты, когда *божественный глаголъ* жизни раздается особенно громко, такъ что становится вразумительнымъ даже для тѣхъ мелкихъ, легкомысленныхъ или тупоумныхъ людей, которые не замѣчаютъ или не понимаютъ его въ обыкновенное время. Въ жизни человѣческихъ обществъ бываютъ такіа торжественныя или критическія минуты, когда все общество, сверху до низу, чувствуетъ необходимость сосредоточить всѣ свои силы для ожесточенной борьбы съ внѣшними или съ внутренними врагами. Въ такіа минуты появляются обыкновенно цѣлыя тучи поэтовъ, порожденныхъ тревожнымъ настроеніемъ общества. Въ 1854 году такіе скороспѣлые поэты сулили всевозможныя бѣдствія французамъ, англичанамъ и туркамъ. Въ 1858 году такіе-же точно поэты стыдили насъ тѣмъ, что мы очень долго спали, и увѣряли насъ честью, что теперь мы проснулись. Нѣтъ сомнѣнія, что и крымская война, и всѣ послѣдовавшія за нею преобразованія составляютъ очень знаменательную эпоху въ исторической жизни нашего общества; но нѣтъ также ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что всѣ поэты, ругавшіе лорда Пальмерстона и толковавшіе о нашемъ возрожденіи, не произвели ровно ничего, кромѣ утомительнаго жужжанія. *Божественный глаголъ* жизни дошелъ до нихъ тогда, когда его уже услышали и по-

чувствовали всѣ классы русскаго общества. Поэты не сдѣлали ровно ничего для развѣянія тѣхъ событій, которыми было пораженіе общества; продолженіи нѣсколькихъ поэты наигрывали только различныя рѣшанія на тѣ темы, которыя были даны настоящими руководителями общественнаго знанія.

Значитъ, хотя души мелкихъ людишекъ, образовавшихъ себя поэтами, дѣйствительно испенились отъ громкихъ нотъ *божественнаго глагола*, однако эти души оказались все-таки не *пробудившимися орлами*, а только сильными и пискливыми трясогузками. И участь всегда и вездѣ постигаетъ тѣхъ людей, которые стремятся быть поэтами, не умѣя желая предварительно сдѣлаться мыслящими людьми и честными гражданами. Такіе господа разумѣется, готовы превознести до небесъ стихотвореніе Пушкина, которое я разбираю настоящую минуту. Блестящія фигуры и фразы этого стихотворенія предоставляютъ каждому рѣшоплету полнѣйшее право быть пошлымъ дуракомъ и отъявленнымъ негодяемъ; эти фигуры и фразы даютъ ему даже драгоценную возможность рисоваться своей глупостью и нѣмъ негодяйствомъ. — Другъ любезный, слышите вы у такого господина, зачѣмъ баклуши бьешь? — Затѣмъ, mon cher, отвѣчаю, онъ вамъ съ благородной гордостью, что Аполлонъ не требуетъ меня къ священной жертвѣ. А когда-жъ онъ тебя потребуетъ? — А я чѣмъ знаю! Поди спроси у Аполлона. — А зачѣмъ ты пьянствуешь? — Затѣмъ, что душа вкушаетъ холодный сонъ. — А взятки зачѣмъ берешь? — Затѣмъ, что я малодушно погруженъ въ заботы суетнаго свѣта. — А зачѣмъ ты своего вице-директора въ плечико цѣлуешь? — тѣмъ, что я бытъ-можетъ ничтожнѣе всѣхъ ничтожныхъ дѣтей міра. — Да вѣдь все братецъ ты мой, очень скверно. — Нѣсколько скверно. Все это доказываетъ только, что самый настоящій поэтъ, что душа моя встретится, какъ пробудившійся орелъ, что у меня зазвенитъ въ ушахъ, и что я убѣгу отъ моего вице-директора въ широкошумныя дубровы. Скатертью тебѣ дорога, любезный другъ!

VI.

Въ 1828 году Пушкинъ написалъ стихотвореніе «Чернь», въ которомъ, по словамъ Вѣлинскаго, заключается его «художническое profession de foi». Выдержками изъ этого стихотворенія любители чистаго искусства обыкновенно подкрѣпляютъ свои умозрѣнія. Я привожу это стихотвореніе вполнѣ, потому что въ немъ каждое слово есть драгоценный перлъ безпристрастной оцѣнки Пушкина.

«Поэтъ по лирѣ вдохновенной
 Рукой разсыпанной бряцалъ.
 Онъ пѣлъ, а хладный и надменный,
 Кругомъ народъ непосвященный,
 Ему безсмысленно внималъ.»

Лири и *тѣни* составляютъ также обломки того стараго мифологическаго балласта, съ которымъ никакъ не можетъ разстаться Пушкинъ. Превращая поэта въ жреца Аполлона, давая ему въ руки *вдохновенную лиру*, заставляя его *пѣть*, Пушкинъ этими ветхими побрякушками глубоко искажаетъ не только внѣшній видъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и внутренній смыслъ того явленія, которое въ наше время называется поэзіей. Современный поэтъ—не *тѣни*, а *писатель* и продавецъ исписанной бумаги. Современная публика—не *слушатели*, а *читатели* и покупщики печатной бумаги. Между поэтомъ и публикой являются посредниками цѣлыя обширныя отрасли промышленности. Произведеніе поэта проходитъ черезъ типографію, черезъ мастерскую переплетчика, черезъ книжную лавку и, въ случаѣ успѣха, распространяется по цѣлой обширной странѣ, иногда даже по всему образованному міру. Когда слово поэта было пѣснью, которая безслѣдно улетала въ воздухъ или запоминалась только немногими восторженными слушателями, тогда поэтъ имѣлъ полное право бряцать по лирѣ разсыпанной рукой, особенно если у него было нѣсколько десятковъ рабовъ, одаренныхъ менѣе разсыпными руками и употреблявшихъ эти руки не на бряцаніе, а на паханіе и засѣваніе земли. Но когда слово поэта, пройдя черезъ печатный станокъ, приобретаетъ себѣ способность дѣйствовать на сотни тысячъ людей и управлять умственнымъ развитіемъ цѣлыхъ поколѣній, когда поэтъ призываетъ къ себѣ на помощь десятки рабочихъ рукъ, которыя набираютъ, оттискиваютъ, корректируютъ, брошюруютъ, перевозятъ и распродаютъ его произведенія, когда онъ наконецъ беретъ себѣ деньги съ своихъ читателей и обожателей,—тогда *разсыпанное* бряцаніе становится уже дѣломъ въ высшей степени неприличнымъ. Живя въ такомъ обществѣ, которое отрицаетъ рабство и слѣдовательно, по всѣмъ правиламъ здоровой логики, принуждено относиться серьезно и благоразумно къ человѣческому труду, поэтъ постоянно долженъ отдавать себѣ самый строгій отчетъ въ томъ, зачѣмъ онъ посягаетъ на трудъ наборщиковъ, печатниковъ, корректоровъ, переплетчиковъ, разносчиковъ; зачѣмъ онъ посягаетъ на деньги и на время своихъ читателей, то есть также на трудъ этихъ читателей или какихъ-нибудь другихъ людей, находящихся отъ нихъ въ экономической зависимости, и наконецъ, зачѣмъ онъ самъ тратитъ свое время и свой трудъ, которые онъ могъ-бы употребить на какое-нибудь дѣло, выгодное для него самого и полезное для общества?

Удовлетворительный отвѣтъ на всѣ эти неизбежные и неотразимые вопросы должно давать содержаніе и направленіе той пѣсни, которую поэтъ поетъ для толпы, или, проще и точнѣе, того произведенія, которое онъ пишетъ для своихъ читателей и продаетъ своему издателю. На самомъ дѣлѣ *разсыпанное бряцаніе* или, другими словами, безсознательное творчество въ настоящее время не только неприлично, но даже совершенно невозможно. Тѣ самые поэты, которые горячо защищаютъ *разсыпанное бряцаніе* въ теоріи, на практикѣ оказываются вовсе не разсыпанными бряцателями, а, напротивъ того, очень тщательными и усидчивыми шлифовальщиками сценъ, картинъ, подробностей, языка и стиха. Усердѣннѣйшій адвокатъ *разсыпаннаго бряцанія*, Пушкинъ жестоко черкалъ и перемарывалъ свои рукописи, что уже нисколько непохоже ни на разсыпанное бряцаніе, ни на безсознательное творчество. Еслибы Пушкину вздумалось подражать на практикѣ тому поэту, который «по лирѣ вдохновенной рукой разсыпанной бряцалъ», то мы въ настоящую минуту конечно не имѣли-бы никакого понятія о томъ, что жилъ на свѣтѣ нѣкій Пушкинъ, о чемъ-то разсыпано бряцавшій. Продукты разсыпаннаго бряцанія, небрежно написанные, вялые, блѣдные и неблагозвучные стихи, не нашли-бы себѣ ни издателей, ни покупателей, ни читателей, ни обожателей, ни подражателей. Имя Пушкина кануло-бы въ вѣчность вмѣстѣ съ его разсыпаннымъ бряцаніемъ. Чувство самосохраненія заставляетъ такимъ образомъ поэтовъ откладывать въ сторону горделивую разсыпанность, когда они приступаютъ къ той сторонѣ своего труда, которая затрогиваетъ особенно близко ихъ собственные интересы. Они знаютъ, что публику надо приманивать красотою и яркостью внѣшней формы; они знаютъ, что безъ этой приманки имъ не добыть себѣ ни денегъ, ни извѣстности; поэтому они и трудятся надъ внѣшней формой безъ малѣйшей разсыпанности, какъ простые чернорабочіе. Но тщательно выгораживая такимъ образомъ свои собственные выгоды, тщательно обезпечивая за собою, посредствомъ самаго напряженнаго труда вѣрный и прибыльный сбытъ своихъ произведеній, поэты пушкинскаго закала напускаютъ на себя неизлечимую разсыпанность, какъ только заходитъ рѣчь о выгодахъ тѣхъ людей, которые покупаютъ и читаютъ ихъ произведенія. Передъ самимъ собою поэтъ совершенно правъ. На вопросъ: «зачѣмъ вы тратите трудъ и время?»—онъ можетъ отвѣчать преспокойно: «зачѣмъ, чтобы пріобрѣсти деньги и извѣстность». — Резонъ совершенно достаточный. Деньги и извѣстность—такія хорошія вещи, за которыми гоняются безъ отдыха всѣ люди, не совсѣмъ задавленные нуждою, имѣющие воз-

можность думать о чемъ-нибудь, кромѣ чортова куска насущнаго хлѣба. Но о томъ, чтобы оказаться правымъ передъ другими людьми, поэтъ, по своей милой *разсыянности*, совершенно не умѣетъ и не желаетъ думать. На вопросъ: «зачѣмъ вы предлагаете вашимъ соотечественникамъ такое чтеніе, которое не дастъ имъ ни новыхъ идей, ни фактическихъ знаній?» — поэтъ отвѣтитъ вамъ: «а мнѣ какое дѣло? Chacun chez soi, chacun pour soi! Я ихъ не заставляю покупать мои произведенія». — Спросите у купца толкачаго рынка: «зачѣмъ вы, мой почтенный, торговлю ведете?» — Онъ вамъ отвѣтитъ: «зачѣмъ, чтобы капиталы свои приумножить». — Спросите у него далѣе: «а зачѣмъ вы, мой почтенный, продаете такой товаръ, который никуда не годится?» — Онъ вамъ отвѣтитъ: «стало быть, годится-съ, когда покупаютъ. Наше дѣло продать-съ, а ихъ дѣло смотрѣть-съ. На то имъ отъ Бога глаза даны-съ, и насильно-съ мы никому товара нашего не всучиваемъ.»

Сходство между общественной дѣятельностью *разсыяннаго* поэта и торговыми операціями искуснаго щукинскаго негодіанта окажется полное и поразительное, особенно если мы припомнимъ, что просвѣщенный нашъ негодіантъ очень сильно заботится о вѣшной благодѣтельности того товара, котораго онъ никому не всучиваетъ насильно, подобно тому, какъ вдохновенный бряцатель очень сильно трудится надъ вѣшной отдѣлкой тѣхъ произведеній, которыхъ онъ также никому не навязываетъ насильно.

Пушкинъ говоритъ, что поэту *безмысленно* внималъ *хладный* и *надменный* народъ. Всѣ три ругательные эпитета, которыми охарактеризованъ народъ, не только сами по себѣ нелѣпы, но даже совершенно противорѣчатъ тѣмъ чертамъ, которыми самъ же Пушкинъ рисуетъ народъ въ томъ-же стихотвореніи. Что народъ слушаетъ *не безмысленно*, это видно изъ того, что онъ высказываетъ о пѣснѣ поэта очень вѣрные замѣчанія, противъ которыхъ поэтъ не находитъ никакихъ аргументовъ, кромѣ энергическихъ ругательствъ и ничтожныхъ насмѣшекъ, желающихъ быть язвительными. Что народъ не можетъ быть названъ *хладнымъ*, — видно изъ того, что онъ поддается влиянію даже той пѣсни, которой безцѣльность онъ самъ замѣчаетъ и осуждаетъ. Народъ говоритъ о поэтѣ: «зачѣмъ сердца волнуешь, мучить, какъ своенравный чародѣй?». Если народъ чувствуетъ въ своемъ сердцѣ волненія и мученія въ такой сильной степени, что даже уподобляетъ поэта своенравному чародѣю, то гдѣ же та *хладность*, въ которой упрекаетъ его Пушкинъ? — Что народъ не можетъ быть названъ *надменнымъ*, — видно изъ того, что этотъ народъ смиренно кается передъ поэтомъ въ своихъ грѣхахъ, проситъ поэта быть его руководителемъ и общается терпѣливо и внима-

тельно выслушивать его рѣзкія наставленія. А *надменнымъ* оказывается, напротивъ, тотъ поэтъ, который на эту смиренную просьбу народа отвѣчаетъ: «убирайтесь къ чорту!» *Хладнымъ* оказывается также поэтъ, котораго трогаютъ ни пороки ближнихъ, ни ихъ раскаяніе, ни ихъ желаніе исправиться. *Безмысленнымъ* оказывается опять-таки тотъ-же поэтъ, который, какъ мы увидимъ далѣе, совѣтуетъ народу врачевать душевные недуги *бичами, тмицами и топорами*. Если можно въ чемъ-нибудь упрекнуть *непосвященный* народъ, то развѣ только въ томъ, что онъ, по свойственной всякому народу склонности ротозѣйничать и кланяться въ поясъ, остановился слушать чтеніе такого отъявленнаго кретина, а потомъ! этого-же безнадѣжнаго кретина вздумалъ спрашивать себѣ разумныхъ совѣтовъ.

VII.

«И толковала чернь тупая (это уже четвертое ругательное слово, измышленное любвеобильнымъ Пушкинымъ для посрамленія непосвященнаго народа): «зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ? Напрасно ухо поражая, къ какой онъ цѣли насъ ведетъ? (Поэзія сама себѣ цѣль, т. е., творенія поэта раскуплены, тогда высшая послѣдняя цѣль достигнута.) О чемъ бречать? Чему насъ учить? Зачѣмъ сердца волнуешь, мучить, какъ своенравный чародѣй? Какъ вѣтеръ пѣснь его свободна, за то, какъ вѣтеръ, и бесплодна: какая польза намъ отъ ней?»

Приписывая *тупой черни* эти слова, Пушкинъ очевидно желаетъ выразить ими то, что непосвященный народъ, несмотря на всю грубость своихъ чувствъ, несмотря на силу своихъ анти-эстетическихъ предубѣжденій, невольно и даже неохотно, но все-таки подчиняется неодолимому и волшебному обаянію поэтической пѣсни. Несмотря на свои недоброжелательныя отношенія къ чистому искусству, народъ знаетъ, что поэтъ *поетъ звучно* и что онъ даже *волнуешь и мучишь сердца, какъ своенравный чародѣй*.

Заставляя чернь произносить эти послѣднія слова, Пушкинъ черезчуръ увлекся своимъ желаніемъ превознести волшебную силу поэзіи. Спрашивается: можетъ-ли дѣйствительно волновать и мучить сердца такой поэтъ, который ничему не учитъ своихъ читателей, не ведетъ ихъ ни къ какой опредѣленной цѣли и не приноситъ имъ никакой пользы? О чемъ пѣлъ или, какъ выражается *тупая чернь*, бречалъ поэтъ, — этого мы не знаемъ, потому что Пушкинъ къ сожалѣнію не сообщаетъ намъ его пѣсни. Еслибы онъ пѣлъ о нравахъ и обязанностяхъ человѣка, о стремленіи къ свѣтлому будущему, о недостаткахъ современной дѣятельности, о борьбѣ человѣческаго разума съ

вѣковыми заблужденіями, о сознательной любви къ отечеству и къ человѣчеству, о значеніи того или другого историческаго переворота, — то, разумѣется, его пѣніе волновало и мучило-бы сердца, но въ то-же время самый тупой, самый хладный, надменный и безсмысленный народъ не могъ-бы упрекнуть это пѣніе въ томъ, что оно ничему не учитъ, не ведетъ ни къ какой цѣли и не приноситъ никакой пользы. Еслибы оно пробуждало или усиливало въ нихъ любовь къ истинѣ, ненависть къ обману и къ эксплуатаціи, презрѣніе къ двоедушію и къ тупоумію, то народу оставалось-бы только слушать и благодарить, а поэту не было-бы ни малѣйшаго основанія ссориться съ *тупою чернью*, зараженной грубыми утилитарными предрасудками.

Чтобы объяснить себѣ размолвку, происшедшую между пѣвцомъ и его слушателями, надо предположить, что поэтъ пѣлъ о красотѣ лѣтняго утра или о томъ, что какой-нибудь *онъ* очень сильно любилъ и крѣпко цѣловалъ какую-нибудь *ее*. Воспѣваніе лѣтняго утра не могло волновать и мучить сердца, потому что подобныя воспѣванія играютъ въ поэзіи такую же скромную и невинную роль, какую играютъ въ обществѣ поучительныя бесѣды о прекрасной погодѣ. Воспѣваніе любви и поцѣлуевъ можетъ конечно волновать и мучить, но для большей точности надо было-бы сказать, что это воспѣваніе волнуетъ и мучитъ не сердца, а чувственность. Эротическія пѣсни находятъ себѣ обыкновенно многочисленныхъ и усердныхъ слушателей; если-же эротическая пѣсня пушкинскаго поэта казалась народу *безплодною*, и если онъ вѣсто нея требовалъ себѣ такого пѣнія, которое вело-бы его къ извѣстной цѣли и приносило-бы ему осязательную пользу, если онъ не довольствовался тѣмъ, что *волновало* его чувственность, то надо сознаться, что поэтъ имѣлъ дѣло съ такой *чернью*, которая стояла на необыкновенно высокой степени умственнаго развитія и отличалась замѣчательно-серьезнымъ и разумнымъ взглядомъ на жизнь.

Мнѣ могутъ возразить, что пѣснь пушкинскаго поэта не была эротической пѣснью, и что слѣдовательно неудовольствіе черни противъ этой пѣсни не доказываетъ еще, чтобы эта чернь относилась презрительно и насмѣшливо къ пріятному шекотанію чувственности. Но въ такомъ случаѣ я спрошу: какую-же пѣснь могъ пѣть поэтъ? Потрудитесь найти, кромѣ эротической пѣсни, какую-нибудь пѣснь, которая могла-бы волновать и мучить сердце, не удовлетворяя въ то-же время всѣмъ требованіямъ утилитарнаго взгляда на жизнь. *Тупая чернь* очевидно требуетъ отъ поэта плодотворныхъ мыслей; а поэтъ, неспособный мыслить, даетъ ей яркое описаніе мелкихъ ощущеній, которыя всякому извѣстны, всякому понятны и пріятны въ дѣйствительной жизни,

но въ пѣснѣ интересны только для шаловливыхъ отроковъ или для безсильно-сластолюбивыхъ стариковъ. Чернь не удовлетворяется соблазнительными картинками, и это обстоятельство конечно дѣлаетъ честь ея здоровымъ умственнымъ способностямъ. Приписавши черни слова о томъ, что пѣснь поэта волнуетъ и мучитъ сердца, Пушкинъ, совершенно неожиданно для самого себя, затронулъ вопросъ: можетъ-ли безполезная поэзія сильно дѣйствовать на человека? Я разсмотрѣлъ теперь этотъ вопросъ и пришелъ къ тому заключенію, что безполезная поэзія всегда бываетъ въ то-же время безсильной поэзіей, т. е. она или не производитъ совсѣмъ никакого впечатлѣнія, или дѣйствуетъ самымъ поверхностнымъ образомъ только на тѣхъ умственно-недозрѣлыхъ субъектовъ, которые способны упиваться балетными позами. — Услышавъ разсужденія черни, кретинъ, произведенный Пушкинымъ въ поэты, начинаетъ ругаться:

«Молчи, безсмысленный народъ, поденщикъ, рабъ нужды, заботъ! (*поденщикъ*, по мнѣнію кретина, — бранное слово. Попрекать человѣка тѣмъ, что онъ бѣденъ и трудится, значитъ, по мнѣнію того-же кретина, обнаруживать благородство чувствъ и возвышенность помысловъ.) Несносенъ мнѣ твой ропотъ дерзкій. Ты — червь земли, не сынъ небесъ! (Дѣтьми небесъ оказываются, во-первыхъ, *разсыпанные* поэты, а во-вторыхъ, тѣ искусные негоціанты толкучаго рынка, которые, какъ мы видѣли въ предыдущей главѣ, обходятся съ публикой столь-же *разсыпнно*, какъ самые ревностные жрецы чистаго искусства.) Тебѣ-бы пользы все («ишь чего захотѣлъ! Тебѣ бы все хорошаго товару!» думаетъ про себя искусный негоціантъ) — на вѣсь кумиръ ты цѣпишь Бельведерскій. Ты пользы, пользы въ немъ не зришь. Но мраморъ сей вѣдь — богъ!... («Себѣ дороже-съ! Самой настоящей англійской доброты!» распинается негоціантъ за такую гниль, которая нейдетъ у него съ рукъ.) Такъ что-же? Печной горшокъ тебѣ дороже: ты пищу въ немъ себѣ варишь».

Ну, а ты возвышенный кретинъ, ты — сынъ небесъ, ты въ чемъ варишь себѣ пищу, въ горшкѣ или въ Бельведерскомъ кумирѣ? Или можетъ-быть ты питаешься такой амброзіей, которая ни въ чемъ не варится, а присылается къ тебѣ въ готовомъ видѣ изъ твоей небесной родины? Или можетъ-быть ты скажешь, что совсѣмъ не твое дѣло разсуждать о пищѣ, и отошлешь насъ за справками къ твоему повару, т. е. къ одному изъ *червей земли*, къ одному изъ тѣхъ жалкихъ *рабовъ нужды*, которые цѣнятъ на вѣсь твоего мраморнаго бога? — Поваръ твой, о кретинъ, скажетъ намъ навѣрное, что твоя пища варится въ горшкахъ и въ кастрюляхъ, а не въ кумирахъ, и скажетъ намъ кромѣ того, въ какую цѣну обходится тебѣ твой обѣдъ. Тогда мы узнаемъ, что ты съ-

даешь въ одинъ день такую массу человѣческаго труда, которая можетъ прокормить *раба* *нужды* съ женою и съ дѣтьми втеченіи цѣлаго мѣсяца. Тогда, поговоривши съ твоимъ поваромъ, мы увидимъ ясно, въ чемъ состоитъ несомнѣнное превосходство *дѣтей неба* надъ *червями земли*. *Червь земли* живетъ впрогладъ, а *сынъ неба* пріобрѣтаетъ себѣ надежный слой жира, который даетъ ему полную возможность создать себѣ мраморныхъ боговъ и беззабѣчиво плевать въ печные горшки немущихъ соотечественниковъ.

«Онъ ничего не отрицаетъ,—говоритъ Бѣлинскій о Пушкинѣ,—ничего не проклинаетъ, на все смотритъ съ любовью и благословеніемъ»... «Общій колоритъ поэзіи Пушкина и въ особенности лирической — внутренняя красота и лелѣющая душу гуманность»... «Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина»... «Никто, рѣшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не стяжалъ себѣ такого неоспоримаго права быть воспитателемъ и юныхъ, и возмужалыхъ, и даже старыхъ читателей, какъ Пушкинъ.»

Всѣ эти сладкія слова Бѣлинскаго превращаются въ жесточайшую иронию, когда вы ставите ихъ рядомъ съ словами самого Пушкина, взятыми изъ того стихотворенія, которое самъ-же Бѣлинскій считаетъ его «поэтическимъ profession de foi». Онъ ничего не отрицаетъ и не проклинаетъ — кромѣ всего трудящагося человѣчества. Онъ смотритъ съ любовью и благословеніемъ на все — то есть на весь петербургскій *beau monde* и даже на всѣхъ людей *сo mme il faut*, живущихъ въ Москвѣ и въ провинціи. *Общій колоритъ поэзіи Пушкина — внутренняя красота человека...* проводящаго свою жизнь въ благородной праздности и посвящающаго свои досуги пищеваренію и созерцанію мраморныхъ боговъ, — и *лелѣющая душу гуманность* въ отношеніи къ дѣтямъ небесъ, которыхъ презираютъ и топчутъ въ грязь червей земли. *Есть всегда что-то особенно благородное (о да!), кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное* въ томъ презрѣніи, съ которымъ Пушкинъ кричитъ на *безсмысленный народъ*, бросая ему въ лицо, какъ сильныя ругательства, святыя слова: *подеищикъ и рабъ нужды*. Никто, рѣшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не стяжалъ себѣ такого неоспоримаго права быть воспитателемъ и юныхъ, и возмужалыхъ, и даже старыхъ читателей, какъ Пушкинъ, потому что никто, рѣшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не можетъ внушить своимъ читателямъ такого безпредѣльнаго равнодушія къ народнымъ страданіямъ, такого глубокаго презрѣнія къ честной бѣдности и такого систе-

матическаго отвращенія къ полезному труду, какъ Пушкинъ.

Не для того я произвелъ это убійственное сопоставленіе, чтобы глумиться надъ священной памятью нашего великаго учителя Бѣлинскаго, а для того, чтобы показать читателямъ, до какой степени опасны и губительны бываютъ эстетическія увлеченія даже для самыхъ сильныхъ и замѣчательныхъ умовъ. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ *какою* воспитателя рекомендуетъ Бѣлинскій всей читающей Россіи! Хороши-бы мы были, еслибы мы принимали каждое слово Бѣлинскаго за изреченіе оракула! — Насмѣхательства *сына небесъ черви земли* отвѣчаютъ слѣдующей смиренной просьбой:

«Нѣтъ, если ты небесъ — избранныкъ,
Свой даръ, божественный посланникъ,
Во благо намъ употребляй:
Сердца собратъевъ исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцемъ — хладныя скопцы,
Клеветники, рабы, гаупцы;
Гибдятся клубомъ въ насъ пороки:
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы слушаемъ тебя.»

Бываютъ-ли въ дѣйствительной жизни какія-нибудь явленія, соответствующія до нѣкоторой степени этому обращенію черни къ поэту? — Бываютъ, и одно изъ такихъ явленій совершилось на глазахъ тѣхъ русскихъ людей, которые живы и здоровы до настоящей минуты. Мы всѣ помнимъ очень живо тотъ часъ самообличенія и публичнаго покаянія, который овладѣлъ нашимъ обществомъ послѣ окончанія крымской войны и который къ сожалѣнію по прошествіи двухъ-трехъ лѣтъ снова замѣнился для большинства соннымъ и тупымъ самодовольствомъ катковской школы. «Въ тѣ дни, когда намъ были новы» всѣ невинныя проявленія нашей робкой и скромной полугласности, въ тѣ веселые и счастливые дни для нашего общества не существовало никакой беллетристики, кромѣ обличительной. На вниманіе публики могли рассчитывать только тѣ писатели, которые обнаружили въ своихъ произведеніяхъ искреннее или неискреннее, но во всякомъ случаѣ громкое негодованіе противъ различныхъ общественныхъ золъ, подлежащихъ вѣдѣнію нашей тогдашней полугласности. Даже катковская школа, всегда питавшая наклонность къ сладостному оптимизму, не въ силахъ была сопротивляться требованіямъ читающей публики; громадный и быстрый успѣхъ «Губернскихъ очерковъ» положилъ, какъ извѣстно, самое прочное основаніе могуществу «Русскаго Вѣстника». Итакъ, *тупая чернь* требовала въ то время отъ своихъ поэтовъ, чтобы они, «любя ближняго», давали ей «смѣлые уроки» и постоянно держали

передъ ея глазами длинный списокъ ея глупостей и подлостей. А что-же дѣлали въ то время поэты? Что дѣлали самые ревностные жрецы чистаго искусства?—О! какъ только *тупая чернь* ясно сформулировала свои требованія, какъ только обнаружился сильный запросъ на обличительный товаръ, на прогрессивныя стремленія и на гражданскія чувства,—такъ тотчасъ самые зоркіе мотыльки нашего поэтическаго вертограда, наперерывъ другъ передъ другомъ, стали прикладываться къ дѣлу русскую поговорку: «Куда конь съ конькомъ, туда и ракъ съ клешней». Всѣ оказались работливыми угодниками *тупой черни*, всѣ начали усердно поддѣлываться подъ господствующій тонъ, всѣ почувствовали неодолимую потребность заявить въ стихахъ и въ прозѣ, что они тоже любятъ отечество, что они тоже тяготеютъ застоюмъ мысли и жизни, что они тоже печалются о бѣдности русскаго мужика и что они вообще—не послѣдняя спица въ колесницѣ русскаго прогресса. Словомъ, *тупая чернь* сдѣлала знакъ своимъ поэтамъ, и поэты, какъ расторопные слуги, со всѣхъ ногъ кинулись исполнять приказанія своего властелина, то есть той самой *тупой черни*, съ которой такъ кавалерственно обращается неправдоподобный поэтъ, придуманный Пушкинымъ. И никому изъ жрецовъ чистаго искусства не пришло въ голову крикнуть печатно: «молчи, безсмысленный народъ!» Ни у кого не хватило храбрости открыто и рѣшительно пойти противъ теченія. Всякій, кто только могъ двумя-тремя дешевыми гражданственными фразами заработать себѣ два-три взрыва столь-же дешевыхъ рукоплесканій, никакъ не рѣшался отказать своему мелкому тщеславію въ этомъ копѣечномъ удовлетвореніи. Въ потѣ лица своего склеивалъ жрецъ чистаго искусства какую-нибудь неуклюжую и блѣдную поддѣлку подъ некрасовскій тонъ и потомъ млѣлъ и сіялъ отъ удовольствія, когда неприхотливые слушатели встрѣчали и провожали его рукоплесканіями на публичномъ чтеніи.

Стало быть, еслибы когда-нибудь *тупая чернь* обратилась прямо къ извѣстному лицу, требуя себѣ отъ него смѣлыхъ уроковъ во имя любви къ ближнему, еслибы общественное мнѣніе цѣлой страны съ любовью и съ надеждой остановилось на имени извѣстнаго поэта и провозгласило этого поэта учителемъ и руководителемъ общества и народа, то не подлежить ни малѣйшему сомнѣнію, что любимецъ Музъ и Грацій, не слыша подъ собою ногъ, кинулся-бы въ ту сторону, куда посылали-бы его народный голосъ. Если не любовь къ народу, то тщеславіе, если не тщеславіе, то боязнь быть осмѣяннымъ и оплеваннымъ заставили-бы его поступить такимъ образомъ. Тщеславіе составляетъ преобладающую, быть-можетъ даже единствен-

ную сильную страсть чистыхъ художниковъ, то есть тѣхъ художниковъ, которые воображаютъ себѣ, что всѣ ихъ способности поглощены безкорыстнымъ и безцѣльнымъ служеніемъ искусству. Не трудно себѣ представить, какъ сильно должна разыгаться эта преобладающая страсть, когда художникъ увидитъ себя предметомъ всеобщаго вниманія и самыхъ напряженныхъ ожиданій, возбужденныхъ въ читающей массѣ силой и яркостью его таланта. Въ эту минуту отъ самого художника, то есть отъ того направленія, которое приметъ его дѣятельность, будетъ зависѣть—сдѣлаться идоломъ толпы или ея посмѣшищемъ. Тщеславіе конечно потянетъ его внизъ по теченію.

Спрашивается теперь, какая-же сила составить противовѣсъ этому тщеславію? Какая сила застрахуетъ поэта противъ того эпидемическаго увлеченія, которое обыкновенно овладѣваетъ всѣми впечатлительными людьми, когда они видятъ, какъ увлекаются той или другой идеей цѣлыя массы! Какая сила заставитъ поэта плыть противъ теченія и такимъ образомъ накликалъ на себя со стороны увлеченныхъ соотечественниковъ упреки, насмѣшки и оскорбленія? Какая сила наконецъ заставитъ его подвергаться еще болѣе страшной опасности, самой страшной изъ всѣхъ опасностей, угрожающихъ художнику,—опасности превратиться въ ходячій анахронизмъ и затеряться заживо въ пыльной грудѣ забытой литературной старины?

Единственной силой, которая должна отдуваться за все-про-все, оказывается любовь поэта къ чистому искусству, къ *служенію Музъ*, которое *не терпитъ суеты*. Мечтать о томъ, чтобы это туманно-метафизическое или античномиеологическое чувство одержало побѣду надъ всѣми искушеніями предстоящей популярности,—было-бы просто смѣшно. Достаточно припомнить, что всѣ отрасли искусства всегда и вездѣ подчинялись мельчайшимъ и глупѣйшимъ требованіямъ измѣнчиваго общественнаго вкуса и прихотливой моды. Красота художественнаго произведенія сама по себѣ—вещь чисто условная; поэтому привязанность человѣка къ этой условной и относительной красотѣ никогда не можетъ быть на столько сильной, чтобы служить ему надежной опорой въ серьезной борьбѣ съ господствующими требованіями времени и народа. Идти наперекоръ ясно-выраженнымъ желаніямъ массы можно только изъ горячей любви къ этой-же самой массѣ. Только живая, естественная и искренняя любовь человѣка къ людямъ можетъ дать передовому мыслителю или дѣятелю непоколебимую самоувѣренность, силу и мужество, необходимыя для того, чтобы встрѣтить и выдержать жестокую бурю близорукаго общественнаго негодованія и медленную пытку незаслуженнаго презрѣнія. Всякія искусственныя, тепличныя и напущенныя чувства, въ томъ

числѣ, разумѣется, и уморительная любовь художника къ служенію Музъ, нетерпящему суеты, изломаются и исчезнутъ безъ слѣда при первомъ столкновеніи съ требованіями общества, хотя-бы даже эти требованія были сами по себѣ совершенно неосновательны.

Въ стихотвореніи Пушкина выходитъ совсѣмъ наоборотъ: поэтъ торжественно отказывается отъ популярности, громко проклинаетъ *тупую чернь* и погружается въ одинокое созерцаніе чистой красоты, понятной только для посвященныхъ. Эта совершенно неправдоподобная развязка объясняется очень легко и совершенно удовлетворительно тѣмъ обстоятельствомъ, что общество, въ которомъ жилъ Пушкинъ, спало мертвымъ сномъ, такъ что Пушкинъ не имѣлъ возможности составить себѣ приблизительно-вѣрнаго понятія о томъ, что такое общественное мнѣніе, что такое голосъ *тупой черни* и въ какой степени заразительны и увлекательны бываютъ общественныя страсти. Можно предположить даже, что все стихотвореніе Пушкина было вызвано какой-нибудь тупой и пошлой критической статьей Булгарина, упрекавшего его въ безправственности и требовавшего отъ него поучительныхъ стиховъ и медоточивыхъ разсказовъ. Булгаринъ или какой-нибудь другой артистъ того-же достоинства по всей вѣроятности показался Пушкину представителемъ массы и проводникомъ ея умственныхъ требованій; дрянное поползновеніе булгаринской клики къ пошлой правоучительности принято Пушкинымъ за чистѣйшее выраженіе принципа утилитарности. Это предположеніе въ высшей степени правдоподобно, потому что дѣйствительно во времена Пушкина въ нашей литературѣ не было еще ни одного писателя, который постоянно и добросовѣстно защищалъ-бы интересы массъ и смотрѣлъ-бы съ чисто-утилитарной точки зрѣнія на всѣ явленія жизни, науки и искусства. Значитъ, Пушкинъ, ругая чернь и глумясь надъ идеей пользы, ратуетъ противъ такихъ вещей, которыхъ онъ никогда не видалъ въ глаза. Отсюда происходитъ та неосновательная храбрость и то комическое озлобленіе, которыя обнаруживаетъ пушкинскій поэтъ въ отношеніи къ *тупой черни*, терпящей горькую напраслину за глупости и подлости булгаринской клики.

Подобное зрѣлище намъ случилось видѣть очень недавно. Разгоряченный нападеніями «Искры», Писемскій написалъ противъ нея огромный романъ, въ которомъ старался доказать, что отечество находится въ опасности и что молодое поколѣніе погибаетъ въ безднѣ заблужденій. Въ дѣлахъ отечества и молодого поколѣнія Писемскій оказывается совершенно такимъ-же компетентнымъ судьей, какимъ оказывается Пушкинъ въ вопросѣ о требованіяхъ общественного мнѣнія и объ идеѣ утилитар-

ности. Оба говорятъ о томъ, чего они не знаютъ, и оба принимаютъ за воплощеніе принципа такую случайную и ничтожную мелочь, которая ни съ какимъ принципомъ не можетъ имѣть ничего общаго. Такія комическія ошибки конечно не дѣлаютъ особенной чести ни природному ихъ остроумію, ни широтѣ и основательности ихъ благопріобрѣтеннаго умственнаго развитія.

VIII.

Не угодно-ли послушать отвѣтъ пушкинскому поэту:

«Подите прочь, какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратѣ каменѣйте смѣло;
Не оживить васъ лиры гласъ!
Душѣ противны вы, какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно съ васъ, работъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметаютъ соръ—полезный трудъ!—
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвы,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.»

Этими торжественными словами оканчивается стихотвореніе, и тутъ можно именно сказать, что конецъ вѣнчается дѣломъ. Еслибы какой-нибудь злѣйшій врагъ чистаго искусства захотѣлъ закидать его грязью и погубить его во мнѣніи общества, то врядъ-ли бы онъ придумалъ для своей обвинительной рѣчи что-нибудь сильнѣе и убійственнѣе тѣхъ словъ, которыя Пушкинъ такъ простодушно и откровенно приписываетъ своему поэту.

Мирному поэту нѣтъ дѣла до умственныхъ и нравственныхъ потребностей народа; ему нѣтъ дѣла до пороковъ и страданій окружающихъ людей; ему нѣтъ дѣла до того, что эти люди желаютъ мыслить и совершенствоваться и просить себѣ живого слова и разумнаго совѣта у того, кто самъ себя величаетъ *сыномъ небесъ*, и въ комъ они также признаютъ *избранника небесъ* и *божественнаго посланника*. Спрашивается въ такомъ случаѣ, до кого и до чего-же ему есть дѣло?—До самого себя и до своихъ собственныхъ ощущеній? До веселой попойки съ любезнымъ другомъ Ивановымъ, до пріятной болтовни съ чудеснымъ малымъ Семеновымъ, до катанья на тройкѣ съ отличными товарищемъ Андреевымъ? До золотыхъ локоновъ прелестной *А*, до лебединой шеи очаровательной *В*, до маленькой ножки несравненной *С*, до голубыхъ очей восхитительной *Д*?—Вѣдь 'на самомъ дѣлѣ, если отодвинуть въ сторону всѣ міеологическія фіоритурѣ,—слу-

женіе Музъ, которое не терпѣть суеты, и священная жертва, къ которой Аполлонъ требуетъ поэта, окажутся просто интимной болтовней поэта съ милыми друзьями о милыхъ подругахъ и съ милыми подругами о ихъ собственныхъ прелестяхъ. Такая болтовня очень интересна для самого поэта, для его милыхъ друзей и для его милыхъ подругъ; но такъ какъ у каждого отдѣльнаго человѣка есть свои собственные милые друзья и свои собственные милые подруги, то, притомъ направленіи творческой дѣятельности, поэзія превращается въ дѣло или, вѣрнѣе, въ забаву частныхъ кружковъ и совершенно теряетъ свою способность служить высшей нравственной связью между всѣми грамотными членами извѣстной націи.

Такъ оно и было дѣйствительно у насъ, въ Россіи, въ первой четверти нынѣшняго столѣтія. Чтобы дать читателямъ легкое понятіе о томъ, какимъ граціозно-младенческимъ забавамъ предавались тогдашніе корифеи поэзіи, я приведу здѣсь небольшую выписку изъ «Матеріаловъ для біографіи Пушкина», собранныхъ Анненковымъ.

«Въ 1815 году еще продолжалась борьба, возникшая по поводу нововведенія Карамзина, и противники его направленія сосредоточились въ обществѣ «Бесѣды Любителей Русскаго Слова» (должно быть не нашего), къ членамъ которой принадлежали многіе даровитые люди; въ числѣ ихъ былъ и кн. Шаховскій. Все молодое, желавшее новыхъ формъ для поэзіи и языка и свѣжихъ источниковъ для искусства вообще, пристроилось къ другому обществу—Арзамасу. Арзамасъ порожденъ былъ шуткою и сохранялъ основной характеръ свой до конца. Одинъ веселый и остроумный рассказъ подъ названіемъ *Видѣніе во градъ* вызвалъ его на свѣтъ. Въ рассказѣ переданъ былъ анекдотъ о нѣкоторыхъ скромныхъ людяхъ, собравшихся разъ на обѣдъ въ бѣдный арзамасскій трактиръ. Столъ ихъ былъ покрытъ скатертью, бѣлизны не совсемъ безпорочной, и нисколько не былъ отягощенъ изобиліемъ брашенъ. Въ срединѣ бесѣды прислужникъ возвѣстилъ имъ, что какой-то проѣзжій остановился въ трактирѣ и повидимому находится въ магнетическомъ снѣ. Хотя любопытство и приписывается исключительно прекрасному полу, но друзья Арзамаса доказали противное. Они отправились наблюдать новаго ясновидящаго у дверей и увидѣли высокаго, толстаго человѣка, который ходилъ безпрестанно по комнатѣ, произнося непонятные тирады и афоризмы. Послѣдніе они тутъ-же записали, но скрыли всѣ собственные имена, потому-что незлобивость и добродушіе составляли и составляютъ отличительную черту Арзамаса. Едва разнеслась эта шутка, въ которой не трудно было отгадать всѣ тонкіе намеки ея, какъ авторъ получилъ отъ одного изъ своихъ друзей

приглашеніе на первый *арзамасскій вечеръ*. Продолжая шутку, лица арзамасскаго вечера назвались именами изъ балладъ В. А. Жуковского и, на подобіе французской академіи, положили правило: всякій новоизбранный членъ обязанъ былъ сказать похвальное слово—не умершему своему предшественнику, потому что такихъ не было, а какому-либо члену «Бесѣды любителей русскаго слова» или другому извѣстному литератору. Такъ произнесены были похвальные слова Захарову, переводчику «Авелевой смерти» Геснера, «Велисарія» г-жи Жанлисъ и «Странствованій Телемака» Фенелона, Г. А. Волкову—автору «Арфы стихогласной», и мног. др. Секретарь общества, В. А. Жуковский, велъ журналъ засѣданій, и протоколы его представляютъ автора «Людмилы» съ другой стороны, еще неудовленной біографами (ахъ, біографы! чего вы смотрите?),—со стороны вообще веселаго характера. Это образцы самой забавной и вмѣстѣ самой приличной шутки.»

Вотъ каковы были тѣ господа, по поводу которыхъ Вѣлинскій проводилъ идею органическаго развитія. И вотъ каково было то высокое служеніе Музъ, которое налагало на поэта обязанность игнорировать и презирать потребности, пороки и страданія *тупой черни*, то-есть всего русскаго общества. Здѣсь, какъ видите, навязываніе бумажки на Зююшкинъ хвостъ было возведено въ принципъ и обставлено торжественными обрядами. Къ этому многотрудному и систематическому навязыванію Пушкинъ, по свидѣтельству того-же Анненкова, относился постоянно съ непоколебимой нѣжностью.

«Такъ важно было,—говоритъ Анненковъ,—вліяніе Арзамаса на литературу нашу, и надо прибавить къ этому, что Пушкинъ уже сохранилъ навсегда уваженіе какъ къ лицамъ, признаннымъ авторитетами (по части навязыванія бумажки?) въ средѣ его, такъ и къ самому способу дѣйствованія во имя идей, обсужденныхъ цѣлымъ обществомъ. Онъ сильно порицалъ у друзей своихъ попытки разъединенія (а чѣмъ такимъ они были соединены? Должно быть, общей ненавистью къ М. Каченовскому?), проявившіяся одно время въ видѣ нападокъ на Произведенія Жуковского (это значитъ: нашихъ не тронь! и рука руку моетъ), и вообще всѣ такого рода попытки; да и къ одному личному мнѣнію, становившемуся наперекоръ мнѣнію общему, уже никогда не имѣлъ уваженія.» (Оно и видно, стало быть, что поэтъ «къ ногамъ народнаго кумира не клонитъ гордой головы». Здѣсь роль народа играетъ кружокъ, и поэтъ оказывается покорнымъ слугою этого кружка.)

Въ другомъ мѣстѣ Анненковъ говоритъ о Пушкинѣ, что «онъ сохранилъ до конца своей жизни существенныя, характеристическія черты члена старыхъ литературныхъ обществъ и уже не имѣлъ симпатіи къ произволу (а въ круж-

кахъ его не было?) журнальныхъ сужденій, вскорѣ замѣстившему ихъ и захватившему довольно обширный кругъ дѣйствія.»

Эти біографическія подробности составляютъ очень выразительный комментарий къ тому поэтическому *profession de foi*, которое изложилъ Пушкинъ въ стихотвореніи «Чернь». Мы видимъ теперь довольно ясно, *во имя чего* поэтъ отвергается отъ разумныхъ и реальныхъ требованій общества. Углубленный въ игрушечные интересы разныхъ Арзамасовъ, поэтъ приглашаетъ живыхъ людей «*смыло каменитъ въ развратъ*»; онъ замѣчаетъ совершенно справедливо, что *гласъ его лиры*, посвященной воспоминанію Зюзяшки и ея хвоста, *не оживитъ* людей, требующихъ себѣ нравственнаго обновленія. Эти люди, держащіе чего-то требовать, *противны его душѣ, какъ гробы*, потому что они своимъ докучливымъ ропотомъ мѣшаютъ этой арзамасской душѣ погрузиться безраздѣльно въ глубоко-мысленное созерцаніе зюзяшкинаго хвоста. Легко себѣ представить, какимъ *гробомъ* долженъ былъ показаться Пушкину одинъ неизвѣстный *червь земли*, написавшій къ сыну небесъ энергическое письмо, изъ котораго Анненковъ приводитъ слѣдующія замѣчательныя строки: «когда видишь того, кто долженъ покорять сердца людей, раболѣпствующаго передъ обычаями и привычками толпы, человекъ останавливается посреди пути и спрашиваетъ самого себя: почему преграждаетъ мнѣ дорогу тотъ, который впередъ меня и которому слѣдовало-бы сдѣлаться моимъ вожатымъ? Подобная мысль приходитъ мнѣ въ голову, когда я думаю о васъ, а думаю я объ васъ много, даже до усталости. Позвольте-же мнѣ идти, сдѣлайте милость. Если некогда вамъ узнавать требованія наши, углубитесь въ самого себя и въ собственной груди потерпите огонь, который несомнѣнно присутствуетъ въ каждой такой душѣ, какъ ваша.»

Здоровымъ и мужественнымъ, не арзамасскимъ и не пушкинскимъ взглядомъ на жизнь проникнуты эти строки. Тому *гробу*, который просилъ у Пушкина *позволенія идти*, и всѣмъ другимъ, подобнымъ ему, *гробамъ* любвеобильный поэтъ великодушно совѣтуетъ обратиться за умственнымъ и нравственнымъ совершенствованіемъ къ бичамъ, къ темницамъ и къ топорамъ:

«Для вашей глупости и злобы
Ихли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры. —
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!»

Это невѣроятное четверостишіе слѣдуетъ выгравировать золотыми буквами на подножій того монумента, который благодарная Россія безъ сомнѣнія воздвигнетъ изъ своихъ трудовыхъ копейекъ своему величайшему поэту. А въ

ожиданіи монумента это-же самое четверостишіе должно сдѣлаться эпиграфомъ къ тому изданію сочиненій Пушкина, по которому *младые люди обоего пола будутъ воспитываться въ себѣ человека*.

Предоставивъ такимъ образомъ нравственное воспитаніе народа бичамъ, темницамъ и топорамъ, пушкинскій поэтъ объявляетъ, что подобныя ему дѣти небесъ рождены не для житейскаго волненія, не для корысти, не для битвъ, а для вдохновенія, для сладкихъ звуковъ, для молитвъ. Все это прекрасно, любезныя дѣти небесъ, но все это въ высшей степени неопредѣленно. Вы рождены для вдохновенія—очень хорошо! Но *чѣмъ* именно вы будете вдохновляться?—вотъ вопросъ, на который вамъ не мѣшало-бы пріискать отвѣтъ. Вы рождены для сладкихъ звуковъ—это тоже недурно! Но *кому* именно эти звуки будутъ казаться сладкими? Вы рождены для молитвъ—превосходно! Но *о комъ* и *о чемъ* вы будете молиться?—Если вы, дѣти небесъ, будете вдохновляться такими явленіями жизни, которыя въ каждомъ неглупомъ человѣкѣ возбуждаютъ негодованіе и отвращеніе, если вы напиритесь будете прославлять дикое насилие, какъ геніальную твердость, а низкую угодливость, какъ безкорыстную преданность, то легко можетъ случиться, что все ваше вдохновеніе будетъ стоять въ глазахъ вашихъ соотечественниковъ неизмѣримо ниже, чѣмъ сметаніе соръ съ улицъ шумныхъ, о которомъ вы отзываетесь самымъ великодушнымъ презрѣніемъ. Если вы, дѣти небесъ, передъ толпой голодныхъ людей будете воспѣвать достоинства страсбургскаго пирога и лимбургскаго сыра, то можно сказать навѣрное, что ваши *звуки*, очень *сладкіе* для васъ самихъ и для подобныхъ вамъ тунеядцевъ, покажутся вашимъ голоднымъ слушателямъ горькой и отвратительной насмѣшкой надъ ихъ безпомощнымъ положеніемъ. Если вы, дѣти небесъ, имѣя въ своихъ амбарахъ тысячи четвертей продажной пшеницы, будете молиться о ниспосланіи на землю града или саранчи для надлежащаго повышенія рыночныхъ цѣнъ, то я не совѣтую вамъ высказывать вашу молитву во всеуслышаніе, потому что въ какіе-бы *смолисто-тягучіе* и *кристально-прозрачныя* ямбы или хорей вы ни облекли вашу молитву о градѣ и о саранчѣ, во всякомъ случаѣ эта молитва не доставитъ ни малѣйшаго удовольствія вашимъ добродушнымъ и трудолюбивымъ сосѣдямъ. Такимъ образомъ вы видите, о, дѣти небесъ, что не всякое вдохновеніе возбуждаетъ въ людяхъ чувство уваженія и признательности, что не всякій сладкій звукъ оказывается сладкимъ для всѣхъ слушателей и что не всякая молитва можетъ быть названа высокимъ подвигомъ человѣколюбія. Стало-быть, ты, о, пушкинскій поэтъ, объявляя *му-*

пой черни, что вы рождены для вдохновеній, для сладкихъ звуковъ и для молитвъ, занимаешься произнесеніемъ словъ, не заключающихъ въ себѣ никакого опредѣленнаго смысла.

Кромѣ того не мѣшаетъ замѣтить, что у Пушкина слово расходится съ дѣломъ, или поэтическое profession de foi расходится съ поэтической дѣятельностью. Объявляя категорически, что поэты рождены не для битвъ, Пушкинъ въ то-же время пишетъ свои два слишкомъ извѣстныхъ стихотворенія: «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина». И онъ не только написалъ и напечаталъ эти два, въ буквальномъ смыслѣ слова, воинственные стихотворенія, но даже самъ придавалъ имъ серьезное европейское значеніе. «Пушкинъ,—говоритъ Анненковъ,—выразилъ во французскомъ письмѣ къ князю Н. В. Голицыну (переводчику по-французски «Чернеца» Козлова и пьесы «Клеветникамъ Россіи») чувства, одушевлявшія его во время созданія самаго стихотворенія: «Merci mille fois,—говоритъ онъ,—cher Prince, pour votre incomparable traduction de ma pièce de vers, lancée contre les ennemis de notre pays... Que ne traduisites-vous pas cette pièce en temps opportun? Je l'aurais fais passer en France, pour donner sur le nez à tous ces vociférateurs de la Chambre des députés». (Тысячу разъ благодарю васъ, любезный князь, за вашъ несравненный переводъ моего стихотворенія, направленного противъ враговъ нашей земли... Зачѣмъ не перевели вы его во-время?—Я-бы переслалъ его во Францію, чтобы ударить по носу всѣхъ этихъ крикуновъ палаты депутатовъ.)

Видите, въ самомъ дѣлѣ, какъ это жалко, что князь Голицынъ опоздалъ сдѣлать переводъ. Попадаи только это стихотвореніе во Францію, тогда, само собою разумѣется, всѣ крикливые французскіе депутаты, узнавши, что въ Россіи существуетъ воинственный и сердитый стихотворецъ, monsieur Poushchine, тотчасъ понизили-бы тонъ и немедленно уразумѣли-бы, что съ Россіей ссориться опасно, ибо эта Россія можетъ засыпать Францію растянутыми стихотвореніями, тщательно переведенными съ русскаго на французскій.

Но какъ-же мы однако ухитримся помирить воинственный азартъ Пушкина съ тѣмъ категорическимъ объявленіемъ, что поэты рождены не для битвъ? Для чего-же въ самомъ дѣлѣ, по понятіямъ Пушкина, рождены поэты и для чего они не рождены?

Если мы окинемъ общимъ взглядомъ теорію и практику Пушкина, то мы получимъ тотъ результатъ, что поэты рождены для того, чтобы никогда ни о чемъ не думать и всегда говорить исключительно о такихъ предметахъ, которые не требуютъ ни малѣйшаго размышленія. Эта формула объясняетъ совершенно удовлетво-

рительно какъ уклоненіе поэта отъ головоломныхъ требованій *тупой черни*, такъ и воинственный азартъ, стремившійся бить носы французскимъ депутатамъ. Поэтъ отказывается отъ тѣхъ битвъ, которыя требуютъ умственного труда, и кидается очень охотно въ тѣ битвы, въ которыхъ не нужно ничего, кромѣ римованаго крика. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы поэту захотѣлось давать *тупой черни смѣлые уроки*, которыхъ она отъ него требуетъ, то ему пришлось-бы очень глубоко задумываться надъ явленіями общественной жизни, пришлось бы, громя пороки общества, анализировать причины этихъ пороковъ, пришлось-бы отъ ближайшихъ и частныхъ причинъ переходить къ болѣе общимъ и отдаленнымъ,—словомъ, пришлось-бы не столько *бряцать*, сколько размышлять. Такая умственная работа, во-первыхъ, не всякому *бряцателю* по силамъ, а во-вторыхъ, она сопряжена со многими неудобствами; вѣдь въ самомъ дѣлѣ Богъ знаетъ, до чего можно додуматься, пожалуй даже до такихъ вещей, до которыхъ совсѣмъ не слѣдуетъ додумываться. Даже Полонскій и тотъ знаетъ, что «думы съ вѣтромъ носятся, вѣтра не догнать». Напротивъ того, когда поэту приходитъ въ голову воспѣть военныя доблести русскихъ богатырей или сдѣлать строжайшій выговоръ непочтительнымъ французскимъ депутатамъ, тогда поэту не предстоитъ ни умственного труда, ни неудобствъ, ни опасностей. Все дѣло его состоитъ въ томъ, чтобы придумывать сильные выраженія и громкія восклицанія.

Кто выигралъ сраженіе или взялъ штурмомъ крѣпость, тотъ обдумывалъ планъ, тотъ умѣлъ воодушевить солдатъ, тотъ подвергалъ опасности собственную жизнь, тотъ оказалъ услугу государству, тотъ можетъ быть названъ умнымъ человѣкомъ, даже героемъ, даже спасителемъ отечества. Но кто воспѣваетъ одержанную побѣду, тотъ просто перекладываетъ въ стихи газетную реляцію, тотъ оказывается не поэтомъ, а стиходѣлателемъ, тотъ не мыслитъ, а подбираетъ фразы и рѣмы, и тотъ рискуетъ разсѣять своимъ напущеннымъ восторгомъ тѣхъ самыхъ враговъ отечества, которымъ онъ стремится сокрушать носы.

IX.

Какими-же глазами смотритъ Вѣлинскій на то «художническое profession de foi» Пушкина, о которомъ я говорилъ до сихъ поръ? Отношенія Вѣлинскаго къ этому стихотворенію въ высшей степени неопредѣленны. «Онъ презираетъ чернь,—говоритъ Вѣлинскій о Пушкинѣ,—и наея приглашеніе—исправлять ее звуками лиры отвѣчаетъ словами, полными благородной гордости и энергическаго негодованія.»—Затѣмъ Вѣлинскій выписываетъ—просто трудно повѣрить

глазѣмъ!—заключительный монологъ поэта,— тотъ самый монологъ, въ которомъ народу предоставляются въ вѣчное потомственное владѣніе *бичи, темницы, топоры*, а поэтамъ отмежевывается область *вдохновенія, сладкихъ звуковъ и молитвъ*. И Бѣлинскій въ этихъ безумныхъ словахъ находитъ *благородную гордость*.

Выписавши монологъ поэта, Бѣлинскій рассуждаетъ такъ: «Дѣйствительно, смѣшны и жалки тѣ глупцы, которые смотрятъ на поэзію, какъ на искусство втискивать въ разнѣренныя строчки съ римами разныя правоучительныя мысли, и требуютъ отъ поэта непременно, чтобы онъ воспѣвалъ имъ все любовь да дружбу и пр., и которые неспособны увидѣть поэзію въ самомъ вдохновенномъ произведеніи, если въ немъ нѣтъ общихъ правоучительныхъ мѣстъ».

Затѣмъ Бѣлинскій придумалъ здѣсь какихъ-то *глупцовъ*, которымъ онъ приписалъ какія-то глупыя требованія—этого я рѣшительно не понимаю. *Тупая чернь* никогда не требовала отъ поэта, чтобы онъ воспѣвалъ ей все любовь да дружбу. Она требовала отъ поэта не *общихъ правоучительныхъ мѣстъ*, а *смѣшныхъ уроковъ*, что нисколько непохоже ни на *общія правоучительныя мѣста*, ни на *любовь да дружбу*. Еслибы *тупая чернь* состояла изъ тѣхъ *глупцовъ*, которыхъ Бѣлинскій называетъ *смѣшными и жалкими*, тогда она совершенно удовлетворилась-бы пушкинской поэзіей, потому что эта поэзія заключаетъ въ себѣ именно то, что нравится *смѣшнымъ и жалкимъ глупцамъ*. Это не я говорю, это говоритъ самъ Бѣлинскій. На стр. 399 онъ объявляетъ намъ, что смѣшныя и жалкіе глупцы заставляютъ поэта воспѣвать *все любовь да дружбу*, а на стр. 391 Бѣлинскій спрашиваетъ: «что составляетъ содержаніе мелкихъ пьесъ Пушкина?», и отвѣчаетъ такъ: почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболѣе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастья и горя всей его жизни».—Значитъ, *смѣшныя и жалкіе глупцы* Бѣлинскаго оказываются для Пушкина не *тупой чернью*, а, напротивъ того, избранной и посвященной публикой, читающей съ восторгомъ его стихотворенія. Значитъ, Пушкинъ *отвѣчаетъ словами, полными благородной гордости*, не *смѣшнымъ и жалкимъ глупцамъ*, а честнымъ и мыслящимъ гражданамъ, которымъ непремѣнно долженъ сочувствовать и самъ Бѣлинскій; значитъ, наконецъ самъ Бѣлинскій, стараясь прикрыть промахи Пушкина, такъ запутывается въ противорѣчіяхъ, что вытащить его изъ нихъ не остается ни малѣйшей возможности. На стр. 398 онъ хвалитъ Пушкина за *благородную гордость*, а на стр. 400 оказывается, что при этой *благородной гордости* поэтъ *рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произ-*

веденій. Впрочемъ у эстетиковъ и полу-эстетиковъ такія противорѣчія даже не считаются противорѣчіями. Бѣлинскій въ одномъ мѣстѣ говоритъ, что стихотвореніе «Поэтъ» *превосходно*, но въ смыслъ этого стихотворенія *совершенно ложно*.

Съ нашей реальной точки зрѣнія такое явленіе немислимо; по нашему, если мысль совершенно ложна, то и все стихотвореніе явленіе не годится; но такъ какъ эстетика обладаетъ специальной способностью услаждаться стихотвореніями, какъ *жареными птичками* *и чиною съ напертокомъ*, то, разумѣется, въ кабалистическомъ языкѣ слово *превосходно* можетъ имѣть гастрономическое или какое-нибудь другое, столь-же непостижимое для насъ значеніе. Та гордость, съ которой Пушкинъ гонитъ прочь *тупую чернь*, по всей вѣроятности показала Бѣлинскому *благородность* съ какой-нибудь специально-эстетической точки зрѣнія. Въ этой гордости на самомъ дѣлѣ нѣтъ рѣшительно ничего благороднаго: во-первыхъ потому, что она совершенно безсмысленна, а во-вторыхъ потому, что она поддѣльна, какъ стическое равнодушіе голодной лисицы къ доступному винограду. Тотъ фактъ, что читающая масса значительно охладѣла къ Пушкину въ время послѣдняго десятилѣтія его литературной дѣятельности, — не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Объ этомъ фактѣ говоритъ очень откровенно и Бѣлинскій, и Гоголь, и Анненковъ, и всѣ прочіе обожатели Пушкина. Стало быть, поэтъ гонитъ отъ себя чернь за нимъ числомъ, то есть тогда, когда она сама удалась отъ него и когда онъ увидѣлъ свою неспособность воротить ее назадъ.

Стихотвореніе «Поэтъ», написанное въ 1830 году, также наполнено назидательными размышленіями о незрѣлости винограда.

«Поэтъ,—говоритъ Пушкинъ,—недорожизнѣю народной! Восторженныхъ похвалъ прѣдетъ минутный шумъ; услышишь судъ толпы и смѣхъ толпы холодной (это очевидно говорится по опыту); но ты останься твердъ, сковано и угрюмъ (а что-же больше-то дѣлать? Вѣдь не плакать-же публично объ утраченной популярности?). Ты—царь: живи одинъ. Дорога свободной иди, куда влечетъ тебя свободный умъ, усовершенствуя плоды любимыхъ дѣлъ, не требуя награды за подвигъ благородный (поэтъ убѣдительно проситъ самого себя не вѣнцеваться передъ толпою и доказывать самому себѣ очень основательно, что получить отъ толпы подаяніе не предвидится ни малѣйшей надежды). Онѣ въ самомъ тебѣ. Ты самъ—свой высшій судъ; всѣхъ строже оцѣнишь умѣешь свой трудъ (строже можетъ быть, но только не съ той точки зрѣнія, съ какой его цѣнятъ другіе). Ты имъ доволенъ-ли, взыскательный художникъ? Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранить и плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь

рять, и въ дѣтской рѣзвости колеблеть твой
еженожникъ.»

Въ этомъ стихотвореніи, которое у Вѣлн-
скаго также оказывается *превосходнымъ*, мнѣ
особенно нравится та рѣшимость, съ которой
испытательный художникъ, въ пику равнодуш-
ной толпѣ, провозглашаетъ себя царемъ. —
О, молъ, негодянъ, не хотите называть меня
въ вашихъ глухихъ журналахъ гениальнымъ
этомъ, а я самъ возьму да и назову себя
царемъ; вотъ вы и останетесь въ дуракахъ. —
прочемъ этотъ произвольно-зародившійся царь
называется царемъ самого страннаго фасона:
него нѣтъ ни придворнаго штата, ни льсте-
цовъ, ни подданныхъ, ни средствъ дѣйстви-
тель такъ или иначе на жизнь окружающаго
общества. Этотъ своеобразный царь можетъ
только завести дипломатическія сношенія съ
иными царями, которыхъ резиденція находится
въ Бедламѣ или въ Бисетрѣ и которые также
живутъ одни, потому что, вступивши на пре-
столъ, потеряли способность жить скромно и
отлично въ обществѣ здравомыслящихъ людей.

Въ 1831 г. въ стихотвореніи «Эхо» Пушкинъ
жалуется на то, что поэтъ, какъ эхо, откликается
на всякій звукъ живой природы, а между тѣмъ
самъ не находитъ себѣ отзыва нигдѣ. Жалоба
основательна и сравненіе неудачно. Поэтъ не
находитъ себѣ отзыва только въ томъ случаѣ,
когда онъ самъ не откликается на тѣ явленія,
факты, чувства и стремленія, которыя состав-
ляютъ преобладающій интересъ въ жизни его
современниковъ и соотечественниковъ. Другими
словами: только тотъ поэтъ рискуетъ быть
единственнымъ читателемъ своихъ произведе-
ній, который поетъ про себя и для себя, пре-
бражая толпу.

Въ стихотвореніи «Памятникъ», написан-
номъ въ 1836 году, Пушкинъ, уже шесть лѣтъ
тому назадъ провозгласившій себя царемъ, про-
водитъ себя въ бессмертные геніи и въ бла-
дѣтели челоуѣчества. Нашъ бессмертный геній
прямо говоритъ:

«Я памятникъ воздвигъ себѣ нерукотворный;
къ нему не заростетъ народная тропа:
вознесся выше онъ главою непокорной
Наполеонова столпа (это называется я:
exsistez du peu!)

Нѣтъ! весь я не умру. Душа въ заветной лирѣ
мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ —
и славенъ буду я, доколь въ подлунномъ
мѣрѣ

Живъ будетъ хоть одинъ пѣиць.

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси ве-
ликой,

и назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ:
и гордый внукъ Славянъ, и Финнъ, и нынѣ
дикий

Тунгусъ, и другъ степей — Калмыкъ,
и долго буду тѣмъ народу я любезенъ,

Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ (?),
Что прелестью живой стиховъ я былъ по-
лезенъ (?)

И милость къ падшимъ призывалъ. (?)»

Превознося самого себѣ выше облака ходя-
чаго и умилившись достаточно надъ всѣми сво-
ими челоуѣческими и даже гражданскими доб-
родѣтелями, Пушкинъ вдругъ напускаетъ на
себя кротость, смиреніе и равнодушіе къ той
самой славѣ, въ которой онъ превзошелъ На-
полеона и передъ которой преклонялся со вре-
менемъ тунгусы и калмыки:

«Вѣлнью Божію, о Муза! будь послушна,
Обиды не страшись, не требуй и вѣнца,
Хвалу и клевету приѣми равнодушно
И не оспаривай глупца.»

Призывая къ себѣ на помощь дикаго тунгуса
и друга степей калмыка, Пушкинъ поступаетъ
очень разсчитливо и благоразумно, потому что
легко можетъ случиться, что болѣе развитыя
племени Россійской имперіи, именно финны и
гордый (?) внукъ славянъ, въ самомъ непро-
должительномъ времени жестоко обманутъ често-
любивыя и несбыточныя надежды искуснаго вер-
сификатора, самовольно надѣвшаго себѣ на го-
лову вѣнецъ безсмертія, на который онъ не
имѣетъ никакого законнаго права.

Любопытно замѣтить, что въ основаніе своего
нерукотворнаго памятника Пушкинъ кладетъ
такіе резоны, которые цѣлкомъ заимствованы
изъ осмѣяннаго и оплеваннаго имъ міросозер-
цанія *тупой черни*. Когда поэту приходится
предъявлять свои права на безсмертіе, тогда
онъ поневолѣ принужденъ заговорить серьез-
нымъ языкомъ мыслящаго реалиста; онъ при-
знаетъ надъ собою судъ того народа, который
прежде украшался обыкновенно эпитетомъ:
«безсмысленный»; онъ заговариваетъ о *доб-
рыхъ чувствахъ*, тогда какъ прежде у него
шла рѣчь только о *сладкихъ звукахъ*; нако-
пецъ онъ даже произноситъ слово *«полезенъ»*
и соглашается такимъ образомъ вступить въ
состязаніе съ *печными горшками*.

Эти невольныя уступки гордаго поэта дока-
зываютъ очевидно, что утилитарныя аксіомы
заключаютъ въ себѣ естественную, обязательную
силу даже для тѣхъ поверхностныхъ умовъ, ко-
торыя неспособны вывести изъ этихъ аксіомъ
все основное направленіе собственной жизни и
дѣятельности. Но, обнаруживая собою непоко-
лебимую прочность утилитарныхъ истинъ, вы-
нужденныя уступки эти конечно не могутъ
принести ни малѣйшей пользы личному дѣлу
самого Пушкина. Это дѣло окончательно про-
играно, и уступки, сдѣланныя Пушкинымъ, даютъ
мыслящимъ реалистамъ полное право осудить
его безапелляціонно во имя тѣхъ самыхъ prin-
циповъ, на которые онъ старается опереться и
которые онъ слѣдовательно признаетъ истин-
ными. «Я буду безсмертенъ, — говоритъ Пуш-
кинъ, — потому что я пробуждалъ лирой добрыя
чувства.» — «Позвольте, господи! Пушкинъ, —
скажутъ мыслящіе реалисты, — какія-же добрыя
чувства вы пробуждали? Привязанность къ

друзьямъ и товарищамъ дѣтства? Но развѣ же эти чувства нуждаются въ пробужденіи? Развѣ есть на свѣтѣ такіе люди, которые были-бы неспособны любить своихъ друзей? И развѣ эти каменные люди, — если только они существуютъ, — при звукахъ вашей лиры сдѣлаются нѣжными и любвеобильными? — Любовь къ красивымъ женщинамъ? Любовь къ хорошему шампанскому? Презрѣніе къ полезному труду? Уваженіе къ благородной праздности? Равнодушіе къ общественнымъ интересамъ? Робость и неподвижность мысли во всѣхъ основныхъ вопросахъ міросозерцанія? Лучшее изъ всѣхъ этихъ *добрыхъ чувствъ*, пробуждавшихся при звукахъ вашей лиры, есть, разумѣется, любовь къ красивымъ женщинамъ. Въ этомъ чувствѣ дѣйствительно нѣтъ ничего предосудительнаго, но, во-первыхъ, можно замѣтить, что оно достаточно сильно само по себѣ, безъ всякихъ искусственныхъ возбужденій; а во-вторыхъ, должно сознаться, что учредители новѣйшихъ петербургскихъ танцъ-классовъ умѣютъ пробуждать и воспитывать это чувство несравненно успѣшнѣе, чѣмъ звуки вашей лиры. Что-же касается до всѣхъ остальныхъ *добрыхъ чувствъ*, то было-бы несравненно лучше, если-бы вы ихъ совсѣмъ не пробуждали.» — «Я буду безсмертенъ, — говорятъ далѣе Пушкинъ, — потому что я былъ полезенъ.» — «Чѣмъ?» спросятъ реалисты, и на этотъ вопросъ не воспослѣдуетъ ни откуда никакого отвѣта. — «Я буду безсмертенъ, — говоритъ наконецъ Пушкинъ, — потому что я призывалъ милость къ падшимъ.» — «Господи! Пушкинъ! — скажутъ реалисты, — мы совѣтуемъ вамъ обратиться съ этимъ аргументомъ къ тунгусамъ и къ калмыкамъ. Эти дѣти природы и друзья степей быть-можетъ повѣрятъ вамъ на-слово и поймутъ именно въ этомъ филантропическомъ смыслѣ ваши воинственные стихотворенія, писанныя не во время войны, а послѣ побѣды. Что-же касается до *гордаго внука Славянъ*, до *Финна*, то эти люди уже слишкомъ испорчены европейской цивилизаціей, чтобы принимать воинственные восклицанія за проявленіе кротости и человеколюбія.»

X.

Я полагаю, что я могу теперь проститься съ Пушкинымъ, и что эта вторая статья (разборъ лирики) имѣетъ полное право сдѣлаться послѣдней. Принимаясь за эту работу, я вовсе не имѣлъ намѣренія представить читателямъ полный и подробный разборъ всѣхъ лирическихъ, эпическихъ и драматическихъ произведеній Пушкина. Предпринять такой объемистый и утомительный трудъ въ настоящее время значило-бы придавать вопросу о Пушкинѣ слишкомъ важное значеніе, — такое значеніе, котораго онъ уже не можетъ имѣть въ 1865 году. Приступая къ этой работѣ, я хотѣлъ

только высказать громко и открыто и подкрепить фактическими доказательствами то мнѣніе, которое уже многіе мыслящіе люди составили о Пушкинѣ и о всѣхъ поэтахъ и художникахъ его школы.

Теперь это дѣло сдѣлано; въ такъ-называемомъ великомъ поэтѣ я показалъ моимъ читателямъ легкомысленнаго версификатора, отаннаго мелкими предрасудками, погруженнаго въ созерцаніе мелкихъ личныхъ ощущеній, совершенно неспособнаго анализировать и понимать великіе общественные и философскіе вопросы нашего вѣка.

Если, паче чаянія, наши литературные противники представятъ мнѣ какія-нибудь дѣльныя возраженія, то я возвращусь къ вопросу Пушкинѣ и разберу эти возраженія подробно и обстоятельно. Если-же — въ чемъ я почти и сомнѣваюсь — обожатели Пушкина отвѣтятъ мнѣ только скромнымъ молчаніемъ или безсмысленными воплями комическаго негодованія, то читающая публика увидитъ ясно, безъ всякихъ дальнѣйшихъ толкованій, полную ветхость и кумира, предъ которымъ, по старой привычкѣ и по обязанности службы, преклоняется до сихъ поръ все наше пишущее филлистерство.

Въ заключеніе этой статьи я скажу еще нѣсколько словъ о Вѣлинскомъ. Я уже показывалъ читателямъ, какимъ образомъ въ этомъ славномъ умѣ происходила упорная борьба между реализмомъ и эстетикой. Я цитировалъ нѣкоторыя мнѣнія Вѣлинскаго, въ которыхъ я соглашаюсь съ нимъ, такъ и тѣ, которыя всякаго мыслящаго реалиста заставляютъ улыбнуться и пожать плечами. Но до сихъ поръ въ общихъ моихъ статьяхъ мнѣ приходилось гораздо чаще опровергать Вѣлинскаго, чѣмъ соглашаться съ нимъ; это обстоятельство можетъ дать о Вѣлинскомъ ложное понятіе тѣмъ читателямъ, которые мало знакомы съ его сочиненіями. Поэтому я считаю нелишнимъ дорисовать здѣсь ту сторону этой уважаемой личности, которую я въ неволѣ долженъ былъ оставить въ тѣни, пока я возился съ усыпительными твореніями Пушкина. Я приведу изъ статей Вѣлинскаго нѣсколько выписокъ, характеризующихъ его взгляды на тѣ вопросы, за прямое и откровенное рѣшеніе которыхъ реальная критика подвергается до сихъ поръ самымъ ожесточеннымъ нападеніямъ.

Вотъ напримѣръ что говоритъ Вѣлинскій о любви или, какъ онъ выражается, о романтизмѣ нашего времени: «Любовь зависитъ отъ сближенія, а сближеніе — отъ случайности. Не удалось здѣсь, — удастся тамъ; не сошлись съ одной, сойдется съ другой. Это опять не значить, чтобъ можно было полюбить или не полюбить по волѣ своей: это значить только то, что если каждый можетъ любить только нѣвѣстный идеалъ, то никогда никакой идеалъ не является въ мірѣ въ одномъ экземплярѣ, и

существуетъ въ большемъ или въ меньшемъ числѣ видоизмѣненій и оттѣнковъ. Нашъ романтизмъ хлопочетъ не о томъ, однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобы не разбить другого предавшагося вамъ сердца и не быть причиной несчастья его жизни... Одинъ такъ, другой иначе; тотъ одинъ разъ въ жизни, а этотъ—десять разъ: оба равно правы, лишь-бы только на совѣсти котораго нибудь изъ нихъ не легло ничье несчастье.» Вѣлинскій говоритъ: «не сошлись съ одною, сойдется съ другою», а Базаровъ говоритъ: «нельзя, ну, и не надо; земля не клиномъ сошлась». Предоставляю читателю судить о томъ, велика-ли разница между обѣими формулами.

«Вѣрность,—говоритъ Вѣлинскій въ другомъ мѣстѣ,—перестаетъ быть долгомъ, ибо означаетъ только постоянное присутствіе любви въ сердцѣ: нѣтъ болѣе чувства—и вѣрность теряетъ свой смыслъ; чувство продолжается—вѣрность опять не имѣетъ смысла, ибо что за услуга быть вѣрнымъ своему счастью?»

Приглашаю тѣхъ господъ, которые возмущались безправственностью романа «Что дѣлать?», направить свое великодушное негодованіе противъ Вѣлинскаго.

А вотъ какъ Вѣлинскій трактуетъ вѣрнаго рыцаря Тоггенбурга. «Подлинно—рыцарь печальнаго образа!.. Какъ жаль, что Шиллеръ воскресилъ его не совсѣмъ въ пору да во-время! Сердца холодныя и разочарованныя, души жестокия и прозаическія, мы жалѣемъ объ этомъ рыцарѣ, но не какъ о человѣкѣ, постигнутомъ рокомъ и несущемъ на себѣ тяжкое бремя *дѣйствительнаго* несчастья, а какъ о сѣмъшесдшемъ.» Рѣшительно *les beaux esprits se rencontrent*: Базаровъ положительно удивлялся тому, что Тоггенбурга не посадили въ сѣмъшесдшій домъ. Послѣ этого, опираясь на свидѣтельство Вѣлинскаго, осмѣлюсь спросить: неужто въ самомъ дѣлѣ съ моей стороны было неслыханной дерзостью назвать *добрякомъ* того поэта, у котораго достало добродушія на то, чтобы воспѣвать чувствительными стихами огорченія сѣмъшесдшаго человѣка?

Вотъ, по мнѣнію Вѣлинскаго, что долженъ дѣлать человѣкъ въ томъ случаѣ, если любимая имъ особа полюбила другого. «Въ такомъ случаѣ натурально, что ея внезапнаго къ нему охлажденія онъ не приметъ за преступленіе или такъ называемую на языкѣ пошлыхъ романовъ *неспринность* и еще менѣе согласится принять отъ нея жертву, которая должна состоять въ ея готовности принадлежать ему даже и безъ любви и для его счастья отказаться отъ счастья новой любви, можетъ-быть бывшей причиной ея къ нему охлажденія. Еще болѣе естественно, что въ такомъ случаѣ ему остается сдѣлать только одно:—со всѣмъ са-

моотверженіемъ души любящей, со всей теплотой сердца, постигнаго святую тайну страданія, благословить *его* или *ее* на новую любовь и новое счастье, а свое страданіе, если нѣтъ силъ освободиться отъ него, глубоко скоронить отъ всѣхъ, и въ особенности отъ *него* или отъ *нея* въ своемъ сердцѣ.»

Прочитавши эти строки, можно представить себѣ, съ какимъ глубокимъ и сознательнымъ уваженіемъ отнесся-бы Вѣлинскій къ характеру и поступку Лопухова, и какую вдохновенную критическую статью написалъ-бы онъ по поводу того романа, на который такъ упорно и такъ тупо клеветали солидные люди нашей литературы. Изъ этого романа Вѣлинскій узналъ бы впрочемъ, что фантастическое и неправдоподобное *самоотверженіе* замѣняется въ подобныхъ случаяхъ совершенно удовлетворительно разумнымъ эгоизмомъ или правильнымъ пониманіемъ собственной выгоды.

А вотъ мысли Вѣлинскаго о ревности вообще и объ «Отелло» въ особенности: «Въ образованномъ человѣкѣ нашего времени шекспировъ «Отелло» можетъ возбуждать сильный интересъ, но съ тѣмъ однакожъ условіемъ, что эта трагедія есть картина того варварскаго времени, въ которое жилъ Шекспиръ и въ которое мужъ считался полновластнымъ господиномъ своей жены; всякій-же образованный человѣкъ нашего времени только разсмѣется отъ новыхъ Отелликовъ, вродѣ Марсея въ нелѣпой повѣсти Эжена Сю «Крао» и бессмысленнаго господина въ отвратительной повѣсти Дюма «Une Vengeance». Но люди, которымъ нужно доказывать, что въ наше время кинжалы, яды и даже пистолеты вслѣдствіе ревности суть не что иное, какъ пошлые театральные эффекты или результаты болѣзненнаго безумія, животнаго эгоизма и дикаго невѣжества,—такіе люди не стоятъ того, чтобы тратить на нихъ слова.» Это мѣсто я привожу для тѣхъ господъ, которые были очень озадачены моимъ замѣчаніемъ на счетъ «Отелло», помѣщеннымъ въ статьѣ «Мотивы русской драмы».

Наконецъ вотъ вамъ еще слова Вѣлинскаго о родительской власти: «Еслибъ отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына счастье его жизни, на основаніи собственныхъ корыстныхъ расчетовъ,—всѣ-бы увидали, что отецъ любить себя, а не сына, и тѣмъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ нимъ; ибо если нѣтъ любви, связывающей отца съ дѣтьми, то у дѣтей нѣтъ отца.» Коротко и ясно! Это мѣсто я рекомендую тому жалкому пигмею, который обвинялъ Помяловскаго въ стремленіи возстановлять дѣтей противъ родителей. Словомъ, на всѣхъ пунктахъ, кромѣ эстетики, наши противники, нападая на насъ, нападаютъ въ то-же время и на Вѣлинскаго, котораго они совершенно нехоти *обзываютъ* своимъ учитекомъ.

ПОДВИГИ ЕВРОПЕЙСКИХЪ АВТОРИТЕТОВЪ.

I.

Въ былое время,—когда приемы и орудія наблюденія были очень несовершенны,—многіе умные и по тогдашнему ученые люди объясняли себя самымъ неосновательнымъ образомъ происхождение различныхъ мелкихъ животныхъ. Аристотель думалъ, что большая часть насекомыхъ родится сама собою изъ земли, изъ разлагающихся растений или изъ частей тѣла другихъ животныхъ. Плутархъ полагалъ, что почва Египта порождаетъ изъ себя крысъ. Плиній принималъ за чистую истину рассказъ Виргилія о пчелахъ Аристея, родившихся изъ трупа быка. Еще въ XVII вѣкѣ ученый Кирхеръ утверждалъ очень серьезно, что мясо змѣи, высушенное и истолченное въ порошокъ, потомъ посыпанное въ землю и подвергнутое дѣйствию дождя, порождаетъ изъ себя червей, которые со временемъ превращаются въ змѣй. Но въ томъ-же XVII вѣкѣ начались основательныя изслѣдованія по вопросу о размноженіи насекомыхъ и другихъ мелкихъ животныхъ. Флорентійскій медикъ, Францискъ Реди, доказалъ въ это время, что мелкіе червячки, покрывающіе разлагающееся мясо, рождаются не изъ самаго мяса, а изъ яичекъ, положенныхъ на него различными породами мухъ. Ученикъ Франциска Реди, Валлисиери, объяснилъ точно такимъ-же образомъ присутствіе червячковъ въ различныхъ плодахъ. Современникъ Реди и Валлисиери, Свамердамъ, произвелъ множество наблюденій надъ размноженіемъ пчелъ, вшей и разныхъ другихъ насекомыхъ. Оказалось, что всѣ они происходятъ отъ подобныхъ себѣ родителей и что ни одно изъ этихъ животныхъ не возникаетъ посредствомъ такъ называемаго *произвольнаго зарожденія* ни изъ земли, ни изъ растительныхъ веществъ, ни изъ тѣла другихъ животныхъ. Послѣ всѣхъ этихъ и многихъ другихъ изслѣдованій большинство ученыхъ стало относиться къ произвольному зарожденію съ крайней недоувѣрчивостью и съ полнѣйшимъ презрѣніемъ.

Науганные смѣшными ошибками старинныхъ натуралистовъ, они ударились въ противоположную крайность и смѣло причислили всякое произвольное зарожденіе къ тѣмъ мифамъ, надъ которыми наука одержала рѣшительную побѣду. Однако въ концѣ того-же XVII столѣтія идея произвольнаго зарожденія нашла себѣ новый пріютъ, изъ котораго ее повидимому

не выгнать никакія дальнѣйшія изслѣдованія. Дѣло въ томъ, что въ концѣ XVII вѣка Левенгукъ открылъ въ каплѣ дождевой воды цѣлый міръ микроскопическихъ животныхъ и растений. Вслѣдъ затѣмъ тотъ-же изслѣдователь нашелъ, что міриады этихъ простѣйшихъ организмовъ, незамѣтныхъ для невооруженнаго глаза, развиваются съ изумительной быстротой во всякомъ настоѣ, то есть въ тѣхъ водахъ, въ которую положено какое-нибудь растительное вещество. Это свойство доставило микроскопическимъ животнымъ названіе *инфузорій*, то есть *наличчатыхъ* животныхъ. Возникъ, разумѣется, вопросъ: откуда берутся эти мельчайшіе организмы? Одни ученые стали поддерживать то мнѣніе, что они зарождаются въ самомъ настоѣ изъ частичекъ той матеріи, которая плаваетъ въ водѣ. Другіе высказали то предположеніе, что въ воздухѣ витаютъ тучи яичекъ и сѣмянъ, порожденныхъ прежними поколѣніями микроскопическихъ животныхъ и растений, что эти яички и сѣмена падаютъ изъ воздуха въ настои и развиваются въ этомъ настоѣ. Первая доктрина называется теоріей произвольнаго зарожденія или *этерогеніей*. Вторая называется *пансперміей*, то есть теоріей повсемѣстнаго присутствія зародышей. Чтобы окончательно рѣшить вопросъ въ пользу той или другой доктрины, надо было устроить такъ, чтобы настои находились въ прикосновеніи съ воздухомъ, но чтобы этотъ воздухъ былъ совершенно очищенъ отъ всякихъ органическихъ зародышей. Если при этихъ условіяхъ въ настоѣ все-таки разовьется микроскопическое населеніе, тогда побѣда останется на сторонѣ этерогенистовъ. Если-же въ настоѣ не окажется ни растений, ни животныхъ, тогда восторжествуютъ панспермисты. Очищеніе воздуха отъ органическихъ зародышей производится на основаніи самыхъ простыхъ соображеній. Всякому извѣстно, что изъ варенаго яйца не выведется цыпленокъ и что вареный горохъ не даетъ ростка. Эти общезнѣсныя явленія выражаютъ собою общій законъ, который распространяется на весь органическій міръ и состоитъ въ томъ, что всѣ растения и всѣ животныя, всѣ сѣмена и всѣ яйца умираютъ, когда подвергаются такъ или иначе, дѣйствию очень сильнаго жара. Кроме того извѣстно, что очень сильныя кислоты также убиваютъ всякую органическую жизнь. Стало быть, чтобы уничтожить зародыши,

включающіеся въ самомъ настоѣ, надо его вскипятить, а чтобы уничтожить эти зародыши съ томъ воздухомъ, который будетъ прикасаться къ настою во время опыта, надо пропускать этотъ воздухъ черезъ раскаленную трубку или черезъ пузырекъ, наполненный сѣрною кислотою. Въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія нѣмецкій ученый Шульце сдѣлалъ нѣсколько опытовъ по данному вопросу, пропускавая воздухъ черезъ сѣрную кислоту. Около того-же времени Шваннъ произвелъ такіе-же опыты, пропускавая воздухъ черезъ раскаленную трубку. Въ обоихъ случаяхъ не получилось ни животныхъ, ни растений; панспермисты восторжествовали и почислили вопросъ окончательно рѣшеннымъ. Парижская академія наукъ и всѣ европейскіе университеты признали произвольное зарожденіе суевѣрной фантазіей и совершенно успокоились на опытахъ Шванна и Шульце. Такимъ образомъ прошло двадцать лѣтъ. Въ концѣ 1858 года отпѣтый и похороненный вопросъ воскресъ съ новой силой. Одинъ изъ авторитетовъ ученаго міра, руанскій профессоръ Пуше, корреспондентъ парижской академіи наукъ, повторилъ со всевозможными предосторожностями опыты Шванна и Шульце, произвелъ множество самостоятельныхъ опытовъ и микроскопическихъ наблюденій и наконецъ, послѣ многолѣтнихъ трудовъ, извѣстилъ парижскую академію о томъ, что микроскопическія животныя и растенія возникаютъ и развиваются въ настояхъ при такихъ условіяхъ, при которыхъ ихъ появленіе можетъ быть объяснено только произвольнымъ зарожденіемъ. Академія взволновалась и громко выразила свое недовѣріе. Химикъ Дюма и физиологъ Мильнъ-Эдвардъ стали утверждать въ публичномъ засѣданіи, что зародыши животныхъ и растений попали въ аппараты Пуше изъ воздуха, что, по своей мелкости, эти зародыши могутъ пробраться въ сосуды, закупоренные самымъ тщательнымъ образомъ, и что, по своей живучести, эти зародыши могутъ съ полнымъ успѣхомъ сопротивляться жару, далеко превышающему температуру кипящей воды. Выигая противъ Пуше эти аргументы, Мильнъ-Эдвардъ считалъ даже своимъ долгомъ извиниться передъ своими товарищами по академіи въ томъ, что разсуждаетъ въ ихъ присутствіи о вопросе, столь недостойномъ ихъ просвѣщеннаго вниманія. Нисколько не смущаясь величественнымъ презрѣніемъ Мильнъ-Эдвардса, Пуше подорвалъ аргументацію своихъ оппонентовъ въ самомъ основаніи. Прямими микроскопическими наблюденіями надъ тѣми пылинками, которыя носятся въ воздухѣ, онъ доказалъ, что воздухъ не заключаетъ въ себѣ ни яичекъ, ни сѣмянъ; тѣ мельчайшія круглыя частички, которыя принимались прежними наблюдателями за яички и за сѣмена, оказались,

по изслѣдованіямъ Пуше, *des grains de fécule* и *des granules de silice*, то-есть такими веществами, которыя не имѣютъ ничего общаго съ зародышами живыхъ организмовъ. Въ началѣ 1859 года итальянскій ученый Мантегацца пришелъ къ тѣмъ самымъ результатамъ, за которые боролся Пуше. Мантегацца видѣлъ собственными глазами, какъ возникали и развивались въ настоѣ *bactériu*, одинъ изъ видовъ простѣйшихъ инфузорій. Онъ прослѣдилъ, посредствомъ самыхъ усидчивыхъ микроскопическихъ наблюденій, всѣ фазы развитія этихъ животныхъ и совершенно убѣдился въ томъ, что самыя яички формируются въ настоѣ. Академія поколебалась и 14 марта 1859 года предложила для конкурса на 1862 годъ тотъ самый вопросъ, который нѣсколько недѣль тому назадъ Мильнъ-Эдвардъ находилъ недостойнымъ ея просвѣщеннаго вниманія. Въ августѣ того-же года вышелъ въ свѣтъ обширный ученый трудъ Пуше подъ слѣдующимъ заглавіемъ: «*Hétérogénie ou Traité de la génération spontanée, basé sur des nouvelles expériences*» («Этерогенія или трактатъ о произвольномъ зарожденіи, основанный на новыхъ опытахъ»). Эта книга, заключающая въ себѣ около 700 страницъ и наполненная фактическими доказательствами, убѣдила всѣхъ безпристрастныхъ специалистовъ. Академіи по настоящему оставалось только признаться въ томъ, что она ошибалась, и принять съ полной благодарностью новую теорію, какъ драгоценный вкладъ французскаго мыслителя въ сокровищницу общечеловѣческой мысли. Ни одинъ изъ академиковъ не представилъ противъ книги Пуше ни малѣйшаго возраженія. Втеченіи шести мѣсяцевъ теорія произвольнаго зарожденія не находила себѣ во Франціи ни одного противника. Наконецъ, въ февралѣ 1860 года, на помощь къ смущенной академіи наукъ подоспѣлъ химикъ Пастеръ. Опыты этого ученаго привели его къ тому убѣжденію, что зародыши дѣйствительно попадаютъ въ воздухъ, но не повсемѣстно, и что число ихъ, смотря по обстоятельствамъ времени и мѣста, то увеличивается, то уменьшается. Пастеръ беретъ нѣсколько стеклянныхъ сосудовъ одинаковой величины, наливаетъ въ каждый изъ нихъ одинаковое количество наста, кипятитъ ихъ и потомъ, во время кипяченія воды, запаиваетъ узкія отверстія этихъ сосудовъ надъ огнемъ спиртовой лампы. Затѣмъ онъ переноситъ ихъ въ то мѣсто, гдѣ онъ хочетъ производить опыты надъ составомъ атмосферы, открываетъ ихъ тамъ, наполняетъ ихъ воздухомъ и потомъ опять запаиваетъ ихъ наглухо. Въ нѣкоторыхъ сосудахъ развивается органическая жизнь, а въ другихъ не развивается. Сравнивая число первыхъ съ числомъ вторыхъ, Пастеръ замѣчаетъ, что число вто-

рыхъ становится тѣмъ значительнѣе, чѣмъ чище и спокойнѣе воздухъ того мѣста, въ которомъ совершалось открытіе и наполненіе сосуда. Изъ двадцати сосудовъ, наполненныхъ воздухомъ у подошвы Юры, *девять* сосудовъ наполнились инфузоріями, а *одиннадцать* остались безплодными. Изъ двадцати сосудовъ, наполненныхъ воздухомъ на одной изъ вершинъ Юры, на высотѣ 850 метровъ надъ уровнемъ моря, *пять* сосудовъ наполнились инфузоріями, а *пятнадцать* остались безплодными. Наконецъ изъ двадцати сосудовъ, наполненныхъ воздухомъ на склонѣ Монблана, на высотѣ 2000 метровъ, *девятнадцать* остались безплодными и только *одинъ* наполнился инфузоріями. Изъ этихъ опытовъ Пастеръ выводилъ то заключеніе, что развитіе инфузорій въ настояхъ зависитъ отъ присутствія въ воздухѣ органическихъ зародышей: гдѣ эти зародыши особенно многочисленны, тамъ и инфузоріи развиваются особенно успѣшно; гдѣ этихъ зародышей почти совсѣмъ нѣтъ, тамъ и настой остается безплоднымъ. Свѣтила науки съ самой нѣжной любовью усыновили теорію Пастера и немедленно приняли творца этой теоріи подъ свое высокое покровительство. Отличіе Пастера отъ прежнихъ панспермистовъ состояло въ томъ, что прежніе признали *повсемѣстное* существованіе зародышей въ атмосферѣ, а Пастеръ признаетъ только *мѣстное* ихъ существованіе. Прежніе говорили *вездѣ*, а Пастеръ говоритъ *кое-гдѣ*. Поэтому доктрина Пастера, въ отличіе отъ прежней *пансперміи*, называется *полупансперміей* (*demi-panspérmié*) или *мѣстной пансперміей* (*panspérmié localisée*).—Въ то время, когда Пастеръ своей полу-пансперміей покорялъ сердца парижскихъ академиковъ, въ академію было прислано изъ Тулузы «*Микроскопическое изслѣдованіе воздуха*», ученая работа профессора Жоли и доктора естественныхъ наукъ Мюссе. Въ этой работѣ говорилось, что въ воздухѣ нѣтъ ни яичекъ, ни сѣмянъ. Вскорѣ послѣ того Жоли и Мюссе, посредствомъ собственныхъ опытовъ, убѣдились въ томъ, что Пуше совершенно правъ, и что произвольное зарожденіе составляетъ дѣйствительно существующій фактъ. Съ этой минуты они сдѣлались постоянными союзниками Пуше въ той упорной борьбѣ, которая завязалась по вопросу о произвольномъ зарожденіи между научной истиной съ одной стороны и парижской академіей, усыновившей Пастера съ другой стороны. Ученые заслуги Пастера, какъ химика, не подлежатъ сомнѣнію; ученая репутация Мильнъ-Эдвардса, Дюма, Флуранса, Клода - Бернара и другихъ противниковъ этерогеніи также совершенно незыблема; но въ настоящее время поле науки до такой степени обширно и раздѣленіе научнаго труда дошло уже до такихъ размѣровъ, что

ислѣдователи принуждены выбирать себѣ только отдѣльную науку, но еще кромѣ этой отдѣльной части отдѣльной науки. Можно быть превосходнымъ зоологомъ и въ то же время имѣть самыя общія и неопредѣленныя понятія объ отдѣльных видахъ микроскопическихъ животныхъ, объ ихъ яичкахъ и о томъ, какъ они развиваются. Кто хочетъ достигнуть такого совершенства, чтобы узнавать безъ ошибки одну породу инфузорій отъ другой, яички одной породы отъ яичекъ другой, то конечно долженъ провести надъ сильнѣйшимъ микроскопомъ значительную долю своей жизни. Пастеру, какъ химику, разумѣется, объ этомъ нечего было и думать. Поэтому онъ очень удивился, когда этерогенисты потребовали отъ него, чтобы онъ показалъ и назвалъ поименно тѣ яички и сѣмена, которыя, по его мнѣнію, несутся въ воздухѣ. «Можно-ли сказать,—въ началѣ онъ имъ съ трогательной открытостью:—вотъ это сѣмячко, а вотъ это яичко. И это даже не все; Пуше хочетъ кромѣ того, чтобы я сказалъ: вотъ это сѣмячко такой-то плѣсени, а вотъ это яичко такой-то инфузоріи. Право, мнѣ это кажется невозможнымъ. Можно только подмѣтить виѣшнее сходство этихъ частичекъ съ зародышами низшихъ организовъ, вотъ и все.»—Для жестокаго Пуше этого было мало, потому что онъ самъ показывалъ своимъ слушателямъ въ Руанѣ яички и сѣмена, называлъ ихъ поименно и слѣдилъ за различными фазами ихъ развитія. Изъ ученыхъ покровителей Пастера, ни Мильнъ-Эдвардъ, ни Флурансъ, ни Бернаръ не занимались спеціально микроскопической эмбриологіей, и въ то же время ни одинъ изъ нихъ не хотѣлъ и кровенно признаться въ собственной некомпетентности. Изъ этого обстоятельства получился тотъ уродливый результатъ, что спеціалисты Пуше, Жоли и Мюссе принуждены были подвергать свои труды суду такихъ людей, которые въ данномъ отдѣлѣ науки годились не въ ученики, но которые зато, въ качествѣ заслуженныхъ академиковъ, были гораздо старше ихъ по чину. Изученіе природы было такимъ образомъ поставлено въ прямую зависимость отъ табели о рангахъ.

II.

Пастеръ, успѣвшій вытащить заслуженныхъ академиковъ изъ того затруднительнаго положенія, въ которое поставила ихъ невозможность опровергнуть ученый трудъ Пуше, Пастеръ, говорю я, сталъ быстро хватать это академическое отличіе за другія. Въ декабрѣ 1861 академія присудила ему жекеровскую премію; черезъ годъ его выбаллотировали въ академики и скорѣ послѣ этихъ выборовъ въ послѣднихъ числахъ 1862 года, ему прист-

дили премию за обсужденіе вопроса о произвольномъ зарожденіи. Присужденіе этой послѣдней преміи было особенно замѣчательно. Комиссія, которой поручено было разсматривать сочиненія, представленныя на конкурсъ, была составлена изъ пяти членовъ. Вотъ ихъ имена: Мильнъ-Эдвардъ, Флурансъ, Броньяръ, Серръ и Изидоръ Жоффруа - Сентъ - Илеръ. Первые трое были отъявленными противниками этерогеніи. Послѣдніе два не имѣли противъ нея никакихъ теоретическихъ предубѣжденій. Пуше написалъ для конкурса новую книгу подъ заглавіемъ: «Nouvelles expériences sur la génération spontanée et la résistance vitale» («Новые опыты на счетъ произвольнаго зарожденія и на счетъ живучести организмовъ»). Это сочиненіе однако не попало на конкурсъ, и Пуше въ предисловіи къ нему объясняетъ причины этого послѣдняго обстоятельства. «Хотя,—говоритъ онъ,—въ комиссіи противники этерогеніи имѣли на своей сторонѣ большинство, я однако не унывалъ. Я надѣялся, что серьезный трудъ, наполненный добросовѣстными изслѣдованіями, найдетъ себѣ достаточную защиту со стороны Жоффруа и Серра, которые одни только не имѣли предвзятыхъ намѣреній.—Жоффруа умеръ, и у меня остался одинъ Серръ, который предупреждалъ меня, что его безъ сомнѣнія отзовутъ изъ комиссіи. Я считалъ это невозможнымъ. Однако случилось именно такъ. Въ комиссію вступили Кость и Клодъ-Бернаръ; такимъ образомъ вся комиссія оказалась составленной изъ противниковъ этерогеніи. Я все-таки оставался при прежнемъ своемъ намѣреніи. Но, когда я имѣлъ честь побывать у Мильнъ-Эдвардса, онъ сказалъ мнѣ напрямикъ: «я даю премию Пастеру, потому что я видѣлъ его опыты и они совершенно убѣдили меня». Этотъ приемъ сразу поражающъ остракизмомъ всю провинцію. Я немедленно объявилъ знаменитому зоологу, что я отказываюсь отъ конкурса. Моему примѣру послѣдовали господа Жоли и Мюссе, двое самыхъ замѣчательныхъ и ученыхъ защитниковъ этерогеніи.» Вотъ какія удивительныя дѣла творятся въ наше время въ знаменитѣйшей изъ европейскихъ академій. Однако неугомонные этерогенисты оказались такими жестокосердыми и неделикатными людьми, что продолжали огорчать и волновать несчастную академію различными заявленіями, которая очевидно была для нея совершенно неинтересна и даже въ высшей степени непріятна. Академіи не угодно было, чтобы микроскопическія животныя и растенія развивались сами собою въ настояхъ; академія уже достаточно ясно выразила свое полное отвращеніе къ теоріи Пуше и свое столь-же полное сочувствіе къ доктринѣ Пастера. Етерогенистамъ очевидно оставалось только взглянуть на та-

бель о рангахъ, смириться духомъ и раскаяться въ томъ, что они, помимо старшихъ чиновниковъ науки, осмѣлились дѣлать открытія и создавать теоріи. Пуше, Жоли и Мюссе поступили какъ-разъ наоборотъ. Въ 1863 году они втроемъ отправились нарочно въ Пиренейскія горы и взлѣзли на вершину Маладетты, чтобы произвести тамъ надъ стеклянными сосудами тѣ операціи, которыя были произведены Пастеромъ на Юрѣ и на Монбланѣ. На вершинѣ Маладетты, среди вѣчныхъ снѣговъ, этерогенисты вскрыли, наполнили воздухомъ и запаяли снова восемь стеклянныхъ сосудовъ. Такъ какъ высота Маладетты вовсе не уступаетъ высотѣ того пункта на Монбланѣ, на которомъ Пастеръ производилъ свои опыты, и такъ какъ воздухъ среди вѣчныхъ снѣговъ долженъ быть одинаково чистъ въ Альпахъ и въ Пиренеяхъ, то, принимая въ соображеніе результаты, полученные Пастеромъ (изъ 20 сосудовъ 19 безплодныхъ), надо было ожидать, что всѣ восемь сосудовъ Пуше, Жоли и Мюссе останутся не населенными. Вышло какъ разъ наоборотъ. Всѣ восемь обнаружили въ себѣ на пятый день присутствіе растительной и животной жизни. Этимъ извѣстіемъ злобные этерогенисты не преминули огорчить несчастную академію. Академія, какъ и слѣдовало ожидать, заткнула себѣ уши, зажмурила глаза и, отмахиваясь руками, стала повторять на разные лады, что ея Пастеръ—отличный человѣкъ, что онъ сдѣлалъ множество превосходѣйшихъ опытовъ, что вопросъ окончательно рѣшенъ и что отъ добра добра не ищутъ. Зоологи: Мильнъ-Эдварсъ и Катрфажъ, химики: Реньо и Сентъ-Клеръ-Девиль, и самъ непремѣнный секретарь академіи, Флурансъ, въ публичномъ засѣданіи стали распинаться за безукоризненность пастеровыхъ опытовъ. Злые люди сомнѣваются впрочемъ въ томъ, чтобы химики могли быть компетентными судьями въ запутанномъ фізіологическомъ вопросѣ; злые люди припоминаютъ кромѣ того нѣкоторые опыты самого Мильнъ-Эдвардса и нѣкоторыя наблюденія самого Катрфажа, которые никакъ не могутъ быть названы безукоризненными; Мильнъ-Эдвардъ держалъ настой въ безвоздушномъ пространствѣ и потомъ праздновалъ побѣду надъ теоріей произвольнаго зарожденія, опираясь на то обстоятельство, что въ этомъ настоѣ не появлялось ни животныхъ, ни растеній. Катрфажъ принималъ круглыя и овальныя пылинки, попадающіяся въ воздухъ, за яички и сѣмена и успокоился на этомъ вѣрованіи, не подвергая его дальнѣйшему анализу. Наконецъ злые люди не оставляютъ въ покоѣ даже непремѣннаго секретаря академіи. О немъ разсказываются во французской печати слѣдующія двѣ легенды, которыя конечно даютъ достаточное понятіе о злости и коварствѣ его враговъ,

оскѣлившихся взводить на него такую напраслину: «Однажды,—пишетъ злой человѣкъ, Викторъ Менье,—одинъ этерогенистъ вручилъ одну стеклянку одному изъ членовъ академіи наукъ. Эта стеклянка заключала въ себѣ обильную растительность *aspergillus* овъ, образовавшихъ въ ней роскошный зеленый коверъ. Къ несчастью (точно-ли это несчастье?), этерогенистъ забылъ сказать академику, своему судѣ, названіе той вещи, которую онъ ему показывалъ.

Со стеклянкой въ лѣвой рукѣ, съ лупой въ правой, приклеившись глазомъ къ увеличительному стеклу, авторитетъ долго предавался созерцанію. Затѣмъ, ставя стеклянку на столъ: «хорошо!—сказалъ онъ.—Покажите-же вы мнѣ теперь эти знаменитые *aspergillus*, о которыхъ было говорено такъ много.»

«— Т. I. R. прѣзжалъ ко мнѣ; онъ видѣлъ мои опыты; онъ уѣхалъ окончательно убѣжденный, говорилъ тотъ-же этерогенистъ тому же академику.

«— Это не авторитетъ!

«— Но этерогенія, осмѣянная во Франціи, съ каждымъ днемъ привлекаетъ къ себѣ новыхъ приверженцевъ въ заграничныхъ академіяхъ и университетахъ.

«— (Ударяя себя въ грудь.) Нѣтъ другой академіи наукъ!

«— Но вашъ товарищъ по академіи Т. С. видѣлъ и остался доволенъ.

«— Ахъ! видите-ли, надо, чтобы я самъ провѣрилъ ваши опыты.

«— Я къ вашимъ услугамъ. Я пробуду здѣсь двѣ недѣли, мѣсяцъ...

«— Нѣтъ, мои занятія... слабость моего здоровья...

«Тѣмъ дѣло и кончилось. Можетъ-быть я поступаю нескромно, но я знаю навѣрное, что я не искажаю фактовъ. Возвращаясь къ г. Флурансу (точно-ли мы разставались съ нимъ?), я замѣчу, что этотъ фізіологъ въ жизни своей не сдѣлалъ ни одного опыта, относящагося къ этерогеніи.» («*Lascience et les savants en 1864*»), Однако, какія-бы неправдоподобныя легенды ни распространяли злые люди, академія, проникнутая высокимъ сознаніемъ своего генеральскаго чина, сдѣлала свое дѣло очень успѣшно. Ея непоколебимая ненависть къ этерогеніи навела такой ужасъ на огромное большинство оффиціальныхъ представителей французской науки, что очень многіе тайные доброжелатели отверженной теоріи остерегаются выражать громко свои грѣховныя симпатіи, потому что эти симпатіи съ величайшимъ удобствомъ могутъ совершенно испортить ихъ ученую карьеру. Однажды Пуше получилъ отъ одного изъ самыхъ замѣчательныхъ профессоровъ медицинскаго факультета сочувственное письмо, изъ котораго онъ въ своей послѣдней кни-

гѣ напечаталъ слѣдующій отрывокъ: «Споръ, какъ я вышелъ изъ классическихънокъ, и съ тѣхъ поръ, какъ я началъ разлагать собственнымъ умомъ, я применилъ приверженцамъ произвольнаго зарожденія настоящее время я дивлюсь только томъ, какимъ образомъ есть до сихъ поръ умняди, способные удовлетвориться смѣшной думкой пансперміи! Но вы не надѣйтесь, чтобы кто-нибудь изъ панспермистовъ обратилъ на путь истины. Чѣмъ пристальнѣе я захожу прогресса, тѣмъ сильнѣе я убѣждаюсь, что только коса времени способна осуществить, потому что только одна побѣждаетъ упрямство ученыхъ.» Авторъ го письма не уполномочилъ Пуше называть по имени. Онъ не желаетъ ссориться съ мическимъ генералитетомъ, и поэтому не охотится заявить публично свое мнѣніе отверженномъ ученіи этерогенистовъ «Дамѣчаетъ по этому случаю Менье,—есть научныя истины, о которыхъ неудобно говорить; кто не хочетъ жертвовать собою, часто приходится жертвовать истиной; нѣмѣтъ мѣста и желаетъ его получить, лишены рабочихъ инструментовъ и не могутъ приобрести казенную лабораторію; кто, въ недостатку средствъ, не можетъ работать, ситъ себѣ денежнаго вспомошествованія, доведя работу до конца, стремится къ или къ почетному отзыву; кто, живя холустьѣ, мечтаетъ о томъ, чтобы его вѣ въ Парижъ; кто, будучи честнымъ человекомъ, желаетъ украсить свою петлицу видными ками своихъ достоинствъ; кто, будучи вѣ ромъ (Почетнаго Легіона), хочетъ сдѣлать членомъ того-же ордена; кто, непричастный академіи, жаждетъ получить титулъ корреспондента; кто, сдѣлавшись корреспондентомъ, мится сдѣлаться членомъ; кто, занимая кафедру, простираетъ свои виды на др т. д.,—всѣ такіе ученые осуществляютъ стремленія только въ томъ случаѣ, если будутъ служить въ одно время, но не с наковымъ усердіемъ, двумъ господамъ, мѣръ астрономіи и господину такому-то зоологіи и господину такому-то, химіи и господину такому-то, зоологіи и господину т то, искусственному разведенію устрицъ сподину такому-то.»

III.

Распря между наукой и академическими силами продолжалась уже пять лѣтъ, наконецъ, въ ноябрѣ 1863 года, этерогеніи Жюли и Мюссе сдѣлали академіи слѣдующее предложеніе: «Есть возможность,—писали рѣшить очень просто этотъ безконечный споръ. Пусть академія наукъ сообразовываетъ наз

комиссию, передь которой г. Пастеръ и мы повторимъ главные опыты, на которыхъ основываются, съ этой и съ другой стороны, столь противоположныя заключения. Что касается до насъ, то мы считали бы себя счастливыми, еслибы знаменитое общество обратило серьезное вниманіе на ту просьбу, которую мы осмѣливаемся передъ нимъ выразить.» — Когда это письмо было прочитано въ засѣданіи академіи, тогда Пастеръ изъявилъ съ своей стороны полное согласіе. Двѣ недѣли спустя послѣ этого засѣданія, Пуше также присоединился къ прошенію своихъ союзниковъ, Жоли и Мюссе. Въ декабрѣ президентъ академіи, генераль Моренъ, назначилъ членами комиссіи Флуранса, Дюма, Мильнъ-Эдвардса, Броньяра и Балара. Любопытно замѣтить, что этотъ генераль Моренъ, тотъ самый, который, по мнѣнію «Московскихъ Вѣдомостей», можетъ рѣшать безапелляціонно вопросъ о классицизмѣ и реализмѣ, подобралъ для комиссіи такихъ людей, которые несчетное число разъ декламировали противъ этерогеніи и которыхъ слѣдовательно личное самолюбіе сильнѣйшимъ образомъ побуждало къ тому, чтобы оправдать Пастера и обвинить Пуше, Жоли и Мюссе. — Противъ своеобразнаго распоряженія генерала Морена не возражалъ ни одинъ изъ присутствовавшихъ академиковъ; такая манера составлять комиссіи очевидно начинаетъ обращаться въ привычку; комиссія по поводу конкурса была составлена точно такимъ-же образомъ. Флурансу, Мильнъ-Эдвардсу и Броньяру, увѣнчавшимъ Пастера и отстранившимъ отъ конкурса *всю провинцію* этерогенистовъ, предстоялъ теперь удобный случай забрать этихъ этерогенистовъ живьемъ и приковать ихъ къ триумфальной колесницѣ великаго изобрѣтателя полупансперміи. Можно было сомнѣваться только въ одномъ: именно въ томъ, окажутся ли этерогенисты настолько добродушными и довѣрчивыми, чтобы, по собственному желанію, отдаться въ руки тѣхъ самыхъ судей, которые уже одинъ разъ заявили блистательно въ отношеніи къ нимъ все величіе своего безпристрастія и своей компетентности. Можно было думать, что, увидѣвъ слишкомъ знакомыя имена: Мильнъ-Эдвардса, Флуранса и Броньяра, они примутъ такой составъ комиссіи за пріятную шутку со стороны генерала Морена и отвѣтятъ этому любимцу «Московскихъ Вѣдомостей», что если ему угодно шутить, то имъ нисколько не угодно тратить время на безполезное путешествіе въ Парижъ и на увеселеніе чиновныхъ благодѣтелей счастливаго полупанспермиста. Однако вышло совсѣмъ не то. Этерогенисты оказались невинными дѣтьми золотого вѣка, и даже самъ Пуше, описавшій въ предисловіи къ своей книгѣ свой оригинальный разговоръ съ Мильнъ-Эдвардсомъ по поводу конкурса, даже самъ Пуше согласился подчиниться суду ком-

миссіи, составленной генераломъ Мореномъ. Конечно такая идиллическая довѣрчивость заслуживала строгаго наказанія, и академики дѣйствительно позаботились о томъ, чтобы ихъ опрометчивые противники перечувствовали по-немногу всѣ непріятности, составляющія естественное слѣдствіе ихъ непростительной неосторожности. Комиссія пригласила этерогенистовъ пріѣхать въ Парижъ въ первыхъ числа марта. Этерогенисты отвѣчали на это приглашеніе, что для полнаго успѣха ихъ опытовъ необходима лѣтняя температура, которая не можетъ быть замѣнена въ этомъ случаѣ никакими искусственными средствами; поэтому они попросили себя отсрочки до іюня. Пастеръ конечно не замедлилъ возликнуть публично. Онъ всталъ и въ полномъ засѣданіи академіи громко выразилъ свое изумленіе по поводу той отговорки, которую представляютъ Пуше, Жоли и Мюссе. «Что касается до меня — прибавилъ онъ, — то я спѣшу объявить, что я готовъ къ услугамъ академіи: лѣтомъ, весною и во всякое другое время года, — я всегда могу повторить мои опыты.» Своей смѣлой рѣчью и своей всегдашней готовностью Пастеръ хотѣлъ отвѣтить съ самой невыгодной стороны робость и уклончивость своихъ противниковъ; друзья Пастера, разумѣется, оцѣнили вполне его несокрушимую храбрость и съ великодушіемъ, достойнымъ ихъ высокаго чина, согласились дать просимую отсрочку его трепещущимъ противникамъ. Геройское мужество Пастера и позорное малодушіе этерогенистовъ объясняются совершенно удовлетворительно особенными свойствами ихъ противоположныхъ доктринъ. Представьте себѣ, что Пастеръ и Пуше производятъ одновременно одинъ и тотъ-же опытъ надъ одинаковымъ количествомъ стеклянныхъ сосудовъ, заключающихъ въ себѣ одинаковыя порціи одного и того-же настоя. Спрашивается, какой результатъ долженъ получить Пуше для того, чтобы отстоять свою теорію? Очевидно тотъ результатъ, чтобы всѣ его сосуды наполнились животными и растеніями. Если изъ сотни его сосудовъ *одинъ* останется безплоднымъ, то противники его скажутъ тотчасъ, что остальные девяносто-девять наполнились инфузоріями, только благодаря случайному присутствію органическихъ зародышей въ окружающей атмосферѣ. Полупанспермія отпразднуетъ тотчасъ шумную и блистательную побѣду. Если возникновеніе органической жизни составляетъ естественное и необходимое слѣдствіе извѣстныхъ условій, то органическая жизнь должна развиваться всегда и вездѣ, когда и гдѣ оказываются эти условія. Исключеній быть не можетъ, потому что законы природы никакихъ исключеній не допускаютъ. Поэтому понятно, что Пуше и его товарищи соглашались производить свои опыты только лѣтомъ, то есть тогда, ко-

гда соединяются всѣ условія, необходимыя для возбужденія органической жизни.—А какой-же результатъ долженъ получить Пастеръ для того, чтобы отстоять свою полупанспермію?—Какой угодно результатъ. Ему рѣшительно все равно. Его теорія особенно удобна въ томъ отношеніи, что она даетъ ему возможность выигрывать процессъ во всякомъ случаѣ. Если вся сотня сосудовъ наполнится животными и растеніями, то Пуше конечно окажется правъ, но и Пастеръ тоже окажется правъ. Пастеръ скажетъ только, что въ воздухѣ носились во время открыванія сосудовъ цѣлыя тучи органическихъ зародышей. Если вся сотня останется безплодной, то Пуше будетъ разбить на голову, а Пастеръ восторжествуетъ. Онъ скажетъ, что воздухъ былъ совершенно чистъ. Если въ однихъ сосудахъ появится органическая жизнь, а въ другихъ не появится, то Пуше опять будетъ разбить на голову, а Пастеръ не будетъ знать границъ своему ликованію. Вотъ она и есть, моя полупанспермія, скажетъ онъ съ гордостью. Въ однихъ мѣстахъ попались зародыши, а въ другихъ не попались. Вы видите такимъ образомъ, что Пастеръ непобѣдимъ и неуязвимъ. Его опыты не допускаютъ никакой неудачи, то есть нѣтъ возможности придумать такую комбинацію, при которой эти опыты повернулись-бы противъ его теоріи. Мильнъ-Эдвардъ въ одной изъ своихъ статей, помѣщенныхъ въ январскомъ номерѣ «Annales de Zoologie» за 1865 годъ, даетъ намъ наглядное доказательство этой истины. Онъ упоминаетъ объ опытахъ Пуше, Жоли и Мюссе на вершинѣ Маладетты и находитъ, что эти опыты ровно ничего не доказываютъ въ пользу этерогеніи и противъ полупансперміи. «Если,—говоритъ онъ,—мы предположимъ, что опыты Пуше, Жоли и Мюссе были сдѣланы правильно, то и тогда эти опыты доказываютъ только, что въ томъ мѣстѣ и въ ту минуту, гдѣ и когда восемь сосудовъ этихъ натуралистовъ наполнялись воздухомъ, атмосфера заключала въ себѣ больше органической пыли, чѣмъ сколько ея было на вершинѣ Юры въ то время, когда тамъ находился Пастеръ.» Послѣ этого понятно, что Пастеръ обнаруживаетъ несокрушимую храбрость и вызывается повторять свои опыты днемъ и ночью, зимою и лѣтомъ, на экваторѣ и за полярнымъ кругомъ. Понятно также, что въ этомъ отношеніи этерогенисты никакъ не могутъ за нимъ угоняться. Покуражившись надъ малодушными этерогенистами въ академіи, Пастеръ вслѣдъ затѣмъ употребилъ всѣ усилія, чтобы очернить, опозилить и осмѣять ихъ передъ парижскимъ *beau monde* въ публичной лекціи, читанной по спорному вопросу въ Сорбоннѣ 7-го апрѣля 1864 года. Онъ началъ свою лекцію съ того, что обвинилъ этерогенистовъ въ матеріализмѣ и въ атеизмѣ. «Какое торжество, милостивые госуда-

ри,—сказалъ онъ,—какое торжество для матеріализма, еслибы онъ могъ утверждать, что матерія дѣйствительно организуется и оживаетъ сама собою; матерія, которая уже заключаетъ въ себѣ всѣ извѣстныя силы... Ахъ! еслибы мы еще могли придать ей ту силу, которая называется жизнью, еслибы мы могли придать ей такую жизнь, которая видоизмѣнялась бы въ своихъ проявленіяхъ въ тѣхъ условіяхъ нашихъ опытовъ, то естественнымъ образомъ мы должны были-бы придти къ сотворенію этой самой матеріи. Къ чему тогда допускать первобытное твореніе, передъ тѣмъ, какой котораго мы поневоля должны преклоняться? Къ чему тогда идея Бога-Создателя?» Доклавши добродушнымъ парижанамъ посредствомъ такихъ восклицательныхъ и вопросительныхъ тирадъ, что Пуше и его союзники—великіе грѣшники, праведный Пастеръ началъ доказывать такими-же солидными аргументами, что Пуше и его союзники—плохіе экспериментаторы, дилетанты въ наукѣ и ограниченныя люди, неспособные построить ни одного правильнаго силлогизма. Чтобы убить этерогенистовъ насмѣшками, Пастеръ откопалъ въ глубинахъ науки опыты Ванъ-Гельмонта, жившаго въ XVII вѣкѣ и утверждавшаго съ свойственною тогдашнимъ людямъ серьезностью, что мыши рождаются отъ химическаго дѣйствія гнилаго бѣлья на хлѣбныя зерна. Этими мышами Ванъ-Гельмонта остроумный Пастеръ настойчиво колеть глаза современнымъ этерогенистамъ; онъ проводитъ язвительную параллель между ихъ опытами и опытами Ванъ-Гельмонта, и публика, разумѣется, приходитъ въ восхищеніе, смѣется и аплодируетъ, во-первыхъ потому, что ей очень пріятно понимать совершенно ясно несостоятельность теоріи Ванъ-Гельмонта. во-вторыхъ потому, что ей еще болѣе пріятно видѣть передъ собою на кафедрѣ любезнаго шутника, превращающагося по временамъ въ пламеннаго защитника оскорбленной нравственности, и въ третьихъ потому, что ей всего пріятнѣе безъ всякаго умственнаго напряженія относиться сверху внизъ къ трудамъ и размышленіямъ серьезныхъ работниковъ, подобныхъ Пуше, Жоли и Мюссе. Овладевъ такимъ образомъ вниманіемъ и благосклонностью своихъ безитростныхъ слушателей, искусный Пастеръ начинаетъ безбоязненно хвалить и величать самого себя, какъ разрушителя всякихъ гелмонтовскихъ фантазмагорій, и предается этому сладостному занятію до самаго конца своей лекціи. Когда лекція Пастера появилась въ печати, Викторъ Менье принялъ на себя трудъ сосчитать, сколько разъ въ этой лекціи употреблено мѣстоименіе *я*. Оказалось, что оно встрѣчается въ ней *сто тридцать семь* разъ. Еслибы Пастеру заблагоразсудилось прочитать публикѣ обширную главу изъ своей автобіографіи, то и

тогда его собственная особа врядъ-ли могла-бы играть въ его лекціи болѣе значительную роль. Даже академическіе благодѣтели краснорѣчиваго Пастера нашли послѣ этой лекціи, что полупанспермистское усердіе ихъ protégé завлекло его слишкомъ далеко и заставило его хватить черезъ край. На нѣкоторыхъ не всѣмъ наивныхъ слушателей Пастера его тирады, его сарказмы, его самохвальство и весь догматическій тонъ его лекціи произвели самое непріязненное впечатлѣніе. «Я вошелъ сюда,—сказалъ одинъ журналистъ, обращаясь къ Менѣ,—не имѣя никакого опредѣленнаго мнѣнія о произвольныхъ зарожденіяхъ. Я ухожу отсюда съ полнымъ убѣжденіемъ, что Пастеръ ошибается, и я это напечатаю.» Само собою разумѣется, что далеко не всѣ журналисты взглянули на дѣло съ этой точки зрѣнія, и что у Пастера нашлось между пишущими и печатающими людьми достаточное количество панегиристовъ. «Надо было,—писалъ объ его лекціи іезуитъ Муаньо въ одномъ изъ періодическихъ изданій,—надо было обратить къ спиритуализму скептиковъ и матеріалистовъ. Пастеръ сознавалъ свою миссію; онъ чувствовалъ, что на немъ лежитъ обязанность спасать чело-вѣческую душу.» Ученые благодѣтели произвели Пастера въ академики; клерикальная партія провозглашаетъ его пастыремъ чело-вѣческихъ душъ; немудрено, что, снискавъ себѣ своей догадливостью такую сильную и разнообразную протекцію, безукоризненный Пастеръ сдѣлается со временемъ сенаторомъ и министромъ. Что-же касается до его противниковъ, то, разумѣется, они не получаютъ ничего, кромѣ всемірной и вѣчной извѣстности. О такихъ неосознательныхъ пустякахъ благоразумные люди никогда не заботятся.

IV.

Въ половинѣ іюня 1864 года этерогенисты пріѣхали въ Парижъ. Первое засѣданіе комиссіи показало имъ немедленно, съ кѣмъ они имѣютъ дѣло и въ какомъ направленіи будетъ происходить все изслѣдованіе. Мильнъ-Эдвардъ съ свойственнымъ ему юпитерствомъ сказалъ имъ прямо: «Вы будете дѣлать то, что мы вамъ скажемъ, и такъ, какъ мы того пожелаемъ.» Флурансъ въ частномъ разговорѣ съ этерогенистами увѣрялъ ихъ, что комиссія предоставитъ имъ полную свободу въ выборѣ и въ расположеніи тѣхъ опытовъ, на которыхъ они основывали свою теорію, но въ засѣданіи комиссіи тотъ-же Флурансъ прикнулъ къ Мильнъ-Эдвардеу и къ его союзнику Броньяру. Остальные члены комиссіи, химики Дюа и Валаръ, соглашаясь съ своими товарищами, хотѣли совершенно устранить изъ программы испытанія все, что выходило за предѣлы орга-

нической химіи и относилось къ области физиологій. Словомъ, комиссія требовала единогласно, чтобы этерогенисты сдѣлали опытъ Пастера и чтобы, кромѣ этого опыта, они не дѣлали ровно ничего. Но, какъ мы уже видѣли въ предыдущей главѣ, самъ Мильнъ-Эдвардъ объявляетъ печатно, что опытъ Пастера, при какомъ угодно исходѣ, не даетъ никакого доказательства въ пользу произвольнаго зарожденія. Значитъ, принуждая этерогенистовъ ограничиваться опытомъ Пастера, комиссія заранее отнимала у нихъ всякую возможность доказать вѣрность ихъ теоріи. Комиссія заставляла этерогенистовъ играть въ такую игру, въ которой для нихъ не было выигрыша. На это этерогенисты, разумѣется, не могли согласиться. Не отказываясь повторить опытъ Пастера, они говорили въ то-же время, что этотъ опытъ самъ по себѣ ничтоженъ и что ихъ теорія основывается на множествѣ другихъ опытовъ, гораздо болѣе важныхъ и знаменательныхъ. Прежде всего, говорили они, надо заняться микрографіей воздуха. Яички крупнѣйшихъ инфузорій, покрытыхъ рѣсничными волосками, настолько велики, что сильный микроскопъ даетъ намъ возможность очень явственно различать ихъ фигуру и специфическія особенности. Эти яички извѣстны микрографамъ, подробно описаны и тщательно нарисованы ими. Значитъ, надо прежде всего, посредствомъ тщательныхъ микроскопическихъ изслѣдованій, доказать комиссіи, что яички *крупнѣйшихъ* инфузорій никогда не встрѣчаются въ воздухѣ. Когда это отсутствіе яичекъ будетъ доказано, тогда можно будетъ производить опыты, не пропуская воздухъ ни черезъ сѣрную кислоту, ни черезъ раскаленные трубки; кромѣ того можно будетъ допустить, чтобы къ настою прикасались не кубическіе дюймы, а цѣлые кубическіе метры воздуха, что оказывается невозможнымъ, когда опытъ производится въ закупоренномъ сосудѣ или когда воздухъ проводится въ сосудъ сквозь узенькія трубочки, загроможденные разными химическими ингредиентами. При свободномъ притоцѣ цѣлыхъ массъ чистаго воздуха въ настои будутъ появляться *крупныя* инфузоріи, и породы этихъ животныхъ будутъ измѣняться, смотря по тому, какое вещество положено въ настой, смотря по тому, какъ велико количество всего настоя, и смотря по тому, насколько данный настой крѣпокъ или слабъ. Форма и размѣры сосудовъ также будутъ имѣть вліяніе на характеръ микроскопической фауны и флоры. Этерогенисты хотѣли произвести въ присутствіи комиссіи множество другихъ опытовъ, о которыхъ я не буду распространяться. Приведеннаго примѣра вполне достаточно, чтобы показать читателямъ, до какой степени далеко расходились между собою розовыя надежды подсудимыхъ этерогенистовъ и суровая требо-

ванія академическаго ареопага. «Я—химикъ,—говорить имъ Дюма,—и согласился засѣдать въ комиссіи для того, чтобы присутствовать при химическомъ опытѣ. До остального мнѣ дѣлать.» — «Я—не микрографъ», возражаетъ Баларъ, когда этерогенисты заикаются о микроскопическомъ изслѣдованіи воздуха. Одинъ изъ этерогенистовъ, Мюссе, обращается наконецъ къ самому Пастеру: «Мы надѣемся по крайней мѣрѣ,—говоритъ онъ,—что г. Пастеръ покажетъ намъ тѣ зародыши, которымъ онъ приписываетъ такое важное значеніе.» «Я показывалъ ихъ всему Парижу», отвѣчаетъ Пастеръ съ неудержимой храбростью. — «Вы намъ должны ихъ показать», возражаетъ Мюссе. — На этотъ разъ Пастеръ не удостоиваетъ его отвѣта и поступаетъ въ этомъ случаѣ весьма благоразумно, потому что показать какую-нибудь штуку знающему человеку гораздо труднѣе, чѣмъ показать ее всему Парижу. Кромѣ того даже и всему Парижу Пастеръ никогда не показывалъ ничего похожаго на органическіе зародыши. Онъ очень много говорилъ объ этихъ зародышахъ, но говорить и показывать — двѣ вещи разныя, а Пуше, Мюссе и Жоли держатся того правила, что соловья баснями не кормятъ. Наконецъ, видя, что ареопагъ упорствуетъ въ своемъ намѣреніи остановиться исключительно на одномъ опытѣ Пастера, этерогенисты ссылаются на букву условій, заключенныхъ ими съ академіей. Въ письмѣ Жоли и Мюссе было положительно сказано, что они просятъ академію назначить комиссію, передъ которой они могли-бы повторить «главные опыты», на которыхъ основываются съ той и съ другой стороны столь противоположныя заключенія.» Когда Пастеръ съ своей стороны поддержалъ эту просьбу этерогенистовъ, тогда онъ повторилъ буквально эти же самыя слова. Когда академія назначила комиссію, тогда она поручила ей присутствовать при тѣхъ опытахъ, которыхъ результаты считаются противными или благопріятными для доктрины произвольныхъ зарожденій. Всѣ переговоры по этому дѣлу, всѣ рѣшенія академіи напечатаны въ академическихъ отчетахъ (Comptes rendus). Этерогенисты указывали на печатные документы; они говорили, что повторить главные опыты не значитъ сдѣлать одинъ опытъ Пастера, и притомъ такой опытъ, который они вовсе не причисляютъ къ разряду главныхъ. Наконецъ они сдѣлали комиссіи слѣдующее предложеніе: «Мы согласны начать съ опыта Пастера, во въ такомъ случаѣ вы даете намъ обѣщаніе присутствовать при другихъ опытахъ, которые, по нашему мнѣнію, гораздо важнѣе перваго». — Комиссія отказалась; этимъ кончилось первое засѣданіе. Черезъ нѣсколько дней Флурансъ увѣдомилъ этерогенистовъ, что комиссія остается при своемъ прежнемъ рѣшеніи. Въ отвѣтъ на письмо Флуранса,

этерогенисты изложили ему письменно ту программу, по которой они намѣрены расположить свои опыты. Тогда комиссія пригласила ихъ явиться въ музей естественной исторіи, въ лабораторію Шевреля, въ которой должно было происходить изслѣдованіе. Этерогенисты помнили, что комиссія принимаетъ ихъ программу, и со всѣми своими приборами, рисунками и инструментами отправились въ назначенное мѣсто. Второе засѣданіе комиссіи открылось тѣмъ, что комиссія пригласила Пастера приступить къ его извѣстному опыту. Пастеръ поставилъ передъ собой большой сосудъ, заключающій около $\frac{1}{2}$ ведра раствора пивной гущи, и началъ разливать этотъ растворъ въ нѣсколько стеклянныхъ сосудовъ съ узкимъ горлышкомъ. Пуше спросилъ въ это время, принимаетъ-ли комиссія ихъ программу, и не получилъ на этотъ вопросъ никакого опредѣленнаго отвѣта. Отъ нечего дѣлать этерогенисты стали вглядываться въ манипуляціи Пастера; тотчасъ подмѣтили слабыя стороны его экспериментовъ. Во-первыхъ, растворъ былъ чересчуръ жидокъ, что составляетъ одно изъ самыхъ важныхъ препятствій для зарожденія микроскопическихъ организмовъ. Во-вторыхъ, Пастеръ не взбалтывалъ большого сосуда передъ наливаніемъ жидкости въ мелкіе сосуды; повинуясь, что жидкость успѣла отстояться, что твердыя частицы раствора опустились на дно и что вслѣдствіе этого въ мелкихъ сосудахъ долженъ оказаться растворъ различной плотности, который, сообразно съ своей различной плотностью, дастъ непременно различные результаты. Въ-третьихъ, Пастеръ кипятилъ жидкость мелкихъ сосудовъ совершенно произвольнымъ образомъ: одинъ сосудъ онъ держалъ надъ огнемъ двѣ минуты, другой—три, третій—пять, четвертый—одну и такъ далѣе. Жидкость употребленнаго раствора объясняетъ, по мнѣнію этерогенистовъ, отсутствіе органической жизни въ большей части пастеровскихъ сосудовъ, а присутствіе микроскопическихъ организмовъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ сосудовъ объясняется тѣмъ, что въ эти сосуды, по небрежности экспериментатора, попалъ растворъ болѣе густой или подвергнутый менѣе продолжительному кипяченію. Когда этерогенисты высказали эти замѣчанія, тогда никто изъ членовъ комиссіи не нашелъ противъ нихъ ни одного возраженія, что однако нѣсколько не помѣшало всѣмъ этимъ членамъ въслѣдствіи превозносить по-прежнему любезнаго Пастера, какъ искуснѣйшаго и остроумнѣйшаго экспериментатора. Наконецъ великій магикъ Пастеръ окончилъ свое переливаніе изъ пустого въ порожнее; онъ наполнилъ, вскипятилъ и запалялъ всѣ свои сосуды. Тогда этерогенисты предложили съ своей стороны сдѣлать нѣсколько опытовъ, которые они считали рѣшительными. Ареопагъ отвѣчалъ

имъ на это, что онъ будетъ смотрѣть на нихъ опыты, когда самъ сочтетъ это нужнымъ и своевременнымъ. — «Скажите-же намъ наконецъ, принимаете-ли вы нашу программу?» — спросили этерогенисты. Мильнъ Эдвардъ до самаго конца остался вѣренъ своему юпитеровскому характеру. «Было-бы нелѣпо требовать, — отвѣтилъ онъ, — чтобы коммиссія слушалась вашихъ приказаній.» Остальные члены коммиссіи своимъ молчаніемъ подтвердили его величественное рѣшеніе. Этерогенисты раскланялись съ своими судьями и объявили имъ, что они считаютъ дѣло оконченнымъ. 27-го іюня Пуше, Жюли и Мюссе представили академіи письмо, которое оканчивается слѣдующими словами: «Такъ какъ мы встрѣтили совершенно неожиданныя препятствія, то мы думаемъ по совѣсти, что намъ остается только протестовать, во имя науки, и предоставить рѣшеніе нашего дѣла будущему.»

V.

Несмотря на колоссальныя усилія академіи задавить этерогенію всѣми правдами и неправдами, эта доктрина въ настоящее время принята уже многими замѣчательными учеными. Къ ней склонились, на основаніи самостоятельныхъ опытовъ, Ричардъ Оуэнъ въ Лондонѣ, Шэффаузенъ въ Базелѣ, Мантегацца въ Павіи, Кастольди въ Миланѣ, Уайманъ въ Кембриджѣ (въ сѣверной Америкѣ). Бюхнеръ и Карлъ Фохтъ распространяютъ эту доктрину въ кругу своихъ многочисленныхъ нѣмецкихъ читателей. Словомъ, истина непремѣнно пробьетъ себѣ дорогу; но любопытно замѣтить, что это пробиваніе совершается не при содѣйствіи, а помимо и вопреки усиліямъ тѣхъ людей, которые осыпаны деньгами и почестями, какъ официальные хранители, искатели и распространители научной истины. Если мы оглянемся назадъ на исторію науки въ послѣднія два-три столѣтія, то мы увидимъ съ немалымъ изумленіемъ, что почти каждое великое открытіе, почти каждая плодотворная идея встрѣчали себѣ въ ученыхъ корпораціяхъ самое грубое непониманіе, самое близорукое презрѣніе и самое недобросовѣстное преслѣдованіе. Гонителями новой истины оказывались постоянно тѣ личные или коллегіальные авторитеты, въ пользу которыхъ масса такъ называемыхъ образованныхъ обществъ такъ охотно и такъ неосторожно отказывается отъ своего естественнаго, драгоцѣннаго права вгля-

дываться и вдумываться въ явленія природы и человеческой жизни. — Кто въ XVII столѣтіи отвергалъ дифференціальное исчисленіе, созданное Лейбницемъ? — Парижская академія наукъ. — Кто въ это-же самое время отвергалъ законы тяготѣнія, открытые Ньютономъ? — Лейбницъ. — Кто въ XVIII столѣтіи отвергалъ существованіе аэролитовъ, то есть камней, падающихъ на землю изъ небеснаго пространства? — Парижская академія наукъ. — Кто смѣялся надъ громоотводомъ Франклина? — Лондонское Королевское Общество. — Кто относился съ презрѣніемъ къ электрическому телеграфу? — Парижская академія наукъ. — Кто осмѣялъ Пейссонеля за его наблюденія надъ животными свойствами полиповъ? — Опять-таки парижская академія наукъ. — Та-же самая академія въ 1783 году не обратила никакого вниманія на опыты маркиза Жоффруа, построившаго въ Лионѣ первый пароходъ; и та-же академія, двадцать лѣтъ спустя, выпроводила изъ Франціи, какъ пустого прожектѣра, вторичнаго изобрѣтателя пароходства, Фультона. — Когда мы видимъ такимъ образомъ, что величайшіе авторитеты умственнаго міра впадаютъ иногда въ самыя грубыя ошибки, когда мы видимъ кромѣ того, что очень многіе изъ этихъ авторитетовъ смотрятъ на свои знанія, идеи и изслѣдованія, какъ на стадо дойныхъ коровъ, которыя доставляютъ имъ молоко и масло, то есть деньги, чины и ордена, и къ которымъ вслѣдствіе этого не слѣдуетъ ни подъ какимъ видомъ подпускать постороннихъ людей, когда мы видимъ наконецъ, что академіи, зараженные кумовствомъ, nepотизмомъ и предразсудками, превращаются въ замкнутыя касты жрецовъ, — тогда мы начинаемъ понимать, до какой степени нелѣпо и непозволительно было-бы съ нашей стороны ссылаться на авторитеты въ тѣхъ дѣлахъ, въ которыхъ заинтересовано наше собственное, личное или общественное благосостояніе. — Познакомившись изъ этой небольшой статьи съ нѣкоторыми подвигами и закулисными тайнами европейскихъ авторитетовъ, читатель оцѣнитъ по достоинству то наивное подобострастіе, съ которымъ публицистъ «Московскихъ Вѣдомостей», неспособный работать силами собственнаго ума, предастъ въ руки европейскихъ авторитетовъ, генерала Морена и господина Шмидта, вопросъ о нашемъ народномъ образованіи. Есть основаніе думать, что этотъ послѣдній вопросъ рѣшенъ авторитетами такъ-же недобросовѣстно и безпристрастно, какъ рѣшено ими дѣло французскихъ этерогенистовъ.

ПОСМОТРИМЪ!

I.

Постоянные читатели моихъ статей вѣроятно замѣтили, что при всѣхъ столкновеніяхъ моихъ съ нашими литературными противниками я обыкновенно нападаю и почти никогда не защищаюсь. Я не люблю вести оборонительную войну, потому что защищаться—значитъ въ большей части случаевъ повторять то, что уже было сказано прежде, и при этомъ повтореніи соскабливать со своихъ мыслей ту грязь, которая навалена на нихъ тупоуміемъ или недобросовѣстностью журнальных оппонентовъ. Это занятіе скучное, кропотливое и безплодное. Надо возиться съ запутанной аргументаціей противника, надо, какъ мошенника, ловить его съ полчинымъ на каждомъ софизмѣ, надо свѣрять его лживыя показанія съ подлинными документами, надо разсматривать въ микроскопъ такую дрянь, къ которой гадко прикоснуться, и наконецъ цѣной всѣхъ этихъ трудовъ, располагающихъ къ морской болѣзни, приходится купить тотъ тощій результатъ, что какой-нибудь N или M глупъ, какъ пробка, или вретъ хуже всякаго барона Мюнхгаузена. Покупать такой мизерный результатъ дорогой цѣной тошнотворной работы особенно неприятно въ томъ случаѣ, когда льстишь себя надеждой, что этотъ результатъ достанется читателю даромъ, при первомъ взглядѣ на труды глупаго или недобросовѣстнаго писателя. Къ сожалѣнію, эта надежда часто оказывается слишкомъ розовой. Читая самую поразительную дрянь, публика все-таки не умѣетъ распознать ея специфическихъ достоинствъ и обыкновенно нуждается въ томъ, чтобы ей объяснили, что данное произведеніе—дѣйствительно не что иное, какъ жалкая помѣсь безсильной клеветы и самодовольнаго слабоумія. Умственная беззащитность нашей публики обнаруживается какъ нельзя нагляднѣе напримѣръ въ томъ крупномъ и яркомъ фактѣ, что посредственность, подобная Каткову, можетъ пользоваться сильнымъ вліяніемъ и репутаціей умнаго человѣка, съѣвшего собаку въ области государственной мудрости. Другой примѣръ, гораздо болѣе мелкій, но быть-можетъ еще болѣе выразительный, состоитъ въ томъ, что такой невѣроятно-слабый субъектъ, какъ Николай Соловьевъ, имѣетъ возможность печатать свои сочиненія въ журналахъ, которые даже по всей вѣроятности платятъ ему за эти сокровища нѣкоторое количество денегъ. Не изъ милосердія-же

въ самомъ дѣлѣ держала его покойная «Эпоха» и не изъ состраданія-же унаслѣдовали отъ «Эпохи» «Отечественныя Записки». Значитъ, есть даже и такіе читатели, которые могутъ удовлетворяться Николаемъ Соловьевымъ и къ числу этихъ читателей принадлежать очевидно, во-первыхъ, редакціи «Эпохи» и «Отечественныхъ Записокъ», а во-вторыхъ—тѣ люди, которые по своимъ умственнымъ способностямъ стоятъ еще ниже этихъ двухъ редакцій. Хотя этому трудно повѣрить, однако имѣть сомнѣніе, что такіе люди дѣйствительно существуютъ, потому что, еслибы они не существовали, тогда обѣимъ названнымъ редакціямъ не было-бы ни повода, ни возможности оставаться редакціями. Такъ какъ редакція «Эпохи» перестала быть редакціей, то надо полагать, что она опустилась ниже возможнаго minimum'a человеческихъ способностей; а такъ какъ редакція «Отечественныхъ Записокъ» еще продолжаетъ быть редакціей, то остается предположить, что она держится еще выше этого minimum'a и еще не коснулась той роковой точки, на которой человѣкъ превращается въ микроцефа. Стало быть, когда Н. Соловьевъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» разбираетъ мои статьи или, точнѣе, по поводу моихъ статей обнаруживаетъ звонкую пустоту своего черепа и мѣдный составъ своего лба, тогда находятся читатели, которые вѣрятъ Н. Соловьеву на-слово, во-первыхъ въ томъ, что онъ раскритиковалъ меня въ-пухъ, а во-вторыхъ въ томъ, что онъ самъ высказалъ или провелъ кое-какія идеи. Хотя мнѣ, какъ человѣку и гражданину, очень грустно имѣть такихъ ограниченныхъ ближнихъ и соотечественниковъ, однако я все-таки, даже изъ человѣколюбія и изъ любви къ согражданамъ, не унижу себя до того, чтобы защищаться противъ Н. Соловьева. Не унижу себя потому, что это униженіе было-бы совершенно бесполезно. Любители Н. Соловьева очевидно должны быть людьми настолько безнадежными въ умственномъ отношеніи, что имъ нельзя ничего растолковать и что ихъ ни въ чемъ нельзя ни убѣдить, ни разубѣдить, потому что они говорятъ для процесса говоренія, слушаютъ для процесса слушанія и вообще живутъ для превращенія пищи въ животное удобреніе. Я вовсе не желаю приобрѣтать себѣ благосклонность или уваженіе этихъ ходячихъ химическихъ лабораторій, потому что ихъ уваженіе и благосклонность никому ни на что не могутъ пригодиться. Поэтому-то я и не намѣренъ отступать

въ отношеніи къ Н. Соловьеву отъ моей обыкновенной тактики презрительнаго молчанія, несмотря на всѣ плоскія выдумки, которыя онъ распространялъ, распространяетъ и будетъ распространять насчетъ моей литературной дѣятельности.

Но въ послѣднее время у меня явился другой противникъ, въ отношеніи къ которому молчаніе неудобно и даже можетъ сдѣлаться опаснымъ. Этотъ противникъ обращается къ такой публикѣ, которой мнѣнїе имѣетъ для меня значительную цѣну. Онъ пишетъ въ такомъ журналѣ, который, несмотря на множество странныхъ и безтактныхъ выходокъ, по общему составу своихъ сотрудниковъ и по общему своему направленію имѣетъ полное право считаться честнымъ и умнымъ журналомъ. Читатель конечно догадался, что журналъ этотъ — «Современникъ» и что противникомъ моимъ является Антоновичъ. Втеченіи прошлаго года я не разъ предлагалъ «Современнику» выяснитъ тотъ типъ, который называется новымъ типомъ и который теперь пробиваетъ себѣ дорогу какъ въ обществѣ, такъ и въ литературѣ. Мое желаніе возбудить дѣльную и плодотворную полемику завлекло меня слишкомъ далеко; я позволилъ себѣ нѣсколько рѣзкихъ выраженій (между прочимъ знаменитое *лукошко*), которыя дѣйствительно возбудили желанную полемику, но вмѣстѣ съ тѣмъ дали ей тотчасъ-же самое ложное направленіе. Читатель конечно помнитъ, какая тутъ произошла печальная оргія личныхъ перебранокъ и клеветливыхъ импровизаций. Клеветальг. Посторонній Сатирикъ, но бранились, разумѣется, обѣ стороны, потому что, когда человѣкъ лжетъ, тогда собесѣдникъ этого человѣка поневолѣ долженъ называть его лгуномъ или по меньшей мѣрѣ *сочинителемъ*. Я не отказываюсь взять на себя нѣкоторую долю отвѣтственности за происходившее безобразіе; я сознаюсь, что рѣзкія выраженія были неумѣстны; *лукошко* могло быть выброшено изъ моей статьи безъ всякаго для нея ущерба; однако, принимая въ соображеніе качества того писателя, который принялъ псевдонимъ *Посторонняго Сатирика*, — качества, обозначившіяся очень ярко въ разгарѣ нашей полемики, я полагаю, что съ этимъ писателемъ добросовѣстная и дѣльная полемика, клонящаяся къ выясненію и всестороннему разсмотрѣнію идей, вообще совершенно невозможна, и была-бы невозможна даже въ томъ случаѣ, еслибы я не позволялъ себѣ никакой рѣзкой выходки. Какъ-бы то ни было, я уклонился отъ полемики и сталъ желать ея прекращенія, какъ только обозначился ея неблагоприятный и совершенно безплодный характеръ. Я рѣшился молчать, когда Антоновичъ въ своей статьѣ «Промехи» разобралъ по своему мой «Нерѣшенный Вопросъ»^{*)}. Не желая защищаться и поддержи-

вать такимъ образомъ личный характеръ полемики, я однако съ свойственной мнѣ рѣзкостью разобралъ и осмѣялъ тѣ жалкія несообразности, которыя были высказаны Антоновичемъ по поводу «Эстетическихъ Отношеній». Мои насмѣшки заставили Антоновича направить противъ «Русскаго Слова», и преимущественно противъ меня, статью «Лже-реалисты», помѣщенную въ іюльской книжкѣ «Современника». Эта статья налагаетъ на меня обязанность защищаться, и защищаться очень серьезно.

II.

Въ самомъ началѣ своей статьи Антоновичъ отзывается о «Русскомъ Словѣ» слѣдующимъ образомъ: «До сихъ поръ оно только пробавлялось чужими, поделушанными или напрокатъ взятыми фразами, не пускаясь въ объясненіе смысла ихъ, и всѣ были увѣрены, что оно понимаетъ эти фразы и понимаетъ ихъ, какъ слѣдуетъ»... «Теперь-же «Русское Слово» вызвали на объясненіе, заставили его опредѣленно высказаться, какъ оно понимаетъ реализмъ и какъ прилагаетъ его къ различнымъ частнымъ вопросамъ.» *До сихъ поръ и теперь!* До какихъ это поръ? и что значитъ это *теперь?* Когда именно «Русское Слово» пробавлялось чужими фразами, у кого были взяты напрокатъ эти фразы, съ какихъ поръ начинается разоблаченіе «Русскаго Слова» и кто заставилъ его опредѣленно высказаться? Если для разрѣшенія этихъ вопросовъ мы обратимся къ печатнымъ фактамъ, то тотчасъ увидимъ, что вся теорія Антоновича о двухъ фазахъ въ существованіи «Русскаго Слова» есть не что иное, какъ плодъ игриваго воображенія. Если «Русское Слово» брало напрокатъ реалистическія фразы, то, разумѣется, оно могло брать ихъ только у «Современника». На самомъ-же дѣлѣ этого не было. «Русское Слово» уже въ 1861 году не разъ высказывало по поводу различныхъ статей «Современника» свои критическія замѣчанія. Въ майской книжкѣ 1861 года, въ статьѣ «*Схоластика XIX вѣка*», я доказывалъ неумѣстность тѣхъ пріемовъ, съ которыми Антоновичъ приступаетъ къ разбору лекцій Лаврова. Въ сентябрьской книжкѣ того-же года, въ статьѣ подъ тѣмъ-же заглавіемъ, я опровергалъ нѣкоторыя мысли Чернышевскаго о паденіи Римской имперіи. Вѣрны или ошибочны были мои идеи — объ этомъ я, какъ авторъ, судить не могу, но во всякомъ случаѣ, если даже я ошибался, то я ошибался самостоятельно, то-есть размышлялъ самъ, а не бралъ напрокатъ чужихъ фразъ. Въ томъ-же 1861 году нѣкоторые изъ нашихъ журналовъ сильно нападали на меня за «*Схола-*

^{*)} Статья «Нерѣшенный вопросъ» помѣщена въ III-мъ томѣ настоящаго изданія Сочиненій Д. И. Писарева подъ другимъ заглавіемъ («Реалисты»).

стиху» и за статью о «Физиологических эскизах Молешота». Они тогда-же пугали мною «Современникъ» и говорили ему, что я довожу его идеи до абсурдовъ, которые однако составляютъ логическое слѣдствіе этихъ самыхъ идей. Слѣдовательно, если я вообще компрометирую реализмъ моей литературной дѣятельностью, то во всякомъ случаѣ я занимаюсь этимъ компрометированіемъ очень давно и постоянно, съ перваго моего появленія на литературномъ поприщѣ. Такого періода, когда я повторялъ чужія фразы, въ моей литературной дѣятельности не было. Все, что я знаю, то конечно я не самъ открылъ, а вычиталъ въ различныхъ книгахъ, русскихъ и иностранныхъ. Но я полагаю, что точно такимъ-же путемъ приобрѣтали себѣ свои знания и Вѣлинскій, и Добролюбовъ, и Чернышевскій, и всѣ остальные представители нашего реализма. Всѣ они не изобрѣтали науку, а принимали ее въ готовомъ видѣ отъ западныхъ учителей и потомъ старались приспособлять ее къ пониманію своихъ российскихъ учениковъ. Я всегда поступалъ и поступаю до сихъ поръ точно такъ-же; въ какомъ отношеніи находятся мои личные силы къ силамъ названныхъ мною писателей,—объ этомъ я судить не могу, но я говорю только, что въ своей дѣятельности я постоянно работалъ и работаю мыслью такъ-же самостоятельно, какъ работали они. Итакъ, повторенія чужихъ фразъ въ «Русскомъ Словѣ» никогда не было. Точно также не было и тѣхъ вызываній на объясненія, которыя будто-бы, по словамъ Антоновича, заставили «Русское Слово» опредѣленно высказаться. «Русское Слово» высказывалось постоянно по собственному желанію, высказывалось тогда, когда не было никакихъ полемическихъ столкновений, вызывающихъ на объясненія. Антоновичъ самъ признаетъ этотъ фактъ и такимъ образомъ, самъ того не замѣчая, собственноручно опрокидываетъ свое показаніе, будто-бы «Русское Слово» сначала драпировалось въ чужія фразы, а потомъ явилось въ своей позорной наготѣ, когда посторонніе люди сорвали съ него эту драпировку. Въ числѣ главныхъ преступленій «Русскаго Слова» противъ реализма Антоновичъ отмѣчаетъ мою статью о Базаровѣ, напечатанную въ 1862 году, и мои статьи: «Мотивы русской драмы» и «Нерѣшенный Вопросъ», напечатанныя въ 1864 году. Всѣ эти статьи напечатаны до нашего столкновения съ «Современникомъ»; въ самомъ столкновении инициатива принадлежала намъ, а не «Современнику». Стало-быть, ясно, что мы совершали наши преступленія сознательно, по собственному желанію, помимо всякихъ постороннихъ побужденій и вызываній на объясненіе. Еслибы мы брали напрокатъ чужія фразы и еслибы вслѣдствіе этого мы пуждались въ снисходительности и долготерпѣнн того магазина, ко-

торый снабжалъ насъ этими фразами, то и конечно тщательно уклонялись-бы отъ всякихъ столкновений съ «Современникомъ». Видя же смиреніе, «Современникъ» съ своей стороны постоянно молчалъ-бы объ насъ, и при такомъ положеніи дѣлъ мы могли-бы совершенно безопасно украшать себя чужими фразами до конца нашей жизни. Мы поступали какъ-разъ наоборотъ, и поэтому слова Антоновича о повтореніи чужихъ фразъ и о вызываніи на объясненія оказываются совершенно произвольной выдумкой, въ которой нѣтъ даже отдаленнаго сходства съ дѣйствительными фактами. Это—первое изобрѣтеніе, заключающееся въ статьѣ Антоновича, и притомъ это одно изъ самыхъ виновныхъ. На той-же страницѣ Антоновичъ говоритъ, что нѣкоторые изъ противниковъ реализма «забрасываютъ «Русскому Слову» весьма нехитрую удочку, на которую оно однако попадаетъ: они иногда прихваливаютъ «Русское Слово», говорятъ, что оно не отпавливается на подорогѣ, а искренно и смѣло высказываетъ послѣдніе выводы реализма... Подстрекаемые этими похвалами, Писаревъ и Зайцевъ, непрерывно другъ передъ другомъ, стараются отличиться какой-нибудь оригинальной нелѣпостью» и т. д. — Вотъ второе изобрѣтеніе, неимѣющее за себя даже внѣшняго вида правдоподобія. Если мы съ Зайцевымъ—такіе тщеславные и пустоголовые люди, что похвалы, достигающія насъ отъ враговъ нашей идеи, не только радуютъ насъ, но даже обнаруживаютъ видоизмѣняющее влияние на нашу дѣятельность, то очевидно порицанія, достигающія насъ отъ тѣхъ-же самыхъ враговъ, должны дѣйствовать на насъ такъ-же сильно, но только въ противоположномъ направленіи. Если мы, какъ глупые ребятишки, услышавъ похвалу, охарашиваемся, куражиться и повышаемъ голосъ, то, разумѣется, услышавъ порицаніе, мы должны опускать крылья, погружаться въ уныніе и понижать тонъ. Теперь я попрошу читателя подумать: что приходится намъ чаще встрѣчать себѣ въ печати—похвалу или порицаніе?—Читатель, сколько-нибудь знакомый съ нашей журналистикой, скажетъ конечно, что порицаніе составляетъ общее правило, а похвала—совершенно незамѣтное исключеніе. Каждая изъ нашихъ статей возбуждаетъ противъ себя негодованіе въ нашей прессѣ; мы постоянно идемъ на-встрѣчу этому негодованію, не обращая на него никакого вниманія, а Антоновичъ улозаключаетъ, что мы поступаемъ такимъ образомъ изъ тщеславія, и что насъ подстрекаютъ похвалы, которыхъ мы почти никогда не получаемъ. Это послѣднее замѣчаніе особенно вѣрно въ отношеніи къ Зайцеву; съ тѣхъ поръ, какъ онъ началъ писать, о немъ говорятъ постоянно, и до сихъ поръ о немъ не было сказано печатно ни одного

добраго слова; а между тѣмъ Антоновичъ, наперекоръ всѣмъ существующимъ фактамъ, осмѣливается утверждать, что Зайцева подстрекаютъ похвалы. Цѣль Антоновича понять не трудно: ему хочется доказать, что мы пишемъ безъ убѣжденія. Но какъ прикажете назвать тѣ средства, которыя употребляетъ нашъ противникъ, и ту логику, которой онъ старается обморочить своихъ читателей?

На стр. 55 начинается бѣглое перечисленіе нашихъ преступленій. На первомъ планѣ стоитъ, разумеется, Базаровъ; вина моя заключается въ томъ, что я принялъ и принимаю до сихъ поръ Базарова не за карикатуру, а за превосходнаго представителя нашего поколѣнія. Я уже давно приглашалъ Антоновича объяснить, посредствомъ подробнаго и точнаго анализа, что именно онъ находитъ предосудительнымъ въ характерѣ и въ убѣжденіяхъ Базарова; Антоновичъ до сихъ поръ ровно ничего не объяснилъ, и вслѣдствіе этого вопросъ о томъ, вѣренъ или невѣренъ мой взглядъ на Базарова, и чей взглядъ вѣрнѣе—мой или Антоновича,—остается попрежнему спорнымъ или нерѣшеннымъ вопросомъ. Но я теперь уже начинаю думать, что этотъ вопросъ рѣшенъ въ мою пользу, потому что Антоновичъ въ своей статьѣ «Промехи», написанной имъ послѣ полугодовыхъ сборовъ и угрозъ, не представилъ противъ моего взгляда на характеръ Базарова ни одного состоятельнаго возраженія. Антоновичъ говоритъ, что враги реализма, защищая романъ Тургенева, ссылаются на меня; Антоновичъ вспоминаетъ здѣсь времена давнопрошедшія. Враги реализма любили говорить о романѣ Тургенева три года тому назадъ; они надѣялись тогда, что этотъ романъ принесетъ имъ пользу, что онъ испугаетъ молодыхъ людей рѣзкостью изображенія и отброситъ ихъ назадъ къ сантиментальному идеализму и къ благоправному чинопочитанію. Враги реализма скоро разочаровались въ своихъ надеждахъ; когда «Русское Слово» объяснило молодымъ людямъ, что въ рѣзкихъ чертахъ базаровской физиономіи нѣтъ ничего страшнаго, порочнаго или предосудительнаго, тогда романъ Тургенева потерялъ для враговъ реализма всю свою привлекательность. Тогда началось шумное, но краткое пированіе систематической клеветы. Дѣло кончилось тѣмъ, что Ключниковъ и Стебникій своей тупостью и недобросовѣстностью окончательно уронили и втоптали въ грязь тѣ античныя драгоценности, которыя желательно или приказано было охранять и расхваливать. О романѣ Тургенева враги реализма вспоминаютъ теперь рѣдко и неохотно, и то обстоятельство, что они до сихъ поръ ссылаются на меня, существуетъ только въ воображеніи Антоновича.

«Или вдругъ,—говорится далѣе на той-же страницѣ,—Зайцевъ провозгласитъ, что фило-

софовъ за ихъ философскія ошибки нужно подвергать тѣлеснымъ и другимъ исправительнымъ наказаніямъ, что рабство негровъ неизбѣжно и благотворно». Читатель, незнакомый со статьями Зайцева, можетъ подумать, на основаніи этихъ словъ, что Зайцевъ дѣйствительно серьезно доказывалъ необходимость сѣчь заблуждающихся философовъ. На самомъ-же дѣлѣ оказывается, что слова Зайцева о наказаніяхъ брошены въ видѣ восклицанія *), выражающаго просто глубокое презрѣніе автора къ шарлатанству нѣмецкихъ метафизиковъ. Такая риторическая фигура можетъ казаться Антоновичу неумѣстной и неизящной въ стилистическомъ отношеніи; но навязывать Зайцеву на основаніи этой фигуры мысль о необходимости тѣлесныхъ наказаній—это все равно, что придираться въ книгѣ къ шрифту и къ опечаткамъ, вмѣсто того чтобы слѣдить за идеями автора. Что риторическія фигуры, подобныя той, которую употребилъ Зайцевъ, дѣйствительно могутъ приходить въ голову честному и умному человѣку, желающему выразить какъ можно сильнѣе свое негодованіе, это я могу доказать слѣдующей выпиской изъ книги Лассалы «Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch». Прусскій либераль, депутатъ Фаухеръ, сказалъ въ собраніи берлинскихъ работниковъ, что барышъ капиталиста есть *награда за воздержаніе* (Entbehrungslohn). «Работникамъ,—восклицаетъ по этому поводу Лассаль,—бѣднымъ работникамъ, голодающимъ работникамъ они имѣютъ дерзость публично бросать въ лицо эту безконечную насмѣшку, эту язвительную иронию?! Развѣ не существуетъ болѣе совѣсти, и развѣ-же стыдъ убѣжалъ къ звѣрямъ?—И притупленіе и оскорбленіе народа уже теперь доведены съ успѣхомъ до такихъ размѣровъ, что сами работники вмѣсто того, чтобы разразиться бурей негодованія, терпѣливо выслушиваютъ это открытое глумленіе! *Зачѣмъ въ законѣ не положено наказаній за подобныя продѣлки?* развѣ систематическое притупленіе народнаго ума не есть преступленіе?» А на слѣдующей страницѣ Лассаль говоритъ Шюльце-Деличу слѣдующія любезности: «Но, господинъ Шюльце, всему свое время, все наказывается

*) Подлинныя слова Зайцева: «Если найдется упрямецъ, который хотя и готовъ согласиться съ тѣмъ, что міръ есть силлогизмъ, но которому сомнительно, откуда философъ почерпнулъ свои познанія о такихъ вещахъ, то философъ укажетъ ему на непосредственное усмотрѣніе, какъ на общій источникъ познанія истины, и на свой личный гений, какъ на спеціальныя источники. Собственно-бы слѣдовало ожидать, что за подобный отвѣтъ философа прогонятъ съ пьедестала метлой, посадятъ въ подолочницу или подвергнутъ исправительному наказанію; но, къ стыду человечества и XIX вѣка, это не только сходитъ имъ съ рукъ, но даже заслуживаетъ ислѣское поощреніе.»

еще въ этомъ мірѣ, и наступитъ тотъ день, когда общественная совѣсть заклеить васъ и ваше лицемеріе, и вашихъ клеветовъ такъ, какъ вы того достойны. *Vamъ выжить каленымъ желѣзомъ на слово «Entbehrgungs-lohn»!*» Теперь Антоновичъ очевидно можетъ и даже долженъ записать Лассала въ число свирѣпѣйшихъ деспотовъ и тупоумнѣйшихъ обскурантовъ, потому что Лассаль, какъ видите, желаетъ обогатить уголовный законъ особой статьей, направленной противъ заблуждающихся экономистовъ, и кромѣ того стремится при содѣйствіи каленаго желѣза обучать Шульце-Делича элементарнымъ истинамъ социальной науки. Если Зайцевъ согрѣшилъ противъ заповѣдей истиннаго реализма, то Лассаль согрѣшилъ еще сильнѣе. Антоновичъ возразить мнѣ быть-можетъ, что экономисты, подобные Шульце-Деличу и Фаухеру, морочатъ работниковъ *умышленно*. Но на это я отвѣчу, что, анализируя ошибочную доктрину, мы не имѣемъ ни малѣйшей возможности установить ту пограничную черту, до которой простираются тупоуміе и невѣжество и съ которой начинается сознательная ложь. Шульце-Деличи и Фаухеры вѣрують въ неприкосновенную святость лихонимства также искренно или также неискренно, какъ Шеллинги и Гегели вѣрують въ свои абсолюты. Въ общемъ итогѣ, какъ абсолюты, такъ и доктрины о святости лихонимства производятъ притупленіе общественного сознанія. Значитъ, негодованіе Зайцева въ своей исходной точкѣ также законно, какъ негодованіе Лассала. Что-же касается до вѣдшей формы, въ которой выразилось это негодованіе, то мы ею нисколько не дорожимъ и охотно отдаемъ ее на сѣдженіе тѣмъ критикамъ, которымъ угодно тратить время на мелкія стилистическія замѣчанія по неспособности къ болѣе серьезной работѣ.

Теперь о неграхъ. Зайцевъ никогда не думалъ доказывать, что американскимъ колонистамъ непремѣнно слѣдовало отправлять корабли къ берегамъ Африки, воровать или покупать тамъ негровъ, привозить ихъ въ Америку и превращать ихъ на тамошнихъ плантаціяхъ въ рабочую машину. Зайцевъ говорилъ только *)

*) Подлинныя слова Зайцева: «Несомнѣнно и признано всѣми, что невольничество есть самый лучший исходъ, котораго можетъ желать цвѣтущей человѣкъ, прійдя въ соприкосновеніе съ бѣлой расой, потому что онъ достается въ узѣлъ только наиболѣе развитымъ и сильнымъ расамъ; большая же часть ихъ не могутъ вовсе существовать рядомъ съ кавказскимъ племенемъ и вскорѣ совершенно вымираютъ.» — «Сантиментальныя» праги невольничества умѣютъ только цитировать тексты и пѣть псалмы, но не могутъ указать ни одного факта, который-бы показывалъ, что образованіе и свобода могутъ превратить въ умственный отношеніи негра въ благо.»

по поводу книги Катрфажа «Единство въ человѣческомъ», что, когда бѣлые и черные живутъ вмѣстѣ въ одной странѣ, тогда или раса, то есть черной, предстоить неизбѣжно или вымираніе, или порабощеніе. Будетъ ли порабощеніе черной расы освящено закономъ, или-же оно будетъ только заключаться въ безвыходной и безнадежной экономической зависимости, — это въ сущности все-равно для тѣхъ людей, которые способны понимать смыслъ общественныхъ явленій, не останавливаясь на ихъ вѣдшей формѣ и не прельщаясь бумажными либеральными узаконеніями.

Зайцевъ высказалъ ту, вовсе не эксцентрическую мысль, что законъ Дарвина прилагается также и къ человѣческимъ расамъ. Если Антоновичъ думаетъ, что къ человечеству этотъ законъ не прилагается, то Антоновичъ долженъ объяснить, на чемъ онъ основываетъ свое предположеніе. Спрашивается, какое свойство или какая сила человеческого организма обуславливаетъ собою это изъятіе изъ общаго закона, распространяющагося на весь органическій міръ? Въ известные историческіе факты говорятъ самымъ краснорѣчивымъ образомъ въ пользу мнѣнія Зайцева. Бѣлая раса вездѣ и всегда играла роль жатаго таракана и пасюка: португальцы истребили гуанховъ, жителей Канарскихъ острововъ; испанцы истребили краснокожихъ обитателей Вестъ-Индіи; англичане истребили индейцевъ, австралійцевъ, новозеландцевъ и сѣверо-американскихъ индейцевъ; русскіе истребили алеутовъ и многое множество разныхъ сибирскихъ инородцевъ. Всякій желающій можетъ проливать потоки слезъ надъ могилами этихъ истребленныхъ разновидностей, но называть человѣка *ложереалистомъ* за то, что онъ спокойно констатируетъ существующій фактъ, значитъ превращать науку въ ребяческое и приторное прославленіе либеральными симпатіями и сантиментальными иллюзіями. Если Антоновичъ гонится не за истиной, а за утѣшительностью, то ему слѣдуетъ сдѣлаться не только идеалистомъ, а даже супранатуралистомъ. Супранатурализмъ гораздо утѣшительнѣе реализма — въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Но если негры — низшая раса, обреченная на гибель самой природой, то стало быть, рабство — явленіе неизбѣжное, законное и благотворное? Ничуть не бывало. Рабство все-таки остается явленіемъ отвратительнымъ и вреднымъ. Дѣло въ томъ, что рабство разслабляетъ умъ и уродуетъ характеръ *тѣхъ бѣлыхъ людей*, которые владѣютъ рабами и которые живутъ въ рабовладѣльческомъ государствѣ. Такъ наприимѣръ, рабовладѣльцы, по самому своему положенію, принуждены быть систематическими обскурантами, потому что распространеніе знаній въ низшей

классъ народа подкапываетъ рабство въ самомъ его основаніи. Далѣе, въ рабовладѣльческомъ государствѣ не можетъ быть равенства гражданъ передъ закономъ; отправленіе правосудія должно постоянно извращаться политическими соображеніями; далѣе, каждый рабовладѣлецъ окружаетъ себя цѣлымъ гаремомъ невольницъ и, привыкнувъ обращаться ко султански со своими безотвѣтными одалисками, относится такъ-же грубо къ своей женѣ, искажая такимъ образомъ основной характеръ европейской семейственности. Далѣе, привыкнувъ къ безпрекословному повиновенію со стороны окружающихъ рабовъ, рабовладѣлецъ вноситъ во всѣ свои общественныя отношенія ту необузданность, которую воспитала въ немъ плантаторская жизнь. Достаточно напомнить читателю съ одной стороны подвиги глупцовъ, плюющихъ другъ другу въ лоханъ то есть въ физиономію, а съ другой стороны полемическіе приемы американскихъ плантаторовъ, пускающихъ въ ходъ гуттаперчевыя палки въ засѣданіяхъ конгресса и сената. Всѣ эти аргументы противъ рабства остаются совершенно неприкосновенными во всякомъ случаѣ, каковъ-бы ни былъ нашъ взглядъ на отношенія между бѣлой и цвѣтными расами. Если, какъ говоритъ Антоновичъ, противники реализма, пользуясь словами Зайцева, приходятъ въ восторгъ и кричатъ, что реализмъ освящаетъ рабство, то эти восторженные крики доказываютъ только тупоуміе или недобросовѣстность этихъ противниковъ, на крики которыхъ ни одинъ порядочный реалистъ не будетъ обращать никакого вниманія, тѣмъ болѣе, что къ этому упражненію легкихъ и головосовыхъ хрящей давно пора привыкнуть,

«Und ihres Bellens lauter Schall
Beweist nur, dass wir reiten.»

Съ этими лающими противниками реализма Антоновичъ, неизвѣстно для чего, вступаетъ въ разговоръ, стараясь имъ доказать, «что истинный реализмъ требуетъ во всемъ свободы и устраненія всякихъ наказаній.» *Во всемъ свободы*—это неправда, потому что такимъ путемъ мы придемъ къ принципу буржуазныхъ экономистовъ: *laissez faire, laissez passer*,—къ тому самому принципу, противъ котораго неутомимо боролись всѣ лучшіе наши представители русскаго реализма (авторъ «Эстетич. отношеній»). Что-же касается до *устраненія всякихъ наказаній*, то эту идею «Русское Слово» постоянно выражало съ такой твердостью и опредѣленностью, съ какой врядъ-ли когда-нибудь выражалъ ее «Современникъ». Читатель можетъ справиться по этому вопросу со статьей Зайцева «Естествознаніе и юстиція», напечатанной въ 1863 году, со статьей Т. З.

дарствъ, напечатанной въ майской книжкѣ 1864 года, и съ другой статьей того-же Т. З. о книгѣ Моро-Кристофа «*Le monde des coquins*», напечатанной въ январской книжкѣ 1865 года. Тогда читатель увидитъ, имѣли-ли Антоновичъ какое-нибудь право монополизировать въ пользу «Современника» идею невмѣстности.

III.

Антоновичъ ставитъ мнѣ въ вину то, что я заявилъ печатно мое несогласіе съ Добролюбовымъ почти на всѣхъ пунктахъ. По своему обыкновенію Антоновичъ страшается насъ врагами реализма: «Указывая на Писарева,—говоритъ онъ—эти враги могли-бы сказать: такъ вотъ каковъ Добролюбовъ! Не прошло и пяти лѣтъ послѣ его смерти, какъ въ его писаніяхъ самые горячіе приверженцы его не могутъ найти уже ни одного почти пункта, съ которыми-бы они могли согласиться». Эти слова, еслибы они действительно были кѣмъ-нибудь произнесены, оказались-бы чистѣйшей нелѣпностью по той простой причинѣ, что я никогда не былъ ни *самымъ горячимъ*, ни даже просто *горячимъ* приверженцемъ Добролюбова.

Я давно разошелся съ Добролюбовымъ на многихъ пунктахъ. Добролюбовъ восхищался характеромъ Инсарова въ романѣ Тургенева «Наканунѣ». Я, напротивъ того, утверждалъ печатно въ 1861 г., что Инсаровъ—нелѣпая и безжизненная картонная кукла. Добролюбовъ постоянно относился къ Писемскому съ политѣйшимъ и отчасти даже аффекированнымъ пренебреженіемъ. Я, напротивъ того, въ томъ-же 1861 году отнесся къ Писемскому съ величайшимъ уваженіемъ и поставилъ его въ моихъ критическихъ статьяхъ выше Тургенева и Гончарова. По этому случаю Антоновичъ конечно непремѣнно возликуетъ и укажетъ мнѣ на «Взбаломученное Море». Но гнусность «Взбаломученнаго Моря» нисколько не уничтожаетъ собою достоинствъ «Тюфяка», «Богатаго Жениха», «Боярщины», «Тысячи Душъ», «Брака по страсти», «Комика» и «Горькой Судьбины». Если надо безусловно осуждать всѣ произведенія писателя за то, что этотъ писатель на старости лѣтъ начинаетъ писать глупости, то придется бранить «Ревизора» и «Мертвыя Души» за то, что Гоголь подъ конецъ своей жизни съѣхалъ на «Переписку съ друзьями». «Взбаломученное Море» составляетъ только одно изъ многочисленныхъ подтвержденій той извѣстной истины, что наши знаменитости не умѣютъ забастовать во-время и продолжаютъ писать, когда имъ слѣдовало-бы отдыхать на лаврахъ. Къ числу такихъ-же, хотя и не столь ярко-позорныхъ явленій, принадлежать и «Призраки» Тургенева.—Далѣе, Добролюбовъ

относился крайне-снисходительно и даже любовно къ стихотворнымъ шалостямъ Фета и Полонскаго; я, напротивъ того, осмѣялъ эти шалости въ томъ-же 1861 году. Изъ всѣхъ этихъ фактовъ, которые читатель можетъ найти въ статьяхъ: «Стоячая Вода», «Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ» и «Женскіе Типы въ повѣстяхъ и романахъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова»,—изъ всѣхъ этихъ фактовъ слѣдуетъ то неотразимое заключеніе, что ни враги, ни друзья реализма не имѣютъ никакого права ни называть меня *самымъ горячимъ приверженцемъ* Добролюбова, ни радоваться, удивляться, печалиться или негодовать по случаю моего теперешняго отпаденія отъ Добролюбова: никакого отпаденія не было и быть не могло, потому что не было никогда никакой приверженности. Я всегда считалъ и до сихъ поръ считаю Добролюбова за очень умнаго и за очень честнаго человѣка; но съ очень многими изъ его мнѣній я все-таки совершенно несогласенъ. Если Антоновичъ не понимаетъ, что можно глубоко уважать человѣка и въ то-же время расходиться съ нимъ во мнѣніяхъ, если онъ думаетъ, что уважать человѣка и писателя значить jugare in verba magistri (клясться словами учителя) и относиться къ нему съ наивно-инстинктивнымъ благоговѣніемъ, то мнѣ остается только пожалѣть о томъ, что роль перваго критика въ «Современникѣ» досталась такому человѣку, который не въ силахъ возвыситься до понятія объ умственной самостоятельности и о свободной оцѣнкѣ чужихъ мнѣній.

«Мы уже не говоримъ,—продолжаетъ Антоновичъ,—какъ это ограниченное самообольщеніе «Русскаго Слова» (т. е. разногласіе съ Добролюбовымъ) вредно дѣйствуетъ на тѣхъ обиженныхъ натурою читателей, которые вѣрятъ ему и вслѣдствіе этой вѣры вдохновеннымъ и поучительнымъ статьямъ Добролюбова предпочитаютъ фразистую, но несмысленную болтовню гг. Писарева и Зайцева».—Это хорошо, что вы этого не говорите, потому что, если-бы вы это сказали, то слова ваши оказались-бы или совершенной бессмыслицей, или одною изъ многихъ вашихъ выдумокъ. Если вы этой фразой хотите выразить ту мысль, что многіе читатели, прочитавъ Добролюбова, послѣ того читаютъ съ удовольствіемъ статьи Писарева и Зайцева, то тогда невозможно понять, что именно огорчаетъ въ этомъ фактѣ васъ, какъ *горячаго приверженца* Добролюбова? Развѣ вы полагаете, что послѣ смерти Добролюбова во всѣхъ русскихъ читателяхъ должно навсегда замереть желаніе слѣдить за современнымъ движеніемъ жизни, науки и литературы? Если вы такъ думаете, то вамъ самимъ не слѣдуетъ писать, а слѣдуетъ только перепечатывать въ критическомъ отдѣлѣ «Современника» всѣ

статьи Добролюбова, съ первой до послѣдней, окончивъ эту перепечатку одинъ разъ, и дуетъ начать ее во второй разъ, потомъ третій, и т. д. безъ конца. Если-же въ этой фразѣ, которую вы не говорите, заключенъ тотъ смыслъ, что, довѣряясь указаніямъ «Русскаго Слова», простодушные читатели смотрятъ съ пренебреженіемъ на Добролюбова, какъ на отсталаго писателя, и вслѣдствіе этого сами не читаютъ его сочиненій, то тогда ваша фраза заключаетъ въ себѣ чистѣйшую ложь. Писаревъ въ своей статьѣ «Бѣлинскій и Добролюбовъ» (1864 г., январь) очень гордо и убѣдительно рекомендуетъ своимъ читателямъ чтеніе статей Добролюбова. Я говорю точно же самое въ моей статьѣ «Кукольная Трагедія» (1864 г., августъ). Вотъ мои подлинныя слова: «Грибоѣдовъ, Крыловъ въ нѣкоторыхъ изъ его лучшихъ басенъ, Пушкинъ въ «Онегинѣ», Лермонтовъ въ Печоринѣ, Гоголь въ «Мертвыхъ Душахъ», въ «Ревизорѣ» и въ нѣкоторыхъ мелкихъ повѣстяхъ, Писемскій, Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Некрасовъ, Островскій и особенно Бѣлинскій и Добролюбовъ, заслуживаютъ заключенія, какъ фактъ вчерашняго дня: «Ч. д?» — это все сырые материалы, которые каждый изъ нашихъ образованныхъ соотечественниковъ долженъ непременно переработать въ своемъ умѣ, чтобы изъ нихъ мы хотимъ, о чемъ мы думаемъ и съ какою изъ различныхъ точекъ зрѣнія мы разсмотримъ наше собственное положеніе». Изъ этихъ словъ вы видите, что если даже — чего Боже сохрани — у меня есть читатели, принимающіе къ слову на вѣру безъ критики, то и эти читатели не будутъ относиться къ Добролюбову съ пренебреженіемъ, а напротивъ того, основываясь на моихъ словахъ, проникнутся тѣмъ убѣжденіемъ, что чтеніе Добролюбова составляетъ необходимую и особенно важную часть въ образованіи каждаго русскаго человека. Если-же читатели, прочитавъ Добролюбова, согласятся не съ нимъ, а со мною, то въ послѣднемъ обстоятельствѣ, весьма при этомъ для Антоновича, я съ своей стороны, всемъ моимъ сочувствіемъ къ трогательной личности Антоновича, не могу видѣть ничего предосудительнаго, потому что, еслибы я считалъ добролюбовскія мнѣнія болѣе вѣрными, нежели мои собственныя, тогда я, разумѣется, отказался-бы отъ своихъ мнѣній и примкнулъ безусловно къ Добролюбову. — Меня во всемъ очень изумляетъ одно обстоятельство: какъ Антоновичъ не видитъ и не понимаетъ, жалуюсь на тѣхъ перебѣжчиковъ, которые, покидая Добролюбова, присоединяются къ Писареву и Писареву, — онъ, Антоновичъ, дѣлаетъ со слезами на глазахъ и въ голосѣ публичное призываніе собственнаго безсилія. Антоновичъ самъ — безусловный послѣдователь Добролюбова.

ва; бывшіе обожатели Добролюбова, по словамъ самого Антоновича, перебѣжали или перебѣгаютъ къ другимъ писателямъ. Кто-же виноватъ въ этомъ, какъ не преемникъ и послѣдователь Добролюбова? Зачѣмъ-же этотъ преемникъ и послѣдователь не умѣетъ удержатъ этихъ перебѣжчиковъ въ своей школѣ? Зачѣмъ онъ не умѣетъ приковать къ себѣ умы и сердца бывшихъ обожателей Добролюбова? И если у него на такой подвигъ не хватаетъ силъ, то какое-же право онъ имѣетъ хныкать, брюзжать и ворчать на тѣхъ людей, которые работаютъ силѣе, искуснѣе и усилѣннѣе его? Одно изъ двухъ: или эти перебѣжчики умны, или они глупы; въ первомъ случаѣ ихъ приговоръ рѣшаетъ дѣло: кто привлекаетъ ихъ къ себѣ, тотъ и правъ; во второмъ-же случаѣ я не понимаю, изъ-за чего хлопочетъ Антоновичъ, и какая ему выгода будетъ отъ того, что глупые люди будутъ глупѣйшимъ образомъ поклоняться Добролюбову и его преемнику. Я съ своей стороны очень охотно готовъ уступить всѣхъ российскихъ идиотовъ въ вѣчное потомственное владѣніе Каткову и Николаю Соловьеву.

Перечисливъ такимъ образомъ наши преступленія (Базаровъ, тѣлесныя наказанія филозофовъ, неуваженіе къ неграмъ, разногласіе съ Добролюбовымъ), Антоновичъ объявляетъ, что поэтому необходимо разграничить и послѣдователей реализма, отдѣлѣть между ними овецъ отъ козловъ и рѣзко установить тотъ фактъ, что кромѣ дѣйствительныхъ реалистовъ есть еще мнимые реалисты или лже-реалисты, которые считаютъ Тургенева своимъ учителемъ, а Базарова—своимъ идеаломъ, и органомъ или оракуломъ которыхъ служатъ «Русское Слово», т. е. собственно Писаревъ и Зайцевъ, занимающіеся извращеніемъ и обезображиваніемъ реализма.

Называть себя овцами или даже баранами вы можете безпрепятственно, сколько вашей душѣ или вашимъ душамъ будетъ угодно, этого названія мы у васъ оспаривать не будемъ. Но имени *реалистовъ* мы вамъ, при нашемъ полюбившемъ размежеваніи, не уступимъ по той весьма основательной причинѣ, что не вы это имя выдумали, то есть не вы первые примѣнили его къ этой партіи, которая прежде называлась свистунами, а потомъ—нигилистами. Потрудитесь припомнить, съ какого именно времени это названіе стало употребляться постоянно? Оно получило право гражданства въ концѣ прошлаго года; оно досталось вамъ по милости того самаго «Нерѣшеннаго Вѣщаго», противъ котораго вы такъ долго, такъ упорно, такъ горячо и—увы!—такъ безуспѣшно воюете. Если вы осмѣлитесь отрицать вѣрность этого показанія, то я приведу вамъ такихъ свидѣтелей, которыхъ вы не можете отвести, потому что они совершенно безпристрастно и одинаково

сильно ненавидятъ насъ обоихъ, то есть какъ «Русское Слово», такъ и «Современникъ». Я сошлюсь на филистерскую журналистику, которая въ концѣ прошлаго года и въ началѣ нынѣшняго обсуживала съ разныхъ сторонъ терминъ *реалисты*, какъ новое явленіе, и старалась рѣшить вопросъ о томъ, слѣдуетъ-ли признать за нами это новое названіе, или не слѣдуетъ. Этому занятію предавался Николай Соловьевъ въ статьѣ «Теорія пользы и выгоды», помѣщенной въ ноябрьской книжкѣ «Эпохи». О томъ-же предметѣ толковалъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» нынѣшняго года Incognito, въ первой изъ своихъ критическихъ статей. Наконецъ «Библиотека для Чтенія» во 2-ой февральской книжкѣ нынѣшняго года, въ статьѣ «Послѣдніе цвѣты», прямо объявляетъ, что Писаревъ подмѣняетъ или уже подмѣнилъ старѣвшійся нигилизмъ новымъ реализмомъ. Такимъ образомъ мои авторскія права не подлежатъ въ этомъ случаѣ ни малѣйшему сомнѣнію. Но этого мало, что я первый примѣнилъ этотъ терминъ; я еще кромѣ того понимаю гораздо лучше васъ его неоцѣненныя достоинства и выгоды именно для обозначенія нашей литературной партіи. Вы, то есть именно вы, Антоновичъ, а не «Современникъ» вообще, даже до сихъ поръ не знаете, почему имя *реалистовъ* особенно удобно для насъ и почему оно такъ быстро пустило корни, что вы теперь, забывъ даже его мѣсторожденіе, стараетесь его у насъ оттягать. Я объясню вамъ достоинства и выгоды этого термина. Видите-ли: сущность нашего направленія заключается въ себѣ двѣ главныя стороны, которыя тѣсно связаны между собою, но которыя однако могутъ быть разсматриваемы отдѣльно и обозначаемы различными терминами. Первая сторона состоитъ изъ нашихъ взглядовъ на природу: тутъ мы принимаемъ въ соображеніе только дѣйствительно-существующія, *реальныя*, видимыя и осязаемыя явленія или свойства предметовъ. Вторая сторона состоитъ изъ нашихъ взглядовъ на общественную жизнь: тутъ мы принимаемъ въ соображеніе только дѣйствительно-существующія, *реальныя*, видимыя и осязаемыя потребности человѣческаго организма. Слово *реалистъ* выражаетъ превосходно сліяніе этихъ двухъ сторонъ, и никакое другое слово не выражаетъ этого сліянія вполне удовлетворительно, потому что каждое изъ многихъ другихъ словъ направляется исключительно или на первую, или на вторую сторону. *Реалистъ*, напротивъ того, исчерпываетъ весь смыслъ нашего направленія до самаго дна, и въ то-же время онъ никого не пугаетъ и не раздражаетъ; il ne casse pas les vitres. Это слово — тихое, кроткое и глубокое: einfach, nett und dauerhaft (просто, мило и прочно), какъ говорятъ Новалисъ о сочиненіяхъ Гёте. Вотъ почему оно вамъ понравилось, вотъ по-

чему вы тянете его къ себѣ, и вотъ почему мы вамъ его не уступимъ, тѣмъ болѣе, что вы рѣшительно не умѣете прикладывать его къ оцѣнкѣ явленій общественной жизни. Подумайте, г. Антоновичъ, какой-же вы *реалистъ*, когда рѣшаетесь хвалить *политическую экономію* Милля, которая вся построена на такъ называемомъ законѣ Мальтуса и которая все разрѣшеніе общественной задачи видитъ только въ *благоразумномъ* воздержаніи работниковъ отъ наслажденій супружеской жизни? Говоря о политической экономіи Милля, вы даже не упомянули о его мальтузіанствѣ, и вы кромѣ того, нечаянно или умышленно, изъ желанія поборяться съ «Отечественными Записками», оклеветали Ч—скаго, сказавъ о немъ, что онъ во всѣхъ существенныхъ основаніяхъ соглашается съ Миллемъ. «Русское Слово», на которое вы стараетесь смотрѣть съ высокомеріемъ, далеко несоотвѣтствующимъ вашимъ личнымъ силамъ и знаніямъ, «Русское Слово», говорю я, могло бы предохранять васъ отъ этихъ двухъ печальныхъ ошибокъ. Въ «Русскомъ Словѣ» за 1862 годъ вы могли найти статью Соколова по поводу книги Рошера «Начала народнаго хозяйства», а въ «Русскомъ Словѣ» за 1863 годъ — мои статьи: «Очерки изъ исторіи труда». Эти статьи объяснили-бы вамъ съ ясностью, вразумительной даже для васъ: во-первыхъ, что такое мальтузіанство, а во-вторыхъ (это вы найдете у меня), какъ смотреть на Мальтуса Ч—скій. — Далѣе, вы не можете быть реалистомъ потому, что, говоря о явленіяхъ общественной жизни и о потребностяхъ човѣческаго организма, вы не умѣете расположить эти потребности въ той необходимой постепенности, которая вытекаетъ сама собою изъ ихъ сравнительной важности. Вы напримѣръ не понимаете, что, когда въ обществѣ есть не только голодные люди, но даже голодные классы, то обществу равно, нелѣпо, отвратительно, неприлично и вредно заботиться объ удовлетвореніи другихъ потребностей второстепенной важности, развившихся у крошечнаго меньшинства сытыхъ и разжирѣвшихъ людей. Еслибы вы прочитали внимательно и были способны понять комментаріи Ч—скаго къ политической экономіи Милля, то вы увидѣли-бы, что онъ сравниваетъ неразумное общество, имѣющее мало хлѣба и въ то-же время заботящееся о музыкальныхъ консерваторіяхъ, объ операхъ, балетахъ, картинахъ и статуяхъ, съ глупымъ дикаремъ, который ходитъ нагишомъ и босикомъ и въ то-же время украшаетъ себя золотыми браслетами и жемчужными ожерельями. Поэтому совѣтую вамъ совершенно искренно, бросьте названіе реалиста, которое вамъ совершенно не къ лицу; вы можете называть себя *овцою* или *бараномъ*, а еще того лучше назовите себя *либераломъ*,

и раздѣлите это почетное и комфортабельное названіе съ «Московскими Вѣдомостями», съ «Сыномъ Отечества», съ «Голосомъ», съ «Отечественными Записками», — словомъ, со всѣхъ русской журналистикой, кромѣ «Домашней Библіотекы» — съ одной стороны и «Русскаго Слова» — съ другой.

IV.

Антоновичъ, какъ мы видѣли выше, утверждаетъ, что мы считаемъ Тургенева своимъ идеаломъ, а Базарова — своимъ идеаломъ. Далѣе онъ на пяти страницахъ развиваетъ эту мысль очень подробно и говоритъ, что «въ Базарова они (Зайцевъ и я) получаютъ живыи реалистическій талисманъ и ключъ къ скорому, почти механическому рѣшенію всѣхъ вопросовъ». По соображеніямъ Антоновича получается, что до самаго появленія тургеневскаго романа я «оставался въ невѣдѣніи относительно реализма». — «Сколько-же реалистическіхъ книгъ читалъ Писаревъ, ни одного изъ нихъ не могъ понять и узнать, что такое реализмъ». Увлекаясь своимъ желаніемъ выставить свое незнаніе и непониманіе какъ можно ярче, Антоновичъ, самъ того не замѣчая, опровергаетъ одну изъ своихъ собственныхъ мыслей, высказанныхъ имъ немого выше. Онъ говоритъ на той-же страницѣ, что, познакомившись съ сочиненіями Добролюбова, я его не понималъ, заключилъ, что «Добролюбовъ отсталъ, что онъ нѣтъ почти ни одного реалистическаго пункта. Въ такомъ положеніи оставался Писаревъ въ концѣ 1861 года и въ началѣ 1862 года до той незабвенной минуты, когда въ «Русскомъ Вѣстникѣ» появился романъ «Отцы Дѣти», на стр. 56 говорилось, что враги реализма причисляютъ меня къ самымъ горячимъ приверженцамъ Добролюбова. Спрашивается, какъ же образомъ я могъ пріобрѣсти репутацію *большаго горячаго приверженца*, если я съ 1861 года, то есть съ перваго года моей литературной дѣятельности, заключилъ, что у Добролюбова *нѣтъ почти ни одного реалистическаго пункта*? Предоставляю Антоновичу изпутываться изъ этого противорѣчія всѣми мыслями и софизмами, какіе только имѣются въ его распоряженіи. — «Прочитавши одинъ этотъ романъ», — продолжаетъ Антоновичъ, — «Писаревъ въ нѣсколько часовъ узналъ, что такое реализмъ и самъ сдѣлался реалистомъ, чего не случилось съ нимъ даже послѣ продолжительнаго чтенія многихъ статей Добролюбова и другихъ реалистовъ». ... «Такимъ образомъ, подобно тому какъ первымъ своимъ превращеніемъ Писаревъ обязанъ былъ Благосвѣтлову, второе превращеніе совершилось, благодаря Тургеневу, который сдѣлался учителемъ и руководителемъ Писарева, а Благосвѣтловъ отсутст-

на задній планъ, въ роль простого совѣтника.»—Эти разсужденія Антоновича выставятъ конечно мою личность въ самомъ смѣшномъ и жалкомъ свѣтѣ, но разсужденія эти очевидно могутъ подѣйствовать только на тѣхъ простодушныхъ читателей, которые привыкли принимать печатныя слова на вѣру безъ малѣйшей критики. Читатели же простодушные требуютъ доказательствъ, увидятъ, что доказательствъ никакихъ не представлено, и собьются, что еслибы слова Антоновича сколько нибудь соответствовали истинѣ, то найти доказательства было-бы въ высшей степени легко. Въ самомъ дѣлѣ, до появленія тургеневскаго романа я работалъ въ «Русскомъ Словѣ» слишкомъ годъ и написалъ по меньшей мѣрѣ листовъ сорокъ по самымъ разнообразнымъ предметамъ: тутъ есть и двѣ статьи о Меттернихѣ, моя кандидатская диссертация объ Аполлоніѣ Миланскомъ, и три статьи по естественнымъ наукамъ, по поводу сочиненій нѣмецкихъ реалистовъ: Молешота, Карла Фохта и Бюхнера, и наконецъ нѣсколько статей о современной русской литературѣ. Если я втеченіи этого перваго года не понималъ реализма, и если потомъ чтеніе тургеневскаго романа произвело во мнѣ *превращеніе*, то кто-же мѣшалъ Антоновичу показать въ моихъ первыхъ статьяхъ образчики моего непониманія и потомъ, сравнивая первыя мои статьи съ позднѣйшими, представить доказательства совершившагося во мнѣ превращенія? Антоновичъ не сдѣлалъ ни того, ни другого, и потому я полагаю, что онъ имѣетъ очень невыгодное мнѣніе о понятливости и требовательности тѣхъ читателей, въ глазахъ которыхъ онъ старается сдѣлать меня смѣшнымъ. Въ послѣдніе три года совершилось надъ нами вокругъ насъ множество такихъ крупныхъ и важныхъ событій, которыя каждого человека, способнаго мыслить, заставляютъ вглядываться, какъ можно пристальнѣе, и вдумываться, какъ можно глубже, во все, что составляетъ совокупность его убѣжденій, надеждъ, желаній и плановъ. Поэтому нѣкоторыя частности дѣйствительно измѣнились въ моихъ понятіяхъ; какъ напримѣръ, мой взглядъ на отношенія искусства къ общественной жизни сдѣлался гораздо строже прежняго; нѣкоторыя черты моего образа мыслей выступили теперь рѣзче и обозначились яснѣе; но *превращенія* все-таки никакого не произошло, получилось только постепенное органическое развитіе. Но вѣдь Антоновичъ утверждаетъ совсѣмъ не то: онъ говоритъ, что превращеніе произошло со мною въ *нѣсколько часовъ*, которые я употребилъ на чтеніе тургеневскаго романа. Въ такомъ случаѣ, если Антоновичу не угодно прослыть за искуснаго мистификатора довѣрчивой публики, пусть онъ докажетъ, что мои статьи, напечатанныя въ январѣ и въ февралѣ 1862 года,

отличаются существеннымъ образомъ отъ статей, написанныхъ въ апрѣлѣ и въ маѣ того-же года. Кстати о превращеніяхъ: Антоновичъ приписываетъ мнѣ два превращенія: первое—произведенное Благосвѣтловымъ, и второе—произведенное романомъ Тургенева. Мы видѣли уже, что второе превращеніе выдуманно Антоновичемъ. Первое—не выдуманно, но понято совершенно невѣрно. Говоря объ этомъ первомъ превращеніи, Антоновичъ основывается на письмѣ моей матери, помѣщенномъ въ мартовской книжкѣ «Современника» за нынѣшній годъ. Всѣ показанія этого письма совершенно вѣрны, но только надо ихъ понимать, а на это у Антоновича не хватаетъ остроумія или добросовѣстности. Въ письмѣ моей матери сказано, что въ апрѣлѣ 1861 года я входилъ въ сношенія съ редакціей «Странника», желая помѣстить въ этотъ журналъ переводъ одной пѣсни «Мессіады». Изъ этого совершенно вѣрнаго показанія Антоновичъ заключаетъ совершенно ошибочно, что я въ апрѣлѣ 1861 года смотрѣлъ на весь міръ глазами «Странника», который, по справедливому замѣчанію того-же Антоновича, есть не что иное, какъ родной братецъ «Домашней Бесѣды». Только на основаніи этого ошибочнаго заключенія Антоновичъ получаетъ поводъ говорить обо мнѣ, что «Писаревъ есть лучшій цвѣтокъ въ саду реализма, посаженный и выращенный Благосвѣтловымъ.»—Я дѣйствительно многимъ обязанъ Благосвѣтлову въ моемъ развитіи, но я никогда не говорилъ, что Благосвѣтловъ *первый* познакомилъ меня съ тѣми идеями, которыя я теперь провожу и защищаю въ «Русскомъ Словѣ». Антоновичъ долженъ былъ-бы сообразить, что редактору журнала некогда заниматься *насаживаніемъ лучшихъ цвѣтковъ*, некогда возиться съ совершенно необразованными и неразвитыми юношами, хотя бы эти юноши были даже очень умны отъ природы. Редакторъ обыкновенно беретъ себѣ въ сотрудники такихъ людей, въ которыхъ уже зашевелилась работа мысли и въ которыхъ эта работа представляетъ хоть что-нибудь родственное, хоть какую-нибудь точку соприкосновенія съ главными идеями редактируемаго журнала. Именно такъ случилось и со мною. Первый трудъ, которымъ я зарекомендовалъ себя въ глазахъ Благосвѣтлова, былъ переводъ поэмы Гейне «Атта Троль». Благосвѣтловъ увидалъ изъ этого перевода, что я люблю и понимаю Гейне. Этотъ симптомъ былъ уже достаточно выразителенъ, чтобы подать поводъ къ нашему ближайшему знакомству. За этимъ знакомствомъ послѣдовали работы, и если Антоновичъ потрудится просмотрѣть мои статьи, помѣщенные въ февральской, въ мартовской и апрѣльской книжкахъ «Русскаго Слова» за 1861 годъ, то увидитъ, что въ моихъ тогдашнихъ идеяхъ не было ничего похожаго на идеи «Странника».—Но

почему-же я ходилъ въ редакцію «Странника» въ апрѣлѣ? И что-же сдѣлалъ для меня Благосвѣтловъ, если я уже до знакомства съ нимъ не сходилъ въ идеяхъ со «Странникомъ»? Ходилъ я въ редакцію «Странника» потому, что не имѣлъ понятія о серьезныхъ обязанностяхъ честнаго литератора. А сдѣлалъ для меня Благосвѣтловъ именно то, что своимъ вліяніемъ заставилъ меня понять, въ чемъ состоятъ эти серьезные обязанности. Дѣло въ томъ, что наши пишущіе люди до сихъ поръ не могутъ понять, что честный писатель отнюдь не долженъ уподобляться ласковому теляткѣ, сосущему въ одно время и съ одинаковымъ успѣхомъ двухъ или даже многихъ болѣе или менѣе разношерстныхъ матокъ. Русскій писатель обыкновенно смотритъ на литературу, какъ на свое хлѣбное ремесло, и поступаетъ со своими произведеніями, какъ сапожникъ съ сапогами, то есть продаетъ ихъ первому встрѣчному покупателю, не обращая никакого вниманія на самыя характерныя особенности этого покупателя. Примѣровъ можно привести сколько угодно, выбирая притомъ только очень извѣстныя и нисколько неопозоренныя имена. Было-бы очень несправедливо назвать покойнаго Дружинина безчестнымъ или тупоумнымъ писателемъ, а между тѣмъ извѣстно, что Дружининъ въ 1861 году помѣстилъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» статью о Карлейлевой исторіи Фридриха II, потомъ въ 1862 году помѣстилъ въ «Современникѣ» переводъ «Ричарда III» и наконецъ въ 1863 году опять въ «Русск. Вѣстникѣ» — продолженіе статей о книгѣ Карлейля. Такимъ образомъ Дружининъ ухитрился мирить «Современникъ» съ «Русскимъ Вѣстникомъ». — Костомаровъ *) также не можетъ быть названъ ни безчестнымъ, ни тупоумнымъ писателемъ, а между тѣмъ онъ помѣщалъ свои статьи въ «Библіотекѣ для Чтенія» рядомъ съ романомъ Стебницкаго. — Вейнберга я также не имѣю повода заподозрить ни въ тупоуміи, ни въ безчестности, а между тѣмъ онъ помѣстилъ переводъ «Беатриче Ченчи» въ «Русск. Словѣ», а переводъ «Отелло» — въ «Библіотекѣ для Чтенія», совершенно опозоренной романомъ «Некуда». Такимъ образомъ производилось непостижимое примиреніе «Русск. Слова» съ «Библіотекой». Такое-же примиреніе устраивалъ и Глѣбъ Успенскій, который, печатавъ обыкновенно свои рассказы въ «Русск. Словѣ», помѣстилъ однако одинъ очеркъ въ январской книжкѣ «Библіотеки» за нынѣшній годъ. Помяловскій конечно былъ достаточно уменъ и честенъ, чтобы не сочувствовать философіи Страхова и Косицы, а между тѣмъ отдалъ «Зимній вечеръ въ бур-

сѣ» во «Время», и отдалъ его тогда, какъ «Современникъ» еще не былъ приостановленъ. Пониманіе настоящихъ отношеній литературы къ обществу развито до сихъ поръ такъ слабо въ нашей публикѣ, что большинство читателей прочитавъ то, что я говорю о Вейнбергѣ, навѣрное возразятъ мнѣ съ простодушнымъ влеченіемъ: «да вѣдь это переводы, стало быть все равно, куда ихъ не помѣстить». Совсѣмъ все равно, отвѣчу я. Писатель долженъ рапортовать слѣдующимъ образомъ: если я считаю позволительнымъ выпустить мою работу въ свѣтъ, то, значить, я нахожу, что она необходима добросовѣстно и что вслѣдствіе этого можетъ хоть немного усилить успѣхъ моего журнала, въ который я ее отдаю. Если же моей работой усиливаю успѣхъ такого журнала, который проповѣдуетъ нелѣпости и гнусности, то я становлюсь до нѣкоторой степени сообщникомъ этихъ гнусностей или нелѣпостей. Стало быть, даже и переводы слѣдуетъ выбирать съ величайшей разборчивостью. Если у насъ не было въ литературѣ людей безличныхъ и равнодушныхъ, то большая часть нелѣпыхъ или гнусныхъ журналовъ потеряла-бы возможность существовать, потому что чисто-нелѣпые или чисто гнусные, дающіе лорить гнуснымъ или нелѣпымъ журналамъ составляютъ у насъ, какъ и вездѣ, очень значительное меньшинство, которое только въ содѣйствіи равнодушныхъ и безразличныхъ людей можетъ обдѣлывать свои дѣлишки и выскатъ въ свѣтъ разнообразныя книжки, пританнивая ароматомъ гнусности или нелѣпости. Безразличіе и равнодушіе, составляющія до сихъ поръ преобладающія особенности нашихъ литературныхъ дѣятелей, происходятъ не отъ испорченности, не отъ систематической пристрастности, а просто отъ непониманія той истины, что литература — великая общественная сила, которая начинаетъ развращать общество съ самой минуты, какъ только она перестаетъ указывать его впередъ и раскрывать передъ нимъ острые и хроническія болѣзни. Непониманіе очень понятно: до 1855 года у насъ не было и быть не могло ясно обозначенныхъ и уклонно-выдержанныхъ направленій; еслибы нибудь потрудился перебрать старыя книги «Отечественныхъ Записокъ», то навѣрное нашелъ-бы тамъ, рядомъ со статьями Бѣлинскаго множество такихъ вещей, которыя показались бы дикими даже теперешнимъ «Отечественнымъ Запискамъ». Потомъ, послѣ 1855 года, русскіе писатели сдѣлались либералами, а либеральный кодексъ извѣстенъ: отрицай рознь, зуботычины, люби Россію и Кавура, обижай когда евреевъ называютъ жидами, и затѣ заручившись этими добродѣтельными чувствами говори, пиши и дѣлай все, что угодно. На этомъ либеральномъ кодексѣ выросли, какъ

*) Само собою разумѣется, что, называя Костомарова не безчестнымъ и не тупоумнымъ писателемъ, я говорю о профессорѣ Н. И. Костомаровѣ, а не о Всеволодѣ Костомаровѣ.

ерія «Голоса» о томъ, что честному писателю незачѣмъ быть честнымъ человѣкомъ, такъ и теорія Альбертини о систематической несолидарности сотрудниковъ журнала между собою. Каждый либераль готовъ безъ дальнѣйшихъ разспросовъ писать въ одномъ журналѣ съ другими либералами, съ которыми онъ не сходитъ ни на одномъ пунктѣ, кромѣ вышеисчисленныхъ статей либеральнаго кодекса. Привыкнувъ игнорировать своихъ сотрудниковъ и кочевать по домашнимъ обстоятельствамъ изъ одного либеральнаго журнала въ другой, либералы не слишкомъ строго смотрятъ на переходы даже и въ такіе журналы, которые съ либерализмомъ не имѣютъ ничего общаго. Извѣстно напримѣръ, какъ пламенно ненавидятъ и усердно бранятъ «Русское Слово» всѣ наши либералы; и всѣхъ этихъ пламенно-ненавидящихъ и усердно-бранищихъ либераловъ можно завтра-же приманить въ «Русское Слово», посуливъ имъ лишніе пять рублей полистой платы. Жаль только, что приманивать не стоитъ. И опять-таки повторяю вамъ, что это дѣлается не столько вслѣдствіе развращенности и продажности, сколько вслѣдствіе литературнаго дилетантизма, вытекающаго изъ нашей общественной неразвитости. Предложите тому-же либералу, котораго вы переманили за пять рублей, поцѣловать у васъ руку не за пять, а за пятьсотъ рублей, и вы увидите, что онъ не только не поцѣлуетъ, а даже—чего добраго—обидится. Значитъ, чувство чести въ немъ есть, но только нѣтъ умѣнья понять отношенія писателя къ обществу. Благосвѣтловъ своимъ вліяніемъ навсегда застраховалъ меня отъ безцвѣтнаго либерализма, приводящаго къ теоріямъ «Голоса» и Альбертини. Когда я ходилъ въ редакцію «Странника», я стоялъ на той низкой степени пониманія, на которой остановились напримѣръ Дружининъ и Костомаровъ. Благосвѣтловъ помогъ мнѣ подняться на высшую ступеньку, и теперь я смотрю на дѣло писателя, какъ на серьезную общественную обязанность. Такимъ образомъ Благосвѣтловъ сдѣлалъ для меня очень много. Но мое реалистическое міросозерцаніе сложилось независимо отъ Благосвѣтлова и до моего знакомства съ нимъ. *Лучшій цвѣтокъ въ саду реализма, насажденный и выращенный самимъ Благосвѣтловымъ*, оказывается такимъ образомъ безвредной шуткой, которая ко мнѣ нисколько не относится.

У.

Антоновичъ старается доказать, что я будто бы не понималъ статьи Добролюбова «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ». — «Читая эту статью, — говоритъ онъ, — онъ (Писаревъ) остановился на той миллионной долѣ статьи, гдѣ Добролюбовъ хвалитъ Катерину; эта похвала точно гвоз-

демъ засѣла въ голову критика, и онъ остановился на ней собственно потому, что наслушался фразъ объ отрицаніи и обличеніи, и его обличительное рвеніе обидѣлось похвалой. Итакъ, похвала Катеринѣ составляетъ *одну миллионную* долю статьи «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ». Справляясь съ сочиненіями Добролюбова, я усматриваю, что хвалебный анализъ характера Катерины занимаетъ въ третьемъ томѣ ровно *тридцать* страницъ (488—517); слѣдовательно, по счету Антоновича, вся статья должна заключать въ себѣ *тридцать миллионныхъ* страницъ; на самомъ-же дѣлѣ она не такъ велика: въ ней всего *семьдесятъ семь* страницъ. Стало быть, похвала Катеринѣ, даже по одному объему, составляетъ почти половину статьи (выражаясь точнѣе—болѣе $\frac{3}{8}$ статьи). Но этого мало. Не трудно доказать, что эта часть статьи составляетъ настоящую ея сущность. Въ самомъ дѣлѣ, первая *двадцать семь* страницъ составляютъ вступленіе, въ которомъ Добролюбовъ объясняется «*относительно основаній своей критики*» и полемизируетъ съ разными приверженцами школьной пѣтики. Оканчивая это вступленіе, Добролюбовъ самъ признается, что его «*можно было изложить на двухъ-трехъ страницахъ*», но что тогда бы этимъ страницамъ долго не пришлось увидѣть свѣта». Вступленіе вышло длинно, потому что «приходится поневолѣ перевертываться всячески съ фразой, чтобы ввести какъ-нибудь читателя въ сущность излагаемой мысли». Ясно, дѣло, что извороты фразъ, необходимые только вслѣдствіе стѣсненнаго положенія нашей печати, не могутъ составлять существеннаго содержанія статьи. Если Добролюбовъ самъ говоритъ, что вступленіе могло уместиться на двухъ-трехъ страницахъ, то мы и должны считать первыя *двадцать семь* страницъ за двѣ или за три страницы, непожѣрно раздувшіяся вслѣдствіе особыхъ обстоятельствъ, отъ автора независимыхъ. Наконецъ Добролюбовъ говоритъ: «Но обратимся-же къ *настоящему предмету* нашему—къ автору «Грозы»». Ясно, кажется, что первыя *двадцать семь* страницъ къ *настоящему предмету* не относятся. Далѣе Добролюбовъ начинаетъ рисовать жизнь города Калинова и самодурство Дикого и Кабановой, то есть, онъ описываетъ ту сцену, на которой Катеринѣ приходится дѣйствовать, и знакомить насъ съ тѣми людьми, отъ которыхъ Катерина находится въ зависимости. Затѣмъ начинается анализъ характера Катерины. Спрашиваю я васъ теперь, господа читатели, которая изъ трехъ частей статьи можетъ быть названа главной: первая-ли, заключающая въ себѣ прелиминаріи, которыя, по сознанию самого автора, могли-бы уместиться на двухъ-трехъ страницахъ; вторая-ли, заключающая въ себѣ описаніе фона картины; или-же третья, заключающая

щая въ себѣ анализъ характера главнаго дѣйствующаго лица? Но можетъ-быть въ этомъ анализѣ характера хвалебный элементъ занимаетъ дѣйствительно самое скромное мѣсто? Нѣтъ, господа, мой увертливый противникъ не укроется даже и въ этой послѣдней лазейкѣ. Чтобы возвеличить Катерину, Добролюбовъ поворачиваетъ въ прахъ всѣ сильные характеры, изображавшіеся въ нашей современной литературѣ, и эту груды поверженныхъ фигуръ превращаетъ въ пьедесталъ для своей любимой героини. Къ ногамъ Катерины поворачивается даже Инсаровъ, тотъ самый Инсаровъ, къ которому Добролюбовъ отнесся съ величайшимъ сочувствіемъ въ своей статьѣ: «Когда-же придетъ настоящий день?»—«Русская жизнь»,—говоритъ Добролюбовъ,—дошла наконецъ до того, что добродѣтельныя и почтенныя, но слабыя и безличныя существа не удовлетворяютъ общественнаго сознанія и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность въ людяхъ, хотя-бы и менѣе прекрасныхъ, но болѣе дѣятельныхъ и энергичныхъ. Иначе и невозможно: какъ скоро сознаніе правды и права, здравый смыслъ проснулись въ людяхъ, они непремѣнно требуютъ не только отвлеченнаго съ ними согласія (которымъ такъ блистали всегда добродѣтельные герои прежняго времени), но и внесенія ихъ въ жизнь, въ дѣятельность. Но чтобы внести ихъ въ жизнь, надо побороть много препятствій, подставляемыхъ Дикими, Кабановыми, и т. п.; для преодоленія препятствій нужны характеры предприимчивые, рѣшительные, настоячивые. Нужно, чтобы въ нихъ воплотилось, съ ними слилось то общее требованіе правды и права, которое наконецъ прорывается въ людяхъ сквозь всѣ преграды, поставленныя дикими самодурами. Теперь большая задача представлялась въ томъ, какъ-же долженъ образоваться и проявиться характеръ, требуемый у насъ новымъ поворотомъ общественной жизни? Задачу эту пытались разрѣшить наши писатели, но всегда болѣе или менѣе неудачно». Катерина, по мнѣнію Добролюбова, оказывается желаннымъ разрѣшеніемъ этой задачи. «Такимъ образомъ,—говоритъ Добролюбовъ,—перебирая разнообразныя типы, являвшіеся къ нашей жизни и воспроизведенные литературой, мы постоянно приходили къ убѣжденію, что они не могутъ служить представителями того общественнаго движенія, которое чувствуется у насъ теперь, и о которомъ мы, по возможности подробно, говорили выше. Видя это, мы спрашивали себя: какъ-же однако опредѣлятся новыя стремленія въ отдѣльной личности? Какими чертами долженъ отличаться характеръ, которымъ совершится рѣшительный разрывъ со старыми, нелѣпыми и насильственными отношеніями жизни? Въ дѣйствительной жизни пробуждающагося общества мы видѣли

лишь намеки на рѣшеніе нашихъ вопросовъ въ литературѣ—слабое повтореніе этихъ намековъ; но въ «Грозѣ» составлено изъ нихъ слѣдующее, уже съ довольно-ясными очертаніями; это является передъ нами лицо, взятое прямо изъ жизни, но выясненное въ сознаніи художника и поставленное въ такія положенія, которыя даютъ ему обнаружиться полнѣе и рѣшительнѣе, нежели какъ бываетъ въ большинствѣ случаевъ обыкновенной жизни»... «Рѣшительный, цѣльный русскій характеръ, дѣйствующій въ средѣ Дикихъ и Кабановыхъ, является Островскаго въ женскомъ типѣ, и это не лишено своего серьезнаго значенія.» Далѣе называется уже просто хвалебный гимнъ Катеринѣ, который и не прерывается до самаго конца статьи. Чтобы показать читателю, до какой степени доходитъ Добролюбовъ, и какія нехвалыныя вещи онъ превозноситъ въ разгаръ своего увлеченія, я приведу изъ его хвалебнаго гимна два отрывка. «Катерина вовсе не принадлежитъ къ буйнымъ характерамъ, никогда недовольнымъ, любящимъ разрушать, и что бы то ни стало. (А неужели Добролюбовъ видѣлъ въ русскомъ обществѣ такихъ неумолимыхъ разрушителей, и неужели онъ вѣрилъ въ ихъ существованіе? Я, признаюсь, думалъ и продолжаю думать до сихъ поръ, что такіе безпардонные буяны—не что иное, какъ баба-яга, выдуманная катковскими и скарятинскими журналами для того, чтобы пугать малыхъ дѣтей и такихъ читателей, которые по своимъ умственнымъ способностямъ отъ малыхъ дѣтей очень недалеко уѣхали.) Напротивъ, ея характеръ по преимуществу созидающій, любящій, идеальный. (Что такое *идеальный* характеръ? И если *идеальный* характеръ противъ полагается разрушителю, то, стало быть, разрушитель окажется *материальнымъ* характеромъ?) Вотъ почему она старается все осмыслить и облагородить въ своемъ воображеніи; настроеніе, при которомъ, по выраженію поэта, «весь міръ мечтою благойной предъ нами очищенъ и омытъ», это настроеніе до послѣдней крайности не покидаетъ Катерину. (Не правда-ли, какъ приспособленъ такой характеръ къ суровымъ подвигамъ общественной дѣятельности? Какъ полезно мыть и чистить окружающихъ самодуровъ благородною мечтою для того, чтобы потомъ вступить съ ними въ борьбу!) Всякій внѣшній диссонансъ она старается согласить съ гармоніей своей души, всякій недостатокъ покрываетъ изъ полноты своихъ внутреннихъ силъ. (Если выражаться менѣе поэтическимъ языкомъ, то надо будетъ сказать очень просто, что Катерина, какъ всѣ обиженные Богомъ и воспитаніемъ мечтателя, видитъ вещи въ розовомъ свѣтѣ. Но спрашивается, въ чемъ же состоитъ задача общественнаго дѣятеля: въ томъ-ли, чтобы игнорировать недостатки, или-же

въ томъ, чтобы видѣть, понимать и устранять ихъ?) Грубые, суетвѣрные рассказы и бессмысленныя бредни странницъ превращаются у ней въ золотые, поэтическіе сны воображенія, не устрашающіе, а ясные, добрые.» Далѣе Добролюбовъ начинаетъ наслаждаться описаніемъ ясныхъ, добрыхъ, золотыхъ и поэтическихъ сновъ. Дальше выписывать не стоитъ, потому что основное направленіе хвалебнаго гимна достаточно обозначено. Вы видите, что художественное чувство увлекаетъ Добролюбова очень далеко, даже изъ рукъ вонъ какъ далеко. Онъ ставитъ Катеринѣ въ заслугу то, что она чистила и мыла благородною мечтою *грубые, суетвѣрные рассказы и бессмысленныя бредни странницъ*. Порывъ художественнаго чувства миритъ Добролюбова со всѣмъ, даже съ мистицизмомъ, если только онъ облачается въ красивую форму золотыхъ, поэтическихъ, ясныхъ и добрыхъ сновъ. Имѣйте при этомъ въ виду, что Добролюбовъ обѣщаетъ показать намъ въ Катеринѣ «характеръ, которымъ совершится рѣшительный разрывъ со старыми, нелѣпыми и насильственными отношеніями жизни». Не правда-ли, какіе богатые задатки *рѣшительнаго разрыва* скрываются въ такой личности, которая сама заражена до мозга костей всѣми нелѣпостями понятій, господствующими въ обществѣ самодуровъ?—Этого мало, что Катерина вѣритъ странницамъ; она еще кромѣ того влюбилась въ ихъ рассказы именно потому, что постоянно мыла и чистила ихъ благородною мечтою. И отъ такой-то безнадежно-зачумленной личности Добролюбовъ ждетъ *рѣшительнаго разрыва*!— Вотъ второй отрывокъ изъ хвалебнаго гимна, посвященнаго полоумной мечтательницѣ и визионеркѣ. «Претендованные въ другихъ твореніяхъ нашей литературы сильныя характеры похожи на фонтанчики, бьющіе довольно красиво и бойко, но зависящіе въ своихъ проявленіяхъ отъ посторонняго механизма, подведеннаго къ нимъ. (Исаровъ тоже попадаетъ въ фонтанчики.) Катерина, напротивъ, можетъ быть уподоблена большой, многоводной рѣкѣ: она течетъ, какъ требуетъ ея природное свойство; характеръ ея теченія измѣняется сообразно съ мѣстностью, черезъ которую она проходитъ, но теченіе не останавливается; ровное дно, хорошее—она течетъ спокойно, камни большіе встрѣчаются—она черезъ нихъ перескакиваетъ, обрывъ—лется каскадомъ, запружаютъ ее—она бушуетъ и прорывается въ другомъ мѣстѣ. Не потому бурлитъ она, чтобы водѣ вдругъ захотѣлось пошумѣть или разсердиться на препятствія, а просто потому, что это ей необходимо для выполненія ея естественныхъ требованій, для дальнѣйшаго теченія.» Моя страстная и упорная любовь къ Базарову вошла въ пословицу и давно сдѣлалась посмѣшищемъ всей близорукой нашей журналистики,

а между тѣмъ я никогда не воспѣвалъ его такъ восторженно, велерѣчиво и метафорично, какъ Добролюбовъ поетъ Катерину. Такъ наприимѣръ, я никогда не разсуждалъ о томъ, что предпринялъ бы Базаровъ, если-бы его *запрудили* или если бы ему пришлось *течь черезъ обрывъ*.— А теперь, господа читатели, я васъ спрашиваю: что вы думаете о правдивости Антоновича, имѣющаго дерзость утверждать печатно, что похвала Катеринѣ составляетъ одну *милліонную долю* въ статьѣ Добролюбова? Поставивъ передъ вами этотъ вопросъ, я на время презрительно устранию мелкаго литературнаго фокусника Антоновича и до конца этой главы веду разговоръ съ умнымъ и честнымъ, но, по моему крайнему разумію, заблуждающимся писателемъ Добролюбовымъ. Предстоитъ рѣшить вопросъ о томъ, кто изъ нашихъ любимцевъ, добролюбовскій или мой, Катерина или Базаровъ, заключаютъ въ себѣ элементы, необходимые для рѣшенія общественной задачи, поставленной русскому народу всѣмъ теченіемъ нашей исторической жизни? Добролюбовъ говоритъ, что намъ нуженъ въ настоящее время «*русскій сильный характеръ*». Я полагаю, что это мнѣніе совершенно ошибочно. Сильныхъ характеровъ у насъ всегда было много, и они до сихъ поръ существуютъ у насъ въ большомъ изобиліи. Чтобы поддержать эту мысль, которая многимъ, если не всѣмъ, читателямъ покажется парадоксомъ, я не буду ссылаться на отдѣльные историческіе примѣры; я просто разверну передъ вами карту европейской и азиатской Россіи и укажу вамъ на *всю нашу исторію*, какъ на самое краснорѣчивое выраженіе нашего колоссальнаго, желѣзнаго характера. Существенный смыслъ всей нашей исторіи заключается въ постоянной, хронической, исполненной колонизаціи, расчисткѣ и разработкѣ земель отъ Балтійскаго моря до Тихаго океана. Энергія и терпѣніе теперешнихъ американскихъ піонеровъ совершенно ничтожны въ сравненіи съ терпѣніемъ и энергіей нашихъ колонизаторовъ, ничтожны именно потому, что американецъ идетъ на борьбу съ природой, вооруженный всѣми пособіями науки и техники, а нашъ мужикъ шелъ и даже идетъ до сихъ поръ только что не съ голыми руками. Чего не достаетъ со стороны знанія и технической сваровки, то очевидно можетъ и должно быть дополнено только упорствомъ, мозолистымъ трудомъ и сносливостью, т. е. именно силой и энергіей характера. Чего другого, а желѣзной воли и ультра-ослиного терпѣнія у насъ во всякое время было довольно. Въ каждомъ учебномъ заведеніи, въ каждомъ казенномъ присутственномъ мѣстѣ, въ каждой рабочей артели, въ каждомъ полку, въ каждомъ острогѣ—вы найдете десятки, если не сотни, желѣзныхъ характеровъ, которыхъ упорство въ принятіи рѣшенія не

побѣдите ни лаской, ни палкой. Всякій согласится, что Молчалинъ есть типъ; но неужели-же вы не видите, что Молчалинъ—железный характеръ? Молчалинъ сказалъ себѣ: «я хочу составить карьеру»—и пошелъ по той дорогѣ, которая ведетъ къ степенямъ извѣстнымъ; пошелъ и уже не своротитъ ни вправо, ни влево; умирай его мать въ сторонѣ отъ дороги, зови его любимая женщина въ сосѣднюю рощу, плюй ему весь свѣтъ въ глаза, чтобы остановить его движеніе,—онъ все будетъ идти и дойдетъ—одинокій, оплеванный, измученный,—но дойдетъ. И это, по вашему, не сила характера? Да если-бы каждый изъ нашихъ прогрессистовъ былъ Молчалинымъ по силѣ характера, то... то... то лучшаго ничего и желать было-бы невозможно.—Вы скажете, что у Молчалина мелкая, низкая и даже глупая цѣль. Да вѣдь это ужъ совсѣмъ другой вопросъ. Цѣль жизни выбирается не характеромъ, а умомъ; и выборъ, удачный или неудачный, обусловливается тѣмъ умственнымъ развитіемъ и тѣми знаніями, которыми обладаетъ человѣкъ въ то время, когда ему приходится выбирать. Если бы юноша Молчалинъ имѣлъ понятіе о болѣе высокихъ разумныхъ и привлекательныхъ цѣляхъ, если-бы образованіе поставило его на ту точку зрѣнія, съ которой становится замѣтной привлекательность этихъ другихъ цѣлей, то онъ бы и выбралъ одну изъ этихъ другихъ, потому что человѣкъ никогда не довольствуется кускомъ черстватаго хлѣба, если имѣетъ возможность получить кусокъ пирога. А выбравъ разъ хорошую цѣль, Молчалинъ пошелъ-бы къ ней такъ же неуклонно, какъ идетъ къ степенямъ извѣстнымъ. Вотъ мы, стало быть, и договорились. Наша общественная или народная жизнь нуждается совсѣмъ не въ сильныхъ характерахъ, которыхъ у нея за глаза довольно, а только и исключительно въ одной *сознательности*.—Какъ только наши неутомимые и неустрашимые труженики узнаютъ и поймутъ совершенно ясно, что—ложь и что—правда, что—вредъ и что—польза, кто—врагъ и кто—другъ, такъ они и пойдутъ твердыми шагами къ разумной и счастливой жизни, не останавливаясь передъ трудностями, не пугаясь опасностей, не слушая живыхъ обѣщаній, и спокойно устраняя всѣ рогатки и шлагбаумы. Думать, что русскіе люди нуждаются не въ знаніи, а въ энергіи, значить считать Обломова типическимъ представителемъ русскаго народнаго характера, а такая грубая ошибка понятна только со стороны поверхностнаго писателя. И знаніе составляетъ ключъ къ рѣшенію общественной задачи не въ одной Россіи, а во всемъ мірѣ. Нѣтъ ни одного народа, у котораго замѣчался-бы недостатокъ характера, и нѣтъ также ни одного народа, который былъ-бы достаточно надѣленъ знаніемъ. Каждое важное событіе въ исторической жиз-

ни каждого народа вызываетъ наружу тѣмъ проявленіи самаго чистаго и высокаго героя, и каждое событіе оканчивается самой великой и печальной развязкой, если у даннаго народа не оказывается въ наличности тѣхъ умственныхъ способностей, тѣхъ знаній и той энергии, которыя могли-бы поворотить, куда слѣдуетъ, дальнѣйшее теченіе исторической жизни. Посмотрите напримѣръ на первую французскую революцію: энергіи, героизма, любви къ отечеству и всякихъ другихъ добродѣтелей было истрачено столько, что ихъ хватило бы на освобожденіе всѣхъ народовъ земного шара, а между тѣмъ движеніе завершилось военнымъ деспотизмомъ и позорнѣйшей реставраціей—по оттого, что не нашлось въ запасѣ положительныхъ знаній, безъ которыхъ и самый гениальный организаторъ всегда потерпитъ окончательную неудачу. Итакъ, намъ необходимо включить люди знанія, т. е. знанія должны быть усвоены тѣми железными характерами, которыми переполнена наша народная жизнь.

Но читатель помнитъ конечно, что, говоря о Молчалинѣ, я съ нѣкоторой укоризной полагалъ нашимъ прогрессистамъ молчалинскія силы характера. Выражая это желаніе я, ставъ быть, признавалъ тотъ фактъ, что нашимъ прогрессистамъ дѣйствительно не достаётъ характера. Да, я признаю этотъ фактъ и считаю его непоправимымъ относительно тѣхъ прогрессистовъ, которые «дѣла себѣ исполнениемъ ищутъ, благо наслѣдство богатыхъ отцовъ изъ избавляютъ отъ тяжкихъ трудовъ». Характеръ закаляется трудомъ, и кто никогда не добывалъ себѣ собственнымъ трудомъ насущнаго пропитанія, тотъ въ большей части случаевъ остается навсегда слабымъ, вялымъ и безхарактернымъ человѣкомъ. Это значить, что вся наша надежда покоится въ тѣхъ людяхъ, которые сами себя кормятъ изъ которыхъ дѣйствительно сформировались первые и постоянно формируются новые представители базаровскаго типа. Представивъ эти размышленія на судъ читателя, я замѣчу наконецъ, что съ основнымъ смысломъ моихъ идей согласился даже и «Современникъ», заклятый врагъ Тургенева, Базарова и «Русскаго Слова». Типъ, рѣшающій общественную задачу, воплощенъ самымъ блестящимъ и самымъ глубокимъ мыслителемъ «Современника», Чернышевскимъ, въ личности Рахметова *). Рахметовъ признанъ и всѣми остальными сотрудниками «Современника»; а на кого-же Рахметовъ больше похожъ—на Базарова, или на Катерину? Я полагаю, что смѣшно даже и задавать читателю подобный вопросъ. Характеръ Катерины

*) Недавно базаровскій типъ получилъ новое оправданіе и признаніе отъ «Современника», изъ повѣсти Слѣпцова «Трудное Время», о которой стоитъ поговорить въ особой статьѣ.

промелькнулъ и теперь уже навсегда забыть, а базаровскій типъ растеть постоянно, не по днямъ, а по часамъ, и въ жизни, и въ литературѣ. Стало быть, незачѣмъ было и восхвалять Катерину, какъ многоводную рѣку.

VI.

Въ своей статьѣ Антоновичъ объявляетъ, что Писаревъ «со свойственнымъ ему умѣньемъ уничтожаетъ искусство и производитъ разрушеніе эстетики». — Изъ этихъ словъ Антоновича я вижу, что онъ самымъ забавнымъ образомъ ошибается въ пониманіи того заглавія, которое я далъ моей критической статьѣ, помѣщенной въ майской книжкѣ «Русскаго Слова» за 1865 годъ. Прочитавъ заглавіе «*Разрушеніе эстетики*», Антоновичъ вообразилъ себя, что я самъ принимаю на себя роль разрушителя, и что *разрушеніемъ эстетики* я называю именно мою собственную статью. Если понимать по такому остроумному способу заглавія статей, то придется утверждать, что я самому себѣ приписываю педагогическіе софизмы, что я самого себя обвиняю въ *сердитомъ безсиліи*, что Соколовъ самого себя уличаетъ въ *экономическихъ иллюзіяхъ*, и что Антоновичъ самого себя считаетъ творцомъ *современной эстетической теоріи*. Когда надъ статьей написано крупными буквами: «*такой-то предметъ*», то люди, привыкшіе къ общепотребительному литературному языку, понимаютъ обыкновенно эту надпись такъ, какъ будто-бы было написано: «*статья о такомъ-то предметѣ*». Такъ напримѣръ, когда надъ статьями писано: «*Маколей*» или «*Милль*», то читатели не ожидаютъ найти въ книгѣ этихъ двухъ англичанъ en chair et os; они ожидаютъ найти только разсужденіе о Маколей или Миллѣ. Точно также, когда надъ статьей написано «*Разрушеніе эстетики*», то читатели ожидаютъ найти въ книгѣ статью о томъ сочиненіи, которое разрушало эстетику. Это они дѣйствительно и находятъ, потому что во всей моей статьѣ я доказываю очень подробно, что эстетику разрушилъ Чернышевскій своей книгой «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности».

Чтобы навязать мнѣ небывалыя претензіи на разрушеніе эстетики, Антоновичъ принужденъ прибѣгнуть къ самому печальному изъ полемическихъ приемовъ, именно къ искаженію, даже не мыслей противника, а его словъ; онъ принужденъ пуститься на такой отчаянный маневръ, какъ фальсификація печатныхъ документовъ. Антоновичъ слѣдующимъ образомъ цитируетъ мои слова: «Надо совершенно уничтожить эстетику, провозглашаетъ Писаревъ, надо

отправить ее туда, куда отправлены алхимія и астрологія». — Для большей убѣдительности Антоновичъ ставитъ эти слова въ кавычки, такъ что читатель принужденъ видѣть въ этой фразѣ именно мои собственные, *подлинныя* слова. На самомъ-же дѣлѣ оказывается, что цитата приведена невѣрно. Вотъ мои слова: «Авторъ видѣлъ, что эстетика, порожденная умственной неподвижностью нашего общества, въ свою очередь поддерживала эту неподвижность. Чтобы двинуться съ мѣста, чтобы сказать обществу разумное слово, чтобы пробудить въ разслабленной литературѣ сознаніе ея высокихъ и серьезныхъ гражданскихъ обязанностей, надо было совершенно уничтожить эстетику, надо было отправить ее туда, куда отправлены алхимія и астрологія». Во-первыхъ, Антоновичъ оторвалъ конецъ фразы отъ ея начала, а во-вторыхъ, онъ изъ этого оторванного конца выкинулъ слово *было*, повторенное два раза. Черезъ это весь смыслъ совершенно измѣняется, и читатель, имѣющій небосторожность полагаться на Антоновича, убѣждается въ томъ, что я дѣйствительно ставлю себѣ самому задачу разрушить эстетику, между тѣмъ какъ я, напротивъ того, говорю, что эту задачу поставилъ себѣ и рѣшилъ десять лѣтъ тому назадъ другой писатель. — Потомъ, придравшись къ словамъ: *алхимія и астрологія*, Антоновичъ на цѣлой страницѣ читаетъ мнѣ правоученія, имѣющія цѣлью доказать, что объекты этихъ наукъ не уничтожились, а перешли въ вѣдѣніе химіи и астрономіи. «Ахъ, — восклицаетъ Антоновичъ, — какъ было-бы хорошо, если-бы вы, г. Писаревъ, побольше знали побольше размышляли собственнымъ умомъ... Это было-бы хорошо преимущественно потому, что тогда «намъ-бы не было необходимости толковать вамъ, т. е. вашимъ несчастнымъ читателямъ и почитателямъ, азбучныя истины.» — Вы, г. Антоновичъ, находите, что было-бы *ахъ, какъ хорошо!* Въ такомъ случаѣ я могу порадовать васъ тѣмъ извѣстіемъ, что ваше желаніе уже давно осуществилось, что все обстоитъ благополучно и *ахъ, какъ хорошо*, и что вамъ нѣтъ ни малѣйшей необходимости толковать моимъ *несчастливымъ читателямъ* азбучныя истины. Я скажу вамъ даже, что вы съ вашими толкованіями разыгрываете очень комическую роль той мухи, которая, «какъ откупщикъ на ярмаркѣ, хлопочетъ», или-же той мухи, которая говоритъ: «мы пахали». — Представьте себѣ, что отношенія алхиміи и астрологіи къ химіи и къ астрономіи были объяснены моимъ *несчастливымъ читателямъ* почти годъ тому назадъ въ моей статьѣ: «*Историческое развитіе европейской мысли*», напечатанной въ ноябрѣ и декабрѣ 1864 года. Вотъ, напримѣръ, что было сказано объ алхиміи: «Философскаго камня они не нашли, жизненнаго элексира не добыли, но

них многовѣковья изслѣдованія положили прочное основаніе повѣйшей химіи... Еслибы не было фантазій о философскомъ камнѣ и о жизненномъ эликсирѣ, то не было-бы и тѣхъ неутомимыхъ работъ, которыя познакомили насъ съ химическими свойствами многихъ тѣлъ и проложили дорогу къ болѣе раціональнымъ изслѣдованіямъ.» Вы видите, г. Антоновичъ, что вы съ полнымъ удобствомъ можете приберечь ваши толкованія азбучныхъ истинъ для *счастливыхъ читателей и почитателей* Антоновича. — Но теперь вы конечно возликуете и закричите, что, стало быть, говоря объ униженіи эстетики, я, ни къ селу ни къ городу, сравнилъ ее съ алхиміей и астрологіей, которыя не уничтожились, а только преобразовались. Ликование ваше будетъ очень непродолжительно, потому что я тотчасъ укажу вамъ на слѣдующее мѣсто въ *«Разрушеніи эстетики»*: «При томъ опредѣленіи прекраснаго, которое даетъ намъ авторъ, *эстетика*, къ нашему величайшему удовольствію, *исчезаетъ въ физиологіи и гигиенѣ*». Такимъ образомъ оказывается, что мое сравненіе отличается самой строгой точностью. Эстетика преобразовывается въ часть физиологіи и гигиены такъ точно, какъ алхимія преобразовалась въ химію, а астрологія — въ астрономію. При этомъ превращеніи, разумеется, многія части эстетики совершенно уничтожаются такъ точно, какъ уничтожились безъ остатка фантастическія стремленія и магическія формулы алхимиковъ и астрологовъ. Когда это превращеніе эстетики сдѣлается уже общеизвѣстной и общепризнанной истиной, тогда мы будемъ изучать и анализировать только тѣ пріятныя ощущенія, которыя могутъ сдѣлаться полезными или вредными для нашего здоровья и для нормальнаго развитія нашей рабочей силы. Напримеръ, солнечный свѣтъ производитъ на меня пріятное впечатлѣніе; я обращаюсь къ физиологіи и къ гигиенѣ и требую отъ нихъ отвѣта на вопросъ: въ какой связи это пріятное ощущеніе находится съ общимъ процессомъ моей жизни, и въ какой мѣрѣ я могу предаваться этому ощущенію, не вредя своему здоровью? Физиологія и гигиена отвѣчаютъ мнѣ, что солнечный свѣтъ въ высшей степени полезенъ для органической жизни, но что излишняя яркость солнечнаго свѣта, при слишкомъ продолжительномъ дѣйствіи солнечныхъ лучей на организмъ, раздражаетъ, утомляетъ и наконецъ расслабляетъ зрѣніе и кромѣ того ведетъ за собой приливы крови къ головѣ. Опредѣлить точными измѣреніями то напряженіе свѣта, которое человѣческій организмъ можетъ выносить безъ дурныхъ послѣдствій, и то время, продолженіи котораго онъ можетъ подвергаться дѣйствію солнечныхъ лучей безъ вреда для здоровья, — это конечно задача довольно важная, и эту задачу, разумеется, рѣшаетъ и будетъ

рѣшать физиологія, а не эстетика, несмотря на то, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ пріятнымъ ощущеніемъ. Положимъ далѣе, что два цвѣта, сѣроватый и пунцовый, производятъ въ насъ пріятное впечатлѣніе. Поддаваясь поемучей склонности къ этимъ цвѣтамъ, я хочу обить свой кабинетъ сѣроватыми или пунцовыми обоями, чтобы рѣшить, которому изъ двухъ любимыхъ мною цвѣтовъ я долженъ отдать предпочтеніе. Опять обращаюсь къ гигиенѣ, и узнаю изъ неѣ, что пунцовый цвѣтъ рѣшительно не годится, потому что слишкомъ сильно дѣйствуетъ на зрѣніе. Положимъ далѣе, что мнѣ хочется украсить мой кабинетъ растеніями и цвѣтами, которые производятъ на меня пріятное впечатлѣніе, какъ своимъ видомъ, такъ и запахомъ. Гигіена одобряетъ мое намѣреніе, объясняя мнѣ, что растенія очищаютъ воздухъ, разлагая углекислоту, то есть, поглощая углеродъ и освобождая кислородъ, необходимый для дыханія животныхъ; въ то-же время гигиена предупреждаетъ меня однако, что пріятный запахъ очень многихъ цвѣтовъ дѣйствуетъ такъ сильно на нервы, что ведетъ за собой головное круженіе и головныя боли. Положимъ наконецъ, что мнѣ приходитъ въ голову фантазія украсить стѣны моего кабинета картинами, и я замѣжусь въ нерѣшимости, чьи-бы мнѣ пріобрѣсти пейзажи — Калама, Клода Лоррена, Айвазскаго или Рюнсдаля. Если я за рѣшеніемъ этого вопроса задумаю также обратиться къ гигиенѣ, то, разумеется, она не отвѣтитъ мнѣ ровно ничего. Вопросъ о сравнительномъ достоинствѣ различныхъ пейзажистовъ никогда и ни при какихъ условіяхъ не можетъ войти ни въ физиологію, ни въ гигиену, и если только вы дадите себѣ трудъ взглянуть и вдуматься въ этотъ вопросъ, имѣющій конечно очень важное значеніе для эстетики, то вы, разумеется, увидите, что этотъ вопросъ въ высокой степени бесплоденъ. Все, что гигиена можетъ сказать о картинахъ или о статуяхъ, ограничится тѣмъ, что эротическія изображенія могутъ разстроить здоровье и что слѣдовательно повѣсить въ кабинетѣ пейзажи благоразумнѣе, чѣмъ разукрасить его миеологическими картинами или статуями. Если вы послушаетесь этого послѣдняго совѣта, то затѣмъ какъ для васъ, такъ и для всего свѣта рѣшительно все равно, кого-бы вы не предпочли, знаменитѣйшаго-ли пейзажиста во всей Европѣ, или-же такого живописца, который пишетъ вывѣски. Такимъ образомъ на вопросъ Антоновича: «что-же дѣлать, по разрушеніи эстетики, съ тѣми сюжетами, которыми она занимается?» — я отвѣчаю очень просто: большую часть этихъ сюжетовъ надо оставить безъ всякаго вниманія. Мы собственно только затѣмъ и стараемся доносить эстетику, чтобы сосредоточить вниманіе и умственные силы общества на самомъ незначи-

тельномъ числѣ жгучихъ и неотразимыхъ вопросовъ первостепенной важности.

VII.

Одинъ изъ аргументовъ, заимствованныхъ мною противъ эстетики у Чернышевскаго, состоитъ въ томъ, что личные вкусы въ дѣлѣ красоты безконечно разнообразны, что всѣ они одинаково законны, и что ихъ невозможно и не слѣдуетъ приводить къ обязательному единству. Антоновичъ находитъ въ этомъ мнѣніи три нелѣпости.

Первую нелѣпость Антоновичъ видитъ въ той мысли, будто общая эстетика невозможна на томъ основаніи, что у каждаго человѣка свой личный вкусъ и своя эстетика. Антоновичъ разбиваетъ эту *первую нелѣпость* слѣдующими аргументами: физиологія возможна, хотя у каждаго человѣка свои особенные органы; логика возможна, хотя у каждаго человѣка свои особенные приемы мышленія; общеобязательная правда существуетъ, хотя для одного правда или ложь одно, для другого—другое, и т. д. Постараюсь опровергнуть аргументацію Антоновича. Во-первыхъ, насчетъ физиологіи замѣчу моему противнику, что она возможна потому, что между отдѣльными субъектами существуетъ въ физиологическомъ отношеніи только количественное, а не качественное различіе. Одинъ человѣкъ поглощаетъ больше кислорода, другой—меньше, но всѣ безъ исключенія дышатъ кислородомъ, а не углекислотой и не водородомъ; у одного человѣка въ крови больше желѣза, у другого—меньше, но у всѣхъ безъ исключенія въ крови содержится именно желѣзо, а не мѣдь и не свинецъ; такимъ образомъ и всѣ остальные физиологическія различія сводятся на количественныя различія; а при количественныхъ различіяхъ конечно возможны среднія цифры, которыя и выражаютъ въ глазахъ физиолога отпавленія нормальнаго человѣка. Въ томъ случаѣ, гдѣ являются качественныя различія, именно при разсмотрѣніи половыхъ особенностей, физиологія принуждена раздваиваться; отпавленія женскихъ органовъ разсматриваются отдѣльно отъ отпавленій мужскихъ органовъ, хотя конечно пищевареніе, дыханіе и кровообращеніе, представляя у обоихъ половъ только количественныя различія, разсматриваются вмѣстѣ. Еслибы всѣ физиологическія отпавленія всѣхъ отдѣльныхъ личностей отличались другъ отъ друга качественнымъ образомъ, то, разумѣется, общая физиологія человѣка была-бы невозможна, по той простой причинѣ, что эти отдѣльныя личности вовсе не принадлежали-бы тогда не только къ одной и той-же породѣ, но даже къ одному и тому-же органическому царству. Кромѣ того физиологія имѣетъ превосходный критерій для раз-

личенія нормальныхъ особенностей отъ уродствъ или *тератологическихъ* особенностей. Такая особенность, которая содѣйствуетъ отпавленіямъ, необходимымъ для поддержанія жизни,—нормальна; такая, которая ослабляетъ эти отпавленія,—уродлива. Этого критерія эстетика не имѣетъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые не могутъ никогда поступить въ вѣдѣніе физиологіи и гігіены. Общеобязательная правда и общая логика существуютъ только до тѣхъ поръ, пока мы разсуждаемъ о видимыхъ или осязаемыхъ, вообще вещественныхъ предметахъ, явленіяхъ и свойствахъ, — и существуютъ только потому, что всѣ люди одарены одними и тѣми-же чувствами и что вслѣдствіе этого всегда возможна повѣрка, посредствомъ которой обнаруживается невѣрность утвержденія или неправильность умозаключенія. Вы говорите напримѣръ, что нашъ общій знакомый Ивановъ хромаетъ на лѣвую ногу, я говорю, что—на правую; каждый изъ насъ твердо убѣжденъ, что его мнѣніе истинно, но, разумѣется, это убѣжденіе можетъ продолжаться только до тѣхъ поръ, пока мы не увидимъ Иванова; тогда произойдетъ повѣрка, и одинъ изъ насъ увидитъ свое заблужденіе. Почти такая-же повѣрка возможна и относительно разсужденій: представьте себѣ напримѣръ, что вы пріѣхали въ какой-нибудь городъ и что васъ въ этомъ городѣ тотчасъ-же обокрали. Вы говорите, что этотъ городъ населенъ силою разбойниками и мошенниками. Всякій здраво-мыслящій человѣкъ скажетъ вамъ, что нельзя заключать отъ частнаго къ общему, и представить вамъ образчикъ такого разсужденія: мой пріятель раненъ въ ногу; мой пріятель—человѣкъ; слѣдовательно, всѣ люди ранены въ ногу. Вы увидите тотчасъ, во-первыхъ, что въ результатѣ получилась нелѣпость, а во-вторыхъ, что эта нелѣпость добыта тѣмъ самымъ способомъ разсужденія, который привелъ васъ къ поголовному обвиненію всѣхъ жителей города. Но въ тѣхъ вопросахъ, гдѣ повѣрка невозможна, тамъ нѣтъ ни общеобязательной правды, ни общей логики. Представьте себѣ напримѣръ, что католикъ Дюпанлу, деистъ Шлейденъ и матеріалистъ Бюхнеръ бесѣдуютъ между собою о томъ, что съ ними произойдетъ, когда они скончаются. Всѣ трое приходятъ къ совершенно различнымъ результатамъ, и ни одинъ изъ троихъ не можетъ убѣдить своихъ противниковъ; общая логика теряетъ свою силу и общеобязательная правда перестаетъ существовать, потому что повѣрка становится невозможной. Общеобязательная правда и общая логика возможны, во-первыхъ потому, что мы всѣ живемъ въ одномъ и томъ-же мірѣ; а во-вторыхъ потому, что мы всѣ одарены одними и тѣми-же чувствами, приводящими насъ въ соприкосновеніе съ окружающимъ міромъ.

Когда соблюдены эти два условія—одинъ міръ и одни чувства, тогда общеобязательная правда и общая логика становятся не только возможными, но даже и неизбежными. Въ отношеніи къ общеобязательной правдѣ вся разница между отдѣльными личностями можетъ состоять только въ томъ, что одинъ дойдетъ до этой правды собственными силами, другому помогутъ къ ней придти, а третьяго приведутъ къ ней насильно, то есть ему покажутъ правду, несмотря на его нежеланіе видѣть ее. Но эти два условія—одинъ міръ и одни чувства,—достаточныя для существованія общеобязательной истины и общей логики, далеко недостаточны для основанія общей эстетики, то есть для приведенія личныхъ вкусовъ къ обязательному единству. Вкусъ есть сложный продуктъ темперамента, воспитанія, общественнаго положенія, образа жизни, общихъ историческихъ и климатическихъ условій, и многихъ другихъ элементовъ, степень участія которыхъ въ общемъ результатѣ указать и опредѣлить не только трудно, но даже невозможно. На основаніи этихъ соображеній, я полагаю, что общая эстетика вовсе не можетъ быть поставлена на одну доску съ общей физиологіей, общей логикой и общеобязательной истиной, и что возможность послѣднихъ равноничего не доказываетъ въ пользу возможности первой. Общая эстетика не только не можетъ существовать въ будущемъ, но она даже никогда не существовала въ прошедшемъ. То, что выдается или выдавалось за эстетику, относится къ общему вкусу, то есть къ безконечному разнообразію личныхъ вкусовъ, такъ точно, какъ относится къ этому-же разнообразію господствующая мода. Можно сказать навѣрное, что изъ десяти человѣкъ, надѣвающихъ въ первый разъ новомодный костюмъ, девять равнодушны къ особенностямъ его цвѣта и покрою, а десятый находитъ этотъ цвѣтъ и покрой смѣшными или неудобными. И между тѣмъ всѣ носятъ, и каждый, пося новое платье, становится частицей того громаднаго прессы, который насильно втискиваетъ въ новую моду отдѣльныя личности, въ томъ числѣ и его самого. Точно то-же самое можно сказать и обо всякомъ, такъ называемомъ, господствующемъ вкусѣ, а слѣдовательно и обо всякой эстетикѣ, излагающей общія формулы этого вкуса.

Вторую нелѣпость Антоновичъ видитъ въ мысли, что прекрасное не имѣетъ самостоятельнаго значенія, независимаго отъ личныхъ вкусовъ. Разбиваетъ онъ эту нелѣпость тѣмъ аргументомъ, что есть звуки, пріятные или непріятные для всякаго слуха. Я могу представить противъ этого аргумента два возраженія. *Первое.* Физика и физиологія доказываютъ конечно, что нѣкоторые звуки или сочетанія звуковъ производятъ непремѣнно въ

каждомъ человѣческомъ ухѣ рѣзкое и раздражающее потрясеніе, которое всего лучше можно выразить французскимъ словомъ *tiraillement*. Но физика и физиологія поступили-бы чужь смѣло, еслибы рѣшились сказать, что эти *tiraillements* абсолютно-непріятны для всѣхъ людей или, другими словами, что одинъ человѣкъ въ мірѣ не можетъ извлечь изъ этихъ *tiraillements* никакого наслажденія. Еслибы физика и физиологія отважились на такія скороспѣлыя заключенія, то сущующіе человѣческіе вкусы очень часто измѣнили-бы ихъ въ ошибкахъ. Такъ напримѣръ, физиологія, основываясь на многихъ наблюденіяхъ, могла-бы сказать, что горечь злѣе, чѣмъ сладость, для человѣческаго организма; но если физиологія вздумала вывести изъ этихъ наблюденій общій законъ, то законъ этотъ оказался бы несостоятельнымъ, потому что многіе люди съ большимъ удовольствіемъ пьютъ очень горькій напитокъ, именно портеръ. Зная горькое устройство и отправленіе человѣческихъ органовъ, физиологъ повидимому имѣлъ-бы важное право утверждать, что вдыхать дымъ горячей травы совершенно несвойственно человеку, и что такое вдыханіе должно составлять для человѣка настоящую пытку, а между тѣмъ очень многіе люди подвергаютъ себя этой пыткѣ не только добровольно, но даже съ особенной страстью, потому что вдыхаемый дымъ дѣйствуетъ особеннымъ образомъ на нервную систему. Рѣзкіе и нестройные звуки, быстрые слѣдующіе одинъ за другимъ, сливаясь и сгущиваясь между собою, могутъ также привнести нервную систему въ особенное, возбужденное состояніе, которое многимъ людямъ можетъ казаться пріятнымъ. Почти у всѣхъ дикихъ народовъ есть своя музыка, невыносимая для европейскаго слуха, но доставляющая этимъ дикарямъ очень много удовольствія. По вероятности рѣзкіе и нестройные звуки пріятны дикарямъ именно потому, что эти звуки ошумляютъ, опьяняютъ ихъ и помогаютъ имъ такимъ образомъ предаваться бѣшенному вальсу и оргіастической пляскѣ. Какъ-бы то ни было, во всякомъ случаѣ мнѣніе Антоновича, что нѣкоторые диссонансы отвратительны для всякаго слуха, въ высшей степени произвольны и доказываетъ только крайне слабое знакомство Антоновича съ хорошими характеристиками дикихъ народовъ.

Второе возраженіе еще серьезнѣе: первая Антоновичъ самъ замѣчаетъ совершенно справедливо, что различіе между аккордомъ и диссонансомъ имѣетъ физическое и физиологическое основаніе; физика изучаетъ законы произхожденія и распространенія звука; физиологъ изучаетъ устройство нашего слухового аппарата; физика и физиологія общими силами рѣшаютъ вопросъ о томъ, какіе звуки и какіе

сочетанія звуковъ должны казаться намъ стройными или нестройными. Но если этотъ вопросъ рѣшенъ физикой и физиологіей, то съ какой же стати его должна перерѣшавать эстетика? Если бы эстетика вздумала противорѣчить физикѣ и физиологѣ, то кто-же бы ей повѣрилъ? А если она подтвердитъ рѣшеніе физики и физиолога, то кто-же нуждается въ ея confirmации? На самомъ-же дѣлѣ эстетика не думаетъ ни опровергать, ни подтверждать рѣшенія физики и физиолога; она просто беретъ эти рѣшенія, какъ готовый фундаментъ, на которомъ и старается утвердить свои дальнѣйшія построенія. Такимъ образомъ Антоновичъ, желая доказать возможность и необходимость эстетики, приводитъ въ примѣръ такія истины, которыя относятся къ области физики и физиолога, точно будто-бы у насъ шла рѣчь о томъ, чтобы выкинуть изъ физики ученіе о звукѣ, а изъ физиолога—ученіе о слухѣ. Я говорю, что прекрасное не имѣетъ самостоятельнаго значенія, независимаго отъ личныхъ вкусовъ. Антоновичъ ссылается на различіе, существующее между аккордомъ и диссонансомъ; но въдѣ эстетика старается не о томъ, чтобы установить это различіе, которое уже давно установлено положительными науками; эстетика старается установить твердые правила, на основаніи которыхъ можно было-бы производить оцѣнку художественныхъ произведеній, въ томъ числѣ и музыкальныхъ. Эстетика имѣетъ дѣло не съ аккордами и съ диссонансами, а съ музыкальными произведеніями, которыя всѣ составлены изъ аккордовъ и которыя, несмотря на то, въ глазахъ музыкальнаго критика имѣютъ безконечно различное достоинство. *Ванька-Танька* составлена изъ аккордовъ и соната Бетховена также составлена изъ аккордовъ, а между тѣмъ музыкальные критики находятъ, что соната лучше *Ваньки-Таньки*. Чтобы опровергнуть мой тезисъ объ относительномъ значеніи прекраснаго, Антоновичъ долженъ былъ доказать на примѣръ, что этотъ приговоръ музыкальныхъ критиковъ совершенно независимъ отъ личныхъ вкусовъ. Но этого онъ не доказалъ и никогда не докажетъ, потому что этого и доказать невозможно. Очень многіе люди наслаждаются *Ванькой-Танькой* и вовсе не наслаждаются сонатами Бетховена; вы скажете имъ, что у нихъ неразвитъ музыкальный вкусъ,—многіе согласятся съ вами, но многіе согласятся и съ нами, и вопросъ останется неразрѣшеннымъ и неразрѣшимымъ, такъ точно, какъ на примѣръ вопросъ о томъ, какое вино вкуснѣе—сладкій мускатъ-люнель или старый хересъ. Цѣль всякаго наслажденія состоитъ въ томъ, чтобы освѣжить и обновить рабочую силу человѣка; всѣ наслажденія, которыя ведутъ къ этой цѣли, не вредя ни самому на-

слаждающемуся субъекту, ни окружающимъ людямъ, одинаково законны и совершенно равны между собою. Если-же вы мнѣ станете говорить о томъ, что сонаты Бетховена облагораживаютъ, возвышаютъ, развиваютъ человѣка, и проч., и проч., то я вамъ посоветую рассказывать эти сказки кому-нибудь другому, а не мнѣ, потому что я этимъ сказкамъ ни въ какомъ случаѣ не повѣрю: каждый изъ моихъ читателей знаетъ навѣрное многіхъ искреннихъ меломановъ и глубокихъ знатоковъ музыки, которые, несмотря на свою любовь къ великому искусству и несмотря на свои глубокія знанія, остаются все-таки людьми пустыми, дрянными, совершенно ничтожными.

Третью нелѣпость Антоновичъ самъ выдумываетъ и приписываетъ мнѣ. «Писаревъ, вслѣдъ за Базаровымъ,—говоритъ Антоновичъ,—представляетъ себѣ, будто-бы отношеніе человѣка къ искусству и къ прекраснымъ предметамъ природы ограничивается только непосредственными чувственными ощущеніями, будто и все остальное нравится намъ такъ-же и въ такой-же формѣ, какъ нравится напр. яблоки. Это третья нелѣпость.» Антоновичъ дѣлаетъ тутъ двѣ ошибки: во-первыхъ, онъ, употребляя общее выраженіе *искусство*, ставитъ поэзію на одну доску съ остальными искусствами, которыя должны стоять безконечно ниже поэзіи; во-вторыхъ, онъ ставитъ *прекрасные предметы природы*, въ томъ числѣ и прекрасныхъ людей,—прекрасныхъ не только по наружности, но и по умственнымъ качествамъ,—рядомъ съ картинами, статуями и музыкальными пьесами. Этихъ двухъ ошибокъ я никогда не дѣлалъ. Поэтому я никогда и не говорилъ, что люди или замѣчательныя поэтическія произведенія нравятся намъ *такъ-же и въ такой-же формѣ*, какъ нравятся яблоки. Но между наслажденіемъ живописью, скульптурой и музыкой и наслажденіемъ яблоками я дѣйствительно не вижу никакого существеннаго различія, кромѣ того только, что наслажденіе тремя вышеназванными искусствами требуетъ большихъ издержекъ и большихъ хлопотъ. Теперь вы, стало быть, г. Антоновичъ, видите, какъ разлетѣлась впрахъ вся ваша аргументація, и до какой высокой степени она была нелѣпа.

VIII.

Окончивъ свое неудачное изслѣдованіе о *трехъ нелѣпостяхъ*, Антоновичъ начинаетъ разбирать тѣмъ-же *«Разрушенія эстетики»*, которыя направлены собственно противъ него. Антоновичъ выписываетъ ту фразу, въ которой говорится о его умственной нищетѣ и нравственной мелкости. При словѣ *нравственной*, которое встрѣчается въ моей фразѣ два

раза, Антоновичъ дѣлаетъ въ скобкахъ два замѣчанія; первое: «*даже за нравственность узвятились*», и второе: «*опять нравственность!*» — Я рѣшительно не понимаю, на какомъ основаніи Антоновичъ считаетъ разговоръ о нравственности неумѣстнымъ; Антоновичъ, менѣе чѣмъ кто либо другой, имѣетъ право требовать, чтобы литература не касалась вопроса о нравственныхъ понятіяхъ и убѣжденіяхъ писателя; въ той-же самой книжкѣ, гдѣ помѣщена статья Антоновича, постоянный сотрудникъ «Современника», Посторонній Сатирикъ, разбираетъ вопросъ о томъ, «*можетъ ли безчестный человѣкъ быть честнымъ публицистомъ и фельетонистомъ?*» Развѣ, рассуждая о честности, Посторонній Сатирикъ не *узватывается за нравственность?* А когда Посторонній Сатирикъ въ июньской книжкѣ «Современника» рассуждалъ о морали Краевскаго, развѣ эти рассужденія не были разговоромъ о нравственности? А когда Посторонній Сатирикъ вторгся въ частную жизнь Благосвѣтлова и на основаніи слуховъ и сплетенъ анализировалъ отношенія Благосвѣтлова къ графу Куселеву-Везбородко, — отношенія, до которыхъ литературѣ и публикѣ конечно нѣтъ никакого дѣла, развѣ Посторонній Сатирикъ имѣлъ тогда въ виду не нравственность Благосвѣтлова, а его умственные способности и литературныя дарованія? И вдругъ теперь Антоновичъ обнаруживаетъ нетерпѣніе и выражаетъ неудовольствіе по тому случаю, что я завожу рѣчь о его нравственныхъ убѣжденіяхъ, о которыхъ я почерпаю свѣдѣнія не изъ какихъ-нибудь слуховъ, а изъ его-же собственныхъ печатныхъ статей, подписанныхъ его полнымъ именемъ. Какъ-бы вы, г. Антоновичъ, ни пожимали плечами и какія-бы саркастическія замѣчанія вы ни вставляли въ мою рѣчь, это все-таки не уничтожить и не ослабить того факта, что въ вашихъ рассужденіяхъ объ аскетизмѣ и о *нѣкоторыхъ* отрицателяхъ искусства выражается, какъ я уже замѣтилъ въ «Разрушеніи эстетики», «школьническій взглядъ на долгъ и на трудъ» и что этотъ взглядъ долженъ навлечь на васъ со стороны всякаго мыслящаго человѣка совершенно справедливый упрекъ въ умственной нищетѣ и въ нравственной мелкости. Этотъ справедливый упрекъ вы, г. Антоновичъ, врядъ ли успѣете отразить тѣми игривыми эпитетами, которые вы мнѣ подносите. Встрѣчая въ вашей статьѣ выраженія: «недоносокъ благосвѣтловскій, недоразвившееся дитя Тургенева, скудоумный Писаревъ», — ваши читатели найдутъ конечно, что вы далеко превосходите меня въ искусствѣ браниться и что вы съ лихвою заплатили мнѣ за *лукошко глубокомыслія*; но упрекъ въ умственной нищетѣ и нравственной мелкости все-таки останется во всей своей си-

лѣ, потому что можно быть величайшимъ тузомъ по части крѣпкихъ выраженій и то-же время имѣть самый школьническій взглядъ на долгъ и на трудъ.

«Разбранивши насъ, — продолжаетъ Антоновичъ, — Писаревъ сталъ расхваливать себя Зайцева, причисливши себя къ тѣмъ *мажорамъ* разрушителямъ искусства, о которыхъ говорили». — Знаете-ли вы, г. Антоновичъ, ваше пламенное желаніе унижить меня какими силами, доводить васъ до самыхъ смѣшныхъ и нелѣпыхъ крайностей. Вы говорите, что я самовольно причислилъ себя къ тѣмъ *мажорамъ*; этими словами вы хотите выразить, что вы совсѣмъ обо мнѣ и не думали, что я всѣмъ не меня имѣли въ виду, говоря о *которыхъ*, что вамъ до меня и дѣла нѣтъ; и въ то-же время вы написали противъ «Русскаго Слова» третью большую критическую статью, не говоря уже о множествѣ мелкихъ статей и мимоходныхъ нападеній. Если я дѣйствительно самъ причислилъ себя къ *нѣкоторымъ*, если, говоря о *нѣкоторыхъ*, я имѣли въ виду не меня и не моихъ сотрудниковъ, то, спрашивается, о комъ-же вы говорили? Видъ вамъ даже и назвать, кромѣ васъ будетъ некого. Если-же вы говорили именно о Зайцевѣ и обо мнѣ, то зачѣмъ-же вы употребляете теперь бессмысленныя выраженія, зачѣмъ вы говорите, что я причислилъ себя, когда я просто понималъ вашъ намекъ въ томъ естественномъ смыслѣ, въ которомъ только и могло быть его понято? — Искусство полемизировать составляетъ конечно самую легкую и ничтожную часть литературной дѣятельности, а между тѣмъ вы даже и въ этомъ искусствѣ до крайности слабы; за неимѣніемъ солидныхъ аргументовъ вы ежеминутно прибѣгаете къ натяжкамъ, которыя для всѣхъ очевидны, и въ изобрѣтеніяхъ, которыхъ несостоятельность тотчасъ можетъ быть доказана. Читая ваши полемическія статьи, я обыкновенно нахожу въ недоумѣніи насчетъ того, чему мнѣ болѣе изумляться: той-ли отважности, съ которой вы нанизываете одну ложь на другую, или-же тѣмъ наивности, съ которой вы сами запутываете и выдаете себя. Такимъ образомъ ваша умственная нищета на каждомъ шагѣ составляетъ съ вашей нравственной мелкостью и читателю вашему остается только рѣшить затруднительный вопросъ: которому изъ этихъ двухъ нравственныхъ качествъ Антоновичъ слѣдуетъ присудить пальму первенства? — Когда читатель уже достаточно ознакомился съ этими достоинствами Антоновича, то его, разумеется, вовсе не изумляетъ то обстоятельство, что Антоновичъ умышленно принимаетъ противніскія слова противника за серьезное выраженіе мнѣній, и что вслѣдствіе такого ребяческаго приѣма онъ наприимѣръ утверждаетъ, будто-бы

назвалъ себя и своихъ сотрудниковъ людьми оштрафованными, а въ другомъ мѣстѣ даже просто лупыми людьми. Конечно, если смотрѣть на сотрудниковъ «Русскаго Слова» съ фамусовской или молчалинской точки зрѣнія, то они кажутся или оштрафованными, или глупыми людьми; но фамусовская или молчалинская точка зрѣнія, немислимая для честнаго литератора, нисколько не пугаетъ Антоновича; онъ готовъ стать на какую угодно точку зрѣнія и обратиться въ какое угодно болото, лишь-бы только доставить себѣ ребяческое удовольствіе назвать своихъ противниковъ идиотами или сумасшедшими. Чтобы потѣшить себя этой легкой забавой, Антоновичъ совершаетъ подвиги истиннаго самоотверженія: онъ утрируетъ свою собственную непонятливость и, доводя ее до самыхъ неправдоподобныхъ размѣровъ, заискусываетъ себѣ такимъ образомъ право не понимать моихъ словъ или понимать ихъ наизусть и вслѣдствіе этого дивиться печатно моему тупоумію. Такъ напримѣръ, онъ прикидывается, будто не понимаетъ, зачѣмъ и въ какомъ отношеніи я сравниваю *нѣкоторыхъ* съ Архимедомъ, съ горькими пьяницами и игроками; онъ очень подробно объясняетъ мнѣ, что Архимеда сравнивать съ пьяницами и игроками нельзя, потому что заниматься математикой похвально, а заниматься виномъ и картами предосудительно. Непониманіе Антоновича, разумеется, притворно; какую-бы крайнюю тупость я ни предположилъ въ Антоновичѣ, все-таки я никакъ не могу допустить, что онъ дѣйствительно не понялъ моей мысли. Не понять ее было невозможно, потому что моя мысль выражена подробно, ясно и выразительно даже для ребенка, если только этотъ ребенокъ имѣетъ понятіе о томъ, что такое страсть. Ходъ моей аргументаціи («Разр. эст.»), клонившейся къ тому, чтобы отразить нѣкоторые упреки въ аскетизмѣ, располагается слѣдующимъ образомъ. Можно-ли назвать аскетомъ горькаго пьяницу или игрока?—Нѣтъ, нельзя.—Почему?—потому что они вовсе не борются съ своими страстями, а, напротивъ того, отдаются имъ совершенно безраздѣльно. — Значитъ, людей, которые отдаются своимъ страстямъ, нельзя назвать аскетами?—Значитъ, нельзя.—Подходятъ-ли Архимедъ и Ньютонъ подъ разрядъ такихъ людей, которыхъ нельзя назвать аскетами?—Подходятъ. — Почему? — Потому что они занимаются своимъ дѣломъ по страсти, а не по обязанности. — Можно-ли исключить изъ этого-же разряда *нѣкоторыхъ* отрицателей искусства?—Можно.—Почему?—Потому что они отрицаютъ по страсти, а не по обязанности.—Въ какомъ-же отношеніи похожи другъ на друга пьяница, Архимедъ и *нѣкоторые*?—Мы въ нихъ замѣтили только тотъ общій отрицательный признакъ, что всѣ они—не аскеты,

точно такъ какъ вы напримѣръ въ золотой монетѣ, въ черной доскѣ, въ красномъ винѣ и въ буланой лошади можете замѣтить тотъ общій отрицательный признакъ, что всѣ они—не бѣлые предметы. И вдругъ противникъ вашъ начинаетъ вамъ доказывать печатно, что буланую лошадь нельзя влить въ стаканъ, что на красномъ винѣ нельзя писать мѣломъ, что черную доску нельзя кормить овсомъ, что золотую монету нельзя запрягать въ дрожки, и что на основаніи всѣхъ этихъ обстоятельствъ нѣтъ ни малѣйшей возможности включать въ одну категорию монету, доску, вино и лошадь. Конечно такіа возраженія противника должны показаться вамъ совершенно бессмысленными и нисколько неотносящимися къ вашему разсужденію. Возраженія Антоновича, доказывающаго мнѣ, что математика и пьянство—двѣ вещи разныя, и что Архимедъ былъ гораздо умнѣе меня, совершенно такъ-же умѣстны и основательны, какъ приведенныя возраженія о различныхъ свойствахъ вина, лошади, доски и монеты. Что Антоновичъ *притворяется* непонимающимъ—это очевидно. Но спрашивается, какая цѣль, какая выгода, какой расчетъ притворяться такъ неискусно и неправдоподобно? Въ чемъ Антоновичу хочется убѣдить *счастливыхъ читателей* «Современника»? Въ томъ-ли, что я не понимаю различія между математикой и пьянствомъ, или—же въ томъ, что я приписываю себѣ гениальный умъ Архимеда? Если Антоновичъ дѣйствительно надѣется внушить своимъ читателямъ такіа мысли, то желательно было-бы знать, что должны мы думать объ умѣ Антоновича?—А если Антоновичъ не питаетъ такихъ несбыточныхъ надеждъ, то ради чего-же онъ притворяется? Остается предположить, что Антоновичъ притворяется совершенно безкорыстно, по той-же самой причинѣ, по которой люди, привыкшіе лгать, лгутъ на каждомъ шагу, даже тогда, когда ложь не можетъ доставить имъ ни малѣйшей выгоды, и даже тогда, когда ихъ тотчасъ-же могутъ уличить и осмѣять. Такая ложь становится уже совершенно невинной, но въ печати она все-таки неудобна, потому что печать существуетъ совсѣмъ не для того, чтобы давать намъ возможность предаваться публично нашимъ страннымъ, хотя-бы даже и безвреднымъ, привычкамъ. Впрочемъ, всмотрѣвшись внимательно въ 74 и 75 стр. «*Лже-реалистовъ*», я наконецъ нашелъ настоящую разгадку той странной полемической тактики, которой придерживается Антоновичъ. Въ своей полемикѣ Антоновичъ стремится только къ тому, чтобы наговорить противнику какъ можно больше такихъ словъ, которыя Антоновичъ считаетъ колкими. Заботясь исключительно о томъ, чтобы колкостей набралось какъ можно больше, Антоновичъ не обращаетъ никакого вниманія на то, что его кол-

кости взаимно истребляют другъ друга. Онъ становится на одну точку зрѣнія—и называетъ противника дуракомъ *); потомъ тотчасъ переходитъ на другую, діаметрально противоположную точку и называетъ противника мошенникомъ; затѣмъ онъ радуется и полагаетъ, что его противникъ теперь и дуракъ, и мошенникъ; на самомъ-же дѣлѣ оказывается, что вторая колкость уничтожила первую, и что противникъ очищенъ отъ всякаго обвиненія, благодаря излишнему усердію Антоновича. Антоновичъ думаетъ, что если написать сто разъ + *дуракъ* и сто разъ — *дуракъ*, и сложить все это вмѣстѣ, то получится *дѣйстви дураковъ*; на самомъ-же дѣлѣ получается чистый нуль, потому что + *дураки* и — *дураки* взаимно уничтожаются. Предаваясь своему неосторожному усердію, Антоновичъ на стр. 74 объявляетъ, что я называю себя и своихъ сотрудниковъ глупыми и помѣшанными, а на стр. 75 Антоновичъ уже даетъ мнѣ совѣты на тотъ случай, если мнѣ *еще разъ придетъ и кушенье похвастаться нечисто добродѣтелями*. Какими-же добродѣтелями? Вѣдь я хвастался глупостью и помѣшательствомъ: развѣ это добродѣтели?—До этихъ вопросовъ Антоновичу нѣтъ никакого дѣла, его цѣль достигнута. На одной страницѣ онъ сказалъ: видите, самъ признается, что глупъ и помѣшанъ! А на другой страницѣ онъ говоритъ: видите, хвастаетъ своими добродѣтелями. Оказывается такимъ образомъ, что я и глупъ, и помѣшанъ, и хвастунъ. На самомъ дѣлѣ оказывается конечно *нуль*, но Антоновичъ очевидно не знаетъ того алгебраическаго правила, по которому + *дуракъ* и — *дуракъ* взаимно уничтожаются. Теперь понятно, для чего Антоновичъ сначала притворяется, а потомъ тотчасъ самъ-же выдаетъ себя; притворяется онъ для того, чтобы обругать противника съ одной стороны, а выдаетъ себя для того, чтобы тотчасъ-же обругать его и съ другой стороны; въ результатѣ получается тотъ комическій эффектъ, что клинъ выгоняется клиномъ, ядъ убивается ядомъ—и противникъ, къ собственному своему удивленію, остается необруганнымъ.

IX.

На стр. 76 надъ головой моей собираются мрачныя тучи. — «Еслибы вы были умны, — говоритъ Антоновичъ, — понимали реализмъ и искусство, еслибы ваша преданность реализму была разумна, вы-бы не уничтожали искусства, а напротивъ поддерживали-бы его, не только обращали-бы его въ свою пользу, старались-бы обратить его на служеніе тѣмъ разумнымъ идеямъ, которыя вы неразумно понимаете; вы-бы потребовали, чтобы искусство

помогало реализму, чтобы и оно съ своей стороны и своими путями стремилось къ той цѣли, какую преслѣдуетъ реализмъ.» — Благодарю, Антоновичъ! Какъ мнѣ васъ жалко! Если вы только постигнуть могли, какъ мнѣ и вамъ жалко, и почему мнѣ васъ жалко! Вы-ли не рались, вы-ли не потѣли, вы-ли не рылись моихъ статей за три, за четыре года, вы не городили дурака на дуракъ и слабоумнаго на скудоумнаго, и вдругъ—что-же? и придикиваете все это гордое, все это величественное зданіе дураковъ, слабоумныхъ и скудныхъ, и вдругъ вы сами, ни съ того, ни съ этого, совершенно добровольно признаетесь чужды въ томъ, что я *уменъ*, что я *понимаю реализмъ и искусство* и что моя преданность реализму *разумна*. Г. Антоновичъ! Развѣ вы Пенелопы? Развѣ вы ждете къ себѣ супруга, стесняющаго по невѣдомымъ землямъ? Развѣ васъ беспокоятъ своими неумѣстными предложеніями докучливые женихи? Объясните-же мнѣ по луйста, съ какой стати вы теперь вдругъ пустили тотъ холстъ, который вы ткали такъ долго, такъ усердно и такъ старательно, прикидываясь идиотомъ, то сочиняя очевидныя небылицы? Посмотримъ еще разъ, какія требованія я долженъ выполнить, чтобы оказать умнымъ человѣкомъ, понимающимъ реализмъ и искусство и питающимъ разумную преданность къ реализму: я долженъ не уничтожать искусство, а напротивъ поддерживать его, не только обращать его въ свою пользу, на служеніе умнымъ идеямъ; я долженъ требовать, чтобы искусство помогало реализму, чтобы оно съ своей стороны и своими путями стремилось къ той цѣли, какую преслѣдуетъ реализмъ. Короче: я долженъ всѣми силами превратить искусство въ орудіе той идеи, которой я слѣдую. Ну, и прекрасно: я всегда поступалъ именно такимъ образомъ. Слѣдовательно... слѣдовательно, новая Пенелопа распустила свой холстъ. Дѣйствительно, я постоянно старался и старюсь до сихъ поръ превратить искусство въ орудіе реализма, но только при этомъ я задавалъ себѣ такой вопросъ, который по моему ни разу не приходилъ въ голову Антоновичу. Вопросъ этотъ состоитъ въ томъ, какія отрасли искусства могутъ и какія не могутъ превратиться въ орудіе реализма. Пока мы не будемъ говорить объ искусствѣ вообще, до того поръ этотъ существенно-важный вопросъ будетъ оставаться неразрѣшеннымъ. Надо брать искусство отдѣльно, и тогда нетрудно будетъ убѣдиться въ томъ, что ни скульптура, ни живопись, ни музыка, ни сценическое искусство не могутъ сдѣлаться орудіями реализма. Почему не могутъ?—Да потому, что издержки и хлопоты, которыхъ требуетъ существованіе этихъ искусствъ, ни при какихъ условіяхъ

*) Это у Антоновича считается колкостью.

и при какомъ направленіи художественной дѣятельности не окунаются тѣмъ количествомъ тользы, которое можетъ быть принесено этими искусствами. *Во-первыхъ*, всѣ эти искусства требуютъ такого спеціального, техническаго приготовленія и такихъ постоянныхъ упражненій, которыя поглощаютъ всю жизнь и всѣ силы человѣка, желающаго быть художникомъ. Чтобы быть хорошимъ скульпторомъ, хорошимъ живописцемъ, хорошимъ музыкантомъ или хорошимъ актеромъ, человѣкъ продолжительнымъ трудомъ долженъ приобрести себѣ и поддерживать въ себѣ такую снаровку, которая въ области его художественной дѣятельности рѣшительно необходима, а въ этой области также рѣшительно ни на что не годится. *Во-вторыхъ*, всѣ эти искусства возможны только при существованіи многихъ вспомогательныхъ отраслей промышленности, которыя существуютъ именно только для этихъ искусствъ и которыя, нисколько не содѣйствуя возвышенію общаго экономическаго благосостоянія, совершенно справедливо должны быть отнесены къ категоріи убыточнаго производства. Скульптору нуженъ мраморъ, который кромѣ скульптора не нуженъ никому; ему нужны особенные инструменты, которые также дѣлаются для него одного. Живописцу нужны краски и кисти; музыканту нужны музыкальные инструменты. Приготовленіемъ этихъ инструментовъ занимаются цѣлыя огромныя фабрики, которыя могли-бы производить разныя земледѣльческія и мануфактурныя машины. Актеру нужны декорации, костюмы, парики, румяна, бѣлила. Кромѣ того скульптору и живописцу нужны натурщики и манекены; актеру нужны суфлеры и хористы, режиссеры и антрепренеры и наконецъ огромныя зданія, устроенныя и поддерживаемыя спеціально для служенія его искусству. Сочинителю музыкальныхъ пьесъ нужны люди, занимающіеся фабрикаціей инструментовъ, игрою на нихъ, пѣніемъ и проч. Эти два обстоятельства показываютъ намъ, какъ великъ расходъ, необходимый для того, чтобы всѣ эти искусства могли поддерживать свое существованіе. *Третье* обстоятельство покажетъ намъ, какъ малъ доходъ, который можетъ доставаться на долю реализма, даже при самомъ разумномъ направленіи всѣхъ этихъ искусствъ. Самый существенный недостатокъ живописи и скульптуры состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, что онѣ могутъ изображать только одинъ моментъ; слѣдить за развитіемъ дѣйствія, показывать, какимъ образомъ послѣдствія вытекаютъ изъ причинъ,—это превышаетъ ихъ силы. Этотъ недостатокъ отнимаетъ у скульптуры и у живописи всякую возможность дѣйствовать живительнымъ образомъ на общественное сознаніе. Представьте себѣ напримѣръ, что скульпторъ, проникнутый гуманными стремленіями современнаго реализма, хочетъ показать обществу, ка-

кое пагубное искаженіе и вырожденіе человѣческой породы происходитъ постоянно въ тѣхъ мастерскихъ, въ тѣхъ фабрикахъ, въ тѣхъ темныхъ, душныхъ и сырыхъ квартирахъ, въ которыхъ истощаютъ свои силы, голодаютъ и забивутъ европейскіе работники. Онъ представляетъ на выставку нѣсколько тощихъ, безобразныхъ фигуръ, со впалой грудью, съ мускулатурой неестественно развитой въ однихъ членахъ и неестественно слабой въ другихъ, съ тупымъ и замученнымъ выраженіемъ лица, съ искривленнымъ позвоночнымъ столбомъ и съ согнутыми ногами. Подъ каждой изъ этихъ фигуръ, выѣлленныхъ съ натуры, онъ подписываетъ названіе того ремесла, которому данный субъектъ обязанъ своимъ уродствомъ. Сдѣлавъ это, скульпторъ сдѣлалъ рѣшительно все, что только могъ сдѣлать, какъ искренній приверженецъ реализма, понимающій глубоко и вѣрно, какъ задачи вѣка, такъ и спеціальныя средства скульптуры. Но какъ вы думаете, произведутъ-ли выставленныя фигуры на публику то глубокое и потрясающее впечатлѣніе, которое желалъ произвести честный и умный художникъ? Можно сказать навѣрное, что не произведутъ. Почему? Потому что публикѣ, смотрящей на эти статуи, предоставляется угадывать слишкомъ многое; публика видитъ только одинъ результатъ; и этотъ результатъ, этотъ единственный моментъ, схваченный художникомъ, останется для публики непонятнымъ до тѣхъ поръ, пока она не воспроизведетъ своимъ воображеніемъ весь тотъ длинный рядъ трудовыхъ и голодныхъ годовъ, весь тотъ безконечный рядъ неестественныхъ усилій и лишеній, который наложилъ свою печать на тѣлосложеніе и фізіономію изображенныхъ субъектовъ. Цѣль скульптера была-бы достигнута до нѣкоторой степени только въ томъ случаѣ, еслибы при выставленныхъ статуяхъ находился умный, свѣдущій и краснорѣчивый человѣкъ, который во все продолженіе выставки, по нѣскольку разъ въ день, читалъ бы публикѣ лекцію, подробно объясняющую происхожденіе и развитіе всѣхъ изображенныхъ искаженій человѣческаго типа. Такія лекціи конечно могли-бы произвести сильное и благотворное впечатлѣніе. Но нетрудно понять, что это впечатлѣніе было-бы произведено лекціями, а не статуями. Разумѣется, статуи, придавая словамъ лектора большую ясность и наглядность, могли-бы немного увеличить успѣхъ лекцій и усилить производимое ими впечатлѣніе; но если мы сообразимъ, что это *немногое* покупается цѣною такихъ трудовъ, на которые уходитъ вся жизнь очень умнаго, очень честнаго и очень даровитаго человѣка, глубоко вдумавшагося въ причины общественныхъ бѣдствій, то мы конечно придемъ къ тому убѣжденію, что игра не стоитъ свѣчъ, и что для реализма было-бы несравненно выгоднѣе, еслибы этотъ

умный, честный и даровитый человек служил ему не въ качествѣ превосходнаго скульптора, а напимѣрь въ скромной должности хорошаго преподавателя или добросовѣстнаго переводчика полезныхъ иностранныхъ книгъ. Статуи, о которыхъ я говорилъ выше, могутъ произвести потрясающее впечатлѣніе на такого человека, который самъ изучалъ бытъ рабочихъ классовъ и посвятилъ всѣ свои силы улучшенію ихъ участи. Поставьте передъ такими статуями Луи Блана, Лассалля или Прудона, и, разумѣется, они оцѣнятъ ихъ по достоинству и прочувствуютъ, глядя на нихъ, до глубины души все величіе того дѣла, которому они себя посвятили. Но въ томъ-то и бѣда, что статуи и картины поражаютъ и волнуютъ только тѣхъ людей, которые уже не нуждаются въ этихъ сильныхъ ощущеніяхъ, потому что они и безъ этихъ ощущеній твердо знаютъ, понимаютъ и помнятъ все, что честный и умный гражданинъ долженъ помнить, знать и понимать. Человекъ, еще не затронутый серьезными мыслями и глубокими чувствами, отойдетъ отъ картины или отъ статуи съ тѣмъ-же бѣднымъ и ложнымъ взглядомъ на жизнь, съ которымъ онъ и подошелъ къ нимъ. Инициаторомъ или вербовщикомъ новыхъ адептовъ не можетъ сдѣлаться ни при какихъ условіяхъ ни скульптура, ни живопись. Кто способенъ понимать статуи и картины, носящія на себѣ печать глубокой мысли, тому эти картины и статуи не говорятъ ничего новаго; а кому ихъ основная мысль еще неизвестна, тому языкъ картинъ и статуй останется непонятнымъ. Музыка точно также, хотя и по другой причинѣ, не можетъ превратиться въ орудіе реализма. Существенный недостатокъ музыки заключается въ ея неопредѣленности; музыка выражаетъ различныя психическія настроенія, различныя оттѣнки чувства, различные переходы отъ одного настроенія къ другому, различные переливы одного чувства въ другое; но выразить опредѣленный взглядъ на природу, на человека и на общество, выразить его такъ, чтобы его основныя мысли оказались понятными и убѣдительными даже для такого человека, который никогда не слышалъ о нихъ прежде, — этого, разумѣется, никогда не сдѣлаетъ никакая музыка. Правда, что нѣкоторыя мелодіи, слившись навсегда со словами пѣсни, сдѣлались самой яркой выѣской тѣхъ или другихъ политическихъ идей и тенденцій. Такъ напимѣрь, напѣвъ «Марсельезы» или «Ca ira» до такой степени живо напоминаетъ каждому образованному человеку историческія сцены изъ первой французской революціи, что невольно можно составить себѣ совершенно ошибочное мнѣніе, будто-бы въ самомъ дѣлѣ звуки этихъ мелодій имѣютъ дѣйствительное средство съ тогдашними идеями. Но ошибочность этого мнѣнія замѣтить не трудно: звуки

выражаютъ здѣсь только бравурное и возмуженное настроеніе; а такъ какъ это настроеніе способно испытывать и рыцари мизма, и защитники папскаго престола, и цюнальные гвардейцы Кавеньяка, истребленіе въ іюнѣ 1848 года работниковъ во имя священныхъ правъ капитала, то очевидно и музыку «Марсельезы» можно положить на угодно слова, лишь-бы только они выражали бою воинственный азартъ и готовность выжить животь за какое ни на есть, правое или неправое, дѣло. Музыка можетъ расстроить, взволновать, опечалить или развеселить человека, но убѣдить или переубѣдить его она не можетъ и не пробуетъ. Такъ какъ реализму нужны исключительно люди, проникнутые истинными убѣжденіями, то само собою разумѣется, что музыка не можетъ сдѣлать для реализма ровно ничего.

Наконецъ спеническое искусство не имѣетъ никакого самостоятельнаго значенія. Оно зависать безусловно отъ поэзіи, которая съ вѣчайшимъ удобствомъ можетъ обойтись безъ его содѣйствія: не драма, а романъ составляетъ важнѣйшую отрасль современной поэзіи. Итакъ, изъ всѣхъ искусствъ только одну поэзію считать и можно превратить въ могущественное орудіе реализма. Всѣ тѣ соображенія, которыя говорили противъ остальныхъ искусствъ, говорятъ сильно и убѣдительно въ пользу поэзіи. *Во-первыхъ*, поэту совсѣмъ не нужна специальная техническая подготовка. Его подготовка сливается совершенно съ тѣмъ общимъ образованіемъ, въ которомъ нуждается каждый человекъ, желающій приняться за работу. Поэту нужно знаніе отечественнаго языка, знаніе отечественной и главныхъ европейскихъ литературъ, знаніе окружающей жизни и широкое умственное развитіе. Всѣ эти знанія необходимы каждому работнику мысли, такъ что поэту не приходится тратить ни одной минуты времени и ни одной копѣйки денегъ собственнаго на то, чтобы воспитать въ себѣ поэта. *Во-вторыхъ*, поэтъ своей дѣятельностью не поддерживаетъ ни одной отрасли убыточнаго производства. Поэту необходимы бумага, перья, чернила, типографія, переплетныя и книжныя лавки. Все это существуетъ не для однихъ поэтовъ, а для всѣхъ грамотныхъ людей, и все это совершенно необходимо для поддержанія и распространенія грамотности. Значить *расходъ* на поэзію ничтоженъ. Нетрудно доказать, что *въ-третьихъ*, доходъ съ поэзіи можетъ быть очень значителенъ. Нѣтъ того міросозерцанія, нѣтъ того взгляда на общественныя отношенія, котораго нельзя было-бы выразить самымъ убѣдительнымъ и увлекательнымъ образомъ въ поэтическомъ произведеніи. Итакъ, стараясь превращать поэзію въ орудіе реализ-

на, я исполнилъ всѣ требованія Антоновича и заслужилъ вполне тѣ косвенныя похвалы, которыми такъ неожиданно осыпаетъ меня мой любезный противникъ. Къ сожалѣнью, мой противникъ, при всей своей любезности, не желаетъ или не умѣетъ выражаться ясно: онъ говоритъ постоянно объ искусствѣ вообще, но всякій разъ, какъ ему приходится приводить примѣры, чтобы доказать вліяніе искусства на развитіе общества, онъ беретъ этотъ примѣръ изъ исторіи поэзіи; такимъ образомъ нѣтъ возможности понять, за что именно онъ сражается, за всѣ ли отрасли искусства, или же за одну поэзію. Въ первомъ случаѣ ему слѣдовало бы брать свои примѣры изъ исторіи живописи, скульптуры и музыки, то есть тѣхъ искусствъ, которыя особенно сильно заподозрены въ бесполезности. Во второмъ случаѣ защищать искусство очень не трудно, тѣмъ болѣе, что на него съ этой стороны никто и не нападаетъ. Чтобы развернуть свою храбрость и полезную бойкость въ такой легкой и бесполезной борьбѣ, Антоновичъ по своему обыкновению начинаетъ, будто я старался уничтожить поэзію, и потомъ побѣдоносно доказываетъ мнѣ, что уничтожать ее не годится. «Но на васъ, — говоритъ мнѣ Антоновичъ, — не дѣйствуютъ никакія соображенія здраваго смысла, никакія историческія и философскія доказательства; вы затвердили фразу Базарова: «мы признаемъ только пользу, мы отрицаемъ искусство», — и вслѣдствіе этого твердите постоянно, что искусство бесполезно, что его нужно уничтожить, что всѣ художники, начиная отъ Рафаэля и Шекспира и оканчивая Брюловымъ, Гёте и Гейне, такъ же ничтожны и бесплодны для человѣчества, какъ повара Дюссо и трактирные маркеры». Любезность и добродушіе моего противника приводятъ меня въ восхищеніе. Представьте себѣ, что, упоминая о поварахъ Дюссо и о трактирныхъ маркерахъ, онъ указываетъ на мой «Нерѣшенный Вопросъ», въ которомъ было дѣйствительно употреблено сравненіе нѣкоторыхъ художниковъ съ маркеромъ Тюрей и съ поваромъ Дюссо; представьте себѣ далѣе, что онъ называетъ трехъ поэтовъ, о которыхъ тоже говорилось въ «Нерѣшенномъ Вопросѣ»; и представьте себѣ наконецъ, что именно объ этихъ трехъ поэтахъ я говорилъ съ величайшимъ уваженіемъ. Такимъ образомъ всю тираду моего противника я могу опровергнуть одной короткой выпиской изъ «Нерѣшеннаго Вопроса». Согласитесь, что мой противникъ, доставляющій мнѣ надъ собою такія легкія побѣды, долженъ быть человѣкомъ въ высшей степени любезнымъ и добродушнымъ. Вотъ что я говорю о Гейне, Гёте и Шекспирѣ: «Мы твердо убѣждены въ томъ, что каждому человѣку, желающему сдѣлаться полезнымъ работникомъ мысли, необходимо широкое и всестороннее образованіе, въ которомъ

Гейне, Гёте, Шекспиръ должны занять свое мѣсто наряду съ Либихомъ, Дарвиномъ и Ляйблемъ.» Неправда-ли, господа читатели, что Либихъ, Дарвинъ и Ляйблль очень похожи на повара Дюссо и на трактирныхъ маркеров? Но вамъ конечно угодно знать теперь, чья-же имена были поставлены рядомъ въ именами Дюссо и Тюрю? Извольте: «Вслѣдствіе этого могутъ появиться на свѣтъ великіе люди самыхъ различныхъ сортовъ: великій Ветховенъ, великій Рафаэль, великій Канова, великій шахматный игрокъ Морфи, великій поваръ Дюссо, великій маркеръ Тюрю.» Тутъ взяты представители музыки, живописи и скульптуры, то-есть тѣхъ самыхъ искусствъ, которыхъ неизлечимую бесполезность я подробно доказывалъ въ настоящей статьѣ на предыдущихъ страницахъ. О поэзіи-же, какъ о пригодномъ и полезномъ орудіи, я говорилъ съ полнымъ уваженіемъ какъ въ прошломъ году, такъ и сегодня. А мой любезный противникъ, не умѣя защищать живописи, скульптуру и музыку, заблагоразсудилъ взваливать на меня ложное обвиненіе въ поруганіи Шекспира, Гёте и Гейне. Этими маневромъ мой противникъ опять, — не помню уже, въ который это разъ, — обнаружилъ съ одной стороны свою неизмѣнную любовь къ истинѣ, а съ другой стороны свое замѣчательное умѣнье полемизировать.

Х.

Наконецъ Антоновичу удастся найти въ моихъ сочиненіяхъ настоящую бессмыслицу, которая впрочемъ годъ тому назадъ была уже замѣчена провидательнымъ критикомъ «Эпохи», Николаемъ Соловьевымъ, и которой происхожденіе я могу теперь объяснить самымъ удовлетворительнымъ образомъ, какъ Николаю Соловьеву и Антоновичу, такъ и всей читающей публикѣ. Въ сентябрьской книжкѣ «Русскаго Слова» за 1864 годъ, въ статьѣ «Нерѣшенный Вопросъ» на стр. 6 напечатаны слѣдующія строки: «У реалиста эта потребность (отдохнуть) возникаетъ очень рѣдко, и поэтому онъ стоитъ выше обыкновенныхъ людей, то-есть можетъ теченіи своей жизни сдѣлать больше работы; а всякій согласится, что мы можемъ мѣрять умственные силы людей только количествомъ сдѣланной ими полезной работы. Человѣкъ исполнитъ реальный можетъ обходиться безъ того, что называется личнымъ счастьемъ; ему нѣтъ надобности освѣжать свои силы любовью женщины или хорошей музыкой, или смотрѣніемъ шекспировской драмы, или просто веселымъ обѣдомъ съ добрыми друзьями. У него можетъ быть развѣ только одна слабость: хорошая сигара, безъ которой онъ не можетъ вполне успѣшно размышлять.» — Нелѣпность во-

пиющая! Сигара получила какое-то общее догматическое значеніе. Сигара превращена въ единственную слабость, возможную или позволительную для всѣхъ реалистовъ. Но потрудитесь обратить вниманіе на тѣ слова, которыя написаны курсивомъ: въ нихъ заключается настоящая причина всей безсмыслицы; если вы вмѣсто *реалиста* поставите *Рахметова*, вмѣсто *человѣкъ вполне реальный* — *Рахметовъ*, и вмѣсто *можетъ быть развѣ* — *есть*, то вся нелѣпость совершенно уничтожится, и вы увидите, что я просто говорю о личныхъ особенностяхъ Рахметова, а совсѣмъ не объ общихъ признакахъ *реалиста* или какого-то *человѣка вполне реального*. Почему *Рахметовъ* превратился такъ некстати въ *реалиста* и въ *человѣка вполне реального* — это, я надѣюсь, Антоновичъ постигнетъ безъ моихъ поясненій. Чтобы помочь его догадливости, я напомнимъ ему только, что вмѣсто *романа «Что дѣлать?»* намъ часто приходилось говорить *эпопея о былой Арапіи*; когда надо было произнести имя автора — мы говорили *одно лицо*; когда самому Антоновичу надо было сказать *Рахметовъ*, онъ въ своей статьѣ говоритъ *Никитушка Ломовъ*. Если Антоновичъ понимаетъ причину всѣхъ этихъ случайныхъ явленій, то онъ понимаетъ также причину превращенія *Рахметова* въ *реалиста* и въ *человѣка вполне реального*. Но Антоновичъ спроситъ меня быть-можетъ, почему-же я не назвалъ Рахметова Никитушкой Ломовымъ, или почему я не выкинулъ изъ моей статьи всей главы, обезображенной и безсмысленной неожиданнымъ превращеніемъ? Потому отвѣчу я, что я не читаю третьихъ корректуръ или такъ называемыхъ подписныхъ листовъ. Такая небрежность съ моей стороны конечно очень предосудительна, но о причинахъ такой преступной небрежности Антоновичъ можетъ навести справки въ редакціи «Русскаго Слова», а также и у Некрасова, которому было объяснено, почему письмо, помѣщенное въ мартовской книжкѣ «Современника», написано моей матерью, а не мною. Когда Антоновичъ наведетъ эти справки, то по всей вѣроятности сочтетъ себя удовлетвореннымъ. А чтобы показать моимъ читателямъ, что первая часть «Нерѣшеннаго Вѣщаго» дѣйствительно испытала на себѣ нѣчто вродѣ геологическаго переворота, объясняющаго совершенно удовлетворительно всевозможныя превращенія и уничтоженія смысла, я приведу изъ той-же статьи еще одну фразу, въ которой слѣды геологическаго переворота совершенно очевидны. «А, кажется, Тургеневу въ этомъ отношеніи можно повѣрить, во-первыхъ потому, что онъ зналъ вполне всѣ душевныя стремленія московскихъ кружковъ; а во-вторыхъ потому, что его можно заподозрить скорѣе въ пристрастіи къ сям-

патичному Гравовскому, чѣмъ въ преувеличенной нѣжности къ угловатымъ реалистамъ вѣсего времени, что на его поприщѣ никто-и не могъ дѣйствовать лучше и плодотворнѣе. Какъ вамъ это нравится? Къ чему тутъ очутились слова: «что на его поприщѣ никто не могъ дѣйствовать лучше и плодотворнѣе»? А вотъ видите-ли: послѣ словъ: «реализмъ нашего времени» — стояла точка. Послѣ точки слѣдовала цѣлая отдѣльная и самостоятельная фраза. Эта фраза погибла въ геологическомъ переворотѣ, и отъ нея уцѣлѣлъ только одинъ несчастный кончикъ: «что на его поприщѣ...» который, чувствуя свою сиротскую безпомощность, нашелъ удобнымъ прислониться къ предыдущему періоду. Выписавъ то мѣсто, гдѣ *Рахметовъ* превратился въ *человѣка вполне реального*, Антоновичъ старается изобилить все мое тупоуміе, и при этомъ увлекается такъ сильно, что самъ, того не замѣчая, направляетъ потокъ своихъ извѣстныхъ *колкостей* не на меня, а на Рахметова, и слѣдовательно на Чернышевскаго. Какъ прикажете въ самомъ дѣлѣ понимать слѣдующія изліянія? «Еслибы этотъ аскетъ-реалистъ не былъ до крайности глупъ, онъ-бы таянулъ по рюмочкѣ очищенной, потому что она еще болѣе возбуждаетъ, чѣмъ хорошая сигара; также точно, еслибы у этого аскета-реалиста была хоть капля здраваго смысла, онъ-бы зналъ, что шекспировскія драмы возбуждаютъ мозговую дѣятельность гораздо лучше и живѣе, чѣмъ сигара, что бесѣда съ друзьями и любовь къ женщинамъ могутъ быть до такой степени полезны и могутъ вводить человѣка на такіа полезныя и дѣльныя мысли, какъ ни одна самая лучшая гаванская сигара въ мірѣ. Потому аскетъ-реалистъ, значить, просто глупъ, если онъ для своего умственного возбужденія сигару предпочитаетъ женской любви, шекспировскимъ драмамъ, обѣду съ пріятелями и музыкѣ.» Но тутъ Антоновичъ повидимому спохватился, что онъ бранится и унижаетъ совсѣмъ не меня; стараясь поправиться, онъ напуталъ еще больше. «А вы небось воображали, — обращается онъ ко мнѣ, — что вы нарисовали конію съ Никитушкой Ломова. Но вотъ видите теперь сами, что вы поняли въ немъ только одну случайную сигару и возвели ее въ принципъ, и тѣмъ только даете всякому поводъ смѣяться надъ Ломовымъ, сущность котораго по обыкновенію осталась для васъ темной.» Эпитетъ *случайная*, приставленный къ слову *сигара*, нисколько не поправляетъ дѣла. Случайно или не случайно Рахметовъ предпочитаетъ сигару рюмочкѣ очищенной, музыкѣ, шекспировскимъ драмамъ, женской любви и обѣду съ пріятелями, все-таки онъ за это случайное или неслучайное предпочтеніе принужденъ принять на свой счетъ всѣ любезности Антоновича, объ-

ясняющего ему очень подробно, что онъ *до крайности глупъ*, что у него нѣтъ *ни одной капли здраваго смысла*, и что онъ, *значитъ, просто глупъ*. Я увѣренъ въ томъ, что Антоновичъ вовсе не имѣлъ въ виду произвести такое поруганіе Рахметова, любимаго созданія Чернышевскаго; но Антоновичъ такъ непомерно искусенъ въ полемическомъ дѣлѣ и при своемъ искусствѣ такъ безгранично усерденъ въ этомъ дѣлѣ, что всевозможныя, ошеломляющія неожиданности быть фонтаномъ изъ-подъ его быстрого пера, совершенно независимо отъ его собственнаго желанія. Если Антоновичъ полагаетъ, что сигара приписана Рахметову совершенно случайно, то Антоновичъ очень плохо понимаетъ мысли Чернышевскаго. Конечно вмѣсто любви къ сигарѣ могла быть приписана Рахметову любовь къ хорошему чаю или къ хорошему кофе, но во всякомъ случаѣ для полной обрисовки этого характера было необходимо приписать ему страстіе къ какому-нибудь чисто-физическому, а не умственному наслажденію. Когда Рахметовъ совершенно здоровъ, тогда умъ его всегда работаетъ сильно и успѣшно, и мысли его постоянно направлены къ тому дѣлу, которое составляетъ цѣль его жизни. Для того, чтобы его умственная работа шла какъ слѣдуетъ, онъ не нуждается ни въ какихъ вспомогательныхъ средствахъ; ему нужно только одно условіе: полное физическое здоровье; но для того, чтобы быть постоянно совершенно здоровымъ, свѣжимъ и бодрымъ, каждому человѣку необходимо соблюдать извѣстный *régime*, то есть, вести извѣстный образъ жизни, соответствующій всѣмъ врожденнымъ и благопріобрѣтеннымъ особенностямъ его организма. Одной изъ составныхъ частей этого *régime*, необходимаго Рахметову для сохраненія полной свѣжести и бодрости, оказывается хорошая сигара, и эту особенность своего темперамента Рахметовъ называетъ слабостью, единственно только потому, что хорошія сигары дорого стоятъ, и что ему не хочется тратить на свою собственную особу ни одной лишней копейки. Но для обыкновенныхъ людей, необладающихъ силами рахметовскаго ума и характера, простое соблюденіе извѣстнаго *régime* оказывается недостаточнымъ. Эти люди, находясь въ самомъ нормальномъ и веселомъ настроеніи, всетаки часто или даже постоянно нуждаются въ томъ, чтобы другіе человѣческіе умы помогали имъ думать, помогали имъ стремиться къ извѣстной цѣли, помогали имъ любить извѣстный трудъ. Когда мы безъ особенной дѣловой надобности чувствуемъ потребность поговорить съ друзьями, то мы именно ищемъ въ ихъ сочувствіи и въ ихъ разсужденіяхъ поддержки на томъ пути, по которому идемъ, и который мы давно уже признали хорошимъ и разумнымъ путемъ. Мы хотимъ, чтобы друзья укрѣпили нашу рѣшимость и ото-

гнали отъ насъ тяжелое раздумье и мучительныя сомнѣнія. Когда мы беремъ въ руки умную книгу не для того, чтобы справиться о какомъ-нибудь фактѣ, а просто для того, чтобы насладиться пріятнымъ чтеніемъ, то мы именно обращаемся къ автору этой книги съ просьбой помочь намъ въ процессѣ нашего мышленія, обогатить насъ новыми идеями, усилить въ насъ любовь къ истинѣ и къ общественной пользѣ, вооружить насъ новыми доводами противъ заблужденія и эксплуатаціи, словомъ — подкрѣпить, освѣжить и улучшить насъ вліяніемъ своей умной, честной и развитой личности. Въ такихъ подкрѣпленіяхъ Рахметовъ вовсе не нуждается; когда онъ здоровъ, онъ всегда одинаковъ, то есть всегда одинаково сильно любить свою идею и всегда одинаково ясно видить тѣ препятствія, которыя мѣшаютъ этой идеѣ осуществиться, тѣ пособія, которыми можно воспользоваться для ея осуществленія, и ту дорогу, по которой слѣдуетъ идти къ этому осуществленію. Вслѣдствіе своей постоянной одинаковости онъ можетъ отдавать все свое время серьезной работѣ, не отдѣляя ни одного часа ни на пріятное чтеніе, ни на оживленную бесѣду съ друзьями. Онъ не зависитъ ни отъ окружающихъ людей, ни отъ умныхъ книгъ; онъ зависитъ только отъ своего собственнаго организма, и эта неизбежная зависимость обозначена очень рельефно въ томъ фактѣ, что онъ, при всей своей ненависти ко всякой роскоши, принужденъ курить дорогія сигары для того, чтобы поддерживать въ себѣ хорошее настроеніе, необходимое для успѣшной умственной работы. — *Ну вотъ, видите теперь сами*, г. Антоновичъ, что вы въ Никитушкѣ Ломовъ не поняли даже и сигары; а что касается до ея сущности, то она и подавно осталась для васъ темной; это совершенно очевидно, потому что, еслибы она была для васъ ясна, вы бы немедленно сообразили, что упрекать противника въ ея непониманіи — въ высшей степени недобросовѣстно, такъ какъ противникъ на эти упреки не можетъ отвѣтить ровно ничего и ни при какихъ условіяхъ не можетъ представить печатныхъ доказательствъ своего пониманія. Я вѣдь сказалъ, что Рахметовъ занимается общепользною работою. Чего-же вы отъ меня еще хотите? Если вамъ угодно, чтобы я охарактеризовалъ яснѣе и обстоятельнѣе эту работу, то ваше ребяческое требованіе доказывать, какъ нельзя убѣдительно, что вы сами грѣшите тѣмъ непониманіемъ, въ которомъ стараетесь заподозрить вашего противника. Я на вашемъ мѣстѣ воздержался-бы отъ подобныхъ требованій.

XI.

Въ своей статьѣ «Современная эстетическая теорія» Антоновичъ утверждалъ, что

«эстетическое наслаждение есть нормальная потребность человеческой природы», и что «невозможно придумать никакого основания, которое могло-бы дать право воспрещать или даже приписать удовлетворение этой потребности». Я возразил на это въ «Разрушении эстетики», что такое основание придумать нетрудно, и указал на тот общезвѣстный фактъ, что у огромнаго большинства людей очень нормальная и законная потребность утолять свой голодъ здоровой пищей удовлетворяется до сихъ поръ очень плохо. Дѣлая это указаніе, я полагалъ, что каждый сотрудникъ «Современника», даже и такой недалновидный, какъ Антоновичъ, пойметъ мой намекъ безъ дальнѣйшихъ поясненій. Оказывается теперь, что я слишкомъ сильно понадеялся на сообразительность моего противника. Выписавъ мое возраженіе, Антоновичъ спрашиваетъ у меня, въ своемъ-ли я умѣ и помню-ли я начало фразы, когда пишу ея конецъ. Чтобы доказать мнѣ мое умственное банкротство, онъ пускается въ слѣдующія разсужденія: «Мы говоримъ, что эта потребность нормальна и естественна, и доказали это на основаніи физики и физиологіи. (Можно-ли взводить такую напраслину на физиологію?) Вы-же говорите, что эта потребность неестественна и позорна, и ее нужно разрушить (что такое *разрушить потребность*? это бессмыслица! я говорю только, что это потребность вздорная, — прихоть). Почему? Потому, отвѣчаете вы, что производится мало хлѣба или пищи, вслѣдствіе занятія многихъ рукъ производствомъ предметовъ искусства. Что-же изъ этого слѣдуетъ? (Я надѣялся, что вы это поймете.) Если это дѣйствительно правда (а вы въ этомъ, кажется, сомнѣваетесь?), то изъ этого по здравому смыслу слѣдуетъ только то, что нужно увеличить производство хлѣба, обративъ на него часть рукъ, прежде занимавшихся производствомъ искусства, а никакъ не слѣдуетъ, что искусство нужно уничтожить, и еще менѣе слѣдуетъ, что эстетическая потребность неестественна и позорна.» Какимъ прекраснымъ *здравымъ смысломъ* обладаетъ Антоновичъ, и какъ блестятельна его аргументація! Видите-ли, по *здравому смыслу* Антоновича слѣдуетъ, что нужно обратить на производство хлѣба *часть рукъ, прежде занимавшихся производствомъ искусства*. Прекрасно! А если окажется, что и послѣ этого обращенія хлѣба производится слишкомъ мало, тогда что нужно сдѣлать по тому-же *здравому смыслу*? — Обративъ еще часть рукъ? А если и тогда количество хлѣба окажется недостаточнымъ, и если оно будетъ оставаться недостаточнымъ до тѣхъ поръ, пока вы не обратите на полезное производство всѣ руки, занимавшіяся изготовленіемъ изящныхъ предметовъ, тогда что дѣлать? — Обративъ всѣ руки? Такъ или нѣтъ? Если *такъ*, то больше

намъ ничего и не нужно; вы можете доказывать законность эстетическихъ наслажденій и вышчіе искусства, сколько вамъ будетъ угодно; ни не намѣрены ни мѣшать, ни возражать вамъ, лишь-бы только на производство изящныхъ предметовъ не отвлекались тѣ руки, которыя необходимы для изготовленія предметовъ первой необходимости. Если-же вы скажете *нѣтъ*, то потрудитесь произнести это *нѣтъ* сознательно, отчетливо и твердо; скажите прямо и откровенно: пускай бѣднота голодаетъ и зѣбнетъ; моя потребность наслаждаться искусствомъ нормальна и законна, и я вовсе не хочу допустить, чтобы люди, удовлетворяющіе этой законной и нормальной потребности, отвлекались отъ своей теперешней работы къ изготовленію пищи и платья для разныхъ *manants* и *misérables*. — Въ сущности, все пишущее филистерство во всемъ образованномъ мірѣ разсуждаетъ именно такимъ образомъ, но только никто не осмѣливается высказать свою мысль откровенно и ясно. Если вы не можете отдѣлаться отъ филистеровъ по своимъ идеямъ, то съумѣйте-же по крайней мѣрѣ превозмочь и удивить ихъ храбростью. «Вы могли-бы сказать, — говоритъ Антоновичъ, — что голодному человѣку искусство и эстетическое наслажденіе не пойдетъ на умъ (но сытый до этого обстоятельства конечно нѣтъ и не должно быть никакого дѣла?!); это совершенно вѣрно, это мы сами высказывали множество разъ (напрасно! вѣдь ваши читатели сыты?). Но изъ этого не слѣдовало-бы, что искусство и эстетика подлежатъ уничтоженію, а слѣдовало-бы только (о, торжество здраваго смысла!), что голодныхъ людей нужно кормить (чѣмъ?) и всѣхъ вообще обезпечить такъ (чѣмъ и какъ?), чтобы всѣ могли пользоваться удовольствіемъ, даваемымъ произведеніями искусства.» Еслибы мнѣ кто-нибудь сказалъ, что такая пошлость напечатана не въ «Эпохѣ» и не въ «Русскомъ Вѣстникѣ», а въ «Современникѣ», то я-бы такому неправдоподобному извѣстію не повѣрилъ; но теперь я читаю эту пошлѣйшую изъ пошлостей собственными глазами и поневолѣ вѣрю, что она напечатана дѣйствительно въ «Современникѣ». Итакъ, изъ того факта, что есть на свѣтѣ голодные люди, слѣдуетъ *только* — это *только* очаровательно, — что голодныхъ людей нужно кормить и всѣхъ вообще обезпечить, а потомъ, устроивъ наскоро это легкое и ничтожное дѣло, тотчасъ вести всѣхъ накормленныхъ и обезпеченныхъ людей въ театръ и на выставку картинъ и статуй. Объясните мнѣ вы, посрамленіе «Современника», что скрывается въ вашихъ неслыханно-глупыхъ словахъ: плоское-ли филистерское лицемеріе, или-же круглое невѣжество и самое безнадежное тупоуміе? Дѣйствительно-ли вы думаете, что накормить всѣхъ голодныхъ и обезпечить

всѣхъ вообще самая простая и легкая штука, или-же вы только пытаетесь отвести глаза своимъ читателямъ? Впрочемъ это въ сущности все равно. Кто надѣется одурачить другихъ такимъ топорнымъ враньемъ, тотъ совершенно такъ-же глупъ, какъ и тотъ, кто произноситъ подобныя нелѣпости, принимая ихъ за основательныя разсужденія. Теперь, г. Антоновичъ, мнѣ придется толковать вашитъ *счастливымъ читателямъ* азбучныя истины социальной науки, несмотря на то, что вамъ досталась незаслуженная честь быть сотрудникомъ того журнала, который первый произнесъ въ Россіи разумное слово о социальныхъ вопросахъ. *Количество* производимаго хлѣба, мяса, полотна, сукна, платья, мебели и всѣхъ другихъ предметовъ первой необходимости составляетъ конечно очень важный элементъ народнаго богатства; но одинъ этотъ элементъ самъ по себѣ, какъ-бы онъ ни былъ силенъ, все-таки не можетъ упрочить благосостояніе народа. Производство можетъ быть достаточно сильно, и, несмотря на то, большинство можетъ все-таки терпѣть нужду, если производимые продукты будутъ распредѣляться въ обществѣ неравномѣрно. Неравномѣрное распредѣленіе продуктовъ неизбѣжно ведетъ за собою, изъ года-въ-годъ, ослабленіе производства; вслѣдствіе этого положеніе большинства съ каждымъ годомъ становится хуже, и это прогрессивное ухудшеніе продолжается до тѣхъ поръ, пока положеніе большинства становится наконецъ невыносимымъ. Тогда начинаются обширныя эмиграціи, заразительныя болѣзни и періодическія конвульсіи общественнаго организма, вызываемыя невыносимыми страданіями большинства. Западная Европа дошла именно до такого положенія, и лучшіе ея мыслители съ начала нынѣшняго вѣка сосредоточили всѣ свои умственные силы на рѣшеніи того вопроса: *какимъ образомъ голодныхъ людей кормить и всѣхъ вообще обезпечить?* Одинъ говорили, что надо устроить такой общественный порядокъ, при которомъ каждый производилъ-бы столько, сколько можетъ, а получалъ-бы столько, сколько ему нужно; другіе говорили, что каждый долженъ получать вознагражденіе, соразмѣрное съ количествомъ и качествомъ сдѣланной работы; третьи говорили, что надо составить разумную ассоціацію труда, капитала и таланта; четвертые говорили, что только трудъ и талантъ имѣютъ право на вознагражденіе; пятые говорили, что въ деньгахъ заключается корень всего общественнаго зла. Всѣ эти мыслители со всѣми своими послѣдователями никакъ не могли до сихъ поръ согласиться между собою въ томъ, какое *положительное* средство надо пустить въ ходъ для рѣшенія общественной задачи. Но радикально расходясь между собою въ *положительной* сторонѣ своихъ доктринъ,

всѣ они утверждали совершенно единогласно, что существующій *экономическій* порядокъ неудовлетворителенъ и оставляетъ желать очень многого. Единогласное отрицаніе передовыхъ мыслителей, несогласныхъ между собою во всѣхъ остальныхъ пунктахъ, показываетъ ясно, что существующее положеніе дѣйствительно незавидно. А крайнее разногласіе *положительныхъ* проектовъ показываетъ также ясно, что рѣшить общественную задачу чрезвычайно трудно. До сихъ поръ никто еще не можетъ утверждать навѣрно, что *теоретическое* рѣшеніе задачи дѣйствительно найдено. Когда это *теоретическое* рѣшеніе наконецъ найдется, тогда все-таки еще нельзя будетъ приступить тотчасъ къ кормленію голодныхъ людей, къ обезпеченію всѣхъ вообще и къ разбѣженію всѣхъ накормленныхъ и обезпеченныхъ людей по театрамъ и разнымъ другимъ увеселительно-художественнымъ заведеніямъ. Когда теоретическое рѣшеніе будетъ найдено, то надо будетъ еще втеченіи многихъ лѣтъ, можетъ-быть даже десятковъ лѣтъ, долбить общественное мнѣніе и тревожить общественную совѣсть до тѣхъ поръ, пока образованные классы, держащіе въ своихъ рукахъ общественный и умственный капиталъ націи, не будутъ перевоспитаны новыми идеями и не посвятятъ всѣ свои силы на то, чтобы осуществить теоретическое рѣшеніе въ дѣйствительной жизни. Это перевоспитаніе пойдетъ конечно чрезвычайно медленно, потому что люди, наслаждающіеся сытостью и искусствомъ, не только не питаютъ ни малѣйшей нѣжности къ рѣшенію общественной задачи, но даже, напротивъ того, видятъ въ каждой изъ подобныхъ новыхъ идей явное и дерзкое посягательство на ихъ благосостояніе, то есть на ихъ сытость и на ихъ законныя и нормальныя эстетическія наслажденія. Но успѣхъ новыхъ идей въ значительной степени ускорится тѣмъ обстоятельствомъ, что въ ряды образованнаго общества постоянно прибываютъ изъ низшихъ слоевъ такіе люди, которые, проводя свою молодость безъ сытости и безъ нормальныхъ и законныхъ эстетическихъ наслажденій, встрѣчаютъ новыя идеи съ пылкимъ, дѣятельнымъ и совершенно сознательнымъ сочувствіемъ. Спрашивается теперь: что-же должны дѣлать тѣ люди, которые берутся быть руководителями общественнаго самосознанія? Этотъ вопросъ распадается на три вопроса:

- 1) Что должны они дѣлать, если теоретическое рѣшеніе еще не найдено?
- 2) Что должны они дѣлать, если теоретическое рѣшеніе уже найдено?
- 3) Что должны они будутъ дѣлать, когда теоретическое рѣшеніе будетъ осуществлено?

Отвѣтъ на первый вопросъ.—Всѣми си-

лами искать теоретическаго рѣшенія и всѣми силами побуждать другихъ людей къ тому-же самому исканію, то есть изображать яркими красками страданія голоднаго большинства, вдумываться въ причины этихъ страданій, постоянно обращать вниманіе общества на экономическіе и общественные вопросы и систематически отрицать и осмѣивать все, что отвлекаетъ умственные силы образованныхъ людей отъ главной задачи. Если въ числѣ отвлекающихъ предметовъ оказывается все искусство вообще или нѣкоторыя его отрасли, то, разумѣется, оно подлежитъ этому систематическому отрицанію и осмѣиванію. Если-же умные и честные поэты своими трудами сосредоточиваютъ вниманіе общества на главной задачѣ, то, разумѣется, такихъ поэтовъ надо встрѣчать съ распростертыми объятіями, какъ драгоценныхъ и полезнѣйшихъ союзниковъ. Но читателямъ своимъ подобные поэты не доставятъ ничего, кромѣ неотразимо-мучительныхъ ощущений, которыя окажутся очень плодотворными, но которыя не совсѣмъ справедливо называть эстетическими наслажденіями. Неужели мы дѣйствительно наслаждаемся, когда чувствуемъ у себя на лбу капли холоднаго пота, когда у насъ на щекахъ горитъ яркій румянецъ стыда, или когда мы съ безсильнымъ скрежетомъ зубовъ оплакиваемъ кровавыми слезами нашу собственную дрянность, глупость и безхарактерность?

Отвѣтъ на второй вопросъ.—Постоянно разъяснять обществу съ разныхъ сторонъ и во всѣхъ подробностяхъ основныя начала разумной экономической и общественной доктрины, знакомить его такимъ образомъ съ найденнымъ теоретическимъ рѣшеніемъ и при этомъ всѣми возможными средствами усиливать притокъ новыхъ людей изъ низшихъ классовъ въ образованное общество; другими словами, надо вербовать агентовъ найденнаго разумаго ученія, и надо увеличивать массу мыслящаго пролетаріата. Роль поэзіи должна въ это время состоять, съ одной стороны, въ яркомъ изображеніи невыносимыхъ неудобствъ существующаго экономическаго хаоса, а съ другой стороны — въ такомъ-же яркомъ рисованіи того блестящаго будущаго, которое приведетъ за собою найденная разумная организація. Остальныя отрасли искусства, продолжающія развлекать общество пустыми забавами, подлежатъ попрежнему самому строгому осужденію.

Отвѣтъ на третій вопросъ въ наше время невозможенъ и не имѣетъ для насъ ни малѣйшаго интереса, потому что этотъ *третій вопросъ* получить практическое значеніе не для насъ, а развѣ только для нашихъ внуковъ и правнуковъ, которые конечно будутъ гораздо умнѣе насъ и слѣдовательно не пойдутъ искать себѣ совѣтовъ въ нашихъ забытыхъ и истлѣ-

шихъ статьяхъ, романахъ и ученыхъ изслѣдованіяхъ.

Теперь вы вѣроятно видите, въ чемъ состоитъ капитальная глупость Антоновича. Онъ перескакиваетъ черезъ первый и черезъ второй вопросы, которые одни только могутъ имѣть для насъ практическое значеніе, — прямо къ третьему вопросу, который будетъ рѣшаться лѣтъ черезъ полтора-два послѣ нашей смерти. Онъ съ пріятной улыбкой разсуждаетъ о томъ, что надо будетъ предпринимать *послѣ того*, какъ голодные люди будутъ накормлены и всѣ вообще обезпечены. Подобныя разсужденія, разумѣется, позволительны только десятилѣтней сердобольной дѣвчкѣ, которая знаетъ, что ее мамаша очень богата, а папаша еще богаче, и что если только папаша съ мамашей захотятъ, то сію минуту могутъ всѣхъ вообще голодныхъ и неголодныхъ накормить конфетами, обезпечить изюмомъ и взять съ собою въ театръ, гдѣ дается прелестнѣйшая волшебная оперетка. Если бы Антоновичъ въ своемъ пониманіи общественныхъ вопросовъ стоялъ хоть немного выше десятилѣтней невинности, то для него была-бы ясна, какъ день, та простѣйшая истина, что для публициста, имѣющаго въ виду интересы большинства, возможенъ въ настоящее время только одинъ вопросъ, поглощающій всѣ остальные: *какъ накормить голодныхъ людей? какъ обезпечить всѣхъ вообще?*—А Антоновичъ эти вопросы почислилъ рѣшенными, всѣхъ накормилъ, всѣхъ осчастливилъ, всѣхъ обезпечилъ, и боится только того, что мои грубыя, антиэстетическія статьи помѣшаютъ благодѣтельному человечеству наслаждаться чудесами искусства. Я не буду спрашивать у Антоновича, былъ-ли онъ въ своемъ умѣ, когда писалъ свое уморительное разсужденіе? Это видно, что онъ былъ въ *своемъ* умѣ; оттого-то именно онъ и произвелъ на свѣтъ такую неправдоподобную пошлость. Il n'en fait jamais d'autres.

XII.

«Вашъ отвѣтъ, — говоритъ мнѣ Антоновичъ, — не имѣетъ опредѣленнаго смысла, а просто есть фраза, сказанная наобумъ. Ужели въ самомъ дѣлѣ отъ того мало производится хлѣба, что много рукъ занято производствомъ предметовъ искусства?»—Такъ какъ я въ своемъ возраженіи упомянулъ только о *рабочихъ рукахъ*, то Антоновичу все дѣло представляется въ томъ видѣ, что я желаю всевозможныхъ художниковъ пристроить къ сохѣ. Если мы предположимъ, что въ Россіи тысячъ двадцать различныхъ художниковъ, и если мы всѣхъ этихъ художниковъ превратимъ въ хлѣбопашцевъ, то, разумѣется, приращеніе въ общемъ итогѣ добываемаго хлѣба будетъ совершенно нечувствительно. Антоновичъ силами собственнаго своего

ума никакъ не можетъ сообразить, что, кромѣ *рабочихъ рукъ*, на развитіе производства имѣютъ еще самое значительное вліяніе *рабочіе мозги*. Присоедините къ общей массѣ производителей въ такой обширной странѣ, какъ Россія, сорокъ тысячъ рабочихъ рукъ, и вы не получите никакого замѣтнаго улучшенія въ матеріальномъ и умственномъ существованіи большинства; но пристройте къ полезному дѣлу двадцать тысячъ мозговъ, — и улучшеніе получится очень значительное. Кто-жъ вамъ велитъ превращать художниковъ и любителей искусства въ простыхъ земледѣльцевъ? Во-первыхъ это превращеніе невозможно, потому что люди, привыкшіе къ нѣкоторымъ удобствамъ жизни и совершенно незнакомые съ чисто-физическимъ трудомъ, ни за что не пойдутъ въ хлѣбопашцы. Во-вторыхъ, это превращеніе вовсе не желательно, потому что отъ своихъ образованныхъ членовъ общество должно требовать не механическаго, а умственного труда. Общество нуждается въ машинистахъ, въ химикахъ, въ учителяхъ, въ профессорахъ, въ публицистахъ, въ переводчикахъ. Замѣчательный профессоръ, никогда въ жизни неприкоснувшійся къ сохѣ, обогащаетъ однако свое отечество цѣлыми тысячами четвертей хлѣба, потому что своимъ вліяніемъ возбуждаетъ и поддерживаетъ любовь къ честному и полезному труду во многихъ сотняхъ своихъ молодыхъ слушателей. Безполезныя отрасли искусства подрываютъ не чисто-физическій трудъ, обращенный на добываніе пищи, а тотъ умственный трудъ, который могъ-бы и долженъ былъ-бы дѣйствовать оплодотворяющимъ образомъ на развитіе производства. Кромѣ того безполезныя отрасли искусства вредны тѣмъ, что они дѣлаютъ праздность свосной и пріятной для такихъ людей, для которыхъ голая праздность и грубая роскошь, необлагороженная печатью изящества, превратились — бы очень скоро въ невыносимое мученіе. «Вообразите себѣ, — говоритъ Антоновичъ — что человѣкъ, наслаждающійся произведеніемъ искусства, самъ для себя производитъ искусство и самъ-же для себя производитъ хлѣбъ и такимъ образомъ не заѣдаетъ чужого хлѣба; земледѣлецъ въ свободное время сдѣлалъ себѣ сопѣлку, балалайку или скрипку и извлекаетъ изъ нихъ эстетическія наслажденія для себя и для своихъ знакомыхъ. Позорно или нѣтъ это наслажденіе? слѣдуетъ-ли уничтожить это искусство или нѣтъ? и наконецъ примѣняется-ли къ этому случаю ваше разсужденіе и не сильно-ли оно компрометируетъ вашу мыслительную способность?» — Охота вамъ, г. Антоновичъ, говорить такія безполезности! Мы съ вами для кого пишемъ: для земледѣльцевъ, сдѣлавшихъ себѣ сопѣлку, или для джентльменовъ, абонированныхъ въ итальянской оперѣ и выписывающихъ себѣ на чужія деньги ты-

сячные рояли? Если вы признаете законность сопѣлки, сдѣланной въ свободное время самимъ меломаномъ, то вы и должны стараться о томъ, чтобы привести вашихъ читателей къ этой сопѣлкѣ, которая конечно безобиднѣе тысячныхъ роялей, купленныхъ на чужія деньги. Но такъ какъ съ эстетической точки зрѣнія сопѣлка стоитъ ниже рояля и оперы, то есть, ублажаетъ слухъ меломана менѣе пріятными и разнообразными звуками и аккордами, то вы должны непременно замѣнить эстетическую точку зрѣнія экономической, если только желаете дѣйствительно поворотить вашихъ читателей къ той сопѣлкѣ, которой неприкосновенность вы стараетесь отстоять. Кромѣ того я вамъ замѣчу, что вы совершенно напрасно считаете вашу сопѣлку вполне неприкосновенной. Вы говорите, что земледѣлецъ сдѣлалъ ее въ свободное время и извлекаетъ изъ нея эстетическія наслажденія также въ свободное время. Употребляя свое свободное время на сопѣлку, земледѣлецъ конечно не заѣдаетъ чужого хлѣба, но зато отъ несомнѣнно отнимаетъ у самого себя нѣкоторыя матеріальныя удобства и нѣкоторыя высшія и особенно плодотворныя умственныя наслажденія. Предположите, что одинъ земледѣлецъ гудитъ въ свою сопѣлку, а другой въ это самое время учится грамотѣ, а третій, выучившись грамотѣ, учить ей своихъ дѣтей, а четвертый, также выучившись грамотѣ, читаетъ популярный трактатъ о болѣзняхъ лошадей и рогатаго скота, а пятый, также выучившись грамотѣ, читаетъ газеты. Кто изъ этихъ земледѣльцевъ употребляетъ свое свободное время болѣе разумнымъ и полезнымъ для себя образомъ: первый-ли, предающійся своей сопѣлкѣ, или остальные четверо, превращающіе понемногу себя и своихъ дѣтей въ мыслящихъ членовъ цивилизованнаго общества? И о чемъ долженъ заботиться настоящій другъ народа: о томъ-ли, чтобы распространять между земледѣльцами вкусъ къ сопѣлкамъ, или о томъ, чтобы распространять между ними охоту къ чтенію книгъ и газетъ? Вы мнѣ скажете, что лучше сопѣлка, чѣмъ «Московскія Вѣдомости». О, разумѣется! Но я говорю вамъ не о одурныхъ книгахъ и газетахъ, а о хорошихъ. Вы мнѣ скажете далѣе, что лучше сопѣлка, чѣмъ кабакъ. Я опять-таки скажу вамъ: разумѣется! но я доказываю вамъ совсѣмъ не то, что нѣтъ на свѣтѣ ничего хуже сопѣлки, а только то, что есть очень много вещей лучше ея, и что если она отвлекаетъ человѣка отъ этихъ лучшихъ вещей, то становится очевиднымъ зломъ. Вы мнѣ скажете наконецъ, что чтеніе — не отдыхъ, потому что все-таки требуетъ нѣкотораго напряженія умственныхъ способностей. Для насъ съ вами, отвѣчу я, чтеніе дѣйствительно не отдыхъ, потому что мы съ вами чувствуемъ потребность отдохнуть именно отъ слишкомъ продолжитель-

людямъ пришлось-бы на старости лѣтъ умирать съ голоду; а еслибы сближеніе половъ производилось не по взаимному согласію, безъ любви, такъ, какъ оно производится въ Азіи, то зависящее и униженное положеніе женщины повело-бы за собою общій застой умственной жизни, который непремѣнно отразился-бы самымъ невыгоднымъ образомъ на всей экономической дѣятельности. Весь мой аскетизмъ сводится къ тому, что я говорилъ и говорю до сихъ поръ, что ни мужчина, ни женщина не должны видѣть въ любви главную цѣль и единственный смыслъ своего существованія. Это говорилъ до меня Бѣлинскій; это повторялъ Чернышевскій, и противъ этого не спорить уже теперь никто, кромѣ отъявленныхъ пошляковъ.

Кстати о пошлякахъ: чтобы покончить съ моимъ остроумнымъ и добросовѣстнымъ противникомъ, я отвѣчу еще на два его обвиненія. *Первое.* Онъ говоритъ, что я ложно обвиняю его въ наклонности къ теоріи искусства для искусства. Чтобы доказать ложность моего обвиненія, онъ выписываетъ изъ своей статьи «Современная эстетическая теорія» цѣлыя три страницы разныхъ либерально-добродѣтельныхъ лоскутковъ. На всѣ эти выписки я отвѣчу слѣдующей цитатой, взятой изъ той-же статьи: «Итакъ, первая задача искусства есть воспроизведеніе дѣйствительности съ цѣлью эстетическаго наслажденія ею, а вторая—уясненіе воспроизводимой дѣйствительности; съ этой второй задачей тѣсно связана и третья, по которой искусство можетъ возвышаться до роли критика и судьи воспроизводимыхъ имъ явленій». Весь вопросъ въ томъ, признаетъ-ли Антоновичъ самостоятельное существованіе первой задачи законнымъ и похвальнымъ, или нѣтъ? Если признаетъ—онъ сходится вполне съ филистерами; если не признаетъ—онъ сходится съ нѣкоторыми горячими и несправедливыми отрицателями искусства. Но такъ какъ съ одной стороны онъ самъ громко и рѣшительно заявилъ нѣкоторымъ свое неодобреніе;

и такъ какъ съ другой стороны филистерство въ лицѣ Н. Соловьева и другихъ, уже печатно выразило ему свою признательность, то ему уже не помогутъ никакія выписки. — *Второе.* Антоновичъ говоритъ, что я навязалъ ему противурѣчіе съ составителемъ «Внутр. Обзоръ» въ «Современникѣ», и что составитель смѣется не надъ искусствомъ, а надъ какими-то неразумными господами. Это неправда. Г. составитель прямо противопоставляетъ *высокимъ наслажденіямъ души*, надъ которыми онъ смѣется, радости нигилиста, мечтающаго объ устройствѣ общества женскаго труда, радости, которымъ г. составитель вполне сочувствуетъ.

Теперь пора кончить. Я опровергнулъ съ перваго до послѣдняго, всѣ аргументы Антоновича и доказалъ ложность всѣхъ фактовъ, на которыхъ онъ основываетъ свои обвиненія противъ *козловъ реализма*. Антоновичъ по всей вѣроятности не уймется и въ слѣдующихъ книжкахъ «Современника», пустить въ ходъ новыя выдумки и новыя нелѣпости, за которыя «Петербургскія Вѣдомости», привѣтствовавшія его по поводу «Лжереалистовъ», снова провозгласятъ его побѣдителемъ надъ софизмами Писарева. Какъ-бы то ни было, раскисаетъ-ли Антоновичъ въ своихъ импровизаціяхъ или-же окончательно упрочить въ «Современникѣ» господство систематической лжи и филистерской тупости, во всякомъ случаѣ читатели нашего журнала могутъ быть спокойны. Я не намѣренъ превращать критическій отдѣлъ «Русск. Слова» въ изслѣдованіе о печальныхъ порокахъ Антоновича. Отвѣтить ему *одинъ разъ* было необходимо, чтобы показать публикѣ размѣры его недобросовѣстности и непонятливости. Не отвѣчать *всякій разъ* было-бы недобросовѣстно въ отношеніи къ читателямъ. Поэтому я обѣщаю имъ не говорить печатно съ Антоновичемъ ни одного слова втеченіи цѣлаго года. По прошествіи-же года я снова опровергну всѣ клеветы, которыя успѣетъ въ это время сочинить противъ меня мой противникъ.

ПОДРОСТАЮЩАЯ ГУМАННОСТЬ.

(Сельскія картины.)

I.

Последнее десятилетіе нашей литературы было посвящено акклиматизированію европейскаго либерализма на обширныхъ и холодныхъ равнинахъ Россіи или, другими словами, прививанію гражданскихъ доблестей и гуманныхъ идей къ дѣйственнымъ умамъ и сердцамъ нашихъ возлюбленныхъ соотечественниковъ. Успѣхъ гуманизирующихъ операций превзошелъ самыя смѣлыя ожиданія. Во всѣхъ нашихъ городахъ и почти во всѣхъ нашихъ селахъ уже томятся, изнываютъ, лепечутъ, граціозничаютъ и миндальничаютъ тысячи тщедушныхъ субъектовъ, въ которыхъ всѣ почтенные европейскіе либералы, отъ графа Росселя до Юліана Шмидта, будутъ принуждены узнать своихъ младшихъ братьевъ, еще робкихъ и неопытныхъ, но уже способныхъ выводить тоненькимъ дискантомъ нѣкоторыя модуляціи общелиберальнаго мяуканья. Теперешняя робость и неопытность нашихъ подрастающихъ либеральчиковъ не должны внушать ни малѣйшихъ опасеній за будущее процвѣтаніе російскаго либерализма. Роль либерала такъ многосложна, трудъ его такъ утомителенъ, путь его усѣянъ сплошь такими крупными и острыми терніями, что въ одно десятилетіе нѣтъ никакой возможности усвоить себѣ ту невозмутимую ясность воровъ и ту безукоризненную солидность поведения, которыми непременно долженъ отличаться опытный либералъ, созрѣвшій въ великой школѣ балансированія, мистификаторства и самоувереннаго переливанія изъ пустого въ порожнее. — Главная обязанность либерала состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, чтобы всѣмъ выраженіемъ своей фізіономіи, всѣми своими словами и всѣмъ внѣшнимъ видомъ своихъ поступковъ заявлять постоянно и ежеминутно свою пламенную и безграничную преданность великимъ идеямъ и интересамъ, которые возбуждаютъ въ немъ почти такіа-же чувства, какія персидская ромашка возбуждаетъ въ клопѣ. Всѣ усилія либерала должны постоянно направляться къ тому, чтобы всѣ его поступки противорѣчили всѣмъ его словамъ, и чтобы это противорѣчіе оставалось постоянно совершенно незамѣтнымъ для той безхитростной сермяжной публики, которую слѣдуетъ ублажать и растрогивать либеральными представленіями.

Если-же противорѣчіе сдѣлается чрезчуръ очевиднымъ, то либералъ долженъ тотчасъ объяснить съ надлежащей торжественностью, что уваженіе его къ великимъ принципамъ остается неизмѣннымъ, но что обстоятельства мѣста и времени, къ сожалѣнію, требуютъ себѣ довольно значительныхъ уступокъ, изъ которыхъ однакоже для всей почтенной публики не произойдетъ ничего, кромѣ существенной пользы и великаго удовольствія. Либералъ долженъ постоянно стремиться и порываться впередъ, не двигаясь съ мѣста и тщательно удерживая другихъ людей отъ всего того, что становится похожимъ на дѣйствительное движеніе. Кто изъ либераловъ поумнѣе, тотъ продѣлываетъ всѣ эти артикулы совершенно сознательно, зная очень хорошо, кого онъ надуетъ. Кто попроще, — и такихъ несравненно больше, — тотъ либеральничаетъ чистосердечно, не замѣчая въ своей особѣ и въ своей доктринѣ никакихъ внутреннихъ противорѣчій, разсуждая по наслышкѣ, поступая по привычкѣ и съ дѣтской безпечностью глядя на то, что слова и поступки взаимно уничтожаютъ другъ друга, и что знамя великихъ идей водружается надъ кучей сора.

Можете-ли вы себѣ вообразить смиренную корову, украшенную хорошимъ кавалерійскимъ сѣдломъ? — Я полагаю, что эта корова представила-бы намъ зрѣлище довольно комическое, но въ то-же время и печальное; затынувшая подпруга сильно угнетала-бы ея коровью натуру и приводила-бы ее въ такое крайнее смущеніе, которое конечно выражалось-бы во всей ея огорченной наружности; глядя на такую обиженную корову, каждый добродушный человѣкъ долженъ былъ-бы сжалиться надъ ея несчастіемъ и снять съ ея спины совершенно несвойственное ей украшеніе. Но представьте себѣ, для усиленія комизма и для уничтоженія плачевности, что въ сѣдланную корову вселится бѣсъ гордости и самодовольства; представьте себѣ, что она, жестоко перетянутая подпругой, желаетъ изумить и очаровать васъ тонкостью своей коровьей талии и легкостью своей коровьей походки; представьте себѣ, что она подражаетъ манерамъ кровнаго англійскаго скакуна, старается принять молодцоватый видъ и бравурную осанку, раздуваетъ ноздри, поднимаетъ хвостъ коломъ и пробуетъ пуститься съ

не радъ, и во всемъ его поведеніи нѣтъ ничего кромѣ условныхъ знаковъ радости, изображаемой неизвѣстно для чего. Еслибы на мѣстѣ Рязанова былъ другой Щетининъ, то, услышавъ извѣстіе о причинѣ путаницы и зная навѣрное ложность этого показанія, этотъ другой Щетининъ все-таки счелъ-бы своей обязанностью прижать чувствительнаго друга къ груди своей или по крайней мѣрѣ крѣпко стиснуть его руку и взглянуть на него сладостными глазами. Но Рязановъ, какъ безчувственный скотъ, только ворочается на диванѣ, и на просьбу друга извинить его радостное замѣшательство отвѣчаетъ спокойно. «Ничего. Это даже хорошо, что ты путаешься». — То есть: галопируй, корова, на тебя смотришь забавно. — Можно сказать навѣрное, что въ эту минуту въ душѣ радующагося Щетинина проползло что-то похожее на ненависть къ тому другу, который посмотрѣлъ съ такимъ убійственнымъ спокойствіемъ на разсыпанные перлы его поддѣльных чувствъ. Онъ задумался, потомъ, сказавши нѣсколько загадочныхъ плоскостей, началъ ходить по комнатѣ и наконецъ пустилъ новую демонстрацію нѣжности: «нѣтъ, вѣдь я тебѣ радъ, очень радъ!», точно будто-бы ему приходилось отвѣчать внутреннему голосу, который говорилъ ему: ты совсѣмъ не радъ. Но чтобы перлы дружескіе не остались не подобранными и на этотъ разъ, Щетининъ торопится насильно всунуть ихъ въ руки Рязанова. Производится крѣпкое пожатіе рязановской руки, и Щетининъ становится спокойнѣе, потому что такимъ образомъ нѣжная демонстрація получаетъ по крайней мѣрѣ вишній видъ приличной обоюдности.

III.

Если Щетининъ очень милъ, когда разсуждаетъ о пріятностяхъ погоды и дружелюбія, то безъ сомнѣнія онъ становится вдесятеро милѣе, когда заводитъ рѣчь о предметахъ возвышенныхъ и мудреныхъ. Рязановъ спрашиваетъ у него мимоходомъ: «а дѣти есть у тебя?» Вопросъ, кажется, очень невинный, но Щетининъ находитъ удобнымъ распространиться по этому поводу насчетъ родительскихъ обязанностей. Оказывается, что обзаводиться дѣтьми позволительно только тогда, когда для нихъ кое-что заготовлено. Рязановъ этого мнѣнія нисколько не оспариваетъ и спрашиваетъ очень добродушно: «успѣшно-ли идетъ заготовка?» Щетининъ, чувствуя въ присутствіи Рязанова хроническое смущеніе, сначала замѣчаетъ, что вѣлья не копить, а вслѣдъ затѣмъ начинаетъ въ чемъ-то оправдываться: «понимаю, понимаю, — говоритъ онъ; — да только вовсе я не такой человекъ, какъ ты думаешь». — Хотя Рязановъ ни однимъ своимъ словомъ не выразилъ того, что считаетъ Щетинина за какого-то особеннаго

человѣка, однако онъ ему не противорѣчитъ и даже изъясняетъ полное согласіе выслушать отъ самого Щетинина, какой-же онъ именно человекъ. Щетининъ приступаетъ къ дѣлу очень храбро. «А вотъ я какой человекъ... Я члавѣкъ...» Но тѣмъ все объясненіе и кончается. «Да нѣтъ, — продолжаетъ Щетининъ гордо скромнѣе, — я не могу о себѣ говорить. Чортъ знаетъ, я какъ-то не умѣю.» Рязановъ молчитъ. Тогда Щетининъ вызывается разсказать ему, что онъ дѣлалъ въ деревнѣ. Рязановъ на все согласенъ. Разсказъ оказывается очень несложнымъ. Все дѣло въ томъ, что Щетининъ подарилъ крестьянамъ землю, которой они владѣли, а крестьяне, подозрѣвая въ этомъ подвигѣ братолюбия какую-нибудь военную хитрость, не хотѣли брать подарокъ, но потомъ, склонившись на увѣщанія посредника, взяли землю и подписали уставную грамоту. Слушая этотъ трогательный разсказъ, Рязановъ, по настоящему, долженъ былъ-бы умилиться надъ безкорыстіемъ и великодушіемъ своего либеральнаго друга. Но Рязановъ, въ удивленію чувствительнаго читателя, выслушалъ все повѣствованіе съ невозмутимымъ равнокроемъ и потомъ произнесъ слѣдующія убійственныя слова. «Ну, такимъ манеромъ, стало быть, ты совершилъ въ предѣлѣхъ земномъ все земное?» — Я называю эти слова убійственными, потому что въ нихъ заключается для Щетинина и для всѣхъ подобныхъ ему, осѣдлавшихъ коровъ вообще, страшная правда. Самое лучшее, что могутъ сдѣлать эти люди, имѣть чисто отрицательное значеніе и состоять въ томъ, что они отказываются отъ права парализировать чужую дѣятельность и отравлять лишніе заботами чужое существованіе. Отнявши у себя возможность вредить другимъ или по крайней мѣрѣ ослабивъ эту возможность, эти люди дѣйствительно могутъ умереть совершенно спокойно, не огорчая и не волнуя себя той мучительной мыслью, что они оставляютъ на землѣ какое-нибудь недовершенное дѣло, и что жить имъ еще нужна ихъ согражданамъ, и что смерть ихъ причинитъ обществу какой-нибудь, хотя-бы даже микроскопическій убытокъ. Обезпечивъ за своими крестьянами средства питаться, при самомъ напряженномъ трудѣ, чернымъ хлѣбомъ, лукомъ и квасомъ, Щетининъ дѣйствительно совершилъ въ предѣлѣхъ земномъ все земное. Но, къ счастью для самого себя, Щетининъ неспособенъ понять, какое глубокое значеніе заключается въ словахъ Рязанова; вслѣдствіе этого Щетининъ принимаетъ эти слова за одну изъ обыкновенныхъ шутливыхъ выходокъ Рязанова и отвѣчаетъ очень весело: «Какое? Нѣтъ, братъ, это еще только начало». — Рязановъ съ очень естественной недоувѣрчивостью спрашиваетъ: «а еще-то что-же?» — потому что дѣйствительно что-же еще можетъ сдѣлать Щетининъ, когда земля уже подарена? — Оказывается, что *тунд-*

то вот и начинается настоящее дѣло,— и притомъ, какое дѣло!—«Соціальное, любезный другъ, соціальное».—Услышавъ отъ своего либеральнаго друга такое мудреное слово, Рязановъ уже прямо начинаетъ надъ нимъ смѣяться, такъ точно, какъ засмѣялся-бы надъ Хлестаковымъ обитатель Петербурга, которому случилось-бы присутствовать при разсказѣ о балахъ и обѣдахъ испанскаго посланника.—«Ничего я противузаконнаго не затѣваю,— продолжаетъ Щетининъ,—никакихъ теорій не провожу, я дѣлаю только то, что всякій изъ насъ обязанъ дѣлать.»—Приступъ очень недуренъ. Во-первыхъ, выражено полное уваженіе къ закону; во-вторыхъ, заявлено столь-же полное довѣріе къ неосновательнымъ теоріямъ; въ-третьихъ, обнаружено сознание гражданскихъ обязанностей, лежащихъ на каждомъ изъ насъ. Словомъ, все было-бы превосходно, еслибы только Щетининъ сдумѣлъ повести эту рѣчь дальше, приставляя одинъ округленный періодъ къ другому и тщательно наблюдая за тѣмъ, чтобы во-всѣхъ этихъ періодахъ не выразилось ни одной, сколько-нибудь опредѣленной, идеи. Но я уже замѣтилъ въ самомъ началѣ этой статьи, что въ одно десятилѣтіе невозможно сформировать такихъ либераловъ, которые были-бы посвящены во всѣ тайны европейскаго шарлатанства. Кромѣ того надо принять въ соображеніе, что Рязановъ—не такая публика, передъ которой было-бы особенно удобно излить чувствительныя фразы, не заключающія въ себѣ осязательнаго смысла. Сознывая свое печальное положеніе, Щетининъ умолкаетъ и съ горя начинаетъ царапать клеенку на диванѣ,—чего никогда не дѣлалъ покойникъ Пальмерстонъ и чего не дѣлаютъ въ настоящее время ни Россель, ни Гладстонъ, когда имъ приходится говорить публично о красотахъ англійской конституціи и о непогрѣномъ благосостояніи англійскаго пролетарія.—Хотя Щетинину еще далеко до великихъ западныхъ образцовъ, однако же и онъ не сразу признаетъ себя побѣжденнымъ, и дѣлаетъ еще нѣсколько попытокъ озадачить Рязанова балами и обѣдами испанскаго посланника. «Прежде всего,—говоритъ онъ,—ты долженъ согласиться съ тѣмъ, что всякое общественное дѣло тогда только можетъ быть прочно, когда оно основано на чисто-народныхъ началахъ.»—Рязановъ, по добротѣ души своей, соглашается безпрекословно. «Пока народъ не подастъ своего голоса,—продолжаетъ Щетининъ,—пока онъ молчитъ и только слушаетъ,—никакая пропаганда не поведетъ ни къ чему.»—Такъ какъ Рязановъ никогда не предлагалъ Щетинину сдѣлаться миссіонеромъ какой-бы то ни было, умной или глупой, идеи, то, сохраняя строго-выжидательное положеніе, Рязановъ спрашиваетъ только: «ну, такъ что-жъ?»—Эта сдержанность Рязанова окончательно губитъ его

либеральнаго собесѣдника. Вздумай Рязановъ возражать, Щетининъ тотчасъ воспрянулъ-бы, и безконечная трескотня словъ благополучно устранила-бы вопросъ о томъ, чѣмъ занимался юный землевладѣлецъ въ деревнѣ, и можетъ-ли онъ вообще совершить въ предѣлѣхъ земномъ еще хоть что-нибудь путное. Но Рязановъ только соглашается и ждетъ; поэтому Щетининъ принужденъ приступить къ дѣлу, котораго, къ сожалѣнію, не оказывается въ наличности. «А то,—говоритъ онъ,—что слѣдовательно мы должны всѣ наши силы направить на то?»... Но на что именно господа Щетинины должны направить всѣ свои силы, и какія такія силы у нихъ имѣются—этого мы конечно не узнаемъ никогда, потому что этого не знаетъ и самъ ораторъ, который, въ своемъ отчаяніи, прерываетъ свою возвышенную рѣчь самой неуклюжей диверсіей, совершенно равносильной смиренной мольбѣ о пощаду. «Да ты можетъ-быть спать хочешь?» спрашиваетъ Щетининъ, рѣшительно не зная, на какое *то* должны быть направлены всѣ силы господъ Щетининыхъ. Рязановъ конечно достаточно насмотрѣлся въ Петербургѣ на милыхъ людей, царапающихъ клеенку и направляющихъ на какое-нибудь непонятное и неизвѣстное имъ *то* всѣ свои несуществующія силы. Потому онъ отпускаетъ щетининскую душу на покаяніе и произноситъ великодушно: «да, братъ, хочу».—Щетининъ оправляется и придаетъ своему отступленію приличный видъ, выражая надежду, что они еще успѣютъ обо всемъ переговорить.—Рязанову въ скоромъ времени удалось познакомиться довольно близко съ щетининскими *мы* и съ *нашими силами*, которыя всѣ должны быть направлены на *то*.

Дѣйствіе происходитъ въ городѣ, въ бывшемъ дворянскомъ, а нынѣ *соединенномъ* клубѣ всѣхъ сословій, во время мирового съѣзда, заступающаго въ одной изъ комнатъ того-же клуба.

Картина первая: *Наши силы* направляются.

«—Какъ поживаете? говорилъ Щетининъ, раскланиваясь съ другимъ, только что вышедшимъ изъ буфета, помѣщикомъ.

—Вотъ какъ видите, отвѣчалъ тотъ.—Закусываемъ. Какъ-же намъ еще поживать? Ха, ха, ха! Вотъ съ Иванъ Павлычемъ ужъ по третьей прошлись! Да, чортъ, ихъ не дожدهмся, говорилъ онъ, указывая на посредниковъ.—Господа, что-же это такое наконецъ? Скоро-ли вы опростаетесь! Въ буфетѣ всю водку выпили, ужъ за хересь принялись.

—Да велите накрывать, заговорили другіе.

—Столь нуженъ.

—Господа, тащите ихъ отъ стола!

—Эй, человекъ, подай, братецъ, ведро воды, мы ихъ водой разольемъ. Одно средство.

—Ха, ха, ха!

—Нѣтъ, серьезно, господа. Ну, что это за гадость! Всѣ ѣсть хотѣтъ. Кого вы хотите удивить?

—Что тутъ еще разговаривать съ ними! Господа, вставайте! Засѣданіе кончилось. Дѣла къ чорту! Гоните мужиковъ! Эй, вы, пошли вонъ!

Такимъ образомъ кончилось засѣданіе. Посредники, съ озабоченными и утомленными лицами, складывали дѣла, снимали цѣпи, потягивались и уходили въ буфетъ.»

И послѣ этого есть еще люди, осмѣливающіеся говорить, что у насъ нѣтъ инициативы!

Картина вторая: Наши силы направлены.

«Черезъ часъ послѣ обѣда дворня ходили по комнатамъ, какъ во снѣ; всѣ что-то говорили другъ другу, кричали, пили и требовали все шампанскаго и шампанскаго... Въ одной комнатѣ хоромъ пѣли какую-то пѣсню, но потомъ образовалось два хора, такъ что ужъ никто ничего не могъ разобратъ, никто никого не слушалъ...»

— Кубокъ яитарный...

— Чтобы солнцемъ не некло...

— Полонъ давно...

— Чтобы сало не текло...

— Господа, это подлость!... Ура-а! Шампанскаго!... Пей, пей, пей!... Позвольте вамъ сказать.. Чтобы солнцемъ.. Поди къ чорту... Ура! Шампанскаго!...

— Во-о-о-о-о! вдругъ заоралъ кто-то отчаяннымъ голосомъ.

Въ другой комнатѣ сидѣлъ судья на креслѣ, а прочіе стояли. Судья произносилъ какія-то слова, а хоръ повторялъ ихъ. Два посредника держали подъ руки купца Стратонова и заставляли его кланяться судѣ. Купецъ кланялся въ ноги и просилъ ручку. Судья накрывалъ его полою своего сюртука и произносилъ какія-то слова; хоръ подхватывалъ; третій посредникъ махалъ цѣпью.

Щетининъ съ Рязановымъ вышли на крыльцо. Смеркалось. У воротъ клуба ихъ уже дожидался запряженный тарантасъ. На дворѣ видно было, какъ одинъ помѣщикъ стоялъ упершись въ стѣну лбомъ и мучительно расплачивался за обѣдъ.»

Тотчасъ послѣ этой панорамы нашихъ силъ Рязановъ имѣлъ неслыханную жестокость напомнить либеральному другу въ самомъ безобидномъ тонѣ о томъ разговорѣ, который остался недоконченнымъ по случаю отхода собесѣдниковъ ко сну.

— «Что ты такое началъ рассказывать, когда я пріѣхалъ помнишь? — про какое-то социальное дѣло, спросилъ Рязановъ своего товарища, когда они выѣхали въ поле.»

Щетининъ могъ-бы очень резонно отвѣтить своему другу, что Римъ не въ одинъ день построился; что необходимо мѣшать пріятное съ полезнымъ; что пѣсни, пропѣтыя хоромъ, принадлежать къ области чистаго искусства, которое, какъ доказалъ Антоновичъ, разгоняетъ мрачныя мысли, ослабляетъ своекорыстные инстинкты и обуздываетъ неестественные порывы; что впрочемъ мы вообще не созрѣли; что наши молодыя силы бродятъ и кипятъ; что свѣтлое вино творится изъ мутнаго броженія; и что вслѣдствіе этого даже тотъ господинъ, который мучительно расплачивался за обѣдъ, можетъ еще со временемъ сдѣлаться всякихъ социальныхъ дѣлъ мастеромъ. Словомъ, Щетинину представлялся отличный случай наговорить три короба разныхъ либеральныхъ безсмыслицъ; но неопытность Щетинина была слишкомъ велика, и блестящая панорама на-

шихъ силъ подѣйствовала на него слишкомъ подавляющимъ образомъ. Онъ даже не побоялся барахтаться и на ядовитый вопросъ товарища отвѣтилъ самымъ покорнымъ и безысходнымъ стономъ, въ которомъ слышалось *и пардонъ, и караулъ*: — «Нѣтъ, оставь это, — прошу я тебя: сдѣлай милость, оставь, — отвѣтилъ Щетининъ». Корова начинаетъ прививаться, что сдѣло сильно намозолило ей слезу.

IV.

На другой день послѣ пріѣзда Рязанова къ Щетинину разыгрывается одна изъ самыхъ обыкновенныхъ деревенскихъ сценъ. Мужичья телушка забрела въ барскій дворъ; мужикъ поймалъ и заманилъ на барскій дворъ; мужикъ приходитъ къ Щетинину, проситъ объ ея освобожденіи; Щетининъ требуетъ установленнаго штрафа. Разговоръ между мужикомъ и Щетининымъ происходитъ въ присутствіи Рязанова и Марьи Николаевны. За нѣсколько секундъ до начала этого разговора Щетининъ усердно рисовался передъ Рязановымъ трудностями своей общественной дѣятельности.

«Поживи-ка, братъ, здѣсь, — говорилъ онъ, — да погляди на насъ, чернорабочихъ, какъ мы тутъ съ сырымъ матеріаломъ управляемся». — «Вотъ ты тогда и увидишь, — говорилъ онъ дѣлѣ, — что мы должны, мало того, что помогать имъ, но еще убѣждать и упрашивать, чтобы они намъ позволили имъ-же быть полезными». — Слова Щетинина тотчасъ находятъ себѣ блистательное оправданіе. Кусокъ сырого матеріала вваливается къ нему въ переднюю и становится передъ нимъ на колѣни. Чернорабочій Щетининъ приходитъ въ негодованіе и настоятельно требуетъ отъ мужика, чтобы онъ уважалъ въ себѣ свое человѣческое достоинство. Мужикъ согласенъ уважать, лишь-бы только ему отдали его телушку, не взыскивая съ него штрафа. Щетининъ начинаетъ убѣждать и упрашивать мужика, чтобы онъ ему позволилъ быть полезнымъ сырому матеріалу. — «Ну, слушай! — говоритъ Щетининъ. — Пойми, что мнѣ твоихъ денегъ не нужно; я отъ этого не разбогатею! Я беру съ тебя штрафъ для твоей-же пользы, для того, чтобы ты былъ впередъ осмотрительнѣе, зря не распускалъ-бы скотины. Сами-же вы благодарить будете, что васъ умразуму учать.» Возмущаясь мужичьими колѣнопреклоненіями, какъ поруганіемъ человѣческаго достоинства, Щетининъ въ то-же время самъ требуетъ отъ мужика умственного раболѣпства, гораздо болѣе вреднаго, опаснаго и унижительнаго, чѣмъ всевозможныя колѣнопреклоненія. Въ старину бывали такіе воспитатели, которые заставляли ребенка нюхать розгу и спрашивали у него, чѣмъ пахнетъ? Ребенокъ долженъ былъ отвѣчать: «умомъ».

И, разумеется, ребенок отвечал именно таким образом, потому что знал заранее, чего от него требуют, и чему он может подвергнуться в случае своего нежелания дать формальный ответ, намекающий на спасительные свойства телесного наказания. Щетинин поступает с мужиком точь-в-точь так, как поступали с ребенком старинные воспитатели, которые по крайней мере были совершенно последовательны, то есть ни мало не заботились о человеческом достоинстве и очень благосклонно смотрели на колѣнопреклонения ребенка, желающего изъясненіями покорности избавить себя от приближающейся розги. Въ самом дѣлѣ, съ одной стороны нѣтъ никакой возможности предполагать, что мужикъ убѣдится аргументацией Щетинина; а съ другой стороны не подлежит сомнѣнію, что мужикъ во всемъ будетъ поддакивать Щетинину, чтобы обезоружить его своимъ смиреніемъ. Всѣ слова Щетинина мужикъ только и можетъ понимать въ томъ смыслѣ, что барину желательно видѣть мужицкую покорность, которая должна проявляться не въ цѣлованіи барскихъ ручекъ, а въ скромномъ и почтительномъ выслушиваніи безтолковыхъ барскихъ рѣчей. Мужикъ конечно готовъ принять на себя и эту эпитимію, такъ точно, какъ онъ готовъ былъ валиться въ ногахъ и обливаться слезами. Но мужикъ очевидно долженъ считать себя обманутымъ и обиженнымъ, когда онъ видитъ, что перенесенная эпитимія не вліяется ему ни во что, и что вся его покорность не уменьшаетъ требуемаго штрафа ни на одну полушку. Какъ было два рубля десять копѣекъ, такъ и осталось два рубля десять копѣекъ. А что баринъ заставлялъ его нюхать розги и хвалить ихъ превосходный запахъ — это все составляетъ вторую шкуру, содранную съ вола вопреки здравому смыслу и буквѣ закона. Чего хотѣлъ Щетининъ отъ мужика? Могъ-ли онъ надѣяться на то, что мужикъ пойметъ и прочувствуетъ его разсужденія?

Конечно человеческимъ надеждамъ законъ не писанъ, но еслибы Щетининъ потрудился самъ обдумать смыслъ своихъ словъ, то онъ увидѣлъ-бы немедленно, что, обращаясь съ ними къ мужику, онъ предполагаетъ въ своемъ собесѣдникѣ знаніе такихъ вещей, о которыхъ тотъ не можетъ имѣть никакого понятія. Щетининъ говоритъ мужику: «мнѣ твоихъ денегъ не нужно.» — «Чудесно, думаетъ мужикъ. А мнѣ мои деньги нужны. Значитъ, онѣ при мнѣ и останутся.» — Но тутъ Щетининъ объясняетъ далѣе: «я беру съ тебя штрафъ для твоей-же пользы.» — «Вотъ тебѣ разъ! думаетъ мужикъ. Да какое тебѣ дѣло до моей пользы? И съ какихъ это поръ тебѣ принало охота думать о моей пользѣ? Такъ я тебѣ сейчасъ изъясню и повѣрилъ!» Эти вопросы, въ той или другой

формѣ, непременно должны промелькнуть въ умѣ мужика въ то самое время, когда онъ отвѣчаетъ Щетинину умиленнымъ голосомъ: — «И такъ много довольны, батюшка, Ликсанъ Васильчъ. Благодаримъ покорно!» — И на эти вопросы, очень невыгодные для Щетинина, мужикъ не можетъ найти въ своей головѣ такіе отвѣты, которые могли-бы доказать ему, что Щетинину дѣйствительно есть дѣло до его пользы. Чтобы рѣшить вопросы въ этомъ смыслѣ, мужику надо знать, что въ западной Европѣ происходили обширныя народныя движенія, что надъ этими движеніями принуждены были задуматься высшіе классы общества, что это раздумье породило цѣлыя отрасли литературы, что новыя идеи залетѣли наконецъ въ Петербургъ, что къ этимъ новымъ идеямъ прислушался Ликсанъ Васильчъ, и что вслѣдствіе этого у Ликсана Васильча явилось стремленіе заботиться о мужицкой пользѣ. Ничего этого мужикъ не можетъ знать, и поэтому въ словахъ Щетинина онъ не можетъ видѣть ровно ничего, кромѣ самаго безсовѣстнаго и топорнаго лицемерія, которое онъ, мужикъ, по зависимости своего положенія, обязанъ принимать за чистѣйшее великодушіе. Можно сказать навѣрное, что, выслушавъ медовыя рѣчи Щетинина съ горькимъ заключеніемъ: «подавай 2 р. 10 к.», мужикъ унесетъ съ собою болѣе непріязненное чувство, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда Щетининъ прямо и рѣзко отвѣтилъ-бы ему на первую его просьбу: пошелъ вонъ! носи деньги! — Тутъ дѣло шло-бы на чистоту, и мужикъ не видѣлъ-бы того, что принимаетъ за обманъ и что дѣйствительно должно казаться шарлатанствомъ даже и всякому другому, болѣе развитому и знающему человѣку. Щетининъ говоритъ, что онъ не разбогатѣетъ отъ 2 р. 10 к. Это вѣрно. Онъ дѣйствительно беретъ штрафъ не за тѣмъ, чтобы обогатиться. Штрафы совсѣмъ не для того и установлены, чтобы обогащать людей, потерпѣвшихъ убытокъ отъ поправы. Но и не для того также они установлены и взыскиваются, чтобы приносить пользу мужикамъ, распускающимъ скотину. Штрафы не имѣютъ и не могутъ имѣть никакого педагогическаго значенія. Взыскивая съ мужика деньги, Щетининъ конечно думаетъ про себя: «нѣтъ, братъ, шалишь! Попробуй-ка я дать тебѣ поблажку, такъ вы у меня всѣ поля до чиста вытравите.» — Размышляя такимъ образомъ, Щетининъ опредѣляетъ очень вѣрно цѣль и смыслъ штрафовъ, которые, вмѣстѣ со многими другими видами взысканія, существуютъ единственно для того, чтобы ограждать собственность отъ разныхъ умышленныхъ и неумышленныхъ поврежденій. Люди смѣлые и пензуродованные прививными идеями выражаютъ прямо и откровенно тѣ размышленія, которыя Щетининъ, какъ робкая и безответная жертва либерализма,

старается утаить даже от самого себя, не смотря на то, что всё его дѣйствіе обуславливается именно одними этими размышленіями. Тѣ жалкія плоскости, которыя Щетининъ говорить о мужицкой пользѣ и объ ученіи уму-разуму, конечно никого не обморочатъ, и всего меньше способны обмануть мужика, который, какъ я объяснилъ выше, застрахованъ отъ этого обмана именно своимъ круглымъ невѣжествомъ. Мужикъ своимъ простымъ отвѣтомъ: «и такъ много довольны», опрокидываетъ всю щетининскую галиматью. Дѣйствительно, мужики имѣютъ полное право сказать, что ихъ и такъ ужъ черезчуръ много учили со всѣхъ сторонъ уму-разуму; если это ученіе принесло мало пользы, то это доказываетъ ясно, что всякая дидактическая система несостоятельна, и что по этой системѣ сколько ни учи, все ничему не выучишь. Еслибы существовала какая нибудь возможность развить въ безправномъ человѣкѣ чувство законности посредствомъ взысканій, то мужики наши давнымъ-давно сравнялись-бы въ этомъ отношеніи съ самыми просвѣщенными націями земного шара. Неужто въ самомъ дѣлѣ съ нашихъ мужиковъ до сихъ поръ мало взыскивали? Неужели до сихъ поръ позволяли безнаказанно нарушать ихъ обязанности? Неужели до сихъ поръ всѣ желающіе могли свободно уклоняться отъ платежа подушныхъ податей, отъ несенія рекрутской повинности, отъ барщины, отъ оброка и отъ всякихъ другихъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей? Ничего подобнаго, разумеется, никогда не было и не могло быть. Если-же взысканія всегда были очень строги, если послабленій никакихъ не давалось, то очевидно слабое развитіе чувства законности обуславливается у нашихъ мужиковъ не недостаточностью взысканій, а именно тѣмъ низкимъ уровнемъ нравственнаго развитія, которое составляло общій удѣлъ всѣхъ немущихъ классовъ нашего общества. Значитъ, какіе штрафы ни берите съ мужика, ничего вы въ немъ не разовьете, кромѣ бѣдности и ожесточенія. Въ какомъ направленіи должно дѣйствовать на умъ и чувства мужика денежное взысканіе, это мы видимъ изъ разговора между тѣмъ-же самымъ обладателемъ телушки и щетининскимъ конторщикомъ, Иваномъ Степанычемъ. — «Ну, теперь позвольте, — говоритъ мужикъ, — такъ будемъ говорить: ваша скотина зашла ко мнѣ въ огородъ. — Ну и загоняй ее! — отвѣчаетъ Иванъ Степанычъ. — Загнать недолго, да на что-жъ такъ-то? — Какъ на что? Баринъ штрафъ заплатитъ. — Ну, это тягайся тамъ съ вами еще! А незамай-же, я ей ноги переломая, она лучше ходить не станетъ. — Вотъ ты говори еще! — Право слово, переломая. Что въ самомъ дѣлѣ?»

Видите, куда дѣло-то пошло? Въ мужикѣ начинаютъ шевелиться самыя противоположен-

ныя и воинственныя стремленія, пробужденныя той самой мѣрой, которая, по доктринѣ Щетинина, должна была образумить и гуманизировать грубаго земледѣльца. Переломаетъ онъ ноги барской скотинѣ; изъ этого, разумеется, завяжется дѣло, гораздо болѣе важное, чѣмъ дѣло о потравѣ, и мужика накажутъ строго, какъ буйнаго и дерзкаго человѣка. И либералы, подобные Щетинину, по своей глупости или по своей подлости, будутъ возлагать на это наказаніе разныя розовыя надежды и будутъ говорить разоренному или отодранному мужику, что его разорили или отодрали для его пользы, единственно и исключительно для его собственной пользы. Но добродушный Иванъ Степанычъ смотритъ на дѣло гораздо проще и высказываетъ свои мысли безъ малѣйшей утайки. «То есть, я вамъ скажу, — говоритъ онъ тутъ-же, при мужикѣ, обращаясь къ Рязанову, — тутъ какую нужно дубину!» — Вотъ оно, великое-то слово, рѣшающее задачу! — Такъ или иначе, прямыми или косвенными путями, съ тонкими деликатностями или безъ оныхъ, всѣ сантиментально живые либералы, подобные Щетинину, приходятъ все-таки въ концѣ концовъ къ воздыханію о дубинѣ, которая впрочемъ составляетъ попрежнему послѣднюю высшую санкцію щетининскаго авторитета. Мужикъ говоритъ: «*тягайся тамъ съ вами еще!*» Мужикъ плохо вѣритъ въ возможность отстоять свое право въ судѣ. Ошибается-ли онъ въ этомъ случаѣ? Уже самый фактъ его недовѣрчивости свидѣтельствуетъ достаточно о тѣхъ урокахъ, которые давало прошедшее ему, его родственникамъ и всѣмъ его предкамъ. Недовѣрчивость выработалась изъ традиціи, а традиція составила изъ опытовъ жизни. Прекратилось-ли въ крайней мѣрѣ теперь существованіе тѣхъ причинъ, которыя породили эту недовѣрчивость? Въ каждомъ почти номерѣ газетъ можно найти такіе эпизоды, въ которыхъ эти причины продолжаютъ дѣйствовать. Въ той-же повѣсти Слѣпцова разсказывается одинъ крошечный случай, который по своей ничтожности не могъ бы попасть ни въ какія газеты, который однако совершенно оправдываетъ мужицкую недовѣрчивость. Волостной старшина говоритъ съ посредникомъ.

«— А вотъ, повѣствуетъ старшина, — я забылъ вашей милости доложить: батюшка тутъ приходилъ съ садовникомъ. У нихъ опять эти пустяки вышли — Какіе пустяки?»

— Изъ телятъ. Зашли батюшкины телята въ садовнику въ огородъ; садовникъ ихъ засталъ, стало быть, это на дворъ заперъ. Батюшка, значитъ, сейчасъ приходитъ, такъ и такъ, какъ ты могъ полковничьихъ телятъ загонять?»

— Какихъ полковничьихъ телятъ?

— Да то есть это батюшкиныхъ-то. Онъ такъ считаетъ, что, молъ, полковникъ я.

— Да.

— Ну, теперь это теща его выскочила, телятъ обыкновенно угнали...

— Ну, что-же?

— Кто их разберет? Садовник жалится: онъ, говорить, у меня на шесть цѣлковыхъ овощей помалъ, а батюшка теперь за безчестіе съ него то есть требуетъ пятнадцать что-ли-то.

— Пятнадцать цѣлковыхъ, подтверждаетъ писарь.

— За какое-же безчестіе?

— Ну, тещу его, слышь, обидѣлъ.

— Какъ-же онъ ее обидѣлъ?

— Служивой что-ли назвалъ. Ужъ Богъ его знаетъ. Служивал, говорить, ты, смѣясь объясняетъ старшина. — Ну, а батюшка говоритъ: мнѣ, говорить, это очень обидно. Пятнадцать цѣлковыхъ теперь и требуетъ.

Посредникъ тоже засмѣялся; даже писарь хихикнулъ себѣ въ горсть.

— Ну, это я послѣ разберу, вставал, говорить посредникъ. — А теперь, братъ, вотъ что: вели-ка ты мнѣ лошадокъ привести.

— Готовы-съ.

Весь этотъ веселый разговоръ очень замѣчателенъ. Происшествіе кажется старшинѣ до такой степени мелкимъ, что онъ даже едва не забылъ доложить о немъ посреднику; далѣе онъ называетъ этотъ случай *пустяками*, потомъ говорить, что телятъ *обыкновенно* угнали, и посредникъ, услышавъ объ этомъ совершенно противузаконномъ поступкѣ, спрашиваетъ: *ну, что же?* Значитъ, и посредникъ считаетъ это дѣло совершенно *обыкновеннымъ* и незаслуживающимъ дальнѣйшаго вниманія. Наконецъ вся исторія разрѣшается общимъ смѣхомъ, и посредникъ уѣзжаетъ, откладывая разбирательство дѣла до другого раза, вѣроятно потому, что изъ за такихъ пустяковъ не стоитъ себя задерживать. Теперь потрудитесь только себѣ вообразить, что вся эта исторія разыгралась въ обратномъ порядкѣ. Не *полковничіе* телята зашли къ садовнику, а наоборотъ, садовничіе телята зашли къ *полковнику*. *Полковникъ* загоняетъ ихъ. Садовникъ съ своей тещей идетъ на приступъ отбивать своихъ плѣнныхъ телятъ. Что-же изъ этого выходитъ? Прежде всего садовнику и его тещѣ накладываютъ въ шею домашними средствами. Потомъ ихъ обоихъ, какъ разбойниковъ, связываютъ, представляютъ въ волостной судъ. Старшина немедленно даетъ знать посреднику о томъ, что въ волости произошло необыкновенное буйство. Посредникъ прѣзжаетъ и тотчасъ разсматриваетъ дѣло. Въ лучшемъ случаѣ садовникъ и его теща получаютъ достаточную порцію розогъ и выплачиваютъ *полковнику* значительное денежное вознагражденіе. Въ худшемъ случаѣ дѣло доходитъ до уголовного суда, садовникъ и его теща отправляются въ острогъ, а впоследствии быть-можетъ и на поселеніе. Теперь возьмите опять исторію въ томъ видѣ, въ какомъ она рассказана у Слѣпцова, и представьте себѣ, что садовникъ вздумалъ сопротивляться, когда полковникъ съ тещей пришелъ отбивать у него телятъ. Происходитъ драка, въ которой садовникъ играетъ оборонительную роль. При всеѣ

томъ садовникъ оказывается виноватымъ и подвергается строгому наказанію за непочтительное обращеніе съ чиновными особами. Послѣ этого, спрашиваю я васъ, что-же остается дѣлать мужику и всякому другому чиновнику 15-го класса? Имѣютъ-ли люди дѣйствительное основаніе относиться недоувѣрчиво къ судебнымъ разбирательствамъ? Объясняется-ли наклонность этихъ людей къ самоуправству ихъ собственной порочно-стью, или-же она находится въ зависимости отъ какихъ-нибудь другихъ вѣншихъ, т. е. общественныхъ условий? Предложивши читателю призадуматься надъ этими вопросами, я возвращаюсь теперь къ разговору Щетинина съ хозяиномъ арестованной телушки. Въ этомъ разговорѣ Щетининъ унижается наконецъ до явной и наглої лжи. Такъ какъ мужикъ продолжаетъ упрашивать пропріетера и никакъ не хочетъ понять, что наказаніе составляетъ *неотъемлемое право* преступника, — право, которое преступникъ никому не долженъ уступать ни за какія блага, то Щетининъ говоритъ наконецъ мужику:

«— Законъ, понимаешь? законъ.» — Мужикъ, разумѣется, отвѣчаетъ: *«слушаю-съ»*, что онъ отвѣтилъ-бы и въ томъ случаѣ, когда-бы его назвали осломъ или дуракомъ. — *«Такъ что-же я могу сдѣлать, а? Ну?»* спрашиваетъ Щетининъ. Видите, какъ это мило! Щетининъ представляетъ мужику дѣло въ такомъ видѣ, что законъ *объязываетъ* его, Щетинина, брать установленный штрафъ и *строго запрещаетъ* ему подарить мужику 2 р. 10 к. с. Онъ-бы, извольте видѣть, и радъ былъ не взять ничего и оказать благодареніе, но тогда онъ самъ сдѣлается преступникомъ и подвергнетъ себя законному наказанію. Изъ своего разговора съ Щетининимъ мужикъ долженъ, стало быть, вывести то заключеніе, что въ Россіи существуютъ такіе законы, которые запрещаютъ одному человеку дарить свои собственные деньги другому человеку. И вотъ какимъ образомъ Щетининъ воспитываетъ въ грубыхъ поселянахъ чувство законности. Вотъ какимъ образомъ *«мы, черно-работіе, управляемся съ сырыми матеріалами»*. Вотъ какимъ образомъ *«мы, мало того, что помасамъ имъ, но еще убѣждаемъ и упрашиваемъ, чтобы они намъ позволили имъ-же быть полезными»*, то есть налгать имъ въ глаза и вытащить изъ кармана два рубля десять копѣекъ.

V.

Въ тотъ-же день, за обѣдомъ, Щетининъ горько жалуется Марьѣ Николаевнѣ и Рязанову на неблагодарныхъ плотниковъ, которые за всю его щедрость и доброту заплатили ему тѣмъ, что, по своей лѣности и небрежности, испакостили ему лѣсу на пятьдесятъ рублей.

Марья Николаевна выслушивает молча излияние огорченного хозяина. Рязановъ съ своей стороны не обнаруживает никакого сочувствія и совершенно хладнокровно напоминает Щетинину о тѣхъ законныхъ средствахъ, которыми онъ можетъ употребить противъ провинившихся работниковъ; онъ можетъ отправить ихъ, для надлежащаго вразумленія, къ становому; или же онъ можетъ черезъ посредника взыскать съ нихъ деньги за испорченный матеріалъ; итѣя въ рукахъ такіа дѣйствительныя средства, Щетининъ очевидно не долженъ унывать и оплакивать свою горькую долю. Марья Николаевна, едва знакомая съ Рязановымъ, не понимаетъ того, къ чему направляется его тактика, и съ великодушнымъ негодованіемъ честной женщины вступаетъ за работниковъ.

«— Но вѣдь они бѣдные, говоритъ она: — вы забываете... откуда-же они возьмутъ пятьдесятъ рублей?»

Рязановъ нисколько не смущается ея негодованіемъ и ведетъ свою атаку дальше съ несокрушимымъ хладнокровіемъ.

«— Ежели, говоритъ онъ, — наличныхъ денегъ не имѣютъ, то можетъ-быть окажется движимость, скотъ.

Негодованіе Марьи Николаевны конечно увеличивается. — «Ну, и...» спрашиваетъ она.

«— Продадутъ-съ, продолжаетъ Рязановъ добродушно и весело. — Что-жъ имъ въ зубы-то смотрѣть!

«— Да вѣдь это я не знаю, что такое... Это варварство!» Впослѣдствіи Марья Николаевна объявляетъ, что она въ эту минуту просто готова была убить Рязанова.

Противъ слова *варварство* Рязановъ ровно ничего не имѣетъ. Онъ отвѣчаетъ: «очень можетъ быть-съ».

«— Такъ какъ-же вы предлагаете такіа средства?

— Я никакихъ средствъ не предлагаю, я только напоминаю.

— Что-же вы напоминаете?

— Я ему напоминаю его обязанности. Всякое право налагаетъ на человека извѣстныя обязанности. Пользуешься правомъ, — исполняй и обязанности.

— Какія обязанности? Вы ему напоминаете, что онъ можетъ, если захочетъ, злоупотреблять своимъ правомъ.

— Нисколько-съ. Напротивъ, я ему напоминаю только о томъ, какъ слѣдуетъ благопріобрѣтать, а злоупотреблять ужъ это онъ самъ.

— Развѣ это злоупотребленіе, если онъ прощаетъ этихъ плотниковъ?

— А вы какъ-же думали? Конечно злоупотребленіе (тутъ Рязановъ могъ-бы даже сослаться на самого Щетинина, который за нѣсколько часовъ предъ тѣмъ таянулъ съ мужика штрафъ для того, чтобы не сдѣлать злоупотребленія и не погрѣшить предъ закономъ). Еслибы онъ одинъ только пользовался правомъ карать и миловать, тогда Богъ съ нимъ, пусть-бы его дѣлалъ, что хотѣлъ. Если ему Богъ далъ такую добрую душу, такъ что-жъ тутъ разговаривать. Хочешь идти по міру, ну, и ступай.

Но вы не забывайте, что насъ много, что онъ, оставаясь безнаказаннымъ разныхъ мошенниковъ, поощряетъ ихъ на новыя мошенничества и подаетъ глупый примѣръ. А отъ этого мы всѣ страдаемъ, онъ портитъ у насъ рабочія руки. Ну, хорошо еще, что я вотъ могу жить такъ, ничего не дѣлая; но еслибы я былъ рабочая рука, да я-бы... я-бы непременно испортился. Я-бы сказалъ: а! такъ вотъ что! Стало быть, можно дѣлать все, что хочешь. Пошелъ-бы въ кабакъ, эй! братцы, рабочія руки, пойдемте наниматься къ работѣ! Сейчас пошли-бы мы, нанялись къ кому-нибудь садъ сажать; набрали-бы денегъ впередъ, потомъ взяли-бы насажали деревья корнями вверхъ, а дорожки всѣ вырыли-бы и ушли. Ищи насъ! Что-жъ, развѣ это хорошо?»

Щетинину очень не нравятся рязановскіе монологи. Онъ чувствуетъ, что все это клонится къ какому-то неудобному для него заключенію, хотя, по слабоумію своему, и не понимаетъ, къ какому именно.

«— Богъ тебя знаетъ, наконецъ сказалъ Щетининъ, — для чего ты все это говоришь.»

Но Рязанова нельзя ни запугать негодованіемъ, ни обезоружить смиренной мольбой. Онъ продолжаетъ разворачивать зондомъ глубокую рану своего истерзаннаго товарища.

«— А для того и говорю, поясняетъ онъ, — что не хочу тебя лишитъ дружескихъ совѣтовъ. Вижу я, что другъ мой колеблется, что ему угрожаетъ опасность, что онъ можетъ сдѣлаться жертвой собственной слабости, да и намъ всѣмъ напакоститъ; ну, вотъ я и не могу воздержаться, чтобы не напомнить ему и не сказать: другъ, остерегись! не поддавайся искушенію, не поблажай беззаконію, ибо оно наглымъ образомъ посягаетъ на нашу собственность. Священное право поругано, отечество въ опасности... Другъ, мужайся, говорю я, и сѣйши препроводить обманувшія тебя рабочія руки въ руки правосудія.

— Вотъ ты говоришь: препроводить, началъ Щетининъ: — ну, хорошо, а что-бы ты сказала, еслибы я въ самомъ дѣлѣ такъ поступилъ?»

Въ этихъ словахъ Щетинина скрывается слѣдующій смыслъ: «развѣ ты не видишь, что я человѣколюбивъ и великодушенъ? Похвали-же ты меня хоть сколько-нибудь за мою гуманность! Похвали хоть косвеннымъ образомъ, ругая тотъ поступокъ, котораго я, по гуманности моей, не сдѣлалъ!» — Но Рязановъ отказывается на отрѣзъ даже и въ косвенныхъ похвалахъ.

«— Что бы я сказала? говоритъ онъ, — я сказала-бы: вотъ примѣрный хозяинъ! и гордился-бы твоей дружбой. И еще-бы сказала: это человѣкъ послѣдовательный; а лучшей кто-бы могъ хвалы тебѣ сказать?»

Рязановъ отвѣчаетъ такимъ образомъ Щетинину, что его гуманность сводится къ чистой безхарактерности, которая не позволяетъ ему ни вывести изъ даннаго принципа его логическія послѣдствія, ни отбросить основной принципъ, если эти неизбежныя послѣдствія кажутся ему отвратительными. Щетининъ принужденъ склонить голову предъ этимъ разговоромъ.

«— Такъ-то оно такъ, со вздохомъ сказалъ Щетининъ: — да... да пѣтъ, братъ, я нахожу, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ надо поступать непослѣдовательно.» — Далѣе у Щетинина оказывается, что въ практическомъ дѣлѣ строгая послѣдовательность невозможна, и что этого нельзя и требовать. Уловка эта стара, какъ міръ; ею всегда пользовались слабоумные или недобросовѣстные люди, когда люди послѣдовательные или честные доводили ихъ до капитуляціи посредствомъ того извѣстнаго діалектическаго маневра, который называется *reduction ad absurdum* и состоитъ въ томъ, что основной принципъ проводится до самаго конца и превращается въ очевидную нелѣпость или въ возмутительную глупость. Люди слабоумные, благодаря своей многочисленности, счумѣли дать обширный ходъ той жалкой и ложной мысли, будто-бы въ жизни невозможна строгая послѣдовательность. Дѣйствительно, послѣдовательность очень неудобна для тѣхъ людей, которые въ основаніе своей дѣятельности кладутъ ложный принципъ, то есть такую идею, въ которой затаено что-нибудь нелѣпое или вредное для общества. Послѣдовательность ведетъ въ этомъ случаѣ именно къ тому, что затаенная нелѣпость, развернувшись во всей своей красотѣ, покрываетъ позоромъ самого адепта невѣрной идеи. Поэтому, имѣя въ виду такую непріятную перспективу, слабоумные люди стараются зажуричь глаза и утѣшаютъ себя тѣмъ плоскимъ разсужденіемъ, что они всегда счумѣютъ измѣнить своему принципу, какъ только этотъ принципъ потащитъ ихъ въ вопіющую нелѣпость. На словахъ можно предаваться этимъ сладкимъ надеждамъ, сколько угодно, но жизнь постоянно разрушаетъ эти ребяческія фантазіи и, выводя изъ каждаго принципа всѣ его послѣдствія, даже самыя нелѣпыя и самыя безобразныя, насильно навязываетъ ихъ каждой отдѣльной личности, основавшей на данномъ принципѣ всю свою дѣятельность. На словахъ вы можете браковать все, что вамъ угодно, но у жизни есть своя собственная логика, которая переломитъ вашу непослѣдовательную брезгливость и непременно вымажетъ васъ съ ногъ до головы общеобязательной краской или грязью, соответствующей основнымъ требованіямъ вашего принципа. Отъ этого окрашиванія или загрязненія вы не отвертитесь никакими хитростями, если только у васъ не достанетъ характера рѣшительно оттолкнуть прочь основной принципъ. Итакъ, Щетининъ признается, что онъ не въ силахъ быть послѣдовательнымъ, или, другими словами, что онъ не хочетъ и не можетъ исполнять во всемъ ихъ объемѣ тѣ обязанности, которыя налагаетъ на него принципъ собственности. Тогда Рязановъ даетъ ему почувствовать, что по всей вѣроятности и плотники не хотятъ и не могутъ быть послѣдовательными, то

есть исполнять во всемъ ихъ объемѣ тѣ обязанности, которыя налагаетъ на нихъ принципъ труда. Щетининъ находитъ это сравненіе совершенно неосновательнымъ, потому что у плотниковъ *нѣтъ никакой определенной цѣли, къ которой-бы они стремились*. Произнося послѣднія слова, Щетининъ повидному намекаетъ на то, что у него есть великая и опредѣленная цѣль, и что онъ измѣняетъ принципу собственности именно изъ любви къ этой цѣли, о которой плотники не имѣютъ понятія. Но Рязановъ сейчасъ-же выводитъ все дѣло на чистоту; онъ выражаетъ сомнѣніе въ томъ, чтобы у плотниковъ не было опредѣленной цѣли. — «Они, — отвѣчаетъ Щетининъ, — только о томъ и стараются, чтобы какъ можно меньше работать и въ то-же время какъ можно больше получать.» — Рязановъ находитъ, что это — цѣль очень опредѣленная, и вслѣдъ за тѣмъ спрашиваетъ у Щетинина, къ чему-же онъ самъ-то стремится: «Къ тому, чтобы какъ можно больше работать и какъ можно меньше получать? Такъ что-ли?» — Щетининъ совершенно становится втупикъ и произноситъ косящимъ языкомъ: «и-нѣ...» — «Ну, — добиваетъ его Рязановъ, — такъ что-жъ тутъ разговаривать еще! Стало быть, стремленія-то у насъ съ ними одни и тѣ-же; разница только въ томъ, что мы сознательно желали-бы ихъ приспособить къ нашему хозяйству, они-же, какъ всѣ глупорожденные, безсознательно упираются и всячески стараются схитрить. Ну, а на этотъ случай у насъ средства такія имѣются для понужденія ихъ, — средства, къ народнымъ обычаямъ принаровленные. Вотъ въ древніе вѣка нравы были грубые, — тогда и орудія, которыми понуждались глупорожденные къ труду, тоже были неусовершенствованныя, какъ-то: исправники, становые и проч.; теперь-же, когда нравы значительно смягчены и сельскіе жители вполне сознали пользу просвѣщенія, и понудительныя мѣры употребляются болѣе деликатныя, духовныя такъ сказать, а именно: увѣщанія, штрафы, уединенные амбары и такъ далѣе. Вотъ и хороводимся мы такимъ манеромъ и долго еще будемъ хороводиться, доколѣ мѣра беззаконій нашихъ не исполнится. Только зачѣмъ-же тутъ церемониться-то ужъ очень, юни-то разводить зачѣмъ, я не понимаю. Штука эта самая простая, и весь вопросъ въ томъ, кто кого; стало быть, главная вещь, не конфузья!»

Щетининъ раздавленъ и уничтоженъ этими правдивыми словами, такъ точно какъ въ древности оказался уничтоженнымъ и раздавленнымъ благонравный юноша, которому вмѣсто ожидаемой похвалы былъ данъ весьма непріятный совѣтъ продать богатое наслѣдство и раздать деньги нищимъ. Щетининъ не находитъ больше никакого возраженія, и разговоръ прекращается.

Въ мысляхъ Марьи Николаевны этотъ разговоръ производитъ рѣшительный переворотъ.

VI.

Въ головѣ Марьи Николаевны начинается усиленная работа мысли; то, о чемъ она только что начинала догадываться, обрисовывается передъ нею совершенно ясно и пугаетъ ее слишкомъ знакомой и понятной рельефностью своихъ очертаній; смыслъ той жизни, которую она ведетъ съ своимъ супругомъ, постигнуть; соотвѣтствующее имя или клеймо найдено и приложено къ этой разлюбезной и высокопочтенной жизни такъ крѣпко, что его не вытравить никакими горькими слезами. Марья Николаевна становится похожа на леди Макбетъ; она чувствуетъ на всей своей особѣ какое-то пятно и, не имѣя силъ съ нимъ помириться, въ то-же время не знаетъ, какиимъ образомъ отъ него отдѣлаться. Можно себѣ представить, какія нѣжныя чувства питаетъ она къ тому милому либералу, который, пользуясь ея неопытностью, замаралъ ее чистую личность и обезсмыслилъ ея молодую жизнь. Она приходитъ къ своему мужу, какъ воплощеніе его совѣсти, и требуетъ отъ него строжайшаго отчета во всей его прошедшей дѣятельности, въ которой онъ сулилъ ей чудеса либерализма и подвиги человеколюбія. «Когда ты хотѣлъ на мнѣ жениться,—говоритъ она ему,—ты что мнѣ сказалъ тогда? Вспомни? Ты мнѣ сказалъ: «мы будемъ вмѣстѣ работать, мы будемъ дѣлать великое дѣло, которое можетъ-быть погубить насъ, и не только насъ, но и всѣхъ нашихъ; но я не боюсь этого. Если вы чувствуете въ себѣ силы, пойдите вмѣстѣ.» И я пошла. Конечно я тогда еще была глупа, я не совѣтъ понимала, что ты тамъ мнѣ рассказывалъ. Я только чувствовала, я догадывалась. И я-бы пошла, куда угодно. Вѣдь ты видѣлъ, я очень любила мою мать и я ее бросила. Она чуть не умерла съ горя, а я все-таки ее бросила, потому что я думала, я вѣрила, что мы будемъ дѣлать настоящее дѣло. И чѣмъ-же все это кончилось? Тѣмъ, что ты ругаешься съ мужиками изъ-за каждой копѣйки, а я огурцы солю, да слушаю, какъ мужики бьютъ своихъ женъ—и хлопаю на нихъ глазами. Послушаю, послушаю, потомъ опять примусь огурцы солить. Да еслибы я желала быть такой, какой ты меня сдѣлалъ,—такъ я-бы вышла за какого-нибудь Шишкина, теперь у меня можетъ-быть ужъ трое дѣтей было-бы. (Это послѣднее мѣсто въ монологѣ Марьи Николаевны не совѣтъ понятно. Почему-же Шишкинъ можетъ сдѣлать то, чего до сихъ поръ не сдѣлалъ Щетининъ? Неужели же Щетининъ такъ глубоко проникнулся ученіемъ мальтузианцевъ, что соблюдаетъ moral restraint въ своей собственной супружеской жизни.

Или неужели онъ такъ высоко понимаетъ обязанности отца, что наложилъ на себя обѣтъ целомудрія до тѣхъ поръ, пока для будущихъ дѣтей не будетъ подготовлено достаточное обезпеченіе? Все это очень неясно.) Тогда я по крайней мѣрѣ знала-бы, что я—мать, знала-бы, что я себя гублю для дѣтей, а теперь... Пойми, что я съ радостью пошла-бы землю копать, еслибы видѣла, что отъ этого польза не для насъ однихъ; что я не просто ключница, которая выгадываетъ каждый грошъ и только и думаетъ о томъ: ахъ, какъ-бы кто не съѣлъ лишняго фунта хлѣба! ахъ, какъ-бы... Какъ гадость!»

Передъ этими строгими требованіями Щетининъ оказывается чистѣйшимъ банкротомъ. Онъ остается безгласнымъ. Онъ даже не пробуетъ защищаться. О работѣ надъ сырымъ матеріаломъ нѣтъ и помину. Впрочемъ Щетининъ до такой степени мелокъ и ничтоженъ, что онъ даже и теперь не понимаетъ ни характера своей супруги, ни глубины того отчаянія, которое слышится въ ея кровавыхъ упрекахъ. Она говоритъ ему о своей изуродованной жизни, о своихъ загубленныхъ надеждахъ, о своихъ профанированныхъ стремленіяхъ къ добру и къ истинѣ, она называетъ его жалкимъ обманщикомъ, укравшимъ и заѣвшимъ чужой вѣкъ,—а онъ въ это время все паровитъ пожать ее ручку или ухватить ее за талію, онъ думаетъ, что се можно успокоить и убаготворить супружескими нѣжностями.—«Нѣтъ,—говоритъ она ему далѣе,—вѣдь я это все ужъ давно, давно поняла, и все это у меня вертѣлось въ головѣ; только я какъ-то не могла хорошенько всего сообразить; ну, а теперь вотъ эти разговоры мнѣ помогли. Я тутъ очень разстроилась, взволновалась. Это совѣтъ лишнее. И случилось потому, что я всѣ эти мысли долго очень скрывала: все хотѣла себя разувѣрить; а вѣдь, по настоящему, знаешь, надо-бы что сдѣлать? Надо-бы мнѣ, ничего не говоря, просто взять да уѣхать...» Именно. Такъ и слѣдуетъ поступать съ тѣми прощальными, которые сулятъ вамъ золотыя горы и потомъ оставляютъ васъ на бобахъ. Марья Николаевна имѣетъ полное право поступить съ Щетининимъ гораздо строже, чѣмъ поступаютъ кредиторы съ злостнымъ банкротомъ. Банкротъ крадетъ только деньги, а Щетининъ своимъ либеральнымъ фразерствомъ укралъ у нея жизнь,—ту жизнь, которую она могла-бы отдать сильному, честному и полезному дѣятелю, и которую она теперь быть-можетъ уже не сумѣетъ устроить разумнымъ образомъ. Любимая женщина говоритъ нашему либеральному буржуа, что отъ него слѣдуетъ ей бѣжать безъ оглядки, не говоря ему ни слова, какъ бѣгутъ здоровые люди отъ зачумленнаго больного, который уже находится при послѣднемъ издыханіи и который

уже неспособен ни принимать лекарства, ни выслушивать слова любви и утешения, ни даже узнавать своих ближайших родственников и друзей. Чѣмъ-же отвѣчаетъ онъ ей на это жестокое оскорбленіе? Пробуждается-ли въ его телячьей душѣ хоть искра мужественной гордости, хоть слабое воспоминаніе, далекій и блѣдный отблескъ тѣхъ титаническихъ стремленій, которыми онъ такъ безсовѣстно рисовался въ былые годы передъ этой же самой женщиной? Провзноситъ-ли онъ хоть одно слово о трудѣ, объ общемъ благѣ, о борьбѣ, словомъ, о тѣхъ высшихъ идеяхъ, которыя должны господствовать надъ всей жизнью энергическаго мужчины, осмѣливающагося домогаться любви и уваженія честной и умной женщины? Старается-ли онъ убѣдить ее въ томъ, что онъ не обманулъ ея, что его жизнь полна, широка и разумна, и что, уѣзжая отъ него, она уѣдетъ именно отъ той дѣятельности, которую она сама-же ищетъ? Наконецъ, если онъ чувствуетъ невозможность защищаться, то способенъ-ли онъ по крайней мѣрѣ съ ужасомъ оглянуться на самого себя, оцѣнить всю свою неудовлетворительность, и потомъ, осудивши прошедшее, рвануться впередъ къ новой, чистой, высокой и плодотворной дѣятельности? Нѣтъ, ничего подобнаго не находимъ мы въ его отвѣтѣ. Титаническія стремленія были взяты на прокатъ и выражались въ былое время довольно удачно и увлекательно только потому, что у молодого человѣка обыкновенно горятъ глаза и звучитъ въ голосѣ искреннее чувство, когда ему приходится строить воздушные замки о жизни и работѣ вдвоемъ, въ присутствіи той молодой дѣвушки, которая ему нравится. Теперь цѣль жизни достигнута, молодая дѣвушка превратилась въ молодую даму, и поэтому титаническія стремленія отправлены обратно въ тотъ магазинъ, изъ котораго они были взяты на поддержаніе; дорога къ этому магазину уже забыта и заросла травой, такъ что въ попыткахъ невозможно уже найти ничего такого, что хоть издали напоминало-бы прежній пылъ великодушнаго энтузіазма. Щетининъ застигнутъ врасплохъ и не находитъ у себя подъ руками ничего, кромѣ своей супружеской нѣжности, искренней и теплой, но рѣшительно неспособной превратить жалкую тряпичку въ порядочнаго человѣка. «Маша, — лепечетъ онъ, — Маша! чтѣ ты говоришь! Да вѣдь... ну... да... да вѣдь я люблю тебя, ты понимаешь это?»

Пульхерію Иванову дѣйствительно можно было бы удержать словомъ *люблю*, если-бы она на старости лѣтъ вздумала уѣхать отъ Афанасія Ивановича для пріисканія себѣ разумной и честной дѣятельности. Марья Николаевна уходитъ въ свою комнату, повторивши Щетинину еще разъ, что она не можетъ огуры

солить. Щетининъ послѣ ея ухода погружается на нѣсколько минутъ въ мрачное недоумѣніе, потомъ отправляется вслѣдъ за своей супругой, но дверь оказывается запертой, и на его вопросъ: «можно войти?», Марья Николаевна, съ своей стороны, отвѣчаетъ вопросомъ: «Зачѣмъ?» Щетининъ видитъ, что входитъ дѣйствительно не зачѣмъ, и удаляется во-свояси. Черезъ нѣсколько времени онъ приходитъ въ спальню, надѣясь увидѣться съ своей супругой; но надежда его не осуществляется; Марья Николаевна проводитъ ночь у себя въ комнатѣ. На другой день Щетининъ съ Рязановымъ ѣдутъ въ городъ и созерцаютъ тамъ всю красоту *нашихъ силъ*, направленных на истребленіе шампанскаго и водки. Вечеромъ они возвращаются домой, и Марья Николаевна сама приходитъ мириться съ своимъ разгорченнымъ супругомъ. Она даже проситъ у него прощенія; онъ, разумѣется, открываетъ ей свои объятія. Но эта трогательная сцена примиренія показываетъ совершенно ясно, что окончательный разрывъ неизбеженъ. Въ этой сценѣ полное и неизлечимое ничтожество Щетинина становится еще болѣе очевиднымъ. Марья Николаевна находится въ примирительномъ настроеніи собственно потому, что она, — какъ ей кажется, — отыскала возможность пристроить себя къ полезному дѣлу, не выѣзжая изъ деревни. Когда она враждовала, то враждовала она не съ личностью своего мужа, а съ тѣмъ образомъ жизни, на который онъ обрекъ самого себя и въ который затянулъ и ее. Когда она мирится, то мирится также только съ образомъ жизни, потому что находитъ возможность произвести въ немъ необходимыя усовершенствованія. Но Щетининъ ничего этого не понимаетъ. Ему все это дѣло представляется въ томъ видѣ, что, вотъ-молъ, барыня изволила шибко прогнѣваться, а потомъ положили гнѣвъ на милость, такъ какъ все это происходитъ отъ живости ихъ характера и совершенно извиняется молодостью ихъ лѣтъ, особенно если еще принять въ соображеніе красоту ихъ наружности, предоставляющей имъ полную свободу капризовъ. Поэтому онъ выѣзжаетъ исключительно на нѣжностяхъ и на любезностяхъ, усердно выражаетъ ей теплоту своихъ чувствъ и не высказываетъ ни одной дѣльной мысли по поводу того плана, въ которомъ для Марьи Николаевны заключается настоящій узелъ всего поднятаго вопроса. Мнѣ кажется, умная женщина непременно должна почувствовать глубокое отвращеніе къ тому мужчине, который въ разговорѣ съ нею никогда не можетъ или не хочетъ забыть ея полъ, то есть, всегда говорить съ нею, какъ съ женщиной, и никогда не говорить съ нею, какъ умный человѣкъ съ умнымъ человѣкомъ. Если онъ не хочетъ говорить съ нею такимъ образомъ, — это

значить, что онъ ставитъ ее ниже себя и считаетъ ее неспособной увлекаться тѣми интересами, которые составляютъ общее достоинство всего мыслящаго человѣчества. Если не можетъ, — это значитъ, для него не существуетъ ни одной страсти выше и сильнѣе полового влеченія; это значитъ, что нѣтъ для него во всемъ мірѣ ни одной великой идеи, которую онъ любилъ-бы настолько, чтобы, взглядываясь и вдумываясь въ нее, забыть хоть на нѣсколько минутъ о пріятной наружности своей собесѣдницы и о священныхъ обязанностяхъ любезнаго кавалера. Въ первомъ случаѣ умная женщина должна чувствовать себя глубоко оскорбленной, и если она дѣйствительно умна, то она непременно сдѣлаетъ показать мужчине, третирующему ее съ высоты своего величія, что онъ ошибается въ ней очень сильно. Во второмъ случаѣ со стороны женщины обнаружится скоро полное презрѣніе къ вѣчно-любезному и слѣдовательно безнадежно-пошлому кавалеру. Именно эта участь и должна постигнуть Щетинина. Ему приходится узнать на самомъ себѣ, что женщина любить не любовь мужчины, а его личность, и что слѣдовательно самая безумъ ризвенная пламенность любви неспособна реабилитировать того субъекта, который самъ по себѣ безцвѣтенъ и ничтоженъ.

— «Да, говорятъ Щетининъ Марья Николаевна, заглядывая ей въ лицо, — ну, такъ стало быть, стало быть, ты не сердилась. Это главное.» Эти слова исчерпываютъ до дна всю пошлость этого человѣка. — «Нѣтъ, — отвѣчаетъ Марья Николаевна; — да вѣдь я тогда не сердилась. Вѣдь это совсѣмъ не то.» И затѣмъ она, чтобы переменить разговоръ, спрашиваетъ: «ну, что же тамъ въ городѣ?» Вы видите, что она уже начинаетъ уклоняться отъ объясненій съ нимъ. Она говоритъ: «вѣдь это совсѣмъ не то», и даже не пробуетъ ввести его въ міръ своихъ мыслей; она чувствуетъ, что онъ ее не пойметъ, и это чувство становится для нея самой особенно замѣтнымъ и яснымъ въ ту минуту, когда онъ заглядываетъ ей въ лицо и произноситъ свои глушійшія слова: «стало быть, ты не сердилась, это главное». Какъ вы въ самомъ дѣлѣ начнете толковать этому воплощенію буржуазной мелкости и ограниченности, что *это* совсѣмъ не *главное*? Ему былъ поставленъ вопросъ обо всей его жизни; ему были высказаны сомнѣнія въ его личной честности; все его тунеядческое прозябаніе было подвергнуто строжайшему осужденію; а онъ во всей этой серьезной и глубоко-торжественной сценѣ замѣтилъ только то неудобное для себя обстоятельство, что его супруга изволилъ на него сердиться. Теперь ему позволили поцѣловать ручку, и весь разговоръ оказывается забытымъ, — тотъ разговоръ, въ которомъ были затронуты самыя глубокія основы его человѣче-

скаго достоинства. Одно изъ двухъ: или обвиненія Марьи Николаевны показались ему справедливыми, или-же онъ считаетъ ихъ несправедливыми. Въ первомъ случаѣ ее слова должны были потрясти его до глубины души, потому что эти слова отнимаютъ у него возможность уважать самого себя, а для всякаго маломальски порядочнаго человѣка самоуваженіе составляетъ необходимое условіе существованія. Во второмъ случаѣ онъ долженъ былъ заботиться не о томъ, чтобы помириться съ нею и поцѣловать ее въ губки, а о томъ, чтобы оправдаться въ ее глазахъ и снова завоевать себѣ уваженіе любимой женщины, которое для всякаго порядочнаго человѣка несравненно дороже его любви, еслибы даже позволено было предположить, что прочная любовь возможна безъ уваженія. Въ томъ и въ другомъ случаѣ нѣжное примиреніе для самого Щетинина не заключаетъ въ себѣ никакого смысла и не должно имѣть никакой цѣны. Еслибы онъ былъ способенъ понимать тяжесть направленныхъ противъ него обвиненій, то ему надо было или начать совершенно новую жизнь, или представить на судъ Марьи Николаевны такіа фактическія доказательства, которыя опровергали-бы всѣ ее обвиненія. Но онъ даже не знаетъ, чего отъ него требуютъ и за что на него такъ взъялись; онъ по неволѣ долженъ приписывать всю эту исторію раздражительности дамскаго темперамента и рѣзкой необузданности рязановскихъ разсужденій. Само собою разумѣется, что передъ грандіозностью этого тупоумія у Марьи Николаевны опускаются руки и обрывается голосъ. Если Щетининъ такъ удачно понимаетъ общій смыслъ всей коллизіи, то понятно, что Марья Николаевна нечего ждать отъ него совѣтовъ и помощи въ томъ дѣлѣ, въ которомъ она надѣется найти примиреніе съ окружающей жизнью. Марья Николаевна додумалась до того убѣжденія, что грамотность составляетъ первую потребность крестьянъ; поэтому она хочетъ завести сельскую школу и полагаетъ, что полезныя труды преподаванія помирять ее съ веселой и сытой жизнью деревенской барыни. Она рассказываетъ свой планъ Щетинину, но не возлагаетъ собственно на него самого никакихъ надеждъ; она прямо говоритъ ему, что посоветуется съ Рязановымъ, который навѣрно не откажется ей помогать. Щетинину не хотѣлось бы, чтобы его супруга обращалась къ Рязанову, но въ то-же время онъ, Щетининъ, не умѣетъ даже заинтересоваться ея предпріятіемъ, не умѣетъ обсудить его удобоисполнимости, не умѣетъ произнести ни одного такого слова, въ которомъ виденъ былъ-бы проблескъ самостоятельнаго ума, или искренняго сочувствія, или даже самой простой житейской опытности. Ничего, ровно ничего такого, что могло-бы обра-

титъ на себя вниманіе Марьи Николаевны и вызвать между обоими супругами хоть какой-нибудь обмѣнъ мыслей. Марья Николаевна уходитъ отъ него съ тѣмъ-же, съ чѣмъ и пришла. Въ первый разъ, когда ей понадобился дѣльный совѣтъ, она принуждена обращаться за нимъ къ постороннему человѣку. Очень понятно, что этотъ человѣкъ приобретаетъ себѣ то уваженіе и довѣріе, котораго не могъ удержать за собою ея мужъ. Щетининъ становится для нея нулемъ. Она понимаетъ, что онъ стоитъ гораздо ниже тѣхъ горячихъ упрековъ, съ которыми она обращалась къ нему во время перваго объясненія.

VII.

Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что очень многіе читатели, — напримѣръ, всѣ читатели и кліенты «Московскихъ Вѣдомостей», — назовутъ Рязанова отъявленнымъ негодяемъ, разрушающимъ семейное счастье достойнѣйшаго человѣка, а Марью Николаевну — взбалмошной бабой, неспособной оцѣнить мягкость и великодушіе нѣжнѣйшаго изъ супруговъ и щедрѣйшаго изъ землевладѣльцевъ. Все это въ порядкѣ вещей. Еслибы эти господа читатели осмѣлились осудить Щетинина, то имъ пришлось бы произнести строжайшій приговоръ надъ своими собственными особами. На это не рѣшится почти никто. Такъ какъ число этихъ читателей, закупленныхъ своимъ положеніемъ, очень значительно, и такъ какъ понятія, господствующія въ нашемъ обществѣ, состояются почти исключительно изъ ихъ пристрастныхъ сужденій, то я поставленъ въ необходимость говорить довольно подробно о такихъ простыхъ истинахъ, на которыя при другихъ условіяхъ достаточно было бы указать мимоходомъ. Мнѣ теперь приходится доказывать то, что для мыслящихъ людей не требуетъ никакихъ доказательствъ, — именно то, что Щетининъ — совершенная дрянь и что онъ, понавши въ фальшивое положеніе, неизбѣжно долженъ былъ сдѣлаться дрянью, даже въ томъ случаѣ, еслибы природа одарила его не совсѣмъ дужинными способностями. По правдѣ сказать, вся судьба человѣка зависитъ отъ того, какими средствами онъ поддерживаетъ свое собственное существованіе. Каждый взрослый человѣкъ воленъ валополнять свой собственный желудокъ какими угодно кушаньями, — предовольствоваться собственными легкія какимъ угодно воздухомъ и покрывать свою собственную кожу какимъ угодно слоемъ пыли и грязи. Все это такъ, но существуетъ однакоже такая наука — гигиена, которая изучаетъ тѣ условія, при которыхъ человѣческой желудокъ, человѣческія легкія и человѣческая кожа находятся въ нор-

мальномъ или здоровомъ состояніи; та наука можетъ предсказать заранѣе тѣ послѣдствія, которыя повлечетъ за собою то или другое уклоненіе отъ правильнаго образа жизни, соответствующаго ея разумнымъ предписаніямъ. Гигіена говоритъ одному: вы испортите себѣ желудокъ; другому: вы наживете чахотку; третьему: вы совсѣмъ опаршивѣете. Говоря такимъ образомъ, она никого не оскорбляетъ, не посягаетъ ни на чьи права, не насылуетъ ничьей свободы; она только показываетъ, что изъ чего выходитъ; она только разъясняетъ причинную связь между извѣстнымъ образомъ жизни и извѣстными расстройствами организма. Раскрывая эту причинную связь, гигиена произноситъ свой строгій приговоръ не только надъ какими-нибудь эксцентрическими или болѣзненными привычками, составляющими достояніе отдѣльныхъ личностей, но даже надъ цѣлыми организованными профессіями, которыя считаются необходимыми для благосостоянія или комфорта всего общества. Такъ напримѣръ, она говоритъ прямо, что у портныхъ искривляются ноги, у часовщиковъ портится зрѣніе, у наборщиковъ образуются расширенія венъ въ ногахъ, у зеркальщиковъ развивается отъ ртути дрожаніе всѣхъ членовъ. И однакоже никто не жалуется на гигиену, что она excite à la haine et au mépris — возбуждаетъ ненависть и презрѣніе къ портнымъ, къ часовщикамъ, къ наборщикамъ и такъ далѣе.

Если образъ жизни, занятія и привычки кладутъ свою печать на кости, мускулы, кровеносную систему и нервы даннаго субъекта, то само собою разумѣется, что вліяніе тѣхъ-же условій должно распространяться также и на всю совокупность его умственныхъ отправленій. Каждая человѣческая способность и каждая человѣческая страсть, подобно каждому отдѣльному мускулу, развиваются отъ частаго упражненія и слабѣютъ или атрофируются отъ бездѣйствія. Поэтому, если можно опредѣлить заранѣе тѣ видоизмѣненія, которыя данная профессія произведетъ въ вашемъ тѣлосложеніи, то можно также обрисовать въ общихъ чертахъ тѣ перемѣны, которыя, подъ вліяніемъ этой профессіи, обнаружатся въ складѣ вашихъ понятій и стремленій. Если можно сказать навѣрное, что постоянное переписываніе бумагъ наградитъ васъ гемоороемъ и сутуловатостью, то можно также выразить то печальное предположеніе, что это машинальное занятіе притупитъ ваши умственные способности. Если можно сказать, что занятія разсильнаго развиваютъ въ немъ силу ножныхъ мускуловъ, то почему-же не сказать, что занятія ростовщика развиваютъ въ немъ способность и привычку относиться равнодушно къ человѣческому горю, точно такъ-же,

какъ напимѣръ занятія хирурга развиваютъ въ немъ способность и привычку смотрѣть спокойно на текущую кровь и на отрѣзанныя руки и ноги. Словомъ, если возможна гигиѣна тѣла, то возможна также гигиѣна ума и характера. Само собою разумѣется, что обѣ эти науки должны постоянно стремиться къ соединенію между собою; обѣ онѣ достигнуть своего совершенства и обнаружатъ все свое плодотворное вліяніе только тогда, когда соединеніе это, о которомъ теперь невозможно и мечтать, сдѣлается дѣйствительнымъ и общепризнаннымъ фактомъ. До сихъ поръ гигиѣна ума и характера находится въ совершенномъ младенчествѣ; ею занимаются только такіе люди, которыхъ никто не считаетъ за ученыхъ; для нея собираютъ матеріалы беллетристика и литературная критика; поэты и рецензенты задумываются надъ тѣми типами, въ которыхъ выражаются особенности общественной жизни, и надъ тѣми ингредиентами, изъ которыхъ эти типы слагаются. Практическіе-же люди, въ этомъ отношеніи какъ и во многихъ другихъ, бредутъ на авось, увлекаются обстоятельствами въ ту или другую сторону и не отдають себѣ никакого отчета въ тѣхъ путяхъ, которые приводятъ ихъ къ неизвѣстнымъ, неожиданнымъ результатамъ; эти практическіе люди въ большей части случаевъ приобрѣтаютъ себѣ къ лѣтамъ мужественной зрѣлости такіа умышленна и нравственна фізіономіи, которыя внушили-бы имъ самымъ отвращеніе и ужасъ, еслибы они сохранили до зрѣлыхъ лѣтъ юношескую свою впечатлительность и требовательность. Какимъ образомъ приобрѣлись эти искаженныя фізіономіи, этого они не знаютъ; такихъ учебниковъ, въ которыхъ можно было-бы справиться о причинахъ умышленныхъ и нравственныхъ убогостей, до сихъ поръ еще никто не составлялъ. Если-же вы, не будучи патентованнымъ составителемъ учебниковъ, попытаете изучить и описать важнѣйшія изъ этихъ причинъ, то легко можетъ случиться, что въ награду за ваше безпристрастное изслѣдованіе вы прослывете вреднымъ памфлетистомъ, желающимъ кого-то exciter à la haine et au mépris ко всѣмъ практическимъ людямъ. Впрочемъ уже давно извѣстно, что всякое новое изслѣдованіе всегда кажется сначала почтенной публикѣ неслыханно дерзкимъ посягательствомъ на какое-нибудь общественное сокровище. Чѣмъ новѣе изслѣдованіе и чѣмъ почтеннѣе публика, тѣмъ громче оказываются вопли ужаса.

Еслибы порядочные люди робѣли и отступали передъ этими воплями, то никакихъ изслѣдованій не производилось-бы, и всѣ старыя заблужденія наслаждались-бы полной неприкосновенностью. Этого нѣтъ и не должно быть. Поэтому я начинаю теперь анализъ двухъ

вышеупомянутыхъ категорій съ гигиенической точки зрѣнія. Для большей наглядности и безобидности я придамъ этому анализу форму дружескаго разговора между мною и господиномъ Щетининымъ, котораго я беру въ періодъ его студенческихъ стремленій и юношескихъ иллюзій.

— Чѣмъ вы занимаетесь въ университетѣ?—спрашиваю я у него.—Вѣдь вы, кажется, юристъ?

— Да, говорить онъ:—по правдѣ сказать, почти ничѣмъ. Я въ восхищеніи отъ нашего университетскаго товарищества, но факультетъ мнѣ рѣшительно не нравится.

— Отчего-жъ вы не перейдете на другой факультетъ, на такой, который вамъ нравится?

— Да куда-жъ я перейду? Въ филологію—греческаго языка не знаю; въ математику—сохрани меня Богъ! Въ натуралисты—слуга покорный! Побывалъ я у нихъ разъ въ химической лабораторіи—и закалялся. Такого напустили сѣринстаго водорода, что меня три дня тошнило. А тамъ вѣдь у нихъ еще аэзіомія есть. Они у себя въ квартирѣ крысъ потрошатъ изъ любви къ наукѣ. Посудите сами, какія-же это занятія. Оно пожалуй и любопытно, да ужъ чересчуръ непріятно. Ну, въ камералисты и переходить не стоитъ. Почти то-же самое, что у насъ, только предметовъ еще больше, и въ лабораторію ходить надо. Развѣ для штуки подняться въ третій этажъ и засѣсть за белуджистанскую литературу? Такъ вѣдь это именно только для штуки можно.

— Да, разумѣется. Переходить вамъ дѣйствительно некуда.

— И главное дѣло не зачѣмъ. Память у меня блестящая. Экзамены я сдамъ великолепно. Значить, я свою юриспруденцію дотану до конца, какъ слѣдуетъ, а потомъ, какъ получу дипломъ, такъ сейчасъ ее и по боку.

— Совсѣмъ по боку нельзя. А служить-то какъ-же безъ юриспруденціи?

— Я служить не буду.

— Либерализмъ одолеваетъ?

— Какой либерализмъ! Либерализмъ этому нисколько не мѣшаетъ. Не только не мѣшаетъ, а даже побуждаетъ служить. Тутъ стало быть дѣло совсѣмъ не въ либерализмѣ. Я не буду служить потому, что намѣренъ поселиться въ деревнѣ.

— Что-жъ вы тамъ намѣрены дѣлать?

— Тамъ-то! Да тамъ теперь самая постоянная работа и начинается. Во-первыхъ, я хочу упрочить положеніе бывшихъ моихъ крѣпостныхъ. А во-вторыхъ, буду жить тихо, скромно, спокойно, обложу себя книгами, буду понемногу улучшать хозяйство, женюсь, будемъ съ женой заниматься хозяйствомъ, музыкой, будемъ кататься на лодкѣ, будемъ

много, много читать, будемъ вмѣстѣ учить свѣтъ, значить, все отечество благоден-крестьянскихъ дѣтей... Да, помилуйте, теперь ствуетъ.

трудно и высказать, какъ много добра можно — Что вы яростный демократъ — это я тамъ сдѣлать, какъ сильно можно подѣйстви-давно вижу. А вы мнѣ вотъ что объясните—вать на все окружающее общество; вѣдь не вы въ деревнѣ о чемъ будете заботиться: о звѣри-же тамъ живутъ, а люди; вѣдь теперь сермягѣ или о доходѣ?

и тамъ уже много молодыхъ дѣятелей, полу- — Одно другому нисколько не мѣшаетъ. Сермяга получить землю, произойдутъ величившихъ высшее образованіе; вѣдь стоитъ ликія цѣлованія: *батюшка, отецъ родной, озолотишь*, и такъ далѣе. Ну, когда все только дать первый толчекъ; все это про-это кончится, задамъ я имъ пиръ горой, снется и двинется... Лишь-бы обстоятельства не помѣшали,—а то можно цѣлый край пересоздать. Была-бы только любовь къ дѣлу, а потомъ и начну доходы свои совершенство-а ея, какъ видите, достаточно.

— А вы теперь сколько получаете до- — Кто-же вашу землю пахать будетъ? Все-ходи? — таки та-же сермяга?

— Въ хорошіе годы тысячи четыре, да — Ну, разумѣется. Не могу-же я самъ только теперь эти хорошіе годы что-то рѣдки тысячу десятинъ вспахать, засеять и убрать. становятся. Въ прошломъ году на 2500 при- — А одну можете?

шлоось съѣхать. — Не пробовалъ, да, я думаю, и пробо-вать не-зачѣмъ. Буду я вѣроятно нанимать

— Ну, а съ крестьянами-то вы какъ-же своихъ же бывшихъ крестьянъ, и они разу-раздѣляетесь? На выкупъ пойдутъ, или какъ? мѣется будутъ у меня работать съ превели-

— Что вы? Помилуйте! Какой выкупъ! Мои убѣждения не позволяютъ мнѣ брать кимъ удовольствіемъ.

съ нихъ деньги за ту землю, которой они — Какую-жъ вы имъ цѣну будете давать? Чтѣ владѣютъ. Вѣдь если-бы вы знали, какъ меня Чтѣ запрашивать — такъ сейчасъ вы и согла-

любятъ эти люди; вѣдь я, когда маленькій ситесь? — А вы думаете, они будутъ запраши-былъ, каждаго мужика въ лицо зналъ и вать?

по имени. Какъ я иду, бывало, по деревнѣ, — Я думаю, ихъ прямой интересъ со-мужикъ встрѣчается и сейчасъ къ рукѣ под-стоитъ въ томъ, чтобы брать за свой трудъ

ходитъ; я разумѣется не даю ни подѣ ка-какъ можно дороже, а въ чемъ будетъ со-кимъ видомъ, и начинаются цѣлованія въ-стоять вашъ прямой интересъ,—это вы мнѣ

губы. Славное это было время! — Стало-быть, землю даромъ даете? потрудитесь теперь объяснить. У васъ тутъ

— О, разумѣется! произойдетъ столкновеніе между любовью къ

— Тогда вѣдь, пожалуй, на 1500 придется изъ этихъ двухъ чувствъ одержать перевѣсъ? А если они должны оставаться въ равновѣ-

съѣхать. — Не думаю. Во-первыхъ, вамъ должно сін, то какимъ образомъ вы ухитритесь уст-

быть извѣстно, что вольнонаемный трудъ про-роить между ними примиреніе?

изводительныѣ обязательнаго. Это — эконо- — Да что-жъ тутъ мудренаго? Какъ дру-

мическая аксіома. Второе дѣло — хозяйскій — Другіе хозяева не дарятъ земли, дру-

глазъ. Теперь прикащикъ валить через пенъ-гіе хозяева не чувствуютъ никакой особен-

колоду, а ужъ тогда—извините. Ну, потомъ-ной вѣжности къ сермягѣ, другіе не гово-

нашины можно завести. Вмѣсто трехполь-рять о благоденствіи отечества, другіе не

наго хозяйства — плодонеребѣнную систему. собируются пересоздавать цѣлый край, и по-

Кое-какія свободныя деньги у меня есть: за-этому другіе могутъ торговаться съ *этими*

веду тирольскихъ коровъ. Однимъ словомъ, *бестіями*, и дѣйствительно торгуются изъ-за

извернуться можно. Я надѣюсь даже такъ каждой копѣйки, и никто имъ за это не ска-

устроить, что у меня еще больше будетъ до-жетъ худого слова, потому что ихъ дѣло

хода, чѣмъ прежде. Главное дѣло—энергія и хозяйское; но какимъ образомъ опасный че-

любовь къ дѣлу. — Это-то все хорошо; да только вѣдь вы

сейчасъ говорили, что вы этихъ людей очень

любите.

— Такъ что-же? Разумѣется люблю. Есте-

бы я ихъ не любилъ! Да если-бы я не лю-

билъ ихъ лично по воспоминаніямъ дѣтства,

такъ я все-таки долженъ въ нихъ любить мое

отечество. Вѣдь эта сермяга именно можетъ

ударить себя въ грудь и сказать: «la patrie

c'est moi». Если сермягѣ хорошо жить на

тогда разумѣется я ему растолкую, что такъ

нельзя, что это недобросовѣстно, что такимъ образомъ онъ рискуетъ остаться безъ работы. И тутъ-же я ему объясню, какими выгодами онъ будетъ пользоваться, если согласится принять мои условія, составленныя къ нашему обоюдному удовольствію. Разговоръ со мною будетъ даже очень полезенъ для мужика; вмѣсто того, чтобы торговаться,—какъ вы выражаетесь,—*съ этими бестіями*, я просто буду читать моимъ возлюбленнымъ сограждамамъ лекціи политической экономіи. Это развѣ дурно?

— Кроме траты времени, въ этихъ лекціяхъ не будетъ ничего дурного, по той простой причинѣ, что слушатели ваши, къ счастью для себя, не поймутъ и не захотятъ понимать ваши разсужденія.

— Въ настоящую минуту я тоже не понимаю васъ.

— Понять не трудно. Вамъ хочется убить мужика въ томъ, что онъ ломить съ васъ несообразную цѣну и поступаетъ недобросовѣстно.

разных Плюшкиных и Поздрых, которые торгуются съ этими бестіями? Протрите вы мужику вашу лекцію; она разукрасится на него не подѣйствуетъ. Вы тогда что сдѣлаете? — Вы тогда припрете мужика къ стѣнѣ тѣмъ аргументомъ, что онъ, — несообразный мужикъ, — *рискуетъ остаться безъ работы*. — *Этотъ аргументъ подѣйствуетъ*. Еще - бы не подѣйствовать! Аргументъ старый, испытанный, посѣдѣлый и бояхъ, но вѣчно юный, прекрасный и убѣдительный! Но когда вы будете употреблять этотъ убѣдительный аргументъ, вы ужъ такъ и знайте, что именно вы дѣлаете. Вы тогда не думайте, что читаете возлюбленному соотечественнику «лекцію политической экономіи»...

— Богъ знаетъ, что вы говорите! И кто вамъ сказалъ, что я намеренъ торговаться. Что запросить, то я и буду давать. Ну, довольны-ли вы наконецъ?

— Да я и прежде былъ очень доволенъ. Мое дѣло—сторона. А что вы не будете довольны вашими доходами, въ этомъ я могу увѣрить васъ заранее. Если вы не будете прибѣгать къ вышеупомянутому «убѣдительному аргументу», они обернутъ васъ до-чиста въ самое короткое время.

— То-есть какъ-же это? Небось потребуютъ сразу по сту рублей въ день?

— Зачѣмъ-же сразу и зачѣмъ-же по ст! Они тоже не сумасшедшіе. Сразу они увидятъ только, что вы — баринъ податливый и что васъ можно забрать въ руки. И заберутъ?

— Какъ-же это они меня заберутъ?

— Очень просто. Можно работать изловить сил и можно работать спустя рукава. Можно вставать на работу в четыре часа и можно вставать в семь часов. Можно тратить на обдуманный отдых час и можно тратить три часа. Можно держать рабочих лошадей в чистоте и в порядке и можно держать их чорт знает как. Можно обходиться без инструментов бережно и можно обходиться небрежно. Во всех этих случаях тщательность и небрежность для работника выгодны, потому что сберегают его силы, а для хозяина убыточны, потому что количество добываемых продуктов уменьшается и рабочие инструменты портятся. Когда работник ведет дело лѣниво или небрежно, тогда хороший хозяин съ него взыскивает. Если же вы по либеральности вашего образа мыслей взыскивать не намѣрены, то хозяйство ваше все пойдет въ разбродъ и произойдетъ именно то, что ваши работники заберутъ васъ въ свои руки. Вы ихъ будете кормить, одѣвать, обувать и постоянно будете оставаться въ чистомъ убыткѣ. Какъ вамъ нравится эта перспектива? И какъ вы полагаете,

не поворотить-ли вамъ обратно къ испытаннымъ мѣрамъ спасительной строгости?

— Послушайте! Въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ безъ взысканій обойтись въ хозяйственномъ дѣлѣ невозможно. Кое-какая дисциплина совершенно необходима. Иначе вѣдь это дымъ коромысломъ пойдетъ. Лѣнь, грубость, пьянство—просто хоть вонъ бѣги! Это даже и для нихъ самихъ скверно будетъ. Они совсѣмъ негодными сдѣлаются.

— Еще-бы, разумѣется!

— Да. Ну, такъ какъ-же не взыскивать? Взысканія у меня будутъ, и, стало быть, батраки мои не заберутъ меня въ руки.

— Всѣ виды взысканія можно свести къ двумъ категоріямъ: одни—тѣлесныя наказанія, другія—денежныя штрафы. Мужика можно бить или дубиной, или полтиной. Въ которое изъ этихъ орудій намѣрены пустить въ ходъ?

— Я совершенно неспособенъ драться съ мужиками.

— Драть мужиковъ и драться съ мужиками—двѣ вещи разныя. Но я не стану привязываться къ словамъ. Итакъ, вы склоняетесь къ полтинѣ?

— Если мужикъ своей небрежностью напечетъ мнѣ убытокъ, то онъ по всей справедливости обязанъ вознаградить меня за этотъ убытокъ. Брать съ него вознагражденіе—значитъ приучать его къ осмотрительности и къ добросовѣстности.

— Именно такъ. Напримѣръ у васъ идетъ уборка хлѣба и вы пользуетесь сухой погодой, чтобы поскорѣе свезти съ поля всю вашу пшеницу; вамъ каждый часъ дорогъ, потому что—того и гляди—начнутся дожди, хлѣбъ вымокнетъ, проростетъ и убытковъ не оберешься. Каждое замедленіе работниковъ посягнетъ прямо на ваши карманы. И вдругъ вы узнаете, что работники вышли въ поле не въ четыре часа утра, а въ шесть. Разумѣется, надо взыскать съ cadaго изъ нихъ по крайней мѣрѣ по 5 копѣекъ штрафа за каждый упущенный часъ. Такъ или нѣтъ?

— По моему такъ.

— Всѣ хорошіе хозяева, то-есть всѣ благо-разумные люди, смотрящіе на работника какъ на машину, доставляющую намъ удобства къ жизни, совершенно съ вами согласятся. Но есть люди безразсудные, которые по этому поводу способны наговорить много сантиментальнаго вздора. Они скажутъ напримѣръ, что самый жалкій и зависимый батракъ—все-таки живой человѣкъ и что у него есть свои органическія потребности, за удовлетвореніе которыхъ штрафовать не годится. Они скажутъ, что, работая цѣлый длинный лѣтній день, мужикъ измучился, что ему напекло голову, что онъ долго не могъ заснуть съ вечера именно отъ головной боли, и что поэтому ему невозможно было подняться

на работу въ четыре часа. Какъ все это наивно и смѣшно! Мужикъ напекло голову—ха, ха, ха! —У мужика голова болитъ—ха, ха, ха! —Мужикъ утромъ спать хочется—ха, ха, ха! —И пшеницѣ господской изъ-за этого мокнуть—ха, ха, ха! Убѣдительно васъ прошу раздѣлять со мною мою веселость. Съ какой стати вы предоставляете мнѣ одному удовольствіе смѣяться надъ безразсудными рѣчами безразсудныхъ людей.

— Я вовсе не считаю этихъ людей безразсудными и нисколько не намѣренъ смотрѣть на мужика, какъ на машину.

— Напрасно! Ну, такъ смотрите на него по крайней мѣрѣ какъ на злѣйшаго и коварнѣйшаго врага.

— И этого не хочу. Это еще грустнѣе.

— Чего-же вы наконецъ хотите? И какъ-же вы наконецъ намѣрены смотрѣть на вашихъ батраковъ? Небось скажете: какъ на младшихъ братьевъ? Вотъ одолжите-то!

— Это конечно фраза избитая и опошленная. Много нужно храбрости на то, чтобы произнести ее серьезно. И однако-же я все-таки произнесу ее: да, я твердо рѣшился смотрѣть на нихъ, какъ на младшихъ братьевъ.

— О, мой добродѣтельный юноша! О, мой храбрый и твердо рѣшившійся либералъ! Какъ живо разлетится одно изъ двухъ: или ваше родовое имущество, или ваше благопріобрѣтенное братолюбіе! Вы подумайте хорошенько:—которое изъ двухъ сокровищъ для васъ дороже? И подумавши, рѣшите заранѣе:—съ которымъ изъ нихъ вы намѣрены разстаться. И наконецъ, рѣшившись, дѣйствуйте смѣло и послѣ-вательно, окончательно отложивши въ ^{до}сто-ну несбыточныя надежды сохранить въ неприкосновенности оба сокровища разомъ. Вы не вѣрите тому, что я вамъ говорю?

— Не вѣрю.

— И намѣрены удержать и приумножить оба сокровища?

— Намѣренъ.

— Ну, такъ слушайте-же. Я предлагалъ вамъ смотрѣть на работника, какъ на машину. Вы отказались и прогулялись на счетъ братолюбія. Вашимъ отказомъ и вашей прогулкой вы подорвали основной принципъ *наемщины*, на которой должно держаться все ваше хозяйство. Наемщина немыслима безъ двухъ условий: первое—борьба за рабочую плату; второе—борьба за исправность работы. Другими словами: надо торговаться и надо взыскивать. Безъ этого не можетъ идти ни одно хозяйство, построенное на батрачествѣ. Если я смотрю на батрака, какъ на машину, мнѣ очень удобно и торговаться съ нимъ, и взыскивать съ него. Я предлагаю ему ничтожную цѣну, онъ упирается. Что это значитъ? Это значитъ, что машина, которую я тащу къ себѣ въ домъ,

упирается по силѣ инерціи. Надо побѣдить это сопротивление энергическимъ усиленіемъ, напирѣмъ стачкой нанимателей. Когда усиленіе сдѣлано и сопротивление побѣждено, тогда все обстоитъ благополучно. Хорошо-ли работнику при ничтожной платѣ, и какимъ образомъ онъ ухитрится свести концы съ концами, и чѣмъ онъ будетъ набивать себѣ желудокъ,—всѣ эти вопросы не имѣютъ ни малѣйшаго смысла, точно такъ, какъ не имѣетъ смысла вопросъ о томъ: пріятно-ли машинѣ стоять у меня въ комнатѣ. Такъ-же удобно совершаются необходимыя взысканія. Чтѣ я дѣлаю съ машиной, когда она начинаетъ дѣйствовать неисправно?—Я смазываю ее деревяннымъ масломъ. Чтѣ я дѣлаю съ лошадыю, когда она не желаетъ бѣжать рысью?—Я смазываю ее ловкимъ ударомъ кнута. Чтѣ я дѣлаю съ работникомъ, когда онъ работаетъ вяло и небрежно?—Я также смазываю его достаточнымъ количествомъ розогъ или, при измѣнившихся обстоятельствахъ, вычетомъ изъ его задѣльной платы. Почему, отчего, зачѣмъ работникъ работаетъ вяло и небрежно—объ этомъ я не спрашиваю, точно такъ-же, какъ не интересуюсь размышленіями, страстями или огорченіями лошади, не желающей идти рысью...

— Все это чистыя теоріи и утопіи. Вы меня нисколько не убѣдите. Я рѣшился твердо и пойду впередъ по тому пути, который я себѣ выбралъ. Дальнѣйшія возраженія съ моей стороны я считаю бесполезными, но мнѣ любопытно было-бы знать,—такъ просто, изъ желанія посмотреть на воздушныя замки,—къ какимъ положительнымъ теоретическимъ заключеніямъ вы ведете вашу аргументацію. Вы старались доказать, что надо выбрать одно изъ двухъ: братолюбіе или приумноженіе доходовъ. Представьте себѣ, что я убѣдился вашими доводами и, послѣ зрѣлаго размышленія, твердо рѣшился выбрать, во что-бы то ни стало, чистѣйшее братолюбіе. Что-же мнѣ слѣдовало-бы дѣлать?

— Работать.

— Работать! Хорошо отвѣтъ! Вы скажите, что и какъ работать?

— Хорошо вопросъ! Точно я могу залѣзть въ вашу шкуру, смотрѣть на вещи вашими глазами, думать вашимъ мозгомъ, и вообще понимать лучше васъ самихъ всѣ тончайшія особенности вашего ума, характера и темперамента? Я могу сказать вамъ только одно: къ чему вы расположены, тѣмъ и занимайтесь.

— А если я ни къ чему не расположенъ?

— Тогда у васъ братолюбіе быть не можетъ, и тогда дальнѣйшій разговоръ становится бесполезнымъ.

— Почему-же не можетъ быть братолюбіе?

— Кто любитъ людей, тотъ хочетъ, во что бы то ни стало, приносить имъ пользу и слѣдовательно чувствуетъ влеченіе ко всякой дѣятельности, способной, такъ или иначе, облегчить человѣческія страданія. Если это влеченіе существуетъ, то затѣмъ остается только въ многихъ полезныхъ отраслей труда выбрать ту, которая соотвѣтствуетъ всего больше складу вашего ума. И такая отрасль непременно найдется, если только вы не идіотъ и не калѣка.

— Ну, положимъ, что такая отрасль нашлась. Дальше, что-же?

— Дальше ничего. Будете жить, будете работать, будете приносить пользу, потому что свое время умрете.

— Все это я и намѣренъ дѣлать у себя въ деревнѣ. Буду работать—то есть заниматься хозяйствомъ; буду приносить пользу—устрою школу, больницу, образцовую ферму.

— Охота вамъ говорить о хозяйствѣ. Ну, какой-же вы агрономъ, какой-же вы снѣдливый? Попробуйте наняться къ кому-нибудь въ управляющіе: возьметъ-ли васъ кто-нибудь, и много ли дадутъ вамъ жалованья, и должели васъ продержатъ? Неужто вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что будете получать ваши доходы за ваши агрономическіе труды, а не за то совершенно независимое отъ васъ обстоятельство, что вамъ принадлежитъ извѣстное пространство земли. Вы будете жить въ деревнѣ доходами съ земли, которую обрабатываютъ за васъ другіе люди. Развѣ это значитъ жить собственнымъ трудомъ? Потому вы сюда еще приехали школу и больницу. Если вы сами намѣрены сдѣлаться школьнымъ учителемъ, то вамъ и книги въ руки: только въ такомъ случаѣ надо удовольствоваться тѣмъ жалованьемъ, которое получаютъ сельскіе учителя. Больницу же вы никогда не устроите, потому что для этого вамъ пришлось-бы отказаться отъ многихъ удобствъ жизни.

— Такъ, по вашему, что-же я долженъ сдѣлать съ имѣніемъ?

— По моему, давно пора прекратить этотъ разговоръ. Поѣзжайте къ себѣ въ деревню, откажитесь отъ глупыхъ фантазій, свойственныхъ петербургскому студенту, и превращайтесь поскорѣе въ образцоваго хозяина. Вы сами знаете очень хорошо, что для васъ въ жизни нѣтъ другой дороги.

ПОГИБШІЕ и ПОГИБАЮЩІЕ.

I.

Сравнительный методъ одинаково полезенъ и необходимъ, какъ въ анатоміи отдѣльнаго человѣка, такъ и въ социальной наукѣ, которую можно назвать анатоміей общества.

Въ анатоміи человѣка сравнительный методъ можетъ прикладываться къ дѣлу или такъ, что сравниваются между собою одинаковые органы различныхъ животныхъ, или-же такъ, что для сравненія берутся различные органы одного и того-же животнаго. Въ анатоміи общества умѣстны и употребительны оба видоизмѣненія сравнительнаго метода. Можно сравнивать между собою соотвѣтственные учрежденія различныхъ обществъ, напримѣръ суды Франціи съ судами Англіи, Пруссіи, Россіи и такъ далѣе; и можно также сопоставлять и разсматривать въ связи между собою различные учрежденія одного и того-же общественнаго организма, напримѣръ французскую армію и французскіе финансы, прусскую палату депутатовъ и прусское чиновничество, англійское землевладѣніе и англійское workhouses (рабочіе дома для нищихъ).

Въ этой статьѣ я намѣренъ представить читателю сравнительно-анатомическій этюдъ, произведенный по этому второму способу. Я намѣренъ сопоставить старую бурсу съ «мертвымъ домомъ». Результаты получатся неожиданные и довольно поучительные. Верусь-же я именно за эту задачу собственно потому, что мы имѣемъ въ нашей новѣйшей литературѣ два замѣчательныя сочиненія: «Очерки бursы» Помяловскаго и «Записки изъ Мертваго дома» Достоевскаго, — два сочиненія, изъ которыхъ можно почерпнуть самыя достовѣрныя и самыя любопытныя свѣдѣнія о русской школѣ и о русскомъ острогѣ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ.

Читателямъ покажется быть-можетъ, что, называя бурсу русской школой, я придаю бурсѣ слишкомъ обширное значеніе. Читатели скажутъ, что гимназін, корпуса, лицей, университеты и академіи непременно должны быть признаны русскими школами, что бursы составляютъ самую послѣднюю категорію русскихъ школъ, и что слѣдовательно, употребляя общее выраженіе *русская школа*, надо брать не низшій сортъ, а средній выводъ, который, разумеется, долженъ оказаться значительно лучше этого низшаго сорта. — Это правда. Надо

брать средній выводъ. Но тутъ есть одно маленькое затрудненіе: тотъ средній выводъ, на который указываетъ возраженіе читателей, изображаетъ собою совѣсть не русскую школу, а только школу русскаго привилегированнаго меньшинства. Настоящій средній выводъ, настоящая русская школа остаются неизвѣстными по той простой причинѣ, что несоразмѣрно-громадное большинство русскаго народа обходится до сихъ поръ совѣстью безъ школъ. Если же мы, во что-бы то ни стало, непременно желаемъ составить себѣ приблизительное понятіе о томъ, чѣмъ могла-бы быть русская школа, школа открытая и доступная для большинства, то мы должны удариться въ область предположеній. Хорошо, ударимся. Положимъ, что, при сохраненіи всѣхъ существующихъ условій нашей общественной жизни, въ каждой русской деревнѣ открыто по крайней мѣрѣ по одному училищу. Въ какомъ-же родѣ будутъ эти училища? Чему они будутъ обучать своихъ воспитанниковъ? Отвѣчать на этотъ вопросъ не трудно, если только мы желаемъ оставаться въ границахъ правдоподобнаго. Самые пылкіе просвѣтителы, не только у насъ, но даже и за-границей, въ самыхъ пылкихъ своихъ мечтаніяхъ осмѣливаются доходить только до того требованія, чтобы всѣ ихъ соотечественники и соотечественницы умѣли читать, писать и считать. Дальше этого нейдутъ покуда ни ихъ желанія, ни ихъ надежды. При настоящихъ условіяхъ дальше идти дѣйствительно невозможно, потому что не на что: денегъ не хватитъ. Итакъ, въ деревенскихъ училищахъ будутъ читать, писать и считать. Въ бурсѣ этимъ не ограничиваются; стало-быть, уровень преподаванія немедленно понижается, какъ только школа начинаетъ дѣлаться доступной для большинства. Такое-же точно пониженіе допускается и въ личномъ составѣ учителей; въ бурсѣ учительствуютъ кандидаты и магистры духовныхъ академій или по меньшей мѣрѣ люди, окончившіе курсъ въ семинаріи; въ деревенскихъ училищахъ будутъ господствовать волостные писаря, безсрочно-отпускные солдаты, пономари, и вообще такіе люди, для которыхъ буква *ъ* составляетъ вѣчный камень преткновенія, а дѣленіе простыхъ чиселъ — крайнюю границу чело-вѣческой премудрости. Чѣмъ невѣжественнѣе преподаватель, тѣмъ менѣе имѣетъ онъ средствъ сдѣлать ученіе привлекательнымъ для

учениковъ; а чѣмъ скучнѣе и несноснѣе учение, тѣмъ сильнѣе долженъ быть педагогическій терроръ, потому что, разумѣется, только боль и страхъ могутъ сколько-нибудь противодѣйствовать тому естественному отвращенію, которое внушаютъ отрокамъ и юношамъ безсмысленные уроки, непонятные даже самому преподавателю. Стало быть, въ предполагаемыхъ деревенскихъ училищахъ должно непременно совершиться одно изъ двухъ: или водворится терроръ, еще болѣе сильный, чѣмъ въ бурсѣ, или-же, если развитію террора помѣшаютъ какія-нибудь внѣшнія гуманно-либеральныя вліянія, — все преподаваніе окажется безплоднымъ, и ученики будутъ выходить изъ школы съ тѣми-же самыми знаніями, съ которыми они въ нее вступили.

Въ матеріальномъ отношеніи содержаніе учениковъ также будетъ еще хуже, чѣмъ содержаніе бурсаковъ. Какъ живутъ наши мужики, во что они одѣваются, что ѣдятъ—это, я думаю, до нѣкоторой степени извѣстно, хотя и по слухамъ, моему человѣколюбивому читателю. Какъ ни скромно, какъ ни мизерно внутреннее устройство бурсы, описанной Помяловскимъ, однакоже въ этой завалающей бурсѣ есть кое-какіе предметы роскоши, неизвѣстной и недоступной огромному большинству нашихъ соотечественниковъ. Такъ напримѣръ, бурсаки учатъ уроки при свѣтѣ дранной лампы, которая одна освѣщаетъ большую комнату, вмѣщающую въ себя болѣе сотни учениковъ. Эта дранная лампа составляетъ чистѣйшую роскошь, потому что въ мужицкихъ избахъ горитъ по вечерамъ не лампа и даже не салъная свѣча, а лучина, при свѣтѣ которой читать книжку и заниматься наукой еще гораздо мудренѣе. Далѣе, у каждого бурсака есть кровать съ тюфякомъ, съ подушкой и съ одеяломъ; это уже огромная роскошь: большинство нашихъ соотечественниковъ спитъ на лежанкахъ, на лавкахъ, на палатахъ, подкладывая подъ голову зипунъ и покрываясь въ холодное время какимъ-нибудь дырявымъ полушубкомъ. Если мы предположимъ, что ученики деревенскихъ школъ живутъ у своихъ родителей и приходятъ въ школу только на классное время, то окажется, что огромное большинство этихъ экстерновъ живетъ, ѣсть и одѣвается хуже бурсаковъ, изображенныхъ у Помяловскаго. Если-же мы предположимъ, что въ каждой деревнѣ устроенъ особый пансіонъ, въ которомъ постоянно живетъ учащееся юношество, то этотъ пансіонъ своей мизерностью и невыпрятностью далеко превзойдетъ бурсу Помяловскаго. Кроме того даже этотъ мизернѣйшій и грязнѣйшій пансіонъ для многихъ сельскихъ общинъ окажется совершенно непосильнымъ бременемъ.

На содержаніе бурсака казна отпускаетъ

немного; значительная часть припираетъ общиновенно къ рукамъ смотрителя, инспектора, эконома и училищной прислуги; остаткомъ подерживается бременное существованіе бурсака; остатокъ этотъ составляетъ уже очень незначительную горсточку земныхъ благъ; во даже и по такой горсточкѣ наше общество никакъ не можетъ тратить ежегодно на *каждого* изъ своихъ подрастающихъ членовъ. Бурсакъ живетъ очень бѣдно и грязно; но у него есть тысячи ровестниковъ, которые живутъ еще бѣднѣе и грязнѣе; между этими тысячами, составляющими большинство русскаго молодого поколѣнія, есть очень много и такихъ, которыхъ бѣдность и грязь доводятъ до преждевременной смерти. Поэтому назвать бурсу русскою школою вовсе не значитъ обидѣть русскую школу. Разсматривая внутреннее устройство бурсы, мы вовсе не должны думать, что имѣемъ дѣло съ какимъ-нибудь исключительнымъ явленіемъ, съ какимъ-нибудь особенно-темнымъ и душнымъ угломъ нашей жизни, съ какимъ-нибудь послѣднимъ убожищемъ грязи и мрака. Ничуть не бывало. Бурса—одно изъ очень многихъ и притомъ изъ самыхъ невинныхъ проявленій нашей повсемѣстной и всесторонней бѣдности и убогости.

Итакъ, будемъ разсматривать бурсу и мертвый домъ; проведемъ параллель между русскою школою и русскимъ острогомъ сороковыхъ годовъ.

II.

Обитатели мертваго дома или, проще, каторжники занимаются, какъ извѣстно, обязательными казенными работами, которыя составляютъ одну изъ важнѣйшихъ составныхъ частей наложеннаго на нихъ наказанія. «Самая работа,—говоритъ Достоевскій,—показалась мнѣ вовсе не такъ тяжелой, *каторжной*, и только довольно долго спустя я догадался, что тяжесть и *каторжность* этой работы—не столько въ трудности и непрерывности ея, сколько въ томъ, что она *принужденная*, обязательная изъ-подъ палки.» Далѣе Достоевскій соображаетъ очень основательно, что эта обязательная работа сдѣлалась-бы еще болѣе ужасной и даже совершенно невыносимой, если-бы ей былъ приданъ характеръ совершенной, полнѣйшей бесполезности и бессмыслицы, то есть, еслибы напримѣръ арестанта заставляли переливать воду изъ одного ушата въ другой, а изъ другого—въ первый, толочь песокъ, перетаскивать кучу земли съ одного мѣста на другое, и обратно.

Спрашивается теперь, есть-ли въ жизни бурсаковъ какое-нибудь занятіе, соответствующее обязательной работѣ каторжниковъ? Каждый бывшій бурсакъ и даже каждый чита-

ль, знакомый съ очерками Помяловскаго, отвѣтъ не задумываясь, что всѣ учебныя занятія рсаконъ похожи, какъ двѣ капли воды, на язательную работу каторжниковъ. Остается лько рѣшить вопросъ, на какую именно рату похожи умственные труды бурсаконъ, на-ли, которая дѣйствительно существуетъ въ ртвомъ доиѣ, или-же на ту, въ которой До-оевскій справедливо видитъ ужасный и, къ астію, неосуществимый идеалъ каторжной рати? Мнѣ кажется, что работа бурсаконъ дходить довольно близко къ послѣдней теоріи, то есть къ мучительному пере-ванію воды изъ одного ушата въ другой, а въ другого—въ первый. Каждому бурсаку, еще совѣмъ потерявшему способность размыш-ть, бурсаконъ зубреніе должно казаться, и йствительно кажется, занятіемъ совершенно змысленнымъ, совершенно бесполезнымъ, и ѣдовательно такимъ-же мучительнымъ и не-носимымъ, какъ напримѣръ безцѣльное пе-ливаніе воды туда и обратно. Всѣ мы знаемъ енъ хорошо, что бурсаки зубрятъ или по айней мѣрѣ зубрили жестоко. Но мнѣ ка-тса, немногіе изъ насъ отдають себѣ совер-нно ясный отчетъ въ томъ, что такое зубре-е или долбленіе. При поверхностномъ и не-имательномъ взглядѣ на предметъ можетъ по-заться, что между простымъ запоминаніемъ и тесочнымъ вызубриваніемъ урока сущест-етъ только количественное различіе. Профаны гутъ разсуждать такъ: прочтите урокъ два и три раза, вы его запомните и будете въ со-олніи пересказать его своими словами; а про-ите тотъ-же урокъ разъ десять или пятна-ать, — и вы его вызубрите, то есть, будете ать его слово въ слово.—Профаны эти оши-ются. Запоминать и зубрить—это два совер-нно различные процесса, и каждый изъ этихъ оцессовъ имѣетъ свои специфическіе приемы. ть неопытный и несчастный смертный, кото-й вздумалъ-бы зубрить урокъ, читая его со ысломъ и съ толкомъ отъ начала до конца, гратилъ-бы даромъ *oleum et operam*. Запо-нать—значитъ вглядываться въ мысли и от-вать себѣ отчетъ въ томъ, какимъ образомъ на мысль связывается съ другою или выте-етъ изъ нея. Зубрить, напротивъ того, зна-тъ приучать свой языкъ, свои губы и всѣ угіе органы слова къ тому, чтобы они выдѣ-вали бойко, безошибочно и въ неизмѣнной слѣдовательности тотъ длинный рядъ слож-хъ движеній, который соотвѣтствуетъ писан-мъ или печатнымъ словамъ даннаго урока. а штука и весь букетъ состоятъ именно въ ть, чтобы эти движенія выдѣлывались сами бою, чтобы первое движеніе съ неодолимою тянуло за собою второе, третье, четвер-е и такъ далѣе до самаго конца, и чтобы въ этотъ рядъ движеній совершался незави-

симо отъ размышленія; если вы, пустившись въ эти движенія, принуждены припоминать и со-ображать, то это значить, что результатъ не достигнуть, и что урокъ непременно начнетъ высказываться собственными словами, сообразно съ вашимъ личнымъ складомъ ума и съ вашимъ индивидуальнымъ оттѣнкомъ краснорѣчія. Если вы хотите что-нибудь вызубрить, то вы должны въ какіе-нибудь полтора часа совершить надъ собою ту операцію, которая втеченіи нѣсколь-кихъ лѣтъ совершается надъ фабричнымъ, при-учающимся дѣлать машинально, руками или ногами, тѣ или другія эволюціи. Навыкъ работ-ника состоитъ въ томъ, что извѣстныя сочета-нія движеній дѣлаются у него безъ напряженія вниманія, безъ постоянного участія воли и раз-мышленія. Именно такіе навыки приходится приобрѣтать зубрящему человѣку въ самое короткое время. Если каждый день у бурсака имѣется по четыре урока, то аккуратно каж-дый вечеръ бурсакъ долженъ приобрѣтать себѣ по четыре совершенно различныхъ навыка, изъ которыхъ каждый не въ примѣръ сложнѣе и замысловатѣе единственнаго навыка, приобрѣ-таемаго рабочимъ втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Приобрѣтаются эти навыки слѣдующимъ обра-зомъ: вы дѣлаете сначала первыя десять дви-женій, то есть произносите первыя три или че-тыре слова урока, произносите нѣсколько разъ до тѣхъ поръ, пока они у васъ срастаются меж-ду собою на глухо; къ этимъ упроченнымъ дви-женіямъ вы приставляете пять или шесть но-выхъ движеній, которые черезъ нѣсколько ми-нутъ прирастають къ первымъ; затѣмъ вы оставляете въ сторонѣ образовавшуюся группу словъ, и точно такимъ-же манеромъ устраи-ваете изъ слѣдующихъ словъ урока новую груп-пу; затѣмъ производится склеиваніе обѣихъ группъ въ одно цѣлое; когда склейка оказы-вается настолько солидной, что вы, нисколько не задумываясь, произносите подъ рядъ обѣ группы, тогда вы идете далѣе, постоянно при-клеивая къ затверженному началу урока новыя комбинаціи звуковъ. Взгляните со стороны на занимающихся учениковъ, и вы, при нѣкоторой наблюдательности, тотчасъ замѣтите, который изъ нихъ учитъ урокъ съ размышленіемъ и ко-торый зубрить. Размышляющій ученикъ читаетъ книгу глазами: губы его не шевелятся, а только изрѣдка сжимаются, когда онъ, наморщивъ лобъ и прищуривъ глаза, вдумывается, припоминаетъ и резюмируетъ прочитанную страницу; онъ ино-гда останавливается, повертываетъ страницу назадъ, перечитываетъ вновь тѣ мѣста, въ ко-торыхъ заключается исходная точка послѣдую-щихъ мыслей; на лицѣ его видна живая смѣна ощущеній; онъ обнаруживаетъ признаки недо-умѣнія, онъ чего-то ищетъ, онъ чѣмъ то озабо-ченъ, онъ нахмуривается; потомъ онъ нападаетъ на слѣдъ той мысли, которую онъ искалъ, фи-

зіомія его проясняется, въ глазахъ его проблескивается лучъ радости и живого пониманія, и юный мыслитель нашъ спокойно и весело продолжаетъ свою пріостановившуюся работу. — Зубрило, напротивъ того, постоянно шевелитъ губами и, покачиваясь всѣмъ туловищемъ, быстро вышептываетъ одно за другимъ роковыя слова урока; чѣмъ сильнѣе становится его зубрильный пафосъ, тѣмъ яростнѣе шевелятся губы, тѣмъ громче произносятся слова и тѣмъ неукротимѣе качается туловище: зубрило шалѣетъ, глаза его мутятся, и весь онъ становится похожъ на человѣка, опившагося дурманомъ, или на дервиша, закружившагося до помраченія разсудка.

Помяловскій, выдавшій на своемъ вѣку множество самыхъ чистокровныхъ зубриль и отвѣдавшій самъ прелести этого занятія, рисуетъ очень яркими чертами процессъ бурсацкой каторжной работы и вліяніе этой работы на матеріальное и умственное здоровье бурсаковъ. «Ученики, — говоритъ онъ, — сидя надъ книгой, повторяли безъ конца и безъ смыслу: «стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ... потомъ, потомъ... постигли, постигли, постигли... стыдъ и срамъ... потомъ... постигли...» Такая египетская работа продолжалась до тѣхъ поръ, пока на вѣки нерушимо не запечатлѣвался въ головѣ ученика *стыдъ и срамъ*. Сильно мучился воспитаникъ во время урока, такъ что ученіе здѣсь является физическимъ страданіемъ, которое выразилось въ пѣснѣ: «сколь блаженны тѣ народы».

«Что-же удивительнаго, — говоритъ онъ далѣе, — что такая наука поселяла только отвращеніе въ ученикѣ, и что онъ скорѣе начнетъ играть въ плевки или продѣветъ изъ носу въ ротъ палочку, нежели станетъ учить урокъ? Ученикъ, вступая въ училище изъ-подъ родительскаго крова, скоро чувствовалъ, что съ нимъ совершается что-то новое, никогда имъ неиспытанное, какъ будто передъ глазами его опускаются сѣти одна за другою, въ безконечномъ радѣ, и мѣшаютъ видѣть предметы ясно; что голова его перестала дѣйствовать любознательно и смѣло и сдѣлалась похожа на какой-то аппаратъ, въ которомъ стоитъжать пружину — и вотъ ротъ раскрывается и начинаетъ выкидывать слова, а въ словахъ — удивительно! — нѣтъ мысли, какъ бывало прежде.» «Вонъ Данило Песковъ, — продолжаетъ Помяловскій, — мальчишъ умный и прилежный, но рѣшительно неспособный долбить слово въ слово, просидѣвъ надъ книгою два часа съ половиною, поводитъ помутившимися глазами... и что-же? .. онъ видитъ, многіе измучились еще болѣе, чѣмъ онъ, многіе еще доканчиваютъ свою порцію изъ учебниковъ, озбоченно вычитывая урокъ и поднимая голову вверхъ, какъ пьющія куры. Иные чуть не плачутъ, потому что невысокій баллъ бу-

детъ выставленъ противъ изъ фамиліи въ тетрадь. Одинъ, желая возбудить въ себѣ энергію, треплетъ самъ себя за волоса»...

По мучительности своей, ученая бурсацкая работа далеко превосходитъ работу арестантовъ, которая, по словамъ Достоевскаго, сама по себѣ нисколько не обременительна. Съ точки зрѣнія обязательности или подневольности, работа бурсаковъ также перещеголяла работу арестантовъ. Въ первомъ томѣ своихъ «Записокъ» Достоевскій описываетъ арестантскую работу — ломаніе старой барки; придя на рѣку, арестанты разсаживаются по бревнамъ и закуриваютъ трубки; потомъ начинаютъ разсуждать о томъ, кто догадался ломать эту барку; потомъ критикуютъ проходящихъ мужиковъ; потомъ любезничаютъ съ калашницей и просятъ у нея того, чего мыши не ѣдятъ. Тутъ является приставъ надъ работами и приглашаетъ публику приступить; публика проситъ себѣ урока, говорить, что скорѣй скорого не сдѣлаешь, и начинаетъ дѣйствовать такъ вяло, что приставъ считаетъ необходимымъ плюнуть и отправиться за кондукторомъ, который исполняетъ желаніе публики и задаетъ ей урокъ. — Такимъ образомъ работники нисколько не надрываются: они резонируютъ, благодумствуютъ, дѣлаютъ кейфы и даже торгуются насчетъ работъ съ своимъ ближайшимъ начальствомъ; положеніе этихъ работниковъ конечно очень тяжело и невыгодно, потому что они лишены свободы и принуждены заниматься такимъ дѣломъ, которое не доставляетъ имъ ни удовольствія, ни личной выгоды; но неволя арестантовъ легка въ сравненіи съ неволей бурсаковъ; надъ послѣдними контроль по работамъ несравненно строже; арестантовъ никто не подвергаетъ взысканію за то, что они балагурятъ въ рабочее время; бурсака, напротивъ того, порютъ очень аккуратно за каждый невыученный урокъ; а что значитъ выучить урокъ — это я показалъ выше, объясняя и анализируя процессъ зубренія. Притомъ надо замѣтить, что бурсака порютъ не гуртомъ за общую неисправность работы, а порознь, за каждый невыученный урокъ; при такой раздробительной системѣ воздаянія на долю одного бурсака можетъ придтись въ одинъ день по нѣскольку сѣченій, чего съ арестантомъ уже никакимъ образомъ случиться не можетъ, такъ какъ въ острогѣ право казнить и миловать принадлежитъ одному начальству, а въ бурѣ эта право распределяется между многими учителями. «Когда приходилось, — говоритъ Помяловскій, — что три описанные учителя занимали уроки въ одинъ и тотъ-же день, то одного и того-же ученика сѣкли нѣсколько разъ. Такъ, Караса, случалось, отдирали четыре раза въ одинъ день (виродженіи всей училищной жизни непремѣнно разъ четыреста)». Далѣе, по своей занимательности, работа бурсака стоитъ положительно

ниже ломанія барки или дѣланія кирпича, и можетъ быть поставлена на одну доску съ переливаніемъ воды изъ ушата въ ушатъ. Если мнѣ возразить, что бурсакъ въ этой работѣ можетъ видѣть средство добиться хорошаго аттестата и составить себѣ карьеру, то я отвѣчу, что и арестантъ, посаженный въ острогъ на известное число лѣтъ, можетъ видѣть въ исправномъ переливаніи воды дорогу къ освобожденію. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы арестантъ, осужденный на переливаніе воды, вздумалъ заупрямиться и отказался-бы отъ своей безплодной и мучительно-скупной работы, то его стали-бы наказывать, а еслибы дисциплинарныя наказанія не сломили его упрямства, то его вторично отдали-бы подъ судъ за дурное поведеніе, и время его заключенія увеличилось бы въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ. Точно также поступаютъ и съ лѣнными бурсаками; сначала его отечески наказываютъ, а потомъ его исключаютъ, то есть у него отнимаютъ аттестатъ и карьеру. Стало быть, интересъ работы одинаковъ для бурсака, зурбашаго «стыдъ и срамъ», и для арестанта, переливающего воду изъ ушата въ ушатъ, потому что первый за небрежное выполненіе работы лишается нѣкоторыхъ выгодъ, а второй за то-же самое подвергается нѣкоторымъ невыгодамъ. Цѣль бурсака состоитъ въ томъ, чтобы допелестись всѣми правдами и неправдами до выпускного экзамена; цѣль арестанта—въ томъ, чтобы безнаказанно дожить до дня освобожденія. Обѣ эти цѣли до такой степени отдаленны, что онѣ нисколько не могутъ освѣтить и украсить собою обязательную работу. Человѣкъ можетъ работать охотно и весело только тогда, когда онъ постоянно извлекаетъ себѣ изъ работы немедленную выгоду, или когда самый процессъ работы доставляетъ ему непосредственное удовольствіе. Когда работа сама по себѣ имѣетъ какой-нибудь внутренній смыслъ, понятный для работника, тогда возможно увлеченіе работой, хотя-бы даже и обязательной. Но такъ какъ затверживаніе *стыда и срама* не имѣетъ никакого внутренняго смысла, и въ то-же время требуетъ очень сильнаго напряженія энергіи и вниманія, то далекая перспектива аттестата и карьеры становится совершенно недѣйствительной, и юношество подвигается впередъ по узкому и скорбному пути бурсацкой премудрости при содѣйствіи такихъ героическихъ средствъ, которыя могли-бы испугать даже обитателей мертваго дома и которыя даже въ мертвомъ домѣ оказались-бы необходимыми только въ томъ немыслимомъ случаѣ, еслибы начальству вздумалось приурочить арестантовъ къ безсмысленному переливанію воды сею и овамо.

III.

Другая сходная черта бурсы и мертваго дома состоитъ въ мизерности того содержанія, которое получаютъ обитатели этихъ двухъ, одинаково воспитательныхъ или одинаково карательныхъ, заведеній. Здѣсь опять пальма первенства остается за бурсой, по крайней мѣрѣ за той бурсой, которую описалъ Помяловскій. Что ѣдятъ бурсаки и что ѣдятъ арестанты? Качества ихъ щей, каши и такъ далѣе мы, разумѣется, сравнивать не можемъ, потому что къ сочиненіямъ Помяловскаго и Достоевскаго не приложено, въ видѣ *pièces justificatives*, образчиковъ этихъ деликатныхъ кушаній; оба говорятъ, что скверно, а что хуже, объ этомъ по описанію судить мудрено. Но есть одинъ осязательный пунктъ, который доказываетъ, что бурсакамъ было хуже жить, чѣмъ арестантамъ. Какъ-бы ни былъ дуренъ обѣдъ, но во всякомъ случаѣ если только хлѣба дается въ-волю, до отвалу, то человѣкъ обезпеченъ по крайней мѣрѣ противъ голода. Чѣмъ отвратительнѣе обѣдъ, тѣмъ важнѣе становится вопросъ о хлѣбѣ, который при дурномъ обѣдѣ дѣлается самой главной статьей питанія. И—какъ-бы вы думали?—хлѣбъ въ бурсѣ выдавался счетомъ, а въ мертвомъ домѣ давалось хлѣба, сколько угодно. «Большинство, — говоритъ Помяловскій, — не желало дѣлиться съ нимъ (съ воспитанникомъ, оставленнымъ безъ обѣда) запаснымъ хлѣбомъ; впрочемъ и дѣлиться было не изъ чего: утреннихъ и вечернихъ фриштиковъ въ бурсѣ не полагалось; за обѣдомъ выдавали только по два ломтя хлѣба, изъ которыхъ одинъ съѣдался въ столовой, другой уносился въ карманъ про запасъ». По моему мнѣнію, эти скверные два ломтя, эта низкая плюшкинская скарედность, выжимающая сокъ изъ молодыхъ желудковъ, несравненно отвратительнѣе всевозможныхъ мордобитій и сѣченій *на воздусяхъ*. Мнѣ кажется даже, что эта скарעדность вреднѣе жестокихъ наказаній по своимъ послѣдствіямъ, какъ матеріальнымъ, такъ и нравственнымъ.

Въ мертвомъ домѣ дѣло продовольствованія велось гораздо благопріостойнѣе.

«Впрочемъ, — говоритъ Достоевскій, — арестанты, хвалясь своей пищей, говорили только про одинъ хлѣбъ и благословляли именно то, что хлѣбъ у насъ общій, а не выдается съ вѣсу. Последнее ихъ ужасало; при выдачѣ съ вѣсу треть людей была-бы голодная; въ артели-же всѣмъ доставало. Хлѣбъ нашъ былъ какъ-то особенно вкусенъ и этимъ славился во всемъ городѣ.»

Изъ разговоровъ между арестантами видно, что они питаютъ глубокое уваженіе къ своему хлѣбу. — «Вирюлина корова! — говорятъ одинъ арестантъ другому, — ишь, отѣлся на острожномъ *чистякъ*.» — «На волѣ не умѣли

жить,—говорится далѣе,—рады, что здѣсь до чистяка добрались». «Чистякомъ» — объясняет Достоевскій въ подстрочномъ примѣчаніи, — назывался хлѣбъ изъ чистой муки, безъ примѣси». — Это названіе очень выразительно. Оно показываетъ лучше всякихъ политико-экономическихъ разсужденій, какіе мы богатые люди. Хлѣбъ, испеченный изъ чистой муки, безъ примѣси разныхъ неудобоваримыхъ гадостей, вродѣ отрубей, мякины, лебеды и древесной коры, долженъ у насъ отличаться особеннымъ хвалебнымъ именемъ отъ того обыкновеннаго хлѣба, которымъ питаются сплошь и рядомъ наши рабочіе классы. Этими чистякомъ арестанты колютъ другъ другу глаза, выражая ту мысль, что, молъ, ты, свинья, ты на свободѣ и не нюхалъ такихъ отборныхъ и утонченныхъ кушаній. Въ этихъ взаимныхъ попрекахъ, какъ вообще во всякихъ ругательныхъ выходкахъ, есть непремѣнно своя доля преувеличенія; но для того, чтобы такой попрекъ могъ сформироваться, ему надо все-таки имѣть нѣкоторое основаніе въ общихъ и общеизвѣстныхъ фактахъ русской жизни. Арестантъ не станетъ попрекать своего товарища тѣмъ, что вотъ, молъ, ты на свободѣ голый ходилъ, а теперь радъ, что добрался до казенной рубашки. Такой попрекъ не произвелъ-бы никакого эффекта на острожную публику, потому что такой попрекъ совершенно неправдоподобенъ. Голыхъ людей въ Россіи дѣйствительно не имѣется, но людей, набивающихъ себѣ желудокъ разной дрянью, имѣется во всякое время очень достаточное количество. Во всякомъ случаѣ спасибо мертвому дому за чистякъ, на которомъ можно отѣяться. Сравнивая этотъ чистякъ съ несчастными двумя ломтями бурсы, мы узнаемъ ту поучительную истину, что въ нашей великой и обильной странѣ даже добросовѣстная раздача хлѣба должна вызвать къ себѣ нѣкоторое уваженіе и считаться едва-ли не за патріотическій подвигъ.

Если начальство бурсы рѣшалось соблюдать мудрую экономію даже при раздачѣ простого хлѣба, то, разумѣется, съ остальными предметами первой необходимости и подавно нечего было церемониться, такъ что бурсаки во всѣхъ отношеніяхъ должны были уподобляться гарнизону осажденной крѣпости или экипажу корабля, застигнутого безвѣтріемъ въ открытомъ морѣ. Отопленіе и освѣщеніе бурсы производились съ самой примѣрной бережливостью. «Въ классѣ совершенно темно, — говоритъ Помяловскій, — потому что начальство, изъ экономическаго разсчета, зажигало лампу только въ часы занятій.» «Начальство, — говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, — печей не топило по недѣлѣ; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась подъ холодныя одѣяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями.» Обитатели мертваго дома не испытывали ни

одного изъ этихъ двухъ неудобствъ, ни тѣноты, ни холода. «Платье-маіоръ или караульные, — говоритъ Достоевскій, — являлись иногда въ острогъ довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющихъ, и работающихъ, и лишнія свѣчки, которыя можно было видѣть еще со двора.» *Лишними свѣчками* здѣсь называются собственныя свѣчи арестантовъ. Выше было сказано, что «каждый держалъ свою свѣчу и свой подсвѣчникъ, большей частью деревянный». Но если были *лишнія* свѣчи, то, стало быть, были и не лишнія, казенныя, которыми казарма должна была освѣщаться постоянно, отъ вечерней зари до утренней.

Говоря о различныхъ непріятностяхъ острожной жизни, Достоевскій упоминаетъ о мефитическомъ воздухѣ, о нечистотѣ, о множествѣ насккомыхъ, но о сырости и холодѣ не сказано ни слова. Значитъ, надо полагать, что топили хорошо. Разумѣется, на это были свои мѣстные причины; на берегахъ Иртыша дрова несравненно дешевле, чѣмъ на берегахъ Невы. «Дрова въ городѣ, — говоритъ Достоевскій, — продавались по цѣнѣ ничтожной, и кругомъ лѣсу было множество.» Но каковы-бы ни были причины, во всякомъ случаѣ это нисколько не измѣняетъ того печальнаго факта, что бурсаки страдали отъ сырости и отъ холода, и въ этомъ отношеніи могли завидовать обитателямъ мертваго дома. Что-же касается до мефитическаго воздуха, до нечистоты и до паразитовъ, то здѣсь бурса и мертвый домъ нисколько не уступаютъ другъ другу. Впрочемъ, кажется, и тутъ можно отыскать одно обстоятельство, оставляющее пальму первенства за бурсой. «Наконецъ, — говоритъ Достоевскій описывая жизнь въ гошпиталѣ, — уже послѣ вечерняго посѣщенія доктора вошелъ караульный унтеръ-офицеръ, сосчиталъ всѣхъ больныхъ, и палату заперли, внеся въ нее предварительно ночной ушатъ. Я съ удивленіемъ узналъ, что этотъ ушатъ останется здѣсь всю ночь, тогда какъ настоящее ретирадное мѣсто было тутъ-же въ корридорѣ, всего только два шага отъ дверей.» Такъ какъ рассказчикъ попалъ въ гошпиталь черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего поступленія въ острогъ, то его удивленіе по поводу ушата было-бы немислимо, еслибы такой-же точно обычай былъ заведенъ и въ казармѣ. Удивленіе рассказчика показываетъ ясно, что въ казармѣ ночныхъ ушатовъ не было. У Помяловскаго-же бурсація спальни описываются слѣдующимъ образомъ: «Съ дома, особенно съ деревень, привозились въ запасъ огромныя бѣлые хлѣбы, масло, толокно, грибы въ сметанѣ, моченныя яблоки. Отъ этихъ припасовъ отдѣлялись особаго рода запахи и наполняли собою воздухъ; съ этими запахами мѣшались нецензурныя міазмы; отъ стѣнъ, промерзавшихъ

зимой въ сильные морозы насквозь, несло сыростью, сальными свѣчи въ шандалахъ дѣлали атмосферу горькой и ѣдкой, и ко всему этому надо прибавить, что въ углу у дверей стоялъ огромный ушатъ, наполненный до половины какой-то жидкостью и замѣнявшій мѣсто нечистоты. Къ такой ядовитой атмосферѣ долженъ былъ привыкать ученикъ, и повѣрить-ли кто, что большинство, живя въ зараженномъ воздухѣ, утрачивало наконецъ способность чувствовать отвращеніе къ нему.» Здѣсь ушатъ составляетъ постоянное явленіе, которое уже никого не удивляетъ. Пребываніе ушата въ гошпитальной палатѣ объясняется тѣмъ, что палату велѣно на ночь запирають; а запирають ее для того, чтобы арестанты ночью какъ-нибудь не ухитрились убѣжать. Достоевскій доказываетъ очень убѣдительно, что убѣжать нѣтъ возможности, но во всякомъ случаѣ чрезмѣрная мнительность начальства, при всей своей неосновательности, до нѣкоторой степени понятна, такъ какъ побѣги дѣйствительно случаются, и случаются иногда при такой обстановкѣ, при которой ихъ повидимому невозможно было предположить, то, разумѣется, болѣзненная мнительность поддерживается, и начальство, которому не приходится дышать вмѣстѣ съ арестантами зараженнымъ воздухомъ, запираетъ ихъ на всю ночь вмѣстѣ съ ушатомъ, придерживаясь того правила, что лишняя предосторожность, хотя-бы и совершенно бессмысленная, испортить дѣла не можетъ. Въ казарму ушата вносить незачѣмъ, и тамъ онъ дѣйствительно не вносится. Это различіе происходитъ отъ того, что, находясь у себя въ острогѣ, арестантъ окруженъ со всѣхъ сторонъ самымъ бдительнымъ надзоромъ; сдѣлавшись больнымъ, арестантъ, напротивъ того, приходитъ въ общій военный гошпиталь, въ которомъ только одна арестантская палата караулитъ такъ, какъ положено караулить острогъ. Поэтому больного арестанта лишаютъ даже той доли свободы, которая предоставлена здоровому арестанту. Здоровый можетъ ходить днемъ по всему острогу, а ночью—по всей своей казармѣ; больной, напротивъ того, остается почти безвыходно въ той комнатѣ, которая въ гошпитальѣ служитъ представительницей острога. Все это очень тяжело, но понятно. Что-же касается до ушата, украшающаго спальню бурсаковъ, то его уже невозможно объяснить никакой начальственной мнительностью и никакими глубокомысленными плачь-маіорскими соображеніями. Тутъ сіяетъ во всей своей красотѣ одно голое свинство... Еслибы бурсаки вздумали просить начальство объ удаленіи ушатовъ, то можно сказать навѣрное, что просителей перепороли-бы за вольнодумство. Въ самомъ дѣлѣ, думаютъ, ушатъ поставленъ въ спальню начальствомъ; слѣдовательно, къ ушату надо

питать глубокое уваженіе, и возставать противъ ушата значитъ сомнѣваться въ начальственной благосклонности и въ начальственной мудрости. Первый шагъ строптиваго юношества на этомъ гибельномъ пути отрицанія можетъ повести за собою неисчислимыя послѣдствія. Поэтому начальство непременно должно отставлять ушатъ, какъ видимое проявленіе и вещественный знакъ невещественной отеческой заботливости, предусмотрительности и распоряжительности, украшающей жизнь бурсака всевозможными высокими и плодотворными наслажденіями.

О невѣроятномъ изобиліи насѣкомыхъ Достоевскій и Помяловскій сообщаютъ одинаково любопытныя свѣдѣнія. «Блохи,—говоритъ Достоевскій,—кишатъ мириадами. Онѣ водятся у насъ и зимой, и въ весьма достаточномъ количествѣ, но, начиная съ весны, разводятся въ такихъ размѣрахъ, о которыхъ я хоть и слыхивалъ прежде, но, не испытывъ на дѣлѣ, не хотѣлъ вѣрить. И чѣмъ дальше къ лѣту, тѣмъ злѣе и злѣе онѣ становятся. Правда, къ блохамъ можно привыкнуть, я самъ испыталъ это, но все-таки это тяжело достается. До того, бывало, измучаютъ, что лежишь наконецъ словно въ лихорадочномъ жару и самъ чувствуешь, что не спишь, а только бредишь.»

«Этихъ насѣкомыхъ (вшей),—говоритъ Помяловскій,—было огромное количество въ бурсѣ. Не повѣрять, что одинъ ученикъ былъ почти съѣденъ ими; онъ служилъ какимъ-то огромнымъ гнѣздомъ для паразитовъ; цѣлыя стада на виду ходили въ его нестриженной и нечесаной головѣ, когда однажды сняли съ него рубашку и вынесли ее на свѣтъ, то свѣтъ зачернѣлся отъ нихъ. Вообще неопрятность бурсмы была поразительна; золотуха, чесотка и грязь ѣли тѣло бурсака.»

IV.

Теперь декораціи обрисованы; надо познакомиться съ фізіономіями и характерами дѣйствующихъ лицъ. Такъ какъ мы замѣтили поразительное сходство въ тѣхъ условіяхъ, которыми обставлено существованіе бурсаковъ и арестантовъ, то нужно ожидать уже заранѣе, что обнаружится сходство и въ тѣхъ нравственныхъ послѣдствіяхъ, которыя развиваются изъ данныхъ условій.

Гнетъ, обязательная работа, лишенія и грязь—вотъ тѣ неудобства, которыя въ большей или меньшей степени отравляютъ собою существованіе арестантовъ и бурсаковъ. Что-же изъ этого должно получиться? И въ какихъ формахъ должно здѣсь выразиться то неистребимое чувство самосохраненія, которое вездѣ и всегда является самымъ сильнымъ двигателемъ отдѣльныхъ личностей и цѣлыхъ обществъ?

Представьте себѣ, что въ одну тѣсную кучу собрано нѣсколько десятковъ людей, которыхъ насильно держать впроголодь и которымъ не даютъ вообще самыхъ необходимыхъ принадлежностей матеріальнаго благосостоянія. При этомъ этихъ людей занимаютъ съ утра до вечера такими работами, отъ которыхъ нисколько не можетъ улучшиться ихъ невыносимое положеніе. Спрашивается, о чемъ должны думать эти люди, и что они должны чувствовать? Отвѣчать, кажется, не трудно. Они должны думать о томъ, нельзя-ли какимъ-нибудь образомъ промыслить себѣ какой-нибудь лакомый кусокъ, или берема дровъ для печки, или вообще такую штуку, которая въ данную минуту доставила бы мимолетное облегченіе организму, измученному различными лишеніями. Всѣ помыслы и всѣ желанія должны быть постоянно устремлены туда, куда указываютъ неудовлетворенныя потребности организма. Осуществленіе этихъ естественныхъ и неизбежныхъ желаній до крайности затруднительно. Ему постоянно мѣшаютъ тѣ люди, которые наблюдаютъ за неуклоннымъ выполненіемъ обязательныхъ работъ. Отсюда, разумѣется, должна развиться глухая, но ожесточенная борьба между наблюдателями и работниками. Отсюда рождаются между тѣми и другими взаимная ненависть и взаимное недобровѣріе. Наблюдатели дѣйствуютъ открытой силой; работники, какъ люди подвальные, поднимаются на разные хитрости; замѣтивъ эти хитрости, наблюдатели стараются ихъ проникнуть и разрушить; для этого пускается въ ходъ шпионство, болѣе или менѣе утонченное и замысловатое. Словомъ, свирѣпствуетъ война во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ и со всѣми своими неизбежными нравственными послѣдствіями.

Но все это — только одна сторона дѣла. Прежде всего надо конечно обмануть наблюдателей, увернуться на нѣсколько времени изъ подъ ихъ надзора, сбросить съ плечъ тяжесть обязательной работы, но затѣмъ, своротивъ съ дороги это препятствіе, надо еще предпринять что-нибудь такое, вслѣдствіе чего получались бы продукты, соответствующіе потребностямъ истомленнаго организма. Словомъ, надо выработать или похитить. Послѣдній способъ приобрѣтенія конечно не одобряется ни сводомъ законовъ, ни ученіемъ моралистовъ, ни даже общепринятыми житейскими обычаями. Къ сожалѣнію, надо сознаться, что организмъ, принужденный бороться съ обществомъ за свое собственное существованіе, становится обыкновенно вѣтъ всякихъ законовъ и обычаевъ. Органическая потребность, долго венаходящая себѣ удовлетворенія, доводитъ желанія до такой крайней степени напряженія, что наконецъ для желающаго субъекта всѣ средства становятся безразличными, лишь-бы только они вели къ предполагаемой цѣли. Всѣ фанатики, какъ-бы

ни были противоположны ихъ стремленія, стоятъ между собой по своей неразборчивости въ средствахъ, а фанатизмъ — не что иное, какъ любовь къ какой-нибудь идеѣ, дошедшей до степени непреодолимой органической потребности. Поэтому можно сказать навѣрное, что человѣкъ, измученный голодомъ и холодомъ, будетъ для удовлетворенія своихъ потребностей работать или воровать, смотря потому, который изъ этихъ двухъ промысловъ окажется для него болѣе сподручнымъ и производительнымъ. Съ особеннымъ наслажденіемъ онъ будетъ воровать у тѣхъ людей, которые заставляютъ его голодать и терпѣть холодъ; здѣсь воровство будетъ ему казаться только необходимымъ возстановленіемъ нарушенной справедливости; легко можетъ случиться, что и другіе люди, непричастные къ этому воровству, произнесутъ объ немъ почти такое-же сужденіе. Что-бы вы сказали напр., еслибы голодные бурсаки пошли воровать хлѣбъ у того эконома, который выдаетъ имъ за обѣдомъ по два ломтя? Быть-можетъ вы сказали-бы, что поступокъ бурсаковъ, по вѣшной формѣ своей, конечно неправиленъ, но что настоящимъ воровомъ въ этомъ дѣлѣ оказывается эконома, хотя онъ и не пускаетъ въ ходъ неприличныхъ воровскихъ приемовъ. Впрочемъ я, по добротѣ души моей, не совѣтую вамъ отваживаться на такія рискованныя умышленія. Я предупреждаю васъ, что этотъ путь очень скользокъ и опасенъ. Чтобы не съѣздить по этому пути въ невѣдомую вамъ глубокую мучительныхъ социальныхъ вопросовъ, держитесь крѣпко, держитесь руками и зубами за вѣстную форму человѣческихъ поступковъ. Въ данномъ случаѣ немедленно приговаривайте къ розгамъ и къ исключенію тѣхъ бурсаковъ, которые посягнули на казенный хлѣбъ, и такъ-же немедленно приглашайте къ себѣ въ домъ, какъ знакомаго и друга, того искуснаго эконома, который изъ казеннаго хлѣба умѣетъ выкраивать шелковыя платья для своей супруги и для своихъ дочерей.

Кто усвоилъ себѣ техническую сторону хищничества и кто при этомъ постоянно голодаетъ и зябнетъ, тотъ непремѣнно постарается развернуть свои таланты во всей ихъ обширности, и никакъ не захочетъ ограничивать ихъ приложеніе узкой сферой казеннаго буфета. Кто началъ свое поприще съ набѣговъ на казенныя дрова и на казенный хлѣбъ, тотъ пойдетъ дальше, если только нужда будетъ угнетать его попрежнему. Привычка и умѣнье красть ставятъ человѣка въ разрѣзъ съ законами и обычаями; попавши разъ въ это оппозиціонное положеніе, человѣку трудно остановиться; если онъ оправдалъ въ своихъ собственныхъ глазахъ кражу хлѣба у эконома, то онъ съумѣетъ оправдать кражу съѣстныхъ припасовъ въ мелочной лавочкѣ; основная причина воровства, голодъ

продолжает существовать и подавляет очень легко робкія возраженія совѣстливости, деликатности и справедливости. Лавочникъ конечно нисколько не виноватъ въ томъ, что бурсакъ дурно коряжитъ; но вѣдь и самъ бурсакъ въ этомъ также нисколько не виноватъ; на него наваливаютъ мученія голода ни за что, ни про что; съ нимъ самимъ поступаютъ несправедливо, и это онъ чувствуетъ; поэтому онъ и старается перебросить на перваго встрѣчнаго, хотъ напримѣръ на лавочника, часть той подавляющей тяжести, которую онъ, бурсакъ, несетъ совершенно безвинно, по волѣ благодѣтельнаго начальства. Приучившись красть съѣстное, бурсакъ сообразить безъ особеннаго труда, что, посредствомъ обмѣна, всевозможные предметы могутъ быть превращаемы въ булки и въ калачи. Тогда начнется сплошное похищеніе всего, что имѣетъ какую-нибудь мѣновую цѣнность. Постоянное упражненіе въ хищничествѣ разовьетъ въ данномъ субъектѣ именно тѣ качества и способности, которыя совершенно неумѣстны въ благоустроенномъ обществѣ. Чрезмѣрное развитіе этихъ противообщественныхъ способностей и наклонностей задушить всякое расположеніе къ правильному и спокойному труду. Данный субъектъ пустится обирать всѣхъ, своихъ и чужихъ, начальниковъ, сосѣдей и даже товарищей. Наконецъ онъ попадется; его отпорютъ и выключатъ; онъ очутится на улицѣ безъ аттестата, безъ ремесла, съ пустымъ желудкомъ и съ очень замѣчательными хищническими инстинктами и способностями.

Живи такой субъектъ въ XVI столѣтіи, онъ отправился-бы въ Запорожскую сѣчь и сдѣлался-бы лучшимъ украшеніемъ тамошняго казачества. Но такъ какъ въ наше прозаическое время казацкіе подвиги строго запрещены уголовными законами, то предприимчивый юноша по выходѣ изъ бursы не превратится въ знаменитаго героя и будетъ тихо и скромно заниматься мазурничествомъ до тѣхъ поръ, пока его беззаконія не переполняютъ мѣры полицейскаго долготерпѣнія. Когда-же, несмотря на его похвальную скромность, его возрастающая слава обратитъ на себя вниманіе мѣстнаго начальства, тогда его препроводятъ, для дальнѣйшаго усовершенствованія въ наукахъ, въ одинъ изъ многихъ мертвыхъ домовъ, находящихся въ европейской или азіатской Россіи. Мертвый домъ не испугаетъ нашего юношу, который въ своемъ новомъ жилищѣ увидитъ знакомыя картины, способныя оживить въ его памяти дни его печальнаго отрочества. Если юноша окажется способнымъ окинуть все свое прошедшее общимъ философскимъ взглядомъ, то онъ вѣроятно сообразитъ, что мертвый домъ составляетъ для него естественное продолженіе и логическій результатъ бursы.

Въ предыдущей главѣ была проведена та мысль, что еще очень недавно бурса систематически направляла нѣкоторыхъ изъ своихъ питомцевъ къ мертвому дому. Въ подтвержденіе этой мысли я, правда, не могу привести никакихъ статистическихъ фактовъ, потому что подобные факты еще не собраны: мы рѣшительно не знаемъ, изъ какихъ элементовъ складывается населеніе нашихъ мертвыхъ домовъ и какъ велико число бурсаковъ, погибшихъ для общества, въ сравненіи съ общимъ числомъ юношей, обучавшихся въ былые годы въ духовныхъ училищахъ. Достоверныя статистическія цифры рѣшили-бы вопросъ, но когда нѣтъ цифръ, тогда слѣдуетъ принимать въ соображеніе такіе матеріалы, какъ «Очерки бursы» Помяловскаго, котораго до сихъ поръ еще ни одинъ бывшій бурсакъ не рѣшался уличать въ искаженіи фактовъ или въ ложности основнаго колорита. «Надобно замѣтить, — говоритъ Помяловскій, — характеристическую черту бурсацкой морали: воровство считалось предосудительнымъ только относительно товарищества. Были три сферы, которыя, по нравственному отношенію къ нимъ бурсака, были совершенно отличны одна отъ другой. Первая сфера — товарищество, вторая — общество, то есть все, что было внѣ стѣнъ училищныхъ, за воротами его: здѣсь воровство и скандалы одобрялись бурсацкой коммуной, особенно когда дѣло велось хитро, ловко и остроумно. Но въ такихъ отношеніяхъ къ обществу не было злости или мести: позволялось красть только съѣдобное; поэтому обокрасть лавочника, разнощика, сидѣльца уличнаго — ничего, а украсть, хотъ бы на сторонѣ, деньги, одежду и тому подобное — считалось и въ самомъ товариществѣ мерзостью. Третья сфера — начальство: ученики гадили ему злорадно и съ мстью. Такъ сложилась бурсацкая этика... Теперь также понятно, отчего это въ бурсацкомъ языкѣ такъ много самобытныхъ фразъ и рѣченій, выражающихъ понятіе кражи: вотъ откуда всѣ эти *сбондили*, *сляпсили*, *сперли*, *стибрили*, *обогорили* и тому подобныя». Нельзя сказать, чтобы эти общепризнанныя нравственныя правила бursы отличались особенной строгостью. Но любопытно замѣтить, что эта теорія все-таки стоитъ выше той житейской практики, которую изображаетъ самъ-же Помяловскій.

По теоріи, воровство относительно товарищества считается предосудительнымъ. А на практикѣ, Аксютка обворовываетъ своихъ товарищей, пользуется между ними репутаціей извѣстнаго мазурика и въ то-же время не подвергается съ ихъ стороны никакимъ преслѣдованіямъ; съ нимъ обращаются, какъ съ хорошимъ товарищемъ и лихимъ удалцомъ. Самъ онъ постоянно веселъ, развязенъ и самодово-

лентъ, чего никакъ не могло-бы быть, если-бы все товарищество обращалось съ нимъ, какъ съ негодеємъ и отверженцемъ. А что бурсацкое товарищество дѣйствительно умѣетъ преслѣдовать тѣ преступленія, которыя возбуждаютъ его негодованіе, то это можно усмотрѣть изъ трагической исторіи фискала Семенова, выведеннаго на сцену въ первомъ очеркѣ Помяловскаго. Этого Семенова въ одинъ вечеръ избили, обокрали, высѣкли и наконецъ чуть-чуть не задушили дымомъ горячей ваты. Къ тому надо еще прибавить, что съ нимъ никто не говорилъ съ той минуты, какъ его огласили фискаломъ. Сравнивая печальную судьбу фискала Семенова съ постояннымъ ликованіемъ вора Акютки, я прихожу къ тому заключенію, что воровство въ бурсѣ не считалось предосудительнымъ даже относительно товарищества. Что Акютка не ограничивался похищеніемъ съѣстныхъ припасовъ—на это у Помяловскаго имѣется также достаточное количество доказательствъ. Первый шагъ Акютки на глазахъ читателя состоитъ въ томъ, что онъ крадетъ ночью у товарища вольчую шубу, которая, при поголовной бурсацкой бѣдности, должна была считаться великой драгоценностью. Что такая покража совершилась, въ этомъ нѣтъ еще ничего особенно удивительнаго и характернаго. Подобные случаи возможны даже въ самыхъ приличныхъ и благоустроенныхъ заведеніяхъ, потому что въ семьѣ не безъ урода. Но замѣчательно то, что пропажа шубы осталась безъ всякихъ послѣдствій: описавши воровскую продѣлку Акютки, Помяловскій уже не возвращается больше къ этому предмету; шуба канула въ воду, и на другой день въ бурсацкомъ товариществѣ объ этомъ событіи не было даже никакого разговора. Значитъ, приходится предположить, что подобные случаи очень нерѣдки, и что владѣлецъ украденной шубы быть-можетъ ждетъ только слѣдующей ночи, чтобы наверстать свою потерю на какомъ-нибудь изъ своихъ безпечныхъ товарищей. Если это предположеніе сколько нибудь основательно, то бурсацкая этика, о которой говоритъ Помяловскій, оказывается въ совершенномъ разладѣ съ фактами дѣйствительной бурсацкой жизни, или по крайней мѣрѣ не обнаруживаетъ на эти факты никакого регулирующаго вліянія. Мнѣ кажется, настоящая бурсацкая этика состоитъ только въ томъ, что нѣкоторыми воровскими подвигами можно хвастаться во всеуслышаніе, а другіе слѣдуетъ покрывать благоразумнымъ молчаніемъ.

Оно и понятно. Если вы обокрали вашего товарища, то не можете-же вы въ его присутствіи рассказать вашу продѣлку, за которую оскорбленный собственникъ можетъ тотчасъ-же вступить съ вами въ рукопашный бой. Что-же касается до общественнаго мнѣнія бурсы, то оно повидимому относится совершенно равно-

душно ко всякимъ неправильнымъ передвиженіямъ собственности, гдѣ-бы они ни совершались и въ какихъ-бы формахъ они ни обнаруживались. Тебя обокрали, говоритъ общество,—ты самъ и вѣдайся съ воромъ, самъ разыскивай его, самъ отнимай у него твою собственность и самъ наказывай его за нарушеніе твоего спокойствія. Если-же у тебя на все это нехватитъ умѣнья и силы, если воръ вторично одурачитъ тебя или наметъ тебѣ-же бока, то намъ, постороннимъ зрителямъ, до этого не будетъ никакого дѣла, и мы сами очень добродушно будемъ смѣяться надъ твоей неловкостью и надъ твоимъ безсиліемъ.

Такъ разсуждаютъ обыкновенно всѣ первобытныя общества, и было-бы очень удивительно, еслибы бурса разсуждала иначе. Помяловскій разсказываетъ, что нѣкоторые бурсаки умилостивляли и задобривали подарками знаменитаго вора Акютку, чтобы онъ пощадилъ ихъ достоинствѣ. Вотъ видите! А почему-же тѣ-же бурсаки и не думали умилостивлять и задобривать фискаловъ, несмотря на то, что фискаль, находящійся въ союзѣ съ начальствомъ, гораздо опаснѣе вора, котораго начальство, разумѣется, не станетъ поддерживать? Потому, что въ борьбѣ съ фискаломъ каждая отдѣльная личность чувствовала за собою единодушную, горячую и энергическую поддержку всего бурсацкаго общества; фискаль былъ всегда одинокимъ явленіемъ, поразительной аномаліей, гнуснымъ уродомъ, котораго безобразіе бросалось въ глаза всему окружающему обществу; почти каждый бурсакъ, положивъ руку на сердце, могъ смѣло сказать, что онъ самъ нисколько не фискаль; поэтому всеобщее негодованіе противъ фискала было такъ неподдѣльно и неустойчиво, что оно не допускало и мысли о какихъ-бы то ни было компромиссахъ съ преступникомъ. Съ воромъ, напротивъ того, каждому надо было бороться одинъ на одинъ; публика въ воровскомъ поступкѣ видѣла преимущественно его изящную сторону; публика любовалась отвагой и хитростью похитителя; почти каждый бурсакъ, положивъ руку на сердце, долженъ былъ признаться, что онъ также способенъ учинить похищеніе; поэтому союзъ всего общества противъ вора былъ невозможенъ, и знаменитый воръ въ бурсацкомъ мірѣ могъ играть роль грознаго божества, умилостивляемаго посильными жертвоприношеніями.

Въ мертвомъ домѣ умилостивленій не было, но воровство процвѣтало, и такъ какъ арестанты были отгорожены отъ вѣшняго міра крѣпкими стѣнами и частоколами, то это воровство имѣло совершенно междоусобный характеръ. Вѣронъ очень смѣло выклеивалъ глаза вѣрону, или, говоря по-французски: *les loups se mangeaient entre eux* (волки ѣли другъ друга).

«Вообще,—говорит Достоевский,—все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой сундукъ съ замкомъ для храненія казенныхъ вещей. Это позволялось; но сундуки не спасали. Я думаю, можно представить, какіе тамъ были искусные воры. У меня одинъ арестантъ, искренно преданный мнѣ человекъ (говорю это безъ всякой натяжки), укралъ Библію, единственную книгу, которую позволялось имѣть въ каторгѣ; онъ въ тотъ-же день мнѣ самъ сознался въ этомъ, не отъ раскаянія, но жалѣя меня, потому что я ее долго искалъ.»

Кромѣ воровства, въ мертвомъ домѣ и бурсѣ процвѣтало съ безпримѣрной силой ростовщичество. «Нѣкоторые,—говорит Достоевский,—съ успѣхомъ промышляли ростовщичествомъ. Арестантъ, заматавшійся или разорившійся, несъ послѣднія свои вещи ростовщику и получалъ отъ него нѣсколько мѣдныхъ денегъ за ужасные проценты. Если онъ не выкупалъ эти вещи въ срокъ, то онъ безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до того процвѣтало, что принимались подъ закладъ даже казенныя смотровыя вещи, какъ-то: казенное бѣлье, сапожный товаръ и проч.—вещи, необходимые всякому арестанту во всякій моментъ.»

Въ томъ-же томѣ Достоевскій даетъ намъ понятіе о величинѣ каторжнаго процента. Осторожный ювелиръ и ростовщикъ, Исая Фомичъ Вумштейнъ, подъ залогъ какихъ-то старыхъ шановъ и подвертокъ даетъ займы другому арестанту семь копѣекъ съ тѣмъ, чтобы тотъ черезъ мѣсяцъ заплатилъ ему десять копѣекъ. Три копѣйки на семь копѣекъ—это значитъ 43 процента въ мѣсяцъ. Въ годъ получится, стало быть, 516 процентовъ, то есть капиталъ увеличится слишкомъ въ шесть разъ. Это очень недурно, но, въ сравненіи съ бурсацкими процентами, это умѣренно. Бурсаки и въ этомъ отношеніи умудрились перещеголять каторжниковъ. «Ростъ въ училищѣ,—говорит Помяловскій,—при нелѣпомъ его педагогическомъ устройствѣ, былъ безсовѣстенъ, наглъ и жестокъ. Въ такихъ размѣрахъ онъ ни гдѣ и никогда не былъ и не будетъ. Вовсе не рѣдкость, а напротивъ норма, когда *десять копѣекъ*, взятые на *недѣльный срокъ*, оплачивались *пятнадцатью копѣйками*, т. е. по общепринятому займу на годъ это выйдетъ *двадцать пять* (вѣрнѣе двадцать шесть) *разъ капиталъ на капиталъ*.» Далѣе мы видимъ сдѣлку между Карасемъ и Тавлею. Карась въ среду проситъ у Тавли пять копѣекъ. Тавля къ воскресенью требуетъ семь копѣекъ. Но Карась оставленъ безъ отпуска и поэтому желаетъ уплатить долгъ не въ ближайшее, а въ слѣдующее воскресенье. — «Тогда десять», говорит Тавля. И такъ капиталъ удваивается въ одиннадцать дней.

Ростовщичество поддерживалось въ бурсѣ взяточничествомъ, которое въ свою очередь было порождено остроумной выдумкой начальства, создавшаго изъ старшихъ учениковъ цѣлую систему контроля надъ младшими. Одинъ изъ этихъ старшихъ учениковъ, *цензоръ*, долженъ былъ смотрѣть за поведеніемъ своего класса; другіе, *авдиторы*, выслушивали уроки и ставили ученикамъ баллы, на основаніи которыхъ учитель производилъ надлежащія вразумленія; третьи, *сѣкундаторы*, были сами орудіями этихъ вразумленій; на ихъ попеченіи находились розги, и они-же сами, по приказанію учителя, сѣкли своихъ лѣнивыхъ или шаловливыхъ товарищей. Эти сангвиники занимались своимъ дѣломъ методически и съ любовью. «У печки,—говорит Помяловскій,—сѣкундаторъ, по прозванію Супина, учился своему мастерству: въ рукахъ его отличныя лозы; онъ помахивалъ ими и выстегивалъ въ воздухѣ полосы, которыя должны будутъ лечь на тѣло его товарища.» Всѣ эти владыки, цензора, авдиторы и сѣкундаторы, держались на одинаковомъ продовольствіи съ остальными бурсаками: всѣ они голодали, а между тѣмъ имъ была дана власть надъ массами; цензоръ и авдиторы могли во всякую данную минуту подвести любого изъ своихъ товарищей подъ розги, а сѣкундаторъ могъ сѣчь бережно или во всю-ивановскую; каждый изъ этихъ властителей понималъ свою силу и давалъ ее чувствовать тѣмъ подчиненнымъ, которые осмѣливались сомнѣваться въ ея сокрушительности. Подчиненные принуждены были подольщаться къ сановникамъ и откупаться отъ ихъ взысканій деньгами и различными приношеніями. «Цензора, авдиторы, старшіе и сѣкундаторы,—говорит Помяловскій,—получили полную возможность дѣлать что угодно. Цензоръ былъ чѣмъ-то вроде царька въ своемъ царствѣ, авдиторы составляли придворный штатъ, а второкурсные (оставшіеся въ классѣ на второе двухлѣтіе)—аристократію». «Тавля, въ качествѣ второкурснаго авдитора, притомъ въ качествѣ силача, былъ нестерпимымъ взяточникъ, дралъ съ подчиненныхъ деньгами, булками, порціями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля былъ ростовщикъ»... «Необходимость въ займѣ всегда существовала. Цензоръ или авдиторъ требовали взятки; не дать—бѣда, а денегъ нѣтъ; вотъ и идетъ первокурсный къ своему-же товарищу, но ростовщику; понятно, что въ этомъ случаѣ онъ заранѣе согласенъ на какой угодно процентъ, лишь-бы избавиться отъ пренесенныхъ грядущихъ розгачей. Кредитъ обыкновенно гарантируется кулакомъ, либо всегдашней возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на ростъ только второкурсники.»

Этого источника деморализаціи въ мертвомъ домѣ не было; арестанты могли обворовывать

другъ друга, но взяточничество было для нихъ невозможно, потому что ни одинъ изъ нихъ не могъ подводить своихъ товарищей подъ наказанія. Когда арестантъ занималъ у ростовщика, то онъ тратилъ эти деньги на свои собственные надобности или удовольствія, а не на то, чтобы отвратить отъ своей спины карающую десницу, вооруженную *прежестокими розгачами*. Поэтому вѣроятно каторжный процентъ былъ пятеро ниже бурсацкаго. Неймовѣрная высота послѣдняго объясняется преимущественно тѣмъ страхомъ, подъ вліяніемъ котораго находился ученикъ въ то время, когда онъ обращался къ ростовщику.

Обирая своихъ подчиненныхъ, классные савновники въ то-же время и развращали ихъ, приучая ихъ къ самому безотвѣтному рабству и подвергая ихъ самымъ возмутительнымъ униженіямъ. «Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли, говоритъ Помяловскій, — проявилась вся при деспотизмѣ второкурсія. Онъ жилъ баринѣмъ, никого знать не хотѣлъ, ему писались записки и вокабулы, по которымъ онъ учился; самъ не встанетъ для того, чтобы напиться воды, а кричать: «Эй, Катька, пить!» Подъавдиторные чесали ему пятки, а не то велитъ взять перочинный ножъ и скоблить ему между волосами въ головѣ, очищая эту поганую голову отъ перхоти, которая почему-то называлась плотью; заставлялъ говорить ему сказки, да непремѣнно страшныя (проявленіе эстетическаго чувства!), а не страшно, такъ отдуеть (проявленіе критической разборчивости!); да и чѣмъ только, при глубокомъ развратѣ Тавли, не служили для него подъавдиторные?» Въ послѣднихъ словахъ заключается довольно ясный намекъ на—какъ бы выразиться поутонченнѣе?—на сократическую любовь...

VI.

Человѣческая природа до такой степени богата, сильна и эластична, что она можетъ сохранить свою свѣжесть и свою красоту посреди самаго гнетущаго безобразія окружающей обстановки. Чистыя и свѣтлыя личности, подобные Добролюбову и Помяловскому, выходятъ иногда изъ бурсы; такія-же личности проходятъ иногда, не загрязнившись, черезъ мертвый домъ. Но и въ бурсѣ, и въ мертвомъ домѣ на одного устоявшаго приходится всегда по нѣскольку десятковъ погибшихъ, развращенныхъ, разслабленныхъ, растерявшихъ здоровье, энергію и умственные способности. Устоять противъ бурсы, должно быть, во всякомъ случаѣ гораздо труднѣе, чѣмъ удержаться невредимымъ въ мертвомъ домѣ. Въ бурсу поступаютъ малолѣтніе ребята, которыхъ силы и способности, какъ

бы онѣ ни были велики и блистательны, могутъ быть направлены и въ хорошую, и въ дурную сторону, и на полезный трудъ, и на подлое издѣвательство, смотря потому, какимъ вліяніемъ подчинятся формирующійся характеръ и развивающійся умъ. Въ мертвый домъ, напротивъ того, попадаютъ обыкновенно взрослые люди, которые или окончательно испорчены жизнью, или уже до такой степени закалины въ борьбѣ съ враждебными обстоятельствами, что никакія постороннія вліянія не покачнутъ ихъ убѣжденій ни въправо, ни вълѣво. Первыхъ уже нечего портить, а вторыхъ испортить невозможно. Къ этимъ двумъ крайнимъ разрядамъ надо впрочемъ прибавить третій, очень многочисленный разрядъ людей, попавшихъ на каторгу случайно, за какое-нибудь такое преступленіе, въ которомъ нельзя подмѣтить ни радикальной испорченности, ни фанатической любви къ неопозволительной идеѣ. Къ этому третьему разряду принадлежатъ преимущественно убійцы, потому что убійство очень часто обуславливается такими страстями и порывами, которые во всякую данную минуту могутъ разыгаться въ самомъ спокойномъ и кроткомъ человѣкѣ. Въ этомъ третьемъ разрядѣ могутъ попадаться люди самыхъ разнообразныхъ характеровъ, между прочимъ и такіе, которые, безъ какой-нибудь несчастной случайности, безъ какого-нибудь совершенно непредвидимаго и неотвратимаго стеченія обстоятельствъ, прожили-бы непремѣнно до глубокой старости по всѣмъ правиламъ стржайшаго благочинія. Разнообразію характеровъ соответствуетъ въ мертвомъ домѣ безконечное разнообразіе той жизни, которую вели его обитатели раньше своего соединенія подъ гостепріимной кровлей острога.

При такомъ разнообразіи стремленій, понятій, воспоминаній и надеждъ—у взрослыхъ людей, собранныхъ въ острогъ со всѣхъ концовъ Россіи и расположенныхъ заранѣе подозрѣвать другъ въ другѣ отъявленныхъ мерзавцевъ,—не можетъ проявляться особенно сильная наклонность къ взаимному обличенію. Корпоративный духъ въ острогѣ долженъ быть очень слабъ. Яркія и крѣпкія личности должны конечно подчинять своему вліянію людей бездѣльных и ничтожныхъ, такъ точно, какъ это дѣлается само собою во всякомъ обществѣ; но въ мертвомъ домѣ не должно существовать такой силы, которая пригоняла-бы къ одному общему идеалу и слифовала-бы на одинъ образецъ всѣ индивидуальныя умы и характеры. Острожное общество такъ рыхло и рассыпчато, въ немъ такъ мало однородности и компактности, что оно, какъ общество, не можетъ подчинить своихъ членовъ никакимъ общеобязательнымъ законамъ, запрещеніямъ или предписаніямъ. Это полное безсиліе общества особенно ярко выражается въ томъ обстоятельствѣ, что это обще-

ство даже не пробуетъ защищать себя противъ своихъ собственныхъ измѣнниковъ и шпионовъ. Во II томѣ своихъ «Записокъ» Достоевскій рассказываетъ, какимъ образомъ арестанты заявляли претензію, то есть жаловались плацъ-маіору на дурное качество пищи. Большинство стоворилось между собою, выстроилось на острожномъ дворѣ и черезъ унтеръ-офицера послало доложить маіору, что «желаетъ говорить и лично просить его насчетъ въ которыхъ пунктовъ». Маіоръ пріѣхалъ и тотчасъ началъ ругаться; арестанты не произнесли ни одного слова, и претензія разстроилась, потому что многіе трусили и объявили себя довольными. Кромѣ того нѣсколько человекъ во время претензіи оставались въ кухнѣ и не хотѣли принимать въ общей демонстраціи никакого участія. Когда все дѣло кончилось и когда маіоръ перепоролъ тѣхъ людей, которыхъ ему угодно было считать зачинщиками, тогда арестанты не обнаружили никакого неудовольствія, ни противъ тѣхъ, которые сидѣли въ кухнѣ, ни противъ тѣхъ, которые первые объявили себя довольными и разстроили общее предпріятіе. Явная измѣна, подводившая подъ розги смѣлыхъ и стойкихъ товарищей, осталась такимъ образомъ совершенно безнаказанной. Это обстоятельство очень удивляетъ автора «Записокъ», потому что авторъ совершенно ошибочно приписываетъ къ мертвому дому тѣ понятія о товариществѣ, которыя мы обыкновенно выносимъ съ собою въ жизнь изъ учебныхъ заведеній. Но эти понятія къ населенію мертвого дома совершенно непримѣнны. Гдѣ существуетъ хоть какое-нибудь товарищество, тамъ непремѣнно должны существовать ненависть и презрѣніе къ фискальству. Безъ этого условія товарищество немыслимо, и солидарность между отдѣльными личностями невозможна. А въ мертвомъ домѣ не было ничего похожаго на преслѣдованіе доносчиковъ. «Что-же касается вообще доносовъ, — говоритъ Достоевскій, — то они обыкновенно процвѣтаютъ. Въ острогѣ доносчикъ не подвергается ни малѣйшему униженію; негодованіе къ нему даже немыслимо. Его не чуждаются, съ нимъ водятъ дружбу, такъ что, еслибы вы стали въ острогѣ доказывать всю гадость доноса, то васъ-бы совершенно не поняли.»

Не можетъ быть, чтобы то лицо, которое само страдаетъ отъ доноса, не чувствовало ненависти противъ доносчика. Это было-бы совершенно неестественно. Боль всегда вызываетъ злобу противъ причины боли. Но тутъ-то именно и обнаруживается разниа между товариществомъ и такимъ обществомъ, въ которомъ нѣтъ солидарности. Въ товариществѣ боль одного лица отражается на всѣхъ остальныхъ; всѣ заступаются за одного, и одинъ долженъ дѣйствовать, какъ всѣ; доносчикъ оказывается общимъ врагомъ, и съ нимъ несмѣютъ водить дружбу

даже тѣ люди, которымъ его поступокъ не внушаетъ особенно сильнаго отвращенія. Въ такомъ обществѣ, какъ населеніе мертвого дома, дѣло идетъ совсѣмъ иначе: тутъ всякій злится и мститъ собственными средствами только за свои собственные обиды. Очень можетъ быть, что многіе презираютъ и ненавидятъ доносчика, но эти чувства обнаруживаются въ разсыпную, урывками, такъ что выраженія этихъ чувствъ сливаются съ общимъ потокомъ ругательствъ, безпрестанно оглашающихъ собою различныя обители мертвого дома. Изъ того, что доносчиковъ не преслѣдуютъ, никакъ нельзя выводить то заключеніе, что всѣ арестанты — подлецы, способные сами, при первомъ удобномъ случаѣ, превратиться въ фискаловъ. Ничуть не бывало. Терпимость въ отношеніи къ доносчикамъ доказываетъ только, что между арестантами нѣтъ единодушія и взаимнаго довѣрія. Каждый держитъ себя особнякомъ и думаетъ про себя: это не мое дѣло. Сунусь я одинъ ругать или бить доносчика — а вдругъ меня никто не поддержитъ, и останусь я въ дуракахъ; надо мною-же всѣ будутъ смѣяться, да и шпионъ нагадитъ мнѣ по-своему.

При полномъ отсутствіи товарищества въ мертвомъ домѣ, каждый можетъ совершенно безпрепятственно оставаться самимъ собою, можетъ также, слѣдуя собственному влеченію, совершенствоваться или развращаться. Никому до этого не будетъ дѣла; каждый занятъ самимъ собою и каждый требуетъ только съ своей стороны, чтобы имъ какъ можно меньше занимались другіе; весь тонъ арестантскихъ разговоровъ носитъ на себѣ печать общей скрытности и несообщительности: арестанты болтаютъ, шутятъ, смѣются, ругаются, но разговоръ и брань вертятся постоянно на самыхъ незначительныхъ предметахъ, вовсе не затрагивающихъ за живое тѣхъ людей, которые разговариваютъ и бранятся; кромѣ того смѣхъ и шутки большинству арестантовъ рѣшительно не нравятся; ровная и сдержанная угрюмость составляетъ въ мертвомъ домѣ преобладающій колоритъ именно потому, что эта угрюмость всего лучше соотвѣтствуетъ внутренней разбѣдиненности такихъ людей, которые принуждены жить вмѣстѣ, въ одной комнатѣ, не чувствуя никакихъ взаимныхъ симпатій и не желая имѣть другъ съ другомъ никакихъ общихъ интересовъ. Въ бурскіе отношенія между обществомъ и отдѣльной личностью складываются совсѣмъ не такъ, какъ въ мертвомъ домѣ. Въ бурскѣ товарищество очень сильно, быть можетъ даже сильнѣе, чѣмъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ. Всякое школьное товарищество есть, въ большей или меньшей степени, оборонительный или наступательный союзъ учениковъ противъ начальства. Чѣмъ свирѣбѣе начальство и чѣмъ сильнѣе ненавидятъ его ученики, тѣмъ тѣснѣе смы-

каются они между собою, чтобы выручать друг друга въ бѣдѣ и чтобы общими силами причинять непобѣдимому врагу множество мелкихъ неперіятностей. Такъ какъ свирѣность и скаредность бурсацкаго начальства доходила до фантастическихъ размѣровъ, то союзъ противъ этого начальства былъ совершенно необходимъ для спасенія здоровья и даже можетъ быть жизни учениковъ. Союзъ этотъ, разумѣется, былъ очень тѣсенъ, потому что общая ненависть была велика, а общая опасность постоянно висѣла, какъ дамокловъ мечъ, если не надъ головами, то по крайней мѣрѣ надъ спинами всѣхъ бурсаковъ.

Начальство мертвого дома было также достаточно свирѣно и скаредно, и сипны арестантовъ находились также въ постоянной опасности, но союза однако-же не было, во-первыхъ потому, что арестанты, какъ люди опытные, понимали непобѣдимость общаго врага, а во-вторыхъ потому, что слишкомъ большое разнообразіе уже сформированныхъ характеровъ и умовъ заранѣе уничтожало всякую возможность соглашенія. Бурсаки, напротивъ того, лѣзли въ неравный бой со всей нерасчетливой заносчивостью молодости; имъ прежде всего хотѣлось насолить начальству, не обращая вниманія на то, что за это соленіе будетъ расплачиваться ихъ собственная шкура; страсть брала верхъ надъ благоразуміемъ, и легко можетъ быть, что именно эти взрывы страсти спасали бурсаковъ отъ окончательнаго отупѣнія и отъ неизлечимаго идиотизма. Далѣе, заключеніе и поддерживаніе тѣснаго товарищескаго союза было особенно удобно и легко потому, что въ бурсѣ, какъ въ чисто сословномъ заведеніи, было очень мало внутренняго разнообразія. Въ бурсу поступали дѣти, выросшія при очень сходныхъ условіяхъ, воспитанныя въ одинаковыхъ понятіяхъ, учившіяся читать по одиѣмъ и тѣмъ-же книгамъ, игравшія дома въ одиѣ и тѣ-же игры, слышавшія отъ взрослыхъ одни и тѣ-же нравоученія, словомъ, въ бурсу поступали цѣтки одной и той-же почвы, или одного поля ягоды. Имъ было уже очень не трудно спѣться между собою и выработать, при содѣйствіи начальственнаго гнета, одинъ общій идеалъ, который для всѣхъ вновь поступающихъ учениковъ сдѣлался уже строго обязательнымъ. Хотя идеалъ былъ выработанъ при самыхъ каторжныхъ условіяхъ жизни, однако-же бурсаки горячо полюбили этотъ идеалъ и стали имъ гордиться, продолжая въ то-же время ненавидѣть и презирать бурсу, то есть ту форму, въ которую ихъ возлюбленный идеалъ былъ отлитъ. Бурсацкій идеалъ имѣетъ свои хорошія стороны; его можно назвать превосходнымъ оборонительнымъ оружіемъ, посредствомъ котораго богатая и сильная натура можетъ защитить себя отъ притупляющаго вліянія бурсацкой атмосферы, создан-

ной тупоумной рутинной. Единственная обязанность идеальнаго бурсака состоитъ въ томъ, чтобы безгранично и неутомимо ненавидѣть гнетущую силу, проводя эту ненависть во всѣ поступки жизни и дѣйствуя постоянно наперекоръ всѣмъ начальственнымъ приказаніямъ и запрещеніямъ.

Суровый и дикій идеалъ бурсаковъ хорошъ именно тѣмъ, что поддерживаетъ въ своихъ поклонникахъ мужество, энергію, стойкость, расторопность, свободу сужденій, и вообще тѣ качества, которыя были-бы безпошадно истреблены начальственной системой безгласности, раболѣпства и чинопочитанія. Но, во-первыхъ, бурсацкій идеалъ не всякому по силамъ; а во-вторыхъ, этотъ идеалъ многими своими сторонами могъ прирости къ человѣку наглую и совершенно изуродовать на всю жизнь умъ и характеръ даннаго субъекта. Въ бурсу поступало много дѣтей слабаго сложенія, кроткаго и уступчиваго характера; эти личности, робкія, нѣжныя, стыдливыя, чувствительныя, пріученныя къ материнскимъ ласкамъ и способныя плакать на-взрыдъ отъ сердитаго взгляда или отъ насмѣшливаго слова, попадали въ бурсу подъ перекрестный огонь, который совершенно сбивалъ ихъ съ толку и въ короткое время превращалъ въ подлецовъ и идиотовъ, несмотря на то, что они, по своимъ природнымъ задаткамъ, могли-бы сдѣлаться людьми честными и очень неглупыми. Съ одной стороны, этихъ дѣтей тиранило начальство; съ другой стороны, ихъ презирало товарищество за то, что въ нихъ не было бурсацкой суровости и воинственности. Начальство требовало отъ этихъ простодушныхъ младенцевъ того, чего оно не рѣшилось-бы требовать отъ закаленныхъ или *отитыхъ* бурсаковъ; изъ такихъ птенцовъ, ошеломленныхъ бурсацкими нравами, начальство, при пособіи кое-какихъ коварно-ласковыхъ словъ, очень легко могло изготовить себѣ фискаловъ. Первое фискальство можетъ быть сдѣлано случайно, вслѣдствіе ребяческой довѣрчивости, вслѣдствіе неумѣнья отмалчиваться и отиѣкиваться; но когда первый шагъ сдѣланъ, тогда душа уже продана чорту, и отступленіе становится невозможнымъ, потому что товарищество не умѣетъ прощать и въ раскаяніе фискаловъ не вѣритъ. Тогда несчастному мальчику приходится уже, изъ чувства самосохраненія, горючить ложъ на ложъ и подлость на подлость, до тѣхъ поръ, пока наущничество и пролазничество не сдѣлаются для него второй натурой.

Надо сказать правду, что, кромѣ начальства, въ развращеніи такихъ личностей виновато и само товарищество, которое на первыхъ порахъ отталкиваетъ и озадачиваетъ робкаго новичка своей суровостью и неумолимостью. Тѣмъ жгущимъ сынкамъ, которымъ удастся избѣгнуть сѣтей начальства, въ бурсѣ предстоитъ

также незавидная участь. Прикнувши къ товариществу, они стараются поддѣлаться подъ его замашки, напускаютъ на себя искусственное ухарство, отдаютъ себя въ полное распоряженіе настоящихъ удалцовъ, съ которыми у нихъ по натурѣ нѣтъ ничего общаго, и такимъ образомъ, отказавшись отъ всякой нравственной самостоятельности, приучаются на всю жизнь плясать по чужой дудкѣ и носить маски, совершенно несоотвѣтствующія природнымъ наклонностямъ. Подъ ихъ напускнымъ молодецествомъ скрывается самая жалкая безцвѣтность, которая и обнаружится немедленно, какъ только эти недоразвившіяся личности выйдутъ изъ-подъ вліянія товарищества и вступятъ въ дѣйствительную жизнь.

Для сильныхъ характеровъ, для настоящихъ головорѣзовъ бурсацкій идеалъ опасенъ тѣмъ, что онъ можетъ наградить ихъ на всю жизнь буйными инстинктами и дикими привычками, совершенно неудобными въ цивилизованномъ обществѣ и до крайности тяжелыми для всѣхъ окружающихъ людей. Если бурсакъ, вырвавшись изъ бурсы на свободу, останется вѣрнъ своему идеалу, то онъ рискуетъ сдѣлаться горькимъ пьяницей, уличнымъ буяномъ, дикимъ самодуромъ въ семействѣ и неспособѣйшимъ человекомъ для всѣхъ своихъ знакомыхъ и друзей. А между тѣмъ ему очень трудно отрѣшиться отъ такого идеала, передъ которымъ онъ благоговѣлъ втеченіи многихъ лѣтъ. Для того, чтобы это отреченіе сдѣлалось возможнымъ, бурсаку необходимо встрѣтиться съ такими людьми и съ такими идеями, которые идутъ прямо въ разрѣзъ всѣмъ бурсацкимъ преданіямъ и убѣжденіямъ. Тогда пелена спадетъ съ глазъ умнаго, даровитаго и энергическаго бурсака, которому бурса дала драгоцѣнную способность терпѣть, злиться и выжидать благопріятную минуту. Тогда, и только тогда, здоровая бурсацкая сила, взлелѣванная всевозможными невзгодами, перестанетъ тратиться на глупые подвиги ухарства и, пристроившись къ полезному дѣлу, развернется во всю свою ширину. Это значитъ, что бурсакъ, какъ-бы онъ ни былъ уменъ, даровитъ и крѣпокъ, можетъ сдѣлаться свѣтлой личностью только за предѣлами бурсы. Въ самой-же бурсѣ лучшіе изъ бурсаковъ подавлены своимъ идеаломъ, а мы уже видѣли, что этотъ идеалъ очень хорошъ для борьбы, но никуда не годится при обыкновенныхъ условіяхъ мирной трудовой жизни. Не годится онъ также и для той высшей борьбы, въ которой умные и честные люди поражаютъ заблужденія и разбираютъ софизмы своихъ недальновидныхъ или недобросовѣстныхъ современниковъ. Но хорошъ и великъ бурсацкій идеалъ тѣмъ, что онъ, какъ твердая скорлупа, охраняетъ до поры до времени и берегаетъ для великой житейской борьбы такіа силы, которыя, оставаясь безъ при-

крытія, непременно испортились-бы въ затхлои атмосферѣ зубренія и слѣпного послушанія.

VII.

Послѣ всего, что было говорено выше, читателя уже не должно удивлять то обстоятельство, что въ мертвомъ домѣ встрѣчается больше привлекательныхъ и симпатичныхъ характеровъ, чѣмъ въ бурсѣ. Въ тѣхъ четырехъ очеркахъ, которые успѣлъ написать Помяловскій, выведено на сцену нѣсколько сильныхъ натуръ, одаренныхъ блестящими способностями и желѣзной волей, но эти натуры находятся постоянно въ осадномъ положеніи, онѣ вѣчно враждуютъ не только съ начальствомъ, но и между собою; добродушію, дружелюбію, мягкимъ и нѣжнымъ чувствамъ человѣческой природы въ бурсѣ рѣшительно нѣтъ мѣста; всѣ игры бурсаковъ — *постные, скоромные, швыч и, щипчики*, и т. д. — основаны на томъ, чтобы наносить другъ другу боль самыми разнообразными средствами; во время рекреаціи ученики старшаго класса, отъ нечего дѣлать, отправляются *дуть приходчину*, т. е. колотить младшій классъ; идя въ баню, бурсаки пароватъ избивать всякаго встрѣчнаго, и монастырскаго сторожа, и ломового извозчика, и барочныхъ мужиковъ, и уличныхъ собакъ, и даже жильцовъ тѣхъ домовъ, мимо которыхъ лежитъ ихъ путь. «Шествіе ихъ. — говоритъ Помяловскій, — знаменуется порчей разныхъ предметовъ, безъ всякаго смысла и пользы для себя, а просто изъ эстетическаго наслажденія разрушать и пакостить». «Старуха бросается отъ нихъ опрометью на другую сторону улицы и шепчетъ съ ужасомъ: «Господи! да это никакъ бурса тронулась!» «Хорошо, — прибавляетъ Помяловскій, — что она догадалась перейти на другую сторону, а то нашлись-бы охотники сдѣлать ей *смазъ*, и *верховную*, и *боковую*, и *всеобщую*». Подъ вліяніемъ тяжелой жизни, наполненной лишеніями, нравственными обидами и физическими страданіями, въ бурсакѣ развивается и созрѣваетъ хроническая потребность срывать зло на правыхъ и на виновныхъ, на людяхъ и на животныхъ, и вообще на всемъ, чѣмъ можно растерзать и исковеркать. Разумѣется, эта потребность сама себя питаетъ и поддерживаетъ; бурсаки всего чаще срываютъ его другъ на другѣ и, увеличивая собственными безобразіями массу своихъ страданій, увеличиваютъ въ то-же время и количество того зла, которое должно быть сорвано. Это очень откровенно и наглядно выражено Помяловскимъ по поводу избіенія приходчины. «Впрочемъ, — говоритъ онъ, — въ такихъ случаяхъ большинство только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать встряску, лунку, волосянку, отдуть, отвалить, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовать, что въ

твоихъ рукахъ питить что-то живое, страдаетъ и просить пощады, и все это дѣлается не изъ мести, не изъ вражды, а просто изъ любви къ искусству.»

Опредѣленной вражды тутъ дѣйствительно вѣтъ, но любовь къ искусству *вздерепенить* и *мордасить* развилась именно отъ того, что бурсакъ постоянно озлобленъ на всѣхъ и на все. Теперь представьте же вы себѣ, какова должна быть злость той приходчины, которая должна питать, страдать и просить пощады. Что должна чувствовать эта приходчина послѣ ухода истребителей? Она должна клокотать и задыхаться отъ злости, тѣмъ болѣе, что злость ея безсилна, и что многіе изъ этой избитой приходчины навѣрное въ тотъ-же день уже были высѣчены учителями, которымъ также ничѣмъ нельзя было отмстить. Что-же это за жизнь! Утромъ поретъ учитель, вечеромъ лупятъ ученики. И куда-же долженъ вылиться весь запасъ накинѣвшей злости? А разумѣется, онъ выльется въ нѣдра той-же избитой и пересѣченной приходчины. Ученики начнутъ придираются другъ къ другу; затѣются междоусобныя потасовки, и озлобленіе будетъ постоянно возрастать вмѣсто того, чтобы успокоиваться. Было-бы очень удивительно, еслибы при такихъ условіяхъ въ бурсѣ могли выработаться или только сохраниться кроткіе и любвеобильные характеры.

Самыми яркими и замѣчательными личностями въ очеркахъ Помяловскаго являются Аксютка и Гороблагодатскій. Съ Аксюткой мы уже отчасти знакомы: онъ—знаменитый воръ, мастеръ своего дѣла, веселый и остроумный изобрѣтатель мазурническихъ продѣлокъ и притомъ человѣкъ, освободившійся отъ всякихъ предразсудковъ,—такой человѣкъ, который крадетъ все и у всѣхъ: у лавочника онъ тащитъ булки, малиновое варенье, картофель, и при этомъ не забываетъ наплевать, для пущей игривости, въ кадушку съ капустой; у товарищей онъ крадетъ книги, бумагу, платье и тутъ-же кладезь на мѣсто украденныхъ вещей камни или грязь, чтобы оскорбить собственника не только убыткомъ, но еще и насмѣшкой; укравши у товарища мѣшокъ съ толокномъ, Аксютка, ради глумленія, самъ-же подчуетъ собственника его же добромъ; у училищнаго солдата Аксютка воруетъ голенищи и потомъ самъ-же дразнить его голенищами; у своей невѣсты похищаетъ шелковый платокъ и три мѣдныхъ гривны. Впрочемъ, собственно говоря, у Аксютки даже никакой невѣсты и не было, и однако-же несомнѣнно то, что онъ былъ «уволенъ въ городъ для свиданія съ своей невѣстой, Ириной Вознесенской», у которой онъ и укралъ вышеупомянутыя вещи. А какимъ образомъ Ирина Вознесенская въ одно и то-же время можетъ быть и не быть невѣстой Аксютки—это исто-

рія хитрая и любопытная, которую стоитъ рассмотреть внимательно, тѣмъ болѣе, что она съ своей стороны бросаетъ нѣсколько лучей свѣта на причины бурсацкой дикости и наглости. Дѣло все въ томъ, что за дьячковской дочерью, Ириной Вознесенской, закрѣплено мѣсто ея покойнаго отца; это значитъ, что она мужъ сдѣлается дьячкомъ въ томъ приходѣ, гдѣ служилъ ея отецъ; такъ какъ приходъ не можетъ долго оставаться безъ дьячка, то Ирина Вознесенская должна выходить замужъ немедленно, тотчасъ послѣ смерти отца. А чтобы найти жениха, Ирина вмѣстѣ съ матерью отправляются въ разсадинку жениховъ, то есть въ бурсу, валяются въ ноги инспектору, какъ стражу этого прекраснаго вертограда, подносятъ ему ливанъ и смиру, или точнѣе ромъ, чай, сахаръ, грибы, яблоки, холстъ и серебряный рубль, и наконецъ, за добривъ цербера медовыми лепешками, умоляютъ его одолжить жениха и даже не *жениха*, а *жениховъ*... «Да не озорниковъ какихъ, батюшка!»—прибавляетъ старуха, продолжая выражаться *во множественномъ числѣ*. Просьба старухи показываетъ, что достоинства бурсаковъ достаточно извѣстны русскому духовенству. Инспекторъ черезъ цензора вызываетъ къ себѣ жениховъ, которыхъ оказывается пять человѣкъ. Двоимъ инспекторъ бракуетъ, одного за нетрезвое поведеніе, другого за несовершеннолѣтіе. Остальные трое одобряются инспекторомъ и получаютъ отъ него отпускные билеты, гдѣ прописано, что каждый изъ нихъ «уволенъ въ отпускъ для свиданія съ своей невѣстой, Ириной Вознесенской».

Такимъ образомъ Ирина Вознесенская въ одинъ и тотъ-же день, по волѣ бурсацкаго начальства, оказалась невѣстой троицъ жениховъ. Въ число одобренныхъ претендентовъ попалъ Аксютка, о которомъ инспекторъ понаблюдавшему думалъ, что онъ совсѣмъ не озорникъ. На другой день женихи всѣ вмѣстѣ отправляются къ невѣстѣ, но, къ сожалѣнію, Помяловскій пропускаетъ сцену смотринъ и прямо сообщаетъ читателю окончательные результаты. Оказывается, что претенденты размежевались полюбовно: Аксютка отправился къ *своей невѣстѣ* собственно за тѣмъ, чтобы поѣсть и украсть; поэтому онъ совершенно удовольствовался угощеніемъ, шелковымъ платкомъ и мѣдными гривнами. Другой претендентъ, Васенда, имѣлъ болѣе серьезныя намѣренія, но ему не понравились ни невѣста, ни приданое, ни закрѣпленный приходъ. Третій, Азинусъ, женился.

Такимъ образомъ дѣло обошлось благополучно. Но вѣдь могло оно разыгратъ совершенно иначе. Можно себѣ представить два любопытные случая: во-первыхъ тотъ, что въ одинъ изъ жениховъ не пожелалъ-бы обвѣн-

чаться съ дѣвицей Вознесенской, а во-вторыхъ тотъ, что всѣ трое прельстились-бы невѣстой, приданнымъ и закрѣпленнымъ придомъ.

Въ первомъ случаѣ чрезвычайно интересно было-бы знать, что предпринялъ-бы инспекторъ. «Чтожъ вы, подлецы,—сказалъ бы онъ вѣроятно,—въ дуракахъ меня что-ли оставить хотите? Нѣтъ, врите: сунулись въ женихи, такъ теперь и вѣнчайтесь, такіе-сякіе!» Но тутъ инспекторъ вспомнилъ-бы, что вѣдь ихъ, подлецовъ или жениховъ, все-таки нѣсколько, и что нельзя-же ихъ всѣхъ перевѣнчать съ Ириной Вознесенской, какъ-бы ни было такое наказаніе полезно и внушительно въ педагогическомъ отношеніи. Надо непременно выбрать одного, чтобы этого избраннаго сдѣлать козломъ отпущенія. Но какимъ-же образомъ выбрать? Приказать имъ разѣѣ, чтобы они кинули между собою жребій и чтобы Ирина Вознесенская досталась тому, кому измѣнитъ счастье? Или можетъ-быть просто принять въ соображеніе списокъ балловъ и обречь на жертву того, кто учится и ведетъ себя хуже всѣхъ остальныхъ? Женить человѣка за дурное поведеніе, наказать человѣка женитьбой—это конечно очень мило, остроумно и даже водевилно, но и тутъ есть серьезное затрудненіе. Женихъ въ церкви непременно долженъ самъ сказать «да» и очень легко можетъ случиться, что озорникъ, осужденный на женитьбу, въ пику начальству, скажетъ «нѣтъ», презирая всѣ могущіе воспослѣдовать преже-стокіе розгачи. Чѣмъ хуже онъ ведетъ себя, и слѣдовательно чѣмъ больше онъ заслуживаетъ наказаніе, тѣмъ правдоподобнѣе, что онъ, по озорству своему, осмѣлится отъ него уклониться. Скажетъ «нѣтъ», и конечно дѣло, хоть ты козь на головѣ тещи! Что тутъ прикажете дѣлать? Не знаю, рѣшительно не знаю. Я никогда не былъ инспекторомъ бursы, поэтому никакъ не могу себѣ представить, чтобы я сталъ предпринимать, еслибы упорство моихъ питомцевъ лишило меня возможности презентовать Ирину Вознесенскую жениха, за котораго я уже получилъ наличную плату деньгами, вещами и колѣнопреклоненіями.

Второй возможный случай также достаточно интересенъ, хотя и менѣе затруднителенъ для инспектора бursы. Спрашивается, какимъ образомъ примирить притязанія троихъ молодыхъ, которые, опираясь на свои отпускные билеты, всѣ трое захотѣли-бы серьезно считать себя женихами Ирины Вознесенской? Можно было-бы пожалуй предоставить рѣшеніе вопроса самой невѣстѣ, но какія-же она можетъ имѣть основательныя причины для того, чтобы выбрать себѣ одного изъ троихъ юношей, которыхъ она видитъ въ первый разъ въ жизни. А между тѣмъ проживаться въ го-

родѣ ей неприходится; кромѣ того дѣяческое мѣсто не можетъ стоять вакантнымъ, покуда Ирина Вознесенская будетъ изучать своихъ претендентовъ; наконецъ и бурсаковъ не станутъ-же отпускать къ ней въ гости до тѣхъ поръ, пока она соблаговолитъ рѣшиться; однимъ словомъ, надо выбирать немедленно, имѣя въ виду и тотъ шансъ, что любезный супругъ въ первый-же день медоваго мѣсяца можетъ подбить своей сожительницѣ оба глаза или стащить въ кабакъ ея заячій салопъ, или провороваться и попасть подъ судъ. Если нѣтъ возможности сдѣлать выборъ съ полнымъ знаніемъ дѣла, если бракъ совершается при такихъ условіяхъ, при которыхъ не можетъ возникнуть чувство, способное заглушить всякія опасенія,—то невѣстѣ всего лучше оставаться совершенно пассивнымъ лицомъ до самаго конца всей исторіи. Тогда по крайней мѣрѣ, въ случаѣ неудачи, ей можно будетъ плакаться на судьбу, а не на собственную оплошность. Можно будетъ во время подбиванія глазъ или пропиванія салона утѣшать себя тѣмъ размышленіемъ, что не было другого выхода и что все это сдѣлалось помимо ея воли. Жизнь Ирины Вознесенской, — бѣдной, некрасивой и уже очень немолодой дочери деревенскаго дьячка,—уже давно должна была пріучить ее той безответной и полусонной покорности, которая составляетъ послѣднее утѣшеніе или по крайней мѣрѣ послѣднее убѣжище забытыхъ и затертыхъ личностей, обиженныхъ природой и людьми. Для такой личности, махнувшей рукой на себя и на жизнь, каждое проявленіе энергіи и самостоятельности составляетъ очень тяжелый и даже мучительный трудъ. Поэтому Ирина Вознесенская врядъ-ли согласилась-бы воспользоваться правомъ выбора, еслибы такое право было ей предоставлено претендентами и начальствомъ бursы.

Но такой утонченной деликатности нельзя даже и ожидать ни отъ претендентовъ, ни отъ начальства. Инспекторъ знаетъ очень хорошо, что Ирина наглухо прикрѣплена къ своему мѣсту, безъ котораго ей нечѣмъ будетъ кормиться; знаетъ онъ также очень твердо, что судьба Ирины въ его рукахъ, и что отъ него зависитъ наградить Ириною достойнѣйшаго изъ претендентовъ, если только Ирина дѣйствительно въ какомъ-нибудь отношеніи можетъ исправлять должность награды. Этому праву инспекторъ вѣроятно не захочетъ выпустить изъ своихъ рукъ, потому что власть и могущество во всѣхъ своихъ малѣйшихъ проявленіяхъ веселятъ сердце и возвышаютъ духъ всякаго начальствующаго человѣка. Бурсаки съ своей стороны, желая вырваться изъ бursы и влюбившись въ прелести прихода, приданнаго и независимой жизни, вовсе не будутъ великодушничать и отдаваться на произволъ

Ирины. Они будут спорить между собою, оставляя невѣсту въ пассивно-выжидательномъ положеніи, и споръ ихъ по всей вѣроятности будетъ рѣшенъ или какой-нибудь любовной сдѣлкой, съ распитіемъ нѣсколькихъ косушекъ на счетъ счастливаго соперника, или, что еще правдоподобнѣе, безапелляціоннымъ приговоромъ инспектора, который въ этомъ случаѣ превратитъ Ирину въ премію низкопоклонства, искуснаго лицемерія и быть можетъ даже усерднаго фискальства.

Въ разсказѣ Помяловскаго всѣ эти затрудненія сглаживаются сами собою, но любопытно обратить вниманіе на тѣ причины, которыя отклонили отъ брака одного изъ претендентовъ, Васенду, имѣвшаго серьезное намѣреніе жениться. «Васенда,—говоритъ Помяловскій,—какъ человѣкъ положительный и практическій, нашелъ невыгоднымъ закрѣпленное мѣсто, приданое и обязательства, а невѣсту черезчуръ заматорѣвшей во дѣлахъ своихъ, на видъ рябой, длинной и черствой. Онъ рѣшился остаться въ камчаткѣ (*камчаткою* назывались заднія скамейки класса, составлявшія жилище неисправныхъ лѣтяевъ) до лучшей суженой.»

Эти слова даютъ вамъ нѣкоторое понятіе о красотѣ той сцены, которая называется *смотринами* и въ которой живая и свободная человѣческая личность продается и покупается съ соблюденіемъ всѣхъ торговыхъ правилъ и ухватокъ толкачаго рынка. Эта сцена особенно милостива тѣмъ, что тутъ сразу даже и не разберешь, кто кого покупаетъ, кто кого продаетъ, кто кого забираетъ въ кабалу. Всѣ дѣйствующія лица (кромѣ Аксютки, пришедшаго ѣсть и красть) играютъ роль страдательную, зависимую и подневольную. Всѣ они подавлены какой-то высшей силой, которая заставляетъ ихъ насиловать самыя естественныя и неистребимыя наклонности человѣческой природы. Стоитъ только сличить то, чего хотятъ всѣ дѣйствующія лица этой сцены, съ тѣмъ, что они дѣлаютъ, чтобы убѣдиться въ томъ, что всѣ они—жертвы, всѣ, кромѣ Аксютки, и что всѣхъ ихъ, кромѣ того-же Аксютки, продаетъ, покупаетъ и кабалитъ, давитъ и унижаетъ внѣшняя сила, неимѣющая въ данной сценѣ ни одного представителя.

Въ самомъ дѣлѣ, чего хочетъ старуха Вознесенская? Она хочетъ добыть для своей дочери смирнаго, честнаго, трезваго и работающаго мужа. А что она дѣлаетъ? Поступаетъ-ли она сообразно съ своимъ желаніемъ? Напротивъ того. Она привлекаетъ къ своей дочери бурсаковъ, которыхъ она сама-же считаетъ озорниками и отъ которыхъ она навѣрное перебѣжала-бы на другую сторону улицы, подобно старухѣ, попавшейся на встрѣчу бурсакамъ, во время ихъ побѣднаго шествія въ баню. Она бросаетъ свою

дочь на шею такому человѣку, котораго она и старуха, и дочь, видятъ въ первый разъ. Она встрѣчаетъ разомъ троихъ гостей и передъ всеми трими разсыпаетъ одинаковыя любезности, потому что каждый изъ нихъ можетъ оказаться тѣмъ суженымъ, которому достанется право карать и миловать ея дочь. Положеніе старухи, какъ видите, совершенно пассивно и до послѣдней степени зависимо. Тутъ съ ея стороны нѣтъ ничего похожаго на обыкновенную ловлю жениховъ; она ловитъ то, чего ей вовсе не хочется поймать; ловитъ то, въ чемъ она боится найти несчастье для себя и для своей дочери.

Чего хочетъ эта дочь? Подобно всякой другой дѣвушкѣ, Ирина хочетъ приобрести себѣ мужа красиваго, веселаго, кроткаго, расторопнаго, способнаго хорошо кормить и одѣвать ее, вообще такого, который-бы понравился ей и полюбилъ ее.—А что она дѣлаетъ? Она принимаетъ съ заискивающимъ видомъ и съ стереотипной улыбкой всѣхъ уродовъ и всѣхъ негодяевъ, которыхъ заблагоразсудитъ прислать къ ней въ гости инспекторъ бursы. Наружность посетителей можетъ ей не нравиться; она можетъ думать про себя, что они по всей вѣроятности окажутся негодяями, но все это ровно ничего не значить; несмотря на свое отвращеніе, несмотря на свои мучительныя предчувствія, она съ невозмутимымъ смиреніемъ должна изображать своей особой вещь, которую пришли разсматривать и оцѣнивать покупатели. Въ ея роли нѣтъ также ни малѣйшей активности и ничего похожаго на завлеченіе поклонниковъ.

Чего хотятъ покупатели, Васенда и Азинусъ? Но, во-первыхъ, какіе-же они покупатели? На какіе достатки могутъ они купить человѣка? Какъ-бы ни были дешевы въ наше время человѣческое счастье, человѣческая жизнь, человѣческая любовь, человѣческая совѣсть,—все же эти вещи дороже трехъ-копѣечной сайки, а Васендѣ и Азинусу даже и трехъ-копѣечная сайка обыкновенно оказывается не по карману. Васендѣ и Азинусу для совершенія купли надо заложить, закабалить или продать собственныя особы. Они приходятъ къ госпожѣ Вознесенской именно для того, чтобы устроить такую сдѣлку. Одно это обстоятельство уже достаточно устраняетъ всякое помышленіе о ихъ активности. Но во всякомъ случаѣ чего-же они хотятъ? Подобно всѣмъ другимъ молодымъ людямъ ихъ возраста, они желали-бы, чтобы ихъ любила и ласкала молодая и красивая женщина. Это фیزیологическое влеченіе къ молодости, къ свѣжести и къ красотѣ не можетъ быть истреблено ни однимъ изъ талисмановъ, которыми располагаетъ бурса: ни голодомъ, ни грязью, ни розгами, ни даже тамошней наукой. Это влеченіе несомнѣнно существуетъ въ обоихъ претендентахъ, являющихся къ Иринѣ Вознесенской. А

между тѣмъ, что дѣлаютъ эти претенденты? Познакомившись съ своей *общей неистой*, они видятъ прежде всего, что Ирина—дѣвица, *заматорвавшая во днѣхъ своихъ, на видѣ рябая, длинная и черствая*. Тогда они оба кладутъ на одну чашку вѣсовъ корявую наружность и преклонныя лѣта Ирины, а на другую начинаютъ накладывать стаметовыя юбки, шелковые платки, заячьи салоны, коровы и овецъ, доходы закрѣпленнаго мѣста и всѣ другія сокровища, принадлежащія невѣстѣ. Уложивши все, какъ слѣдуетъ, Васенда находитъ, что первая чашка все-таки перетягиваетъ; поэтому онъ отступаетъ отъ невѣсты. Но еслибы вы на вторую чашку вѣсовъ прибавили нѣсколько стаметовыхъ юбокъ, двѣ-три коровы, два-три десятка рублей годового дохода,—то Васенда, *какъ человекъ практический и положительный*, переломилъ-бы свое фیزیологическое отвращеніе къ рябой и черствой дѣвицѣ и, скрѣпя сердце, отдалъ-бы себя въ кабалу за очень дешевую цѣну. Азинусъ поступилъ именно такимъ образомъ, и, разумѣется, не потому, что рябое лицо казалось ему привлекательнымъ, и также не потому, что влеченіе къ красотѣ и къ молодости въ немъ не существовало. Рѣшился онъ на свой неблестящій бракъ потому, что и въ бурсѣ оставаться было скверно, и впереди не предвидѣлось ничего утѣшительнаго. Браки по расчету, покупки и продажи живыхъ и полнокровныхъ человѣческихъ личностей, совершаются каждый день въ самыхъ богатыхъ и знатныхъ слояхъ европейскихъ обществъ. Но эти торговныя сдѣлки имѣютъ такъ-же мало общаго съ поступками Азинуса и Васенды, какъ мало общаго имѣютъ дѣйствія Ирины и старухи Вознесенскихъ съ кокетствомъ богатыхъ барышень и съ маневрами богатыхъ маменекъ. Въ блестящихъ бракахъ по расчету обѣ стороны по своему остаются въ выигрышѣ, то есть, обѣ получаютъ дѣйствительно то, къ чему онѣ стремились: одна сторона покупаетъ себѣ красоту и наслаждается ею; другая за противныя старческія ласки вознаграждаетъ себя блестящими нарядами, каретой, балами и театрами,—словомъ, всеми прелестями утонченнаго комфорта. Но что-же получаютъ другъ отъ друга monsieur и madame Азинусъ? Ни красоты, ни довольства, ни того, что наполняетъ жизнь наслажденіемъ, ни того, что дѣлаетъ пустую жизнь сколько-нибудь сносною. Оба собираются взаимно отравить другъ другу жизнь, оба предвидать, что не принесутъ другъ другу ничего, кромѣ заботъ, обидъ и огорченій, и оба дѣлаютъ рѣшительный шагъ, получая отъ общества за весь этотъ подвигъ хроническаго самоистязанія возможность жить въ дрянной избенкѣ, одѣваться въ дрянныя ветошки и набивать животъ чуть-чуть не сѣномъ. Такой бракъ слѣдуетъ назвать не бра-

комъ по расчету, а бракомъ изъ-подъ палки, и палкой является тутъ для обѣихъ сторонъ бѣдность, не та мнимая бѣдность, при которой нельзя завести себѣ собственныхъ лошадей и французскаго повара, а та настоящая, неприличная бѣдность, при которой можно голодать и забнуть, нищенствовать и воровать, страдать отъ болѣзни и обходиться безъ медицинской помощи, безъ мягкой постели, безъ чистаго и сухого воздуха.

«Въ свѣтскихъ искусственныхъ бракахъ,—говоритъ Помяловскій,—большой частью оскорбляется женщина; но въ бурсацкихъ—и женщина, и мужчина. Въ свѣтскихъ мужчина говоритъ: «я сытъ и есть у меня имя, иди за меня—ты будешь сыта и получишь имя»; въ бурсацкихъ-же не то; женихъ кричитъ: «ѣсть нечего»; невѣста кричитъ: «съ голоду умираю»—и исходъ одинъ: соединиться обѣимъ сторонамъ.» И соединиться для того, чтобы, грызя другъ друга взаимными попреками, прожить всю жизнь впроголодь! Исходъ прелестенъ, и прелести этого исхода достаточно извѣстны бурсакамъ, насмотрѣвшимся на семейныя заботы и семейныя раздоры, какъ въ домѣ своихъ родителей, такъ и у всѣхъ своихъ ближайшихъ знакомыхъ. И однакоже вообразите себѣ, что этотъ исходъ, этотъ бракъ изъ-подъ палки, это отвратительное звѣшнваніе стаметовыхъ юбокъ и корявой наружности являются въ жизни бурсаковъ радостнымъ и счастливымъ событіемъ, которое воодушевляетъ цѣлый классъ, возбуждаетъ ликование въ Камчаткѣ, наводитъ на всѣхъ учениковъ веселыя думы и охватываетъ трепетомъ наслажденія все училище *«отъ двѣнадцати-лѣтняго мальчика до двадцати-двухъ годовалаго парня, отъ послѣдняго лѣтняго до перваго ученика»*. Женихи считаются героями дня. Камчатка гордится ими. *Матическое слово «женихи» быстрее ласточки облетаетъ по всѣмъ классамъ, сладостно волнуетъ бурсацкія души.*

Все, что подчеркнуто, принадлежит Помяловскому.—Это всеобщее ликование составляетъ, разумѣется, только слабое отраженіе гордой и непомѣрной радости, переполняющей сердца жениховъ, которые дѣйствительно сами считаютъ себя героями дня, и въ тяжелой сценѣ *смотринъ*, унижительной для всѣхъ заинтересованныхъ сторонъ, видятъ одинъ изъ самыхъ свѣтлыхъ и блестящихъ эпизодовъ своей жизни. Быть женихомъ изъ-подъ палки—такая великая честь, и попасть на смотрины—такое несказанное благополучіе, что, забывая свой возрастъ, къ этой чести и къ этому благополучію порывается даже четырнадцатилѣтній мальчикъ, котораго забраковалъ инспекторъ и жестоко осмѣяли за эту преждевременную приткось товарищи.

Что-же все это значить? Неужели-же бур-

сакъ неспособенъ влюбиться въ женщину? Неужели въ бурсакѣ дѣйствительно истреблено влеченіе къ молодости и красотѣ? Это невозможно, такъ точно какъ невозможно истребить въ человѣкѣ влеченіе къ здоровой и обильной пищѣ, къ теплomu и удобному платью, къ мягкой и чистой постели. Влеченіе къ удобствамъ жизни не исчезаетъ никогда, и человѣкъ всегда сохраняетъ способность отличать пріятное отъ непріятнаго, и даже различать довольно тонкіе оттѣнки въ своихъ пріятныхъ ощущеніяхъ. Но когда человѣкъ поставленъ въ такое положеніе, при которомъ самыя пріятныя ощущенія для него рѣшительно недоступны, тогда онъ поневолѣ привыкаетъ пробавляться тѣмъ вторымъ, третьимъ или четвертымъ сортомъ наслажденій, который оказывается для него сподручнымъ. Спускаясь на нижнія ступеньки общественной лѣстницы, мы находимъ тамъ такія положенія, при которыхъ человѣкъ страдаетъ съ утра до вечера, и съ вечера до утра, то отъ холода, то отъ голода, то отъ копоты, то отъ насѣкомыхъ, то отъ вѣдомѣрной и однообразной работы, то отъ грубаго обращенія. Для такого человѣка облегченіе привычныхъ страданій оказывается уже наслажденіемъ, хотя намъ съ вами это наслажденіе показалось-бы очень ощутительнымъ страданіемъ. Бурсакъ можетъ считать счастливымъ тотъ день, когда его не оставили безъ обѣда, не прибили и не выскли, но еслибы насъ съ вами заставили прожить штукъ десять такихъ счастливыхъ дней, то мы считали-бы себя очень жестоко наказанными. Когда общій колоритъ жизни мраченъ и грязенъ, когда глубокія, сильныя и чистыя наслажденія недоступны, тогда человѣкъ привыкаетъ считать пустой прихотью тѣ изъ своихъ собственныхъ законныхъ потребностей, которыя, при данныхъ условіяхъ, не могутъ найти себѣ удовлетворенія. Такія суровыя отношенія человѣка къ самому себѣ необходимы, потому что они одни даютъ ему силы переносить тяжесть безотраднaго существованія; давая волю своимъ неудовлетворимымъ стремленіямъ и въ то-же время не имѣя возможности выбиться изъ подъ гнета тѣхъ условій, которыя мѣшаютъ удовлетворенію, — человѣкъ домучилъ-бы себя до сумасшествія и до самоубійства. Но если, при данныхъ условіяхъ, человѣку необходимо насиловать, переламывать, истощать и уродовать свою природу, то во всякомъ случаѣ невозможно находить эти крутыя мѣры полезными для человѣческаго совершенствованія. Осажденный гарнизонъ поступаетъ очень благоразумно, если, въ ожиданіи скорой помощи, онъ тратитъ съѣстные припасы съ самой крайней скупостью; но эта скупость, необходимая при данныхъ обстоятельствахъ, во всякомъ случаѣ дѣйствуетъ на здоровье людей разрушительнымъ образомъ.

То-же самое можно сказать и о бурсаках. Они были-бы невыносимо несчастливы, еслибы грязь и безобразіе ихъ существованія постоянно поражали ихъ такъ-же сильно, какъ они могутъ поражать свѣжаго человѣка, смотрящаго на дѣло со стороны. — Привычка къ грязи и примиреніе съ тусклыми и мутными удовольствіями составляютъ для бурсаковъ единственное спасеніе отъ самаго убійственнаго отчаянія. Но это спасеніе достается имъ не даромъ. Они должны обезобразить себя для того, чтобы принаровиться къ условіямъ жизни, невыносимымъ для нормальнаго человѣка. Отказываясь по необходимости отъ высшихъ наслажденій, человѣческая природа бѣднѣетъ, вянетъ и черствѣетъ. Становясь непомѣрно суровымъ къ самому себѣ, называя прихотью свое собственное и законное желаніе, человѣкъ пріучается быть неумолимымъ въ отношеніи къ другимъ. Онъ топчетъ въ грязь чужія чувства такъ точно, какъ его собственныя чувства топтались въ грязь желѣзнымъ гнетомъ обстоятельствъ. Чтѣ скажетъ напримѣръ Азису, когда лѣтъ черезъ двадцать сынъ его захочетъ жениться на любимой дѣвушкѣ, несоответствующей финансовымъ или политическимъ планамъ родителя? Азису припомнить свои смотрины и тотъ восторгъ, съ которымъ онъ летѣлъ въ домъ совершенно незнакомой дѣвушки, и ту неустрашимость, съ которой онъ отпесся къ рябой физиономіи Прины Вознесенской.

«Дуракъ, — скажетъ онъ своему сыну. — Развѣ жъ тебѣ не все равно, что одну взять дѣвку, что другую? За тебя нашъ благочинный хочетъ свою Степаниду отдать, а ты рыло воротить. Глупъ ты, молодъ, мало каши ѣлъ, мало вѣтниковъ объ тебя изломали, — оттого и дуришь. А ты-бы посмотрѣлъ, какъ я на твоей матери женился. И рожа то у ней хуже Степанидиной была, и старше-то она была лѣтъ на семь, а добра-то за нею никакого не было, — да взялъ же я ее, да еще земли подъ собой не слышалъ отъ радости. А ты рыло воротить! Меня передъ благочиннымъ погубить стараешься! Ну, не оселъ-ли ты послѣ этого? На моемъ мѣстѣ другой отецъ съ тобой языкомъ-то и говорить бы не сталъ.» — И затѣмъ начинаются крикъ, шумъ, избіеніе непокорнаго сына, и все это происходитъ отъ того, что человѣкъ всегда прикидываетъ чужія чувства и страсти на собственный аршинъ, укороченный или изломанный враждебными обстоятельствами. Разсмотрѣвши исторію Аксюткиной невѣсты, я теперь возвращаюсь къ самому Аксюткѣ и къ Гороблагодатскому.

VIII.

Великъ и славенъ Аксютка своими воровскими подвигами, но еще больше славенъ и ве-

личія доставляетъ ему та кровопролитная война, которую онъ ведетъ съ жестокимъ учителемъ Лобовымъ. Эта война ведется самымъ оригинальнымъ образомъ и оказывается кровопролитной для одного Аксютки. Обладая отличными способностями, Аксютка начинаетъ вдругъ превосходно учиться. Лобовъ восхищается его успѣхами и сажаетъ его на первую скамейку. Аксютка тотчасъ перестаетъ учиться и постоянно получаетъ нули въ аудиторскихъ нотатахъ. Лобовъ начинаетъ его пороть и впроложеніи нѣсколькихъ недѣль проливаетъ его кровь за каждый невыученный урокъ. Аксютка съ непоколебимой стойкостью выдерживаетъ лобовскія внушенія и наконецъ отсылается въ Камчатку, въ страну безнадежныхъ лѣнтяевъ, которыхъ начальство уже не удостоиваетъ сѣченія. Повидимому всего выгоднѣе для Аксютки было-бы успокоиться въ Камчаткѣ и навсегда забыть о существованіи учебныхъ книгъ и учительскихъ розогъ. Но Аксютка на это рѣшиться не можетъ. Ему непременно надо лицедѣйствовать въ классѣ, обращать на себя вниманіе и изумлять товарищество своимъ геройствомъ. Попавши въ Камчатку, онъ снова начинаетъ учиться, и появляется въ нотатахъ съ полными баллами. Покаялся, думаетъ Лобовъ и переводитъ Аксютку на первую скамейку. Но Аксютка обнаружилъ признаки раскаянія только для того, чтобы завязать съ Лобовымъ новую борьбу. Начинается опять рядъ нулей; надъ Аксюткой свистятъ лобовскія розги; Аксютку гонять въ Камчатку, и опять разыгрывается съ начала та-же самая исторія. Наконецъ Лобовъ видитъ ясно, что Аксютка, жертвуя собственной спиной, дразнить и дурачить его для потѣхи всего лихого бурсачества. Тогда Лобовъ, уславши Аксютку въ Камчатку, рѣшительно запрещаетъ ему учиться.

«— Ты, животное, — говоритъ Лобовъ, — потѣшаешься надо мною: когда тебя порютъ, у тебя въ нотатѣ нули, когда шлютъ въ Камчатку — пятки. Знаю я тебя: ты добиваешься того, чтобы опять перейти на первую парту, чтобы потомъ снова бѣсить меня нулями? Врешь же! Не бывать тебѣ на первой партѣ, и пока у тебя снова не будутъ нули, до тѣхъ поръ не ходи въ столовую.»

Каково должно быть торжество Аксютки, когда Лобовъ произноситъ эти слова? Учитель признается публично, при всемъ классѣ, что Аксютка *потѣшается надъ нимъ*, что Аксютка *нарочно бѣситъ его нулями*. Учитель рассказываетъ публично всю тактику Аксютки. Значитъ, учитель понялъ наконецъ и объявилъ всѣмъ ученикамъ, что Аксютка рѣшительно не боится его, Ивана Михайловича Лобова, передъ которымъ трепещетъ вся неустрашимая бурса. Лобовъ сдается на капитуляцію и проситъ себя только милости: «храбрый Аксютка, оставь меня

въ покоѣ и позволь мнѣ не пороть тебя!» — «Ни за что!» возражаетъ Аксютка, сидя въ Камчаткѣ, учится отлично, единственно для того, чтобы добраться снова до лобовскихъ розогъ. Лобовъ старается истребить аксюткино прилежаніе голодомъ, но Аксютка непобѣдимъ и съ этой стороны. Онъ не ходитъ въ столовую, но воруетъ съ удвоеннымъ искусствомъ все, что можно украсть, поддерживаетъ кое-какъ свое существованіе и, на-зло Лобову, продолжаетъ учиться великолѣпно.

Чѣмъ кончается эта изумительная борьба — объ этомъ Помяловскій не говоритъ, но довольно и того, что было рассказано до сихъ поръ. Этихъ фактовъ совершенно достаточно для того, чтобы почувствовать самое почтительное изумленіе передъ громадной силой Аксюткина характера. Человѣкъ терпитъ голодъ и розги, человѣкъ самъ напрашивается на розги, человѣкъ учится и старается для полученія розогъ, и всѣ эти удивительныя эволюціи производятся съ той единственной цѣлью, чтобы сказать себѣ и товарищамъ: «а я все-таки поставилъ на своемъ! Хочу дурачиться, и буду дурачиться, и никакой Лобовъ меня не испугаетъ.»

Чѣмъ ничтожнѣе цѣль, тѣмъ изумительнѣе та настойчивость, съ которой эта цѣль преслѣдуется. Если человѣкъ, ради пустѣйшаго изъ своихъ капризовъ, добровольно и неоднократно подвергаетъ себя очень сильной физической боли, то передъ чѣмъ-же отступить этотъ человѣкъ, когда въ немъ заговоритъ настоящая страсть, и когда онъ увидитъ передъ собой дѣйствительное наслажденіе? Чѣмъ вы запугаете такого человѣка, который въ бурсѣ, безъ всякихъ средствъ обороны, нарочно дразнить и бѣсить учителя, вооруженнаго всѣми орудіями школьной инквизиціи и имѣющаго полную возможность запороть до полу-смерти непочтительнаго ученика? Заставьте такого человѣка, какъ Аксютка, полюбить полезное дѣло, сдумайте найти приложеніе для его громадной энергіи, бросьте въ его свѣтлый умъ плодотворныя мысли, — и этотъ училищный воръ былъ-бы великимъ человѣкомъ. Гибель такихъ умныхъ, даровитыхъ, блестящихъ и энергическихъ личностей, какъ Аксютка, неизбежна, но неизбежна она только потому, что огненный потокъ великихъ людей, очищающихъ и увлекающихъ за собою все, что способно мыслить, желать и увлекаться, — до сихъ поръ не проложилъ себѣ дороги въ низшіе бѣднѣйшіе и грязнѣйшіе слои нашего общества. Но пока солнышко взойдетъ, до тѣхъ поръ роса глаза выѣстъ, и многія сотни Аксютокъ сгниютъ на нарахъ мертвыхъ домовъ, въ ожиданіи очищающихъ, обновляющихъ и увлекающихъ идей.

Другой сильный характеръ бурсы, Горобла-

годатскій, обреченъ также на вѣрную гибель, несмотря на то, что въ немъ имѣется гораздо больше хорошихъ качествъ, чѣмъ въ мазурикѣ-Аксюткѣ. Въ Гороблагодатскомъ мы видимъ самое чистое и самое прекрасное воплощеніе дикаго бурсацкаго идеала. Ненависть этого человѣка къ угнетающей рутинѣ безпредѣльна; честность его въ отношеніи къ товарищамъ безпредѣльна. «Онъ, — говорятъ Помяловскій, — не взялъ ни одной взятки, безпристрастно и справедливо отмѣчалъ подъявительнымъ баллы, не куражился надъ ними, часто защищалъ слабосильныхъ, любилъ вмѣшиваться въ ссоры и хотя деспотически, но всегда справедливо рѣшалъ ихъ; онъ постоянно солилъ ростовщикамъ и взяточникамъ. Товарищество его любило и уважало.» Но въ ненависти своей страстный и сильный характеръ Гороблагодатскаго доходитъ до беспощадной свирѣпости, для которой бурса, переполненная всѣмъ, что способно возмущать честнаго человѣка, представляетъ конечно самое обширное поприще. Первый очеркъ Помяловскаго («Зимній вечеръ въ бурсѣ») показываетъ намъ, какимъ образомъ Гороблагодатскій доѣзжаетъ двухъ подлецовъ, ростовщика Тавлю и фискала Семенова.

Желая насладиться мученіями Тавли, Гороблагодатскій играетъ съ нимъ въ камушки со щипчиками. Интересъ игры состоитъ въ томъ, что выигравшій имѣетъ право щипать руку проигравшаго. Такъ какъ Тавля и Гороблагодатскій — оба силачи, то щипчики ихъ ужасны и называются съ пылу *горячіе*. Отъ этихъ щипчиковъ краснѣетъ, синѣетъ, чернѣетъ и пухнетъ рука побѣжденнаго партнера. Гороблагодатскій проигрываетъ. Тавля закатываетъ ему сотню жесточайшихъ щипчиковъ и потомъ насмѣшливо спрашиваетъ у него, не хочетъ-ли онъ сыграть еще партію? Гороблагодатскій говоритъ: «Давай!» — и выигрываетъ. — «Съ пылу горячіе!» — провозглашаетъ побѣдитель такимъ злобѣющимъ голосомъ, что товарищамъ становится страшно. — «Конца не будетъ!» — произноситъ Гороблагодатскій, и начинается истязаніе. Товарищи смотрятъ и молчатъ. У Тавли душа уходитъ въ пятки. Получивши сотню баснословныхъ щипчиковъ, Тавля начинаетъ отпрашиваться. — «Послѣ двухъ сотъ проси пощады», — отвѣчаетъ истребитель ростовщиковъ. Тавля продолжаетъ уговаривать побѣдителя, но побѣдитель велитъ ему молчать: «Скажи только слово, — говоритъ Гороблагодатскій, — еще двѣсти закачу.» Тавля начинаетъ плакать. Послѣ двухсотъ Гороблагодатскій приказываетъ Тавлѣ просить прощенія и побѣждаетъ его упрямство жестокимъ щипкомъ. Истерзанный Тавля смиряется и при всей собравшейся публикѣ проситъ прощенія. Гороблагодатскому этого мало. Страданія и покорность Тавли несколько не укрощаютъ его ненависти. Черезъ

нѣсколько времени Тавля играетъ съ *постыми*. Эта игра состоитъ въ томъ, что одинъ изъ играющихъ, закрывши голову руками, подставляетъ спину подъ удары и старается угадать, кто его ударилъ. Угадалъ — тогда ложится ударившій; не угадалъ — ложится опять прежній страдалецъ. Въ этой занимательной игрѣ Тавлѣ пришлось лечь подъ удары. Тогда къ кучкѣ играющихъ прикнулъ Гороблагодатскій, а за нимъ потянулись и другіе салачи класса. Тавлѣ не повезло. Онъ четыре раза ошибся при угадываніи, и поэтому получалъ пять такихъ ударовъ, которые чуть-чуть не переломили ему становой хребетъ. Онъ сталъ протестовать: «Чтожь это, братцы? Убить что-ли хотите?» Протестъ и слово *братцы* не тронули черстваго сердца Гороблагодатскаго. Онъ отвѣчалъ кровавой насмѣшкой: «Значить, любимъ тебя, почитаемъ.» Тавля возражаетъ: «Другихъ такъ не бьютъ.» — «А тебя вотъ бьютъ!» — отвѣчаетъ ему кто-то, по всей вѣроятности тотъ-же его неизмѣнный доброжелатель, потому что проще, осторожнѣе и свирѣпѣе этого отвѣта трудно что-нибудь придумать. Наконецъ Тавля угадываетъ и говоритъ съ неудовольствіемъ, что онъ не хочетъ больше играть. Гороблагодатскій на прощаніе ввертываетъ ему еще шпильку: «Отчего-же, душа моя?» — спрашиваетъ онъ добродушно и ласково.

Въ тотъ-же вечеръ во время темноты, берегающей казенное масло, бурсаки сѣкутъ очень сильно фискала Семенова. Ему даютъ семьдесятъ розогъ, и при этомъ товарищескомъ подвигѣ Тавля играетъ одну изъ главныхъ ролей. Онъ зажимаетъ рукою ротъ Семенова. Семеновъ, терпя горькую муку, кусаетъ его за руку и узнаетъ его голосъ, потому что укушенный Тавля начинаетъ ругаться. Послѣ сѣченія Семеновъ идетъ къ инспектору и доноситъ ему на Тавлю. Инспекторъ приходитъ въ классъ съ четырьмя солдатами и даетъ Тавлѣ полтора розогъ. Тутъ повидимому всѣ симпатіи Гороблагодатскаго должны склониться на сторону Тавли, который, такъ сказать, положилъ животъ за бурсацкое отечество и потерпѣлъ мученичество за величіе и славу товарищеской общины. Но не тутъ-то было. Свирѣпость Гороблагодатскаго такъ велика, что его ненависть къ инспектору и къ его креатурѣ Семенову несколько не мѣшаетъ ему ненавидѣть въ эту-же минуту и Тавлю и радоваться его неудачѣ. Помяловскій говоритъ, что Гороблагодатскій съ наслажденіемъ смотрѣлъ на Тавлю, который не могъ ни стать, ни сѣсть послѣ экзекуціи.

Теперь читатель можетъ себѣ вообразить, до какой степени неудобно фискалу Семенову сидѣть въ одной комнатѣ съ Гороблагодатскимъ, беспощаднымъ истребителемъ всякихъ мерзостей. Встрѣтившись съ Семеновымъ, Гороблагодатскій даетъ ему затрещину. Потому же

время игры *въ постыные* Гороблагодатскій схватывает Семенова сзади и насильно кладет его подъ жестокіе удары, которые валятся на Семенова безъ счета и не въ очередь, потому что его бьютъ не какъ играющаго, а какъ фискала, исключеннаго изъ всякихъ товарищескихъ забавъ и стоящаго внѣ закона. Черезъ нѣсколько времени Семенова съкутъ. Кѣмъ придумана такая необычайная штука—это оставлено у Помяловскаго во мракѣ неизвѣстности. Но мудрено себѣ представить, чтобы такое патристическое дѣло совершилось безъ участія Вани Гороблагодатскаго. Всего правдоподобнѣе даже то, что ему принадлежитъ первая мысль объ этой кровавой экзекуціи. Мое предположеніе совершенно соотвѣтствуетъ какъ серьезности его характера, такъ и блестящимъ способностямъ его изобрѣтательнаго ума. Когда инспекторъ при содѣйствіи четырехъ сильныхъ солдатъ отнялъ у Тавли возможность стоять и сидѣть, тогда Гороблагодатскій такъ сильно почувствовалъ наказаніе, данное Тавлѣ, что вознамѣрился *«идти къ Семенову и избить его окончательно»*. Но онъ раздумалъ, потому что въ головѣ его родился новый и болѣе удобный планъ мщенія. Онъ устроилъ Семенову *пфимфу*. *Пфимфой* называется въ бурѣ свертокъ бумаги въ видѣ конуса, набитый ватой. Трое заговорщиковъ отправились ночью подъ предводительствомъ нашего Вани къ постели спящаго Семенова, осторожно вставили ему въ носъ отверстіе *пфимфы*, зажгли вату съ широкаго конца и начали дуть въ этотъ конецъ. Послѣ двухъ дуповеній Семеновъ, обожженный и прокопченный дымомъ до самой глубины легкихъ, лишился чувствъ. На другой день его замертво стащили въ больницу, гдѣ онъ никакъ не могъ объяснить причины своей болѣзни. Если Семенову послѣ этой передѣлки удалось выздороветь, и если онъ не догадался покинуть навсегда враждебную бурсу, то можно сказать навѣрное, что Гороблагодатскій не оставилъ его въ покоѣ. Изъ всѣхъ сообщенныхъ подробностей читатель видитъ ясно, что этотъ человекъ не могъ и не умѣлъ прощать.

Любопытно было-бы узнать, какимъ образомъ Гороблагодатскій относится къ Аксюткѣ. Эти двѣ личности, одинаково умныя и сильныя, но не одинаково честныя, должны жестоко ненавидѣть другъ друга. Постоянныя столкновенія между ними тѣмъ болѣе неизбежны, что они сидятъ въ одномъ классѣ. Эта борьба между двумя самыми блестящими личностями, представителями бурсацкой цивилизаціи, наполнена самыми оригинальными и занимательными эпизодами. Къ сожалѣнію, Помяловскій не сообщаетъ объ этой борьбѣ рѣшительно никакихъ свѣдѣній. Аксютка и Гороблагодатскій совсѣмъ не встрѣчаются между собой, точно будто они живутъ на двухъ разныхъ планетахъ. Въ пер-

вомъ очеркѣ Помяловскаго господствуетъ Гороблагодатскій; тутъ не упоминается ни разу даже имя Аксютки. Въ двухъ слѣдующихъ очеркахъ царствуетъ Аксютка; тутъ имя Гороблагодатскаго упоминается мимоходомъ, раза два или три. Еслибы «Очерки бursы» были совершенно законченнымъ сочиненіемъ, то молчаніе Помяловскаго объ отношеніяхъ двухъ героев бursы оказалось-бы со стороны автора очень важной ошибкой. Но такъ какъ Помяловскій хотѣлъ написать около десяти или двѣнадцати очерковъ, а успѣлъ написать только четыре, то осуждать автора за пробѣлы было-бы несправедливо; и слѣдовательно остается только пожалѣть о томъ, что замѣчательный трудъ Помяловскаго не могъ быть доведенъ до конца.

По выходѣ изъ бursы Гороблагодатскій навѣрное погибнетъ такъ или иначе. Попадетъ-ли онъ въ мертвый домъ—этого я не знаю. Но что онъ не сноситъ своей буйной головы и шибко напакостить себѣ и другимъ—это врядъ-ли можетъ подлежать сомнѣнію. Гороблагодатскій придетъ къ гибели конечно не тѣмъ путемъ, по которому бѣжитъ Аксютка. Гороблагодатскій останется навсегда безукоризненно-честнымъ человекомъ. Кто терпѣлъ голодъ, имѣлъ подъ руками возможность взяточничать и не пользовался выгодами своего положенія, тотъ навѣрное выйдетъ чистъ и невредимъ изъ всевозможныхъ испытаній. Кого въ молодыхъ лѣтахъ не развратила бурса, того врядъ-ли развратитъ слѣдующая жизнь. Но Гороблагодатскаго, честнаго, умнаго и сильнаго человека, загубитъ вынужденная праздность, дикое безобразіе пьянаго разгула и безтолковыя схватки съ мелкими проявленіями общественнаго зла. Гороблагодатскій учится въ бурѣ хорошо. Поэтому для него есть надежда получить аттестатъ. Хорошо. Получить онъ аттестатъ, пристроится къ мѣсту, возьмется за добросовѣстное исполненіе своихъ почтенныхъ обязанностей. Но развѣ-же эти обязанности, очень почтенныя, но очень скромныя, тихія и однообразныя, могутъ удовлетворить Гороблагодатскаго? Къ этимъ обязанностямъ можно только привыкнуть, въ эту идиллію можно только втянуться, а Гороблагодатскому необходимо пристраститься. Ему нужна борьба. Его кипучая природа требуетъ себѣ такой жизни, которая держала-бы въ постоянномъ напряженіи всю нервную систему,—такой жизни, въ которой цѣной великихъ трудовъ и тяжелыхъ страданій покупались-бы минуты невыразимаго наслажденія, непонятнаго и недоступнаго для мелкихъ и вялыхъ душишекъ. Не имѣя возможности создать себѣ такую полную и дѣятельную жизнь, Гороблагодатскій, подавленный избыткомъ своихъ собственныхъ непристроенныхъ силъ, будетъ поневолѣ разгонять свою хроническую скуку тѣми нехитрыми средствами, которыя окажутся у него

подъ руками. Прежде всего подъ руками окажется водка; нашъ скучающій богатырь приметъ ее въ соображеніе, тѣмъ болѣе, что онъ и въ бурсѣ считалъ ее вѣрнѣйшимъ средствомъ *отъ всѣхъ скорбей*. Далѣе, въ пьяныя минуты подъ руками будетъ оказываться жена, приобѣтленная вмѣстѣ съ закрѣпленнымъ мѣстомъ, и слѣдовательно врядъ-ли способная внушать мужу особенно сильную привязанность. Въ этой женѣ Гороблагодатскій будетъ усматривать различные пороки, за искупленіе которыхъ онъ приметъ со свойственной ему энергіей; борьба съ недостатками супруги будетъ служить Гороблагодатскому очень сильнымъ средствомъ развлеченія, но отъ этой борьбы получится немного пользы, какъ для семейнаго счастья нашего героя, такъ и для всего направленія его жизни. Живя въ какомъ-нибудь бѣдномъ сельскомъ приходѣ, Гороблагодатскій будетъ встрѣчаться съ различными, очень возмутительными проявленіями насилія, произвола, несправедливости и вымогательства. Какъ честный и страстный человѣкъ, онъ будетъ протестовать, не жалѣя и не выгораживая самого себя. Протесты эти, при всей своей искренности и безкорыстности, будутъ очень узки, поверхностны и бесплодны. Гороблагодатскій, подобно всѣмъ неразвитымъ людямъ, будетъ сражаться съ виѣшними симптомами зла, съ недобросовѣстными или тупоумными личностями, вмѣсто того, чтобы дѣйствовать противъ настоящихъ причинъ зла, противъ тѣхъ общихъ условій и идей, вслѣдствіе которыхъ тупоумныя и недобросовѣстныя личности могутъ играть важныя роли и отравлять жизнь своихъ умныхъ и честныхъ ближнихъ. Донъ-Кихотская борьба Гороблагодатскаго съ подлецами и съ дураками окончится полнѣйшимъ пораженіемъ нашего героя; его замнутъ, затрутъ, отрѣшатъ отъ должности, сошлютъ куда-нибудь на покаяніе, у него отнимутъ насущный хлѣбъ; его доведутъ до самаго нищенства, и эта погибель будетъ тѣмъ болѣе ужасна, что она останется совершенно бесплодной. Тысячи такихъ безалаберныхъ погибелей проведутъ по одной лишней морщинкѣ на лицѣ тѣхъ самодовольныхъ идіотовъ, съ которыми боролись эти побѣжденные протестанты.

Чего-же недостаетъ Гороблагодатскому для того, чтобы сдѣлаться полезнымъ дѣятелемъ и занять въ ряду мыслящихъ работниковъ то мѣсто, на которое онъ имѣетъ право по своимъ способностямъ и по желѣзной силѣ своего характера? На этотъ вопросъ я смѣло отвѣчаю, что ему недостаетъ *развитія* или, проще, *знаній*. Отвѣчаю я такъ, несмотря на то, что меня еще въ прошломъ году упрекали печатно, изъ дружескаго лагеря, въ зловредныхъ стремленіяхъ основать на умственномъ развитіи новую аристократію. Если считать такой

упрекъ за что-нибудь серьезное, то его пришлось-бы распространить на всѣхъ тѣхъ людей, которые желаютъ и требуютъ для народа грамотности. Сила грамотности очевидно заключается не въ тѣхъ каракулькахъ, которыя человѣкъ разбираетъ въ книгѣ или выводитъ перомъ на бумагѣ, а въ тѣхъ знаніяхъ, въ которыхъ каракульки открываютъ доступъ. Но знанія поверхностныя, шаткія или ограниченныя, неразрушающія въ умѣ человѣка ни одного стараго заблужденія и не обогащающія его новыми идеями, — составляютъ только лишній балластъ для памяти. Значитъ, желая для народа грамотности, мы требуемъ для него такихъ знаній, изъ которыхъ могли-бы выработаться прочныя положительныя убѣжденія. Грамотность драгоценна для насъ только какъ дорога къ развитію. Но если мы желаемъ народу развитія, то, разумеется, мы считаемъ это развитіе за благо, потому что съ какою же стати мы стали-бы желать народу того, что само по себѣ не имѣетъ никакого достоинства. Если-же развитіе есть благо, то придется согласиться, что меньшинство, обладающее этимъ благомъ, стоитъ въ болѣе выгодномъ положеніи и можетъ работать на общую пользу съ болѣе широкимъ успѣхомъ, чѣмъ то большинство, которое не приобрѣло себѣ этого сокровища.

Гдѣ-же тутъ аристократизмъ? — Никто не думаетъ говорить, что всякій развитый человѣкъ честнѣе и умнѣе всякаго неразвитаго. Я говорю только, что умъ и честность развитаго человѣка приносятъ обществу и самому обладателю этихъ качествъ гораздо болѣе пользы и наслажденій, чѣмъ умъ и честность человѣка неразвитаго. Эту мысль, которая, по своей простотѣ и очевидности, похожа даже на общее мѣсто, можно повести дальше и выразить болѣе опредѣленнымъ образомъ. Можно сказать, что безъ развитія сильный умъ и сильный характеръ становятся не только бесполезными, но даже вредными, какъ для общества, такъ и для самого даннаго субъекта. Посредственность уживается лучше генія съ такой обстановкой, при которой умъ и страсти осуждены на бездѣйствіе. Тихій и скромный бурсакъ Васенда проживетъ на свѣтѣ гораздо приличнѣе, благоразумнѣе и безобиднѣе для себя и для всѣхъ, чѣмъ даровитый и замѣчательный Гороблагодатскій, который насолитъ себѣ, насолитъ другимъ и въ то-же время не произведетъ никакой существенной перемены во всемъ томъ, что стѣсняло, волновало и бѣсило его. Это неумѣнье сильныхъ натуръ мириться съ пошлостями жизни драгоценно тѣмъ, что оно выводитъ замѣчательныхъ людей на лучшую дорогу, заставляетъ ихъ искать и иногда помогаетъ имъ найти тѣ знанія, при содѣйствіи которыхъ они могутъ раз-

вернуть въ полезной работѣ всѣ свои силы. Но для тѣхъ людей, которымъ выходить на лучшую дорогу не удастся, это неумѣнье помириться становится обильнымъ источникомъ мученій и ошибокъ. Гороблагодатскій не можетъ сдѣлаться Васендой; онъ не можетъ урѣзать отъ своего ума и отъ своихъ страстей тѣ излишки, которымъ некуда дѣваться при данныхъ условіяхъ. Но если нѣтъ возможности превратить себя въ тихую и приличную посредственность, зато есть полная возможность убить въ себѣ дикимъ разгуломъ всѣ порывы къ лучшей жизни и вмѣстѣ съ этими неумѣстными порывами убить всѣ способности своего ума; словомъ, можно превратить себя въ ходячую развалину, и эту операцію продѣлываютъ надъ собою такъ или иначе почти всѣ замѣчательные люди, которые, нуждаясь въ знаніяхъ, сами не умѣютъ понять, чего именно имъ недостаетъ. Такимъ людямъ нечѣмъ успокоить свою тревогу, потому что знанія составляютъ единственный ключъ ко всякой широкой и разумной дѣятельности, кака-бы она ни была, теоретическая или практическая, ученая или социальная.

IX.

Бурса распоряжается съ своими даровитѣйшими воспитанниками очень безцеремонно: однихъ она развращаетъ голодомъ, на подобіе Аксютки; другимъ, неприступнымъ съ нравственной стороны, она навсегда засоряетъ головы и загораживаетъ дорогу къ образованію. Такимъ образомъ молодая жизнь такъ или иначе оказывается изломанной. Блестящіе исключенія изъ этого правила не должны подкупать насъ въ пользу бурсы, во-первыхъ потому, что эти исключенія очень малочисленны, а во-вторыхъ потому, что всѣ они относятся къ такимъ личностямъ, которыя по выходѣ изъ бурсы сворачивали въ сторону съ торной бурсацкой дороги. Эти личности, подобныя Добролюбову и Помяловскому, развиваются и совершенствуются именно только тогда, когда стараются какъ можно быстрее и полнѣе забыть все то, чѣмъ наградила ихъ alma mater бурса. Только эти блестящіе ренегаты бурсы и привлекли вниманіе общества на замкнутый бурсацкій міръ. Принимая этихъ ренегатовъ за образчики, общество расположено было думать, что бурса—таинственная лабораторія, въ которой рутинныя педагогическія средства, на удивленіе почтенной публики, даютъ превосходнѣйшіе результаты и выковываютъ *сердца изъ золота и стали*. Общество забывало, что бурсу слѣдуетъ судить по тѣмъ ея продуктамъ, которые остаются навсегда въ предначертанной для нихъ колѣѣ. Объ этихъ продуктахъ я распространяться не

желаю; но замѣчу мимоходомъ, что ими не совсемъ доволенъ былъ Иванъ Аксаковъ, который въ этомъ дѣлѣ можетъ быть болѣе компетентнымъ судьей, чѣмъ я.

Посмотримъ теперь, какъ дѣйствуетъ на своихъ воспитанниковъ мертвый домъ. Объ одномъ изъ обитателей этого дома Достоевскій говорить не только съ уваженіемъ, но даже съ самымъ горячимъ восторгомъ. «Его мѣсто на нарахъ,—говоритъ авторъ «Записокъ»,—было рядомъ со мною. Его прекрасное, открытое, умное и въ то-же время добродушно-наивное лицо съ перваго взгляда привлекло къ нему мое сердце, и я такъ радъ былъ, что судьба послала мнѣ его, а не другого кого-нибудь въ сосѣди. Вся душа его выражалась на его красивомъ, можно даже сказать, прекрасномъ лицѣ. Улыбка его была такъ довѣрчива, такъ дѣтски просто-душна; большіе черные глаза были такъ мягки, такъ ласковы, что я всегда чувствовалъ особое удовольствіе, даже облегченіе въ тоскѣ и въ грусти, глядя на него.» «Трудно представить себѣ,—говорится далѣе о томъ-же каторжникѣ,—какъ этотъ мальчикъ во все время своей каторги могъ сохранить въ себѣ такую мягкость сердца, образовать въ себѣ такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не загрузѣть, не развратиться. Это впрочемъ была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узналъ его впоследствии. Онъ былъ цѣломудренъ, какъ чистая дѣвочка, и чей-нибудь скверный, циническій, грязный или несправедливый, насильственный поступокъ въ острогѣ зажигалъ огонь негодованія въ его прекрасныхъ глазахъ, которые дѣлались отъ того еще прекраснѣе. Но онъ избѣгалъ ссоръ и брани, хотя былъ вообще не изъ такихъ, которые-бы дали себя обидѣть безнаказанно, и умѣлъ за себя постоять. Но ссоръ онъ ни съ кѣмъ не имѣлъ: его всѣ любили и всѣ ласкали. Сначала со мною онъ былъ только вѣжливъ. Мало-по-малу я началъ съ нимъ разговаривать; въ нѣсколько мѣсяцевъ онъ выучился прекрасно говорить по русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Онъ мнѣ показался чрезвычайно скромнымъ и деликатнымъ, и даже много уже разсуждавшимъ. Вообще скажу заранѣе: я считаю Алея далеко необыкновеннымъ существомъ и вспоминаю о встрѣчѣ съ нимъ, какъ объ одной изъ лучшихъ встрѣчъ въ моей жизни. Есть натуры, до того прекрасныя отъ природы, до того награжденныя Богомъ, что даже одна мысль о томъ, что они могутъ когда-нибудь измѣниться къ худшему, вамъ кажется невозможной. За нихъ вы всегда спокойны. Я и теперь спокоенъ за Алея. Гдѣ-то онъ теперь?»

Этотъ Алея, при благоприятныхъ обстоятельствахъ, сдѣлался-бы навѣрное украшеніемъ и гордостью отборнаго кружка, составленнаго изъ

самой лучшей, самой умной и самой честной университетской молодежи. Характеристика Алея возбуждает собою два вопроса: во-первых, какимъ образомъ такая личность дошла до каторги, а во-вторыхъ, какими средствами этотъ двадцати-лѣтній юноша могъ сохранить въ острогѣ свои превосходныя качества? Алея — младшій сынъ дагестанскаго татарина; у него было на родинѣ пять старшихъ братьевъ, которымъ онъ, по молодости своихъ лѣтъ, повиновался безпрекословно; однажды эти старшіе братья повезли его съ собою на грабежъ. «Уваженіе къ старшимъ, — говоритъ Достоевскій, — въ семействахъ горцевъ такъ велико, что мальчикъ не только не посмѣлъ, но даже и не подумалъ спросить, куда они отправляются.» Набѣгъ удался, но потомъ вся исторія раскрылась; Алея вмѣстѣ съ братьями осудили, подвергли тѣлесному наказанію и сослали въ каторгу: впрочемъ, принимая въ соображеніе молодость его лѣтъ, судъ назначилъ Алею *только* четыре года каторжной работы; но послѣ этихъ четырехъ лѣтъ Алею предстояло поселиться въ Сибири; возвращеніе на родину, подъ прекрасное небо Дагестана, къ матери и сестрамъ, было навсегда отрѣзано бѣдному мальчику за избытокъ его послушности, въ которой впрочемъ онъ рѣшительно не могъ отказать своимъ старшимъ родственникамъ.

Итакъ, скажемъ вмѣстѣ съ читателемъ: по дѣломъ вору мука! и перейдемъ ко второму вопросу: что поддерживало Алея на каторгѣ? — Мнѣ кажется, что его съ одной стороны спасалъ отъ развращенія постоянный трудъ, а съ другой стороны, что и товарищи его по каторгѣ вовсе не были такими заразительно-скверными людьми, какихъ мы, добропорядочные и сытые граждане, привыкли себѣ воображать подъ именемъ каторжниковъ или арестантовъ. — Алея трудился постоянно; у него, какъ и у большей части его товарищей, была своя работа, совершенно отличная отъ казенной или обязательной. «Между прочимъ, — говоритъ Достоевскій, — у него было много способностей механическихъ; онъ выучился порядочно шить бѣлье, точить сапоги и впоследствии выучился, сколько могъ, столярному дѣлу.» Трудъ не былъ запрещенъ; но запрещалось имѣть при себѣ въ острогѣ инструменты, безъ которыхъ работа невозможна; но инструменты все-таки имѣлись, работа принимала такимъ образомъ характеръ запрещеннаго плода. Арестанты принуждены были спасать себя отъ праздности и деморализаціи, вопреки распоряженіямъ начальства. При такихъ условіяхъ арестантская промышленность не могла развиваться; надо было ограничиваться такими отраслями труда, которыя не требуютъ большихъ и громоздкихъ инструментовъ; надо было вести работу такъ, чтобы во всякую данную минуту можно было скрыть всѣ слѣды и

признаки ея; кто попадался съ инструментами или съ деньгами, тотъ терялъ все свое достоинство и кромѣ того ложился подъ розги. «На послѣ каждого обыска тотчасъ-же пополнялись недостатки, немедленно заводились новыя вещи, и все шло постарому.» Борясь постоянно съ этими искусственно-созданными трудностями и опасностями, арестанты не только продолжали работать, но даже умѣли выучиваться новымъ ремесламъ. «Многіе изъ арестантовъ приходили въ острогъ ничего не зная, но учились у другихъ и потомъ выходили на волю хорошими мастеровыми. Тутъ были и сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесари, и рѣзчики, и золотильщики.»

Тѣхъ людей еще нельзя считать безнадежно-погибшими, у которыхъ проявляется такое сильное стремленіе къ труду. Но любознательно замѣтить, что, выучиваясь ремеслу и приобретая себѣ возможность сдѣлаться честнымъ и полезнымъ гражданиномъ, арестантъ нарушалъ приказанія начальства. Арестанта можно и должно было сѣчь за то, что онъ на будущее время старался избавить себя отъ печальной необходимости воровать и грабить. Впрочемъ арестанты, по своей скотской безчувственности, не боялись розогъ и оказывались неисправными, несмотря на добросовѣстныя старанія осторожнаго начальства отвратить ихъ отъ ремесленной дѣятельности. Они чувствовали, что работа спасала отъ преступленій, и что безъ работы арестанты, по выраженію Достоевскаго, поѣли-бы другъ друга, какъ пауки въ стеклянѣ. Начальственное преслѣдованіе рабочихъ инструментовъ обусловливалось по всей вѣроятности тѣмъ опасеніемъ, что арестанты могутъ перерваться и искалѣчить другъ друга разными ножами, ножницами, шилами и другими острыми орудіями; нельзя сказать, чтобы это опасеніе было совершенно неосновательно; самъ Достоевскій рассказываетъ, что однажды одинъ арестантъ пырнулъ своего товарища шиломъ; но опираться на такіе случаи и преслѣдовать изъ за нихъ рабочихъ орудій — значитъ пускаться въ ходъ такое лекарство, которое оказывается хуже самой болѣзни.

Осуждая арестантовъ на праздность и на скуку, начальство значительно усиливало въ нихъ задорное настроеніе; еслибы начальству удалось окончательно очистить острогъ отъ рабочихъ инструментовъ, то драки стали-бы затѣваться каждый день, и за неимѣніемъ острыхъ орудій арестанты ухитрились-бы наносить другъ другу тяжелыя раны полѣвками или даже просто кулаками. Главное соображеніе, мѣшавшее развитію ссоръ между каторжниками, состояло въ томъ, что каждый изъ нихъ имѣлъ свои тайны, которыя могли быть раскрыты обыскомъ; поэтому всѣ старались отворачивать такіе скандалы, за которыми должно было по-

слѣдовать появленіе разгнѣваннаго начальства. Когда начиналась ругань между двумя арестантами, то масса публики тщательно наблюдала затѣмъ, чтобы противники отъ словеснаго препирательства не переходили къ кулачнымъ упражненіямъ. Диспутантовъ прерывали именно тогда, когда они входили въ азартъ; все это дѣлалось потому, что каждый берегъ себя и свое собственное трудовое гнѣздо. У каждаго были кое-какія крошечныя удобства, которыми онъ дорожилъ и которыя онъ могъ потерять въ случаѣ начальственнаго разгрома. Поэтому всѣ вѣстѣ, общими силами, унимали другъ друга и поддерживали у себя миръ и благочиніе. Эта причина, предотвращавшая безчисленное множество дракъ и скандаловъ, совершенно перестала — бы дѣйствовать, еслибы начальство достигло своей цѣли и конфисковало всѣ орудія, необходимыя для работы.

Страдая отъ самой безвыходной скуки и потерявши уже все, что только можно было потерять, арестанты дѣйствительно поѣли — бы другъ друга, какъ пауки въ банкѣ. Другая причина, побудившая начальство преслѣдовать орудія, могла состоять въ томъ предположеніи, что арестанты своими инструментами перепиливать желѣзныя рѣшотки, проломають каменные стѣны, проколютъ подземныя галлерей и наконецъ разбѣгутся на всѣ четыре стороны. Противъ этого соображенія можно возразить, что геній побѣговъ дается очень немногимъ, и что эти немногіе избранные, подобные барону Тренку или Латюду, умѣютъ устраивать побѣги при такихъ обстоятельствахъ, которыя въ глазахъ обыкновенныхъ людей считаются непреодолимыми препятствіями. Побѣждая то, что кажется необходимымъ, эти люди конечно ухитряются промыслить или даже смастерить себѣ то орудіе, въ которомъ они нуждаются. Поэтому отбирать орудія у цѣлаго острога только для того, чтобы удержать отъ побѣга какого-нибудь геніальнаго бѣгуна, способнаго просверлить незамѣтнымъ образомъ цѣлыя каменные горы, — значить стѣснять и деморализировать сотни невинныхъ для того, чтобы доконать одного виновнаго, который все-таки съумѣетъ поставить на своемъ. Кромѣ того, и это самое важное, побѣгъ изъ казармы невозможенъ, потому что всѣ предварительныя операціи, перепиливаніе рѣшотокъ или ломаніе стѣнъ, должны производиться въ присутствіи нѣсколькихъ десятковъ человѣкъ самаго разнокалибернаго характера. Въ такомъ обществѣ никакой заговоръ не можетъ составиться и никакая тайна не можетъ удержаться. Достоевскій описываетъ одинъ побѣгъ, окончившійся поимкой бѣжавшихъ арестантовъ; но этотъ побѣгъ устроился безъ всякихъ романтическихъ проломовъ и подкоповъ. Двое арестантовъ просто подговорили конвойнаго

ефрейтора и убѣжали вмѣстѣ съ нимъ. Рабочіе инструменты нисколько не содѣйствовали этому побѣгу.

Впрочемъ я можетъ — быть совершенно напрасно тружусь надъ приискиваніемъ общепринятыхъ причинъ, внушавшихъ начальству мертваго дома тѣ или другія распоряженія. Начальство того мертваго дома, о которомъ пишетъ Достоевскій, распоряжалось часто такъ оригинально, что невозможно приискать никакихъ причинъ, кромѣ начальственнаго желанія и добродѣтельной ненависти къ нарушителямъ закона, лишеннымъ всѣхъ правъ состоянія. Такъ наприимѣръ, Достоевскій рассказываетъ, что плацъ-маіоръ врывался въ острогъ иногда даже по ночамъ, и если замѣчалъ, что арестантъ спитъ на лѣвомъ боку или навзничь, то на утро его наказывалъ: «Спи, дескать, на правомъ боку, какъ я приказалъ». Несмотря на такія нашествія, несмотря на всѣ трудности, опасности, наказанія, арестанты все-таки работали на себя, по собственному желанію и для собственной выгоды. Это обстоятельство даетъ арестантамъ огромное преимущество надъ бурсаками, у которыхъ обязательная работа была, а собственной работы никакой не было и быть не могло. Впрочемъ въ свободныя часы, когда арестанты могли считать себя до нѣкоторой степени безопасными со стороны начальственныхъ визитовъ, — казармы каторжниковъ превращались въ огромныя мастерскія. Каждый углублялся въ мирное, честное и разумное занятіе; каждый желалъ, чтобы ему не мѣшали другіе, и вслѣдствіе этого каждый, въ свою очередь, старался не мѣшать сосѣдямъ. Въ такія минуты мертвый домъ былъ несравненно приличнѣе и благороднѣе, чѣмъ бурса во время рекреаціи. Вѣрнѣе было-бы сказать, что мертвый домъ въ свободныя часы былъ совершенно приличенъ, между тѣмъ какъ бурса не знала, куда дѣвать свое свободное время, и доходила въ минуты рекреаціоннаго мрака до фантастическихъ нелѣпостей. «Въ классѣ такъ темно, — говоритъ Помяловскій, — что за два шага не распознать лица человѣческаго. Всякія игры прекращались въ эти часы, и бурсакъ могъ развлекаться звуками странными и разнообразными. Общее впечатлѣніе было дико. Звуки мѣшались. Раздается крикъ какого-то несчастнаго, которому вѣроятно *въгнали въ загорбокъ*; слышенъ напѣвъ на *Господи воззвахъ, гласъ осьмый*; вырывается изъ концерта патетическая нота въ *верхнее* ге; кого-то еще треснули по рожѣ; у печки поютъ: «отроцы семинарія, посередъ кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадимъ, тебѣ деньги отдадимъ»; слышенъ плачь; *гроючетъ* какая-то тварь, т. е. ржетъ по лошадиному, выдѣлывая: и-и-го-го-го-го! Ругань виситъ въ воздухѣ, крики и хохотъ, козлоглагольствуютъ, грогочутъ, поютъ на гласы

и вкушаютъ затрешины.» Тутъ-же придумывается для разнообразія избіеніе приходчины.

Такихъ явленій въ мертвомъ домѣ нѣтъ, и возможны такіе эпизоды только въ бурсѣ и, въ слабѣйшей степени, въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ; возможны собственно потому, что педагоги считаютъ полную праздность превосходнымъ отдыхомъ послѣ умственныхъ занятій. Полная праздность всегда порождаетъ дикія развлеченія, которыя не доставляютъ ни пользы, ни удовольствія самимъ развлекающимся субъектамъ. Этими дикими развлеченіями медленно и нечувствительно, но неизбѣжно уродуются умы и характеры. Заставьте человека выдерживать каждый день, въ продолженіи пяти или шести лѣтъ, часа по три бурсацкой рекреации, и этотъ человекъ непременно огрубѣетъ и ожесточится. Еслибы Алея попалъ въ бурсу, то вся его грація, воспитанная Достоевскимъ и устоявшая противъ вліянія мертвого дома, истрепалась и уничтожилась бы въ водоворотѣ смазей, салазокъ и затрешинъ, отъ которыхъ невозможно увернуться и за которыя непременно надо расплачиваться той-же монетой. Каторжники работаютъ; поэтому каждый изъ нихъ хочетъ и можетъ сосредоточиваться въ самомъ себѣ и уединяться отъ товарищей, продолжая сидѣть съ ними въ одной комнатѣ и на однихъ нарахъ. Бурсаки, напротивъ того, развлекаются, т. е. озорничаютъ другъ надъ другомъ, вслѣдствіе чего обособленіе личности становится невозможнымъ.

Х.

Достоевскій говоритъ, что Алея *всѣ любилъ и всѣ ласкалъ*. Это значитъ, что каторжники умѣли цѣнить красоту тѣхъ качествъ, которыми отличался Алея. Это значитъ, что каторжники вообще были способны любить безкорыстно чистое, свѣжее, кроткое и прекрасное существо. Это обстоятельство въ значительной степени помогло Алею сохранить себя во всемъ блескѣ своей нравственной чистоты. Это-же обстоятельство показываетъ ясно, что товарищи Алея были не Богъ знаетъ какіе безнадежно-гнусные люди. Мыслящему читателю врядъ-ли есть надобность доказывать, что преступникъ, лишенный всѣхъ правъ состоянія, все-таки не перестаетъ думать и чувствовать по-человѣчески. Но не всѣхъ читателей можно называть мыслящими, и потому говорить о человѣческомъ достоинствѣ каторжниковъ въ наше время не только необходимо, но даже и до нѣкоторой степени опасно. Если вы скажете, что каторжникъ не лютый звѣрь и не грязная гадина, что въ немъ не замерли лучшіе инстинкты человѣческой природы, что онъ способенъ подняться на ноги и начать новую жизнь, то суровые мудрецы, солидные морали-

сты и непогрѣшимые censures могутъ считать себя оскорбленными до глубины души: они подумаютъ, что вы ставите ихъ на одну доску съ презрѣннымъ каторжникомъ; они закричатъ во все горло, что вы унижаете добродѣтель и прославляете порокъ; они обвинятъ васъ въ томъ, что вы потворствуете воровству, поощряете убійство и стараетесь подорвать авторитетъ закона, карающаго похитителей чужой собственности и чужой жизни. Въ виду такого жалкаго неразумія, заявляющаго себя публично и торжественно, съ апломбомъ и съ величественнымъ самодовольствомъ, становится необходимымъ говорить подробно, но съ нѣкоторой осторожностью, о тѣхъ истинно-человѣческихъ чувствахъ, которыя подмѣчены Достоевскимъ въ несчастныхъ обитателяхъ мертвого дома. Описывая человѣческія чувства каторжниковъ, я постоянно долженъ упрямиться читателя, чтобы онъ не увлеклся примѣромъ арестанта и не старался подражать его преступленіямъ. При такихъ условіяхъ интересы истины будутъ согласены съ требованіями осторожности, и самые строгіе цѣнители литературныхъ заслугъ не рѣшатся заподозрить меня въ посягательствѣ на чистоту и непорочность читающей публики.

Хорошія черты, собранныя Достоевскимъ, особенно драгоценны потому, что онѣ вырываются у него почти невольно, и что онъ сообщаетъ ихъ читателю безъ всякой предвзятой мысли. Большая часть этихъ подробностей брошена мимоходомъ, такъ что авторъ самъ не вглядывался въ нихъ и не ставилъ ихъ въ заслугу каторжникамъ.

Итакъ: *первая черта*—любовь каторжниковъ къ Алею.

Вторая черта. На каторгѣ былъ одинъ старикъ изъ раскольниковъ, безукоризненно честный и чрезвычайно добродушный. «Во всемъ острогѣ,—говоритъ Достоевскій,—старикъ пріобрѣлъ всеобщее уваженіе, которымъ нисколько не тщеславился. Арестанты называли его дѣдушкой и никогда не обижали его.» «Вотъ этому-то старику мало по малу почти всѣ арестанты начали отдавать свои деньги на трапезу. Въ каторгѣ почти всѣ были воры, но вдругъ всѣ почему-то увѣрились, что старикъ никакъ не можетъ украсть.» Это уваженіе къ старости и къ честности, это безграничное довѣріе, это слово *дѣдушка* заключаютъ въ себѣ такъ много глубоко-трогательной теплоты и задушевности, что мой добродѣтельный читатель рискуетъ увлечься и разчувствоваться, если я, соблюдая долгъ осторожности, не напомню ему о надлежащемъ презрѣніи къ клейменнымъ лицамъ и къ бритымъ головамъ.

Третья черта. «Помню,—говоритъ Достоевскій,—какъ однажды одинъ разбойникъ, хмельной (въ каторгѣ иногда можно было напиться),

ль рассказывать, какъ онъ зарѣзалъ пяти-
 яго мальчика, какъ онъ обманулъ его
 ала игрушкой, завелъ куда-то въ пустой
 й, да тамъ и зарѣзалъ. Вся казарма, до
 смѣявшаяся его шуткамъ, закричала какъ
 ѣ человекъ, и разбойникъ принужденъ
 замолчать; не отъ негодованія закричала
 рма, а такъ, потому что *не надо* было
это говорить, потому что говорить *про*
не принято.» Фактъ замѣчательнъ, но
 сненіе, прибавленное авторомъ, ровно ни-
 не объясняетъ и рѣшительно не выдер-
 жетъ критики. Почему авторъ знаетъ, что
 рма закричала *не отъ негодованія*? И
 то за резонъ выраженъ словами: *а такъ*?
 ли рассказъ разбойника ни въ комъ не
 уждалъ негодованія и отвращенія, то по-
 же *не надо* и *не принято* было гово-
 о такихъ предметахъ?—На эти вопросы
 ръ опять отвѣтитъ: *такъ*, но кто-же удо-
 ворится подобнымъ отвѣтомъ?—Мы ка-
 я, что казарма закричала именно отъ не-
 ванія, потому что ей показалось чрезчуръ
 атительнымъ, во-первыхъ умерщвленіе без-
 итнаго ребенка, а во-вторыхъ, наглое хва-
 ство. Слушатели почувствовали, что это
 товство глубоко оскорбляетъ ихъ челове-
 че достоинство. За кого-же, дескать, этотъ
 ѣ насъ принимаетъ, если онъ думаетъ, что
 будемъ любоваться такими мерзостями?
 оевскій полагаетъ, что *«про это* гово-
 не принято».—То есть, про чтѣ же имен-
 Про какое *это*? Если подъ словомъ *это*
 оевскій подразумѣваетъ вообще убійство,
 ѣ ошибается и самъ себя опровергаетъ.
 омъ-же томъ Лучка рассказываетъ това-
 амъ очень подробно какъ онъ зарѣзалъ
 го сердитаго плацъ-маіора, и всѣ его слу-
 гъ и никто на него не кричитъ. Значитъ,
 убійствѣ говорить можно, и, значитъ, крикъ
 рмы въ первомъ случаѣ былъ направленъ
 противъ нарушенія каторжнаго этикета, а
 нвъ отвратительности разбойническихъ излі-
етвертая черта. Арестанты любятъ док-
 въ за нихъ гуманное обращеніе и вспоми-
 ѣ со вздохами и съ умиленіемъ о тѣхъ
 льникахъ, въ которыхъ замѣтны были хоть
 :нибудь проблески добродушія.—«Душа че-
 къ! Отца не надо!»—говорятъ арестанты,
 миная поручика Смекалова который одна-
 казывалъ ихъ за провинности, но только
 этотъ не смотрѣлъ на нихъ, какъ на
 женцевъ и не придирался ко всякимъ
 якамъ. «Даже говорятъ Достоевскій—подъ-
 какой-то маниловщиной отзывались вос-
 нанія о добрѣйшемъ поручикѣ.» Значитъ,
 я ничтожная ласка находить себѣ доступъ
 ердцу арестанта. Гдѣ-же тутъ закоренѣ-
 ѣ и несправимость? Но при этомъ осто-

рожность все-таки заставляетъ меня напомнить
 читателю, что подражать арестантамъ не го-
 дится.

Пятая черта. Наканунѣ Рождества во
 всемъ острогѣ господствуетъ торжественная
 тишина. Всѣ арестанты ведутъ себя особенно
 чинно и спокойно. Нѣтъ ни балагурства, ни
 карточной игры. Кто нарушаетъ общее строгое
 спокойствіе, того унимаютъ и бранятъ за не-
 уваженіе къ празднику. Словомъ, арестанты
 хотятъ, чтобы у нихъ, въ ихъ тѣсной и душной
 острожной сферѣ, было то-же самое, чтѣ дѣ-
 лается въ мірѣ свободныхъ и добропорядоч-
 ныхъ людей. Арестанту очень хочется поддер-
 жать въ своихъ собственныхъ глазахъ свое че-
 ловѣческое достоинство, и онъ приступаетъ къ
 этой задачѣ съ тѣми средствами, которыя да-
 етъ ему въ руки его нероскошное умственное
 развитіе. Въ какихъ-бы формахъ ни проявля-
 лось это стремленіе уважать въ самомъ себѣ
 человекъ,—оно во всякомъ случаѣ показыва-
 етъ, что, несмотря на всю безвыходную грязь
 и тоску острожнаго прозябанія, арестантъ все-
 таки не хочетъ и не можетъ окончательно мах-
 нуть на себя рукой.

Шестая черта. Въ самый день Рождества
 изъ города привозятъ и приносятъ въ острогъ
 цѣлыя горы подавій въ видѣ всевозможныхъ
 сдобныхъ печеній. Начинается дѣлежъ. «Не
 было ни спору, ни брани—говоритъ Достоев-
 скій;—дѣло вели честно, по ровнѣ. Что при-
 шлось на нашу казарму раздѣлили уже у насъ;
 дѣлили Акимъ Акимычъ и еще другой аре-
 стантъ; дѣлили своей рукой и своей рукой
 раздавали каждому. Не было ни малѣйшаго
 возраженія, ни малѣйшей зависти отъ кого
 нибудь; всѣ остались довольны; даже подозрѣ-
 нія не могло быть, чтобы подаваніе можно было
 утаить или раздать его не поровну.»

Седьмая черта. На святкахъ арестанты
 устроили театръ. «Унтеръ-офицеръ взялъ съ
 арестантовъ слово что все будетъ тихо, и ве-
 сти будутъ себя хорошо. Согласились съ ра-
 достью и свято исполняли обѣщаніе; *лѣсти-*
ло тоже очень, что върать ихъ слову». Это
 все прекрасно; но ты, читатель все-таки
 забывай, что ты, въ лицѣ арестантовъ, обя-
 занъ ненавидѣть и презирать порокъ и пре-
 ступленіе.

Восьмая черта. Ссылные поляки, гнуша-
 ясь арестантами не хотѣли ходить на ихъ
 театральные спектакли. Наконецъ, изъ любо-
 пытства, они рѣшились одинъ разъ посмотре-
 ть на арестантскія затѣи. «Врезгливость поляковъ
 ни мало не раздражала каторжныхъ, а встрѣ-
 чены они были четвертаго января очень вѣж-
 ливо. Ихъ даже пропустили на лучшія мѣ-
 ста.» Такое спокойное и простое великодушіе
 могло-бы сдѣлать честь даже какому-нибудь
 очень образованному и блестящему обществу.

Девятая черта. Театромъ своимъ арестанты восхищаются, какъ дѣти. Ихъ наивная радость, превосходно описанная въ XI главѣ I тома, доказываетъ двѣ вещи: во-первыхъ то, что вся ихъ прежняя жизнь была чрезвычайно однообразна и бѣдна приятными впечатлѣніями, а во-вторыхъ, что эти люди, несмотря на свой каторжническій санъ, представляютъ собою въ умственномъ отношеніи совершенно дѣвственную почву, на которой искусный воспитатель, при нѣкоторомъ стараніи, могъ бы возростить богатую жатву хорошихъ мыслей, великодушныхъ чувствъ и честныхъ намѣреній. Если для нихъ ново и драгоценно самое ничтожное эстетическое наслажденіе, то, значитъ, ясно, что умъ ихъ спалъ глубокимъ сномъ во все то время, когда они совершали преступленія. А если умъ ихъ ничѣмъ не былъ пробужденъ и затронутъ съ самаго ихъ рожденія, то, спрашивается, какую же силу они могли противопоставить тѣмъ искушеніямъ, которыя осаждаютъ со всѣхъ сторонъ голоднаго и безпомощнаго бѣдняка? Далѣе, если для нихъ новы *всѣ впечатлѣнія бытія*, то можно-ли ихъ считать погибшими людьми? Погибшимъ можно назвать только того человѣка, который весь поглощенъ одной страстью, вредной для общества. Плюшкинъ, для котораго не существуетъ на свѣтѣ ничего, кромѣ денегъ, — погибшій человѣкъ, хотя онъ никогда не попадетъ на каторгу. Но каторжникъ, способный отдаваться всевозможнымъ впечатлѣніямъ съ порывистой страстностью ребенка, можетъ воскреснуть и начать новую жизнь, лишь-бы только общество рѣшилось дружелюбно протянуть ему руку помощи. Но вы, читатели, разумѣется, подобной глупости не сдѣлаете, потому что вы обязаны помнить то огромное разстояніе, которое отдѣляетъ васъ, честныхъ людей, отъ презрѣнныхъ обитателей мертваго дома.

Десятая черта. Преступниковъ, наказанныхъ шпидрutenами, приводили обыкновенно въ госпитальную палату, и тутъ больные арестанты, принимая ихъ на свое попеченіе, ухаживали за ними самымъ тщательнымъ образомъ. «Всю ночь ухаживали за ними арестанты, — говоритъ Достоевскій о наказанномъ разбойникѣ Орловѣ, — перемѣняли ему воду, переворачивали его съ боку на бокъ, давали лекарство, точно они ухаживали за кровнымъ роднымъ, за какимъ-нибудь своимъ благодѣтелемъ.» «Молча помогали несчастному и ухаживали за нимъ, особенно если онъ не могъ обойтись безъ помощи. Фельдшера уже сами знали, что сдаютъ битого въ опытные и искусныя руки. Помощь обыкновенно была въ частой и необходимой перемѣнѣ смоченной въ холодной водѣ простыни или рубашки, которой одѣвали истерзанную спину, особенно если наказанный самъ уже былъ не въ

силахъ наблюдать за собой, да кромѣ того въ ловкомъ выдергиваніи занозъ изъ болячекъ, которыя за-частую остаются въ спинѣ отъ сдѣлавшихся объ нее палокъ.»

Еслибы я захотѣлъ приводить здѣсь всѣ хорошія черты, подмѣченныя Достоевскимъ въ отдѣльных личностяхъ, то мнѣ еще долго бы пришлось бы кончить. Но я нарочно ограничился только тѣми чертами, которыя относятся къ общей массѣ каторжниковъ и характеризуютъ собою господствующее настроеніе. Взяты порознь, эти черты очень мелки и незначительны; но если сложить ихъ всѣ вмѣстѣ, и если дополнить ихъ тѣми нравственными свойствами, съ которыми эти мелкія черты неразрывно связаны, то получится общій результатъ, далеко не отвратительный. Говоря о каторгѣ, слѣдуетъ перевернуть извѣстную пословицу: не мѣсто бранить человѣка, а человѣкъ мѣсто, — пословицу, которая впрочемъ нигдѣ и никогда не оспаривается вѣрной. О каторгѣ можно сказать, что тутъ не люди портятъ мѣсто, а мѣсто портитъ людей. Острогъ ужасенъ не тѣмъ, что въ немъ живутъ ужасные люди, а тѣмъ, что эти люди, совсѣмъ не ужасные, терпятъ въ немъ значительныя лишенія и стѣсненія, которыя притупляютъ ихъ умы и портятъ ихъ характеры. Когда начальству угодно будетъ устранить нѣкоторыя изъ этихъ лишеній, тогда острогъ, превращаясь по-немногу въ мастерскую и въ ремесленную школу, утратитъ большую часть своей отвратительности и начнетъ приносить дѣйствительную пользу тѣмъ заключеннымъ, которымъ не удалось пріобрѣсти себѣ на свободѣ ни техническихъ знаній, ни житейской сноровки. Мертвый домъ, описанный Достоевскимъ, заключаетъ въ самомъ себѣ задатки своего усовершенствованія. Эти задатки развернутся, и нравственность арестантовъ улучшится, какъ только имъ дадутъ возможность смѣло и открыто заниматься собственной работой.

Въ бурсѣ, описанной Помяловскимъ, я незамѣтилъ такихъ задатковъ развитія. Начальство можетъ конечно замѣнить розги карцеромъ, карцеръ — еще какимъ-нибудь другимъ болѣе деликатнымъ наказаніемъ. Начальство можетъ улучшить столъ воспитанниковъ, истребить сырость и грязь, вентилировать комнаты и зажигать лампы на цѣлый вечеръ. Все это конечно значительно облегчитъ участь бурсаковъ, но основное зло бурсы останется нетронутымъ, потому что оно неизлечимо. Это основное зло заключается въ той антипатіи, которая существуетъ между умами учениковъ и бурсацкой наукой. Эту антипатію невозможно искоренить, потому что бурсацкую науку невозможно сдѣлать привлекательной. Всѣ лучшія силы общества устремлены совсѣмъ не на тѣ занятія, которыя могутъ сформировать хорошихъ бурсацкихъ преподавателей. Общество интересуется совсѣмъ не тѣмъ,

что интересовало его нѣсколько столѣтій тому назадъ. То, что оставляется безъ вниманія лучшими умами и самыми блестящими талантами, поневоля облекается въ такія сухія и черствыя формы, которыя никому не могутъ нравиться и которыя приходится навязывать ученикамъ насильно, посредствомъ розогъ, или посредствомъ карцера, или при содѣйствіи какихъ-нибудь еще

болѣе утонченныхъ и облагороженныхъ средствъ угнетенія. Ученики воспринимаютъ неохотно, забываютъ немедленно и выносятъ съ собою въ жизнь вмѣсто полезныхъ знаній отвращеніе къ умственному труду. Очень жаль, но счастливыя времена Абельяра все-таки остаются невозвратимыми.

ИСТОРИЧЕСКІЯ ИДЕИ ОГУСТА КОНТА.

ВВЕДЕНІЕ.

Огюсть Контъ, одинъ изъ величайшихъ мыслителей нашего вѣка, родился въ Монпелье въ 1798, а умеръ въ Парижѣ въ 1857 году. Жилъ онъ въ бѣдности, работалъ много и мыслить всегда честно и самостоятельно, не стараясь угождать ни политическимъ партіямъ, ни академическимъ котеріямъ, ни прихотливому вкусу такъ называемой образованной толпы. Самое цвѣтущее время дѣятельности Конта относится къ тридцатымъ годамъ нашего столѣтія, — къ той эпохѣ, когда буржуазное правительство Луи-Филиппа, мѣняя безпрестанно Гизо на Тьера и Тьера на Гизо, занималось бесплодной политической эквилибристикой между клерикально-реакціонерной партіей съ одной стороны и революціонно-республиканской съ другой стороны. Контъ смотрѣлъ одинаково недоброжелательно на всѣ три партіи, спорившія между собою за политическое господство. Онъ видѣлъ, что реакціонеры совершенно напрасно стараются воскресить мертвую и разлагающуюся идею; онъ понималъ, что республиканцы, за неимѣніемъ опредѣленной и положительной доктрины, не сумѣютъ воспользоваться побѣдой, когда имъ удастся ее одержать; онъ чувствовалъ глубокое презрѣніе къ эквилибристамъ, которые, давно забывши о существованіи или даже о возможности политическихъ принциповъ, удерживали за собой власть единственно для того, чтобы не выпускать ее изъ своихъ рукъ. Онъ полагалъ, что политическія нелѣпости и неблаговидности его времени будутъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока политика не превратится въ науку, — въ такую-же точную и положительную науку, въ какую превратилась напримѣръ астрономія со временъ Коперника, Кеплера и Ньютона или химія со временъ Пристли и Лавуазье. Мысль создать положительную политику, открыть въ жизни человѣческихъ обществъ неизбѣжные естественные законы и научнымъ путемъ выработать такую общественную орга-

низацию, которая мирила-бы въ высшемъ единствѣ всѣ разумныя требованія, эта титаническая мысль овладѣла Контомъ, когда онъ былъ очень молодъ. Мысль эта родилась въ немъ по всей вѣроятности подъ вліяніемъ идей извѣстнаго Сень-Симона, съ которымъ онъ былъ очень близокъ въ молодости, и подъ руководствомъ котораго онъ работалъ продолженіи цѣлыхъ шести лѣтъ. Впрочемъ Сень-Симонъ во всякомъ случаѣ направилъ только вниманіе молодого Конта на общественныя задачи текущаго времени. Путь, которымъ пошелъ Контъ къ рѣшенію этихъ задачъ, съ самаго начала былъ совершенно самостоятеленъ; какъ только Контъ составилъ себѣ, въ общихъ чертахъ, опредѣленный планъ умственной дѣятельности, такъ онъ тотчасъ разошелся и даже поссорился съ Сень-Симономъ и со всѣми его послѣдователями.

Основная мысль Конта, исходная точка, съ которой начались всѣ его изслѣдованія и умозрѣнія, состоитъ въ томъ, что явленія общественной жизни подлежатъ естественнымъ законамъ, что они сложнѣе всѣхъ остальныхъ явленій природы, что они, въ большей или меньшей степени, подчиняются вліянію всѣхъ остальныхъ явленій, и что вслѣдствіе этого къ изученію ихъ можетъ приступить, съ нѣкоторой надеждой на успѣхъ, только такой мыслитель, который знаетъ основательно всѣ категоріи явленій, менѣе сложныхъ, и который вооруженъ всѣми методами, доставляющими современному изслѣдователю возможность проникать въ тайники органической и неорганической природы.

Что человѣческія общества живутъ и развиваются по законамъ, это мысль далеко не новая; нѣтъ того философствующаго историка, который не повторилъ-бы ее на разные лады; но не трудно замѣтить, что почти у всѣхъ философствующихъ историковъ эта мысль остается мертвой буквой. Спросите у Гизо, или у Лорана, или у Галлама, или у Гервинуса: «имѣете-ли вы, господа, понятіе о дифференціальномъ ис-

численія, занимались-ли вы когда-нибудь химіей, слѣдите-ли вы за современными успѣхами физиологіи?—Всѣ эти философствующіе историки примутъ вашъ вопросъ за неумѣстную шутку и отвѣтятъ вамъ холодно и презрительно, что они—историки, а не химики, не физиологи и не математики. Изъ ихъ отвѣта вы поймете, что все ихъ образованіе заключается въ знаніи тѣхъ языковъ, на которыхъ написаны лѣтописи, грамоты и разные другіе историческіе документы. Вооружившись этими знаніями, они прямо приступаютъ къ чтенію источниковъ и вслѣдъ за тѣмъ, разумеется, начинаютъ излагать намъ, подъ именемъ историческихъ законовъ, свои личныя размышленія, болѣе или менѣе остроумныя, но нисколько не опирающіяся ни на изслѣдованіе коренныхъ свойствъ человѣческаго организма, ни на основательное знаніе общихъ космическихъ законовъ. Еслибы философствующимъ историкамъ было какое-нибудь дѣло до космическихъ законовъ, до человѣческаго организма и до рациональныхъ методовъ научнаго изслѣдованія, то они понимали-бы очень хорошо, что имъ невозможно обойтись ни безъ физиологіи, ни безъ химіи, ни даже безъ дифференціального исчисленія.

У Конта мысль о необходимости открыть законы историческаго развитія не осталась мертвой буквой. Онъ получилъ въ политехнической школѣ превосходное математическое образованіе и потомъ, втеченіи всей его жизни, математика оставалась постоянно его хлѣбнымъ ремесломъ. Онъ изучилъ самымъ тщательнымъ образомъ астрономію, физику, химію и біологію; не довольствуясь знаніемъ этихъ наукъ въ ихъ современномъ положеніи, онъ обратился къ ихъ исторіи, и прочиталъ подлинныя сочиненія тѣхъ изслѣдователей, которыхъ трудами эти науки подвигались впередъ. Усвоивъ себѣ эти обширныя знанія, выучившись владѣть всѣми методами научнаго изслѣдованія и прослѣдивши развитіе всѣхъ главныхъ наукъ отъ самой ихъ колыбели, Контъ имѣлъ полное право приступить къ явленіямъ общественной жизни, съ цѣлью открыть тѣ законы, по которымъ они совершаются. Основной законъ исторіи найденъ, и найденъ, именно благодаря тому обстоятельству, что Конту была уже достаточно извѣстна исторія положительныхъ наукъ: Контъ замѣтилъ, что всѣ наши положительныя знанія проходятъ въ своемъ развитіи три главныя фазы: теологическую, метафизическую и положительную.

Сначала человѣкъ объясняетъ себѣ неизвѣстное явленіе природы какъ сознательное и умышенное дѣйствіе какой-нибудь личности, похожей въ своихъ общихъ чертахъ на самого человѣка; такъ напримѣръ, когда во время осады Трои началась въ греческомъ лагерѣ морская язва, греки объяснили себѣ это явленіе тѣмъ, что богъ Аполлонъ, прогнѣвавшись

на нихъ за неуваженіе къ его жрецу Хризесту, началъ пускать въ нихъ невидимыя стрѣлы; когда гремѣлъ громъ, тогда греки думали, что Зевесъ, великій отецъ боговъ и людей, бросаетъ съ неба особенныя громовыя снаряды, выкованныя для него богомъ огня Вулканомъ; когда на небѣ появлялась заря, тогда греки думали, что богиня Эосъ своими розовыми пальцами открываетъ тѣ ворота, изъ которыхъ должна выѣзжать колесница Солнца или Феба.

Затѣмъ человѣкъ начинаетъ объяснять себѣ каждое явленіе какой-нибудь безличной силой, которой, несмотря на ея безличность, приписываются однако разныя стремленія, симпатіи и антипатіи. Отчего, спрашивали древніе и средневѣковыя физики, вода поднимается въ насосѣ? Оттого отвѣчали они, что природа страшится пустоты. Отчего кусокъ свинца падаетъ внизъ, а дымъ и пламя поднимаются вверхъ? Оттого, что каждое тѣло стремится занять свое естественное мѣсто. Отчего человѣкъ заболѣваетъ? Оттого, что болѣзнь вселяется въ его тѣло. Отчего больной выздоравливаетъ? Оттого, что природа и врачъ побуждаютъ болѣзнь и выгоняютъ ее изъ его тѣла. Если природа можетъ чувствовать страхъ, если тѣла, подобныя свинцу или дыму, могутъ испытывать стремленія или желанія, если болѣзнь входитъ въ человѣка и выходитъ изъ него, если ее можно побуждать и выталкивать въ шею, и если таковыя занятія предается природа, то очевидно природа, болѣзнь и тѣло оказываются близкими родственниками и прямыми наслѣдниками Аполлона, Зевеса и другихъ олимпійцевъ. Существенная разница состоитъ только въ томъ, что собственныя имена замѣнены нарицательными. Неполныя олицетворенія отвлеченныхъ понятій—это въ сущности тѣ-же боги, полинявшіе отъ времени и отъ житейскихъ превратностей.

Наконецъ, переходя изъ метафизической фазы въ положительную, человѣкъ начинаетъ понимать, что онъ забавлялъ себя игрою словъ, которая, мѣшая во многихъ случаяхъ ясноту и правильной постановкѣ вопросовъ, заставляла его тратить время и силы на безплодную борьбу съ совершенно непреодолимыми трудностями. Увидавши неосновательность прежнихъ объясненій, человѣкъ убѣждается понемногу въ томъ, что его способность объяснять явленія природы имѣетъ опредѣленныя границы, черезъ которыя его уму никогда не удастся перешагнуть; человѣкъ признаетъ ту великую истину, что онъ можетъ только наблюдать явленія и подмѣчать, въ какомъ порядкѣ одно явленіе слѣдуетъ за другимъ, или какими образомъ одно явленіе совмѣщается съ другимъ. На вопросъ: почему данныя явленія слѣдуютъ одно за другимъ именно въ такомъ, а не въ другомъ порядкѣ, у него нѣтъ отвѣта и никогда его не будетъ. Онъ, разумеется, можетъ сказать вамъ: таковъ

законъ природы; но это конечно не отвѣтъ, потому что вопросъ именно въ томъ и состоитъ: почему существуетъ въ природѣ вотъ этотъ законъ, а не какой-нибудь другой?—Вы спрашиваете напримѣръ у современнаго физика: почему свинцовая пуля, которую я выпускаю изъ рукъ, падаетъ на землю?—*Почему*, отвѣчаетъ вамъ физикъ, этого я не знаю, но я могу вамъ сказать, что существуетъ общій законъ, по которому всѣ тѣла во всей вселенной взаимно притягиваютъ другъ друга пропорціонально массамъ и обратно пропорціонально квадратамъ разстоянія. Такъ какъ ваша пуля меньше земного шара, то земной шаръ и притягиваетъ ее къ себѣ; еслибы она была больше земного шара, то случилось бы наоборотъ, то есть, не пуля упала-бы на землю, а земля упала-бы на пулю. Но *почему* все это происходитъ такъ, а не иначе, *почему* тѣла взаимно притягиваютъ другъ друга, и притягиваютъ именно такъ, какъ я это объяснилъ, этого я не знаю, этого не знаетъ никто, это останется вѣчной тайной для всѣхъ людей, и поэтому совершенно бесполезно и нелѣпо задавать себѣ или другимъ подобные вопросы.—Когда человѣческія званія вступили въ этотъ послѣдній, положительный періодъ своего развитія, тогда они уже не испытываютъ больше радикальных переворотовъ, относящихся къ самому основному ихъ характеру; они только растутъ и совершенствуются, по мѣрѣ того, какъ накапливаются фактическія подробности и улучшаются орудія наблюденія.

Замѣтивъ такимъ образомъ три фазы въ развитіи всѣхъ положительныхъ наукъ (кромя математики, въ которой теологической фазы не было), Контъ путемъ своихъ историческихъ занятій скоро пришелъ къ тому убѣжденію, что общественная жизнь человѣчества въ каждую данную эпоху находится въ прямой зависимости отъ тѣхъ способовъ и пріемовъ, посредствомъ которыхъ люди объясняютъ себѣ явленія природы. Господствующее міросозерцаніе кладетъ свою печать на всѣ отрасли общественной жизни; когда измѣняется міросозерцаніе, тогда и въ общественной жизни происходятъ соответственные перемѣны; когда борются между собой два различныхъ міросозерцанія, тогда и общественная жизнь наполняется тревогами и волненіями; когда одно изъ борющихся міросозерцаній одерживаетъ окончательную побѣду надъ другимъ, тогда и въ общественной жизни водворяется спокойствіе и единодушіе. Такъ какъ міросозерцаніе есть не что иное, какъ сумма объясненій, относящихся ко всѣмъ различнымъ явленіямъ природы, и такъ какъ эти объясненія проходятъ черезъ три фазы, то не трудно сообразить, что тѣ-же самыя три фазы могутъ быть отмѣчены и во всей исторической жизни человѣчества. Вся исторія рас-

падаетъ на три великіе періода: теологическій, метафизическій и положительный. Каждый изъ этихъ періодовъ характеризуется господствомъ соответствующаго міросозерцанія; при переходѣ изъ одного періода въ другой измѣняются понемногу, вмѣстѣ съ міросозерцаніемъ, всѣ идеи, учрежденія, обычаи, нравы и вкусы.

Контъ полагаетъ, что западная Европа пришла къ концу метафизическаго періода и стоитъ на рубежѣ положительной фазы; вся безалаберщина умственнаго, нравственнаго и политическаго міра объясняется, по мнѣнію Конта, смѣшеніемъ и хаотической борьбой теологическихъ, метафизическихъ и положительныхъ элементовъ. Безалаберщина эта прекратится и борьба окончится благополучно только тогда, когда положительные элементы окончательно одолѣютъ своихъ противниковъ и совершенно утвердятъ свое господство надъ обществомъ. Поэтому задача всѣхъ искреннихъ друзей человѣчества состоитъ именно въ томъ, чтобы всѣми силами содѣйствовать этой окончательной побѣдѣ тѣхъ элементовъ, которые одни заключаютъ въ себѣ способность долговѣчности и безпредѣльнаго совершенствованія. Ввести человѣчество въ положительную фазу значитъ приучить всѣхъ людей къ положительному объясненію всѣхъ явленій природы. Для этого надо очевидно свести въ одну цѣльную философскую доктрину всѣ главные результаты строго-научныхъ изслѣдованій, и потомъ изъ этой доктрины выработать систему общественнаго воспитанія, направленную къ самому широкому распространенію всѣхъ добытыхъ и сгруппированныхъ знаній.

Взглянувши съ этой точки зрѣнія на общественную задачу нашего времени, Контъ въ своемъ капитальномъ трудѣ «Cours de philosophie positive» («Курсъ положительной философіи») представилъ ту основную доктрину, на которой должно быть построено новое общественное образованіе. Книга Конта заключаетъ въ себѣ шесть большихъ томовъ: въ первомъ, послѣ общаго введенія, излагается математическая философія; во второмъ — астрономическая и физическая философія; въ третьемъ — химическая и біологическая философія; въ четвертомъ — догматическая часть общественной физики; въ пятомъ — историческая часть общественной физики; въ шестомъ — окончаніе исторической части и общее заключеніе.

Завершивъ свой громадный трудъ, Контъ не сумѣлъ остановиться во-время и повредилъ своему собственному дѣлу настолько, насколько отдѣльная личность можетъ повредить такому дѣлу, въ которомъ заинтересовано все человѣчество. Контъ доказалъ себѣ и другимъ почти съ математической точностью, что положительное или строго-реальное образованіе составляетъ самую важную потребность современныхъ об-

ществъ, — такую потребность, отъ удовлетворенія которой зависить рѣшеніе всѣхъ остальныхъ общественныхъ задачъ. Контъ установилъ далѣе ту философскую доктрину, которая должна сдѣлаться основой общественнаго образованія. Этими трудами теоретическая сторона дѣла оказывается законченной. Затѣмъ Контъ надо было устремить всѣ свои силы на то, чтобы теорія воплотилась въ жизни; надо было перейти къ практической сторонѣ дѣла; надо было всевозможными средствами дѣйствовать на общественное мнѣніе до тѣхъ поръ, пока необходимость новаго образованія не вошла-бы глубоко и окончательно въ сознание заинтересованныхъ обществъ. А потомъ надо было ждать, пока новое образованіе принесетъ свои результаты. Ждать пришлось-бы долго; по всей вѣроятности пришлось-бы даже умереть, не дождавшись со стороны общества сильныхъ проявленій умственной возмужалости и полноправности; но дѣлать все-таки было нечего; только сама нація, доразвившаяся до положительнаго міросозерцанія, можетъ дать вполне удовлетворительное рѣшеніе всѣмъ общественнымъ задачамъ, поставленнымъ ей различными обстоятельствами ея историческаго существованія. Въ какую сторону и какими средствами рѣшить она эти задачи — это уже ея дѣло. Ни одинъ мыслитель въ мірѣ не можетъ и не долженъ присвоивать себѣ право рѣшать эти задачи заранѣе изолированными силами своего личнаго ума, потому что нѣтъ и не можетъ быть на свѣтѣ такого гения, который одинъ, самъ по себѣ, былъ-бы умѣе цѣлой націи, когда всѣ силы этой націи развернуты и пущены въ ходъ положительнымъ образованіемъ. Контъ упустилъ изъ виду эту простую истину. Онъ вообразилъ себѣ, что его индивидуальный умъ можетъ замѣнить собой въ рѣшеніи общественной задачи коллективный умъ цѣлой націи или даже всего человѣчества. Онъ вообразилъ себѣ, что можетъ самъ предусмотрѣть, опредѣлить и начертить ту политическую и социальную программу, до которой додумается коллективный умъ, просвѣщенный и укрѣпленный положительнымъ образованіемъ. Получилось конечно полное и печальное фіаско. Контъ вдался въ произвольныя умствованія, измѣнилъ своей собственной строго-научной методѣ, написалъ *Положительную Политику*, въ которой нѣтъ ничего положительнаго, создалъ новую религію, которая одвигаетъ ни на что не нужна, а другихъ не можетъ удовлетворить, провозгласилъ себя *первосвященникомъ человечества* (*Grand-prêtre de l'humanité*) и наконецъ умеръ, оставивъ послѣ себя горсть вѣрующаго адепта, которые своими наивными поступками и плоскими догматическими трактатами продолжаютъ до сихъ поръ, по мѣрѣ силъ, доставлять *обильную*

пищу насмѣшкамъ всѣхъ реакціонеровъ и *метафизиковъ*, чувствующихъ глубокую и сознательную ненависть къ основнымъ, великимъ и плодотворнымъ идеямъ *Положительной философіи*.

Наивные обожатели Конта, какъ основатели религіи и какъ первосвященники человечества, должны конечно скоро затеряться въ нескѣтной толпѣ различныхъ, болѣе или менѣе экзотическихъ сектъ. Но, кромѣ этихъ наивныхъ обожателей, у Конта есть еще мыслящіе ученики, которые, глубоко понимая, уважая и стараясь распространять идеи *Положительной философіи*, видятъ въ то-же время въ *Положительной Политикѣ* и во всѣхъ дальнѣйшихъ подвигахъ Конта печальныя, почти естественныя заблужденія великаго ума, предъизвѣннаго и ослѣпленнаго своей собственной великостью. Провозгласивши себя папой позитивизма, Контъ отринулъ и отлучилъ отъ своей церкви этихъ невѣрующихъ учениковъ, но не трудно понять, что успѣхъ и дальнѣйшее развитіе контовскихъ идей зависать именно отъ нихъ, а не отъ простодушныхъ адептовъ. Во главѣ разумныхъ послѣдователей Конта стоитъ въ настоящее время во Франціи извѣстный ученый Литтре. Въ Англіи успѣху контовскихъ идей содѣйствуетъ въ значительной степени Джонъ-Стюартъ Милль, сдѣлавшій оцѣнку Конта тогда, когда Контъ, только что выпустившій въ свѣтъ первые томы своей *Положительной философіи*, былъ еще совершенно неизвѣстенъ. Репутація Конта растетъ; *Положительная философія* въ прошломъ году *) вышла въ свѣтъ вторымъ изданіемъ; о позитивизмѣ (т. е. философской школѣ, а не о религіозной сектѣ) говорятъ въ журнальных статьяхъ и въ отдѣльных книгахъ. Главнымъ боецъ позитивизма, Литтре, работаетъ неутомимо, и нѣкоторые изъ самыхъ крупныхъ мыслителей Франціи и Англіи, Тенъ, Вагнеръ, Гербертъ Спенсеръ, считаютъ нужнымъ подвергать его работы подробной и внимательной критикѣ. — Словомъ, дѣло Конта подвигается впередъ, но если наприимѣръ принять въ соображеніе ту быстроту, съ которой имена и мысли Бокля и Дарвина облетѣли въ послѣднее время весь образованный міръ, то надо будетъ сознаться, что дѣло Конта подвигается впередъ съ изумительной медленностью. Въ Германіи Контъ до сихъ поръ извѣстенъ очень мало; еще въ 1862 г. Бюхнеръ, познакомившись съ Контомъ по книгѣ вѣрующаго адепта Констанъ-Ребека, отозвался о творцѣ *Положительной философіи* благосклонно-покровительственнымъ тономъ, какъ о добродушномъ, смѣломъ и честномъ, но довольно ограниченномъ и чудаковатомъ мечтателѣ. Россія до сихъ поръ не имѣетъ о Контѣ никакого по-

*) Статья эта писалась въ 1865 г.

нтія, несмотря на то, что мы въ последнее десятилѣтіе слѣдили довольно внимательно за всѣми движеніями европейской мысли.

Причины той поразительной медленности, съ которой распространяются идеи Конта, заключаются, по моему мнѣнію, во-первыхъ, въ особенныхъ свойствахъ самаго *Курса положительной философіи* и, во-вторыхъ, въ непрактичности контовскихъ учениковъ и популяризаторовъ. *Курсъ положительной философіи* не доступенъ большинству читающаго общества ни по цѣнѣ, ни по объему, ни по содержанию, ни по изложенію. Стоитъ онъ 45 франковъ; у насъ, въ Россіи, больше 12 руб. Это развѣ. Заключаетъ онъ въ себѣ шесть большихъ томовъ, т. е. гораздо больше 3,000 страницъ довольно мелкой печати; надо быть очень неустрашимымъ любителемъ чтенія, чтобы не почувствовать сильнаго замиранія сердца при видѣ этой груды печатной бумаги. Это два. Обыкновенный читатель, получившій наше общее литературное образованіе, начинаетъ разсматривать *Курсъ положительной философіи* и замѣчаетъ, къ крайнему своему огорченію, что первые три тома этой книги составляютъ для него тарбарскую грамоту; въ самомъ дѣлѣ, прошу покорно насладиться чтеніемъ математической, физической и астрономической философіи, когда рѣшеніе квадратныхъ уравненій составляетъ крайній предѣлъ вашей математической премудрости, когда даже эта премудрость, отъ недостатка упражненія, давно успѣла изгладиться изъ вашей памяти. Это три. Наконецъ обыкновенный читатель пробуетъ начать чтеніе прямо съ четвертаго тома, но и тутъ становится втупикъ. Для тѣхъ людей, для которыхъ историческія сочиненія Маколея, Шлоссера или Мишле составляютъ серьезное чтеніе и для которыхъ Гизо и Бокль являются въ видѣ *plus ultra* головоломности, для тѣхъ людей, говорю я, Огюсть Контъ оказывается совершенно неудобочитаемымъ. Представьте себѣ, что въ исторической части общественной физики вы не встрѣтите *почти ни одного* собственного имени; все изложеніе идетъ чисто отвлеченнымъ путемъ; вы имѣете передъ собою анализъ идей и учрежденій, безъ малѣйшаго упоминанія объ извѣстныхъ вамъ историческихъ дѣятеляхъ, народахъ и событіяхъ; при этомъ языкъ Конта постоянно до такой степени сухъ, ровень, безстрастенъ и однообразенъ, что вы легко можете принять его философію исторіи за какую-нибудь диссертацию о коническихъ сѣченіяхъ; недостаетъ только чертежей и алгебраическихъ формулъ; если вы сравните его математическую философію съ исторической частью общественной физики, то въ изложеніи, въ языкѣ вы не замѣтите ни малѣйшей разницы. Это четыре. Читатель согласится, что этихъ четырехъ обстоя-

тельствъ слишкомъ достаточно, чтобы удержать большинство образованнаго общества въ почти-тельно отдаленіи отъ *Курса положительной философіи*. Но именно тутъ-то и начинается обязанность популяризаторовъ. Если въ какихъ-нибудь темныхъ подземельяхъ, недоступныхъ для нашихъ легкомысленныхъ ближнихъ, хранятся, за тяжелыми запорами, необъятныя сокровища мысли, то именно популяризаторы обязаны вооружиться храбростью и терпѣніемъ, сойти въ подземелья, сбить прочь тяжелые запоры и вывести по частямъ на свѣтъ Божій затаившіяся драгоценности. Однако ни Литтре, ни Милль не поступаютъ такимъ образомъ. Они живутъ въ подземельѣ, какъ у себя на квартирѣ, составляютъ тамъ каталоги всѣмъ скрытымъ богатствамъ и приглашаютъ своихъ читателей спускаться вслѣдъ за ними и знакомиться съ драгоценностями въ томъ мѣстѣ, въ которомъ онѣ находятся до сихъ поръ.

Пока популяризаторы будутъ держаться подобной тактики, до тѣхъ поръ идеи Конта будутъ оставаться для общества мертвымъ капиталомъ. Литтре въ 1863 году издалъ очень хорошую и довольно большую книгу подъ заглавіемъ «Auguste Comte et la Philosophie positive». Милль въ нынѣшнемъ году помѣстилъ въ «Westminster Review» двѣ превосходныя статьи о философской дѣятельности Конта. И Литтре, и Милль говорятъ единогласно, что самыя замѣчательныя и плодотворныя мысли Конта заключаются въ исторической части общественной физики, и что Контъ именно только въ этой части является истинно оригинальнымъ и совершенно независимымъ отъ трудовъ прежнихъ мыслителей. Между тѣмъ ни Милль, ни Литтре даже не дѣлаютъ попытки изложить читателямъ содержаніе этой самой замѣчательной части; оба они отсылаютъ читателя къ книгѣ самого Конта. Но что читатель ихъ не послушается, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Въ доказательство этой мысли привожу слѣдующій фактъ. Французскій публицистъ Dupont-White помѣстилъ въ «Revue des deux Mondes» за нынѣшній годъ двѣ статьи о позитивизмѣ по поводу книги Литтре. Когда человѣкъ беретъ разсуждать о философской доктринѣ печатно, тогда, я думаю, можно ожидать отъ него, что онъ обратится къ подлиннымъ источникамъ этой доктрины и познакомится съ нею по сочиненіямъ самого основателя. Однако не тутъ-то было. Dupont-White преспокойно удовлетворился книгой Литтре и, основываясь на ней, толкуетъ о позитивизмѣ вкривъ и вкосъ, то есть именно такъ, какъ можетъ толковать о кунсткамерѣ человѣкъ, незамѣтившій въ ней слона. Если люди, имѣющіе претензію философствовать печатно, продолжаютъ питать къ сочиненіямъ Конта почтительную робость, несмотря на всѣ заманчивыя приглашенія Литтре и Милля, то нетрудно себѣ

представить, какъ мало подѣйствуютъ эти приглашенія на обыкновенныхъ читателей.

Оставляя въ сторонѣ историческія идеи Конта, Литтре и Милля разсуждаютъ очень просто о положительномъ методѣ вообще, о классификаціи наукъ, о раздѣленіи ихъ на абстрактныя и конкретныя, о взглядѣ Конта на психологію и на политическую экономію, и такъ далѣе. Принимаясь знакомить съ Контомъ русскихъ читателей, я считаю полезнымъ поступить какъ-разъ наоборотъ. О положительномъ методѣ, о классификаціи наукъ, и такъ далѣе, я не скажу ни одного слова, потому что, въ самомъ дѣлѣ, какой интересъ могутъ имѣть для нашихъ читателей философскія разсужденія о методѣ и о классификаціи такихъ наукъ, о которыхъ эти читатели имѣютъ самыя смутныя понятія и съ которыми журналъ, при всемъ своемъ добромъ желаніи, никакъ не можетъ ихъ познакомить, если только онъ не хочетъ превратиться въ собраніе элементарныхъ учебниковъ. Напротивъ того, на историческія идеи Конта, о которыхъ молчатъ Литтре и Милль, я обращу все мое вниманіе, и если мнѣ удастся выполнить мою задачу удовлетворительно, то я смѣю надѣяться, что Россія узнаетъ и оценитъ Конта гораздо точнѣе, чѣмъ цѣнитъ и знаетъ его въ настоящее время западная Европа.

I.

Дикарь невольно объясняетъ себѣ всевозможныя явленія природы тѣмъ самымъ процессомъ, какимъ обуславливаются въ его глазахъ его собственные поступки. Онъ знаетъ, по ежеминутному опыту, что каждому его движенію предшествуетъ всегда желаніе сдѣлать это движеніе. Онъ садится, потому что *хочетъ* сѣсть, беретъ въ руки палку, потому что *хочетъ* ее взять, бьетъ свою жеву, потому что *хочетъ* ее бить, и такъ далѣе. Причину каждаго изъ своихъ дѣйствій онъ понимаетъ; причины-же всѣхъ окружающихъ явленій требуется угадать; очень естественно, что это угадываніе на первый разъ будетъ состоять въ простомъ подкладываніи подъ каждое явленіе такой-же точно причины, какая объясняетъ собою собственные тѣлодвиженія философствующаго дикаря. Молнія разбила дерево. Почему она его разбила? Потому что *хотѣла* разбить. Ураганъ разметалъ шалашъ дикаря. Почему? Потому что *хотѣлъ* сдѣлать дикарю непріятность. — Какъ только дикарь начинаетъ задавать себѣ вопросы: «*почему?*», такъ онъ непремѣнно начинаетъ отвѣчать на нихъ именно такимъ образомъ, и всякіе другіе отвѣты сначала оказываются радикально невозможными, потому что сначала онъ, путемъ непосредственнаго внутреннего чувства, знаетъ только самого себя,

и кромѣ самого себя не знаетъ ровно ничего. Такъ какъ молнія и ураганъ дѣлаютъ такіе штуки, которыя самому дикарю приходится и подѣ силу, и такъ какъ всѣ ихъ штуки, во мнѣніи дикаря, вытекаютъ изъ опредѣленныхъ желаній, то очевидно молнія и ураганъ называются живыми существами, которыя настолько-же сильнѣе дикаря, насколько ихъ штуки превышаютъ его личные подвиги. Изъ этихъ сильныхъ существъ дикарь становится въ извѣстныя почтительныя отношенія, онъ старается задобрить ихъ просьбами и подарками. Онъ надѣется, посредствомъ разныхъ любезностей, направлять волю этихъ сильныхъ существъ сообразно съ своими личными расчетами и внушать имъ такія желанія, которыя вели-бы за собою, съ ихъ стороны, поступки, соответствующіе его выгодамъ. Однимъ словомъ, начинается извѣстное обоготвореніе явленій и силъ природы, органическихъ и неорганическихъ. Человѣкъ вступаетъ въ теологическій періодъ развитія.

Первобытные приемы теологическаго философствованія не только естественны и неизбѣжны, но еще кромѣ того чрезвычайно полезны и необходимы. Безъ нихъ дальнѣйшее умственное развитіе дикаго человѣка было-бы совершенно невозможно. Развиваться — значитъ постепенно прокладывать себѣ путь къ вѣрному пониманію той связи, которая существуетъ между явленіями природы. Чтобы приблизиться къ этому вѣрному пониманію, надо собирать наблюденія. А такія наблюденія, которыя могутъ пригодиться для общихъ выводовъ, возможны только тогда, когда наблюдатель смотритъ на явленія съ какой-нибудь опредѣленной точки зрѣнія, то есть, когда онъ подходит къ явленію съ какой-нибудь уже готовой теоріей.

Эта послѣдняя мысль конечно изумляетъ читателя, привыкшаго думать, что за наблюденія слѣдуетъ, напротивъ того, приниматься безъ всякихъ предвзятыхъ идей. Предвзятые идеи дѣйствительно вредны, когда онѣ мѣшаютъ нашей искренности, то есть, когда мы, любя эти идеи, стараемся, во что-бы то ни стало, увидеть ихъ оправданіе въ дѣйствительности, которая на самомъ дѣлѣ нисколько имъ не соответствуетъ. Если мы такимъ образомъ умышленно закрываемъ глаза, то, разумеется, мы становимся плохими наблюдателями. Но мѣшаетъ намъ въ этомъ случаѣ не предвзятая теорія, а наше нелѣпное *пристрастіе* къ этой теоріи. Теорія-же сама по себѣ только помогаетъ намъ наблюдать; стараясь убѣдиться въ томъ, вѣрна-ли теорія, или нѣтъ, мы обращаемъ вниманіе именно на тѣ стороны явленій, къ которымъ наша теорія имѣетъ какое-нибудь отношеніе. Каждое явленіе природы само по себѣ такъ сложно, что мы никакъ не

можемъ охватить его разомъ со всѣхъ сторонъ; когда мы приступаемъ къ явленію безъ всякой теоріи, то мы рѣшительно не знаемъ, на какую сторону явленія слѣдуетъ смотрѣть. Явленіе мозолитъ намъ глаза и все-таки не пробуждаетъ въ нашемъ умѣ никакой опредѣленной мысли. Если-же у насъ составлена какая-нибудь фантастическая теорія, то явленіе прежде всего разрушаетъ ее и вслѣдъ затѣмъ заставляетъ насъ построить немедленно новую теорію, которая при вторичномъ наблюденіи по всей вѣроятности также развалится и замѣнится третьей теоріей, такой-же непрочной, какъ и обѣ первыя. Каждая изъ нашихъ догадокъ оказалась несостоятельной именно потому, что въ объясняемомъ явленіи есть какіе-нибудь признаки, несогласные съ этими догадками. Стало быть, убѣждаясь въ несостоятельности нашихъ догадокъ, мы каждый разъ узнаемъ новые признаки, которые безъ этихъ догадокъ остались-бы намъ неизвѣстными. Отбрасывая одну догадку за другой, мы наконецъ доходимъ до вѣрнаго рѣшенія задачи, если задача разрѣшима, или-же убѣждаемся въ необходимости прекратить наши поиски, если вопросъ нашъ, по самой сущности своей, не допускаетъ отвѣта.

Итакъ, для собиранія наблюденій дикарю необходима теорія; разумной теоріи онъ составить себѣ не можетъ, потому что разумная теорія составляется на основаніи наблюденій; но у него есть свои догадки, составленныя невольной и естественной дѣятельностью его воображенія, и эти жалкія, нелѣпыя догадки являются для него той необходимой ниткой, на которую онъ ванизываетъ свои наблюденія. При своихъ несложныхъ матеріальныхъ потребностяхъ дикарь не можетъ интересоваться всѣми окружающими животными, растеніями и минералами, какъ полезными предметами; огромное большинство этихъ предметовъ не приноситъ ему ни малѣйшей пользы и также не можетъ сдѣлаться для него ни вреднымъ, ни опаснымъ; безкорыстной любознательности, воодушевляющей нашихъ натуралистовъ, у дикаря быть не можетъ; поэтому ясно, что онъ остался-бы навсегда безучастнымъ къ окружающему міру, еслибы его живая фантазія не заставляла его въ каждомъ ручьѣ, въ каждомъ деревѣ, въ каждой ящерицѣ или лягушкѣ усматривать присутствіе какой-нибудь особенной, великой и таинственной силы, которая можетъ оказывать на его жизнь и на всѣ его различныя предпріятія гибельное или благотѣльное вліяніе. Лягушка, какъ простая лягушка, была-бы оставлена безъ вниманія; но лягушка, превращенная фантазіей дикаря въ высшее существо, становится интересной и достойной изученія. Фантазія выталкиваетъ дикаря изъ его умственной апатіи; фантазія создаетъ теологическое объясненіе природы, и

только одна фантазія можетъ дать человѣческому уму тотъ первый необходимый толчокъ, безъ котораго летаргическій сонъ человѣческой мысли навсегда остался-бы ненарушеннымъ.

Дикарь—существо очень безсильное, беззащитное и несчастное. Каждый ливень промачиваетъ его до костей; каждая буря разноситъ въ дребезги его хижину; каждая неблагоприятная перемена погоды поражаетъ его въ источникахъ его существованія и можетъ осудить его на голодную смерть; многіе хищные звѣри далеко превосходятъ его быстротой, силой мускуловъ и опаснымъ могуществомъ естественнаго оружія; въ борьбѣ съ такими звѣрями дикарь обыкновенно остается побѣжденнымъ; законовъ природы онъ не знаетъ, и поэтому не можетъ направить почти ни одного явленія такъ, какъ того требуютъ его матеріальные интересы. Я говорю *почти*, потому что на самомъ дѣлѣ всѣ извѣстныя намъ дикари все-таки умѣютъ по крайней мѣрѣ развести огонь или приготовить себѣ какое-нибудь оружіе, посуду, одежду. Конечно и это умѣнье было пріобрѣтено ими не вдругъ; было время, когда они были еще невѣжественнѣе и слѣдовательно еще несчастнѣе. Но объ этомъ времени мы не можемъ составить себѣ никакого опредѣленнаго понятія; поэтому незачѣмъ намъ и забираться въ такую недосыгаемую глубину древности и умственной безпомощности.

Еслибы дикарь смотрѣлъ на свое собственное положеніе совершенно трезвыми глазами, еслибы онъ могъ отдавать себѣ ясный отчетъ въ своемъ собственномъ безсиліи, еслибы онъ могъ измѣрить своимъ умомъ всю глубину своего хроническаго несчастія, то безъ сомнѣнія у него опустились-бы руки, и онъ погрузился-бы въ такое безвыходное уныніе, которое совершенно парализировало-бы всю его дѣятельность и очень скоро положило-бы конецъ его существованію. Но тутъ опять подоспѣваетъ къ нему на выручку его пылкое воображеніе. Онъ твердо увѣренъ въ томъ, что, при помощи различныхъ заклинаній, приношеній и манипуляцій, онъ, по своему благоусмотрѣнію, можетъ ворочать всѣми силами органической и неорганической природы. Эта увѣренность конечно обманываетъ его на каждомъ шагѣ, но эти ежеминутныя разочарованія объясняются въ его глазахъ тѣмъ, что онъ въ своихъ заклинаніяхъ и манипуляціяхъ сдѣлалъ случайную ошибку, отъ которой онъ на будущее время постарается уберечься. Надежда задобрить силы природы остается въ полной неприкосновенности, потому что убить эту надежду можетъ только идея незыблемыхъ естественныхъ законовъ, а до этой идеи очень далеко не только дикарямъ, но и многимъ цивилизованнымъ европейцамъ. Чѣмъ слабѣе и невѣжественнѣе дикарь, тѣмъ размахистѣе его на-

дежды; такимъ образомъ бодрость его поддерживается его иллюзіями тогда, когда она не можетъ основываться на сознаниі дѣйствительнаго господства надъ силами природы. Обращаясь къ своимъ воображаемымъ покровителямъ съ просьбой о прямомъ содѣйствіи въ какомъ-нибудь житейскомъ предпріятіи, дикарь сильно и чисто-сердечно вѣритъ въ исполнимость своего желанія, преимущественно потому, что для него еще не существуетъ понятіе о *чудѣ*, какъ о нарушении общаго закона и какъ о необыкновенномъ вмѣшательствѣ сверхъестественныхъ силъ въ обыкновенныя земныя событія. Чтобы составить себѣ понятіе о чудѣ, надо сначала сколько-нибудь освоиться съ понятіемъ о законѣ, потому что гдѣ нѣтъ никакихъ общихъ правилъ, тамъ не можетъ быть и никакихъ исключеній. Гдѣ все управляется произволомъ и страстями личностей, тамъ прямое вмѣшательство личности въ пользу своего любимца оказывается въ порядкѣ вещей и не заключаетъ въ себѣ ровно ничего удивительнаго. Когда самыя простыя и обыденныя явленія объясняются волей и дѣятельностью таинственныхъ покровителей, тогда и самое очевидное нарушение въ обыкновенномъ порядкѣ этихъ явленій никому не должно казаться особенно удивительнымъ. Представьте себѣ напримѣръ, что въ одинъ прекрасный день солнце послѣ полудня вмѣсто того чтобы направляться къ западу, поворотило назадъ на востокъ, и къ вечеру скрылось подъ горизонтомъ на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ оно взошло утромъ. Поразительнѣе и ужаснѣе этого чуда трудно что-нибудь придумать. Во всѣхъ образованныхъ странахъ нашей планеты такое чудо произвело-бы паническій страхъ, о которомъ невозможно составить себѣ даже приблизительное понятіе. Всѣ жители этихъ образованныхъ государствъ поняли-бы, что въ движеніи земли произошла какая-то существенная перемѣна, вслѣдствіе которой можно ежеминутно ожидать столкновенія нашей планеты съ другими небесными тѣлами. Паническій страхъ оказался-бы тѣмъ сильнѣе, что онъ распространился-бы сверху внизъ, изъ образованныхъ классовъ въ массу, которая вслѣдствіе этого ни откуда не могла бы ожидать себѣ успокоенія и вразумленія. Напротивъ того, на совершенно дикій народъ, находящійся подъ исключительнымъ господствомъ теологической философіи, поворотъ солнца къ востоку произвелъ бы довольно слабое впечатлѣніе. Дикари конечно замѣтили бы это явленіе, потому что не замѣтить его невозможно, но они врядъ-ли почувствовали-бы особенно-сильное беспокойство. Они вообразили-бы, что солнечному богу понадобилось зачѣмъ-нибудь воротиться поскорѣе домой, сочинили-бы по этому случаю какой-нибудь болѣе или менѣе замысловатый мифъ,

и совершенно успокоились-бы на этомъ остроумномъ объясненіи. Можно сказать навѣрно, что вулканическое изверженіе или даже сильная буря съ грозой и съ градомъ подѣйствовали-бы на воображеніе дикарей гораздо болѣе потрясающимъ образомъ, чѣмъ такое очевидное нарушение самыхъ важныхъ и обществѣнныхъ законовъ природы. — Въ невѣжествѣ дикарей заключается какъ ихъ слабость, такъ и та сила, которая даетъ имъ возможность вырваться изъ этого невѣжества. Слабость состоитъ въ неумѣніи дѣйствовать на природу, а сила — въ умѣніи надѣяться и этими фантастическими надеждами поддерживать нравственную бодрость, для которой въ данномъ періодѣ развитія не можетъ быть никакой другой болѣе реальной опоры.

II.

Самая первобытная и грубая форма мистической философіи называется *фетишизмомъ* и состоитъ въ прямомъ и непосредственномъ одушевленіи и обоготвореніи всѣхъ видимыхъ явленій и предметовъ окружающей природы. Все, что обнаруживаетъ самостоятельное движеніе или издаетъ изъ себя звуки, становится въ глазахъ дикаря живымъ существомъ; первая волынка, которую увидѣли негры, первый европейскій корабль, первое ружье, первые часы были для нихъ животными, болѣе или менѣе сильными, страшными и опасными; естественныя явленія конечно объясняются точно такимъ-же образомъ, такъ что въ идеяхъ чистаго фетишиста нѣтъ качественныхъ разграниченій между стихійнымъ и органическимъ міромъ, между растеніемъ и животнымъ, между животнымъ и человѣкомъ, между человѣкомъ и божествомъ. Весь міръ фетишиста проникнутъ однимъ животворящимъ принципомъ, — тѣмъ самымъ принципомъ, котораго присутствіе онъ чувствуетъ въ своемъ собственномъ тѣлѣ. Видя свое собственное *я* во всемъ, что его окружаетъ, фетишистъ съ одной стороны, относится къ животнымъ такъ, какъ онъ относился-бы къ существамъ, способнымъ понимать его, а съ другой стороны, обращается съ своими богами такъ непочтительно, какъ онъ могъ-бы обходиться съ равнымъ себѣ человѣкомъ. Такъ напримѣръ, каффры, охотясь за слономъ, кричатъ ему для смягченія его гнѣва: «не убивай насъ, великій предводитель, не наступи на насъ, могущественный предводитель!» О львѣ рассказываютъ въ Сенегамбіи, что онъ изъ любезности не нападаетъ на женщинъ, и что онъ вообще не трогаетъ тѣхъ людей, которые вѣжливо съ нимъ раскланиваются. О кайманѣ рассказываютъ, также въ Сенегамбіи, что онъ собираетъ въ извѣстные дни своихъ родныхъ и знакомыхъ и дѣлитъ съ ними добычу въ осо-

быхъ собраніяхъ, въ которыхъ предсѣдательствуетъ старшій и знатнѣйшій изъ каймановъ*). Убивая какое-нибудь сильное животное, негръ боится, что ему будутъ мстить родственники убитаго, подобно тому, какъ это дѣлается въ мірѣ людей.

Уравнивая себя съ животными, фетишистъ уравниваетъ себя также и съ богами. Онъ боится своихъ боговъ, но въ то же время и самъ считаетъ возможнымъ внушать имъ страхъ; онъ дѣйствуетъ на нихъ не только просьбами и подарками, но и угрозами, и тѣлесными наказаніями, когда они ведутъ себя въ отношеніи къ нему черезъ-чуръ невнимательно. Известно напримѣръ, что тунгусы, калмыки, камчадалы и нѣкоторые другіе сибирскіе инородцы сбѣгаютъ своихъ идоловъ, когда не получаютъ отъ нихъ желаемой помощи. Негры, живущіе по берегамъ бѣлаго Нила, питаютъ къ своимъ царямъ религіозное уваженіе, которое однако имѣетъ для этихъ царей свою очень невыгодную сторону: эти негры приписываютъ своимъ царямъ способность управлять погодой, и поэтому убиваютъ ихъ въ случаѣ засухи за неискреннее или злонамѣренное управленіе. Фелупы, живущіе по рѣкѣ Гамби, считаютъ своихъ царей за боговъ, или по крайней мѣрѣ за всесильныхъ чародѣевъ, и вслѣдствіе этого за каждое народное несчастіе подвергаютъ ихъ тѣлесному наказанію.

Фетишистъ видитъ боговъ на каждомъ шагѣ и вслѣдствіе этого обращается съ ними за просто. Его окружаютъ со всѣхъ сторонъ таинственныя силы и капризныя воли, но ежеминутныя столкновенія съ этими волями и силами вовсе не производятъ на него того потрясающаго впечатлѣнія, которое испытываетъ на себѣ болѣе развитой человѣкъ при встрѣчѣ съ тѣмъ, что кажется ему сверхъестественнымъ. Вся жизнь фетишиста составляетъ одну непрерывную галлюцинацію, въ которой неопредѣленный страхъ и безпричинная надежда ежеминутно чередуются между собою, возникая и пропадая по поводу каждого ничтожнѣйшаго событія. Теологическое объясненіе предмета неразлучно для фетишиста съ первымъ взглядомъ на этотъ предметъ; творческая фантазія работаетъ одновременно съ органами чувствъ; много готовъ тотчасъ, какъ только явленіе обратило на себя вниманіе; поэтому можно сказать почти безошибочно, что фетишистъ дѣйствительно видитъ и слышитъ все то, что создаетъ его воображеніе; онъ ничего не выдумываетъ нарочно; процессъ выдумыванія совершается у него такъ-же непосредственно и непроизвольно, какъ совершается въ нашемъ мозгу сужденіе о разстояніи и о величинѣ тѣхъ пред-

метовъ, которые попадаютъ намъ на глаза. Онъ не можетъ смотрѣть на вещи, не пускаясь въ теологическія философствованія; поэтому ясно, что теологическая философія въ періодъ фетишизма господствуетъ надъ человѣческимъ умомъ съ болѣе неотразимой силой, чѣмъ во всѣ послѣдующія фазы историческаго развитія. Съ одной стороны, эта первобытная форма теологической философіи доступна не только людямъ, но и высшимъ животнымъ, напримѣръ обезьянамъ, лошадямъ и собакамъ; а съ другой стороны, пантеизмъ Спинозы и Гете есть не что иное, какъ фетишизмъ, превращенный въ стройную философскую систему.

Это изумительное соприкосновеніе величайшихъ мыслителей съ зоологическимъ міромъ доказываетъ самымъ убѣдительнымъ образомъ, что въ объясненіи причинъ и сущности видимыхъ явленій нашъ умъ съ самыхъ первыхъ дней своего младенчества не можетъ подвинуться впередъ ни на одинъ шагъ. Какъ только мы сходимъ съ положительной почвы, то есть, какъ только мы забываемъ, что мы можемъ изучать съ успѣхомъ только связь и соотношенія между видимыми явленіями, а не причины и сущность этихъ явленій, такъ мы тотчасъ, думая создать что-нибудь новое, воспроизводимъ міросозерцаніе бушменовъ и лошадей. Если вась очень озадачиваетъ мысль о томъ, что животныя философствуютъ и находятся въ фазѣ фетишизма, то потрудитесь напримѣръ пустить по полу волчокъ въ присутствіи молодого и впечатлительнаго щенка. Вы увидите, что щенокъ начнетъ кидаться на него, лаять, визжать, отскакивать отъ него прочь со всѣми признаками ужаса, изумленія и негодованія; словомъ, будетъ вести себя совершенно такъ, какъ бы онъ велъ себя при столкновеніи съ живымъ существомъ, отъ котораго можно ожидать себѣ непріятности и которое можно запугать лаемъ и другими шумными выраженіями храбрости. Очевидно щенокъ видитъ въ волчкѣ живое существо, то есть, объясняетъ себѣ всякое движеніе тѣмъ самымъ началомъ жизни, которое онъ чувствуетъ въ собственномъ тѣлѣ. Человѣкъ до такой степени хорошо знаетъ фетишизмъ животныхъ, что онъ на этомъ философскомъ методѣ ихъ строитъ даже для медвѣдя ловушку, замѣчательную по своей простотѣ. Надъ ульемъ вѣшаютъ толстый чурбанъ, такъ чтобы онъ закрывалъ отверстіе улья. Медвѣдь приходитъ за медомъ и отодвигаетъ чурбанъ въ сторону; чурбанъ возвращается назадъ и толкаетъ медвѣдя въ морду; медвѣдь съ нѣкоторой досадой отбрасываетъ его прочь; чурбанъ опять возвращается на свое мѣсто, и на этотъ разъ уже довольно сильно поражаетъ медвѣжью физиономію; медвѣдь свирѣпѣетъ, и, разумѣется, чѣмъ больше онъ горячится, чѣмъ безпощаднѣе онъ колотитъ чурбанъ своими лапами, тѣмъ оглуши-

*) Waiats. «Anthropologie der Naturvölker», Band II. S. 178—179.

тельнѣе становятся тѣ удары, которые сыпятся на его собственную морду. Кончается тѣмъ, что ошеломленный медвѣдь сваливается съ того дерева, на которомъ находится улей. Отчего-же медвѣдь такъ неразумительно воюетъ съ безчувственнымъ чурбаномъ? Именно отъ того, что медвѣдь, какъ фетишистъ, не наблюдаетъ, а философствуетъ, и видитъ въ движущемся и колотящемъ чурбанѣ задорное живое существо, которое слѣдуетъ унять и зашибить до смерти.

Огюсть Контъ полагаетъ даже, что нѣкоторые избранныя животныя (*quelques animaux choisis*) могутъ даже при соприкосновеніи съ человѣкомъ возвыситься до слабаго начала политеизма (*un faible commencement de polytheisme*), но такъ какъ Контъ оставляетъ эту мысль недоказанной и необъясненной, то я рѣшительно не знаю, на чемъ онъ основываетъ свое предположеніе, и никакъ не могу поручиться за то, чтобы между животными дѣйствительно существовали политеисты. Хотя политеизмъ повсемѣстно развивался изъ фетишизма, однако разница между этими двумя формами миенческой философіи до такой степени значительна, что съ перваго взгляда историку трудно даже понять, какимъ образомъ эти двѣ почти противоположныя системы могутъ находиться между собою въ прямой, преемственной связи. У фетишиста вся матерія живетъ своей собственной, внутренней жизнью; у политеиста, напротивъ того, матерія становится пассивнымъ орудіемъ невидимыхъ существъ, непривязанныхъ къ опредѣленному мѣсту; фетишистъ напримѣръ прямо одушевляетъ и обоготворяетъ рѣку, то есть массу текущей воды; политеистъ, напротивъ того, представляетъ себѣ, что масса воды, на которую онъ смотритъ, какъ на простую воду, находится подъ управленіемъ особеннаго невидимаго бога, живущаго обыкновенно въ рѣкѣ, какъ въ своемъ царствѣ, но способнаго также путешествовать по всему міру. Въ поэмахъ Гомера дѣйствуютъ настоящіе боги политеизма, принимающіе на себя образъ человѣка тогда, когда они вступаютъ въ сношенія съ людьми; но въ «Иліадѣ» появляется также и чистый фетишъ, какъ остатокъ болѣе древняго періода; именно, за Ахиллесомъ гонится рѣка Скамандръ, сочувствующая троянцамъ. Скамандръ гонится за Ахиллесомъ не въ видѣ человѣка, не съ копьемъ или съ мечомъ въ рукѣ, а въ видѣ рѣки; онъ хочетъ не заколотъ или изрубить греческаго героя, а потонить его въ своихъ волнахъ; здѣсь дѣйствуетъ именно разъярившаяся стихія, а не богъ, управляющій этой стихіей.

Спрашивается теперь, какимъ-же образомъ могъ совершиться переходъ отъ прямого обоготворенія матеріи къ ея подчиненію высшимъ и невидимымъ существамъ?—Этотъ переходъ, самый важный и самый трудный во всей исторіи человеческой мысли, обуславливается тѣми

простѣйшими и естественными наблюденіями и сообщеніями, которыя непремѣнно должны дѣлать на каждомъ шагѣ самый слабый и неразвитой человѣческій умъ. Входя ежедневно въ дубовую рощу, дикарь непремѣнно долженъ наконецъ замѣтить, что всѣ деревья этой рощи до нѣкоторой степени похожи между собой; гоняясь ежедневно за буйволами или за оленями, дикарь непремѣнно долженъ наконецъ замѣтить, что всѣ олени или всѣ буйволы имѣютъ приблизительно одиѣ и тѣ-же ухватки и привычки. Не зная никакихъ объясненій, кромѣ теологическихъ, дикарь очевидно принужденъ объяснять себѣ замѣченное сходство тѣмъ обстоятельствомъ, что всѣ дубы находятся подъ управленіемъ одного бога, всѣ олени повинуются приказаніямъ другого, всѣ буйволы признаютъ надъ собою господство третьяго. Всѣ отдѣльные дубы, буйволы и олени черезъ это еще не перестанутъ тотчасъ быть фетишами; надъ ними установится только вторая инстанція боговъ, къ которымъ можно будетъ обращаться съ жалобами и просьбами и которые вслѣдствіе этого отнимутъ понемногу у подчиненныхъ фетишей всякое значеніе божественности. Міросозерцаніе теперешнихъ негровъ находится именно на рубежѣ между полнымъ фетишизмомъ и чистымъ политеизмомъ. Каждый горшокъ и каждый измусекъ могутъ сдѣлаться для негра предметомъ обожанія, и въ то-же самое время у негра есть высшіе, невидимые боги, и у нѣкоторыхъ племенъ, неимѣвшихъ еще никакихъ постоянныхъ сношеній ни съ магометанами, ни съ европейскими миссіонерами, есть даже понятіе о творцѣ всей вселенной. Кромѣ того мы можемъ замѣтить въ греческой мифологіи, составляющей извѣстный типъ самаго богатого и развитого политеизма, ясные слѣды древняго фетишизма; во-первыхъ, къ числу чистыхъ фетишей принадлежатъ *океанъ* и *земля*, которые постоянно остаются стихіями и не принимаютъ на себя человѣческаго образа. Во вторыхъ, такими-же чистыми фетишами оказываются домашніе боги, лары и пенаты, которыхъ божественность была привязана наглухо къ куску дерева, камня или глины.

Изъ этихъ примѣровъ видно, что переходъ отъ фетишизма къ политеизму совершается чрезвычайно медленно, и что фетиши очень долго и упорно отстаиваютъ свое существованіе. Будучи гораздо малочисленнѣе фетишей и завѣдуя гораздо болѣе обширными департаментами, боги политеизма гораздо меньше фетишей участвуютъ въ событіяхъ всендневной человѣческой жизни. Большая часть мелкихъ ежедневныхъ событій совершается, по мнѣнію политеиста, сама собою и складываетсясообразно съ обыкновенными свойствами окружающихъ предметовъ. Если напримѣръ глиняный горшокъ, падая на полъ, разбивается, то политеистъ не

приписывает этого события высшим силам, а видит въ немъ естественный результатъ столкновѣнія между твердымъ деревомъ и хрупкой глиной; такимъ образомъ естественный элементъ отдѣляется отъ сверхъ-естественнаго; образуется понятіе о свойствахъ вещества и о законахъ, по которымъ совершаются обыкновенно различныя явленія; вмѣстѣ съ тѣмъ возникаетъ понятіе о *чудѣ*, которое для фетишиста не существовало и которое становится возможнымъ только тогда, когда боги не окружаютъ смертнаго со всѣхъ сторонъ и не вмѣшиваются ежеминутно въ каждое событіе его жизни. У фетишиста вмѣшательство боговъ было правиломъ; у политеиста оно становится исключеніемъ, довольно частымъ, но тѣмъ не менѣе изумительнымъ. Чтобы такимъ образомъ отвыкнуть понемногу отъ ежеминутныхъ и повсемѣстныхъ соприкосновеній съ богами, фетишисту надо было очевидно направить сначала свое обожаніе на такіе предметы, которые, хотя и видимы, однако по своей отдаленности не могутъ имѣть съ своими поклонниками никакихъ короткихъ отношеній. Такими предметами оказываются для фетишистовъ небесныя тѣла. Сабезизмъ или поклоненіе звѣздамъ (*astrolâtrie*) составляетъ обыкновенно естественный переходъ отъ фетишизма къ политеизму, потому что, поклоняясь небеснымъ тѣламъ, далекимъ и недоступнымъ, фетишистъ самъ хорошенько не знаетъ, чему именно онъ кланяется: обоготворенной звѣздѣ или же невидимому существу, управляющему этой звѣздой. Разница между фетишемъ и богомъ становится здѣсь нечувствительной. Привыкнувъ поклоняться звѣздамъ, люди уже безъ особеннаго труда осваиваются съ понятіемъ о далекихъ и невидимыхъ богахъ, неимѣющихъ опредѣленнаго мѣстопребыванія. Съ этого времени появляются первые признаки метафизическаго мышленія, потому что политеисту приходится, во-первыхъ, олицетворять и обоготворять отвлеченныя понятія, а во-вторыхъ, воображать себѣ въ каждомъ отдѣльномъ предметѣ отвлеченное свойство, образующее таинственную связь между этимъ неодушевленнымъ предметомъ и высшимъ, сверхъ-естественнымъ существомъ, въ которомъ заключается причина движенія и жизни.

III.

Умственное развитіе человѣчества начинается съ теологическихъ объясненій природы; политическое развитіе человѣчества начинается съ военныхъ предпріятій; какъ въ области мысли, такъ и въ области практической жизни, первобытному человѣку ненавистенъ правильный и терпѣливый трудъ, ведущій за собою медленное, но вѣрное пріобрѣтеніе знаній или богатствъ. Въ области мысли первобытный человѣкъ умѣетъ

только фантазировать, то есть давать совершенно произвольныя толкованія такимъ явленіямъ, въ которыя онъ не въ силахъ вглядываться и вдумываться; въ области матеріальныхъ интересовъ первобытный человѣкъ умѣетъ только отнимать у другихъ тѣ предметы, въ которыхъ онъ нуждается. Такъ какъ эти *другіе* въ раннія эпохи до-исторической жизни отличаются точно такими-же вкусами и способностями, такъ какъ они точно такъ-же ненавидятъ трудъ и любятъ грабежъ, то очевидно первобытнымъ людямъ почти нечего и грабить другъ у друга. У нихъ нѣтъ почти ничего, кромѣ собственнаго тѣла; поэтому они и стараются отнимать другъ у друга это единственное достояніе. Побѣдитель обыкновенно убиваетъ и съѣдаетъ побѣжденнаго врага. Длинный рядъ столѣтій тратится такимъ образомъ на истребительныя войны людей какъ между собою, такъ и съ дикими животными родныхъ лѣсовъ. Въ этой суровой школѣ безчеловѣчной войны и кровожадной охоты совершается первоначальное политическое воспитаніе нашей породы. Воспитаніе это заключается въ томъ, что дикіе фетишисты приучаются соединять въ общихъ предпріятіяхъ свои индивидуальныя силы. Эти общія предпріятія въ то время могутъ быть только военными. Когда раздѣленіе труда не существуетъ, когда каждый взрослый человѣкъ доставляетъ собственными усиліями себѣ и своему семейству все, что необходимо для поддержанія жизни, и когда вся экономическая дѣятельность взрослого заключается только въ убиваніи, обдираніи и разрываніи дикихъ животныхъ, тогда очевидно отдѣльныя личности составляютъ общество и подчиняются какой-нибудь власти только за тѣмъ, чтобы отразить постороннее нашествіе, или же за тѣмъ, чтобы съ полнымъ успѣхомъ ограбить и передуть своихъ сосѣдей. Эта первобытная ассоціація разбойниковъ и людоедовъ относится къ цивилизованному обществу такъ точно, какъ первобытныя фантазіи фетишиста относятся къ міросозерцанію современнаго естествоиспытателя.

Какъ разбойничья ассоціація, такъ и грубый фетишизмъ, при всемъ своемъ крайнемъ безобразіи, составляютъ двѣ совершенно необходимыя и единственно-возможныя исходныя точки всего дальнѣйшаго развитія, съ одной стороны политическаго, съ другой стороны—умственнаго. Члены цивилизованнаго общества связаны между собою своими потребностями, которыя могутъ находить себѣ удовлетвореніе только въ обществѣ; но эти потребности, какъ матеріальныя, такъ и нравственныя, возникаютъ и укрѣпляются въ человѣкѣ только тогда, когда онъ живетъ въ обществѣ; у дикаря потребности очень несложны, и онъ умѣетъ удовлетворять ихъ безъ посторонней помощи; стало быть, втянуть дикаря въ общество могутъ только

чувство самосохраненія и хищныя влеченія; то есть оборонительная и наступательная войны составляютъ неизбѣжную, хотя и непохвальную, цѣль всякаго первобытнаго общества.

Какъ въ отношеніи къ умственному, такъ и въ отношеніи къ политическому развитію, дикарь при самомъ началѣ своего поприща попадаетъ въ заколдованный кругъ (*circle vicieux*), который разбивается въ первомъ случаѣ теологической философіей, а во второмъ — воинственными инстинктами. Въ дѣлѣ умственнаго развитія вопросъ ставится такъ: чтобы наблюдать, нужна теорія; а чтобы составить теорію, нужны наблюденія. Теологическая философія выводитъ человѣка изъ этого затрудненія, давая ему готовую теорію, составленную силою фантазій, помимо наблюденія. Въ дѣлѣ политическаго развитія вопросъ ставится слѣдующимъ образомъ: чтобы войти въ общество, надо чувствовать извѣстныя потребности, а чтобы воспитать въ себѣ эти потребности, надо сначала пожить въ обществѣ. Воинственные инстинкты устраняютъ это затрудненіе, составляя хищныя шайки изъ тѣхъ людей, которые еще неспособны смотрѣть на общество, какъ на ассоціацію производителей и потребителей. Соединившись въ хищныя шайки, дикари переходятъ понемногу отъ охотничьей жизни къ пастушеской и отъ пастушеской къ земледѣльской. Какимъ образомъ совершаются эти переходы, то есть какой побудительной причиной они обуславливаются и какія обстоятельства наводятъ дикарей на плодотворную мысль приручать животныхъ и разводить хлѣбныя растенія — этого мы по всей вѣроятности никогда не узнаемъ. По этимъ вопросамъ возможны только предположенія, недопускающія никакой обстоятельной повѣрки. О томъ, какъ совершились эти переходы у теперешнихъ цивилизованныхъ народовъ, мы конечно не имѣемъ и не можемъ имѣть никакихъ историческихъ свѣдѣній. Прямые наблюденія надъ теперешними дикарями также не могутъ дать намъ на эти вопросы никакихъ точныхъ отвѣтовъ. Въ территоріяхъ, принадлежащихъ Сѣверо-Американскимъ штатамъ, нѣкоторые индійскія племена переходятъ конечно отъ бродячей, охотничьей жизни къ осѣдлому, земледѣльческому быту; изучить причины и условія этихъ переходовъ очень удобно; но къ чему-же приведетъ это изученіе? Эти индійцы находятся въ соприкосновеніи съ иностранной высоко развитой цивилизаціей; именно вліяніе этой цивилизаціи заставляетъ ихъ переходить отъ одного быта къ другому: эта-же самая цивилизація даетъ имъ въ готовомъ видѣ тѣ знанія, тѣ сѣмена и тѣ орудія, которыя необходимы для перехода. Словомъ, въ задачу введенъ новый элементъ, который измѣняетъ ее такъ радикально, что самое тщательное изученіе этой задачи нисколько не можетъ

подвинуть насъ впередъ въ вопросѣ о томъ, какъ совершались переходы въ жизни дикарей, неимѣвшихъ соприкосновеній съ высшими цивилизаціями. Если-же отправиться въ область гипотезъ, то, разумѣется, самой правдоподобной окажется та, которая объясняетъ эти переходы приращеніемъ народонаселенія и увеличившимися потребностями питанія. Контъ вооружается противъ этой гипотезы, стараясь доказать ея нераціональность и противопоставляетъ ей свою собственную гипотезу. Но какъ возраженія Конта, такъ и его собственная попытка объяснить переходъ отъ бродячей жизни къ осѣдлой замѣчательны по своей неудачности.

Главное возраженіе Конта состоитъ въ томъ, что никакая потребность, какъ-бы она ни была сильна, не можетъ создать въ человѣкѣ новую способность. «Въ данномъ случаѣ, — говоритъ Контъ, — человѣкъ постарался-бы избавиться отъ избытка населенія болѣе частымъ употребленіемъ тѣхъ ужасныхъ средствъ, къ которымъ онъ обращается даже въ болѣе цивилизованныя времена, вмѣсто того, чтобы промѣнять кочевую жизнь на земледѣльческую до тѣхъ поръ, пока его не подготовило къ тому достаточнымъ образомъ его умственное и нравственное развитіе». Конту былъ совершенно неизвѣстенъ дарвиновскій принципъ *естественнаго выбора*, — принципъ, который, безъ сомнѣнія, произведетъ переворотъ не только въ ботаникѣ и въ зоологіи, но и въ пониманіи исторіи. *Ужасныя средства*, о которыхъ упоминаетъ Контъ, заключались конечно въ истребительныхъ войнахъ, въ человѣческихъ жертвоприношеніяхъ и въ людоедствѣ. Очень правдоподобно, что всѣ эти средства дѣйствительно употреблялись, и что цѣлыя многочисленныя племена, заходя между собою непримиримую вражду за охотничьи мѣста или за пастбища, то есть вообще за средства пропитанія, совершенно стирали другъ друга съ лица земли. Исторія Сѣверо-Американскихъ туземцевъ переполнена такими примѣрами. *Естественный выборъ* уничтожаетъ такимъ образомъ тѣ племена, которыя не могутъ приспособиться къ новымъ условіямъ жизни, и сохраняетъ тѣ племена или тѣ остатки племенъ, которые умѣютъ найти выходъ изъ даннаго затрудненія. Сотни или тысячи сильныхъ и даровитыхъ дикарей погибаютъ именно отъ того, что они даровиты и сильны, именно отъ того, что дикая, кочевая жизнь развила въ ихъ крѣпкихъ организмахъ такія неукротимыя страсти, которыя не могутъ уложиться въ узкую и скромную рамку осѣдлаго существованія. Сживаются-же съ новыми условіями и оставляютъ по себѣ потомство быть можетъ именно посредственными, вялыми и флегматическія натуры, у которыхъ нѣтъ преобладающей органической страсти къ приключеніямъ,

тревогамъ и опасностямъ кочевого быта. Легко можетъ быть, что переходъ отъ пастушества къ земледѣлію требуетъ со стороны дикарей не какой-нибудь новой способности, а только нѣкотораго ослабленія старыхъ страстей. Естественный выборъ уничтожаетъ тѣхъ людей, въ которыхъ эти страсти особенно сильны, и тогда переходъ становится возможнымъ. Но такъ какъ дѣйствующей силой въ естественномъ выборѣ является непременно гнетъ вѣшнихъ обстоятельствъ и преимущественно голода, вытекающаго изъ многолюдства, то возраженіе Конта оказывается несостоятельнымъ. Объяснительная гипотеза Конта еще болѣе неудачна. «Непосредственное обожаніе вѣшняго міра, — говоритъ Контъ, — болѣе специально направленное по своей природѣ къ ближайшимъ и самымъ употребительнымъ предметамъ, должно конечно развивать въ высокой степени эту долю, сначала очень слабую, человѣческихъ наклонностей, которая инстинктивно привязываетъ насъ къ родной землѣ. Трогательная скорбь, которую такъ часто выражалъ въ древнихъ войнахъ побѣжденный, поставленный въ необходимость оставить боговъ-покровителей, относилась преимущественно не къ отвлеченнымъ и общимъ существамъ, которыхъ онъ могъ найти вездѣ, какъ напримѣръ Юпитера, Минерву, и пр.; — эта скорбь прилагалась гораздо болѣе къ такъ называемымъ домашнимъ богамъ, и преимущественно къ богамъ очага, то есть къ чистымъ фетишамъ.»

Невозможно понять, какимъ образомъ обожаніе ближайшихъ предметовъ можетъ развиться въ кочевомъ племени наклонность къ *осѣдлой* жизни или привязанность къ родной землѣ. Представьте себѣ, что какой-нибудь киргизъ обожаетъ ближайшіе предметы, напримѣръ то сѣдло, на которомъ онъ сидитъ, или ту кибитку, въ которой путешествуютъ его семейство и весь его домашній скарбъ; спрашивается, почему-же киргизъ, изъ обожанія къ сѣдлу и къ кибиткѣ, не прикрѣпляетъ это обожаніе къ одному опредѣленному мѣсту и не превратитъ обожаніе кибитку въ неподвижное жилище? — Сколько-бы онъ ни обожалъ эти ближайшіе предметы, это обожаніе нисколько не помѣшаетъ ему постоянно перевозить ихъ съ собою съ одного мѣста на другое. Какимъ образомъ обожаніе киргиза можетъ направиться на извѣстный холмъ, лугъ или ручей, то есть вообще на опредѣленную мѣстность, это также совершенно непонятно. Сегодня киргизъ пришелъ на стоянку; дня черезъ три онъ переходитъ на другое мѣсто; неужели-же въ эти три дня онъ можетъ проникнуться къ данной мѣстности такимъ обожаніемъ, которое заставитъ его передѣлать всѣ свои привычки и отказаться отъ того образа жизни, который завѣщали ему его предки? — Чтобы полюбить данную мѣстность, надо пред-

варительно сдѣлаться осѣдлымъ жителемъ. Любость къ родной землѣ есть *слѣдствіе* осѣдлой жизни, поэтому объяснять переходъ къ земледѣлію любовью къ землѣ — значитъ принимать слѣдствіе за причину. *Трогательная скорбь* древнихъ грековъ, разлучающихся съ родиной и съ домашними фетишами, ровно ничего не доказываетъ. Домашній фетишъ сдѣлался для нихъ эмблемой родины именно потому, что они уже съ незапамятныхъ временъ сдѣлались осѣдлымъ народомъ. Это значеніе фетишей доказываетъ только то, что вмѣстѣ съ образомъ жизни народа измѣняется характеръ его религій. Но чтобы фетишъ могъ внушить любовь къ родной землѣ кочевому народу, то есть такимъ людямъ, у которыхъ, собственно говоря, никогда не было родной земли, этого конечно не сдумаетъ доказать ни одинъ мыслитель и ни одинъ діалектикъ въ цѣломъ мірѣ. Причины, побудившія дикихъ фетишистовъ приняться за земледѣліе, остаются такимъ образомъ неразъясненными, и неудача Конта доказываетъ намъ особенно наглядно, что всего благоразумнѣе совершенно отказаться отъ рѣшенія такихъ вопросовъ, которые не допускаютъ прямого изслѣдованія. Весь періодъ фетишизма такъ далекъ отъ насъ и такъ мало понятенъ намъ по своему характеру, что всѣ наши гипотезы, относящіяся къ этому періоду, оказываются въ высшей степени сомнительными.

IV.

Подъ вліяніемъ наблюдений и невольныхъ обобщеній фетишизмъ превращается понемногу въ политеизмъ; матерія перестаетъ жить самостоятельной жизнью и подчиняется волѣ многихъ высшихъ невидимыхъ существъ, надѣленныхъ всѣми человѣческими страстями, слабостями и потребностями. Эта вторая фаза теологической философіи гораздо болѣе первой доступна изученію. Политеизмъ наполняетъ собою всю древнюю исторію; подъ вліяніемъ политеизма сложились великія теократіи Индіи и Египта, развернулась умственная жизнь древней Греціи и выросло политическое могущество Рима. Вступая въ періодъ политеизма, люди были дикарями, едва знакомыми съ первыми начатками грубой промышленности и патриархальной общественности. Выходя изъ періода политеизма, люди живутъ уже въ огромныхъ государствахъ, имѣютъ чрезвычайно сложныя системы административныхъ и судебныхъ учреждений, обсуживаютъ и рѣшаютъ запутанные общественные вопросы, пускаются въ дальновидныя политическія соображенія, ведутъ обширную торговлю, фабрикутъ предметы самой утонченной роскоши, сооружаютъ громадныя зданія, создаютъ великолѣпнѣйшія статуи

и картины, пишутъ поэмы и эпиграммы, философскія разсужденія и историческія сочиненія, математическіе трактаты и критическіе комментаріи.—Вступая въ періодъ политеизма, всѣ люди были одинаково грубы и дики; всѣ были похожи одинъ на другого, какъ по образу жизни, такъ и по умственному развитію. Выходя изъ этого періода, люди распадаются уже на множество различныхъ категорій и подраздѣленій: тутъ есть уже знать и чернь, аристократы и демократы, монархисты и республиканцы, ученые и невѣжды, жрецы и поклонники, миллионеры и голодные пролетаріи. Словомъ, тутъ мы узнаемъ *цивилизацию* со всѣми ея роскошными задатками будущаго развитія и со всѣми ея грязными и кровавыми пятнами, которыя потомкамъ придется отмывать или залечивать. Всѣ эти проявленія цивилизаціи возникли или по крайней мѣрѣ развернулись во время господства политеизма; на всѣхъ этихъ проявленіяхъ лежитъ печать его вліянія. Разсмотрѣть со всѣхъ сторонъ это вліяніе—значитъ опредѣлить настоящій характеръ и историческое значеніе политеизма.

Развитіе *науки* начинается подъ господствомъ политеизма. Научкой называется сознательное и систематическое исканіе законовъ природы. Чтобы приступить къ этому исканію, надо прежде всего предположить, что неизмѣнные законы существуютъ или по крайней мѣрѣ могутъ существовать. Это первое предположеніе было невозможно въ періодъ фетишизма, когда каждая частица матеріи жила своей личной, измѣнчивой и капризной жизнью, когда напримѣръ рѣка мерзла или не мерзла, вѣтеръ дулъ или не дулъ, градъ падалъ или не падалъ, смотря по личнымъ желаніямъ или соображеніямъ тѣхъ фетишей, которые назывались рѣкою, вѣтромъ или градомъ. Фетишизмъ допускалъ только тѣ случайныя и разрозненныя наблюденія, которыя врываются въ сознаніе человѣка и укореняются въ его памяти помимо его собственнаго желанія. Человѣкъ не могъ не замѣтить напримѣръ, что рѣка замерзаетъ именно тогда, когда онъ, человѣкъ, чувствуетъ сильное ощущеніе холода; онъ не могъ не замѣтить, что во время замерзанія рѣки деревья всегда обнажены и земля покрыта поблекшей, желтой травой; онъ не могъ не замѣтить, что въ это-же время и дни всегда становятся короче ночей. Эти наблюденія, невольныя и неизбѣжныя, конечно не могутъ быть названы даже и началомъ науки; однако-же эти наблюденія наносятъ жестокій ударъ первобытному фетишизму и такимъ образомъ сворачиваютъ съ дороги то препятствіе, при существованіи котораго наука не можетъ ни развернуться, ни даже возникнуть. Фетишистъ видитъ, что и вода, и деревья, и трава, и температура воздуха, и величина дней

и ночей измѣняются одновременно, и эту одновременность онъ замѣчаетъ не одинъ разъ, а два раза, а постоянно, изъ года въ годъ. Ему приходится непремѣнно предположить одно изъ двухъ: или вода, деревья, трава, воздухъ, солнце стовариваются между собою, или-же они находятся подъ командой у какого-нибудь высшаго начальника; въ сущности, оба предположенія сводятся къ одному, именно—къ тому, что какая-то причина заставляетъ постоянно воду, деревья, траву, воздухъ и солнце дѣйствовать заодно; а такъ какъ первобытный человѣкъ не можетъ себѣ представить никакой причины, кромѣ чьей-нибудь личной воли, то въ результатъ и получается непремѣнно очень большой и очень сильный начальникъ, который не живетъ ни въ водѣ, ни въ деревьяхъ, ни въ травѣ, ни въ воздухѣ, ни въ солнцѣ, а гдѣ-то внѣ этихъ предметовъ и надъ ними.—Но всякій дикарь знаетъ очень хорошо, что начальникъ только тогда и можетъ называться начальникомъ, когда у него есть подчиненные. На что же бы это въ самомъ дѣлѣ было похоже, еслибы главному начальнику приходилось самому бѣгать ко всѣмъ фетишамъ и напоминать водѣ, что ей пора мерзнуть, травѣ, что ей пора желтѣть, деревьямъ, что имъ пора ронять листья на землю? Необходимо предположить, что у главнаго начальника множество разныхъ помощниковъ и адъютантовъ, изъ которыхъ одинъ завѣдуетъ рѣками, другой моремъ, третій вѣтромъ, четвертый травой, пятый деревьями, шестой солнцемъ, и такъ далѣе. Когда вся эта іерархія оказывается окончательно сформированной, тогда, разумѣется, фетиши сначала превращаются въ жалкое и безгласное податное сословіе, а потомъ мало по малу совершенно утрачиваютъ свое существованіе. Тогда матерія становится простой, бездушнѣйшей матеріей, подчиненной высшему началу; тогда становятся возможными разсужденія о свойствахъ этой матеріи; тогда рождается понятіе о постоянныхъ законахъ, которые главный начальникъ конечно всегда можетъ отмѣнить или пріостановить, но которыхъ онъ однако обыкновенно не отмѣняетъ и не пріостанавливаетъ.

Сознательное, *научное* изслѣдованіе такимъ образомъ получаетъ нѣкоторый просторъ, но само собою разумѣется, что просторъ этотъ очень невеликъ, и что послѣдовательное проведеніе новорожденной идеи о постоянныхъ законахъ совершенно невозможно и даже немислимо, потому что это послѣдовательное проведеніе разрушило-бы не только все зданіе политеистической міеологіи, но даже и общій фундаментъ всякой теософіи. «Законъ самъ по себѣ, — думаетъ догадливый политеистъ, — а все-таки если я хорошенько попрошу главнаго

начальника или даже кого-нибудь из старших помощников то они, какъ добрые люди, приостановятъ для меня дѣйствіе закона и сдѣлаютъ напримѣръ такъ, что вѣтеръ утихнетъ, что молнія не ударитъ въ мой домъ, что голодная саранча не опустится на мою пшеницу.» Само собою разумѣется, что это размышленіе политеиста кладетъ предѣлъ научному изслѣдованію и подвергаетъ очень серьезной опасности тѣхъ слѣпыхъ мыслителей, которымъ удастся въ собственномъ умѣ перешагнуть черезъ этотъ предѣлъ. Какъ только возникаетъ *сознательное* изслѣдованіе, такъ обозначается тотчасъ-же естественная и непримиримая вражда между наукой и теософіей, — вражда, которая можетъ окончиться только совершеннымъ истребленіемъ одной изъ воюющихъ сторонъ. Все, что выигрываетъ наука, то теряетъ теософія; а такъ какъ наука со временъ до-историческаго фетишизма выиграла очень много, то надо полагать, что ея противница потеряла также немало. Дѣйствительно, вся исторія человѣческаго ума, а слѣдовательно и человѣческихъ обществъ есть не что иное, какъ постоянное усиленіе науки, соответствующее такому-же постоянному ослабленію теософіи, которая при вступленіи человечества въ исторію пользовалась всеобъемлющимъ и безраздѣльнымъ могуществомъ.

Несмотря на этотъ вѣчный и роковой антагонизмъ, теософія, сама того не замѣчая и не желая, постоянно вручала своей противницѣ оружіе и собирала для нея матеріалы, которыми наука постоянно пользовалась со свойственными ей одной неподкупностью, неумолимостью, неблагодарностью и коварствомъ.

Полудикій человѣкъ, только-что отдѣлывшійся отъ грубѣйшаго фетишизма, не могъ приняться прямо за астрономическія наблюденія или за анатомическія изслѣдованія. Какой интересъ онъ могъ находить въ движеніи небесныхъ свѣтилъ или въ расположеніи сердца, печени, селезенки и легкихъ въ тѣлѣ барана? Во-первыхъ, никто не могъ ему объяснить, что его прапраправнуки будутъ нуждаться въ астрономическихъ познаніяхъ для навигаціи, а въ анатомическихъ свѣдѣніяхъ — для леченія болѣзней. Во-вторыхъ, еслибы даже кто-нибудь и могъ дать ему эти объясненія, то онъ по всей вѣроятности отвѣчалъ-бы очень спокойно, что желаетъ жить для самого себя, а не для своихъ прапраправнуковъ, которыхъ ему никогда не придется увидѣть въ глаза. Что-же касается до безкорыстной любознательности, то она для круглаго невѣжды и для человѣка, никогда не мыслившаго, совершенно невозможна, потому что въ наукѣ, какъ и во многихъ другихъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, *l'appetit vient en mangeant*. Такимъ образомъ наука рисковала остаться на мели, но

къ ней подоспѣла на помощь добродушная теософія, ухитрившаяся внушить своему полудикому воспитаннику ту заманчивую мысль, что звѣзды имѣютъ постоянное и самое рѣшительное вліяніе на всю его судьбу и что по внутренностямъ зарѣзаннаго барана можно читать, какъ по раскрытой книгѣ, всю будущность отдѣльныхъ личностей или даже цѣлыхъ племенъ. Чѣмъ глубже невѣжество человѣка, чѣмъ слабѣе работаетъ его мысль, чѣмъ полновластнѣе господствуетъ надъ его умомъ теософія, созданная его фантазіей, тѣмъ рельефнѣе и непоколебимѣе проявляется въ человѣкѣ та простодушная увѣренность, что весь міръ сотворенъ именно для него, и что все высшее начальство постоянно заботится объ его участи, постоянно слѣдитъ за его поведеніемъ, постоянно подаетъ ему разные сигналы и постоянно готово отвѣчать ему тѣмъ или другимъ путемъ на всѣ его скромные или нескромные вопросы. Этихъ сигналовъ и отвѣтовъ политеистъ ищетъ и въ узорахъ звѣзднаго неба, и въ полетѣ различныхъ птицъ, и въ кишкахъ жертвеннаго животнаго, и въ безсвязныхъ словахъ полоумной пичи, и въ безтолковыхъ сновидѣніяхъ, почерпнутыхъ изъ переполненнаго желудка. Кто во всемъ видитъ совѣтъ сверху или предзнаменованіе, тотъ, разумѣется, на всякую мелочь долженъ обращать вниманіе. Понятно, что эта постоянная внимательность, возбужденная теософіей, собираетъ безсознательно богатый запасъ сырыхъ матеріаловъ, которыми рано или поздно сѣмьется воспользоваться наука. Ученая дѣятельность великаго Гиппократа представляетъ намъ очень яркій примѣръ того искусства, съ которымъ наука прямо изъ рукъ теософіи беретъ собранные ею матеріалы, составляющіе для самой теософіи мертвый капиталъ. Больные, лежавшіе въ храмахъ Аскленіи или Эскулапа и получившіе облегченіе, имѣли привычку послѣ выздоровленія описывать свои страданія и оставлять эти описанія въ храмѣ для прославленія вылечившаго ихъ божества. Въ этихъ храмахъ набрались цѣлыя груды подобныхъ описаній; Гиппократъ объѣхалъ всѣ эти храмы, тщательно изучилъ накопившіяся въ нихъ описанія, провѣрилъ ихъ своими личными наблюденіями и составилъ, на основаніи этихъ богатыхъ матеріаловъ, тѣ великолѣпныя характеристики различныхъ болѣзней, которыя своей точностью и наглядностью до сихъ поръ изумляютъ и восхищаютъ лучшихъ представителей медицины.

V.

Съ *искусствомъ* теософія всегда жила въ добромъ согласіи, а политеизмъ, болѣе чѣмъ какая либо другая фаза теософіи, своимъ влі-

и картины, пишутъ поэмы и эпиграммы, философскія разсужденія и историческія сочиненія, математическіе трактаты и критическіе комментаріи.—Вступая въ періодъ политеизма, всѣ люди были одинаково грубы и дики; всѣ были похожи одинъ на другого, какъ по образу жизни, такъ и по умственному развитію. Выходя изъ этого періода, люди распадаются уже на множество различныхъ категорій и подраздѣленій: тутъ есть уже знать и чернь, аристократы и демократы, монархисты и республиканцы, ученые и невѣжды, жрецы и поклонники, миллионеры и голодные пролетаріи. Словомъ, тутъ мы узнаемъ *цивилизацию* со всѣми ея роскошными задатками будущаго развитія и со всѣми ея грязными и кровавыми пятнами, которыя потомкамъ придется отмывать или залечивать. Всѣ эти проявленія цивилизации возникли или по крайней мѣрѣ развернулись во время господства политеизма; на всѣхъ этихъ проявленіяхъ лежитъ печать его вліянія. Разсмотрѣть со всѣхъ сторонъ это вліяніе—значить опредѣлить настоящій характеръ и историческое значеніе политеизма.

Развитіе *науки* начинается подъ господствомъ политеизма. Наукой называется сознательное и систематическое исканіе законовъ природы. Чтобы приступить къ этому исканію, надо прежде всего предположить, что неизмѣнные законы существуютъ или по крайней мѣрѣ могутъ существовать. Это первое предположеніе было невозможно въ періодъ фетишизма, когда каждая частица матеріи жила своей личной, измѣчивой и капризной жизнью, когда напримѣръ рѣка мерзла или не мерзла, вѣтеръ дулъ или не дулъ, градъ падалъ или не падалъ, смотря по личнымъ желаніямъ или соображеніямъ тѣхъ фетишей, которые назывались рѣкою, вѣтромъ или градомъ. Фетишизмъ допускалъ только тѣ случайныя и разрозненныя наблюденія, которыя врываются въ сознаніе человѣка и укореняются въ его памяти помимо его собственнаго желанія. Человѣкъ не могъ не замѣтить напримѣръ, что рѣка замерзаетъ именно тогда, когда онъ, человѣкъ, чувствуетъ сильное ощущеніе холода; онъ не могъ не замѣтить, что во время замерзанія рѣки деревья всегда обнажены и земля покрыта поблекшей, желтой травой; онъ не могъ не замѣтить, что въ это-же время и дни всегда становятся короче ночей. Эти наблюденія, невольныя и неизбѣжныя, конечно не могутъ быть названы даже и началомъ науки; однако-же эти наблюденія наносятъ жестокой ударъ первобытному фетишизму и такимъ образомъ сворачиваютъ съ дороги то препятствіе, при существованіи котораго наука не можетъ ни развернуться, ни даже возникнуть. Фетишисты видятъ, что и вода, и деревья, и трава, и температура воздуха, и величина дней

и ночей измѣняются одновременно, и эту одновременность онъ замѣчаетъ не одинъ разъ, не два раза, а постоянно, изъ года въ годъ. Ему приходится непремѣнно предположить одно изъ двухъ: или вода, деревья, трава, воздухъ, солнце стовариваются между собою, или-же они находятся подъ командой у какого-нибудь высшаго начальника; въ сущности, оба предположенія сводятся къ одному, именно—къ тому, что какая-то причина заставляетъ постоянно воду, деревья, траву, воздухъ и солнце дѣйствовать заодно; а такъ какъ первобытный человѣкъ не можетъ себѣ представить никакой причины, кромѣ чьей-нибудь личной воли, то въ результатъ и получается непремѣнно очень большой и очень сильный начальникъ, который не живетъ ни въ водѣ, ни въ деревьяхъ, ни въ травѣ, ни въ воздухѣ, ни въ солнцѣ, а гдѣ-то въ этихъ предметахъ и надъ ними.—Но всякій дикарь знаетъ очень хорошо, что начальникъ только тогда и можетъ называться начальникомъ, когда у него есть подчиненные. На что же бы это въ самомъ дѣлѣ было похоже, еслибы главному начальнику приходилось самому бѣгать ко всѣмъ фетишамъ и напоминать водѣ, что ей пора мерзнуть, травѣ, что ей пора желтѣть, деревьямъ, что имъ пора ронять листья на землю? Необходимо предположить, что у главнаго начальника множество разныхъ помощниковъ и адъютантовъ, изъ которыхъ одинъ завѣдуетъ рѣками, другой моремъ, третій вѣтромъ, четвертый травой, пятый деревьями, шестой солнцемъ, и такъ далѣе. Когда вся эта іерархія оказывается окончательно сформированной, тогда, разумѣется, фетиши сначала превращаются въ жалкое и безгласное податное сословіе, а потомъ мало по малу совершенно утрачиваютъ свое существованіе. Тогда матерія становится простой, бездушной матеріей, подчиненной высшему начальству; тогда становятся возможными разсужденія о свойствахъ этой матеріи; тогда рождается понятіе о постоянныхъ законахъ, которые главный начальникъ конечно всегда можетъ отмѣнить или приостановить, но которыхъ онъ однако обыкновенно не отмѣняетъ и не приостанавливаетъ.

Сознательное, *научное* изслѣдованіе такимъ образомъ получаетъ нѣкоторый просторъ, но само собою разумѣется, что просторъ этотъ очень невеликъ, и что послѣдовательное проведеніе новорожденной идеи о постоянныхъ законахъ совершенно невозможно и даже невысказуемо, потому что это послѣдовательное проведеніе разрушило-бы не только все зданіе политеистической міеологіи, но даже и общій фундаментъ всякой теософіи. «Законъ самъ по себѣ», — думаетъ догадливый политеистъ, — а все-таки если я хорошенько попрошу главнаго

начальника или даже кого-нибудь из старших помощников то они, какъ добрые люди, приостановятъ для меня дѣйствіе закона и сдѣлаютъ на примѣръ такъ, что вѣтеръ утихнетъ, что молнія не ударитъ въ мой домъ, что голодная саранча не опустится на мою пшеницу.» Само собою разумѣется, что это размышленіе политеиста кладетъ предѣлъ научному изслѣдованію и подвергаетъ очень серьезной опасности тѣхъ слѣпыхъ мыслителей, которымъ удастся въ собственномъ умѣ перешагнуть черезъ этотъ предѣлъ. Какъ только возникаетъ *сознательное* изслѣдованіе, такъ обозначается тотчасъ-же естественная и непримиримая вражда между наукой и теософіей, — вражда, которая можетъ окончиться только совершеннымъ истребленіемъ одной изъ воюющихъ сторонъ. Все, что выигрываетъ наука, то теряетъ теософія; а такъ какъ наука со временъ до-историческаго фетишизма выиграла очень много, то надо полагать, что ея противница потеряла также немало. Дѣйствительно, вся исторія человѣческаго ума, а слѣдовательно и человѣческихъ обществъ есть не что иное, какъ постоянное усиленіе науки, соответствующее такому-же постоянному ослабленію теософіи, которая при вступленіи человечества въ исторію пользовалась всеобъемлющимъ и безраздѣльнымъ могуществомъ.

Несмотря на этотъ вѣчный и роковой антагонизмъ, теософія, сама того не замѣчая и не желая, постоянно вручала своей противницѣ оружіе и собирала для нея матеріалы, которыми наука постоянно пользовалась со свойственными ей одной неподкупностью, неумолимостью, неблагодарностью и коварствомъ.

Полудикій человѣкъ, только-что отдѣланный отъ грубѣйшаго фетишизма, не могъ приняться прямо за астрономическія наблюденія или за анатомическія изслѣдованія. Какой интересъ онъ могъ находить въ движеніи небесныхъ свѣтилъ или въ расположеніи сердца, печени, селезенки и легкихъ въ тѣлѣ барана? Во-первыхъ, никто не могъ ему объяснить, что его прапраправнуки будутъ нуждаться въ астрономическихъ познаніяхъ для навигаціи, а въ анатомическихъ свѣдѣніяхъ — для леченія болѣзней. Во-вторыхъ, еслибы даже кто-нибудь и могъ дать ему эти объясненія, то онъ по всей вѣроятности отвѣчалъ-бы очень спокойно, что желаетъ жить для самого себя, а не для своихъ прапраправнуковъ, которыхъ ему никогда не придется увидѣть въ глаза. Что-же касается до безкорыстной любознательности, то она для круглаго невѣжды и для человѣка, никогда не мыслившаго, совершенно невозможна, потому что въ наукѣ, какъ и во многихъ другихъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, *l'appetit vient en mangeant*. Такимъ образомъ наука рисковала остаться на мели, но

къ ней подоспѣла на помощь добродушная теософія, ухитрившаяся внушить своему полудикому воспитаннику ту заманчивую мысль, что звѣзды имѣютъ постоянное и самое рѣшительное вліяніе на всю его судьбу и что по внутренностямъ зарѣзаннаго барана можно читать, какъ по раскрытой книгѣ, всю будущность отдѣльныхъ личностей или даже цѣлыхъ племенъ. Чѣмъ глубже невѣжество человѣка, чѣмъ слабѣе работаетъ его мысль, чѣмъ полновластнѣе господствуетъ надъ его умомъ теософія, созданная его фантазіей, тѣмъ рельефнѣе и непоколебимѣе проявляется въ человѣкѣ та простодушная увѣренность, что весь міръ сотворенъ именно для него, и что все высшее начальство постоянно заботится объ его участи, постоянно слѣдитъ за его поведеніемъ, постоянно подаетъ ему разные сигналы и постоянно готово отвѣчать ему тѣмъ или другимъ путемъ на всѣ его скромные или нескромные вопросы. Этихъ сигналовъ и отвѣтовъ политеистъ ищетъ и въ узорахъ звѣзднаго неба, и въ полетѣ различныхъ птицъ, и въ кишкахъ жертвеннаго животнаго, и въ безсвязныхъ словахъ полоумной пнои, и въ безтолковыхъ сновидѣніяхъ, почерпнутыхъ изъ переполненнаго желудка. Кто во всемъ видитъ совѣтъ сверху или предзнаменованіе, тотъ, разумѣется, на всякую мелочь долженъ обращать вниманіе. Понятно, что эта постоянная внимательность, возбужденная теософіей, собираетъ безсознательно богатый запасъ сырыхъ матеріаловъ, которыми рано или поздно суждено воспользоваться наука. Ученая дѣятельность великаго Гиппократа представляетъ намъ очень яркій примѣръ того искусства, съ которымъ наука прямо изъ рукъ теософіи беретъ собранные ею матеріалы, составляющіе для самой теософіи мертвый капиталъ. Больные, лежавшіе въ храмахъ Асклепія или Эскулапа и получившіе облегченіе, имѣли привычку послѣ выздоровленія описывать свои страданія и оставлять эти описанія въ храмѣ для прославленія вылечившаго ихъ божества. Въ этихъ храмахъ набрались цѣлыя груды подобныхъ описаній; Гиппократъ объѣхалъ всѣ эти храмы, тщательно изучилъ накопившіяся въ нихъ описанія, провѣрилъ ихъ своими личными наблюденіями и составилъ, на основаніи этихъ богатыхъ матеріаловъ, тѣ великолѣпныя характеристики различныхъ болѣзней, которыя своей точностью и наглядностью до сихъ поръ изумляютъ и восхищаютъ лучшихъ представителей медицины.

V.

Съ *искусствомъ* теософія всегда жила въ добромъ согласіи, а политеизмъ, болѣе чѣмъ какая либо другая фаза теософіи, своимъ влі-

яніемъ благопріятствовалъ и содѣйствовалъ развитію всѣхъ различныхъ отраслей художественнаго творчества. Политеизмъ вызывалъ постоянную и напряженную дѣятельность чело-вѣческаго воображенія, которому приходилось рѣшать безапелляціонно всѣ вопросы общаго міросозерцанія. Не трудно понять, что политеизмъ предоставлялъ работѣ воображенія гораздо больше простора, чѣмъ фетишизмъ. Фетишизмъ, одушевляя прямо видимые предметы, принужденъ былъ ограничивать свои фантазіи тѣмъ, что онъ дѣйствительно видѣлъ, или по-крайней мѣрѣ тѣмъ, что ему мерещилось. Для политеиста, напротивъ того, не существовало никакой границы; онъ фантазировалъ совсѣмъ не о тѣхъ предметахъ, которые находились передъ его глазами; для него былъ открытъ міръ невидимыхъ существъ, въ которомъ онъ, разумеется, могъ распоряжаться, какъ ему было угодно. Фетишъ былъ привязанъ къ извѣстному мѣсту, и поэтому объ немъ трудно было сочинить какіе-нибудь сложные и замысловатые мифы; трудно въ самомъ дѣлѣ было на-примѣръ придумать, что дерево вышло замужъ за камень и потомъ вмѣстѣ съ этимъ камнемъ ведетъ войну противъ рѣки. Эти выдумки показались-бы нескладными и неправдоподобными самому грубому фетишисту, который видѣлъ-бы, что дерево, камень и рѣка не имѣютъ между собою ни малѣйшаго соприкосновенія. Напротивъ того, невидимымъ существамъ можно было съ величайшимъ удобствомъ приписывать всевозможные свадбы, ссоры, драки, кутежи, путешествія и всякія другія приключенія, составляющія весь интересъ обыкновенной жизни тогдашняго времени. Словомъ, самое роскошное развитіе мифологіи возможно только въ періодъ политеизма. Тутъ это роскошное развитіе не только возможно, но даже и необходимо.

Еслибы догматическая часть политеизма заключалась только въ сухой и безцвѣтной номенклатурѣ боговъ, управляющихъ различными департаментами природы, то политеизмъ очевидно не могъ-бы имѣть никакого опредѣленнаго вліянія ни на умственную жизнь отдѣльныхъ личностей, ни на общественную жизнь цѣлыхъ націй. Поэты непременно должны были довершить дѣло теософовъ; когда для объясненія какого-нибудь явленія теософы создавали новое божество, тогда поэты тотчасъ овладѣвали этимъ новымъ созданіемъ и обрабатывали во всѣхъ подробностяхъ его фizioномію, его костюмъ, его характеръ, его наклонности и атрибуты, его отношенія къ людямъ, его положеніе въ общей іерархіи безсмертныхъ и всѣ различныя приключенія его жизни, въ которыхъ обнаруживаются его индивидуальныя особенности. Постоянно опираясь такимъ образомъ на поэзію, теософія

конечно постоянно должна была относиться къ ней съ величайшей благосклонностью. Художники и преимущественно поэты считались въ древности любимцами боговъ и самими вѣдѣтельными истолкователями ихъ воли. Разрабатывая такимъ образомъ мифы, поэзія ермѣ того должна была заодно съ теософіей выяснять и распространять нравственное ученіе, вытекающее изъ основныхъ догматовъ господствующей доктрины. Эта задача досталась на долю поэзіи только тогда, когда уже совершилось превращеніе фетишизма въ политеизмъ.

Фетишизмъ не могъ имѣть значительнаго вліянія на нравственные понятія людей, и вслѣдствіе этого поэзія фетишистовъ, не имѣя возможности прислониться съ этой стороны къ господствующей теософіи, принуждена была оставлять почти нетронутой область частной и общественной нравственности, которую она со временъ политеизма навсегда присоединила къ своимъ владѣніямъ. Почему фетишизмъ не дѣйствовалъ на нравственные понятія — объяснить не трудно. Какое дѣло могло быть какому-нибудь фетишу, напримѣръ рѣкѣ, камню, дереву, — до того, хорошо или дурно будетъ вести себя одинъ человѣкъ въ отношеніи къ другому человѣку? Фетишъ могъ требовать себѣ извѣстныхъ знаковъ уваженія и оскорбляться непочтительными поступками, направленными личностями противъ него, но онъ никакъ не могъ превратиться въ повсемѣстнаго блюстителя справедливости, цѣломудрія и всякой нравственной чистоты, не могъ именно потому, что имѣлъ слишкомъ частное значеніе, былъ прикрѣпленъ къ опредѣленному мѣсту и окруженъ множествомъ другихъ, равносильныхъ фетишей. Дикарь легко могъ вообразить, что рѣка сердится, когда въ нее бросаютъ какую-нибудь гадость, но ему никакъ не могло придти въ голову, что рѣка будетъ на него въ претензіи, если онъ украдетъ у своего сосѣда топоръ или лопату. — не могло придти потому, что онъ, дикарь, нисколько не прогибался-бы на своего сосѣда, еслибы тотъ обокралъ какое-нибудь третье лицо. Наблюденія путешественниковъ подтверждаютъ, какъ нельзя лучше, вѣрность этихъ замѣчаній. Нравственные понятія чрезвычайно смутны у всѣхъ первобытныхъ народовъ. Многіе невиннѣйшіе поступки считаются тяжелыми преступленіями, и въ то же время многіе поступки, чрезвычайно вредные для отдѣльныхъ личностей и для цѣлаго общества, кажутся предосудительными только тому человѣку, которому они наносятъ прямой ущербъ. Такъ напримѣръ, у камчадаловъ, по словамъ Вайца («Anthropologie der Naturvölker», I, 324), не позволяется ткнуть пальцемъ въ кусокъ угля или отскребать ножомъ снѣгъ отъ башмаковъ и въ то же время многіе

грубѣйшіе пороки считаются совершенно позволительными. Въ той-же книгѣ Вайцъ рассказываетъ, что у одного бушмена спросили: «что такое добро и что такое зло?»—Бушмень подумалъ и отвѣчалъ: «когда я ворую жену у другихъ людей, — это добро, а когда у меня воруютъ жену—это зло».—Понятіе добра отождествляется такимъ образомъ съ пріятнымъ ощущеніемъ, а понятіе зла—съ непріятнымъ; въ своемъ *основномъ принципѣ* разсужденіе бушмена совершенно вѣрно, но бушмень грѣшитъ тѣмъ, что у него не хватаетъ предусмотрительности, вслѣдствіе чего онъ и рискуетъ поплатиться за минутное наслажденіе продолжительными страданіями. Такъ напримѣръ, видя *дѣлать добро* (то есть воровать чужихъ женъ), онъ рискуетъ *надѣлать очень много зла* (т. е. сильно помять себѣ бока кулаками и дубинами обворованныхъ мужей). Это отсутствіе предусмотрительности составляетъ единственное существенное различіе между нравственными понятіями бушмена съ одной стороны и послѣдовательнаго европейскаго утилитариста съ другой стороны. Изъ этого основнаго различія вытекаютъ всѣ остальные несходства ихъ нравственнаго кодекса. Существенное-же сходство ихъ нравственныхъ понятій заключается въ томъ, что бушмень, какъ грубый фетишистъ, и послѣдовательный утилитаристъ, какъ человѣкъ, совершенно освободившійся отъ теософической опеки, оба не ожидаютъ себѣ сыише ни награды за добро, ни наказанія за зло. У бушмена область между-человѣческихъ отношеній еще не подошла подъ господство теософіи; у утилитариста эта область уже вышла изъ-подъ этого господства; бушмень и утилитаристъ, сходные между собою по *основному принципу* нравственности, стоятъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ историческаго развитія; и бушменскому племени, если оно двинется впередъ по дорогѣ къ практическому позитивизму или утилитаризму, придется на долю отказаться отъ того *основнаго принципа*, къ которому со временемъ, черезъ нѣсколько столѣтій, непременно надо будетъ придти обратно. Бушмену надо сначала ввести въ нравственные понятія элементъ теософической опеки, и это введеніе совершается именно тогда, когда изъ фетишизма вырабатывается политеизмъ. Когда человѣкъ составляетъ себѣ понятіе о такихъ существахъ, которыя издали управляютъ стихіями, посылаютъ дождь и градъ, бурю и саранчу, урожай и голодъ, здоровье и болѣзнь, радость и горе, удачу и неудачу, тогда человѣку уже очень не трудно вообразить себѣ, что эти существа, одаренныя необыкновенной зоркостью, чуткостью и воспримчивостью, способны управлять судьбою своихъ поклонниковъ и то наказывать, то награждать людей за ихъ поступки въ отношеніи къ дру-

гимъ людямъ. Тогда возникаетъ понятіе нравственнаго закона; санкціей этого закона оказывается воля безсмертныхъ; и поэзія, прислоняясь къ теософіи, начинаетъ разяснять и обобщать отдѣльныя статьи установившагося кодекса.

Доктрина политеизма, состоявшая цѣликомъ изъ яркихъ и конкретныхъ образовъ и не заключавшая въ себѣ никакихъ туманныхъ отвлеченностей и логическихъ тонкостей, была въ высшей степени доступна пониманію массъ и вслѣдствіе этого пользовалась въ свое время такой громадной популярностью, какой не достигла впослѣдствіи никакая другая философія. Можно сказать безъ преувеличенія, что въ тѣ времена, когда слагались гомеровскія пѣсни, всѣ греки, отъ перваго до послѣдняго, отъ самаго богатаго до самаго бѣднаго, отъ самаго умнаго до самаго глупаго, одинаково пламенно и простодушно вѣрили въ одни и тѣ-же мифы и плѣнялись одними и тѣми-же идеалами красоты, мужества, смѣтливости и всякихъ другихъ физическихъ и нравственныхъ совершенствъ. Въ цвѣтущее время западной теософіи такого полнаго единодушія между массою и ея вождями не было и не могло быть, потому что высшія теософическія умозрѣнія, поглощавшія силы вождей, постоянно оставались непонятными для массы, которая удовлетворялась попрежнему довольно грубымъ политеизмомъ. Обширная популярность стараго политеизма очевидно составляла одну изъ самыхъ важныхъ причинъ процвѣтанія искусства. Художникъ тѣхъ временъ могъ обращаться съ своими произведеніями къ уму и чувству цѣлаго народа, и цѣлый народъ, отъ правителя государства до послѣдняго пастуха, видѣлъ въ даровитомъ художникѣ достойнаго выразителя общенародныхъ и всѣмъ понятныхъ, дорогихъ и близкихъ идей, вѣровацій и стремленій. Всякій аѳинскій ремесленникъ могъ восхищаться совершенно сознательно мускулами Геркулеса или грудью Венеры; но, чтобы понимать выраженіе лица рафаэлевскихъ мадоннъ, надо предварительно познакомиться съ такими мыслями и съ такими чувствами, которыми мужику заниматься некогда и не зачѣмъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что процвѣтаніе искусства во времена политеизма обусловливается четырьмя главными причинами: *первая*—толчокъ, данный политеизмомъ человѣческому воображенію; *вторая*—участіе поэзіи въ вырабатываніи догматическихъ подробностей; *третья*—подчиненіе между-человѣческихъ отношеній теософическому вліянію; *четвертая*—обширная и единственная въ своемъ родѣ популярность политеизма. — Этими четырьмя причинами объясняются очень удовлетворительно всѣ чудеса греческой поэзіи и греческой скульптуры.

VI.

Въ древнемъ мірѣ война была неизбежна и необходима. Въ періодъ фетишизма война вывела отдѣльные семейства изъ уединенія и сгруппировала ихъ въ небольшія общества. Въ періодъ политеизма война должна была связать эти разрозненные группы людей въ большія государства, внутри которыхъ сдѣлался-бы возможнымъ обширный, постоянный и плодотворный обменъ продуктовъ и идей.

Европеецъ XIX вѣка, мало знакомый съ фizioноміей и характеромъ древности, можетъ усомниться въ необходимости этого связыванія; онъ можетъ подумать, что всякаго рода обмены и сношенія были совершенно совмѣстимы съ существованіемъ множества отдѣльных и независимыхъ политическихъ тѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто-же мѣшаетъ напримѣръ нѣмцу завести банкирскій домъ во Франціи, англичанину—открыть машинную фабрику въ Россіи, русскому—слушать лекціи въ нѣмецкомъ университетѣ, и такъ далѣе? Нѣтъ очевидно никакой надобности соединять Россію, Германію, Францію и Англію въ одну громадную имперію для того, чтобы облегчить или усилить международныя сношенія.

Разсужденіе это очень вѣрно, но къ древности оно не прилагается. Въ древности существовали только двѣ политическія формы: на востокѣ—огромныя монархіи, въ которыхъ гражданинъ имѣлъ право жить до тѣхъ поръ, пока начальство не посадитъ его на колъ, и владѣть имуществомъ до тѣхъ поръ, пока начальство не отберетъ его въ казну; на западѣ—крошечныя республики, величиной съ небольшою русскою уѣздомъ,—республики, въ которыхъ гражданинъ пользовался болѣе обширными правами, но въ которыхъ всѣ права принадлежали именно только коренному гражданину, а никакъ не пріѣзжимъ иностранцамъ. Каждый гражданинъ становился безправнымъ иностранцемъ на разстояніи какихъ-нибудь тридцати или сорока верстъ отъ той площади, на которой онъ, какъ членъ державнаго народа (*peuple souverain*), рѣшалъ судьбу цѣлаго государства. Аѣнины были иностранцемъ въ Мегарѣ въ Оивахъ, въ Коринѣ, въ Аргосѣ, въ Спартѣ. словомъ—во всѣхъ греческихъ городахъ, кромѣ Аѣинъ. Само собою разумѣется, что Аѣины въ этомъ отношеніи платили взаимностью гражданамъ Мегары, Оивъ, Коринѣ и всѣхъ остальныхъ греческихъ республикъ. А каково было положеніе челоѣка, живущаго въ чужомъ городѣ,—это видно всего лучше изъ аѣинскаго закона объ *андроленсін*. Если ка-

кого-нибудь аѣинянина убивали за-границею и если городъ, въ которомъ было совершено убійство, отказывался наказать преступника, то родственникамъ убитаго, по закону объ *андроленсін*, предоставлялось право захватить въ Аѣинахъ трехъ гражданъ провинившагося города и потащить ихъ въ аѣинскій судъ, гдѣ съ ними тотчасъ расправлялись, какъ съ убійцами. Этотъ законъ доказываетъ очень ясно двѣ вещи: во-первыхъ, что убійства иностранцевъ во всѣхъ греческихъ городахъ оставались очень часто безнаказанными; и во-вторыхъ, что различныя республики считали себя въ положеніи греческой вражды между собою и что вслѣдствіе этого личность иностранца никогда не находилась въ полной безопасности и постоянно изображала собою заложника, съ котораго во всякую данную минуту могутъ содрать шкуру за неизвѣстныя ему провинности его соотечественниковъ. Мудрено-ли послѣ этого, что грекъ, родившійся въ одномъ городѣ, не имѣлъ права жениться на гречанкѣ, родившейся въ сосѣднемъ городѣ? Мудрено-ли, что два города острова Крита должны были заключить между собою формальный и торжественный договоръ для того, чтобы браки между ихъ жителями сдѣлались возможными и законными? Мудрено-ли, что въ Аѣинахъ всѣ жители иностраннаго происхожденія (*метики*) были обложены поголовной податью и продавались въ рабство, когда не могли ее уплатить? Мудрено-ли, что греческая республика почти никогда не давала права гражданства иностранцу или даже его потомкамъ, хотя-бы они родились въ городѣ, прожили въ немъ цѣлое столѣтіе и много разъ проливали за него кровь въ сраженіяхъ? Мудрено-ли напримѣръ, что крошечная и безсильная Мегара даровала съ самаго своего основанія право гражданства только двумъ особамъ: Геркулесу и Александру Македонскому? Мудрено-ли наконецъ, что при такихъ условіяхъ сильное движеніе продуктовъ и идей было невозможно, что заниматься обширною торговлею значило быть отчаяннымъ мошенникомъ, и что объединяющія завоеванія были совершенно необходимы для того, чтобы цивилизація и политика могли выбиться изъ грязной колеи греческихъ мелкопомѣстныхъ силетей, перебранокъ и дракъ?

Итакъ, война была необходима, и всякія чувствительныя декламации противъ древнихъ войнъ такъ-же остроумны, какъ напримѣръ сокрушенія о томъ, что семилѣтній ребенокъ неспособенъ рѣшить квадратныя уравненія. Съ этой стороны политеизмъ сильно помогъ историческому движенію, во-первыхъ, возбуждая въ людяхъ воинственныя наклонности, во-вторыхъ, поддерживая въ войскахъ необходимую дисципли-

плину, и въ-третьихъ, ослабляя истребительный характеръ древнихъ войнъ.

Боги политеизма были чисто національными богами, которыхъ значеніе возрастало или понижалось вмѣстѣ съ политическимъ могуществомъ ихъ поклонниковъ. Каждая нація старалась доставить своимъ богамъ господство надъ чужими богами; каждая нація была твердо увѣрена, что ея боги сражаются вмѣстѣ съ нею противъ ея враговъ и вмѣстѣ съ нею торжествуютъ побѣду или терпятъ поражение и падаютъ подъ иго безсмертныхъ покровителей враждебнаго народа. Вслѣдствіе этого религіозный элементъ примѣшивался постоянно въ большей или меньшей степени ко всѣмъ войнамъ, происходившимъ въ древности между различными національностями. Защищаясь противъ персовъ, греки чувствовали, что они защищаютъ своихъ олимпійцевъ; потомъ, нападая на персовъ, греки мстили имъ за разрушеніе и поруганіе своей святыни. Войны противъ персовъ и вообще противъ такъ называемыхъ варваровъ всегда доставляли олимпійцамъ величайшее удовольствіе; весь Олимпъ безраздѣльно былъ въ этомъ случаѣ заодно съ греческими войсками. Напротивъ того, войны между отдѣльными греческими городами всегда были антипатичны олимпійцамъ: затѣвая междоусобную войну, греки чувствовали, что религіозныя вѣрованія не могутъ служить имъ опорой, и вслѣдствіе этого постоянно смотрѣли на подобныя войны, какъ на общенародное страданіе и даже какъ на преступленіе, которое часто становилось неизбѣжнымъ, но никогда не могло сдѣлаться законнымъ и похвальнымъ. Естественныя бѣдствія, поражающія Грецію во время пелопонесской войны, — неурожай, землетрясенія, повальные болѣзни, — постоянно объяснялись гнѣвомъ боговъ, возмущенныхъ раздорами избранной и возлюбленной націи.

Когда лучшіе люди Греціи — философы, поэты, ораторы, — напругали всѣ свои усилія, чтобы положить конецъ безплодному и кровопролитному междоусобию, тогда они постоянно становились на почву общенародныхъ вѣрованій, рисовали яркими красками естественную противоположность между Греціей и Персіей, льстили національной гордости грековъ, разжигали ихъ ненависть противъ восточныхъ варваровъ и этой глубокой ненавистью старались сплотить ихъ разрозненные силы въ непобѣдимый наступательный союзъ. Съ точки зрѣнія отвлеченно-добродѣтельной филантропіи, такая тактика была конечно въ высшей степени предосудительна. Но, становясь на точку зрѣнія положительной исторической науки, мы принуждены сознаться, что благоразуміе и общепользѣ этой тактики въ данную минуту ничего нельзя было придумать. Устранить войну было невозможно; надъ этимъ бесполезно было и задумы-

ваться; можно было выбирать только одно изъ двухъ: или ежедневныя мелкія драки, не ведущія за собою никакихъ результатовъ, кромѣ увѣчья и смертоубійства, или-же огромныя завоевательныя войны, очень кровопролитныя, очень убыточныя, но зато дѣйствительно способныя разбить тѣ китайскія стѣны, которыми огораживалась со всѣхъ сторонъ каждая древняя національность. Передовые люди Греціи постоянно стремились къ послѣднему, то есть къ большой завоевательной войнѣ, и они были совершенно правы, хотя, разумѣется, они при этомъ руководствовались не историко-философскими соображеніями о цивилизирующемъ влияніи войны, а узко-національными страстями и предубѣжденіями. Если можно было чѣмъ-нибудь связать между собою перессорившихся грековъ, то можно было связать ихъ именно только общей ненавистью ихъ къ другимъ народамъ. Политеизмъ подогрѣвалъ эту ненависть и такимъ образомъ оказывалъ людямъ существенную услугу. Конечно исключительный греческій патріотизмъ, основанный на ненависти и на презрѣніи ко всему остальному человѣчеству, долженъ теперь казаться намъ очень узкимъ, мелкимъ и жалкимъ. Но даже и этотъ патріотизмъ покажется намъ очень широкимъ и величественнымъ, если мы сравнимъ его съ патріотизмомъ афинскимъ или евскимъ, основаннымъ на ненависти и на презрѣніи ко всѣмъ варварамъ и кромѣ того даже ко всѣмъ остальнымъ грекамъ. Эти узкіе патріотизмы были гораздо смѣшнѣе, глуше и вреднѣе теперешнихъ лихтенштейнскихъ или рейбсъ-лобенштейнъ-эберсдорфскихъ патріотизмовъ. Парализируя до нѣкоторой степени эти безчисленные патріотизмы влияніемъ общихъ вѣрованій, общихъ праздниковъ, общихъ оракуловъ, политеизмъ приносилъ людямъ несомнѣнную пользу.

Боги политеизма стояли очень близко къ своимъ поклонникамъ и очень часто вступали съ ними въ прямыя сношенія; оракулы и различныя гаданія, имѣвшія государственное значеніе только во времена политеизма, давали каждому вѣрующему полную возможность во всякую данную минуту заглядывать въ будущее и завести разговоръ съ правителями вселенной. Въ тѣ времена, когда въ полудикихъ людяхъ еще слаба была привычка повиноваться какой-бы то ни было власти, эти ежедневныя сношенія съ богами были чрезвычайно полезны для поддержанія той дисциплины, безъ которой война превратилась-бы въ безтолковую, безцѣльную и безплодную драку. Начальникъ войска, стоявшій на одной степени развитія съ своими воинами и вѣрившій совершенно искренно въ оракулы, въ гаданія, въ пророческіе сны, естественнымъ образомъ давалъ всѣмъ этимъ неопредѣленнымъ намекамъ такія толкованія, которыя въ дан-

ную минуту соответствовали его собственным стратегическим соображениям. Эти соображения, освященные таким образом божественным авторитетом, конечно получали для воинов такую обязательную силу, которая была-бы немислима, еслибы начальнику приходилось действовать на своих подчиненных голым страхом наказания. Кроме того поддерживать дисциплину палкой, например в греческих войсках, было довольно затруднительно, потому что в качестве простых воинов сражались за отечество лучшие, знатнейшие и даровитейшие граждане Греции, богачи, аристократы, философы, поэты, политики, историки и ораторы. Только такие воины, шедшие в бой с полным и сознательным воодушевлением, могли разбивать неприятеля, превосходящего их числом раз в двадцать или в тридцать; только таким составом греческих армий объясняются победы, одержанные ими над персами при Марафонѣ и при Платей. А при таком составѣ армий дисциплина конечно могла поддерживаться только идеями и вѣрованіями, а не шпицрутенами.

Разогрѣвая воинственные страсти и укрѣпляя дисциплину, политеизмъ въ то-же время ослабляетъ истребительный характеръ международныхъ столкновений. Когда фетишисты дерутся между собой, тогда они стараются преимущественно о томъ, чтобы зарѣзать, изжарить и съѣсть неприятеля; война между людьми имѣетъ въ это время почти такой-же характеръ, какъ война людей съ дикими животными; вліяніе теософической доктрины проявляется только въ томъ, что побѣдитель приглашаетъ своихъ фетишей къ себѣ на пиръ и угощаетъ ихъ человѣческимъ мясомъ, добытымъ во время сраженія или послѣ побѣды. О какихъ-бы то ни было политическихъ или экономическихъ отношеніяхъ между побѣдителями и побѣжденными не можетъ быть и рѣчи тогда, когда побѣжденный изображаетъ своей особой кусокъ мяса, болѣе или менѣе жирный и болѣе или менѣе удовлетворительный въ гастрономическомъ отношеніи. Возможность примиренія между побѣдителями и побѣжденными является только тогда, когда область между-человѣческихъ отношеній подчиняется вліянію господствующей теософической доктрины. Этотъ общій прогрессъ въ господствующемъ міросозерцаніи, съ своей стороны, становится возможнымъ только тогда, когда настоятельныя, ежедневныя требованія желудка начинаютъ получать себѣ болѣе правильное и болѣе обильное удовлетвореніе. Что идетъ впередъ, матеріальное или умственное совершенствованіе, рѣшить довольно трудно; но можно сказать навѣрное, что значительные успѣхи въ общемъ міросозерцаніи

совершенно невозможны тамъ, гдѣ физическія условія не допускаютъ никакихъ существенныхъ улучшеній матеріальнаго быта. У народовъ, дошедшихъ до политеизма, людоедство и связанная съ нимъ человѣческія жертвоприношенія, то есть приглашеніе фетишей на приготовленный пиръ, обыкновенно исчезаютъ. Войны ведутся не за тѣмъ, чтобы превратить побѣжденного врага въ такое кушанье, а за тѣмъ, чтобы подчинить его господству побѣдителя; вмѣсто звѣрской кровожадности главнымъ двигателемъ войны является властолюбіе; на человѣка, въ которомъ видѣли прежде кусокъ мяса, начинаютъ смотрѣть, какъ на рабочую силу; словомъ, систематическое людоедство замѣняется такимъ-же систематическимъ порабощеніемъ побѣжденныхъ людей. Это порабощеніе находится въ полной гармоніи съ основнымъ характеромъ политеизма: какъ побѣдители господствуютъ надъ побѣжденными, такъ точно и боги побѣдителей господствуютъ надъ богами побѣжденныхъ,—надъ богами, которые однако, отступая на задній планъ, нисколько не теряютъ своего божественнаго достоинства; несмотря на религіозный характеръ политическихъ войнъ, побѣда однихъ политеистовъ надъ другими не ведетъ за собою никакихъ религіозныхъ преслѣдованій и никакого насильственнаго обращенія побѣжденныхъ къ теософическому міросозерцанію побѣдителей. Послѣ побѣды совершается обыкновенно простое, механическое сліянیه политестическихъ доктринъ; если напримеръ у побѣжденныхъ было двадцать боговъ, а у побѣдителей—пятинадцать, то послѣ побѣды въ государствѣ, составившемся изъ побѣдителей и побѣжденныхъ, окажется всего тридцать пять боговъ, причемъ, разумѣется, богамъ побѣдителей станутъ высшія мѣста, а богамъ побѣжденныхъ—низшія. Религіознаго антагонизма не будетъ ни малѣйшаго, тѣмъ болѣе, что сами побѣжденные увидятъ въ своемъ собственномъ пораженіи ясное доказательство превосходства чужихъ покровителей. Отсутствие религіозной ненависти облегчитъ въ очень значительной степени сліянیه побѣдителей и побѣжденныхъ въ одинъ народъ; двѣ различныя націи превратятся понемногу въ два различныя сословія, отдѣленные другъ отъ друга тонкими и шаткими перегородками, которыя, рано или поздно, будутъ подточены и опрокинуты естественнымъ развитіемъ промышленной дѣятельности и политической жизни.

Для обширныхъ и прочихъ завоеваній искренній политеизмъ удобнѣе и полезнѣе всѣхъ остальныхъ формъ теософическаго міросозерцанія. Монотеизмъ не соответствуетъ потребностямъ завоевательной эпохи именно потому, что онъ составляетъ высшую фазу умственнаго развитія, наступающую обыкно-

венно тогда, когда обширныя завоеванія уже окончены и когда различныя націи, соединенныя подъ однимъ господствомъ, уже успѣли подѣйствовать другъ на друга обмѣномъ вѣрованій, обычаевъ и понятій. Войны искреннихъ и ревностныхъ монотеистовъ отличаются обыкновенно самой систематической и чисто-истребительной жестокостью. Политеистъ въ богатъ своего врага видитъ все-таки боговъ, которыхъ онъ уважаетъ, хотя и старается подчинить ихъ господству своихъ собственныхъ безсмертныхъ покровителей. Для монотеиста, напротивъ того, всякіе чужіе боги — непримиримые враги, съ поклонниками которыхъ невозможенъ никакіе компромиссы и не-обязательны никакіе договоры. Монотеисты поступали именно такимъ образомъ вездѣ, гдѣ они дѣйствовали подъ исключительнымъ вліяніемъ своего теософическаго міросозерцанія. Для примѣра достаточно будетъ вспомнить о томъ, какимъ образомъ евреи покорили Палестину или какимъ образомъ распоряжались испанцы въ Андалузіи съ маврами, а въ Америкѣ — съ индѣйцами. Въ концѣ прошлаго столѣтія искренніе и ревностные монотеисты, вандейцы и шуаны, воевали съ невѣрующими гражданами французской республики; эта война была очень похожа на дѣйствія испанцевъ въ Андалузіи и въ Америкѣ; благочестивые роялисты старались вразумлять плѣнныхъ волтеріанцевъ — сдираніемъ кожи, ломаніемъ костей, поджариваніемъ на медленномъ огнѣ, закапываніемъ въ землю и всякими другими инквизиторскими затѣями. Еслибы завоеватели древняго міра, Александръ Македонскій, Сципіонъ, Лукуллъ, Помпей, Цезарь, были искренними и ревностными монотеистами, они навѣрное пролили-бы въ десять разъ больше крови, и цѣной этой крови не купили-бы никакихъ прочныхъ политическихъ результатовъ.

VII.

Вся экономическая жизнь древнихъ обществъ была построена на *рабствѣ*, и положительная философія, къ немалому ужасу всѣхъ добродѣтельныхъ либераловъ, доказываетъ неопровержимо, что въ свое время рабство было такъ же неизбежно и необходимо, какъ завоевательныя войны. Во-первыхъ, дикій фетишизмъ не могъ-же сразу превратиться въ расиновскаго героя, объявляющаго своему врагу, что, побѣдивши его оружіемъ, онъ вслѣдъ затѣмъ желаетъ немедленно побѣдить его деликатностью и великодушіемъ. Чтобы воздержаться отъ зарѣзыванія и пожиранія плѣнниковъ, суровому побѣдителю надо было непременно имѣть въ виду, что, оставаясь въ живыхъ, плѣнники доставятъ ему значительную выгоду, далеко превѣщающую мимолетное экономическое

наслажденіе. А въ чемъ-же могла состоять эта выгода? Очевидно только въ той работѣ, къ которой можно было привеволить плѣнниковъ, или-же — въ томъ выкупѣ, который можно было вытребовать за нихъ отъ ихъ родственниковъ. Но когда была завоевана цѣлая страна, тогда выкупъ становился невозможнымъ, потому что все имущество жителей само собою превращалось въ собственность побѣдителей; тогда побѣжденные могли откупиться отъ смерти только своимъ личнымъ трудомъ, и рабство было неизбежно. Еслибы побѣдителямъ не приходила въ голову простая и естественная мысль обратиться въ свою пользу трудъ побѣжденныхъ, то безпрестанныя истребительныя войны могли-бы стереть съ лица земли всю нашу породу, такъ точно, какъ это случилось съ очень многими племенами сѣверо-американскихъ индѣйцевъ, имѣвшихъ привычку замучивать до смерти своихъ военно-плѣнныхъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что рабство спасло нашу породу отъ истребленія, и что лѣнь, корыстолюбіе и властолюбіе побѣдителей очень долго были единственнымъ возможнымъ двигателемъ экономическаго и даже нравственнаго совершенствованія. Клинь надо было выбивать клиномъ; кровожадность людоеда можно было вытѣснить только низкими своекорыстными инстинктами рабовладѣльца.

Далѣе, рабство составляетъ ту единственную школу, которая могла переработать неукротимый темпераментъ дикаря и превратить лѣнивое и кровожадное животное въ разсудительнаго и трудолюбиваго ремесленника. Эта школа отличалась крайней суровостью, но рекомендовать въ отношеніи къ дикарю мягкія воспитательныя средства могутъ только тѣ добродушные люди, которые полагаютъ, что дикарь отличается отъ нашего простолюдина только оригинальностью своего костюма и отсутствіемъ нѣкоторыхъ элементарныхъ знаній по части общественнаго этикета. Кромѣ того мягкія воспитательныя средства возможны только тогда, когда воспитатель по своему умственному развитію стоитъ гораздо выше своего воспитанника; но такъ какъ рабовладѣлецъ и рабъ были оба одинаково первобытными людьми, то, разумѣется, они и должны были дѣйствовать другъ на друга самыми первобытными средствами. Полное отвращеніе къ труду, совершенное отсутствіе предусмотрительности и звѣрская страстность составляютъ общіе отличительные признаки всѣхъ дикихъ народовъ. Когда всѣ обитатели нашей планеты были одарены этими наклонностями, тогда, разумѣется, всѣ хотѣли воевать и бражничать, и никто не хотѣлъ работать. Но такъ какъ кому-нибудь непременно надо было работать, то, разумѣется, роль рабочей скотины досталась слабѣйшимъ членамъ каждой отдѣльной семьи, то-есть женщинамъ.

Нѣтъ ни одного дикаго народа, у котораго женщина не была-бы порабощена и завалена непосильной работой. Слѣдовательно, когда какой-нибудь древній завоеватель покорялъ какую-нибудь страну и порабощалъ ея жителей, тогда фактъ порабощенія не былъ совершенно новымъ явленіемъ; рабство не вводилось вновь, оно только распространялось и видоизмѣнялось. Если-же мы поставимъ себѣ вопросъ: которая изъ двухъ формъ рабства полезнѣе, порабощеніе-ли женщинъ мужчинами, или-же порабощеніе одной націи другой націей, то намъ во всѣхъ отношеніяхъ придется отдать предпочтеніе второй формѣ. Рабство женщинъ, доставляющее мужчинамъ возможность драться и кутить, можетъ продолжаться безгранично долго; въ этомъ рабствѣ нѣтъ никакихъ задатковъ развитія; это рабство само себя поддерживаетъ; оно могло-бы прекратиться только тогда, когда измѣнились-бы вкусы мужчины, а этимъ вкусамъ нѣтъ никакого основанія измѣняться, если только ихъ не измѣнитъ давленіе внѣшнихъ обстоятельствъ. Женщина будетъ надрываться надъ работою, мужчина будетъ буянить или бить баклуши, и семья будетъ жить въ грязи и въ нуждѣ до тѣхъ поръ, пока не произойдетъ завоеваніе и пока не возникнетъ новая форма рабства. Невозможно даже и представить себѣ, чтобы какое-нибудь другое событіе могло положить конецъ мелкимъ дракамъ и глупой праздности безпечныхъ дикарей. Завоеваніе привноситъ съ собою вынужденный миръ, желѣзный гнетъ и обязательный трудъ. Дикарямъ приходится очень тяжело; они отказываются работать и бунтуютъ; ихъ усмиряютъ жестокими казнями; страданія нѣсколькихъ поколѣній оказываются необходимыми для того, чтобы перевоспитать дикую природу, чтобы укротить воинственные порывы и чтобы создать привычку къ правильному труду. Наконецъ, когда характеръ населенія переработанъ, когда привычка къ миролюбивымъ промышленнымъ занятіямъ приобрѣтена, тогда рабъ начинаетъ мечтать не о томъ, чтобы воевать и лежать на боку, какъ дѣлали его славные предки, — а о томъ, чтобы работать на самого себя, то есть потреблять вмѣстѣ съ своимъ семействомъ продукты собственнаго труда. Тогда историческая роль рабства оказывается законченной; уродливый стороны этого отжившаго учрежденія начинаютъ мозолить глаза всѣмъ честнымъ мыслителямъ даннаго общества и напоминаютъ о себѣ различными болѣзненными явленіями во всѣхъ отрасляхъ промышленной, политической и умственной жизни. Сами рабовладѣльцы начинаютъ замѣчать, что доброе, старое время невозвратно, и наконецъ рабство такъ или иначе, путемъ законнаго преобразованія или насильственнаго переворота, уходитъ въ область исторіи.

Впрочемъ паденіе рабства невозможно и тѣхъ поръ, пока не прекратится завоевательная дѣятельность господствующихъ классовъ. Война и рабство, взаимно поддерживая друг друга, идутъ постоянно рука объ руку. Съ одной стороны, война постоянно наполняетъ невольничьи рынки дешевымъ человѣческимъ товаромъ. Съ другой стороны, даровой трудъ, придавая всѣмъ хозяйственнымъ и промышленнымъ операціямъ самый простѣйшій и первобытный характеръ, позволяетъ богачамъ и аристократамъ направлять всѣ ихъ умственные силы на далекія военныя предпріятія. Паденіе рабства непремѣнно парализовало-бы дѣятельность завоевателей, потому что тогда внутреннія заботы тотчасъ одержали-бы перевѣсъ надъ внѣшними. Но именно по этой причинѣ паденіе рабства и немисливо тогда, когда господствуетъ завоевательная политика; тогда завоеватели берегутъ рабство, какъ зѣницу ока; они совершенно справедливо видятъ въ немъ необходимый фундаментъ своего военнаго могущества и, чтобы отстоять этотъ фундаментъ, готовы рѣшиться на самыя тяжелыя пожертвованія и кинуться въ самую опасную борьбу. Достаточно вспомнить, съ какой непоколебимой энергіей Крассъ и Помпей подавляли возмущеніе невольниковъ и гладиаторовъ. Когда возмутились противъ Рима итальянскіе города, тогда Римъ пошелъ на уступки. Но уступки невольникамъ были для него немислимы; сенатъ понималъ очень хорошо, что если фундаментъ начнетъ шевелиться и заявлять свои человѣческія права, то произойдетъ немедленно радикальный переворотъ, послѣ котораго новымъ людямъ придется перестраивать заново все общественное зданіе, по новому плану и на немислимыхъ для сенаторовъ основаніяхъ. Общественный порядокъ, построенный на рабствѣ, никогда не можетъ считать себя совершенно прочнымъ; онъ постоянно подвергается болѣе или менѣе сильнымъ конвульсіямъ, въ которыхъ обнаруживаются намеки на предстоящій переворотъ и задатки будущаго обновленія. Еслибы къ естественнымъ затрудненіямъ, вытекающимъ изъ самаго существованія рабства, присоединились еще какія-нибудь религіозныя затрудненія, еслибы преявилось несогласіе между идеей рабства и нравленіемъ господствующей теософической доктрины, то бытъ-можетъ государственнымъ людямъ древности не удалось-бы поддержать рабовладѣльскій порядокъ вещей до окончанія завоевательной эпохи. Къ счастью для воинственныхъ рабовладѣльцевъ, политизмъ былъ въ этомъ отношеніи очень удобенъ, уступчивъ и стоворчивъ. Онъ не требовалъ отъ своихъ адептовъ религіозной нетерпимости и въ то-же время не воспитывалъ въ нихъ чувства религіознаго равенства. Боги побѣжденныхъ вхо-

длинъ въ пантеонѣ побѣдителя, но занимали въ этомъ пантеонѣ низшія мѣста. Неравенство между людьми освящалось такимъ образомъ неравенствомъ, существовавшимъ въ мірѣ боговъ, и въ то-же время между рабомъ и господиномъ не оставалось мѣста для взаимной религіозной ненависти. Многочисленные возмущенія рабовъ были постоянно направлены только противъ невыносимыхъ жестокостей и злоупотребленій; до полного догматическаго отрицанія рабства никогда не возвышались въ древнемъ мірѣ даже сами рабы. Это отрицаніе созрѣло впоследствии подъ влияніемъ монотеистическихъ доктринъ, которыя по своему основному направленію настолько-же враждебны войнѣ и рабству, насколько политеизмъ имъ благопріятенъ. Конечно и война, и рабство могутъ втеченіи дѣльных столѣтій уживаться вмѣстѣ съ монотеизмомъ, но это значитъ только, что какія-нибудь мѣстныя особенности, климатическія или этнографическія, мѣшаютъ господствующей доктринѣ развиться изъ себя и провести въ общественное сознаніе тѣ практическія требованія, которыя вытекаютъ изъ нея прямымъ логическимъ путемъ.

Особенно важно и благопріятно для рабства и для завоевательной политики было то обстоятельство, что обѣ власти, свѣтская и духовная,—или, другими словами, *практическая и теоретическая* *)—во все время господства политеизма сосредоточивались въ однихъ рукахъ. Кто управлялъ дѣлами государства, тотъ былъ верховнымъ судьей и въ области вѣрованій. Истолкованіе доктрины находилось въ рукахъ того самаго класса, который пользовался плодами завоеваній и извлекалъ себѣ личную выгоду изъ обязательнаго труда. Въ тѣхъ древнихъ обществахъ, которыя по географическимъ особенностямъ своего положенія были избавлены отъ необходимости вести постоянныя войны, напримѣръ въ Египтѣ и въ Индіи, жрецы давали направленіе всей внутренней и вѣщей политикѣ. Въ тѣхъ обществахъ, напротивъ того, для которыхъ война была постояннымъ занятіемъ, напримѣръ въ Греціи и въ Римѣ, военные правители государства были сами жрецами или по крайней мѣрѣ держали жрецовъ въ полномъ повиновеніи. Въ обоихъ

случаяхъ раздвоеніе властей не существовало: жрецъ и правитель сливались въ одномъ лицѣ или по крайней мѣрѣ въ одномъ господствующемъ классѣ, съ той только разницей, что въ первомъ случаѣ политическая дѣятельность являлась однимъ изъ атрибутовъ жреца, а во второмъ случаѣ жреческая дѣятельность являлась однимъ изъ атрибутовъ воина. Въ обоихъ случаяхъ это влияніе властей вело за собою тотъ естественный результатъ, что теософическая доктрина очень искусно принаровливалась къ потребностямъ текущей политики и превращалась въ орудіе господства въ первомъ случаѣ—для жрецовъ, во второмъ—для завоевателей. Такъ какъ рабство было выгодно для господствующаго класса, то, разумѣется, оно не могло встрѣтить себѣ никакихъ возраженій со стороны доктринъ, которыхъ храненіе и комментированіе находились въ рукахъ того-же господствующаго класса.

VIII.

Сохраняя свои общія типическія свойства, политеизмъ проявляется въ трехъ различныхъ историческихъ формахъ. Представителями этихъ трехъ формъ могутъ служить Индія, Греція и Римъ. Въ первой мы видимъ чистую теократію. Во второй—военный политеизмъ, задержанный въ своемъ развитіи. Въ третьемъ—военный политеизмъ, развернувшій всѣ свои силы и принявшій строго опредѣленное и совершенно послѣдовательное завоевательное направленіе.

Основной характеръ *чистой теократіи* заключается въ строгой наслѣдственности всѣхъ общественныхъ должностей и всѣхъ отраслей частной промышленности. При этомъ общественномъ устройствѣ вся нація распадается на извѣстное число строго разграниченныхъ кастъ, въ которыя никому не позволяется входить со стороны и изъ которыхъ никому не позволено выходить вонъ. Сынъ жреца долженъ быть жрецомъ; сынъ воина—воиномъ; сынъ пастуха—пастухомъ, и такъ далѣе. На личныя способности и наклонности при этомъ не обращается никакого вниманія, тѣмъ болѣе, что принципъ кастъ, освященный многовѣковой древностью установившагося обычая, получаетъ себѣ кромѣ того сверхъестественную санкцію посредствомъ какого-нибудь замысловатаго космогоническаго мифа. Такъ напримѣръ, индійскій политеизмъ выводитъ существованіе кастъ изъ того обстоятельства, что Брами создалъ людей изъ *различныхъ* частей своего тѣла и такимъ образомъ самъ отъ вѣка установилъ между людьми естественное неравенство.

Наслѣдственность занятій неизбежна въ такое время, когда все воспитаніе основано исключительно на механическомъ подражаніи

*) Контъ постоянно употребляетъ выраженія *puvoir temporel* и *puvoir spirituel*. Если переводить эти слова буквально, то надо будетъ переводить: *свѣтская власть* и *духовная власть*. Но эти слова имѣютъ по-русски слишкомъ специальное значеніе, и поэтому я предпочитаю употреблять болѣе общія выраженія: *практическая власть* и *теоретическая власть*. Мое намѣреніе оправдывается тѣмъ, что самъ Контъ въ пятомъ томѣ своей «Положительной философіи» говоритъ: «*principaux pouvoirs politiques, soit temporels ou pratiques, soit même spirituels ou théoretiques*». Temporel и pratique, spirituel и théoretique оказываются равносильными терминами.

очень понятно, что ребенок съ малых лѣтъ присматривается къ отцовскому ремеслу, потомъ, подростая, начинаетъ помогать отцу въ его занятіяхъ и наконецъ, сдѣлавшись юношей, оказывается достаточно приготовленнымъ, чтобы работать вмѣстѣ съ отцомъ или даже чтобы совершенно замѣнить его, если ему уже пора на покой. Наслѣдственность занятій существуетъ въ очень обширныхъ размѣрахъ даже въ современныхъ европейскихъ обществахъ. Почти всѣ хлѣбопашцы занимаются своимъ дѣломъ по наслѣдству и навѣрное ведутъ эту ненарушимую преемственность занятій съ такихъ отдаленныхъ временъ, до которыхъ не восходятъ даже самыя баснословныя генеалогіи древнѣйшихъ аристократическихъ фамилій. Но если фактъ наслѣдственности существуетъ повсемѣстно, то возведеніе этого факта въ обязательный принципъ все таки становится возможнымъ только при особенныхъ и исключительныхъ обстоятельствахъ, парализирующихъ развитіе военной дѣятельности. Когда страна лежитъ въ тепломъ климатѣ и обладаетъ плодородной почвой, когда она защищена со всѣхъ сторонъ морями, горами или пустынями, тогда она становится колыбелью ранней цивилизаціи, которая, развившись до чистой теократіи, останавливается и замираетъ въ этой политической формѣ. Создавши себѣ множество боговъ, то есть, возвысившись до политеизма, обитатели тихой и плодородной страны начинаютъ нуждаться въ посредникахъ, то-есть въ такихъ людяхъ, которые умѣли-бы передавать богамъ просьбы простыхъ поклонниковъ и склонять въ ту или въ другую сторону волю боговъ точнымъ соблюденіемъ всѣхъ мельчайшихъ условій необходимаго мистическаго этикета. Важное умѣнье дипломатизировать съ богами и съ поклонниками требуетъ сначала особенныхъ способностей, а потомъ продолжительнаго навыка. Поэтому надо полагать, что первыми жрецами сдѣлались люди, одаренные пылкимъ воображеніемъ и изворотливымъ умомъ; потомъ эти первые жрецы должны были передать свое прибыльное искусство своимъ дѣтямъ, и жреческія обязанности, подобно всякому другому ремеслу, должны были понемногу превратиться въ неотъемлемое достояніе извѣстныхъ родовъ. Эти жреческія фамиліи были очевидно поставлены въ такое выгодное положеніе, что, даже обладая самыми обыкновенными способностями, онѣ непремѣнно должны были захватить въ свои руки обѣ отрасли политическаго господства—теоретическую и практическую. Для этого требовалось только одно условіе: отсутствіе вѣшной войны. Соблюденіе этого необходимаго условія становится очень правдоподобнымъ, если взять въ расчетъ почву, климатъ и географическое положеніе разсматриваемой страны. Изобиліе плодовъ земныхъ извѣщаетъ жителей отъ

необходимости идти за добычей въ чужія земли, а естественныя границы страны—моря, горы и пустыни—ограждаютъ ее отъ постороннихъ вторженій; такимъ образомъ жители могутъ очень легко обойтись какъ безъ наступательной, такъ и безъ оборонительной войны. Отсутствіе настоящей необходимости въ войнѣ даетъ жрецамъ полную возможность укоренить понемногу въ умахъ соотечественниковъ то убѣжденіе, что ихъ страна—лучше всѣхъ земель въ мірѣ, что всѣ иностранцы—поганые люди, съ которыми не должно имѣть никакихъ сношеній, что мореплаваніе—смертный грѣхъ, что путешествовать—значитъ осквернять себя соприкосновеніемъ съ погаными землями и съ погаными людьми, и что вообще порядочный человѣкъ долженъ непремѣнно жить дома, вести себя скромно—и кормить жрецовъ до отвала. Задача жрецовъ значительно облегчается естественнымъ пристрастіемъ неразвитыхъ людей ко всему знакомому и родному и такимъ-же естественнымъ отвращеніемъ ихъ ко всему незнакому и чужому. Жрецамъ надо только возвести эти самородные инстинкты на степень религіознаго догмата; какъ только это дѣло сдѣлано, такъ страна уже обведена прочной китайской стѣной, подъ прикрытіемъ которой роскошное растеніе теократіи можетъ процвѣтать втеченіи цѣлыхъ тысячелѣтій.

Междоусобныя войны не могутъ помѣшать развитію теократіи; всѣ приготовленія къ междоусобной войнѣ должны происходить передъ глазами самихъ жрецовъ; слѣдовательно, если жрецы не одобряютъ этой войны, то они имѣютъ полную возможность задавить ее въ самомъ зародышѣ, дѣйствуя на отдѣльныя группы соотечественниковъ то просьбами, то совѣтами, то угрозами, то различными хитростями. Принимая на себя благообразную роль примирителей, устраняя поводы къ несогласіямъ и разбирая возникающія ссоры между отдѣльными личностями или даже между цѣлыми деревнями, жрецы значительно усиливаютъ и упрочиваютъ свое вліяніе на массу. Огромное преимущество жрецовъ передъ всѣми остальными жителями страны состоитъ въ томъ, что они имѣютъ очень много свободнаго времени; ихъ обязанность, по мнѣнію ихъ добродушныхъ соотечественниковъ, состоитъ въ томъ, чтобы постоянно бесѣдовать съ высшими существами, выслушивать и запоминать ихъ волю, угождать всѣмъ ихъ желаніямъ, и вообще всѣми возможными средствами поддерживать полную гармонію между населеніемъ страны и безсмертными его покровителями. Мыслители прошлаго столѣтія относились, какъ извѣстно, очень непочтительно къ этимъ своеобразнымъ занятіямъ жрецовъ; люди XVIII вѣка говорили со свойственной имъ рѣзкостью, что жрецы просто морочили людей, рассказывая имъ, ради денегъ и ради

власти, такіа сказки, которымъ сами нисколько не вѣрили. Это мнѣніе, соблазнительное по своей простотѣ, оказывается при ближайшемъ разсмотрѣніи очень шаткимъ и поверхностнымъ. Спрашивается: почему и какимъ образомъ жрецы могли знать, что тѣ исторіи, которыя они рассказываютъ людямъ,—чистыя небылицы, и что тѣ магическія церемоніи, которыя они совершаютъ, не имѣютъ ни малѣйшаго вліянія на естественный ходъ событій? Что жрецы давали людямъ свои гипотезы за несомнѣнную истину—это очевидно; но если мы заподозримъ жрецовъ въ томъ, что они, публикуя свои гипотезы, были сами твердо убѣждены въ ихъ совершенной ложности, то мы точно также должны будемъ приписать такую-же сознательную недобросовѣстность тѣмъ безчисленнымъ современнымъ ученымъ, которыхъ теоріи оказываются несостоятельными передъ судомъ болѣе проницательныхъ или болѣе осторожныхъ изслѣдователей.

Знать достоверно ложность какой-нибудь теоріи можетъ только тотъ человѣкъ, который знаетъ истинное объясненіе или по крайней мѣрѣ знаетъ нѣсколько фактовъ, совершенно несомнѣнныхъ съ данной теоріей. Но развѣ-же жрецы могли обладать такими обширными знаніями, которыя могли-бы доказать имъ несостоятельность теософическаго міросозерцанія? Еслибы они, полудикіе люди, возвысились вдругъ до положительнаго пониманія природы, то въ этомъ исполнскомъ прыжкѣ человѣческаго ума на самую вершину историческаго развитія конечно надо было-бы видѣть еще болѣе необъяснимое чудо, чѣмъ всѣ тѣ чудеса, о которыхъ жрецы простоудшно рассказывали простоудшнымъ поклонникамъ. Далѣе, если мы даже допустимъ существованіе этого невозможнѣйшаго изъ всѣхъ невозможныхъ чудесъ, то передъ нами возникнетъ еще одна непобѣдимая психологическая трудность: если жрецы знали истинное объясненіе всей космической загадки, то какая надобность имъ была выдумывать ложное объясненіе и тщательно прятать истинное? Имъ хотѣлось богатства и власти? Прекрасно. Но истинное объясненіе доставило-бы имъ въ изобиліи и то, и другое. Куда-бы они ни повели народъ, въ фантастическую-ли область міеологій, или въ свѣтлый міръ реального знанія, во всякомъ случаѣ *они*, а не другіе люди, оказались-бы вождями народа и воспользовались-бы безпрепятственно всѣми выгодами и преимуществами, которыя достаются вездѣ и всегда на долю вождей. Когда извѣстное направленіе уже принято, когда въ жреческомъ сословіи уже составились свои опредѣленные традиціи, когда народъ уже сжилась съ міеологическими сказками и съ магическими обрядами, тогда конечно жрецамъ гораздо легче и выгоднѣе поддерживать мелкими плутнями авторитетъ установив-

шихся понятій и привычекъ, чѣмъ прокладывать серьезнымъ умственнымъ трудомъ новыя дороги. Но вѣдь было-же время, когда *все* дороги были новыми. Въ это время жрецы шли по той единственной дорогѣ, которая была для нихъ возможна, и шли съ самымъ искреннимъ убѣжденіемъ, что эта дорога дѣйствительно ведетъ къ истинѣ, къ добру и къ началу всѣхъ началъ. Эти первобытныя времена недоступны изслѣдованіямъ историка. Вездѣ, гдѣ историкъ видитъ теократію, онъ застаётъ ее уже въ томъ періодѣ ея существованія, въ которомъ она, являясь вреднымъ тормазомъ умственного и общественнаго движенія, охраняетъ съ старческимъ упорствомъ огромные запасы мнѣческихъ преданій, магическихъ церемоній, бесполезныхъ обычаевъ и уродливыхъ учреждений. Но само собою разумѣется, что теократія не могла отличаться этими свойствами съ самаго начала своего существованія. Ей непременно надо-же было сначала *собрать* тѣ сокровища, которыя она впоследствии стала *охранять*. Ей непременно надо-же было сначала *приобрести* чѣмъ-нибудь то слѣпое довѣріе массъ, на которое она впоследствии стала опираться. Нѣтъ и не можетъ быть такой дряхлой старухи, которая въ свое время не была-бы молодой дѣвушкой. Теократія также имѣла свой періодъ молодости, дѣятельной силы и позитической искренности. Теократія въ свое время была прогрессивнымъ и благотѣльнымъ элементомъ. Это мнѣніе историкъ можетъ высказать даже а priori, потому что еслибы этого не было, то теократія никакимъ образомъ не могла-бы привиться къ народной жизни и пустить въ нее глубокіе корни. Дарвиновскій законъ естественнаго выбора прилагается къ жизни идей и учреждений такъ точно, какъ и къ жизни органическихъ существъ. Сохраняется только то, что само по себѣ крѣпко и приспособлено къ обстоятельствамъ времени и мѣста.

Не трудно объяснить, въ чемъ именно заключалось благотворное вліяніе возникающей теократіи. Это вліяніе вытекало именно изъ того условія, которое составляло, какъ я замѣтилъ выше, огромное преимущество жрецовъ надъ массой. Обеспечивая матеріальное благосостояніе нѣкоторыхъ избранныхъ личностей, избавляя этихъ даровитыхъ родоначальниковъ будущей жреческой касты отъ физическаго труда и отъ всякихъ мелкихъ житейскихъ заботъ, народъ требовалъ отъ своихъ избранниковъ, чтобы они безраздѣльно предавались изученію теософическихъ тайнъ, которыя въ то время какъ массѣ, такъ и ея избранникамъ казались единственнымъ ключомъ къ разрѣшенію всевозможныхъ космическихъ, нравственныхъ, юридическихъ, технологическихъ и социальныхъ вопросовъ. Спрашивается: чѣмъ должны были наполнить свои безконечныя досуги тѣ даровитые

люди, которые самымъ добросовѣстнымъ образомъ желали оправдать довѣріе соотечественниковъ? Какимъ образомъ могли они приняты за изученіе тѣхъ таинственныхъ особъ, съ которыми имъ вѣдно было вступить въ постоянныя сношенія? Старыхъ книгъ у нихъ не было; торной дороги для нихъ не существовало; значитъ, надо было пробивать эту дорогу силами собственнаго ума и воображенія; средство для этого имѣлось только одно: принимая всю природу за раскрытую книгу, надо было вглядываться, вслушиваться, вдумываться, вживаться во всё окружающія явленія. Сопркосновеніе неиспорченнаго человѣческаго ума съ живой природой никогда не можетъ оставаться совершенно безплоднымъ. Вмѣстѣ съ громаднымъ количествомъ галлюцинацій, ошибочныхъ гипотезъ и безобразныхъ мнѣній основатели древнихъ теократій вынесли изъ своей тихой созерцательной жизни нѣсколько замѣчательныхъ наблюденій, которыхъ не могли-бы собрать и удержать въ памяти ни воины, постоянно погруженные въ тревоги боевой жизни, ни чернорабочіе, задавленные грубымъ мускульнымъ трудомъ. Всѣмъ извѣстно, что древнѣйшія въ мірѣ астрономическія наблюденія принадлежатъ жрецамъ Индіи, Египта и Ассиріи. Всѣмъ извѣстно также, что медицина, ариометика, геометрія и пластическія искусства родились въ тѣхъ-же жреческихъ коллегіяхъ. Ни въ какомъ другомъ мѣстѣ они и не могли родиться. Для ихъ рожденія необходимо было существованіе особаго класса людей, освобожденныхъ отъ всякихъ практическихъ заботъ и прикованныхъ личными выгодами къ наблюденію, созерцанію и размышленію. Такъ какъ полудикимъ политестамъ никакъ не могла придти въ голову блистательная мысль устроить академію наукъ или какое-нибудь общество любителей естествознанія, то само собой разумѣется, что первая корпорація изслѣдователей и мыслителей могла появиться на свѣтъ только въ видѣ жреческаго сословія.

Но, родившись въ жреческихъ коллегіяхъ, науки и искусства не могли въ нихъ развиваться. Основатели теократіи были пытливыми изслѣдователями и смѣлыми мыслителями; отдаленные потомки ихъ сдѣлались безсильными и тупыми буквоѣдами; превращеніе это было неизбежно. Первые жрецы сами прокладывали дорогу и сами завоевывали себѣ вліяніе на массу. При этомъ они имѣли дѣло съ живой природой. Приготовляя себѣ преемниковъ, они конечно передавали имъ безъ разбору всё свои наблюденія, всё свои галлюцинаціи и всё свои рискованныя гипотезы. Преемники все это старались запомнить и потомъ, принимаясь за свою многостороннюю жреческую дѣятельность, усиливались согласить объясненія предковъ съ своими собственными наблюденіями. Такимъ образомъ со-

ставлялись новыя гипотезы, которыя опять передавались преемникамъ и опять подвергались съ ихъ стороны различнымъ повѣркамъ и комментированиямъ. Общественное могущество жрецовъ росло конечно вмѣстѣ съ запасомъ ихъ наблюденій и изобрѣтеній. Всякое крошечное открытіе, сдѣланное жрецами, принималось народомъ за внушеніе свыше и за чудесное проявленіе божественной благосклонности. Такъ какъ подобныя открытія дѣлались только жрецами, свободными отъ житейскихъ заботъ, то, разумѣется, въ народѣ скоро должно было составить понятіе о высшемъ сверхчеловѣческомъ значеніи жреческаго сословія. Постоянно увеличиваясь, могущество жрецовъ должно было наконецъ дойти до того шахшима, дальше котораго идти невозможно. Остановившись на этой вершинѣ, жреческое сословіе начинаетъ быстро деморализироваться. Оно заботится не о новыхъ открытіяхъ и усовершенствованіяхъ, а только о томъ, чтобы сохранить за собою свое *относительное* превосходство надъ массой. Это превосходство основано преимущественно на томъ, что масса очень невѣжественна. Значитъ, для сохраненія желаннаго превосходства надо поддерживать это спасительное невѣжество. Достигши вершины своего могущества, жрецы имѣютъ уже за собою цѣлый громадный кодексъ теософическихъ гипотезъ и преданій, сложившихся при ихъ предшественникахъ. Такъ какъ эти гипотезы и преданія составляютъ тотъ путь, по которому жреческая каста пришла къ своему величайшему могуществу, то жрецы конечно должны питать къ нимъ почтительную нѣжность и должны особенно сильно стараться о томъ, чтобы въ народѣ эта почтительная нѣжность доходила до совершенно слѣплого и страстнаго обожанія. Такимъ образомъ между человѣческимъ умомъ и живой природой воздвигаются мертвыя книги, написанныя даровитыми невѣждами и годныя только на то, чтобы служить образчикомъ міросозерцанія, господствовавшаго въ далекой древности. Для того, чтобы человѣческій умъ не вырвался какъ нибудь изъ узкаго круга старыхъ преданій, жрецы ставятъ каждому изъ своихъ соотечественниковъ въ непрерывную обязанность жить такъ, какъ жили его предки, заниматься тѣмъ же ремесломъ, употреблять тѣ-же орудія, носить такое-же платье, питаться такой-же пищей, и такъ далѣе. Затѣмъ умственное движеніе совершенно замираетъ; народъ повертывается спиной къ будущему и видитъ свой идеалъ въ прошедшемъ. Такое положеніе вещей можетъ продолжаться безконечно долго, и только постоянныя столкновенія съ высшими формами цивилизаціи могутъ со временемъ вывести изъ болѣзненнаго усыпленія несчастный народъ, задавленный свинцовой тяжестью бездушной и безтолковой теократіи.

IX.

Война спасаетъ древній міръ отъ теократической спячки. Война разрушаетъ принципъ наслѣдственности, потому что, когда дѣло идетъ о спасеніи отечества отъ вѣншихъ враговъ, тогда всѣ здоровые люди берутся за оружіе, и тогда уже неудобно разбирать, чей отецъ былъ воиномъ, чей—купцомъ и чей—свинопасомъ. Въ сраженіяхъ обнаруживаются личныя качества бойцовъ—сила, ловкость, храбрость, хладнокровіе, смѣлливость, распорядительность,—и самыя очевидныя выгоды цѣлаго народа требуютъ того, чтобы каждому бойцу давалось мѣсто, соответствующее его личнымъ достоинствамъ, а не общественному положенію его родителей. Поэтому у народа, ведущаго частныя войны, касты непременно перемѣшиваются и понемногу сглаживаются. Но война можетъ дѣйствовать на развитіе народа совершенно различными образомъ, смотря по тому, какое она приметъ направленіе: безцѣльно-безалаберное или систематически-завоевательное. Въ первомъ случаѣ развѣтываются преимущественно умственные способности даннаго народа; во второмъ случаѣ—его общественныя учрежденія. Греція и Римъ воплотили въ своей исторіи эти двѣ различныя стороны военнаго политизма.

Территорія Греціи изрѣзана по всѣмъ направленіямъ горными хребтами и глубокими заливами; участки удобной земли разбросаны по всей странѣ и отдѣлены другъ отъ друга естественными перегородками; на каждомъ изъ такихъ участковъ возникло и развилось населеніе, имѣвшее мало постоянныхъ сношеній съ сосѣдями и вслѣдствіе этого успѣвшее выработать себѣ свои собственныя учрежденія, свою опредѣленную фізіономію и очень энергическое чувство своей политической-полноправности и самостоятельности. Всѣ эти поселенія были связаны между собою единствомъ языка, теософической доктрины и національнаго характера; свободные жители всѣхъ этихъ поселеній гордились именемъ эллиновъ и противопоставляли себя, какъ членовъ одного великаго народа, всѣмъ остальнымъ людямъ, которыхъ они называли варварами и считали созданными для вѣчнаго рабства. Но, сознавая свое національное единство въ области мысли, греки никакъ не могли и не умѣли осуществить это единство въ политической жизни. Ни одно изъ мелкихъ греческихъ поселеній не хотѣло пожертвовать въ пользу этого единства ни одной частицы своей отдѣльной автономіи и ни одной мельчайшей подробности своей внутренней организаціи. Каждый городокъ готовъ былъ защищать свою независимость до послѣдней капли крови, какъ противъ азіатскихъ варваровъ, такъ и противъ своихъ ближайшихъ греческихъ сосѣдей; каждому городку хотѣлось господствовать надъ

другими городками, и ни одному изъ нихъ не хотѣлось покоряться другимъ. Если мы при этомъ возьмемъ въ соображеніе, что всѣ жители этихъ отдѣльныхъ городковъ были одинаково храбры, одинаково воинственны, одинаково корыстолюбивы, одинаково тщеславны, одинаково сильны, ловки и развиты въ физическомъ отношеніи, одинаково вооружены и одинаково искусны во всѣхъ воинскихъ эволюціяхъ, то мы конечно поймемъ, что, во-первыхъ, постоянныя войны между этими людьми были совершенно неизбежны, и что, во-вторыхъ, эти безконечныя войны не могли привести ни къ какому прочному политическому результату, то есть, не могли окончиться соединеніемъ всей Греціи въ одно стройное и могущественное государство, способное завоевать весь остальной образованный міръ. — «Такъ напримѣръ,—говоритъ Контъ,—аѣнское племя во время самаго блистательнаго своего преобладанія въ Архипелагѣ, въ Азіи, во Фракіи и т. д. было принуждено довольствоваться центральной территоріей, едва-ли равнявшейся французскому департаменту средней величины и окруженной со всѣхъ сторонъ многочисленными соперниками, которыхъ дѣйствительное покореніе въ то время справедливо считалось неисполнимымъ. Аѣны могли съ большей надеждой на успѣхъ предпринять завоеваніе напримѣръ Египта или Малой Азіи, чѣмъ завоеваніе не только Спарты, но даже Фивъ или Коринѳа, или даже можетъ-быть маленькой сосѣдней республики Мегары.»

При такихъ условіяхъ война не могла быть для грековъ серьезнымъ государственнымъ дѣломъ; война была для нихъ дѣломъ страсти; въ войнѣ ихъ съ персами можно видѣть взрывъ національной ненависти противъ дерзкихъ азіатскихъ варваровъ, осмѣлившихся ворваться въ прекрасную Элладу; въ ихъ междоусобныхъ войнахъ можно видѣть постоянное проявленіе ихъ узкихъ своекорыстныхъ страстей. Въ первомъ случаѣ война была подвигомъ патріотическаго энтузіазма и даже отчасти дѣломъ необходимой обороны; во второмъ случаѣ война была просто организованнымъ грабежемъ, который не оправдывался и не облагораживался никакой высшей идеей. Войны второй категоріи случались гораздо чаще первыхъ войнъ; этими безплодными, но очень упорными драками между единокровными сосѣдями или даже между гражданами одного города переполнена вся исторія древней Греціи; эти драки вытекали изъ топографическихъ условій: сосѣдъ былъ тутъ-же, подъ рукой, за ближайшимъ холмомъ или ручьемъ; а чтобы колотить перса, надо было снаряжать цѣлый флотъ и отправляться въ другую часть свѣта. Но если драки съ сосѣдями были дѣломъ сподручнымъ, то во всякомъ случаѣ не надо было обладать особенной геніаль-

ностью, чтобы оцѣнить по достоинству все безобразіе и всю пошлость этихъ ежедневныхъ потасовокъ. Греки отъ природы были очень не глупы; поэтому умѣйшіе изъ грековъ никакъ не могли предаваться всѣмъ сердцемъ и всѣмъ изъ рукъ этихъ мелкихъ и дрянныхъ страстей помышленіемъ тѣмъ мелкимъ разбойническимъ продѣлкамъ, которыя находили себѣ постоянную пищу въ неугомонныхъ страстяхъ раздражительной массы и узколобыхъ аристократовъ. Даже эта масса и эти аристократы, постоянно возбуждавшіе своей пылкостью или заносчивостью разныя волненія и междоусобныя войны, смотрѣли на эти кровавыя событія, какъ на страданія и посрамленіе великаго греческаго народа. Лучшіе умы древней Греціи относились къ этимъ событіямъ совершенно отрицательно; но въ то-же время, зная политическую жизнь своей страны и характеръ своихъ соотечественниковъ, они не видѣли никакой возможности искоренить это зло практической дѣятельностью. Не видя въ государственныхъ занятіяхъ своего времени никакой великой цѣли и никакой руководящей идеи, сильные умы должны были отвернуться отъ политической практики и наполнить свою жизнь или общими теоретическими размышленіями о мірѣ, о человѣкѣ и объ обществѣ, или созерцаніемъ и воспроизведеніемъ всѣхъ прекрасныхъ явленій физической природы и человѣческаго характера. Политическая безтолковщина древней Греціи насильно толкала лучшихъ и даровитѣйшихъ ея гражданъ въ умозрительную философію и въ чистое искусство. Для позитивиста абсолютное зло и абсолютное добро не существуютъ. Позитивистъ понимаетъ, что чистое искусство и умозрительная философія, очень вредныя и предосудительныя въ XIX столѣтіи, могли быть, и даже дѣйствительно были, не только полезны, но даже необходимы для историческаго развитія человѣческаго ума и человѣческой общечеловѣческой общности, — такъ же точно, какъ были полезны, неизбежны и необходимы война и рабство, которыя точно также сдѣлались теперь очень вредными и предосудительными явленіями. Въ древнихъ теократическихъ обществахъ наука и искусство были орудіями; современные реалисты стараются также превратить ихъ въ орудія. Теократы пользовались искусствомъ и наукой, какъ средствами основать и упрочить свое господство надъ массой. Выше и привлекательнѣе этой цѣли они не могли себѣ ничего представить. Когда каждый человѣкъ видѣлъ въ чужомъ или незнакомомъ человѣкѣ своего естественнаго врага, тогда конечно никто не могъ работать для общаго блага. Кромѣ того, когда всѣ отрасли науки и промышленности лежали въ колыбели, тогда самый человѣколюбивый дѣятель въ мірѣ былъ не въ состояніи вообразить себѣ, что мышленіе и творчество могутъ обнаруживать чувствительное вліяніе на матери-

альный бытъ и на характеръ всей нашей породы. Стало быть, наука и искусство сначала непременно должны были оказаться мелкими орудіями мелкихъ и дрянныхъ страстей. Прямо наука и искусство никакъ не могли перейти въ руки той великой страсти, которая воодушевляетъ современныхъ реалистовъ.

Откуда-же взялось-бы вдругъ, во-первыхъ, широкое и горячее человѣколюбіе и, во-вторыхъ, понятіе о преобразовательной силѣ науки, техники и поэзіи?—Чтобы приобрести себѣ великую способность наслаждаться любовью къ людямъ и общепользующей дѣятельностью, человѣку необходимо было очень долго воспитывать себя въ такой школѣ, которая постепенно утончала и облагораживала-бы его наслажденія. Личное наслажденіе и общепользующая дѣятельность (которую тупые моралисты называютъ на своемъ безсмысленномъ жаргонѣ *долгомъ*) дѣйствительно сливаются въ высшемъ единствѣ, но на эту точку соединенія не можетъ сразу прыгнуть зѣвробразный политикъ, умѣющій наслаждаться только кровавой пролитной дракой, дикимъ пьянствомъ, животнымъ сладострастіемъ, безпечной праздношью и самыми грубыми формами господства надъ другими людьми. Для такого человѣка могли считаться прогрессомъ даже умѣнье цѣнить красоту формъ и красокъ въ женщинѣ, въ лошади, въ оружіи, въ костюмѣ, въ домашней утвари и такъ далѣе. Еще болѣе значительный прогрессъ можно видѣть въ умѣнии наслаждаться словами и содержаніемъ пѣсни, легенды или сказки. У героевъ троянской войны эти умѣнья были уже развиты въ высокой степени. Только къ этимъ умѣньямъ и могли прислониться, для своего дальнѣйшаго развитія, зародыши науки и искусства, перенесенные въ Грецію изъ теократическаго Египта. То, что въ Египтѣ было политическимъ орудіемъ, должно было на первыхъ порахъ сдѣлаться въ Греціи пріятной забавой. Скульптура, которая въ Египтѣ поражала массу мрачной таинственностью своихъ произведеній—символическія фигуры, получеловѣческія, полузвѣринныя, — превратилась въ Греціи въ свѣтлое, радостное и общепонятное прославленіе человѣческой красоты. Научныя наблюденія, хранившіяся египетскими жрецами въ глубокой тайнѣ и служившія имъ оружіемъ для подавленія невѣжественныхъ массъ, въ школахъ греческихъ философовъ сдѣлались доступными для каждаго желающаго. Ни греческое искусство, ни греческая философія не имѣли никогда серьезной и ясно-обозначенной общественной тенденціи. Величественные портики, красивыя статуи, стройныя философскія системы были нужны греку только для того, чтобы наполнять и разнообразить жизнь пріятными ощущеніями. Въ наше

время, когда наука и литература сдѣлались великими общественными силами, такое отношеніе къ знанію и къ творчеству было-бы совершенно непозволительно. Но во времена Пизистрата или Перикла единственнымъ двигателемъ человѣческаго ума на пути сознательнаго изслѣдованія было именно то удовольствіе, которое умѣйшіе изъ тогдашнихъ людей находили въ процессѣ собственнаго мышленія. Освобожденіе науки и искусства отъ узкихъ и корыстныхъ теократическихъ соображеній составляетъ такой необходимый и такой громадный успѣхъ, безъ котораго не были-бы возможны никакія дальнѣйшія усовершенствованія. Благодаря этому освобожденію, греческій мыслитель могъ искать истину для самой истины, не обращая никакого вниманія на то, противорѣчитъ ли она или нѣтъ старымъ преданіямъ или существующему общественному устройству. Это чистое и безкорыстное стремленіе къ истинѣ, невозможное въ древнихъ теократіяхъ, сдѣлалось доступнымъ для греческихъ мыслителей только потому, что они были простыми гражданами, частными людьми, не связанными единствомъ интересовъ ни съ жрецами, ни съ администраторами. А существованіе этого класса совершенно свободныхъ мыслителей, занимающихся мышленіемъ изъ любви къ истинѣ, обусловливается, какъ мы видѣли выше, во-первыхъ тѣмъ, что война разбила теократическія формы въ самомъ зародышѣ, и во-вторыхъ тѣмъ, что политическая безалаберщина оттолкнула лучшихъ людей Греціи отъ государственныхъ занятій.

Свободные мыслители древней Греціи оказали людямъ двѣ громадныя услуги: во-первыхъ, они довели геометрію до высокой степени совершенства и заложили своими математическими открытіями тотъ прочный и необходимый фундаментъ, на которомъ стоятъ вся наука и вся положительная философія нашего времени; во-вторыхъ, они своими метафизическими системами совершенно расшатали доктрину политизма и сдѣлали первую смѣлую попытку выйти на новую дорогу изъ-подъ тяжелой теософической опеки. Попытка оказалась неудачной, по недостатку фактическихъ знаній; но смѣлость греческихъ мыслителей не пропала даромъ и вызвала, много столѣтій спустя, такихъ подражателей, у которыхъ, кромѣ живого стремленія къ истинѣ, кромѣ умственной неустрашимости, есть еще громаднѣйшій арсеналъ сдѣланныхъ открытій, собранныхъ опытовъ и неопровержимыхъ обобщеній. Чтѣ было у греческихъ мыслителей смутнымъ угадываніемъ, то сдѣлалось для новѣйшихъ подражателей ихъ яснымъ, отчетливымъ и спокойнымъ пониманіемъ. Попытка, неудавшаяся грекамъ, совершенно удалась современнымъ европейцамъ.

X.

Въ римскомъ политизмѣ религія совершенно подчинена политикѣ, которая имѣетъ строго-завоевательное направленіе, обусловленное характеромъ и географическимъ положеніемъ римскаго народа. Римъ обязанъ своими обширными завоеваніями не столько храбрости легионовъ, сколько хладнокровной разсчетливости сената и народа. Храбростью отличались всѣ древніе обитатели Европы; и самнитяне, и греки, и македоняне, и галлы, и иберійцы—всѣ они были чрезвычайно воинственны и неудержимо храбры, а между тѣмъ только однимъ римлянамъ досталось господство надъ древнимъ міромъ. Завоевателей въ древности было очень много, но результаты ихъ подвиговъ исчезали обыкновенно вмѣстѣ съ ихъ личностями и не могли образовать никакой прочной связи между покоренными народами. Всѣ великія монархіи передней Азіи—вавилонская, ассирійская, персидская—были только конгломератами народовъ, платящихъ дань общему побѣдителю, но нисколько не связанныхъ между собой единствомъ законовъ, обычаевъ, вѣрованій, образованія, промышленной жизни и административныхъ учреждений. Александръ Македонскій первый задумалъ произвести дѣйствительное сліяніе между побѣжденными національностями, и его завоеванія, несмотря на крайнюю непродолжительность его собственной жизни и несмотря на бездарность его преемниковъ, распространили греческую цивилизацію въ передней Азіи и въ сѣверовосточной Африкѣ. Но прочное покореніе и глубокое объединеніе рѣзко обозначенныхъ народностей древняго міра составляли такую колоссальную задачу, которая далеко превышала силы отдѣльной личности и которую могъ рѣшить теченіи нѣсколькихъ столѣтій только цѣлый народъ, одаренный всѣми важнѣйшими качествами воина и администратора. Такимъ народомъ оказались римляне.

Римляне не были ни фанатиками, ни мыслителями, ни художниками, ни героями; они были преимущественно ростовщиками и клаяузниками. Добродѣтельный Катонъ называетъ божественнымъ того человѣка, который теченіи своей жизни пріобрѣтаетъ больше богатствъ, чѣмъ сколько оставили ему его предки. Пламенный патріотъ Брутъ, зарѣзавшій Цезаря, бралъ или, точнѣе, дралъ съ своихъ должниковъ по сорока восьми процентовъ. «Лихоимство,—говоритъ Тацитъ,—было у насъ стариннымъ порокомъ и самой обыкновенной причиною нашихъ раздоровъ и нашихъ возмущеній. Законы противъ лихоимства нарушались самими сенаторами, изъ которыхъ ни одинъ не былъ чистъ отъ подобныхъ злоупотребленій.» Трудно себѣ представить, чтобы римляне могли когда-нибудь

серьезно составлять законы против лихоимства. Законы XII таблиц предоставляют, напротив того, кредитору такую безграничную власть над должником, которая многим новым историкам показалась даже неправдоподобной и которая конечно могла действовать на ростовщиков только самым поощряющим образом. Вотъ текстъ закона, какъ переводить его Мишле: «Пусть его (должника) зовутъ въ судъ. Если онъ не пойдетъ, возьми свидѣтелей, заставь его. Если онъ будетъ медлить и попробуетъ бѣжать, захвати его. Если старость или болѣзнь мѣшаютъ ему явиться, дай ему лошадь, но силоса не нужно. За богача—пусть ручается богачъ; за пролетарія—кто захочетъ. Когда долгъ признанъ и дѣло обшуджено,—тридцать дней отсрочки. Потомъ пусть его схватятъ и ведутъ къ суду. Закатъ солнца закрываетъ судъ. Если онъ не удовлетворяетъ требованіямъ суда, если никто за него не ручается, кредиторъ уведетъ его къ себѣ и привяжетъ его ремнями или цѣпями, вѣсомъ въ пятнадцать фунтовъ,—меньше пятнадцати фунтовъ, если того хочетъ кредиторъ. Пусть узникъ кормится своей пищей. Или-же дайте ему фунтъ муки или больше, смотря по вашему желанію. Если онъ не заплатитъ, держите его въ оковахъ шестьдесятъ дней; между тѣмъ приводите его въ судъ три раза въ базарные дни и объявляйте публикѣ, на какую сумму простирается долгъ. На третій базарный день, если окажется нѣсколько кредиторовъ, пусть они раздѣлятъ тѣло должника. Если они отрѣжутъ больше или меньше, пусть они за то не подвергаются отвѣтственности. Если они хотятъ, они могутъ продать его въ чужія земли, за Тибръ.»—Текстъ закона самъ по себѣ такъ выразителенъ, что онъ лучше всякихъ пространныхъ разсужденій обрисовываетъ народный характеръ римлянъ, неустрашимо доводившихъ свое уваженіе къ священнымъ правамъ капитала до хладнокровнаго и методическаго разрѣзыванія несостоятельнаго человѣческаго тѣла, которое въ эту тяжелую минуту могло успокоивать себя тѣмъ разсужденіемъ, что его рѣжутъ на самомъ законномъ основаніи и съ соблюденіемъ всѣхъ предписанныхъ формальностей. У римлянъ былъ еще другой законъ, изъ котораго усматривается, что римляне умѣли превращать въ наличныя деньги даже своихъ родныхъ и законныхъ дѣтей. Этотъ законъ говоритъ, что отецъ имѣетъ право продать сына въ рабство *только три раза*. Это значить, что сынъ, проданный своимъ отцомъ и отпущенный на волю покупщикомъ, возвращается подъ власть отца, который имѣетъ полное право продать его *вторично*; если второй покупщикъ также отпуститъ его на волю, то отецъ опять овладѣваетъ имъ и можетъ продать его *въ третій разъ*. Послѣ *третьей* продажи отецъ уже те-

ряетъ надъ сыномъ всякую власть.—Существованіе такого закона доказываетъ очевидно, что многіе отцы дѣйствительно торговали своими дѣтьми, и что общественное мнѣніе относилось къ подобной торговлѣ очень снисходительно. Ясное дѣло, что законодателью никогда не приходило въ голову фантазія ограничивать извѣстными постановленіями такіе поступки, къ которымъ данное общество не обнаруживаетъ ни малѣйшей наклонности.

Кляузничество римлянъ наложило свою печать на всѣ явленія ихъ частной, общественной и государственной жизни. Постоянно стараясь поживиться чужимъ достояніемъ, нарушая на каждомъ шагѣ чужія права, римляне въ то-же время обнаруживали самое глубокое уваженіе къ формальной сторонѣ всякихъ договоровъ, условій, законовъ, обычаевъ, традицій и церемоній. Объявляя какому-нибудь народу войну, римляне всегда устраивали такъ, что эта война, чисто завоевательная съ ихъ стороны, принимала видъ вынужденной обороны. Римляне всегда прикидывались обиженными и надѣялись этимъ изневромъ обезпечить за собою содѣйствіе высшихъ силъ. При объявленіи войны соблюдались всегда извѣстныя формальности.

До какихъ ребяческихъ уловокъ доводило римлянъ ихъ стремленіе сражаться постоянно за правое дѣло—это всего лучше видно изъ ихъ поступка съ самнитянами. Самнитскій генералъ, Кай Понцій, окружилъ римскую армію въ узкомъ горномъ проходѣ и, вмѣсто того, чтобы уничтожить ее, заключилъ съ консуломъ Постуміемъ миръ, выгодный для самнитянъ. Сенатъ отказался утвердить этотъ договоръ, отговариваясь тѣмъ, что этотъ договоръ, заключенный безъ вѣдома народа и безъ участія жрецовъ-феціаловъ, не имѣетъ никакой обязательной силы. Это мнѣніе было высказано самимъ Постуміемъ, который требовалъ только, чтобы для соблюденія закона феціалы выдали самнитянамъ, съ должными церемоніями, его, Постумія, и всѣхъ другихъ предводителей, подписавшихъ неутвержденный договоръ. Желаніе Постумія было исполнено. Феціалы отвезли ихъ въ непріятельскій лагерь, раздѣли ихъ до-гола и связали ихъ по рукамъ и по ногамъ, причемъ Постумій приказалъ затянуть ремень потѣже для того, чтобы вся церемонія была исполнена съ безукоризненной добросовѣстностью. «Такъ какъ эти люди,—заговорилъ феціаль, введя плѣнниковъ въ собраніе самнитянъ,—безъ воли римскаго народа обѣщали заключить мирный договоръ (заключенный договоръ превратился въ обѣщаніе) такъ какъ въ этомъ случаѣ они впади въ оплошность, то, чтобы снять съ римскаго народа отвѣтственность за нечестивое преступленіе, я выдаю вамъ этихъ людей.» У Постумія былъ приготовленъ для самнитянъ новый сюрпризъ: въ то время, когда феціаль договаривалъ свою рѣчь,

связанный консулъ ухитрился толкнуть его ногой и крикнулъ тотчасъ, что онъ, человекъ, выданный самнитянамъ, нанесъ оскорбленіе римскому жрецу, и что вслѣдствіе этого римляне имѣютъ законное основаніе вести съ самнитянами войну. Въ поведеніи Постумія обнаруживаются очень ярко, какъ мужество, такъ и пронырство римлянъ. Постумій смѣло и весело идетъ на встрѣчу мучительной смерти и въ то-же время тщательно наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ мельчайшихъ формальностей, выгораживающихъ римскій народъ отъ всякой нравственной отвѣтственности передъ богами и передъ людьми. Правда, что самнитяне тотчасъ освободили выданныхъ имъ полководцевъ; но на такое великодушіе никакъ нельзя было рассчитывать, и Постумій съ своей стороны принялъ, какъ мы видѣли, всѣ мѣры, чтобы вывести изъ терѣнія тѣхъ людей, отъ которыхъ зависѣла его участь.

Передъ началомъ каждой войны римскій феціаль отправлялся на границу враждебнаго народа и, произнося объявленіе разрыва, бросалъ копье на непріятельскую землю. Это было очень удобно, пока римляне воевали исключительно съ итальянцами. Но не за долго до начала пуническихъ войнъ римлянамъ пришлось сразиться съ Пирромъ, царемъ эпирскимъ, ворвавшимся въ Италію. Посылать феціала въ Грецію было неудобно, а между тѣмъ отказать отъ исполненія старой церемоніи было слишкомъ страшно. Римляне вывернулись изъ этого затрудненія посредствомъ юридической фикціи. Они заставили одного эпирскаго перебѣжчика купить въ окрестностяхъ Рима поле, которое и должно было изображать сначала Эпиръ, а потомъ и всѣ остальные непріятельскія земли. Передъ каждой войной феціаль, произнося приличную рѣчь, бросалъ въ это поле копье, и затѣмъ всѣ формальности, относящіяся къ объявленію войны, считались исполненными. Кляузничая такимъ образомъ съ людьми, римляне старались даже такими-же уловками перехитрить боговъ и судьбу. Однажды сенатъ отыскалъ въ сивилинскихъ книгахъ предсказаніе, что галлы два раза должны овладѣть городомъ. Чтобы предотвратить это бѣдствіе, сенатъ приказалъ зарыть живьемъ двухъ галловъ, мужчину и женщину, въ самой серединѣ Рима. Такъ какъ галлы подъ предводительствомъ Бренна уже одинъ разъ овладѣли Римомъ и такъ какъ зарытые галлы, по мнѣнію сената, также овладѣли римской землей, то предсказаніе оказалось исполненнымъ, и римляне успокоились.

XI.

Типическія особенности римскаго характера—спокойная разсудительность, хладнокровная разсчетливость, мужественная настойчивость и мошенническая изворотливость—выра-

ботались или по крайней мѣрѣ развернулись съ полной силой во время двухсотлѣтней внутренней борьбы патриціевъ и плебеевъ. Въ греческихъ республикахъ аристократы и чернь постоянно вели между собой истребительныя войны и при каждомъ удобномъ случаѣ призывали другъ противъ друга военныя силы другихъ народовъ. Въ Римѣ, напротивъ того, такая-же точно борьба окончилась безъ кровопролитія, и не только никогда не отдавала города на жертву иностранцамъ, но даже ни разу не помѣшала враждующимъ сословіямъ вести общими силами упорныя завоевательныя войны. Духъ холоднаго формализма и разсчетливаго кляузничества избавилъ Римъ отъ бѣдствій междоусобной войны, которая навѣрное отняла-бы у римлянъ возможность завоевать впоследствии тогдашній образованный міръ. Патриціи и плебеи, глубоко проникнутые любовью къ сутяжничеству и уваженіемъ къ вышнимъ формамъ легальности, старались преимущественно о томъ, чтобы перехитрить и переупрямить другъ друга. Плебеи медленно, разсчетливо и осторожно подвигались впередъ; патриціи упорно отстаивали каждый клочокъ своихъ привилегій, торговались изъ-за каждой мелочи, оттягивали время разными благовидными уловками, развлекали своихъ противниковъ разными хитростями и медленно уступали ихъ легальному натиску. Эта продолжительная борьба оказалась для обѣихъ сторонъ такой превосходной школой политическаго пронырства, послѣ которой римлянамъ сдѣлалось уже очень нетрудно справляться съ другими націями, руководствуясь извѣстнымъ девизомъ: «Divide et impera» («Раздѣляй и господствуй»).

Во всѣхъ своихъ завоевательныхъ предпріятіяхъ римляне дѣйствовали постоянно съ той осмотрительностью и разсчетливостью, которая составляютъ основныя свойства ихъ національнаго характера. Они никогда не бросались, очертя голову, въ далекія или рискованныя предпріятія; они никогда не вели войнъ изъ-за принциповъ, никогда не увлекались ни любовью къ славѣ, ни ненавистью, ни дружбой, и постоянно мѣтили въ виду только осязательныя выгоды—деньги, земли и рабочую силу. Въ ихъ войнахъ нѣтъ ничего похожего на блистательные подвиги Александра. Политика сената обыкновенно умѣла такъ хорошо изолировать врага и такъ ловко выбирать удобную минуту для начала войны, что успѣхъ нападенія оказывался почти независимымъ отъ личныхъ талантовъ полководца. Самая трудная часть завоевательной карьеры Рима заключается конечно въ ея началѣ, то-есть въ покореніи Италіи. Когда Италія была завоевана, тогда уже можно было сказать заранѣе, что весь древній міръ сдѣлается добычей римлянъ, тѣмъ болѣе, что всѣ земли этого древняго міра уже

серьезно составлять законы противъ лихоимства. Законы XII таблицъ предоставляютъ, напротивъ того, кредитору такую безграничную власть надъ должникомъ, которая многимъ новымъ историкамъ показалась даже неправдоподобной и которая конечно могла дѣйствовать на ростовщиковъ только самымъ поощряющимъ образомъ. Вотъ текстъ закона, какъ переводить его Мишле: «Пусть его (должника) зовутъ въ судъ. Если онъ не пойдетъ, возьми свидѣтелей, заставь его. Если онъ будетъ медлить и попробуетъ бѣжать, захвати его. Если старость или болѣзнь мѣшаютъ ему явиться, дай ему лошадь, но силоса не нужно. За богача—пусть ручается богачъ; за пролетарія—кто захочетъ. Когда долгъ признанъ и дѣло обсуждено, — тридцать дней отсрочки. Потомъ пусть его схватятъ и ведутъ къ суду. Закатъ солнца закрываетъ судъ. Если онъ не удовлетворяетъ требованіямъ суда, если никто за него не ручается, кредиторъ уведетъ его къ себѣ и привяжетъ его ремнями или цѣпями, вѣсомъ въ пятнадцать фунтовъ, — меньше пятнадцати фунтовъ, если того хочетъ кредиторъ. Пусть узникъ кормится своей пищей. Или же дайте ему фунтъ муки или больше, смотря по вашему желанію. Если онъ не заплатитъ, держите его въ оковахъ шестьдесятъ дней; между тѣмъ приводите его въ судъ три раза въ базарные дни и объявляйте публичнѣ, на какую сумму простирается долгъ. На третій базарный день, если окажется нѣсколько кредиторовъ, пусть они разрѣжутъ тѣло должника. Если они отрѣжутъ больше или меньше, пусть они за то не подвергаются ответственности. Если они хотятъ, они могутъ продать его въ чужія земли, за Тибръ.» — Текстъ закона самъ по себѣ такъ выразителенъ, что онъ лучше всякихъ пространныхъ разсужденій обрисовываетъ народный характеръ римлянъ, неустрашимо доводившихъ свое уваженіе къ священнымъ правамъ капитала до хладнокровнаго и методическаго разрѣзыванія несостоятельнаго человѣческаго тѣла, которое въ эту тяжелую минуту могло успокоивать себя тѣмъ разсужденіемъ, что его рѣжутъ на самомъ законномъ основаніи и съ соблюденіемъ всѣхъ предписанныхъ формальностей. У римлянъ былъ еще другой законъ, изъ котораго усматривается, что римляне умѣли превращать въ наличныя деньги даже своихъ родныхъ и законныхъ дѣтей. Этотъ законъ говоритъ, что отецъ имѣетъ право продать сына въ рабство *только три раза*. Это значить, что сынъ, проданный своимъ отцомъ и отпущенный на волю покупщикомъ, возвращается подъ власть отца, который имѣетъ полное право продать его *вторично*; если второй покупщикъ также отпуститъ его на волю, то отецъ опять овладѣваетъ имъ и можетъ продать его *въ третій разъ*. Послѣ *третьей* продажи отецъ уже не

можетъ продать сына въ рабство. — Существованіе такого закона доказываетъ очевидно, что многіе отцы дѣйствительно торговали своими дѣтьми, и что общественное мнѣніе относилось къ подобной торговлѣ очень снисходительно. Ясное дѣло, что законодателью никогда не приходило въ голову фантазія ограничивать извѣстными постановленіями такіе поступки, къ которымъ данное общество не обнаруживаетъ ни малѣйшей наклонности.

Кляузничество римлянъ наложило свою печать на всѣ явленія ихъ частной, общественной и государственной жизни. Постоянно стараясь поживиться чужимъ достояніемъ, нарушая на каждомъ шагѣ чужія права, римляне въ то же время обнаруживали самое глубокое уваженіе къ формальной сторонѣ всякихъ договоровъ, условій, законовъ, обычаевъ, традицій и церемоній. Объявляя какому-нибудь народу войну, римляне всегда устраивали такъ, что эта война, чисто завоевательная съ ихъ стороны, принимала видъ вынужденной обороны. Римляне всегда прикидывались обиженными и надѣялись эти ихъ невроты обезпечить за собою содѣйствіе высшихъ силъ. При объявленіи войны соблюдались всегда извѣстныя формальности.

До какихъ ребяческихъ уловокъ доводило римлянъ ихъ стремленіе сражаться постоянно за правое дѣло—это всего лучше видно изъ ихъ поступка съ самнитянами. Самницкій генералъ, Кай Понцій, окружилъ римскую армію въ узкомъ горномъ проходѣ и, вмѣсто того, чтобы уничтожить ее, заключилъ съ консуломъ Постуміемъ миръ, выгодный для самнитянъ. Севать отказался утвердить этотъ договоръ, отговариваясь тѣмъ, что этотъ договоръ, заключенный безъ вѣдома народа и безъ участія жрецовъ-феціаловъ, не имѣетъ никакой обязательной силы. Это мнѣніе было высказано самимъ Постуміемъ, который требовалъ только, чтобы для соблюденія закона феціалы выдали самнитянамъ, съ должными церемоніями, его, Постумія, и всѣхъ другихъ предводителей, подписавшихъ неутвержденный договоръ. Желаніе Постумія было исполнено. Феціалы отвезли ихъ въ непріятельскій лагерь, раздѣли ихъ до-гола и связали ихъ по рукамъ и по ногамъ, причемъ Постумій приказалъ затянуть ремень потѣже для того, чтобы вся церемонія была исполнена съ безукоризненною добросовѣстностью. «Такъ какъ эти люди, — заговорилъ феціаль, введя плѣнниковъ въ собраніе самнитянъ, — безъ воли римскаго народа обѣщали заключить мирный договоръ (заключенный договоръ превратился въ обѣщаніе) такъ какъ въ этомъ случаѣ они впали въ оплошность, то, чтобы снять съ римскаго народа отвѣтственность за нечестивое преступленіе, я выдаю вамъ этихъ людей.» У Постумія былъ приготовленъ для самнитянъ новый сюрпризъ: въ то время, когда феціаль договаривалъ свою рѣчь,

связанный консулъ ухитрился толкнуть его ногой и крикнулъ тотчасъ, что онъ, человѣкъ, выданный самнитянамъ, нанесъ оскорбленіе римскому жрецу, и что вслѣдствіе этого римляне имѣютъ законное основаніе вести съ самнитянами войну. Въ поведеніи Постумія обнаруживаются очень ярко, какъ мужество, такъ и пронырство римлянъ. Постумій смѣло и весело идетъ на встрѣчу мучительной смерти и въ то-же время тщательно наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ мельчайшихъ формальностей, выгораживающихъ римскій народъ отъ всякой нравственной отвѣтственности передъ богами и передъ людьми. Правда, что самнитяне тотчасъ освободили выданныхъ имъ полководцевъ; но на такое великодушіе никакъ нельзя было рассчитывать, и Постумій съ своей стороны принялъ, какъ мы видѣли, всѣ мѣры, чтобы вывести изъ терпѣнія тѣхъ людей, отъ которыхъ зависѣла его участь.

Передъ началомъ каждой войны римскій феціаль отправлялся на границу враждебнаго народа и, произнося объявленіе разрыва, бросалъ копьѣ на непріятельскую землю. Это было очень удобно, пока римляне воевали исключительно съ итальянцами. Но не за долго до начала пуническихъ войнъ римлянамъ пришлось сразиться съ Пирромъ, царемъ эпирскимъ, ворвавшимся въ Италію. Посылать феціала въ Грецію было неудобно, а между тѣмъ отказаться отъ исполненія старой церемоніи было слишкомъ страшно. Римляне вывернулись изъ этого затрудненія посредствомъ юридической фикціи. Они заставили одного эпирскаго перебѣжчика купить въ окрестностяхъ Рима поле, которое и должно было изображать сначала Эпиръ, а потомъ и всѣ остальные непріятельскія земли. Передъ каждой войной феціаль, произнося приличную рѣчь, бросалъ въ это поле копьѣ, и затѣмъ всѣ формальности, относящіяся къ объявленію войны, считались исполненными. Кляузничая такимъ образомъ съ людьми, римляне старались даже такими-же уловками перехитрить боговъ и судьбу. Однажды сенатъ отыскалъ въ сивилинскихъ книгахъ предсказаніе, что галлы два раза должны овладѣть городомъ. Чтобы предотвратить это бѣдствіе, сенатъ приказалъ зарыть живьемъ двухъ галловъ, мужчину и женщину, въ самой серединѣ Рима. Такъ какъ галлы подъ предводительствомъ Бренна уже одинъ разъ овладѣли Римомъ и такъ какъ зарытые галлы, по мнѣнію сената, также овладѣли римской землей, то предсказаніе оказалось исполненнымъ, и римляне успокоились.

XI.

Типическія особенности римскаго характера—спокойная разсудительность, хладнокровная разсчетливость, мужественная настойчивость и мошенническая изворотливость—выра-

ботались или по крайней мѣрѣ развернулись съ полной силой во время двухсотлѣтней внутренней борьбы патриціевъ и плебеевъ. Въ греческихъ республикахъ аристократы и чернь постоянно вели между собой истребительныя войны и при каждомъ удобномъ случаѣ призывали другъ противъ друга военныя силы другихъ народовъ. Въ Римѣ, напротивъ того, такая-же точно борьба окончилась безъ кровопролитія, и не только никогда не отдавала города на жертву иностранцамъ, но даже ни разу не помѣшала враждующимъ сословіямъ вести общими силами упорныя завоевательныя войны. Духъ холоднаго формализма и разсчетливаго кляузничества избавилъ Римъ отъ бѣдствій междоусобной войны, которая навѣрное отняла-бы у римлянъ возможность завоевать впоследствии тогдашній образованный міръ. Патриціи и плебеи, глубоко проникнутые любовью къ сутяжничеству и уваженіемъ къ вѣчнымъ формамъ легальности, старались преимущественно о томъ, чтобы перехитрить и переупрямить другъ друга. Плебеи медленно, разсчетливо и осторожно подвигались впередъ; патриціи упорно отстаивали каждый клочокъ своихъ привилегій, торговались изъ-за каждой мелочи, оттягивали время разными благовидными уловками, развлекали своихъ противниковъ разными хитростями и медленно уступали ихъ легальному натиску. Эта продолжительная борьба оказалась для обѣихъ сторонъ такой превосходной школой политическаго пронырства, послѣ которой римлянамъ сдѣлалось уже очень нетрудно справляться съ другими націями, руководствуясь известнымъ девизомъ: «Divide et impera» («Раздѣляй и господствуй»).

Во всѣхъ своихъ завоевательныхъ предпріятіяхъ римляне дѣйствовали постоянно съ той осмотрительностью и разсчетливостью, которая составляютъ основныя свойства ихъ національнаго характера. Они никогда не бросались, очертя голову, въ далекія или рискованныя предпріятія; они никогда не вели войнъ изъ-за принциповъ, никогда не увлекались ни любовью къ славѣ, ни ненавистью, ни дружбой, и постоянно имѣли въ виду только осязательныя выгоды—деньги, земли и рабочую силу. Въ ихъ войнахъ нѣтъ ничего похожаго на блестящія подвиги Александра. Политика сената обыкновенно умѣла такъ хорошо изолировать врага и такъ ловко выбирать удобную минуту для начала войны, что успѣхъ нападенія оказывался почти независимымъ отъ личныхъ талантовъ полководца. Самая трудная часть завоевательной карьеры Рима заключается конечно въ ея началѣ, то-есть въ покореніи Италіи. Когда Италія была завоевана, тогда уже можно было сказать заранѣе, что весь древній міръ сдѣлается добычей римлянъ, тѣмъ болѣе, что всѣ земли этого древняго міра уже

давно были истощены многими вѣками безпорядочныхъ войнъ и самой скверной администраціи. Завоеваніе Италіи шло туго и медленно; римлянамъ пришлось потратить на это дѣло около четырехъ столѣтій. Непобѣдимое упорство и неизмѣнная послѣдовательность римской политики втеченіи всего этого продолжительнаго и многотруднаго періода объясняются преимущественно тѣмъ обстоятельствомъ, что дѣла республики постоянно находились въ рукахъ цѣлаго привилегированнаго сословія, а не отдѣльных личностей и не народной массы.

Аристократическій образъ правленія можетъ сдѣлаться, и обыкновенно дѣлается, для народа тяжелѣе самаго безумнаго личнаго деспотизма; привилегированное сословіе можетъ устроить такую утонченную, многостороннюю и систематическую эксплуатацію массъ, въ которой вовсе не нуждается единичный деспотъ. Съ этой точки зрѣнія аристократія хуже всякой тираніи. Эти обыкновенные плоды свои аристократическій образъ правленія принесъ и въ Римѣ. Но если взглянуть на римскую республику съ точки зрѣнія ея завоевательной карьеры, то надо будетъ согласиться, что эта карьера была возможна только при аристократическомъ правительствѣ; еслибы дѣлами Рима завѣдывала масса, то эта масса, не имѣя возможности посвящать все свое время политическимъ размышленіямъ, непремѣнно, въ большей или меньшей степени, стала-бы дѣйствовать по свободному вдохновенію, уступая напору хорошихъ или дурныхъ страстей и увлекаясь доводами краснорѣчивыхъ ораторовъ. Можно сказать навѣрное, что римскій народъ все-таки не обнаружилъ-бы той подвижности и того легкомыслія, которыми прославились наиримѣе афиняне; но трудно также предположить, чтобы, находясь въ рукахъ народной массы, римская политика могла сохранять постоянно тотъ характеръ неумолимой разсудочности и безстрастной послѣдовательности, которымъ она отличалась втеченіи многихъ вѣковъ и безъ котораго побѣды римскихъ полководцевъ оказались-бы безплодными.

Еслибы Римъ былъ монархіей, то послѣдовательная политика была-бы еще менѣе возможна, потому что для этого надо было-бы предположить, что на римскомъ престолѣ появляются, одинъ за другимъ, нѣсколько десятковъ царей, одинаково даровитыхъ, разсудливыхъ, безстрастныхъ и безсовѣстныхъ. Всѣ эти качества, очень рѣдкія въ отдѣльных личностяхъ и никогда не встрѣчающіяся въ цѣлыхъ массахъ, очень обыкновенны въ тѣхъ сословіяхъ, которыхъ члены съ малыхъ лѣтъ воспитываются для общественной дѣятельности и потомъ служатъ государству втеченіи всей своей жизни то въ совѣтѣ, то на полѣ сраженія. Эти сословія до такой степени приучаются видѣть въ своихъ собственныхъ инте-

ресахъ интересы всего отечества, что они систематически разнудываютъ свои эгоистическія инстинкты, систематически подавляютъ въ себѣ всѣ добрыя чувства и вѣбляютъ себѣ въ высокую патріотическую заслугу это сознательное искаженіе человѣческаго образа. На что не рѣшился-бы деспотъ, на то рѣшается аристократія, потому что она сама для себя составляетъ то общественное мнѣніе, которое оправдываетъ и одобряетъ ея рѣшимость. Только въ рукахъ аристократіи могутъ составиться крѣпкія политическія традиціи; только аристократія, подвергающаяся медленному обновленію снизу, можетъ соединить старческую осторожность съ юношеской энергіей и во всякую данную минуту дѣйствовать противъ своихъ враговъ то волчьимъ ртомъ, то лисьимъ хвостомъ. Словомъ, всѣ дурныя стороны аристократическаго правительства пришли какъ нельзя болѣе кстати, когда Римъ вступилъ на поприще завоевательныхъ войнъ.

Побѣда плебеевъ надъ патриціями уничтожила, правда, кастическій характеръ римской аристократіи, но все государственное устройство римской республики осталось попрежнему аристократическимъ, съ тѣмъ только измѣненіемъ, что элементъ богатства сталъ на одну доску съ элементомъ родовой знатности. Высшія государственныя должности перестали быть исключительнымъ достояніемъ патриціевъ, но продолжали попрежнему сосредоточиваться въ рукахъ немногихъ фамилій, по той простой причинѣ, что дѣтямъ богачей, консуловъ или сенаторовъ было очень нетрудно остановить на себѣ вниманіе избирателей и побѣдить на выборахъ бѣдныхъ или незнатныхъ соискателей. Вслѣдствіе этого высшія должности въ нѣкоторыхъ фамиліяхъ могли-бы считаться почти наследственными, и, сообразно съ этимъ обстоятельствомъ, все воспитаніе направлялось въ этихъ семействахъ къ тому, чтобы готовить военачальниковъ и администраторовъ. Связанные между собою узами родства и единствомъ общихъ аристократическихъ интересовъ, молодые воины и старые сенаторы такъ хорошо понимали другъ друга и дѣйствовали съ такимъ единодушіемъ, что смѣлая предпримчивость первыхъ и холодная разсчетливость вторыхъ взаимно поддерживали и дополняли другъ друга во всѣхъ важнѣйшихъ случаяхъ римской исторіи. Такъ какъ жреческія должности принадлежали тому-же высшему классу военачальниковъ и правителей, то понятно, что всѣ возможные авторитеты, теоретическіе и практическіе, гражданскіе и военные, тянули всѣ силы народа въ одну и ту-же сторону, на одну и ту-же завоевательную дорогу.

Покоряя своихъ соотѣй, Римъ умѣлъ немедленно превращать своихъ побѣжденных враговъ въ вѣрныхъ союзниковъ и въ полезныя

орудія для дальнѣйшихъ завоеваній. Сами итальянцы покорили для Рима Италію, и тѣ-же итальянцы завоевали впоследствии подъ начальствомъ римскихъ полководцевъ весь образованный міръ. Дѣло въ томъ, что во всѣхъ распоряженіяхъ римскаго сената преобладалъ постоянно элементъ политическаго разсчета. Не увлекаясь чувствомъ ненависти и злорадства, сенатъ вовсе не хотѣлъ унижать, давить и поработать побѣжденных враговъ, въ содѣйствіи которыхъ онъ постоянно нуждался для расширенія своего господства. Одной силой оружія Римъ конечно не могъ держать въ повиновеніи всю Италію, а между тѣмъ только господство надъ военными силами Италіи могло доставить Риму побѣду надъ другими государствами. Поэтому сенатъ поневоли долженъ былъ предоставлять итальянцамъ кое-какія права, заключать съ ними особые условія и вообще воздерживаться въ отношеніи къ нимъ отъ тѣхъ грубыхъ проявленій насилія, которыя считались въ древности естественнымъ послѣдствіемъ побѣды. Располагая всѣми вооруженными силами Италіи, римская аристократія блистательнымъ образомъ выполнила свою задачу; она скрутила и обобрала весь тогдашній историческій міръ, въ томъ числѣ и своихъ собственныхъ соотечественниковъ, доблестныхъ гражданъ города Рима. Въ то время, когда римскіе легіоны покоряли и опустошали Азію, пауперизмъ въ Италіи и въ Римѣ былъ доведенъ до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, до какихъ врядъ-ли возвысилась даже современная Англія, находящаяся также подъ управленіемъ родовой и денежной аристократіи. «У дикихъ звѣрей, — говорилъ Тиверій Гракхъ, — есть пещеры, въ которыя они могутъ удалаться, а у людей, проливающихъ свою кровь за Италію, нѣтъ въ Италіи ничего, кромѣ солнечнаго свѣта и того воздуха, которымъ они дышатъ. Безъ постоянныхъ жилищъ они бродятъ по всей странѣ вмѣстѣ съ женами и дѣтьми. Полководцы ихъ обманываютъ, когда они убѣждаютъ ихъ сражаться за могилы предковъ и за домашніе очаги. Развѣ хоть у одного изъ этихъ людей есть своя домашняя святыня и семейная гробница? Они дерутся и умираютъ только затѣмъ, чтобы поддерживать чужую роскошь. Ихъ называютъ владыками міра, а между тѣмъ у нихъ нѣтъ комка земли, который составлялъ-бы ихъ собственность.»

Весь государственный механизмъ Рима былъ приспособленъ къ завоевательной войнѣ; завоевательная война была необходима для того, чтобы поддержать въ механизмѣ порядокъ и стройность. Консулы только на то и годились, чтобы водить легіоны въ атаку; сенатъ только тѣмъ и былъ замѣчателенъ, что умѣлъ ссорить между собою враговъ римской республики и награждать своихъ союзниковъ, обирая въ ихъ пользу своихъ против-

никовъ. Когда всѣ противники, которыхъ можно было покорить и обобрать, оказались покоренными и обобранными, когда всѣ враги римской республики превратились въ ея подданныхъ, тогда римское государственное устройство оказалось совершенно несостоятельнымъ и быстро обнаружило всѣ признаки полного разложенія. Въ Италію были снесены со всѣхъ сторонъ горы серебра, золота и всякихъ драгоценностей; такого колоссальнаго и систематическаго грабежа не видѣлъ еще и по всей вѣроятности никогда больше не увидитъ міръ. «Гдѣ богатства тѣхъ народовъ, — говоритъ Цицеронъ въ своей рѣчи pro lege Manilia, — которые теперь доведены до нищеты? Станный вопросъ! Развѣ вы не видите, что Аѳины, Пергамъ, Кизикъ, Милетъ, Хиосъ, Самосъ, вся Азія, Ахаія, Греція, Сицилія свезены цѣликомъ въ наши загородные дворцы?» — Вмѣстѣ съ драгоценностями римскіе генералы захватывали несмѣтныя массы невольниковъ; цѣлыя населенія продавались въ рабство, и такъ какъ число покупателей было очень ограничено, то, разумеется, дешевизна людей доходила до самыхъ комическихъ размѣровъ. Послѣ подвиговъ Лукулла въ Азіи раба можно было купить за четыре драхмы (меньше рубля серебромъ). Встрѣчаясь съ такими цифрами, читатель перестаетъ удивляться тому, что римляне тратили рабовъ на гладиаторскія игры, или тому, что Веллій Полліонъ кормилъ своихъ любимыхъ рыбъ живыми рабами. Это продолжительное рабство могло показаться Полліону выгоднымъ даже въ экономическомъ отношеніи, потому что, когда взрослый и здоровый человѣкъ цѣнится въ цѣлковый, тогда этотъ человѣкъ очевидно не имѣетъ даже значенія рабочей силы. Вытягивая изъ провинцій рабочее населеніе и платя за человѣка по четыре драхмы, римскіе олигархи этими поступками объявляли громогласно всему міру, что только они, олигархи, имѣютъ право жить на свѣтѣ и потреблять продукты человѣческаго труда; что необходимой должна считаться только та доля труда, которая удовлетворяетъ потребностямъ и прихотямъ олигарховъ, и что затѣмъ вся остальная масса наличной трудовой силы должна продаваться за безцѣнокъ, какъ вещь, совершенно излишняя и ни на что негодная *). Этимъ образомъ дѣйствій римская олигархія очевидно обрекла всѣ провинціи на голодную смерть и на запустѣніе. Придя къ такому поразительному политическому и экономическому абсурду, римская республика непремѣнно должна была погибнуть; вопросъ могъ состоять только въ томъ, погибнетъ-ли она одна, или-же погубить вмѣстѣ съ собой всѣ свои обширныя владѣнія.

*) Аристократы нашего времени, мальтузіанцы, говорятъ даже, что избытокъ рабочей силы очень вредно. Веллій Полліонъ оказывается благодѣтелемъ человечества.

давно были истощены многими вѣками безпорядочныхъ войнъ и самой скверной администраціи. Завоеваніе Италіи шло туго и медленно; римлянамъ пришлось потратить на это дѣло около четырехъ столѣтій. Непобѣдимое упорство и неизмѣнная послѣдовательность римской политики втеченіи всего этого продолжительнаго и многотруднаго періода объясняются преимущественно тѣмъ обстоятельствомъ, что дѣла республики постоянно находились въ рукахъ цѣлаго привилегированнаго сословія, а не отдѣльных личностей и не народной массы.

Аристократическій образъ правленія можетъ сдѣлаться, и обыкновенно дѣлается, для народа тяжелѣе самаго безумнаго личнаго деспотизма; привилегированное сословіе можетъ устроить такую утонченную, многостороннюю и систематическую эксплуатацію массъ, въ которой вовсе не нуждается единичный деспотъ. Съ этой точки зрѣнія аристократія хуже всякой тираніи. Эти обыкновенные плоды свои аристократическій образъ правленія принесъ и въ Римѣ. Но если взглянуть на римскую республику съ точки зрѣнія ея завоевательной карьеры, то надо будетъ согласиться, что эта карьера была возможна только при аристократическомъ правительствѣ; еслибы дѣлами Рима завѣдывала масса, то эта масса, не имѣя возможности посвящать все свое время политическимъ размышленіямъ, непремѣнно, въ большей или меньшей степени, стала-бы дѣйствовать по свободному вдохновенію, уступая напору хорошихъ или дурныхъ страстей и увлекаясь доводами краснорѣчивыхъ ораторовъ. Можно сказать навѣрное, что римскій народъ все-таки не обнаружилъ-бы той подвижности и того легкомыслія, которыми прославились наиримѣе аѳиняне; но трудно также предположить, чтобы, находясь въ рукахъ народной массы, римская политика могла сохранять постоянно тотъ характеръ неумолимой разсудочности и безстрастной послѣдовательности, которымъ она отличалась втеченіи многихъ вѣковъ и безъ котораго побѣды римскихъ полководцевъ оказались-бы безплодными.

Еслибы Римъ былъ монархіей, то послѣдовательная политика была-бы еще менѣе возможна, потому что для этого надо было-бы предположить, что на римскомъ престолѣ появляются, одинъ за другимъ, нѣсколько десятковъ царей, одинаково даровитыхъ, разсчетливыхъ, безстрастныхъ и безсовѣстныхъ. Всѣ эти качества, очень рѣдкія въ отдѣльных личностяхъ и никогда не встрѣчающіяся въ цѣлыхъ массахъ, очень обыкновенны въ тѣхъ сословіяхъ, которыхъ члены съ малыхъ лѣтъ воспитываются для общественной дѣятельности и потомъ служатъ государству втеченіи всей своей жизни то въ совѣтѣ, то на полѣ сраженія. Эти сословія до такой степени приучаются видѣть въ своихъ собственныхъ инте-

ресахъ интересы всего отечества, что они систематически разнуздываютъ свои эгоистическіе инстинкты, систематически подавляютъ въ себѣ всѣ добрыя чувства и вибѣняютъ себя въ высокую патріотическую заслугу это сознательное искаженіе человѣческаго образа. На что не рѣшился-бы деспотъ, на то рѣшается аристократія, потому что она сама для себя составляетъ то общественное мнѣніе, которое оправдываетъ и одобряетъ ея рѣшимость. Только въ рукахъ аристократіи могутъ составиться крѣпкія политическія традиціи; только аристократія, подвергающаяся медленному обновленію снизу, можетъ соединить старческую осторожность съ юношеской энергіей и во всякую данную минуту дѣйствовать противъ своихъ враговъ то волчьимъ ртомъ, то лисьимъ хвостомъ. Словомъ, всѣ дурныя стороны аристократическаго правительства пришлось какъ нельзя болѣе встать, когда Римъ вступилъ на поприще завоевательныхъ войнъ.

Побѣда плебеевъ надъ патриціями уничтожила, правда, кастическій характеръ римской аристократіи, но все государственное устройство римской республики осталось попрежнему аристократическимъ, съ тѣмъ только измѣненіемъ, что элементъ богатства сталъ на одну доску съ элементомъ родовой знатности. Высшія государственныя должности перестали быть исключительнымъ достояніемъ патриціевъ, но продолжали попрежнему сосредоточиваться въ рукахъ немногихъ фамилій, по той простой причинѣ, что дѣтямъ богачей, консуловъ или сенаторовъ было очень нетрудно остановить на себѣ вниманіе избирателей и побѣдить на выборахъ бѣдныхъ или незнатныхъ соискателей. Вслѣдствіе этого высшія должности въ нѣкоторыхъ фамиліяхъ могли-бы считаться почти наследственными, и, сообразно съ этимъ обстоятельствомъ, все воспитаніе направлялось въ этихъ семействахъ къ тому, чтобы готовить военачальниковъ и администраторовъ. Связанные между собою узами родства и единствомъ общихъ аристократическихъ интересовъ, молодые воины и старые сенаторы такъ хорошо понимали другъ друга и дѣйствовали съ такимъ единодушіемъ, что смѣлая предприимчивость первыхъ и холодная разсчетливость вторыхъ взаимно поддерживали и дополняли другъ друга во всѣхъ важнѣйшихъ случаяхъ римской исторіи. Такъ какъ жреческія должности принадлежали тому-же высшему классу военачальниковъ и правителей, то понятно, что всѣ возможные авторитеты, теоретическіе и практические, гражданскіе и военные, тянули всѣ силы народа въ одну и ту-же сторону, на одну и ту-же завоевательную дорогу.

Покоря своихъ сосѣдей, Римъ умѣлъ немедленно превращать своихъ побѣжденныхъ враговъ въ вѣрныхъ союзниковъ и въ полезныя

орудія для дальнѣйшихъ завоеваній. Сами итальянцы покорили для Рима Италію, и тѣ-же итальянцы завоевали впослѣдствіи подъ начальствомъ римскихъ полководцевъ весь образованный міръ. Дѣло въ томъ, что во всѣхъ распоряженіяхъ римскаго сената преобладалъ постоянно элементъ политическаго разсчета. Не увлекаясь чувствомъ ненависти и злорадства, сенатъ вовсе не хотѣлъ унижать, давить и поработать побѣжденных враговъ, въ содѣйствіи которыхъ онъ постоянно нуждался для расширенія своего господства. Одной силой оружія Римъ конечно не могъ держать въ повиновеніи всю Италію, а между тѣмъ только господство надъ военными силами Италіи могло доставить Риму побѣду надъ другими государствами. Поэтому сенатъ поневолѣ долженъ былъ предоставлять итальянцамъ кое-какія права, заключать съ ними особые условія и вообще воздерживаться въ отношеніи къ нимъ отъ тѣхъ грубыхъ проявленій насилія, которыя считались въ древности естественнымъ послѣдствіемъ побѣды. Располагая всѣми вооруженными силами Италіи, римская аристократія блистательнымъ образомъ выполнила свою задачу; она скрутила и обобрала весь тогдашній историческій міръ, въ томъ числѣ и своихъ собственныхъ соотечественниковъ, доблестныхъ гражданъ города Рима. Въ то время, когда римскіе легіоны покоряли и опустошали Азію, пауперизмъ въ Италіи и въ Римѣ былъ доведенъ до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, до какихъ врядъ-ли возвысилась даже современная Англія, находящаяся также подъ управленіемъ родовой и денежной аристократіи. «У дикихъ звѣрей,—говорилъ Тиверій Гракхъ,—есть пещеры, въ которыя они могутъ удалиться, а у людей, проливающихъ свою кровь за Италію, нѣтъ въ Италіи ничего, кромѣ солнечнаго свѣта и того воздуха, которымъ они дышатъ. Безъ постоянныхъ жилищъ они бродятъ по всей странѣ вмѣстѣ съ жеванами и дѣтьми. Полководцы ихъ обманываютъ, когда они убѣждаютъ ихъ сражаться за могилы предковъ и за домашніе очаги. Развѣ хоть у одного изъ этихъ людей есть своя домашняя святыня и семейная гробница? Они дерутся и умираютъ только затѣмъ, чтобы поддерживать чужую роскошь. Ихъ называютъ владыками міра, а между тѣмъ у нихъ нѣтъ комка земли, который составлялъ-бы ихъ собственность.»

Весь государственный механизмъ Рима былъ приспособленъ къ завоевательной войнѣ; завоевательная война была необходима для того, чтобы поддержать въ механизмѣ порядокъ и стройность. Консулы только на то и годились, чтобы водить легіоны въ атаку; сенатъ только тѣмъ и былъ замѣчателенъ, что умѣлъ ссорить между собою враговъ римской республики и награждать своихъ союзниковъ, обирая въ ихъ пользу своихъ против-

никовъ. Когда всѣ противники, которыхъ можно было покорить и обобрать, оказались покоренными и обобранными, когда всѣ враги римской республики превратились въ ея подданныхъ, тогда римское государственное устройство оказалось совершенно несостоятельнымъ и быстро обнаружило всѣ признаки полнаго разложенія. Въ Италію были снесены со всѣхъ сторонъ горы серебра, золота и всякихъ драгоценностей; такого колоссальнаго и систематическаго грабежа не видѣлъ еще и по всей вѣроятности никогда больше не увидитъ міръ. «Гдѣ богатства тѣхъ народовъ,—говоритъ Цицеронъ въ своей рѣчи *pro lege Manilia*,—которые теперь доведены до нищеты? Станный вопросъ! Развѣ вы не видите, что Аѳины, Пергамъ, Кизикъ, Милетъ, Хиосъ, Самось, вся Азія, Ахаія, Греція, Сицилія свезены цѣликомъ въ наши загородные дворцы?» — Вмѣстѣ съ драгоценностями римскіе генералы захватывали несмѣтныя массы невольниковъ; цѣлыя населенія продавались въ рабство, и такъ какъ число покупателей было очень ограничено, то, разумеется, дешевизна людей доходила до самыхъ комическихъ размѣровъ. Послѣ подвиговъ Лукулла въ Азіи раба можно было купить за четыре драхмы (меньше рубля серебромъ). Встрѣчаясь съ такими цифрами, читатель перестаетъ удивляться тому, что римляне тратили рабовъ на гладиаторскія игры, или тому, что Веллій Полліонъ кормилъ своихъ любимыхъ рыбъ живыми рабами. Это продолговатое животное могло показаться Полліону выгоднымъ даже въ экономическомъ отношеніи, потому что, когда взрослый и здоровый человѣкъ цѣнится въ цѣлковый, тогда этотъ человѣкъ очевидно не имѣетъ даже значенія рабочей силы. Вытягивая изъ провинцій рабочее населеніе и платя за человѣка по четыре драхмы, римскіе олигархи этими поступками объявляли громогласно всему міру, что только они, олигархи, имѣютъ право жить на свѣтѣ и потреблять продукты человѣческаго труда; что необходимой должна считаться только та доля труда, которая удовлетворяетъ потребностямъ и прихотямъ олигарховъ, и что затѣмъ вся остальная масса наличной трудовой силы должна продаваться за безцѣнокъ, какъ вещь, совершенно излишняя и ни на что негодная *). Этимъ образомъ дѣйствій римская олигархія очевидно обрекла всѣ провинціи на голодную смерть и на запустѣніе. Придя къ такому поразительному политическому и экономическому абсурду, римская республика непремѣнно должна была погибнуть; вопросъ могъ состоять только въ томъ, погибнетъ-ли она одна, или-же погубитъ вмѣстѣ съ собой всѣ свои обширныя владѣнія.

*) Аристократы нашего времени, мальтузіанцы, говорятъ даже, что изобиліе рабочей силы очень вредно. Веллій Полліонъ оказывается благодѣлемъ человѣчества.

Имперія рѣшила этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что погибнуть должны только одни отжившія республиканскія учрежденія.

Превращеніе республики въ имперію, или, другими словами, переходъ верховной власти отъ привилегированнаго сословія къ одной все-мощной личности,—оказалось для провинцій истиннымъ благодѣяніемъ. Этого не отрицаетъ даже Тацитъ, несмотря на всю свою ненависть къ цезарямъ. Что благоразумные императоры не допускали въ провинціяхъ тѣхъ грабительствъ, которыми отличались аристократы республиканскихъ временъ,—это само собою разумѣется и никѣмъ не оспаривается. Но даже отъявленные негодяи, вроде Калигулы, Нерона или Домиціана, были для провинцій менѣе вредны и опасны, чѣмъ республиканская олигархія. Тиранія самыхъ звѣрообразныхъ императоровъ разыгрывалась только въ самомъ Римѣ и обрушивалась преимущественно на богатыхъ и знатныхъ людей. Провинціалы были очень довольны именно тѣми императорами, которые въ Римѣ приобрѣли себѣ репутацію людоедовъ. Когда нѣкоторые губернаторы посовѣтовали Тиверію увеличить подати, наложенныя на провинціаловъ, Тиверій отвѣчалъ имъ, что «хорошій пастухъ долженъ стричь, а не обдирать своихъ овецъ». Домиціанъ, по словамъ Светонія, такъ искусно умѣлъ держать въ рукахъ провинціальныхъ губернаторовъ, что они въ его время отличались небывалымъ безкорыстіемъ и неслыханной честностью. Проконсулы временъ республики посылались въ провинціи на кормленіе, не получая отъ государства никакого жалованья и пользуясь совершенно неограниченной властью. Они обращались съ провинціей, какъ съ непріятельской страной, и никто не могъ требовать отъ нихъ отчета, кромѣ ихъ сообщниковъ и родственниковъ, заставлявшихъ въ сенатѣ. Губернаторы временъ имперіи, напротивъ того, получили опредѣленные оклады жалованья, были снабжены инструкціями, ограничивавшими ихъ власть, и подчинены строгому надзору со стороны приближенныхъ людей императора, неимѣвшихъ ничего общаго съ аристократическимъ сословіемъ. Вся внутренняя политика императоровъ хорошихъ и дурныхъ, постоянно была направлена къ тому, чтобы унижать жалкіе остатки старой сенаторской аристократіи. Лучшіе изъ императоровъ достигали этой цѣли тѣмъ, что предоставляли права гражданства провинціаламъ, или тѣмъ, что старались ограничить власть господъ надъ рабами. Худшіе деспоты просто душили и обирали богатыхъ аристократовъ, знаменитые предки которыхъ душили и обирали провинціаловъ. Тѣ факты, что Калигула произвелъ своего любимаго жеребца Инцитата въ сенаторы или что Домиціанъ созвалъ полное собраніе сената для обсужденія вопроса о рыбномъ соусѣ, оказыва-

ются вовсе не симптомами умственного разстройства, а, напротивъ того, очень злыми насмѣшками деспотовъ надъ обломками аристократіи, которая, окончивъ свою завоевательную задачу, потеряла смыслъ своего существованія и лишилась всѣхъ своихъ прежнихъ достоинствъ. Калигула и Домиціанъ нисколько не ошиблись въ своихъ современникахъ, предположивши въ нихъ способность глотать съ пріятной улыбкой всевозможныя оскорбленія, идущія сверху; извѣстно, что сенаторы Калигулы торжественно благодарили своего повелителя за ту честь, которая была оказана имъ сословію производствомъ Инцитата. Извѣстно также, что сенаторы Домиціана произносили по вопросу о соусѣ длинныя, серьезныя и горячія рѣчи.—Удары цезарей сыпались большей частью на такіа фізіономіи, которыя умѣли выражать только одно подобострастное умиленіе.

Имперія убила аристократію, но сама не поставила на ея мѣсто никакой новой идеи, ничего, кромѣ полновластной личности, которая почти всегда оказывалась совершенно неблагонадежной и вела себя до крайности непрілично. Весь періодъ имперіи можетъ быть названъ продолжительнымъ разложеніемъ стараго римскаго механизма, приспособленнаго для завоевательной войны и пришедшаго въ совершенную негодность на другой-же день послѣ окончательной побѣды. Прекративши насильственнымъ образомъ безплодную войну между цивилизованными націями древняго міра, римское господство произвело сближеніе враждовавшихъ народностей. Это сближеніе совершилось именно въ періодъ имперіи. Тутъ перемѣшались между собою и національности, и религіи, и философскія школы, и юридическія понятія, и сословія. Въ общемъ результатѣ получилась очень мутная помѣсь, изъ которой однако, при содѣйствіи варваровъ, выработались мало по малу новыя формы болѣе прочной и богатой цивилизаціи. Греческая философія распространилась по всей имперіи и подготовила превращеніе политизма въ монотеизмъ. Матеріалы для этого превращенія нашлись въ самой міеологіи грековъ и римлянъ, въ которой существовало съ незапамятныхъ временъ понятіе Судьбы, подчинявшей своему таинственному вліянію поступки и желанія людей и боговъ. Когда созрѣвающій человѣческій умъ началъ подмѣчать въ различныхъ явленіяхъ природы строгую правильность и неизмѣнное постоянство, тогда понятіе Судьбы постепенно выдвинулось на первый планъ, обростало яснѣе, получило опредѣленные личныя атрибуты и превратило всю толпу боговъ и богинь въ безгласную и послушную толпу слугъ и служанокъ. Этому перевороту должно было въ значительной степени содѣйствовать то обстоятельство, что національные боги, не умѣвшіе защитить своихъ поклонниковъ отъ римскаго

оружія и склонившіеся передъ величіемъ Юпитера Капитолійскаго, потеряли въ глазахъ поработенныхъ націй большую часть своего прежняго авторитета. Насколько римскій императоръ былъ сильнѣе мелкихъ національных царей, настолько-же новый богъ долженъ былъ оказаться сильнѣе прежнихъ національных боговъ. Когда въ Римѣ сбѣжались съ разныхъ концовъ древняго міра десятки религій, тогда мелкое соперничество разнокалиберныхъ культовъ и жрецовъ пробудило въ очень многихъ умахъ стремленіе къ какому-нибудь болѣе широкому, высокому и чистому единству, которое положило-бы конецъ скандальнымъ жреческимъ интригамъ, рекламъ, фокусамъ и ссорамъ. Философія въ періодъ имперіи приняла теологическое направленіе и, стараясь отыскать въ языческихъ міахъ высшій символическій смыслъ, выработала, подъ прикрытіемъ старыхъ именъ, новое монотеистическое ученіе. Видя передъ собою ту колоссальную деморализацію, которую римская имперія далеко превзошла всѣ остальные историческія эпохи, философы очень добросовѣстно стремились къ тому, чтобы обновить и образумить общество вліяніемъ философскихъ доктринъ. Философы старались устроить какое то царство разума, въ которомъ верховная власть будетъ принадлежать мыслителямъ и въ которомъ всѣ люди будутъ добродѣтельны и счастливы, какъ кроткія и послушныя овцы. Чтобы ввести людей въ это царство благодравія и блаженства, философамъ надо было выработать и распространить сильную и убѣдительную нравственную доктрину, а для этого имъ непременно надо было выдти въ ту или другую сторону изъ области метафизики, въ которой обрѣталась греческая философія послѣ своего разрыва съ господствующимъ политеизмомъ. Построить какую-бы то ни было нравственную доктрину можно только или на вѣрѣ, или на знаніи. Чтобы считать одни поступки обязательными, а другіе предосудительными, человѣкъ долженъ или вообразить себѣ, что надъ нимъ есть высшая сила, посылающая ему награды и наказанія, или знать, посредствомъ точнаго изслѣдованія окружающей природы и собственнаго организма, что одни поступки приносятъ ему пользу, а другіе—вредъ. Знанія философъ были такъ отрывочны и недостаточны, что на нихъ невозможно было построить нравственную и социальную доктрину. Метафизика по своему обыкновенію привела всѣхъ искреннихъ мыслителей только къ систематическому сомнѣнію, превратившему наконецъ весь ви́шній міръ въ призракъ и въ обманъ чувствъ. Такими діалектическими тонкостями невозможно было дѣйствовать на массы и реформировать общественную жизнь. Поэтому когда философія почувствовала въ себѣ призваніе къ практической дѣятельности, тогда она поневолѣ откинулась на-

задъ, къ теологіи, и въ этой области остановилась на той доктринѣ, которая по своей рациональности стояла выше древнихъ міахъ и была болѣе способна внести въ общество единодушіе, порядокъ и нравственную чистоту. Философы и народныя массы встрѣтились въ своихъ стремленіяхъ на монотеизмъ, и хотя смѣлыя надежды философъ далеко не осуществились, однако тѣмъ не менѣе человечество вступило въ новую фазу своего историческаго развитія. вмѣстѣ съ основной доктриной измѣнились по обыкновенію всѣ отрасли умственной дѣятельности, всѣ государственныя учрежденія и всѣ важнѣйшія формы общественной жизни. Здѣсь оканчивается древняя исторія и начинается средневѣковой періодъ, наполненный такими явленіями, о которыхъ древность не имѣла понятія.

XII.

Вѣрованія политеистовъ имѣли чисто національное значеніе; каждое отдѣльное политическое тѣло имѣло своихъ специальныхъ покровителей, которыхъ господство не распространялось на сосѣдей. Умиловивленіе этихъ національных боговъ жертвоприношеніями и различными церемоніями составляло прямую обязанность существующаго правительства. Обѣ власти, духовная или теоретическая (*pouvoir spirituel*) и свѣтская или практическая (*pouvoir temporel*), во времена политеизма оставались неразлучными и сосредоточивались въ однихъ рукахъ. Переходъ къ монотеизму разорвалъ древнюю связь, существовавшую между религіей и народностью. Верховное существо монотеистовъ уже не могло быть специальнымъ покровителемъ отдѣльнаго племени; это верховное существо сдѣлалось творцомъ и правителемъ всего міра, отцомъ и судьей всѣхъ людей, безъ различія національностей. Не имѣя никакого мѣстнаго или племенного характера, монотеизмъ можетъ сдѣлаться общей религіей многихъ народовъ, разбросанныхъ по различнымъ частямъ свѣта, управляющихся различными законами и составляющихъ множество независимыхъ политическихъ тѣлъ.

Единственной связью между этими различными народами окажутся ихъ общія вѣрованія; въ тѣ времена, когда теологическое міросозерцаніе безраздѣльно господствуетъ надъ умами людей, эта единственная связь имѣетъ очень важное значеніе; народы, связанные общими вѣрованіями, считаютъ себя до нѣкоторой степени членами одной общей семьи и противоплагаютъ себя всему остальному міру, который, по ихъ мнѣнію, коснѣетъ въ пагубномъ заблужденіи. У народовъ, связанныхъ единствомъ теософической доктрины, пробуждается конечно стремленіе поддерживать эту связь,

сохраняя въ чистотѣ первобытное ученіе и взаимно предостерегая другъ друга отъ такихъ нововведеній и умозаключеній, которыя такъ или иначе могутъ нарушить эту драгоценную чистоту. Возникаетъ потребность совѣщаться или переписываться о религіозныхъ дѣлахъ; обнаруживается необходимость создать какую-нибудь центральную власть, къ которой можно было-бы обращаться съ разныхъ сторонъ за рѣшеніемъ спорныхъ догматическихъ или дисциплинарныхъ вопросовъ. Словомъ, космополитическій характеръ монотеизма, при благоприятныхъ историческихъ обстоятельствахъ, естественнымъ образомъ приводитъ за собою учрежденіе такой власти, которая по возможности старается сдѣлать себя независимой отъ отдѣльныхъ національныхъ правительствъ. Когда національныя правительства сильны и бдительны, тогда эти старанія оказываются неудачными; когда-же въ политическомъ мірѣ господствуетъ безпорядочная борьба личныхъ страстей и частныхъ интересовъ, тогда эти старанія увѣнчиваются полнымъ успѣхомъ, что и случилось дѣйствительно въ средневѣковой Европѣ, гдѣ, какъ извѣстно, космополитическая власть папъ въ продолженіи нѣсколькихъ столѣтій боролась съ національными правительствами за верховное господство.

Въ этой средневѣковой борьбѣ папъ съ императорами и съ королями Огюсть Контъ усматриваетъ то раздѣленіе властей, которое, по его мнѣнію, должно сдѣлаться основаніемъ будущаго національнаго общественнаго устройства, примиряющаго въ себѣ всѣ разумныя требованія порядка и прогресса. Чтобы понять взглядъ Конта на раздѣленіе властей, надо сначала познакомиться съ его мнѣніями о тѣхъ обязанностяхъ, которыя нормально-организованное общество должно налагать на лучшихъ своихъ мыслителей. Философы древней Греціи мечтали о томъ, чтобы сосредоточить въ своихъ рукахъ всѣ отрасли верховной власти; они полагали, что господство по всѣмъ правамъ должно принадлежать разуму, и что народъ будетъ счастливъ только тогда, когда его дѣлами будутъ завѣдывать самые гениальныя и глубокомысленныя изъ его соотечественниковъ. Къ этой мечтѣ греческихъ философовъ Контъ относится очень недоброжелательно. Онъ полагаетъ, что гениальный мыслитель въ большей части случаевъ оказался-бы очень посредственнымъ, или даже никуда негоднымъ администраторомъ. Фридрихъ II сказалъ однажды, что, еслибы онъ захотѣлъ разорить въ концѣ какую-нибудь провинцію, то предоставилъ-бы ея управленіе своимъ друзьямъ-философамъ. Упомянувъ мимоходомъ объ этихъ извѣстныхъ словахъ, Контъ говоритъ, что они превосходно выражаютъ собой чистѣйшую истину, потому что для занятія всѣдневными практическими дѣлами про-

стое и трезвое благоразуміе гораздо полезнѣе, чѣмъ глубокомысліе и гениальность. Дѣло мыслителей—прокладывать новые пути, вырабатывать новые принципы, обогащать и освѣжать жизнь новыми руководящими идеями. Дѣло администраторовъ—идти по этимъ вновь проложеннымъ дорогамъ и прикладывать данныя общія идеи къ мелкимъ и случайнымъ обстоятельствамъ мѣста и времени. Мыслитель ищетъ общихъ законовъ и обращаетъ мало вниманія на частныя особенности изучаемыхъ явленій; администраторъ, напротивъ того, постоянно ищетъ дѣло съ конкретными подробностями, отъ которыхъ въ большей части случаевъ зависитъ успѣхъ или неуспѣхъ его распоряженій. Поэтому мыслителю, превратившемуся въ администратора, пришлось-бы насиловать свою природу, и еслибы даже ему удалось приневолить себя къ аккуратному и кропотливому выполнению мелкихъ практическихъ обязанностей, то во всякомъ случаѣ лучшая и драгоценнѣйшая часть его умственныхъ силъ осталась-бы непримененной къ дѣлу и слѣдовательно пропала-бы даромъ для человѣчества. Кроме того въ правительствѣ, составленномъ изъ мыслителей, высшія мѣста все-таки ни въ какомъ случаѣ не достались-бы первокласснымъ гениямъ. Подвиги и силы тѣхъ гениевъ, которые дѣйствительно производятъ перевороты въ общественномъ сознаніи, большей частью не могутъ быть оцѣнены по достоинству современниками, именно потому, что гений слишкомъ далеко хватаетъ впередъ и слишкомъ рѣзко противурѣчитъ установившимся теоріямъ. Не умѣя понять гениальнаго мыслителя, современники видятъ въ немъ или безтолковаго фантазера, или вреднаго шарлатана; пониманіе начинается только тогда, когда многолѣтняя работа мыслителя приведена къ концу и разъяснена обществу другими мыслителями, менѣе даровитыми, чѣмъ первый мыслитель, но болѣе понятливыми, чѣмъ масса равнодушныхъ и недобрычливыхъ современниковъ. Когда это пониманіе становится всеобщимъ, тогда уже поздно призывать генія въ верховный совѣтъ, потому что гений уже умеръ или по крайней мѣрѣ превратился въ дряхлаго старика. Стало быть, правительство философовъ было-бы во всякомъ случаѣ правительствомъ философствующихъ посредственностей, неспособныхъ сдѣлать ничего великаго ни въ области мысли, ни въ области практической жизни. Наконецъ особенно важно то обстоятельство, что, присвоивъ себѣ господство надъ обществомъ и превратившись въ правительство, мысль тотчасъ начинаетъ слабѣть и развращаться; для того, чтобы сохранять всю свою силу и всю свою свѣжесть, мысль должна постоянно оставаться чисто-прогрессивной силой, вѣчно недовольной тѣмъ, что существуетъ, вѣчно критикующей

несовершенства настоящаго, вѣчно стремящейся къ болѣе полной и къ болѣе разумной жизни. Если мысль выйдетъ изъ этого положенія систематической оппозиціи, если она присвоитъ себѣ прямое господство, то она, подобно всякому другому правительству, проникается инстинктомъ самосохраненія и незамѣтнымъ образомъ, мало по малу, направитъ всѣ свои усилія къ тому, чтобы поддерживать тотъ порядокъ вещей и тотъ строй понятій, которые создали ея политическое могущество. Однимъ словомъ, еслибы греческіе философы успѣли осуществить свою мечту, то ихъ идеальное государство очень скоро превратилось-бы въ неподвижную теократію, систематически подавляющую внутри себя всякую самостоятельность индивидуальной мысли.

Итакъ, стремленія греческихъ философовъ ошибочны. Спрашивается теперь, какимъ-же образомъ должно выражаться въ нормально-организованномъ обществѣ оплодотворяющее вліяніе сильной мысли?

Отвергая честолюбивыя мечты греческихъ философовъ, Контъ полагаетъ въ то-же время, что дѣйствительныя отношенія этихъ философовъ къ обществу были также совершенно ненормальны, именно потому, что эти философы дѣйствовали въ разсыпную и не имѣли никакого официальнаго характера. По соображеніямъ Конта оказывается, что лучшіе мыслители даннаго общества должны составить изъ себя теоретическую власть, совершенно независимую отъ практической, но имѣющую, подобно всякому другому правительству, свою внутреннюю іерархическую организацію. Эта теоретическая власть должна завѣдывать воспитаніемъ въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова; то есть, внушивши подростающему поколѣнію извѣстныя понятія, чувства и стремленія, она должна своимъ постояннымъ вліяніемъ на общество и на отдѣльныя личности направлять своихъ бывшихъ воспитанниковъ къ неуклонному примѣненію усвоенныхъ идей къ дѣйствительной жизни.

Не трудно понять, что идея Конта объ организованной и независимой теоретической власти нисколько не лучше той мечты греческихъ философовъ, которую самъ-же Контъ разбиваетъ самыми побѣдоносными и неопровержимыми аргументами. Геніямъ приходится оставаться за штатомъ какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, потому что въ обоихъ случаяхъ высшія мѣста въ правительственной іерархіи будутъ доставаться не тѣмъ мыслителямъ, которые умѣютъ остальныхъ, а тѣмъ, которые умѣютъ приобрести себѣ наиболѣе обширную извѣстность. Мысль, какъ здѣсь, такъ и тамъ, превратится въ консервативную силу и сдѣлается тормазомъ, вмѣсто того чтобы быть двигателемъ. Организованная іерархія Конта

непремѣнно разовьется въ себѣ тѣ естественныя инстинкты, которые свойственны всякому правительству, практическому или теоретическому,—разовьется ихъ именно потому, что она—организованная іерархія и слѣдовательно, подобно всякому другому организму, поставлена въ необходимость отстаивать прежде всего свое собственное органическое существованіе. Въ конечномъ результатѣ получилась-бы чистѣйшая теократія, или-же получилась-бы чистый нуль, то есть независимая теоретическая власть, придуманная Контомъ, принуждена была-бы или захватить въ свои руки всѣ отрасли политическаго господства, или-же отказаться отъ своей независимости и подчиниться свѣтскому правительству. Двѣ независимыя верховныя власти не могутъ существовать рядомъ въ одномъ и томъ-же обществѣ; онѣ могутъ только бороться между собою, и борьба ихъ рано или поздно непремѣнно должна кончиться тѣмъ, что одна власть уничтожитъ и прогонитъ другую. Такъ точно было и въ средневѣковой Европѣ. Если-же Контъ при всей своей необыкновенной проникательности принялъ ожесточенную борьбу за полюбовное размежеваніе, то эту странную ошибку можно объяснить тѣмъ обстоятельствомъ, что Контъ, увлеченный своей собственной политической утопій, постарался увидѣть въ исторіи оправданіе этой утопіи и, находясь въ этомъ далеко не безпристрастномъ настроеніи, повѣрилъ съ особеннымъ удовольствіемъ чувствительнымъ розсказнямъ католическихъ писателей, подобныхъ мосьею Боссюэту и графу де-Местру. На этихъ двухъ изобрѣтателей Контъ дѣйствительно ссылается очень часто, причемъ онъ обыкновенно называетъ ихъ «l'illustre de Maistre», «le grand Bossuet».

XIII.

По мнѣнію Конта, великая политическая задача католицизма состояла въ томъ, чтобы, устранивъ опасныя мечты греческой философіи о верховномъ господствѣ разума, доставить мыслителямъ правильное и постоянное вліяніе на теченіе общественныхъ дѣлъ.

«Вмѣсто того,—говоритъ Контъ,—чтобы увѣковѣчивать между людьми дѣла и людьми мысли печальную борьбу, которая должна была истощать самыя драгоцѣнныя силы человеческой цивилизаціи, надо было устроить между ними постоянное соглашеніе, которое могло-бы превратить ихъ гибельный антагонизмъ въ полезное соперничество, единодушно направленное къ наилучшему удовлетворенію главныхъ общественныхъ потребностей; надо было по возможности назначить для каждой изъ двухъ великихъ силъ въ совокупности политической системы правильное участіе, со-

вершенно отдѣльное и независимое, хотя и направленное къ одной общей цѣли; надо было пристроить обѣ силы къ такому назначенію, которое соотвѣтствовало-бы ихъ характеристическимъ особенностямъ.» — Вслѣдъ затѣмъ читатель узнаетъ, къ крайнему своему удивленію, что католицизмъ побѣдилъ эту громадную трудность самымъ восхитительнымъ образомъ (*de la manière la plus admirable*) и что онъ, несмотря на множество препятствій, произвелъ то фундаментальное раздѣленіе властей, въ которомъ здравая философія, наперекоръ современнымъ предразсудкамъ, должна видѣть величайшее усовершенствованіе общественнаго организма.

Если мы отдадимъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, что такое — практическая власть и что такое — теоретическая власть, то мы немедленно сообразимъ, что средневѣковой католицизмъ о раздѣленіи властей не имѣлъ и не могъ имѣть ни малѣйшаго понятія. Практической властью называется та власть, которая собираетъ налоги, ведетъ войны, заключаетъ трактаты, издаетъ законы, чеканитъ монету, преслѣдуетъ преступниковъ и творитъ надъ ними судъ и расправу. Отличительный признакъ этой практической власти заключается въ томъ, что въ случаѣ надобности она можетъ и должна поддерживать вооруженной силой каждое изъ своихъ распоряженій или требованій. Теоретической властью, напротивъ того, можно назвать только ту силу, которая вырабатываетъ и формируетъ общественное мнѣніе. Такой силой можетъ быть только мысль, не имѣющая за собою никакихъ вѣншихъ вспомогательныхъ средствъ и дѣйствующая на общество исключительно своей собственной, внутренней разумностью и убѣдительностью. Раздѣленіе властей существуетъ только въ тѣхъ обществахъ, въ которыхъ мысль не терпитъ никакихъ преслѣдованій и не получаетъ никакого покровительства со стороны матеріальной силы, находящейся въ распоряженіи практической власти. На общеупотребительномъ политическомъ языкѣ раздѣленіе властей называется свободой мысли и свободой совѣсти. Такимъ раздѣленіемъ властей пользуются въ настоящее время только Англія и Америка. Но это раздѣленіе властей совершенно несовмѣстно съ какой бы то ни было *организацией* теоретической власти. Всякая организация непременно подчиняетъ волю отдѣльной личности волѣ начальника или рѣшенію большинства. Но что-же вы будете дѣлать, если найдете такую личность, которая захочетъ дѣйствовать по своему, не обращая вниманія ни на приказанія начальника, ни на рѣшенія своихъ товарищей? — Вы сдѣлаете одно изъ двухъ: или вы предоставите этой своенравной личности полную свободу, или-же вы употребите противъ нея матеріальную силу, кото-

рая переломитъ ея своенравіе какими-нибудь энергическими внушеніями, напирѣтъ романъ или тюремнымъ заключеніемъ, или смертной казнью. Въ первомъ случаѣ я осмѣлюсь спросить васъ: куда-же дѣвалась ваша организация, и на что же она нужна, если каждая отдѣльная личность дѣлаетъ въ области мысли все, что ей вздумается? — Во второмъ случаѣ вы мнѣ позволите спросить у васъ: куда дѣвалось раздѣленіе властей, и можно-ли называть вашу организованную власть *теоретической*, если она пускаетъ въ ходъ матеріальную силу? *Бичи, темницы, топоры* — развѣ это не *теоретическія* средства? Всѣ эти средства вы можете заимствовать только у практической власти, и всѣми этими средствами вы можете пользоваться только въ такомъ случаѣ, если это вамъ будетъ положительно разрѣшено практической властью. Значитъ, пользуясь этими средствами, вы ставите ваше *sanctum sanctorum*, вашу теоретическую святыню подъ покровительство практической власти; а кто требуетъ покровительства, тотъ, разумѣется, подчиняется контролю, потому что въ самомъ дѣлѣ гдѣ же вы найдете такихъ полоумныхъ людей, которые, зажуривъ глаза, согласились бы покровительствовать неизвѣстно чему? Стало бы, верховнымъ судьей въ дѣлѣ теоріи оказывается самымъ естественнымъ и неизбѣжнымъ образомъ практическая власть. Гдѣ-же послѣ этого ваша самостоятельность? Ясное дѣло, что надо выбирать одно изъ двухъ: или организацию, или независимость. Эти два условія взаимно исключаютъ другъ друга.

Контъ, какъ настоящій французъ, дорожитъ преимущественно единствомъ и порядкомъ; его смущаютъ и приводятъ въ негодованіе хаотическое разнообразіе и дерзкая пестрота личныя сужденій; онъ отзывается съ непритворнымъ отвращеніемъ объ *умственной анархіи* нашего времени; сокрушаясь надъ этой *анархіей*, въ которой нѣтъ ничего печальнаго и предосудительнаго, онъ очень мало заботится о сохраненіи независимости, и, разсуждая очень странно и торжественно о раздѣленіи властей, самъ на каждомъ шагѣ, во имя единства и порядка, отступаетъ отъ этого основнаго принципа своей политической философіи. Непомѣрное пристрастіе Конта къ любезному единству и порядку внушаетъ ему пламенную нѣжность и глубокое уваженіе къ средневѣковой католической системѣ, которую онъ прямо называетъ *образцовымъ произведеніемъ политической мудрости* (*le chef-d'oeuvre politique de la sagesse humaine*); Контъ боится даже, что онъ, по недостатку мѣста, не успѣетъ достаточно передать читателю въ своемъ общемъ философскомъ трактатѣ то *глубокое восхищеніе*, которымъ онъ уже давно проникнутъ въ отношеніи къ основному плану средневѣковой общественности.

Конть выражает наконецъ ту мысль, что было-бы чрезвычайно полезно сосредоточить всѣ политическія разсужденія и споры между двумя главными направленіями, — католическимъ и положительнымъ; всѣ остальные доктрины онъ сваливаетъ въ одну кучу и называетъ презрительнымъ именемъ протестантской метафизики; эта метафизика, по его мнѣнію, порождаетъ только безплодные и безконечныя пренія, радикально враждебныя всякому здравому политическому плану. Но вслѣдъ затѣмъ Конть тотчасъ-же признается, что положительную школу составляетъ въ данную минуту одна его собственная особа, изъ чего слѣдуетъ очевидное заключеніе, что бесѣдовать и спорить о политикѣ имѣютъ разумное право только графъ де-Местръ съ одной стороны и Огюсть Конть съ другой стороны. Такъ какъ обѣ компетентныя стороны питаютъ одинаково сильную любовь къ единству и къ порядку, то можно поручиться заранѣе, что свобода мысли будетъ задавлена во всякомъ случаѣ, какимъ бы результатомъ ни закончилась борьба между обожателями Шя IX и новымъ палой позитивизма. Къ счастью для современнаго человѣчества, такъ называемая протестантская метафизика, къ которой отнесены безъ разбора и Вольтеръ, и Фейербахъ, и Фурье, и Прудонъ, — вовсе не намѣрена подавать въ отставку и уступать поле сраженія *здравымъ политическимъ планамъ* графа де-Местра и Огюста Конта. Дѣло отрицанія далеко еще не кончено даже въ западной Европѣ; а когда начнется дѣло созиданія, то оно будетъ производиться вовсе не по тѣмъ планамъ, которые Конть считаетъ здравыми. Политическія тенденціи Конта кладутъ ложный розовый колоритъ на всѣ средневѣковыя учрежденія, которыя онъ подвергаетъ тщательному и подробному анализу. Общій взглядъ Конта на средневѣковую систему совершенно невѣренъ; симпатіи его направляются къ тому политическому организму, который по мѣрѣ силъ своихъ поддерживалъ и упрочивалъ въ европейскихъ обществахъ нищету и тупоуміе. Несмотря на эти капитальныя ошибки Конта, его историческій анализъ заключаетъ въ себѣ множество чрезвычайно глубокихъ и вѣрныхъ замѣчаній. Даже тамъ, гдѣ онъ ошибается и приходитъ въ совершенный разладъ съ исторической истиной, онъ все-таки остается сильнымъ и оригинальнымъ мыслителемъ, котораго заблужденія и натяжки оказываются болѣе интересными и поучительными, чѣмъ самыя безукоризненно вѣрныя словоизліянія добродѣтельныхъ, умѣренныхъ и аккуратныхъ либераловъ нашего времени.

Въ средневѣковомъ обществѣ было немислимо то раздѣленіе властей, которое Огюсту Конту желательно въ немъ усматривать. Еслибы это раздѣленіе дѣйствительно существовало, то папы не имѣли бы ни малѣйшей возможности преслѣ-

довать и истреблять еретиковъ. Папы могли-бы дѣйствовать противъ нихъ только увѣщаніями и аргументами, а въ крайнемъ случаѣ — ругательствами и проклятіями; но такъ какъ еретики, по своему извѣстному упрямству, стали-бы навѣрное платить папамъ той-же монетой, то, разумѣется, знаменитое католическое единство очень быстро распалось-бы въ разныя стороны, и средневѣковая Европа огорчила-бы великихъ организаторовъ де-Местра и Конта такой-же безпорядочной пестротой разнообразнѣйшихъ сектъ, какой украшается въ настоящее время Сѣверная Америка, не имѣющая ни малѣйшаго понятія о высокихъ прелестяхъ единства, системы и порядка. Папы въ самое цвѣтущее время своего могущества безпрестанно обращаются къ императору и къ королямъ за такими аргументами, которые всегда дѣйствуютъ на еретиковъ сильнѣе всякихъ увѣщаній, ругательствъ и даже проклятіи. По приглашенію папъ свѣтская власть безпрестанно вѣшаетъ и сжигаетъ неугодныхъ спорщиковъ то по одиночкѣ, то цѣлыми сотнями. Въ началѣ XIII вѣка самый могущественный изъ папъ, Иннокентій III, напускаетъ на южную Францію десятки тысячъ вооруженныхъ крестоносцевъ, которые жгутъ города, рѣжутъ людей, насилуютъ женщинъ и наконецъ всѣми этими подвигами благополучно восстанавливаютъ нарушенное единство католической системы, этого *образцоваго произведенія политической мудрости*. Немного позднѣе преемникъ Иннокентія III, Григорій IX, учреждаетъ инквизицію, которая начинаетъ неунынно заботиться о поддержаніи великаго единства и поддерживаетъ его тѣмъ, что постоянно передаетъ заподозрѣнныхъ людей въ распоряженіе свѣтской власти, всегда имѣющей въ готовности весьма достаточное количество висѣлицъ и костровъ. Пока свѣтская или практическая власть находитъ для себя удобнымъ оказывать теоретической власти эти дружескія услуги, до тѣхъ поръ любезное Огюсту Конту единство кое-какъ держится, хотя постоянно трещитъ и скрипитъ то въ Англіи, то во Франціи, то въ Германіи. Какъ только предупредительная любезность практической власти истощается, такъ тотчасъ же разрушается великое единство и начинается ненавистное для Огюста Конта протестантское безобразіе. Ясно, кажется, что средневѣковая теоретическая власть держалась въ продолженіи нѣсколькихъ столѣтій не своимъ собственнымъ могуществомъ, не внутренней разумностью и убѣдительностью своей основной идеи, а только искусственной и чисто виѣшной поддержкой матеріальной силы, то есть практической власти. Есть-ли послѣ этого какая-нибудь возможность говорить серьезно о раздѣленіи властей?

Въ теоретическихъ трактатахъ очень легко и удобно раздѣлять то, что нераздѣлимо въ дѣй-

ствительной жизни. Но при всем том средневѣковые мыслители даже въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ никогда не думали провозглашать взаимную независимость обѣихъ властей. Одни изъ этихъ мыслителей поддерживали притязанія папъ, другіе отстаивали права императоровъ и королей. Первые были гораздо смѣлѣе и послѣдовательнѣе вторыхъ. Первые объявляли очень откровенно, что папѣ принадлежитъ верховная власть надъ всеми государями и надъ всеми народами. Вторые превозносили божественныя права свѣтскихъ властителей, но въ то-же время никакъ не осмѣливались утверждать, что императоры и короли не обязаны повиноваться папамъ. Они просто обходили молчаніемъ щекотливый вопросъ о столкновеніяхъ между обѣими властями, совѣтовали государямъ уважать папу, какъ отца, и успокаивались на той обманчивой надеждѣ, что любовь и уваженіе будутъ устранять всякіе поводы къ взаимнымъ неудовольствіямъ. Эта нерѣшительность имперіалистовъ доказываетъ какъ нельзя лучше совершенную невозможность провести ясную пограничную черту между обѣими властями даже въ теоретическомъ разсужденіи. Клерикальная партія, напротивъ того, не обнаруживала никакихъ колебаній, именно потому, что раздѣленіе властей вовсе не входило въ ея расчеты. Вся программа этой партіи была въ высшей степени проста и послѣдовательна: надо было безъ дальнѣйшихъ церемоній превратить императоровъ и королей въ папскихъ приказчиковъ, которыхъ папа могъ-бы по своему благоусмотрѣнію штрафовать и выгонять въ отставку. Эти стремленія папъ къ клерикальной диктатурѣ высказывались во всеуслышаніе, какъ самими папами, такъ и всеми публицистами ультрамонтанскаго лагеря. Но поддерживать такіа неумѣренные притязанія послѣ скандальнаго раскола, совершившагося въ XV вѣкѣ, и въ особенности послѣ реформации было уже довольно затруднительно. Потерявши свое господство надъ умами довѣрчивыхъ массъ и нуждаясь для своего существованія въ милостивомъ покровительствѣ свѣтской власти, папы, изъ чувства самосохраненія, должны были предать благоразумному забвенію средневѣковую теорію о низложеніи императоровъ и о разрѣшеніи подданныхъ отъ присяги. Знаменитые діалектики и дипломаты католицизма, іезуиты, постарались соорудить новую теорію папской власти, приспособленную до нѣкоторой степени къ измѣнившимся условіямъ времени. Однако и въ этой новой теоріи, составленной нарочно для того, чтобы пощадить самолюбіе королей и вродовъ, — обѣ власти остаются нераздѣленными, и папа попрежнему является верховнымъ судьей свѣтскихъ правителей. Различіе между старой и новой теоріей состоитъ только въ томъ, что Григорій VII и Иннокентій III *прямо* присвои-

вали папѣ свѣтскую власть, между тѣмъ какъ іезуиты, напротивъ того, считаютъ свѣтскую власть *косвеннымъ послѣдствіемъ* духовной власти. Вся разниа заключается въ прочности доказательствъ, что-же касается до результатовъ, то въ нихъ не оказывается никакой разницы.

Изъ всего этого разсужденія получается тотъ очевидный результатъ, что короли совершенно самостоятельны... если только они *безприсловно* повинуются папѣ. Если-же они *выходятъ* изъ повиновенія, то они, разумеется, становятся тотчасъ вредными *для спасенія души*, превращаются въ рабовъ грѣха и слѣдовательно утрачиваютъ всякую возможность пользоваться самостоятельностью. Тогда, разумеется, папа съ крайнимъ прискорбіемъ беретъ ихъ подъ свою спасительную опеку, какъ малолѣтнихъ или слабоумныхъ. Повидимому въ этой теоріи все обстоитъ совершенно благополучно, и *спасеніе души* обезпечено какъ нельзя лучше противъ всевозможныхъ враждебныхъ случайностей. Несмотря на всѣ эти достоинства, папа Сикстъ V нашелъ эту теорію столь оскорбительной для величія римскаго престола, что немедленно внесъ сочиненіе іезуита Беллармина въ списокъ тѣхъ вредныхъ и безнравственныхъ книгъ, которыхъ чтеніе запрещается послушнымъ дѣтямъ католической церкви. Несмотря на всѣ перевороты, совершившіеся въ политическомъ и въ религіозномъ мірѣ, Сикстъ V въ шестнадцатомъ столѣтіи не думалъ отказываться отъ притязаній своихъ великихъ предшественниковъ. «Мы возведены, — пишетъ онъ, — на верховный престолъ справедливости, и мы обладаемъ неограниченнымъ господствомъ надъ всеми королями и государями земли, надъ всеми народами не по человѣческому, а по божескому установленію.»

Если Контъ называетъ мечты греческихъ философовъ безразсудными, то онъ долженъ, выражаясь математическимъ языкомъ, назвать мечты средневѣковыхъ клериковъ безразсудными въ квадратъ или въ кубъ, потому что конечно ни Пифагоръ, ни Платонъ никогда не мечтали о томъ, что они обладаютъ или будутъ обладать неограниченнымъ господствомъ надъ всеми государями и народами земли.

XIV.

Важнѣйшая заслуга католицизма, по словамъ Конта состояла въ томъ, что онъ, учредивши чисто-нравственную власть, ввелъ постепенно нравственность въ политику, въ которой господствовали до того времени грубая сила и своекорыстный расчетъ. Контъ полагаетъ, что въ древнемъ мірѣ нравственность была подчинена политикѣ между тѣмъ какъ въ новомъ мірѣ, напротивъ

того, политика подчиняется нравственности. Эту перемену Контъ приписываетъ католицизму. За нее католицизму стоило-бы дѣйствительно сказать большое спасибо, еслибы только эта перемена дѣйствительно была произведена. Но ничего похожаго на подобную перемену нельзя отыскать ни въ средне-вѣковой исторіи, ни въ новой исторіи, ни въ той самоновѣйшей исторіи, съ которой мы знакомимся по газетамъ. Гдѣ-жъ они, эти Аристиды и Катоны политическаго міра? Гдѣ они, эти добродѣтельные и безкорыстные администраторы, отказывающіеся, во имя высшихъ нравственныхъ принциповъ, отъ удобнаго случая пожинуться за счетъ слабаго сосѣда клочкомъ земли или нѣсколькими милліонами военной контрибуціи? Въмѣсто ожидаемыхъ и требуемыхъ Аристидовъ и Катоновъ мы получаемъ двухъ Наполеоновъ, Луи-Филиппа, Меттерниха, Пальмерстона, Баха, Мантейфеля, Бисмарка, Шмерлинга, Гайнау, Радецкого, Морни и обильную коллекцію разныхъ другихъ, столь-же милостивыхъ воплощеній современной политической добросовѣстности и деликатности. Всѣ эти свѣтила государственной мудрости оказали нѣкоторымъ сообразительнымъ людямъ XIX вѣка ту дѣйствительно капитальную услугу, что отбили у нихъ всякую охоту гоняться за тѣмъ неудовимымъ призракомъ отвлеченной нравственности, который къ сожалѣнію увлекалъ за собой Огюста Конта втеченіи всей его жизни. Сообразительные люди нашего времени поняли наконецъ, что справедливость водворится во всѣхъ междучеловѣческихъ отношеніяхъ не тогда, когда всѣ жители нашей планеты проникнутся высокими добродѣтелями, а тогда, когда каждый нахаль будетъ встрѣчать себя очень чувствительный отпоръ со стороны тѣхъ безотвѣтныхъ личностей, надъ которыми онъ во времена ихъ безотвѣтности привыкъ куржиться и озорничать. Поэтому сообразительные люди во всей Европѣ только о томъ и заботятся, чтобы положить конецъ овечьей безотвѣтности большинства и организовать достаточную силу отпора во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ такая сила требуется условіями общественнаго механизма.

Въ современной политикѣ принципъ выгоды никогда не совпадаетъ съ принципомъ справедливости; частная жизнь въ малыхъ размѣрахъ представляетъ собой картину точно такого-же разлада. Глядя на эти явленія, одни мыслители умозаключаютъ, что принципы выгоды и справедливости по самой природѣ своей осуждены вести между собой вѣчную вражду; дойдя до такого убѣжденія, мыслители эти становятся на сторону справедливости и начинаютъ требовать отъ своихъ послѣдователей и отъ всѣхъ людей, чтобы они постоянно зарывали свои собственные выгоды на алтарь

добродѣтели, нравственности и человеколюбія. Если, разсуждаютъ мыслители, каждый человѣкъ во всякую данную минуту будетъ готовъ отдать ближнему послѣднюю рубашку, то, разумеется, на свѣтѣ не будетъ ни голодныхъ, ни раздѣтыхъ, ни ограбленныхъ, ни избитыхъ людей. Разсужденіе очень основательное и добродушное, — но къ сожалѣнію бѣдныя классы общества, какъ больные, чающіе движенія воды, ждутъ безуспѣшно почти двѣ тысячи лѣтъ, чтобы въ ихъ богатыхъ соотечественникахъ пробудилось эксцентрическое желаніе снимать съ себя въ пользу ближняго послѣднюю рубашку. Желаніе это не пробуждается, и люди до сихъ поръ постоянно производятъ сниманіе рубашекъ не надъ собой, а надъ своими безсильными и неопытными ближними, которые на юмористическомъ языкѣ филантроповъ называются младшими братьями. Въ виду такихъ выразительныхъ фактовъ, другіе мыслители, болѣе дальновидные, сообразили, что, если бѣднымъ классамъ общества надо будетъ для улучшенія своей участи ожидать терпѣливо, пока старшіе братья украсятся добродѣтелями, — то дѣло этихъ бѣдныхъ классовъ всего лучше будетъ теперь-же сдать въ архивъ съ полной увѣренностью, что оно рѣшится послѣ дождика въ четвергъ. Эти другіе мыслители поняли, что требовать отъ старшихъ братьевъ ненависти къ собственнымъ выгодамъ — значитъ требовать психологической невозможности и слѣдовательно — умышленно или неумышленно — увѣковѣчивать то положеніе вещей, благодаря которому процвѣтаетъ сниманіе рубашекъ, совершенно неспособное улучшить положеніе младшихъ, подвергающихся этому сниманію. Мыслители поняли, что принципъ выгоды въ настоящее время даетъ неудовлетворительные результаты только потому, что онъ недостаточно обобщенъ, и что огромное большинство — именно всѣ младшіе братья — по своему развитію и по своему положенію находятся въ невозможности руководствоваться въ жизни этимъ великимъ принципомъ. Если *каждый* будетъ постоянно стремиться къ своей собственной выгодѣ, и если *каждый* будетъ правильно понимать свою собственную выгоду, то конечно никто не будетъ снимать рубашку съ самого себя, но зато это добродѣтельное сниманіе окажется излишнимъ, потому что каждый будетъ отстаивать твердо и искусно собственную рубашку, и вслѣдствіе этого каждая рубашка будетъ украшать и согрѣвать именно то тѣло, которое ее выработало. Такимъ образомъ если принципъ личной выгоды будетъ съ неуклонной послѣдовательностью проведенъ во всѣ отправленія общественной жизни, то каждый будетъ пользоваться всѣмъ тѣмъ, и только тѣмъ, что принадлежитъ ему по самой строгой справедливости. Чѣмъ силь-

ствительной жизни. Но при всем том средневѣковые мыслители даже въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ никогда не думали провозглашать взаимную независимость обѣихъ властей. Одни изъ этихъ мыслителей поддерживали притязанія папъ, другіе отстаивали права императоровъ и королей. Первые были гораздо смѣлѣе и послѣдовательнѣе вторыхъ. Первые объявляли очень откровенно, что папѣ принадлежитъ верховная власть надъ всеми государями и надъ всеми народами. Вторые превозносили божественныя права свѣтскихъ властителей, но въ то-же время никакъ не осмѣливались утверждать, что императоры и короли не обязаны повиноваться папамъ. Они просто обходили молчаніемъ щекотливый вопросъ о столкновеніяхъ между обѣими властями, совѣтовали государямъ уважать папу, какъ отца, и успокаивались на той обманчивой надеждѣ, что любовь и уваженіе будутъ устранять всякіе поводы къ взаимнымъ неудовольствіямъ. Эта нерѣшительность имперіалистовъ доказываетъ какъ нельзя лучше совершенную невозможность провести ясную пограничную черту между обѣими властями даже въ теоретическомъ разсужденіи. Клерикальная партія, напротивъ того, не обнаруживала никакихъ колебаній, именно потому, что раздѣленіе властей вовсе не входило въ ея расчеты. Вся программа этой партіи была въ высшей степени проста и послѣдовательна: надо было безъ дальнѣйшихъ церемоній превратить императоровъ и королей въ папскихъ приказчиковъ, которыхъ папа могъ-бы по своему благоусмотрѣнію штрафовать и выгонять въ отставку. Эти стремленія папъ къ клерикальной диктатурѣ высказывались во всеуслышаніе, какъ самими папами, такъ и всеми публицистами ультрамонтанскаго лагеря. Но поддерживать такіа неумѣренные притязанія послѣ скандальнаго раскола, совершившагося въ XV вѣкѣ, и въ особенности послѣ реформации было уже довольно затруднительно. Потерявши свое господство надъ умами довѣрчивыхъ массъ и нуждаясь для своего существованія въ милости-вомъ покровительствѣ свѣтской власти, папы, изъ чувства самосохраненія, должны были предать благоразумному забвенію средневѣковыя теоріи о низложеніи императоровъ и о разрѣшеніи подданныхъ отъ присяги. Знаменитые діалектики и дипломаты католицизма, іезуиты, постарались соорудить новую теорію папской власти, приспособленную до вѣкоторой степени къ измѣнившимся условіямъ времени. Однако и въ этой новой теоріи, составленной нарочно для того, чтобы пощадить самолюбіе королей и народовъ, — обѣ власти остаются нераздѣленными, и папа попрежнему является верховнымъ судьей свѣтскихъ правителей. Различіе между старой и новой теоріей состоитъ только въ томъ, что Григорій VII и Иннокентій III *прямо* присвои-

вали папѣ свѣтскую власть, между тѣмъ какъ іезуиты, напротивъ того, считаютъ свѣтскую власть *косвеннымъ послѣдствіемъ* духовной власти. Вся разница заключается въ прочности доказательствъ, что-же касается до результатовъ, то въ нихъ не оказывается никакой разницы.

Изъ всего этого разсужденія получается тотъ очевидный результатъ, что короли совершенно самостоятельны... если только они безприсловно повинуются папѣ. Если-же они видятъ изъ повиновенія, то они, разумѣется, становятся тотчасъ вредными *для спасенія души*, превращаются въ рабовъ грѣха и слѣдовательно утрачиваютъ всякую возможность пользоваться самостоятельностью. Тогда, разумѣется, папа съ крайнимъ прискорбіемъ беретъ ихъ подъ свою спасительную опеку, какъ малолѣтнихъ или слабоумныхъ. Повидимому въ этой теоріи все обстоитъ совершенно благополучно, и *спасеніе души* обезпечено какъ нельзя лучше противъ всевозможныхъ враждебныхъ случайностей. Несмотря на всѣ эти достоинства, папа Сикстъ V нашелъ эту теорію столь оскорбительной для величія римскаго престола, что немедленно внесъ сочиненіе іезуита Беллармина въ списокъ тѣхъ вредныхъ и безнравственныхъ книгъ, которыхъ чтеніе запрещается послѣднимъ дѣтямъ католической церкви. Несмотря на всѣ перевороты, совершившіеся въ политическомъ и въ религіозномъ мірѣ, Сикстъ V и шестнадцатомъ столѣтіи не думалъ отказываться отъ притязаній своихъ великихъ предшественниковъ. «Мы возведены, — пишетъ онъ, — на верховный престолъ справедливости, и мы обладаемъ неограниченнымъ господствомъ надъ всеми королями и государями земли, надъ всеми народами не по человѣческому, а по божескому установленію.»

Если Контъ называетъ мечты греческихъ философовъ безразсудными, то онъ долженъ, выражаясь математическимъ языкомъ, назвать мечты средневѣковыхъ клериковъ безразсудными въ квадратѣ или въ кубѣ, потому что конечно ни Пифагоръ, ни Платонъ никогда не мечтали о томъ, что они обладаютъ или будутъ обладать неограниченнымъ господствомъ надъ всеми государями и народами земли.

XIV.

Важнѣйшая заслуга католицизма, по словамъ Конта состояла въ томъ, что онъ, учредивши чисто-нравственную власть, ввелъ постепенно нравственность въ политику, въ которой господствовали до того времени грубая сила и своекорыстный расчетъ. Контъ полагаетъ, что въ древнемъ мірѣ нравственность была подчинена политикѣ, между тѣмъ какъ въ новомъ мірѣ, напротивъ

того, политика подчиняется нравственности. Эту перемену Контъ приписываетъ католицизму. За нее католицизму стоило-бы дѣйствительно сказать большое спасибо, еслибы только эта перемена дѣйствительно была произведена. Но ничего похожаго на подобную перемену нельзя отыскать ни въ средне-вѣковой исторіи, ни въ новой исторіи, ни въ той самоновѣйшей исторіи, съ которой мы знакомимся по газетамъ. Гдѣ-жъ они, эти Аристиды и Катоны политическаго міра? Гдѣ они, эти добродѣтельные и безкорыстные администраторы, отказывающіеся, во имя высшихъ нравственныхъ принциповъ, отъ удобнаго случая поживиться за счетъ слабаго сосѣда клочкомъ земли или нѣсколькими милліонами военной контрибуціи? Вѣсто ожидаемыхъ и требуемыхъ Аристидовъ и Катоновъ мы получаемъ двухъ Наполеоновъ, Луи-Филиппа, Меттерниха, Пальмерстона, Ваха, Мантейфеля, Бисмарка, Шмерлинга, Гайнау, Радецкаго, Морни и обильную коллекцію разныхъ другихъ, столь-же милостивыхъ воплощеній современной политической добросовѣстности и деликатности. Всѣ эти свѣтила государственной мудрости оказали нѣкоторымъ сообразительнымъ людямъ XIX вѣка ту дѣйствительно капитальную услугу, что отбили у нихъ всякую охоту гоняться за тѣмъ неудовимымъ призракомъ отвлеченной нравственности, который къ сожалѣнію увлекалъ за собой Огюста Конта втеченіи всей его жизни. Сообразительные люди нашего времени поняли наконецъ, что справедливость водворится во всѣхъ междучеловѣческихъ отношеніяхъ не тогда, когда всѣ жители нашей планеты проникнутся высокими добродѣтелями, а тогда, когда каждый нахаль будетъ встрѣчать себя очень чувствительный отпоръ со стороны тѣхъ безотвѣтныхъ личностей, надъ которыми онъ во времена ихъ безотвѣтности привыкъ куржиться и озорничать. Поэтому сообразительные люди во всей Европѣ только о томъ и заботятся, чтобы положить конецъ овечьей безотвѣтности большинства и организовать достаточную силу отпора во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ такая сила требуется условіями общественнаго механизма.

Въ современной политикѣ принципъ выгоды никогда не совпадаетъ съ принципомъ справедливости; частная жизнь въ малыхъ размѣрахъ представляетъ собой картину точно такого-же разлада. Глядя на эти явленія, одни мыслители умозаключаютъ, что принципы выгоды и справедливости по самой природѣ своей осуждены вести между собой вѣчную вражду; дойдя до такого убѣжденія, мыслители эти становятся на сторону справедливости и начинаютъ требовать отъ своихъ послѣдователей и отъ всѣхъ людей, чтобы они постоянно зарывали свои собственныя выгоды на алтарѣ

добродѣтели, нравственности и челоуколюбія. Если, разсуждаютъ мыслители, каждый челоуѣкъ во всякую данную минуту будетъ готовъ отдать ближнему послѣднюю рубашку, то, разумѣется, на свѣтѣ не будетъ ни голодныхъ, ни раздѣтыхъ, ни ограбленныхъ, ни избитыхъ людей. Разсужденіе очень основательное и добродушное, — но къ сожалѣнію бѣдные классы общества, какъ больные, чающіе движенія воды, ждутъ безуспѣшно почти двѣ тысячи лѣтъ, чтобы въ ихъ богатыхъ соотечественникахъ пробудилось эксцентрическое желаніе снимать съ себя въ пользу ближняго послѣднюю рубашку. Желаніе это не пробуждается, и люди до сихъ поръ постоянно производятъ сниманіе рубашекъ не надъ собой, а надъ своими безсильными и неопытными ближними, которые на юмористическомъ языкѣ филантроповъ называются младшими братьями. Въ виду такихъ выразительныхъ фактовъ, другіе мыслители, болѣе дальновидные, сообразили, что, если бѣднымъ классамъ общества надо будетъ для улучшенія своей участи ожидать терпѣливо, пока старшіе братья украсятся добродѣтелями, — то дѣло этихъ бѣдныхъ классовъ всего лучше будетъ теперь-же сдать въ архивъ съ полной увѣренностью, что оно рѣшится послѣ дождика въ четвергъ. Эти другіе мыслители поняли, что требовать отъ старшихъ братьевъ ненависти къ собственнымъ выгодамъ — значитъ требовать психологической невозможности и слѣдовательно — умышленно или неумышленно — увѣковѣчивать то положеніе вещей, благодаря которому процвѣтаетъ сниманіе рубашекъ, совершенно неспособное улучшить положеніе младшихъ, подвергающихся этому сниманію. Мыслители поняли, что принципъ выгоды въ настоящее время даетъ неудовлетворительные результаты только потому, что онъ недостаточно обобщенъ, и что огромное большинство — именно всѣ младшіе братья — по своему развитію и по своему положенію находятъ въ невозможности руководствоваться въ жизни этимъ великимъ принципомъ. Если *каждый* будетъ постоянно стремиться къ своей собственной выгодѣ, и если *каждый* будетъ правильно понимать свою собственную выгоду, то конечно никто не будетъ снимать рубашку съ самого себя, но зато это добродѣтельное сниманіе окажется излишнимъ, потому что каждый будетъ отстаивать твердо и искусно собственную рубашку, и вслѣдствіе этого каждая рубашка будетъ украшать и согрѣвать именно то тѣло, которое ее выработало. Такимъ образомъ если принципъ личной выгоды будетъ съ неуклонной послѣдовательностью проведенъ во всѣ отправленія общественной жизни, то каждый будетъ пользоваться всѣмъ тѣмъ, и только тѣмъ, что принадлежитъ ему по самой строгой справедливости. Чѣмъ силь-

нѣ работаетъ мысль въ этомъ направленіи, тѣмъ сознательнѣе становится стремленіе къ личной выгодѣ, — тѣмъ искуснѣе и безобиднѣе производится полюбовное размежеваніе соприкасающихся интересовъ, — тѣмъ рѣшительнѣе обнаруживается вліяніе просвѣщеннаго общественнаго мнѣнія на всѣ распоряженія практической власти, — и слѣдовательно тѣмъ неотразимѣе оказывается преобладаніе великихъ нравственныхъ принциповъ надъ мелкими политическими расчетами. Всѣ эти превосходные результаты достигаются не искорененіемъ эгоизма, а, напротивъ того, — систематическимъ превращеніемъ всѣхъ гражданъ, съ перваго до послѣдняго, въ совершенно послѣдовательныхъ и правильно рассчитывающихъ эгоистовъ. При такомъ взглядѣ на вещи, нравственное воспитаніе отдѣльной личности или цѣлаго общества не имѣетъ никакого самостоятельнаго значенія; нравственное совершенствованіе оказывается только однимъ изъ неизбежныхъ послѣдствій умственнаго развитія: что содѣйствуетъ работѣ мысли, то возвышаетъ нравственность; что притупляетъ умъ, то ведетъ къ нравственному паденію.

Контъ, при всемъ своемъ глубокомысліи, не сумѣлъ однако-же отдѣлиться отъ толпы тѣхъ рутинныхъ моралистовъ, которые уже Богъ знаетъ сколько вѣковъ ведутъ комическую борьбу съ человѣческимъ эгоизмомъ, то есть съ самымъ великимъ, плодотворнымъ и неистребимымъ свойствомъ нашей животной природы. Къ счастью для насъ, наши зоологическіе предки оставили намъ такую богатую закуску эгоистической силы, которая не поддается никакимъ морализаторскимъ попыткамъ и которая будетъ волновать и мучить личность и общество до тѣхъ поръ, пока коллективный умъ человечества не отыщетъ для нея широкаго и правильнаго исхода. Еслибъ не было у насъ этой неутомимой зоологической страстности, этой неутолимой жажды личнаго наслажденія, то спиритуалисты съ одной стороны и мальтузианцы съ другой стороны давнымъ-давно успѣли-бы превратить въ кастратовъ огромное большинство нашей породы. Человѣчество спасалось отъ гибели на каждомъ шагѣ именно тѣми грубыми животными страстями, противъ которыхъ вооружаются средневѣковые моралисты и вмѣстѣ съ ними позитивистъ Контъ. Нравственная доктрина Конта обрисовывается очень ярко словомъ *альтруизмъ*, которое онъ самъ придумалъ для того, чтобы, въ противоположность къ *эгоизму*, обозначить способность жить для другихъ — *vivre pour autrui*. Въ этой доктринѣ онъ сходится съ средневѣковымъ католицизмомъ, которому онъ и свидѣтельствуетъ свое почтеніе за мнимое проведеніе этой доктрины въ политическую жизнь. Но мораль Конта и его средневѣковыхъ друзей вы-

текаетъ изъ такого превратнаго взгляда на человѣческую природу, что каждая попытка приложить эту мораль къ дѣйствительности вовлекаетъ моралистовъ въ безвыходныя противорѣчія съ ихъ собственнымъ ученіемъ. Именно эти роковыя противорѣчія убили теоретическую власть средневѣковыхъ моралистовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ заключались общественныя обязанности средневѣкового аббата? Отказываясь отъ всякой личной выгоды и отъ всякаго личнаго наслажденія, отъ богатства, отъ власти, отъ комфорта, отъ почестей, отъ любви, отъ семейной жизни, — онъ долженъ былъ постоянно побуждать всѣхъ своихъ ближнихъ къ такимъ-же точно подвигамъ аскетическаго самоотреченія. Но у ближняго были свои собственные понятія и тенденціи: ему хотѣлось наѣдаться до отвала, напиться до безчувствія, наслаждаться до изнеможенія и драться съ каждымъ подобнымъ себѣ буяномъ. Такими ближними были почти всѣ феодальныя бароны, то есть именно тѣ люди, на которыхъ средневѣковому аббату было необходимо дѣйствовать, если только этотъ аббатъ относился серьезно къ своимъ обязанностямъ и чувствовалъ искреннее желаніе сколько-нибудь осмыслить и облагородить окружающую жизнь вліяніемъ своихъ возвышенныхъ нравственныхъ доктринъ. Но, чтобы господствовать надъ умами сильныхъ и богатыхъ буяновъ, чтобы не превратиться въ ихъ шута и лакея, аббату было необходимо или удивлять ихъ какими-нибудь сверхъестественными подвигами самоистязанія, или же стоять съ ними наравнѣ по своему богатству, по своему могуществу и по своему положенію въ обществѣ. Путь самоистязанія такъ узокъ и прискорбенъ, что на него вступало всегда самое незначительное меньшинство даже въ тѣ времена, когда аскетическое воодушевленіе принимало до нѣкоторой степени эпидемическій характеръ. Поэтому аббатамъ, чистосердечно преданнымъ своей доктринѣ, но не чувствовавшимъ въ себѣ присутствія факирскихъ наклонностей, приходилось пожелѣ стремиться къ богатству и къ разнымъ другимъ суетнымъ благамъ для того, чтобы этими благами поддерживать достоинство своего сана и вліяніе всей корпораціи на общественныя дѣла. Этимъ и начинался рядъ роковыхъ внутреннихъ противорѣчій. Аббатъ гнался за богатствомъ, чтобы доставить силу и вѣсъ такой доктринѣ, которая отъ своихъ адептовъ требуетъ презрѣнія къ богатству. Вслѣдствіе этого каждому желающему представлялся ежеминутно удобный случай уличать аббата въ вопіющемъ разладѣ между словами и поступками. Изъ этого перваго противорѣчія развивалось множество другихъ противорѣчій, еще болѣе крупныхъ и скандальныхъ. Въ средніе вѣ-

на основаніе богатства и могущества заключалось въ обладаніи населенными землями. Аббаты и епископы превратились въ феодальных бароновъ. Вступая во владѣніе, баронъ обязанъ былъ приносить присягу своему сюзерену, то есть тому высшему властителю, который считался настоящимъ собственникомъ даннаго помѣстья и которому баронъ обязанъ былъ помогать во время войны. Желая владѣть землею, аббаты и епископы должны были подчиняться тѣмъ условіямъ, съ которыми было связано это владѣніе. Они должны были являться по требованію сюзерена съ опредѣленнымъ числомъ вооруженныхъ людей, несмотря на то, что основная доктрина была совершенно враждебна не только наступательнымъ, но и оборонительнымъ войнамъ. Такъ какъ земли, находившіяся во владѣніи епископовъ и аббатовъ, принадлежали императору, королямъ, герцогамъ и разнымъ другимъ свѣтскимъ владѣтелямъ, то эти-же владѣтели присвоили себѣ право производить въ аббаты и въ епископы, кого имъ было угодно. Духовныя должности стали отдаваться придворнымъ любимцамъ или продаваться съ аукціоннаго торга. Въ X вѣкѣ случалось нерѣдко, что ребята 5—10 лѣтъ попадали по протекціи въ епископы. «Школьники и безбородые мальчишки,—пишетъ Бернаръ Клервальскій,—по знатности своего происхожденія, производятся въ церковныя должности и, выдерживая экзаменъ подъ ферулою учителя, радуются болѣе своему избавленію отъ розогъ, чѣмъ полученію епископскаго сана.» Эти явленія вытекали очень естественно изъ того обстоятельства, что епископы и аббаты владѣли обширными помѣстьями; а владѣніе это было необходимо для того, чтобы представители теоретической власти могли дѣйствовать на своихъ современниковъ. Между тѣмъ искренніе моралисты никакъ не могли переносить тѣхъ безобразій, которыя позволяла себѣ практическая власть, торговавшая духовными должностями и назначавшая въ епископы малолѣтнихъ ребятъ.

Для прекращенія этихъ безобразій понадобилось начать колоссальную борьбу между папствомъ и имперіей. Для достоинства клерикаловъ, для самостоятельности ихъ корпораціи, для утвержденія и распространенія ихъ доктрины—эта борьба была совершенно необходима, но въ то же время всякая борьба, всякія честолюбивыя стремленія, всякія воинственные манифестаціи прямо противоположны духу и буквѣ ихъ основной доктрины. Клерикаламъ представлялась такимъ образомъ очень печальная дилемма: покориться свѣтской власти—значило обречь себя на безсиліе и деморализацію; а возстать противъ этой власти—значило нарушить самые основныя законы той морали, которая составляетъ единственную *gai-*

son d'être клерикальной корпораціи. Руководствуясь тѣмъ естественнымъ инстинктомъ самосохраненія, который живетъ въ каждомъ индивидуальномъ и коллективномъ организмѣ,—клерикальная корпорація выбрала второй путь. Этотъ путь привлекъ папство сначала къ высшей точкѣ его могущества, а потомъ—къ окончательной гибели, потому что противорѣчіе между доктриной и жизнью сдѣлалось очевиднымъ для самыхъ довѣрчивыхъ простаковъ. Борьба папства съ имперіей относится къ самому цвѣтущему времени средневѣковаго католицизма; если въ католицизмѣ дѣйствительно существовало стремленіе подчинять политику нравственности, то это стремленіе должно было выразиться особенно сильно именно въ это время. Между тѣмъ оказывается, что весь этотъ періодъ наполненъ такой борьбой, которую, съ точки зрѣнія католической морали, надо признать за величайшую безнравственность. Папы пускаютъ въ ходъ противъ императоровъ и королей чистореволюціонныя средства, между тѣмъ какъ имъ, папамъ, было строго приказано повиноваться преобладающимъ властямъ. Значитъ, политика преобладаетъ надъ нравственностью, вмѣсто того чтобы подчиняться ей. Дѣло дошло до того, что папа Урбанъ II уговорилъ принца Генриха, сына императора Генриха IV, взбунтоваться противъ отца и вести съ нимъ кровопролитную войну. То ожесточеніе, съ которымъ сынъ сталъ преслѣдовать отца, называлось на языкѣ папы *внушеніемъ свыше* и выполненіемъ божественной воли. Папы очевидно утвердились сразу очень прочно на томъ основательномъ разсужденіи, что цѣль оправдываетъ средства. Это разсужденіе дѣлаетъ величайшую честь ихъ политическимъ способностямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно отнимаетъ у насъ всякую возможность приписывать католицизму внесеніе нравственности въ политику, потому что иначе намъ пришлось-бы воздать такую-же точно похвалу Николаю Макиавелли и ордену іезуитовъ.

XV.

Втянувшись въ упорную борьбу съ императорами, великіе папы XII и XIII столѣтій сдѣлались предводителями политической партіи и стали поступать такъ, какъ поступаютъ вездѣ и всегда политическіе дѣятели. Папы постоянно дѣлали то, чего требовали отъ нихъ обстоятельства. Во всемъ своемъ поведеніи они обнаруживали очень много искусства, энергіи, твердости и неустранимости и очень мало добросовѣстности и нравственной разборчивости. Такъ наприимѣръ, Григорій IX напалъ на сицилійскія владѣнія Фридриха II въ то время, когда Фридрихъ находился въ Палестинѣ и

нѣ работаетъ мысль въ этомъ направленіи, тѣмъ сознательнѣе становится стремленіе къ личной выгодѣ, — тѣмъ искуснѣе и безобиднѣе производится полубовное размежеваніе сопрягающихся интересовъ, — тѣмъ рѣшительнѣе обнаруживается вліяніе просвѣщеннаго общественнаго мнѣнія на всѣ распоряженія практической власти, — и слѣдовательно тѣмъ неотразимѣе оказывается преобладаніе великихъ нравственныхъ принциповъ надъ мелкими политическими расчетами. Всѣ эти превосходные результаты достигаются не искорененіемъ эгоизма, а, напротивъ того, — систематическимъ превращеніемъ всѣхъ гражданъ, съ перваго до послѣдняго, въ совершенно послѣдовательныхъ и правильно рассчитывающихъ эгоистовъ. При такомъ взглядѣ на вещи, нравственное воспитаніе отдѣльной личности или цѣлаго общества не имѣетъ никакого самостоятельнаго значенія; нравственное совершенствованіе оказывается только однимъ изъ неизбежныхъ послѣдствій умственнаго развитія: чтó содѣйствуетъ работѣ мысли, то возвышаетъ нравственность; чтó притупляетъ умъ, то ведетъ къ нравственному паденію.

Контъ, при всемъ своемъ глубокомысліи, не сумѣлъ однако-же отдѣлаться отъ толпы тѣхъ рутинныхъ моралистовъ, которые уже Богъ знаетъ сколько вѣковъ ведутъ комическую борьбу съ человѣческимъ эгоизмомъ, то есть съ самымъ великимъ, плодотворнымъ и неистребимымъ свойствомъ нашей животной природы. Къ счастью для насъ, наши зоологическіе предки оставили намъ такую богатую закуску эгоистической силы, которая не поддается никакимъ морализаторскимъ попыткамъ и которая будетъ волновать и мучить личность и общество до тѣхъ поръ, пока коллективный умъ человечества не отыщетъ для нея широкаго и правильнаго исхода. Еслибъ не было у насъ этой неутомимой зоологической страстности, этой неутолимой жажды личнаго наслажденія, то спиритуалисты съ одной стороны и мальтузианцы съ другой стороны давнымъ-давно успѣли-бы превратить въ кастратовъ огромное большинство нашей породы. Человѣчество спасалось отъ гибели на каждомъ шагѣ именно тѣми грубыми животными страстями, противъ которыхъ вооружаются средневѣковые моралисты и вмѣстѣ съ ними позитивистъ Контъ. Нравственная доктрина Конта обрисовывается очень ярко словомъ *альтруизмъ*, которое онъ самъ придумалъ для того, чтобы, въ противоположность къ *эгоизму*, обозначить способность жить для другихъ — *vivre pour autrui*. Въ этой доктринѣ онъ сходится съ средневѣковымъ католицизмомъ, которому онъ и свидѣтельствуетъ свое почтеніе за мнимое проведеніе этой доктрины въ политическую жизнь. Но мораль Конта и его средневѣковыхъ друзей вы-

текаетъ изъ такого превратнаго взгляда на человѣческую природу, что каждая попытка приложить эту мораль къ дѣйствительности вовлекаетъ моралистовъ въ безвыходныя противорѣчія съ ихъ собственнымъ ученіемъ. Именно эти роковыя противорѣчія убили теоретическую власть средневѣковыхъ моралистовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ заключались общественныя обязанности средневѣковаго аббата? Отказываясь отъ всякой личной выгоды и отъ всякаго личнаго наслажденія, отъ богатства, отъ власти, отъ комфорта, отъ почестей, отъ любви, отъ семейной жизни, — онъ долженъ былъ постоянно побуждать всѣхъ своихъ ближнихъ къ такимъ-же точно подвигамъ аскетическаго самоотреченія. Но у ближняго были свои собственные понятія и тенденціи: ему хотѣлось наѣдаться до отвала, напиться до безчувствія, наслаждаться до изнеможенія и драться съ каждымъ подобнымъ себѣ буяномъ. Такими ближними были почти всѣ феодальныя бароны, то есть именно тѣ люди, на которыхъ средневѣковому аббату было необходимо дѣйствовать, если только этотъ аббатъ относился серьезно къ своимъ обязанностямъ и чувствовалъ искреннее желаніе сколько-нибудь осмыслить и облагородить окружающую жизнь вліяніемъ своихъ возвышенныхъ нравственныхъ доктринъ. Но, чтобы господствовать надъ умами сильныхъ и богатыхъ буяновъ, чтобы не превратиться въ ихъ шута и лакея, аббату было необходимо или удивлять ихъ какими-нибудь сверхъестественными подвигами самозванія, или же стоять съ ними наравнѣ по своему богатству, по своему могуществу и по своему положенію въ обществѣ. Путь самозванія такъ узокъ и прискорбенъ, что на него вступало всегда самое незначительное меньшинство даже въ тѣ времена, когда аскетическое воодушевленіе принимало до нѣкоторой степени эпидемическій характеръ. Поэтому аббатамъ, чистосердечно преданнымъ своей доктринѣ, но не чувствовавшимъ въ себѣ присутствія факирскихъ наклонностей, приходилось поневолѣ стремиться къ богатству и къ разнымъ другимъ суетнымъ благамъ для того, чтобы этими благами поддерживать достоинство своего сана и вліяніе всей корпораціи на общественныя дѣла. Этимъ и начинался рядъ роковыхъ внутреннихъ противорѣчій. Аббатъ гнался за богатствомъ, чтобы доставить силу и вѣсъ такой доктринѣ, которая отъ своихъ адептовъ требуетъ презрѣнія къ богатству. Вслѣдствіе этого каждому желающему представлялся ежеминутно удобный случай уличать аббата въ вопіющемъ разладѣ между словами и поступками. Изъ этого перваго противорѣчія развивалось множество другихъ противорѣчій, еще болѣе крупныхъ и скандальныхъ. Въ средніе вѣ-

ка основаніе богатства и могущества заключалось въ обладаніи населенными землями. Аббаты и епископы превратились въ феодальных бароновъ. Вступая во владѣніе, баронъ обязанъ былъ приносить присягу своему сюзерену, то есть тому высшему властителю, который считался настоящимъ собственникомъ даннаго помѣстья и которому баронъ обязанъ былъ помогать во время войны. Желая владѣть землею, аббаты и епископы должны были подчиняться тѣмъ условіямъ, съ которыми было связано это владѣніе. Они должны были являться по требованію сюзерена съ опредѣленнымъ числомъ вооруженныхъ людей, несмотря на то, что основная доктрина была совершенно враждебна не только наступательнымъ, но и оборонительнымъ войнамъ. Такъ какъ земли, находившіяся во владѣніи епископовъ и аббатовъ, принадлежали императору, королямъ, герцогамъ и разнымъ другимъ свѣтскимъ владѣтелямъ, то эти-же владѣтели присвоили себѣ право производить въ аббаты и въ епископы, кого имъ было угодно. Духовныя должности стали отдаваться придворнымъ любимцамъ или продаваться съ аукціоннаго торга. Въ X вѣкѣ случалось нерѣдко, что ребята 5—10 лѣтъ попадали по протекціи въ епископы. «Школьники и безбородые мальчишки,—пишетъ Бернаръ Клервальскій,—по знатности своего происхожденія, производятся въ церковныя должности и, выдерживая экзаменъ подъ ферулою учителя, радуются болѣе своему избавленію отъ розогъ, чѣмъ полученію епископскаго сана.» Эти явленія вытекали очень естественно изъ того обстоятельства, что епископы и аббаты владѣли обширными помѣстьями; а владѣніе это было необходимо для того, чтобы представители теоретической власти могли дѣйствовать на своихъ современниковъ. Между тѣмъ искренніе моралисты никакъ не могли переносить тѣхъ безобразій, которыя позволяла себѣ практическая власть, торговавшая духовными должностями и назначавшая въ епископы малолѣтнихъ ребятъ.

Для прекращенія этихъ безобразій понадобилось начать колоссальную борьбу между папствомъ и имперіей. Для достоинства клерикаловъ, для самостоятельности ихъ корпораціи, для утвержденія и распространенія ихъ доктрины—эта борьба была совершенно необходима, но въ то же время всякая борьба, всякія честолюбивыя стремленія, всякія воинственные манифестаціи прямо противоположны духу и буквѣ ихъ основной доктрины. Клерикаламъ представлялась такимъ образомъ очень печальная дилемма: покориться свѣтской власти—значило обречь себя на безсиліе и деморализацію; а возстать противъ этой власти—значило нарушить самые основныя законы той морали, которая составляетъ единственную *gai-*

son d'être клерикальной корпораціи. Руководствуясь тѣмъ естественнымъ инстинктомъ самосохраненія, который живетъ въ каждомъ индивидуальномъ и коллективномъ организмѣ,—клерикальная корпорація выбрала второй путь. Этотъ путь привлекъ папство сначала къ высшей точкѣ его могущества, а потомъ—къ окончательной гибели, потому что противорѣчіе между доктриной и жизнью сдѣлалось очевиднымъ для самыхъ довѣрчивыхъ простаковъ. Борьба папства съ имперіей относится къ самому цвѣтущему времени средневѣковаго католицизма; если въ католицизмѣ дѣйствительно существовало стремленіе подчинять политику нравственности, то это стремленіе должно было выразиться особенно сильно именно въ это время. Между тѣмъ оказывается, что весь этотъ періодъ наполненъ такой борьбой, которую, съ точки зрѣнія католической морали, надо признать за величайшую безнравственность. Папы пускаютъ въ ходъ противъ императоровъ и королей чистореволюціонныя средства, между тѣмъ какъ имъ, папамъ, было строго приказано повиноваться преобладающимъ властямъ. Значитъ, политика преобладаетъ надъ нравственностью, вмѣсто того чтобы подчиняться ей. Дѣло дошло до того, что папа Урбанъ II уговорилъ принца Генриха, сына императора Генриха IV, взбунтоваться противъ отца и вести съ нимъ кровопролитную войну. То ожесточеніе, съ которымъ сынъ сталъ преслѣдовать отца, называлось на языкѣ папы *внушеніемъ свыше* и выполненіемъ божественной воли. Папы очевидно утвердились сразу очень прочно на томъ основательномъ разсужденіи, что цѣль оправдываетъ средства. Это разсужденіе дѣлаетъ величайшую честь ихъ политическимъ способностямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно отнимаетъ у насъ всякую возможность приписывать католицизму внесеніе нравственности въ политику, потому что иначе намъ пришлось-бы воздать такую-же точно похвалу Николаю Макиавелли и ордену іезуитовъ.

XV.

Втянувшись въ упорную борьбу съ императорами, великіе папы XII и XIII столѣтій сдѣлались предводителями политической партіи и стали поступать такъ, какъ поступаютъ вездѣ и всегда политическіе дѣятели. Папы постоянно дѣлали то, чего требовали отъ нихъ обстоятельства. Во всемъ своемъ поведеніи они обнаруживали очень много искусства, энергіи, твердости и неустрашимости и очень мало добросовѣстности и нравственной разборчивости. Такъ напримѣръ, Григорій IX напалъ на сицилійскія владѣнія Фридриха II въ то время, когда Фридрихъ находился въ Палестинѣ и

слѣдовательно, въ качествѣ крестоносца, имѣлъ полнѣйшее право считать себя совершенно неприкосновеннымъ для всякаго христіанскаго государя. Иннокентій IV преслѣдовалъ того-же Фридриха съ такой страстной и неутомимой ненавистью, которая привела въ ужасъ добродушнаго Людовика IX, дѣлавшаго безуспѣшныя попытки помирить папу съ императоромъ. Послѣ смерти Фридриха Иннокентій сталъ проповѣдывать крестовый походъ противъ сына его, Конрада; примасъ Германіи, архіепископъ майнцскій, былъ отрѣшенъ отъ должности за то, что на воинственныя прокламаціи папы онъ осмѣлился отвѣчать словами Іисуса Христа: «вложи мечъ твой въ ножны!» Жизнь и доктрина разошлись между собой такъ далеко, что указанія на доктрину превратились въ политическія преступленія. Видя истребительныя наклонности папы, одинъ епископъ и одинъ аббатъ сговорились между собой зарѣзать Конрада. Послѣ смерти Конрада папа объявилъ себя опекуномъ его сына, двухлѣтняго Конрадина. Въ качествѣ опекуна, Иннокентій на-чисто обобралъ своего питомца, давши предварительно торжественное и публичное письменное обѣщаніе сохранить его права въ полной неприкосновенности. Преемники Иннокентія продолжали его политику, и дѣло кончилось тѣмъ, что Сицилія досталась французскому принцу, Карлу Анжуйскому, а Конрадинъ, которому папство торжественно обѣщало свое покровительство, погибъ на эшафотѣ по приказанію новаго сицилійскаго короля, возлюбленнаго сына римской церкви. Итакъ, преобладаніе нравственности надъ политикой оказывается чистѣйшимъ мифомъ.

Убѣдившись въ политическомъ безсиліи средневѣковой морали, посмотримъ теперь, какія именно стороны этой нравственной доктрины привлекаютъ къ себѣ особенное сочувствіе Огюста Конта.

Прежде всего Конту очень нравится то, что средневѣковые моралисты проповѣдывали людямъ смиреніе. Контъ полагаетъ, что человѣческую гордость слѣдуетъ постоянно унижать какъ можно сильнѣе; онъ надѣется, что *новая общественная философія утвердитъ и даже усовершенствуетъ въ значительной степени этотъ важный отдѣлъ нравственнаго ученія*. Надежды Конта основываются на томъ обстоятельстве, что положительныя науки ежеминутно убѣждаютъ человѣка въ слабости и ограниченности его ума. Къ какимъ полезнымъ или пріятнымъ результатамъ приведетъ людей это постоянное униженіе гордости, этого Контъ не объясняетъ; но догадаться очень не трудно, почему смиреніе такъ дорого Конту. Тутъ дѣйствуетъ очевидно неистощимая любовь къ дисциплинѣ и къ субординаціи, которыя, какъ извѣстно, развертываются въ полномъ блескѣ именно

тогда, когда забитыя, разоренныя и задавленные массы утрачиваютъ всякое сознаніе своего человѣческаго достоинства. Тогда надъ миллионами смиренныхъ людей господствуетъ горсть такихъ личностей, къ которымъ проповѣдь смиренія вовсе не относится. Въ средніе вѣка моралисты умѣли смирять только тѣхъ, которые уже были слишкомъ достаточно смиренны обстоятельствами жизни. На бароновъ, на рыцарей, на всѣхъ сытыхъ и пьяныхъ средневѣковыхъ буйновъ проповѣдь смиренія совсѣмъ не дѣйствовала. А каково было смиреніе самихъ проповѣдниковъ — это можно видѣть на примѣрѣ изъ слѣдующаго случая: въ 1063 году, въ праздникъ Рождества, фульдскій аббатъ въ Госларскомъ соборѣ подражалъ во время обѣдни съ гильдесгеймскимъ епископомъ изъ за рѣшенія вопроса о томъ, кому изъ нихъ сидѣть возлѣ примаса Германіи, архіепископа майнцскаго. Дѣло происходило въ присутствіи малолѣтняго короля, Генриха IV. Герцогъ баварскій помирилъ воинственныхъ прелатовъ, и побѣда осталась за аббатомъ. Но на слѣдующій годъ епископъ принялъ свои мѣры заблаговременно и въ Троицынъ день спрятали въ алтарь отрядъ вооруженныхъ людей. Въ то время, когда разставляли кресла, эти воины кинулись на людей фульдскаго аббата и обратили ихъ въ бѣгство. Люди аббата воротились съ новыми силами, и въ церкви произошла кровопролитная свалка, причемъ проповѣдники смиренія, — аббатъ и епископъ, оба ободрали бойцовъ воинственными жестами и восклицаніями.

Далѣе Конту очень нравятся суровыя отношенія средневѣковой морали къ самоубійству, на которое древніе философы смотрѣли съ большимъ уваженіемъ. Въ самоубійствѣ конечно нѣтъ ничего похвальнаго и полезнаго для общества, но такъ какъ каждый человѣкъ очень достаточно защищенъ противъ самого себя инстинктомъ самосохраненія и такъ какъ вслѣдствіе этого самоубійство всегда и вездѣ бываетъ чрезвычайно рѣдко, то нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній придавать особенно важное значеніе суровымъ или снисходительнымъ взглядамъ моралистовъ на это преступленіе. Самоубійца дѣлаются обыкновенно или погнѣшанные, или неизлечимо больные, или осужденные на смерть. Во всѣхъ этихъ людяхъ общество почти ничего не теряетъ или по крайней мѣрѣ теряетъ только то, что оно само готовилось у себя отнять. Но Контъ возмущается въ самоубійствѣ не тѣмъ реальнымъ убыткомъ, который наносится обществу, а преимущественно фактомъ неповиновенія, неопозволительнымъ нарушеніемъ должной субординаціи. Поэтому онъ выражаетъ надежду, что при господствѣ положительной философіи самоубійство будетъ осуждаться еще строже, и что это осужденіе окажется вполне дѣйстви-

тельнымъ, несмотря на то, что позитивиста уже нельзя будетъ пугать загробными мученіями. Здѣсь намъ представляется превосходный случай измѣрить всю колоссальность того деспотизма, которому, по мнѣнію Конта, можно и должно подчинять людей для ихъ-же собственнаго благополучія. Контъ говоритъ, что «люди должны быть непобѣдимо привязаны къ жизни, такъ чтобы они не могли избавлять себя отъ ея мучительныхъ послѣдствій внезапной катастрофы, предоставляющей каждому опасную способность уничтожать по своему произволу ту-необходимую реакцию, которую общество рассчитывало на него произвести». Слова *необходимая реакция* очевидно обозначаютъ наказаніе, на столько тяжелое, что виновный предпочитаетъ ему лишеніе жизни. Преступникъ, поставленный въ такое положеніе, видитъ въ обществѣ своего злѣйшаго врага; между преступникомъ и обществомъ порваны всѣ связи; нѣтъ мѣста для другихъ чувствъ, кромѣ взаимной ненависти; чтобы вырваться изъ рукъ своего неумолимаго преслѣдователя, преступникъ прибѣгаетъ къ самому отчаянному средству. И въ эту-то минуту, когда человѣкъ, отвергнутый обществомъ, бросаетъ ему свое послѣднее проклятіе, въ эту минуту Контъ считаетъ возможнымъ тотъ шансъ, что преступника удержитъ уваженіе къ господствующему суровому взгляду на самоубійство. Для того чтобы этотъ шансъ былъ дѣйствительно возможенъ, надо систематически съ самой колыбели превращать человѣка въ автомата, который будетъ не только поступать, но даже чувствовать и думать исключительно такъ, какъ того требуютъ законы и обычаи даннаго общества. Такая дрессировка составляетъ для Конта вѣнецъ его желаній. Онъ желаетъ этой дрессировки не для того, чтобы уничтожить самоубійства; напротивъ того, уничтоженіе самоубійствъ имѣетъ въ его глазахъ огромную важность именно потому, что оно выражаетъ собою полный успѣхъ дрессировки. Личность выдрессирована такъ, что прививныя чувства и мысли становятся сильнѣе естественныхъ инстинктовъ, и что страхъ предъ общественнымъ мнѣніемъ продолжаетъ дѣйствовать тогда, когда разорваны всѣ связи съ обществомъ и когда уже замолчалъ даже голосъ самосохраненія. Выше этого идеала не поднимался еще ни одинъ теоретикъ деспотизма въ цѣломъ мірѣ.

Какъ рѣшительный противникъ эманципаціи женщинъ, Контъ восхищается тѣми отношеніями, которыя установила между обоими полами средневѣковая мораль. Контъ съ особеннымъ удовольствіемъ настаиваетъ на томъ обстоятельстве, что католицизмъ, устраняя женщину отъ священнодѣйствія, къ которому ихъ допускала отчасти классическая древность, — стремится такимъ образомъ привязать женщинъ къ домашнему очагу, на которомъ и

должны сосредоточиваться всѣ ихъ помысленія и вся ихъ дѣятельность. Отведя женщинамъ ихъ настоящее мѣсто, католицизмъ, по мнѣнію Конта, значительно улучшилъ ихъ общественное положеніе и доставилъ имъ со стороны мужчинъ то уваженіе, которое составляетъ выдающуюся черту въ рыцарскихъ нравахъ. Средневѣковая жизнь дѣйствительно произвела въ судьбѣ женщинъ довольно важныя улучшенія, но эти улучшенія не могутъ быть приписаны католицизму, который вообще относился къ женщинѣ очень сурово и презрительно. Средневѣковые моралисты любили попрекать своихъ современницъ грѣхомъ неосмотрительной Еввы и совѣтовали имъ очень серьезно оплакивать, не осушая глазъ, тотъ поступокъ легкомысленной прародительницы, благодаря которому человѣчество утратило свое первобытное блаженство. Строгіе моралисты утверждали также, что женщины, унаслѣдовавъ отъ Еввы ея легкомысліе, составляютъ и будутъ составлять постоянно самое серьезное препятствіе на пути человѣчества къ нравственному совершенству и къ вѣчной жизни. Изъ такого суроваго взгляда на женщину никакъ не могло развиваться чувство почтительной и страстной рыцарской любви. Это чувство и не развилось-бы никогда, если бы католическая мораль не нашла себѣ рѣшительнаго противуѣса въ характерѣ германской расы. При какихъ условіяхъ сформировался этотъ характеръ, мы не знаемъ, но достовѣрно извѣстно то, что уваженіе къ женщинѣ встрѣчается въ древнѣйшихъ германскихъ легендахъ и законахъ, сложившихся задолго до вторженія германцевъ въ предѣлы Римской имперіи. По баварскимъ законамъ за оскорбленіе, нанесенное женщинѣ, платится болѣе высокій штрафъ, чѣмъ за оскорбленіе мужчины, потому, говоритъ законъ, что женщина не можетъ сама защитить себя оружіемъ. Кто пожметъ свободной женщинѣ палецъ или руку, тотъ, по салическому закону, долженъ заплатить 15 солидовъ золота (около 375 рублей) кто пожметъ женщинѣ руку выше локтя, — платитъ вдвое (Laurent. «Les barbares et le catholicisme», p. 36). Скандинавскія саги заключаютъ въ себѣ множество эпизодовъ самой почтительной любви между сильными королями съ одной стороны и простыми пастушками съ другой стороны. Все это такіе задатки, изъ которыхъ рыцарскимъ нравамъ вовсе не трудно было развиваться. Здѣсь и также во многихъ другихъ случаяхъ Контъ обращаетъ слишкомъ мало вниманія на характеръ расы, помимо котораго невозможно составить себѣ ясное понятіе о средневѣковыхъ идеяхъ, обычаяхъ и учрежденіяхъ.

Воздавши католицизму должную дань уваженія за привязываніе женщинъ къ домашнему очагу, Контъ выражаетъ надежду, что эманципаторскія попытки ашего времени потерпятъ

слѣдовательно, въ качествѣ крестоносца, имѣлъ полнѣйшее право считать себя совершенно неприкосновеннымъ для всякаго христіанскаго государя. Иннокентій IV преслѣдовалъ того-же Фридриха съ такой страстной и неутомимой ненавистью, которая привела въ ужасъ добродушнаго Людовика IX, дѣлавшаго безуспѣшныя попытки помирить папу съ императоромъ. Послѣ смерти Фридриха Иннокентій сталъ проповѣдывать крестовый походъ противъ сына его, Конрада; примасъ Германіи, архіепископъ майнцскій, былъ отрѣшенъ отъ должности за то, что на воинственныя прокламаціи папы онъ осмѣлился отвѣчать словами Іисуса Христа: «вложи мечъ твой въ ножны!» Жизнь и доктрина разошлись между собой такъ далеко, что указанія на доктрину превратились въ политическія преступленія. Видя истребительныя наклонности папы, одинъ епископъ и одинъ аббатъ стоворились между собой зарѣзать Конрада. Послѣ смерти Конрада папа объявилъ себя опекуномъ его сына, двухлѣтняго Конрадина. Въ качествѣ опекуна, Иннокентій на-чисто обобралъ своего питомца, давши предварительно торжественное и публичное письменное обѣщаніе сохранить его права въ полной неприкосновенности. Преемники Иннокентія продолжали его политику, и дѣло кончилось тѣмъ, что Сицилія досталась французскому принцу, Карлу Анжуйскому, а Конрадинъ, которому папство торжественно обѣщало свое покровительство, погибъ на эшафотѣ по приказанію новаго сицилійскаго короля, возлюбленнаго сына римской церкви. Итакъ, преобладаніе нравственности надъ политикой оказывается чистѣйшимъ мѣломъ.

Убѣдившись въ политическомъ безсиліи средневѣковой морали, посмотримъ теперь, какія именно стороны этой нравственной доктрины привлекаютъ къ себѣ особенное сочувствіе Огюста Конта.

Прежде всего Конту очень нравится то, что средневѣковые моралисты проповѣдывали людямъ смиреніе. Контъ полагаетъ, что человѣческую гордость слѣдуетъ постоянно унижать какъ можно сильнѣе; онъ надѣется, что *новая общественная философія утвердитъ и даже усовершенствуетъ въ значительной степени этотъ важный отдѣлъ нравственнаго ученія*. Надежды Конта основываются на томъ обстоятельстве, что положительныя науки ежеминутно убѣждаютъ человѣка въ слабости и ограниченности его ума. Къ какимъ полезнымъ или пріятнымъ результатамъ приведетъ людей это постоянное униженіе гордости, этого Контъ не объясняетъ; но догадаться очень не трудно, почему смиреніе такъ дорого Конту. Тутъ дѣйствуетъ очевидно неистощимая любовь къ дисциплинѣ и къ субординаціи, которая, какъ извѣстно, развертываются въ полномъ блескѣ именно

тогда, когда забитыя, разоренныя и задавленныя массы утрачиваютъ всякое сознаніе своего человѣческаго достоинства. Тогда надъ миллионами смиренныхъ людей господствуетъ горсть такихъ личностей, къ которымъ проповѣдь смиренія вовсе не относится. Въ средніе вѣка моралисты умѣли смирять только тѣхъ, которые уже были слишкомъ достаточно смиренны обстоятельствами жизни. На бароновъ, на рыцарей, на всѣхъ сытыхъ и пьяныхъ средневѣковыхъ буйновъ проповѣдь смиренія совсѣмъ не дѣйствовала. А каково было смиреніе самихъ проповѣдниковъ — это можно видѣть напрямѣръ изъ слѣдующаго случая: въ 1063 году, въ праздникъ Рождества, фульдскій аббатъ въ Госларскомъ соборѣ подрался во время обѣды съ гильдесгеймскимъ епископомъ изъ за рѣшенія вопроса о томъ, кому изъ нихъ слѣдѣть возлѣ примаса Германіи, архіепископа майнцскаго. Дѣло происходило въ присутствіи малолѣтняго короля, Генриха IV. Герцогъ баварскій помирилъ воинственныхъ прелатовъ, и побѣда осталась за аббатомъ. Но на слѣдующій годъ епископъ принялъ свои мѣры заблаговременно и въ Троицынъ день спрятали въ алтарь отрядъ вооруженныхъ людей. Въ то время, когда разставляли кресла, эти воины кинулись на людей фульдскаго аббата и обратили ихъ въ бѣгство. Люди аббата воротились съ новыми силами, и въ церкви произошла кровопролитная свалка, причемъ проповѣдники смиренія, — аббатъ и епископъ, оба ободрили бойцовъ воинственными жестами и восклицаніями.

Далѣе Конту очень нравятся суровыя отношенія средневѣковой морали къ самоубійству, на которое древніе философы смотрѣли съ большимъ уваженіемъ. Въ самоубійствѣ конечно нѣтъ ничего похвальнаго и полезнаго для общества, но такъ какъ каждый человѣкъ очень достаточно защищенъ противъ самого себя инстинктомъ самосохраненія и такъ какъ вслѣдствіе этого самоубійство всегда и вездѣ бываетъ чрезвычайно рѣдко, то нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній придавать особенно важное значеніе суровымъ или снисходительнымъ взглядамъ моралистовъ на это преступленіе. Самоубійца дѣлаются обыкновенно или помѣшанные, или неизлечимо больные, или осужденные на смерть. Во всѣхъ этихъ людяхъ общество почти ничего не теряетъ или по крайней мѣрѣ теряетъ только то, что оно само готовилось у себя отнять. Но Контъ возмущается въ самоубійствѣ не тѣмъ реальнымъ убыткомъ, который наносится обществу, а преимущественно фактомъ неповиновенія, неопозволительнымъ нарушеніемъ должной субординаціи. Поэтому онъ выражаетъ надежду, что при господствѣ положительной философіи самоубійство будетъ осуждаться еще строже, и что это осужденіе окажется вполнѣ дѣйстви-

тельнымъ, несмотря на то, что позитивиста уже нельзя будетъ пугать загробными мученіями. Здѣсь намъ представляется превосходный случай измѣрить всю колоссальность того деспотизма, которому, по мнѣнію Конта, можно и должно подчинять людей для ихъ-же собственнаго благополучія. Контъ говоритъ, что «люди должны быть непобѣдимо привязаны къ жизни, такъ чтобы они не могли избавлять себя отъ ея мучительныхъ послѣдствій внезапной катастрофой, предоставляющей каждому опасную способность уничтожать по своему произволу ту-необходимую реакцію, которую общество рассчитывало на него произвести». Слова *необходимая реакція* очевидно обозначаютъ наказаніе, на столько тяжелое, что виновный предпочитаетъ ему лишеніе жизни. Преступникъ, поставленный въ такое положеніе, видитъ въ обществѣ своего злѣйшаго врага; между преступникомъ и обществомъ порваны всѣ связи; нѣтъ мѣста для другихъ чувствъ, кромѣ взаимной ненависти; чтобы вырваться изъ рукъ своего неумолимаго преслѣдователя, преступникъ прибѣгаетъ къ самому отчаянному средству. И въ эту-то минуту, когда человѣкъ, отвергнутый обществомъ, бросаетъ ему свое послѣднее проклятіе, въ эту минуту Контъ считаетъ возможнымъ тотъ шансъ, что преступника удержитъ уваженіе къ господствующему суровому взгляду на самоубійство. Для того чтобы этотъ шансъ былъ дѣйствительно возможенъ, надо систематически съ самой колыбели превращать человѣка въ автомата, который будетъ не только поступать, но даже чувствовать и думать исключительно такъ, какъ того требуютъ законы и обычаи даннаго общества. Такая дрессировка составляетъ для Конта вѣнецъ его желаній. Онъ желаетъ этой дрессировки не для того, чтобы уничтожить самоубійства; напротивъ того, уничтоженіе самоубійствъ имѣетъ въ его глазахъ огромную важность именно потому, что оно выражаетъ собою полный успѣхъ дрессировки. Личность выдрессирована такъ, что прививныя чувства и мысли становятся сильнѣе естественныхъ инстинктовъ, и что страхъ предъ общественнымъ мнѣніемъ продолжаетъ дѣйствовать тогда, когда разорваны всѣ связи съ обществомъ и когда уже замолчалъ даже голосъ самосохраненія. Выше этого идеала не поднимался еще ни одинъ теоретикъ деспотизма въ цѣломъ мірѣ.

Какъ рѣшительный противникъ эманципаціи женщинъ, Контъ восхищается тѣми отношеніями, которыя установила между обоими полами средневѣковая мораль. Контъ съ особеннымъ удовольствіемъ настаиваетъ на томъ обстоятельстве, что католицизмъ, устранивъ женщину отъ священнодѣяствія, къ которому въ допускала отчасти классическая древность, — стремится такимъ образомъ привязать женщину къ домашнему очагу, на которомъ и

должны сосредоточиваться всѣ ихъ помысленія и вся ихъ дѣятельность. Отведя женщинамъ ихъ настоящее мѣсто, католицизмъ, по мнѣнію Конта, значительно улучшилъ ихъ общественное положеніе и доставилъ имъ со стороны мужчинъ то уваженіе, которое составляетъ выдающуюся черту въ рыцарскихъ правахъ. Средневѣковая жизнь дѣйствительно произвела въ судьбѣ женщинъ довольно важныя улучшенія, но эти улучшенія не могутъ быть приписаны католицизму, который вообще относился къ женщинѣ очень сурово и презрительно. Средневѣковые моралисты любили попрекать своихъ современницъ грѣхомъ неосмотрительной Еввы и совѣтовали имъ очень серьезно оплакивать, не осушая глазъ, тотъ поступокъ легкомысленной прародительницы, благодаря которому человѣчество утратило свое первобытное блаженство. Строгіе моралисты утверждали также, что женщины, унаслѣдовавъ отъ Еввы ея легкомысліе, составляютъ и будутъ составлять постоянно самое серьезное препятствіе на пути человѣчества къ нравственному совершенству и къ вѣчной жизни. Изъ такого суроваго взгляда на женщину никакъ не могло развиваться чувство почтительной и страстной рыцарской любви. Это чувство и не развилось-бы никогда, если бы католическая мораль не нашла себѣ рѣшительнаго противуѣса въ характерѣ германской расы. При какихъ условіяхъ сформировался этотъ характеръ, мы не знаемъ, но достоверно извѣстно то, что уваженіе къ женщинѣ встрѣчается въ древнѣйшихъ германскихъ легендахъ и законахъ, сложившихся задолго до вторженія германцевъ въ предѣлы Римской имперіи. По баварскимъ законамъ за оскорбленіе, нанесенное женщинѣ, платится болѣе высокій штрафъ, чѣмъ за оскорбленіе мужчины, потому, говоритъ законъ, что женщина не можетъ сама защитить себя оружіемъ. Кто пожметъ свободной женщинѣ палецъ или руку, тотъ, по салическому закону, долженъ заплатить 15 солидовъ золота (около 375 рублей) кто пожметъ женщинѣ руку выше локтя, — платитъ вдвое (Laurent. «Les barbares et le catholicisme», p. 36). Скандинавскія саги заключаютъ въ себѣ множество эпизодовъ самой почтительной любви между сильными королями съ одной стороны и простыми пастушками съ другой стороны. Все это такіе задатки, изъ которыхъ рыцарскимъ правамъ вовсе не трудно было развиваться. Здѣсь и также во многихъ другихъ случаяхъ Контъ обращаетъ слишкомъ мало вниманія на характеръ расы, помимо котораго невозможно составить себѣ ясное понятіе о средневѣковыхъ идеяхъ, обычаяхъ и учрежденіяхъ.

Воздавши католицизму должную дань уваженія за привязываніе женщинъ къ домашнему очагу, Контъ выражаетъ надежду, что эманципаторскія попытки ашего времени потерпятъ

политическую неудачу, и что под господством позитивизма женщины всё классовое общество будут предаваться исключительному исполнению высоких обязанностей супруги и матери. Люди, желающие обезпечить за женщинами экономическую деятельность, обыкновенно указывают барыням и барышням на кушарок и прачек, умѣющих добывать себѣ *хлѣбъ* собственнымъ трудомъ. Контъ поступаетъ какъ разъ наоборотъ: онъ указываетъ прачкамъ и кушаркамъ на барынь и барышень, которые наизброе никакъ не ожидали и не надѣялись превратиться для кого бы то ни было въ образецъ, достойный подражанія. Контъ говоритъ съ своей обыкновенной серьезностью и торжественностью, что «въ высшихъ классахъ общества женщины могли съ большимъ удобствомъ слѣдовать своему истинному назначенію и въ слѣдствіе этого должны нѣкоторымъ образомъ сдѣлаться естественнымъ типомъ, къ которому со временемъ будутъ по возможности стремиться съ разныхъ сторонъ всё другія формы женскаго существованія». Итакъ, всѣмъ женщинамъ предписывается, во имя положительной философіи, стремиться къ благородной праздности, которая, по изслѣдованіямъ Конта, оказывается необходимой для безукоризненнаго исполненія высокихъ обязанностей супруги и матери. Супруга, какъ извѣстно, должна своимъ сознательнымъ сочувствіемъ поддерживать и ободрять своего мужа, работающего на пользу общества и обязаннаго твердо стоять за то, что онъ считаетъ правдой. Мать, какъ извѣстно, должна приучать своихъ дѣтей къ труду и къ честному пониманію человѣческихъ и гражданскихъ обязанностей. По теоріи Конта оказывается, что хорошей супругой и хорошей матерью будетъ только та женщина, которая сама никогда не трудилась, никогда не принимала никакого участія въ общественной жизни, не несла на себѣ никакой серьезной обязанности и не умѣла полюбить дѣятельной любовью ни одной великой идеи. Такая женщина особенно способна дѣлать со своимъ мужемъ его заботы, способна потому, что сама не имѣетъ объ этихъ заботахъ никакого понятія. Такая женщина особенно способна внушить своему сыну любовь къ труду, способна потому, что сама не оскверняла своихъ нѣжныхъ рукъ никакой работой. Такая женщина особенно способна воодушевить мужа, брата или сына насмѣлое и честное исполненіе великаго гражданского долга, способна потому, что сама безраздѣльно погружалась мыслью и чувствомъ въ повѣрку копѣчныхъ счетовъ, представляемыхъ кухарками, прачками, портнихами и обойщиками.

Далѣе Контъ восхищается тѣмъ, что католицизмъ освятилъ неразрушимость брака. Эта неразрушимость, — разсуждаетъ Контъ, — превосходно соответствуетъ истиннымъ потребно-

стямъ нашей природы, безъ этой неразрушимости «наша краткая жизнь потратилась бы на безконечный и обманчивый рядъ тщетныхъ попытокъ». Опасность *потрачено* на глупости *краткую жизнь* обусловливается такими общественными явлениями, на которыхъ самая возвышенная нравственная доктрина не можетъ имѣть ни малѣйшаго контроля. Устранить эту опасность *католицизмъ* былъ не въ силахъ. Въ самомъ дѣлѣ, тратить жизнь на *печальные попытки*, и есть устраивать свадьбы и разводы по нѣсколькимъ разъ въ годъ, могутъ только тѣ мужчины и женщины, которые не имѣютъ никакихъ серьезныхъ занятій и обязанностей и которые живутъ на всемъ на готовомъ, присваивая себѣ и поглощая въ изобиліи продукты чужого труда. Кто самъ зарабатываетъ себѣ пропитаніе, тому некогда бѣгать по городамъ и селамъ для приобрѣтенія новыхъ интересныхъ знакомствъ, способныхъ повести за собою *печальную попытку*. Кто занятъ съ утра до вечера серьезными заботами, тотъ ищетъ себѣ серьезнаго сочувствія, а не гаремныхъ развлеченій, годныхъ только для тѣхъ людей, которые съ утра до вечера страдаютъ болѣзненной скукой тунеядца. *Печальные попытки* для тѣхъ, чужаго человека были бы положительно неприятны, если бы даже онъ былъ возможенъ, то есть, если бы даже у него было на то достаточно свободнаго времени. Работникъ, какъ человекъ, принужденный смотрѣть на жизнь серьезно, умѣетъ цѣнить дружбу и вносить элементъ дружбы во всѣ свои отношенія къ близкимъ и симпатичнымъ ему людямъ; при такихъ условіяхъ о *печальныхъ попыткахъ* нечего и заикаться, потому что всякому извѣстно, что старый другъ лучше новыхъ двухъ и что никому никогда не приходило въ голову разорвать сношенія съ вѣрнымъ и испытаннымъ другомъ изъ любви къ разнообразію или въ слѣдствіе неопредѣленной надежды отыскать себѣ новаго друга, еще болѣе доброкачественнаго. Слѣдовательно, если мы видимъ, что въ какомъ-нибудь обществѣ господствуетъ наклонность къ *печальнымъ попыткамъ*, то причину этого уродливаго явленія мы должны искать никакъ не въ томъ, что данное общество не обсыпано благодѣяніями средневѣковой морали. Причину надо искать гораздо глубже, въ экономическомъ и социальномъ строѣ даннаго общества. Лечить это общество надо также не регламентаціей половыхъ отношеній, а радикальными экономическими преобразованіями. Прежде всего надо замѣтить, что *печальнымъ попыткамъ* нигдѣ и никогда не можетъ предаваться все население страны сверху до низу. *Печальные попытки* — занятіе барское, доступное только самому незначительному меньшинству, и тѣмъ ярче обозначается наклонность къ *печаль-*

нѣмъ попыткамъ, тѣмъ незначительнѣе по своему числу то меньшинство, которое имъ предается. Проще и яснѣе, — чѣмъ неравномѣрнѣе распределяются богатства, тѣмъ сильнѣе свирѣпствуетъ развратъ, потому что съ одной стороны меньшинство, желая разогнать свою скуку, требуетъ себѣ птичьяго молока и пускается во всякія затѣи, а съ другой стороны большинство, постоянно имѣя передъ собою перспективу голодной смерти, оказывается въ высшей степени способнымъ питать всевозможныя затѣи своей собственной плотью и кровью. Словомъ, меньшинство выдвигаетъ купцовъ, а большинство поставяетъ товаръ. Когда историкъ говоритъ о господствѣ *плачевныхъ попытокъ* въ данномъ обществѣ, то онъ при этомъ постоянно имѣетъ въ виду только меньшинство, которое такимъ образомъ играетъ роль *всего общества*, отбрасывая массу націи на самый задній планъ, — туда, куда историкъ дѣйствительно незачѣмъ и заглядывать, потому что въ этихъ сферахъ жизнь и движеніе мысли остановились и оцѣпѣли подъ гнетомъ нужды и непомѣрнаго воловьего труда. Настоящее зло именно и состоитъ въ тяжеломъ положеніи массъ. Изъ этого основного зла развивается множество всякихъ нарывовъ и прыщей, которые могутъ служить для историка драгоцѣнными симптомами существующей болѣзни, но которые никакъ не допускаютъ отдѣльнаго или частичнаго леченія. Однимъ изъ этихъ второстепенныхъ нарывовъ оказывается склонность къ *плачевнымъ попыткамъ*, — склонность, которая устоитъ противъ всякой возвышенной морали и погибнетъ только тогда, когда та или другая реформа нанесетъ рѣшительный ударъ сложному механизму, парализующему производительность народнаго труда. Когда не будетъ тунеядцевъ, тогда не будетъ и пороковъ, развивающихся изъ тунеядства. Что же касается до запрещенія разводовъ, то оно никакимъ образомъ не можетъ положить конецъ *плачевнымъ попыткамъ*, потому что настоящіе любители такихъ *попытокъ* всего менѣе заботятся о томъ, чтобы принимать на себя какія нибудь обязательства. Развода можетъ желать только такой человѣкъ, который, будучи связанъ съ одной особой, полюбилъ серьезно другую и вслѣдствіе этого считаетъ необходимымъ дать этой другой прочное общественное положеніе. Напротивъ того, люди, забавляющіе себя разнообразіемъ, не имѣютъ никакой причины добиваться развода, потому что брачныя узы никогда не мѣшали любовнымъ шалостямъ и даже придавали этимъ шалостямъ всю прелесть запрещеннаго плода, особенно привлекательнаго для скучающихъ тунеядцевъ.

Контъ утверждаетъ, — по поводу неразруши-

мости брака, — что огромное большинство нашей породы состоитъ изъ безцвѣтныхъ личностей, для которыхъ полная самостоятельность даже обременительна и которымъ гораздо удобнѣе подчиняться неодолимой необходимости и жить по предписанной программѣ, чѣмъ выбирать себѣ дорогу и составлять планъ дѣйствій собственнымъ умомъ. Это разсужденіе показываетъ ясно, что неразрушимость брака является только одной крошечной частицей той благотѣльной опеки, которая, по мнѣнію Конта, должна осчастливить безцвѣтное большинство. Какъ неразрушимость брака, такъ и запрещеніе самоубійства особенно драгоцѣнны Конту именно потому, что обозначаютъ собою искорененіе личнаго своеволія и торжество спасительной субординаціи. Безцвѣтность большинства служитъ оправданіемъ опеки, но само собою разумѣется, что опека въ свою очередь будетъ поддерживать, упрочивать и даже усиливать эту безцвѣтность, великодушно снимая съ безцвѣтныхъ людей тяжелую обязанность задумываться надъ задачами жизни. Такимъ образомъ опека и безцвѣтность будутъ взаимно увѣковѣчивать другъ друга, и атрофія головного мозга сдѣлается одной изъ важнѣйшихъ причинъ пречнаго человѣческаго благосостоянія, подобно тому, какъ атрофія ногъ считается у китайцевъ однимъ изъ важнѣйшихъ условій физической красоты.

Наконецъ Контъ объяснилъ намъ, что католицизмъ замѣнилъ энергическій, но дикій патриотизмъ древнихъ болѣе возвышеннымъ чувствомъ человѣколюбія или всеобщаго братства. Вслѣдъ за тѣмъ Контъ оговаривается на счетъ религіозныхъ антипатій, которыя на самомъ дѣлѣ значительно стѣснили проявленіе доброжелательныхъ чувствъ. Эта оговорка Конта почти совершенно уничтожаетъ его главную мысль. Если положить на одну чашку вѣсовъ всю массу ненависти, порожденной и взлелѣянной католицизмомъ, а на другую — всю массу любви, выработанной имъ же, то по всей вѣроятности первая чашка перетянетъ. О крестовыхъ походахъ и обо всѣхъ другихъ войнахъ съ сарацинами и съ сѣверными язычниками говорить незачѣмъ; эти войны могли быть порождены національной ненавистью и политической необходимостью; хотя въ такомъ случаѣ онѣ, разумѣется, не имѣли бы того истребительнаго характера, который былъ имъ приданъ вліяніемъ католицизма. Гораздо важнѣе отношенія средневѣковыхъ европейцевъ къ евреямъ, которые жили съ ними рядомъ, въ однихъ и тѣхъ же городахъ, и которые конечно могли бы слиться съ ними, войти въ составъ отдѣльныхъ европейскихъ націй и превратиться въ полезныхъ и счастливыхъ гражданъ, еслибы ихъ не преслѣдовала религіоз-

ная ненависть католиковъ, поощряемыхъ сен-тенціями соборовъ и пастырскими посланіями папъ и епископовъ. Еще важнѣе отношенія католиковъ къ еретикамъ; здѣсь католицизмъ является прямо силой, разрывающей всѣ гражданскія и родственныя связи; здѣсь католицизмъ вооружаетъ одну половину народа противъ другой; здѣсь онъ превращаетъ своихъ адептовъ въ шпионовъ, доносчиковъ и палачей; словомъ, здѣсь онъ производитъ на свѣтъ такое нравственное безобразіе, о которомъ классическая древность не имѣла понятія. Шпіоны, доносчики и палачи были конечно и въ Греціи, и въ Римѣ, но тамъ занимались этими дѣлами люди, продавшіе свою совѣсть за наличныя деньги; на нихъ такъ и смотрѣли даже тѣ особы, которыя пользовались ихъ услугами. Католицизмъ, напротивъ того, выдумавши новое преступленіе *ересь*, ухитрился превратить доносы и пытки въ доблестные подвиги и въ священную обязанность. Инквизиторы очень серьезно считали себя благодѣтелями человѣчества, а несчастные люди, поддерживавшіе дѣятельность инквизиторовъ своими доносами, совершенно искренно были убѣждены въ томъ, что исполняютъ важнѣйшій долгъ честнаго человѣка. Если мы примемъ въ соображеніе, что ереси возникали и плодились въ каждомъ городишкѣ или мѣстечкѣ, и что при всеобщей напуганности ревностныхъ католиковъ ересью могло показаться имъ каждое неосторожное слово, произнесенное сдурю или съ-пьяну, то мы поймемъ, что чувства ненависти и взаимнаго недоверія, порожденныя ежедневными усиліями проповѣдниковъ и моралистовъ, должны были совершенно заглушать чувство общаго чело-вѣколюбія, предписанное буквою и духомъ основной доктрины. Не мѣшаетъ также при-помнить здѣсь и ту знаменитую вражду между гвельфами и гибеллинами, которая родилась и выросла подъ вліяніемъ вѣковой борьбы папства и имперіи. Здѣсь не было даже и догматическаго разногласія. Здѣсь папа, какъ глава политической партіи, пользовался противъ своихъ *политическихъ* противниковъ тѣмъ оружіемъ, которое онъ, какъ глава церкви, имѣлъ право употреблять только противъ враговъ религіи. Все это приносило очень мало пользы нравственному совершенствованію европейцевъ, но все это вытекало самымъ логическимъ образомъ изъ основныхъ свойствъ той системы, которую Контъ называетъ *le chef-d'oeuvre politique de la sagesse humaine*. Если существуетъ *организованная* теоретическая власть, то она должна заботиться о своемъ самосохраненіи и вслѣдствіе этого должна, отложивъ въ сторону нравственную разборчивость, бить своихъ враговъ всѣмъ тѣмъ, что попадаетъ ей подъ руку, то есть всѣмъ тѣмъ, что чело-вѣческая глупость оставляетъ въ ея распоряженіи.

Отъ такой власти, которая ежеминутно борется за свое существованіе, смѣшно даже и требовать, чтобы она развивала въ своихъ приверженцахъ чувство всеобщаго чело-вѣколюбія. Эта власть прежде всего постарается превратить своихъ приверженцевъ въ солдатъ, готовыхъ биться за нее на жизнь и на смерть въ всякую данную минуту съ кѣмъ бы то ни было и какими бы то ни было, честными или безчестными, средствами. Того требуетъ логика вещей, и слѣдовательно о всеобщемъ чело-вѣколюбіи нечего и думать, потому что этому чувству можетъ научить людей только свобода, посвященная разумному и общественному труду.

Католическое милосердіе, по мнѣнію Конта, даетъ людямъ самое лучшее средство облегчать по возможности страданія, неизбежныя въ общественной жизни и относящіяся преимущественно къ распредѣленію богатствъ. Этому трогательному милосердію Контъ съ горечью противопоставляетъ тѣ *чисто матеріальныя или политическія мѣры, безсильныя и тираническія и способныя повести за собою самыя тяжелыя общественныя потрясенія*, — словомъ, тѣ мѣры, къ которымъ желаютъ прибѣгнуть безразсудные социалисты. Само собою разумѣется, что католики оказываются несравненно мудрѣе и добродѣтельнѣе социалистовъ, и что позитивистамъ предписывается подражать католикамъ. Рѣшеніе задачи о голодныхъ людяхъ возлагается на будущую теоретическую власть, которая дастъ богачамъ превосходное нравственное воспитаніе и обяжетъ ихъ такимъ образомъ осыпать бѣдное чело-вѣчество всевозможными благодѣніями. Это наивное рѣшеніе, эта апологія богачей, милостыни и нищенства показываетъ ясно, что Контъ не имѣлъ никакого понятія о тѣхъ простѣйшихъ законахъ, по которымъ совершаются въ обществѣ движеніе и накопленіе продуктовъ труда. И еслибы контовскія идеи были проведены въ жизнь, то онѣ дали-бы совсѣмъ не тѣ результаты, которыхъ ожидалъ отъ нихъ Контъ. Но нетрудно понять, что эти идеи неприложны. Чисто-нравственное вліяніе оказывается всегда совершенно безсильнымъ, если оно идетъ наперекоръ личнымъ выгодамъ тѣхъ людей, на которыхъ слѣдуетъ дѣйствовать, и если кроетъ того оно ежеминутно парализируется тѣми разнообразными искушеніями, которыя порождаетъ весь строй общественной жизни. При такихъ условіяхъ сами вліятели развращаются до мозга костей и становятся на одинъ уровень съ тѣми людьми, которыхъ требовалось облагородить. Эту истину доказали своими примѣромъ католическіе монахи, аббаты, епископы, кардиналы и папы. Эту же истину испыталь-бы на себѣ немедленно контовскій *rouvoir spirituel*, еслибы только онъ дѣйствительно могъ организоваться. Поэтому для рѣшенія задачи о голодныхъ

людяхъ необходимо соблюденіе двухъ условій. Во-первыхъ, задачу эту должны рѣшить непременно тѣ люди, которые въ ея разумномъ рѣшеніи находятъ свои личныя выгоды, то есть, ее должны рѣшать сами работники. Во-вторыхъ, рѣшеніе задачи заключается не въ воздѣлываніи личныхъ добродѣтелей, а въ перестройкѣ общественныхъ учреждений.

Этихъ двухъ условій не выполнили ни Контъ, ни его средневѣковые друзья. Впрочемъ надо и то сказать, что Контъ, подобно католическимъ моралистамъ, мирится очень добродушно съ пауперизмомъ, видя въ немъ неизбежное и слѣдовательно нормальное явленіе. Это, по его соображеніямъ, одно изъ *inconvenients inséparables de l'état social*. Это значитъ, что социальная задача для него неразрѣшима, и что слѣдовательно съ нимъ нечего и толковать о такихъ вопросахъ, въ которыхъ онъ равно ничего не понимаетъ.

XVI.

Все, что Контъ говоритъ объ историческомъ развитіи нравственности, составляетъ самое слабое и въ то-же время единственное слабое мѣсто его великаго историко-философскаго труда. Основная причина его ошибокъ заключается въ той совершенно несостоятельной мысли, что нравственность можетъ развиваться и совершенствоваться сама собой, независимо отъ успѣховъ знанія и отъ различныхъ улучшеній въ экономической жизни общества. Конечно Контъ понималъ очень хорошо, что области знанія, промышленности и нравственности находятся въ постоянномъ сообщеніи между собой и вслѣдствіе этого постоянно дѣйствуютъ другъ на друга; но ошибка его заключалась именно въ томъ, что онъ принималъ нравственность за отдѣльную область, въ которой могутъ совершаться самостоятельныя измѣненія и которая посредствомъ этихъ измѣненій можетъ дѣйствовать на другія области и на всю совокупность человѣческаго существованія и развитія.

Неосновательность этого мнѣнія доказать не трудно. Въ самомъ дѣлѣ, основной принципъ всей человѣческой дѣятельности заключается вездѣ и всегда въ стремленіи человѣка къ собственной выгодѣ, то есть къ тому, что соответствуетъ потребностямъ его организма. Этотъ основной принципъ не измѣняется нигдѣ и никогда, но поступки, въ которыхъ проявляется стремленіе къ выгодѣ, могутъ быть безконечно разнообразны, во-первыхъ—потому, что пониманіе выгоды бываетъ неодинаково, а во-вто-

рыхъ—потому, что средства, находящіеся въ распоряженіи человѣка, бываютъ также неодинаковы. Пониманіе собственной выгоды есть не что иное, какъ практическій выводъ изъ всего міросозерцанія, то есть изъ совокупности всѣхъ взглядовъ человѣка на природу, на самого себя и на окружающихъ людей. Особенности-же міросозерцанія зависятъ, во-первыхъ, отъ количества собранныхъ наблюденій, и во-вторыхъ—отъ логическаго достоинства теорій, построенныхъ на основаніи добытыхъ фактическихъ знаній; вѣрность и разумность даннаго міросозерцанія увеличиваются или тогда, когда нарастаетъ запасъ фактовъ, или тогда, когда совершенствуются логическіе приемы. Эти двѣ категоріи улучшеній относятся одинаково къ области умственнаго развитія и обнаруживаютъ одинаково сильное вліяніе на пониманіе личной выгоды. Наблюденія и размышленія человѣка надъ природой и надъ собственнымъ организмомъ не только даютъ ему пониманіе личной выгоды, но въ то-же время показываютъ ему и тѣ пути, по которымъ онъ долженъ идти къ этой выгодѣ. Совокупность этихъ путей называется промышленностью и составляетъ прикладную отрасль умственнаго развитія. Составивъ себѣ извѣстное пониманіе личной выгоды и приварившись къ тѣмъ средствамъ, которыми достигается выбранная цѣль, человѣкъ втягивается въ извѣстный образъ жизни и приобретаетъ себѣ извѣстный комплектъ привычекъ. Та часть этого комплекта, которая обнимаетъ собой отношенія человѣка къ другимъ людямъ, называется *нравственностью*. Спрашивается теперь, какія причины могутъ произвести въ приобретенныхъ привычкахъ какія-бы то ни было измѣненія?—Привычки, а слѣдовательно и нравственность могутъ измѣниться только тогда, когда измѣняются основанія привычекъ, то есть *пониманіе* или *средства*. Улучшиться эти привычки могутъ только тогда, когда совершится какое-нибудь открытіе, или возникнетъ болѣе рacionales гипотеза, или будетъ сдѣлано какое-нибудь изобрѣтеніе,—вообще тогда, когда расширится міръ человѣческой мысли или усилятся господство человѣка надъ природой. Высшая точка нравственнаго развитія будетъ достигнута тогда, когда *пониманіе* выгоды сдѣлается безукоризненно вѣрнымъ, и когда *средства* уравниваются желанія, то есть тогда, когда человѣкъ достигнетъ до крайнихъ предѣловъ теоретическаго знанія и практическаго могущества. Составные элементы нравственности заключаются такимъ образомъ въ чистой и въ прикладной наукѣ.

Контъ смотритъ на это дѣло иначе. Объявляя непримиримую вражду принципу личной выгоды, Контъ видитъ главную задачу нравственности въ систематическомъ ослабленіи эгоизма. Эта борьба съ эгоизмомъ должна состоять въ особен-

ныхъ упражненіяхъ, клонящихся къ искусственному удерживанію страстей и къ такому-же искусственному расшевеливанію доброжелательныхъ влеченій. Если оказывается такимъ образомъ крайняя необходимость дрессировать и гонять на кордѣ человѣка, какъ маневренную лошадь, то, разумѣется, надо создать особенный организованный классъ берейторовъ, обязанныхъ хранить и совершенствовать великіе принципы маневренной выѣздки. Этотъ классъ берейторовъ называется у Конта *rouvoir spirituel* и занимается не возвышеніемъ уровня человѣческихъ знаній и даже не распространеніемъ знаній уже добытыхъ, а именно формированіемъ добродѣтельныхъ привычекъ и придумываніемъ разныхъ морализирующихъ упражненій. Чтобы эта нравственная гимнастика имѣла какіе-нибудь шансы успѣха, теоретическая власть непременно должна быть организована и привведена къ строгому единству, потому что какія-бы то ни было привычки могутъ получить обязательную силу только въ томъ случаѣ, если каждая отдѣльная личность будетъ постоянно встрѣчаться съ этими привычками во всемъ окружающемъ обществѣ. Напротивъ того, іерархическая органическая организація и строгое единство были-бы совершенно излишни и даже невозможны, еслибы настоящее значеніе нравственности было опредѣлено вѣрно и еслибы вслѣдствіе этого теоретическая власть дѣйствовала не на привычки людей, а на ихъ убѣжденія, и дѣйствовала-бы не силою авторитета, а очевидностью строгихъ доказательствъ. Признавая необходимость дрессировки и берейторовъ, Контъ нашелъ въ средневѣковой организаціи именно то, что онъ считалъ особенно драгоценнымъ: онъ нашелъ тамъ цѣлое громадное министерство, старавшееся регламентировать нравственность и не обращающее никакого вниманія ни на реальныя свойства природы и человѣка, ни на условія мѣста и времени. Этого было довольно, чтобы очаровать и ослѣпить Конта. Увлечшись своими морализаторскими пристрастіями, онъ увидалъ въ средневѣковой системѣ небывалое раздѣленіе властей и еще болѣе небывалое преобладаніе справедливости надъ политическимъ расчетомъ. Кромѣ того онъ въ своемъ увлеченіи приписалъ необыкновенную плодотворность и дѣйствительность разнымъ нравственнымъ сентенціямъ и декретамъ, которые оставались всегда мертвой буквой и которые, по своей противоположности съ естественными человѣческими наклонностями и потребностями, ни въ какомъ случаѣ не могли принести людямъ ни малѣйшей пользы. Эти ошибочныя мнѣнія Конта, выходящія изъ его невѣрнаго взгляда на нравственность и изъ его неосновательной ненависти къ эгоизму, я постарался опровергнуть на предыдущихъ страницахъ. Теперь я снова обращаюсь къ тѣмъ

глубокимъ и разумнымъ идеямъ Конта, съ которыми я совершенно согласенъ.

Вся исторія человѣческой мысли представляетъ намъ колоссальную борьбу разсудка съ воображеніемъ, — борьбу, которая не кончена и сихъ поръ, но въ которой окончательная побѣда разсудка не подлежитъ уже ни малѣйшему сомнѣнію. Съ тѣхъ поръ какъ началась настоящая исторія, разсудокъ постоянно одерживаетъ побѣды, а воображеніе, дѣлая одну уступку за другой, постоянно отодвигается назадъ, оставляетъ разсудку все больше и больше простора и при этомъ занимаетъ новыя укрѣпленныя позиціи, которыя его неутомимый противникъ беретъ приступомъ, несмотря на самое упорное и продолжительное сопротивленіе. Въ началѣ исторіи воображеніе было всецѣльно; въ времена *фетишизма* для разсудка не было мѣста; самая простая и мелкія явленія объяснялись фантастическимъ образомъ; однако-же разсудокъ, опираясь на свидѣтельство пяти чувствъ, сдѣлалъ свое дѣло и выбилъ воображеніе изъ самой крѣпкой его позиціи; воображеніе отодвинулось назадъ, предоставило разсудку объясненіе простѣйшихъ явленій и построило себѣ новую твердыню — систему *политеизма*. Укрѣпившись тѣми наблюденіями, которыя сдѣлались возможными послѣ паденія фетишизма, разсудокъ повелъ свою атаку противъ политеизма и подрылъ его тѣмъ аргументомъ, что постоянство и правильность, замѣчаемая во всѣхъ явленіяхъ природы, несомнѣнны съ гипотезой о существованіи многихъ правителей, способныхъ расходиться между собою въ своихъ мнѣніяхъ, желаніяхъ и дѣйствіяхъ. Тогда воображеніе еще разъ отступило назадъ и выработало себѣ ту доктрину, которая назвала свою печать на средневѣковой періодъ. Разсудокъ конечно не уgomонился. Такъ какъ средневѣковая доктрина была уступкой, которую воображеніе принуждено было сдѣлать разсудку, то, разумѣется, эта доктрина была для разсудка менѣе стѣснительна, чѣмъ политеизмъ. Поэтому водвореніе средневѣковой доктрины было полезно для умственного развитія Европы. Однако-же несомнѣнно то, что вслѣдъ за торжествомъ новой доктрины надъ политеизмомъ умственное движеніе пріостановилось на нѣсколько столѣтій; съ III вѣка до XI-го Европа не произвела ничего поваго и оригинальнаго ни въ наукѣ, ни въ литературѣ. Замѣчательно, что эта пріостановка произошла раньше нашествія варваровъ. Этотъ упадокъ умственной дѣятельности объясняется съ одной стороны общимъ политическимъ и экономическимъ разслабленіемъ Римской имперіи и съ другой стороны — направленіемъ новой доктрины, требовавшей отъ своихъ адептовъ высокіхъ добродѣтелей и относившейся не только равнодушно, но даже презрительно и враждебно къ

научнымъ и литературнымъ занятіямъ, заподазрѣннымъ въ пороженіи умственной гордости. Умные и даровитые люди рождались конечно и въ тѣ вѣка, которые считаются эпохой самаго глубокаго невѣжества и варварства; потребность работать умомъ не замирала никогда; но этой потребности средневѣковая доктрина открыла новую форму удовлетворенія. Умные, даровитые и даже гениальные люди въ то время были необходимы для того, чтобы развить главныя подробности доктрины, чтобы устранить внутреннія противорѣчія и разномыслія, чтобы поддерживать письмами и поученіями общее единодушное воодушевленіе, чтобы привлечь постоянно новыхъ адептовъ, чтобы основать великое европейское единство и чтобы надъ этимъ единствомъ поставить тотъ сильный и стройный политическій организмъ, который въ послѣдствіи далъ напамъ возможность побѣждать императоровъ и королей. Этотъ политическій организмъ надо было сформировать, и дѣло это было тѣмъ болѣе трудно, что въ прошелшемъ не существовало ни одного такого учрежденія, которое можно было-бы взять за образецъ. Это формированіе производилось втеченіи цѣлаго тысячелѣтія и было закончено во второй половинѣ XI вѣка папой Григоріемъ VII. Во все это время практическія заботы этого созиданія постоянно поглощали умственные способности тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ могли-бы сдѣлаться Ньютонами, Колумбами, Гарвеями или Шекспирами. Диспуты о разныхъ очень возвышенныхъ и неудобопонятныхъ матеріяхъ не прекращались никогда, даже въ самыя мрачныя времена европейскаго невѣжества. Само собою разумѣется, что эти диспуты не дали никакихъ осязательныхъ результатовъ, то есть не обогатили человечества новыми знаніями, но считать эти диспуты совершенно бесполезными—было-бы очень неосновательно. Они пробудили и развернули въ тогдашнихъ людяхъ расположеніе и способность къ упорному умственному труду; они выучили ихъ слѣдить за всѣми изгибами и изворотами мысли и выводить изъ даннаго положенія всевозможныя близкія и отдаленныя послѣдствія; они заставили ихъ уважать силу человѣческой мысли, которую ревностные моралисты окончательно стерли-бы съ лица земли, еслибы она не оказалась необходимой для созерцанія высшихъ истинъ и для посрамленія разномыслящихъ диспутантовъ; они одни наконецъ подготовили и сдѣлали возможнымъ то искреннее, страстное и трогательное уваженіе, съ которымъ глубоко вѣрующіе діалектики католическаго міра преклонились передъ твореніями проклятаго и великаго язычника Аристотеля.

Умственная эмалсипація начинается съ того времени, когда творенія Аристотеля сдѣлались

необходимой составной частью и даже фундаментомъ клерикальнаго образованія. Столастика, обруганная, осмѣянная и превращенная въ синонимъ безсмыслицы счастливыми писателями XVIII вѣка, была первымъ шагомъ средневѣковаго ума на пути къ окончательному освобожденію. Дѣло въ томъ, что традиціонная доктрина стала нуждаться въ поддержкѣ со стороны той діалектики, которую средневѣковые мыслители почерпнули изъ Аристотеля. Доктрина, гордившаяся въ былое время девизомъ *credo quia absurdum*, заключила тѣсный союзъ съ философій, надѣясь превратить ее въ послушное оборонительное оружіе. Разсчетъ оказался очень невѣрнымъ. Когда мыслителю приказано употребить всю силу его логики на то, чтобы развить изъ даннаго положенія всѣ его послѣдствія, то вѣтъ ни малѣйшаго основанія утверждать, что мыслителю ни подъ какими видами не придетъ въ голову лукавая и опасная мысль начать изслѣдованіе съ повѣрки того самаго положенія, которое было выдано ему за аксіому, не требующую никакихъ доказательствъ. Можетъ-быть сотни мыслителей обнаружатъ самое похвальное умственное благоправіе и не дотронутся своимъ діалектическимъ оружіемъ до тѣхъ основныхъ положеній, которыя доверены ихъ защитѣ. Но если даже на цѣлую тысячу благонаправныхъ мыслителей придется хоть одинъ нескромный и недовѣрчивый искатель истины и если этотъ неустрашимый искатель сдвинетъ съ мѣста хоть одинъ тезисъ общеобязательной традиціи, то его дѣла не затушаетъ никогда вся благонаправная тысяча.

Средневѣковая доктрина никакъ не могла обходиться безъ содѣйствія метафизики; на метафизику было построено все ея ученіе, въ которомъ уже не было общедоступной и яркой конкретности и рельефности, составлявшихъ силу и популярность древняго политеизма. Метафизикой должна была средневѣковая доктрина защищаться противъ своихъ внутреннихъ враговъ. Метафизика пропитала насквозь всю эту доктрину и понемногу раскрошила весь тотъ строй понятій и гипотезъ, къ которому она была призвана на помощь. Сначала возникло отрицаніе разныхъ дисциплинарныхъ подробностей, потомъ родилась критика политической организаціи, наконецъ дошло дѣло до анализа основной доктрины. Это постепенное разрушеніе продолжается съ XII вѣка до нашего времени, а между тѣмъ средневѣковая организація теоретической власти все еще существуетъ, несмотря на то, что передовые умы уже давно освободились изъ-подъ ея господства.

Живучесть средневѣковой іерархіи обусловливается нѣкоторыми замѣчательными особенностями ея внутренней организаціи. Въ этомъ

отношеніи особенно важно то обстоятельство, что клерикальное сословіе пополнялось постоянно изъ всѣхъ классовъ общества, не исключая и низшихъ. Сильныя дарованія прокладывали сыну простого крестьянина дорогу къ высшимъ клерикальнымъ должностямъ и даже къ папскому престолу. Не стѣняясь въ выборѣ своихъ членовъ никакими посторонними соображеніями, не требуя отъ нихъ ни знатности происхожденія, ни богатства, словомъ—ничего, кромѣ личныхъ достоинствъ, клерикальная корпорація постоянно имѣла въ своемъ распоряженіи огромное количество сильныхъ умовъ и твердыхъ характеровъ и кромѣ того втеченіи многихъ вѣковъ постоянно притягивала къ себѣ и обращала въ свою пользу тѣ дарованія, которыя могли-бы составить ей опасную оппозицію или конкуренцію, еслибы оставались непристроенными къ ея официальной дѣятельности. Набирая себѣ отовсюду даровитыхъ защитниковъ, клерикальная корпорація подвергала ихъ долговременному вліянію тѣхъ идей, за которыя они должны были бороться; она формировала по своему ихъ умъ и характеръ, втягивала ихъ въ кругъ клерикальныхъ понятій и стремленій, испытывала и упражняла ихъ силы на низшихъ ступенкахъ іерархической лѣстницы и допускала ихъ къ вліятельнымъ должностямъ только тогда, когда они, проникнутые насквозь духомъ и тенденціями системы, не имѣли уже ни желанія, ни возможности выбиться изъ традиціонной колеи и пуститься въ какія-нибудь опасныя усвоенія или поновленія. Консервативное направленіе всей корпораціи, соответствующее вполнѣ характеру самой доктрины, поддерживалось даже тѣмъ, что замѣщеніе всѣхъ должностей производилось не по выбору снизу, а по назначенію сверху. Высшія должностныя лица, дававшія такимъ образомъ импульсъ всему клерикальному организму, были конечно особенно сильно расположены къ охраненію традиціоннаго порядка, во-первыхъ потому, что этотъ порядокъ доставлялъ имъ всѣ наслажденія обширной власти, а во-вторыхъ потому, что они, по давности своего служенія, имѣли возможность сильнѣе своихъ подчиненныхъ втянуться въ корпоративные интересы и проникнуться преданіями клерикальной политики. Безграницная преданность общему дѣлу, доходившая у клерикаловъ до самыхъ грандіозныхъ разбѣговъ, объясняется преимущественно тѣмъ, что ихъ безбрачное состояніе отнимало у нихъ возможность увлекаться частными, семейными интересами. Клерикалу, какъ холостяку, надо было или вдаться въ безобразный кутежъ, или посвятить свою жизнь тѣмъ интересамъ корпораціи, которые онъ, по всему складу своихъ понятій, принималъ за высшіе интересы всего человѣчества. Многіе конечно шли по первому пути и превращали жизнь въ гряз-

ную оргію, но такъ какъ клерикальная корпорація постоянно забирала въ себя самыхъ умныхъ и даровитыхъ людей, то она и была всегда богата такими личностями, которымъ непремѣнно надо было любить, мыслить и дѣйствовать и которыя должны были обратить и служеніе интересамъ корпораціи всю силу, страсть и глубину своихъ неудовлетворенныхъ стремленій. Безбрачное состояніе клерикаловъ было особенно необходимо для того, чтобы корпорація не превратилась въ замкнутую касту. Еслибы принципъ наследственности водворился въ іерархіи, то, разумѣется, онъ произвелъ-бы немедленное пониженіе ея интеллектуальнаго могущества, и личные дарованія, отгнанные отъ клерикальныхъ должностей, проложили-бы себѣ какую-нибудь новую дорогу и, привлекая къ себѣ вниманіе и довѣріе общества, подорвали-бы такимъ образомъ значеніе теоретической власти, потерявшей возможность побѣждать своихъ противниковъ превосходствомъ ума и таланта.

XVI.

Средневѣковая организація свѣтскаго общества, то есть феодальная система, сформировалась, по мнѣнію Конта, вслѣдствіе того, что военная дѣятельность, имѣвшая въ древности завоевательный характеръ, начала принимать оборонительное направленіе. Когда римскіе регионы столкнулись на востокъ съ парфянами, а на сѣверѣ—съ германцами, тогда дальнѣйшее расширеніе римскихъ владѣній должно было прекратиться. Съ одной стороны, нравы азіатскихъ народовъ, не затронутыхъ эллинизмомъ, были такъ несходны съ нравами римлянъ, что сліяніе между ними было-бы невозможно даже и въ томъ случаѣ, еслибы всѣ военныя предпріятія римлянъ противъ восточныхъ соседей увѣнчивались постоянно полнымъ успѣхомъ. Съ другой стороны, германцы были еще такъ мало привязаны къ землѣ и, въ случаѣ военной неудачи, такъ легко могли покинуть свои жилища и перейти на новыя мѣста, что превратить ихъ въ подданныхъ Римскаго государства не было никакой возможности. Поэтому важнѣйшей обязанностью римскихъ императоровъ сдѣлалось естественнымъ образомъ постоянное охраненіе римскихъ границъ, ежегодно подмигавшихся опустошительнымъ набѣгамъ со стороны неукротимыхъ сѣверныхъ варваровъ. Охраненіе это было тѣмъ болѣе затруднительно, что сѣверная граница Римской имперіи была очень длинна, и почти на всемъ своемъ протяженіи соприкасалась съ жилищами воинственныхъ народовъ германскаго племени. Такъ какъ характеръ оборонительной войны состоитъ именно въ томъ, что инициатива принадлежитъ противнику, который выбираетъ самъ, по сви-

ему благоусмотрѣнію, время и мѣсто своего нападенія, — то, разумѣется, римляне, державшіеся на своихъ границахъ въ оборонительномъ положеніи, принуждены были постоянно поджидать враговъ на всѣхъ пограничныхъ пунктахъ и во всякую данную минуту. Начальники пограничныхъ земель должны были имѣть въ своемъ распоряженіи достаточное количество вооруженныхъ людей, ежеминутно готовыхъ вступить въ сраженіе съ варварами; кромѣ того эти начальники нуждались въ довольно-обширной автономіи; имъ надо было ежеминутно соображаться съ быстро-измѣняющимися обстоятельствами и дѣйствовать рѣшительно, на свой страхъ, не сносясь съ центральнымъ правительствомъ и не дожидаясь отъ него инструкцій и разрѣшеній, которыя въ большей части случаевъ оказывались-бы ненужными или неудобными по своей запоздалости. Начальникъ, постоянно защищающій свой край по своему собственному плану и такими силами, которыя разъ навсегда отданы въ его распоряженіе, долженъ почувствовать рано или поздно, что связь его съ центральной властью слабѣетъ и даже можетъ оборваться, если онъ самъ захочетъ воспользоваться обстоятельствами. Въ честолюбивыхъ желаніяхъ никогда не бываетъ недостатка, и дѣйствительно многие губернаторы римскихъ провинцій старались отдѣлаться отъ имперіи или по крайней мѣрѣ превратить свою должность въ наследственное достояніе своего семейства.

Если-бы Римская имперія была въ силахъ пересоздать свою внутреннюю организацію сообразно съ измѣнившимися обстоятельствами, то ей пришлось-бы въ III или въ IV вѣкѣ раздробиться такъ точно, какъ раздробилась въ послѣдствіи монархія Карла Великаго. Только это раздробленіе могло спасти ее отъ варваровъ; оно было необходимо, потому что централизація, очень удобная для наступательной войны, никуда не годится для оборонительныхъ дѣйствій. Но перерожденіе было уже невозможно. Съ одной стороны, натискъ варваровъ былъ чрезвычайъ стремительный; съ другой стороны, экономическое изнеможеніе имперіи дошло до такихъ размѣровъ, что число ея жителей стало уменьшаться съ ужасающей быстротой; чѣмъ больше народа погибало отъ голода и отъ разныхъ болѣзней, порожденныхъ лишеніями и страданіями, тѣмъ хуже становилось положеніе тѣхъ, которые оставались въ живыхъ. Фиску, какъ существу безличному и отвлеченному, не было никакого дѣла до народныхъ бѣдствій. Чего не могли заплатить мертвые, то раскладывалось на живыхъ; чѣмъ меньше становилось число работниковъ и плательщиковъ, тѣмъ обременительнѣе дѣлались налоги; чѣмъ больше накоплялось недоимокъ, тѣмъ сильнѣе становились нажимающіе сна-

ряды; пытки сдѣлались необходимымъ вспомогательнымъ средствомъ финансового управленія. Народъ былъ до такой степени забитъ, разоренъ, задавленъ и опутанъ громадною сѣтью бюрократической администраціи, что даже послѣднее отчаянное лекарство противъ общественныхъ болѣзней, вооруженное возстаніе, сдѣлалось для него недоступнымъ. Его энергія была убита. При такомъ положеніи дѣлъ остановить вторженіе варваровъ не было никакой возможности. Поэтому феодальная система сложилась только тогда, когда варвары завоевали Римскую имперію и успѣли въ различныхъ ея провинціяхъ. Послѣ этого завоеванія необходимость оборонительной войны нисколько не прекратилась. Завоевателямъ имперіи грозили со всѣхъ сторонъ новые враги, искавшіе себѣ также добычи или удобныхъ земель для поселенія. Съ юга на Европу надвигались сарацины; съ сѣвера разсыпались по всѣмъ европейскимъ морямъ легкіе корабли скандинавскихъ пиратовъ; съ востока на Германію кидались венгры; въ самой Германіи до временъ Карла Великаго разбойничали саксы; съ береговъ Балтійскаго моря дѣйствовали славяне и пруссы. Всѣ эти разноплеменные враги тревожили Европу отъ VII до XI вѣка, то есть именно въ то время, когда вырабатывалась феодальная организація. Постоянно ведя оборонительныя войны, европейское общество естественнымъ образомъ вылилось въ тѣ формы, которыя всего лучше приспособлены къ оборонѣ. Само собою разумѣется, что характеръ и обычаи германскаго племени наложили на эти формы печать своего вліянія и придали имъ тѣ типическія особенности, съ которыми феодальная система появляется въ средневѣковой исторіи. Беспорядочная и безтолковая воинственность феодальныхъ владѣтелей, обращавшихъ ежеминутно другъ противъ друга тѣ силы, которыми необходимо было отражать общаго врага, — обусловливалась конечно не раздробленіемъ территорій, а именно темпераментомъ германскихъ завоевателей, еще не укрощенныхъ цивилизаціей и не примѣнившихся къ потребностямъ мирной и разумной общественной жизни. Еслибы вырабатываніе феодальной организаціи досталось на долю какому-нибудь другому народу, болѣе благовоспитанному, то, разумѣется, въ исторіи феодализма оказалось-бы меньше безполезнаго кровопролитія, и временное назначеніе феодализма было-бы выполнено быстрѣе, то есть необходимость постоянныхъ оборонительныхъ войнъ миновалась-бы раньше вслѣдствіе того, что безпокойные сосѣди, отбитые на всѣхъ пунктахъ, были-бы направлены, силою оружія, на дорогу мирнаго гражданскаго и промышленнаго развитія.

Когда прекратились завоевательныя предпріятія римлянъ, тогда положеніе рабовъ стало

медленно измѣняться къ лучшему. Невольничьи рынки пополнялись почти исключительно военнопленными и вообще всѣми беззащитными людьми, которые захватывались въ непріятельской странѣ римскими легіонами. Пока война была постояннымъ занятіемъ римлянъ и производилась въ самыхъ грандіозныхъ размѣрахъ, сопровождаясь опустошеніемъ цѣлыхъ обширныхъ и богатыхъ государствъ, до тѣхъ поръ рыночная цѣна рабовъ держалась такъ низко, что римскіе вельможи могли покупать себѣ цѣлыя арміи или, какъ говоритъ Плиній, цѣлыя націи невольниковъ, которыхъ жизнь не цѣнилась почти ни во что и которыхъ матеріальное благосостояніе такимъ образомъ не было гарантировано даже личнымъ интересомъ владѣльца. Чтобы охарактеризовать одной чертой тогдашнюю дешевизну человеческой жизни, достаточно упомянуть о гладіаторскихъ играхъ, которыя для развлечения державнаго народа губили въ нѣсколько часовъ тысячи молодыхъ, здоровыхъ, сильныхъ и ловкихъ людей. Когда кончились опустошительныя завоеванія, тогда притокъ новыхъ рабовъ прекратился, и такъ какъ привычка расходовать людей безъ счету успѣла пустить въ жизни аристократовъ очень глубокіе корни, то, разумѣется, скоро оказался чувствительный недостатокъ рабочихъ рукъ. Запросъ на людей усилился, а подвоза не было и не предвидѣлось; вслѣдствіе этого цѣна раба должна была повыситься и, соразмѣрно съ этимъ повышеніемъ, должно было улучшиться его положеніе, потому что владѣльцу становилось уже убыточно засѣкать раба до смерти или посылать его на арену за неудачное приготовленіе соуса или за разбитіе какой-нибудь вазы. Такъ какъ рабы для каждого землевладѣльца были совершенно необходимы, и такъ какъ число рабовъ продолжало быстро уменьшаться вслѣдствіе скарденности хозяевъ, то очевидно покупка рабовъ съ каждымъ десятилѣтіемъ должна была становиться все болѣе и болѣе затруднительной, вслѣдствіе чего владѣльцы должны были все крѣпче и крѣпче держаться за тѣхъ людей, которые уже находились въ ихъ рукахъ. Идя по этому пути, надо было наконецъ придти къ тому убѣжденію, что продавать раба вообще невыгодно, и что рабъ долженъ быть наглухо привязанъ къ той землѣ, которую онъ обрабатываетъ. Конечно это убѣжденіе, превращавшее рабство въ крѣпостную зависимость, не могло имѣть вліянія на судьбу тѣхъ людей, которые окружали особу хозяина и составляли его дворню. Этихъ людей незачѣмъ было прикрѣплять къ землѣ, но продавать ихъ также было невыгодно, потому что дворня состояла обыкновенно изъ ремесленниковъ, а ремесленники при всеобщемъ упадкѣ промышленной предпримчивости и расторопности съ каждымъ годомъ становились рѣже и цѣнпѣе.

Уже одно то обстоятельство, что рабы перестали быть предметомъ вседневной торговли, значительно улучшило ихъ положеніе. Хозяину рабъ дѣлался необходимымъ не только для работы, но и для завода. Хозяинъ для своей же собственной выгоды долженъ былъ давать рабу возможность производить на свѣтъ и выкармливать здоровыхъ дѣтей. Хозяинъ для этого долженъ былъ доставлять рабу по меньшей мѣрѣ хоть тѣ удобства жизни, которыми пользовались въ благоустроенныхъ скотныхъ дворахъ быки и бараны. Въ сравненіи съ тѣмъ, что было прежде, когда хозяину выгодно было въ три-четыре года выжимать изъ раба всю его рабочую силу и потомъ выбрасывать его вонъ, въ видѣ негоднаго калѣки, — въ сравненіи съ этимъ прежнимъ рабствомъ, говорю я, новое положеніе раба, получившаго одинаковыя права съ быками и баранами, составляло значительное усовершенствованіе. Прикрѣпленный навсегда къ участку земли или къ особѣ хозяина, рабъ могъ уже не только исполнять обязанности заводскаго производителя, но и завязывать прочныя отношенія съ любимой женщиной и вообще пользоваться по крайней мѣрѣ нѣкоторыми правами мужа и отца. Его не разлучали съ женой; малолѣтнихъ дѣтей не отрывали отъ матери; вслѣдствіе этого въ рабскомъ населеніи становится возможнымъ развитіе лучшихъ человеческихъ чувствъ, за которыми непременно должно слѣдовать постоянно возрастающее сознаніе собственнаго человеческого достоинства, — сознаніе, заключающее въ себѣ зародыши грознаго и неподкупнаго суда надъ всѣми неправдами порабощенія и эксплуатаціи.

Католицизмъ узаконилъ и освятилъ семейныя отношенія несвободныхъ людей; бракъ крѣпостнаго крестьянина получилъ одинаковую силу съ бракомъ барона или короля. Кромѣ того католицизмъ вообще предписалъ крѣпостнымъ исполненіе тѣхъ-же самыхъ нравственныхъ законовъ, которые были обязательны для сильныхъ, знатныхъ и богатыхъ людей. Равенство обязанностей предполагаетъ равенство правъ, и хотя средневѣковые моралисты вовсе не желали придти къ этому послѣднему заключенію, однако-же оно было неизбежно, и къ нему стремились постоянно тѣ люди, для которыхъ оно было особенно обаятельно и интересно. Сравнивая свое поведеніе съ поведеніемъ своего барона, какой-нибудь честный мужикъ легко могъ придти къ той мысли, что онъ, мужикъ, исполняетъ въ отношеніи къ барону всѣ свои нравственныя обязанности, и что, напротивъ того, баронъ всѣ свои обязанности ежеминутно нарушаетъ; мужикъ легко могъ сообразить, что увлекающагося или заблуждающагося барона не мѣшало-бы, для его же собственной пользы, наставлять на путь истины матеріальной силой.

составляющей самое общеупотребительное лекарство противъ всякихъ мужицкихъ заблужденій или увлеченій. Мужикъ видѣлъ, какъ его баронъ круто и рѣшительно расправлялся съ своими обидчиками, не обращая вниманія на ихъ высокое положеніе въ свѣтскомъ обществѣ или даже въ церковной іерархіи; мужикъ зналъ, что его баронъ воюетъ съ епископомъ или отсиживается въ своемъ крѣпкомъ замкѣ отъ королевскаго войска. Этотъ примѣръ непременно долженъ былъ дѣйствовать заразительно на такого человѣка, для котораго сопротивленіе составляло насущную необходимость, потому что этому человѣку приходилось отстаивать не богатство, а послѣдній кусокъ черстваго хлѣба, облитаго потомъ и слезами. Такимъ образомъ обѣ средневѣковыя власти, теоретическая и практическая, оказали мужику по одному невольному, но тѣмъ не менѣе капитальному благотвѣнію; первая, наложивши на мужика нравственныя обязанности, воспитала въ немъ чувство собственнаго достоинства; вторая пояснила ему, посредствомъ нагляднаго обученія, какими способами слѣдуетъ защищать это достоинство противъ посягательствъ различныхъ нахаловъ и буяновъ. Мужикъ оказался ученикомъ понятливымъ и даровитымъ.

Одинъ изъ самыхъ популярныхъ средневѣковыхъ романовъ, «*Roman de Rou*», рисуетъ слѣдующими крупными чертами господствующее настроеніе угнетенныхъ массъ. «Господа, — размышляетъ грубое мужичье, — не дѣлаютъ намъ ничего, кромѣ зла; мы отъ нихъ не можемъ добиться ни добросовѣстности, ни справедливости, они всѣмъ владѣютъ, все себѣ позволяютъ, все поѣдаютъ, а насъ заставляютъ жить въ бѣдности и въ печали. Для насъ каждый день — тяжелый день; нѣтъ у насъ ни одного спокойнаго часа; мы завалены повинностями и поборами, оброками и барщиной. И съ какой стати мы все это терпимъ? Вырвемся изъ-подъ ихъ власти; мы — такіе-же люди, какъ они; у насъ тѣ-же члены, тотъ-же ростъ, та-же сила, то-же терпѣніе, и насъ сто противъ одного. Будемъ защищаться противъ рыцарей, будемъ крѣпко стоять другъ за друга, и никто надъ нами не станетъ барствовать, и мы будемъ рубить себѣ лѣсъ, будемъ ловить дичь въ лѣсу и рыбу въ прудахъ, и будемъ все дѣлать по своему, и въ лѣсахъ, и на дугахъ, и на водѣ.» (Laurent, «*Féodalité et l'église*», p. 599.) Размышленія, приписанныя мужикамъ, вовсе не выдуманы самимъ поэтомъ; такіа размышленія существовали въ живой дѣйствительности и привносили обильные плоды. Всѣ обиженные классы средневѣковаго общества постоянно волновались, и, разумѣется, только одни эти волненія вынудили у господствующаго сословія такіа уступки, которыя расшатали феодальную систему и выработали изъ себя основныя эле-

менты новой государственной и общественной жизни, очень неудовлетворительной, но по крайней мѣрѣ способной развиваться и совершенствоваться. Требованія мужиковъ и мѣщанъ были обыкновенно чрезвычайно умѣренны; они желали мира, правильнаго суда и точнаго опредѣленія денежныхъ и натуральныхъ повинностей. Обѣ власти, феодальная и клерикальная, видѣли въ такихъ требованіяхъ неслыханную и непростительную дерзость. Рыцари дѣйствовали противъ этихъ претензій силою оружія, а папы и епископы — силою самыхъ усердныхъ молитвъ и самыхъ торжественныхъ проклятій.

Въ концѣ XII вѣка (1172 г.) въ низшихъ слояхъ французской націи началось обширное движеніе, направленное противъ безтолковыхъ феодальныхъ междоусобій и противъ безсовѣстныхъ барскихъ притѣсненій. Плотникъ Дюранъ пришелъ къ епископу города Пуи и объявилъ ему, что Мадонна приказала ему, Дюрану, проповѣдывать людямъ миръ; въ доказательство своихъ словъ Дюранъ показывалъ пергаментъ, полученный имъ съ неба; на пергаментѣ была нарисована Мадонна, держащая на рукахъ младенца; кругомъ изображенія было написано: «Агнецъ божій, пріявшій на себя грѣхи міра, пошли намъ миръ!» — Епископъ прогналъ отъ себя посланника Мадонны; народъ сначала посмѣялся надъ его проповѣдью, однако черезъ нѣсколько дней къ Дюрану присоединилось больше ста человѣкъ; въ началѣ слѣдующаго, 1173, года число его учениковъ дошло до пяти тысячъ; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ движеніе охватило всю Францію. Послѣдователи Дюрана называли себя *братьями мира* и устроили себѣ особенный костюмъ, — бѣлый полотняный или шерстяной капюшонъ. Когда *братья мира* или *капюшонниковъ* оказалось уже очень много, тогда они взялись за свое дѣло очень серьезно и съ большою энергіей. Они рѣшились силою оружія водворить и поддерживать миръ на всемъ пространствѣ своего отечества. Началось радикальное исправленіе феодальныхъ нравовъ посредствомъ матеріальной силы. *Братья мира* стали давать генеральныя сраженія тѣмъ баронамъ, которые, не слушая ихъ увѣщаній, продолжали нарушать общественное спокойствіе своими глупыми раздорами. Особенно ревностно и усильно *братья мира* занялись преслѣдованіемъ наемныхъ дружинъ, такъ называемыхъ *рутберовъ* или *брабансоновъ*, составившихъ себѣ печальную знаменитость самыми безобразными злодѣяніями. Въ одномъ сраженіи *братья мира* истребили отъ десяти до двѣнадцати тысячъ этихъ бандитовъ. Пропаганда Дюрана усилилась до такой степени, что въ его братство стали поступать мужчины и женщины изъ всѣхъ сословій: монахи, аббаты, епископы,

рыцари, графы вадѣвали бѣлый капюшонъ и клялись охранять общественное спокойствіе; безтолковыя феодальныя войны очевидно начали тяготить даже самихъ бойцовъ.

Неизвѣстно, чѣмъ-бы кончилось движеніе *капюшонниковъ*, еслибы оно не возстановило противъ себя всѣхъ высшихъ сословій, принявши чисто-соціальное направленіе, находившееся впрочемъ въ самой тѣсной логической связи съ его основными стремленіями. Если *капюшонники* хотѣли водворить миръ, то, разумѣется, имъ невозможно было смотрѣть равнодушно на ту постоянную глухую войну, которую каждый феодалъ велъ ежедневно съ своими крестьянами, заваливая ихъ работой, отнимая у нихъ имущество и подвергая ихъ, по своему благоусмотрѣнію, тѣлеснымъ и всякимъ другимъ наказаніямъ. *Братья мира* вмѣшались въ домашнія дѣла земледѣльской аристократіи. «До того дошло ихъ неистовое безуміе, — пишетъ въ своей хроникѣ одинъ благочестивый каноникъ, — что глупый этотъ народъ предписалъ графамъ обращаться съ подданными снисходительнѣе прежняго.» Такое неистовое безуміе, клонившееся дѣйствительно къ уничтоженію крѣпостной зависимости, заслуживало конечно самаго строгаго наказанія. Представители обѣихъ властей сообразили наконецъ, что наряджаться въ бѣлые капюшоны и кокетничать съ идеями всеобщаго мира — значитъ подкапывать тотъ самый порядокъ, который даетъ имъ деньги, господство и всѣ прочія житейскія удовольствія. Бароны и епископы соединили всѣ свои силы противъ общаго врага и въ началѣ XIII вѣка стерли съ лица земли опасныхъ негодяевъ, осмѣлившихся завести рѣчь о какой-то безнравственной снисходительности. При этомъ удобномъ случаѣ нѣкоторые прелаты обезсмертили свои имена тѣмъ пламеннымъ усердіемъ и той спасительной свирѣпостью, съ которыми они привялились вырѣзывать и выгнать изъ сознанія французской націи *неистовое безуміе* и ядовитую ересь плотника Дюрана.

Этотъ разсказъ показываетъ ясно, до какой степени правы тѣ почтенные люди, которые утверждаютъ у насъ и за границей, что все происходитъ къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ міровъ, что демократія нуждается въ долговременномъ пребываніи подъ разнообразными педагогическими ферулами, и что простой народъ всѣми своими добрыми чувствами и помыслами обязанъ исключительно благотворному влиянію обѣихъ властей, теоретической и практической, въ особенности первой, — впрочемъ и второй, тоже въ особенности. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы теорія и практика, соединившись вмѣстѣ, не урезонили глупаго плотника Дюрана, то Франція вмѣла-бы несчастье пользоваться съ XIII вѣка свободой промышленности, равенствомъ гражданъ предъ закономъ и разными

другими преждевременными затѣями, которыя, по соображеніямъ всѣхъ философствующихъ историковъ, въ томъ числѣ и Конта, никакъ не раньше XVIII столѣтія. Епископы и бароны спасли Францію отъ этой ужасной опасности и, совершивши въ золотой вѣкъ своего господства цѣлый рядъ такихъ-же блестящихъ и полезныхъ подвиговъ, упрочили за собой бессмертное право на уваженіе и признательность всего человѣчества вообще, и философствующихъ историковъ въ особенности. Милль говоритъ, что тѣ люди, которые сомнѣваются въ возможности превратить исторію въ науку, отложить свои сомнѣнія, познакомившись съ трудами Конта. Дѣйствительно, Контъ убѣждаетъ и увлекаетъ читателя силою своего отвѣчнаго анализа. Но какъ только читатель обращается къ живымъ историческимъ фактамъ, такъ въ умѣ его пробуждаются снова прежнія сомнѣнія и прежній взглядъ на исторію, какъ на громадный арсеналъ, изъ котораго всѣ политическія партіи могутъ брать себѣ всевозможные аргументы.

XVII.

Клерикально-военная организація средневѣковаго европейскаго общества въ самый вѣтущій періодъ своего существованія заключала въ себѣ зародыши неизбѣжнаго и близкаго разложенія. Обѣ власти, духовная или теоретическая (*pouvoir spirituel*) и свѣтская или практическая (*pouvoir temporel*), не могли жить между собою въ добромъ согласіи, потому что между ними не было и никогда не могло быть ясно обозначенной пограничной линіи. Папы враждовали постоянно съ императорами и съ королями; въ разгарѣ борьбы обѣ воюющія стороны старались какъ можно торжественнѣе взводить другъ на друга такіа скандальныя обвиненія, которыя, возобновляясь изъ года въ годъ, непременно должны были поколебать и наконецъ уничтожить почтительныя чувства самыхъ простодушныхъ и благочестивыхъ людей. Разрушительнѣе всякихъ обвиненій дѣйствовали тѣ общія теоріи, которыми папа и императоръ поражали другъ друга и которыя черезъ нѣсколько времени были обращены съ полнымъ успѣхомъ какъ противъ папы, такъ и противъ императора. Папы утверждали постоянно, что подданные имѣютъ полное право и даже обязаны поднимать оружіе противъ государя, запятнавшаго себя ересью или снисхожденіемъ къ еретикамъ. Свѣтскіе владыки съ своей стороны утверждали такъ-же настойчиво, что папы не имѣютъ никакого права вмѣшиваться въ область международныхъ отношеній, политики и государственнаго управленія. Понятно, какіе результаты должны были развиться

изъ подобныхъ разсужденій, провозглашавшихся во всеуслышаніе.

Если подданные, для спасенія своихъ душъ, обязаны сопротивляться царствующему еретику, то, разумѣется, на этихъ подданныхъ налагается священная обязанность тщательно контролировать все поведеніе владѣтельной особы для того, чтобы замѣтить во-время приближеніе опасности, то есть зловѣщіе признаки ереси. А что такое ересь? Вѣрите было-бы спросить: что такое не ересь? Другими словами, есть-ли такой поступокъ, который въ случаѣ надобности не могъ бы превратиться въ обвинительный пунктъ. Если властелинъ не соблюдаетъ постовъ, онъ—еретикъ. Если онъ держитъ при себѣ, въ качествѣ лейбъ-медика, ученаго еврея или араба, онъ—еретикъ. Если онъ не вѣщаетъ и не сжигаетъ евреевъ, колдуновъ, сарациновъ и вольнодумцевъ,—онъ еретикъ. Если онъ женится на дочери такого владѣтеля, на котораго сердится папа,—онъ еретикъ. Наконецъ всякое нарушеніе божескаго закона, всякая несправедливость, всякое притѣсненіе, всякій тяжелый налогъ, всякая безполезная война могутъ также съ полнымъ удобствомъ превратиться въ ересь. Клерикалы имѣли, правда, обыкновеніе смотрѣть сквозь пальцы на такіе проступки, которые не заключали въ себѣ прямыхъ посягательствъ на выгоды ихъ корпораціи. Но нетрудно было предвидѣть, что народъ, приученный своими пастырями разсуждать о ересьхъ высшаго начальства, обратитъ непременно развернувшуюся силу анализа именно противъ тѣхъ проступковъ, къ которымъ пастыри относятся равнодушно и которые тѣмъ не менѣе ложатся самымъ тяжелымъ бременемъ на его экономическое существованіе,—словомъ, ультрамонтанская теорія сопротивленія вѣнецноснымъ еретикамъ, проведенная въ народное сознаніе съ самыми возвышенными и трансцендентальными цѣлями, порождаетъ изъ себя самымъ логическимъ путемъ, при содѣйствіи папскихъ посланій и соборныхъ уложеній, тѣ знаменитыя *droit de résistance* и *droit d'insurrection*, которыя были провозглашаемы въ концѣ прошлаго столѣтія французскими національными собраніями.

Съ другой стороны, императорская теорія о невмѣшательствѣ папы въ свѣтскія дѣла приводитъ къ такимъ-же точно неожиданно-результатнымъ результатамъ. Если папѣ не должно быть никакого дѣла до политики, то онъ теряетъ всякое право и всякую возможность блюсти чистоту доктрины. Предположимъ, что король ведетъ войну со своимъ сосѣдомъ, преступнымъ покровителемъ проклятыхъ еретиковъ. Давши другъ другу достаточное количество кровопролитныхъ сраженій и взявши другъ у друга достаточное количество укрѣпленныхъ городовъ, воинственные сосѣди начинаютъ перего-

воры. Папа запрещаетъ заключать миръ, доказывая совершенно основательно, что между католикомъ и еретикомъ не должно быть никакихъ трактатовъ и никакихъ сношеній, кромѣ истребительной войны. Папѣ отвѣчаютъ, что это—совсѣмъ не его дѣло. Католическая держава становится добрымъ сосѣдомъ несправедливого еретика. Нарушеніе доктрины оказывается очевиднымъ, и блюстителю ея чистоты велѣно хранить скромное молчаніе. Далѣе еретики сосѣдняго государства пріѣзжаютъ въ католическіе города, заводятъ въ нихъ свои лавки, мастерскія, конторы и, расположившись, начинаютъ отправлять открыто свои поганые церемоніи. Папа, глядя на это безобразіе, приказываетъ епископамъ дѣйствовать. Епископы отдають своимъ подчиненнымъ приказаніе хватать, вѣшать, жечь, однимъ словомъ,—возстановлять чистоту и порядокъ. Подчиненные отвѣчаютъ: «нельзя; не велѣно. Заключенъ трактатъ о взаимной вѣротерпимости». Епископы обращаются къ высшимъ властямъ.—Власти отвѣчаютъ: «сидите смирно. Это не ваше дѣло—политика». Далѣе одинъ изъ еретиковъ пускаетъ въ продажу книгу, въ которой излагаются неподходящіе умствованія. Епископы опять приходятъ въ азартъ. Имъ опять говорятъ: «не волнуйтесь. Это—политика».—Оно конечно, все это политика, но вѣдь посредствомъ политики можно дойти и до вѣротерпимости, и до индифференцизма, и до скептицизма, и такъ далѣе, и такъ далѣе, вплоть до Молашота и Бюхнера. А епископы вмѣстѣ съ папой во все это время должны сидѣть сложа ручки и потупивъ глазки. Спрашиваю я васъ, развѣ это хорошо? И на что это похоже? И какія-же послѣ этого дѣйствительныя права остаются за папою и за епископами? Права возводить очи къ небу и произносить чувствительныя рѣчи? Согласитесь, что на такихъ правахъ далеко не уѣдешь, тѣмъ болѣе, что этими самыми правами пользуется безпрепятственно самый скромный изъ протестантскихъ пасторовъ.

Само собою разумѣется, что папы не желали прокладывать дорогу французскимъ революціонерамъ, что императоры не читали никакой нѣжности къ философінъ Фейербаха. Но дѣло въ томъ, что идеи растутъ и развиваются своими собственными силами, не спрашивая позволенія у тѣхъ людей, которые въ первый разъ выпустили ихъ на свѣтъ. Произнося какое нибудь сужденіе, вы отдаете вашу мысль всѣмъ вашимъ слушателямъ, и тутъ начинается длинный рядъ такихъ умозаключеній, которыхъ вы никакъ не могли предвидѣть. Чѣмъ многочисленнѣе ваша аудиторія, тѣмъ разностороннѣе будетъ обсужденіе и разсматриваніе вашей мысли и тѣмъ многочисленнѣе будутъ тѣ послѣдствія и приложенія, къ которымъ ваша мысль послужитъ поводомъ. Аудиторія папъ и импе-

раторовъ была безконечно велика; они говорили передъ цѣлыми народами, и ихъ мысли обсуждались и комментировались многими поколѣніями. Мудрено-ли, что отъ такой аудитории не ускользнулъ ни одинъ изъ возможныхъ выводовъ, и что коллективный умъ Европы оказался гораздо сильнѣе и дальновиднѣе единичныхъ умовъ ея средневѣковыхъ наставниковъ? А если это нисколько немудрено, то немудрено и то, что Европа вывела изъ папскихъ и королевскихъ теорій такія умозаключенія, которыхъ не замѣчали и не желали получить ни короли, ни папы.

Кромѣ основного антагонизма, существовавшего между обѣими властями, теоретической и практической, — въ каждой изъ этихъ властей скрывались еще источники внутреннихъ раздоровъ, вслѣдствіе которыхъ общее разложение всей системы становилось еще болѣе неизбежнымъ. Враждуя съ императоромъ и съ королями, папа кромѣ того ссорился постоянно со своими подчиненными, то есть — епископами, аббатами и докторами теологій, стоявшими за права и за самостоятельность отдѣльных національных церквей. Ведя борьбу съ папою, императоръ и короли кромѣ того враждовали постоянно со своими вассалами, съ разными герцогами, графами и баронами, которые то старались расширить свои права, то принуждены были защищаться противъ захватовъ центральной власти.

Средневѣковое *statu quo* никакъ не могло быть прочнымъ, потому что оно состояло изъ зародышей нѣсколькихъ политическихъ системъ, взаимно исключавшихъ другъ друга: каждый изъ этихъ зародышей стремился къ развитію, а чтобы развиться, ему надо было задушить и проглотить другіе зародыши, образовавшіе вмѣстѣ съ нимъ данное *statu quo*. При такихъ условіяхъ борьба была неизбежна, и результатомъ борьбы должно было оказаться развитіе какого-нибудь одного зародыша и подавленіе остальныхъ, что во всякомъ случаѣ вело за собою радикальное измѣненіе средневѣковой общественности.

Всѣ враждующіе элементы средневѣкового общества стояли на почвѣ одной общей доктрины, которая для всѣхъ была одинаково обязательна и ненарушима. Интересы у всѣхъ враждующихъ элементовъ были, напротивъ того, различны или, вѣрнѣе, взаимно противоположны. Задача каждой воюющей стороны состояла въ томъ, чтобы ссылками на общеобязательную доктрину оправдать свои собственные притязанія и опровергнуть притязанія противниковъ. Другими словами, надо было посредствомъ искусной аргументаціи принорочить доктрину къ интересамъ. На первый взглядъ можетъ показаться, что аргументація тутъ ни на что не нужна. Всякому извѣстно,

что право сильного — самое лучшее и самое надежное изъ всѣхъ возможныхъ правъ. Ну, стало быть, кто сильнѣе — тотъ ступай и бери себя преспокойно все, что ему желательно получить; а слабѣйшій въ это время пускаясь, окажется на высокія истины и аргументируетъ съ горя, сколько душъ его будетъ угодно. Это вѣрно: сила всегда рѣшаетъ дѣло. Но теперь возникаютъ два вопроса. Во-первыхъ, что значить быть сильнѣйшимъ? И во-вторыхъ, какими средствами можно привлечь на свою сторону силу, рѣшающую дѣло? Въ такой борьбѣ, какую вели между собою разнородные элементы средневѣкового общества, быть сильнѣйшимъ значить очевидно имѣть въ своемъ распоряженіи болѣшую толпу людей и болѣшую массу матеріальныхъ средствъ. Какимъ-же образомъ собрать эти средства и сгруппировать людей? Приказать людямъ, чтобы они пришли и принесли съ собою деньги и продукты? Это средство очень просто и употребляется съ полнымъ успѣхомъ сильными и организованными правительствами современной Европы, — правительствами, которыя внутри государства не встрѣчаютъ себя никакихъ соперниковъ. Но когда споръ идетъ именно о томъ, кому быть въ данной странѣ правительствомъ — папѣ или королю, папѣ или епископамъ, королю или баронамъ, — тогда простое приказаніе оказывается безсильнымъ и неумѣстнымъ. Тогда первый и самый важный актъ борьбы, — собраніе силъ, отъ которыхъ будетъ зависѣть исходъ дѣла, — принимаетъ видъ состязательнаго процесса, причемъ роль присяжныхъ достается всей массѣ народонаселенія, — той самой безгласной, задавленной и невѣжественной массѣ, на которую сильныя міра до борьбы и послѣ побѣды не обращаютъ обыкновенно никакого вниманія. Подкупить этихъ присяжныхъ нѣтъ возможности. Чѣмъ вы подкупите цѣлый народъ, отъ котораго кромѣ того вы сами ожидаете себя всѣхъ благъ земныхъ, и богатства, и власти, и славы? Запугать ихъ тоже невозможно, потому что они сами должны составить ядро той силы, которая будетъ запугивать и увлекать другихъ. Остается одно средство — убѣдить, то есть написать на своемъ знамени имя любимой идеи и доказать всѣми правдами и неправдами искусной и увлекательной аргументаціей, что сущность вашего дѣла дѣйствительно соответствуетъ его обольстительной вывѣскѣ. Значитъ, аргументація необходима для собранія силъ и слѣдовательно для успѣшнаго исхода всей борьбы. Лютеръ увлекъ своей аргументаціей сотни слушателей. Эти сотни сообщили свое увлеченіе десяткамъ тысячъ, десятки тысячъ потянули за собою милліоны, — и пошло, и пошло, и образовалась наконецъ та грозная сила, которая произвела громадный

переворотъ и втеченіи столѣтія выдерживала съ полнымъ успѣхомъ натискъ католическихъ державъ.

Аргументація начала играть въ исторіи особенно важную роль съ того времени, какъ массы начали размышлять. Аргументація сохранила свое преобладающее вліяніе до тѣхъ поръ, пока массы не выучатся распознавать безошибочно свои собственныя выгоды. Когда водворится это безошибочное распознаваніе, основанное на отчетливомъ пониманіи законовъ природы, тогда масса перестанетъ служить орудіемъ честолюбивыхъ аргументаторовъ. Тогда невозможно будетъ увлекать массу въ такія движенія, въ которыхъ она исправляетъ должность кошки, вытаскивающей изъ горячей золы каштаны для прожорливой мартышки. Но что будетъ невозможно тогда, въ счастливыя времена трезваго благоразумія и положительнаго знанія, то было неизбежно въ періодъ разложенія средневѣковыхъ идей и учреждений. Тогда каждый изъ состязавшихся общественныхъ элементовъ аргументировалъ напропалую, строилъ на общемъ фундаментѣ обязательной доктрины свою собственную хитрую теорію, обращался къ массамъ во имя высшихъ неземныхъ интересовъ, фанатизировалъ простыхъ людей пламенными рѣчами, натравливалъ ихъ другъ на друга и заливалъ рѣками человѣческой крови ту землю, на которой онъ хотѣлъ основать свое господство и на которой для фанатизированной массы готовилась попрежнему мрачная будущность неблагодарнаго труда и безответнаго повиновенія.

XVIII.

Необходимость искусной аргументаціи породила цѣлыя многочисленные классы и корпораціи ученыхъ, записныхъ, неутомимыхъ и неистощимыхъ аргументаторовъ, мастеровъ диалектическаго дѣла, безстрашныхъ рыцарей рогатаго силлогизма, которые во время продолжительнаго разложенія средневѣковыхъ формъ незамѣтно прибрали къ рукамъ обѣ отрасли власти—теоретическую и практическую. Споры папъ съ національными церквами рѣшались сочиненіями и рѣчами докторовъ теологіи, посѣдѣвшими надъ фоліантами Аристотеля, Ѳомы Аквинскаго и Альберта Великаго. Споры королей съ графами и баронами рѣшались приговорами опытныхъ юристовъ или легистовъ, потратившихъ лучшіе годы жизни на изученіе всѣхъ тонкостей Юстинианова кодекса, знаменитыхъ римскихъ юрисконсультовъ и безчисленныхъ особенностей феодальнаго обычнаго права (*droit coutumier*). Главное достоинство легистовъ и теологовъ состояло въ томъ, что они всегда знали заранее, на чью сторону должны склониться вѣсы правосудія, и что вся ихъ кружевная, художественная аргумента-

ція приводила ихъ аккуратно къ тому окончательному рѣшенію, къ которому слѣдовало придти, принимая въ соображеніе обстоятельства времени, мѣста и политической атмосферы. Кого надо было уморить—тотъ умиралъ; кого надо было отрѣшить отъ должности—тотъ отрѣшался; кого надо было обобрать—тотъ и обирался; и все это совершалось съ соблюденіемъ всѣхъ законовъ формальной логики и съ подведеніемъ неизмѣримаго количества цитатъ, статей, пунктовъ, папскихъ буллъ и соборныхъ уложений. Что же касается до враждебныхъ столкновеній королей съ папами, то здѣсь, при рѣшеніи этихъ спорныхъ вопросовъ, волны юридическаго краснорѣчія сливались съ потоками теологической учености на череполосныхъ владѣніяхъ государственной исторіи и каноническаго права. Такимъ образомъ испытанные въ бояхъ аргументаторы вѣдали и рѣшали важнѣйшіе вопросы тогдашняго мудренаго времени, богато одареннаго всевозможной путаницей идей, страстей, интересовъ и стремленій. Аргументаторы эти, несмотря на различіе костюма, образа жизни и общественнаго положенія, всѣ безъ исключенія были метафизиками. Это обстоятельство приводитъ меня къ вопросу о томъ, что такое метафизика, и въ чемъ состоятъ типическія особенности метафизическаго мышленія?

По времени своего развитія и процвѣтанія метафизика занимаетъ середину между теософіей и положительной наукой. Метафизика родилась тогда, когда теософія склонилась къ упадку, — и начала дряхлѣть тогда, когда возмужала положительная наука. Это историческое положеніе метафизики опредѣляетъ собою всѣ основныя черты ея характера. Метафизика могла возникнуть именно только въ такое время и только при подобныхъ обстоятельствахъ. Спрашивается: что можетъ сдѣлать человѣческій умъ, въ которомъ уже пробудилась потребность размышлять и у котораго въ то же время еще нѣтъ достаточныхъ и достовѣрныхъ свѣдѣній ни объ явленіяхъ и законахъ окружающаго міра, ни о размѣрахъ собственныхъ силъ? — Обрѣтаясь въ счастливомъ невѣдѣніи трудностей и невозможностей, такой умъ съ юношеской самонадѣянностью будетъ бросаться какъ-разъ на самые неразрѣшимые вопросы, во-первыхъ потому, что эти вопросы имѣютъ особенно величественную физіономію, а во-вторыхъ потому, что для ихъ постановки не требуется никакихъ предварительныхъ точныхъ знаній. — Соображая очень основательно, что свидетельства пяти чувствъ не могутъ дать на величественные вопросы никакихъ отвѣтовъ, начинающій умъ отнюдь не съ презрительнымъ равнодушіемъ къ опыту и наблюденію и для отысканія истины полагается исключительно на свою собственную логическую силу. Отважно пускаясь въ работу, умъ производитъ цѣлыя груды логическихъ вы-

кладокъ, недопускающихъ никакой повѣрки и неимѣющихъ никакого соотношенія съ явленіями и законами существующаго міра. Вся масса этихъ логическихъ построеній называется метафизикой. Но, чтобы вести какое-бы то ни было логическое разсужденіе, надо непременно имѣть исходную точку. Чтобы построить логическимъ путемъ систему мірозданія, метафизикъ непременно долженъ положить въ основаніе всего изслѣдованія какую-нибудь несомнѣнную непоколебимую аксіому, такъ точно, какъ Архимедъ, чтобы перевернуть землю, непременно долженъ былъ отыскать сначала твердую точку опоры. Эту необходимую аксіому, эту твердую точку опоры сама логика создать не можетъ, потому что логика вообще не создаетъ ничего, а только разрабатываетъ уже созданный и собранный матеріалъ. Откуда-же возьметъ метафизикъ ту аксіому, безъ которой не можетъ начаться его работа? Онъ долженъ брать ее непременно изъ области воображенія или изъ той области опыта и наблюденія, на которую онъ съ высоты своего призрачнаго величія бросаетъ убійственно-презрительные взгляды.

Если мы теперь припомнимъ, что метафизика составляетъ промежуточную инстанцію между увядающей теософіей и расцвѣтающей наукой, то намъ не трудно будетъ сообразить, что метафизику приходится брать матеріалы для логическихъ работъ съ одной стороны изъ теософій, съ другой стороны—изъ положительной науки. Самой метафизикѣ принадлежитъ только та діалектическая паутина, которую она прикрѣпляетъ къ различнымъ твердымъ тезисамъ, изготовленнымъ теософіей или наукой. Достоинство діалектического построенія можетъ быть очень различно, но во всякомъ случаѣ оно находится въ прямой зависимости отъ достоинства тѣхъ тезисовъ, которые были положены въ основаніе. Если основные тезисы вѣрны, вся система имѣетъ нѣкоторые шансы оказаться правдоподобной. Если основные тезисы фантастичны, общій результатъ будетъ навѣрное очень уродливъ. Находясь на рубежѣ двухъ областей, метафизика имѣетъ вообще двусмысленный, подвижной и измѣнчивый характеръ. Чѣмъ ближе стоятъ ея отдѣльные представители къ области традиціонныхъ доктринъ, тѣмъ сильнѣе оказывается въ нихъ произведеній элементъ фантазіи, потому что тѣмъ большее количество тезисовъ берется изъ теософій. По мѣрѣ того какъ мы приближаемся къ настоящему времени, по мѣрѣ того какъ усиливается преобладаніе положительной науки, метафизическія системы становятся трезвѣе, разумнѣе и скромнѣе, потому что всѣ или почти всѣ тезисы берутся изъ опыта и наблюденія. Тома Аквинскій и Альбертъ Великій съ одной стороны, Гельвецій и Фейербахъ съ другой стороны, оказываются всѣ четверо несомнѣнными метафизиками, несмотря

на то, что первые двое стоятъ твердо на почвѣ традиціи, а послѣдніе примыкаютъ самымъ тѣснымъ образомъ къ даннымъ положительнаго знанія. Между двумя обозначенными крайностями можно было-бы вставить всѣ промежуточные звенья, такъ что Гельвецій оказался-бы законнымъ потомкомъ Тома Аквинскаго, и такъ что мы увидѣли-бы ясно, какимъ образомъ потокъ метафизическаго мышленія постоянно очищался отъ остатковъ традиціи и постоянно обогащался тезисами положительной науки.

У читателя родился теперь быть можетъ вопросъ: да почему-же Тома Аквинскій—метафизикъ? И если онъ метафизикъ, то гдѣ-же ясная граница между метафизикомъ и чистымъ теологомъ?

На это я отвѣчу, что въ той фазѣ теологической философіи, къ которой относится дѣятельность Тома Аквинскаго, требуемую границу показать довольно трудно, потому что нѣкоторая доля метафизики примѣшивается неизбежно ко всякой теософіи, кромѣ чистаго первобытнаго фетишизма, о которомъ я говорилъ подробно въ началѣ этой статьи. Впрочемъ существенное различіе обоихъ элементовъ обнаружится тотчасъ, если мы попробуемъ сравнить Тома Аквинскаго съ какимъ-нибудь основателемъ религіи, напримѣръ съ Магомедомъ. Магометъ объявляетъ арабителямъ, что онъ—посланникъ Аллаха, и что Аллахъ даетъ людямъ такія-то и такія-то приказанія. При этомъ Магометъ нисколько не старается доказать своимъ слушателямъ посредствомъ логическихъ аргументовъ разумность или правдивость своихъ словъ. Онъ не разсуждаетъ, не диспутуетъ, а приказываетъ и требуетъ себѣ безусловнаго повиновенія во имя своего исключительнаго положенія, то есть во имя своего посланничества. Позднѣйшіе вѣрующіе комментаторы Корана, напротивъ того, нисколько не думаютъ присваивать себѣ тѣ исключительныя права, которыми пользовался самъ Магометъ. Слова учителя эти комментаторы принимаютъ на вѣру, какъ несомнѣнную истину, но они не могутъ и не хотятъ требовать, чтобы читатели принимали ихъ собственные комментаріи также на вѣру. Эти комментаторы не выдаютъ своихъ произведеній за внушенія Аллаха и поэтому хотятъ дѣйствовать на читателей одной внутренней силой логической убѣдительности. Въ сочиненіяхъ такихъ комментаторовъ оказываются обязательными для мусульманскихъ читателей только основные тезисы, взятые цѣликомъ изъ Магомета. Что-же касается до діалектическихъ узоровъ, которыми обставлены или опутаны эти тезисы, то они обязательны настолько, насколько въ нихъ соблюдены законы человѣческой логики. Этихъ діалектическихъ узоровъ можно противопоставлять другіе узоры, вовсе на нихъ не похожіе, оставаясь

при всемъ томъ безукоризненнымъ вѣрующимъ сектаторомъ Магомета. Если мы обратимся теперь къ Огюсту Аквинскому, то мы увидимъ, что онъ, какъ двѣ капли воды, похожъ на вышеуказанныхъ комментаторовъ и нисколько не похожъ на Магомета. Вслѣдствіе этого онъ вмѣстѣ съ комментаторами Корана попадаетъ въ разрядъ метафизиковъ, то есть такихъ людей, которые размышляютъ, диспутуютъ, аргументируютъ и умозаключаютъ, обращаясь постоянно не къ вѣрѣ, а къ разсудку слушателей и читателей, обязанныхъ вѣрить только основнымъ тезисамъ, а не прибавленіямъ и поясненіямъ толкователя.

До сихъ поръ я говорилъ о *чистой* метафизикѣ, которая, опираясь на нѣсколько тезисовъ, недостаточныхъ по количеству или никуда негодныхъ по качеству, старалась съ юношеской смѣлостью и съ безкорыстной любовью къ истинѣ постигнуть и уловить абсолютную сущность мірозданія и человѣческаго духа. Полновластно господствуя втеченіи нѣсколькихъ столѣтій надъ всѣми передовыми умами средневѣковой Европы, метафизическое мышленіе просочилось понемногу во всѣ отрасли общественной жизни, пробралось въ обиходъ всѣхъ междучеловѣческихъ отношеній и породило изъ себя многія видоизмѣненія *прикладной* метафизики, направленной къ различнымъ житейскимъ цѣлямъ, похвальнымъ и предосудительнымъ, высокимъ и низкимъ, крупнымъ и мелкимъ. Чтò въ высшихъ слояхъ умственного міра называлось схоластикой и считалось вѣнцомъ челоуѣческой жизни, то, спустившись внизъ и принявши грязновато-практическій колоритъ, превратилось въ юридическое клузничество, крѣпко-творство, пронырство и пролазничество. Когда нравы смягчились и частныя войны стали выходить изъ употребленія, тогда прикладной метафизикой стали рѣшаться всѣ спорные вопросы, и тогда для сутяжничества наступила такая лафа, какой невозможно отыскать во всѣхъ остальныхъ періодахъ всемірной исторіи. Такъ какъ логика, по самой сущности своей, прикладывается ко всякому дѣлу, то, разумѣется, по поводу барана, пойманнаго въ чужомъ огородѣ, можно было пускаться въ такое же безбрежное море діалектическихъ изворотовъ и хитрыхъ цитатъ, въ какомъ плавали отцы Констанскаго собора, стараясь засудить Гусса и опредѣлить точныя границы папской власти. Впрочемъ господство метафизики не могло сдѣлаться прочнымъ и постояннымъ ни въ высшей области умозрѣнія, ни въ болѣе скромной сферѣ практической жизни. Метафизика сама, своей собственной дѣятельностью, неизбежно должна была подрыть, опрокинуть и раскрошить основныя причины своего могущества. Понятно напримѣръ, что огромное

значеніе средневѣковыхъ юристовъ или легистовъ обуславливалось преимущественно непроходимой путаницей частныхъ законовъ, обычаевъ, правъ, привилегій и монополій, которые ежеминутно сталкивались, перекрещивались и переплетались между собою въ каждомъ городкѣ и въ каждой деревушкѣ. Легисты быть можетъ вовсе не имѣли опредѣленнаго мѣренія привести этотъ хаосъ къ простотѣ и единству. Легисты во всякомъ давномъ случаѣ старались только рѣшать спорный вопросъ въ пользу своихъ патроновъ. Но въ результатѣ этихъ частныхъ усилій получалось все-таки упрощеніе и объединеніе. Существуютъ, положимъ, два взаимно-противоположные обычая въ двухъ сосѣднихъ мѣстностяхъ. Легистъ, чтобы выиграть одинъ процессъ, опирается на обычай *A* и во имя его торжественно отрицаетъ обычай *B*, усиливая свое отрицаніе множествомъ почтенныхъ цитатъ, которыя у всякаго мало-мальски порядочнаго легиста всегда найдутся на-готовѣ. Затѣмъ тотъ-же легистъ или его товарищъ, чтобы выиграть другой процессъ, превозноситъ до небесъ обычай *B* и торжественно хоронитъ обычай *A* подъ цѣлой грудой самыхъ авторитетныхъ цитатъ. Потомъ представляется третій случай, въ которомъ оба обычая, и *A*, и *B*, безошадно отрицаются, какъ очевидныя злоупотребленія, осужденныя давнымъ-давно римскими законами, каноническими правомъ, папскими буллами, соборными уложеніями, историческими примѣрами и юридическими прецедентами. Каждое изъ трехъ рѣшеній заносится въ лѣтописи Фемиды и становится такимъ фактомъ, на который навѣрное будутъ опираться въ случаѣ надобности легисты слѣдующихъ поколѣній. Каждая изъ трехъ тропинокъ превратится понемногу въ торную дорогу. Такимъ образомъ получится наконецъ тотъ результатъ, что оба мѣстные обычая утратятъ свою обязательную силу и понемногу придутъ въ забвеніе. Жители обѣихъ мѣстностей увидятъ, что обычай составляетъ для нихъ самую ненадежную гарантію; вслѣдствіе этого въ нихъ зародится стремленіе къ болѣе опредѣленному и однородному законоположенію, которое установило-бы какую-нибудь границу произвольнымъ умствованіямъ прикладной метафизики. Когда это стремленіе сдѣлается достаточно общимъ и достаточно сознательнымъ, тогда оно воплотится въ дѣйствительной жизни и нанесетъ могуществу прикладной метафизики роковой ударъ, послѣ котораго юристы потеряютъ возможность стряпать новый законъ для каждаго новаго случая.

О *чистой* метафизикѣ можно сказать то-же самое. Она сама губитъ свое господство. Обиліе метафизическихъ системъ, взаимно истребляющихъ другъ друга, приноситъ мыслящимъ людямъ полное разочарованіе, подрываетъ въ ко-

нецъ авторитетъ основныхъ тезисовъ, недопускающихъ повѣрки опыта, и порождаетъ ту гибельную для метафизики мысль, что для нашего ограниченнаго ума многіе величественные вопросы останутся навсегда совершенно неразрѣшенными.

XIX.

Съ XIII вѣка въ европейской исторіи начинаютъ играть важную и почетную роль два разряда метафизическихъ корпорацій, во-первыхъ—университеты, и во-вторыхъ—парламенты *). Университеты отстаиваютъ противъ папъ самостоятельность національныхъ церквей. Парламенты, въ ущербъ могущественнымъ и непокорнымъ феодаламъ, стараются расширить права королевской власти. Парламенты и университеты вмѣстѣ аргументируютъ за короля противъ всепоглощающихъ притязаній папы. Обѣ метафизическія корпораціи на всѣхъ пунктахъ одерживаютъ рядъ громкихъ и блистательныхъ побѣдъ. Въ началѣ XIV вѣка французскій король Филиппъ Красивый, при содѣйствіи метафизиковъ, судитъ и захватываетъ въ плѣнъ ретиваго папу Бонифація VIII, послѣдняго представителя необузданныхъ клерикальныхъ стремленій. Бонифацій умираетъ. Его преемникъ, Климентъ V, поселяется въ южной Франціи, въ городѣ Авиньонѣ, и становится покорнѣйшимъ слугою французскаго короля и окружающихъ его метафизиковъ. Въ это время метафизики зауживаютъ до смерти орденъ тамплиеровъ, который считается опаснымъ для государства и кромѣ того обладаетъ огромными богатствами, весьма привлекательными для короля Филиппа. Папа безпрекословно ратификуетъ смертный приговоръ, произнесенный докторами и легистами. Преемники Климента продолжаютъ жить въ Авиньонѣ и повиноваться метафизикамъ, засѣдающимъ въ судахъ и университетахъ французскаго королевства и управляющимъ дѣйствіями французскаго правительства. Въ XV вѣкѣ начинается великій расколъ; въ католическомъ мірѣ появляются два папы, — одинъ римскій, другой авиньонскій. Кто разсудитъ между ними? Разсудятъ университетскіе метафизики. Они собираются въ Констанцѣ, судятъ

папъ, отрѣшаютъ ихъ отъ должности и даютъ католическому міру новаго папу, Мартина V.

Въ это время парламентскіе метафизики потихоньку расширяютъ королевскую прерогативу и длиннымъ рядомъ незамѣтныхъ, осторожныхъ и строго-последовательныхъ стѣсненій и захватовъ доводятъ владѣтельныхъ герцоговъ и графовъ французскаго королевства до горькой необходимости превратиться въ ревностныхъ искателей придворныхъ должностей и королевскихъ улыбокъ.

Два столѣтія кропотливой метафизической работы произвели въ положеніи европейскіхъ обществъ слѣдующія капитальныя перемѣны.

Къ концу XV вѣка папа превращенъ въ мелкаго итальянскаго владѣтеля, который ищетъ только о томъ, чтобы округлять свою область и набивать карманы своимъ племянникамъ и побочнымъ дѣтямъ.

Національныя церкви пріобрѣли себѣ почти полную независимость отъ папы и въ то-же время подчинились въ очень значительной степени господству свѣтской власти.

Аристократія на всемъ материкѣ Европы стѣснена, обуздана и унижена.

Королевская власть получила рѣшительное преобладаніе надъ всѣми остальными свѣтскими и духовными элементами, заявившими въ средневѣковыхъ обществахъ какія-бы то ни было притязанія на господство.

Англія въ своемъ развитіи отклонилась отъ этого пути. Въ Англіи официальная церковь также подчинилась государству, но окончательное преобладаніе досталось не королю, а земледѣльческой аристократіи.

Здѣсь не мѣшаетъ остановиться, чтобы рассмотреть и обсудить замѣчательное развогласіе, возникшее по поводу Англіи между двумя вѣнчайшими историко-философами текущаго столѣтія, Контомъ и Боклемъ.

Контъ видитъ въ развитіи Англіи замѣчательную политическую аномалію и отдаетъ рѣшительное предпочтеніе тому пути, по которому шло развитіе Франціи и вообще всей континентальной Европы. Онъ говоритъ, что королевская власть, спасая Европу отъ политической анархіи, содѣйствовала въ то-же время такому радикальному истребленію средневѣковыхъ формъ, какое не могло-бы совершиться подъ господствомъ аристократіи. Хотя каждый изъ двухъ элементовъ, — аристократія и корона, — одержавши побѣду, старался возстановить въ свою пользу старый порядокъ, однако же, по мнѣнію Конта, эти вредныя реставраціонныя попытки со стороны аристократіи гораздо болѣе опасны, чѣмъ со стороны королевской власти, потому что въ первомъ случаѣ онѣ оказываются несравненно болѣе успѣшными и прочными, чѣмъ во второмъ. Сравнивая совершенно новыя бюрократическія формы, господ-

*) Я употребляю здѣсь слово *парламентъ* не въ англійскомъ, а во французскомъ смыслѣ. Во Франціи парламентами назывались, какъ извѣстно, не собранія выборныхъ представителей націи, а просто высшія судебныя мѣста, имѣвшія впрочемъ нѣкоторыя политическія права. Англійскому парламенту соответствовали во Франціи *Etats Généraux*, которыя однако собирались рѣдко и никогда не имѣли постоянного вліянія на государственныя дѣла.

ствующія на всемъ монархическомъ материкѣ Европы, съ безчисленнымъ множествомъ старыхъ средневѣковыхъ обычаевъ и учреждений, сохранившихся въ аристократической Англіи, читатель долженъ согласиться, что въ замѣчаніи Конта есть значительная доля правды.

Бокль, напротивъ того, находитъ развитіе Англіи особенно естественнымъ, здоровымъ и правильнымъ. Объясняя причины, побудившія его приняться именно за исторію Англіи, онъ объявляетъ положительно, что руководствуется «вовсе не тѣми побужденіями, которыя удостоиваютъ названія патриотизма». Онъ изучаетъ исторію Англіи, чтобы добраться до общихъ законовъ человѣческаго развитія; а выбралъ онъ именно Англію потому, что «изъ всѣхъ странъ Европы только въ одной Англіи правительство было наиболѣе спокойно, а народъ наиболѣе дѣятеленъ; только здѣсь свобода народная покоилась на болѣе широкомъ основаніи; каждый могъ говорить, что думаетъ, и дѣлать, что угодно, — слѣдовать своимъ наклонностямъ и распространять свои мнѣнія; только здѣсь были менѣе сильны преслѣдованія за вѣру, и потому только въ Англіи легче наблюдать движеніе и развитіе человѣческаго духа, нестѣсненного тѣми ограниченіями, которыми онъ подвергнутъ во всѣхъ другихъ странахъ; здѣсь проповѣдываніе ересей менѣе опасно и исполненіе еретическихъ обрядовъ болѣе обыкновенно; здѣсь враждебныя вѣроисповѣданія процвѣтаютъ другъ подле друга, возвышаются и падаютъ безъ всякаго препятствія, по желанію народа, нестѣсняемаго ни требованіями церкви, ни надзоромъ правительства; здѣсь всѣ интересы, всѣ классы предоставлены самимъ себѣ; здѣсь впервые подверглось нападенію во все вмѣшивающееся ученіе такъ называемой покровительственной системы и въ первый разъ было отвергнуто, — словомъ, всѣ опасныя крайности, къ которымъ ведетъ вмѣшательство, были избѣгнуты: деспотизмъ и бунтъ равно рѣдки; такъ какъ уступка признана основнымъ началомъ политики, то развитіе народное наименѣе нарушается властью привилегированныхъ классовъ, влияніемъ отдѣльныхъ сектъ или насиліемъ деспотическихъ правителей.»

По своему тону эти слова Бокля напоминаютъ отчасти тѣ дифирамбы, которые поются во славу блаженной англійской конституціи Маколеемъ и всѣми подобными ему панегиристами буржуазіи. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается совсѣмъ не то. Бокль говоритъ не о благосостояніи англійскаго народа, — что было бы конечно безсовѣстно и нелѣпо, — а только о самостоятельности его и объ отсутствіи стѣсненій, — то есть о такихъ особенностяхъ англійской жизни, которыя врядъ-ли рѣшится отрицать самый горячій противникъ англомановъ и доктринеровъ. Англоманія, насажденная

во Франціи послѣдователями Монтескье и сподвижниками Гизо, а у насъ — катковской школой публицистовъ и профессоровъ, вызвала противъ себя очень сильную реакцію, которая зъ свою очередь зашла слишкомъ далеко или по крайней мѣрѣ приняла ложное направленіе. Выдавать англійскую конституцію за панацею всѣхъ общественныхъ золъ было конечно нелѣпо; пересаживать на европейскій материкъ такіа учреждения, подъ покровомъ которыхъ расплѣли всѣ прелести колоссальнаго пауперизма, было бы безразсудно. Указывать самымъ энергическимъ образомъ на общественныя болѣзни Англіи, въ которой доктринеры усматривали земной рай, было необходимо. Но при этомъ надо было останавливаться на чистомъ отрицаніи. Надо было говорить просто, что въ Англіи очень много дурного, не прибавляя и не подразумевая той мысли, что это дурное не существуетъ на континентѣ или существуетъ въ болѣе скромныхъ размѣрахъ. Ставить какую-нибудь континентальную страну выше Англіи или даже игнорировать тѣ огромныя преимущества, которыя отличаютъ Англію отъ всѣхъ остальныхъ европейскихъ земель, значило впадать въ очень вредный и опасный парадоксъ. Франція, подобно всѣмъ другимъ континентальнымъ странамъ, не имѣетъ никакой основательной причины чваниться своимъ историческимъ развитіемъ и предпочитать его развитію Англіи. Конечно старыхъ формъ въ Англіи больше, чѣмъ во Франціи; но при этомъ остается спросить, въ какомъ отношеніи новѣйшіе наполеоновскіе чиновники и жандармы полезнѣе или пріятнѣе для народа, чѣмъ старые англійскіе муниципалитеты, шерифы и констебли? Громадные бюджеты Фульда съ ординарными, экстраординарными, добавочными и дополнительными расходами составляютъ конечно самое новое изобрѣтеніе финансовой науки, но врядъ-ли найдется даже во Франціи, пристрастной ко всякимъ новостямъ, много людей, способныхъ признать эту крупную новость за великое благодѣяніе. Систематическое разращеніе литературы посредствомъ субсидій и интимидаций составляетъ также совершенно новое явленіе, въ которомъ нѣтъ ничего средневѣковаго и въ которомъ все-таки трудно найти что-нибудь хорошее.

Вопросъ о новыхъ и старыхъ формахъ надо оставить въ сторонѣ. Тотъ масштабъ, которымъ Контъ измѣряетъ сравнительное достоинство двухъ общественныхъ движеній, французскаго и англійскаго, неудобенъ потому, что у Конта есть при этомъ своя затаенная мысль, управляющая всѣмъ ходомъ его анализа. Контъ возлюбилъ Францію за то, что она, по его мнѣнію, ближе всѣхъ другихъ частей Европы подошла къ своему окончательному обновленію, то есть къ учрежденію положительнаго или

нецъ авторитетъ основныхъ тезисовъ, недопускающихъ повѣрки опыта, и порождаетъ ту гибельную для метафизики мысль, что для нашего ограниченного ума многіе величественные вопросы останутся навсегда совершенно неразрѣшенными.

XIX.

Съ XIII вѣка въ европейской исторіи начинаютъ играть важную и почетную роль два разряда метафизическихъ корпорацій, во-первыхъ — университеты, и во-вторыхъ — парламенты *). Университеты отстаиваютъ противъ папъ самостоятельность національныхъ церквей. Парламенты, въ ущербъ могущественнымъ и непокорнымъ феодаламъ, стараются расширить права королевской власти. Парламенты и университеты вмѣстѣ аргументируютъ за короля противъ всепоглощающихъ притязаній папы. Обѣ метафизическія корпораціи на всѣхъ пунктахъ одерживаютъ рядъ громкихъ и блистательныхъ побѣдъ. Въ началѣ XIV вѣка французскій король Филиппъ Красивый, при содѣйствіи метафизиковъ, судитъ и захватываетъ въ плѣнъ ретиваго папу Бонифація VIII, послѣдняго представителя необузданныхъ клерикальных стремленій. Бонифацій умираетъ. Его преемникъ, Климентъ V, поселяется въ южной Франціи, въ городѣ Авиньонѣ, и становится покорнѣйшимъ слугою французскаго короля и окружающихъ его метафизиковъ. Въ это время метафизики суживаютъ до смерти орденъ тамплиеровъ, который считается опаснымъ для государства и кромѣ того обладаетъ огромными богатствами, весьма привлекательными для короля Филиппа. Папа безпрекословно ратификуетъ смертный приговоръ, произнесенный докторами и легистами. Преемники Климента продолжаютъ жить въ Авиньонѣ и повиноваться метафизикамъ, заседающимъ въ судахъ и университетахъ французскаго королевства и управляющимъ дѣйствіями французскаго правительства. Въ XV вѣкѣ начинается великій расколъ: въ католическомъ мірѣ появляются два папы, — одинъ римскій, другой авиньонскій. Кто разсудитъ между ними? Разсудятъ университетскіе метафизики. Они собираются въ Констансъ, судятъ

папъ, отрѣшаютъ ихъ отъ должности и даютъ католическому міру новаго папу, Мартина V.

Въ это время парламентскіе метафизики тихоньку расширяютъ королевскую прерогативу и длиннымъ рядомъ незамѣтныхъ, осторожныхъ и строго-последовательныхъ стѣсненій и зачетовъ доводятъ владѣтельныхъ герцоговъ и графовъ французскаго королевства до горькой необходимости превратиться въ ревностныхъ исполнителей придворныхъ должностей и королевскихъ улыбокъ.

Два столѣтія кропотливой метафизической работы произвели въ положеніи европейскіхъ обществъ слѣдующія капитальныя перемены.

Къ концу XV вѣка папа превращается изъ мелкаго итальянскаго владѣтеля, который импечетъ только о томъ, чтобы округлять свою область и набивать карманы своимъ племянникамъ и побочнымъ дѣтямъ.

Национальныя церкви пріобрѣли себѣ почти полную независимость отъ папы и въ то-же время подчинились въ очень значительной степени господству свѣтской власти.

Аристократія на всемъ материкѣ Европы стѣснена, обуздана и унижена.

Королевская власть получила рѣшительное преобладаніе надъ всѣми остальными свѣтскими и духовными элементами, заявившими въ средневѣковыхъ обществахъ какія-бы то ни было притязанія на господство.

Англія въ своемъ развитіи отклонилась отъ этого пути. Въ Англіи официальная церковь также подчинилась государству, но окончательное преобладаніе досталось не королю, а земледѣльческой аристократіи.

Здѣсь не мѣшаетъ остановиться, чтобы рассмотреть и обсудить замѣчательное развоглаженіе, возникшее по поводу Англіи между двумя величайшими историко-философами текущаго столѣтія, Контомъ и Боклемъ.

Контъ видитъ въ развитіи Англіи замѣчательную политическую аномалію и отдаетъ рѣшительное предпочтеніе тому пути, по которому шло развитіе Франціи и вообще всей континентальной Европы. Онъ говоритъ, что королевская власть, спасая Европу отъ политической анархіи, содѣйствовала въ то-же время такому радикальному истребленію средневѣковыхъ формъ, какое не могло-бы совершиться подъ господствомъ аристократіи. Хотя каждый изъ двухъ элементовъ, — аристократія и корона, — одержавши побѣду, старался возстановить въ свою пользу старый порядокъ, однако же, по мнѣнію Конта, эти вредныя реставраціонныя попытки со стороны аристократіи гораздо болѣе опасны, чѣмъ со стороны королевской власти, потому что въ первомъ случаѣ онѣ оказываются несравненно болѣе успѣшными и прочными, чѣмъ во второмъ. Сравнивая совершенно новыя бюрократическія формы, господ-

*) Я употребляю здѣсь слово *парламентъ* не въ англійскомъ, а во французскомъ смыслѣ. Во Франціи парламентами назывались, какъ извѣстно, не собранія выборныхъ представителей націй, а просто высшія судебныя мѣста, имѣвшія впрочемъ нѣкоторые политическія права. Англійскому парламенту соответствовали во Франціи *Etats Généraux*, которые однако собирались рѣдко и никогда не имѣли постоянного вліянія на государственныя дѣла.

ствующія на всемъ монархическомъ материкѣ Европы, съ безчисленнымъ множествомъ старыхъ средневѣковыхъ обычаевъ и учреждений, сохранившихся въ аристократической Англіи, читатель долженъ согласиться, что въ замѣчаніи Конта есть значительная доля правды.

Бокль, напротивъ того, находитъ развитіе Англіи особенно естественнымъ, здоровымъ и правильнымъ. Объясняя причины, побудившія его приняться именно за исторію Англіи, онъ объявляетъ положительно, что руководствуется «вовсе не тѣми побужденіями, которыя удостоиваютъ названія патріотизма». Онъ изучаетъ исторію Англіи, чтобы добраться до общихъ законовъ человѣческаго развитія; а выбралъ онъ именно Англію потому, что «изъ всѣхъ странъ Европы только въ одной Англіи правительство было наиболѣе спокойно, а народъ наиболѣе дѣятеленъ; только здѣсь свобода народная покоилась на болѣе широкомъ основаніи; каждый могъ говорить, что думаетъ, и дѣлать, что угодно, — слѣдовать своимъ наклонностямъ и распространять свои мнѣнія; только здѣсь были менѣе сильны преслѣдованія за вѣру, и потому только въ Англіи легче наблюдать движеніе и развитіе человѣческаго духа, нестѣсненного тѣми ограниченіями, которыми онъ подвергнутъ во всѣхъ другихъ странахъ; здѣсь проповѣдываніе ересей менѣе опасно и исполненіе еретическихъ обрядовъ болѣе обыкновенно; здѣсь враждебныя вѣроисповѣданія процвѣтаютъ другъ подле друга, возвышаются и падаютъ безъ всякаго препятствія, по желанію народа, нестѣсняемаго ни требованіями церкви, ни надзоромъ правительства; здѣсь всѣ интересы, всѣ классы предоставлены самимъ себѣ; здѣсь впервые подверглось нападенію во все вмѣшивающееся ученіе такъ называемой покровительственной системы и въ первый разъ было отвергнуто, — словомъ, всѣ опасныя крайности, къ которымъ ведетъ вмѣшательство, были избѣгнуты: деспотизмъ и бунтъ равно рѣдки; такъ какъ уступка признана основнымъ началомъ политики, то развитіе народное наименѣе нарушается властью привилегированныхъ классовъ, вліяніемъ отдѣльныхъ сектъ или насиліемъ деспотическихъ правителей.»

По своему тону эти слова Бокля напоминаютъ отчасти тѣ дифирамбы, которые поются во славу блаженной англійской конституціи Маколеемъ и всѣми подобными ему панегиристами буржуазіи. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается совсѣмъ не то. Бокль говоритъ не о благосостояніи англійскаго народа, — что было бы конечно безсовѣстно и нелѣпо, — а только о самостоятельности его и объ отсутствіи стѣсненій, — то есть о такихъ особенностяхъ англійской жизни, которыя врядъ-ли рѣшится отрицать самый горячій противникъ англomanовъ и доктринеровъ. Англomanія, насажденная

во Франціи послѣдователями Монтескьё и сподвижниками Гизо, а у насъ — катковской школой публицистовъ и профессоровъ, вызвала противъ себя очень сильную реакцію, которая зъ свою очередь зашла слишкомъ далеко или по крайней мѣрѣ приняла ложное направленіе. Выдавать англійскую конституцію за панацею всѣхъ общественныхъ золъ было конечно нелѣпо; пересаживать на европейскій материкъ такіа учреждения, подъ покровомъ которыхъ расцвѣли всѣ прелести колоссальнаго пауперизма, было бы безразсудно. Указывать самымъ энергическимъ образомъ на общественныя болѣзни Англіи, въ которой доктринеры усматривали земной рай, было необходимо. Но при этомъ надо было останавливаться на чистомъ отрицаніи. Надо было говорить просто, что въ Англіи очень много дурного, не прибавляя и не подразумевая той мысли, что это дурное не существуетъ на континентѣ или существуетъ въ болѣе скромныхъ размѣрахъ. Ставить какую-нибудь континентальную страну выше Англіи или даже игнорировать тѣ огромныя преимущества, которыя отличаютъ Англію отъ всѣхъ остальныхъ европейскихъ земель, значило впадать въ очень вредный и опасный парадоксъ. Франція, подобно всѣмъ другимъ континентальнымъ странамъ, не имѣетъ никакой основательной причины чваниться своимъ историческимъ развитіемъ и предпочитать его развитію Англіи. Конечно старыхъ формъ въ Англіи больше, чѣмъ во Франціи; но при этомъ остается спросить, въ какомъ отношеніи новѣйшіе наполеоновскіе чиновники и жандармы полезнѣе или пріятнѣе для народа, чѣмъ старые англійскіе муниципалитеты, шерифы и констебли? Громадные бюджеты Фульда съ ординарными, экстраординарными, добавочными и дополнительными расходами составляютъ конечно самое новое изобрѣтеніе финансовой науки, но врядъ-ли найдется даже во Франціи, пристрастной ко всякимъ новостямъ, много людей, способныхъ признать эту крупную новость за великое благодѣяніе. Систематическое разращеніе литературы посредствомъ субсидій и интимидаций составляетъ также совершенно новое явленіе, въ которомъ нѣтъ ничего средневѣковаго и въ которомъ все-таки трудно найти что-нибудь хорошее.

Вопросъ о новыхъ и старыхъ формахъ надо оставить въ сторонѣ. Тотъ масштабъ, которымъ Контъ измѣряетъ сравнительное достоинство двухъ общественныхъ движеній, французскаго и англійскаго, неудобенъ потому, что у Конта есть при этомъ своя затаенная мысль, управляющая всѣмъ ходомъ его анализа. Контъ возлюбилъ Францію за то, что она, по его мнѣнію, ближе всѣхъ другихъ частей Европы подошла къ своему окончательному обновленію, то есть къ учрежденію положительнаго или

позитивного порядка вещей. Но такъ какъ контовскій régime positif составляетъ самую неосуществимую и самую непривлекательную изъ всѣхъ утопій, то пристрастіе Конта къ Франціи оказывается лишеннымъ достаточнаго основанія, потому что французскій народъ такъ-же безконечно далекъ отъ окончательнаго обновленія, какъ и всѣ остальные народы земного шара.

Оставляя въ сторонѣ затаенную мысль и неудобный масштабъ Огюста Конта, мы должны будемъ признаться, что Англія во всѣхъ отношеніяхъ опередила Францію, несмотря на тѣ громадныя усилія и пожертвованія, которыми Франція оплачивала свое прогрессивное движеніе. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно будетъ взглянуть именно на самое больное мѣсто Англіи—на ея пауперизмъ. Положеніе англійскаго работника очень тяжело—это правда. Но, во-первыхъ, положеніе французскаго работника, напримѣръ ліонскаго ткача, нисколько не легче; а во-вторыхъ, въ Англіи для удовлетворительнаго рѣшенія рабочаго вопроса имѣется въ наличности несравненно болѣе матеріаловъ, чѣмъ во Франціи или въ какой-бы то ни было другой странѣ европейскаго материка. Эти матеріалы заключаются именно въ привычкѣ англійскаго народа къ самодѣятельности и къ самой широкой политической и гражданской свободѣ.

Мнѣ случалось иногда слышать и читать разсужденія о томъ, что когда человѣкъ умираетъ съ голода, тогда ему нѣтъ никакого дѣла до политическихъ правъ и гарантій. Разсужденія эти основательны. Когда человѣкъ *буквально* умираетъ отъ голода или отъ чего нибудь другого, напримѣръ отъ водяной или чахотки,—тогда ему дѣйствительно нѣтъ никакого дѣла ни до конституціи, ни до митинговъ, ни до habeas corpus, ни до свободы печати. Но когда человѣкъ живъ и до нѣкоторой степени здоровъ, когда онъ бьется, какъ рыба объ ледъ, когда онъ старается всѣми силами улучшить свое положеніе и отбиться отъ гнетущей бѣдности, тогда для него имѣютъ огромное значеніе законы и обычаи той земли, въ которой ему приходится жить и дѣйствовать. Въ настоящее время уже известно, что ассоціація, въ той или въ другой формѣ, составляетъ самое надежное наступательное и оборонительное оружіе противъ бѣдности. Но гдѣ-же ассоціацію легче составить, гдѣ легче найти для нея способныхъ членовъ, гдѣ она будетъ дѣйствовать съ большимъ успѣхомъ—въ такой-ли странѣ, гдѣ предприимчивость и сметливость народа воспитана и укрѣплена всѣмъ ходомъ его исторіи, и гдѣ всѣ жители могутъ свободно собираться и разсуждать о частныхъ и общественныхъ дѣлахъ,—или-же въ такой странѣ, гдѣ народъ впродолженіи

многихъ столѣтій былъ систематически учаемъ отъ всякой инициативы, и гдѣ за вѣдомъ, какъ за шаловливымъ ребенкомъ, сдирать ежеминутно сотни заботливыхъ благодѣтелей, наставниковъ и гувернеровъ? Ошибается, ясенъ. Существующіе факты подтверждаютъ мысли, которыя могутъ быть выведены путемъ апіорического разсужденія. Кто умѣетъ брать уроки по рабочему вопросу—Англія или Франція, или наоборотъ? Наоборотъ, какъ разъ наоборотъ!—Общества взаимнаго страхованія, общества взаимнаго вспоможенія, общества оптовыхъ закупокъ пищи и сырья, кредитныя учрежденія для рабочихъ классовъ, грандіозныя стачки, кооперативныя общества,—все это впервые приняло серьезныя размѣры въ Англіи, несмотря на то, что первая мысль о многихъ изъ этихъ комбинацій родилась у мыслителей европейскаго материка. Дѣло въ томъ, что въ Франціи, и на материкѣ вообще, мысль и жизнь, теорія и практика отдѣлены другъ отъ друга такой пустыней, чрезъ которую не хватаетъ самый сильный человѣческій голосъ, и въ которой изъ году въ годъ погибаютъ отъ различныхъ притѣсненій отважные чудаки, дерзавшіе черезъ нее перебраться.

До какой степени Франція отстала отъ Англіи даже по рабочему вопросу, которымъ обыкновенно попрекаютъ коварный Альбіонъ, видно уже изъ того факта, что во Франціи очень недавно (именно въ 1864 году) отмененъ уголовный законъ, положительно запрещающій всякія стачки между работниками. Поучительно будетъ также припомнить, съ одной стороны, громадныя англійскіе митинги, которые собираются и расходятся совершенно безпрепятственно,—а съ другой стороны—тѣ тонкости и хитрости, которыя въ прошломъ году (1865) были нужны въ ходъ парижскими извозчиками для того, чтобы устроить стачку, не нарушая закона противъ собраній, заключающихъ въ себѣ болѣе двадцати человѣкъ. При этомъ надо взять въ разсчетъ, что громадныя митинги собираются и расходятся безпрепятственно въ такой странѣ, въ которой большинство жителей не имѣетъ избирательныхъ правъ, между тѣмъ какъ хитрости извозчиковъ устраиваются тамъ, гдѣ существуетъ и процвѣтаетъ поголовная подача голосовъ. Въ первой странѣ народъ безправенъ, во второй—онъ полновластенъ; повидимому въ первой должно существовать гораздо больше стѣсненій, чѣмъ во второй; а между тѣмъ выходитъ совсѣмъ наоборотъ. Безправный народъ дѣлаетъ, что ему угодно; а полновластный народъ безъ разрѣшенія полиціи не смѣетъ толковать о своихъ собственныхъ дѣлахъ. Чѣмъ объяснить себѣ такое удивительное противорѣчіе?

Мнѣ кажется, что оно объясняется именно только крайней бѣдностью того самаго

развитія, которое Контъ считаетъ нормальнымъ. На современной Франціи лежитъ гнетъ ея ужаснаго тысячелѣтнаго прошедшаго, и этого гнета она до сихъ поръ не могла сбросить съ себя никакими конвульсивными потрясеніями. Французы умѣютъ побѣждать, но послѣ побѣды, когда разобрана послѣдняя баррикада, они тотчасъ торопятся возложить все свое упованіе на какого нибудь отца и благодѣтеля, который въ награду за ихъ добродушіе черезъ нѣсколько лѣтъ непременно заставитъ ихъ соорудить новыя баррикады, имѣющія повести за собою новое упованіе и новое добродушіе. Французы много разъ мѣняли своихъ правителей, но имъ никогда не приходило въ голову, что въ пользу этихъ правителей они, французы, постоянно отказываются отъ такихъ правъ, которыя каждый человѣкъ непременно долженъ удерживать при самомъ себѣ, если онъ не желаетъ превратиться въ самое жалкое, ничтожное и зависимое существо. Англичанинъ, напротивъ того, сросся съ этими необходимыми правами до такой степени, что для него безъ нихъ немислимо существованіе, и что его правительство, выбранное меньшинствомъ націи, все-таки считаетъ всякое посягательство на эти общія права дѣломъ въ высшей степени рискованнымъ.

Это основное различіе двухъ характеровъ выработалось на глазахъ исторіи.

Въ Англіи со временъ Вильгельма Завоевателя королевская власть была очень сильна. Въ это самое время французскіе короли были очень слабы. Въ Англіи аристократія должна была заключить съ народомъ наступательный и оборонительный союзъ противъ короля. Во Франціи, напротивъ того, король принужденъ былъ опираться на народъ, чтобы сдерживать и подавлять аристократовъ. Борьба англійскихъ аристократовъ съ королемъ, не только наступательная, но и оборонительная, во всякомъ случаѣ должна была принимать внѣшній видъ и дѣйствительный характеръ хроническаго возмущенія. Вслѣдствіе этого англійскіе аристократы неизбѣжно должны были, такъ или иначе, охотно или неохотно, играть роль агитаторовъ и демагоговъ. Иначе имъ нечего было и дѣлать; иначе имъ не зачѣмъ было и соединяться съ народомъ. Напротивъ того, дѣйствія французскихъ королей противъ аристократіи, даже самыя произвольныя и наступательныя, всегда могли облечься въ приличную форму и прослыть за необходимое подавленіе аристократическихъ мятежей. Вслѣдствіе этого французскимъ королямъ не было ни малѣйшей надобности обращаться въ этой борьбѣ къ какимъ-бы то ни было революціоннымъ средствамъ, способнымъ заровнять въ народные умы опасныя сѣмена кичливаго самосознанія. Во Франціи угнетенный народъ апеллировалъ на графа или барона къ королю; каждое обле-

ченіе народныхъ страданій принимало форму милости, пожалованной сверху за благоправіе и смиреніе. Въ Англіи главнымъ источникомъ всякаго угнетенія былъ самъ король, на котораго можно было апеллировать только къ собственному вооруженному кулаку; каждая льгота имѣла характеръ уступки, вырванной народомъ и его вождями сознательно и насильно, съ открытымъ нарушеніемъ всѣхъ законовъ благоправія и смиренія. Такимъ образомъ своенравный англичанинъ изворачивался постоянно собственными средствами, а кроткій французъ уповалъ преимущественно на силу, сообразительность и великодушіе начальства. Спустя нѣсколько столѣтій оригинальная метода англійской апелляціи была перенесена и во Францію; но это случилось очень недавно, всего лѣтъ восемьдесятъ тому назадъ, и случилось тогда, когда привычки упованія пустили уже въ характеръ французовъ очень глубокіе, быть можетъ даже неистребимые, корни. Випроложеніи дѣлаго столѣтія французъ въ тяжелыя минуты своей жизни твердилъ добродушную поговорку: «*Si le roi savait!*» Съ этой поговоркой онъ не желаетъ разставаться и вслѣдствіе этого усердно стремится создать себѣ такое правительство, которое будетъ все знать, во все вмѣшиваться и съ утра до вечера учить всѣхъ кротости и хорошимъ манерамъ. А до сихъ поръ французъ приходится только повторять: «*Si le comité savait!*» «*Si le consul savait!*» «*Si l'empereur savait!*» «*Si le roi savait!*» «*Si le président savait!*» «*Si l'empereur savait!*» И потомъ опять ту же канитель съ начала. Есть у французовъ великіе смѣлые мыслители, которымъ эта канитель давно надоѣла, но французы обращаютъ на нихъ мало вниманія и утверждаютъ торжественно, что Бастиа и Викторъ Кузенъ не въ примѣръ глубокомысленнѣе Фурье и Прудона. Рождаясь въ нѣдрахъ буржуазіи, эти сужденія спускаются внизъ къ народу и приносятъ свои сочные и сладкіе плоды. Народъ тупѣетъ и восхищается славой второй имперіи, и будетъ восхищаться до тѣхъ поръ, пока бюджеты Фульда не переполняютъ мѣру буржуазнаго терпѣнія. Тогда начнутся опять поиски такого правительства, которое обладало-бы всевѣдѣніемъ и вседѣйствіемъ. Потративъ на эти поиски нѣсколько столѣтій, народъ конечно перевоспитается и приобрететъ себѣ тотъ складъ ума и характера, которымъ англичане обладаютъ въ настоящую минуту. Изъ чего слѣдуетъ то неотразимое заключеніе... что благосклонный читатель самъ подберетъ итоги всѣхъ предшествующихъ разсужденій.

XX.

Випроложеніи нѣсколькихъ столѣтій различные элементы средневѣковаго общества спо-

рили между собою и обижали друг друга такъ, какъ это дѣлается въ кругу добрыхъ знакомыхъ и родственниковъ, которымъ вѣсть тошно, а порознь скучно. Наноса другъ другу очень чувствительные удары, враждующіе элементы вовсе не думали и не желали истреблять друг друга и перестраивать заново всю систему. Старая машина скрипѣла и расклеивалась; несообразности ея мозолили каждому глаза, но никому еще не приходило въ голову, что приближается начало такого генеральнаго разрушенія, которое заполнить собою всю жизнь многихъ поколѣній. Первымъ систематическимъ отрицателемъ старой машины, увлекшимъ за собою значительное число послѣдователей и оставившимъ послѣ себя прочное дѣло, былъ Лютеръ. У него было, правда, много предшественниковъ, не уступавшихъ ему ни въ умѣ, ни въ смѣлости; но эти предшественники своей дѣятельностью успѣли только высушить тѣ сырыя дрова, которыя Лютеру удалось наконецъ зажечь.

Систематическое отрицаніе Лютера хватало очень далеко. Въ области мысли онъ былъ очень робокъ. Онъ вѣрилъ въ колдовство. Онъ имѣлъ личныя непріятности съ чортомъ. Онъ проповѣдывалъ преслѣдованіе еретиковъ. Онъ всѣми силами старался унижить человѣчскій умъ и подавить его пылкость. Въ политической жизни онъ дѣйствовалъ смѣлѣе, но смѣлость эта была чисто вынужденная. Отложиться отъ Рима значило конечно рѣшиться на радикальную мѣру. Но Лютеръ шагнулъ такъ широко только потому, что тутъ не было никакой возможности сдѣлать полшага или четверть шага. Римъ по своему обыкновенію не поддавался ни на какіе компромиссы и требовалъ себѣ полной покорности, въ которой слышался для Лютера непріятный запахъ тюрьмы и костра. Отступать назадъ было поздно; на поддержку сильныхъ людей можно было рассчитывать: значить, надо было шагнуть. И Лютеръ дѣйствительно сдѣлалъ тотъ огромный шагъ, которымъ онъ, поворачивая къ первымъ вѣкамъ христіанства, отрицалъ, во имя основной доктрины, всѣ историческія учрежденія западной церкви. Нравственные послѣдствія этого шага были громадны. Но непосредственная перемѣна, произведенная Лютеромъ, была ничтожна. Онъ только сформулировалъ громко и откровенно то отношеніе національныхъ церквей къ Риму, которое *de facto* начинало уже устанавливаться во всемъ католическомъ мірѣ. Вездѣ церковь была уже болѣе или менѣе подчинена государству. Лютеръ возвелъ это подчиненіе въ догматъ, что конечно доставило немалое удовольствіе его покровителю, Фридриху Мудрому, и разнымъ другимъ, мудрымъ и немудрымъ герцогами и курфюрстами. Умственная робость Лютера составляетъ главную причину его прак-

тическихъ успѣховъ. За нимъ пошли очень многіе, потому что его отрицаніе очень многимъ было по плечу и очень немногимъ могла смѣлѣе и отпугнуть. Но понятно всякому, что въ дѣлѣ систематическаго отрицанія—дѣла бѣднѣе. Всякій отрицатель говоритъ обыкновенно: я пойду до сихъ поръ и здѣсь останавлиюсь. И всякій отрицатель находитъ себѣ послѣдователей и преемниковъ, которые идутъ его дѣло дальше, повторяя тѣ же самыя шаги передъ новой границей, чрезъ которую въ свою очередь перешагнуть ихъ предпріимчивые ученики.

Хотя Лютеръ былъ очень яростнымъ врагомъ свободной мысли, однако-же его собственныя протесты противъ всей тысячекратной исторіи клерикальной корпораціи основываются исключительно на правѣ свободнаго личнаго изслѣдованія. Еслибы у Лютера спросили, почему онъ осмѣливается осуждать дѣло великихъ умовъ и мудрыхъ учителей, то Лютеръ отвѣчалъ-бы конечно: потому что это дѣло противорѣчитъ духу основной доктрины. И затѣмъ начинали-бы цитаты. Но тутъ можно было-бы остановиться и возразить ему, что всѣ тексты, въ которые онъ ссылается, существовали за много вѣковъ до его рожденія, что всѣ они прилежно читались и заучивались наизусть многими тысячами умныхъ, ученыхъ и благочестивыхъ людей, и что, несмотря на все это, эти умные, ученые и благочестивые люди соорудили то клерикальное зданіе, которое онъ, Лютеръ, желаетъ опрокинуть. Затѣмъ можно было-бы спросить у Лютера, неужели онъ, простой и ничтожный августинскій монахъ, считаетъ себя умнѣе тѣхъ великихъ комментаторовъ, которые назывались: *Doctor admirabilis, Magister Sententiarum, Doctor Angelicus, Doctor subtilis* и т. д.? На это Лютеръ былъ-бы принужденъ отвѣчать такъ: очень можетъ быть, что каждый изъ этихъ людей во сто разъ умнѣе меня, но къ сожалѣнію я никакъ не могу взять на прокатъ ихъ великіе умы и замѣнить ими мой собственный ничтожный умишко. Какъ-бы ни были велики или малы мои способности, во всякомъ случаѣ я могу размышлять только моимъ собственнымъ умомъ, и мои размышленія привели меня именно къ этимъ результатамъ. Лютеру конечно было очень желательно кофисковать въ свою пользу право свободнаго изслѣдованія и уложить навсегда человѣческую мысль въ ту новенькую коробочку, которую онъ для нея приготовилъ собственнымъ умомъ. Но такое желаніе было-бы въ высшей степени наивно, потому что, разумеется, было неизвѣстно легче перешагнуть черезъ самого Лютера, чѣмъ черезъ ту гору великихъ авторитетовъ, черезъ которую Лютеръ перебросилъ своихъ послѣдователей. Старый тормазъ, сдерживавшій личную критику, былъ оборванъ самимъ Люте-

ромъ, и поправить это дѣло было уже невозможно, потому что подобные тормазы изготавляются тысячетѣтіями и еще потому, что умственное движеніе, создавшее Лютера, клонилось совсѣмъ не къ тому, чтобы превратить этого Лютера въ папу протестантизма. Протестантскія секты стали плодиться съ замѣчательной быстротой, и каждая послѣдующая секта оказывалась обыкновенно смѣлѣе и радикальнѣе предыдущей. Каждая была въполнѣ убѣждена въ томъ, что она произнесла послѣднее слово; держась такого взгляда на собственную дѣятельность, каждая секта чувствовала приливы ужаса и добродѣтельной ярости, когда вдругъ оказывалось, что можно произнести новое слово, еще болѣе послѣднее. Входить въ догматическія подробности я не считаю нужнымъ, но замѣчу мимоходомъ, что самыя крайнія протестантскія секты, послѣдователи Социна и Чаннинга, антитринитаріи или унитаріане, сами того не замѣчая, совершенно вышли за предѣлы основной доктрины и составляютъ переходъ отъ протестантизма къ философскому деизму. Словомъ, принципъ свободнаго изслѣдованія развернулся и, помимо воли отдѣльных личностей, породилъ изъ себя всѣ свои логическія послѣдствія, не стѣсняясь даже тѣмъ медленнымъ огнемъ, на которомъ свободный изслѣдователь Жанъ Кальвинъ три часа жарилъ, въ свободномъ городѣ Женевѣ, свободнаго изслѣдователя Михаила Сервета.

Не трудно себѣ представить, какой ужасъ и какаа ярость обуревали католиковъ въ то время, когда съ неудержимой силой развертывался принципъ свободнаго изслѣдованія. Католики думали положительно, что въ европейскія націи вселились легіоны бѣсовъ. Событія трехъ послѣднихъ столѣтій до сихъ поръ составляютъ для католическихъ мыслителей камень преткновенія и неразрѣшимую загадку. Что Европой овладѣло безуміе — это для нихъ очевидно, но съ какой стати нашло на нее это безуміе, и отчего оно до сихъ поръ не проходитъ, и какъ объяснить себѣ хроническое помѣшательство десяти поколѣній — это все такіе вопросы, передъ которыми становится въ тупикъ вся мудрость Бональдовъ, Шатобриновъ и де-Местровъ. Успѣхи протестантовъ пробудили въ католикахъ XVI вѣка чувство самохраненія. Надо было, во что бы то ни стало, спастись отъ наплыва еретическихъ сомнѣній, которыя могли, чего добраго, смыть съ лица земли всѣ сооруженія Григорія VII и Иннокентія III. Спастись можно было только подъ покровительство королевской власти, укрѣпившейся на развалинахъ средневѣковаго общества. Католицизмъ дѣйствительно смиренно отдался подъ защиту свѣтской власти и вслѣдствіе этого окончательно и безпрекословно подчинился ея господству, возмущаясь противъ

него только въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда это господство становилось опаснымъ для его существованія. Тѣ времена, когда представители клерикальной власти распекали королей за безнравственное поведеніе, прошли безвозвратно. Францискъ I, сгнѣвившій за-живо отъ избытка своего цѣломудрія, считался постоянно образцомъ добродѣтели и нравственности и жилъ со своими клерикалами въ неразрывной дружбѣ, несмотря даже на то, что онъ заключилъ союзъ съ турецкимъ султаномъ и помогалъ деньгами нѣмецкимъ протестантамъ, воевавшимъ съ Карломъ V. Клерикаламъ мудрено было придираться къ такимъ мелочамъ въ то время, когда во Францію уже врывался кальвинизмъ и когда по ту сторону Ла-Манша Генрихъ VIII съ полнымъ успѣхомъ провозглашалъ себя папою Англіи собственно для того, чтобы обвѣнчаться съ хорошенькой англичанкой.

Читателю можетъ быть покажется страннымъ, что клерикальная власть, до крайности любезная къ Франциску, вздумала контролировать поступки Генриха. Я напому читателю, что здѣсь клерикальная власть попалась между двухъ огней. Генрихъ VIII былъ женатъ на Катеринѣ Аррагонской и требовалъ себѣ у папы развода, а Катерина была родная тетка Карла V, такъ что согласиться на разводъ значило-бы нанести оскорбленіе самому сильному государю тогдашней Европы. Папа не согласился, и равнодушіе англичанъ къ римскому престолу оказалось до такой степени значительнымъ, что Генрихъ, не имѣя вокругъ себя ни одного полка постоянной арміи, рѣшился изъ-за любовной фантазіи произвести религиозный переворотъ. — И переворотъ совершился безпрепятственно. Тѣсный союзъ католицизма съ королевской властью казался великимъ благополучіемъ для обѣихъ сторонъ. Въ самомъ дѣлѣ, чего-же лучше: короли будутъ защищать доктрину матеріальной силой, а доктрина, въ свою очередь, будетъ оправдывать и освящать въ глазахъ народа всѣ распоряженія королевской власти. При этихъ глубокихъ политическихъ соображеніяхъ было упущено изъ виду только то ничтожное обстоятельство, что такая доктрина, которая сама нуждается въ защитѣ со стороны матеріальной силы, — ровно ничего не можетъ оправдывать и освящать своимъ авторитетомъ. Вслѣдствіе этого ничтожнаго обстоятельства знаменитый союзъ сдѣлался гибельнымъ для обѣихъ заинтересованныхъ сторонъ. Съ одной стороны, клерикалы, ублажая своихъ покровителей, превращая всѣ ихъ страсти и капризы въ высокія добродѣтели, постоянно превозносили то, что и безъ того стояло высоко, и постоянно принижая то, что и безъ того было принижено и задавлено, — словомъ, дѣлаясь самыми гибкими и

послушными орудіями возрастающаго деспотизма, — клерикалы окончательно уронили и обезчестили себя въ глазахъ всѣхъ людей, имѣвшихъ даже инстинктивныя и смутныя понятія о чести и объ общественной пользѣ. Съ другой стороны, короли, рѣшившись защищать идеи, осужденныя умственнымъ движеніемъ времени, взяли на себя тяжелую обузу, которой бремя не уравнивалось никакими выгодами. Королямъ, какъ покровителямъ клерикальной корпорации, приходилось преслѣдовать и истреблять тысячи такихъ людей, которые, увеличивая своимъ трудолюбіемъ массу народнаго богатства, ничѣмъ не нарушали общественного спокойствія. Казни еретиковъ производились въ грандіозныхъ размѣрахъ, разоряли промышленную жизнь богатыхъ и цѣлующихъ областей, сокращали доходы королевской казны и наконецъ, переполняя мѣру народнаго терпѣнія, вели за собою самыя серьезныя политическія потрясенія, въ которыхъ королевская власть ровно ничего не могла выиграть и въ которыхъ она обыкновенно очень много проигрывала. Междоусобныя войны, опустошавшія Францію въ XVI столѣтіи, обязаны своимъ происхожденіемъ клерикальной политикѣ Генриха II и его преемниковъ. Возстаніе Нидерландовъ, нанесшее первый ударъ колоссальному могуществу испанской монархіи, было возбуждено тѣснымъ союзомъ Карла V и Филиппа II съ увядающими идеями католицизма. Такъ какъ протестантизмъ, превращаясь въ господствующую доктрину, принималъ немедленно всѣ замашки католицизма, то здѣсь умѣстно будетъ замѣтить, что союзъ англійскихъ королей съ епископальной церковью противъ всевозможныхъ диссидентовъ содѣйствовалъ въ очень значительной степени той катастрофѣ, которая погубила Карла I. Союзъ королей съ клерикалами естественнымъ образомъ велъ за собою противоположный союзъ между агитаторами и диссидентами. Борьба значительно упростилась: всѣ средневѣковые элементы сгруппировались вокругъ свѣтской власти и увидѣли себя лицомъ къ лицу съ тѣми новыми силами, которыя въ то время начинали сознать и заявлять свое существованіе.

XXI.

Съ XIV столѣтія общій ходъ событій направляется во всей западной Европѣ къ свѣтской диктатурѣ, которая на материкѣ должна была принять автократическую, а въ Англіи — олигархическую форму. Протестантское движеніе помѣшало этой неизбежной диктатурѣ утвердиться въ началѣ XVI столѣтія. Слабѣйшій изъ двухъ свѣтскихъ элементовъ, боровшихся между собою за верховное господство, нашелъ себя въ протестантизмѣ неожиданную точку

опоры и вслѣдствіе этого протянулъ борю еще на цѣлое столѣтіе. Въ Англіи Генрихъ VIII, какъ представитель слабѣйшаго элемента, обратился къ протестантизму, провозгласилъ себя главою церкви, и этимъ смѣлымъ поступкомъ, вытекавшимъ изъ любовнаго каприза, значительно усилилъ королевскую власть, которая развернула все свое могущество во время блестящаго царствованія Елизаветы. Въ это же самое время во Франціи аристократія, какъ слабѣйшій элементъ, бросилась въ гугенотское движеніе и надѣлала своимъ королямъ очень много хлопотъ. Какъ въ Англіи, такъ и во Франціи борьба все-таки кончилась пораженіемъ слабѣйшаго элемента, потому что сильнѣйшій элементъ пустилъ въ ходъ свою обыкновенную тактику: онъ обратился къ народу и при его содѣйствіи одержалъ полную побѣду. Во Франціи вступленіе на престолъ Генриха IV, который, въ угоду націи, призналъ католическую религію, нанесло рѣшительный ударъ гугенотамъ, какъ политической партіи. Нантскій эдиктъ далъ искреннимъ протестантамъ свободу вѣроисповѣданія; вслѣдствіе этого неискренніе протестанты, то есть честолюбивые аристократы, превращавшіе религію въ политическое оружіе, остались безъ солдатъ и одинъ за другимъ отправились ко двору искать себѣ доходныхъ мѣстъ и знаковъ отличія. Въ Англіи долгій парламентъ положилъ конецъ произволу Карла I. Какъ въ Англіи такъ и во Франціи побѣда была одержана націей; но плодами побѣды воспользовались въ Англіи — аристократія, а во Франціи — король. Впрочемъ и во Франціи, и въ Англіи, послѣ побѣды обнаружилось попытку ограничить могущество того элемента, которому въ ближайшемъ будущемъ должна была принадлежать диктатура. Во Франціи парламентскіе метафизики или, яснѣе, юристы начали вмѣшиваться въ распоряженія верховной власти и, во имя общественной пользы, стали дѣлать королямъ очень серьезныя и рѣзкія замѣчанія, которыя на официальномъ языкѣ того времени назывались remontrances. За подобныя дерзости юристовъ посылали въ Бастилію; тогда народъ выражалъ свое неудовольствіе какимъ нибудь шумнымъ скандаломъ; но такъ какъ эти скандалы производились всегда безсвязно и безтолково, то они и не привели за собою никакихъ прочныхъ послѣдствій. Волненія фронды оказались послѣднимъ громкимъ протестомъ Франціи противъ навагавшейся диктатуры. Въ этомъ протестѣ дѣйствовали за-одно тщеславные аристократы, добивавшіеся табуретовъ для своихъ супруговъ, парламентскіе педанты, защищавшіе тощую идею легальности, и голодные бѣдняки, стоявшіе за интересы собственныхъ желудковъ. Такой неестественный союзъ не могъ сдѣлать

ничего путнаго; вслѣдъ за временами Фронды наступила диктатура Людовика XIV, которая совершенно раздавила идею легальности, набила мякиной миллионы французскихъ желудковъ и разрѣшила во всѣхъ отношеніяхъ только однимъ аристократамъ, имѣвшимъ неизреченное счастье присутствовать при *petits-levers* и *petits-couchers* и даже держать въ рукахъ королевскія рубашки.

Въ Англіи подобныя попытки проявились сильнѣе, чѣмъ во Франціи. Во времена пуританской республики вожди народа закрыли палату лордовъ. Но самъ народъ еще довольно смутно понималъ свои собственныя выгоды. Реставрація была встрѣчена съ восторгомъ, и лучшимъ людямъ Англіи пришлось искать себѣ новой родины за Атлантическимъ океаномъ, гдѣ гнетъ укоренившихся привычекъ не мѣшалъ имъ осуществлять самыя широкіе демократическіе планы. Послѣ вторичнаго изгнанія Стюартовъ, въ 1688 году, преобладаніе аристократіи окончательно установилось въ Англіи.

Когда во всей Европѣ окончилась борьба между короной и аристократіей, тогда началось между этими двумя элементами довѣрчивое и дружелюбное сближеніе. Въ Англіи пэры приняли королевскую власть подъ свое высокое покровительство. На материкѣ Европы короли стали смотрѣть на свое дворянство, какъ на опору своего авторитета. Словомъ, наступилъ золотой вѣкъ всеобщей преданности. Всѣ элементы, наполнившіе средневѣковую исторію шумомъ своихъ противурѣчивыхъ притязаній, стали широкимъ и веселиться въ полномъ единодушіи. Короли, клерикалы и аристократы сомкнулись въ неразрывный союзъ. Исключенной изъ этого союза оказалась только та черноземная сила, которая отправляла денежныя и натуральныя повинности. Пригласить эту силу на общій пиръ любви и дружбы не оказалось никакой возможности, во-первыхъ потому, что эта сила въ одно мгновеніе ока проглотила-бы всѣ притовленные деликатесы, а во-вторыхъ потому, что эта сила, по необъяснимой странности своего характера, умывалась очень рѣдко и одѣвалась въ какія-то весьма непрезентабельныя и даже до нѣкоторой степени неправдоподобныя лохмотья. Кромѣ того эта же сила обладала врожденной наклонностью къ самымъ труднымъ и грязнымъ работамъ; по всѣмъ этимъ причинамъ рѣшено было оставить ее за штатомъ. Что-же касается до метафизики, то она, по всегдашней подвижности, двусмысленности и эластичности своей натуры, раздвоилась, такъ что одни изъ ея представителей стали восхищаться деликатесами благороднаго пиршества, а другіе въ это-же время начали подвергать сомнѣнію врожденную наклонность черноземной силы къ самымъ труднымъ и грязнымъ работамъ. Одни ста-

ли говорить, что все идетъ къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ міровъ, а другіе рѣшились возражать, что бальный залъ—не міръ и что за предѣлами теплаго и свѣтлаго зала многое идетъ дурно и съ каждымъ годомъ становится хуже. Разсужденія воспослѣдовали весьма интересныя и поучительныя, но объ нихъ рѣчь впереди, потому что въ настоящее время слѣдуетъ рассмотреть видоизмѣненія, произведенныя въ общей европейской политикѣ прочнымъ утвержденіемъ той диктатуры, которая положила конецъ средневѣковой борьбѣ общественныхъ элементовъ.

Сказать: «L'Etat—c'est moi!» было не трудно, но, въ самомъ дѣлѣ замѣнить собственной особой коллективный умъ цѣлой націи было очень мудрено и даже совсѣмъ невозможно. Когда центральная власть довела до совершеннаго ничтожества всѣ враждебныя ей элементы, тогда въ рукахъ короля сосредоточилась такая необъятная масса дѣлъ, которая далеко превосходила разумъ обыкновенныхъ человѣческихъ силъ. Быстрое развитіе промышленной жизни и возрастающая сложность международныхъ отношеній съ каждымъ годомъ увеличивали число, разнообразіе и трудность политическихъ, финансовыхъ и административныхъ задачъ, постоянно требовавшихъ немедленнаго разрѣшенія. Самый сильный и обширный умъ не могъ рѣшать всѣ эти задачи собственными силами; необходимы были необыкновенныя способности и самая напряженная дѣятельность даже для того, чтобы только обозрѣвать и контролировать рѣшенія, принсканныя другими людьми. Эти способности и эта охота къ труду встрѣчаются вообще довольно рѣдко, въ особенности у такихъ личностей, которымъ нѣтъ надобности прокладывать себѣ собственными усиліями дорогу къ власти, къ богатству и къ различнымъ наслажденіямъ жизни. Поэтому легко могло случаться, и дѣйствительно случилось очень часто, что король не могъ и не желалъ тратить драгоценное время на прочитываніе и обдумываніе скучныхъ и головомомныхъ смѣтъ, докладовъ и проектовъ. Самъ Людовикъ XIV, авторъ фразы: «L'Etat—c'est moi!» занимался преимущественно сначала выдѣлываніемъ балетныхъ па, а потомъ — перебираниемъ четокъ и чтеніемъ латинскихъ молитвъ. Понятно, что въ такихъ рукахъ не могла сосредоточиваться центральная власть, получившая дѣйствительно самое полное господство надъ всѣми отправленіями общественной жизни. Королю были необходимы не только послушные и расторопные чиновники, способные исполнить данное приказаніе, но и настоящіе государственные дѣятели, способные самостоятельно обдумывать и создавать цѣлыя обширныя планы. Короли нуждались не въ агентахъ, а въ министрахъ, и министры дѣйствительно начинаютъ играть въ исторіи очень значительную роль съ того времени, какъ установилась въ Европѣ королевская автократія. Политика европей-

скихъ государствъ обуславливается обыкновенно, съ этого времени не личными взглядами королей, а соображеніями министровъ. Такъ напримѣръ, благочестивый король Людовикъ XIII былъ во все не прочь отъ того, чтобы всѣми силами истреблять протестантовъ внутри государства и за его предѣлами; между тѣмъ Франція во время его царствованія предоставляла своимъ гражданамъ полную свободу вѣроисповѣданія и очень дѣятельно помогала нѣмецкимъ протестантамъ деньгами и оружіемъ. Все это дѣлалось по мысли и по желанію великаго министра, кардинала Ришелье.

Министры должны были непремѣнно быть или по крайней мѣрѣ казаться даровитыми и свѣдущими людьми. Знатность рода тутъ не могла приниматься въ соображеніе. Самые недалёковидные умы понимали очень хорошо, что безъ личныхъ способностей и безъ обширныхъ знаній невозможно вращать громадную и сложную административную машину. Поэтому ни въ одномъ европейскомъ государствѣ аристократическіе предрасудки, несмотря на всю свою силу, не возвысились до грандіозно-нелѣпой попытки ввести въ назначеніе министровъ принципъ наследственности или сдѣлать министерскія мѣста доступными только для высшихъ дворянскихъ фамилій. Во Франціи простолудинъ (roturier) не могъ дослужиться до офицерскаго чина; но всѣ важнѣйшіе гражданскіе чиновники, интенданты, контролеры или министры были обыкновенно простолудинами. Въ той-же Франціи множество должностей продавалось отъ короны въ наследственную собственность. Но никому изъ французскихъ королей въ самыя тяжелыя минуты безденежья не приходила въ голову остроумная мысль продать съ аукціона должности министровъ, хотя, разумѣется, нашлись-бы покупатели, готовые заплатить за такіа вліятельныя мѣста очень хорошія деньги. Идея вѣка и духъ времени проникаютъ слабо и медленно въ міръ блестящихъ салоновъ. Но духъ времени необходимъ даже для тѣхъ людей, которые не имѣютъ понятія о его существованіи; безъ его содѣйствія самыя сильныя лица ежеминутно рискуютъ очутиться въ самомъ жалкомъ и смѣшномъ положеніи; онѣ будутъ отдавать такіа приказанія, которыя не могутъ быть приведены въ исполненіе; онѣ будутъ получать отъ сдѣланныхъ распоряженій совѣтъ не тѣ результаты, которыхъ онѣ добивались и ожидали. Поэтому оказалась очевидная необходимость впустить духъ вѣка въ королевскіе совѣты, и представителями этого духа явились министры, которые, родившись въ бѣдности, проведя молодость среди лишеній и упорнаго труда, имѣли по крайней мѣрѣ хоть какое-нибудь понятіе о темныхъ и грязныхъ закоулкахъ народной жизни. Разумѣется, очень немногіе министры являлись вполне достойными представителями вѣка; очень

немногіе проникались лучшими идеями своего времени и рѣшались защищать во что бы то ни стало дѣйствительныя потребности своихъ соотечественниковъ, но по крайней мѣрѣ въ они знали до нѣкоторой степени, что возможно и что невозможно въ данную минуту. Даже эти скромныя знанія, проникая въ область высшей политики, часто спасали Европу отъ очень тяжелыхъ испытаній.

Дѣятельность министровъ естественнымъ образомъ должна была понизить значеніе королевской власти, тѣмъ болѣе, что короли обыкновенно не имѣли возможности контролировать административную тактику министровъ съ достаточнымъ знаніемъ дѣла. Внимательность королей въ политику выражалась обыкновенно въ той формѣ, что министръ впадалъ въ немилость и получалъ отставку вслѣдствіе какой-нибудь мелкой дворцовой интриги. Известно напримѣръ, что Людовикъ XIV и Людовикъ XV находились оба подъ вліяніемъ своихъ духовниковъ и своихъ любовницъ, которые по своему благоусмотрѣнію тасовали министровъ и поворачивали въ разныя стороны внѣшнюю политику Франціи. Поэтому министрамъ надо было постоянно вести рядомъ двѣ дипломатическія игры, одну—общеевропейскую, другую—версальскую; то есть, кромѣ великихъ государственныхъ вопросовъ, надо было еще постоянно изучать мелкія особенности придворной тактики. Даже такой великій человѣкъ, какъ Ришелье, признавался, что выслѣживаніе и раскутываніе мелкихъ придворныхъ интригъ и сплетенъ доставляло ему гораздо больше хлопотъ, чѣмъ обдумываніе крупныхъ вопросовъ европейской политики. Понятно, что эти отношенія королей къ важнымъ государственнымъ дѣламъ не могли оставаться тайной для общества. Эти отношенія разбирались, обсуживались, осмѣивались, и въ общемъ результатъ получался очевидный ущербъ для королевскаго авторитета.

XXII.

Въ цвѣтущія времена средневѣкового порядка постоянныя и правильныя международныя сношенія не существовали, а въ экстренныхъ случаяхъ естественнымъ посредникомъ между враждующими государствами являлся папа, въ лицѣ своихъ легатовъ. Съ XIV вѣка европейское могущество папъ стало быстро понижаться, и въ-то же время постоянныя сношенія между различными державами стали гораздо болѣе необходимыми, чѣмъ прежде, во времена промышленнаго застоя и умственной неподвижности. Для удовлетворенія этой возрастающей потребности появились дипломатическіе агенты, которые вмѣстѣ съ министрами забрали въ свои руки всѣ нити евро-

пейской политики. Первымъ значительнымъ подвигомъ дипломатовъ было заключеніе Вестфальскаго мира, окончившаго собою тридцатилѣтнюю войну и окончательно отдѣлившаго отъ папскаго престола половину Европы. Легко можетъ быть, что вѣнскій конгрессъ былъ послѣднимъ значительнымъ подвигомъ европейской дипломатіи; но крайней мѣрѣ съ того времени совершилось много такихъ событій, которыя захватывали врасплохъ всевозможныхъ Талейрановъ и Меттерниховъ и разстраивали всѣ тончайшія соображенія этихъ проницательныхъ и дальновидныхъ господъ; съ того времени сдѣлалось чрезъчуръ очевиднымъ то обстоятельство, что ходомъ событій управляютъ совсѣмъ особенныя силы, составляющія для дипломатовъ вѣчную загадку, и дипломатія, чтобы не попадаться ежеминутно въ просякъ, соглашается повидимому принять на себя безобидную роль зрителя, дающаго официальные названія совершившимся фактамъ. Но въ первые вѣка послѣ реформаціи дипломаты спасли Европу отъ многихъ страданій, и спасли ее именно тѣмъ извѣстнымъ презрѣніемъ ко всякимъ принципамъ, которое составляетъ самый естественный атрибутъ истиннаго дипломата. Противуположныя принципы, — католицизмъ и протестантизмъ, — стараясь побѣдить и уничтожить другъ друга, пролили въ то время очень много крови, и пролили-бы ее еще гораздо больше, еслибы международныя отношенія находились въ рукахъ людей, проникнутыхъ глубокими убѣжденіями. Люди, глубоко убѣжденные, въ то время были похожи на Филиппа Испанскаго, объявлявшаго торжественно, что онъ скорѣе согласится царствовать надъ пустыней, чѣмъ надъ страной еретиковъ. Десятки такихъ людей, поставленныхъ на высокія мѣста, могли превосходно воспользоваться фанатическими страстями массъ и дѣйствительно превратить Европу въ пустыню.

Такъ-бы оно и случилось, еслибы напимѣрѣ католическія державы обратили вниманіе на протестъ папы, который послѣ тридцатилѣтняго кровопролитія все-таки отказался подписать Вестфальскій миръ, позволявшій протестантамъ существовать на бѣломъ свѣтѣ. Къ счастью для Европы, ее королями были въ это тяжелое время люди безпечные и безхарактерные, и политическими дѣлами управляли министры и дипломаты, — люди, вышедшіе изъ низшихъ классовъ общества и превосходно выучившіеся въ продолженіи долгой и трудной служебной карьеры предпочитать мелкія выгоды всевозможнымъ великимъ идеаламъ, принципамъ и убѣжденіямъ. Такие люди хорошо понимали, что царствовать надъ пустынями неудобно, потому что тамъ не съ кого будетъ собирать подати; вслѣдствіе такихъ соображеній яростныя вопли

принциповъ были оставлены безъ вниманія, и надъ замрзнутой Европой воцарилась система мелкихъ компромиссовъ, ловкихъ сдѣлокъ и осторожныхъ взаимныхъ надувательствъ. Эту систему дипломаты называютъ системой политическаго равновѣсія, но ее можно было-бы также назвать системой организованнаго недоуверія. Какъ только какая-нибудь держава такъ или иначе начинаетъ усиливаться, такъ всѣ остальные державы должны тотчасъ усматривать себѣ въ этомъ усиленіи косвенную угрозу, вслѣдствіе которой слѣдуетъ сообразно съ обстоятельствами принимать различныя мѣры, болѣе или менѣе рѣшительныя и энергическія. Эта политическая теорія очень обременительна для всѣхъ европейскихъ государствъ и не приноситъ никакой пользы ни одному изъ нихъ; но надо признаться, что она составляетъ неизбежный переходъ отъ старой феодальной воинственности къ счастливымъ и уже недалекимъ временамъ разумнаго миролюбія и промышленной солидарности. Средневѣковая воинственность угасла уже давно; въ исторіи трехъ послѣднихъ столѣтій рѣдко можно встрѣтить такія безцѣльныя войны, какія загорались въ средніе вѣка исключительно отъ избытка рыцарской отважности и барской праздности. Крупно-вѣщныя личности, подобныя Карлу XII и Наполеону I, представляютъ собою одинокія явленія, совершенно непохожія на все то, что ихъ окружаетъ. Безкорыстная страсть къ войнѣ уже начинала угасать въ то время, когда протестантское движеніе охватывало Европу. Тутъ война сдѣлалась неизбежной не потому, что людямъ нравились военныя упражненія, а потому, что каждый изъ противуположныхъ принциповъ считалъ войну единственнымъ средствомъ самосохраненія. Когда-же завязались продолжительныя и упорныя войны, тогда война очень скоро сдѣлалась самымъ выгоднымъ и даже единственнымъ выгоднымъ ремесломъ, потому что грабить, рѣзать и жечь гораздо пріятнѣе, чѣмъ быть ограбленнымъ, зарѣзаннымъ и сожженнымъ. Война, бывшая сначала средствомъ для очень многихъ людей, превратилась въ самостоятельную цѣль. Плохо уснувшіе инстинкты разрушенія и грабежа поднялись снова во всемъ средневѣковомъ величіи, и въ XVII столѣтіи, во времена Галилея и Кеплера, на историческую сцену выступили такіе артисты живодерства, какъ напимѣрѣ Тюлли, Мансфельдъ, Папенгеймъ и въ особенности несравненный герцогъ Фридрихъ Валленштейнъ. Вторая половина того-же столѣтія наполнена войнами Людовика XIV, которому во что-бы то ни стало хотѣлось уничтожить голландскую республику, какъ вредный притонъ протестантизма и вольнодумства. Вильгельмъ Оранскій понималъ, что побѣда Франціи можетъ надѣлать всей Европѣ очень много зла, и поэтому, вступивши въ 1688 г. на англійскій престолъ, онъ составилъ противъ

Людовика сильную коалицію, которая сломила его усердіе въ пропагандированіи деспотизма. Война была продолжительная и кровопролитная, но никакъ нельзя утверждать, что воюющія стороны воевали изъ любви къ искусству. У каждаго лагеря были свои принципы, которые никакъ не могли ужиться между собою въ мирѣ, и которыхъ борьба далеко не кончена даже въ настоящее время. Въ началѣ XVIII вѣка испанскій престолъ оказался вакантнымъ; само собою разумѣется, что ни одинъ изъ двухъ враждебныхъ лагерей не могъ безъ боя уступить другому цѣлое королевство; началась новая война, которая также вовсе не похожа на безцѣльную средневѣковую свалку. Затѣмъ между Франціей и Англіей начинаются войны, имѣющія совершенно новый, меркантильный характеръ,—войны, направленные къ тому, чтобы убить торговлю противника и на ея развалинахъ основать свое собственное торговое могущество. Эти войны вытекали изъ ошибочныхъ взглядовъ на торговлю, но уже одна возможность такихъ ошибокъ показываетъ ту преобладающую важность, которую интересы промышленности упрочили за собою съ XVIII вѣка въ политикѣ передовыхъ европейскихъ государствъ. Другія войны XVIII в., напирѣвъ семилѣтняя война и безплодные усилія Англіи подавить американское возстаніе, составляютъ естественныя послѣдствія той диктатуры, которая можетъ распоряжаться по своему благоусмотрѣнію кровью и деньгами безотвѣтнаго народа. Вообще исторія всѣхъ войнъ, предпринятыхъ и веденныхъ втеченіи трехъ послѣднихъ столѣтій, даетъ тотъ выразительный результатъ, что народныя инстинкты постоянно склонялись къ миру, диктатура вызвала войну, а министры вжѣсть съ дипломатами, подобно всякимъ метафизикамъ, старались лавировать и балансировать между двумя непримиримыми и несогласными крайностями.

XXIII.

Задолго до реформаціи въ Европѣ уже были такіе люди, умственные требованія которыхъ не могли удовлетвориться протестантскимъ движеніемъ. Уже въ XIII вѣкѣ философія Аверроэса находила себѣ ревностныхъ почитателей въ Италіи и во Франціи; за эту философію пошли на костеръ въ началѣ XIV столѣтія нѣкоторые чересчуръ смѣлые парижскіе метафизики; объ этой философіи достаточно будетъ замѣтить, что Аверроэсыли, правильнѣе, Ибнъ-Рошдъ, будучи самъ мусульманиномъ, открыто смѣялся надъ Магометомъ, презиралъ Коранъ и относился съ самымъ крайнимъ недоумѣемъ ко всему фантастическому. Эти тенденціи, переложенныя на европейскія нравы, привились довольно прочно тамъ, гдѣ повидимому имъ всего менѣе слѣдовало бы находиться,—именно въ высшихъ

сложяхъ итальянскаго духовенства. Достоверно извѣстно, что папы и кардиналы XV вѣка сами считали себя очень искусными актерами и отъ души удивлялись несокрушимоу легковѣрію своей громадной публики. Папамъ и кардиналамъ было, разумѣется, неудобно популяризовать тѣ идеи, которыми они сами были проникнуты; но въ то же время имъ невозможно было играть роль съ утра до вечера, и притомъ каждый день, втеченіе многихъ лѣтъ; необходимо было по временамъ снимать тяжелую маску, бросать другъ на друга откровенныя насмѣшливыя взгляды и при затворенныхъ дверяхъ наслаждаться такой умственной пищей, которая соответствовала ихъ настоящимъ понятіямъ и наклонностямъ. Поэтому, строго запрещая распространеніе такой пищи въ обширныхъ кругахъ обыкновенныхъ потребителей, папы и кардиналы поощряли ея изготовленіе и держали при себѣ, въ видѣ придворной забавы, такихъ мыслителей и поэтовъ, которыхъ по настоящему, во имя всѣхъ неприкосновенныхъ истинъ, слѣдовало бы зажарить самымъ тщательнымъ образомъ. Правда, что эти мыслители и поэты понимали свое положеніе и не обнаруживали никакихъ нескромныхъ наклонностей къ распространенію своихъ идей. Они относились къ непросвѣщенной массѣ съ самымъ величественнымъ презрѣніемъ, а на собственные идеи они смотрѣли, какъ на свое личное сокровище и утѣшеніе; имъ никакъ не приходило въ голову, что между этими идеями и умами массы можетъ произойти химическое соединеніе, способное развить изъ себя самыя удивительныя и неожиданныя послѣдствія. Они не добивались этого химическаго соединенія, но, любя свои идеи, они, разумѣется, дѣлились ими съ тѣснымъ кружкомъ друзей и учениковъ.

Такимъ образомъ невольныя тенденціи жили тихо и незамѣтно до тѣхъ поръ, пока не отыскалась для нихъ удобная форма, въ которой онѣ смѣло могли выступить на свѣтъ. Такой формой оказалась страсть къ изученію классической древности. Эта страсть въ XV вѣкѣ охватила Италію и затѣмъ всю Европу. Изучать литературу грековъ и римлянъ—тутъ очевидно не было ничего предосудительнаго; въ страсти къ классическимъ литературамъ можно было признаваться открыто; поэтовъ и мыслителей древности можно было читать съ восхищеніемъ и комментировать съ восторгомъ передъ цѣлыми сотнями любознательныхъ учениковъ. О древности можно было говорить свободно; тутъ можно было, съ одной стороны, давать полную волю собственной критикѣ и, съ другой стороны, публично преклоняться передъ той свободой мысли и широтой взгляда, которая характеризуетъ лучшихъ представителей древней философіи; кромѣ того тутъ можно было, подъ видомъ

восхищенія литературными красотами, заявлять свое пламенное и безграничное сочувствіе идеямъ и явленіямъ, діаметрально противоположнымъ и враждебнымъ всему тому, чему приказано было безусловно сочувствовать. Даже въ совершенно невинномъ благоговѣніи къ чистотѣ и изяществу ццероновскаго языка можно было скрыть тонкій и тѣмъ болѣе язвительный намекъ на грубость и безобразіе той варварской латыни, на которой были написаны грозныя буллы величайшихъ папъ и ужасныя фоліанты Оомы Аквинскаго, Дунса Скотта и всѣхъ другихъ свѣтилъ католической теологіи. Вообще можно сказать, что ревностное изученіе классическихъ литературъ значительно увеличило во всей Европѣ число насмѣшливыхъ взглядовъ и лукавыхъ улыбокъ. Особенно важно было то обстоятельство, что открылась возможность постоянно увеличивать это число, не подвергаясь ни малѣйшей опасности и не нарушая никакихъ правилъ субординаціи и благочестія.

Реформація застала Германію въ полномъ разгарѣ классическихъ увлеченій. Знаменитѣйшіе изъ тогдашнихъ гуманистовъ, въ особенности Эразмъ Роттердамскій, отнеслись къ протестантскому движенію съ самымъ глубокимъ равнодушіемъ. По ихъ мнѣнію, не стоило ссориться съ Римомъ и поднимать шумъ на всю Европу, чтобы ограничиться тѣми мелочами, на которыхъ остановился Лютеръ. Эразмъ остался вѣренъ католицизму такъ точно, какъ онъ остался-бы вѣренъ буддизму, еслибы буддизмъ позволялъ ему жить спокойно и размышлять въ тепломъ кабинетѣ о различныхъ проявленіяхъ человѣческой глупости. Эразмъ и подобные ему книжники нисколько не желали и не считали возможнымъ обращать массу на путь истинны. Вѣчное раздвоеніе между массой и мыслителями казалось имъ неизбѣжнымъ. Осуждать ихъ за это не слѣдуетъ. Они сдѣлали свое дѣло именно въ качествѣ книжниковъ и гордыхъ аристократовъ умственнаго міра. Прежде чѣмъ популяризовать философскую доктрину систематическаго отрицанія, надо было выработать ее. А чтобы выработать ее, надо было предварительно устроить такую лабораторію, въ которой можно было-бы работать съ полной безопасностью. Кромѣ того надо было сформировать такихъ людей, которые могли и желали-бы заняться этой серьезной и суровой работой. Надо было унести и спрятать свободную мысль въ самыя тихія убіжища книжной науки, — въ такія мѣста, въ которыя-бы не заглядывала тупая ненависть бѣснующихся сектаторовъ, подобныхъ Кальвину. Надо было въ глубокой тишинѣ передавать немногимъ избраннымъ любовь къ свободному анализу для того, чтобы эта любовь сохранилась во всей своей чистотѣ до тѣхъ болѣе счастливыхъ временъ, когда прекратятся крики и драки фана-

тиковъ, и когда свободному мыслителю можно будетъ произнести во всеуслышаніе свое глубоко-обдуманное слово.

Хотя протестантское движеніе возбудило на вѣсколько десятилѣтій такія страсти, которыя совершенно враждебны свободному изслѣдованію, однако же по всей вѣроятности практическіе успѣхи Лютера, Кальвина и другихъ сектаторовъ заронили въ умы кабинетныхъ мыслителей ту смутную и робкую надежду, что когда нибудь настанетъ и для ихъ любимыхъ идей время практическихъ успѣховъ. Если масса убѣждается доводами Лютера и отказывается отъ папы, то со временемъ она можетъ убѣдиться доводами другого мыслителя и отказаться отъ Лютера. Если масса могла пойти за Лютеромъ, то стало-быть она не осуждена на вѣчную умственную неподвижность, и стало-быть мыслитель можетъ искоренить самыя застарѣлыя ея заблужденія, если только съумѣетъ спуститься до уровня ея пониманія. Кромѣ того протестантская полемика въ первый разъ показала кабинетнымъ мыслителямъ, что такое книгопечатаніе, и чѣмъ оно можетъ сдѣлаться въ рукахъ сообразительнаго и предприимчиваго чловека. Узнавши такимъ образомъ впечатлительность массы и силу книгопечатанія, кабинетные мыслители, далеко опередившіе протестантовъ смѣлостью и послѣдовательностью своихъ идей, непременно должны были, рано или поздно, выйти изъ своихъ тихихъ убіжищъ въ открытое житейское море.

Продолжительныя бѣдствія религіозныхъ войнъ, послѣдовавшихъ за протестантскимъ движеніемъ, нанесли жестокій ударъ тому самому усердію, которое побуждало пылкихъ людей браться за оружіе. Въ практической жизни прямой опытъ дѣйствуетъ неотразимо на самыхъ необузданныхъ супранатуралистовъ. Когда оказалось безсильнымъ даже такое героическое лекарство, какъ Варооломеевская ночь, тогда враждебнымъ сектамъ поневолѣ пришлось сознаться въ томъ, что всѣ онѣ одинаково дорожатъ своими идеями, и что ни одной изъ нихъ не удастся ни переубѣдить, ни истребить всѣхъ своихъ противниковъ. За разгаромъ воинственныхъ страстей послѣдовало общее утомленіе и желаніе мира во что бы то ни стало. Фанатизмъ подъ конецъ XVI вѣка смѣнился во Франціи такимъ замѣчательнымъ равнодушіемъ, что образовалась цѣлая могущественная партія такъ называемыхъ *политиковъ* или религіозныхъ примирителей, смотрѣвшихъ на догматическіе вопросы съ чисто-государственной точки зрѣнія. «Многимъ, — писалъ Дюплесси Морне въ началѣ XVII вѣка, — теперь надо сперва сказать, что есть религія, прежде чѣмъ сказать — какая». Двумя самыми яркими воплощеніями этого индифферентизма являются два величайшіе правителя старой Франціи, Генрихъ IV и

кардиналь Рихельё. Пользуясь такимъ удобнымъ положеніемъ дѣлать свободный анализъ въ первый разъ выступилъ открыто передъ французскимъ обществомъ. Въ 1588 году Монтень издалъ свои «Essais», въ которыхъ очень мягко и вѣжливо выражаются совершенно скептическія отношенія къ самымъ почтеннымъ идеямъ католичества. «Дѣйствительно,—говоритъ онъ напримѣръ,—у насъ нѣтъ другого мѣрила истинному и разумному, кромѣ примѣра и понятія о мнѣніяхъ и обычаяхъ страны, гдѣ мы живемъ: вотъ совершенная религія, совершенное благоустройство, совершенное и удовлетворительное пользованіе всѣмъ». Въ 1601 году появилась книга Шаррона: «De la sagesse». Объ этой книгѣ Бокль сообщаетъ намъ слѣдующія подробности: «Шарронъ напоминаетъ своимъ соотечественникамъ, что ихъ религія зависитъ отъ случайныхъ условій ихъ рожденія и воспитанія, и что, еслибы они родились въ магометанской землѣ, они были-бы такими-же ревностными магометанами, какъ теперь христіанами. Этими соображеніями онъ доказываетъ всю нелѣпость соболѣзнованій о различіи религій, такъ какъ это различіе есть результатъ обстоятельствъ, независимыхъ отъ людей. Слѣдуетъ также замѣтить, что каждая изъ этихъ различныхъ религій объявляетъ себя единственно-истинной, и всѣ онѣ основаны на сверхъ-естественныхъ притязаніяхъ, какъ-то: тайнахъ, чудесахъ, пророчествахъ, и т. п. Люди, именно потому, что забыли все это, сдѣлались рабами своего собственного легковѣрія, которое составляетъ главнѣйшее препятствіе всякому истинному знанію и которое можно устранить только принятіемъ широкой и общей точки зрѣнія, которая показала-бы намъ, какъ всѣ народы равно упорно держатся за понятія, въ которыхъ воспитаны. Если мы взглянемъ нѣсколько глубже,—говоритъ Шарронъ,—то увидимъ, что каждая изъ великихъ религій основана на той, которая ей предшествуетъ. Такимъ образомъ религія евреевъ основана на египетской; христіанство есть результатъ иудейства, а изъ двухъ послѣднихъ естественно происходитъ исламъ. Вотъ почему,—присовокупляетъ авторъ,—мы должны возвыситься надъ притязаніями враждебныхъ сектъ и, не пугаясь будущихъ наказаній, не увлекаясь надеждой на будущее блаженство, довольствоваться практической религіей, состоящей въ исполненіи обязанностей жизни, и, нестѣсняемые догматами какого-нибудь отдѣльнаго вѣрованія, стремиться къ тому, чтобы душа вошла сама въ себя и, усиленіемъ самосозерцанія, восторгалась неслыханнымъ величіемъ существа изъ существъ, высшей причины всего творенія.» *)

*) Русский переводъ. Бокль Т. I. Стр. 391, 392.

Размышленія Шаррона до такой степени понравились французамъ, что книга его въ шесть лѣтъ выдержала три изданія. Изъ этого обстоятельства мы уже видимъ ясно, что та почва, на которой впоследствии пришлось дѣйствовать Вольтеру, начала подготовляться очень рано. Подготовленіе продолжалось, тѣми или другими путями, втеченіи всего XVII столѣтія. Въ 1637 году Декартъ издалъ свой «Discours de la Méthode», написанный такимъ увлекательнымъ языкомъ, который до сихъ поръ считается образцомъ ясности, изщества и живости. Въ этомъ сочиненіи мыслитель прямо и совершенно сознательно обращается къ обществу, минуя тѣхъ патентованныхъ философовъ, по мнѣнію которыхъ вся истина замурована на вѣчныя времена въ старыя фліанты. «Если,—говоритъ Декартъ,—я пишу по-французски, на языкѣ моихъ соотечественниковъ, а не по-латыни, не на языкѣ моихъ учителей, то это дѣлается потому, что я надѣюсь, что тѣ люди, которые руководствуются своимъ естественнымъ и неиспорченнымъ разумомъ, оцѣнятъ лучше мои мнѣнія, чѣмъ тѣ люди, которые вѣрятъ исключительно старымъ книгамъ.»—Въ такихъ словахъ уже слышатся ноты вольтеровскаго свиста; общество признается верховнымъ судьей, здравый смыслъ становится выше авторитетовъ.—Въ области мысли Декартъ не только является самымъ неутомимымъ разрушителемъ, но онъ даже съ крайней догматической рѣзкостью возводитъ разрушеніе старыхъ идей въ основной принципъ, безъ котораго мыслителю не позволено сдѣлать ни одного шагу на пути изслѣдованія и умозрѣнія. «Когда я,—говоритъ онъ въ томъ же «Discours»,—предназначенномъ для всей массы мыслящихъ читателей,—приступилъ къ изысканію истины, я нашелъ, что лучшее средство для этого—отбросить все, что я прежде получилъ, и отказаться отъ моихъ старыхъ мнѣній съ тѣмъ, чтобы положить имъ новое основаніе; я думалъ, что такимъ образомъ легче выполню великую задачу жизни, чѣмъ еслибы держался старыхъ началъ, которыя я принялъ въ молодости, не разсматривая, дѣйствительно ли они вѣрны». — *Отбросить все, что я прежде получилъ!* При этомъ нѣтъ никакихъ ограничительныхъ оговорокъ! И это высказывается самымъ яснымъ и увлекательнымъ французскимъ языкомъ! Не чувствуете-ли вы, мой читатель, что морозъ подираетъ васъ по кожѣ? Я положительно это чувствую.

Виродолженіи всего XVII вѣка Голландія была постояннымъ безопаснымъ убѣжищемъ свободныхъ мыслителей. Германію опустошала въ это время тридцатилѣтняя война; въ Англіи свободную мысль преслѣдовали сначала Стюарты вмѣстѣ съ епископальной церковью, а потомъ—пуритане; во Франціи, даже до вступ-

ления на престол Людовика XIV, свободные мыслители никак не могли считать себя без опасными, потому что кардиналь Ришельё, издававший духовенству ни малейшего влияния на важнейшие государственные дела, вовсе не был расположен ссориться с клерикалами из-за того, чтобы спасти от наказания какого-нибудь одного попавшегося вольнодумца. Когда же началось правление Людовика XIV, тогда свободная мысль совершенно замерла во Франции слишком на пятьдесят лет. Но в это самое время она снова с небывалой силой пробудилась в Англии, где Карл II начал решительно поощрять самые смелые отрицательные доктрины. «Самым опасным врагом духовенства, — говорит Бокль, — в XVII веке был конечно Гоббес, тончайший диалектик эпохи, писатель, отличающийся необыкновенной ясностью и между английскими метафизиками уступающий только Беркли. Этот глубокий мыслитель издал несколько сочинений, неблагоприятных церкви и прямо противоположных началам, которые существенно необходимы для власти духовенства. Духовенство, как и следовало ожидать, ненавидело его; его учение было объявлено в высшей степени опасным, и он был обвинен в желании испровергнуть народную религию и испортить народную нравственность. Это зашло так далеко, что каждого, кто осмеливался думать самостоятельно, клеймили именем гоббиста или, как иногда выражались, гоббианца. Такая открытая вражда духовенства была достаточной рекомендацией перед Карлом. Король еще до своего вступления на престол принял многих из начал Гоббеса и после восстановления оказывал ему почтение, которое возмущало некоторых. Он защищал его от врагов, даже не без некоторой аффектации повесил портрет его в своей комнате в Вайтхолле и назначил пенсию этому страшнейшему из всех дотоле появлявшихся врагов церковной иерархии.»

Здесь особенно выразителен тот факт, что во второй половине XVII века вольнодумцы уже имели в Англии свою коллективную кличку, вполне соответствующую слову *вольтерьянец*, возникшему в следующем столетии. Огюст Конт относится к Гоббесу с большим уважением, называет его l'illustre Hobbes, горячо защищает его память против обвинений в рабстве перед светской властью, говорит, что это клевета, возведенная на великого мыслителя английскими аристократами и клерикалами, и наконец провозглашает Гоббеса настоящим отцом отрицательной философии. Большая часть сочинений Гоббеса была написана и напечатана в Голландии, где Гоббес жил во все время протектората Кромвеля. После Гоббеса работали в

том же направлении и в той же гостеприимной стране Бенедикт, Спиноза и Пьер Бэйль (Bayle).

Когда кончилась их деятельность, тогда отрицательная доктрина оказалась окончательно выработанной во всех своих основных чертах. Преемникам этих людей оставалось только разбавлять на мелкую монету и пустить в общее обращение всю гряду их антикатолических идей. За эту работу принялись с необыкновенным рвением и с изумительным искусством талантливые французские писатели XVIII века, во главе которых стоял Вольтер. Задача этих писателей состояла совсем не в том, чтобы открывать миру новые истины, а в том, чтобы сделать уже добытые истины неотъемлемым достоянием каждого читающего человека. Если бы все истины были открыты, если бы все заблуждения были опровергнуты, то весь мир все-таки оставался бы в самой глубокой тьме невежества и суеверия до тех пор, пока великие открытия и опровержения лежали бы тихо и смиренно в больших и мудреных книгах, непонятных и незанимательных для простых смертных. Чтобы придать открытиям и опровержениям полную и широкую практическую влияние, чтобы извлечь из них силу, разгоняющую позорный и вредный сон человеческого ума, чтобы оплодотворить ими жизнь целых великих народов, — надо было в течение нескольких десятилетий постоянно придумывать для этих открытий и опровержений новые формы, разнообразные, легкие, грациозные, смелые, пестрые, яркие, блестящие, как угодно, но только неприменно такие, которые бросались бы в глаза, дразнили любопытство, врезывались в память и незаметно овладевали бы всем существом очарованного читателя. И все это было исполнено. И мир узнал в первый раз, что такое литература, и что могут сделать с целым веком великие мастера словесного дела, — мастера, которых нельзя назвать ни поэтами, ни учеными, ни философами. Писателей XVIII века называют, правда, философами, и они сами очень любили украшать себя этим именем, но на самом деле они несколько не философы, а просто умные и талантливые литераторы, превосходно понявшие или угадавшие потребности своего времени. Какой же например философ сам Вольтер? В чем состоит его философская система? Если бы кто-нибудь задавал ему этот вопрос, он наверное отдался бы от этого вопроса какой-нибудь шуткой и оказался бы совершенно правым, потому что его задача состояла совсем не в том, чтобы соорудить системы, а в том, чтобы с утра до вечера, в течение пятидесяти лет, вести убийственную партизанскую войну про-

тивъ всѣхъ средневѣковыхъ заблужденій и несправедливостей. Но философъ его все-таки называть не годится. Вольтеръ до конца своей жизни оставался деистомъ, но многіе изъ его сподвижниковъ пошли дальше и дошли наконецъ до *pes plus ultra*.

Я предоставляю Боклю нарисовать намъ печальную картину ихъ гибельныхъ заблужденій. «Между писателями низшаго разряда,—говорить Бокль,—Дамилавиль, Делейръ, Марешаль, Нежонъ, Туссенъ были ревностными распространителями холоднаго и мрачнаго ученія, которое, чтобы погасить надежду на будущую жизнь, изгоняетъ изъ души человѣческой возвышенное чувство ея безсмертія, и—странно сказать!—даже нѣкоторые изъ величайшихъ умовъ не могли ускользнуть отъ этой заразы. Атеизмъ открыто защищался Кондорсе, Д'Аламберомъ, Дидро, Гельвеціемъ, Лэландомъ, Лапласомъ, Мирабо и Сентъ-Ламберомъ. Дѣйствительно, все это такъ полно согласовалось съ общимъ настроеніемъ, что въ обществѣ люди хвастались тѣмъ, что въ другой странѣ и въ другое время было-бы рѣдкимъ и исключительнымъ заблужденіемъ, эксцентрическимъ мнѣніемъ, которое зараженные имъ старались-бы скрывать. Въ 1764 году Юмъ встрѣтилъ въ домѣ барона Гольбаха общество знаменитѣйшихъ французовъ, жившихъ тогда въ Парижѣ. Великій шотландецъ, знавшій общее настроеніе, воспользовался случаемъ представить доводы противъ возможности существованія атеиста въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Что касалось до него, онъ никогда не встрѣчалъ атеиста. «Вы были довольно несчастливы,—сказалъ Гольбахъ,—но въ настоящее время вы видите ихъ здѣсь за столомъ семнадцать». Надо по-

лагать, что, услышавъ эти ужасныя слова, великій шотландецъ поспѣшно зажалъ свои великія уши и тоскливо повѣсилъ свой великій носъ.

Когда отрицательныя доктрины произвели полный переворотъ въ мірѣ идей, тогда образовалась, подъ предводительствомъ Руссо, политическая школа, которая прямо напала на существующія учрежденія, во имя того воображаемаго совершенства и блаженства, которыми пользовался человѣкъ, находясь въ естественномъ состояніи. «*Revenons à la nature!*» было постояннымъ боевымъ крикомъ этой школы, которая знала натуру очень плохо, но которая зато мѣтко попадала въ слабую и гнилую сторону общества, дошедшаго дѣйствительно до послѣднихъ предѣловъ нелѣпой, безобразной и болѣзненной искусственности. Въмѣстѣ съ школою Руссо на существующія учрежденія стали нападать, съ другой стороны, менѣе страстными, но болѣе разсудительнымъ образомъ солидные и серьезные экономисты, которые доказывали что правительство своимъ вмѣшательствомъ жестоко тормозитъ народную промышленность и самосебя разоряетъ своими собственными усиліями. Около этого-же времени образовался расколъ въ средѣ юристовъ; нашлось множество смѣлыхъ судей и адвокатовъ, которые вслѣдъ за маркизомъ Беккарія стали жестоко нападать на варварство средневѣковыхъ казней, на безобразіе пытки, на несправедливость и неразумность всего уголовного судопроизводства. Старое общественное зданіе очевидно не могло устоять противъ всѣхъ этихъ горячихъ нападеній, которымъ сочувствовали въ значительной степени сами официальные хранители традицій и существующихъ учреждений.

ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХЪ ДОКТРИНЪ.

I.

Въ статьѣ «Времена метафизической аргументаціи» *) было брошено нѣсколько отрывочныхъ замѣчаній о французской литературѣ XVIII вѣка. Чтобы выяснитъ и дополнитъ эти замѣчанія, я постараюсь теперь опредѣлить общій характеръ того великаго умственного движенія, которое положило конецъ средневѣковому порядку вещей.

Во время продолжительнаго царствованія Людовика XIV французы совершенно разучились отстаивать свои права волненія фронды были забыты; дворянство служило при дворѣ и танцовало менуэты; парламенту было объяснено разъ навсегда, что Людовикъ XIV — не король, а государство; галликанская церковь, въ лицѣ своего величайшаго свѣтила, Боссюта, провозглашала торжественно, что пассивное повиновеніе королю, наперекоръ папѣ, наперекоръ всему и всѣмъ, составляетъ самую священную обязанность настоящаго христіанина. Людовикъ XIV впродолженіи пятидесяти лѣтъ слишкомъ дѣлалъ все, что ему было угодно. Хотѣлъ тратить миллионы на постройку версальскихъ дворцовъ — и тратилъ; хотѣлъ вести безтолковыя войны — и велъ; хотѣлъ опустошать въ своемъ собственномъ королевствѣ цѣлыя области, населенныя мирными и трудолюбивыми протестантами, — и опустошалъ. Словомъ запрету не было ни въ чемъ, и удовольствія получались самыя разнообразныя. Дѣло короля состояло въ томъ, чтобы выдумывать затѣи и требовать денегъ: это значило, что король заботится о своей славѣ, поощряетъ промышленность и кормитъ бѣдняковъ, доставляя имъ возможность строить фонтанчики и павильончики, плести кружева, дѣлать огромные парики и вышивать золотомъ атласные жилеты и бархатные кафтаны.

Счастливая Франція, осыпаемая впродолженіи многихъ десятковъ лѣтъ такими истинно-великими благодѣяніями, преусиѣла до

того, что дальше преусиѣвать было уже невозможно. Дальше оставалась одна только голодная смерть. Тѣ люди, на которыхъ лежала обязанность представлять фиску деньги по первому востребованію, видѣли, что съ каждымъ годомъ собраніе доходовъ становится болѣе затруднительнымъ, и что этому горю не помогаютъ никакія военныя экзекуціи. Эти люди занимали сами очень теплыя мѣста, и поэтому они вовсе не были расположены ни къ вольнодумству, ни къ сентиментальности; но и этимъ людямъ нельзя было не замѣтить, что все государственное хозяйство идетъ изъ рукъ вонъ дурно, и что рабочія силы націи находятъ при послѣднемъ издыханіи. Министры, интенданты, епископы, генеральные откупщики, всѣ чувствовали болѣе или менѣе смутно, что *такъ* нельзя продолжать. Бѣдность была такъ широко распространена, что она мозолила глаза всѣмъ, кромѣ Людовика, который ограждался отъ непристойныхъ зрѣлищъ постоянными стараніями раззолоченной и улыбающейся придворной толпы. Когда какая-нибудь печальная истина упорно выглядываетъ на свѣтъ изъ каждой прорѣхи существующаго порядка, когда эту истину нельзя замазать никакой штукатуркой, ни официальными софизмами, ни бюрократическими палліативами, ни величественнымъ игнорированіемъ, ни внушительной строгостью, тогда, рано или поздно, эта истина высказывается во всеуслышаніе и овладѣваетъ всѣми умами. Чтобы высказать то, что ощущается всѣми, не надо обладать особенной гениальностью; но чтобы заговорить о такомъ предметѣ, о которомъ всѣ думаютъ и о которомъ никто не смѣетъ произнести ни одного слова, надо отличатся отъ другихъ недюжинной любовью къ истинѣ или къ тѣмъ интересамъ, которые страдаютъ отъ общаго молчанія.

При Людовикѣ XIV общеобязательное молчаніе было нарушено тремя тихими и почти-тельными голосами. О несовершенствахъ господствующей системы заговорили архіепископъ Фенелонъ, маршалъ Франціи Вобанъ и чиновникъ руанскаго суда Буагильберъ. Всѣмъ тремъ демократическія тенденціи были совершенно не по чину, да и не по темпераменту. Всѣ трое хлопотали не о какихъ-нибудь размахистыхъ

*) Подъ этимъ заглавіемъ въ сборникѣ «Лучъ», изданномъ въ 1866 г., были помѣщены послѣднія главы «Историческихъ Идей» Огюста Конта (гл. XVII—XXIII).

теоріяхъ, а только о томъ, чтобы у народа не совсѣмъ были отняты средства питаться, плодиться, работать и платить подати. Самымъ дерзновеннымъ сочиненіемъ Фенелона были «Приключенія Телемака». Но это сочиненіе, уносящее читателя въ Грецію и въ глубокую древность, казалось столь дерзновеннымъ самому автору, что онъ вовсе не считалъ возможнымъ выпускать его въ свѣтъ. Книга эта была напечатана безъ вѣдома автора, который написалъ ее исключительно для своего воспитанника, герцога бургонскаго, внука Людовика XIV. Печатаніе этой книги было остановлено парижской полиціей и оказалось возможнымъ только въ голландскомъ городѣ Гагѣ. Ядовитость этой ужасной книги состоитъ въ томъ, что она воспѣваетъ добродѣтели и мудрость такихъ благодѣтельныхъ монарховъ, которые не ведутъ разорительныхъ войнъ и не забавляются великолѣпными постройками, а развиваютъ земледѣліе, поощряютъ торговлю и водворяютъ въ народѣ патриархальную простоту нравовъ. Злобность этого памфлета была такъ очевидна, что Людовикъ XIV отнялъ у Фенелона мѣсто воспитателя и запретилъ ему, какъ обличителю и критикану, являться ко двору. Другой конечно за такое неистовство просидѣлъ-бы лѣтъ двадцать въ Бастиліи, но Фенелону при всей его преступности многое можно было простить за его архіепископское достоинство. Черезъ три года послѣ исторіи о Телемакѣ герцогу бургонскому пришлось проходить черезъ городъ Камбре, въ которомъ находилась епископская резиденція Фенелона. Король былъ такъ великодушенъ, что позволилъ герцогу повидаться съ преступнымъ обличителемъ войнъ и построекъ; но такъ какъ герцогъ былъ очень молодъ, а Фенелонъ очень лукавъ и опасенъ, то имъ строго запрещено было оставаться вмѣстѣ безъ свидѣтелей. Такимъ образомъ разрушительная ярость Фенелона была обуздана.

Другимъ разрушителемъ оказался на старости лѣтъ знаменитый инженеръ Вобанъ. Основавши на своемъ вѣку тридцать-три новыя крѣпости и перестроивши триста старыхъ крѣпостей, Вобанъ долженъ былъ не только извѣдывать всю Францію вдоль и поперекъ, но еще кромѣ того жить болѣе или менѣе долго въ различныхъ мѣстностяхъ своего отечества. Онъ внимательно всматривался во все, чтó его окружало, вездѣ находилъ бѣдность и злоупотребленія, вездѣ подмѣчалъ одніи и тѣ-же причины народныхъ страданій и наконецъ рѣшился изложить результаты своихъ наблюденій въ политико-экономическомъ трактатѣ подъ заглавіемъ: «Projet d'une dime royale» («Проектъ королевской десятины»). Въ этой книгѣ онъ старался доказать, что основная причина народныхъ бѣдствій заключается въ неравномѣрномъ распределеніи налоговъ, т. е. въ томъ, что чернь и

бѣдняки платятъ безконечно много, а богатые знатные люди, духовенство, дворянство и чиновничество избавлены отъ всякихъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей. Эту книгу, въ которой привилегированные тунеядцы были названы порожденіемъ ехидны, старый маршалъ представилъ самому королю съ тѣмъ трогательнымъ и смѣлымъ простодушіемъ, которымъ отличались только малолѣтніе ребята и гениальные люди. Вобанъ конечно судилъ короля по самому себѣ и, разумеется, онъ оказывалъ Людовику XIV слишкомъ много чести. Книгу Вобана запретили, конфисковали и уничтожили. Старикъ не вынесъ этого удара и умеръ чрезъ одиннадцать дней послѣ уничтоженія книги. Умеръ онъ конечно не отъ того, что на него прогнѣвался повелитель Франціи, не отъ того, что этотъ гнѣвъ могъ преградить ему дорогу къ дальнѣйшему повышенію или даже отнять у него тѣ прерогативы, которыми онъ пользовался. Вобана сразило то, что онъ принужденъ былъ въ одну минуту жестоко разочароваться. Вѣрованія всей его жизни погибли передъ его глазами. Онъ былъ увѣренъ, что король не знаетъ и что порожденія ехидны отводятъ ему глаза отъ народныхъ страданій. И вдругъ оказалось, что король не хочетъ знать, и что всѣ порожденія ехидны пользуются его сознательнымъ покровительствомъ. Во чтó-же превращались при такихъ условіяхъ всѣ труды и всѣ подвиги честнаго патріота и храбраго солдата Вобана? Какой смыслъ получали его тридцать-три крѣпости, сто сорокъ сраженій и пятьдесятъ-три осады? Онъ думалъ прежде, что онъ сражался за свое отечество. Теперь оказывалось, что своими побѣдами онъ усилилъ и возвеличилъ самыхъ опасныхъ враговъ и самыхъ ненасытныхъ грабителей Франціи. Сдѣлавши такое открытіе, молодой человѣкъ круто повернулъ-бы въ противоположную сторону всѣ свои мысли и всю свою жизнь. Но такому старика, какъ Вобанъ, оставалось только назвать себя старымъ дуракомъ и умереть, проклиная день и часъ своего рожденія.

Буагильберъ въ книгѣ своей «Détail de la France sous le règne de Louis XIV» («Подробное описаніе Франціи въ царствованіе Людовика XIV») доказывалъ, подобно Вобану, что для спасенія и благосостоянія государства необходимо равномѣрное распределеніе податей. Финансовое искусство, по еретическимъ мнѣніямъ Буагильбера, должно было состоять не въ выжиманіи денегъ всѣми правдами и неправдами, а въ разумномъ возвышеніи производительныхъ силъ націи. За эти дерзкія умствованія Буагильберъ потерялъ свое мѣсто, но такъ какъ у него была при дворѣ сильная протекція, то его скоро простили и снова опредѣлили къ прежней должности.

Такимъ образомъ королевская власть, въ лицѣ

Людовика XIV, получила свое первое предостережение слишком за восемьдесят лѣтъ до начала революціи. Раскаяться и исправиться было еще очень возможно. Впродолженіи всей первой половины XVIII вѣка политическія стремленія самыхъ смѣлыхъ французскихъ мыслителей были чрезвычайно умѣренны. Просвѣщенный и заботливый деспотизмъ, обуздывающій ярость клерикаловъ и расходующій разумнымъ образомъ государственные доходы,—составлялъ вѣнецъ ихъ желаній. Еслибы преемники Людовика XIV были похожи на Петра I или на Фридриха II прусскаго, еслибы они понимали необходимость радикальныхъ преобразованій, то вся литература оказалась-бы ихъ усердной союзницей. Руссо сталь-бы воспѣвать высокія совершенства феодальной системы, французскій народъ продолжалъ-бы гордиться своими вѣрноподданническими чувствами, и революція сдѣлалась-бы ненужной и невозможной. Но Филиппъ Орлеанскій и Людовикъ XV хотѣли наслаждаться жизнью и не умѣли возвыситься до какихъ-бы то ни было твердыхъ и опредѣленныхъ политическихъ убѣжденій. Ихъ ребяческіе капризы, ихъ скандальная бездарность, ихъ самодовольная фривольность доказали наконецъ французамъ, что возлагать все упованіе на добродѣтели и таланты Людовиковъ—дѣло очень рискованное и неблагоприятное. Людовикъ XIV, Филиппъ Орлеанскій и Людовикъ XV оказались такимъ образомъ самыми замѣчательными популяризаторами отрицательныхъ доктринъ,—такими популяризаторами, безъ содѣйствія которыхъ ни Вольтеръ, ни Монтескье, ни Дидро, ни Руссо не нашли бы себѣ читателей и даже не вздумали-бы приняться за свою критическую дѣятельность. Популяризаторская работа Людовика XIV оказалась до такой степени успѣшной, что народъ обезумѣлъ отъ радости, узнавши о его смерти. Конечно никто, кромѣ самого Людовика XIV, не могъ насадить и воспитать такія пѣжныя чувства въ сердцахъ французскаго народа, гордившагося своей пламенной привязанностью къ династіи Бурбоновъ. А безъ этого основнаго фундамента, заложеннаго самимъ Людовикомъ XIV, развитіе и распространеніе отрицательныхъ доктринъ было бы невозможно. Смѣлые и проникательные мыслители могли-бы правда понимать нелогичности и неточности господствующаго міросозерцанія; они могли бы замѣчать неразумность установившихся междучеловѣческихъ отношеній; но они постоянно чувствовали-бы свое одиночество, и врядъ-ли даже рѣшились-бы дѣлаться съ массою своими непочтительными размышленіями. Масса не стала-бы ихъ слушать. Масса заставила бы ихъ молчать, потому что масса очень охотно мирится со всякими несообразностями, если только она къ нимъ привыкла, и если онѣ не причиняютъ ей чрез-

чуръ невыносимой боли. Но такъ какъ французскіе Людовики и Филиппы позаботились о томъ, чтобы эта боль сдѣлалась дѣйствительно невыносимой, то размышленіе, анализъ и отрицаніе оказались настоятельной потребностью для самыхъ обыкновенныхъ умовъ, и масса, вынужденная своими правителями, направилась по повелѣнію къ древу познанія добра и зла.

II.

Открытіе Америки, кругосвѣтное плаваніе Магеллана и астрономическія изслѣдованія Коперника, Кеплера и Галилея показали ясно всѣмъ знающимъ и мыслящимъ людямъ, что мірозданіе устроено совсѣмъ не по тому плану, который рисовали впродолженіи многихъ столѣтій папы, кардиналы, епископы и доктора всѣхъ высшихъ схоластическихъ наукъ. Разрывъ между свободной мыслью изслѣдователей и вѣковыми традиціями католицизма и протестантизма былъ очевиденъ, но очевиденъ только для тѣхъ немногихъ людей, которые серьезно посвящали себя научнымъ занятіямъ. Массѣ до этого разрыва не было никакого дѣла, и она продолжала подчиняться традиціямъ, которыхъ несостоятельность была доказана съ математической точностью. Увлечъ массу вслѣдъ за передовыми мыслителями могла только невыносимая боль, причиненная ей ея любезными традиціями. Такая боль дѣйствительно явилась къ услугамъ массы въ видѣ тѣхъ преслѣдованій, которымъ остроумный король Людовикъ XIV вздумалъ подвергнуть протестантовъ въ концѣ XVII вѣка. Всѣ мы конечно слышали слово *драгоннады*, и всѣ мы знаемъ, что этимъ словомъ обозначаются какія-то скверныя штуки, которыя продѣлывались французскими драгунами надъ французскими протестантами. Но далеко не всѣ мы знаемъ, до какихъ предѣловъ простиралась скверность этихъ штукъ. Представьте себѣ, что на мирныхъ и беззащитныхъ гражданъ напускали солдаты, которымъ было дано право забавляться надъ ними, какъ угодно, лишь-бы только эти граждане не умирали на мѣстѣ отъ солдатскихъ увеселеній; представьте себѣ далѣе, что тогдашніе солдаты, получивши такія завидныя права, обнаружили остроуміе и тонкую изобрѣтательность краснокожихъ индѣйцевъ, захватившихъ въ плѣнъ злѣйшаго и опаснѣйшаго врага. Что они насмѣивались женъ и дочерей протестантовъ въ присутствіи родителей и мужей, это уже само собою разумѣется и составляетъ только добродушно-комическую прелюдію ихъ веселыхъ шалостей. Настоящая-же шалость была болѣе серьезнаго характера: солдаты втыкали въ упорныхъ еретиковъ булавки съ ногъ до головы, рѣзали ихъ перочинными ножами, рвали носы раскаленными щипцами, вырывали ногти

на пальцахъ рукъ и ногъ, лили въ ротъ кипятокъ, ставили ноги въ растопленное сало, которое постепенно доводилось до кипѣнія. «Одного изъ протестантовъ, — говоритъ Вокль, — по имени Рю, они крѣпко связали, сжали пальцы на рукахъ, воткнули булавки подъ ногти, жгли пороховъ въ ушахъ, проткнули во многихъ мѣстахъ ляшки и налили уксусу и насыпали соли въ раны.» Въ это — же самое время такіе — же точно эпизоды разыгрывались, по приказанію Іакова II, въ Шотландіи надъ тамошними пресвитеріанцами. Такія вещи, совершающіяся не въ глухомъ застѣнкѣ, не по приговору судьи, не по правиламъ уголовной практики, а на улицахъ или въ частныхъ домахъ, по свободному вдохновенію пьяныхъ солдатъ, — могли-бы произвести очень непріятное впечатлѣніе даже на такую страну, которая была-бы сплошь заселена фанатическими и совершенно невѣжественными католиками. Но Франція Людовика XIV уже гордилась своей блестящей литературой, своимъ высоко-развитымъ искусствомъ, своими утонченными и отполированными манерами. Эта Франція была уже достаточно вылечена отъ средневѣкового фанатизма страданіями междуусобныхъ войнъ и ужасами Варолюмеевской ночи. Отмѣненіе Нантскаго эдикта и драгоннады не могли быть особенно пріятны даже и для католическаго населенія страны. Протестанты были народъ трудолюбивый, промышленный, торговый и зажиточный; у нихъ было много дѣловыхъ сношеній и связей со всѣмъ промышленнымъ и торговымъ міромъ Франціи; всѣ эти связи должны были вдругъ оборваться; при этомъ конечно многимъ католическимъ купцамъ и фабрикантамъ пришлось ухватиться за карманъ и усомниться въ излишнемъ усердіи великаго короля. Во всей торговлѣ должно было произойти такое замѣшательство, которое вѣроятно доказало многимъ искреннимъ католикамъ, что фанатическія преслѣдованія ведутъ за собою чувствительныя неудобства.

Вслѣдъ за отмѣненіемъ Нантскаго эдикта полмилліона протестантовъ выселились изъ Франціи. Они бѣжали въ Голландію, въ Швейцарію, въ Пруссію, въ Англію и даже въ Сѣверную Америку. Можно себѣ представить, какое потрясающее впечатлѣніе должны были производить на всѣхъ ближайшихъ сосѣдей Франціи эти длинныя вереницы переселенцевъ, изъ которыхъ многіе были истомлены нуждой и голодомъ и изъ которыхъ каждый сообщалъ какія-нибудь новыя подробности о разыгравшихся сценахъ угнетенія, грабежа, насилія и мучительства. Въ томъ поколѣніи, которое видѣло этихъ измученныхъ бѣглецовъ, еще были живы страшныя преданія о насиліяхъ и опустошеніяхъ тридцатилѣтней войны; сближая эти свѣжія преданія съ тѣми картинками, которыя

развертывались теперь передъ его глазами, всякій лавочникъ, всякій ремесленникъ, всякій простой мужикъ могъ думать, что подвигается новая тридцатилѣтняя война католиковъ съ протестантами. Такой войны не могъ желать ни одинъ здравомыслящій человѣкъ, тѣмъ болѣе, что слѣды этой войны были еще слишкомъ живы на всемъ пространствѣ германской территоріи. Но, глядя на французскихъ изгнанниковъ, каждый неглупый человѣкъ легко могъ сообразить, что война, подобная тридцатилѣтней, будетъ постоянно, какъ дамокловъ мечъ, висѣть надъ Европой до тѣхъ поръ, пока протестанты и католики не перестанутъ ненавидѣть и преслѣдовать другъ друга. Когда масса была наведена на подобныя мысли живыми и яркими впечатлѣніями дѣйствительной жизни, тогда проповѣдь всеобщей терпимости становилась въ высшей степени умѣстной, и давнишняя борьба передовыхъ мыслителей противъ фанатизма получала возможность увѣнчаться самымъ блистательнымъ успѣхомъ. Мыслители, опираясь на общеизвѣстные факты, могли сказать массѣ громко и торжественно, что ея страданія и преступленія не будутъ конца до тѣхъ поръ, пока не уничтожится въ ея коллективномъ умѣ то основное заблужденіе, изъ котораго развиваются фанатическій энтузіазмъ и фанатическая ненависть. При всей своей ребяческой нѣжности къ основному заблужденію, несогласному съ дознанными законами природы, масса все-таки была расположена терпѣливо слушать серьезныя поученія мыслителей, потому что воспоминанія о тридцатилѣтней войнѣ и блѣдныя лица французскихъ бѣглецовъ поневолѣ наводили массу на непривычныя для нея размышленія. Католическіе и протестантскіе клерикалы съ своей стороны старались помѣръ силъ помогать мыслящимъ проповѣдникамъ терпимости разными мелкими гадостями и прижимками, которыя каждый день напояли понемногу массѣ о крупныхъ страданіяхъ и преступленіяхъ, вытекающихъ вмѣстѣ съ фанатизмомъ изъ основнаго заблужденія.

Драгоннады одобрялись безусловно самыми блестящими представителями галликанской церкви.

L'illustre Bossuet былъ ревностнымъ и краснорѣчивымъ панегиристомъ этихъ энергическихъ распоряженій. Либераль и филантропъ Фенелонъ, часто критиковавшій дѣйствія правительства въ письмахъ къ вліятельнымъ лицамъ, во всю свою жизнь не сказалъ ни одного слова противъ преслѣдованія протестантовъ. Подобные факты постоянно вели общество къ тому убѣжденію, что клерикалы давно и навсегда разучились служить дѣлу любви и милосердія, и что ихъ одрахлавшая корпорація съ каждымъ годомъ становится болѣе вредной для общественнаго развитія. На этомъ убѣжденіи

разсуждающая масса начала сходиться съ передовыми умами. Мыслители замѣтили признаки такого зарождающагося взаимнаго пониманія и, пользуясь благоприятными условиями времени, заговорили противъ суевѣрія и фанатизма такими смѣлымъ и вразумительнымъ языкомъ, каковаго никогда еще не слыхала Европа.

Въ то самое время, когда Людовикъ XIV безобразничалъ и неистовствовалъ во Франціи, одинъ изъ его вѣрноподданныхъ, протестантъ Пьеръ Бэйль, издавалъ въ Голландіи журналы, книги и брошюры, въ которыхъ общепонятнымъ, живымъ и увлекательнымъ французскимъ языкомъ провозглашалась полная автономія разума и доказывалась совершенная непримиримость его требованій съ духомъ и буквой традиціонныхъ доктринъ. Живя въ свободной странѣ, Бэйль все-таки не могъ высказываться вполне открыто. Его убѣжденія испугали и оттолкнули бы его современниковъ. Эти убѣжденія пришлось не по вкусу даже Вольтеру. Поэтому Бэйль, не вдаваясь въ догматическое изложеніе своихъ собственныхъ идей, ограничивался постоянно вѣжливой, осторожной, но очень остроумной и язвительной критикой тѣхъ понятій, во имя которыхъ соорудились костры и опустошались цѣлѣтущія области. Тонъ Бэйля отличался обыкновенно почтительностью и смиреніемъ, но въ этой смиренной почтительности слышится для каждаго мыслящаго читателя бездонная глубина сомнѣній и отрицаній. Бэйль высказывалъ не все, что думалъ; но даже и то, что онъ высказывалъ, бывало иногда изумительно смѣло. Такъ напримѣръ, уже въ 1682 году онъ утверждалъ печатно, что невѣріе лучше суевѣрія; поэтому онъ требовалъ отъ государства неограниченной терпимости даже и для крайнихъ еретиковъ. Это требованіе повторялось не разъ въ его брошюрахъ, написанныхъ по поводу преслѣдованія французскихъ протестантовъ. Далѣе тотъ-же неустранимый мыслитель задавалъ себѣ и обсуживалъ съ разныхъ сторонъ вопросъ: можетъ ли существовать государство, составленное изъ атеистовъ? На этотъ вопросъ Бэйль не даетъ прямого отвѣта, но весь процессъ его доказательствъ очевидно клонится къ тому результату, что нравственность можетъ существовать независимо отъ культа. — Эти мысли Бэйля остаются очень смѣлыми даже и для нашего времени. Въ журналѣ Бэйля «Nouvelles de la république des lettres» забавлялся иногда анти-клерикальными шалостями остроумный писатель Фонтенель. Въ 1686 году, въ то самое время, когда французскіе протестанты терпѣли жестокое преслѣдованіе, въ журналѣ Бэйля появилась сатирическая аллегорія Фонтенеля, въ которой осмѣивался весь споръ католиковъ съ протестантами. «Письмо, — говоритъ Геттнеръ, — писанное будто-бы въ Батавіи, разсказываетъ, что на островѣ Борнео спорили о

престолонаслѣдіи двѣ сестры: Мери (Mero, Rome) и Энегъ (Enègue, Genève), т. е. католицизмъ и протестантизмъ. Мери признана была безъ затрудненія, но скоро невыносимымъ гнетомъ и притѣсненіями оттолкнула отъ себя всѣ болѣе свободные умы; всѣ подданные должны были сообщать ей самыя тайныя свои мысли, приносить ей всѣ свои деньги; высшая милость, которую оказывала королева, было цѣлованіе ноги, но прежде, чѣмъ ихъ допускали къ этому, они должны были преклониться передъ костями умершихъ любимцевъ. Тогда выступила новая королева, Энегъ. Она уничтожаетъ всѣ эти жестокія нововведенія, требуетъ себѣ престола, называетъ себя настоящей дочерью недавно умершей королевы и доказываетъ эти притязанія своимъ сходствомъ съ матерью, между тѣмъ какъ Мери съ своей стороны сильно заботилась о томъ, чтобы скрывать и поддѣлывать портреты матери». — Въ томъ же 1686 году появилась книга Фонтенеля «Entretiens sur la pluralité des mondes» («Разговоры о множествѣ міровъ»). Эта книга развивала въ популярной формѣ тѣ самыя мысли, за которыя въ началѣ XVII столѣтія сгорѣлъ на кострѣ Джіордано Бруно. Фонтенель старался провести въ сознаніе всего читающаго общества астрономическія открытія Коперника и философскія идеи о природѣ, созданныя творческой фантазіей Декарта. Тутъ, разумѣется, было объяснено подробно, что неподвижныя звѣзды — не лампы, прицѣпленныя къ небесному своду для освѣщенія земли, а великіе центры самостоятельныхъ планетныхъ системъ, составленныхъ изъ такихъ небесныхъ тѣлъ, на которыхъ по всей вѣроятности развивается своя собственная, богатая и разнообразная органическая жизнь. Эта мысль, за которую римская инквизиція сожгла Джіордано Бруно, очень благополучно сошла съ рукъ Фонтенелю, несмотря на то, что его книга, изданная при Людовикѣ XIV, произвела на читающую публику сильное впечатлѣніе и поправила даже легкомысленнымъ свѣтскимъ людямъ, совершенно неспособнымъ къ серьезнымъ умственнымъ занятіямъ. Въ 1687 году Фонтенель издалъ «Исторію оракуловъ», въ которой онъ разбиралъ хитрости языческихъ жрецовъ, стараясь при этомъ навести читателя на разныя поучительныя размышленія о современной дѣйствительности. Хранители общественной нравственности поняли наконецъ, куда клонятся литературныя забавы Фонтенеля. Тутъ всплыла на верхъ и аллегорія о двухъ царяхъ острова Борнео. Ключъ къ ея пониманію отыскался, и Фонтенелю было поставлено на видъ, что его ожидаетъ Бастилія. Фонтенель тотчасъ-же раскаялся, исправился, сталъ изливать на іезуитовъ потоки хвалебныхъ стихотвореній и съ тѣхъ поръ навсегда пересталъ

огорчать хранителей общественной непорочности. За такое благоправіе Фонтенель сподобился прожить на свѣтѣ сто лѣтъ. Онъ умеръ въ 1757 году, когда Вольтеръ уже господствовалъ надъ общественнымъ мнѣніемъ всей Европы.

III.

Людовикъ XIV умеръ въ 1715 году. Вольтеру было въ это время съ небольшимъ двадцать лѣтъ, и онъ уже былъ на столько извѣстенъ въ парижскомъ обществѣ своей извѣстностью, что, когда по рукамъ стала ходить рукописная сатира противъ покойнаго короля, — эта сатира была приписана Вольтеру, который впрочемъ былъ совершенно неповиненъ въ ея сочиненіи. За это мнимое преступленіе Вольтеръ повалъ на годъ въ Бастилію. Въ 1726 году Вольтеръ еще разъ посидѣлъ въ Бастиліи за ссору съ шевалье де-Роганомъ, который впрочемъ былъ самъ кругомъ виноватъ и вообще дѣйствовалъ въ отношеніи къ Вольтеру самымъ безчестнымъ и позорнымъ образомъ. Второе заключеніе Вольтера продолжалось недолго: по словамъ Бокля — полгода, а по мнѣнію Геттнера — всего двѣнадцать дней. Кто изъ нихъ правъ, Бокль или Геттнеръ, этого я не знаю, да это и не важно. Если мы примемъ цифру Бокля, какъ болѣе крупную, то и тогда окажется, что Вольтеръ, прожившій на свѣтѣ почти 84 года и сражавшійся съ самыми сильными человѣческими предрасудками слишкомъ 60 лѣтъ, просидѣлъ въ тюрьмѣ всего полтора года, да и то по такимъ причинамъ, которыя съ его литературной дѣятельностью не имѣютъ ничего общаго. Этими двумя ничтожными заключеніями ограничиваются всѣ враждебныя столкновенія Вольтера съ предрѣжащими властями. Вся остальная жизнь его протекала весело, спокойно, въ почетѣ и въ довольствѣ. Онъ велъ переписку почти со всеми европейскими государями, въ томъ числѣ и съ папами. Онъ со всѣхъ сторонъ получалъ пенсіи и знаки отличія. Онъ былъ *gentilhomme ordinaire de la chambre du roi*, камергеромъ Фридриха Великаго, официальнымъ исторіографомъ Франціи и членомъ французской академіи. Онъ пукался во всякія спекуляціи, игралъ на биржѣ, принималъ участіе въ государственныхъ займахъ и поставкахъ для войска; онъ хитрилъ, барышничалъ, клаязничалъ и даже мошенничалъ. Онъ нажилъ и сохранилъ большое состояніе. Онъ дошелъ до такихъ извѣстныхъ степеней, которымъ могъ-бы позавидовать даже Молчалинъ. И при всемъ томъ онъ постоянно оставался Вольтеромъ, — тѣмъ неутомимымъ бойцомъ, тѣмъ великимъ публицистомъ, который не имѣетъ себѣ равнаго въ исторіи, и котораго имя до сихъ поръ наводитъ на всѣхъ европейскихъ піетистовъ

самый комическій ужасъ. — Какимъ образомъ могъ Вольтеръ гоняться за двумя зайцами и успѣшно ловить ихъ обоихъ? Какимъ образомъ могъ онъ въ одно и то-же время стоять во главѣ философской оппозиціи и пользоваться инстинктивнымъ расположеніемъ всѣхъ высшихъ начальствъ? — Это замѣчательное явленіе, которое теперь сдѣлалось уже навсегда невозможнымъ, объясняется, по моему крайнему разумію, только тѣмъ обстоятельствомъ, что сила человеческой мысли и возможные послѣдствія умственнаго движенія были въ то время еще очень мало извѣстны всѣмъ начальствующимъ лицамъ и корпораціямъ.

Правители XVIII вѣка, подобно средневѣковымъ государямъ и папамъ, не боялись мысли преслѣдовали оппозиціонныхъ мыслителей, и какъ нарушителей общественного спокойствія, а какъ нахаловъ, осмѣливающихся думать и говорить дерзости. Наказанія клонились совсѣмъ не къ тому, чтобы предотвратить вредъ, могущій произойти отъ дѣятельности писателя; объ этомъ вредѣ никто и не думалъ. Какой, дескать, вредъ можетъ сдѣлать ничтожный и голодный прихвостъ, марающій бумагу для того, чтобы зашибить нѣсколько грошей на хлѣбъ и на drink. Наказанія имѣли только тотъ смыслъ, что, жолъ, не смѣй ты, бестія и прощальга, соваться съ твоими глупыми разсужденіями туда, гдѣ тебѣ не спрашиваютъ. Наказанія были мщеніемъ за дерзость и поэтому обусловливались исключительно силою того гнѣва, которымъ обуревалась важная особа, имѣющая власть карать и мловать. Вслѣдствіе этого самой опасной была для писателей именно та отрасль литературы, которая была всего ничтожнѣе и всего менѣе могла дѣйствовать на общественную жизнь въ какомъ бы то ни было направленіи. Всего болѣе доставалось сочинителямъ сатиръ или пасквилей, направленныхъ противъ отдѣльных личностей. Напишите вы, напримѣръ, игривые стишки о томъ, что дворецкій маркиза А обладаетъ сизымъ носомъ и толстымъ брюхомъ, — васъ почти навѣрное засадятъ въ тюрьму, потому что маркизъ А сочтетъ себя оскорбленнымъ въ лицѣ своего любимаго лакея и, пылая благородной амбіціей, непремѣнно выхлопочетъ на ваше имя *lettre de cachet*. Попробуйте-же вы, напротивъ того, не затрогивая брюха и носа, самымъ осторожнымъ образомъ перевернуть вверхъ дномъ вашей книгой всѣ господствующія въ официальныхъ сферахъ понятія о юстиціи, о финансовомъ управленіи, о сословныхъ отношеніяхъ, о международномъ правѣ, о какомъ нибудь другомъ предметѣ первостепенной важности, — и опасность окажется для васъ гораздо менѣе значительной, чѣмъ въ первомъ случаѣ. Если-же вамъ жаль только, чтобы эта опасность уменьшилась до нуля, то сдѣлайте вотъ что: посвятите вы вашу книгу тому самому начальствующему лицу, бо-

торого идеи вы подвергаете самой разрушительной критикѣ; кромѣ того разыщите въ вашемъ введеніи и въ примѣчаніяхъ множество самыхъ восторженныхъ и самыхъ голословныхъ комплиментовъ всѣмъ тѣмъ сильнымъ особамъ, которыхъ систему вы отрицаете на-посвалъ. Книга ваша пройдетъ тогда совершенно безпрепятственно. Всѣ вліятельныя лица скажутъ, что ваши идеи конечно довольно опрочетчивы, но что вы сами—человѣкъ благословитанный, скромный и почтительный, и что слѣдовательно нѣтъ никакой надобности огорчать васъ запрещеніемъ вашей книги или препровожденіемъ вашей особы въ Бастилію.

Съ тѣхъ поръ какъ существуютъ человѣческія общества и вплоть до самаго XVIII вѣка, литература считалась постоянно забавой, очень тонкой и благородной, пожалуй даже возвышенной, но совершенно лишенной всякаго серьезнаго значенія, политическаго или общественнаго. Писатель могъ быть художникомъ или мудрецомъ, но въ глазахъ дѣловыхъ людей онъ всегда оставался балаганникомъ, кривляющимся для собственнаго удовольствія и потѣхи публики. Литература стояла на одной доскѣ съ музыкой, живописью и скульптурой. Она могла украшать жизнь фешенебельнаго общества, но никто не повѣрилъ-бы, что она можетъ отливать эту жизнь въ совершенно новыя формы.

Въ XVIII столѣтіи чтеніе сдѣлалось насущной потребностью для тѣхъ классовъ общества, которые распоряжаются судьбою народовъ. Тотъ матеріалъ, которымъ удовлетворяется эта новая потребность, получилъ очень важное значеніе. Фабриканты этого матеріала сдѣлались изготовителями общественнаго мнѣнія. Книги, журналы и газеты образовали между тысячами и десятками тысячъ индивидуальныхъ умовъ такую тѣсную и крѣпкую связь, которая до того времени была невозможна и немислима. Съ тѣхъ поръ какъ народилось на свѣтъ невиданное диво—общественное мнѣніе цѣлой націи, цѣлой большой страны—съ этихъ поръ, говорю я, писатели сдѣлались для европейскіхъ обществъ тѣмъ, чѣмъ были для крошечныхъ греческихъ республикъ ораторы.

«Я думаю,—говорилъ въ нижней палатѣ членъ англійскаго парламента, Данверсъ, я думаю, Великобританіей управляетъ власть, о верховномъ преобладаніи которой до сихъ поръ не было слышно ни въ какой вѣкъ, ни въ какой странѣ. Власть эта, сэръ, не состоитъ въ неограниченной волѣ одного государя, ни въ силѣ войска, ни во вліяніи духовенства,—это также не власть юбокъ; это—власть печати, сэръ. Матеріалы, которыми наполняются ваши ежедневныя газеты, читаются съ большимъ уваженіемъ, чѣмъ акты парламента; а мнѣніе каждаго изъ этихъ писакъ имѣетъ въ глазахъ толпы больше значенія, чѣмъ мнѣніе лучшихъ

политическихъ людей королевства.» Эти слова были произнесены въ 1738 году, и Бокль говорить, что это—самое раннее указаніе на возникающую власть печати, которая въ первый разъ во всемірной исторіи сдѣлалась выразительницей общественнаго мнѣнія. Въ половинѣ XVIII вѣка Малербъ, директоръ департамента по дѣламъ печати, вступая во французскую академію, говорилъ такъ: «литература и философія теперь снова завоевали себѣ ту свободу, какую онѣ имѣли въ древней Греціи; онѣ даютъ народамъ законодателей; благородное одушевленіе овладѣло всѣми умами; пришло время, когда каждый, способный мыслить и писать, чувствуетъ себя обязаннымъ направить свои мысли къ общему благу». Академическія рѣчи всегда переполняются общими мѣстами, пріятными для слушателей, для правительства, для академіи и для всѣхъ вообще присутствующихъ и отсутствующихъ, живыхъ и умершихъ. Поэтому-то именно слова Малерба и должны имѣть въ нашихъ глазахъ особенную знаменательность. Если та мысль, что литература и философія даютъ народамъ законодателей, сдѣлалась общимъ мѣстомъ, очень приличнымъ въ официальной академической рѣчи, произнесенной важнымъ и солиднымъ чиновникомъ, начальникомъ французской печати, то, разумѣется, взглядъ на писателей какъ на милыхъ забавниковъ окончательно смѣнился тѣмъ серьезнымъ взглядомъ, вслѣдствіе котораго каждый мыслящій писатель чувствуетъ себя обязаннымъ направить свои мысли къ общему благу. Если-же мы воротимся назадъ, не очень далеко, всего только къ эпохѣ Людовика XIV, то мы увидимъ, что литература все еще продолжаетъ забавлять публику (*divertir le public*), какъ говорить о самомъ себѣ Пьеръ Корнель) и ни о какомъ общемъ благѣ не смѣетъ подумать. Кто стоитъ на первомъ планѣ во французской литературѣ XVII вѣка?—Корнель, Расинъ, Буало, Мольеръ. За какія заслуги?—За чувствительныя трагедіи, за веселыя комедіи, за ничтожныя сатиры, и преимущественно за чистоту языка и за изящество стиховъ. Правда, что въ «Тартюфѣ» Мольера можно уже замѣтить отдаленный пророческій намекъ на будущую роль литературы. Кто стоитъ на первомъ планѣ во французской литературѣ XVIII вѣка?—Вольтеръ, Монтескьё, Дидро, Руссо, Гельвецій, Бомарше. За что?—За такія произведенія, которыя затрогиваютъ съ разныхъ сторонъ самые важные и глубокіе вопросы міросозерцанія частной нравственности общественной жизни. Ясно, стало быть, что перемѣна совершилась именно на рубежѣ двухъ столѣтій, XVII и XVIII. Впечатлѣніе, произведенное книгами Фонтенеля и журналами Вэйля, можетъ считаться поворотнымъ пунктомъ въ великомъ превращеніи литературы изъ милой забавы въ серьезное дѣло.

Такъ какъ дѣятельность Вольтера и его ближайшихъ преемниковъ вплоть до 1789 года была первымъ яркимъ проявленіемъ серьезной и вліятельной литературы, превратившейся въ общественную силу, то, разумѣется, отношенія этой дѣятельности къ тогдашнимъ властямъ были еще очень неясны, неопредѣленны и подвержены многимъ колебаніямъ. Власти видѣли, что народилась на свѣтъ новая сила, но онѣ еще не знали, что это за сила, и чего отъ нея можно ожидать, и до какихъ размѣровъ можетъ дойти ея развитіе, и какимъ образомъ слѣдуетъ съ нею обращаться. Власти смотрѣли на возрастающую силу литературы не со страхомъ, а скорѣе съ любопытствомъ и даже съ тщеславнымъ удовольствіемъ. Властямъ было пріятно видѣть, что подъ ихъ господствомъ плодятся такія чудеса, о которыхъ прежнія времена не имѣли понятія. Въ простотѣ души своей, тогдашнія власти играли съ великими идеями такъ же весело и беззаботно, какъ невинныя дѣти могутъ играть съ заряженными пистолетами. Конечно иногда задавались писателямъ сильныя острастки, но именно эти-то острастки и обнаруживаютъ всю невинность и беззаботность тогдашнихъ властей; въ этихъ остраткахъ не было ничего систематическаго; онѣ давались отъ полноты начальственной досады и для проявленія начальственного величія; ихъ можно было всегда предотвратить выраженіями покорности и благовоспитанности, а также вліяніемъ личныхъ связей и сильныхъ протекцій. Словомъ, замѣчая совершенно новое положеніе литературы, тогдашнія власти, по старой привычкѣ, все-таки продолжали обходиться съ этой обновившейся литературой такъ, какъ взбалмошная барыня обходится съ комнатной собачкой. У тогдашнихъ властей не хватало характера и послѣдовательности ни на то, чтобы обольстить и усыпить писателей постоянной любезностью, ни на то, чтобы запугать и раздавить ихъ желѣзной строгостью. Поэтому писатели очень сильно ненавидѣли правительство и очень мало боялись его.

Вокль съ большимъ негодованіемъ говоритъ о тѣхъ преслѣдованіяхъ, которымъ подвергалась въ прошломъ столѣтіи французская литература. Такое негодованіе какъ нельзя болѣе понятно со стороны англійскаго радикала, для котораго неограниченная свобода печати сдѣлалась насущной потребностью организма. Но отъ глубокомысленнаго историка, подобнаго Воклю, мы имѣемъ право ожидать и требовать болѣе объективнаго взгляда на дѣло. Если мы просто будемъ сравнивать положеніе современныхъ писателей съ положеніемъ писателей прошлаго столѣтія, то мы найдемъ, быть можетъ, что положеніе первыхъ почетнѣе и безопаснѣе. Но если мы вслѣдствіе этого выведемъ заключеніе, что положеніе литературы съ прошлаго столѣтія

улучшилось, и что мы должны сокрушаться надъ жестокими страданіями нашихъ предшественниковъ, то мнѣ кажется, что мы сдѣлали ошибку. Какъ граждане болѣе благоустроенныхъ государствъ, современные европейцы дѣйствительно счастливѣе своихъ дѣдовъ; и какъ писатели, современные европейцы испытываютъ себѣ болѣе препятствій и терпятъ болѣе преслѣдованій. Сравните общіе уголовные законы и уголовное судопроизводство прошлаго столѣтія съ общими уголовными законами и уголовнымъ судопроизводствомъ нашего времени. Вы найдете громадную разницу: съ одной стороны — пытка и мучительныя смертныя казни съ другой стороны — почти полная отмена простой смертной казни, пенитенціарныя тюрьма и судъ присяжныхъ. Положимъ, что пенитенціарная система не Богъ знаетъ какаго совершенства, но во всякомъ случаѣ гораздо удобнѣе сидѣть въ тюрьмѣ, чѣмъ умирать на колесѣ или на костре. Кромѣ того гораздо удобнѣе защищаться передъ присяжными, чѣмъ давать показанія въ застѣнкѣ. Значитъ, улучшеніе есть, и значительное. Спросите-же вы теперь, распространяется-ли это улучшеніе на писателей? То есть, задайте себѣ два вопроса: поступали-ли съ писателями XVIII вѣка во всей строгости тогдашнихъ уголовныхъ законовъ? и поступаютъ-ли съ теперешними писателями по всей строгости теперешнихъ уголовныхъ законовъ? На первый вопросъ исторія XVIII вѣка отвѣтитъ вамъ: «нѣтъ». На второй вопросъ современная дѣйствительность отвѣтитъ вамъ: «да». Съ теперешними писателями обращаются точно такъ-же, какъ съ теперешними обыкновенными преступниками. Съ писателями XVIII вѣка, напротивъ того, обращались гораздо деликатнѣе и гуманнѣе, чѣмъ съ тогдашними обыкновенными преступниками.

Значитъ, положеніе писателей, а слѣдовательно и литературы, ухудшилось съ прошлаго столѣтія, хотя въ то же время всякому человеку, писателю и не писателю, жить удобнѣе въ XIX вѣкѣ, чѣмъ въ XVIII. Жить удобнѣе, но писать труднѣе. При этомъ, разумѣется, Англію невозможно принимать въ расчетъ, потому что въ Англіи писатель, какъ писатель, не можетъ сдѣлаться преступникомъ и не имѣетъ никакого отношенія къ уголовнымъ законамъ. Вокль собралъ много примѣровъ тѣхъ жестокихъ преслѣдованій, въ которыхъ онъ обвиняетъ французскихъ администраторовъ прошлаго столѣтія. Въ чемъ-же состоятъ эти преслѣдованія?—Въ томъ, что сочиненіе конфискуется или сжигается *par la main du bourreau* (рукою палача), авторъ сажается въ крѣпость, въ тюрьму. На долго-ли по крайнѣй мѣрѣ сажается? Лѣтъ на тридцать или двадцать? Увы, нѣтъ! Всего чаще на нѣсколько мѣсяцевъ. Былъ-ли хоть одинъ изъ тогдашнихъ

писателей сожженъ, колесованъ, повѣшенъ, или по крайней мѣрѣ сосланъ на галеры? Подвергался-ли хоть одинъ писатель пыткамъ? Ни одинъ. А между тѣмъ пытка была тутъ какъ нельзя болѣе умѣстна. Большая часть самыхъ знаменитыхъ и смѣлыхъ книгъ выходила тогда въ свѣтъ безъ имени автора, и авторъ въ случаѣ переполоха обыкновенно отрекался отъ своего сочиненія. Вотъ тутъ-то бы и слѣдовало вывертывать ему руки и сокрушать ноги для полученія чистосердечнаго признанія. Еслибы въ XVIII столѣтїи смотрѣли на литературу такъ-же сурово, какъ смотрятъ на нее въ XIX, то многимъ энциклопедистамъ пришлось-бы побывать въ застѣнкахъ.

Самое строгое наказаніе, обрушившееся въ прошломъ столѣтїи на французскаго писателя, изображено у Вольтера слѣдующимъ образомъ: «Де-Форжъ наиримѣрь, писавшій противъ ареста претендента на англійскій престолъ, былъ только за это заключенъ на три года въ подземелье, имѣвшее 8 квадратныхъ футовъ». А въ примѣчаніи добавлена та подробность, что свѣтъ доходилъ къ преступнику только сквозь расщелину церковной лѣстницы. По нашему теперешнему масштабу это—сущіе пустяки. Латюдъ высидѣлъ больше двадцати лѣтъ въ разныхъ тюрьмахъ единственно за то, что, желая пріобрѣсти себѣ протекцію маркизы де-Помпадуръ, пустилъ въ ходъ очень плоскую и неискусную мистификацію. Нѣкоторые изъ тюремъ Латюда были не лучше того подземелья, въ которомъ сидѣлъ де-Форжъ.—Драматическій писатель Фаваръ былъ посаженъ въ крѣпость за то, что его жена, актриса Шантильи, не хотѣла свѣдѣть любовницей Мориса Саксонскаго. Долго-ли онъ просидѣлъ, этого я не знаю, но ужъ и то достаточно выразительно, что его посадили за такую провинность. Наконецъ надобно еще замѣтить, что *lettres de cachet* (приказы объ арестованіи) для нѣкоторыхъ важныхъ особъ составляли предметъ выгодной торговли. За известную сумму денегъ можно было получать бланкъ и написать на немъ имя того лица, которое, по соображеніямъ покупателя, должно было переселиться въ Бастилію. Однажды случилось, что двое супруговъ смертельно надоели другъ другу; оба заинтересованные стороны отправились хлопотать о *lettres de cachet*, и оба достигли своей цѣли, такъ что мужа посадили въ тюрьму по ходатайству жены, а жену—по ходатайству мужа. Ясное дѣло, что личная свобода гражданъ ставилась ни во что. Человѣка сажали въ тюрьму, человѣка забывали въ тюрьмѣ на десятки лѣтъ, власти забывали даже, за чѣмъ былъ посаженъ человѣкъ,—и никто не находилъ это особенно удивительнымъ. Но мало-мальски извѣстный и замѣчательный писатель не могъ быть такимъ образомъ забытъ и забро-

шенъ. Его помнили, объ немъ хлопотали, его вытаскивали на свободу. Словомъ, въ тогдѣшнемъ обществѣ, въ которомъ было сносно жить только привилегированнымъ классамъ, писательство было знакомъ отличія, дававшимъ нѣкоторыя льготы и преимущества. Чѣмъ самостоятельнѣе и смѣлѣе былъ писатель, тѣмъ значительнѣе была его извѣстность, и тѣмъ бережнѣе обходились съ нимъ власти, потому что онъ въ ихъ глазахъ получалъ значеніе аристократа. Все это происходило, разумѣется, отъ неопытности властей, но именно вслѣдствіе этой неопытности официальныхъ дѣятелей Вольтеръ имѣлъ возможность вести свою пропаганду подъ покровительствомъ важныхъ особъ, охранявшихъ общественную нравственность.

Кому дороги результаты вольтеровской дѣятельности, тотъ не долженъ ставить Вольтеру въ упрекъ его хитрости, ухаживанія и заискиванія. Всѣ эти маневры помогали успѣху главнаго дѣла; сгибаясь часто въ дугу, вмѣсто того чтобы драпироваться въ мантию маркиза Позы, Вольтеръ въ то-же время никогда не упускалъ изъ виду единственной цѣли своей жизни. Онъ льстилъ своимъ высокимъ покровителямъ и превращалъ ихъ въ свои орудія. Вольтеръ былъ достаточно мелоченъ, чтобы искать знаковъ отличія и тщеславиться ими, но его страстная любовь къ идеѣ была такъ сильна, эта любовь такъ безраздѣльно господствовала надъ всѣми его поступками, что онъ невольно, по непреодолимому влеченію и безъ малѣйшей борьбы, обращалъ на служеніе своей идеѣ всѣ связи и протекціи, которыя ему удавалось пріобрѣтать.—Никому изъ высокихъ покровителей Вольтера даже и не приходило въ голову, чтобы существовала какая-нибудь возможность подкупить или обезоружить Вольтера и отвлечь его ласками или почестями отъ той смертельной борьбы, которую онъ велъ противъ клерикализма. Кто покровительствовалъ Вольтеру, тотъ самъ становился подъ его знамя, подчинялся его могуществу и обзывался по меньшей мѣрѣ не мѣшать распространенію рационализма. Въ мірѣ мысли Вольтеръ не дѣлалъ никому ни малѣйшей уступки, да никто не осмѣливался и требовать отъ него такихъ уступокъ. Зато въ своихъ пріемахъ и аллюрахъ Вольтеръ былъ гибокъ и эластиченъ, какъ хорошо закаленная стальная пружина. Въ своей частной жизни онъ готовъ былъ разыгрывать безпрекословно всѣ тѣ комедїи, которыхъ могло потребовать отъ него окружающее общество. Эта эластичность и гибкость составляютъ одну изъ основныхъ причинъ и изъ важнѣйшихъ сторонъ его значенія. Именно это умѣнье не тратить силъ на мелочи и не раздражать окружающихъ людей изъ-за пустяковъ доставило его пропагандѣ неотразимое могущество и безпримѣрное распространеніе. На массу робкихъ и вялыхъ умовъ,

которые вездѣ и всегда рѣшаютъ дѣло въ качествѣ хора и черноземной силы, дѣйствовало чрезвычайно успокоительно и ободрительно то обстоятельство, что антиклерикальныя идеи проповѣдуются не какимъ-нибудь чудакомъ, сорванцомъ или сумасбродомъ, а солиднымъ и важнымъ баринѣмъ, господиномъ Вольтеромъ, отлично устранивающимъ свои дѣлишки и ведшимъ дружбу съ самыми знатными особами во всей Европѣ. Поэтому нельзя не отдать должной данн уваженія даже и тому чичиковскому элементу, который безспорно занимаетъ въ личности Вольтера довольно видное мѣсто. Чтобы имѣть какое-нибудь серьезное значеніе, пропаганда Вольтера должна была адресоваться не къ лучшимъ людямъ, не къ избраннымъ умамъ, а ко всему читающему обществу, ко всему грамотному стаду, ко всевозможнымъ дубовымъ и осиновымъ головамъ, ко всевозможнымъ картофельнымъ и тѣстообразнымъ характерамъ. Всей этой толпѣ надо было говорить въ продолженіи многихъ лѣтъ: «ослы, перестаньте-же вы наконецъ лягать другъ друга въ рыло за такіе пустяки, которыхъ вы сами не понимаете и которыхъ никогда не понимали ваши руководители!»—Принимаясь за такое дѣло, стараясь вразумить такихъ слушателей, надо было запастись колоссальнымъ терпѣніемъ и затѣмъ пустить въ ходъ всѣ средства, способныя вести къ успѣху, всѣ безъ исключенія, бѣленькія, сѣренькія и черненькія. Однимъ изъ самыхъ могущественныхъ средствъ была наружная благонадежность и сановитость господина Вольтера. Надо было приобрести эту внушительную сановитость во что бы то ни стало, хотя-бы даже отъ этого произошелъ большой ущербъ для идеальной чистоты характера. Вольтеру это приобретение не стоило большого труда, потому что характеръ его никогда не отличался идеальной чистотой. Этотъ проницательный характеръ, соединенный съ бойкимъ, острымъ, неутомимымъ, но очень не глубокимъ умомъ, былъ превосходно принаровленъ къ той задачѣ, за которую взялся Вольтеръ. Съ одной стороны, живой умъ, пристрастившійся на всю жизнь къ одной очень не хитрой идеѣ, спасалъ Вольтера отъ той тины, въ которую тянулъ его чичиковскій элементъ характера; съ другой стороны, чичиковскій элементъ предохранялъ Вольтера отъ смѣшного и вреднаго для общаго дѣла донъ-кихотства, которое могло развиться изъ необузданной любви къ идеѣ. Такимъ образомъ Вольтеру удалось соблюдать постоянно ту золотую умѣренность, которую презираетъ и отвергаетъ могучій творческій гений, но которая съ неотразимой силой привлекаетъ къ себѣ умы и сердца респектабельной буржуазіи, стоявшей въ то время на очереди и составлявшей собою громадную аудиторію знаменитаго популяризатора.

IV.

Геттнеръ очень сильно нападаетъ на Вольтера за различныя проявленія его уклончивости. «И что наконецъ сказать о томъ, — спрашиваетъ онъ въ пылу добродѣтельнаго волненія, — что онъ всегда, если приходила опасность, душой и живо отказывался отъ своихъ книгъ, вѣсть того чтобы честно и мужественно признавать ихъ своими? 13 августа 1763 г. Вольтеръ пишетъ къ Гельвецію: «не нужно никогда ставить своего имени; я не написалъ даже и «Pucelle». И этой коварной лживостью онъ пользуется всегда съ изобрѣтательностью, не слишкомъ завидной.»

Добродѣтельное негодованіе Геттнера сходитъ до послѣдней степени. Послѣ этого остается только ругать подлецомъ того цыпленка, который съ коварной лживостью улепетываетъ отъ повара, вѣсть того чтобы *честно и мужественно* стремиться въ его объятія. Конечно поваръ былъ-бы очень доволенъ *честностью и мужествомъ* добродѣтельнаго цыпленка, трудно понять, какую-бы эта *честность и мужество* могли принести пользу, во шварцахъ, пернатому Аристиду, а во вторыхъ — всей его цыплячьей породѣ. Положимъ, что Вольтеръ исполнилъ-бы желанія Геттнера и признался бы *честно и мужественно* въ своихъ литературныхъ грѣхахъ. Что-же бы изъ этого вышло? Вольтера засадили-бы въ Бастилию. Кому-же бы это было выгодно, философы или иезуитамъ? Развѣ вольтеріанцы разгромили бы Бастилію, освободили-бы своего предводителя? Ни чуть не бывало. Вольтеръ просидѣлъ бы въ камерѣ нѣсколько мѣсяцевъ, разстроилъ-бы свое здоровье и потратилъ-бы даромъ то время, которое онъ могъ-бы употребить на дальнѣйшее преслѣдованіе клерикаловъ. И все это только для того, чтобы лишній разъ удивить парижскую полицію *честностью и мужествомъ*. Нечего сказать: цѣль великая и достойная!

Герои свободной мысли такъ недавно выступили на сцену всемірной исторіи, что до сихъ поръ еще не установлена та точка зрѣнія, съ которой слѣдуетъ оцѣнивать ихъ поступки и характеры. Историки все еще смѣшиваютъ этихъ людей съ бойцами и мучениками супранатурализма. Вольтера судятъ такъ, какъ можно было-бы судить наприимѣръ Іоанна Гусса. Когда Вольтеръ уклоняется отъ той чашки, которую Гуссъ спокойно и снѣло выпиваетъ до дна, тогда Вольтера заподозрѣваютъ и обвиняютъ въ недостаткѣ мужества и честности. Это совершенно несправедливо. Утилитариста невозможно мѣрять той мѣркой, которая прилагается къ мистику. Для Гусса отречься отъ своихъ идей значило отказаться отъ вѣчнаго блаженства и кромѣ того потянуть за собою въ геенну огненную тысячи слабыхъ людей,

которых отречение Гусса сбило-бы съ толку и поворотило-бы назадъ къ заблужденіямъ панизма. Поэтому Гуссу былъ чистѣйшій расчетъ идти на костеръ, повторяя тѣ формулы, которыя онъ считалъ истинными и спасательными. Для Вольтера, напротивъ того, важно было только то, чтобы его идеи западали какъ можно глубже въ умы читателей и распространялись въ обществѣ какъ можно быстрѣе и шире. Хорошо. Книга напечатана, раскуплена и прочтена. На книгѣ нѣтъ имени автора, а между тѣмъ она производитъ сильное впечатлѣніе. Значитъ, дѣйствуютъ сами идеи, не нуждаясь въ томъ обаяніи, которое было-бы имъ придано именемъ извѣстнаго писателя. Только такое дѣйствіе и соответствуетъ вполне и направленію волтеровской пропаганды. Эта пропаганда должна была приучить людей къ тому, чтобы они, не преклоняясь передъ авторитетами, цѣнили внутреннюю разумность и убѣдительность самой идеи. Затѣмъ начинается тревога. Разыскиваютъ автора. Призываютъ къ допросу Вольтера. Вольтеръ отвѣчаетъ: «знать не знаю, вѣдать не вѣдаю». Скажите на милость, кому и чему онъ вредитъ этимъ отвѣтомъ? Онъ только отнимаетъ у иезуитовъ и у полицейскихъ сыщиковъ возможность помучить оппозиціоннаго мыслителя. Это съ его стороны очень недобро, но вѣдь онъ никогда и не обязывался увеселять своей особой иезуитовъ и сыщиковъ. А читателей отречение Вольтера нисколько не обманываетъ и не смущаетъ; читатели посмѣиваются и говорятъ между собою: «Какъ-же! Держи карманъ! Дурака напелъ! Такъ сейчасъ онъ тебѣ и признается!» Конечно все это очень похоже на тактику бурсаковъ въ отношеніи къ начальству; но что же дѣлать? Бываютъ такіа времена, когда цѣлое общество уподобляется одной огромной бурсѣ. Виноваты въ этомъ не тѣ люди, которые лгутъ, а тѣ, которые заставляютъ лгать.

Описывая старческие годы Вольтера, Геттнеръ находитъ новую пищу для добродѣтельнаго негодованія. «Какъ-прискорбно, — говоритъ онъ, — что при всемъ томъ и въ это послѣднее и самое блестящее время Вольтера не было недостатка въ пятнахъ! Онъ попрежнему отпирается отъ своихъ книгъ. Мало того, онъ причащается, ходитъ на исповѣдь, чтобы избавиться отъ клерикальных преслѣдованій, между тѣмъ какъ вся его дѣятельность направлена къ уничтоженію этихъ ученій и обычаевъ. Фарнгагенъ несправедливо извиняетъ эти хитрости и притворство, эти засады и внезапныя нападенія, это искусное умѣнье идти впередъ и быстро исчезать, — извиняетъ, какъ позволительныя и необходимыя вспомогательныя средства партизанской войны. Эту временную покорность не только люди благочестивые считали безбожной дерзостью, но даже и люди

его партіи осуждали, какъ вещь жалкую и трусливую.»

Что люди благочестивые были недовольны — въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Но я опять таки повторю, что Вольтеръ не подумалъ утѣшать людей благочестивыхъ. Чтобы узнать, похвальны-ли, или предосудительны поступки Вольтера, огорчающіе Геттнера, надо только поставить вопросъ: помогали они или мѣшали успѣху его общественной работы? Придется отвѣтить: помогали, потому что избавляли знаменитаго популяризатора отъ клерикальных преслѣдованій, которыя доставляли-бы ему лишнія хлопоты, портили бы ему кровь, разстройвали-бы его здоровье и такимъ образомъ отвлекали-бы его отъ общественныхъ занятій. Значитъ, позволяя себѣ мелкія хитрости, Вольтеръ, сознательно или бессознательно, повиновался естественному чувству самосохраненія.

Здѣсь опять свободные мыслители смѣшиваются съ сектаторами и вѣрующими адептами. Еслибы то, что дѣлалъ Вольтеръ, было сдѣлано кальвинистомъ или лютераниномъ, тогда дѣло другое, тогда можно было-бы говорить о вещи жалкой и трусливой, потому что лютеране и кальвинисты, подобно католикамъ, придаютъ очень важное значеніе всѣмъ вышнимъ подробностямъ культа. Но со стороны Вольтера тутъ нѣтъ ничего похожего на отступничество, потому что Вольтеръ питаетъ самое полное равнодушіе ко всякому культу со всѣми его подробностями. Вольтеръ вовсе не хотѣлъ сдѣлаться основателемъ какой-нибудь новой философской религіи; онъ также вовсе не пылалъ фанатической ненавистью къ существующему культу; онъ ненавидѣлъ только ту своекорыстную или тупую исключительность, которая порождаетъ убійства, религіозныя преслѣдованія, междоусобныя распри и международныя войны. Терпимость была первымъ и послѣднимъ словомъ его философской проповѣди. Поэтому онъ, нисколько не краснѣя и не измѣняя самому себѣ, могъ подчиняться всевозможнымъ формальностямъ, предписаннымъ мѣстными законами или обычаями. Геттнеру слѣдовало-бы все это знать и понимать, тѣмъ болѣе, что онъ въ своей книгѣ выписываетъ изъ «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations» слѣдующія размышленія Вольтера объ англійскихъ деистахъ: «Эти люди согласны со всѣми другими въ общемъ почитаніи единого Бога; они отличаются только тѣмъ, что у нихъ нѣтъ никакихъ твердыхъ положеній ученія и никакихъ храмовъ, и что они, вѣря въ Божію справедливость, одушевлены величайшей терпимостью. Они говорятъ, что ихъ религія — религія чистая и такая-же старая, какъ свѣтъ; у нихъ нѣтъ никакого тайнаго культа, и потому они безъ упрязеній

совести могут и диниться и публичнымъ религіознымъ обычаямъ.—Кто читалъ Вольтера, тотъ знаетъ, что онъ сочувствовалъ англійскимъ деиствамъ больше, чѣмъ какимъ-бы то ни было другимъ мыслителямъ; говоря о нихъ и за нихъ, онъ говоритъ о себѣ и за себя; поэтому подчеркнутыя мною слова окончательно рѣшаютъ вопросъ и доказываютъ ясно, что, *подчиняясь публичнымъ религіознымъ обычаямъ*, Вольтеръ не дѣлалъ никакихъ жалкихъ и трусливыхъ вещей.

V.

Вольтеръ ненавидѣлъ всякія метафизическія тонкости, которыя,—сказать по правдѣ,—были ему рѣшительно не по силамъ. Вольтера ни подѣ какимъ видомъ нельзя назвать великимъ или даже просто замѣчательнымъ мыслителемъ. Его умъ хваталъ очень недалеко и былъ совершенно неспособенъ прослѣдить какую-бы то ни было идею до самаго конца, до самыхъ послѣднихъ и отдаленныхъ ея развѣтвленій. По своимъ умственнымъ силамъ Вольтеръ стоялъ гораздо ниже многихъ людей, убившихъ всѣ свои прекрасныя дарованія на безплодныя метафизическія построенія. Вольтеръ былъ совершенно застрахованъ отъ всякой метафизической заразы своей—извините за выраженіе!—своей ограниченностью, соединенной съ колоссальнѣйшимъ тщеславіемъ и съ неподражаемымъ искусствомъ персифлированія.

Умъ Вольтера становился втупикъ на первыхъ двухъ-трехъ шагахъ отвлеченнаго философствованія; Вольтеръ терялъ возможность слѣдить за ходомъ мысли, и тутъ немедленно подоспѣвало къ нему на выручку драгоценное тщеславіе. Не могъ же онъ, онъ, Аруз де-Вольтеръ, онъ, великій Вольтеръ, признать свое безсиліе и попросить пардона! Поэтому онъ тотчасъ рѣшалъ безапелляціонно, что тутъ совсѣмъ нечего и понимать. Затѣмъ онъ высовывалъ метафизику языкъ и отдѣлывалъ его такъ ловко прелестнѣйшими шутками и насмѣшками, что метафизикъ, который быть-можетъ былъ гораздо умнѣе Вольтера, оставался въ дуракахъ и окончательно погибалъ во мнѣніи всей читающей публики. Вся дѣятельность Вольтера изображаетъ собою возмущеніе простого здраваго смысла противъ ошибочныхъ увлеченій и безплодныхъ фейерверковъ чело-вѣческой гениальности. Основатели различныхъ метафизическихъ школъ, напримѣръ Декартъ и Лейбницъ, и даже свѣтила схоластики, Тома Аквинскій, Рожеръ Бэконъ, Альбертъ Великій, обладали безспорно громадными умственными силами, но всѣ они имѣли несчастье, по обстоятельствамъ времени, потратить болшую часть или даже всю совокупность своихъ силъ на такія работы, которыя, во-первыхъ, не могли

получать никогда никакого практическаго приложенія, и во вторыхъ, по своей крайней трудности и головоломности, должны были навсегда остаться непонятными и недоступными для огромнаго большинства обыкновенныхъ или посредственныхъ чело-вѣческихъ умовъ. Чело-вѣческая посредственность, въ лицѣ самаго блестящаго и самаго ловкаго своего представителя, Вольтера, произнесла рѣшительный и безповоротный приговоръ отверженія надъ этими громадными, титаническими, изумительными, но совершенно бесполезными трудами. Задача Вольтера была чисто отрицательная. Изъ той громадной кладовой, въ которой хранятся умственные сокровища чело-вѣчества, надо было выкинуть много разнаго добра; итъ съ этимъ добромъ надо было выбросить эти шкафы, въ которыхъ оно лежало, выбросить для того, чтобы на будущее время чело-вѣческія силы не тратились больше на обогащеніе этихъ ненужныхъ шкафовъ новымъ содержаніемъ. Чтобы произвести это выбрасываніе съ должной рѣшительностью и безтрепетностью, надо было во всѣхъ осужденныхъ шкафахъ не видѣть ни одной хорошей или привлекательной черты. Надо было ненавидѣть сплошной и цѣльной ненавистью; презирать самымъ чистымъ и искреннимъ презрѣніемъ, неразбавленнымъ никакими проблесками снисхожденія или состраданія. А такимъ образомъ ненавидѣть и презирать только непониманіе, потому что итъ того чело-вѣческаго чувства, итъ того чело-вѣческаго поступка, итъ той чело-вѣческой мысли, въ которыхъ при полномъ и всестороннемъ повиновеніи нельзя было-бы найти хоть чего-нибудь достойнаго уваженія или любви, или по крайней мѣрѣ теплаго сожалѣнія. Но такъ какъ безпощадное выбрасываніе бываетъ иногда совершенно необходимо, то и непониманіе оказываетъ иногда чело-вѣчеству драгоценныя и незаменимыя услуги. Еслибы Вольтеръ былъ способенъ понимать логическую красоту и величественность тѣхъ метафизическихъ построеній, которыя ему надо было осмѣять и выбросить, то въ его сарказмѣ не было-бы той непринужденности, той неподдѣльной искренности, той самодовольной граціи, той заразительной веселости, которая сообщала имъ неотразимую силу и обезпечивала своимъ успѣхъ всей отрицательной работы. Вольтеръ не былъ-бы Вольтеромъ, еслибы у него было побольше ума и поменьше тщеславія. Въ такихъ случаяхъ мысли его были-бы болѣе глубоки, а приговоры менѣе рѣшительны. По этимъ двумъ причинамъ дѣйствіе его на толпу было-бы менѣе сильно. Такимъ образомъ чуть-ли не всѣ недостатки Вольтера, какъ умственные, такъ и нравственные, шли на пользу его популяризаторской работы.

Когда Вольтеръ осмѣиваетъ различныхъ дурчества умныхъ и глупыхъ людей, тогда онъ не

ликолѣпенъ и неотразимъ. Но когда онъ начинаетъ кропать что-то похожее на собственную систему, когда онъ самъ стремится соорудить и мудрствовать, тогда у читателя съ невѣроятной быстротой увядаютъ уши. Особенно печально становится положеніе читателя тогда, когда Вольтера удручаютъ высшіе вопросы общаго міросозерцанія. Тутъ уже переполняется мѣра читательскаго терпѣнія.

Вольтеръ—деистъ. Это-бы еще ничего. Даже трогательно и похвально. Еслибы онъ, подобно Магомету, крикнулъ просто во всеуслышаніе: «Аллахъ есть Аллахъ!» все обстояло-бы совершенно благополучно и всякія возраженія сдѣлались-бы невозможными. Но Вольтеръ къ несчастью томится желаніемъ доказывать основной тезисъ своей доктрины. Ему, изволите-ли видѣть, какъ философу, никакъ не возможно принимать что-бы то ни было на вѣру, а такъ какъ онъ доказывать рѣшительно не умѣетъ, и такъ какъ тутъ вообще на доказательствахъ далеко не уѣдешь, то передъ несчастнымъ читателемъ совершается настоящее столпотвореніе вавилонское. Гипотезы подпираются гипотезами: сравненія, сантиментальныя восклицанія и эффектные вопросительныя тирады принимаются за доказательства; на какомъ-нибудь одномъ ладящемъ фактѣ, невѣрно подмѣченномъ и неправильно истолкованномъ, сооружается цѣлая сложная теорія; самъ того не замѣчая, нашъ философъ на каждомъ шагу путается въ грубыхъ противорѣчіяхъ; самъ того не замѣчая, онъ ежеминутно перепрыгиваетъ съ одной точки зрѣнія на другую; словомъ, получается такая мерзость заустѣнія, которая жестоко компрометируетъ почтенный тезисъ, не допускающій и не требующій никакихъ доказательствъ.

Любимымъ конькомъ Вольтера является идея о цѣлесообразности и предустановленности всего существующаго. Въ самомъ дѣлѣ, глазъ созданъ для того, чтобы видѣть, ухо—для того, чтобы слышать, зубы—для того, чтобы жевать, желудокъ—для того, чтобы переваривать пищу. Сдѣлавши заразъ столько открытій, Вольтеръ торжествуетъ побѣду надъ дерзновенными скептиками, и затѣмъ начинаются чувствительныя восклицанія о томъ, какъ это все рассчитано, предусмотрено, приспособлено и направлено. Все это очень назидательно и убѣдительно, но только Вольтеру слѣдовало-бы набрать побольше примѣровъ и повести процессъ доказательства хотя-бы напимѣръ такимъ образомъ: баранъ созданъ для того, чтобы ѣсть траву; волкъ—для того, чтобы ѣсть барана; мужикъ—для того, чтобы убивать и обдирать волка; маркизъ—для того, чтобы тузить и разорять мужика; а Людовикъ XIV—для того, чтобы сажать маркиза въ Бастилію и конфисковать его наслѣдственное имѣніе. Въ этой лѣствицѣ живыхъ существъ каждый пристроенъ

къ своему мѣсту, каждый что-нибудь дѣлаетъ и каждый щедро одаренъ необходимыми для того снарядами или орудіями. Значитъ, цѣлесообразность выдержана великолѣпно. Остается только поставить и разрѣшить вопросъ: для кого или для чего нужна эта прекрасная цѣлесообразность, къ чему она ведетъ и съ какой стати сгруппированы эти живыя существа, которыя постоянно обижаютъ и терзаютъ, и даже истребляютъ другъ друга? Для кого сооружена вся лѣствица—для барана, для волка, для мужика, для маркиза или для Людовика XIV? Такъ какъ баранъ, волкъ и мужикъ играютъ тутъ совершенно страдательныя роли, отъ которыхъ они охотно отказались бы, то лѣствица построена очевидно не для нихъ, а скорѣе противъ нихъ. Значитъ, она построена для маркиза и для Людовика XIV? Прекрасно; но въ такомъ случаѣ только маркизъ, пока онъ не попалъ еще въ Бастилію, и Людовикъ XIV могутъ восхищаться порядкомъ, красотой, гармоніей и цѣлесообразностью природы. Для мужика всѣ эти прелести не существуютъ. Еслибы мужику вздумалось философствовать по Вольтеру, то онъ пришелъ-бы къ такимъ результатамъ, которые привели бы Вольтера въ неописанный ужасъ. Если сообразилъ-бы мужикъ, что въ природѣ все сдѣлано и дѣлается съ тонкимъ расчетомъ и съ умысломъ, то стало бы, когда природа заставляла насъ страдать, она также поступаетъ умышленно. «Вотъ меня,—продолжалъ-бы мужикъ,—эта милѣйшая природа доводитъ каждый день съ тѣхъ поръ, какъ я себя помню, то голодомъ, то холодомъ, то палками; такъ это она стало-быть все нарочно надомною куражилась. Спасибо за угощеніе!»—«Позвольте, господинъ мужикъ,—заговорилъ бы Вольтеръ, понимая, что дѣло принимается самый неблагоприятный оборотъ,—позвольте! Васъ терзаетъ не природа, васъ терзаютъ люди.»—«Господинъ Вольтеръ,—отвѣчаетъ мужикъ,—людей произвела та-же природа. Если въ природѣ все рассчитано, предусмотрено и цѣлесообразно, то она можетъ и должна отвѣчать за каждое изъ своихъ созданій.»

Читатели мои, я самъ вижу, что мужикъ неистовствуетъ, но увѣряю васъ, что тутъ виновать не мужикъ, а Вольтеръ. Ученіе о цѣлесообразности въ природѣ ведетъ за собою ужасныя заключенія, подрывающія или по крайней мѣрѣ извращающія основной тезисъ вольтеровской доктрины. И отъ этихъ заключеній вы ничѣмъ не отвертитесь до тѣхъ поръ, пока въ мірѣ будетъ существовать страданіе. А страданіе неистребимо, потому что вся органическая жизнь основана на непрерывномъ взаимномъ истребленіи живыхъ и чувствующихъ существъ. Самъ того не замѣчая и не желая, Вольтеръ подвергаетъ себя опасности пасть ницъ передъ кровавадымъ Молохомъ или передъ нѣмь-

скимъ Шивомъ, на которомъ надѣто ожерелье изъ человѣческихъ костей. Вся бѣда состоитъ въ томъ, что вольтеровскую доктрину невозможно *доказать*. Ее можно только *принимать на вѣру*. Кто можетъ—тотъ и вѣрь. Кто не можетъ... ну, тотъ вѣроятно и самъ знаетъ, что ему дѣлать.

Прогуливаясь съ философскими цѣлями по кунсткамерѣ мірозданія, Вольтеръ конечно не могъ оставить незамѣченнымъ такого слона, какъ страданіе или зло. Вольтеръ понималъ, что этотъ слонъ очень опасенъ для его доктрины, и много было потрачено безплодныхъ усилий на то, чтобы придать проклятому слову сколько-нибудь благопристойную и почтенную наружность. Сначала Вольтеръ, идя по слѣдамъ англійскихъ мыслителей, Шэфтсбери, Попа и Болинброка, старался доказать, что зло совсѣмъ не существуетъ, и что все на свѣтѣ идетъ такъ, какъ оно должно идти. Тутъ можно было разыгрывать варіаціи на ту тему, что страданія даютъ особенную цѣну наслажденію, и что они также необходимы въ жизни, какъ темныя краски въ картинѣ. Метафоръ и красивыхъ словъ можно было набрать довольно, но сама по себѣ эта позиція была такъ слаба и неудобна, что Вольтеръ впоследствии бросилъ ее и даже самымъ жестокимъ образомъ осмѣялъ жалкіе и плоскіе софизмы тѣхъ приторныхъ оптимистовъ, которые не сумѣли исправиться и образумиться вибѣтъ съ нимъ. Что Вольтеръ честно и рѣшительно отказался отъ тѣхъ ошибочныхъ мнѣній, которыя онъ самъ защищалъ очень долго и очень упорно,—это конечно дѣлаетъ величайшую честь его прямотѣ. Но ни малѣйшей чести не дѣлаетъ его философской сообразительности то обстоятельство, что для побѣды надъ очевиднымъ заблужденіемъ ему понадобился сильный толчокъ изъ окружающаго міра. Вольтера поразило то знаменитое землетрясеніе, которое въ 1755 г. разрушило Лиссабонъ. Задумываясь надъ этимъ ужаснымъ событіемъ, онъ понялъ наконецъ, что зло, существующее въ природѣ, не можетъ быть замаскировано и затушено никакими сладостными метафорами. Но чтобы додуматься до этихъ заключеній, не было никакой надобности созерцать погибель португальской столицы. Разрушеніе Лиссабона не прибавило рѣшительно ничего существеннаго къ тому запасу опыта, которымъ давно располагали всѣ современники Вольтера, начиная отъ академиковъ и кончая деревенскими старухами. Для кого-же могла быть новостью та истина, что силы природы очень часто разрушаютъ человѣческое благосостояніе и посягаютъ на человѣческую жизнь? Градь, засуха, саранча, наводненія, пожары отъ грозы, скотскіе падежи, моровыя язвы—все это было достаточно извѣстно всему міру за нѣсколько тысячелѣтій до лиссабонскаго

землетрясенія. Каждая десятина, выбитая градомъ, каждая хижина, сожженная молніей, каждая телушка, околѣвшая отъ заразы, могли-бы сказать Вольтеру точъ-въ-точъ то-же самое, что прокричало ему разрушеніе Лиссабона. Вольтеръ поступилъ въ этомъ случаѣ такъ, какъ обыкновенно поступаетъ толпа. Онъ прошелъ спокойно и равнодушно передъ тысячами мелкихъ явленій и потомъ остановился съ наивнымъ изумленіемъ передъ однимъ крупнымъ фактомъ, въ которомъ не было ничего новаго и удивительнаго, кромѣ величины. Чтобы какъ-нибудь примирить несомнѣнное существованіе зла со своей основной доктриной, Вольтеръ ухватывается обѣими руками за будущую жизнь. Наконецъ утешенія утомляютъ Вольтера, и онъ смиряется духомъ. «Вопросъ о происхожденіи зла,—говоритъ онъ,—остается неразрѣшимой путаницей, отъ которой вѣтъ другого спасенія, какъ довѣріе къ Провидѣнію.» «Высшее существо сильно, — говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—мы слабы, мы также необходимо ограничены, какъ высшее существо необходимо безконечно; зная, что одинъ лучъ ничего не значить противъ солнца, я покорно подчиняюсь высшему свѣту, который долженъ просвѣтить меня во мракѣ міра.» И давно-бы такъ слѣдовало распорядиться. Не за чѣмъ было съ самаго начала портить чистый медъ вѣрующаго смиренія гнуснымъ дегтемъ философскаго высокомірія.

Вольтеръ на старости лѣтъ очень сильно воевалъ съ молодыми французскими писателями, дошедшими до крайняго скептицизма. Несмотря на всѣ эти добродѣтельные усилія, клерикалы и піетисты всей Европы до сихъ поръ считаютъ Вольтера патриархомъ и коноводомъ французскихъ скептиковъ и матеріалистовъ. И надо сказать правду, клерикалы и піетисты нѣсколько не ошибаются. На Вольтерѣ воспитались всѣ молодые люди, способные и желавшіе рѣшать силами собственного ума высшіе вопросы міросозерцанія. Благодаря литературной дѣятельности Вольтера, тѣ антиклерикальныя идеи, которыя до того времени переходили потихоньку отъ одного мыслителя къ другому, получили небывалое распространеніе и сдѣлались общимъ достояніемъ всей читающей Европы. По милости Вольтера сомнѣніе проникло въ тысячи свѣжихъ и пылкихъ головъ. Всѣхъ своихъ читателей Вольтеръ хотѣлъ привести къ всеобщей терпимости и остановить на точкѣ зрѣнія деизма. Первая цѣль была достигнута, но вторая была недостижима: всякое движеніе идетъ обыкновенно гораздо дальше, чѣмъ того желалъ первый коноводъ; каждое движеніе обыкновенно вырывается изъ рукъ перваго защитника, который очень часто становится тормазомъ и при этомъ почти никогда не достигаетъ своей цѣли, если только движеніе съ са-

мага начала было серьезно и соответствовало действительнымъ потребностямъ времени и даннаго общества. Въ числѣ тѣхъ многихъ тысячъ, которыя восхищались остроуміемъ вольтеровскихъ памфлетовъ противъ католицизма, непременно должно было оказаться хоть нѣсколько десятковъ серьезныхъ, сильныхъ и послѣдовательныхъ умовъ. Для этихъ умовъ очень скоро сдѣлались невыносимыми тѣ внутреннія противорѣчія, на которыхъ Вольтеру угодно было благодушно почивать, какъ на побѣдныхъ лаврахъ. Эти умы не могли переваривать ту неестественную смѣсь поклоненія авторитету и знанія, которой упивался Вольтеръ. Имъ надо было что-нибудь одно, или *credo quia absurdum*, или отрицаніе всего того, что не можетъ быть положительно доказано. Имъ надо было или воротиться къ положительнымъ вѣрованіямъ, или миновать всевозможные Геркулесовы столбы и выйти въ открытый океанъ совершенно свободного и строго-реального изслѣдованія. За погибшія души этихъ людей долженъ отвѣчать популяризаторъ Вольтеръ, потому что онъ первый взбунтовалъ ихъ противъ клерикаловъ, у которыхъ въ это время, также по наущенію Вольтера, была отнята возможность поддерживать и придавливать человѣческую мысль благонадежными мѣрами спасительной строгости. Виновость Вольтера нисколько не уменьшается тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ не одобрялъ крайнихъ выводовъ, добытыхъ его учениками. Поставивши этихъ учениковъ въ такое положеніе, въ которомъ не могутъ удержаться сильные и послѣдовательные умы, Вольтеръ обязанъ отвѣчать за всѣ дальнѣйшія умозрѣнія французскихъ мыслителей. Деизмъ Вольтера составляетъ только станцію на дорогѣ къ дальнѣйшимъ выводамъ Дидро, Гольбаха и Гельвеція.

VI.

Чтобы составить себѣ понятіе о громадныхъ заслугахъ Вольтера, надо судить его не какъ мыслителя, а какъ практическаго дѣятеля, какъ самаго ловкаго изъ всѣхъ существовавшихъ до сихъ поръ публицистовъ и агитаторовъ. Вольтеръ особенно великъ не тѣми идеями, которыя онъ развивалъ въ своихъ книгахъ и брошюрахъ, а тѣмъ впечатлѣніемъ, которое онъ производилъ на своихъ современниковъ этими книгами и брошюрами. Силою этого впечатлѣнія Вольтеръ сдѣлалъ Европѣ такой подарокъ, котораго цѣна растетъ до сихъ поръ и будетъ увеличиваться постоянно съ каждымъ столѣтіемъ. Вольтеръ подарилъ Европѣ ея общественное мнѣніе. Онъ цѣлымъ рядомъ самыхъ наглядныхъ примѣровъ показалъ европейскимъ обществамъ, что ихъ судьба находится въ ихъ собственныхъ рукахъ, и что имъ стоитъ только

размышлять, желать и настаивать для того, чтобы управлять по своему благоусмотрѣнію всѣмъ ходомъ историческихъ событій, крупныхъ и мелкихъ, внѣшнихъ и внутреннихъ. Вольтеръ открылъ европейскимъ обществамъ тайну ихъ собственнаго могущества. Вольтеръ доказалъ Европѣ, что она можетъ и должна быть живой, дѣятельной и самосознательной личностью, а не мертвымъ и пассивнымъ матеріаломъ, надъ которымъ различныя канцеляріи, дипломаты и полководцы обнаруживаютъ свои таланты и производятъ свои эксперименты. Что же именно дѣлалъ Вольтеръ для того, чтобы разрѣшить эту громадную задачу, отъ рѣшенія которой зависить дальнѣйшая постановка всѣхъ прочихъ общественныхъ задачъ?—Вольтеръ писалъ, но писалъ такъ, какъ до него не умѣли и не смѣли писать; онъ затрогивалъ такіе вопросы, къ которымъ никто изъ его современниковъ не могъ относиться равнодушно; онъ разрабатывалъ эти вопросы такимъ неотразимо увлекательнымъ образомъ, что его читали десятки, а можетъ-быть и сотни тысячъ людей. Знаменитость Вольтера росла и выросла наконецъ до такихъ размѣровъ, до которыхъ никогда, ни прежде, ни послѣ, не доходила извѣстности простого писателя. «Русская императрица,—говоритъ Кондорсе въ біографіи Вольтера,—короли прусскій, датскій, шведскій старались заслужить похвалу Вольтера и поддерживали его благія дѣла; во всѣхъ странахъ вельможи, министры, стремившіеся къ славѣ, искали одобренія фернейскаго философа (Вольтера) и довѣряли ему свою надежду на успѣхъ разума, свои планы распространенія свѣта и уничтоженія фанатизма. Во всей Европѣ онъ основалъ союзъ, котораго онъ былъ душой. Воинственнымъ крикомъ этого союза было: «разумъ и терпимость!» Совершена-ли была гдѣ-нибудь большая несправедливость, оказалось-ли кровавое преслѣдованіе, нарушалось-ли человѣческое достоинство,—сочиненіе Вольтера передъ всей Европой выставило виновныхъ къ позорному столбу. И какъ часто рука притѣснителей дрожала отъ страха передъ этимъ вѣрнымъ мнѣніемъ.»—Цитируя эти слова Кондорсе, Геттиеръ говоритъ, что они совершенно справедливы. Итакъ, сила Вольтера была очень велика. Но эта сила была основана исключительно на довѣріи и сочувствіи читающаго общества. Значить, тѣмъ выше поднимался Вольтеръ, тѣмъ больше вѣсу пріобрѣтали мнѣнія и желанія общества. *Рука притѣснителей дрожала* очевидно не передъ Вольтеромъ. Вольтеръ былъ только докладчикомъ, а судьей являлась читающая Европа. Но для того, чтобы этотъ судъ былъ действительно страшенъ для притѣснителей, надо было, чтобы голосъ докладчика во всякую данную минуту находилъ себѣ десятки тысячъ внимательныхъ слушателей. Чтобы вызвать къ жизни обще-

ственное мнѣніе и чтобы всегда поддерживать его дѣятельность тамъ, гдѣ оно еще не привыкло вмѣшиваться постоянно въ общественныя дѣла и гдѣ весь строй существующихъ учреждений враждебенъ такому вмѣшательству,—необходима необыкновенная сила таланта и непоколебимая твердость убѣжденій со стороны того человѣка, который при такихъ невыгодныхъ условіяхъ осмѣливается принять на себя великія обязанности публициста. Сосредоточивши на себѣ вниманіе всей Европы, Вольтеръ сдѣлалъ возможнымъ существованіе общественнаго мнѣнія, затѣмъ онъ самъ сдѣлался руководителемъ этого вновь созданнаго общественнаго мнѣнія и показалъ, что общество можетъ и обязано контролировать и судить своихъ опекуновъ. А что такое общество? Вы, я, наши братья и сестры, дяди и тетки, отцы и матери, родственники и знакомые, родственники родственниковъ и знакомые знакомыхъ, и такъ далѣе—вотъ вамъ и общество. Каждый изъ насъ порознь слабѣе встрѣчнаго полисмена. Но всѣ мы вмѣстѣ непобѣдимы и неотразимы. Судите же теперь, какой глубокой благодарностью обязаны мы тѣмъ великимъ людямъ, которые соединяютъ насъ между собой обаятельной силой живого и горячаго слова и которые, сплотивши насъ въ одну громадную и неотразимую лавину, ведутъ и направляютъ насъ туда, гдѣ мы можемъ спасти нашихъ братьевъ или увеличивать и упрочивать нашими приговорами наше собственное матеріальное и умственное благосостояніе. Величайшимъ изъ этихъ великихъ людей надо признать Вольтера, потому что онъ первый соединилъ и повелъ за собой читающую Европу къ свѣтлому будущему, и еще потому, что послѣ его смерти не появилось ни одного человѣка, который былъ-бы равенъ ему по глубинѣ и обширности своего вліянія.

Когда во время революціи прахъ Вольтера былъ перенесенъ въ Пантеонъ, тогда пьедесталъ его памятника получилъ слѣдующую надпись: «Тѣни Вольтера. Поэтъ, историкъ, философъ, онъ расширилъ предѣлы человѣческаго ума и научилъ его быть свободнымъ. Онъ защитилъ Каласа, Сирвана, де-ла-Барра и Монбальи; онъ сражался съ атеистами и съ фанатиками; онъ внушалъ терпимость; онъ отстаивалъ права человѣка противъ феодальнаго рабства.» Защищеніе Каласа и другихъ подсудимыхъ поставлено на ряду съ самыми замѣчательными подвигами Вольтера. Такъ оно и должно быть. Роль Вольтера въ этихъ четырехъ уголовныхъ процессахъ имѣетъ громадное общественное значеніе, не говоря уже о томъ, что она дѣлаетъ величайшую честь человѣколюбію и великодушію Вольтера. Вмѣшательство Вольтера въ первый разъ показало всей Европѣ, что надъ высшими трибуналами есть еще одна ин-

станція, которая можетъ пересматривать и кассировать приговоры, судить и осуждать излюбленныхъ или тупоумныхъ судей, оправдывать и реабилитировать невинныхъ, пострадавшихъ отъ судейской оплошности или злонамѣренности. Въ Тулузѣ сынъ Жана Каласа, Маркъ Антонъ, повѣсилъ въ домѣ своего отца. Жанъ Каласъ былъ протестантъ, а Тулуза населена самыми ревностными католиками. Наперекоръ всякому здравому смыслу и правдоподобию, какой-то негодяй распустилъ въ городѣ слухъ, что Маркъ Антонъ повѣшенъ своими родителями за намѣреніе перейти въ католицизмъ. Самоубійцу превратили въ мученика. Трупъ его, выставленный въ церкви, сталъ творить чудеса. Семейство Каласовъ пошло въ тюрьму, было заковано въ цѣпи и отдано подъ судъ. Не имѣя никакихъ доказательствъ, кромѣ народнаго говора и чудесъ святого самоубійцы, тулузскій парламентъ приговорилъ Жана Каласа, 72-лѣтняго старика, къ колесованію. Приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе. Дѣти Каласа разсланы по монастырямъ и обращены силой въ католицизмъ. Имѣніе казненаго конфисковано, и вдова его осталась одна, безъ земли и безъ средствъ къ существованію. Значить, правосудіе удовлетворено, и дѣло кончено. Некому поднимать его и некуда его вести далѣе. Тулузскій парламентъ—верховное судебное мѣсто, и приговоры его, не нуждаясь ни въ чьей конфирмаціи, не могутъ быть оспариваемы правильнымъ апелляціоннымъ порядкомъ. Но Вольтеръ впутывается въ этотъ благополучно оконченный процессъ—Вольтеру нѣтъ дѣла до юридической правильности и до канцелярскаго порядка. Вольтеръ раскапываетъ всю исторію съ самаго начала, печатаетъ свое знаменитое сочиненіе о терпимости, излагаетъ въ немъ процессъ Каласа, какъ возмутительный примѣръ католическаго фанатизма, доведеннаго до людоедства, пишетъ письма къ знаменитымъ адвокатамъ, къ министрамъ, къ государямъ,—словомъ, работаетъ за Каласовъ неустойчиво и безкорыстно цѣлые три года, и все это дѣлаетъ Вольтеръ, кумиръ всей мыслящей Европы, слабый и больной семидесятилѣтній старикъ. А ему-то что за дѣло? Что онъ за оберъ-прокуроръ? По какому праву мѣшаетъ онъ тулузскому парламенту колесовать, съ соблюденіемъ всѣхъ законныхъ формальностей, тѣхъ французовъ, которые, живя въ Тулузѣ, имѣютъ безразсудство не правиться ему, всесильному тулузскому парламенту? Такіе вопросы предлагались конечно многими непоколебимыми приверженцами спасительной юридической правильности, и на такіе вопросы пылкіе обожатели фернейскаго философа отвѣчали по всей вѣроятности, что Вольтеръ, по праву мыслящаго человѣка и честнаго гражданина, обращается къ верховному суду обще-

ственного мнѣнія и требуетъ отъ французской націи, чтобы она защищала своихъ дѣтей отъ произвола парламентскихъ совѣтниковъ, ослабленныхъ религіозной ненавистью или запуганныхъ криками фанатической уличной толпы. Подобные разговоры велись вездѣ, гдѣ люди умѣли читать и понимать французскія книги, а въ Парижѣ эти разговоры велись такъ громко, что государственный совѣтъ предписалъ тулузскому парламенту выслать документы по дѣлу Каласа. Весь процессъ былъ пересмотрѣнъ, и приговоръ тулузскаго парламента объявленъ несправедливымъ. Почти въ одно время съ Каласомъ попалъ подъ судъ протестантъ Сирванъ, котораго также безъ малѣйшаго основанія подозрѣвали въ томъ, что онъ утопилъ въ колодезь свою дочь, насильно обращенную въ католицизмъ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ. Сирванъ имѣлъ довольно вѣрное понятіе о французскомъ правосудіи, и постарался убѣжать. Его заочно приговорили къ смерти. Имѣніе его конфисковали. «Вольтеръ, — говоритъ Геттнеръ, — и здѣсь явился защитникомъ и мстителемъ. Правительства бернское и женевское, русская императрица, короли польскій, прусскій и датскій, ландграфъ гессенскій, герцоги саксонскіе по вызову Вольтера прислали несчастному семейству богатую помощь. Вольтеръ обратился прямо къ тулузскому парламенту, который опять по закону былъ высшей судебной инстанціей въ дѣлѣ Сирвана; исходъ процесса Каласа далъ перевѣсъ свободномыслящей партіи, и Сирванъ былъ оправданъ.» Семнадцатилѣтняго мальчика де-ла-Барра обвинили въ томъ, что онъ будто-бы вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ д'Эталлондомъ изломалъ и опрокинулъ деревянное распятіе, стоявшее на мосту въ городѣ Аббевиля. Прямыхъ уликъ не оказалось; но зато нашлись добрые и благочестивые люди, которые припомнили съ сокрушеніемъ сердца, что однажды де-ла-Барръ и д'Эталлондъ, встрѣтившись съ процессіей, не сняли передъ нею шляпъ, и что кромѣ того де-ла-Барръ какъ-то разъ у себя на квартирѣ пѣлъ легкомысленныя куплеты, направленные противъ чести Святой Маріи Магдалины. Показанія добрыхъ и благочестивыхъ людей рѣшили участь безразсудныхъ молокососовъ. Считая ихъ преступленіе вполне доказаннымъ, судъ приговорилъ де-ла-Барра къ колесованію, что и было исполнено въ 1765 году. Д'Эталлонду же было оказано нѣкоторое снисхожденіе. Судъ приказалъ вырѣзать у него языкъ и отрубить ему руки. Д'Эталлондъ не пожелалъ воспользоваться этими милостями и ухитрился бѣжать. Прибѣжалъ онъ прямо къ Вольтеру, къ общепризнанному и возлюбленному патриарху всѣхъ европейскіхъ вольнодумцевъ. Тутъ онъ съоткровенностью ребенка рассказалъ всѣ подробности дѣла. Вольтеръ препроводилъ д'Этал-

лонда въ Пруссію и рекомендовалъ его Фридриху II, который принялъ его къ себѣ на службу и далъ ему офицерскій чинъ. Вольтеръ, съ своей стороны, въ превосходномъ мемуарѣ раскрылъ передъ читающей Европой всѣ закулисныя пружины той грязной интриги, которая погубила де-ла-Барра. Эти пружины состояли въ томъ, что одинъ вліятельный господинъ, Беллеваль, началъ строить куры теткѣ де-ла-Барра, настоятельница женскаго монастыря. Получивши на свои авансы презрительный отказъ, Беллеваль рѣшился мстить и направилъ на молодого вѣтренника де-ла-Барра всѣхъ клерикаловъ и тартюфовъ города Аббевиля и его окрестностей. Въ результатѣ получилось колесованіе. Старуха Монбальи выпила не въ мѣру и умерла отъ апоплексическаго удара. Зѣваки и сплетники города Сентъ-Омера увидели въ этой скоростивжной смерти слѣды насилія и взвели подозрѣніе на сына покойницы и на его жену. Подозрительныя личности были арестованы и отданы подъ судъ. Доказательствъ не нашлось никакихъ, но судьи, стремясь къ исправленію общественной нравственности, не пожелали останавливаться на разныхъ мелочныхъ соображеніяхъ и смѣло приговорили обоихъ обвиненныхъ къ мучительной казни. Монбальи колесовали и сожгли, но казнь его жены была отложена по случаю ея беременности. Въ это время Вольтеръ послалъ мемуаръ объ этомъ дѣлѣ въ министерство. Процессъ пересмотрѣли, казненнаго Монбальи объявили невиннымъ. Жену его приговоренную къ смерти, освободили.

Эти четыре процесса слѣдовали одинъ за другимъ, съ очень короткими промежутками времени. Самый ранній изъ нихъ, процессъ Каласа, былъ рѣшенъ въ 1762 году и перерѣшенъ въ 1765 году. Самый поздній, процессъ Монбальи, разыгрался въ 1770 году. Едва успѣвало утихнуть волненіе, возбужденное въ обществѣ однимъ вопіющимъ насиліемъ, какъ начинались немедленно толки о новой, такой-же очевидной и возмутительной несправедливости. Втеченіи восьми лѣтъ раскрылось четыре юридическія убійства, и высшія государственныя власти за одно съ общественнымъ мнѣніемъ страны официально признали ихъ убійствами. Два изъ этихъ убійствъ были совершены на югѣ Франціи и два — на сѣверѣ. Значитъ, суды были одинаково ревностны, проникательны и справедливы на всемъ пространствѣ французской территоріи. Четыре гадости были открыты по инициативѣ частнаго человѣка, дряхлаго и больного старика. Но сколько-же гадостей оставалось въ неизвѣстности? Сколько ихъ совершилось въ послѣднія десятилѣтія? Сколько еще совершится въ ближайшія двадцать или тридцать лѣтъ? И кто можетъ сказать навѣрное,

что эти будущія гадости не обрушатся ни на него, ни на его ближайшихъ родственниковъ и друзей? Вѣдь нельзя-же въ самомъ дѣлѣ тащить всѣ рѣшенные процессы къ Вольтеру, да и самъ Вольтеръ все-таки не способенъ воскрешать своими защитительными мемуарами колесованныхъ и сожженныхъ людей. Питая свой духъ такими мрачными и неуспокоительными размышленіями, каждый французъ, способный подмѣчать и обобщать явленія общественной жизни, долженъ былъ придти къ тому результату, что суды его родины, какъ двѣ капли воды, похожи на аулы предприимчивыхъ горцевъ, которые безъ малѣйшей опасности для самихъ себя распространяють ужасъ и опустошеніе по всѣмъ окружающимъ мѣстностямъ. Послѣ этого не трудно было добраться и до того практическаго заключенія, что общество, уже возвысившееся до самосознанія, обязано изъ чувства самосохраненія сосредоточить всѣ свои силы противъ этихъ воинственныхъ ауловъ и противъ всего того, что поддерживаетъ и упорочиваетъ ихъ существованіе.

Вступаясь за мучениковъ французскаго правосудія, Вольтеръ не развивалъ никакихъ отвлеченно широкихъ теорій. Онъ просто и спокойно проводилъ самыя широкія теоріи въ дѣйствительную жизнь. Онъ не разсуждалъ о *souveraineté du peuple*. Онъ прямо и рѣшительно прикладывалъ ее къ дѣлу. Онъ не проповѣдывалъ противъ стараго зла, а фактически уничтожалъ его. Процессы Каласа и всѣхъ другихъ вольтеровскихъ *protégés* нанесли старому порядку болѣе жестокіе удары, чѣмъ могли бы то сдѣлать десятки томовъ самой тонкой, остроумной и разрушительной теоретической критики. Защитительные мемуары Вольтера были уже не словами, а дѣлами. Это уже не подготовленіе переворота, а настоящее его начало. Здѣсь живая сила общественнаго мнѣнія, живая воля мыслящаго и энергическаго народа дѣйствительно, на самомъ дѣлѣ, стали выше всѣхъ существующихъ законовъ. Съ этой минуты эти старыя, средневѣковые законы могутъ уже считаться отмиренными. Затѣмъ остается только облечь совершившійся фактъ въ юридическую форму. Объ этомъ уже позаботились дѣятели учредительнаго собранія, открывшаго свои засѣданія черезъ одиннадцать лѣтъ послѣ смерти Вольтера.

Блестящую кампанію, открытую Вольтеромъ противъ старыхъ французскихъ судовъ, тѣсно связанныхъ со всей совокупностью старыхъ общественныхъ учреждений, закончилъ достойнымъ образомъ Бомарше, знаменитый авторъ «Севильскаго цирюльника» и «Свадьбы Фигаро». Бомарше находился въ гораздо менѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ Вольтеръ. Во-первыхъ, Вольтеръ былъ знаменитѣйшимъ человѣкомъ во всей Европѣ, а Бомарше, вступая въ борьбу съ

парижскимъ парламентомъ, былъ еще совершенно неизвѣстенъ. Во-вторыхъ, Вольтеръ вступался за другихъ, а Бомарше—за самого себя. Въ-третьихъ, вольтеровскіе процессы были процессами уголовными: тутъ шло дѣло о чело-веческой жизни и о чести цѣлыхъ семействъ; тутъ являлись въ видѣ декорацій и атрибутовъ цѣпи, застѣжки, орудія пытки, костры и тѣ-сѣлицы; тутъ было чѣмъ расшевелить въ читающей публикѣ любопытство, сочувствіе и негодованіе. Процессъ Бомарше, напротивъ того, былъ простымъ тяжбынымъ дѣломъ, возникшимъ изъ-за незначительной денежной суммы и запутаннымъ происками и интригами обѣихъ со-стязавшихся сторонъ. Бомарше по-настоящему при обыкновенныхъ условіяхъ не могъ-бы даже разсчитывать на сочувствіе публики, потому что онъ самъ былъ далеко не правъ, хотя, раз-умѣется, противники его были еще болѣе виноваты. Но ненависть общества ко всѣмъ чл-вкамъ стараго государственнаго порядка была такъ безпредѣльна, что общество все простило смѣлому Бомарше и тотчасъ превратило его въ героя и въ великаго дѣятеля, какъ только оно увидѣло въ немъ человѣка, способнаго наносить господствующей системѣ сильныя и жѣ-сткіе удары. Дѣло было вотъ какъ. Фиванскіе Дюверне, находившіеся въ постоянныхъ дѣло-выхъ сношеніяхъ съ ловкимъ и предприимчи-вымъ Бомарше, умирая, признавъ въ своихъ бумагахъ, что онъ остался долженъ Бомарше пятнадцать тысячъ ливровъ. Наслѣдникъ Дюверне, графъ Ла-Блашъ, вздумалъ оспаривать этотъ долгъ. Бомарше, никогда не отличавшійся уступчивостью, началъ процессъ въ концѣ 1771 года. Въ 1772 году дѣло, рѣшенное первой ин-станціей въ пользу Бомарше, перешло въ пар-ламентъ, извѣстный въ исторіи подъ именемъ парламента Мопу. Это было собраніе, произ-вольно созданное королемъ Людовикомъ XV и его министромъ Мопу; оно замѣняло собой па-рижскій парламентъ, который за свою непо-корность королевской власти былъ уничтоженъ и отправленъ въ изгнаніе. Бомарше отправился къ докладчику этого парламента, Гезману, но не успѣлъ повидаться съ нимъ и окольными путями получилъ тотъ благой совѣтъ, что для умилостивленія докладчика слѣдуетъ поднести подарокъ его женѣ. Бомарше съ благодарностью принялъ этотъ совѣтъ и представилъ госпожѣ Гезманъ сто ливровъ, золотыя часы съ алма-зами и пятнадцать ливровъ для передачи какому-то секретарю. Бомарше, какъ необходи-мый кремь и кулакъ, велъ все это дѣло съ та-кой цинической откровенностью, что обязалъ госпожу Гезманъ отдать назадъ всѣ сокровища, если процессъ будетъ проигранъ. Госпожа Ге-манъ, которой подобныя объясненія сдѣлки были нипочемъ, совершенно согласилась на эти условія. Процессъ проигрался, потому что Ла-Блашъ съ

своей стороны порадовалъ докладчика болѣе убѣдительнымъ приношеніемъ. Бомарше потребовалъ назадъ свои дары. Madame Гезманъ отдала ему часы и сто лундоровъ, но съ пятнадцатью лундорами она почему-то ни подъ какимъ видомъ не хотѣла разстаться. Бомарше, взбѣшенный донельзяпроигрышемъ процесса, тотчасъ-же такъ громко разблаговѣстилъ скандальную исторію о лундорахъ, что самъ Гезманъ очутился въ очень неудобномъ и опасномъ положеніи. Гезманъ рѣшился на отчаянный маневръ. Рѣшительно отрицая всю исторію о часахъ и о деньгахъ, онъ подалъ въ парламентъ форменную жалобу на Бомарше, какъ на клеветника. Теперь Бомарше очутился въ тискахъ: если съ его стороны не было клеветы, то значитъ была попытка подкупить членовъ суда. Альтернатива была печальная. Дѣло, какъ видите, пакостное во всѣхъ своихъ подробностяхъ. Бомарше вышелъ изъ этого дѣла побѣдителемъ, героемъ, мученикомъ, любимцемъ всей Европы, добродѣтельнымъ Цицерономъ и чуть-чуть не отцомъ отечества. «Бомарше, — говоритъ Геттнеръ, — обратился къ публикѣ съ четырьмя мемуарами. Неумолимо и съ непреклоннымъ мужествомъ, гнѣвомъ и одушевленіемъ преслѣдуя врага во всѣхъ его убѣжищахъ и укрѣпленіяхъ, остроумный до наглости и шутовства и въ то-же время доходящій въ нравственномъ раздраженіи до истинно-поразительной возвышенности, онъ приводитъ цѣлое общественное мнѣніе въ самое живое движеніе, дѣлаетъ свой интересъ интересомъ всѣхъ, становится мстителемъ нарушенной справедливости и съ пронизательностью злобы выставляетъ всѣ тѣ страшныя интриги и преступленія, отъ которыхъ страдало тогда французское правосудіе. Впечатлѣніе, произведенное этими мемуарами, прошло всѣ слои населенія, даже всю Европу. Первый мемуаръ въ первые-же два дня проданъ былъ въ числѣ десяти тысячъ экземпляровъ; со второго мемуара его процессъ сдѣлался, какъ тогда выражались, *la cause de la nation*, можно даже сказать — процессомъ всего образованнаго міра.» Въ своемъ четвертомъ мемуарѣ Бомарше высказалъ уже самымъ категорическимъ образомъ, какъ общепризнанную истину, мысль о верховномъ господствѣ націи. «*La nation*, — говоритъ онъ, — *n'est pas assise sur les bancs de ceux qui prononcent; mais son oeil majestueux plane sur l'assemblée. Si elle n'est jamais le juge des particuliers, elle est en tout temps le juge des juges.*» («Нація не сидитъ на скамьяхъ тѣхъ людей, которые произносятъ приговоры; но ея величественный взоръ носится надъ собраніемъ. Если она никогда не бываетъ судьей частныхъ лицъ, то она бываетъ судьей судей.») Кажется, ясно и выразительно. Слышатся даже ноты той вкрадчивой лести державному народу, безъ которой впоследствии не могла обойтись ни одна

рѣчь революціонныхъ ораторовъ. А между тѣмъ когда Бомарше писалъ свой четвертый мемуаръ, тогда еще жили на свѣтѣ старики, помнившіе вѣкъ того короля, который считалъ себя государствомъ. Къ числу этихъ стариковъ принадлежалъ и самъ Вольтеръ. Все разстояніе отъ чисто-турецкаго деспотизма до самодержавія народа было пройдено двумя поколѣніями. Крупные то были люди! Умѣли они и веселиться, и работать. Парламентъ Мону въ началѣ 1774 года приговорилъ къ ошельмованію (*blâme*) какъ госпожу Гезманъ, такъ и ея противника Бомарше. Ошельмованіе это влекло за собою потерю всѣхъ гражданскихъ правъ и состояло въ томъ, что осужденнаго ставили на колѣни, а президентъ произносилъ во всеуслышаніе установленную формулу: «*la cour te blâme et te déclare infâme*» («судъ шельмуетъ тебя и объявляетъ тебя безчестнымъ»). Собственно говоря, рѣшеніе парламента было совершенно справедливо: онъ ошельмовалъ одну сторону за то, что она брала взятки, а другую — за то, что она ихъ предлагала. Мудрѣ этого и Соломонъ ничего бы не придумалъ. Но французской націи было въ то время не до мудрости парламентскихъ совѣтниковъ и не до справедливости отдѣльныхъ приговоровъ. Нація стремилась въ то время всей силой своихъ мыслей и желаній къ полному обновленію всѣхъ своихъ учреждений и къ неограниченному господству надъ всѣми управленіями своей жизни. Когда, находясь въ такомъ напряженномъ ожиданіи грядущихъ событій, нація слыхала сильную и вѣрную музыку, тогда нація называла музыканта героемъ и великимъ дѣятелемъ, нисколько не осведомляясь о томъ, ведетъ ли этотъ драгоценный музыкантъ трезвую и цѣломудренную жизнь. Нація была права въ своемъ инстинктѣ. Когда цѣлое общество переживаетъ тяжелый и мучительный кризисъ, тогда тихія добродѣтели частной жизни отступаютъ на самый задній планъ, оставляя поле дѣйствій совершенно открытымъ для тѣхъ могучихъ и блестящихъ дарованій, отъ которыхъ зависитъ рѣшеніе великой общественной задачи, поставленной на очередь медленнымъ и грознымъ теченіемъ историческихъ событій. Поэтому немудрено, что нація совершенно забыла поступокъ Бомарше и запомнила только его великолѣпные мемуары. «Бомарше, — говоритъ Геттнеръ, — явился передъ судомъ; но общественное мнѣніе сдѣлало изъ осужденія Бомарше осужденіе парламента. Бомарше получилъ безчисленное множество визитовъ. На другой-же день послѣ осужденія принцъ Конти пригласилъ заклеяннаго на блистательный пиръ. «*Nous sommes, — говоритъ принцъ въ своемъ письмѣ, — d'assez bonne maison pour donner l'exemple à la France de la manière dont on doit traiter un grand citoyen tel que vous.*» («Мы изъ достаточно хорошаго дому,

чтобы подать Франціи примѣръ, какимъ образомъ слѣдуетъ обращаться съ великимъ гражданиномъ, подобнымъ вамъ.») Вездѣ, куда ни показывался Бомарше, онъ принимаемъ былъ съ восторженными криками. Парламентъ Мопу не могъ сопротивляться этому удару. Нападенія въ стихахъ и прозѣ становились все многочисленнѣе и сильнѣе. Онъ влачилъ свое существованіе еще нѣсколько мѣсяцевъ, презираемый и гонимый всѣми.

Принцъ королевской крови Конти не умѣлъ составить себѣ даже и приблизительнаго понятія о томъ результатѣ, къ которому ведетъ блистательная дѣятельность великихъ гражданъ, подобныхъ Бомарше. Въ простотѣ своей доброй души принцъ Конти во всемъ этомъ дѣлѣ не видѣлъ ничего, кромѣ чувствительнаго пораженія, нанесеннаго парламенту Мопу. Принцъ рѣшительно не понималъ того, что общество, узнавшее свою собственную силу и сломившее этой силой одно изъ важнѣйшихъ государственныхъ учреждений, войдетъ во вкусъ и будетъ подавлять своимъ могуществомъ все то, что не соответствуетъ его потребностямъ. Райское простодушіе высшей французской знати, — простодушіе, до котораго нашъ испорченный вѣкъ уже не можетъ возвыситься, выразилось еще рельефнѣе по поводу того-же великаго гражданина въ дѣлѣ о его знаменитой комедіи «Свадьба Фигаро». Комедія эта была окончена въ 1781 году. Слухи и толки о ней ходили по всему Парижу. Бомарше читалъ ее во многихъ аристократическихъ отеляхъ. Слушатели были въ восторгѣ. Но Людовикъ XVI рѣшительно не позволялъ этой комедіи появиться на сценѣ. Бомарше три года интриговалъ противъ этого запрещенія и наконецъ побѣдилъ сопротивленіе короля, и, разумѣется, побѣдилъ только потому, что короля осадили со всѣхъ сторонъ просьбами и воплями королева, принцы и принцессы, которымъ чрезвычайно желательно было посмотреть, какимъ образомъ Фигаро при всей парижской публикѣ высшихъ и низшихъ сортовъ будетъ отдѣлываться своими убійственными насмѣшками привилегію дворянства и всѣмъ закоренѣлымъ несообразностямъ стараго феодальнаго порядка. Геттнеръ замѣчаетъ очень основательно, что «теперь никакая театральная цензура не потеряла-бы подобной пьесы». Комедія была дана въ первый разъ 27 апрѣля 1784 года. И затѣмъ театральная дирекція въ продолженіи десяти недѣль каждый день просвѣщала добрыхъ парижанъ «Свадьбою Фигаро». Примѣру Парижа послѣдовали театры всѣхъ большихъ и маленькихъ провинціальныхъ городовъ. Словомъ, по милости принцевъ и принцессъ, критика старыхъ учреждений сдѣлалась доступной всѣмъ французамъ, имѣвшимъ возможность заплатить какой-нибудь четвертакъ за мѣсто въ театральномъ райкѣ. Всѣ эти фран-

цузы увидѣли ясно, до какой степени всѣ они единодушны въ своей ненависти къ старому злу. Всѣ они почувствовали и поняли, что учрежденія, осужденныя и осмѣяныя цѣлою націей, не могутъ существовать. А между тѣмъ принцы и принцессы продолжали простодушничать. 19 августа 1785 года они сами разыграли «Свадьбу Фигаро» въ маломъ Трианонѣ. Королева Марія-Антуанета исполнила роль Розины; а графъ д'Артуа, будущій король Карлъ X, изобразилъ Фигаро и очень мило осмѣлялъ то, на чемъ основывалось его собственное величіе и благосостояніе. Эти люди утѣшались такими забавами за *четыре года* до того переворота, который однимъ повелѣмъ на эшафотъ, а другимъ приговорилъ разореніе и двадцатилѣтнее изгнаніе.

VII.

Втеченіи всей второй половины XVIII вѣка вниманіе французскаго общества сосредоточивается почти исключительно на литературѣ, и притомъ преимущественно на срьезныхъ ея отрасляхъ. Героями дня и властителями думъ являются писатели. У французовъ въ это время нѣтъ ни великихъ полководцевъ, ни смѣлыхъ преобразователей, ни даже благоразумныхъ правителей. Франція Людовика XV гордится только своими книгами. Книгъ у нея дѣйствительно очень много; онѣ быстро и безостановочно появляются одна за другой; онѣ покупаются и читаются на расхватъ; онѣ обсуживаются съ самыхъ различныхъ сторонъ самые важные и интересные вопросы; онѣ говорятъ о религіи и о нравственности, о природѣ и о человѣкѣ, о государствѣ и обществѣ, о правахъ и обязанностяхъ, о душѣ и объ умственныхъ способностяхъ, объ англійской конституціи и о республиканскихъ добродѣтеляхъ, о земледѣліи и промышленности, о собственности и о распредѣленіи богатствъ. По всѣмъ этимъ вопросамъ книги поражаютъ своихъ читателей смѣлостью и неслыханностью сужденій, которыя при всемъ своемъ разнообразіи оказываются всѣ до одной совершенно непринимимыми съ общеобязательнымъ кодексомъ традиціонныхъ доктринъ и съ укоренившимися формами государственной и общественной жизни. Ударъ слѣдуетъ за ударомъ. Подъ этими ударами падаютъ одно за другимъ въ самыхъ различныхъ областяхъ знанія коренныя заблужденія, на которыхъ выросли и сложились любимыя привычки, условные идеалы, игрушечныя радости и кофичныя огорченія читающаго общества. Каждый ударъ вызываетъ бурю разнородныхъ страстей то въ обществѣ, то въ правительственныхъ сферахъ; и безъ какого-нибудь удара не проходитъ почти ни одного года, такъ что умы читателей находятся въ постоянномъ напряженіи и въ

безвыходной тревогѣ. Чтобы составить себѣ нѣкоторое понятіе о томъ обилии сильныхъ чувственныхъ впечатлѣній, которое переживала тогдашняя публика, и о той быстротѣ, съ которой самыя разнообразныя впечатлѣнія смѣнялись и тѣснились другъ друга,—надо посмотрѣть, въ какомъ хронологическомъ порядкѣ появлялись на свѣтъ самыя замѣчательныя произведенія отрицательной философіи. Я буду называть только тѣ сочиненія, которыя вошли въ исторію литературы, и вошли не столько за свое абсолютное достоинство, сколько за свое историческое значеніе. Стало-быть мы здѣсь будемъ имѣть дѣло только съ такими книгами, которыя въ свое время произвели на читателей сильное и глубокое впечатлѣніе.

Въ 1748 году Монтескьё издаетъ «L'esprit des lois» («Духъ законовъ»), въ которомъ превозноситъ до небесъ англійскую конституцію, совершенно непохожую на учрежденія старой французской монархіи и составляющую для Франціи самую недостижимую изъ всѣхъ возможныхъ утопій. Книга въ полтора года выдерживаетъ двадцать-два изданія.

Въ томъ же году Дидро издаетъ свои «Pensées philosophiques» («Философскія размышленія»). Парламентъ сжигаетъ эту книгу. Ее тотчасъ-же издаютъ вновь и распространяютъ тайно.

Вдохновившись *размышленіями* Дидро, Ла-Меттри около этого-же времени издаетъ въ Голландіи двѣ книги, проникнутыя такимъ яростнымъ матеріализмомъ, котораго не можетъ выдержать даже голландское общество и изгоняетъ Ла-Меттри изъ своей среды. Непозволительныя его книги называются: «Histoire naturelle de l'âme» («Естественная исторія души») и «L'homme machine» («Человѣкъ машина»).

Въ 1749 году Дидро издаетъ «Письмо о слѣпыхъ» («Lettre sur les aveugles») и попадаетъ за него на три мѣсяца въ Венсенскую крѣпость.

Въ 1749 году Руссо издаетъ «Discours sur les sciences et les arts», въ которомъ онъ доказываетъ, что цивилизація развратила человѣка. Руссо получаетъ премію отъ дижонской академіи и сразу становится европейской знаменитостью.

Въ 1751 году выходитъ первый томъ «Энциклопедіи».

Въ 1752 году—второй томъ «Энциклопедіи». Поднимается жестокая буря. Сорбонна осуждаетъ книгу. Парижскій архіепископъ издаетъ противъ нея (т. е. противъ книги) пастырское посланіе. На оба тома накладываютъ запрещеніе. Вслѣдствіе всего этого «Энциклопедію» покупаютъ и читаютъ, по словамъ современника и очевидца Барбье, всѣ парижскіе лавочники и тряпичники.

Въ 1753 году Дидро издаетъ «Interprétation de la nature» («Истолкованіе природы»),

а Руссо издаетъ «Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes» («Разсужденіе о причинахъ и основаніяхъ неравенства между людьми»).

Въ томъ-же 1753 году выходитъ третій томъ «Энциклопедіи». Поссорившись съ духовенствомъ, правительство стало относиться къ этому изданію довольно благосклонно.

Въ 1754 году Кондильякъ издаетъ «Traité des sensations» («Трактатъ объ ощущеніяхъ»). Всѣ отправления психической дѣятельности выводятся изъ чувственныхъ ощущеній. Психологія сводится на физиологію нервной системы.

Въ 1755 году Морелли издаетъ «Code de la nature» («Кодексъ природы»). Проектъ новаго общественного устройства. Всѣ люди уравниваются въ правахъ. Дѣтямъ дается общественное воспитаніе. Земля и рабочіе инструменты составляютъ общую собственность. Денегъ нѣтъ и быть не должно. Трудъ обязателенъ для всѣхъ. Трудъ соразмѣряется съ силами, а вознагражденіе продуктами—съ потребностямикаждаго человѣка по извѣстной формулѣ: à chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins. Любопытно замѣтить, что министръ Войе-д'Аржансонъ, которому въ 1755 году было больше шестидесяти лѣтъ, прочитавши «Code de la nature», назвалъ его *книгою книгъ* и поставилъ автора этой книги гораздо выше Монтескьё. Это тотъ самый д'Аржансонъ, который принесъ въ засѣданіе Королевскаго совѣта мужицкій хлѣбъ, испеченный изъ мякны и коры, и сказалъ Людовику XV: «Вотъ, государь, какой хлѣбъ ѣдятъ ваши подданные!»—Король отвѣчалъ съ большою находчивостью: «Будь я на ихъ мѣстѣ, я-бы давно взбунтовался». Если книга Морелли подѣйствовала на шестидесятилѣтняго министра, то не трудно себѣ представить, какъ сильно должна была она поразить болѣе молодыхъ и впечатлительныхъ читателей.

Въ 1757 году Вольтеръ издаетъ «Essai sur les mœurs et l'esprit des nations»,—книгу, за которую Вольтеръ не совѣмъ основательно называетъ Вольтера величайшимъ изъ всѣхъ европейскихъ историковъ. Во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что эта книга составляетъ первый опытъ бытовой исторіи и кладетъ основаніе всей новѣйшей историографіи. При этомъ Вольтеръ конечно не упускаетъ изъ виду своей любимой идеи, такъ что всю его книгу можно назвать огромнымъ и убійственно остроумнымъ памфлетомъ противъ суевѣрія, фанатизма, клерикализма и туманныхъ отвлеченностей.

Съ 1754 по 1756 годъ выходятъ четвертый, пятый и шестой томы «Энциклопедіи». Главные редакторы ея, Дидро и д'Аламберъ, стараются, не измѣняя основной идеи, вести дѣло много осторожнѣе.

Въ 1757 году выходитъ седьмой томъ «Энциклопедіи», въ которомъ редакторы, ободренные затишьемъ, дѣйствуютъ смѣлѣе. Д'Аламберъ пишетъ къ Вольтеру, что седьмой томъ будетъ сильнѣе всѣхъ предыдущихъ. Вольтеръ кланяется и благодаритъ, но клерикалы бьютъ тревогу во всѣхъ своихъ журналахъ, и правительство принимаетъ ихъ сторону.

Въ 1758 году Гельвецій издаетъ книгу «De l'esprit» («О разумѣ»). Изъ ощущеній физической боли и физического удовольствія выводятся всѣ человѣческіе страсти, чувства и поступки. Эгоизмъ признается единственнымъ двигателемъ всякой человѣческой дѣятельности, какъ самой преступной, такъ и самой возвышенно-честной и героической. Добромъ называется то, что согласно съ общимъ интересомъ, а зломъ — то, что вредитъ этому интересу и подрываетъ существованіе общества. Человѣкъ дѣлаетъ добро и зло вслѣдствіе одинаковыхъ побужденій, т. е. вслѣдствіе того удовольствія, которое доставляетъ или общаетъ ему данный поступокъ. Противъ этой книги поднимается жестокая буря; иезуиты и яansenисты преслѣдуютъ ее общими силами; парижскій архіепископъ совершенно справедливо видитъ въ ней отрицаніе свободной воли и нравственнаго закона. Сорбонна повторяетъ и усиливаетъ эти обвиненія; государственный прокуроръ усматриваетъ въ книгѣ Гельвеція собраніе самыхъ опасныхъ ученій, пущенныхъ въ ходъ «Энциклопедіей». Книгой недовольны даже и сами философы; Вольтеръ, Дидро, Вюффонъ и Гриммъ осуждаютъ ее, какъ собраніе парадоксовъ, или отзываются о ней насмѣшливо.

Въ 1759 году книгу Гельвеція публично сжигаютъ по опредѣленію парламента; цензора Терсье, дозволившаго ей печатаніе, отставляютъ отъ службы. Между тѣмъ книга раскупается; въ самое короткое время она выдерживаетъ пятьдесятъ изданій; ее переводятъ почти на всѣ живые языки Европы. Гельвецій становится европейской знаменитостью.

Въ томъ-же 1759 году, черезъ мѣсяцъ послѣ сожженія книги Гельвеція, слѣдственная коммисія, наряженная по дѣлу объ «Энциклопедіи», приводитъ свои работы къ благополучному окончанію. Привилегія, выданная отъ правительства въ 1746 году на изданіе «Энциклопедіи», уничтожается; продажа вышедшихъ и слѣдующихъ томовъ запрещается «во вниманіе того, что польза, приносимая искусству и наукѣ, совершенно не соотвѣтствуетъ вреду, приносимому религіи и нравственности».

Въ томъ-же 1759 году Кенэ издалъ книгу «Essai sur l'administration des terres», которая вмѣстѣ съ книгой «Tableau économique», изданной въ 1758 году, составляетъ основаніе теоріи *физиократовъ*, т. е. экономистовъ, старавшихся обратить вниманіе правительства на

земледѣліе, какъ на единственный источникъ народнаго богатства. Этихъ экономистовъ можно назвать продолжателями Вобана и Буагильбера. Подобно этимъ двумъ писателямъ, они нисколько не возстаютъ противъ диктума, не требуютъ никакихъ конституціонныхъ гарантій и желаютъ только, чтобы правительство сдѣлалось хорошимъ хозяиномъ, повищающимъ свои собственные интересы. Направленіе всей школы характеризуется слѣдующими словами, составляющими эпиграфъ къ главному сочиненію Кенэ «Tableau économique»: «Raisons raisonnables, raisons raisonnables; raisons raisonnables, raisons raisonnables; raisons raisonnables, raisons raisonnables». («Когда бѣдны мужики, тогда бѣдно государство; когда бѣдно государство, тогда бѣденъ король.») Средства, предлагавшіяся физикратами для устраненія бѣдности, признаны теперь односторонними и неудовлетворительными. Важное значеніе этихъ писателей обуславливается не положительными ихъ прозектами, а отрицательной стороной ихъ дѣятельности: всѣ они твердятъ обществу постоянно, что Франція бѣдна и быстрыми шагами идетъ къ окончательному разоренію. Эти слова, подкрѣпленные множествомъ прилежно собранныхъ фактовъ, дѣйствуютъ на общество, и дѣйствуютъ такъ сильно, что уже въ 1759 году Вольтеръ въ своихъ письмахъ жалуется на охлажденіе общества къ изящной словесности. «Грация и вкусъ, — говоритъ онъ, — кажется, изгнаны изъ Франціи и уступили мѣсто запутанной метафизикѣ, политикѣ мечтателей, громаднымъ разсужденіямъ о финансахъ, о торговлѣ, о народонаселеніи, которыя не прибавятъ государству ни одного эку, ни одного лишняго человѣка.» Надо полагать, что *грация и вкусъ* прибавляютъ государству и то, и другое!

Въ 1761 году Руссо издаетъ свой романъ «La nouvelle Héloïse». *Грация и вкусъ* торжествуютъ, несмотря на успѣхи экономистовъ. Романъ распродается съ безпримѣрной и невѣроятной быстротой. Основные мотивы «Новой Элоизы» — любовь, добродѣтель и сельская природа. Знатныя дамы проводятъ вѣдь этимъ романомъ цѣлыя ночи на пролетѣ, бывая о балѣ, который ожидаетъ ихъ, въ запряженной каретѣ, которая стоитъ у подъѣзда. Въ библиотекѣ для чтенія является такое множество читателей, требующихъ себѣ «Новой Элоизы», что плата назначается за чтеніе этой книги не по днямъ, а по часамъ: за часъ читается по 12 су.

Въ 1762 году Руссо издаетъ книгу «Emile ou de l'éducation» («Эмилъ или о воспитаніи»). Въ этой книгѣ находится знаменитое *profession de foi du vicaire savoyard* (исповѣданіе вѣры савойскаго викарія), въ которомъ Руссо опровергаетъ клериковъ съ одной стороны и матеріалистовъ съ другой стороны. Блистательный успѣхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ буря изъ

клерикальных и правительственных сферах. Въ парламентѣ начинаютъ говорить, что вмѣстѣ съ книгами слѣдуетъ сжигать и авторовъ. Книгу сжигаютъ; автора посылаютъ арестовать, но онъ бѣжитъ за-границу. Женева, въ которой Руссо ищетъ себѣ пристанища, гонитъ его вонъ. Бернъ поступаетъ точно такъ-же. Наконецъ Руссо находитъ себѣ пріютъ въ княжествѣ Нефшательскомъ, которое въ то время принадлежало Пруссіи. Между тѣмъ отъ всѣхъ этихъ преслѣдованій цѣна «Эмиля» быстро растетъ. Книга, стоившая сначала восемнадцать ливровъ, продается за два лудора. Ее перепечатываютъ въ Голландіи и распространяютъ въ безчисленномъ множествѣ экземпляровъ. Одинъ офицеръ, увлеченный идеями «Эмиля», стремится бросить службу и учиться столярному ремеслу. Самъ Руссо отклоняетъ его отъ этого намѣренія. Начитавшись «Эмиля», знатныя барыни начинаютъ сами кормить своихъ дѣтей. Это кормленіе входитъ въ моду и производится въ тостинныхъ собственнo для того, чтобы посторонніе мужчины видѣли, во-первыхъ, сокровища материнской нѣжности, а во-вторыхъ — красоту обнаженной груди. Въ томъ-же 1762 году Руссо издаетъ книгу: «Du contrat social ou principes du droit politique» («Объ общественномъ договорѣ или принципахъ государственнаго права»). Этой книгой Руссо кладетъ основаніе республиканской школѣ, такъ точно какъ Монтескьё своимъ «Духомъ законовъ» положилъ основаніе конституціонной школѣ. «Contrat social» сдѣлался въ послѣдствіи настольной книгой Робеспьера и былъ положенъ въ основаніе той конституціи, которую выработалъ конвентъ въ 1793 году. «Эмиль» и «Общественный договоръ» доставили своему автору громадную популярность. «Трудно выразить, — писалъ Юмъ изъ Парижа въ 1765 году, — даже вообразить народный энтузіазмъ къ нему. Никто никогда не обращалъ на себя въ такой степени народное вниманіе. Вольтеръ и всѣ другіе совершенно затемнены имъ». Въ томъ-же 1762 году Вольтеръ написалъ свое сочиненіе о *терпимости* въ защиту казеннаго Каласа. О впечатлѣніи, произведенномъ этой книгой на весь образованный міръ, уже было говорено выше.

Въ 1764 году правительство запрещаетъ изданіе какихъ-бы то ни было сочиненій по вопросамъ, касающимся государственнаго управленія.

Въ 1766 г. выходятъ послѣдніе десять томовъ «Энциклопедіи». Клерикалы плачутъ и шумятъ. Правительство сажаетъ книгопродавцевъ на ведѣлю въ Бастилію. Продажа книги продолжается. Министръ Шуазель и директоръ книжной торговли Малербъ тянутъ руку энциклопедистовъ и усилъваютъ разными придворными хитростями склонить короля къ снисхо-

дительности. Правительство рѣшается смотрѣть сквозь пальцы на продажу «Энциклопедіи», которая расходуется великолѣпно. Уже въ 1769 году было распродано *тридцать тысячъ* экземпляровъ, и чистый барышъ книгопродавцевъ-издателей дошелъ до 2,600,393 ливровъ, несмотря на то, что печатаніе стоило 1,158,958 ливровъ.

Въ томъ-же 1766 году Гурнэ издалъ книгу «Essai sur l'esprit de la législation favorable à l'agriculture» («Опытъ о духѣ законодательства, благоприятнаго для земледѣлія»). Гурнэ принадлежитъ къ одному лагерю съ Кенэ. Это опять разсужденія о финансахъ, о бѣдности и о народномъ хозяйствѣ, — разсужденія, совершенно враждебныя *траціямъ* и *вкусу*. Это — протесты противъ барщины, противъ обременительныхъ налоговъ, противъ цеховыхъ стѣсненій, противъ внутреннихъ таможенъ, противъ мелочной и произвольной правительственной регламентаціи.

Въ 1767 году правительство угрожаетъ смертной казнью каждому писателю, котораго сочиненія клонятся къ возбужденію умовъ. Въ то-же время писателямъ запрещается, подъ страхомъ смертной казни, разсуждать о финансахъ.

Въ томъ-же 1767 году Мерсье де-ла-Ривьеръ издаетъ книгу: «L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques» («Естественный и необходимый порядокъ гражданскихъ обществъ»). Авторъ обсуживаетъ, съ точки зрѣнія фیزیократовъ, всевозможные вопросы государственнаго управленія и народнаго хозяйства. Правительственныя запрещенія и угрозы остаются мертвой буквой.

Въ 1768 году Кенэ издаетъ книгу «Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain» («Физиократія или естественное устройство правленія, самаго выгоднаго для человѣческаго рода»). Задача поставлена широко, и на запрещенія правительства обращается мало вниманія.

Въ томъ-же 1768 году Гольбахъ издаетъ книгу «Lettres à Eugénie ou préservatif contre les préjugés» («Письма къ Евгеніи или предохранительное средство противъ предразсудковъ»). Эта книга, подобно всѣмъ остальнымъ сочиненіямъ Гольбаха, выходитъ въ свѣтъ безъ имени автора, потому что всѣ произведенія этого писателя проповѣдуютъ такой необузданный матеріализмъ, который приводитъ въ ужасъ даже многихъ философовъ вольтеровской школы.

Въ 1770 году Галіани издаетъ «Dialogues sur le commerce des blés» («Диалоги о хлѣбной торговлѣ»). Здѣсь начинается полемика съ фیزیократами, которые сосредоточивали все свое вниманіе на земледѣліи. Галіани выдвигаетъ впередъ вопросъ о промышленномъ трудѣ

и о фабричном работникѣ. Въ книгѣ Галиани заключается уже, по мнѣнію Геттнера, зародыши новѣйшей социальной науки.

Въ 1770 году Гольбахъ издаетъ книгу «*Système de la nature*» («Система природы»). Бокль считаетъ появленіе этого сочиненія важной эпохой въ исторіи Франціи. Объ этой книгѣ принято говорить не иначе, какъ съ добродѣтельнымъ ужасомъ и негодованіемъ. Даже Гёте, который никогда не былъ ни клерикаломъ, ни даже деистомъ, говорить, что онъ едва могъ выносить присутствіе этой книги и содрогался передъ нею, какъ передъ привидѣніемъ. Вольтеръ, Фридрихъ Великій и д'Аламберъ были глубоко возмущены «Системою природы». Вольтеръ старался уничтожить ее серьезными аргументами и легкими сарказмами. Однако-же книга устояла, и самъ Вольтеръ былъ принужденъ признаться печатно, что она распространена во всѣхъ классахъ общества и что ее читаютъ ученые, невѣжды и женщины. Изъ всѣхъ первоклассныхъ дѣятелей французской литературы только одинъ Дидро совершенно одобрилъ книгу Гольбаха.

Въ 1773 году Бомарше печатаетъ свои защитительные мемуары. Ихъ сжигаетъ палачъ, и, разумѣется, они вслѣдствіе этого раскупаются съ удвоенной быстротой.

Въ 1774 году Тюрго, самый замѣчательный изъ физіократовъ, издаетъ свои «*Recherches sur la nature et l'origine des richesses*» («Исслѣдованіе о природѣ и происхожденіи богатствъ»).

Въ томъ же 1775 году Бомарше ставитъ на сцену «Севильскаго цирюльника», въ которомъ плебей Фигаро дурачить и осмѣиваетъ знатныхъ господъ.

Въ 1776 году Мабли издаетъ книгу «*De la législation ou principes des lois*» («О законодательствѣ, или принципы законовъ»). Всѣ люди, по мнѣнію Мабли, имѣютъ одинаковое право развивать свои способности и наслаждаться своимъ существованіемъ. Кто удерживаетъ для самого себя излишекъ, необходимый для жизни его ближняго, тотъ, по мнѣнію Мабли, вноситъ въ общество понятіе войны, извращаетъ божественный порядокъ міра и оказывается безбожникомъ.

Въ 1778 году старикъ Вольтеръ пріѣзжаетъ въ Парижъ. Его встрѣчаютъ такъ, какъ не встрѣчали никогда владѣтельныхъ особъ. Демонстраціи парижанъ до такой степени замѣчательны и такъ ярко характеризуютъ тогдашнее настроеніе умовъ, что я считаю необходимымъ привести здѣсь слова очевидца Гримма, внесенныя Геттнеромъ въ его «Исторію литературы XVIII вѣка».

«Сегодня, 31 марта, знаменитый старикъ въ первый разъ былъ въ академіи и въ театрѣ. Огромная толпа людей слѣдовала за его экипа-

жемъ даже во дворы Лувра, желая его видѣть. Всѣ двери, всѣ входы академіи были открыты, потокъ раскрылся только, чтобы дать ему место, и потомъ быстро сомкнулся снова. С громкой радостью привѣтствовалъ его. Вся академія вышла ему на встрѣчу въ первую залу, — честь, которой не получалъ еще никто изъ членовъ, даже никто изъ иностранныхъ торжарей. Ему назначили мѣсто директора и избрали его единогласно директоромъ... Когда онъ вышелъ отъ Лувра къ театру, это было совершенно похоже на триумфъ. Все было переполнено людьми обоого пола, всякаго возраста и званія. Едва только показывалась издали карета, раздавался всеобщій радостный кличъ; съ привѣщеніемъ его восклицанія, аплодисменты и восторгъ удваивались. Наконецъ, когда толпа идѣла уже почтеннаго старика, отягощеннаго столькими годами, столькой славой, видѣла, какъ онъ, поддерживаемый съ обѣихъ сторонъ, выходилъ изъ экипажа, умиленіе и удивленіе достигали высшей степени. Всѣ улицы, всѣ бульвары, всѣ аллеи, всѣ площади, всѣ дома, всѣ лѣстницы, окна были заняты зрителями, и едва останавливалась карета, какъ все лѣзло на колеса и на экипажъ, чтобы посмотрѣть вблизи на знаменитаго человѣка. Въ самомъ театрѣ, гдѣ Вольтеръ вошелъ въ иммергерскую ложу, суматоха радости, казавшаяся еще больше. Онъ сидѣлъ между г-жей Дени и г-жей де-Виллетъ. Знаменитѣйшіе актеры, Бризаръ, подалъ дамамъ лавровыя вѣночки съ просьбой увѣнчать старика. Но Вольтеръ тотчасъ положилъ вѣночки въ сторону, хотя публика громкими криками и рукоплесканіями заставляла его оставить на головѣ. Всѣ дамы стояли. Вся зала наполнилась пылью отъ передвиженія человѣческой массы. Только съ трудомъ можно было начать пьесу. Когда занавѣсъ упалъ, шумъ поднялся снова. Старикъ всталъ съ своего мѣста, чтобы благодарить, и тогда посреди сцены явился на высокомъ пьедесталѣ бюстъ великаго человѣка; его окружили всѣ актеры и актрисы съ вѣнками и гирляндами изъ цвѣтовъ; на заднемъ планѣ стали воины, выходившіе въ пьесѣ. Имя Вольтера раздавалось изъ всѣхъ устъ; это было восклицаніе радости, благодарности и удивленія; зависть, ненависть, фанатизмъ и нетерпимость должны были скрыть свою злобу, и общественное мнѣніе въ первый разъ быть-можетъ высказалось свободно и въ полномъ блескѣ. Бризаръ возложилъ на бюстъ первый вѣночекъ, за нимъ слѣдовали другіе, наконецъ г-жа Вестрастъ обратила къ виновнику торжества нѣсколько стиховъ, написанныхъ маркизомъ Сен-Маркомъ, которые торжественно высказывали, что лавровый вѣночекъ даетъ ему сама Франція. Минута, когда Вольтеръ оставлялъ театръ, была, если можно, еще трогательнѣе, чѣмъ его вступленіе. Казалось, онъ изнемогалъ подъ тяжестью дѣлъ

лавровъ. Кучера просили вѣхать потише, чтобы можно было идти за нимъ: большая часть народа провожала его съ криками: «Да здравствуетъ Вольтеръ!»

Послѣ этого торжества, разумѣется, не осталось во всемъ Парижѣ ни одного блузника, которому было-бы неизвѣстно имя Вольтера и который не имѣлъ-бы по крайней мѣрѣ самаго общаго и неопредѣленнаго понятія о его заслугахъ. Каждый блузникъ зналъ по меньшей мѣрѣ то, что Вольтеръ — писатель, и что писатель своими трудами можетъ сдѣлаться идоломъ и гордостью цѣлаго народа. Это уже очень важно и многозначительно, когда одно имя повторяется съ благоговѣніемъ во всѣхъ слояхъ общества.

Черезъ два мѣсяца послѣ своего триумфальнаго шествія Вольтеръ умираетъ. Во избѣжаніе всякихъ выразительныхъ демонстрацій, правительство на нѣсколько времени запрещаетъ актерамъ играть драмы Вольтера и не позволяетъ журналистамъ упоминать о его смерти.

Между тѣмъ событія идутъ своимъ чередомъ, и положеніе съ каждымъ годомъ становится болѣе напряженнымъ. Я закончу мой хронологическій перечень слѣдующими тремя фактами.

Въ 1781 году министр Неккеръ печатаетъ свой «Compte rendu» (Отчетъ) о состояніи французскихъ финансовъ. Отчетъ этотъ клонился къ тому, чтобы сломить сопротивление привилегированныхъ классовъ и самого короля давленіемъ общественнаго мнѣнія. Поэтому этотъ отчетъ имѣетъ чисто обвинительное направленіе и производитъ на общество потрясающее впечатлѣніе. Болѣе 6,000 экземпляровъ раскупается въ первый-же день; а потомъ постоянная работа въ двухъ типографіяхъ не успѣваетъ удовлетворять всѣхъ требованій изъ столицы, изъ провинцій и изъ-за границы. Отчетъ Неккера лежитъ въ карманѣ у каждаго аббата и на туалетѣ у каждой дамы. Другое сочиненіе Неккера «Administration des finances» расходуется въ 80,000 экземпляровъ.

27 апрѣля 1784 года была дана въ первый разъ комедія Бомарше «Свадьба Фигаро». Съ ранняго утра, — говоритъ Геттнеръ, — Théâtre Français былъ осаждаемъ массами. Знатныя дамы обѣдали въ актерскихъ ложахъ, чтобы обезпечить себѣ хорошія мѣста; въ толпѣ, какъ рассказываютъ достоверныя извѣстія, три человека были задавлены. Впечатлѣніе было неслыханное въ исторіи сцены. Шестидеять-восемь представлений даны были безъ перерыва одно за другимъ. — Гриммъ опредѣляетъ слѣдующимъ образомъ значеніе комедій Бомарше: «Много и вѣрно говорено было о великомъ вліяніи Вольтера, Руссо и энциклопедистовъ, самый народъ мало однако читалъ этихъ писателей. Но представленіе «Свадьба Фигаро» и «Цирюльника» безвозвратно предало правительство,

судъ, дворянство и финансовый міръ на осужденіе всего населенія, всѣхъ большихъ и маленькихъ городовъ.»

Въ 1787 году архіепископъ тулузскій, Ломени де-Вріеннъ, бывшій въ то время первымъ министромъ, представилъ парижскому парламенту королевскій эдиктъ, предоставлявшій протестантамъ всѣ тѣ гражданскія права, которыми до того времени пользовались только одни католики. Парламентъ, несмотря на свое тогдашнее оппозиціонное настроеніе, безпрекословно внесъ эдиктъ въ протоколъ и придалъ ему такимъ образомъ силу закона. Итакъ, король, парламентъ и церковь, въ лицѣ архіепископа тулузскаго, признали необходимость полной вѣротерпимости. Такимъ неслыханнымъ чудомъ Франція была обязана исключительно своей литературѣ, которая тихо и незамѣтно переработала всѣ понятія не только въ обществѣ, но даже и въ высшихъ правительственныхъ сферахъ. Людовикъ XVI былъ также сыномъ своего вѣка, и роль Людовика XIV была ему не только не по силамъ, но и не по убѣжденіямъ. Старый порядокъ опротивѣлъ даже и самому королю.

VIII.

Сухая и сжатая хроника, наполняющая преддущую главу, необходима читателю для того, чтобы онъ могъ бросить общій взглядъ на всю совокупность разнообразныхъ умственныхъ впечатлѣній, пережитыхъ читающей Франціей, а влѣдъ за нею и всей мыслящей Европой во второй половинѣ прошлаго столѣтія. Разсматривая внимательно эту хронику, читатель увидитъ три различныя теченія идей, — три теченія, дѣйствовавшія на умы съ одинаковой силой и въ одно время.

Во-первыхъ, работы экономистовъ Кенэ, Гурнэ, Мерсье-де-ла-Ривьера и многихъ другихъ. Эти люди критикуютъ терпѣливо, внимательно и добросовѣстно тѣ части и отрасли феодальнаго порядка, которыя соприкасаются съ народнымъ хозяйствомъ и дѣйствуютъ на произвольныя силы Франціи. Этимъ людямъ часто недостаетъ ширины взглядовъ, но зато они всегда превосходно знаютъ тѣ факты, о которыхъ они говорятъ. Ихъ можно упрекнуть въ односторонности, но никогда нельзя заподозрить въ поверхностномъ диллетантизмѣ.

Во-вторыхъ, труды энциклопедистовъ, продолжающихъ дѣло Вольтера и уничтожающихъ послѣднія основанія клерикализма и піетизма.

Въ третьихъ, дѣятельность писателей, рисующихъ яркія картины того всеобщаго благополучія, къ которому должно стремиться человечество и которое не можетъ быть достигнуто при существованіи старыхъ учреждений. Самымъ

сильнымъ представителемъ этого послѣдняго направленія является Жанъ-Жакъ Руссо.

Объ экономистахъ я распространяться не буду, во-первыхъ потому, что для этого пришлось бы вдаваться въ очень подробныя изслѣдованія о хозяйственныхъ нелѣпостяхъ старой французской монархіи, а во-вторыхъ потому, что уже въ 1776 году идеи французскихъ физиократовъ были совершенно опрокинуты знаменитой книгой Адама Смита о народномъ богатствѣ. Такъ какъ главное сочиненіе Кенэ «Tableau économiqne» вышло въ 1758 г., то, стало быть, могущество физиократовъ продолжалось всего восемнадцать лѣтъ. Главная-же ихъ ошибка состояла въ томъ, что они видѣли въ землѣ единственный источникъ народнаго богатства и трудъ земледѣльца считали единственнымъ производительнымъ трудомъ, имѣющимъ право на исключительное поощреніе со стороны государства. Слово *физиократія* значитъ *господство природы*. Французскіе экономисты прошлаго столѣтія придали своему ученію это названіе потому, что они старались доставить рѣшительное преобладаніе тѣмъ интересамъ, которые опираются на землю, на почву, на производительныя силы самой природы.

Гораздо обширнѣе было вліяніе представителей общественныхъ теорій и энциклопедистовъ. Ихъ идеи глубоко волновали всю Европу и, облекаясь постоянно въ новыя формы, продолжаютъ дѣйствовать и развиваться до нашего времени. Поэтому я считаю необходимымъ остановиться здѣсь сначала на дѣятельности Руссо, а потомъ — на міросозерцаніи энциклопедистовъ.

Въ настоящее время всѣ или почти всѣ мыслящіе люди убѣждены въ томъ, что человечество постоянно идетъ впередъ, совершенствуется и развивается. Кто признаетъ теорію прогресса, тотъ знаетъ также, что этотъ прогрессъ совершается не по произволу отдѣльных личностей, а по общимъ и неизмѣннымъ законамъ природы. Но въ пониманіи общихъ великихъ идей — прогресса и законности — надо тщательно избѣгать двухъ нелѣпыхъ крайностей, ведущихъ за собою самый безсмысленный оптимизмъ. Человѣчество подвигается впередъ — это вѣрно; но никакъ не слѣдуетъ думать, что каждый шагъ человечества есть непременно шагъ впередъ, и каждое движеніе — движеніе къ лучшему. Напротивъ того, человечество подвигается впередъ не по прямой линіи, а зигзагами; каждый успѣхъ покупается цѣною многихъ ошибочныхъ попытокъ. Правда, что ошибки эти не пропадаютъ совершенно даромъ; онѣ увеличиваютъ запасъ опытности; онѣ до нѣкоторой степени предохраняютъ отъ ошибокъ въ будущемъ; но ошибки все-таки остаются ошибками; и въ ту минуту, когда нація гонится за призракомъ или отворачивается отъ своей существенной выгоды, — никакъ невоз-

можно утверждать что нація поступаетъ благоразумно и что ея дѣла улучшаются.

То-же самое надо сказать и объ идеяхъ личности. Никакъ не слѣдуетъ утверждать, что отдѣльныя личности своими поступками, своими личными качествами, складомъ ума и особенностями характера не могутъ подѣйствовать въ дурную, ни въ хорошую сторону на теченіе событій. Напротивъ того, отдѣльныя личности постоянно дѣйствуютъ то въ одну, то въ хорошую сторону, но ихъ вліянія на ходъ исторіи уравниваются и становятся незначительными, если мы беремъ для разсмотрѣнія достаточныя періоды времени, на примѣръ цѣлыя столѣтія. Еслибы мы могли на примѣръ взглянуть на положеніе Европы въ 1866 году, то разумѣется, никакъ не могли-бы опредѣлить въ какомъ направленіи подѣйствовали на европейскую цивилизацію личный характеръ, личные таланты Наполеона I. Оказалось-бы, всѣ слѣды его вліянія совершенно изглажены, и Европа прошла въ тысячелѣтіе какъ тотъ путь, который она должна была пройти по вѣчнымъ и неизбѣжнымъ законамъ природы. Но если мы теперь, въ 1866 году, хотимъ утверждать, что умъ и характеръ Наполеона не имѣли вліянія на ходъ событій, то скажутъ, что, будь на примѣръ у Наполеона поменьше военныхъ талантовъ и тщеславія, побольше благоразумія, тогда-бы вса Европа съ 1807 г. наслаждалась глубокимъ миромъ, и тогда не было-бы той бѣшеная католической реакціи, которая могла развернуться въ томъ блестящемъ только подѣ покровительствомъ торжествующаго легитимизма. У Наполеона своя историческая задача, не особенно замечательная и блестящая, но все-таки такая, которую было выполнить хорошо и выполнить плохо. Послѣ того какъ революція была оставлена на своемъ ходу, военная диктатура слѣдовала сначала возможной, а потомъ неизбежной. Можно было воспользоваться ею благоразумно, можно было воспользоваться нелѣпно; то или другое употребленіе доктрины зависѣло уже вовсе не отъ великихъ и общихъ причинъ, а просто отъ нѣкоторыхъ особенностей диктатора. Наполеонъ исполнилъ свою задачу отвратительно дурно, тѣ люди, которымъ приходится жить въ нѣспокойствѣ послѣдствій его ошибокъ. То-же можно сказать и о всякой другой исторической задачѣ, достигающей на долю отдѣльных личностей; каждая задача можетъ быть рѣшена очень хорошо, и очень дурно, и съ тѣмъ же результатомъ. Въ половинѣ XVIII вѣка стояла передъ Европой важная задача. Надо было повести борьбу противъ феодальнаго государства то открыто, то тайно, то въ первой половинѣ столѣтія дѣйствовало исключительно противъ клерикальных силъ. Надо было громко объявить людямъ

пора перейти отъ смѣлыхъ мыслей къ смѣлымъ дѣламъ. Эту задачу рѣшилъ Руссо. Слово его было достаточно громко и увлекательно. Люди восторженно и передъ ними открылась перспектива новой жизни. А между тѣмъ нельзя не пожалѣть о томъ, что рѣшеніе этой капитальной задачи досталось именно Жанъ-Жаку Руссо. Нельзя не сказать, что Европа осталась бы въ большихъ барышахъ, еслибы Руссо умеръ въ двѣтъ лѣтъ, не напечатавши ни одной строки. Руссо рѣшилъ задачу, но на свое рѣшеніе онъ положилъ грязные слѣды своей бабей, максимой, взбалмошной, расплывающейся, мечущей и въ то-же время фальшивой, двоедушной и фарисейской личности. У Руссо былъ тотъ талантъ, былъ тотъ умъ, были тѣ страсти, которые были необходимы для рѣшенія задачи. Но кромѣ того у Руссо было многое множество болѣзней, слабостей, пошлостей и гнусностей, безъ которыхъ основатель французской соціальной науки могъ-бы обойтись съ величайшимъ удобствомъ для самого себя и съ огромной пользой для своего дѣла. Такъ напримѣръ, Руссо не было ни малѣйшей необходимости страдать разстройствомъ мочевого пузыря и хронической бессонницей. Дѣло всеобщей перестройки очевидно выиграло-бы, еслибы ея первымъ мастеромъ былъ человѣкъ совершенно здоровый, крѣпкій, веселый, дѣятельный и неутомимый.

Читатели мои ужасаются или смѣются. Можно-ли въ самомъ дѣлѣ толковать о мочевоомъ пузырьѣ, когда разсматривается рѣшеніе великой исторической задачи? Что общаго имѣетъ мочевои пузырь Руссо съ идеями «Эмиля» и «Общественнаго договора»?—Къ сожалѣнію, эти вещи имѣютъ между собой гораздо больше точекъ соприкосновенія, чѣмъ вы предполагаете, господа идеалисты. Я докажу вамъ это словами самого Руссо. Въ 1752 году была дана съ большимъ успѣхомъ на придворномъ театрѣ комическая опера Руссо: «Деревенскій гадатель». Король, которому очень понравилась музыка, выразилъ желаніе, чтобы Руссо былъ ему представленъ. Теперь выступаетъ на сцену мочевои пузырь. «Вслѣдъ за мыслью о представленіи,—говоритъ Руссо въ своихъ «Признаніяхъ» (которые Устряловъ напрасно называлъ въ русскомъ переводѣ «Исповѣдью»),—я задумался надъ необходимостью часто выходить изъ комнаты вслѣдствіе моей болѣзни, что заставило меня много страдать въ вечеръ, проведенный въ театрѣ, и что могло мучить меня и на слѣдующій день, когда мнѣ предстояло быть въ галлерей или въ комнатахъ короля среди всѣхъ вельможъ, ожидающихъ появленія его величества. *Эта болѣзнь была главной причиной*, по которой я держалъ себя въ сторонѣ отъ собраний и которая не позволяла мнѣ ходить въ гости къ женщинамъ.

Одна мысль о томъ положеніи, въ которое могла поставить меня эта потребность, была способна усилить ее до такой степени, что мнѣ сдѣлалось-бы дурно, или дѣло не обошлось-бы безъ скандала, которому я предпочелъ-бы смерть. Только люди, знакомые съ такимъ состояніемъ, могутъ понять, какъ страшно подвергать себя такой опасности». — Самъ Руссо, какъ видите, признается, что *болѣзнь была главной причиной*, удалившей его отъ людей. Надо замѣтить, что эта болѣзнь была у него врожденной. Значитъ, онъ съ самаго дѣтства чувствовалъ въ обществѣ постоянное безпокойство. Эта совершенно опредѣленная боязнь должна была наконецъ породить въ немъ общую неразвѣзность и застѣчивость; эти особенности вызвали шутки и насмѣшки товарищей; отъ этихъ шутокъ и насмѣшекъ робость должна была увеличиваться, и къ ней должна была присоединиться злобная недоувѣрчивость къ людямъ и, какъ подкладка этой недоувѣрчивости, тоскливо-сентиментальное стремленіе къ какимъ-то лучшимъ людямъ, сладкимъ, чувствительнымъ, нѣжнымъ и слезливымъ. Всѣ «Признанія» Руссо составляютъ одну длиннѣйшую и скучнѣйшую жалобу на то, что люди не умѣютъ его понимать, не умѣютъ любить, стараются всячески изобидѣть, составляютъ противъ него заговоры и причиняютъ его прекрасной душѣ такіа страданія, которыя имѣ, простымъ и грубымъ людямъ, даже совершенно недоступны. И Руссо напрягаетъ всѣ свои силы, чтобы наплевать на людей и удалиться въ пустыню, на лоно природы, которая никому не мѣшаетъ *часто выходить изъ комнаты*. Но Руссо такъ мелоченъ, что онъ никакъ не можетъ дѣйствительно наплевать на людей; его тревожитъ каждая свѣтская сплетня, какъ бы она ни была невинна или глупа; въ каждомъ словѣ и въ каждомъ взглядѣ онъ отыскиваетъ себѣ оскорбленіе; на каждомъ шагу онъ, отшельникъ и мудрецъ, вламывается въ амбицію, лѣзетъ объясняться, выказываетъ свое достоинство, визжитъ, плачетъ, кидается въ объятія, и вообще надоѣдаетъ всѣмъ своимъ знакомымъ до такой степени, что всѣ дѣйствительно начинаютъ тяготиться его присутствіемъ. Руссо ненавидитъ то общество, въ которомъ онъ живетъ, но въ этой ненависти нѣтъ ничего высокаго и прекраснаго. Онъ ненавидитъ въ немъ не тѣ крупныя препятствія, которыя парализуютъ полезную дѣятельность; онъ ненавидитъ только какія-то мелкія несовершенства отдѣльныхъ личностей, безчувственность злодѣя Дидро, суровость негодя Гольбаха, высокомеріе изверга Гримма, неискренность мерзавки д'Эпинне. Въ «Признаніяхъ» радикала Руссо вы не найдете ни одной сильной, и глубоко-прочувствованной политической ноты, но зато найдете груды замысловатыхъ соображеній о коварныхъ проискахъ Дидро и Гола-

акого себя считает за очень добродѣтельнаго человека и даже умиляется до слезъ надъ раскатами своей души. Это обстоятельство ясно указываетъ читателю, что возлюбленная добродѣтель Руссо заключается именно *только* въ тонкости прекрасныхъ чувствъ, потому что та добродѣтель не пожелала ему отдать пять еловѣкъ своихъ собственныхъ дѣтей въ воспитательный домъ, и вообще не заставила его сдѣлать ни одного сколько-нибудь замѣчательнаго поступка, ничего такого, что можно было-бы отъ издана сравнить съ великими подвигами еловѣколюбія, сдѣланными злымъ насмѣшникомъ Вольтеромъ, который никогда не толковалъ печатно о добродѣтели.

Итакъ, идеаль Руссо былъ совершенно ложенъ; та мѣрка, которой онъ измѣрялъ достоинства людей, никуда не годится. Этотъ ложный идеаль и эта негодная мѣрка, обязанные своимъ происхожденіемъ болѣзненному состоянію автора, бросаютъ совершенно фальшивый одоритъ на самыя замѣчательныя произведенія Руссо, на «Эмиля» и на «Общественный договоръ». Въ лицѣ своего идеальнаго воспитанника, Эмиля, Руссо формируетъ не гражданина, не мыслителя, не героя той великой борьбы, которая должна перестроить и обновить общество, а только здороваго и невиннаго ребенка, который съумѣетъ до конца своей жизни уберечь отъ козней общества свою невинность и свое здоровье. Руссо боится до крайности, чтобы его Эмиль не провелъ ночи въ объятіяхъ камелин; но онъ нисколько не боится того, что вся жизнь Эмиля можетъ пройти безслѣдно въ сонной идиллической безпечности, которая къ тридцатилѣтнему возрасту превратитъ Эмиля въ Афанасія Ивановича.

Въ своемъ «Общественномъ договорѣ» Руссо считаетъ необходимымъ, чтобы законодатель и правительство дѣлали гражданъ добродѣтельными. Это стремленіе класть въ идеальное государство Руссо зерно злѣйшаго клерикальнаго деспотизма. Руссо думаетъ, что людей надо искусственнымъ образомъ приучать къ добродѣтели. Это — огромная ошибка. Каждый здоровый человѣкъ добръ и честенъ до тѣхъ поръ, пока всѣ его естественныя потребности удовлетворяются достаточнымъ образомъ. Когда же органическія потребности остаются неудовлетворенными, тогда въ человѣкѣ пробуждается животный инстинктъ самосохраненія, который всегда бываетъ и всегда долженъ быть сильнѣе всѣхъ привитыхъ нравственныхъ соображеній. Противъ этого инстинкта не устоятъ никакія добродѣтельныя внушенія. Поэтому государству не зачѣмъ и тратить силы и время на подобныя внушенія, которыя въ однихъ случаяхъ не нужны, а въ другихъ — безсильны. Государство исполняетъ свою задачу совершенно удовлетворительно, когда оно заботится только

о томъ, чтобы граждане были здоровы, сыты и свободны, то-есть, чтобы они на всемъ протяжении страны дышали чистымъ воздухомъ, чтобы они раньше времени не вступали въ бракъ, чтобы всѣ они имѣли полную возможность работать и потреблять въ достаточномъ количествѣ продукты своего труда и чтобы наконецъ всѣ они могли приобретать положительныя знанія, которыя избавляли бы ихъ отъ разорительныхъ мистификацій всевозможныхъ шарлатановъ и кудесниковъ. Если же государство не ограничивается этими заботами, если оно врывается въ область убѣжденій и нравственныхъ понятій, если оно старается навязать гражданамъ возвышенныя чувства и похвальныя стремленія, то оно притупляетъ гражданъ, превращая ихъ въ послушныхъ ребятъ или въ безсовѣстныхъ лицемеровъ. Официальныя хлопоты о добродѣтеляхъ открываютъ широкую дорогу религіознымъ преслѣдованіямъ. Это мы видимъ уже въ теоретическомъ трактатѣ Руссо. Четвертая книга «Общественнаго договора» говоритъ, что въ государствѣ должна существовать религія, обязательная для всѣхъ гражданъ. Кто не признаетъ государственной религіи, того слѣдуетъ выгонять изъ государства, не какъ безбожника, а какъ нарушителя закона. Кто призналъ эту религію и однакоже дѣйствуетъ противъ нея, тотъ подвергается смертной казни, какъ человѣкъ, солгавшій передъ закономъ. Этими двумя принципами можно оправдать и узаконить все, что угодно: и драгоннады, и инквизицію, и изгнаніе мавровъ изъ Испаніи, и вообще всевозможныя формы религіозныхъ преслѣдованій. И герцогъ Альба, и Торквемада, и Ле-Теллье могутъ прикрыть всѣ свои подвиги тѣмъ аргументомъ, что они наказываютъ не еретиковъ, а государственныхъ преступниковъ. Именно этимъ аргументомъ и оправдывались въ Англіи, при Елисаветѣ, преслѣдованія, направленные противъ католиковъ. Руководствуясь принципами Руссо, Робеспьеръ погубилъ на эшафотѣ много такихъ людей, которые были очень полезны Франціи, напримеръ Дантона, Демулена, Шомета, Анахарсиса Клоца. Онъ обвинялъ ихъ правда въ различныхъ заговорахъ и сношеніяхъ съ Питтомъ, но врядъ ли даже онъ самъ вѣрилъ въ существованіе этихъ заговоровъ. Настоящей причиной его ненависти къ этимъ людямъ было то обстоятельство, что всѣ они были скептиками, и что вслѣдствіе этого Робеспьеръ, какъ послушный ученикъ Руссо, признавалъ ихъ недостойными жить въ добродѣтельной Французской республикѣ.

IX.

Изъ энциклопедистовъ я возьму только Дидро и Гольбаха. Оба они — здоровые, веселые, тру-

долюбивые люди, безгранично преданные своим идеям. Оба они гораздо моложе Вольтера: Дидро — на девятнадцать, а Гольбах — на двадцать-девять лет. Дидро воспитывался в коллегии иезуитов и хотѣлъ сначала поступить в духовное званіе, но потомъ, когда способности его развернулись, онъ совершенно отказался отъ этого намѣренія, сталъ заниматься съ особеннымъ жаромъ математикой, древними и новыми языками и наконецъ рѣшительно объявилъ своему отцу, что никогда не выберетъ себѣ опредѣленной профессіи. Отецъ его, богатый и солидный буржуа, разсердился и вздумалъ запугать его лишениями. Дидро остался въ Парижѣ безъ копѣйки денегъ и началъ заниматься литературными работами по заказу книгопродавцевъ. Потомъ женился по любви на бѣдной дѣвушкѣ и окончательно разсорился съ отцомъ. Наконецъ, въ 1746 году, Дидро сошелся съ книгопродавцемъ Ле-Бретономъ, у котораго была въ рукахъ привилегія на изданіе англійской «Энциклопедіи» Чамберса во французскомъ переводѣ, но не было подъ руками людей, способныхъ взяться за переводъ этой книги. Дидро, которому было въ это время 33 года и который уже давно чувствовалъ въ себѣ силы взяться за большой и важный трудъ, посоветовалъ Ле-Бретону издать оригинальную французскую энциклопедію и составилъ для этого изданія самый широкій планъ. Онъ задумалъ дать французскому обществу не какую-нибудь простую справочную книгу, не какое-нибудь мертвое собраніе техническихъ терминовъ и отрывочныхъ фактовъ, а такое произведение, которое вмѣстѣ бы въ себѣ всю философію вѣка и показало-бы ясно жизненное значеніе новаго міросозерцанія, смѣло объявляющаго войну клерикальному деспотизму. Работа началась съ 1749 года и продолжалась по 1766 годъ. Впродолженіи первыхъ восьми лѣтъ Дидро раздѣлялъ труды редакціи съ д'Аламберомъ, но въ 1757 году, когда седьмой томъ «Энциклопедіи» вызвалъ противъ себя жестокую бурю, д'Аламберъ счелъ благоразумнымъ удалиться отъ такого опаснаго предпріятія, и вся тяжесть редакціонной работы и ответственности упала на одного Дидро. Сотрудники чувствовали ежеминутно припадки трусости; Ле-Бретонъ позволялъ себѣ, во избѣжаніе столкновеній съ властями, смягчать въ статьяхъ слишкомъ рѣзкія выраженія, и Дидро все это долженъ былъ улаживать и устранять, ободрялъ сотрудниковъ, обуздывать книгопродавца, хлопотавшаго только о барышахъ, вести дружбу и тонкую политику съ властями, хитрить и уступать въ однихъ статьяхъ и потомъ наперстывать сдѣланныя уступки подъ другими рубриками. Все это онъ выполнялъ съ блестящимъ успѣхомъ. При этомъ онъ относился такъ добросовѣстно къ мельчайшимъ подробностямъ своего дѣла,

что для удовлетворительнаго описанія различныхъ ремеселъ и промысловъ онъ проводилъ цѣлыя дни въ мастерскихъ, разсматривалъ съ величайшимъ вниманіемъ различныя машины, усвоилъ себѣ всѣ техническіе приемы работъ. Книгопродавцы, какъ мы видѣли ниже, выручили за «Энциклопедію» больше другихъ половиною милліоновъ ливровъ чистаго барыша, а Дидро за всю свою семнадцатилѣтнюю работу получалъ 20,000 ливровъ единовременно, да по 2,500 ливровъ за каждый томъ. Впрочемъ Дидро былъ некорыстолюбивъ: онъ съ безпредѣльной щедростью помогалъ своимъ друзьямъ деньгами вперомъ; онъ охотно переправлялъ и передѣлывалъ чужія рукописи, присылалъ къ нимъ предисловія и вообще разбрасывалъ множество блестящихъ мыслей по разнымъ книгамъ своихъ единомышленниковъ. Дѣло не въ томъ, говорилъ онъ часто, что сдѣлана вещь, мною или другимъ; надо только, чтобы она была сдѣлана, и сдѣлана хорошо. Философскія убѣжденія Дидро дались ему не сразу. Онъ купилъ ихъ цѣной тяжелыхъ сомнѣній и продолжительной умственной борьбы. Его сочиненія указываютъ на три фазы въ его разсудкѣ. Въ 1745 году въ сочиненіи «*Essai sur le mérite et sur la vertu*» («Опытъ о заслугахъ и о добродѣтели») онъ является философомъ-католикомъ и доказываетъ, что добродѣтель можетъ основываться только на религіи. Въ 1747 году въ «*Прогулкѣ скептика*» онъ, по словамъ Геттнера, «*бросается в пропасть большого сомнѣнія*» и утверждаетъ, что нѣтъ въ человеческой жизни другой цѣли, кромѣ чувственныхъ наслажденій. Затѣмъ начинаются попытки спасти что-нибудь изъ прежнихъ вѣрованій, и Дидро на нѣсколько времени становится деистомъ; но эти попытки не удовлетворяютъ его, и съ 1749 года онъ уже всю жизнь остается крайнимъ матеріалистомъ. Этими послѣдними убѣжденіями проникнуты всѣ его работы, помѣщенные въ «Энциклопедію». Умирая въ 1784 году, онъ сказалъ, что *сомнѣніе есть начало философіи*. Это были его послѣднія слова.

Баронъ Гольбахъ, богатый человекъ, получившій въ Парижѣ очень основательное образованіе, занимался естественными науками, въ особенности химіей, кормилъ философовъ великодушными обѣдами и часто помогалъ имъ своими обширными знаніями. Онъ писалъ для «Энциклопедіи» химическія статьи и печаталъ матеріалистическія книги, никогда не выставивъ на нихъ своего имени. Знаменитая его «*Système de la nature*» вышла въ свѣтъ тогда, когда Гольбаху было уже сорокъ-семь лѣтъ. Въ нѣкоторыхъ частяхъ этого сочиненія Гольбаху помогалъ Дидро. Принимая въ соображеніе тотъ ужасъ, которымъ эта книга поразила всю философствующую Европу, мы можемъ утверждать

положительно, что «*Système de la nature*» составляет последнюю, крайнюю вершину въ развитіи отрицательныхъ доктринъ XVIII вѣка.

Гольбахъ думаетъ, что все совершается въ природѣ по вѣчнымъ и неизмѣннымъ законамъ. Эта идея служитъ фундаментомъ для всѣхъ его остальныхъ построеній. Человѣкъ, по его мнѣнію, не можетъ освободиться отъ законовъ природы даже въ своей мысли. Какъ для чувствованія, такъ и для мышленія необходима, по мнѣнію Гольбаха, нервная система, соприкасающаяся съ внѣшнимъ міромъ посредствомъ органовъ и аппаратовъ зрѣнія, слуха, вкуса, осязанія и обонянія. Безъ органовъ и нервной системы нѣтъ ни мышленія, ни чувствованія, такъ точно, какъ безъ музыкальнаго инструмента нѣтъ музыкальнаго звука и слѣдовательно нѣтъ также и отдѣльныхъ качествъ звука—вѣжности или провозительности, пѣвучести или пискливости, протяжности или отрывистости. Представить себѣ мысль, отрѣшенную отъ необходимыхъ условій ея проявленія, то-есть отъ нервной системы, это, по мнѣнію Гольбаха, все равно, что представить себѣ звукъ, существующій независимо отъ инструмента. Это значитъ вообразить себѣ дѣйствіе безъ причины... Матерія, по мнѣнію Гольбаха, неистребима; ни одна частица ея не можетъ исчезнуть; но частицы эти безпрестанно передвигаются, и вслѣдствіе этого передвиженія формы и комбинаціи безпрестанно разрушаются и возникаютъ. Передвиженія частицъ совершаются по тѣмъ-же вѣчнымъ и неизмѣннымъ законамъ, которыми обуславливается теченіе великихъ небесныхъ свѣтилъ. Это значитъ, что если частица матеріи сто миллионъ разъ будетъ поставлена въ одинаковое положеніе, то она сто миллионъ разъ пойдетъ по одному и тому-же пути и вступить въ одиѣ и тѣ-же комбинаціи. Тѣ частицы матеріи, которыя входятъ въ составъ человѣческаго тѣла, подчиняются, по мнѣнію Гольбаха, въ своихъ движеніяхъ такимъ-же точно вѣчнымъ и неизмѣннымъ законамъ. Изъ этого правила нѣтъ исключенія. Какъ частицы желудочнаго сока вступаютъ въ химическія соединенія съ частицами пищи *по необходимости*, такъ кровяные шарики поглощаютъ кислородъ *по необходимости*, такъ точно и частицы мозга передвигаются и претерпѣваютъ химическія измѣненія *по необходимости*. Результатомъ этихъ передвиженій и химическихъ измѣненій оказывается процессъ мышленія, который слѣдовательно также, по мнѣнію Гольбаха, отличается

всегда характеромъ непреклонной *необходимости*. Человѣкъ поступаетъ такъ или иначе, потому что желаетъ такъ или иначе; желаніе обуславливается предварительнымъ размышленіемъ, а размышленіе есть неизбежный результатъ данныхъ внѣшнихъ впечатлѣній и данныхъ особенностей мозга. Значитъ, что-же такое преступленіе и что такое наказаніе? Природа, по мнѣнію Гольбаха, не знаетъ ни того, ни другого; въ природѣ нѣтъ ничего, кромѣ безконечной цѣпи причинъ и слѣдствій, — такой цѣпи, изъ которой невозможно выкинуть ни одного звена.

Повидимому Гольбахъ долженъ быть самымъ ужаснымъ и отвратительнымъ человѣкомъ. Иначе какимъ образомъ могъ-бы онъ быть и матеріалистомъ? Однако-же, къ удивленію всѣхъ любителей доброй нравственности, Гольбахъ оказывается человѣкомъ хорошимъ. «Я,—говоритъ Гриммъ,—рѣдко встрѣчалъ такихъ ученыхъ и разносторонне образованныхъ людей, какъ Гольбахъ; я никогда не встрѣчалъ людей, у которыхъ было-бы такъ мало тщеславія и самолюбія. Безъ живой ревности къ успѣху всѣхъ наукъ, безъ стремленія, ставшаго у него второй природой, сообщать другимъ все, что казалось ему важно и полезно, онъ-бы никогда не выказалъ своей безпримѣрной начитанности. Съ его ученостью было-бы то-же, что съ его богатствомъ. Его никогда-бы не угадали, еслибы онъ могъ ее скрыть, не вредя своему собственному наслажденію и особенно наслажденію своихъ друзей. Человѣку такихъ взглядовъ не должно было стоить большого труда — вѣрить въ господство разума, потому что его страсти и удовольствія были именно таковы, каковы они должны быть, чтобы дать перевѣсъ хорошимъ правиламъ. Онъ любилъ женщинъ, любилъ удовольствія стола, былъ любопытенъ; но ни одна изъ этихъ склонностей не овладѣвала имъ вполне. Онъ не могъ ненавидѣть никого; только тогда, когда онъ говорилъ о распространителяхъ угнетенія и суевѣрія, его врожденная кротость превращалась въ ожесточеніе и жажду борьбы.»

Оканчивая эту статью, я совѣтую читателямъ, заинтересовавшимся умственной жизнью прошлаго столѣтія, прочесть книгу Геттнера «Исторія всеобщей литературы XVIII вѣка». Въ этой книгѣ читатели найдутъ толковое, безпристрастное и занимательное изложеніе біографическихъ фактовъ и философскихъ доктринъ въ связи съ общей картиной времени.

ВЗГЛЯДЫ АНГЛІЙСКИХЪ МЫСЛИТЕЛЕЙ НА УМСТВЕННЫЯ ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.

I.

Со временъ такъ называемаго возрожденія наукъ и искусствъ Англія пользовалась постоянно всѣми благодѣяніями превосходнаго классическаго образованія. Каждый респектабельный отецъ семейства считалъ своимъ священнымъ долгомъ помѣщать своихъ сыновей въ такія школы и коллегіи, въ которыхъ изученіе латинскихъ и греческихъ писателей процвѣтало самымъ роскошнымъ образомъ. Въ этихъ школахъ или гимназіяхъ и коллегіяхъ или университетахъ не существовало почти никакихъ научныхъ занятій, кромѣ изученія чистой математики и классической древности. Преподаватели древнихъ языковъ и литературъ предавались своему дѣлу съ такой добросовѣстной любовью и съ такимъ доблестнымъ увлеченіемъ, что воспитанники не только выучивались свободно читать и понимать самыхъ трудныхъ греческихъ и латинскихъ писателей, но даже и сами становились латинскими и греческими писателями, т. е. прозой Цицерона или стихомъ Пиндара писали классныя сочиненія на заданныя темы.

Основательное знаніе древнихъ языковъ и литературъ считалось необходимымъ приготовленіемъ ко всякой такъ называемой либеральной профессіи. Безъ классическаго образованія молодой человѣкъ не могъ сдѣлаться ни юристомъ, ни медикомъ, ни священникомъ; въ порядочномъ обществѣ человѣкъ, лишенный классическаго образованія, считался неучемъ, неспособнымъ не только судить о политикѣ или о литературѣ, но даже поддерживать обыкновенный свѣтскій разговоръ.

Такъ было во времена Елисаветы, и въ такомъ же положеніи остается дѣло общаго образованія въ Англіи до настоящаго времени. Если классическое образованіе дѣйствительно

развертываетъ и укрѣпляетъ самымъ удовлетворительнымъ образомъ всѣ умственныя способности учащагося юношества, если оно дѣйствительно формируетъ молодыхъ людей, въ высокой степени годныхъ ко всякому полезному труду, если оно дѣйствительно составляетъ одинаково превосходную подготовку ко всякимъ дальнѣйшимъ специально-научнымъ занятіямъ, — то, разумѣется, англичанамъ остается только радоваться на свои учебныя заведенія и тщательно оберегать господствующую въ нихъ систему отъ всякихъ преобразовательныхъ попытокъ, которыя очевидно могутъ только нарушить ея благородную классическую чистоту.

Англичанъ невозможно упрекнуть въ легкомысленномъ пристрастіи къ нововведеніямъ. Англичанамъ несвойственно увлекаться идеями ломать установившіяся житейскія формы только потому, что онѣ не соотвѣтствуютъ новымъ идеямъ. Англичане перестраиваютъ ту или другую часть стараго общественнаго зданія только тогда, когда они начинаютъ чувствовать дѣйствительное неудобство или предвидать въ ближайшемъ будущемъ дѣйствительную опасность. То, что старо и въ то-же время крѣпко, удобно и практично, то тѣмъ болѣе дорого англичанину, чѣмъ дольше прожило на свѣтѣ. Господствуя въ Англіи втеченіи нѣсколькихъ столѣтій, классическое образованіе срослось со всѣми національными привычками и воспоминаніями англичанъ, со всѣми особенностями ихъ ума и характера, со всѣми ихъ литературными пріемами и преданіями. Нападать на классическое образованіе значитъ возставать противъ такой системы, которая имѣетъ свое блистательное прошлое, и на сторонѣ котораго находятся всѣ предвзятія симпатіи общества. На такой подвигъ не отважится безъ достаточныхъ побудительныхъ причинъ ни одинъ здравомыслящій англичанинъ, тѣмъ болѣе, что англійское

общество никогда не прощает яркой умственной оригинальности даже гениальнымъ людямъ, подобнымъ Байрону или Боклю.

Если бы классическое образованіе, господствующее въ Англіи до настоящей минуты, сколько-нибудь удовлетворяло умственнымъ потребностямъ даже того незначительнаго меньшинства, которое имѣетъ возможность выбирать и покупать себѣ самый лучший и самый дорогой сортъ интеллектуальнаго развитія, то это меньшинство, влюбленное въ историческое прошлое своей родины, конечно сѣумѣло-бы оградить отъ всякихъ реформаторскихъ предложений и попытокъ почтенную старину, на которой лежитъ священная пыль многихъ столѣтій. Между тѣмъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что старину критикуютъ, что противъ нея раздаются въ англійской печати почтительные, но очень твердые голоса, и что англійское общество внимательно прислушивается къ тѣмъ полновѣснымъ замѣчаніямъ, которымъ подвергается господствующая учебная система.

Мы полагаемъ, что нашимъ читателямъ будетъ небезполезно познакомиться какъ съ существеннымъ смысломъ и общимъ направленіемъ этихъ замѣчаній, такъ и съ тѣмъ поучительнымъ фактомъ, что такіа замѣчанія дѣйствительно высказываются въ Англіи публично людьми извѣстными, почтенными и въ высшей степени способными составить себѣ основательное мнѣніе о томъ, какія именно занятія развѣртываютъ и укрѣпляютъ умственные силы человѣческаго ума.

Книга Юманса «Новѣйшая культура, ея настоящія стремленія и потребности» («Modern culture, its true aims and requirements»), изданная въ Лондонѣ въ началѣ нынѣшняго 1867 года, даетъ намъ по этому вопросу обильный запасъ самыхъ любопытныхъ матеріаловъ. Эта книга составлена преимущественно изъ публичныхъ лекцій, читанныхъ въ недавнее время первоклассными англійскими мыслителями и учеными. Вслѣдъ за лекціями напечатано нѣсколько мелкихъ статей, извлеченныхъ изъ сочиненій различныхъ очень извѣстныхъ писателей; вся книга заканчивается протоколами показаній, данныхъ пятью натуралистами въ комисіи англійскихъ публичныхъ школъ. Имена этихъ натуралистовъ — Карпентеръ, Ляйелль, Фарадей, Оуэнъ и Гукеръ — извѣстны всему читающему міру. Лекціи, мелкія статьи и показанія приходятъ съ разныхъ сторонъ къ одному и тому-же результату, именно — къ тому изумительному заключенію, что господствующая система общаго образованія нуждается въ самыхъ обширныхъ и глубокихъ преобразованіяхъ.

II.

Въ первой лекціи профессоръ Тиндалль доказываетъ необходимость ввести въ систему общаго образованія основательное изученіе физики. Изложенію своего предмета Тиндалль предпосылаетъ общія размышленія о необходимости и необходимости перемѣнъ во всякомъ дѣлѣ, созданномъ людьми и выработаннымъ исторіей.

«Я не думаю, — говоритъ Тиндалль, — чтобы нашему вѣку или какому-бы то ни было другому отдѣльному вѣку было суждено основать систему воспитанія, годную для всѣхъ вѣковъ. Основы челоѣческой природы по всей вѣроятности неизмѣнны, но этого нельзя сказать о тѣхъ формахъ, въ которыхъ проявляется духъ челоѣчества. Онъ бываетъ то воинственнымъ, то миролюбивымъ, то религіознымъ, то расположеннымъ къ скептицизму, и исторія не что иное, какъ перечень его видоизмѣненій. Таковъ законъ природы во всемъ мірѣ, и поэтому нельзя объяснять опрометчивостью или страстью къ разрушенію то обстоятельство, что составные элементы челоѣческой культуры измѣняются съ теченіемъ времени, и что требованія настоящаго расходятся съ требованіями прошедшаго. Если вы не рѣшились утверждать, что міръ прошедшаго или какая-нибудь отдѣльная часть его были совершенно законченными выраженіемъ челоѣческой зрѣлости; что мудрость челоѣка уже дошла до высшей точки своего развитія; что умъ нынѣшняго дня обладаетъ болѣе ограниченными силами или располагаетъ болѣе узкимъ горизонтомъ, чѣмъ умъ прежнихъ временъ, — то вы не имѣете никакого основанія требовать, чтобы мы принимали безусловно системы прошедшаго; и вы также не имѣете права разрывать мои связи съ тѣмъ міромъ и вѣкомъ, въ которыхъ я живу, и сосредоточивать мою умственную жизнь на созерцаніи минувшаго времени. Кто можетъ порицать меня, если я дорожу той увѣренностью, что міръ до сихъ поръ молодъ, что у него лежитъ впереди громадное ноприще, что англичанинъ нынѣшняго дня сдѣланъ изъ такого-же хорошаго матеріала, какъ древній грекъ или римлянинъ, и что у него имѣется такое-же высокое и самостоятельное назначеніе? Принимая съ благодарностью то, что древность можетъ намъ предложить, мы никогда не должны забывать, что нынѣшнее столѣтіе имѣетъ такое-же точно законное право на свои формы мышленія и на свои методы образованія, какое имѣли на свои формы и методы всѣ предшествующія столѣтія, и что намъ открыты теперь тѣ-же источники могущества, какіе были открыты челоѣчеству въ какой-бы то ни было другой періодъ міровой жизни.»

Если примѣръ прошедшаго не долженъ служить абсолютно обязательнымъ закономъ для

настоящаго, если, напротив того, всякое усовершенствованіе въ области мысли и жизни основано на томъ, что настоящее самостоятельно обсуживаетъ идеи и дѣйствія прошедшаго, открываетъ въ нихъ ошибки и старается ихъ избѣгать, то, разумѣется, вопросъ о пригодности или непригодности физики въ системѣ общаго образованія долженъ рѣшиться не на основаніи прецедентовъ, а посредствомъ тщательнаго разсмотрѣнія естественныхъ и существующихъ въ данное время потребностей человѣческаго ума. Прийдя къ вопросу именно съ этой стороны, Тиндалль утверждаетъ, что рациональное преподаваніе физики составляетъ только осмысленное продолженіе тѣхъ уроковъ, которые сама природа даетъ каждому ребенку съ первой минуты его рожденія.

«Первый опытъ, — говоритъ Тиндалль, — каждаго человѣка есть физическій опытъ: всасывающій насосъ не что иное, какъ подражаніе первому дѣйствію каждаго новорожденнаго ребенка. Я не думаю, чтобы уваженіе этого ребенка къ родителямъ уменьшилось, или чтобы онъ сдѣлался менѣе хорошимъ гражданиномъ, когда его созрѣвшая опытность покажетъ ему, что атмосфера помогла ему вытянуть изъ груди матери первый глотокъ молока. Ребенокъ растетъ и продолжаетъ производить опыты: онъ тянется руками къ лунѣ, и неудача научаетъ его уважать разстояніе. Съ теченіемъ времени его маленькіе пальцы приобрѣтаютъ достаточно механическаго такта, чтобы держать ложку; онъ засовываетъ ее къ себѣ въ ротъ, пораниваетъ себѣ десны и знакомится такимъ образомъ съ непроницаемостью матеріи; онъ роняетъ ложку и прыгаетъ отъ удовольствія слыша, какъ она ударяется объ столъ. Опытъ, сдѣланный нечаянно, повторяется съ умысломъ, и юный Ньютонъ составляетъ себѣ такимъ образомъ первыя понятія о звукѣ и тяготѣ. Случаются однако огорченія и наказанія на пути юнаго изслѣдователя; онъ неизбѣжно дѣлаетъ ошибки, а природа также непремѣнно уличаетъ его въ этихъ ошибкахъ. Онъ падаетъ съ лѣстницы, обжигаетъ себѣ пальцы, порѣзываетъ руку, обвариваетъ языкъ и такимъ путемъ изучаетъ условія своего физическаго благосостоянія. Такого образа дѣйствій держится природа, и ея воспитанникъ дѣлаетъ изумительные успѣхи. Его наслажденія на время остаются чисто физическими, и лавка кондитера стоитъ для него на первомъ планѣ человѣческаго благополучія; но цвѣты болѣе утонченной жизни уже начинаютъ распускаться, и связь между причиною и слѣдствіемъ возникаетъ въ умѣ ребенка. Онъ начинаетъ замѣчать, что теперешнее положеніе вещей не есть окончательное, но зависитъ отъ другого, которое было прежде и въ свою очередь смѣнится чѣмъ-нибудь новымъ. Онъ становится задачей для самого себя, и чтобы

удовлетворить своему только-что пробудившемуся любопытству, онъ предлагаетъ всевозможные несообразные вопросы. Потребности и стремленія человѣческой природы выражаются въ этихъ раннихъ порывахъ ребенка.»

При той системѣ образованія, которая господствуетъ въ Англіи, эти ранніе порывы ребенка въ большей части случаевъ остаются совершенно безплодными; взрослые не хотятъ и не умѣютъ ими пользоваться для того, чтобы незамѣтнымъ образомъ, безъ усилій и безъ борьбы, снабжать ребенка разнообразными свѣдѣніями: пока ребенку дозволяется бѣгать и шалить на свободѣ, до тѣхъ поръ взрослые или совсѣмъ не отвѣчаютъ на многочисленные вопросы ребенка, или отвѣчаютъ на нихъ какими-нибудь безсмыслицами, успокоивая себя тѣмъ общезвѣстнымъ разсужденіемъ, что ребенокъ, когда вырастетъ, въ свое время самъ разузнаетъ подробно все то, о чемъ онъ разспрашиваетъ. Ребенокъ подрастаетъ; его сажаютъ за книгу, о которой ему уже давно толковали, какъ объ источникѣ всякаго знанія; но во всѣхъ своихъ азбукахъ и учебникахъ ребенокъ не находитъ ничего похожаго на тѣ отвѣты, которыхъ онъ такъ усильно и такъ напрасно добивался отъ взрослыхъ; тотъ книжный міръ, въ который его втягиваютъ и вгоняютъ насильно при постоянномъ содѣйствіи увѣщаній, упрековъ и наказаній, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ міромъ живыхъ явленій, съ тѣмъ міромъ красокъ, звуковъ и ощущеній, деревьевъ и цвѣтовъ, звѣрей и птицъ, желаній и волненій, радости и горя, который знакомъ и дорогъ ему съ колыбели и который уже успѣлъ породить въ его горячей головѣ сотни смѣлыхъ и мудреныхъ вопросовъ. Книжная работа, которой отдаленная цѣль при всѣхъ своихъ великихъ достоинствахъ остается непостижимой для ребенка, на долгое время отвлекаетъ его мысли отъ живой природы и кладетъ конецъ тому естественному развитію любознательности и наблюдательности, которое при своевременномъ и тщательномъ содѣйствіи умнаго наставника могло-бы легко и свободно ввести подрастающаго ученика въ сферу серьезныхъ научныхъ занятій. Въ школѣ ребенка знакомятъ насильно съ тѣмъ, что никогда не могло его интересовать, чего онъ никогда не видалъ въ глаза и о чемъ предшествующая жизнь не дала ему даже самаго отдаленнаго понятія; и въ то-же время въ его головѣ оставляютъ совершенно неразобраннымъ и неразъясненнымъ тотъ хаосъ образовъ, представленій и понятій, который порожденъ вліаніемъ жизни, и въ которомъ самъ ребенокъ чувствуетъ настоятельную потребность опознаться и ориентироваться. Такимъ образомъ жизнь съ минуты рожденія вела умственное развитіе ребенка по одному пути; школа поворачиваетъ или по крайней мѣрѣ старается поворотить его на

другой путь, понятно, что должно произойти и действительно происходит вследствие этого поворачивания: силы воспитателя сталкиваются съ силами ребенка и взаимно парализуют друг друга; начинается борьба тамъ, гдѣ могло-бы и должно было-бы существовать самое полное единодушіе и самое искреннее взаимное сочувствіе; воспитатель видитъ препятствіе въ любознательности ребенка, направленной совѣтъ не на тѣ вопросы, которые рѣшаются въ школьных учебникахъ; ребенокъ съ своей стороны видитъ скучнаго и несноснаго мучителя въ томъ самомъ человѣкѣ, который при другихъ условіяхъ педагогической организаціи могъ-бы сдѣлаться для него неисчерпаемымъ источникомъ живѣйшихъ умственныхъ наслажденій; чѣмъ даровитѣе ребенокъ, чѣмъ сильнѣе работаетъ въ его молодой головѣ пробудившаяся мысль, чѣмъ тревожнѣе и неутомимнѣе его самородная любознательность, тѣмъ противнѣе покажется ему міръ грамматическихъ отвлеченностей, міръ склоненій и спряженій, правильныхъ и неправильныхъ глаголовъ, толстыхъ лексиконовъ и запутанныхъ конструкций; чѣмъ даровитѣе ребенокъ, тѣмъ сильнѣе бываетъ та ломка, которой онъ подвергается въ школѣ при первомъ столкновеніи съ мертвымъ книжнымъ ученіемъ. Легко можетъ быть, что эта ломка до нѣкоторой степени неизбежна, потому что умъ ребенка долженъ непременно рано или поздно приучиться къ книжнымъ отвлеченностямъ, безъ которыхъ невозможны дальнѣйшія научныя занятія, но не подлежитъ сомнѣнію то, что учебная система, господствующая въ Англіи, относится съ непослѣдственнымъ высокоуміемъ къ естественнымъ наклонностямъ и умственнымъ потребностямъ того живого матеріала, надъ которымъ она производитъ свои отважныя манипуляціи. «Нѣсколько дней тому назадъ,—говоритъ Тиндаллъ,—одинъ магистръ словесности, молодой человѣкъ, получившій современное образованіе, заявилъ мнѣ, что въ первыя двадцать лѣтъ своей жизни онъ не приобрѣлъ никакихъ свѣдѣній о свѣтѣ, теплотѣ, магнетизмѣ или электричествѣ; изъ этихъ двадцати лѣтъ двѣнадцать было погращено посреди древнихъ, и въ это время была порвана всякая связь между его умомъ и явленіями природы.»

Этотъ перерывъ пришелся какъ разъ въ то время, когда, по мнѣнію внимательныхъ и компетентныхъ наблюдателей, молодой умъ всего болѣе способенъ приучаться исподволь къ индуктивному методу мышленія, то-есть къ внимательному разсматриванію и осторожному обобщенію отдѣльных фактовъ. Какъ сильна именно въ это время отъ 8-ми лѣтъ до 20-ти, потребность вглядываться и вдумываться въ явленія окружающей природы, это видно изъ лю-

бопытнаго примѣра, приведеннаго въ лекціи Тиндалля.

Въ одной земледѣльческой школѣ въ Гемпширѣ было составлено между воспитанниками общество, которое собиралось разъ въ недѣлю для чтенія и обсужденія статей и докладовъ, написанныхъ самими членами по различнымъ вопросамъ. У этого общества были свой предсѣдатель, свой казначей и даже свой ежемѣсячный журналъ, печатавшійся въ небольшой училищной типографіи. При засѣданіяхъ общества присутствовали обыкновенно многіе изъ учителей. Однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ обычаевъ въ этихъ еженедѣльныхъ собраніяхъ было то, что послѣ окончанія очередныхъ занятій каждый членъ общества имѣлъ право предлагать вопросы по каждому дѣлу, о которомъ онъ желалъ собрать какія-нибудь свѣдѣнія. Вопросы эти или записывались заранѣе въ особую книгу, или писались на клочкѣ бумаги во время самаго засѣданія и потомъ вручались секретарю, который обязанъ былъ прочитать ихъ вслухъ. Послѣ этого кто изъ присутствующихъ чувствовалъ себя способнымъ разрѣшать недоумѣніе товарища или ученика, тотъ и давалъ требуемый отвѣтъ. Понятно, что, благодаря этому обычаю, въ кругу учениковъ господствовалъ постоянно самый живой и плодотворный обмѣнъ мыслей и знаній. Что было прочтено или подмѣчено однимъ, то скоро становилось достояніемъ всѣхъ. Въ собраніяхъ общества присутствовали ребята отъ 8 до 18 лѣтъ, и вотъ въ какомъ родѣ были предлагавшіеся вопросы:

Въ чемъ состоятъ обязанности королевскаго астронома?

Что такое морозъ?

Почему громъ и молнія случаются лѣтомъ чаще, чѣмъ зимой?

Отчего происходятъ падающія звѣзды?

Какая причина того ощущенія, которое называется бѣганіемъ мурашекъ по кожѣ?

Какая причина смерчей?

Какая причина икоты?

Если полотенце намочено водой, то почему мокрая часть становится темнѣе, чѣмъ была прежде?

Что такое ланкаширскія вѣдмы?

Падаютъ-ли роса или поднимается?

Какъ устроенъ гидравлическій прессъ?

Когда въ воздухѣ больше кислорода: зимой или лѣтомъ?

Что это за кольца мы видимъ вокругъ горящаго газа и вокругъ солнца?

Что такое громъ?

Почему черную шляпу можно сдвинуть съ мѣста, образовавъ вокругъ нея магнетическій кругъ, а бѣлую нельзя?

Отчего происходитъ испарина?

Какая разница между душою и умомъ?

Противно-ли правиламъ вегетаріанизма ѣсть яйца?

Эти восемнадцать вопросовъ выписаны Тиндаллемъ на удачу изъ той книги, въ которую они вносились. Изъ этихъ восемнадцати вопросовъ только три, о королевскомъ астрономѣ, о ланкаширскихъ вѣдмахъ и о правилахъ вегетаріанизма, не относятся къ области естествознанія. Огромное-же большинство этихъ вопросовъ, возникшихъ безо всякихъ постороннихъ вліяній и начальственныхъ внушеній, можетъ быть разрѣшено только тогда, когда ученикамъ будутъ сообщены предварительно довольно обширныя свѣдѣнія по части физики, химіи и физиологій. Списокъ этихъ вопросовъ показываетъ довольно ясно, въ какомъ именно направленіи работаетъ молодая мысль и развѣрчивается самородная дѣтская любознательность.

Нетрудно понять, что ребенокъ, поставившій вопросъ, не удовлетворится короткимъ и категорическимъ отвѣтомъ. Когда онъ спрашиваетъ о росѣ, падаетъ-ли она, или поднимается, то онъ требуетъ себѣ не справки по этому предмету, а подробнаго объясненія даннаго феномена, — такого объясненія, которое дало-бы ему возможность понять, какимъ путемъ совершается образованіе росы. Если вы просто отвѣтите ему: роса падаетъ, то онъ тотчасъ же спроситъ у васъ: какъ-же она падаетъ и откуда она берется? Если вы захотите удовлетворить его любознательность, то вы будете принуждены объяснить ему тѣ законы, по которымъ совершается испареніе воды и обратный переходъ водяныхъ паровъ въ капельно-жидкое состояніе; далѣе вы должны будете познакомить его съ явленіями лучеиспусканія и теплопроводности; и наконецъ вамъ придется дать ему понятіе о тѣхъ сложныхъ процессахъ, которые происходятъ въ организмѣ каждой ничтожнѣйшей былинки. Когда все это будетъ сдѣлано, то вопросъ о росѣ окажется исчерпаннымъ, но зато самый процессъ вашего объясненія породитъ въ свою очередь такое множество новыхъ вопросовъ, что отвѣтить на нихъ можно будетъ только полнымъ и систематическимъ курсомъ физики, химіи и физиологій, — курсомъ, который по всей вѣроятности будетъ выслушанъ вашимъ юнымъ собесѣдникомъ съ благоговѣйнымъ вниманіемъ и съ живѣйшимъ наслажденіемъ.

Еслибы вмѣсто вопроса о росѣ мы взяли вопросъ о громѣ, о морозѣ, объ испаринѣ, о мокромъ полотнѣ, или вообще какой бы то ни было изъ пятнадцати вопросовъ, врѣзывающихся въ область естествознанія, то мы пришли-бы къ тому-же самому выводу, то есть мы убѣдились-бы въ томъ, что въ этомъ случаѣ надо или систематически подавлять самородную любознательность молодого ума, отсылая

ребенка къ учебнику латинской грамматики и запрещая ему тратить драгоценное время на пустые разговоры, или же удовлетворять его любознательность подробными объясненіями, которые неизбѣжно должны превратиться въ полные курсы по различнымъ отраслямъ естествознанія.

Тиндалль придаетъ важное значеніе тому обстоятельству, на которое обыкновенные педагоги обращаютъ очень мало вниманія, именно тому, что дѣти, слушая курсъ физики, вызванный ихъ собственными вопросами, будутъ учиться и напрягать свое вниманіе съ удовольствіемъ.

«Привлекать удовольствіе на сторону умственного труда — это дѣло величайшей важности, — говоритъ онъ, — потому что упражненіе ума, подобно тѣлесному упражненію, зависитъ въ своей цѣнности отъ того расположенія духа, при которомъ оно совершается. Каждый медикъ знаетъ, что идея здороваго упражненія не исчерпывается простымъ механическимъ движеніемъ, и что самымъ здоровымъ упражненіемъ оказывается то, при которомъ наслажденіе самымъ его процессомъ заставляетъ насъ забыть обо всѣхъ дальнѣйшихъ его цѣляхъ. Можно-ли наприхѣръ замѣнить чѣмъ-нибудь восторженное ликованіе дѣтскихъ игръ, въ которыхъ дѣти играютъ изъ чистой любви къ игрѣ, безо всякаго помысленія о физиологическихъ законахъ, между тѣмъ какъ благосклонная природа незамѣтно для играющихъ идетъ къ своимъ цѣлямъ, обращая дѣтямъ на пользу даже ихъ собственную безсознательность? Вы можете устроить болѣе систематическія движенія, вы можете придумать средства для болѣе полного напряженія каждаго отдѣльнаго мускула, но вы не можете создать радость и веселье игры, а гдѣ ихъ нѣтъ, тамъ пропадаетъ освѣжающая прелесть и живительность упражненія. Почти то-же самое можно сказать и объ умственномъ воспитаніи. Зачѣмъ-же такъ рѣзко отрывать умы дѣтей отъ ихъ здоровой и радостной дѣятельности, зачѣмъ закрывать имъ наглухо дорогу къ тому изученію, къ которому направлены самыя раннія ихъ стремленія и при которомъ собственная охота учащихся оказывала-бы сильное содѣйствіе укрѣпленію ихъ способностей? Зачѣмъ доводить эту исключительность до такихъ размѣровъ, что человѣкъ, если его не просвѣтитъ какое нибудь учрежденіе, вродѣ того, въ которомъ мы теперь собраны, можетъ дожить до зрѣлыхъ лѣтъ, оставаясь въ абсолютномъ невѣжествѣ касательно того, управляется-ли матеріальный міръ закономъ или случаемъ, и не происходятъ-ли въ самомъ дѣлѣ тѣ феномены, которые вызывали его дѣтскіе вопросы, отъ проказъ какихъ-нибудь гномовъ или другихъ силъ того-же разбора?»

Доказавъ естественность и законность тѣхъ желаній и умственныхъ позывовъ, которыхъ удовлетвореніе невозможно безъ систематическаго преподаванія физики, Тиндалль старается дать общее понятіе о той пользѣ, которую это преподаваніе принесетъ умственному развитію учащихся. Изученіе физики, по словамъ Тиндалля, состоитъ изъ двухъ процессовъ, взаимно дополняющихъ и постоянно смѣняющихъ другъ друга. Человѣкъ наблюдаетъ сначала единичные факты, подмѣчаетъ въ нихъ однородныя стороны, отыскиваетъ ихъ общую причину и составляетъ себѣ такимъ образомъ понятіе о законѣ, въ силу котораго одно явленіе вызываетъ собою другое. Этотъ процессъ, посредствомъ котораго человѣкъ идетъ отъ факта къ причинѣ, называется *индукціей* или *наведеніемъ*. Добравшись до такой формулы, которая кажется ему закономъ, человѣкъ начинаетъ разсуждать такъ: если законъ вѣренъ, то за такимъ-то явленіемъ неизбѣжно должно слѣдовать такое-то. Здѣсь умъ человѣка идетъ отъ найденной или угаданной причины къ ожидаемому послѣдствію; этотъ процессъ называется *дедукціей* или *выводомъ* и служитъ повѣркой для предшествующей индукціи; этотъ процессъ совершается въ головѣ экспериментатора, когда онъ производитъ опытъ, стараясь узнать посредствомъ этого опыта, дѣйствительно-ли вѣренъ найденный имъ законъ.

Теперь понятно, что изученіе физики можетъ сдѣлаться полезной умственной работой только тогда, когда ученикъ самъ дѣйствительно будетъ заниматься индукціей и дедукціей, то есть разсматривать явленія съ разныхъ сторонъ, сравнивать ихъ между собою, добираться до ихъ причины, отыскивать законы и потомъ придумывать и производить опыты для повѣрки отысканнаго закона. Надо, чтобы ученикъ непремѣнно искалъ и находилъ, ошибался и самъ замѣчалъ свои ошибки, дѣлалъ неправильныя обобщенія и потомъ ломалъ себѣ голову, отыскивая причины той неудачи, которая получится при повѣркѣ индукціи. Словомъ, надо, чтобы ученикъ шелъ по тому самому тернистому пути изслѣдованія, по которому шли въ свое время безъ путевода и компаса великіе умы, создавшіе науку. Только при такомъ живомъ и практическомъ изученіи физики, только при постоянномъ непосредственномъ соприкосновеніи съ тѣми явленіями, которыя составляютъ собою матеріалъ науки, можетъ быть рѣчь о томъ особомъ влияніи, которое положительная наука, подобная физикѣ, производитъ на умъ ученика, и о тѣхъ особыхъ умственныхъ приѣмахъ и навыкахъ, которые пріобрѣтаются ученикомъ въ строгой школѣ положительнаго знанія. Если-же ученикъ будетъ изучать физику по учебнику, то тутъ не будетъ со стороны ученика ни индукціи, ни

дедукціи; положительная наука не произведетъ на его умственные способности никакого особеннаго влиянія; его мысль не усвоитъ себѣ никакихъ новыхъ приѣмовъ и навыковъ; получится только обогащеніе памяти множествомъ различныхъ формулъ и приступовъ къ доказательствамъ; образовательная и воспитательная сила положительнаго знанія утратится безслѣдно и безвозвратно. Ученикъ пройдетъ весь учебникъ, съ первой страницы до послѣдней, и все-таки не выучится размышлять такъ какъ размышляютъ естествоиспытатели. Количество извѣстныхъ ему фактовъ значительно увеличится, но способности наблюдать и сравнивать явленія, подводить ихъ подъ общія правила и повѣрять эти правила опытами останутся по всей вѣроятности въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ онѣ находились до начала учебныхъ занятій. Учителю конечно гораздо легче дать въ руки ученику учебную книгу и наблюдать за исправнымъ выучиваніемъ уроковъ, чѣмъ устраивать такой планъ занятій, при которомъ ученикъ самъ могъ-бы дорабатываться и додумываться до основныхъ законовъ природы; но тутъ дѣло совсѣмъ не въ томъ, чтобы облегчать задачу учителя; его задача должна быть трудной, чтобы быть плодотворной. Чтобы приносить пользу, учитель долженъ быть чловѣкомъ даровитымъ и трудолюбивымъ, а для такого человѣка невыносимо механическое задаланіе и выслушиваніе мертвыхъ книжныхъ уроковъ; для такого человѣка невыносима именно та легкость педагогической задачи, за которой гонятся и которую устраиваютъ себѣ всѣми правдами и неправдами бездарные рутинеры. Напротивъ того, руководить молодой умъ на пути живого наблюденія и изслѣдованія, укрѣплять его силы постепенно усложняющимися упражненіями, слѣдить за его побѣдами и неудачами—это такая обязательная работа, за которую можетъ приняться съ удовольствіемъ и съ пользою для самого себя свѣтлый и дѣятельный умъ. Тиндалль представляетъ изъ своей собственной педагогической практики такіе факты, которые показываютъ ясно, чего именно онъ требуетъ отъ хорошаго преподавателя физики или какой-бы то ни было другой положительной науки.

«Одной изъ обязанностей, выпавшихъ на мою долю,—говоритъ Тиндалль,—во время того періода, о которомъ я говорилъ, было преподаваніе математики въ одномъ классѣ, и я находилъ обыкновенно, что Евклидъ и древняя геометрія вообще, когда они обращаются къ разуму, составляютъ учебное занятіе, очень привлекательное для молодежи. Я имѣлъ обыкновеніе отвлекать мальчиковъ отъ рутинныя книги и обращаться къ ихъ самостоятельности, предлагая имъ для разрѣшенія вопросы, не включенные въ эту рутину. Сначала это свертываніе съ протопей-

ной дороги возбуждало обыкновенно небольшое неудовольствіе; ученики чувствовали себя такъ, какъ чувствуетъ себя ребенокъ, попавшій въ общество незнакомыхъ людей; но ни разу не случилось со мною, чтобы это неудовольствіе оказалось продолжительнымъ. Когда мальчикъ былъ совершенно обезкураженъ, я ободрялъ его, рассказывая ему анекдотъ о Ньютонѣ, который говорилъ, что онъ отличается отъ другихъ людей только своимъ терпѣніемъ; или о Мирабо, которому слуга доказывалъ, что какое-то дѣло невозможно, и который на эти доводы отвѣчалъ приказаніемъ: никогда впередъ не употреблять этого глупаго слова. Ободренный такимъ образомъ, мальчикъ возвращался къ своей работѣ съ улыбкой, въ которой быть-можетъ выражалась доля сомнѣнія, но которая тѣмъ не менѣе доказывала рѣшимость попытаться снова. Я видѣлъ, какъ загорались его глаза, и наконецъ слышалъ, какъ онъ восклицалъ: «я нашелъ, сэръ!» съ такимъ удовольствіемъ, которое только своими размѣрами отличалось отъ восторга Архимеда. Сознаніе собственныхъ умственныхъ силъ, пробужденное такимъ образомъ, имѣло громадную цѣну, и, воодушевленный этимъ сознаніемъ, классъ дѣлалъ изумительные успѣхи. Я часто давалъ мальчикамъ на выборъ продолжать занятія по книгѣ или пробовать силы надъ другими предложеніями, которыхъ не было въ учебникѣ. Ни разу не случилось такъ, чтобы ученики выбрали книгу. Я всегда былъ готовъ помочь, когда мнѣ казалось, что помощь необходима, но мои предложенія обыкновенно отклонялись. Мальчики отвѣдали сладость интеллектуальныхъ завоеваній и искали побѣдъ, приобретенныхъ собственными силами. Я видѣлъ ихъ геометрическіе чертежи, нацарапанные на стѣнахъ или вырѣзанные на бревнахъ колоды, которымъ былъ обнесенъ рекреаціонный дворъ; видѣлъ я также безчисленное множество другихъ наглядныхъ свидѣтельствъ того живого интереса, который возбуждали къ себѣ эти занятія. Что касается до опытности въ дѣлѣ преподаванія, то я въ это время былъ совершеннымъ итенцомъ; я ничего не зналъ о правилахъ педагогики, какъ ее называютъ въ мицц; но я былъ проникнутъ тѣмъ духомъ, о которомъ я говорилъ въ началѣ этого разсужденія, и старался сдѣлать геометрію *средствомъ*, а не *отраслью* образованія. Опытъ оказался успѣшнымъ, и въ некоторые изъ самыхъ обаятельныхъ часовъ моей жизни были доставлены мнѣ наблюденіями надъ сильнымъ и радостнымъ разцвѣтаніемъ мыслительной силы, возбужденной и вызванной вышеописаннымъ способомъ.

«И далѣе то удовольствіе, которое мы всѣ испытывали, удвоилось, когда мы стали прикладывать наши математическія знанія къ разрѣшенію физическихъ задачъ. Многіе предметы, встрѣчавшіеся на каждомъ шагѣ, получали для

насъ такимъ образомъ новую занимательность и новое значеніе. Качель, качальная доска, въпріеніе веревокъ въ исполнскомъ шагѣ, паденіе и подскакиваніе ножного мячика, выпрыгиваніе маленькаго мальчика сравнительно съ большими прикрутыхъ поворотахъ, въ особенности въ скользящую погоду—все это становилось предметомъ изслѣдованія. Предпоживъ, что дана стоитъ передъ зеркаломъ, которое по своей величинѣ равняется всему ея росту, мы должны были узнать, какая именно часть этого зеркала действительно полезна дамѣ? И мы съ большимъ удовольствіемъ узнавали тотъ экономическій фактъ, что она можетъ обойтись безъ нижней половины зеркала и при этомъ все-таки увидѣть всю свою фигуру. Намъ также глубоко интересовало то, что по жужжанію пчелы мы опредѣляли сколько разъ въ минуту маленькое насекомое взмахиваетъ крыльями. Производя наши изслѣдованія надъ маятникомъ, мы интересовались узнать, какимъ это образомъ полковникъ Сабинъ посредствомъ маятника опредѣлялъ фигуру земли, и мы также были очень озадачены тѣмъ заключеніемъ, которое позволяло намъ сдѣлать тотъ-же маятникъ, именно той мыслью, что еслибы ежедневная скорость движенія земли была въ семнадцать разъ больше теперешней, то на экваторѣ центробѣжная сила оказалась-бы совершенно равной силѣ тяготѣнія, и что слѣдовательно тамошній житель имѣлъ-бы одинаковое стремленіе падать и къ верху, и къ низу. Всѣ эти вещи были для насъ источниками изумленія и наслажденія; мы не могли не восхищаться настойчивостью человѣка, совершившаго такіе подвиги; и потомъ, когда мы припоминали, что мы сами одарены тѣми-же силами и можемъ трудиться на томъ-же обширномъ полѣ, тогда разрастались въ насъ надежды, что когда-нибудь въ послѣдствіи мы также съумѣемъ подвинуть дѣло немного впередъ и присоединимъ къ добытымъ завоеваніямъ результаты нашихъ собственныхъ побѣдъ.

«Я знаю, что мнѣ слѣдуетъ извиниться передъ вами въ томъ, что я такъ долго останавливался на этомъ предметѣ. Но дни, прожитые мною въ средѣ этихъ юныхъ философовъ, произвели на меня глубокое впечатлѣніе. Въ ихъ обществѣ я приобрѣлъ кое-какія свѣдѣнія о себѣ самомъ и о человѣческой природѣ, и составилъ себѣ нѣкоторое понятіе о призваніи учителя. Если есть въ Англіи профессія неизмѣримой важности, то, по моему мнѣнію, это — профессія школьнаго учителя. И если есть положеніе, въ которомъ недобросовѣстность и бездарность производятъ самый серьезный вредъ, понижая нравственный строй и возбуждая презрѣніе и хитрость тамъ, гдѣ должны быть вызваны уваженіемъ благородная правдивость, то это — положеніе школьнаго учителя. Когда человѣкъ, расширившій свой умъ и свое сердце, входитъ въ об-

щество мальчиковъ; когда онъ вливаетъ въ нихъ струю своей личности, и когда онъ въ повышеніи ихъ чувствъ и понятій замѣчаетъ дѣйствіе своего собственнаго характера, тогда нечего и говорить о томъ, что его положеніе почетно. Это—благословенное положеніе. Такой человекъ — благодать для самого себя и для всего, что его окружаетъ. Я полагаю, что такихъ людей можно найти въ Англіи, и что разнѣскивать ихъ обязаны тѣ, кто въ настоящее время занимается устройствомъ учебной части. Потому что какія бы средства образованія ни были выбраны, физическія или филологическія, успѣхъ всегда будетъ зависѣть главнымъ образомъ отъ того количества жизни, любви и серьезности, которое самъ учитель принесетъ съ собою къ своему призванію.»

При разумномъ, практическомъ методѣ преподаванія физика приноситъ ученику ту пользу, что приучаетъ его къ внимательному наблюденію и къ осмотрительному обобщенію окружающихъ фактовъ. Занимаясь физикой, ученикъ усваиваетъ себѣ индуктивный способъ мышленія, съ которымъ его не можетъ познакомить ни математика, ни латинскій синтаксисъ, ни греческая просодія, ни даже чтеніе божественнаго Гомера или божественнаго Платона. Индуктивный способъ мышленія былъ почти совершенно неизвѣстенъ всей классической древности; древніе мыслители старались отгадывать тамъ, гдѣ необходимо было наблюдать и изучать. Индукція развилась вмѣстѣ съ успѣхами естествознанія; она проявилась въ этихъ успѣхахъ и она же ихъ породила; поэтому физика вмѣстѣ съ другими отраслями естествознанія остается до сихъ поръ и по всей вероятности останется навсегда для всѣхъ подрастающихъ поколѣній единственной возможной школой индуктивнаго мышленія. Чтобы выучиться наблюденію, надо наблюдать; чтобы выучиться обобщенію, надо обобщать; а когда мы стараемся по мѣрѣ нашихъ силъ наблюдать и обобщать тѣ явленія, которыя насъ окружаютъ и такъ или иначе возбуждаютъ наше любопытство и привлекаютъ къ себѣ наше вниманіе, тогда это значитъ, что мы занимаемся или стараемся заниматься той или другою отраслью естествознанія, потому что всѣ окружающія насъ явленія составляютъ достояніе той или другой науки, доразвившейся до извѣстныхъ результатовъ путемъ индукціи, то есть наблюденія и обобщенія. Если мы хотимъ учиться наблюденію и обобщенію, то мы можемъ выбрать для нашихъ упражненій въ этихъ процессахъ или органическую природу, или неорганическую природу. Если мы выберемъ органическую природу, то мы при нашей непривычкѣ наблюдать и обобщать тотчасъ запутаемся въ лабиринтъ тѣхъ сложныхъ отправленій, изъ которыхъ состоитъ жизнь растенія

или тѣмъ болѣе животнаго. Кромѣ того мы скоро замѣтимъ, что и растенія, и животныя вмѣстѣ со всей неорганической природой подчинены какимъ-то общимъ законамъ, которые намъ необходимо предварительно узнать для того, чтобы имѣть возможность изучать въ слѣдствіи собственно-органическія отправленія въ жизни растеній и животныхъ. Эти общіе законы, тѣ законы, по которымъ совершается движеніе, распространяются свѣтъ, звукъ и теплота, — составляютъ предметъ физики. Эти законы проще тѣхъ законовъ, по которымъ совершаются органическія отправленія. Эти законы имѣютъ болѣе обширный кругъ дѣйствія. Чтобы добраться до этихъ законовъ, нѣтъ надобности знать предварительно какіе-нибудь другіе законы. Надо только вычислять и измѣрять, то есть усвоить себѣ тѣ навыки и приемы, которые даетъ намъ изученіе арифметики, алгебры и геометріи. По всѣмъ этимъ причинамъ первый шагъ въ дѣлѣ индуктивнаго мышленія долженъ быть сдѣланъ посредствомъ изученія физики, которая въ свою очередь должна отворить намъ двери въ другія высшія области естествознанія. Во всѣхъ этихъ областяхъ господствуетъ одинъ и тотъ-же духъ, — духъ спокойнаго и безпристрастнаго изслѣдованія, — духъ чистой, безкорыстной и неустранимой любви къ истинѣ, какова-бы она ни была и въ какомъ-бы суровомъ видѣ ни представилась она непривычнымъ глазамъ новопосвященнаго адепта. Кто входитъ въ эти области естественнымъ путемъ наблюденія и размышленія, тотъ приучается любить истину во что бы то ни стало, стремиться къ ней силами своего ума и характера, принимать ее съ покорностью и признательностью изъ рукъ соперника или врага, мыслить честно и смѣло, не подкупая себя никакими посторонними соображеніями, и ставить всегда и вездѣ великую общую цѣль, — отысканіе истины, — выше мелкихъ и дрянныхъ внушеній личнаго самолюбія. Если умственный трудъ можетъ сдѣлаться школой для характера, то больше всѣхъ другихъ проявленій умственнаго труда способно сдѣлаться такой школой изученіе природы, требующее отъ своихъ адептовъ строгой правдивости, неподкупной зоркости, тонкой проницательности и желѣзнаго терпѣнія. Что говорится объ изученіи природы вообще, то, разумѣется, прилагается въ частности и къ физикѣ, составляющей необходимое начало и первую ступень этого изученія.

Тиндаллъ думаетъ, что изученіе физики одинаково необходимо для всѣхъ классовъ общества.

«Какъ орудіе умственнаго развитія, — говоритъ онъ, — изученіе физики полезно всѣмъ: по своему отношенію къ спеціальнымъ занятіямъ цѣнность этого изученія еще болѣе осязательна, хотя и не такъ велика. Съ какой стати

напримѣръ члены парламента должны оставаться несвѣдущими касательно такихъ предметовъ, по поводу которыхъ они призваны издавать законы? Въ этой странѣ практической физики зачѣмъ они должны быть неспособными составить себѣ самостоятельное мнѣніе о какомъ-нибудь физическомъ вопросѣ? Зачѣмъ сенаторъ при обсужденіи научнаго вопроса долженъ отдавать себя на произволъ спорящихъ сторонъ, заинтересованныхъ въ дѣлѣ, до тѣхъ поръ, пока благотѣльная дремота не избавитъ его отъ дикаго шума непонятныхъ преній, происходящихъ передъ нимъ въ залѣ комитета? То образование, которое оставляетъ подобныя пробѣлы, нарушаетъ свои обязанности передъ Англіей. Что касается до нашего рабочаго народа, рабочаго въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, то изученіе физики было-бы ему полезно не только какъ средство интеллектуальнаго развитія, но также и какъ нравственное вліяніе, способное предохранить этихъ людей отъ привычекъ, унижающихъ человѣческое достоинство. Исправленіе человѣка зависитъ чаще отъ косвеннаго, чѣмъ отъ прямого дѣйствія воли. Чтобы сломить силу искушенія, воля должна найти себѣ противъ него оплотъ въ какомъ-нибудь опредѣленномъ положеніи своей силы. Пьяница напримѣръ находится въ опасномъ положеніи, пока онъ только говоритъ или божится, что будетъ воздерживаться отъ пьянства. Его мысли, если онъ не привлечены какой-нибудь другой силой, будутъ постоянно возвращаться къ кабаку, и, чтобы избавлять его постоянно отъ этого притяженія, вы должны дать ему какой-нибудь противоположный интересъ. Придавая предметамъ, окружающимъ постоянно рабочаго человѣка, такую занимательность, которая будетъ вызывать его на размышленіе, вы откроете ему новыя наслажденія; и каждое изъ этихъ наслажденій сдѣлается для него точкой опоры въ борьбѣ съ искушеніемъ. Кромѣ того наши мануфактуры и плавильни представляютъ обширное поле для наблюденій, и еслибы тѣ, которые въ нихъ работаютъ, сдѣлались способными при содѣйствіи предварительнаго образованія оцѣнивать то, что они видятъ, то наука обогатилась-бы неисчислимыми приобрѣтеніями. Кто можетъ сказать, какіе Самсоны умственнаго міра работаютъ въ настоящую минуту съ закрытыми глазами въ нашихъ манчестерскихъ и бирмингемскихъ кузницахъ и заводахъ? Дайте этимъ Самсонамъ зрѣніе, надѣлите ихъ кое какими званіями по части физики—и вы умножите шансы открытій и тѣмъ самымъ расширите поприще будущаго національнаго процвѣтанія. Въ нашихъ многоразличныхъ техническихъ операціяхъ мы часто играемъ такими силами, которыя въ случаѣ нашего незнанія становятся причинами нашей гибели. Въ локомотивѣ дѣйствуютъ

такіе двигатели, о которыхъ по всей вѣроятности никогда не мечтали строители и которые однако достаточно сильны, чтобы превратить машину въ истребительное орудіе. Далѣе, когда мы подумаемъ объ умственномъ развитіи того народа, который трудится въ нашихъ углубныхъ копяхъ, тогда мы перестанемъ изумляться тѣмъ ужаснымъ взрывамъ, которые случаются тамъ отъ времени до времени.

«Еслибы эти люди обладали достаточными физическими свѣдѣніями, то, безъ сомнѣнія, изъ среды самихъ работниковъ вышла-бы такая система предосторожностей, вслѣдствіе которой эти потрясающія событія перестали-бы повторяться. Еслибы они обладали знаніемъ, то ихъ личные интересы доставили-бы имъ необходимый стимулъ для его практическаго приложенія, и такимъ образомъ двѣ цѣли оказались-бы достигнутыми въ одно и то-же время—вышеніе людей и уменьшеніе бѣдствій.»

Приверженцы классическаго образованія никогда не рѣшались утверждать, что вся наука сверху до низу должна учиться греческой и латинской грамматикѣ, читать древнихъ поэтовъ и философовъ и писать стихи на двухъ мертвыхъ языкахъ. Напротивъ того, эти приверженцы говорили и продолжаютъ говорить положительно при каждомъ удобномъ случаѣ, что классическое образованіе годится только для высшихъ сословій, для людей богатыхъ и знатныхъ или по крайней мѣрѣ для обезпеченныхъ людей, которымъ нѣтъ надобности искать себѣ хлѣбную работу и въ виду этой необходимой работы торопиться окончаніемъ подготовительнаго ученія. Приверженцы классическаго образованія хотѣли и хотятъ до сихъ поръ, чтобы въ каждомъ человѣческомъ обществѣ существовали двѣ совершенно различныя и рѣзко разграниченныя системы умственнаго развитія—одна дорогая, основательная, утонченная, самаго высокаго сорта и самой отличной доброты, созданная для господъ и богачей, и другая дешевенькая, плохенькая, считая на живую нитку и существующая для всякихъ разношцековъ. Первая ни при какихъ условіяхъ не могла и не должна была даже въ самомъ отдаленномъ будущемъ спускаться къ народу. Второй точно такъ-же было на вѣчныя времена запрещено подниматься къ избранному обществу. Переходовъ и промежуточныхъ отбѣнковъ между первой и второй системой не допускалось никакихъ. Приверженцы классическаго образованія попадали такимъ образомъ въ очень странное и до нѣкоторой степени фальшивое положеніе. Чѣмъ больше они прославляли изученіе классической древности, какъ единственную годную подготовку ко всякой серьезной умственной дѣятельности, тѣмъ яснѣе просвѣчивалъ въ ихъ разсужденіяхъ тотъ основной мотивъ, что они очень добросовѣстно стараются всѣми силами

навсегда отрѣзать народу путь ко всякому серьезному и здоровому умственному труду.

Изъ словъ Тиндалля мы видимъ, что защитники естествознанія поступаютъ какъ-разъ наоборотъ. Говоря объ умственныхъ потребностяхъ націи, они дѣйствительно подразумѣваютъ всю націю и не стараются отдѣлить нѣсколькихъ избранныхъ отъ громаднаго большинства народа. Для нихъ нѣтъ ни избранныхъ, ни отверженныхъ. Они хотятъ, чтобы богачъ и бѣднякъ, лордъ и простой работникъ были способны понимать другъ друга, чтобы основы ихъ умственного развитія и существенныя черты ихъ образа мыслей были одинаковы, чтобы между ними было какъ можно больше точекъ соприкосновенія, чтобы число этихъ точекъ увеличивалось съ каждымъ новымъ поколѣніемъ, и чтобы то различіе, которое неизбежно будетъ существовать между образованіемъ высшихъ и богатѣйшихъ сословій, было различіемъ, способнымъ постоянно уменьшаться, — различіемъ, состоящимъ не въ качествѣ умственного закала, а только въ количествѣ свѣдѣній, добытыхъ изъ школьнаго ученія и изъ прочитанныхъ книгъ. Ни одинъ здравомыслящій человекъ не затруднится рѣшить, которая изъ двухъ противоположныхъ партій готовить націю болѣе спокойную будущность и болѣе счастливое развитіе.

III.

Послѣ лекціи Тиндалля помѣщена въ книгѣ Юманса лекція доктора Добени о необходимости химіи, какъ составной части общаго образованія. Добени, подобно Тиндаллю, сосредоточиваетъ вниманіе своихъ слушателей не столько на практическую приложимость химіи, сколько на то вліяніе, которое основательное изученіе этой науки можетъ оказывать на умственное развитіе учащихся. Не придавая своимъ разсужденіямъ ни малѣйшаго полемическаго оттенка, отзываясь постоянно о классическомъ образованіи со всѣми наружными признаками глубокаго уваженія, Тиндалль, Добени и всѣ остальные натуралисты, которыхъ размышленія помѣщены въ книгѣ Юманса, постоянно поражаютъ любителей классицизма на ихъ собственной почвѣ, ихъ собственнымъ оружіемъ. Любители классицизма говорятъ: мы очень хорошо знаемъ, что англичанинъ нашего времени можетъ съ большимъ удобствомъ прожить свой вѣкъ, не прочитавши ни одной строки Горациа или Анакреона; мы очень хорошо знаемъ, что знаніе двухъ древнихъ языковъ не нужно ни для того, чтобы заниматься ремесломъ, ни для того, чтобы завѣдывать фабрикой, ни для того, чтобы вести дѣла торговой фирмы, ни для того, чтобы служить въ арміи или во флотѣ, ни для

того, чтобы дебютировать въ парламентѣ или защищать кліента передъ судомъ, словомъ, ни для одного изъ тѣхъ многихъ практическихъ занятій, которымъ предаются граждане Великобританскаго королевства. Все это мы знаемъ какъ нельзя лучше; но мы дорожимъ древними языками, грамматиками и литературами, какъ драгоценнымъ и незамѣнимымъ образовательнымъ средствомъ, какъ такой умственной пищей, которая изощряетъ, развертываетъ и укрѣпляетъ самымъ неподражаемымъ образомъ всѣ силы и способности учащейся молодежи. — Мы васъ понимаемъ, отвѣчаютъ на это натуралисты, и мы постараемся вамъ доказать, что наши науки, именно какъ образовательное средство, стоятъ гораздо выше той умственной пищи, которую вы считаете незамѣнимой.

Добени полагаетъ, что для тѣхъ многочисленныхъ умовъ, которые неспособны задумываться надъ отвлеченными истинами, наполняющими область математики, химія можетъ сдѣлаться превосходной школой мышленія, потому что здѣсь умъ работаетъ надъ осязательными явленіями и въ каждую данную минуту можетъ повѣрить свой теоретическій выводъ фактами живой дѣйствительности. Лучше всѣхъ другихъ физическихъ наукъ химія развиваетъ, по мнѣнію Добени, привычки къ точному наблюденію; она пріучаетъ человека обращать самое строгое вниманіе на всѣ мельчайшія особенности каждаго явленія; постоянно сдерживая порывы фантазій указаніями опыта, она въ то-же время возбуждаетъ силу воображенія настолько, насколько это необходимо для того, чтобы человекъ могъ формировать новыя комбинаціи изъ вѣснѣйшихъ, полученныхъ извѣстій; и наконецъ она воспитываетъ въ учащемся способность открывать въ явленіяхъ сходство и различіе и распредѣлять пеструю массу существующихъ фактовъ по рубрикамъ и категоріямъ естественной классификаціи.

При изученіи химіи непосредственная работа надъ міромъ дѣйствительныхъ явленій еще болѣе необходима, чѣмъ при изученіи физики. Учиться химіи по книжкѣ безъ лабораторіи все равно, что совѣтъ ей не учиться. Учиться химіи по книжкѣ — значитъ заваливать память плохо понятыми научными терминами и формулами. Такія занятія могутъ развить въ учащемся только печальную способность удовлетворяться неполнымъ и неяснымъ пониманіемъ изучаемаго предмета. Вмѣсто того чтобы укрѣплять мыслительную силу, такія занятія могутъ только отучать молодой умъ отъ серьезнаго мышленія.

Проникши въ лабораторію и вступивъ такимъ образомъ на путь опытнаго изслѣдованія, учащійся конечно начинаетъ съ повѣрки тѣхъ простѣйшихъ истинъ, которыя вычитаны имъ изъ первыхъ главъ учебника. Учащійся произво-

дять опыты, описанные въ книгѣ, и дѣйствуетъ по указанной программѣ, стараясь держаться къ ней какъ можно ближе; но при этомъ онъ не можетъ дѣйствовать машинально: самые простые опыты удаются только въ томъ случаѣ, когда соблюдены всѣ необходимыя условія, и когда все вниманіе экспериментатора съ начала до конца остается постоянно сосредоточеннымъ на производимой комбинаціи. Учебная книга не можетъ предвидѣть всѣхъ мелкихъ случайностей, которыя могутъ помѣшать успѣху даннаго опыта; наткнувшись на неудачу, начинающій экспериментаторъ становится втупикъ, припоминаетъ всѣ мельчайшія подробности своего несостоявшагося опыта и старается отыскать причину неуспѣшнаго окончанія. Повтореніе опыта производится съ усиленной тщательностью; вниманіе учащагося устремляется преимущественно на ту сторону дѣла, въ которой оказалась, по его мнѣнію, оплошность; въ случаѣ новой неудачи начинается новое изслѣдованіе причинъ, и такимъ образомъ, дѣлая ошибки и потомъ отыскивая и исправляя ихъ, экспериментаторъ дополняетъ указанія учебника своими собственными наблюденіями, усваиваетъ себѣ техническую сноровку своего дѣла и знакомится со всѣми тѣми особенностями различныхъ тѣлъ, которыя такъ или иначе могутъ видоизмѣнить своимъ вліяніемъ окончательные результаты его манипуляцій. Въ то-же время, чѣмъ ближе учащійся знакомится съ тайнами лабораторіи, тѣмъ чаще напрашивается къ нему въ голову соблазнительная мысль свернуть на минуту съ той проторенной дороги, на которую указываетъ учебникъ, заглянуть мелькомъ въ какой-нибудь неизслѣдованный уголокъ химическаго дѣла и произвести какой-нибудь замѣчательный опытъ. Воображеніе учащагося разыгрывается; ему начинаетъ казаться, что онъ можетъ придумать новую комбинацію, посредствомъ которой ему удастся вырвать у природы одну изъ многихъ ея неразоблаченныхъ тайнъ; онъ приступаетъ къ работѣ съ горячностью, свойственной молодому изслѣдователю, и вдругъ блистательныя надежды сдѣлаются горькимъ разочарованіемъ; выведенныя заключенія оказываются скороспѣлыми и неосновательными; воздушный замокъ не выдерживаетъ тѣхъ испытаній, черезъ которыя должна быть проведена въ химической лабораторіи каждая привлекательная гипотеза. Юный экспериментаторъ приходитъ къ тому спасительному убѣжденію, что роскошный полетъ воображенія долженъ постоянно регулироваться указаніями трезваго разсудка и правильно понятаго опыта. Онъ не отказывается придумывать новыя комбинаціи; его работа постоянно наталкиваетъ его на новыя гипотезы; но путемъ неудачъ и разочарованій онъ пріучается сдерживать свою

фантазію въ должныхъ границахъ и приходитъ понемногу къ тому равновѣсію различныхъ душевныхъ силъ, которое необходимо для успешнаго отправленія всякихъ серьезныхъ обязанностей. Въ немъ развиваются умственная требовательность и строжайшая добросовѣстность; въ немъ растетъ и крѣпнеть непреодолимое стремленіе отдавать себѣ самый точный и подробный отчетъ въ каждой мельчайшей особенностяхъ своего дѣла; ему становится отвратительнымъ всякое умственное неряшество, всякое неумѣніе или нежеланіе довести мысль до конца, всякое поверхностное геніальничанье, чуждающееся терпѣливаго чернаго труда и удовлетворяющееся кое-какими натянутыми аналогіями и искусственными полудоказательствами.

Чтобы показать, какое упорство въ преслѣдованіи и повѣркѣ своей мысли развивается въ умномъ человѣкѣ подъ вліяніемъ постоянныхъ и усидчивыхъ химическихъ занятій, Деви рассказываетъ въ общихъ чертахъ исторію одного изъ важнѣйшихъ открытій, сдѣланныхъ знаменитымъ химикомъ Деви. Въ настоящее время извѣстно, что электричество вольтова столба разлагаетъ воду на ея составныя части, водородъ и кислородъ. Это открытіе, доказавшее связь между электрическимъ притяженіемъ и химическимъ сродствомъ, далось сэру Генри Деви путемъ продолжительныхъ и разнообразныхъ экспериментовъ.

Сначала Деви находилъ постоянно, что къ кислороду разложенной воды примѣшивается кислота, а къ водороду — щелочь и даже известь. Деви предположилъ, что эти постороннія частицы отдѣляются отъ стѣнокъ сосуда и отъ другихъ тѣлъ, прилежащихъ въ соприкосновеніи съ разлагаемой водой. Онъ сообразилъ, что стеклянный сосудъ производитъ соду, а писчая бумага, которой были соединены полюсы электрическаго аппарата, порождала соляную кислоту. Тогда вмѣсто стекляннаго сосуда онъ взялъ агатовый, а вмѣсто писчей бумаги — волокна аміанта или горнаго дыма. Вода разложилась, но, несмотря на принятые предосторожности, у положительнаго полюса опять появилась соляная кислота, а у отрицательнаго — сода. Деви повторилъ опытъ много разъ, и всякій разъ получались приблизительно одинаковые результаты. Деви заключилъ, что агаты разлагаются, и замѣнилъ его чистымъ жемчужнымъ. При разложеніи воды щелочь продолжала появляться попрежнему. Тогда Деви повергнулъ ту воду, которую онъ употребилъ въ своихъ экспериментахъ, самому тщательному химическому анализу, несмотря на то, что эта вода была дистиллирована. Въ кварталѣ воды оказалось семь десятыхъ грана солянаго вещества. Деви еще разъ самымъ тщательнымъ образомъ дистиллировалъ воду въ серебряныхъ сосудахъ.

представляя себѣ, что уже послѣ этой послѣдней операціи неоткуда будетъ взяты никакой посторонней примѣси. Разложивъ воду посредствомъ электрическаго тока, Деви нашелъ однако-же, что попрежнему получаются на обоихъ противоположныхъ полюсахъ кислота и щелочь. Но вмѣсто соды получился амміакъ, а вмѣсто соляной кислоты — селитряная. Тогда Деви остановился на томъ предположеніи, что оба эти вещества составились изъ соединенія азота, заключающагося въ окружающемъ воздухѣ, съ обѣими составными частями разложившейся воды, т. е. съ кислородомъ и водородомъ. Чтобы проверить эту гипотезу, потребовалось еще послѣднее, рѣшительное испытаніе. Надо было отдѣлить воду отъ соприкосновенія съ атмосфернымъ воздухомъ; поэтому Деви произвелъ разложеніе воды въ безвоздушномъ пространствѣ, подъ колоколомъ воздушнаго насоса. А чтобы успѣху опыта не помѣшалъ воздухъ, находящійся въ самой водѣ, Деви до начала разложенія выгналъ изъ нея весь воздухъ посредствомъ тщательнаго кипяченія. Повидимому всѣ причины неудачи были устранены, а между тѣмъ успѣху опыта еще разъ оказался неполнымъ: селитряная кислота появилась снова, хотя и въ гораздо меньшихъ доляхъ, чѣмъ при прежнихъ опытахъ. Для Деви такой неполный успѣхъ равнялся полному неуспѣху; никакіе приблизительные результаты не могли его удовлетворить; для него было невозможно объяснить себѣ вкрадшуюся погрѣшность какимъ-нибудь правдоподобнымъ предположеніемъ и потомъ успокоиться на этомъ непровѣренномъ предположеніи. Ему надо было во что бы то ни стало устранить погрѣшность и доказать самому себѣ, не путемъ логическихъ выкладокъ и разсужденій, а неопровержимымъ свидѣтельствомъ осознанныхъ фактовъ, что случившаяся погрѣшность обуславливается именно той или другой причиной. Деви объяснилъ себѣ неудачу послѣдняго опыта тѣмъ обстоятельствомъ, что по всей вѣроятности воздухъ недостаточно хорошо былъ вытянутъ изъ подъ того колокола, подъ которымъ производилось разложеніе воды.

Чтобы вполне обезпечить себя съ этой стороны, Деви сначала вытянулъ воздухъ, потомъ наполнилъ колоколъ чистымъ водородомъ и затѣмъ еще разъ опорожнилъ колоколъ самымъ тщательнымъ образомъ. Наконецъ долговременные труды великаго изслѣдователя увѣнчались самымъ полнымъ успѣхомъ. Впродолженія двадцати четырехъ часовъ подъ рядъ Деви подвергалъ воду, поставленную подъ опорожненный колоколъ, дѣйствію voltaическаго электричества, и во все это время не получилось ничего, кромѣ чистаго кислорода и чистаго водорода. Самый строгій химическій анализъ не могъ показать ни малѣйшихъ слѣдовъ щелочи и кислоты,

которыя такъ долго преслѣдовали неутомимаго экспериментатора.

Мы не будемъ распространяться о научномъ значеніи того опыта, который такъ долго не удавался гениальному изслѣдователю. Для насъ въ настоящую минуту интересна только психологическая сторона разсказаннаго эпизода. Для насъ важенъ преимущественно тотъ комплектъ умственныхъ привычекъ, тотъ строй умственной выдержки или дисциплины, тотъ колоритъ отношеній человѣка къ своему труду, который обнаруживается съ поразительной яркостью въ этомъ величественномъ столкновеніи и въ этой глубоко драматической борьбѣ анализирующей мысли съ слѣпыми силами матеріи, подчиненными на вѣчныя времена неизбѣжнымъ и неварушимымъ законамъ.

Мы привыкли называть гениями тѣхъ людей, которые сдѣлали какое-бы то ни было важное открытіе въ области науки. Та идея, которую мы связываемъ со словомъ *гений*, состоитъ, по нашему мнѣнію, изъ двухъ главныхъ и существенно различныхъ элементовъ. Во-первыхъ, чтобы изъ разсмотрѣнія и сличенія такихъ фактовъ, которые находятся передъ глазами у цѣлой толпы изслѣдователей, вывести такую идею, которая не приходила въ голову ни одному изслѣдователю, надо обладать необыкновенной силой умственныхъ способностей. Эта сила по всей вѣроятности родится вмѣстѣ съ человѣкомъ и не можетъ быть привита никакимъ воспитаніемъ, какъ бы оно ни было рационально устроено. Но эта сила сама по себѣ недостаточна для того, чтобы превратить остроумную и привлекательную гипотезу въ общепризнанную научную истину. Блестящія гипотезы сами по себѣ не имѣютъ никакого значенія ни въ наукѣ, ни въ практической жизни; онѣ каждый день возникаютъ и лопаются, какъ мыльные пузыри, не оставляя послѣ себя никакого прочнаго слѣда, и авторы ихъ считаются совсѣмъ не гениями, а только остроумными фантазерами, если у нихъ недостаетъ знаній, умѣнія и терпѣнія на то, чтобы защитить свою идею противъ всевозможныхъ сомнѣній, возраженій и опроверженій. Наткнувшись на счастливую идею, человѣкъ долженъ доказать ея вѣрность себѣ и другимъ. Чтобы серьезно доказывать какую-бы то ни было новую и оригинальную мысль, и чтобы этими доказательствами одержать побѣду надъ всѣми ея противниками, — надо собирать факты, надо разсматривать ихъ съ той или другой стороны, надо подвергать ихъ тому или другому освѣщенію, надо изучать и критиковать ихъ; словомъ, надо трудиться много и долго, терпѣливо и послѣдовательно, со смысломъ и съ знаніемъ дѣла. Это умѣнье трудиться и бороться за идею составляетъ второй необходимый элементъ гениаль-

ности, и этот второй элемент может быть приобретен посредством разумного и целесообразного воспитания каждым здоровым и неглупым человеком. Если человек с молодых лет занимается таким делом, в котором каждый шаг вперед требует хладнокровия и терпения, и если это дело привязывает к себе человека, то можно сказать наперед, что этот человек скоро выучится размышлять и действовать хладнокровно и терпеливо. Если человек изучает серьезно и с любовью такую науку, которая во всех своих подробностях может служить образцом и школой последовательного и осматрительного мышления, то наперед этот человек, сам того не замечая, подчинится дисциплинирующему действию этой любимой науки, и на всю жизнь внесет в мир собственной мысли ту последовательность и ту осматрительность, с которыми он освоился в сфере своих научных занятий.

С одной стороны не трудно понять, что громадный ум, не выдрессированный основательным научным образованием, не выдержанный в школе строгого и точного мышления, не закаленный в привычках к упорному и отчетливому труду, останется в большей части случаев ярким, но бесплодным явлением: из такого громадного ума выработается по всей вероятности блестящий дилетант, который пробьжит через все области человеческого знания, набросает в каждую из них по нескольку остроумных гипотез и ни на одной из этих областей не остановится для того, чтобы оплодотворить ту или другую из них усидчивым и последовательным трудом. С другой стороны не подлежит сомнению, что обыкновенный ум, усвоивший себе хорошие приемы и навыки, может работать с успехом и с пользою на всех поприщах научной и практической деятельности. Если два последних соображения будут признаны верными, то надо будет согласиться, что из двух составных элементов гениальности второй, тот, который приобретается воспитанием, важнее первого, то есть того, который дается самой природой.

Если бы мы даже, принимая во расчет ту скупость, с которой природа производит гениальных людей, пришли к тому убеждению, что первый элемент драгоценнее второго, то и в этом случае мы все-таки должны были бы признаться, что в практическом отношении второй важнее первого. Понятно — почему. Мы до сих пор не имеем под руками таких мѣръ, посредством которых мы могли бы увеличить число счастливых рождений, дающих миру гениальных дѣтей. Напротив того, мы уже знаем достоверно по теоретическим соображениям и по многократным опытам, что из-

вестная система умственных занятий развивает в человеке все те свойства и привычки, которые одинаково необходимы для общественной деятельности и гению, и обыкновенному здоровому уму. Поэтому все наши размышления о необходимости первого элемента не заставляют нас принять никакого практического решения. Напротив того, когда мы убедились в необходимости второго элемента, и когда мы знаем, что этот второй элемент необходим для всей массы размышляющих людей, — тогда мы всей тяжестью просвещенного общественного мнения склонимся на сторону тех воспитывающих научных занятий, посредством которых в человеке развивается с ранней молодости способность к добросовестному мышлению, к упорному и отчетливому исследованию и к терпеливому труду.

«Я, — говорит Добени, окончив свой рассказ об открытии Деви, — тем более был расположен остановиться на этом особом предмете исследования, что здесь философский характер сэра Гемфри Деви представляется далеко не в том свете, в каком его обыкновенно рассматривают поверхностные наблюдатели. Он является здесь не такой личностью, которая внезапным внушением своего гения спускала сразу блестящие открытия, производившие переворот в целой науке, а, напротив того, — таким деятелем, который долгим и многотрудным путем исследования доходил до осуществления мечты, представившейся сначала в неясных очертках его могучему уму.»

«Если мы признаем, что двумя важнейшими услугами, оказанными этим великим исследователем его любимой науке, были: открытие щелочных и землестых оснований и исправление наших взглядов на сущность излучения, — первое, как важнейший вклад его в область научных фактов, а второе, как важнейшее усовершенствование, сделанное им в логике науки, — то мы найдем, что во обоих этих случаях результаты были добыты очень терпеливым исследованием, многими мелкими и повидимому пустыми манипуляциями и такой настойчивостью в стремлении к цели, которую не могли победить никакие препятствия, успевавшие на каждом шагу его путь.»

«Учащему полезно получить во время того указания, что таковы обыкновенно удѣлы гения, не только тогда, когда он посвящает свои силы науке, но и тогда, когда он работает в какой-нибудь другой отрасли умственной деятельности; это правило одинаково подтверждается примерами Деви и Либиха, или примерами Фокса и Шеридана. В силу закона, господствующаго над нашей физической природой, мы можем переваривать, уподоблять и комбинировать с большим или меньшим лег-

костью материалы, находящиеся у насъ подъ рукою, но мы не можемъ создавать ихъ въ точномъ смыслѣ этого слова; такъ точно ни одинъ умъ, какъ-бы онъ ни былъ могучъ, ни одно воображеніе, какъ-бы оно ни было плодотворно, не могутъ идти съ успѣхомъ къ какой-бы то ни было хорошей цѣли, если они не пользуются въ обширныхъ размѣрахъ запасами знаній, собранныхъ другими людьми, и если они не располагаютъ умственнымъ фондомъ, составленнымъ изъ собственныхъ опытовъ и наблюдений.»

Доказавъ пользу химіи, какъ образовательнаго средства, Добени дѣлаетъ нѣсколько замѣчаній о значеніи химіи въ ряду другихъ естественныхъ наукъ и о необходимости знать химію для того, чтобы изучать жизнь растений и животныхъ, и для того, чтобы отдавать себѣ отчетъ въ тѣхъ измѣненіяхъ, которыя совершались и совершаются постоянно на поверхности земного шара. Далѣе Добени говоритъ о тѣхъ практически полезныхъ свѣдѣніяхъ, которыя химія можетъ дать людямъ, стоящимъ на самыхъ различныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы. Затѣмъ Добени пускается въ общія размышленія о той системѣ образованія, которая господствуетъ въ Англіи.

«Кто находить,—говоритъ онъ,—что дѣтей слѣдуетъ учить только тому, что было сказано и сдѣлано другими людьми,—для того примѣръ китайцевъ можетъ служить поучительнымъ предостереженіемъ. Мы здѣсь видимъ націю, отодвинувшуюся назадъ на пути цивилизаціи вслѣдствіе того, что она полагалась исключительно на мудрость своихъ предковъ, слѣдовала въ техническомъ производствѣ тѣмъ правиламъ, которыя были ей переданы изъ далекаго прошлаго, и посвящала большую часть своихъ ученыхъ досуговъ изученію всѣхъ тонкостей такого языка, которому повидимому можно выучиться вполне только проработавши надъ нимъ цѣлую жизнь.

«Надо впрочемъ отдать справедливость этому народу въ томъ отношеніи, что онъ лучше другихъ націй можетъ оправдать свое пристрастіе къ стариннымъ понятіямъ и обычаямъ. Задолго до того времени, когда Европа вышла изъ варварства, Китай обладалъ искусствомъ книгопечатанія, пороховъ и компасовъ, его жители одѣвались въ шелкъ, что считалось у насъ царственной роскошью даже во времена королевы Елизаветы, довели до совершенства обработку фарфора и поставили на высокую степень развитія земледѣліе и многія отрасли промышленности. Обширная Китайская имперія пользовалась патріархальнымъ управленіемъ; у нея была аристократія, основанная исключительно на разумномъ принципѣ интеллектуальнаго превосходства, засвидѣтельствованнаго публичными состязаніями; въ этой имперіи существовала

полная система внутреннихъ сообщеній посредствомъ дорогъ и каналовъ; и былъ составленъ сводъ законовъ, который, даже съ нашей теперешней точки зрѣнія, оказывается проникнутымъ, по мнѣнію компетентныхъ судей, практическимъ благоразуміемъ и европейскимъ здравомысліемъ. Слѣдуетъ-ли удивляться тому, что, окруженный ордами простыхъ дикарей, и не получая никакихъ благоприятныхъ свѣдѣній о болѣе отдаленныхъ націяхъ, Китай воспиталъ въ себѣ преувеличенное уваженіе къ своему матеріальному и умственному превосходству и вообразилъ себѣ, будто-бы при его высокомъ положеніи перемены составляютъ единственную опасность, отъ которой должно остерегаться?—И между тѣмъ послѣ десяти вѣковъ застоя какое зрѣлище представляетъ намъ эта нація? Народонаселеніе изнѣженное и униженное, стоящее позади насъ даже въ тѣхъ отрасляхъ промышленности, которыми оно преимущественно гордится, и неспособное усвоить себѣ въ какихъ-бы то ни было размѣрахъ изобрѣтенія другихъ народовъ; обезьянье племя, грязное и чувственное;—и классъ педантовъ, равнодушныхъ ко всякой отвлеченной наукѣ и способныхъ интересоваться только тѣми подробностями, которыя общаются какую-нибудь осязательную и непосредственную выгоду. Я конечно не имѣю намѣренія сравнивать философію Конфуція съ философіей Аристотеля или литературныя произведенія монгольской націи съ созданіями, порожденными высшимъ умственнымъ типомъ, до котораго когда-либо возвышалось челоуѣчество. Но дурныя послѣдствія, на которыя я указывалъ, произошли, какъ мнѣ кажется, не отъ низкаго достоинства тѣхъ образцовъ, съ которыхъ китайцы производили копии, а отъ ихъ рабскаго подчиненія этимъ образцамъ.»

Это указаніе на примѣръ китайцевъ тѣмъ болѣе выразительно и поучительно, что его дѣлаетъ профессоръ Оксфордскаго университета, знаменитѣйшаго разсудника тѣхъ идей и стремленій, благодаря которымъ Англія рискуетъ уподобиться Китаю. Въ лекціи Тиндалля мы уже видѣли выраженіе той-же идеи, которую здѣсь развиваетъ Добени. Тиндалль также протестовалъ очень громко противъ подобострастныхъ отношеній къ мудрости далекаго прошлаго. Тотъ-же мотивъ проходитъ, какъ мы увидимъ ниже, черезъ всѣ замѣчательнѣйшія лекціи, собранныя въ книгѣ Юманса.

«Защитники чисто классическаго образованія,—говоритъ далѣе Добени—упускаютъ изъ виду нѣкоторыя соображенія, мимо которыхъ трудно добратъ до правильнаго заключенія по такому предмету.

«Во-первыхъ, какъ я уже замѣтилъ, желательно воспитывать и развивать способность

тщательно наблюдать, ясно понимать и правильно классифицировать встречающиеся предметы. Всѣ эти дарованія всего лучше могутъ быть развиваемы въ ранній періодъ жизни, и ничто не можетъ развернуть ихъ такъ полно, какъ курсъ химическаго изученія.

«Во-вторыхъ, тѣ многія неотразимыя вліянія, которыя принуждаютъ учащагося окунуться въ дѣятельную жизнь тотчасъ послѣ выхода изъ школы или университета, часто мѣшаютъ ему усвоить себѣ сколько-нибудь здравыя понятія о физической наукѣ, если эта наука не входитъ въ составъ его школьнаго образованія.

«Наконецъ очень значительная часть человечества по складу своего ума неспособна заниматься науками, преподаваемыми въ нашихъ университетахъ, съ тѣмъ успѣхомъ, который требуется для того, чтобы эти занятія могли принести ожидаемую отъ нихъ пользу.

«Въ учебномъ заведеніи, предназначенномъ для воспитанія юношества цѣлой страны, какъ-бы высоко ни поднимались требованія, дающія права на отличіе, во всякомъ случаѣ уровень общеобязательныхъ требованій долженъ стоять низко; между тѣмъ достоверно извѣстно, что большинство молодыхъ людей, учащихъ въ университетѣ, дойдя до этого общеобязательнаго уровня безъ малѣйшихъ усилій, нисколько не старается идти дальше и подниматься выше.

«И это равнодушіе съ ихъ стороны не должно быть приписано ни отсутствію доброй воли, ни недостатку умственныхъ способностей, потому что эти-же самые люди въ своей послѣдующей жизни обнаруживаютъ большую рачительность и значительное здравомысліе въ качествѣ приходскихъ священниковъ, или должностныхъ лицъ, или даже членовъ законодательнаго собранія. Ихъ прежняя умственная апатія въ отношеніи ко всѣмъ академическимъ занятіямъ происходила, какъ я думаю, въ значительной степени оттого, что они были неспособны углубляться въ философію древняго міра или привязываться душой къ его ораторамъ, историкамъ или поэтамъ.

«Если съ этой неспособностью къ литературнымъ занятіямъ соединяется одинаковое нерасположеніе къ отвлеченному изученію или къ высшимъ отраслямъ математики, то всякій легко пойметъ, что такіе юноши мало подвижутся впередъ съ того пункта, на которомъ они остановились въ школѣ, и что время, которое они проведутъ въ университетѣ, будетъ потрачено преимущественно на охоту, рыбную ловлю и другія еще менѣе полезныя забавы.

«Людамъ такого умственнаго склада особенно полезно изученіе опытныхъ наукъ, потому что сильно практическія стремленія ихъ умовъ, мѣшающія имъ предаваться съ успѣхомъ главнымъ университетскимъ занятіямъ, дѣлаютъ

ихъ преимущественно способными наблюдать явленія природы и кромѣ того въ болѣе части случаевъ оказываются сопряженными съ той сообразительностью и проницательностью, которыя необходимы для истолкованія вѣчныхъ фактовъ.»

V.

Теперь мы перейдемъ въ область биологіи, то есть будемъ объяснять по тѣмъ материаламъ, которые даетъ книга Юманса, образительное вліяніе тѣхъ наукъ, которыя занимаются явленіями органической природы. Въ живые организмы, существующіе на земномъ шарѣ, распадаются, какъ извѣстно, на двѣ огромныя царства,—растительное и животное. Первымъ изъ этихъ двухъ царствъ занимается ботаника, вторымъ—зоологія. Въ обихѣ этихъ наукъ, находящихся въ тѣснѣйшемъ родствѣ между собой, господствуютъ одни и тѣ-же методы изслѣдованія; знаніе обихъ наукъ одинаково необходимо всякому, кто желаетъ имѣть сколько-нибудь отчетливое понятіе о томъ, что совершается въ природѣ, вокругъ него и въ немъ самомъ. Поэтому доказывать отдѣльно сначала важность ботаники, потомъ важность зоологіи—значило-бы впадать въ неизбѣжныя повторенія, очень утомительныя и нисколько неубѣдительныя для читателя.

Въ книгѣ Юманса четыре лекціи (Геври—о ботаникѣ, Рексли—о зоологіи, Паджетъ—о физиологіи и самого Юманса—объ изученіи человѣка) посвящены защитѣ біологическихъ наукъ противъ тѣхъ застарѣлыхъ предубѣжденій, которыя до сихъ поръ поддерживаются даже въ Англіи непривзванными руководителями общественнаго мнѣнія,—людьми, посѣдившими надъ словарями и грамматиками и старающимися убѣдить себя и другихъ въ томъ, что трудъ цѣлой ихъ жизни принесъ очень много пользы ихъ соотечественникамъ. Защитники естествознанія говорятъ самымъ скромнымъ и умѣреннымъ тономъ; всѣ они, наперерывъ другъ передъ другомъ, свидѣлствуютъ свое глубокое уваженіе тѣмъ чисто литературнымъ занятіямъ, которыя до сихъ поръ господствовали въ англійскихъ школахъ и коллегіяхъ; и всѣ они только позволяютъ себѣ замѣтить, что преобладаніе классическихъ языковъ и литературы черезъ-чуръ исключительно, и что не мѣшало-бы отвести уголъ для... для чего-же именно?.. тутъ каждый изъ адвокатовъ провозноситъ имя той науки, которую онъ защищаетъ, и не говоритъ ни слова о тѣхъ наукахъ, которыя защищаются его товарищами. Вслѣдствіе этого каждое требованіе, взятое отдѣльно,

кажется очень скромнымъ и удобоисполнимымъ. Отчего-бы въ самомъ дѣлѣ не ввести въ училище преподаваніе ботаники въ размѣрѣ двухъ-трехъ уроковъ въ недѣлю, не стѣсняя для этого новаго учебнаго предмета ни греческую грамматику, ни переводы съ латинскаго на греческій, ни сочиненіе латинскихъ стиховъ? Но бѣда состоитъ въ томъ, что если одно требованіе покажется вамъ законнымъ, то и другое, и третье, и четвертое требованіе точно также покажутся вамъ основательными и разумными. Если вы убѣдитесь тѣми доказательствами, которыя приводятся въ пользу ботаники, то вамъ нечего будетъ возразить адвокатамъ физики, химіи, физиологіи и зоологіи. Если вы отворите дверь одной отрасли естествознанія, то въ эту дверь надо будетъ впустить и всѣ остальные отрасли, потому что всѣ естественныя науки находятся въ тѣсной связи между собой и постоянно опираются одна на другую.

Поэтому скромность тѣхъ требованій, которыя высказываются англійскими натуралистами, никого не должна вводить въ заблужденіе. Совокупность этихъ требованій клонится положительно къ полному и самому радикальному перевороту въ той системѣ общаго образованія, которая господствовала въ Англіи со временъ реформации.

Какъ ботаника, такъ и зоологія распадается на двѣ главныя части—абстрактную и конкретную. Первая занимается изслѣдованіемъ общихъ законовъ, подъ влияніемъ которыхъ совершаются жизненные отправления всѣхъ растений и всѣхъ животныхъ. Вторая занимается описаніемъ частныхъ явленій, то есть тѣхъ формъ, въ которыхъ выражается на земномъ шарѣ растительная и животная жизнь и въ которыхъ проявляется дѣйствіе общихъ законовъ, открытыхъ абстрактной частью науки.

Абстрактная часть обоихъ главныхъ отдѣловъ біологіи въ свою очередь распадается на три части.

Первая изъ нихъ, *морфологія* или *анатомія*, занимается обобщеніями, законами или принципами, относящимися къ формѣ или организаціи растений и животныхъ. Вторая, *физиологія*, занимается обобщеніями, законами или принципами, относящимися къ тѣмъ процессамъ, которыхъ совокупность образуетъ жизнь растений и животныхъ. Третья, *таксономія*, занимается принципами классификаціи растений и животныхъ.

Какимъ образомъ производится изслѣдованіе въ области морфологіи—это показываетъ очень наглядно Гексли въ своей лекціи объ изученіи зоологіи. Гексли беретъ морского рака, рассматриваетъ его и обращаетъ вниманіе слушателей на тотъ общезвѣстный фактъ, что такъ называемый хвостъ рака состоитъ изъ шести от-

дѣльныхъ твердыхъ колецъ и изъ седьмой вѣрообразной оконечности. Отдѣливъ отъ этого хвоста одно изъ колецъ, Гексли замѣчаетъ, что къ его нижней поверхности прикрѣплена пара членовъ, и что каждый изъ нихъ состоитъ изъ трехъ частей, связанныхъ между собою суставами. Рассматривая каждое кольцо отдѣльно, Гексли убѣждается въ томъ, что всѣ они устроены одинаково: къ каждому кольцу прикрѣплено по два членика, и каждый членикъ заключаетъ въ себѣ три отдѣльныя части. Если мы возьмемъ на примѣръ второе кольцо хвоста, то, рассматривая отдѣльно всѣ части этого кольца, мы можемъ найти строго соответствующія имъ части въ третьемъ, четвертомъ или пятомъ кольцѣ. Эти части, взаимно соответствующія другъ другу, называются на языкѣ анатомовъ *гомологичными* частями. Если мы попробуемъ сравнить второе кольцо съ шестымъ, то мы замѣтимъ между ними значительное сходство и въ то-же время нѣкоторое различіе. Самыя кольца очень похожи другъ на друга, и каждое изъ нихъ снабжено парой члениковъ, состоящихъ изъ трехъ отдѣленій; но въ шестомъ кольцѣ первое отдѣленіе каждого членика укорочено и утолщено, а послѣднія два отдѣленія расширены и силушены. Почти такіе-же результаты даетъ намъ сравненіе среднихъ колецъ съ первымъ кольцомъ, примыкающимъ прямо къ грудному щиту рака. Рядъ этихъ простыхъ наблюденій, доступныхъ каждому зрячему человѣку, приводитъ насъ къ тому предположенію, что хвостъ рака составленъ изъ нѣсколькихъ кусковъ, въ которыхъ одинаковый основной планъ подвергается различнымъ измѣненіямъ. Отъ хвоста изслѣдователь переходитъ къ передней части тѣла. Съ перваго взгляда трудно найти какое-нибудь сходство между сплошнымъ щитомъ, покрывающимъ голову и грудь животного, и хвостомъ, составленнымъ изъ семи отдѣльныхъ кусочковъ. Затрудненіе еще болѣе увеличивается, когда изслѣдователь, поворотивъ рака брюхомъ вверхъ, видитъ, что къ нижней поверхности его тѣла прикрѣплены сначала длинныя усы или шупальца, потомъ шесть паръ челюстей, окружающихъ собою ротъ животного, и наконецъ пять паръ ногъ, изъ которыхъ передняя пара заканчивается большими клешнями. Повидимому нѣтъ возможности отыскать въ этой сложной системѣ разнообразныхъ органовъ рядъ колецъ, снабженныхъ парами трехъ суставчатыхъ члениковъ. Однакожъ, отдѣляя отъ тѣла животнаго его ноги, изслѣдователь замѣчаетъ, что каждая пара прикрѣплена къ ясно обозначенному отрѣзку на нижней поверхности щита. Вглядываясь въ эту нижнюю поверхность, изслѣдователь убѣждается въ томъ, что она составилась изъ сліянія нѣсколькихъ отдѣльныхъ колецъ. Рассматривая отдѣльно каждую

пару ногъ, усовъ или челюстей, изслѣдователь видитъ, что всѣ эти члены составлены по тому же основному плану, который былъ подмѣченъ въ членикахъ, прикрѣпленныхъ къ нижней поверхности хвоста. Въ концѣ концовъ получается тотъ результатъ, что тѣло рака составлено изъ двадцати колецъ, то есть, что на каждую пару членовъ приходится по одному кольцу; изъ этихъ двадцати колецъ шесть заднихъ остаются свободными и подвижными, а четырнадцать переднихъ срастаются наглухо, такъ что ихъ верхнія части образуютъ сплошную щитъ, въ которомъ не видно уже никакихъ швовъ или спаекъ.

Но какимъ путемъ можно доказать, что все это дѣйствительно правда, и что планъ, подмѣченный изслѣдователемъ въ организаціи морского рака, не навязанъ природѣ досужей фантазіей самого же изслѣдователя? Если давать волю такимъ предположеніямъ, что въ одномъ мѣстѣ кое-что прибавлено, а въ другомъ убавлено, а въ третьемъ измѣнено, — то можно будетъ безъ особеннаго труда, подмѣтить въ чемъ угодно какой угодно основной планъ. Чтобы этотъ будто-бы подмѣченный планъ имѣлъ сколько-нибудь серьезное научное значеніе, надо сначала доказать, что природа дѣйствительно строитъ по этому плану, то есть, что всѣ различныя органы рака дѣйствительно выработались изъ колецъ, снабженныхъ парными члениками! Словомъ, анатомъ долженъ обратиться къ исторіи развитія или къ эмбриологіи, чтобы отыскать надежное подтвержденіе тѣмъ заключеніямъ, которыя добыты путемъ разсматриванія и разсѣченія взрослыхъ животныхъ.

Обращаясь къ фактамъ эмбриологіи, изслѣдователь находитъ, что ракъ сначала былъ яйцомъ, полужидкой массой желтка, заключенной въ прозрачную оболочку; въ этой каплѣ желтка, которая по величинѣ своей едва равнялась булавочной головкѣ, не видно было ни малѣйшихъ признаковъ тѣхъ сложныхъ и разнообразныхъ органовъ, которыми одарено взрослое животное. Черезъ нѣсколько времени на одной сторонѣ желтка появилось крошечное накопленіе клѣточекъ, которое постепенно разрослось и начало дѣлиться поперечными полосками на кусочки. Эти кусочки сдѣлались основой будущихъ колецъ; на нижней поверхности каждаго изъ этихъ кусочковъ появилось по двѣ бородавки, изъ которыхъ начали развиваться будущіе членики. Сначала всѣ эти членики совершенно похожи другъ на друга, но чѣмъ дальше идетъ процессъ развитія, тѣмъ болѣе они расходятся между собою до тѣхъ поръ, пока наконецъ они пріобрѣтаютъ свою окончательную форму, причѣмъ также переднія кольца или кусочки сливаются и срастаются въ одинъ сплошной щитъ.

Морфологическія наблюденія, подтверждаемыя такимъ образомъ неопровержимымъ свѣдѣтельствомъ эмбриологіи, дѣлаются основаніемъ классификаціи. Принимая того-же морского рака за исходную точку своихъ изслѣдованій въ животнымъ царствѣ, зоологъ замѣчаетъ, что нѣкоторыя животныя очень похожи на рака, другія менѣе похожи, третьи еще менѣе, и такъ далѣе, пока наконецъ онъ доберется до такъ называемыхъ животныхъ, которыя совершенно не похожи на рака или, вѣрнѣе, имѣютъ съ нимъ только тѣ общіе признаки, которыми всякое животное отличается отъ растенія. Изъ животныхъ, очень сходныхъ между собою, составляется тѣмъ группъ, называемая родомъ; нѣсколько родовъ, имѣющихъ значительное количество общихъ признаковъ, составляютъ семейство; изъ нѣсколькихъ семействъ, болѣе сходныхъ между собою, чѣмъ съ другими семействами, образуется порядокъ, а изъ нѣсколькихъ порядковъ составляется классъ.

Сравнивая различныя животныя формы съ морскимъ ракомъ и собирая въ одну группу сходныя и родственныя явленія, натуралистъ составляетъ себѣ наконецъ понятіе о классѣ скорлуповатыхъ или ракообразныхъ животныхъ. Онъ сравниваетъ этотъ классъ съ другими классами и замѣчаетъ, что нѣкоторые классы имѣютъ съ нимъ больше сходства, чѣмъ другіе. Эти болѣе сходныя классы, — наѣкомыя, пауки, многоножки, — включаются вмѣстѣ съ ракообразными въ обширную область членистыхъ или суставчатыхъ животныхъ. Наконецъ эти членистыя животныя вмѣстѣ съ червями и глѣстами входятъ въ составъ еще болѣе обширной группы, такъ называемаго подцарства кольчатыхъ (Annu'losa).

Это составленіе группъ, соподчиненныхъ другимъ, болѣе обширнымъ группамъ, которыя въ свою очередь соединяются въ другія еще болѣе обширныя группы, совершенно необходимо для того, чтобы изслѣдователь не растерялся въ безконечномъ разнообразіи единичныхъ явленій, и чтобы онъ могъ окинуть общимъ взглядомъ все поле своей науки.

Для этого составленія группъ, кромѣ морфологическихъ или анатомическихъ наблюденій, необходимы еще и фізіологическія изслѣдованія. Гексли показываетъ примѣръ фізіологическихъ изслѣдованій надъ тѣмъ-же морскимъ ракомъ, который уже послужилъ ему исходной точкой для морфологическихъ и таксономическихъ соображеній. «Еслибы, — говоритъ Гексли, — мы подстерегли это животное въ его природной стихіи, мы бы увидѣли, что оно дѣйствительно карабкается своими сильными ногами по затопленнымъ утесамъ, среди которыхъ оно любитъ жить, или что оно плаваетъ, сильно ударяя воду своимъ большимъ хвостомъ, котораго оно

нечность распушена въ видѣ вѣрообразнаго весла; схватите его, и вы увидите, что его большія клешни служатъ ему такимъ наступательнымъ оружіемъ, которое не можетъ быть оставлено безъ вниманія; повѣсьте передъ нимъ кусокъ мяса, и оно жадно начнетъ ѣсть это мясо, раздирая и размельчая его своими многочисленными челюстями. Положимъ, что мы знали нашего рака только какъ безжизненную массу, какъ органической кристаллъ — если мнѣ позволено будетъ употребить такое выраженіе, — и что вдругъ мы увидѣли съ его стороны проявленіе всѣхъ этихъ способностей: какія удивительно новыя идеи и новыя вопросы возникли бы по этому случаю въ нашихъ умахъ! Великій новый вопросъ сложился бы такъ: «какимъ образомъ все это происходитъ?» Главнѣйшей изъ новыхъ идей оказалась бы идея приносовленія къ цѣли, понятіе о томъ, что на составныя части животныхъ тѣлѣ слѣдуетъ смотрѣть не какъ на безсвязные куски, а какъ на орудія, работающія вмѣстѣ и выполняющія известную задачу. Посмотримъ еще разъ на хвостъ рака съ этой новой точки зрѣнія. Морфологія научила насъ тому, что этотъ хвостъ — рядъ сегментовъ, составленныхъ изъ гомологичныхъ частей, подвергнувшихся различнымъ видоизмѣненіямъ, подъ которыми вѣ сѣвозъ которыхъ можно различить общій планъ строенія. Но если я посмотрю на ту-же часть съ фізіологической точки зрѣнія, я увижу, что этотъ хвостъ — превосходно устроенное орудіе движенія посредствомъ котораго животное можетъ быстро подвигаться впередъ и назадъ. Но какимъ образомъ пускается въ ходъ эта замѣчательная двигательная машина? Еслибы я вдругъ убилъ одно изъ этихъ животныхъ и вынулъ изъ него всѣ мягкія части, я-бы нашелъ, что скорлупа сдѣлалась совершенно безжизненной и что она потеряла всякую способность двигаться, такъ точно, какъ ее потеряетъ мельничная механика, когда разорвана ея связь съ паровой машиной или съ водянымъ колесомъ. Но еслибы я вскрылъ рака и вынулъ изъ него внутренности, оставляя нетронутымъ бѣлое мясо, я-бы замѣтилъ, что ракъ попрежнему можетъ сгибаться и вытягивать хвостъ. Еслибы я отрѣзалъ хвостъ, я-бы пересталъ замѣчать въ немъ какія бы то ни было произвольныя движенія; но еслибы я уцѣпилъ частицу мяса, я бы замѣтилъ въ немъ очень любопытное измѣненіе — каждая фибра сдѣлалась бы короче и толще. Этимъ актомъ сокращенія тѣ части, къ которымъ прикрѣплены оконечности фибры, конечно сближаются между собою, и, смотря по отношеніямъ ихъ точекъ прикрѣпленія къ центрамъ движенія различныхъ колець, хвостъ сгибается или вытягивается. Тщательныя наблюденія надъ только-что вскрытымъ ракомъ

показали-бы, что всѣ его движенія происходятъ отъ той-же самой причины, отъ сокращенія и утолщенія этихъ мясныхъ волоконъ, которыя обозначаются техническимъ именемъ мускуловъ. Тутъ мы, стало быть, имѣемъ капитальный фактъ. Движенія рака обусловливаются сокращаемостью мускуловъ. Но почему мускуль сокращается именно въ эту минуту, а не въ другую? Почему цѣлая группа мускуловъ сокращается тогда, когда ракъ хочетъ вытянуть хвостъ, а другая — тогда, когда онъ хочетъ согнуть его? Что порождаетъ, направляетъ и контролируетъ двигательную силу? Опытъ, — великое орудіе, которымъ добывается истина въ естественныхъ наукахъ, отвѣчаетъ за насъ на этотъ вопросъ. Въ головѣ рака лежитъ маленькій кусокъ той особенной ткани, которая называется нервнымъ веществомъ. Нити подобнаго вещества соединяютъ этотъ мозгъ рака съ мускулами прямо или косвенно. Если эти соединяющія нити будутъ перерѣзаны, а мозгъ останется нетронутымъ, то способность производить такъ называемыя произвольныя движенія уничтожится въ тѣхъ частяхъ, которыя лежатъ ниже разрѣза; и съ другой стороны, если нити останутся неприкосновенными, а мозгъ будетъ уничтоженъ, то способность произвольныхъ движеній также исчезнетъ. Откуда выходитъ то неизбѣжное заключеніе, что сила, порождающая эти движенія, сосредоточена въ мозгу и распространяется вдоль по нервнымъ нитямъ.»

Мы видѣли на отдѣльномъ примѣрѣ тотъ путь, по которому производятся въ обѣихъ областяхъ біологической науки морфологическія, таксономическія и фізіологическія изслѣдованія. Теперь не трудно будетъ отвѣчать на вопросъ: почему, насколько и въ какомъ отношеніи полезно знакомить учащихся съ этими изслѣдованіями?

Всѣ эти изслѣдованія производятся посредствомъ наблюденія и опыта. Чтобы сдѣлать хорошее наблюденіе, надо видѣть все то и только то, что дѣйствительно находится въ данномъ случаѣ передъ глазами наблюдателя. Повидимому это очень легко, но на самомъ дѣлѣ это очень трудно. «Заблужденія, — говоритъ американскій ученый, Томасъ Гилль, — происходятъ въ свѣтѣ не столько отъ нелогического размышленія, сколько отъ невѣрнаго наблюденія и невнимательнаго слушанія. Ясно показывающій и умный свидѣтель, который можетъ объяснить точно, что именно онъ видѣлъ, и который видѣлъ все, что стоило видѣть, который можетъ пересказать отчетливо все, что онъ слышалъ, и который слышалъ все, что было при немъ сказано, встрѣчается рѣже, чѣмъ хорошій юристъ или судья. Большинство людей видятъ столько-же своимъ предрасположеннымъ воображеніемъ, сколько своими гла-

зами, и не знаютъ, какъ отдѣлить свои собственные фантазіи или свое ошибочное истолкованіе факта отъ самаго факта, подлежащаго наблюденію. Медики рѣдко могутъ получить отъ больного описаніе его ощущеній, не смѣшанное съ его собственными теоріями, относящимися къ причинамъ этихъ ощущеній; юристы почти никогда не получаютъ отчета о томъ, что дѣлалъ человѣкъ, безъ примѣси догадокъ о побудительныхъ причинахъ его поступковъ; ученые люди знаютъ очень хорошо, что народное показаніе о какомъ бы то ни было мелкомъ явленіи совершенно недостоверно. Словомъ, мы оказали-бы большую услугу наукѣ, искусству, юриспруденціи, терапіи, литературѣ, и всему умственному и нравственному положенію общества, еслибы мы могли воспитать поколѣніе людей, которые умѣли и желали-бы тщательно и добросовѣстно пользоваться своими пятью чувствами и давать вѣрные отчеты о ихъ свидѣльствѣхъ.»

Почти то-же самое говоритъ Милль въ своей логикѣ:

«Одинъ человѣкъ отъ невниманія или отъ неумѣнія обратить вниманіе, куда слѣдуетъ, видитъ только половину того, на что онъ смотритъ; другой утверждаетъ гораздо больше того, что онъ видитъ, смѣшивая видѣнное съ тѣмъ, что онъ создаетъ воображеніемъ или догадками; третій отмѣчаетъ родовые признаки всѣхъ обстоятельствъ, но, не умѣя оцѣнить ихъ степень, оставляетъ количество каждаго обстоятельства неопредѣленнымъ и неизвѣстнымъ; четвертый видитъ цѣлое, но производитъ такое неуклюжее дѣленіе этого цѣлаго на части, бросая въ одну кучу то, что слѣдовало-бы раздѣлять, и раздѣляя то, что надо было-бы разсматривать въ связи, что результатъ получается такой-же, а иногда и того еще хуже, какъ еслибы не было сдѣлано никакой попытки анализа.»

Изъ этихъ мыслей, высказанныхъ компетентными судьями, не трудно вывести то заключеніе, что сдѣлать человѣка хорошимъ наблюдателемъ—значитъ оказать ему на всю жизнь очень немаловажную услугу, и притомъ оказывать ее не ему одному, а всему тому обществу, въ которомъ этому человѣку придется жить. Но еслибы вы захотѣли нарочно придумать цѣлую систему умственной гимнастики, клонящейся исключительно къ развитію наблюдательности, то и тогда вамъ не удалось-бы придумать ничего лучше и цѣлесообразнѣе естественно-научныхъ занятій, которыя, упражняя наблюдательность самымъ разностороннимъ образомъ, сверхъ того даютъ еще учащемуся массу самыхъ разнообразно полезныхъ знаній. Всѣ естественно-научныя истины не только добыты сильнѣйшимъ и многовѣковымъ напряженіемъ человѣческой наблюдательности, но даже и усво-

иваются учащимся только по мѣрѣ того, что онъ развиваетъ въ себѣ способность наблюдать. Можно конечно заучить всѣ термины танической или зоологической классификаціи ихъ можетъ, пожалуй, заучить даже и тотъ человѣкъ, который не только не раздѣляетъ ни одного растенія или животнаго, но и не видитъ ни одного анатомическаго рисунка. Но эти термины будутъ мертвымъ и бессмысленнымъ знаніемъ. Положите передъ этимъ чужеземцемъ, совершавшимъ такой величественный подвигъ кретинизирующаго долбленія, какое растеніе или животное и попросите его опредѣлить, къ какому классу, порядку и семейству слѣдуетъ его причислить, и языкъ знатока терминовъ немедленно станетъ невнятнымъ. Всѣ заученныя термины и признаки иррелютируются въ его головѣ, и торжество его учености ограничится тѣмъ, что онъ не знаетъ пчелу млекопитающимъ или не причислитъ курицу къ классу насѣкомыхъ. И даже этотъ скромный торжествомъ онъ будетъ обязанъ не тѣмъ мудренымъ словамъ, которыя онъ не долбилъ по книжкѣ, а тому запасу естественныхъ научныхъ знаній, который находится въ обществѣ и съ которымъ каждый изъ насъ поневолѣ знакомится еще въ дѣтствѣ всеміи путемъ непосредственнаго наблюденія. Работѣ наблюденія никакъ не можетъ быть передѣла за учащагося его преподавателемъ или составителемъ его учебника. Кто самъ наблюдалъ, тотъ и знаетъ, но никакъ не можетъ передать свое живое знаніе тому человѣку, который не хочетъ или не можетъ наблюдать. Какъ бы ни была изобразительна лекція Гексли о строеніи морского рака, однако люди, наполнявшіе лекторію, никакъ не вынесутъ изъ его лекціи то ясное и полное понятіе о строеніи этого животнаго, которое имѣетъ самъ профессоръ. Чтобы возвыситься до этого яснаго и полнаго понятія, слушатели должны сами двинуться впередъ по тому пути, по которому идетъ Гексли. Они должны вскрыть нѣсколько десятковъ, и можетъ-быть и нѣсколько сотенъ ракообразныхъ животныхъ и просидѣть нѣсколько недѣль съ микроскопомъ въ рукѣ надъ разнѣвающимися яйцами рака. Они должны долго работать надъ собой и часто приниматься съизнова за одно и то-же наблюденіе единственно для того, чтобы выдрессировать свое вниманіе и чтобы устранить тѣ ошибки, о которыхъ говоритъ Гилль, и которыя происходятъ отъ разбѣянности, отъ неукротенной ретивости воображенія. Этой суровой дисциплины не выдержалъ-бы ни одинъ учащійся, еслибы его занятія были только гимнастическими упражненіями, направленными къ развитію наблюдательности. Но такъ какъ цѣль учащагося состоитъ не въ томъ, чтобы развитъ свои спо-

обности, а въ томъ, чтобы пріобрѣсти себѣ знанія, такъ какъ эти знанія имѣютъ для него самостоятельное и очень важное значеніе, и такъ какъ самый процессъ пріобрѣтенія знаній и борьбы съ трудностями въ высшей степени увлекателенъ, то учащійся находитъ въ себѣ силы для продолженія настойчивыхъ и добросовѣстныхъ занятій, побуждаетъ въ себѣ лѣнь и разсыянность, развиваетъ въ себѣ тонкую наблюдательность и въ то-же время формируетъ себѣ твердый характеръ, достойный мыслящаго работника.

VI.

О естественно-научномъ изученіи человѣка говорится, какъ я уже замѣтилъ выше, въ двухъ лекціяхъ, изъ которыхъ одна читана Паджетомъ, а другая—Юмансомъ, самымъ составителемъ сборника. Предметъ дѣйствительно такъ важенъ, что о немъ можно было и стоило говорить очень подробно, тѣмъ болѣе, что всѣ противники естествознанія возстаютъ всего сильнѣе именно противъ приложенія естественно-научнаго метода къ изученію самого человѣка. Это приложеніе считается у нихъ профанаціей человѣческаго достоинства.

Если преподаваніе фізіологіи войдетъ въ программу общаго образованія, то, по мнѣнію Паджета, получатся двѣ категоріи выгодъ: во-первыхъ, выгоды для самой науки, и во-вторыхъ, выгоды для учащихся. Первая выгода для науки произойдетъ отъ того, что увеличится число компетентныхъ наблюдателей, способныхъ двигать науку впередъ подмѣчаніемъ тѣхъ фактовъ, надъ которыми онъ работаетъ. Вторая выгода, болѣе важная, состоитъ въ томъ, что фізіологи и специалисты по другимъ наукамъ, въ содѣйствіи которыхъ нуждается фізіологія, будутъ въ состояніи понимать другъ друга и соединять свои знанія для того, чтобы общими силами рѣшать трудныя и запутанныя фізіологическія задачи. Въ настоящее время науки разрослись такъ широко, и раздѣленіе труда въ области научныхъ занятій приняло такіе значительные размѣры, что фізіологу рѣдко удастся объять и усвоить себѣ вполне даже всѣ отрасли своей собственной науки. О томъ, чтобы фізіологъ былъ въ то-же время физикомъ или химикомъ, не можетъ быть и рѣчи; а между тѣмъ въ каждомъ процессѣ, совершающемся въ живомъ организмѣ, обнаруживается дѣйствіе механическихъ, химическихъ или электрическихъ силъ; при рѣшеніи какого бы то ни было новаго фізіологическаго вопроса необходимо опредѣлить, какая доля участія принадлежитъ каждой изъ этихъ разнородныхъ

силъ въ общемъ результатѣ. Чтобы опредѣлить эту долю участія, надо быть коротко знакомымъ съ дѣйствіемъ всѣхъ этихъ силъ или надо обращаться за совѣтомъ къ специалистамъ по части механики, физики или химіи. Первое невозможно потому, что на изученіе четырехъ обширныхъ наукъ во всей ихъ полнотѣ не хватитъ никакой человѣческой жизни, никакого трудолюбія и никакой гениальности. А второе въ настоящее время затруднительно потому, что механикъ, физикъ, химикъ и фізіологъ теряютъ другъ друга изъ виду и почти совершенно утрачиваютъ возможность понимать другъ друга съ той самой минуты, какъ они начинаютъ знакомиться съ положительной наукой. Единственнымъ общимъ достояніемъ всѣхъ этихъ ученыхъ оказывается ихъ школьное образованіе, которое даетъ имъ возможность разсуждать между собою о красотахъ Катулла и Анакреона, но рѣшительно не помогаетъ имъ понимать другъ друга тогда, когда заходитъ рѣчь объ ихъ специальныхъ изслѣдованіяхъ. Труды физика читаются и обсуживаются только физиками, труды химика—только химиками, и такъ далѣе, именно потому, что общее образованіе не устанавливаетъ между специалистами никакой прочной умственной связи. Понятно само собою, что такое узкое обособленіе различныхъ наукъ совершенно уничтожаетъ значительную долю того живительнаго вліянія, которое каждое сколько-нибудь замѣтательное изслѣдованіе могло-бы производить на всю совокупность положительнаго знанія. Понятно также, что это зло можетъ быть устранено только самой обширной реформой общаго образованія.

Третья выгода, которую принесло-бы общераспространенное преподаваніе физики, состоитъ въ томъ, что молодые люди, способные посвятить себя этой наукѣ, съ ранней молодости повяли-бы свое настоящее пазначеніе и пристроили-бы себя къ полезной работѣ, вмѣсто того чтобы тратить силы на безплодные поиски и неудачныя попытки. Въ такихъ молодыхъ людяхъ фізіологія находила-бы себѣ постоянно готовый комплектъ усердныхъ работниковъ, между тѣмъ какъ въ настоящее время фізіологія въ Англіи, по призванію Паджета, вербуетъ себѣ новыхъ дѣятелей только благодаря различнымъ счастливымъ случайностямъ, благодаря тому напримѣръ, что книга, или разговоръ, или публичная лекція заинтересовали молодого человѣка, стоящаго на распутьи и способнаго сдѣлаться хорошимъ фізіологомъ.

Мы переходимъ теперь къ тѣмъ выгодамъ, которыя повсемѣстное преподаваніе фізіологіи доставитъ учащимся, то есть всему образованному обществу. Прежде всего распространеніе фізіологическихъ знаній научитъ людей отно-

ситься благоразумно къ собственному здоровью. Всякій желаетъ быть здоровымъ, всякій тяготеетъ болѣзнию, всякій во время болѣзни готовъ обратиться къ первому встрѣчному медичу или даже знахарю, всякій готовъ пить съ вѣрой и надеждой самую горькую микстуру или неустрашимо пачкаться самой вонючей мазью, но почти никто не знаетъ и не хочетъ знать тѣхъ условій, которыхъ точное соблюденіе навѣрное избавило-бы его отъ необходимости валяться въ постели, охатъ, платить деньги доктору и аптекарю, и за эти же деньги переносить разнообразныя непріятности. Фанатическая вѣра въ лекарей и въ лекарства и близорукое презрѣніе къ самымъ элементарнымъ правиламъ гигиены очевидно происходятъ отъ того, что люди не имѣютъ никакого понятія о важнѣйшихъ процессахъ, совершающихся въ человѣческомъ организмѣ. Такъ называемые образованные люди наравнѣ съ простымъ народомъ не задаютъ себѣ вопроса о томъ, что такое живой организмъ, а поступаютъ они съ своимъ организмомъ такъ, какъ поступаетъ ребенокъ со своей деревянной лошадкой: пока лошадка стоитъ на ногахъ, до тѣхъ поръ на ней можно ѣздить верхомъ, а если лошадка сломалась и повалилась на бокъ, то надо при содѣйствіи папашы или мамашы позвать столяра и отдать ему лошадку на излеченіе. Въ своихъ болѣзняхъ люди видятъ обыкновенно прямое послѣдствіе какой-нибудь единичной ошибки или неосторожности: человекъ ушибся, простудился, промочилъ ноги, объѣлся — и заболѣлъ, дальше этого люди не идутъ въ своихъ изслѣдованіяхъ о причинахъ болѣзни. Если вы будете говорить имъ, что организмъ медленно портился неправильнымъ и неестественнымъ образомъ жизни, если вы будете искать причину болѣзни въ душной комнатѣ, въ сидячей жизни, въ просиживаніи ночей за работой или за картами, если вы будете доказывать человеку, что болѣзнь развивалась въ немъ задолго до той минуты, когда онъ свалился въ постель, и что эту болѣзнь нельзя уничтожить пилюлями и каплями, потому что этими лекарствами невозможно создать организмъ, который не разстраивался-бы при нарушеніи его естественныхъ потребностей, — то всѣ ваши разумныя слова произведутъ самое слабое и поверхностное впечатлѣніе, потому что этимъ разсужденіямъ о потребностяхъ организма не къ чему прислониться въ головѣ пациента. Невозможно дѣйствовать постоянно по такой программѣ, въ вѣрности которой человекъ не способенъ убѣдиться силами собственного ума. Поэтому старая привычка обращаться съ собственнымъ организмомъ какъ съ деревянной лошадкой, равнодушной ко всѣмъ окружающимъ условіямъ, непременно рано или

поздно одержитъ побѣду надъ уваженіемъ больного къ совѣтамъ добросовѣстнаго медицинскаго работника, и жизнь войдетъ въ старую колею, и правила гигиены забудутся впредь до новой болѣзни. Взглядъ на организмъ, какъ на деревянную лошадку, имѣетъ особенно печальную важность въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о гигиеническихъ мѣрахъ, необходимыхъ для того, чтобы предохранить здоровье цѣлыхъ обществъ. Люди твердятъ всѣмъ и каждому и доказываютъ статистическими цифрами, что возможны заразительныя болѣзни, развиваются съ особенной силой именно въ самыхъ грязныхъ частяхъ многолюдныхъ городовъ; несмотря на всѣ эти проповѣди, необходимые санитарныя распоряженія не принимаются, а потому общество продолжаетъ чахнуть со стороны общества такъ дѣятельнаго сочувствія, что они большею частью остаются на бумагѣ въ видѣ красивыхъ проектовъ и начинаютъ приводиться въ исполненіе только тогда, когда общество, перенесшее извѣстіемъ о приближающейся холерѣ короткое время отдаетъ себя въ полное распоряженіе медиковъ. Это равнодушіе общества къ его собственнымъ драгоцѣннѣйшимъ ресурсамъ происходитъ очевидно отъ незнания, и незнание это исчезаетъ только тогда, когда здоровыя и логическія свѣдѣнія сдѣлаются необходимостью для каждого образованнаго человека. Нельзя ни требовать, ни ожидать, чтобы бы то ни было каждый образованный человекъ зналъ физиологію на столько, на сколько знаетъ ее въ настоящее время врачи. Такой общій объемъ знаній вовсе и не требуется для того, чтобы образованная масса гораздо лучше понимала тѣ условія, отъ соблюденія которыхъ зависитъ ея здоровье. Не нужно, чтобы каждый образованный человекъ съ кѣмъ не совѣтуясь, зналъ, какой образъ жизни полезенъ для его здоровья, — только то, чтобы этотъ образованный человекъ умѣлъ отличать голосъ науки отъ голосовъ киваній дерзкаго уличнаго шарлатанства, чтобы онъ зналъ, куда обратиться за совѣтомъ, чтобы онъ могъ понять, что данный совѣтъ действительно благоразуменъ, и чтобы онъ былъ способенъ убѣдиться въ томъ, что серьезно обязанъ передъ самимъ собою, передъ своимъ семействомъ и передъ обществомъ повиноваться тому совѣту, который онъ самъ знаетъ хорошимъ и дѣльнымъ. Когда основныя истины физиологіи перестанутъ быть исключительной собственностью врачей и ученыхъ, тогда взглядъ общества на многія такъ называемыя мелочи вседневной жизни сдѣлается гораздо серьезнѣе и строже. Въ настоящее время общество смотритъ въ высшей степени снисходительно на всевозможныя нарушенія самыхъ необходимыхъ санитарныхъ предписаній.

во всѣхъ европейскихъ столицахъ единственнымъ поборникомъ общественной гигиены является полиція, и общественное мнѣніе позволяетъ всякому желающему уклониться отъ выполненія самыхъ разумныхъ ея предписаній. Въ настоящее время въ большихъ городахъ трудно купить какіе-бы то ни было съѣстные припасы, въ которыхъ не оказалось-бы какого нибудь подлога или какой нибудь помѣси, и общество, браня купцовъ, по старой привычкѣ продолжаетъ потреблять всякую дрянъ и не принимаетъ никакихъ разумныхъ мѣръ противъ этого медленнаго отравленія. Въ настоящее время рабочіе классы во всѣхъ большихъ городахъ помѣщаются въ темныхъ, сырыхъ, тѣсныхъ и холодныхъ подвалахъ, изъ которыхъ разныя тифозныя и возвратныя горячки распространяются по всѣмъ окрестностямъ, и достаточные люди, которымъ также приходится знакомиться съ этими болѣзнями, довольствуются тѣмъ, что вздыхаютъ о страданіяхъ меньшей братіи или въ лучшемъ случаѣ устраиваютъ благотворительные спектакли и лотереи. Въ настоящее время моды, преимущественно женскія, систематически идутъ наперекоръ всѣмъ законамъ физиологіи. Въ настоящее время школы выпускаютъ въ свѣтъ слабыхъ и дряблыхъ юношей, едва способныхъ принести какую-бы то ни было пользу себѣ или обществу, а родители ихъ освѣдомляются только о томъ, какія права и преимущества предоставляются воспитанникамъ того или другого учебнаго заведенія. Словомъ, бросивъ бѣглый взглядъ на различныя стороны и отправления общественной жизни, мы могли-бы подумать, что общество страдаетъ необузданнымъ идеализмомъ и неизлечимымъ презрѣніемъ къ матеріи. Нѣтъ той мелочи, нѣтъ той глупости, нѣтъ той бессмысленной фантазіи, на которую образованные люди не обращали-бы гораздо больше вниманія, чѣмъ на свое собственное здоровье. Поступая такъ, какъ будто-бы они считаютъ землю юдолью плача, а свою жизнь — временемъ изгнанія, — эти люди въ то-же время строятъ дороги, освѣщаютъ города газомъ, толкуютъ объ искусственномъ травосѣяніи, изобрѣтаютъ и заказываютъ машины, составляютъ акціонерныя компаніи, бросаются за деньгами всюду, гдѣ есть малѣйшая возможность или только неопредѣленная надежда ихъ добыть, — словомъ, стараются всѣми силами собирать тѣ разнородные матеріалы, изъ которыхъ извлекается наслажденіе жизни. При этомъ забывается только одно условіе, именно то, что наслаждаться жизнью могутъ только здоровые люди, и что весь утонченный комфортъ, созданный современной цивилизаціей для немощныхъ избранныхъ, даже этимъ избраннымъ не можетъ замѣнить безумно растратеннаго здоровья. По-

нятно, что здѣсь корень зла заключается не въ ошибочно восторженномъ презрѣніи къ земнымъ наслажденіямъ, а только въ совершенномъ незнавіи тѣхъ условій, которыя должны быть соблюдены для того, чтобы наслажденіе жизнью сдѣлалось возможнымъ даже для немногихъ избранныхъ. Кто не знаетъ, тому слѣдуетъ учиться. На эту тему приходится говорить съ утра до вечера в теченіи многихъ столѣтій всѣмъ людямъ, принимающимъ къ сердцу дѣйствительные интересы человѣчества.

Возвращаясь къ лекціи Паджета. Другая выгода, доставляемая преподаваніемъ физиологіи, обуславливается, по мнѣнію Паджета, тѣмъ, что физиологія до сихъ поръ принадлежитъ къ числу неустановившихся наукъ и состоитъ въ значительной степени изъ гипотезъ, болѣе или менѣе правдоподобныхъ, но еще не вполне доказанныхъ. Въ другихъ положительныхъ наукахъ, напримѣръ въ астрономіи и въ физикѣ, ученикъ знакомится съ обильнымъ запасомъ истинъ, давнымъ-давно доказанныхъ, — такихъ истинъ, въ которыхъ ни одинъ знающій человѣкъ не сомнѣвается и противъ которыхъ ни откуда не можетъ послышаться ни одного сколько-нибудь серьезнаго возраженія. Въ этихъ окончательно изслѣдованныхъ областяхъ знанія нѣтъ мѣста для дальнѣйшихъ открытій и усовершенствованій; здѣсь, въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ физики и астрономіи, не только отыскана сама истина, но также отысканъ на вѣчныя времена и наилучшій, то есть самый строгій и убѣдительный способъ ея доказыванія. Изучая эти отдѣлы, ученикъ получаетъ ясное понятіе о томъ, что такое положительная наука въ ея установившемся видѣ, въ состояніи того высшаго спокойствія, которымъ сопровождается несомнѣнное обладаніе истиной. Но такъ какъ въѣстѣ съ астрономіей и физикой не преподается и не можетъ преподаваться исторія этихъ наукъ, то ученику остается совершенно неизвѣстной физиономія положительной науки, находящейся въ періодѣ развитія и борьбы. Этотъ пробѣлъ, котораго не могутъ пополнить физика и астрономія, пополняется преподаваніемъ физиологіи. Изучая послѣднюю, ученикъ съ молодыхъ лѣтъ осваивается съ той мыслью, что наши теперешнія знанія недостаточны и ограничены, что граница этихъ знаній находится въ постоянномъ колебаніи, и что усилія мыслящихъ работниковъ съ каждымъ годомъ отодвигаютъ эту границу дальше и дальше впередъ, постоянно покоряя человѣческому уму новые участки изъ обширной и неизмѣримой области неизвѣстнаго. Ученикъ, слушающій хорошій курсъ физиологіи, не только узнаетъ о томъ, что на границѣ знанія происходитъ ожесточенная борьба между человѣческимъ умомъ и безчисленными трудностями изучаемаго пред-

мета, но даже присутствует при этой борьбѣ, слѣдить за ея главнѣйшими фазами и проникается горячимъ желаніемъ впоследствии принять въ этой великой борьбѣ дѣятельное участіе. Такія впечатлѣнія, падающія на воспримчивый умъ юношей, едва начинающихъ выходить изъ дѣтскаго возраста, не могутъ оставаться совершенно безплодными. Таковыми впечатлѣніями опредѣляется часто направленіе цѣлой жизни, и если оно дѣйствительно опредѣлится ими, то можно будетъ поручиться за то, что жизнь будетъ потрачена съ наслажденіемъ на честное, великое и полезное дѣло. Колеблющееся положеніе современной физиологій можетъ принести учащимся также и ту пользу, что оно приучитъ ихъ къ умственной осторожности и разовьетъ въ нихъ спасительную способность останавливаться на чистомъ сомнѣніи въ тѣхъ случаяхъ, когда вопросъ еще не дозрѣлъ до окончательнаго разрѣшенія въ положительномъ или въ отрицательномъ смыслѣ. Наперекоръ глубокомысленной русской пословицѣ объ отрѣзываніи и отрицаніи, масса образованныхъ людей отрѣзываетъ, то есть рѣшаетъ вопросы, не отрицавши ни разу, а только услышавши о томъ, что какіе-то люди когда-то произвели всѣ необходимыя измѣненія. Эта дурная привычка, происходящая отъ совершеннаго отсутствія научнаго образованія, производитъ большую путаницу во всѣхъ различныхъ отрасляхъ общественной жизни. «Для успѣховъ истины,—говоритъ Паджеть, служить большимъ препятствіемъ то, что многіе люди съ одинаковой настойчивостью держатся за такія положенія, которыя доказаны, и за такія, которыя не доказаны, и даже за такія, которыя по самой своей сущности не допускаютъ доказательствъ. Они повидимому думаютъ (и общепринятое образованіе дѣйствительно способно породить такой взглядъ), что можно отвѣчать рѣшительно *да* или *нѣтъ* на каждый вопросъ, который можетъ быть поставленъ; и что вопросъ, получившій такой отвѣтъ, окончательно рѣшенъ и превратился въ неприкосновенную истину; и нѣтъ зачѣмъ приводить примѣры этого заблужденія, потому что его вредныя послѣдствія замѣчаются повсемѣстно въ тѣхъ бѣдствіяхъ, которыя порождаются опрометчивыми и настойчивыми сужденіями.»

VIII.

Изъ остальныхъ лекцій, помѣщенныхъ въ книгѣ Юманса, я упомяну еще о лекціи Уиуэлла (Whewell), въ которой разсматривается вліяніе научныхъ открытій на воспитаніе ума. Можно сказать, что эта лекція подводитъ итоги всей книгѣ Юманса и, разсматривая вопросъ объ ум-

ственныхъ потребностяхъ современнаго общества съ исторической точки зрѣнія, показывая намъ опредѣленнымъ образомъ, въ какую сторону клонятся естественныя стремленія цивилизованнаго міра, въ чемъ заключаются пробѣлы существующаго образованія и подвигая къ нимъ какихъ-либо обстоятельствъ производятся естественныя попытки пополнить эти несомнѣнно значившіеся пробѣлы. Тѣ лекціи, о которыхъ говорилъ до сихъ поръ, разсматриваютъ программу общаго образованія только по отношенію къ той или другой отдѣльной наукѣ; лекція Уиуэлла, напротивъ того, бросаетъ общій взглядъ на всю совокупность знаній, изъ которыхъ складывается общее образованіе, и ставитъ очень живъ вопросъ о томъ, находится-ли это образованіе въ соотвѣтствіи съ современнымъ положеніемъ науки. Этотъ вопросъ, поставленный ясно и прямо, допускаетъ конечно только отрицательный отвѣтъ, который, разумѣется, заключаетъ въ себѣ рѣшительный приговоръ осужденія нынѣ существующей системы общаго образованія.

Уиуэлле думаетъ, что каждое значительное усовершенствованіе въ дѣлѣ умственнаго образованія было результатомъ какого-нибудь важнаго научнаго открытія или цѣлой группы такихъ открытій. Когда передовые гении вырываютъ у природы одну изъ ея великихъ тайнъ, тогда эта побѣда является заключительнымъ актомъ такой борьбы, въ которой силы человеческого ума развертывались до небывалыхъ размѣровъ или по крайней мѣрѣ дѣйствовали по какому-нибудь новому плану. Кто хочетъ быть образованнымъ человѣкомъ, тотъ долженъ очевидно имѣть ясное понятіе обо всѣхъ важнѣйшихъ умственныхъ интересахъ своей эпохи, долженъ знать, до какихъ границъ дошла мысль его предковъ и его современниковъ, какія побѣды она одерживала и къ какимъ методамъ она приравливалась. Если одерживается новая побѣда и создается новый методъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ становится возможнымъ и необходимымъ новое расширеніе тѣхъ рамокъ, въ которыхъ было заключено до этого времени умственное образованіе. Люди, желающіе дисциплинировать и укрѣпить свой умъ новымъ методомъ, или, другими словами, люди, желающіе усвоить себѣ современное образованіе въ полномъ его объемѣ, должны конечно обратиться къ изученію того открытія, которое въ данную минуту составляетъ единственное существующее приложение новаго метода. Такимъ образомъ ясно, что открытіе и расширеніе программы умственнаго образованія находятся въ причинной связи между собою.

Выразивъ основную мысль своей лекціи въ отвлеченной формулѣ, Уиуэлле переходитъ къ изложенію тѣхъ историческихъ фактовъ, въ которыхъ она построена. Первый важный шагъ

впередъ въ дѣлѣ умственнаго образованія, первый изъ тѣхъ шаговъ, которые засвидѣтельствованы исторіей,—былъ сдѣланъ, по мнѣнію Уиуэлла, тогда, когда Сократъ и Платонъ одержали побѣду надъ модными воспитателями аѳинскаго юношества, то есть надъ такъ называемыми софистами. Эти модные воспитатели учили молодого человѣка хорошо писать, хорошо говорить и поступать во всѣхъ случаяхъ жизни такъ, какъ того требовало мелкое житейское благоразуміе. Въ ихъ философіи, излагавшейся въ самой увлекательной формѣ, не было никакихъ твердыхъ принциповъ: они сами ни во что не вѣровали, ничего не знали и во всемъ сомнѣвались какъ-разъ настолько, насколько это было нужно для того, чтобы, не возмущая противъ себя толпы, приобрести себѣ безо всякаго умственнаго труда репутацію очень умныхъ людей. Образование, которое они давали аѳинской молодежи, было вообще очень похоже на то образованіе, которое до сихъ поръ называется блестящимъ и которое даже въ настоящее время дается свѣтскимъ людямъ, не имѣющимъ надобности добывать себѣ кусокъ хлѣба физическимъ или умственнымъ трудомъ. Сократъ и Платонъ незахотѣли останавливаться на блестящей внѣшности этого образованія; они не захотѣли также цѣнить его со стороны его практической пригодности; они потребовали отъ модной философіи, господствовавшей въ школахъ, твердыхъ принциповъ—и принципы этихъ не оказались. Они спросили у софистовъ, въ чемъ состоитъ основная истина, изъ которой вытекаютъ всѣ второстепенныя положенія ихъ доктрины, и софисты не дали имъ никакого удовлетворительнаго отвѣта. Въ діалогахъ Платона повторяются постоянно одни и тѣ-же вопросы: *что мы знаемъ? Какъ мы это знаемъ? Какимъ путемъ мысленія мы доходимъ до этого знанія? Изъ какихъ принциповъ* вытекаетъ это знаніе?

Чтобы ставить такіе глубокіе вопросы и не удовлетворяться фразами, имѣющими только внѣшній видъ отвѣтовъ, чтобы искать положительной истины и отличать ее отъ условныхъ понятій, находившихся въ общемъ обращеніи, чтобы во имя этой искомой истины объявлять ожесточенную войну этимъ укореившимся условнымъ понятіямъ,—надо было имѣть какой-нибудь образчикъ такой истины, которая заслуживала-бы названіе вѣчной и необходимой и которую можно было-бы путемъ строгихъ доказательствъ доводить до самой полной и несомнѣнной очевидности. Образчикъ такой истины дѣйствительно существовалъ во времена Сократа и Платона; умы лучшихъ людей того поколѣнія, къ которому принадлежали эти мыслители, находились подъ свѣжимъ вліяніемъ великихъ геометрическихъ открытій, положившихъ прочное основаніе этой отрасли математики. Самъ Платонъ

тотъ былъ замѣчательнымъ геометромъ и быть-можетъ лучше всѣхъ своихъ современниковъ понималъ важность серьезныхъ математическихъ занятій для общаго строя и направленія всей умственной жизни тогдашняго образованнаго міра. «Онъ,—говоритъ Уиуэлль,—неоднократно убѣждаетъ своихъ соотечественниковъ предаваться этимъ занятіямъ, онъ общается имъ, что изученіе геометріи поведетъ ихъ къ вѣрному понятію о себѣ; объясняетъ, какимъ образомъ это сдѣлается; онъ указываетъ на новыя отрасли математической науки, которыя должны быть созданы съ этой цѣлью; онъ не разъ ссылается на опредѣленія, аксіомы и доказательства геометрическихъ предложеній; онъ дѣлаетъ слѣдующую надпись надъ воротами садовъ Академіи, гдѣ сходились его ученики, чтобы слушать его поученія: *«пусть не входитъ сюда никто, не учившійся геометріи»*».

Изученіе геометріи показало Платону, что въ мірѣ существуютъ истины, стоящія выше всякаго сомнѣнія, и что эти истины вполне доступны человѣческому пониманію. Принимая этотъ несомнѣнный и совершенно осязательный фактъ за исходную точку своихъ умозрѣній, Платонъ старался убѣдить своихъ слушателей въ томъ, что человѣкъ, способный возвышаться до познанія истины, обязанъ стремиться къ этому познанію и смотрѣть на него, какъ на высшее изъ благъ, доступныхъ ему на землѣ. Вдумываясь въ геометрическія истины, только-что открытыя имъ самимъ и его современниками, и всматриваясь въ тотъ путь, которымъ человѣческій умъ добивается до этихъ истинъ, Платонъ успѣлъ даже найти точку опоры для всей своей философской системы, и въ особенности для знаменитой доктрины о предварительномъ существованіи и о неразрушимости человѣческой души. Въ одномъ изъ діалоговъ Платона Сократъ и фессалиецъ Менонъ стараются открыть, что такое добродѣтель. Такъ какъ попытки Менона отвѣчать на этотъ вопросъ оказываются неудачными, то Сократъ спрашиваетъ наконецъ: можемъ-ли мы *открычать* что бы то ни было? И если можемъ, то какимъ образомъ это дѣлается?

Отвѣчая себѣ на эти вопросы, Сократъ говоритъ, что мы можемъ открывать истины, и что онъ немедленно покажетъ своему собесѣднику, какимъ образомъ дѣлаются открытія. Затѣмъ онъ подзываетъ къ себѣ мальчика, рисуетъ на пескѣ геометрическую фигуру и задаетъ ему различные вопросы на счетъ проведенныхъ линій. Мальчикъ сначала становится втупикъ, но потомъ, всмотрѣвшись въ чертежъ, начинаетъ соображать правильно и отвѣчаетъ удовлетворительно. «Ты видишь,—говоритъ при этомъ Сократъ Менону,—я ничего не говорю ему. Онъ идетъ къ истинѣ, но я не учу

его. Онъ находитъ истину въ своемъ собственномъ умѣ. Онъ не учится отъ другого, онъ припоминаетъ то, что онъ уже зналъ прежде. Его званіе — припоминаніе. Его наука — обращеніе къ прошлому. Изъ этого выводится то заключеніе, что душа мальчика жила и мыслила задолго до рожденія того тѣла, съ которымъ она связана въ данную минуту.» Въ *Федонѣ* Сократъ, бесѣдующій со своими учениками за нѣсколько минутъ до своей смерти, выводитъ изъ геометріи доказательство въ пользу безсмертія души. Онъ рассуждаетъ такъ: «если человѣкъ путемъ размышленій можетъ доходить до познанія неизблемыхъ истинъ, то, стало быть, человеческій разумъ заключаетъ въ себѣ принципы вѣчной истины, и слѣдовательно долженъ быть самъ вѣчнымъ и неразрушимымъ.»

Мы видимъ такимъ образомъ, что вліяніе геометрическихъ открытій и того метода, которымъ они были сдѣланы, проникло очень глубоко въ самую сущность философской системы Платона. Можно сказать положительно, что эта философская система не могла-бы даже возникнуть или по крайней мѣрѣ не произвела-бы никакого прочнаго впечатлѣнія на тогдешнее общество, еслибы не существовало того импульса, который именно въ это время былъ данъ лучшимъ умамъ древней Греціи быстрымъ и роскошнымъ развитіемъ геометрическихъ изслѣдованій. Выѣстъ съ философіей Платона, созданной подъ вліяніемъ математическаго метода, въ греческія школы проникло преподаваніе геометріи, которая съ этого времени уже не переставала считаться необходимой составной частью серьезнаго и основательнаго образованія. Это значитъ, что расширеніе программы общаго образованія оказалось естественнымъ слѣдствіемъ такого-же расширенія, сдѣланнаго въ области научныхъ изслѣдованій.

Научное наслѣдіе древней Греціи перешло цѣликомъ къ новой Европѣ; всѣ открытія, сдѣланныя великими греческими математиками, сдѣлались на вѣчныя времена достояніемъ математической науки; такъ какъ наша наука получила очень многое отъ древнихъ грековъ, то и наше образованіе получило также очень многое отъ древне-греческаго образованія; преподаваніе геометріи перешло въ полномъ своемъ составѣ и почти въ неизмѣнномъ видѣ изъ древнихъ греческихъ школъ въ новыя европейскія. Римляне, напротивъ, сдѣлали очень мало для развитія науки, если мы будемъ понимать это послѣднее слово только въ смыслѣ точнаго, положительнаго и реальнаго знанія; именно потому вліяніе римлянъ оставило также очень мало слѣдовъ въ существующихъ системахъ образованія. Этотъ фактъ можетъ служить отрицательнымъ доказательствомъ той мысли, на которой построена лекція Уизелля. Но у рим-

лянъ была своя спеціальность, въ которой и являются оригинальными мыслителями и складываютъ самостоятельные пути. Этою спеціальностью была юриспруденція, доктрина правъ и обязанностей человѣка, живущаго въ гражданскомъ обществѣ. Эту спеціальность конечно невозможно поставить на одну доску съ тѣми науками, которыя посвящены изученію действительно существующихъ, вѣчныхъ и непоколебимыхъ законовъ природы. Въ юриспруденціи исходной точкой изслѣдованія служило не объективная истина, а условное положеніе, которое кажется истиннымъ людямъ одной нации, но которое черезъ нѣсколько столѣтій можетъ оказаться совершенно несостоятельнымъ передъ судомъ болѣе просвѣщеннаго потомства. Какъ бы то ни было, римляне работали очень усердно и съ большимъ успѣхомъ въ области юриспруденціи; этимъ дѣломъ занимались твердые умы римскаго общества, какъ во время республики, такъ и при императорахъ; въ общественной жизни римской націи юриспруденція стояла именно на томъ мѣстѣ, на которомъ стоитъ наука въ жизни другихъ народовъ, и нѣ поглотенныхъ чисто-политическими и иными житейскими заботами. Тѣ силы, которыя въ другихъ, болѣе богатыхъ цивилизаціяхъ тратятся на научныя открытія, уходили въ Римѣ на юридическія изслѣдованія, въ которыхъ обнаруживалось конечно много остроумія, диалектической ловкости и логической точности. Въ соответствии съ этой оригинальной стороной римской изслѣдовательской дѣятельности находится то оригинальное направленіе, которое получило римское образованіе. Юридическая казуистика, замѣнявшая собою науку, проникла въ школы; каждый молодой римлянинъ, принадлежавшій къ хорошему обществу, долженъ былъ сдѣлаться до нѣкоторой степени юристомъ. Этой стороной своей умственной жизни Рим подѣйствовалъ очень сильно и продолжаетъ дѣйствовать до сихъ поръ на европейскія общества. Благоговѣйнымъ изученіемъ римскихъ юриспрудентовъ занимались изъ году въ годъ, вѣченіи всѣхъ среднихъ вѣковъ, десятки тысячъ студентовъ, собиравшихся со всѣхъ концовъ Европы въ аудиторіи болонскаго, пизанскаго, падуанскаго и другихъ знаменитыхъ итальянскихъ университетовъ. Большая часть европейскихъ университетовъ до сихъ поръ предается комментированію римскихъ юристовъ. Можно сказать навѣрное, что до сихъ поръ по меньшей мѣрѣ половина всѣхъ молодыхъ людей, получающихъ высшее образованіе на пространныхъ цѣлой Европы, проходятъ черезъ юридическія факультеты. Это обстоятельство объясняется конечно очень удовлетворительно притягательной силой административной, адвокатской и судейской карьеры, въ которыхъ большин-

ство родителей не видит никакого вѣрнаго пристанища для своихъ дѣтей. Но дѣло не въ томъ. Для насъ важно въ настоящую минуту только то, что введеніе юридическаго элемента въ образованіе начинается съ того времени, когда юридическія изслѣдованія привлекли къ себѣ силы передовыхъ умовъ. Значитъ и здѣсь мы видимъ еще разъ, что направленіе научной дѣятельности и программа образованія находятся въ причинной связи между собою.

Образовательныя средства, заимствованныя нами отъ двухъ великихъ націй древняго міра, — математика и юриспруденція, — могутъ конечно въ значительной степени укрѣпить и развитъ молодой умъ, приучая его къ строгой логической послѣдовательности. Но какъ математика, такъ и юриспруденція упражняютъ умъ только въ дедуктивномъ способѣ мышленія. Въ наше время такая односторонность умственного развитія тѣмъ болѣе неумѣстна, что почти всѣ великія открытія, составляющія гордость и силу новой европейской науки, добыты путемъ индукціи. Молодой умъ, воспитанный исключительно на математикѣ и на юриспруденціи, оказался-бы совершенно неспособнымъ не только принимать дѣятельное участіе въ трудахъ передовыхъ умовъ, обогащающихъ науку своими изслѣдованіями, но даже слѣдить за этими трудами и отдавать себѣ ясный отчетъ въ томъ, какимъ образомъ производится эта работа. Разобщенный своимъ одностороннимъ развитіемъ съ тѣмъ умственнымъ движеніемъ, въ которомъ заключается существенный смыслъ нашего времени, такой умъ могъ-бы легко погрузиться въ позорное бездѣйствіе или даже превратить себя въ слѣбое орудіе узкихъ и мелкихъ страстей и интересовъ, находящихся въ совершенномъ разладѣ съ общимъ дѣломъ человѣчества. Нельзя не замѣтить при этомъ, что дѣйствительно юристы и математики, совершенно поглощенные своими специальными занятіями, становятся часто не только индифферентистами, но даже ретроградами и реакціонерами.

Развитіе положительной науки, которой неотразимое господство надъ умами усиливается и расширяется съ каждымъ годомъ, несмотря на всевозможныя мелкія и крупныя препятствія, — начинается съ XVI столѣтія. Труды Галилея, Декарта, Бекона и Ньютона могутъ быть названы великимъ поворотнымъ пунктомъ въ исторіи человѣческой мысли. Европейская или, вѣрнѣе, общечеловѣческая наука идетъ до сихъ поръ по той дорогѣ, которую проложили для нея эти великіе люди, и до сихъ поръ нѣтъ даже ни малѣйшаго основанія думать, чтобы она когда-нибудь имѣла возможность или была поставлена въ необходимость свернуть съ этой дороги. Кто ненавидитъ положительную науку, тотъ долженъ ненавидѣть и проклинять до сихъ

поръ ея великихъ законодателей, если только желаетъ быть послѣдовательнымъ. Такіе послѣдовательные люди дѣйствительно находятся до сихъ поръ даже въ ученой Германіи. Не дальше какъ въ 1857 г. вѣнецкій пасторъ, докторъ Францъ, издалъ книжку о *претензіяхъ точнаго естествознанія* и старался доказать своимъ читателямъ, что такъ называемые законы природы совсѣмъ не существуютъ, что земля стоитъ неподвижно въ центрѣ мірозданія, что вокругъ нея вертятся всѣ небесныя тѣла, и что Коперникъ и Ньютонъ своими попытками ввести математическія вычисленія въ область астрономіи и физики не сдѣлали ничего, кромѣ самой вредной и непроходимой путаницы.

Въ XVII столѣтіи картезіанская философія завоевала себѣ господство надъ умами во Франціи и въ континентальной Европѣ. Декартъ былъ признанъ противникомъ и побѣдителемъ Аристотеля. Картезіанизмъ былъ для того времени новой истиной, которой знамя было поднято противъ устарѣлыхъ заблужденій. Въ чемъ заключалась отличительная особенность новаго ученія, это показываетъ намъ между прочимъ въ очень осязательной формѣ слѣдующій эпизодъ изъ остроумной книги Фонтенеля «Множество міровъ» (*«La pluralité des mondes»*). Фонтенель сводитъ всѣхъ мудрецовъ древности въ театр; тамъ даютъ балетъ, въ которомъ Фазтона уноситъ вѣтеръ. Мудрецы ломаютъ себѣ головы надъ вопросомъ, какимъ образомъ это дѣлается, что танцоръ, играющій роль Фазтона, поднимается кверху. Одинъ изъ мудрецовъ говоритъ: «у Фазтона есть таинственное свойство, которое его уноситъ»; это говоритъ приверженецъ Аристотеля. Другой говоритъ: «Фазтонъ составленъ изъ нѣкоторыхъ чиселъ, которыя заставляютъ его подниматься кверху»; это — пифагореецъ. Третій говоритъ: «у Фазтона есть стремленіе къ потолку театра, и онъ не можетъ успокоиться, пока не отправится туда»; это — адептъ той философіи, которая объясняла вселенную любовью и ненавистью. Четвертый говоритъ: «у Фазтона нѣтъ естественнаго стремленія летать, но онъ находитъ болѣе удобнымъ летѣть, чѣмъ оставлять пустоту въ верхней части театра»; это — извѣстная средневѣковая доктрина объ отвращеніи природы къ пустотѣ. Наконецъ приходитъ Декартъ и вмѣстѣ съ нимъ другіе новые мыслители. Они говорятъ: «Фазтонъ поднимается потому, что его тянутъ кверху веревками, и что въ это самое время гири, потяжелѣе самаго Фазтона, опускаются внизъ за кулисами». Прежнія системы или приписывали природѣ чисто человѣческія страсти и побужденія, или объясняли видимыя явленія какой-то туманной кабалистикой, въ которой терялся самъ ея изобрѣтатель, и которая во всякомъ случаѣ была еще непонятнѣе и запутаннѣе,

чѣмъ сами объясняемыя явленія. Новая философія, напротивъ того, старается объяснить, и дѣйствительно объясняетъ все, что происходитъ въ мірозданіи, дѣйствіемъ тѣхъ механическихъ, физическихъ и другихъ силъ, надъ которыми мы можемъ производить безчисленное множество всевозможныхъ опытовъ и наблюденій. Механическая теорія міра, съ которой Декартъ познакомилъ континентальную Европу, появилась и утвердилась въ Англіи въ той формѣ, которую ей придали гениальныя работы Ньютона, и въ которой она осталась на вѣчныя времена неотъемлемымъ достояніемъ общечеловѣческой науки. Послѣ колоссальнаго толчка, даннаго человѣческой мысли мировыми гениями XVII вѣка, умственное движеніе не прерывалось ни на минуту и продолжается до нашего времени съ постоянно возрастающей быстротой, — съ такой быстротой, которая не имѣетъ себѣ ничего подобнаго въ лѣтописяхъ человѣческаго развитія. Открытія слѣдуютъ за открытіями; наблюденія и изслѣдованія перекрещиваются и сталкиваются между собою, провѣряя и подтверждая другъ друга; цѣлая огромная наука выходитъ одна за другой.

Та новая жизнь, которая проникла въ науку и создала въ ней рядъ невиданныхъ чудесъ, еще не успѣла пробраться въ школу. Современное образованіе еще не вылилось въ форму, которой настоятельно требуетъ теперешнее положеніе науки. Въ настоящее время образованіе и наука находятся въ разладѣ между собою. Но вся исторія человѣческаго развитія указываетъ ясно, что такой разладъ не можетъ сдѣлаться прочнымъ и постояннымъ. Его существованіе въ данную минуту или, пожалуй, даже въ данное столѣтіе объясняется именно небывалой громадностью того переворота, броженія, которые совершаются до сихъ поръ и еще долго будутъ совершаться въ высшихъ сферахъ научной дѣятельности. Но потребность водворить гармонію между наукой и школой существуетъ несомнѣнно, усиливается съ каждымъ годомъ, сознается яснѣе и отчетливѣе, и заявляется громче и рѣшительнѣе голосами самыхъ компетентныхъ цѣнителей. Трудно сомнѣваться въ томъ, что эта потребность найдетъ себѣ быстрое и полное удовлетвореніе.

ЛЬЮИСЪ И ГЕКСЛИ.

(Предисловіе къ книгѣ Гексли: «Уроки элементарной фізіологій»).

Въ нашей литературѣ за послѣднія пять-шесть лѣтъ господствовала сильная и разносторонняя популяризаторская дѣятельность. Рабочихъ силъ было мало, но почти всѣ наличныя силы настраивались къ тому, чтобы такъ или иначе, по-прежнему переводовъ, извлеченій или компиляцій, знакомить общество съ результатами европейской науки. Хотя наши популяризаторы были малочисленны и недостаточно приготовлены къ своей высокой дѣятельности, однако ихъ дружнымъ усиліямъ удалось воспитать въ обществѣ уваженіе къ положительной наукѣ, удалось создать запросъ на такія знанія, которыми въ былое время способны были интересоваться только самые заклятые спеціалисты. Что дѣятельность нашихъ популяризаторовъ, компиляторовъ, переводчиковъ и издателей не можетъ считаться совершенно безуспѣшной, — это доказывается тѣми воплями и доносами, которые уже успѣла вызвать противъ себя въ нашемъ отечествѣ положительная наука. Если проницательное зрѣніе и чуткій слухъ нашихъ разномыслившихъ обскурантовъ уже подытали для

себя опасность въ развивающейся любви нашего общества къ естествознанію; если уваженіе къ микроскопу и къ химическому анализу уже включено нашими обскурантами въ число самыхъ важныхъ примѣтъ неблагонамѣреннаго и безпокойнаго челоѣка, — то ясное дѣло, что знаніе становится силой и знаменемъ даже у насъ, въ Россіи.

Если дѣятельность нашихъ популяризаторовъ дѣйствительно заронила въ наше общество зародыши потребностей и стремленій, способныхъ жить и развиваться, то прямая обязанность всѣхъ людей, сознательно преланныхъ дѣлу добра и правды, состоитъ въ томъ, чтобы по мѣрѣ силъ охранять зародившееся умственное движеніе отъ всѣхъ ошибочныхъ уклоненій, въ высшей степени свойственныхъ первымъ шагамъ только-что пробудившейся мысли. Усилія популяризаторовъ клонились къ тому, чтобы возбудить въ обществѣ любознательность. Но для чего надо было возбуждать эту любознательность? Для чего надо было наглядными и осязательными примѣрами убѣждать неразвитыхъ читателей въ томъ, что истины положительной науки могутъ

сдѣлаться доступными и занимательными для всякаго мало-мальски грамотнаго чловѣка? — Неужели только для того, чтобы неразвитые читатели разнообразили свои безконечные досуги чтеніемъ легких и пріятныхъ книжекъ и статей по физикѣ, химіи, ботаникѣ или зоологіи? Неужели только для того, чтобы «*Физиологія обыванной жизни*» Льюиса или «*Иллюстрированная жизнь животныхъ*» Брэма, или «*Растеніе*» Шлейдена появились на письменномъ столѣ свѣтской барыни рядомъ съ романами Понсонъ-дю Террайля и съ историческими скандалностями Капфига? Однимъ словомъ, неужели расположеніе общества къ естествознанію было до сихъ поръ простой модой, которая завтра можетъ смѣниться неожиданной нѣжностью къ спиритизму или къ метафизикѣ? Неужели мы, популяризаторы, старались пустить въ ходъ эту моду только для того, чтобы въ продолженіи двухъ-трехъ сезоновъ пококетничать передъ публикой въ качествѣ модныхъ писателей?

Нѣтъ. Мы до сихъ поръ смотрѣли и всегда будемъ смотрѣть очень серьезно на нашу дѣятельность. Цѣль нашей дѣятельности до сихъ поръ стояла и всегда будетъ стоять въ нашихъ глазахъ очень высоко, какъ-бы ни были недостаточны наши личныя силы и какъ-бы ни было мучительно для насъ ясное пониманіе этой недостаточности. Мы старались излагать научные факты живо и занимательно, мы старались переводить общедоступныя и увлекательно написанныя естественнонаучныя книжки совсѣмъ не для того, чтобы плодять на Руси бесполезныхъ диллетантовъ, способныхъ оцѣнивать живость и занимательность журнальных статей и переводныхъ книжекъ. Диллетантъ, упивающійся втеченіи всей своей жизни занимательными книжками Фохта, Бюхнера, Льюиса, Росмесслера и другихъ даровитыхъ популяризаторовъ; диллетантъ, читающій постоянно только для своего личнаго наслажденія и совершенно неспособный перейти отъ пассивнаго восприниманія впечатлѣній къ самостоятельному изученію, къ упорному и усидчивому труду, — вызываетъ въ насъ тѣ-же чувства презрительнаго состраданія, съ которыми мы смотримъ на чловѣка, посвятившаго всю свою жизнь созерцанію картинъ и статуй, чтенію нашихъ лирическихъ поэтовъ или благоговѣйному слушанію квартетовъ и симфоній.

Мы глубоко убѣждены въ томъ, что Россія нуждается въ мыслящихъ, знающихъ и неутомимыхъ рабочихъ по всѣмъ многочисленнымъ отраслямъ чистой и прикладной науки. Мы видимъ и знаемъ, что ваше юношество дома и въ школѣ развивается при такихъ невыгодныхъ условіяхъ, которыя въ большей части случаевъ мѣшаютъ ему отыскать себѣ вѣрную и прямую дорогу общепользнаго труда. Мы хотѣли и хотимъ до сихъ поръ уравновѣсить эти невыгод-

ныя условія живительнымъ и освѣжающимъ вліяніемъ литературы. Мы хотимъ, чтобы литература вносила постоянно чистую струю естествознанія въ ту умственную атмосферу, въ которой гибнутъ силы молодыхъ людей, способныхъ сдѣлаться мыслителями и работниками. Мы хотимъ, чтобы до каждаго развивающагося ума доходили обаятельныя свѣдѣнія о такихъ областяхъ знанія, въ которыхъ умные люди съ постоянно возрастающимъ успѣхомъ и наслажденіемъ отыскиваютъ истину на пользу своимъ ближнимъ. Но мы никакъ не хотимъ, чтобы развивающіеся умы остановились надолго или навсегда на собираніи этихъ обаятельныхъ свѣдѣній. Мы сообщаемъ эти свѣдѣнія именно для того, чтобы возбудить въ развивающемся умѣ желаніе идти трудной дорогой основательнаго изученія въ тѣ области знанія, о которыхъ мы ему рассказываемъ. Если это желаніе не возбуждается, это значитъ, что вся наша дѣятельность пропала даромъ. Если-же это желаніе дѣйствительно возбуждено, то развивающійся умъ долженъ проститься съ популяризующей литературой такъ точно, какъ ученикъ, успѣшно окончившій курсъ въ низшемъ училищѣ, прощается со своими учителями для того, чтобы перейти въ высшее учебное заведеніе и отдать себя въ руки новыхъ, болѣе свѣдущихъ наставниковъ. Тотъ чловѣкъ, которому популяризующая естественнонаучная литература принесла дѣйствительную пользу, долженъ перейти отъ чтенія популярныхъ книгъ и статей къ изученію строго научныхъ сочиненій и къ практическимъ занятіямъ въ лабораторіяхъ и въ анатомическихъ театрахъ.

Чтобы достойнымъ образомъ выполнять свое просвѣтительное назначеніе, литература во всякую данную минуту должна удовлетворять всѣмъ умственнымъ потребностямъ читающихъ людей, стоящихъ на самыхъ различныхъ ступеняхъ развитія. Однихъ она должна заинтересовать занимательнымъ изложеніемъ научныхъ истинъ. Другимъ, уже заинтересованнымъ, она должна давать возможность приступить къ серьезному изученію предмета. Третьимъ, уже втянувшимся въ изученіе, она должна сообщать тѣ отвѣты, которые даются авторитетами науки на многочисленные частные вопросы, ежеминутно возникающіе передъ учащимся. Для первой категоріи читателей должны существовать въ достаточномъ изобиліи занимательныя статьи и популярныя книжки; для второй — хорошіе учебники; для третьей — дѣльныя монографіи и изслѣдованія. Въ Россіи, гдѣ всѣ эти три отрасли научной литературы находятся еще въ колыбели, въ Россіи, гдѣ почти не появляются ни хорошія популяризаціи, ни хорошіе учебники, ни хорошія монографіи, безчисленные пробѣлы, оставаемые въ научномъ образованіи націи туземными

дѣателями, должны конечно пополняться скромными усиліями трудолюбивыхъ и добросовѣстныхъ переводчиковъ.

Та книга, къ переводу которой приложено это предисловіе, предназначается для второй категоріи читателей. Подъ именемъ «*Уроковъ элементарной физиологіи*» Гексли издалъ не популярную книгу для любителей легкаго и пріятнаго чтенія, а очень хорошій учебникъ для тѣхъ людей, которые, не боясь труда и твердо рѣшившись напрягать свое вниманіе, желаютъ серьезно пріобрѣсти себѣ основательныя свѣдѣнія о различныхъ процессахъ, совершающихся въ тѣлѣ живого человѣка. Кто ожидаетъ найти въ книгѣ Гексли тѣ достоинства, которыя нравились читающей публикѣ въ «*Физиологіи обыденной жизни*» Льюиса, тому мы предсказываемъ полное разочарованіе. Въ «*Урокахъ элементарной физиологіи*» нѣтъ ни того игриваго литературнаго изложенія, ни тѣхъ занимательныхъ анекдотическихъ подробностей, которыя очень мало относятся къ физиологіи и которымъ однако-же книга Льюиса въ очень значительной степени обязана своимъ блестящимъ успѣхомъ. Кто требуетъ отъ книги только пріятнаго препровожденія времени, тотъ не одолѣетъ и десяти страницъ въ «*Урокахъ элементарной физиологіи*». Но кто уже дѣйствительно понимаетъ цѣну положительнаго знанія и кто серьезно хочетъ учиться для того «*Уроки*» Гексли сдѣлаются настольной книгой, потому что въ нихъ онъ найдетъ ясное, сжатое и чрезвычайно дѣльное изложеніе фактовъ именно въ томъ видѣ, какъ понимаютъ ихъ въ настоящую минуту лучшіе европейскіе изслѣдователи.

Я вовсе не думаю и не желаю возвеличивать Гексли въ ущербъ Льюису. Обѣ книги замѣчательно хороши, каждая въ своемъ родѣ, и каждая изъ нихъ вполне достигаетъ той цѣли, къ которой стремились ихъ авторы. Я только констатирую тотъ фактъ, что эти двѣ книги принадлежатъ къ двумъ существенно различнымъ родамъ, и что цѣли обоихъ авторовъ были существенно различны. Литературныя украшенія и анекдотическія подробности, совершенно умѣстныя и даже необходимыя въ такой книгѣ, которая должна пробудить и расшевелить любознательность неразвитаго читателя, оказываются излишними и только затемняютъ сущность дѣла въ томъ случаѣ, когда писатель обращается къ публикѣ, уже достаточно убѣдившейся въ необходимости приступить къ серьезному изученію предмета. Книгу Льюиса можно только читать, а книгу Гексли можно и должно непрерывно изучать.

«*Уроки элементарной физиологіи*» написаны въ высшей степени ясно. Каждое слово обдуманно и взвѣшено. Каждый эпитетъ стоитъ на своемъ мѣстѣ и дѣйствительно характери-

зуетъ тотъ предметъ, о которомъ авторъ хочетъ дать намъ точное понятіе. Всѣ отдѣлы изданы расположены въ строжайшей систематической послѣдовательности, такъ что читателю нѣтъ надобности ни забѣгать впередъ, ни возвращаться назадъ для того, чтобы во всякую данную минуту вполне понимать описанія и объясненія автора. Несмотря на всѣ эти достоинства, чѣмъ внимательнѣе вы будете читать Гексли и чѣмъ настойчивѣе вы будете его перечитывать, тѣмъ сильнѣе будетъ укореняться въ вашемъ умѣ то убѣжденіе, что нѣтъ книги, какъ-бы она ни была превосходно написана, какими-бы роскошными рисунками она ни была снабжена, не можетъ дать намъ яснаго и отчетливаго понятія о тѣхъ безконечно сложныхъ и переплетающихся между собой процессахъ, которыхъ совокупность называется жизнью. Я сказалъ: не смотря на всѣ эти достоинства. Я выразился неудачно. Вѣрно было-бы сказать: *благодаря всѣмъ этимъ достоинствамъ*, потому что истинныя достоинства хорошаго физиологическаго трактата естественнымъ образомъ должны вести за собой тотъ общій результатъ, чтобы учащійся почувствовалъ себя неудовлетвореннымъ книжными объясненіями, и чтобы въ немъ зародилась непреодолимая потребность видѣть собственными глазами и разсматривать со всѣхъ сторонъ тѣ живыя явленія, на которыя книга могла дѣлать только болѣе или менѣе отдаленныя намеки.

Подобно всѣмъ мыслящимъ натуралистамъ, Гексли придаетъ огромное значеніе практическому знакомству учащихся съ живыми фактами, составляющими предметъ ихъ изученія. Одинъ мѣсяцъ дѣльныхъ занятій въ лабораторіи или анатомическомъ театрѣ перевѣшиваетъ въ его глазахъ цѣлыя горы прочитанныхъ книгъ. Такого рода занятія рано или поздно должны сдѣлаться, по его мнѣнію, необходимой составной частью каждой сколько-нибудь раціональной системы общаго образованія. Въ одной публичной лекціи, читанной въ Кенсингтонскомъ музеумѣ, Гексли высказываетъ свои мысли о томъ методѣ, по которому должно производиться изученіе какой-бы то ни было отрасли естествознанія. Такъ какъ эти мысли примѣняются ближайшимъ образомъ къ изученію біологическихъ наукъ, и преимущественно физиологіи, то я считаю не лишнимъ познакомить съ ними читателей, которымъ онѣ, по моему мнѣнію, дадутъ возможность познакомиться съ какой именно точки зрѣнія самъ Гексли смотритъ на свои «*Уроки элементарной физиологіи*».

Гексли считаетъ образцовымъ тотъ способъ, по которому анатомія преподается обыкновенно въ медицинскихъ школахъ. Въ составъ этой методики преподаванія входятъ три элемента: лек-

ин, демонстраціи и экзамены. Польза лекцій состоитъ, во-первыхъ, въ томъ, что онѣ гораздо больше книги возбуждаютъ любовь студентовъ къ наукѣ, разумеется въ томъ случаѣ, если онѣ читаются сколько-нибудь даровитымъ, добродѣтельнымъ и уважаемымъ профессоромъ. Вторыхъ, лекціи направляютъ вниманіе учащихся на выдающіяся точки предмета и въ то же время поневолѣ заставляютъ ихъ знакомиться со всѣмъ предметомъ, не позволяя имъ преждевременно пристраститься къ изученію такой-нибудь отдѣльной части. Для того, чтобы лекція достигла своей цѣли, Гексли считаетъ необходимыми нѣкоторыя спеціальныя предосторожности. Самая увлекательная ораторская рѣчь можетъ быть очень плохой, потому что вниманіе слушателей, поглощенное стройнымъ теченіемъ фразъ и періодовъ, не будетъ останавливаться на основныхъ положеніяхъ лекціи, вслѣдствіе чего общее впечатлѣніе останется по всей вѣроятности довольно смутнымъ. По мнѣнію Гексли, всего полезнѣе сосредоточивать сущность всей лекціи въ немногихъ сжатыхъ предложеніяхъ, которыя записываются студентами подъ диктовку профессора. Когда предложеніе продиктовано и записано, тогда профессоръ развиваетъ и поясняетъ его, рисуя при этомъ въ случаѣ надобности чертежи, особенно вразумительные для студентовъ именно потому, что эти чертежи возникаютъ тутъ-же подъ рукой профессора, который можетъ отдать себѣ и своимъ слушателямъ строжайшій отчетъ въ каждой отдѣльной черточкѣ. При такомъ методѣ преподаванія чисто литературныя достоинства лекціи конечно совершенно подчиняются серьезнымъ интересамъ дѣла. Во время слушанія учебнаго курса, составленнаго по такому методу, Гексли считаетъ усердное чтеніе ученыхъ сочиненій излишнимъ и даже вреднымъ. На обыкновенный вопросъ студентовъ о томъ, какія книги имъ слѣдуетъ читать, Гексли отвѣчалъ обыкновенно:

«Никакихъ. Записывайте ваши замѣтки тщательно и въ полномъ объемѣ; старайтесь понимать ихъ совершенно отчетливо; приходите ко мнѣ за объясненіемъ того, что остается для васъ непонятнымъ; и я-бы предпочелъ, чтобы вы не развлекали вашихъ мыслей чтеніемъ.»

Чего Гексли не ожидаетъ отъ чтенія книгъ, то онъ требуетъ отъ демонстраціи, то-есть отъ нагляднаго изученія предмета въ анатомическомъ театрѣ. «Великое благо, доставляемое научнымъ образованіемъ, — говоритъ Гексли, — со стороны-ли умственной дисциплины, или со стороны знанія — зависитъ отъ того, насколько умъ студента приводится въ непосредственное соприкосновеніе съ фактами, насколько онъ усваиваетъ себѣ умѣнье обращаться за отвѣтами прямо къ природѣ и приобретать

посредствомъ своихъ чувствъ конкретныя представленія о тѣхъ свойствахъ предметовъ, которыя выражаются и всегда будутъ выражаться на человѣческомъ языкѣ только приблизительно.

«Нашъ взглядъ на природу и наша манера говорить о ней измѣняются съ года на годъ; но фактъ, однажды усмотрѣнный, связь между причиной и слѣдствіемъ, однажды подмѣченная на живомъ примѣрѣ, составляютъ такое достоинство, которое не измѣняется и не пропадаетъ, а, напротивъ того, образуетъ точки опоры для новыхъ истинъ, группирующихся вокругъ нихъ путемъ естественнаго сродства. Поэтому великая задача научнаго преподавателя состоитъ въ томъ, чтобы напечатлѣть основные и неоспоримые факты науки не только словами въ умѣ, но и чувственными впечатлѣніями въ зрѣніи, слухѣ и осязаніи учащагося до такой степени прочно, чтобы вслѣдствіи каждый употребленный терминъ или сформулированный законъ вызвали въ немъ немедленно живые образы тѣхъ особенныхъ анатомическихъ или другихъ фактовъ, посредствомъ которыхъ былъ доказанъ законъ или поясненъ терминъ»... «Я понимаю, что процессъ дѣйствительныхъ зоологическихъ демонстрацій представляетъ значительныя практическія трудности.

«Разсѣченіе животныхъ вовсе не привлекательно и требуетъ большой траты времени; кромѣ того не легко доставать необходимое количество экземпляровъ, подлежащихъ анатомированію. Ботаникъ находится въ гораздо болѣе выгодномъ положеніи: его матеріалы легко добываются; они чисты, не вредны для здоровья и могутъ разсѣкаться въ частномъ домѣ и во всякомъ другомъ мѣстѣ. И этимъ обстоятельствомъ объясняется, я полагаю, тотъ фактъ, что ботаника преподается гораздо основательнѣе и успѣшнѣе, чѣмъ ея сестра — зоологія. Но будь это трудно или легко, все-таки, если зоологія должна изучаться серьезно, то необходимо прибѣгать къ демонстраціи и слѣдовательно производить разсѣченія. Безъ этого ни одинъ человѣкъ не можетъ усвоить себѣ никакихъ здоровыхъ свѣдѣній объ организаціи животныхъ.»

Объ экзаменахъ Гексли говоритъ очень коротко, что необходимы экзамены письменные и словесные, и что ихъ польза въ настоящее время не оспаривается никѣмъ.

Если Гексли для основательнаго изученія предмета считаетъ необходимыми лекціи, демонстраціи и экзамены, то спрашивается, какую роль онъ отводитъ въ дѣлѣ изученія физиологіи своей собственной книгѣ или даже вообще лучшему изъ всѣхъ возможныхъ учебниковъ. Не трудно понять, что эта роль оказывается очень скромной: люди, подобные Гексли,

цѣнять только основательное знаніе и относиться съ глубочайшимъ презрѣніемъ къ той ошибочной и вредной мысли, что для массы читателей должно существовать какое-то особенное знаніе изъ пятого въ десятое, — знаніе, которое можетъ быть схвачено на-лету, кое-какъ, безъ усидчиваго труда, безъ собственныхъ наблюденій и опытовъ и безъ всякаго напряженія умственныхъ способностей. По мнѣнію людей, подобныхъ Гексли, къ знанію ведетъ только одинъ путь, и на этомъ пути не существуетъ почтовыхъ лошадей и экипажей, при содѣйствіи которыхъ богачъ могъ-бы сберечь свои силы и обогнать утомленнаго бѣдняка. принужденнаго тащиться пѣшкомъ.

Для желающихъ учиться книга также не можетъ быть такимъ чудеснымъ талисманомъ, который разомъ перенесъ-бы ихъ къ далекой цѣли ихъ усилій и избавилъ-бы ихъ отъ необходимости подчиняться сложной системѣ занятій, составляющей, по мнѣнію Гексли, единственную вѣрную дорогу къ положительному знанію. Книга можетъ только до нѣкоторой степени замѣнить собой лекціи. Кто потребуетъ отъ

книги слишкомъ многого, кто пожелаетъ, она замѣнила ему наглядное изученіе и тическія занятія въ лабораторіи или пивочной, тотъ не получитъ отъ нея даже что она можетъ дать и непременно дастъ читателю, умѣющему сдерживать свои требования въ границахъ возможнаго.

Книга Гексли безъ сомнѣнія даетъ и все то, что можетъ дать превосходная, но при этомъ, во избѣжаніе безсмысленныхъ разочарованій, надо постоянно имѣть въ виду, что въ дѣлѣ изученія какой-бы то ни было положительной науки всякая книга, какъ ни была хороша, должна непременно считаться неудовлетвореннымъ, указывающимъ вдалѣ на необозримо длинный рядъ опытовъ, наблюденій, цѣною которыхъ покупается новое и плодотворное знаніе.

Лучшая похвала, которую можно дать книгѣ Гексли, состоитъ именно въ томъ, что эта книга не успокаиваетъ читателя и не маскируетъ отъ него тѣхъ трудностей, которыми усыяна дорога основательнаго изученія.

КОНЕЦЪ ПЯТАГО ТОМА.

И. Вавилова. Популярн. руковод. для по-
 въ безъ помощи часовщика и для устройства
 асовъ. Съ 13 рис. Ц. 30 к.
 а психологія. **Циена.** Переводъ подъ редак-
 В. Кижки. Съ 21 рис. Ц. 75 коп.
 бѣ. **К. Фламмаріона.** Перев. съ француз-
 Претеченскаго. Съ 64 рис. Ц. 50 к.
 ными въ семьѣ. **Д-ра Эмилера.** Ц. 50 к.
 а. **Д-ра Перье.** Ц. 50 к.
 а. Съ англійскаго. Ц. 50 к.
 въ природѣ. **Жоржа Дари.** Переводъ съ
 го. **Д. Голова.** Съ 102 рис. Ц. 1 р. 25 к.
 а. Практич. настав. для народ. учителей.
 ра. Съ 137 рис. Ц. 60 к.
 -ра **Симона.** Сновидѣнія, галлюцинаціи,
 амъ, гипнотизмъ. Съ франц. Ц. 1 р.
 и. **А. Герцена.** професс. Лозанскаго уни-
 Переводъ съ франц. Ц. 1 р.
 Составилъ **Графини.** Руководство къ до-
 имъ ремесламъ. Пер. съ фр. Съ 400 рис.
 к. Въ пап.—1 р. 75 к. Въ пер.—2 р.
 ѣна. **П. Мантегациа.** Переводъ съ 6-го
 ія **д-ра Лейненберга.** Ц. 1 р. 50 к.
 деміи. **Д-ра Реньяра.** Перев. съ франц.
 Съ 110 рис. Ц. 1 р. 75 к.
 Популярныя очерки міровѣдѣн. 6-е изд.
 исправленное съ 65 рис. Ц. 30 к.
 астрономія. **К. Фламмаріона.** Перев. съ
 жасова. Съ 100 рис. 3-е изд. Ц. 80 к.
 а. Популярно-астрономическія бесѣды
 аго. Съ мног. рис. Ц. 30 к.
 а. практическія примѣненія. Соч. **Майера** и
 р. **Д. Голова.** Съ 298 рис. Ц. 2 р. 50 к.
 лемента. Соч. **Нюде.** Перев. и дополнѣнъ
 Со мног. рисунками. Ц. 2 р.
 аккумуляторы. **Э. Ренне.** Перевелъ и до-
 Голова. Съ 76 рис. Ц. 1 р. 25 к.
 освѣщеніе. Составилъ **В. Чиколевъ.** Съ
 2 р. 50 к.
 трическое освѣщеніе и уходъ за аккумуля-
 еоменса. Съ англ. 81 рис. Ц. 1. 25 к.
 электрич. освѣщенія. **В. Чиколевъ.** Ц. 25 к.
 магнетизмъ. **А. Гано** и **Ж. Маневье.** Пере-
 еленкова, **В. Черкасова** и **С. Степанова.**
 1 р. 50 к.
 ции объ электричествѣ и магнетизмѣ. **О.**
 Съ 230 рис. Ц. 2 р.
 лощенія электричества. **Э. Госпиталье.**
 вомъ рис. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.
 передача энергіи (передача силы на раз-
 тина. Съ 50 рис. Ц. 1 р. 60 к.
 а домашнему быту. **Э. Госпиталье.** Сомно-
 нис. 2-е изд. Ц. 2 р.
 воини. **Боттона.** Съ свѣд. о воздуш. звон-
 ис. Пер. съ англ. **Голова.** Ц. 1 р.
 а науки **Ч. Дарвинъ?** Популяр. обзоръ его
 став. **Гексли.** **Гейки.** **Дайеромъ** и **Рома-**
 портр. **Дарвина.** Ц. 75 к.
 нъ животныхъ. **Эспинаса.** Перев. съ франц.
 ова. 500 стр. 2 р. 50 к.
 ескихъ силъ. Опытъ популярно-научной
 А. Секки. Перев. съ франц. **Ф. Павлен-**
 ад. Ц. 2 р. 50 к.
 анія. **Д-ра Рибо.** Съ франц. 2-е изд. Ц. 40 к.
 ихъ людей. **Жоли.** Съ франц. 3-е изд. Ц. 60 к.
 илопаты. **Кюллера.** Съ франц. Ц. 1 р. 50 к.
 помѣстательство. **Ц. Ломброзо.** Съ портр.
 рисунками. 2-е изд. Ц. 1 р.
 а настѣномъ. **Иверсена.** 43 рис. Ц. 80 к.
 а. Составилъ **Г. Тисандье.** Съ 34 рис. Ц. 50 к.
 Съ 3 рис. **Барона Н. Корфа.** Ц. 10 к.
 водѣ. Объ устройствѣ питомниковъ и обу-
 одству. **А. Волотовскаго.** Ц. 20 к.

Для дѣтей и юношества.

ныя сказки **Андерсена.** Полное собраніе въ
 Съ 530 рисунками. Перев. **В. Порозовъ.**
 каждаго тома 60 коп., въ папкѣ 75 к.,
 въ переп., по 3 тома—2 р. 50 к.
 ая сказочная библиотечка. **Ф. Павленкова.**
 1894 г. Всѣхъ книжекъ будетъ отъ 150 до
 до 10 мая тридцать книжекъ, отъ
 Цѣны книжекъ отъ 5 до 20 коп.

Иллюстрированные романы Диккенса въ сокращенномъ пе-
 роводѣ **Л. Шелуновой:** 1) Давидъ Копперфильдъ; 2)
 Домби и сынъ; 3) Оливеръ Твистъ; 4) Большая надежда;
 5) Нашъ общій другъ; 6) Лавка древностей; 7) Крошка
 Дорритъ; 8) Тяжелыя времена; 9) Холодный домъ;
 10) Николай Никльбъ; 11) Два города; 12) Мартинъ
 Чеззлвйтъ. Цѣна каждаго ром. 40 к. Въ пап. 50 к.
 въ переплетѣ по 6 ром.—3 р. 25 к.

Иллюстрированные романы Вальтеръ-Скотта въ сокращен-
 номъ переводѣ **Л. Шелуновой:** 1) Веверлей; 2) Анти-
 кварій; 3) Робъ-Рой; 4) Айвенго; 5) Астрологъ; 6) Квен-
 тинъ Дорвардъ; 7) Вулстокъ; 8) Замокъ Кенильвортъ;
 9) Ламермурская невіста; 10) Легенда о Монтроузѣ;
 11) Певериль Пикъ; 12) Пресвитеріане; 13) Пертская
 красавица; 14) Аббатъ; 15) Монастырь; 16) Пиратъ;
 17) Карлъ Смѣлый; 18) Ричардъ-Львиное Сердце; 19)
 Обрученные; 20) Черный Карликъ. Ц. кажд. ром. 40 к.,
 въ пап. 50 к., въ перепл. по 5 роман. Ц. 2 р. 80 к.

Всякому гвоздю свое мѣсто А. Крулова. Съ 46 рис.
 Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.
Дѣтскій маскарадъ. Н. Азбелева. Съ 16 рис. Ц. 20 к.
Блуждающіе огоньки. Сборн. дѣтск. рассказовъ. **Бажинной.**
 Съ мног. рис. Ц. 1 р. Въ пап.—1р.25к. Въ пер.—1р.60к.
 Два проказника. Шуточн. разск. въ стихахъ. **В. Буша.** Пер.
 съ нѣм. 100 рис. 2-е изд. Цѣна въ папкѣ 50 к.

Русскія народныя сказки въ стихахъ. А. Брѣнчанинова. Съ
 предисловіемъ **И. С. Тургенева.** Множ. рисунковъ.
 Ц. 2 р. Въ папкѣ 2 р. 50 к., въ переплетѣ 3 р.

Черные богатыри. Е. Конради. Со множествомъ рисун-
 ковъ. Ц. 2 р., въ переплетѣ 2 р. 75 к.

Въ добрый часъ! Сборн. дѣтск. рассказовъ. А. Лякидъ.
 Съ рис. Ц. 75 к., въ папкѣ 1 р., въ пер. 1 р. 25 к.

Подружка. Книжка для маленькихъ дѣтей. Сост. Бостромъ.
 Ц. 130рис. Ц. 75 к., въ папкѣ—1р., въ перепл.—1р.80к.

Задуманные рассказы. П. Засодимскаго. Два тома съ 135
 рис. Ц. кажд. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2р.

Хорошіе люди. В. Остроорскаго. Съ 45 рис. 2-е изд.
 Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ пер. 1р. 60 к.

Изъ жизни и исторіи. А. Арсеньева. Съ рис. Ц. въ папкѣ
 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р.

Послушаемы! Дѣтскіе рассказы. А. Нольде. 28 рис. Цѣна
 въ папкѣ 1 р., въ перепл. 1 р. 35 к.

Робинзонъ. Его жизнь и приключенія. Гейбнера. Съ 107
 рис. Ц. 30 к. Въ папкѣ 40 к., въ перепл. 60 к.

Донъ-Нихомъ. Сервантеса. Сокращ. перев. для юношества.
 Съ 43 рис. Ц. 50 к., въ папкѣ—60к., въ перепл.—90 к.

Наглядныя несообразности. (Дѣтскія загадки въ картинкахъ).
Ф. Павленкова. 10 листовъ (на каждомъ по 20 рис.).
 Ц. 1 р. «Объясненіе» въ нимъ 5 к.

Математическія развлеченія. Люкаса. Переводъ съ франц.
 Съ 55 фиг. и таб. Ц. 1 р. Въ переплетѣ 1 р. 75 к.

Тройная головоломка. В. Обреимова. Сборникъ геометрич.
 игръ. Съ 300 рис. и 39 кастет. Ц. 1 р.

Образовательное путешествіе. В. Ворисюфера. Съ 73 рис.
 Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ пер. 2 р. 25 к.

Чрезъ дебри и пустыни. В. Ворисюфера. Съ иллюстр.
 Ц. 2 р., въ пап. 2 р. 25 к., въ пер. 2 р. 75 к.

Сказочная страна. В. Ворисюфера. Съ иллюстраціями.
 Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 75 к.

Приключенія контрабандиста. В. Ворисюфера. Съ иллюс.
 Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р. 25 к.

Мученики науки. Г. Тисандье. Переводъ подъ ред. **Ф. Па-**
валенкова. Съ 55 рис. 3-е изд. Ц. 1 р. 25 к., въ пер. 2 р.

Вечерніе досуги. А. Крулова. Съ 70 рис. 2 изд. Ц. 1 р.
 въ папкѣ 1 р. 25 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.

Научныя развлеченія. Г. Тисандье. Пер. подъ ред. **Ф. Па-**
валенкова. Съ 353 рис. 3-е изд. Ц. 1р.50к., въ пер. 2р.25к.

Сказки Густафсона. Съ 30 рис. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ
 1 р. 50 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.

На землѣ и подъ землею. Изъ воспомин. всемірнаго путеше-
ственника. В. Галузьева. Съ рисунками. Ц. 1 р.
 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.

До потопа. Романъ изъ жизни первобытныхъ людей.
Рони. Съ 16 рисунками. Ц. 50 к.

Рыжій графъ. Неразлучники. Дочь угольщика. П. Засо-
дискскаго. Съ рисунками. Ц. кажд. кн. по 35 к.

Живыя картинны. А. Смирнова. Съ 50 рис. Ц. 1 р. 50 к.,
 въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплетѣ 2 р.

Незабудки. А. Крулова. Сборникъ рассказовъ. Съ 50 рис.
 Ц. 1 р. 50 к., въ пап. 1 р. 75 к., въ пер. 2 р.

Несчастливцы. Э. Кандеза. Съ 55 рис. Ц. 1 р. 25 к., въ
 папкѣ—1 р. 50 к., въ перепл.—2 руб.

20 біографій образц. русск. писателей. В. Остроорскаго.
 4-е изд. Съ 20 портр. Ц. 50 к., въ папкѣ 75 к., въ пер. 1 р.

Яини Вологодскаго уѣзда. *Крулова*. Съ 6 рис. Ц. 25 к.
 Приключенія сверсна. *9. Кандеза*. Съ 67 рис. Ц. 2 р.,
 въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 50 к.
 Исторія открытія Америки. *Даме-Флери*. 3-е изд. Съ 52 рис.
 Ц. 75 к. въ папкѣ—1 р. въ пер.—1 р. 30 к.

Учебныя руководства и пособія.

Алгебра. *Тоддентера*. Ц. 2 р. 50 к.
 Курсъ начальной механики. *Рыкачева*. 197 рис. Ц. 1 р. 50 к.
 Практическая геометрія. *Заблоницкаго*. Съ 300 чертеж. Ц. 60 к.
 Курсъ метеорологіи и климатологіи. *Д. А. Лачинова*. Съ
 122 рисунками и 6 картами. Ц. 2 р.
 Основы химич. технологіи. *Селезнева*. Съ 70 рис. Ц. 1 р. 50 к.
 Полный курсъ физики. *А. Гано*. Перев. *Ф. Павленкова* и
В. Черкасова. 8-е изд. 1363 рис., 170 задачъ, 2 таб.
 спектровъ, метеорологіи и краткая химія. Ц. 4 р.
 Учебникъ химіи. *Альмендингена*. 96 рис. и 140 задачъ. Ц. 2 р.
 Общепонятная геометрія. *Потоцкаго*. 143 фиг. Ц. 40 к.
 Самостоятельныя работы въ начальной школѣ. *Т. Лубенца*. 2-е дополненное изд. Ц. 15 к.
 Сборникъ самостоят. упражненій по ариметикѣ. Задачникъ
 для учениковъ. *С. Житкова*. Ц. 25 к.
 Методика ариметики. *С. Житкова*. 8-е изд. Ц. 75 к.
 Сборникъ арифметическихъ задачъ съучителемъ. Приложение
 къ «Методикѣ арифметики». *С. Житкова*. 4-е изд. Ц. 40 к.
 Начальный курсъ географіи. *Корнелла*. 11-е изданіе, съ
 10-ю раскраш. картами и 82 рис. Ц. 1 р. 25 к.
 Эпизодическій курсъ всеобщей исторіи. *Кузнецова*. Ц. 1 р.
 Наглядная азбука. *Ф. Павленкова*. 800 рис. 13-е изд. Ц. 20 к.
 Объясненіе къ «Наглядной Азбукѣ». *Ф. Павленкова*. 7-е
 изданіе. Ц. 15 к.
 Родная азбука. *Ф. Павленкова*. 8-е изд. 200 рис. Ц. 5 к.
 Руководство къ «Зернышку». *Т. Лубенца*. Ц. 50 к.
 Зернышко. Первая послѣ азбуки книга для чтенія и письма
 съ прил. церк.-славянской граммоты и многими рис.
Т. Лубенца. Ц. 30 к. 2-я кн. Ц. 40 к.
 Азбука-копѣйка. *Ф. Павленкова*. 8-е изд., 100 рис. Ц. 1 к.
 Наглядно-звуковыя прописи. *Ф. Павленкова*. 1) къ «Родному
 слову» Ушинскаго (400 рис.), 2) къ азбукѣ Бунакова (460
 рис.), 3) къ «Первой учебной книжкѣ» Паульсона (430
 рис.), 4) общія наглядно-звуковыя прописи (къ другимъ
 азбукамъ) (464 рис.). Цѣна каждой книжки 8 к.

Элементарная грамматика русск. языка. *Тудинъ*.
 Методика ариметики. *Т. Лубенца*. Ц. 30 к.
 Руководитель для воскресныхъ школъ. *А. Н. Барфа*.
 Итоги народнаго образованія въ европѣйскихъ
 странахъ. *Барона Н. А. Корфа*. Ц. 60 к.
 Нашъ другъ. Книга для чтенія въ школѣ и дома. *В.
 А. Корфа*. 15-е изд., съ 200 рис. и портретами.
 Начальн. рус. грамматика. *Н. Бучинскаго*. Ц. 1 р.
 Иллюстрированная хрестоматія. *А. Тирнавски*.
 учебникъ заведеній и младш. классовъ гим.
 80 рис. и портретами). 4-е изд. Ц. 50 к.
 Церковно-славян. букварь. *Т. Лубенца*. 2-е изд.
 Руководство къ «Ц.-С. букварю». *Т. Лубенца*.
 Книга для обученія церковно-славянскому языку.
 2-е изд. Ц. 20 к. «Закѣтка для
 обучающаго по этой книжкѣ»—10 к.
 Азбука домоводства и домашней гигиены. Сост.
 Перевелъ баронъ Н. Корфа. Ц. 75 к.
 Триста письменныхъ работъ. Задачъ для упражненія
 въ письмѣ къ начальной школѣ. *Н. А. Барфа*.
 Первоначальное правописаніе. 40 диктовокъ съ
 грамматическими правилами. *Н. А. Барфа*.
 Сборникъ задачъ по русскому правописанію. 1)
 1) Элементарныя свѣд. о право. словъ. Ц. 30 к.
 стематическія свѣд. о право. словъ. Ц. 30 к.
 тарныя свѣдѣнія о знакахъ предпиканія.
 Систем. свѣдѣнія о знакахъ препинанія.
 Сборникъ арифметическ. задачъ. *Лубенца*. 13-е изд.
 и 3000 чисел. примѣровъ). Ц. 40 к. Тр.
 никъ по частямъ: Годъ 1—12 к. Р. 1—15 к.
 Сборникъ алгебраическихъ задачъ. *М. Савинки*.
 Первое знакомство съ физикой. *Герасимовъ*. 96
 рис. Ц. 1 р. 50 к.
 Дешевый географ. атласъ. 10 раскр. карт. Ц. 1 р.
 Очерки новѣйшей исторіи. *И. Н. Григорьевъ*.
 съ 57 портретами. Ц. 2 р. Въ перепл. 2 р.
 Первая понятія о зоологіи. *Поля Бера*. Перев.
 проф. *И. Мечникова*. Съ 345 рис. 2-е изд. Ц.
 автора. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 20 к., въ перепл.
 Краткій курсъ ботаники. *М. Савинкова*. Съ 118
 рис. Ц. 1 р. 50 к.
 Общедоступное землѣдѣіе. *А. Колмановскій*.
 рисунками въ текстѣ. Ц. 75 к.
 Руководство къ рисованію акварелью. *Лавинъ*.
 литпажей и 6 акварелей. Ц. 1 р. 30 к.

Съ осени 1890 г. *Ф. Павленковымъ* издается біографическая бібліотека подъ загл.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Въ составъ ея войдутъ біографіи 200 лицъ. Каждому изъ нихъ посвящается особая книжка, объ-
 80 до 100 и болѣе страницъ, снабженная портретомъ. Къ біографіямъ путешественниковъ, художниковъ
 и актеровъ прилагаются кромѣ того карты, снимки съ картинъ и ноты. Ежегодно выпускается

Цѣна каждой книжки отдѣльно—25 коп.

До мая 1894 г. вышли отдѣльными книжками 143 біографіи слѣдующихъ

Протопопа Авакума, *Андерсена*, *Аристотеля*, *Бай-
 ропа*, *Баха*, *Беккариа* и *Бентама*, *Бёрне*, *Боккона*, *Буллин-
 скаго*, *Карла Бера*, *Беранже*, *Бетховена*, *Бойдана Хмель-
 ницкаго*, *Боняцкіо*, *Бомарше*, *Боткина*, *Джордано Бруно*,
Рихарда Вагнера, *Леонардо да Винчи*, *Волкова* (осно-
 вателя русск. театра), *Вольтера*, *Воронцовыхъ*, *Гази-
 лея*, *Гарвея*, *Гарibaldi*, *Гаррика*, *Гегеля*, *Гейне*, *Гете*,
Гладстона, *Глинки*, *Говарда*, *Гюго*, *Грибодова*, *Гри-
 горія VII*, *А. Гумбольдта*, *Гуса*, *Гутенберга*, *Гюго*, *Дэ-
 герра* и *Ніцше*, *Даламбера*, *Данте*, *Дарвина*, *Дарю-
 мжескаго*, *кн. Дашковой*, *Демидовыхъ*, *Державина*, *Дефо*,
Дженпера, *Диккенса*, *Достоевскаго*, *Жоржъ-Занда*, *Ива-
 нова* (художника), *Иоанна Грознаго*, *Кальвина*, *Канкринна*,
Канта, *Камемира*, *Каразина* (основателя харьк. универ-
 ситета), *Карлейля*, *Кеплера*, *Ковалевской*, *Колумба*, *Кон-
 фуція*, *Комцова*, *Коперника*, *Барона Н. А. Корфа*,

Крамского, *Крылова*, *Кювье*, *Лавуазье*, *Ланца*,
Лейбница, *Лермонтова*, *Лессенса*, *Лессинга*,
Линкольна, *Линнея*, *Лобовъ*, *Локка*, *Ля-
 белля*, *Макколе*, *Мейербергера*, *Микель-Анджело*,
Мильтона, *Мирабо*, *Милленича*, *Мольера*, *Томаса Мора*,
Модарта, *Никитина*, *Никова*, *Ньютона*, *Роберта Оуэна*, *Паскаля*, *Песталоцци*,
Пирогова, *Писарева*, *Писемскаго*, *Потемкина*,
Радзвильскаго, *Прудона*, *Пушкина*, *Рабле*, *Рафаэля*,
Савіа-Муни (Будды), *Салтыкова*, *Саломона*,
Сенковского, *В. Скотта*, *Адама Смитта*, *Стерна*,
Фенсона и *Фультона*, *Струве*, *Стэнли*, *Сьера*,
Торквеадия, *Уатта*, *Ушинскаго*, *Фарадея*,
Франклина, *Цинггиса*, *Шенкена*, *Шеллера*, *Шопена*,
Шумана, *Щепкина*, *Эдисона* и *Мора*,
Эліота, *Юма*, *Федотова*.

Приготавливаются къ печати біографіи слѣдующихъ лицъ:

Аксакова, *Александра II*, *Бальзака*, *Бисмарка*, *Бокля*,
Вашингтона, *В. В. Верещагина*, *Вирхова*, *Гайдн*, *Гонка-
 рова*, *Граксовъ*, *Грановскаго*, *Декарта*, *Дидро*, *Добролю-
 бова*, *Екатерины II*, *Жуковскаго*, *Ибсена*, *Каразина*,
Кетле, *Кондорсе*, *Конта*, *Н. И. Костомарова*, *Куза*,
Лобачевскаго, *Лютера*, *Магомета*, *Мавіавелли*, *Мен-
 шикова*, *Меттерниха*, *Мольера*, *Т. Мюнпера*, *Напо-*

леона I, *Некрасова*, *Островскаго*, *Пастера*, *Платона*,
Платона, *Н. Полевого*, *Радищевъ*, *Ренана*, *Рихардо*,
Ротшильдъ, *Руссо*, *Сенатова*, *Скобелева*, *Сократа*,
Соловьева, *Спенсера*, *Станкевича*, *Суворова*, *Дмит. Тома-
 севича*, *Успенскаго*, *Франциска-Ассизскаго*, *Фурье*,
Чайковскаго, *Шекспира*, *А. Н. Эммануэля*.

СОЧИНЕНИЯ Д. И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и статей ЕВГЕНІЯ СОЛОВЬЕВА (автора біографіи Писарева).

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ ТОМОВЪ

1-й ТОМЪ. Первые литературные опыты. Писемный характеръ. Народная книжка. Идеализмъ Платона. Физиологическіе эскизы Молешота. Процессъ жизни (по Фохту). Схоластика XIX вѣка. Стоячая вода. Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ. Женскіе типы въ романахъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова. Библиографическія замѣтки. Мотивы.

2-й ТОМЪ. Александръ Танеевъ. Московскіе мыслители. Русскій Донъ-Кихотъ. Воинныя русскіе перевалчики. Генрихъ Гейне. Пчелы. Физиологическія картины. Вяземскій. Очерки изъ исторіи печати во Франціи. Зарожденіе культуры.

3-й ТОМЪ. Наша университетская наука. Историческіе эскизы. Цѣлы невнятныхъ мѣръ. Мотивы русской драмы. Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растений. Историческое развитіе европейской мысли.

4-й ТОМЪ. Реалисты. Кукольная трагедія. Промѣны земной мысли. Романъ кисейной дѣвушки. Сердитое безсудіе. Прогулка по садамъ руссійской словесности. Переломъ въ умственной жизни средневѣковой Европы. Мысли Бартова о воспитаніи женщинъ. Педагогическіе софизмы. Разрушеніе эстетики. Школа и жизнь.

5-й ТОМЪ. Пушкинъ и Бѣлинскій. Подвиги европейскія авторитетовъ. Посмотримъ! Недрогущая гуманность. Историческія идеи Огюста Канта. Ногиніе и погнѣбленіе. Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ. Наглядныя англійскія мыслители на умственныхъ потребностяхъ современнаго общества. Льюисъ и Гексли.

6-й ТОМЪ. Очерки изъ исторіи европейскіхъ народовъ. Образованная толпа. Борьба за жизнь. Романы Андре Лео. Старое барство. Французскій крестьянинъ 1789 г. — Приложение: Литературный процессъ по 3-му тому Сочиненій Д. И. Писарева въ 1868 году.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Обложка напечатана въ типографіи Ю. П. Эрлихъ, Садовая, № 9.
1894.

Цѣна каждого тома 1 рубль.

ИЗДАНИЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА

Литература, публицистика и законодательство.

- Сочинения Чарльза Диккенса.** Полное собрание. Цена каждого тома (равного 75 журнальным листам)—1 р. 50 к.—До 10 декабря 1893 г. вышли первые пять томов: 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3) Холмный домъ. Повѣсть о двухъ городахъ, 4) Крошка Дорритъ. Большія ожиданія. 5) Нашъ общій другъ и Оливеръ Твистъ, 6) Записки Пиквикскаго клуба. Тяжелыя времена. 7) Николай Никльби. Три святочныхъ разсказа. 8-й томъ печатается.
- Сочинения Пушкина.** Съ портр., биографіей и 500 письмами. Полное собр. въ 1-мъ томѣ и въ 10 томахъ. Ц. 1-го тома и 10-го тома изд. одна и та же: безъ карт.—1 р. 50 к. Съ 44 кар.—2 р. 50 к. На лучшей бумагѣ—на 50 к. дорожке. За переплетъ: для 1-го тома изд.—40 к. и 1 р. Для 10-го тома (въ 5 пер.) 1 р. и 2 р.
- Сочинения Лермонтова** (въ одномъ томѣ). Полное собраніе всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ, биографіей, написанной А. М. Скабичевскимъ, и 115 рисунками въ текстѣ. Ц. 1 р., въ простомъ перепл.—1 р. 40 к., въ коленкоровомъ съ золотымъ тисненіемъ—2 руб.
- Сочинения Лермонтова** (въ четырехъ томсахъ). Полное собраніе всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ автора, его биографіей и 115 рисунками въ текстѣ. Цена за всѣ 4 тома 1 р., въ двухъ простыхъ переплетахъ—1 р. 50 к., въ двухъ роскошныхъ переплетахъ—2 руб.
- Сочинения Н. Шелгунова.** Въ двухъ томахъ. Съ портретомъ автора и вступительной статьей Н. Михайловскаго. Ц. 3 р., въ пер.—4 р.
- Повѣсти и разсказы И. Н. Потапенко.** Восемь томовъ. Ц. каждого—1 р. Перепл. для 2 том. вмѣстѣ по 75 к.
- Сочинения Глѣба Успенскаго.** 3 изданіе въ 2 томахъ, съ портретомъ автора и статей Н. К. Михайловскаго. Ц. за два тома—3 р. Переплетъ въ 50 к. и въ 1 р.
- Сочинения Глѣба Успенскаго.** Томъ 3-й. Ц. 1 р. 50 к.
- Сочинения В. Рѣшетинова.** Въ двухъ томахъ, съ портретомъ автора и статей М. Протопопова. Ц. за все собраніе—2 р. 50 к. Переплетъ въ 50 к. и 1 р.
- Сочинения А. М. Скабичевскаго.** Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литерат. характеристики. Съ портр. автора. Ц. за все собраніе въ двухъ больш. том. (до 1700 стр.) 3 р. Перепл.—въ 50 к. и 1 р.
- Большой альбомъ къ „Сочиненіямъ Пушкина“.** 44 иллюстраціи съ подписями, портретомъ и снимкомъ съ почерка. Цена въ папкѣ 1 р. 50 к.
- Малый альбомъ къ „Сочиненіямъ Пушкина“.** Тѣ же иллюстраціи, но меньшаго формата. Ц. въ коленкоровомъ переплетѣ—1 р. 25 к.
- 120 рисунковъ къ Лермонтову.** Художественный альбомъ М. Е. Мамминова. Ц. въ папкѣ 50 к.
- Герои и героическое въ исторіи.** Томъ Карлейля. Перев. В. Яковенко. Ц. 1 р. 50 к.
- По волнамъ безконечности.** Астрономическая фантазія К. Фламариона. Съ франц. 350 стр. 2-е изд. Ц. 80 к.
- Грядущая раса.** Фантастическій романъ Эд. Бульвера. Переводъ съ англійск. А. Каменскаго. Ц. 50 к.
- Исторія французской революціи.** И. Карно. Переводъ съ франц. Около 400 страницъ. Ц. 1 р.
- Европейскіе монархи и ихъ дворы.** Politicos'a. Пер. съ англ. и дополнилъ В. Ратновъ. Съ 16 портр. Ц. 1 р.
- Черезъ сто лѣтъ.** Соціологическій романъ Э. Беллами. 3-е изданіе, дополненное научно-предсказательнымъ очеркомъ Раше: «Куда мы идемъ?». Ц. 1 руб.
- Въ трущобахъ Англіи.** (Планъ социал. борьбы съ эконом. явленіями современнаго общества) Бутса. Ц. 1 р.
- Нашъ офицерскіе суды.** Ф. Павленкова. Ц. 35 к.
- Напитанская дочка.** Повѣсть А. Пушкина. Роскошное изд. съ 188 рис. Ц. 60 к. въ пап. 75 к. въ пер. 1 р.
- Голодь.** Романъ К. Гамсуна. Съ норвежскаго. Ц. 60 к.
- Забота.** Романъ Зудермана. Съ 14 ил., изд. Ц. 60 к.
- До потопа.** Романъ изъ жизни первобытныхъ людей. Рони. Съ 16 рис. Ц. 50 к.
- Въ небесахъ (Uranie).** Астрономическій романъ К. Фламариона. Съ 89 рис. 2-е изд. Ц. 75 к.
- Новѣйшіе русскіе писатели.** Книга для домашняго чтенія. А. Цыткова. Съ 72 портр. Ц. 3 р. въ пер. 3 р. 75 к.
- Исторія новѣйшей Рус. литературы** (1848—1892 гг.). А. М. Скабичевскаго. 2-е исправленное изд. Ц. 2 р.
- Исторія русской цензуры.** А. М. Скабичевскаго. Ц. 2 р.
- Вырожденіе.** Психопатическія явленія въ временной литературѣ и искусствѣ. Мо. Переводъ съ нѣмецкаго, подъ редакціей словіемъ Р. Сементковскаго. Ц. 1 р. 60
- Исторія культуры.** Липперта. Перев. съ нѣм. 85 рис. Ц. 1 р. 60 к.
- Матери великихъ людей.** Блока. Переводъ съ многими рисунками. Ц. 60 к.
- Долой оружіе!** Анти-военный романъ Б. Эупактное изданіе. Цена 80 коп.
- Подъ маской благочестія.** (Преступленія и Романъ Э. Постери. Съ итальянскаго.
- Тургеневъ о русскомъ народѣ.** Чтеніе для пар третомъ Н. С. Тургенева. Ц. 15 к.
- Литература и жизнь.** Письма о разныхъ Н. К. Михайловскаго. Ц. 1 руб.
- Въ поискахъ за истинной.** Макса Нордау. Писаннаго изд. Э. Зауеръ. 3-е изд. Ц. 1
- Большая любовь.** Гигиенич. романъ Маггелана Роль общественнаго мнѣнія въ государствѣ Профес. Гольцендорфа. Цена 75 к.
- Очерки самоуправления** (земскаго, городского). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.
- Борьба съ земельнымъ хищничествомъ.** Бити И. Тимошенкова. Ц. 1 р.
- Брюхо Петербурга.** Общественно-физиологическое А. Бахтиярова. Ц. 1 р. 50 к.
- Бесѣды о законахъ и порядкахъ.** С. Горансона Л. Абрамова. Цена 15 к.
- Законы о гражданскихъ договорахъ,** общепон женные и объясненные. Составилъ В. Фед Иданіе 4-е. Цена 1 р. 25 к.
- Исторія книги на Руси.** А. Бахтиярова. Со м сунками въ текстѣ. Ц. 1 р. 50 к.
- Русскіе фланеры въ Парижѣ.** Попова. 2-е из По градамъ и веснямъ. Романъ изъ исторіи нашей Володина (Засодимскаго). Ц. 1 р. 50 к.
- Обломки разбитаго корабля.** Сценны у мирови Составилъ В. Никитинъ. Ц. 1 р.

Популярно-научныя книги.

- Наука о жизни.** Популярная фізіологія тѣлѣи келіа. Съ 91 рис. Ц. 1 р.
- Преступная толпа.** Опытъ коллективной С. Сисла. 116 стр. Ц. 30 к.
- Пессимизмъ.** Сочиненіе Джамса Селли. Поу зоръ всѣхъ пессимистическихъ ученій. Пер ского подъ редакціей В. Яковенко. Цена
- Философія Герберта Спенсера,** въ сокращ. изло лина. Перев. съ англійскаго Н. Мокіевска
- Законы подражанія.** Тарда. Пер. съ фр. Ц.)
- Домашній опредѣлитель поддѣлочъ.** А. Альмедина На всякій случай! Научно-практическіе совѣтъ хозяевамъ. А. Альмедина. Ч. 2-я. Ц.
- Гигіена женщины.** Д-ра М. Тиль. Ц. 40 к.
- Гигіена семьи.** Гебера. Переводъ съ нѣм. Ц. Берегите легкія! Гигиеническія бесѣды д-ра Съ 30 рисунками. Цена 75 к.
- Уходъ за больными дѣтьми.** Д-ра Э. Перье. 1 франц. Ц. 50 к.
- Сохраненіе здоровья.** Общая гігіена въ прим. к жизни. Д-ра Эддама. Съ 7 рис. Ц. 40
- Дѣтскій докторъ.** Популярное руководство и воспитателей. Д-ра Варіо. Перев. съ редакціей проф. Пономарева. Со мног. р
- Бактеріи и ихъ роль въ жизни тѣловѣка.** Д- Перев. съ нѣм. съ 35 рис. Ц. 1 р.
- Предсказаніе погоды.** Г. Далла. Переводъ Съ 40 рисун. Цена 1 р. 25 к.
- Дарвинизмъ.** Э. Ферьера. Переводъ съ фран ное изложеніе ученія Дарвина. Ц. 60
- Жизнь на Сѣверѣ и Югѣ** (отъ полюса до экваторі Дополн. къ его сочин. „Жизнь животн.“. Со
- Первобытные люди.** Дебьера. Перев. съ фран илль М. Эцельмардтъ. Съ 84 рис. Ц. 1 р
- Фабричная гігіена.** Сельтовскаго. Съ 153 р
- Усталость.** Популярно-научныя бесѣды

Литературный процессъ при 6-мъ томѣ
не помѣщенъ.



Скоба и штихотин редупли-
катовъ опечатано.

Д. Мухоморовъ

СОЧИНЕНІЯ
Д. И. ПИСАРЕВА

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ

ТОМЪ ШЕСТОЙ

.....
Цѣна каждаго тома 1 рубль
.....

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности помѣ-
щены при шестомъ томѣ

Изданіе Ф. Павленкова

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія Высочайше утвержд. Товарищества „Общественная Польза“, Большая Подъячская, № 39
1894

1

2

Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.

(ЛИТЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА).

I.

Больше тридцати лѣтъ прошло уже съ той поры, какъ эпоха 60-хъ годовъ канула въ вѣчность, а между тѣмъ приходится сказать, что знаемъ мы о ней очень мало. За тридцать истекшихъ лѣтъ успѣли сложиться нѣсколько легендъ, распространиться нѣсколько слуховъ и сплетенъ, но до научнаго анализа движенія еще очень далеко. А, казалось, давно-бы пора приступить къ оцѣнкѣ хотя-бы «Русскаго Слова» и «Современника» безъ предвзятой мысли, безъ вниманія къ легендамъ. Вѣдь одинъ тотъ ужасъ, который многіе чувствуютъ при словѣ «60-ые годы», показываетъ, что эпоха эта оставила рѣзкіе слѣды въ мозгу переживавшихъ ее и даже во всей жизни. Публика съ 60-ми годами знакома преимущественно по романамъ. Она все еще читаетъ «Взбаломученное море» Писемскаго, — это произведеніе громаднаго, но одряхлѣвшаго, впавшаго въ ипохондрію таланта, — «Некуда» Н. Лѣскова и тѣ безчисленные беллетристическіе доносы, которые то и дѣло украшаютъ собой страницы нашихъ консервативныхъ органовъ, гдѣ 60-мъ годамъ присваиваются спеціальныя наименованія, вродѣ «Вавилонское Столпотвореніе», «Смутныя времена», «Разнуздались» и пр., и пр. Научный анализъ однако все еще заставляетъ себя ждать.

Поэтому-то «смутность», неопредѣленность и неустойчивость чувствуется во всемъ, что написано у насъ о 60-хъ годахъ. А казалось-бы, къ чему особенно пугать въ этомъ вопросѣ? Взгляды любого изъ дѣятелей той эпохи просты, изложены они ясно и рѣзко, выводы изъ нихъ сдѣланы или легко могутъ быть сдѣланы, предшествующія событія мы знаемъ, послѣдующія одинаково никакой таинственности изъ себя не представляютъ. Особенно грандіознаго, великаго, такого, что было-бы трудно понять, въ 60-ые годы не дѣлалось

и не говорилось. И это-то странное неумѣніе оцѣнить такое въ сущности простое и искреннее движеніе, какъ движеніе 60-хъ годовъ, является очень нехорошимъ знакомъ и говоритъ, что мы *не хотимъ* знать истины. Не хотятъ ее знать и тѣ изъ насъ, кто полагаетъ, что 60-ые годы представляли изъ себя поразительный расцвѣтъ всероссійской добродѣтели, не хотятъ ее знать и тѣ, кто считаетъ дѣятелей того времени какими-то гигантами и титанами, а главное не хотятъ ее знать тѣ, кто убѣдился или позволилъ себя убѣдить, что 60-ые годы были «навожденіемъ». Вѣдь стоитъ только допустить въ голову такую мысль и укрѣпиться въ ней, какъ всякая возможность научнаго анализа исчезаетъ и вмѣсто историческаго эпизода передъ нами спиритическій сеансъ. А выяснить, чѣмъ же были 60-ые годы, надо и какъ можно обстоятельно надо это сдѣлать, чтобы съ одной стороны уничтожить возможность слезливыхъ восторговъ (ахъ, люди!... ахъ, время!..), а съ другой — ожесточенныхъ нападокъ и брызганья слюнями. Едва-ли не бесполезно звать назадъ къ 60-мъ годамъ и увѣрять, будто въ нашей русской жизни только и свѣту что въ этомъ окошкѣ, но еще глупѣе и бессмысленнѣе нападать на нихъ какъ на что-то апокалипсическое. Мнѣ-же, которому по разнымъ причинамъ пришлось ознакомиться довольно подробно съ журналистикой 60-хъ годовъ, — а журналистика въ то время была нервомъ жизни и общественной мысли, — хотѣлось-бы дать этой эпохѣ самую простую «читательскую» характеристику или просто сообщить свои впечатлѣнія безъ всякаго мудрствованія лукаваго.

Прежде всего мнѣ прямо странно тотъ взглядъ, что 60-ые годы были какими-то разбойниками, произвольно вторгшимися въ мирную русскую жизнь и надѣлавшими всяческихъ хлопотъ. Никогда ничего подобнаго

въ исторіи не бываетъ, и произвольное произвольно лишь до той поры, пока мы его считаемъ таковымъ. Вопросъ объ *освобожденіи крестьянъ* разбирался во все время царствованія императора Николая въ *восемь* комитетахъ, и освобожденіе имѣло на своей сторонѣ не только самого государя, но и лучшихъ его министровъ—Канкринъ и Киселева. *Эмансипація личности собственно* началась совсѣмъ не съ 60-хъ годовъ, а гораздо раньше, когда массы русской молодежи побывали въ Парижѣ послѣ 12-го года и заразились тамошнимъ духомъ и либерализмомъ. *Народническое движеніе*, народолюбіе, демократизмъ опять-таки не выдуманы 60-ми годами, а стали созрѣвать уже въ періодъ сороковыхъ годовъ и началъ 50-хъ, выраженіемъ чего явился «Антонъ Горемыка» Д. Григоровича и «Записки Охотника» Тургенева, — произведенія, до которыхъ очень далеко какъ по художественности, такъ и въ смыслѣ вліянія, и разскажемъ Марка Вовчокъ (М. Марковичъ), и повѣстямъ Рѣшетникова, Левитова и т. д. *Гражданскую* струю трудно было бы не видѣть въ стихахъ Некрасова, появившихся до «наводненія», въ послѣднихъ статьяхъ Бѣлинскаго, особенно тѣхъ, которые относятся къ 1846—48 гг., и во всемъ, что вышло изъ подъ пера автора «Кто виноватъ?». *Реализмъ* искусства выдуманъ опять-таки не Добролюбовымъ и не Писаревымъ, чистое искусство было похоронено уже Бѣлинскимъ, а краса нашего реализма, гр. Л. Толстой, выступилъ съ своимъ «Дѣтствомъ» въ 1852 г. (въ «Современникѣ»). *Обличительная литература* не сходила со сцены во все время царствованія Николая I и имѣла такихъ представителей, какъ Гоголь («Мертвые Души» и «Ревизоръ»), Лермонтовъ («На смерть Пушкина», «1-ое января», «Дума» и т. д.), Островскій.

Но вѣдь всѣ перечисленные выше элементы и составляютъ то, что мы называемъ *духомъ* 60-хъ годовъ. Что же особеннаго сдѣлали «семинаристы», какъ любить выражаться Н. Страховъ? Все равно какъ при императорѣ Николаѣ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ неустанно разбирался въ одномъ тайномъ комитетѣ за другимъ, а при императорѣ Александрѣ II сразу же перешелъ въ жизнь, такъ и принципы, выработанные въ 40-ые годы и даже раньше, стали проникать въ жизнь въ эпоху 60-хъ. Въ царствованіе Николая I совершилась громадная, хотя и закулисная работа; Александръ II немедленно по восшествіи на престолъ приказалъ поднять занавѣсъ, допустивъ обсужденіе, хотя и тайныхъ, но совсѣмъ не новыхъ вопросовъ. Для дѣй-

ствія машины, повторяю, все было готово уже раньше—и уголь, и вода, и паръ; оставалось только соединить двигатель съ приводомъ, какъ немедленно же задвигались рычаги и завертѣлись всѣ колеса. Кому и за что тутъ винить?

Ставши на эту историческую точку зрѣнія, мы увидимъ, что ожесточаться на 60-е годы совсѣмъ нечего: духовная изыскательность отъ 40-хъ слишкомъ очевидна. Если ужъ на то пошло, то Бѣлинскій, Гоголь, Тургеневъ болѣе погрѣшили, чѣмъ ихъ ученики: они первые раскатали таинство, т. е. дремавшую русскую мысль; послѣ нихъ оставалось лишь примѣнять и распространять, а выдумывать эмансипацію, гражданственность, реализмъ, народничество было уже нечего. Главная принципиальная работа вилоть до «сужденія съ точки зрѣнія пользы» была сдѣлана раньше.

Но, разумѣется, когда принципы переходятъ въ жизнь, онѣ по необходимости сновитъ уже, — непримиримѣ, и враждебны чѣмъ прежде, относится къ другимъ принципамъ, стоящимъ у него поперекъ дороги. 40-ые годы и красотѣ поклонились, и нужду глубоко сострадали. 60-ые—прежде *рабочіе* годы и какъ отъ таковыхъ смѣли и странно требовать, чтобы они явились передъ нами во фракѣ, бѣлыхъ перчаткахъ и съ цитатой изъ Пушкина или Гюго на устахъ. Имъ было не до того, надо было по красивому и изящно нарисованному типу выстроить зданіе. Естественно, что они пачкались въ пыли и мусорѣ и, сбросивши комфортъ и эстетику, изъяснились принялись стучать молотками и топорами. Подойдите вы къ человѣку, увлеченному физической или другой работой, и попросите его вмѣстѣ съ вами полюбоваться на голубое небо, на струю свѣтлой лавы и т. д.—вамъ придется услышать вѣроятно очень невѣжливое: «а ну тебя!»...

Психологія торопливаго труда, трудящегося шевеленнаго во имя вполне ясно сознаваемыхъ цѣлей, по вполне опредѣленной программѣ и притомъ неотложнаго — такова психологія 60-хъ годовъ. Другой нечего и искать. И если кому не нравится, какъ люди работаютъ молоткомъ и топоромъ, тому нечего читать шестидесятниковъ, а слѣдуетъ обратиться къ другой эпохѣ, когда играли лиры и воспѣваютъ мечтательную луну. Въ такихъ эпохъ очень даже достаточно.

Посмотрите, повторяю, на 60-ые годы съ точки зрѣнія, а такъ, какъ они могутъ представиться хладнокровному и незаинтересованному наблюдателю, отбросьте въ сторону легенды о нигилистахъ, которыми васъ пугала нянюшка, тѣмъ болѣе

что нигилистъ—слово глупое и ничего не выражающее, и вы увидите прежде всего оживленную работу и своеобразную серьезность и идейность жизни. Передъ вами оживетъ цѣлое поколѣніе, если хотите не совсѣмъ «уклюжее», не совсѣмъ изящное, совершенно не созерцательное,—поколѣніе, на долю котораго выпала преимущественно черная работа ликвидаціи кѣпостного права и крѣпостныхъ отношеній вообще. Вѣдь и Левъ Толстой былъ тогда мировымъ посредникомъ и училъ ребятишекъ въ яснополянской школѣ. Другіе составляли справочныя книжки, энциклопедическіе словари, популяризировали науку. Инженеру, проводящему желѣзную дорогу, нѣтъ дѣла до того, что ему придется срубить вѣковой дубъ, подъ сѣнью котораго еще вчера цѣловались влюбленные, или что онъ, прорывъ канаву, испортитъ чудный видъ и остановитъ журчанье ручейка. Съ этой точки зрѣнія шестидесятники относились къ красотѣ и чистому искусству. То и другое они замѣнили «обществомъ», общественными вопросами, отвѣтственностью человѣка передъ себѣ подобными и т. д. Имъ положительно некогда было штудировать философскія системы, Петрарку и Пушкина, Тассо и Гоголя, зато надо было вырѣшить и не принципиально, а подробно и практически вопросъ о нормѣ надѣла, присяжныхъ и т. д. Всю эту черную утомительную работу они сдѣлали и вдругъ отъ насъ видятъ одну черную неблагодарность. За что? За то, что были въ поту и съ мозолями на рукахъ, а современные поэты, подобно Мюссе, не могутъ писать иначе, какъ въ бѣлыхъ перчаткахъ и съ полубутылкой клико передъ собой?..

Работа, тѣмъ болѣе торопливая и черная, всегда развиваетъ въ человѣкѣ своего рода ригоризмъ. Сосредоточенный, внимательный работникъ всегда кажется дилетанту и ограниченному, и узкимъ потому, что ему, этому сосредоточенному и внимательному работнику, не всегда есть время и охота полюбоваться на мечтательную луну, погрузиться о роковой тайнѣ бытія и пр. Этотъ рабочій, трудовой ригоризмъ очень характеренъ для 60-хъ годовъ. Вы его найдете и у Чернышевскаго, и у Добролюбова, и у Писарева, ну, а второстепенные дѣятели доводили его до крайности и подчасъ прямо ругались, когда имъ очень уже надоѣдали съ кисло-сладкими воззваніями къ Музѣ, Лунѣ, Звѣздамъ, Вогниѣ Красоты, Вѣчности и пр. По части манеръ и пріятнаго обхожденія тутъ дѣйствительно есть недочетъ. Журнальныя статьи того времени зачастую писались сплеча, фразы подбирались рѣзкія, бьюшія въ ноздрю, то и дѣло вставлялись для украше-

нія стіля словечки очень рѣшительныя... Но вѣдь тогда было не до пріятнаго обхожденія—это во-первыхъ, а во вторыхъ соединить въ себѣ сразу и чернорабочаго, и джентльмена подъ силу очень немногимъ. Прямолинейность въ довершеніе всего—ошибка, а не преступленіе, и наша обязанность—указывать ошибки, крайности, увлеченія, но не винить.

Многія «ошибки», по тщательномъ разсмотрѣніи, могутъ вѣроятно оказаться очень простительными. Возьмите напр. отношеніе 60-хъ годовъ къ наукѣ вообще, естествознанію въ частности. И той, и другимъ увлекались. Лучшія, серьезнѣйшія вещи читались, перечитывались не только специалистами, а просто интеллигентными людьми. Мы далеки отъ такой научности и еще дальше отъ попытокъ и стремленій перестроить жизнь на научномъ основаніи. Л. Толстой напр. прямо презираетъ медицину, а къ естествознанію относится очень скептически. Но работникъ такъ смотрѣть на дѣло не можетъ. Каждый его шагъ, каждое его соприкосновеніе съ дѣйствительностью убѣждаютъ его, что единственная опора труда—это знаніе, что чѣмъ это знаніе ближе къ основнымъ потребностямъ жизни, тѣмъ оно полезнѣе. Отсюда восторгъ передъ естествознаніемъ.

Я смѣло могу не раздѣлять его. Но если предложить на выборъ: блужданіе въ дебряхъ метафизики, всестороннее разсмотрѣніе вопроса о смыслѣ и цѣли жизни,—вопроса, все равно неразрѣшимаго, съ одной стороны и физику или агрономію съ другой, особенно въ то время, когда элементарнѣйшія потребности человѣка не находятъ себѣ удовлетворенія,—я буду скорѣе сочувствовать восторгу передъ агрономіей, чѣмъ передъ красивыми, грандіозными и нерѣшимыми задачами метафизики. Это случится, разумѣется, лишь въ томъ случаѣ, если «я» смотрю на себя прежде всего какъ на работника и на отвѣтственное передъ обществомъ лицо.

Но вѣдь такіе-то «я» и собрались въ литературномъ штабѣ 60-хъ годовъ.

Благодаря отсутствію научнаго анализа, къ движенію 60-хъ годовъ преобладаетъ отрицательное отношеніе, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ прямой злобы и ненависти. Подъ часъ подсмѣиваются и улыбаются, какъ улыбается человѣкъ, значительно одряблѣвшій и одряхлѣвшій, съ лысиной, съ мѣшочками подъ глазами, съ пустымъ сердцемъ и пустой жизнью—смотря на свой портретъ, снятый въ юности, когда онъ страдалъ, любилъ и вѣрилъ. Что-то скорбное есть въ этой улыбкѣ.

Если не считать тѣхъ, кто при словѣ «60-ые годы» начинаетъ звонить во всѣ колокола, и тѣхъ еще, кто при томъ-же словѣ теряетъ здравый смыслъ отъ накипающаго въ его душѣ благороднаго негодованія, то мнѣніе большинства сводится повидному къ тому, что въ ту эпоху мы слишкомъ увлекались и наивно вѣрили, что все можетъ быть сдѣлано сейчасъ-же: сейчасъ-же запойтъ птицы, сейчасъ-же заблагоухаютъ цвѣты и весна жизни вступить въ свои права..

Съ этой точки зрѣнія, благодаря ея распространенности и виѣшней правильности, слѣдовало-бы посчитаться обстоятельныѣе, чѣмъ я могу это сдѣлать въ данномъ мѣстѣ. Конечно въ ту эпоху люди увлекались и вѣрили больше чѣмъ теперь, но представлять себѣ, что они только и дѣлали, что танцовали воинственные и побѣдные танцы, — совсѣмъ напрасно. Неужели кто нибудь полагаетъ, что Добролюбовъ, написавшій свои статьи о темномъ царствѣ, допускалъ возможность исчезновенія этого темнаго царства «въ одинъ моментъ». Онъ искренне желалъ темному царству отправиться къ праотцамъ, но его силу и живучесть онъ сознавалъ яснѣе другихъ. Перечтите «Свистокъ». Скептическая точка зрѣнія на отравные факты здѣсь преобладаетъ, и не тотъ-же ли Добролюбовъ печатно спросилъ: «развѣ можетъ надолго удержаться весна въ нашемъ холодномъ, чахоточномъ климатѣ?». Этотъ вопросъ былъ поставленъ въ 61-мъ году, въ самый разгаръ движенія. И Писаревъ прекрасно понималъ, что движеніе захватило лишь верхи, что для прочности ему надо проникнуть въ массу, а это — долгая исторія и долгая работа. Герой 60-хъ годовъ является скорѣе тоскующимъ при видѣ громадности лежащихъ передъ нимъ препятствій, чѣмъ ликующимъ отъ мысли, что мы все зло закидаемъ шапками. Вѣдь только близорукій оптимистъ могъ увѣрять, что «мы созрѣли»; умные люди вѣдѣли, что до зрѣлости еще очень далеко. Припомните кстати, какъ тосковалъ Базаровъ.

Но если исторически невѣрно то мнѣніе, что люди 60-хъ годовъ преимущественно танцовали и хлопали въ ладоши при видѣ несущагося по дебрямъ и степямъ Россіи прогресса, — то вѣрно, что тѣ-же люди никогда не позволяли жизни утратить и удручать себя, хотя и сознавая и, что работа, предстоящая имъ, велика и серьезна, что шансы на успѣхъ есть, хотя и ничтожны. Они не обѣщали скорой побѣды и скорого наступленія пира жизни — иначе они были бы фразерами и презрѣнными болтунами; они знали, что «въ одинъ моментъ» не по-

умнѣютъ и не приобретутъ ни гражданскія выправки, ни гражданскаго мужества 100 миллионъ русскихъ людей, изъ которыхъ 99 м. находились въ первобытномъ состояніи; но они вѣрили, что въ концѣ концовъ доброе, разумное, честное побѣдитъ злое, глупое, подлое, и требовали, чтобы каждый шелъ по истинному пути. Передъ смертью Добролюбовъ написалъ маленькое стихотвореніе, кончающееся словами:

...Я умираю,
Но спокоенъ я душою,
И тебя благословляю;
Шествуй тою-же стогою!...

Читатель понимаетъ, что вѣра въ торжество добра и истины сама по себѣ значить очень мало, говорить о прекрасномъ сердцѣ, природной мягкости, но ей ничто не стоитъ переродиться въ высокія фразы, краснорѣчивыя сентенціи и слезливую сентиментальность. Добро — ахъ! Истина — ахъ! Справедливость — ахъ! Съ этими формулами далеко не уйдешь. Только та вѣра въ торжество добра, истины и справедливости имѣетъ цѣну, которая основана на знаніи. А знать нужно многое, и прежде всего дѣйствительность жизни. Нужно соразмѣрить свои силы и свои удары. Нужно опредѣлить шансы успѣха и неудачи. Самонадѣянность, хотя бы произтекающая изъ благороднѣйшихъ побужденій, всегда одинаково вредна. Общественный дѣятель, руководящій умомъ какъ полководецъ, не долженъ увлекаться. И очевидно, что лучшіе люди 60-хъ годовъ страдали скорѣе скептицизмомъ, чѣмъ легкомысліемъ. Ни бубновъ, ни барабановъ мы не слышимъ въ ихъ статьяхъ, но имѣемъ ясное сознаніе необходимости работать въ истинномъ направленіи, не скрывая отъ себя громадности работы, не предаваясь легкомысленнымъ упованіямъ. Это не наше «полегоньку» и «потихоньку», *festina lente* и прочія глупости, это нечто большее: для защиты праваго дѣла надо напрягать всѣ свои силы, всѣ свои способности, работать не покладая рукъ, не печалиться отъ неудачъ и вѣрить въ неминуемое торжество справедливости, хотя бы и тамъ, далеко, въ туманѣ голубого дня.

Мысль, что ты стоишь на сторонѣ праваго дѣла, что его конечная побѣда настолько-же обусловлена твоими личными усиліями, какъ и исторической необходимостью, какъ и роковымъ ходомъ нашей общественной эволюціи, — единственная, которая въ состояніи придавать человѣку неисчерпаемую вѣру и сдѣлать его жизнь нравственной въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Истинная нравственность не можетъ не ос-

ваться на знаніи исторіи и современнаго: человекъ только помогаетъ исторической эволюціи, но не создаетъ ее. Задать папство и католицизмъ въ XVI-мъ вѣкѣ было не только глупо, но и безнравственно; защищать цезаризмъ во Франціи XIX вѣкѣ не только глупо, но и безнравственно. Нравственное поведение—то, которое содѣйствуетъ развитію общества; нравственное (хотя-бы проистекающее изъ честнѣйшихъ и прекраснѣйшихъ мотивовъ)—то, которое тормозитъ развитіе общества.

Отъ эта-то простая и элементарная этика 60-хъ годовъ совершенно забыта нами. И истинно почему. Люди 60-хъ годовъ социалистическая громадность бѣдствія, мы-же зазнаны и подавлены имъ. Поэтому то мы говоримъ, что то была эпоха увлече-

нныя 60-е годы (я имѣю въ виду рѣдкіе случаи оцѣнки безъ страсти и раздраженія), мы, какъ кажется, прибѣгаемъ къ тому приему, вообще говоря, правильному, пользоваться которымъ надо съ величайшею осторожностью. Мы говоримъ: «60-ые не оправдали надеждъ, возлагавшихся на нихъ, не имѣли серьезнаго и продолжительнаго успѣха, слѣдовательно они виноваты хотя быть-можетъ и заслуживаютъ снисхожденія». По моему искреннему убѣжденію, давать историческія явленія по ихъ успѣху и неуспѣху—можно и должно. Это даже естественный, правильный и реальный критерій, безъ котораго мы непремѣнно заедемъ въ дебряхъ метафизики и высокихъ теорій. Но, къ сожалѣнію, этотъ критерій мы употребляемъ съ такой-же легкостью, какъ аршинъ или фунтъ. По интересующему насъ вопросу замѣтимъ прежде всего, что люди 80-хъ и 90-хъ годовъ, далеко компетентны въ оцѣнкѣ успѣха или неудачъ эпохи, слишкомъ близкой отъ насъ, чтобы такъ сказать, «наканунѣ». Въ исторіи и дѣло бываютъ временныя остановки, временные повороты назадъ. Такъ случилось напр. во Франціи съ рационалистическимъ движеніемъ, которому сначала сочувствовали «все монархи Европы», а потомъ періодъ реакціи униженнымъ и стоптанымъ въ грязь. Но реакція не помѣшала же рационалистическому движенію вознестись въ послѣдствіи и вновь вызвать къ полному сочувствію... Дидро и его набожное трезвое міросозерцаніе, совершенно забытое современниками, получило истинное признаніе лишь въ наши дни. Гельгольцера, униженный въ періодъ 1800—1831 гг., опять расправилъ свои орлиныя крылья и воспарилъ надъ землей въ періодъ

1831—1848 гг., и т. д. Разумѣется, все истинное, правдивое, нужное для жизни должно имѣть успѣхъ, иначе оно неистинно, неправдиво, не нужно, но—увы!—исторія, эта капризная *mobile donna*, сегодня оттолкнетъ, завтра привлечетъ, потомъ опять оттолкнетъ. Только историкъ, имѣющій передъ собой весь циклъ развитія явленія, можетъ смѣло оцѣнивать по успѣху и неуспѣху; современникъ долженъ быть скромнѣе.

Но что-же дѣлать ему? Не можетъ-же онъ положить печать молчанія на свои уста и воздержаться отъ личнаго мнѣнія въ ожиданіи, что жизнь выскажется и грядущія столѣтія разъяснятъ все? Конечно не можетъ. Поэтому, кромѣ скромности, я позволю себѣ напомнить ему правило, пользовавшееся всеобщимъ признаніемъ со стороны лучшихъ людей 60-хъ годовъ. Правило это гласитъ: *Только то міросозерцаніе можетъ разсчитывать на побѣду и торжество въ жизни, только то міросозерцаніе полезно, истинно и нравственно, которое, опираясь на знаніе действительности и исторіи, соответствуетъ прогрессивнымъ и неустранимымъ потребностямъ жизни.*

Съ этой точкой зрѣнія можно уже, какъ кажется, добиться кое-чего, и, примѣняя ее, мы постараемся оцѣнить дѣятельность одного изъ самыхъ яркихъ представителей 60-хъ годовъ—Дмитрія Ивановича Писарева.

II.

Имя Писарева еще и въ настоящее время пользуется значительной популярностью. Его читаютъ и стараются читать, несмотря на то, что экземпляры первыхъ двухъ изданій его сочиненій давно уже стали библиографической рѣдкостью. Чѣмъ-же, спрашивается, онъ ударилъ такъ сильно по сердечнымъ струнамъ?

Надо замѣтить, что главный штабъ литературы относится къ Писареву нѣсколько свысока. Одинъ изъ представителей генералитета, разобравъ міросозерцаніе нашего публициста, говоритъ: «разумѣется, не здѣсь надо искать причину успѣха Писарева. Мы не должны забывать ни его удивительнаго литературнаго таланта, ни остраго критическаго чутья». Другой полагаетъ, что «Писаревъ представляетъ собою поразительный примѣръ громаднаго вліянія человека, невооруженнаго ничѣмъ, кромѣ своего пера». Третій думаетъ, что «къ Писареву не примѣнимъ обычный приемъ критика, такъ какъ сущность его сводится къ громадному и своеобразному литературному таланту»...

Я привелъ эти мнѣнія совсѣмъ не для того,

чтобы их опровергать, мнѣ хочется только дополнить ихъ, въ чемъ я и полагаю задачу нижеслѣдующихъ строкъ. Самое главное, именно «поразительный», «удивительный», «громадный», «своеобразный» и пр. литературный талантъ является общепризнаннымъ, и доказывать, что Писаревъ хорошо писалъ, по меньшей мѣрѣ напрасно. Не обращая вниманія ни на чье мнѣніе, разверните любую страницу сочиненій Писарева и прочтите ее. Вы найдете прежде всего поразительный оборотъ русскаго языка, который явится передъ вами во всей своей красотѣ и могуществѣ. Равный по силѣ и выразительности стиль я нахожу лишь у Герцена. Никто, какъ Писаревъ, не сумѣлъ такъ приблизить литературный языкъ къ разговорному, и приблизить безъ униженія, безъ дерзкихъ и ненужныхъ нововведеній. Такой языкъ какъ нельзя лучше подходитъ къ задачѣ, съ самаго начала сознанный и поставленной себѣ Писаревымъ. Задача эта заключалась въ томъ, чтобы распространять полезныя знанія среди массы, чтобы привлечь къ участію въ благахъ знанія и культуры многомилліонное населеніе «дорогого отечества», спускаясь постепенно все къ низшимъ и низшимъ его слоямъ. Главное свое назначеніе Писаревъ видѣлъ именно въ популяризаціи, о чемъ онъ и говоритъ въ слѣдующихъ строкахъ письма къ матери: «общія разсужденія и высшіе взгляды составляютъ совершенно бесполезную роскошь и мертвый капиталъ для такого общества, которому недостаетъ самыхъ простыхъ и элементарныхъ знаній. Поэтому обществу надо давать эти необходимыя знанія, т. е. знакомить публику съ лучшими представителями европейской науки. Мнѣ эта задача во всѣхъ отношеніяхъ по душѣ и по силамъ.» Писаревъ не ошибался. Такія его статьи, какъ «Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растений», «Историческія идеи Огюста Конта» и т. п., еще и въ настоящее время могутъ быть прочитаны каждымъ съ большою пользою для себя. И такое занятіе необходимо даже для самолюбія. Писаревъ даетъ читателю настоящую популяризацию, а не поддѣлку подъ нее. Онъ пишетъ не для маленькихъ, а для большихъ; онъ не просто замѣняетъ спеціальныя научныя термины общедоступными, а, разлагая мысль на ея составныя элементы, знакомитъ съ ними съ такой послѣдовательностью и постепенностью, что ея нельзя не понять. Онъ дѣлаетъ даже больше этого: всякую мысль онъ беретъ не только въ ея научномъ значеніи, а между прочимъ и въ практическомъ. Какую роль можетъ играть та или другая мысль въ жизни, какъ повліяетъ она на поведеніе, какое мѣсто долж-

на она занять въ общемъ міросозерцаніи человѣка? Отвѣчая на эти вопросы, Писаревъ дѣлаетъ все, что можетъ сдѣлать наибольшаго популяризаторъ. Равнаго ему въ этой области по ясности, силѣ и выразительности изложенія не было еще въ Россіи, и теперь что-то не видать. Популяризація, повторяю, не есть писаніе для дѣтей, и замѣна слова «прогрессъ» словомъ «совершенствованіе», а нѣчто гораздо большее и трудное. Истинная популяризація, какъ литературная задача, ничѣмъ не отличается отъ литературныхъ задачъ вообще и сущность ее сводится къ тому, чтобы сдѣлать мысль одинаково доступной какъ разсудку, такъ чувству и воображенію человѣка. У истиннаго популяризатора есть непременно художественная заправка, и, перечтя хотя-бы маленькій, но удивительный по изяществу отрывокъ Писарева о пчелахъ, всякій убѣдится, что такая заправка была у нашего критика.

Въ минуту унынія и грусти Тургеневъ, видѣвшій мало здороваго въ жизни своей родины, возлагалъ всѣ свои упованія на могучій русскій языкъ; онъ называлъ его языкомъ великаго народа. Тургеневъ былъ-можетъ и правъ, но надо договорить его мысль и прибавить, что этимъ могучимъ русскимъ языкомъ мало кто умѣлъ владѣть до настоящаго времени, а въ наши дни онъ очевидно претерпѣваетъ грустный процессъ газетнаго вырожденія. Стиль Писарева по отсутствію цвѣтистыхъ украшеній, по своей удивительной простотѣ, по близости къ разговорному языку, но безъ его небрежности, можетъ служить образцомъ, и, перефразируя мысль Тургенева, можно смѣло сказать, что такой стиль принадлежалъ недюжинному человѣку.

Но какъ ни высоко я ставлю талантъ изложенія, какъ ни дорогъ для меня чистый русскій языкъ, я и не думаю даже ставить его въ голову заслугъ Писарева. Загадка, почему онъ, несмотря на недостатки своего образованія, несмотря на свою молодость (онъ умеръ 27 лѣтъ), несмотря на увлеченія и ошибки, все еще пользуется вліяніемъ и будетъ долго еще пользоваться имъ,—разрѣшается для меня очень просто. Главную заслугу Писарева я вижу въ *реализмѣ и трезвости его мышленія*.

Мы переживаемъ схоластическое время, и признаковъ этой схоластичности столько, что я право затрудняюсь съ чего начать. Зная, что степи нашего юга заносятся пескомъ, что земледѣліе наше падаетъ и грозитъ частымъ повтореніемъ голодныхъ страшныхъ годовъ, что продолжительность жизни достигаетъ у насъ всего 30-ти лѣтъ въ среднемъ, когда просвѣщенные европейскіе

народы, къ коимъ по учебнику географіи принадлежимъ и мы, перешли уже за 40, что растеть земледѣльческій пролетаріатъ, что безграмотность заставляетъ задуматься всѣхъ способныхъ думать,—мы въ то же время или совсѣмъ не интересуемся ничѣмъ, или интересуемся Шопенгауэромъ и метафизикой. Горе не въ Шопенгауэрѣ и не въ метафизикѣ (увлеченію которыми, кстати сказать, очень радуются всѣ болтуны съ Волинскимъ и Львомъ Тихоміровымъ во главѣ),—горе въ томъ, что мы точно маленькіе ребята спрашиваемъ себя: «что дѣлать, какъ вести себя, что нравственно и что безнравственно?», и отводимъ этимъ вопросамъ ту роль, которой они не могутъ имѣть въ жизни нормально мыслящаго человѣка. Голодъ, холодъ и нищета народа—вотъ наши реальные враги, и мы знаемъ, что голодъ, холодъ и нищета существуютъ, а между тѣмъ толкуемъ столько-же о просвѣщеніи, фосфоритахъ, кредитѣ, сколько о все возрождающей силѣ любви и непротивленіи злу насиліемъ. Въ результатѣ получается очень глупая вещь. Мы, хорошие, честные (допустимъ) люди, не знаемъ, что дѣлать, и смотримъ на кончикъ носа, а вотъ князь Мещерскій, «Московскія Вѣдомости» и пр. знаютъ, что имъ дѣлать...

Я еще вернусь къ этой интересной темѣ, пока-же, указавъ съ какой точки зрѣнія я буду разбирать міросозерцаніе Писарева, позволю себѣ въ немногихъ строкахъ ознакомить читателя съ его біографіей.

Все еще и теперь существуютъ попытки представить намъ Писарева отчаяннымъ «нигилистомъ», непричесаннымъ и неумнымъ, съ свирѣпымъ, почти звѣрскимъ выраженіемъ лица, способнымъ даже на такую вещь, какъ ворваться въ чужую квартиру, наговорить хозяину грубостей и уйти нераскланявшись.

Это ложь и клевета. Люди, дѣйствительно знавшіе и видѣвшіе Писарева, описываютъ его иначе. Вотъ напр. что говоритъ Шелгуновъ: «Разъ утромъ,—пишетъ этотъ послѣдній,—я зашелъ къ Благосвѣтлову. Въ первой комнатѣ у конторки стоялъ щеголевато одѣтый, совсѣмъ еще молодой человѣкъ, почти юноша, съ открытымъ яснымъ лицомъ, большимъ, хорошо очерченнымъ умнымъ лбомъ и съ большими, умными, красивыми глазами. Юноша держалъ себя нѣсколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигурѣ чувствовалась боевая готовность. Это былъ Писаревъ». Итакъ, передъ читателемъ—щеголевато (даже!) одѣтый юноша. Это было въ 61-мъ году. Пять лѣтъ спустя,

когда Писаревъ перенесъ уже и заключеніе въ домъ умалишенныхъ, и слишкомъ четырехлѣтнее одиночное заключеніе въ петропавловской крѣпости, съ нимъ часто встрѣчался А. М. Скабичевскій, и Скабичевскій хоть и упоминаетъ о нѣсколькихъ несообразныхъ поступкахъ Писарева, совершенныхъ имъ послѣ выхода изъ тюрьмы, немедленно-же прибавляетъ: «все это скоро прошло, и Писаревъ, быстро освоившись съ свободой, вошелъ въ свою колею». Да и вообще это былъ настоящій выдержанный джентльмэнъ въ лучшемъ смыслѣ слова, съ котораго до конца дней не сходилъ свѣтскій лоскъ полученнаго имъ барскаго воспитанія.

Воспитаніе-же на самомъ дѣлѣ было барское.

Родившись 2-го октября 1840 г. въ средѣ дворянской старинной семьи, въ родовомъ имѣніи Знаменскомъ, Писаревъ, какъ единственный сынъ и наслѣдникъ, сразу увидѣлъ себя окруженнымъ всевозможными удобствами, комфортомъ и попеченіями. Время тогда было мрачное, крѣпостническое, но ребенокъ видѣлъ лишь хорошія, радостныя стороны жизни. Къ «мужику» его не подпускали, не подпускали и мужика къ нему. Приставленная къ барчуку нянька Оекла не пользовалась особенными его симпатіями и очевидно ни чѣмъ не умѣла его заинтересовать: ни сказками о Милитрисѣ Кирибетьевнѣ, ни унылыми русскими пѣснями. Народный элементъ, оставившій столько поэтическихъ воспоминаній въ душѣ многихъ изъ славныхъ нашихъ людей (напр. Пушкина и Достоевскаго), совершенно отсутствовалъ въ воспитаніи Писарева. Дѣломъ воспитанія исключительно и безраздѣльно, и даже съ ревнивымъ деспотизмомъ занялась мать. Институтка, прекрасно говорившая по французски и мало освѣдомленная въ русскомъ языкѣ, лишенная всякихъ реальныхъ знаній, но безконечно любящая и преданная—мать Писарева отдавала ребенку всю свою душу и, подчиняясь понятіямъ эпохи и окружавшей ее барской среды, задумала сдѣлать изъ ребенка лучшее, что могла. Это лучшее было «enfant d'une bonne maison» и «enfant bien élevé». Требовалось, чтобы мальчикъ безукоризненно говорилъ по-французски и по-нѣмецки, былъ скромный, послушный, нравственный, обладалъ манерами, съ которыми не совѣстно показаться въ гостиную, умѣлъ отвѣтить на заданный ему вопросъ, не сближался съ тѣмъ, кто ниже его въ общественномъ отношеніи, и въ концѣ концовъ сдѣлалъ-бы себѣ карьеру дипломата или лейбъ-гвардіи гусара. Много вообще любви, старанія, за-

бооть потрачено было матерью на воспитаніе сына, и если любовь извиняетъ все, то и въ данномъ случаѣ она должна извинять всѣ недостатки.

У Писарева были двѣ сестры, но онъ былъ общимъ любимцемъ. Единственный сынъ и наслѣдникъ, онъ въ дѣтствѣ сосредоточивалъ на себѣ все вниманіе и заботы взрослыхъ. Любовались имъ многочисленныя дяди, не менѣе многочисленныя теткы и всякіе родственники и родственницы, навѣзавшіе гостить въ просторный знаменскій домъ, баловала и любила его безъ памяти старуха-бабушка, обожала прислуга, боготворила съ какимъ-то страстнымъ увлеченіемъ, съ ревнивой исключительностью совершенно влюбленная въ него мать. Онъ былъ центральнымъ свѣтиломъ знаменскаго міра, и прїѣзжій, коротко знакомый съ порядками въ домѣ, могъ легко заключить по выраженію лица выбѣгавшихъ ему на встрѣчу слугъ, здоровъ или боленъ малютка. Въ результатѣ всего этого баловства, вниманія, французскихъ діалоговъ—изящный и самоувѣренный барчукъ съ прекрасными манерами, добрымъ, отчасти даже счастливымъ сердцемъ, правдивый и искренній, съ головой, наполненной глупыми исторіями о добродѣтельныхъ и недобродѣтельныхъ мальчикахъ, о добродѣтельныхъ и недобродѣтельныхъ дѣвочкахъ, нѣсколько вялый въ физическомъ отношеніи, нѣсколько плаксивый и вмѣстѣ съ тѣмъ самоувѣренный и ласковый.

Очень можетъ быть, что въ результатѣ этого дворянскаго, нереальнаго, тепличнаго воспитанія изъ Писарева дѣйствительно выработался-бы блестящій дипломатъ или лейб-гвардіи гусарь, но къ счастью его родители разорились, и надо было подумать о чемъ нибудь менѣе блестящемъ, но болѣе хлѣбномъ для единственнаго сына и наслѣдника. Его, уже 11-ти-лѣтняго мальчика, отправили въ Петербургъ, въ гимназію, гдѣ онъ и поступилъ въ третій классъ. Послушный ребенокъ, не смѣвшій безъ спеціальнаго на то разрѣшенія мамы проглотить ложку варенья или конфетку, поселился въ домѣ богатаго дяди и изъ подъ одной нѣжной ферулы попалъ подъ другую, не менѣе нѣжную и не менѣе безтолковую. Но онъ, разумеется, чувствовалъ одну нѣжность и былъ счастливъ. Онъ учится, онъ—первый ученикъ, онъ чисто и хорошо одѣтъ, онъ прекрасно говоритъ по-французски. Онъ доволенъ. Безпокоятъ его въ гимназическіе годы лишь успѣхи его конкурента на мѣсто перваго ученика, какого то Петрова или Иванова, но къ счастью Петровъ или Ивановъ не совсѣмъ благополученъ по

части греческаго языка и получаетъ за *temporale* четверки, а Писаревъ—всегда 1. Слѣдовательно и здѣсь все идетъ какъ нельзя лучше:

«Я—писалъ въ послѣдствіи Писаревъ—принадлежалъ въ гимназіи къ разряду овецъ; я не лезъ и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, изъименіи отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно въ награду за всѣ эти несомнѣнные достоинства былъ признанъ преусиѣвающимъ... Хотя и до сихъ поръ не сообщалъ фактическихъ подробностей о моемъ *развитіи*, но я осмысливаю думать, что изъ всего того, что я наговорилъ, проникательный читатель уже составилъ себѣ приблизительное и притомъ довольно нѣрное понятіе о томъ, что я смыслилъ при поступленіи моемъ въ университетъ; скажу и ему еще, что любимымъ занятіемъ моимъ было распрашивать картинокъ въ иллюстрированныхъ издаваніяхъ, а любимымъ чтеніемъ—романы Кунера и особенно очаровательнаго Дюма. Пробовалъ я читать «Исторію Англіи» Маколея, но чтеніе и поднималось туго, и казалось мнѣ подвигомъ, требующимъ сильнаго напряженія умственныхъ силъ... На критическія статьи журналовъ я смотрѣлъ, какъ на кодексъ гіероглифическихъ надписей, пригавшихся къ книжкѣ исключительно по заведенной привычкѣ, для вида и для счета листовъ; я былъ твердо убѣжденъ, что этихъ статей никто не можетъ, и что природѣ человека совершенно несвойственно находить въ чтеніи нѣ малѣйшее удовольствіе. Я долженъ признаться, что въ отношеніи къ нѣкоторымъ журналамъ я даже до сего дня не исцѣлился отъ этого сознательнаго заблужденія... Началъ я также, будучи ученикомъ седьмого класса, читать «Холодный Домъ», одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ романовъ Диккенса, и не дочиталъ: длинно такъ и много лицъ, и ничего не сообразишь, и шутить такъ, что ничего не поймешь; такъ на томъ и оставалъ, порѣшивъ, что «Les trois mousquetaires» не имѣютъ примѣръ занимательнѣе. Ну, а русскіе писатели—Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ? Читатель, мнѣ стыдно за моихъ домашнихъ воспитателей, стыдно и за себя—зачѣмъ я ихъ слушалъ? Русскихъ писателей я зналъ только по именамъ. «Евгеній Онѣгинъ» и «Герой нашего времени» считались произведеніями безнравственными, а Гоголь—писателемъ сальнымъ и въ приличномъ обществѣ совершенно неумѣстнымъ. Тургеневъ допускался, но конечно я понималъ его такъ-же хорошо, какъ понималъ геометрію, Маколея и Диккенса. «Записки Охотника» ласкали какъ-то мой слухъ, но остановиться и задуматься надъ впечатлѣніемъ было для меня немисливо. Словомъ, я шелъ путемъ самаго благовоспитаннаго юноши.»

Основываясь на этомъ блестяще нарисованномъ портретѣ, читатель смѣло можетъ понять, какъ 15-ти-лѣтній гимназистъ Писаревъ очень любитъ катать яйца, очень интересуется новой формой, данной военнымъ до генераловъ включительно, и въ восторгѣ отъ того, что числится первымъ ученикомъ въ классѣ.

По обыденной логикѣ вещей Писаревъ, закончивъ гимназію съ медалью, разумеется, и имѣя въ своей головѣ «логариѣмы и конусы, усѣченныя пирамиды и неусѣченныя параллелопипеды, гексаметры «Одиссея» и

асклепиадовскіе стихи Горация» и много еще других премудростей,—поступилъ студентомъ на историко-филологическій факультетъ Петербургскаго университета. И здѣсь два года продолжалась прежняя блаженная дремота, хотя Писаревъ уже начинаетъ рваться къ знанію, только не знаетъ, за что приняться ему. Его «очень привлекаютъ» кельтическая поэзія и лекціи Сухомлинова; питая научный идеалъ, онъ переводитъ Страбона, составляетъ статью о Гумбольдтѣ, занимается исторіей и литературой, мечтаетъ о магистерствѣ. Его ближайшіе товарищи, такіе-же рьяные жрецы науки, какъ онъ, но съ еще специальнымъ, аскетическимъ отъѣнкомъ въ своихъ стремленіяхъ, поощряютъ его въ его занятіяхъ, совѣтуютъ не читать болтуна Добролюбова и переводить неболтуна Страбона. Писаревъ слушается съ той почтительностью, тѣмъ-же отсутствіемъ скептицизма, которыя характеризуютъ его дѣтскіе и гимназическіе годы.

Бѣдный юноша! Ему тяжело подчасъ и даже невыносимо тяжело въ дебряхъ кельтической поэзіи, онъ ничего не понимаетъ въ брошюрѣ Штейнталя, которую переводить, читаетъ историческіе словари,—почтенные запыленные словари, которыхъ не можетъ охватить руками, страдаетъ за Страбономъ и В. Гумбольдтомъ, но что прикажете дѣлать: noblesse oblige, научный идеалъ обязываетъ, профессора толкуютъ о пользѣ и величій научныхъ занятій, товарищи описываютъ радужными красками счастье, приносимое имъ изученіемъ средней исторіи. Бѣдный юноша чувствуетъ себя невѣждой, не понимаетъ терминовъ, съ которыми такъ свободно обращаются его друзья. Самолюбіе его затронуто: надо учиться во что-бы то ни стало...

Есть много грустныхъ зрѣлищъ на свѣтѣ, но что можетъ быть грустнѣе того, когда талантливая, богато одаренная натура—одинъ изъ тѣхъ блестящихъ метеоровъ, которые такъ рѣдко залетаютъ на нашу все еще по нищенски живущую планету,—даромъ, на вѣтеръ разбрасываетъ свою молодость, свои недюжинныя силы и, будучи орломъ, навьючиваетъ на себя ослиную ношу свѣтскаго воспитанія сначала, чистой науки потомъ... Присмотритесь къ жизни вообще и вы увидите, какія гигантскія усилія ума и мускуловъ тратитъ неразсчитливое невѣжественное человѣчество на сооруженіе крѣпостей, на изобрѣтеніе дальнобойныхъ орудій, на писаніе толстыхъ схоластическихъ трактатовъ, и вамъ невольно жаль станетъ этихъ даромъ истраченныхъ недюжинныхъ силъ. Но сооружаютъ крѣпости, изобрѣтаютъ дальнобойныя орудія, пишутъ большіе

(т. е. взрослые) люди. Зачѣмъ-же обижать маленькихъ? Вѣдь при нормальномъ воспитаніи каждый изъ этихъ маленькихъ долженъ бы въ концѣ концовъ сдѣлаться знающимъ, мужественнымъ, полезнымъ гражданиномъ, онъ безъ краски на лицѣ могъ-бы вспоминать о сѣдѣнномъ имъ въ періодъ дѣтства и юности чужомъ хлѣбѣ, такъ какъ онъ сознавалъ-бы, что способенъ сторицей расплатиться съ близкими. Но нѣтъ! Тунеядецъ невольный сначала, онъ по необходимости превращается въ тунеядца вольнаго потомъ. Вѣдь онъ ничего не знаетъ и ничего не умѣетъ, онъ—ходячая химическая лабораторія съ большими чувственными аппетитами, выросшими на почвѣ лѣнливой и ненужной умственной работы...

Къ счастью, Писаревъ былъ слишкомъ богато одаренъ, чтобы не выбраться на вѣрную дорогу. А вѣрная дорога для человѣка—та, гдѣ, послушный призванію своей природы, онъ съ наименьшими для себя усиліями и наибольшимъ для себя наслажденіемъ можетъ приносить человѣчеству наибольшую пользу, содѣйствуя прогрессивнымъ стремленіямъ вѣка (разъ таковыя имѣются въ наличности).

Писаревъ рожденъ былъ для карьеры писателя. Время должно было опредѣлить, въ какую форму выльется его исключительное литературное дарованіе, какую окраску приметъ его проповѣдь, станетъ ли онъ защищать «покой и забвенье», «чистую красоту и чистое искусство», или явится передъ нами бойцомъ за права личности, защитникомъ всего общепользнаго и общественно необходимаго. Талантъ—всегда искра божія, но вѣдь искра божія можетъ зажечь и скирдъ труженика, и свѣчу передъ образомъ «Чистой Матери», и маякъ спасительный. Талантъ стихіенъ, какъ молнія, и въ томъ фактѣ, что эта стихійная, роковая сила все-же въ большинствѣ случаевъ служитъ истинѣ и справедливости, всякій можетъ почерпнуть намекъ на то, что на сторонѣ конечной побѣды истины и справедливости стоитъ историческая необходимость и роковой ходъ исторической эволюціи.

«Поэты рождаются», но «рождаются» и журналисты. Само собою разумѣется, что путемъ усиленнаго труда, путемъ утомительной настойчивости можно выработать изъ себя все, что угодно—скрипача, романиста, скульптора,—нельзя выработать въ себѣ лишь одной способности, безъ которой нѣтъ и не можетъ быть искусства, т. е. творчества. Можно сдѣлаться кѣмъ угодно, нельзя лишь сдѣлаться поэтомъ. Для этого нужны спеціальныя дарованія, а ихъ даетъ лишь «природа-мать»...

Все равно какъ музыканту нуженъ исключительный слухъ, художнику—зрѣніе, способное различать оттѣнки и переливы самыхъ близкихъ другъ другу цвѣтовъ, архитектору—чувство симметріи, такъ и журналистъ не можетъ обойтись безъ специальныхъ дарованій.

Такихъ дарованій у Писарева было въ избыткѣ, и несомнѣнно, что, выступивъ въ литературѣ, онъ нашелъ наконецъ свою настоящую дорогу.

Уже въ немъ-ребенкѣ можно было ясно различить силу и способность выраженія; едва начиная лепетать, онъ «любилъ уже закруглять и отдѣлывать свои фразы». 7-ми лѣтъ онъ принялся за писаніе своего чудовищнаго «Романьола», просиживая цѣлые дни за этимъ безконечнымъ произведеніемъ своей фантазіи. Все это его собственное, природное, неотъемлемое. А та страсть, съ которой онъ всегда защищалъ свои мнѣнія, та постоянная готовность спорить до слезъ, какой онъ отличался уже въ тѣ годы, когда у другихъ едва начинается пробуждаться умъ? Въра въ свою мысль, потребность развивать ее, еще высшая потребность—распространять эту мысль и привлекать на ея сторону, а иногда просто поработать ей другихъ—вотъ качество, безъ котораго писатель—простой поденщикъ и ремесленникъ.

Но, разумѣется, надо было много пережить и испытать, прежде чѣмъ взяться за великое дѣло поученія другихъ. Писаревъ пережилъ и испыталъ многое.

Если читатель потребуетъ, чтобы я ясно и съ полной опредѣленностью объяснилъ переворотъ, происшедшій въ Писаревѣ—его метаморфозу изъ благонамѣреннаго юноши въ передового журналиста, изъ благовоспитанной размазни—въ бойца и литературнаго рыцаря, смѣло вызывавшаго на бой всѣ темные призраки жизни, то я скажу, что такое требованіе отзывается метафизикой. Если Ньютонъ и Абель стали математиками, а не драматургами, если Дарвинъ и Гексли прославились какъ естествоиспытатели, а не какъ повара, то причина этого—въ нихъ самихъ прежде всего и въ обстоятельствахъ времени, натолкнувшихъ ихъ на природное призваніе и позволившихъ этому призванію развиться. Обязанность біографа указать на моменты, способствовавшіе самоопредѣленію личности, не больше. Сущность же и смыслъ самоопредѣленія—тайны устройства мозга, посягать на раскрытіе которой преждевременно. Моментовъ, способствовавшихъ самоопредѣленію Писарева, было нѣ сколько.

Прежде всего *духъ времени*, и этотъ могущественнѣйшій факторъ какъ въ жизни

всего общества, такъ и каждой отдѣльной личности. Духъ времени—и спасеніе, и проклятіе, смотря по тому, каковъ онъ. Мгучій и радостный, онъ приподнимаетъ изъ даго, влагая въ душу бодрость и вѣру; унылый и удрученный, онъ заталкиваетъ челоѣка въ уголь, въ лучшемъ случаѣ заставляя его поощрять книжную промышленность и торговлю, въ худшемъ—завращая его въ разбойника пера и печати, большой дороги или картежнаго припика. Но ни винить, ни благодарить за духъ времени нельзя отдѣльное поколѣніе.

Какъ сложился духъ времени 60-хъ годовъ?

Всякій, изучавшій исторію, знаетъ, какое громадное опредѣляющее значеніе имѣетъ тотъ фактъ, когда общество—это общеніе *разрозненное* цѣлое, отдѣльные элементы котораго даже шапочно незнакомы другъ съ другомъ и лишь «пускаютъ» между себя революцію» вродѣ конкуренціи—сговорится по поводу хотя-бы одного только вопроса и дѣйствительно, душевно заинтересуется имъ. Чтобы вывести общество изъ обычнаго для него полусоннаго и чувственнаго состоянія, необходимо общеніе и общедорогое знамя, общепонятный и общедорогой лозунгъ. Теперь напр. у насъ знаменъ и лозунговъ, говоря безъ преувеличенія, миллионъ двѣсти тысячъ. Наше общество—оркестръ безъ капельмейстера, гдѣ каждый дудитъ въ свою собственную дуду, настраиваетъ свой собственный инструментъ и съ недовѣріемъ поглядываетъ на своихъ сосѣда, личность котораго, вообще говоря, подозрительна. Одинъ идетъ пахать землю, другой поступаетъ на службу въ департаментъ, третій пишетъ... пишетъ... четвертый задичаетъ возмущающую душу диссертацию прилагательныхъ Плавта (фактъ!), пятый готовитъ диссертацию (очевидно, чтобы не удирить лицомъ въ грязь!) о союзахъ въ трагедіяхъ Софокла. Общаго дѣла и общаго знамени нѣтъ. Повидимому всѣ—по крайней мѣрѣ громадное большинство могло бы согласиться на положеніе, что всѣмъ кушать надо, но такъ какъ каждому кажется, что если всѣ будутъ кушать, такъ ему мало останется, то не могутъ согласиться даже на это. Въ 60-ые же годы было общепонятное знамя и общепонятный лозунгъ. Я говорю объ отмычѣ крѣпостного права.

Полагаю, что ни для кого не секретъ, сколько по истинѣ мужественныхъ и высокихъ усилій потратила русская интеллигенція для освобожденія крестьянъ. Вопросъ созрѣлъ въ теченіи 90 лѣтъ (немного долго), и въ концѣ концовъ власть и интеллигенція сошлись въ общемъ благомъ дѣлѣ. Освобожденіе крестьянъ

янь было одинаково важно для мужика, барина, чиновника, разночинца. Вся предшествующая жизнь зиждилась на крѣпостномъ правѣ, уничтоженіе его знаменовало коренное измѣненіе и преобразование всего русскаго бытія. Была значить почва, на которой можно было сойтись, и почва, на которой можно было разойтись. То и другое одинаково важно, такъ какъ не любовь и не ненависть губятъ дѣло, а индифференцизмъ и малодушіе, т. е. то состояніе, въ которомъ какъ разъ теперь обрѣтаемся мы. Крестьянская эмансипація сосредоточила силы, дала направленіе мысли, опредѣлила ходъ «общепольныхъ и общественно необходимыхъ работъ». Она явилась цементомъ общественной мысли и общественной эмоціи, пробудила страсти, вызвала невѣроятное оживленіе. На этомъ пирѣ мысли и чувства доставалась своя доля и свое мѣсто каждому.

Но—думается—эмансипація крестьянъ была только частностью или, если можно такъ выразиться, отдѣльнымъ рукавомъ того широкаго историческаго потока, который, затопивъ Европу, добрался наконецъ и до насъ. Имя этого потока—эмансипація личности вообще. Освобожденіе крестьянъ, эмансипація женщины, судъ присяжныхъ и пр., и пр. было не болѣе, какъ частностями эмансипація личности.

«Совершенно понятно почему,—говорилъ я въ другомъ мѣстѣ,—идея эмансипація личности такъ страстно пропагандировалась русскою журналистикой съ самой минуты ея сознательнаго пробужденія и проходитъ красной нитью черезъ сочиненія лучшихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ. На Западѣ личность сознала себя уже въ XVI вѣкѣ и потребовала себѣ вниманія и уваженія, хотя бы въ области религіозныхъ вѣрованій. Карлейль увѣряетъ, что новую исторію надо начинать со словъ Лютера: «hier stehe ich und anders kann ich nicht. Gott helfe mir», т. е.: «я настаиваю на томъ, что это истина, иначе думать и вѣрить я не могу. Богъ да поможетъ мнѣ». Лютеръ сказалъ, что онъ имѣетъ право толковать священное писаніе, какъ онъ его понимаетъ, и вѣрить сообразно съ своимъ разумомъ. Французская революція признала личность, какъ политическую единицу, и лишь особенныя обстоятельства ограничили понятія личности принадлежностью къ одному классу собственниковъ—буржуа. Въ буржуазной-же средѣ личность достигла и экономической независимости, но опять это была не простая человѣческая личность, а собственница. Какъ бы то ни было, втеченіи XIX вѣка Европа добилась правовой эмансипація личности и могла всѣ усилія свои

сосредоточить на томъ, чтобы дать праву реальность, т. е. обезпечить его въ экономическомъ отношеніи.

«У насъ по этой части все шло шиворотъ на выворотъ. Мы учились у Запада, жадно прислушивались къ тому, что проповѣдуется съ берлинскихъ кафедръ и парижскихъ трибунъ, читали Жоржъ Занда, Блана и пр., а между тѣмъ государственная жизнь покоилась на крѣпостномъ правѣ, т. е. на полнѣйшемъ отрицаніи личности, семья—на идеяхъ Домостроя, отрицавшихъ личность жены и дѣтей передъ воплощеніемъ патріархальнаго права, т. е. отцомъ. Это противорѣчіе сразу бросалось въ глаза и въ 40-хъ, и 60-хъ годахъ не менѣе ярко, чѣмъ въ 20-хъ или даже въ предыдущемъ столѣтіи.

«Въ экономическомъ отношеніи крѣпостная Россія была сравнительно обезпечена и не безъ основанія вѣрила, что служить житницей Европы, способной умирить послѣднюю съ голоду, разъ та поведетъ себя нехорошо. Поэтому думать о вопросахъ экономическихъ было преждевременно, пока крѣпостная личность не получитъ права гражданства.»

«Мужицкая» реформа, повторяю, была только лозунгомъ и отдѣльнымъ моментомъ общеевропейскаго историческаго потока...

Обстоятельства личной жизни Писарева поставили его очень рано съ глазу на глазъ съ вопросомъ о правахъ личности. Мы видѣли, какое кисейное и безтолковое воспитаніе получилъ онъ. Но въ его ученическіе годы произошло одно событіе—еще не упомянутое мной—именно онъ влюбился ребенкомъ въ свою кузину Раису, и эта-то любовь, вѣришь противодѣйствіе этой любви и дало первый толчокъ къ пробужденію мысли.

Дѣтская влюбленность Писарева успѣла постепенно обратиться въ любовь и сосредоточила возлѣ себя всѣ его помыслы и возжелѣнія. Съ самаго дня отъѣзда въ гимназію онъ писалъ Раисѣ свои откровенныя хорошія письма; пріѣзжая домой на каникулы, онъ столько-же радовался свиданію съ матерью, сколько свиданію съ той, образъ которой наполнялъ его дѣтскія и юношескія грезы.

Но тутъ-же на первыхъ порахъ онъ попадаетъ въ положеніе Ромео и видитъ цѣлый заговоръ, направленный противъ его счастья, противъ всего его будущаго. Жизни безъ Раисы онъ въ то время представить себѣ не могъ. А между тѣмъ семья и всѣ старыя патріархальныя традиціи сыновней покорности и безусловной власти родительской заявили ему, что такъ не будетъ и что такъ быть не должно.

Любовь къ Раясѣ и противодѣйствіе этой любви и дали плоть и кровь тѣмъ отвлеченнымъ, теоретическимъ воззрѣніямъ, которыя усвоилъ онъ себѣ за это время, подчиняясь общему настроенію.

Съ какой точки зрѣнія могъ онъ защищать противъ матери, противъ семьи, противъ всего въ мірѣ наконецъ—свою любовь?

Этой точкой зрѣнія должно было явиться нравственное достоинство личности, ея право на собственное счастье...

Работа духа и мысли началась, но началась и семейная трагедія со всѣми ея тяжелыми, неизбежными послѣдствіями. Въ мирную, любовную жизнь Писаревыхъ впервые вторглись невеселые мотивы. Отцы и дѣти, какъ въ большинствѣ тогдашнихъ русскихъ семействъ, стояли другъ противъ друга, не понимая другъ друга, обмѣниваясь то недоумѣвающими, то враждебными взглядами...

Читатель долженъ прибавить къ этому живыя впечатлѣнія обновленной въ то время университетской жизни, которая, разставшись съ своимъ формализмомъ и официозностью, пошла по новой дорогѣ и стала интересной, безпкойной, вдохновляющей. Профессора, какъ бы устыдившись своей вялости и апатіи, которымъ они предавались всецѣло въ предшествовавшую эпоху муштровки и дисциплины, перестали трепать все тотъ-же единожды составленный и многократно читанный курсъ и вмѣсто традиціонной симпатіи начальства постарались приобрести расположеніе своихъ слушателей. А эти слушатели были людьми хотя и молодыми, но уже охваченными общимъ возбужденіемъ, безпкойствомъ и порывами. Писаревъ, какъ членъ кружка жрецовъ чистой науки, попытался было взглянуть на своихъ новыхъ товарищей не-жрецовъ съ презрѣніемъ и высокомеріемъ, но скоро убѣдился, что тѣ были дѣльные люди. «Новые студенты—говорить онъ—оперялись чрезвычайно быстро, такъ что черезъ какіе-нибудь два мѣсяца послѣ поступленія они оказывались хозяевами университета и сами поднимали въ студенческихъ кружкахъ дѣльные вопросы и серьезные споры. Они затѣвали концерты въ пользу бѣдныхъ студентовъ, приглашали профессоровъ читать публичныя лекціи для той-же благотворительной цѣли; они устроили студенческую бібліотеку; а мы, старые студенты, считавшіе себя цвѣтомъ университета и солью русской земли, мы остались въ сторонѣ, изобразили на лицахъ своихъ иронію и стали повторять стихъ Грибоѣдова: «шумите вы и только». Но скоро оказалось, что иронія наша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и успѣшно; оказалось, что движеніе и мысль

пошли мимо насъ, и что мы отстали и превращаемся въ книжниковъ и фарисеевъ.»

Соединивши воедино всѣ эти разнообразные моменты—разрывъ съ семьей во имя свободы своего «я», общественное возбужденіе, проникшее и за мирныя стѣны университета, невольное утомленіе отъ глупой и схоластической премудрости, которую Писаревъ по своей наивности считалъ за науку,—мы получимъ, кажется, достаточную коллицію уважительныхъ для метаморфозы причинъ. Разумѣется, смѣло можно вообразить себѣ челоѣка достаточно крѣпкологого, изъ котораго ничто—даже громы небесныя не поѣдѣйствуютъ. Но вѣдь Писаревъ весь былъ затаенная страсть, скрытая вольница, изъятая въ крѣпкій корсетъ свѣтскаго воспитанія. Замѣтимъ, что въ это-же время (1859 г.) онъ сталъ работать (совершенно случайно) въ журналѣ Крепнина «Разсвѣтъ», издававшемся для дѣвицъ.

Однако всѣ эти распри и тревоженія, всѣ эти раздоры и сердечныя муки, эта быстрая и рѣшительная ломка всѣхъ унаследованныхъ понятій тяжело отразились на молодомъ организмѣ. Онъ не выдержалъ; Писаревъ сошелъ съ ума и попалъ на нѣсколько мѣсяцевъ въ домъ умалишенныхъ, къ счастію не на долго, всего на 4 мѣсяца. Послѣ этого онъ вернулся къ семьѣ и журналистикѣ.

Утверждаютъ, что существуетъ особаго рода журнальный ядъ и журнальный микробъ, болѣе извѣстные подъ именемъ литературнаго зуда, разъ заразившись которымъ, челоѣкъ на всю жизнь становится безнадежнымъ или счастливымъ писателемъ, своего рода маттономъ пера. Относительно бездарностей замѣчаніе это какъ нельзя болѣе вѣрно. Даже и въ наше время полной литературной простраціи журнальные и газетныя маттоиды безчисленны. Что-же должно было быть тогда, когда писатели играли въ обществѣ первенствующую роль, когда имъ поклонялись, за ними ухаживали, ихъ—это самое важное—слушали. «Тогда—говоритъ Шелгуновъ—и время было такое, что на пиру русской природы первое мѣсто принадлежало литератору. Никогда ни раньше, ни позже литераторъ не занималъ у насъ въ Россіи такого почетнаго положенія.»

Литературная слава и вліяніе привлекали всѣхъ, и, Боже мой, сколько народу выступило тогда на поприще пера и печати. Имена этихъ второстепенныхъ тружениковъ давно забыты и нечего возстановлять ихъ. Большинство изъ нихъ покинули поприще съ разбитыми надеждами, обиженнымъ честолюбіемъ. Они были замѣтны еще при яркомъ блескѣ общественнаго возбужденія, сіяя замиство-

ваннѣмъ блескомъ, и скрылись во мракѣ, какъ только свѣтъ погасъ. Не то случилось съ Писаревымъ. Журнальная зараза была для него счастьемъ, потому что онъ нашелъ себя. Онъ сразу занялъ по праву принадлежавшее ему первое мѣсто. Природа и жизненный опытъ позволили ему не идти въ ряду другихъ, прикрываясь именами авторитетовъ, а самому встать во главѣ того движенія, которое раньше мы называли эмансипаціей личности.

Онъ высоко ставилъ призваніе журналиста и оцѣнивалъ его дѣятельность, какъ поэту, какъ человѣку призванія, а не ремесленнику или поденщику.

«Для меня,—пишетъ онъ,—журналистъ есть высшій идеалъ человѣка и благороднѣйшее существо. Я, какъ хорошій ремесленникъ, горжусь своимъ ремесломъ точно такъ-же, какъ имъ гордится въ Германіи каждый сапожникъ и булочникъ. Впрочемъ, если обстоятельства заставятъ отправиться въ мѣста отдаленнѣйшія и бросить журналистику, то и тутъ плакать нечего: куда-бы меня ни отправили, вѣдь дороги всюду есть, а средства на проѣздъ можно будетъ найти. Вѣдь я не безрукій и не безголовый человѣкъ. Работа найдется, а если будетъ работа, то средства будутъ. Неужели я только и способенъ быть, что литераторомъ? Въ случаѣ надобности, съумѣю быть и конторщикомъ, и домашнимъ учителемъ. Но, разумеется, это лишь въ случаѣ безусловной крайности.»

«Журналистика—пишетъ онъ отъ 24 дек. 64 г.—мое призваніе. Это я твердо знаю. Написать въ мѣсяцъ отъ 4 до 5 печатныхъ листовъ я могу незамѣтно и уже нисколько не утруждая себя; форма выраженія дается мнѣ теперь еще легче, чѣмъ прежде, но только я становлюсь строже и требовательнѣе къ себѣ въ отношеніи мысли, больше обдумываю, стараюсь яснѣе отдавать себѣ отчетъ въ томъ, что пишу.»

Какъ извѣстно, начиная съ 1861 г., Писаревъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ и даже помощникомъ редактора «Русскаго Слова». Успѣхъ его статей превзошелъ самыя смѣлыя и нетерпѣливыя ожиданія. Имъ зачитывались большіе и малые, мужчины и женщины. Дальнѣйшая его біографія обращается въ постоянное литературное горѣніе. Писаревъ жегъ свой талантъ съ обоихъ концовъ. Впрочемъ и время было такое, что не жалъ было жечь его. Весело было работать для внимательныхъ и возбужденныхъ слушателей, жадно ловившихъ каждое твое слово; весело и отрадно было сознавать, что ни одна трезвая, хорошая мысль не пропадетъ даромъ, а найдетъ себѣ сочувственный откликъ въ читательскомъ сердцѣ. Да, была тогда на свѣтѣ рѣдкая разновидность рода человѣческаго—*читатели*,—исчезнувшая и вымершая въ настоящее время порода людей. «Писатель пописываетъ, читатель почитываетъ»—такова формула грустной современности. «Писатель мыслить и писать, читатель мыслить и дѣй-

ствовать»—такова формула давноминуваго. Сердечная связь между публикой и литературой необходима для благополучія обоихъ. Шапочное знакомство, взаимный обмѣвъ недоумѣвающими, а подчасъ и враждебными взглядами, писаніе «занятаго» и исканіе «занятаго» едва ли полезно для кого нибудь. Какъ истинный журналистъ, Писаревъ не только любилъ дѣло, онъ любилъ читателя, и на такое къ себѣ вниманіе читателя того времени имѣлъ полное право.

«Теперь къ моему характеру—пишетъ онъ 17 янв. 1865 года—присоединилась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало. Я началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мнѣ до нихъ не было никакого дѣла. Прежде я писалъ отчасти ради денегъ, отчасти для того, чтобы доставить себѣ удовольствіе; мнѣ пріятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чемъ не думалъ и не хотѣлъ думать. А теперь мнѣ представляется часто, что мою статью читаетъ гдѣ-нибудь въ глуши очень молодой человѣкъ, который еще меньше моего жилъ на свѣтѣ и очень мало знаетъ, а между тѣмъ желаетъ-бы что-нибудь узнать. И вотъ, когда мнѣ представляется такой читатель, то мною овладѣваетъ самое горячее желаніе сдѣлать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надарить ему всякихъ основательныхъ знаній и главное возбудить въ немъ охоту къ дѣльнымъ занятіямъ.»

«Это наврное отражается и въ изложеніи моихъ статей, и въ выборѣ ихъ сюжетовъ, и это придаетъ процессу работы особенную прелесть для меня самого. Работа перестаетъ быть дѣломъ одной мысли и начинаетъ удовлетворять потребности чувства»...

Вернемся однако къ жизни Писарева. Отсылая за подробностями къ его біографіи, я ограничусь самымъ существеннымъ и необходимымъ. Въ 1862 году въ іюлѣ мѣсяцѣ за одну статейку, напечатанную имъ въ подпольномъ органѣ, онъ попалъ въ крѣпость, гдѣ и просидѣлъ 4 года съ половиной. Оторванный отъ семьи и общества, отъ своихъ литературныхъ друзей и развлеченій юности, Писаревъ однако не упалъ духомъ. Напротивъ того:

«Во время пяти-лѣтняго заключенія—читаемъ мы въ его біографіи—въ крѣпости развернулись всѣ лучшія стороны писаревской души и таланта. Какъ это ни изумительно, однако таковъ фактъ, что лучшія статьи написаны здѣсь, что здѣсь ни на минуту не прекращалась работа мощнаго духа. Перечтите такія статьи, какъ «Наша университетская наука», «Реалисты», «Романъ кисейной дѣвушки», «Промехи незрѣлой мысли»—гдѣ-же тутъ хотя-бы тѣнь вопли законнаго унынія и тоски? Нравственное мужество 22-хъ-лѣтняго литератора не было ни на іоту сломлено страшнымъ испытаніемъ. Работа ума, кипучая, напряженная, торжествующая, продолжалась безъ перерыва, міросозерцаніе развивалось въ томъ направленіи, которое было указано предшествовавшей жизнью. Прибавьте ко всему этому то, что цѣлыхъ два года Писаревъ совершенно не зналъ, что съ нимъ сдѣлаютъ: отправятъ-ли его въ ссылку, или оставить на мѣстѣ. Но и эта неопредѣленность по-

ложеиіа—самая мучительная изъ всѣхъ пытокъ—не сломила его. Онъ засѣлъ за работу въ тотъ день, какъ захлопнулись за нимъ двери каземата, и съ той-же работой, съ такими-же планами вышелъ изъ крѣпости. Написанныя имъ за эти годы статьи, проходя всевозможныя цензурныя мытарства, печатались въ «Русскомъ Словѣ».

Отмѣчу любопытный фактъ, что наибольшее число листовъ и статей (притомъ самыхъ блестящихъ), написанныхъ Писаревымъ, относится къ 1865 году, или третьему году его заключенія. Это фактъ, не требующій комментарій.

Но какъ ни былъ полонъ мужества молодой литераторъ, минуты унынія и тяжелаго раздумья находили и на него. Однажды онъ написалъ матери слѣдующія строки изъ крѣпости:

«Я—человѣкъ полный жизни; мнѣ необходимо, чтобы жизнь затрогивала меня съ разныхъ сторонъ, а между тѣмъ жизнь моя полтора года тому назадъ остановилась и замерзла въ одномъ положеніи. Сначала самая остановка эта, самый застой жизни былъ для меня новымъ и очень сильнымъ впечатлѣніемъ, но теперь я уже извлекъ изъ этого новаго положенія все, что можно было извлечь. Я развился и окрѣпъ въ моемъ уединеніи, и теперь я чувствую, что мнѣ было-бы очень похвально и пріятно перейти въ какую нибудь новую сферу жизни. Я залежался на одномъ мѣстѣ и потому буду чрезвычайно радъ, когда меня куда нибудь сдвинутъ. Куда—я объ этомъ не спрашиваю. Я ко всему съумѣю привыкнуть и всегда найду возможность быть спокойнымъ и довольнымъ.»

Къ счастью, пятилѣтній срокъ заключенія былъ сокращенъ. Писарева выпустили на свободу нѣсколько ранѣе, чѣмъ предполагалось. Увы!—однако мерзость жизни какъ будто ожидала его на порогѣ крѣпости и съ ожесточеніемъ набросилась на него немедленно послѣ освобожденія. Въ 66-мъ году «Русское Слово» появилось только въ январѣ; но затѣмъ Благосвѣтлову было разрѣшено издавать «Дѣло», гдѣ Писаревъ успѣлъ напечатать лишь одну статью («Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ») и затѣмъ, разсорившись съ редакторомъ, остался не у дѣла. Напряженная работа, неуставное горе утомили его и надорвали его силы. Перейдя работать въ «Отечественныя Записки», онъ снова ободрился, но судьба уже вычеркнула его изъ списка живыхъ. 27-ми лѣтъ отъ роду онъ утонулъ на лѣтнихъ купаньяхъ въ Дубельнѣ лѣтомъ (4-го іюля) 1868 года, холодныя волны поглотили одинъ изъ самыхъ мощныхъ талантовъ земли русской.

III.

Я долженъ охарактеризовать теперь міросозерцаніе Писарева. Но предварительно мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ о міросозерцаніи нашихъ дней. Какъ ни разнообразно оно въ томъ или другомъ общественномъ слоѣ, у того или другого отдѣль-

наго человѣка,—во всѣхъ его проявленіяхъ есть одна общая черта: наклонность къ пессимизму, своего рода утомленіе личности. Далеко не съ вѣрой и упованіемъ смотримъ мы на жизнь, увѣ!—вѣра и упованіе давно уже утеряны нами. Мы всѣ проникнуты скорбью сознаніемъ своего безсилія, чѣмъ сии

Наше время склонно къ пессимизму. Шпенгауэра, котораго знать не хотѣли при жизни, читаютъ и перечитываютъ. Доходятъ даже до восточныхъ мудрецовъ, цитируютъ Конфу-тэ и Лао-тзи, восторгаются Буддой и пр., и это самоуглубленіе, этотъ извѣстный интересъ къ нравственнымъ вопросамъ жизни какъ нельзя лучше показываетъ, что мы утеряли всякую бодрость и склонны къ безплодному, хотя и всестороннему разклатрѣнію вопроса: «что-же намъ дѣлать?». Мы стоимъ на точкѣ зрѣнія личности, мы требуемъ для себя всего, мы не желаемъ признавать «общественныхъ» ограниченій своему «я» — отсюда наша неудовлетворенность, наше шатаніе мысли, наше страствованіе по пустынѣ Аравійской. Мы «необходимости пессимиста, ибо утеряли реализмъ мышленія».

Отсутствіе пессимистическаго мышленія и бросается прежде всего въ глаза людей 60-хъ годовъ. Этимъ они объясняются прежде всего тому, что не страдали страшной и общей болѣзнью нашихъ дней—гипертрофіей личности, ея самообожаніемъ, ея наклонностью ставить себя превыше всего земного и небеснаго. Мы—личности какъ таковыя, претерпѣваемъ всѣ муки, сопряженныя съ этимъ узкимъ міросозерцаніемъ. Въдь если я самъ кажусь себѣ выше всѣхъ стоячаго и чуть чуть пониже общаго ходячаго, то что въ дѣйствительности можетъ удовлетворить меня. L'appetit vient en mangeant. Мое я, воображающее себя желенной, не признающее надъ собой никакихъ ограниченій, вѣчно голодаетъ, вѣчно жаждетъ, сколько-бы ни кормили и ни поили его. Съ нами (простите за клише) случилось то-же самое, что и съ европейцами, исторія умственнаго развитія которыхъ прекрасно доказываетъ, что эмансипація личности—палка о двухъ концахъ. И много много еще надо потрудиться, прежде чѣмъ эта эмансипація станетъ не призрачной, а реальной. Разумѣется, какъ и въ дѣло происходило у насъ въ меньшемъ масштабѣ: мы менѣе развиты, чѣмъ европейцы, у насъ нѣтъ ихъ политическія правъ, нѣтъ исторической выдержки. Оттого картина нашей эмансипаціи по необходимости была мизернѣе. Но—безразлично—большая или маленькая, мизерная или величественная, эмансипація произошла. Это слу-

чилось въ 60-хъ годахъ, и освобожденіе крестьянъ, повторяю, было лишь частностью, отдѣльнымъ рукавомъ широкаго историческаго потока. Развитие ежедневной прессы и прессы вообще, усилившееся до поразительной степени влияние слова, высшіе женскіе курсы, паденіе крѣпостного права, появленіе на всѣхъ поприщахъ общественной дѣятельности разночинца, — все это говорить намъ, какъ насущна, неотложна была эмансипація личности, какъ смѣло рвалась эта личность впередъ... и вдругъ...

Совершенно какъ на Западѣ—за акціей началась реакція.

Процессъ, происшедшій въ Европѣ, описанъ Брандесомъ въ слѣдующихъ словахъ:

«Личность освобождается. Не довольствуясь пребываніемъ въ мѣстѣ, указанномъ случаемъ или рожденіемъ, не удовлетворяясь обработкой унаслѣдованнаго клочка земли, человѣкъ при наступленіи демократіи впервые чувствуетъ въ буквальный смыслъ слова міръ открытымъ для себя. Какой прогрессъ сравнительно со всѣми прежними эпохами! Сразу кажется, какъ будто все сдѣлалось возможнымъ и какъ будто самое слово «невозможность» утратило всякій смыслъ. Но въ то самое время, когда возможность достиженія такимъ образомъ возросла, силы не возросли въ той же степени; изъ сотни тысячъ людей, передъ которыми открылись такимъ неожиданнымъ образомъ карьеры, лишь одинъ можетъ-быть былъ въ состояніи достигъ желанной цѣли—а кто возьмется увѣрить человѣка, что не ему именно и суждено быть этимъ избранникомъ? Разнузданная меланхолія является естественнымъ послѣдствіемъ разнузданнаго желанія. А къ великой, бѣшеной скачкѣ на призы и не всякій безъ исключенія имѣетъ доступъ; всѣ люди, чувствующие себя связанными по какой либо причинѣ съ старымъ порядкомъ вещей, и болѣе утонченныя, менѣе толстокожія натуры, которыя охотнѣе мечтаютъ, чѣмъ дѣйствуютъ, чувствуютъ себя исключенными изъ жизни и сторонятся отъ нея. По мѣрѣ того, какъ они все больше и больше сосредоточиваются въ себѣ, въ нихъ пробуждается вмѣстѣ съ погруженіемъ въ рефлексію болѣе сильное самосознаніе, а, какъ результатъ его, и болѣе интенсивная способность къ страданію. Наиболѣе развитой организмъ вѣдь и страдаетъ болѣе всѣхъ другихъ. Сюда же присоединяется и то, что въ то время, какъ старое общество разлетается на куски, личность лишается полезнаго давленія, удерживавшаго ее въ извѣстныхъ социальныхъ рамкахъ и мѣшавшаго ей придавать себѣ безграничную цѣну и значеніе. Такимъ образомъ возможность для

самообожанія открывается всюду, гдѣ самообладаніе не настолько сильно, чтобы замѣнить влияние прежней общественной организаціи. И въ то время, когда все кажется возможнымъ, все кажется и дозволеннымъ вмѣстѣ съ тѣмъ. На каждый запретъ у него готовъ отвѣтъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ является и страшнымъ вопросомъ, — началомъ всякаго человѣческаго знанія и человѣческой свободы, — вопросомъ: «Почему?»

У насъ было то самое, только въ меньшихъ, гораздо меньшихъ размѣрахъ. Изъ блаженной для многихъ обстановки крѣпостного права, изъ подъ государственной опеки эпохи Николая I-го мы какъ будто перешли въ жизнь, гдѣ можетъ свободно происходить игра нашихъ силъ и страстей. Оказалось однако, что исторія только поманила насъ и очень скоро, какъ строгій гувернеръ, замѣтила: «пошалили и будетъ». Наша эмансипація оказалась построенной на песцѣ. Новыя экономическія отношенія, конкуренція и пр. утомили и ожесточили насъ. Усталые, запыленные, бредемъ мы теперь по тернистому пути отъ рожденія до могилы, и какъ-бы ни прикрывали своего разочарованія, оно существуетъ. Оно то между прочимъ и не позволяетъ намъ сосредоточиться на реальныхъ задачахъ жизни и реальныхъ интересахъ современности, хотя спасеніе, разумѣется, только тамъ, только въ томъ, что дѣйствительно нужно, что дѣйствительно полезно.

Въ обществѣ, уклонившемся отъ реальныхъ задачъ жизни, по необходимости должно проявиться съ одной стороны тупоголовое самодовольство, съ другой—неудовлетворенность, посылающая человѣка то въ интеллигентную колонію, то въ преждевременную могилу. Квартетъ изъ сотрудника «Гражданина», интеллигентнаго колониста, кафешантанной пѣвички и шестнадцатилѣтняго юноши, покупающаго револьверъ, даетъ свои музыкально-вокальныя представленія ежедневно и неустанно.

Ко всему этому можно привыкнуть, но трудно со всѣмъ этимъ примириться. Что утѣшительнаго въ точкѣ зрѣнія Чехова, увѣряющаго, что мы — обреченное поколѣніе; что утѣшительнаго въ ученіи Толстого, старающагося убѣдить насъ, что «счастье—внутри», въ то время когда не безъ большого основанія мы ищемъ опоры для него внѣ насъ? Надо-же искать какого нибудь другого исхода, искать хотя бы во имя спасенія своей личности, которую такъ энергично затягиваетъ житейская тина. Въ той или другой формѣ долженъ возродиться пережитый нами тридцать лѣтъ тому назадъ реализмъ мышленія, какъ проявленіе общественнаго на-

чала въ личности. Личность опять должна найти для себя «спасительное давленіе», и это давленіе должно исходить отъ общества.

Я не желаю переоцѣнивать 60-ые годы и увѣрять читателя, что всѣ тогдашніе дѣятели ходили со звѣздой во лбу. Дураковъ и подлецовъ было и тогда не мало, глупостей и пошлостей говорилось въ изобиліи. Но звучала одна струна, искупающая многое, и мы постараемся поближе ознакомиться съ этой струной—хотя бы по произведеніямъ одного только Писарева.

Прежде всего замѣтимъ, что онъ былъ мужественный человѣкъ. Его мужество съ одной стороны отражалось на его міросозерцаніи, съ другой—зависѣло отъ этого послѣдняго и находило въ немъ свою опору. Недавно ему была дана такая характеристика:

«Честолюбіе не мучило его, но онъ зналъ себя цѣну и требовалъ ея признанія. Быстрый, имѣющій мало подобныхъ себѣ въ исторіи литературы успѣхъ не вскружилъ ему головы, а напротивъ, какъ здоровому человѣку, придавъ еще больше силъ, еще больше желанія работать на томъ поприщѣ, гдѣ его сразу встрѣтили съ изумленіемъ и восторгомъ, злобою, негодованіемъ и завистью. Въ немъ была чудная черта мужества жизни, не дававшая ему впасть въ уныніе. Онъ сильно и бодро смотрѣлъ въ глаза будущему, готовый на все, удачу и неудачу, радости и испытанія. Перечтите его письма изъ крѣпости, припомните его гордые слова послѣ прекращенія «Русскаго Слова». Только непомерная работа подточила его силы и мужество, но не неудачи. Годъ или два полного отдыха, вотъ все, что ему нужно было, чтобы засвѣтить попрежнему, но—увя!—не въ наше торгашеское время можно отдохнуть, и сколько силъ, сколько талантовъ упало измученными среди дороги, сколько плетутся по ней, утеравъ бодрость и вѣру отъ простого переутомленія...

Обычныя явленія нашей русской душевной жизни, извѣстныя подъ именемъ «большая совѣсть», «большой умъ», «большая душа», не были, къ счастью, знакомы Писареву. Живя въ душевной атмосферѣ, привыкшіе вдыхать всякую копоть и всякій чадъ, лишь выработали совершенно особенное мѣрило для людей. Они цѣнятъ и такихъ, кто совершенно подавленъ жизнью, кто утерять всякую смѣлость и бодрость душевную, кто не смѣетъ признать своего права на личное счастье, кто ушелъ въ уголъ и страдаетъ тамъ, униженный и пригнетенный. Отчасти они правы. Но для жизни безконечно дороже другіе—бодрые и смѣлые, готовые на борьбу и побѣду, съ сильно развитымъ чувствомъ своего достоинства, своихъ неотъемлемыхъ правъ на свѣжій воздухъ, на широкое, человѣческое существованіе.»

Источникомъ этого мужества является между прочимъ трезвость мысли. Быть трезвымъ мыслителемъ возможно только при томъ условіи, чтобы не только съ полнымъ вниманіемъ и уваженіемъ относиться къ фактамъ дѣйствительной жизни, но также провѣрять ими свои теоретическіе выводы и выкладки, свои симпатіи и антипатіи, свою любовь и ненависть, и стремле-

нія. Я не хочу этимъ сказать, чтобы лени разсуждающіе на практическомъ основаніи, никогда не ошибались. Еггеге humanitas est. Но все же крупницы истины всегда въ тамъ, въ основу чего положены докучныя факты человеческой жизни. «Слова и идеи гибнутъ, факты остаются». Они могутъ являться передъ нами въ новыхъ комбинаціяхъ, подвергнуться новой критической вѣркѣ, послужить основаніемъ новаго слова—но только въ нихъ можемъ мы найти полное обезпеченіе противъ схоластики. Отчего напримѣръ слава Дидро такъ разпустились въ наше время? Причины этой славы Дидро были почти единственнымъ мыслителемъ XVIII вѣка, который вѣрилъ въ слѣдованіе. Для практики въ стилѣ, для пріобрѣтенія исторической перспективы мы можемъ читать Вольтера и Руссо, но близокъ и родствененъ намъ по духу нашъ Дидро, предчувствовавшій, куда пойдетъ XIX вѣкъ. Теорія, созданная настроеніемъ, могутъ быть пріятны и утѣшительны, какъ была пріятной и утѣшительной система Гегеля, идея Мальтуса и пр. Но работнику ищетъ не утѣшенія для сердца, а облегченія для своихъ мускуловъ.

Есть въ жизни XIX-го вѣка одинъ крупнѣйшій фактъ, не видѣть котораго значить не видѣть ровно ничего. Фактъ этотъ—прогрессъ бѣдности. Надо положительно обладать безнадежными умственными способностями, чтобы не замѣтить этого крупнѣйшаго факта и пытаться заслонить его младенчески-философическими разсужденіями на тему о пространствѣ и времени, смерти и жизни, духѣ и матеріи. На въ чемъ такъ рѣзко не проявляется схоластика нашего мышленія и его грустное состояніе, какъ въ томъ, что въ годины страшнаго голода основываются метафизическіе журналы и съ развязностью проповѣдуются: «къ счастью, интересъ російскаго общества къ нравственнымъ и философскимъ вопросамъ значительно возросъ». Неправда ли, преинтересный эпизодъ! Констатируется «интересъ къ нравственности» въ то время, когда, несмотря на всѣ слезливыя, трагическія, душераздирающія сообщенія изъ мѣстностей, пострадавшихъ отъ неурожая, русское общество нехотя и вяло несло свои гроши на пользу народу, достаточно переработавшему для него и все еще держащему его на своихъ плечахъ! Не схоластика ли это въ самомъ дѣлѣ?.. Крупнѣйшаго факта нашей современности мы не признаемъ и какъ будто отказываемся признавать его и роль, какую играетъ онъ въ нашемъ міросозерцаніи? Повидимому онъ бы долженъ былъ занимать первое мѣсто, под-

чинить себѣ наши системы воспитанія, нашу общественность и, правильно и широко понятый, даже нашу нравственность, однако ничего этого нѣтъ.

Я употребилъ выраженіе «прогрессъ бѣдности» и теперь долженъ ограничить его въ томъ смыслѣ, что бѣдность существовала всегда, вопросъ же объ ней только обострился въ настоящее время. Но это-то и важно, что онъ обострился, это-то и показываетъ, на чемъ должны сосредоточиться усилія исторіи, куда идти ея эволюція (хотимъ ли мы этого или не хотимъ—безразлично), на какой почвѣ будутъ разыгрываться грядущія трагедіи, предупредить которыя какими нибудь раціональными путями лежить на обязанности каждаго мыслящаго человѣка. И въ этомъ отношеніи при большей энергіи и мужествѣ мы могли бы почестъ себя счастливыми, потому что исторія раскрыла намъ свою завѣсу и откровенно показала, что будетъ она дѣлать слѣдующія 50—100 лѣтъ.

Мы можемъ быть слѣдовательно навѣрняка, зная, что всякое наше разумное усиліе для побѣды надъ ничтою есть усиліе историческое, память о которомъ (если ужъ это кого нибудь прельщаетъ) занесетъ на свои страницы исторія. Но мы счастливы еще и въ томъ отношеніи, что исторія XIX вѣка не можетъ сыграть съ нами той злой и скверной шутки, которую она не разъ играла надъ многими и многими изъ нашихъ предковъ. Вѣдь на самомъ дѣлѣ бывають эпохи, когда мудроно или почти совершенно невозможно быть нравственнымъ въ широкомъ смыслѣ этого слова. Возьмите наприимѣръ эпоху паденія Западной Римской имперіи. Что могъ дѣлать тогда нравственный и добродѣтельный человѣкъ? Поддерживать имперію? Но вѣдь это только затягивало бы родовыя муки исторіи, эволюція которой очевидно обуславливала побѣду германскихъ варваровъ. Содѣйствовать германскимъ варварамъ? Но это было бы измѣной и предательствомъ родинѣ. Человѣкъ стоялъ возлѣ трупа и по необходимости заражался мертвымъ ядомъ. Прогрессъ, эволюція, рокъ, необходимость были на сторонѣ Одоакра, Алариха, Теодориха. Они и ихъ косматые воины носили въ себѣ жизнь. Гонорій и Ромулъ Августулъ носили въ себѣ смерть. Быть истинно нравственнымъ въ то время, т. е. содѣйствовать историческому прогрессу, значило, повторяю, быть предателемъ и измѣнникомъ своей родины. Обреченные на служеніе смерти, а не жизни, реакціи, а не прогрессу, торможенію исторіи, а не ея развитію—даже лучшіе римскіе люди эпохи упадка поневолѣ впадали

въ пессимизмъ и отчаяніе, создавали стоическія, гностическія и пр. «выстраданныя» теоріи. Чтобы спастись отъ страшнаго противорѣчія, въ какое поставила ихъ исторія, они углублялись въ самихъ себя, сидѣли годами надъ вопросомъ: «что же намъ дѣлать?», гибли героями на поляхъ битвы съ германцами, чувствуя, что эти геройскіе подвиги только дѣлають предсмертныя корчи имперіи и ставятъ лишнюю преграду молодой жизни, смѣло рвавшейся впередъ,—жизни, которой грядущее обѣщало счастье, удачу, любовь и наслажденіе. Все, что могли сдѣлать лучшіе люди той эпохи, это быть нравственными въ самихъ себѣ и по необходимости безнравственными въ историческомъ смыслѣ. Прекрасные семьяне, честные граждане, они тормозили исторію тѣмъ больше, чѣмъ прекраснѣе и честнѣе были они!.. Но мы не находимся въ такомъ положеніи. Правила Христа и принципъ самоуваженія, чувство справедливости и роковой ходъ исторіи—все это соединилось въ томъ, чтобы (будемъ надѣяться) сплести на умную, позитивную голову XX-го вѣка безсмертный вѣнокъ отъ всѣхъ трудящихся и обремененныхъ.

Всякій понимаетъ, что вопросъ о бѣдности—вопросъ частный. Есть нѣчто болѣе широкое—это вопросъ труда, его успѣшности, его облагораживающаго или унижающаго вліянія на человѣка. Если мы внесемъ въ архивъ всѣ декорации исторіи, не позволимъ оглушать себя ея бубнами и литаврами, то увидимъ, что въ любую эпоху этотъ вопросъ труда, сознанный или несознанный, являлся центральнымъ и узловымъ. Если для большинства исторія все еще выражается той формулой, что «Александръ пошелъ, Дарій побѣждалъ, Александръ шелъ, Дарій бѣжалъ, Александръ дошелъ, Дарій добѣждалъ» и потомъ оба умерли, одинъ 326 г., другой 323 г.,—то виноваты въ этомъ академическій синклитъ и умственное убожество самаго большинства.

Реальное мышленіе XIX-го вѣка вопросъ о трудѣ ставитъ въ голову другихъ вопросовъ, потому что этотъ вопросъ самый важный и вліятельный. Любопытно взглянуть, какъ смотрѣлъ на это Писаревъ.

Въ одной изъ лучшихъ своихъ статей онъ изложилъ свои воззрѣнія на ходъ всемирной исторіи, и нѣсколько цитатъ показать, что это были за воззрѣнія:

«Исторія человѣчества представляетъ намъ безконечное разнообразіе лицъ и событій, идей и стремленій, политическихъ системъ и нравственныхъ переворотовъ. Подъ этимъ разнообразіемъ формъ кроются двѣ основныя потребности человѣка,—двѣ такихъ потребностей, безъ удовлетворенія которыхъ не могъ

бы ни улучшить свое матеріальное и интеллектуальное положеніе, ни даже поддерживать брѣнное существованіе личности и породы»... Что же это за потребность? «Первая заключается въ томъ, что человѣкъ долженъ предохранить свое тѣло отъ разрушительныхъ вліяній окружающей природы», вторая—«въ томъ, что человѣкъ долженъ (ради наилучшаго удовлетворенія первой) сближаться съ человѣкомъ, помогать ему въ его предпріятіяхъ и въ свою очередь находить въ немъ естественнаго помощника и защитника.»

Очевидно, что чѣмъ полиѣе и легче удовлетворяются обѣ основныя потребности, тѣмъ лучше для человѣка, однако—«лѣтописи и легенды наполнены разсказами о великихъ подвигахъ завоевателей. На равнинахъ Египта возвышаются до сихъ поръ колоссальныя пирамиды. Въ первомъ случаѣ мы видимъ, что густыя массы людей встрѣчаются съ другими густыми массами такихъ же людей и что естественные союзники и помощники истребляютъ другъ друга съ особеннымъ удовольствіемъ. Во второмъ случаѣ мы видимъ, что люди борются съ вѣтшей природой, преодолеваютъ страшныя трудности и препятствія для того, чтобы обтесать и наложить кучу камня, которая не даетъ имъ ни пищи, ни одежды, ни жилища».

Достигнуть осуществленія завѣтнѣйшихъ стремленій своего сердца человѣкъ можетъ лишь въ томъ случаѣ, когда, не упуская ни на минуту изъ вида своихъ основныхъ потребностей, онъ будетъ совершенствоваться все то, что способствуетъ ихъ удовлетворенію, и устранить все, что препятствуетъ этой цѣли. Кажется и просто, и ясно, однако трудъ до сей поры не приносилъ человѣку счастья, и большая его часть потрачена на вѣтеръ. Завоеватели побѣждали, разгромяли, воздвигали пирамиды, а въ результатъ—безконечная лѣтопись исторіи, ея запыленные, въ большинствѣ случаевъ никому ненужныя страницы, и тамъ, и здѣсь памятники глупости и минутнаго величія среди пустынь ливійскихъ. Невольно припоминается чудное стихотвореніе Шелли:

«Я встрѣтилъ путника. Онъ шелъ изъ странъ далекихъ

И мнѣ сказалъ: «Вдали, гдѣ вѣчность сторожитъ

Пустыни тишину, среди песковъ глубокихъ
Обломовъ статуи распахнутой лежатъ.

... И сохранилъ слова обломовъ наваянныя:

«Я—Озимандія, я—мощный царь царей!
Взгляните на мои великія дѣянья,
Владыки всѣхъ временъ, всѣхъ странъ и всѣхъ морей!»

Кругомъ нѣтъ ничего... Глубокое молчанье...
Пустыня мертвая... И небеса надъ ней.»

Писаревъ, какъ мы видѣли только въ своемъ пониманіи всеобщей исторіи, на вполне реальную точку зрѣнія. Ея посвящена вся упомянутая статья, гдѣ тщательно опредѣляются условія общественной жизни, и мѣшаютъ труду исполнить свое назначеніе и обезпечить человѣческое счастье. И кстати, что Писаревъ выказалъ здѣсь вѣдательное знакомство съ политической экономіей, безъ помощи которой если и возможно толковать исторію, то на предѣлахъ гимназическаго курса. Писаревъ разбираетъ теоріи Мальтуса, Рикардо, опираясь на положеніе, мало вѣдомое въ его время, что единственныя средства въ образованіи цѣнности—человѣческій трудъ. Очень остроумно вводитъ формальнаго пониманія исторіи, что «переходъ отъ одной войны къ другой и отъ одной формы государства къ другой называется благомъ и именемъ историческаго прогресса». Реалистически существующимъ прогрессомъ онъ считаетъ приращеніе, такъ какъ только многочисленіе обезпечиваетъ непрерывность и возможность ассоціацій. Къ сожалѣнію некогда слѣдить за аргументаціей, почему я ограничусь лишь напомню читателю конецъ статьи:

«Человѣческое общество въ первой его формѣ можно представить видѣ пирамиды, разгороженной на три этажей. Въ самомъ нижнемъ этажѣ люди, добывающіе сырые матеріалы, составляющіе основаніе всего. Во второмъ этажѣ совершается механическая и химическая переработка матеріаловъ. Въ третьемъ дѣйствуютъ занимающіеся перевозкой и устроениемъ путей сообщения. Въ четвертомъ этажѣ разнообразныя классы людей, живущіе изводительнымъ трудомъ нижняго этажа. Равновѣсіе этой общественной пирамиды зависитъ отъ тѣмъ устойчивѣе, чѣмъ обширнѣе нижніе два этажа въ сравненіи съ верхними и чѣмъ значительнѣе въ нихъ этажей будетъ превышать верхнихъ. И такъ какъ специфическое назначеніе человѣка заключается не въ мускулахъ, то вѣсомъ человѣка въ обществѣ, смыслъ слова можетъ быть сумма его дѣятельныхъ умственныхъ способностей, почему въ массахъ земледѣльцевъ и фабричныхъ должна сосредоточиваться и обращаться больше знаній, чѣмъ въ другихъ кучкахъ людей.»

Разумѣется, этимъ признаніемъ за трудомъ равенствующей роли въ жизни далеко не перпывается реализмъ Писарева. Онъ стремится разработать свою излюбленную идею полной ясностью и вразумительностью.

Первыхъ же шаговъ своей литературной дѣятельности онъ, не называя ея, называлъ ея горячимъ адептомъ. Онъ дебютировалъ, какъ извѣстно (не считая пробъ пера въ «Идеализма Платона»), статьей «Схоластика XIX-го вѣка», одно заглавіе которой многознаменательно. Въ своей постоянной полемикѣ съ Антоновичемъ онъ защищаетъ свой реализмъ со всѣмъ блескомъ химическаго таланта и излагаетъ *profes-
de foi* въ «Реалистахъ», этой рѣшительной статьѣ, имѣющей такое же значеніе для 60-хъ годовъ, какъ и «Темное царство» Добролюбова.

Принципъ реализма, къ какой бы сферѣ общественной жизни и дѣятельности мы ни пригнали его, требуетъ демократизаціи искусства, науки, философіи и всевозможныхъ агъ жизни. Это строго необходимый выводъ изъ посылки, что «нижній этажъ долженъ быть тяжелѣе». Для кого—спрашиваетъ пр. Писаревъ—существуетъ литература? отвѣчаетъ:

«Для незначительнаго кружка избранныхъ, къ какъ гг. литераторы не желаютъ спуститься той жаждущей умственной пищи части общества, которая стоитъ на рубежѣ двухъ элементовъ—народа и интеллигенціи, и «какъ будто названы быть передатчиками и проводниками ей и знаній сверху внизъ». Словомъ, средніе инстинкты интеллигенціи игнорируются журналистикой. Какъ-же подойти къ нимъ, какъ-же связаться съ ними? Для этого прежде всего надо выйти на почву практической дѣятельности, на чѣмъ факта, надо почаще прибѣгать къ здравому смыслу вмѣсто отвлеченныхъ и книжныхъ теорій».

«Отвлеченности (т. е. идеализмъ, спиритуализмъ, супранатурализмъ и пр.) могутъ быть интересны и понятны только для ненормально развитого, очень незначительнаго меньшинства. Поэтому ополчаться всѣми силами противъ отвлеченности въ наукѣ мы имѣемъ полное право по умъ причинамъ; во-первыхъ, во имя цѣлостности человѣческой личности, во-вторыхъ, во имя того естественнаго принципа, который, постепенно проникая въ общественное знаніе, нечувствительно размываетъ грани сословій и разбиваетъ кастискую замкнутость и исключительность. Умственный аристократизмъ—явленіе опасное именно потому, что онъ дѣйствуетъ незамѣтно и не высказывается въ рѣзкихъ формахъ. Монополія знаній суманнаго развитія представляетъ конечно одну изъ самыхъ вредныхъ монополій. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна обществу? Что за искусство, котораго произведеніями могутъ наслаждаться только немногіе спеціалисты? Вѣдь надо-же помнить, что не люди существуютъ для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли изъ естественной потребности человѣка наслаждаться жизнью и украшать ее всевозможными средствами. Если наука и искусство мѣшаютъ жить, если они разъединяютъ людей, если они владутъ основаніе кастамъ, такъ

и Богъ съ ними, мы ихъ знать не хотимъ; но это не правда; истинная наука ведетъ къ осязательному знанію, а то, что осязательно, что можно ощупать руками, рассмотреть глазами, то пойметъ и десятилѣтній ребенокъ, и простой мужикъ, и свѣтскій человекъ, и ученый спеціалистъ».

Со страстью молодости, съ полной вѣрой въ себя борется онъ съ грандіозной арміей схоластиковъ XIX вѣка—этимъ грустнымъ наслѣдіемъ среднихъ вѣковъ, и его краснорѣчивая защита реализма не утерала своей цѣны и въ настоящее время. Развѣ роль, которую играютъ теперь всевозможные метафизики,—не торжество схоластики? Ищутъ душу. Что за прекрасная и возвышенная задача, во имя которой смѣло можно забыть и хроническій голодъ, и безпросвѣтную тьму невѣжества многомилліоннаго народа русскаго!

Я не имѣю возможности изложить въ подробности реализмъ Писарева и ограничусь лишь важнѣйшими его сторонами. Въ области философіи Писаревъ держится положенія, которое, будучи правильно понято, устраняетъ всякое метафизическое словонизверженіе. «Невозможность очевиднаго проявленія исключаетъ дѣйствительность существованія», говоритъ онъ, становясь такимъ образомъ на сторону Дидро и Юма. Слово «исключаетъ» быть-можетъ и покажется нѣсколько смѣлымъ, но что другого могъ сказать человекъ, для котораго практическія неотложныя задачи жизни играли всегда первую роль? Писать и говорить о томъ, чего мы не видимъ, не слышимъ и не осязаемъ, можно много, и люди цѣлые вѣка занимались этимъ, но что полезнаго и нужнаго оставили намъ вся схоластика и вся метафизика? Нѣсколько великихъ именъ, къ которымъ мы однако не можемъ чувствовать состраданія за даромъ потраченныхъ ими усилій,—груды фоліантовъ, которые если и читаютъ, то лишь потому, что наука все еще гнѣздится въ кружковщинахъ и находится на содержаніи у государства. Въ практическомъ отношеніи для насъ важно лишь то, что мы можемъ познать, а познаемъ мы лишь черезъ проявленіе.

Съ той-же горячностью къ неотложнымъ задачамъ жизни Писаревъ смотритъ на человека прежде всего, какъ на *работника*. Всемирная исторія даетъ намъ грандіозную картину борьбы трудового начала со всевозможными стоящими на его пути препятствіями. Несмотря ни на что, оно должно побѣдить, если человечество не захочетъ окончить смертью свою скучную жизнь. Каждый изъ насъ прежде всего—работникъ и, какъ таковой, стремится къ тому, чтобы трудъ его былъ по возможности успѣшнѣе и наиболѣе содѣйствовалъ его личному счастью. Дости-

женіе такой цѣли налагаетъ нѣкоторыя обязательства, тщательно перечисленные Писаревымъ. Сущность этихъ обязательствъ сводится къ экономіи силъ.

«Мнѣ кажется,—говоритъ Писаревъ,—что въ русскомъ обществѣ начинаетъ вырабатываться въ настоящее время самостоятельное направленіе мысли. Я не думаю, чтобы это направленіе было совершенно ново и исполнѣ оригинально, но самостоятельность его заключается въ томъ, что оно находится въ самой неразрывной связи съ дѣйствительными потребностями нашего общества». Прежде было иначе; отцы и дѣды забавлялись мартинизмомъ, масонствомъ и вольтерьянствомъ, мыслительная работа была нужна имъ отъ скуки, для ради препровожденія времени, но «мы теперь знаемъ, что дѣлаемъ, и можемъ дать себѣ отчетъ, почему мы беремъ это, а не другое». У насъ есть дѣйствительныя потребности: «во-первыхъ, мы бѣдны, а во-вторыхъ — глупы». Глупость и бѣдность не какія-нибудь мечтательныя бѣдствія, а бѣдствія реальныя, и, чтобы побѣдить ихъ, надо притянуть къ живой, полезной дѣятельности всѣ силы русскаго общества. Гдѣ же и въ чемъ она, эта живая, полезная дѣятельность? «Во-первыхъ, извѣстно, что значительная часть продуктовъ труда переходитъ изъ рукъ рабочаго населенія въ руки непродуцирующихъ потребителей. Увеличить количество продуктовъ, остающихся въ рукахъ рабочаго,—значитъ уменьшить его нищету и дать ему средства къ дальнѣйшему развитію... Во-вторыхъ, можно дѣйствовать на непродуцирующихъ потребителей, но конечно надо дѣйствовать на нихъ не моральной болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только къ тѣмъ личностямъ, которые желаютъ взяться за полезный и увлекательный трудъ, но не знаютъ, какъ приступить къ дѣлу и къ чему приспособить свои силы. Тѣ люди, которые по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ работать умомъ, должны расходовать свои силы съ крайней осмотрительностью и расчетливостью, т. е. они должны братья только за тѣ работы, которыя могутъ принести обществу дѣйствительную пользу. Такая экономія умственныхъ силъ необходима вездѣ и всегда, потому что человечество еще нигдѣ и никогда не было настолько богато дѣятельными умственными силами, чтобы позволять себѣ въ расходовать этихъ силъ наибольшую расточительность. Между тѣмъ расточительность всегда и вездѣ была страшная, и оттого результаты до сихъ поръ всегда получались самые жалкіе. У насъ расточительность также очень велика, хотя и расточать-то намъ нечего. У насъ до сихъ поръ всего какой-нибудь двугривенный умственного капитала, но мы, по нашему извѣстному молодечеству, и этотъ несчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуемъ безобразно. Намъ строгая экономія еще необходимѣе, чѣмъ другимъ, дѣйствительно образованнымъ, народамъ, потому что мы, въ сравненіи съ ними,—нищіе. Но, чтобы соблюдать такую экономію, надо прежде всего уяснить и себѣ до послѣдней степени ясности, что полезно обществу и что безполезно. Экономія-же умственныхъ силъ и есть не что иное, какъ строгій и послѣдовательный реализмъ.»

Мартышкинъ трудъ, хотя-бы и происходящій въ потѣ лица,—не работа, а глупость, и, чтобы избѣжать ея, надо быть прежде всего мыслящимъ человѣкомъ. На обязанности критической мысли лежитъ прежде всего опредѣлить, что дѣйствительно общепольно.

Чтобы не быть расточителями, мы должны съ уваженіемъ отнестись къ предыдущему опыту человечества, пользоваться имъ и видахъ экономіи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ и борьбу общепольнаго завистить отъ влеченій нашей природы.

«Послѣдовательный реализмъ,—говоритъ Писаревъ,—безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» и принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ навязываютъ намъ наши литературніе антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту «ни сапоги», или историкъ — «спеси пироги», но мы требуемъ непременно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили акцію въ своей специализации дѣйствительную пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны общественной жизни, которыя необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрыло намъ настоящія причины процвѣтанія и упадка отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги естественно для того, чтобы посредствомъ чтенія расширить пробѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не шевелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустой и дрянной книгой, не обращая вниманія на то, писана-ли она прозой, или стихами, и автору такой книги мы всегда съ искреннимъ доброжелательствомъ готовы посоветовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки.»

Такова сущность реализма Писарева. Я уже говорилъ, что этотъ реализмъ выросъ на демократическомъ основаніи, на признаніи труда первенствующимъ факторомъ жизни и стремленіи доставить массамъ счастье и знаніе. Позволю себѣ еще одну небольшую цитату, гдѣ Писаревъ особенно ярко развилъ свои демократическія убѣжденія. Онъ говоритъ:

«Трагическія недоразумѣнія между наукой и жизнью будутъ повторяться до тѣхъ поръ, пока не прекратится гибельный разрывъ между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ. Пока наука не перестанетъ быть барской роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ каждого здороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго рабочаго и простаго мужика,—до тѣхъ поръ бѣдность и безразличность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться, несмотря ни на проповѣди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на вклады экономистовъ, ни на теоріи социалістовъ. Есть въ человечествѣ только одно зло—неизмѣстность, противъ этого зла есть только одно лекарство — наука, но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а сорокаведерными бочками. Слабый приемъ этого лекарства усиливаетъ страданія больного организма. Сильный приемъ ведетъ за собою радикальное исцѣленіе. Но трусость человѣка такъ велика, что сильное лекарство считается ядовитымъ.»

IV.

Всякій знаетъ, что главныя усилія своего громаднаго и блестящаго таланта Писаревъ

посвятилъ тому широкому историческому потоку, который носить название эмансипации личности. На тему объ этой эмансипации Писаревъ писалъ такъ много и ярко, съ такимъ искусствомъ отстаивалъ освобожденіе женщины, семьи, дѣтей, личности изъ подъ феуды Домостроя и идеаловъ попа Сильвестра, что для многихъ словомъ «эмансипация» исчерпывается вся работа нашего публициста. На предыдущихъ страницахъ я старался показать, что дѣло обстоитъ нѣсколько иначе, и что если вопросы, связанные съ эмансипацией, разработаны Писаревымъ наиболѣе ярко и выпукло, то все-же этой разработкой далеко не исчерпываются его заслуги. По поводу эмансипации можно наговорить очень много пустозвонныхъ фразъ и заслужить очень много апплодисментовъ, но для трезваго и мыслящаго человѣка центръ задачи не въ эмансипации, а въ тѣхъ условіяхъ, которыя позволяютъ эмансипированной личности держаться прямо и твердо. Еще въ 1817 г. напр. были эмансипированы прибалтійскіе крестьяне и изъ крѣпостныхъ перепменованы въ свободныхъ. Въ результатѣ получился однако скверный анекдотъ, такъ какъ освобожденные не получили ни клочка земли и немедленно-же попали въ горшную прежней кабалу помѣщикамъ. Не то-же ли самое происходитъ на Западѣ, гдѣ ко всевозможнымъ «свободамъ» жизнь прибавила и еще одну—свободу умирать на мостовой или въ рабочей тюрьмѣ послѣ въ потѣ и трудѣ проведенной жизни? Какъ и всему, «эмансипации» нужна «обстановка», безъ которой она обращается въ звукъ пустой. Если-бы Писаревъ этого не понималъ, то его слѣдовало-бы забыть и сдать въ архивъ. Но, къ счастью, съ нимъ не случилось этого, такъ какъ онъ не былъ пустозвоннымъ болтуномъ и къ апплодисментамъ вообще относился очень скептически. Защищая свободу личности, требуя для нея полноты счастья и развитія, перестраивая воспитаніе, проповѣдуя необходимость образованія для женщинъ, Писаревъ никогда не забывалъ, что эмансипация личности возможна лишь при эмансипации *труда*. Если личность будетъ свободна, но трудъ ея будетъ въ кабалѣ, то ничего хорошаго не произойдетъ. Оттого-то Писаревъ и не терпѣлъ либерализма, такъ какъ либерализмъ требуетъ эмансипации личности, но не работника. Пусть всякій, кто интересуется этимъ вопросомъ, перечтетъ внимательно «Посмотримъ» или нѣкоторыя другія его статьи и онъ воочію убѣдится, что Писаревъ полностью понималъ непримиримое противорѣчіе между свободной личностью и закабаленнымъ работникомъ. Это большая заслуга

съ его стороны, отмѣтить которую мнѣ представляется необходимымъ. Разумѣется, такой громадный талантъ могъ-бы сдѣлать гораздо больше въ этомъ направленіи, могъ-бы показать намъ съ полной очевидностью, что безъ свободы труда нѣтъ въ сущности никакой реальной свободы, но Писаревъ не успѣлъ. Онъ умеръ, какъ знаетъ читатель, 27-ми лѣтъ отъ роду. Судьба отрѣзала нить его жизни въ то время, когда онъ все съ болѣе и болѣе сосредоточеннымъ вниманіемъ присматривался къ судьбѣ погибшихъ и погибающихъ и стремился въ условіяхъ труда найти разгадку неисчислимыхъ золъ современности.

Что могло бы выйти изъ него?

Вопросъ этотъ можетъ показаться нѣсколько страннымъ, вродѣ предложенія читателю погадать вмѣстѣ на гущѣ или разложить карты дѣвицы Ленорманъ. Но какъ ни страненъ этотъ вопросъ, я позволю себѣ заняться имъ; почему—объясню ниже.

Въ статьѣ «Посмотримъ», написанной въ 65-мъ году, Писаревъ задается вопросомъ: что же должны дѣлать тѣ люди, которые берутся быть руководителями общественнаго самосознанія, и отвѣчаетъ такъ:

Надо, *во-первыхъ*: «всеми силами искать теоретическаго рѣшенія (вопроса о бѣдности) и всеми силами побуждать къ тому-же самому исканію другихъ людей, изображать яркими красками страданія большинства, вдумываться въ причины этихъ страданій, постоянно обращать вниманіе общества на экономическіе общественные вопросы и систематически отрицать, заплевывать и осмѣивать все, что отвлекаетъ умственные силы образованныхъ людей отъ *этой главной задачи*».

Надо, *во-вторыхъ*, постоянно разъяснять обществу съ разныхъ сторонъ и во всѣхъ подробностяхъ основныя начала разумной экономической и общественной доктрины... всеми возможными средствами усиливать притокъ новыхъ людей изъ низшихъ классовъ въ образованное общество.

Читатель понимаетъ теперь, что Писаревъ не даромъ сказалъ:

«Конечная же цѣль всего нашего мышленія и всей дѣятельности каждаго честнаго человѣка состоятъ все-таки въ томъ, чтобы разрѣшить навсегда неизбѣжный вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ людяхъ; внѣ этого вопроса нѣтъ ничего, о чемъ бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать.»

Этой высокой и славной цѣли должны служить наука, искусство, литература, поэзія, такъ какъ для публициста, имѣющаго въ виду интересы большинства, *возможна*

въ настоящее время *только* одинъ вопросъ, поглощающій всё остальные: «какъ накормить голодныхъ людей? какъ обезпечить всѣхъ вообще». («Посмотримъ».)

На этой то почвѣ и выросъ утилитаріанизмъ Писарева. Оттого-то онъ и отрицалъ напр. музыку и живопись, которыя являются излишней роскошью, — сладкимъ пирогомъ для низшаго общества.

Я не скрываю, разумеется, того факта, что Писаревъ то и дѣло отвлекался отъ главной задачи, но — повторяю — она была глубоко сознаваема, а обстоятельства времени должны были лишь увеличить въ его глазахъ ея цѣнность.

Теперь понятно, чѣмъ онъ могъ бы быть. Трезвое мышленіе, ненависть къ фразамъ, значительный интересъ къ историческому прошлому, сознаніе безусловной необходимости рѣшить вопросъ о бездомныхъ и раздѣлахъ — все это вело Писарева къ тому, чтобы перенести центръ тяжести своей работы съ проповѣди эмансипаціи на проповѣдь обстановки эмансипированной личности. Слѣбная судьба помѣшала ему сдѣлаться плодотворнѣйшимъ писателемъ земли русской.

Я потому такъ подробно остановился на только что разобранной сторонѣ міросозерцанія Писарева, что наша критика совершенно забыла о ней и даже вскользь не разбираетъ ея. А между тѣмъ она имѣетъ свое значеніе, и значеніе немалое. Повторяю, всѣ эти прекрасныя высокія вдохновляющія слова: «свобода личности», «эмансипація», «критицизмъ» и пр., — не болѣе, какъ звукъ пустой, разъ, употребляя ихъ, мы не опредѣляемъ ту единственную почву, при которой свободная, эмансипированная и критическая личность можетъ появляться, совершенствоваться и жить на благо себѣ и своему кредитору — человѣчеству. Единственная же почва для свободной личности — это почва свободного труда, безъ чего немислима ни равноправность, ни истинное сотрудничество всѣхъ людей для пользы каждаго. Въ одной изъ своихъ статей, гдѣ онъ требуетъ прежде всего общепользнаго труда, наконецъ въ «Реалистахъ», гдѣ любовь, знаніе и трудъ на почвѣ общечеловѣческой кооперации выступаютъ идеаломъ личной жизни каждаго, — Писаревъ совершенно ясно выразилъ свое пониманіе «единственно возможной почвы», но кромѣ этого пониманія ему оставалась еще впередъ громадная работа — разработать этотъ вопросъ во всей его подробности и довести своего читателя не только до пониманія, но и до признанія. Этой громадной работы онъ сдѣлать не успѣлъ

и, занятый текущими дѣлами, быть-можетъ не всегда даже удѣлялъ ей должное вниманіе. Въдѣ никогда не надо забывать, что онъ былъ не кабинетнымъ мыслителемъ, а человѣкомъ, находившимся въ самой свѣжѣ жизни, для котораго имѣетъ смыслъ и значеніе не только то, что важно для столѣтія, но и то, что важно какъ вопросъ дня, извѣстное хотя бы переходящее настроеніе общественной мысли. Онъ долженъ былъ столько же заботиться о созданіи истинныхъ героевъ, сколько и о разрушеніи ложныхъ. Какъ ни ничтожны были всѣ эти Кличковы, Станицкіе и пр., приходилось думать и о нихъ; какъ ни можетъ показаться простепеннымъ вопросъ объ эмансипаціи женщины — для извѣстныхъ дней, для извѣстныхъ эпохъ онъ играетъ первенствующую роль. Истинный публицистъ, ни на минуту не упуская изъ виду вѣчнаго и существеннѣйшаго, не можетъ и не долженъ стѣсняться поводомъ. Его задача — содѣйствовать торжеству вѣчнаго и существеннѣйшаго, сосредоточивать на немъ вниманіе общества, въ достиженіи этой цѣли онъ совершенно свободенъ. Онъ долженъ дѣйствовать по линіи наименьшаго сопротивленія, долженъ всѣмъ доступными для него способами — крикомъ, безчестными разумами — воплощать свою мысль въ самые доступные образы, долженъ направлять свои резервы въ самые нужныя и слабыя мѣста. Что удивительнаго, если въ пылу битвы, въ самой свалкѣ жизни онъ сосредоточитъ свои удары не на самомъ важномъ пунктѣ противника, а на томъ, который временно и случайно сталъ таковымъ. Понятія прогрессивнаго и регрессивнаго, передового и отсталого мѣняются десятилѣтіями. Вольтеръ — прогрессистъ, нашъ шашимъ прогрессистамъ съ нимъ дѣлать нечего. Иногда самый маленькій вопросъ, благодаря обстоятельствамъ, вдругъ захватываетъ всю сферу общественнаго сознанія, и, будь это, какъ оно случилось когда то въ Испаніи, вопросомъ объ ассенизаціи Мадрида, публицистъ не можетъ игнорировать его. Съ этой исторической точки зрѣнія даже такъ то и дѣло предававшаяся анафемѣ статья Писарева, какъ «Пушкинъ и Бѣлинскій», можетъ быть признава мастерской. Для того чтобы закрѣпить за жизнью демократическое начало, требовалось примѣниться къ области искусства. На комъ же сильнѣе, поразительнѣе можно было это сдѣлать, чѣмъ на Пушкинѣ. Въдѣ обожаніемъ его жили пятидесятыя года, и въ пятидесятыя годы Пушкинъ считался отцомъ чистаго искусства, вѣчнымъ, недосиасимымъ образцомъ. Нужно было уничтожить этотъ авторитетъ, чтобы дать дорогу тому общественно-

ному демократическому искусству, о котором мечтали Писаревъ и которого требовали обстоятельства времени. Была сдѣлана ошибка въ формѣ, но не въ сущности: Писаревъ въ этой «анафемской» статьѣ блестяще рѣшилъ вопросъ объ отношеніи *искусства* къ массѣ, о тѣхъ новыхъ элементахъ, которые должна ввести въ область служенія красотѣ демократическая идея нашихъ дней; но мы согласимся, разумеется, что Пушкинъ, какъ образецъ враждебнаго для массы искусства, выбранъ неудачно.

Но это между прочимъ. Находясь въ свалкѣ жизни и подчиняясь запросамъ своей эпохи, Писаревъ сосредоточилъ сущность своихъ усилій на самомъ вопросѣ эмансипаціи. Что значило быть свободнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ? Въѣдъ этого всѣ хотѣли. Хотѣлъ крестьянинъ, только что выбравшійся изъ подъ крѣпостной фруры, хотѣла дѣвушка, стремившаяся къ самостоятельной жизни, труду, образованію, хотѣли того же семейный и общественный строй, по крайней мѣрѣ въ нижнемъ своемъ теченіи. Игнорировать этотъ вопросъ, относиться къ нему съ академической высоты было бы неудобно или преступно. Всѣ хотѣли быть эмансипированными, и вотъ требовалось найти тѣ философскіе, психологическіе, нравственные устои, держась которыхъ личность могла бы быть свободной. Эти устои изложены Писаревымъ въ статьѣ «Реалисты».

Писаревъ обращается здѣсь къ людямъ, *которые по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ* взяться за полезный и увлекательный трудъ, сущность котораго сводится къ тому, чтобы уничтожить два основныхъ зла нашей жизни: нашу глупость и нашу бѣдность. Мы въѣдъ очень бѣдны, но и въ то же время очень расточительны. «У насъ до сихъ поръ всего какой нибудь двугривенный умственного капитала, но мы по нашему извѣстному молодечеству и этотъ несчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуетъ безобразно». Нуженъ слѣдовательно полезный и увлекательный трудъ, и нуженъ онъ отъ всякаго, кто хочетъ и можетъ трудиться. Но увлекательнымъ можетъ быть только трудъ, который соотвѣтствуетъ прежде *всего* наклонностямъ *человѣка*.

Въ этой послѣдней формулѣ и скрывается вся сущность писаревской эмансипаціи. Онъ смотрѣлъ на жизнь трезво и просто. Человѣкъ былъ въ его глазахъ существомъ, руководящимся наслажденіемъ и страданіемъ. Благо—все то, что увеличиваетъ сумму наслажденія; зло—все то, что увеличиваетъ сумму страданія. Главнымъ источникомъ

наслажденія долженъ быть трудъ, работа, но лишь въ томъ случаѣ, когда между личностью и работой существуетъ гармонія. Когда мнѣ хочется писать, когда у меня есть влеченіе къ творчеству—то при обязанности переписывать бумаги или утрамбовывать мостовую я ни счастливымъ, ни довольнымъ быть не могу.

Надо прежде всего опредѣлить свою наклонность, свое влеченіе или «познать самого себя», какъ училъ Сократъ, потому что очевидно не всѣ люди способны удовлетворяться тѣмъ-же. Но при какихъ-же условіяхъ сокровенная сущность человѣческой личности можетъ открыться ей самой? Повидимому это такъ трудно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимо, чтобы ни одна крупница силы человѣческой не пропадала даромъ, чтобы каждая крупница находила наилучшее свое примѣненіе. Чахлая, истощенная, умственно забитая, человѣческая личность никогда, развѣ при самой счастливой случайности, не найдетъ самой себя, своего призванія, никогда не проложить своей собственной тропы къ своему счастью. Она потащится за другими и будетъ всю жизнь свою играть на томъ инструментѣ, который ей всунутъ въ руки. Она не посмѣетъ ни жать, ни любить, ни работать по своему. Но физическое здоровье, умственная самостоятельность и экономическая обезпеченность могутъ помочь личности снять повязку съ глазъ и взглянуть на міръ божій и самое себя прямо и просто, а не черезъ призму традиціи, предразсудка и своего общественного положенія.

Приходится начинать со школы—этой лабораторіи будущихъ поколѣній. Вполнѣ сообразно съ требованіями своей теоріи, Писаревъ удѣлялъ школѣ много вниманія. Въ чемъ, спрашиваетъ онъ, зло нашего воспитанія? Въ неуваженіи къ личности, въ боязни передъ человѣкомъ. «Надо,—говоритъ онъ,—прежде всего беречь въ ребенкѣ его самого, надо уважать въ немъ то, что не можетъ быть приобрѣтено никакими усиліями и не можетъ быть куплено ни за какія деньги,—словомъ, его личность, его оригинальность, данную ему отъ природы. Человѣкъ, дѣйствительно уважающій человѣческую личность, долженъ уважать ее и въ своемъ ребенкѣ. Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой идеи.»

Въ томъ-же направленіи должно дѣйствовать и общественное воспитаніе. «Безличность, безгласность, умственная лѣнь и вслѣдствіе этого умственное безсиліе, вотъ—пишетъ Писаревъ—болѣзни, которыми страдаетъ наше общество, наша критика, вотъ что мѣшаетъ развитію молодого

ума, вотъ что заставляетъ людей сильныхъ, ставшихъ выше этого мѣщанскаго уровня, страдать и задыхаться въ тяжелой атмосферѣ рутинныхъ понятій, готовыхъ фразъ и бессознательныхъ поступковъ.»

Отъ этого же зла должно оберегать личность и ея самообразование, саморазвитіе, процессъ котораго по пословицѣ: «вѣкъ живи, вѣкъ учись» — не имѣетъ предѣла, кромѣ предѣла жизни человеческой.

Только при этихъ-то условіяхъ личность можетъ быть личностью, т. е. чѣмъ-то особеннымъ, оригинальнымъ, а не клѣточкой общества, только при этихъ условіяхъ можетъ развернуться все богатство человеческой природы, ея красота и величіе. А пока школа боится ребенка и спѣшитъ положить на него штампъ, пока общество изгоняетъ изъ своей среды (не мытьемъ, такъ катаньемъ) всѣхъ, кто не похожъ на установленный типъ, пока режимъ своей мощной рукой ставитъ всѣхъ и каждого въ одну сѣрую однообразную шеренгу, — словомъ, пока сущность нашего бытія сводится къ милитаризму, фабриктъ, канцеляріи, мечтаетъ о личности и признаніи правъ индивидуальности — рано. Приготовленными и предназначенными выходимъ мы уже изъ утробы матери. Робость однихъ и эгоизмъ другихъ закрѣпляютъ путемъ безчисленныхъ внушеній тѣ понятія, которыми мы будемъ жить, во имя которыхъ будемъ любить и ненавидѣть. И поидетъ сѣренькая жизнь, унылая и бессознательная, пока что нибудь не дастъ намъ встряску, какъ Ивану Ильичу, не выбьетъ насъ изъ колеи и не заставитъ, безпокойно осматриваясь вокругъ, торопливо спрашивать себя: «да что это, да какъ это, да чѣмъ я жилъ, да во что вѣрилъ?»

Пойдемъ однако дальше. Личность, допустимъ, путемъ критической работы, правильного воспитанія, непротиводѣйствія или даже содѣйствія со стороны общества достигла наконецъ того, что, избавившись отъ внушеній, стала собой и поняла свои наклонности, свое назначеніе. Ея обязанность, какъ члена общества, — работать. Какой-же избрать трудъ? Въ виду нашей бѣдности и глупости и слѣдуетъ стремиться къ общеположному и, налагая на свою индивидуальность извѣстнаго рода стѣсненія, не уничтожать себя, не забывая въ то-же время о цѣломъ. Словомъ, *обязанность критической личности — опредѣлить, что дѣйствительно общеположно, и обязанность мыслящаго человека — совершать общеположную работу, слѣдуя влеченію своей натуры, провѣренному и руководимому критиче-*

ской мыслью. Общеположно же прежде всего, что дѣлаетъ насъ умнее и богаче.

Таковы публицистическіе взгляды Писарева. Извиняюсь, что такъ долго останавливался на нихъ; но кто-же виноватъ, истекшія 25 лѣтъ не принесли намъ внимательнаго любовнаго разбора, не пристрастной оцѣнки міросозерцанія однихъ изъ лучшихъ нашихъ публицистовъ. Демъ относиться къ этому міросозерцанію свободно и критически, но какъ прикинуть вышеприведенныя выдержки и цѣлыя статьи съ постояннымъ упрекомъ Писареву, будто-бы онъ не понималъ значенія вѣшнихъ условій, будто-бы онъ считалъ исключительно почвы моральной индивидуальной проповѣди, будто-бы онъ искалъ все спасеніе онъ видѣлъ въ изученіи естественныхъ наукъ? На отдѣльныхъ фразахъ, вырванныхъ въ пылу полемики, можно строить какіе угодно упреки и похитроушныя фразы, а на общій духъ сочиненія этотъ общій духъ есть демократическій (но не народническій) реализмъ. Забывая и кажется всегда, что, принимаясь за критику, Писаревъ всегда дѣлалъ ту работу, что съ этой своей проповѣдью обращается къ «людямъ, которые по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ», и имъ указываетъ жайшую цѣль дѣятельности — критическое самосовершенствованіе для общаго блага. Но самая эта оговорка показываетъ, что группой могущихъ и желающихъ такой цѣля громадная жизнь, для которой проповѣди, морали и самосовершенствованія индивидовъ.

На «публицистикѣ» Писарева выростаетъ его «критика». Въ чѣмъ-то онъ прежде всего его личность, оберегать и развивать которую онъ ставитъ въ священнѣйшую обязанность школьному обществу. Въ художественномъ произведеніи онъ цѣнитъ прежде всего личность автора, его индивидуальность. Баконъ писалъ когда-то: «ars est homo additum naturae» — т. е., «искусство это — человекъ, приданный природѣ». То-же говорить Писаревъ.

«Поэтъ, — пишетъ онъ, — какъ человекъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа бороться то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, ненавидѣть святою великой ненавистью ту огромную массу кривыхъ и дрянныхъ глупостей, которая шагаетъ идеями истины, добра и красоты въ плоть и кровь и превращаетъ въ живую дѣйствительность».

Личность человѣка создается прежде всего критикой, работой самосознанія. Критика и самосознаніе создаютъ и личность художника.

«Чтобы любовь и ненависть поэта—продолжаетъ Писаревъ—были чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать»...

Воспитавъ въ себѣ любовь и ненависть, критически ихъ провѣривъ, много передумавъ и много узнавъ, поэтъ перестаетъ безцѣльно творить, какъ при тѣхъ-же условіяхъ перестаетъ и безцѣльно жить обыкновенный человѣкъ.

«Когда—читаемъ мы дальше—поэтъ охватилъ своимъ сильнымъ умомъ весь великій смыслъ человѣческой жизни, человѣческой борьбы и человѣческаго горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ крупную связь между отдѣльными явленіями, когда понялъ что надо и что можно сдѣлать, въ какомъ направленіи и какими средствами можно дѣйствовать на умы читающихъ людей, тогда безсознательное и безцѣльное творчество дѣлается для него безусловно невозможнымъ». («Реалисты».)

Опять и въ этихъ чудныхъ строкахъ передъ вами синтезъ индивидуальнаго и общественнаго начала, а не какая нибудь узколобая, односторонняя и ложная крайность. Поэтъ—не птица, а человѣкъ; художникъ—творецъ, но и гражданинъ въстѣ съ тѣмъ.

Какъ развиваетъ Писаревъ свои мысли и требованія, какъ, пользуясь образомъ Базарова, создаетъ онъ своихъ реалистовъ,—я разяснять не буду. Въ заключеніе мнѣ хочется сказать лишь нѣсколько словъ о *духѣ* его произведеній, взятомъ внѣ частности и внѣ временной обстановки той эпохи.

Какъ-бы ни восторгались мы Пушкинымъ, ни защищали Щедрина, какъ-бы ни казалась намъ односторонней проповѣдь естествознанія вродѣ несомнѣнной панацеи—духъ Писарева не можетъ быть чуждымъ намъ. Мы нашли другихъ враговъ и другихъ друзей, перестали такъ вызывающе и смѣло смотрѣть на жизнь, значительно меньше вѣримъ въ силы отдѣльнаго человѣка, посвящаемъ много праздныхъ часовъ мыслямъ и тоскѣ о неминуемой смерти (вмѣсто того чтобы сосредоточить всѣ свои усилія на созданіи счастливой жизни),—и все-же то самое, что вдохновляло Писарева, что сдѣлало изъ него историческую величину, то и теперь остается самымъ крупнымъ и основнымъ явленіемъ нашего бытія. Я говорю о демократизаціи жизни, о развитіи самосознанія и самоуваженія въ мас-

сѣ, о стараніяхъ этой массы выбраться изъ ея положенія, о средствахъ къ этому и о поддержкѣ такому порыву. Эмансипація личности замѣнилась эмансипаціей массы. Демократическій же духъ у того и другого теченія остается тѣмъ-же самымъ, такъ какъ въ наше время эмансипировать личность можно лишь на той же почвѣ, какъ и массу, т. е. всѣхъ—именно на почвѣ труда.

Увлекаясь своей пропагандой среди лицъ средняго состоянія,—тѣхъ, кто желаетъ и можетъ отдать свою жизнь полезному и увлекательному труду, Писаревъ не забывалъ никогда, что слово «масса», «народъ», написано на знамени нашего времени. Онъ требуетъ общедоступной и общепонятной литературы, требуетъ общепользозной и общедоступной науки. Мало того, онъ хочетъ объединить трудъ мозгами и мускуловъ. «Пока,—говоритъ онъ,—наука не перестанетъ быть барской роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ каждаго здороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго работника и простого мужика, до тѣхъ поръ бѣдность и безнравственность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться.» Если мы и не склонны придавать такъ много значенія наукѣ, то сущность этихъ строкъ, ихъ демократизмъ и для насъ можетъ быть камнемъ краеугольнымъ міросозерцанія. Мы согласны съ тѣмъ, что «трагическія недоразумѣнія между наукой и жизнью будутъ повторяться до тѣхъ поръ, пока не прекратится гибельный разрывъ между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ», согласны и съ тѣмъ, что «монополія знаній и гуманнаго развитія составляетъ одну изъ самыхъ вредныхъ монополій», что это «не наука, которая по самой сущности своей недоступна и ненужна массѣ, и это не искусство, произведеніями котораго могутъ наслаждаться только немногіе специалисты». Можемъ ли мы отказаться отъ этихъ мыслей, зная, что человѣчество все еще во тьмѣ и невѣжествѣ, а наука, вмѣсто того чтобы служить массѣ, помогаетъ такъ рѣшительно тому, чтобы люди съ возможной легкостью уничтожали другъ друга? Мы и не отказались...

Выдающийся литературный талантъ Писарева и его смѣлый демократическій духъ—вотъ что, за исключеніемъ кое-какихъ шероховатостей, цѣнно и на долго еще будетъ цѣнно въ его произведеніяхъ. Тамъ есть чѣмъ вдохновиться, есть чѣмъ подпереть свой духъ, мечты и вѣру. Читая его, мы какъ-бы вновь переживаемъ свою юность съ ея увлеченіями, восторгами, ошибками

и прозрѣніемъ, опять проникаемся обаяніемъ памятной, полной борьбы, наслажденій и успѣха жизни и очарованіемъ безпкойной работы духа, рвущагося къ истинѣ, и этого жара молодости, этихъ безсонныхъ счастливыхъ ночей.

Мы знаемъ больше и понимаемъ больше. Изслѣдованіе человѣка охватило такіе горизонты, о которыхъ было совершенно невозможно раньше даже мечтать. Но вмѣстѣ съ тѣмъ даже лучшіе и самые смѣлые изъ насъ стали осторожнѣе, осмотрительнѣе, робче. Чувствуя недостатокъ своихъ силъ, боясь ошибиться въ своихъ порывахъ, мы призывали себѣ на помощь пониманіе историческаго процесса и убѣдились, что эта великая сила, роковымъ и необходимымъ образомъ открывая будущее для массы, для народа, согласна поддерживать наши старанія о торжествѣ справедливости. Исторія доказала, что все, чего мы хотимъ хотя въ лучшія минуты нашего бытія, не только благородно, хорошо, честно, но и неизбѣжно.

Но, приобрѣта такой оплотъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ по части вдохновенія, вѣры въ себя и личныя силы утеряли такъ много,

что это обидно и грустно. Если прежде люди цѣнили себя слишкомъ высоко, мы наоборотъ склонны къ фатализму. Источникъ одушевленной дѣятельности исчезъ, и съ грустной, подчасъ прямо жалкой улыбкой смотримъ мы вокругъ себя.

Иногда попадаетъ въ руки забытая тетрадь съ пожелтѣвшими уже страницами, съ сѣрыми вмѣсто черныхъ строками, разшито и торопливо написанными. Очевидно время не ждало, очевидно человѣкъ, подчиняясь внутреннему непреодолимому импульсу, какъ въ бреду, записывалъ свои мысли, стремясь охватить своимъ умомъ все, готовый на борьбу со всѣми препятствіями и влекомый потокомъ своей вдохновенной мысли, уносился все выше и выше туда, въ область утопій и счастливаго грядущаго. Это юность съ своими несоразмѣрными размахами, своей гордостью и самонадѣянностью и вмѣстѣ съ тѣмъ той истиной, которая доступна безкорыстному, страстному мышленію. Надо читать такіа тетради и вливать свѣжіе соки въ свое вялое сердце. А сочиненія Писарева какъ разъ и есть тетрадь пылкой и вѣрующей юности...

Евгеній Соловьевъ.



ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКИХЪ НАРОДОВЪ.

ИТАЛЬЯНЦЫ.

I.

РАЗСЛАБЛЕНІЕ РИМСКАГО ОБЩЕСТВА.

Въ V-мъ столѣтіи нашей эры западная римская имперія находилась при послѣднемъ издыханіи. Столица государства уже нѣсколько разъ была ограблена варварами. Провинціи, въ томъ числѣ и Италія, были доведены до той крайней степени разоренія, послѣ которой земля отказывается кормить человѣка и осуждаетъ своихъ обитателей на выселеніе и вымираніе. Провинціи страдали очень сильно отъ нашествія варваровъ, которые рѣзали и порабощали людей, жгли города и села, вытапывали поля, уводили или истребляли домашній скотъ и вообще старались превращать обработанную землю въ голую пустыню. Но варваровъ было бы не трудно отразить, если бы другія причины, начавшія дѣйствовать гораздо раньше варварскихъ нашествій, не довели римскія провинціи до состоянія полной беззащитности. Этихъ причинъ было много, но всѣ онѣ группируются въ двѣ главныя категоріи, изъ которыхъ одна заключаетъ въ себѣ политическія ошибки, а другая — экономическія нецѣлостности.

Политическія ошибки Рима вытекаютъ изъ того обстоятельства, что Римъ, завершивъ свои завоеванія, остался вѣрнъ своему завоевательному характеру. Въ послѣдніе годы республики ни римскій сенатъ, ни римскій народъ не хотѣли допустить и мысли о томъ, чтобы всѣмъ завоеваннымъ народамъ были даны одинаковыя политическія права, равныя правамъ самихъ завоевателей. Когда страна была завоевана, тогда завоевателю принадлежало все, что въ ней заключалось: и собственность, и честь, и жизнь побѣжденнаго непріятеля. Римляне хотѣли пользоваться этими правами завоевателя. Это было съ

ихъ стороны совершенно естественно. И это естественное желаніе, не встрѣчая себѣ нигдѣ ни малѣйшаго отпора, осуществилось во всемъ своемъ объемѣ и повело самымъ прямымъ путемъ къ полному истощенію провинцій и къ безпримѣрной деморализаціи обѣихъ сторонъ — побѣдителей и побѣжденныхъ. Чтобы держать провинціи въ повиновеніи и успѣшно собирать съ жителей каждый годъ установленныя подати, нѣсколько несоразмѣрныя съ наличными силами плательщиковъ, надо было предоставлять цѣлыя арміи въ полное распоряженіе мѣстныхъ правителей. Эти арміи въ каждую данную минуту могли превратиться въ орудіе личнаго честолюбія, вырвать верховное господство изъ рукъ римскаго сената и передать его въ твердыя руки того или другого смѣлаго, искуснаго и счастливаго полководца. Рано или поздно, кто нибудь изъ мѣстныхъ правителей долженъ былъ перейти черезъ Рубиконъ, подратъя съ другими мѣстными правителями и послѣ побѣды надъ ними положить въ самомъ Римѣ основаніе военному деспотизму. Если военный деспотизмъ господствовалъ въ провинціяхъ, то онъ не премѣнно, рано или поздно, долженъ былъ распространить свое господство и на столицу. Когда это случилось, тогда переворотъ сдѣлался неизбѣжнымъ.

Этотъ переворотъ доставилъ провинціямъ нѣкоторое облегченіе, впрочемъ очень небольшое, и во всякомъ случаѣ не на столько значительное, чтобы вдохнуть въ нихъ новую жизнь и поставить ихъ на путь прогрессивнаго развитія. Во времена имперіи упадокъ провинцій продолжался, но только не съ такой быстротой, съ какою двинуло его сначала республиканское правительство. Существенная разница между республиканской и цезарской системой заключалась въ томъ, что сенатъ, составленный

изъ аристократовъ, постоянно покрывалъ и оправдывалъ всѣ насильственные подвиги, совершавшіеся аристократами, между тѣмъ какъ императоръ, напротивъ того, не питалъ ни малѣйшаго сочувствія къ злоупотребленіямъ своихъ чиновниковъ, съ которыми у него не могло быть никакихъ общихъ интересовъ и никакого пріятельскаго знакомства. Но разумѣется, императору, при всемъ его добромъ желаніи, невозможно было за всѣмъ усмотрѣть; найти хорошихъ и добросовѣстныхъ помощниковъ было трудно; обращаться къ общественному мнѣнію страны въ то время никто не умѣлъ и не считалъ удобнымъ. Поэтому злоупотребленія продолжались. Впрочемъ главное зло заключалось не въ плутняхъ и насиліяхъ чиновниковъ, а въ той безгласности и умственной безжизненности, на которую были обречены римскія провинціи, какъ во времена республики, такъ и при императорахъ.

Когда какой нибудь народъ дѣлался подданнымъ римской республики, тогда онъ, вмѣстѣ съ національною независимостью, терялъ свои лучшія человѣческія способности и лишался всякой возможности имѣть на будущее время умныхъ, честныхъ, даровитыхъ и смѣлыхъ гражданъ. Лучшіе люди покореннаго народа, тѣ люди, изъ которыхъ формируются мыслители и дѣятели, находились въ безвыходномъ положеніи. Они очень рады были бы помириться съ совершившимся фактомъ и сдѣлаться отъ всей души римскими патриотами, но эта дорога была для нихъ закрыта. Римскій гражданинъ смотрѣлъ на грека или на еврея, какъ на существо низшее, для котораго существуютъ особенные законы и особенныя, позорныя и мучительныя казни. Римская республика не могла быть отечествомъ для грека или для еврея, потому что она обращалась съ нимъ, какъ съ вьючнымъ скотомъ, и ни при какихъ условіяхъ не позволяла ему ни дѣломъ, ни совѣтомъ имѣть вліяніе на ея общественныя дѣла. Съ другой стороны, греческій или еврейскій патриотизмъ былъ чрезвычайно опаснымъ анахронизмомъ. Такіе мѣстные патриотизмы клонились къ вооруженному возстанію и слѣдовательно вызывали противъ себя строжайшія преслѣдованія со стороны римскихъ администраторовъ. Такимъ образомъ, высшимъ стремленіямъ человѣческой природы не было никакого выхода. Осмысленный трудъ на пользу общества былъ невозможенъ. Человѣческому уму оставалось дѣлать только одно изъ двухъ: или углубляться въ самого себя и заниматься самоусовершенствованіемъ, которое при всѣхъ своихъ несомнѣнныхъ достоинствахъ не приносило обществу никакой непосредственной пользы, или посвятить всѣ свои силы на искусное наживаніе и веселое проживаніе денегъ. Такъ или иначе, преслѣдуя высшія цѣли самоусовершенствованія, или ограничиваясь земными

удовольствіями, человѣкъ принужденъ былъ думать только о себѣ и жить только для себя, потому что его связи съ обществомъ были насильственно разорваны.

Экономическія нелѣпости, которыми страдала и отъ которыхъ умерла греко-римская цивилизація, совершенно исчерпываются однимъ общезвѣстнымъ словомъ: *рабство*. При существованіи рабства, физическій трудъ достается только тѣмъ людямъ, которые по своему положенію не могутъ отъ него уклониться. Этотъ трудъ невыгодный, тяжелый и мучительный, ставится кромѣ того позорнымъ, именно потому, что имъ занимаются исключительно парія общества, люди безправные, забитые и неимѣющіе малѣйшей возможности защищать свое члвчское достоинство. Кто силенъ и богатъ, тотъ пріобрѣтаетъ себѣ рабовъ и заставляетъ ихъ работать; кто слабъ и бѣденъ, но свободенъ, тотъ старается прокормить себя попрошайничествомъ, нищенствомъ, подличаньемъ, покалудами, воровствомъ и разбоемъ, но только отнюдь не работой; кто поработенъ, тотъ работаетъ въ неволѣ, но чувствуетъ къ своему труду такое же презрѣніе и отвращеніе, какое обнаруживаютъ къ нему высшіе классы общества.

Рабъ знаетъ, что его прилежаніе обогатитъ только его господина и не доставитъ ему, рабу, ни удовольствія, ни почета, ни лишняго куска пищи, ни повышенія въ чинѣ. Прямой расчетъ раба состоитъ не въ томъ, чтобы сдѣлать работу какъ можно лучше, а только въ томъ, чтобы потратить на эту работу какъ можно меньше мускульной и мозговой силы. Въ каждомъ процессѣ работы можно было бы придумать сотни усовершенствованій, и придумать ихъ не трудно, потому что существующіе недостатки и неудобства бросаются въ глаза каждому работнику. Стоило бы только немного подумать. Да, но кто же возьметъ на себя этотъ трудъ, какъ бы онъ ни былъ ничтоженъ? Рабъ? Съ какой стати? Впервые, онъ не привыкъ размышлять. А вторыхъ, на что ему нужны какія бы то ни было усовершенствованія? Свободный мыслитель? Это еще неправдоподобнѣе. Этотъ мыслитель считаетъ для себя стыдомъ вглядываться и вдумываться въ подробности рабскаго труда. Когда промышленная дѣятельность находится въ рукахъ рабовъ, тогда усовершенствованія въ орудіяхъ и въ процессахъ работы невозможны, или по крайней мѣрѣ очень неправдоподобны. И это еще не все. Въ этомъ случаѣ, промышленная виртуозность непремѣнно должна по немилу утрачиваться. Когда рабъ учитъ другого раба какому нибудь ремеслу, тогда учитель велитъ свое преподаваніе спустя рукава, а ученикъ воспринимаетъ изъ пятого въ десятое, на столько, на сколько это необходимо для избѣжанія самыхъ невыносимыхъ побоевъ. Переходя такимъ образомъ изъ однихъ лѣннихъ и неумѣлихъ

рукъ въ другія руки, еще болѣе неумѣлыя и лѣнныя, искусство постоянно грубѣетъ и искажается, вслѣдствіе чего общество постоянно бѣднѣетъ, и начинаетъ замѣчать свое несчастье только тогда, когда оно становится уже неисправимымъ. Если бы это вырожденіе искусства проявлялось только въ какихъ нибудь высшихъ и самыхъ утонченныхъ отрасляхъ промышленной техники, то съ нимъ кое-какъ можно было бы помириться. Но въдѣ искусство необходимо всякому ремесленнику, не только ювелиру или золототкачу, но и сапожнику, и портному, и пряхѣ, и кожевнику. И всѣ эти ремесленники нуждаются совершенно одинаково въ томъ поощреніи и возбужденіи, котораго нѣтъ и не можетъ быть у рабовъ. Безъ этого поощренія и возбужденія теряется искусство. Представьте же себѣ теперь положеніе того общества, въ которомъ работники разучиваются понемногу выдѣлывать кожи, шить сапоги, готовить посуду, мебель, рабочіе инструменты, оружіе, словомъ все то, что совершенно необходимо для цивилизованной жизни. Такое общество идетъ къ самоуничтоженію и къ варварству. Именно въ такомъ положеніи находилась римская имперія. Упадокъ былъ поразительно замѣтенъ во всемъ, начиная отъ высшихъ проявленій гражданской жизни, науки и поэзіи, и кончая низшими отраслями ремесленного труда. Потомки рѣшительно ни въ чемъ не могли сравниться съ своими предками, и даже не осмѣливались имъ подражать.

Безсиліе римской имперіи въ борьбѣ съ варварами становится совершенно понятнымъ, если мы примемъ въ соображеніе то обстоятельство, что эта имперія изъ конца въ конецъ была населена почти исключительно обезсмысленными рабами и совершенно развращенными туземцами. Вооружить рабовъ было очень опасно, наполнить легіоны свободными гражданами было невозможно, потому что эти негодяи нарочно уродовали себя, лишь бы только уклониться отъ военной службы. Эта уловка свободныхъ римлянъ оставила даже слѣды въ языкѣ. Изъ латинскихъ словъ *pollex truncus*, отрубленный большой палецъ, составилось французское слово *poltron* — трусъ. Правительству оставалось только отдаться въ руки своимъ врагамъ. Оно такъ и сдѣлало, и въ продолженіе послѣдняго столѣтія своего существованія римская имперія защищалась отъ однихъ варваровъ оружіемъ другихъ варваровъ, которыхъ начальники распоряжались по своему произволу императорскою короной.

Одинъ изъ такихъ начальниковъ, Одоакръ, сказалъ: довольно! и западная римская имперія перестала существовать; смерть ея была до такой степени естественна, что обошлась безъ малѣйшей борьбы и безъ всякаго кровопролитія.

Не умѣя защищаться, римляне не умѣли даже и кормить себя. Самые плодородныя земли южной Европы, западной Азіи и сѣверной Африки

были сосредоточены въ рукахъ немногихъ богатѣй, которые не умѣли и не хотѣли заниматься сельскимъ хозяйствомъ. Здѣсь опять отличались рабы, и ихъ безтолковый трудъ доводилъ самыя богатыя почвы до совершеннаго истощенія. Видя постоянное уменьшеніе дохода, хозяинъ приказывалъ наконецъ прекратить хлѣбопашество и превращалъ всѣ свои поля въ пастбища, а бывшихъ земледѣльцевъ въ пастуховъ. При этомъ конечно многіе рабы оказывались излишними, и хозяинъ, чтобы не кормить ихъ по напрасну, продавалъ ихъ за безцѣнокъ, или даже отпускалъ ихъ на волю и ставилъ ихъ такимъ неожиданнымъ благодѣяніемъ въ довольно затруднительное положеніе. Доходы увеличивались вслѣдствіе этого превращенія, но количество пищи, добываемой съ извѣстнаго пространства земли, уменьшалось; а такъ какъ подобныя превращенія совершались въ очень значительныхъ размѣрахъ, то и населеніе убывало очень быстро, по мѣрѣ того какъ римское государство отодвигалось назадъ отъ земледѣльческаго къ скотоводческому быту. Чѣмъ больше людей умирало отъ голода и отъ заразительныхъ болѣзней, тѣмъ менѣе остающіеся въ живыхъ были способны бороться, съ одной стороны, съ природою, — съ другой съ агентами государственнаго фиска, требовательность котораго нисколько не уменьшалась. Природа создавала непроходимыя болота на такихъ мѣстахъ, гдѣ были прежде плодороднѣйшія поля, цвѣтущіе сады и богатые деревни. А сборщики податей захватывали и продавали безъ церемоніи все, что имѣло какую нибудь мѣстовую цѣнность. При этомъ неисправнаго плательщика били, сѣкли и пытали, чтобы добраться до его припрятанныхъ денегъ, или чтобы убѣдиться въ его дѣйствительной несостоятельности.

II.

обновляющая сила варварства.

Благодаря рабству и презрѣнію къ промышленной дѣятельности, отравляющее и мертвящее вліяніе военнаго деспотизма дѣйствовало на римлянъ такъ глубоко и сильно, какъ оно уже не можетъ дѣйствовать на новыя европейскія общества. Въ наше время, когда промышленная дѣятельность стоитъ на первомъ планѣ и пользуется всеобщимъ уваженіемъ, мысль всегда можетъ найти себѣ полезное приложеніе, и нація, при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, во всякомъ случаѣ можетъ сосредоточивать свое вниманіе на сельскомъ хозяйствѣ, на механикѣ, на технологіи, можетъ развивать свои фабрики, совершенствовать породы рогатаго скота, придумывать новыя земледѣльческія орудія, акклиматизировать новыя виды животныхъ и растений, изобрѣтать новыя краски, новыя ткани, новыя химическіе процессы. Словомъ, нація при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, можетъ все-таки уве-

личивать массу своего богатства, и, что еще гораздо важнее, она, приобретая эти богатства, может поддерживать и развивать въ себѣ привычку и способность къ серьезному умственному труду. Но для древнихъ обществъ, построенныхъ на рабствѣ, эта возможность не существовала. Въ этихъ обществахъ свободный гражданинъ, обеспеченный въ своемъ существованіи, могъ, не роняя своего достоинства, заниматься только или политикой, или философией, или свободными художествами. Когда водворялся военный деспотизмъ, тогда политика отнималась прочь. Оставались философія и художества. Но философія имѣла какой нибудь смыслъ только тогда, когда она готовила человѣка для дѣятельной и общепользительной жизни, то есть все-таки для политической карьеры. Когда философія лишалась этой единственной цѣли, она живо превращалась въ бессмысленное фразерство или въ болѣзненную мечтательность. Въмѣсто мыслящихъ гражданъ, она начинала формировать риториковъ или мистиковъ. Что же касается до художества, то они, по своей извѣстной гибкости, примѣнялись ко всему, и, находясь въ деморализованномъ обществѣ, становились немедленно ревностными пропагандистами низости и нечистоты. Такъ какъ при рабскомъ трудѣ прикладныя науки не могли ни возникнуть, ни развиваться, то понятно, что въ обществѣ, подчинившемся военному деспотизму, должны были съ изумительной быстротой атрофироваться или искажаться умственные способности, лишенные всякаго правильного и здороваго упражненія.

Вотъ какими красками Аммианъ Марцелинъ, писатель, жившій въ концѣ IV вѣка, рисуетъ нравы и образъ жизни тѣхъ классовъ общества, которые одни имѣли возможность думать, чувствовать и дѣйствовать за всѣхъ своихъ современниковъ и соотечественниковъ.

«Они, римскіе магнаты, говорятъ Аммианъ, соперничаютъ между собою въ тщеславномъ стремленіи къ титуламъ и прозваніямъ; они тщательно выбираютъ или придумываютъ себѣ самыя напыщенныя и звонкія имена: Ребуррусъ или Фабуниусъ, Пагониусъ или Тарразиусъ, чтобы эти имена поражали слухъ толпы изумленіемъ и уваженіемъ. Изъ пустого честолюбиваго желанія увѣковѣчить свою память, они воздвигаютъ себѣ множество статуй изъ мѣди и изъ мрамора, и при этомъ еще непремѣнно требуютъ, чтобы эти статуи были покрыты золотыми листами; отличіе это въ первый разъ было оказано консулу Ацилію послѣ того, какъ онъ своимъ оружіемъ и дарованіями разрушилъ могущество царя Антиоха. Та хвастливість, съ которой они высчитываютъ и по всей вѣроятности преувеличиваютъ доходы съ имѣній, принадлежащихъ имъ во всѣхъ провинціяхъ съ восхода солнца до заката, возбуждаетъ справедливое негодованіе каждаго, кто припоминаетъ, что ихъ бѣдные и

непобѣдимые предки не отличались отъ послѣдняго солдата ни изысканностью стола, ни роскошью одежды. Магнаты нашего времени изыраютъ свою знатность и свое достоинство именомъ своихъ колесницъ и тяжелымъ величіемъ своего платья. Ихъ длинныя мантии изъ шелка и пурпура развѣваются по вѣтру; и когда онѣ распахиваются, случайно или умысленно, тогда онѣ обнаруживаютъ нижнюю одежду, и гатые туники, расшитыя изображеніями различныхъ звѣрей. Въ сопровожденіи пятидесяти-сорока слугъ, взрывая подъ собой мостовыя, они несутся по улицамъ города съ такой неистовой быстротой, какъ будто бы они путешествовали на почтовыхъ лошадахъ; примѣру сенаторовъ смѣло подражаютъ матроны и дамы, которыя въ крытые экипажи рыщутъ постоянно по обширному пространству города и предмѣстій. И эти высокородныя особы удостоиваютъ своимъ посѣщеніемъ публичныя бани, тогда онѣ въ самомъ входѣ принимаютъ громкій и дерзко-величательный тонъ и конфискуютъ въ свою частную собственность тѣ удобства, которыя устроены для всего римскаго народа. Если въ этихъ мѣстахъ, гдѣ толпится самое смѣшанное общество, они встрѣчаютъ какого нибудь презрѣннаго сводника, они выражаютъ ему свою любовь нѣжными объятіями; и въ то же время они высокомерно отвергаютъ привѣтствія своихъ согражданъ, которымъ доступна только честь прикоснуться къ ихъ рукамъ или приложиться къ ихъ колѣнямъ. Освѣжившись въ банѣ, они тотчасъ надѣваютъ свои кольца и другіе знаки своего достоинства; выбираютъ изъ своего частнаго гардероба, составленнаго изъ тончайшихъ тканей и достаточнаго для цѣлой дюжины людей, тѣ одежды, которыя наиболѣе пріятны ихъ фантазіи; и затѣмъ до своего ухода сохраняютъ ту же неприступную осанку, которая была показана имъ въ извѣстномъ со стороны великаго Марцелла, послѣ завоеванія Сиракузъ.

Иногда впрочемъ эти герои отваживаются на болѣе трудныя предпріятія; они посѣщаютъ свои владѣнія въ Италіи и доставляютъ себѣ, руками своихъ рабовъ, удовольствія охоты. Если когда нибудь, особенно же въ жаркій день, у нихъ достало мужества проплыть въ расписанной галерѣ отъ Лукринскаго озера къ ихъ роскошнымъ вилламъ на морскомъ берегу близъ Путеоли или Капеты, они сравниваютъ свои экспедиціи съ походами Цезаря и Александра. Но случится ли имъ сѣсть на шелковыя складки изъ позолоченныхъ зонтиковъ, или солнечный лучъ прокрадется сквозь какую нибудь неохранныю и незамѣтную скважину — они оплакиваютъ свои невыносимыя страданія и сокрушаются самымъ напыщеннымъ образомъ о томъ, что они не родились въ землѣ Киммеріанъ, въ странѣ вѣчнаго мрака. Во время этихъ переѣздовъ въ деревню весь корпусъ двора передвигается

вслѣдъ за баринѡмъ. Какъ пѣхота и конница, тяжело и легко вооруженныя войска, авангардъ и аррьергардъ располагаются на походѣ подъ предводительствомъ своихъ отдѣльныхъ начальниковъ, такъ точно старшіе лакеи, которые несутъ палку, какъ эмблему своей власти, распределяютъ и устраиваютъ длинную процессію рабовъ и прислужниковъ. Багажъ и гардеробъ двигаются впереди, за ними непосредственно слѣдуетъ множество поваровъ и низшихъ слугъ, занятыхъ работами по кухнѣ и по столовой. Главная армія состоитъ изъ смѣшанной толпы рабовъ, къ которымъ присоединяется случайное стеченіе праздныхъ или зависимыхъ плебеевъ. Шествіе заключается любимымъ отрядомъ евнуховъ, расположенныхъ по старшинству, начиная стариками и кончая юношами. Ихъ многочисленность и ихъ увѣчность возбуждаютъ ужасъ негодующаго зрителя и заставляютъ его проклинать память Семирамиды, которая первая изобрѣла жестокое искусство нарушать намѣренія природы и истреблять въ зародышѣ надежды будущихъ поколѣній.

Въ отправленіи домашняго правосудія римскіе *patres* обнаруживаютъ утонченную чувствительность ко всякой личной обидѣ и презрительное равнодушіе ко всему остальному человечеству. Если они потребовали себѣ теплой воды, и рабъ недостаточно быстро исполняетъ ихъ приказаніе, ему немедленно даютъ триста розогъ. Но если бы тотъ же рабъ учинилъ умышленное убійство, баринъ кротко замѣтилъ бы ему, что онъ негодяй и что онъ непременно будетъ наказанъ, если еще разъ попадетъ въ такой провинности. Гостепріимство было прежде добродѣтелью римлянъ, и всякій иностранецъ, который могъ указать на свои заслуги или на свои несчастія, получалъ себѣ помощь или награду отъ ихъ великодушія. Въ настоящее время, когда чужеземецъ, занимающій у себя на родинѣ почетное мѣсто, входитъ въ домъ гордаго и богатаго сенатора — его привѣтствуютъ, на первой аудіенціи, такими теплыми выраженіями сочувствія и такими добродушными распросами, что онъ уходитъ, восхищенный привѣтливостью своего знатнаго друга, и глубоко сожалѣя и томъ, что онъ такъ долго откладывалъ свое путешествіе въ Римъ, естественную столицу имперіи и утонченныхъ нравовъ. Увѣренный въ благопріятномъ приемѣ, онъ повторяетъ свое посѣщеніе на слѣдующій день и дѣлаетъ то оскорбительное открытіе, что его личность, его имя и его родина давно забыты. Если онъ рѣшается продолжать, онъ понемногу зачисляется въ толпу зависимыхъ людей, и ему позволяютъ воздавать постоянное и безплодное поклоненіе высококомѣрному патрону, неспособному ни къ благодарности, ни къ дружбѣ и едва сонзвояющему замѣтить его присутствіе, его уходъ, или его возвращеніе. Когда богачи готовятъ тор-

жественное народное угощеніе, когда они празднуютъ съ безразсудной и вредной расточительностью свои частныя пиры — тогда выборъ гостей становится предметомъ заботливаго обсужденія. Рѣдко отдается предпочтеніе людямъ скромнымъ, умѣреннымъ и образованнымъ; и составители списковъ, руководствуясь обыкновенно корыстными побужденіями, ухищряются внести въ число приглашенныхъ темныя имена самыхъ негодныхъ людей. Постоянными и самыми любимыми спутниками знатныхъ людей бываютъ тѣ паразиты, которые занимаются выгоднѣйшимъ изъ всѣхъ искусствъ, искусствомъ льстить; которые яростно рукоплещутъ каждому слову и каждому поступку своего безсмертнаго патрона; смотря съ восхищеніемъ на его мраморныя колонны и мозаичныя полы и усиленно превознося пышность и изящество, на которыя его приучаютъ смотрѣть, какъ на составную часть его собственнаго достоинства. На римскихъ столахъ птицы, бѣлки, или рыбы необыкновенной величины, привлекаютъ къ себѣ всеобщее вниманіе и любопытство; ихъ тщательно взвѣшиваютъ на вѣсахъ, чтобы убѣдиться въ ихъ тяжести. Въ то время, когда благоразумные гости чувствуютъ отвращеніе къ пустому и скучному повторенію подобныхъ церемоній, общество приглашаетъ нотаріевъ засвидѣтельствовать посредствомъ форменнаго акта достовѣрность такого чудеснаго событія. Другое средство прокрадываться въ дома и общество знатныхъ пріобрѣтается профессіей игрока. Союзники по игрѣ связаны между собой тѣсными и неразрушимыми узами дружбы, или точнѣе, сообщничества.

Значительная степень искусства въ игрѣ *tesserariorum* прокладываетъ вѣрную дорогу къ богатству и къ славѣ. Знатокъ этой высокой науки, посаженный за обѣдомъ или въ собраніи ниже сановника, обнаруживаетъ своей осанкой такое удивленіе и негодованіе, какое могъ чувствовать Катонъ, когда голоса своенравнаго народа отказали ему въ преторствѣ. Патриціи рѣдко заботятся о пріобрѣтеніи знаній; ихъ пугаютъ труды ученыхъ занятій, и они пренебрегаютъ ихъ выводами; они читаютъ только сатиры Ювенала да еще многословныя и сказочныя исторіи Маріа Максима. Библіотеки, доставшія имъ по наслѣдству отъ отцовъ, закрыты отъ дневнаго свѣта, какъ мрачныя гробницы. Но дорогіе театральныя инструменты, флейты, огромныя лиры и гидравлическія органы сооружаются для ихъ удовольствія; и гармонія вокальной и инструментальной музыки безпрестанно раздается въ римскихъ дворцахъ; въ этихъ дворцахъ звукъ предпочитается смыслу, и забота о тѣлѣ ставится выше заботы о разумѣ. Самое легкое и неосновательное подозрѣніе въ заразительной болѣзни избавляетъ самыхъ близкихъ друзей отъ обязанности провѣдывать больного; и даже слугамъ, которые изъ приличія

посылаются для освѣдомленій, позволяется возвратиться домой не иначе, какъ послѣ церемоніи предварительнаго омовенія. Но эта эгоистическая и позорная робость иногда побѣждается болѣе повелительной страстью корыстолюбія. Надежда на выгоду можетъ побудить богатаго сенатора, удрученнаго подагрой, даже къ побѣдѣ въ Сполето; всякое чувство гордости и достоинства умолкаетъ, когда заходить рѣчь о наслѣдствѣ или просто о подаркѣ по завѣщанію; богатый и бездѣтный гражданинъ является самымъ могущественнымъ изъ римлянъ; искусство добиваться подписи къ выгодному завѣщанію, или иногда ускорять минуту его выполненія, извѣстно во всѣхъ своихъ подробностяхъ; случилось, что въ томъ же домѣ, хотя и въ различныхъ комнатахъ, мужъ и жена, съ похвальнымъ намѣреніемъ обмануть другъ друга, каждый съ своей стороны предписывали въ одно и тоже время своимъ повѣреннымъ объявить ихъ взаимныя, но противоположныя распоряженія. Бѣдность, которая смѣняетъ собою и наказываетъ безразсудную роскошь, часто принуждаетъ вельможъ прибѣгать къ самымъ унижительнымъ уловкамъ. Когда они желаютъ получить займы, тогда они говорятъ тѣмъ униженнымъ и умоляющимъ языкомъ, которымъ говорятъ рабъ въ комедіяхъ, но когда отъ нихъ требуютъ уплаты, тогда они пускаютъ въ ходъ царственную и трагическую декламацию, свойственную потомкамъ Геркулеса. Если требованіе повторяется, они легко находятъ себѣ какого нибудь надежнаго сикофанта, который по ихъ наущенію, взводитъ на дерзкаго кредитора обвиненіе въ отравѣ или въ колдовствѣ; и выпускаютъ его изъ тюрьмы только тогда, когда онъ подпишетъ квитанцію въ полученіи всей суммы. Эти пороки, искажающіе нравственный характеръ римлянъ, смѣшаны съ ребяческимъ суевѣріемъ, уродующимъ ихъ умственные способности. Они довѣрчиво выслушиваютъ предсказанія гадателей, которые приписываютъ себѣ умѣнье читать по внутренностямъ жертвъ знаменія будущаго величія и благоденствія; есть много такихъ людей, которые не рѣшаются ни купаться, ни обѣдать, ни выходить на площадь, не справившись, по всѣмъ правиламъ астрологіи, о положеніи Меркурія и о фигурѣ мѣсяца. Довольно странно, что это пустое легковѣріе встрѣчается часто у такихъ безбожныхъ скептиковъ, которые подвергаютъ нечестивымъ сомнѣніямъ, или отрицаютъ существованіе Верховной силы».

Что оставалось дѣлать обществу, доведенному длиннымъ рядомъ роковыхъ ошибокъ до этой послѣдней степени разслабленія?—Общественная организація, выработанная исторіей, должна была уничтожиться, и народъ, раскрошившись на свои мельчайшія составныя части, долженъ былъ обновиться посредствомъ варварства, подобно тому, какъ истощенное поле обнов-

ляется, оставаясь подъ паромъ и заросши въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ сорными травами.

Но въ чемъ же именно состоитъ обновляющая сила варварства, и каковыя образомъ совершается этотъ процессъ обновленія?

Дѣло состоитъ, какъ мнѣ кажется, въ томъ, что варварство измѣняетъ тѣ условія, при которыхъ происходитъ между людьми борьба за существованіе. Эта борьба разыгрывается вѣдъ и въ дѣвственномъ лѣсу, и въ благоустроенномъ государствѣ. Но въ первомъ изъ этихъ мѣстъ побѣждаетъ тотъ, кто богаче другихъ наделенъ естественными преимуществами, а во второмъ тотъ, кому такъ или иначе удалось занять выгодную и удобную позицію. Въ лѣсу вамъ необходимы для побѣды физическая сила, ловкость, смѣтливость, хитрость, зоркій глазъ, чуткое ухо, дерзкая отвага и спокойное мужество. Въ благоустроенномъ обществѣ, вы, обладая всѣми этими качествами, можете все-таки остаться побѣжденнымъ, что и случается ежегодно и повсемѣстно съ очень многими сильными, смѣлыми и даровитыми личностями. Въ цивилизованномъ обществѣ побѣда очень часто выходитъ изъ такого стеченія обстоятельствъ, которое несколько не зависитъ отъ личныхъ качествъ побѣдителя. Римскій магнатъ былъ по всей вѣроятности слабѣе каждаго изъ своихъ взрослыхъ рабовъ; если бы имъ случилось побороться или подраться между собой, рабъ навѣрное одолѣлъ бы своего господина; многіе рабы были умнѣе и даровитѣе своихъ господъ; многіе были образованнѣе ихъ; а между тѣмъ господа не всегда вѣздѣ, при каждомъ столкновеніи, побѣждали сотни и тысячи своихъ рабовъ и постоянно отбирали у нихъ добычу, то есть продукты ихъ труда; причина этихъ постоянныхъ побѣд заключалась очевидно въ томъ, что господа, какъ бы онъ ни былъ обиженъ природою, постоянно помогала вся общественная организація.

Поголовное возстаніе рабовъ мгновенно превращаетъ прежнихъ побѣдителей въ самыхъ несчастныхъ и безпомощныхъ побѣжденныхъ. Множество магнатовъ, шутовъ, прилебателей и приживалокъ гибнетъ подъ ударами бунтовщиковъ. Ни магнаты, ни ихъ кліенты не умѣютъ драться; у нихъ нѣтъ ни силы, ни храбрости; они падаютъ почти безъ сопротивленія, какъ только общественная организація теряетъ свое могущество. Тѣ магнаты и кліенты, которые остаются въ живыхъ, упираются въ скрепы времени отъ непривычныхъ лишеній; они не умѣютъ ни работать, ни грабить; никто не хочетъ кормить магната за его знатное происхожденіе; никто не нуждается въ низкихъ поклонахъ прилебателя; никто не награждаетъ шута за его каламбуры и гримасы. Всякій думаетъ о самомъ себѣ; всякій надѣется на собственныя кулаки, всякій захватываетъ себѣ все, что пре-

ходится ему подъ силу. Въ такіа времена горе слабому, горе лѣнивому, горе трусу, горе беззащитному ребенку, горе одинокой женщинѣ, горе дряхлому старику, горе больному или слабоумному!—Такія времена переполнены кровью и грязью, дикимъ разбоемъ и коварнымъ обманомъ. Но въ эти ужасныя времена личная сила и энергія развертываются во всю свою ширину, потому что онѣ ведутъ ко всему, и потому что безъ нихъ человѣкъ обреченъ на вѣрную и быструю гибель.

Въ такіа времена все слабое, вялое и хилое постоянно стирается съ лица земли. Все сильное, суровое и мужественное растетъ, плодится, процвѣтаетъ и богатѣетъ. Тѣ страсти и способности, которыя были прежде затаены и заморожены въ самыхъ низшихъ, въ самыхъ задавленныхъ классахъ общества, вырываются наружу съ неудержимой силой и порождаютъ изъ себя невиданныя явленія, которымъ уже никто и ничто не мѣшаетъ развиваться, очищаться и совершенствоваться. Дикое самоуправство и хаотическая борьба между отдѣльными личностями продолжаютъ нѣсколько столѣтій. Въ этой борьбѣ побѣждаютъ постоянно естественныя преимущества—сила, ловкость, храбрость и хитрость. Каждый старается пріобрѣтать эти спасительныя преимущества для себя и для своихъ дѣтей. Каждый старается прежде всего сдѣлаться здоровымъ и крѣпкимъ животнымъ; между тѣмъ какъ во времена цивилизованной дряхлости, каждый старается прежде всего поправиться важнымъ особамъ. Во времена варварства природа сама сортируетъ людей и производитъ надъ ними строгую операцію естественнаго выбора. Этотъ естественный выборъ, продолжаясь нѣсколько столѣтій, совершенно пересоздаетъ и перевоспитываетъ ту націю, которая была испорчена и разслаблена политическими и экономическими ошибками своего прошедшаго. Потомки робкихъ, вялыхъ и безсильныхъ людей оказываются храбрыми, предприимчивыми, свободными и неукротимыми богатырями, передъ которыми открывается необозримая перспектива самаго свѣтлаго, богатаго и разнообразнаго гражданскаго развитія.

Такой процессъ обновленія посредствомъ варварства пережила Италія въ продолженіи тѣхъ пяти столѣтій, которыя отдѣляютъ Одоакра отъ Отона Великаго.

III.

лонгобарды и карлъ великій.

Послѣ паденія западной имперіи начались немедленно громадныя измѣненія въ составѣ землевладѣтельской аристократіи. Сдѣлавшись королемъ Италіи, Одоакръ роздалъ своимъ войнамъ, доставившимъ ему престолъ, третью часть италіянской территоріи. Всѣ эти земли были

отняты у римскихъ магнатовъ, которымъ принадлежала вся Италія.

Отъ 489 до 493 года, Италію завоевали остготы подъ предводительствомъ Теодориха. За этимъ завоеваніемъ послѣдовала новая раздача земель, которыми предводители варварскихъ племенъ обыкновенно награждали своихъ воиновъ.

Отъ 534 до 552 года, остготы вели ожесточенную войну съ византіянами. Эта война кончилась почти совершеннымъ истребленіемъ остготскаго народа. Италія подчинилась на короткое время восточнымъ императорамъ.

Въ 568 году произошло новое нашествіе варваровъ. Лонгобарды нанесли послѣдній ударъ старой римской аристократіи. «Всѣ римляне, говоритъ лонгобардскій историкъ, Павелъ Варнефридъ, которые остались въ живыхъ, были раздѣлены между воинами, превращены въ данниковъ и принуждены отдавать лонгобардамъ третью часть жатвы».

Всѣ войны лонгобардской арміи сдѣлались землевладѣльцами. Предводители отрядовъ сдѣлались правителями городовъ и прилегающихъ къ нимъ областей. Эти правители носили титулъ *герцоговъ* и господствовали надъ простыми землевладѣльцами, которые назывались солдатами или воинами, *milites*. Герцоги въ свою очередь подчинялись королю. Но чѣмъ выше мы поднимаемся по этой лѣстницѣ, тѣмъ слабѣе становится зависимость подчиненныхъ лицъ. Власть помѣщиковъ надъ земледѣльцами была неограничена; власть герцоговъ надъ помѣщиками была слаба; власть короля надъ герцогами была почти ничтожна. Такъ какъ число простыхъ воиновъ лонгобардской арміи было довольно значительно и такъ какъ далеко не вся Италія была завоевана лонгобардами, то для удовлетворенія всѣхъ требованій оказалось необходимымъ раздробить громадныя помѣстья римскихъ вельможъ. Это раздробленіе сразу должно было измѣнить весь характеръ сельскаго хозяйства. Пастбища должны были снова превратиться въ пахатныя земли.

Положеніе низшихъ классовъ также должно было измѣниться къ лучшему. Вмѣсто изнѣженныхъ сибаритовъ, тратившихъ свои доходы на разныя утонченныя прихоти, во главѣ общества очутились простые и грубые люди, которые не знали и не хотѣли знать никакихъ удовольствій, кромѣ войны и охоты. Это удовольствіе они доставляли себѣ ежедневно. Всѣ помѣщики, по закону, имѣли полное право вести между собою войны. Каждое оскорбленіе, каждое нарушеніе границъ, каждая потрава подавали поводъ къ микроскопическимъ войнамъ. Эти войны раззоряли и огорчали крестьянъ, но эти же самыя войны давали имъ возможность улучшить свое положеніе, ослаблять свою зависимость, заключать съ помѣщикомъ выгодныя условія и вышываться постепенно до полной свободы.

Положеніе римскаго раба было безвыходно и безнадежно. Находясь въ обширномъ имѣніи своего господина, онъ не могъ ни бѣжать, ни взбунтоваться. Прежде чѣмъ онъ добѣжалъ бы до границы имѣнія, его бы схватили и привели назадъ; прежде чѣмъ онъ успѣлъ бы сговориться съ своими товарищами на счетъ бунта, надсмотрщики подмѣтили бы его маневры, заковали бы его въ цѣпи и посадили бы его въ подземную тюрьму. Если бы даже рабу удалось добраться до сосѣдняго имѣнія, то его бы схватили и тамъ, потому что въ благоустроенномъ государствѣ ни одинъ разсудительный рабовладѣлецъ не станетъ принимать подъ свое покровительство бѣглаго раба. Если бы даже рабу удалось взбунтовать своихъ товарищей, то и тогда вся исторія кончилась бы мучительной казнью мятежниковъ, потому что всѣ силы общества тотчасъ направились бы противъ нарушителей спокойствія и задушили бы зло въ колыбели. Римскому рабу оставалось только терпѣть и проклинать часъ своего рожденія. Для раба порядокъ и спокойствіе были хроническимъ зломъ, которымъ увѣчивались его страданія. Когда порядокъ и спокойствіе исчезли, тогда рабъ вздохнулъ свободнѣе, потому что для него открылось тогда множество выходовъ.

Послѣ нашествія лонгобардовъ, рабамъ пришлось жить въ небольшихъ имѣніяхъ, владѣльцы которыхъ вели между собою постоянныя войны. Теряя притѣсненія отъ своего господина, рабъ могъ бѣжать къ сосѣду, съ которымъ этотъ господинъ велъ войну. Сосѣдъ нуждался въ рабочихъ рукахъ и желалъ насолить своему врагу; поэтому онъ съ удовольствіемъ принималъ его бѣглаго раба. Господинъ не имѣлъ при этомъ никакой возможности преслѣдовать бѣглеца и рыскать за нимъ по имѣніямъ своихъ враговъ. Земская полиція также не могла этимъ заниматься по той простой причинѣ, что она не существовала. Законы седьмого лонгобардскаго короля, Ротариса, грозятъ смертной казнью бѣглымъ земледѣльцамъ, а также и сторожамъ рѣчныхъ пристаней и перевозовъ, если эти сторожа будутъ пропускать бѣглецовъ. Существованіе этихъ законовъ доказываетъ ясно, что побѣги были очень многочисленны. Строгость этихъ законовъ доказываетъ также ясно, что правительствомъ, не имѣя возможности ловить бѣглецовъ, старалось подѣйствовать на нихъ страхомъ. Но страхъ никогда не дѣйствуетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда есть множество шансовъ скрыть преступленіе. Само собою разумѣется, что побѣги продолжались, и что помѣщики были принуждены постепенно улучшать положеніе рабовъ для того, чтобы удерживать у себя рабочія руки.

У каждаго помѣщика была своя дружина, составленная изъ свободныхъ людей, которымъ помѣщикъ предоставлялъ, за извѣстную еже-

годную плату, участокъ земли. Эти дружины арендаторы ходили съ помѣщикомъ на войну; дѣлили съ нимъ награбленную добычу. Когда помѣщикъ съ своей дружиной отправлялся въ походъ, тогда семейство помѣщика оставалось въ его укрѣпленномъ домѣ или замкѣ. Если бы въ это время пожелали взбунтоваться, то имъ было бы очень легко овладѣть барскимъ имѣніемъ и истребить барское семейство. Во избѣжаніе такихъ неприятныхъ случаевъ помѣщикъ принужденъ былъ обращаться довольно сносно съ своими рабами, въ рукахъ которыхъ онъ оставлялъ почти каждый день свое беззащитное семейство.

Помѣщику приходилось часто выдерживать своею замкѣ настоящую осаду. Если бы въ это время рабы переаились на сторону неприятеля, то помѣщику пришлось бы очень плохо. Противъ такихъ измѣнъ помѣщикъ могъ застраховаться только человѣколюбивымъ обращеніемъ. Кто не понималъ этой простой истины, тотъ самъ и расплачивался за свою непопятичивость.

Когда помѣщикъ былъ разбитъ въ сраженіи, когда дружина его была уничтожена, тогда ему надо было или согласиться на невыгодный миръ, или набрать изъ рабовъ новую дружину. А вооружить раба значило освободить его. Такъ это обыкновенно и дѣлалось. Въ случаѣ крайней опасности, рабы получали свободу съ радостью или дрались за своего освободителя.

Въ мирное время эти освобожденные шли обрабатывать землю, нанимая ее у помѣщика на различныхъ условіяхъ. Землевладѣльцы скоро принуждены были замѣтить, что при этой арендной системѣ земля даетъ имъ больше дохода, чѣмъ при системѣ обязательнаго труда. Тогда явилось со стороны землевладѣльцевъ желаніе замѣнять барщину опредѣленнымъ оброкомъ.

Такимъ образомъ множество различныхъ причинъ содѣйствовало переходу земледѣльцевъ отъ рабства къ крѣпостной зависимости, и потому отъ крѣпостной зависимости къ полной свободѣ. Подробности этихъ двухъ переходовъ очень мало извѣстны. Тутъ не было никакихъ систематическихъ реформъ, никакихъ общихъ законодательныхъ распоряженій. Все сдѣлалось само собою, по естественной логикѣ событій. Рабство и крѣпостная зависимость уничтожились въ одной мѣстности раньше, въ другой позднѣе; современные лѣтописцы не интересовались этимъ вопросомъ и не могли слѣдить за его частичными разрѣшеніемъ; поэтому лѣтописцы молчатъ, а историкъ принужденъ ограничиваться общими догадками и не можетъ сказать навѣрное, когда именно началось это движеніе и когда оно кончилось. Достоверно извѣстно только то, что процессъ освобожденія продолжался очень долго, именно потому, что въ немъ не было ничего систематическаго; ни господа, ни сами рабы не знали, куда они идутъ. Время было тревожное; каждый старался извлекать себѣ изъ этихъ тре-

вогь возможно большую пользу; и это живое стремление каждой отдельной личности переработало понемногу все междусословныя отношенія. Во время постоянныхъ войнъ, крупныхъ и мелкихъ, иностранныхъ и междусобныхъ, на долю простого народа доставалось конечно много лишеній, трудовъ, опасностей и страданій; но тутъ по крайней мѣрѣ всегда была возможность сопротивляться, барахтаться, пользоваться счастливыми случаями и подвигаться впередъ къ лучшему будущему. У римскаго раба, напротивъ того, не было даже этого послѣдняго утѣшенія. И римскій рабъ, и средневѣковый вилланъ терпѣли оба горькую долю; но безнадежныя страданія перваго убивали въ немъ всякую энергію, между тѣмъ какъ тяжелая борьба послѣдняго со всевозможными враждебными обстоятельствами развивала въ немъ мужество, предприимчивость, изворотливость и желѣзное терпѣніе.

Тѣже самыя продолжительныя и разнообразныя смуты, подъ вліяніемъ которыхъ родилась и выросла свобода сельскихъ жителей, повели также за собою политическое обособленіе итальянскихъ городовъ.

Въ концѣ VIII столѣтія Карлъ великій попробовалъ возстановить западную римскую имперію и дѣйствительно соединилъ подъ своимъ господствомъ Францію, Германію и Италію. Личныя дарованія Карла были громадны; дѣятельность его была изумительна, твердость его характера доходила иногда до жестокости. И несмотря на это, ему все-таки не удалось создать ничего прочнаго; вскорѣ послѣ его смерти имперія его разсыпалась на мельчайшіе кусочки. Послѣ Карла Великаго, въ IX и въ X вѣкѣ, политическій хаосъ оказался еще негнѣнѣе и ужаснѣе, чѣмъ въ VII и VIII вѣкѣ, до централизаторскихъ экспериментовъ великаго французскаго императора.

Хотя Карлъ былъ представителемъ цивилизаціи, хотя онъ старался облагодѣтельствовать своихъ подданныхъ мудрыми и справедливыми законами, однако нельзя не замѣтить, что онъ тянулъ человѣчество назадъ, а не впередъ. Ему хотѣлось воскресить умершую цивилизацію Рима, воскресить такія бытовыя формы, которыхъ необходимость была уже достаточно доказана ихъ долгой и мучительной агоніей. Если бы желанія Карла исполнились, то римская цивилизація воскресла бы только затѣмъ, чтобы тотчасъ же снова предаться разложенію. Это разложеніе могло бы продолжаться нѣсколько столѣтій; но чѣмъ дольше бы оно тянулось, чѣмъ искуснѣе даровитые правители поддерживали бы разрушающееся зданіе разными частичными подстройками и подпорками, тѣмъ хуже бы это было для человѣчества, потому что разрушеніе было все-таки неизбежно, и переходъ черезъ варварство былъ все-таки необходимъ. Чѣмъ дольше задерживался этотъ переходъ, тѣмъ больше набира-

лось разнородныхъ элементовъ для будущаго безпорядка, тѣмъ упорнѣе и мучительнѣе должна была оказаться впоследствии борьба между умирающими старыми формами и народившимися новыми стремленіями. Именно такимъ образомъ и поддѣйствовало на Европу блестящее царствованіе Карла Великаго. Хаосъ увеличился послѣ его смерти именно потому, что онъ придалъ новую силу тѣмъ элементамъ, которые были побуждены и непремѣнно должны были умереть. Но къ счастью для Европы, политика Карла не нашла себѣ достойныхъ подражателей; дѣти и внуки великаго человѣка оказались пигмеями, и вредъ, нанесенный Карломъ, не успѣлъ развиваться до степени опасной и продолжительной болѣзни. Благодаря этому обстоятельству, Европѣ не пришлось превратиться въ подобіе византійской имперіи.

Карлъ старался создать большое политическое цѣлое въ то время, когда все мельчайшіе элементы общества инстинктивно стремились къ индивидуальной самостоятельности. Нѣтъ того великаго человѣка, который могъ бы побѣдить и пересоздать всехъ своихъ современниковъ, хотя и случается очень часто, что великій человѣкъ лучше цѣлаго общества понимаетъ и угадываетъ настоящія потребности времени. Но въ данномъ случаѣ противъ Карла оказался не только инстинктъ современниковъ, но и дѣйствительный смыслъ событій. Историкъ долженъ сознаться, что естественныя стремленія тогдашняго варварскаго общества соотвѣтствовали вполне не только его собственнымъ, минутнымъ выгодамъ, но и всемъ великимъ интересамъ европейскаго развитія.

Политическая опытность тогдашнихъ первоклассныхъ геніевъ была такъ недостаточна, ихъ знанія такъ ничтожны, ихъ идеи такъ узки и односторонни, что Карлъ великій, со всеми своими мудрецами, не могъ ни въ какомъ случаѣ, создать (a priori) для своего государства такую систему учрежденій, которая не стѣснила бы во всехъ отношеніяхъ здоровое развитіе различныхъ общественныхъ элементовъ. Если бы даже Карлъ и его совѣтники были въ состояніи пересмотрѣть всю исторію, съ тѣмъ, чтобы отыскать въ ней образецъ государственнаго устройства, то и тогда они все-таки остались бы почти не при чемъ, и ужъ во всякомъ случаѣ не отыскали бы ничего дѣйствительно хорошаго. Въ той части исторіи, которую могъ изучать Карлъ великій, господствуютъ двѣ политическія формы: огромныя монархіи и крошечныя республики, заключавшіяся цѣликомъ въ стѣнахъ одного города. Послѣдняя форма очевидно не годилась для людей, желавшихъ соорудить большое государство.

Такъ какъ во времена Карла великаго никто не подозрѣвалъ возможности очень многихъ политическихъ комбинацій, наиболѣе сложныхъ и наиболѣе удовлетворительныхъ, то надо было желать въ интересахъ будущаго, чтобы отсут-

ствіе прочнаго порядка продолжалось какъ можно дольше, чтобы отдѣльные общественные элементы обособлялись, выяснились и боролись между собою, и чтобы такимъ образомъ открывался на цѣлыя столѣтія широкій просторъ для самыхъ разнообразныхъ опытовъ политической и общественной организаціи. Тогдашніе теоретики не могли сдѣлать для общества ничего хорошаго, потому что у нихъ было чрезчуръ мало матеріаловъ для составленія теорій и чрезчуръ мало привычки и умѣнья обращаться даже съ тѣми скудными матеріалами, которые имѣлись въ наличности. Могли ли на примѣръ тогдашніе теоретики составить себѣ понятіе объ обществѣ безъ рабовъ и даже безъ крѣпостныхъ? Разумѣется, не могли. Но такъ какъ будущее доказало, что общество безъ рабовъ и безъ крѣпостныхъ не только можетъ существовать, но даже стоитъ по своему богатству и по своему могуществу неизмѣримо выше всякаго рабовладѣльческаго общества, то мы, зная это будущее, можемъ теперь утверждать, что пораженіе тогдашнихъ теоретиковъ, желавшихъ положить конецъ хаотической борьбѣ живыхъ силъ, было для человечества величайшимъ благополучіемъ, не смотря на то, что это пораженіе значительно увеличило собою беспорядокъ. Въ то время было совершенно необходимо, чтобы общество постоянно волновалось до самой глубины, потому что только во время такихъ долговременныхъ и глубокихъ волненій могли сложиться сами собою такіе новые и неожиданно оригинальные результаты, о которыхъ не смѣлъ подумать ни одинъ тогдашній мыслитель. Въ спокойное время эти результаты не могли получиться, потому что тогда зародыши новыхъ явленій обращали бы на себя постоянное вниманіе сильныхъ людей, возбуждали бы ихъ неосновательныя опасенія и подвергались бы систематическому истребленію или искаженію.

Но общественное броженіе, необходимое для успѣшнаго и разнообразнаго политическаго развитія, могло возникнуть только изъ соперничества или изъ борьбы различныхъ общественныхъ элементовъ, а соперничать или бороться между собой эти элементы могли только тогда, когда они пользовались индивидуальной независимостью. Поэтому раздробительныя тенденціи, преобладавшія въ современникахъ Карла великаго, имѣютъ свое законное оправданіе, хотя, разумѣется, тогдашніе люди искали себѣ личной самостоятельности совсѣмъ не для того, чтобы приготовить Европѣ лучшее будущее.

IV.

обособленіе итальянскихъ городовъ.

Если бы Карлъ Великій не мѣшалъ своимъ современникамъ, то всѣ города, всѣ монастыри его монархіи сдѣлались бы почти независимыми

государствами, соединенными между собой путанною сѣтью самыхъ разнообразныхъ условій, обязательствъ и договоровъ. Каждый помѣщик присвоилъ бы себѣ право заключать какіе угодно союзы, вести какія угодно войны, чеканить свою монету, налагать и собирать подати, судить, казнить и миловать по своему благоусмотрѣнію всѣхъ обитателей своего помѣстья, словомъ, и концѣ VIII вѣка водворился бы тотъ порядокъ, или вѣрнѣе тотъ беспорядокъ, который установился въ X вѣкѣ. Такимъ образомъ человечеству выиграло бы для своего развитія почти двѣ столѣтія, которыя оказались потраченными и уничтоженіе несвоевременныхъ, бесплодныхъ и мертворожденныхъ созданій великаго цивилизатора и централизатора Карла. Желая увеличить свое могущество, стараясь подчинить всѣхъ и все своему личному контролю, Карлъ до такой степени ослабилъ свое государство, что оно оказалось неспособнымъ отражать набѣги норманновъ, сарациновъ и венгровъ. Представителю центральной власти вели постоянной, глупой или открытую борьбу съ мѣстными властями, эта повсемѣстная борьба связывала тѣ силы, которыя должны были направляться противъ иностранныхъ враговъ. Враги пользовались этими благоприятными обстоятельствами и опустошали цѣлыя провинціи съ такими ничтожными силами, которымъ каждый помѣщикъ могъ бы оказать сопротивленіе, если бы онъ въ это самое время не былъ занятъ отстаиваніемъ своей независимости противъ королевскаго или императорскаго чиновника. — Чиновникъ желалъ прежде всего усмирить бунтовщиковъ; бунтовщикамъ, то есть помѣщикамъ, хотѣлось прежде всего осадить дерзкаго узурпатора; землевладѣльцы и агенты центральнаго правительства считали другъ друга за самыхъ опасныхъ враговъ, гораздо болѣе опасныхъ, чѣмъ норманны или сарацины; питая другъ къ другу такія нѣжныя чувства, они могли только мѣшать и вредить общему національному дѣлу, когда имъ случалось соединяться вмѣстѣ, вокругъ одного знамени. Они выдавали и поимали другъ друга, гдѣ только это было возможно. Поэтому норманнамъ и венграмъ случалось набивать такія арміи, которыя были гораздо сильнѣе ихъ по числу и нисколько не уступали имъ въ храбрости и въ знаніи военнаго дѣла. Рядомъ и взаимное недовѣріе начальниковъ окзывалось самыми лучшими и самыми вѣрными союзниками слабаго непріятеля. Безпомощность Италіи, Франціи и Германіи кончилась только тогда, когда мѣстные элементы одержали рѣшительную побѣду надъ центральною властью. Набѣги венгровъ и сарациновъ въ значительной степени содѣйствовали этому перевороту и оказали особенно сильное вліяніе на политическое обособленіе итальянскихъ городовъ.

Въ первой половинѣ IX вѣка сарацины завоевали Сицилію, потомъ перешли на материкъ

укрѣпились на берегахъ рѣки Гарильяно и тутъ начали опустошать всю южную Италію, то самыхъ вѣровъ Рима. Въ концѣ того же вѣка другая колонія сарациновъ пріютилась въ сѣверной Италіи, не далеко отъ Ниццы, и занялась опустошеніемъ Пиемонта. Наконецъ въ началѣ X вѣка Италію стали грабить венгры. Ни у сарациновъ, ни у венгровъ не было охоты дѣлать въ Италіи завоеванія; и тѣ, и другіе вели партизанскую войну безъ всякаго опредѣленнаго плана; имъ хотѣлось только пакостить и грабить вездѣ, гдѣ можно было застать въ располѣхъ мирныхъ жителей; вся армія ихъ состояла исключительно изъ легкой кавалеріи; раздѣляясь на мелкіе отряды, они смѣло углублялись въ непріятельскую страну и нисколько не старались обезпечить себѣ отступленіе; они не возили съ собою никакихъ обозовъ; все что имъ было нужно, съѣстные припасы и фуражъ, они каждый день отнимали у жителей насильно, не заботясь о завтрашнемъ днѣ и зная навѣрное, что завтра можно будетъ гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ повторить ту же исторію. Когда противъ нихъ собирались дружины помѣщиковъ и ополченія городовъ, тогда они старались уклониться отъ сраженія, разсыпались по всей странѣ, обходили войско, вышедшее къ нимъ на встрѣчу, нападали на беззащитные города и села, лежащіе далеко внутри страны, и такимъ образомъ все-таки достигали своей цѣли, то есть грабили, рѣзали и жгли во все свое удовольствіе. Войско помѣщиковъ и городовъ конечно пускалось за ними въ погоню; но сарацины и венгры перелегали съ мѣста на мѣсто такъ быстро, что пѣхота и тяжелооруженная конница, изъ которыхъ были составлены тогдашнія арміи, не могли за ними угоняться и большею частью приходили на выручку тогда, когда городъ былъ уже разграбленъ и зажженъ, жители—перебиты, а враги въ другомъ мѣстѣ и въ совершенной безопасности.

Воевать такимъ образомъ было чрезвычайно невыгодно. Такъ какъ нашествія сарациновъ и венгровъ повторялись очень часто и всегда одинаково успѣшно въ продолженіе цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, то наконецъ итальянцы принуждены были замѣтить, что самая многочисленная, самая храбрая и превосходно вооруженная армія ничего не можетъ сдѣлать съ такимъ неуловимымъ врагомъ, который постоянно умѣетъ проскользнуть у нея между руками. При этомъ не трудно было сообразить, что страна будетъ совершенно обезпечена противъ этихъ грабителей только тогда, когда въ каждомъ городѣ, въ каждой деревушкѣ разовьются мѣстные средства самозащиты. Надо было устроить такъ, чтобы ни одно поселеніе никогда не могло быть захвачено врасполѣхъ. Для этого прежде всего необходимы были укрѣпленія. Запастись ими было совсѣмъ не мудрено и не разорительно, тѣмъ болѣе, что тутъ требовались не Богъ знаетъ какія чудеса фортифика-

ціоннаго искусства; самая простая кирпичная стѣна составляла непобѣдимое препятствіе для дикихъ наѣздниковъ, у которыхъ не было и не могло быть ни лѣстницъ, ни стѣнобитныхъ орудій. Затѣмъ надо было, чтобы всѣ взрослые мужчины каждаго населеннаго мѣста завели себѣ оружіе, выбрали себѣ опытныхъ распорядителей и выучились всѣмъ необходимымъ военнымъ эволюціямъ, посредствомъ которыхъ они могли бы, безъ всякой посторонней помощи, во всякую данную минуту, отразить внезапное нападеніе. Со стороны сарациновъ и венгровъ только одно первое нападеніе и было опасно; предпринять и довести до конца правильную осаду они были совершенно неспособны.

Чтобы окружить городъ стѣной, надо было предварительно выпросить разрѣшеніе у короля или у императора. Но въ данномъ случаѣ требованія необходимости были такъ очевидны, и центральная власть такъ глубоко чувствовала свое безсиліе въ борьбѣ съ летучими отрядами венгровъ и сарациновъ, что ея подозрительность принуждена была молчать. Втеченіе IX и X вѣка городамъ, деревнямъ и монастырямъ выдано было множество императорскихъ и королевскихъ грамотъ, разрѣшавшихъ имъ строить укрѣпленія. Выстроивши стѣны, надо было ихъ караулить и защищать; слѣдовательно надо было организовать милицію; это право всегда давалось городамъ вмѣстѣ съ разрѣшеніемъ укрѣпляться. Получивши позволеніе заботиться о собственной безопасности, каждый городъ раздѣлился на нѣсколько кварталовъ; всѣхъ кварталовъ было обыкновенно отъ четырехъ до шести; каждый изъ нихъ прилегалъ къ одной изъ городскихъ заставъ и назывался по ея имени; жители каждаго квартала обязаны были защищать свои ворота, и свою долю общей городской стѣны. Но ограничиваться одной защитой стѣнъ было невозможно; могли представиться такіе случаи, когда будетъ необходимо преслѣдовать врага или выходить къ нему навстрѣчу, чтобы спасти отъ опустошительныхъ подвиговъ поля, виноградники, фруктовые сады, принадлежащіе гражданамъ. Кромѣ того, могла оказаться необходимость идти на помощь къ осажденнымъ жителямъ другого города. Поэтому надо было сформировать городскія милиціи такъ, чтобы онѣ могли драться съ непріятелемъ не только изъ-за стѣнъ, но и въ открытомъ полѣ. Каждый кварталъ обязалъ своихъ богатѣйшихъ гражданъ являться на службу верхомъ и въ полномъ вооруженіи. Другіе граждане, побѣднѣе, были вооружены арбалетами и сражались пѣшкомъ, третій отрядъ составлялъ тяжелую пѣхоту; онъ носилъ желѣзные шлемы и щиты и дрался копьями. Остальные граждане были вооружены мечами. Когда ударили въ набатъ, тогда всѣ вооруженные люди города были обязаны собираться на площадь своего квартала. Эта обязанность ле-

жала на всехъ здоровыхъ гражданахъ отъ 18 до 70 лѣтъ.

Городскія милиціи, составленныя такимъ образомъ изъ купцовъ и ремесленниковъ, которымъ некогда и невозможно было приобретать себѣ опытность старыхъ солдатъ—могли быть сильны и грозны только своимъ воодушевленіемъ. А воодушевленіе, способное замѣнить собою дисциплину и привычку къ военному дѣлу, возможно только тогда, когда каждый солдатъ знаетъ, за что онъ дерется, и твердо увѣренъ въ добросовѣстности и даровитости полководца. Поголовное ополченіе должно имѣть своихъ выборныхъ начальниковъ и свои совѣщательныя собранія. Построивши укрѣпленія и создавши себѣ свое собственное войско, каждый городъ непремѣнно долженъ былъ выработать себѣ свою особенную политическую организацію, свое самостоятельное правительство, которое распоряжалось бы созданнымъ войскомъ сообразно съ дѣйствительными интересами и желаніями самихъ горожанъ.

Если бы граждане итальянскихъ городовъ сразу обнаружили такія претензіи, клонящіяся къ раздробленію государства, то императоръ или король соединился бы противъ нихъ съ герцогами, баронами и прелатами и, по всей вѣроятности, одержалъ надъ ними побѣду, вслѣдствіе которой ихъ стѣны были бы срыты, а милиціи обезоружены, не смотря ни на какія нашествія венгровъ и сарациновъ. Но горожане не заявляли никакихъ систематическихъ требованій; они сами не знали, куда они идутъ; при каждомъ удобномъ случаѣ они совершенно добросовѣстно заявляли свою полную преданность тому государственному тѣлу, отъ котораго они медленно отдѣлялись; въ нихъ дѣйствовала неотразимая логика обстоятельствъ и событий. Каждый слѣдующій шагъ такъ неизбежно вытекалъ изъ предыдущаго, что ни одинъ изъ этихъ шаговъ не могъ никого испугать или противѣять. Противъ венгровъ и сарациновъ понадобились стѣны; къ стѣнамъ понадобились вооруженные люди; этимъ людямъ нуженъ былъ хорошій начальникъ; начальника надо было сначала выбирать, а потомъ контролировать. Все это было очень просто, логично, естественно и законно.

Кромѣ того центральной власти некогда было заниматься городами. Междоусобныя войны обращали на себя все ея вниманіе. Сначала раздоры происходили между потомками Карла великаго. Потомъ, послѣ низложенія Карла толстаго, сильнѣйшіе изъ итальянскихъ магнатовъ, маркизъ Фриульскій и герцогъ Сполетскій, стали оспаривать другъ у друга престолъ Италіи, отдѣлившійся въ 887 году отъ остальныхъ частей Карловой имперіи. Въ эти распри вмѣшались король Бургундскій и герцогъ Прованскій, и у Италіи продолженія семидесяти лѣтъ было почти постоянно по два короля, которыхъ претензіи взаимно противорѣчили другъ другу и которыхъ

дѣйствительная власть была почти ничтожна. Въ это смутное время итальянскіе города изъ съ большимъ удобствомъ расширять и укрѣплять свои привилегіи.

Въ 961 году Италія снова соединилась съ Германіей. Отонъ великій, король германскій, низложилъ итальянскаго короля, Беренгара I, подчинилъ себѣ его королевство, принялъ въ Павіи ломбардскую желѣзную корону, и самъ отправился въ Римъ и получилъ изъ рукъ папы Іоанна XII императорскую корону. Съ этого времени начинается непрерывное существованіе такъ называемой священной римской имперіи, самой блестящей и самой странной изъ всѣхъ когда либо существовавшихъ политическихъ факцій. Императоръ считался главой всего христіанскаго, или по крайней мѣрѣ, всего западнаго міра, ему былъ врученъ свѣтскій мечъ такъ точно, какъ папѣ принадлежалъ мечъ духовный; вся лѣстница феодальныхъ властей начиналась императоромъ; отъ него шла всякая всячина владѣнія; всѣ короли считались его вассалами; только одинъ папа могъ считать себя независимымъ отъ него, или даже выше его, настолько, насколько духъ выше тѣла. Такая была теорія, и эту теорію всѣ признавали; даже французскіе короли охотно соглашались съ тѣмъ, что императоръ—глава христіанскаго міра. Но громкія слова оставались словами. На дѣлѣ вассальныя отношенія королей къ императору никогда не существовали и рѣшительно ни о чемъ не выражались. На дѣлѣ священная римская имперія находилась въ Германіи; на дѣлѣ императоръ выбирался нѣмецкими князьями, располагалъ вполнѣ только силами своихъ собственныхъ, наследственныхъ владѣній, и очень часто оказывался слабѣе своихъ вассаловъ, т. е. тѣхъ нѣмецкихъ князей, которые его выбирали и которые всегда очень плохо ему повиновались. На дѣлѣ царствованіе каждаго императора было почти постоянной борьбой за императорскую власть, то съ папой, то съ нѣмецкими князьями, то съ итальянскими городами. На дѣлѣ каждый императоръ принужденъ былъ пробиваться въ Римъ съ оружіемъ въ рукахъ, и по дорогѣ завоевывать вновь сѣверную и среднюю Италію, которая, по общепризнанной теоріи, постоянно составляла неотдѣлимую часть священной римской имперіи.

Этотъ хроническій разладъ теоріи съ дѣйствительной жизнью набрасываетъ чрезвычайно оригинальный колоритъ на всѣ событія средне-вѣковой итальянской исторіи.

Этотъ разладъ и вытекающая изъ него фактичность священной-римско-императорской учрежденій начинаются со времени Отона великаго.

Италія отдалась Отону добровольно. Но Отонъ не могъ жить постоянно въ своемъ новомъ королевствѣ.

Важныя государственныя дѣла призывали въ Германію, а между тѣмъ во время отсутствія, итальянскіе магнаты могли приобрести себѣ полную независимость и возобновить прежніе раздоры за итальянскую корону. Надо было такимъ нибудь образомъ удерживать ихъ въ повиновеніи. Если бы Отонъ жилъ не въ X, а въ XVIII или въ XIX вѣкѣ, то онъ просто оставилъ бы въ Италіи нѣсколько десятковъ тысячъ нѣмецкихъ солдатъ подъ начальствомъ такого генерала, на вѣрность и распорядительность котораго онъ могъ положиться. Это средство очень просто и удобно, но въ X вѣкѣ оно было неприложимо. Армія Отона состояла изъ его нѣмецкихъ вассаловъ, у которыхъ были въ Германіи свои владѣнія, и которые, именно за эти владѣнія, обязаны были служить подъ знаменами своего сюзерена Отона. Срокъ ихъ службы былъ строго опредѣленъ. Отслуживъ свое время—всего нѣсколько недѣль,—баронъ раскланивался съ своимъ сюзереномъ и отправлялся домой. У каждого вассала были дома свои собственныя государственныя дѣла, которыя для него были также важны, какъ для Отона дѣла Германіи, заставившія его выѣхать изъ итальянскаго королевства. Никто изъ нѣмецкихъ бароновъ не былъ расположенъ бросать свои дѣла на неопредѣленное время и оставаться съ войскомъ въ чужой землѣ, въ угоду честолюбивымъ фантазіямъ сюзерена. У каждого простого воина было также въ Германіи свое хозяйство, къ которому онъ желалъ и имѣлъ право воротиться послѣ истеченія опредѣленнаго служебнаго срока. Нѣкоторые бароны и многіе воины пожалуй согласились бы остаться навсегда въ Италіи, но только съ тѣмъ, чтобы имъ была дана новая осѣдность, по меньшей мѣрѣ равноцѣнная той, которую они владѣли въ Германіи и которую они рѣшились покинуть. Какому нибудь герцогу надо было отмежевать цѣлую провинцію, графу—отдать городъ, барону—отвести замокъ и хорошее помѣстье, простому воину—предоставить участокъ земли съ жилыми строеніями. Словомъ, для того чтобы пристроить такимъ образомъ въ Италіи нѣсколько тысячъ нѣмцевъ, надо было обобрать и пустить по міру жителей цѣлой области, и притомъ самыхъ воинственныхъ жителей, тѣхъ, которые владѣли землей и отбывали за нее феодалную повинность военной службой. Эта насильственная мѣра была немыслима въ такой странѣ, которая съ полнымъ довѣріемъ, добровольно изъявила свою покорность. Такой мѣрой Отонъ немедленно превратилъ бы новорожденную преданность итальянцевъ въ непримиримую ненависть. Надо было прискакать другое средство.

Отонъ видѣлъ очень ясно, что для удержанія Италіи, ему необходимо опираться на чисто-итальянскіе интересы и заключить прочный союзъ съ которымъ нибудь изъ двухъ общест-

венныхъ элементовъ, спорившихъ между собой за преобладаніе,—именно, съ магнатами или съ городами. Соединяться съ магнатами для Отона было неудобно; магнаты были его естественными соперниками; сильнѣйшіе изъ нихъ сами могли мечтать о желѣзной коронѣ, которая доставалась не разъ герцогамъ Сполетскимъ или маркизамъ Фріульскимъ. Болѣе слабые могли желать, и дѣйствительно желали, распаденія итальянскаго королевства на нѣсколько независимыхъ герцогствъ и графствъ, въ которыхъ они, магнаты, оказались бы полновластными хозяевами. Желанія горожанъ, напротивъ того, были гораздо скромнѣе; у нихъ еще не было никакихъ далекихъ политическихъ замысловъ, они хотѣли только защищаться собственными средствами отъ грабителей и обидчиковъ, устроить у себя свой собственный правильный судъ и оградить свою промышленность и торговлю отъ произвольнаго вмѣшательства чиновниковъ и вельможъ. При соблюденіи этихъ немногихъ условій они съ радостью готовы были признавать надъ собою господство императора. Отонъ принялъ горожанъ подъ свое покровительство и, не раздражая магнатовъ слишкомъ крутыми и стѣснительными мѣрами, повелъ дѣла такъ, что всѣ города, находившіеся въ его итальянскихъ владѣніяхъ, одинъ за другимъ завели у себя муниципальное самоуправленіе. До воцаренія Отона города находились подъ управленіемъ графовъ, которые часто ссорились съ горожанами и старались удержать за собой свою деспотическую власть; у этихъ графовъ не было никакой военной силы, кромѣ городской милиціи, которая готова была защищать графа противъ вышнихъ враговъ, но нисколько не была расположена поддерживать его требованія въ ущербъ собственнымъ интересамъ. При каждомъ столкновеніи графа съ горожанами, графъ долженъ былъ или уступать, или просить себѣ помощи у императора. Въ первомъ случаѣ права горожанъ расширялись безъ дальнѣйшихъ хлопотъ, добытыя льготы передавались слѣдующему поколѣнію, какъ сокровище, которое уже ни подъ какимъ видомъ не должно быть выпущено изъ рукъ и не можетъ быть отнято безъ вопіющаго нарушенія справедливости. Во второмъ случаѣ императоръ Отонъ разсматривалъ дѣло и, рѣшая по совѣсти, всегда рѣшалъ его въ пользу горожанъ, потому что горожане дѣйствительно всегда были правы въ своихъ требованіяхъ, хотя эти требованія часто шли на перекоръ заведеннымъ порядкамъ, нарушали собою установившіеся обычаи. Горожане никогда не хлопотали о томъ, чтобы какъ нибудь закабалить графа или наложить на него какую нибудь повинность; имъ хотѣлось только располагать свободно собственными особами и пользоваться безпрепятственно продуктами собственнаго труда. Отону было очень нетрудно держать ихъ сторону, и его рѣ-

шенія никому не могли показаться деспотическими выходками; даже сами графы, которыхъ власть медленно подрывалась дѣйствіями Отона, не могли видѣть въ нихъ проявленія систематической вражды; Отонъ не выгонялъ ихъ изъ городовъ, не оспаривалъ ихъ власти, ничѣмъ не стѣснялъ ихъ, и даже не подавалъ никакой помощи ихъ непокорнымъ вассаламъ; онъ только предоставлялъ графамъ вѣдаться съ этими вассалами и улаживаться съ ними миролюбивымъ образомъ, по обоюдному соглашенію; онъ оставался только безпристрастнымъ, и этого безпристрастія было достаточно для того, чтобы упрочить за горожанами полную побѣду, чрезвычайно важную по своимъ послѣдствіямъ.

V.

РАСПАДЕНІЕ ИТАЛЬЯНСКАГО КОРОЛЕВСТВА.

Отонъ великій умеръ въ 973 году, въ Германіи. Послѣ его смерти сынъ его, Отонъ II, въ продолженіе семи лѣтъ не заглядывалъ въ свои итальянскія владѣнія. Наконецъ въ 980 году онъ явился въ Италію, повоевалъ довольно неудачно съ греками и умеръ въ 983 году. Затѣмъ Италія в теченіе тринадцати лѣтъ снова не видала у себя ни своего государя, ни его намѣстника, и вообще ничего такого, что сколько нибудь напоминало бы ей о существованіи центральной власти. Справившись съ своими врагами въ Германіи, Отонъ III въ 996 году вступилъ въ Италію и пробылъ тамъ нѣсколько мѣсяцевъ; потомъ онъ, въ слѣдующемъ году, снова явился въ Италію и прожилъ въ ней около трехъ лѣтъ. Отлучившись на нѣсколько мѣсяцевъ въ Германію, онъ въ 1000 году возвратился въ Италію и наконецъ умеръ въ Римѣ въ 1002 г. Съ его смертію пресѣклась династія Отона великаго. Эта династія царствовала въ Италіи сорокъ лѣтъ, но изъ этихъ сорока лѣтъ она провела въ Италіи около восемнадцати лѣтъ. Остальные двадцать два года были проведены въ Германіи.

Во время отсутствія государя, общія дѣла итальянскаго королевства оставались безъ движенія; никто не издавалъ никакихъ общихъ законовъ; никто не собиралъ государственныхъ чиновъ; никто не начиналъ войны съ иностранцами, хотя бы интересы итальянскаго королевства требовали того самымъ настоятельнымъ образомъ; живя въ Германіи, императоры не получали даже изъ Италіи никакихъ доходовъ. Словомъ, вліяніе нѣмецкихъ императоровъ на Италію выражалось во время ихъ отсутствія только въ томъ, что мѣсто итальянскаго короля было все-таки занято и что слѣдовательно сильнѣйшіе магнаты не имѣли возможности драться между собою изъ за этого мѣста.

Такимъ образомъ, королевская власть превращалась въ фикцію. Магнаты, прелаты и города

продолжая признавать надъ собой господство Отоновъ, въ то же время пріучались пользоваться всѣми тѣми правами, которыя принадлежали верховной власти. Они судили и казнили преступниковъ; они издавали свои мѣстные законы; они воевали и мирились другъ съ другомъ, ни у кого не спрашивая на то позволенія; они придумывали и собирали налоги, и потоки доходивали собранныя суммы по собственному усмотрѣнію.

Въ то время большая часть городовъ средней и средней Италіи выработали себѣ слѣдующее внутреннее устройство. Во главѣ управленія они поставили двухъ консуловъ, которыхъ каждый годъ выбирались народомъ. Во время войны эти консулы командовали милиціей, а въ мирное время рѣшали тяжбы дѣла, наказывали нарушителей общественнаго спокойствія и наказывали преступниковъ. Въ важныхъ случаяхъ консулы обязаны были созывать *советъ доверенности* (*credenza*), которому поручено было заведывать городскими финансами, контролировать дѣйствія консуловъ и вести различные переговоры города съ другими правительствами. Другой советъ, болѣе многочисленный и заключающій въ себѣ обыкновенно не менѣе ста членовъ, назывался сенатомъ, или большимъ советомъ, или специальнымъ советомъ, или народнымъ советомъ. Онъ обязанъ былъ готовить и обсуживать тѣ указы или законопроекты, которые потомъ представлялись на утвержденіе народному собранію, сходившемуся на площади при звонѣ большого колокола. Этому собранію, которое называлось *парламентомъ*, принадлежала верховная власть во всѣхъ возможныхъ дѣлахъ. Но почти во всѣхъ итальянскихъ городахъ было запрещено закономъ представлять народному собранію такіа предложенія, которыя не были предварительно рассмотрѣны и одобрены въ советѣ *credenza* и въ сенатѣ. Члены этихъ двухъ советовъ также выбирались народомъ.

Послѣ смерти Отона III нѣмецкіе князья признали своимъ королемъ герцога баварскаго Генриха, который вступилъ на престолъ подъ именемъ Генриха II. Тутъ между итальянцами и нѣмцами произошло недоразумѣніе. Итальянцы полагали, что они были связаны только съ династіей Отона великаго. Нѣмцы напротивъ того утверждали, что Италія на вѣчныя времена соединилась съ Германіей и обязана всегда признавать своимъ королемъ того человѣка, на котораго ей будутъ указывать нѣмецкіе князья. Генрихъ II держался нѣмецкой теоріи; но это нѣсколько не помѣшало итальянскимъ магнатамъ собраться въ Павію и выбрать себѣ въ короля Ардуина, маркиза или маркграфа иврейскаго. Ломбардскіе города были тогда настолько самостоятельны и сильны, что уже соперничали и враждовали между собою; Миланъ находился въ постоянной ссорѣ съ Павіей. Такъ какъ избра-

Ардуина было сдѣлано въ Павіи, то Миланъ съ стороны Генриха II и пригласилъ его въ Италію. Архіепископъ миланскій, изъ богатѣйшихъ и сильнѣйшихъ италіан-прелатовъ, созвалъ своихъ союзниковъ и рженцевъ на Ронкальскомъ полѣ, на ко-мъ во времена ломбардскихъ королей со-брались народныя собранія, и провозгласилъ его королемъ Италіи.

1004 году Генрихъ вступилъ въ свое по-ролевство и принялъ италіанскую корону у архіепископа миланскаго въ томъ са-момъ городѣ, въ которомъ магнаты выбрали Ар-дуина. Въ самый день коронаціи пьяные нѣ-которые солдаты стали оскорблять павійскихъ и миланскихъ; ударили въ набѣтъ, взялись за ору-жия; начали драться; улицы тотчасъ покрылись тѣлами; дворецъ, въ которомъ находился король, былъ осажденъ, толпа вооруженныхъ солдатъ шла на приступъ, и тѣлохранители короля съ трудомъ выдерживали ихъ натискъ, придворные Генриха продолжали храбриться, кричали, что весь этотъ уличный шумъ надѣ-лалъ только рабочая сволочь, которую немедленно надо по-бить, усмирять и проучать нѣмецкіе воины. Силы Генриха стояли въ это время за-мѣтно; услышавъ шумъ, нѣмцы пошли выру-чать своего короля; но добраться до дворца было трудно, потому что по дорогѣ надо было и разрушать десятки баррикадъ. Чтобы спасти гражданъ отъ дворца, нѣмцы подожгли дворъ; огонь быстро разлился по городу; граждане бросились тушить по-жаръ и спасать свое имущество, своихъ женъ и дѣтей. Пользуясь суматохой, Генрихъ благопо-лучно выбрался изъ дворца и присоединился къ своей войску. Затѣмъ началось усмиреніе сво-боднѣйшей королю и его придворнымъ нѣ-мецкихъ сильныхъ и неожиданныхъ ощущеній. Король сгорѣлъ до тла, и многія сотни ея жите-лей погибли подъ ударами нѣмецкихъ солдатъ. Нѣкоторые города стояли на его сто-нѣ; но не давали ему надъ собою никакой дѣй-ствительной власти, и даже не пускали его, признаннаго короля, въ свои стѣны. Ми-ланцы признавали своимъ королемъ Генриха и этимъ предлогомъ опустошали земли па-війцы, которые, признавая Ардуина, съ своей стороны не упускали случая напасть на милан-цевъ.

На самомъ же дѣлѣ и миланцы, и павійцы пользовались полной независимостью; имъ

не было никакого дѣла ни до Генриха, ни до Ардуина; и настоящею причиною ихъ продолжи-тельныхъ войнъ было вовсе не желаніе видѣть на италіанскомъ престолѣ того или другого пре-тендента, а просто то мелкое недоброжелатель-ство, которое очень часто возникаетъ между близкими сосѣдями и поддерживается каждый день множествомъ мелкихъ взаимныхъ оскорбле-ній, захватовъ, насмѣшекъ и попрековъ.

Въ 1014 году Генрихъ снова посѣтилъ Италію и принялъ въ Римѣ императорскую корону. Затѣмъ онъ уже не виѣшивался больше въ италі-анскія дѣла до самаго конца своей жизни. Арду-инъ, вскорѣ послѣ вторичной побѣды Генриха въ Италію, добровольно отрекся отъ престола и постригся въ монахи. Генрихъ II умеръ въ 1024 году, и тогда италіанцы снова попро-бовали отдѣлаться отъ Германіи, къ которой они никогда не чувствовали ни малѣйшей нѣжности. Они предложили корону сначала Роберту, ко-ролю французскому, потомъ Вильгельму, гер-цогу аквитанскому. Оба отказались. Оба сообра-зили по всей вѣроятности, что не стоитъ ввязы-ваться въ опасную и убыточную войну съ нѣмцами изъ за такой короны, которая не до-ставляетъ своему обладателю никакихъ суще-ственныхъ выгодъ и удовольствій, ни денегъ, ни власти. Послѣ неудачныхъ переговоровъ съ Робертомъ и съ Вильгельмомъ, италіанцы при-знали королемъ Конрада II, короля германскаго.

Можетъ возникнуть вопросъ: на что имъ нуженъ былъ король, который ни во что не виѣшивался и почти никогда не находился въ своемъ королевствѣ? Отвѣчать на этотъ вопросъ нетрудно. Имъ нуженъ былъ отсутствующій и недѣйствующій король именно для того, чтобы сдѣлать невозможнымъ существованіе присут-ствующаго и дѣйствующаго короля. Они хотѣли забросить свою корону за тридевять земель, на голову къ иностранцу именно для того, чтобы эта корона не досталась какому нибудь силь-ному туземцу, который, чего добраго, превра-тилъ бы политическую фикцію въ живую дѣй-ствительность. Правда, они сами отдавали корону своему земляку Ардуину но, во первыхъ, это было сдѣлано только въ пику нѣмцамъ; во вто-рыхъ, они терпѣли Ардуина только потому, что у него былъ сильный соперникъ, отнимавшій у него всякую возможность сдѣлаться опаснымъ; и въ третьихъ, сами приверженцы Ардуина постоянно заботились о томъ, чтобы этотъ при-сутствующій туземецъ былъ во всѣхъ отноше-ніяхъ также невиненъ и безвреденъ, какъ от-сутствующій иностранецъ.

Въ это время италіанцы очень мало заботи-лись о судьбѣ италіанскаго правительства. Можно сказать, что въ это время италіанцы по-немногу переставали быть италіанцами, и ста-новились миланцами, павійцами, брешіанцами, кремонянами, и такъ далѣе. Всѣ эти возникающіе

народцы хлопотали только о томъ, чтобы какъ можно лучше устроить свое отдѣльное, городское правительство. До общихъ итальянскихъ дѣлъ они не дотрогивались, тѣмъ болѣе, что всѣ эти общія дѣла ограничивались возложеніемъ желѣзной ломбардской короны на ту или другую голову, которой почти никогда не приходилось размышлять объ интересахъ Италіи. Если королевская власть не дѣлала Милану никакихъ притѣсненій и не вмѣшивалась въ его внутреннія дѣла, то миланскіе патріоты были совершенно удовлетворены и охотно мирились съ ея существованіемъ. Чтобы пойти дальше, чтобы спросить: зачѣмъ существуетъ королевская власть? миланскимъ патріотамъ надо было бы стать на общеталіанскую точку зрѣнія, а это было уже невозможно, именно потому, что городской партикуляризмъ сдѣлалъ уже слишкомъ большіе успѣхи.

При этомъ надо замѣтить, что уничтоженіе королевскаго сана въ Италіи было довольно затруднительно. Итальянцамъ пришлось бы столкнуться съ любимой игрушкой средневѣковаго общества, съ блестящей фикціей священной римской имперіи. Императору непременно надо было короноваться въ Римѣ. Эта коронація изображала собою высшую таинственную связь между императоромъ и папой, между матеріальною силой и религіозною святыней. Безъ этой коронаціи король германскій не имѣлъ бы уже ни малѣйшаго основанія называться *римскимъ императоромъ* и считаться главой христіанскаго міра. Но если бы Италія разорвала свою связь съ Германіей и уничтожила у себя королевское достоинство, то германскому королю была бы заперта дорога въ Римъ. Ему пришлось бы или торговаться насчетъ пропуска съ десятками мелкихъ республикъ, или идти на проломъ и брать приступомъ каждую ничтожную деревушку. При такихъ условіяхъ, путешествіе въ Римъ сдѣлалось бы на столько затруднительнымъ и убыточнымъ, что германскіе короли очень скоро отказались бы отъ императорскихъ почестей. Всѣ эти послѣдствія можно было предвидѣть заранее; поэтому можно сказать навѣрное, что посягательство итальянцевъ на королевское достоинство переполошило бы всѣхъ любителей величественной фикціи и превратилось бы въ такой же европейскій вопросъ, какимъ является въ XI вѣкѣ борьба императоровъ съ папами. Итальянцамъ пришлось бы для уничтоженія королевскаго сана не только провознести свое торжественное рѣшеніе въ народномъ собраніи, но еще кромѣ того поддержать это рѣшеніе силою оружія, въ упорной и ожесточенной борьбѣ съ нѣмцами, которые очень дорожили своей фантастической имперіей. Фикція продолжала существовать, потому что никому не хотѣлось тратить деньги и силы на ея разрушеніе.

Во времена Конрада II итальянское общество состояло изъ слѣдующихъ главныхъ элементовъ.

Выше всѣхъ стояли непосредственныя саны короля: герцоги, графы и маркизы, подствовавшіе *de jure* надъ городами и округами.

Рядомъ съ этими свѣтскими магнатами высшіе сановники церкви: архіепископы и нѣкоторые аббаты, бывшіе феодальными владѣтелями многихъ городовъ.

Далѣе слѣдовали простые дворяне, или *вассалы*, подчиненные магнатамъ и находившіеся такимъ образомъ двойной вассальной зависимости, во-первыхъ отъ какого нибудь вельможи, а во второй отъ короля.

Помѣщикамъ или вассаламъ были вѣнены сельскіе жители, находившіеся въ вассальной зависимости и называвшіеся *синами*.

Еще ниже вассалиновъ, но въ зависимости отъ тѣхъ же помѣщиковъ, находились и нѣкоторые крестіане, приписанные къ землѣ (*adscripti*) и составлявшіе неотдѣлимую часть помѣстья.

Наконецъ въ самомъ низу общества находились помѣщальскіе рабы, которыхъ можно было продавать и покупать поштучно.

Всѣ эти классы общества перессорились между собою въ первой половинѣ XI вѣка.

Сначала зашевелились вассалы. Къ нимъ высвободились изъ подъ власти магнатовъ, тогда вассалы очутились въ странномъ положеніи, очень оскорбительномъ для ихъ дворянской гордости. Горожане были низкаго происхожденія. Они не родъ отъ завоеваннаго племени. Они были томами римскихъ рабовъ, вольноотпущенниковъ и пролетаріевъ, всякой уличной сволочи. Горожане вассалы, потомки германскаго завоевателя, смотрѣли съ самымъ искреннимъ презрѣніемъ. По основнымъ феодальнымъ законамъ горожане были не вассалами, а подданными. Они были *tailles et corvéables*, то есть, магнаты могли гонять ихъ на барщины, облагать ихъ какими угодно оброками и натуральными повинностями. Горожане были вѣрены на одну доску не съ вассалами, а съ крѣпостными. Вся разница между тѣми и другими состояла по закону въ томъ, что крѣпостные крѣпленные къ деревнямъ, обязаны были обрабатывать земледѣліемъ, а горожане, приписанные къ городамъ, обязаны были заниматься промышленностью и торговлей. Но именно послѣднее обстоятельство и разрушило ногу мудрѣе предначертанія феодальнаго. Какъ ни старались магнаты стричь свѣтъ въ плотную, однако купцамъ и ремеслен-

се-таки удалось разжиться, потому что торговые обороты умѣютъ ускользать отъ самаго бдительнаго контроля, и деньги всегда находятъ возможность спрятаться отъ самаго корыстолюбиваго и безсовѣстнаго деспота. Комерческія предпріятія развиваютъ въ людяхъ смѣлливость отвагу; нажитыя деньги внушаютъ человѣку довѣріе къ собственнымъ силамъ и уваженіе къ общественному уму. Обогатившись своимъ трудомъ, человѣкъ желаетъ защищать свое богатство, какъ отъ мѣстнаго тирана, такъ и отъ всякихъ пришлыхъ грабителей. Когда это естественное желаніе возникаетъ разомъ въ нѣсколькихъ тысячахъ людей, одинаково смѣлливыхъ, бѣтальныхъ и предпримчивыхъ, и живущихъ мѣстѣ, въ одномъ городѣ, на пространствѣ какихъ нибудь двухъ или трехъ квадратныхъ верстъ, — тогда очень скоро пріискиваются и необходимыя средства самозащиты. Эти средства дѣйствительно нашлись, и вооруженныя гильдіи городовъ заставили понемногу всѣхъ тагнатовъ и прелатовъ отказаться отъ тѣхъ неограниченныхъ правъ, которыя были имъ предоставлены основными законами. Горожане сдѣлались хозяевами своихъ городовъ, а прелаты и магнаты превратились въ почетныхъ гостей, которымъ всѣ въ городѣ низко кланялись, но которымъ никто не повиновался. Видя, что сила не на ихъ сторонѣ, магнаты и прелаты избрали благую часть. Они уступили гражданамъ на всѣхъ пунктахъ, признали безъ дальнѣйшей борьбы совершившійся фактъ ихъ освобожденія, и расположивъ ихъ такимъ образомъ въ свою пользу, стали налегать на своихъ вассаловъ, то есть на помѣщиковъ или вавассоровъ. Такимъ образомъ, благородные вавассоры очутились въ гораздо болѣе зависимомъ и стѣсненномъ положеніи, чѣмъ городскіе простолюдины. Магнаты и прелаты стали отнимать у нихъ, по своему произволу, ихъ помѣстья, въ которыхъ вавассоры видѣли свое родовое имущество. Горожане охотно помогали въ этихъ случаяхъ своимъ бывшимъ патронамъ и съ радостью унижали помѣщиковъ, которые, во время своего пребыванія въ городахъ, отличались обыкновенно невыносимымъ высокомеріемъ и непобѣдимую наклонностью ко всевозможнымъ буйнымъ выходкамъ.

Архіепископъ миланскій Эрибертъ довелъ наконецъ, при помощи горожанъ, своихъ вассаловъ до такого отчаянія, что они всѣ разомъ взялись за оружіе. Вслѣдъ за ними поднялись помѣщики во всей Ломбардіи. Первое сраженіе между горожанами и вавассорами произошло на улицахъ Милана. Горожане побѣдили и выгнали дворянъ изъ города. Но какъ только дворяне вышли за городъ, къ нимъ подоспѣли на помощь союзники со всѣхъ концовъ Ломбардіи. Въ открытомъ полѣ перевѣсъ оказался на сторонѣ помѣщиковъ. Архіепископъ вмѣстѣ съ горожанами былъ разбитъ при Кампо-Мало.

Тогда въ это дѣло вмѣшался Конрадъ II. Онъ пришелъ съ войскомъ въ Павію, собралъ тамъ сеймъ, принявъ сторону вавассоровъ и даже посадилъ подъ арестъ архіепископа Эриберта и трехъ епископовъ, шедшихъ по слѣдамъ этого воинственнаго и властолюбиваго прелата. Но тутъ обнаружилось немедленно безсиліе королевской власти. Арестованные прелаты убѣжали и воротились въ свои города. Конрадъ погнался за Эрибертомъ и подошелъ къ Милану. Миланцы заперли ворота, отразили всѣ атаки Конрада и отстояли такимъ образомъ своего зазорнаго архіепископа.

Пользуясь общей суматохой, вавассины также взяли за оружіе, чтобы улучшить свое положеніе и обуздать непомятую заносчивость своихъ ближайшихъ начальниковъ, вавассоровъ. За вавассинами потянулись крѣпостные и рабы, требуя всеобщаго освобожденія. Общество взволновалось такимъ образомъ до самаго дна. Результаты этого волненія были недурны. Рабовъ отпустили на волю; положеніе крестьянъ значительно улучшилось; крѣпостные превратились въ свободныхъ арендаторовъ; даже сами вавассоры остались въ барышахъ, потому что магнаты признали ихъ наследственные права на помѣстья. Увидѣвъ на дѣлѣ могущество и храбрость горожанъ, многіе помѣщики отложили въ сторону свою аристократическую гордость и пожелали получить право гражданства для себя и для своихъ потомковъ въ тѣхъ городахъ, возлѣ которыхъ находились ихъ помѣстья. Когда большая часть итальянскихъ дворянъ приписалась такимъ образомъ къ городамъ, тогда распаденіе Италіи на множество самостоятельныхъ республикъ оказалось довершеннымъ.

Конрадъ II умеръ въ 1039 году. Вскорѣ послѣ его смерти состоялось замиреніе Ломбардіи, но возстановленное спокойствіе продолжалось всего два года. Помѣщики, приписавшіеся къ Милану, ухитрились занять всѣ важныя городскія должности. Консулы, начальники милиціонныхъ отрядовъ, хранители городскихъ воротъ, всѣ были изъ дворянъ, и всѣ оказывали особенное благоволеніе людямъ своего сословія. Горожане признавали военную опытность дворянъ, поэтому сразу слишкомъ довѣрчиво уступили имъ первенство во всемъ. Дворяне не замедлили зазваться и набуянить. Въ 1041 году, одинъ дворянинъ, среди бѣлаго дня, отколотилъ палкой на улицѣ какого-то простаго гражданина. Тутъ мѣра терпѣнія переполнилась. Весь народъ принялъ сторону обиженнаго, поднялъ оружіе и отставилъ отъ должности всѣхъ своихъ начальниковъ, заподозрѣнныхъ въ аристократическихъ тенденціяхъ. Во главѣ возмущившагося народа очутился однако же дворянинъ Ланцоне; его сдѣлали предѣлателемъ совѣта довѣренности (sgedenza); вслѣдъ затѣмъ народъ выбралъ себѣ новыхъ консуловъ изъ плебеевъ и покъ ихъ

начальствомъ пошелъ штурмовать укрѣпленные дома дворянъ, не хотѣвшихъ признавать совершившійся переворотъ. Многіе изъ этихъ домовъ выдержали правильную осаду, и потому были скрыты до основанія; на улицахъ произошло нѣсколько кровопролитныхъ сраженій, послѣ которыхъ дворяне бѣжали изъ города вмѣстѣ съ своими семействами. За городомъ они собрали вокругъ себя своихъ деревенскихъ вассаловъ, и тогда перевѣсъ оказался на ихъ сторонѣ. Война затянулась на нѣсколько лѣтъ. Дворяне не въ силахъ были овладѣть Миланомъ; а миланцы, въ свою очередь, не могли выбить дворянъ изъ ихъ укрѣпленныхъ замковъ. И тѣ, и другіе старались держать другъ друга на пищѣ св. Антонія и съ величайшимъ усердіемъ опустошали по нѣскольку разъ въ годъ роскошныя поля, сады и луга Ломбардіи. Наконецъ Ланцоне, который во все это время пользовался полною довѣренностью гражданъ—отправился въ Германію и обратился къ королю Генриху III съ просьбой о помощи. Королю было очень пріятно вмѣшаться въ дѣла города, который уже считалъ себя совершенно самостоятельнымъ. Король предложилъ Ланцоне 4.000 всадниковъ, и даже настоятельно потребовалъ, чтобы ихъ немедленно впустили въ городъ, когда они придутъ изъ Германіи. Ланцоне воротился въ Миланъ и объявилъ объ этой предстоящей помощи своимъ согражданамъ, которые уже сильно страдали отъ голода. Но вслѣдъ за тѣмъ онъ повидался съ вождями дворянской партіи и объяснилъ имъ, что съ приходомъ четырехъ тысячъ нѣмцевъ свобода Милана подвергнется жестокой опасности. Убѣжденія Ланцоне подѣйствовали. Свобода города была уже дорога даже для дворянъ, не смотря на то, что они еще очень недавно сдѣлались его гражданами. Впустить въ городъ войско собственнаго короля значило, по ихъ единодушному мнѣнію, погубить свободу. Чтобы избавить Миланъ отъ этой опасности, дворяне поспѣшно заключили миръ съ горожанами, раздѣлили съ ними полюбовно городскія должности и отправили къ начальнику нѣмецкаго отряда извѣстіе о томъ, что Миланъ уже не нуждается въ его услугахъ.

VI.

предшественники гильдебранда.

Царствованіе Генриха III составляетъ введеніе къ великой борьбѣ папъ съ императорами. Въ моихъ историческихъ статьяхъ я уже не разъ говорилъ объ этой борьбѣ и старался объяснить читателямъ ея значеніе. Но мнѣ кажется, что мой взглядъ грѣшилъ до нѣкоторой степени односторонностью. Я видѣлъ въ папахъ только представителей средневѣковаго суевѣрія и относился къ нимъ слишкомъ враждебно. Я упускалъ изъ виду, что умственная апатія гораздо хуже самаго мрачнаго суевѣрія и гораздо вред-

нѣе самаго кроваваго фанатизма. Эта умственная апатія, погубившая византійскую имперію, угрожала средневѣковой Европѣ въ то время, когда варвары, основавшіе прочныя германскія общества и занявшіеся земледѣліемъ и промышленностью, начали по немногу утрачивать свою дикую и безпокойную воинственность. Въ это время безкорыстная любознательность еще не существовала, практическая польза изъ научныхъ изслѣдованій была еще неизвѣстна; процессъ мышленія былъ для большинства людей тяжелымъ и мучительнымъ трудомъ; чтобы шевелить тогдашніе умы, здоровые и свѣжіе, лѣнныя и неповоротливыя, надо было вложить передъ каждымъ человекомъ тысячу вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ было совершенно необходимо для его благополучія и для спокойствія его совѣсти. Надо было поставить эти вопросы такъ, чтобы человекъ не могъ отъ нихъ отвернуться, чтобы онъ непременно былъ принужденъ рѣшить ихъ такъ или иначе, отвѣтъ на нихъ да или нѣтъ.

У средневѣковаго человека былъ свой нравственный кодексъ, въ которомъ ясно и отчетливо были записаны всѣ его обязанности; средневѣковый человекъ зналъ, что онъ долженъ платить, какъ семьянинъ, какъ членъ феодальнаго общества, какъ благочестивый сынъ католической церкви. Всѣ вопросы жизни были рѣшены заранѣе, и человекъ былъ спокоенъ; готовые рѣшенія удовлетворяли всѣмъ нехитрымъ и немногосложнымъ требованіямъ его ума, его чувства, его совѣсти и его воображенія. Средневѣковой человекъ очень дорожилъ своимъ умственнымъ спокойствіемъ, охранялъ его всѣми средствами, и въ каждомъ случаѣ нарушителя этого спокойствія, въ каждой неволью сомнѣвающейся личности видѣлъ непримиримаго врага и отъявленнаго злодѣя. Между тѣмъ вся политическая и умственная будущность Европы, и даже всего человечества зависѣла отъ нарушенія того самодовольнаго спокойствія, которое составляло гордость и радость средневѣковыхъ людей. Весь нравственный кодексъ правъ и обязанностей долженъ былъ, теченіе многихъ столѣтій, подвергаться, съ первой строки до послѣдней, самой упорной, самой тщательной, самой строгой, самой разносторонней и радикальной критикѣ. Безъ этого невозможно было никакое усовершенствованіе. И эту критику должны были производить сами же средневѣковые люди, по мнѣнію которыхъ данный кодексъ стоялъ неизмѣримо выше всякой критики.

Какъ же могло это сдѣлаться? Повидимому это было невозможно, повидимому умственное спокойствіе было неразрушимо; повидимому критикѣ не откуда было родиться и нечѣмъ было питаться. Въ самомъ дѣлѣ, готовые рѣшенія должны были оставаться обязательными и не-

прикосновенными до тѣхъ поръ, пока въ нихъ не обнаружилось бы безысходное и неистребимое внутреннее противорѣчіе. Для рожденія и развитія критики было необходимо, чтобы весь міръ средневѣкового человѣка раскололся пополамъ, и чтобы на каждой изъ двухъ половинокъ очутилось по одной изъ самыхъ священныхъ обязанностей, предписанныхъ человѣку его кодексомъ. Тогда средневѣковому человѣку поневолѣ пришлось бы выбирать; а чтобы сдѣлать выборъ, надо разсматривать, сравнивать, взвѣшивать, оцѣнивать, анализировать; надо много, долго и добросовѣстно размышлять, и размышлять именно о тѣхъ высшихъ вопросахъ жизни, которые разъ въ всегда были почислены рѣшенными.

Въ XI вѣкѣ міръ средневѣкового человѣка дѣйствительно раскололся.

Папа поссорился съ императоромъ, и ссора ихъ затянулась на три столѣтія. Жизнь сама приступила къ средневѣковому человѣку съ мучительно неотразимыми вопросами. Куда идти, направо или налево? Кому измѣнить, папѣ или императору? Чѣмъ остаться, благочестивымъ католикомъ или вѣрнымъ подданнымъ?—Хочешь или не хочешь, а надъ этими вопросами надо задуматься, нельзя, невозможно не задуматься. Нейтралитетъ здѣсь немыслимъ. Устраниться отъ борьбы значитъ измѣнить обоимъ: и папѣ, и императору, значитъ нарушить всѣ обязанности, значитъ погубить себя не только въ глазахъ обѣихъ враждебныхъ партій, но даже въ глазахъ собственной совѣсти. Надо обсудить вопросъ и затѣмъ рѣшиться. Но что такое въ данномъ случаѣ *значитъ обсудить вопросъ*? Это значитъ разобратъ и рѣшить силами собственного индивидуального ума, кто правъ и кто виноватъ, папа или императоръ. А для этого надо выяснитъ себѣ, что такое государство? что такое религія и чѣмъ она должна быть? въ чемъ состоитъ назначеніе человѣка?—Словомъ, надо окунуться въ самыя глубокія пучины философіи, догматики, исторіи, политики и юриспруденціи.

Конечно только самое незначительное меньшинство способно отважиться на такой подвигъ изслѣдованія и выполнить его во всемъ его объемъ. Но и того довольно, что это меньшинство, состоящее изъ самыхъ сильныхъ головъ даннаго общества, находитъ себѣ, въ самыхъ животрепещущихъ фактахъ современной дѣйствительности, достаточныя побужденія для такого напряженного и серьезнаго умственнаго труда, въ которомъ могутъ развернуться и закалиться великолѣпнѣйшія и полезнѣйшія силы человѣческаго ума. И того довольно, что это геніальное меньшинство, работая въ самыхъ глубокихъ тайникахъ философской и догматической учености, не разобщается съ интересами массы, и трудится постоянно надъ такими вопросами, которые, въ это же время, волнуютъ и озабочи-

ваютъ простыхъ людей, старающихся во что бы то ни стало отыскать себѣ какое нибудь практическое рѣшеніе. Когда первоклассныя умы работаютъ изъ всѣхъ силъ, и когда масса интересуется если не процессомъ, то по крайней мѣрѣ окончательными результатами ихъ трудовъ, тогда можно смѣло утверждать, что въ данномъ обществѣ кипитъ живая и свѣжая умственная дѣятельность, которая постоянно будетъ усиливаться и очищаться и наконецъ, рано или поздно, подчинитъ навсегда своему вѣчно-обновляющему вліянію всѣ отправления общественной жизни.

Во время великой борьбы средневѣковыхъ властей, настоящіе интересы человѣчества, интересы, непонятные тогдашнимъ мыслителямъ и дѣятелямъ, но понятные всякому просвѣщенному европейскому историку, требовали не того, чтобы папа или императоръ одержалъ побѣду, а того, чтобы они взаимно уравновѣшивали другъ друга, чтобы борьба между ними тянулась какъ можно дольше, и чтобы они оба, такимъ образомъ, были поставлены въ необходимость постоянно возбуждать и усиливать умственное движеніе. Въ великой средневѣковой борьбѣ не было ни прогрессистовъ, ни ретроградовъ. Здѣсь историкъ не можетъ найти и не долженъ искать такой партіи, которая постоянно заслуживала бы его сочувствіе. Послѣ побѣды, на чью бы сторону она ни склонилась, побѣдитель оказался бы во всякомъ случаѣ злѣйшимъ врагомъ умственнаго движенія и политической свободы. А во время борьбы, обѣ партіи были одинаково полезны, потому что каждая изъ нихъ самымъ фактомъ своего существованія мѣшала торжеству своего противника, устраняла возможность примиренія и разрушала умственное спокойствіе средневѣковаго человѣка. Въ этомъ отношеніи, мрачный фанатикъ Григорій IX, учредитель инквизиціи, оказывалъ Европѣ такую же важную услугу, какъ и его противникъ, умный и высокообразованный Фридрихъ II.

Мысль о верховномъ господствѣ папы надъ всѣми правителями христіанскаго міра родилась, развернулась и ворвалась въ жизнь съ изумительной быстротой. Эту баснословно грандіозную мысль воспаталъ въ своей горячей головѣ нѣмецкій монахъ Гильдебрандъ. Сдѣлавшись папою подъ именемъ Григорія VII, тотъ же Гильдебрандъ выпустилъ свою любимую идею на свѣтъ и навсегда перессорилъ между собою вышнихъ представителей обѣихъ властей, свѣтской и духовной. При всемъ моемъ уваженіи къ *общимъ причинамъ*, я долженъ сказать рѣшительно, что великая борьба императоровъ съ папами, борьба, повлекшая за собою неисчислимыя послѣдствія, была порождена личностью монаха Гильдебранда. И мнѣ кажется, что эта личность была не только ближайшимъ поводомъ къ борьбѣ, но даже настоящей причиной борьбы.

Если бы въ XI вѣкѣ не было на свѣтѣ одного гениальнаго фаватика, въ которомъ необузданная сила воображенія соединялась съ непоколебимымъ упрямствомъ и съ проникательнымъ умомъ великаго государственнаго человѣка, если бы, говорю я, не случилось такой рѣдкой комбинаціи блестящихъ и почти противоположныхъ качествъ, то дѣло могло бы обойтись безъ борьбы, и вся исторія европейской цивилизаціи могла вылиться въ другую, неизвѣстную намъ форму.

Читатели мои, воспитавшіе свои историческія убѣжденія на Боклѣ, принимаютъ конечно мои слова за жалкій и притомъ очень избитый софизмъ. Они подумаютъ вѣроятно, что послѣ этого для довершенія нелѣпости и позора, мнѣ остается только утверждать, что реформацію сдѣлалъ Лютеръ, а французскую революцію графъ Мирабо.

Позвольте. Будемъ разсуждать спокойно, не оскорбляя другъ друга заранѣе рѣзкими приговорами.

Какъ далеко простирается вліяніе личнаго ума и личнаго характера на общее теченіе историческихъ событій? Это вопросъ очень важный, очень трудный, до сихъ поръ нерѣшенный и совершенно недопускающій никакихъ гуртовыхъ отвѣтовъ. Чтобы сколько нибудь приблизиться къ удовлетворительному разрѣшенію этого вопроса, надо тщательно воздерживаться отъ преждевременныхъ обобщеній, надо разсматривать и обсуживать каждое важное событіе отдѣльно, не увлекаясь тѣми готовыми формулами, которыя уже выведены изъ разсмотрѣнія другихъ событий. Мы конечно знаемъ очень хорошо, что въ развитіи реформаціи и революціи отдѣльныя личности были только болѣе или менѣе даровитыми выразителями общихъ подробностей и исполнителями общихъ желаній. Но что же изъ этого слѣдуетъ? Имѣемъ ли мы право утверждать, что это всегда такъ бываетъ, и что иначе и быть не можетъ? Имѣемъ ли мы право тотчасъ же переносить на всѣ историческія событія тѣ идеи, къ которымъ насъ привело внимательное изученіе двухъ фактовъ?—Мнѣ кажется, что такой образъ дѣйствій былъ бы съ нашей стороны чрезвычайъ опрометчивымъ.

И такъ, будемъ разсматривать положеніе и поступки Григорія VII совершенно независимо отъ того, что мы знаемъ о дѣятельности другихъ крупныхъ личностей, напримѣръ Лютера и Мирабо.

До Карла великаго положеніе римскихъ папъ было очень неблагоустроено. Они формально признавали себя подданными греческаго императора, согласіе котораго считалось необходимымъ при посвященіи каждаго новаго папы. Городъ Римъ находился подъ управленіемъ префекта, который былъ подчиненъ экзарху равенскому, намістнику греческаго императора въ Италіи. Папа могъ конечно своимъ личнымъ характе-

ромъ заслужить себѣ любовь и уваженіе жителей; ему, какъ епископу, было очень трудно приобрести себѣ значительное вліяніе въ городѣ; но никакой официально-признанной власти онъ не имѣлъ, все свое могущество онъ долженъ былъ самъ завоевывать себѣ святостью своей жизни, превосходствомъ своего ума и силой характера. Лонгобарды постоянно тѣснили Римъ нѣсколько разъ пробовали присоединить его къ своимъ владѣніямъ. Греки почти совсѣмъ не цѣнили его. Въ началѣ VIII вѣка, иконоборческая ересь, водворившаяся въ Константинополѣ, прервала сношенія Рима съ восточной имперіей. Въ это же время Риму пришлось такъ платити лонгобардовъ, что папы стали постоянно обращаться къ франкамъ съ просьбой о помощи. Папа Стефанъ II вздумалъ даже написать къ отцу Карла великаго, Пипину, и ко всему франкскому народу письмо отъ имени апостола Петра. Этотъ маневръ дастъ намъ очень невыгодное понятіе о тогдшнемъ могуществѣ папы. Папа находится въ опасности и для полученія помощи дѣйствуетъ на воображеніе своей паствы именемъ апостола; стало быть, папа думаетъ, что его собственный авторитетъ недостаточенъ, что одинъ простой рассказъ объ его опасномъ положеніи не тронетъ читателей его письма, что его просьба или его приказанія останутся неимѣтельными. Конечно Стефанъ II оскорблялъ добрыхъ франковъ такимъ предположеніемъ. Франки и ихъ потомки французы всегда были расположены защищать папу и не потеряли этой благочестивой наклонности даже до нашихъ временъ, не смотря на легкомысленныя разсужденія Вольтера и его послѣдователей. Когда превратности судьбы привели Пія IX въ Газету, тогда французы тотчасъ отправились очищать Римъ отъ новыхъ лонгобардовъ. Но уже одно то обстоятельство, что Стефанъ считалъ нужнымъ пустить въ ходъ такое экстраординарное средство, показываетъ, до какой степени слаба была увѣренность папы въ собственномъ авторитетѣ.

Значитъ, авторитетъ былъ юнъ, слабъ, отверженъ сомнѣніямъ и колебаніямъ.

Тотъ же Стефанъ II возложилъ на Пипина корону меровинговъ и далъ ему и его сыновьямъ титулъ римскихъ патриціевъ. Предшественникъ Стефана, Захарія, одобрилъ низложеніе послѣдняго меровинга и вступленіе новой династіи на французскій престолъ. Впослѣдствіи конечно эти факты можно было перетолковать въ томъ смыслѣ, что папы уже въ VIII вѣкѣ распоряжались королевскими коронами и господствовали надъ Римомъ. Но въ свое время эти факты вовсе не имѣли такого обширнаго значенія. Пипинъ, подобно всякому узурпатору, чувствовалъ потребность къ чему нибудь прислониться и чѣмъ нибудь придать своей власти пріятный колоритъ законности, безъ котораго онъ пожалуй могъ бы обойтись, но который все-таки усво-

контельнымъ образомъ дѣйствовалъ на его нервы. Къ кому же ему было обратиться за желаемымъ одобреніемъ и поощреніемъ? Не къ сосѣднимъ же государямъ? Вѣдь это значило бы признать за ними право вмѣшиваться въ дѣла Франціи. Это было бы ни съ чѣмъ несообразно и очень унижительно для національной чести и для самого Пипина. Оставалось только обратиться къ папѣ, потому что его вмѣшательство было неопасно, и ему, какъ представителю религіи, можно было оказывать какіе угодно знаки уваженія, безъ ущерба для собственнаго достоинства. Папа самъ нуждался въ помощи Пипина; стало быть, можно было рассчитывать навѣрное, что онъ произнесетъ именно тѣ слова, которыя Пипину желательно было отъ него услышать.

Что же касается до производства Пипина и его дѣтей въ римскіе патриціи, то есть въ правители города Рима, то тутъ мы опять имѣемъ дѣло съ отчаяннымъ маневромъ, похожимъ на письмо съ того свѣта. Папа, какъ утопающій, хватается за всевозможныя соломинки. Онъ со страху готовъ произвести Пипина не только въ патриціи, но пожалуй даже и выше, лишь бы только Пипинъ согласился унять лонгобардовъ; это производство показываетъ только слабость и робость папы, шаткость его авторитета, на который онъ самъ не смѣетъ еще полагаться, но оно нисколько не доказываетъ того, что назначеніе римскихъ правителей когда нибудь прежде дѣйствительно зависѣло отъ папы. Исторія говоритъ положительно, что оно зависѣло отъ восточнаго императора; когда же прерывались сношенія Рима съ Византіей, тогда оно переходило къ римскому народу, который видѣлъ въ папѣ своего епископа, но никакъ не государя.

При Карлѣ великомъ папы держали себя тише воды, ниже травы. Скромность ихъ доходила до такихъ размѣровъ, что они позволяли Карлу хозяйничать и командовать даже въ области догмата. Скромность ихъ не измѣнила имъ даже тогда, когда Карлъ приказалъ одному изъ своихъ придворныхъ богослововъ написать книгу противъ почитанія иконъ.

За эту неизмѣнную покорность, Карлъ награждалъ папу цѣлою областью, которая однако ни при самомъ Карлѣ, ни при его потомкахъ, не поступала дѣйствительно подъ власть папы. При карловингахъ папѣ не удалось сдѣлаться владѣтельной особой; всѣ его права остались на бумагѣ, но за то папа сдѣлался самымъ богатымъ помѣщикомъ во всемъ Римѣ; ему было уступлено, на правахъ собственника, но не государя, значительное пространство земли въ бывшемъ равеннскомъ экзархатѣ, присоединенномъ къ новой западной имперіи.

Богатство стало привлекать на папскій престолъ такихъ людей, которые вовсе не отличались чистотой нравственности и нисколько не желали отречься отъ грѣховныхъ прелестей

бреннаго міра. Въ IX вѣкѣ духовное званіе сдѣлалось самой вѣрной дорогою къ деньгамъ, къ почестямъ и ко всевозможнымъ житейскимъ удовольствіямъ. Всѣ епископы, всѣ монастыри, всѣ приходскія церкви сдѣлались богатыми и сильными землевладѣльцами. Мухи, разумеется, со всѣхъ сторонъ полетѣли туда, гдѣ былъ собранъ медъ. Со свойственною имъ азартностью и предпримчивостью, эти мухи—любители доходныхъ и почетныхъ мѣстъ—стали бороться между собою всѣми возможными средствами. Въ Римѣ, гдѣ хранился медъ самаго высокаго достоинства, пылкость любителей дошла наконецъ до того, что въ X вѣкѣ почти ни одному папѣ не удалось ни добраться до престола честнымъ путемъ, ни умереть на престолѣ естественною смертію. Въ началѣ X вѣка всѣ папы были креатурами трехъ знатныхъ и богатыхъ женщинъ, имѣвшихъ безчисленное множество любовниковъ. Затѣмъ папскимъ престоломъ распоряжался, въ продолженіе двадцати-двухъ лѣтъ, Альберикъ, сынъ одной изъ этихъ женщинъ, Марозіи. Далѣе начинается господство трехъ Оттоновъ, продолжавшееся до начала слѣдующаго столѣтія. Въ это время папы зависѣли то отъ нѣмцевъ, то отъ знатныхъ римлянъ, смотря потому, гдѣ находился императоръ—въ Италіи или въ Германіи. Когда императоръ являлся въ Римъ, тогда онъ обыкновенно сгонялъ прочь папу, опозореннаго множествомъ гнусныхъ поступковъ, и сажалъ на его мѣсто какого нибудь приличнаго итальянскаго или нѣмецкаго прелата. Какъ только императоръ уходилъ изъ Рима, такъ римляне тотчасъ возмущались, римскіе магнаты начинали разбойничать, и новый папа, для спасенія своей жизни, бѣжалъ безъ оглядки, послѣ чего въ Римѣ начиналась новая борьба за очистившуюся вакансію. Тогда снова являлся императоръ; Римъ украшался висѣльницами и эшафотами, и на папскомъ престолѣ водворялось нѣкоторое благообразіе, вплоть до новаго удаленія императора въ Германію. Во все это время политическое значеніе папства было совершенно ничтожно; римляне ненавидили и презирали папу; они постоянно пробовали устроить у себя республиканское правительство, и ихъ попытки оказывались неудачными только потому, что Оттоны, при каждомъ своемъ появленіи въ Римѣ, уничтожали безъ остатка всѣ зародыши республиканской организаціи. Что же касается до папъ, то они, при всей своей ненависти къ идеѣ римской республики, сами по себѣ не могли ничего сдѣлать противъ нея, и умѣли только приносить императорамъ слезныя жалобы на своеволие римскаго народа. Подвергаясь презрѣнію простыхъ людей, защищая съ трудомъ свою жизнь противъ властолюбивыхъ магнатовъ, искавшихъ папскаго престола для себя или для своихъ родственниковъ, папы X вѣка не могли и думать о какомъ бы то ни было соперничествѣ съ императорами. Папы

заботились только о томъ, чтобы какъ нибудь усидѣть на своемъ мѣстѣ; эта задача была на столько замысловата, что поглощала все ихъ умственные силы, и все-таки оставалась неразрѣшенной; многимъ папамъ приходилось лѣзть съ престола въ тюрьму, гдѣ ихъ оставляли безъ пищи, или гдѣ имъ просто затягивали горло веревкой. Сила папъ заключалась въ это время или въ покровительствѣ императора, или въ родственныхъ связяхъ съ богатыми и знатными римскими семействами. Когда папѣ измѣняли эти двѣ опоры, тогда паденіе его становилось неизбежнымъ. Папское достоинство само по себѣ не только не доставляло папѣ никакого могущества, но даже не ограждало его собственною личностію отъ самаго грубого насилия.

VII.

ГИЛЬДЕБРАНДЪ.

Въ XI вѣкѣ папскимъ престоломъ владѣли, въ продолженіи тридцати-двухъ лѣтъ (1012—1044) графы Тускуланскіе, потомки знаменитой Марозіи. Послѣдній папа изъ этой фамилии, Бенедиктъ IX, попалъ на престолъ десятилѣтнимъ мальчикомъ. Жизнь этого юнаго папы была до такой степени неприлична и переполнена преступленіями, что римляне наконецъ, въ 1044 году, выгнали его изъ города и выбрали на его мѣсто Іоанна, епископа сабинскаго, который принялъ имя Сильвестра III. Бенедиктъ привелъ въ Римъ вооруженную шайку своихъ вассаловъ, и Сильвестръ принужденъ былъ бѣжать. Бенедиктъ снова захватилъ папскую тиару и вслѣдъ за тѣмъ продалъ ее одному священнику Іоанну, который считался въ Римѣ особенно благочестивымъ и добродѣтельнымъ человекомъ; этотъ покушатель принялъ имя Григорія VI.

Бенедиктъ въ скоромъ времени нарушилъ условіе, заключенное съ Григоріемъ и, получивши отъ него деньги, не отступилъ отъ своихъ притязаній на папское достоинство. Сильвестръ, съ своей стороны, считалъ себя законнымъ папою. Все трое претендентовъ нашли возможность войти въ Римъ и укрѣпиться въ различныхъ городскихъ кварталахъ. Бенедиктъ засѣдалъ въ церкви св. Іоанна, Григорій — въ церкви св. Маріи, а Сильвестръ — въ церкви св. Петра. Такія чудеса были уже на столько обыкновенны, что римляне даже перестали имъ удивляться. Папы ссорились и воевали между собой больше года. Въ 1046 году ихъ помирилъ германскій король, Генрихъ III. Онъ вошелъ въ Италію съ войскомъ и собралъ въ городкѣ Сутри соборъ, который отрѣшилъ отъ должности всѣхъ троихъ папъ и возвелъ на престолъ епископа бамбергскаго, рекомендованнаго самимъ королемъ. Передъ этимъ епископомъ, принявшимъ имя Климента II, опиравшимся на нѣмецкія войска, етушевались остальные претенденты.

Климентъ II короновалъ Генриха императорскіе короной, и съ этого времени до самой смерти Генриха III право назначать папъ принадлежало одному императору. Римскій народъ и римское духовенство были устранены отъ выборовъ; ближайшіе преемники Климента — Дамазъ II, Јенъ IX и Викторъ II, были назначены Генрихомъ III.

Самые ревностные католики не видѣли въ этомъ энергическомъ вмѣшательствѣ императора ничего незаконнаго и предосудительнаго; папы, назначенные Генрихомъ, были люди почтенные и благочестивые; они управляли дѣлами церкви спокойно и благоразумно, пользовались общимъ уваженіемъ и не встрѣчали себѣ нигдѣ ни сопротивленія, ни соперниковъ. Съ восшествіемъ на престолъ Климента II до смерти Генриха III, не было въ католическомъ мірѣ ни одного антипапы; ревностные католики радовались этому прекращенію скандаловъ, благословляли имя Генриха III и желали отъ души, чтобы водворенное имъ благообразіе упрочилось при его преемникахъ. Такъ какъ папство до того времени никогда не было великою силой, способною бороться съ свѣтскими правителями, то католики не имѣли никакой возможности и никакого основанія сокрушаться о томъ, что папа находится въ зависимости отъ императора. Гораздо лучше, почитнѣе и безопаснѣе было зависѣть отъ императора, чѣмъ отъ распутной женщины или отъ какого нибудь атамана разбойниковъ. А что папа не можетъ быть независимъ и силенъ, что онъ можетъ опираться на одно религіозное чувство католической Европы, объ этомъ никто не умѣлъ составить себѣ даже приблизительное понятіе. Эти обильные источники папскаго могущества надо было еще открыть; они были неизвѣстны, и до нихъ невозможно было добраться въ такое время, когда папы, въ своей собственной столицѣ, жили какъ разбойники и умирали въ тюрьмѣ мучительною смертію. Дѣятельность Гильдебранда начинается въ послѣдніе годы царствованія Генриха III.

Послѣ смерти Льва IX, римляне уполномочили Гильдебранда ходатайствовать передъ императоромъ о назначеніи въ папы того прелата, котораго онъ, Гильдебрандъ, найдетъ наиболѣе достойнымъ. Являясь такимъ образомъ представителемъ народа и духовенства, Гильдебрандъ указалъ Генриху на епископа айхштетскаго, и Генрихъ, уважая личный характеръ ходатая и видя въ его выборѣ совершенно основательный, охотно исполнилъ его желаніе. Епископъ айхштетскій сдѣлался папою, подъ именемъ Викторъ II. При Викторѣ II и при трехъ слѣдующихъ папахъ — при Стефанѣ IX, при Николаѣ II и при Александрѣ II — Гильдебрандъ пользовался постоянно неограниченнымъ вліяніемъ на все дѣла церковнаго управленія. Онъ былъ единственнымъ совѣтникомъ и полновластнымъ министромъ папы въ продолженіе двадцати лѣтъ. Въ это время онъ

выработалъ и провелъ въ жизнь цѣлый рядъ законодательныхъ мѣръ первостепенной важности, которыя всѣ клонились къ тому, чтобы возвысить духъ надъ матеріей, сдѣлать клириковъ настоящими представителями духовнаго начала, и затѣмъ подчинить ихъ господству весь католическій міръ. Генрихъ III умеръ въ 1056 году.

Въ 1058 году, Стефанъ IX объявилъ, по совѣту Гильдебранда, что бракъ несомнѣнъ съ священствомъ, что всѣ жены священниковъ — наложницы, и что всѣ священники, которые не разведутся съ своими женами, немедленно отлучаются отъ церкви.

Въ 1059 г. преемникъ Стефана, Николай II собралъ соборъ въ Латеранѣ, и, также по совѣту Гильдебранда, торжественно запретилъ клирикамъ принимать отъ свѣтскихъ людей какія бы то ни было церковныя бенефиціи...

На этомъ же соборѣ право выбирать папу было предоставлено кардиналамъ. Остальная часть римскаго духовенства и народъ должны были, по словамъ декрета, сообразоваться съ ихъ указаніями, и весь процессъ выбора долженъ былъ совершаться «съ соблюденіемъ должнаго уваженія къ королю Генриху, будущему императору, и при содѣйствіи его нунція, канцлера Ломбардіи, — которымъ апостольскій престолъ предоставилъ личную привилегію участвовать въ выборѣ своимъ согласіемъ».

Въ 1061 году, послѣ смерти Николая II, Гильдебрандъ сдѣлалъ еще шагъ впередъ. Подъ его руководствомъ совершились выборы новаго папы Александра II, и при этомъ, не смотря на опредѣленіе латеранскаго собора, избиратели не испрашивали согласія ни у Генриха, ни у его матери, управлявшей государствомъ во время его продолжительнаго малолѣтства, ни у его нунція, канцлера Ломбардіи.

Германскій дворъ, въ отвѣтъ на это оскорбленіе, выбралъ другого папу, Кадалоо, епископа пармскаго, которому удалось, при помощи враговъ Гильдебранда, проникнуть въ Римъ и одержать побѣду надъ войсками Александра. Кадалоо утвердился въ Ватиканѣ и принялъ имя Гоновіа II. Но потомъ его выгнали изъ Рима герцогъ тосканскій, и Александръ II воротился въ свой дворецъ.

Послѣ смерти Александра, въ 1073 году, папою сдѣлался самъ Гильдебрандъ, подъ именемъ Григорія VII.

Новому папѣ незачѣмъ было выдвигать впередъ какія нибудь новыя требованія. Ему надо было только поддерживать и развивать тѣ идеи, которыя, по его же совѣту, были торжественно заявлены его предшественниками. Безбрачіе духовенства и его полное освобожденіе отъ феодальной зависимости — этихъ двухъ принциповъ было совершенно достаточно для того, чтобы соорудить теократическое зданіе невиданныхъ размѣровъ. Заручившись этими двумя принци-

пами, надо было только идти на проломъ, не поддаваясь ни на какія соглашенія, не принимая никакихъ половинныхъ уступокъ, не смущаясь никакими препятствіями, презирая всѣ опасности и разбивая хладнокровно тысячи человѣческихъ существованій. Для всего этого требовалась конечно необыкновенная сила характера. Но эта сила, еще въ большей степени, необходима была прежде, тогда, когда Гильдебрандъ, черезъ своихъ предшественниковъ въ первый разъ формулировалъ свои основные принципы. Эти принципы, съ самаго начала, не могли рассчитывать ни на чью дѣятельную поддержку, потому что они, какъ выраженіе самаго чистаго и самаго строгаго спиритуализма, шли въ разрѣзъ со всѣми земными интересами.

Декретъ о безбрачіи духовенства возбудилъ противъ себя цѣлую бурю; многіе священники и даже нѣкоторые епископы были обвиняемы законнѣйшимъ образомъ; всѣ ихъ семейныя связи обрывались теперь вдругъ, по необъяснимому для нихъ капризу папы; ихъ жены теряли всякую респектабельность; ихъ дѣти оказывались побочными дѣтьми; съ такимъ неожиданнымъ ударомъ невозможно было помириться добровольно; миланское духовенство отказалось повиноваться, сослалось на указанія св. Амвросія, положительно разрѣшившаго браки священниковъ, и наконецъ противопоставило папскому декрету рѣшеніе мѣстнаго собора, созваннаго нарочно для обсужденія этого вопроса. Кого поражалъ и оскорблялъ папскій декретъ — это было ясно; но кого онъ могъ расположить въ свою пользу — это было покрыто мракомъ неизвѣстности. Нанося жестокой ударъ женатымъ священникамъ, декретъ о безбрачіи никакъ не могъ рассчитывать на особенное сочувствіе монашескаго духовенства. При прежнемъ порядкѣ, монахъ пользовался особеннымъ уваженіемъ, какъ человѣкъ, наложившій на себя добровольно такіе тяжкіе обѣты, которые не всякому священнику оказываются по силамъ. При прежнемъ порядкѣ, женатый клирикъ стоялъ выше мірянина, а монахъ выше женатаго клирика. Послѣ папскаго декрета, всѣ клирики должны были сдѣлаться монахами, и слѣдовательно прежнимъ монахамъ приходилось спуститься съ третьей ступеньки на вторую. Сдѣлавшись обязательнымъ, монашескій подвигъ долженъ былъ потерять въ глазахъ массы часть своей грандіозности. Всѣ духовенства въ цѣломъ его составѣ должны были увеличиться, но специальный вѣтъ монашества долженъ былъ уменьшиться, именно потому, что монахъ дѣлался обыденнымъ явленіемъ для жителей каждой деревни. Стало быть, монахамъ не было никакого особеннаго интереса ратовать въ пользу декрета о безбрачіи. Народъ конечно уважалъ клириковъ, отказывавшихся отъ брака, больше чѣмъ женатыхъ священниковъ, обремененныхъ семейными заботами и по-

груженныхъ въ хозяйственныя дразги; но при рѣшеніи спорныхъ догматическихъ вопросовъ, народъ обыкновенно соглашался съ своимъ духовенствомъ и считалъ еретиками тѣхъ людей, которыхъ духовенство клеймило этимъ названіемъ. Ни папа, ни его ближайшіе совѣтники, не могли имѣть прямыхъ сношеній съ народными массами. Естественными и необходимыми посредниками между массами и бывшимъ духовнымъ начальствомъ были все-таки простые священники и монахи. Поэтому провести при помощи массъ реформу, несприятную для низшаго духовенства, было очень мудрено. Проходя черезъ руки низшаго духовенства, извѣстіе о реформѣ легко могло превратиться въ ужасную вѣсть о томъ, что папа сдѣлался еретикомъ и колдуномъ, продалъ душу дьяволу и повлялся ему погубить чистоту католическаго ученія. Массы повѣрили бы этому извѣстію, во-первыхъ потому, что въ тогдашней Европѣ кромѣ клириковъ, почти совсѣмъ не было грамотныхъ людей, во-вторыхъ потому, что обвиненіе въ ереси и въ колдовствѣ было въ то время очень обыкновенно и наконецъ, въ третьихъ потому, что Римъ уже давно изумлялъ всю Европу самыми разнообразными скандалами. Словомъ, Стефанъ IX и Гильдебрандъ очутились бы въ самомъ двусмысленномъ и опасномъ положеніи, если бы противники ихъ реформы осмѣлились дѣйствовать единодушно и сумѣли найти себѣ искусныхъ и твердыхъ вождей.

На что же собственно рассчитывалъ Гильдебрандъ, пускаясь въ такое рискованное предпріятіе?

Гильдебрандъ понималъ инстинктомъ своего генія, что никто изъ его мелкихъ противниковъ не устоитъ противъ его желѣзной воли; онъ вѣрилъ въ силу своей идеи; онъ вѣрилъ также въ безграничную твердость собственной личности; онъ зналъ, что онъ сумѣетъ и не побоялся пустить въ ходъ всевозможныя, пожалуй даже самыя революціонныя средства; вокругъ него группировалась горсть слѣпо преданныхъ ему фанатиковъ, ярыхъ и неустрашимыхъ спиритуалистовъ, находившихся подъ обаяніемъ его генія и готовыхъ, по первому его слову, отправиться на край свѣта за мученическимъ вѣнцомъ. Самъ онъ, въ случаѣ неудачи, вовсе не прочь былъ отъ того, чтобы погибнуть за свое дѣло. Послѣ этого, чего же ему было бояться, и отчего же ему было не начать такой борьбы, въ которой по видимому все шансы были противъ него?

Но сама собою эта борьба папства съ естественными стремленіями низшаго духовенства не могла ни возникнуть, ни рѣшиться въ ту сторону, въ которую ее рѣшилъ суровый геній Гильдебранда. Десятки посредственностей могутъ сдѣлать работу одного титана въ томъ случаѣ, когда приходится плыть по теченію человѣческихъ

интересовъ и страстей. Но сдѣлать дѣло, именно противное человѣческой природѣ, преволить тысячи людей къ тому, что нисколько не соответствуетъ ихъ выгодамъ и потребностямъ, это доступно только титану, поглощенному одностороннимъ міросозерцаніемъ.

Тутъ титанъ оказывается незамѣнимымъ. Только ошибка титана можетъ сдѣлаться катастрофой для всѣхъ его современниковъ и изменить своимъ вліяніемъ бытовыя формы и послѣдующихъ столѣтій.

Возстановивъ противъ себя низшее духовенство, Гильдебрандъ на слѣдующій годъ завязалъ еще болѣе опасную борьбу со всѣми феодальными властями. Каждый епископскій престолъ, каждая церковь, каждый монастырь имѣли по одному или по нѣсколькимъ помѣстіямъ, находившимся въ феодальной зависимости отъ императора, отъ королей, отъ герцоговъ, или отъ какихъ нибудь другихъ свѣтскихъ лицъ. Епископы, аббаты и священники, вступая въ должность, приносили этому свѣтскому сюзерену установленную и общеобязательную присягу въ вѣрности. Если сюзеренъ былъ дурно расположенъ къ помѣстному духовному лицу, то онъ могъ не принять его присяги и отказать ему такимъ образомъ въ правахъ на помѣстье. Безъ помѣстья сама должность не имѣла никакой привлекательности. Поэтому во избѣжаніе такихъ несприятныхъ столкновеній между поступающимъ на мѣсто клирикомъ и сюзереномъ помѣстья устанавливался тотъ обычай, что поступающій запрашивалъ предварительнаго согласія сюзерена и становился епископомъ или аббатомъ только тогда, когда былъ увѣренъ, что отъ него не уйдутъ земли, приписанныя къ епископскому престолу или къ монастырю. Такимъ образомъ матерія одерживала рѣшительную и самую скандальную побѣду надъ духомъ. Короли, герцоги, графы, бароны, умѣвшіе только драгаться и безчинствовать, сдѣлались раздавателями церковныхъ должностей, насаждали на епископскія и аббатскія мѣста своихъ родственниковъ и любимчиковъ, и наконецъ повели обширную торговлю этими мѣстами, до которыхъ всегда было много охотниковъ.

Въ этомъ дѣлѣ даже мысль о реформѣ не могла возникнуть безъ вмѣшательства какого нибудь геніальнаго, неподкупно-честнаго и неустрашимаго спиритуалиста. Одни продавали мѣста, другіе ихъ покупали; одни оказывали милости, другіе ими пользовались. Грѣхъ и выгода дѣлались пополамъ, къ обоюдному удовольствію заинтересованныхъ сторонъ, которыя сосредоточивали въ своихъ рукахъ всю матеріальную силу и весь нравственный авторитетъ средневѣковаго общества. Кто же могъ протестовать и требовать реформы? Кто могъ поднять этотъ вопросъ и поддержать его?

Вы скажете пожалуй, что это могъ сдѣлать народъ, который не продавалъ и не покупалъ

мѣсть, не награждалъ своихъ фаворитовъ и самъ не пользовался наградами отъ богатыхъ милостивцевъ. Народъ дѣйствительно протестовалъ кое-гдѣ ересями и возстаніями, но его протесты были всегда до такой степени разрознены и необдуманы, что они не могли имѣть никакого существеннаго вліянія на измѣненіе введеннаго порядка. Довѣрчивая масса находилась совершенно въ рукахъ людей, продающихъ и покупающихъ доходныя мѣста; эта масса съ ужасомъ сторонилась отъ тѣхъ немногихъ обличителей, которые выдвигались изъ ея среды. Массу можно было усовѣстить копыями и запугать огнемъ чистилища. Съ этой стороны, продавцамъ и покупателямъ, милостивцамъ и фаворитамъ нечего было бояться.

Добродѣтельныя посредственности, честные, но безчестные наивные аскеты, могли протестовать и дѣйствительно протестовали чувствительными проповѣдями, въ которыхъ доказывалась феодальному міру необходимость покаяться, исправиться, проникнуться уваженіемъ къ святымъ, прекратить предосудительную торговлю мѣстами, на будущее время раздавать должности достойнымъ людямъ, а не искуснымъ льстецамъ и не щедрымъ разсыпателямъ звонкой монеты.

Феодальный міръ восхищался краснорѣчіемъ проповѣдниковъ, одобрялъ возвышенность ихъ чувствъ, проливалъ слезы умиленія и давалъ себѣ торжественное обѣщаніе выстроить нѣсколько новыхъ церквей, если удастся сорвать хорошую сумму денегъ съ будущихъ покупателей церковныхъ должностей. Дальше обѣта построить церковь или сходить на богомолье никакое раскаяніе феодальнаго міра не могло простираться, потому что дѣйствительное исправленіе равнялось для него самоуничтоженію. Самые честные люди не смѣли желать этого дѣйствительнаго исправленія; имъ хотѣлось, чтобы ихъ современники прониклись добродѣтельными стремленіями, но ихъ пугала такая перестройка общественныхъ отношеній, которая отняла бы у этихъ современниковъ возможность обогащаться разными неправдами. Эта перестройка казалась невозможною, потому что она должна была простирались слишкомъ далеко, затронуть интересы и права самыхъ сильныхъ особъ, и такимъ образомъ приготовить обществу длинный рядъ мучительныхъ потрясеній, которыхъ исходъ не могъ быть угаданъ заранѣе.

Чтобы прекратить скандальную торговлю церковными должностями, надо было перевернуть все установившіяся отношенія между церковью и государствомъ, надо было отнять у мірянъ всякое вліяніе на выборы и назначеніе клириковъ, и при этомъ, надо было прежде всего уничтожить общепризнанное и освященное вѣками право императора утверждать избраннаго папу.

Но общее теченіе событій шло совсѣмъ не къ тому, чтобы ослабить это право императора. На-

противъ того, императоръ Генрихъ III, безъ всякаго насилія, получилъ право не только утверждать избраннаго папу, но даже прямо выбирать и назначать его. Онъ пользовался этимъ правомъ такъ честно, умѣренно и благоразумно, что никому не давалъ повода къ жалобамъ и къ сопротивленію.

Никто не могъ сказать, чтобы какой нибудь императоръ когда нибудь посадилъ на папскій престолъ недостойнаго любимца или богатаго купателя. За то каждый могъ припомнить, какимъ образомъ папа Бенедиктъ IX сначала купилъ свою тиару у представителей народа и духовенства, а потомъ перепродалъ ее за хорошую цѣну Григорію VI. Если бы дѣла были предоставлены своему естественному теченію, если бы добродѣтельныя посредственности, занимавшія въ это время папскій престолъ, не нашли себѣ геніальнаго руководителя, умѣвшаго создавать событія, вмѣсто того, чтобы подчиняться имъ, — то папы, къ концу XI вѣка, сдѣлались бы, въ отношеніи къ нѣмецкимъ императорамъ, тѣмъ, чѣмъ были, въ отношеніи къ своимъ государямъ, византійскіе патріархи. Это совершенное подчиненіе папства было тѣмъ болѣе неизбежно, что на германскомъ престолѣ появлялись, одинъ за другимъ, продолженіе двухъ столѣтій, отъ Генриха III до Фридриха II, то есть до половины XIII вѣка, люди необыкновенно даровитые, твердые, мужественные и дѣятельные.

Освобожденіе церкви отъ феодальной зависимости представляло еще и другія трудности. Церковь владѣла землями. На эти земли феодалы-сюзерены имѣли самыя безспорныя права. Если клирики не хотѣли дѣлаться вассалами землевладѣльца, то ихъ никто къ этому и не принуждалъ. На ихъ личную свободу не посягалъ никто. Но какъ же распорядиться съ землею? Если клирикъ не желаетъ присягать сюзерену, то онъ долженъ или отказаться отъ земли, или отнять ее насильно у законнаго владѣтеля. Гильдебрандъ конечно очень радъ былъ обречь себя и всѣхъ своихъ сослуживцевъ на добровольную бѣдность, но сослуживцы смотрѣли на дѣло совсѣмъ другими глазами, и нисколько не желали покупать себѣ такой цѣною нравственную самостоятельность. — При своемъ безграничномъ презрѣніи къ матеріи, Гильдебрандъ не могъ уважать право собственности, поэтому онъ былъ готовъ, безъ дальнѣйшихъ церемоній, обратить свѣтскихъ сюзереновъ въ пользу церкви, если только эта споліація была необходима для независимости духовенства. Но свѣтскіе владѣльцы не чувствовали ни малѣйшаго презрѣнія къ матеріи и готовы были драться на смерть за свои священныя права. Куда ни кинь, вездѣ получался въ результатъ клинъ; весь теократическій планъ Гильдебранда былъ составленъ изъ неразрѣшимыхъ задачъ.

Превратить всѣхъ членовъ цѣлой многочислен-

ной корпораціи въ ангеловъ, или по меньшей мѣрѣ въ строгихъ аскетовъ — первая невозможность.

Развязать или разрубить узелъ феодальной зависимости, то есть пустить по міру клириковъ, или обобрать воинственныхъ магнатовъ — вторая невозможность.

Подчинить папѣ и императора, и королей — третья невозможность.

Эти три невозможности выходять изъ одной общей причины, именно изъ того обстоятельства, что никакое человѣческое общество не можетъ подчинить всѣ отправления своей жизни одной идѣ, какъ бы ни была эта идея возвышенна и прекрасна. У человѣческаго организма есть свои потребности, влеченія и страсти, которыхъ не можетъ задавить никакая доктрина. Въ теоріи всѣ средневѣковые люди утверждали единогласно, что человѣкъ прежде всего долженъ заботиться о спасеніи своей души. Но въ дѣйствительной жизни почти никто не подчинялъ своихъ поступковъ этой высшей цѣли. Для спасенія души, отъ человѣка вообще, а отъ клирика въ особенности, требовалось цѣломудріе. Но живой организмъ побуждалъ человѣка вообще, а слѣдовательно и клирика, искать себѣ любви и наслажденія. Для спасенія души отъ человѣка требовалось презрѣніе къ земнымъ благамъ. Но земныя блага соответствовали потребностямъ человѣческаго организма, и человѣкъ вмѣсто суроваго презрѣнія чувствовалъ къ нимъ самую страстную нѣжность. Для спасенія души отъ человѣка требовалось самоуничтоженіе, умерщвленіе собственной воли и пассивное повиновеніе высшимъ духовнымъ авторитетамъ. Но здоровый организмъ чувствовалъ свою силу, вырабатывалъ себѣ принципы кулачнаго права и крѣпко держался за эти любезные принципы даже во время своихъ объясненій съ высшими авторитетами. Всѣ эти самородные протесты буйнаго организма противъ возвышенной доктрины подвергались въ теоріи рѣшительному осужденію и назывались человѣческими слабостями. Но теорія оставалась теоріей, и ни у кого не доставало духу начать противъ этихъ *слабостей* серьезную истребительную войну. Многіе искренніе спиритуалисты уходили отъ этихъ ненавистныхъ слабостей въ уединеніе монастырской кельи, но никому не приходила въ голову титанически-смѣлая мысль перестроить весь міръ по такому плану, въ которомъ для этихъ слабостей не было бы мѣста. За подобную перестройку всего менѣе могли приняться тѣ папы, которыхъ характеры были цѣликомъ составлены изъ человѣческихъ слабостей. Невозможность этой перестройки была очевидна для всѣхъ людей, начиная отъ самыхъ близорукихъ и кончая самыми проницательными. Чтобы усомниться въ этой невозможности, чтобы довести въ себѣ это сомнѣніе до полного и страстнаго отрицанія и

чтобы наконецъ на этомъ отрицаніи всю свою дѣятельность — надо было имѣть совершенно исключительной умственной организаціей, такую организаціей, которая не сформировалась одинъ разъ въ тысячелѣтія, явился такая организація въ половинѣ XIII вѣка. Не выскажи она съ высоты папскаго престола самыхъ неосуществимыхъ требованій, — не объимъ властямъ не изъ за чего было бы бороться между собою; ихъ поссорили не выгоды, а принципы, проведенные до самаго конца съ такою умолимою послѣдовательностью, которая шла къ совершенному уничтоженію чуждыхъ слабостей. Воздержаться отъ этого послѣдовательнаго проведенія принциповъ было нетрудно; этимъ умѣнемъ воздерживаться дають и посредственности, вслѣдствіе своей лодушности, и гениальные люди, вслѣдствіе способности отличать возможное отъ невозможнаго. Нарушить это воздержаніе могла странная личность, въ которой послѣдняя чистота, смѣлость, энергія и разсудительность первокласснаго гения соединялись съ близостью или даже съ ослабленіемъ неизлечимой мономаніи. Когда эта личность произнесла свои странные требованія, когда этотъ великій и вѣсковый *enfant terrible* высказалъ свои выводы изъ общепризнанныхъ основныхъ принциповъ, тогда борьба сдѣлалась неизбежной, потому что преемники странной личности уже не могли ступить назадъ, не могли изгладить противное впечатлѣніе, не могли и не смѣли у величайшаго изъ своихъ предшественниковъ грубыхъ и дерзкихъ заблужденій. Съ этими доктринами, никакихъ заблужденій не было; требованіями Гильдебранда нарушались только законы человѣческой природы, которыхъ нисколько не заботились тогдашніе папы. Стало быть преемники Гильдебранда были поставлены въ необходимость защищать его требованія, которыхъ они однако сами не могли бы выдвинуть.

VIII.

ЗАМОКЪ КАНОССА И КРѢПОСТЬ ТРИБУС

Послѣ многихъ безуспѣшныхъ переговоровъ энергическихъ письменныхъ столкновений между королемъ Генрихомъ IV, желавшимъ сдѣлаться слугою папы, Григоріемъ VII въ 1076 году, собравъ въ Римѣ соборъ, объявилъ непокорнаго короля отъ церкви, объявилъ его недостойнымъ и неспособнымъ царствовать, и разрѣшилъ его подданнымъ отъ присяги. Поступокъ Григорія не имѣетъ себѣ въ чемъ шемъ ничего подобнаго. До него никто изъ папъ не считалъ себя въ правѣ распоряжаться королями. Никто изъ предшественниковъ Григорія не чувствовалъ въ себѣ на то ни достаточно власти, ни достаточно силы. Неслыханная

ая въ ходъ Григоріемъ VII, увѣнчалась блистательнымъ успѣхомъ. Противъ поднялась большая часть Германіи. Къ нимъ фанатикамъ присоединились всѣ покіе враги молодого короля. Генриху скоро съ такъ плохо, что онъ въ началѣ да принужденъ былъ пробраться тайкомъ и принести Григорію повинную Григорій находился въ это время въ замкѣ, принадлежавшемъ графинѣ Матильдѣ кой, самой яростной и самой могущественнѣйшей папскаго престола. Григорій я отправиться въ Германію и доканать своимъ присутствіемъ. Генрихъ послалъ ссу къ папѣ самыхъ важныхъ итальян- агнатовъ и прелатовъ, чтобы ихъ заступ- омъ выпросить себѣ прошеніе. Это хо- о итальянскихъ прелатовъ показываетъ ень ясно, что, преслѣдуя Генриха IV, нисколько не опирался на единодушное іе всей клирикальной корпораціи. Гри- величивалъ эту корпорацію противъ ся ной воли. Очень многіе клирики, и при- ь самыхъ знатныхъ, рѣшительно не одоб- ссоры съ королемъ и отъ души желали, а вошли въ свою старую колею. Когда и прелаты стали просить у папы пощады ихъ, Григорій сначала не хотѣлъ ничего. Потомъ онъ смягчился. «Если, сказалъ каеніе его чистосердечно, то пусть онъ, ь своего сокрушенія, сложить съ себя въ свою корону и всѣ знаки своего коро- достинства, и пусть онъ объявить го, послѣ своей неявки на судъ собора, наетъ себя недостойнымъ сана и титула — Съ точки зрѣнія Генриха и его союз- свѣтскихъ и духовныхъ, въ этой резо- было рѣшительно никакого смягченія; очки зрѣнія Григорія, Матильды и дру- кренихъ спиритуалистовъ, смягченіе нь большое: папа соглашался взять риговоръ отлученія. Чего же больше?— ригорія была непобѣдима. Если, рассу- , Генрихъ — ревностный католикъ, то, виду высшее благополучіе—примиреніе вью, — онъ долженъ съ радостью отка- ть престола и отъ всѣхъ суетныхъ благъ величія; если же для него корона дороже іія съ церковью, то значитъ, нѣтъ въ ннаго благочестія, и его надо погубить . Кто хотѣлъ казаться благочестивымъ мъ, тотъ не могъ ничего возражать про- го разсужденія. Но парламентары Ген- должали умолять папу, чтобы онъ не ь своимъ гнѣвомъ надломленного чело- да папа смягчился еще больше и поз- Генриху явиться лично въ Каноссу и ить тамъ передъ самимъ папою искрен- силу своего раскаянія.

ивши отъ своихъ ходатаевъ такой от-

вѣтъ, Генрихъ подумалъ по всей вѣроятности, что все можетъ уладиться полюбовно и что для этого стоитъ только потѣшить сердитаго старика умилительною выставкой королевской покорности. Генрихъ отправился въ Каноссу и твердо рѣшился подвергнуть себя возможнымъ унижительнымъ формальностямъ, удовлетворить всѣмъ требованіямъ папскаго тщеславія, выпить горькую чашу покаянія до самого дна, лишь бы только уломать старика, и потомъ, при его со- дѣйствіи, поправить свои разстроеныя дѣла. Чаша дѣйствительно оказалась неумѣренно горькою.

Замокъ Каносса былъ обнесенъ тремя стѣнами. Свита короля принуждена была остановиться, не доходя до первой стѣны, но самого Генриха выпустили за вторую стѣну; здѣсь, на дворѣ, ему предложили заняться подвигами покаянія. Время для такихъ подвиговъ было выбрано неудачно; дѣло происходило въ двадцатыхъ числахъ января; современники-очевидцы говорятъ положительно, что морозы стояли очень порядочные—разумѣ- ся, по итальянскому масштабу,—и что земля была покрыта снѣгомъ. На Генрихѣ не было не только царскихъ украшеній, но даже и мало-мальски порядочнаго платья; онъ былъ одѣтъ въ какое-то гнусное вретнище, которое почти совсѣмъ не защищало его отъ холода; онъ явился на дворъ замка босикомъ и безъ шапки, по церемоніалу, установленному для кающихся грѣшниковъ. На дворѣ онъ началъ класть поклоны, плакать, ры- дать, бить себя въ грудь и произносить жалкія слова. Онъ думалъ вѣроятно, что папа про- держитъ его въ такомъ положеніи два часа, по- томъ прикажетъ привести его къ себѣ. Въ такомъ ожиданіи прошелъ цѣлый день. Во все это время никто не вынесъ королю изъ замка ни куска хлѣба, ни стакана вина. Спутники короля, оста- вавшіеся далеко, за двумя оградами, также не могли ничѣмъ облегчить его положеніе. Такимъ образомъ Генрихъ соблюдалъ до поздняго вечера самый строгій постъ. Когда наступила ночь, Генриха вывели за ограду, и онъ отправился къ своимъ спутникамъ обогрѣваться, ужинать и бранить суроваго старика всѣми отборнѣйшими крѣпкими выраженіями, какія только были въ ходу между тогдашними лагерными героями.— На другой день Генрихъ опять въ томъ же кост- юмѣ и съ соблюденіемъ того же строгата поста продежурилъ на дворѣ до поздней ночи. На третій день повторилась также исторія. Можно было по- думать, что Григорій рѣшился уморить своего бывшаго врага медленной смертью. На четвертый день, Генрихъ по всей вѣроятности едва воло- чилъ ноги. Трудно себѣ вообразить такое желѣз- ное тѣлосложеніе, которое могло бы выдержать безнаказанно трехъ-дневное стояніе босыми но- гами на снѣгу или на мерзлой землѣ. Наконецъ на четвертый день Григорій потребовалъ къ себѣ измученнаго и больного короля, прочиталъ

ему длиннѣйшее и грознѣйшее наставленіе, заставляя его пролить много слезъ и совершить много коѣнопреклоненій, и снявъ съ него приговоръ отлученія,

Но—съ условіемъ! — Это условіе было предлестно. На Генриха налагалась обязанность подчиниться суду имперскихъ князей, которые должны были собраться, по приказанію папы; если Генрихъ оправдается передъ судомъ князей и папы, то онъ останется королемъ; если же судъ признаетъ его виновнымъ—онъ потеряетъ корону и будетъ наказанъ по всей строгости церковныхъ законовъ; впредь до приговора суда, Генриху не позволялось ни носить королевскія украшенія, ни принимать участіе въ государственныхъ дѣлахъ.

Такимъ образомъ, неумолимый папа не только унижилъ и измучилъ короля, но еще и показалъ ему наглядно, что его униженія и страданія не имѣютъ никакой цѣны, нисколько не вѣняются ему въ заслугу и рѣшительно не заглаживаютъ тѣхъ поступковъ, которые на языкъ строгихъ католиковъ назывались его преступленіями. — Всѣ просьбы прелатовъ, расположенныхъ къ Генриху, и всѣ мученическіе подвиги кающагося короля привели только къ тому, что папа согласился простить невинку Генриха на судъ римскаго собора. Все земное величіе лежало у ногъ Григорія VII, и Григорій не поколебался ни на минуту. Онъ не принялъ никакихъ уступокъ, не согласился ни на какіе компромиссы, не подалъ ни малѣйшей надежды на примиреніе. Онъ остался непреклонно твердымъ представителемъ отвлеченной идеи, во имя которой онъ требовалъ себѣ полного, безраздѣльнаго, безграничнаго, безусловнаго господства. Эти требованія были неосуществимы, но великая историческая заслуга Григорія VII именно въ томъ и состоитъ, что онъ своими явно неосуществимыми требованіями поднялъ такую борьбу, которая совершенно разбила узкое міросозерцаніе средневѣковаго человѣка.

Знаменитое покаяніе Генриха IV въ Каноссѣ обозначаетъ собою кульминаціонный пунктъ папскаго могущества. Ни прежде, ни послѣ этого событія, папство никогда не одерживало надъ свѣтской властью такой яркой и выразительной побѣды. А это событіе произошло двадцать лѣтъ спустя послѣ смерти того императора, который назначалъ папъ по своему благоусмотрѣнію. Изъ крайняго подчиненія папство сразу поднялось на высшую точку своего могущества. Можно ли сомнѣваться въ томъ, что это внезапное возвышеніе было дѣломъ одного человѣка?

Конечно Гильдебрандъ не могъ создать ни неувѣжества, ни легковѣрія, ни страстности и впечатлительности своихъ современниковъ. Всѣ эти свойства, составляющія необходимую подкладку для его дѣятельности, существовали сами по себѣ, совершенно независимо отъ ума и характера

какихъ бы то ни было крупныхъ или колоссальныхъ историческихъ дѣятелей. Міросозерцаніе средневѣковыхъ людей было такъ работано за долго до рожденія Гильдебранда, что это міросозерцаніе было на столько ясно опредѣленно, что оно открывало самый просторъ для инициативы крупныхъ и сильныхъ личностей.

Матеріалы для дѣятельности Григорія конечно находились въ современномъ ему состояніи. Но воспользоваться этими матеріалами или иначе—это зависѣло уже отъ личнаго характера самого дѣятеля. Дѣятельность Григорія VII не вытекала неизбѣжно изъ обстоятельствъ мѣста и времени. Эти обстоятельства дѣлали ее только *возможной*, но не для перваго встрѣчнаго, не для здравогомыслящаго человѣка, а напротивъ только для колоссальной и совершенно неповторимой личности. Массы готовы были повиноваться съ уваженіемъ самымъ громаднымъ завізанію духовной власти, но чтобы убѣдить дѣлать въ томъ, какъ далеко простирается почтительная довѣрчивость современнаго, чтобы закинуть свои требованія такъ далеко, какъ это сдѣлалъ Григорій VII—надо было дать безграничной смѣлостью и невозможной самоувѣренностью. Можно сказать, что въ своихъ требованіяхъ не только доходя до крайнихъ предѣловъ, допускавшихся для пріема его современниками, но даже переставая эти предѣлы. Многие современники Григорія всей своей умственной покорности, не слѣдовало за нимъ и нашли, что его притязанія превосходятъ всякую мѣру. Вся Ломбардская часть итальянскихъ епископовъ, а также и сами римляне рѣшительно обратились противъ папы и вступили съ нимъ въ открытую войну.

Жестокое униженіе свѣтской власти носомъ произошло не отъ безвыходнаго положения Генриха, а преимущественно отъ ошибочнаго расчета. Генрихъ еще имѣлъ возможность справиться съ своими врагами, но онъ считалъ благоразумнымъ дѣйствовать переговорами, уступками, чѣмъ подвергать свою корону и чести такой борьбѣ, въ которой матеріальной силы находился на сторонѣ противниковъ. Каносса доказала ему, что переговоры невозможны, и что всѣ сколько-нибудь возможные уступки будутъ отвергнуты, а не приняты или съ презрѣніемъ. Своимъ пребываніемъ въ Каноссѣ Генрихъ еще больше запуталъ дѣла; его друзья получили поводъ усомниться въ его мужествѣ; а враги его, къ длинному ряду преступленій противъ церкви, прибавили еще и нарушение того обѣщанія, цѣной котораго онъ купилъ себѣ прощеніе папы. Зато онъ получилъ достаточно ясное понятіе о собственномъ положеніи и о настоящихъ

ть папы. Этого было довольно. Выбравшись из Каноссы, Генрихъ быстро привелъ въ порядок свои дѣла, разбилъ возмущившихся князей и въ 1080 г. окончательно укротилъ сторонниковъ папы въ Германіи. Въ это же самое время войска ломбардовъ осадили города, поддерживавшихъ Генриха, и одержали рѣшительную побѣду надъ войсками Фридриха Матильды. Въ 1081 году Генрихъ снова шелъ въ Италію, но уже совсѣмъ не для того, чтобы приобрести себѣ простуду подвигами похода. Генрихъ шелъ въ Римъ грознымъ властителемъ, достойнымъ сыномъ Генриха III — чтобы выгнать изъ Рима Григорія VII и посадить на его мѣсто Гвиберта, архіепископа Равенскаго, носившаго имя Климента III. Въ 1084 году, Генрихъ дѣйствительно вошелъ въ Римъ, принявъ въ руки Климента императорскую корону и занявъ замокъ св. Ангела, въ которомъ сидѣлъ Григорій, но все-таки не хотѣвшій слышать ни о какихъ уступкахъ и переговорахъ. Если бы Григорій попалъ въ руки своего давнишняго врага — ему, Григорію, пришлось бы вѣроятно очень плохо. Его выручилъ Робертъ Гискаръ, предводитель норманновъ, завоевавшихъ южную Италію и Сицилію въ сороковыхъ годахъ XI вѣка. Робертъ отогналъ войска императора, сжегъ и разграбилъ замокъ и увелъ съ собою папу въ Салерно, гдѣ Григорій и умеръ въ маѣ 1085 года, проклиная въ послѣдней минутѣ Генриха и антипапу Гвиберта. Пока Григорій VII былъ живъ, многіе члены клерикальной корпораціи боялись и ненавидѣли его, какъ суроваго деспота, не щадившаго никакихъ человѣческихъ слабостей. Эта боязнь и ненависть заставляли многіхъ прелатовъ держаться отъ него подалѣе, относиться враждебно къ его планамъ, и даже дѣйствовать заодно съ Генрихомъ IV. Когда же Григорій умеръ, тогда уменьшилась ненависть и боязнь, возбужденныя личнымъ характеромъ, немедленно утихли, и его властолюбивая идея обрисовалась передъ глазами духовенства во всей своей обаятельности. Для Григорія VII сдѣлалось знаменемъ, вокругъ котораго сомкнулась вся клерикальная корпорація.

Впродолженіи двухсотъ лѣтъ всѣ преемники Григорія VII идутъ по его слѣдамъ и гонятся за его любимую мечту съ такою напряженною страстностью, которая находится въ постоянной дисгармоніи съ ихъ почтенными лѣтами и съ ихъ монашескими обѣтами. Принимая слѣдѣ великаго папы, дряхлые старики оживляются, воодушевляются и становятся энергичными бойцами до послѣдней минуты своей жизни. Имъ имъ грезится замокъ Каносса, всѣмъ имъ хочется, чтобы какой нибудь король или императоръ, одѣтый въ грязныя лохмотья, ползалъ передъ ними на козлышкахъ и обливалъ ихъ туфли слезами раскаянія или безсильной злости. Побѣда

надъ свѣтской властью и господство надъ католическимъ міромъ, господство во что бы то ни стало, господство нераздѣльное и безграничное — вотъ признанная цѣль папской политики отъ Григорія VII до Бонифація VIII. Для достиженія этой цѣли всѣ средства оказываются одинаково дозволенными и похвальными; личныя выгоды, личная безопасность и личная добросовѣстность папъ постоянно и ежеминутно приносятся въ жертву отвлеченному принципу. Преемники Григорія VII очень часто поступаютъ безсовѣстно, но почти всегда безкорыстно. Обманъ и насиліе употребляются ими не затѣмъ, чтобы обогатить себя и своихъ родственниковъ, а только затѣмъ, чтобы возвеличить папскій престолъ, на которомъ каждому изъ этихъ зазорныхъ стариковъ придется просидѣть очень недолго. Это безсовѣстное безкорыстіе продолжается до Бонифація VIII, то есть до тѣхъ поръ, пока сами папы не убѣдились окончательно въ неосуществимости своей идеи. Послѣ Бонифація папы отказываются понемногу отъ мечты Гильдебранда, наслаждаются жизнью, поощряютъ поэтовъ, живописцевъ и музыкантовъ и набиваютъ карманы своимъ племянникамъ или побочнымъ дѣтямъ.

Ближайшіе преемники Григорія VII взбунтовали противъ Генриха IV двоихъ его сыновей, сначала старшаго, Конрада, потомъ втораго, Генриха, которому удалось свергнуть отца и вступить на его престолъ, подъ именемъ Генриха V. Главнымъ яблокомъ раздора между Генрихомъ IV и папами былъ вопросъ объ *инвеститурахъ*, то есть о правѣ назначать епископовъ и аббатовъ.

Когда Генрихъ V утвердился на престолѣ при содѣйствіи клерикальной партіи, тогда папа Пасхалисъ II потребовалъ отъ него, чтобы онъ отказался отъ инвеституры.

Генрихъ рѣшительно отклонилъ это требованіе. Церквамъ — говорилъ онъ — отдано громадное количество земель и регальныхъ правъ. Отказываясь отъ инвеституры, король сразу терпитъ на вѣчныя времена большую часть своего королевства. Эта часть можетъ перейти Богъ знаетъ куда, въ руки его злѣйшихъ враговъ, и онъ, король, принужденъ смотрѣть на это и молчать. Можетъ ли король собственными руками приготовить себѣ и своимъ наслѣдникамъ такое невыносимое положеніе?

Пасхалисъ отвѣчалъ, что духовенство будетъ довольствоваться десятиною и добровольными пожертвованіями, и что всѣ уступленныя земли, вмѣстѣ съ регальными правами, отойдутъ обратно къ королю и къ его преемникамъ.

Генрихъ возразилъ на это, что онъ ни подъ какимъ видомъ не рѣшится ограбить такимъ образомъ церковь.

Пасхалисъ далъ королю клятвенное обѣщаніе, что онъ, папа, собственной своей властью отберетъ у церкви всѣ ихъ помѣстья и оброчныя статьи и потомъ возвратитъ ихъ королю.

На такихъ условіяхъ Генрихъ согласился отказаться отъ инвеституры.

Тѣмъ и кончились предварительные переговоры.

Въ 1111 году Генрихъ явился въ Римъ для коронаціи. Чтобы отклонить отъ себя всякое подозрѣніе въ посягательствѣ на церковную собственность, Генрихъ въ ватиканскомъ соборѣ, въ присутствіи папы, духовенства и народа, приказалъ прочитатъ слѣдующій декретъ: «Мы Божіею милостію, Генрихъ, августѣйшій императоръ римлянъ, отдаемъ Св. Петру, всѣмъ епископамъ и аббатамъ и всѣмъ церквамъ, все, что наши предшественники, короли или императоры, имъ уступили или отдали, въ надеждѣ вѣчнаго возмездія. Будучи грѣшными, и боясь строгаго суда, мы отнюдь не желаемъ отнимать у церкви эти дары.»—Послѣ чтенія этого декрета, Генрихъ обратился къ папѣ и пригласилъ его исполнить данное обѣщаніе. Тогда всѣ епископы и аббаты, какъ итальянскіе такъ и нѣмецкіе, закричали въ одинъ голосъ, что папа замышляетъ богопротивную ересь, и что они рѣшительно не хотятъ ему повиноваться, если онъ осмѣлится произвести обѣщанный переворотъ. Пасхалисъ объявилъ тогда Генриху, что онъ не въ силахъ идти навстрѣчу такому страстному негодованію.

Генрихъ разсердился и посадилъ подъ арестъ папу вмѣстѣ со многими изъ высшихъ церковныхъ сановниковъ. Но одинъ кардиналъ и одинъ епископъ ускользнули изъ собора, гдѣ происходила эта бурная сцена, пробрались въ городъ и возмущили римлянъ, которые, на другой день утромъ, съ оружіемъ въ рукахъ, пошли освобождать Пасхалиса и его товарищей по заключенію. Произошла жаркая схватка, въ которой жизнь Генриха подвергалась опасности; наконецъ королевскія войска одолѣли, но Генрихъ отошелъ прочь отъ Рима и увелъ съ собою своихъ пѣльниковъ. Пасхалисъ вмѣстѣ съ шестью кардиналами просидѣлъ подъ арестомъ два мѣсяца въ крѣпости Трибукко; съ нимъ обращались очень дурно и ему намекали очень часто, что Генрихъ скоро прикажетъ его казнить вмѣстѣ съ кардиналами, если онъ не уступитъ ему въ спорѣ объ инвеститурахъ. Въ этихъ угрозахъ не было ничего особенно неправдоподобнаго; Пасхалисъ зналъ хорошо, какъ непочтительно поступалъ Генрихъ V съ своимъ отцомъ; Пасхалисъ видѣлъ и чувствовалъ, что съ нимъ самими обращаются, какъ съ преступникомъ; поэтому онъ могъ ожидать, что его дѣйствительно, если не убьютъ, то по крайней мѣрѣ уморятъ въ тюрьмѣ. Онъ согласился на всѣ условія Генриха. Онъ уступилъ Генриху право назначать епископовъ и аббатовъ, объявилъ полное прощеніе всѣмъ сторонникамъ Генриха и обѣщалъ никогда не отлучать его самого отъ церкви. Папа и кардиналы получили свободу только тогда, когда трактатъ, заключающій въ себѣ эти условія, былъ подписанъ и

скрѣпленъ печатями, когда всѣ пѣльники твердили его клятвою, данною на святыхъ и когда Пасхалисъ собственноручно возложилъ на Генриха императорскую корону.—Отъ такимъ образомъ папству за Каноссу, Генрихъ возвратился въ Германію. Но тутъ обидѣлось то сильное неизгладимое впечатлѣніе, которое было произведено на умы клерикальностью Григорія VII. Кардиналы, уже возстановленные противъ Папы, его раззорительнымъ проэктомъ о перепопѣ помѣстьяхъ, закричали теперь, что папа и церковь, уступая такъ малодушно лучшія вѣщья Григорію VII, за которыя пролилась кровь и отправлены въ адъ тысячи христіанскихъ душъ, отлученныхъ отъ церкви. Тѣ прелаты, которые вмѣстѣ съ папою сидѣли въ крѣпости, были спасены его уступками, не онъ Пасхалису никакой нравственной помощи противъ недовольныхъ. Всѣ ревностники требовали, чтобы папа нарушилъ обѣщаніе, которое было вырвано у него насильно.—Пасхалисъ принужденъ былъ созвать въ Латеранскій вселенскій соборъ, который унаследовалъ привилегію, данную Генриху V, и выступить противъ него приговоръ отлученія. Папа не мѣшалъ собору дѣйствовать такимъ образомъ, но, съ своей стороны, онъ остался вѣрнымъ клятвѣ и не подтвердилъ приговора, данного противъ императора. Пасхалисъ еще не стоялъ на той точкѣ зрѣнія, въ которой папамъ въ священную обязанность вѣщала о нарушении клятвъ, невыгодныхъ для клерикальскихъ корпорацій. Совѣтники Пасхалиса имѣли и негодовали на него, что онъ неспособенъ подняться на эту высоту политическаго маневра.

Преемникъ Пасхалиса, Гелазій II, освободилъ Генриха отъ церкви въ 1118 году и велѣлъ ѣхать во Францію, чтобы не подвергнуться отлученію императора, который въ время своего царствованія былъ очень популяренъ въ Германіи и въ Италіи, несмотря на жестокія распри съ духовенствомъ. Но въ 1122 году, обѣ партіи, утомленные лѣтней борьбой, заключили миръ въ Вормсѣ.

По этому договору клирики должны были получать церковныя должности отъ духовенства, а помѣстья, приписанныя имъ, — отъ свѣтской власти. Вопросъ о инвеститурахъ остался нерѣшеннымъ ни въ одну, ни въ другую сторону; и миръ, заключенный въ Вормсѣ, былъ только на то, чтобы, въ ближайшемъ будущемъ, не возбудить новыхъ войнъ.—Въ самомъ дѣлѣ, назначеніе должностныхъ лицъ можетъ принадлежать только какой нибудь одной власти, а не двумъ различнымъ властямъ, то участіе одной изъ двухъ должно вратиться въ пустую формальность. И

каждая изъ двухъ властей желаетъ, чтобы превращеніе совершилось не съ ней самой, а съ противницей, то борьба становится неодолимой. Духовная власть будетъ требовать, чтобы приписанныя помѣстья предоставлялись только каждому клирику, получившему эту должность. А свѣтская власть будетъ настаивать, что она имѣетъ право отказывать въ тѣхъ должностяхъ лицамъ, которыхъ она не одобряетъ. Такіе споры обыкновенно не аргументами, а ору-

жескими средствами, а не на уродливыя и безнравственныя особенности феодальнаго порядка,—это обстоятельство объясняется двумя главными причинами. Во первыхъ, эти мыслители, при чисто-теологическомъ характерѣ своего образованія и своихъ изслѣдованій, придавали особенно важное значеніе всему тому, что дѣлало, говорило и думало духовенство; заблужденія духовенства были гораздо болѣе вредны и опасны, чѣмъ безнравственность и нечестность, наполнявшія собою досуги знатныхъ феодальныхъ бояровъ, грабителей и святотатцевъ. Последнія были слѣдствіемъ, между тѣмъ какъ первыя были причиною. Последнія были только симптомомъ болѣзни, между тѣмъ какъ первыя отравляли собою лекарство и слѣдовательно уничтожали возможность выздоровленія. Такъ думали свободные мыслители, и такія думы вели ихъ къ тому практическому заключенію, что надо прежде всего побѣдить болѣзнь въ тѣхъ людяхъ, на которыхъ лежитъ обязанность лечить нравственные недуги остального общества.

Во вторыхъ, Италія, благодаря роскошному развитію городской жизни, уже въ XII столѣтіи успѣла избавиться отъ самыхъ мрачныхъ явленій феодальнаго порядка. Крѣпостная зависимость уже не существовала. Большая часть магнатовъ добровольно приписалась къ городамъ. Тѣ феодалы, которые еще сохраняли свою самостоятельность, не могли безнаказанно грабить на большихъ дорогахъ купцовъ и путешественниковъ, потому что эти люди были гражданами сильныхъ и воинственныхъ республикъ, всегда готовыхъ заступиться за своихъ обиженныхъ членовъ. Конечно насилія и самоуправства было все-таки еще чрезчуръ достаточно и внутри городовъ, и въ сношеніяхъ между различными городами, но эти крупныя несовершенства зависѣли уже не столько отъ дурного качества учреждений, сколько отъ необузданной страстности и умственной неразвитости самихъ гражданъ. Надо было морализировать и гуманизировать людей, а такъ какъ единственнымъ двигателемъ нравственнаго совершенствованія могло быть — по мнѣнію тогдашнихъ мыслителей — только духовенство, то опять таки надо было прежде всего искоренять заблужденія, водворившіяся въ умахъ самихъ клириковъ.

По своему географическому положенію, Италія была совершенно обезпечена противъ императорскаго деспотизма. Императоръ не могъ жить въ Италіи, и во время его отсутствія, итальянцы всегда могли передѣлывать по своему всѣ политическія и общественныя задачи, рѣшенныя императоромъ во время его мимолетнаго пребыванія на апеннинскомъ полуостровѣ. Императоры обыкновенно понимали свое безсиліе и воздерживались отъ излишествъ. Клерикальный деспотизмъ, напротивъ того, былъ для Италіи очень опасенъ. Папа жилъ постоянно въ самомъ центрѣ

IX.

Арнольдъ Брешианскій.

Его умеръ въ 1125 году. Его ближайшіе ученики: Лотаръ и Конрадъ III, были заведомо войнами въ Германіи, и имѣли мало вліянія на итальянскія дѣла. Въ это время продолжительныя раздоры папъ и императоровъ начали приносить свои естественныя плоды. Въ Италіи стали появляться люди, которые, не примыкая ни къ папѣ, ни къ императору, постарались и сдѣлали подвѣдливъ внимательной и добросовѣстной критикой противоположныя притязанія обѣихъ враждующихъ сторонъ.

Съ одной стороны, этимъ людямъ очень не нравилось то господство грубой матеріальной силы, которое называлось феодальнымъ порядкомъ, находило себѣ верховнаго представителя въ особѣ римско-германскаго императора. Съ другой стороны, эти люди рѣшительно не желали теократическую утопію Гильдебранда. Они этихъ людей имѣла конечно чисто-человѣческій характеръ. Въ то время теологія была въ вѣдѣніи всѣхъ человѣческихъ знаній и давала ответы на всевозможные вопросы жизни. Искусствомъ значило быть теологомъ. Критиковать какую-нибудь теорію или какое-нибудь учрежденіе — значило разсматривать вопросъ, насколько эта теорія или это учрежденіе согласны съ идеями и предписаніями, изложенными въ каноническихъ книгахъ. Дальше этого критиковать смѣлыхъ мыслителей не могла идти. Несмотря на свою сдержанность и ограниченность, эта критика имѣла большое значеніе, потому что, во имя текста священныхъ книгъ, она рѣшительно опрокидывала тѣхъ живыхъ авторитетовъ, присвоивали себѣ исключительное право читать и комментировать эти книги. Исходная точка критики въ XII столѣтіи была та же, какой въ XVI вѣкѣ отправились многие основатели различныхъ протестантскихъ сектъ.

Итальянскіе мыслители XII вѣка, принадлежавшіе къ духовенству, направили свои удары именно на замыслы и дѣйствія

Италіи и держалъ во всѣхъ ея городахъ, мѣстечкахъ и деревняхъ такихъ ревностныхъ, искусныхъ и вліятельныхъ агентовъ, какихъ никогда не могъ имѣть въ своемъ распоряженіи ни одинъ императоръ. Эти агенты, пользовавшіеся повсемѣстнымъ уваженіемъ, могли значительно исказить характеръ свободныхъ учреждений, развившихся во всѣхъ городахъ сѣверной и средней Италіи.

По всѣмъ этимъ причинамъ, свободные мыслители XII вѣка сосредоточили свое вниманіе на борьбѣ съ тенденціями папства. Эту борьбу открылъ своими смѣлыми проповѣдями монахъ Арнольдъ, уроженецъ города Брешиа, изучавшій философію и богословіе во Франціи, подъ руководствомъ знаменитаго Абеяра. Арнольдъ обладалъ всѣми качествами, необходимыми для громаднаго успѣха; сила его краснорѣчія была увлекательна; все, что онъ говорилъ, славляло его глубокое убѣжденіе, за которое онъ готовъ былъ спорить, сражаться, страдать и умереть; его частная жизнь была такъ чиста и безукорыпна, что самые строгіе аскеты ни къ чему не могли въ ней придираться; его знанія были настолько обширны, что онъ легко опровергалъ самыми почтенными цитатами всѣ аргументы своихъ противниковъ; кромѣ священнаго писанія, онъ изучилъ литературу древняго Рима и могъ такимъ образомъ вызывать передъ своими слушателями историческія воспоминанія, къ которымъ тогдашніе итальянцы были особенно неравнодушны; всѣ стороны его богато-одаренной личности возбуждали въ себѣ самое восторженное сочувствіе во всѣхъ людяхъ, способныхъ смотрѣть на вещи собственными глазами и размышлять собственнымъ умомъ. Являясь передъ своими слушателями то глубокимъ ученымъ, то смѣлымъ трибуномъ, то смиреннымъ христіаниномъ, то вдохновеннымъ учителемъ чистой нравственности, оставаясь вездѣ и всегда вѣрнымъ самому себѣ и своимъ убѣжденіямъ, облекая въ свои пламенные рѣчи то, что шевелилось и содрѣвало понемногу во всѣхъ свѣжихъ умахъ—Арнольдъ вскорѣ послѣ своего перваго появленія у себя на родинѣ, въ Брешиа, обратилъ на себя вниманіе всей Италіи и собралъ вокругъ себя толпу искренно убѣжденныхъ послѣдователей, которые отъ разсужденій готовы были перейти къ поступкамъ.

Это умственное движеніе могло принять опасные размѣры; клерикалы всполошились и задушили его во время. Въ 1139 году, латеранскій соборъ, созванный Иннокентіемъ II, проклялъ Арнольда Брешианскаго, какъ основателя новой ереси такъ называемыхъ политиковъ. Арнольдъ бѣжалъ изъ Италіи въ Швейцарію, въ окрестности Констанца. Клерикалы не оставили его въ покоѣ. Св. Бернардъ Клерикальскій, великій искоренитель ересей и вольнодумства, написалъ къ свѣтскому констанцкому письму о томъ, что въ

его епархіи укрывается ядовитый человекъ, способный взбунтовать своимъ присутствіемъ слабое стадо овецъ.

«Вы увидите въ немъ — писалъ Бернардъ — человека, который открыто возмущается противъ духовенства, довѣряясь тираннической власти военныхъ людей, — человека, который пишетъ даже противъ епископовъ и изливаетъ ярость на все духовное сословіе. Зная это, полагаю, что въ такой великой опасности лучше и всего спасительнѣе будетъ для насъ поступить по предписанію апостола, который говоритъ: *измѣте злого отъ васъ самихъ*. Другъ церкви впрочемъ желалъ бы лучше заключить его въ оковы, чѣмъ обратиться къ бѣгству, потому что, продолжая блуждать, онъ можетъ нѣдѣлать еще больше вреда. Напротивъ папа, услышавъ о злыхъ дѣлахъ этого человека, далъ письменное приказаніе съмысли, когда онъ находился еще среди насъ, никто не захотѣлъ сдѣлать такое доброе дѣло».

Въ Констанцѣ *доброе дѣло* также оставалось не сдѣланнымъ, несмотря на трогательные вѣдья Бернарда. Продолжительная борьба папы съ императорами породила во всей католической Европѣ глухое, но глубокое умственное броженіе, благодаря которому идеи Арнольда вездѣ находили себѣ горячихъ поклонниковъ. Эти послѣдники не въ силахъ были бороться съ фанатическимъ большинствомъ, подстрекаемымъ разными папскими посланіями и воззваніями, въ томъ числѣ письма св. Бернарда; но они всегда могли укрѣпить любимаго учителя отъ его преслѣдователей и въ случаѣ надобности, препроводить его вихорьку въ какую нибудь другую область, въ которой клерикальныя страсти еще не были возбуждены. Когда фанатики занумѣли въ Констанцѣ, Арнольдъ благополучно перебрался въ Цюрихъ и продолжалъ проповѣдывать тѣ же евангельскую нравственность и политическую свободу.

Между тѣмъ, дѣло Арнольда не заглохло въ Италіи, не смотря на его отсутствіе. Его единомышленники продолжали работать въ самомъ Римѣ, въ центрѣ клерикальнаго могущества, и глазахъ у самого папы. Въ 1143 году имъ удалось нанести папѣ жестокой ударъ. Римляне всегда любили вспоминать о славномъ прошломъ своего родного города; эти воспоминанія имѣли всегда живое политическое значеніе, потому что потомки, воодушевляясь историческими картинами, проникались страстнымъ желаніемъ хоть сколько нибудь поравняться съ предками. Наслушавшись разсказовъ о республиканскихъ доблестяхъ и о военной славѣ, римляне начали злиться и волноваться; имъ захотѣлось испробовать папѣ кѣмъ нибудь свое могущество и свою храбрость; они затѣли войну съ жителями сѣвернаго города Тиволи; тиволяне разбили римско, пожелавшее воскресить славу древняго Рима.

римляне разсердились еще больше, собрали новые легионы, и порѣшили стереть Тиволи съ лица земли; на этотъ разъ тиволинамъ пришлось бежать, и римляне уже думали, что сдѣлали первый шагъ къ завоеванію вселенной, какъ вдругъ папа Иннокентій II принялъ тиволянъ подъ свое окровиительство и приказалъ завоевателямъ идти домой. Завоеватели разъярились тогда не шутку. *Политики* во-время подлили масла въ огонь разными искусными соблазнами, прекама, насмѣшками и восторженными рѣчами. Воряне дѣйствовали за одно съ народомъ; они авсыпались по площадямъ и стали кричать во всеуслышаніе, что папа нарочно отнимаетъ у римлянъ ихъ славу и уничтожаетъ потихоньку ихъ привилегіи; толпа кинулась со всѣхъ сторонъ къ Капитолій, выбрала себѣ тамъ сенаторовъ и оскрѣсила римскую республику, къ которой римляне порывались еще во времена Отоновъ. Это народное движеніе такъ огорчило Иннокентія II, что онъ заболѣлъ и вскорѣ умеръ.

У республиканскаго правительства было много враговъ. Многие дворяне и простые граждане держали сторону папы, отчасти изъ религіознаго сердца, отчасти по тому, что сенатъ занимался серьезнымъ преслѣдованіемъ бунтовъ и грабителей. Съ этими защитниками папы, очень похожими на защитниковъ бывшаго неаполитанскаго короля Франциска II,—республиканцы принуждены были вести уличную войну. Очень часто приходилось осаждать, брать приступомъ и разрушать укрѣпленныя башни, въ которыхъ отсиживались, вмѣстѣ съ своими вооруженными кліентами, благородные враги порядка и общественнаго спокойствія.

Кромѣ того папы находились въ союзѣ съ королемъ Обѣихъ — Сицилій и настоятельно требовали у него помощи противъ непокорныхъ римлянъ.

Чтобы сколько нибудь уравновѣсить шансы, республиканскій сенатъ послалъ депутацію къ германскому королю Конраду III съ просьбой одобрить сдѣланныя преобразованія и пріѣхать лично въ Римъ для принятія императорской короны. Конрадъ не отвѣчалъ сенату на его письмо.

«Если сыновья и вѣрноподданые—вторично писалъ сенатъ къ Конраду—могутъ позволить себѣ судить дѣйствія своего государя и отца, то мы изумляемся, что ваше королевское величество не отвѣчали на тѣ письма, которыми мы извѣщали васъ о нашихъ распоряженіяхъ. Между тѣмъ, всѣ наши поступки направлены нашею вѣрностью къ вашей чести. Сенатъ по милости Божіей возстановленъ. Константинъ и Юстиніанъ со славою управляли имперіей при содѣйствіи этого сената и римскаго народа. Мы желаемъ и мы стараемся устроить такъ, чтобы вы могли управлять подобно имъ, и чтобы вы могли получить обратно всѣ тѣ почести, которыя вамъ принадлежатъ и которыя были у васъ отняты....

Мы положили основаніе этому новому порядку, потому что мы поддерживаемъ миръ и правосудіе въ пользу всѣхъ тѣхъ, кто дорожитъ этими благами; мы захватили башни, крѣпости и дома тѣхъ господъ, которые, вмѣстѣ съ Сицилійцемъ и папою, хотѣли сопротивляться вашей державѣ; одни изъ этихъ укрѣпленій мы вѣрно хранимъ отъ вашего имени; другія скрыты нами до основанія. Пусть ваша премудрость вспомнить, какъ много зла причинили императорамъ, вашимъ предшественникамъ, папскій дворъ и тѣ дворяне, о которыхъ мы говоримъ. Эти же самые люди, за одно съ Сицилійцемъ, готовятъ вамъ впереди еще большія бѣдствія».

Планъ римскихъ *политиковъ*, сформированныхъ въ школѣ ересиарха Арнольда, состоялъ очевидно въ томъ, чтобы тѣшить нѣмецкихъ королей краснорѣчивыми выраженіями покорности, и вымалывать у нихъ такимъ образомъ, если не дѣятельную помощь, то по крайней мѣрѣ доброжелательный нейтралитетъ. Этотъ планъ былъ неосуществимъ; эпистолярное краснорѣчіе сената никого не могло обмануть; величественныя обличенія Конрада съ Константиномъ и съ Юстиніаномъ никакъ не могли доказать нѣмецкому королю, что его интересы совпадаютъ съ желаніями римскихъ республиканцевъ, и что новый сенатъ заботится очень сильно о процвѣтаніи его могущества, и изъ любви къ нему ссорится съ папою и съ сицилійскимъ королемъ. Искреннихъ союзниковъ сенатъ могъ найти себѣ только въ республиканцахъ сѣверной и средней Италіи; ему надо было не разсыпаться въ бесполезныхъ нѣжностяхъ передъ Конрадомъ, который никакъ не могъ ему сочувствовать, а завести сношенія съ Венеціей, съ Генуей, съ Пизою съ Флоренціей и съ Миланомъ. Только хорошо организованная федерація свободныхъ италіанскихъ городовъ могла сопротивляться съ успѣхомъ и нѣмцамъ, и папѣ, и Сицилійцу. Но чтобы возвыситься до такой разумной политической комбинаціи, надо было прежде всего посмотреть на современную дѣйствительность трезвыми глазами, назвать каждую вещь ея настоящимъ именемъ, отказаться отъ всякихъ фикцій и отложить попеченіе объ умершемъ и истлѣвшемъ величіи древняго Рима. Кромѣ того надо было, чтобы римляне выяснили себѣ и ограничили свои собственныя желанія. Имъ хотѣлось еще, кромѣ политической свободы, чтобы Римъ былъ столицей всемірной имперіи и резиденціей первосвященника, господствующаго надъ католическою Европой. Этого было уже чересчуръ много заразъ. Одни желанія мѣшали другимъ. Тщеславіе сталкивалось съ любовью къ свободѣ. Императоръ и папа никакъ не могли согласиться на то, чтобы изображать своими высокими особами живыхъ, но невинныхъ украшеній вѣчнаго города, находящагося подъ управленіемъ республиканскаго сената. Говаясь та-

кимъ образомъ за многими зайцами, римляне постоянно оставались не приче́мъ. Этихъ средне-вѣковыхъ римлянъ можно назвать ложными классиками въ политикѣ.

Конраду некогда было идти въ Италію. Онъ продолжалъ отмалчиваться отъ наивно-хитрыхъ риторическихъ упражненій римскаго сената. Папа Люцій II началъ надѣяться, что римляне, оставшись безъ союзниковъ, не осмѣлятся защищать противъ него свои республиканскія учрежденія. Однажды, въ 1145 году, Люцій собралъ своихъ приверженцевъ, надѣлъ на себя полное святительское облаченіе, окружилъ себя священниками и монахами, и во главѣ всей этой военной и духовной толпы, двинулся торжественно-медленнымъ шагомъ къ Капитолію, гдѣ засѣдаетъ сенатъ. Народъ сначала оторопѣлъ передъ этимъ величественнымъ зрѣлищемъ и не зналъ, на что рѣшиться. Но потомъ, когда процессія уже подошла къ капитолійскому холму, римляне вдругъ сообразили, что папа идетъ въ Капитолій совѣтъ не для того, чтобы обрадовать сенаторовъ пастырскимъ благословеніемъ. Римлянамъ сдѣлалось совѣстно отдавать свое правительственное на жертву папскимъ солдатамъ. Римляне схватились за камни и начали дѣйствовать ими такъ искусно, что зашибли очень серьезно самого Люція. Папа упалъ; спутники его отступили; сенатъ остался нетронутымъ, а Люцій черезъ нѣсколько дней умеръ отъ полученной раны.—Преемникъ Люція, Евгений III, попробовалъ примириться съ республиканцами; онъ призналъ ихъ сенатъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы римляне признали городского префекта, назначеннаго отъ папы. Разумѣется, это совмѣстное существованіе двухъ правительствъ въ одномъ городѣ было невозможно и бессмысленно. Власть папы оказалась на столько ничтожною, что онъ заблагоразсудилъ удалиться изъ Рима и заняться путешествіями по Италіи и по Франціи. Послѣ отъѣзда папы, республиканцы почувствовали себя полными хозяевами своего города и вызвали изъ Швейцаріи великаго учителя, Арнольда Брешианскаго. Ересіархъ, отлученный отъ церкви, явился въ столицу католическаго міра; за нимъ шли двѣ тысячи швейцарцевъ, проникнутыхъ его идеями и рѣшившихся помогать ему во всѣхъ его предпріятіяхъ; римляне встрѣтили Арнольда съ восторгомъ, къ великому соблазну благочестивыхъ папистовъ; проклятый еретикъ сдѣлался полновластнымъ законодателемъ римской республики.

Умѣя возбуждать народный энтузіазмъ, Арнольдъ, къ сожалѣнію, не обладалъ способностью строить прочныя политическія зданія. У него было слишкомъ много воображенія и слишкомъ мало практической смѣтливости. Подъ его руководствомъ римляне продолжали разыгрывать археологическія комедіи и гоняться за призракомъ древняго римскаго величія. Ар-

нольдъ учредилъ въ Римѣ сословіе всѣхъ занимавшее средину между сенаторами и плебеями,—воскресилъ должность консуловъ, которые должны были председательствовать въ сенатѣ, — и доказалъ народу, что для благополучія и для большого сходства с нимъ Римомъ необходимо завести трапезы для всѣхъ, обязанныхъ защищать интересы плебей. Политическое значеніе папы, по совѣту Арнольда, было совершенно уничтожено, а власть сенатора подвергнута значительнымъ ограниченіямъ. Все это, несмотря на рабское копированіе античныхъ учреждений, могло бы пожалуй живить и приносить хорошіе плоды, если бы только не было на свѣтѣ людей, желающихъ разрушить до основанія это новое государственное устройство. Но такіе люди существовали и ихъ было очень много, они были очень честолюбивы и Арнольдъ, вмѣстѣ съ своими послѣдователями, не могъ не знать о ихъ существованіи. Арнольдъ было достаточно извѣстно, что папа былъ широкимъ врагомъ римской республики, и римскіе императоры также смотрѣли на папство косо. Значить, прежде чѣмъ заботиться о внутреннемъ украшеніи новаго зданія, надо было припасти средства для жестокой борьбы за право самостоятельнаго политическаго существованія. Прежде чѣмъ утѣшаться классическими названіями правителей и чиновниковъ, надо было задать себѣ вопросъ: какъ мы можемъ бороться съ сѣверными варварами, которые рано или поздно непременно къ намъ ломать наши величественныя храмы и рвать наши прелестныя тоги?—Въ этомъ вопросу, въ которомъ заключалась вся жизнь и скороспѣлой республики, римляне вмѣстѣ съ ними Арнольдомъ, относились совершенно легкомысленно. Они почему-то были увѣрены, или по крайней мѣрѣ старались увѣрить, что сѣверный варваръ съ удовольствіемъ надѣнетъ на себя приличный для него костюмъ и приметъ самое душевное участіе въ веселомъ археологическомъ представленіи. Нѣмецкій императоръ, вѣроятно, въ одну минуту долженъ былъ ринуться на слово—во первыхъ, что прямой наслѣдникъ Константина и Юстиниана, во вторыхъ, что Константинъ и Юстинианъ готовили передъ республиканскими учреждениями. Римляне очевидно полагали, что будущій императоръ ни въ какомъ случаѣ не можетъ имѣть для нихъ счастливаго вѣщанія, считая себя такимъ образомъ не въ силѣ изъяснить опасность, они зажимали глаза и рались обманывать и убаюкивать себя надеждой, что опасность совѣтъ не существовать или разсѣется сама собою.

А между тѣмъ у римлянъ была подлая возможность одолѣть императора. Впередъ еще достаточно времени, чтобы струши-

всѣ матеріалы для самой напряженной борьбы за новорожденную римскую свободу. Арнольдъ явился въ Римъ въ 1145 году, а нѣмцы вошли въ Италію въ 1154. Въ девять лѣтъ Арнольдъ, при своемъ увлекательномъ краснорѣчіи, при своей безпредѣльной неустрашимости, при своей изумительной способности воспламенять массы, овладѣвать ихъ умами и пробуждать въ народѣ высшія и безкорыстнѣйшія стремленія,—Арнольдъ могъ бы навсегда закрыть нѣмцамъ дорогу въ Италію. Если бы Арнольдъ обѣхалъ въ это время всѣ свободные города Ломбардіи и Тосканы, если бы онъ принялъ на себя обязанность объяснять всѣмъ итальянскимъ республиканцамъ, что имъ всѣмъ грозитъ одна и таже опасность, противъ которой необходимо дѣйствовать съ полнымъ единодушіемъ,—то федерация свободныхъ городовъ состоялась бы непременно, и Римъ былъ бы спасенъ вмѣстѣ съ остальною республиканскою Италіей. Ломбардская лига состоялась, подъ неотразимымъ вліяніемъ событій, безъ инициативы какого нибудь передового гения—въ 1167 году. Но назначеніе гениальныхъ людей именно въ томъ и состоитъ, чтобы ускорять естественное движеніе событий и постигать раньше другихъ тѣ общественныя потребности, которыя впоследствии сдѣлаются осязательно-понятными для самыхъ обыкновенныхъ умовъ. Такъ какъ въ 1167 году необходимость лиги была ясна для всѣхъ свободныхъ гражданъ сѣверной Италіи, то, разумѣется, эту лигу можно было бы заключить пятнадцатью годами раньше, если бы въ это время какой нибудь сильный умъ ускорилъ, съ этой стороны, развитіе общественного самосознанія. За отсутствіе такого практическаго ума поплатились очень дорого и Ломбардія, и Римъ, и въ особенности самъ Арнольдъ.

X.

ФРИДРИХЪ БАРБАРОССА.

Въ началѣ 1152 года Конрадъ III умеръ, и германская корона досталась его племяннику, Фридриху Барбароссѣ, челоѣку молодому, храброму, дѣятельному, властолюбивому и очень даровитому. Германія уже давно страдала отъ соперничества двухъ сильныхъ владѣтельныхъ домовъ, изъ которыхъ одинъ господствовалъ надъ Швабіей и Франконіей, а другой—надъ Баваріей и Саксоніей. Къ швабо-франконскому дому принадлежали тѣ императоры, которые во все время своего царствованія боролись съ папами. Саксоно-баварскій домъ, напротивъ того, отличался своей постоянной преданностью интересамъ церкви. Съ половины XII вѣка сторонники первой династіи стали называть себя *гibelитами*, а приверженцы второй—*ивельфами*. Слово *гibelиты* происходитъ отъ имени замка Waiblinga или Gueibelinga, составлявшаго родо-

вую собственность франконской династіи. Слово *ивельфы* происходитъ отъ имени Гвельфъ или Вельфъ, которое встрѣчалось особенно часто въ семействѣ герцоговъ баварскихъ. Вступленіе Фридриха Барбароссы на германскій престолъ помирало на время обѣ враждебныя партіи, потому что Фридрихъ находился въ очень близкихъ родственныхъ отношеніяхъ съ обоими домами. Послѣ смерти Конрада онъ сдѣлался главою гибелинской династіи; въ то же время онъ былъ двоюроднымъ братомъ Генриха-Льва, герцога саксонскаго, и племянникомъ Гвельфа VI, герцога баварскаго. Силы Германіи, не развлекаемыя междоусобными войнами, соединились подъ предводительствомъ молодого короля и двинулись на Италію—съ тѣмъ, чтобы совершенно уничтожить республиканскую свободу ея богатыхъ и многочисленныхъ городовъ.

Папа Евгеній III не замедлилъ пожаловаться Фридриху на своеволие римлянъ и обязался немедленно возложить на него императорскую корону, какъ только онъ явится въ Римъ. Въ отвѣтъ на эту любезность Фридрихъ обѣщалъ проучить римскихъ вольнодумцевъ, уничтожить ихъ глупую республику и распорядиться насчетъ Арнольда Брешианскаго со всею подобающей энергіей.

Къ воляямъ папы присоединились жалобы нѣкоторыхъ итальянскихъ магнатовъ, которые увѣряли короля, что имъ житья нѣтъ отъ сосѣднихъ республикъ. Фридрихъ окончательно убѣдился въ томъ, что Италія зазналась, и что ее сдѣдуетъ наставить на путь истины. Онъ объявилъ всѣмъ своимъ нѣмецкимъ вассаламъ, что раньше истеченія 1154 года имъ предстоитъ отправиться вмѣстѣ съ нимъ за Альпы.

Звѣри бѣжали на ловца со всѣхъ сторонъ. Вслѣдъ за магнатами, Фридриху принесли свою жалобу нѣкоторые республиканцы. Весною 1153 года Фридрихъ предсѣдательствовалъ на имперскомъ сеймѣ въ Констанцѣ. Вдругъ къ его ногамъ бросились двое гражданъ ломбардскаго города Лоди. По обычаю, установленному для просителей, они держали въ рукахъ кресты; голосъ ихъ прерывался отъ рыданій, когда они стали умолять Фридриха, чтобы онъ возвратилъ свободу ихъ родному городу, который слишкомъ сорокъ лѣтъ тому назадъ былъ взятъ и разрушенъ миланцами. Просители описали королю тѣ притѣвленія, которымъ подвергались жители разореннаго города; эти жители были поселены въ четырехъ разныхъ слободахъ, обложены тяжелыми податями, лишены всякихъ политическихъ правъ и доведены такимъ образомъ почти до положенія крѣпостныхъ крестьянъ. Фридрихъ былъ деспотъ по своему характеру. Но у него не было недостатка въ хорошихъ качествахъ; онъ умѣлъ быть великодушнымъ и старался, по своему крайнему усмотрѣнію, дѣйствовать разумно и справедливо. Онъ принялъ къ сердцу жалобу угнетенныхъ лодійцевъ, обнадежилъ плачу-

щих просителей и тотчас же приказал своему канцлеру написать и отправить къ миланцам королевскій указъ о немедленномъ освобожденіи всѣхъ жителей бывшаго города Лоди отъ всѣхъ налоговъ и стѣсненій, которымъ они подвергались со стороны завоевателей. Одинъ изъ придворныхъ чиновниковъ короля, Сихерій, тотчасъ повезъ изготовленный указъ въ Италію.

Сихерій заѣхалъ сначала въ тѣ слободы, въ которыхъ жили поработенные лодійцы. Здѣсь онъ объявилъ мѣстному начальству и обывателямъ, что король возвратилъ лодійцамъ всѣ ихъ прежнія права, и что указъ, заключающій въ себѣ эту королевскую милость, будетъ немедленно переданъ миланскому правительству. Лодійцы ахнули, и ахнули не отъ радости, а отъ изумленія и ужаса. Просители, плакавшіе въ Констанцѣ у ногъ Фридриха Барбароссы, дѣйствовали по свободному вдохновенію, безо всякаго полномочія отъ своихъ согражданъ. Намѣренія этихъ просителей были очень чисты и возвышенны, но поступокъ ихъ былъ такъ неостороженъ, что ихъ сограждане не знали теперь, какъ раздѣлаться съ его вѣроятными послѣдствіями. Лодійцамъ дѣйствительно жилось очень плохо подъ властью Милана. Они всѣ мечтали объ освобожденіи, какъ о высшемъ и драгоценнѣйшемъ благѣ. Но они понимали очень хорошо, что для этого требуется не кусокъ пергамента, а сильная армія. Указъ Фридриха могъ только возбудить въ Миланѣ взрывъ сильнѣйшаго негодованія, которое прежде всего должно было обрушиться на голову непокорныхъ подданныхъ, осмѣлившихся подавать жалобы на своихъ господъ.

Слободы, въ которыхъ жили лодійцы, находились почти у самыхъ воротъ Милана и не были защищены стѣнами. Уступая первому порыву гнѣва, миланцы могли прямо съ городской площади, на которой имъ будетъ прочитано письмо Фридриха, отправиться къ слободамъ, и съечь до тла жилища, сады и жатвы непокорныхъ подданныхъ. Подобный подвигъ былъ въ высшей степени возможенъ, потому что въ Миланѣ господствовалъ державный народъ, который, какъ извѣстно, обыкновенно увлекается порывами страсти и очень рѣдко подчиняется въ своихъ дѣйствіяхъ голосу благоразумнаго разсчета. Можно было предвидѣть, что миланцы не испугаются Фридриха, а напротивъ того, изъ чувства національной гордости, захотятъ показать ему наглядно, что они ни въ грошъ не ставятъ его угрозы и указы. Это наглядное показываніе всего удобнѣе могло быть произведено надъ бѣдными лодійцами. Впослѣдствіи миланцамъ придется пострадать отъ Фридриха и пожалѣть о необузданномъ порывѣ гнѣва; но истребленнымъ или раззореннымъ лодійцамъ отъ этого поздняго раскаянія будетъ не легче. Лодійцы стали упрашивать Сихерія, чтобы онъ

уничтожилъ королевскій указъ, или, въ крайней мѣрѣ, удержалъ его при себѣ до тѣхъ поръ, пока самъ Фридрихъ не явится съ войскомъ въ Италію. Сихерій, разумеется, отвѣтилъ имъ, что они просятъ невозможнаго, и немедленно отправился съ указомъ въ Миланъ.

Миланскіе консулы собрали народъ на городскую площадь для слушанія королевской грамоты. Произошла бурная сцена. Взрывъ негодованія былъ громаденъ. Граждане вырвали пергаментъ изъ рукъ герольда, разорвали, оплевали его ногами впоптали его въ грязь. Всѣ клялись защищать свободу и честь родины до послѣдняго издыханія. Многіе порывались задушить и терзать Сихерія, такъ что консуламъ и благоразумнымъ гражданамъ едва удалось увести его съ площади и выпроводить за городъ.

Души лодійцевъ пребывали въ это время въ ихъ пятакахъ. Они заблаговременно отправили женъ и дѣтей со всѣми цѣнными пожитками въ Кремону и въ Павію, которыя обѣ находились въ постоянной контрѣ съ Миланомъ. Самы взрослые мужчины проводили только ночи въ своихъ жилищахъ. Днемъ они бродили по лѣсамъ, чтобы не попасться въ руки миланцамъ, которые, по ихъ мнѣнію, непременно должны были явиться рано или поздно.

Весь этотъ страхъ оказался однако совершенно излишнимъ. Натѣшившись надъ королевскимъ указомъ, миланцы успокоились и не захотѣли обижать перетрусившихся лодійцевъ. Кромѣ того, несмотря на свою стычку съ королевскимъ посломъ, миланцы отправили даже къ Фридриху тотъ денежный подарокъ, который обыкновенно посылался королямъ при ихъ восшествіи на престолъ. Свидѣтельствуя такимъ образомъ Фридриху свое почтеніе, миланцы и не думали извиняться передъ нимъ въ топаніи его указовъ. Подарки и топаніе очень дружелюбно ужились между собою въ головѣ средневѣковыхъ политиковъ. Первые изображали собою уваженіе независимыхъ горожанъ къ центральной власти, превратившейся въ политическую фикцію; второе обозначало собою пламенную любовь этихъ горожанъ къ автономіи, разившейся незамѣтнымъ образомъ до размѣровъ живого, реальнаго и неопровержимаго факта.

Въ 1154 году, окончивъ уборку хлѣба, миланцы пошли опустошать земли своихъ всегдашнихъ недруговъ, павійцевъ и кремонянъ, которые не задолго передъ тѣмъ старались повредить имъ при дворѣ новаго короля. Вскорѣ послѣ начала этихъ военныхъ дѣйствій, Фридрихъ Барбаросса перешелъ черезъ Альпы съ очень сильною арміей. Подойдя къ Пиаченцѣ, Фридрихъ, по заведенному обычаю, остановился на Ронкальскомъ полѣ, обнесъ свой лагерь стѣною, и въ этомъ укрѣпленномъ лагерѣ созвалъ сеймъ итальянскаго королевства. Началось разбирательство различныхъ жалобъ и притязаній.

Два ломбардскіе города, Лоди и Комо, были завоеваны миланцами. Представители обоихъ этихъ городовъ явились на сеймъ и стали жаловаться королю на своихъ угнетателей. Миланскіе консулы представили свои оправданія и возраженія. Депутаты другихъ городовъ стали говорить за нихъ или противъ нихъ, и такимъ образомъ Фридрихъ увидѣлъ, что Ломбардія распадается на двѣ враждебныя партіи. На одной сторонѣ стояли города Миланъ, Крема, Брешиа, Пиаченца, Асти и Тортона; на другой—Павія, Кремона и Новара. Фридрихъ рѣшился поддерживать вторую партію, потому что она была слабѣе первой и слѣдовательно менѣе опасна для королевской власти, которую Фридрихъ желалъ возстановить во всемъ ея первобытномъ величіи. Однакоже Фридрихъ не произнесъ на ронкальскомъ сеймѣ никакого рѣшительнаго приговора по дѣлу о городахъ, завоеванныхъ миланцами. Онъ только приказалъ прекратить тѣ военныя дѣйствія, которыя были начаты не задолго до его прихода. Миланцы сочли нужнымъ повиноваться, и даже выпустили плѣнниковъ, захваченныхъ на павійской территоріи.

Затѣмъ Фридрихъ пошелъ къ Новарѣ, и, такъ какъ надо было идти черезъ миланскую область, то онъ приказалъ миланскимъ консуламъ составить для его арміи удобный маршрутъ и заготовить для нея по дорогѣ, на станціяхъ, достаточное количество квартиръ и съѣстныхъ припасовъ. Исполнить это порученіе было трудно. Дорога, по которой должна была идти армія Фридриха, была совершенно опустошена недавними столкновеніями миланцевъ съ павійцами; кромѣ того, крестьяне бѣжали опрометью отъ нѣмцевъ, которые имѣли обыкновеніе отнимать у хозяевъ насильно и бесплатно хлѣбъ, скотъ и даже домашнюю утварь. Спасаясь изъ деревень въ лѣса или въ укрѣпленные города, крестьяне конечно уносили или увозили съ собою все, что можно было захватить. Поэтому нѣмцамъ приходилось странствовать въ разоренной пустынѣ и терпѣть во всемъ недостатокъ, несмотря на добросовѣстныя усилія миланскихъ консуловъ, облеченныхъ по волѣ Фридриха въ званіе провіантмейстеровъ. Къ довершенію несчастія, начались проливные дожди; люди и лошади вязли въ грязь, подвигались впередъ вдвое медленнѣе и утомлялись вдвое больше, чѣмъ обыкновенно; хорошія квартиры и обильная пища, при такихъ условіяхъ, были особенно необходимы; а между тѣмъ взять ихъ было неоткуда. Нѣмцы злились, ругались, и во всѣхъ неудобствахъ похода усматривали злые умыслы коварныхъ итальянцевъ. Дойдя до мѣстечка Розаты, Фридрихъ такъ разсердился на погоду и на дорогу, что приказалъ миланскимъ консуламъ убираться къ чорту и увести съ собою всѣхъ жителей мѣстечка, которое должно было сдѣ-

латься добычею солдатъ. Консулы принуждены были повиноваться. Взрослые люди, старики и дѣти, женщины съ грудными ребятими на рукахъ, здоровые и больные, всѣ вышли изъ Розаты, не захватывая съ собою никакого имущества, и поплелись пѣшкомъ, ночью, подъ холоднымъ осеннимъ дождемъ, по непроходимой грязной дорогѣ, въ Миланъ, до котораго было слишкомъ пятнадцать верстъ. Къ разсвѣту розатскіе выходцы добрались до Милана истомленные, промоченные до костей, не зная, гдѣ пріютиться и какимъ образомъ добыть себѣ пропитаніе. Чувствуя неодолимую потребность сорвать на комъ нибудь свое зло, они стали громко жаловаться на миланскихъ консуловъ, обвиняя ихъ въ томъ, что они своей безтолковостью разсердили короля Фридриха и погубили Розату. Миланскій народъ принялъ горячо къ сердцу страданія разоренныхъ соотечественниковъ; ихъ размѣстили по домамъ, обогрѣли, успокоили, накормили и обезпечили на столько, что они могли, не боясь голода и холода, приняться за пріискиваніе какихъ нибудь постоянныхъ занятій въ Миланѣ или въ его окрестностяхъ. При своей впечатлительности и горячности, народъ повѣрилъ жалобамъ выходцевъ, бросился къ дому Герардо Нигро, одного изъ консуловъ, и разрушилъ его до основанія. Въ это же самое время, нѣмецкіе солдаты, разграбивъ Розату, стирали ее съ лица земли.

Новые депутаты отправились изъ Милана въ нѣмецкій лагерь, объявили Фридриху, что народъ наказалъ консуловъ за ихъ нерасторопность, и предложили ему значительную сумму денегъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ призналъ права миланской республики на города Лоди и Комо. Это посольство не понравилось Фридриху. Все, что говорили ему послы, казалось ему беззаконіемъ и дерзостью. Во-первыхъ, что это за народъ, наказывающій своихъ начальниковъ и объявляющій объ этомъ смѣло и торжественно ему, будущему римскому императору, настоящему и единственному источнику всякой земной власти? Во-вторыхъ, какъ они, эти мѣщане, смѣютъ подкупать императора деньгами? Въ третьихъ, что это за права миланской республики на обладаніе другими городами? Надо еще посмотрѣть, имѣетъ ли эта произвольно зародившаяся республика какія нибудь права на самостоятельное существованіе. Выслушавъ миланскихъ депутатовъ, Фридрихъ окончательно убѣдился въ томъ, что Италия погибнетъ въ пучинѣ заблужденій и анархіи, если твердый и мудрый правитель не приметъ за ея политическое перевоспитаніе. Фридрихъ былъ такъ великодушенъ, что обрекъ самого себя на этотъ тяжелый и опасный трудъ.

Желая показать миланцамъ, что они должны трепетать и благоговѣть, а не разеуждать вкрякъ и вкось о какихъ-то правахъ какой-то респуб-

лики, Фридрихъ, въ отвѣтъ на любезности ихъ депутатовъ, провелъ свою армию черезъ самыя плодородныя земли миланской области и разрушилъ на своемъ пути все, что могло быть разрушено. Опустошительное шествіе Фридриха закончилось тѣмъ, что онъ сжегъ два моста, построенные миланцами черезъ рѣку Тичино, и скрылъ до основанія два укрѣпленные замка, Трекалу и Галиату, защищавшіе миланскую границу со стороны наварской области.

Подвиги нѣмецкой арміи навели миланцевъ на поучительныя размышленія, но не возбудили въ нихъ желанія покориться грозному королю. Миланцы тщательно укрѣпили свой городъ и всѣ замки своей территоріи, закупили на случай осады огромное количество съѣстныхъ припасовъ и отправили пословъ въ сосѣдніе города, для возобновленія старыхъ союзныхъ договоровъ.

Уже въ концѣ 1154 года обозначились такимъ образомъ первыя основанія будущей ломбардской лиги. Уже въ это время въ Миланѣ, въ первенствующемъ городѣ Ломбардіи, зашевелилась мысль о неизбежности серьезной борьбы съ нѣмцами. Это обстоятельство подтверждаетъ мою мысль о томъ, что спасеніе римской республики было очень возможно и что оно находилось въ рукахъ Арнольда Брешианскаго, который не сумѣлъ воспользоваться выгодами своего положенія.

Въ февралѣ 1155 года Фридрихъ подошелъ къ Тортонѣ и приказалъ этому городу отступить отъ союза съ Миланомъ и заключить союзный договоръ съ Павіей. Правительство тортонской республики отвѣчало Фридриху, что у нихъ не принято покидать старыхъ друзей въ несчастіи.

Фридрихъ объявилъ Тортону въ опалѣ и немедленно началъ осаду этого города. Напротивъ городскихъ стѣнъ, король приказалъ поставить нѣсколько висѣлицъ, предназначенныхъ для плѣнныхъ тортонянъ, которые считались мятежниками и слѣдовательно подлежали смертной казни. Эти висѣлицы дѣлали свое дѣло послѣ каждой стычки, но Тортонъ продолжала защищаться съ образцовымъ мужествомъ. Когда Миланцы узнали объ опасномъ положеніи своихъ вѣрныхъ союзниковъ, они тотчасъ послали въ Тортону двѣсти человѣкъ отборныхъ воиновъ. Фридрихъ простоялъ передъ Тортоню два мѣсяца, выстроилъ множество хитрѣйшихъ осадныхъ машинъ и потерялъ достаточное количество храбрыхъ воиновъ. Наконецъ Тортонъ сдалась отъ недостатка воды.

Единственный колодезь, которымъ пользовались жители, находился между городомъ и неприятельскимъ лагеремъ; осаждающіе набросали въ этотъ колодезь кучи разной мерзости, трупы людей, лошадей и собакъ; потомъ они напустили въ воду значительное количество растопленной смолы и сѣры; вода сдѣлалась такъ горька, что

даже люди, умирающіе отъ жажды, не въ состояніи были ее пить. На Святой недѣлѣ, възвѣщаясь четырехдневнымъ перемиріемъ, законнымъ для празднованія Пасхи, мѣстное духовенство вышло изъ Тортонѣ, отправилось въ нѣмецкій лагерь и стало умолять Фридриха, чтобы онъ, наказывая мятежный и преступный родъ, заслужившій свою горькую участь, сдѣлалъ исключеніе для клириковъ и позволилъ имъ немедленно удалиться куда нибудь въ такое мѣсто, гдѣ благонравіе жителей и обиліе чистой воды радуютъ сердце каждаго добродѣтельнаго человѣка. Просьбы духовенства не услышали и не разжалобили Фридриха. Онъ отправилъ просителей обратно въ городъ и продолжалъ свои осадныя операціи.

Однако Фридрихъ не рѣшился поступить съ населеніемъ цѣлаго города по всей строгости нѣмецкихъ законовъ, которые онъ предлагалъ во время осады къ отдѣльнымъ личностямъ тортонскихъ плѣнниковъ. Онъ позволилъ тортонянамъ выйти изъ города и унести съ собой тѣ вещи, которыя они могли захватить за одинъ разъ. Затѣмъ солдаты Фридриха разграбили и сожгли городъ. Истомленные двухмѣсячными трудами и лишениями, тортоняне, худѣя какъ скелеты, едва передвигая ноги, потащались въ Миланъ. Тамъ ихъ приняли съ распростертыми объятіями, какъ героевъ, выдержавшихъ первую серьезную борьбу за общее дѣло. Граждане оказали тортонянамъ самое широкое гостепріимство, а консулы Милана обязались, отъ имени своей республики, выстроить Тортоню заново, какъ только удалится отъ нея развалины нѣмецкая армія.

Послѣ разрушенія Тортонѣ Фридрихъ принялъ въ Павіи ломбардскую корону и потомъ отправился въ Римъ.

Въ это время римляне, по своему обыкновению, старались угодить и Богу, и мамону, фатализировали на разныя республиканскія темы, и собирались свидѣтельствовать свое почтеніе императору, — слушали съ восторгомъ проповѣди еретика Арнольда, отлученнаго отъ церкви, и продолжали признавать папу высшимъ авторитетомъ въ дѣлѣ религіи. Въ началѣ 1155 года папа Адріанъ IV, возмущенный этимъ хаосомъ внутреннихъ противорѣчій, поразилъ Римъ интердиктомъ, то есть запретилъ всѣмъ членамъ римскаго духовенства совершать въ Римѣ обряды богослуженія. Когда, въ концѣ того же III столѣтія, папа Иннокентій III наложилъ интердиктъ на Англію и на Францію, тогда Іоаннъ Безземельный и Филиппъ Августъ приняли тотчасъ такія энергическія мѣры, что англійскіе и французскіе клирики не осмѣлились повиноваться папѣ и продолжали совершать богослуженіе почти во всѣхъ провинціяхъ, пораженныхъ интердиктомъ. Но въ Римѣ ни у кого не доставало сообразительности и энергіи на то,

чтобы распорядиться такимъ образомъ. Ни Арнольдъ, ни республиканскій сенатъ не приняли никакихъ мѣръ противъ выполненія папскаго декрета. Церкви закрылись. Народъ оробѣлъ, растерялся. Въмѣсто того чтобы воспользоваться популярностью и краснорѣчiemъ Арнольда для ободренія унывающихъ римлянъ, сенатъ сталъ искать спасенія въ уступкахъ и попросилъ Арнольда удалиться изъ города для того, чтобы Римъ могъ помириться съ папою. Арнольдъ, съ своей стороны, вмѣсто того, чтобы собрать всѣ силы для рѣшительной борьбы, по первому приглашенію остроумнаго сената удалился изъ Рима на лоно сельской природы, въ замокъ какого-то кампанскаго дворянина.

Подойдя къ Риму, Фридрихъ велѣлъ тотчасъ отыскать и схватить Арнольда, для того чтобы передать его въ полное распоряженіе папѣ. Фридриху было, разумѣется, очень пріятно, что онъ такою бездѣлицей можетъ доставить папѣ великое удовольствіе. Получивши Арнольда, Адрианъ, разумѣется, приказалъ сжечь его какъ можно скорѣе. Приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе въ концѣ мая, рано утромъ, у воротъ del Popolo, недалеко отъ трехъ самыхъ длинныхъ и населенныхъ улицъ Рима. Римляне вооружились и сбѣжали къ костру, когда уже все было кончено. Они поглазѣли, пожалѣли, покричали и разошлись по домамъ.

Депутаты отъ республиканскаго правительства явились въ лагерь Фридриха и разсыпали передъ нимъ жемчугъ своего краснорѣчія. Распространившись достаточно о древней величинѣ Рима, депутаты объяснили Фридриху, что вѣчный городъ недавно сбросилъ съ себя несправедливую власть монаховъ, и теперь снова можетъ и долженъ подчинить весь міръ своему господству. Во имя всѣхъ великихъ подвиговъ, совершенныхъ древними и новыми римлянами, во имя всѣхъ ихъ блестящихъ надеждъ и роскошныхъ претензій, депутаты потребовали отъ Фридриха, чтобы онъ, до своего вступленія въ Римъ, далъ клятвенное обѣщаніе соблюдать всѣ обычаи и древніе законы Рима, охранять гражданъ отъ своеволія варваровъ и заплатить пять тысячъ ливровъ серебра тѣмъ чиновникамъ, которые, отъ имени римскаго народа, увѣнчаютъ его въ Капитоліи. Все это говорилось серьезно и торжественно тому самому человѣку, по приказанію котораго Арнольдъ Брешианскій сдѣлался мученикомъ итальянской свободы.

Фридрихъ, разумѣется, далъ почувствовать краснорѣчивымъ депутатамъ всю тяжесть своего презрѣнія къ ихъ заносчивому и тупоумному безсилію. Онъ отвѣчалъ на ихъ требованія, что онъ, какъ государь, идетъ въ Римъ предписывать законы, и никому не давалъ и не дастъ права стѣнать его дѣйствія какими бы то ни было условіями. Осыпавъ новыхъ республиканцевъ насмѣшками и упреками за жалкое пар-

дированіе древняго Рима, Фридрихъ прогналъ отъ себя депутатовъ, предоставляя имъ размышлять на досугъ о гнусномъ равнодушій сѣверныхъ варваровъ къ самымъ величественнымъ историческимъ воспоминаніямъ. Однакоже Фридрихъ не тронулъ республиканскихъ учрежденій Рима. Онъ только занялъ своими войсками Ватиканскій холмъ, на которомъ находился соборъ св. Петра, необходимый для коронаціи.

Когда совершилась эта церемонія, Фридрихъ тотчасъ удался въ свой лагерь, расположенный за стѣнами города, а римляне, обидѣвшись тѣмъ, что императоръ обошелся безъ ихъ согласія и осмѣялъ ихъ депутатовъ, бросились толпою къ Ватикану и перебили тѣхъ нѣмцевъ, которые не успѣли выбраться изъ города. Фридрихъ, услышавъ объ этомъ движеніи, вышелъ изъ лагеря, напалъ на римлянъ, дрался съ ними въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, положилъ на мѣстѣ до тысячи республиканцевъ и разсѣялъ остальную часть городской милиціи. Даже и послѣ этой рѣшительной побѣды Фридрихъ не сталъ вмѣшиваться въ римскія дѣла и не произвелъ никакой перемѣны въ республиканскомъ управленіи. Напротивъ того, онъ на другой же день послѣ сраженія удался вмѣстѣ съ папою отъ Рима къ Тиволи. Лѣтніе жары привели за собою лихорадки, которыя заставили Фридриха уйти какъ можно скорѣе изъ римской Кампаньи. Дойдя до Анконы, Фридрихъ былъ принужденъ распустить большую часть арміи, потому что срокъ службы окончился, и нѣмецкіе бароны торопились воротиться домой. Оставивъ при себѣ сильный отрядъ, достаточный для того, чтобы совершить приличнымъ образомъ отступленіе, Фридрихъ самъ двинулся къ Альпамъ и чуть-чуть не погибъ при переходѣ черезъ рѣку Адигъ. На этой рѣкѣ вероняне устраивали обыкновенно для императорскихъ арій плывучій мостъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Вероны, которая такимъ образомъ избавлялась отъ печальной необходимости отворять свои ворота нѣмецкимъ буянамъ и грабителямъ. Веронянамъ пришло въ голову, что они посредствомъ этого моста могутъ сразу отмстить Фридриху за всю Италію. Они построили мостъ такъ, что лодки, изъ которыхъ онъ былъ составленъ, были едва связаны между собою и должны были разбѣхаться отъ перваго сильнаго толчка. Повыше моста они заготовили нѣсколько здоровенныхъ плотовъ, связанныхъ изъ огромныхъ строевыхъ деревьевъ. Эти плоты рѣшено было пустить внизъ по теченію быстрой рѣки, такъ, чтобы они разнесли мостъ въ дребезги и разрѣзали отрядъ Фридриха пополамъ. Съ каждою изъ двухъ половинокъ отряда вероняне легко могли управиться собственными средствами. Замыселъ этотъ разстроился единственно оттого, что плоты опоздали на нѣсколько минутъ. Они разбили мостъ тогда, когда весь отрядъ Фридриха былъ

уже за рѣкою. Фридрихъ видѣлъ ясно, какая западня была устроена для него трудами добрыхъ веронскихъ гражданъ, но у него было такъ мало воинствъ, что ему невозможно было заняться наказаніемъ виновныхъ. Онъ поспѣшно отправился дальше и благополучно вернулся въ свою Германію.

XI.

РОНКАЛЬСКИЙ СЕЙМЪ.

Тортоня не долго оставалась разрушенной. Какъ только Фридрихъ двинулся изъ Павіи въ Римъ для принятія императорской короны — миланскіе консулы созвали въ Миланѣ парламентъ (народное собраніе), напомнили ему, что тортоняне, изъ любви къ общему дѣлу, пожертвовали всѣмъ своимъ достояніемъ, и предложили ему обсудить, не пора ли будетъ исполнить въ отношеніи къ нимъ естественную обязанность вѣрныхъ союзниковъ. Парламентъ рѣшилъ, что надо немедленно выстроить Тортону заново на счетъ миланской общины. Государственная казна миланской республики не была на столько богата, чтобы соорудить на свой счетъ цѣлый городъ. Но парламентъ, составленный изъ всѣхъ взрослыхъ гражданъ Милана, вовсе и не хотѣлъ сваливать на казну эти экстраординарные расходы. Рѣшаясь оказать тортонянамъ такую безпримѣрно широкую помощь, миланцы просто и совершенно сознательно налагали на себя обязанность развязать свои кошельки и высыпать изъ нихъ столько денегъ, сколько потребуется на данное предприятие. У кого не было кошелька, тотъ обязывался принести въ общую складчину свое время, свой трудъ, силы своего ума и своихъ рукъ.

Миланцы сразу откомандировали къ развалинамъ Тортоня цѣлую треть своего городского населенія. Изъ шести миланскихъ частей двѣ, Тичинская и Верчельская, цѣликомъ отправились на работы. Дворяне и горожане, конные и пѣшіе, всѣ пошли вмѣстѣ. Пока одни работали, другіе принуждены были драться, потому что павійцы, упорные враги Милана и вѣрные союзники Барбароссы, всячески старались помѣшать восстановленію мятежной Тортоня. Отдежуривъ такимъ образомъ три недѣли, обѣ части воротились домой, а къ нимъ на смѣну пришли другіе двѣ части — Ренцкая и Римская. Когда всѣ части перебивали на работахъ, тогда на мѣстѣ грязныхъ и закопченныхъ развалинъ оказался новый, красивый и крѣпкій городъ, въ который миланцы съ торжествомъ ввели своихъ возлюбленныхъ друзей и союзниковъ, пострадавшихъ за общее дѣло республиканской свободы.

Наградивъ добродѣтель, миланцы стали наказывать порокъ, то есть павійцевъ, кремонянъ и другихъ итальянскихъ союзниковъ императора. Втеченіе 1156 и 1157 годовъ миланцы

одержали надъ всѣми этими супостатами блестящихъ побѣдъ, вслѣдствіе которыхъ влдіе Фридриха оказалось почти уничтоженнымъ на всемъ пространствѣ Ломбардіи. Черезъ годъ послѣ возвращенія Фридриха въ Германію, всѣ слѣды его грознаго нашествія были изгнаны, и миланцы сдѣлались снова хозяевами сѣверной Италіи.

Весною 1157 года Фридрихъ началъ приготовляться къ новому походу, направленному специально противъ миланцевъ. Онъ прислалъ всѣхъ имперскихъ князей явиться съ войскомъ въ городъ Ульмъ, къ троицыну дню 1157 года съ тѣмъ, чтобы прямо изъ Ульма идти въ Италію.

Походъ состоялся въ назначенное время. Армія, собравшаяся въ Ульмѣ, оказалась такой степени многочисленной, что начальники признали удобнымъ раздѣлить ее на четыре большіе отряда, которые пошли черезъ Альпы по четыремъ различнымъ дорогамъ.

Первый ударъ обрушился на Брешию, владѣвшуюся въ союзѣ съ Миланомъ. Но у Брешианцевъ не хватило мужества подражать Тортонянамъ. Черезъ двѣ недѣли послѣ вступленія Фридриха на ихъ территорію, они стали просить мира, заплатили значительную контрибуцію и покинули миланцевъ на произволъ судьбы. Остановившись лагеремъ въ Брешианской области, Фридрихъ потребовалъ къ себѣ на судъ мятежныхъ миланцевъ; депутаты отъ Милана явились по этому приглашенію, попробовали оправдать дѣйствія своей республики, и, по своему обыкновенію, предложили императору денежный подарокъ. Фридрихъ не принялъ отъ нихъ ни оправданій, ни денегъ, объявилъ миланцевъ врагами священной римской имперіи и приказалъ арміи готовиться къ осадѣ нечестиваго города.

Въ то время, когда нѣмецкая армія приближалась къ Милану, лодійцы толпами окружили императора, и, держа въ рукахъ кресты, стали умолять его со слезами, чтобы онъ позволялъ имъ наконецъ возстановить свой городъ, который, какъ извѣстно, былъ разрушенъ миланцами. Фридрихъ назначилъ имъ для новаго города холмъ Монтегекцоне, находившійся въ четырехъ миляхъ отъ стараго Лоди. На этомъ холмѣ онъ приказалъ положить въ своемъ присутствіи первые камни городскихъ стѣнъ, и къ концу года лодійцы, за этими стѣнами, могли уже собственными средствами отстаивать отъ миланцевъ свою независимость.

Въ началѣ августа войско Фридриха, состоявшее изъ 100,000 пѣхоты, окружило Миланъ со всѣхъ сторонъ. Пользуясь удобнымъ случаемъ, кремоняне и павійцы натѣшились до сыта надъ роскошными нивами и садами Миланской области; они вырывали или сожигали виноградныя лозы, смоковницы и масличныя деревья,

азрушали дома и хозяйственные строения, и убили плѣнниковъ, которыхъ имъ удавалось за-
ватить. Имъ хотѣлось не грабить, а истреблять;
они управляло не корыстолюбіе, а ненависть и
жажда мщенія за недавнія побѣды миланцевъ.

Блокада Милана не привела за собою тѣхъ
вышительныхъ послѣдствій, которыхъ можно
было ожидать отъ энергіи обѣихъ воюющихъ
сторонъ и отъ естественной непримиримости
сбродившихся принциповъ. Осажденные очень
рано начали чувствовать недостатокъ съѣст-
ныхъ припасовъ; вслѣдъ за голодомъ въ городѣ
появились заразительныя болѣзни. Въ началѣ
сентября, миланцы послали къ Фридриху депу-
татовъ съ просьбою о мирѣ.

Надо полагать, что осаждающая армія нахо-
дилась также не въ блистательномъ положеніи.
Но крайней мѣрѣ, Фридрихъ обнаружилъ въ
своихъ требованіяхъ такую умѣренность, кото-
рая совершенно не соответствовала ни его лич-
ному характеру, ни его постояннымъ политиче-
скимъ стремленіямъ. Миланцы съ радостью при-
няли его условія, и миръ былъ заключенъ 7-го
сентября. — По этому трактату миланцы призна-
ли независимость городовъ Лоди и Комо, покля-
лись быть вѣрными императору, обязались вы-
строить ему на свой счетъ дворецъ и выпла-
тить ему, въ три срока, втеченіе года, девять
тысячъ марокъ. Кромѣ того, они отказались отъ
регальныхъ правъ, которыми они владѣли въ
своемъ городѣ и въ миланской области. импе-
раторъ обязался не вводить арміи въ Миланъ и
удалиться отъ стѣнъ города послѣ полученія за-
ложниковъ, которыхъ миланцы должны были
ему выдать впредъ до уплаты обѣщанной кон-
трибуціи. Далѣе онъ утвердилъ право милан-
цевъ выбирать себѣ консуловъ въ народномъ
обраніи, съ тѣмъ условіемъ, чтобы эти кон-
сулы, при вступленіи въ должность, присягали
въ вѣрности императору. Наконецъ онъ при-
зналъ право миланцевъ заключать союзы съ дру-
гими городами и согласился распространить
условія мирнаго договора на тѣ города, которые
въ данную минуту находились въ союзѣ съ Ми-
ланомъ.

Подписывая этотъ договоръ, миланскіе поли-
тики горевали преимущественно о томъ, что
ихъ республика теряетъ свои завоеванія — Лоди
и Комо. Остальные условія — о присягѣ всего
города, о присягѣ консуловъ, о регальныхъ
правахъ — казались имъ простымъ и невин-
нымъ освѣщеніемъ старыхъ обычаевъ, которые,
правда, начали поростать мохомъ забвенія, но
при всемъ томъ никогда не теряли своего исто-
рическаго права на существованіе. Писанный
законъ былъ весь цѣликомъ на сторонѣ импера-
тора; исторія всѣми своими хартіями оправды-
вала его требованія. Миланцы не могли предъ-
ложить ни одного такого документа, который
освобождалъ бы ихъ отъ присяги, или отдавалъ

бы въ ихъ распоряженіе регальныя права. Вся
автономія Милана и другихъ итальянскихъ рес-
публикъ была явленіемъ незаконнорожденнымъ
и не помнящимъ родства. Вслѣдствіе этого об-
стоятельства, всѣ итальянскіе республиканцы —
кромѣ венеціанцевъ — поневолѣ были очень
уступчивы въ области теоріи, гдѣ они дѣйстви-
тельно не могли найти для своихъ притязаній
никакой опоры. Такъ какъ большая часть усло-
вій въ договорѣ съ Фридрихомъ имѣла чисто-
теоретическій характеръ, то есть заявляла от-
влеченныя верховныя права императора, то ми-
ланцы принуждены были признать справедли-
вость этихъ условій.

Но для Фридриха заключенный договоръ былъ
сносенъ только въ ожиданіи лучшаго. Фридрихъ
вовсе не былъ расположенъ удовлетворяться
отвлеченнымъ заявленіемъ своихъ верховныхъ
правъ. Цѣль и задача всей его жизни именно въ
томъ и состояла, чтобы осуществить на самомъ
дѣлѣ всѣ тѣ притязанія императорской власти,
которыя со временъ Карла Великаго обратились
въ пустые звуки. Для Фридриха всѣ теоретиче-
скія условія договора были зародышами, заклю-
чавшими въ себѣ способность къ безконечному
развитію. — Фридрихъ желалъ имѣть въ Миланѣ
дворецъ. На что онъ ему былъ нуженъ? Не на
то же, въ самомъ дѣлѣ, чтобы отдавать его въ
наймы и получать съ него доходъ? — Имѣя свой
дворецъ, императоръ могъ пріѣзжать иногда въ
Миланъ и проводить въ городѣ по нѣскольку
недѣль. Живя въ Миланѣ, императоръ могъ и
долженъ былъ пріобрѣтать нѣкоторое вліяніе на
городскія дѣла. Уѣзжая изъ Милана, импера-
торъ могъ оставить въ своемъ дворцѣ чинов-
ника для окончанія какихъ нибудь дѣлъ, посту-
пившихъ на разсмотрѣніе самого государя. Сло-
вомъ, при благоприятныхъ обстоятельствахъ и
при нѣкоторомъ искусствѣ, можно было поне-
много пріобрѣтать къ невинному дворцу — импера-
торскаго намѣстника съ цѣлымъ придворнымъ
штатомъ.

Конечно, дворецъ самъ по себѣ ничего не
значить, и ничего не можетъ сдѣлать. Но тутъ
все идетъ одно къ одному: и дворецъ, и консуль-
ская присяга, и регальныя права. — Консулы
выбирались каждый годъ, и слѣдовательно каж-
дый годъ должны были приносить присягу. Но
гдѣ должна была совершаться эта церемонія —
въ Германіи или въ Миланѣ? Путешествіе въ
Германію, при тогдашнихъ путяхъ сообщенія,
было на столько затруднительно и даже опасно,
что его не стоило предпринимать единственно
для того, чтобы совершить простой обрядъ.
Если же церемонія присяги должна была совер-
шаться въ Миланѣ, то разумѣется, тутъ необ-
ходимо было присутствіе довѣреннаго лица, кото-
рое отъ имени императора наблюдало бы за над-
лежащимъ исполненіемъ всѣхъ предписанныхъ
формальностей. Однимъ изъ важѣйшихъ ре-

гальныхъ правъ было право чеканить монету. Другія регальныя права заключались въ собираніи нѣкоторыхъ опредѣленныхъ доходовъ. Отказываясь отъ этихъ регальныхъ правъ въ пользу императора, миланцы очевидно давали императору поводъ ввести въ ихъ городъ цѣлый штатъ чиновниковъ для завѣдыванія монетнымъ дѣломъ и всѣми оброчными статьями, которыя становились собственностью императорской казны. Представители высшей центральной власти очевидно не могли подчиняться консуламъ и народному собранію; такимъ образомъ, въ городъ оказалось бы два правительства, которыхъ неизбѣжныя столкновения подавали бы поводъ къ постояннымъ вмѣшательствамъ со стороны императора. Эти вмѣшательства, разумѣется, могли по немногу вытравить всѣ признаки республиканской свободы.

Трактатъ, заключенный Фридрихомъ съ миланцами, долженъ былъ или оказаться мертвою буквой почти во всѣхъ своихъ частяхъ, или обогатиться понемногу такими дополнительными и объяснительными условіями, при которыхъ миланская автономія сдѣлалась бы невозможною. Тотчасъ послѣ заключенія мира, Фридрихъ созвалъ на Ронкальскомъ полѣ сеймъ и при его содѣйствіи началъ воздѣлывать зародыши, вложенные въ мирный договоръ. — Сеймъ составилъ многочисленный и блестящій. Сѣхались архіепископы и епископы, князья, герцоги, маркизы графы и наконецъ консулы и судьи всѣхъ итальянскихъ городовъ, признававшихъ верховную власть императора.

Разсужденіями сейма стали конечно управлять тѣ люди, на сторонѣ которыхъ находился перевѣсъ образованія, то есть клирики и юрисконсулы. Благодаря вліянію этихъ двухъ корпорацій, сеймъ отличился безпримѣрной покорностью, такою покорностью, что самъ Фридрихъ не рѣшился воспользоваться всѣми уступками сейма въ ихъ полномъ объемѣ. Архіепископъ миланскій, въ своемъ отвѣтѣ на тронную рѣчь императора, выразился:

«Вамъ однимъ — сказалъ онъ, обращаясь къ Фридриху — слѣдуетъ заботиться о законахъ, о справедливости и о чести имперіи; вамъ предоставлено полное право предписывать народу новые законы; ваша воля сама по себѣ составляетъ основаніе справедливости; ваше письмо, приговоръ, указъ — немедленно становится для народа закономъ. Не должна-ли, въ самомъ дѣлѣ, награда слѣдовать за трудомъ, и не долженъ-ли пользоваться наслажденіями власти тотъ, на комъ лежитъ тяжелая обязанность защищать насъ отъ враговъ?»

Юрисконсулы, сформированные Болонскимъ университетомъ, окончательно подкосили тѣхъ членовъ сейма, которые были расположены защищать права народа. Рѣчи пламенныхъ обожателей юстиниановаго кодекса лизались на

магнатовъ и на консуловъ, какъ безцѣпный потокъ холоднаго осенняго дождя. Не умѣли дить за тонкой нитью извилистой юрической аргументаціи, не понимая мудреныхъ научныхъ терминовъ, не зная ни римскаго права, ни исторіи, изнемогая отъ скуки и отъ безцѣпныхъ усилій сосредоточить свое вниманіе — военные и торговые люди, засѣдавшіе на сеймѣ, доходили наконецъ до безсознательнаго и безчувственнаго состоянія, въ которомъ они могли были согласиться на все, лишь бы только поскорѣ изъ подъ дождя болонскихъ измѣнчиваній и доказательствъ. Практическіе люди — магнаты и консулы — помнили только то, что господинъ болонскій докторъ рассказывалъ имъ о римскихъ законахъ и учрежденіяхъ, а не слѣдовательно всѣ описываемые порядки должны были превосходны, потому что у римлянъ завоевавшихъ всю вселенную, или около того, разумѣется не могло быть въ государственной жизни ничего дурного, несправедливаго или нелѣпаго. И практическіе люди соглашались на все. Да и какъ могли они не согласиться? Что только они затѣяли бы споръ, болонскіе докторы тотчасъ завели бы снова свои машины часа три или на четыре, и наконецъ, рано или поздно, практикамъ, доведеннымъ до одуренія, такъ пришлось бы сдаться на капитуляцію и просить пощады. А тутъ же кстаті и нѣкоторые солдаты были подъ бокомъ на тотъ случай, если бы практикамъ вздумалось твердо стоять на своемъ, не прельщаясь никакими юстиниановскими сентенціями.

По требованію Фридриха, юристы подвинули сеймѣ вопросъ о регальныхъ правахъ, уже втронутый договоромъ съ миланцами. Сеймъ рѣшилъ, что регальныя права должны принадлежать императору, и что подъ этимъ именемъ должны подразумѣваться: право собирать таможенные пошлины; право брать взносъ для войска съѣстные припасы; право держать пристани, мельницы и рыбныя ловли; право собирать какіе бы то ни было доходы съ большихъ рѣкъ. — Кромѣ того, сеймъ рѣшилъ, что подданные должны платить императору подушную подать.

Всѣ эти рѣшенія сейма находились въ совершенной гармоніи съ духомъ и съ буквою римскаго права; но ихъ невозможно было примирить съ живыми явленіями тогдашней дѣйствительности. Достоинства и владѣнія герцоговъ, епископовъ и маркизовъ уже давно сдѣлались частными; многіе города уже давно чеканили свою монету; таможи, пристани, мельницы, рыбныя ловли и всякіе рѣчные доходы давно находились въ рукахъ городовъ или помѣщиковъ, которые привыкли смотрѣть на нихъ, какъ на свою неотъемлемую собственность. Переменить сразу весь этотъ установившійся порядокъ было такъ трудно и опасно, что Фридрихъ и

вшился присвоить себѣ на самомъ дѣлѣ все тѣ права, которыя сеймъ представлялъ ему въ теоріи. Онъ оставилъ регальныя права въ рукахъ прежнихъ владѣльцевъ, съ тѣмъ условіемъ, что они, пользуясь доходами, платили ежегодный брокъ императору, какъ верховному сюзерену.

Сеймъ призналъ, что право выбирать консуловъ и судей принадлежитъ императору, съ тѣмъ, чтобы выборъ соотвѣтствовалъ желаніямъ народа. Зародышъ, заключавшійся въ консульской присягѣ, началъ такимъ образомъ развертываться очень удачно. Пользуясь своимъ правомъ, Фридрихъ назначилъ въ каждый епархіальный городъ по одному новому судѣ, который получилъ названіе *подесты*.

Создавая эту новую должность, Фридрихъ опредѣлилъ, что подеста непременно долженъ быть уроженцемъ другого города для того, чтобы онъ, при отправленіи своихъ судебныхъ обязанностей, не поддавался родственному пристрастію и не увлекался духомъ мѣстныхъ партій.

Наконецъ сеймъ отнялъ право войны и мира у всѣхъ городовъ и магнатовъ. Если бы смѣлые приговоры и рѣшительныя запрещенія могли пересоздать въ одну минуту всю фیزیономію дѣйствительной жизни,—то ронкальскій сеймъ положилъ бы конецъ всѣмъ частнымъ войнамъ на всемъ пространствѣ сѣверной и средней Италіи.

XII.

РАЗРУШЕНІЕ КРЕМЫ И МИЛАНА.

На ронкальскомъ сеймѣ законные представители итальянскаго королевства признали за императоромъ такую обширную власть, которая, повидимому, исключала всякую мысль о возможности сопротивляться ему или связывать его державную волю условіями какихъ нибудь трактатовъ. Послѣ опредѣленій ронкальскаго сейма, на которомъ, въ числѣ прочихъ, присутствовали и миланскіе депутаты — Фридрихъ имѣлъ полное право смотрѣть на свой мирный договоръ съ миланцами, какъ на любопытный памятникъ недавнихъ, но уже осужденныхъ и окончательно отвергнутыхъ анархическихъ заблужденій. Фридрихъ воспользовался этимъ правомъ не обращать вниманіе на условія трактата. Онъ ввелъ нѣмецкій гарнизонъ въ замокъ Треццо, находившійся на миланской территоріи, неприкосновенность которой была положительно гарантирована трактатомъ. Онъ отдѣлилъ отъ миланской республики городъ Монцу, находившійся съ давнихъ поръ подъ ея господствомъ. Онъ отдалъ одному изъ своихъ приверженцевъ графства Мартезану и Сепріо, которыя также составляли часть неприкосновенной миланской территоріи. Онъ приказалъ разрушить укрѣпленія города Кремь, который, въ качествѣ постоянного союзника миланской республики, былъ огражденъ трактатомъ отъ произвольныхъ рас-

поряженій императорскаго правительства. Наконецъ Фридрихъ переполнилъ мѣру миланскаго долготерпѣнія: онъ послалъ въ Миланъ своего канцлера для того, чтобы посадить подесту на мѣсто выборныхъ консуловъ. Последніе два приказанія—о разрушеніи кремской крѣпости и о водвореніи въ Миланѣ подесты—были отданы въ одно время и произвели одинаково-сильный взрывъ въ обоихъ городахъ—въ Кремь и въ Миланѣ. Кремаски и миланцы взялись за оружіе и прогнали императорскихъ чиновниковъ. Побѣда, одержанная учеными юрисконсультами на ронкальскомъ сеймѣ, была очень замѣчательна, не только по своей легкости, но также и по своей совершенной бесплодности. На сеймѣ оппозиція покорилась и умолкла; законы, предложенные приверженцами Фридриха, были приняты единогласно, болонскіе аргументы убѣдили или оглушили всѣхъ членовъ собранія; повидимому все было кончено; повидимому нѣмцамъ оставалось только загребать обѣими руками обильные плоды итальянской покорности. Но все это было только повидимому. На самомъ же дѣлѣ настоящія трудности именно тогда только и начались, когда надо было вводить въ мелкія подробности дѣйствительной жизни общіе законы, единогласно принятые и утвержденные всѣми представителями націи. Жизнь, молчавшая на сеймѣ, проснулась во всемъ своемъ непобѣдимомъ могуществѣ, когда чужая рука дотронулась до ея собственныхъ созданій и отправленій. Жизнь не умѣла аргументировать, но умѣла крѣпко стоять за то, что ей было дорого и необходимо. Жизнь спокойно уступила болонскимъ докторамъ поле отвлеченныхъ политическихъ соображеній, согласилась со всѣми ихъ доводами, подписала всѣ ихъ протоколы, и потомъ вдругъ начала бушевать, когда ее, на основаніи всѣхъ этихъ соображеній, доводовъ и протоколовъ, стали связывать по рукамъ и по ногамъ. Труды болонскихъ теоретиковъ оказались потерянными; жизнь ни въ чемъ не убѣдилась, ничему не повѣрила, ни отъ чего не отказалась; всѣ ея привычки, страсти и потребности остались на прежнихъ мѣстахъ и сохранили прежнюю силу, всѣ юридическія разсужденія прошли мимо ея ушей.

Прогнавши императорскаго канцлера, миланцы пошли на замокъ Треццо, занятый нѣмецкимъ гарнизономъ, и взяли его приступомъ. Фридрихъ объявилъ миланцевъ и всѣхъ ихъ союзниковъ мятежниками и врагами имперіи. На этотъ разъ у миланцевъ оказалось немного союзниковъ. Къ нимъ примкнули только кремаски и брешіанцы. Даже тортоняне, облагодѣтельствованные миланскою республикой, не могли или не осмѣлились дѣйствовать съ ней заодно.

Фридриху незачѣмъ было подходить къ Милану и осаждать его. Фридрихъ могъ дѣйствовать издали, на вѣрняка, не подвергая своего

дѣла случайностямъ сраженія. Миланская область была окружена со всѣхъ сторонъ территоріями враждебныхъ городовъ, которые ни сколько не были расположены снабжать миланцевъ съѣстными припасами. Чтобы заморить миланцевъ голодомъ, Фридриху стоило только постоянно выжигать въ Миланской области обѣ жатвы, лѣтнюю и осеннюю, и кромѣ того содержать сильныя караулы на всѣхъ дорогахъ, ведущихъ къ Милану, такъ чтобы ни одинъ возъ съ хлѣбомъ и ни одна голова скота не могли проскользнуть въ опаленный городъ. Противъ этой тактики миланцы ровно ничего не могли предпринять; гибель ихъ была неизбежна; чтобы спастись отъ голода, имъ надо было бы завоевать всю сѣверную Италію и прогнать Фридриха за Альпы, что, очевидно, было для нихъ совершенно невозможно. Что же касается до отдѣльныхъ побѣдъ, то онѣ были для миланцевъ совершенно бесполезны, потому что не отнимали у Фридриха возможности дѣлать опустошительныя набѣги на миланскую территорію и предавать смертной казни предприимчивыхъ мужиковъ, которые, соблазняясь высокими цѣнами, пробовали пробираться съ хлѣбомъ или скотомъ въ Миланъ изъ соседнихъ областей.

Съ маленькимъ городкомъ Кремою можно было распорядиться быстрѣе и рѣшительнѣе.

Въ іюлѣ 1159 года Фридрихъ подошелъ къ его стѣнамъ и началъ осадныя работы. Миланцы тотчасъ прислали въ Крему 400 человекъ вспомогательнаго войска подъ начальствомъ одного изъ консуловъ, обязавшись при этомъ содержать этотъ отрядъ на свой счетъ, во все время осады. Кремаски дѣлали постоянныя вылазки, мѣшали осаднымъ работамъ, портили машины и одинъ разъ нанесли нѣмцамъ такое чувствительное пораженіе, что Фридрихъ разсердился и приказалъ повѣсить напротивъ стѣны нѣсколько человекъ плѣнниковъ изъ осажденнаго города. Кремаски увидѣли это выраженіе неудовольствія и въ отвѣтъ на него немедленно повѣсили на своихъ стѣнахъ равное число плѣнныхъ нѣмцевъ. Тогда Фридрихъ объявилъ имъ черезъ герольда, что ужъ теперь онъ ни за что не смирится надъ ними и послѣ взятія города не дастъ никому никакой пощады. Вслѣдъ за тѣмъ сорокъ человекъ кремскихъ заложниковъ, оставшихся во власти императора послѣ сентябрьскаго мира съ миланцами, отправились на висѣлицу. Тутъ же подвернулись подъ расходящуюся руку и пошли по той же дорогѣ шестеро депутатовъ, отправленныхъ изъ Милана для переговоровъ съ Піаченцою. Въ числѣ этихъ депутатовъ умеръ на висѣлицѣ племянникъ миланскаго архіепископа, того самаго, который на Ронкальскомъ сеймѣ краснорѣчиво прославлялъ нѣмецкое трудолюбіе, и достойный прелатъ узналъ теперь, что это трудолюбіе можетъ совершаться въ ущербъ его ближайшимъ родственникамъ.

Еще не всѣ кремскіе заложники были въѣшаны. Оставалось еще десятка два военнопленныхъ. Придерживаясь того вѣкового правила, что разнообразіе возмущенія наслажденій, Фридрихъ придумалъ для нихъ новую комбинацію, гораздо болѣе мучительную, чѣмъ простая висѣлица. Онъ приказалъ привязать ихъ къ подвижной деревянной башнѣ и потомъ покатить эту башню, полную вооруженными воинами, къ стѣнамъ осажденнаго города. Кремаскамъ представилась чуждая дилемма: стрѣлять по башнѣ — а это своими руками убивать собственныхъ людей, а не стрѣлять — значило отдать городъ тѣмъ нѣмцамъ, которые сидѣли внутри башни. Какъ ни распорядились кремаски, Фридрихъ во всякомъ случаѣ выгоду или удовольствіе, захватывая осажденный городъ, и вывергалъ его мятежныхъ жителей самой жестокой нравственной пытки. Кремаски дѣлательно выдержали эту пытку; живя въ немъ въѣвъ, они поступили какъ желѣзные дѣти; святая обязанность защищать отечество превѣсила въ нихъ всѣ остальные соображенія.

Чѣмъ громче кричали привязанные дѣти, дружнее и сильнѣе работали кремскія катки, бросавшія въ подвижную башню огненные каменные глыбы. Наконецъ, башня замолчала еще нѣсколько ударовъ, и она навѣрное рухнула бы подъ своими развалинами притиснутыхъ въ ней нѣмецкихъ воиновъ. Фридрихъ приказалъ отвезти ее прочь отъ городской стѣны. Заложниковъ отвязали отъ распатавшаго башни. Изъ нихъ девять человекъ было убито, двое тяжело ранено.

Осада ничтожнаго городка затянулась въ три года. Наконецъ начальникъ кремскихъ воиновъ, Маркезе, поспѣшилъ на выгодныя предложенія Фридриха и передался на его сторону въ условія мѣстности, какъ свои пять пальцевъ, эта перелетная птичка повела осады такъ успѣшно, что сопротивленіе сдѣлалось невозможнымъ. Въ январѣ 1160 года кремаски положили къ ногамъ императора покорность, умоляя его только о томъ, чтобы онъ не отдавалъ ихъ въ руки кремонянъ и другихъ злѣйшихъ враговъ. Фридрихъ, въ минуты слабости, умѣлъ выдумывать и приводить въ исполненіе самыя утонченно-жестокія мѣры. Но когда была окончена, тогда у него не поднялась рука на то, чтобы хладнокровно давить и безоружныхъ враговъ. Такъ случилось и теперь. Фридрихъ нарушилъ обѣщаніе, данное кремаскамъ черезъ герольда въ горячую минуту, при началѣ осады. Онъ только выпустилъ кремасковъ изъ города, всѣ четыре стороны, но даже позволилъ имъ захватить тѣ вещи, которыя они могли унести одинъ разъ на собственныхъ плечахъ. Съ кремаски приняли точно такія условія,

ь пять тому назадъ, были предоставлены гонимымъ. Послѣ удаленія жителей, нѣмцы, мѣется, сожгли и разрушили оставленный дѣ. Въ этомъ послѣднемъ удовольствіи Фридрихъ уже никакъ не могъ себѣ отказать. Миланскій городъ непремѣнно долженъ былъ исчезнуть съ лица земли.

Окончивъ съ Кремою, Фридрихъ специально ялся Миланомъ. Однако въ 1160 году Фридрихъ былъ принужденъ распустилъ почти все войско, утомленное продолжительною кампаніей, и поддерживать войну силами однихъ миланскихъ городовъ и магнатовъ. Миланцамъ пришлось на время вздохнуть свободнѣе. Они разсчитывали императора при замкѣ Кассано и успѣли своевременно собрать съ своихъ полей обильныя жатвы. Но торжество ихъ продолжалось недолго. Половинѣ 1160 года къ императору снова сошлась изъ Германіи сто-тысячная армія, и Фридрихъ, въ іюль и въ сентябрѣ, выжегъ на коренья миланскіе хлѣба, сначала пшеницу, а затѣмъ просо и сорго. Увлеченный процессомъ жатвы, Фридрихъ, по своему обыкновенію, свистовалъ надъ плѣнниками: однимъ онъ ругалъ руки, другихъ отправлялъ на висѣлицу. Онъ же точно поступалъ онъ и съ крестьянами, вѣрными провозить въ Миланъ съѣстные припасы изъ сосѣднихъ областей. Къ довершенію несчастія, около этого времени пожаръ истребилъ въ Миланѣ двѣ части, то есть цѣлую треть города, и какъ разъ ту треть, въ которой находились огромные запасные магазины, переполненные хлѣбомъ 1160 года. Вслѣдствіе уничтоженія обѣихъ жатвъ и вслѣдствіе этого пожара, миланцы уже въ началѣ зимы 1161 года остались безъ хлѣба. До новой уборки можно было выждать разъ умереть съ голоду, и кромѣ того не было предвидѣть заранее, что и на будущій годъ обѣ жатвы не уйдутъ отъ рукъ нѣмецкой арміи. Миланцы кое-какъ перебились до весны, то отнимая насильно съѣстные припасы жителей сосѣднихъ областей, то наполняя желудки разной неудобоваримой дрянью; наконецъ не стало силъ терпѣть, тѣмъ болѣе, что впереди надѣяться было не на что. Миланцы послали къ императору своихъ депутатовъ и объявили ему, что они, для доказательства своего смиренія, готовы въ шести мѣстахъ разрушить городскую стѣну и подчиниться подестѣ, назначенному отъ короны. Фридрихъ потребовалъ безусловной покорности. Консулы и, вмѣстѣ съ ними, нѣкоторые непоколебимые патріоты, рѣшили, что надо умирать за свободу отечества. Но масса была измучена. Массѣ хотѣлось ѣсть, а не удивлять міръ геройскими подвѣдѣтелями. Масса настояла на томъ, что надо ѣсть. 1 марта 1162 года миланскіе консулы, явившись къ императору, котораго главная квартира находилась въ Лоди. Они положили передъ императоромъ свои обнаженные мечи и

объявили ему, что городъ сдается безусловно, и что всѣ миланцы будутъ исполнять буквально всѣ императорскія приказанія. Три дня спустя, триста миланскихъ рыцарей, по приказанію Фридриха, сложили къ его ногамъ свои мечи и отдали ему тридцать шесть городскихъ знаменъ. Въ это же время, Джуентеллино, начальникъ инженеровъ, вручилъ ему городскіе ключи. Императоръ не сказалъ ни слова о своемъ окончательномъ рѣшеніи и потребовалъ только, чтобы къ нему явились граждане, занимавшіе консульскія мѣста въ послѣдніе три года, и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ ему представили всѣ знамена, еще остававшіяся въ Миланѣ.

Всѣ миланцы, носившіе оружіе, пошли въ Лоди хоронить свою свободу. Лодійцы могли насладиться вдоволь униженіемъ своихъ бывшихъ повелителей и угнетателей. Граждане трехъ городскихъ частей шли впереди и держали въ рукахъ кресты, по обычаю умоляющихъ. За ними ѣхала, на восьми волахъ, покрытыхъ широкими красными коврами, священная колесница — *карроccio*, на которой находилось главное знамя республики, прикрѣпленное къ высокой красной мачтѣ. Граждане трехъ остальныхъ частей замыкали шествіе и также держали въ рукахъ кресты. Когда карроccio приблизилось къ императору, миланскія трубы пропѣли свою лебединую пѣсню, и мачта, стоявшая на колесницѣ, склонилась вмѣстѣ съ священнымъ знаменемъ къ подножію престола. По приказанію Фридриха, мачту подняли снова; карроccio и вмѣстѣ съ нимъ восемьдесятъ четыре знамени были отданы нѣмцамъ. Одинъ изъ миланскихъ консуловъ сталъ тогда умолять Фридриха о пощадѣ. Весь миланскій народъ бросился на колѣни и залился слезами. Одинъ изъ миланскихъ магнатовъ, графъ Бландрата, служившій въ арміи императора во все время послѣдней войны, выхватилъ крестъ изъ рукъ какого-то миланца и также бросился на колѣни передъ престоломъ вымаливать пощаду побѣжденному Милану. Даже нѣмцы, страстные охотники грабить и жечь итальянскіе города, не выдержали и расчувствовались. Весь дворъ, вся армія утирали слезы, глядя на тысячи изнеможенныхъ людей, рыдавшихъ у ногъ побѣдителя. Если бы Фридрихъ вздумалъ въ эту минуту пустить дѣло Милана на голоса, то право могло случиться, что нѣмцы рѣшили бы простить негоднымъ миланцамъ всѣ ихъ продерзости и неистовства. Но Фридрихъ молчалъ и всѣми мускулами своей мужественной физиономіи выражалъ суровость, равнодушіе и какую-то затаенную, непоколебимую рѣшимость. Жена Фридриха въ это время находилась вмѣстѣ съ нимъ въ Лоди, но ей было запрещено присутствовать при сдачѣ карроccio, потому что императоръ боялся, что она своей чувствительностью испортитъ ему всю церемонію и собьетъ его самого съ толку. Миланцы не смѣли подходить къ ея окнамъ, но

издали бросали въ ту сторону свои кресты; само собою разумѣется, что изъ этого смиреннаго крестобросанія равноничего не вышло. Императрица сидѣла смирно въ своихъ покояхъ и не смѣла тревожить суроваго супруга своими просьбами и слезами.

Достаточно намозолить себѣ колѣни и наплакавшись досыта, миланцы встали и принесли императору установленную присягу. Затѣмъ Фридрихъ отобралъ себѣ четыреста заложниковъ и въ томъ числѣ бывшихъ консуловъ, а всѣмъ остальнымъ гражданамъ приказалъ идти домой, сломать всю городскую стѣну и засыпать рвы, такъ чтобы онъ, императоръ, могъ свободно войти съ арміей въ покорный Миланъ. Въ тоже время Фридрихъ послалъ въ Миланъ двѣнадцать комиссаровъ для принятія присяги отъ тѣхъ гражданъ, которые во время сдачи знаменъ оставались дома.

Прошло десять дней. Миланцы все еще не знали, что съ ними будутъ дѣлать. Императоръ въ это время перешелъ съ арміей изъ Лоди въ Павію и очень мало заботился о томъ тревожномъ ожиданіи, въ которомъ находилось все миланское населеніе. Вдругъ, 16-го марта, консулы получили приказаніе вывести изъ Милана всѣхъ жителей. Консулы повиновались. Многие граждане со страху разбѣжались въ Павію, въ Лоди, въ Бергамо, въ Комо и во всѣ другіе ломбардскіе города. Прошло еще девять дней. Городъ стоялъ совершенно пустой.

Наконецъ 25 марта императоръ подошелъ къ Милану съ своей арміей и объявилъ народу свое милостивое рѣшеніе. Оказалось, что Миланъ долженъ быть срытъ до основанія, и что имя миланцевъ должно совершенно исчезнуть съ лица земли. Дѣло разрушенія было немедленно поручено злѣйшимъ врагамъ Милана. Фридрихъ раздѣлялъ весь городъ между своими италянскими войсками. Восточная часть досталась лодійцамъ; Римская — кремонянамъ; Тичинская — павійцамъ; Верчельская — новарцамъ; Комская — комаскамъ; Новая — вассаламъ графствъ Сепрію и Мартезаны. Разрушители принялись за работу съ такимъ радостнымъ усердіемъ, что къ началу апрѣля, когда Фридрихъ поѣхалъ обратно въ Павію, только пятидесятая часть города оставалась на своемъ мѣстѣ. Въ одну недѣлю богатѣйшій городъ Италіи превратился въ кучу пепла и мусора.

Фридрихъ дорожилъ своей побѣдой. Въ 1159 году, начиная свою послѣднюю войну противъ миланцевъ, онъ далъ обѣтъ не надѣвать императорской короны до тѣхъ поръ, пока Миланъ будетъ сопротивляться. Теперь Миланъ былъ уничтоженъ. Со всѣхъ концовъ Италіи съѣхались въ Павію депутаты отъ провинцій, епископы, графы, маркизы, подесты и консулы съ усерднѣйшими поздравленіями. Фридрихъ вышелъ ко всѣмъ этимъ сладкорѣчивымъ господамъ съ императорской короной на головѣ.

Брешіанцы и пачентинцы, послѣдніе друзья

миланцевъ, оставшихся безъ родины и безъ права — почислили дѣло свободы окончательнымъ и вѣчнымъ. Они сломали свои башни, раздѣлили стѣны, засыпали рвы, заплатили контрибуцію и подчинились подестамъ, назначеннымъ отъ короны.

Генуя, одна изъ первыхъ морскихъ державъ тогдашней Европы, прислала Фридриху вѣстительную депутацію, увѣрила его въ свое предѣльное и неизмѣнное повиновеніе, а также воспылала такимъ неужданнымъ подаркомъ предложила ему свои услуги въ воеваніи Сициліи, которая до тѣхъ поръ когда не принадлежала нѣмецкимъ императорамъ, была воспитана. Воплощенное триумфальное увѣнчаніе. Теперь можно было жить за наслажденіемъ. Всѣ шипы были обломаны, можно было жить безъ малѣйшей опасности.

XIII.

ВЕРОНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦІЯ.

Грозный рыжебородый императоръ тѣмъ же сдѣлалъ очень много для политическаго воспитанія Италіи. Но съ Фридрихомъ то, что случается очень часто со всякими монархами. Его уроки подѣйствовали совсѣмъ не такъ, какъ онъ желалъ. Итальянцы, побуждаемые своей упорной враждой и разрушеніемъ своими собственными руками, вѣчно положены сдѣлаться рабами нѣмцевъ, затаили отъ своей республиканской автентичности, что нѣмцы будутъ по добрымъ союзникамъ, а императоръ — и безкорыстнымъ покровителемъ ихъ. Фридрихъ живо выключилъ ихъ отъ этого слагаго заблужденія.

Въ концѣ лѣта 1162 года императоръ въ Германію и оставилъ въ Италіи мѣстника, Райнальда, канцлера императора епископа кельнскаго. Канцлеръ и архидиаконъ Райнальдъ обнаружилъ замѣчательныя страсти. Онъ сталъ обирать и угнетать лично всѣхъ ломбардовъ, какъ тѣхъ, которые противлялись императору, такъ и тѣхъ, которые постоянно сражались подлѣ ихъ знаменъ. Такой безпристрастіи былъ подавленъ самимъ императоромъ, который его отъѣзда изъ Италіи уничтожилъ консуловъ въ Болоньѣ, въ Феррарѣ, въ Имолѣ, въ Пармѣ, въ Комо и въ другихъ городахъ, которые не были съ миланцами. Подесты, назначенные императоромъ, на мѣсто выборныхъ консуловъ, ввели свою независимость отъ тѣхъ, надъ которыми они должны были вѣдать и расправу. Поставленные выше консуловъ, они старались угождать

него намѣстнику. Центральная власть отъ мѣстныхъ правителей, чтобы все было едино, и чтобы граждане платили столько можно больше налоговъ. До всего центральной власти не было никакого достоинства могъ набивать себѣ карманы, отъ себѣ дворцы, могъ гонять свободныхъ къ себѣ на барщину, могъ сажать въ тюрьмы, могъ вѣшать и колесовать, давая никому отчета въ своихъ расходахъ. При подестахъ жители Ломбардіи платили шесть разъ больше того, что требовали при выборныхъ консулахъ. Эти консулы конечно не на общепользные учреждения, а на домашніе расходы подеста и императора. Всѣмъ ломбардцамъ, но миланцамъ и кремаскамъ особенно тяжело. Мѣстные правители себя обязанными дѣйствовать въ пользу къ нимъ безсовѣстно и безчеловѣчно. И миланцы были обложены такими налогами, что имъ самимъ, для удовлетворенія своихъ и хозяйственныхъ потребностей оставалось всего одна треть собираемой жатвы. Крестьянская и миланская территорія совершенно опустошены во время войны; виноградники, фруктовые сады, хозяйственные постройки — все это было уничтожено, надо было заводить вновь; все это требовало денегъ, а деньги уходили постоянно въ карманы мѣстныхъ правителей и Райнальда. Кромѣ того, гражданъ Милана насильно на казенныя работы; ихъ строили для императора замки и дворцы, мѣстныя миланскихъ развалины. Сопровождать было невозможно; о возстаніи нечего думать; у миланцевъ было отобрано оружіе, были поселены въ четырехъ различныхъ частяхъ, открытых со всѣхъ сторонъ стрѣльному усмирителью. Многие миланцы были терпѣли свое униженіе и изъ своей разоренной родины въ друженскіе города; тамъ они передавали своимъ знакомымъ всѣ подробности своего народного горя, и рассказы ихъ медленными матеріалами для новой бури. На сѣверной и средней Италіи чувствовалась рука нѣмецкаго правительства. Всѣмъ о своей поблекшей свободѣ и приписывалось, съ глубокимъ сочувствіемъ, къ тѣмъ людямъ, которыхъ страданія были укоромъ для каждаго италіанца, измѣнившему дѣлу во время послѣдней войны. Ихъ выходцевъ принимали радушно, особенно даже въ тѣхъ городахъ, которые раньше ненавидѣли Миланъ во время его владычества. Бергамо, Комо, даже Лоди, Павія и начали сочувствовать миланцамъ, когда это доведено до нищеты цѣлое населенное и плодородной области.

Въ концѣ 1163 года Фридрихъ снова пріѣхалъ въ Италію съ блестящею придворною свитой, но безъ арміи. Онъ былъ увѣренъ, что на этотъ разъ нигдѣ не встрѣтитъ сопротивленія. Онъ не ошибся. Ему дѣйствительно пришлось услышать только робкіе стоны и смиренные жалобы.

Въ началѣ 1164 года онъ прѣѣзжалъ изъ Лоди въ Монцу, гдѣ строился для него великолѣпный дворецъ. Узнавши о томъ, что его ждутъ, миланцы вышли толпою на дорогу и простояли въ ожиданіи императорскаго поѣзда цѣлую ночь, подъ холоднымъ дождемъ, чуть не по колѣно въ грязи. Наконецъ появился императоръ. Миланцы бросились на колѣни передъ его лошадьми и, заливаясь слезами, стали умолять его о томъ, чтобы онъ облегчилъ ихъ участь и усовѣстилъ сколько нибудь мѣстныхъ администраторовъ. Фридрихъ повидимому тронулся слезы просителей; онъ даже приказалъ отпустить тѣхъ заложниковъ, которые были взяты послѣ сдачи Милана; но, не желая утомлять и тревожить себя мелкими дразгами, онъ великодушно предоставилъ разсмотрѣніе всѣхъ жалобъ своимъ агентамъ, то есть, тѣмъ самымъ мѣстнымъ начальникамъ, противъ которыхъ эти жалобы были направлены.

Города Веронской Мархи также попробовали жаловаться и получили отъ императора добродушный совѣтъ постоянно обращаться съ своими просьбами и претензіями къ мѣстному начальству, которое собственно для того и существуетъ, чтобы воздавать каждому по его заслугамъ. Фридрихъ не имѣлъ причины раскаиваться въ томъ, что не взялъ съ собою нѣмецкой арміи. — Но вдругъ оказалось, что города Веронской Мархи недовольны императорскою резолюціей. Когда императоръ уѣхалъ въ Эмилію — города Верона, Виченца, Падуа и Тревиза обсудили сообща свое положеніе и заключили между собою союзъ для того, чтобы ограничить неумѣренныя притязанія нѣмецкаго правительства, отнявшаго или нарушившаго множество вѣковыхъ правъ, привилегій, обычаевъ и законовъ. Венеція, никогда не подчинявшаяся нѣмецкимъ императорамъ, также приступила къ этому союзу, потому что возрастающее могущество Фридриха становилось для нея опаснымъ.

Условившись съ венеціанцами, веронскіе конфедераты взяли за оружіе, прогнали отъ себя императорскихъ намѣстниковъ и начали воевать съ соседними магнатами, не желаясь присоединяться къ ихъ лигѣ. Какъ только Фридриху донесли объ этомъ, онъ тотчасъ воротился въ Павію и собралъ милицію тѣхъ ломбардскихъ городовъ, на вѣрность которыхъ онъ всего болѣе могъ разчитывать. Павійцы, новарцы, кремоняне, кодійцы и ломаски пошли подъ начальствомъ императора опустошать веронскую территорію. Армія веронской лиги вышла къ нимъ навстрѣчу. Тутъ Фридрихъ замѣтилъ, что его войска идутъ за нимъ неохотно и обнаруживаютъ сочув-

ствіе къ дѣлу мятежниковъ, которыхъ они должны были усмирять или истреблять. Фридрихъ понималъ, что онъ находится въ рукахъ своей итальянской арміи, которая въ рѣшительную минуту можетъ передаться на сторону мятежниковъ, задержать его самого въ плѣну и выдавить изъ него какія угодно уступки въ пользу ломбардскихъ городовъ. Эта мысль до такой степени поразила Фридриха, что онъ тайкомъ убѣжалъ изъ своего собственнаго лагеря и поспѣшно уѣхалъ въ Германію за нѣмецкой арміей.

Отсутствіе Фридриха продолжалось два года. Въ это время веронскіе конфедераты укрѣпили свои города и замки, втянули въ свою лигу многихъ магнатовъ веронской епархіи и приобрѣли себѣ особенно полезнаго союзника въ лицѣ папы Александра III, который, вступивъ на престолъ въ 1159 году, съ этого времени находился постоянно въ открытой борьбѣ съ императоромъ, державшимъ сторону его противника, антипапы Виктора III. Уже предшественникъ Александра III, Адрианъ IV, по многимъ вопросамъ велъ съ императоромъ непріятную переписку, не смотря на то, что императоръ великодушно подарилъ ему опаснаго еретика и демагога, Арнольда Брешианскаго. Вопросъ объ инвеститурахъ, кое-какъ замятый Генрихомъ V, опять всплылъ наверхъ, принявши новую форму. Опять обозначилась невозможность провести между обѣими властями такія границы, которыми обѣ стороны были бы навсегда довольны. Адрианъ умеръ именно въ то время, когда споръ начиналъ дѣлаться горячимъ и рисковалъ превратиться въ обмѣнъ ругательствъ и проклятій.

Послѣ смерти Адриана голоса кардиналовъ раздѣлялись. Одна партія, болѣе многочисленная, выбрала кардинала Ролланда, который принялъ имя Александра III. Другая, составлявшая сильное меньшинство, провозгласила папою кардинала Октавія, который назвалъ себя Викторомъ III. Это двойное избраніе произошло въ 1159 году, въ то время, когда Фридрихъ осаждалъ Крему. Республиканскія учрежденія продолжали существовать въ Римѣ, но неизвѣстно — для кого и зачѣмъ они существовали. Послѣ смерти Арнольда они потеряли всякій смыслъ. Республиканскій сенатъ подчинился римскимъ дворянамъ, сталъ потакать ихъ продѣлкамъ и совершенно утратилъ уваженіе и довѣріе народа. Когда Александръ и Викторъ стали спорить между собою о папскомъ престолѣ, тогда обнаружился полный разладъ между римскимъ народомъ и его республиканскимъ правительствомъ. Народъ стоялъ за Александра, а сенатъ вмѣстѣ съ дворянами поддерживалъ Виктора. Викторъ захватилъ своего противника въ плѣнъ, но народъ отбилъ его вооруженною силой, послѣ чего Александръ ушелъ изъ Рима, гдѣ самовластно хозяйничали сенатская и дворянская партія, имѣвшая въ своемъ распоряженіи множество укрѣпленныхъ башенъ. Викторъ, тщеслав-

ный и изворотливый интригантъ, заболѣлъ ко о томъ, чтобы сначала какъ нибудь удержать тѣру. Чувствуя незаконность своего избранія, онъ началъ подольщаться къ императору, рому, разумѣется, было пріятно и выгодно дѣло съ любезнымъ, уступчивымъ и безпечнымъ папою. Въ 1160 году Фридрихъ созвалъ въ соборъ и пригласилъ на этотъ соборъ папъ, собираясь рѣшить, кому изъ нихъ принадлежать тѣра. Викторъ явился и Фридрихъ вмѣстѣ съ своими епископами зналъ его папою. Александръ, изгнанный Рима и бродившій по итальянскимъ городамъ, отвѣчалъ, напротивъ того, на приглашеніе императора, что законный преемникъ папы подлежитъ суду соборовъ и земныхъ прелатовъ. Тогда начались, разумѣется, взаимныя притѣненія. Соборъ, созванный Фридрихомъ, не призналъ Александра; а Александръ, съ своей стороны, отлучилъ отъ церкви императора и его подданныхъ отъ присяги. Все это кончилось ранѣе паденія Милана.

Партія Александра III была очень слаба. Его признавали Франція и Англія. Всѣ католики во владѣніяхъ самого Фридриха, что императоръ поддерживаетъ папу единственно для того, что это подставное лицо господствовать надъ имъ. Всѣ клерикалы, дорожившіе самостійностью и могуществомъ своей корпорации, рѣшились съ величайшимъ негодованіемъ противъ антипапы, готового ради своихъ личныхъ выгодъ отказаться отъ грядящихъ прерогативъ Григорія VII. Сторону Фридриха, въ то время, съ законнымъ папою держали только нѣкоторыя особы, для которыхъ осязательное и материальное блюдо чечевицы было дороже идеальныхъ и отвлеченныхъ правъ. Фридрихъ вездѣ и всегда имѣются въ слишкомъ точномъ количествѣ, но онъ никогда не сумѣлъ составить собою силу своей партіи, и онъ всегда согласенъ съ побѣдителемъ, чтобы дѣйствовать только тогда, когда онъ не имѣетъ мертвого врага и занимается дѣломъ бычи. Фридрихъ имѣлъ такимъ образомъ смѣлыхъ, дѣятельныхъ и упорныхъ противниковъ, очень трусливыхъ друзей, которые не смѣли были поздравлять его съ одержанными побѣдами, но съ своей стороны ничего не дѣлали, чтобы переработать убѣжденія на противъ неутомимой пропаганды несправедливости. Клерикальные враги Фридриха были тогда, когда сѣверная Італія начиналась. Представители гильдебрандовской партіи заключили тѣсный союзъ съ запоздалыми возстановителями республиканской партіи. Этотъ союзъ не могъ быть особенно прочнымъ. Послѣ побѣды онъ непременно долженъ былъ рушиться. Но онъ былъ удобенъ императору.

алъ обѣимъ сторонамъ возможность одержать победу надъ сильнымъ и воинственнымъ городомъ. Клерикаламъ нужна была здоровина, которая переломила бы мечъ Фридриха Барбароссы. Этой дубиной оказались для итальянскихъ республиканцевъ. Республиканцы победы необходимо было только единогласное и одновременное воодушевленіе. Эти интриги были имъ доставлены трудами клерика-

а партія Александра III соединилась съ клерикальными республиканцами, тогда во всѣхъ частяхъ сѣверной Италіи началась стройная, упорная и неуловимая дѣятельность многихъ самыхъ искусныхъ и самыхъ вліятельныхъ агитаторовъ и дипломатовъ. Гдѣ нужно было разжечь республиканскія страсти, тамъ голосъ съ жестами и со слезами о неистовомъ нѣмецкомъ тиранѣ, угнетающемъ прекрасную Ломбардію и даже поднявшаго свою святошескую руку на вѣковыя права католической церкви. Гдѣ граждане сомнѣвались въ заступничествѣ, тамъ церковь благословляла бойцовъ, готовыхъ идти на смерть за святое дѣло. Гдѣ существовала между разными городами застарѣлая ненависть, не помнящая имъ соединиться и сражаться вмѣстѣ подъ однимъ знаменемъ—тамъ говорилось всѣмъ о христіанской любви и о священной обязанности прощать обиды. Словомъ, воспріимчивы ломбардскихъ умовъ обрабатывались такими проповѣдниками такъ искусно, что возстаніе противъ нѣмецкаго господства казалось неизбежнымъ.

Въ это же самое время партія Александра III вала Ломбардію еще и ту услугу, что отдала силы Фридриха то въ Германію, то въ до тѣхъ поръ, пока всѣ элементы вооруженнаго возстанія окончательно созрѣли въ угнетенныхъ городахъ сѣверной Италіи.

XIV.

ЛОМБАРДСКАЯ ЛИГА.

Фридрихъ перешелъ черезъ Альпы съ сильною арміею въ концѣ осени 1166 года. Веронская лига были готовы сражаться, императоръ хотѣлъ сначала усыпить и разжечь конфедератовъ переговорами. Поэтому онъ предложилъ городамъ нѣсколько неопредѣленно благовѣстныхъ обѣщаній и пошелъ на югъ къ Феррарѣ и Болоньѣ. Прошло полгода, наступила весна, все это время не случилось ни одного столкновенія между нѣмцами и ломбардскими мятежниками. Въ началѣ апрѣля вероняне пригласили депутатовъ отъ угнетенныхъ городовъ съѣзда для совѣщаній въ монастырь Пундито, явившійся между Бергамо и развалинами Милана. Кромѣ членовъ веронской лиги на этотъ ѣздъ прислали своихъ уполномоченныхъ горо-

да Кремона, Бергама, Брешиа, Мантуя и Феррара. Явилось также нѣсколько миланскихъ гражданъ, пользовавшихся полной довѣренностью своихъ несчастныхъ соотечественниковъ. Миланцы напомнили съѣзду, какъ бился, какъ страдалъ, какъ изнемогъ и погибъ ихъ родной городъ въ неравной борьбѣ за то самое общее дѣло, о защитѣ котораго пріѣхали совѣщаться ломбардскіе депутаты. Миланцы увѣрили депутатовъ, что въ ихъ согражданахъ не угасли подъ нѣмецкимъ гнетомъ ни прежнее мужество, ни прежняя любовь къ отечеству и свободѣ. Миланцы потребовали, чтобы ихъ городъ былъ возстановленъ, и чтобы имъ, такимъ образомъ, снова дана была возможность проливать свою кровь за свободу и благосостояніе всей Ломбардіи. Многие изъ депутатовъ, выслушавшихъ это требованіе, получили свое полномочіе отъ такихъ городовъ, которые всегда были заклятыми врагами Милана. Но теперь были уже не тѣ времена, когда ломбардскіе города бѣснлись отъ жиру и лѣзли въ драку, чтобы обнаружить другъ надъ другомъ свое молодечество. Общее горе притупило мелкія враждебныя страсти и уничтожило воспоминаніе о прежнихъ взаимныхъ оскорбленіяхъ. Чиновники Фридриха съ одной стороны, и клирики съ другой—объяснили горожанамъ, что пора наконецъ взяться за умъ. Чувствуя на себѣ руку первыхъ и слушая поученія вторыхъ, горожане убѣдились понемногу въ необходимости единодушія. Депутаты всѣхъ городовъ обѣщали миланцамъ склонить своихъ согражданъ къ тому, чтобы они возстановили стѣны Милана и съ оружіемъ въ рукахъ охраняли его жителей до тѣхъ поръ, пока эти жители не будутъ въ состояніи защищаться снова собственными средствами. Затѣмъ депутаты составили форму той присяги, которая требовалась отъ членовъ конфедерации. Эту формулу рѣшено было представить народному собранію каждаго города; если народное собраніе одобритъ и утвердитъ ее, то всѣ граждане должны будутъ повторить эту присягу, и городъ окажется присоединеннымъ къ союзу. Этой присягой города обязывались, въ теченіе двадцати лѣтъ, постоянно помогать другъ другу противъ всякаго, кто осмѣлится напасть на привиллегіи, пріобрѣтенныя городами отъ начала царствованія Генриха IV до вступленія на престолъ Фридриха Барбароссы. Убытки и потери, понесенныя въ войнѣ каждымъ членомъ союза, должны были распределяться на весь союзъ, который, такимъ образомъ, подчинялъ себя системѣ взаимнаго страхованія.

Послѣ съѣзда депутатовъ миланцы недѣли три находились постоянно въ самой мучительной тревогѣ. Они переживали тѣ ощущенія, которыя, четырнадцать лѣтъ тому назадъ, достались на долю лодійцамъ послѣ проѣзда Сихерія. Они были увѣрены, что молва о ихъ преступныхъ надеждахъ и еще болѣе преступныхъ соумышленіяхъ съ

мятежниками разнеслась по всей странѣ и ужь конечно дошла до ихъ близкихъ сосѣдей, павійцевъ, которыхъ преданность императору оставалась совершенно непоколебимой, не смотря на все то, что дѣлалось вокругъ нихъ во всей Ломбардіи. Миланцы боялись не безъ основанія, что павійцы примутъ на себя обязанность смирить и наказывать ихъ самымъ жестокимъ образомъ. Въ Павіи дѣйствительно много толковали о томъ, что слѣдуетъ отправиться къ беззащитнымъ миланскимъ мѣстечкамъ, выжечь ихъ до тла и перерѣзать жителей, чтобъ впредъ не смѣли сговариваться съ бунтовщиками. Но доблестное намѣреніе павійцевъ осталось невыполненнымъ. Надо полагать, что клерикальная дипломатія сдѣлала тутъ свое дѣло и какимъ нибудь образомъ помѣшала этому замыслу развиться и созрѣть.

27 апрѣля безоружные миланцы все еще съ великимъ страхомъ посматривали на павійскую дорогу. Вдругъ въ мѣстечко Св. Діонисія въѣхали десять рыцарей съ знаменами бергамской общины; за ними показались знаменщики Брешии, Кремоны, Мантуи, Вероны и Тревизы. Далѣе шли милиціи этихъ городовъ и везли съ собою цѣлый обоевъ оружія для миланцевъ, которые вдругъ сообразили, что теперь они спасены, и что отечество ихъ воскресаетъ изъ пепла. Радостная вѣсть быстро облетѣла всѣ четыре мѣстечка; жители сбѣжались со всѣхъ сторонъ, вооружились, снова почувствовали себя свободными гражданами великой республики и съ криками преступнаго восторга кинулись во весь опоръ къ развалинамъ Милана. Пришедшія милиціи были уже теперь войсками *ломбардской лиги*. Онѣ расположились лагеремъ у миланскихъ развалинъ и стали работать вмѣстѣ съ миланцами надъ очищеніемъ засыпанныхъ рвовъ и надъ восстановленіемъ разрушенныхъ стѣнъ. Тѣ же самые крестьяне, которые въ 1162 году разрушили одну изъ частей Милана, строили теперь этотъ городъ заново, вмѣстѣ съ его обитателями. Войска ломбардской лиги ушли только тогда, когда восстановленныя укрѣпленія уже давали миланцамъ возможность отражать враговъ безъ посторонней помощи.

Павію невозможно было втиснуть въ незаконную ломбардскую лигу. Союзники знали это и не хотѣли тратить время на безполезныя попытки гнѣтъ болѣе, что они легко могли обойтись безъ содѣйствія павійцевъ. Но городъ Лоди былъ положительно необходимъ для ломбардской лиги. Этотъ городъ лежитъ между Кремоной и Миланомъ. Въ этомъ городѣ находилась главная квартира императора во время его послѣдней войны съ миланцами. Если бы этотъ городъ остался въ рукахъ Фридриха, то Фридрихъ могъ бы отрѣзать Миланъ отъ лиги, и по прежнему морить его голодомъ, одушевляя миланскую территорию нежеланными наѣздами. Отдѣлать лодійцевъ отъ императора было не легко. Лодійцы захѣли въ Ломбардію своего благодѣтеля и освободителя,

а къ ломбардской лигѣ относились имъ недоброжелательно. Кремонянамъ, которъ постоянно были друзьями и покровителями лодійцевъ, было поручено вести съ ними переговоры на счетъ ихъ присоединенія къ лигѣ.

Первое посольство отъ Кремоны не имѣло полной неудачей. Лодійцы закрыли одинъ голосъ—и консулы, и союзнники, даже, что они за своего возлюбленнаго имъ ра, отца и благодѣтеля, всегда готовы были вѣствовать всѣмъ на свѣтѣ, имуществамъ, женами и дѣтьми. Кремонскіе послы ушли и уѣхали ни съ чѣмъ.

Второе посольство также потратило всѣ сокровища самаго убѣдительнаго красноречія. Лодійцы пылали усердіемъ и тверди старую пѣсню. Тогда кремоняне созидали отъ Милана, отъ Бергама, отъ Брешии, Мантуи, и объяснили имъ, что просьбы лодійцевъ не дѣйствуютъ. Дорѣшили, что надо добыть Лоди силою.

Собрались милиціи этихъ городовъ, со всѣхъ сторонъ. Но прежде военныхъ дѣйствій кремоняне отправили послѣднее посольство, которому поручено было сказать, что дальнѣйшее упорство противъ Лоди всѣмъ ужасамъ войны, осанъ можетъ разрушенія. Лодійцы отвѣчали, готовы погибнуть, если у кремонянъ, и со всѣхъ друзей и постоянныхъ сподвижниковъ хватить жестокости преслѣдовать ихъ, если они хотятъ свято исполнять долгъ вѣрной благодарности.

Получивъ отрицательный отвѣтъ, они тотчасъ осадили городъ и въ скоромъ довели лодійцевъ до того, что имъ пришлось умереть съ голода, или присягнуть ломбардской лигѣ. Лодійцы сдались, произнесли новую присягу и остались полными членами своего города, сдѣлавшись съ этого времени членами лиги. Тогдашніе итальянцы еще до такой степени прямодушны и что данная клятва послужила для нихъ совершенно достаточнымъ обезпеченіемъ. Послѣ этой клятвы уже не зачѣмъ было гонять лодійцевъ изъ ихъ города, ни съ этого городъ своей гарнизонъ.

Союзъ быстро разрастался. Осенью 1163 года вскорѣ послѣ вразумленія лодійцевъ, къ лигѣ принадлежали уже пятнадцать значительныхъ городовъ, а именно: Венеція, Верона, Падуя, Тревиза, Феррара, Брешиа, Бергамо, Миланъ, Лоди, Пiacенца, Парма, и Болонья. При такомъ составѣ союза, страшно было помыслить о силѣ, съ которою, тѣмъ болѣе, что первому приходило у себя дома оборонительную войну, и какъ послѣдній принужденъ былъ вести оборонительную войну въ чужой домъ, такъ было ему враждебно—и лиги, и ли

Именно въ 1167 году климатъ чужой земли есточно далъ себя знать великолѣпной арміи Фридриха Барбароссы. Фридрихъ въ концѣ іюля задумалъ осадить Римъ, въ которомъ господствовалъ въ это время его неутомимый противникъ Александръ III. Осада окончилась полнымъ спѣхомъ; Александръ бѣжалъ на югъ къ сицилійскому королю; римляне покорились императору, но въ нѣмецкомъ лагерѣ открылась *малеммская лихорадка*, которая, въ короткое время, уничтожила почти всю армію и всѣхъ вѣрныхъ надежныхъ совѣтниковъ и чиновниковъ Фридриха. Императоръ остался почти ни съ чѣмъ и сталъ поспѣшно пробираться на сѣверъ съ ничтожными остатками своего войска. При этомъ онъ тщательно обходилъ области городовъ, присоединившихся къ ломбардской лигѣ, и направлялся къ Павіи. Дорога его лежала черезъ территорию маленькаго городка Понтремоли, который нисколько не участвовалъ въ волненіяхъ Ломбардіи. Этотъ городокъ вздумалъ покуражиться надъ императоромъ и рѣшительно запретилъ ему идти черезъ свои земли. Фридрихъ очутился въ безвыходномъ положеніи. Его отрядъ былъ такъ слабъ, что не было никакой возможности идти напроломъ. Фридрихъ не зналъ, что дѣлать, и куда дѣваться. Наконецъ его выручилъ одинъ изъ мѣстныхъ магнатовъ, маркизъ Маласпина; онъ вышелъ къ нему на встрѣчу и повелъ его въ Павію черезъ горныя ущелья, находившіяся въ его владѣніяхъ.

Въ Павіи императоръ собралъ сеймъ, но результатъ этого собранія оказался такъ же похожимъ на настоящій сеймъ, какъ мизерный отрядъ Фридриха, спасовавшій передъ Понтремоли, былъ похожъ на настоящую армію. По приглашенію императора явилось всего пятеро магнатовъ, да депутаты отъ четырехъ городовъ—Павія, Новара, Комо и Верчелли. На этомъ маленькомъ кусочкѣ сейма Фридрихъ произнесъ молниеносную рѣчь противъ гнусныхъ ломбардскихъ мятежниковъ, поклялся наказать ихъ такъ, какъ никто никого никогда не наказывалъ, и даже для большей картинности бросилъ посреди собранія свою перчатку, какъ залогъ будущей безпощадной борьбы. Всѣ города, присоединившіеся къ конфедерации, кромѣ Кремоны и Лоди—были объявлены врагами имперіи. Собраніе во всѣхъ этихъ случаяхъ старалось сочувственно шумѣть и вообще изображать собою настоящій сеймъ, многочисленный и оживленный.

Послѣ закрытія сейма Фридрихъ пошелъ съ своими итальянскими вассалами опустошать миланскую область. Въ это время ломбардская лига собрала свой сеймъ и рѣшила выгнать изъ Италіи ея иноземнаго угнетателя. Войска лиги пошли на встрѣчу къ императору, но Фридрихъ уклонился отъ сраженія, ушелъ изъ миланской области и бросился грабить и жечь территорию Піаченцы. Союзники за нимъ; онъ отъ нихъ; въ

такихъ движеніяхъ прошла вся зима. Фридрихъ вездѣ старался испортить, уничтожить или стянуть плохо лежавшую собственность мятежныхъ подданныхъ; а когда собственники являлись на мѣсто его подвиговъ съ достаточнымъ количествомъ дреколя, тогда онъ увертывался и переносилъ свою дѣятельность въ другія, хуже охраненныя земли, откуда его, вслѣдъ затѣмъ, также выгоняли за непочтительное обращеніе съ собственностью. Наконецъ Фридрихъ и самъ замѣтилъ, что преемнику Августа и Константина Великаго несовсѣмъ прилично заниматься похищеніемъ мужицкой скотины, поджиганіемъ ничтожныхъ деревушекъ и разными другими подвигами мелкаго мародерства.

Весною 1168 года онъ уѣхалъ въ Германію такъ быстро и съ такой таинственностью, что его собственные итальянскіе воины узнали о его отъѣздѣ только тогда, когда его не было уже въ Италіи. Его опять обидѣли во время этого путешествія жители одного маленькаго итальянскаго городка, Сузы. Эти дерзкіе люди остановили его, отобрали у него всѣхъ заложниковъ, которыхъ онъ везъ съ собою, и отпустили его только тогда, когда убѣдились, что въ его свитѣ нѣтъ ни одного итальянца.

Всѣ воспитательные труды Фридриха Барбароссы пошли прахомъ. Несчастная Италія каменила въ развратѣ анархическихъ заблужденій.

Послѣ таинственнаго отъѣзда императора въ Германію, его партія, и безъ того малочисленная, окончательно разстроилась. Новара, Верчелли и Комо примкнули къ ломбардскому союзу. Ихъ примѣру послѣдовали одинъ за другимъ магнаты, засѣдавшіе на послѣднемъ императорскомъ сеймѣ. Даже маркизъ Маласпина, выручившій Фридриха въ окрестностяхъ Понтремоли, не устоялъ противъ общаго теченія и подружился съ мятежниками. Неизмѣнно вѣрными вассалами императора остались только одинъ городъ и одинъ магнатъ: Павія и маркизъ Монферратскій.

Чтобы парализировать дѣятельность этихъ послѣднихъ приверженцевъ императора, ломбарды рѣшили построить между Монферратомъ и павійскою областью укрѣпленный городъ, который долженъ былъ перервать сообщеніе между обѣими территориями. Имя, данное этому городу, показываетъ ясно, какъ сильно было въ республиканской партіи вліяніе клерикальной корпораціи. Городъ былъ названъ Александрією, въ честь Александра III, котораго ломбарды считали вождемъ и верховнымъ покровителемъ своей лиги. Въ половинѣ 1168 г. всѣ войска Кремоны, Милана и Піаченцы расположились лагеремъ у слиянія рѣчекъ Танаро и Бормиды и принялись за построеніе новаго города. Они вырыли широкій ровъ, впустили въ него воды двухъ сосѣднихъ рѣкъ, соорудили достаточное количество домовъ, и потомъ согнали въ новорожденную Александрію жителей *восьмъ*

окрестных деревень. Этим жителям лига предоставила право устроить у себя свободное республиканское правительство. Кроме того лига попросила папу учредить въ новомъ городѣ отдѣльную епархію. Александрія расцвѣла такъ быстро, что уже въ первый годъ своего существованія могла выставить въ поле до 15,000 конныхъ и пѣшихъ воиновъ. Еще до основанія Александрія къ союзу присоединились города Тортона и Асти, лежащіе недалеко отъ того мѣста, гдѣ лига считала нужнымъ построить себѣ новый оплотъ.

Итальянскія войны начинали надобѣдать нѣмецкимъ феодаламъ. Фридрихъ былъ принужденъ оставлять между своими походами довольно значительные антракты. Послѣ 1168 года онъ, въ продолженіе цѣлыхъ шести лѣтъ, совсѣмъ не показывался въ Италіи, и ломбарды остались ненаказанными.

Для ломбардскаго союза шли превосходно. Если бы ломбарды обладали достаточною дозою политической предусмотрительности, если бы они сѣумѣли воспользоваться вполнѣ выгодами своего положенія, то могли бы навсегда избавить Италію отъ чужеземнаго господства и навсегда упрочить за ней всѣ удобства національной независимости. Для этого стоило только превратить временный союзъ ломбардскихъ городовъ въ вѣчную и хорошо организованную федерацію равноправныхъ республикъ, не зависящихъ ни отъ какого призрака, подобнаго священной римской имперіи. Но основаніе этой федераціи требовало двухъ главныхъ условій, которыя оба при тогдашнемъ уровнѣ политическаго развитія были одинаково неисполнимы.

Во первыхъ, требовалось уничтоженіе той политической фикціи, которая связывала между собой Италію и Германію, двѣ страны, не сходныя ни по климату, ни по характеру жителей, ни по ихъ языку, ни по складу и направленію всей общественной жизни и зараждающейся умственной культуры. Во вторыхъ, отдѣльные итальянскіе города должны были признать надъ собою общее федеральное правительство и отказаться, въ пользу этого правительства, отъ извѣстной доли своей муниципальной автономіи.

Но тогдашніе люди были чрезвычайно робки въ области мысли, и неукротимо смѣлы въ дѣйствительной жизни. Ихъ умъ несъ на себѣ кротко и терпѣливо всю тяжесть старыхъ понятій, выработанныхъ далекимъ прошедшимъ и давно потерявшихъ свой живой смыслъ и свое первоначальное значеніе. Ихъ воля въ тоже время возмущалась противъ всякаго стѣсненія и вступала въ упорную борьбу съ каждымъ препятствіемъ, нарушавшимъ свободную игру ихъ могучихъ страстей. Они готовы были каждый годъ давать императору по нѣскольку генеральныхъ сраженій, но посягнуть на существованіе цѣлой политической системы, убить критикой такую

идею, съ которою жили и умерли ихъ родители и предки—это было для нихъ совершенно немыслимо. Всѣ ихъ политическія понятія были подлѣны подъ верховнымъ господствомъ папы. Имъ былъ неизвѣстенъ тотъ чисто-утилитарный взглядъ на общественную жизнь, который характеризуетъ собою настоящее время. Иначе, съ какимъ нибудь учрежденіемъ, предложеніе европейцы прежде всего задаютъ вопросъ: на что оно нужно? Кому, чѣмъ оно приноситъ пользу? Если этотъ вопросъ не находить себѣ удовлетворительнаго отвѣта, то ненужное учрежденіе осуждается общественнымъ мнѣніемъ и рано или поздно падаетъ, смотря на то, что у этого учрежденія нѣтъ замѣчательное, или даже блестящее прошлое. Люди XII вѣка, напротивъ того, уважали теоріи каждое учрежденіе, которому удавалось очень долго прожить на свѣтѣ. Они, не зная вѣрнаго, какъ сложилось и выработалось то или другое старое учрежденіе, утверждали, что основатели обладали разными сверхъестественными достоинствами и дарованіями, которыми упрочили за ихъ созданіемъ его неизгладимую долговѣчность. Какъ же могли простые люди класть руку на то, что было создано божественнымъ разумомъ? Если старое учрежденіе вламывалось въ новую жизнь, если оно давило и стѣсняло проявленія свѣжихъ силъ, ринувшихся недавно, подъ вліяніемъ новыхъ идей, то люди защищали самостоятельность и оригинальность настоящаго отъ притязаній прошедшаго, люди устраивали противъ старыхъ учрежденій разные заборы и частоты, которые должны были удерживать его въ извѣстныхъ границахъ, люди вступали даже въ борьбу съ старымъ учрежденіемъ и заставляли его отступать назадъ. Но при этомъ все-таки никто не поднимался и не могъ поднестись вопросъ: быть или не быть тому старому учрежденію, которое однакоже не доставляло живымъ людямъ ничего, кромѣ хлопотъ, убытковъ и скорченій. Поэтому ломбардскіе союзники, имѣя полную возможность навсегда запретить нѣмецкому королю входить въ Италію, никакъ не могли подумать объ уничтоженіи священной римской имперіи.

Города боролись съ императоромъ изъ за того, чтобы упрочить за собою полную самостоятельность, оставаясь въ тоже время въ номинальной зависимости отъ имперіи. Стремясь къ этой цѣли, которая была понятна и дорога каждому гражданину, ломбардскіе города никакъ не могли добровольно отказаться отъ какой бы то ни было доли своей автономіи. Господство центрального союзаго правительства, составленнаго по выбору изъ лучшихъ ломбардскихъ гражданъ, было все-таки невыносимо для отдѣльныхъ городовъ и не могло быть принято ими добровольно. Миланецъ хотѣлъ, чтобы важѣйшіе государствен-

ные вопросы—о войнѣ и мирѣ, о налогахъ, о сношеніяхъ съ другими державами—рѣшались непосредственно миланскими гражданами, въ миланскихъ совѣтахъ, на миланской городской площади. Онъ никакъ не хотѣлъ отдавать рѣшеніе этихъ вопросовъ собранію, составленному изъ миланцевъ, лодійцевъ, кремонянъ, веронянъ, тревизанцевъ, падуанцевъ, вичентинцевъ и другихъ союзниковъ,—такому собранію, въ которомъ миланцы одни, сами по себѣ, окажутся совершенно ничтожнымъ меньшинствомъ. Ему казалось невыносимо позорнымъ то обстоятельство, что его Миланъ долженъ будетъ платить деньги, вооружаться воевать и мириться не тогда, когда онъ, Миланъ, самъ того желаетъ, а тогда, когда позволять или прикажутъ все эти лодійцы, падуанцы, кремоняне, которыхъ онъ и знать совѣтъ не хочетъ. Также точно думалъ, въ свою очередь, каждый гражданинъ Лоди, Вероны, Піаченцы, Тревизы и всѣхъ другихъ союзныхъ городовъ.

При такой безграничной щекотливости муниципальнаго самолюбія прочная и сложная организация союза была невозможна. Ломбардская лига была сильна и могла дѣйствовать рѣшительно только тогда, когда надъ ней висѣла общая и очевидная опасность, одинаково понятная всемъ союзнымъ городамъ. Тутъ являлось общее вододушевление; всѣ силы напрягались, всѣ жертвы были ничтожны, потому что каждый гражданинъ стоялъ за свой собственный городъ, и защищалъ свое собственное достоинство, свое личное политическое могущество и значеніе. Но когда опасность исчезала или удалялась, тогда лига засыпала; каждый городъ составлялъ себѣ свои отдѣльные политическіе планы, преслѣдовалъ свои частныя цѣли, вступалъ въ соглашенія съ естественными врагами союза и готовъ былъ поссориться изъ за каждой бездѣлицы съ тѣми сосѣдями, которые недавно защищали вмѣстѣ съ нимъ общее дѣло ломбардской независимости. Исторія Александріи представляетъ разительный примѣръ этого политическаго неряшества. Когда Фридрихъ ушелъ въ Германію, тогда союзники, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только-что выдержанной войны, принялись за дѣло очень горячо; работа закипѣла у нихъ подъ руками; и городъ они выстроили, и ровъ вырыли, и воду въ него провели, и жителей согнали, и съ напой вошли въ сношенія насчетъ учрежденія новой епархіи; одного только не успѣли сразу сдѣлать—обнести городъ хорошей каменной стѣной. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, все вдругъ! Отложили эту часть работы до будущаго сезона, а покуда, чтобы городъ не оставался совсѣмъ безъ укрѣпленій, насыпали вокругъ него земляной валъ. Послѣ этого прошло шесть лѣтъ. Кажется, въ это время можно было построить превосходнѣйшую стѣну. Между тѣмъ стѣна не строилась, и когда Фридрихъ, въ 1174 году, пришелъ осаждать Александрію, онъ увидѣлъ пе-

редъ собою тотъ самый мизерный валъ, который былъ насыпанъ на время въ ожиданіи лучшаго. Союзники въ шесть лѣтъ не успѣли построить стѣну, успѣвши однакоже въ одно лѣто построить цѣлый городъ, въ которомъ помѣщалось по меньшей мѣрѣ, сорокъ тысячъ жителей. Ясное дѣло, что во время шестилѣтняго антракта ломбардская лига была погружена въ летаргическій сонъ. Лига не имѣла ни общественной казны, ни правильнаго сейма; она не собирала съ своихъ членовъ никакихъ налоговъ; когда необходимо было обсудить какое нибудь общее дѣло, тогда съѣзжались консулы и подесты союзныхъ городовъ; но рѣшенія этого съѣзда еще не имѣли обязательной силы для членовъ союза; эти рѣшенія представлялись въ каждомъ отдѣльномъ городѣ на разсмотрѣніе народному собранію, которое всегда могло отказать имъ въ своемъ согласіи. Члены союзаго съѣзда назывались *ректорами общества городовъ* и выбирали изъ своей среды президента. Власть ихъ была очень ограничена. Обязательства каждого города, вступающаго къ союзу, были въ высшей степени эластичны и неопредѣленны. Городъ обязывался не заключать съ императоромъ и съ его приверженцами отдѣльнаго мира или перемирія, и вести съ нимъ войну безъ фальши, съ добросовѣстнымъ напряженіемъ всѣхъ силъ, до тѣхъ поръ, пока общая цѣль союза будетъ достигнута. При этомъ ничего не говорилось о томъ числѣ войскъ, которое городъ долженъ выставить противъ общаго врага, для того чтобы напряженіе силъ дѣйствительно могло считаться добросовѣстнымъ. Предполагалось, что каждый городъ, изъ чувства самосохраненія, будетъ пускать въ ходъ все свои силы; но это предположеніе часто оказывалось ошибочнымъ. Случалось даже не разъ, что города прямо нарушали свои обѣщанія и, соблазнившись лестными предложеніями императора, заключали съ нимъ отдѣльный миръ въ то самое время, когда лига всего болѣе нуждалась въ ихъ единодушномъ и добросовѣстномъ содѣйствіи.

XV.

ОСАДА АЛЕКСАНДРИИ И СРАЖЕНІЕ ПРИ ЛИНЬЯНО.

Фридрихъ никакъ не хотѣлъ признать себя побѣжденнымъ. Осенью 1174 года онъ снова перешелъ черезъ Альпы съ сильнымъ нѣмецкимъ войскомъ. Маленькому, но дерзкому городку Сузѣ пришлось немедленно раскаться въ томъ, что шесть лѣтъ тому назадъ его жители обошлись непочтительно съ императоромъ, растерявшимъ въ Италіи своихъ храбрыхъ сподвижниковъ. Фридрихъ запомнилъ обиду и выжегъ Сузу до тла.

Затѣмъ онъ направился къ городу Асти, принадлежавшему къ ломбардской лигѣ и постоянно обижавшему вѣрнаго союзника императора, маркиза Монферратскаго. Узнавши о вступленіи

Фридриха въ Италію, ломбардская лига встретилась; ректоры собрались на съѣздъ и послали въ Асти депутатовъ съ просьбой держаться противъ императора упорно и мужественно, и съ обѣщаніемъ прислать на выручку сильное войско, какъ только осажденному городу придется плохо. Ломбарды вообще не любили сталкиваться съ нѣмцами въ открытомъ полѣ и старались по возможности утомлять и ослаблять ихъ армію продолжительными осадами. Но астиѣцы обманули ожиданія союзниковъ. Они были перепуганы до крайности слухами о необыкновенной свирѣпости нѣмецкой арміи и о какихъ-то особенно ужасныхъ фламандцахъ, которые всѣхъ побѣждаютъ и никому не даютъ пощады. Какъ только Фридрихъ подошелъ къ ихъ городу, они даже не попробовали сопротивляться и тотчасъ поднесли ему городскіе ключи. Изъ Асти императоръ двинулся въ Александрію, которая оскорбляла его самымъ фактомъ своего существованія и, слѣдовательно, непременно должна была подвергнуться совершенному разрушенію.

Александрійцы не оробѣли, не смотря на дурной примѣръ, поданный имъ сосѣднимъ городомъ Асти, и не смотря на мизерность того земляного вала, которымъ наградили ихъ ломбардскіе союзники. Познакомившись съ этимъ валомъ, Фридрихъ подумалъ, что городъ не выдержитъ перваго приступа: свирѣпые нѣмцы и ужасные фламандцы со всѣхъ сторонъ ползли на жалкія александрійскія укрѣпленія; но граждане отбивали ихъ на всѣхъ пунктахъ, прогнали ихъ обратно въ лагерь, и даже сожгли ихъ осадныя машины. Тогда Фридрихъ началъ блокаду, не обращая никакого вниманія на проливные дожди, отъ которыхъ всѣ окрестности Александріи превратились въ одну сплошную трясиину. Рѣки разливались, затопляли нѣмецкій лагерь, портили машины, съѣстные припасы, платье и оружіе; солдаты валялись въ грязи и умирали цѣлыми сотнями отъ всевозможныхъ лихорадокъ и горячекъ; за каждымъ кускомъ хлѣба и за каждою вязанкою сѣна приходилось посылать сильныя отряды, которые очень часто возвращались съ пустыми руками, потому что жители, зная безцеремонность нѣмецкихъ солдатъ, прятались со всѣмъ своимъ имуществомъ въ укрѣпленные города; видя въ лагерьѣ вѣрную смерть отъ голода или отъ болѣзней, солдаты стали разбѣгаться, и армія Фридриха грозила быстро превратиться въ фикцію, подобную священной римской имперіи, за призрачное величіе которой она должна была стоять по поясъ въ грязи и сражаться съ гибельными итальянскими лихорадками.

Упорство Фридриха продолжалось четыре мѣсяца. Александрійцы, видя истощеніе своихъ запасовъ, обратились къ союзу съ просьбой о помощи. Ломбардскій съѣздъ, засѣдавшій въ Моденѣ, рѣшилъ, что надо отбить нѣмцевъ и ввести въ Александрію большой обозъ съѣстныхъ при-

пасовъ. На этотъ разъ съѣздъ определялъ и точности, сколько воиновъ — конныхъ и пѣшихъ — долженъ выставить каждый союзный родъ; съѣздъ сдѣлалъ также раскладку тѣхъ сумъ денегъ, которая должна быть употреблена на закупку припасовъ. Консулы всѣхъ городовъ обязались клятвой исполнить всѣ эти требованія съѣзда.

Въ 1175 году, въ половинѣ великаго вѣка, союзная армія собралась подъ Пиаченцою и тутъ двинула къ Александріи два транспорта припасовъ — одинъ сухимъ путемъ на волахъ, а другой на баркахъ вверхъ по рѣкѣ По къ притокамъ. Въ началѣ страстной недѣли союзники расположились у Тортоны въ тридцати верстахъ отъ императорскаго лагеря.

Фридриху невозможно было продолжать блокаду. Онъ рѣшился сдѣлать послѣднее отчаянное усиліе и при этомъ дошелъ до такого самоотверженія, что не пожалѣлъ даже своей императорской чести. Онъ предложилъ осажденнымъ перемиріе на послѣдніе дни страстной недѣли. Потомъ, когда перемиріе было заключено, александрійцы спокойно предавались молитвѣ и благочестивымъ размышленіямъ, Фридрихъ ввелъ своихъ воиновъ въ городъ черезъ единственный ходъ, который уже давно былъ прорытъ нѣмецкими инженерами отъ лагеря до самой городской площади. Какъ ни хитро была устроена эта послѣдняя ловушка, однакоже и здѣсь получилась неудача. Александрійцы перевелись во время, высыпали изъ домовъ съ оружіемъ въ рукахъ, перебили всѣхъ нѣмцевъ, изъ выльзшихъ изъ подкопа, замѣтили, что площадь подрыта, продавили тотъ слой земли, который лежалъ надъ тоннелемъ, и похоронили такимъ образомъ всѣхъ воиновъ, которые находились еще въ подземельѣ. Ободренные своей побѣдой, они отворили ворота, сдѣлали сильнѣйшую вылазку, опрокинули императорскія войска, шедшія на приступъ, и сожгли большую деревянную башню, изъ которой осаждающіе осыпали ихъ укрѣпленія камнями и стрѣлами.

Все это произошло въ ночь съ пятницы на субботу. На слѣдующую ночь Фридрихъ собрался въ путь, зажегъ свой оставленный лагерь и въ самое Свѣтлое воскресенье направился къ Павіи съ своей измученной и малочисленной арміей. Ему надо было идти мимо ломбардскаго лагеря, и союзники были такъ сильны, что они не только отрѣзали ему отступленіе, но и совершенно уничтожили всѣхъ его нѣмцевъ и фламандцевъ. Въ этомъ отчаянномъ разсѣланіи Фридрихъ обнаружилъ замѣчательную наглость и глубокое пониманіе тѣхъ внутреннихъ противорѣчій, изъ которыхъ слагался образъ жизни его современниковъ. Фридрихъ пошелъ къ ломбардской арміи, и потомъ въ виду неприятеля уже выстроившагося въ боевой порядокъ, приказалъ своимъ солдатамъ остановиться и ждать

стройствомъ лагеря. Союзники увидѣли, что императоръ не хочетъ сражаться и стали въ тупикъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ тутъ распорядиться? Можно ли нападать на императора, который спокойно и довѣрчиво расположился отдыхать въ виду своихъ подданныхъ? Не будетъ-ли такое нападеніе гнусною измѣной и преступнымъ посягательствомъ на самыя святыя чувства чело-вѣческой природы?—Озадаченные этими вопро-сами, союзники оказались самыми почтитель-ными и любезными мятежниками. Они не тро-нули вѣмцевъ и добровольно выпустили изъ рукъ все выгоды своего положенія. Обѣ арміи про-вели цѣлыя сутки въ самомъ близкомъ соед-ствѣ. На другой день утромъ нѣкоторые ита-льянскіе дворяне, жившіе въ ладу съ обѣими партіями, попробовали устроить примиреніе. Императоръ отвѣчалъ, что, сражаясь за права имперіи, онъ готовъ однакоже отдать спорные вопросы на рѣшеніе посредникамъ, назначен-нымъ съ обѣихъ сторонъ. Союзники объявили въ свою очередь, что они также согласны подчи-ниться рѣшенію третейскаго суда, лишь бы толь-ко при этомъ не были нарушены права римской церкви и муниципальной свободы.

Обѣ стороны согласились въ выборѣ шесте-рыхъ посредниковъ и, начавши переговоры, условились между собою распустить немедленно обѣ арміи. Это послѣднее условіе было особенно выгодно для императора: армія его ни въ какомъ случаѣ не могла устоять противъ союзныхъ силъ, а распуская ее, онъ обнаруживалъ свою великодушную довѣрчивость и, спасая себя отъ вѣрнаго пораженія, разогрѣвалъ въ тоже время почтительныя чувства ломбардскихъ мятежни-ковъ. Переговоры были вообще гораздо опаснѣе для ломбардскаго союза, чѣмъ сраженія. Во вре-мя переговоровъ, императору удалось перетянуть на свою сторону городъ Комо и поколебать до-вѣріе союзниковъ къ Кремовѣ. Императоръ на-значилъ кремонскихъ консуловъ суперарбитрами въ разбираемомъ спорѣ и обѣщалъ положиться на ихъ рѣшеніе въ томъ случаѣ, если выбран-ные посредники не успѣютъ согласиться между собою. Союзники послѣ этого стали смотрѣть косо на кремонянъ, приняли въ соображеніе ихъ старинную привязанность къ императору и припомнили тутъ же, что кремонская милиція пришла выручать Александрію уже послѣ начала переговоровъ и послѣ распушенія обѣихъ армій.

Если бы Фридриху удалось затянуть пере-говоры, то въ ломбардскомъ союзѣ обнаружился бы, по всей вѣроятности, очень серьезныя несо-гласія. Но клерикальная партія выѣшлась въ дѣло и положила конецъ всѣмъ преждевремен-нымъ миролюбивымъ фантазіямъ, подъ прикры-тіемъ которыхъ императоръ разстраивалъ лигу и набиралъ себѣ въ Германіи новую армію. Пере-говоры, начавшіеся въ лагерь, были перене-сены въ Павію, куда вслѣдъ за императоромъ

прѣхали, по его приглашенію, уполномоченные легаты отъ папы Александра III.

Фридрихъ далъ этимъ легатамъ публичную аудіенцію на павійской площади, въ присутствіи павійскаго парламента или народнаго собранія. Одинъ изъ легатовъ, епископъ города Остіи, произнесъ строгую правоучительную рѣчь, въ которой были подробно перечислены тяжелыя преступленія Фридриха противъ его святой ма-тери, римской церкви. Епископъ убѣдительно совѣтовалъ императору раскаяться, исправиться и пожалѣть о собственной душѣ, подвергаю-щейся самой смертельной опасности, и о хри-стіанскомъ мірѣ, изнемогающемъ подъ гнетомъ невыносимыхъ страданій. Павійцы, принимав-шіе постоянное участіе во всѣхъ тяжелыхъ пре-ступленіяхъ императора, старались показать сво-ими громкими восклицаніями, что они все-таки умѣютъ сочувствовать невыносимымъ страдані-ямъ, о которыхъ повѣствовалъ строгій и крас-норѣчивый епископъ. Фридрихъ тоже обнару-жилъ признаки глубокаго сокрушенія и отвѣ-чалъ легатамъ, что для прекращенія невыноси-мыхъ страданій онъ готовъ рѣшиться на самыя значительныя пожертвованія.

Затѣмъ начались совѣщанія уже не на пло-щади, а въ дворцовыхъ покояхъ, при затворен-ныхъ дверяхъ, потому что профанамъ не слѣдо-вало знать, какимъ образомъ папскіе легаты расхваливаютъ невыносимость страданій, стараясь сбыть ее съ рукъ за самую выгодную цѣ-ну, и какимъ образомъ императорскіе министры отпускаютъ имъ по золотникамъ монету раз-строганнаго императора, т. е. его самыя значи-тельныя пожертвованія. Вообще, когда два прин-ципа, желающіе казаться одинаково величе-ственными и непоколебимыми, принуждены тор-говаться между собою, тогда слѣдуетъ затво-рять двери какъ можно плотнѣе, чтобы процессъ діалектической борьбы и искуснаго лавированія оставался навсегда неизвѣстнымъ наивной пуб-ликѣ. *Самыя значительныя пожертвованія* Фридриха оказались недостаточными для изле-ченія *невыносимыхъ страданій*, и легаты уѣхали изъ Павіи, объявляя во всеуслышаніе, что примиреніе императора съ церковью не-возможно. вмѣстѣ съ легатами уѣхали и пред-ставители ломбардской лиги, которая ни подъ какимъ видомъ не хотѣла мириться съ мучите-лемъ церкви. Прекращеніе переговоровъ было очень счастливымъ событіемъ для республикан-цевъ, потому что императоръ старался только выиграть время, перессорить союзниковъ и по-томъ напустить на отдѣльные города новую армію, формировавшуюся въ Германіи.

Въ ожиданіи этой арміи, Фридрихъ прожилъ въ Павіи цѣлый годъ. Во все это время военныя дѣйствія ограничивались опустошеніемъ полей, и даже эти опустошенія производились въ очень скромныхъ размѣрахъ; Фридриху не съ чѣмъ

было пускаться въ обширныя предпріятія, а ломбарды никогда не умѣли или, по своей почтительности, не осмѣливались вести наступательную войну.

Наконецъ, въ маѣ 1176 года нѣмецкая армія перешла черезъ Альпы и вступила въ городъ Комо, державшій сторону императора. Узнавши о ея приближеніи, Фридрихъ поспѣшно выѣхалъ изъ Павіи, пробѣжалъ тайкомъ черезъ миланскую территорію, и потомъ, принявши начальство надъ арміей, повелъ ее къ замку Линьяно, находившемуся въ графствѣ Сепріо.

Миланцы видѣли, что первый ударъ направляется противъ нихъ. Они уже давно понимали, что императоръ не даромъ поселился въ Павію, и что онъ заготовляетъ матеріалы для такихъ серьезныхъ столкновеній, въ которыхъ должна окончательно рѣшиться судьба республиканской Ломбардіи. Миланцы заблаговременно приняли всѣ мѣры для самой упорной обороны. Въ январѣ 1176 г. они потребовали отъ союзныхъ городовъ повторенія тѣхъ клятвенныхъ обязательствъ, по которымъ, въ случаѣ опасности, всѣ силы союза должны были идти на помощь къ осажденному городу. Потомъ они сформировали два отборные кавалерійскіе отряда. Одинъ состоялъ изъ девяти сотъ воиновъ и назывался *когортою смерти*. Другой, составленный изъ трехъ сотъ молодыхъ людей, принадлежавшихъ къ лучшимъ миланскимъ фамиліямъ, долженъ былъ защищать главное знамя республики, и назывался поэтому *когортою каррочіо*. Оба отряда дали торжественную клятву умирать за отечество на полѣ сраженія и не отступать ни подъ какимъ видомъ. До изобрѣтенія огнестрѣльнаго оружія, когда военное искусство находилось въ младенчествѣ, и когда всѣ сраженія рѣшались исключительно рукопашными схватками—серьезное выполненіе патріотическаго обѣта, даннаго обѣими когортами, дѣйствительно могло принести миланской республикѣ самую существенную пользу.

Въ послѣднихъ числахъ мая миланцы узнали, что императоръ съ своей новой арміей находится въ двадцати верстахъ отъ ихъ города. Въ это время къ миланцамъ успѣли присоединиться только войска Піаченцы и по нѣскольку воиновъ изъ Вероны, изъ Брешии, изъ Новары и изъ Верчелли. Миланцы однакоже не стали дожидаться остальныхъ союзниковъ и пошли вмѣстѣ со своимъ каррочіо на встрѣчу къ непріятелю. Столкновеніе произошло 29 мая возлѣ замка Линьяно. Сначала когорта каррочіо поколебалась, и нѣмцы подъ начальствомъ самого Фридриха, рубившагося въ первомъ ряду, подошли очень близко къ священной миланской колесницѣ. Тутъ когорта смерти повторила громко свою великую клятву и бросилась на императорское войско съ такою яростью, что общій видъ сраженія немедленно переимѣнился. Самъ императоръ, опрокину-

тый съ лошади, куда-то исчезъ; главное знамя его очутилось въ рукахъ миланцевъ; по рани нѣмецкой арміи пробѣжалъ тревожный шумъ; томъ, что императоръ убитъ; все миланское воодушевилось и кинулось на нѣмцевъ въ за когортою смерти; нѣмцы не выдержали и бѣжали; миланцы преслѣдовали ихъ на разстояніи десяти верстъ и наконецъ загнали ихъ въ рѣку Тичино, въ которой многіе изъ бѣгущихъ утонули. Особенно плохо пришлось комаскамъ, измѣнившимъ общему дѣлу ломбардскаго союза: почти вся милиція города Комо легла на полѣ сраженія, или была истреблена во время преслѣдованія; богатый лагерь императорской армии весь цѣликомъ достался побѣдителямъ. Такое пораженіе было такое рѣшительное, какого Фридрихъ Барбаросса еще никогда не испытывалъ.

Впродолженіе нѣсколькихъ дней друзья враги императора рѣшительно не знали, куда онъ дѣвался. Его не было ни на линьянскомъ полѣ, среди убитыхъ, ни въ Миланѣ, въ числѣ бѣжниковъ. Жена его, находившаяся въ Павіи, послала по немъ трауръ и молилась объ упокоеніи его гордой и неукротимой души. Наконецъ онъ самъ явился въ Павію, и его исчезновеніе объяснилось очень просто. Ошеломленный ударомъ, свалившимъ его съ лошади, онъ упалъ только тогда, когда сраженіе было уже окончено, и когда ломбарды, добивавшіе разбитыхъ нѣмцевъ, находились въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Линьяно, по дорогѣ къ рѣкѣ Тичино. Тутъ Фридрихъ сообразилъ конечно, глядя на груды своихъ убитыхъ сподвижниковъ, что остается только уходить какъ можно скорѣе, съ осторожностію, чтобы не попасться въ плѣнъ. Рядомъ глухими тропинками, перелѣсками и болотами онъ сталъ пробираться къ Павіи и благополучно дошелъ до этого города тогда, когда никто не смѣлъ сомнѣваться въ его смерти.

Ломбардская война продолжалась уже почти два года. Семь нѣмецкихъ армій, одна другую, приходили въ Италію защищать пресвященной римской имперіи. Эти арміи, въ щей сложности, заключали въ себѣ, по менѣе мѣрѣ, полмилліона людей, оторванныхъ отъ родной земли и отъ производительныхъ занятій. Этого полумилліона воротились на родину очень немногіе; большинство погибло не столько отъ оружія республиканцевъ, сколько отъ болѣзней и лишеній, составлявшихъ неизбѣжное слѣдствіе такого климата, къ которому не могли привыкнуть нѣмецкіе солдаты, и такой системы войны, при которой цѣлыя обширныя и богатые области опустошались и выжигались безъ малѣйшей добности. Двѣ арміи, пятая и шестая—тѣ, которая ходила въ Римъ, и та, которая осадила Александрію—были почти совершенно истощены—одна мареммскою лихорадкой, другая голодомъ и различными болѣзнями. Трудно пожертвованій было вообще принесено такъ

то, что дальѣйшія требованія становились уже неудобносполнимыми. Самъ Фридрихъ дѣлалъ съ своей стороны все, что было возможно; никто изъ его злѣйшихъ враговъ не могъ и не хотѣлъ сомнѣваться ни въ его храбрости, ни въ его распорядительности, ни въ его настойчивости, ни въ его умѣнїи переносить спокойно и хладнокровно самыя тяжелыя неудачи. Чего только онъ не приумывалъ для укрощенія Италїи? Выигрывалъ сраженія, выжигалъ поля, бралъ и разрушалъ до основанія богатые города, назначалъ въ Ломбардію своихъ чиновниковъ, давая имъ полное право грабить и вѣшать гражданъ, вѣшалъ самъ дѣшниковъ и заложниковъ, созывалъ сеймы, говорилъ рѣчи, напускалъ на своихъ противниковъ свою непобѣдимую ученость болонскихъ юристовъ — и все-таки, въ двадцать два года, отодвинулъ отъ своей дѣли, вмѣсто того, чтобы подойти къ ней ближе. Всѣ усилія Фридриха привели за собою только тотъ результатъ, что Ломбардія начала понимать цѣну своей независимости и, принявъ голосу этого возникающаго самосознанія, выработала себѣ такую организацію, которая при своей рыхлости и неповоротливости, все-таки однимъ фактомъ своего существованія совершенно обезпечивала свободу отдѣльных ломбардскихъ республикъ. Миланъ, съ которымъ Фридрихъ поссорился при первомъ своемъ вступленіи въ Италію, Миланъ, стертый Фридрихомъ съ лица земли — этотъ самый Миланъ стоялъ на своемъ прежнемъ мѣстѣ, во всемъ своемъ прежнемъ величіи, по-прежнему боготворилъ свою свободу и обнаруживалъ способность наносить своимъ обидчикамъ такіе удары, отъ которыхъ могла разсыпаться въ дребезги самая сильная и благоустроенная армія. Пора было наконецъ понять настоящій смыслъ всѣхъ этихъ событій; пора было уступить необходимости, прекратить безплодную трату человѣческихъ силъ и откровенно помириться съ существованіемъ свободныхъ ломбардскихъ городовъ, какъ съ такимъ фактомъ, который созданъ потребностями цѣлаго народа и не можетъ быть уничтоженъ произволомъ отдѣльной личности.

Послѣ линьянскаго сраженія Фридрихъ серьезно сталъ думать о мирѣ.

XVI.

ПЕРЕГОВОРЫ И МИРЪ.

Ломбардская война чрезвычайно замѣчательна по совершенно анонимному характеру. Въ этой войнѣ мы не видимъ, на сторонѣ побѣдителей, ни одного блестящаго имени, ни одной крупной личности, управляющей ходомъ событій. Дѣйствуютъ цѣлые народы — миланцы, вероняне, кремоняне, лодїицы и др. Ихъ страсти, ихъ любовь къ свободѣ, ихъ мужество, ихъ терпѣніе, порывы ихъ патріотическаго восторга или негодованія, ихъ подвиги и ихъ ошибки обуслови-

ваютъ собою всѣ различныя фазы упорной двадцатидухлѣтней борьбы. Можно разсказать очень подробно всю эту борьбу съ начала до конца, не назвавши ни одного ломбардскаго полководца или государственнаго чловѣка. Почему ломбардскіе города — Тортонъ, Крема, Миланъ, Александрія, выдерживали такія осады, которыя своею продолжительностью губили силы императорскихъ армій? Не потому, что въ этихъ городахъ сидѣли гениальные инженеры и замѣчательные комманданты, а потому, что всѣ граждане, отъ консула до поленщика, готовы были для спасенія отечества питаться по нѣскольку недѣль крысами, лягушками, травой и вареными подошвами.

Почему Ломбардія, поработенная и задавленная Фридрихомъ, послѣ разрушенія Милана, поднялась противъ своихъ притѣснителей и завоевала себѣ снова всю свою прежнюю свободу? Не потому, что въ городскихъ совѣтахъ сидѣли глубокомысленные и дальновидные администраторы, а потому, что весь народъ капѣлъ неукротимымъ негодованіемъ, чувствовалъ глубоко каждое изъ наносимыхъ ему оскорбленій и бросался въ опасность, не справляясь о томъ, какъ велики силы его обидчиковъ.

Почему Миланъ поднялся изъ своихъ развалинъ? Не потому, что государственные люди извѣстили тѣ выгоды, которыя его существованіе доставляло Ломбардіи, а потому, что миланцы страстно любили свой родной городъ, и потому что ихъ патріотическое чувство нашло себѣ отголосокъ въ груди всѣхъ ломбардовъ, поднявшихъ оружіе за свою потерянную свободу.

Почему ломбардскіе союзники упустили Фридриха въ окрестностяхъ Тортонъ, когда его армія, ослабленная неудачною осадой Александріи, могла быть совершенно уничтожена? Не потому, что ломбардскіе полководцы руководствовались какими нибудь ошибочными расчетами, а потому, что ломбардская армія, изображавшая собою цвѣтъ ломбардскаго народа, чувствовала къ особѣ императора невольное и непобѣдимое уваженіе.

Почему миланцы разбили подъ Линьяно сильную императорскую армію, только-что пришедшую изъ Германіи и слѣдовательно еще не успѣвшую раскиснуть подъ вліяніемъ италіянскаго климата и лагерныхъ неудобствъ? Не потому, что планъ сраженія былъ составленъ какимъ нибудь даровитымъ и опытнымъ специалистомъ, а потому что лучшая часть миланской арміи, т. е. народа, поклялась умереть за отечество и вспомнила свою клятву въ рѣшительную минуту.

Именно потому я и представилъ читателямъ довольно подробный отчетъ объ осадахъ и сраженіяхъ, что во всѣхъ этихъ операціяхъ проявлялись во время ломбардской войны не сухія выкладки полководцевъ, а живые порывы великихъ и вѣчно юныхъ, вѣчно современныхъ народныхъ чувствъ.

Руководствуясь непосредственными внушениями своего патристического чувства, ломбарды умѣли побуждать своихъ притѣснителей, и—что еще труднѣе—умѣли также переносить сильныя поражения, не отчаяваясь въ успѣхъ своего дѣла. Но когда побѣда была одержана, тогда одно голое чувство при всей своей пламенности, рѣшительно не могло вразумить ломбардовъ, какимъ образомъ слѣдуетъ пользоваться побѣдой, т. е. на какихъ условіяхъ можно помириться съ побѣжденнымъ врагомъ. Послѣ сраженія при Линьяно обозначилась вполне существенная разница между воюющими сторонами. Когда побуждалъ императоръ, тогда онъ преслѣдовалъ своихъ враговъ неутомимо и безпощадно, принуждалъ ихъ къ безусловной сдачѣ, срывалъ до основанія цѣлые города, разбрасывалъ бывшихъ мятежниковъ въ беззащитныя слободы и деревни, емирялъ ихъ непопулярными налогами и каторжными работами, словомъ, выжималъ изъ своей побѣды весь ея сокъ, до послѣдней капли, такъ что побѣжденные враги долго не могли собраться съ силами для новой борьбы. Ломбарды поступали совсѣмъ наоборотъ; уничтоживъ нѣмецкую армію, они тотчасъ успокоились и прекратили военныя дѣйствія, они не пошли осаждать Павію, не постарались отрѣзать Фридриху сообщеніе съ Германіей и не предприняли ровно ничего ни противъ маркиза Монферратскаго, ни противъ другихъ итальянскихъ приверженцевъ императора. Теряя свою армію, Фридрихъ терялъ только возможность опустошать ломбардскія поля и разрушать ломбардскіе города; вмѣстѣ съ своей арміей онъ нисколько не терялъ возможности защищать свою личность и свою корону. Послѣ десяти поражений, подобныхъ линьянскому дѣлу, его личность и его корона оставались бы попрежнему въ совершенной безопасности по той простой причинѣ, что ихъ охраняла простодушная почтительность самихъ побѣдителей. Ломбарды могли въ пылу сраженія сбить Фридриха съ лошади, но они были совершенно неспособны идти къ Павіи съ ясно сознаннымъ намѣреніемъ взять нѣмецкаго императора въ плѣнъ и повелительнымъ тономъ продиктовать ему условія мирнаго договора. Послѣ сраженія при Линьяно, ничто не принуждало Фридриха просить мира и дѣлать побѣдителямъ уступки. У Фридриха не было арміи, а ломбарды, по своей скромности, осмѣливались вести только оборонительную войну; при такихъ условіяхъ военныя дѣйствія прекращались сами собою, именно тогда, когда это прекращеніе было особенно необходимо для Фридриха; и это естественное перемиріе, состоявшееся безъ всякихъ взаимныхъ обязательствъ и безъ всякихъ пожертвованій со стороны императора, должно будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока самому императору будетъ угодно и выгодно возобновить свои посягательства на ломбардскую свободу. Во время наступившаго затишья, Фрид-

рихъ могъ преспокойно жить въ Павіи, заниматься, куражиться, разстривать ломбардскіе юзы дипломатическими интригами и собирать въ Германіи новую армію—словомъ, открыто, въ присутствіи самихъ ломбардовъ заготавливать тѣ цѣпи, которыя одинъ разъ уже были разорваны республиканцами сѣверной Италіи.

Каштаны, добытые изъ горячей золи уми храбрыхъ ломбардовъ, попали на столъ къ свѣтѣйшеству Александру III. Фридрихъ, разбитый при Линьяно, послалъ своихъ уполномоченныхъ не къ ректорамъ общества городовъ, а къ папѣ. Папа объявилъ сначала на публичной аудіенціи, что онъ ни подъ какимъ видомъ не оставитъ своихъ союзниковъ и не заключитъ съ императоромъ отдѣльнаго мира. Однако папа не отказался вести переговоры, и онъ скоро сошелся съ уполномоченными Фридриха въ опредѣленіи тѣхъ условій, на которыхъ императоръ можетъ получить его папское пріемленіе и благословеніе. Окончательное заключеніе мира между папою и императоромъ было, при отложено до рѣшенія ломбардскаго вопроса, роль папы совершенно измѣнилась съ той минуты, какъ онъ условился съ уполномоченными Фридриха. Цѣль папы была уже достигнута, уже нечего было желать и ожидать отъ примиренія военныхъ дѣйствій, ему и его вѣрнымъ уже не за что было гнѣваться на императора, не зачѣмъ было разогрѣвать воинственныя страсти республиканцевъ; теперь надо было изменить тонъ, заговорить о сладости мира, напомнить ломбардамъ о повинновеніи предѣльнымъ властямъ; вчерашніе агитаторы должны были сегодня превратиться въ миротворцевъ, въ усыпителей и въ тайныхъ враговъ республиканскаго воодушевленія, которое теперь смѣшало папѣ наслаждаться вполне плодами мирнаго и почетнаго мира.

Папа обѣщалъ императорскимъ посланцамъ ѣхать немедленно въ Ломбардію и, въ качествѣ предѣлителя ломбардскаго конгресса, занятый соглашеніемъ противоположныхъ интересовъ, волновавшихъ до сихъ поръ священную имперію. Такимъ образомъ папа принималъ на себя обязанности посредника. Это обстоятельство указываетъ довольно ясно, что онъ уже не считалъ себя воюющей стороною, не смотря на то, что онъ торжественно отказывался отъ заключенія отдѣльнаго мира. Въ ожиданіи окончательнаго примиренія положено было прекратить военныя дѣйствія на всемъ пространствѣ Италіи. Хотя и незамѣтно было, чтобы до заключенія этого форменнаго перемирія, почтительные ломбарды позволили себѣ какую нибудь наступательную дерзость, однако не трудно понять, что онъ нуждался въ этомъ условіи, и чьи интересы онъ ограждалъ. Ломбарды получили такимъ образомъ на свою долю горячую золу и обожженныя руки. Каштаны же отодвинулись отъ нихъ и

манную даль неопредѣленнаго будущаго и тались по прежнему въ распоряженіи важныхъ особъ—папы и императора.

Ломбарды ухитрились дѣйствовать такъ искусно, что побѣда не усилила, а ослабила ихъ партію. Вскорѣ послѣ дѣла при Линьяно, дворяне Кремона и Тортона, соблазненные великодушными предложеніями императора и, отдѣлившись отъ мятежнаго союза, бросились въ раскостертыя объятія Фридриха Барбароссы. Тортона не такъ расчувствовались, что забыли даже, какъ они, по милости этого самого Фридриха, скрывающаго имъ свои объятія, пили въ колодезь отравленную воду, и потомъ тащились въ Миланъ, не имѣя на свѣтъ ни коза, ни двора, ни родины, ни гражданскихъ правъ. Пріимѣру Кремоны и Тортоны послѣдовала Авенна, которая впрочемъ никогда не помогала ломбардамъ, хотя и принадлежала къ ихъ союзу.

Фридрихъ такъ мало нуждался въ мирѣ, что чень долго торговался съ ломбардами насчетъ того, въ какомъ городѣ назначить мѣстопробываніе конгресса. Ломбарды предлагали Болонью, Пиаченцу, Феррару или Падую. Императоръ возражалъ, что всѣ эти города, принадлежащіе къ ломбардской лигѣ, не могутъ считаться нейтральными — и предлагалъ съ своей стороны Лавію или Равенну, которыхъ нейтралитетъ былъ также болѣе чѣмъ сомнителенъ. Наконецъ обѣ стороны согласились вести переговоры въ Венецію, которая сначала принадлежала къ союзу, а потомъ осаждала Анкону за одно съ императорскими войсками. Венеція держала себя особнякомъ отъ Ломбардіи и не признавала надъ собою власти нѣмецкихъ императоровъ. У Венеціи были свои спеціальныя интересы и своя самостоятельная политика. Поэтому Венеція могла служить нейтральнымъ полемъ для обѣихъ договаривающихся сторонъ.

Папа пріѣхалъ въ Венецію въ концѣ марта 1177 года. До начала конференцій, ломбарды потребовали отъ венеціанскаго дожа и отъ народа клятвеннаго обѣщанія не впускать въ городъ императора во все время переговоровъ. Ломбардскіе депутаты боялись, что въ присутствіи императора исчезнетъ вся ихъ смѣлость и настойчивость, и получится снова тотъ печальный результатъ, къ которому девятнадцать лѣтъ тому назадъ пришли члены знаменитаго ронкальскаго сейма. Дожъ и народъ исполнили желаніе ломбардовъ, и конференціи открылись въ половинѣ мая, почти черезъ годъ послѣ сраженія при Линьяно. Этотъ годъ былъ потерянъ ломбардами и выигранъ императоромъ.

Ломбардскіе депутаты высказали свои желанія въ предварительной *петиціи*, поданной императору, который, во время конференцій, жилъ въ окрестностяхъ Равенны. Ломбарды соглашались платить деньгами или натурой тѣ подати, которыя требовались съ итальянскихъ городовъ

на содержаніе императорской арміи, въ то время, когда императоръ шель въ Римъ для коронаціи. Они соглашались также присягать императору и выставять, по его требованію, известное число вооруженныхъ людей. За все это они желали, чтобы императоръ призналъ ихъ право выбирать себѣ консуловъ, поддерживать и увеличивать городскія укрѣпленія и возобновлять, когда имъ заблагоразсудится, договоръ ломбардскаго союза, обязавшаго защищать своихъ членовъ противъ всякаго обидчика, и даже противъ самаго императора, если императоръ будетъ нападать на церковь или на союзные города. Наконецъ они желали получить отъ императора полную амнистію за все прошедшее и оставить всѣ регальныя и феодальныя права въ рукахъ прежнихъ владѣльцевъ.

Въ отвѣтъ на эту петицію императоръ черезъ своихъ уполномоченныхъ предложилъ ломбардамъ выбрать одно изъ двухъ — или подчиниться рѣшеніямъ Ронкальскаго сейма, или воротиться къ тому положенію, въ которомъ находились города во время царствованія Генриха IV, то есть тогда, когда воспоминаніе о зависимости городовъ было еще очень свѣжо, и когда внутренняя организація ломбардскихъ республикъ только-что начинала вырабатываться. Мудрая политика ломбардовъ, которые выпрашивали себѣ амнистію и, слѣдовательно, сами признавали себя бунтовщиками — придавала Фридриху такую силу и бодрость, что онъ совершенно забывалъ линьянское сраженіе и заявлялъ съ своей стороны притязанія, едва ли осуществимыя даже послѣ самой блестящей побѣды.

Говорить съ ломбардами о Ронкальскомъ сеймѣ — значило бросать имъ въ глаза горькую и оскорбительную насмѣшку, потому что вся война, со всѣми своими безчисленными бѣдствами, была только однимъ постояннымъ протестомъ республиканской Ломбардіи противъ ронкальскихъ постановленій, придуманныхъ заучившимися и рабоблистующими юристами. Поворачивать богатые и могущественные города назадъ къ фазѣ ихъ безсильнаго дѣтства — значило просто отказываться отъ примиренія. На такія предложенія слѣдовало отвѣчать повтореніемъ линьянскаго урока въ улучшенномъ и дополненномъ видѣ. Но ломбарды, по своей всегдашней скромности, пустились въ почтительную аргументацію и стали доказывать императорскимъ уполномоченнымъ, что на Ронкальскомъ сеймѣ императоръ просто отдавалъ приказанія, во всѣхъ отношеніяхъ невыгодныя для городовъ, — и что Генрихъ IV, постоянно воевавшій съ величайшими изъ папъ, былъ лютымъ тираномъ, котораго распоряженія не должны имѣть никакой обязательной силы для добрыхъ католиковъ. Само собою разумѣется, что ни Фридрихъ, ни его уполномоченные не убѣдились этими доводами. Споръ затянулся, и всѣ члены конференціи увидѣли, какъ

невозможность придти къ какому бы то ни было удовлетворительному соглашенію. Но папѣ хотѣлось предаться въ полномъ спокойствіи пожиранію добытыхъ каштановъ. Поэтому онъ постарался своимъ личнымъ вліяніемъ и происками своихъ безчисленныхъ агентовъ склонить императора и ломбардовъ къ заключенію перемирія, во время котораго все должно было оставаться по старому. Въ концѣ іюня уполномоченные Фридриха подписали вѣчный миръ съ церковью и шестилѣтнее перемиріе съ ломбардскимъ союзомъ. Это перемиріе можно было назвать шестилѣтней отсрочкой, данной императору, для того чтобы онъ могъ собраться съ силами и потомъ наводнить Ломбардію новыми толпами нѣмцевъ и фламандцевъ.

Послѣ окончанія переговоровъ, послѣ разнѣна взаимныхъ ратификацій и торжественныхъ клятвъ, императоръ вѣхалъ въ Венецію, публично расцѣловалъ священные туфли Александра III, отслушалъ молебень, во время котораго папа снялъ съ него приговоръ отлученія, — потомъ проводилъ папу къ его лошади, подержалъ ему стремя, хотѣлъ, по установленному церемоніалу, вести папскую лошадь подъ уздцы вплоть до монастыря Св. Николая, въ которомъ находилась квартира папы. Но Александръ обнаружилъ съ своей стороны большую любезность и уволилъ императора отъ исполненія этой послѣдней обязанности. Пока папа кушалъ такимъ образомъ каштаны, ломбарды съ наслажденіемъ потирали свои обожженные руки и добродушно гордились торжествомъ Александра III, какъ прекраснѣйшимъ и важнѣйшимъ результатомъ линьинской побѣды.

Вскорѣ послѣ этого примиренія, папа поѣхалъ въ Римъ, гдѣ безсильный республиканскій сенатъ добровольно призналъ надъ собой его господство, а императоръ отправился въ Германію.

Во время шестилѣтняго перемирія Фридрихъ не показывался въ Италіи, но издали продолжалъ интриговать противъ ломбардскаго союза, не совсѣмъ безуспѣшно. Въ началѣ 1183 года, онъ возобновилъ свой договоръ съ Тортоною и придалъ ему всевозможную гласность, чтобы показать ломбардскимъ городамъ, какую хорошую цѣну онъ готовъ платить отступникамъ, покинувшимъ общее дѣло союза. Приманка подѣйствовала, и въ ряды отступниковъ вошла Александрія, обязанная ломбардской лигѣ своимъ существованіемъ. Чтобы умилостивить императора, Александрія рѣшилась загладить грѣхъ своего незаконнаго рожденія. Въ назначенный день всѣ александрійцы вышли изъ города и отдали себя въ распоряженіе императорскаго чиновника, ожидавшего ихъ за воротами. Этотъ чиновникъ ввелъ ихъ обратно въ городъ и объявилъ имъ, съ надлежащей торжественностью, что императоръ по своему безпредѣльному великодушію даруетъ имъ новое отечество, которое съ этой минуты

будетъ называться не Александріей, а Цезарей. Цезарейцы получили позволеніе вѣдаться по прежнему выборными консулами. Кромѣ того императоръ обязался защищать ихъ зарею, въ случаѣ нападенія со стороны чужаковъ, то есть членовъ ломбардскаго союза.

Перемиріе должно было окончиться 1-го августа 1183 г. Но при дворѣ Фридриха образовалась сильная партія, желавшая мира. Въ этой партіи стоялъ старшій сынъ императора Генрихъ. Отецъ обѣщалъ молодому человеку вѣдать его своимъ совратителемъ, и молодой вѣкъ боялся, чтобы возобновленіе войны не мѣшало императору исполнить данное обѣщаніе. Генрихъ убѣдилъ своего отца отправить уполномоченныхъ въ Пиаченцу, гдѣ засѣдалъ съ 1183 года съѣздъ ломбардскихъ ректоровъ. Воротившись съ ними объ условіяхъ мира, императорскіе послы пригласили консуловъ и ректоровъ въ Констансъ на имперскій сеймъ. Тамъ окончились переговоры въ присутствіи самого императора, и обѣ стороны подписали трактатъ вѣчнаго мира 25 іюня 1183 года. — Въ Констансѣ императоръ принялъ всѣ тѣ условія, которыя онъ никакъ не хотѣлъ согласиться на вѣдѣніи своемъ, вѣдѣніи же своемъ хотѣлъ тому назадъ, въ Венеціи. Всѣ желанія ломбардовъ осуществились. — Ни о постановкѣ Ронкальскаго сейма, ни о временахъ Генриха не было и помину.

Императоръ уступилъ городамъ всѣ права, которыми они владѣли въ минутое вѣдѣніе трактата. Онъ призналъ за городами собирать войска, укрѣпляться какъ угодно собственной властью, судъ и расправу всѣмъ дѣламъ, какъ гражданскимъ, такъ уголовнымъ. Онъ позволилъ городамъ поддерживать существованіе ломбардской лиги и возобновлять союзный договоръ, когда имъ заблагоразсудится. Наконецъ онъ обѣщалъ не жить ни въ одномъ ломбардскомъ городѣ такъ долго, чтобы ему бываніе сдѣлалось для даннаго города утомительнымъ или обременительнымъ.

Всѣ эти уступки были очень важны. Но Фридрихъ, разумѣется, не могъ отказаться такъ тѣло и безвозвратно отъ тѣхъ властныхъ плановъ, для осуществленія которыхъ онъ губилъ сотни тысячъ нѣмцевъ и италіянъ. Онъ постарался украсить констанскій трактатъ нѣсколькими статейками, въ которыхъ, въ сущности, его желаніе втерѣться снова въ италіянскія дѣла и понемногу отобрать назадъ сдѣланные уступки. — За городами было признано право выбирать себѣ консуловъ, но при этомъ постановлено, чтобы выбранныя лица были утверждены своей должности императорскимъ легатомъ или мѣстнымъ епископомъ, если онъ былъ въ то время графомъ даннаго города. Далѣе, признано за городами право самостоятельнаго суда, императоръ выговорилъ себѣ право назначать и смѣнять городъ по одному судѣ, къ которому

вать апелляцію по гражданскимъ процессамъ цѣнность процесса превышала динровъ. — Наконецъ города обязались вать силою оружія права имперіи надъ пьянскими магнатами и республиками, епринадлежали къ ломбардскому союзу. бразомъ императоръ удерживалъ за со- вмѣшиваться и во внутреннюю жизнь, ннюю политику тѣхъ городовъ, съ ко- нъ заключалъ миръ. При благопріят- гоательствахъ это право могло окрѣп- вернуться и приготовить для республ- Иомбардіи много новыхъ хлопотъ, хро- ь страданій и кровопролитныхъ сра-

84 году Фридрихъ пріѣхалъ въ Италію одъ свѣжимъ впечатлѣніемъ заключен- начался живой обмѣнъ любезностей знымъ императоромъ и самыми зако- мятежниками. Миланцы больше всѣхъ ломбардовъ старались показать Фрид- ть они рады его видѣть и какъ они до- то добрымъ расположеніемъ. Фридрихъ стороны желалъ выразить имъ свою нность и для этого позволилъ имъ вы- ананово городокъ Крему, который съ оставался разрушеннымъ. Кремоняне, враги кремасковъ, помѣшали возста- этого города въ то время, когда лом- оюзъ хозяйничалъ въ сѣверной Италиі; огда самъ императоръ простиалъ жите- шеннаго города, кремоняне разсерди- разили свое негодованіе такъ дерзко, ихъ рѣшили ихъ наказать. Онъ въ въ послѣдній разъ въ жизни принялъ начальство миланскую милицію, взялъ миланское каррочіо, вошелъ въ кре- область, сжегъ нѣсколько замковъ и кремонянъ просить пощады.

затѣмъ Фридрихъ предоставилъ милан- во *выбирать* себѣ подесту и облекать аніе городского графа, не дожидаясь ни зрѣшенія или утвержденія. Въ это же дрихъ женилъ своего сына Генриха на и, наследницѣ Сицилійскаго королев- 1188 году Фридрихъ отправился въ воевать съ невѣрными, а въ 1189 году Фридрихъ утонулъ въ маленькой, но трой и холодной рѣчкѣ Салефѣ.

XVII.

консулы и подесты.

сбѣли выше, что въ началѣ XI вѣка мно- ики приписались къ итальянскимъ го- получили въ нихъ право гражданства.

войны съ Фридрихомъ Барбароссой омбардская республика имѣла свое дво- опптенное, храброе, буйное и власто- Пока продолжалась упорная война съ

опаснѣйшимъ врагомъ ломбардской свободы, нравственные свойства и стремленія дворянъ были очень полезны общему дѣлу, потому что дворяне гораздо менѣе остальныхъ гражданъ были расположены молчать и благоговѣть передъ такъ называемымъ преемникомъ Юстиніана и Константина Великаго.

Каждый помѣщикъ, обладавшій укрѣплен- нымъ замкомъ, искалъ себѣ и часто находилъ такую полную независимость, о которой никогда не могъ мечтать ремесленникъ или купецъ, вы- росшій въ городѣ. Каждый помѣщикъ хотѣлъ быть въ своемъ имѣніи владѣтельною особой, и эта цѣль въ XII вѣкѣ вовсе не могла считаться недостижимой. Богатый и сильный помѣщикъ не хотѣлъ признавать надъ собою никакой по- сторонней власти и не подчинялъ своей личной воли никакимъ законамъ кромѣ того договора съ королемъ или съ императоромъ, на основаніи ко- торого онъ, помѣщикъ, владѣлъ своимъ имѣніемъ. Императоръ или король, по мнѣнію помѣщика, былъ только первымъ между равными (*primus inter pares*), и эти равные имѣли полное право сопротивляться ему, если онъ своими распоря- женіями нарушалъ ихъ выгоды или затрогивалъ ихъ дворянскую честь.

Въ случаѣ надобности каждый помѣщикъ былъ способенъ окружить себя вооруженными людьми, запереться въ укрѣпленномъ замкѣ и отбиваться до послѣдней крайности отъ нападе- ній. О такой единичной борьбѣ ни одинъ простой гражданинъ не могъ и подумать. Простые граж- дане могли сопротивляться только въ массѣ, только тогда, когда негодованіе охватывало цѣ- лый городъ и возбуждало противъ иностранныхъ угнетателей поголовное возстаніе. Каждый граж- данинъ отдѣльно чувствовалъ себя безсильнымъ и былъ поставленъ въ необходимость переносить многія несправедливости, молча и скрѣпя сердце, потому что не могъ надѣяться, чтобы всѣ его сограждане поднялись разомъ за нанесенное ему оскорбленіе. Именно въ этихъ случаяхъ дворяне, приписавшіеся къ городамъ, являлись драгоцѣн- ными представителями индивидуальной дерзости и запальчивости, воспитанной въ уединеніи мрач- ныхъ и неприступныхъ замковъ. Дворяне пер- вые поднимали гвалтъ, отражали силу силой и увлекали за собою сотни и тысячи оскорблен- ныхъ гражданъ, не рѣшавшихся выдвинуться впередъ и обнаружить свое собственное неудо- вольствіе.

Читатель помнитъ конечно, что послѣ разру- шенія Милана первая мысль о возможности и о необходимости новой борьбы съ императоромъ родилась въ веронской марші. Въ этой провин- ціи составила веронская конфедерація, изъ ко- торой развилась впоследствии ломбардская лига. Эта провинція отличается гористымъ мѣстополо- женіемъ. Горы, крутые холмы и дикія скалы под- ходятъ очень близко къ самымъ богатымъ и цѣб-

тушимъ городамъ. На этихъ горахъ, холмахъ и скалахъ мѣстные дворяне устроили себѣ неприступныя замки, которые дали имъ возможность сохранить всю свою независимость и приобрести сильнѣйшее вліяніе надъ окружающими городами. Сначала это вліяніе создало веронскую конфедерацію и освободило Ломбардію отъ нѣмцевъ; а потомъ это же самое вліяніе подчинило ломбардскія республики господству многихъ мелкихъ туземныхъ тирановъ.

Война была единственнымъ серьезнымъ занятіемъ и любимой забавой тогдашнихъ итальянскихъ дворянъ. Только войною они могли прославить свое имя, составить себѣ карьеру или добыть себѣ богатство. Война соответствовала вполнѣ всѣмъ особенностямъ ихъ темперамента, всѣмъ ихъ потребностямъ и наклонностямъ; она одна давала достаточную пищу всѣмъ способностямъ ихъ ума, не требуя отъ нихъ въ тоже время никакихъ предварительныхъ свѣдѣній и усилившихъ трудовъ; одна война вела въ то время ко всему, чего только могло пожелать пылкое дворянское сердце, даже и къ верховной власти. Престола возникали и падали съ такой замѣчательной быстротой, и короны такъ часто доставались счастливымъ бойцамъ, что каждому предприимчивому помѣщику XII вѣка было въ высшей степени позволительно мечтать объ основаніи или завоеваніи какого нибудь королевства и даже располагать всѣ свои поступки сообразно съ этими безпредѣльно властолюбивыми мечтами. Это было особенно позволительно тѣмъ помѣщикамъ, владѣнія которыхъ были окружены со всѣхъ сторонъ крошечными и вѣчно волнующимися республиками. Мудрено, почти невозможно было устоять противъ властолюбивыхъ фантазій, когда для ихъ осуществленія требовалось только, чтобы человекъ давалъ волю всѣмъ своимъ хищнымъ инстинктамъ, съ которыми онъ и безъ того не въ силахъ былъ управиться. Воевать надо было и для того, чтобы добыть какую нибудь корону, и потому, что буйство и озорство веселило сердце тогдашняго человека, и наконецъ просто потому, что больше нечего было дѣлать въ безграмотное время такой особѣ, которая по своему благородному происхожденію не могла заниматься ни торговлей, ни ремесломъ.

Простые граждане могли также желать войны, когда они считали ее необходимой для благосостоянія или для чести обожаемой родины; простые граждане могли даже увлекаться сильными ощущеніями такой игры, въ которой тысячи людей ставятъ на карту свою жизнь. Но при этомъ простые граждане никогда не могли упускать изъ виду убыточную и бѣдственную сторону войны, отрывавшей ихъ отъ работы, путавшей ихъ торговля предпріятія и никогда не вознаграждавшей ихъ за понесенныя утраты и пожертвованія. Для простыхъ гражданъ война

была во всякомъ случаѣ зломъ, и они принимали это очень хорошо; они всегда любили миръ, хотя и нарушали его очень часто, образными вспышками своихъ еще не угасшихъ страстей.

Дворяне напротивъ того, какъ люди рожденія, по страсти и по ремеслу, любили со всѣхъ сторонъ и находили ее очень привлекательной во всѣхъ отношеніяхъ. Они понимали, что продолжительный миръ низводитъ ихъ въ ничтожество, подчинитъ ихъ общимъ законамъ и посадитъ имъ на голову нѣмцевъ, разбогатѣвшихъ за прями или за банкирской конторкой. Эта неутолимая воинственность дворянъ была очень важна, когда надо было поднять всю Ломбардію противъ Фридриха Барбароссы и его наемниковъ; эта воинственность не могла же исчезнуть съ лица на другой день послѣ заключенія мира. Она продолжала существовать, должна была искать себѣ пищу и, не брезгая, вовлекла Ломбардію въ безконечный рядъ пѣйшихъ междоусобій, которыя очень ясно вѣроятнымъ рыбакамъ доставляли новую возможность воспользоваться мутною взволнованной воды. Поселяясь въ города, дворяне вовсе не желали безусловно подчиниться мѣстнымъ законамъ и правительству. Они сажались заранѣе всѣми средствами сопротивленія. Каждый дворянинъ строилъ свой городъ такъ, что онъ оказывался похожимъ на кую крѣпость. Массивныя стѣны, сложенныя изъ огромныхъ кусковъ дикаго камня, двери, обложенныя толстыми желѣзными пластинами, узкія окна, похожія на бойницы, пропускавшія свѣтъ и воздухъ въ темноту дворянскаго жилища — все было устроено къ тому, чтобы городской дѣла въ случаѣ надобности могъ укрыть своего отъ представителей правосудія и выдержать осаду. При каждомъ дворянскомъ городѣ былъ построенъ въ солидномъ стилѣ, обыкновенно башня, которая относилась къ городу такъ, какъ цитадель относится къ укрѣпленному городу. Когда вражеская сила, дѣйствующая во имя закона, взымала желѣзные крюки, проникала въ домъ, тогда благородный дворянинъ удалялся съ своими сподвижниками и тамъ выдерживалъ новую осаду, которая вѣрно стоила очень дорого осаждающему. Въ башнѣ имѣлось всегда, на случай столкновеній, достаточное количество припасовъ, стрѣлъ, камней и всякаго оружія.

У дворянина, сдѣлавшаго какое бы то ни было преступленіе, никогда не могло быть въ смѣлыхъ защитникахъ, готовыхъ умереть за него до послѣдней капли крови. Каждый дворянинъ составлялъ плотную ассоціацію, въ которой вся цѣлкомъ вступалась за ка-

ихъ членовъ, въ томъ числѣ и за самыхъ влиятельныхъ негодаевъ. Провинившаяся особа немедленно къ признанному главѣ своего города и объявляла ему, что приключилась бѣда, которую ей предстоитъ близкое знакомство съблицей. Патріархъ оставлялъ преступника въ своемъ крѣпкомъ домѣ и посылалъ гонцовъ во всеѣмъ своимъ родственникамъ объявить, что произошелъ крупный случай, и что надо собираться для защиты близкаго человѣка. Родственники вооружались, захватывали съ собою всю ю, всѣхъ своихъ друзей, знакомыхъ и притетелей и бѣжали со всѣхъ сторонъ въ тверпатріарха. Случалось иногда, что цѣлая была застроена домами одного рода; тогда забирали свою улицу цѣлыми, устраивали кадры и задавали воинамъ правительства реальное сраженіе, которое далеко не всегда бывало поражениемъ и усмирениемъ блаженныхъ инсургентовъ. Простые граждане, ремесленники, не пристроившіеся къ довымъ ассоціаціямъ въ качествѣ слугъ или лебателей, составляли въ каждомъ городѣ льшинство, но такъ какъ члены этого большинства не были связаны между собою тѣсными обязательствами, то они при столкновѣніяхъ съ дворянами обыкновенно оставались въ накладе и терпѣли горькую муку отъ предвѣщавшихъ родичей, всегда готовыхъ поднять бунта и занять улицы города кровью своихъ незнатныхъ соотечественниковъ. Эти члены льинства желали, чтобы правительство было такъ можно сильнѣе и расправлялось съ дерзкими нарушителями общественного спокойствія самымъ рѣшительнымъ и безпощаднымъ образомъ, сколько не стѣсняясь знатностью, многочисленностью и отважностью того рода, который ралъ преступника подъ свое покровительство. Члены большинства всегда хватались за оружіе и бѣжали помогать должностнымъ лицамъ, встрѣтившимъ сопротивление со стороны дворянскаго рода. Но члены большинства находили, что правительство дѣйствуетъ слишкомъ робко, часто смотритъ сквозь пальцы на непозволительные безпорядки, часто дѣлаетъ виновнымъ незаконныя послабленія и даже иногда грѣшитъ явнымъ пристрастіемъ.

Выборные консулы были очень хороши во время общенародной борьбы съ императоромъ, потому что въ этихъ представителяхъ народа кипѣли тѣ самыя страсти, которыя одушевляли всѣхъ ломбардскихъ гражданъ. Но послѣ констанскаго мира, когда главной задачей каждаго ломбардскаго правительства сдѣлалось строгое подавленіе внутреннихъ безпорядковъ—выборные консулы стали казаться недостаточными. Если консулъ былъ дворяниномъ, то всѣ дворянскіе роды, жившіе въ городѣ, были его родственниками, или его друзьями, или его личными и родовыми врагами. Родственникамъ и друзьямъ

консулъ спускалъ съ рукъ всевозможныя невольнительныя продѣлки. Враговъ, напротивъ того, онъ давилъ всюю тяжестью той силы, которая была вручена ему совсѣмъ не для личнаго мщенія. Если даже консулъ изъ дворянъ былъ справедливымъ, какъ Аристидъ, то всегда находились люди, которые подозрѣвали его, то въ излишней мягкости къ роднымъ и друзьямъ, то въ непомѣрной суровости къ врагамъ. Эти подозрѣнія были такъ правдоподобны и оправдывались такъ часто, что народъ привыкъ смотрѣть на выборныхъ консуловъ, какъ на людей партіи, отъ которыхъ невозможно ожидать безпристрастнаго суда и общепользующей административной дѣятельности. Если же консулъ былъ плебеемъ, непристроеннымъ ни къ какой родовой ассоціаціи, тогда обнаруживалось другое неудобство. Отслуживъ свой годовой срокъ, такой консулъ долженъ былъ воротиться въ ряды народа, и слѣдовательно сдѣлаться вмѣстѣ съ своимъ семействомъ беззащитной жертвой всей той ненависти, которую онъ могъ возбудить противъ себя во время своего консульства справедливымъ и строгимъ преслѣдованіемъ знатныхъ буяновъ, грабителей и убійцъ. Трудно было предположить, чтобы, имѣя въ виду такую печальную будущность, консулъ постоянно думалъ только о пользѣ общества и всегда дѣйствовалъ съ той безпощадной и неустрашимой энергіей, которая была необходима для огражденія личной и имущественной безопасности жителей. Въ каждомъ городѣ было всегда по нѣскольку консуловъ. Въ Миланѣ на примѣръ ихъ было двѣнадцать человѣкъ. Они могли принадлежать, или всѣ къ одной партіи, или къ разнымъ партіямъ. Въ первомъ случаѣ ихъ консульство должно было означаться такимъ систематическимъ преслѣдованіемъ враждебныхъ партій, вслѣдствіе котораго эти партіи были бы принуждены бѣжать изъ города. Во второмъ случаѣ одни консулы стали бы дѣйствовать въ пику другимъ; вмѣсто правосудія получилось бы перекрестное преслѣдованіе партій, и наконецъ эта глухая вражда скоро перешла бы въ открытую войну между законными членами одного и того же правительства.

По всѣмъ этимъ причинамъ, всѣ ломбардскіе города, одинъ за другимъ, сначала значительно ограничили власть консуловъ, а потомъ и совсѣмъ уничтожили у себя эту должность.

Консулы уступили свое мѣсто *подестамъ*.

Подеста выбирался *одинъ* на цѣлый городъ. Его призывали непременно изъ чужого города. Онъ отбывалъ свой годовой срокъ и потомъ уѣзжалъ домой. Два главныхъ свойства подесты—единственность и чужеземность—соблюдались всѣми итальянскими городами, устроившими у себя этотъ новый образъ правленія. Безъ этихъ свойствъ, особенно безъ чужеземности, подеста не былъ подестою. Основная мысль этого учреж-

денія состояла именно въ томъ, чтобы поставить надъ городомъ верховнаго судью, нисколько не связаннаго съ мѣстными партіями и не имѣющаго никакого основанія бояться ихъ мнѣнія въ будущемъ. Затѣмъ каждый отдѣльный городъ развивалъ эту основную мысль по своему, то есть придумывалъ различныя второстепенныя условія, которымъ долженъ былъ удовлетворять инородецъ, выбираемый въ подесты. Болонцы требовали на примѣръ, чтобы подеста былъ дворяниномъ; чтобы ему было отъ роду больше тридцати шести лѣтъ; чтобы онъ пользовался хорошей репутаціей; чтобы онъ не состоялъ въ родствѣ съ избирателями, и чтобы у него не было недвижимой собственности въ предѣлахъ болонской республики. Выборы болонскаго подесты производились въ сентябрѣ. Для этихъ выборовъ назначалось по жребію сорокъ избирателей изъ членовъ двухъ совѣтовъ—генеральнаго и спеціальнаго. Этихъ избирателей запирали вмѣстѣ, назвавши имъ предварительно тотъ городъ, изъ котораго по опредѣленію обоихъ совѣтовъ слѣдовало взять подесту. Въ двадцать четыре часа выборы должны были большинствомъ двадцати семи голосовъ подарить городу новаго подесту. Если въ указанный срокъ требуемое большинство еще не было получено, то избирателей выпускали, а на мѣсто ихъ запирали новый комплектъ, назначенный также по жребію. Когда же выборы были окончены, тогда писалось къ выборному лицу письмо отъ имени болонской республики; въ этомъ письмѣ его извѣщали о результатѣ выборовъ и просили пріѣхать для занятія той важной должности, которой почтила его республика.

Самая важная обязанность cadaго подесты состояла въ томъ, чтобы умѣрять уголовными наказаніями рѣзвость и пламенность мѣстнаго дворянства. Собственно для этого и призывали подесту. Собственно для этого и произведено было повсемѣстное уничтоженіе консульства. Однако же, не смотря на то, что подестатство было прямо и очевидно направлено противъ дворянства—все итальянскіе подесты безъ исключенія выбирались постоянно изъ дворянъ. Нетрудно объяснить себѣ причины этого страннаго явленія. Выбирая себѣ правителей изъ чужого города, граждане, разумѣется, останавливались на тѣхъ именахъ, которыя стояли на виду и пользовались общепатальянской извѣстностью. А такая извѣстность пріобрѣталась конечно не скромными семейными добродѣтелями—не честностью, не кротостью, не аккуратностью,—а преимущественно громкими военными подвигами или яркими политическими талантами. Упрочить за своимъ именемъ такую извѣстность могли только тѣ семейства, которыя у себя на родинѣ стояли долго во главѣ правленія. Эти семейства принадлежали къ дворянству, или по крайней мѣрѣ вмѣстѣ съ своею извѣстностью, пріобрѣ-

тали себѣ помѣстья и дворянское достоинство. Кромѣ того граждане, желая имѣть въ подестахъ суроваго усмирителя дворянства, выбирали отъ него, чтобы онъ былъ храбрымъ и смелымъ воиномъ, способнымъ осаждать и штурмовать твердыни благородныхъ хищниковъ. Онъ былъ судьей въ томъ смыслѣ, въ какомъ вѣкались судьями правители еврейскихъ городовъ. Онъ былъ главнокомандующимъ республиканскихъ войскъ и водилъ эти войска противъ чужеземцевъ, то противъ домашнихъ враговъ рода. Если же подеста долженъ былъ обладать опытомъ и дарованіями полководца, то разумѣется, всего естественнѣе было выбирать изъ того сословія, которое имѣло исключительную войною, какъ любимую, такъ и своимъ ремесломъ.

Иногородный дворянинъ, избранный въ подесты, пріѣзжалъ обыкновенно въ свою резиденцію съ отрядомъ своихъ собственныхъ воиновъ, которые оставались при немъ въ качествѣ тѣлохранителей и дѣйствовали вмѣстѣ съ гражданами противъ партій, нарушающихъ общественнаго спокойствія. Узнавъ о томъ, въ городѣ совершилось какое нибудь преступленіе, подеста выѣзжалъ изъ своего дворца *гонфалонъ* (штандартъ) и *дѣла*, приказывалъ трубачамъ сыграть маршъ къ оружію и потомъ выѣзжалъ самъ въ сопровожденіи своихъ тѣлохранителей и собравшихся домъ къ тому мѣсту, гдѣ укрывался преступникъ. Начиналась осада мятежнаго дома. Велѣ своихъ сподвижниковъ на призывъ, взявъ домъ, немедленно разрушалъ его. Если же преступникъ не выходилъ, то подеста часто безъ дальнѣйшихъ толковъ спросовъ вѣшалъ самого хозяина на мѣстѣ преступленія, привязывая роковую веревку къ рѣшеткѣ его собственнаго окна. Того же онъ за нѣсколько минутъ перестрѣлки пускалъ стрѣлы и камни въ охранительный конный порядокъ. Народъ смотрѣлъ съ любопытствомъ на такія казни и хвалилъ подесту за энергію. Ненависть народа къ благороднымъ укрѣпленнымъ домамъ была такъ сильна, что передъ нею умолкла даже самая гордость. Ломбардскіе республиканцы не переносили равнодушно и даже безъ присутствія иногороднихъ воиновъ, къ приказанію своего начальника, подеста, входить въ дома, убивали и вѣшали коренныхъ туземцевъ. Сами того не замѣчая, республиканцы вступали въ борьбу съ аристократіей или быстрой крѣпости, кѣ системѣ военнаго деспотизма. Чужеземцы, вѣдали, что передъ ними была вѣковая вражда, вратили свою головную власть въ пользу народа. Ему позволялось имѣть тѣлохранителей, превращеніе было очень возможно совершиться даже безъ особеннаго потрясенія; народъ, выбиравшій себѣ

ю властителя и смотрѣвшій съ удо-
мъ на его самовластные, хотя и спра-
воступки, могъ легко помириться съ
ю, что одинъ властитель, также очень
ый и добродѣтельный, будетъ распо-
въ городѣ нѣсколько десятковъ лѣтъ.
тъ томъ, чтобы поворачивать народныя
не вдругъ.

неской марши дворянство было такъ о цѣлыя республики распадались на бѣныя лагеря, называвшіеся именами иственныхъ и высокородныхъ предковъ. Въ Виценцѣ боролись между собою дельцы Виценцы и синьоры дельцы Веронѣ враждовали Монтекукки и фавіо; въ Феррарѣ — Салингверо и Сальвиати. Въ этихъ городахъ обѣ партіи были сильны, чтобы уравнивать другъ друга и держивать въ республикѣ кровопролитію; но ни та, ни другая партія не могла образовать изъ своихъ пріятелей сильное и прочное правительство. Пришлось и этимъ республикамъ прибѣгнуть къ помощи игогороднаго подесту, совсѣмъ не для того, чтобы усмирять и унижать мѣстное правительство, а просто для того, чтобы составить нибудь правительство. Призваніе по-прежнему единственной возможной формой игогороднаго и перемирія между враждующими. Обѣ стороны назначали отъ себя по комиссару, и эти два комиссара вмѣстѣ съ игогороднымъ подесту, котораго ни та, ни другая не могла заподозрить въ при-

Фридриха Барбароссы и во все время ломбардской войны держалъ себя такъ ловко, что не потерялъ ни одного клочка изъ своихъ владѣній. Вскорѣ послѣ смерти Фридриха Эччелино-Зайка нашелъ себѣ новый случай обогатить свою фамилію и, разумѣется, не выпустилъ этого случая изъ рукъ.—Эччелино былъ очень друженъ съ однимъ падуанскимъ магнатомъ, Тизолино ди-Кампо-Санъ-Піетро. Многолѣтняя дружба была скрѣплена брачнымъ союзомъ. Тизолино былъ женатъ на дочери Эччелино-Зайки, и у него были отъ этой жены взрослые дѣти. Опекуну одной богатой наслѣдницы, Чечилии Рикко, предложили руку своей воспитанницы старшему сыну Тизолино, то есть внуку стараго синьора Эччелино ди-Романо. Тизолино счелъ долгомъ посоветоваться на счетъ этого предложенія съ своимъ вѣрнымъ другомъ и многоуважаемымъ тестемъ. Вѣрный другъ одобрилъ предполагаемый союзъ и пожелалъ своему молодому внуку всякаго благополучія. Но въ то же время онъ подумалъ про себя, что будетъ гораздо выгоднѣе пріобрѣсти руку Чечилии Рикко не для внука, носящаго фамилію Кампо-Санъ-Піетро, а для сына, который подъ именемъ Эччелино II-го будетъ поддерживать и увеличивать блескъ династіи Романо. Старый Зайка подкупилъ опекуновъ Чечилии, увезъ богатую невѣсту въ свой замокъ къ Бас-сано и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, обвинчалъ ее съ своимъ сыномъ, къ немалому изумленію довѣрчиваго Тизолино, который конечно никакъ не могъ себѣ представить, чтобы сѣдой дѣдъ, стоящій уже у дверей могилы, рѣшился оскорбить своего родного внука и обмануть самаго преданнаго изъ своихъ друзей. Все семейство Кампо-Санъ-Піетро было глубоко возмущено этой измѣной и дало себѣ клятву метить всѣми возможными способами. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ свадьбы молодая жена Эччелино поѣхала безъ мужа осматривать свои владѣнія, лежавшія въ падуанской области. Свита ея была немногочисленна. Герардо, старшій сынъ Тизолино, тотъ самый, который долженъ былъ жениться на Чечилии, подкарауливъ свою молодую тетку, разогналъ ея людей, увезъ ее въ свой замокъ и изнасиловалъ ее. Послѣ этого онъ отправилъ ее обратно къ мужу, которому Чечилия откровенно рассказала о случившемся съ нею несчастіи. Эччелино развелся съ своей опозоренной женой, но при этомъ удержалъ за собою ея обширныя помѣстья и вскорѣ женился на другой богатой невѣстѣ, которая своимъ приданнымъ также значительно увеличила его могущество. Въ это время Эччелино-Зайка умеръ, поссоривъ на смерть семейства Романо и Кампо-Санъ-Піетро.

Эччелино II пользовался правами гражданства в городе Виченци и был одним из главных деятелей партии Виваріо. В 1194 году противникам этой партии удалось назначить та-

XVIII.

РЫ ДИ-РОМАНО И МАРКИЗЫ Д'ЭСТЕ.

ой половинѣ XII вѣка въ арміи импе-
рилъ бѣдный нѣмецкій рыцарь, Этце-
рихъ за душой ничего, кромѣ той
которой онъ сидѣлъ верхомъ. Этого
случился во время одного изъ итальян-
довъ, обратился на себя вниманіе выс-
шества и въ награду за свою храбрость
отъ императора два помѣстья въ вер-
хній — Романо и Овару. Сынъ Этце-
рихъ разными искусными продѣ-
лать себѣ новыя земли. Наслѣдникъ
Этцелино, такъ успѣшно пошелъ по
да, что его стали считать главою ги-
партии въ веронской мархій и къ
рисоединили прилагательное *первый*,
за нимъ такимъ образомъ силу и зна-
тельной особы. Земли этого Этцелино
сду территориями Вероны, Виченцы и
своему пространству и по числу жи-
ступали ни одной изъ этихъ трехъ

Или Заяка былъ современникомъ

кого подесту, который открыто держалъ ихъ сторону. Этотъ подеста выгналъ изъ города всю партію Виваріо. Дѣло конечно не обошлось безъ серьезнаго сопротивленія. Эччелино далъ подестѣ сраженіе на улицахъ города и при этомъ зажегъ нѣсколько домовъ. Огонь разлился очень быстро и уничтожилъ значительную часть города; однако подеста одолѣлъ, и Эччелино ушелъ съ своими приверженцами въ замокъ Бассона. Изгнанная партія сгруппировалась тѣснѣе прежняго вокругъ синьора де-Романо, который, открывая въ своихъ владѣніяхъ пріютъ для всѣхъ своихъ пострадавшихъ соотечественниковъ, своимъ расчитаннымъ великодушіемъ пріобрѣлъ себѣ новыя права на ихъ уваженіе, благодарность и преданность. Вероняне находились въ союзѣ съ Эччелино; они стали хлопотать о примиреніи обѣихъ вичентинскихъ партій. Благодаря этому ходатайству, изгнанники воротились въ Виченцу, и обѣ партіи рѣшили, что на будущее время каждая изъ нихъ будетъ назначать своего подесту. Такимъ образомъ въ Виченцѣ оказалось два враждебные лагеря и двое полновластныхъ правителей, которымъ надо было или дѣйствовать безпристрастно, или вступать между собою въ открытую войну. Заключение условіе не долго удерживало свою силу. Въ 1197 году въ Виченцѣ опять оказался одинъ подеста, и Эччелино снова принужденъ былъ бѣжать изъ города. На этотъ разъ республика объявила ему войну и послала свою милицію осаждать одинъ изъ его замковъ, Маростикку. Эччелино заключилъ наступательный и оборонительный союзъ съ Падудей и, нуждаясь въ деньгахъ для войны, заложилъ падуанцамъ свое помѣстье, Онару, за значительную сумму. Падуанцы напали на вичентинцевъ, разбили ихъ при Карминьяно и захватили у нихъ 2000 человѣкъ въ плѣнъ. Въ слѣдующемъ 1198 году, вероняне, недавно поддерживавшіе синьора Эччелино, соединились съ вичентинцами, опустошили падуанскую область и выжгли окрестности Падуй вплоть до самыхъ ея стѣнъ, такъ что искры пожара, по словамъ очевидца, легли въ самый городъ. Падуанцы перепугались и, не посоветовавшись съ своимъ союзникомъ, стали просить мира; всѣ плѣнники, заключенные при Карминьяно, были выпущены на волю, и миръ дѣйствительно состоялся. Тогда и Эччелино попросилъ веронянъ, бывшихъ своихъ союзниковъ, снова помирить его съ Виченцою; чтобы показать веронянамъ свое полное довѣріе, онъ отдалъ имъ въ заложники своего малолѣтняго сына и позволилъ имъ ввести гарнизонъ въ замокъ Бассона и Ангарани. Вероняне возвратили довѣрчивому синьору всю свою благосклонность; веронскій подеста помирилъ изгнанниковъ съ гвельфскою партіей, господствовавшей въ Виченцѣ, и потомъ отдалъ назадъ синьору Эччелино и сына. и оба замка. Но падуанцы очень разсердились на Эччелино за это примиреніе и кон-

фисковали Онару, находившуюся у нихъ въ залогѣ.

Такимъ же бессмысленнымъ характеромъ отличаются войны, опустошавшія въ это время южную часть веронской марки; онъ вливался, въ окрестностяхъ Феррары, замкомъ маркизовъ д'Эсте. Во времена Фредерика Барбароссы главою гвельфской партіи въ маркѣ былъ Гузіельмо Аделарди. У этого Аделарди не было наслѣдниковъ мужескаго пола; онъ завѣщалъ всѣ свои обширныя владѣнія старшему семилѣтней племянницѣ, Маркезеллѣ. Въ предѣ смерти въ кроткомъ идилическомъ строеніи, послѣдній Аделарди воображалъ, что въ Феррарѣ водворится вѣчный миръ его племянница и наслѣдница вылетѣла изъ Салингверру, предводителя мѣстныхъ гвельфовъ. Желая сдѣлаться миротворцемъ и спасителемъ отечества, умирающій призвалъ къ себѣ въ домъ своего родового врата, помиривъ и сдѣлавъ ему съ рукъ на руки Маркезеллу, какъ будущую его невесту. Салингверра сталъ воспитывать ее со всею заботливостью, какъ курицу, которая была въ ближайшемъ будущемъ снесетъ много жемчужинъ и золотыхъ яицъ. Но феррарскіе гвельфы все не раздѣляли тѣхъ миролюбивыхъ наклонностей, которымъ поддался ихъ умирающій вожь. Примиреніе съ гибелинами и имъ по прежнему тяжелымъ преступленіемъ, которымъ оскорбляется память родителей, сдѣлавшихъ имъ свою старую родовую землю какъ драгоценное наслѣдство. Примиреніе невозможно въ особенности и потому, что многіе гвельфы и гибелины послѣ окрестныхъ вражды рѣшительно не знали бы, что дѣлать, куда дѣвать свои силы и свое вѣрность, чему себя пріурочить и съ какой точки смотрѣть на собственныя личности, оказавшія вдругъ заштатными и ни на что негодными. Въ невозможности примиренія, феррарскіе гвельфы конечно не желали, чтобы Салингверра получилъ богатое наслѣдство и такимъ образомъ упрочилъ бы за собой перевѣсъ надъ всегдашними противниками. Гвельфы рѣшились выкрасть Маркезеллу изъ дома ея татя и нареченнаго жениха; затѣмъ они дали похищенную дѣвочку въ руки Обиццо д'Эсте, объявили маркиза ея женихомъ, не дожидаясь совершенія брака, и ввели его въ Феррару, объявивъ, что онъ нареченнаго жениха во владѣніе всѣми по покойнаго Аделарди. Маркезелла умерла, не стигнувъ совершеннолѣтія. По завѣщанію Гузіельмо, имѣніе должно было перейти къ его сестрѣ. Но маркизъ д'Эсте, предвидя уже со временъ Оттона Великаго считавшіеся дѣльными особами—маркизъ д'Эсте, считавшіеся сильнѣйшими итальянскими магнатами, очень крѣпко то, что разъ попало въ женскія руки. Племянники Гузіельмо по женской линіи

е и хлопотать о возвращеніи наслѣдства. Въ припискѣ къ Феррарѣ и сдѣлался безименнымъ главою тамошнихъ гвельфовъ, такъ и эта партія во всей веронской мархіи называлась *партіей маркизовъ*. Салинггеръ глубоко огорченный тѣмъ, что богатая и сильная партия ушла у него изъ рукъ, напалъ на гвельфовъ удвоенной яростью, и межаусобная война затянулась въ Феррарѣ на сорокъ лѣтъ (1220). Въ это время партіи десять разъ перемѣнились другъ друга изъ города; десять разъ существо побѣжденных разграблялось, и дома разрушались до основанія, такъ феррарскіе каменщики и плотники всегда заняты работой.

Известно, что гвельфами назывались папскіе паны, а гвельфинами—приверженцы императора. Изъ десятой главы этого очерка читатель знаетъ также происхожденіе и значеніе названій. Но читателя, по всей вѣроятности, удовлетворяютъ эти свѣдѣнія. Ему угодно было бы узнать, чѣмъ же именно добивались гвельфы? Что они хотѣли сдѣлать съ папою императоромъ? Какія общія перемѣны шли бы въ Италіи и въ Европѣ, если бы гвельфы или гвельфины одержали полную побѣду надъ своими противниками? Какую политическую программу заявляла каждая изъ двухъ партій въ какомъ отношеніи эти двѣ программы непримиримы между собою?

Враждебныя партіи были склеены изъ множества мелкихъ и самыхъ разнохарактерныхъ кусочковъ. Обѣ партіи конечно имѣли политическія знамена, вокругъ которыхъ обирались; но ни та, ни другая партія не имѣла своего особеннаго образа мыслей, которая рѣшительно отличалась бы отъ своей противницы. Большая часть гвельфовъ были во всякихъ отношеніяхъ похожи, какъ двѣ капли воды, на большую часть гвельфиновъ. Съ одной стороны гвельфины вовсе не были врагами католической церкви, за которую стояли гвельфы; съ другой стороны, гвельфы нисколько не хотѣли разрушить священную римскую имперію, которую защищали гвельфины. Далѣе, гвельфы вовсе не стремились осуществлять теократическія планы Григорія VII, а гвельфины нисколько не были расположены придавать императорской власти ту силу, которую она имѣла при Карлѣ и при Генрихѣ. Гвельфы кричали: мы за папу! и при этомъ ничего не говорили о тѣхъ отношеніяхъ, которыя должны установиться между папою и императоромъ. Гвельфины кричали: мы за императора! и также оставляли нетронутымъ во всемъ взаимныхъ отношеніяхъ между обѣими партиями. Чего же хотѣли Гвельфы? Они хотѣли уничтожить и уничтожить гвельфиновъ. А чего хотѣли Гвельфины?—Побѣдить и уничтожить гвельфовъ. А потомъ?—Потомъ ничего. Полная покорность противникамъ составляла крайній

пунктъ ихъ политическихъ выкладокъ, размышленій, плановъ, стремленій и мечтаній. Политическія партіи, какъ мы понимаемъ ихъ теперь, стараются побѣдить своихъ противниковъ, для того чтобы своротить съ своей дороги препятствіе, мѣшающее осуществленію ихъ высшихъ и болѣе обширныхъ плановъ. Для гвельфовъ и для гвельфиновъ, напротивъ того, побѣда была не средствомъ, а высшей и единственной цѣлью. Гвельфизмъ и гвельфинизмъ вообще были только условными формами, въ которыя отливались враждебныя страсти, возбужденныя чисто-личными столкновеніями, обидами и взаимно противоположными властолюбивыми замыслами. Въ каждомъ городѣ имѣлось всегда достаточное количество сильныхъ и знатныхъ особъ, которымъ было тѣсно жить вмѣстѣ въ одной маленькой республикѣ. Эти важныя особы составляли вокругъ себя партію и старались выжить своихъ соперниковъ. Завязывалась борьба, и воюющія стороны искали себѣ союзниковъ въ сосѣднихъ городахъ, гдѣ также существовали свои партіи, также нуждавшіяся въ союзникахъ. Если, напримеръ, виченцкіе Виваріо соединились съ веронскими Монтекио, то, разумѣется, веронскіе Санъ-Бонифаціо должны были соединиться съ врагами своихъ враговъ, то есть съ виченцкою партіей графовъ Виченцы. Если первая коалиція рѣшилась подать помощь феррарскимъ Салингверрамъ, то феррарскіе Аделарди очень естественно должны были обратиться съ просьбой о помощи къ противникамъ первой коалиціи, то есть къ Санъ-Бонифаціо и къ графамъ Виченцы. Постепенно расширяясь такимъ образомъ, каждая изъ двухъ коалицій могла охватить сначала всю веронскую или тревизантскую мархію, потомъ всю Ломбардію и наконецъ всю свободную Италію. Каждая изъ двухъ коалицій непременно должна была получить какое нибудь общее названіе, не имѣющее однакоже никакого опредѣленнаго политическаго значенія и нисколько не мѣшающее каждому отдѣльному члену той и другой коалиціи преслѣдовать свои частныя, мелкія и узкія цѣли. Одна могла называться *бѣлою розой*, другая—*алой розой*, какъ это случилось въ Англіи. Или одна могла называться *бѣлыми*, другая—*черными*, какъ это случилось въ Тосканѣ. Тутъ отсутствіе общей идеи въ каждой изъ коалицій было бы очевидно. Имена гвельфовъ и гвельфиновъ до нѣкоторой степени замаскировали это отсутствіе и навели даже самихъ членовъ коалицій на ту мысль, что у нихъ дѣйствительно, кромѣ частной городской вражды, есть еще какая-то общая міровая задача. На эту мысль обѣ итальянскія коалиціи были наведены не одними именами гвельфовъ и гвельфиновъ, но и тѣми историческими условіями, при которыхъ онѣ образовались и получили свои имена.

Во время великой борьбы Гильдебранда и его преемниковъ съ Генрихами IV и V въ Италіи,

въ Германіи и во всей католической Европѣ были дѣйствительно настоящіе, серьезные и глубоко убѣжденные гвельфы и гибелины, хотя имена эти еще не существовали. Невозможно представить себѣ болѣе пламеннаго гвельфа, чѣмъ графиня Матильда тосканская. Въ это же время Ломбардія была полна страстными гибелинами, которыхъ глубоко возмутило извѣстіе о каносскомъ покаяніи.

Когда Фридрихъ Барбаросса старался поработить Ломбардію, тогда у него были въ Италіи и вѣрные союзники, и упорные враги; каждая изъ этихъ двухъ партій имѣла впереди общую, великую и серьезную цѣль. Боевые клики: «за папу и свободу!» и «за императора!» имѣли свой живой и глубокий смыслъ.

Послѣ констанскаго мира, враждебныя страсти не могли сразу вступить въ дружескія сношенія съ Миланомъ, сражавшимся постоянно за папу и за свободу. Павійцы и миланцы еще злились другъ на друга за тѣ страданія, которыми наградила ихъ недавно оконченная война. Обѣ партіи, папско-республиканская и императорская, сплотившіяся во время упорной и продолжительной войны, еще не успѣли разложиться и стояли другъ противъ друга съ незаржавленнымъ оружіемъ въ рукахъ и съ неостывшею ненавистью въ душѣ. Къ этимъ-то двумъ, еще не разложившимся партіямъ, быстро примкнули, во всѣхъ ломбардскихъ городахъ, всѣ задорныя, жадныя и властолюбивыя личности, искавшія готоваго оружія для выполнения своихъ частныхъ плановъ и для пораженія своихъ личныхъ или семейныхъ враговъ, которымъ не было никакого дѣла ни до папы, ни до императора. Личныя замыслы и личныя страсти раздули вражду, которую уже не поддерживало болѣе въ данную минуту общее расположеніе великихъ европейскихъ силъ — папства и имперіи. Ловкія личности воспользовались для своихъ мелкихъ цѣлей тѣмъ злобнымъ воодушевленіемъ, которое осталось въ бойняхъ послѣ окончанія серьезной войны. Къ гибелинамъ пристали тѣ, которые хотѣли напасть на какому-нибудь гвельфу; гвельфы назвались тѣ, которымъ было досадно на какому-нибудь гибелина. Возьмемъ извѣстный намъ примѣръ Романо и Кампо-Санъ-Піетро. Они были друзьями, родственниками и членами одной политической партіи. Оба были ревностными гибелинами. Вдругъ произошла скверная исторія съ Чечиліей Рикко. Романо былъ главнымъ конноводомъ гибелинской партіи; при своемъ громадномъ богатствѣ и вліяніи онъ могъ натравить всѣхъ своихъ друзей, то есть почти всѣхъ мѣстныхъ гибелиновъ на семейство Кампо-Санъ-Піетро. Послѣднему, очевидно, надо было для собственнаго спасенія перебраться въ лагерь гвельфовъ. Но разумѣется, онъ сдѣлался гвельфомъ не потому, что глубокія размышленія убѣдили его въ законности папскихъ притязаній и

въ необходимости обуздывать властолюбивыхъ императоровъ. Сдѣлавшись гвельфомъ досады или со страху, онъ тѣмъ не менѣе долженъ былъ поддѣлываться подъ обаяніе своихъ новыхъ союзниковъ, то есть въ случаѣ столкновенія между императоромъ и папою, долженъ былъ становиться на сторону папы. Главная же его обязанность состояла въ томъ, чтобы въ качествѣ гвельфа явиться въ своемъ родномъ городѣ тѣхъ людей, которые называли себя гибелинами. Пылкость и ненависти къ этимъ людямъ онъ придалъ себѣ право считаться гвельфомъ и пользоваться въ случаѣ надобности, содѣйствіемъ всѣхъ гвельфовъ.

Императоръ Генрихъ VI умеръ въ 1195 году. Послѣ его смерти въ Германіи началась усобная война за императорскій престолъ. Въ 1208 году одинъ изъ претендентовъ, Оттонъ аквитанскій, представитель гвельфско-саксоно-баварской династіи, былъ избранъ императоромъ и отправился въ Италію вѣнчаться. Когда онъ вошелъ въ веронскую землю, Эччелино II ди-Романо велъ тамъ упорную войну съ маркизомъ Аццо VI д'Эсте. Въ 1207 году маркизъ д'Эсте былъ провозглашенъ сеньоромъ рода Феррары. Ловкіе приверженцы маркиза казали феррарскимъ гражданамъ, что этотъ переворотъ необходимъ для торжества гвельфской партіи, и отчасти краснорѣчіемъ, отчасти глумленіемъ и насиліемъ принудили ихъ отказаться отъ республиканскаго самоуправленія. Маркизу пришлось выѣхать изъ Феррары, и подать помощь Виченцѣ, осажденной сеньоромъ ди-Романо. Пользуясь отсутствіемъ маркиза, Салингверра воротился въ Феррару съ своими гибелинами и выгналъ всѣхъ приверженцевъ маркиза д'Эсте. Обѣ партіи готовились къ решительному сраженію въ то время, когда вступилъ въ маршію и пригласилъ къ себѣ лагерь главныхъ предводителей.

И гвельфы, и гибелины очутились въ странномъ положеніи. Въ качествѣ главы имперіи Оттонъ IV былъ главою гибелинской партіи, своему рожденію онъ былъ естественнымъ водителемъ гвельфовъ; кромѣ того онъ находился въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ пою Иннокентіемъ III. Значитъ, гвельфы и гибелины должны были открыть другъ другу путь и расковать мечи свои на рала. Оттонъ IV былъ одинаково хорошо и маркиза, и Эччелино. Первое за то, что онъ всегда былъ въ дружбѣ саксоно-баварской династіи, съ которой онъ, маркизъ, находился даже въ родственныхъ отношеніяхъ; второе за то, что онъ въ качествѣ главы отстаивалъ права имперіи. Когда Эччелино Салингверра стали жаловаться на маркиза, требовали себѣ судебнаго поединка, чтобы доказать торжественно преступность коварнаго императора, пригласилъ ихъ замолчать и

гарны дризги, потерявшія свой смыслъ, оръ какъ искренній другъ церкви вступилъ въ престолъ Карла Великаго. Чтобы успокоить главныхъ бойцовъ, Оттонъ хъ монаршими милостями, которыя, сказать, стоили ему не очень дорого. Эсте онъ сдѣлалъ правителемъ анкон-и, а синьору Этчелино подарилъ го-ицу. Оттонъ обвинилъ Виченцу въ воз-ыскаль съ нея контрибуцію въ шесть-сячъ ливровъ и назначилъ Этчелино ректоромъ и депутатомъ имперіи въ дѣ. Этчелино потребовалъ себѣ отъ присяги въ вѣрности; многіе граж-бѣжаніе этой присяги, ушли въ Ве-челино конфисковалъ въ свою пользу тво этихъ эмигрантовъ. Такимъ обра-ва города: Феррара и Виченца начали и.

послѣ своей коронаціи, Оттонъ IV съ Иннокентіемъ III, и папа выдви-авъ императора новаго претендента, ицилійскаго короля Фридриха, сына и внука Фридриха Барбароссы.

и гибеллины попали снова въ фаль-оженіе. Всѣ гвельфскіе города Лом-ланъ, Парма, Піаченца, Болонья, и, Тортонъ, Верчелли и другіе стали тѣ природнаго гвельфа Оттона и сдѣ-иамъ образомъ врагами папы, приняв-свое покровительство послѣдняго ая гибеллинской династіи. Гибелин-Ломбардіи, Павія и Кремона, оказа-иыми союзниками папы, и противни-вующаго императора. Маркизь Мон-, предшественникъ котораго всегда а Фридриха Барбароссу, сталъ также его внука. Маркизь Аццо д'Эсте ень принципу гвельфизма и объявилъ му родственнику, Оттону IV, какъ ь поссорился съ папою.

году Латеранскій соборъ подѣ пред-юмъ Иннокентія III приказалъ ми-оужиться отъ императора Оттона, пре-оковному проклятію. Миланцы не по-Въ слѣдующемъ году два кардинала ь Миланъ и отъ имени папы прика-гельству республики дѣйствовать за-дрихомъ противъ отлученнаго Оттона. тались по прежнему союзниками цар-императора, продолжая при этомъ называть себя гвельфами. Истощивъ астырское краснорѣчіе, кардиналы . Милана и наложили на него интер-къ гвельфы за свой гвельфизмъ на-ебя церковное наказаніе. Одинъ этотъ ызываетъ достаточно ясно, что ни у ни у гибелиновъ не было никакой ой политической программы. И тѣ, и оводествовались почти всегда своей

любовью или своей ненавистью къ личностямъ и къ династіямъ, спорившимъ между собою за императорскую корону. Это замѣчаніе относится къ искреннимъ гвельфамъ и гибелинамъ, то есть къ республиканцамъ, у которыхъ не могло быть намѣренія прибрать къ рукамъ свой родной го-родъ и уничтожить его свободныя учрежденія. Но кромѣ этихъ искреннихъ гвельфовъ и гибелиновъ, ненавидѣвшихъ или любившихъ Фридриха Барбароссу и его потомство, было конечно въ обѣихъ партіяхъ много промышленниковъ и пріобрѣтателей, которые подобно маркизу д'Эсте и синьору ди-Романо любили только свои лич-ныя выгоды и ненавидѣли только учрежденія, мѣшавшія имъ обогащаться грабежомъ и утѣ-шать себя безчинствами.

XIX.

доминиканцы въ Ломбардіи.

Оттонъ IV умеръ въ 1218 году. Фридрихъ въ концѣ 1220 года принялъ въ Римѣ император-скую корону изъ рукъ папы Гонорія III и поклялся отправиться въ Палестину, чтобы отнять у невѣрныхъ Іерусалимъ, который слишкомъ тридцать лѣтъ тому назадъ былъ взятъ султаномъ Саладиномъ. Затѣмъ дѣла имперіи и церкви пришли въ надлежащій порядокъ, такъ что гвельфы получили возможность быть настоящи-ми гвельфами, а гибелины—настоящими гибелинами. Папа сталъ пилить Фридриха безпре-станными напоминаніями о крестовомъ походѣ; а Фридрихъ, у котораго была бездна хлопотъ и въ Сициліи, и въ Германіи, и въ Ломбардіи, слиш-комъ семь лѣтъ отдѣлывался разнообразными отговорками и торжественными обѣщаніями не-медленно сѣсть на корабль и летѣть на помощь къ угнетеннымъ палестинскимъ христіанамъ. Кончилось тѣмъ, что папа Григорій IX осенью 1227 года разразился противъ Фридриха неожидан-нымъ приговоромъ отлученія. Послѣ этого рѣ-шительнаго поступка папа тотчасъ сблизился съ ломбардскими гвельфами, которые не признавали Фридриха итальянскимъ королемъ и не позволя-ли ему короноваться желѣзною короной, хранив-шейся въ миланской области, въ городѣ Монцѣ. Предвидя впередъ сильныя столкновенія съ энер-гическимъ внукомъ Барбароссы и узнавши, что Фридрихъ намѣренъ созвать въ Кремонѣ сеймъ итальянскаго королевства, миланцы стали хло-потать о возобновленіи ломбардской лиги, совер-шенно разстроившейся послѣ констанскаго ми-ра.—Второго марта 1226 года депутаты Мила-на, Болоньи, Піаченцы, Вероны, Брешии, Фазан-цы, Мантуи, Верчелли, Лоди, Бергамо, Турина, Александріи, Виченцы, Падуи и Тревизы собра-лись въ одной церкви мантуанской области и во-зобновили на двадцать пять лѣтъ ломбардскую лигу. Всѣ города, выславшіе депутатовъ на съѣздъ, поклялись помогать другъ другу всѣми

силами въ случаѣ какого бы то ни было посторонняго нападенія. Присоединеніе Виченцы къ возобновленному ломбардскому союзу доказывалось, что Эччелино II, не смотря на многочисленныя проскрипціи и конфискаціи, не успѣлъ утвердить въ этомъ городѣ свое господство.

Для противодѣйствія ломбардской лиги Парма, попавшая въ руки гибелиновъ, Кремона и Модена составили свой отдѣльный союзъ и обязались защищать права императора.

Тогда депутаты или ректоры ломбардской лиги рѣшили на сеймѣ, чтобы ни одинъ изъ городовъ, присоединившихся къ лигѣ, не выбиралъ себѣ подесты изъ гибелиновъ или изъ подданныхъ императора. Это рѣшеніе показываетъ, что вторая ломбардская лига пошла дальше первой и не побоялась открытаго и полнаго разрыва съ имперіей. Тотъ же сеймъ запретилъ ломбардскимъ гражданамъ принимать отъ императора и отъ его приверженцевъ пенсіи, подарки и ленныя владѣнія.

Григорій IX поддерживалъ это настроеніе ломбардскихъ союзниковъ всѣми средствами своего духовнаго вліянія. Нищенствующіе монахи, недавно начавшіе свою дѣятельность и обратившіе на себя благотворное вниманіе массъ неслыханной строгостью своихъ уставовъ и дикой восторженностью своихъ проповѣдей, — разсыпались по городамъ и селамъ Ломбардіи, собрали и увлекли за собой тысячи довѣрчивыхъ слушателей, изблещили Фридриха въ поразительномъ сходствѣ съ апокалипсическимъ звѣремъ и доказали добрымъ католикамъ, какъ дважды два четыре, что міръ гибнетъ въ пучинѣ беззаконія и что для спасенія погибающаго міра ломбарды непременно должны покаяться, исправиться, низринуть проклятыхъ гибелиновъ въ преисподнюю, и главное предать суду священной инквизиціи еще болѣе проклятыхъ еретиковъ, расплотившихся въ сѣверной Италіи, подъ именемъ *катаровъ* или *материновъ*. — Папство дѣйствительно находилось въ очень опасномъ положеніи и имѣло достаточныя основанія прибѣгать для своей защиты къ самымъ экстраординарнымъ средствамъ — къ нищенствующимъ орденамъ и къ инквизиціи. — Фридрихъ II въ самомъ дѣлѣ долженъ былъ казаться Григорію IX отвратительнѣе и ужаснѣе самаго гнуснаго и кровожаднаго чудовища. Во-первыхъ, у Фридриха былъ канцлеръ, Петръ де-Виненсъ, величайшій писатель своего времени, разсылавшій по всей Европѣ такіе циркуляры, которые уничтожали весь эффектъ папскихъ проклятій и ругательныхъ посланій. Во-вторыхъ, Фридрихъ въ трехъ дняхъ пути отъ Рима завелъ обширную колонію сицилійскихъ мусульманъ, которые по первому востребованію могли выставить къ его услугамъ двадцатитысячную армію, совершенно нечувствительную къ самымъ грознымъ проявленіямъ папскаго неудовольствія. Де-Виненсъ объявлялъ на всю Европу, что папа

искажаетъ факты и проецируетъ въ ересь жалкой старческой злости самого ужаснаго добросовѣстнаго защитника высшихъ мировыхъ интересовъ. А мусульманская армія Фридриха могла, со дня на день, войти въ Римъ и увести папу на югъ въ какой-нибудь замокъ сицилійскаго короля. Въ такихъ условіяхъ какъ же можно было проповѣдникамъ не приравнивать Фридриха къ ползущей гаденѣ и къ рыкающему льву, а не къ болѣе мудренымъ животнымъ, встречающимся въ учебникахъ зоологіи?

Еще опаснѣе Фридриха и его красиваго канцлера, его безчувственныхъ мусульманъ была глухая работа освобождающейся южная Франція и сѣверная Италія, затронуты еретическими доктринами; иніе Абеляра, ни казнь его любимаго ученика Брешианскаго не остановили этого движенія. Ересь росла и въ глубь ширину; еретики становились съ каждымъ днѣмъ смѣлѣе въ своемъ анализѣ, ихъ постоянно увеличивалось. Они думали, что папа и прелаты не могутъ ему благоусмотрѣнію, отворять и затворять смертныя двери въ царство Божіе, они обвиняли папу и прелатовъ въ самозванствѣ и незаконномъ захватѣ свѣтской власти, презрѣніемъ смотрѣли на индульгенціи, ругали чистилище; они критиковали свяскія легенды. — Догматическая сторона папства была еще болѣе ужасна. «Они вѣруютъ, — говоритъ Сисмонди — во всемогущія силы, — силу невидимаго міра, они называютъ добрымъ Богомъ, и силу злаго міра, которую они называютъ злымъ Богомъ; система Манеса (такъ называемый манихейскій духъ и матерія). Первому олицетворяли новый заветъ, второму — ветхій, доказавъ, что послѣдній дѣйствительно Божья зло, они выставляли на видъ всенныя тамъ преступленія и тѣ качества, которыя не имѣли ни малѣйшаго, мстительнаго и грознаго, которую усматривали въ Верховномъ Существѣ, допускали тѣлеснаго сошествія Святаго Духа на землю; онъ, говорили они, сошелъ на злаго духовнымъ образомъ и никогда не сошелъ въ тѣло. Въ людяхъ они видѣли ангеловъ, имѣвшихъ свое первобытное величіе; но послѣ нѣсколькихъ переселеній, должны вернуться къ своей прежней славѣ. Такое крайнее мнѣніе нѣкоторыхъ сектаторовъ; потому что повидимому, вѣрованія не были однообразны, изъ чего заключить, что они представляли полную свободу обсуживать свою собственную вѣру.

Какъ велика была притягательная сила еретическихъ доктринъ — можно видѣть изъ обстоятельствъ, что хитрый пророкъ Э

старости лѣтъ сдѣлался патериномъ. Въ адцатыхъ годахъ XIII вѣка онъ отказался отъ ра, раздѣлилъ свои владѣнія между своими сыновьями, Альберикомъ и Эччелино III, и такъ явно стало заботиться о спасеніи своей вѣчной души, что его прозвали Эччелино-Моихомъ. Но этотъ монахъ былъ еретикомъ, и въ 1231 году папа Григорій IX послалъ къ сыновьямъ стараго отшельника буллу, въ которой онъ приказывалъ имъ представить отца въ судилище инквизиціи, если онъ не отречется отъ ереси. Булла эта кажется осталась безъ послѣдствій. Что старый грѣховодникъ передъ концомъ своей жизни занялся отмаливаніемъ своихъ грѣховъ—въ этомъ конечно нѣтъ ничего особенно замѣчательнаго. Личности, подобныя сыну Эччелино, всегда стараются услужить и Богу, и малому и обыкновенно начинаютъ устроить себѣ уютный уголокъ на томъ свѣтѣ, когда земная жизнь перестаетъ доставлять утомленному организму обильныя и живыя наслажденія. Но что старикъ, истратившій всю свою жизнь на политическія интриги, выучившійся смотрѣть хладнокровно на игру человѣческихъ страстей, желаній и заблужденій, застраховавшій себя достаточно противъ всякихъ порывовъ юношескаго энтузіазма и давно потерявшій способность увлекаться блескомъ и оригинальностью новизны, что такой старикъ, предавшись душевнотелеснымъ размышленіямъ, бросился на ту крутую и узкую тропинку, по которой шло гонимое меньшинство—это фактъ чрезвычайно выразительный и краснорѣчивый. Это значить, что чистый католицизмъ уже въ XIII столѣтіи началъ превращаться въ политическую машину, годную на то, чтобы запугивать и держать въ повиновеніи неразышляющія народныя массы,—но уже не соотвѣтствующую умственнымъ и нравственнымъ потребностямъ тѣхъ отдѣльных личностей, которыя, задумываясь надъ загробной вѣчностью, старались сами оцѣнить достоинства общезвѣстныхъ положеній и предписаній, защищаемыхъ официальными руководителями.

При такихъ обстоятельствахъ возможно ли было нищенствующимъ проповѣдникамъ, ученикамъ Франциска и Доминика, не говорить объ испорченности міра и о необходимости очистить его кострами инквизиціи?

Ревностныя проповѣди, повторяясь каждый день, принесли свои плоды. Въ началѣ 1228 года миланское народное собраніе рѣшило наказывать еретиковъ изгнаніемъ и конфискаціей всего имуществъ. Это рѣшеніе повидимому довольно милостиво, но при этомъ надо сообразить, что изгнанный еретикъ имѣлъ очень мало шансовъ найти себѣ безопасное убѣжище въ какомъ нибудь другомъ итальянскомъ городѣ, или даже въ какомъ бы то ни было отдаленномъ уголкѣ католической Европы. Правда, что еретиковъ было много, но преслѣдователей было вездѣ несравнен-

но больше, и вниманіе ихъ было доведено до высшей степени напряженія. Уступая требованіямъ закоренныхъ проповѣдниковъ, миланцы въ 1231 году обнародовали у себя эдиктъ папы и императора, осуждавшій еретиковъ на смертную казнь. Наконецъ, въ 1233 году Миланъ въ первый разъ украсился кострами, очищающими міръ отъ умственной и нравственной заразы. Въ этомъ же году миланскій подеста, Ольдрадо изъ Трессено, построилъ на городской площади общественный дворецъ и на фасадѣ этого зданія, надъ барельефомъ, изображающимъ его, подесту, на конѣ, приказалъ помѣстить латинское двустипіе, въ которомъ строитель дворца съ самодовольною игривостью объявляетъ потомству, что онъ первый, исполняя свою обязанность, жарилъ катаровъ.

Qui solium struxit,
Catharos, ut debuit, pxit.

Проповѣдями своими противъ еретиковъ прославились въ особенности трое доминиканцевъ: Петръ изъ Вероны, Роландъ изъ Кремоны и Левъ изъ Перей. Всѣ трое считались святыми людьми. Костры загорались вездѣ, гдѣ они появлялись и начинали говорить. Одинъ изъ этихъ ревнителей устроилъ въ Миланѣ частное общество, котораго члены обязывались подслушивать, подсматривать, выслѣживать и разоблачать всякое еретическое коварство. Леву удалось сдѣлаться миланскимъ архіепископомъ. Мѣстный капитулъ, глубоко убѣжденный въ томъ, что святой человѣкъ стоитъ безконечно выше земного честолюбія, вручилъ ему право назначить новаго прелата. Левъ воспользовался этимъ правомъ и объявилъ изумленнымъ членамъ капитула, что онъ не знаетъ никого достойнѣе самого себя. Увѣнчавъ свои добродѣтели архіепископскою митрой, святой человѣкъ сдѣлался скоро самымъ буйнымъ и горячимъ коноводомъ дворянской партіи.

Нищенствующіе монахи считали себя способными и обязанными пересоздать весь міръ по тому аскетическому идеалу, къ которому они стремились сами вслѣдъ за Францискомъ и Доминикомъ. Ихъ пламенный энтузіазмъ кидался съ яростными обличеніями на все, что не соотвѣтствовало ихъ строгимъ требованіямъ. Многіе доминиканцы декламировали въ Ломбардіи противъ роскоши, хотя вся роскошь тогдашнихъ людей состояла развѣ только въ томъ, что они ходили не босикомъ и подкладывали себѣ подъ голову во время сна не камень, а полушку.

Величайшей слабостью XIII вѣка была его неукротимая воинственность. Въ своей жизни тогдашніе люди были очень умѣренны, но за то война губила у нихъ изъ году въ годъ безобразно много рабочихъ силъ и готовыхъ продуктовъ, тѣмъ болѣе, что побѣдители всегда разрушали до основанія дома, башни и замки побѣжденных. Съ самоувѣренностью искреннихъ фанатиковъ нищенствующіе монахи вообразили себѣ, что они

могут искоренить войну так же успешно, как они искореняют ересь. Проповѣдники стали доказывать своимъ слушателямъ, что у католика не должно быть никакихъ враговъ, кромѣ тѣхъ чудовищъ, которые искажаютъ чистоту его религіи. Особенно отличился своими проповѣдями противъ войны доминиканецъ Іоаннъ изъ Виченцы. Онъ началъ свою дѣятельность въ Болоньѣ, въ 1233 году. Вокругъ него собрались толпами граждане, крестьяне окрестныхъ деревень, и въ особенности воины, сознавашіе повидимому съ глубокимъ сокрушеніемъ грѣховность своихъ обыкновенныхъ занятій. Держа въ рукахъ кресты и знамена, толпа всюду слѣдовала за своимъ учителемъ, ловила и затверживала его слова, и готова была исполнять каждое его приказаніе. Закоренѣлые враги, ежедневно нарушавшіе спокойствіе Болоньи своими раздорами, бросались къ ногамъ проповѣдника, обнимались между собою и давали клятву забыть старую вражду и простить другъ другу взаимныя оскорбленія. Іоаннъ сразу сдѣлался важнымъ политическимъ дѣятелемъ. Правители Болоньи уполномочили его пересмотрѣть городское уложеніе и вычеркнуть изъ него тѣ статьи, которые, по его мнѣнію, могли подать поводъ къ новымъ раздорамъ. Болонскіе граждане думали, что хорошіе законы немедленно пересоздадутъ всѣ ихъ страсти, понятія и привычки и въ одну минуту превратятъ задорныхъ буяновъ въ кроткихъ и благоразумныхъ любителей тишины и порядка. Іоаннъ раздѣлялъ вполне ихъ пріятное заблужденіе и съ величайшимъ самодовольствомъ исполнялъ обязанности полновластнаго законодателя.

Изъ Болоньи онъ отправился въ Падую, гдѣ уже разнесся слухъ о премудромъ и святомъ доминиканцѣ, укрощающемъ человѣческія страсти и водворяющемъ на грѣшной ломбардской землѣ золотой вѣкъ кротости и благочестія. Падуанское начальство вышло на встрѣчу къ Іоанну съ городскимъ карроціо, усадило его на священную колесницу и ввезло его въ городъ, какъ триумфатора. Народъ, собравшійся на площади, выслушалъ съ восторгомъ проповѣдь мира и тотчасъ же рѣшилъ предать вѣчному забвенію всѣ частныя распри. Іоанна упросили принять въ Падую законодательную власть, и монахи, сдѣлавшійся государственнымъ человѣкомъ, быстро ошачили городъ такими законами, вслѣдствіе которыхъ всѣ граждане непременно должны были любить и уважать другъ друга. Падуанцы остались очень довольны, а Іоаннъ пошелъ дальше и осыпалъ такими же благотворными Тревизу, Фельтро, Беллуно и синьеровъ Каминю, Конельяно, Романо и Санъ-Бонифаціо. Всѣ города, черезъ которые проходилъ усердный миротворецъ, предоставляли ему полное право перестраивать всѣ существующіе законы. Виченца, Верона, Мантуя и Брешиа съ простодушнымъ восторгомъ подчинялись его законодательскимъ

экспериментамъ. Читатель легко можетъ вообразить, насколько долженъ быть громокъ миръ и законный порядокъ въ такихъ рѣчкахъ, въ которыхъ и народъ, и правители, услышавъ хорошо произнесенную рѣчь, раздѣляютъ ротъ, развѣшываютъ уши и отдаютъ въ полное распоряженіе краснорѣчиваго проповѣдника. Читатель видитъ конечно, что дѣятельность доминиканца Іоанна заключалась въ осужденіе внутреннее противорѣчіе, осужденіе на совершенную бесплодность; его проповѣдь могла произвести сильное впечатлѣніе только на очень страстныхъ слушателей, мало развѣшенныхъ и увлекавшихся всѣмъ, что въ минуту поражаетъ ихъ чувства и воображеніе. Эта ребяческая впечатлительность и сила, необходимая для успѣха краснорѣчиваго проповѣдника, въ которой всѣ мысли стары, какъ міръ, эта же самая впечатлительность и живость, свойственная въ большей или меньшей степени всѣмъ народамъ, едва затронутымъ цивилизаціей — составляетъ настоящую причину безтолковой воинственности, которой такъ страдаютъ сами воюющіе народы, и противъ которой вооружался простодушный доминиканецъ Іоаннъ. Значитъ, чѣмъ блистательнѣе были успѣхи миротворца, тѣмъ бесполезнѣе была вся его дѣятельность. Но миротворецъ, разумѣется, сдѣлавъ свое, находился въ прямыхъ противоположныхъ сношеніяхъ съ папой Григоріемъ IX и началъ отъ него постоянно самыя обширныя жалобы. Чтобы окончательно искоренить въ Ломбардіи плевеи междоусобной войны, Іоаннъ, переславшій свои законы цѣлому десятку республикъ, созвалъ къ 28 августа 1233 г. торжественное собраніе ломбардовъ на пакварскую равнину, у рѣчки Адиджа, въ четырехъ верстахъ отъ Вероны.

Въ назначенный день, вся пакварская равнина покрылась искателями человѣколюбія и мира. Можно сказать навѣрное, что ни одинъ изъ немецкихъ преемниковъ Константина и Юстиніана, ни при какомъ торжественномъ случаѣ своей жизни не видалъ передъ собою и вокругъ себя такого моря человѣческихъ головъ, какъ окинулъ взоромъ доминиканецъ Іоаннъ съ своей высокой кафедры, поставленной среди равнины. Одинъ современный писатель говоритъ, что на равнину собралось слишкомъ четыреста тысячъ человѣкъ, и Сисмонди не находитъ въ этой цифрѣ ничего неправдоподобнаго. На пакварской равнинѣ присутствовало все населеніе Мантуи, Вероны, Брешии, Падуй и Виченцы; Тревиза, Венеція, Феррара, Модена, Реджіо, Парма и Болонья выслали также значительную часть своихъ гражданъ; епископы всѣхъ названныхъ городовъ, кромѣ Венеціи, Феррары и Пармы, — патриархъ аквилейскій, маркизъ д'Эсте, синьоры Романо и всѣ магнаты веронской марки находились также въ собраніи со всѣми своими вассалами и дружинниками.

нъ взошелъ на свою непомѣрно-высокую и заговорилъ. Говорилъ онъ долго, громко. Доказывалъ онъ трогательно и убѣдительно, что война противна духу католичества, что всѣ законы, божескіе и человѣческіе, касаются до глубины души кроткаго и миролюбиваго папскаго пастыря, засѣдающаго въ Римѣ.

Слушавъ свою громовую проповѣдь, конечно могла услышать развѣ только дева присутствующихъ, Іоаннъ приказалъ собравшимся ломбардамъ обмѣняться между собой взаимнымъ прощеніемъ обидъ, обручилъ большей прочности заключеннаго мира а д'Эсте съ дочерью Альберика ди-Романозинезе самыми страшными проклятіями проѣхавшихъ негодяевъ, которые снова возмущаются.

Такой успѣхъ пакварскаго представленія тѣлоубѣдилъ Іоанна въ томъ, что онъ и государственный человѣкъ, способный въ своихъ могучихъ рукахъ судьбу всей Европы. Прямо съ пакварской равнины онъ отъѣхалъ въ Виченцу, вошелъ въ городской советъ, потребовалъ, чтобы вичентинцы предоставили ему неограниченную власть надъ респой, съ титулами графа и герцога. Обходили уже въ это время самые удивительные слухи; о немъ говорили, что онъ своими руками воскресилъ великое множество мертвыхъ; вичентинцы не осмѣлились ни въ чемъ противостать великому чудотворцу и немедленно вручили ему диктаторскую власть въ полной увѣренности, что онъ дѣйствуетъ по внушеніямъ неба.

Изъ Виченцы Іоаннъ отправился въ Венецію, потребовалъ себѣ верховную власть и въ городѣ, и воспользовался этой властью, арестовать, осудить и сжечь на площади еретиковъ, принадлежавшихъ къ различнымъ и вліятельнымъ семействамъ. Въ это время вичентинцы начали думать, что въ распоряженіяхъ чудотворца ничего особенно премудраго, спасительнаго и великаго. Предоставляя Іоанну верховную власть, они надѣялись, что онъ удовлетворитъ требованіямъ различныхъ сословій, сгладитъ между всѣми гражданами общенныя должности, захваченныя дворянствомъ, и дастъ права народа и вообще выработаетъ такую конституцію, которая наполовину конститутіонная, а наполовину абсолютная. Когда же они увидѣли, что ихъ папа и герцогъ по своему властолюбію и гордости не можетъ выдержать сравненія съ людовичемъ, когда они замѣтили, что Іоаннъ серьезно хочетъ прибрать ихъ къ рукамъ, и думаетъ удержать за собой диктатуру на остатокъ жизни, тогда обожаніе быстро перешло въ ненависть и презрѣніе, и разбитые воскресшихъ мертвецовъ стали встрѣчать съ упорнымъ недоверіемъ и открытыя на-

смѣшки. Падуанцы были также настроены враждебно къ проповѣднику, передъ которымъ они недавно благоговѣли. Падуанцы смѣялись надъ своими сосѣдями, вичентинцами, отдавшими себя въ кабалу монаху, подстрекали ихъ къ возстанію, обѣщали послать къ нимъ на помощь сильный отрядъ. Этими переговорами управлялъ падуанскій монахъ, Джордано, пользовавшійся въ Падуѣ всеобщимъ уваженіемъ и смотрѣвшій съ завистью на внезапное возвышеніе Іоанна. Пока Іоаннъ судилъ и рядилъ въ Веронѣ, вичентинцы взбунтовались противъ него подъ предводительствомъ своего подеста, Угучіо Пиліо. Миротворецъ издумалъ поддержать свое разрушающееся господство силою оружія. Онъ прибѣгалъ къ Виченцѣ съ веронскими солдатами, взялъ приступомъ дворецъ подеста и отдалъ его своимъ сподвижникамъ на разграбленіе. Но въ это время подошла падуанская милиція; солдаты Іоанна разбѣжались, а самъ миротворецъ попался въ плѣнъ. Его скоро выпустили по требованію папы, но съ этого времени исчезло все его могущество. Ломбарды осмѣяли его честолюбивые замыслы и скоро забыли о его существованіи. Народные кумиры вообще возвышаются и падаютъ очень быстро, но по всей вѣроятности ни одному изъ любимцевъ народа не удалось превзойти въ этомъ отношеніи доминиканца Іоанна изъ Виченцы. Его первое появленіе въ Болоннѣ, его законодательскіе подвиги въ республикахъ восточной Ломбардіи, его безпримѣрное торжество на пакварской равнинѣ, его превращеніе въ графа и въ герцога и его комически-жалкое паденіе—все это уложилось въ одинъ годъ. Въ 1232 году онъ былъ еще ничтожнымъ и неизвѣстнымъ монахомъ. Въ 1234 году онъ уже снова былъ ничтожнымъ монахомъ, на котораго никто не хотѣлъ обращать вниманіе.

Исторія доминиканца Іоанна предвѣщала ломбардскимъ республикамъ незавидную будущность. Народъ, среди котораго могутъ разыгрываться подобныя исторіи, неспособенъ долго сохранять свою свободу. Увлекаясь любовью или ненавистью, поддаваясь ребяческому страху или несбыточнымъ надеждамъ, такой страстный и впечатлительный народъ будетъ непремѣнно бросать свою свободу къ ногамъ каждой выдающейся личности до тѣхъ поръ, пока не наткнется на искуснаго и хладнокровнаго деспота, который медленно усиливающимся гнетомъ тихо и незамѣтно заморозитъ всѣ проявленія народной пылости и самостоятельности.

XX.

Эчелино III свирѣпый.

Когда Эчелино II занялся спасеніемъ своей души и погрузился въ бездну еретическихъ заблужденій, его сыновья, Эчелино III и Альберикъ, стали усердно заботиться о дальнѣйшемъ

по сту человекъ нѣмцевъ и по триста сарациновъ изъ императорской арміи. Это значило очевидно покупать себѣ униженіе и страданіе на свои собственные деньги. Оружіе тѣхъ воиновъ, которыхъ обязались содержать республики, конечно должно было направляться исключительно противъ самихъ же гражданъ, выплачивающихъ жалованье.

Гвельфы, удалившіеся въ Монтаньяну, отразили армію Этчелино, составленную изъ нѣмцевъ и сарациновъ. Падунскій подеста, Театино, показалъ видъ, что онъ боится возстанія со стороны тѣхъ гвельфскихъ семействъ, которые остались въ Падуй. Поэтому онъ потребовалъ отъ нихъ заложниковъ; черезъ нѣсколько дней онъ пригласилъ къ себѣ всѣхъ самыхъ вліятельныхъ дворянъ и гражданъ города, принадлежащихъ къ обѣимъ партіямъ, и объявилъ имъ самымъ дружескимъ образомъ, что на ихъ счетъ ходятъ въ народѣ странные и тревожные слухи, что народъ ожидаетъ отъ нихъ, по своей глупости, сигнала къ возстанію, что онъ, подеста, съ своей стороны, вполне увѣренъ въ ихъ совершенной благонамѣренности и непоколебимой вѣрности императору, но что для прекращенія всякихъ бессмысленныхъ слуховъ, волнующихъ глупую толпу, было бы особенно полезно, если бы они, вліятельные люди, удалились на нѣсколько дней изъ города въ ближайшіе замки падуанской территоріи. Подеста убѣдительно просилъ господъ дворянъ и гражданъ дать ему это доказательство своей неизмѣнной привязанности къ императору и къ законному порядку, водворенному въ Падуй трудами императорскаго намѣстника, синьора Этчелино III. Отказъ подестѣ значило обнаружить свое недовѣріе или признать себя коноводомъ приготовляющагося возстанія. Отказывая подестѣ, надо было тотчасъ же поднять народъ и начать уличную войну. Но если желаніе произвести переворотъ и таилось въ душѣ нѣкоторыхъ гражданъ, то во всякомъ случаѣ этотъ переворотъ еще не былъ достаточно подготовленъ. Поэтому дворянамъ и гражданамъ, собравшимся у подесты, оставалось только исполнить его просьбу и осудить себя на добровольное изгнаніе. Человекъ двадцать знатнѣйшихъ Падунцевъ удалились изъ города въ окрестные замки. Черезъ нѣсколько дней Этчелино приказалъ арестовать всѣхъ этихъ господъ — и гвельфовъ и гибелиновъ — и безъ всякаго судебного изслѣдованія, размѣстивъ ихъ по различнымъ тюрьмамъ. Однихъ онъ похоронилъ живо въ подземельяхъ своихъ наслѣдственныхъ замковъ; а другихъ отправилъ въ сицилійское королевство, гдѣ также нашлось для нихъ приличное помѣщеніе. Извѣстіе объ этихъ арестахъ пришло въ Падую и произвело тамъ паническій страхъ, подъ вліяніемъ котораго было конечно очень неудобно думать о вооруженномъ возстаніи. Гибелины

увидѣли съ ужасомъ, что даже ихъ партія сколько не можетъ разсчитывать на безопасность при томъ правительствѣ, которое сама такъ старательно навязала своей партіи. Кто могъ бѣжать изъ Падуй, тотъ убѣжалъ; многіе падуанскіе дворцы опустѣли. Этчелино срылъ ихъ до основанія, конфисковалъ имущество бѣжавшихъ гражданъ и посадилъ въ тюрьмы тѣхъ бѣглецовъ, которыхъ ему удалось схватить и захватить. Этчелино боялся монаха Джордано, проповѣди котораго имѣли сильное вліяніе на падуанскій народъ и который могъ произвести въ городѣ сильное волненіе. Однажды Этчелино послалъ къ Джордано нѣсколько человекъ своихъ рыцарей, которые очень вѣжливо просили монаха пожаловать къ синьору намѣстнику для какихъ-то важныхъ совѣщаній. Джордано, къ которому Этчелино относился весьма глубокимъ уваженіемъ, спокойно сѣлъ на приготовленную для него лошадь. Его повезли къ намѣстнику, а за городъ, въ укрѣпленный замокъ, гдѣ и оставили его въ качествѣ арестанта. Падунскій народъ перенесъ этотъ ударъ съ покорной кротостью, и тогда Этчелино окончательно понялъ, что ему больше нечего бояться и не зачѣмъ церемониться. Онъ набралъ съ собою сильный отрядъ изъ падуанскихъ юношей и сталъ поддерживать свою тиранию оружіемъ тѣхъ самыхъ людей, которыхъ онъ угнеталъ. Въ этомъ явленіи нѣтъ также ничего необыкновеннаго.

Осенью 1237 года Фридрихъ II снова вышелъ въ Ломбардію, разбилъ миланцевъ при Кортене-Нуова, взялъ въ плѣнъ ихъ подесту, Петра Тіспола, сына венеціанскаго дожа, и казнилъ его, какъ преступника, вѣроятно для того, чтобы въ лицѣ беззащитнаго плѣнника оскорбить венеціанскую республику, которая дѣйствительно съ этой минуты объявила войну императору и приступила къ ломбардскому союзу.

Остатки разбитой миланской арміи нашли себѣ убѣжище во владѣніяхъ богатаго помѣщика. Пагано делла-Торре, за гостепріимство котораго миланская республика заплатила вполнѣ стѣсненъ такъ дорого, что для нея было бы гораздо выгоднѣе, если бы делла-Торре совсѣмъ не оказалъ ей никакой услуги, и если бы вся армія, сражавшаяся при Кортене-Нуова, погибла безъ остатка во время своего отступленія.

Въ 1238 году Фридрихъ осадилъ Брешию, простоялъ подъ ея стѣнами около трехъ мѣсяцевъ, но не могъ взять ее и въ октябрѣ былъ принужденъ снять осаду. Большую часть зимы на 1239 годъ онъ провелъ въ Падуй у Этчелино, котораго онъ постоянно любилъ и жаловалъ. Этчелино въ это время снова велъ войну съ маркизомъ д'Эсте. Но императоръ по очень естественному сочувствію ко всѣмъ врагамъ республиканской свободы хотѣлъ привлечь маркиза д'Эсте къ своей партіи и помирить его съ Э-

Эчелино Для этого онъ пригласилъ маркиза въ Падую и женилъ своего сына, Ринальдо, на деландѣ, дочери Альберика ди-Романо. Эчелино не противился миролюбивымъ желаніямъ императора, но самъ постоянно держалъ за папскою каменъ. Его шпионы каждый день сообщали ему именатѣхъ падуанцевъ, которые входили въ домъ маркиза д'Эсте. Послѣ отъѣзда императора изъ Падуй всѣ эти посѣтителы отравлялись на плаху или на висѣлицу.

Въ началѣ 1239 года папа Григорій IX, желая поддержать ломбардскую лигу, снова отлучилъ императора отъ церкви. Фридрихъ, находившійся въ это время въ Падуй, собралъ въ общественный дворецъ падуанскихъ гражданъ, объявилъ имъ о состоявшемся отлученіи и пономъ приказалъ своему канцлеру, Петру де-Винчиси, произнести передъ гражданами рѣчь, въ которой опровергались обвиненія, высказанныя въ папской буллѣ. Не смотря на всю убѣдительность защитительной рѣчи, произнесенной знаменитымъ канцлеромъ, Фридрихъ былъ увѣренъ, что папская булла поколеблетъ вѣрность тѣхъ вельфскихъ дворянъ, которые, подобно маркизу д'Эсте и графу Санъ-Бонифацію, недавно примкнули съ императорской партіей. Поэтому Фридрихъ потребовалъ отъ нихъ заложниковъ. Этими признаками недовѣрія онъ только ускорилъ развязку. Не только Эсте и Санъ-Бонифацію снова сдѣлались его врагами, но даже и Альберикъ, родной братъ Эчелино, перешелъ въ вельфскій лагерь. — Эчелино въ это время продолжалъ душить въ Падуй всѣхъ честныхъ гражданъ, сколько нибудь способныхъ поддерживать въ народѣ воспоминанія и сожалѣнія о потерянной республиканской свободѣ.

Положеніе веронянъ, вичентинцевъ и падуанцевъ было бы еще до нѣкоторой степени сносно, если бы жестокости Эчелино обуславливались исключительно политическимъ расчетомъ. Въ такомъ случаѣ можно было бы надѣяться, что Эчелино утомится и станетъ обращаться съ своими подданными по человѣчески, когда окончательно убѣдится въ томъ, что они покорились обстоятельствамъ и перестали думать о вооруженномъ возстаніи. Но эти скромныя надежды скоро оказались совершенно несбыточными. Дѣло пошло какъ разъ на оборотъ. Чѣмъ крѣпче чувствовалъ себя Эчелино на своемъ благопріобрѣтенномъ престолѣ, чѣмъ покорнѣе и безгласнѣе становились граждане трехъ поработенныхъ республикъ, — тѣмъ откровеннѣе и смѣлѣе развертывался настоящій характеръ полновластного правителя, тѣмъ быстрее наполнялись обширныя и многочисленныя тюрьмы, и тѣмъ сильнѣе лились ручьи неповинной крови въ пыточныхъ застѣнкахъ и на эшафотахъ, украшенныхъ самыми замысловатыми орудіями казни. Эчелино обладалъ одною изъ тѣхъ рѣдкихъ и странныхъ организацій, для которыхъ человѣческія стра-

данія составляютъ неисчерпаемый источникъ самыхъ любимыхъ наслажденій. По своему тѣлосложенію Эчелино III былъ совершенно не способенъ любить женщинъ. Онъ былъ кастратомъ отъ природы. Этотъ органическій порокъ составлялъ, по всей вѣроятности, основную причину его необыкновенной жестокости. Окруженный буйными и веселыми сверстниками, молодой Эчелино не могъ дѣлать съ ними радости любовныхъ похожденій; ему досадно было смотрѣть на ихъ проказы; ему больно и завидно было слушать ихъ хвастливую болтовню, въ которой онъ не могъ принимать никакого участія. Онъ чувствовалъ, онъ зналъ навѣрное, что его товарищи смѣются надъ его вынужденнымъ монашествомъ; онъ, быть можетъ, слышалъ отъ нихъ иногда добродушно-легкомысленныя соблазнованія, которыя больнѣе самыхъ злыхъ насмѣшекъ ложились на его гордую душу. Онъ держался, по всей вѣроятности, въ сторонѣ отъ своихъ сверстниковъ; онъ старался отталкивать отъ себя ледяною холодностью ихъ непрощенное участіе. Обрекая себя такимъ образомъ на добровольное уединеніе, молодой Эчелино приучился наблюдать издали окружающихъ людей, глубоко обдумывать свои наблюденія и затаивать въ своемъ умѣ всѣ результаты своихъ серьезныхъ и печальныхъ размышленій. При такихъ условіяхъ властолюбіе юношескихъ лѣтъ должно было сдѣлаться его единственною страстью; его умственные способности должны были развернуться, изощриться и закалиться до послѣднихъ предѣловъ своего естественнаго могущества; скрытность и притворство должны были сдѣлаться для него второю природою; ненависть къ людямъ должна была медленно всосаться во всѣ изгибы его озлобленной души. Когда тридцати-лѣтній Эчелино въ 1225 году сдѣлался правителемъ Вероны, въ немъ уже былъ готовъ тотъ безцѣльно-кровожадный тиранъ, который, пятнадцать лѣтъ спустя, началъ изумлять Италію своимъ зѣвствомъ. Онъ ненавидѣлъ мужчинъ такъ, какъ несчастный уродъ способенъ ненавидѣть всякое здоровое существо; онъ ненавидѣлъ женщинъ, потому что онъ напоминали ему о наслажденіяхъ, которыя, не смотря на его могущество и блестящія умственные способности, вѣчно должны были оставаться для него недоступными; онъ ненавидѣлъ дѣтей, потому что самъ никогда не могъ сдѣлаться отцомъ. Картины тихаго и святого семейнаго счастья, выраженія страстной любви, слезы женъ, сестеръ, матерей, крики грудныхъ дѣтей — все, что можетъ растрогать и обезоружить нормальнаго человѣка, напоминала ему о его собственныхъ, самыхъ драгоценныхъ привязанностяхъ, — все это могло только бѣсить и ожесточать несчастнаго урода, потому что все это указывало ему на ту неизлечимую пустоту, которую онъ носилъ въ самомъ себѣ и которую нельзя было наполнить никакими по-

дѣлами надъ гвельфами и надъ республиканскими учреждениями. Эччелино хотѣлъ мстить всему человечеству за свое уродство, такъ точно, какъ Францъ-Мооръ въ «Разбойникахъ» Шиллера мститъ своему красивому брату Карлу за свое физическое безобразіе. Но Эччелино, подобно Францу-Моору, былъ очень уменъ и превосходно владѣлъ собою. Поэтому онъ отложилъ свое мнѣніе до тѣхъ поръ пока ему уже нечего было бояться. Когда онъ убѣдился въ томъ, что добыча уже не можетъ вырваться изъ его рукъ, тогда онъ далъ полную волю всѣмъ своимъ затаеннымъ, болѣзненно-звѣрскимъ инстинктамъ. Онъ началъ мучить людей, для того чтобы натѣшиться ихъ страданіями. Онъ сталъ наказывать ихъ за то, что они могутъ и смѣютъ наслаждаться жизнью и возбуждать безвильную зависть своего властелина. Современные историки не замѣтили, чтобы Эччелино любилъ самъ смотрѣть на пытки и казни; онъ хотѣлъ только, чтобы во всѣхъ подвластныхъ ему городахъ лилась кровь и царствовалъ постоянный ужасъ, чтобы всѣ его подданные чувствовали себя глубоко несчастными и, оплакивая своихъ друзей, постоянно боялись бы за свою собственную жизнь. Тѣ города, въ которыхъ Эччелино не жилъ самъ, нисколько не были счастливы его резиденціи. Правители, назначенные тираномъ, старались угождать ему своею жестокостію и свирѣпствовали не хуже его самого. Особенно замѣчательнъ въ этомъ отношеніи его племянникъ Ансидизій Гвидотти, котораго Эччелино, переѣхавшій въ 1248 году въ Верону, назначилъ правителемъ Падуи.

Утвердившись въ Падуѣ, Эччелино истребилъ почти все семейство Кампо-Санъ-Піетро, находившееся въ непримиримой враждѣ съ фамиліей Романо, съ тѣхъ поръ какъ Эччелино II женился на Чечилии Риксо. Изъ всего семейства Кампо-Санъ-Піетро уцѣлѣлъ только одинъ ребенокъ, котораго Эччелино III взялъ въ плѣнъ въ 1228 г. и котораго онъ съ тѣхъ поръ воспитывалъ при своемъ дворѣ. Этотъ ребенокъ, Гуліельмо, приходился племянникомъ синьору Эччелино; не смотря на это родство, Эччелино въ 1240 году сталъ подозрѣвать молодого Гуліельмо въ какихъ то неопозволительныхъ замыслахъ и приказалъ посадить его въ тюрьму. Четверо дядей Гуліельмо, синьоры Вадо, явились къ Эччелино и поручились ему за безукоризненное поведеніе своего молодого родственника. Эччелино принялъ ихъ поручительство и освободилъ Гуліельмо, а этотъ, по своей молодости и глупости, очутившись на свободѣ, тотчасъ бѣжалъ изъ Падуи въ свой замокъ Тривигіо и укрѣпился тамъ противъ Эччелино, который разумѣется тотчасъ арестовалъ добродушныхъ поручителей. Синьоры Вадо просидѣли нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ, гдѣ они конечно не могли сдѣлать никакого новаго преступленія. Однажды Эччелино вспомнилъ о нихъ

и приказалъ наглухо замуровать дѣрзкихъ ницы. Нѣсколько дней слышно было изъ кричали и просили хлѣба. Потомъ все измѣнилось. Когда разобрали стѣну, которою заложена была дверь, тогда въ тюрьмѣ оказались четыре человека, обтанные черною и сухою кожей.

Гуліельмо былъ до такой степени глупъ, въ 1246 году попробовалъ покинуть Эччелино, надѣясь смягчить его своею покорностью, и отдался въ его руки. Въ 1249 Эччелино приказалъ ему развестись съ женой, семейство которой навлекло на него гибель какимъ-то мнимымъ преступленіемъ. Гуліельмо не послушался. Его посадили въ тюрьму и черезъ годъ казнили. Имущество его было конфисковано. Всѣ его родственники и друзья, различія пола и возраста, отправились въ ницы, изъ которыхъ никто не возвращался свѣтъ.

Эччелино держался постоянно того же правила, что всѣ родственники и осужденнаго преступника становятся полными людьми, и слѣдовательно должны гаться безсрочному тюремному заключенію. Нѣтъ въ тюремъ вообще строились всѣхъ правилъ гигиены, но тюрьмы Эччелино были нарочно устроены такъ, чтобы тюремное заключеніе, по своимъ результатамъ, было равносильнымъ смертной казни и самой медленной и самой мучительною какъ падуанская республика не имѣла ни одного понятія о подозрительныхъ людяхъ и ходимости морить медленною смертію отъ жены, сестеръ, тетокъ, дядей, малолѣтнихъ и племянниковъ казеннаго преступника. Разумѣется существующія падуанскія законы не могли удовлетворить синьора Эччелино своей помѣстительностію, ни своимъ тюремнымъ устройствомъ. Эччелино началъ строить новыя тюрьмы. Одинъ изъ его придворныхъ новниковъ, желая угодить властелину, началъ у него, какъ особенную милость, просить завѣдывать постройкой и обязался изъ новой тюрьмы настоящую могилу, въ которую не проникнетъ ни одинъ лучъ дневного ни одинъ глотокъ свѣжаго воздуха. У лакей сдержалъ свое обѣщаніе, а баринъ своей стороны, скоро отблагодарилъ его за такую услугу. Искусному строителю удалось испытать на собственной особенныя достоинства новой тюрьмы, въ которой онъ и умеръ отъ голода, отъ жажды, отъ духоты и отъ легіоновъ вшей и клоповъ.

Подобно всѣмъ умнымъ тиранамъ, Эччелино глубоко презиралъ и съ особеннымъ удовольствиемъ губилъ тѣхъ бездушныхъ негодяевъ, которые лизали ему ноги и становились на орудіями его жестокости. У него не было ни друзей, ни друзей; для него не существовало различія между гвельфами и гибеллинами.

решенно безпристрастно истреблялъ тѣхъ и ихъ. Семейство Далесманини, отличавшееся богатствомъ и знатностью, принадлежало очень близко къ гибелинской партіи и находилось постоянно въ самомъ тѣсномъ союзѣ съ синьорами. Вдругъ одна женщина изъ рода Далесманини, жившая въ Кремонѣ, послѣ смерти своего мужа, вышла за одного дворянина, принадлежавшаго къ партіи графа Санъ-Бонифаціо. Узнавши объ этой свадьбѣ, Этчелино послалъ своему падуанскому намѣстнику, Ансидизію Гвиани, приказаніе арестовать и казнить всѣхъ Далесманини. Родной братъ Ансидизіа былъ женою на дѣвушкѣ изъ этой опальной фамилии. Ансидизій былъ слишкомъ исполнительнымъ въ томъ, чтобы смущаться такими мелочными возраженіями. Онъ боялся только, что поголовно казнь одного изъ знаменитѣйшихъ гибелинскихъ родовъ произведетъ въ городѣ опасное возмущеніе. Поэтому онъ, арестовавши всѣхъ узленныхъ, для пробы отправилъ сначала на эшафотъ младшаго и самаго ничтожнаго изъ Далесманини. Все обошлось благополучно. Народъ не шевельнулся. Друзья и вассалы арестованныхъ молчали. Тогда Ансидизій ободрился, и всѣ члены рода Далесманини—мужчины, женщины и дѣти—одинъ за другимъ погубилъ на эшафотѣ.

Каждое неосторожное слово наказывалось въ адѣ такъ же строго, какъ заговоръ или вооруженное возстаніе. При такихъ условіяхъ падуанцамъ былъ прямой расчетъ взбунтоваться, потому что бунтъ могъ привести за собою освобожденіе, а покорность никому не доставляла никакой безопасности. Но падуанцы были такъ испуганы ежедневными казнями, что не смѣли думать объ освобожденіи и въ тоже время не могли постоянно удерживаться отъ всякаго выраженія своего негодованія. Какой-то острякъ написалъ басню, въ которой говорилось о голубкѣ, выбравшихъ себѣ ястреба въ цари; оказалось, что этотъ царь былъ для нихъ хуже сѣйшаго врага. Самъ авторъ или его пріятель толгголосо продекламировали эту басню своимъ знакомымъ въ общественномъ дворцѣ. Слушатели переглянулись и обмѣнялись между собою горькою улыбкой. Этого было достаточно. Шпіоны Этчелино подслушали и подмѣтили всю эту исторію. Ансидизій отправилъ на эшафотъ декламатора и всѣхъ его слушателей—всего двѣнадцать человѣкъ. Родственники и друзья казненныхъ по обыкновенію кончили свою жизнь въ эпиграммическихъ падуанскихъ тюрьмахъ.

Этчелино не затрундился отыскивать какой нибудь предлогъ, когда ему хотѣлось сжить червѣчку со свѣта. Онъ просто приказывалъ арестовать его и отвести въ застѣнокъ. Тамъ его начинали пытать, требуя отъ него, чтобы онъ покался въ своихъ преступныхъ замыслахъ противъ правительства. Если пациентъ, побѣж-

денный невыносимою болью, признавался въ чемъ нибудь, т. е. взоудилъ на себя какую нибудь напраслину, то желанный предлогъ былъ отысканъ. Уличеннаго преступника вели на площадь и казнили. Если же субъектъ упрямился до конца, то онъ всетаки ровно ничего не выигрывалъ; палачи продолжали встряхивать, сбѣчь, пилить, ломать и коверкать его до тѣхъ поръ, пока онъ не превращался въ безжизненный кусокъ сырого мяса. Арестованному предоставлялось такимъ образомъ право выбирать непременно одно изъ двухъ: смерть на площади, или смерть въ застѣнкѣ.

XXI.

Фридрихъ II.

Злодѣянія синьора Этчелино кладутъ несмыслимое пятно на великое имя императора Фридриха II. Фридрихъ былъ всегдашнимъ покровителемъ Этчелино; Фридрихъ далъ ему титулъ императорскаго намѣстника, окружилъ его своими войсками, завоевалъ для него Виченцу, и самъ, въ свою очередь, во всѣхъ своихъ войнахъ постоянно пользовался его усерднымъ содѣйствіемъ; стало быть, на Фридриха падаетъ отвѣтственность за преступленія Этчелино. При этомъ однако не слѣдуетъ думать, чтобы Фридрихъ сочувствовалъ безумнымъ и отвратительнымъ жестокостямъ своего вѣрнаго вассала и намѣстника. Въ характерѣ Фридриха, полнокровнаго, здороваго, живого и страстнаго энцикурейца, умѣвшаго наслаждаться и женщинами, и виномъ, и поэзіей, и наукой, не было ни одной черты, способной сколько нибудь сблизить его съ тщедушнымъ Этчелино, который весь, какъ старая дѣва, былъ пропитанъ уксусомъ и желчью. Никто изъ современниковъ Фридриха не упрекаетъ его въ жестокости. Данте помѣщаетъ его въ адъ не за жестокость, а за невѣріе.

«Фридрихъ—говоритъ о немъ гибелинъ Николай Джамсилла—былъ человѣкомъ великой души; но его мудрость, которая была въ немъ не менѣе велика, умѣрала его великодушіе; такъ что сильная страсть никогда не обуславливала собою его поступковъ; онъ дѣйствовалъ всегда по зрѣлому размышленію. Онъ усердно занимался философіей; онъ любилъ ее для самого себя и распространялъ ее въ своихъ владѣніяхъ. Прежде счастливыхъ дней его царствованія, въ Сициліи трудно было найти писателя, но императоръ открылъ въ своемъ королевствѣ училища для свободныхъ искусствъ и для всѣхъ наукъ, онъ призвалъ преподавателей изъ различныхъ странъ свѣта и предложилъ имъ щедрія награды. Онъ не удовольствовался тѣмъ, что назначилъ имъ жалованье; онъ кромѣ того изъ своей собственной казны выплачивалъ стипендіи для содержанія самыхъ бѣдныхъ учениковъ, такъ чтобы во всѣхъ классахъ общества люди не были устра-

нены ничтою отъ изученія философіи. Онъ самъ далъ образчикъ своихъ литературныхъ талантовъ, которые были направлены преимущественно къ естественной исторіи; онъ написал книгу о природѣ и воспитаніи птицъ; изъ этой книги можно увидѣть, какіе успѣхи сдѣлалъ императоръ въ философіи. Онъ любилъ справедливость и уважалъ ее такъ сильно, что каждому человѣку позволено было вести тяжбы противъ императора, и при этомъ санъ монарха не давалъ ему никакого преимущества въ судѣ, и ни одинъ адвокатъ не колебался поддерживать противъ него права послѣдняго изъ его подданныхъ. Но не смотря на эту любовь къ справедливости, онъ иногда смягчалъ ея суровость своимъ милосердіемъ».

Этотъ портретъ конечно написанъ рукою страстного обожателя и заключаетъ въ себѣ значительную дозу идеализаціи. Но если такой портретъ не передаетъ намъ вполнѣ вѣрно дѣйствительныхъ чертъ историческаго характера, то онъ безъ всякаго сомнѣнія рисуетъ намъ по крайней мѣрѣ черты того идеала, къ которому стремился Фридрихъ II. Уже и это много значитъ. Думать о равенствѣ гражданъ передъ закономъ въ половинѣ XIII вѣка—это почти неправдоподобно; и разумѣется, такая мысль могла родиться только въ головѣ геніальнаго человѣка. Другой Фридрихъ II—великій король Пруссій, жилъ пятью столѣтіями поздиѣ, почти наканунѣ французской революціи, а между тѣмъ его папегиристы разславили по всему міру исторію о санъ-сусійскомъ мельникѣ, который отвѣчалъ королю, что въ Пруссіи есть судьи. Что же мы должны думать объ императорѣ, который во времена феодализма и кулачнаго права желалъ стоять передъ судомъ на одной доскѣ съ послѣднимъ изъ своихъ подданныхъ? Эта черта не можетъ быть выдумана Джамсиллою. Если бы эта черта не входила въ идеалъ геніальнаго императора, то историкъ побоялся бы этой вымышленной чертою унижить своего героя въ глазахъ тѣхъ аристократическихъ читателей, которые твердо вѣровали въ законность своихъ родовыхъ привилегій и навсегда хотѣли оставаться выше простого человѣчества. Наконецъ дѣйствительность той черты, которую расхваливаетъ Джамсилла, доказывается всего лучше тѣми законами, которые Фридрихъ II издалъ для своего сицилійскаго королевства. На счетъ покровительства наукамъ и стипендій для бѣдныхъ студентовъ надо сдѣлать только ту оговорку, что Фридрихъ восвалъ съ Бононей и старался подорвать ея знаменитый университетъ. Этимъ желаніемъ объясняется большая часть тѣхъ щедротъ, которыми просвѣщенный императоръ осыпалъ университетъ, основанный имъ въ Неаполѣ. Но что Фридрихъ самъ дѣйствительно любилъ науку и понималъ ея пользу для общества—въ этомъ невозможно сомнѣваться.

Возьмемъ теперь другой портретъ, сдѣланный съ того же лица страстнымъ гвельфомъ, вѣнскимъ историкомъ, Джіованни Виллани.

«Фридрихъ—говоритъ Виллани—былъ великимъ мужествомъ и рѣшительностью; своей мудростью онъ былъ обязанъ коже научнымъ занятіямъ, сколько и естественному благоразумію; свѣдущій комъ дѣлъ, онъ говорилъ на латинскомъ, на нашемъ вульгарномъ (итальянскомъ) и на французскомъ, на греческомъ, на арабскомъ. Богатый добродѣтелями, великодушенъ, и къ этимъ дарованіямъ соединялъ еще изысканную вѣжливость, храбрый и мудрый воинъ, онъ былъ такъ страшенъ врагамъ. Но онъ слишкомъ наслаждался за чувственными наслажденіями: чаю сарациновъ, онъ держалъ множество ницъ; подобно сарацинамъ, онъ окружалъ себя мамелюками; онъ предавался всѣмъ вѣрнымъ чувствамъ и велъ элликурейскую жизнь, зная того, что кака-бы-то-ни-бы жизнь должна слѣдовать за этою. Ни одно обстоятельство составляло главную причину, почему онъ сдѣлался врагомъ святой церкви».

Темныя черты обозначены въ этой характеристикѣ очень тщательно, а между тѣмъ въ стокости не сказано ни слова. Напротивъ Виллани именно хвалитъ его великодушную рыцарскую вѣжливость (courtoisie). Изъ этой характеристики, написанной свѣдѣмъ, показываетъ, что мы имѣемъ дѣло съ личностью, выходящей изъ ряда вонъ и составляющей гордость и украшеніе вѣка, съ такою грандіозной личностью, которую преклонялись съ невольнымъ восторгомъ даже ея политическіе противники. Не только отлучали Фридриха отъ папства, но даже устраивали противъ него крестовые походы. Если бы можно было упрекнуть его въ жестокости, то конечно это обвиненіе валося бы на первомъ планѣ въ напакахъ и воззваніяхъ. Папы всегда съ удовольствіемъ принимали на себя роль защитниковъ народной свободы, когда эта роль нибудь согласовалась съ ихъ собственными интересами. Но папскія буллы не упоминали о стокости Фридриха. Первое отлученіе, произнесенное въ 1227 году Григоріемъ IX, основано тѣмъ, что императоръ нарочно, желая избежать крестоваго похода, задерживалъ въ самыхъ нездоровыхъ мѣстахъ южной Италіи, погубилъ ихъ заразными болѣзнями и самъ притворился больнымъ, чтобы не ѣхать въ Палестину и свободно пользоваться наслажденіями.

Второе отлученіе, произнесенное тѣмъ же Григоріемъ IX въ 1239 году, основано на томъ, что императоръ возбуждалъ въ Римѣ мятежи противъ папы, угнеталъ духовенство и преслѣд

ихъ владѣніяхъ нищенствующихъ монаховъ, пралъ епископскія кафедръ, присвоилъ себѣ доходы и наконецъ подчинилъ себѣ земли, принадлежащія церкви.

Третье отлученіе произнесъ Иннокентій IV 1245 году на ліонскомъ соборѣ. Тутъ Фридрихъ обвиняли въ томъ, что онъ, будучи вассаломъ папы, въ качествѣ сицилійскаго короля, рушилъ долгъ вѣрности въ отношеніи къ своему сюзерену, что онъ остановилъ нечестивыхъ образцовъ кардиналовъ и прелатовъ, отъѣзжавшихъ въ Римъ, на соборъ, что онъ не обращалъ вниманія на прежніе приговоры и отлученія и, слѣдовательно, провинился въ ереси, наконецъ онъ ведетъ дружбу съ сарацинами и перенимаетъ ихъ обычаи.

Въ слѣдующемъ 1246 году папа послалъ въ сицилійское королевство двоихъ кардиналовъ порученіемъ возбудить возстаніе противъ Фридриха. Этимъ кардиналамъ были даны письма папы къ духовенству, къ дворянству, къ боярамъ и къ поселянамъ королевства. Богіе люди, писалъ папа въ своихъ воззваніяхъ, удивляются тому, что вы, подавленные бременемъ рабства, угнетенные въ вашихъ личностяхъ и имущественныхъ правахъ, не стараетесь, подобно другимъ народамъ, добыть себѣ такое благо свободы. Но папскій престолъ принимаетъ вѣсть, принимая во вниманіе тотъ фактъ, который повидимому овладѣлъ вашими чувствами подъ господствомъ новаго Нерона; папа вступаетъ въ отношеніи къ вамъ только со-сладаніе и отеческую нѣжность; онъ старается своимъ содѣйствіемъ облегчить ваши горести, и даже доставить вамъ радость полного освобожденія. Ищите съ вашей стороны, въ немъ сердцѣ, какимъ образомъ возможно было бы сбросить съ вашихъ рукъ цѣпь рабства, старайтесь, чтобы ваша община процвѣтала въ свободѣ міра. Пусть распространится между вами молва, что ваше государство, отличающееся своимъ благородствомъ и своимъ плодотворнымъ плодородіемъ, при помощи крестовеннаго провидѣнія, соединяетъ также всѣми остальными своими преимуществами такую обеспеченную свободу».

Тутъ папа называетъ Фридриха *новымъ Нерономъ* и проливаетъ слезы надъ страданіями сицилійскихъ подданныхъ, но риторическое похваленіе и риторическій плачъ папы ровно ничего не доказываютъ, или доказываютъ только то, что папа хотѣлъ доминировать императоромъ и мѣтьемъ, и катаньемъ. Желая произвести возстаніе, папа, разумѣется, долженъ былъ ужасомъ говорить сицилійцамъ о цѣпяхъ рабства и о новомъ Неронѣ, но на самомъ дѣлѣ страданія сицилійцевъ были такъ мало замѣтны, что папа даже не упомянулъ о нихъ на ліонскомъ соборѣ, который однако же совѣщался о преступленіяхъ Фридриха всего за годъ до

отправленія папскихъ революціонеровъ въ южную Италію. Въ жизни Фридриха встрѣчаются конечно такіе поступки, которые мы, съ нашей теперешней точки зрѣнія, должны признать жестокими, но въ которыхъ современники великаго императора видѣли мало предосудительнаго. Эти жестокіе поступки вытекали дѣйствительно не изъ звѣрскихъ свойствъ личнаго характера, а изъ ошибочности общепринятыхъ попятій. Человѣческая жизнь цѣнилась въ то время очень дешево. Уваженіе къ отдѣльной личности было очень слабо. Поэтому немудрено, что совершенно невинныя личности погибали очень часто за грѣхи своей партіи, или своего города. Такимъ образомъ, Фридрихъ казнилъ, какъ мы видѣли, Петра Тіепола, миланскаго подесту, который самъ лично ни въ чемъ не былъ передъ нимъ виноватъ. Казнилъ онъ его не для того, чтобы потѣшиться его предсмертными мученіями или слезами его родственниковъ, а для того, чтобы наказать въ его лицѣ миланцевъ, на которыхъ онъ, Фридрихъ, былъ сердитъ за дѣло, и для того, чтобы оскорбить венеціанцевъ, которыми онъ также былъ недоволенъ. Когда Григорій IX въ 1240 году сталъ проповѣдывать противъ Фридриха крестовый походъ, то Фридрихъ за эту проповѣдь очень разсердился и на папу, и на всѣхъ его приверженцевъ. Въ пылу своего гнѣва императоръ приказалъ казнить смертью всякаго, кто попадется въ руки его солдатамъ съ крестомъ на одеждѣ. Приказаніе это конечно отзывается варварствомъ. Но мы, люди XIX вѣка, не имѣемъ никакого права указывать на него пальцами и вдаваться по этому случаю въ проявленія чело-вѣколюбиваго негодованія. Такія же точно приказанія отдаются очень часто и выполняются съ буквальной вѣрностью даже въ наше просвѣщенное и любвеобильное время.

Каждое европейское правительство виѣняетъ себѣ въ священную обязанность разстрѣливать или вѣшать на мѣстѣ преступленія каждаго мятежника, захваченнаго съ оружіемъ въ рукахъ. Если ямайскія событія возбудили во всей Европѣ и особенно въ Англіи самое искреннее неудовольствіе, то это произошло только отъ того, что на Ямаикѣ вѣшали, разстрѣливали и застрѣкали до смерти безоружныхъ людей, которые никогда не были мятежниками. Если бы всѣ эти застрѣченные, повѣшенные и разстрѣленные негры были дѣйствительно мятежниками, то никто изъ европейскихъ политиковъ и никто изъ писателей, кромѣ какихъ-нибудь заклятыхъ утопистовъ, не сказалъ бы ни одного худого слова—ни губернатору Эйру, ни его усерднымъ помощникамъ. Но вѣдь итальянскіе крестоносцы, поднявшіе оружіе противъ своего законнаго императора, были также мятежниками, и мятежъ ихъ былъ особенно опасенъ и заразителенъ именно потому, что онъ предпринимался

подъ покровительствомъ высшаго религіознаго авторитета. Знакъ креста, нашитый на платѣ, могъ считаться такою-же ясной уликой, какою считается въ наше время оружіе, захваченное въ рукахъ мятежника. Стало быть, вѣшая крестоносцевъ, Фридрихъ еще нисколько не обнаруживалъ въ себѣ такихъ наклонностей, за которыя его можно было бы назвать новымъ Нерономъ, или поставить рядомъ съ Эччелино III. Въ 1248 году Фридриху пришлось осаждать Парму, присоединившуюся въ это время къ гвельфской партіи. Какъ только разнеслось по сосѣднимъ городамъ извѣстіе о возмущеніи въ Пармѣ, такъ гибеллины тотчасъ арестовали всѣхъ пармезановъ, служившихъ въ императорскомъ войскѣ и учившихся въ университетахъ гибеллинскихъ городовъ. Всѣхъ этихъ людей, которые можетъ быть нисколько не сочувствовали пармскому перевороту, обобрали до послѣдней нитки, заковали въ кандалы и отправили въ лагерь къ императору. Гибеллины распорядились такимъ образомъ сами собою, безъ предварительнаго приказанія со стороны императора; мысль арестовать всѣхъ наличныхъ пармезановъ явилась разомъ у всѣхъ гражданъ нѣсколькихъ городовъ; эта мѣра всѣмъ казалась въ высшей степени простой, естественной и законной. Въ тогдашней политикѣ господствовалъ безъ малѣйшихъ ограниченій тотъ принципъ, что каждый гражданинъ, гдѣ бы онъ ни былъ и какъ бы онъ себя ни велъ, отвѣчаетъ своимъ имуществомъ и своей личностью за поведеніе своего отечества. Парма провинилась — значитъ всѣ пармезаны виноваты, и всѣхъ ихъ можно трактовать, какъ преступниковъ. Фридрихъ совершенно логично провелъ эту мысль дальше и началъ поступать съ колодниками, представленными въ его лагерь, такъ, какъ дѣлалъ его, Варбаросса, поступалъ подлѣ Тортонъ съ тортонскими плѣнниками, подлѣ Кремъ съ кремскими заложниками. Онъ, въ виду осажденной Пармы, приказалъ казнить двоихъ пармскихъ дворянъ и двоихъ простыхъ гражданъ, объявивъ при этомъ, что каждый день будутъ производиться такія же казни до тѣхъ поръ, пока осажденный городъ не согласится на безусловную сдачу. Но тутъ желѣзная логика императора столкнулась съ живымъ и горячимъ чувствомъ народной массы. Павійцы, служившіе въ арміи Фридриха, послали къ нему депутацию, которая выпросила у него помилованіе захваченныхъ пармезановъ. «Мы, говорили павійскіе воины, пришли драться съ пармезанами оружіемъ на полѣ сраженія, но мы не хотимъ сдѣлаться ихъ палачами». Фридрихъ не принялъ этой просьбы за бунтъ, и казни прекратились. Вотъ и всѣ жестокости, отмѣченные исторіей въ царствованіе Фридриха II. Такія же точно жестокости можно найти и у

Карла Великаго, и у Оттона Великаго, и у величайшихъ правителей, оставившихъ себя въ исторіи самую добрую память. Жестокости еще не объясняютъ нѣтъ, Фридрихъ II оказывалъ постоянное покровительство такому образцовому негодяю, Эччелино III.

Фридрихъ не любилъ мучить людей (судя по добности, но онъ въ значительной степени одаренъ тѣмъ равнодушіемъ къ чуждымъ страданіямъ, которое часто сопровождаетъ широкую политическую дѣятельность. Фридрихъ подобно многимъ замѣчательнымъ полководцамъ и администраторамъ, привыкъ производить вычисленія и операціи надъ большими массами, въ которыхъ каждая отдѣльная личность сливается своими горестями и радостями въ общую массу, какъ незамѣтная пылинка. Для успѣха всякаго предпріятія, для того, чтобы одержать или взять осажденный городъ, Фридрихъ былъ опытный и хладнокровный полководецъ, готовъ былъ съ покойною небрежностью на поле сраженія какую-нибудь тысячу раздробленныхъ человѣческихъ трубочекъ и переломленныхъ рукъ. Для успѣха своихъ политическихъ спекуляцій, для того, чтобы разстроить интриги своихъ противниковъ и сгруппировать вокругъ себя партію, Фридрихъ, какъ многіе подобные ему умные и разсчетливые администраторы, также не прочь былъ, въ случаѣ надобности, поставить два, три десятка лишнихъ винъ допустить несправедливое сооруженіе костровъ, или уступить своимъ союзникамъ какую-нибудь ничтожную темную человѣческую существованію. Опять-таки была не жестокость; это сухая и холодная разсчетливость политическаго практика, разсчетливость, безъ которой гениальный администраторъ рискуетъ остаться въ чистомъ проигрышѣ. Фридрихъ, котораго не мѣшало бы самого отдавать судъ и повести на костеръ за непочтительныя размышленія о неприкосновенности императора, конечно звалъ очень хорошихъ еретиковъ не слѣдуетъ преслѣдовать и т. д. но могъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ смущаться такою бездѣлицей, когда дѣло шло о высшихъ интересахъ, объ императорской коронѣ и о будущности его династіи? Что значили, въ сравненіи съ вопросомъ о Гогенштауфеновѣ, предсмертныя казни двухъ, трехъ десятковъ, или сотъ тысячъ невинныхъ и глубоко убѣжденных еретиковъ? Если императоръ, осуждая еретиковъ, могъ на минуту поправить свое личное положеніе и смыть съ себя въ ереси, то позволительно ли было со стороны малѣйшее колебаніе?

Фридрихъ смотрѣлъ сквозь пальцы

стныя продѣлки Эччелино по тому же самому бужденію, вслѣдствіе котораго многіе очень маннныя полководцы позволяли иногда своимъ солдатамъ грабить и разрушать до основанія взятые города. Полководецъ чувствовалъ, что солдаты ему необходимы, и поэтому сталъ иногда ублажать ихъ уступками, которыя, собственно говоря, находились въ сильнѣйшемъ разладѣ съ его личными убѣжденіями. Но все же самое можно сказать объ императорѣ Фридрихѣ и о его свирѣпомъ намѣстникѣ.

Чтобы отдать Фридриху полную справедливость, то есть, чтобы не ввести на него незаконно-тяжелого обвиненія, надо принять въ расчетъ то обстоятельство, что онъ, вѣрнѣе всей своей жизни, находился почти постоянно въ самомъ затруднительномъ положеніи, боролся безъ отдыха за свою корону и держивалъ ее на своей унылой головѣ только непрерывнымъ напряженіемъ своего непреклоннаго мужества и своихъ необыкновенныхъ трудовъ. Гвельфскія республики Ломбардіи, въ предводительствѣ Милана, подняли противъ него оружіе тогда, когда онъ, двадцатилѣтній юноша, находившійся подъ покровительствомъ папы Иннокентія III, своего бывшаго опекуна—только-что началъ добиваться императорскаго престола, ни въ чемъ не успѣлъ еще проявить свой характеръ и свой образъ дѣла и рѣшительно ничѣмъ не могъ оскорбить ломбардскихъ республиканцевъ. Гвельфскія республики ненавидѣли молодого Фридриха и грѣхъ его дѣда, Барбароссы, котораго опустошительные походы были памятны всей Ломбардіи. Но Фридрихъ II конечно самъ не былъ виноватъ въ томъ, что его имя и его происхожденіе вызывали въ умѣ ломбардовъ мучительно-тяжелыя воспоминанія. Сдѣлавшись императоромъ, Фридрихъ также не подавалъ ни папѣ, ни ломбардамъ никакого серьезнаго повода къ неудовольствію. Въ сношеніяхъ съ папою онъ стоялъ на томъ, на чемъ стояли всѣ его предшественники, и папа былъ недоволенъ именно тѣмъ, что бывшій питомецъ Иннокентія III не позволяетъ духовной власти дѣлать свои завоеванія и осуществлять теократическую мечту Гильдебранда. Въ своихъ сношеніяхъ съ ломбардами Фридрихъ никогда не нарушалъ констанскаго трактата, составлявшаго документальное основаніе тѣхъ правъ, которыми сего болѣе дорожили гвельфскія республики. Фридрихъ былъ даже такъ остороженъ, что, когда ему надо было короноваться, онъ проѣхалъ изъ Германіи въ Римъ, не вступая на территорию тѣхъ республикъ, которыя были расположены къ нему враждебно. Въ этомъ случаѣ Фридрихъ дѣлалъ важную уступку, потому что констанскій договоръ положительно предоставлялъ избранному императору право не только проходить черезъ земли итальянскихъ

республикъ, но даже требовать съ нихъ, во время шествія въ Римъ, исправленія дорогъ, мостовъ и переправъ, и кормовыя деньги для арміи. Миланцы не обратили никакого вниманія на эту сдержанность новаго императора и, въ отвѣтъ на нее, сами рѣшительно нарушили констанскій договоръ, отказавшись выдать Фридриху желѣзную корону, на которую онъ, по всѣмъ основнымъ законамъ и установившимся обычаямъ, имѣлъ самое полное и безспорное право. Когда папа поссорился съ Фридрихомъ, тогда ломбарды окончательно закусили удила и по своей старой привычкѣ таскать изъ горячей золы каштаны для папскаго стола вступили въ непримиримую войну съ такимъ императоромъ, который не сдѣлалъ имъ ни малѣйшаго зла. Въ 1234 году они, завязавши сношенія съ мятежной партіей принца Генриха, навесли императору такое оскорбленіе, котораго не простилъ бы имъ ни одинъ человѣкъ, находящійся на мѣстѣ Фридриха II. Въ 1236 году императоръ, какъ мы уже видѣли, вошелъ въ Ломбардію. Съ этого времени собственно и начинается постоянная война Фридриха съ республиканцами, тѣсный союзъ его съ Эччелино и быстрое возвышеніе послѣдняго, получившаго скоро возможность сбросить маску и запустить когти въ живое человѣческое тѣло. При всѣхъ своихъ дарованіяхъ Фридрихъ велъ войну съ республиканцами далеко не такъ счастливо, какъ это удавалось его дѣду. Фридрихъ II одержалъ, правда, двѣ важныя побѣды надъ своими врагами: одну въ 1237 году, при Карте-Нуова, гдѣ онъ лично самъ разбилъ миланцевъ,—другую въ 1241 году, на тосканскомъ морѣ, при Меларіи, гдѣ его приверженцы низанцы одолѣли генуэзцевъ, которые везли на своихъ корабляхъ французскихъ прелатовъ въ Римъ, на соборъ, созванный папою Григоріемъ IX для торжественнаго суда надъ императоромъ, уже давно отлученнымъ отъ церкви. Но обѣ эти побѣды, очень важныя по своимъ послѣдствіямъ, не доставили Фридриху рѣшительнаго перевѣса надъ врагами, а только спасли его самого отъ паденія и позволили ему продолжать борьбу. Далѣе Фридриху удалось взять Виченцу, и его партія отворила ему ворота Падуи; но тутъ Эччелино, какъ хитрый шакалъ, выкралъ добычу изъ-подъ лапы могучаго льва. Взятіе Виченцы и Падуи повредило императору, потому что, значительно усиливъ его намѣстника, оно поставило Фридриха въ нѣкоторую зависимость отъ синьора Эччелино и принудило его одобрять или по крайней мѣрѣ пропускать безъ взысканія такіе гнусности, на которыя онъ, при другихъ условіяхъ, не согласился бы смотрѣть благосклонно.

Кровавые подвиги Эччелино начинаются съ 1240 года, и съ этого же времени начинаются почти постоянныя неудачи Фридриха. Эти два

чтобы удержать корону и потомъ передать ее старшему сыну. Этою цѣлью оправдывались средства. А въ числѣ средствъ попадались и такія распоряженія, изъ которыхъ при благоприятныхъ условіяхъ могла развернуться грязная и безсмысленная тираннія Эччелино.

XXII.

Иннокентій IV.

Узнавши о смерти Фридриха II, Иннокентій громко выразилъ свою радость и тотчасъ протянулъ руку къ оставшемуся наслѣдству. «Да возрадуются небеса, и земля да возвеселится! — писалъ папа къ сицилійскому духовенству. — Громъ и буря, которыми всемогущій Богъ грозилъ такъ долго вашимъ главамъ, смертью этого челоѣка превратились въ прохладительные зефиры и въ оплодотворяющія росы». «Съ согласія нашихъ братьевъ кардиналовъ — писалъ папа вслѣдъ затѣмъ къ городу Неаполю — мы приняли ваши особы, ваше имущество и самый городъ вашъ подъ покровительство Святѣйшаго Престола, постановивъ, что онъ (городъ) останется на вѣчныя времена въ непосредственной зависимости отъ него (престола), и что церковь никогда не предоставитъ верховной власти или какихъ либо правъ надъ нимъ никакому императору, королю, герцогу, князю, или графу, или какому бы то ни было другому лицу».

Чтобы сколько нибудь понять эти размашистыя притязанія папы на Неаполь, надо припомнить, что норманны, завоевавшіе южную Италію, въ половинѣ XI вѣка взяли въ плѣнъ папу Льва IX, а потомъ, бросившись передъ нимъ на колѣни, добровольно признали себя вассалами папскаго престола.

Съ того времени прошло двѣсти лѣтъ и совершилось много перемѣнъ и въ Италію, и въ Европѣ, но такъ какъ папы держатся того правила, что ихъ права на огнѣ не горятъ и въ водѣ не тонутъ, то они и считали себя постоянно законными собственниками сицилійскаго королевства и пожелали вступить во владѣніе, какъ только представился удобный случай.

Въ началѣ весны 1251 года Иннокентій IV отправился изъ Ліона въ Италію, чтобы осуществить свои завоевательныя фантазіи. Въ Генуѣ къ нему явились депутаты отъ всѣхъ гвельфскихъ городовъ Ломбардіи. Всѣ эти города убѣдительно просили папу затѣхать къ нимъ, чтобы они могли выразить ему всю свою признательность за то постоянство и мужество, съ которымъ онъ велъ борьбу противъ общаго врага церкви и свободы. Ломбардскіе гвельфы съ добродушнымъ восторгомъ благодарили и превозносили папу за то, что онъ хорошо защищалъ свои интересы и очень искусно пользовался ими,

гвельфами, какъ орудіями для достиженія ихъ собственныхъ цѣлей. Папа очень жалостливо принималъ выраженія ихъ восторженной признательности и благосклонно соглашался оказать свою особу жителямъ ломбардскихъ городовъ. Начался длинный рядъ торжественныхъ и парадныхъ въѣздовъ, оглушительныхъ криковъ и великолѣпныхъ процессій. Миланцы, чтя и почитая папу чѣмъ нибудь совершенно новымъ, приказали знатнѣйшимъ изъ своихъ дворянъ нести надъ Иннокентіемъ, во время въѣзда, особаго рода навѣсъ, покрытый розовыми шелковыми матеріями. Эта выдумка, вѣдавшаяся папѣ, и съ этихъ поръ такой навѣсъ или *балдахинъ* сталъ употребляться при религиозныхъ церемоніяхъ. Миланцы два мѣсяца удерживали папу въ своемъ городѣ; стараясь выразить ему всевозможными демонстраціями силу и пламенность своего гвельфизма, и въ знакъ особеннаго уваженія предоставивъ Иннокентію право назначить имъ податей на текущій годъ.

Папа принималъ всѣ эти любезности, и должное, съ невозмутимо-величественнымъ покровіемъ, и самъ требовалъ, во имя болѣе существенныхъ доказательствъ истинности и благочестія. Уѣхавъ изъ Милана въ Брешию, онъ написалъ къ миланскому архіепископу, что подеста и городскіе совѣтники лишаютъ иногда права духовнаго сословія, архіепископъ долженъ поддерживать эти права съ неутомимой и неутомимой энергіей, порицая республику, въ случаѣ надобности, самыми жестокими духовными наказаніями. Одно изъ ужасныхъ злоупотребленій, противъ котораго Иннокентій приказывалъ архіепископу дѣйствовать проклятіями и интердиктами, состояло въ томъ, что городское начальство, разсчитывая на безкорыстіе монаховъ, поручало нѣкоторымъ изъ нихъ собирать установленныя пошлины и воровать съ нѣкоторыхъ товаровъ. При такомъ образомъ монаховъ къ общественной службѣ, миланцы показывали ясно, что смотрятъ на нихъ, какъ на гражданъ; папа никакъ не могъ допустить, миланцы же не были преклонялись передъ монахами, передъ избранными существами, воспаривъ духомъ надъ всѣми мелкими заботами и трудностями человеческого общества.

Ломбардскіе гвельфы присмирѣли и приутихли послѣ смерти императора. Городъ Лоди, ставшій оружіемъ миланцевъ, присоединился къ гвельфскому союзу. Павія заключила сепаратный миръ, который впрочемъ продержался недолго. Никто изъ гвельфиновъ не думалъ падать на папу во время его развѣздовъ по Ломбардіи. Если бы папѣ вздумалось затѣять въ который нибудь изъ гвельфскихъ городовъ, то его приняли бы съ радостью и съ великимъ уваженіемъ. Но Иннокентій не хо

называть такую честь такъ называемымъ врагъмъ церкви. Чтобы не прикоснуться своими зыщенными подошвами къ нечестивой землѣ ремоны и Піаченцы, папа сдѣлалъ большой рюкъ и поѣхалъ изъ Милана въ церковную власть на Брешию, на Мантую, на Феррару и а Болонью. Земля Піаченцы очень недавно дѣлалась нечестивою, именно съ той минуты, какъ Парма обратилась на путь истины. Эти два города ненавидѣли другъ друга очень давно, никакъ не могли стоять вмѣстѣ подъ однимъ знаменемъ. Какъ только Парма передалась гвельфамъ, такъ Піаченца немедленно перескочила въ гибелинскій лагерь, изъ ненависти къ Пармѣ, и для того, чтобы по прежнему вести съ ней постоянную войну. Этотъ случай можетъ служить подтвержденіемъ тѣхъ мыслей, которыя были высказаны мною о гвельфахъ и гибелинахъ въ XVIII главѣ.

Когда ломбарды посмотрѣли вблизи на своего возлюбленнаго папу, тогда температура ихъ гвельфской восторженности понизилась на значительное число градусовъ. Они начали думать, что, хотя они и гвельфы, однако все-таки не слѣдуетъ же имъ одобрять безусловно теократическія фантазіи папы и содѣйствовать своимъ слѣпымъ усердіемъ осуществленію этихъ фантазій, къ которымъ они всегда чувствовали самое искреннее и непобѣдимое отвращеніе. Они видѣли, что папа принимаетъ въ отношеніи къ ихъ правительствамъ черезчуръ повелительный тонъ и слишкомъ ревностно заботится о такой свободѣ церкви, при которой клерикальная корпорация очутилась бы выше всякихъ законовъ и могла бы хозяйничать въ республикахъ по своему произволу. Эти наблюденія повсюду наводили гражданъ, дорожившихъ самостоятельностью родного города, на ту мысль, что гибелины, сопротивлявшіеся приказаніямъ римскаго первосвященника, могли быть въ то же время добрыми католиками и честными патріотами. Во время самой ожесточенной борьбы партій большинство народа состоитъ обыкновенно изъ такихъ людей, которымъ побѣда той или другой стороны не принесетъ ни личной выгоды, ни личнаго убытка. Это большинство не остается равнодушнымъ зрителемъ борьбы, но въ то же время не дѣлается также разъ навсегда заклятымъ приверженцемъ той или другой стороны. Это большинство заботится преимущественно о томъ, чтобы прожить на свѣтѣ безъ особенныхъ напастей и при этомъ не загубить души своей какимъ нибудь смертнымъ грѣхомъ. Во время политической борьбы это безцвѣтное большинство колеблется изъ стороны въ сторону, смотря по тому, которая изъ партій кажется ему въ данную минуту болѣе честной въ своихъ стремленіяхъ, болѣе способной упрочить общее благосостояніе и менѣе замаранной насильственными и несправедливыми

поступками. Въ итальянскихъ городахъ масса никогда не принадлежала ни къ яростнымъ гвельфамъ, ни къ заклятымъ гибелинамъ, и также никогда не оставалась нейтральной. Масса очень добросовѣстно желала своей родинѣ всевозможнаго благополучія и всегда старалась дѣлать то, что казалось ей справедливымъ и честнымъ. Когда императоръ грозилъ республикѣ порабощеніемъ, или когда монахи кричали на всѣхъ перекресткахъ о невыносимыхъ страданіяхъ церкви, тогда масса, желая спасти свою родину и свою душу, со всего размаха кидалась въ необузданный гвельфизмъ. Потомъ, когда побѣда надъ императорскою партіей оказывалась слишкомъ хорошо одержанной, когда опасность начинала угрожать со стороны папы, когда клерикалы и другіе коноводы гвельфской партіи старались раздавить своихъ побѣжденных враговъ и подчинить республики своему полновластному господству, — тогда въ рядахъ побѣдившей стороны обнаруживалось колебаніе: масса пятилась назадъ отъ тѣхъ знаменъ, подъ которыми она недавно сражалась съ полнымъ усердіемъ; въ общественномъ мнѣніи совершался переворотъ: наступала реакція въ пользу униженныхъ гибелиновъ. Этими колебаніями воспитывались понемногу политическія убѣжденія массы, которая мало по малу выучивалась понимать, что ни римскій папа, ни германскій императоръ не могутъ считаться компетентными судьями при рѣшеніи вопроса о томъ, что для нея полезно и что вредно, что справедливо и что безчестно. Это отрезвленіе массъ покупалось очень дорогою цѣной, но за него стоило платить дорого, потому что безъ него невозможно никакое серьезное движеніе впередъ.

Въ Миланѣ, послѣ проѣзда папы, и въ особенности послѣ его внушительнаго письма къ архіепископу, гибелинская реакція приняла такіе значительные размѣры, что въ 1253 году миланцы признали на три года своимъ генералъ-капитаномъ усерднаго гибелина, маркиза Ланчіа Монферратскаго, съ тѣмъ чтобы онъ, для усмиренія мѣстныхъ дворянъ, держалъ въ городѣ отрядъ изъ 1000 иногороднихъ всадниковъ. Маркизь Ланчіа самъ не пріѣхалъ въ Миланъ, но прислалъ требуемый отрядъ и втеченіе трехъ лѣтъ назначалъ каждый годъ подесту, который распоряжался въ Миланѣ отъ его имени.

Этотъ маркизь Ланчіа былъ роднымъ дядей Манфреда, побочнаго сына императора Фридриха II. Послѣ императора осталось пятеро сыновей — двое законныхъ, Конрадъ и Генрихъ, и трое побочныхъ, Манфредъ, Фридрихъ и Энціо. По завѣщанію императора, Конрадъ долженъ былъ получить обѣ короны — германскую и сицилійскую. Если бы Конрадъ умеръ бездѣтнымъ, то обѣ короны должны были перейти

къ Генриху *), и еслибы Генрихъ также не оставилъ дѣтей, то ему долженъ былъ наследовать Манфредъ.

Въ минуту смерти Фридриха II Конрадъ находился въ Германіи, а Манфредъ въ южной Италіи, гдѣ онъ очень искусно и успѣшно умиралъ возстанія, возбужденныя въ разныхъ мѣстахъ сицилійскаго королевства папскими эмиссарами. Осенью 1251 года Конрадъ вошелъ въ Италію съ нѣмецкой арміей, обѣщалъ гибелинскіе города веронской марші, получилъ отъ синьора Этчелино сильное подкрѣпленіе, и, не желая пробиваться черезъ территоріи гвельфскихъ республикъ, поѣхалъ въ свое сицилійское королевство по Адриатическому морю. Довершивъ усмиреніе южной Италіи, Конрадъ послалъ къ папѣ торжественное посольство, прося его назначить по собственному благоусмотрѣнію тѣ условія, на которыхъ онъ соглашается предоставить ему обѣ короны, сицилійскую и императорскую. Со стороны папы не воспослѣдовало никакого благоусмотрѣнія и никакихъ условій. Папа просто хотѣлъ взять себѣ сицилійское королевство и отнять германскій престолъ у швабской династіи. Послы Конрада ушли отъ папы ни съ чѣмъ. Тутъ и многіе гвельфы призадумались. Они никакъ не могли сообразить, въ чемъ виноваты передъ папой молодой король, только-что вступившій на престолъ и заранѣе готовый принять всѣ условія его святѣйшества. Имъ также очень трудно было объяснить, себѣ, какимъ это образомъ интересы католической религіи налагаютъ на папу священную обязанность завоевывать въ свою пользу сицилійское королевство.

Одними воззваніями и проповѣдями папа и его монахи никакъ не могли составить партію, способную побѣдить нѣмцевъ и сарациновъ, Конрада и Манфреда. Чтобы выгнать изъ южной Италіи дѣтей Фридриха II, надо было бросить сицилійскую корону какому нибудь иностранному искателю приключеній. Папа обратился къ брату англійскаго короля Генриха III, графу Ричарду Корнуэльскому. Ричардъ отказался на томъ основаніи, что младшій сынъ Фридриха II, Генрихъ, былъ по своей матери его роднымъ племянникомъ. Въ то время, когда шли эти переговоры между папой и Ричардомъ, племянникъ послѣдняго, молодой Генрихъ, скоропостижно умеръ. Папскіе агенты тотчасъ распространили слухъ, что его отравилъ Конрадъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Конрадъ также умеръ. Папа въ этой смерти усмотрѣлъ также дѣйствіе яда и обвинилъ Манфреда. Чтобы раздвинуть швабскую династію въ общественномъ мнѣніи, пылкая фантазія клерикаловъ создала

дѣлю съ самыми неправдоподобными преступленіями. Фридрихъ II, по ихъ словамъ, урилъ двоихъ дѣтей своего старшаго сына Рихарда, того, который потомъ бунтовалъ; Манфредъ задушилъ подушками своего отца Фридриха II, когда тотъ лежалъ больной въ постели; потомъ Конрадъ отравилъ своего брата Рихарда младшаго, и наконецъ Манфредъ отравилъ Конрада. Тутъ опять папа, съ своей стороны ему отважностью, пересолнилъ и изорвалъ все дѣло. Ужасовъ оказалось до такой степени много, что только однѣ старыя бабы пришли за чистую монету. Разсудительные же и пожали плечами, улыбнулись и приняли по дѣлю, что клерикалы умѣютъ преслѣдовать своихъ враговъ самыми неблагоприятными средствами.

Послѣ Конрада остался трехлѣтній Конрадинъ. Опекунъ этого ребенка, маркузъ фонъ-Гохбергъ, попробовалъ обратиться къ ликодущію папы и постарался увѣрить его въ томъ, что трехлѣтній мальчикъ не могъ сдѣлать никакого преступленія, что у него не было за что отнимать отцовское наследство, что можно будетъ воспитать, какъ прикажетъ папа, и что, стало быть, онъ навѣрное и самымъ благочестивымъ и покорнымъ изъ возможныхъ императоровъ и сицилійскихъ королей. Всѣ старанія Гохберга пропали даромъ. Иннокентію IV ничѣмъ нельзя было промолчать. Онъ очень откровенно отвѣчалъ нѣмцамъ, что беретъ себѣ сицилійское королевство, и что впослѣдствіи, когда Конрадинъ вырастетъ, онъ, папа, самъ увидитъ и рѣшитъ, можно-ли будетъ оказать этому молодому вѣку какую-нибудь милость.

Въ это время у папы были завязаны переговоры насчетъ сицилійскаго королевства съ четырьмя претендентами—съ Ричардомъ Корнуэльскимъ, съ Эдмундомъ, сыномъ англійскаго короля Генриха III, съ опекуномъ Конрада и съ братомъ Людовика Святого, Карломъ Жуйскимъ, который впоследствии дѣйствительно завоевывалъ южную Италію и Сицилію. Изъ этихъ просителей папа оставилъ ни при чемъ Ричарда и Эдмунда. Разсчитывая на ту путаницу, которую дѣла въ Италіи могла произвести смерть Конрада въ такомъ усмиренномъ королевствѣ, Иннокентій обратился къ неугасшему усердію гвельфскихъ республикъ Ломбардіи, Тосканы и анконской марші, на которыхъ онъ и составилъ изъ всѣхъ этихъ республикъ отрядъ въ Генуѣ, и, составивъ изъ всѣхъ этихъ республикъ сильную армію изъ всевозможныхъ отрядовъ до грабежа и до дешевыхъ выдумокъ, самъ повелъ своихъ солдатъ въ неупомянутыя области. Гохбергъ, не зная что дѣлать, далъ верховную власть Манфреду. Манфредъ подумалъ, что всего благоразумнѣе будетъ обратиться къ папѣ и потомъ, выждавъ удобнаго случая, взять назадъ сдѣланный ему уступокъ. Манфредъ пошелъ на встрѣчу къ папѣ,

*) Это не тотъ Генрихъ, который бунтовалъ противъ своего отца. Тотъ умеръ въ тюрьмѣ еще при жизни Фридриха II. А этотъ Генрихъ остался послѣ отца несовершеннолѣтнимъ.

въ ему свою полную покорность, порадовался ему, что законный сюзеренъ прѣхалъ самъ имать свое королевство,—и собственно учено перевелъ лошадь папы черезъ рѣку Гальяно, составлявшую сѣверную границу сицилійской территоріи. Папѣ и этого было мало. А нимѣ бѣхали сицилійскіе магнаты, изгнанные изъ королевства при Фридрихѣ и при Конрадѣ. Эти господа смотрѣли на Манфреда черезъ плечо, не кланялись ему при встрѣчѣ и не скрывали своего намѣренія обращаться съ потомками и съ приверженцами Фридриха, какъ съ побѣжденными врагами католической церкви и законнаго правительства. Папа своими собственными путниками поддерживалъ всѣ надежды бывшихъ изгнанниковъ. Онъ отобралъ у Манфреда значительную часть его помѣстій и передалъ ихъ одному изъ возвратившихся эмигрантовъ, личному врагу Манфреда, Борелло д'Англоне.

Вскорѣ послѣ этого Манфредъ и Борелло встрѣтились на дорогѣ; оба были злы другъ на друга; у обоихъ оружіе было подъ рукою; у обоихъ была подъ начальствомъ толпа задорныхъ и храбрыхъ воиновъ; при встрѣчѣ началась перебранка, потомъ завязалась драка; потомъ Борелло, смертельно раненный, свалился съ лошади; дѣло вышло, по-тогдашнему, очень простое, совершенно извинительное и гораздо болѣе похожее на импровизованную дуэль, чѣмъ на убійство. Еслибы англійскимъ присяжнымъ предложили, по этому случаю, вопросъ: виновенъ-ли Манфредъ въ преднамѣренномъ убійствѣ? то они навѣрное отвѣтили бы: невиновенъ. Но папа объявилъ, что онъ будетъ судить Манфреда, какъ убійцу. Папа съ особеннымъ удовольствіемъ собирался вздернуть на висѣлицу сына Фридриха, отчасти для того, чтобы наглядно изобразить свое полное презрѣніе къ правамъ швабской династіи, отчасти же для того, чтобы этимъ ударомъ избавиться отъ самаго даровитого и единственнаго опаснаго изъ своихъ противниковъ. Здѣсь опять Иннокентій зарвался слишкомъ далеко и своею непомерною горячностью испортилъ дѣло. Манфредъ не былъ расположенъ повиноваться папѣ до висѣлицы включительно. Манфредъ бѣжалъ отъ своихъ преслѣдователей и пробрался глухими проселками въ городъ Лучерію, къ сарацинамъ, которые боготворили память индифферентиста Фридриха и конечно не могли ожидать себѣ ничего хорошаго отъ папскаго правительства. Въ Лучеріи Манфредъ нашелъ и деньги, и армию. Черезъ нѣсколько дней послѣ своего прибытія къ сарацинамъ Манфредъ разсѣялъ двѣ папскія арміи, приблизившіяся къ Лучеріи. Но Иннокентій уже не получилъ извѣстія объ этихъ неудачахъ. Когда разбитые папскіе полководцы отступили къ Неаполю, они узнали, что папа, находившійся въ этомъ городѣ, недавно скончался. Манфредъ сдѣлался

сицилійскимъ королемъ и процарствовалъ больше десяти лѣтъ, съ 1255 до 1266 года.

Иннокентія IV можно назвать однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ разрушителей средневѣковаго уклада. Съ тѣхъ поръ какъ онъ сѣлъ на папскій престолъ, вся его жизнь была постоянной, напряженной и неумолимой борьбой. Онъ не давалъ пощады ни раскаянію, ни покорности, ни даже младенческой невинности. Онъ преслѣдовалъ своихъ враговъ за предѣлами гроба. Онъ мстилъ дѣтямъ и внукамъ за грѣхи отцовъ и дѣдовъ. Онъ хватался безъ разбору за всѣ средства, какія только попадались ему подъ руку. Кровопролитная война, революціонныя воззванія, подкупъ, клевета, кинжалъ и ядъ заговорщиковъ или наемныхъ убійцъ — все шло въ дѣло, все было одинаково хорошо для папы, лишь бы только наносило сильный вредъ отверженной династіи Гогенштауфеновъ. Нравственная неразборчивость и неистощимая энергія Иннокентія IV расшатали до основанія старое зданіе священной римской имперіи и въ то же время значительно ускорили неизбежное паденіе папскаго могущества. Тѣ героическія средства, за которыя ухватился Иннокентій, вредили почти одинаково сильно и тому, противъ кого они были направлены, и тому, кто ими пользовался. Сдѣлавшись самымъ горячимъ и дѣятельнымъ коноводомъ партіи, главою сицилійскихъ мятежниковъ, подстрекателемъ заговорщиковъ, распространителемъ ложныхъ слуховъ — папа могъ одержать и дѣйствительно одержалъ надъ своими врагами нѣсколько важныхъ побѣдъ, которыя погубили династію Гогенштауфеновъ, но всѣ эти побѣды покупались цѣною того благоговѣнія, которое чувствовала католическая Европа къ своему первосвященнику и которое, разумѣется, составляло единственное возможное основаніе папскаго могущества.

Это благоговѣніе было значительнымъ капиталомъ, съ котораго папы, при нѣкоторой умѣренности, могли бы получать, изъ году въ годъ, втеченіе многихъ столѣтій, очень хорошіе проценты. Конечно, распространеніе знаний и возрастающая быстрота умственнаго движенія современемъ уничтожили бы этотъ капиталъ. Но если бы сами папы умѣли быть бережливими, то они могли бы въ значительной степени замедлить умственное освобожденіе Европы и удержать за собой, на очень долгое время, огромное вліяніе на весь ходъ европейской политики и на все развитіе европейской мысли. Къ счастью, такая систематическая бережливость была невозможна. Папы выходили изъ того общества, которое давало всѣмъ своимъ страстямъ самый широкій просторъ. Какой-нибудь графъ Синибальдъ Фіеско смотрѣлъ на жизнь, на человѣческія общества и на текущую политику съ той же точки зрѣнія, на ко-

торой стоялъ какой-нибудь маркиз д'Эсте или синьоръ ди-Романо. Становясь папой, онъ конечно не могъ вдругъ переродиться. Онъ оставался человѣкомъ своего времени, человѣкомъ страстнымъ, близорукимъ и глубоко убѣжденнымъ въ неистощимости того капитала, который отдавался въ его распоряженіе. Онъ наслаждался своей властью до самозабвенія. Онъ не умѣлъ и не хотѣлъ отличать капиталъ отъ процентовъ. Онъ тратилъ капиталъ такъ беззаботно и смѣло, какъ будто бы списокъ папъ долженъ былъ закончиться его именемъ. Онъ дѣлалъ это не изъ равнодушія къ судьбѣ папства, не по тому побужденію, вслѣдствіе котораго Людовикъ XV, чувствуя близость переворота, говорилъ съ пріятной улыбкой: *Après moi le déluge!* — Нѣтъ. Забѣяка, сдѣлавшійся папой, нисколько не думалъ о далекомъ будущемъ, пребывая въ той утѣшительной и несокрушимой увѣренности, что это будущее, вплоть до самаго свѣтопреставленія, во всѣхъ своихъ существенныхъ чертахъ, будетъ неизмѣнно-вѣрнымъ повтореніемъ настоящаго. Волнуя всю католическую Европу проклятіями, интердиктами и крестовыми походами, изъ-за такихъ вопросовъ, которые не имѣли ничего общаго съ дѣйствительными потребностями религіи и церкви, желая превратить каждую свою прихоть въ общеобязательный законъ, буйные папы, подобныя Иннокентію IV, были твердо увѣрены въ томъ, что ихъ преемники, вплоть до свѣтопреставленія, сохранятъ способность принимать такіа же крутыя мѣры, наводить такой же ужасъ на цѣлыя государства проклятіями и интердиктами, собирать такіа же многочисленныя толпы хищныхъ крестоносцевъ и такъ же безнаказанно предаваться удовлетворенію личныхъ прихотей. Имъ никогда не приходило въ голову, что самое острое и превосходно-закаленное оружіе можетъ притупиться и попортиться отъ слишкомъ частаго и безалабернаго употребленія. Въ жизни тогдашняго общества показывались уже такіе признаки, надъ которыми папамъ стоило призадуматься, но эти признаки, эти грозныя *знаки времени* понимались всегда совершенно превратно тѣми людьми, которымъ выгодно вѣрить въ вѣчную неподвижность человѣческой мысли.

Папамъ случалось замѣчать не разъ, что ихъ энергическія мѣры производятъ несовершенство впечатлѣнія, на которое они рассчитывали. Случалось напримѣръ, что отлученные отъ церкви, отъ которыхъ, по настоящему, каждый добрый католикъ долженъ былъ бѣжать, какъ отъ зачумленныхъ, возбуждали состраданіе и сочувствіе въ такихъ людяхъ, которыхъ невозможно было заподозрить ни въ еретическомъ образѣ мыслей, ни въ религіозномъ индифферентизмѣ. Если бы папа, въ пылу боевого задора, былъ способенъ восходить отъ частныхъ

явленій къ общимъ причинамъ, то нѣкоторые факты, встрѣчавшіеся очень часто, были бы навести его на ту мысль, что проклятія понемногу утрачиваютъ свою силу и что, разсыпая ихъ слишкомъ щедрой рукою, можно окончательно уронить ихъ значеніе. Папа останавливался всегда на частныхъ причинахъ и нисколько не принималъ его за средство, указывающій на общее положеніе умовъ. Отлученіе не подѣйствовало — ну, значить надо ступить въ ходъ какое-нибудь другое средство. Оно было неэффективно и послѣднее; одна палка сломалась — такъ стоитъ ли разсуждать о томъ, отчего она сломалась, и что значить это происшествіе? Надо поскорѣе взять другую палку потверже покрѣпче. Главное дѣло — обработать внутреннюю сторону; а какой палкой это будетъ дѣлать и сколько палокъ будетъ на это израсходовано — объ этомъ незачѣмъ задумываться. Понимая, что при такомъ исключительно-воинственномъ взглядѣ на дѣло, папы дѣйствовали какъ наперекоръ тѣмъ указаніямъ, которые при глубокомъ размысленіи, могли бы выйдти для себя изъ знаменъ времени. Эти знаменъ говорили имъ о необходимости сократить расходы и о возможности убить весь капиталъ католическаго благоговѣнія; а папы видѣли только, что въ данномъ случаѣ надо прикрикнуть и приударить, то есть, усилить расходы для полученія желаемого эффекта. При такой системѣ хозяйства, папы на всѣхъ нарушаютъ не только неизбѣжному банкротству, и историкъ долженъ за это изъяснять имъ искреннюю благодарность тѣмъ энергическимъ людямъ, которые подобно Иннокентію IV своими трудами и подвигами приближали наступленіе этого банкротства, необходимаго для успешнаго освобожденія Европы.

Однимъ изъ самыхъ выразительныхъ *знаменъ времени*, по обыкновенію непонятныхъ папамъ, было поведеніе благочестиваго французскаго короля, Людовика IX, котораго католическая церковь причислила къ лику святыхъ. Но честотѣ и пылкости своего католическаго убоженія, Людовикъ IX, въ XIII столѣтіи, былъ такъ чуждъ, чѣмъ была въ XI вѣкѣ графиня Матильда, вѣрная союзница Григорія VII. Вся политика Людовика IX была подчинена чисто-правдивымъ и религіознымъ соображеніямъ. Цѣль его жизни состояла въ томъ, чтобы всегда и всюду быть послушнымъ сыномъ церкви. Но, не смотря на всѣ старанія папы натравить его на императора Фридриха, Людовикъ IX во все время борьбы соблюдалъ самый строгій нейтралитетъ. Когда папа пріѣхалъ во Францію, Людовикъ принялъ его самымъ почтительнымъ образомъ и не помѣшалъ ему собирать въ Лионѣ тотъ соборъ, на которомъ Фридриха отлучили отъ церкви. Но когда папа произнесъ этотъ приговоръ, Людовикъ не отшатнулся отъ импера-

ора, не прервалъ съ нимъ дружескихъ сношеній, и, не осуждая поведенія папы, ходатайствовалъ передъ нимъ постоянно за отлученнаго Фридриха, не смотря на то, что приговоръ Лионскаго собора подвергалъ отлученію съѣхъ тѣхъ людей, которые будутъ оказывать императору какое бы то ни было содѣйствіе или доброжелательство. Заступничество Людовика было, правда, въ высшей степени скромно и почтительно; онъ ограничивался тѣмъ, что передавалъ папѣ миролюбивыя предложенія императора; но уже и того было довольно, что Людовикъ IX, этотъ послѣдній изъ крестоносцевъ, не считалъ возможнымъ для себя стать рѣшительно на сторону папы и сражаться за его дѣло всѣми силами своего оружія. Уже одно это обстоятельство могло показать папѣ, что его насильственными поступками возмущается совѣсть самыхъ честныхъ людей и самыхъ покорныхъ католиковъ его времени. Иннокентій не осмѣлился дѣйствовать противъ Людовика IX церковными проклятіями, но за то и не обратилъ никакого вниманія на тотъ урокъ, который заключался въ его нейтралитетѣ. Возмущивъ совѣсть святого короля неумолимымъ преслѣдованіемъ, направленнымъ противъ Фридриха, Иннокентій IV продолжалъ возмущать ее еще больше своими постоянными и разнообразными усиліями обобрать Конрада, Манфреда и трехлѣтняго Конрадина.

Другой знакъ времени, также очень выразительный, состоялъ въ томъ, что нѣкоторые французскіе магнаты, тронутые несчастіями императора Фридриха, обязались ограничить судебную власть духовенства и принимать подъ свое покровительство тѣхъ отлученныхъ, которые, по ихъ мнѣнію, окажутся невинными жертвами клерикальнаго властолюбія. Главными представителями этого возникающаго французскаго гибелинизма были герцоги Бретанскій и Бургундскій, и графы Ангулемскій и Сенъ-Поль. Этотъ урокъ принесъ папѣ еще меньше пользы, чѣмъ предыдущій. Въмѣсто того, чтобы воздерживаться отъ такихъ приговоровъ, которые могли показаться несправедливыми, папа разразился проклятіями противъ членовъ антиклерикальной лиги, поднялъ противъ нихъ все французское духовенство, запугалъ однихъ своими угрозами, подкупилъ другихъ деньгами и бенефиціями, и дѣйствительно задавилъ на время возникшее движеніе, нисколько не устранивъ постоянныхъ причинъ, порождавшихъ и поддерживавшихъ въ обществѣ негодованіе противъ злоупотребленій духовной власти.

Римляне также нашли возможность выразить папѣ Иннокентію IV, что они недовольны его поведеніемъ. У римлянъ, со времени Арнольда Брешианскаго, удержались республиканскія учрежденія; но въ началѣ XIII вѣка граждане, желая придать правительству больше силы,

уничтожили сенатъ и вручили верховную власть одному выборному правителю, который получилъ титулъ сенатора. Эта перемѣна принесла народу мало существенной пользы. Сенаторъ выбирался обыкновенно изъ мѣстныхъ дворянъ и относился такъ добродушно къ безчинствамъ своихъ благородныхъ соотечественниковъ, что простые люди ни на одну минуту не могли быть спокойны за свою личность и за свою собственность. Римъ былъ усыянъ сотнями дворянскихъ башенъ; большая часть древнихъ строеній была превращена въ крѣпости; по ночамъ предприимчивые дворяне выходили изъ своихъ убѣжищъ, разбивали купеческія лавки и выгребали изъ нихъ до-чиста всѣ товары; не довольствуясь этой добычей, они врывались въ дома, захватывали въ плѣнъ мирныхъ гражданъ, и потомъ заставляли ихъ выкупаться на волю. Въ то время, когда Иннокентій IV жилъ въ Лионѣ, римскіе дворяне разгулялись такъ широко, что терпѣніе народа истощилось. Граждане рѣшились призвать къ себѣ сенатора изъ чужого города и предложили эту должность, съ неограниченной властью, одному болонскому дворянину, Бранкалеоне д'Андало, графу Казалеккію, извѣстному по своей неподкупной честности и неумолимой строгости. Бранкалеоне потребовалъ отъ римлянъ, чтобы они вручили ему диктаторскую власть на три года и на все это время отравили въ Болонью, ввидѣ заложниковъ, тридцать молодыхъ людей изъ самыхъ знатныхъ и, слѣдовательно, самыхъ буйныхъ римскихъ фамилій. Римляне исполнили эти требованія, и Бранкалеоне, въ началѣ 1253 года, пріѣхалъ въ Римъ судить и рядить. Онъ взялся за свое дѣло очень горячо и добросовѣстно. Ни одинъ насильственный поступокъ не оставался безнаказаннымъ; дворянскія крѣпости падали одна за другою передъ оружіемъ неумолимаго сенатора; хозяева этихъ крѣпостей, за вооруженное сопротивленіе правительству, подвергались смертной казни за мѣстѣ преступленія. Возстановивъ спокойствіе внутри города, Бранкалеоне задумалъ распространить господство Рима на мелкіе города, разбросанные по его окрестностямъ. Съ этой цѣлью сенаторъ послалъ письмо къ жителямъ Террачины, приглашая ихъ подчиниться римскому правительству. Иннокентій IV, жившій въ это время въ Ассизѣ, вступился за Террачину и отправилъ въ Римъ буллу, въ которой доказывалъ сенатору, что Террачина, находясь въ непосредственной вассальной зависимости отъ папскаго престола, не обязана подчиняться Риму, и что онъ, папа, будетъ всѣми своими силами поддерживать террачинскихъ гражданъ, если сенаторъ не оставитъ ихъ въ покоѣ. Тутъ Бранкалеоне, нисколько не испугавшись, принялся усмирять самого папу.

«Въ это самое время — говоритъ Матвій Парисъ — такъ какъ папа жилъ уже нѣсколько

мѣсяцевъ въ Ассизѣ, торжественное посольство предъявило ему, отъ имени римлянъ и сенатора Бранкалеоне, приказаніе возвратиться безъ замедленія въ тотъ городъ, въ которомъ онъ былъ пастыремъ и верховнымъ святителемъ. Римляне прибавили, что они удивляются, видя, какъ онъ шатается по разнымъ мѣстамъ, подобно бродягѣ или изгнаннику, и какъ онъ бѣгаетъ за деньгами, оставляя Римъ, свою святительскую резиденцію, и то стадо, за которое онъ обязанъ отдать строгій отчетъ Верховному Судьѣ. Сенаторъ и римскіе граждане объявили также ассизскому народу, что они запрещаютъ ему держатъ у себя долгие первосвященники, который получаетъ свое названіе отъ Рима, а не отъ Ліона, не отъ Перуджин и не отъ Ананьи (тѣ мѣста, въ которыхъ долго жилъ папа). Они требовали, чтобы городъ Ассиза выславъ его вонъ, если не желаетъ, чтобы его территория была разорена на вѣчныя времена. Иннокентій понялъ тогда, что если онъ не воротится въ Римъ, то городъ Ассиза будетъ уничтоженъ раздраженными римлянами, такъ точно, какъ были подвергнуты разоренію Остія, Порто, Тускулумъ, Альба, Сабина и въ недавнее время Тиволи. Онъ явился въ Римъ поневолѣ и съ великимъ трепетомъ. Однакожъ, по приказаніямъ сенатора, его приняли съ почтотомъ. (Sismondi, т. II, p. 313).

Посольство римлянъ къ Иннокентію было конечно чрезвычайнымъ выразительнымъ знакомъ времени. Народу очевидно очень не нравились свѣтскій характеръ тѣхъ предпріятій, которыми глава католической церкви посвящалъ всѣ свои силы. Римляне очень наглядно противопоставляли *бытанье за деньгами* пастырскимъ заботамъ о спасеніи христіанскихъ душъ. Папѣ очень не трудно было замѣтить, что его дѣйствія начинаютъ подвергаться самой строгой критикѣ, что этой критикой занимаются уже не отдѣльныя личности, а дѣлы народныхъ массы, и что возрастающее неудовольствіе налагается на него, въ интересахъ самого-же папства, прямую обязанность соблюдать въ своихъ поступкахъ ту крайнюю осторожность, которую я выше называлъ бережливостію. Но папство изъ всего этого эпизода вынесло только то правоученіе, что Бранкалеоне опасный человѣкъ, котораго слѣдуетъ какъ-нибудь устранить и задавить. Самому Иннокентію впрочемъ некогда было заняться этимъ дѣломъ. Онъ опять улизнулъ изъ Рима при первой возможности, отправился мутить воду въ сицилійскомъ королевствѣ и вслѣдъ затѣмъ умеръ въ Неаполѣ. Но его преемникъ, Александръ IV, помнилъ очень хорошо, что сенатора Бранкалеоне слѣдуетъ проучить.

Въ Римѣ было конечно много недовольныхъ. На сенатора были сердиты всѣ тѣ люди, которымъ неудобно было грабить и озорничать. При

своихъ буйныхъ наклонностяхъ и привычкахъ эти недовольные были особенно способны извести вооруженное возстаніе. Во главѣ невольныхъ стала знатная дворянская фамилія Аннибальдески. Возстаніе вспыхнуло и разгоралось очень успѣшно. Сенатора выгнали изъ Капитолія и засадили въ тюрьму. Навѣрно тотчасъ множество жалобъ на его прѣстѣль. Новый сенаторъ, Эммануэль Маджи изъ Брешіи началъ противъ него судебное преслѣдованіе, и всѣ были увѣрены, что графу Казалекию сдобровать.

Бранкалеоне, при первыхъ признакахъ приближающагося возмущенія, успѣлъ отправить жену свою въ Болонью и поручилъ ей только просить болонскій сенатъ, чтобы онъ ни подъ какимъ видомъ не выпускалъ изъ своихъ рукъ римскихъ заложниковъ, которые должны были ручаться собственными особами за личную безопасность и неприкосновенность римскаго правителя. Болонцы исполнили эту просьбу своего соотечественника и отправили Римъ депутацію, которая потребовала его освобожденія.

Въ это время папа Александръ IV обождалъ свое пламенное желаніе погубить арестованнаго сенатора. Онъ сталъ объяснять болонцамъ, что они заступаются за отъявленнаго гибелина, имѣющаго дерзость сочувствовать нечестивому Манфреду, отлученному отъ церкви. Онъ настоятельно потребовалъ отъ болонцевъ, чтобы они отпустили римскихъ заложниковъ въ случаѣ неповиновенія онъ посулилъ всѣ ужасы интердикта. Но болонцы, несмотря на свой ревностный гвельфизмъ, не поддались ни аргументамъ папы, ни его просьбамъ, ни угрозами. Римскіе заложники остались секвестромъ до тѣхъ поръ, пока римскіе стоكرаты не заблагоразсудили выпустить изъ тюрьмы бывшаго сенатора. Бранкалеоне гополучно выѣхалъ изъ Рима и, добравшись до Франціи, написалъ тамъ форменное откровеніе отъ тѣхъ правъ, которыя были предоставлены ему на три года волею римскаго народа. Порядки возобновились въ Римѣ, и два спустя народъ снова обратился къ знаменитому усмирителю слишкомъ рѣзвыхъ дворянъ. Бранкалеоне воротился въ Римъ и исполнилъ дѣло по-прежнему. Фамилія Аннибальдески почувствовала на себѣ тяжелую руку сената. Одни члены этого рода умерли на эшафотѣ, другіе отправились въ изгнаніе. Во время второго сенаторства графъ Казалекию до основанія сто сорокъ дворянскихъ башенъ. Александръ IV, огорченный до глубины вторичнымъ возвышеніемъ нечестивца и въ его дерзостными распоряженіями, попробовалъ отлучить его отъ церкви. Но папское прѣстѣль не озадачивало ни римлянъ, ни самого Бранкалеоне. Отлученный сенаторъ выгналъ

папу со всѣмъ его дворомъ. Потомъ Бранкалеоне напалъ на городъ Аванья, родину андра IV, и заставилъ тамошнихъ жителей подчиниться римскому правительству. Папа принужденъ просить мира у сенатора и съ него опрочетчиво брошенное про-

1258 году Бранкалеоне умеръ, и рим- дѣла скоро сошлись въ свою старую

XXIII.

совый походъ противъ Этчелино III.

чести Фридриха II надо замѣтить, что его смерти Этчелино почувствовалъ себя вольнѣе и сдѣлался еще свирѣпѣе. Послѣ года онъ буквально сталъ бросаться на , какъ бѣшеная собака. пытки слѣдовали тками, казни за казнями, безъ причины, цѣли и безъ смысла. Людей пытали не того, чтобы вывѣдать отъ нихъ какую- тайну, а для того, чтобы переломать юсти; людей казнили не для того, чтобы ить имъ за какой-нибудь непонравившійся юкъ, а для того, чтобы проливать на скихъ площадяхъ человѣческую кровь. ино преслѣдовалъ и истреблялъ въ своихъ нныхъ все то, что обыкновенно обра- на себя вниманіе, что выдвигаетъ чело- изъ толпы, что возбуждаетъ въ людяхъ и уваженіе. Онъ душилъ дворянъ за то, ни носили слишкомъ громкія имена; бога- суицовъ—за то, что они слишкомъ успѣшно свои денежныя дѣла; ученыхъ юрискон- овъ—за то, что они слишкомъ прилежно ались наукой; благочестивыхъ прелатовъ, иковъ и монаховъ—за то, что они слиш- усердно молились и постились; наконецъ красивыхъ молодыхъ людей—за то, что ыли молоды и красивы.

б побуждало тирана дѣйствовать такимъ ъмъ—неутолимая ли зависть ко всякимъ ѣческимъ достоинствамъ и дарованіямъ, койная ли подозрительность, заставлявшая идѣть коновода будущаго возстанія во й сколько-нибудь замѣтной личности, слѣ- и кровожадность, превратившаяся въ мо- ію—это я не берусь рѣшить. Надо быть иромъ, чтобы угадывать чувства и мысли й исключительно-уродливыхъ субъектовъ, ѣ глубоко-больныхъ людей, какъ Этче- III.

слѣ смерти Фридриха II, Этчелино не бо- ничего на свѣтѣ и старался производить жестокости какъ можно публичнѣе и тор- еннѣе. Когда узники умирали въ зара- мъ воздуха его темницъ, онъ отсылалъ

ихъ трупы въ ихъ родные города, и палачи рубили имъ головы на городской площади. Иногда арестованныхъ людей выводили на пло- щадь цѣлыми сотнями; на нихъ бросался въ атаку кавалерійскій отрядъ, и черезъ нѣсколько минутъ все приведенное стадо было изрублено и раздавлено. Затѣмъ трупы разрѣзывались на куски и сжигались на приготовленныхъ ко- страхъ. Показывая своимъ подданнымъ такія яркія картины, Этчелино конечно не заботился о томъ, чтобы шадить ихъ слухъ; застѣвки, въ которыхъ производились пытки, были устроены такъ, что стоны и крики мучениковъ были слышны и на улицахъ, и въ домахъ. Эти крики ни днемъ, ни ночью не давали покоя жите- лямъ. Работа палачей шла безостановочно, и каждый гражданинъ Падуи, Вероны или Ви- ченцы, прислушиваясь къ застѣвочнымъ мело- діямъ, имѣлъ основаніе надѣяться, что и ему самому придется въ ближайшемъ будущемъ брать такія-же точно высокія и произитель- ныя ноты. Такая жизнь доставляла гражда- намъ мало удовольствія, такъ мало, что они готовы были бросить имущество, родину, даже семейство, и бѣжать, куда глаза глядятъ, на край свѣта, за полярный кругъ, къ какимъ-нибудь нехристямъ и басурманамъ, лишь-бы только вырваться изъ того ада, который былъ устроенъ для нихъ остроумнымъ и изобрѣта- тельнымъ ихъ повелителемъ. Но повелитель самъ зналъ очень хорошо, что отъ него всѣ поддан- ные разбѣгутся и что онъ останется въ своихъ городахъ одинъ съ своими главными чиновни- ками, если не приметъ заблаговременно самыхъ строгихъ мѣръ для прекращенія выѣздовъ и побѣговъ. Поэтому всѣ владѣнія Этчелино были оцѣплены сильнѣйшимъ кордономъ пограничной стражи, которой было приказано никого не впускать и никого не выпускать. Когда этимъ караульщикамъ случилось изловить бѣглеца, тогда они, безъ дальнѣйшаго изслѣдованія, вы- калывали ему глаза или рубили ногу, чтобы укрѣпить въ его прихотливомъ сердцѣ любовь къ отечеству и къ существующему порядку.

Въ 1253 году Этчелино, несмотря на свою шестидесятилѣтнюю опытность и осторожность, чуть-чуть не погибъ самымъ глупѣйшимъ обра- зомъ. Къ нему привели въ Верону, для допро- совъ и пытокъ, двухъ арестованныхъ дворянъ, братьевъ Монте и Аральдо ди-Монселиче. Эт- челино сидѣлъ за обѣдомъ; поровнявшись съ его дворцомъ, плѣнники начали ругаться и кри- чать такъ громко, что Этчелино не выдержалъ и выскочилъ къ нимъ на улицу, чтобы тотчасъ подвергнуть ихъ какому-нибудь фантастически- ужасному истязанію. Въ недобрый часъ пришли эти измѣнники! прошипѣлъ Этчелино и съ этими словами подбѣжалъ къ нимъ такъ близко, что одинъ изъ нихъ, Монте, бросился на него и въ одну секунду смялъ его подъ себя,

прежде чѣмъ конвойные солдаты успѣли ухватить и остановить арестованнаго. Повалившись вмѣстѣ съ Этчелино на землю, Монте не терялъ даромъ времени; руками онъ обыскивалъ платье тирана, стараясь найти кинжалъ, а зубами грызъ физиономію своего врага, который начиналъ убѣждаться въ томъ, что часъ былъ дѣйствительно недобрый. Не найдя кинжала, Монте перенесъ руки туда-же, гдѣ дѣйствовали зубы, и превратилъ лицо своего повелителя въ одну сплошную рану. Солдаты въ это время конечно не стояли сложа руки. Одинъ изъ нихъ отрубилъ у Монте правую ногу; другіе изрубили Аральдо, увлеченнаго примѣромъ брата и брошившагося къ нему на помощь. Но Монте дошелъ уже до той степени изступленія, гдѣ человѣкъ перестаетъ чувствовать боль, забываетъ о самосохраненіи и сосредоточиваетъ всѣ физическія и нравственныя силы въ одномъ желаніи нанести врагу какъ можно больше вреда. Солдаты изрубили его въ куски, но онъ, какъ разъяренный бульдогъ, замеръ на своей добычѣ, и Этчелино, полумертвый отъ страха и отъ боли, высвободился изъ-подъ него только тогда, когда въ его тѣлѣ угасъ послѣдній остатокъ жизни. Синьору Этчелино долго пришлось оправляться отъ послѣдствій выдержанной борьбы.

Въ концѣ 1255 года надъ Этчелино собралась такая гроза, отъ которой было гораздо труднѣе уберечься, чѣмъ отъ зубовъ и ногтей арестованнаго дворянина.

Папа Александръ IV разослалъ ко всѣмъ епископамъ, магнатамъ и свободнымъ городамъ Ломбардіи циркулярныя посланія, направленные специально противъ Этчелино. «Сынъ погибели—писалъ папа—человѣкъ крови, отвергнутый церковью, Этчелино ди-Романо, самый безчеловѣчный изъ сыновъ человѣческихъ, пользуясь беспорядками вѣка, захватилъ тиранническую власть надъ несчастными жителями вашей страны. Онъ разрушилъ всѣ связи человѣческаго общества, всѣ законы евангельской свободы, ужасной казнью дворянъ, избіеніемъ плебеевъ. Но мы, заботясь о вашемъ спасеніи, особенно въ томъ, что относится къ Богу, мы облекли въ званіе нашего легата при васъ нашего возлюбленнаго сына, архіепископа Равеннискаго, для того, чтобы онъ, исполняя наши обязанности въ вашихъ провинціяхъ, разогрѣвалъ усердіе вѣрующихъ и преслѣдовалъ духовнымъ и свѣтскимъ оружіемъ Этчелино и его коварныхъ сообщниковъ; чтобы онъ возлагалъ символъ креста на тѣхъ вѣрующихъ, которые вооружатся противъ Этчелино; чтобы онъ ободрялъ ихъ, предлагая имъ въ награду тѣ-же индульгенціи, которыя даются воинамъ, идущимъ освобождать Святую землю». Мѣсяца черезъ три послѣ разсылки папскихъ циркуляровъ архіепископъ Равеннискій, въ мартѣ 1256

года, явился въ Венецію и началъ проповѣдывать крестовый походъ противъ угнетателей роиской мархин. Мѣсто для проповѣди было выбрано удачно. Въ Венеціи было много изгнанцевъ изъ Падуи и изъ другихъ городовъ, работорговцевъ и работорговцевъ. Эти выходцы, усталые убраться за границу, прежде чѣмъ Этчелино оцѣпилъ свои владѣнія кордонами, поставили хлопотали или по крайней мѣрѣ мечтали о освобожденіи своей родины. Появленіе папы и его проповѣдь показали имъ, что ихъ мечта можетъ осуществиться. Само собой разумеется, что выходцы, способные носить оружіе, собрались вокругъ архіепископа и приняли отъ него крестъ. Сами венеціанцы также давно мечтали случая погубить или по крайней мѣрѣ ослабить и унижить тирана, котораго жестокости въ имъ хорошо извѣстны и котораго близкое сѣдство казалось имъ очень неудобнымъ и опаснымъ. Чтобы окончательно расправиться венеціанцевъ въ пользу крестоваго похода падуанскіе выходцы выбрали себѣ въ числѣ венеціанскаго дворянина, Марко Кверенца, а гать провозгласилъ другого венеціанца, Марко Бадозеро—маршаломъ крестовою арміи. Очень многіе венеціанцы приняли крестъ и доставили легату корабли для того, чтобы плыть къ Падуѣ вверхъ по рѣкѣ Brenta.

Маркизъ д'Эсте, у котораго Этчелино отнялъ значительную часть его владѣній, присоединился къ крестоносцамъ, увлекая за собой родъ Феррару, находившійся подъ его господствомъ. Графъ Санъ-Бонифаціо, управившій Мантуей, примкнулъ къ той-же священной и Болонья также отпавила къ папскому и вспомогательный отрядъ.

Этчелино соединился съ маркизомъ Пембино и съ синьоромъ Буозо-да-Доара, которые оба господствовали въ Кремонѣ. Родной братъ Этчелино, Альберикъ, подчинившій себѣ Мантуизу, былъ тайнымъ союзникомъ тирана, и считался ревностнымъ гвельфомъ.

Неизвѣстно было, чью сторону примутъ вѣрующихъ въ этомъ городѣ гвельфы борясь съ гибелинами, но Этчелино надѣялся, что послѣдніе одолѣютъ и отдадутъ городъ въ руки. Чтобы не пропустить рѣшительной битвы, Этчелино, весной 1256 года, повелъ войска въ мантуанскую область, соприкасающуюся съ брешіанской территоріей. Занявшись въ этомъ стошеніемъ мантуанскихъ окрестностей, Этчелино приказалъ въ то-же время своему полководцу, Ансидизію Гвидотти, слѣдить за дѣяніями крестоносцевъ и не пропускать ихъ въ Падуѣ, черезъ рѣку Brenta.

Но Ансидизій былъ годенъ только на то, чтобы мучить и вѣшать беззащитныхъ падуанскихъ жителей. Онъ оказался до такой степени неспособнымъ и трусливымъ полководцемъ,

крестоносцы, находившіеся подъ начальствомъ папскаго легата, человѣка очень ограниченнаго совершенно незнакомаго съ военнымъ дѣломъ, перешли преспокойно черезъ Вренту, взяли вѣсколько укрѣпленныхъ замковъ, подступили къ Падую, сожгли деревянныя ворота города и наконецъ овладѣли самымъ городомъ, не встрѣивъ нигдѣ никакого серьезнаго сопротивленія. Въ то время, когда крестоносцы входили въ Падую черезъ одни ворота, Ансезидій поспѣшно ходилъ черезъ другія. Надо полагать, что пауанскіе выходцы составляли въ крестоносной арміи незначительное меньшинство. Только этимъ предположеніемъ можно объяснить себѣ обстоятельство, что крестоносцы, взявши Падую, ограбили ее до-чиста, не смотря на то, что жители не думали сопротивляться и встрѣили ихъ, какъ своихъ освободителей. Грабежъ продолжался цѣлую недѣлю.

Послѣ взятія города, папскій легатъ и новый падуанскій подеста, Марко Кверини, приказали строить тюрьмы, въ которыхъ Этчелино держалъ подозрительныхъ людей. Всѣхъ тюремъ было восемь. Двѣ изъ нихъ, самыя большія, заключали въ себѣ по триста плѣнниковъ. Другія, поменьше, были также биткомъ набиты. Всѣхъ узниковъ оказалось отъ 1,500 до 2,000 человѣкъ. Въ томъ числѣ было много женщинъ и дѣтей. Многіе узники находились при послѣднемъ издыханіи; почти всѣ были заморены до такой степени, что едва держались на ногахъ. Десятки дѣтей были изувѣчены: у однихъ были вырваны глаза, у другихъ—вырѣзаны половыя части.

Разсматривая внутреннее устройство и содержаніе отворенныхъ темницъ, падуанскіе граждане принуждены были сознаться, что крестоносцы, ограбившіе ихъ городъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ, все-таки оказали имъ великое благодѣяніе. Но счеты Падуи съ Этчелино III еще не были окончены. Въ арміи, стоявшей лагеремъ возлѣ Мантуи, подъ личнымъ начальствомъ тирана, было одиннадцать тысячъ падуанскихъ солдатъ. Этотъ отрядъ составлялъ слишкомъ третью часть всей арміи. Этчелино боялся со стороны этихъ падуанцевъ открытаго возстанія или, еще того хуже, измѣны во время сраженія. Онъ рѣшился уничтожить цѣлую третью своей арміи и обнаружилъ при этомъ всю свою находчивость, изворотливость и энергію. Какъ только онъ получилъ извѣстіе о взятіи Падуи, такъ тотчасъ же, не давая солдатамъ времени узнать о случившемся и сговориться, онъ повелъ свою армію форсированнымъ маршемъ въ Верону. Придя туда, онъ подъ какимъ-то предлогомъ приказалъ падуанцамъ сложить оружіе и собраться на площади, которую вслѣдъ затѣмъ окружили со всѣхъ сторонъ остальные войска тирана. Но арестовать 11,000 людей, даже и безоружныхъ, было все-таки довольно трудно. Эти люди, доведенные до отчая-

нія, могли поднять такую возню, въ которой погибли-бы сотни или даже тысячи солдатъ, посланныхъ для ихъ арестованія или истребленія. А Этчелино, рѣшаясь отнять у себя третью армію, долженъ былъ тѣмъ болѣе беречь остальныхъ двѣ трети, отъ которыхъ зависѣло его спасеніе въ дальнѣйшей борьбѣ съ крестоносцами. Этчелино постарался устроить такъ, чтобы падуанцы сами себя арестовали. Этчелино разсчитывалъ на человѣческую глупость и подлость, и этотъ расчетъ оправдалъ блистательнымъ образомъ всѣ его ожиданія. Этчелино объявилъ собравшимся падуанцамъ, что онъ гнѣвается на Падую, и что справедливый гнѣвъ его требуетъ себѣ жертвы; чтобы заслужить себѣ прошеніе, падуанскіе солдаты сами должны выдать ему служащихъ въ арміи уроженцевъ мѣстечка Пиеви-ди-Сакко, жители котораго передались врагамъ. Падуанцы очень обрадовались этому требованію, которое показывало имъ, что опасность, носившаяся надъ всѣми головами, обрушилась на одну отдѣльную группу ихъ товарищей. Тѣ, которые не были сами родомъ изъ Пиеви-ди-Сакко, благодарили Бога за свое спасеніе и находили, что Этчелино поступаетъ справедливо и великодушно. Уроженцы опальнаго мѣстечка смотрѣли на дѣло иначе, но они составляли ничтожное меньшинство. Ихъ схватили, связали и выдали тирану, который тотчасъ препроводилъ ихъ въ тюрьму. Быть можетъ многіе изъ нихъ сопротивлялись, но тѣмъ упорнѣе и кровопролитнѣе было ихъ сопротивленіе, тѣмъ больше удовольствія получалъ Этчелино, потому что весь трудъ схватыванія и связыванія былъ возложенъ на самихъ падуанцевъ, которые были обречены на поголовное истребленіе. Когда уроженцы Пиеви-ди-Сакко оказались въ сохранномъ мѣстѣ, Этчелино потребовалъ себѣ гражданъ Читтаделлы на томъ основаніи, что это мѣстечко безъ боя отворило ворота крестоносцамъ. На площади повторилась прежняя сцена, и связанные читтадельцы отправились умирать въ тюрьмы. Тогда Этчелино пожелалъ получить всѣхъ поселянъ, родившихся въ окрестностяхъ Падуи, то есть всѣхъ, кромѣ уроженцевъ самаго города. Тутъ разумѣется уже не могло быть того единодушія, съ которымъ произошло хватаніе и связываніе прежнихъ опальныхъ. Во-первыхъ, число жертвъ, потребованныхъ тираномъ, было уже слишкомъ велико; а во-вторыхъ, онъ требовалъ уже въ третій разъ; стало быть, не очень трудно было напасть на ту мысль, что это третьетребованіе не будетъ послѣднимъ. На площади долженъ былъ произойти серьезный раздоръ между тѣми, которые желали повиноваться до конца, и тѣми, которые требовали отчаяннаго сопротивленія. Этотъ раздоръ могъ только радовать Этчелино, потому что ссоры и драки вредили лишь однимъ падуанцамъ. Какъ-бы то

ни было, партія людей, желавших выдать своих товарищей и надѣявшихся купить себѣ этой цѣной помилованіе, за которое было заплачено уже два раза,—одержала побѣду. Затѣмъ падуанскіе горожане бросились на поселенцев, одолѣли ихъ и передали ихъ съ рукъ на руки вооруженнымъ солдатамъ тирана. Эччелино объявилъ, что теперь надо выдать всѣхъ дворянъ. Опять ссоры, драки, отчаянная возня, и потомъ церемоніальное шествіе связанныхъ людей въ веронскія тюрьмы. На окруженной площади остались только простые граждане, уроженцы самого города Падуи. Они, по всей вѣроятности, составляли половину того отряда, который былъ сначала приведенъ на площадь. Но при этомъ всѣ они были утомлены той борьбой, которую они должны были выдерживать во время четырехъ арестованій и связываній, быстро слѣдовавшихъ одно за другимъ. Многие изъ нихъ были, по всей вѣроятности, больно зашибены во время борьбы. Эччелино нашелъ, что не стоитъ съ ними дольше церемониться. На площадь вошли его вооруженные солдаты изъ помѣстья Педемонте, и началось связываніе тѣхъ самыхъ людей, которые въ одно утро четыре раза покупали себѣ прощеніе самыми неустрашными подвигами глупости и подлости.

Одиннадцать тысячъ человѣкъ столпились въ веронскихъ тюрьмахъ. Понятно, что они были набиты тамъ буквально какъ сельди въ боченкахъ. Недостатокъ воздуха, голодъ и жажда быстро сдѣлали свое дѣло. Изъ всей этой арміи, составлявшей лучшій цвѣтъ падуанскаго населенія, уцѣлѣло какимъ-то чудомъ двѣсти человѣкъ. Надо признаться, что послѣ такой мастерской штуки, Эччелино III имѣлъ достаточное основаніе глубоко презирать человѣчество.

Изъ Падуи крестоносное воинство двинулось къ Виченцѣ, недоходя до этого города, остановилось лагеремъ у мѣстечка Лонгары. Главнѣйшій командующій, Филиппъ, архіепископъ Равеннскій, занялся въ лонгарскомъ лагерѣ обжорствомъ и пьянствомъ, и солдаты его, охотно и усердно, по мѣрѣ силъ и возможности, стали подражать своему начальнику. Всѣ они ожидали чудесъ, и дѣйствительно нуждались въ чудесахъ для того, чтобы, при своемъ всестороннемъ убожествѣ, побѣдить опытнаго, искуснаго и неутомимо-дѣятельнаго Эччелино. Взятіе Падуи казалось имъ великолѣпнымъ началомъ тѣхъ сверхъестественныхъ успѣховъ, которые были имъ обѣщаны проповѣдниками, затянувшими ихъ въ крестовый походъ. Проживая награбленными деньгами, крестоносцы ласкали себя той надеждой, что и на будущее время ихъ дѣла будутъ устроиваться такъ же легко и пріятно, и что стѣны Вероны и Виченцы распадутся передъ ихъ святыми легіонами почти такъ же, какъ

распались въ древности стѣны Иерусалима еврейскими трубами и литаврами.

Пока крестоносцы баловали себя въ лагерѣ крѣпкимъ виномъ и пріятными мѣтами будущихъ побѣдахъ, къ нимъ въ лагерь ухалъ Альберикъ ди-Романо, въ видѣ римскаго гвельфа, желающаго сражаться вооруженными знаменами церкви. Дворяне, бывшіе въ крестоносной арміи, какъ спеціалисты по части политическихъ интригъ, склонны на пріѣздъ этого гвельфа съ величайшимъ довѣріемъ и готовы были считать его за зуччика, подосланнаго синьоромъ Эччелино. Легатъ Филиппъ былъ слишкомъ тупъ, чтобы тревожить свою жирную особу такими опасеніями, и слишкомъ увѣренъ въ собственной проницательности, чтобы обращаться къ чужимъ совѣтамъ. Онъ принялъ грубого Альберика за чистую монету и сталъ щастаться съ нимъ, какъ съ искреннимъ другомъ. Черезъ нѣсколько дней присутствіе Альберика принесло свои плоды: въ лагерѣ было возмущеніе; болонцы объявили, что не хотятъ служить безъ жалованья; вслѣдствіи распространился слухъ, что Эччелино подходитъ къ лагерю, и вдругъ вся крестоносная армія шарахнулась, какъ табунъ перепуганныхъ лошадей, по дорогѣ къ Падуѣ. Впереди всѣхъ пошелъ отрядомъ Альберикъ, который повидимому паническимъ страхомъ падуанскій подеста, Марко Кверини, вышедшій также при арміи, послалъ въ Падую съ приказаніемъ запереть всѣ ворота и не пускать въ городъ ни одного человѣка изъ лонгарскаго лагеря. Этотъ гонецъ былъ посланъ подестой при первыхъ признакахъ бѣгства, которое было произведено въ лагерѣ Альберика и его низшихъ агентовъ, имѣвшихъ полную возможность ходить по латкамъ и волновать своими розсказнями чужихъ и своевольныхъ солдатъ. Тогда гонецъ исполнилъ въ Падуѣ данное ему обещаніе, къ городскимъ воротамъ при которомъ Альберикъ съ своими сподвижниками уже были заперты. Ревностный гвельфъ умолялъ, чтобы ему отперли. Онъ умолялъ подесту, именемъ легата, именемъ папы. Но всѣ его просьбы оказались безуспѣшными. Онъ пошелъ стучаться въ другія ворота, потомъ въ третьи, въ четвертые, но всѣ были заперты. Тогда Альберикъ ухалъ къ себѣ въ Тревизу и больше не показывался въ лагерь крестоносцевъ. Планъ его, разбитый предусмотрительностью подесты, очевидно въ томъ, чтобы захватить измѣнническимъ образомъ Падую, въ которой, послѣ крестоносцевъ, оставалось очень мало способныхъ носить оружіе.

Черезъ нѣсколько дней самъ Эччелино явился осаждать Падую. Но у кресто-

уже устроенъ впереди города укрѣплен-
ный лагерь, въ которомъ имъ удалось отбиться
отъ нападеній Этчелино. Послѣ нѣсколькихъ
зaplодныхъ схватокъ, Этчелино отступилъ и
въ началѣ сентября распустилъ свою армію
будущаго года.

Весь слѣдующій 1257 годъ прошелъ безъ
случаевъ. Обѣ стороны, легатъ и Этчелино,
ожидали о томъ, чтобы на вербовать себѣ по-
мощныхъ союзниковъ. Легатъ ѣздилъ то въ Ми-
ланъ, то въ Брешию и старался помирить въ
этомъ городѣ дворянъ съ народомъ, а во
всѣхъ гвельфиновъ съ гвельфами. Этчелино,
противъ того, подзадоривалъ миланскихъ дво-
рянъ и брешианскихъ гвельфиновъ и убѣдительно
просилъ тѣхъ и другихъ принять его безко-
слѣстное содѣйствіе. Безкорыстіе синьора Этче-
лино никому не внушало особенно-сильнаго
вѣрѣнія, и тѣ партіи, съ которыми онъ поддер-
живалъ сношенія, не торопились принимать его
содѣйствіе.

Въ 1258 году брешианскіе гвельфы одержали
побѣду надъ гвельфинами и увлекли свою ро-
ду въ священную лигу, составленную про-
тивъ Этчелино. Въ то время, когда легатъ
сповѣдывалъ и распоряжался въ Брешии, онъ
получилъ извѣстіе о томъ, что кремоняне, союзи-
ки Этчелино, двинулись къ рѣкѣ Оліо и осади-
ли тамъ замки Волонго и Турричеллу. Легатъ
пошелъ къ нимъ на встрѣчу, захвативъ съ со-
бой всѣхъ своихъ крестоносцевъ и брешиан-
скихъ гвельфовъ. Вдругъ Этчелино появился
на члѣ гвельфской арміи. Крестоносцы вообра-
жали себѣ, что они отрѣзаны и окружены со
всѣхъ сторонъ врагами. Все священное воин-
ство бросилось въ разсыпную. О сопротивленіи
никто и не думалъ. Солдатамъ Этчелино остава-
лось только ловить бѣглецовъ. Четыре тысячи
брешианцевъ, мантуанскій подеста, великое мно-
жество всякаго крестоноснаго сброда и даже
самъ легатъ Филиппъ попались въ плѣнъ. Кре-
стоносная армія совершенно исчезла послѣ
этого пораженія.

Гвельфы, оставшіеся въ Брешии, сдѣлались
крайности любезными съ мѣстными гвельфи-
нами, когда узнали объ уничтоженіи церков-
ной арміи. Гвельфины, попавшіе въ тюрьму послѣ
бѣды гвельфской партіи, получили теперь
свободу и даже доступъ ко всѣмъ обществен-
нымъ должностямъ. Эти любезности нисколько
не обезоружили гвельфиновъ. Они хотѣли вос-
пользоваться вполнѣ тѣмъ праздникомъ, кото-
рый появился на ихъ улицѣ. Они хотѣли потѣ-
диться надъ своими врагами такъ точно, какъ
и враги въ свое время тѣшились надъ ними.
Вѣжда мести и радость неожиданнаго торже-
ства заставили ихъ забыть о томъ ужасѣ,
который чувствовали передъ синьоромъ Этче-
лино даже его союзники и друзья. Чтобы на-
казать гвельфамъ, предводители брешианскихъ

гвельфиновъ отворили городскія ворота побѣ-
доносной арміи веронскаго тирана.

Вмѣстѣ съ солдатами Этчелино въ Брешию
вошли кремонскія войска подъ начальствомъ
маркиза Пелавичино и Буозо-да-Доара. По
условіямъ, заключеннымъ между этими тремя
предводителями ломбардскихъ гвельфиновъ, всѣ
сдѣланныя завоеванія должны были составлять
ихъ общую собственность. Но такіе условія ис-
полняются очень рѣдко; большею частью слу-
чается такъ, что союзники при дѣлѣ добычи
сначала завязываютъ между собою щекотливые
переговоры, потомъ переходятъ къ взаимнымъ
попрекамъ и наконецъ рѣшаютъ возникшія
недоразумѣнія силою оружія. Читатель, на гла-
захъ котораго разыгралась недавно исторія
объ альбскихъ герцогствахъ, не найдетъ вѣ-
роятно ничего удивительнаго въ томъ, что Этче-
лино, Пелавичино и Доара никакъ не могли по-
дѣлить между собой городъ Брешию. Этчелино,
какъ сильнѣйшій, хотѣлъ все получить на свою
долю, а чтобы эта операція присвоенія обо-
шлась безъ хлопотъ, онъ попробовалъ перессор-
ить между собою обоимъ кремонскимъ прави-
телей. Маркизу Пелавичино онъ совѣтовалъ
изъ-подъ руки отправить какъ нибудь Буозо
на тотъ свѣтъ, чтобы сдѣлаться послѣ его смерти
неограниченнымъ властелиномъ Кремоны. Въ
это же самое время Этчелино разсыпалъ пе-
редъ Буозо самыя изысканныя выраженія своей
любезности и даже нѣжности; онъ предлагалъ
ему господство надъ Вероною, если онъ, Буозо,
захочетъ отправиться туда въ качествѣ подеста.
Но ни маркизъ, ни Буозо не были новичками,
способными повѣрить сладкимъ рѣчамъ и за-
манчивымъ обѣщаніямъ синьора Этчелино. Оба
держали себя съ нимъ очень осторожно, и когда
кремоняне, въ началѣ 1259 года, захотѣли во-
ротивиться на родину, то ни Буозо, ни маркизъ
не рѣшились остаться въ Брешии послѣ ухода
кремонской милиціи. Оба выѣхали изъ Брешии
вмѣстѣ съ кремонскими солдатами. Послѣ ихъ
отъѣзда Этчелино объявилъ себя синьоромъ
Брешии и по своему всегдашнему обыкновенію
началъ пытать, казнить и обирать жителей.

Когда маркизъ и Буозо узнали, что ихъ
союзникъ присвоилъ себѣ Брешию, тогда имъ
обоимъ сдѣлалось очень досадно. Они сблизились
между собою подъ вліяніемъ этой общей до-
сады и сообщили другъ другу тѣ конфиден-
ціальныя бесѣды и деликатныя предложенія,
которыми осчастливилъ ихъ Этчелино во время
ихъ пребыванія въ Брешии. Тутъ Буозо узналъ,
что Этчелино натравливалъ на него маркиза въ
то самое время, когда происходили дружескіе
переговоры объ уступкѣ Вероны. Маркизъ узналъ
въ свою очередь, что, разговаривая съ Буозо,
Этчелино дѣлалъ довольно ясныя намеки на
возможность устранить его, маркиза, и подѣлить
дружельбно его наслѣдство. Кремонскіе синь-

оры рѣшили единогласно, что Эччелино такой безсовѣстный негодяй, съ которымъ даже и разбойничать вмѣстѣ не приходится, потому что онъ во всякую данную минуту способенъ всадить ножикъ въ спину каждому изъ своихъ товарищей по грабежу, хотя бы эти товарищи по десяти разъ въ день выручали его изъ смертельной опасности. Подъ вліяніемъ той же досады, кремонскихъ синьоровъ обуяло умиленіе по поводу тѣхъ страданій, которыя терпѣла въ то время поработенная Брешія. Маркизь и Буозо, которые сами были немного ослабленными копіями съ синьора Эччелино, переполнились любовью къ страждущему человѣчеству, и проливая слезы крокодила, рѣшились избавить Италію отъ свирѣпаго чудовища, такъ безсовѣстно отжилившаго у нихъ Брешію. Оставаясь гибелинами, т. е. приверженцами швабской династіи, кремонскіе синьоры заключили союзъ съ маркизомъ д'Эсте, съ графомъ Санъ-Бонифаціо и тремя гвельфскими республиками, Мантуей, Феррарой и Падуйей. Съ одной стороны союзники признали права Манфреда на сцилійское королевство, съ другой стороны, они обязались преслѣдовать до послѣдняго издыханія обоихъ братьевъ—Эччелино и Альберика ди-Романо. Магнаты обѣщали идти на войну лично, со всѣми своими вассалами; города условились выставить всѣ свои милиціи и кромѣ того нанять кавалерійскій отрядъ въ 1200 человекъ. Здѣсь появляется въ первый разъ наемная кавалерія, которая, какъ мы увидимъ ниже, имѣла впоследствии самое рѣшительное вліяніе на судьбу ломбардскихъ республикъ. Всѣ союзники объявили наконецъ торжественно, что ни приказанія какого бы-то ни было будущаго императора, ни буллы папы не освободятъ ихъ отъ обязанности исполнить тукляत्वъ, которою былъ скрѣпленъ ихъ союзъ.

Договоръ этой лиги, объявлявшей тирану непримиримую войну, былъ подписанъ въ Кремонѣ 11 іюня 1259 года. Въ это самое время Падуанцы взяли замокъ Фріолу, лежавшій въ вичентинской области; Эччелино бросился туда изъ Брешіи со всѣми своими войсками, и замокъ, вмѣстѣ съ падуанскимъ гарнизономъ, очень скоро очутился въ его рукахъ. Само собою разумѣется, что никому не было дано никакой пощады. Гарнизонъ и жители, міряне и духовенство, мужчины, женщины и дѣти—всѣ оказались виновными передъ судомъ Эччелино и всѣ получили на свою долю одно и то же наказаніе. Имъ всѣмъ выкололи глаза, отрѣзали носы и обрубали ноги. Потомъ ихъ пустили на всѣ четыре стороны, и тѣ, которые пережили эту операцію, распозлзлись по всѣмъ ломбардскимъ городамъ и своими изуродованными фигурами долго напоминали гражданамъ о той постоянной заботливости, съ которой они должны

беречь и развивать свои учрежденія. И барды не угадывали того иравоученія, заключалось для нихъ въ ужасномъ видѣ ломбардскихъ калѣкъ. Ломбарды подавали проклятія, проклинали вмѣстѣ съ ними Эччелино и сами продолжали бѣжать по пути, который привелъ Падую, Верону и Венецію къ позорному и мучительному рабству.

Въ Миланѣ продолжалась вражда между родомъ и дворянами. Разлакомившись вѣніемъ Брешіи, Эччелино въ 1259 году сталъ надѣяться, что и Миланъ не устоитъ въ его рукъ. Изъ-за такой богатой добычи онъ похлопотать, стоило даже и рискнуть. Въ августъ 1259 года Эччелино дѣйствительно рискнулъ. Онъ собралъ всѣ свои силы и шелъ по направленію къ Милану, надѣясь, что дворяне откроютъ ему ворота, если онъ не данно подойдетъ къ стѣнамъ изъ города. Въ это самое время въ Миланѣ произошелъ шительный переворотъ; демократическая партия одолѣла; дворяне бѣжали изъ города въ надеждѣ къ своему покровителю. Предпріятіе Эччелино лопнуло, а между тѣмъ онъ забрался уже далеко впередъ, что отступленіе сдѣлалось затруднительнымъ. За нимъ лежали уже большія рѣки, Оліо и Адда; впереди стояла миланская милиція подъ начальствомъ Манделла Торре; сзади подходили маркизъ и съ боку подвигались кремоняне; въ виду этихъ враговъ надо было переправляться на двѣ рѣки для того, чтобы добраться до Брешіи. Рѣшительное сраженіе произошло 16 сентября 1259 года, при переправѣ Эччелино на Адду. Въ самомъ началѣ битвы Эччелино торому было слишкомъ шестьдесятъ лѣтъ, получилъ рану стрѣлою въ лѣвую ногу, за тѣмъ случилась повая бѣда: брешіанская кавалерія, вмѣсто того чтобы идти въ атаку, какъ приказывалъ Эччелино, повернула назадъ и поскакала домой. Союзники не стали ее преслѣдовать, видя, что она не способна сражаться за нихъ врага. За брешіанцами на утекъ многіе другіе солдаты; они, вмѣстѣ съ Эччелино, медленно стали отступать по дорогѣ въ Бергамо; союзники напали на нихъ со всѣхъ сторонъ; защитники тѣснили ихъ одинъ за другимъ. Наконецъ само Эччелино проломилъ голову какой-то солдатомъ родной братъ былъ изувѣченъ въ голову. Эччелино свалился съ лошади, и его плѣвъ. Вся непріятельская армія съсмотрѣла на него. Его отвели въ палату да-Доара. Лекарямъ приказано было заботиться о его выздоровленіи, но онъ не хотѣлъ принимать никакой помощи, самъ разорвалъ свои раны и умеръ на одиннадцатый день того, какъ попался въ плѣнъ. Необыкновенная сила его характера не измѣнила ему д

минуты. Онъ ни отъ кого не требовалъ и принималъ пощады, такъ точно, какъ и самъ къ ея не оказывалъ.

Мархія Этчелино немедленно разсыпалась на составныя части, какъ только солдаты разбитой арміи принесли къ себѣ на родину тѣхъ о томъ, что тиранъ окончательно померъ, опасно раненъ и взятъ въ плѣнъ. Стрелки и чиновники Этчелино, которые были похожи на Ансезизія, не пробовали сопротивляться взрыву народной ненависти къ нему, что напоминало собой господство пошлаго тирана. Изъ этихъ намѣстниковъ и вѣнниковъ ни одинъ не осмѣлился удерживать свою пользу ту власть, которая была на имъ синьоромъ Этчелино. Всѣ они стали только какъ нибудь скрыться, чтобы избежать отъ возмущившагося народа свою жалкую опозоренную жизнь. Но и это удалось немногимъ. Бѣжать было некуда, потому что были непримиримые враги. Частъ народная жестокость наступилъ, и всѣмъ ревностнымъ тюлькамъ, шпионамъ и палачамъ пришлось заниматься за старые грѣхи.

Въ города, поработанные синьоромъ Этчелино, возвратились къ своей прежней республиканской жизни. Виченца призвала къ себѣ покоренъ Падуй. Такъ-же точно поступилъ герцогъ Бассано, составлявшій родовую собственную фамилію Романо. Верова предоставила свободу поддесты одному изъ своихъ дворянъ — мило делла-Сколла. Республиканскія формы были восстановлены, но республиканскія понятія и привычки не могли воротиться по первому требованію. Господство Этчелино надъ Веною продолжалось тридцать четыре года, надъ Падуйю — двадцать три года и надъ Падуй — девятнадцать лѣтъ; въ это время преемственность республиканскихъ преданій была настоятельнымъ образомъ прервана; самые горячие смѣлые и самые честные республиканцы были казнены или заморены въ тюрьмахъ; постоянное посяганіе на свободу изуродовало характеръ того поколѣнія, которое выросло и возмужало во время тиранніи. Это поколѣніе, запущенное казнями и совершенно неопытное въ политическомъ отношеніи, рѣшительно должно было оказаться неспособнымъ къ тому постоянному, внимательному и разумному контролю, при которомъ всякое республиканское правленіе очень скоро становится хуже деспотическаго.

Паденіе Этчелино скоро повлекло за собой паденіе его брата, Альберика. Принужденный бѣжать изъ Тревизы, Альберикъ укрылся со своимъ многочисленнымъ семействомъ въ вѣнскую крѣпость Санъ-Зено. Въ 1260 году герцогъ гвельфской лиги, подъ начальствомъ кнзя д'Эсте, осадили эту крѣпость и скоро взяли Альберика до безусловной сдачи. По-

падады не было. Альберикъ, его жена, шестеро сыновей и двѣ дочери были казнены. Ихъ трупы были разрѣзаны на части, и эти части разосланы въ тѣ города, надъ которыми господствовалъ домъ ди-Романо.

Этчелино погибъ, но его гибель дѣлаетъ очень мало чести республиканцамъ веронской мархіи. Онъ погибъ не отъ возмущенія тѣхъ людей, которыхъ онъ тиранилъ, а отъ ссоры со своими товарищами по грабежу. Если бы онъ не забылъ того золотого правила, что воронъ не долженъ выклеивать глазъ ворону, если бы онъ сумѣлъ во время подѣлиться съ добрыми товарищами, то благоденствіе его осталось бы ненарушеннымъ до конца его жизни. Во времена Фридриха Барбароссы веронская мархія вела себя иначе. Съ того времени до возвышенія Этчелино прошло шестьдесятъ лѣтъ, и въ эти шестьдесятъ лѣтъ мелкая и утомительная борьба партий и сословій успѣла убить, или по крайней мѣрѣ значительно ослабить въ гражданахъ прежнюю страстную и безкорыстно-чистую любовь къ отечеству и къ свободѣ.

XXIV.

Порабощеніе ломбардскихъ республикъ.

Ломбардія была многолюдна и богата, несмотря на то, что крупныя и мелкія войны тревожили ее почти постоянно. Населеніе Ломбардіи увеличивалось быстро; земледѣліе и мануфактурная промышленность развивались самымъ роскошнымъ образомъ; всѣ продукты, сырые и обработанные, всегда находили себѣ выгодный сбытъ въ Венецію и въ Геную, которыя въ то время держали въ своихъ рукахъ всемірную торговлю. Гражданамъ ломбардскихъ городовъ становилось тѣсно въ тѣхъ стѣнахъ, въ которыхъ жили ихъ отцы; они часто принуждены были ломать и перестраивать стѣны, чтобы вносить въ городскую черту новые участки земли; городскія хроники XIII вѣка наполнены извѣстіями о такихъ расширеніяхъ, которыя ясно указываютъ на процвѣтаніе городовъ и на быстрое возрастаніе народонаселенія. Тѣ же хроники говорятъ очень часто о сооруженіи роскошныхъ публичныхъ зданій и объ укрѣпленіи замковъ, принадлежавшихъ республикамъ.

Уже въ первой половинѣ XIII вѣка въ Ломбардіи набралось такъ много капиталовъ, что они полились за-границу. Въ 1226 году жители города Асти начали заниматься банкирскими дѣлами во Франціи и въ другихъ европейскихъ земляхъ, далеко отставшихъ отъ Ломбардіи на пути промышленнаго и торговаго развитія. Тридцать лѣтъ спустя, съ этими банкирами или ростовщиками случилось несчастіе,

которое даетъ намъ очень высокое понятіе о ихъ богатствѣ. 1-го сентября 1256 года французскій король приказалъ арестовать всѣхъ астійскихъ банкировъ, находившихся въ его владѣніяхъ, и конфисковалъ все ихъ имущество. Потери ихъ дошли въ этомъ случаѣ до восьми сотъ тысячъ тогдашнихъ ливровъ. Эта сумма, по мнѣнію Сисмонди, равняется двадцати семи съ половиною милліонамъ франковъ, что составляетъ, на наши деньги, около семи милліоновъ рублей. При этомъ надо взять въ расчетъ, во-первыхъ то, что не всѣ же астійскіе капиталисты собрались во Францію, а во-вторыхъ то, что Асти никогда не былъ перво-степеннымъ городомъ и не могъ равняться, ни по своему богатству, ни по своему политическому могуществу, ни съ Миланомъ, ни съ Павіей, ни съ Кремоной, ни съ Брешіей, ни съ Падусей, ни съ Вероной, ни съ Волоньей. Если же этотъ незначительный городъ могъ потерять почти семь милліоновъ рублей, то можно себя вообразить, какими громадными суммами вращались первоклассные города Ломбардіи. — Начиная съ XIII вѣка, слово *ломбарды* сдѣлалось во Франціи нарицательнымъ именемъ и стало обозначать собою всякаго банкира и ростовщика. Читатели конечно знаютъ, что это слово зашло и въ нашъ языкъ, съ тою только разницею, что у насъ оно прилагается не къ банкиру, а къ банку.

При всемъ своемъ богатствѣ, ломбарды въ XIII вѣкѣ вели самую простую жизнь, не позволяя себѣ никакой роскоши ни въ столѣ, ни въ одеждѣ, ни въ убранствѣ комнатъ. «Женщины, говоритъ Сисмонди, носили простыя полотняныя платья; кусокъ бѣлой холстины покрывалъ ихъ голову и обвязывался вокругъ шеи; золото и серебро не блистали на ихъ одеждѣ; столъ ихъ не украшался роскошными кушаньями; обѣдъ цѣлаго семейства состоялъ изъ одного блюда; одинъ факель изъ смолистаго дерева освѣщалъ внутренность домовъ; и вся пышность вѣка заключалась въ оружіи и въ лошадяхъ, въ башняхъ и въ крѣпостяхъ.» — Земледѣльцы, фабриканты, торговцы тратили постоянно свои доходы на увеличеніе своихъ промышленныхъ операцій и оборотовъ. Они нанимали себѣ новыхъ работниковъ и такимъ образомъ увеличивали каждый годъ число тѣхъ людей, которые находились отъ нихъ въ зависимости. Путемъ своихъ успѣшныхъ оборотовъ богатый хозяинъ, окружая себя сотнями своихъ подчиненныхъ, возвышался до политическаго могущества, становился въ своей республикѣ важнымъ и вліятельнымъ лицомъ и дорожилъ своимъ вліяніемъ гораздо больше, чѣмъ грубыми чувственными наслажденіями, которыя онъ могъ бы купить себѣ на свои деньги.

Но становясь политической силой, золото

ездѣ встрѣчало себѣ до сихъ поръ упрямъ дерзкаго соперника въ булатѣ, который, извѣстно, на слова золота: *все куплю!* — отвечаетъ съ своей стороны: *все возьму!* Дворяне, то есть феодальные дворяне, могли ужиться и полюбовно размежеваны людьми золота, то есть съ разбогатѣвшими ремесленниками, промышленниками и купцами. Въ глазахъ дворянина милліонеръ былъ такъ холопомъ, вырвавшимся на волю изъ то незаконнымъ образомъ и пробовавшимъ люди посредствомъ грязныхъ мошенничествъ продѣлокъ. Дворянинъ смотрѣлъ на него съ тѣмъ комическимъ презрѣніемъ, съ которымъ храбрый разбойникъ относится къ разумному мазурику. Что же касается народной массы, отъ которой зависѣло распри между булатомъ и золотомъ, то въ XIII вѣкѣ глубоко вѣрила, что милліонеры обрѣтаются трудомъ и составляютъ массу за воздержаніе. Поэтому масса поддери милліонеровъ, какъ плоть отъ плоти и кость отъ костей своихъ. На сторонѣ дворянъ стояли только ихъ вассалы, но эта сила была слабая числомъ, была очень сильна своей нравственной и тѣсной солидарностью, существовавшей между всѣми членами каждой дворянской общины.

При своей сравнительной малочисленности дворяне такъ крѣпко держались другъ за друга и умѣли дѣйствовать съ такимъ единодушіемъ, что имъ во всѣхъ ломбардскихъ городахъ удавалось по нѣскольку разъ доточивать въ своихъ рукахъ всѣ общинныя должности, совершенно оттирая отъ богатыхъ и вліятельныхъ плебеевъ. Вслучаяхъ нахальства дворянъ скоро происходило невыносимымъ; отстраненные милліонеры разжигали всѣми силами народное недовольство; вспыхивало возстаніе; начиналась война; дворяне бѣжали изъ городовъ, крытомъ полѣ перемѣсь обыкновенно съ на ихъ сторону; послѣ нѣсколькихъ неудачъ завязывались переговоры. Миръ заключался на тѣхъ условіяхъ, чтобы всѣ общинныя должности раздѣлены поровну между дворянами и плебеями. Проходило нѣсколько лѣтъ, и дворяне снова сосредоточивались въ дворянскихъ рукахъ, послѣ чего вся исторія начиналась нова. Такъ шли дѣла и въ Брешіи, и въ Монфѣ, и въ Миланѣ, и въ Піаченцѣ, и въ другихъ ломбардскихъ республикахъ.

Наученные горькими опытами, дворяне наконецъ понимали, что въ борьбе съ плебеями ничего нельзя сдѣлать разрозненными усилиями и безсвязными вспышками демократическихъ страстей. Они увидѣли, что такой борьбы необходима постоянная дисциплина, хладнокровная послѣдовательность, спокойная настойчивость. Они сообраз

оды одержанныхъ побѣдъ останутся въ ихъ рукахъ только въ томъ случаѣ, если они, послѣ заключенія выгоднаго мира, будутъ постоянно ржаться на готовѣ для новой борьбы, постоянно наблюдать за всѣми движеніями своихъ давнихъ враговъ, подмѣчать и отражать оевременно каждую ихъ попытку, клонящую къ нарушенію заключеннаго договора. Чтобы контролировать такимъ образомъ дѣйствія дворянъ и чтобы постоянно помогать другъ другу въ случаѣ какихъ нибудь притѣсненій, плебеи, богатые и бѣдные, стали заводить въ своемъ кругу ассоціаціи или братства, которыя должны были поддерживать и защищать всѣми силами каждаго изъ своихъ членовъ. Эти ассоціаціи сдѣлались для плебеевъ тѣмъ, чѣмъ были родовые союзы для дворянъ. Плебейскія ассоціаціи собирались въ опредѣленные сроки, обсуживали свои потребности, разсматривали жалобы своихъ членовъ и принимали мѣры для удовлетворенія обиженныхъ. Такая ассоціація составила въ Брешии въ самомъ началѣ XIII вѣка и приняла имя *Bruzella*. «Это племя, говорить Сисмонди, *Bruzella* или *Brighella* сохранилось до нашего времени: это одна изъ масокъ итальянскаго театра, брешианскій плебеи, дерзкій, храбрый и пронырливый». Около того же времени плебейскія братства разсѣялись въ Миланѣ. Замѣтивъ свою многочисленность, они вступили въ сношенія между собой, стали дѣйствовать общими силами и наконецъ слились въ два огромныя общества, *Mota* и *Credenza*, которыя втянули въ себя почти всю массу миланскаго населенія. Общество *Mota* было составлено изъ купцовъ, зажиточныхъ гражданъ; въ обществѣ *Credenza* господствовали ремесленники, поденщики и бѣдняки. Оба плебейскія общества старались дѣйствовать въ согласіи между собой, но это не всегда имъ удавалось. Какъ и слѣдовало ожидать, *Mota* отличалась осторожностью и сдержанностью, а *Credenza* — страстностью и буйностью.

Въ 1240 году, во время войны ломбардской аги съ Фридрихомъ II, произошло въ Миланѣ сильное столкновеніе между дворянами и народомъ. Во первыхъ, дворяне, по обыкновенію, захватили всѣ важнѣйшія должности въ государствѣ и въ церкви. Во-вторыхъ, они уклонялись отъ платежа налоговъ, которые, по случаю войны, были очень значительны. Чтобы не платить ничего, дворяне уѣзжали въ свои замки, куда конечно сборщикамъ податей неудобно было заглядывать. Въ-третьихъ, дворяне настоятельно требовали, чтобы ихъ судили за убійство по старымъ ломбардскимъ законамъ, въ силу которыхъ убійца могъ откупиться отъ всякаго наказанія небольшимъ денежнымъ штрафомъ, составлявшимъ на наши деньги меньше тридцати рублей серебромъ. Еслибы дворянамъ

удалось возстановить эти старые законы, то они могли-бы покупать по дешевой цѣнѣ жизнь каждаго плебея, который имѣлъ-бы несчастіе обратить на себя ихъ недоброжелательное вниманіе. Эти старые законы были выгодны только для однихъ дворянъ — даже въ томъ случаѣ, еслибы они были распространены на всѣхъ гражданъ миланской республики. Человѣкъ, убившій дворянина, ни въ какомъ случаѣ не могъ откупиться денежнымъ штрафомъ, хотя-бы законъ предоставлялъ ему на это полное право. Каждый членъ того рода, къ которому принадлежалъ убитый, считалъ кровавую мсть самой священной изъ своихъ нравственныхъ обязанностей и не находилъ возможнымъ отказаться отъ этой обязанности за какія-бы то ни было деньги. Противъ этого предразсудка законъ былъ такъ же безсильнъ, какъ онъ въ наше время безсильнъ противъ дуэли. Но этотъ предразсудокъ господствовалъ только въ дворянскомъ сословіи, для котораго частныя войны составляли любимое и привычное дѣло. Плебеи, занятые производительнымъ трудомъ или мирными коммерческими оборотами, почти всегда предоставляли закону и суду право и обязанность мстить за своихъ родственниковъ. Поэтому, если-бы мщеніе по закону ограничилось взысканіемъ тридцати рублей съ убійцы, то жизнь плебея очутилась-бы въ рукахъ каждаго богатаго буйна, имѣющаго возможность напустить на него шайку своихъ лакеевъ и потомъ выбросить изъ кармана штрафную сумму.

Mota и *Credenza* соединились противъ дворянъ, заставили ихъ отказаться отъ старыхъ ломбардскихъ законовъ, произвели новый дѣлежъ должностей, вытребовали отъ нихъ тѣ налоги, которыхъ они не хотѣли платить, и наконецъ провозгласили защитникомъ миланскаго народа синьора Пагано делла Торре, того самаго, который спасъ остатки миланской арміи, разбитой при Кортене-Нуова. Новое званіе защитника, созданное двумя частными обществами, которыя не имѣли въ республикѣ никакого официально признаннаго положенія, тотчасъ стало рядомъ съ самыми важными общественными должностями. Весь миланскій народъ призналъ дѣйствительно синьора Пагано своимъ вождемъ, защитникомъ, покровителемъ и благодѣтелемъ; въ достоинствахъ этого джентльмена никому не позволялось сомнѣваться; недоверіе къ синьору Пагано считалось тяжкимъ оскорбленіемъ народной чести; искренность и глубина демократическаго воодушевленія измѣрялись силою той привязанности, которую демократъ обнаруживалъ къ особѣ возлюбленнаго трибуна. Бросившись такимъ образомъ на колѣни передъ своимъ выборнымъ начальникомъ, плебеи не могли подумать о томъ, чтобы ограничивать его власть и принимать противъ него какія нибудь предосторожности. Къ чему онъ,

эти бездушныя и оскорбительныя предосторожности? Развѣ Пагано делла-Торре можетъ обмануть народное довѣріе? Развѣ онъ можетъ употребить во зло свое могущество? Чѣмъ неограниченнѣе будетъ его власть, тѣмъ успѣшнѣе онъ будетъ защищать интересы народа. Усиливая своего вождя, народъ увеличиваетъ свое собственное благосостояніе. Такъ разсуждали миланцы, или по крайней мѣрѣ по такой программѣ складывались ихъ поступки. Эти разсужденія и эта программа не должны приводить въ изумленіе читателя, сколько нибудь знакомаго съ политическими доктринами славянофиловъ. Что возможно въ XIX вѣкѣ, того нельзя вѣнчать въ преступленіе людямъ XIII столѣтія; этимъ людямъ приходилось выдерживать отчаянную борьбу, и слѣдовательно имъ было очень неудобно слѣдить постоянно, съ одинаково напряженнымъ вниманіемъ, и за движеніями непріятеля, и за поступками собственного главнокомандующаго. Къ этому надо еще прибавить, что этотъ главнокомандующій былъ дѣйствительно человѣкъ честный и одаренный многими хорошими качествами. Можно ли, при такихъ условіяхъ, удивляться тому, что миланцы предоставили ему такую неопредѣленно-обширную власть, которой мудрено было ужиться съ республиканскими учрежденіями.

Пагано не позволилъ себѣ ни одного произвольнаго, несправедливаго или насильственнаго поступка, и вообще не сдѣлалъ съ своей стороны ничего для уничтоженія республиканскаго порядка. Но эта добросовѣстная умѣренность была опаснѣе самаго дикаго самовластия. Если-бы защитникъ народа вздумалъ дѣйствовать, какъ суровый деспотъ, то въ настроеніи миланскаго плебейства произошелъ бы очень скоро такой переворотъ, который положилъ-бы конецъ неограниченному господству выборнаго начальника. Но видя со стороны своего вождя постоянную благоразумную сдержанность, народъ привыкалъ къ повиновенію и убѣждался понемногу въ томъ, что, вручивъ свою судьбу выборному начальнику и сваливъ на его плечи всѣ политическія заботы, онъ, народъ, поступилъ очень умно и похвально. Утвердившись въ такомъ образѣ мыслей, народъ конечно становится уже неспособнымъ къ республиканскому существованію. Онъ теряетъ любовь къ свободѣ, а когда эта любовь потеряна, тогда народъ мирится очень легко и съ такими злоупотребленіями власти, которыя въ былое время поднимали бы противъ себя разрушительную бурю народнаго гнѣва. Добрые деспоты прокладываютъ такимъ образомъ дорогу злымъ деспотамъ, которые своими административными трудами истребляютъ окончательно всѣ проявленія народнаго самосознанія и самоуваженія.

Во времена синьора Пагано миланцы были еще неспособны переносить кротко и терпѣливо

всякія оскорбленія и притѣсненія. Амьенцамъ надо было пользоваться очень слабой властью, которую предоставлялъ имъ народъ. Если даже народъ вручалъ какому нибудь неограниченному могуществу, то и тогда очень опасно вѣрить этому народу. Когда народу становилось тяжело, онъ начинался во всемъ величій своего гнѣва и не щадилъ никакого вниманія на полномочій, имъ же самимъ въ минуту радостнаго или неосторожнаго довѣрчивости. Слѣдствіемъ гнѣва миланскій народъ обнаружилъ въ 1791 году надъ однимъ изъ своихъ правителей, Гоццадини. Миланскіе финансы были совершенно истощены продолжительной войною лиги съ Фридрихомъ II. Государственный миланской республики былъ такъ великъ, что правительство рѣшило отсрочить на восемь всѣ платежи по своимъ долговымъ обязательствамъ. Такъ какъ кредиторами республики миланскіе капиталисты, то правительство, крѣпя свои платежи, предоставило всѣмъ должникамъ ту самую отсрочку, которую оно взяло для себя. То есть правительство явило своимъ кредиторамъ, что, получивъ имъ не заплатитъ, до тѣхъ поръ и она, кредиторы, могутъ не платить своимъ заемщикамъ, которые въ свою очередь освобождаются отъ обязанности платить по своимъ векселямъ. Конечно, что такая мѣра произвела каменную кризисъ, изъ котораго миланскимъ гражданамъ было выпутаться какъ можно рѣе. Чтобы выпутаться, надо было изъ денегъ государственную казну. Миланцы гласили изъ Болоньи финансиста Бенедиктини и уполномочили его придумывать новыя въ Миланѣ всевозможныя прямые и косвенные, и съ капиталовъ, и съ промысловъ, и съ предметовъ потребления, и съ чего угодно. Бенедиктини, подобно всѣмъ первобытнымъ системамъ, болѣе смѣлымъ, чѣмъ онъ сразу навалилъ, по всей вѣроятности, ные налоги на предметы первой необходимости—на хлѣбъ, на мясо, на соль, на

Разумѣется, эти налоги привлекли въ Миланъ значительныя суммы денегъ, потому что платежи такихъ налоговъ не могъ уклониться ни одинъ нищій. Но, разумѣется, такъ налоги возбудили величайшее неудовольствіе самое бѣдное и самое многочисленное въ миланскаго населенія. Однако цѣль была достигнута: въ 1792 году народъ платилъ и терпѣлъ. На годъ партія богачей, для которой налоги гораздо менѣе тягостны, чѣмъ для бѣдныхъ, по государственными заемными средствами, настояла на томъ, чтобы финансистъ Гоццадини получилъ должную миланскаго подесты. Богачи надѣялись, что честнѣе подесты Гоццадини будетъ

народу больше уваженія и еще успѣшнѣе пристрастно держать его на лицѣ св. Антонія во имя высшихъ интересовъ государственнаго казначейства и миланской торговли. Капиталисты гибли въ своихъ расчетахъ. Бѣднымъ людямъ надобно такой порядокъ вещей, при которомъ каждый изъ нихъ работалъ за четверыхъ, а ѣлъ за половину человека.

Вспыхнуло всеобщее возстаніе, и Готцдидини погибъ подъ ударами мятежниковъ, несмотря на свое высокое званіе. Впрочемъ народъ поступилъ здѣсь со своей обыкновенной запальчивостью и недалководностью. Выливши всю свою ярость на одну, почти невинную личность, работавшую по чужому заказу, народъ успокоился и причислялъ свое дѣло благополучно оконченнымъ, а между тѣмъ капиталисты, оправившись отъ своего испуга, потихоньку возстановили, подъ разными уважительными предлогами, почти всю финансовую систему убитаго Готцдидини.

Съ синьоромъ Пагано не случилось ничего похожего на ту катастрофу, которая постигла слишкомъ усерднаго изобрѣтателя налоговъ. Пагано делла-Торре удержалъ свою должность до конца жизни, умеръ естественной смертью и оставилъ послѣ себя такую добрую память, которая пошла въ прокъ его младшимъ родственникамъ. Имя синьора делла-Торре было такъ дорого миланцамъ, что ихъ лѣтописцы, непрерывно другъ передъ другомъ, стали придумывать для народнаго любимца такую генеалогію, которая своей древностью соответствовала бы блеску его прекрасныхъ качествъ. Многіе доводятъ списокъ предковъ синьора Пагано до временъ Амвросія Медиоланскаго; хроникеръ Каріо выводитъ фамилію делла-Торре отъ Франко, побочнаго сына Гектора, того самаго Гектора, который защищалъ Трою и былъ женатъ на Андромакѣ. Наконецъ одинъ монахъ перешеголялъ всѣхъ остальныхъ генеалогистовъ и прослѣдилъ линію знаменитыхъ предковъ Пагано вплоть до самого Адама, дальше котораго уже невозможно было идти писателю, желающему оставаться добрымъ католикомъ.

Послѣ смерти Пагано народнымъ любимцемъ и признаннымъ предводителемъ демократической партіи сдѣлался его племянникъ, Мартино делла-Торре. Во время господства этого Мартино во главѣ миланской республики появляется, въ продолженіе трехъ лѣтъ (1253—1256), маркизъ Ланчіа Монферратскій, съ титуломъ генералъ-капитана и съ правомъ назначать каждый годъ мѣстнаго подесту. Чтобы понять, съ какой стати миланцы, всегда дорожившіе своей независимостью и принадлежавшіе къ гвельфской партіи, добровольно подчинились на три года чужеземному магнату и ревностному гвельфину, надо бросить взглядъ на тогдашнее положеніе военнаго дѣла.

Во время Фридриха Барбароссы главную силу арміи составляла пѣхота. Дворяне сражались обыкновенно верхомъ, но во-первыхъ ихъ всегда было не очень много, сравнительно съ общей массой войска, а во-вторыхъ, они были вооружены такъ, что пѣхота могла сопротивляться ихъ натиску и даже побѣждать ихъ. Тогдашніе кавалеристы еще не были закованы въ желѣзо съ ногъ до головы и не были вооружены тѣмъ длиннымъ и толстымъ копьемъ, которое въ послѣдствіи наводило ужасъ на пѣхотинцевъ. Граждане итальянскихъ республикъ своими широкими и обоюдоострыми мечами рубили съ величайшимъ успѣхомъ и пѣхоту, и конницу Фридриха Барбароссы. Чтобы владѣть мечемъ, не надо было посвящать всю свою жизнь изученію военнаго дѣла. Каждый купецъ или ремесленникъ, если онъ былъ силенъ и неустрашимъ, оказывался отличнымъ воиномъ, способнымъ сражаться съ какими угодно закаленными ветеранами. Такіе купцы и ремесленники защищали Ломбардію въ продолженіе двадцати двухъ лѣтъ, одержали знаменитую побѣду при Линьяно и вынудили у императора константскій миръ.

Но уже въ арміяхъ Фридриха Барбароссы находился зародышъ будущаго желѣзнаго рыцарства, передъ которымъ пѣхота должна была оказаться безсильной. Такъ называемые «жандармы» были покрыты желѣзомъ; стрѣлы арбалетчиковъ не могли ихъ поранить; наступательнымъ оружіемъ жандарма было длинное копье, которымъ онъ могъ колоть пѣхотинцевъ, не подвергая себя ударамъ ихъ мечей; даже и лошадь жандарма была защищена отъ непріятельскихъ стрѣлъ желѣзной кольчугой, покрывавшей ея грудь и бока. Жандармы дѣйствовали обыкновенно очень успѣшно вездѣ, гдѣ они появлялись; но ихъ было немного; нуженъ былъ особенный навыкъ для того, чтобы драться въ тяжеломъ желѣзномъ вооруженіи, нужна была также особенно сильная порода лошадей, для того чтобы выдерживать на спинѣ тяжесть желѣзнаго всадника и во весь духъ скакать съ этой тяжестью на полѣ сраженія. Кромѣ того жандармы были годны только для атаки на совершенно ровной мѣстности; малѣйшій бугорокъ, или ложбина, или ручей разстроивали ихъ боевой порядокъ и дѣлали ихъ нападеніе невозможнымъ. При всемъ томъ достоинства этой тяжелой кавалеріи были такъ поразительны, что всѣ военные люди того времени занялись ея усовершенствованіемъ. Каждому дворянину хотѣлось быть непобѣдимымъ и неуязвимымъ; каждый запасался для войны крѣпкой броней, каждый старался купить, вымѣнять или воспитать себѣ сильную боевую лошадь, которая могла бы грудью пробивать ряды непріятельской арміи; кто имѣлъ малѣйшую возможность вооружиться

по-жандармски, тотъ разумѣется не поступалъ добровольно ни въ легкую кавалерію, ни въ пѣхоту. Какая надобность была ему идти туда, гдѣ и лавровъ было меньше, и опасности больше?

Сосредоточивая на себѣ такимъ образомъ все вниманіе богатыхъ и знатныхъ специалистовъ военнаго дѣла, вооруженіе тяжелой кавалеріи постоянно улучшалось во всѣхъ своихъ частяхъ. Кираса дѣлалась толще, шлемъ—массивнѣе, щитъ—объемистѣе и надежнѣе, копьѣ—длиннѣе и крѣпче. Наконецъ, благодаря этимъ неутомимымъ стараніямъ, вытекавшимъ изъ естественнаго чувства самосохраненія, голова, грудь, руки и ноги рыцарей покрылись во всѣхъ своихъ частяхъ толстыми слоями желѣза, отъ котораго отскакивали стрѣлы и по которому можно было сколько угодно стучать мечемъ, не подвергая ни малѣйшей опасности огромную улитку, забравшуюся въ эту металлическую раковину. Но надо было ухититься носить эту раковину, которая своей тяжестью подавляла непривычнаго къ ней человѣка; надо было въ этой раковинѣ выдерживать и лѣтній жаръ, и осеннюю сырость, и зимній холодъ; надо было, чтобы руки, закованныя въ желѣзные рукава и перчатки, махали полупудовымъ копьемъ, какъ наши руки машутъ гуттаперчевыми хлыстиками или жиденькими стальными рапирами. Словомъ, подѣлать къ желѣзному вооруженію необходимы были почти такіе же желѣзные люди и лошади. Специалисты военнаго дѣла, феодальные дворяне, только об этомъ и заботились въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій. Въ мирное время они постоянно развивали въ себѣ тѣлесную силу и ловкость то охотою, то турнирами, то разными играми, то гимнастическими упражненіями. Она приучала все свое тѣло къ тяжелому вооруженію такъ точно, какъ китайская женщина приучаетъ свои ноги къ крошечнымъ башмакамъ. Они съ колыбели воспитывали своихъ сыновей такъ, чтобы эти сыновья въ свое время сдѣлались молодцами, способными вскакивать на лошадей въ полномъ вооруженіи, прямо съ полу, не касаясь ногой до стремени. Тѣмъ ребятамъ, которые были слабы и болѣзненны отъ природы, не было мѣста въ рядахъ желѣзнаго рыцарства; такимъ людямъ незачѣмъ было и вступать въ бракъ; ихъ направляли съ дѣтства въ монастырь, гдѣ они могли составить себѣ блестящую карьеру, несмотря на свою тщедушность.

Еще внимательнѣе и заботливѣе, чѣмъ своихъ сыновей, рыцари воспитывали своихъ породистыхъ жеребятъ, изъ которыхъ можно было сформировать великолѣпнаго боевого коня. Рыцарь берегъ и развивалъ силы своего боевого коня самымъ тщательнымъ образомъ. Для похода у него была другая лошадь (по-фран-

цузски *palefroi*) менѣе строгаго закала; боевой конь (*destrier*) сохранялъ всѣ свои силы и свою горячность до той минуты, когда надо было броситься на врага.

Въ XIII вѣкѣ тяжелая рыцарская кавалерія была уже настолько готова, что пѣхота не могла выдерживать ея натиска. Когда настоятельность пѣхоты сдѣлалась несомнѣнною, тогда въ сухопутномъ строю произошелъ поворотъ, подобный тому, который совершился на нашихъ глазахъ въ морской тактикѣ. Бѣготные отряды тяжелой кавалеріи стали разгонять и истреблять цѣлыя тысячи пѣхотинцевъ такъ точно, какъ въ наше время одинъ мониторъ можетъ пустить по двѣ цѣлыя эскадры деревянныхъ кораблей.

Пока дворяне съ систематическимъ упорствомъ превращали себя въ желѣзные люди, пока они путемъ долговременныхъ и утомительныхъ упражненій сprostались нагую съ своими непроницаемыми бронями—народные массы не только не совершенствовались въ военномъ отношеніи, но даже теряли повсюду и тѣ военныя достоинства, которыми они обладали, находясь въ полудикомъ состояніи.

Плебеи также развивались, но только въ томъ направленіи, въ которомъ происходило развитіе дворянъ. Плебеи превращались въ опытныхъ банкировъ, въ смысленныхъ спеціантовъ, въ искусныхъ ремесленниковъ, въ любознательныхъ грамотѣевъ, въ трудолюбивыхъ художниковъ. Этими превращеніями значительно увеличивалась масса народнаго капитала, умственнаго и вещественнаго. Но когда дѣло доходило до драки, когда надо было впускать въ ходъ грубую физическую силу—тогда всѣ коммерческія, ремесленныя, научныя и художественныя усовершенствованія оказывались не только бесполезными, но даже и вредными. Всѣ разнообразныя занятія, которыми плебеи зарабатывали себѣ насущный хлѣбъ или увеличивали свое матеріальное благосостояніе, всѣ эти занятія или обрекали плебеевъ на сидячую жизнь, награждая ихъ за прилежаніе геморроемъ, сутуловатостью, слабостью легкихъ и атрофіей важнѣйшихъ мускуловъ, или въ крайней мѣрѣ, развивали ихъ физическую силу самымъ одностороннимъ образомъ, такъ что напримѣръ крѣпкія руки соединялись съ тонкими и слабыми ногами, или на оборотъ. Многие силы можетъ развить въ себѣ купецъ за своимъ прилавкомъ, банкиръ въ своей конторѣ, сапожникъ, портной или ткачъ въ своей мастерской? Вообразите же себѣ теперь, что изъ цѣлой арміи составленную изъ кроткихъ и жидкихъ лавочниковъ, портныхъ, сапожниковъ, столяровъ, слесарей, булочниковъ, дѣлать весь опоръ двѣ, три сотни разжихъ дѣтисъ, закованныхъ въ желѣзо отъ кончика носа до кончика носа, съ сажеными копытами въ рѣ-

ахъ и на громадѣйшихъ лошадищахъ, которыя, какъ шальные, лѣзутъ прямо на челоука. Разумѣется, должна произойти сцена, охотная на избиеніе младенцевъ. Если бы лачники и ремесленники вздумали сами облачиться въ рыцарскіе доспѣхи, взять въ руки закованные копья и взгромоздиться на колосальныхъ боевыхъ коней, — то произошла бы другая сцена, гораздо болѣе комическая, но одинаково непріятная для плебеевъ. Они изнемогли бы подъ тяжестью собственной амуниции и погибли бы отъ лютой собственноручной коней, съ которыми они не сѣумѣли бы справиться.

Чѣмъ дальше подвигается впередъ дѣло цивилизаціи, чѣмъ живѣе и разнообразнѣе становится промышленное и умственное движеніе, тѣмъ необходимѣе и неизбѣжнѣе оказывается раздѣленіе труда, которое почти совсѣмъ не существуетъ въ первобытныхъ человѣческихъ обществахъ и которое доводится до самыхъ уродливыхъ и вредныхъ крайностей въ громадныхъ мануфактурахъ современной Европы. Съ раздѣленіемъ труда постоянно шла до сихъ поръ рука объ руку односторонность физическаго развитія; чѣмъ строже проводился принципъ раздѣленія труда, тѣмъ уродливѣе становились работники, и слѣдовательно чѣмъ богаче дѣлалась промышленная и торговая города, тѣмъ менѣе городскіе жители оказывались способными защищать собственными силами свое богатство отъ предприимчивыхъ рыцарей, превратившихъ себя въ непобѣдимыхъ атлетовъ.

Но по мѣрѣ того, какъ развивается цивилизація, постоянно увеличивается число тѣхъ промышленныхъ занятій, которыя требуютъ очень мало физической силы. Слесарю нужно меньше силы, чѣмъ кузнецу; ювелиру и часовщику еще меньше, чѣмъ слесарю; столяру меньше, чѣмъ плотнику; рѣзчику и токарю еще меньше, чѣмъ столяру. Но понятно, что въ полудикомъ обществѣ только кузнецъ да плотникъ и могутъ найти себѣ работу; слесарь, ювелиръ, часовщикъ, столяръ, рѣзчикъ и токаръ порождаются уже дальнѣйшимъ развитіемъ промышленнаго движенія и общественной жизни. Въ полудикомъ обществѣ, гдѣ каждое отдѣльное хозяйство готовитъ себѣ собственными средствами одежду, и обувь, и посуду, и мебель — почти вся обработка сырого матеріала составляетъ обязанность женщинъ. Ткачей, портныхъ и сапожниковъ нѣтъ. Мужчины занимаются почти исключительно добываніемъ сырого матеріала.

Мужи пашутъ, жены рубятъ строевые,

какъ говоритъ старая чешская пѣсня *о судѣ Любуши*. Рубятъ значить рубахи, одежды. Понятно, что такіе мужи, которые только пашутъ,

да косятъ, да рубятъ лѣсъ, да тешутъ бревна, да кууютъ желѣзо, гораздо болѣе годны для исключительно-рукопашнаго боя, чѣмъ слесаря, ювелиры, сапожники, часовщики, портные, переплетчики и другіе трудолюбивые домохозяева, воспитанные усилившимся промышленнымъ движеніемъ. Значитъ, можно сказать положительно, что развитіе промышленности обезоружило народные массы.

Конечно цивилизація несетъ въ себѣ самой лекарство для тѣхъ временныхъ болѣзней, которыя она порождаетъ своимъ развитіемъ. То самое движеніе, подъ вліяніемъ котораго дикіе и воинственные варвары переродились въ тощихъ и кроткихъ ремесленниковъ, выработало для Европы и порохъ, и книгопечатаніе, и всѣ чудеса новѣйшей промышленной техники, и всѣ тонкости новѣйшаго военнаго искусства, и вообще все то, что осуждаетъ всякую аристократію на неминуемое паденіе. Но пока всѣ эти прекрасные плоды цивилизаціи наливались и согревали, масса все-таки оставалась безъ оружія, и желѣзная рыцарская аристократія громко и настойчиво выражала свое презрѣніе ко всѣмъ своимъ торгующимъ и работающимъ современникамъ.

И надо признаться, что претензіи рыцарей имѣли свое достаточное основаніе. Они были непобѣдимы. Они держали въ своихъ рукахъ судьбу всей Европы. Возможно-ли имъ было не презирать тѣхъ людей, которые не въ состояніи были имъ сопротивляться? Если-бы плебеи вздумали сказать дворянамъ: мы такіе-же люди, какъ и вы, то дворяне могли отвѣчать имъ съ саркастической улыбкой: докажите это на дѣлѣ! — Можно было чѣмъ угодно поручиться за то, что въ XIII вѣкѣ этотъ сносной тезисъ демократической теоріи остался-бы недоказаннымъ.

Въ половинѣ XIII вѣка всѣ — и дворяне, и плебеи, были одинаково твердо убѣждены, во-первыхъ въ томъ, что никакая пѣхота не можетъ устоять противъ тяжелой кавалеріи, и во-вторыхъ въ томъ, что только одни дворяне способны приучить себя къ непомерной тяжести полныхъ рыцарскихъ доспѣховъ.

Первое изъ этихъ убѣжденій поколебалось въ XIV вѣкѣ подъ вліяніемъ блестящихъ побѣдъ, одержанныхъ швейцарской пѣхотой надъ австрійскимъ и бургундскимъ рыцарствомъ.

Второе рухнуло также въ XIV вѣкѣ, когда многіе плебеи, привлеченные громадными выгодами военнаго ремесла, стали съ малыхъ лѣтъ готовить себя къ кавалерійской службѣ и выучились съ полнымъ успѣхомъ носить тяжелое вооруженіе.

Но эти два опроверженія были еще впереди. Прежде чѣмъ они состоялись, публика думала, что только дворяне могутъ побѣждать дворянъ въ открытомъ полѣ. Въ то время, когда гос-

подствозало это убѣжденіе, выведенное изъ длиннаго ряда дѣйствительныхъ фактовъ, многіе ломбардскіе города находились, подобно Милану, въ хронической враждѣ съ своими дворянами. Внутри города дворяне всегда терпѣли пораженія; какъ только начиналась тревога, улицы перегораживались рогатками, перерѣзывались баррикадами и становились непроходимыми для кавалеріи; въ то-же время изъ оконъ и съ крышъ сыпались на рыцарей камни, и рыцарямъ приходилось убѣгать изъ города со всевозможной поспѣшностью. Загородная война, разумѣется, оказывалась губительной для плебейства. Рыцари опустошали окрестности, морили горожанъ голодомъ и наносили имъ жестокія пораженія всякій разъ, какъ только горожане высовывали носъ за черту городской стѣны. Кромѣ того республика, лишенная своей тяжелой кавалеріи, была безоружна въ отношеніи ко всѣмъ своимъ сосѣдямъ. Чтобы защитить республику отъ постороннихъ враговъ и отъ ея собственныхъ дворянъ, оставалось только одно средство. Надо было нанять чужихъ дворянъ. Этотъ наемъ былъ очень возможенъ, потому что, при неугомонной борьбѣ партій и сословій, вся Италия была переполнена благородными изгнанниками и эмигрантами, которымъ нечего было дѣлать и которые прескучно знали всѣ тайны рыцарскаго искусства. Эти дворяне очень рады были получать за свою службу хорошія деньги отъ кого-бы то ни было, но такъ какъ дворянинъ, даже голодный, никакъ не можетъ забыть и уронить свое дворянское достоинство, то эти дворяне, отдавая себя въ наемъ, соглашались служить только подъ начальствомъ какого-нибудь магната, которому имъ не стыдно было повиноваться. Тутъ являлось что-то похожее на наше мѣстничество, и республиканцы были принуждены нанимать какого-нибудь маркиза или графа, который, въ качествѣ подрядчика, обязывался поставить имъ за извѣстную цѣну определенное количество вооруженныхъ рыцарей. Но если простые дворяне важничали и ломались надъ тѣми людьми, которые платили имъ жалованье, то разумѣется маркизъ или графъ ломался и важничалъ въ-десятеро больше. Ему мало было однихъ денегъ; ему нужны были громкіе титулы, ему нуженъ былъ почетъ, ему нужна была политическая власть. Теперь читатели понимаютъ вѣроятно, почему маркизъ Ланчіа Монферратскій сдѣлался генералъ-капитаномъ Милана, и почему миланцы на три года предоставили ему право назначать городского подесту. Ланчіа подрядился содержать въ Миланѣ тысячу человекъ тяжелой кавалеріи, и контрактъ былъ заключенъ на три года.

Въ то время, когда миланцы пригласили къ себѣ маркиза Ланчіа, въ Миланѣ не было открытой войны между дворянами и плебеями.

Но такъ какъ обѣ партіи постоянно другъ на друга, то, не доверяя ни доморощеннымъ кавалеристамъ, плебеямъ, ни вѣсту своего вождя, Мартини-делла-Торре, пасли себѣ на всякій случай тысячу рыцарей, въ видѣ увѣсистой каменши, женнаго за пазуху. Генералъ-капитанство маркиза Ланчіа нисколько не помѣшало Мартини оставаться по прежнему коноводомъ плебейства и главной двигательной силой миланской политики, тѣмъ болѣе, что Ланчіа даже совсѣмъ не пріѣзжалъ въ Миланъ, а только числился начальникомъ наемнаго отряда, каждый годъ присылалъ въ городъ подесту.

Около этого времени титулъ подесты сталъ составлять исключительную привилегію верховнаго судьи и правителя республики. Съ одной стороны дворяне, съ другой плебеи и *Gredenza* присвоили это названіе своимъ водителямъ. Въ этомъ случаѣ слово служило вѣрнымъ выраженіемъ существующаго факта. Въ городѣ было дѣйствительно два лагеря: полководца, и между ними балансировало какъ официальное правительство. Однимъ изъ этихъ полководцевъ назывался подесто дворянъ, другой—подестою народа, а третій стоящій подеста—подестою республики, что-же оставалось въ республикѣ за вышеназванныхъ дворянства и народа?—Ничего или почти ничего. «Настоящій подеста—говорить Сисмонди—былъ иностранцемъ; онъ оставался на мѣсто болѣе года; и законы, предоставляя ему общія прерогативы, обозначали однакоже границы. Напротивъ того, подеста дворянства, Паоло-Сорезина, и подеста народа, Мартино-делла-Торре, были облечены неограниченною постоянной властью, потому что предѣлы власти не были обозначены, и потому что имъ было положено определеннаго срока.» При такой отлично-выработанной организаціи подеста республики, чтобы держаться на ногахъ, долженъ былъ непремѣнно опираться на ту или другую сторону, или, вѣрнѣе, превращать въ покорнѣйшаго слугу тѣхъ или другихъ словесныхъ страстей.

За подестою дворянъ, Паоло де-Сорезина стоялъ настоящій коноводъ дворянской партіи миланской архіепископъ, тотъ самый доминиканецъ, Левъ изъ Перего, который самъ зналъ себя достойнымъ занимать миланскую святительскую кафедру. Все дѣлалось въ дворянскомъ лагерѣ по совѣту и по внушенію этого и смѣлаго архіепископа, а Сорезина только подставнымъ лицомъ, выдвинутымъ впередъ потому, что прелату неудобно и совѣстно было стоять открыто во главѣ вооруженной партіи, которая ежеминутно грозила вооруженною республику въ кровавыя междоусобія.

Война разразилась въ 1257 году, вслѣдствіе того, какъ окончился срокъ контр-

заключеннаго съ маркизомъ Ланчіа. Одинъ дворянинъ убилъ своего кредитора, пришедшаго къ нему за деньгами; народу не понравился такой способъ уплачивать долги; обѣ партіи взялись за оружіе, и дворянамъ вмѣстѣ съ архіепископомъ пришлось удалиться за-городъ. Народъ, подъ предводительствомъ делла-Торре, вышелъ изъ города съ своимъ каррочіо, чтобы доканать дворянъ, которые однакоже по обыкновению за-городомъ стали дѣйствовать очень успѣшно. Дворянамъ помогали комаски. При ихъ содѣйствіи, дворяне отняли у республики нѣсколько укрѣпленныхъ замковъ и разбили плебеевъ въ нѣсколькихъ мелкихъ стычкахъ. Готовилось генеральное сраженіе, но тутъ явились въ оба лагеря посланники гвельфской лиги, которая въ это самое время старалась извести Этчелино III и рассчитывала на содѣйствіе Милана. Посланникамъ удалось помирить враговъ, и дворяне воротились въ городъ, обязываясь по обыкновенію вести себя добропорядочно. Въ началѣ слѣдующаго года обнаружился въ мирномъ договорѣ какія-то неясности и упущенія. Каждая изъ двухъ партій назначила отъ себя по тридцать по два уполномоченныхъ, и эти шестьдесятъ четыре довѣренныхъ особы составили новый трактатъ, въ которомъ всѣ права и всѣ взаимныя отношенія сословій были определены самымъ тщательнымъ образомъ, во всѣхъ своихъ мельчайшихъ частностяхъ и подробно-стояхъ. По этому трактату, право убивать кредиторовъ рѣшительно не было предоставлено благородному миланскому рыцарству. Трактатъ былъ подписанъ обѣими сторонами въ соборѣ св. Амвросія, 4 апрѣля 1258 года. Что дѣлало правительство республики въ то время, когда дворяне и плебеи ссорились, договаривались и мирились — этого рѣшительно невозможно опредѣлить. Правительство исчезало, стушевывалось, завертывалось въ свое безсиліе и предавалось всеобщему забвенію. Народъ, какъ мы видѣли, шелъ въ бой подъ предводительствомъ синьора Мартино и бралъ съ собою государственное знамя. А гдѣ былъ и что дѣлалъ настоящий подеста — этого никто не знаетъ, и обѣ этомъ нисколько не заботятся составители миланскихъ лѣтописей. Потомъ партіи вручаютъ законодательную власть шестидесяти четыремъ довѣреннымъ лицамъ; эти уполномоченные регулируютъ по своему благоусмотрѣнію всѣ общественныя и междусословныя отношенія, и правительство опять хранитъ самое глубокое и самое скромное молчаніе.

Такъ называемый миръ св. Амвросія продержался всего три мѣсяца. Въ концѣ іюня дворянъ опять погнали вонъ изъ города. Они отравились въ Комо и нашли тамъ такую же яростную борьбу между народомъ и дворянствомъ. Разумѣется, миланскіе дворяне стали помогать дворянамъ, а плебейское войско, при-

шедшее изъ Милана, соединилось съ плебеями. На улицахъ города Комо произошло сраженіе, въ которомъ дворяне были разбиты; вслѣдъ за тѣмъ театръ военныхъ дѣйствій перешелъ въ окрестности Комо, и тутъ дворяне обоихъ родовъ одержали такую рѣшительную побѣду, что плебеи запросили мира и согласились на всѣ неумѣренные требованія своихъ противниковъ.

Но побѣда дворянъ и заключенный миръ, на которомъ дворяне собирались построить гордое зданіе олигархическаго правленія, не могли имѣть никакого прочнаго значенія. Дворяне могли удерживать за собой перевѣсъ только въ открытомъ полѣ. Какъ только они, благодаря одержанной побѣдѣ, съ торжествомъ возвращались въ городъ, гдѣ ихъ тяжелая кавалерія не могла маневрировать, такъ плебеи немедленно подавляли ихъ своимъ численнымъ превосходствомъ. Такъ точно случилось и послѣ лѣтней кампаніи 1258 года, тѣмъ болѣе, что дворяне, незадолго до мира св. Амвросія, потеряли своего даровитѣйшаго руководителя, архіепископа Льва, скончавшагося въ 1257 году. Плебеямъ хотѣлось отмстить за испытанное пораженіе. Увлекаясь своимъ сословнымъ ожесточеніемъ, они готовы были опрокинуть всѣ республиканскіе порядки и ввести у себя тираннію, лишь бы только эта тираннія желѣзнымъ гнетомъ придавила къ землѣ гордыя головы безпокойнаго дворянства. Плебейская партія всѣми силами стремилась къ тому, чтобы превратить своего предводителя въ полновластнаго правителя республики. Въ 1259 году она рѣшила, что защитникъ или подеста плебеевъ будетъ называться *начальникомъ, старшиною* (Anziano) *и синьоромъ народа*. Оставалось рѣшить, кому будетъ ввѣрена эта новая должность. Здѣсь оба главныя плебейскія общества, Мота и Креденца, перессорились между собою. Креденца пылала неудержимымъ энтузіазмомъ къ семейству делла-Торре вообще, и къ синьору Мартино въ особенности. Мота обсуживала дѣло гораздо хладнокровнѣе и находила, что быстро возрастающее могущество синьора Мартино становится опаснымъ для республиканскихъ учреждений. Между обоими обществами произошла кровопролитная стычка, послѣ которой Мота, состоявшая изъ богатыхъ буржуа, рѣшительно отложила отъ демократической партіи и перешла почти цѣликомъ въ дворянскій лагерь, подъ начальство Гуліельмо де-Сорезина.

Креденца, которая, подобно всѣмъ чисто демократическимъ кружкамъ, не умѣла любить и ненавидѣть расчетливо, настояла на своемъ, вознесла своего любимца выше облака ходячаго, и своими опрометчиво-восторженными дѣйствіями подтвердила ту старую истину, что демократія почти всегда сама посягаетъ на свое блестящее, но безалаберное существованіе.

только въ одной веронской маркіи, гдѣ Мартино делла-Скала довольно успѣшно старался сдѣлаться владѣтельной особой и возстановить въ свою пользу разрушившуюся мовархію Эччелино III.

Въ началѣ 1266 года побѣда при Гранделлѣ и смерть Манфреда, убитаго въ этомъ рѣшительномъ сраженіи, открыли Карлу Анжуйскому дорогу къ сицилійскому престолу. Утвердившись въ своемъ благопріобрѣтенномъ королевствѣ, Карлъ задумалъ покорить сначала всю Италію, а потомъ Византійскую имперію. Въ 1268 году ему пришлось выдержать борьбу съ послѣднимъ представителемъ династіи Гогенштауфеновъ; 23 августа Карлъ разбилъ молодого Конрадина при Тальякоццо; спустя два мѣсяца послѣ этого сраженія, Конрадинъ, внукъ Фридриха II, взятый въ плѣнъ, сложилъ голову на плаху въ Неаполѣ, на городской площади. Партія гибелиновъ осталась безъ общаго предводителя.

Въ 1269 году Карлъ, стараясь усилить вліяніе на дѣла сѣверной Италіи, послалъ своихъ уполномоченныхъ въ Кремону и созвалъ туда на сеймъ представителей ломбардскихъ городовъ, принадлежавшихъ къ партіи гвельфовъ. На этомъ гвельфскомъ сеймѣ посланники Карла старались доказать, что для полнаго и прочнаго торжества надъ безбожными гибелинами слѣдуетъ придать управленію гвельфской лиги больше силы и единства, что для этого необходимо выбрать начальника всего союза и что никто, кромѣ сицилійскаго короля Карла, наполнившаго всю Европу шумомъ и блескомъ своихъ подвиговъ, неспособенъ вести гвельфскую лигу впередъ по славному пути побѣдъ и безукоризненнаго благочестія. Изъ этихъ пышныхъ рѣчей вытекало то практическое заключеніе, что всѣ ломбардскіе города должны назначить короля Карла своимъ синьоромъ. Ломбардія въ это время уже до такой степени привыкла безъ малѣйшей надобности бросать свою свободу подъ ноги первому встрѣчному, что многіе изъ депутатовъ, присутствовавшихъ на кремонскомъ сеймѣ, убѣжденные краснорѣчіемъ посланниковъ, тотчасъ же закабалили своихъ согражданъ королю Карлу. Пiacенца, Кремона, Парма, Модена, Феррара и Реджіо признали надъ собой такимъ образомъ чужеземный протекторатъ, который, при благопріятныхъ условіяхъ, могъ превратиться въ очень тяжелое иго. Представители Милана, Комо, Верчелли, Новары, Александріи, Тортоны, Турина, Павія, Бергамо, Болоньи и уполномоченные маркиза Монферратскаго отвѣчали, что они хотятъ быть союзниками и друзьями, но не подданными короля Карла. Этихъ отвѣтовъ не кончилось дѣло. Посланники Карла продолжали свои интриги, и въ концѣ того-же года миланцы и вслѣдъ за ними граждане нѣкоторыхъ дру-

гихъ городовъ присягнули на вѣрность Карлу, какъ безсмысленному начальнику гвельфскаго движения.

Въ Миланѣ господствовалъ съ 1265 года полкоунъ делла-Торре, племянникъ Филиппа Мартино. Семейство делла-Торре свило съ своимъ высшимъ положеніемъ, переставъ считать себя въ зависимости отъ народной воли и мало заботилось о томъ, чтобы пріобрѣсти себѣ популярностъ. Отношенія между народомъ и господствующимъ семействомъ охладѣли. Филиппъ и Наполеонъ были уже не любимы вождями плебейской партіи, не кумирами, не защитниками ея противъ дворянъ, а просто правителями государства, которымъ народъ вынужденъ былъ повиноваться равнодушно, на которыхъ онъ чинилъ ропотъ за тяжелые налоги и которыхъ онъ можетъ прогнать при первомъ удобномъ случаѣ. Любовь къ семейству бывшихъ дедовъ охладѣвала вмѣстѣ съ той ненавистью, которую въ былое время внушала народу дворянская партія. Эта партія уже давно никому не мѣшала, никого не оскорбляла, никому не казалась опасной. Одни изъ ея коноводовъ и членовъ были въ могилахъ; другіе умирали медленной смертью въ тюрьмахъ и кѣльяхъ, устроенныхъ для нихъ синьоромъ Мартино; третьи бродили по ломбардскимъ городамъ и мѣстѣ съ архіепископомъ Оттономъ, подвергавшимъ лишеніямъ и опасностямъ, которыми жила жизнь политическаго изгнанника. Народныя массы забывчивы и великодушны. Изъ нихъ можно долго ненавидѣть такихъ людей, которые терпятъ преслѣдованія. Въ своихъ побѣдахъ и врагахъ миланцы видѣли только несчастныхъ страдальцевъ. То упорное ожесточеніе, съ которымъ синьоры делла-Торре старались уничтожить послѣдніе остатки разбитой дворянской партіи, не встрѣчало себѣ со стороны народа ни малѣйшаго сочувствія. А между тѣмъ такая партизанская война противъ Оттона Висконти и его приверженцевъ требовала денегъ, и деньги взмскивались съ народа, который не хотѣлъ войны. Народъ началъ понимать, что его интересы отдѣлились отъ частныхъ интересовъ фамиліи делла-Торре, и что главными врагами, поглощающими его деньги и его силъ, сдѣлались теперь тѣ самые люди, которые, по старой памяти, выдають себя за его защитниковъ и выборныхъ начальниковъ. Но тѣмъ не менѣе и размышляя такимъ образомъ, народъ былъ уже неспособенъ освободиться собственными силами отъ такой власти, которая была приспособлена къ его наклонностямъ и влеченіямъ. Республиканская энергія замедляла свое вліяніе тридцатилѣтняго господства низшихъ правителей. Власть господствующей фамиліи стала украшаться ореоломъ законности, и хотя эта власть не нравилась почти никому, однако въ Миланѣ не существовало такого сильнаго, который рѣшился бы

двинуться вперед и пригласить народную массу къ откровенному и настойчивому заявлению своихъ желаній, симпатій и антипатій. Минъ ожидалъ себя толчка со стороны. Ему тѣлось, чтобы какой-нибудь благодѣтель пришелъ освободить его. Разумѣется, можно было предвидѣть заранее, что этотъ великодушный свободитель усядется самъ на то мѣсто, съ котораго онъ прогонитъ синьоровъ дела-Торре.

Въ 1276 году Оттонъ Висконти собрался съ силами, заключилъ союзъ съ маркизомъ Монферратскимъ, взялъ нѣсколько укрѣпленныхъ замковъ, принадлежавшихъ синьорамъ дела-Торре, въ началѣ 1277 года двинулся къ Милану. Наполеонъ дела-Торре выступилъ къ нему на встрѣчу и остановился на ночь съ своимъ войскомъ въ мѣстечкѣ Дезіо. Висконти напалъ на него ночью врасплохъ и такъ удачно, что захватилъ въ плѣнъ самого Наполеона вмѣстѣ съ нѣсколькими его родственниками. Эти шестеро плѣнниковъ попались въ руки комасковъ, которые дали злы на Наполеона за то, что онъ держалъ въ плѣнкѣ одного изъ нихъ соотечественниковъ. Знатныхъ плѣнниковъ препроводили въ Комо, и тамъ имъ отвели для жительства три желѣзные клѣтки.

Двое синьоровъ дела-Торре оставались еще въ свободѣ и командовали кавалерійскимъ отрядомъ, стоявшимъ въ Кантуріо и не принимавшимъ никакого участія въ неудачномъ дѣлѣ при Дезіо. Эти синьоры бросились въ Миланъ и гали умолять народъ, чтобы онъ вооружился и отправился выручать ихъ плѣнныхъ родственниковъ. Но народъ былъ весь на сторонѣ счастливаго побѣдителя, грабилъ дворцы семейства дела-Торре, перерѣзывалъ улицы барри-

кадами и осыпалъ камнями двойхъ синьоровъ, разсчитывавшихъ на его вооруженное содѣйствіе. Остатки торріанской партіи бѣжали изъ Милана сначала въ Лоди, потомъ въ Кремону. Оба эти города заперли передъ ними ворота, и повелители Ломбардіи, превратившіеся за ночь въ нищихъ изгнанниковъ, только въ Парижъ нашли себѣ безопасное убѣжище.

Миланскій народъ уже не умѣлъ пользоваться свободой и защищать ее противъ всякаго посторонняго посягательства. Вліятельные граждане, въ минуту паденія старой династіи, думали только о томъ, какъ-бы раньше и искуснѣе другихъ преклониться передъ восходящей звѣздой новаго властелина. У всѣхъ миланскихъ политиковъ была на умѣ одна и та-же задушевная мысль; немудрено, что эта мысль выразилась въ словѣ и была тотчасъ-же поддержана сотнями усердныхъ восклицаній, которые уже предназначались для чуткаго слуха новаго владыки, хотя этотъ владыка еще не показывался передъ стѣнами Милана. Граждане рѣшили, разумѣется, отправить къ архіепископу Оттону Висконти торжественную депутацію, которая вмѣстѣ съ радостными поздравленіями народа должна была поднести достопочтенному прелату титулъ пожизненнаго синьора и правителя миланской республики.

Такимъ образомъ возвысилась въ Миланѣ новая династія, которая съ перваго дня своего господства не имѣла уже ни малѣйшей надобности кокетничать съ народомъ и прикидываться усердной защитницей его интересовъ и его свободы. Республика, сама того не замѣчая, превратилась въ монархію.

ОБРАЗОВАННАЯ ТОЛПА.

(Сочиненія О. М. Толстого. Два тома).

I.

Книга, заглавіе которой мы здѣсь выписали, составляетъ въ нашей текущей литературѣ явленіе утѣшительное и даже до нѣкоторой степени замѣчательное. Автора этой книги не слѣдуетъ смѣшивать ни съ графомъ Л. Н. Толстымъ, написавшимъ «Дѣтство, Отрочество и Юность» и основавшимъ яснополянскую школу, ни съ графомъ А. К. Толстымъ, написавшимъ нѣсколько удачныхъ стихотвореній (напримѣръ, поучительный разговоръ Россіи съ царемъ Петромъ Алексѣвичемъ), «Князя Серебрянаго» и «Смерть Іоанна Грознаго». Если не ошибаемся,

авторъ разбираемой нами книги — музыкантъ, композиторъ и музыкальный критикъ, писавшій свои музыкальныя рецензіи подъ псевдонимомъ *Ростиславъ*. Мы говоримъ: *если не ошибаемся*, потому что музыка для насъ закрытая область, и потому что мы, не умѣя отличать до отъ фа и бемоля отъ діеза, никогда не заглядывали въ сочиненія нашихъ музыкальных критиковъ, и слѣдовательно никакъ не можемъ ручаться за тождественность котораго нибудь изъ этихъ недостижимыхъ дѣятелей съ авторомъ разсматриваемыхъ нами двухъ томовъ.

Какъ-бы то ни-было, писалъ или не писалъ нашъ авторъ подъ псевдонимомъ Ростиславъ,

во всякомъ случаѣ остается достовѣрнымъ и несомнѣннымъ тотъ фактъ, что музыкальный элементъ далъ себя знать самымъ выразительнымъ образомъ въ повѣсти «Моргунъ — Капельмейстеръ — Самоучка», наполняющей большую часть второго тома. Подавленные непостижимыми разсужденіями о *la majeure* и *do mineur*, о *smorzando* и о прекрасныхъ качествахъ Ветховена, мы скромно проникаемся сознаниемъ нашего невѣжества и еще скромнѣе проходимъ всю повѣсть почтительнымъ молчаніемъ, тѣмъ болѣе, что основная мысль этой повѣсти — мысль о томъ, что крѣпостное право не всегда обходилось любовно и бережно съ богатыми дарованиями, прирожденными русскому простолудию, не можетъ похвалиться особенно поразительной глубиной, новизной и смѣлостью.

Пройдемъ мы тѣмъ же смиреннымъ молчаніемъ драму «Пасынокъ», которая занимает остальную часть второго тома. Эффекты этой драмы — распри между глупымъ старикомъ и глупымъ юношей, удушеніе перваго дурака вторымъ, угнетенная невинность, корыстолюбивый судья, тюремный замокъ, искищеніе невинности изъ зіяющей бездны — могутъ приводить въ трепетъ или въ умиленіе добродушную публику, довершающую свое эстетическое образованіе въ залахъ столичныхъ и провинціальныхъ театровъ, но всѣ эти эффекты не могутъ навести читателя ни на одну плодотворную мысль, относящуюся къ жизни общества или отдѣльной человѣческой личности.

Расклавываясь такимъ образомъ со вторымъ томомъ, мы сосредоточиваемъ все наше вниманіе на первомъ, въ которомъ помѣщены двѣ замѣчательныя повѣсти: «Болѣзни воли» и «Ольга». Обѣ повѣсти замѣчательны, хотя и не въ одинаковой степени. Начнемъ съ «Ольги», какъ съ произведенія менѣе оригинальнаго, менѣе обширнаго и менѣе глубоко-задуманнаго.

Повѣсть «Ольга» вводитъ насъ въ благоухающій міръ блестящей петербургской молодежи, той веселой и беззаботной молодежи, которая въ умнѣйшихъ своихъ представителяхъ возвышается до онѣгинской пресыщенности и разочарованности, а въ глупѣйшихъ опускается довольно часто ниже точки замерзанія человѣческаго смысла и человѣческой совѣсти. Это — міръ рысаковъ, камелій, устрицъ и шампанскаго, загородныхъ гуляній, заимствованныхъ каламбуровъ, сладостныхъ комплиментовъ и неистощимыхъ разговоровъ на такіа темы, о которыхъ непосвященный смертный не съумѣетъ произнести ни одного слова. Одинъ изъ молодыхъ людей, порхающихъ въ этомъ блестящемъ кругу, рассказываетъ своимъ сподвижникамъ эпизодъ изъ своей собственной жизни, и этотъ разсказъ составляетъ собою повѣсть «Ольга».

Этотъ разсказъ объясняетъ читателю, какія вліянія и обстоятельства могутъ превратить

честную и образованную дѣвушку, прекрасное украшеніе великосвѣтской гостиной — прекрасную женщину или, другими словами, высокую и блистательную камелію. — Въ разсказѣ можно сдѣлать до нѣкоторой степени упрекъ, что онъ слишкомъ уменъ. Разсказчикъ самъ принадлежитъ къ тому высшему обществу, которое съ постоянно возрастающимъ успѣхомъ занимается изготовленіемъ искусственныхъ женщинъ, способныхъ только шампанское и продавать съ аукціона свои цѣлун. Разсказчикъ самъ играетъ нѣсколько дѣятельную роль въ слишкомъ обыкновенной исторіи Ольги. И однакожъ этотъ самый сказчикъ ясно понимаетъ связь между причинами и слѣдствіями и бросаетъ на извѣстныя факты очень яркое, вѣрное и страстное освѣщеніе. Онъ, дѣйствующій, является неподкупнымъ судьей и не уклоняется ни отъ самого себя, ни отъ своихъ слушателей отъ одной изъ тѣхъ подробностей, которыя дѣлаютъ на его собственную личность достаточное количество темныхъ пятенъ. Читателю эти только недоумѣвать, какимъ это образомъ такой человекъ, такъ вѣрно понимающій жизнь, можетъ играть въ этой жизни такую важную и жалкую роль, или же — какимъ образомъ такой и ничтожный человекъ можетъ впасть въ своемъ разсказѣ до такихъ серьезныхъ и обыкновенныхъ отношеній къ собственной личности. Авторъ, Толстой, очевидно, лилъ разсказчика своими собственными умными качествами или, выражаясь точнѣе, всудилъ разсказчика такой проникательной и сообразительностью, которая нисколько не выходитъ въ гармонію со всеми остальными качествами блистательнаго юноши, изучающаго жизнь въ Излеровскомъ университетѣ. Тотъ постоянно увлекается процессомъ психическаго анализа и, увлекаясь такимъ образомъ, гонитъ перѣдко въ уста своихъ дѣйствующихъ лицъ такіа умныя рѣчи, которыя онъ до бытъ и могъ-бы произносить только отъ имени. Въ эту ошибку впадаютъ обыкновенно писатели, въ которыхъ мыслитель прорывается надъ художникомъ. Этой погрѣшностью страдаютъ обыкновенно тѣ произведенія, въ которыхъ содержаніе преобладаетъ надъ формой. Но такъ какъ, съ одной стороны, литературы наводнены такими произведеніями, въ которыхъ ничтожность и низерность идетъ рука объ руку съ блистательной формой выраженія, и такъ какъ, съ другой стороны, всѣ литературы до крайности бѣды такими созданіями, въ которыхъ выражается замѣчательная и общепользная идея, то чувствуемъ неотразимую потребность отнестись очень снисходительно къ тому недостатку, который можетъ быть подмѣченъ записнымъ тикомъ въ повѣстяхъ Толстого.

Мы позволим себѣ выразить предположеніе, что Толстой самъ чувствуетъ въ себѣ упомянутый недостатокъ. Онъ повидимому постоянно знаетъ, что образы и сцены недостаточно ясно осязательно выразить его идею; онъ постоянно старается дополнить впечатлѣніе отвлеченными разсужденіями и поясненіями; написавши дѣйствующія картины, онъ вслѣдъ за тѣмъ самъ-же рассказываетъ читателю, съ какой цѣлью нарисованы эти картины, и какую именно идею изобразительно было въ нихъ провести. Съ точки зрѣнія неумолимаго эстетика, такой образъ дѣйствія заключаетъ въ себѣ двойное преступленіе: во-первыхъ, онъ обнаруживаетъ въ авторѣ недостаточное развитіе художественной виртуозности; во-вторыхъ, онъ указываетъ бесспорно предвзятую цѣль, на тенденціозность, на дидактичность данного произведенія, которое въ силу этого пятна теряетъ, по мнѣнію эстетика, всякое право называться художественнымъ. Напротивъ того, съ точки зрѣнія человека, относящагося съ горячей и дѣятельной любовью къ дѣйствительнымъ и осязательнымъ интересамъ общества и человѣческой личности, совершенство художественной техники имѣетъ второстепенное и служебное значеніе, а тенденциозность или дидактичность беллетристическаго произведенія оказывается не предосудительнымъ пятномъ, а необходимымъ оправданіемъ автора передъ читающей публикой. Мы должны сознаться съ достодолжной скромностью, что, по этому складу нашихъ убѣжденій, мы подходимъ гораздо ближе къ людямъ второй категоріи, чѣмъ къ заклкатымъ эстетикамъ. Поэтому, встрѣясь съ тенденціознымъ произведеніемъ, мы приходимъ въ безусловный ужасъ, не отлучаемъ провинившагося автора отъ сонма истинныхъ художниковъ, а только стараемся отвѣтить себѣ на вопросъ о томъ, каковы симпатіи и антипатіи даннаго писателя, что именно восхищается и что опровергается его произведеніемъ. Дальнѣйшія наши отношенія складываются сообразно съ тѣмъ отвѣтомъ, который почитъ себѣ нашъ вопросъ. Если мы подѣлимъ въ авторѣ честную и сознательную любовь къ людямъ, если мы увидимъ въ его произведеніяхъ здоровый и вѣрный взглядъ на междучеловѣчскія отношенія, то насъ нисколько не покоробитъ и не возмутитъ его стараніе говорить отвлеченными поясненіями ту мысль, которую онъ не сумѣлъ съ достаточной наглядностью воплотить въ свои образы и сцены. Его стараніе докажетъ намъ только, что писатель всей душой преданъ своему дѣлу, и что въ успѣхъ этого дѣла онъ съ радостью пускаетъ въ ходъ даже такіа средства, которыя могутъ внушить читателямъ сомнѣніе въ силѣ его художественной виртуозности.

II.

Своему разсказу «Ольга» Толстой предпосылаетъ нѣсколько размышленій, въ которыхъ онъ доказываетъ пользу и своевременность небольшихъ повѣствовательныхъ очерковъ, записанныхъ со словъ молодыхъ людей, совершенно неспособныхъ «приняться когда-либо за перо». Толстой говоритъ, что наша жизнь спѣшитъ и стремится куда-то впередъ, и что въ наше время «для наблюдательнаго глаза главное дѣло смотрѣть въ оба и не прозѣвать быстро мелькающихъ явленій жизни».

«Не видя большой пользы—продолжаетъ онъ—въ дидактическихъ приѣмахъ для поученія нашей молодежи, я нахожу однакоже, что литература наша обязана изучать ея нравы, обычаи и стремленія. Называть однихъ нигилистами, другихъ кутилами, третьихъ просто фатами—сущее пустословіе; вѣдь есть же и другія категоріи. Дѣло литературы поглубже вникать—отчего у молодыхъ людей нашихъ составилось то или другое воззрѣніе, хоть напри- мѣръ на женщину. Это дѣло важное!»

Если мы вѣрно понимаемъ эти слова Толстого, то въ нихъ заключается энергическій протестъ противъ поверхностнаго и легкомысленнаго вписыванія живыхъ явленій, изумляющихъ мыслящаго наблюдателя своимъ безконечнымъ разнообразіемъ, въ очень ограниченное число рубрикъ и категорій, надъ которыми припилены разъ навсегда вывѣски и ярлыки, вовсе не соответствующіе внутреннему содержанию вписываемыхъ предметовъ. Произвольная классификація, любимый конекъ бездарныхъ тружениковъ, надѣлала много путаницы даже въ естественныхъ наукахъ, гдѣ изслѣдователи имѣютъ полную возможность относиться къ своему предмету спокойно, безстрастно и объективно. Въ тѣхъ отрасляхъ знанія и литературы, которыя разсматриваютъ явленія общественной жизни, всякая подобная классификація оказывается еще несравненно болѣе вредной, потому что здѣсь ярлыки и вывѣски припиливаются нарочно для того, чтобы возбудить въ массахъ читающихъ людей тѣ или другія, враждебныя или любовныя чувства къ разсматриваемому предмету. Каждая вывѣска становится непременно или знакомъ отличія, или позорнымъ клеймомъ, смотря по тому, какая голова, дружеская или вражеская, потрудилась надъ ея измышленіемъ. Поэтому почти ни одна вывѣска не говоритъ намъ ровно ничего о дѣйствительныхъ свойствахъ того предмета, къ которому она прицѣплена. Одни изъ этихъ вывѣсокъ говорятъ прохожему: остановись, нахмурь свое чело, сдвинь брови и брось сюда молниеносный взглядъ, полный убійственнаго презрѣнія. Другія говорятъ тому-же прохожему: остановись, разгладь грозныя морщины твоего нахмуреннаго

чела и препроводи сюда самую очаровательную из твоих улыбок. А так как прохожие по большей части отличаются сговорчивостью и податливостью, то приказанія вывѣсокъ исполняются буквально, свирѣпыя взгляды и прелестныя улыбки летятъ куда слѣдуетъ въ роскошномъ изобиліи, и самосознаніе такъ называемаго образованнаго общества не дѣлаетъ ни шагу впередъ, потому что основательное знаніе всѣхъ измышленныхъ ярлыковъ и вывѣсокъ, ругательныхъ и хвалительныхъ, кажется этому образованному обществу весьма достаточнымъ удовлетвореніемъ его политической любознательности. Въ каждомъ образованномъ обществѣ есть, правда, мыслящіе люди, способные и желающіе усомниться въ безусловной вѣрности и характеристической выразительности общепринятыхъ вывѣсокъ и ярлыковъ. Эти люди возвышаютъ голосъ и стараются вразумить массу слишкомъ податливыхъ и сговорчивыхъ прохожихъ. Но многочисленные почитатели готовыхъ ярлыковъ и вывѣсокъ находятъ себѣ въ своихъ излюбленныхъ ярлыкахъ и вывѣскахъ самое сильное оружіе противъ непрощенныхъ вразумителей, нарушающихъ сладостную дремоту лѣнивыхъ и неразвитыхъ умовъ. Чтобы въ значительной степени подорвать вліяніе оригинальнаго мыслителя на общество, достаточно измыслить для него и для его единомышленниковъ какую-нибудь хулительную кличку или, еще того лучше, включить его, вмѣстѣ съ его послѣдователями, въ какую-нибудь изъ существующихъ и уже достаточно опозоренныхъ категорій. Если-бы, напримѣръ, какой-нибудь смѣлый чудакъ вздумалъ утверждать публично, что назвать человѣка какою-нибудь кличкой еще не значитъ доказать неопровержимо его абсолютную негодность и зловерность, что подъ одной вывѣской могутъ находиться, по волѣ близорукихъ или недобросовѣстныхъ классификаторовъ, очень многіе предметы, другъ на друга очень не похожіе, и что наконецъ въ отношеніи къ самымъ безнадежнымъ негодяямъ надо все таки соблюдать извѣстное юридическое правило: *audiat et altera pars*—то подобнаго чудака усмирили бы немедленно тѣ самые классификаторы, которыхъ онъ, чудакъ, старался уличить въ пристрастія или близорукости. Надъ этимъ чудакомъ усердные классификаторы немедленно соорудили бы такую компрометирующую вывѣску, которая въ самомъ скоромъ времени привлекла бы на его несчастную голову всѣ свирѣпыя и презрительныя взгляды всѣхъ податливыхъ и сговорчивыхъ прохожихъ.

Толстой вооружается совершенно справедливо противъ готовыхъ ярлыковъ и вывѣсокъ, посредствомъ которыхъ наши глубокомысленные классификаторы стараются рѣшить съ плеча самые сложные и запутанные вопросы общественной жизни. Толстой требуетъ изученія и анализа тамъ,

гдѣ любители готовыхъ рубрикъ даютъ тонъ на чемъ не основанныя сентенціи и рѣшенія. Толстой старается спокойно и спокойно разсуждать съ той читающей публикой, которую наши классификаторы съ полнотой хомъ запугивали до сихъ поръ блестящимъ арсеналомъ мудреныхъ иностранныхъ словъ, кончающихся на *измъ* и *долженствущихъ* и разить собой всякую умственную чистоту. Нельзя не жалѣть, и въ то же время грустно дѣлается, чтобы этотъ хорошій примѣръ, данный Толстымъ, нашелъ себѣ многочисленныхъ подражателей.

Толстой совѣтуетъ литературѣ обратитъ вниманіе на тѣхъ молодыхъ людей, которымъ голову не придетъ приняться когда либо за прозу. Это—совѣтъ очень благоразумный. До поръ наша литература занималась преимущественно или даже почти исключительно сравнительно не многочисленными малыми людьми, которые размышляютъ или о ней мѣрѣ стараются размышлять за всѣ поколѣнія. Почти въ каждомъ романѣ и повѣсти весь интерес дѣйствія сосредоточивался вокругъ какой-нибудь личности, разая по своему уму и развитію стоявшей надъ всемъ окружающимъ. Романъ или повѣсть часто стремились къ тому, чтобы доказать состоятельность, фальшивость и искусственность всѣхъ убѣжденій, воодушевлявшихъ пера и развитого человѣка. Романисты развѣивали и сводили съ пьедестала своего героя, вступая съ нимъ въ ожесточенную борьбу, все-таки занимался почти исключительно однимъ, какъ воплощеніемъ тѣхъ идей, въ давнюю минуту занимали собой лучшіе и сильнѣйшіе умы, поставленные въ наиболѣе выгодное положеніе. Защищая или стараясь битъ тѣ или другіе идеалы, наша литература въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей значительной степени упускала изъ виду: понятія и стремленія тѣхъ очень многихъ людей, которые прозабываютъ со дня на день безъ всякихъ идеаловъ, безъ всякихъ ственныхъ тревогъ, подъ всеподавляющимъ вліяніемъ своихъ желудочныхъ побужденій и инстинктовъ. Наши Чацкіе, Печорины, даже пожалуй Онегины, наши Рудины, товы, Базаровы, всѣ почти герои лучшихъ беллетристическихъ произведеній, ищутъ, сомнѣваются, волнуются, ищутъ въ жизни какой-нибудь цѣли и смысла, же, усвоивъ себѣ опредѣленный взглядъ на вещи, стараются доставить ему полную свободу надъ тѣмъ, что они считаютъ человѣка предразсудками и заблужденіями. Всѣ герои—или борцы за идею, или люди, тоскующіе о томъ, что они не умѣютъ сдѣлаться борцами. Фонъ тѣхъ картинъ, на которыхъ суются эти герои, мыслящіе или стараясь

мыслить, составленъ всегда изъ такихъ людей, которые спятъ непробуднымъ умственнымъ сномъ и живутъ по силѣ инерціи. Являясь въ качествѣ хористовъ и аксессуарныхъ принадлежностей, эти нетронутые мыслью люди оказываются до нѣкоторой степени сносными и приличными, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда романистъ старается разоблачить ложность идеаловъ, увлекающихся за собой передового человѣка. Чтобы убѣдиться въ дѣйствительныхъ достоинствахъ этихъ нетронутыхъ людей, надо выпустить ихъ на первый планъ и подвергнуть тщательному анализу всѣ ихъ отношенія между собой. Этотъ полезный трудъ до сихъ поръ не былъ предпринятъ во всемъ своемъ объемѣ. Людей толпы, дюжинныхъ фланеровъ и виверовъ изображали и осмѣивали до сихъ поръ только фельетонисты и второстепенные художники, подобные Ивану Панаеву, художники, оставшіеся поверхностными фельетонистами даже въ обширѣйшихъ своихъ романахъ. Пустые и ничтожные люди никогда не подвергались въ нашей литературѣ тому тщательному и разностороннему изученію, которому подвергались и подвергаются до сихъ поръ выдающіяся личности, способныя увлекаться идеалами и жить въ свѣтломъ и обширномъ мірѣ умственного труда. Отъ этого важнаго пробѣла въ нашей литературѣ произошло для насъ то неудобство, что мы слишкомъ строго и, слѣдовательно, несправедливо относимся къ нашимъ мыслящимъ людямъ.

Намъ не съ чѣмъ сравнивать этихъ людей; у насъ нѣтъ такой мѣрки, которая дала бы намъ точное понятіе объ ихъ дѣйствительной цѣнности. Типы различныхъ героевъ, смѣнявшихъ другъ друга въ теченіе послѣднихъ трехъ или четырехъ десятилѣтій, извѣстны намъ вдоль и поперекъ. Зная во всѣхъ подробностяхъ, какъ они мыслятъ, какъ страдаютъ, какъ любятъ, какъ спотыкаются и падаютъ, мы можемъ пересчитать всѣ мельчайшія пятна ихъ жизни по тѣмъ документамъ, которые доставлены намъ лучшими нашими писателями. Людей толпы мы, напротивъ того, знаемъ только изъ нашихъ ежедневныхъ сношеній и столкновеній съ ними; но каждый изъ насъ охотно сознается, что ему никогда не удастся подмѣтить въ явленіяхъ жизни столько новыхъ и характерныхъ сторонъ, сколько способенъ уловить и фиксировать на бумагу великій поэтъ, подобный Диккенсу, Теккерю, Бальзаку или нашему Тургеневу. Отлично зная героевъ и плохо зная дюжинныхъ людей, мы не можемъ отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ, насколько первые, во всѣхъ своихъ поступкахъ, оказываются выше, чище и разумнѣе послѣднихъ.

Типическія особенности мыслящихъ героевъ измѣняются сообразно съ обстоятельствами времени и мѣста; вмѣстѣ съ этими типическими особенностями измѣняются также и отношенія

общества къ мыслящимъ героямъ. Бываютъ такіе времена, когда общество относится къ этимъ людямъ особенно несправедливо; оно притирается съ близорукимъ злорадствомъ ко всѣмъ виѣшнимъ, мелкимъ и безвреднымъ шероховатостямъ ихъ характера; оно осмѣиваетъ и порицаетъ ихъ костюмъ, ихъ прическу, ихъ манеры, ихъ рѣзкій тонъ; въ каждой безразличной мелочи оно видитъ или подозрѣваетъ преступныя и разрушительныя тенденціи. Въ такіе времена бываетъ особенно полезно обращать вниманіе общества на образъ жизни людей немыслящихъ; въ этомъ образѣ жизни, въ этихъ правахъ и обычаяхъ, въ этихъ взглядахъ и понятіяхъ, сформировавшихся во мракѣ полуживотной безсознательности, находятъ себѣ объясненіе всѣ тѣ рѣзкости мыслящихъ героевъ, которыя возмущаютъ и скандализуютъ такъ называемое образованное общество. Разсматривая внимательно и безпристрастно понятія, стремленія и поступки безсознательнаго большинства, тѣ читатели, которые еще не утратили способности учиться и совершенствоваться, должны неизбѣжно придти къ тому убѣжденію, что мыслящіе люди, со всѣми своими странностями, рѣзкостями, угловатостями и крайними увлеченіями, стоятъ въ психологическомъ отношеніи все-таки неизмѣримо выше праздныхъ и неподвижныхъ копителей неба. Повидимому это такая простая и очевидная истина, которую совѣстно не только доказывать, но даже и высказывать.

III.

Приступаемъ наконецъ къ разсказу «Ольга». Дѣло начинается съ того, что одинъ веселый молодой человѣкъ въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ цѣлуетъ *прямо въ суставчикъ подъ локтемъ* одну совершенно незнакомую ему молодую дѣвушку, которую онъ увидалъ у рѣшетки ея сада на Аптекарскомъ островѣ, и которую онъ принялъ по ошибкѣ за камелію. Въ тотъ же вечеръ молодой любитель *суставчиковъ* узнаетъ отъ своего собутыльника, князя Вольскаго, что мнимую камелію зовутъ Ольгой и что она воспитанница старой княгини Бецкой, при которой Вольскій, въ качествѣ внучатнаго племянника, состоитъ единственнымъ законнымъ наслѣдникомъ. Сообщивши эти свѣдѣнія своему предпріимчивому пріятелю, Вольскій немедленно предлагаетъ ему представить его старой княгинѣ, именно для того, чтобы пріятель могъ поволочиться за хорошенькой дѣвушкой и, въ случаѣ успѣха, соблазнить ее. Этотъ планъ кажется до нѣкоторой степени смѣлымъ и предосудительнымъ какъ самому пріятелю, объ интересахъ котораго заботится добрыйшій Вольскій, такъ и другимъ товарищамъ Вольскаго, разсматривающимъ его *пред-*

ложение у Излера, за многими бутылками шампанского.

— Все-таки изъ этого ничего не выйдет, утверждаетъ отпѣкивающийся пріятель. (Такъ какъ у Толстого эта особа, рассказывающая всю исторію, оставлена безъ фамиліи, то мы такъ и будемъ называть его *пріятелемъ* во всей нашей рецензіи). Вѣдь не свататься же мнѣ.

— «Какой вздоръ! отвѣчалъ князь Вольскій, зачѣмъ свататься, и безъ того можетъ быть обойдется. Вотъ какъ мы вдвоемъ пріударимъ, такъ авось голубкѣ и не отвергнется.» Возрѣнія веселыхъ юношей на женщину обрисовываются весьма достаточно этимъ краткимъ, но выразительнымъ обмѣномъ идей. Одинъ говоритъ: вѣдь не свататься же мнѣ, а другой находитъ чистѣйшимъ вздоромъ даже самый легкій намекъ на сватовство. Въ томъ кругу, въ которомъ вращается *пріятель*, женитьба считается величайшей изъ всѣхъ возможныхъ человѣческихъ глупостей и оправдывается только настоятельной необходимостью поправить разстроенные финансы или приобрести могущественныя связи. Когда *пріятель*, познакоившись съ княгиней Вецкой, влюбился въ Ольгу по уши, тогда ему представилась слѣдующая дилемма: «или бѣжать изъ Петербурга, или рѣшиться переступить Рубиконъ, то есть просто жениться». «Какъ ни дико, продолжаетъ пріятель—какъ ни противно было мнѣ послѣднее средство, но послѣ нѣсколькихъ дней затворничества и глубокихъ думъ и разсужденій я уже мало-по-малу началъ свыкаться съ этой мыслью». «Всѣ эти думы, говоритъ далѣе тотъ-же пріятель, я гранилъ, раздумывалъ, про себя и ни съ кѣмъ не совѣтовался, потому что въ кругу моихъ знакомыхъ меня подняли-бы на смѣхъ, а изъ родныхъ моихъ никого подъ рукою не было».

И такъ жениться по любви на молодой, красивой, умной и образованной дѣвушкѣ, то есть завоевать себѣ самое живое, прочное и плодотворное изъ личныхъ наслажденій, доставить счастье милому существу и его счастьемъ наполнить и осмыслить собственную жизнь—все это, по мнѣнію веселыхъ юношей, дико, противно и достойно самого безпощаднаго осмѣянія. Во имя какой-же идеи производится это ожесточенное отрицаніе семейной жизни, которая, по справедливому замѣчанію Толстого, «есть надежнѣйшій оплотъ государственной жизни?» Идея нѣтъ никакой, а есть только непреодолимое отвращеніе ко всякому правильному и послѣдовательному труду; во имя этого отвращенія, воссозданнаго веселыми юношами съ помощью матери, вальсѣннаго въ нитъ домашними воспитателями, укрупненнаго практиками старшихъ товарищей, обрившагося наконецъ въ ихъ вторую прароду,—процѣптуютъ и плещутся во всѣхъ европейскихъ обществахъ старые бромліевые холостяки, старые

сварливыя дѣвы, блистательно несчастныя грязно несчастныя камеліи, побочныя дѣти, нужденныя христарадничать или воровать, и питательные дома, поглощающіе миллионы рѣлей, франковъ или гиней, заразительныя бѣлѣзны, отравляющія съ самой колыбели дѣтъ поколѣнія, и увеселительныя заведенія, имѣющія у безбородыхъ юношей деньги, совѣсть и умъ. Отвращеніе къ труду, порожденное умственной пустотой и въ свою очередь поддерживающее эту пустоту, заставляетъ сельскихъ юношей отплеиваться и открещиваться отъ такихъ отношеній, которыя могутъ имъ жить на нихъ какія-бы то ни было обязанности и подвергнуть ихъ какой-бы то ни было общественной ответственности. Кто женится, и почти навѣрняка подвергаетъ себя опасности сдѣлаться отцомъ. А дѣтей надо кормить, одѣвать, обувать, обучать, учить, воспитывать, вывозить въ свѣтъ, выдавать замужъ, вводить въ люди, опредѣлять на службу. На все это необходимы деньги, а деньги—такая прелесть штука, на которую счастливый отецъ, если онъ не былъ счастливымъ отцомъ, могъ-бы бывать собственно для своей особы весьма статочное количество самыхъ свѣжихъ французскихъ устрицъ, самыхъ модныхъ французскихъ камелій, самыхъ изящныхъ продуктовъ современной промышленности. Да и эти деньги требуются для того, чтобы востановить ноги плаксивыхъ ребятишекъ и сдѣлать изъ нихъ приличныхъ джентльменовъ, способныхъ носить громкое имя, не позоря его на какомъ-нибудь вопіющаго физическимъ уродствомъ, вульгарными манерами, ни безобразнымъ жестомъ, ни черзуръ грязной порочною наклонностью и привычекъ? Надо не только заботиться, но еще и выбирать, и даже до нѣкоторой степени контролировать наставниковъ, усовѣщивать, урезонивать, уговаривать ребенка, желающаго раньше времени притѣться въ веселаго юношу и залустить примчивую руку въ папашины карманы, достаточно опустошенные, сначала изъ голодной жизни, а потомъ державшей для приличной ногѣ. Надо сдерживать порывы какаго-нибудь авторитетомъ и поучительнымъ примѣромъ отца, а вѣдь это штука весьма дреная! Гдѣ ихъ возьмешь—примѣръ и авторитетъ? Въ какихъ магазинахъ счастливый отецъ пойдетъ покупать или заказывать эти вещи, когда онъ ему понадобится?

Невыгодная сторона брака, съ точки зрѣнія веселаго юноши, черзуръ очевидна. Разъ заботы, дѣтскій плачъ, каранье шаловливой женскія причуды, одиозное существованіе счастья—этого слишкомъ достаточно, чтобы вратить семейное счастье въ отвратительное страшилище, на которое человѣкъ можетъ снаться только черта голыгу, подъ злымъ

всепоглощающей страсти, или тѣснимый безвыходностью своего финансового положенія.

Привлекательная сторона супружеской жизни, съ той-же точки зрѣнія веселаго юноши, гораздо менѣе замѣтна. Можно даже сказать, что она совершенно исчезаетъ за сѣрымъ туманомъ заботъ и расходовъ. Любить жену и дѣтей — это повидимому такъ просто и естественно, что каждый самый дюжинный человекъ долженъ былъ бы въ этомъ отношеніи оказываться совершенно состоятельнымъ. Но дѣйствительная жизнь говоритъ намъ совсѣмъ другое: счастливыя супружества и нормальныя отношенія родителей къ дѣтямъ разсыяны какъ крошечныя оазисы въ цѣлой неизмѣримой Сахарѣ разнообразнѣйшихъ семейныхъ раздоровъ, которые начинаются обыкновенно съ затаенной взаимной антипатіи и кончаются нерѣдко грязными скандалами или даже уголовными преступленіями. Чтобы дѣйствительно любить жену и дѣтей, и чтобы этой любовью доставлять первой прочное счастье, а вторымъ истинную пользу — надо быть высоко развитымъ человекомъ, или по крайней мѣрѣ надо жить постоянно въ здоровой и укрѣпляющей атмосферѣ честнаго труда. Мыслящій человекъ достоинъ быть другомъ своей жены и своихъ дѣтей; работникъ, добывающій свой пашущій хлѣбъ цѣною тяжелыхъ и постоянныхъ усилій, способенъ также уважать въ своей женѣ добрую и расторопную помощницу, и воспитывать въ своихъ дѣтяхъ честныхъ и полезныхъ труженниковъ. Но тѣ люди, у которыхъ нѣтъ въ жизни ни опредѣленной цѣли, ни любимаго умственного труда, ни тяжелой необходимости заниматься ручной работой, тѣ люди, которые живутъ для того, чтобы платить оброкъ вино-торговцамъ и содержателямъ увеселительныхъ заведеній — тѣ могутъ понимать женщину только со стороны ея пластической привлекательности и относиться къ своимъ дѣтямъ такъ, какъ многіе старики и старухи относятся къ забавнымъ комнатнымъ звѣркамъ. Чего можетъ искать въ своей женѣ какой нибудь г. Вольскій или его пріятель, цѣлующій незнакомыхъ женщинъ въ разные суставчики? Какими мыслями или чувствами, желаніями или опасеніями могутъ такіе господа дѣлиться съ своими супругами? — Вольскій можетъ сообщать своей женѣ, хорошо или дурно улегся въ его желудокъ воль-о-ванъ или маіонезъ, съѣденный имъ за домашнимъ обѣдомъ. Онъ можетъ высказать ей, что чувствуетъ головную боль послѣ слишкомъ усерднаго знакомства съ бутылкой коньяка или мараскина. Онъ можетъ открыть ей, что желаетъ пріобрѣсти новую пару сѣрыхъ или рыжихъ жеребцовъ. Онъ можетъ дѣлиться съ ней опасеніями на счетъ того, что мошенникъ староста не вышлетъ во-время изъ черноземной губерніи необходимое количество

кредитныхъ билетовъ. Онъ могъ бы пожалуй, если бы дѣло пошло на откровенность, рассказать ей конфиденціально, что ему чрезвычайно понравилась нога такой-то балетной солистки, или роскошныя плечи такой-то камелин. Но такъ какъ подобные разговоры вести съ женой не принято и даже не безопасно, то по всей вѣроятности дѣло на откровенность не пойдетъ, и ноги вмѣстѣ съ плечами будутъ исключены изъ репертуара супружескихъ разговоровъ. Надо сказать правду, репертуаръ этотъ не роскошенъ; истощить его нетрудно; и когда онъ окажется истощеннымъ, тогда томительная скука и взаимное презрѣніе усядутся за семейнымъ очагомъ, рядомъ съ фешенебельными супругами.

У Вольскаго и его веселыхъ товарищей, когда они имѣютъ неосторожность жениться по такъ называемой страстной любви, томительная скука начинается тотчасъ послѣ восторговъ медоваго мѣсяца. А такъ какъ люди этой категоріи могутъ доставлять себѣ подобные восторги по нѣскольку разъ въ годъ, нѣсколько не обременяя себя неразрушимыми обѣтами, то не трудно понять, почему господа Вольскіе чувствуютъ глубокое отвращеніе къ браку и предпочитаютъ покупать себѣ временныхъ подругъ жизни за наличныя деньги. Когда же слишкомъ частыя покупки подругъ доводятъ господъ Вольскихъ до позорнаго разоренія, тогда они въ свою очередь продаютъ себя богатой женщинѣ или дѣвушкѣ, также за наличныя деньги.

Такъ слагаются въ веселомъ обществѣ Вольскаго отношенія между мужчинами и женщинами; понятно, что это не тѣ отношенія, которыя, по замѣчанію Толстого, составляютъ «надежнѣйшій оплотъ государственной жизни».

Въ нашей литературѣ уже не разъ слышались вопли о томъ, что семейныя добродѣтели начинаютъ увядать въ нашемъ отечествѣ, и виновниками этого увяданія выставлялись, съ свойственною нашимъ литераторамъ догадливостью, какіе-то теоретики, открыто проповѣдующіе людямъ голый развратъ, во имя какихъ-то новыхъ идей — Это предположеніе, дѣлающее очень много чести остроумію и добросовѣстности нашихъ литераторовъ, блистательно опровергается тѣмъ правоученіемъ, которое безъ малѣйшей натяжки можетъ быть выведено изъ повѣсти «Ольга». Въ самомъ дѣлѣ процвѣтаетъ ли семейная жизнь въ веселомъ обществѣ Вольскаго, которое никогда не увлекалось никакими идеями, ни старыми, ни новыми? — Если не процвѣтаетъ, то стало быть ея процвѣтанію мѣшаютъ не зловредныя проповѣди какихъ нибудь двухъ, трехъ увлекающихся фантазеровъ, а тѣ или другія общія условія, засѣвшія очень глубоко въ нашу всенародную жизнь и подчиняющія себѣ все то, что пассивно увлекается

теченіемъ этой жизни. Семейныя добродѣтели вянуть и гибнуть не отъ умственныхъ заблужденій, которыя, доразвившись до абсурда, сами себя уничтожаютъ и, во всякомъ случаѣ, обогащаютъ общество новымъ запасомъ опытности.

IV.

Пріятель князя Вольскаго знакомится съ княгиней Бецкой, видится часто съ ея воспитанницей Ольгой, влюбляется въ нее и наконецъ, при всемъ своемъ отвращеніи къ женитбѣ, уже рѣшается сдѣлать ей предложеніе, какъ вдругъ узнаетъ, что Ольга — крѣпостная дѣвушка, дочь лакея Петра, находящагося въ услуженіи у старой княгини. Сдѣлавъ это замѣчательное открытіе, пріятель пріѣзжаетъ къ Ольгѣ и съ особенно язвительнымъ намѣреніемъ называетъ ее по имени и по отчеству. Что веселый юноша старается такимъ лакейскимъ маневромъ оскорбить ту дѣвушку, въ которую онъ влюбленъ — это нисколько неудивительно. На то онъ и веселый юноша, на то онъ слушаетъ эстетическія лекціи въ Излеровскомъ университетѣ, на то онъ — пріятель Вольскаго, гладнокровно разсуждающаго о средствахъ погубить молодое и чистое существо! — Но удивительно и даже неправдоподобно то, что онъ, рассказывая всю исторію своимъ собутыльникамъ, самъ, безъ всякой надобности и съ особенной настойчивостью, упоминаетъ о своемъ мальчишескомъ стараніи уязвить бѣдную дѣвушку намекомъ на ея слишкомъ скромное происхожденіе. Это тѣмъ болѣе неправдоподобно, что вслѣдъ за глупой выходкой нашего пріятеля приводится длинное объясненіе его съ Ольгой, объясненіе, въ которомъ нелѣпность и мизерность его язвительныхъ стараній выставляется на видъ самымъ убѣдительнымъ образомъ. Вслѣдствіе этого его разсказъ о глупой выходкѣ превращается въ сознательное самообличеніе, до котораго, по нашему мнѣнію, веселые юноши рѣшительно не способны возвыситься. Веселымъ юношамъ даже до Гамлета цигровскаго уѣзда, какъ до звѣзды небесной, далеко.

Въ своемъ объясненіи съ пріятелемъ, къ которому она очень равнодушна, Ольга высказываетъ очень вѣрный и спокойно объективный взглядъ на свое невыносимое положеніе. «Еслибы княгиня, говорить она между прочимъ, подумала о моей будущности, то она позаботилась-бы пристроить какъ нибудь моего отца и уволила-бы его отъ лакейской должности. Скажите, сообразно-ли это съ чѣмъ нибудь? Меня воспитываютъ, даютъ мнѣ образованіе, развиваютъ мои понятія и тутъ-же подъ бокомъ держать отца моего въ униженіи! Да это безнравственно въ высшей степени, подумайте, ради Бога! Чего-же хотѣли отъ меня? Чтобы

я отвернулась отъ отца, стала-бы глумиться, презирать его? Да они чуть и не добились этого! Когда я была маленькая, я имѣла отца; но, благодаря Бога, съ развитіемъ разума, поняла, что онъ ни въ чемъ тутъ не виноватъ».

Почему именно умъ Ольги развился именно въ такой атмосферѣ, гдѣ искажаются всѣ дѣловыя человеческія инстинкты и гдѣ атрофируются благороднѣйшія человеческія способности — это важная психологическая задача, которую Толстого оставлена совершенно нетронутой. Въ этомъ замѣчательномъ фактѣ нѣтъ ничего абсолютно невозможнаго. Бываютъ въ жизни такіе стеченія обстоятельствъ, вслѣдствіе которыхъ живая мысль прокрадывается въ самыя темныя убожища рутинны. Но авторъ, по нашему мнѣнію, не въ правѣ оставлять читателя въ неумѣніи, и читатель вовсе не обязанъ присматриваться отъ себя то, что не договорено или не подумано авторомъ. Если читатель видитъ что-нибудь, то онъ долженъ видѣть и причины. Если онъ слышитъ умныя рѣчи отъ воспитанника глупой и надутой барыни, княгини Бецкой, то онъ имѣетъ право требовать, чтобы ему показали главные моменты того процесса развитія, посредствомъ котораго молодая дѣвушка добралась до вѣрнаго пониманія окружающаго людей и своего собственного положенія.

Пріятель князя Вольскаго, слушая возмущенную Ольгу, волнуется духомъ, проливаетъ слезы глупѣйшаго умиленія, припадаетъ къ рукамъ несчастной дѣвушки и, разумеется, кончаетъ всѣ эти раздирательныя сцены тѣмъ, что прощается съ ней, потому что, въ самомъ дѣлѣ, не резонъ-же ему, ведущему хлѣбъ-соль съ великосвѣтскими фатами и напивающемуся каждый день въ самомъ отборнѣйшемъ обществѣ, вѣнчаться съ холопкой. Ольга разстается съ нимъ, какъ съ другомъ. По нашему мнѣнію, это обстоятельство составляетъ со стороны автора довольно важную психологическую ошибку, которая, правда, была необходима для того, чтобы Ольга впоследствии могла разсказать веселому юношѣ окончаніе своей печальной исторіи, но которая все-таки нисколько не оправдывается этимъ соображеніемъ.

Если Ольга силами собственного ума добралась до вѣрнаго и честнаго взгляда на междучеловѣческія отношенія, если она, блестящая барышня, не стыдится цѣловать въ обѣ щеки своего отца, перемывающаго кухонскую посуду, то она должна смотрѣть съ глубокимъ презрѣніемъ на мужчину, который имѣя полную возможность развиваться, совершенствоваться и бороться съ смѣшными заблужденіями общества, малодушно отступаетъ передъ фантастическимъ препятствіемъ, поставленнымъ людскою глупостью между нимъ и любимой дѣвушкой. «Чѣмъ болѣе я думаю», говоритъ Ольга своему обожателю, «тѣмъ бо-

лѣе убѣждаюсь, что для меня нѣтъ будущности». Невозможно понять, какимъ образомъ умная дѣвушка не видитъ, что будущность ея уничтожается не фальшивостью ея положенія, а просто нравственной дряблостью и умственной убогостью ея возлюбленнаго. Какъ бы то ни было, психологическая ошибка очевидна, и прямымъ слѣдствіемъ этой ошибки оказывается конфиденціальный разговоръ, веденный между Ольгой и пріятелемъ въ великолѣпной каретѣ, въ которой Ольга, сдѣлавшаяся блистательной лореткой или камеліей, везетъ своего бывшего поклонника на Елагинъ островъ и обратно. Въ этомъ разговорѣ Ольга объясняетъ веселому юношѣ, какимъ путемъ она дошла до необходимости продавать свои поцѣлуи.

Смерть глупой графини Вецкой дала новый поворотъ всему существованію ея несчастной воспитанницы. Княгиня до послѣдней минуты осталась вѣрна своему характеру, то-есть завершила блистательной глупостью тотъ длинный рядъ нелѣпостей, которыми она отравила жизнь бѣдной Ольги съ самой колыбели. Желая обезпечить положеніе своей воспитанницы, она написала по-французски инструкцію своему единственному наслѣднику, князю Вольскому, и этого же самаго Вольскаго назначила своимъ душеприкащикомъ. Вольскій разумѣется поступилъ такъ, какъ долженъ поступить роскошный цвѣтокъ, распустившійся на градкахъ Излеровскаго палисадника. Онъ употребилъ инструкцію своей бабушки на раскуриваніе сигары и предложилъ Ольгѣ сдѣлаться его любовницей за очень хорошую цѣну. Дѣлая ей это предложеніе, онъ говорилъ съ ней такъ, какъ приличному молодому человѣку подобаетъ говорить съ лакейскимъ отродьемъ. Онъ называлъ ее просто Ольгой и не баловалъ ее мѣстоименіемъ *ам*. Ольга, съ свойственною ей сословію безчувственностью и черной неблагодарностью, отвѣчала на почетное предложеніе великодушнаго князя горделивымъ и дерзкимъ отказомъ. Если за эту непристойную выходку ей не пришлось дорого поплатиться, то этимъ счастливымъ для нея обстоятельствомъ она обязана никакъ не предусмотрительности своей незабвенной благодѣтельницы и воспитательницы, а только тому случаю, что старая княгиня умерла уже послѣ реформы 19-го февраля 1861 года. Князь Вольскій съ своей стороны сдѣлалъ все, что было въ его власти. Онъ немедленно выгналъ строптивую холодку изъ своего княжескаго дома.

Для Ольги началось мучительное исканіе честнаго труда. Она хотѣла ѣсть хлѣбъ свой въ потѣ своего лица, но это лицо было такъ красиво, что добрые люди никакъ не могли допустить, чтобы ея бѣлая и тонкая кожа покрывалась каплями грубаго и неизящнаго трудового пота.

Чтобы найти себѣ работу и отвадить отъ себя любителей продажныхъ наслажденій, Ольгѣ надо было залить себѣ лицо купороснымъ масломъ. Она не догадалась или не рѣшилась употребить это героическое средство. Послѣ долгой борьбы съ гнетущей нищетой, она продала себя и была вознаграждена за благоразумную уступчивость удобной квартирой, мягкой мебелью, быстрыми рысачками и всѣмъ тѣмъ, что веселитъ сердце человѣка, неиспорченнаго завирательными идеями.

Этотъ очеркъ можетъ быть дополненъ еще двумя выразительными подробностями. Окончивъ свой рассказъ, отставной поклонникъ Ольги задаетъ своимъ веселымъ собесѣдникамъ вопросъ, какъ имъ держать себя съ Вольскимъ, который, какъ имъ извѣстно изъ разсказа, оказывается непристойнымъ пакостникомъ. Толпа погружается въ недоумѣніе, отъ котораго ее спасаетъ слѣдующій возгласъ одного изъ присутствующихъ: «можетъ и вретъ твоя прелестница?» Вся толпа съ единодушнымъ восторгомъ ухватывается за этотъ неожиданный выходъ изъ затруднительнаго положенія. Князь Вольскій по прежнему остается въ глазахъ своихъ товарищей веселымъ малымъ, отличнымъ собесѣдникомъ и душой общества.

Вторая выразительная подробность состоитъ вотъ въ чемъ. Молодой человѣкъ серьезной наружности, нѣчто въ родѣ Здравосуда старыхъ комедій, произноситъ послѣ окончанія разсказа сердитый монологъ. Въ этомъ монологѣ онъ отдѣлываетъ очень справедливо всѣхъ дѣятелей выслушаннаго разсказа: самого разсказчика за малодушіе, Вольскаго за воровство, Вецкую за младенческое незнаніе жизни, Ольгу за безхарактерность, побудившую ее продаться, чтобы спастись отъ нищеты. Въ монологѣ юнаго цензора нравовъ выразилось полнѣйшее презрѣніе ко всѣмъ понятіямъ того кружка, среди котораго онъ присутствовалъ; однакоже юный цензоръ самъ бражничаетъ съ разгромленными имъ негодаями, а оплеванные негодяи продолжаютъ обращаться съ нимъ, какъ съ милымъ товарищемъ. Они хорошо понимаютъ, что громъ не всегда бываетъ изъ тучи.

V.

Романъ «Волѣзни воли», напечатанный въ первомъ томѣ сочиненій Толстого, составляетъ начало цѣлаго ряда очерковъ, въ которыхъ авторъ хотѣлъ описать развитіе нѣкоторыхъ наиболѣе замѣчательныхъ нервныхъ или душевныхъ болѣзней. «По первоначальному плану, говорить Толстой, авторъ намѣренъ былъ написать подъ этимъ заглавіемъ четыре очерка. Первый, *правдоманія* (предметъ нынѣ перепечатаваемой повѣсти изъ «Русскаго Вѣстника»

1859 года), второй *ложеманія*, или *вѣрвѣ манія лжи*, третій *пироманія* и четвертый *убійствоманія*.

Къ сожалѣнію, этотъ планъ остался невыполненнымъ, и въ печати появился до сихъ поръ только одинъ первый очеркъ. «Равнодушіе литературной нашей критики, продолжаетъ Толстой, къ первому очерку, о которомъ ни въ одномъ изъ журналовъ не было даже и упомянуто, заставило автора предположить, что несвоевременно еще вводить психіатрическія изслѣдованія въ область нашей беллетристики.»

Равнодушное молчаніе литературной критики можетъ конечно огорчить и обезкуражить талантливаго писателя, выбирающаго себѣ совершенно самостоятельную дорогу и старающагося поднять въ своихъ произведеніяхъ еще нетронутые психологическіе и общественные вопросы,—но тѣмъ не менѣе мы рѣшительно не считаемъ возможнымъ согласиться съ тѣмъ предположеніемъ, на которое навела Толстого невнимательность журнальных рецензентовъ. Журнальная толпа молчала потому, что не знала, какимъ образомъ отнестись къ совершенно оригинальному явленію, а лучшіе люди литературы не замѣтили психіатрическаго очерка, потому что ихъ вниманіе было постоянно устремлено на самыя насущныя потребности народной жизни, на самыя животрепещущіе общественные вопросы, рѣшеніе которыхъ въ то время встрѣчало себѣ множество явныхъ и тайныхъ препятствій.

Въ 1859 году еще надо было доказывать, что русскимъ крестьянамъ необходима земля; надо было отстаивать крестьянскую общину противъ инсинуаций московскихъ англомановъ; надо было воспитывать въ русскихъ читателяхъ уваженіе къ человѣческой личности, надо было обучать русское общество азбукѣ политической и даже семейной нравственности; надо было анализировать самодурство во всѣхъ его разнообразныхъ проявленіяхъ; надо было наконецъ объяснить самой литературѣ, что, забавляя и усыпляя общество сладкими звуками, пестрыми картинками и самодовольными взглядами на собственныя прелести, она, литература, самымъ позорнымъ образомъ измѣняетъ своему высокому назначенію. Работы было много; работа не терпѣла отлагательства; а лучшіе люди были на-перечетъ, такъ что имъ невозможно было обвѣять и опѣнить всѣ тѣ литературныя явленія, которыя стоили серьезной оцѣнки и которыя останавливали на себѣ вниманіе читателей. Въ лучшихъ нашихъ журналахъ критика никогда не гналась за полнотою обзора; писатели выбирали обыкновенно только то, что давало имъ поводъ развить въ печати самыя задушевныя свои убѣжденія и подѣлиться съ читателями самыми своевременными совѣтами. Отъ этихъ писателей, заваленныхъ общеплез-

ной работой и борющихся съ самыми серьезными трудностями, нельзя было требовать даже и того, чтобы они сами прочитывали всѣхъ беллетристическихъ произведеній, появлявшихся въ нашихъ журналахъ. Чтобы не осудить себя на вѣчное чтеніе и отыскиваніе работъ, или писателямъ необходимо было въ большей или меньшей степени руководствоваться заглавіемъ книги или романа, подписью автора, фирмой журнала, въ которомъ напечатано данное произведеніе, или отзывами своихъ знакомыхъ. Если-бы, напримеръ, самъ Добролюбовъ прочиталъ *«Болѣзнь воли»*, то легко можетъ быть, что по поводу этого романа написалъ-бы одну изъ лучшихъ своихъ критическихъ статей. Но въ всей вѣроятности отношенія Добролюбова къ *«Болѣзнямъ воли»* ограничились тѣмъ, что онъ бросилъ бѣглый взглядъ на обертку *«Русскихъ Вѣстника»* и потомъ быстро пробѣжалъ въ романѣ Толстого нѣсколько страницъ, которыя показали ему только, что дѣйствіе происходитъ въ сумасшедшемъ домѣ. Сдѣлавъ это открытіе, Добролюбовъ вѣроятно отложилъ книгу въ сторону и перешелъ къ другимъ занятіямъ.

Такимъ образомъ критика промолчала о *«Болѣзняхъ воли»*, но публика замѣтила этотъ романъ и прочитала его со вниманіемъ. О немъ въ свое время много говорили, и люди, занимавшіеся съ нимъ семь лѣтъ тому назадъ, помнятъ его до настоящей минуты. Поэтому никакъ не можемъ найти особенно познательнымъ то обстоятельство, что авторъ сложилъ руки и до сихъ поръ оставляетъ ненаписанными тѣ три очерка, которые входили въ составъ его первоначальнаго плана. Литература наша совсѣмъ не такъ богата умными и добросовѣстно обдуманнми произведеніями, чтобы мы могли относиться со снисходительнымъ равнодушіемъ къ бездѣйствію даровитыхъ мыслителей, подобныхъ Толстому. Это бездѣйствіе тѣмъ болѣе предосудительно, что его, въ данномъ случаѣ, нельзя объяснить отсутствіемъ сюжетовъ. Сюжеты готовы, планъ обдуманъ, остается только приняться за выполненіе, а между тѣмъ писатель сидитъ сложа руки и стѣсняется на равнодушіе критики, вмѣсто того чтобы бороться съ этимъ мнимымъ равнодушіемъ новыми подвигами живого творчества. Если предосудительное бездѣйствіе автора вызвано дѣйствительно невниманіемъ литературной критики къ прежнимъ его произведеніямъ, то мы, по мѣрѣ нашихъ силъ, постараемся отнять у этого бездѣйствія его единственное и самое неудачное оправданіе.

Мы желали-бы именно, чтобы Толстой привелъ въ исполненіе тотъ планъ, который онъ называетъ *первоначальнымъ*. Мы требуемъ отъ него не повѣстей и романовъ вообще, а именно психіатрическихъ очерковъ. Мы совершенно несогласны съ его рискованнымъ предположе-

нием, будто «несвоевременно еще вводить психиатрические исследования в область нашей беллетристики.» Автор сам же говорит в конце того же предисловия, что во многих случаях психиатрия и криминалистика должны идти рука об руку, и что психиатрические вопросы приобретают особенно важное значение при новом уголовном судопроизводстве с участием присяжных заседателей.

Это последнее мнение мы признаем совершенно справедливым. Присяжные заседатели, не имеющие никакого понятия о душевных болезнях, никогда не размышлявшие над сложными психологическими и психиатрическими задачами, и твердо убежденные в том, что сумасшедший должен непременно биться, драться, кусаться и плевать, орать, хохотать, безчинствовать и городить невыносимейшую чепуху, — такие присяжные, разумеется, рискуют провозгласить осуждение над сотнями таких людей, которые нуждаются не в наказании, а в систематическом лечении. Если эти присяжные захотят руководствоваться исключительно судебно-медицинским исследованием подсудимых, то остроги навечно присвоить себе то, что по всем правам принадлежит психиатрической лечебнице. Во-первых, медицинское исследование считается необходимым только тогда, когда в преступлении оказывается что-нибудь до крайности странное и нелюбое, или когда подсудимый во время своего содержания под стражей начинает вести себя чрезвычайно оригинально. Во-вторых, это исследование производится часто с поверхностной формальностью, в тех случаях, когда оно ускользает от внимательного и просвещенного контроля общественного мнения. В третьих, каждый знающий и добросовестный медик сознается в настоящее время, что в очень многих случаях помешательства мы, при самом внимательном исследовании, видим только следствия, но не видим причин, то есть, другими словами, наблюдатель замечает у пациента ненормальность в процессе мышления и в образе действий, но при всех своих стараниях не может открыть в его теле никакого расстройства. Когда совершено преступление, тогда самый факт преступления служит ясным доказательством ненормальности в процессе мышления и в образе действий; затем остается только найти причину этой ненормальности; причину отыскивают посредством медицинского исследования, а когда это исследование не ведет к открытию органического расстройства, тогда решают, что преступление совершено подсудимым сознательно, при полном обладании всеми умственными способностями. Неосновательность такого рассуждения совершенно очевидна, и присяжные, чтобы не рассуждать таким образом и чтобы не наказывать

больных людей, должны подвергать тончайшему психологическому анализу всю длинную цепь поступков, раскрытых судебным следствием и завершившихся той катастрофой, которая привела человека на скамью подсудимых. Но чтобы анализировать человеческие поступки с психологической стороны, надо же по крайней мере знать приблизительно, что делается здоровым человеком и что больным, надо иметь хотя какое-нибудь понятие о том, где кончаются проявления нормальной умственной деятельности, и где начинаются мысли, слова и поступки, подлежащие ведению психиатра. Эти общие понятия о границах нормальной душевной деятельности должны иметь не судьи, не адвокаты, не прокуроры, а именно присяжные, то есть люди, которые берутся для решения уголовных дел из всех возможных профессий и классов общества. Эти люди черпают свои знания не из какой-нибудь одной учебной книги, не из лекций какого-нибудь одного профессора, а из того общего фонда сведений, взглядов и идей, который в данный период времени находится в распоряжении всей читающей массы. Не подлежит сомнению, что беллетристические произведения находят себе наибольшее число читателей; и чем ниже стоит в обществе уровень знаний и умственного развития, тем значительнее разница, существующая всегда между числом читателей, преданных одной беллетристике, и числом читателей, посягающих также и на чисто научные произведения. У нас эта разница чрезвычайно значительна; вследствие этого на нашей беллетристике лежат такие важные обязанности, которые не могут быть выполнены за нее никакой другой отраслью литературы.

Одна беллетристика и с нею вместе ее неразлучная спутница, литературная критика могут пускать в обращение такие идеи, которые для пользы и успешного развития нации должны становиться общим достоянием всей читающей массы. Только беллетристика и литературная критика могут указывать обществу на те многочисленные пробелы, которые бросаются в глаза каждому мыслящему наблюдателю в так называемом общем образовании. Пополнять эти пробелы — дело строгой науки. Но направлять внимание общества на те пункты, где необходимы знания и где их не имеется в наличности, это может делать только самая распространенная и общедоступная отрасль литературы.

В том деле, о котором мы говорим в настоящую минуту, в деле расширения и выяснения наших взглядов на умственные отправления и душевные болезни, беллетристика незаменима.

Превратить наших присяжных в тонких

психологовъ и опытныхъ психіатровъ беллетристика конечно не можетъ; это совсѣмъ не ея дѣло, да этого даже и не требуется. Но она дѣйствительно можетъ убѣдить каждаго добросовѣстнаго и неглупаго человѣка въ томъ, что всѣ психологическіе вопросы отличаются чрезвычайной сложностью и запутанностью, что вопросъ о преступности или не преступности провинившейся личности есть вопросъ чисто-психологическій, и слѣдовательно чрезвычайно сложный и запутанный, и что при рѣшеніи подобныхъ вопросовъ необходима самая строгая осмотрительность и самая тщательная точность умозаключеній.

Пробуждая въ читающихъ людяхъ мучительное сознаніе ихъ теперешней некомпетентности въ рѣшеніи сложныхъ психологическихъ вопросовъ, изъ которыхъ слагается еще болѣе сложный вопросъ о виновности или не виновности подсудимаго, беллетристика можетъ и должна привести общество къ тому убѣжденію, что въ программѣ общаго образованія необходимо ввести науку о человѣкѣ, о его умственныхъ отклоненіяхъ и душевныхъ болѣзняхъ. Въ виду такой задачи, которую только беллетристика можетъ рѣшить удовлетворительно, мы считаемъ совершенно неосновательнымъ то предположеніе Толстого, «что несвоевременно еще вводить психіатрическія изслѣдованія въ область нашей беллетристики».

VI.

Душевные болѣзни отличаются отъ многихъ другихъ человѣческихъ недуговъ тѣмъ, что въ нихъ есть одна сторона, интересная не только для медика-спеціалиста, но и для всякаго образованнаго человѣка, способнаго задумываться надъ явленіями общественной жизни. Душевные болѣзни развиваются всегда подъ постояннымъ вліяніемъ тѣхъ отношеній, которыя существуютъ между даннымъ субъектомъ и окружающими его людьми и обстоятельствами. На развитіе какого-нибудь воспаленія въ легкихъ или въ мочевомъ пузырьѣ общественныя условія не могутъ имѣть никакого прямого вліянія, но на развитіе тѣхъ или другихъ галлюцинацій, той или другой мономаніи дѣйствуетъ такъ или иначе каждое столкновеніе заболѣвающей личности съ родственниками, съ начальствомъ, съ друзьями и съ врагами, съ бѣдностью и заботами, съ чужими взглядами, интересами, странностями или заблужденіями. Поэтому, прослѣживая шагъ за шагомъ постепенное усиленіе помѣшательства, романистъ и, вслѣдъ за нимъ, критикъ могутъ навести внимательнаго читателя на длинный рядъ плодотворнѣйшихъ размышленій о характеристическихъ особенностяхъ общественной жизни въ данный періодъ

времени. Первый и единственный психіатрическій очеркъ Толстого посвященъ подробному описанію одного изъ самыхъ интересныхъ видовъ душевнаго разстройства. Герой романа, князь Пронскій, одержимъ непреодолимой страстью всегда и вездѣ говорить всю правду, и только правду. Его возмущаетъ и наконецъ доводитъ до изступленія всякая ложь, всякая неискренность, или несправедливость и недобросовѣстность, каковы бы она ни выразилась — въ словахъ, въ поступкахъ или въ дѣломъ строѣ междучеловѣческихъ отношеній. Такой больной, какъ Пронскій, въ высшей степени способенъ быть героемъ романа.

Съ перваго своего появленія на сцену этотъ устранный и пылкій обожатель истины проливаетъ къ своей свѣтлой личности, въ которой горитъ съ дѣтства вѣнецъ подвиги и мученика, всю любовь, всю нѣжность, всю глубокое и до болѣзненности страстное чувство неспорченнаго и незасосаннаго тѣла жизни читателя. Невольно складывается въ умѣ изумленнаго читателя нескромный вопросъ: на чьей-же сторонѣ находится заблужденіе? На сторонѣ ли того безукоризненно-чистаго и хрустально-прозрачнаго Донъ-Кихота, который въ четырнадцать лѣтъ садится на коня, ломаетъ копы за свою возлюбленную красавицу Прыгъ и наконецъ влетаетъ на своемъ Россинантѣ прямо въ сумасшедшій домъ, или же на сторонѣ того общества, которое съ ужасомъ и съ изнегоданіемъ отворачиваетъ лицо и закрываетъ глаза передъ ослѣпительнымъ сіяніемъ Пронскаго?

Вопросъ этотъ у большинства читателей остается безъ отвѣта. Съ одной стороны они не осмѣиваются сказать человѣку: ты виноватъ тѣмъ, что не хочешь и не умѣешь лгать. Съ другой стороны они не рѣшаются осудить общество за то, что оно, требуя отъ человѣка вѣрной лжи, этимъ мучительнымъ и позорнымъ требованіемъ доводитъ его до помѣшательства и загоняетъ его въ сумасшедшій домъ. Мы не будемъ останавливаться на этомъ вопросѣ — попробуемъ рѣшить его ни въ ту, ни въ другую сторону. Пронскаго свидѣтельствуютъ въ губернскомъ правленіи и признаютъ помѣшаннымъ; Пронскаго везутъ въ Петербургъ и берутъ съ рукъ на руки опытному и добросовѣстному психіатру, какъ человѣка, неспособнаго жить въ обществѣ и пользоваться гражданскими правами. Опытный и добросовѣстный психіатръ принимаетъ его въ свою лечебницу, какъ человѣка, дѣйствительно нуждающагося въ медицинской помощи. Этихъ фактовъ достаточно для того, чтобы признаніе Пронскаго дѣйствительно помѣшаннымъ. Мы знаемъ этотъ пунктъ; согласимся съ этими фактами медицинскими и чиновными авторитетами, примемъ на вѣру ихъ рѣшеніе и рассмотримъ внимательно, во всѣхъ подробностяхъ, каковы

голковеній съ обществомъ довелъ князя Пронскаго до невозможности жить на свободѣ.

Попавши въ лечебницу, Пронскій, по совѣту главнаго доктора Пусловскаго, пишетъ свои воспоминанія съ той минуты, какъ онъ началъ гдавать себѣ отчетъ въ своихъ собственныхъ ощущеніяхъ и во всемъ томъ, что вокругъ него происходило. Въ своихъ запискахъ Пронскій изсказываетъ очень толково всѣ важнѣйшія событія своей жизни и анализируетъ очень отчетливо и тонко всѣ главныя фазы своего внутренняго развитія. Читателя не должно изумлять и озадачивать то обстоятельство, что сумасшедшій пишетъ такъ складно, умно и послѣдовательно. Тѣ явленія, которыя мы еще до сихъ поръ сваливаемъ въ кучу, подъ одну общую надпись: *безуміе, сумасшествіе или помѣшательство*, отличаются безконечнымъ разнообразіемъ. Безумными, сумасшедшими или помѣшанными называются на нашемъ, до крайности неточномъ разговорномъ языкѣ и такіе субъекты, которые бросаются на людей, чтобы избить или искушать ихъ, и такіе, которые потеряли способность составлять въ головѣ своей ясныя простыя понятія, и такіе, которые съ утра до вечера, безъ цѣли и безъ смысла, твердятъ какія-нибудь два-три слова, и такіе, которые создаютъ себѣ силой своего разыгрывающаго воображенія цѣлый міръ, доступный имъ однимъ и переполненный сказочнымъ блескомъ и великолѣпіемъ, и наконецъ даже такіе, въ которыхъ вы можете не безъ пользы и не безъ удовольствія разсуждать и спорить въ продолженіе цѣлыхъ часовъ о самыхъ головоломныхъ, запутанныхъ и отвлеченныхъ вопросахъ науки, политики и литературы. Къ этой послѣдней, самой интересной и трогательной категоріи помѣшанныхъ принадлежалъ и князь Пронскій. Вотъ какими красками самъ Пронскій рисуетъ свое душевное разстройство.

«Признаками помѣшательства, говоритъ онъ въ первой страницѣ своего дневника, или болѣзненнаго состоянія разума почитаются менѣе ли болѣе сильныя уклоненія отъ общепринятыхъ формъ, какъ въ дѣйствіяхъ, такъ и въ мышленіи. Абсолютное приложеніе этого афоризма повело бы къ весьма страннымъ результатамъ, а потому придумана слѣдующая огорка: уклоненіе отъ общепринятыхъ формъ въ дѣйствіяхъ или мышленіи тогда только признается помѣшательствомъ, когда оно клонится ко вреду большинства членовъ гражданскаго общества. Такъ, напримѣръ, ложь официальная можетъ иногда быть признана полезной, а правда — вредной. Положимъ, что общественный порядокъ дѣйствительно иногда этого требуетъ, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы человѣкъ, увлекающійся правдою, былъ помѣшанный. Каждый безъ сомнѣнія испытываетъ по временамъ желаніе сказать пьяницѣ, что онъ пья-

ница; вору, что онъ мошенникъ; тупоумному, что онъ дуракъ; но воздерживается, то есть укрощаетъ это желаніе помощью таинственной пружины, называемой *волей*. Такъ вотъ въ чемъ дѣло! у меня попорчена пружина воли! Чтожъ толкуютъ о болѣзненномъ состояніи моего разума, тогда какъ у меня вполнѣ сохранилась способность мышленія? О люди, люди! Когда же будете вы называть предметы настоящимъ ихъ именемъ? Когда перестанете вы отвѣчать, какъ говоритъ Пигасовъ Тургенева, на вопросъ, сколько составляетъ дважды два, — стеариновая свѣчка?»

Говоря о *таинственной пружинѣ*, Пронскій повторяетъ подлинныя слова автора. Въ предисловіи къ «Болѣзнямъ воли» было сказано, что авторъ намѣревался цѣлымъ рядомъ очерковъ изобразить «тотъ малозвѣданный еще душевный недугъ, при которомъ ослабѣваетъ таинственная пружина, называемая *волей*». Намъ кажется, что въ дѣлѣ князя Пронскаго незачѣмъ было останавливаться на таинственной пружинѣ. Здѣсь анализъ могъ бы пойти нѣсколько глубже, и таинственность, окружающая пружину, могла бы такимъ образомъ до нѣкоторой степени разсѣяться. Этотъ болѣе глубокий анализъ могъ бытъ произведенъ съ особеннымъ удобствомъ самимъ княземъ Пронскимъ, потому что онъ самъ, лучше всякаго посторонняго наблюдателя, можетъ отдать себѣ отчетъ въ тѣхъ побужденіяхъ, которыя заставляютъ его называть каждый предметъ его настоящимъ именемъ, то есть, пьяницу — пьяницей, вора — воромъ, и дурака — дуракомъ.

Когда впечатлительный человѣкъ, подобный князю Пронскому, встрѣчается съ какимъ нибудь нравственнымъ безобразіемъ, тогда въ немъ пробуждается отвращеніе и является потребность какъ можно скорѣе избавиться отъ мучительнаго зрѣлища. Если бы нравственное безобразіе могло развѣтываться и обнаруживаться, не нанося никому ни боли, ни ущерба, то всякій князь Пронскій поступилъ бы при встрѣчѣ съ безобразіемъ такъ, какъ поступаетъ мы всѣ, наткнувшись гдѣ нибудь въ полѣ на разлагающуюся пададь. Онъ постарался бы пройти мимо ускореннымъ шагомъ, зажимая носъ, глаза или уши, смотря по тому, на который изъ этихъ органовъ данное безобразіе производитъ наиболѣе тягостное впечатлѣніе.

Но каждое нравственное безобразіе непременно обрушивается такъ или иначе на какую нибудь жертву. Пьяница пропиваетъ деньги, въ которыхъ нуждается его семейство; воръ посредствомъ различныхъ хитростей отнимаетъ у другихъ людей продукты ихъ честнаго труда; дуракъ своей глупостью портитъ такія дѣла, отъ которыхъ зависитъ благосостояніе постороннихъ лицъ. Видя такимъ образомъ нравственное безобразіе, какъ причину, и физиче-

ское или нравственное страдание, какъ неизбежное слѣдствіе, впечатлительный человѣкъ, подобный князю Пронскому, проникается неудержимымъ желаніемъ уничтожить или обезоружить безобразіе и прекратить ту пытку, которую терпитъ несчастная жертва. Въ этомъ желаніи нѣтъ еще ничего болѣзненного, ничего такого, что должно было бы открыть впечатлительному человѣку гостепріимныя двери сумасшедшаго дома. Но далѣе пути расходятся, и люди глубоко и тонко чувствующие отдѣляются отъ массы людей прозябающихъ и ставящихъ выше всего интересы своего желудка и своего кармана. Рыцарское и пожалуй донъ-кихотское (Донъ-Кихоть былъ очень честный человѣкъ) желаніе вступить въ смертельный бой съ нравственнымъ безобразіемъ и вырвать изъ его грязныхъ лапъ измученное имъ живое существо встрѣчаетъ себѣ нѣкоторое противодействие со стороны спокойнаго и хладнокровнаго размышленія на ту тему, что-молъ одолѣю ли я это гнусное чудовище, и не найдеть ли оно себѣ многочисленныхъ и усердныхъ защитниковъ, и что скажутъ окружающіе зрители, и не намнутъ ли мнѣ самому мои рыцарственные бока.

Голосъ практической мудрости или, другими словами, животный инстинктъ самосохраненія въ огромномъ большинствѣ случаевъ одерживаетъ перевѣсъ надъ всѣми остальными влеченіями и соображеніями. Добрые люди опускаютъ глазки и стыдливо проходятъ мимо нравственного безобразія, причѣмъ въ ихъ скромныхъ душоночкахъ шевелится какое-то подобіе радости и благодарности, которое можетъ быть сформулировано такъ: слава тебѣ, Господи, зато, что въ настоящую минуту бьютъ и оскорбляютъ не меня, а одного изъ моихъ ближнихъ! Именно это малодушное желаніе соблюсти во что-бы то ни стало неприкосновенность собственныхъ боковъ и собственныхъ интересовъ дѣйствуетъ на *таинственную пружину* и даетъ ей такое положеніе, что языкъ человѣка, смотрящаго на безобразіе, прилипаетъ къ гортани, а губы, изъ которыхъ должно было вылетѣть слово *нѣмца*, *воръ* или *дуракъ*, слагаются въ неопредѣленно-благодарную улыбку.

Человѣкъ *воздерживается*, но изъ этого еще не слѣдуетъ то заключеніе, что у него *таинственная пружина* крѣпче, чѣмъ у другого человѣка, который, вмѣсто того, чтобы воздержаться, разражается бурей негодованія. Фактъ воздержанія значитъ только то, что у даннаго субъекта чувство самосохраненія одерживаетъ верхъ надъ любовью къ ближнему, терпящему обиду отъ нравственного безобразія. Чтобы побѣдить въ себѣ это очень естественное чувство страха за собственную особу, надо сдѣлать надъ собой усиліе воли или, точнѣе, надо, чтобы таинственная пружина въ данномъ

случаѣ попала подъ вліяніе сильнаго чувства возбужденнаго видомъ чужого страданія. Истинная пружина можетъ быть или крѣпка и у того, кто воздерживается, и у того, кто бросаетъ въ глаза негодяя тѣмъ, которыя принадлежатъ имъ по праву. Борьба между обоними людьми состоитъ въ томъ, что у перваго пружина подчиняется чувству робости, а у втораго — чувству дѣятельной любви, которая побуждаетъ и заглушаетъ размышленіе, рѣшительную минуту животный инстинктъ самосохраненія. Словомъ, воздерживается въ большей части случаевъ тотъ, кто любитъ (или, по крайней мѣрѣ, выноитъ) чужое безобразіе, а разражается тотъ, кто способенъ любить глубоко и страстно.

Для людей послѣдней категоріи — для людей, недоступныхъ страху и способныхъ вознестись до самаго чистаго героизма, существуетъ также возможность сдерживать взрывы и душнаго негодованія.

Чтобы воздерживаться отъ мелкихъ, разнородныхъ и совершенно бесполезныхъ возмущеній надо только знать общія и коренныя причины того нравственного безобразія, отъ котораго проявленія котораго бросаются имъ въ глаза и возбуждаютъ противъ себя ихъ негодованіе. Когда общія причины зла изслѣдованы и приведены въ извѣстность, тогда не трудно образовать, что надо дѣйствовать всѣми силами ума и всей энергіей таинственной пружины противъ этихъ причинъ, потому что, при упраздненіи причинъ, слѣдствія должны утихнуть сами собой. Придя къ тому убѣжденію, что мелкая и безпорядочная война противъ мелкихъ и второстепенныхъ проявленій не даетъ только къ бесполезному изнуренію себя, бояща, человѣкъ, любящій своихъ ближнихъ, разсмотритъ какъ можно внимательно причины общія и коренныя; увидитъ, какія главныя задачи представляются ему, и неустрашимымъ противникомъ пойметъ, что вся работа въ ея совѣсти оказывается не по силамъ самому сказавшему изъ всѣхъ сказочныхъ богатырей: попер свои способности на нѣсколькихъ различныхъ отрасляхъ предстоящей работы и наконецъ метъ себѣ на всю свою жизнь ту частную работу, которая всего болѣе соотвѣтствуетъ складу его ума. Когда совершится этотъ шагъ въ жизни мыслящаго мужчины, уже безпорядочное разбрасываніе умственныхъ и нравственныхъ энергій на шпиль мелкихъ житейскихъ шероховатостей становится невозможнымъ. Послѣ сдѣланнаго выбора жизни человѣка есть смыслъ, есть цѣль, общественная задача, разрѣшеніе которой дороже самой жизни. Человѣкъ, сдѣлавъ разумный выборъ и идущій твердою гами по выбранной дорогѣ, можетъ при

и, съ воровъ, съ дуракомъ воздерживать возгласовъ, которые были вовлечь его въ неприятную историю и поставить его съ обществомъ и поставить затруднительное положеніе. Онъ не вслѣдствіе трусости, а вслѣдствіе любви къ своей задачѣ. Онъ передъ нимъ дѣйствительно находится, или воръ, или дуракъ, знаетъ и то, что эти уроды занимаютъ положеніе, которое приличествуетъ людемъ этой категоріи; онъ испытываетъ также и честному человѣку желаніе опознать и клеймить негодаевъ. Но прежде сдѣлавъ его выборъ, онъ въ этомъ и и наложеніи клеймъ на вредныхъ людей видѣлъ свою прямую обязанность и доступную ему форму служенія. Отъ этого привлекательнаго заманчиво удерживать только чувствованія, и онъ совершенно основательно къ этому чувству, которое дѣйствительно всего чаще увлекаетъ человѣка въ самое грязное поруганнаго достоинства. Теперь, послѣ этого совѣтъ другое. Теперь ему сдѣланной такая форма служенія, для развитія въ себѣ извѣстныхъ способностей специальной задачи, усвоилъ въ болѣе или менѣе продолжительную, необходимую сноровку. Теперь онъ во проходить молча мимо подлости и его молчаніе не можетъ быть поводомъ въ укоръ и принято за потворство нравственное сообщничество; вся его постоянная борьба противъ преобладанія и подлости; онъ борется съ ними своей специальной задачей, и этимъ дѣйствіемъ онъ приноситъ людямъ больше пользы, чѣмъ сколько могло бы быть самое настойчивое и неустрашаемое всѣхъ воровъ—ворами, а всѣхъ дураками.

Жизнь поэтому, что все несчастіе и страданіе состояло въ его неуменьшеніи въ жизни опредѣленную, общепонятную. Его умственные и нравственные сосредоточенныя на чемъ, потраченные безразличные подвиги мелкой борьбы, при отсутствіи всякаго опредѣленнаго успѣха былъ совершенно невозможна. Сила борьбы довела пылкаго и энергичнаго молодого человѣка сначала до сумасшедшаго дома. Главныя подробности романа подтверждаютъ эту мысль.

VII.

Ронскій воспитывался въ богатомъ домѣ своей доброй и глуповатой

матери, подъ руководствомъ французскаго эмигранта, м-г de Livry, который внушалъ своему воспитаннику, *«что Богъ создалъ свѣтъ для дворянскаго сословія»*, и что *«дворянинъ не долженъ мять, даже если ему угрожаютъ смертью»*. Рѣзкому и воспріимчивому мальчику вбивался въ голову кодексъ такихъ нравственныхъ понятій, необходимость и разумность которыхъ никогда не доказывалась и никакимъ способомъ не можетъ быть доказана. Изъ всѣхъ поученій М-г de Livry всего глубже подѣйствовала на ребенка мысль о священной обязанности говорить всегда правду, но эту мысль ребенокъ принялъ на вѣру, нисколько не отдавши себѣ отчета въ томъ, почему именно правда необходима, а ложь вредна во всякомъ человѣческомъ обществѣ. Ребенокъ полюбилъ правду и возненавидѣлъ ложь инстинктивно; ему втолковали, что первое — хорошо, а второе — дурно, и онъ свыкся съ этими взглядами, онъ привязался къ нимъ, онъ поставилъ ихъ въ своей душѣ выше всякаго сомнѣнія.

Какъ бы ни были хороши сами по себѣ какія-нибудь правила нравственности, но если они преподаются догматическимъ тономъ ребенку, неспособному провѣрять ихъ силами собственнаго ума, то они могутъ сдѣлаться впоследствии серьезнымъ препятствіемъ для его дальнѣйшаго умственного развитія. Вы говорите ребенку: не лги; вы сами никогда не лжете или никогда не попадаетесь во лжи, такъ, чтобы вашъ воспитанникъ могъ уличить васъ въ нарушеніи вашего собственнаго правила; когда вы узнаете о томъ, что кто-нибудь солгалъ, вы обнаруживаете такое негодованіе и отвращеніе, которое приводитъ въ ужасъ вашего воспитанника, наводя его на ту мысль, что и самъ онъ можетъ подвергнуться съ вашей стороны точно такому-же презрѣнію, если ему случится какъ-нибудь исказить истину. По ребяческой слабости характера, желая скрыть отъ васъ какую-нибудь свою шалость, вашъ воспитанникъ говоритъ неправду, запутывается и выводится на свѣжую воду; вы отворачиваетесь отъ него и въ продолженіе нѣсколькихъ дней обходитесь съ нимъ сухо, холодно и презрительно; ребенокъ переживаетъ всевозможныя истязанія, смотритъ на себя, какъ на обезчещеннаго и погибшаго человѣка, чувствуетъ мучительную потребность наплевать себѣ самому въ лицо и путемъ своихъ страданій приходитъ къ тому убѣжденію, что нѣтъ на свѣтѣ ничего позорнѣе и ужаснѣе лжи. Черезъ нѣсколько времени послѣ этого искуса кто-нибудь изъ товарищей вашего воспитанника впадаетъ въ ту-же погрѣшность; вашъ воспитанникъ, со всей ревностью новообращеннаго фанатика, оретъ, что онъ не хочетъ и не можетъ имѣть ничего общаго съ низкими, отвратительными и безсовѣстными лгуномъ. Такимъ образомъ, цѣлѣмъ

ежедневных мелких житейских столкновений, совершающихся в тѣсных предѣлах дѣтской и классной, в душѣ вашего воспитанника постепенно укореняется, растетъ, развертывается и зрѣетъ слѣпая, неразборчивая, неосмысленная и неумолимая ненависть ко всему, что сколько-нибудь похоже на ложь. Когда человѣкъ высказываетъ не то, что думаетъ и чувствуетъ, или когда онъ утаиваетъ отъ другого свои поступки, чувства и мысли, тогда вѣ душѣ вашего воспитанника начинается бушевать ураганъ негодованія, во время котораго процессъ спокойнаго размышленія прекращается, и дрожащія губы выбрасываютъ въ лицо провинившейся особы ругательныя слова: лгунъ, лицемеръ, негодяй, подлецъ!—Вашему воспитаннику нѣтъ дѣла ни до какихъ смягчающихъ обстоятельствъ; онъ не спрашиваетъ о томъ, повредила-ли кому-нибудь сказанная ложь; онъ не вникаетъ въ побужденія солгавшаго человѣка; фактъ лжи совершился, онъ дознанъ и поставленъ внѣ всякаго сомнѣнія. Этого совершенно достаточно, потому что вашъ воспитанникъ ненавидитъ не зло, причиняемое ложью, а самую ложь, совершенно независимо отъ тѣхъ хорошихъ или дурныхъ послѣдствій, которыя она можетъ за собою повести въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Вашъ воспитанникъ ненавидитъ ложь такъ точно, какъ иные люди ненавидятъ пауковъ, или крикъ пустушки, или жареную баранину, или запахъ дегтя. На вопросъ о причинахъ этой ненависти, всѣ эти люди, въ томъ числѣ и вашъ воспитанникъ, отвѣтятъ вамъ съ нарочитымъ жаромъ: потому что это (то есть ложь, пауки, крикъ пустушки, жареная баранина и запахъ дегтя) гадко, гнусно, противно, отвратительно! Вашъ воспитанникъ ко всѣмъ этимъ словамъ прибавитъ еще слово *безнравственно*, но эта прибавка, при всей своей эффектности, нисколько не измѣнитъ положенія вопроса, и не убѣдитъ ни одного здравомыслящаго человѣка въ томъ, что, на примѣръ, во избѣжаніе безнравственности, слѣдуетъ откровенно сообщать больному такое извѣстіе, которое можетъ убить его во время болѣзни, и которое онъ, послѣ своего выздоровленія, выслушаетъ совершенно спокойно.

Вашъ воспитанникъ скажетъ *безнравственно*, но не съумѣетъ и не захочетъ поставить вопросъ на положительную почву, то есть вычислить, для каждаго отдѣльнаго случая, количество осознательной пользы и осознательнаго вреда. Инстинктивное отвращеніе къ неправдѣ, воздѣланное въ его душѣ во времена далекаго дѣтства, когда его умъ еще не былъ въ состояніи перерабатывать и контролировать воспринимаемыя впечатлѣнія, это отвращеніе спрессованное съ его душой на всю его жизнь, сталкивается на каждомъ шагѣ съ его сознательными нравственными убѣжденіями и произво-

дитъ во всемъ его образѣ мыслей и во всемъ его поступкахъ неизлечимую путаницу. Вашъ воспитанникъ знаетъ обстоятельно, что такое ложь и что вредно для человѣческой личности и общества; пользу или вредъ каждаго случая онъ можетъ доказать съ математической точностью; но эти знанія и эта сила анализа не могутъ дать ему такую руководящую нить, по которой онъ расположилъ бы всѣ свои поступки и весь строй своей жизни. Можетъ случиться и случается на каждомъ шагѣ, что какому-нибудь ведетъ извилистый путь хитрости и лжи, и что съ другой стороны призывъ къ правдѣ и откровенности приводитъ къ вреднымъ результатамъ. Тогда оказывается, что полезное сдѣлалось отвратительнымъ, а отвратительное прекраснымъ. Вашего воспитанника одолеваетъ паническій страхъ. Онъ бѣжитъ отъ призрака ненавистнаго призрака лжи и дѣлаетъ это другой сотни глупостей, которыя всѣ приносятъ чувствительный вредъ ему самому, его друзьямъ и всему обществу.

Что же слѣдуетъ изъ всего этого разсужденія? То ли, что дѣтямъ не слѣдуетъ учиться съ самыхъ раннихъ лѣтъ любви къ лжи? То-ли, что дѣтей надо исподоволь приучать къ лжи? Нисколько. Изъ всего это разсужденіе получается только тотъ практический выводъ, что вообще ничѣмъ не слѣдуетъ поражать въ комъ сильно дѣтское воображеніе и ни тѣмъ или другимъ способомъ на дѣтскую душу слишкомъ глубокаго надрѣзки или зарубки. Чтобы ребенокъ, дѣлаясь человѣкомъ, не могъ мостоятельной умственной работой переработать весь строй своихъ убѣжденій. А этого надо, чтобы въ его душѣ было меньше безотчетныхъ и неустойчивыхъ симпатій и антипатій, приросшихъ къ нему глухо со временъ ребяческой безсознательности. Любить правду и ненавидѣть ложь въ какой-нибудь степени похвально. Но кто любитъ и ненавидитъ *слѣпо* то, что бы то ни было, тотъ не сдѣлается мыслящимъ и полезнымъ членомъ въ высшемъ и лучшемъ смыслѣ слова.

Вмѣсто того, чтобы озадачивать ребенка эффектными афоризмами вроде того, что лгунъ никогда не долженъ лгать, даже угрозой смерти, благоразумный воспитатель долженъ на дѣлѣ, при каждомъ отдѣльномъ случаѣ лжи, безъ мелодраматическихъ изъясненій, безъ тирадъ и монологовъ, звать своему воспитаннику, каковыя бы то ни было, искаженіе или утаиваніе истины подрываетъ взаимное довѣріе, которое необходимо для хорошихъ отношеній между людьми вообще, которое придаетъ особенную силу и прелесть отношеніямъ между друзьями. Тогда въ воспитанника та необходимая доза отвращенія къ лжи, которая, не ослабляя силы

одолимыми симпатіями и антипатіями, за-
тѣ его въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ
считать прямой путь окольному, если толь-
ко представляется возможность сдѣлать выборъ.
М-г de Livry, человѣка, принимав-
шій свои сантиментальныя максимы и сентенціи
за житейскіе опыты, человѣка, привык-
шаго къ всякимъ не нравственнымъ общественнымъ
высказываніямъ, готовыми французскими поговорками и
фразами или цитатами изъ великихъ по-
этовъ и великаго короля Людовика XIV—
его влияние могло быть только или ничтожно,
или вредно для пылкаго и воспримчиваго
человѣка, довѣреннаго его просвѣщеннымъ за-
казомъ. Оно было бы ничтожно, если-бы въ
сердцѣ были какія нибудь порочныя наклон-
ности, замѣтныя для ребенка и способныя воз-
никнуть въ немъ недоувѣріе и презрѣніе къ лич-
ности воспитателя и ко всѣмъ его премудрымъ
мыслямъ и изреченіямъ. Если бы М-г
Livry былъ обжорой или пьяницей, или
лжецомъ, или сплетникомъ, или старымъ се-
домъ, то его воспитанникъ очень скоро вы-
сказалъ бы себѣ скептическій взглядъ на сво-
его наставника и оцѣнилъ бы по достоинству
попугайскую манеру рѣшать нравственные
вопросы. Но вышло совсѣмъ иначе. М-г de Li-
ври былъ старичокъ опрятный, приличный и
одушевляющій, держалъ себя съ достоинствомъ,
къ комъ не заискивалъ, не пьянствовалъ,
водилъ амуровъ съ горничными княгини
и не притворно любилъ своего воспитан-
ника. Маленькій Пронскій съ своей стороны
любилъ и уважалъ своего воспитателя; видѣлъ
въ немъ умнѣйшаго изъ окружающихъ людей,
слушалъ его совѣта въ трудныхъ случаяхъ своей
жизни и навсегда сохранилъ о немъ
ценное воспоминаніе. Вслѣдствіе всего
М-г de Livry былъ вполне способенъ имѣть
на Пронскаго самое вредное влияние, то есть
оказывать его надолго, если не навсегда, сво-
боднотолковымъ методомъ мышленія.

Вѣдь немногіе люди способны рѣшать важ-
ные вопросы жизни самостоятельной работой и
вѣрнымъ умомъ. Огромное большинство стра-
даетъ умственной лѣнностью и чувствуетъ свою
личную несостоятельность, хотя и старает-
ся силами скрывать ее даже отъ сво-
ихъ собственныхъ глазъ. Когда возникаетъ въ
жизни человѣка, принадлежащаго къ этому
большинству, какой-нибудь вопросъ,
требующій себѣ немедленнаго рѣшенія, тогда
человѣкъ, удручаемый умственной лѣ-
нью и тайнымъ сознаніемъ своей безпомощ-
ности, обращаетъ свои тусклые взоры на
толпу и старается подмѣтить, какимъ образомъ
рѣшавшіяся вопросы рѣшаются этой тол-
пой. Если эти старанія увѣнчиваются успѣ-
хомъ, то есть, если вопросъ принадлежитъ къ

разряду такихъ, которые представляются всѣмъ
и каждому и рѣшаются по заведенному образцу,
то удрученный человѣкъ успокаивается, пере-
стаетъ утруждать свою слабую голову несвой-
ственными ей подвигами мышленія и радостно
устремляется вслѣдъ за толпой. Баранъ пры-
гаетъ тамъ, гдѣ прыгнуло все стадо. Если, на-
противъ того, для даннаго случая не прина-
длежитъ готоваго и общеизвѣстнаго рѣшенія, то
человѣкъ толпы, во избѣжаніе невыносимыхъ
умственныхъ мученій, сопряженныхъ съ тру-
домъ самостоятельнаго обсуживанія и размы-
шленія—углубляется въ архивъ своихъ воспо-
минаній и старается получить оттуда справку,
не было ли такого же мудренаго случая въ
жизни кого-нибудь изъ знакомыхъ, и если та-
кой случай дѣйствительно былъ, то какое
вослѣдствовало рѣшеніе. Если въ архивѣ не
оказывается ничего подходящаго, то несчастный
человѣкъ начинаетъ терять голову. Какъ же
быть, думаетъ онъ, нельзя ли какъ-нибудь рѣ-
шить по пословицамъ, въ которыхъ, какъ из-
вѣстно, сложенъ запасъ тысячелѣтней народ-
ной мудрости? Нѣтъ ли чего-нибудь въ этомъ
родѣ въ тѣхъ романахъ, которые я читалъ съ
такимъ наслажденіемъ. Не помогутъ ли мнѣ
въ моемъ затруднительномъ положеніи *Опыты*
Монтеня, *Размышленія* Паскаля, *Максимы*
Ларошфуко, *Басни* Лафонтеня, или *Характеры*
Лабрюйера? Наконецъ, когда ничто не беретъ,
и когда вопросъ продолжается съ прежней на-
зойливостью торчать передъ носомъ несчастнаго
барана, отбившагося отъ стада, тогда русское
авось вступаетъ во всѣ свои права, и чело-
вѣкъ толпы, отчаявшись въ своемъ спасеніи,
начинаетъ дѣлать съ плеча одну глупость за
другой.

Какъ же формируются такіе люди толпы,
для которыхъ самостоятельное размышленіе
оказывается труднѣйшей изъ всѣхъ возмож-
ныхъ работъ и одной изъ самыхъ невыноси-
мыхъ пытокъ? Неужели эти люди отъ природы
лишены способности мыслить? Нисколько. Ихъ
головы имѣютъ такую же правильную форму,
какъ головы самыхъ смѣлыхъ мыслителей и
самыхъ трудолюбивыхъ ученыхъ изслѣдователей.
Бываетъ даже и такъ, что кабинетный работ-
никъ, обогащающій свою науку новыми наблюде-
ніями и размышляющій очень самостоятельно
надъ своими фоліантами или ископаемыми ко-
стями, оказывается въ жизни очень робкимъ и
умственно-лѣнивымъ рутинеромъ, прыгающимъ
только тамъ, гдѣ прыгнуло все стадо. Людей
толпы формируетъ преимущественно то несокру-
шимое довѣріе, которое они имѣютъ съ колы-
бели сначала къ кормилицѣ и нянькѣ, потомъ
къ родителямъ и воспитателямъ, къ женѣ, къ
друзьямъ и знакомымъ, и наконецъ ко всѣмъ
особамъ, изъ которыхъ составляется прилич-
но-одѣтая масса. Это несокрушимое довѣріе

другъ къ другу нисколько не мѣшаетъ людямъ толпы считаться другъ съ другомъ въ каждой копѣйкѣ и грызться между собой изъ-за каждой мельчайшей частицы житейскихъ выгодъ и грошовыхъ удовольствій. Это несокрушимое довѣріе состоитъ только въ томъ, что каждый изъ людей толпы старается перебросить на сосѣда трудъ размышленія о всякихъ нравственныхъ и житейскихъ вопросахъ, съ тѣмъ, чтобы потомъ воспользоваться для себя готовымъ рѣшеніемъ, нисколько не пускаясь въ обсуживаніе его пригодности и основательности. Что же касается до этого несокрушимого довѣрія, то оно поддерживается совокупными усиліями всѣхъ тѣхъ людей старшаго поколѣнія, которые такъ или иначе, въ качествѣ родителей или воспитателей, стараются формировать подрастающее юношество по своему образу и подобию. Огромное большинство родителей и воспитателей заботятся прежде всего о томъ, чтобы довѣренныя имъ личности думали, чувствовали, говорили и поступали такъ, какъ думаютъ, чувствуютъ, говорятъ и поступаютъ *все*. Кто эти *все*, и чѣмъ такимъ особеннымъ они отличились, и почему необходимо стремиться имъ во слѣдъ—этого вопроса господы формироваватели себѣ не задаютъ, по той причинѣ, что такого вопроса не задаютъ себѣ *все*, и что, слѣдовательно, спасительность усерднаго подражанія *всѣмъ* не можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. Когда ребенокъ становится человѣкомъ, тогда въ большей части случаевъ фраза: *такъ дѣлаютъ все* получаетъ для него какую-то магически обязательную силу, и въ видѣ послѣдняго, неотразимаго аргумента заканчиваетъ собою всякія превія. Но въ дѣтскомъ возрастѣ эта фраза не имѣетъ еще никакого значенія. На слова: *такъ дѣлаютъ все*—мало мальски шустрый ребенокъ отвѣтитъ непременно: «ну такъ чтожъ такое? А мнѣ что за дѣло?»—Этотъ дерзкій вопросъ или возгласъ переноситъ разсматриваемое дѣло на почву полезности и разумности, на такую почву, по которой большинство родителей и воспитателей не могутъ слѣдовать за своими предприимчивыми птенцами. Убѣдить птенца становится очень трудно, отчасти потому, что требованіе старшаго не отличается ни полезностью, ни разумностью, а отчасти и потому, что, на случай недоовѣрія со стороны птенца, у старшаго не припасено для него никакихъ убѣдительныхъ доказательствъ. Тутъ начинается со стороны старшаго дѣйствіе личнаго авторитета, которое очень часто оказывается совершенно удачнымъ. Если нельзя убѣдить птенца, то его почти всегда можно поймать на удочку ласковаго обращенія и чувствительныхъ изліяній. Птенецъ разнѣжится, поступитъ по вашему желанію, откажется въ угоду вамъ отъ своихъ возникающихъ сомнѣній, будетъ гордиться ва-

шей дружбой и, благодаря вышнему покровительству, сдѣлается безукоризненно-плоскимъ членомъ толпы. Все это произойдетъ только въ случаѣ, если вы съумѣете овладѣть личнымъ уваженіемъ птенца. А для этого вамъ надобно быть добродушнымъ и честнымъ человекомъ въ томъ узкомъ смыслѣ, въ каковомъ честность понимается образованной толпой. М-г de Livry обладалъ всѣми качествами, которыя необходимы воспитателю для того, чтобы омолодить и обезсмыслить молодое поколение довѣреннымъ его заботамъ. Онъ самъ былъ нѣ человѣкомъ толпы. Онъ былъ на столько добродушенъ и честенъ, что могъ приобрести действительно пріобрѣлъ себѣ довѣріе и уваженіе Пронскаго. Что же получалъ изъ этого результатъ? Полнаго омоложенія не получалъ, потому что въ натурѣ мальчика было слишкомъ много пылкости, страстности и верной житейственности. Но получилось, если можно такъ выразиться, значительное засореніе мозга самыми безтолковыми умственными привычками. Выслушивая отъ себя разные пошлые сентенціи и афоризмы, Пронскій принималъ ихъ сначала за аксіомы вѣрной философіи. Эти аксіомы были для него крайними предѣлами, дальше которыхъ идти его анализирующей умъ. Онъ былъ подчиненъ статьямъ закона, подъ которыя онъ толкалъ свои и чужіе поступки. Пронскій билъ и хранилъ эти статьи закона, потому что онѣ напоминали ему почтенную фигуру своего воспитателя. Онъ былъ подкупленъ воспоминаніями дѣтства въ пользу сентенцій М-г de Livry. Когда пришлось поневолѣ отбросить те, которые слишкомъ явно обозначились предразсудками эмигранта, Пронскій сохранилъ въ запасъ все, что могло кое-какъ выдержать самую свисходительную критику. Онъ скупился въ особенности, самъ того не замѣчая, на разсужданіи, которой страдалъ М-г de Livry. Онъ продолжалъ подводить свои и чужіе поступки подъ статьи своего кодекса, не считая въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, съ какой пользы или вреда приносятъ данный поступокъ какой-нибудь человѣческой личности или обществу.

VIII.

Пронскому было около четырнадцати лѣтъ, когда ему пришлось испытать первое серьезное знакомство съ житейской неправдой. До этого онъ былъ переполненъ приживалками, между которыми первенствовала мелкопомѣстная дворянка Аграфена Ивановна Бѣлова, дальняя родственница княгини. Эта Аграфена Ивановна, вѣроятно, старалась всѣми силами угождать покровительницѣ, для того, чтобы получить отъ нея земными благами, и

гиния, по своей добродушной глупости, была рада уверена въ томъ, что всѣ ласки и за-
сиванія госпожи Бѣловой вытекаютъ изъ
ноты чистой и безкорыстной любви. Она цѣ-
лалась и миловалась съ своей Аграфеной
иановной, не спускала съ нея глазъ и лю-
ба сидѣть съ ней по цѣлымъ часамъ рука
руку.

Во время продолжительной и опасной болѣз-
старой княгини, когда Аграфена Ивановна,
славшаяся еще болѣе необходимой, съ не-
рашимымъ постоянствомъ исполняла всѣ
ея утомительныя обязанности сидѣлки, мо-
ому Пронскому случилось совершенно не-
пно подслушать конфиденціальный разго-
въ, происходившій между этой самой Агра-
ой Ивановной и ея мужемъ. Разговоръ
инается вопросомъ мужа: *подписано ли
сонечъ завѣщаніе?* и ведется въ такомъ
ровенномъ тонѣ, что госпожа Бѣлова про-
оситъ даже слѣдующій энергическій мо-
огъ: «А ты думаешь, что мнѣ очень ве-
о возиться съ этой дурищей? Ночи не спи,
полу валяйся. Перевертывай ее, ухаживай,
еще цѣлуй ее въ вонючую морду. Натер-
ась я, нанюхалась я порядкомъ,—и при-
къ словѣ Бѣлова плюнула съ отвраще-
нъ».

«Что бы ей ужъ поскорѣй отправиться на
въ свѣтъ, прибавляетъ она далѣе—до смерти
оѣла». Любящему сыну, безъ сомнѣнія,
нъ тяжело и больно слушать такіе непо-
тельные и недоброжелательные отзывы о
ей больной матери; но, если рассмотреть
о безпристрастно и хладнокровно, то надо
етъ сознаться, что ни въ словахъ, ни во
мъ поведеніи Аграфены Ивановны нѣтъ
его особенно ужаснаго, ничего такого, за-
образованная толпа имѣла бы право за-
сать ее камнями. Рядомъ съ Аграфеной
иановной вы смѣло можете поставить люби-
о Пушкинскаго героя, Евгенія Онѣгина,
которому люди образованной толпы конеч-
нисколько не расположены относиться съ
одованіемъ и презрѣніемъ. Не угодно ли
съ будетъ припомнить, что «думалъ моло-
повѣса, летя въ пыли на почтовыхъ».
По словамъ нашего великаго поэта, онъ
налъ вотъ что:

Но, Боже мой, какая скука
Съ больнымъ сидѣть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чортъ возьметъ тебя!

Размышляя такимъ образомъ, молодой по-
а, добрый пріятель или любимецъ ве-

ликаго поэта *летитъ въ пыли на почто-
выхъ* собственно для того, чтобы въ виду
приближающагося наслѣдства предаваться
низкому коварству у постели умирающаго
дяди. Госпожа Бѣлова говоритъ: «что бы ей
ужъ поскорѣй отправиться на тотъ свѣтъ»,
а Онѣгинъ собирается думать про себя: «Ког-
да же чортъ возьметъ тебя!» Правда, одна
уже говоритъ, а другой только еще соби-
рается думать, но во-первыхъ, выраженія по-
слѣдняго сильнѣе, чѣмъ выраженія первой,
во-вторыхъ, есть достаточныя основанія пред-
полагать, что Онѣгинъ, очутившись въ заку-
поренной спальнѣ своего дяди, быстро при-
ведетъ въ исполненіе свой планъ усерднаго
посыланія больного къ чорту, и наконецъ въ
третьихъ, Онѣгинъ изображаетъ собою пле-
мянника, а Аграфена Ивановна всего только
дальнюю родственницу. Принимая въ сообра-
женіе всѣ эти обстоятельства, надо придти
къ тому убѣжденію, что госпожа Бѣлова и
господинъ Онѣгинъ взаимно уравнивши-
ютъ другъ друга, какъ со стороны гуманнхъ
отношеній къ умирающимъ особамъ, такъ и
въ дѣлѣ соблюденія своего собственнаго че-
ловѣческаго достоинства. Правда, *вонючая
морда*, украшающая собой энергическую рѣчь
госпожи Бѣловой, не находитъ себѣ ничего
равносильнаго въ монологѣ *молодого повѣ-
сы* и *добраго пріятеля*; но и тутъ прихо-
дится принимать въ разсчетъ кое-какія обсто-
ятельства, имѣющія значительное вліяніе на
постановку вопроса. Во-первыхъ, Онѣгинъ
только еще летитъ въ пыли на почтовыхъ, и
стало быть, совершенно неспособенъ соста-
вить себѣ достаточно яркое понятіе о букетѣ
испытаній, отдѣляющихъ его отъ желаннаго
наслѣдства. Мы еще не знаемъ, что бы онъ
заговорилъ и какія бы онъ измыслилъ крѣп-
кія слова, если бы ему пришлось повозиться
съ больнымъ старикомъ хоть десятую долю
того времени, которое было потрачено неустра-
шимой Аграфеной Ивановной на воздѣлыва-
ніе княгини Пронской. Во-вторыхъ, Онѣгинъ
такъ воспитанъ, что онъ даже морду своего
бульдога способенъ назвать фizioноміей, между-
тѣмъ какъ Аграфена Ивановна, по условіямъ
своего воспитанія, способна даже свою соб-
ственную фizioномію называть, смотря по вдох-
новенію, то рыломъ, то мордой, то харей, то
рожей. Послѣ всего этого изслѣдованія мы имѣ-
емъ полное право торжественно повторить, что
Аграфена Ивановна и Евгений Онѣгинъ ни въ
чемъ не должны завидовать другъ другу.

Уравниавъ между собою эти двѣ личности, имѣю-
щія повидимому мало общаго, спросимъ себя те-
перь, какиимъ образомъ относится къ Онѣгину,
и даже именно къ его размышленіямъ о боль-
номъ дядѣ, огромное большинство людей, имѣ-
ющихъ болѣе или менѣе основательныя претен-

зія на образованность. Намъ нѣтъ надобности ссылаться на сужденія, которыя произносятся иногда объ Онѣгинѣ въ салонахъ или будуарахъ обожателями и обожательницами поэзіи вообще и Пушкина въ особенности. Verba volant—слова летаютъ, уловить ихъ очень трудно; доказать, что они дѣйствительно были произнесены—еще труднѣе, и поэтому было бы совершенно бесполезно распространяться о такихъ мысляхъ и умственныхъ направленіяхъ, которыя хотя и живутъ еще до сихъ поръ въ неподвижныхъ сферахъ нашего общества, но уже давно не могутъ найти себѣ соответственнаго выраженія въ текущей литературѣ. Намъ также незачѣмъ разсматривать, какимъ образомъ смотрѣлъ на Онѣгина самъ его творецъ, великій, дважды и трижды великій Пушкинъ. Уже давно извѣстно, что почти всѣ поэты, великіе и малые, отличаются, въ очень значительной степени, приятной и красивой неопредѣленностью нравственныхъ убѣжденій. Рѣдкій поэтъ способенъ составить себѣ ясное и отчетливое понятіе о томъ, что такое убѣжденіе и что такое логическая послѣдовательность. Отсутствіе убѣжденій и неуменіе размышлять вмѣняются даже въ особенную заслугу великимъ и малымъ поэтамъ и называются на языкѣ просвѣщенныхъ критиковъ высокой объективностью и всеобъемлющей любовью къ явленіямъ жизни. Поэтому оставимъ въ сторонѣ великаго поэта такъ точно, какъ мы отодвинули въ сторону міръ салоновъ и будуаровъ, преклоняющихся до настоящей минуты передъ неотразимой красотой онѣгинскаго типа.

Былъ у насъ одинъ критикъ, котораго дѣйствительно можно назвать великимъ, безъ малѣйшаго отѣнка ироніи. Имя этого критика дорого каждому русскому человѣку, способному читать и думать. Двѣнадцать томовъ его сочиненій разошлись по всѣмъ концамъ Россіи. Ясное дѣло, что мы говоримъ о Бѣлинскомъ, съ которымъ можно и даже должно спорить о многихъ вопросахъ, но котораго нельзя не любить нѣжной, почтительной и страстно-благодарной любовью. Посмотримъ же теперь, что говоритъ Бѣлинскій объ отношеніяхъ Онѣгина къ умирающему дядѣ.

«Его дядя, разсуждаетъ Бѣлинскій, былъ ему чуждъ во всѣхъ отношеніяхъ. И что можетъ быть общаго между Онѣгинымъ, который уже

... равно зѣвалъ
Средѣ модныхъ и старинныхъ залъ,

и между почтеннымъ помѣщикомъ, который въ глуши своей деревни

Лѣтъ сорокъ съ ключницей бранился,
Въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ?

Скажутъ, онъ его благодѣтель. Какой же благодѣтель, если Онѣгинъ былъ законнымъ

наслѣдникомъ его имѣнія? Тутъ было не дядя, а законъ, право наслѣдства. Но же положеніе человѣка, который обязанъ роль огорченнаго, состраждающаго и измѣна родственника при смертномъ одрѣ своему чуждаго и посторонняго ему человѣку? Какъ кто? Чувства деликатности, чуждости. Если, почему бы то ни было, вы не принимаете къ себѣ человѣка, котораго комство для васъ и тяжело, и скучно, вы не обязаны быть съ нимъ вѣжливы и любезны, хотя внутренно вы и посылаете къ чорту? Что въ словахъ Онѣгина представляетъ какая-то насмѣшливая легкость, видѣны только умъ и естественность, что отсутствіе натянутой и тяжелой притворности въ выраженіи обыкновенныхъ и семейскихъ отношеній есть признакъ истинно свѣтскихъ людей это даже не всегда, а еще всего манера, и вельзл не согласится, что это преумная манера. У людей средних классовъ, напротивъ, манера—отличаться отъ комъ разныхъ глубокихъ чувствъ при сколько нибудь по ихъ мнѣнію важномъ случаѣ. Если въ словахъ Онѣгина: «когда же чортъ наметъ тебя» *проглядываетъ какая-то насмѣшливая легкость*, признакъ уже истинности, то въ словахъ Аграфены Ивановны «да еще цѣлуй ее въ вонючую морду» всякаго сомнѣнія

Торжествуетъ истинное чувство,
Догорая теплится любовью...

къ той лакомой подачкѣ, которая прилагается въ завѣщаніи княгини Пронисловны.

Не трудно понять, что все разсужденіе Бѣлинскаго фальшиво съ перваго слова до послѣдняго. Во-первыхъ, между Онѣгинымъ и его дядей много общаго. Званіе перваго и содержаніе жизни послѣдняго одинаково безцѣльны, безсмысленны, безтолковы и упизительны челоѣческаго достоинства. И Онѣгинъ, дядя кончатъ небо, живутъ сложа руки, невинностью, свойственной десятилѣтнему бенку, поглощаютъ постоянно продукты чуждаго труда. Значитъ, они могутъ отъ всей души любить и возлюбить другъ—друга. Во-вторыхъ, предположеніе Бѣлинскаго о томъ, что Онѣгинъ благодѣтельствуетъ законъ, а не дядя, совершенно произвольно. Не только дядя племянника, но даже отецъ сына можетъ лишиться имущества въ пользу болѣе отдаленныхъ наслѣдниковъ. Если-бы дядя передъ смертью завѣщалъ на Онѣгина, то добрый приятель поэта навѣрное не получилъ-бы и Онѣгинъ ѣхалъ къ дядѣ именно для того, чтобы въ рѣшительную минуту скрѣпить съ дядей дружескія отношенія. На это указываютъ слова Онѣгина, что дядя

Всѣхъ уважать себя заставилъ
И лучше выдумать не могъ.

Онѣгину стоило только отказаться отъ надежды, и тогда никто не обижалъ-бы его *за такую низкую роль*, и совсѣмъ не по-то-го положенія, о которомъ Вѣлинскій трагическимъ ужасомъ спрашиваетъ: *каково?* — чувство деликатности и человѣчности тутъ было и заикался. Если-бы Онѣгинъ соби-
лся полуживого забавлять изъ чувства христіанской любви къ больному и умирающему жнему, то ему незачѣмъ было-бы упрекать *въ низкомъ коварствѣ*, и также не было-бы особенной надобности обращаться къ содѣй-
ствію чорта. Наконецъ, съ той мыслью Вѣлин-
скаго, что мораль свѣтскаго человѣка стоитъ —
таки выше морали лавочника, старающа-
го молотить рожъ на обухѣ, мы готовы со-
считаться, но при этомъ мы должны замѣтить,
что можетъ существовать и даже существуетъ
мораль честнаго человѣка, стоящаго на
своихъ ногахъ, живущаго собственнымъ
трудомъ и не ожидающаго себѣ ни откуда ве-
щихъ и богатыхъ милостей, ни отъ своихъ,
ни отъ чужихъ, ни отъ дяденьки, ни отъ те-
ти. Такой человѣкъ имѣетъ право бросать
высоты своего трудового величія, взгляды
свойнаго презрѣнія на грязныя предѣлки
Онѣгина и Аграфены Вѣловой.

IX.

Униженный и оскорбленный бесѣдой о *воин-
ской мордѣ*, юный Пронскій ищетъ себѣ совѣ-
тъ утѣшенія на лонѣ старика попугая М-г
Livgu. Попугай отверзаетъ уста свои и по-
мало-по-малу выбрасываетъ изъ нихъ глупыя
слова, которыя на первый взглядъ могутъ по-
казаться умными. Изъ этихъ глупыхъ словъ мы
передадимъ читателямъ только малую долю.
Сперва, говоритъ де-Ливри, приступимъ къ
решенію вопроса: какъ поступить съ откры-
той вами тайной? Во-первыхъ, ваша матушка
еще слаба, что опасно потревожить ее по-
нимымъ сообщеніемъ. Во-вторыхъ, это лишитъ
дорогого для нея самообольщенія, что во
какомъ случаѣ неприятно, а тѣмъ болѣе въ
текущемъ положеніи вашей матушки. Нако-
нецъ, къ чему-жъ это послужитъ? Да и на-
дѣ-ли княгиня повѣрить подобному извѣще-
нію: дружба ея къ предательской родственницѣ
пошлѣе укоренилась. Съ другой стороны, дать
чувствовать виновнымъ въ лукавствѣ, что
онѣ извѣстны ихъ замыслы, опасно и также,
думаю, ни къ чему не послужитъ. Повѣрьте,
они отрекутся отъ своихъ словъ, васъ же
ждутъ въ клеветѣ или припишутъ показанія
или разстроенному, больному дѣтскому вообра-
женію. Все это, скажутъ они, приснилось вамъ

въ бреду, это послѣдствія томительныхъ но-
чей, проведенныхъ у постели больной вашей
матушки».

Позвольте, спрашиваетъ быть можетъ недо-
умѣвающимъ читателю. За что-же однако вы об-
зываете М-г de Livgu старымъ попугаемъ? По
моему мнѣнію, его устами говоритъ сама муд-
рость. Онъ подаетъ ребенку самый полезный,
разумный и спасительный совѣтъ. Развѣ можно
придумать что-нибудь болѣе практичное. Къ
тому-же слова его, какъ видно изъ дальнѣй-
шаго хода событій, оказываются даже пророче-
скими словами.

На это замѣчаніе читателя мы съ своей сто-
роны скажемъ также: позвольте! Совѣтъ дѣй-
ствительно недуренъ, но тутъ главное дѣло
не въ совѣтѣ, а въ его мотивированіи. Случай
самъ по себѣ такъ простъ и ясенъ, что дать
противуположный совѣтъ могъ-бы только поло-
умный или ребенокъ. Сказать Пронскому: надо
поступать такъ-то — еще ровно ничего не зна-
чить. Важно и необходимо было объяснить ему,
почему именно слѣдовало поступить такъ, — и
убѣдить его, что поступить иначе было-бы не
только неудобно, но и безчестно. Ливри, на-
противъ того, сдѣлалъ все, что отъ него зави-
сѣло, для того чтобы ослабить или даже совер-
шенно уничтожить дѣйствіе своего совѣта. Какъ
вамъ нравится это торжественное предисловіе:
«теперь приступимъ къ обсужденію вопроса:
какъ поступить съ открытой вами тайной?»
Это предисловіе какъ будто нарочно рассчитано
на то, чтобы въ глазахъ бѣднаго ребенка пре-
увеличить до крайнихъ предѣловъ возможнаго
размѣры и значеніе того крошечнаго факта, на
который ему случилось наткнуться. Пронскій
узнаетъ отъ своего мудраго наставника, что
существуетъ въ ихъ домѣ какая-то тайна, и
что онъ, Пронскій, открылъ ее, и что съ ней
надо какъ нибудь поступить, и что тутъ воз-
никаетъ вопросъ, къ разрѣшенію котораго на-
до приступать съ особенными предлиминаріями
и предосторожностями. Продолженіе рѣчи со-
отвѣтствуетъ ея началу. Аграфена Ива-
новна получаетъ титулъ *предательской род-
ственницы*, она и ея мужъ оказываются *ви-
новными въ лукавствѣ*, этимъ виновнымъ при-
писываются *замыслы* и наконецъ обличеніе
виновныхъ является сопряженнымъ съ какой-
то опасностью.

Изъ всѣхъ этихъ медвѣжьихъ пріемовъ ста-
раго француза становится яснымъ до очевидно-
сти то обстоятельство, что онъ не знаетъ ви-
дѣтей вообще, ни Пронскаго въ особенности.
Самыми неукротимыми идеалистами и самыми
смѣлыми фанатиками бывають обыкновенно дѣ-
ти и очень молодые люди, только-что перестав-
шіе быть дѣтьми. Когда отрокъ составилъ себѣ
понятіе о томъ, что такое обязанность, и когда
онъ забралъ себѣ въ голову, что онъ обязанъ

поступить такъ-то, тогда его не заставитъ отступить никакое указаніе на тѣ опасности, трудности и практическія неудобства, съ которыми сопряжено выполненіе его намѣренія. Ну чтожъ за важность, отвѣтитъ онъ вамъ,—это значить только, что я долженъ трудиться, бороться, подвергаться опасностямъ, переносить лишенія и выдерживать страданія. Я на все готовъ, лишь-бы только мнѣ удалось исполнить мой долгъ. Если вы хотите сбить отрока съ его позиции и отбратить его отъ задуманнаго поступка, то вы должны аргументировать съ нимъ во имя его собственнаго идеала и доказывать ему, что онъ *обязанъ* дѣйствовать не такъ, какъ онъ хотѣлъ, а совсѣмъ иначе. Если же самый идеалъ отрока ложенъ и одностороненъ, то вы должны повернуть всю вашу аргументацію противъ этого односторонняго идеала, который составляетъ первую причину нелѣпныхъ поступковъ. Разрушивъ этотъ идеалъ, вы произведете цѣлый переворотъ въ умственной жизни молодого человѣка, и только этимъ спасительнымъ переворотомъ вы избавите его отъ тѣхъ опасностей и страданій, которымъ онъ хотѣлъ подвергаться. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, критикуя практическіе выводы во имя принципа или доказывая нелѣпность основной идеи, вы непременно должны выводить всѣ ваши доказательства противъ извѣстнаго поступка не изъ выгодъ данной личности, а изъ высокихъ обязанностей, налагаемыхъ на человѣка его естественнымъ назначеніемъ. Чисто утилитарная аргументація останется непонятной для вашего юнаго и малоразвитаго собесѣдника.

Изъ словъ стараго француза Пронскій увидалъ только то, что сдѣланное открытіе чрезвычайно важно, и что французъ труситъ и пятится назадъ передъ требованіями идеала, который онъ, французъ, самъ признаетъ вѣрнымъ и обязательнымъ для честнаго человѣка. Пронскій сказалъ себѣ разумѣется, что онъ будетъ смѣлѣе, честнѣе и послѣдовательнѣе робкаго старика. Онъ посмотрѣлъ на M-r de Livry сверху внизъ и рѣшился дѣйствовать по своему.

Но какъ же, спроситъ читатель, сталъ-бы говорить съ Пронскимъ умный человѣкъ, находящійся на мѣстѣ стараго француза? Намъ кажется, что между ребенкомъ и воспитателемъ могъ-бы тогда завязаться слѣдующій разговоръ.

Воспитатель. Вы передали мнѣ, другъ мой, отъ слова до слова разговоръ госпожи Бѣловой съ ея мужемъ. Что же именно въ этомъ разговорѣ волнуетъ и возмущаетъ васъ?

Ребенокъ. Какъ что? Помилюте! Мою мать называютъ дурищей, говорятъ, что у нея вонючая морда, хотятъ, чтобы она поскорѣе умерла. Развѣ жъ этого мало?

— Нѣтъ, этого довольно. Когда мы любимъ кого-нибудь, то мы желаемъ, что-бы этого человѣка любилъ весь свѣтъ; когда говорить дур-

но о томъ человѣкѣ, котораго мы *любимъ*, насъ коробитъ это злословіе. Я понимаю неудовольствіе. Но будьте-же благодарны, подумайте хладнокровно: не можете-же вы самомъ дѣлѣ требовать, чтобы всѣ смотрѣли на вашу матушку съ такой-же любовью, съ какой вы на нее смотрите. Вы можете только говорить на томъ, что-бы въ вашемъ присутствіи никто не произносилъ объ вашей матушкѣ одного худого слова. Но вѣдь Аграфена Иванна и ея мужъ конечно не знали, что вы живете за перегородкой.

— Ахъ, да совсѣмъ не въ томъ дѣло! Обидно то, какъ смѣетъ это говорить Аграфена Ивановна. Вѣдь посмотрѣть на мать такъ подумаешь, что она души не членитъ въ свою матушкѣ. Вѣдь стало быть вся ея любовь къ матушкѣ — все это притворство. И кто не смѣетъ лицефронтить? И кто ее заставляетъ ссориться съ моей матерью и сидѣть у ея ногъ?

— Изъ того разговора, который вы слышали, видно, что ее заставляетъ дѣйствовать такимъ образомъ желаніе получить отъ вашей матушки какой-нибудь подарокъ или что-нибудь по завѣщанію.

— Ну да? А развѣ-жъ это хорошо?

— А кто-же вамъ говоритъ, что это хорошо?

— Поэтому-то я волнуюсь; поэтому-то я хочу вывести эту подлую Аграфену Ивановну на свѣжую воду. Я ей покажу, какъ шельма лицефронтъ и негодяевъ.

— Понимаю. Вы разсердились на Аграфену Ивановну и хотите ей напакостить. Дѣло естественное. Но только вы напрасно тратите себя въ эту минуту рыцаремъ правды, и напрасно думаете, что я буду вамъ сочувствовать въ вашемъ предпріятіи.

— Вы стало быть Аграфенѣ Ивановнѣ не сочувствуете?

— Нѣтъ, не буду.

— Зачѣмъ же вы ее защищаете?

— И не думаю.

— Отчего же вы не хотите, чтобы ее обличилъ?

— Во-первыхъ оттого, что ее не въ чемъ обличать, а во-вторыхъ потому, что я, любящая васъ, не желала бы, чтобы вы мстили людямъ, на которыхъ вы сердитесь.

— Теперь я ужъ рѣшительно не знаю, что вы такое хотите сказать. Объясните мнѣ, какимъ это образомъ Аграфена Ивановна не въ чемъ обличать.

— Это длинная исторія. Прошу васъ внимательнее, если вы хотите понять, Вамъ придется подумать теперь обо многихъ вещахъ, о которыхъ вы до сих поръ ни разу не задумывались. — Вы знаете вѣроятности, что Аграфена Ивановна — женщина?

— Знаю.

— Хорошо, но вы вряд ли понимаете, что такое бѣдность. Вы сами ни въ чемъ не нуждаетесь съ минуты вашего рожденія. Вы никогда не видали, чтобы ваша матушка въ чемъ-нибудь отказывала. Вы жили на всемъ на готовомъ, знали, что стоитъ только послать прикащика в городъ для того, чтобы получить оттуда все, что вы желаете, вы слышали, что деньги лежатъ у мамы въ шкапулкѣ и что ихъ тамъ всегда довольно, и вы никогда не спрашивали, откуда берутся эти деньги, и что случится бы съ вами и съ мамашей, если-бы эта шкапка опорожнилась, и если-бы печѣмъ было наполнить. Со многими другими людьми эта штука случается очень часто: имъ надо жить, имъ ѣсть, надо одѣваться, надо топить печку, надо лечить больныхъ дѣтей, а денегъ нѣтъ ни въ шкапулкѣ, ни въ ящикѣ, ни въ сундукѣ. Какъ же тутъ дѣлать? Надо идти просить денегъ у богатого сосѣда. Идетъ бѣднякъ съ замирающимъ сердцемъ, боится, что ему откажутъ, старается выбрать счастливую минуту, льститъ, угождаетъ богача, высказываетъ свою покорную просьбу въ самой вѣжливой и смиренной формѣ, улыбается, когда ему хочется плакать, кричать, и соглашается, когда ему хочется жаловаться и спорить. Когда вы находите, что какому-нибудь Иванову или Петрову глупъ и доминъ вашего презрѣнія, то вы обращаетесь съ нимъ сухо и холодно, и думаете про себя: какой же у меня откровенный и рыцарскій характеръ. Что я думаю и чувствую, то я прямо и выражаю своими поступками. А вѣдь въ сущности вся ваша рыцарская смѣлость и откровенность происходитъ отъ того, что у васъ въ шкапулкѣ есть деньги и что вамъ не зачѣмъ просить взаимно у Петрова и Иванова. Вы видите, что передъ этими господами ежится и улыбаются какой-нибудь человѣчекъ въ потертомъ сюртукѣ, и вы тотчасъ рѣшаете, что этотъ человѣчекъ — подлецъ и негодяй. А на повѣрку выйдетъ, можетъ быть, что этотъ человѣчекъ, уже погибшій въ вашемъ мнѣніи, работаетъ съ раннего утра до поздней ночи, кормитъ своимъ трудомъ старуху мать и дюжину больныхъ сестеръ, отдаетъ имъ послѣдніе куски своего трудового хлѣба, и улыбается глупымъ остроумцамъ Иванова или Петрова единственно потому, что эти господа могутъ упрятать его въ долговое дѣленіе и заморить голодомъ его семейство, пользуясь тѣми обязательствами, которыми онъ связанъ имъ во время тяжелой и продолжительной болѣзни и по которымъ онъ, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, не можетъ уплатить въ назначенный срокъ. Подумайте, хорошо-ли и честно-ли будетъ съ вашей стороны, если вы станете считать такого человѣка въ гнусномъ притворствѣ и непростительномъ двоедушіи. Пріятно ли вамъ будетъ, если вамъ удастся доказать Иванову и Петрову, что человѣчекъ въ потертомъ

сюртукѣ считаетъ ихъ за дураковъ и обходится съ ними вѣжливо и даже любезно только изъ корыстныхъ видовъ.

— Стало быть, Аграфена Ивановна то же, что человѣчекъ въ потертомъ сюртукѣ, а мать моя то же, что глупый Ивановъ или глупый Петровъ?

— Не торопитесь. Я васъ предупреждалъ, что исторія будетъ длинная. Изъ притчи о человѣкѣ въ потертомъ сюртукѣ вы можете вывести только то заключеніе, что не всякая личность, умалчивающая или даже искажающая истину, заслуживаетъ порицаніе, осмѣяніе и презрѣніе, и что въ нѣкоторыхъ случаяхъ усердный обличитель неправды можетъ оказаться гораздо гаже того мнимаго негодяя, которого онъ старается вывести на свѣжую воду. Это вамъ не мѣшаетъ принять къ свѣдѣнію. Теперь слушайте дальше. Нашъ человѣчекъ на каждомъ шагу встрѣчаетъ вокругъ себя такихъ людей, которые такъ или иначе могутъ повредить ему въ средствахъ существованія; со всѣми этими людьми ему надо обращаться осторожно; у всѣхъ этихъ людей есть слабыя и смѣшныя стороны, которыя бросаются ему въ глаза, и которыя онъ однако-же долженъ проходить молчаніемъ, если не желаетъ нажить себѣ ожесточенныхъ и очень опасныхъ преслѣдователей. Со всѣми этими людьми онъ старается ладить, и отъ всѣхъ этихъ людей онъ скрываетъ постоянно свои мысли и чувства. Всѣмъ имъ онъ, съ утра до вечера, каждый день и круглый годъ, говоритъ совсѣмъ не то, что онъ объ нихъ думаетъ. Онъ лжетъ постоянно, и вмѣстѣ съ нимъ лгутъ безъ умолку всѣ люди, находящіеся въ его зависимомъ и придавленномъ положеніи. Въ домѣ вашей матери, напримѣръ, лгутъ постоянно словами, движеніями, жестами, выраженіемъ лица всѣ нахлѣбники, всѣ приживалки и домочадцы. Кто сегодня солгалъ по необходимости, и завтра опять поставленъ въ необходимость солгать, и послѣ завтра также, тотъ наконецъ привыкаетъ ко лжи, теряетъ отвращеніе къ ней, сживается съ атмосферой притворства, и въ этой испорченной атмосферѣ чувствуетъ себя очень привольно и легко. Рождаются у него дѣти; онъ и ихъ пріучаетъ съ раннихъ лѣтъ лгать и притворяться; онъ приказываетъ имъ ласкаться къ богатому родственнику, чтобы получить отъ него десятирублевую бумажку на платьице или на курточку. Дѣти цѣлуютъ руки у такихъ людей, которыхъ они едва знаютъ въ глаза, и которые смотрятъ на нихъ, какъ на докучливыхъ нищихъ. Вы счастливыѣ этихъ дѣтей: васъ никто не развращалъ въ дѣтствѣ; ваше человѣческое достоинство находилось въ полнѣйшей неприкосновенности; но вѣдь это великое счастье досталось вамъ даромъ, безо всякой заслуги съ вашей стороны. Это счастье лежитъ въ шкапулкѣ вашей мамы. Пользу-

тесъ имъ, берегите ваше человѣческое достоинство, которое вы получаете незамараннымъ изъ рукъ вашихъ родителей и воспитателей. Но не давите же вашимъ презрѣніемъ и не преслѣдуйте вашими дешевыми обличеніями тѣхъ несчастныхъ дѣтей, которыхъ нравственныя качества не были охранены съ самой колыбели содержаніемъ мамашиной шкатулки. Повѣрьте, что другія дѣти хуже васъ только потому, что они бѣднѣ васъ и, слѣдовательно, несравненно чаще васъ принуждены сталкиваться съ грязными сторонами жизни.

— Да я и не думаю презирать этихъ несчастныхъ дѣтей. Я объ нихъ жалѣю. Но я только не понимаю, какимъ образомъ все, что вы говорите, можетъ относиться къ Аграфенѣ Ивановнѣ? Неужели же вы серьезно рѣшитесь утверждать, что ея поступки съ моей матерью не отвратительны? Если-бъ вы знали, какъ ее любить моя мать и какъ она увѣрена въ ея преданности. И вдругъ за всю эту любовь — дурища, вонючая морда и дай Богъ, чтобъ она умерла поскорѣй! Вы не говорите мнѣ о бѣдности, о притворствѣ, о несчастныхъ дѣтяхъ; вы возьмите фактъ, какъ онъ есть, и разберите его со всѣхъ сторонъ.

— Не забудьте, что тутъ сильно заинтересована ваша мать, и что мнѣ, быть можетъ, придется упомянуть о такихъ сторонахъ ея ума и характера, о которыхъ вамъ непріятно будетъ выслушивать мои замѣчанія.

— Ничего, говорите, говорите все! Я знаю, что вы не захотите оскорблять меня и мою мать, и скажете только то, что необходимо для разъясненія вопроса. Говорите! Правду я готовъ выслушивать о комъ бы то ни было.

— Все, что я говорилъ о бѣдности, о притворствѣ, о несчастныхъ дѣтяхъ, относится вполне къ Аграфенѣ Ивановнѣ. Я не желалъ-бы имѣть съ этой женщиной никакого дѣла, я всегда буду тщательно уклоняться отъ всякихъ дружескихъ отношеній и даже отъ короткаго знакомства съ ней; я твердо увѣренъ, что эта женщина не можетъ пользоваться уваженіемъ честнаго человѣка, но въ то-же время я такъ ясно вижу тотъ путь, который привелъ ее къ глубокому нравственному паденію, я такъ отчетливо понимаю неотразимость тѣхъ вліяній, которыя толкали ее въ болото, — что я не считаю возможнымъ и справедливымъ наказывать ее публичнымъ ошельмованіемъ. Аграфена Ивановна родилась отъ бѣдныхъ и благородныхъ родителей; ей втолковали съ дѣтства, что женщина ея сословія стыдно и неприлично пойти въ ученіе къ портнихѣ и сдѣлаться бѣлошвейкой, но нисколько не стыдно и очень прилично выпрашивать себѣ у родныхъ и знакомыхъ надушенные мантили и шляпки. Такъ она и выросла съ этими понятіями, и теперь вы ихъ не выживете изъ ея дубовой го-

ловы никакими резонами. Съ этими-же понятіями и съ двумя-тремя вырванными платишками ее выдали замужъ за господина Бѣлова, о которомъ, разумеется, говорили ей, что онъ молодъ и не чиновникъ, а умная голова и далеко пойдетъ. Знатныя слѣднихъ словъ было ей хорошо понятно; она знала, что Бѣловъ умѣетъ ладить съ женщинами и всякій разъ приносить домой изъ карманы половъ карманъ пятаконъ и гривенковъ. Бѣловъ самъ не прочь былъ выдти впередъ своей невѣстой своей службой и витостью, и зналъ, что онъ за разсказомъ о своемъ высокомъ искусствѣ всегда можетъ выдти отъ возлюбленной Груши нѣжный взглядъ даже крѣпкій поцѣлуй. Вышла она и началось собираніе и откладываніе платишечекъ и гривенниковъ; пошли дѣти; нужда заглядывала въ нихъ грязную и сирую щель, не смотря на всю даровитость Бѣлова, все попрошайничество Аграфены Ивановны, о нравственномъ благообразіи не забывъ оковчательно. До стыда-ли тутъ, приходится топить печку черезъ дѣньги, а въ горячее кушанье всего раза по два по недѣлю, чтобы кое-какъ сводить концы съ концами и одѣваться такъ, какъ того требуютъ амбиціи благородныхъ людей. Въ видѣ попрошайничества Аграфена Ивановна къ своей богатой родственницѣ и вдругъ начинаетъ замѣчать, что эта родственница искреннимъ удовольствіемъ выслушиваетъ сладкія рѣчи. «Постой, думаетъ Аграфена Ивановна, тутъ есть крупная пожива. Барыня кажется, простовата и любить уши рыгать». Прокуетъ она пріѣхать погости и встрѣчаютъ ласково; собирается она до удерживаютъ. Что-жъ ей дѣлать? Не отрываться-же ей отъ своего счастья. И не бѣдѣ-же ей въ вашу мамашу, на которой во всякую данную минуту смотреть только на толстый денежный мѣшокъ. Живя въ у вашей матери, питаюсь ея подаваніями, о отъ нея великихъ милостей, она только жетъ держать себя такъ, какъ она себя жить дѣйствительно. Сердиться на нее что, такъ-же точно, какъ несправедливо бы осуждать вашу мать за ея младенческое доверчивость. Поступки обѣихъ личностей текутъ самымъ неизбежнымъ образомъ всего ихъ прошедшаго. Одна поступаетъ опытная пріобрѣтательница, привыкла вать чужіе пороги и цѣловать благодѣтели ручки; другая поступаетъ, какъ богатая, никогда не выдавшая дѣйствительно ни и никогда ни о чемъ не размышляла. Одна притворяется и поддѣлывается; любить свою подругу и вѣрить въ ея доброту. Повидимому послѣдняя должна быть виновникомъ убытка, потому что за своимъ изст-

онету она получает фальшивую. Но въ этомъ случаѣ фальшивая монета оказывается лучше истинной. Въ дружбѣ вашей матери съ Аграфеной Ивановной на долю первой достаются всѣ выгоды и удовольствія. Кто пляшетъ по всей дудкѣ? Кто кому заглядываетъ въ глаза? Ыи желанія угадываются и предупреждаются? Ыи привычки и прихоти возводятся въ обязательный законъ? Аграфена Ивановна пресмыкается, Аграфена Ивановна лститъ, Аграфена Ивановна играетъ утомительную комедію, а матушка ваша только вдыхаетъ въ себя фиміамъ и предаётся сладостнымъ изліяніямъ дружбы. Положимъ, что фиміамъ оказывается очень низкаго достоинства, но вѣдь ваша матушка мѣ довольна, а госпожа Вѣлова конечно не инновата въ томъ, что вкусъ ея благодѣлницы до такой степени мало развитъ. Чѣмъ уже былъ фиміамъ, тѣмъ сильнѣе госпожа Вѣлова убѣждена въ томъ, что ей должны за нею заплатить, потому что тѣмъ труднѣе и непріятнѣе было его приготовить. Если-бы Вѣлова въ самомъ дѣлѣ любила вашу матушку, то ей, Вѣловой, не за что было-бы платить; когда всѣ ея заботы о спокойствіи и здоровьѣ вашей матери доставляли-бы ей самой живѣйшее наслажденіе; но теперь, именно теперь, когда вы знаете, что ея любовь—чистое притворство, теперь-то вы и должны заплатить ей щедрой рукой за всѣ ея труды и безпокойства. Эта щедрая расплата съ ней должна быть вашимъ единственнымъ мщеніемъ, потому что мстить Вѣловой чѣмънибудь другимъ значило-бы наказывать бѣднаго за то, что онъ бѣденъ, или урода за то, что онъ не похожъ на Аполлона Вельведерскаго.

X.

M-r de Livry ни въ чемъ не убѣдилъ нашего героя. Пронскій при первомъ удобномъ случаѣ объясняется съ своей матерью; мать ему не вѣритъ, Аграфена Ивановна становится его злѣйшимъ врагомъ и старается выжить его изъ дома. Дѣло кончается тѣмъ, что юнаго обличителя отправляютъ въ Петербургъ и помѣщаютъ тамъ въ учебное заведеніе. Въ этомъ заведеніи господствуетъ постоянная вражда между воспитанниками и воспитателями. Воюющія стороны съ утра до вечера хлопочутъ о томъ, чтобы какъ-нибудь перехитрить, подкараулить, застигнуть врасплохъ и побольнѣе оскорбить другъ друга. Воспитанники шалятъ и безчинствуютъ преимущественно для того, чтобы разбѣсить воспитателей; воспитатели дѣлаютъ облавы на шалуновъ единственно для того, чтобы нанести этимъ врагамъ дисциплины и школьнаго спокойствія какъ можно больше физической боли. Каждый изъ двухъ лагерей имѣетъ своихъ перебѣжчиковъ; каждый изъ двухъ подсылаетъ въ противоположный лагерь

своихъ лазутчиковъ. Великая война воспитанниковъ и воспитателей усложняется еще мелкими междуусобіями и партизанскими схватками, разыгрывающимися ежеминутно въ обоихъ лагеряхъ. «Вскорѣ я замѣтилъ, пишетъ Пронскій въ своемъ дневникѣ,—что ложь и лукавство—основныя начала всѣхъ отношеній не только что между товарищами, но даже между учителями и ихъ учениками, между начальниками и подчиненными. Ни одного дня не проходило безъ разительнаго какого-нибудь примѣра въ этомъ отношеніи. То какой-нибудь шалунъ свалитъ собственную вину на товарища; то учитель всѣми неправдами оградитъ щедрого любимца и выдастъ менѣе догадливаго или менѣе любимаго ученика головой на съѣденіе инспектору; то надзиратель засадитъ въ темную за малѣйшую папироску, а въ другой разъ не обратитъ вниманія на цѣлый облакъ табачнаго дыма, судя по личностямъ и отношеніямъ».

На эту бессмысленную, но ожесточенную школьную войну Пронскій является, вооруженный афоризмомъ Ливри: «дворянинъ никогда не долженъ лгать, даже когда ему грозятъ смертью». Юное воображеніе Пронскаго разгорячено его неудачнымъ столкновеніемъ съ Аграфеной Ивановной; онъ понимаетъ, что его любовь къ правдѣ произвела охлажденіе между нимъ и его матерью; онъ считаетъ себя мученикомъ за правду и рѣшается мужественно нести свой терновый вѣнецъ. Понятное дѣло, что изъ этого скороспѣлаго и преждевременнаго героизма не получается ничего, кромѣ безсмыслицы. Пронскій постоянно всѣми своими поступками протестуетъ противъ той лжи, которая господствуетъ во всѣхъ проявленіяхъ школьной жизни. Но его протестъ никого за собой не увлекаетъ, никого не обращаетъ на путь истины и вообще не приноситъ ни малѣйшей пользы ни протестующему герою, ни его товарищамъ, ни его начальникамъ. Всѣ лгутъ по прежнему и смотрятъ на Пронскаго, какъ на дурака или какъ на выскочку, желающаго поправиться начальству своей напускной правдивостью.

Но начальство, къ которому Пронскій, по мнѣнію своихъ товарищей, поддѣлывается, нисколько не поощряетъ его откровенности и наказываетъ его за каждую шалость, не смотря на его чистосердечныя признанія. Лишніе наказанія со стороны начальства и нерасположеніе и недовѣріе товарищей—вотъ все, что получаетъ Пронскій за свою любовь къ правдѣ.

Тѣмъ лучше, скажетъ какой-нибудь юный идеалистъ, читающій эти строки. Значитъ, онъ безкорыстно преданъ своей идеѣ и имѣетъ полное право считать себя мученикомъ своихъ убѣждений. Значитъ, онъ съ ранней молодости уподобляется дерматовскому пророку, въ котораго всѣ его ближніе

Бросали бѣшено камни.

Если назначеніе честнаго и даровитаго чело-
вѣка состоитъ въ томъ, чтобы какъ можно
рѣзче отдѣляться отъ массы другихъ людей и
какъ можно красивѣе драпироваться въ свои
добродѣтели, то конечно юный идеалистъ правъ,
и Пронскій, съ своимъ безмысленнымъ, слѣпымъ,
но очень яркимъ протестомъ, рѣшаетъ задачу
жизни самымъ удовлетворительнымъ образомъ,
такъ что съ него должны брать примѣръ всѣ
люди, способные и желающіе совершенствовать
себя и другихъ. Но если великая задача жизни
состоитъ въ томъ, чтобы по мѣрѣ силъ измѣ-
нять къ лучшему тѣ невыгодныя условія, ко-
торыя мѣшаютъ людямъ дышать свободно и
развиваться сообразно съ естественными зако-
нами, то подвиги правдолюбія, совершаемыя
Пронскимъ, должны возбуждать въ насъ только
чувство глубокаго состраданія къ несчастному
герою, навсегда сбитому съ толку глупѣйшимъ
домашнимъ воспитаніемъ. Безмысленный про-
тестъ всегда вреденъ, потому что онъ своей
безмысленностью подрываетъ въ массѣ окру-
жающихъ людей уваженіе къ той вѣрной и
святой идеѣ, во имя которой онъ совершается.

Ложь, безъ сомнѣнія, глубоко унижаетъ че-
ловѣческое достоинство и отравляетъ собой
всѣ отношенія между людьми; но чтобы уничто-
жить эту ложь, надо очевидно устранить тѣ
условія, которыя ее порождаютъ. Вмѣсто учи-
телей, засыпающихъ на кафедрахъ и отмѣчаю-
щихъ уроки погтемъ въ учебной книгѣ, надо
поставить людей, способныхъ приковывать къ
своимъ словамъ вниманіе цѣлаго класса, со-
ставленнаго изъ самыхъ отъявленныхъ шалу-
новъ. Вмѣсто распредѣленія занятій, постоянно
насилующаго всѣ естественныя наклонности
дѣтскаго организма, надо составить новое рас-
предѣленіе, строго соображенное со всѣми пред-
писаніями гигиены. Когда дѣти убѣдятся въ
томъ, что воспитатели дѣйствительно любятъ
ихъ, что никто не распоряжается ихъ поступ-
ками изъ одного мелочнаго желанія помудрить
и обнаружить свою важность, когда учебныя
занятія овладѣютъ ихъ вниманіемъ, и когда
умственный трудъ сдѣлается для нихъ сначала
пріятнымъ, а потомъ просто необходимымъ —
тогда имъ незачѣмъ будетъ лукавить, и ложь
уничтожится сама собою, потому что правди-
вость не будетъ вести за собой никакихъ му-
чительныхъ слѣдствій. Но требовать правды,
оставляя нетронутыми всѣ тѣ условія, которыя
порождаютъ ложь — значитъ требовать, чтобы
на немощной улицѣ не было грязи, когда
идетъ дождь.

Какъ для Пронскаго, такъ и для того обще-
ства, въ которомъ онъ впоследствии могъ-бы
быть полезнымъ дѣятелемъ, было-бы гораздо
лучше, если-бы онъ во время своего пребыва-
нія въ школѣ ничѣмъ не отличался отъ сво-
ихъ товарищей и за-одно съ ними неустра-

шимо лгалъ-бы разъ по пятнадцать въ день.
Ребенокъ, какъ-бы онъ ни былъ чистъ душою,
конечно не можетъ улучшить нравы своихъ
соотечественниковъ; у него на это нѣтъ ни
крѣпкихъ легкихъ, ни житейской опытности,
ни обширныхъ знаній, ни зрѣлаго ума, ко-
мѣтъ ни одного изъ тѣхъ качествъ, которыя
необходимы проповѣднику. Ученикъ, какъ-
онъ ни былъ правдивъ и неустрашимъ, не
можетъ не произвестъ въ своемъ училищѣ не-
дѣтельнаго переворота. Но ребенокъ не
впослѣдствіи сдѣлается великимъ учителемъ
нравственности, точно такъ, какъ ученикъ
не сдѣлается великимъ политическимъ учи-
телемъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ сдѣлается са-
мымъ тѣмъ великимъ реформаторомъ. Надо только, чтобы
ребенокъ выросъ и возмужалъ, и чтобы
онъ усвоилъ себѣ какъ можно больше правды.
Въ этомъ все дѣло. Пусть ребенокъ растетъ
здоровѣе, пусть ученикъ учится и ра-
ботаетъ — это единственная и лучшая работа,
которую каждый изъ нихъ можетъ оказать
обществу. Если же малолѣтки заберутъ
въ голову, что имъ тоже надо носить те-
тяны вѣнцы, геройствовать и протестовать
противъ существующей неправды, то произойдетъ
только печальная и смѣшная трата драго-
цѣнныхъ силъ, трата, вслѣдствіе которой
и бойцы окажутся измученными и одряхлѣ-
вшими людьми именно къ тому времени, когда
имъ долженъ былъ-бы только начинаться
периодъ разумной, серьезной и общепольза-
вательной работы.

Подвиги правдолюбія доводятъ наконецъ
Пронскаго до необходимости выйти изъ училища.
Дальнѣйшее крупное столкновеніе съ жи-
вотной неправдой происходитъ на поприщѣ
русской службы. Дворянский дядя Пронскій
«завѣдывающій отдѣльнымъ управленіемъ
праваха министра», опредѣляетъ его въ
канцелярію и назначаетъ ему сразу за-
мѣстительное жалованье. Директоръ канцеляріи
жестко жметъ руку своему новому подчинен-
ному; сослуживцы Пронскаго обходятся съ
нимъ подобострастно. Все это глубоко возмущаетъ
нашего героя, и всему этому онъ имѣетъ право
удивляться, точно будто всѣ эти частныя
явленія сваливаются на землю, какъ аэро-
планы, а не развиваются самымъ естественнымъ
неизбѣжнымъ образомъ изъ общихъ причинъ,
которыя всякій желающій можетъ разсматри-
вать, ощущивать и изучать. Совершенное
умѣнье восходить въ своемъ процессѣ мы-
сли къ общимъ причинамъ заставляетъ
Пронскаго выбрать себѣ такую среднюю дорогу,
которой нѣтъ возможности приносить обществу
какую-бы то ни было пользу и на которой
даже чрезвычайно трудно удержаться. Прон-
скій не отказывается отъ бюрократической
тѣлности, и въ то же время ни подъ ка-
кимъ видомъ не хочетъ помириться съ ея нра-

обычаями. Онъ стремится служить, и въ то время желаетъ оставить за собой право контролировать дѣйствія своихъ непосредственныхъ начальниковъ и возмущаться каждымъ поступкомъ, несоотвѣтствующимъ его собственнымъ нравственнымъ требованіямъ. Онъ хочетъ и не умѣетъ понять, что передъ нимъ ставлена очень ясная дилемма: если хочешь служить, то повинуйся; а если хочешь мудрствовать и критиковать, то, по меньшей мѣрѣ, упай вонъ и потомъ смотри со стороны на этотъ механизмъ, который ты желаешь анализировать. Служба требуетъ повиновенія и не допускаетъ вольнодумства; кто дожилъ до двадцати лѣтъ и не постигъ этой истины, великой своей простотѣ, тотъ никогда не сдѣлается существеннымъ дѣятелемъ и никогда не вырвется изъ рокового разлада, существующаго между титаническими стремленіями и ничтожными результатами.

Возмущенный той протекціей, которую оказываетъ ему дядя, Пронскій переходитъ на службу въ другое вѣдомство и самоотверженно садится съ 1200 рублей годового жалованья на 300. На первыхъ порахъ Пронскій находитъ въ своемъ новомъ мѣстѣ служенія царство чистой справедливости. Директоръ обходится одинаково сурово со всеми служащими.

Пронскому только того и надобно, чтобы его аспектировали наравнѣ съ другими. Мы не знаемъ, какъ скоро и съ какой стороны должно было оспослѣдовать для Пронскаго разочарованіе; мы знаемъ также и того, какихъ размѣровъ и какого свойства оказалась-бы та польза, которую онъ, по всей вѣроятности, принесъ-бы отечеству своей усердной службой подлѣ начальствомъ правосуднаго директора. Къ сожалѣнію, вторъ прервалъ интересный опытъ въ самомъ началѣ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего поступленія на новое мѣсто, Пронскій получилъ извѣстіе объ опасной болѣзни матери, взявши отпускъ, поѣхалъ въ деревню. Мать его умираетъ за нѣсколько минутъ до его пріезда. Въ комнатѣ своей матери Пронскій находитъ письмо, въ которомъ покойница проситъ его передать деревню Выселки Аграфенѣ Ивановнѣ въ вѣчное и потомственное владѣніе. Послѣ того, какъ онъ прочиталъ это письмо, ему докладываютъ о пріездѣ уѣзднаго уѣды, и онъ встрѣчается лицомъ къ лицу съ Бѣловымъ, мужемъ Аграфены Ивановны. Пронскій объявляетъ ему о желаніи покойницы, заявляетъ при этомъ, что письмо ея не имѣетъ никакой законной силы, и наконецъ обѣщаетъ Бѣлову подарить ему Выселки, если только онъ, Бѣловъ, признается, что жена его действительно, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, ругала старую княгиню дурницей и приписывала ей вонючую морду.

— Г. Бѣловъ, говоритъ Пронскій, умоляю васъ,

успокойте меня, успокойте тѣхъ матушки, признайтесь, ради самого Бога признайтесь.

Бѣловъ ни въ чемъ не признается, и Пронскій, чтобы положить конецъ тягостному разговору, соглашается безо всякихъ условій написать дарственную запись. Въ этомъ поступкѣ Пронскаго выражается уже съ поразительной ясностью такая умственная односторонность, которая чрезвычайно близко подходитъ къ помѣшательству. При всякомъ столкновеніи съ людьми Пронскій заботится только о томъ, чтобы не было лжи; сосредоточивая все свое вниманіе на одной этой сторонѣ дѣла, онъ упускаетъ изъ виду всѣ остальные; онъ дѣйствуетъ такъ, какъ будто-бы въ человѣческой жизни не было никакого другого зла, кромѣ лжи. Вопросъ, который ему слѣдуетъ рѣшить, состоитъ въ томъ, отдавать или не отдавать деревню Выселки Бѣловой. Дѣло идетъ, стало быть, о судьбѣ двухъ сотъ душъ крестьянъ. Самъ Пронскій, въ разговорѣ съ Бѣловымъ, употребляетъ именно эту формулу. «Она желаетъ, говоритъ онъ, чтобы я отдалъ въ вѣчное и потомственное владѣніе супруги вашей 200 душъ, находящихся въ Выселкахъ.» Пронскій знаетъ, что Аграфена Ивановна женщина грубая и корыстолюбивая; если онъ составляетъ себѣ не совсѣмъ вѣрное понятіе о ея характерѣ, то ошибка можетъ состоять только въ томъ, что онъ преувеличиваетъ ея дурныя стороны. Значитъ, Пронскій, принимающій Аграфену Ивановну за олицетвореніе всякаго зла и за намѣстницу сатаны на нашей грѣшной землѣ, никакъ не можетъ себѣ воображать, что Аграфена Ивановна будетъ сколько нибудь сносной помѣщицей. Между тѣмъ нашему добродѣтельному и правдолюбивому герою даже не приходитъ въ голову вопросъ о томъ, хорошо-ли будетъ жить тѣмъ 200 душамъ, которыхъ онъ собирается отдать въ чужія и притомъ въ очень грязныя руки. Пронскому засѣла въ голову только та мысль, что этого желала его умирающая мать, и что оставить это желаніе неисполненнымъ значитъ солгать передъ тѣнью покойницы, обмануть ея надежды и оскорбить ея память. Какой цѣной купится это исполненіе желаній и надеждъ, какиимъ страданіямъ подвергнутся двѣ сотни живыхъ людей ради того, чтобы успокоить кости мертвеца—объ этомъ нашъ герой не умѣетъ подумать заранѣе, что впрочемъ не помѣшаетъ ему впоследствии соболѣзновать объ участи подаренныхъ крестьянъ и принимать ихъ подъ свое покровительство, которое, разумѣется, не можетъ принести имъ ничего, кромѣ новаго горя. Но, забывая о судьбѣ, предстоящей двумъ сотнямъ человѣческихъ существъ, князь Пронскій помнитъ очень хорошо о томъ, что господа Бѣловы провинились во лжи, и что теперь, по поводу вопроса о Выселкахъ, ему, Пронскому,

представляется удобный случай довести виновных до откровеннаго признанія, которое, по его мнѣнію, должно загладить совершившееся беззаконіе и усмирить разгнѣванную тѣнь старой княгини. Впрочемъ эта попытка такъ и остается неудачной и безплодной попыткой, потому что Вѣловъ, какъ человѣкъ, проникнутый благородной амбіціей, ни въ чемъ не признается, а у Пронскаго, при всей его антипатіи къ Вѣловымъ, не хватаетъ духу обмануть послѣднія надежды умершей матери. Деликатность и правдивость Пронскаго обрекаютъ такимъ образомъ выселковскихъ мужиковъ на мучительное порабощеніе.

XI.

Совершивъ передачу Выселокъ, Пронскій выходитъ въ отставку, поселяется въ деревнѣ и начинаетъ заниматься хозяйствомъ, причемъ, разумеется, обнаруживаетъ блистательно не только свое незнаніе жизни, но еще кромѣ того свою совершенную неспособность узнать жизнь когда-бы то ни было. Онъ заводитъ школу и въ этой школѣ учреждаетъ музыкальный классъ для смягченія грубыхъ мужицкихъ нравовъ. Дворовыхъ обоюго пола онъ собираетъ по вечерамъ въ просторную залу и тамъ заставляетъ ихъ дремать подъ звуки назидательнаго чтенія. Къ своимъ полямъ онъ примѣняетъ теорія заграничныхъ агрономовъ такъ удачно, что хлѣбъ совсѣмъ перестаетъ родиться и что скотину приходится гонять на водопой черезъ застѣянные поля. Зато поучительнымъ разговорамъ съ крестьянами вѣтъ конца; Пронскій собираетъ сходки чуть не каждый день и по нѣскольку часовъ подъ-рядъ умоляетъ мужиковъ возлюбить правду и возненавидѣть ложь. «Ложь, говоритъ онъ однажды для пущей убѣдительности, — исчадіе ада, у нея змѣиный языкъ и зеленые, огненные глаза». Здѣсь портретъ лжи срисованъ съ Аграфены Ивановны, у которой также были зеленые, огненные глаза и змѣиный языкъ, каждый разъ, когда она являлась Пронскому во снѣ; а мучительныя сновидѣнія эти посѣщали нашего героя послѣ каждого сильнаго нервнаго потрясенія. Мы до сихъ поръ не говорили объ этихъ сновидѣніяхъ и галлюцинаціяхъ и вообще намѣрены говорить о нихъ очень мало, потому что мы не чувствуемъ себя способными разбирать повѣсть Толстого съ психіатрической точки зрѣнія. Похожденія Пронскаго и развитіе его болѣзни интересуютъ насъ настолько, насколько въ нихъ обрисовываются различныя стороны нашей общественной жизни и вліяніе этихъ сторонъ на очень впечатлительнаго и очень честнаго человѣка, у котораго чувство вездѣ и всегда преобладаетъ надъ мыслью. Нашъ анализъ до сихъ поръ постоянно приводилъ насъ къ тому убѣжденію, что такіе

характеры не годятся для нашей жизни; наша жизнь также для нихъ не годится. Имъ могли сочувствовать ни тѣмъ явленіямъ, ни противъ которыхъ возставалъ Пронскій, но тому протестующему герою. Мы считали хорошо, что этотъ протестъ честенъ и искренъ, но мы также видѣли очень ясно и старались показать читателю въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, что этихъ качествъ слишкомъ недостаточно для того, чтобы доставить протесту малѣйшіе шансы успѣха. А безнадѣльность, если можно такъ выразиться, жертвеннаго протеста противъ какого-бы то ни было преступнаго или общественнаго зла приноситъ обществу всегда гораздо больше вреда, чѣмъ пользы. Чтобы быть успѣшнымъ, протестъ долженъ быть глубоко обдуманъ и привормленъ самымъ искуснымъ образомъ къ существующимъ обстоятельствамъ мѣста и времени. Протестующая личность должна соединять въ себѣ невинную кротость съ змѣиной мудростью. У нашего князя Пронскаго не было ничего, кромѣ голубиной кротости, и поэтому каждое его брожелательное предпріятіе заканчивалось какой-нибудь печально-комической неудачей.

Пронскій замѣтилъ, что крестьяне его живутъ бѣдно; голубиная кротость тотчасъ внушила ему мысль, что онъ можетъ улучшить ихъ положеніе; безо всякихъ дальнѣйшихъ размышленій, Пронскій собираетъ сходку и объявляетъ мужикамъ, что «мы все дѣти одного отца, все мы созданы по образу и подобию Божію и что должны все дѣлать, и горе, и нужды, и поламъ». Послѣ сходки мужики стали прямо себѣ у барина того, что было необходимо каждому изъ нихъ для поправленія разстройства хозяйства; баринъ никому не отказалъ, и о тѣхъ поръ даровыя раздачи хлѣба, лѣса, скота и лошадей стали повторяться очень часто. Такъ какъ Пронскій требовалъ отъ мужиковъ полной откровенности и при этомъ пугалъ ихъ призракомъ лжи или фантастическимъ портретомъ Аграфены Ивановны, то мужики и были объявляли ему очень откровенно, что имъ тяжело работать цѣлые дни подъ палящими лучами іюльскаго или августовскаго солнца. Тронутой ихъ откровенностью, которая очевидно доказывала ему благотворное вліяніе музыкальнаго класса и продолжительныхъ бесѣдъ на сходкахъ, Пронскій отпускалъ рабочихъ съ поля, предоставляя хлѣбу осыпаться или гнить на корню. Все это было добродушно и добродѣтельно, но такъ какъ Пронскій былъ удрученъ полнѣйшимъ отсутствіемъ змѣиной мудрости, то онъ и не умѣлъ предусмотрѣть и расчитать заранѣе неизбѣжныя послѣдствія своихъ распоряженій. Онъ не сообразилъ того, что молва о его необычайномъ великодушіи разнесется по всему околodu, что соседніе крестьяне будутъ невольно сравнивать свою тяжелую

участь съ тѣмъ веселымъ житьемъ, которое устроилъ Пронскій своимъ мужикамъ, и что окружающіе помѣщики, испуганные одной возможностью такого неудобнаго сравненія, поднимутъ такую тревогу, отъ которой ему, Пронскому, не удастся отсидѣться въ затишѣ своего деревенскаго дома. Благодаря своему младенческому простодушію, Пронскій очень удивляется, когда исправникъ, заѣхавши къ нему въ имѣніе, заводитъ съ нимъ разговоръ о его домашнихъ дѣлахъ и подаетъ ему совѣтъ вести свое хозяйство менѣе эксцентричнымъ образомъ, такъ, чтобы не возбуждать неудовольствія и несбыточныхъ надеждъ въ крестьянахъ окружающихъ имѣній. Встрѣтившись съ упорной и злобной оппозиціей того общества, въ которомъ ему приходится жить и дѣйствовать, Пронскій, какъ человѣкъ, застигнутый врасплохъ, становится въ тупикъ. Онъ не ожидалъ сопротивленія, его изумляетъ вмѣшательство постороннихъ людей въ его домашнія распоряженія, и на серьезныя замѣчанія исправника, высказанныя мягкимъ и осторожнымъ, но очень внушительнымъ тономъ, онъ не умѣетъ отвѣчать ни однимъ дѣльнымъ возраженіемъ, и ограничивается только очень рѣзкими и смѣшными выходками противъ Аграфены Ивановны. Когда исправникъ доводитъ до его свѣдѣнія, что г. Вѣловъ, исправляющій должность предводителя дворянства, обратилъ вниманіе на *вышечерченные обстоятельства*, т. е. на оригинальныя отношенія, сложившіяся между помѣщикомъ и крестьянами, тогда Пронскій отвѣчаетъ, какъ разсердившійся десятилѣтній мальчикъ: «такъ скажите ему отъ меня, чтобы онъ не осмѣливался вмѣшиваться въ мои дѣла, а смотрѣлъ бы лучше за своей супругой, у которой змѣиный языкъ, чертовскіе глаза и кошачьи ногти, такъ и скажите. Слышите!» Ясное дѣло, что такого рода протестами противъ лжи, рутинны и бездушнаго корыстолюбія нашъ добродѣтельный герой оказываетъ своимъ врагамъ драгоцѣнныя услуги и очень старательно прокладываетъ себѣ широкую дорогу въ сумасшедшій домъ.

Далѣе Пронскій совершенно запутывается въ неизбежныя послѣдствія своихъ добродѣтельныхъ поступковъ, въ такія послѣдствія, которыя всякій здравомыслящій человѣкъ могъ бы предвидѣть и которыя однако кажутся Пронскому очень удивительными и неожиданными. Онъ узнаетъ отъ своего прикащика, что Вѣловъ поступаетъ безчеловѣчно съ крестьянами подаренной деревни, «что онъ изнуряетъ ихъ работами, чинитъ всякія несправедливости и посягаетъ даже на народную нравственность». Было бы очень удивительно, если бы Вѣловъ поступалъ иначе. Если онъ, вмѣстѣ съ своей женой, добивался имѣнія въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ и готовъ былъ купить его цѣною всевозможныхъ заискиваній и униженій, то ра-

зумѣется имѣніе было ему нужно не для того, чтобы осыпать крестьянъ благодареніями. Но Пронскій никогда ничего не предвидитъ; онъ приходитъ въ неистовое негодованіе, отправляется въ Выселки, собираетъ сходку по праву бывшаго помѣщика и произноситъ мужикамъ слѣдующую поучительную рѣчь.

«Братцы, я виноватъ передъ вами, я уступилъ васъ извергу, посягающему на правду и попирающему всѣ обязанности христіанина и человѣка. На то была воля покойной моей матушки! Возвратить васъ всѣхъ подъ мое управленіе съ землей и угодьями я не въ правѣ; но пусть несчастные, притѣсненные, которые рѣшались оставить родное свое пепелище, переходятъ въ мою вотчину. Каждый въ деревняхъ моихъ найдетъ надежное убѣжище, и я съумѣю защитить его отъ преслѣдованій недостойнаго помѣщика».

Послѣдствія этого протеста обрушиваются цѣликомъ на спины тѣхъ крестьянъ, которыхъ Пронскій беретъ защищать отъ преслѣдованій такъ называемаго изверга. Увлечшись краснорѣчіемъ нашего несчастнаго героя, тридцать душъ обоого пола переходятъ съ пожитками изъ Выселокъ въ деревню Пронскаго Красныя Пруды. Начинаются розыски и преслѣдованія бѣглецовъ, и тутъ Пронскій запутывается до такой степени, что самъ начинаетъ лгать и обманывать. «Я упорствовалъ—пишетъ Пронскій въ своемъ дневникѣ, переводилъ преслѣдуемыхъ изъ одной деревни въ другую и укрывалъ ихъ по возможности». Если Пронскій укрывалъ бѣглыхъ крестьянъ, то ясное дѣло, что ему приходилось постоянно отвѣчать разными выдумками на запросы земской полиціи, которая конечно не могла оставлять его въ покоѣ, зная очень хорошо, что бѣглецы скрываются у него и что эти бѣглецы принадлежатъ уѣздному судѣ Вѣлову, исправляющему должность предводителя дворянства. Такимъ образомъ получилось самое полное и неизлечимое внутреннее противорѣчіе. Желаніе говорить всегда правду во что бы то ни стало довело Пронскаго до необходимости лгать. И когда онъ рѣшился лгать, тогда было уже слишкомъ поздно. Его ложь могла только измучить его самого и подвести подъ усиленные истязанія тѣхъ *братцевъ*, которыхъ онъ *уступилъ извергу*.

Въ то время, когда Пронскій живетъ въ деревнѣ, мудритъ надъ мужиками и дѣлаетъ одну глупость за другой, — разыгрывается эпизодъ его несчастной любви, несчастной потому, что призракъ лжи становится между Пронскимъ и его невѣстой. Нашъ герой знакомится съ семействомъ небогатаго помѣщика Голубова; онъ становится у него въ домѣ постояннымъ гостемъ и влюбляется въ его дочь; молодые люди сходятся между собой во вкусахъ и наклонностяхъ; оба любятъ природу, сельскую

тишину и спокойную семейную жизнь; Пронскій дѣлаетъ предложеніе, дочь и родители даютъ ему согласіе, убѣдившись въ томъ, что слухи о помѣшательствѣ нашего героя, пущенные въ ходъ господами Бѣловыми и ихъ пріятелями, совершенно неосновательны. Голубовы приглашаютъ къ себѣ гостей, чтобы торжественно объявить имъ о помолвкѣ; на этомъ званомъ вечерѣ Пронскій, требовавшій отъ своей невѣсты прежде всего правды и откровенности, усматриваетъ въ предметѣ своей любви непростительное коварство и убѣгаетъ изъ дома своего будущаго тестя, преслѣдуя по саду и по лѣсу призракъ лжи, одаренный чертами Аграфены Ивановны — огненными глазами и змѣинымъ языкомъ.

Чѣмъ же провинилась бѣдная дѣвушка передъ нашимъ неутомимымъ обожателемъ истины? Узналъ ли онъ, что она выходитъ за него замужъ по расчету или по влеченію къ его княжескому титулу? Услышалъ ли онъ откровенный разговоръ ея съ подругами, въ которомъ она развивала свои мечты о шумной столичной жизни и осмѣивала деревенскія занятія и удовольствія? Дошло ли до него достоверное извѣстіе о какомъ нибудь ея дѣвическомъ проступкѣ, который тщательно скрывала отъ него дочь за-одно съ заботливыми родителями? Однимъ словомъ, убѣдился ли онъ въ томъ, что его ловили какъ выгоднаго жениха, что къ нему поддѣлывались и что для него были заготовлены парадныя маски, которыя, случайно свалившись на нѣсколько минутъ, обнаружили передъ нимъ нравственное безобразіе или умственную пустоту? Нѣтъ, ничего подобнаго не случилось. Вечеромъ, когда гости уже съѣхались, но когда невѣста еще не выходила въ гостиную, Пронскій вышелъ въ садъ за букетомъ цвѣтовъ и, проходя мимо оконъ той комнаты, гдѣ одѣвалась его Надя, услышалъ голоса нѣсколькихъ дѣвушекъ, которыя уговаривали Надю покрѣче затягивать корсетъ. Надя отвѣчала имъ на это: «уфъ! матъ ужъ не до талии, я просто задыхаюсь!» — Черезъ нѣсколько минутъ Надя вышла въ гостиную, и Пронскій началъ просить ее вполголоса, чтобы она перемѣнила платье, потому что оно ее душитъ. Надя съ неудовольствіемъ отвѣчала ему, что это вздоръ. Тогда Пронскій уже съ нѣкоторой тревогой началъ добиваться отъ нея признанія въ томъ, что платье ей узко. Надя не хотѣла ни въ чемъ признаваться, и тогда произошелъ взрывъ. Образъ Аграфены Ивановны сталъ дразнить Пронскаго змѣинымъ языкомъ, загорѣлись огненные глаза; слабая голова нашего героя пошла кругомъ, онъ бросился бѣжать, куда глаза глядятъ, и бѣжалъ по саду, потомъ по лѣсу до тѣхъ поръ, пока не упалъ безъ чувствъ. На другой день послѣ этого скандальнаго происшествія Надя написала къ своему полоумно-

му жениху очень милое письмо, въ которомъ призналась ему откровенно, что платье ей узко. Но Пронскій уже не принадлежалъ къ тому себѣ; надъ его волей, надъ его умомъ, надъ всеми его чувствами господствовалъ зловѣщій призракъ лжи; онъ не могъ познать себя, его невѣста сдѣлалась ему противна; онъ узнавалъ въ ея лицѣ черты Аграфены Ивановны, и свадьба окончательно и безвозвратно разстроилась.

Къ этому времени подоспѣла исторія о двухъ мужикахъ изъ Выселокъ; затѣмъ Пронскаго вздумали навѣстить Бѣловы, чтобы поясниться съ нимъ лично на счетъ его нечаянныхъ дѣйствій и распоряженій. Пронскій, увидя Аграфену Ивановну, пришелъ въ изумленіе и закричалъ изступленнымъ голосомъ: «не пускать, не пускать это чудовище!» — Огненные глаза, языкъ змѣиный, она матушку задушила: спустите собакъ, травите ее, стреляйте изъ ружей».

Дальше страшный пароксизмъ, потеря знанія и длинный рядъ галлюцинацій, дѣлающихъ на языкѣ здоровыхъ людей не можущее существовать соотвѣстственнаго описанія.

Дальше освидѣтельствованіе въ губернскаго правленіи, гдѣ Пронскій произноситъ имъ прочимъ слѣдующій монологъ: «Нѣтъ, великій государь, я хотѣлъ водворить въ своемъ имѣніи законъ *правды*. Понимаете ли вы обширность значенія слова — правда! Смыслъ нравы методической, а не безпорядочной лжи, я укрощалъ дикія страсти и приучалъ сердца къ воспріятію божественнаго смысла *правды*. Ложь губить Россію! ложь, полное исчадіе крѣпостнаго права, опутала, какъ паутиной, всѣ сословія...»

Мы не знаемъ, что еще ухитрился бы сказать несчастный безумецъ, но въ этотъ моментъ его прервалъ губернаторъ, стараясь ему напомнить, что онъ говоритъ передъ зеркаломъ. Отвѣтъ на это основательное напоминаніе, Пронскій объявилъ губернатору, что онъ, губернаторъ, «человѣкъ добрый и достойный, но слабый и ограниченный». Затѣмъ послѣдовалъ тотъ же монологъ: «Изъ подъ вашей руки дѣлается всевозможная гадость. Вы чувствуете, есть множество людей, болѣе васъ способныхъ для управленія губерніей, вы не хотите въ вашемъ мѣстѣ... а не хотите оставить его въ надеждѣ получить синюю ленту къ своему празднику. Спрашивается, на что она синяя лента? и можно-ли назвать службу, гателемъ которой какая-нибудь лента или кружокъ служеніемъ *правды*?»

— «Что до васъ касается, Василій Павловичъ — продолжалъ Пронскій, обратившись къ одному изъ председателей, — то вы поборникъ *правды*. Для васъ истина заключается въ лотомъ тельца. Вы торгуете правосудіемъ,

чете честию ваших подчиненных, честию кены вашей...»

Через несколько недѣль послѣ этой бурной сцены Пронскій жилъ уже на берегу Финскаго залива, въ великолѣпной психіатрической лечебницѣ доктора Пусловскаго.

Не давая себѣ права проникать въ неизвѣстную намъ область психіатрическихъ изслѣдованій, мы не будемъ слѣдить за похождениями Пронскаго въ лечебницѣ и за различными фазами его болѣзни. Мы только обратимъ вниманіе читателей на тотъ замѣчательный пріемъ, посредствомъ котораго докторъ Пусловскій старался вылечить Пронскаго отъ излишней раздражительности и отъ болѣзненной страсти къ отвлеченной идеѣ правды.

Познакомившись съ его душевнымъ состояніемъ, прочитавши его дневникъ и убѣдившись въ томъ, что онъ не потерялъ ни способности мыслить, ни силы любить людей, Пусловскій въ одинъ прекрасный день предлагаетъ Пронскому сдѣлаться его помощникомъ по уходу и присмотру за больными. Пронскій изумляется этому неожиданному предложенію, и тогда докторъ даетъ ему слѣдующее объясненіе: «вамъ нужна полезная, здоровая дѣятельность. Химеры бѣгутъ, какъ отъ чумы, при появленіи въ человѣкѣ подобной дѣятельности. Положитесь на меня. Я васъ снабжу книгами, о которыхъ я упомянулъ, а между тѣмъ вамъ не худо было бы поближе ознакомиться съ нашимъ заведеніемъ. Вы почти еще никого здѣсь не знаете, а у насъ есть люди весьма замѣчательные. Лечебница наша настоящій микрокосмъ: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражаются всѣ страсти, слабости, стремленія и разумѣется заблужденія свѣтской жизни.»

Заставляя опытнаго психіатра произнести эти замѣчательныя слова, Толстой даетъ намъ поводъ думать, что онъ въ значительной степени раздѣляетъ нашъ взглядъ на причины душевной болѣзни, обрушившейся на Пронскаго. Мы говорили въ одной изъ предыдущихъ главъ, что очень впечатлительный и очень честный человѣкъ, неспособный поддаваться внушеніямъ мелкой своекорыстной робости, можетъ воздерживаться отъ безсвязныхъ, безилудныхъ и изнурительныхъ вспышекъ негодованія противъ различныхъ проявленій человѣческой глупости и подлости только тогда, когда ему, честному и впечатлительному человѣку, удалось найти себѣ ясно опредѣленную и несомнѣнно полезную дѣятельность, которая такъ или иначе уменьшаетъ общую сумму существующаго зла и горя. Этой спасительной дѣятельности не могъ или не умѣлъ найти себѣ нашъ герой, который въ то-же время былъ слишкомъ чистъ и нѣженъ, слишкомъ полонъ любви къ людямъ, чтобы удовлетвориться грязнымъ прозябаніемъ господъ Бѣловыхъ и людей, подобныхъ предѣдтелю Василю Петро-

вичу. Въ этомъ неумѣнн отыскать правильный исходъ своимъ богатымъ и прекраснымъ силамъ заключается, по нашему мнѣнію, несчастье Пронскаго; въ этомъ неумѣнн мы видимъ, какъ уже было сказано выше, настоящую причину его душевной болѣзни. Теперь оказывается, что докторъ Пусловскій смотритъ на дѣло съ той же точки зрѣнія. Если химеры бѣгутъ отъ здоровой и полезной дѣятельности, какъ отъ чумы, то позволительно предположить, что эти химеры не могутъ возникнуть и укорениться въ душѣ человѣка, посвятившаго такой дѣятельности всѣ свои умственные силы. Если дѣятельность составляетъ превосходное лекарство, то мы имѣемъ достаточное основаніе думать, что та же самая дѣятельность была бы не менѣе превосходнымъ предохранительнымъ средствомъ.

Чтобы познакомить Пронскаго съ обществомъ лечебницы, докторъ ведетъ его въ вечернее собраніе, гдѣ пациенты обоего пола, снабженные пригласительными билетами, проводятъ время самымъ приличнымъ образомъ, занимаясь, смотря по желанію, чтеніемъ, музыкой, разговорами или игрою въ шашки, въ домино и въ карты. Изъ разговоровъ, происходившихъ между пациентами, мы считаемъ не лишнимъ привести здѣсь монологъ, который покажетъ читателю, что лечебницу дѣйствительно можно назвать микрокосмомъ, и что въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражаются всѣ страсти, слабости, стремленія, и заблужденія свѣтской жизни.

— «Вы желаете вѣроятно—говорить слѣдовласый старецъ, воображающій себя очень важнымъ саповникомъ и украшенный розовой лентой и мишурными здѣздами,—молодой человѣкъ, служить подъ моимъ начальствомъ? Душевно былъ бы радъ, но въ настоящую минуту нѣтъ никакой возможности. Всѣ мѣста заняты, и кандидатовъ тѣмъ тѣмущая. Вы понимаете, что мнѣ весьма пріятно было бы видѣть у себя людей порядочныхъ, образованныхъ, со связями, но гг. аристократы вездѣ опаздываютъ, и я право не знаю, какъ это дѣлается, но большую часть видныхъ мѣстъ занимаютъ люди вовсе не аристократическаго происхожденія. Посмотрите, напримѣръ: всѣ лучшія квартиры въ казенныхъ домахъ кѣмъ заняты? Людми безъ всякаго происхожденія! а между тѣмъ сколько аристократиковъ, которые съ удовольствіемъ бы пріютились въ казенныхъ помѣщеніяхъ! Это конечно происходитъ частію отъ ихъ безпечности, но частію и отъ своеволія и давленія журнализма. Вотъ видите-ли, молодой человѣкъ, всѣ эти попытки гласности къ добру не поведутъ. Я сорокъ пять лѣтъ служу въ качествѣ перваго, безконтрольнаго, можно сказать, министра, и кажется, нельзя сомнѣваться въ административной моей опытности. Публика наша вообще очень рѣчиста, любитъ пошालить азыкомъ, пускай себѣ; но пера въ руки не

давайте! Вот что! Меня, напримеръ, называли и тигромъ, и львомъ, пригвожденнымъ къ канцеляріи. Что же вышло? Покричали, покричали, да и замолкли, слова вѣтеръ унесъ! Но что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Перо, милостивый государь, я вамъ скажу, это стрѣла пернатая, это, въ отношеніи единства и величія власти, въ сопровожденіи съ тождественностью порядка... Пожалуйста табачку!»

Этимъ монологомъ мы и закончили нашу длинную статью. Если намъ удалось дать чителю довольно ясное понятіе о богатствѣ изображенія разбираемаго романа, если намъ удалось возбудить въ читателѣ сожалѣніе о томъ, что Толстой не написалъ до сихъ поръ тѣхъ историческихъ очерковъ, о которыхъ онъ упоминаетъ въ своемъ предисловіи, — то мы считаемъ нашу цѣль совершенно достигнутой.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ *)

(«Преступленіе и наказаніе», Ф. М. Достоевскаго. Двѣ части. 1867 г.).

I.

Приступая къ разбору новаго романа Достоевскаго, я заранѣе объявляю читателямъ, что мнѣ нѣтъ никакого дѣла ни до личныхъ убѣжденій автора, которыя, быть можетъ, идутъ въ разрѣзъ съ моими собственными убѣжденіями, ни до общаго направленія его дѣятельности, которому я, быть можетъ, нисколько не сочувствую, ни даже до тѣхъ мыслей, которыя авторъ старался, быть можетъ, провести въ своемъ произведеніи и которыя могутъ казаться мнѣ совершенно несостоятельными. Меня очень мало интересуетъ вопросъ о томъ, къ какой партіи и къ какому отѣнку принадлежитъ Достоевскій, какимъ идеямъ или интересамъ онъ желаетъ служить своимъ перомъ, и какія средства онъ считаетъ позволительными въ борьбѣ съ своими литературными или какими-бы то ни было другими противниками. Я обращаю вниманіе только на тѣ явленія общественной жизни, которыя изображены въ его романѣ; если эти явленія подѣлены вѣрно, если сырые факты, составляющіе основную ткань романа, совершенно правдоподобны, если въ романѣ нѣтъ ни клеветы на жизнь, ни фальшивой и приторной подкрашенности, ни внутреннихъ несообразностей; однимъ словомъ, если въ романѣ дѣйствуютъ и страдают, борются и ошибаются, любятъ и ненавидятъ живые люди,носящіе на себѣ печать существующихъ общественныхъ условій, то я отношусь къ роману такъ, какъ я отнесся-бы къ достоверному изложенію дѣйствительно случив-

шихся событій; я всматриваюсь и вдумываюсь въ эти событія, стараюсь понять, каковыя причины они вытекаютъ одно изъ другого, стараюсь яснить себѣ, насколько они находятся въ зависимости отъ общихъ условій жизни, въ этомъ оставляю совершенно въ сторонѣ взглядъ рассказчика, который можетъ и вѣдать факты очень вѣрно и обстоятельно, яснить ихъ въ высшей степени неудовлетворительно.

Сюжетъ романа «Преступленіе и Наказаніе» по всей вѣроятности, извѣстенъ большому числу читателей. Образованный молодой человѣкъ, бывший студентъ, Раскольниковъ убиваетъ старуху процентщицу и ея сестру, похищая этой старухи деньги и вещи, потомъ въ ожиданіи нѣсколькихъ недѣль томится и терзается сильнѣйшей душевной тревогой и наконецъ не находя себѣ покоя, самъ на себя довершаетъ то, что, разумѣется, отпугиваетъ отъ торжественной работы.

Раскольниковъ очень бѣденъ. Отца нѣтъ. Его мать получаетъ послѣ покойнаго сто двадцать рублей пенсіона, и изъ этихъ денегъ старается тратить какъ можно меньше на собственную особу. Сестра Раскольникова, Катерина, живетъ въ гувернанткахъ. Самъ Раскольниковъ кое-какъ перебивается уроками и разнаго рода шовными работами, получаетъ изрядка денегъ отъ матери, борется съ нищетой, старается при этомъ учиться, напрягаетъ всѣ свои силы, наконецъ изнемогаетъ въ непосильной нагрузкѣ, выходитъ изъ университета по совершенному недостатку средствъ и погружается въ глубокое оцѣненіе, которое обыкновенно овладѣваетъ утомленными, измученными людьми. Романъ кончается тогда, когда Раскольниковъ совсѣмъ задавленъ обстоятельствами. Онъ живъ въ крошечной каморкѣ, болѣе похожей на

*) Первая половина этой статьи была помещена въ журналѣ «Дѣло» 1867 г. подъ заглавіемъ «Будничная сторона жизни»; вторая появилась послѣ смерти автора, въ томъ-же журналѣ (1868 г. авг.) и озаглавлена «Борьбой за существованіе». Мы помещаемъ ее подъ тѣмъ заглавіемъ, подъ которымъ она находится въ рукописяхъ. Изд.

на комнату; онъ долженъ кругомъ хозяйкѣ шире и при каждой случайной встрѣчѣ своею принужденъ выслушивать кротко и внимательно напоминанія о платежѣ, жалобы и нытье, на которыя ему приходится отвѣчать снисходительными, избитыми отговорками, стереотипными просьбами объ отсрочкѣ и торжественными, но неубѣдительными обѣщаніями уплатить сполна при первой возможности. Гарде-Раскольниковъ дошелъ до такого разстройства, что превратился въ лохмотья, въ которыхъ «иной, даже и привычный человѣкъ, по словамъ Достоевскаго, посовѣстился-бы днемъ ходить на улицу». Обѣдъ для Раскольниковъ существуетъ; хозяйка двѣ недѣли не высыла-етъ ему кушанья, чтобы принудить его голодомъ къ уплатѣ денегъ или къ очищенію квартиры; Раскольниковъ по цѣлымъ днямъ лежитъ у себя въ каморкѣ, на старомъ изорванномъ диванѣ, подъ старымъ изорваннымъ пальто поддерживаетъ свое существованіе какими-нибудь обѣдками, которые изъ состраданія приносятъ ему кое-когда кухарка Настасья, относясь къ нему съ добродушно-презрительной индифференціею. Своими насущными дѣлами Раскольниковъ не занимается; у него нѣтъ и не можетъ быть никакихъ насущныхъ дѣлъ; что-давать уроки или поддерживать съ кѣмъ-то ни было дѣловыя сношенія, надо имѣть хоть сколько-нибудь приличный костюмъ и быть увѣреннымъ въ томъ, что не упадешь въ обморокъ отъ пустоты въ желудкѣ и отъ истощенія силъ. Существуютъ такія границы, за которыми бѣдѣ становится неприличной и невыносимой: глаза благовоспитаннаго и состоятельнаго человѣка; кто имѣлъ несчастье или неосторожность перешагнуть черезъ эти роковыя границы, теряетъ право искать себѣ работу и являться серьезнымъ претендентомъ на какое-то ни было вакантное мѣсто; оборванецъ, впрочемъ съ часу на часъ грозитъ голодная смертью подъ открытымъ небомъ, можетъ въ случаѣ неудачи получить двургривенный отъ сострадающаго прохожаго, такъ точно, какъ онъ участь тарелку вчерашнихъ щей отъ добродушной Настасьи, но ему до крайности му-жно надѣяться на то, что какой-нибудь отецъ семейства доверитъ ему обученіе своихъ дѣтей. Оборванецъ и голодаецъ — слѣдовательно онъ виноватъ-нибудь и какъ-нибудь виноватъ; онъ боленъ и голодаецъ — слѣдовательно онъ опасенъ, всякій порядочный человѣкъ, при встрѣчѣ сь нимъ, долженъ тщательно наблюдать за его движеніями, чтобы эти грязныя и дрожащія руки не посягнули какимъ-нибудь образомъ на благосостояніе порядочнаго человѣка. Такъ разсуждаютъ обыкновенно обезпеченные люди, да и ихъ спокойный и добродушный взоръ падаетъ на особу, перешагнувшую черезъ извѣстныя границы и унизившуюся до неимѣнія

крѣпкаго платья и постоянного обѣда: обезпеченнымъ людямъ пріятно и необходимо разсуждать такимъ образомъ, потому что, при такомъ способѣ разсужденія, обезпеченность оказывается сама по себѣ достоинствомъ и положительной заслугой передъ обществомъ; взглянувъ сострадательно на оборванца и снабдивъ его двургривеннымъ, обезпеченный человѣкъ обращаетъ свои взоры на самого себя и самодовольно размышляетъ о томъ, что онъ ни отъ кого не возьметъ двургривеннаго, что онъ, слѣдовательно, великъ и прекрасенъ, сравнительно съ жалкими паріей, получившимъ отъ него благотвореніе, и что, вслѣдствіе этого величія и этой красоты, онъ обязанъ по возможности уклоняться отъ всякихъ сношеній съ такими подонками общества и протягивать руку помощи, то есть давать работу, только тому, кто еще кое-какъ соблюдаетъ правила благопристойности.

Итакъ Раскольниковъ растерялъ свои насущныя дѣла, и ему почти невозможно было обзавестись ими снова. Почему и какимъ образомъ онъ ихъ растерялъ, этого не сказано у Достоевскаго, но этотъ пробѣлъ очень легко можетъ быть пополненъ собственными соображеніями читателя. Какія нибудь двѣ-три самыя пустыя случайности, отъѣздъ семейства въ другой городъ, болѣзнь ребенка, готовящагося въ какое-нибудь учебное заведеніе, капризъ папеньки или маменьки — могутъ, въ одно прекрасное утро, оставить бѣднаго студента, живущаго уроками, безо всякихъ средствъ къ существованію. Въ самомъ счастливомъ случаѣ исканіе новыхъ работъ или уроковъ протянется недѣлю, двѣ-три; этотъ кризисъ можно какъ нибудь пережить, извертываясь прибереженными копѣйками, занимая у товарищей, пользуясь кредитомъ у хозяйки и у лавочниковъ, или обращаясь къ ростовщикамъ и закладывая у нихъ какія нибудь фамилныя драгоценности, вродѣ серебряныхъ часовъ или золотыхъ пуговокъ. Но все-го правдоподобнѣе, что кризисъ затянется на нѣсколько мѣсяцевъ, и тогда несчастный юноша, полный силъ и желанія работать, воодушевленный любовью къ наукѣ и къ людямъ, проникнутый самыми честными стремленіями, имѣющій право многого требовать и многого ожидать отъ жизни, попадетъ въ положеніе человѣка, медленно утопающаго въ грязномъ болотѣ. Скромныя сбереженія, если даже они и имѣлись, окажутся истраченными до послѣдней копѣйки; товарищи отдадутъ все, что они были способны дать, и дальнѣйшія обращенія къ ихъ братской помощи сдѣлаются невозможными; хозяйка заговоритъ объ уплатѣ денегъ и начнетъ жаловаться на шаромыжниковъ, за которыми пропадаетъ ея добро; послѣднія часики пропадутъ въ закладъ за какіе нибудь три цѣлковыхъ; а между тѣмъ сапоги начнутъ развали-

ваться отъ бесполезной бѣготы по городу за трудовымъ кускомъ хлѣба; платье расплывется по швамъ и по цѣлику и повиснетъ на плечахъ живописными лохмотьями; бѣлье загрязнится до послѣдней степени отвратительности; щеки поблѣкнуть и ввалиться; въ глазахъ появится постоянное выраженіе тревожной и суетливой разсѣянности; и въ душу закрадется по-немногу чувство холодной безнадежности и лихорадочной раздражительности; бѣготня будетъ еще продолжаться, но самъ бѣгающій субъектъ перестанетъ вѣрить въ ея практическую пригодность; все измѣнитъ человѣку разомъ: и послѣднія денежные средства, и послѣдняя пара приличнаго платья, и физическія силы, и надежды на лучшую будущность, и вѣра въ жизнь, и желаніе работать, и способность отмахиваться отъ дурныхъ, опасныхъ и соблазнительныхъ мыслей. Человѣкъ забьется въ свою грязную кенуру, изъ которой его выживають голодомъ, холодомъ, бранью и полицейскими мѣрами, завалится на свою грязную постель, махнетъ рукой на свои любимые планы, на самого себя, на чистоту и святость своего внутренняго міра, и какъ безотвѣтная жертва отдастъ себя въ полное распоряженіе тѣхъ мрачныхъ и дикихъ мыслей, которыя порождаются отчаяніемъ, голодомъ, озлобленіемъ противъ людей, презрѣніемъ къ самому себѣ, какъ побѣжденному и раздавленному существу, горькимъ ощущеніемъ незаслуженной обиды и начинающейся болѣзнь, составляющей неизбѣжный результатъ всѣхъ испытанныхъ волненій и страданій.

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что Раскольниковъ, утомленный мелкой и неудачной борьбой за существованіе, впалъ въ изнурительную апатію; нѣтъ также ничего удивительнаго въ томъ, что во время этой апатіи въ его умѣ родилась и созрѣла мысль совершить преступленіе. Можно даже сказать, что большая часть преступленій противъ собственности устроивается въ общихъ чертахъ по тому самому плану, по какому устроилось преступленіе Раскольникова. Своей обыкновенной причиной воровства, грабежа и разбоя является бѣдность; это извѣстно всякому, кто сколько нибудь знакомъ съ уголовной статистикой. Далѣе, не трудно понять и не трудно даже доказать фактами, что воровать и грабить человѣкъ въ большей части случаевъ рѣшается только тогда, когда честный трудъ оказался для него недоступнымъ, или когда онъ убѣдился въ томъ, что честный трудъ составляетъ слишкомъ медленное и недостаточное лекарство противъ гнетущей бѣдности. Это значитъ, что человѣкъ, рѣшившійся воровать и грабить, искалъ труда и не нашелъ его, или нашелъ его въ такихъ нищенскихъ размѣрахъ, которые не покрываютъ его насущныхъ потребностей. За неудачными поисками должна послѣдовать апатія; во время

апатіи должно сложиться убѣжденіе, что возможности оставаться честнымъ нѣтъ, и что надо выбрать одно изъ двухъ: смерть, или преступленіе. Затѣмъ начинается борьба между инстинктомъ самосохраненія и отвращеніемъ къ грязному акту; побѣдитъ первый—человѣкъ сдѣлается дикимъ животнымъ, и его ближніе станутъ вѣшать его, какъ голоднаго волка; если побѣдитъ второе—человѣкъ заболѣетъ отъ недоздоровой пищи и по всей вѣроятности кончитъ свое печальное существованіе на чернорабочей или какой нибудь другой дѣлѣ, въ отдѣленіи тифозныхъ или въ горячечныхъ больницахъ.

Итакъ, огромное большинство людей, впадающихъ на воровство или на преступленія, переживаютъ тѣ самыя фазы, черезъ которыя проходитъ Раскольниковъ. Преступленіе, совершаемое въ романѣ Достоевскаго, выдается за обыкновенныхъ преступленій только потому, что героемъ его является не безграмотный и совершенно неразвитый въ умственномъ отношеніяхъ, а студентъ, способный анализировать до мельчайшихъ подробностей движенія собственной души, ухватываться для оправданія своихъ поступковъ за замысловатыя теоріи и сохраняющій въ самыхъ дикихъ заблужденіяхъ тонкую и мраморную впечатлительность и нравственную чуждость высоко-развитаго человѣка. Слѣдствіе этого обстоятельства, колоритъ и оригинальность до нѣкоторой степени измѣнившіе процессъ его подготовленія, становится удобнымъ для наблюденія, но его основательная причина остается неизмѣнною: Раскольниковъ совершаетъ свое преступленіе совсѣмъ такъ, какъ совершилъ-бы его самый бѣдный горемыка; но онъ совершаетъ его потому же, почему совершилъ-бы его любой другой бѣдный горемыка. Бѣдность въ обоихъ случаяхъ является главной побудительной причиной. При этомъ само собою разумеется, что влияние бѣдности въ обоихъ случаяхъ проявляется не въ одинаковыхъ формахъ. Бѣдность, подобная Раскольникову, въ борьбѣ, возбужденная безнадежностью, проявляется очень рельефно, остро, и, если можно такъ выразиться, элементарно. Раскольниковъ обсуживаетъ свое преступленіе со всѣхъ сторонъ, взвѣшиваетъ его, измѣряетъ величину тѣхъ препятствій, которыя онъ долженъ преодолѣть, чтобы остаться на своемъ мѣстѣ, ставитъ себѣ задачи и отвѣчаетъ на нихъ, придумываетъ средства и опровергаетъ ихъ, словомъ, онъ роется въ своихъ собственныхъ мысляхъ, ясно понимаетъ нѣтъ ли въ данную минуту и высказываетъ нѣтъ ли въ своихъ оживленныхъ и разнообразныхъ раз-

самимъ собою, что развитіе опасной и сознательной мысли становится для насъ по-
тнмъ во всѣхъ своихъ подробностяхъ. У не-
звитаго бѣдняка всѣ мысли и ощущенія,
ожитія Раскольниковымъ, оказались бы смя-
ми и скомканными въ одну темную и без-
азную кучу, которую самъ переживающій
ектъ былъ бы еще менѣе способенъ разло-
тъ на ея составныя части, чѣмъ другіе люди,
грящіе на дѣло со стороны. Онъ чувство-
тъ-бы только, что ему тяжело и больно,
ко и пошло, что ему совѣстно встрѣчаться
прежними товарищами, что ему противно
ать о работѣ, которая его не кормитъ, и что
ая-то сила, похожая на демона искусителя,
мыкаетъ и подталкиваетъ его на скверное дѣ-
которое съ каждымъ днемъ кажется ему болѣе
збѣжнымъ, и котораго возрастающая неиз-
кность наводитъ на него ужасъ и отвращеніе.
Никакихъ теорій тутъ конечно не могло бы
тъ; никакихъ философскихъ обобщеній, ни-
кихъ высшихъ взглядовъ на отношенія лич-
ти къ обществу; ничего, кромѣ тупого стра-
нія и неясной тревоги. Одинокая борьба не-
звитаго бѣдняка съ самимъ собою была-бы,
всей вѣроятности, сокращена въ значитель-
й степени сближеніемъ данного субъекта съ
кими товарищами, которые залили-бы его
слѣдствія сомнѣнія хлѣбнымъ виномъ, завербо-
ли-бы его въ свою компанію и указали-бы
у всѣ приступы и подходы къ первому нару-
енію существующихъ законовъ. У Раскольни-
ва, напротивъ того, борьба оставалась оди-
кой до самаго конца, т. е. до той минуты,
гда дикая мысль превратилась въ кровавое
ло; чѣмъ ближе Раскольниковъ знакомился
своей дикой мыслью, чѣмъ яснѣе онъ ви-
лъ, что это уже не фантазія, а серьезный
антъ, тѣмъ тщательнѣе онъ избѣгалъ всякихъ
ошеній съ людьми; онъ ни съ кѣмъ не могъ
не хотѣлъ дѣлиться своими планами и совѣ-
ваться насчетъ своего предпріятія. Его
ежные товарищи и друзья конечно постара-
сь-бы пристроить его въ домъ умалишенныхъ,
либы онъ заикнулся имъ о томъ, какимъ обра-
мъ онъ намѣревался отыскать себѣ выходъ
ъ своего затруднительнаго положенія. А по-
ихъ товарищей—такихъ, которые могли-бы
нести къ его замыслу съ дѣятельнымъ со-
вѣствіемъ, Раскольниковъ не желалъ имѣть ни
дѣ какимъ видомъ. Онъ ненавидѣлъ, прези-
лъ и боялся такихъ товарищей; у него не
ло и не могло быть ни въ образѣ мыслей, ни
желаній, ни во вкусахъ, ни въ привыч-
ихъ ни одной точки соприкосновенія съ во-
ми и грабителями по ремеслу. Онъ хотѣлъ
ить и ограбить, но такъ, чтобы на него не
ынула ни одна капелька пролитой крови,
обы ни одинъ живой человѣкъ не могъ про-
икнуть его тайну, чтобы всѣ прежніе друзья

и товарищи жали ему руку съ прежнимъ со-
чувствіемъ и уваженіемъ, и чтобы его мать и
сестра болѣе, чѣмъ когда-бы то ни было, счи-
тали его своимъ ангеломъ-хранителемъ, сокро-
вищемъ и утѣшеніемъ. Особенность преступле-
нія, совершеннаго Раскольниковымъ, состоитъ
именно въ томъ, что онъ самъ слѣдилъ очень
внимательно за всѣми фазами того психологи-
ческаго процесса, которымъ оно подготовлялось,
и, кромѣ того, обдумывалъ, устраивалъ и
выполнялъ все одинъ, безъ всякихъ сообщни-
ковъ, помощниковъ и повѣренныхъ. По поводу
этого преступленія возникаютъ естественнымъ
образомъ два главные вопроса: во-первыхъ,
есть-ли основаніе считать Раскольника помѣ-
шаннымъ, и во-вторыхъ, есть-ли основаніе
думать, что теоретическія убѣжденія Расколь-
никова имѣли какое-нибудь замѣтное вліяніе на
совершеніе убійства. Мнѣ кажется, что на оба
эти вопроса приходится дать отрицательный
отвѣтъ.

Хотя слово *помѣшанный* или *сумасшедшій*
до сихъ поръ не имѣетъ и при теперешнемъ по-
ложеніи медицинскихъ знаній вѣроятно еще не
можетъ имѣть строго опредѣленнаго значенія,
хотя, быть можетъ, въ природѣ даже совсѣмъ
не существуетъ рѣзкой границы между здоро-
вымъ и больнымъ состояніемъ организма во-
обще и нервной системы въ особенности, однако
я осмѣливаюсь выразить то предположеніе, что
Раскольника невозможно считать помѣшан-
нымъ, и что ни одинъ мыслящій медикъ не под-
мѣтилъ-бы въ немъ такого расстройства умствен-
ныхъ способностей, при которомъ человѣкъ пер-
естаетъ отдавать себѣ ясный отчетъ въ смыслѣ
и значеніи своихъ собственныхъ поступковъ.
Еслибы Раскольниковъ былъ помѣшанъ, то мнѣ
кажется, что мы, люди, находящіеся въ здра-
вомъ умѣ, не были-бы въ состояніи слѣдить за
каждой его мыслью до самыхъ послѣднихъ ея
изгибовъ и до тончайшихъ ея развителеній.
Многія изъ его мыслей должны были-бы казаться
намъ неожиданными; многіе изъ его поступковъ
должны были-бы поражать насъ своей безпри-
чинностью; ставя себя на его мѣсто, каждый
изъ насъ долженъ былъ-бы чувствовать, что
онъ рѣшительно не былъ бы въ состояніи на-
брести на тѣ мысли, на которыя набрелъ Рас-
кольниковъ; мы должны были бы замѣчать, что
у Раскольника въ процессѣ мышленія обна-
руживаются какіе-то пробѣлы и перерывы, что
среди ровнаго и плавнаго теченія мысли у него
попадаютъ такіе зигзаги и скачки, такіе пи-
руэты и вольтфасы, которые наша трезвая и
здоровая мысль отказывается продѣлывать
вслѣдъ за нимъ и для которыхъ необходимо
предположить существованіе и дѣятельность
особой причины, особаго фактора, называемаго
умственной болѣзнію. Этого-то и нѣтъ. Каждая
мысль и каждый поступокъ Раскольника, въ

особенности до совершения убійства, мотивированы въ высшей степени удовлетворительно. Мы видимъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, почему и зачѣмъ онъ дѣлаетъ тотъ или другой шагъ. Мы видимъ, что именно толкаетъ его сзади, и что именно манитъ его впереди. Онъ бросается стремглавъ въ лужу крови и грязи, что конечно довольно странно со стороны образованнаго и высоко-развитаго молодого человѣка; но бросается онъ вовсе не потому, что чувствуетъ къ этой крови и грязи непреодолимое влеченіе, которое конечно было-бы непонятно здоровому человѣку, и которое, слѣдовательно, можно было-бы объяснить только разстройствомъ умственныхъ способностей; бросается онъ въ лужу собственно и единственно потому, что сухая тропинка, прилегающая къ этой лужѣ, становится наконецъ невыносимо узкой. Бросается онъ въ лужу съ болью и со страхомъ, съ ужасомъ и съ отвращеніемъ, зажимая себѣ носъ и ротъ и собираясь долго и тщательно отмываться отъ нечистоты, какъ только ему удастся вынырнуть и взобраться снова на сухую и чистую дорожку.

Если вы хотите окончательно убѣдиться въ томъ, что Раскольниковъ не помѣшанный, сдѣлайте слѣдующее предположеніе. Наканунѣ убійства Раскольниковъ узнаетъ совершенно случайно, изъ разговора, услышаннаго имъ на Сѣнной, куда ему даже и незачѣмъ было ходить, что завтра, ровно въ семь часовъ вечера, старуха, которую требовалось убить и ограбить, останется дома одна. Послѣ этого разговора, «онъ вошелъ къ себѣ, какъ приговоренный къ смерти. Ни о чемъ онъ не разсуждалъ и совершенно не могъ разсуждать; но всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка, ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно. Конечно, если-бы даже цѣлые годы приходилось ему ждать удобнаго случая, то и тогда, имѣя замысль, нельзя было рассчитывать навѣрное на болѣе очевидный шагъ къ успѣху этого замысла, какъ тотъ, который представился вдругъ сейчасъ. Во всякомъ случаѣ трудно было-бы узнать наканунѣ и навѣрно, съ болѣею точностью и съ наименьшимъ рискомъ, безъ всякихъ опасныхъ разспросовъ и разыскиваній, что завтра, въ такомъ-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушеніе, будетъ дома одна одиноконька». Мысль и рѣшимость созрѣли въ Раскольниковѣ на столько, что онъ должны были немедленно, не дальше какъ на другой день, выразиться въ поступкѣ, послѣ котораго невозможенъ никакой поворотъ назадъ. Теперь вообразите же себѣ, что въ это самое время, когда уже все рѣшено, когда нашъ герой чувствуетъ себя приговореннымъ къ совершенію убійства, въ его каморку входитъ почтальонъ и подаетъ ему письмо и повѣстку,

требуя себѣ, по обыкновенію, шесть рублѣй. Раскольниковъ морщится, платитъ деньги послѣднихъ своихъ ресурсовъ, получаетъ отцовскіе часы, и распечатываетъ получившіяся бумаги; оказывается, что повѣстка была ему о полученіи письма на его имя съ суммою въ пятьсотъ рублей; что же касается простого письма, полученнаго вмѣстѣ съ часами, то оно написано рукою его матери и сообщаетъ ему о томъ, что ихъ семейству предстоитъ совершенно неожиданнымъ образомъ выиграть въ двадцать серебромъ, что мать и съ сестрой ѣдутъ къ нему въ Петербургъ, что ему уже выслано пятьсотъ рублей на медленнаго поправленія его разстроеннаго состоянія. Какъ вы думаете, что предприметъ Раскольниковъ, получивши такіе вѣсти? Будетъ-ли онъ по прежнему считать себя о старухѣ безповоротно рѣшеннымъ и идти на самого себя, какъ на человѣка, окончателъно приговореннаго къ отвратительному куску грязной и кровавой лужѣ? Я не думаю, что кто нибудь изъ читателей серьезно отвлечется отъ этого вопроса: да. Для такого отвѣта никакихъ матеріаловъ въ романѣ Достоевскаго.

Если же вы допустите, что письмо и повѣстка могли перевернуть всѣ планы и намерѣнія Раскольникова въ то самое время, когда онъ готовился приступить къ ихъ выполненію, вы тѣмъ самымъ лишите себя всякой возможности считать его помѣшаннымъ. Я полагаю, очень хорошо, что порядочная сумма денегъ очень часто можетъ быть гораздо болѣе необходима и спасительна, нежели карстовъ, теплыхъ ваннъ и гимнастическихъ упражненій; но я до сихъ поръ никогда не слышалъ, чтобы дѣйствительно существующее мѣшательство лечилось письмами и повѣстками изъ почтамта. Если Раскольникова можно было-бы вылечить радостнымъ извѣстіемъ о суммѣ денегъ, то не трудно, кажется, считать, что корень его болѣзни таился не въ желудкѣ, а въ карманѣ. Онъ былъ бѣденъ, онъ былъ обезкураженъ и озлобленъ, но сколько не помѣшанъ. Конечно, онъ мыслилъ не совсѣмъ такъ, какъ размышляютъ люди, находящіеся въ хорошемъ, ровномъ, спокойномъ расположеніи духа. Но что изъ этого слѣдуетъ? Когда человѣкъ чѣмъ-то сильно обрадованъ, или огорченъ, или испуганъ, или взволнованъ, или озабоченъ, то мыслить онъ непремѣнно работаетъ не совсѣмъ такъ, это дѣлается въ спокойныя минуты его жизни. Если вы усилите какимъ-нибудь образомъ дѣйствіе той причины, которая произвела измѣненіе въ процессѣ мышленія, то вмѣстѣ съ усиленіемъ и самое измѣненіе; если оно усиливается въ очень значительныхъ размѣрахъ, то въ концѣ сдѣлается до нѣкоторой степени похожимъ на сумасшедшаго; онъ начнетъ заговаривать

олтать чепуху, перебивать самого себя, смѣяться ли плакать безъ видимой причины, задумываться, отвѣчать не впадѣ на самые простые вопросы и вообще вести себя такъ, что отъ него рудно будетъ добиться толку. Но признать его помѣшаннымъ было-бы все-таки въ высшей степени опрометчиво. Удалите причину, перепугавшую его мысли, и онъ немедленно сдѣлается нова совершенно разсудительнымъ человѣкомъ. Всякая страсть, всякое впечатлѣніе, всякое глубокое душевное движеніе нарушаютъ до нѣкоторой степени полное равновѣсіе и гармоническое дѣйствіе нашихъ умственныхъ способностей; но если бы каждое подобное нарушеніе читалось за помѣшательство, то, по всей вѣроятности, каждому изъ насъ пришлось-бы прожесті въ сумасшедшемъ домѣ большую часть своей жизни. Помѣшательствомъ можно назвать только такое нарушеніе равновѣсія, послѣ котораго нормальныя умственныя отправленія уже не возстановляются сами-собою.

Человѣкъ помѣшанный не можетъ отвѣчать за свои поступки. Съ него невозможно взыскивать за то зло, которое онъ дѣлаетъ себѣ и другимъ; его нельзя ни судить, ни наказывать. Этотъ принципъ въ настоящее время принять всѣми уголовными кодексами образованнаго міра. Доказать, что преступленіе совершено во-время помѣшательства, значитъ доказать, что преступленія вовсе не существуетъ и что вмѣсто преступника, подлежащаго извѣстному наказанію, судьи имѣютъ передъ собой больного, нуждающагося въ попеченіяхъ добросовѣстнаго и человѣколюбиваго медика. Поэтому, въ вопросѣ о томъ, помѣшанъ-ли Раскольниковъ, скрывается въ сущности другой вопросъ: на сколько Раскольниковъ былъ свободенъ и способенъ отвѣчать за свои поступки въ то время, когда онъ совершалъ свое преступленіе? Этотъ вопросъ имѣетъ очень важное и глубокое общественное значеніе. Такой вопросъ гораздо болѣе интересенъ для каждаго размышляющаго читателя, чѣмъ специально-психіатрический вопросъ о томъ, можно ли назвать помѣшательствомъ то ненормальное настроеніе, въ которое погрузила Раскольникова его безвыходная нищета. Собственно говоря, именно этотъ вопросъ и предлагается каждымъ читателемъ, желающимъ знать, былъ-ли Раскольниковъ помѣшанъ, или нѣтъ. Отъ рѣшенія этого вопроса зависать тѣ отношенія, въ которыя читатель станетъ къ герою, совершившему грязное и отвратительное преступленіе. Читатель можетъ или презирать и ненавидѣть Раскольникова, какъ вреднаго и низкаго негодая, для котораго уже нѣтъ и не должно быть мѣста въ гражданскомъ обществѣ; или же читатель можетъ смотрѣть на него съ почтительнымъ состраданіемъ, какъ на несчастнаго человѣка, сваливагося въ грязь подъ невыносимымъ гнетомъ такихъ

суровыхъ и непобѣдимо-враждебныхъ обстоятельствъ, которыя могли-бы сломить даже очень твердую волю и отуманить даже очень свѣтлую голову. Отношенія читателя къ Раскольникову опредѣлятся такъ или иначе, смотря по тому, какъ рѣшится вопросъ о свободѣ Раскольникова и о его способности отвѣчать за свои поступки. Этотъ послѣдній вопросъ можно и должно совершенно отдѣлить отъ вопроса о его помѣшательствѣ. Можно признать тотъ фактъ, что Раскольниковъ не былъ помѣшанъ, и, въ то же время, можно доказать, что та доля свободы, которой пользовался Раскольниковъ, была совершенно ничтожна. Переберемъ одну за другой всѣ подробности той обстановки, при которой Раскольникову приходилось обдумывать свое положеніе и искать выхода изъ той ловушки, которую разставила ему жизнь; перечислимъ одно за другимъ впечатлѣнія, которыя ложились на его измученную нервную систему; взвѣсимъ и оцѣнимъ всѣ мелкія и мучительныя столкновенія съ грубостью и бездушностью окружающихъ людей, всѣ столкновенія, которыя направляли въ извѣстную сторону теченіе его мыслей,—и потомъ спросимъ себя, оставалась-ли за Раскольниковымъ свобода выбора, и въ его ли власти было придти или не придти къ тому дикому абсурду, которымъ закончилась его глухая и одинокая борьба.

Въ ту минуту, когда мы знакомимся съ Раскольниковымъ, онъ старается *«проскользнуть какъ-нибудь кошкой по лѣстницѣ»* мимо квартиры хозяйки, которой онъ долженъ, и *«улизнуть, чтобы никто не видалъ»*. При этомъ онъ чувствуетъ *какое-то болѣзненное и трусливое ощущеніе*, котораго стыдится и отъ котораго морщится. И это ощущеніе онъ принужденъ испытывать всякій разъ, когда выходитъ на улицу, потому что всякій разъ ему надо проходить по лѣстницѣ, мимо хозяйкиной двери, которая обыкновенно бываетъ отворена. Выходитъ онъ на улицу въ такомъ видѣ, который въ однихъ прохожихъ возбуждаетъ насмѣшку, въ другихъ отвращеніе, въ третьихъ праздное состраданіе. Онъ остается равнодушенъ къ тому впечатлѣнію, которое его лохмотья могутъ произвести на уличную публику. Но почему онъ равнодушенъ? Потому, какъ объясняетъ Достоевскій, что въ душѣ его накопилось уже достаточное количество *злобнаго презрѣнія*. Это злобное презрѣніе, составляющее для Раскольникова оборонительное оружіе противъ мелкихъ будавочныхъ уловокъ, которые добрые люди расточаютъ своимъ ближнимъ для препровожденія времени,—пріобрѣтается не легко, покупается не дешевой цѣной и изображаетъ собою такую почву, на которой могутъ укорениться и созрѣть самыя дикія, мрачныя и отчаянныя напѣренія. Это злобное презрѣніе еще недостаточно защищаетъ его отъ стыда за свою без-

помощность, когда ему случается встрѣтиться съ знакомыми или съ прежними товарищами. Онъ тщательно избѣгаетъ такихъ встрѣчъ. Дурной знак! Его молодое самолюбие такъ глубоко изранено разнообразѣйшими оскорбленіями, что уже нѣтъ той формы дружескаго участія, которая могла бы доставить ему пріятное ощущеніе и которая не показалась бы ему выраженіемъ обиднаго и высокомернаго состраданія.

Раскольниковъ идетъ къ той старухѣ, которую онъ собирается убить; онъ идетъ закладывать серебряные часы и въ то же время осматривать мѣстность. Старуха даетъ ему за часы полтора рубля и беретъ съ него проценты за мѣсяцъ впередъ, по десяти процентовъ въ мѣсяцъ. Раскольниковъ видитъ и чувствуетъ на самомъ себѣ, какъ люди пользуются страданіями своихъ ближнихъ, какъ искусно и старательно, какъ аккуратно и безопасно они высасываютъ послѣдніе соки изъ бѣдняка, изнемогающаго въ непосильной борьбѣ за жалкое и глупое существованіе. Ненависть и презрѣніе приливаютъ широкими и ядовитыми волнами въ молодую и воспримчивую душу Раскольникова въ то время, когда грязная старуха, паукъ въ человѣческомъ образѣ, тянетъ изъ него все, что можно вытянуть изъ человѣка, находящагося наканунѣ голодной смерти. Ненависть и презрѣніе одолеваятъ его съ такой силой, что ему становится безконечно отвратительнымъ даже бить эту старуху, даже мारать руки ея кровью и ея деньгами, въ которыхъ ему чуются слезы многихъ десятковъ голодныхъ людей, быть можетъ, даже многихъ покойниковъ, умершихъ въ больницѣ отъ истощенія силъ, или бросившихъ въ воду, во избѣжаніе голодной смерти. На минуту все тонетъ для Раскольникова въ какомъ-то туманѣ непобѣдимаго отвращенія. Пропадай эта подлая старуха, пропадай ея грязныя деньги, пропадай и самъ съ своими глупыми страданіями и еще болѣе глупыми планами обогащенія. Наплевай бы на всю эту тину человѣческой гнусности, ушелъ бы куда нибудь, забылся бы, умеръ бы, если бы для этого достаточно было закрыть глаза и пожелать смерти.

Это чувство нравственнаго отвращенія усиливается еще и доводится до своего апогея простымъ ощущеніемъ физической тошноты. Раскольниковъ голоденъ до такой степени, что мысли путаются въ его головѣ. Онъ входитъ въ распивочную, выпиваетъ стаканъ холоднаго пива, и ему вдругъ становится веселѣе и легче; онъ самъ замѣчаетъ, что у него «крѣпнѣетъ умъ, яснѣетъ мысль, твердѣютъ настрѣненія». Сознательная ненависть къ старухѣ и взглядъ на ея безцѣльное вѣденье денегъ, какъ на средство выбраться изъ затрудненія, одерживаютъ перевѣсъ надъ инстинктивнымъ сильнымъ

отвращеніемъ къ грязному убійству. Раскольниковъ замѣчаетъ тотчасъ же, что выпивка въ его мысляхъ произошла отъ спива, и это простое наблюденіе заставляетъ его плюнуть и сказать: «какое все это ничтожество!»

Изъ этого наблюденія онъ видитъ, что онъ не властенъ надъ своими мыслями, что онъ можетъ подавлять или вызывать ихъ волею благоусмотрѣнію, и что ему надо будетъ или неволей, идти туда, куда поведутъ внешнія вліянія, дающія его мыслямъ въ другое направленіе. Въ распивочной Раскольниковъ встрѣчается съ горькимъ пьянымъ отставнымъ чиновникомъ Мармеладовымъ, который комически-витѣватымъ языкомъ рассказываетъ ему свою простую и глубокую человеческую исторію. Бѣдность, голодная дыра въ уголѣ, оскорбленія разныхъ нахальныхъ, хотя и хорошая жена, сохраняющая воспоминанія лучшихъ дѣлъ и убивающая себя ради старшей дочери, превратившаяся въ прѣстѣнную женщину, чтобы поддерживать существованіе семейства — вотъ выдающіяся черты той панорамы, которой развѣртывается передъ Раскольниковымъ въ разсказѣ пьянаго Мармеладова. Самъ разсказчикъ нисколько не жалеетъ себя выгораживать; съ смиреніемъ, свойственнымъ разговорчивому пьяницѣ, онъ неоднократно называетъ себя свиньей и скотомъ, и дѣлаетъ очень убѣдительно, что онъ въ сущности дѣлѣ скотъ и свинья. Онъ объясняетъ Раскольникову, съ чувствомъ искренняго изумленія противъ себя, что пропилъ даже въ своей женѣ, пропилъ косыночку изъ шапки, «дареную, прежнюю, съ собственною» пропилъ въ послѣдніе пять дней свое жалованье, укравши его изъ-подъ замка, и выѣхавъ съ жалованьемъ пропилъ форменное платье и послѣднюю надежду выбраться чистую дорожку посредствомъ службы, которую была ему доставлена только по особому изъясненію какого-то благодѣтеля, его пріятельства Ивана Афанасьевича, тронувши его слезными мольбами и взявши его на личную отвѣтственность. «Пятый день кончается Мармеладовъ, и тамъ меня ждутъ службѣ конецъ, и видѣть-мундиръ въ расшиву у Египетскаго моста лежить, извѣтъ и получилъ сіе одѣяніе... и всею кончилось».

До столкновенія съ Мармеладовымъ Раскольниковъ знаетъ коротко только тѣ факты жизни, которые порождаются бѣдностью: могъ конечно дойти и по всей вѣроятности доходилъ путемъ теоретическаго выкладки того заключенія, что бѣдность, припадъ и пригибавъ человѣка къ землѣ, дѣлаетъ его отчужденнымъ и беззащитнымъ, заставляетъ ползать и пресмыкаться въ грязи у ногъ кодушнихъ благодѣтелей, медленно и безвратно убиваетъ въ немъ его человѣческое

оинство; но доходить путем размышления до того вывода, что какойнибудь фактъ возможен и действительно существует, совсѣмъ не то, что встрѣтиться съ этимъ фактомъ лицомъ къ лицу, осмотрѣть его со всѣхъ сторонъ и дохнуть въ себя весь его своеобразный аромат.

Раскольниковъ *никогда до сихъ поръ не ходилъ въ распивошня*, слѣдовательно никогда не видалъ вблизи тѣхъ образчиковъ нравственнаго паденія, которые изготовляются бѣдностью. Мармеладовъ и его рассказъ дѣйствуютъ на него такъ, какъ дѣйствуютъ обыкновенно на юнаго медицинскаго студента тѣ куски разлагающагося человѣческаго мяса, съ которыми онъ встрѣчается и принужденъ знакомиться самымъ обстоятельнымъ образомъ при первомъ своемъ вступленіи въ анатомическій театр. Прошу читателей извинить меня. Мое сравненіе грѣшитъ тѣмъ, что оно слишкомъ слабо. Оно могло бы сдѣлаться вѣрнымъ только въ томъ случаѣ, если бы мы предположили, что въ анатомическомъ театрѣ производятся вивисекции надъ самими медицинскими студентами, и что каждый изъ этихъ студентовъ, превратившись подъ ножомъ прозектора въ куски кроваваго и разлагающагося мяса, продолжаетъ втеченіе многихъ мѣсяцевъ страдать, стоять, метаться, чувствовать и сознавая свое собственное гніеніе. Допустивши это дикое предположеніе и вообразивъ себѣ, какое чувство долженъ испытывать студентъ, вступающій въ анатомическій театръ, зная, что ту судьбу, которая его ожидаетъ, и встрѣчающійся въ первый разъ съ живыми примѣрами тѣхъ метаморфозъ, которыя скоро должны совершиться надъ нимъ самимъ, мы составимъ себѣ довольно ясное понятіе о томъ, что долженъ былъ передумать и перечувствовать Раскольниковъ, созерцая Мармеладова и выслушивая его пьяную исповѣдь. Всего ужаснѣе въ этой личности и въ этой исповѣди именно то, что Мармеладова невозможно презирать цѣликомъ, презирать такъ, чтобы къ этому презрѣнію не примѣшивалось никакого другого чувства. Глядя на него, Раскольниковъ не можетъ остановиться и успокоиться на томъ приговорѣ, что это действительно скотъ и свинья, и что въ этомъ скотѣ или въ этой свиньѣ никогда не было или по крайней мѣрѣ уже не осталось ничего чисто-человѣческаго, ничего такого, въ чемъ просвѣчивало бы его сродство съ самимъ Раскольниковымъ, и въ чемъ таились бы задатки безпредѣльнаго совершенствованія. Мармеладовъ любить свою жену и своихъ дѣтей, запоминаетъ всѣ оттѣнки ихъ страданій, и самъ страдаетъ за нихъ и вмѣстѣ съ ними въ то же самое время, когда онъ самъ, своими же собственными руками сталкиваетъ ихъ въ грязную яму безвыходной нищеты, которая уже разрѣшилась для его старшей дочери всѣми муками и пытками

вынужденнаго разврата. Мармеладовъ способенъ сознательно уважать свою жену, способенъ оцѣнивать, понимать и прощать естественной деликатностью и чуткостью глубоко нѣжнаго характера (я бы сказалъ *сердца*, если бы не избѣгалъ этого неточнаго и до крайности опошленнаго выраженія) тѣ взрывы взбалмошной сварливости и несправедливой злости, которыми подвержена эта измученная чахоточная женщина. «Лежалъ я тогда, говоритъ Мармеладовъ... ну да ужъ что! лежалъ пьяненькой-съ и слышу, говоритъ моя Соня (безответная она, и голосокъ у ней такой кроткій... бѣлокуренькая, и личико всегда блѣдненькое, худенькое), говорить: чтожъ, Катерина Ивановна, неужели же мнѣ на такое дѣло пойти? А ужъ Дарья Францовна, женщина злонамѣренная и полиціи многократно извѣстная, раза три черезъ хозяйку навѣдывалась. «А чтожъ, отвѣчаетъ Катерина Ивановна въ пересмѣшку—чего беречь? Эко сокровище!» Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не въ здоровомъ разсудкѣ сіе сказано было, а при взволнованныхъ чувствахъ, въ болѣзни и при плачѣ дѣтей невѣвшихъ, да и сказано болѣе ради оскорбленія, чѣмъ въ точномъ смыслѣ... Ибо Катерина Ивановна такого ужъ характера, и какъ расплачутся дѣти, хоть бы и съ голоду, тотчасъ же ихъ бить начинается. И вижу я эдакъ часу въ шестомъ, Сонечка встала, надѣла платочекъ, надѣла бурнусикъ и съ квартиры отправилась, а въ девятомъ часу и назадъ обратно пришла. Пришла и прямо къ Катеринѣ Ивановнѣ, и на столъ передъ ней тридцать цѣлковыхъ молча выложила. Ни словечка при этомъ не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только нашъ большой драдедамовый зеленый платокъ (общій такой у насъ платокъ есть, драдедамовый), накрыла имъ совсѣмъ голову и лицо и легла на кровать, лицомъ къ стѣнѣ, только плечики да тѣло все вздрагиваютъ... А я, какъ и давеча, въ томъ же видѣ лежалъ-съ... И видѣлъ я тогда, молодой человѣкъ, видѣлъ я, какъ затѣмъ Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла къ Сонечкиной постелькѣ и весь вечеръ въ ногахъ у ней на коленяхъ простояла, ноги ей цѣловала, встать не хотѣла, а потомъ такъ обѣ и заснули вмѣстѣ, обнявшись... обѣ... обѣ... да-съ... а я... лежалъ пьяненькой-съ...» Все рассказано просто, ясно и до послѣдней степени отчетливо. Приведены всѣ подробности, которыя могъ подмѣтить очевидецъ, глубоко заинтересованный въ совершавшемся событіи. Подмѣчено все, что могло бросить свѣтъ на характеры обѣихъ женщинъ, все, что могло объяснить и оправдать ихъ поступки, идущіе въ разрѣзъ съ правилами той нравственности, которую счастливые люди могутъ и должны считать для себя обязательной, и во имя которой они очень естественнымъ образомъ распо-

ложены судить и осуждать своих несчастных ближних. Видно изъ каждого слова разсказа, что впечатлѣнія этого рокового вечера, какъ капли расплавленного свинца, падали въ мозгъ жалкаго пьяницы и оставляли въ немъ такіе слѣды, которыхъ не сотруть до конца его жизни никакіе винные пары. Все онъ понимаетъ, все объясняетъ, все прощаетъ и оправдываетъ—только для самого себя нѣтъ у него ни одного слова объясненія, прошенія и оправданія. И три раза встрѣчается въ его разсказѣ упоминаніе о томъ голомъ фактѣ, что онъ лежалъ пьяненькій, упоминаніе, похожее на похоронное пѣніе, брошенное человѣкомъ надъ самимъ собою. И съ этимъ-то яснымъ пониманіемъ своего глубокаго ничтожества, съ этимъ неизгладимымъ, яркимъ и жгучимъ воспоминаніемъ о событіяхъ рокового вечера онъ все-таки бѣжитъ въ кабакъ, укравши у жены свои трудовыя деньги, пьянствуетъ безъ просыпу пятеро сутокъ, губить всѣ послѣднія надежды своего семейства и въ довершеніе всѣхъ своихъ подвиговъ, спустивши въ кабакахъ все, что можно было спустить, идетъ выпрашивать у своей дочери, живущей по желтому билету, выпрашивать на послѣдній полуштофъ водки частицу тѣхъ денегъ, которыя она добываетъ отъ искателей легкой и дешевой любви, и которыя составляютъ единственное постоянное подспорье чахоточной женщины и троихъ вѣчно голодныхъ ребятишекъ.

Ясное дѣло, что Мармеладовъ—трупъ, чувствующій и понимающій свое разложеніе, трепъ, слѣдящій съ невыразимо-мучительнымъ вниманіемъ за всѣми фазами того ужаснаго процесса, которымъ уничтожается всякое сходство этого трупа съ живымъ человѣкомъ, способнымъ чувствовать, мыслить и дѣйствовать. Это мучительное вниманіе составляетъ послѣдній остатокъ человѣческаго образа; глядя на этотъ послѣдній остатокъ, Раскольниковъ можетъ понимать, что Мармеладовъ не всегда былъ такимъ трупомъ, какимъ онъ видитъ его въ распивочной, за полуштофомъ, купленнымъ на Сонины деньги. Этотъ остатокъ намекаетъ ему на то, что есть тропинка, ведущая къ Мармеладовскому паденію, и что есть возможность спуститься на эту скользкую тропинку даже съ той высоты умственнаго и нравственнаго развитія, на которую удалось взобраться ему, студенту Раскольникову. Не даромъ же Мармеладовъ обращается въ распивочной исключительно къ нему одному, и не даромъ же онъ самъ слушаетъ его разсказъ съ напряженнымъ вниманіемъ. Между ними есть точки соприкосновенія, между ними существуетъ возможность взаимнаго пониманія, и стало быть нѣтъ основаній ручаться за то, чтобы тѣ испытанія, которыя погубили Мармеладова, не обнаружили своего мертвящаго и разлагающаго вліянія надъ Раскольниковымъ.

Мармеладова раздавила бѣдность, та же бѣдность, которая давитъ Раскольника, уже довела его до изнурительной апатии, дикихъ мыслей о грабежѣ и убійствѣ. Мармеладовъ не вынесъ своихъ страданій, ненасытныхъ страданіями, продолжительными и разнообразными, то острыми, то хроническими страданіями тѣхъ людей, которые были дороги, и существованіе которыхъ онъ считалъ своимъ и одинъ обязанъ былъ обезпечивать. Мармеладовъ не вынесъ и сталъ искать обильнаго забвенія; онъ *прикоснулся*, какъ самъ выражался, и прикоснулся по тому же побужденію, по которому человѣкъ, страдающій невыносимой зубной болью, кладетъ себѣ опиумъ или хлороформъ въ дупло больного зуба. Мармеладовъ сдѣлался врагомъ, зорителемъ и мучителемъ своего семейства такъ не чувствительно и незамѣтно для себя, какъ человѣкъ, пристрастившійся къ чужденію посредствомъ опиума, становится совершенно губителемъ собственнаго здоровья. Мармеладовъ не принималъ никакихъ противоконныхъ и насильственныхъ мѣръ противъ своей нищеты; онъ просто падалъ, впадалъ, тонувъ, потому что у него не было силъ стоять на ногахъ, и потому что его не находили себѣ твердой точки опоры въ бездонной трясинѣ, которая изъ году въ годъ поглощаетъ сотни и тысячи бѣдныхъ людей. Результатъ, къ которому онъ пришелъ въ этомъ краткомъ и пассивнаго погруженія въ болото нищеты, разоблачился передъ Раскольниковымъ во всей наготѣ своего потрясающаго безобразія. При томъ направленіи, которое было дано мыслямъ Раскольника, при тѣхъ планѣ, по которому уже складывались и зрѣвали его намѣренія, видъ трупа, доведеннаго до разложенія собственной пассивности и кротости, долженъ былъ подѣйствовать на Раскольника такъ, какъ можетъ подѣйствовать ударъ каленымъ желѣзомъ на бѣдную лошадь, уже закусившую удила.

Личность Сони и ея образъ дѣйствій такъ наводятъ Раскольника на такіа размышленія, которыя могутъ только расчищать передъ нимъ дорогу къ преступленію. Во-первыхъ, у Раскольника есть сестра, дѣвушка молодая, умная, образованная и красавица собой. Раскольниковъ любитъ свою сестру такъ же сильно, какъ Мармеладовъ любитъ свою старшую дочь. Но къ чему годится эта сильная любовь бѣднаго, задавленнаго и безсильнаго человѣка? Отъ чего можетъ защитить и куда можетъ привести такая любовь? Пользуясь этой любовью, Авдотья Романовна Раскольниковна такъ же точно можетъ очутиться въ безотчетномъ распоряженіи уличныхъ ловеласовъ, какъ очутилась въ ихъ распоряженіи Софья Семеновна Мармеладова. Невозможно рассчитывать на вѣрность

же и на тот исход, что самоубийство спасет Авдотью Романовну отъ вынужденнаго изврата. Можетъ быть Софья Семеновна также умѣла бы броситься въ Неву; но, бросааясь въ воду, она не могла бы выложить на столъ передъ Катериной Ивановной тридцать цѣлокъ, въ которыхъ заключается весь смыслъ все оправданіе ея безправнаго поступка.

Бываютъ въ жизни такія положенія, которыя бѣждаютъ безпристрастнаго наблюдателя въ томъ, что самоубийство есть роскошь, доступная и позволительная только обезпеченнымъ людямъ. Очутившись въ такомъ положеніи, человѣкъ научается понимать выразительную половицу: куда ни кинь, все клинъ. Къ такому положенію оказываются непримѣнимыми правила предписанія общепринятой житейской нравственности. Въ такомъ положеніи точное соблюденіе каждаго изъ этихъ превосходныхъ правилъ и предписаній приводитъ человѣка къ какому-нибудь вопіющему абсурду. То, что при обыкновенныхъ условіяхъ было бы священной обязанностью, начинаетъ казаться человѣку, попавшему въ исключительное положеніе, презрѣннымъ малодушіемъ или даже явнымъ преступленіемъ; то, что при обыкновенныхъ условіяхъ возбуждало бы въ человѣкѣ ужасъ и отвращеніе, начинаетъ казаться ему необходимымъ шагомъ или геройскимъ подвигомъ, когда онъ находится подъ гнетомъ своего исключительнаго положенія. И не только самъ человѣкъ, подавленный исключительнымъ положеніемъ, теряетъ способность рѣшать нравственные вопросы такъ, какъ они рѣшаются огромнымъ большинствомъ его современниковъ и соотечественниковъ, но даже и безпристрастный наблюдатель, вдумываясь въ такое исключительное положеніе, останавливается въ недоумѣніи и начинаетъ испытывать такое ощущеніе, какъ будто бы онъ попалъ въ новый, особенный, совершенно фантастическій міръ, гдѣ все дѣлается наизусть, и гдѣ наши обыкновенныя понятія о добрѣ и злѣ не могутъ имѣть никакой обязательной силы.

Что вы скажете, въ самомъ дѣлѣ, о поступкѣ Софьи Семеновны? Какое чувство возбуждаетъ въ васъ этотъ поступокъ: презрѣніе или благоговѣніе? Какъ вы назовете ее за этотъ поступокъ: грязной потаскушкой, бросившей въ уличную лужу святиню своей женской чести, или великодушной героиней, принявшей съ спокойнымъ достоинствомъ свой мученическій вѣнецъ? Какой голосъ эта дѣвушка должна была принять заголосивъ совѣсти—тотъ ли, который ей говорилъ: «сиди дома и терпи до конца; умирай съ голоду вмѣстѣ съ отцомъ, съ матерью, съ братомъ и съ сестрами, но сохраняй до послѣдней минуты свою нравственную чистоту»,—или тотъ, который говорилъ: «не жалѣй себя, не береги себя, отдай все, что у тебя есть, продай себя, опозорь и загрязни себя, но спаси,

утѣши, поддержи этихъ людей, накорми и обогрѣй ихъ хоть на недѣлю, во что бы то ни стало»? Я очень завидую тѣмъ изъ моихъ читателей, которые могутъ и умѣютъ рѣшать съ плеча, безъ оглядки и безъ колебаній, вопросы, подобные предыдущему. Я самъ долженъ сознаться, что передъ такими вопросами я становлюсь въ тупикъ; противоположныя воззрѣнія и доказательства сталкиваются между собою; мысли путаются и мѣшаются въ моей головѣ; я теряю способность ориентироваться и анализировать; начинается тревожное и мучительное исканіе какой-нибудь твердой точки и какого-нибудь возможнаго выхода изъ заколдованнаго круга, созданнаго исключительнымъ положеніемъ. Кончается-ли это исканіе какимъ-нибудь положительнымъ результатомъ, нахожу-ли я точку опоры и удается-ли мнѣ замѣтить выходъ—объ этомъ я не скажу моимъ читателямъ ни одного слова.

Если здѣсь возможенъ какой-нибудь положительный результатъ, то онъ во всякомъ случаѣ долженъ показаться читателямъ такой выдумкой, которая въ высшей степени похожа на абсурдъ или на парадоксъ. Но такъ какъ съ одной стороны бросать бисеръ передъ свиньями нерасчетливо и неблагоприятно, то съ другой стороны также неблагоприятно и нерасчетливо, и кромѣ того даже очень невѣжливо предлагать предметы, годные только для свиней, какъ-то желуды и отрубы, такимъ особамъ, передъ которыми слѣдуетъ разсыпать чистый бисеръ. Поэтому, еслибы даже я имѣлъ несчастье добратъся путемъ моихъ размышленій до обильнаго запаса желудей и отрубей, то я бы тщательно скрылъ отъ моихъ благовоспитанныхъ читателей мое неприличное открытіе. Это было бы тѣмъ болѣе удобно, что въ настоящемъ случаѣ насъ занимаетъ исключительно вопросъ о томъ: какимъ образомъ разскажетъ Мармеладовъ о поступкѣ Соня долженъ былъ подѣйствовать на Раскольникова? Со стороны Раскольникова невозможно ожидать продолжительныхъ колебаній во взглядѣ на этотъ поступокъ. Раскольниковъ не могъ быть безпристрастнымъ наблюдателемъ. Раскольниковъ самъ былъ въ высшей степени ожесточенъ трудностями своего собственнаго положенія: на его душѣ накопилось, какъ мы уже видѣли выше, много злобнаго презрѣнія къ обществу, къ его законамъ и ко всѣмъ его установившимся нравственнымъ понятіямъ. Онъ самъ уже былъ коротко знакомъ съ той опасной мыслью, что бѣднякъ, которому общество отказываетъ въ работѣ и въ кускѣ хлѣба, долженъ поневолѣ вступить въ открытую войну съ этимъ обществомъ и вести эту войну всѣми правдами и неправдами, силою и хитростью, нарушая безбоязненно и безсовѣстно всѣ предписанія нравственнаго закона. То обстоятельство, что Соня шла наперекоръ общественному мнѣнію, должно

было подкупить Раскольникова въ пользу ея поступка. Въ этомъ поступкѣ онъ могъ видѣть только то высокое самоотверженіе, съ которымъ Соня рѣшилась надѣть мученичскій вѣнецъ и выпить до дна чашу униженія и страданія. Онъ могъ только почувствовать къ Сонѣ восторженное уваженіе за то, что она подобно Курцію бросилась въ пропасть и согласилась сдѣлаться искупительной жертвой за цѣлое семейство. При этомъ разумѣется онъ долженъ былъ также сообразить, что пропасть, въ которую бросилась Соня, все-таки остается открытой, и что семейство, за которое принесена жертва, все-таки остается неискупленнымъ, такъ что младшія сестры Сони сохраняютъ за собой всѣ шансы отправиться въ свое время по ея слѣдамъ. Примѣръ Сони долженъ былъ съ одной стороны возбудить въ немъ соревнованіе, а съ другой—подѣйствовать на него, какъ предостереженіе. Съ одной стороны онъ долженъ былъ подумать: вѣдь вотъ въ самомъ дѣлѣ, эта Соня! Семнадцатилѣтняя дѣвушка, слабая, робкая, безответная, забытая, неразвѣтная, опутанная всякими рутинными понятіями и предразсудками—а какъ пришлось очень круто, такъ сжѣла же рѣшиться и нашла возможность дѣйствовать. Не осталась же она дома, чтобы сидѣть сложа руки, хныкать надъ пьянымъ отцомъ, надъ больной мачихой, надъ голодными ребятами, или въ тысячный разъ затыкать трудовыми копѣечками такую прорѣху, на которую очевидно требовались рубли, добытые какими бы то ни было средствами. Нѣтъ. Посидѣла, поплакала, надумалась, вышла на улицу, бросилась прямо въ грязь и выкопала изъ этой грязи тридцать рублей для семейнаго бюджета. А я то чего-же смотрю. Я-то, мужчина, сильный человѣкъ, свободный мыслитель, строгій судья существующихъ несправедливостей! Развѣ я неспособенъ понять, что мое положеніе не поправляется грошовыми уроками? Развѣ я считать не умѣю? Или я можетъ быть боюсь столкновенія съ существующими понятіями, боюсь того, чего не побоялась Соня? Или я жду того, чтобы сестра Дуня приняла на себя обязанности искупительной жертвы за наше семейство и погибла бы такъ-же безтолково и такъ-же бесплодно, какъ погибла эта Соня? Или я просто на словахъ города беру, а на дѣлѣ поджимаю хвостъ передъ простымъ городovýmъ?

Съ другой стороны онъ долженъ былъ подумать: не стоитъ мारаться по мелочамъ и изъ-за пустяковъ. Ужъ если бросаться въ грязь, то бросаться не изъ-за тридцати цѣлковыхъ и ужъ конечно не такъ нерасчетливо, какъ бросилась эта Соня. Надо сильно рискнуть, чтобы много выиграть. Надо такъ — или панъ, или пропалъ! — А то ужъ лучше лежать дома на диванѣ, хлебать вчерашніе Настасьины

щи, прятаться отъ хозяйки, бѣгать за языкъ за грошовыми уроками, какъ за языкъ, который все не дается въ руки,—и при этомъ утѣшать себя пріятнымъ сознаніемъ своей запятнанной честности. — Я убѣждаю читателей не думать, что я сколько-нибудь одобряю эти размышленія Раскольникова. Я хожу напротивъ того, что его отношенія къ незапятнанной честности и къ ному труду, получающему копѣечное вознагражденіе, въ высшей степени предсудительны. Я вполне убѣжденъ въ томъ, что его мысли дурныя, вредныя и опасныя мысли. Я не осмѣливаюсь утверждать и стараюсь доказать, что эти мысли были неизбежными дуктами его невыносимаго положенія; въ мысляхъ проявилась та болѣзнь, которая вылилась въ немъ подъ вліяніемъ его разнообразныхъ страданій, та болѣзнь, нельзя назвать помѣшательствомъ, но все-таки ведетъ и должна вести человѣка къ нелѣпнымъ и безобразнымъ поступкамъ въ тѣхъ условіяхъ, которыя давили Раскольникова, у него не могло быть никакихъ мыслей. Поставьте на мѣсто Раскольникова нибудь другого человѣка обыкновеннаго размѣровъ, развившагося иначе и съ на вещи другими глазами, и вы увидите, получится тотъ-же самый результатъ. Самое положеніе воспитаетъ въ немъ самую болѣзнь, и всѣ его мысли при этомъ же самомъ вредное и опасное направленіе. Убѣдите себя въ томъ, что общество связано съ нимъ, какъ съ голоднымъ воиномъ, что ему остается только принять на странную роль со всѣми ея возможными слѣдствіями, со всѣми ея своеобразными обязанностями, со всѣми ея удобствами и неудобствами.

Будемъ теперь слѣдить дальше за мыслями Раскольникова, которыя доставались на чашѣ. Мы знаемъ, что въ этотъ день, въ другой день послѣ посѣщенія Раскольникова, получаетъ письмо отъ сестры. Видъ этого письма дѣйствуетъ на него сильно: «Письмо, говоритъ Достоевскій, ло въ рукахъ его; онъ не хотѣлъ читать при ней (при Настасьѣ); ему оставалось *наединѣ* съ этимъ письмомъ». Настасья вышла, онъ быстро поднесъ губамъ и поцѣловалъ, потомъ долго сидѣлъ въ почеркѣ адреса, въ знаменитый ему мелкій почеркъ его матери, когда-то читать и писать. Онъ даже какъ будто боялся чего-то, боялся человѣкъ такимъ образомъ принимать жить пераспечатанное письмо, то и себя представить, какъ онъ будетъ читать и по строкамъ, и между строками, и

и всматриваться въ каждый отъѣнокъ и отъ мысли, какъ онъ въ словахъ и подвѣяхъ будетъ отыскивать затаенную мысль, и живая то, что лежало быть можетъ таясь камнемъ на душѣ писавшей особы и скрывалось самымъ тщательнымъ образомъ пытливыхъ глазъ любимого сына. Начиная чтение. Начинается одна изъ самыхъ ценныхъ пытокъ, какія только могутъ выпасть на долю бѣднаго человѣка, еще не до конца гнетущей нищетою до тупости, безответственности и покорности разбитой и загнанной почтовой клячи. Изъ этихъ драгоценныхъ пытокъ, согрѣтыхъ кроткимъ и мягкимъ сіяніемъ безпредѣльной материнской вѣжливости, сыплются на изнемогающаго Раскольникова таковыя жгучіе удары, которые могутъ быть нанесены ему именно только рукой любящей матери. Письмо написано самымъ бодрымъ и веселымъ тономъ и наполнено самыми пріятными извѣстіями, и вслѣдствіе этого мучительная пытка становится еще болѣе утонченной.

Письмо начинается самыми горячими выраженіями любви: «ты знаешь, какъ я люблю тебя, и одинъ у насъ, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упованіе наше». Затѣмъ слѣдуютъ извѣстія о сестрѣ: «Слава тебѣ Господи, кончилися ея истязанія, но расскажу тебѣ все по порядку, чтобы ты узналъ, какъ все шло, и что мы отъ тебя до сихъ поръ скрывали». Такъ какъ Раскольникову пишутъ объ окончившихся истязаніяхъ, и при этомъ признаются, что отъ него до сихъ поръ скрывали многое, или даже все, то ему предоставляется единственное право думать, что теперь начинаются новыя истязанія, которыя также будутъ отъ него скрываться до тѣхъ поръ, пока они въ свою очередь не превратятся въ окончившіяся. Раскольниковъ конечно съ внимательностью, свойственной сильно любящему человѣку, натыкаетъ себѣ на усь это полезное указаніе и продолжаетъ чтеніе съ твердой рѣшимостью изглаздить между радостными строками эти начинающіяся или уже начавшіяся истязанія. Наконецъ окончившіяся истязанія въ письмѣ общаются слѣдующія подробности. Дуня получила гувернанткой въ домъ господъ Свидригайловыхъ и забрала впередъ *цѣлыхъ сто рублей*, «болѣе для того, чтобы выслать тебѣ ездѣ рубль, въ которыхъ ты тогда такъ нуждался и которые ты и получилъ отъ насъ въ прошломъ году». Закабаливъ себя такимъ образомъ на нѣсколько мѣсяцевъ, Дуня принуждена была переносить грубости Свидригайлова, стараго кутилы, трактирнаго героя и ничнаго донъ-Жуана, который, какъ сказано въ письмѣ, *по старой привычкѣ своей, находился часто подъ вліяніемъ Бакуса*, съ грубостей и насмѣшекъ Свидригайловъ рѣшительнѣе къ настойчивому ухаживанію и усни-

ленно сталъ приглашать Дуню къ побѣгу за границу. Супруга Свидригайлова, Марфа Петровна, влюбленная въ мужа по уши, въ высшей степени взбалмошная и ревнивая до крайности, подслушала *своего мужа, умолявшаго Дунечку въ саду*, перепутала въ своей убогой головѣ всѣ обстоятельства дѣла, выскочила изъ своей засады какъ бѣшеная кошка, собственноручно отколотила Дуню, «не хотѣла ничего слушать, а сама цѣлый часъ кричала и наконецъ приказала тотчасъ-же отвезти Дуню въ городъ, на простой крестьянской телѣгѣ, въ которую сбросили всѣ ея вещи, бѣлье, платья, все какъ случилось, неувязанное и неуложенное. А тутъ поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была прохвѣть съ мужикомъ цѣлыхъ семнадцать верстъ въ открытой телѣгѣ». Этимъ мщеніемъ не удовлетворилась разгнѣванная Юнона. Приѣхавъ въ городъ, она стала такъ успѣшно звонить во всѣхъ домахъ о своихъ семейныхъ несчастіяхъ и о преступленіяхъ безстыжей дѣвки Авдотьи Раскольниковой, что мать и сестра нашего героя были принуждены запереться дома *отъ подозрительныхъ взглядовъ и шептаній*. Всѣ знакомые отъ нихъ отстранились, всѣ перестали имъ кланяться; шайка негодяевъ изъ купеческихъ прикащиковъ и канцелярскихъ писцовъ, всегда готовыхъ бить и оплевывать всякаго лежачаго, стремилась даже принять на себя роль мстителей за *outrage à la morale publique* и собиралась вымазать дегтемъ ворота того дома, въ которомъ жила коварная соблазнительница цѣломудреннаго Свидригайлова. Хозяйка дома, пылая тѣмъ-же добродѣтельнымъ негодованіемъ и преклоняясь передъ непогрѣшимымъ приговоромъ общественнаго мнѣнія, коноводомъ котораго являлась постоянно бѣшеная дура Марфа Петровна, потребовали даже, чтобы госпожи Раскольниковы очистили квартиру отъ своего тлетворнаго и компрометирующаго присутствія.

Наконецъ дѣло разъяснилось. Свидригайловъ предъявилъ своей бѣсноватой супругѣ письмо Авдотьи Романовны, написанное за долго до трагической сцены въ саду и доказывавшее очевидно, что во всемъ былъ виноватъ только одинъ старый селадонъ. Изъ этого письма Марфа Петровна извлекла себѣ новыя и въ высшей степени драгоценныя средства разнообразить, втеченіе нѣсколькихъ недѣль, безконечные досуги своей сытой и сонной жизни. Съ искреннимъ увлеченіемъ праздной и пустой женщины, которая со скуки готова съ одинаковымъ наслажденіемъ злословить и благотворить, клеветать и вышивать подвѣски къ паникадиламъ, устраивать концерты въ пользу бѣдныхъ и сѣчь на конюшнѣ беременныхъ горничныхъ—Марфа Петровна напустила на себя раскаянье, прискакала въ городъ, влетѣла въ квартиру

пока у Раскольниковъ имѣются матеріальныя средства, которыми онъ дѣйствительно можетъ покоить свою мать и спасти отъ безчестія свою сестру. Пока Раскольниковъ обезпеченъ имѣніемъ, капиталомъ или трудомъ, до тѣхъ поръ ему предоставляется полное право и на него даже налагается священная обязанность любить мать и сестру, защищать ихъ отъ лишеній и оскорбленій, и даже въ случаѣ надобности принимать на самого себя тѣ удары судьбы, которые предназначаются имъ, слабымъ и безответнымъ женщинамъ. Но какъ только матеріальныя средства истощаются, такъ тотчасъ-же выстѣ съ этими средствами у Расколькова отбирается право носить въ груди человѣческія чувства, такъ точно, какъ у обанкротившагося купца отбирается право числиться въ той или другой гильдіи. Любовь къ матери и къ сестрѣ, желаніе покоить и защищать ихъ становятся противузаконными и противуобщественными чувствами и стремленіями съ той минуты, какъ Раскольниковъ превратился въ голоднаго и оборваннаго бѣдняка. Кто не можетъ по человѣчески кормиться и одѣваться, тотъ не долженъ также думать и чувствовать по человѣчески. Въ противномъ случаѣ человѣческія мысли и чувства разрѣшятся такими поступками, которые произведутъ неизбежную коллизію между личностью и обществомъ. Попавши въ свое исключительное положеніе, Раскольниковъ очутился на распутьѣ, очень похожемъ на то распутье, о которомъ говорится въ сказкахъ, и въ которомъ одна дорога обѣщаетъ гибель коню, другая—всаднику, а третья—обоимъ. Раскольникову казалось, что ему надо или отказаться отъ всего, что было ему дорого и свято въ себѣ самомъ и въ окружающемъ мірѣ, или вступить за свою святиню въ отчаянную борьбу съ обществомъ, въ такую борьбу, въ которой уже невозможно будетъ разбирать средствъ. «Или отказаться отъ жизни совѣмъ, вскричалъ онъ вдругъ въ изступленіи,— послушно принять судьбу, какъ она есть, развѣ навсегда и задуть въ себѣ все, отказавшись отъ всякаго права дѣйствовать, жить и любить!» Раскольникову казалось, что ему надо непремѣнно или сдѣлаться трупомъ, подобнымъ Мармеладову, или рѣшиться на преступленіе, и что необходимо сдѣлать выборъ немедленно, прежде чѣмъ Дуня успѣетъ, въ видахъ его карьеры, обвѣчаться съ Лукинымъ. Въ размышленіяхъ Расколькова замѣтна значительная недодуманность. Онъ по-видимому не понимаетъ, что выходъ посредствомъ преступленія не можетъ ни въ какомъ случаѣ дѣйствительно вывести его изъ затрудненія. Онъ соображаетъ очень основательно, что для спасенія матери и сестры отъ нищеты и отъ всякихъ ея послѣдствій, воплотившихся въ Свидригайловыхъ и Лукиныхъ, необходимы деньги, и что честнымъ трудомъ невозможно

ихъ достать въ необходимомъ количествѣ. Значитъ, заключаетъ онъ, остается одно—достать ихъ безчестнымъ средствами.

Заключеніе вѣрное. Кромѣ безчестныхъ средствъ не остается никакихъ. Но въ томъ, дѣйствительно-ли безчестныя средства достигаютъ въ данномъ случаѣ той цѣли, которой стремится Раскольниковъ. Это не самъ Раскольниковъ вовсе себѣ не замѣляемъ, что ему удалось убить и ограбить центщицу; положимъ, что онъ нашелъ у шкатулкѣ цѣлую Калифорнію; положимъ, онъ благополучно скоронилъ всѣ концы жинъ, слѣдовательно, что все дѣло сделано по его желанію во всѣхъ своихъ мелкихъ подробностяхъ. Что-же дальше? Какимъ сомъ онъ пустить ихъ именно въ то мѣсто, которое ему всего дороже и которое вило его рѣшиться на преступленіе? Ему захитрится провести эти деньги въ жизнь матери и сестры такъ, чтобы и улучшить и обезпечили ихъ существованіе, чтобы въ то-же время мать и сестра тили этого неожиданнаго прилива денегъ озадачили его настоятельными вопросами о происхожденіи? Соблюдая осторожность и постепенность, Раскольникъ могъ-бы ускользнуть отъ подозрѣній, но ему ни въ какомъ случаѣ не удастся отвести глаза тѣмъ людямъ, которымъ жны наслаждаться плодами его преступленія и которые привыкли въ бѣдности считать каждый кусокъ и беречь каждую старинную вещь.

Это можно было и надо было предвидѣть. Съ одной стороны, Раскольниковъ могъ и подумать о томъ, что его мать согласится когда-нибудь помириться съ преступленіемъ, какъ съ совершившимся фактомъ, и спокойно проживать процѣны отъ капитала, облитого кровью. Съ другой стороны, если Раскольниковъ считалъ возможнымъ постоянно обманывать мать и сестру, то необходимо было заранѣе придумать, въ какомъ видѣ къ нимъ цѣлый сложный и обширный капиталъ, цѣлую систему тонкихъ и хитрыхъ маневровъ. Между тѣмъ въ романѣ находимъ ни одного намека на существованіе такого плана или такой системы. Раскольниковъ просто не додумалъ до конца свою задачу, упустивъ изъ виду важнѣйшіе ея элементы. Онъ успѣлъ понять, что это дорого, но кто честные работники, онъ идти не можетъ—что эта дорога совѣмъ не приведетъ или приведетъ слишкомъ поздно, къ тому, что онъ имѣетъ въ виду; затѣя размышленій оборвалась, и онъ бросилъ главъ, очертя голову, безъ оглядки на дальнѣйшіе расчеты, въ противную сторону, на ту грязную дорогу, кото-

му открытой, но которая на самомъ деле только въ бездну. Исцеленнаго отъ матери, всѣмъ какой степени перепутываются въ голыникова, что убійство превращается захъ не только въ единственный вы-аже въ какой-то неумолимый долгъ. онитъ отъ исполненія этого долга, себѣ убѣжища въ своей слабости. не вытерплю, не вытерплю, говорить, пусть даже нѣтъ никакихъ сомнѣхъ этихъ расчетахъ, будь это все, о въ этотъ мѣсяцъ, ясно, какъ день, о, какъ арифметика. Господи! вѣдь авно не рѣшусь! Я вѣдь не вытер-терплю!.. Чего-же, чего-же я до сихъ изнавая слабость то чувство, кото-иваетъ его отъ проливанія человѣчеи, Раскольниковъ въ то-же время той слабости и ухватывается за нее, асительный якорь. Ему становится зело, когда онъ чувствуетъ эту мин-сть, избавляющую его отъ исполне-же мнимаго долга. Подъ вліяніемъ той слабости онъ отказывается отъ убійствъ и при этомъ переживаетъ стное, уже давно неиспытанное ощу-ь-будто «нарывъ на сердцѣ его, на-весь мѣсяцъ, вдругъ прорвался». мѣ дѣлѣ нарывъ не прорвался; облег-минутное. Въ немъ выразилось только содроганіе человѣка передъ проступ-ршенно противнымъ его природѣ. чилось дальше и почему случилось е иначе, объ этомъ я поговорю съ въ слѣдующей главѣ.

II.

ебанія Раскольникова прекратились ту, когда онъ узналъ случайно, что въ такомъ-то часу, въ такой-то день дома одна. За мгновеніе передъ тѣмъ, услышавъ разговоръ, заключавшій извѣстіе, онъ чувствовалъ себя сво-отъ этихъ чаръ, отъ колдовства, отъ нѣвожденія, онъ отрекся отъ й мечты своей» и смотрѣлъ на Неву закатъ солнца съ той тихой радо-горой обыкновенно смотреть на всю ю природу человѣкъ, только-что ся отъ тяжелой болѣзни и понемногу ційся къ жизни здоровыхъ людей. нуста, когда онъ, выслушавъ вни-понявъ ясно каждое слово разго-ходившаго между какимъ-то мѣща-естрой старухи, «онъ всѣмъ суще-имъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ е ни свободы разсудка, ни воли, и ругъ рѣшено окончательно»; онъ по-

шелъ домой, «какъ приговоренный къ смерти»

Этотъ переворотъ произошелъ въ немъ от-того, что обстоятельства вдругъ назначили ему для совершенія его замысла определен-ный срокъ. Пропустить этотъ срокъ значило или совсѣмъ отказаться отъ всего предпріятія, или по крайней мѣрѣ добровольно отнять у себя нѣсколько важнѣйшихъ шансовъ успѣха.

Но, чтобы навсегда отказаться отъ плана, воспитаннаго и взлелѣяннаго нѣсколькими не-дѣлями уединеннаго размышленія, надо было снова передумать все съ самаго начала и кромѣ того надо было пріискать какую-нибудь но-вую программу, на которой можно было-бы успокоиться. На такой умственный трудъ Рас-кольниковъ, измученный бѣдностью, праз-дностью, апатіей и безобразнымъ фантазерствомъ, уже не былъ способенъ. Въ его изнемогающемъ умѣ уже не было достаточно силъ на то, чтобы уничтожить *проклятую мечту* спокойнымъ и холоднымъ размышленіемъ. Онъ могъ только ужасаться, содрогаться и чувствовать припадки конвульсивнаго отвращенія къ тѣмъ гадостямъ, на которыя его наталкивала эта *проклятая мечта*. Ужасъ и отвращеніе могли иногда до-ходить въ немъ до такихъ размѣровъ, при ко-торыхъ *проклятая мечта* начинала казаться ему совершенно неосуществимой и слѣдователь-но неопасной. Въ такія минуты онъ могъ праздновать свое освобожденіе отъ чаръ и смо-трѣть на природу и на самого себя глазами выздоравливающаго человѣка; но ужасъ и от-вращеніе, какъ-бы они ни были сильны, не могли замѣнить ему спокойное размышленіе и передѣлать по новому плану то, что уже давно было построено упорной работой мысли, пошед-шей по ложному и опасному пути. Какъ только обстоятельства притиснули его къ стѣнѣ рѣ-шительнымъ вопросомъ, требующимъ безотла-гательнаго отвѣта, такъ онъ немедленно сдѣ-лался безотвѣтнымъ рабомъ своей проклятой мечты.

Во время своихъ послѣднихъ приготовленій къ убійству Раскольниковъ уже не чувство-валъ ни ужаса, ни отвращенія. Онъ потерялъ способность смотрѣть на свое дѣло со стороны. Хороша или дурна его цѣль — объ этомъ онъ уже не думалъ. Все его вниманіе было обра-щено на подробности выполненія и сосредото-чено на борьбѣ съ препятствіями. Когда онъ услышалъ бой часовъ и чей-то возгласъ о томъ, что уже седьмой часъ — онъ испугался только той мысли, что можетъ опоздать. Когда онъ увидѣлъ невозможность утащить топоръ изъ хозяйской кухни — онъ почувствовалъ только *тупую, зѣвскую злобу* противъ этого пре-пятствія, которое въ первую минуту показа-лось ему неодолимымъ. Когда онъ, вслѣдъ за тѣмъ, разглядѣлъ топоръ въ дворницкой и благополучно его спряталъ къ себѣ подъ пальто,

онъ почувствовалъ только радость удачи. Словомъ, *проклятая мечта* господствовала надъ всѣмъ его существомъ и обуславливала собой всѣ его отношенія къ мелкимъ случайностямъ, встрѣтившимся на его пути. Тѣ случайности, которыя благопріятствовали осуществленію *проклятой мечты*, казались ему счастливыми и возбуждали въ немъ радость; тѣ случайности, которыя могли помѣшать успѣху предпріятія, казались ему несчастными и доводили его до бѣшенства. Тутъ очевидно Раскольниковъ уже не думалъ и не хотѣлъ думать о томъ выздоровленіи, которое радовало его наканунѣ и даже возбуждало въ немъ потребность молиться. Освобожденіе отъ чаръ было невозможно, самъ очарованный возмущался противъ тѣхъ случайностей, которыя сколько-нибудь были способны произвести это освобожденіе. Идя на квартиру старухи, Раскольниковъ не могъ думать о томъ дѣлѣ, которое ему предстояло. Придя на квартиру и пристукнувъ старуху ухомъ топора, онъ потерялъ способность думать даже о мелкихъ подробностяхъ выполненія, на которыхъ до сихъ поръ сосредоточивалось его вниманіе. Онъ растерялся, засуетился, сталъ дѣлать одну глупость за другой и избавился отъ бѣды, то-есть не попался на мѣстѣ преступленія, только благодаря совершенно исключительному стеченію счастливыхъ случайностей.

Теперь я дошелъ до поворотнаго пункта въ романѣ. Главное дѣло, составляющее центръ и узелъ этого романа, уже сдѣлано. Я старался прослѣдить шагъ за шагомъ тѣ вліянія, которыя привели Раскольникова къ катастрофѣ. Говоря о причинахъ, подготовившихъ преступленіе, я до сихъ поръ не сказалъ ни одного слова объ убѣжденіяхъ Раскольникова, объ его образѣ мыслей, о его взглядахъ на важнѣйшіе вопросы частной и общественной нравственности. Это умолчаніе не было съ моей стороны ошибкой. Въ первой части моей рецензіи я уже замѣтилъ мимоходомъ, что теоретическія убѣжденія Раскольникова не имѣли никакого замѣтнаго вліянія на совершеніе убійства. Теперь, когда настоящія причины преступленія достаточно разъяснены, я считаю не лишнимъ развить эту мысль подробно и защитить ее противъ тѣхъ возраженій, которыя могутъ быть ею вызваны.

Раскольниковъ высказываетъ нѣкоторые изъ своихъ убѣжденій въ разговорѣ съ слѣдственнымъ приставомъ, Порфиріемъ Петровичемъ. Дѣло идетъ объ одной статьѣ, написанной Раскольниковымъ и помѣщенной въ какой-то газетѣ. Раскольниковъ слѣдующимъ образомъ разъясняетъ своему собесѣднику основную мысль этой статьи:

«Я просто-за-просто — говоритъ онъ — намеренъ, что необыкновенный человѣкъ имѣетъ право... то-есть, не официальное право, а

самъ имѣетъ право разрѣшить свои дѣла, перешагнуть... черезъ нѣвыя препятствія, естественно въ томъ только случаѣ, если онъ имѣетъ на то право (иногда спасительное) быть, для всего человѣчества) то-есть, быть... По-моему, если-бы Кензлеромъ тоновы открытія, вслѣдствіе какихъ комбинацій, ни коимъ образомъ не могли стать извѣстными людямъ иначе, какъ жертвованіемъ жизни одного, десяти, сдѣлаи человѣка, мѣшавшихъ-бы этому или ставшихъ-бы на пути какъ препятствія. Ньютонъ имѣлъ-бы право и даже былъ обязанъ... устранить этихъ десять или сто, чтобы сдѣлать свои открытія извѣстными для всего человѣчества. Изъ этого впрочемъ слѣдуетъ, чтобы Ньютонъ имѣлъ право кого вздумается, встрѣчныхъ и поили воровать каждый день на базарѣ, поминать мнѣ, я развиваю въ моей статьѣ... ну, наприимѣръ, хоть законодательствователи человѣчества, начиная съ шихъ, продолжая Ликургами, Солономъ, Метами, Наполеонами и такъ далѣе — наго были преступники, уже тѣмъ давая новый законъ, тѣмъ самымъ древній, свято чтимый обществомъ и перешедшій, и ужъ конечно не оставивъ и передъ кровью, если только кровью совѣсть невинная и доблестно пролитая (новый законъ) могла имъ помочь. За даже, что большая часть этихъ благодѣтелей и установителей человѣчества была страшные кровопроливцы. Однимъ вывожу, что и всѣ, не то что всѣ, чуть-чуть изъ коленъ выходящіе люди, чуть-чуть даже способные сказать новенькое, должны, по природѣ своей, быть преступниками — болѣе разумѣется. Иначе трудно имъ вылезти, а оставаться въ колеѣ они могутъ согласиться, опять-таки по моему, а по моему, такъ даже и объявляться».

Всѣми этими запутанными и сбивчивыми сужденіями Раскольниковъ старается доказать, что преступникъ дѣлается преступникомъ, что стоитъ выше окружающей среды. Чтобы подстроить доказательства, Раскольниковъ всѣми правдами и неправдами двигаетъ рамки того понятія, которое употребительномъ разговорномъ языкѣ связывается съ словомъ «преступникъ». Расширивъ это понятіе и сдѣлавъ возможности неопредѣленнымъ, Раскольниковъ подводитъ подъ него все, что ему угодно, и доказываетъ дѣятельность воровъ, убійцъ, завербовывая въ ихъ ряды замѣчательныхъ людей, оставившихъ послѣ себя великое дѣло, и вліянія въ нѣмъ.

ства. Натяжки, на которых построена эта теория, и бѣлые нитки, которыми она бросается въ глаза каждому сколько-нибудь внимательному читателю. Изъ законодатель и установителей челоѣчества очень многіе действительно были преступниками, то есть почитателями чужой собственности. Эти многіе действительно могутъ стоять рядомъ съ ворами и рабителями, но ихъ вступленіе въ это общество не приноситъ ни малѣйшей пользы ихъ болѣе мелкимъ товарищамъ и нисколько не облагораживаетъ ихъ общіе занятія, которыя имъ доставили безсмертіе, а другимъ—уговные наказанія. Эти многіе оказываются преступниками совѣтъ не потому, что замѣнили евнй законъ новымъ, а отъ того, что, по своей кой прихоти, по своему корыстолюбію или властолюбію, раздавили на своемъ пути много челоѣческихъ существованій и отвали у многіхъ работниковъ продукты ихъ честнаго труда.

Что большая часть этихъ благодѣтелей и установителей челоѣчества были особенно страшными кровопроливцами—то доказываетъ совѣтъ не то, что пролитіе челоѣческой крови очень похвально и полезно, а только то, что челоѣчество, по простотѣ своей коллективной души и по своей извѣстной ребяческой слабости къ блеску и рохоту, къ яркимъ краскамъ и рѣзкимъ звукамъ, до сихъ поръ считаетъ своими благодѣтелями такихъ людей, которые очевидно причинили ему, этому добродушному и довѣрливому челоѣчеству, гораздо больше вреда, чѣмъ пользы. Что кровопролитіе бываетъ иногда неизбежно и ведетъ за собой самыя благодѣтельные послѣдствія—это извѣстно каждому челоѣчку, умѣющему понимать причинную связь историческихъ событий. Но это обстоятельство ровно ничего не доказываетъ въ пользу того права, которое Раскольниковъ присвоиваетъ необыкновеннымъ людямъ. Произвольное устраненіе живыхъ людей и безцеремонное шаганіе черезъ препятствія во всякомъ случаѣ остается дѣломъ очень вреднымъ, и слѣдовательно въ высшей степени преступнымъ, т. е. совершенно предосудительнымъ. Кровопролитіе становится неизбежнымъ вовсе не тогда, когда его желаетъ устроить какой-нибудь необыкновенный челоѣкъ; вовсе не тогда, когда какое-нибудь живое препятствіе мѣшаетъ этому необыкновенному челоѣчку осуществить свою личную идею или фантазію, а только тогда, когда двѣ большія группы людей, двѣ націи или двѣ сильныя партіи рѣзко и рѣшительно расходятся между собой въ своихъ намѣреніяхъ и желаніяхъ. Когда этимъ двумъ противнымъ сторонамъ невозможно договориться до удовлетворительнаго результата, когда не остается никакой возможности покончить дѣло соглашеніемъ или полюбовнымъ размежеваніемъ

столкнувшихся и перепутавшихся интересовъ, когда нѣтъ возможности разъяснить заблуждающейся сторонѣ посредствомъ спокойнаго научнаго анализа, въ чемъ состоятъ ея настоящія выгоды и въ чемъ заключается ошибочность и неосуществимость ея требованій—тогда разумѣется остается только начать драку и драться до тѣхъ поръ, пока правое дѣло не восторжествуетъ. Но и здѣсь, въ этихъ случаяхъ, роль необыкновенныхъ людей, правильно понимающихъ свое назначеніе, состоитъ совѣтъ не въ томъ, чтобы порождать и поддерживать драку. Прежде, чѣмъ дѣло дойдетъ до кровопролитія, необыкновенные люди, то есть самыя умныя и самыя честныя люди даннаго общества, всѣми силами стараются о томъ, чтобы предупредить это кровопролитіе и чтобы произвести какъ можно спокойнѣе ту перемѣну, которой требуютъ обстоятельства, и которой необходимость уже чувствуется и даже сознается значительной частью заинтересованной націи.

Необыкновенные люди стараются открыть глаза своимъ соотечественникамъ и современникамъ, разъяснить имъ настоящее положеніе дѣла, направить ихъ къ мирному и безобидному выходу изъ затруднительнаго положенія и доказать имъ необходимость обширныхъ и добровольныхъ уступокъ тому теченію идей, которое называется духомъ времени и которое порождается общими причинами и условіями, а никакъ не выдумками и усиліями какихъ-нибудь необыкновенныхъ людей. Честные и умные совѣты необыкновенныхъ людей очень часто остаются непонятыми или даже невыслушанными; страсти спорящихъ сторонъ разгораются; разрывъ становится неминуемымъ; и тогда необыкновенные люди, убѣдившись раньше массы въ необходимости открытой борьбы, изъ роли благоразумныхъ совѣтниковъ переходятъ въ роль воиновъ и полководцевъ. Они становятся рѣшительно на ту сторону, стремленія которой совпадаютъ съ истинными выгодами данной націи и всего челоѣчества, они группируютъ вокругъ себя своихъ единомышленниковъ, они организуютъ, дисциплинируютъ и воодушевляютъ своихъ будущихъ сподвижниковъ, и затѣмъ, смотря по обстоятельствамъ, выжидаютъ нападенія противниковъ, или наносятъ сами первый ударъ. Когда борьба начата, все вниманіе необыкновенныхъ людей устремляется на то, чтобы какъ можно скорѣе покончить кровопролитіе, но разумѣется покончить такъ, чтобы вопросъ, породившій борьбу, оказался действительно рѣшеннымъ, и чтобы условія примиренія не заключали въ себѣ двусмысленныхъ комбинацій и уродливыхъ компромиссовъ, способныхъ, при первомъ удобномъ случаѣ, произвести новое кровопролитіе. Ни передъ борьбой, ни во время борьбы, ни послѣ ея окончанія, необыкновенные люди, которыми можетъ и должно гордиться

человѣчество, не являются любителями и виновниками кровопролитія. Кровь льется не потому, что въ данномъ обществѣ, въ данную минуту дѣйствуютъ необыкновенные люди, а потому, что дѣятельность этихъ необыкновенныхъ людей не можетъ перевѣсить собою массу человѣческаго неблагоразумія, узкаго своекорыстія и близорукаго упрямства. Кровь льется совсѣмъ не для того, чтобы подвигать впередъ общее дѣло человѣчества; напротивъ того, это общее дѣло подвигается впередъ, *несмотря* на кровопролитія, а никакъ не *вслѣдствіе* кровопролитій; виновниками кровопролитій бываютъ вездѣ и всегда не представители разума и правды, а поборники невѣжества, застоя и безправія. Доказать, что какой нибудь историческій дѣятель былъ страшнымъ кровопроливцемъ, то есть что дѣйствительно кровь лилась по его личному желанію и распоряженію, а не вслѣдствіе тѣхъ обстоятельствъ, среди которыхъ онъ былъ поставленъ и надъ которыми онъ былъ властенъ, значить доказать тѣмъ самымъ, что этотъ дѣятель былъ врагомъ человѣчества, и что его примѣръ ни для кого и ни для чего не можетъ служить оправданіемъ.

Необыкновенные люди именно тѣмъ и необыкновенны, что они умѣютъ додумываться до такихъ истинъ, которыя еще остаются неизвѣстными ихъ современникамъ. Тѣ необыкновенные люди, которые всего больше желаютъ и умѣютъ оставаться вѣрными своему естественному назначенію, то есть приносить людямъ какъ можно больше пользы—должны только добывать новыя истины, доводить ихъ до всеобщаго свѣдѣнія, защищать ихъ противъ старыхъ заблужденій и убѣждать людей въ необходимости перестроивать жизнь сообразно съ новыми истинами. Идя по этому пути, необыкновенные люди никакъ не могутъ сдѣлаться страшными кровопроливцами; уклоняясь отъ этого пути и призывая насильственные мѣры на помощь къ такимъ идеямъ, которыя могутъ и должны торжествовать силою своей собственной разумности и внутренней убѣдительности, необыкновенные люди въ значительной степени перестаютъ быть необыкновенными и начинаютъ обнаруживать ту нетерпѣливую близорукость, которой отличаются всѣ ихъ дюжинные современники. Рѣшаясь проливать кровь во имя идеи, необыкновенные люди измѣняютъ своему естественному назначенію, компрометируютъ свою идею, дискредитируютъ ее и замедляютъ ея успѣхи именно тѣми насильственными мѣрами, которыми они стараются доставить ей быстрое и вѣрное торжество.

Великіе дѣятели науки, по самому роду своихъ занятій, всего менѣе могутъ уклониться отъ естественнаго назначенія необыкновенныхъ людей и сбиться въ сторону на скользкую и опасную дорогу насильственныхъ мѣръ. Въ ихъ

дѣятельности нѣтъ мѣста для кровопролитія; ихъ руки совершенно чисты и всегда остаются чистыми; они могутъ только убѣждать, а не привлекать ихъ; съ той минуты, когда великій мыслитель вздумалъ бы употребить насильственные мѣры противъ нечестивцевъ и тупоумныхъ противниковъ своей истинѣ, онъ пересталъ бы быть великимъ мыслителемъ; онъ сдѣлался бы врагомъ безпристрастнаго изслѣдованія и свободнаго мышленія, онъ сталъ бы преступникомъ противъ всего человѣчества, вреднѣйшимъ изъ вреднѣйшихъ, и, по всѣмъ правамъ, занялъ бы въ этомъ почетное мѣсто рядомъ съ испанскими инквизиторами. Представить себѣ Ньютона или Кеплера въ такомъ положеніи, въ которомъ онъ изъ любви къ идеѣ, обязанъ былъ бы уничтожить хоть одного живого человѣка или пролить хоть одну каплю человѣческой крови—гораздо труднѣе, чѣмъ представить себѣ Кеплера и Ньютона, состоя въ числѣ вѣнчаныхъ людей, пользуются своими исключительными правами для того, чтобы уличить встрѣчныхъ и поперечныхъ, или воровать деньги на базарѣ. Но Раскольникову до такой степени хочется превратить всѣхъ великихъ людей въ уголовныхъ преступниковъ, а всѣхъ уголовныхъ преступниковъ въ великихъ людей, что онъ не останавливается даже и передъ самымъ невозможнымъ предположеніемъ.

Что Ньютонъ и Кеплеръ не сдѣлались уголовными преступниками, что они не стояли чуждыми къ чуждому ни одной капли крови и ни одной слезѣ, это, по мнѣнію Раскольникова, счастливый случай. Измѣните условія, при которыхъ они жили и дѣйствовали, поставьте ихъ въ другое положеніе, и вотъ сейчасъ эти самые Кеплеръ и Ньютонъ, оставаясь по прежнему великими мыслителями и благодѣтелями человѣчества, обзаведутся палачами или подкупными убийцами и сдѣлаются страшными кровопроливцами, старшими братьями рядовыхъ бандитовъ. Этимъ предположеніемъ Раскольниковъ доказываетъ совсѣмъ не то, что онъ старается доказать. Этимъ предположеніемъ онъ доводитъ самого себя до очевиднѣйшаго абсурда и наноситъ смертельный ударъ своей странной теоріи. Стараясь придумать для благодѣтелей человѣчества такое положеніе, при которомъ они были бы принуждены рѣшиться на преступленіе, онъ показываетъ самымъ нагляднымъ образомъ, что для настоящихъ благодѣтелей такое положеніе совершенно невозможно. Спрашивается, въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ жизнь одного человѣка, или десяти, или ста человѣкъ, и такъ далѣе, можетъ повліять на распространеніе истинъ, открытыхъ Кеплеромъ и Ньютономъ? Предположите, напримеръ, что одинъ человѣкъ, или десять, или сто, занимаютъ такое высокое положеніе и располагаютъ

нимъ количествомъ матеріальной силы, что и могутъ совершенно запретить чтеніе лекцій и печатаніе книгъ, въ которыхъ излагаются доктрины Кеплера и Ньютона. Значитъ это, что именно этотъ одинъ человекъ, или сять, или сто мѣшаютъ распространенію асительныхъ истинъ? Нисколько не значить. Испрошенію истинъ мѣшаютъ все-таки не люди, которые сопротивляются чтенію лекцій и печатанію книгъ, а все-таки тѣ общія условія, благодаря которымъ такіе люди занимаютъ высокое положеніе и располагаютъ значительнымъ количествомъ матеріальной силы.

Если бы Кеплеръ и Ньютонъ рѣшились дѣйствовать по рецепту Раскольниковъ, и если бы имъ удалось устранить какое нибудь живое препятствіе, то на мѣстѣ этого благополучно устраненнаго препятствія тотчасъ появилось бы другое, на мѣстѣ другого — третье, потому что общія условія, порождающія такіа препятствія, остались бы нетронутыми. Общими условіями оказываются въ подобныхъ случаяхъ човѣчество, умственная неподвижность, робкая безгласность и дикіе предрасудки массы. Противъ этихъ общихъ условій невозможно дѣйствовать насильственными средствами. Стало быть, пока общія условія дѣлаютъ возможнымъ существованіе и дѣятельность сильныхъ противниковъ научной истины, до тѣхъ поръ Кеплеры и Ньютоны должны дѣйствовать не противъ этого существованія, а противъ общихъ условій, которыя могутъ быть измѣнены только путемъ настойчиваго и неутомимаго проповѣдыванія той же самой научной истины. Изъ любви къ этой истинѣ, необыкновенные люди, подобные Кеплеру и Ньютону, становились иногда мучениками, но никакая любовь къ идеѣ никогда не могла превратить ихъ въ мучителей, по той простой причинѣ, что мученія никого не убѣждаютъ, и слѣдовательно, никогда не приносятъ ни малѣйшей пользы той идеѣ, во имя которой они производятся.

Какимъ путемъ Раскольниковъ могъ дойти до основныхъ положеній своей дикой теоріи? Откуда могла залетѣть въ его голову мысль о томъ, что въ каждомъ преступникѣ скрывается неудавшійся, недоуѣданный или возникающій великій человекъ? Откуда взялась у него потребность дѣлать людей на обыкновенныхъ и необыкновенныхъ? Какія вліянія, какіе разговоры съ людьми, или какое чтеніе заставили его, съ одной стороны, дать необыкновеннымъ людямъ такіа обширныя полномочія, въ которыхъ они даже вовсе не нуждаются, и съ другой стороны, осудить обыкновенныхъ людей на унижительную и мучительную роль пушечнаго мяса? Почему наконецъ ему понадобилось сдѣлать то уродливое предположеніе, которое завершаетъ и тотчасъ же опрокидываетъ собою его теорію — то предположеніе, что

при извѣстныхъ условіяхъ Кеплеръ и Ньютонъ могли и даже обязаны были устранять живыхъ людей?

Мнѣ кажется, что Раскольниковъ не могъ заимствовать свои идеи ни изъ разговоровъ съ своими товарищами, ни изъ тѣхъ книгъ, которыя пользовались и пользуются до сихъ поръ успѣхомъ въ кругу читающихъ и размышляющихъ молодыхъ людей. Въ настоящее время нѣтъ ни одного замѣчательнаго мыслителя или свѣдущаго историка, который бы думалъ и доказывалъ публично, что какія бы то ни было личныя дарованія могутъ замедлить или ускорить, или поворотить назадъ, или свернуть въ сторону естественное теченіе историческихъ событій. Чѣмъ внимательнѣе вглядываются изслѣдователи въ смыслъ и послѣдовательное развитіе историческихъ фактовъ, тѣмъ сильнѣе и окончательнѣе убѣждаются они въ томъ, что отдѣльная личность, какими бы громадными силами она ни была одарена, можетъ сдѣлать какое нибудь прочное дѣло только тогда, когда она дѣйствуетъ за одно съ великими общими причинами, то есть съ характеромъ, образомъ мыслей и насущными потребностями данной націи. Когда она дѣйствуетъ наперекоръ этимъ общимъ причинамъ, то ея дѣло погибаетъ вмѣстѣ съ нею или даже при ея жизни. Когда же она, въ своей дѣятельности, соотносится съ духомъ времени и народа, тогда она дѣлаетъ только то, что сдѣлалось бы непременно и помимо ея воли, что настоятельно требуется обстоятельствами минуты, и что, при ея отсутствіи или бездѣйствіи, было бы въ свое время выполнено такъ же удовлетворительно какою нибудь другой личностью, сформировавшейся при тѣхъ же вліяніяхъ и воодушевленной тѣми же стремленіями. Человѣчество, по мнѣнію всѣхъ новыхъ и новѣйшихъ мыслителей, развивается и совершенствуется вслѣдствіе коренныхъ и неистребимыхъ свойствъ своей собственной природы, а никакъ не по милости остроумныхъ мыслей, зарождающихся въ головахъ немногихъ избранныхъ гениевъ. Человѣчество, по мнѣнію тѣхъ-же мыслителей, состоитъ изъ множества отдѣльныхъ личностей, очень неодинаково одаренныхъ природою, но ни одна изъ этихъ личностей, какими-бы богатыми дарами ни осыпала ее природа, не имѣетъ разумаго основанія думать, что ея голова заключаетъ въ себѣ будущность всей ея породы, или по крайней мѣрѣ всей ея націи. Ни одна изъ этихъ личностей, какъ-бы она ни была гениальна, не имѣетъ разумаго основанія, во имя этой будущности или во имя своей гениальности, разрѣшать себѣ такіе поступки, которые вредятъ другимъ людямъ и вслѣдствіе этого считаются невольными для обыкновенныхъ смертныхъ. Чтò хорошо въ простомъ человекѣ, то хорошо и въ гени; чтò дурно въ первомъ, то

дурно также и въ послѣднемъ. Многое можетъ быть объяснено и даже оправдано силою тѣхъ страстей, которыя возбуждаются въ гениальномъ человѣкѣ ожесточеніемъ великой борьбы; но если, поддаваясь вліянію этихъ страстей, гениальный человѣкъ раздавил то, что могло и должно было жить, то историкъ въ этомъ рѣзкомъ и насильственномъ поступкѣ увидитъ все-таки проявленіе слабости, которое должно служить людямъ поучительнымъ предостереженіемъ, а никакъ не выраженіе гениальности и силы, долженствующее вызвать въ другихъ людяхъ восторженное соревнованіе. Словомъ, съ точки зрѣнія тѣхъ мыслителей, которыхъ произведенія господствуютъ надъ умами читающаго юношества, дѣленіе людей на гениевъ, освобожденныхъ отъ дѣйствія общественныхъ законовъ, и на тупую чернь, обязанную работѣ, готовить и добродушно покоряться всякимъ рискованнымъ экспериментамъ, оказывается совершенной нелѣпостью, которая безвозвратно опровергается всей совокупностью историческихъ фактовъ. Знакомясь съ произведеніями этихъ мыслителей и приучаясь смотрѣть на вещи съ ихъ точки зрѣнія, Раскольниковъ отнялъ-бы у себя всякую возможность проводить натянутыя параллели между уголовными преступниками и великими людьми. Онъ убѣдился-бы въ томъ, что эти параллели не принесутъ ни малѣйшей пользы уголовнымъ преступникамъ, во-первыхъ потому, что величіе тѣхъ великихъ людей, которые есlibъ и имѣли съ преступниками нѣкоторыя точки соприкосновенія, само по себѣ очень сомнительно, а во-вторыхъ потому, что тѣ стороны, которыми эти сомнительно великіе люди соприкасаются съ уголовными преступниками, все-таки составляютъ въ ихъ біографіяхъ самыя темныя и грязныя пятна. Читая мыслящихъ историковъ или разсуждая объ историческихъ фактахъ съ умными и работающими студентами-товарищами, Раскольниковъ въ особенности убѣдился-бы въ томъ, что люди, подобные Ньютоу и Кеплеру, никогда не пользовались кровопролитіемъ, какъ средствомъ популяризировать свои доктрины, никогда не были поставлены въ необходимость устранять какихъ-нибудь обскурантовъ, мѣшавшихъ распространенію ихъ идей, даже никогда не могли-бы попасть въ такое странное и униженное положеніе, есlibы даже для нихъ нарочно была придумана и устроена какая-нибудь самая неправдоподобная комбинація.

Теорія Раскольникова не имѣетъ ничего общаго съ тѣми идеями, изъ которыхъ складывается міросозерцаніе современно развитыхъ людей. Эта теорія выработана имъ въ злобѣйшей тишинѣ глубокаго и томительнаго уединенія; на этой теоріи лежитъ печать его личнаго характера и того исключительнаго положенія, которымъ была порождена его апатія. Расколь-

никовъ написалъ свою статью о преступникахъ за полгода до того времени, когда онъ еще старуху, и вскорѣ послѣ того, какъ онъ вышелъ изъ университета по неимѣнію денежныхъ средствъ. Тѣ мысли, которыя выражены въ его статьѣ, были продуктами того самаго мѣждоузерія, которое въ послѣдствіи, истощивъ и капля всю его энергію и извративъ его чистельныя умственныя способности, заставило его обдумать во всѣхъ подробностяхъ, какъ приготовить и успѣшно выполнить грандіозное преступленіе. Когда Раскольниковъ рѣшилъ оставить университетъ, онъ уже, по всей вѣроятности, находился въ очень бѣдственномъ положеніи. Никакое трудолюбіе, никакая ответственность въ исполненіи работъ, никакая трата силы и энергіи не могли доставить ему такого обѣда, который покрывалъ-бы тѣ расходы его молодого организма, на теплую одежду, на платя, которое достаточно защищало-бы его отъ холода, сырости и нечистоты, на теплую жилища, въ которомъ его легкія находили-бы себѣ достаточное количество свѣжаго воздуха.

Жизнь въ каждую данную минуту, на каждомъ шагу, въ каждомъ изъ его мельчайшихъ движеній, накладывала на него свою грязную руку, дразнила и щипала его, терзала и шпыняла его, словомъ, мучила и обижала такъ, какъ толпа шаловливыхъ школьниковъ можетъ обижать и мучить новичка, только-что поступившаго въ училище и еще не успѣвшего зарекомендовать себя товарищамъ съ другой стороны. Раскольникову надо читать или писать — вдругъ у него въ подсвѣчникѣ гаснетъ послѣдній огарокъ, а купить свѣчи не на что. Раскольникову надо идти на урокъ куда-нибудь верстъ за пять — а на улицѣ проливной дождь, который пронизываетъ его до костей скверною тощую шинелишку, а подъ ногами такая вездѣ ходимая грязь, которая съ неудержимой силой врывается въ его ветхіе сапоги; приходитъ къ нему съ этого урока домой голодный, утомленный десяти-верстовымъ путешествіемъ, измученный непонятливостью и капризами избалованнаго мальчишки, съ тяжелой головой, съ мокрими, трясеными и окоченѣвшими ногами — а дома темно и холодно, печка не топлена, изъ окна дуетъ за дверь бранятся какія-то кузарки или шатаются чьи-то ребятишки, въ комодѣ или въ шкапѣ нѣтъ ни одной пары чистыхъ носковъ, самовара не допросишься, да впрочемъ не хочется и спрашивать, потому что уже два дня пять тому назадъ истреблены послѣднія запасы чая и послѣдній кусокъ сахара. Все это конечно мелочи; ко всему этому можно относиться издали съ великолѣпнѣйшимъ стоглавымъ равнодушіемъ; въ отношеніи къ этому можно превосходнѣйшимъ образомъ рекомендовать другому человѣку великодушныя терпѣніе и непоколебимое мужество. Но на

сия жизнь состоитъ изъ такихъ мелочей, когда одна мучительная мелочь слѣдуетъ за другой мелочью, такой же мучительной, когда человѣкъ постоянно попадаетъ съ булавки на булавку, когда этимъ булавкамъ не предвидится конца и когда человѣкъ видитъ и понимаетъ, что, при ужаснѣйшемъ напряженіи всѣхъ своихъ силъ, онъ можетъ только поддерживать этотъ много-булавочный *status quo*, — тогда...тогда невозможно рассчитать заранѣе, въ какихъ безумныхъ плавахъ и въ какихъ безобразныхъ галлюцинаціяхъ выразится уныніе, озлобленіе, отчаяніе и бѣшенство этого человѣка, котораго люди и обстоятельства со всѣхъ сторонъ продолжаютъ колотить булавками въ его незажившія и незаживающія раны.

Какого-же рода мысли должны зарождаться въ головѣ Раскольникова, когда онъ, воротившись съ грошоваго урока, располагается у себя дома, въ своей тѣсной, сырой и душной берлогѣ? Вотъ онъ стащилъ съ себя свою грязненную обувь и завалился на свой узкій и жесткій диванъ, который уже давно старается натереть ему мозоли на ребрахъ и на кострицахъ. Задастъ онъ себѣ самый простой и естественный вопросъ: много-ли онъ получитъ за свою десятиверстную бѣготню, за промоченныя ноги, за испорченные сапоги и за полтора часа возни съ безтолковымъ мальчикомъ, который думаетъ о бабкахъ и о бумажномъ змѣѣ, когда ему надо размышлять о числитель и знаменателѣ и ловить съ почтительной благодарностью каждое слово добросовѣстнаго преподавателя. Оказывается, что получить онъ полтинникъ. Полтинникъ считается красной цѣной въ мірѣ тѣхъ студентовъ, которые по бѣдности бываютъ иногда поставлены въ необходимость на время выходить изъ университета. «Уроки выходили — говорятъ Раскольниковъ Сонѣ, доказывая ей, что, собственно говоря, онъ имѣлъ нѣкоторую возможность содержать себя работой. *По полтиннику предлагали*». Здѣсь о полтинникѣ говорится даже съ уваженіемъ: ужъ если по полтиннику предлагали, такъ значить и толковать нечего; ясное дѣло, что жить было можно и что уныніе было совершенно неумѣстно. Итакъ, получить онъ полтинникъ. Положимъ, что счастье улыбнется ему, и что судьба пошлетъ ему, круглымъ счетомъ, по такому-же уроку на каждый день; въ мѣсяцъ это составитъ тридцать уроковъ, а на деньги пятнадцать рублей. Дальше этого предѣла не могутъ простираться самыя смѣллыя и размашистыя его мечты. Уроки, даже такіе невыгодные, достаются съ трудомъ. На каждый урокъ нѣбось по нѣскольку голодныхъ претендентовъ. Добыть урокъ значить одержать немаловажную побѣду надъ двумя, тремя менѣе счастливыми соперниками. Раскольниковъ, какъ особеннымъ счастіемъ, котораго онъ въ свое время не умѣлъ оценить по достоинству, —

хвалится тѣмъ, что ему *уроки выходили и по полтиннику предлагали*. Итакъ, пятнадцать рублей въ мѣсяцъ — Геркулесовы столбы доступнаго ему благосостоянія, такіе Геркулесовы столбы, до которыхъ онъ быть можетъ не доплыветъ втеченіе цѣлаго года, и на которыхъ ему придется, по всей вѣроятности, остановиться надолго, быть можетъ лѣтъ на пять или на шесть. И это лучший изъ возможныхъ и правдоподобныхъ исходовъ. И при этомъ лучшимъ исходѣ онъ все-таки видитъ передъ собой необозримо длинный рядъ такихъ сѣрыхъ и темныхъ дней, въ которыхъ каждая минута будетъ отмѣчена какимъ-нибудь чувствительнымъ лишеніемъ, какой-нибудь крошечной болью, какимъ-нибудь мелкимъ столкновеніемъ, мучительно напоминающимъ гордому, страстному, умному и впечатлительному человѣку, что всѣ радости жизни, все то, что онъ умѣетъ понять и оценить своимъ тонкимъ и гибкимъ умомъ, все то, чего онъ умѣетъ желать всѣми силами своего кипучаго темперамента, что всѣ эти радости и наслажденія существуютъ и почти навѣрное всегда будутъ существовать не для него.

А что же будетъ при менѣе счастливомъ исходѣ? И какъ возможенъ, какъ ужасно правдоподобенъ, какъ почти неизбеженъ такой менѣе счастливый исходъ! Вотъ онъ чувствуетъ, какъ у него трещитъ голова и холодѣютъ промоченныя ноги и происходитъ въ горлѣ и въ груди что-то такое, предвѣщающее сильный простудный кашель. Что же это будетъ? Долго-ли выдержать его здоровье? Удастся-ли ему пересилить себя и переломить начинающуюся болѣзнь? Что тогда? Что будетъ, если онъ свалится недѣли на три? Какъ онъ потомъ снова поднимется на ноги и обзаведется новыми работами? И это жизнь! Голодать, забнуть, задыхаться въ конурѣ, отказывать себѣ во всякомъ маломальски пріятномъ ощущеніи, тратить силы и время на бессмысленную, ненавистную и неблагоприятную работу, и при этомъ еще каждую минуту бояться, что вотъ-вотъ все это подъ тобой подломится, и полетишь ты внизъ, въ какую-то темную пропасть, на днѣ которой тебя ожидаетъ мучительная голодная смерть. Такого рода размышленіямъ Раскольниковъ долженъ былъ предаваться каждый разъ, когда онъ оставался наединѣ съ самимъ собою. А оставался онъ наединѣ съ самимъ собою очень часто, потому что онъ, по основнымъ свойствамъ своего характера, не любилъ сближаться съ людьми. Чѣмъ мрачнѣе становилось его душевное настроеніе, чѣмъ ближе приступали къ нему нищета и отчаяніе, чѣмъ сильнѣе онъ нуждался въ дружеской помощи, въ братскомъ сочувствіи или даже просто въ веселомъ и беззаботномъ разговорѣ съ бодрыми и умными товарищами, въ такомъ разговорѣ, который заставилъ бы

его забыть на минуту булавки настоящего, мелочи душевной ковуры, хозяйской кухни и хозяйского ворчанья, — тѣмъ упорѣе онъ отворачивался отъ людей, запирался въ своей берлогѣ и углублялся въ свои горькія размышленія, изъ которыхъ ничего не могло выйти, кромѣ безсмыслицы въ теоріи и грязнаго паденія на практикѣ. Исходной точкой для такихъ горькихъ размышленій могла служить каждая ничтожнѣйшая мелочь: то уличная грязь, напоминавшая Раскольникову, что калоши его давно разваливаются, то новая прорѣха, усмотрѣнная на сюртукѣ или на пальто, то кусокъ говядины, поданный ему на обѣдъ и похожій на связку мочалы, то заношенная рубашка, которую нечѣмъ было замѣнить. А въ результатъ размышленій всегда получалось одно и то же бѣшеное проклятiе противъ такой жизни, которая не даетъ человѣку ничего, кромѣ горя и мучительнаго сознанія собственного безсилія. На этомъ результатѣ такой раздражительный и самолюбивый человѣкъ, какъ Раскольниковъ, не могъ остановиться навсегда. Мысль его непремѣнно должна была пойти дальше. Онъ долженъ былъ, въ припадкѣ бѣшенства и отчаянія, задать себѣ вопросъ: дѣйствительно ли онъ такъ безсильнъ, какъ это ему кажется? Не отъ того ли происходитъ его безсиліе, что онъ самъ считаетъ себя безсильнымъ? Не преувеличиваетъ ли онъ крѣпость тѣхъ заборовъ, которые отдѣляютъ его отъ теплаго и свѣтлаго міра матеріальнаго благосостоянія и разнообразно-полнаго наслажденія всѣми благами жизни? Не отъ того ли эти заборы кажутся ему такими высокими и крѣпкими, что ему никогда не приходило въ голову ни перепрыгнуть черезъ нихъ, ни проломить въ нихъ какую нибудь лазейку? Не отъ того ли его положеніе кажется ему безвыходнымъ, что онъ нарочно отвертывается отъ нѣкоторыхъ выходовъ, по недостатку рѣшимости и умственной смѣлости? Не подумать ли объ этихъ выходахъ? Не попробовать ли? Не рискнуть ли? Подумать во всякомъ случаѣ не мѣшаетъ. Человѣкъ долженъ быть неустрашимымъ въ области мысли, и кромѣ того отъ размышленій никакой бѣды произойти не можетъ.

Такимъ образомъ мысль Раскольникова вступила на новый путь изслѣдованія, на такой путь, который могъ открыться передъ ней только тогда, когда Раскольниковъ, озлобленный лишеніями и утомленный неблагоприятной работой, отвернулся отъ своихъ товарищей, уединился въ свою конуру, гдѣ стѣны и потолоки *тѣснили душу и умъ*, и распродалъ или забросилъ свои книги и тетради. Ни отъ товарищей, ни изъ книгъ Раскольниковъ не могъ добыть себѣ ту дикую мысль, что, кромѣ упорнаго труда, существуютъ еще какія нибудь другія удобныя средства выбиться изъ затруд-

нительнаго положенія. Эта мысль, къ которой отнеслись-бы съ презрѣніемъ или съ саркастической всѣ товарищи, эта мысль, къ которой товарищи и авторы книгъ, прочитавшіе быльничковъ, увидали-бы продуктъ бѣснаго настроенія, эта мысль могла сдѣлаться укорениться только тогда, когда некому было смотрѣть на нее со стороны. Эта мысль не была продуктомъ той теоріи, которую я разсуждалъ выше, а напротивъ того, ея зародкомъ и основаніемъ. Вся теорія развилась изъ этой мысли, а эта мысль родилась въ Раскольниковѣ потому, что мучительность его положенія превышала размѣры его силъ и мужества.

Чѣмъ пристальнѣе Раскольниковъ размышлялъ и вдумывался въ свое положеніе, тѣмъ ненавистнѣе становился ему правильный и упорный трудъ, цѣной котораго онъ могъ вырваться изъ себя только жалкое прозябаніе, переболѣнное всевозможными лишеніями, страданіями и утомленіями. Вѣра въ спасительность труда была подорвана. Утомительный трудъ, съ его тщеславнымъ вознагражденіемъ, сталъ казаться Раскольникову печатью проклятiя и отверженія, которую судьба кладетъ на тупоумныхъ трусливыхъ людей, неумѣющихъ или нежелавшихъ хватать насиліемъ или обманомъ то, что можетъ понасться имъ подъ руку и улучшить ихъ положеніе. Раскольниковъ началъ чувствовать и сознавать, что мысль о быстрой и легкой наживѣ какими-бы то ни было средствами влѣзаетъ въ его умъ и овладѣваетъ всѣмъ его существомъ. На первыхъ порахъ эта мысль должна была удивить, озадачить и даже испугать нашего героя. Она должна была бурлить въ немъ мучительную внутреннюю борьбу. Раскольниковъ могъ почувствовать изощреніе за эту мысль довольно сильное презрѣніе, но могъ сказать себѣ, что онъ просто не вынесъ тяжелой борьбы съ обстоятельствами, раскисъ, упалъ духомъ, опустился и позволилъ себѣ дойти до самаго края грязной пропасти. Этотъ взглядъ былъ-бы конечно единственнымъ правильнымъ взглядомъ. Но онъ былъ возможенъ только до тѣхъ поръ, пока у Раскольникова еще оставалось въ наличности достаточное умственной трезвости и силы характера, чтобы удержаться отъ окончательнаго паденія. За этимъ строгимъ и вѣрнымъ взглядомъ на самого себя должна была послѣдовать крутая реакція, вслѣдствіе которой лежаніе на диванѣ и размышленіе о быстрой наживѣ должны были смѣниться взрывомъ страстной любви ко всякой честной работѣ, какъ-бы ни была она утомительна, безсмысленна и неблагоприятна. Но силы Раскольникова уже были истощены. Работа была ему противна. Мысль о легкой и быстрой наживѣ находила себѣ мало отпора въ его ослабѣвшемъ умѣ и легко одерживала надъ побѣду за другой надъ тѣми возраженіями, ко-

ерья она встрѣчала себя въ остаткахъ его прежняго юношески-честнаго образа мысли. Эта мысль все-таки была въ его головѣ чѣмъ-то совершенно новымъ и неприличнымъ, а Раскольниковъ былъ слишкомъ тонкимъ аналитикомъ, чтобы не замѣтить въ себѣ присутствія этого новаго и притомъ такого важнаго элемента. А замѣтивъ его, онъ непремѣнно долженъ былъ задать себѣ вопросъ: томъ, какъ-же ему относиться къ этому новому элементу, дружелюбно или враждебно, съ уваженіемъ или съ презрѣніемъ, со страхомъ или съ надеждой. Съ одной стороны, враждебныя отношенія Раскольникова къ этому новому элементу никакъ не могли установиться прочно и окончательно, потому что, ненавидя и презирая такую мысль, которая завоевала себѣ господство надъ всѣми его умственными способностями, Раскольниковъ былъ-бы поставленъ въ необходимость ненавидѣть и презирать самого себя. Съ другой стороны, эти враждебныя отношенія, на которыхъ умъ Раскольникова никакъ не могъ остановиться и успокоиться, были неизбежны въ началѣ его знакомства съ новой мыслью, именно потому, что эта мысль была уже черезчуръ нова и составляла слишкомъ рѣзкій и неожиданный диссонансъ со всѣмъ его прежнимъ юношескимъ и студенческимъ пониманіемъ жизни. Эти враждебныя отношенія были для Раскольникова настолько же мучительны, насколько и неизбежны; ему надо было во что бы то ни стало покончить въ самомъ себѣ тотъ внутренний разладъ, который былъ порожденъ естественной враждебностью его отношеній къ самой сильной и упорной изъ его душевныхъ мыслей; разладъ этотъ можно было уничтожить, или уничтоживъ эту новую мысль, или передѣлавши тѣ понятія, которыми обуславливались враждебныя отношенія къ ней.

Первая изъ этихъ операций была для Раскольникова неисполнима; новая мысль отличалась крѣпостью и живучестью; ее поддерживали каждый день и каждую минуту всѣ тѣ мучительныя мелочи, изъ которыхъ складывается вся жизнь бѣднаго человѣка. Вторая операція была полетче. Тонкій и гибкій умъ Раскольникова, закаленный въ школѣ уединеннаго размышленія и самаго внимательнаго психологическаго анализа, былъ въ высшей степени способенъ открывать въ людяхъ, въ предметахъ и въ понятіяхъ самыя неожиданныя, а пожалуй даже и совсѣмъ несуществующія стороны. Этимъ умомъ нетрудно было выстроить такіе эшафады, съ вершины которыхъ наблюдателю представляются совершенно новыя и даже въ значительной степени фантастическіе ландшафты. Этотъ казуистическій умъ, пущенный въ ходъ и направленный въ извѣстную сторону какой-нибудь настоятельной внутренней потребностью хозяина, могъ съ изумительнымъ успѣхомъ из-

готовить на заказъ такую замысловатую зрительную трубу, такую сложную систему призмъ, цвѣтныхъ стеколъ и металлическихъ зеркалъ, благодаря которой черное могло показаться — бѣлымъ, зеленое — краснымъ, глупое — умнымъ, вредное — полезнымъ, вялое и слабое — сильнымъ и великимъ. — Какъ процессъ такой работы, которая должна была извратить такимъ образомъ очертанія и краски всѣхъ предметовъ, такъ и результаты ея были одинаково лестны для раздражительнаго и ненасытнаго самолюбія нашего героя. Если-бы во время процесса этой работы самъ Раскольниковъ вдругъ остановился и задать себѣ вопросъ: «что-же я дѣлаю теперь?» — то у него немедленно явился-бы такой отвѣтъ, который могъ-бы не только успокоить его, но даже пробудить въ немъ удивительно пріятное чувство гордости и самодовольства. Я, могъ онъ отвѣтить себѣ на свой недоброжелательный и недоувѣрчивый вопросъ, я пересматриваю, провѣряю и перерабатываю силами собственнаго ума тѣ рѣшенія, которыми удовлетворялись до сихъ поръ самыя умныя и замѣчательныя представители человѣчества. Я недоволенъ этими рѣшеніями и стараюсь дать себѣ добросовѣстный отчетъ въ причинахъ этого недовольства. Я чувствую въ себѣ присутствіе титаническихъ силъ, и эти силы побуждаютъ меня предпринять такую громадную и многосложную работу, которая никогда не грезилась ни одному изъ моихъ честныхъ, но недалекихъ товарищей.

Доведя работу до конца, то есть додумавшись до такихъ результатовъ, которые позволяли ему ненавидѣть упорный и неблагодарный трудъ и относиться съ любовью и съ уваженіемъ къ мысли о быстрой и легкой наживѣ, Раскольниковъ могъ скрестить руки на груди и насладиться тѣмъ чувствомъ восторженнаго самодовольства, съ которымъ художникъ осматриваетъ свое только-что оконченное и вполне удавшееся произведеніе. Раскольникову это произведеніе было особенно дорого, потому что въ немъ заключалось оправданіе и превознесеніе его собственной личности. Если-бы Раскольникову пришлось остановиться на противоположныхъ результатахъ, если-бы онъ увидѣлъ себя въ необходимости осудить ту новую мысль, изъ которой родилась впоследствии *проклятая мечта*, то ему надо было-бы во всякомъ случаѣ выпрашивать у себя прошенія и каяться передъ собой въ позорной слабости уже за одно то, что такая грязная мысль могла родиться въ его умѣ, обратить на себя его серьезное вниманіе и возбудить въ немъ смятеніе и внутреннюю борьбу. Кромѣ того ему надо было сознаться, что онъ нуждается въ посторонней поддержкѣ, что ему необходимо обмѣниваться мыслями съ товарищами и подкрѣплять себя въ борьбѣ съ обстоятельствами ихъ дружескими совѣтами, ему надо было-бы убѣдиться

въ томъ, что одиночество можетъ сдѣлаться для него вреднымъ и даже опаснымъ. Напротивъ того, додумавшись до оправданія своей новой мысли, Раскольниковъ совершенно избавлялъ себя отъ всякихъ признаній и покаяній, невыносимыхъ для его щекотливаго самолюбія. Онъ могъ сказать себѣ, что онъ умнѣе и смѣлѣе всѣхъ своихъ товарищей, и что ему необходимо было уединиться отъ нихъ и сосредоточиться для того, чтобы отрѣшиться отъ ихъ предразсудковъ и возвыситься до болѣе вѣрнаго взгляда на самые важные вопросы частной и общественной нравственности.

Всю свою теорію Раскольниковъ построилъ исключительно для того, чтобы оправдать въ собственныхъ глазахъ мысль о быстрой и легкой наживѣ. Онъ почувствовалъ желаніе прибѣгнуть, при первомъ удобномъ случаѣ, къ безчестнымъ средствамъ обогащенія. Въ его умѣ родился вопросъ: чѣмъ объяснить себѣ это желаніе? Силой или слабостью? Объяснить его слабостью было-бы гораздо проще и вѣрнѣе, но за то Раскольникову было гораздо пріятнѣе считать себя сильнымъ человѣкомъ и поставить себѣ въ заслугу свои позорныя размышленія о путешествіяхъ по чужимъ карманамъ. Объясняя все дѣло слабостью и дѣлаясь такимъ образомъ для самого себя предметомъ презрительнаго и оскорбительнаго состраданія, Раскольниковъ нисколько не разошелся-бы во взглядахъ съ своими товарищами и поставилъ-бы себя въ необходимость уничтожить опасную мысль, чтобы не лишиться правъ на собственное уваженіе. Усматривая, напротивъ того, въ позывѣ къ преступленію признаки смѣлаго ума и сильнаго характера, Раскольниковъ пошелъ по совершенно оригинальной дорогѣ. Преступникъ, думалъ онъ, дѣлается преступникомъ потому, что чувствуетъ неудовлетворительность тѣхъ учреждений, подъ господствомъ которыхъ ему приходится жить, тѣхъ законовъ, на основаніи которыхъ онъ будетъ судить, и тѣхъ общепринятыхъ понятій, во имя которыхъ общество вооружается противъ его поступка. Смѣшавши такимъ образомъ тѣ преступленія, которыя совершаются на основаніи поговорки *своя рубашка къ телу ближе*, съ тѣми, на которыя человѣкъ рѣшается подъ вліяніемъ восторженной любви къ идеѣ—Раскольниковъ продолжалъ философствовать въ томъ-же направленіи, и доказалъ себѣ безъ особеннаго труда, что всякое движеніе впередъ, всякое усовершенствованіе въ области общественной жизни, само по себѣ, составляетъ преступленіе, потому что оно возможно только при нарушеніи существующаго закона. А такъ какъ родъ человѣческій давнымъ давно исчезъ-бы съ лица земли, если-бы онъ не подвигался впередъ и не улучшалъ постоянно своихъ учреждений, то и выходитъ, что преступленія въ высшей степени полезны

для человѣчества, и что преступники являются величайшими благодѣтелями существующихъ обществъ, которыя только изъ нихъ спасаются отъ ужасныхъ послѣдствій гнилаго застоя. Всѣ преступники оказали въ какой-либо степени великими людьми, всѣ же люди оказались до нѣкоторой степени преступниками, и оригинальная теорія закончилась блистательнымъ маневромъ, посредствомъ котораго было доказано близкое и вѣрное родство Кеплера и Ньютона съ убійцами и бителями.

Эту теорію никакъ нельзя считать припискою къ преступленію, такъ точно какъ галлюцинація большого невозможно считать за причину жизни. Эта теорія составляетъ только ту форму въ которой выразилось у Расколькова извращеніе и извращеніе умственныхъ способностей. Она была простымъ продуктомъ тѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, съ которыми Раскольниковъ принужденъ былъ бороться, и которыя и его до изнеможенія. Настоящей и единственной причиной являются все-таки тяжелыя обстоятельства, пришедшіяся не по силѣ раздражительному и нетерпѣливому герою, которому легче было разомъ броситься въ пасть, чѣмъ выдерживать, впродолженіи несколькихъ мѣсяцевъ или даже лѣтъ, темную и изнурительную борьбу съ грубыми и мелкими лишеніями. Преступленіе случилось не потому, что Раскольниковъ, путемъ своихъ философствованій, убѣдилъ себя въ законности, разумности и необходимости противъ того, Раскольниковъ сталъ философствовать въ этомъ направленіи и убѣдился только потому, что обстоятельства натолкнули его на преступленіе.

Теорія Расколькова сдѣлана нѣтъ какъ. Сооружая эту теорію, Раскольниковъ былъ безпристрастнымъ мыслителемъ, искавшимъ чистую истину и готовымъ признать эту истину, въ какомъ-бы неожиданномъ же непріятномъ видѣ она ему ни представилась. Онъ былъ кляузникомъ, подбирающимъ и придумывающимъ натянутыя доказательства подстроивающимъ искусственныя сопоставленія единственно для того, чтобы выиграть за ный процессъ самаго сомнительнаго доказательства. Дѣйствуя такимъ образомъ, чуждая надъ всѣмъ процессомъ своего мышленія отражимое и подавляющее вліяніе предъидеи, Раскольниковъ былъ расположенъ сдѣлать къ своей теоріи съ крайнимъ пріемомъ. Ближайшія послѣдствія совершившаго убійства показали, до какой степени необходимо было это недоверіе. Когда Раскольниковъ, убивши старуху и ея сестру, чувствовалъ сильнѣйшую потребность успокоиться, онъ уже и не подумалъ искать успокоенія въ своей теоріи. Когда онъ

льше нуждался въ дружескомъ сочувствіи, тогда откровенный разговоръ съ близкимъ и надежнымъ человѣкомъ могъ поставить его на ноги и обновить всѣ его силы, ему даже и въ голову не приходило, что убійство, оправданное имъ словатой теоріей, можетъ быть рассказано ему-бы то ни было изъ его товарищей, друзей или ближайшихъ родственниковъ. Онъ даже и не попробовалъ подѣлиться къ кѣмъ-бы то ни было своими мыслями объ убійствѣ и грабежѣ, какъ о грандіозномъ протестѣ противъ несовершенствъ общественной организаціи. Онъ никого не пробовалъ убѣждать въ томъ, что онъ, Раскольниковъ, въ качествѣ будущаго Наполеона или Ньютона, имѣетъ право, поговоривши наединѣ съ собственной совѣстью и получивши отъ нея или давши ей надлежащія разрѣшенія, пагаты черезъ тѣ препятствія, которыя отдѣляютъ его отъ матеріальнаго благосостоянія и отъ блестящей карьеры. А между тѣмъ у него была сестра, которая въ значительной степени была похожа на него по складу ума и характера, и которая въ значительной степени способна понять и усвоить себѣ всякую новую истину. У него, кромѣ того, былъ товарищъ, готовый идти за него въ огонь и въ воду, и также способный откликнуться съ полнымъ сочувствіемъ на всякую свѣжую и вѣрную мысль. Еслибы Раскольниковъ сколько нибудь вѣровалъ самъ въ свою теорію, то онъ конечно сдѣлалъ бы по крайней мѣрѣ попытку просвѣтить и обратить на путь истины такихъ людей, какъ Дуня и Разумихинъ, тѣмъ болѣе, что открывшись имъ, убѣдивши ихъ, онъ могъ пріобрѣсти въ ихъ лицѣ драгоцѣнныхъ союзниковъ, нравственная поддержка которыхъ была для него въ высшей степени необходима. Но Раскольниковъ, послѣ совершенія убійства, держалъ себя совѣсть не какъ фанатикъ, увлекшійся ложной идеей и дошедшій въ своихъ поступкахъ до крайнихъ предѣловъ логической послѣдовательности, а просто какъ мелкій, трусливый и слабопервный мошенникъ, которому крупное злодѣяніе приходится не по силамъ, и который, желая во что бы то ни стало схоронить концы, ежеминутно теряется отъ страха и на каждомъ шагу выдаетъ себя встрѣчнымъ и поперечнымъ своей лихорадочной суетливостью.

Раскольниковъ убилъ старуху для того, чтобы ограбить ее. Однакоже эта послѣдняя цѣль осталась недостигнутой. Тотчасъ послѣ совершенія убійства, Раскольниковъ овладѣлъ ключами старухи и отправился въ ея спальню, но его волненіе было до такой степени сильно, что онъ ни за что не умѣлъ взяться, не ухитрился отпереть почти ни одного замка, набивъ себѣ карманы какими-то заложенными вещами, которыя потомъ ему пришлось бы сбывать за полцѣны съ громадной опасностью, и не нашелъ ни билетовъ, ни наличныхъ денегъ,

которыхъ однако было очень много, и которыя преспокойно лежали въ верхнемъ ящикѣ комода. Какъ только убійство совершилось, Раскольниковъ рѣшительно забылъ о своемъ желаніи обогатиться, забылъ о томъ, что именно это желаніе заставило его взяться за топоръ, забылъ также о тѣхъ подвигахъ іезуитской изобрѣтательности и изворотливости, которые были имъ совершены для того, чтобы оправдать въ собственныхъ глазахъ это предосудительное желаніе. Всѣ его мысли, всѣ его усилія направились исключительно къ тому, чтобы избавить себя отъ преслѣдованій и скрыть всѣ слѣды преступленія. Въ общемъ результатѣ получилась, такимъ образомъ, возмутительная безсмыслица. Убійство оказалось совершенно безцѣльнымъ. На другой день послѣ убійства Раскольниковъ всѣми силами своего существа желалъ воротиться назадъ къ тому положенію, которое наканунѣ убійства казалось ему невыносимымъ. Онъ понималъ ясно, что это желаніе неисполнимо, и невыносимое положеніе, изъ котораго онъ отыскалъ себѣ такой оригинальный выходъ, стало представляться ему какимъ-то навсегда потеряннымъ раемъ.

Послѣ убійства Раскольниковъ унесъ къ себѣ домой туго набитый замшевый кошелекъ и нѣсколько коробочекъ съ золотыми и серебряными вещами. Эти предметы были единственными плодами преступленія. Ими ограничивалась все добыча убійцы. Между тѣмъ Раскольниковъ, очнувшись на другой день утромъ отъ мучительнаго забытья, сталъ думать не о томъ, какъ воспользоваться скудными трофеями побѣды, а только о томъ, какъ бы ихъ выбросить поскорѣе и куда нибудь подальше. Онъ пошелъ къ Екатерининскому каналу съ твердымъ намѣреніемъ бросить въ воду все: и вещи, и кошелекъ, котораго онъ не раскрывалъ и котораго содержаніе оставалось ему совершенно неизвѣстнымъ. Не исполнилъ онъ этого намѣренія только потому, что на набережной и возлѣ самой воды было слишкомъ много народа. Кончилось тѣмъ, что онъ всю свою добычу сложилъ подъ камень, въ пустомъ огороженномъ мѣстѣ, гдѣ лежали какіе-то матеріалы. Освободившись отъ этой добычи, онъ почувствовалъ приливъ *сильной, едва выносимой* радости, точно будто эта добыча свалилась къ нему въ карманъ противъ его воли, какъ сваливается на человѣка неожиданное несчастье, точно будто не онъ самъ добывался ея, точно будто онъ изъ за нея не морочилъ самого себя софизмами, не приневоливалъ себя къ отвратительному поступку и не подвергалъ себя самымъ серьезнымъ опасностямъ. Вышло что-то похожее на работу Пенелопы. Сначала человѣкъ старался и мучился, чтобы пріобрѣсти себѣ добычу; а потомъ, какъ только добыча оказалась у него въ рукахъ, онъ началъ стараться о томъ, чтобы какъ

нибудь избавиться отъ этой самой добычи. Это обстоятельство блистало такой яркой уродливостью, что оно бросилось въ глаза даже самому Раскольникову, не смотря на то, что всѣ его умственные способности находились въ совершенномъ изнеможеніи. «Если дѣйствительно, подумалъ онъ, все это дѣло сдѣлано было сознательно, а не по дурачки, если у тебя дѣйствительно была опредѣленная и твердая цѣль, то какимъ же образомъ ты до сихъ поръ даже и не заглянулъ въ кошелекъ и не знаешь, что тебѣ досталось, изъ за чего всѣ муки принялъ и на такое подлое, гадкое, низкое дѣло сознательно шелъ? Да вѣдь ты въ воду его хотѣлъ сейчасъ бросить, кошелекъ-то, вмѣстѣ со всѣми вещами, которыхъ тоже еще не видалъ. Это какъ же?»

Раскольниковъ принужденъ сознаться, что все это дѣло было сдѣлано по дурачки. Онъ даже самъ не понималъ, зачѣмъ онъ его сдѣлалъ. Онъ видитъ только, что ему приходится, такъ или иначе, нести на себѣ всѣ послѣдствія этого дурацкаго дѣла. Эти послѣдствія оказываются очень мучительными. Подробная исторія этихъ мучительныхъ послѣдствій наполняетъ собой почти весь романъ Достоевскаго; она начинается со второй части и оканчивается только вмѣстѣ съ эпилогомъ. Я постараюсь теперь разобъяснить вопросъ: въ чемъ именно состоятъ мучительность этихъ послѣдствій?

Прежде всего Раскольниковъ просто боится уголовного наказанія, которое изломаетъ всю его жизнь, выброситъ его изъ общества честныхъ людей и навсегда закроетъ ему дорогу къ счастливому, респектабельному и комфортабельному существованію. Съ той самой минуты, какъ онъ увидѣлъ передъ собой на полу окровавленный и обезображенный трупъ старухи, ему кажется, что его подозрѣваютъ, что за нимъ слѣдятъ, что въ его квартирѣ немедленно станутъ производить обыскъ, что его самого схватятъ, посадятъ подъ арестъ и начнутъ судить. Зная за собой такое важное дѣло, которое должно возбудить толки во всемъ городѣ и поднять на ноги всю мѣстную полицію, Раскольниковъ понимаетъ, что ему необходимо соблюдать во всѣхъ своихъ поступкахъ и словахъ самую утонченную осторожность, необходимо взвѣшивать каждый шагъ, обдумывать каждое слово, контролировать движенія всѣхъ мускуловъ тѣла и лица, и устроить все это такъ, чтобы никому не бросалась въ глаза эта сдержанность и расчитанность, чтобы въ его хладнокровіи и спокойствіи никто не видалъ и не предполагалъ ничего искусственнаго и натянутого, и чтобы вообще, во всей его личности и во всемъ его поведеніи не было ничего похожего на таинственность и загадочность, способную обратить на себя вниманіе опытныхъ наблюдателей. Эта задача, уже достаточно трудная сама по себѣ, усложняется тѣмъ обстоятельствомъ, что человѣкъ, нахо-

дящійся въ положеніи Раскольниковъ, естественнымъ образомъ чувствуетъ непроизвольное влеченіе присматриваться ко всѣмъ окружающимъ людямъ и прислушиваться къ ихъ словамъ съ той спеціальной цѣлью, чтобы одновременно увидать или услышать подготавливающееся нападеніе и приближающуюся опасность.

Эту тревожную внимательность, эту болезненную чуткость къ извѣстнымъ разговорамъ и подозрительную способность принимать брошенные слова за зловѣщія или оскорбительныя намеки надо скрывать самымъ таинственнымъ образомъ, и скрывать такъ, чтобы это скрывать также оставалось совершенно естественнымъ. На каждомъ шагѣ Раскольниковъ долженъ задавать себѣ вопросъ: что сдѣлалъ на моемъ мѣстѣ человѣкъ совершенно чуждый, такой человѣкъ, которому нечего бояться и нечего бояться? Какъ бы онъ сказалъ такое-то слово? Почувствовалъ ли бы онъ въ этомъ словѣ что нибудь странное? Принялъ бы онъ его за неумѣстный намекъ на совершенно неизвѣстное ему событіе? Заинтересовался ли бы онъ этимъ намекомъ настолько, чтобы потребовать себѣ объясненія? Какъ тономъ заявилъ бы онъ это требованіе: спокойно-недоумѣвающимъ, или сурово-обвинительнымъ? Всѣ эти и многіе другіе вопросы надо ставить и рѣшать ежеминутно, по каждой ничтожнѣйшей встрѣчѣ, при каждомъ пустѣйшемъ разговорѣ. На постановку и рѣшеніе этихъ и другихъ подобныхъ вопросовъ отпускаясь каждый разъ по секундѣ времени, эти операціи надо было производить прямо въ глаза любознательному и словохливному собесѣднику, не допуская на собственную физиономію выраженія задумчивости и нервозности, поддерживая начатый разговоръ спокойными и толковыми репликами и бесѣдуя совершенно свободно и естественно переходя изъ одной темы въ другую. Надо было тщательно воздержаться отъ фальшивыхъ нотъ, и при этомъ еще тщательно скрывать тѣ страшныя усилія, цѣною которыхъ покупается это отсутствіе диссонансовъ. Раскольниковъ долженъ былъ, силами одного ума, вести постоянную борьбу съ цѣлымъ обществомъ, и вести ее такъ, чтобы само существованіе оставалось совершенно естественнымъ для его многочисленныхъ, опытныхъ хладнокровныхъ противниковъ, которые не рисковали въ этой борьбѣ ничѣмъ, и тѣмъ какъ у него вся жизнь была поставлена на карту. Для Раскольникова такая борьба была труднѣе, чѣмъ для кого либо другого, и тѣмъ какъ именно его тонкая наблюдательность и его способность внимательно вглядываться въ людей и отгадывать ихъ затаенныя намеренія.

Смотря внимательно на другихъ и проникая въ нихъ насквозь своимъ инквизиторскимъ взглядомъ, Раскольниковъ естественнымъ обра-

ль расположенъ думать, что и другіе смотрятъ и по крайней мѣрѣ могутъ смотрѣть такъ же внимательно на него самого и такъ же успѣшно онизиываютъ или по крайней мѣрѣ могутъ прозвать его самого своими инквизиторскими взглядами. Сказавши какое нибудь слово или сдѣлавши кое нибудь движеніе, Раскольниковъ въ ту же минуту становился на мѣсто своего собесѣдника, матрировался съ его точки зрѣнія въ сказанное слово или сдѣланное движеніе, подмѣчалъ въ немъ все, что можно было признать искусственнымъ, ставилъ себя въ упрекъ то, что казалось ему ошибкой, считалъ себя до нѣкоторой степени скомпрометированнымъ, злился на себя за недостатокъ виртуозности въ выполненіи роли и, сосредоточивая такимъ образомъ свое вниманіе на подробной критикѣ того, что уже было сдѣлано, терилъ способность слѣдить съ необходимой внимательностью за тѣмъ, что вѣдалось въ текущую минуту и что надо было вѣдать въ ближайшее время. Такимъ образомъ онъ прорывался, дѣлалъ новую ошибку, гораздо ольѣ крупную, чѣмъ предыдущую, опять ложился и казнилъ себя за опрометчивость, волновался и самъ первый замѣчалъ свое неумѣстное изступленіе, доводилъ себя до изступленія этимъ тщательнымъ подглядываніемъ за самимъ собою, и наконецъ, съ досады, съ горя, со страха, не зная чѣмъ поправить мелкія оплошности, замѣтныя только для его собственнаго, болѣзненно-зоркаго взгляда, дѣлалъ такую яркую эксцентричность, которая бросалась въ глаза самому близорукому и равнодушному свидѣтелю. Словомъ, Раскольниковъ былъ слишкомъ хорошимъ критикомъ, чтобы быть хорошимъ актеромъ. Превосходно понимая всѣ мельчайшіе недостатки своей игры, онъ требовалъ отъ себя съ этой стороны такого идеальнаго совершенства, которое по всей вѣроятности было недостижимо не только для него, но даже и для человѣка съ воловьими нервами. Видя, что это идеальное совершенство остается недоступнымъ, онъ начиналъ думать, что все пропало, и подъ влияніемъ этой мысли обнаруживалъ такую тревогу, которая рано или поздно должна была обратиться на себя общее вниманіе.

Способность къ микроскопическому анализу вредила Раскольникову не только потому, что онъ слишкомъ тщательно разбиралъ свои собственные поступки и слова, но также и потому, что онъ, пользуясь этой способностью на каждомъ шагу, подвергалъ такому-же тщательному разбору слова и поступки другихъ людей, со стороны которыхъ онъ могъ ожидать прямого или косвеннаго нападенія. Благодаря своему замѣчательному уху и объяснять, разбирать, комментировать, повертывать каждое слово; благодаря своей способности восходить отъ сказаннаго слова къ тому внутреннему побужденію, подъ влияніемъ котораго оно было произ-

несено, Раскольниковъ очень часто извлекалъ изъ словъ своихъ собесѣдниковъ больше, чѣмъ сколько въ нихъ заключалось. Ему случалось видѣть намекъ самаго зловѣщаго свойства тамъ, гдѣ слово было произнесено безъ всякой задней мысли; случалось принимать оборонительныя мѣры противъ нападенія въ то время, когда собесѣдникъ и не думалъ о возможности сдѣлаться его противникомъ. Понятное дѣло, что при усиленной и совершенно излишней бдительности тревога Раскольникова должна была расти не по днямъ, а по часамъ и въ скоромъ времени доразвиться до такихъ размѣровъ, при которыхъ всякое самообладаніе становится невозможнымъ.

Борьба съ цѣлымъ обществомъ была особенно трудна и безнадежна для Раскольникова еще и потому, что его вѣра въ собственные силы была уже подорвана. Онъ зналъ, что послѣ убійства у него не достало хладнокровія на то, чтобы ограбить старуху съ надлежащей внимательностью и систематичностью; онъ зналъ, что голова его кружилась, мысли путались, руки дрожали, что ключи, снятые съ убитой, не подходили къ замкамъ вслѣдствіе его растерянности и что весь онъ вообще былъ гораздо больше похожъ на десятилѣтняго мальчишку, котораго ведутъ съчъ за кражу яблоковъ или орѣховъ, чѣмъ на Наполеона, устраивающаго свое 18-е брюмера. Онъ зналъ далѣе, что онъ чуть-чуть не бросилъ въ воду единственные плоды своего кроваваго подвига; онъ зналъ, что эти плоды зарыты въ землю, и предвидѣлъ, что у него никогда не хватитъ рѣшимости на то, чтобы вырыть ихъ оттуда и воспользоваться для своихъ потребностей похищенными деньгами. Совокупность этихъ свѣдѣній конечно давала Раскольникову очень невыгодное понятіе о силѣ его собственнаго характера. А Раскольниковъ, какъ умный человѣкъ, конечно понималъ, что для успѣшной борьбы съ цѣлымъ обществомъ сила характера требуется громадная. Поэтому онъ долженъ былъ предвидѣть, что эта борьба очень скоро кончится для него полнымъ пораженіемъ, и что онъ, по всей вѣроятности, будетъ принужденъ сдаться безъ всякихъ условій, то есть принести повинную голову въ ближайшее полицейское управленіе. Эта возрастающая безнадежность конечно должна была усиливать его тревогу, разбивать послѣдніе остатки его хладнокровія и доводить его такимъ образомъ до состоянія полнѣйшей беззащитности. Кто заранѣе считаетъ себя побѣжденнымъ, тотъ дѣйствительно побѣжденъ на половину до начала самой борьбы.

Мысль объ уголовномъ наказаніи, которое, какъ Дамокловъ мечъ, висѣло надъ головой Раскольникова и въ каждую данную минуту, при каждомъ его неосторожномъ движеніи, могло обрушиться на него всей своей тяжестью,

эта мысль сама по себѣ была достаточно мучительна, чтобы отравить всю его жизнь и сдѣлать ее невыносимымъ страданіемъ для несчастнаго преступника. Чувство страха составляет по всей вѣроятности самое мучительное изъ всѣхъ психическихъ ощущений, доступныхъ человѣческой природѣ. Это чувство ужасно даже тогда, когда оно достается на нашу долю въ микроскопическихъ пріемахъ и продолжается всего нѣсколько секундъ. Извѣстны случаи, когда у здороваго и молодого человѣка бѣлѣли волосы зтеченіе нѣсколькихъ минутъ, проведенныхъ въ смертельномъ страхѣ. Растяните такой или даже болѣе слабый страхъ на нѣсколько дней, и можно будетъ поручиться за то, что противъ испытанія не устоитъ человѣческій разумъ, и что человѣкъ, стараясь во что-бы-то ни стало избавиться отъ невыносимаго ощущенія страха, самъ, какъ шальной, какъ бѣшеный, полѣзетъ на ту опасность, отъ которой стынетъ кровь въ его жилахъ.

Тотъ видъ помѣшательства, который называется меланхоліей, состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что больной видитъ со всѣхъ сторонъ угрожающія ему опасности и испытываетъ постоянное ощущение смертельнаго страха. Меланхолики постоянно ищутъ смерти и стараются извести себя какими-бы-то ни было средствами именно потому, что они постоянно боятся за свою жизнь и что это хроническое чувство страха дѣйствительно составляетъ для человѣка самую невыносимую изъ всѣхъ возможныхъ пытокъ. Раскольникову пришлось переживать тѣ самыя мученія, которыя переживаютъ меланхолики. Конечно бѣдствіе, ожидавшее Раскольникова, не было настолько ужасно, чтобы не было возможности помириться съ мыслью о его неизбежности: человѣкъ можетъ болѣе или менѣе привыкнуть ко всему, даже къ мысли о близкой и неминуемой смерти. Но дѣло здѣсь именно въ томъ, что ожиданіе бѣдствія бываетъ всегда гораздо ужаснѣе и невыносимѣе, чѣмъ самое бѣдствіе. Пока человѣкъ еще колеблется между страхомъ и надеждой, онъ томится и страдаетъ гораздо сильнѣе, чѣмъ тогда, когда онъ уже видитъ совершенно ясно, что для него уже не остается ни малѣйшей надежды и что ему приходится рѣшительно отказаться отъ борьбы, скрестить руки, стиснуть зубы и покориться неотразимой необходимости. Мучительность ожиданія заставляетъ человѣка всѣми силами стараться о томъ, чтобы какъ-нибудь сократить тотъ періодъ, когда страхъ борется съ надеждой. Человѣку всего труднѣе, въ виду серьезной опасности, сохранять выжидательное положеніе и оставаться неподвижнымъ. Человѣкъ обыкновенно или старается убѣжать отъ опасности, или очертя голову бросается къ ней на встрѣчу; въ первомъ случаѣ онъ поддается

естественному и чисто животному инстинкту самосохраненія; во второмъ случаѣ онъ пытается покончить съ самимъ собой; въ третьемъ случаѣ онъ старается убѣжать отъ источника страха, которое отравляетъ существованіе. То обстоятельство, что человѣкъ оказывается иногда способнымъ крѣпко удерживать собственную жизнь, избавление отъ страха, показываетъ ясно, что это чувство само по себѣ очень мучительно и что оно длится нѣсколько дней, можетъ длиться, само по себѣ, безъ отношенія къ тому, что порождено, с точки зрения исходной точки тѣхъ разнообразныхъ и полусумасшедшихъ поступковъ, которые Достоевскій приписываетъ своему герою.

Кромѣ уголовного наказанія, Раскольниковъ боится еще того ужаса, негодованія и осужденія, съ которыми посмотрятъ на него всѣ дорогіе и близкіе ему люди, когда онъ останется одинъ въ мірѣ живыхъ людей, когда преступленіе сдѣлается извѣстнымъ. Онъ думаетъ, что открытіе ужасной истины убьетъ его и что онъ оставитъ по себѣ только пустоту. Онъ ставитъ всѣхъ его друзей, начиная отъ сестры, отшатнуться навсегда шага и замараннаго человѣка. Поэтъ смѣетъ никому открыться; признаніе передъ человѣкомъ, по его мнѣнію, все равно что признаніе всѣмъ или просто донести себя по начальству. Онъ увѣренъ въ то, что первый человѣкъ, которому онъ откроется, тотчасъ оттолкнетъ его отъ себя, какъ гадюку, и немедленно сдѣлается его преслѣдователемъ, хотя-бы за минимальное признаніе этого самого человѣка. Онъ уважалъ его больше всего на свѣтѣ. Эта несокрушимая увѣренность Раскольникова чувствуетъ необходимость лицемерить со всѣми людьми безъ исключенія, съ родной матерью такъ-же точно, какъ съ постороннимъ приставомъ. Порфириемъ онъ чувствуетъ необходимость лицемерить. Вслѣдствіе этого онъ можетъ чувствовать себя свободнымъ, онъ можетъ отбросить своей утомительной роли, онъ можетъ съ себя костюмъ и маску невиннаго, онъ можетъ выпускать на волю всю свою волю и все свое страданіе лишь тогда, когда онъ остается только одинъ. Для него не существуетъ своего круга, для него не существуетъ общества такихъ близкихъ къ нему людей, которыми онъ могъ-бы вести себя свободно и обращаться запросто. Чужды ему люди, чѣмъ они для него дороже, больше правъ они имѣютъ на его доверіе, чѣмъ нѣжнѣе ихъ ласки, чѣмъ больше ихъ разспросы, чѣмъ искреннѣе ихъ участіе, — тѣмъ невыносимѣе для него ихъ общество, потому-что тѣмъ труднѣе отклонить эти ласки, увертываться

просовъ и отвергать это единственное и не-
 зное участіе. Съ какимъ-нибудь Порфиріемъ
 овичемъ можно говорить сухо и холодно,
 но держать себя осторожно и официально
 ливо, не приводя никого въ изумленіе и не
 буджая никакихъ неумѣстныхъ догадокъ.
 съ матерью и съ сестрой нѣтъ никакой воз-
 ности соблюдать дипломатическую осторож-
 ность и непроницаемость; холодный и вѣжли-
 й тонъ или разговоръ о погодѣ и о текущихъ
 вѣстіяхъ, пересыпанный официальными нѣж-
 стями, приведетъ ихъ сначала въ изумленіе,
 томъ въ негодованіе и наконецъ въ отчаяніе,
 изъ котораго они будутъ искать выхода и ко-
 рое немедленно породитъ и воспитаеъ въ
 ихъ то убѣжденіе, что тутъ существуетъ ка-
 я-то серьезная и печальная загадка, настоя-
 ьно требующая себѣ разрѣшенія. О поддѣлкѣ
 каго тона, такой нѣжности, такой радости
 он свиданія, такой искренности и довѣрчиво-
 сти, которыя могли бы обмануть зоркіе глаза
 чуткія уши матери и сестры—нечего и ду-
 мать. Обмануть такого человека, который васъ
 обитъ, который ловитъ глазами каждое ваше
 движеніе и жадно вслушивается въ каждое
 ваше слово—до такой степени трудно, что по-
 добный подвигъ врядъ-ли удался-бы даже са-
 ому закоренѣлому злодѣю, самому бездушному
 егодю, не чувствующему ни капли любви къ
 ѣмъ людямъ, предъ которыми онъ разыгры-
 аетъ свою трогательную комедію. Тѣмъ менѣе
 огъ этотъ подвигъ притворства оказаться по-
 иламъ Раскольникову.

Мы уже знаемъ достаточно, какъ сильно
 онъ любитъ мать и сестру. Мы легко мо-
 жемъ себѣ представить, какъ сильна была
 въ немъ потребность броситься къ нимъ на
 встрѣчу, открыть имъ свои объятія и воз-
 наградить себя откровеннымъ разговоромъ съ
 ними за три года томительной разлуки. Мы мо-
 жемъ себѣ вообразить, какимъ оглушительнымъ
 ударомъ было для него то открытіе, что ему
 противны и невыносимы ихъ ласки, противны
 и невыносимы потому, что онѣ относятся уже
 не къ нему, а къ той маскѣ, которая до поры
 до времени скрываетъ отъ всѣхъ людей обезобра-
 женныя черты его измученнаго и опозореннаго
 лица. Разбитый этимъ ударомъ, Раскольниковъ
 не смѣлъ даже принимать отъ нихъ эти ласки;
 ему казалось, что онъ ихъ крадетъ почти такъ-
 же, какъ онъ нѣсколько дней тому назадъ укралъ
 старухины деньги. Онъ старался отвертываться
 отъ этихъ выраженій нѣжности, насколько это
 было возможно. Они его мучили, какъ самыя
 живыя напоминанія о томъ раѣ, который, по
 его мнѣнію, былъ для него навсегда потерянъ,
 изъ котораго онъ во-время не умѣлъ цѣнить по
 достоинству. Выманивать себѣ эти ласки об-
 маномъ, платить за это чистое золото любви
 мишурой и фальшивой монетой своей поддѣль-

ной нѣжности, словомъ, обращаться съ матерью
 и съ сестрой, какъ съ полицейскими сыщиками
 и шпионами, которымъ надо отводить глаза
 различными искусно подобранными фокусами—
 это значило сползти въ такую отвратительную
 грязь, о которой Раскольниковъ не въ состоя-
 ніи былъ даже и подумать. Тутъ игра положи-
 тельно не стоила свѣчей. Хроническое притвор-
 ство съ матерью и съ сестрой было для него
 неизмѣримо мучительнѣе всякой каторги! Вся-
 кій разъ, какъ онъ сходилъ съ ними, онъ
 чувствовалъ, что маска сползаетъ съ его лица,
 и всякій разъ онъ уходилъ отъ нихъ, пугаясь
 того ужаса, который должно было возбудить
 въ нихъ открытіе истины.

Такимъ образомъ страхъ уголовного нака-
 занія, страхъ презрѣнія со стороны близкихъ
 людей, необходимость таиться и притворяться
 на каждомъ шагу въ сношеніяхъ со всѣми
 людьми безъ исключенія и ясное предчувствіе
 того обстоятельства, что всѣ эти подвиги при-
 творства окажутся рано или поздно совер-
 шенно бесполезными—вотъ составные элементы
 тѣхъ душевныхъ страданій, которыя испыты-
 ваетъ Раскольниковъ. Подъ вліяніемъ этихъ
 страданій въ Раскольниковѣ совершается съ
 изумительной и ужасающей быстротой такой
 внутренней процессъ, который можно назвать
 увяданіемъ ума и характера. Первая фаза
 этого процесса разыгралась еще до совершенія
 убійства и ознаменовалась сооруженіемъ за-
 мысловатой теоріи, уравнившей Ньютона и Кеп-
 лера съ олухами чужихъ кармановъ. Вторая фаза разыгрывается послѣ убійства и
 оканчивается тѣмъ, что Раскольниковъ, отка-
 завшись отъ права размышлять собственнымъ
 умомъ и поступать по собственному благоусмо-
 трѣнію, отдаетъ себя подъ опеку очень добро-
 душной, очень ограниченной и совершенно не-
 образованной дѣвушки, Сони Мармеладовой,
 которая, подобно нимфѣ Эгеріи, соглашается
 подавать ему мудрые и спасительные совѣты.
 Убивши старуху и ея сестру, Раскольниковъ
 совершенно теряетъ способность остановиться
 на какомъ-бы то ни было опредѣленномъ же-
 ланіи. Ему хочется все разомъ покончить, т. е.
 отдаться добровольно въ руки слѣдователя;
 ему хочется также избавиться отъ наказанія
 и остаться на свободѣ; самъ онъ рѣшительно
 не въ состояніи опредѣлить, которое изъ этихъ
 желаній сильнѣе и которое изъ нихъ въ ближай-
 шую минуту будетъ управлять его поступками.

На другой день послѣ убійства его требуютъ
 въ кварталъ по одному денежному дѣлу съ
 хозяйкой. Собираясь идти туда и не зная еще,
 зачѣмъ его требуютъ, онъ думаетъ: «скверно
 то, что я почти въ бреду... я могу соврать
 какую-нибудь глупость». Значитъ, не хочетъ
 погибать. Минуту спустя имъ овладѣваетъ
 другое настроеніе, и онъ, махнувъ рукой, го-

ворить про себя: «только-бы поскорѣй». Подходя къ конторѣ, онъ думаетъ: «если спросать, я можетъ быть и скажу». Поднимаясь по лѣстницѣ въ четвертый этажъ, онъ уже совсѣмъ рѣшается: «войду, стану на колѣни и все расскажу». — Черезъ минуту опять новый поворотъ: «какая-нибудь глупость, думаетъ онъ, стоя уже въ конторѣ, какая-нибудь самая мелкая неосторожность, и я могу всего себя выдать». Затѣмъ, когда онъ узнаетъ, что дѣло, по которому его требовали, не имѣетъ ничего общаго съ вчерашнимъ убійствомъ, имъ овладѣваетъ бѣшеная радость, и онъ, подъ вліяніемъ этого чувства, пускается вдругъ въ неожиданныя и совершенно неумѣстные объясненія съ квартальными насчетъ своихъ отношеній къ хозяйкѣ и къ ея покойной дочери. Эта судорожная и припадочная радость тутъ же въ конторѣ смѣняется черезъ минуту невыносимо тяжелымъ чувствомъ *мучительнаго, безконечнаго уединенія и отчужденія*. Ему вдругъ приходитъ въ голову подойти къ квартальному и рассказать ему все, до послѣдней подробности. Это желаніе исчезаетъ, когда онъ слышитъ, что квартальный въ это самое время разговариваетъ съ своимъ помощникомъ о вчерашнемъ убійствѣ. Является опять припадокъ страха. Раскольниковъ идетъ къ дверямъ и падаетъ въ обморокъ.

Изъ такихъ быстро-смѣняющихся колебаній состоитъ вся жизнь Раскольникова послѣ убійства. Въ немъ вспыхиваетъ энергія только тогда, когда все его вниманіе поглощается какимъ-нибудь постороннимъ дѣломъ. Когда онъ переноситъ раздавленнаго чиновника Мармеладова къ нему на квартиру, когда онъ старается успокоить его жену и облегчить ея положеніе, отдавая ей всѣ свои деньги, когда онъ въ тотъ же день говоритъ своей сестрѣ о томъ, что надо отказать Лужину, когда онъ на другой день окончательно выгоняетъ этого Лужина, когда онъ потомъ защищаетъ Соню Мармеладову, несправедливо обвиненную въ воровствѣ

(всѣмъ же Лужинимъ) — тогда онъ, какъ будто живымъ и свѣжимъ членомъ способнымъ интересоваться тѣмъ, что у него происходитъ, готовымъ откликнуться на чужое страданіе, заступиться за слѣдующаго обиженнаго человѣка, разстроить планъ каго негодяя, подать умный совѣтъ, оказать дѣятельную помощь или рѣшиться на смѣлый поступокъ. Но какъ только перестаютъ развлекать сильныя постороннія чуждыя впечатлѣнія, какъ только онъ остается въ тишинѣ съ своими сбивчивыми мыслями о недавнемъ прошломъ и о ближайшемъ будущемъ, тотчасъ же въ его душѣ начинается каварданъ быстро возникающихъ, быстро исчезающихъ, безпорядочно сталкивающихся и плетающихся ощущений; умъ его гаснетъ, изнемогаетъ; онъ ни о чемъ не думаетъ, чего не желаетъ и ни на что не можетъ решиться. Онъ идетъ туда, куда ему совсѣмъ хотѣлось идти; попадаетъ туда, куда онъ всѣмъ не рассчитывалъ попасть; говоритъ дѣлаетъ то, чего собственный его умъ никакъ не одобряетъ. Находясь въ такомъ положении онъ безъ всякой надобности дразнитъ водителя Заметова разговоромъ объ убійствѣ и вслѣдъ затѣмъ отправляется въ квартиру убитой дергать звонокъ и разспрашивать работниковъ, зачѣмъ кровь отмыли. Слѣдующими процессами мысли, которые вызываютъ подобные поступки, и вообще объяснить и описать эти поступки какими-бы то ни было доступными и понятными для насъ мыслями, — я не вижу ни малѣйшей возможности. Тутъ можно сказать только, что человѣкъ вышелъ отъ страха и дошелъ до какого-то омерзѣнія, набулизма, во время котораго онъ не можетъ ни думать, ни говорить, и какъ будто даже думаетъ, что существуетъ-ли такое психическое состояніе, въѣрно-ли оно изображено въ романѣ Достоевскаго, объ этомъ пусть разсуждаютъ философы, если эти вопросы покажутся имъ достойными внимательнаго изученія.

1868.

РОМАНЫ АНДРЕ ЛЕО.

1. Un mariage scandaleux. 2. Un divorce. 3. Jacques Galeron. 4. Une vieille fille.
5. L'idéal au village.)

ре Лео — писательница, романы которой, шедшие один за другим в течение почти пятидесяти лет, имели блестящий, прочный и заслуженный успех. Все замечательные французские газеты, начиная от «*Le Figaro*» и кончая каким-нибудь «*Constitutionnel*», отнесли к ее первому роману «*Un mariage scandaleux*», появившемуся отдельным изданием в 1863 году, с величайшим вниманием. Одни понимали основную мысль романа, сочувствовали ей вполне и видели в нем достойную соперницу или преемницу Гюльетты-Занды; другие — считали более удобным отстраняться от художественности выполнения и ставили в заслугу автору то, что она художественностью сумела искупить реальность основной идеи. И те, и другие говорили одинаково живо, что на литературном поприще выступила новая сила, которую невозможно игнорировать и на которую стоит смотреть с высоты.

Влияние романов Лео и их успех составляют значительный симптом в жизни французского общества. Этот успех не куплен ценой безразличия к ошибкам и предрассудкам и общераспространенным мифам соотечественников и современников. Романам Лео нет ни малейшей пощады со стороны французской буржуазии, самого многочисленного и влиятельного класса читателей. С тех пор, в этих романах преобладающее здоровое, строго-отрицательное отношение к мелочности, к лакированному тупости, к близорукому скопидомству и к низости, характеризующим современное общество высшего и низшего полета. И тем самым романы эти имеют успех. Зная французское общество, несмотря на выгодные условия, которые стесняют развитие его сил, еще не замерзшая потребность самоосуждения. Последняя оценка, снискавшая собой великое литературное и общественное движение сороковых годов, появляются снова

признаки пробуждающейся мысли, готовой и способной подвергать строгому анализу существующие бытовые формы и укоренившиеся понятия. На этих легких признаках, на этих мимолетных проблесках мудро основывать какие-нибудь определенные надежды. Но отмечать эти проблески необходимо.

I.

Много было говорено и писано об отношениях между отдельной личностью и обществом. Было высказано много серьезных и истинных, светлых и глубоких мыслей, с одной стороны о так-называемом задающем действии среды, и с другой стороны о том, как и почему великие люди редко оцениваются своими современниками и обыкновенно подвергаются с их стороны ожесточенным преследованиям. На обе эти темы было также разумеется разыграно достаточное количество вариаций, сбивающихся на переливание из пустого в порожнее. Из всех самостоятельных размышлений и безсодержательных фраз, вызванных этими вопросами, можно кажется вывести те общие заключения, что каждая среда в большей или меньшей степени обладает задающими свойствами, что каждая сильная и замечательная личность сильна и замечательна на столько, на сколько она хочет, может и умеет сопротивляться задающему влиянию среды, что развитие таких личностей совершается наперекорь всему окружающему их и составляющему общий, обыкновенно сероватый и грязноватый фон картины, и что вся жизнь этих личностей, отделяющихся от общего фона, соответствует их развитию, то-есть бывает и должна быть постоянной, более или менее тяжелой и мучительной борьбой за право думать, чувствовать и поступать сообразно с естественными потребностями и здоровыми влечениями собственного организма.

Эта вечная борьба между здоровыми личностями и темными, безличными, коллективными, медленно разлагающими силами среды в каж-

дую данную эпоху и въ каждой данной мѣстности облекается въ новыя формы. Внимательное изученіе этихъ формъ составляетъ, безъ сомнѣнія, одну изъ важнѣйшихъ задачъ литературы, такую задачу, надъ которой постоянно должны работать общими силами даровитые романисты и серьезно размышляющіе критики. Та польза, которую приноситъ общественному сознанию хорошая беллетристика, состоитъ именно въ томъ, что она, беллетристика, приводитъ въ извѣстность количество и качество міазмовъ, распространяемыхъ средой, и въ то же время поддерживаетъ въ читателѣ ту мужественную увѣренность, что обыкновенный человѣкъ, вооруженный въ некоторомъ элементарномъ знакомствѣ съ существующими міазмами, можетъ при въкоторой настойчивости и при серьезномъ уваженіи къ своему человѣческому достоинству предохранить себя отъ всякой заразы, остаться до конца своей жизни чистой, здоровой, сильной и дѣятельной личностью, и даже спасти отъ умственной и нравственной деморализаціи тѣхъ людей, съ которыми онъ находится въ постоянныхъ сношеніяхъ.

Если смотрѣть съ этой точки зрѣнія на романы Андре Лео, то ихъ необходимо будетъ признать очень замѣчательными и въ высокой степени полезными.

II.

Сюжетъ «Возмутительнаго брака» *) очень простъ. Двѣ здоровыя и сильныя личности, двадцати-двухлѣтній крестьянинъ Мишель и двадцатилѣтняя мѣщанка Люси Вертенъ съ усиліемъ отстаиваютъ отъ темныхъ и грязныхъ силъ окружающей среды свои права на честное и разумное счастье, на свѣтлую и здоровую жизнь, наполненную упорнымъ трудомъ и взаимной любовью. Все противъ нихъ: и любящіе родители, и заботливые родственники, и друзья, и сосѣди, и кумушки, и общественное мнѣніе, и весь кодексъ установившихся понятій и обычаевъ, но они сами твердо стоятъ за себя, они крѣпко и довѣрчиво держатся другъ за друга, они молоды и сильны, они хотятъ жить, въ нихъ нѣтъ ни мелочнаго тщеславія, ни малодушнаго лукавства, ни трусливой уклончивости, и они, безо всякой особенной гениальности, оставаясь простыми и обыкновенными людьми, одерживаютъ полную побѣду надъ всѣми горами мелкихъ препятствій; романъ заканчивается возмутительнымъ бракомъ, и Люси Вертенъ, правнучка именитыхъ мѣщанъ, Бурдоровъ и Таламбеновъ, родственница богачей, ведущихъ дружбу съ префектами и мѣщанинъ въ депутаты, становится простой мужичкой Мишелихой, сама ходитъ за коровой и стираетъ на рѣчкѣ бѣлье.

Интересъ романа сосредоточивается въ лич-

ности Люси. Сначала въ ней происходитъ внутренняя борьба, которая окончательно освобождаетъ ее отъ среды и очищаетъ ее отъ узкихъ и мелочныхъ понятій и пристрастій, привитыхъ къ ней мѣщанскими воспитаніями. Затѣмъ начинается другая, внѣшняя борьба семействомъ и обществомъ. Первая борьба заканчивается тѣмъ, что Люси признается Мишелю въ своей любви; вторая — тѣмъ, что она становится женой Мишеля. И ту, и другую борьбу Люси принуждена была вести одна дѣятельнаго и прямого содѣйствія со стороны Мишеля. Понятно, что Мишель не могъ вѣнчаться въ процессъ ея мышленія, и въ ней рѣшала про себя вопросы: люблю-ли я? Могу-ли я, должна-ли я, смѣю-ли я? Что мнѣ дѣлать съ этой любовью? Отдаю ей на всю жизнь, или давить ее въ себя доводами разсудка и всей энергіей воли? Понятно также, что мужикъ Мишель не могъ помогать своей невѣстѣ и въ той борьбѣ, которую она вела со своими родными и знакомыми. Эта борьба велась тогда, когда Мишель былъ на поденщинѣ, и тамъ, куда Мишель пускали. Общественное мнѣніе формирова- и изрекало свои приговоры надъ страстью легкомысленной дѣвушки въ кругахъ, на которые личность Мишеля, его достоинства, его умъ и характеръ не могли оказывать никакого вліянія.

Мишель, безъ сомнѣнія, принималъ участіе въ обѣихъ фазахъ борьбы и оказывалъ любимой дѣвушкѣ такое содѣйствіе, безъ котораго она конечно не могла-бы одержать побѣду ни надъ собою, ни надъ окружающими людьми. Но это содѣйствіе было пассивнымъ: онъ помогалъ ей не своими поступками, а только своей твердостью своей личности; онъ не расставался передъ ней дороги, не устранялъ препятствій, ничего не доказывалъ ни ей самой, ни другимъ, не спорилъ о правахъ чужака-гражданина съ мѣщанами и крестьянами; онъ только постоянно оставалъ мнѣ себя собой, не измѣняясь себѣ ни въ изъ мельчайшихъ случаяхъ вседневной жизни, всегда и вездѣ уважалъ въ себѣ самъ и уважалъ другихъ уважать его человѣческое достоинство, и этого было достаточно. Въ тяжеломъ раздумьи, послѣ отчаянной борьбы съ собственными мѣщанскими предразсудками или съ безнадежнымъ тупоуміемъ окружающихъ людей, Люси думала о немъ и не находила въ немъ ни одного пятна; она смотрѣла на него и видѣла во всемъ его существѣ спокойствіе, на которую можно положиться во всякой трудной и опасной жизни. Все въ этомъ человѣкѣ привлекало ее къ себѣ, и она, не смущаясь неровностями дороги, шла къ нему, она сама росла и крѣпла, становилась

*) Я буду приводить цитаты изъ этого романа по русскому переводу Марка Вовчка.

е и чище, выучивалась глубже и вѣрѣе
имать жизнь и относиться съ кроткимъ
сострадателнымъ равнодушіемъ къ проявленію
человѣческой ограниченности.

Дѣйствіе романа происходитъ въ провинці-
ной глуши, въ деревнѣ, въ средней Фран-
Дѣйствуютъ мѣщане и крестьяне. Первые
ичаются отъ послѣднихъ тѣмъ, что не но-
мѣстныхъ костюмовъ, не придерживаютъ
мѣстныхъ обычаевъ, считают себя образо-
ванными людьми, презираютъ физическій трудъ
е безъ успѣха гоняются за казенными мѣ-
ами. Послѣдніе стараются, по возможности,
ать примѣръ съ первыхъ, но абсолютная не-
ходимость работать и смотрѣть на работу,
акъ на единственный источникъ пропитанія,
значительной степени парализуетъ эти уси-
я. Бѣдные крестьяне, видя невозможность
гоняться за мѣщанами или господами, поко-
ются своей участи и остаются работниками,
роклиная свою горькую долю; богатые крестья-
не пользуются своимъ достаткомъ преимуще-
ственно для того, чтобы вывести въ люди сво-
хъ дѣтей, то-есть, чтобы выдать дочерей за-
ужъ за мѣщанъ, или чтобы превратить сыно-
ей въ полированныхъ тунеядцевъ, проживаю-
ихъ родительскія деньги, деньги, собранныя по-
редствомъ долговременнаго скряжничества, ба-
ышничества, ростовщичества и всевозможныхъ
омерческихъ оборотовъ, болѣе или менѣе при-
ыльных и болѣе или менѣе неоправданныхъ.

Мѣщане и крестьяне, богатые и бѣдные, всѣ бѣ-
утъ куда-то, къ какой-то цѣли, о которой
икто изъ бѣгущихъ не составляетъ себѣ от-
отливаго понятія; всѣ смотрятъ на трудъ,
акъ на зло; кто можетъ, тотъ сбрасываетъ
го такъ или иначе на чужія плечи. Затѣмъ,
огда эта первая задача рѣшена, представляетъ
я вопросъ: чѣмъ наполнить жизнь? На этотъ
опросъ ни у кого нѣтъ удовлетворительнаго
твѣта, но никто и не нуждается въ такомъ
твѣтѣ, потому что никого не тревожитъ са-
ый вопросъ, и даже почти никому онъ не
риходить въ голову. Некогда задумываться
адъ жизнью, надъ ея смысломъ, надъ тѣмъ
одержаніемъ, которымъ она можетъ и должна
ыть наполнена. Она наполняется сама собой,
аполняется и даже переполняется такъ, что
удъ въ суткахъ сорокъ-восемь часовъ вмѣсто
вдцати-четырехъ, и будь люди избавлены отъ
ежалной необходимости спать, то на долю
аждаго изъ этихъ сорока-восьми часовъ при-
лось-бы слишкомъ достаточное количество за-
отъ, тревогъ, волненій и огорченій, и все та-
ихъ, которыя имѣютъ очень мало общаго съ
довлетвореніемъ естественныхъ потребностей
животнаго организма или высшихъ стремленій
человѣческаго ума. Надо бѣжать туда, куда
бѣгутъ всѣ; надо завидовать тѣмъ, кто бѣ-
итъ впереди; надо презирать тѣхъ, кто отста-

еть; надо топтать ногами тѣхъ, кто падаетъ
на пути, и надо при этомъ лицемѣрить со всѣ-
ми, зная заранѣе, что ваше лицемѣріе никого
не обманываетъ; надо тщательно заглаживать за-
висть; надо преувеличивать презрѣніе и выра-
жать его такъ, чтобы всѣ окружающіе при-
нимали или могли принять его за роковой ре-
зультатъ возвышенныхъ чувствъ и утончен-
ныхъ привычекъ; надо проливать слезы со-
страданія надъ такими оплошностями ближнихъ,
которыя возбуждаютъ чувство злобной радо-
сти и открываютъ широкій просторъ для на-
пряженной дѣятельности топчущихъ ногъ.

Каковы-бы ни были тѣ причины, которыми
порождается это переполненіе жизни искус-
ственными заботами, тревогами, волненіями и
огорченіями, въ чемъ бы ни коренились эти
причины, въ неисправимой-ли слабости чело-
вѣческаго ума, или въ какихъ-нибудь полити-
ческихъ ошибкахъ, сдѣланныхъ предками и еще
незамѣченныхъ потомками,—во всякомъ слу-
чаѣ это переполненіе существуетъ и даже со-
ставляетъ фактъ, дающій тонъ и колоритъ
всѣмъ отправлениямъ общественной жизни во
всѣхъ частяхъ цивилизованнаго міра. Толчокъ
данъ сотни лѣтъ тому назадъ, и люди бѣгутъ,
и поколѣнія за поколѣніемъ тратятъ въ этомъ
бѣгѣ всѣ свои силы, не находя себѣ за всѣ свои
старанія никакой другой награды, кромѣ мучи-
тельнаго утомленія и горькаго разочарованія.

Какая-же сила поддерживаетъ это движеніе
и мѣшаетъ отдѣльнымъ личностямъ, составля-
ющимъ бѣгущую толпу, остановиться, оглядѣть-
ся и сообразить свои дѣйствительные интересы?
У каждой отдѣльной личности есть свои жела-
нія, идущія въ разрѣзъ съ направленіемъ об-
щаго бѣга; но каждая отдѣльная личность
знаетъ, что въ ту минуту, когда она вздума-
етъ отдѣлиться отъ толпы, вся эта толпа
соединится противъ нея и забросаетъ ее без-
численнымъ множествомъ презрительныхъ взо-
ровъ, лицемѣрно-сострадателныхъ гримасъ,
оскорбительныхъ пересудовъ и лживыхъ выду-
мокъ. Эта боязнь очутиться въ изолирован-
номъ положеніи, столкнуться лицомъ къ лицу
съ мнѣніемъ всѣхъ, навлекая на себя всеобщее
неблагодарное вниманіе, словомъ, эта трусость
отдѣльной личности передъ толпой составляетъ
тотъ цементъ, которымъ разнохарактерныя
частицы связываются въ одну сплошную массу,
направляющуюся къ одной извѣстной цѣли.

Люди, составляющіе толпу, не любятъ и не
уважаютъ другъ друга; каждый изъ нихъ чув-
ствуетъ, что въ случаѣ неудачи ему нечего
ожидать себѣ отъ сосѣдей ни пощады, ни даже
самой простой справедливости; каждый изъ
нихъ знаетъ также про себя, что и онъ самъ
поступитъ непременно по той же программѣ
съ каждымъ изъ своихъ оплошавшихъ сосѣ-
дей; вмѣсто взаимной привязанности и соли-

дарности, существуетъ такимъ образомъ въ самой сильной степени взаимное недоверіе и взаимная боязнь, и эти чувства, которыя повидимому могутъ только разрознивать людей, напротивъ того, соединяютъ ихъ между собой въ очень компактную массу. При этомъ не трудно себѣ представить, какую долю терпятъ въ этой массѣ отдѣльныя личности, связанныя между собой такимъ насильственнымъ образомъ.

Каждый видитъ въ своемъ сосѣдѣ, добромъ знакомомъ и пріятелѣ—будущаго доносчика, который при первомъ удобномъ случаѣ не задумается обвинить и даже оклеветать его передъ судомъ бѣгущей толпы, или такъ-называемаго общественнаго мнѣнія. Каждый видитъ въ своемъ ближнемъ чербера, котораго надо задобривать медовыми лепешками или запугивать увѣсистой дубиной. Отыскиваніе медовыхъ лепешекъ и увѣсистыхъ дубинъ составляетъ именно ту дѣятельность, которой предаются съ одинаковымъ усердіемъ, хотя и не съ одинаковымъ успѣхомъ всѣ члены бѣгущей и суетящейся толпы, и эта дѣятельность обусловливается преимущественно взаимной боязнью, воодушевляющей этихъ членовъ. Медовыя лепешки называются деньгами; увѣсистая дубина называется властью. Исканіе денегъ и власти наполняетъ жизнь всѣхъ людей, успѣвшихъ сбросить бремя физическаго труда и мучительныхъ заботъ о насущномъ хлѣбѣ, и не счумѣвшихъ привязаться къ какой-нибудь отрасли общепользуемой умственной работы. Въ глазахъ бѣгущей толпы исканіе денегъ и власти составляетъ единственное позволительное, законное, разумное и похвальное человѣческое стремленіе. Толпа требуетъ отъ своихъ членовъ, чтобы они предавались этому исканію съ полнымъ самоотверженіемъ, и чтобы одна эта мысль господствовала безраздѣльно надъ всѣми ихъ поступками. Толпа оправдываетъ или обвиняетъ своихъ членовъ, признаетъ ихъ умными или глупыми, достойными или недостойными, великими или смѣшными, смотря по тому, насколько полно и ярко воплощается въ ихъ жизни единственная вполне понятная ей идея, идея неуклоннаго стремленія къ деньгамъ и къ власти.

Въ жизни мѣщанъ и крестьянъ деревни Шаваньи, родины Мишеля и Люси Бертень, нѣтъ руководящихъ идей, кромѣ этой великой идеи, вполне понятной всякой бѣгущей и суетящейся толпѣ. Этой идее подчиняются и всѣ политическія понятія, и всѣ отношенія къ вопросамъ общаго міросозерцанія, и всѣ взгляды на различныя чувства, права и обязанности отдѣльной личности. Крестьяне не обнаруживаютъ въ романѣ Лео никакихъ политическихъ симпатій или антипатій; они повидимому не считаютъ правдоподобнымъ, чтобы та или другая форма правленія, или та или другая законодательная мѣра могла произвести въ ихъ

матеріальномъ положеніи важную и вѣстную перемену къ лучшему. Имъ приходится разсмотрѣть и рѣшить одинъ единственный вопросъ, вопросъ о существованіи одной дороги, и пренія, вызванныя общимъ дѣломъ, показываютъ до какой степени, подъ вліяніемъ какихъ страстей, ображеній обыватели Шаваньи стали жить и рѣшать болѣе важные вопросы. Изъ крестьянъ говорятъ, что онѣ не хотятъ отдасть подъ дорогу ни одного лоскутка земли, что всѣ дороги только землю гаютъ, что «ученные камень ваять туда, гдѣ и растеть». Другой жалуется, что для одной дороги не проложили, хотя онъ самъ же муниципальный совѣтникъ, какъ и Бурдонъ.

Всѣ видятъ и понимаютъ, что Бурдонъ ищетъ о дорогѣ собственно для своихъ личныхъ выгодъ, и всѣ, пообѣдавши на фермѣ, дона и распивши нѣсколько бутылочекъ вина, подаютъ голоса такъ, какъ то и въ Бурдонѣ. Настоящую сущность дѣла пренія выражаетъ Буазонъ, тотъ самый кулибинъ, который ратуетъ противъ дороги: «за эту дорогу, говоритъ онъ, я только и подамъ голосъ, что, сдастся мнѣ, равно и безъ моего голоса построятъ фектъ съ генеральнымъ совѣтомъ, а съ въ рукавѣ у нашего брата-мужика. И потому я за эту дорогу подаю голосъ, она не проходитъ черезъ мою землю». Вдѣхъ къ рѣшаемому вопросу выходя кимъ образомъ изъ того убѣжденія, что живую нѣтъ возможности отстоять и свое мнѣніе; еслибы этому самому мужику ходило принимать участіе въ рѣшеніи важныхъ вопросовъ, и еслибы онъ вѣдалъ, что его голосъ имѣетъ серьезное значеніе, всей вѣроятности и равнодушіе бы не было. Но при тѣхъ политическихъ условіяхъ, въ которыхъ находилось въ 40-хъ годахъ и вѣдѣ до сихъ поръ сельское населеніе, несомненно знаменитое «suffrage universel», отъ собственнаго поля и угожденія богатому оказывается, при рѣшеніи общественныхъ вопросовъ, единственнымъ мотивомъ, доступнымъ разуму и близкимъ сердцу большинства.

Мѣщане относятся менѣе равнодушно къ вопросамъ текущей политики: имъ доступна политическая карьера; они могутъ ожидать кое-какихъ щедротъ отъ правительства, могутъ награждать за преданность, и они готовы продавать эту преданность тому, кто желаетъ и способенъ дать за нее полную цѣну. Властѣящій представитель мѣщанскаго государства, богатъ и мудрецъ, царствующій ревизоръ Шаваньи, Антоненъ Бурдонъ, идетъ преданностью къ правительству Бурдонъ и шлетъ быстрыми шагами къ высокимъ почестямъ, а потому, послѣ іюльскаго

ции, принужденный удалиться въ деревню, ромно и осмотрительно отложилъ въ сторону то, чему служилъ и что любилъ благонадежной страстью въ прежнія времена. Онъ ужился съ новыми властями и успѣлъ выжить себя у нихъ стипендію для одного сына, текцію для другого и полную благосклонность для себя и для всего своего семейства. Съ религіозномъ отношеніи крестьяне по своему добрые католики; но съ одной стороны, вѣрныя хранительницы мѣстныхъ преданій, благочестивыя старушки, думаютъ, что исцѣленія отчаянно больныхъ лучше обращаться къ колдуну или знахарю, чѣмъ къ о. Радегондѣ; а съ другой стороны, когда дѣе господа, то-есть мѣщане, пересмѣются въ церкви и дѣлаютъ другъ другу знаменіе крестное, то крестьяне не находятъ въ этомъ ничего осудительнаго и даже относятся къ этимъ церемоніямъ съ почитательнымъ сочувствіемъ, тому что видятъ въ нихъ проявленіе городской развязности и великосвѣтскаго изыщества. Мѣщане въ дѣлѣ религіи, какъ и во всѣхъ своихъ дѣлахъ, руководствуются модой: они стараются извѣстный строй понятій такъ, какъ если бы отрицать прошлагодній покровъ; они ни во что не вѣрятъ, ни въ чемъ сомнѣваются и ни надъ чѣмъ не задумываются; всѣ эти процессы слишкомъ утомительны для нихъ, вовсе не приняты въ хорошемъ обществѣ и нисколько не требуются для того, чтобы завести приличную карьеру, то есть захватить въ свои руки частицу власти, нажать маленькій капиталъ и жениться на дѣвушкѣ хорошей нѣдлин; твердыя убѣжденія въ дѣлѣ религіи, если бы они ни были, положительныя или отрицательныя, могутъ быть только стѣснительны при жизни, когда приходится сталкиваться въ обществѣ съ людьми самаго различнаго склада мыслей, когда со всѣми этими людьми приходится ладить и когда отъ каждаго изъ нихъ приходится добиваться какой нибудь выгоды, рекомендаціи или протекціи. А когда придется умири-ть, тогда можно будетъ струсить во-время, аяться въ грѣховномъ пристрастіи къ модѣ, у легкомыслію и съ должнымъ смиреніемъ обѣгнуть къ всегда готовой помощи услужливому и снисходительнаго патера.

Въ основаніяхъ своей житейской мудрости крестьяне сходятся съ мѣщанами: и тѣ, и другіе хотятъ, что необходимо преклоняться передъ авторитетомъ и обѣими руками ухватываться за любое дозволенное законами средство обогащенія. Мѣщане и крестьяне осуждаютъ въ одинъ голосъ Мишеля и называютъ его чудакомъ за то, что онъ не захотѣлъ жениться на богатой дѣвушкѣ, объяснившейся ему въ любви. Иные осуждаютъ его поступокъ до крайности неестественнымъ и даже выражаютъ то предположеніе, что онъ быть можетъ еще спохватится.

Однако на практикѣ мѣщане, какъ люди дрсированные и полированные, оказываются гораздо непоколебимѣе и послѣдовательнѣе крестьянъ въ дѣлѣ поклоненія золотому тельцу. Въ крестьянскомъ быту еще возможны и даже случаются довольно часто браки по любви; совершенно бѣдныхъ невѣсты находятъ себя совершенно бѣдныхъ жениховъ и, надѣясь только на свое трудолюбіе и на свои неистощенныя силы, идутъ съ ними навстрѣчу всѣмъ невзгодамъ и опасностямъ суровой батраческой жизни. Въ мѣщанскомъ сословіи такіе браки или совсѣмъ невозможны, или составляютъ чрезвычайно рѣдкія исключенія, на которыя общественное мнѣніе смотритъ, какъ на сумасбродныя и даже безнравственные поступки. Во всемъ своемъ поведеніи мѣщане гораздо менѣе крестьянъ поддаются внушеніямъ неблагоприятныхъ страстей. Любовь, ненависть, презрѣніе, гнѣвъ, негодованіе, жажда мщенія—все это такіе чувства, которыя у крестьянъ вырываются иногда съ неудержимой силой, наперекоръ всѣмъ требованіямъ финансоваго положенія и всѣмъ соображеніямъ практическаго разсудка. У мѣщанъ, напротивъ того, всѣ эти чувства держатся на привязи и выпускаются на волю только тогда, когда ихъ шумное и эффектное появленіе не можетъ помѣшать достиженію серьезныхъ цѣлей, то-есть повредить интересамъ карьеры и кармана.

Это различіе между мѣщанами и крестьянами обнаруживается очень наглядно и съ разныхъ сторонъ въ исторіи молодого чиновника Гавеля и крестьянки Лизы Мурильонъ. Гавель соблазняетъ эту Лизу, дочь крестьянина, арендующаго ферму Бурдона. Лиза дѣлается беременной, и эта беременность становится извѣстной черезъ нѣсколько дней послѣ торжественнаго объявленія о томъ, что Гавель женится на Орели Бурдонъ, дочери того богача и мудраго политика, имя котораго уже встрѣчалось на предыдущихъ страницахъ. Встрѣтивъ Гавеля на берегу рѣки, гдѣ онъ прогуливается съ семействомъ своей невѣсты, Лиза требуетъ у него разговора наединѣ, уводитъ его за кусты и тамъ объявляетъ ему о своемъ положеніи. Съ ней находится въ эту минуту Жанъ, молодой работникъ ея отца, влюбленный въ нее; Гавель, переговоривъ съ Лизой, подаетъ Жану золотую монету, приглашая его молчать обо всемъ, что онъ видѣлъ и слышалъ. Жанъ бросаетъ ему эту монету въ лицо. «Гавель чуть не схватилъ за горло мужика, но, вѣрный правиламъ осторожности, онъ удержался отъ этого, сдѣлавъ надъ собой страшное усиліе. Берегись!—сказалъ онъ съ угрожающимъ жестомъ и страшнымъ выраженіемъ лица; потомъ онъ быстро ушелъ. Обладая уже искусствомъ бороться съ человѣческими чувствами и волненіями, какъ собственными, такъ и чужими, онъ успѣлъ справиться съ

своими перваи въ тѣ пять минутъ, которыя ему понадобились, чтобы дойти до госпожи Бурдонъ; закипѣвшая кровь остыла въ немъ, и лицо его прояснилось».

Эта сцена достаточно выразительна. Мужикъ наноситъ жестокое личное оскорбленіе барину, нисколько не принимая въ соображеніе того вліянія, которое этотъ баринъ можетъ имѣть на его карьеру. А баринъ на оскорбленіе, равносильное пощечинѣ, отвѣчаетъ страшнымъ взглядомъ, угрожающимъ жестомъ, словомъ «берегись!» и быстрымъ отступленіемъ, сообразивши въ ту же секунду, что шумъ драки и громкій скандалъ могутъ разстроить его планы, и что гораздо благоразумнѣе будетъ проглотить обиду молча, какъ-бы ни была она сильна и унизительна. Между тѣмъ, съ одной стороны, Гавель можетъ пожаловаться на Жана своему будущему тестю, Бурдону, Бурдонъ можетъ сказать о немъ слово Мурильону, и Жанъ останется безъ мѣста. А съ другой стороны, какой-бы ужасный скандалъ ни произошелъ, какое-бы дурное мнѣніе не получили о Гавелѣ Бурдонъ, его семейство и всѣ жители деревни Шаваньи, Гавель не потеряетъ ни своего казеннаго мѣста, ни тѣхъ денегъ, которыя онъ, по всей вѣроятности, получаетъ на житье отъ своего отца, ни вообще какого бы то ни было изъ тѣхъ матеріальныхъ обезпеченій, которыя даютъ ему возможность играть роль провинціального льва. Значитъ, мужикъ, увлеченный страстью, рискуетъ всѣмъ, что у него есть; а баринъ, въ которомъ ударъ по лицу долженъ былъ конечно разбудить сильнѣйшую и самую неукротимую изъ чело-вѣческихъ страстей, не желаетъ рискнуть даже той выгодной спекуляціей, которая находится у него въ ходу, и которая, если даже дойдетъ окончательно, нисколько не подорветъ источниковъ его благосостоянія. Откуда же происходитъ такое различіе между этими двумя людьми? Пожалуй, можно было бы просто сказать: одинъ смѣлый чело-вѣкъ, другой — разсчитливый трусъ; но это объясненіе было бы совершенно произвольно и кромѣ того само нуждалось бы въ объясненіи. Относительно Гавеля оно даже и невѣрно; по всѣмъ приемамъ Гавеля видно, что онъ, при случаѣ, готовъ рискнуть жизнью, еслибы такой рискъ былъ абсолютно необходимъ для успѣха его житейскихъ предпріятій, то-есть, еслибы ему надо было, во что бы то ни стало, показать людямъ бѣгущей толпы, что онъ способенъ посмотреть въ глаза смерти. Но, разумеется, онъ и жизнью сталъ бы рисковать не по страсти, а по разсчету, именно тогда, когда этого требуютъ его служебные или денежныя интересы, и именно на столько, на сколько это для нихъ необходимо.

Объясненіе различія между поступками Жана и дѣйствіями Гавеля заключается, по моему

мнѣнію, не въ ихъ личныхъ характерахъ въ ихъ положеніяхъ. Чѣмъ рискуетъ Жанъ? Мѣстомъ батрака. Велико сокровище? Рискнулъ онъ съ Мурильономъ, пошатнулся, и онъ пошелъ по старому. Жанъ знаетъ себя и понимаетъ очень хорошо, что Мурильонъ за его трудъ то, что далъ бы и что действительно дастъ въ случаѣ надобности великой покупищикъ, то-есть въ сущности не меньше того, что этотъ трудъ стоитъ и томъ дѣлѣ, то-есть гораздо меньше, чѣмъ количество продуктовъ, которое можетъ добыто или передѣлано посредствомъ труда. Трудъ Жана имѣетъ свою рыночную цѣну, и чтобы получить за него эту цѣну Мурильона или отъ кого-либо другого, не нуждается ни въ какихъ вспомогательныхъ маневрахъ и подготовительныхъ комбинаціяхъ. Жанъ, оторванный отъ Мурильона, все же Жанъ, дюжій, работающій парень, тѣ качества и сноровки остаются при немъ, продажная цѣнность его труда не падаетъ ни на одинъ сантимъ. Жанъ можетъ думать, что онъ стоитъ не такъ много, какъ кихъ нибудь хрупкихъ и хитрыхъ подмастерьевъ, а на собственныхъ здоровыхъ ногахъ. Онъ беретъ за себя даже меньше того, что самый дѣлъ стоитъ, и умѣетъ довольствоваться этимъ малымъ. Поэтому ему нечего бояться, что онъ не найдетъ себѣ покупищиковъ. Онъ и можетъ себѣ позволить ту роскошь, въ которой благоразумно отъ себя себѣ блестящій Гавель.

Люди, подобные блестящему Гавелю, противъ того, получаютъ за себя, тѣмъ другимъ путемъ, несравненно болѣе рыночной цѣны. Въ этомъ собственно состоятъ всѣ выгоды ихъ привилегированнаго положенія. Вся коллективная политика людей клонится къ тому, чтобы удерживать полной силѣ и развитіи надлежашимъ зомъ тѣ условія, благодаря которымъ достигается эта непомянуто высокая цѣна. Индивидуальная политика направлена, чтобы, комбинируя различными способами общія условія, брать за себя такую цѣну, которая нисколько не соответствуетъ личнымъ достоинствамъ, ни количеству выполняемой ими полезной работы. Такъ и Гавель, Гавель занимаетъ мѣсто, на которое получаетъ извѣстное жалованье. За что онъ это мѣсто совсѣмъ не потому, что болѣе всѣхъ своихъ сверстниковъ способенъ его занимать, а потому, что ему удалось получить выигрышный билетъ въ дилерскихъ. Во-первыхъ, онъ поступилъ въ биржу и кончилъ въ немъ курсъ, между тѣмъ какъ многія тысячи его соотечественниковъ, вполнѣ способныхъ учить

или ни въ какое училище и не кончили
ого курса. Это случилось съ Гавелемъ
у, что онъ родился на свѣтъ сыномъ
человѣка, которому привилегированное
еніе давало возможность доставить сво-
ѣтямъ хорошее образованіе. Это обсто-
ство, неимѣющее ничего общаго съ лич-
достоинствами Гавеля, составляетъ пер-
выигрышный билетъ. Далѣе Гавель, по-
ѣ изъ училища, при помощи различ-
рекомендацій, протекцій, связей и хода-
ель, получилъ мѣсто, котораго навѣрное до-
сь въѣстъ съ нимъ другіе претенденты,
ково компетентные и имѣющіе съ нимъ
менно одинаковыя права. Это — второй
ышный билетъ. Первый билетъ состав-
чистую случайность, но второй взять
ряка. Гавель получилъ его, благодаря
искусно-пригнанной системѣ отношеній,
даря тому, что его знаютъ, какъ сына
то, какъ племянника такой-то, какъ
ла такихъ-то, какъ милаго и образо-
то юношу, отлично умѣющаго держать
съ гостиной и танцевать польку и вальсъ.
бы удерживать за собой тѣ выгоды, ко-
доставляетъ полученный выигрышный
ѣ, и чтобы эти выгоды росли и множи-
въ его рукахъ, Гавель долженъ тща-
о наблюдать за неприкосновенной цѣ-
той тонкой и замысловатой ткани
еній, которой онъ себя опуталъ и ко-
поддерживаетъ его на извѣстной вы-
Онъ долженъ воздерживаться отъ вся-
быстраго и рѣзкаго движенія, которое мо-
прорвать эту ткань; чуть только въ этой
и начнетъ обнаруживаться крошечная про-
а, онъ долженъ зачинивать ее, не жалѣя ни
ени, ни труда, ни лицемерныхъ улыбокъ, ни
ительныхъ поклоновъ, ни лживыхъ увѣреній.
ель, оторванный отъ своихъ патроновъ и
общенный съ той сферой, которая раздастъ
мъ любимцамъ выгодныя должности, де-
ныя и почетныя награды, богатые наслѣд-
и руки богатыхъ невѣстъ — совсѣмъ не то,
Жанъ, оторванный отъ своего хозяина Му-
она. Если Гавель прогнѣваетъ своего па-
ку, не съумѣетъ поддѣлаться къ богатой
шкѣ, повздоритъ съ своимъ начальникомъ
лужбѣ, обратитъ на себя суровое вниманіе
овоспитаннаго общества какимъ нибудь яр-
ь скандаломъ, если онъ, вслѣдствіе этихъ
угихъ подобныхъ причинъ, сорвется съ той
еньки, на которой онъ держится, и поле-
внизъ, то онъ сразу сдѣлается самымъ
кимъ пролетаріемъ, обидчивымъ и раздра-
зительно — самолюбивымъ, безъ воловьей силы,
способности и привычки къ тяжелымъ ли-
ямъ и къ черной работѣ. Онъ упадетъ такъ
о, какъ Жанъ можетъ упасть только, на-
ѣръ, вслѣдствіе долгой изнурительной бо-

лѣзни. Гавель и люди ему подобные понимаютъ
и чувствуютъ это постоянно въ каждую дан-
ную минуту. Боязнь попортить или порвать за-
путанную паутину общественныхъ связей и
отношеній, боязнь подломить подъ собой высо-
кія и хрупкія ходули, благодаря которымъ мож-
но презирать простыхъ людей, мѣсящихъ грязь
собственными ногами — эта боязнь управляетъ
всеми поступками Гавелей и становится для
нихъ второй природой. Эта боязнь называется
умѣньемъ жить съ людьми и держать себя въ
обществѣ; она лежитъ въ основаніи всѣхъ без-
честныхъ уступокъ и унижительныхъ компро-
миссовъ; она заставляетъ человѣка молча гло-
тать оскорбленія, подавлять въ себѣ взрывы
самаго законнаго негодованія и сгибаться въ
дугу передъ сильнымъ или смѣлымъ обидчикомъ;
она прививается и прирастаетъ такъ крѣпко
ко всему нравственному существу человѣка; она
пускаетъ такіе глубокіе и цѣпкіе корни въ его
характеръ, что человѣкъ продолжаетъ бояться
и дипломатизировать, сгибаться и извиваться,
лгать передъ другими и передъ самимъ собой,
насиловать и извращать лучшія и самыя есте-
ственные движенія своей природы даже тогда,
когда онъ навсегда застрахованъ противъ па-
денія въ грязную пропасть нищеты и когда
онъ могъ бы прожить остатокъ дней своихъ
въ полнѣйшей нравственной независимости.

То же различіе, которое я замѣтилъ между
Жаномъ и Гавелемъ, замѣчается далѣе между
Мурильономъ, отцомъ соблазненной дѣвушки,
и Бурдономъ, отцомъ той дѣвушки, которая
должна сдѣлаться законной супругой соблаз-
нителя. Беременность Лизы перестаетъ быть
тайной; о ней говорятъ и шутятъ въ деревен-
скомъ трактирѣ; Марильонъ, услышавъ эти
толки, приходитъ въ неистовство и затѣваетъ
драку; потомъ онъ бѣжитъ домой разспросить
Лизу и застаётъ ее вмѣстѣ съ Гавелемъ, толь-
ко что вручившимъ ей, въ видѣ утѣшенія, пол-
ный кошелекъ. Гавель убѣгаетъ, а Мурильонъ
бросается на дочь и хочетъ ее убить. Мишель
спасаетъ Лизу; Мурильонъ собирается убить
Гавеля, потомъ бросаетъ эту мысль и хочетъ
преслѣдовать его судебнымъ порядкомъ, потомъ
убѣждается, что это ни къ чему не поведетъ,
и наконецъ измученный бессонной ночью и
безысходными думами, рѣшаетъ къ утру, что
мужику ничего нельзя сдѣлать путнаго, и что
нѣтъ на свѣтѣ ни суда, ни правды, ни Госпо-
да Бога, и что остается только приниматься
потихоньку за обыкновенную будничную тяже-
лую работу. Еслибы онъ могъ цѣной всего сво-
его состоянія — я уже не говорю предотвратить
или поправить случившуюся бѣду, — но даже
только добиться того, чтобы Гавель былъ на-
казанъ, какъ низкій негодай, то онъ не поко-
лебался бы ни на одну минуту. При своемъ
безсиліи онъ дѣлаетъ все, что можетъ. Онъ

отправляется къ Бурдону и рассказываетъ ему о поступкѣ Гавеля, надѣясь по крайней мѣрѣ разстроить его бракъ. Въ то самое время, когда Мурильонъ объясняется съ Бурдономъ, на дорогѣ происходитъ столкновение между Гавелемъ, съ одной стороны, и Жаномъ—съ другой.

Жанъ бросается на него съ топоромъ и наноситъ одну рану его лошади, а другую—ему самому. Лизины братья Каде и Мишель, рубившіе дрова вмѣстѣ съ Жаномъ, обезоруживаютъ его и спасаютъ Гавеля. Но при этомъ Каде полосуетъ Гавеля лицо кнутомъ, и Гавель, вырванный появленіемъ постороннихъ лицъ, уѣзжаетъ въ городъ, задыхаясь отъ ярости и составляя самые несбыточные планы мщенія. Теперь наступаетъ для Бурдона время заявить не только то, съ какой точки зрѣнія онъ смотритъ на дѣйствія Гавеля, но еще и то, счумѣетъ ли онъ и пожелаетъ ли постоять за будущность своей собственной дочери. Бурдонъ нисколько не обманывается насчетъ Гавеля; онъ понимаетъ вполне, что этотъ человѣкъ непременно отравитъ жизнь его дочери и ни въ какомъ случаѣ не сдѣлаетъ ее счастливой. Онъ приходитъ въ негодованіе и хочетъ разорвать предположенный бракъ. «Человѣкъ, настолько безразличный, говоритъ онъ своей женѣ, что соблазняетъ шестнадцатилѣтнюю горничную въ домѣ своей невесты, такой человѣкъ всегда будетъ необузданнымъ развратникомъ. Отказываясь отъ этого брака, я спасаю дочь!» Но госпожа Бурдонъ, послѣ продолжительнаго разговора, направленнаго къ тому, чтобы оправдать Гавеля или по крайней мѣрѣ включить его въ многочисленный рядъ обыкновенныхъ и общераспространенныхъ мужей, напоминаетъ своему Антонену о паутинѣ тѣхъ отношеній, которыя необходимы ему для успѣха его предпріятій, и перечисляетъ тѣ нити этой паутины, которыя оборвутся въ случаѣ рѣзкаго отказа выгодному жениху. «Вся ее жизнь будетъ надломлена, говоритъ госпожа Бурдонъ о дочери. Можетъ быть также общественное мнѣніе будетъ къ ней до такой степени несправедливо, что она уже никогда не найдетъ тѣхъ выгодъ и связей, которыя представлялъ ей бракъ съ Гавелемъ. Наконецъ въ этомъ разрывѣ все на насъ обрушивается, все насъ губитъ. Теперь опять вся будущность Эниля сдѣлается сомнительной; разумѣется, дядя Гавеля, обѣщавшій намъ мѣсто аудитора въ государственномъ совѣтѣ, возьметъ назадъ свое слово. И ты также теряешь поддержку супрефекта при выборахъ въ депутаты».

Соображенія о паутинѣ дѣйствуютъ; Бурдонъ покорно склоняетъ голову; великодушное негодованіе его испаряется; раздраженный отецъ становится трусливымъ и благовоспитаннымъ членомъ бѣгущей и суетящейся толпы. Съ нимъ происходятъ та-же исторія, которая соверши-

лась съ Гавелемъ, когда, подъ вліяніемъ разумныхъ соображеній, намѣреніе Жана за горло превратилось въ упрямство, въ слово «берегись!» и въ бѣгство. Такія же благоразумныя соображенія побуждаютъ блестящаго, но похотливаго отказаться отъ плановъ мщенія и назадъ жалобу, поданную мировому судейскому Каде и на Жана, какъ на злодѣевъ, вынужденныхъ отнять жизнь у мирнаго и уважаемаго гражданина. Сойдясь между собой въ пристрастіи къ благоразумнымъ соображеніямъ Гавель и Бурдонъ убѣждаются въ то, что они достойны другъ друга и что имъ не за что ссориться. Послѣ приличной паузы, вызванной печальными событіями и длившимися деревенскими толками, Орели Бурдонъ становится супругой Гавеля, который въ честствѣ мужа сдерживаетъ вполне все, что онъ обѣщалъ въ качествѣ жениха.

III.

Въ такой средѣ, гдѣ все повинуется разумнымъ соображеніямъ, положеніе дѣвушки оказывается очень безотраднѣе нѣтъ будущаго, нѣтъ надежды жить полной жизнью, нѣтъ шансовъ себѣ спутника жизни, сдѣлаться женою; въ томъ обществѣ, гдѣ она и люди ищутъ себѣ приличныхъ партій, бѣдная дѣвушка, можетъ быть только и обузой, которую можетъ взять себѣ только отъявленный сумасбродъ; но такіе сумасброды рѣдки въ наше благоразумное время, да и тѣ, которые имѣются въ большинствѣ, въ качествѣ сумасбродовъ умѣютъ добыть себѣ собственнымъ трудомъ насущнаго хлѣба и поэтому, при совершенной экономической зависимости отъ заботливыхъ родителей или отъ близкихъ родственниковъ, обезпечиваются казаніями и запрещеніями отъ слишкомъ и непоправимыхъ увлеченій. Люди ищутъ себѣ богатыхъ невестъ, что богатство даетъ имъ право мнѣ бовать и высоко поднимать свои претензіи; также ищутъ богатыхъ невестъ, что желаютъ сдѣлаться богатыми, и могутъ и не имѣть на то достаточнаго наследственнаго права. Виднымъ камнемъ остается только увядать и медленнѣе лагаться въ безнадежномъ одиночествѣ.

Мы знакомимся съ Люси Бертенъ въ то время, когда извѣстіе о предстоящей ея кузины, Орели Бурдонъ, заставъ Люси, оглянуться на самое себя и на надѣ тѣмъ, что ожидаетъ ее въ Орели моложе Люси на два года, и она успѣла отказать столькимъ женихамъ

силетница въ околотѣхъ, ходячая лѣтчица въ деревенскихъ событіяхъ, мадемуазель Бокъ изывается ихъ пересчитатъ. Сестра Люси, риса, напротивъ того, дожила до двадцатилѣтняго лѣтъ, «не слышавши отъ роду ни слова ни, не видя и тѣни жениха у смиреннаго эта родителей». Самой Люси уже двадцать лѣтъ; она миловидна, граціозна, очень умна, добра, отлично ведетъ хозяйство въ домѣ родителей, посвящена во всѣ тайны женскаго дѣла; словомъ, отличается всѣми достоинствами, которыя могутъ привлечь съ одной стороны пылкихъ юношей, съ другой стороны — дѣвственны и разсудительныхъ старыхъ холостыхъ, желающихъ имѣть въ женѣ пріятную стороннюю экономку, и однако же нѣтъ жениха и нѣтъ ни малѣйшаго основанія думать, что они когда-либо явятся. Люси вглядывается въ свое положеніе, оцѣниваетъ его этой стороны, видитъ пустоту въ настоящемъ, понимаетъ, что та-же холодная и мрачная пустота ожидалась ее въ будущемъ — и, впадши наединѣ съ своими мыслями, подѣломъ гори и ужаса, заливается слезами. Мысли, это горе, этотъ ужасъ и въ особенности эти слезы, слезы о томъ, что нѣтъ и предвидится жениховъ — способны навсегда заковать Люси Бертенъ въ глазахъ многихъ сельницъ, считающихъ себя развитыми дѣвками или женщинами. Какой позоръ! — скажутъ развитыя читательницы. — Какое низкое чувство! Думать о женихахъ! Сокрушаться изъ-за того, что какіе-нибудь дрянные люди, какіе-нибудь пошляки не вздыхаютъ у ея ногъ и не предлагаютъ ей предложенія! Изъ-за отсутствія жениховъ не видѣть въ жизни ничего, кромѣ холодной и холодной пустоты! А работа общественная дѣятельность, жизнь мысли!

Согласенъ съ развитыми читательницами, что того, что когда человѣку не удалось найти себѣ въ жизни личнаго счастья, то-есть взаимной любви со всѣми радостями и страданиями, тогда ему надо во всякомъ случаѣ утѣшиться какъ-нибудь такъ, чтобы его существованіе было какъ можно менѣе обременительно для него самого, для близкихъ ему людей и для всего общества. Въмѣсто того, чтобы заниматься перетряхиваніемъ старыхъ воспоминаній, вмѣсто того, чтобы вздыхать и плакать надъ несбытими надеждами, надо искать себѣ полезныя занятія, которыя, доставляя человѣку честную самостоятельность, в то же время наполняли-бы его дни и часы, охраняли-бы его отъ увѣчья, давали-бы ему какое-нибудь упражненіе его умственнымъ силамъ, какимъ образомъ не позволяли-бы ему опуститься, огупѣть, измельчать и окислиться въ этой атмосферѣ хронической праздности, безплодной болтовни и завистливыхъ злоудовольствъ. Но во-первыхъ, вайти такіа

занятія не всегда и не вездѣ легко, въ особенности дѣвчужь; большая часть тѣхъ занятій, которыя кое какъ поддерживаютъ жизнь работающихъ женщинъ, не требуетъ ни малѣйшаго напряженія умственныхъ способностей; оставаясь неприложенными къ дѣлу, эти способности понемногу вянутъ и извращаются; пока надъ ними совершается этотъ медленный процессъ разложенія, до тѣхъ поръ женщина томится, тоскуетъ и скучаетъ, а когда онъ приходитъ къ благополучному окончанію, тогда женщина превращается въ старую болтуню и злую силетницу, поглощенную ничтожѣйшими мелочами окружающей жизни. Во-вторыхъ, если даже полезныя занятія найдены, то человѣкъ все-таки можетъ сказать себѣ только, что онъ занятъ, что онъ не даромъ живетъ на свѣтѣ, что онъ никому не въ тягость, но онъ никакъ не можетъ назвать и признать себя счастливымъ человѣкомъ. Одна изъ самыхъ существенныхъ потребностей человѣка, потребность любить и быть любимымъ, все-таки останется навсегда неудовлетворенной, и если только человѣкъ захочетъ и рѣшится быть откровеннымъ съ самимъ собой, то онъ все-таки принужденъ будетъ сознаться, что его жизнь до нѣкоторой степени пуста и холодна, несмотря на всѣ высокія наслажденія, которыя доставляются ему успешнымъ ходомъ полезной работы. Онъ принужденъ будетъ подумать и почувствовать, что эту пустоту можно пожалуй замаскировать, но что уничтожить ее нельзя, потому что нѣтъ и никогда не будетъ такого суррогата, который замѣнилъ-бы вполне отсутствующую любовь.

Представьте же теперь, что человѣкъ свѣжій, здоровый и только-что начинающій жить, смотритъ въ даль будущаго, на ту длинную вереницу лѣтъ, которую онъ, по всей вѣроятности, еще проживетъ на свѣтѣ. Смотритъ и видитъ, что это будущее отгорожено неразрушимой стѣной отъ всего, что въ его глазахъ составляетъ смыслъ, цѣль и красоту жизни; смотритъ и видитъ, что какъ-бы долго ни тянулось это будущее и какими-бы мелкими случайностями оно ни было испещрено, а все-таки стѣна остается стѣной, и холодная пустота жизни окажется роковымъ фактомъ, къ которому надо будетъ такъ или иначе привыкнуть и принаровиться. Вообразите себѣ, какой глубокой и леденящей ужасъ долженъ охватить человѣка, когда для него въ первый разъ сдѣлается до очевидности яснымъ, что его жизнь ни въ какомъ случаѣ не будетъ болѣе или менѣе удачной погоней за радостями и наслажденіями, за сильными, глубокими и плодотворными ощущеніями, а будетъ только медленнымъ и томительнымъ привыканіемъ къ неизбежному злу, къ неизлечимому, глухому страданію, которое исчезнетъ только съ послѣднимъ вздо-

хомъ, или съ послѣднимъ проблескомъ человѣческой созвательности и чувствительности. Конечно, люди проживаютъ съ такими страданіями десятки лѣтъ, и оглядываясь назадъ на пройденное поприще, говорятъ себѣ и другимъ: однако, вотъ уже двадцать, или тридцать, или сорокъ лѣтъ прошло! Но смотрѣть на допитую чашу совѣтъ не то, что имѣть передъ собою полную чашу, и видѣть, какъ она велика, и чувствовать всю ея горечь, и знать, что къ ней надо будетъ прильнуть губами и нить, не отрываясь, до послѣдней капли. Чувствовать въ своей жизни пустоту и холодъ конечно тяжело и больно; но видѣть заранѣе, что пустота и холодъ неизбежны, и видѣть именно тогда, когда стремленіе къ свѣту и къ теплотѣ всего сильнѣе—это еще гораздо тяжелѣе и больнѣе. Тутъ даже самому мужественному человѣку не стыдно было-бы заплакать отъ ужаса, отчаянія и безсильной злости.

Въ ту минуту, когда Люси смотритъ въ безотрадную даль своего будущаго, во всемъ, что ее окружаетъ, нѣтъ ничего такого, на что она могла-бы опереться, на чемъ она могла-бы отдохнуть душой, что могло-бы сколько-нибудь помирить ее съ жизнью. Ея семья состоитъ изъ жалкихъ людей, которые не умѣютъ ни выбиться изъ своей бѣдности какими-нибудь энергическими усиліями и ловко рассчитанными изворотами, ни нести свою бѣдность съ терпѣніемъ и съ достоинствомъ. Ея отецъ—безпечный и ограниченный лежебокъ; ея мать—старая мечтательница, навсегда попорченная съ молодости чтеніемъ сентиментальныхъ романовъ; ея сестра—двадцати-шестилѣтняя дѣвушка, домучившая себя до чахотки постояннымъ пересчитываніемъ того, что есть у другихъ, и чего нѣтъ и никогда не будетъ у нея; ея братъ—мелкій чиновникъ, усматривающій смыслъ жизни въ томъ, чтобы одѣться по модѣ, воткнуть въ галстухъ золотую булавку и при случаѣ съ скромной улыбкой хвастнуть подаркомъ, полученнымъ отъ любовницы. Люси умѣетъ и крѣпче всѣхъ этихъ людей; она не можетъ ни любить, ни уважать ихъ; она стоитъ настолько выше ихъ, что ей даже въ голову не приходитъ дѣлиться съ ними своими впечатлѣніями и просить у нихъ совѣта и помощи въ трудныя минуты раздумья и горя. Всѣ они умѣютъ только плакаться на нищету, припоминая славу своихъ богатыхъ предковъ и утверждая, что жизнь обманула ихъ коварѣйшимъ образомъ; всѣ они, относясь съ кровавой ironіей къ своему обѣду, къ похлебкѣ изъ луку и къ соусу изъ бобовъ, бросаютъ завистливые взгляды на чужіе достатки; всѣ они унижаются передъ богатыми родственниками, принимаютъ и выпрашиваютъ отъ нихъ подачку, и потомъ потихоньку бранятъ ихъ за то, что они дали слишкомъ мало и обнаружили недостатокъ со-

чувствія къ трагическому положенію родившихся для лучшей доли и отъ природы возвышенными стремленіями.

У Люси не только нѣтъ надежды на жизнь взаимной любовью, но нѣтъ и дѣла, которымъ можно было-бы общими силами вѣствовать и разрѣшать представляющіеся ей вопросы. У нея нѣтъ также и яснаго пониманія, какимъ разумнымъ содержаніемъ наполнить неудавшуюся жизнь. У нея только самородное влеченіе ко всему хорошему и честному, истинному и неподдѣльному ко всему, въ чемъ выражается сила и неиспорченность человѣческой природы. Есть также свойственная умнымъ людям способность отличать истину отъ лжи и остротой чуткимъ ухомъ всѣ фальшивыя ноты и щіе диссонансы, внесенныя въ междучасія отношенія узкими и мелкими разладами практическаго благоразумія. Судя по своимъ впечатлѣніямъ, она увѣрена, что есть на свѣтѣ люди, и наравнѣ съ нею тяготить ложь и несправедливости господствующихъ условій, и которые съ ней не хотятъ и не могутъ разсуждать на франки и на сантимы своей умъ, своимъ характеромъ и свою энергію. Она понимаетъ, что перемѣнить такихъ людей, съ которыми она сойдется, нѣтъ въ ея помыслахъ, что найдется вѣрный и полный откликъ на всѣ ея стремленія, она отдастъ ему и свою душу, и что въ этомъ безраздѣльномъ общеніи своей души она почувствуетъ всю радость земного блаженства. Она понимаетъ, что счастливой значить полюбить такого человека и привлечь къ себѣ его любовь; она понимаетъ, что никакого другого счастья не бываетъ, можетъ быть на свѣтѣ; и она желаетъ и ищетъ этого счастья, и не боится и не стыдится признаваться себѣ въ этомъ желаніи; она говоритъ себѣ: я хочу любить, какъ сказала я хочу ѣсть или пить, еслибы была жажда или чувствовала жажду. Видя, что некого, что никто къ ней не подходитъ, не изъ чего выбирать, что некого съ своимъ неяснымъ идеаломъ и отвергать во имя идеала, что и будущее не обѣщаетъ ничего хорошего на счастливую или даже несчастливую любовь—она страдаетъ и плачетъ, и не утѣшается отъ самой себя настоящи- чины своего горя и своихъ слезъ. «Такъ когда не выйду замужъ!» думаетъ она горько и откровенно. «Что же я буду дѣлать собой?» Такой откровенностью, такой честностью и рѣшимостью называть свои мысли и настоящими именами и спокойно и спокойно вѣщать ихъ взглядомъ до самаго дна об- щественности немногіе люди, особенно немногія женщины, обладаютъ этими свойствами, тогда можно назвать умнымъ и сильнымъ человекомъ.

Именно то обстоятельство, что Люси

объ отсутствіи жениховъ и вполнѣ понимаетъ причину своихъ слезъ, именно это обстоятельство и ставитъ ее неизмѣримо выше тѣхъ развитыхъ читателей, которые осуждаютъ ее за ея неприличныя размышленія и малодушное уныніе.

Первая встрѣча Люси съ Мишелемъ, старымъ товарищемъ ея дѣтскихъ игръ, происходитъ именно тогда, когда, наплакавшись досыта, чувствуя себя очень одинокою и невольно жалѣя о невозвратимыхъ годахъ веселой беззаботности, она въ высшей степени способна оцѣнить и принять съ глубокой признательностью всякое выраженіе добраго дружескаго участія. Мишель и Люси обмѣниваются нѣсколькими незначительными фразами, изъ которыхъ мы однако узнаемъ, что Мишель всегда былъ другомъ и покровителемъ Люси, и что онъ всегда обнаруживалъ къ ней самое очевидное пристрастіе. Онъ часто думаетъ о прошедшемъ; онъ находитъ, что это было славное время; онъ радъ тому, что и Люси вспоминаетъ прошлое, и, увлекаясь воспоминаніями, онъ обнаруживаетъ такое воодушевленіе, вслѣдствіе котораго рѣчь его становится даже немного безсвязной. «А вы, мадемуазель Люси, говоритъ онъ, вы были такъ добры и милы, что... лишь бы только быть съ вами вмѣстѣ... около васъ... и всякій доволенъ... и ничего больше не надо». Затѣмъ онъ вдругъ замѣчаетъ съ испугомъ, что Люси безъ сабо и рискуетъ промочить себѣ ноги. Онъ бѣжитъ опрометью за ея сабо, надѣваетъ ей ихъ на ноги, и тѣмъ кончается первое свиданіе. Люси приходитъ домой и видитъ, что безъ нея царствуетъ общій хаосъ, и что никто не умѣетъ ни приготовить ужинъ, ни успокоить больную Клариссу.

Она приводитъ все въ порядокъ и чувствуетъ при этомъ, хотя и не останавливается на этомъ впечатлѣніи, что ея домашніе какіе-то жалкіе недоросли, о которыхъ постоянно надо заботиться и отъ которыхъ невозможно ожидать никакой сильной поддержки и дѣятельной помощи. Уже въ то время, когда Мишель бѣгалъ за сабо, Люси подумала: «онъ всегда добръ. Никогда Гюставъ (ея братъ), никогда никто не былъ ко мнѣ такъ внимателенъ, какъ этотъ бѣдный Мишель». Сцена домашней безтолковости и безпомощности не заставляетъ Люси проводить какія-нибудь параллели между тѣмъ человѣкомъ, который внимателенъ къ ней, и тѣми людьми, къ которымъ она должна быть внимательна, но эта сцена составляетъ густую тѣнь, положенную рядомъ со свѣтлой полоской. Какъ-бы ни былъ человѣкъ далекъ отъ мысли и желанія производить сравненія, невыгодныя для темнаго пятна, какъ-бы ни былъ онъ проникнутъ тѣмъ сознаніемъ, что онъ связанъ съ этимъ пятномъ священнѣйшими узами и обязанъ относиться кротко и даже любовно къ его

мрачному колориту, а все-таки отъ своего со-сѣдства съ темнымъ пятномъ свѣтлая полоска становится замѣтнѣе и производитъ болѣе сильное и прочное впечатлѣніе на нервную систему воспримчиваго наблюдателя.

IV.

Люси уже знаетъ, что Мишель къ ней добръ и внимателенъ, что въ немъ сохранилось живое и пріятное воспоминаніе о дѣтскихъ играхъ, что онъ съ радостью готовъ оказать ей услугу, но она еще совсѣмъ не знаетъ, что за человѣкъ этотъ Мишель, и она даже не можетъ себѣ представить, чтобы изученіе этой личности могло сдѣлаться для нея сколько-нибудь интереснымъ. Ея отношенія къ Мишелю измѣняются медленно, шагъ за шагомъ; ея чувство возникаетъ и растетъ на глазахъ у читателя. Авторъ соблюдаетъ здѣсь полнѣйшую постепенность и неподражаемую естественность переходовъ; тѣ мелкіе случаи всендневной жизни, въ которыхъ Мишель совершенно невольно и нечаянно обнаруживаетъ различныя стороны своего ума и характера, подобраны и сгруппированы такъ искусно, что самый строгій и недоувѣрчивый читатель не замѣтитъ ни малѣйшей натяжки ни въ поведеніи Мишеля, ни въ томъ впечатлѣніи, которое его слова и поступки производятъ на Люси.

Изъ разговора Бертеня съ Каде Мурильономъ Люси узнаетъ случайно, что въ Мишеля влюбилась дочь очень богатаго крестьянина Мартена, за которую сватались беззастѣсливо многіе мѣщане и даже «господчики изъ Пуатье», что ея отецъ былъ согласенъ выдать ее за Мишеля, что она сама призналась Мишелю въ любви, что Мишель рѣшительно не захотѣлъ на ней жениться, ушелъ отъ ея отца, у котораго жилъ въ рабочихъ, и теперь никому не позволяетъ при себѣ говорить и шутить по поводу всей этой исторіи. Разговоръ между Каде и Бертенемъ заканчивается тѣмъ, что Бертенъ называетъ Мишеля великимъ чудачкомъ. Это восклицаніе не возбуждаетъ въ Люси ни удивленія, ни негодованія; она не ожидала ничего другого; она привыкла видѣть въ окружающихъ людяхъ грубое непониманіе того, чѣмъ она восхищалась въ книгахъ и чего до сихъ поръ напрасно искала въ жизни; она привыкла невольно и инстинктивно причислять свою семью къ этимъ окружающимъ людямъ, не вглядываясь и не вдумываясь въ горькій и обидный смыслъ этого причисленія; она пропускаетъ мимо ушей восклицаніе отца и сосредоточиваетъ все свое вниманіе на томъ совершенно новомъ и ярко-отрадномъ для нея фактѣ, что есть люди, непохожіе на окружающихъ, и что такіе люди могутъ встрѣчаться въ ея родной деревнѣ, въ низшихъ и грубѣйшихъ слояхъ общества, среди ея давнишнихъ знакомыхъ. Мишель сразу ста-

новится для нея интересной загадкой, такой загадкой, разрѣшеніе которой можетъ измѣнить самымъ существеннымъ образомъ всѣ ея взгляды на жизнь, составившіеся въ значительной степени подъ вліяніемъ узкихъ сословныхъ предубѣжденій. Она заговариваетъ съ Мишелемъ уже не такъ, какъ говорила прежде; по выраженію автора, она точно робѣетъ передъ нимъ. Видя, что садъ Вертений не вскопанъ и не засѣянъ, Мишель предлагаетъ Люси придти работать въ воскресенье утромъ, и Люси говорить: «хорошо». Ей приходится въ голову упомянуть о платѣ, но она боится оскорбить Мишеля и не смѣетъ ничего сказать о денежныхъ условіяхъ. Она разспрашиваетъ Мишеля о его занятіяхъ и наклонностяхъ; она узнаетъ, что онъ любитъ читать, что онъ тяготится своимъ невѣжествомъ, что его тревожатъ вопросы, на которые онъ не находитъ отвѣтовъ, что онъ со всей искренностью человѣка, нисколько неиспорченнаго дрессировкой, чувствуетъ и цѣнитъ красоту и свѣжесть сельской природы, что онъ плакать, какъ ребенокъ, надъ романомъ «Paul et Virginie», и даже довелъ свою мать до необходимости спрятать отъ него эту книгу, чтобы онъ не обезумѣлъ надъ ней.

Разговаривая съ Мишелемъ о разныхъ постороннихъ предметахъ, Люси замѣчаетъ, что онъ умѣетъ думать собственнымъ умомъ. Такъ, напримеръ, она спрашиваетъ у него, считаетъ ли онъ за колдуна крестьянина Мартена изъ Шато-Бернье, которому во всемъ околѣдѣ приписывались сверхъестественныя знанія и силы. — «Нѣтъ, мамзель Люси, отвѣчаетъ Мишель. Я въ томъ присягу готовъ принять: не колдунъ. Видите, я къ нему долго присматривался, какъ жилъ у него. Это насчетъ дождя или погоды, насчетъ града, либо мороза есть знатоки не хуже его, а все не колдуны. И что у него дѣлается, когда его дома нѣтъ, этого онъ тоже не знаетъ, все равно какъ и другіе. А онъ только смысловый человѣкъ и знаетъ людей, и отгадываетъ такъ иной разъ, чего ему не говорили».

Люси немного озадачена тѣмъ, что Мишель такъ медленно и осмотрительно рѣшаетъ вопросъ о томъ, колдунъ или неколдунъ Мартенъ изъ Шато-Бернье. Ей странно то, что Мишель считаетъ великимъ подыскивать доказательства въ пользу своего мнѣнія. Она привыкла разговаривать съ мѣщанами или съ «господчиками изъ Пуатье», вообще съ людьми, у которыхъ всякіе вопросы рѣшаются во мгновеніе ока, съ легкостью изумительной, такъ, какъ будто бы они, въ качествѣ образованныхъ смертныхъ, уже давно были избавлены отъ скучной необходимости думать, и какъ будто бы эта черная работа, вмѣстѣ съ работами шитья, тканья и съ разными другими техническими процессами, была давно сложена на какія-нибудь паровыя машины особенно замысловатаго устройства.

Еслибы Люси разговаривала не съ Мишелемъ, а съ «господчикомъ изъ Пуатье», то въ-первыхъ, она врядъ-ли рѣшилась бы сдѣлать вопросъ о колдунѣ; она побоялась бы, что господчикъ приметъ этотъ вопросъ за оскорбленіе; во-вторыхъ, еслибы этотъ вопросъ, врывался у Люси, то господчикъ отвѣчалъ бы въ томъ смѣхѣ и вопросомъ: да развѣ-жъ бѣжитъ на свѣтъ колдунъ? Затѣмъ было бы пропущено двѣ-три фразы о варварствѣ и суевѣрїяхъ, нисколько не относящіяся къ разговору, но бросающія самый пріятный и выгодный свѣтъ на либеральный образъ мыслей господчика и въ особенности на его умъ поддержать разговоръ. Невольно сравнительно съ привычными приемами Мишеля съ ухватками того господчика, Люси сначала находитъ его вые немного тяжеловѣсными; ей хочется, чтобы онъ отъ разсмотрѣнія и оцѣнки отдѣльных фактовъ перешелъ поскорѣе къ обобщеніямъ, и она торопитъ его своимъ вопросомъ: «Колдунъ такой проникающій, Мишель, такъ и разумѣется не вѣрите, что бываютъ колдуны».

Но Мишелю еще неизвѣстны паровыя машины, избавляющія человѣка отъ необходимости думать собственнымъ мозгомъ; его умъ идетъ своей дорогой, работаетъ съ свойственной ему степенью скорости надъ различными матеріалами, состоящимъ изъ собраннаго запаса фактовъ и наблюденій, и останавливается тамъ, гдѣ оказывается этотъ запасъ; остановившись по недостатку фактическихъ знаній, его умъ уже не поддается никакимъ постороннимъ подталкиваніямъ и подзадориваніямъ; тотъ ложный стимулъ, который на каждомъ шагу заставляетъ сдѣлать и ограниченныхъ людей произвольныя фразы, неимѣющія осознательнаго смысла и для самого говорящаго, ни для его слушателя, не существуетъ для Мишеля. На вопросъ Люси онъ отвѣчаетъ съ величественной простотой и сдержанностью: «на счетъ тѣхъ, кого я не знаю, мамзель Люси, я и разсуждать не могу».

Люси не сразу понимаетъ высокое достоинство этого отвѣта; она уже готова пожалѣть о суевѣрїи бѣднаго мужика и о его неспособности возвыситься до той свободы духа, которой наслаждаются мѣщане и господчики; этой готовностью проникнуть въ вопросъ: «какъ, вы можете предположить, что есть люди, одаренныя сверхъестественными силами?» Люси Вертень-католичка, вполнѣ вѣрующая, хотя нисколько не экзальтированная; еслибы она дала себѣ трудъ заглянуть въ то міросозерцаніе, которое для нея обязательно и которое она еще не смѣнила никакимъ другимъ, то она-бы увидѣла, что въ предположеніи о людяхъ, одаренныхъ сверхъестественными силами, нѣтъ ничего особенно необыкновеннаго и неслыханнаго.

Но Люси жила постоянно среди такихъ людей, которые получили всѣ свои понятія въ го-

товомъ видѣ, кое-что отъ патера, кое-что отъ школьнаго учителя, иное изъ благочестивой книжки, иное изъ либеральной газеты; если между этими разнородными лоскутками мысли существовали непримиримыя противорѣчія, то ихъ никто не замѣчалъ, на нихъ никто не останавливался, надъ ними никто не задумывался, ими никто не смущался, ихъ никто не усиливался объяснить или уничтожить. Всякій хотѣлъ только быть одного мнѣнія со всѣми; всякій видѣлъ зло только въ томъ, чтобы отдѣлиться отъ другихъ; всякому было несравненно пріятнѣе ошибаться вмѣстѣ съ другими, чѣмъ обладать истиной въ одиночествѣ; быть глуше всѣхъ или быть умнѣе всѣхъ—это были два равносильныя несчастья, которыя трудно было отличить одно отъ другого даже при самомъ внимательномъ разсмотрѣніи; вѣрность, логичность, основательность мнѣнія—все это были качества, неимѣющія никакого серьезнаго значенія; оригинальность мысли была качествомъ, достойнымъ строгаго порицанія; самостоятельность въ понятіяхъ и въ сужденіяхъ могла быть только доказательствомъ и плачевнымъ результатомъ недостаточнаго, небрежнаго или превратнаго воспитанія.

Люси втеченіе двадцати лѣтъ подвергалась гнету этой умственной атмосферы; она не хотѣла и не имѣла основаній быть позоромъ и мученіемъ своихъ родителей; поэтому она принимала съ полной покорностью то, что ей говорили; она слышала, что колдуновъ нѣтъ и быть не можетъ, что въ колдуновъ способны вѣрить только безтолковые и необразованные люди, что ей, какъ благовоспитанной барышнѣ, вѣрить въ колдуновъ не свойственно, стыдно и смѣшно—и вопросъ о колдунахъ оказался для нея порѣшеннымъ, и она привыкла относиться съ пожиманіемъ плечей и съ сострадательной улыбкой къ несчастнымъ людямъ, допускающимъ въ колдунахъ присутствіе сверхъестественныхъ силъ; привычка замѣнила ей доказательства; привычка помѣшала ей требовать доказательствъ; привычка создала для нея ту мѣрку, которую она прикидывала къ людямъ и посредствомъ которой она судила объ умѣ и образованности своихъ собеседниковъ; но привычка не успѣла усыпить ея природнаго ума и, прислушавшись къ сужденіямъ другого умнаго человѣка, размышляющаго совершенно независимо отъ какихъ-бы то ни было общеобязательныхъ взглядовъ и установившихся привычекъ, Люси почувствовала наконецъ силу и прелесть самостоятельнаго мышленія и вдругъ поняла, какое громадное разстояніе отдѣляетъ человѣка, дѣйствительно работающаго умомъ, отъ господчиковъ, повторяющихъ вычитанныя и затверженныя сужденія. «Ахъ, мамзель Люси, отвѣчаетъ Мишель:—столько есть вещей, которыхъ я не знаю; и кабы я захотѣлъ рѣшать, что вотъ это есть, а вотъ этого нѣтъ, вѣдь я

вышелъ-бы большой дуракъ. Меня ужъ и то бѣситъ, и того съ меня довольно, что я невѣжда.» Въ этой сдержанности сказывается большая и скромно-самоувѣренная сила. Тутъ видѣнъ человѣкъ, который не хочетъ и не умѣетъ шутить своими словами; что онъ скажетъ, въ томъ онъ увѣренъ; и что онъ сказалъ, то онъ положить и въ основаніе своихъ поступковъ; для него истина имѣетъ высокую цѣну; для него истина—то, что соответствуетъ требованіямъ его разума; во имя истины онъ не побоялся отдѣлиться отъ толпы и пойти наперекоръ ея сужденіямъ; изъ уваженія къ истинѣ онъ не рѣшается брать напрокатъ чужія мысли и отвѣчать да или нѣтъ, когда вопросъ для него еще недостаточно разъясненъ; изъ уваженія къ истинѣ онъ честно и прямо сознается въ своемъ невѣжествѣ; онъ не хочетъ казаться образованнымъ человѣкомъ, потому что въ самомъ дѣлѣ дорожитъ образованіемъ, какъ средствомъ водворить порядокъ и чистоту въ своемъ внутреннемъ мірѣ, какъ средствомъ выпутаться изъ хаоса сомнѣній и неразрѣшенныхъ вопросовъ; онъ хочетъ быть, а не казаться; онъ хочетъ мыслить, а не произносить готовые сентенціи; онъ чувствуетъ, что по всей вѣроятности на всю жизнь останется невѣжественнымъ поденщикомъ, но твердо увѣренъ, что онъ ни въ какомъ случаѣ не будетъ профанировать знаніе, легкомысленно обращаясь съ его результатами и украшая свою рѣчь непонятными и непродуманными афоризмами. Вглядѣвшись въ его скромныя и простыя слова, можно сказать навѣрное, что если этотъ человѣкъ когда-нибудь рѣшитъ для себя отрицательно вопросъ о колдунахъ, то за этимъ отрицательнымъ рѣшеніемъ послѣдуетъ длинный рядъ другихъ, также отрицательныхъ рѣшеній, и что вся эта продолжительная и глубоко захватывающая работа приведетъ за собой радикальную перестройку всего міросозерцанія, всѣхъ взглядовъ на природу и на человѣческую жизнь.

Люси не отдаетъ себѣ яснаго отчета въ томъ, какая именно сила таится въ простыхъ словахъ откровеннаго невѣжды, но она чувствуетъ эту силу, чувствуетъ что-то такое, чего она до той минуты не знала, чего не бывало никогда въ легкомысленныхъ рѣчахъ тѣхъ людей, съ которыми ей случалось разговаривать о серьезныхъ матеріяхъ. Авторъ говоритъ просто, что ей «понравилась откровенность и простодушіе этого молодого человѣка». Мнѣ кажется, что эти слова слишкомъ слабо и неполно выражаютъ произведенное впечатлѣніе. Это впечатлѣніе было такъ глубоко, что оно заставило Люси оглянуться на самое себя, замѣтить шаткость и недостаточность собственныхъ знаній, поспѣшность и опрометчивость собственныхъ сужденій, замѣтить то бездѣйствіе, на которое былъ осужденъ ея умъ, и отнестись недоувер-

чиво и неодобрительно къ той средѣ, въ которой всѣ силою знали такъ-же мало, судили такъ-же опрометчиво, никогда ни о чемъ не размышляли и никогда не сомнѣвались въ непогрѣшимости своихъ умовъ.

Ея мысли, пробужденныя и направленныя словами Мишеля, быстро приводятъ ее къ заключеніямъ, очень нелестнымъ для мѣщанъ и для такъ-называемыхъ образованныхъ людей: «Увѣряю васъ, Мишель, говоритъ она, спустя нѣсколько минутъ послѣ разговора о колдунахъ:—мѣщане отъ крестьянъ отличаются больше словами, чѣмъ мыслями. А насчетъ мыслей крестьяне пожалуй еще лучше. Они по крайней мѣрѣ знаютъ, что не учились, отъ этого они какъ-то проще и добросовѣстнѣе»... «Вы вотъ думаете, говоритъ она далѣе, они очень умны, а съ ними рѣдко приходится вести занимательные разговоры. У моего дяди Бурдона, напримѣръ, почти никогда не говорятъ о серьезныхъ вещахъ, а когда и заговариваютъ, такъ выходитъ, какъ будто смѣяться хотятъ».

Люси не была удовлетворена тѣмъ обществомъ, въ которомъ она жила; ей было скучно, она чувствовала пустоту; но дѣло такъ и останавливалось для нея на этомъ смутномъ недовольствѣ, котораго настоящія причины были ей самой недостаточно понятны; чтобы приступить къ сознательной оцѣнкѣ и строгой критикѣ этого пустого общества, ей необходима была точка опоры, и такой точкой сдѣлался для нея разговоръ съ Мишелемъ; она сначала готова была осудить его за суевѣріе и за умышленную робость; потомъ непосредственное чувство ея здороваго ума сказало ей, что Мишель правъ; она возмущалась противъ своего перваго движенія; она увидѣла и поняла, откуда шло это первое движеніе; мысль ея отнеслась съ сознательной враждебностью къ самодовольному тупоумію окружающаго общества, и она въ первый разъ высказала отчетливо и громко свое мнѣніе о тѣхъ людяхъ, которыхъ Мишель, въ простотѣ своей честной души и своего большого ума, считалъ счастливыми обладателями истины.

V.

Люси вглядывается въ Мишеля съ возрастающимъ вниманіемъ; она сильно заинтересована этой личностью; она, по выраженію автора, «наклоняется надъ этой душой, стараясь заглянуть въ нее до самой глубины». Но любознательность ея совершенно безкорыстна и очень спокойна; она еще не можетъ себя представить, чтобы это изученіе могло обнаружить какое бы то ни было вліяніе на ея участь; ей не приходитъ въ голову смотрѣть на Мишеля, какъ на молодого человѣка, котораго она могла бы полюбить и которымъ она могла бы увлечься; она смѣло отдается мыслямъ о немъ, будучи

вполнѣ увѣрена въ совершенной безразличности и безопасности этихъ мыслей; она проводитъ параллели между Мишелемъ и Каде, потомъ между Мишелемъ и Эмилемъ Бурдономъ; такъ же беззаботно и беззащитно, какъ она могла бы, напримѣръ, сравнивать между собой портрета или два характера, взятые изъ прочитанныхъ романовъ. Она отдаетъ Мишелю предпочтеніе сначала передъ Каде, потомъ передъ Эмилемъ; она рада тому, что знаетъ Мишеля умнаго, сильнаго и честнаго человека, но рада все-таки совершенно безкорыстно, ради того, что знакомство съ такимъ человекомъ даетъ ей вообще лучшее понятіе о жизни людей. Она желаетъ Мишелю счастья, она чувствуетъ къ нему уваженіе и дружеское расположеніе, она строитъ для него мысли о плавы семейной жизни съ одной молодой крестьянкой, съ своей пріятельницей Женъ; Мишель уже говорилъ ей, что онъ хочетъ жениться только на такой дѣвушкѣ, которую онъ могъ бы любить «такъ сильно, о, такъ, такъ сильно», и она ему тутъ же сказала, что ему бы пошла Женъ; припоминая эти слова Мишеля и тонъ голоса, которымъ они были произнесены, Люси воображаетъ себя, какъ онъ будетъ смотрѣть на ту женщину, которую онъ будетъ любить *такъ, такъ сильно*. Тутъ ей приходится вздохнуть и пожалѣть о томъ, что на ее, бѣдную дѣвушку мѣщанскаго сословія, никто никогда не будетъ смотрѣть такими глазами.

Но ея мысли такъ далеки отъ возможности эгоистическихъ видовъ на Мишеля, что ни этотъ вздохъ, ни это сожалѣніе не останавливаютъ на себѣ ея вниманія и не предостерегаютъ ее противъ приближающейся опасности. Она принимаетъ этотъ вздохъ и это сожалѣніе за простой результатъ такихъ мыслей, которыя вспоминаютъ ей ея горькое одиночество; не жалея грустить, она даетъ своимъ мыслямъ другой оборотъ и продолжаетъ думать о Мишелѣ, разыгрывая на эту основную тему другія вариации.

Она замѣчаетъ неровности и странности въ поведеніи Мишеля; говоря съ ней, онъ часто бываетъ взволнованъ; когда онъ подаетъ ей руку, рука эта горяча и дрожитъ; когда онъ смотритъ на нее, его глаза блестятъ такъ сильно, что она не выдерживаетъ его взгляда и чувствуетъ себя неловко. Все это не ускользаетъ отъ вниманія Люси, разсматривающей Мишеля, какъ интересное произведеніе природы, но Люси твердо увѣрена, что между ней и Мишелемъ лежитъ непроходимая бездна, и эта увѣренность такъ сильна, и бездна кажется до того непроходимой, что настоящая причина замѣчаемыхъ ею странностей и неровностей рѣшительно не приходитъ ей въ голову. Въ первый разъ мысль о томъ, что Мишель ее любитъ, приходитъ ей на умъ тогда, когда Мишель пред-

лагаешь ей для праздничной обѣдни вербу, изукрашенную самымъ изящнымъ образомъ вѣтви весенними цвѣтами. Чувство мѣщанской гордости возмущается въ ней противъ этой мысли. «Неужели, думаетъ она, я подвергаюсь опасности одерживать такія побѣды? О, это ужъ чересчуръ обидно». Затѣмъ здравый смыслъ, и природная доброта одерживаютъ побѣду надъ сословной чопорностью; Люси соображаетъ, что человѣкъ неволенъ въ томъ, чтобы любить или не любить; она напоминаетъ, что Мишель ничего не смѣлъ говорить ей о своемъ чувствѣ и что, слѣдовательно, на него не за что гнѣваться, если даже онъ осмѣливается любить ее, что впрочемъ еще далеко не доказано; наконецъ она успокаивается на тѣхъ соображеніяхъ, что, во-первыхъ, привязанность честнаго человѣка не можетъ быть оскорбительной и что, во-вторыхъ, Мишель, быть можетъ, просто чувствуетъ къ ней дружеское расположеніе и выражаетъ его, какъ умѣетъ, со всѣмъ простодушіемъ деревенскаго парня, неподозрѣвающаго возможности какихъ-бы то ни было лукавыхъ истолкованій.

Въ самый день Пасхи работа въ саду окончена, и Люси съ нѣкоторымъ замираніемъ сердца заводитъ рѣчь о платѣ. Поднимается буря. Мишель приходитъ въ волненіе, слезы дрожать въ его голосѣ и катятся по его щекамъ; онъ говоритъ, что на эту работу клалъ всю свою душу, что это не поденщина, что онъ отдыхалъ за этой работой, что онъ былъ глупъ, что онъ виноватъ, что онъ мечталъ о возможности чего-то похожаго на дружбу. Этотъ потокъ искренняго и кипучаго чувства застаётъ Люси врасплохъ и сбиваетъ ее съ несвойственной ей позиціи безукоризненно-приличной и благовоспитанной барышни. Люси теряетъ. Люси, умная и добрая дѣвушка, видитъ, что хорошій человѣкъ страдаетъ и что надо прекратить его страданія, что надо приласкать и успокоить его, что всѣ соображенія, способныя тянуть ее волю въ противоположную сторону, въ сущности такая мелочь и такая дрянь, на которой не стоитъ и даже невозможно серьезно останавливаться. Она протягиваетъ Мишелю руку и говоритъ ему, что ни въ чемъ онъ не виноватъ и что онъ вполне достоинъ быть ея другомъ. Мишель не рѣшается прикоснуться къ ея рукѣ своей жесткой и запачканной рукой. Люси тогда съ законной гордостью работницы напоминаетъ Мишелю, что ея руки не избалованы бездѣйствіемъ. «Ужъ вы думаете, говоритъ она, я этими ручками ничего и не работаю? Эта рука, Мишель, совсѣмъ не барышня. Она сегодня съ утра тоже много дѣла сдѣлала». И тутъ она снова протянула руку. Мишель схватилъ эту руку съ восторгомъ, бросился на колѣни, и глаза его загорѣлись такимъ огнемъ, отъ котораго на одну минуту дрогнуло сердце молодой дѣвушки. «О, вы святая, вы...

вы...» Онъ замолчалъ. Но всѣ черты его лица, и вся его поза выражали такое обожаніе, что Люси, растерявшись, вырвала у него руку, стараясь улыбнуться, и пробормотала: «О, Мишель, вы съ ума сходите!»

Люси взволнована этой сценой; она не знаетъ, какъ понять ее, и она не хочетъ понимать ее въ ея настоящемъ смыслѣ. Ей удастся увѣрить себя въ томъ, что со стороны Мишеля тутъ не было любви: ей удастся успокоить себя тѣмъ объясненіемъ, что у Мишеля странный характеръ, расположенный къ восторженности. Это объясненіе, при всей своей неудовлетворительности, даетъ ей возможность оставаться съ Мишелемъ въ прежнихъ добрыхъ отношеніяхъ, и она очень рада тому, что эти отношенія могутъ оставаться ненарушенными. Гордость и чопорность благовоспитанной барышни легли очень тонкимъ слоемъ на самую поверхность ея существа. Этотъ тонкій слой не приросъ къ ней наглухо; ее можно сравнить съ человѣкомъ, нарядившимся въ новое платье, которое мѣшаетъ ему свободно двигаться, тѣснить ему грудь, рѣжетъ подъ мышками и въ то-же время не доставляетъ ни выгоды, ни удовольствій. Люси знаетъ, что если она въ своемъ новомъ платьѣ начнетъ валиться по травѣ или пустится бѣжать по пыльной дорогѣ, то платье запачкается или запачкается, и всѣ это замѣтятъ, и всѣ станутъ на нее показывать пальцами, и всѣ закричатъ вокругъ нея: «вотъ какая негодная дѣвушка! вотъ какая безстыдница! Смотрите, на что она похожа! Полюбуйтесь, какъ она отдѣлала свое новое платье!» Съ другой стороны, Люси знаетъ и то, что если она постоянно будетъ гулять по выметеннымъ садовымъ дорожкамъ, медленно и чинно переступая съ ноги на ногу, и если на платьѣ ея не сидятъ ни одной пылинки, то окружающіе ее люди все-таки не придутъ отъ нея въ восторгъ и не станутъ пѣть ей хвалебныя гимны, а только будутъ объ ней молчать, стараясь при этомъ во что-бы то ни стало замѣтить на ея костюмѣ какое-нибудь пятнышко и дополнить воображеніемъ то, чего нельзя сдѣлать терпѣливымъ изслѣдованіемъ и искуснымъ толкованіемъ дѣйствительныхъ фактовъ. Далѣе она чувствуетъ, что еслибы даже окружающіе люди отдали полную справедливость ея заслугамъ по части сохраненія платья, еслибы они стали превозносить ее, какъ невиданный образецъ благонравія и аккуратности, то и тогда она не была-бы счастлива, и жизнь ея не могла-бы наполниться признательнымъ и благосклоннымъ выслушиваніемъ похвалъ, которыя воспѣвались-бы ей хоромъ, составленнымъ изъ глупой сплетницы Бокъ, грязнаго барышника Горена, приличнаго негодяя Гавеля, переметной сумы Вурдона и нѣсколькихъ дюжинъ другихъ особъ, очень ограниченныхъ и въ достаточной степени безсовѣстныхъ.

Въ результатѣ получается такимъ образомъ тотъ фактъ, что платяе даетъ нашей героинѣ много заботъ, грозитъ ей многими огорченіями, и за это не предоставляетъ ей никакихъ преимуществъ. Санъ барышни налагаетъ на нее обязанность смотрѣть на мужика, какъ на существо низшей породы, отдѣленное отъ нея непроходимой бездною; она, какъ барышня, всегда должна чувствовать къ мужику нѣкоторое презрѣніе, всегда должна держать его на почтительномъ отдаленіи, всегда должна избѣгать съ нимъ всякой дружеской короткости; она можетъ и даже должна обращаться съ нимъ вѣжливо, кротно, милостиво и даже, пожалуй, ласково; но въ ея обращеніи всегда должно чувствоваться, и она сама должна ощущать въ душѣ своей, что хотя она, по великодушію своему, охотно прощаетъ ему вину его низкаго происхожденія и не желаетъ колотъ ему глаза его убожествомъ, но забыть его замаранность не въ состояніи кромѣ того вся ея снисходительность къ мужику и къ его худородію позволительна только до той минуты, пока мужикъ самъ знаетъ свое мѣсто и твердо помнитъ, что онъ, несмотря ни на какія деклараціи правъ человѣка и гражданина, не можетъ и не долженъ рассчитывать со стороны господъ ни на что, кромѣ благосклонной и незаслуженной терпимости.

Чуть только мужикъ возмнитъ себя полноправнымъ человѣкомъ, чуть только въ немъ шевельнется чувство, что ничто человѣческое ему не чуждо, что не чужда ему даже способность увлекаться физическимъ, умственнымъ и нравственнымъ изыществомъ барышни, относящейся къ нему кротно и милостиво—тотчасъ эта барышня, оставаясь кроткимъ ангеломъ, должна взмахнуть крылами и утонуть въ волнахъ того эоира, въ который за ней могутъ слѣдовать только барышники Горенъ, негодяй Гавель и другіе, равносильные имъ ангелы. Люси знаетъ, что все это она, въ качествѣ барышни, должна дѣлать, и что малѣйшее упущеніе съ ея стороны навлечетъ на нее множество непріятностей; она даже и сама, по привычкѣ быть барышней и нести на себѣ обязанности своего званія, готова и способна упрекать себя за такіа упущенія, какъ за неуваженіе собственнаго достоинства; по той же привычкѣ, она можетъ почувствовать себя оскорбленной, если какой-нибудь простолюдинъ отнесется къ ней теплѣе и искреннѣе, чѣмъ простолюдины относятся обыкновенно къ барышнямъ; но у нея нѣтъ личной живой склонности къ отпращиванію обязанностей, связанныхъ съ ея саномъ; ей самой возможность смотрѣть на мужика сверху внизъ и считать себя существомъ высшаго разбора не доставляетъ удовольствія; жизнь, наполненная заботами о поддержаніи мѣщанскаго достоинства, кажется ей пустой, холодной и тяжелой жизнью; она еще

не смѣетъ сбросить съ себя эти заботы, и онѣ тяготятъ ее, и она вовсе не прочь быть какъ-нибудь обойти ихъ; въ разговорѣ, вызванномъ хозяйственными затрудненіями, она высказываетъ матери свои мысли о томъ, что имъ слѣдовало-бы вести дѣла такъ, какъ въ ведутъ сосѣди ихъ, крестьяне; а когда мать напоминаетъ ей, что они не крестьяне и что имъ надо поддерживать свой санъ, то Люси говоритъ: «къ чему же, мама, если вѣсто иногда этотъ санъ ничего намъ не доставляетъ, кромѣ лишеній и горя?» И далѣе она вѣдитъ очень страннымъ, что вещь, признавая честной и хорошей, не можетъ дѣлаться вѣтому только, что *непринято*! изъ опасенія что скажутъ! Въ дѣлѣ Мишеля ссоловене обязанности Люси приходятъ въ рѣзкое столкновеніе съ ея человѣческими чувствами и стремленіями; обязанности прямо приказываютъ ей прогнать Мишеля тотчасъ послѣ того, какъ онъ осмѣлился броситься передъ ней на колѣни; но она уважаетъ этого человѣка, она чувствуетъ къ нему дружескую симпатію и сознается себѣ въ ней; она находитъ себѣ отраду въ его обществѣ и въ разговорахъ съ нимъ; ей пріятно даже то сильное чувство, которое она ему внушаетъ; и она устраиваетъ компромиссъ между обязанностями, которыхъ она не смѣетъ прямо нарушить, и личными наклонностями, съ которыми ей тяжело и больно было бы разстаться. Вполнѣ признавая существованіе непроходимой бездны между барышней и мужикомъ, вполнѣ признавая невозможность, бессмысленность и возмутительное безобразіе любви между лицами, отдѣленными другъ отъ друга такой бездною, Люси именно эти догматы мѣщанской морали превращаетъ въ аргументы, выгодные для ея личныхъ наклонностей. Любовь, думаетъ она, была бы бессмысленна и безобразна, стало быть она и невозможна, стало быть ея и нѣтъ, и Мишель бросился на колѣни потому, что у него странный характеръ, и его не за что обижать неглыми подозрѣніями, и незачѣмъ отнимать у него дружбу, которой онъ дорожитъ. Мѣщанская теорія такимъ образомъ, до поры до времени, остается нетронутой, но поступки ея не подчиняются, и Люси старается только устроить такъ, чтобы они ей не слишкомъ явно противорѣчили, или, вѣрнѣе, она старается увѣрить себя въ томъ, что они ей не противорѣчатъ.

Чѣмъ умнѣе человѣкъ, тѣмъ труднѣе ему обмануть себя. Чѣмъ онъ прямодушнѣе и энергичнѣе, тѣмъ тягостнѣе для него разладъ между убѣжденіями и поступками. При своихъ स्वाхъ своего ума и характера, Люси не могла остаться въ томъ положеніи, въ которое ее поставила сцена съ Мишелемъ; она должна была скоро замѣтить, что разладъ существуетъ; за-

тѣмъ въ ней должна была родиться потребность и рѣшимость устроить этотъ разладъ такъ или иначе, то-есть, произвести пересмотръ поступковъ и убѣждений, и переработать въ тѣхъ или въ другихъ то, что окажется несостоятельнымъ передъ судомъ разума.

VI.

Въ романѣ Лео мелкія событія быстро слѣдуютъ одно за другимъ, и каждое изъ нихъ подвигаетъ романъ къ развязкѣ, производя замѣтную, хотя и очень небольшую перемѣну во взаимныхъ отношеніяхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Колѣнопреклоненіе Мишеля совершилось въ свѣтлое воскресенье утромъ; въ тотъ же день, послѣ обѣда, Люси видитъ, какъ онъ умѣетъ стоять за себя, отражать наносимыя ему обиды и защищать тѣхъ людей, которые ему довѣряются; на глазахъ у Люси происходитъ схватка между Мишелемъ и барышникомъ Гореномъ; послѣдній, полагаясь на то, что онъ баринъ, дѣлаетъ грубое нападеніе; Мишель поступаетъ съ нимъ такъ круто, какъ поступилъ бы съ первымъ встрѣчнымъ мужикомъ, не останавливаясь даже и передъ тѣмъ, что Горенъ, въ качествѣ знакомаго, находится въ обществѣ Люси. На другой день утромъ Люси хочетъ дѣлать Мишелю выговоры за его рѣзкій поступокъ съ Гореномъ, но она поставлена въ необходимость признаться, что поступить иначе было невозможно и что Мишель былъ правъ; въ это-же утро Мишель говоритъ съ Люси о Гавелѣ, о его отношеніяхъ къ Лизѣ Мурильонъ и о томъ, что надо, во что-бы то ни стало, разстроить предположенный бракъ Орели Бурдонъ, потому что Гавель обманываетъ за-разъ двухъ женщинъ (Лизу и Орели) и бросаетъ своего ребенка. Здѣсь Мишель обнаруживаетъ такую силу негодованія, что Люси не можетъ сдерживать порыва страстного уваженія къ нему и, тронутая до глубины души, вскрикиваетъ: «о, вы честный и справедливый человѣкъ, Мишель!» Затѣмъ она спрашиваетъ у Мишеля, что ей дѣлать и исполняетъ буквально его совѣтъ, потому что уже чувствуетъ «потребность заслужить уваженіе этого чистаго и смѣлаго человѣка».

Въ тотъ-же день, вечеромъ, деревенскій мэръ, богатый крестьянинъ Перроно, даетъ балъ, на которомъ присутствуютъ, въ качествѣ приглашенныхъ гостей, Мишель и Люси. Здѣсь они въ первый разъ встрѣчаются при такихъ условіяхъ, при которыхъ между ними дѣлается возможнымъ нѣкоторое равенство; Мишель танцуетъ съ Люси, беретъ ее за руку при всѣхъ, разговариваетъ съ ней, и Люси замѣчаетъ, что его самородное изящество ни въ чемъ не измѣняетъ ему; онъ держитъ себя такъ прилично и въ то-же время такъ просто, что Люси находитъ невозможнымъ даже сравне-

ніе между Мишелемъ и сыномъ мэра, несмотря на то, что послѣдній воспитывается въ коллегіи и одѣтъ по послѣдней модѣ. Люси такъ увлекается проведеніемъ подобныхъ параллелей, что наконецъ, опомнившись и замѣтивъ свое возрастающее пристрастіе къ Мишелю, говоритъ себѣ: «да я съ ума сошла!» и старается думать о чемъ нибудь другомъ. Мишель, стоя неподвижно въ углу залы, долго смотрѣлъ на нее, забывшая о существованіи всего окружающаго, и въ его взглядѣ сказывались такая глубокая грусть и такое страстное обожаніе, что она наконецъ поняла все и почувствовала совершенную невозможность успокоивать себя долѣе неопредѣленными предположеніями о странности и восторженности. Она окончательно убѣдилась въ томъ, что Мишель ее любитъ и что въ этой любви нѣтъ съ его стороны дерзости, потому что эта любовь свалилась на него неожиданно-негаданно, какъ большое несчастіе, котораго человѣкъ не можетъ предвидѣть и отъ котораго ему невозможно уберечься. Она понимаетъ, что во взглядахъ Мишеля нѣтъ ни надежды, ни просьбы, ни желанія, что онъ просто созерцаетъ ее безъ цѣли, безъ мысли, безъ плановъ и мечтаній, созерцаетъ потому, что она здѣсь, передъ нимъ, и что для него нѣтъ въ жизни возможныхъ радостей, кромѣ этого обаятельно-мучительнаго созерцанія. Она понимаетъ, что жизнь Мишеля отравлена этой любовью, что онъ самъ это знаетъ, что онъ съ наслажденіемъ упивается этой отравой, что онъ боится какъ-бы добрые люди не замѣтили его безумія и не отняли у него возможности отравляться долѣе, и что однако несмотря на эту боязнь, онъ, находясь въ одной комнатѣ съ любимой дѣвушкой, забываетъ все, и добрыхъ людей, и самого себя, и всякую осторожность, и погружается въ такое восторженное созерцаніе, которое должно броситься въ глаза всей присутствующей публикѣ.

Понимая все это, читая въ первый разъ въ глазахъ Мишеля ни съ чѣмъ несравнимую поэму любви, Люси зачитывается и перестаетъ чувствовать себя одинокой: она становится живѣе обыкновеннаго и, не ломая себѣ головы вопросомъ о проходимости или непрходимости бездны, забываетъ на нѣсколько минутъ о томъ, что у нея есть какой-то санъ, о поддержаніи котораго она обязана заботиться. Конечно, она скоро опомняется и говоритъ себѣ: «да, я съ ума сошла!» но отъ этихъ минутъ сумасшествія остается то опасное воспоминаніе, что онѣ были упительны и что въ ея сухой и бѣдной мѣщанской жизни нѣтъ и не будетъ ничего такого, что могло-бы выдержать сравненіе съ этими предосудительными минутами. Остается преступное желаніе украсть у скупой судьбы еще двѣ-три такія минуты, и чѣмъ сильнѣе то убѣжденіе, что счастье жизни тутъ невозможно

и немислимо, тѣмъ мучительнѣе и неотразимѣе оказывается это желаніе; видя передъ собой жизнь, какъ необозримую ледяную пустыню и непроглядную полярную ночь, человѣкъ старается заглянуть огнемъ воспоминаній на всю эту темную и холодную жизнь, и хватается огонь безъ разбора, вездѣ, гдѣ-бы онъ его ни встрѣтилъ. Жажда сѹмасшествія растетъ по мѣрѣ того, какъ у судьбы крадутся такіа минуты; желаніе, чтобы эти минуты разрослись въ часы и въ дни, чтобы изъ нихъ составились годы, чтобы ими наполнилась вся жизнь, перевѣшиваетъ всѣ остальные соображенія; то, что сначала казалось и называлось сѹмасшествіемъ, превращается въ настоящую, полную, разумную и человѣчную жизнь, а сама дѣйствительность, все то, чего требуютъ понятія и привычки окружающихъ людей, все то, во имя чего осуждалось и преслѣдовалось такъ называемое сѹмасшествіе,—становится отвратительнымъ кошмаромъ, отъ котораго человѣкъ старается избавиться всѣми силами своего существа.

За минутами живого увлеченія и радостнаго безумія, возбужденнаго тѣмъ, что она чувствуетъ себя любимой, для Люси наступаетъ, тутъ-же на балѣ, полоса раздумья и грусти; она упрекаетъ себя въ томъ, что она была весела и жива, что вся ея фигура дышала ожиданіемъ какого-то счастья, что глаза ея, останавливаясь на Мишелѣ, блистали такимъ огнемъ, который могъ только увеличивать его мученія; эти мысли, это раскаяніе въ невольномъ движеніи кокетства нагоняетъ облако грусти на черты ея лица, и Мишель, танцующій съ ней кадрилъ въ эту минуту, тотчасъ замѣчаетъ это облако и съ нѣжной заботливостью спрашиваетъ у нея: «что съ вами?» Люси оцѣниваетъ всю нѣжность этого вопроса, всю чуткость и зоркость Мишеля ко всему, что до нея касается; она не находитъ словъ и, отвѣчая ему невольнымъ пожатіемъ руки, чувствуетъ, что сердце ея бьется тревожно, и сознаетъ, что ей будетъ тяжело и больно отталкивать и истреблять такую сильную, такую нѣжную, такую внимательную, бдительную и понятливую любовь.

Черезъ два дня, утромъ, Люси, укачивая у себя на рукахъ ребенка Мурильона, задумывается о Мишелѣ съ такой жгучей грустью, которая даже обезпокоиваетъ ее; она такъ дорожитъ своими грустными мыслями, что отгоняетъ прочь это безпокойство, отмахивается отъ внушеній практическаго благоразумія, усыпляетъ или, вѣрнѣе, душитъ свои опасенія словами: «о, нѣтъ! это не можетъ зайти слишкомъ далеко!» и даетъ полную волю своимъ мечтамъ.

Въ тотъ-же день разыгрывается исторія о паденіи Жана на Гавеля; въ деревню пріѣзжаютъ жандармы, чтобы арестовать Каде, Жана и Мишеля; ихъ предупреждаютъ во-время, и они всѣ

трое укрываются, потому что французскіе крестьяне считаютъ тюремное заключеніе невыносимымъ позорнымъ пятномъ, даже въ томъ случаѣ, когда процессъ оканчивается совершеннымъ оправданіемъ подсудимаго. Мишеля укрываетъ сама Люси. Въ это время, заботясь о ея безопасности, принося ему украдкой нѣкую книгу, Люси уже почти признается самой себѣ, что она любитъ Мишеля. «Развѣ это не есть счастье любить?—размышляетъ она.—Я чувствую, что это счастье (проговорившись такимъ образомъ, удививъ и испугавъ себя этимъ неожиданнымъ признаніемъ, она спохватывается и старается взять его назадъ) не потому, чтобы я сама любила,—о, нѣтъ! Эти *экстатическія ощущенія*, о которыхъ пишутъ въ романахъ, эта *необъяснимая страсть* и эти *тайныя мученія*, я ихъ, благодаря Бога, не испытываю. Я счастлива—счастлива тѣмъ, что думаю о Мишелѣ, счастлива тѣмъ, что онъ думаетъ обо мнѣ, счастлива тѣмъ, что есть на свѣтѣ преданное, совершенно преданное мнѣ сердце—благородное и нѣжное сердце... Любить—думаетъ она далѣе—быть любимой такъ деликатно, съ такой страстью! Наслаждаться изрѣдка этими недолгими, сладкими свиданіями! Иногда утѣшить другъ друга! Подмѣтнуть другъ въ другѣ волненіе нѣжности.»

Тутъ уже сдѣланъ большой шагъ впередъ: любовь Мишеля окончательно признана, какъ существующій фактъ; ему уже вполне разрѣшается любить; вопросы о томъ, какъ онъ смѣетъ, и не дерзость-ли это съ его стороны, стали казаться странными и неумѣстными; то обстоятельство, что барышня обязана возмущаться любовью мужа, забыто; вмѣсто того, чтобы чувствовать себя оскорбленной, Люси чувствуетъ и даже признаетъ себя счастливою; она принимаетъ преданность, совершенную преданность благороднаго и нѣжнаго сердца; у ней даже вырывается слово *любить*; она допускаетъ ту мысль, что и она будетъ наслаждаться недолгими, сладкими свиданіями, что и она будетъ обнаруживать, что и въ ней можно будетъ подмѣтнуть волненіе нѣжности.

На другой день послѣ этихъ размышленій Люси получаютъ въ деревнѣ достоверныя извѣстія о томъ, что Гавель согласился потупить начатое дѣло, и что слѣдовательно Мишель можетъ выйти изъ своего убѣжища, въ которомъ онъ просидѣлъ почти сутки. Мишель выходитъ на свободу и, чтобы узнать подробности дѣла, проситъ Люси придти поздно вечеромъ въ садовую бесѣдку. Такимъ образомъ Мишель назначаетъ Люси тайное свиданіе, въ ночное время, и Люси не возмущается его просьбой и буквально исполняетъ его желаніе. Въ бесѣдкѣ разговоръ скоро отрывается отъ мелкихъ практическихъ подробностей и переходитъ на вопросъ о пользѣ и выгодахъ образованія.

любезность Мишеля, его страстная охота работать над своимъ умственнымъ развитіемъ и его рѣшимость бороться со всякими трудностями, напрягая все свои силы и посвящая каждую свободную минуту, наводятъ Люси на мысль давать ему уроки по воскресеньямъ. Мишель съ восгорженной признательностью принимаетъ ея предложеніе.

Проходитъ три мѣсяца. Мишель каждое воскресенье проводитъ съ Люси часа по два за книгами и тетрадями. И учительница, и ученикъ относятся къ этимъ урокамъ съ полной добросовѣстностью. Для обоихъ ученіе является не предлогомъ, а настоящей цѣлью. Авторъ говоритъ намъ, что ничего не было предосудительнаго или скрытнаго въ этихъ интимныхъ бесѣдахъ. Ни умышленнаго прикосновенія къ рукѣ, ни преднамѣреннаго пожатія. Оба серьезные, они занимались только ученіемъ, и еслибы не ихъ пылающія щеки, не ихъ влажные и блистающіе глаза, ихъ всякій принялъ-бы за влюбленныхъ въ одну науку.

Кромѣ того они встрѣчаются каждый день по вечерамъ въ бесѣдкѣ. И тутъ опять они не говорятъ другъ другу ни слова о любви. Люси знаетъ давно, что Мишель ее любитъ, и давно уже ее отношенія къ нему составляютъ весь интересъ ея жизни. Мишель, напротивъ того, не только не подозреваетъ, что его тоже любить, но даже не можетъ себя представить, чтобы это когда-нибудь могло случиться. Онъ ни на что не надѣется и даже не осмѣливается ничего желать. Онъ живетъ со дня на день, отъ одного свиданія въ бесѣдкѣ до другого, и отъ одного воскреснаго урока до другого. Въ будущее онъ не заглядываетъ. Оно покрыто для него густымъ чернымъ занавѣсомъ, и онъ увѣренъ въ томъ, что за этимъ занавѣсомъ лежатъ разные ужасы, вродѣ разлуки съ Люси и томительной пустоты. Такъ какъ Мишель никогда не говорилъ Люси о своей любви къ ней, то онъ увѣренъ, что эта любовь составляетъ его тайну, и что о ея существованіи не догадывается ни одинъ человѣкъ въ цѣломъ мірѣ, и сама Люси меньше, чѣмъ кто-либо другой. Люси во всѣхъ отношеніяхъ видитъ яснѣе Мишеля настоящее положеніе дѣлъ. Она уже несколько не сомнѣвается въ томъ, что любить Мишеля; она видитъ и то, что Мишель этого не подозреваетъ; о возможности счастливаго исхода она все еще не осмѣливается думать; для нея также будущее закрыто; она осмѣливается мечтать только о томъ, что могло-бы быть, еслибы она была крестьянкой; она находитъ, что тогда было-бы очень хорошо, и поэтому санъ барышни становится для нея наконецъ ненавистнымъ бременемъ, уничтожающимъ самыя дорогія ея надежды и насильственно подавляющимъ самыя живыя ея стремленія. Она еще не считаетъ

возможнымъ поправить зло, причиненное ей рожденіемъ; она думаетъ, что ей придется волей или неволей тащить до самой могилы проклятое ярмо мѣщанской неприступности, но она уже видитъ ясно, гдѣ радость жизни, и гдѣ ея горе, она уже отличаетъ безошибочно то, въ чемъ состоятъ ея собственныя потребности, отъ того, что она дѣлаетъ въ угоду другимъ людямъ; она сама уже чиста отъ искусственныхъ желаній; она видитъ свое счастье въ томъ, что дѣйствительно соответствуетъ только нормальнымъ требованіямъ богатой и роскошно развернувшейся, здоровой и сильной человѣческой природы. У нея недостаетъ теперь только рѣшимости протянуть руку за этимъ счастьемъ и ухватиться за него всеми силами, не смотря на смѣхъ и слезы, на толки и пересуды, на вопли и гримасы всѣхъ окружающихъ. Эту необходимую рѣшимость порождаютъ въ ней своимъ вмѣшательствомъ тѣ самые люди, которые, по всѣмъ законамъ божескимъ и человѣческимъ, призваны наблюдать за безукоризненностью ея поведенія и которые вносятъ въ отправленіе своихъ обязанностей всѣ типическія черты общепринятаго мѣщанскаго образа мыслей. Еслибы уроки и свиданія продолжались своимъ чередомъ, то Люси, находя себя въ нихъ кое-какую отраду, считала полное счастье невозможнымъ и боясь требовать слишкомъ многого, чтобы не потерять всего, оставалась бы еще, втеченіе многихъ мѣсяцевъ, въ какихъ-то неопредѣленныхъ отношеніяхъ къ Мишелю, къ своему чувству и къ своей будущности. Но добрые люди, заботясь о репутаціи Люси и смущаясь деревенскими сплетнями, вторгаются въ ея владѣнія и дѣлаютъ грубую попытку отнять у нея то, что миритъ ее съ ея бѣдной и тяжелой жизнью.

Тутъ только Люси замѣчаетъ, какъ далеко она ужъ разошлась въ понятіяхъ и стремленіяхъ со всѣми окружающими; они уже не понимаютъ другъ друга; ея доводы не дѣйствуютъ на нихъ; ихъ аргументы не имѣютъ почти никакой убѣдительной силы для нея; она говоритъ матери: «Мама, онъ такъ уснѣваетъ въ ученіи», а мать отвѣчаетъ ей на это: «Я не вижу, на что надобна Мишелю ученость. Ученость можетъ даже ему принести вредъ, можетъ внушить ему идеи... мысли, несоответствующія его званію». Еще недавно Люси понимала, что такое *мысли, несоответствующія его званію*. Она считала естественнымъ, чтобы Мишель былъ и чувствовалъ себя покорнымъ слугою каждаго мѣщанина, она готова была дѣлать ему выговоръ за кругое обращеніе съ Гореномъ; но теперь она не понимаетъ, почему знанія, возвышая въ Мишелѣ чувство собственного достоинства и давая ему возможность яснѣе понимать и энергичнѣе отстаивать свои права, помѣшаютъ ему быть честнымъ человѣкомъ и отлич-

нымъ работникомъ; она понимаетъ конечно, что тѣ люди, которые хотятъ помыкать мужикомъ и давать ему чувствовать свое мнимое превосходство, легче могутъ справляться съ круглыми невеждами, чѣмъ съ образованными гражданами, но она уже не способна принимать сердечное участіе въ горестяхъ и радостяхъ такихъ людей, и рѣшать съ ихъ точки зрѣнія, какія идеи соотвѣтствуютъ и какія не соотвѣтствуютъ званію Мишеля. Далѣе она говоритъ матери: «неужели не дѣлать добра потому только, что есть на свѣтѣ злые люди?» а мать отвѣчаетъ: «твоя репутація прежде всего, дитя мое». Эта фраза называется отвѣтомъ, хотя она очевидно не имѣетъ никакого отношенія къ сдѣланному вопросу. Люси и госпожа Вертенъ только такъ и могутъ разговаривать между собой.

Для Люси слово *добро* имѣетъ живой смыслъ. Дѣлать добро—значитъ приносить пользу человѣку и наслаждаться этой пользой. Она не понимаетъ, какъ можно отказаться отъ такой обаятельной дѣятельности, доставляющей ей ея собственное уваженіе, отказаться въ угоду такимъ людямъ, которыхъ невозможно ни любить, ни уважать. Она хочетъ, чтобы ей показали необходимость и разумность такого отреченія; она требуетъ, чтобы ее убѣдили доводами, которые она сама могла бы передумать и перечувствовать вслѣдъ за говорящимъ и доказывающимъ лицомъ. Ея мать, напротивъ того, прожила свой вѣкъ на афоризмахъ, въ которые она никогда не вглядывалась и которыхъ она не умѣетъ анализировать. Если эти афоризмы сталкиваются между собой и противорѣчатъ другъ другу, она этимъ не смущается; если ея собесѣдникъ обращаетъ ея вниманіе на вопиющее противорѣчіе, она устраняетъ его возраженіе новымъ афоризмомъ на ту тему, что всѣ такъ думаютъ, или что человѣческая жизнь вся сплетена изъ роковыхъ противорѣчій. Она знаетъ, что дѣлать добро похвально; это одинъ изъ тѣхъ многихъ афоризмовъ, которыми она пробавляется; но у нея нѣтъ живого и сильнаго влеченія къ тѣмъ представленіямъ, которое возбуждаетъ въ ея умѣ слово добро; это слово даже и не возбуждаетъ въ ея умѣ никакихъ опредѣленныхъ представленій; она не рѣшается прямо сказать дочери, что добра дѣлать не слѣдуетъ; она не осмѣливается даже и произнести про себя такую безнравственную сентенцію; въ ея богатомъ запасѣ афоризмовъ нѣтъ ни одного такого, который прямо оправдывалъ бы подобные взгляды; она не умѣетъ также, посредствомъ внимательнаго анализа частныхъ и подробностей, отдѣлать тѣ случаи, когда слѣдуетъ дѣлать добро, отъ тѣхъ, когда дѣлать его не слѣдуетъ; убѣдить дочь какими бы то ни было доказательствами она не можетъ, потому что не имѣетъ даже самаго отдаленнаго понятія о томъ, что такое доказательство, и

еще потому, что ни она сама, ни кто-либо изъ благонаправленныхъ представителей ихъ среды не имѣютъ въ своемъ распоряженіи полного, въ самомъ себѣ разумнаго и вѣдательно развитаго кодекса, во имя котораго можно было бы осудить поступки Люси; имѣніемъ доказательствъ, при невозможности подняться вѣстѣ съ Люси къ основаннымъ принципамъ человѣческой правды, и спуститься оттуда, шагъ за шагомъ, къ ея кѣ и осужденію разсматриваемыхъ поступковъ, мать просто старается зажать ротъ дочери афоризмомъ о репутаціи и ласкательными словами *мое дитя*; дочь чувствуетъ, что ей зажимаютъ ротъ, и понимаетъ, что дальше такъ и выбрасыванія афоризмовъ ея мать не можетъ.

Ставши лицомъ къ лицу съ грубымъ манеромъ своихъ ближайшихъ родственниковъ и ихъ неспособностью понимать что бы то ни было и съ ихъ откровеннымъ нежеланіемъ имѣть въ себѣ такую способность, Люси чувствуетъ сильнѣе прежняго, какъ дорогъ ей Мишель, какъ невыносимо пустой сдѣлается ея жизнь, если изъ нея придется вычеркнуть этого единственнаго сильнаго и понимающаго человѣка. Она даже пробуетъ покориться; она не хочетъ чать родителей; она не можетъ вступать ни въ борьбу, потому что еще сама не знаетъ за что, за осуществленіе какой программы станеть съ ними бороться. Она еще не знаетъ, что она сдѣлаетъ съ своей любовью Мишеля; она еще не видитъ будущности для своего чувства, а считая счастливый исходъ возможнымъ, думая, что отношенія къ Мишелю не могутъ дать ей ничего, кромѣ мимолетныхъ волненій нѣжности, ничего, кромѣ счастія въ бесѣдѣ, оживленныхъ разговорахъ и взглядахъ, Люси конечно не находитъ возможнымъ и разумнымъ возмущать и возмущать домашняго очага, вокругъ котораго и безъ нея собралось много лишеній, заботъ и огорченій.

Конечно жизнь у этого домашняго очага не дастъ и не дастъ ей никакого вознагражденія за эти свѣтлыя минуты, но все-таки то, что она получаетъ, а это—минуты, и Люси еще не дошла до степени отчаянія, когда человѣкъ ломаетъ существующую форму жизни, не зная, чѣмъ ее замѣнить, и даже сомнѣваясь въ томъ, что можно было замѣнить ее чѣмъ-нибудь другимъ. Принужденная отказаться отъ вечернихъ гулокъ и отъ свиданій съ Мишелемъ, Люси чувствуетъ потребность ея жизни и тутъ признается себѣ самой, что она любитъ такъ сильно, какъ только вообще способна любить. Но что-же тутъ дѣлать, все покончить, все разорвать, потому что разсуждаетъ сама Люси, сердце не умѣетъ вольствоваться дружбой, а идти дальше—бы преступленіе. И тутъ-же у нея вдру-

ется желаніе броситься къ Мишелю и сказать ему: будемъ любить другъ друга. Желаніе не приводится въ исполненіе, но, пробѣвши молніей черезъ всю ея нервную систему, оставляетъ по себѣ неизгладимую борозду. Реченіе цѣлаго мѣсяца Люси выдается съ Мишелемъ только въ церкви, и тутъ они разбѣгаются не подходя къ другъ къ другу и не вѣря другъ съ другомъ ни слова; ихъ взгляды иногда встрѣчаются, и Люси читаетъ въ глазахъ Мишеля столько любви, упрековъ, страданія, что въ ея собственной груди поднимается цѣлая буря мучительныхъ и обаятельныхъ ощущеній. Ея жизнь дробится между мечтой и дѣйствительностью. Какъ только она остается одна, какъ только ея умственные силы не поглощены цѣликомъ работой или хозяйственными соображеніями, она начинаетъ строить воздушные замки, имѣющіе скромную форму чистой хижинны, въ которой она живетъ и распоряжается вмѣстѣ съ Мишелемъ. Она не останавливается надъ вопросомъ объ осуществимости этихъ воздушныхъ замковъ; она просто отдается этимъ мечтамъ и упивается ими, потому что окружающая дѣйствительность вводитъ на нее невыносимую тоску и возбуждаетъ въ ней глухое, но непобѣдимое отвращеніе. Она иногда упрекаетъ себя въ безуміи, гадается пристыдить себя, усиленно обращая все вниманіе на то, что Мишель носитъ блузу, что у него жесткія, корявыя руки; но безуміе уже такъ сильно, что не поддается никакимъ внушеніямъ; ей совѣсть не стыдно; рядомъ съ блузой и съ жесткими руками Мишеля въ ней на умъ являются незваными и непрошенными воспоминанія о его добрѣ, великодушій, справедливости, о его прямотѣ и открытости, о его силѣ и смѣлости и о томъ выжженіи сдержанной страсти и безконечно глубокой нѣжности, которое она всегда читала въ его прекрасныхъ глазахъ. Изъ каждого такого испытанія образъ Мишеля выступаетъ все болѣе чистымъ, свѣтлымъ и яркимъ.

Наконецъ терпѣніе Люси истощается. Случайный разговоръ съ одной знатной барышней, Изабеллой де-Пармаллянтъ, наноситъ послѣдній ударъ ея мѣщанскимъ предрасудкамъ. Эта барышня идетъ добровольно въ монастырь, потому что разстроенное состояніе не позволяетъ ей поддерживать въ свѣтѣ честь ея фамиліи. Ея рѣшимость отказаться отъ земныхъ радостей во имя ложнаго и искусственно созданнаго понятія сословной и фамильной чести приводитъ Люси въ ужасъ и въ негодованіе. Цѣнивъ всю уродливость этой рѣшимости, Люси переноситъ результаты своихъ размышленій на свое собственное положеніе и убѣждается въ томъ, что она поступала и намѣрена была поступать въ будущемъ такъ-же глупо, какъ Изабелла, и можетъ быть даже еще глупѣе.

Изабелла сама была проникнута до мозга костей мѣщанской гордостью и мѣщанскими понятіями; Изабелла не считала узколобыми и ограниченными тѣхъ людей, которые одобряли ея намѣреніе удалиться въ монастырь и стали бы осуждать ее въ случаѣ неровнаго брака; наконецъ Изабелла никого не любила; значить, она поступала по убѣжденію, повиновалась голосу общественнаго мнѣнія, которое она уважала, и наконецъ, удаляясь отъ міра, она не отказывалась отъ вѣрнаго счастья и не портила жизни любимаго человѣка. Этихъ трехъ оправданій Люси не могла привести въ свою пользу: она сама желала быть крестьянкой; она презирала пустоголовыхъ болтуновъ и сварливыхъ сплетницъ, голоса которыхъ составляли общественное мнѣніе ея деревни; и наконецъ она любила человѣка, вполне достойнаго любви и уваженія. Слѣдовательно, отталкивая отъ себя это счастье, которое она сама признавала счастьемъ, она поступала такимъ образомъ только по слабости характера.

Тотчасъ послѣ разговора съ Изабеллой Люси встрѣчаетъ Мишеля и сама назначаетъ ему свиданіе вечеромъ въ бесѣдкѣ. Между этой встрѣчей и свиданіемъ проходитъ больше сутокъ. Это время проходитъ для Люси въ тревожныхъ размышленіяхъ, отъ которыхъ ее бросаетъ въ жаръ и въ холодъ. Два ряда сценъ и картинъ, взаимно противоположныхъ другъ другу, проносятся съ поразительной яркостью передъ ея воображеніемъ. Съ одной стороны она видитъ во всѣхъ подробностяхъ то счастье, которое достанется ей на долю, если она рѣшится начать борьбу и съумѣетъ одержать побѣду; съ другой стороны она измѣряетъ глазами то широкое и вязкое болото непріятностей, слезъ, криковъ, толковъ, насмѣшекъ и народныхъ оскорбленій, черезъ которое ей надо будетъ перебираться въ бродъ, чтобы дойти до Мишеля, схватить его за руку и торжественно назвать его своимъ мужемъ. Представляя себѣ обширность этого болота, его мутную и неизслѣдованную глубину, его гнилыя испаренія и мириады кровожадныхъ комаровъ, носящихся надъ нимъ сплошными тучами, воображая себѣ, что вся тупая и безжалостная дрянь, составляющая отборное общество околотка, начнетъ точить и грызть ея доброе имя грязными предположеніями, намеками, острогами, гипотезами, заимствованными изъ области фізіологіи и патологіи, какъ эти науки понимаются деревенскими кумушками, воображая себѣ, что всѣ эти комары накинутся и на ея родителей, и на ея сестру, и на Мишеля, и что за каждымъ укушеніемъ каждой мизернѣйшей мошки будутъ слѣдовать со стороны родителей и сестры вопли, вздохи, воздѣваніе рукъ къ небу или къ потолку, или по меньшей мѣрѣ кроткіе страдальческіе взгляды на жестокосердную дѣвушку,

потерявшую всякій стыдъ и разбивающую жизнь своихъ близкихъ, — составляя себѣ изъ всѣхъ этихъ черточекъ общую картину, Люси чувствуетъ, что голова ея идетъ кругомъ, что у нея холодѣютъ руки и ноги, что у нея исчезаетъ рѣшимость брать себѣ съ бою разумное счастье, и что даже свѣтлый и чистый образъ Мишеля, уходя въ неопредѣленную даль, превращается въ какое-то туманное пятно.

И точно-ли этотъ образъ такъ свѣтелъ и такъ чистъ, думаетъ она подъ вліяніемъ унынія, навѣяннаго предвкусеніемъ болота. Точно ли подъ мужицкой блузой нѣтъ у этого Мишеля ничего похожаго на грубые инстинкты или низкія наклонности? Каковъ онъ бываетъ у себя дома, весь на распашку, когда ему весело, когда ему не для кого стѣснять себя, когда каждая его шутка, какъ-бы она ни была груба или плоска, подхватывается дружнымъ хохотомъ двухъ-трехъ его пріятелей? Каковъ онъ бываетъ въ хозяйственныхъ своихъ расчетахъ и распоряженіяхъ? Не прорывается-ли въ немъ тутъ мелочность и скарденность? Не оказывается-ли онъ тутъ кремнемъ и кулакомъ, какъ это часто бываетъ съ умными мужиками? Каковъ онъ наконецъ будетъ, когда ему придется столкнуться лицомъ къ лицу съ приговоромъ общественнаго мнѣнія? Не оплошаетъ-ли онъ тутъ, не сробѣетъ-ли, не растеряется-ли? Съумѣетъ-ли онъ прикрыть собой ту дѣвушку, которая, бросаясь въ его объятія, навлечетъ на себя и на него всю бурю мѣщанскаго негодованія и крестьянскихъ насмѣшекъ? Положимъ, что въ смѣлости его сомнѣваться невозможно. Но вѣдь надо различать два рода мужества: одно физическое или военное, заключающееся въ крѣпости нервовъ; другое умственное или гражданское, основанное на твердости и сознательной выработанности убѣжденій; бываютъ люди, которые ходятъ съ особеннымъ удовольствіемъ на медвѣдя безъ огнестрѣльнаго оружія, и въ то же время боятся сплетенъ, распускаемыхъ на ихъ счетъ беззубыми старухами, и лезутъ передъ этими старухами, чтобы обезоружить ихъ, и позволяютъ глупымъ сплетнямъ имѣть серьезное и рѣшительное вліяніе на все направленіе ихъ поступковъ.

Двѣ схватки съ Гореномъ могли удостовѣрить Люси въ томъ, что боевой храбрости у Мишеля было довольно. На счетъ гражданского мужества Люси еще не знала ничего. Былъ даже одинъ маленькій фактъ, изъ котораго она могла вывести то предположеніе, что съ этой стороны окажется въ Мишелѣ нѣкоторый изъянъ. Мишель укрылся отъ жандармовъ и, въ случаѣ надобности, готовъ былъ даже отбиваться отъ нихъ силой, потому, какъ онъ самъ объяснялъ Люси, что вначѣ всякая каналья станетъ называть его острожникомъ. Значитъ, глупыя слова, ожидаемыя въ неопредѣленномъ

будущемъ отъ всякой канальи, заставили Мишеля рѣшиться на такія крутыя мѣры, которыя могли повести его прямо въ галерею, и жетъ быть и на эшафотъ, еслибы дражандармами окончилась смертоубійство. И читать, глупыя слова такой-же канальи, вѣщающей надъ Мишелемъ по поводу ея нитѣй на барышнѣ, стали-бы, по всей вѣроятности, тревожить, печалить и даже терзать Мишеля; его терзанія стали-бы огорчать жену; семейное счастье было-бы отражено, завоеванный смѣлостью Люси, пересталъ бы быть раемъ.

Эти мысли представляются уму Люси въ развернутомъ видѣ, какъ неопредѣленныя мнѣнія, какъ вопросы, которые человекъ не можетъ поставить и для которыхъ онъ не находитъ ясной и строго-соотвѣтственной мулы. Отъ этихъ невыяснившихся сомнѣній обусловленныхъ просто недостаточнымъ знаніемъ любимаго человека, Люси переходитъ къ горькимъ упрекамъ самой себѣ; она обвиняетъ себя въ трусости и въ низкомъ малодушіи. Думаетъ она, жертвую тому, что пріятѣлъ, кого люблю больше всего въ мірѣ, внимательность къ мнѣнію людей, которыхъ она презираетъ, выражается ея слѣдующей формою: она желаетъ, чтобы ей лалъ предложеніе какой-нибудь блестящій ша, вродѣ Гавеля, молодой, красивый и гатый, тогда-бы она ему отказала и затѣла другой-же день вышла-бы замужъ за Мишеля, тогда до крайней-мѣры не будутъ вѣтъ и говорить, что она пошла за мужика по вѣнію другихъ жениховъ, и повинувшись настоятельнымъ требованіямъ своего темперамента. Тогда будутъ по-крайней-мѣры знать, что въ самомъ дѣлѣ полюбила Мишеля. Самое разумѣется, что эти старанія Люси ограничиваются своимъ чувствомъ отъ загроможденія своихъ знакомыхъ и сосѣдей совершенно безплодны. Люди, одаренные способностью грязнить все то, о чемъ они говорятъ, не умѣютъ дать каждому факту то толкованіе, которое соотвѣтствуетъ ихъ намѣреніямъ; же толкованія не достигаютъ своей цѣли, если факты рѣшительно не поддаются извѣстному извращенію, то къ нимъ присочиняется какой-нибудь новый, крошечный фактъ, который на всю совокупность дѣйствительныхъ фактовъ бросаетъ самое неясное и своеобразное освѣщеніе. Все остальное идетъ уже очень легко, и общественное мнѣніе убѣждается именно въ томъ, въ чемъ ему лательно убѣдиться.

Дѣвушку, вышедшую замужъ за мужика, дуетъ, по мнѣнію общества и его коноводовъ, заподозрить, обвинять и уличить въ самыхъ зорныхъ наклонностяхъ и въ самыхъ умышленныхъ проступкахъ. Не подлежитъ ника-

мишню, что она будет заподозрена, обвинена и уличена, и ей никто не поставит в заутю то обстоятельство, что у нея были хорошие женихи, и что она имъ отказала. Развѣ-жъ трудно придумать, почему она имъ отказала? сказала потому, что ей невозможно было выдти мужъ за порядочнаго человѣка; а невозможно потому, что была у нея любовная интрига со-бѣми своими послѣдствіями; вотъ и пришлось посягнуть на шею мужику, благо нашелся та-кой простодѣй.

Желая себѣ богатаго жениха и думая, что такой женихъ облегчитъ и улучшить ея положеніе въ борьбѣ съ обществомъ и съ его предвзвѣдками, Люси держится еще того ошибочнаго мнѣнія, что съ обществомъ, составленнымъ изъ глухихъ и негодныхъ людей, можно и должно аргументировать, и что этому обществу есть возможность что-нибудь доказать. Она еще придаетъ нѣкоторую цѣну сужденіямъ этого общества, и еще не можетъ открыто бросить ему въ глаза свое полное презрѣніе.

Во время свиданія наступаетъ одна минута, тогда Люси, потрясенная до глубины души страстнымъ порывомъ Мишеля, уже готова произнести то слово, которое должно связать ихъ на вѣки. *Да и нѣтъ*, по словамъ автора, какъ двѣ молвіи, сталкиваются въ ея душѣ; замѣтивъ въ себѣ колебаніе, она рѣшается тотчасъ, что не должна и не имѣетъ права говорить Мишелю о своей любви. Свиданіе кончается тѣмъ, что Люси дѣлаетъ Мишелю выговоръ за излишнюю восторженность, а Мишель проситъ прощенія и даетъ клятву вѣсти себя благоразумно.

VII.

Вскорѣ послѣ свиданія одинъ простой случай кладетъ конецъ всѣмъ колебаніямъ Люси. Мишель работаетъ на дворѣ у Бурдона. Гости этого господина, въ томъ числѣ и Гавель, проходятъ черезъ дворъ. Увидѣвъ Мишеля, Гавель подходит къ нему и благодаритъ его за оказанную услугу. Мишель съ очевиднымъ презрѣніемъ отклоняетъ эту благодарность. Гавель, не замѣчая этого презрѣнія, или не желая его замѣтить, говоритъ Мишелю: «прошу васъ считать меня всегда и вездѣ вашимъ должникомъ», и протягиваетъ ему руку «съ развязностью и благородствомъ, которыми самъ въ себѣ любовался». Мишель блѣднѣетъ, нахмуриваетъ брови и своей руки не протягиваетъ. А на вопросъ Гавеля: «вы отказываетесь отъ пожатія моей руки», онъ отвѣчаетъ, не возвышая голоса, но совершенно отчетливо и явственно: «да, г. Гавель, я не могу подать вамъ руку, потому что это у меня знакъ пріязни и уваженія: я подаю руку только честнымъ людямъ». Этотъ отвѣтъ производитъ конечно общее смущеніе; цвѣтъ мѣстнаго мѣщанства ошеломленъ дерзостью му-

жика; священникъ говоритъ, что въ молодомъ поколѣніи утратилось всякое уваженіе къ власти; Орели полагаетъ, что «этотъ негодяй помѣшанъ»; раздавленный Гавель, отретировавшись къ своимъ спутникамъ, бормочетъ какую-то неправдоподобную дрянь о томъ, что вѣроятно и Мишель былъ заодно съ прочими негодяями, покушавшимися на его жизнь и желавшими его ограбить «подъ гнуснымъ предлогомъ»; Бурдонъ задыхается отъ бѣшенства и совѣтъ ничего не говоритъ, проклиная въ душѣ «развязность и благородство» своего будущаго зятя. Люси, присутствовавшая при всей этой сценѣ, отдѣляется отъ остального общества, подходит къ Мишелю и говоритъ ему, что онъ «виряду сильный человѣкъ», что онъ «лучше ея». Этотъ разговоръ между Мишелемъ и Люси происходитъ тогда, когда остальное общество уже находится за оградой двора. Я считаю эту оговорку необходимой, потому что иначе читатель имѣлъ-бы право спросить, какимъ образомъ такая яркая демонстрація со стороны Люси не вызвала немедленно самаго рѣзкаго столкновенія между нашей героиней и ея родственниками.

Поступокъ Мишеля получаетъ въ глазахъ Люси значеніе факта, рѣшающаго весь вопросъ о ея будущихъ отношеніяхъ къ любимому человѣку. Поступокъ этотъ въ самомъ дѣлѣ очень замѣчателенъ. Онъ показываетъ, что Мишеля невозможно застать врасплохъ, что онъ въ каждую данную минуту, при какихъ-бы то ни было неожиданныхъ комбинаціяхъ, безо всякихъ предварительныхъ приготовленій и соображеній, оказывается вѣрнымъ себѣ и поступаетъ какъ человѣкъ безукоризненной, неподкупной и неустрашимой чести. Онъ не задаетъ себѣ вопроса: какъ мнѣ поступить? онъ не взвѣшиваетъ вѣроятныхъ послѣдствій своего поступка, выгодныхъ и невыгодныхъ; онъ не выбираетъ изъ многихъ возможныхъ путей того, который по тѣмъ или по другимъ причинамъ удобнѣе или честнѣе другихъ, для него не существуетъ выбора; очутившись въ томъ или въ другомъ положеніи, онъ въ одно мгновеніе, съ перваго взгляда, видитъ, что вотъ тутъ чистая правда, вотъ тутъ добро безо всякой примѣси, и этого для него довольно, и этимъ обуславливается его образъ дѣйствій. Онъ не лжетъ ни словами, ни поступками, потому что не можетъ, не хочетъ и не умѣетъ лгать. Для него не существуетъ никакихъ возможныхъ компромиссовъ съ ложью, ни подъ какимъ предлогомъ, ни подъ тѣмъ, что въ данномъ случаѣ полезно слухавить, ни подъ тѣмъ, что данный случай мелокъ и ничтоженъ, и что являться тутъ героемъ и защитникомъ правды значить впадать въ смѣшное донкихотство. Для Мишеля честность не мундиръ, который въ праздничные дни надѣвается, а въ будни виситъ въ шкафу; для него это—соб-

противленіе родителей. Какъ она ему объяснила все это, какія сцены любви происходили послѣ рѣшительнаго объясненія, и какъ сложились ея отношенія къ Мишелю во время эрбы съ родителями—обо всемъ этомъ я распространяться не буду. Все это читатель можетъ самъ найти и оцѣнить по достоинству въ самомъ романѣ. Цѣль моей статьи заключается не въ томъ, чтобы любоваться вмѣстѣ съ читателемъ красотами разбираемаго романа, а въ томъ, чтобы подробно прослѣдить развитие его основной идеи. Теперь эта идея выяснилась достаточно. Она состоитъ въ самомъ безпощадномъ осужденіи самодовольнаго, трусливаго, тщеславнаго, корыстолюбиваго и легкомысленнаго мѣщанства; это мѣщанство портитъ и развращаетъ все, что подчиняется его вліянію; оно портитъ воспитаніемъ своихъ собственныхъ дѣтей; оно портитъ также своимъ примѣромъ, своими идеями и въ особенности меркантильнымъ направленіемъ всей своей дѣятельности тѣ слои народа, надъ которыми перевѣсъ матеріальныхъ средствъ и образованія доставляетъ ему преобладаніе. Сколько нибудь чистыми остаются только тѣ люди, которые по своей бѣдности или по какимъ бы то ни было другимъ причинамъ не принимаютъ живого участія въ спекуляціяхъ, интригахъ и увеселеніяхъ мѣщанства, которые не втягиваются съ дѣтскихъ лѣтъ въ мутный водоворотъ его жизни, и поэтому сохраняютъ возможность смотрѣть на его нравы со стороны и судить ихъ строгимъ судомъ неподкупленнаго и неизуродованнаго ума.

Люси Вертенъ—бѣдная дѣвушка, выросшая въ деревнѣ и неизбалованная жизнью; еслибы она была богатой мѣщанкой, еслибы она съ колыбели была окружена дорогими няньками и гувернантками, еслибы она получила курсъ наукъ и искусствъ въ модномъ пансіонѣ, еслибы она затѣмъ закружилась въ вихрѣ баловъ, спектаклей и концертовъ, еслибы сладкорѣчивые старцы и разсчитанные пылкіе юноши нажужжали ей въ уши несмѣтное количество тонкихъ и замысловатыхъ комплиментовъ, клонящихся къ полученію ея руки и приданаго—то, разумѣется, природный умъ Люси развернулся бы какъ-разъ на столько, на сколько это нужно, чтобы поддерживать и оживлять блестящимъ образомъ салонный разговоръ; никакихъ глубокихъ и смѣлыхъ размышленій о жизни и о человѣкѣ, о господствующей нравственности и о междусловныхъ отношеніяхъ не было бы произведено; никакія сближенія съ мужиками не могли бы имѣть мѣста; и Мишель, со всѣми своими рѣдкими и драгоценными достоинствами, оказался бы для блистательной мадемуазель Вертенъ только дерзкимъ нахаломъ, забывающимъ свое настоящее мѣсто и проникнутымъ смѣшными претензіями.

Чтобы оставаться чистыми, чтобы развиваться

и совершенствоваться, люди, неполучившіе почетнаго мѣста за столомъ пирующаго мѣщанства, должны стать въ сознательный и открытый антагонизмъ со всѣми понятіями и симпатіями мѣщанскаго общества. Еслибы Люси Вертенъ покорилась той участи, которая была ей приготовлена нравами, идеями и стремленіями ея общества, то ей пришлось бы или озлобиться на людей и на природу и умереть въ чахоткѣ, какъ это сдѣлала на двадцать-сѣмью году своей жизни ея сестра Кларисса, или разбавить ядъ обманутыхъ ожиданій водой благопріобрѣтенной мелочности и тупости, съежиться въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніяхъ, пристраститься къ сплетнямъ и къ чужимъ обѣдамъ, обезцвѣтиться, обезличиться и превратиться въ мадемуазель Бокъ.

Чтобы сохранить и развернуть полноту своихъ силъ, чтобы спасти себя отъ увяданія и разложенія, Люси должна была уйти въ другую среду, болѣе здоровую и просторную. Тутъ естественнымъ образомъ возникаетъ вопросъ: существуетъ ли такая среда? На этотъ вопросъ авторъ смѣло отвѣчаетъ: существуетъ; такая среда—простой народъ, тотъ народъ, который зарабатываетъ себѣ насущный хлѣбъ тяжелой черной работой. Затѣмъ рождается другой вопросъ: можно ли дѣйствительно уйти въ эту среду? То-есть, другими словами: уйдя въ эту среду, можно ли дѣйствительно найти себѣ въ ней жизнь болѣе полную, человѣчную, отрадную, здоровую и разумную, чѣмъ та жизнь, отъ которой пришлось бѣжать? Не похоже ли это удаленіе отъ образованнаго общества въ народъ на удаленіе съ моста, головой впередъ, въ самый омутъ глубокой и быстрой рѣки? На эти вопросы авторъ даетъ самый утѣшительный отвѣтъ; онъ находитъ, что среди народа возможна свѣтлая, разумная, вполне человѣчная и даже изящная жизнь. При ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается однако, что этотъ отвѣтъ не такъ утѣшителенъ, какъ это можно было подумать съ перваго взгляда. Въ этомъ отвѣтѣ нѣтъ никакихъ комплиментовъ народу. Въ немъ заключается только осужденіе мѣщанства. Свѣтлая и разумная жизнь возможна среди народа, но при какихъ условіяхъ? Во-первыхъ, съ Мишелемъ; а во-вторыхъ, съ такимъ участкомъ земли, который, при тщательной обработкѣ, совершенно обезпечиваетъ земледѣльца и его семью; но большинство крестьянъ не имѣетъ даже отдаленнаго сходства съ Мишелемъ. Значитъ, при теперешнихъ условіяхъ свѣтлая и разумная жизнь среди народа составляетъ очень рѣдкое исключеніе и создается не понятіями, господствующими въ народѣ и принадлежащими всѣмъ и каждому, а только личными свойствами и усиліями людей, рѣзко отдѣляющихся отъ массы какъ мѣщанъ, такъ и чернорабочихъ. Такихъ людей очень мало, но такъ-

называемое образованное общество никакъ не должно думать, что ему одному, вѣстѣ со множествомъ его различныхъ привилегій, принадлежитъ также привилегія формировать такихъ рѣдкихъ людей. Они одинаково возможны и одинаково рѣдки какъ въ образованномъ обществѣ, такъ и въ народѣ. Бѣдность, грубость и невѣжество такъ-же мало благоприятствуютъ ихъ развитію, какъ и привычка жить праздно, корыстолюбіе, тщеславіе и поверхностное образованіе. Рѣдкіе люди, то-есть свѣтлые умы и твердые характеры развиваются вопреки, а не благодаря тѣмъ общимъ условіямъ, которыя даютъ тонъ и колоритъ жизни мѣщанства и жизни народа. Этихъ рѣдкихъ людей можно назвать уцѣлѣвшими или устоявшими людьми. Они умѣютъ оцѣнивать и понимать другъ друга; они испытываютъ живую потребность сближаться между собой и вознаграждать другъ друга взаимнымъ уваженіемъ за то презрѣніе, которое они поневолѣ должны чувствовать ко всему окружающему. Они по природѣ своей равны между собой и достойны другъ друга; это естественное равенство, необходимое для искренняго и тѣснаго сближенія, уничтожаетъ то разстояніе, которое можетъ существовать между ними вслѣдствіе различія ихъ общественнаго положенія и даже образованія. Сохранившаяся въ нихъ естественная сила и свѣжесть человѣческой природы такъ драгоценна, такъ обаятельна и порождаетъ между ними такое взаимное притяженіе, что разъединяющія ихъ искусственныя вліянія, привитыя къ нимъ самимъ или дѣйствующія въ окружающемъ мірѣ, оказываются совершенно безсильными и ничтожными.

Когда человѣкъ узнаетъ человѣка, когда онъ бросается къ нему на встрѣчу съ тѣмъ, чтобы протануть ему руку или сжать его въ своихъ объятіяхъ, тогда всѣ мелкія соображенія о происхожденіи, званіи, чинѣ, костюмѣ, манерахъ и даже знаніяхъ человѣка откидываются въ сторону. Когда два человѣка, полные свѣжихъ дарованій и кипучей энергіи, убѣдились въ томъ, что оба они думаютъ и чувствуютъ съ одинаковой силой и руководствуются въ своихъ дѣйствіяхъ одинаковыми побужденіями, тогда между ними, смотря по обстоятельствамъ, зарождается дружба или любовь; и все, что мѣшаетъ развитію и полному удовлетворенію зародившагося чувства какъ въ самихъ заинтересованныхъ сторонахъ, такъ и вокругъ нихъ, истребляется и устраняется естественной силой взаимнаго притяженія. Барышня, въ которой дрессировка и пустая жизнь не заморили ума, чувства и энергіи, можетъ полюбить простаго мужика, въ которомъ умъ, чувство и энергія также не заморены нуждой, зависимостью и воловьимъ трудомъ. Подъ вліяніемъ своего чувства эта барышня можетъ обновиться, переродиться, сбросить

съ себя все то, что было приковано къ уму и характеру стараніями родителей и окружающаго общества, и развернуть въ себѣ то, что составляетъ силу и красоту этой человѣческой природы. Вотъ, по моему мнению, разумнѣю, основная мысль романа. Барышня можетъ полюбить мужика и пасть въ своей любви самое полное и разумное существо. Разумѣется, не первая встрѣчная барышня первая встрѣчная мужика. Достоинство всего романа зависитъ очевидно отъ того, насколько ясно проведена и убѣдительно заната эта основная мысль, насколько живы тѣ образы, въ которые она облечена.

Если мужикъ — не мужикъ, и барышня — не барышня, если оба они — блѣдные и тѣпые, неимѣющіе никакихъ корней въ дѣйствительности, или если любовь барышни къ мужику не развивается такъ, что читатель можетъ повѣрить ея существованію и увидѣть во всѣхъ сценахъ и картинахъ проходящихъ передъ его глазами, только образныя проявленія авторскаго произвола, то романъ оказывается безсильною кламацией, и та идея, которая была положена въ его основаніе, остается недоказанною, такъ какъ центръ тяжести всего романа заключается именно въ вопросѣ: могла ли барышня Люси полюбить мужика Мишелемъ? то я и сосредоточилъ все свое вниманіе на этомъ вопросѣ и разобралъ его съ такою тщательностью, которая быть можетъ до какой-нибудь степени утомила читателя. Я былъ вынужденъ разсказывать сущность всѣхъ нѣжныхъ сценъ, происходившихъ между Люси и Мишелемъ; потому что только такъ я могъ убѣдить читателя въ совершенности и естественности авторскаго произвола и въ той естественности, съ которой ведено развитие чувства.

О борьбѣ Люси съ родителями и съ обществомъ распространяться не стоить. Борьба всегда кончается и должна кончиться полной побѣдой того лица, которое серьезно и настойчиво за свои дѣйствительныя интересы и за свои естественныя и неотъемлемыя права. Если случается иначе, если побѣждаетъ не личность, а среда, то это значитъ только, что чувства и желанія, изъ-за которыхъ была завязана борьба, недостаточны, глубоки и прочны. Люси одерживаетъ полную побѣду самыми легальными средствами: она не уходитъ отъ своихъ родителей, не вступаетъ съ Мишелемъ въ тайный бракъ и одну минуту не перестаетъ быть самой настоящей и вѣрной дочерью, опорой и заступницей, утѣшительницей и неутомимой сестрой умирающей сестры. Она не доводитъ своихъ родителей преніями о равенствѣ людей, не дѣлаетъ имъ бурныхъ сценъ

тается уязвить или разжалобить ихъ уби-
ымъ видомъ или горькими слезами, и даже
ама ни разу не заводитъ съ ними разговора о
ишелъ и его достоинствахъ. Вообще она не
потребляетъ въ отношеніи къ нимъ никакой
актики; во всемъ ея поведеніи нѣтъ ничего
разсчитаннаго и искусственнаго. Она только
изо дня въ день, съ утра до вечера и въ каж-
дую данную минуту, съ одинаковой силой и съ
неизмѣннымъ постоянствомъ желаетъ одного и
того-же. Эта постоянная дума о любимомъ че-
ловѣкѣ, это постоянное стремленіе къ одной
цѣли придаетъ чертамъ ея лица выраженіе
такой сосредоточенности и кладетъ на все ея
поведеніе печать такой торжественной серьез-
ности, которая внушаетъ ея родителямъ неволь-
ное уваженіе, въ то самое время, когда они
напрягаютъ всѣ свои силы, чтобы преслѣдо-
вать и наказывать ее своимъ презрѣніемъ.
Люси терпѣть и ждѣть, и этия кроткимъ вы-
жиданіемъ истощаетъ силы своихъ противни-
ковъ; она не дѣлаетъ сама ни одного шагу
впередъ и не высказываетъ никакихъ требо-
ваній, но всякій разъ, какъ ее вызываютъ на
объясненія, она тихо, просто и откровенно за-
являетъ совершенную неизмѣнность своихъ
мыслей, чувствъ, намѣреній и желаній. Когда
ея родители узнаютъ отъ постороннихъ людей
о любви ея къ Мишелю и о свиданіяхъ въ садо-
вой бесѣдкѣ, тогда разумѣется разражается буря
удивленія и негодованія; начинается концертъ
криковъ и стоновъ; чтобы не задушить пре-
ступную дочь собственными руками, Бертенъ,
сжавъ кулаки, отскакиваетъ отъ нея въ противо-
положный уголъ комнаты и вслѣдъ затѣмъ бѣ-
житъ въ садъ разстрѣливать Мишеля; г-жа Бер-
тенъ отталкиваетъ отъ себя Люси и говоритъ
съ надлежащей дозой трагизма: оставь меня,
ты мнѣ больше не дочь! Чахоточная Кларисса,
злая и глупая, и вся насквозь тряпичная и
деревянная, почти безъ чувствъ падаетъ въ
кресло и произноситъ косящимъ языкомъ:
она съума сошла!

Люси страдаетъ отъ всѣхъ этихъ жестовъ
и возгласовъ, страдаетъ въ особенности отъ
той боли, которую испытываютъ эти люди во
время своего ненужнаго жестикулированія и
взыванія, но страданія не обнаруживаютъ ни-
какого ослабляющаго вліянія на ея любовь и
рѣшимость. Какъ подѣйствовала первая бур-
ная сцена, такъ точно дѣйствуютъ на нее и
всѣ остальные сцены, бурныя и слезливыя,
раздирательныя и умиленные; она не остается
нечувствительной къ тяжелымъ впечатлѣ-
ніямъ; каждая грубая выходка отца, каждая
слеза матери, каждый леденящій и страдаль-
ческій взглядъ больной сестры ложатся кро-
вавыми рубцами на любящее сердце Люси; одно
оскорбительное слово, произнесенное ея отцомъ,
доводитъ ее даже до обморока, но сущность

дѣла отъ ея страданій нисколько не измѣняет-
ся; она худѣетъ и блѣднѣетъ, она проводитъ
безсонныя ночи, но и худая, и блѣдная, и съ
воспаленными глазами, и съ жестокой голов-
ной болью она любитъ Мишеля попрежнему,
и даже привязывается къ нему еще сильнѣе,
потому что свѣтлый образъ составляетъ въ
тяжелыя минуты ея единственное утѣшеніе.

Родители убѣждаются наконецъ въ томъ, что
измучить свою дочь они могутъ, что при нѣ-
которой настойчивости и неумолимости они по-
жалуй могутъ даже замучить ее до смерти, но
что, пока она будетъ жива, до тѣхъ поръ она
будетъ любить Мишеля, гордиться его любовью
и стремиться къ тому, чтобы сдѣлаться его
женой. Тогда оппозиція слабѣетъ и разлагает-
ся; надъ Люси испытываютъ послѣднее сред-
ство: ее отправляютъ въ Пуатье, ее вывозятъ
на балы, ее стараются пристроить за какого-
нибудь приличнаго джентльмена, но ничто на
нее не дѣйствуетъ, и она возвращается въ
деревню, неизмѣнно вѣрная своему Мишелю.

Смерть Клариссы наноситъ послѣдній ударъ
ослабѣвшему сопротивленію родителей; Кла-
рисса умираетъ, не узнавши жизни, не испы-
тавъ любви и не возбудивъ ея ни въ комъ; въ
минуту агоніи она перестаетъ быть деревян-
ной куклой; въ ней пробуждается женщина, и
она съ дикой и полоумной энергіей, нарушая
всѣ приличія, громко упрекаетъ людей и судьбу
въ томъ, что они обманули ея ожиданія, загуби-
ли ея молодость, испепелили ея свѣжія силы,
и заставляютъ ее, подобно дочери Іеффая,
«умирать, не бывши матерью». — «Мама, гово-
рить она госпожѣ Бертенъ, схватывая ее за
руку смотри, чтобы Люси не умерла, какъ я».

Въ виду едва остывшаго трупа старшей доче-
ри, умершей отъ холода и пустоты дѣвической
жизни среди пошлаго и мелочно-бездушнаго об-
щества, госпожа Бертенъ, старается стать выше
предразсудковъ этого общества и общается
своей младшей дочери, что она будетъ счаст-
лива съ тѣмъ прекраснымъ, благороднымъ
человѣкомъ, котораго она выбрала. Но у до-
бродушной мѣщанки, прочитанной всѣми не-
последовательностями и внутренними противорѣ-
чіями свойственными либераламъ ея сосло-
вія, не хватаетъ твердости ни на то, чтобы
добровольно сложить оружіе и устоять въ сво-
емъ обѣщаніи, ни на то, чтобы рѣшительнымъ
отказомъ зарѣзать дочь на алтарѣ сословной
и семейной чести. Въ принципѣ уступка сдѣ-
лана. Мишель, котораго хотѣли подстрѣлить
въ саду, послѣ смерти Клариссы сталъ дру-
гомъ дома, выдается съ Люси безпрепятственно
и въ комнату, и въ садъ, и при родителяхъ, и
наединѣ. Кажется, послѣ этого уже нечего
больше скупиться, торговаться, тянуть кани-
тель и откладывать дѣло въ долгій ящикъ.
Разъ какъ сдѣлана такая уступка, изъ кото-

рой естественнымъ образомъ вытекаютъ всѣ остальные. то надо уже волей или неволей идти до конца.

Родители Люси разсуждаютъ иначе. Когда Люси, почти черезъ полгода послѣ смерти Клариссы, заговариваетъ о томъ, что пора же наконецъ дать ей и Мишелю то счастье, которое было имъ торжественно обѣщано—тогда она, къ удивленію своему, узнаетъ, что она дурная дочь, что она огорчаетъ своихъ родителей и хочетъ уморить ихъ со стыда. Даже убѣдившись въ томъ, что ихъ сопротивленіе ни къ чему не можетъ повести, и что рано или поздно надо будетъ уступить, родители Люси все еще до послѣдней минуты продолжаютъ кривляться, гримасничать и хныкать. Люси начинаетъ убѣждать ихъ разумными доводами, они во всемъ съ ней соглашаются, и затѣмъ продолжаютъ вздыхать и плакать. Люси въ первый разъ въ своей жизни говоритъ имъ рѣзкое слово и рѣшительно требуетъ себѣ или полного человѣческаго счастья, или могилы сестры. Передъ этимъ взрывомъ энергическаго негодованія родители ея смиряются, именно потому, что Люси не приучила ихъ къ такимъ взрывамъ и не растратывала своей энергіи на мелкія вспышки безпричиннаго неудовольствія.

Люси съ согласіемъ родителей становится женой Мишеля, и мы узнаемъ, въ самомъ концѣ романа, что, шесть лѣтъ спустя, родители благоденствуютъ и процвѣтаютъ по милости того самаго брака, въ которомъ они видѣли величайшее изъ своихъ семейныхъ несчастій. «Право — разсуждаетъ пріятельница Люси, Женъ Мурильонъ—надо быть глупымъ и слѣпымъ, чтобы еще теперь находить дурнымъ бракъ мадамъ Мишель. Все въ домѣ перемѣнилось. Прежде у нихъ только и было, что одно горе, а теперь все идетъ хорошо. Г-жа Вертенъ стала заниматься птичьимъ дворомъ и съ тѣхъ поръ перестала ныть и говорить мудренныя слова; напротивъ, она говоритъ съ вами о своихъ цыплятахъ, индѣйкахъ и уткахъ, какъ женщина разсудительная, и видно, что это ее забавляетъ. Даже самого Вертена, и того надоумило приняться за дѣло; онъ такъ подружился съ короной Пижодъ, что никого къ ней не подпускаетъ, каждый день ходитъ гулять съ нею. Ну, да ужъ я вамъ говорю, что это счастливые люди, а по мнѣ этого довольно, потому счастливыхъ людей очень мало».

Мишель и Люси—счастливые люди. Картиной ихъ счастья заканчивается романъ. Это счастье состоитъ въ томъ, что у нихъ свой домикъ, и что въ этомъ домикѣ у нихъ есть все, что необходимо для удовлетворенія всѣхъ насущныхъ потребностей. Они любятъ другъ друга, любятъ своихъ дѣтей, покоятъ родителей, читаютъ по вечерамъ хорошія книжки—и, стало быть, счастливы. Въ ихъ жизни нѣтъ мѣста

праздности и скукѣ; они работаютъ усердно и добросовѣстно, чтобы удерживать и увеличивать то благосостояніе, которымъ они пользуются. Такихъ счастливыхъ людей дѣйствительно очень мало, а между тѣмъ ихъ очень много, если вглядѣться и вдуматься въ него. Оно нагоняетъ тоску и наводитъ тяжелое раздумье.

Это какое-то прѣсное и приторное счастье, этомъ счастьемъ нѣтъ той соли, которая заставляетъ людей испортиться; если подвергнуть червѣнку дѣйствию такого счастья продолжительности или двадцати лѣтъ, то я право не знаю, какая сила предохранитъ его отъ ожирѣнія, отъ притупленія, отъ безвозвратнаго мертвеннаго погруженія въ копѣчныя заботы, разсудка, спекуляціи и мечты, цѣлкомъ направленные къ тому, чтобы набрать дѣтскимъ побиломъ франковъ, червонцевъ и банковыхъ билетовъ, сначала на ихъ воспитаніе, потомъ на личное обзаведеніе, потомъ на безбѣдное существованіе. Мишель и Люси работаютъ исключительно для того, чтобы кормиться и затѣмъ развѣсываться. То и другое имъ удается, но ни рѣшительно не видимъ, связываютъ-ли какъ-нибудь нати ихъ лодочку съ «кормой большого корабля», имѣютъ-ли они понятіе о существованіи какихъ-нибудь общихъ цѣлей, а стремятся-ли они какимъ-бы то ни было путемъ къ достиженію какой-бы то ни было подобной цѣли. Такъ какъ въ романѣ Лео нѣтъ ни какого-либо указанія на какую-бы то ни было связь между жизнью этихъ счастливыхъ людей и общими великими интересами ихъ времени и ихъ народа, то мы можемъ и должны думать, что никакой подобной связи и не было. Отрываетъ эту связь, авторъ не дѣлаетъ никакой ошибки. Отсутствие этой связи не можетъ быть также поставлено въ укоръ уму и характеру Мишеля и Люси. Очень вѣроятно, что ни Мишель, ни Люси не могли сдѣлаться общественными дѣятелями; ихъ образованіе было слишкомъ недостаточно; то захолустье, въ которомъ они родились и выросли, было слишкомъ мало и мертво, участіе простого народа въ политическихъ и общественныхъ дѣлахъ слишкомъ ничтожно, всѣ силы ихъ ума и ихъ искусства слишкомъ исключительно поглощены добываніемъ насущнаго хлѣба, имъ пришлось потратить слишкомъ много энергіи на завоеваніе личнаго счастья—всѣ эти причины, вѣстѣ изъясняя, совершенно удовлетворительно, почему и какимъ образомъ они, переставшись, могли почитать борьбу жизни оконченной и сосредоточить свои свѣжія силы на нарожденіи здороваго потомства и на усердномъ важиваніи движимаго и недвижимаго добра.

Но понимая причины какого-нибудь явленія, мы этимъ пониманіемъ не устранимъ его послѣдствій. Мишель и Люси не виноваты въ

омъ, что не сдѣлались общественными дѣятелями, но такъ какъ они ими не сдѣлались, они, рано или поздно, и скорѣе рано чѣмъ поздно, сдѣлаются нѣкоторымъ подобіемъ старосвѣтскихъ помѣщиковъ. Нѣкоторыя слабыя черты этого предстоящаго отяжелѣнія можно замѣтить уже въ послѣдней главѣ романа, хотя авторъ повидимому не имѣлъ намѣренія показывать читателю ахиллесову пятку своихъ героевъ, и хотя быть можетъ авторъ и самъ не видалъ. Вотъ какъ авторъ описываетъ Мишеля шесть лѣтъ спустя послѣ свадьбы:

«Силёнъ и счастливъ—вотъ что можно сказать о Мишелѣ. Шесть лѣтъ спокойнаго счастья придали его стану здоровую полноту, а чертамъ его лица тихую безмятежность, которая не погасила огня его глазъ и не ослабила умнаго выраженія физиономіи». Если устранить эту этой мысли смягчающую и скрадывающую грацію выраженія, то получится слѣдующій результатъ: Мишель раздобрѣлъ, но не поглупѣлъ. Не надо-ли будетъ во вторую часть фразы вставить слово *еще*, заключающее въ себѣ грозный намекъ на печальное будущее? Если *шесть лѣтъ не погасили и не ослабили*, то не погасятъ и не ослабятъ-ли двѣнадцать лѣтъ? Мишелю было двадцать-три года, когда онъ женился. Въ ту минуту, когда его описываетъ авторъ, ему двадцать девять лѣтъ. И онъ уже толстѣетъ, и о немъ уже надо говорить, въ похвалу ему, что онъ не поглупѣлъ. Значитъ, то обстоятельство, что онъ остановился въ своемъ развитіи, уже не подлежитъ сомнѣнію. А за остановкой въ развитіи долженъ слѣдовать регрессъ. И мнѣ кажется, что этотъ регрессъ начался, и что о немъ проговорился самъ авторъ.

Андре Лео говоритъ, что на слова жены «онъ ей отвѣтилъ такимъ взглядомъ, въ которомъ показался весь прежній Мишель». Значитъ, прежній Мишель не то, что теперешній; онъ показывается только по временамъ изъ-за того тонкаго слоя жира, который образуетъ *здоровую полноту*. Дайте этой полнотѣ развернуться, дайте слою жира сдѣлаться потолще, и прежній Мишель будетъ показываться все рѣже и рѣже, а потомъ и совсѣмъ пропадетъ, и останется только, ввидѣ надгробнаго камня, рыхлая масса жира, которая своими неопредѣленными контурами будетъ только до нѣкоторой степени напоминать рѣзкія и выразительныя черты прежняго пылкаго, смѣлаго и титанически любознательнаго юноши.

Что же такое Люси и что такое Мишель? Они не типы; ни Люси не можетъ быть представительницей барышень, ни Мишель—представителемъ мужиковъ. Они также не идеалы. Нельзя сказать, глядя на Люси: вотъ чѣмъ должна быть современная женщина! или, глядя на Мишеля: вотъ образецъ современнаго муж-

чины. Они оба—просто люди неспорченные, непропитавшіеся грязью корысти, неторгующіе умомъ и совѣстью. Но ни у него, ни у нея нѣтъ того, что обезпечиваетъ за человѣкомъ неуываемую молодость ума и чувства, нѣтъ горячей любви къ общему дѣлу, нѣтъ чистаго и святаго увлеченія великой идеей. Если ихъ образы кажутся намъ не только свѣтлыми, но даже лучезарными, то это доказываетъ только позорную неоприятность того общества, которое ихъ окружаетъ.

VIII.

Разобранный выше романъ: «Возмутительный бракъ» говоритъ читателю: счастье достается тому, кто умѣетъ и осмѣливается жить своимъ умомъ, кто сбрасываетъ съ себя ярмо господствующихъ понятій, кто неустрашимо плыветъ противъ общаго теченія, кто борется съ средой и своей настойчивостью побѣждаетъ ея сопротивление. Въ романѣ «Разводъ» (*Un divorce*) та же мысль показана съ обратной стороны. Кто покоряется, кто живетъ чужимъ умомъ, кто терпѣливо и кротко плыветъ по теченію, кто даетъ надъ собой неограниченную власть всѣмъ понятіямъ и стремленіямъ среды—тому портятъ грязнятъ и ломаютъ жизнь, того теребятъ, унижаютъ, порабащаютъ и въ награду за безукоризненную покорность доводятъ или до отчаянія, или до отупѣнія.

Дѣйствіе происходитъ во французской Швейцаріи. Богатый собственникъ Гранво выдаетъ свою старшую дочь, красавицу Клару, замужъ за богатаго и красиваго молодого человѣка, Фердинанда Дефе. Клара—дѣвушка добрая и не глупая; она вполнѣ способна чувствовать и даже думать почеловѣчески; но она прожила до двадцати лѣтъ, не развернувши въ себѣ этой способности и не воспользовавшись ею. Въ то время, когда ее отецъ рѣшилъ отдать ей руку Фердинанду, ей начиналъ правиться французъ, художникъ Камиль, человѣкъ безъ состоянія и слѣдовательно неспособный быть приличной партіей. Но это чувство только-что возникало, между молодыми людьми не было еще произнесено ничего похожаго на слово любви, и выразительные глаза Камиля не возбудили въ Кларѣ желанія и рѣшимости сопротивляться волѣ отца, или даже только протестовать жалобами и слезами. Она съ безропотной покорностью становится невѣстой Дефе; она даже не груститъ объ этомъ, она только какъ будто озадачена. Она говоритъ своей кузинѣ, Матильдѣ Саржѣ, дѣвушкѣ съ самостоятельнымъ образомъ мыслей: «Я никогда не старалась отличаться своими поступками отъ другихъ. Я вѣрю моимъ родителямъ и дѣлаю себѣ по простуту, что они мнѣ приказываютъ». А когда Матильда замѣчаетъ, что по крайней

мужу надоѣсть наконецъ дурная жизнь, и что онъ вернется къ ней, если будетъ видѣть съ ея стороны постоянную кротость, внимательность и заботливость; съ другой стороны, Матильда самымъ энергическимъ образомъ старается возбудить въ ней чувство собственнаго достоинства.

Клара колеблется изъ стороны въ сторону и своей перѣшностью устраиваетъ себѣ домашній адъ, изъ котораго она не осмѣливается вырваться; всѣ ея волненія происходятъ во время первой ея беременности; ребенокъ родится слабый, болѣзненный и до крайности раздражительный; Клара обращаетъ на него всю свою заботливую нѣжность; ея неутолимые попеченія едва достаточны для того, чтобы поддерживать его жизнь; она проводитъ надъ его колыбелью безсонныя ночи; она успокаиваетъ его своими тихими ласками; Фердинандъ, разумѣется, по-прежнему ничего не понимаетъ и не цѣнитъ; ему досадно, что у него родился такой хилый ребенокъ; ему надоѣдаютъ его слезы и крики; бросая изрѣдка разсѣянный и высокомерный взглядъ на хлопоты и тревоги, совершающіяся въ дѣтской, не давая себѣ труда вникнуть въ дѣло и не умѣя убѣдиться въ томъ, что всѣ принимаемыя мѣры рѣшительно необходимы и вызваны дѣйствительными немощами ребенка, Фердинандъ даетъ себѣ право критиковать распоряженія молодой матери, относиться насмѣшливо къ ея самоотверженной нѣжности, и даже утверждать, что ребенка разслабляютъ и губятъ именно тѣми попеченіями, которыми поддерживается его слабо мерцающая жизнь.

Сталкиваясь на каждомъ шагѣ съ этимъ грубымъ и бездушнымъ непониманіемъ, Клара понемногу огораживаетъ отъ мужа свою внутреннюю жизнь, міръ своихъ материнскихъ радостей и огорченій, опасеній и надеждъ, такой стѣной, за которую не проникаетъ и не старается проникнуть никто, кромѣ ея матери и младшей сестры. Мужу нѣтъ дѣла до того, что думаетъ и чувствуетъ Клара; но, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ первыхъ родовъ Клары, мужъ замѣчаетъ, что она очень поправилась и похорошѣла, и что ее опять можно обнимать и цѣловать съ немалымъ удовольствіемъ; къ тому-же у него въ это время происходитъ размолвка съ любовницей; онъ роняетъ нѣсколько милостивыхъ и ласковыхъ словъ, онъ проситъ Клару забыть все прошлое, и приходитъ въ сильнѣйшее негодованіе, видя, что Клара не считаетъ себя осчастливленной его возвращеніемъ къ ней и даже уклоняется отъ его распростертыхъ объятій. Начинаются ежедневныя семейныя непріятности. Мужъ мститъ женѣ за то, что она страдаетъ отъ нанесенныхъ ей оскорбленій и продолжаетъ страдать даже тогда, когда ему, властелину, угодно веселиться, милостиво любовничать и забыть тѣ оскорбленія, которыя онъ нанесъ. Энергія

Клары истощается. Когда, послѣ нѣсколькихъ недѣль самыхъ непріязненныхъ отношеній, мужъ снова заговариваетъ съ ней, она сдается на его примирительныя предложенія и пытается снова устроить себѣ такое счастье. Изъ этихъ попытокъ ничего не выходитъ, и въ результатѣ ихъ получается только новая беременность. Затѣмъ Клара снова сближается съ своей любовницей; удовольствія между супругами растутъ; Клара, доведенная до отчаянія, дѣлаетъ мужу такую сцену въ его конторѣ, гдѣ она застала его вмѣстѣ съ его любовницей; послѣ этой сцены супруги начинаютъ ненавидѣть друг друга; въ ихъ домѣ водворяется мрачная душная тишина; они перестаютъ говорить между собой; изрѣдка между ними происходятъ бурныя столкновенія, которыя рождаютъ впечатлительнаго ребенка и иногда доводятъ его до нервныхъ припадковъ; наконецъ Клара уѣзжаетъ къ отцу, съ тѣмъ, чтобы никогда не возвращаться въ домъ мужа. Общественное мнѣніе въ одно время и осуждаетъ, и оправдываетъ обоихъ супруговъ: Клара виновата въ томъ, что была слишкомъ требовательна и не умѣла сносить терпѣливо со стороны своего мужа такіе проступки, въ которые впадаетъ большинство мужчинъ и изъ-за которыхъ стоило разрушать семейный союзъ и огорчать свѣтъ печальнымъ скандаломъ; но съ другой стороны, Клара до нѣкоторой степени права: ей нельзя было долѣе терпѣть, и необходимо было принять противъ мужа какую-нибудь рѣшительную мѣру, потому что мужъ разорился на свою Фонжалла и могъ затратить тѣ деньги, которыя онъ получилъ въ приданое за женой. Фердинандъ виноватъ именно тѣмъ, что разорился; но съ другой стороны, и онъ тоже до нѣкоторой степени правъ: жена его — плакса, капризна, вѣкорная женщина; она не умѣла угождать ему, она ныла по поводу всякой мелочи, она думала на мужа, вмѣсто того чтобы улыбаться ему; она не умѣла составить его счастье; позволивъ онъ долженъ былъ искать на сторонѣ какую-нибудь замѣну того, чего онъ не находилъ у себя дома.

Такимъ образомъ общественное мнѣніе считаетъ серьезной и заслуживающей вниманія только ту сторону дѣла, гдѣ затрогиваются денежные интересы; все остальное — мелочи, неосозаемыя и невѣсомыя сантиментальности, о которыхъ можно съ удовольствіемъ поболтать для препровожденія времени, изъ-за которыхъ не стоитъ осуждать порядочнаго человека; измѣнилъ женѣ, обманулъ ея любовь, разбилъ ея счастье, измучилъ бѣдную женщину — все это чувствительныя фразы, къ которымъ разсуждающее мѣщанство относится съ самымъ солиднымъ и ненормальнымъ недоу-

емъ. Чѣмъ-же онъ, въ самомъ дѣлѣ, измѣ-
илъ и обманулъ, когда онъ проводить почи-
ма, когда онъ подходитъ къ женѣ съ ласка-
ми, и когда она же, напротивъ того, его от-
талкиваетъ? И чѣмъ несчастлива эта женщина?
Развѣ ее бьютъ, развѣ она голодна, развѣ она
идетъ въ лохмотьяхъ, развѣ у нея отнимаютъ
дѣтей? Развѣ наконецъ всякая другая на ея
мѣстѣ не благословляла-бы Бога за ниспослан-
ное ей счастье? И кромѣ того, если побивать
мужьями всякаго мужа, сдѣлавшаго женѣ ма-
ленькую невѣрность съ соблюденіемъ всѣхъ
приличій, то скоро всѣ мужья будутъ побиты,
тогда кто-же будетъ защищать отечество?

Мужчины оправдываютъ Фердинанда Дефе
потому, что видятъ въ немъ одного изъ сво-
ихъ, одного изъ господствующихъ, одного изъ
тѣхъ, за кѣмъ должно быть упрочено пра-
во давать нѣкоторый просторъ человѣче-
скимъ слабостямъ. Женщины тоже оправды-
ваютъ его по тому чувству, по которому рабы,
несмѣющіе взбунтоваться, помогаютъ своимъ
господамъ усмирять другихъ рабовъ, менѣ тер-
пимыхъ или болѣе предпріимчивыхъ. Мы-же
любовимся, думаемъ женщины. Мы же смо-
римъ снисходительно на шалости нашихъ го-
сподъ. Мы же не поднимаемъ воплей, не лѣ-
земъ на стѣны и не считаемъ себя несчастными
изъ-за всякой бездѣлицы. Изъ чего-же она-то
пунитъ и убивается? Чѣмъ она лучше насъ?
И какъ она смѣетъ быть недовольной тѣмъ,
тѣмъ каждая изъ насъ была-бы довольна?

Мужчины и женщины, осуждающіе Клару, до
нѣкоторой степени правы. Настоящая причина
ея страданій заключается дѣйствительно не
столько въ томъ, что ее окружаетъ, сколько
въ ней самой, въ ея характерѣ, въ роковой не-
соразмѣрности между ея нравственными потреб-
ностями и ея силами. Ее не удовлетворяетъ
обыкновенное, рядовое, казенное счастье, то, что
называютъ счастьемъ ея знакомыя и подруги;
такое счастье ее тѣситъ; она видитъ и чув-
ствуетъ въ немъ много горькой и грязной при-
мѣси; ей нужно счастье гораздо болѣе чистое,
полное, глубокое и разумное, а между тѣмъ у
нея нѣтъ ни смѣлости, ни силъ на то, чтобы
рѣшительно приняться за расширение и очище-
ніе своего существованія. Она чувствуетъ, что ей
душно, и плачетъ отъ стѣсненія въ груди, но
она не задаетъ себѣ вопроса: отчего мнѣ душно?
что именно мѣшаетъ мнѣ дышать? Когда от-
вѣтъ на этотъ непоставленный вопросъ самъ
кидается ей въ глаза, она сейчасъ отскаки-
ваетъ отъ него назадъ подъ прикрытіе своего
долга, подъ защиту нравственныхъ сентенцій,
втолкованныхъ мамею и пасторомъ; разви-
тіе свободной и освобождающей мысли пода-
вляется въ зародышѣ, и Клара, продолжая
страдать отъ духоты, продолжаетъ относиться

съ неизмѣннымъ подобострастіемъ ко всѣмъ ея
причинамъ.

Послѣ отъѣзда Клары отъ мужа, ея отецъ,
взволнованный той опасностью, которая гро-
зитъ ея приданому, начинаетъ хлопотать о раз-
водѣ. Завязавшееся судебное дѣло осложняется
тѣмъ обстоятельствомъ, что двое свидѣтелей,
представленныхъ Фердинандомъ, рассказываютъ
въ судѣ подслушанную и подсмотрѣнную ими
нѣжную сцену, происходившую между Кларою
и Камилемъ. Дѣло заканчивается разводомъ, съ
тѣмъ, чтобы сынъ былъ отданъ отцу, а дочь
осталась у матери. Клара отправляется къ
своему бывшему мужу, упрасиваетъ его оста-
вить ребенка у нея, и достигаетъ своей цѣли.
Фердинандъ выговариваетъ себѣ только то усло-
віе, чтобы она изрѣдка присылала дѣтей къ
нему въ гости. Три года спустя Фердинандъ
женится на госпожѣ Фонжалла и оставляетъ
у себя своего сына, пришедшаго къ нему съ
нянькой на нѣсколько часовъ. Клара напрасно
напоминаетъ ему его общаніе и умоляетъ воз-
вратить ей ребенка, съ которымъ только она
одна умѣетъ обращаться какъ слѣдуетъ. Фер-
динандъ остается неумолимымъ, и ребенокъ чах-
нетъ и слабѣетъ подъ руками отца и мачихи.

Чувствуя себя несчастной и одинокой, Клара
выходитъ замужъ за Камиля, котораго она лю-
битъ уже давно; но жизнь ея уже разбита; лю-
бовь Камиля не даетъ ей счастья; всѣ ея мысли
направлены къ тому дому, гдѣ томится и из-
нымаетъ ея сынъ; получивъ отъ своего быв-
шаго мужа извѣстіе объ опасной болѣзни ма-
ленькаго Фердинанда, она отправляется къ нему
и проводить недѣлю у постели больного, въ
домѣ, гдѣ хозяйничаетъ ея бывшая соперница.
Ребенокъ умираетъ; мать уноситъ его трупъ
къ себѣ; три дня держитъ его въ своихъ объ-
ятіяхъ и умираетъ тоже.

Клара умираетъ жертвой своей пассивности.
Два событія нѣютъ рѣшительное и роковое
вліяніе на ея жизнь: ея бракъ съ Фердинан-
домъ Дефе и ея разводъ, который запутываетъ
дѣло, вмѣсто того, чтобы поправить его. Оба
эти событія совершаются помимо ея воли; ея
дѣйствіями управляетъ въ обоихъ случаяхъ
мысль и воля ея отца; побудительной причиной
являются въ обоихъ случаяхъ денежные сообра-
женія, т. е. такія, къ которымъ сама Клара по-
чти равнодушна. Въ обоихъ случаяхъ у нея были
личные интересы, шедшіе въ разрѣзъ съ тѣмъ рѣ-
шеніемъ, которое она приняла, и въ обоихъ
случаяхъ она безъ боя выдала эти интересы.
Въ первомъ случаѣ у нея была зарождающаяся
наклонность къ Камиллю, но эта наклонность
казалась ей до такой степени эксцентричной,
беззаконной и лишенной всякой будущности,
что она не дала себѣ труда отбросить тѣ шансы
и задатки счастья, которые въ ней заключа-

лись. Во второмъ случаѣ, когда пришлось обсуживать вопросъ о разводѣ, у нея была любовь къ дѣтямъ и забота о ихъ участи. Но привычка жить чужимъ умомъ и подчиняться чужой волѣ была въ ней такъ сильна и неистребима, что она и тутъ положила на своего отца, хотя не трудно было замѣтить, что въ его глазахъ вопросъ о томъ, будутъ ли его внушата обладать капиталомъ въ тридцать тысячъ франковъ, былъ неизмѣримо важнѣе вопроса: гдѣ эти внушата будутъ жить и воспитываться: у Фердинанда или у Клары.

— Мы потребуемъ въ то же время, говоритъ старикъ Гранво своей дочери: — чтобы дѣти были оставлены у тебя до конца процесса.

— До конца процесса! повторила она съ испугомъ. — Конечно, и послѣ тоже; это уже само собою. И на этихъ словахъ, произнесенныхъ мимоходомъ, на словахъ старика, въ глазахъ котораго денежный вопросъ покрываетъ всѣ остальные, Клара основываетъ всѣ свои надежды. Ей даже въ голову не приходитъ переговорить лично съ опытнымъ юристомъ и спросить у него обстоятельно, какъ можетъ разыграться и чѣмъ можетъ окончиться то дѣло, которое затѣваетъ ее отецъ, воодушевленный мыслью о спасеніи тридцати тысячъ франковъ. Полагаясь на эти слова: «и послѣ тоже», Клара отправляется въ судъ вмѣстѣ съ отцомъ, а потомъ, разумѣется, приходитъ въ отчаяніе, и послѣ рѣшенія дѣла предлагаетъ своему бывшему мужу несбыточный планъ, которымъ могъ бы увлечься только какой-нибудь восторженный и страстно влюбленный въ нее юноша.

«Послушай—говоритъ она ему—любовники, чтобы жить вмѣстѣ, бѣгутъ изъ отечества. Чтобы сохранить нашихъ дѣтей и религію нашего очага, убѣжимъ мы тоже. Въ другой странѣ мы забудемъ все то, что мучило насъ здѣсь. Мы найдемъ тамъ счастье, клянусь тебѣ, если это только зависитъ отъ меня. Мы начнемъ тамъ новую жизнь».

Все это она говоритъ любовнику госпожи Фон-жалла, человѣку, который въ судѣ систематически, холодно и обдуманно клеветалъ на свою жену и подбиралъ противъ нея показанія купленныхъ домашнихъ шпіоновъ. Представьте себѣ, что охотникъ, отправившійся на медвѣдя, встрѣтившись съ нимъ лицомъ къ лицу, вдругъ бросаетъ ружье и рогатину, падаетъ на колѣни и произноситъ трогательную рѣчь о томъ, что онъ отецъ семейства, и что его ждутъ дома жена и дѣти, которые безъ него погибнутъ отъ горя и отъ лишеній. Если въ результатѣ этой трогательной рѣчи получится трагическая смерть оратора и плачевная гибель жены и дѣтей, то врядъ-ли кто нибудь увидитъ въ этой развязкѣ что нибудь неожиданное и удивительное. Далѣе, рѣчь охотника никому не покажется выражениемъ его благороднаго образа мыслей и его

непоколебимой вѣры въ силу добра, истинности красоты, а только послужитъ несомненнымъ доказательствомъ его безпредѣльной глупости. То же можно сказать и о Кларѣ. Ея предложеніе было смѣло и оригинально, но она не свидѣтельствуетъ въ пользу ея зрѣлости самостоятельности. Оно доказываетъ только, что она всегда и вездѣ умѣетъ лишь страстно плакать и умолять. Захотятъ ее похитить и ослѣпить—она будетъ жить и радоваться и смотрѣть добрыми и ласковыми глазами въ глаза великодушнаго человѣка, защитника и пригрѣвшаго ее убожество. Захотятъ ее раздавить—она поплачетъ и умретъ. Такъ и дѣй обыкновенно давятъ, потому что на стѣн гораздо больше приличныхъ медвѣдей, чѣмъ рыцарей бѣса, страха и упрека вродѣ Камиля.

Несмотря на всѣ усилія автора сдѣлать изъ этого Камиля живое и симпатичное лицо, онъ остается очень блѣдной и недорисованной фигурой безъ плоти и крови. Онъ просто *deuxieme*, и это все, что о немъ можно сказать. По профессіи—живописецъ, по идеалу—идеаль, сочувствуетъ высокому и прекрасному, ведетъ себя, какъ настоящій джентльменъ, любитъ и страдаетъ, способенъ носить и носить въ душѣ пламень безнадежной страсти, способенъ наслаждаться высокими радостями эстетической любви, нѣженъ и пылокъ, не нарушая законовъ нравственности и не требуя отъ любимой женщины ничего противнаго ея чести и мудрости—вотъ все, что мы знаемъ о Камилѣ: очень многія и при томъ самыя важныя стороны этого характера остаются неразъясненными. Онъ стоитъ выше окружающей среды; авторъ противопоставляетъ его Фердинанду, какъ настоящему продукту изображаемаго общества; но мы не видимъ, какая сила подняла и поддерживаетъ Камиля на той высотѣ, на которую ему угодно было его поставить; мы не видимъ ни того пути, которымъ Камиль пришелъ въ своему, болѣе вѣрному и глубокому взгляду на жизнь, ни того вліянія, которое этотъ взглядъ обнаруживаетъ на всю совокупность его поступковъ, ни даже самаго этого взгляда во всей его полнотѣ и ясности. Мы знаемъ, что Камиль любитъ женщину и относится къ ней деликатно; но кто такой этотъ Камиль, что онъ полюбилъ въ Кларѣ, и какъ возникло и развилось въ немъ чувство—этого мы все-таки не видимъ.

Рядомъ съ романомъ Клары, Фердинанда и Камиля идетъ романъ Кларинной сестры, Анны, и ея двоюроднаго брата, Этьенна Саржэ. Два послѣдніе характера очерчены замѣчательно хорошо. Анна—одна изъ тѣхъ женщинъ, которыми любовь овладѣваетъ безраздѣльно и навсегда. Анна можетъ полюбить человѣка только за то свойство, которое составляетъ са-

е основаніе его характера; убѣдившись въ томъ, что это основаніе хорошо, свѣжо и чисто, почувствовать къ нему глубокое и сильное влеченіе, привязавшись къ человѣку за то хорошее, свѣжее и чистое, что она въ немъ открыла. оцѣнила, Анна прощаетъ ему всё его сластолюбствѣ, оплошности, унижительныя неудачи и порочныя паденія. Она беретъ характеръ любимаго человѣка со всеми его пятнами и пробѣлами, видитъ и понимаетъ, что въ немъ дурно и слабо, и все-таки продолжаетъ любить его, несмотря на его недостатки, съ которыми она не мирится ни на одну минуту. Она употребляетъ всё усиліе и пускаетъ въ ходъ все свое вліяніе, чтобы поднять любимаго человѣка на ноги, направить его на вѣрную дорогу и поддерживать его въ трудныя минуты борьбы и испытаній, но она не отвертывается отъ него и тогда, когда онъ слабѣетъ и падаетъ, когда онъ становится жертвой собственной шаткости и непослѣдовательности, и когда онъ такимъ образомъ всего больше нуждается въ поддержкѣ, въ ободреніи и въ согрѣвающей ласкѣ. Анна часто чувствуетъ состраданіе къ любимому человѣку, но въ этомъ состраданіи нѣтъ ничего оскорбительнаго; оно нисколько не унижаетъ того, кто становится его предметомъ; въ немъ нѣтъ ни малѣйшей примѣси презрѣнія; сама того не сознавая, Анна относится къ умственнымъ и нравственнымъ погрѣшностямъ человѣка такъ какъ всё здравомыслящее люди относятся къ тѣлеснымъ болѣзнямъ. Она отъ всей души желаетъ больному человѣку выздоровленія, она всеми силами старается содѣйствовать этому выздоровленію, но негодовать на человѣка или отвертываться отъ него за то, что онъ боленъ, отвертываться тогда, когда онъ еще не превратился въ трупъ и не началъ разлагаться, она рѣшительно не въ состояніи.

Человѣкъ, любимый Анной, Этьеннъ Саржъ, родной братъ рѣшительной и самостоятельной Матильды, дѣйствительно нуждается въ большомъ снисхожденіи. Его можно сравнить съ очень хорошимъ, но совсѣмъ не настроеннымъ инструментомъ; можно его также сравнить съ долговазымъ юношей, который, входя въ гостиную, не знаетъ, какъ распорядиться своими длинными руками и ногами, все задѣваетъ, за все цѣпляется, все опрокидываетъ, конфузится, краснѣетъ, извиняется, стараясь поправиться, еще неудачнѣе разбрасываетъ руки и ноги, творить новыя бѣды, смущается еще сильнѣе и наконецъ становится мученіемъ расчетливой хозяйки и посмѣшищемъ собравшихся гостей.

Этьеннъ очень неглупъ, добръ и честенъ, но всякая его способность и всякая страсть можетъ вдругъ развернуться въ немъ съ неожиданной силой и вовлечь его въ цѣлый рядъ поступковъ, одинъ другого страннѣе и несообразнѣе. Онъ не можетъ сосредоточиться на

какой бы то ни было одной опредѣленной цѣли; отъ главной дороги, по которой онъ хочетъ и долженъ идти, на каждомъ шагѣ отдѣляются вправо и влево заманчивыя тропинки, и почти каждая изъ этихъ тропинокъ соблазняетъ его и заводитъ въ непроходимую глушь. То ему покажется, что тропинка вправо представляетъ значительныя выгоды, что по ней можно скорѣе и вѣрнѣе дойти до главной цѣли; то его вдругъ потянетъ на тропинку влево, потому что она сама по себѣ кажется ему очень привлекательной. Такъ напримѣръ, любя Анну и любимый ею, Этьеннъ, по добротѣ душевной, навязываетъ себѣ на шею восемнадцатилѣтнюю нищую безъ рода и племени; эта нищая въ него влюбляется; онъ опять-таки по добротѣ, по безалаберности, по неумѣнью устоять противъ обаянія молодости, красоты и искренняго чувства, становится любовникомъ этой нищей, не любя ея нисколько, и доводитъ Анну, которую онъ любитъ больше всего на свѣтѣ, до нервной горячки. Потомъ онъ вдругъ увлекается предложеніемъ одного бахвала, Монадье, которому онъ самъ знаетъ цѣну, бросаетъ свою должность, доставляющую ему опредѣленное жалованье, и начинаетъ заниматься изготовленіемъ новой ваксы, такъ удачно составленной, что сапоги и башмаки отъ нея краснѣютъ, вмѣсто того, чтобы чернѣть.

Путемъ всѣхъ этихъ разнообразныхъ предпріятій, путемъ дѣланія негодной ваксы и путемъ приживанія дѣтей съ нищей, неполучившей никакого образованія и неумѣющей трудиться, добродушный Этьеннъ приходитъ все къ одному и тому же результату, именно къ неумѣнно быстрому размноженію и приращенію своихъ долговъ. Достиженіемъ такого результата Этьеннъ конечно губить себя во мнѣніи общества, привыкшаго измѣрять достоинство человѣка успѣхомъ его денежныхъ спекуляцій; кромѣ того онъ ставитъ себя въ такія положенія, которыя дѣйствительно нельзя назвать ни удобными, ни почетными. Но Анна, несмотря на то, что она не можетъ противопоставить сужденіямъ окружающаго общества свою собственную, строго-выработанную и продуманную теорію, чувствуетъ однако, что можно запутаться, замотаться, разориться, задолжать, и все-таки остаться при этомъ человѣкомъ, вполне способнымъ ко всему хорошему и вполне достойнымъ любви и уваженія. Она прощаетъ все, даже и приживаніе дѣтей съ нищей бродягой, и Этьеннъ въ концѣ-концовъ оправдываетъ ея довѣріе. Онъ уходитъ изъ родного города, становится отличнымъ волонтеромъ въ арміи Гарибальди, отличается въ сраженіяхъ, потомъ возвращается домой, женится на Аннѣ, и при ея содѣйствіи дѣлается почти совершенно разсудительнымъ человѣкомъ.

Матильда Саржъ составляетъ рѣшительную

противоположность Этьенна. Въ ней умъ рѣшительно преобладаетъ надъ чувствомъ. Она можетъ пристращаться только къ идеямъ. Человѣка она способна любить только тогда, когда онъ является чистымъ и сильнымъ представителемъ любимой ея идеи. Слабостей она не терпитъ ни въ самой себѣ, ни въ другихъ. Она воплощенная логика. Къ каждому вопросу въ жизни она подходитъ, какъ къ математической задачѣ; все она анализируетъ, взвѣшиваетъ, измѣряетъ, и результатомъ изслѣдованія оказывается обыкновенно смѣлое и рѣзкое рѣшеніе, которое она проводитъ въ жизнь, не смущаясь никакими препятствіями. Ей иногда случается разрубать узлы, вмѣсто того, чтобы ихъ развязывать, но ея угловатости и рѣзкости достаточно объясняются силой и упорствомъ тѣхъ предразсудковъ, съ которыми ей на каждомъ шагѣ приходится сталкиваться лицомъ къ лицу, чтобы отстаивать отъ ихъ напора самобытность своей умственной жизни. Вообще-же Матильда умнѣе, сильнѣе и образованнѣе всѣхъ женщинъ, появляющихся въ романѣ «Разводъ». Любопытно замѣтить, что для нея авторъ не находитъ достойнаго спутника жизни въ томъ обществѣ, которое ее окружаетъ. Авторъ, относясь впрочемъ не совсемъ доброжелательно къ ея рѣзкимъ выходкамъ, выписываетъ ей жениха издалика, изъ Россіи.

Въ Швейцарію пріѣзжаетъ воспитанникъ ея отца, графъ Дмитрій Черковъ, рѣшившійся посвятить всю свою жизнь прочному и радикальному освобожденію многихъ тысячъ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ. Этотъ юный русскій графъ и радикаль остается лицомъ еще гораздо болѣе туманнымъ, чѣмъ интересный *jeune premier* Камиль. О немъ мы только и узнаемъ, что онъ въ Швейцаріи, въ концѣ весны, носитъ какіе-то мягкіе сапоги (*bottes molles*), должно быть валенки, и мѣховую шапку (*toque bordée de fourrures*), что онъ все больше молчитъ и внимательно слушаетъ, и что онъ собирается дѣлать въ Россіи какія-то очень хорошія и очень опасныя дѣла, о которыхъ Андре Лео имѣетъ очевидно самыя смутныя и даже совершенно фантастическія понятія. Этотъ графъ Черковъ замѣчателенъ только какъ признаніе существующей потребности, которую покамѣстъ нечѣмъ удовлетворить. Андре Лео чувствуетъ, что для разрушенія съузвившихся и одряхлѣвшихъ формъ мѣщанской жизни требуется появленіе новаго типа общественнаго дѣятеля, а между тѣмъ вылѣпить этого дѣятеля изъ матеріала, имѣющагося подъ руками, не представляется ни малѣйшей возможности. Вотъ и выписывается загадочный и фантастическій дѣятель въ мѣховой шапкѣ изъ далекой и малоизвѣстной страны. Пріемъ точь-въ-точь такой-же, какой употребляли древніе поэты, когда они, мечтая о золотомъ вѣкѣ, воображали себѣ, что этотъ

вѣкъ существуетъ въ странѣ гавевъ на крайнемъ сѣверѣ, или у блаженныхъ повъ, въ неизвѣданныхъ частяхъ тропиковъ Африки.

IX.

Объ остальныхъ романахъ Лео я скажу по нѣскольکو словъ. Они гораздо менѣе чательны, чѣмъ «Возмутительный бракъ» и «Разводъ». Въ нихъ нѣтъ новыхъ и выдающихся характеровъ, но отрицательное отношеніе къ мѣщанской средѣ строго выдѣлено во всѣхъ произведеніяхъ этого писателя. Героевъ опутываетъ грязная сеть плутовскихъ и ядовитыхъ сплетенъ; вездѣ ихъ тяготитъ атмосфера праздної, жадной, тщеславной и бдительной мѣщанской чужденности. Въ «Старой Дѣвѣ» эта душная атмосфера внушаетъ умной молодой дѣвушкѣ, имѣющей состояніе и слѣдовательно не разсчитывать на жениховъ, странную надѣть раньше времени старушечье и старушечій чепецъ, чтобы добрые знакомые почислили ея жизнь законченною навсегда избавили ее отъ толковъ и соблазновъ. Въ «Жакѣ Галеронѣ» сплетни и интриги мѣщанъ и мѣщанокъ отнимаютъ мѣсто наго учителя и насущный кусокъ хлѣба наго и трудолюбиваго молодого человека. Романъ «Идеалъ въ деревнѣ», въ которомъ выдѣлены главные характеры нѣсколькихъ чательныхъ, мы видимъ въ нѣсколькихъ степенныхъ эпизодахъ, какъ люди изъ по мѣрѣ силъ копируютъ мѣщанство. Мы видимъ, вслѣдъ за нимъ, какъ тѣмъ-же мѣщанамъ и суетнымъ дѣламъ. Деревенская красавица Роза Дешанъ, мечтаетъ только о томъ, чтобы сдѣлаться барыней, и старается продать въ законныя супруги богатому человеку, котораго она не любитъ и который внушаетъ ей почти отвращеніе; и она старается об этомъ думать въ то самое время, когда ей нравится.

Горшечникъ Патрисъ, обнаруживающій свои таланты къ живописи, начинаетъ брать уроки у заѣзжаго парижскаго художника, который ображаетъ себя геніальнымъ человекомъ, праву генія, отказывается жениться на красоткѣ Маріеттѣ, объясняя ей при этомъ, что онъ — это пламя! демонъ! такая штука, которая наконецъ становится гордымъ, великимъ, зираешь другихъ», и что наконецъ можно будетъ генію, великому человеку въ Парижѣ подѣлить руку съ женой-мужемъ.

Кухарка мадамъ Арсенъ, племянница князя Лихтенштейнскаго, поступаетъ къ людямъ, которыхъ она считала глупыми, поступаетъ преимущественно изъ славія, чтобы блескъ ихъ величія над

чтобы все въ деревнѣ знали, что она то богатѣе и знатнѣе людямъ; чтобы оживить ихъ блескъ, она ихъ разоряетъ и день на лишніе кушанья, которыхъ ей не заказываетъ, и потомъ, когда хорѣшительно приказываетъ ей ограничить, она отходитъ съ негодованіемъ, какъ ей нанесено личное оскорбленіе. Ее смѣлѣе простодушнѣйшая мужичка, Дусета, хотя до того времени за овцами и неумѣла за что взяты. И эта Дусета, при всей неумѣлости, поддается влиянію цивилизаціи и просиживаетъ нѣсколько ночей напролѣтъ, чтобы соорудить себѣ безобразнѣйшій цинъ. Эти эпизоды, прямо выхваченные изъ жизни и насквозь проникнутые жизненной силой, показываютъ достаточно ясно, какъ по мѣщанство проводить въ народъ свои идеи и стремленія, и какъ оно своимъ тѣмнымъ влияніемъ оттягиваетъ наступленіе лучшаго будущаго, которое начнется когда народъ возвысится до самосознанія и самоуваженія.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Здѣсь я долженъ еще сказать нѣсколько о романѣ Андре Лео, котораго я не могъ въ то время, когда писалъ свою статью. Этотъ романъ «Дѣвѣ дочери г. Плишона» очень замѣчателенъ по своей идее и читается съ большимъ интересомъ, несмотря даже на то, что для него выбрана самая неудачная и одаренная — форма переписки между двумя людьми.

Этотъ романъ проводится параллель между мужскими и женскими характерами, изъ которыхъ составляетъ радость и гордость, а дружба и огорченіе почтенной мѣщанской Герой романа — молодой человекъ, способный мыслить и чувствовать, любить людей, любить природу, учиться и развиваться — и молодой женщины, свѣжей и сильной, неопытной и неистощенной, хотя и потратившей нѣсколько лѣтъ жизни на пустыя забавы, которая сначала въ младшую дочь Плишона, а потомъ, въ ту, которой гордятся родители, но которая разочаровывается и затѣмъ медленно, судя по упираясь и дивясь на самого себя, выдвигается всѣми силами своего существа въ аршей сестрѣ Эдитѣ, которую родители наказываютъ своимъ наказаніемъ и позоромъ. Эдита сначала раздѣляетъ относительно Эдины предубѣжденія, которыми проникнуты и ее сестра, ее тетка и даже, хотя и въ меньшей степени, ее мать. Эти предубѣжденія вытекаютъ изъ того обстоятельства,

что Эдита нигдѣ, никогда, ни при какихъ условіяхъ и ни за что въ мірѣ не хочетъ быть съ волками, если она сама убѣждена, что волчье вытье несвойственно человѣческой природѣ и унижаетъ человѣческое достоинство. Герой романа Вильямъ де-Монсальванъ самъ вовсе не чувствуетъ влеченія къ волчьему вытью и къ подчиненію своей личной воли и мысли стаднымъ инстинктамъ и привычкамъ большинства. Онъ смотритъ сначала на Эдиту съ суровымъ недоумѣніемъ собственно потому, что видитъ въ ней странное изолированное положеніе въ семействѣ, въ которомъ все любятъ другъ друга и смыкаются въ одну граціозно-нѣжную группу.

Онъ думаетъ, что если она стоитъ одиноко, если она со всеми своими ближайшими родственниками обращается сухо и холодно, и если эти родственники въ свою очередь съ трудомъ переносятъ ея присутствіе, то въ этомъ безъ сомнѣнія виновата она, а не родственники, простые и добрые люди, которые отъ души рады были-бы ее любить, лишь-бы она сама не разливала вокругъ себя леденящаго холода.

Эти предубѣжденія Монсальвана уничтожаются одно за другимъ. Поживши въ почтенной мѣщанской семьѣ, посмотрѣвъ поближе на простыхъ и добрыхъ людей, Монсальванъ начинаетъ цѣнить ихъ по достоинству. Онъ убѣждается въ томъ, что его возлюбленная невѣста, граціозная красавица Вланшъ Плишонъ — пустая, тупая, тщеславная дѣвушка, способная только украшать собой роскошную гостиную, кружиться въ бальной залѣ и развращать того мужчину, которому она будетъ принадлежать и который цѣной уступокъ, компромиссовъ и промаховъ долженъ будетъ доставлять этому живому алмазу его драгоценную оправу. Онъ убѣждается въ томъ, что его почтенный будущій тесть — пустой, тупой, тщеславный человекъ, никогда не имѣвшій никакихъ убѣжденій, никогда не имѣвшій понятія о томъ, что такое убѣжденіе, никогда не имѣвшій, никого не любившій и всегда видѣвшій весь смыслъ жизни въ округленіи состоянія и въ приобрѣтеніи мѣщанской респектабельности. Онъ убѣждается въ томъ, что его будущая тетюшка — дряблая, сентиментальная старая дѣва, постоянно пробавающаяся наивно-поддѣльными и приторно-мелкими чувствами, въ которыхъ нѣтъ ничего ни свѣжаго, ни сильнаго, ни искренняго. Онъ убѣждается въ томъ, что его будущая теща — хорошая женщина, привыкшая убирать все, что въ ней есть хорошаго, въ самые дальніе закоулки своей души, какъ старый и негодный хламъ, который неприлично показывать въ обществѣ и за который могутъ и должны осмѣять и осудить ее даже самые близкіе люди. Онъ убѣждается въ томъ, что эта милая женщина, всегда расположенная любить и прощать, и сама незнающая того, что она имѣетъ право про-

щать окружающих людей, что она одна любить и смутно понимает гордую, чистую и глубоко страдающую душу Эдиты.

Изучив и осудив всю дрянь и мелочь почтенной мѣщанской семьи, понявъ и оцѣнив умъ и характеръ, силу и нѣжность Эдиты, Монсальванъ отдается ей безраздѣльно и безвозвратно, наполняетъ ее и свою жизнь полезнымъ трудомъ и становится вмѣстѣ съ ней вполне хорошимъ и вполне счастливымъ человекомъ.

Анатомія мѣщанской семьи, раскрытіе ея бездушности и подавляющей пошлости, наглядное

и неотразимое доказываніе той истинной силы и характера, наводять на мысль, что возбуждаютъ ненависть въ нѣдрахъ мѣщанской и чувствительной мѣщанской именно потому, что они сильны и хороши. Вотъ сюжетъ романа Лео.

Развитіе этого сюжета превосходно, и простирается о подробностяхъ вышесказаннаго не буду, во-первыхъ потому, что статья безъ того очень велика, а во-вторыхъ, что редакція предполагаетъ помѣстить въ «Двухъ дочерей» въ «Отечественныхъ Запискахъ».

СТАРОЕ БАРСТВО.

(«Война и миръ». Сочиненіе графа Л. Н. Толстого. Томы I, II и III. Москва 1868 г.).

I.

Новый, еще неоконченный романъ графа Л. Толстого можно назвать образцовымъ произведеніемъ по части патологіи русскаго общества. Въ этомъ романѣ цѣлый рядъ яркихъ и разнообразныхъ картинъ, написанныхъ съ самымъ величественнымъ и невозмутимымъ эпическимъ спокойствіемъ, ставятъ и рѣшаютъ вопросъ о томъ, что дѣлается съ человѣческими умами и характерами при такихъ условіяхъ, которыя даютъ людямъ возможность обходиться безъ знаній, безъ мыслей, безъ энергій и безъ труда.

Очень можетъ быть, и даже очень вѣроятно, что графъ Толстой не имѣетъ въ виду постановки и рѣшенія такого вопроса. Очень вѣроятно, что онъ просто хочетъ нарисовать рядъ картинъ изъ жизни русскаго барства во времена Александра I. Онъ видитъ самъ и старается показать другимъ, отчетливо, до мельчайшихъ подробностей и оттѣнковъ, всѣ особенности, характеризующія тогдѣшнее время и тогдѣшнихъ людей, людей того круга, который всего болѣе ему интересенъ или доступенъ его изученію. Онъ старается только быть правдивымъ и точнымъ; его усилія не клонятся къ тому, чтобы поддержать или опровергнуть создаваемыми образами какую бы то ни было теоретическую идею; онъ по всей вѣроятности относится къ предмету своихъ продолжительныхъ и тщательныхъ изслѣдованій съ тою невольной и естественной нѣжностью, которую обыкновенно чувствуетъ даровитый историкъ къ далекому или близкому прошедшему, воскресающему подъ его руками;

онъ быть можетъ находить даже въ событіяхъ этого прошедшаго, въ фигурахъ и чертахъ выведенныхъ личностей, въ привычкахъ изображеннаго общества, черты, достойныя любви и уваженія. Все можетъ быть, все это даже очень вѣроятно. Но оттого, что авторъ потратилъ много труда и любви на изученіе и изображеніе и ея представителей, именно поэтому онъ и образы живутъ своей собственной независимой отъ намѣренія автора, всѣ сами въ непосредственныхъ отношеніяхъ съ читателями, говорятъ сами за себя и не ведутъ читателя къ такимъ мыслямъ и сужденіямъ, которыхъ авторъ не имѣлъ въ виду и которыхъ онъ, быть можетъ, даже и не брилъ бы.

Эта правда, быющая живымъ ключомъ самихъ фактовъ, эта правда, прорывающаяся помимо личныхъ симпатій и убѣжденій автора, особенно драгоценна по своей неотторгаемой убѣдительности. Эту-то правду, это широкое нелзя утаить въ мѣшкѣ, мы теперь извлечемъ изъ романа графа Толстого.

Романъ «Война и миръ» представляетъ цѣлый букетъ разнообразныхъ и превосходныхъ характеровъ, мужскихъ, старыхъ и молодыхъ. Особенно интересенъ выборъ молодыхъ мужскихъ характеровъ; начнемъ именно съ нихъ, и начнемъ съ того-то, съ тѣхъ фигуръ, на счетъ которыхъ разногласіе почти невозможно, и которыя удовлетворительность будетъ, по всей вѣроятности, признана всѣми читателями.

Первымъ портретомъ въ нашей кар-

галлерей будетъ князь Борисъ Друбецкой, молодой человѣкъ знатнаго происхожденія, съ именемъ и съ связями, но безъ состоянія, прокладывающій себѣ дорогу къ богатству и къ почестямъ своимъ умѣніемъ ладить съ людьми и пользоваться обстоятельствами. Первое изъ тѣхъ обстоятельствъ, которыми онъ пользуется съ замѣчательнымъ искусствомъ и успѣхомъ—это его родная мать, княгиня Анна Михайловна. Всякому извѣстно, что мать, просящая за сына, оказывается всегда и вездѣ самымъ усерднымъ, расторопнымъ, настойчивымъ, неутомимымъ и неустрашимымъ изъ адвокатовъ. Въ ея глазахъ цѣль оправдываетъ и освящаетъ всѣ средства, безъ малѣйшаго исключенія. Она готова просить, плакать, заискивать, подслуживаться, пресмыкаться, надѣдаться, глотать всевозможныя оскорбленія, лишь бы только ей хоть съ досады, изъ желанія отвязаться отъ нея и прекратить ея докучливыя вопли, бросили наконецъ для сына назойливо требуемую подачку. Борису всѣ эти достоинства матери хорошо извѣстны. Онъ знаетъ также и то, что всѣ униженія, которымъ добровольно подвергаетъ себя любящая мать, нисколько не роютъ сына, если только этотъ сынъ, пользуясь ея услугами, держать себя при этомъ съ достаточной, приличной самостоятельностью.

Борисъ выбираетъ себѣ роль почиттельнаго и послушнаго сына, какъ самую выгодную и удобную для себя роль. Выгодна и удобна она во-первыхъ потому, что налагаетъ на него обязанность не мѣшать тѣмъ подвигамъ низкопоклонства, которыми мать кладетъ основаніе его блистательной карьерѣ. Во-вторыхъ, она выгодна и удобна тѣмъ, что выставляетъ его въ самомъ лучшемъ свѣтѣ въ глазахъ тѣхъ сильныхъ людей, отъ которыхъ зависитъ его преуспѣваніе. Какой примѣрный молодой человѣкъ! должны думать и говорить о немъ всѣ окружающіе. Сколько въ немъ благородной гордости, и какія великодушныя усилія употребляетъ онъ для того, чтобы изъ любви къ матери подавить въ себѣ слишкомъ порывистыя движенія юной неразсчитливой строптивости, такіа движенія, которыя могли бы огорчить бѣдную старушку, сосредоточившую на карьерѣ сына всѣ свои помыслы и желанія. И какъ тщательно, какъ успѣшно онъ скрываетъ свои великодушныя усилія подъ личиною наружнаго спокойствія! Какъ онъ понимаетъ, что эти усилія самымъ фактомъ своего существованія могли бы служить тяжелымъ укоромъ его бѣдной матери, совершенно ослѣпленной своими честолюбивыми материнскими мечтами и планами. Какой умъ, какой тактъ, какая сила характера, какое золотое сердце и какая утонченная деликатность!

Когда Анна Михайловна обиваетъ пороги милостивцевъ и благодѣтелей, Борисъ держитъ себя пассивно и спокойно, какъ человѣкъ, рѣ-

шившійся разъ навсегда почитительно и съ достоинствомъ покоряться своей тяжелой и горькой участи, и покоряться такъ, чтобы всякій это видѣлъ, но чтобы никто не осмѣливался сказать ему съ теплымъ сочувствіемъ: «молодой человѣкъ, по вашимъ глазамъ, по вашему лицу, по всей вашей удрученной наружности я вижу ясно, что вы терпѣливо и мужественно несете тяжелый крестъ». Онъ ѣдетъ съ матерью къ умирающему богачу Безухову, на котораго Анна Михайловна возлагаетъ какія-то надежды, преимущественно потому, что «онъ такъ богатъ, а мы такъ бѣдны!» Онъ ѣдетъ, но даже самой матери своей даетъ почувствовать, что дѣлаетъ это исключительно для нея, что самъ не предвидитъ отъ этой поѣздки ничего, кромѣ униженія, и что есть такой предѣлъ, за которымъ ему можетъ измѣнить его покорность и его искусственное спокойствіе. Мистификація ведена такъ искусно, что сама Анна Михайловна боится своего почиттельнаго сына, какъ вулкана, отъ котораго ежеминутно можно ожидать разрушительнаго изверженія; само собою разумѣется, что этой боязнью усиливается ея уваженіе къ сыну; она на каждомъ шагѣ оглядывается на него, проситъ его быть ласковымъ и внимательнымъ, напоминаетъ ему его обѣщанія, прикасается къ его рукѣ, чтобы, смотря по обстоятельствамъ, то успокоивать, то возбуждать его. Тревожась и суетясь такимъ образомъ, Анна Михайловна пребываетъ въ той твердой увѣренности, что безъ этихъ искусныхъ усилій и стараній съ ея стороны все пойдетъ прахомъ, и непреклонный Борисъ, если не прогнѣваетъ навсегда сильныхъ людей выходкой благороднаго негодованія, то по крайней мѣрѣ навѣрное заморозитъ ледяной холодною обращенія всѣ сердца покровителей и благодѣтелей.

Если Борисъ такъ удачно мистифируетъ родную мать, женщину опытную и неглупую, у которой онъ выросъ на глазахъ, то разумѣется онъ еще легче и такъ-же успѣшно морочитъ постороннихъ людей, съ которыми ему приходится имѣть дѣло. Онъ кланяется благодѣтелямъ и покровителямъ учтиво, но такъ спокойно и съ такимъ скромнымъ достоинствомъ, что сильныя лица сразу чувствуютъ необходимость посмотреть на него повнимательнѣе и выдѣлать его изъ толпы нуждающихся кліентовъ, за которыхъ просятъ докучливыя маменьки и тетушки. Онъ отвѣчаетъ имъ на ихъ небрежныя вопросы точно и ясно, спокойно и почтительно, не вызывая ни досады на ихъ рѣзкій тонъ, ни желанія вступить съ ними въ дальнѣйшій разговоръ. Глядя на Бориса и выслушивая его спокойныя отвѣты, покровители и благодѣтели немедленно проникаются тѣмъ убѣжденіемъ, что Борисъ, оставаясь въ границахъ строгой вѣжливости и безукоризненной почиттельности, ни-

кому не позволить помыкать собой и всегда съумѣть постоять за свою дворянскую честь. Являясь просителемъ и искателемъ, Борисъ умѣетъ свалить всю черную работу этого дѣла на мать, которая, разумѣется, съ величайшей готовностью подставляетъ свои старыя плечи и даже упрасиваетъ сына, чтобы онъ позволилъ ей устраивать его повышение. Предоставляя матери пресмыкаться передъ сильными лицами, Борисъ самъ умѣетъ оставаться чистымъ и изящнымъ, скромнымъ, но независимымъ джентльменомъ. Чистота, изящество, скромность, независимость и джентльменство, разумѣется, даютъ ему такія выгоды, которыхъ не могли бы ему доставить жалобное попрошайничество и низкое угодничество. Ту подачку, которую можно бросить робкому замарашкѣ, едва осмѣливающемуся сидѣть на кончикѣ стула и стремящемуся поцѣловать благодѣтеля въ плечико, до крайности неудобно, конфузно и даже опасно предложить изящному юношѣ, въ которомъ приличная скромность уживается самымъ гармоническимъ образомъ съ неистребимымъ и вѣчно-бдительнымъ чувствомъ собственного достоинства. Такой постъ, на который совершенно невозможно было бы поставить просто и откровенно пресмыкающагося просителя, въ высшей степени приличенъ для скромно-самостоятельного молодого человѣка, умѣющаго во-время поклониться, во-время улыбнуться, во-время сдѣлать серьезное и даже строгое лицо, во-время уступить или переубѣдиться, во-время обнаружить благородную стойкость, ни на минуту не утрачивая спокойнаго самообладанія и прилично почтительной развязности обращенія.

Патроны обыкновенно любятъ льстецовъ; имъ пріятно видѣть въ благоговѣніи окружающихъ людей невольную дань восторга, приносимую гениальности ихъ ума и несравненному превосходству ихъ нравственныхъ качествъ. Но чтобы лесть производила пріятное впечатлѣніе, она должна быть достаточно тонка, и чѣмъ умнѣе тотъ человѣкъ, которому льстятъ, тѣмъ тоньше должна быть лесть, и чѣмъ она тоньше, тѣмъ пріятнѣе она дѣйствуетъ. Когда же лесть оказывается на столько грубой, что тотъ человѣкъ, къ которому она обращается, можетъ распознать ея неискренность, то она способна произвести на него совершенно обратное дѣйствіе и серьезно повредить неискреннему льстецу. Возьмемъ двоихъ льстецовъ: одинъ мѣлетъ передъ своимъ патрономъ, во всемъ съ нимъ соглашается и ясно показываетъ всеми своими дѣйствіями и словами, что у него нѣтъ ни собственной воли, ни собственного убѣжденія, что онъ, похваливши сейчасъ одно сужденіе патрона, готовъ черезъ минуту превознести другое сужденіе, діаметрально противоположное, лишь бы только оно было выска-

зано тѣмъ же патрономъ; другой, напротивъ того, умѣетъ показать, что ему, для угожденія патрону, нѣтъ ни малѣйшей надобности отзываться отъ своей умственной и нравственной самостоятельности, что всѣ сужденія и приговорыя себѣ его умъ силой своей собственной неотразимой внутренней убѣжденности, что онъ повинуется патрону во всякую минуту не съ чувствомъ рабскаго страха грѣской корыстолюбивой угодливости, а съ живымъ и глубокимъ наслажденіемъ свободнаго членства имѣвшаго счастье найти себѣ мудраго и щедродушнаго руководителя. Понятное дѣло, изъ этихъ двоихъ льстецовъ второй выйдетъ гораздо дальше перваго. Перваго будутъ презирать и презирать; перваго будутъ радить и шути; перваго не пустятъ дальше той мизантропической роли, которую онъ на себя принялъ и близорукомъ ожиданіи будущихъ благъ; а вторымъ, напротивъ того, будутъ советовать, его могутъ полюбить; къ нему могутъ даже почувствовать уваженіе; его могутъ прозывать въ друзья и наперсники. Великосвѣтскій Молчалинъ, князь Борисъ Друбецкой идетъ по этому второму пути и разумѣется, высоко ценитъ свою красивую голову и не мараетъ кончикъ мѣтей какой бы то ни было работой, легко и быстро доберется этимъ путемъ до такихъ вѣстныхъ степеней, до которыхъ никогда не доползетъ простой Молчалинъ, простодушно и трепещущій передъ начальникомъ и смиренно наживающій себѣ раннюю скуповатость за канцелярскими бумагами. Борисъ дѣйствуетъ въ жизни такъ, какъ ловкій и расторопный гимнастъ лѣзетъ на дерево. Отновясь ногой на одну вѣтку, онъ уже откидываетъ глазами другую, за которую онъ въ слѣдующее мгновеніе могъ бы ухватиться руками; его глаза и всѣ его помыслы направлены къверху; когда рука его нашла себѣ надежную точку опоры, онъ уже совершенно забываетъ о той вѣткѣ, на которой онъ только-что сейчасъ стоялъ всей тяжестью своего тѣла и отъ которой его нога уже начинаетъ отдѣляться. На всѣхъ своихъ знакомыхъ и на всѣхъ тѣхъ людей, съ которыми онъ можетъ познакомиться, Борисъ смотритъ именно какъ на вѣтки, расположенныя одна надъ другою, въ болѣе или менѣе отдаленномъ разстояніи отъ вершины огромнаго дерева, отъ той вершины, гдѣ искуснаго гимнаста ожидаетъ желанное успокоеніе среди роскоши, почестей и атрибутовъ власти.

Борисъ сразу, проникательнымъ взглядомъ даровитаго полководца или хорошаго шахматнаго игрока, схватываетъ взаимныя отношенія своихъ знакомыхъ, и тѣ пути, которые могутъ повести его отъ одного уже сдѣланнаго знакомства къ другому, еще манящему его къ себѣ, и отъ этого другого къ третьему, еще залутанному въ золотистый туманъ величественной ле-

доступности. Счумѣвши показаться добродушному Пьеру Безухову *милым, умным и твердым молодым человеком*, счумѣвши даже смутить и растрогать его своим умом и твердостью въ тотъ самый разъ, когда онъ вмѣстѣ съ матерью прїѣзжалъ къ старому графу Безухову просить на бѣдность и на гвардейскую обмундировку, Борисъ добываетъ себѣ отъ этого Пьера рекомендательное письмо къ адъютанту Кутузова, князю Андрею Волконскому, а черезъ Волконскаго знакомится съ генералъ-адъютантомъ Долгоруковымъ и попадаетъ самъ въ адъютанты къ какому-то важному лицу.

Поставивъ себя въ прїятельскія отношенія съ княземъ Волконскимъ, Борисъ тотчасъ осторожно отдѣляетъ ногу отъ той вѣтки, на которой онъ держался. Онъ немедленно начинаетъ исподволь ослаблять свою дружескую связь съ товарищемъ своего дѣтства, молодымъ графомъ Ростовымъ, у котораго онъ жила въ домѣ по цѣлымъ годамъ, и мать котораго только-что подарила ему, Борису, на обмундировку пятьсотъ рублей, принятыхъ княгиней Анной Михайловной со слезами умиленія и радостной благодарности. Послѣ полугодовой разлуки, послѣ походовъ и сраженій, выдержанныхъ молодымъ Ростовымъ, Борисъ встрѣчается съ нимъ, съ другомъ дѣтства, и въ это же первое свиданіе Ростовъ замѣчаетъ, что Борису, къ которому въ это же время приходитъ Волконскій, какъ будто совѣстно вести дружескій разговоръ съ армейскимъ гусаромъ. Изящнаго гвардейскаго офицера Бориса коробитъ армейскій мундиръ и армейскія замашки молодого Ростова, а главное его смущаетъ та мысль, что Волконскій составилъ себѣ о немъ невыгодное мнѣніе, видя его дружескую короткость съ человекомъ дурного тона. Въ отношеніяхъ Бориса къ Ростову тотчасъ обнаруживается легкая натянутость, которая особенно удобна для Бориса именно тѣмъ, что къ ней невозможно придаться, что ее невозможно устранить откровенными объясненіями и что ее также очень трудно не замѣтить и не почувствовать. Благодаря этой тонкой натянутости, благодаря этому едва уловимому диссонансу, чуть-чуть царапающему нервы, человекъ дурного тона будетъ потихоньку удаленъ, не имѣя никакого повода жаловаться, обижаться и вламываться въ амбицію, а человекъ хорошаго тона увидитъ и замѣтитъ, что къ изящному гвардейскому офицеру, князю Борису Друбецкому, лѣзутъ въ друзья неделикатные молодые люди, которыхъ онъ кротко и граціозно умѣетъ отодвигать назадъ, на ихъ настоящее мѣсто.

Въ походѣ, на войнѣ, въ свѣтскихъ салонахъ—ездѣ Борисъ преслѣдуетъ одну и ту же цѣль, ездѣ онъ думаетъ исключительно или по крайней мѣрѣ прежде всего объ ин-

тересахъ своей карьеры. Пользуясь съ замѣчательной понятливостью всѣми мельчайшими указаніями опыта, Борисъ скоро превращаетъ въ сознательную и систематическую тактику то, что прежде было для него дѣломъ инстинкта и счастливаго вдохновенія. Онъ составляетъ безошибочно вѣрную теорію карьеры и дѣйствуетъ по этой теоріи съ самымъ неуклоннымъ постоянствомъ. Познакомившись съ княземъ Волконскимъ и приблизившись черезъ него къ высшимъ сферамъ военной администраціи, Борисъ «ясно понималъ то, что онъ предвидѣлъ прежде, именно то, что въ арміи, кромѣ той субординаціи и дисциплины, которая была написана въ уставѣ и которую знали въ полку и онъ зналъ, была другая, болѣе существенная субординація, та, которая заставляла этого затянутаго съ багровымъ лицомъ генерала почтительно дожидаться въ то время, какъ капитанъ князь Андрей для своего удовольствія находилъ болѣе удобнымъ разговаривать съ прапорщикомъ Друбецкимъ. Больше чѣмъ когда нибудь Борисъ рѣшился служить впредь не по той писанной въ уставѣ, а по этой неписанной субординаціи. Онъ теперь чувствовалъ, что только вслѣдствіе того, что онъ былъ рекомендованъ князю Андрею, онъ уже сталъ сразу выше генерала, который въ другихъ случаяхъ, во фронтѣ, могъ уничтожить его, гвардейскаго прапорщика».

Основываясь на самыхъ ясныхъ и недвусмысленныхъ указаніяхъ опыта, Борисъ рѣшаетъ разъ навсегда, что служить лицамъ несравненно выгоднѣе, чѣмъ служить дѣлу, и, какъ человекъ, нисколько несвязанный въ своихъ дѣйствіяхъ нерасчетливой любовью къ какой бы то ни было идеѣ или къ какому бы то ни было дѣлу, онъ кладетъ себѣ за правило всегда служить только лицамъ и возлагать всегда все свое упованіе никакъ не на свои какія-нибудь собственные дѣйствительныя достоинства, а только на свои хорошія отношенія къ вліятельнымъ лицамъ, умѣющимъ награждать и выводить въ люди своихъ вѣрныхъ и покорныхъ слугъ.

Въ случайно завязавшемся разговорѣ о службѣ Ростовъ говоритъ Борису, что ни къ кому не пойдетъ въ адъютанты, потому что это «лакейская должность». Борисъ, разумѣется, оказывается на столько свободнымъ отъ предразсудковъ, что его не смущаетъ рѣзкое и неприятное слово «лакей». Во-первыхъ, онъ понимаетъ, что *comparaison n'est pas raison*, и что между адъютантомъ и лакеемъ огромная разница, потому что перваго съ удовольствіемъ принимаютъ въ самыхъ блестящихъ гостиницахъ, а втораго заставляютъ стоять въ передней и держать господскія шубы. Во-вторыхъ, понимаетъ онъ и то, что многимъ лакеямъ живется гораздо прїятнѣе, чѣмъ инымъ господамъ, имѣющимъ полное право считать себя доблестными

слугами отечества. Въ-третьихъ, онъ всегда готовъ самъ надѣть какую угодно ливрею, если только она быстро и вѣрно поведетъ его къ цѣли. Это онъ и высказываетъ Ростову, говоря ему, въ отвѣтъ на его выходку объ адъютантствѣ, что «желалъ бы и очень попасть въ адъютанты, затѣмъ что уже разъ пойдя по карьерѣ военной службы, надо стараться сдѣлать, коль возможно, блестящую карьеру». Эта откровенность Бориса очень замѣчательна. Она доказываетъ ясно, что большинство того общества, въ которомъ онъ живетъ и мнѣніемъ котораго онъ дорожитъ, совершенно одобряетъ его взгляды на прокладываніе дороги, на служеніе лицамъ, на неписанную субординацію и на несомнѣнные удобства ливреи, какъ средства, ведущаго къ цѣли. Борисъ называетъ Ростова мечтателемъ за его выходку противъ служенія лицамъ, и общество, къ которому принадлежитъ Ростовъ, безъ всякаго сомнѣнія не только подтвердило бы, но еще и усилило бы этотъ приговоръ въ очень значительной степени, такъ что Ростовъ, за свою попытку отрицать систему протекціи и неписанную субординацію, оказался бы не мечтателемъ, а просто глупымъ и грубымъ армейскимъ буяномъ, неспособнымъ понимать и оцѣнивать самыя законныя и похвальные стремленія благовоспитанныхъ и добропорядочныхъ юношей.

Борисъ, разумеется, продолжаетъ преуспѣвать подъ сѣвью своей непогрѣшимой теоріи, вполне соответствующей механизму и духу того общества, среди котораго онъ ищетъ себѣ богатства и почета. «Онъ вполне усвоилъ себѣ ту понравившуюся ему въ Ольмюцѣ неписанную субординацію, по которой прапорщикъ могъ стоять безъ сравненія выше генерала и по которой, для успѣха на службѣ, были нужны не усилія на службѣ, не труды, не храбрости, не постоянство, а нужно было только умѣнье обращаться съ тѣми, которые вознаграждаютъ за службу—и онъ часто удивлялся самъ своимъ быстрымъ успѣхамъ и тому, какъ другіе могли не понимать этого. Вслѣдствіе этого открытія его, весь образъ жизни его, всѣ отношенія съ прежними знакомыми, всѣ его планы на будущее—совершенно измѣнились. Онъ былъ не богатъ, но послѣднія свои деньги онъ употреблялъ на то, чтобы быть одѣтымъ лучше другихъ; онъ скорѣе лишилъ бы себя многихъ удовольствій, чѣмъ позволилъ бы себѣ ѣхать въ дурномъ экипажѣ или показаться въ старомъ мундирѣ на улицахъ Петербурга. Сближался онъ и искалъ знакомствъ только съ людьми, которые были выше его и потому могли быть ему полезны».

Съ особеннымъ чувствомъ гордости и удовольствія Борисъ входитъ въ дома высшаго общества; приглашеніе отъ фрейлины Анны Павловны Шереръ онъ принимаетъ за «важное

повышеніе по службѣ»; на вечерѣ у нея онъ конечно ищетъ себѣ не развлеченій; онъ, напротивъ того, трудится по своему въ ее гостиной; онъ внимательно изучаетъ ту мѣстность, на которой ему предстоитъ маневрировать, чтобы завоевать себѣ новыя выгоды и завоевать новыхъ благодѣтелей; онъ внимательно выискиваетъ каждое лицо и оцѣниваетъ возможности сближенія съ каждымъ изъ нихъ. Онъ вступаетъ въ это высшее общество съ твердымъ намѣреніемъ поддѣлаться подъ него, чтобы укоротить и стѣснить свой ужъ на стѣнѣ, на сколько это понадобится, чтобы ничѣмъ не выдвигаться изъ общаго уровня и на какомъ видѣ не раздражить своимъ переходомъ того или другого ограниченаго чловѣка, способнаго быть полезнымъ со стороны неписанной субординаціи.

На вечерѣ у Анны Павловны, одинъ очаровательный юноша, сынъ министра князя Курагина, выжидая неоднократныхъ приступовъ и долгихъ обмороковъ, производитъ на свѣтъ глупую и избитую шутку. Борисъ конечно настолько уменъ, что никакія шутки должны коробить его и возбуждать въ немъ то чувство отвращенія, которое обыкновенно рождается въ здоровомъ чловѣкѣ, когда ему приходится видѣть или слышать идиотію. Борисъ не можетъ находить эту шутку остроумной или забавной, но находясь въ великомъ свѣтскомъ салонѣ, онъ не осмѣливается вырвать эту шутку съ серьезной физиономіей, потому что его серьезность можетъ быть принята за молчаливое осужденіе каламбура, надъ которымъ, быть можетъ, сливкамъ петербургскаго общества угодно будетъ засмѣяться. Чтобы смѣхъ этихъ сливокъ не засталъ его върасплохъ, предусмотрительный Борисъ принимаетъ свои мѣры въ ту самую секунду, когда плоская и чужая острота слетаетъ съ губъ князя Ипполита Курагина. Онъ осторожно улыбается, такъ что его улыбка можетъ быть отнесена къ насмѣшкѣ или къ одобренію шутки, смотря по тому, какъ она будетъ принята. Сливки смѣются, признавая въ миломъ острякѣ плоть отъ плоти своей и кость отъ костей своихъ,—и мѣры, заблаговременно принятыя Борисомъ, оказываются для него въ высокой степени спасительными.

Глупая красавица, достойная сестра Ипполита Курагина, графиня Эленъ Безухова, пользующаяся репутаціей прелестной и очень умной женщины и привлекающая въ свой салонъ все, что блеститъ умомъ, богатствомъ, знатностью или высокимъ чиномъ—находитъ для себя удобнымъ приблизить красиваго и ловкаго адъютанта Бориса къ своей особѣ. Борисъ приближается съ величайшей готовностью, становится ея любовникомъ и въ этомъ обстоятельстве усматриваетъ не безъ основанія новое немаловажное повышеніе по службѣ. Если путь

къ чинамъ и деньгамъ проходить черезъ будуаръ красивой женщины, то разумѣтся, для Бориса нѣтъ достаточныхъ оснований остановиться въ добродѣтельномъ недоумѣніи или поворотить въ сторону. Ухватившись за руку своей глупой красавицы, Друбецкой весело и быстро продолжаетъ подвигаться впередъ къ золотой цѣли.

Онъ выпрашиваетъ у своего ближайшаго начальника позволеніе состоять въ его свитѣ въ Тильзитѣ, во время свиданія обоихъ императоровъ, и даетъ ему почувствовать при этомъ случаѣ, какъ внимательно онъ, Борисъ, слѣдитъ за показаніями политическаго барометра и какъ тщательно онъ соображаетъ всѣ свои мельчайшія слова и дѣйствія съ намѣреніями и желаніями высокихъ особъ. То лицо, которое до сихъ поръ было для Бориса генераломъ Буонапарте, узурпаторомъ и врагомъ человечества, становится для него императоромъ Наполеономъ и великимъ человекомъ, съ той минуты, какъ, узнавъ о предполагаемомъ свиданіи, Борисъ начинаетъ проситься въ Тильзитъ. Попадъ въ Тильзитъ, Борисъ почувствовалъ, что его положеніе упрочено. «Его не только знали, но къ нему приглядѣлись и привыкли. Два раза онъ исполнялъ порученія къ самому государю, такъ что государь зналъ его въ лицо, и всѣ приближенные не только не дичились его, какъ прежде, считая за новое лицо, но удивились бы, ежели бы его не было».

На томъ пути, по которому идетъ Борисъ, нѣтъ ни остановокъ, ни свертковъ. Можетъ случиться неожиданная катастрофа, которая вдругъ изомнетъ и изломаетъ всю отлично-начавшуюся и благополучно продолжаемую карьеру; можетъ такая катастрофа застигнуть даже самаго осторожнаго и расчетливаго человека; но отъ нея трудно ожидать, чтобы она направила силы человека къ полезному дѣлу и открыла широкій просторъ для ихъ развитія; послѣ такой катастрофы человекъ обыкновенно оказывается приплюснутымъ и раздавленнымъ; блестящій, веселый и преуспѣвающій офицеръ или чиновникъ превращается всего чаще въ жалкаго ипохондрика, въ откровенно-низкаго попрошайку, или просто въ горькаго пьяницу. Помимо-же такой неожиданной катастрофы, при ровномъ и благопріятномъ теченіи обыденной жизни, нѣтъ никакихъ шансовъ, чтобы человекъ, находящійся въ положеніи Бориса, вдругъ оторвался отъ своей постоянной дипломатической игры, всегда одинаково для него важной и интересной, чтобы онъ вдругъ остановился, оглянулся на самого себя, отдалъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, какъ мельчаютъ и вянутъ живыя силы его ума, и энергическимъ усиліемъ воли перепрыгнулъ вдругъ съ дороги искуснаго, приличнаго и блистательно-успѣшнаго выпрашивания на совершенно неизвѣстную ему

дорогу неблагодарнаго, утомительнаго и совсѣмъ не барскаго труда. Дипломатическая игра имѣетъ такіа затыгивающія свойства и даетъ такіе блестящіе результаты, что человекъ, погружившійся въ эту игру, скоро начинаетъ считать мелкимъ и ничтожнымъ все, что находится за ея предѣлами; всѣ событія, всѣ явленія частной и общественной жизни оцѣниваются по своему отношенію къ выигрышу или проигрышу; всѣ люди дѣлятся на средства и на помѣхи; всѣ чувства собственной души распадаются на похвальные, то есть ведущія къ выигрышу, и предосудительныя, то есть отвлекающія вниманіе отъ процесса игры. Въ жизни человека, втянувагося въ подобную игру, нѣтъ мѣста такимъ впечатлѣніямъ, изъ которыхъ могло-бы развернуться сильное чувство, не подчиненное интересамъ карьеры. Серьезная, чистая, искренняя любовь, безъ примѣси корыстныхъ или честолюбивыхъ расчетовъ, любовь со всей свѣтлой глубиной своихъ наслажденій, любовь со всѣми своими торжественными и святыми обязанностями не можетъ укорениться въ высушенной душѣ человека, подобнаго Борису. Нравственное обновленіе путемъ счастливой любви для Бориса немыслимо. Это доказано въ романѣ графа Толстого его исторіей съ Наташей Ростовою, сестрой того армейскаго гусара, мундиръ и манеры котораго коробятъ Бориса въ присутствіи князя Волконскаго.

Когда Наташѣ было 12 лѣтъ, а Борису лѣтъ 17 или 18, они играли между собою въ любовь; одинъ разъ, незадолго передъ отъѣздомъ Бориса въ полкъ, Наташа поцѣловала его, и они рѣшили, что свадьба ихъ состоится черезъ четыре года, когда Наташѣ минетъ 16 лѣтъ. Прошли эти четыре года; женихъ и невеста оба, если не забыли своихъ взаимныхъ обязательствъ, то по крайней мѣрѣ стали смотрѣть на нихъ, какъ на ребяческую шалость; когда Наташа уже въ самомъ дѣлѣ могла быть невестой и когда Борисъ былъ уже молодымъ человекомъ, стоящимъ, какъ это говорится, на самой лучшей дорогѣ—они увидѣлись и снова заинтересовались другъ другомъ. «Послѣ перваго свиданія, Борисъ сказалъ себѣ, что Наташа для него точно такъ-же привлекательна, какъ и прежде, но что онъ не долженъ отдаваться этому чувству, потому что женитьба на ней, дѣвушкѣ почти безъ состоянія, была-бы гибелью его карьеры, а возобновленіе прежнихъ отношеній безъ цѣли женитьбы — было бы неблагороднымъ поступкомъ».

Несмотря на это благоразумное и спасительное совѣщаніе съ самимъ собою, несмотря на рѣшеніе избѣгать встрѣчъ съ Наташей, Борисъ увлекается, начинаетъ часто ѣздить къ Ростовымъ, проводить у нихъ цѣлыя дни, слушаетъ пѣсни Наташи, пишетъ ей стихи въ аль-

божь и даже перестаетъ бывать у графини Безуховой, отъ которой онъ получаетъ ежедневно пригласительныя и укорительныя записки. Онъ все собирается объяснить Наташѣ, что никакъ и никогда не можетъ сдѣлаться ея мужемъ, но у него все не хватаетъ силъ и мужества на то, чтобы начать и довести до конца такое щекотливое объясненіе. Онъ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе запутывается. Но нѣкоторая временная и мимолетная невнимательность къ великимъ интересамъ карьеры составляетъ крайній предѣлъ увлеченій, возможныхъ для Бориса. Нанести этимъ великимъ интересамъ сколько нибудь серьезный и непоправимый ударъ — это для него невообразимо, даже подъ вліяніемъ сильнѣйшей изъ доступныхъ ему страстей.

Стоитъ только старой графинѣ Ростовой перемолвить серьезное слово съ Борисомъ, стоитъ ей только дать ему почувствовать, что его частыя посѣщенія замѣчены и приняты къ свѣдѣнію — и Борисъ тотчасъ, чтобы не компрометировать дѣвушку и не портить карьеру, обращается въ благоразумное и благородное бѣгство. Онъ перестаетъ бывать у Ростовыхъ, и даже, встрѣтившись съ ними на балѣ, проходитъ мимо нихъ два раза и всякій разъ отвертывается.

Проплывъ благополучно между подводными камнями любви, Борисъ уже безостановочно, на всѣхъ парусахъ летитъ къ надежной пристани. Его положеніе на службѣ, его связи и знакомства доставляютъ ему входъ въ такіе дома, гдѣ водятся очень богатые невѣсты. Онъ начинаетъ думать, что ему пора заручиться выгодной женитьбой. Его молодость, его красивая наружность, его презентабельный мундиръ, его умно и расчетливо веденная карьера составляютъ такой товаръ, который можно продать за очень хорошую цѣну. Борисъ высматриваетъ покупательницу и находитъ ее въ Москвѣ.

Жюли Карагина, обладательница огромныхъ пензенскихъ имѣній и нижегородскихъ лѣсовъ, двадцати-семилѣтняя дѣвушка съ краснымъ лицомъ, съ влажными глазами и съ подбородкомъ, почти всегда обсыпаннымъ пудрой — покупаетъ себя Бориса. Передъ совершеніемъ запродажной сдѣлки, Борисъ ведетъ себя, какъ чистоплотный котъ, которому голодъ велитъ перебираться черезъ очень грязную улицу и которому въ то же время до смерти не хочется замочить и запачкать бархатныя лапки.

Бориса, какъ того-же чистоплотнаго кота, не смущаютъ никакія нравственные соображенія. Обмануть дѣвушку, прикинувшись влюбленнымъ въ нее, взять на себя обязательство составить ея счастье, и потомъ оказаться передъ нею позорно-несостоятельнымъ, разбить ея жизнь — все это такія мысли, которыя не приходятъ въ голову Борису и нисколько его не озабочиваютъ.

Еслибы только это — онъ не задумался-бы и на минуту, такъ точно, какъ не задумался бы чистоплотный котъ стащить и съѣсть плохо-прибранный кусокъ мяса. Голосъ нравственного чувства, уже достаточно слабый въ 17-лѣтнемъ мальчикѣ, благодаря урокамъ такой искусной матери, какова была графиня Анна Михайловна — замолчалъ давно въ домѣ челоѣкъ, создавшемъ себѣ цѣлую стройную теорію неписанной субординаціи. Но и Борисъ еще не умерла послѣдняя челоѣкъская слабость; его старческая мудрость еще не давила въ немъ способности чувствовать физическое отвращеніе; его тѣло еще было свѣжо и сильно; у этого тѣла есть свои потребности, свои влеченія, свои симпатіи и антипатіи; это тѣло не можетъ всегда и всюду быть послушнымъ и безропотнымъ орудіемъ духа, стремящагося къ упроченному положенію въ высшемъ обществѣ; тѣло возмущается, тѣло бунтуетъ, и морозъ подираетъ Бориса по кожѣ при мысли о той цѣнѣ, которую онъ долженъ будетъ заплатить за пензенскія имѣнія и нижегородскіе лѣса. Пройти черезъ бунду графини Безуховой, пройти черезъ нее по расчету для Бориса было легко и пріятно, потому что и самъ Наполеонъ, увидавъ графиню Безухову въ ложѣ эрфуртскаго театра, сказалъ объ ней: «c'est un superbe animal!» Но чтобы пройти черезъ спальню Жюли Карагиной къ той конторкѣ, въ которую кладутся доходы съ пензенскихъ имѣній, Борису надо было выдержать упорную и продолжительную борьбу съ мятежнымъ тѣломъ.

«Жюли уже давно ожидала предложенія отъ своего меланхолическаго обожателя и готова была принять его; но какое-то тайное чувство отвращенія къ ней, къ ея страстному желанію выйти замужъ, къ ея ненатуральности, и чувство ужаса передъ отреченіемъ отъ возможности настоящей любви еще останавливало Бориса... Каждый день, разсуждая самъ съ собою, Борисъ говорилъ себѣ, что онъ завтра сдѣлаетъ предложеніе. Но въ присутствіи Жюли, глядя на ея красивое лицо и подбородокъ, почти всегда обсыпанный пудрой, на ея влажные глаза и на выраженіе лица, выражавшаго всегдашнюю готовность къ меланхоліи тотчасъ же перейти къ неестественному восторгу супружескаго счастья, Борисъ не могъ произнести рѣшительнаго слова, несмотря на то, что онъ уже давно въ воображеніи своемъ считалъ себя обладателемъ пензенскихъ и нижегородскихъ имѣній и распределялъ употребленіе въ нихъ доходовъ».

Само собою разумѣется, что Борисъ выигрываетъ побѣдителемъ изъ этой мучительной борьбы, такъ же точно, какъ вышелъ побѣдителемъ изъ другой борьбы съ тѣмъ же прихотливымъ тѣломъ, тянувшимъ его къ Наташѣ Ростовоѣ. Обѣ побѣды порадовали материнское сердце

Анны Михайловны; обѣ были бы безъ сомнѣнія рѣшительно одобрены приговоромъ общественнаго мнѣнія, всегда расположеннаго сочувствовать торжеству духа надъ матеріей.

Въ ту минуту, когда Борисъ, вспыхнувъ яркимъ румянцемъ, и платя этимъ румянцемъ послѣднюю дань своей молодости и человѣческой слабости, дѣлаетъ предложеніе Жюли Карагиной и объясняется ей въ любви, онъ утѣшаетъ и подкрѣпляетъ себя тѣмъ размышленіемъ, что «всегда можетъ устроить такъ, чтобы рѣдко видѣть ее».

Борисъ держится того правила, что въ торговомъ дѣлѣ поступаютъ на чистоту только безнадежно-глупые люди, и что ловкій обманъ составляетъ душу коммерческой операціи. И въ самомъ дѣлѣ, еслибы, продавъ самого себя, онъ вздумалъ выдать покупателю весь проданный товаръ, то какое же удовольствіе и какую пользу доставила бы ему устроенная сдѣлка?

II.

Займемся теперь молодымъ армейскимъ гусаромъ Николаемъ Ростовымъ.

Это совершенная противоположность Бориса. Друбецкой — расчетливъ, сдержанъ, остороженъ, все разсмѣриваетъ и взвѣшиваетъ, и во всемъ дѣйствуетъ по заранѣ составленному и тщательно обдуманному плану. Ростовъ, напротивъ того, смѣлъ и пылокъ, неспособенъ и не любитъ соображать, всегда поступаетъ очертя голову, всегда весь отдается первому влеченію, и даже чувствуетъ нѣкоторое презрѣніе къ тѣмъ людямъ, которые умѣютъ сопротивляться воспринимаемымъ впечатлѣніямъ и перерабатывать ихъ въ себѣ.

Борисъ, безъ всякаго сомнѣнія, умнѣе и глубже Ростова. Ростовъ въ свою очередь гораздо даровитѣе, отзывчивѣе и многостороннѣе Бориса. Въ Борисѣ гораздо больше способности внимательно наблюдать и осторожно обобщать окружающіе факты. Въ Ростовѣ преобладаетъ способность откликаться всѣмъ своимъ существомъ на все, что проситъ и даже на то, что не имѣетъ права просить у сердца отвѣта. Борисъ, при правильномъ развитіи своихъ способностей, могъ-бы сдѣлаться хорошимъ изслѣдователемъ. Ростовъ, при такомъ-же правильномъ развитіи, сдѣлался бы по всей вѣроятности недюжиннымъ художникомъ, поэтомъ, музыкантомъ или живописцемъ.

Существенное различіе между обоими молодыми людьми обозначается съ перваго ихъ шага на житейскомъ поприщѣ. Борисъ, которому нечѣмъ жить, протискивается по милости своей пресмыкающейся матери въ гвардію и живетъ тамъ на чужой счетъ, чтобы только быть на виду и почаще приходить въ соприкосновеніе

съ высоко-поставленными особами. Ростовъ, получающій отъ отца по 10,000 рублей въ годъ и имѣющій полную возможность жить въ гвардіи не хуже другихъ офицеровъ, идетъ, пылая воинственнымъ и патріотическимъ жаромъ, въ армейскую кавалерію, чтобы поскорѣе побывать въ дѣлѣ, погарцовать на ретивой лошади и удивить себя и другихъ подвигами лихого наѣздничества. Борисъ ищетъ прочной и осязательной выгоды. Ростовъ желаетъ прежде всего и во что-бы-то ни стало шума, блеска, сильныхъ ощущеній, эффектныхъ сценъ и яркихъ картинъ. Образъ гусара, какъ онъ летитъ въ атаку, машетъ саблей, сверкаетъ очами, топчетъ трепещущаго врага стальными копытами неукротимаго коня, образъ гусара, какъ онъ размахисто и шумно пируетъ въ кругу лихихъ товарищей, прокопченныхъ пороховымъ дымомъ, образъ гусара, какъ онъ, закручивая длинные усы, звеня шпорами, блистая золотыми шнурами венгерки, своимъ орлинымъ взоромъ возбуждаетъ тревогу и смятеніе въ сердцахъ молодыхъ красавицъ — всѣ эти образы, сливаясь въ одно смутно-обаятельное впечатлѣніе, рѣшаютъ судьбу юнаго и пылкаго графа Ростова, и побуждаютъ его, бросивъ университетъ, въ которомъ онъ, безъ сомнѣнія, находилъ мало для себя привлекательнаго, кинуться стремглавъ и окунуться съ головой въ жизнь армейскаго гусара.

Борисъ вступаетъ въ свой полкъ спокойно и хладнокровно, держитъ себя со всѣми прилично и кротко, но ни съ полкомъ вообще, ни съ кѣмъ-либо изъ офицеровъ въ особенности не завязываетъ никакихъ тѣсныхъ и душевныхъ отношеній. Ростовъ буквально бросается въ объятія павлоградскаго гусарскаго полка, пристращается къ нему, какъ къ своей новой семьѣ, сразу начинаетъ дорожить его честью, какъ своей собственной, изъ восторженной любви къ этой чести дѣлаетъ опрометчивые поступки, ставитъ себя въ неловкія положенія, ссорится съ полковымъ командиромъ, кается въ своей неосторожности передъ синклитомъ старыхъ офицеровъ и при всей своей юношеской обидчивости и вспыльчивости покорно выслушиваетъ дружескія замѣчанія стариковъ, обучающихъ его уму-разуму и преподающихъ ему основныя начала павлоградской гусарской нравственности.

Борисъ норовитъ улизнуть какъ можно скорѣе изъ полка куда нибудь въ адъютанты. Ростовъ считаетъ переходъ въ адъютанты какой-то измѣной милому и родному павлоградскому полку. Для него это почти все равно, что бросить любимую женщину, чтобы по расчету жениться на богатой невѣстѣ. Всѣ адъютанты, всѣ «штабные молодчики», какъ онъ ихъ презрительно называетъ, въ его глазахъ какіе-то бездушные и недостойные отступники, продавшіе своихъ

братьевъ по оружію за блюдо чечевицы. Подъ вліяніемъ этого презрѣнія онъ безо всякой уважительной причины, къ ужасу и досадѣ Бориса, въ квартирѣ послѣдняго заводитъ ссору съ адъютантомъ Болконскимъ, ссору, которая остается безъ кровопролитныхъ послѣдствій, только благодаря спокойной твердости и самообладанію Болконскаго.

Ростовъ, къ удивленію Бориса, бросаетъ подъ столъ рекомендательное письмо, выхлопотанное ему, Ростову, заботливыми родителями къ князю Багратиону; при этомъ онъ, какъ мы уже знаемъ, прямо называетъ адъютантскую службу лакейской. Онъ не задумывается надъ тѣмъ обстоятельствомъ, что адъютанты совершенно необходимы въ общемъ строѣ военнаго дѣла; онъ не останавливается на томъ соображеніи, что можно быть адъютантомъ, честно исполняя свои обязанности, принося постоянно истинную пользу общему ходу военныхъ дѣйствій и нисколько не унижая ни передъ кѣмъ своего личнаго человѣческаго достоинства. Онъ очевидно не въ состояніи уловить и опредѣлить различіе между писанною и неписанною субординаціей, между служеніемъ лицамъ и служеніемъ дѣлу. Онъ съ негодованіемъ отрицаетъ адъютанство для себя и презираетъ его въ другихъ просто потому, что павлоградскіе офицеры, принимая въ соображеніе его графскій титулъ и хорошее состояніе, на первыхъ порахъ заподозрили его въ намѣреніи выпрыгнуть изъ полка въ адъютанты, а онъ тотчасъ-же съ добродѣтельнымъ ужасомъ сталъ отрешиваться и отплевываться отъ такого оскорбительнаго подозрѣнія въ безсердечности.

Борисъ не становится ни къ кому въ восторженно-подобострастныя ученическія отношенія; онъ всегда готовъ тонко и прилично льстить тому человѣку, изъ котораго онъ такъ или иначе надѣется сдѣлать себѣ дойную корову; онъ всегда готовъ подмѣтить въ другомъ, перенять и усвоить себѣ какую-нибудь сноровку, способную доставить ему успѣхъ въ обществѣ и повышеніе по службѣ; но безкорыстное и простодушное обожаніе кого-бы или чего-бы то ни было ему совершенно несвойственно; онъ можетъ стремиться только къ выгодамъ, а никакъ не къ идеалу; онъ можетъ только завидовать и подражать людямъ, обогнавшимъ или обгоняющимъ его по службѣ, но рѣшительно неспособенъ благоговѣть передъ ними, какъ передъ яркими и прекрасными воплощеніями идеала. У Ростова, напротивъ того, идеалы, кумиры и авторитеты, какъ грибы, на каждомъ шагу вырастаютъ изъ земли. У него и Васька Денисовъ—идеаль, и Долоховъ—кумиръ, и штаб-ротмистръ Кирстенъ—авторитетъ. Вѣровать и любить слѣпо, страстно, безпредѣльно, преслѣдуя ненавистью фанатика тѣхъ, кто не преклоняетъ колѣнъ передъ воздвигнутыми идолами—

это неистребимая потребность его кнѣзья рода.

Эта потребность проявляется особенно въ восторженномъ взглядѣ на государя какими чертами графъ Толстой изображаетъ чувства во время высочайшаго смотра и мюцѣ. Эти черты характеризуютъ и врототъ слой общества, къ которому принадлежалъ Ростовъ, и личныя особенности самого Р.

«Когда государь приблизился на разѣ 20-ти шаговъ, и Николай ясно, до всѣхъ подробностей, разсмотрѣлъ прекрасное, молодое, счастливое лицо императора, онъ испыталъ чувство нѣжности и восторга, подобнаго тому, которое онъ еще не испытывалъ».

Увидавъ улыбку государя, «Ростовъ невольно началъ улыбаться и почувствовалъ еще сильнѣйшій приливъ любви къ своему государю. Ему хотѣлось выказать тѣмъ-то свою любовь къ государю. Онъ зналъ, что невозможно, и ему хотѣлось плакать».

Когда государь заговорилъ съ командиромъ павлоградскаго полка, Ростовъ подумалъ умереть-бы отъ счастья, ежели-бы государь улыбнулся къ нему.

Когда государь сталъ благодарить офицеровъ «каждое слово слышалось Ростову, какъ съ неба», и онъ созналъ въ себѣ и сформировалъ совершенно ясно страстное желаніе «только умереть, умереть за него».

Когда солдаты, «надсаживая своимъ грудью», закричали ура, то «Ростовъ закулился, пригнувшись къ сѣдлу, что было ему тяжело, желая повредить себѣ этимъ крикомъ, чтобы выразить вполне свой восторгъ государю».

Когда государь постоялъ нѣсколько секундъ противъ гусаръ, какъ будто въ нерѣшительности, то «даже и эта нерѣшительность пошла Ростову величественной и обворожительной».

Въ числѣ господъ свиты Ростовъ, какъ и Болконскаго, припомнилъ свою ссору съ у Друбецкого, случившуюся наканунѣ, а въ себѣ вопросъ: слѣдуетъ или не слѣдуетъ вѣдать его. «Разумѣется, не слѣдуетъ, но теперь Ростовъ... И стоитъ-ли думать и рѣшать про это въ такую минуту, какъ въ эту минуту такого чувства любви, восторга, самоотверженія, что значать всѣ вѣдѣнія и обиды? Я всѣхъ люблю, всѣмъ прощаю».

Когда полки проходятъ церемонію маршемъ мимо государя, когда Ростовъ въ Бедуинѣ самымъ эффектнымъ образомъ жавѣтъ вслѣдъ за своимъ эскадронемъ, государь говоритъ: «молодцы, павлоградцы». Тогда Ростовъ думаетъ: «Боже мой, какъ счастливъ былъ, еслибы онъ велѣлъ мнѣ сейчасъ броситься въ огонь».

Всѣ эти черты собраны мной изъ всѣхъ мѣстъ съ точностью со страницъ 70—71 того тома.

Три дня спустя, Ростовъ еще разъ видитъ государя и чувствуетъ себя счастливымъ, «какъ любовникъ,ждавшійся ожидаемаго свиданія». Онъ, не олядываясь, восторженнымъ чутъемъ чувствуетъ приближеніе государя. Здѣсь краски, употребляемыя графомъ Толстымъ, вспыхиваютъ такой ослѣпительной яркостью, что я, боясь ослабить или какъ нибудь испортить то впечатлѣніе, которое онѣ должны произвести на читателя, считаю необходимымъ привести цитату во всей ея неприкосновенности.

«И онъ чувствовалъ это (приближеніе) не по одному звуку копытъ лошадей приближавшейся кавалькады, но онъ чувствовалъ это по тому, что по мѣрѣ приближенія все свѣтлѣе, радостнѣе и значительнѣе, и праздничнѣе дѣлалось вокругъ него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокругъ себя лучи кроткаго и величественнаго свѣта, и вотъ онъ уже чувствуетъ себя захваченнымъ этими лучами, онъ слышитъ его голосъ—этотъ ласковый, спокойный, величественный и вмѣстѣ съ тѣмъ столь простой голосъ».

Фанатики-жрецы обыкновенно бываютъ болѣе исключительны въ своихъ страстяхъ, чѣмъ то божество, которому они служатъ. Пылая всепоглощающей и ослѣпляющей любовью къ своему божеству, эти жрецы доходятъ часто, путемъ этой любви, до такихъ крайнихъ, уродливыхъ и противоположенныхъ чувствъ, которыя могли бы только оскорбить, возмутить и прогнѣвить божество, еслибы оно узнало о ихъ существованіи.

Ростовъ видитъ государя на площади городка Вишау, гдѣ за нѣсколько минутъ до пріѣзда государя происходила довольно сильная перестрѣлка. На площади лежатъ еще неприбранные тѣла убитыхъ и раненыхъ. Государь, «склонившись на бокъ, граціознымъ жестомъ держа золотой лорнетъ у глаза», смотритъ на раненаго солдата, лежащаго ничкомъ, безъ кивера, съ окровавленной головой. Государь очевидно соболѣзняетъ о страданіяхъ раненаго; плечи его содрогаются, какъ бы отъ пробѣжавшаго мороза, и лѣвая нога его судорожно бьетъ шпорой бокъ лошади; одинъ изъ адъютантовъ, угадывая мысли и желанія государя, поднимаетъ солдата подъ руки, а государь, услышавъ стонъ умирающаго, говоритъ: «тише, тише, развѣ нельзя тише?» и при этомъ, по словамъ графа Толстого, видимо страдаетъ больше, чѣмъ самъ умирающій солдатъ. Слезы наполняютъ глаза государя и, обращаясь къ Чарторижскому, онъ говоритъ ему: «quelle terrible chose que la guerre!» Въ это жесамое время Ростовъ, весь поглощенный своей восторженной любовью, преимущественно устремляетъ свое вниманіе на то обстоятельство, что солдатъ недостаточно опрятенъ, деликатенъ и великолѣпенъ, чтобы

находиться вблизи государя и останавливать на себѣ его взоры. Въ солдатѣ Ростовъ видитъ въ эту минуту не умирающаго человѣка, не мученика, мужественно принявшаго страданіе также за дѣло государя, а только грязное, кровавое пятно, мараящее ту картину, на которую обращены глаза государя, пятно, доставляющее государю непріятныя ощущенія, диссонансъ, способный до нѣкоторой степени разстроить нервы государя, наконецъ, такой предметъ, который виновать уже тѣмъ, что не можетъ почувствовать *восторженнымъ чутъемъ его приближеніе* и сдѣлаться по мѣрѣ этого приближенія *все свѣтлѣе, и радостнѣе, и значительнѣе, и праздничнѣе*. Вотъ подлинныя слова графа Толстого: «Солдатъ раненый былъ такъ нечистъ, грубъ и гадокъ, что Ростова оскорбила близость его къ государю». Государь, по всей вѣроятности, не остался бы доволенъ, еслибы могъ себѣ представить, что любовь къ нему побуждаетъ молодыхъ офицеровъ его вѣрной и храброй арміи смотрѣть съ отвращеніемъ и почти съ ненавистью на страданія умирающихъ солдатъ.

Борисъ тоже чувствуетъ особенное волненіе, когда приближается къ особѣ государя, но его волненіе совершенно непохоже на то, которое испытываетъ простодушный Ростовъ. Онъ волнуется потому, что чувствуетъ себя возлѣ источника власти, награды, почестей, богатства и вообще всѣхъ тѣхъ земныхъ благъ, добыванію которыхъ онъ твердо рѣшился посвятить всю свою жизнь. Онъ думаетъ: ахъ, еслибы мнѣ да пристроиться тутъ по близости, да утвердиться такъ, чтобы меня изо дня въ день постоянно пригрѣвали солнечные лучи! То корыстное волненіе, которое въ подобныхъ случаяхъ овладѣваетъ Борисомъ, только усиливаетъ его внимательность, расторопность и находчивость. Онъ исполняетъ совершенно удовлетворительно два порученія къ государю, данныя ему во время службы, и приобретаетъ себѣ даже въ глазахъ императора Александра репутацію мысленнаго и рачительнаго офицера.

Волненіе, овладѣвающее Ростовымъ, когда онъ видитъ государя и приближается къ нему, отнимаетъ у него способность размышлять и обсуживать свое положеніе. Въ день аустерлицкаго сраженія, посланный съ порученіемъ, которое онъ, если не обязанъ, то по крайней мѣрѣ имѣетъ полное право, и даже уполномоченъ передать государю, Ростовъ встрѣчаетъ государя въ то время, когда битва окончательно и безвозвратно проиграна. Увидавъ государя, Ростовъ по обыкновенію чувствуетъ себя безмѣрно счастливымъ, отчасти потому, что видитъ его, отчасти и главнымъ образомъ потому, что убѣждается собственными глазами въ невѣрности распространившагося слуха о ранѣ государя. Ростовъ знаетъ, что онъ можетъ и

даже долженъ прямо обратиться къ государю и передать то, что ему было приказано. Но нахлынувшее на него волненіе отнимаетъ у него возможность вовремя рѣшиться; «какъ влюбленный юноша дрожить и млѣть, не смѣя сказать того, о чемъ онъ мечтаетъ ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности бѣгства, когда наступила желанная минута и онъ стоитъ наединѣ съ ней: такъ и Ростовъ теперь, достигнувъ того, чего онъ желалъ больше всего на свѣтѣ, не зная, какъ подступить къ государю, и ему представлялись тысячи соображеній, почему это было неудобно, неприлично и невозможно».

Не рѣшившись на то, чего онъ желалъ больше всего на свѣтѣ, Ростовъ отъѣзжаетъ прочь, съ грустью и съ отчаяніемъ въ сердцѣ, и въ ту же минуту видитъ, что другой офицеръ, увидавъ государя, прямо подъѣзжаетъ къ нему, предлагаетъ ему свои услуги и помогаетъ ему перейти пѣшкомъ черезъ канаву. Ростовъ издали съ завистью и раскаяніемъ видитъ, какъ этотъ офицеръ долго и съ жаромъ говоритъ что-то государю, и какъ государь жметъ руку этому офицеру. Теперь, когда минута пропущена, Ростову представляются новыя тысячи соображеній, почему ему было удобно, прилично и необходимо подъѣхать къ государю. Онъ думаетъ про себя, что онъ, Ростовъ, могъ-бы быть на мѣстѣ того офицера, которому государь пожалъ руку, что его подрѣзала его собственная позорная слабость, и что онъ потерялъ единственный случай выразить государю свою восторженную преданность. Онъ повертываетъ лошадь, скачетъ къ тому мѣсту, гдѣ былъ государь—тамъ уже нѣтъ никого. Онъ уѣзжаетъ въ совершенномъ отчаяніи, и въ этомъ отчаяніи—какому-бы тонкому и тщательному анализу мы его ни подвергали—нѣтъ ничего сколько-нибудь похожего на мысль о томъ влияніи, которое разговоръ съ государемъ могъ-бы обнаружить на дальнѣйшій ходъ его службы. Это—простодушное и безкорыстное отчаяніе влюбленного юноши, у котораго, по милости его же собственной робости, остались тяжелымъ камнемъ на душѣ невысказанныя и давно накипѣвшія слова почтительной страсти.

Самъ Ростовъ неспособенъ анализировать свое чувство; онъ не можетъ задать себѣ вопросъ: почему я испытываю это чувство? не можетъ, во-первыхъ, потому, что вообще не привыкъ пускаться въ психологическія изслѣдованія и отдавать себѣ сколько-нибудь ясный отчетъ въ своихъ ощущеніяхъ; а во-вторыхъ потому, что въ этомъ вопросѣ ему совершенно справедливо чувствуется опасный зародышъ разлагающаго сомнѣнія. Спросить: почему я испытываю то или другое чувство? значитъ задуматься надъ тѣми причинами и основаніями, на которыхъ держится это чувство, при-

ступить къ измѣренію, взвѣшиванію и оцѣнѣ этихъ причинъ и основаній, и заранѣе вникнуть тому приговору, который, послѣ долгихъ размышленій, будетъ произнесенъ нашими голосомъ нашего собственного разсудка. Кто ставитъ себѣ вопросъ: почему? тотъ очевидно чувствуетъ необходимость указать своимъ страсти извѣстныя границы, на которыхъ онъ должна остановиться, чтобы не вредить ни самъ цѣлаго. Кто ставитъ вопросъ: почему? тотъ уже признаетъ существованіе такихъ интересовъ, которые для него важнѣе и дороже его чувства, и во имя которыхъ и съ точки зрѣнія которыхъ желательно потребовать того чувства отчета въ его происхожденіи. Кто ставитъ вопросъ: почему? тотъ уже обнаруживаетъ способность до нѣкоторой степени отшатнуться отъ своего чувства и смотрѣть на него со стороны, какъ на явленіе вѣншаго міра, а между чувствами, совершенно неслитными надъ собою этой операціи, и чувствами, на которыя мы хоть разъ, хоть на минуту, смотримъ со стороны, взоромъ наблюдателя, объективнымъ окомъ, существуетъ огромная разница. Какъ-бы побѣдоносно наше чувство и выдержало испытаніе, все-таки надъ нимъ неизбежно совершится одна существенно важная перемена: прежде оно, неизмѣренное и неизслѣдованное, казалось намъ необъятнымъ и безпредѣльнымъ, потому что мы не знали ни его начала, ни его конца, ни его возможныхъ послѣдствій, ни его дѣйствительныхъ основаній; теперь же оно, хотя и очень велико, одномоментно введено въ свои границы, которыя намъ теперь извѣстны. Прежде оно, само по себѣ, было чуждымъ міромъ, ни съ чѣмъ несвязаннымъ, живущимъ своей самостоятельной жизнью, занимающимся только своимъ собственнымъ существованіемъ, которыхъ мы не знали, и неотраженнымъ увлекающимъ насъ въ свою таинственную глубину, въ которую мы погружались съ трепетомъ мучительной радости и робкаго благоговѣнія; теперь оно сдѣлалось явленіемъ среди другихъ явленій нашего внутренняго міра, явленіемъ, на которое дѣйствуютъ многія другія соприкасающіяся и сталкивающіяся съ нимъ чувства, мысли и впечатлѣнія—явленіемъ, которое подчиняется законамъ, существующимъ внѣ его, и влияніямъ, дѣйствующимъ на него со стороны.

Очень многія и очень сильныя чувства всѣмъ не выдерживаютъ испытанія. Вопросъ *почему?* становится для нихъ могилою. Удовлетворительный отвѣтъ на этотъ вопросъ оказывается невозможнымъ.

Ростовъ не спрашиваетъ *почему?* не знаетъ почему, и не хочетъ этого знать. Онъ понимаетъ правильнымъ инстинктомъ, что все сущее его чувства заключается въ его совершенной непосредственности, и что самымъ твердымъ

плотомъ служить этому чувству то постоянно-накаленное настроеніе, вслѣдствіе котораго онъ, Ростовъ, всегда готовъ видѣть оскорбленіе святости во всякой попыткѣ, своей или чужой, стать къ этому чувству или къ какимъ-бы то ни было его проявленіямъ въ сколько-нибудь спокойныя или разсудочныя отношенія.

«Я, говорилъ Людовикъ Святой,—никогда и ни за что не буду разсуждать съ еретикомъ; я просто пойду на него и мечомъ распорю ему брюхо». Такъ точно думаетъ и чувствуетъ Ростовъ. Онъ до послѣдней крайности щекотливъ ко всему, что сколько-нибудь отклоняется отъ тона восторженнаго благоговѣнія. Вотъ какая сцена разыгрывается возлѣ Вишау между Ростовымъ и Денисовымъ:

«Поздно ночью, когда всѣ разошлись, Денисовъ потрепалъ своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова.

— Вотъ, на походѣ не въ кого влюбиться, такъ онъ въ Ца'я влюбился, сказалъ онъ.

— Денисовъ, ты этимъ не шути, крикнулъ Ростовъ:—это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое...

— Вѣю, вѣю, дужокъ, и аздѣляю и одобряю.

— Нѣтъ, не понимаешь!

И Ростовъ всталъ и пошелъ бродить между костровъ, мечтая о томъ, какое было-бы счастье умереть, не спасая жизнь (объ этомъ онъ не смѣлъ и мечтать), а просто умереть въ глазахъ государя».

На Денисова конечно не можетъ пасть подозрѣніе въ якобинствѣ. Въ этомъ отношеніи онъ стоитъ выше всякаго сомнѣнія, и Ростовъ это знаетъ, но, по своей щекотливости, не можетъ воздержаться отъ вскрикиванія, когда Денисовъ позволяетъ себѣ добродушную дружескую шутку. Въ этой шуткѣ Ростову чувствуется все-таки способность отнестись, хоть на минуту, спокойно и хладнокровно къ предмету его восторженнаго обожанія. Этого уже достаточно, чтобы вызвать съ его стороны вспышку негодованія. Поставьте на мѣсто лихого павлоградскаго гусара и отличнаго товарища Денисова какого-нибудь посторонняго человѣка, замѣните добродушную дружескую шутку словами, выражающими серьезное сомнѣніе, и вы тогда конечно получите въ результатѣ со стороны Ростова не вскрикиваніе, а какой-нибудь рѣзкій, насильственный поступокъ, напоминающій программу Людовика Святого.

Проходитъ два года. Вторая война съ Наполеономъ заканчивается пораженіемъ нашихъ войскъ при Фридландѣ и свиданіемъ императоровъ въ Тильзитѣ. Множество видѣнныхъ событий, политическихъ и неполитическихъ, множество воспринятыхъ впечатлѣній, крупныхъ и мелкихъ, задаютъ уму Ростова мучительную работу, превышающую его силы, и возбуждаютъ

въ немъ рой тяжелыхъ сомнѣній, съ которыми онъ не умѣетъ управиться.

Пріѣхавъ въ свой полкъ весною 1807 года, Ростовъ застаётъ его въ такомъ положеніи, что лошади, безобразно худыя, ѣдятъ соломенные крыши съ домовъ, а люди, не получая никакого провіанта, набиваютъ себѣ желудки какимъ-то сладкимъ Машкинымъ корнемъ, растеніемъ, похожимъ на спаржу, отъ котораго у нихъ пухнутъ руки, ноги и лицо. Въ столкновѣніяхъ съ непріятелемъ Павлоградскій полкъ потерялъ только двухъ раненныхъ, а голодъ и болѣзни истребили почти половину людей. Кто попадалъ въ госпиталь—умиралъ навѣрное; и солдаты, больные лихорадкой и опухолью, несли службу, черезъ силу волоча ноги во фронтѣ, лишь бы только не идти въ больницу на вѣрную и мучительную смерть.

Въ обществѣ офицеровъ господствуетъ то убѣжденіе, что всѣ эти бѣдствія происходятъ отъ колоссальныхъ злоупотребленій въ провіантскомъ вѣдомствѣ, и это убѣжденіе поддерживается тѣмъ обстоятельствомъ, что всѣ подвозимые припасы оказываются самого дурнаго качества. Ужасное и отвратительное положеніе госпиталей и безпорядокъ въ подвозѣ провіанта также не могутъ быть объяснены никакими естественными бѣдствіями, независимыми отъ воли человѣка.

Васка Денисовъ, добродушный, честный и храбрый гусарскій майоръ, любитъ свой эскадронъ, какъ свою семью, и видитъ съ ожесточеніемъ, какъ на его глазахъ хирѣютъ и мрутъ его солдаты. Прослышавъ о томъ, что въ пѣхотный полкъ, стоящій по сосѣдству, идетъ транспортъ провіанта, Денисовъ ѣдетъ насильно отбивать эти припасы, и дѣйствительно выполняетъ свое намѣреніе, разсуждая такъ, что не умирать же, въ самомъ дѣлѣ, павлоградскимъ гусарамъ отъ голода и отъ сладкаго Машкина корня. Полковой командиръ, узнавъ объ этомъ подвигѣ Денисова, говоритъ ему, что готовъ смотрѣть на это сквозь пальцы, но советуетъ Денисову съѣздить въ штабъ и уладить дѣло въ провіантскомъ вѣдомствѣ.

Денисовъ ѣдетъ и начинаетъ объясняться съ провіантскимъ чиновникомъ, котораго онъ потомъ, въ разговорѣ съ Ростовымъ, называетъ оберъ-воромъ. Съ первыхъ же словъ Денисовъ говоритъ оберъ-вору, что «разбой не тотъ дѣлаетъ, кто беретъ провіантъ, чтобъ кормить своихъ солдатъ, а тотъ, кто беретъ его, чтобъ класть въ карманъ». Послѣ такого дебюта, полюбовное окончаніе дѣла становится невозможнымъ. По приглашенію оберъ-вора, Денисовъ идетъ расписываться у комиссіонера, и тутъ, за столомъ, видитъ уже настоящаго вора, бывшаго павлоградскаго офицера Телянина, укравшаго у него, Денисова, кошелекъ съ деньгами, уличеннаго въ этомъ Ростовымъ, исключеннаго

изъ полка и пристроившагося потомъ къ провіантскому вѣдомству. Тутъ разыгрывается сцена, которую самъ Денисовъ слѣдующимъ образомъ описываетъ Ростову:

«Какъ, ты насъ съ голоду моришь?!» Разъ, разъ по мордѣ, ловко такъ пришлось... «А... распротаканной-сякой», и... началъ катать. — За то натѣшился, могу сказать, кричалъ Денисовъ, радостно и злобно изъ-подъ черныхъ усовъ осклаивая свои бѣлые зубы. — Я бы убилъ его, кабы не отняли».

Разумѣется, завязывается дѣло. Майора Денисова обвиняютъ въ томъ, что онъ, отбивъ транспортъ, безъ всякаго вызова, въ пьяномъ видѣ явился къ оберъ-провіантмейстеру, назвалъ его воромъ, угрожалъ побоями, и когда былъ выведенъ вонъ, то бросился въ канцелярію, избилъ двухъ чиновниковъ и одному вывихнулъ руку.

Пока тянется предварительная переписка по этому дѣлу, Денисовъ въ одной рекогносцировкѣ получаетъ рану и уѣзжаетъ въ госпиталь.

Послѣ Фриланскаго сраженія, во время перемирія, Ростовъ ѣдетъ провѣдать Денисова, и собственными глазами видитъ, какой уходъ достается на долю раненымъ героямъ. При самомъ входѣ докторъ предупреждаетъ его, что *тутъ домъ прокаженныхъ, тифъ; кто ни взойдетъ—смерть*, и что здоровому человѣку не слѣдуетъ входить, если онъ не желаетъ тутъ и остаться. Въ темномъ коридорѣ Ростова охватываетъ такой сильный и отвратительный больничный запахъ, что онъ принужденъ остановиться и собраться съ силами, чтобы идти дальше. Ростовъ входитъ въ солдатскія палаты и видитъ, что тутъ больные и раненые лежатъ въ два ряда, головами къ стѣнамъ, на соломѣ или на собственныхъ шинеляхъ, безъ кроватей. Одинъ больной казакъ лежитъ навзничъ, поперекъ прохода, раскинувъ руки и ноги, закативъ глаза и повторяя хриплымъ голосомъ: «испить—испить—испить!» Его никто не поднимаетъ, ему никто не даетъ глотка воды, и больничный служитель, которому Ростовъ приказываетъ помочь больному, только старательно выкатываетъ глаза и съ удовольствіемъ говоритъ: «слушаю, ваше высокоблагородіе», но не трогается съ мѣста. Въ другомъ углу Ростовъ видитъ рядомъ со старымъ безногимъ солдатомъ молодого мертвеца и узнаетъ отъ безногаго старика, что его сосѣдъ «еще утромъ кончился», и что его, несмотря на усиленные и неоднократныя просьбы больныхъ, до сихъ поръ не убираютъ.

Денисовъ сначала горячо толкуетъ о томъ, что онъ выводитъ на чистую воду казнокрадовъ и разбойниковъ, и читаетъ вирожденіе часа слишкомъ Ростову свои ядовитыя бумаги, писанныя въ отвѣтъ на запросы военно-судной комиссіи, но потомъ убѣждается, что *плетью обуха не перешибешь*, и вручаетъ Ростову большой конвертъ съ просьбой о помилованіи на имя государя.

Ростовъ ѣдетъ въ Тильзитъ, находитъ и передаетъ государю просьбу Денисова черезъ го кавалерійскаго генерала и слышитъ своими ушами, какъ государь отвѣчаетъ:

— Не могу, генераль, и потому не могу законъ сильнѣе меня.

Въ Тильзитѣ Ростовъ видитъ радостныя блестящія мундиры, сіяющія улыбки, картины мира, изобилія и роскоши—самую противоположность всего того, что онъ дѣлалъ въ землянкахъ Павлоградскаго и на поляхъ сраженія, и въ томъ домѣ притѣсненныхъ, въ которомъ изнываетъ раненый димый Денисовъ.

Эта противоположность смущаетъ его, и онъ идетъ къ нему въ голову вихри непронятныхъ мыслей и поднимаетъ въ душѣ его тучи валыхъ сомнѣній. Борисъ сразу, безъ малѣйшей борьбы, призналъ генерала Буонапарте и торомъ Наполеономъ и великимъ человекомъ и даже постарался устроить такъ, что готовность и старательность по этой была замѣчена начальствомъ и вѣнчанъ въ достоинство. Борисъ такъ-же отнесся къ такой-же пріятной улыбкой признаннаго вора Телянина за честнѣйшаго ловѣка и за доблѣтнѣйшаго патріота, и такое признаніе могло понравиться началу. Борисъ, безъ всякаго сомнѣнія, не позволилъ себѣ разбойничьяго нападенія на свои скіе транспорты, чтобы доставить обѣду и голоднымъ солдатамъ своей роты. Борисъ не произвелъ-бы дикаго насиія надъ особаго чиновника, какими-бы двусмысленными поступками не было наполнено прошлое чиновника. Борисъ, разумѣется, охотнѣе нуль-бы руку Телянину, котораго началъ признаетъ честнымъ гражданиномъ, чѣмъ сосу, котораго военный судъ будетъ судить и наказывать, какъ грабителя и буяна.

Еслибы Ростовъ былъ способенъ усвоить беззащитную и неустрашимую гибкость риса, еслибы онъ разъ навсегда отодвину сторону желаніе любить то, чему онъ служилъ и служить тому, что онъ любитъ—то и тильзитскія сцены своимъ блескомъ произвели на него самое пріятное впечатлѣніе, госпны мѣзмы заставили-бы его только не зажимать себѣ носъ, а денисовское дѣло-бы его на поучительныя размышленія, какъ вредно бываетъ для человѣка мѣнять обуздывать свои страсти. Онъ не смущается контрастами и противорѣчіями, вольствуясь той истиной, что существуетъ и что для усиленнаго произведенія служебнаго поприща надо изучать трюки дѣйствительности и приносиваться къ тому, что онъ не сталъ-бы настоятельно желать, все существующее было въ самомъ себѣ разумно и прекрасно.

Но Ростовъ не видитъ и не понимаетъ, за какія заслуги генералъ Бонапартъ произведенъ въ императоры Наполеоны; онъ не видитъ и не понимаетъ, почему онъ, Ростовъ, сегодня долженъ любезничать съ тѣми французами, которыхъ онъ вчера долженъ былъ рубить саблею; почему Денисовъ за свою любовь къ солдатамъ, которыхъ онъ обязанъ былъ беречь и лелѣять, и за свою ненависть къ ворами, которыхъ ему никто не приказывалъ любить, долженъ быть разстрѣлянъ, или по меньшей мѣрѣ разжалованъ въ солдаты; почему люди, храбро сражавшіеся и честно исполнявшіе свой долгъ, должны подъ присмотромъ фельдшеромъ и военныхъ медиковъ умирать медленной смертью въ домахъ прокаженныхъ, въ которые опасно входить здоровому человѣку; почему негодяи, подобные исключенному офицеру Телянину, должны имѣть обширное и дѣятельное вліяніе на судьбу русской арміи.

Опытный человѣкъ на мѣстѣ Ростова успокоился бы на томъ соображеніи, что абсолютное совершенство недостижимо, что человѣческія силы ограничены, и что ошибки и внутреннія противорѣчія составляютъ неизбѣжный удѣлъ всѣхъ людскихъ начинаній. Но опытность пріобрѣтается цѣной разочарованій, а первое разочарованіе, первое жестокое столкновение блестящихъ ребяческихъ иллюзій съ грубыми и неопрытными фактами дѣйствительной жизни составляетъ обыкновенно рѣшительный поворотный пунктъ въ исторіи того человѣка, который его испытываетъ.

Послѣ этого перваго столкновенія, цѣлныя вѣрованія дѣтства въ легкое, неизбѣжное и всегдѣшнее торжество добра и правды, вѣрованія, вытекающія изъ незнанія зла и лжи—оказываются разбитыми; человѣкъ видитъ себя среди колеблющихся развалинъ; онъ старается прицѣпиться къ осколкамъ того зданія, въ которомъ онъ надѣялся благополучно провести всю свою жизнь; онъ ищетъ въ грудѣ разрушенныхъ иллюзій хоть чего нибудь крѣпкаго и прочнаго; онъ пытается построить себѣ изъ уцѣлѣвшихъ обломковъ новое зданіе, поскромнѣе, но за то и понадежнѣе перваго; эта попытка ведетъ за собой неудачу и порождаетъ новое разочарованіе. Развалины разлагаются на свои составныя части; обломки крошатся на мелкіе кусочки и превращаются въ тонкую пыль подъ руками человѣка, добросовѣстно старающагося удержатъ ихъ въ цѣлости. Идя отъ разочарованія къ разочарованіямъ, человѣкъ приходитъ наконецъ къ тому убѣжденію, что все его мысли и чувства, напущенныя въ него неизвѣстно когда и выросшія вмѣстѣ съ нимъ, нуждаются въ самой тщательной и строгой провѣркѣ. Это убѣжденіе становится исходной точкой того процесса развитія, который можетъ привести человѣка къ болѣе или

менѣе ясному и отчетливому пониманію всего окружающаго.

Мужественно выдержать первое разочарованіе способенъ не всякій. Къ числу этихъ неспособныхъ принадлежитъ и нашъ Ростовъ. Вмѣсто того, чтобы вглядѣться въ тѣ факты, которые опрокидываютъ его младенческія иллюзіи, онъ съ трусливымъ упорствомъ и съ малодушнымъ ожесточеніемъ зажимуриваетъ глаза и гонитъ прочь свои мысли, какъ только онѣ начинаютъ принимать черезчуръ непривычное для него направленіе. Ростовъ не только зажимуривается самъ, но также съ фанатическимъ усердіемъ старается зажимать глаза другимъ.

Потерпѣвъ неудачу по денисовскому дѣлу и насмотрѣвшись на тильзитскій блескъ, коловшій ему глаза, Ростовъ избираетъ благую часть, которая никогда не отнимется отъ нищихъ духомъ и богатыхъ наличными деньгами. Онъ заливаетъ свои сомнѣнія двумя бутылками вина и, доведя свою гусарскую лихость до надлежащихъ размѣровъ, начинаетъ кричать на двухъ офицеровъ, выражавшихъ свое неудовольствіе по поводу тильзитскаго мира.

— И какъ вы можете судить, что было бы лучше! закричалъ онъ съ лицомъ, вдругъ налившимся кровью. — Какъ вы можете судить о поступкахъ государя, какое мы имѣемъ право разсуждать? Мы не можемъ понять ни цѣли, ни поступковъ государя!

— Да я ни слова не говорилъ о государѣ, оправдывался офицеръ, иначе, какъ тѣмъ, что Ростовъ пьянъ, не могущій объяснить себѣ его вспыльчивости.

Но Ростовъ не слушалъ его.

— Мы не чиновники дипломатическіе, а мы солдаты, и больше ничего, продолжалъ онъ: — умирать велятъ намъ — такъ умирать (этими словами Ростовъ разрѣшаетъ сомнѣнія, возбужденныя въ немъ *домомъ прокаженныхъ*). А коли наказываютъ, такъ, значитъ, виноваты; не намъ судить (это — по денисовскому дѣлу). Угодно государю императору признать Бонапартъ императоромъ и заключить съ нимъ союзъ, значитъ, такъ надо, (а это примиреніе съ тильзитскими сценами). А то, коли бы мы стали обо всемъ судить да разсуждать, такъ этакъ ничего святого не останется. Этакъ мы скажемъ, что ни Бога нѣтъ, ничего нѣтъ, ударяя по столу, кричалъ Николай, весьма некстати, по понятіямъ своихъ собесѣдниковъ, но весьма послѣдовательно по ходу своихъ мыслей.

— Наше дѣло исполнять свой долгъ, рубиться и не думать, вотъ и все, заключилъ онъ.

— И пить, сказалъ одинъ изъ офицеровъ, не желавшій ссориться.

— Да, и пить, подхватилъ Николай. — Эй ты! Еще бутылку! крикнулъ онъ.

Во-время выпитыя двѣ бутылки наградили молодого графа Ростова вѣрнѣйшимъ лекарствомъ противъ разочарованій, сомнѣній и всевозможной мучительной внутренней ломки и переборки. Кому посчастливилось во время первой умственной бури открыть спасительную формулу: *наше дѣло не думать*, и успокоить себя этой формулой, хотя бы на минуту, хотя бы при содѣйствіи двухъ бутылокъ — тотъ по всей вѣроятности всегда будетъ убѣгать подъ защиту этой формулы, какъ только въ немъ начнутъ шевелиться неудобныя сомнѣнія и его станетъ одолевать тревожный позывъ къ свободному изслѣдованію. *Наше дѣло не думать* — это такая неприступная позиція, которую не могутъ разбить никакія свидетельства опыта и передъ которой останутся безсильными всякія доказательства. Свободной мысли негдѣ высадиться и ей невозможно укрѣпиться на томъ берегу, на которомъ возвышается эта твердыня. Спасительная формула подрѣзываетъ ее при первомъ ея появленіи. Чуть только человѣкъ захватитъ самого себя на дѣлѣ взвѣшиванія и сопоставленія воспринятыхъ впечатлѣній, чуть только онъ подмѣтитъ въ себѣ поползновеніе размышлять и обобщать невольно собранные факты — онъ тотчасъ, опираясь на свою формулу и припоминая то чудесное успокоеніе, которое она ему доставила, скажетъ себѣ, что это грѣхъ, что это дьявольское навожденіе, что это болѣзнь, и пойдетъ лечиться виномъ, крикомъ, цыганамъ, псовой охотой и вообще той пестрой смѣной сильныхъ ощущений, которую можетъ доставить себѣ плотно-сложенный и состоятельный русскій дворянинъ.

Если вы станете доказывать такому укрѣпившемуся человѣку, что его спасительная формула неразумна, то ваши доказательства пропадутъ даромъ. Формула и съ этой стороны обнаружитъ свою несокрушимость. Драгоценнѣйшее изъ ея достоинствъ состоитъ именно въ томъ, что она не нуждается ни въ какихъ разумныхъ основаніяхъ и даже исключаетъ возможность такихъ основаній. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы доказывать разумность или неразумность формулы, чтобы нападать или защищать ее, надо думать, а такъ какъ *наше дѣло не думать*, то и всякаго рода доказыванія, сами по себѣ, независимо отъ тѣхъ цѣлей, къ которымъ они клонятся, должны быть признаны излишними и предосудительными.

Ростовъ остается неизмѣнно вѣренъ правдѣ, открытому въ тильзитскомъ трактирѣ, при содѣйствіи двухъ бутылокъ вина. Мышленіе не обнаруживаетъ никакого вліянія на всю его дальнѣйшую жизнь. Сомнѣнія не нарушаютъ больше его душевнаго спокойствія. Онъ знаетъ и хочетъ знать только свою службу и благородныя развлеченія, свойственныя богатому помѣщику и

лихому гусару. Его умъ отказывается отъ какой работы, даже отъ той, которая имѣла бы для спасенія родового имущества отъ плутующаго, но очевидно малограмотнаго казачика Митеньки.

Онъ съ большей энергіей кричитъ въ теньку и очень ловко толкаетъ его колѣнкой подъ задъ, но послѣ этой бесцены Митенька остается полноправнымъ порядителемъ въ имѣніи, и дѣла продолжаютъ идти прежнимъ порядкомъ.

Не умѣя даже привести въ порядокъ денежные дѣла и унять домашняго неурядища, Ростовъ тѣмъ болѣе не умѣетъ и не можетъ осмысливать свою жизнь какимъ-нибудь образомъ, требующимъ сколько-нибудь сложнаго и послѣдовательнаго умственнаго труда. Книжки для него повидимому не существуютъ. Чтеніе кажется не занимаетъ въ его жизни никакого мѣста, даже какъ средство убить время. Даже московская свѣтская жизнь представляется ему слишкомъ запутанной и сложной, слишкомъ переполненной сложными ображеніями и головоломными тонкостями. Онъ удовлетворяетъ вполне только жизнь въ гдѣ все опредѣлено и размѣрено, гдѣ все просто, гдѣ думать рѣшительно не о чемъ, гдѣ нѣтъ мѣста для колебаній и свободнаго выбора. Ему нравится полковая жизнь въ то время, нравится именно тѣмъ, чѣмъ она выносива человѣку, сколько-нибудь способному мыслить: нравится своей спокойной и ровной, невозмутимой рутинностью, своей однообразіемъ и тѣми оковами, которыми налагаетъ на всевозможныя проявленія изобрѣтательности и оригинальности.

Такъ какъ міръ мысли закрытъ для Ростова, то развитіе его на двадцатомъ году жизни является законченнымъ. Къ двадцати годамъ все содержаніе жизни для него уже исчерпано, ему остается только сначала грубить и пѣть, а потомъ дряхлѣть и разлагаться. Отсутствие будущности, это роковое безразличное неизбѣжное увяданіе скрыты отъ глазъ внешнего наблюдателя вѣнчаннымъ видомъ, жести, силы и отзывчивости. Глядя на Ростова, поверхностный наблюдатель скажетъ съ восторгомъ: какъ въ этомъ молодомъ человѣкѣ много огня и энергіи! Какъ смѣло и весело смотритъ на жизнь! Какое въ немъ обиліе испорченной и неистраченной юности!

На такого поверхностнаго наблюдателя Ростовъ произведетъ по всей вѣроятности такое впечатлѣніе, Ростовъ ему понравится. Онъ, безъ сомнѣнія, понравился многимъ людямъ и даже быть можетъ самому автору мана. Поверхностному наблюдателю не придетъ въ голову, что въ Ростовѣ нѣтъ именно то, что составляетъ самую существенную и

то-трогательную прелесть здоровой и свѣжей молодости.

Когда мы смотримъ на сильное и молодое существо, то насъ волнуетъ радостная надежда, о его силы вырастутъ, развернутся, приложатся къ дѣлу, примутъ дѣятельное участие въ великой житейской борьбѣ, увеличатъ хоть много массу существующаго на землѣ живительнаго счастья и уничтожатъ хоть частицу накопившихся недѣлностей, безобразій и страданий. Мы еще не знаемъ той границы, на которой остановится развитие этихъ силъ, и именно эта неизвѣстность составляетъ въ нашихъ глазахъ величайшую обаятельность молодого существа. Кто знаетъ?—думаемъ мы:—можетъ быть тутъ вырабатывается передъ нами что-то очень большое, чистое, свѣтлое, сильное и устрашающее. Молодое существо, полное жизни энергій, составляетъ для насъ самую занимательную загадку, и эта загадочность придаетъ ему особенную привлекательность.

Именно этой обаятельной загадочности нѣтъ въ Ростовѣ, и только поверхностный наблюдатель можетъ, глядя на него, сохранять неопределенную надежду, что его неистраченные силы на чемъ-нибудь хорошемъ сосредоточатся къ чему-нибудь дѣльному приложатся. Только поверхностный наблюдатель можетъ, любуясь его живостью и пылкостью, оставлять въ сторонѣ вопросъ о томъ, пригодится-ли на что-нибудь эта живость и пылкость.

Поверхностный наблюдатель способенъ заподозрѣться юношеской горячностью Ростова, тапирѣ въ время неовой охоты, когда онъ обращается къ Богу съ мольбой о томъ, чтобы золкъ вышелъ на него, когда онъ говоритъ, изнемогая отъ волненія: «ну, что Тебѣ стоитъ

сдѣлать это для меня? Знаю, что Ты великъ и что грѣхъ Тебя просить объ этомъ; но ради Бога сдѣлай, чтобы на меня выльзъ матерый и чтобы Карай, на глазахъ дядюшки, который вонъ оттуда смотреть, влѣпилъ ему мертвой хваткой въ горло»,—когда онъ во время травли переходитъ отъ безпредѣльной радости къ самому мрачному отчаянію, съ плачемъ называетъ стараго кобеля Карая отцомъ и наконецъ чувствуетъ себя счастливымъ, видя волка, окруженного и разрываемаго собаками.

Кто не останавливается на веселой наружности явленій, того шумная и оживленная сцена охоты наведетъ на самыя печальныя размышленія. Если такая мелочь, такая дрянь, какъ борьба волка съ нѣсколькими собаками, можетъ доставить человѣку полный комплектъ сильныхъ ощущеній, отъ изступленнаго отчаянія до безумной радости, со всѣми промежуточными полутонами и переливами, то зачѣмъ же этотъ человѣкъ будетъ заботиться о расширеніи и углубленіи своей жизни? Зачѣмъ ему искать себѣ работы, зачѣмъ ему создавать себѣ интересы въ обширномъ и бурномъ морѣ общественной жизни, когда конюшня, псарня и ближайшій дѣсъ съ избыткомъ удовлетворяютъ всѣмъ потребностямъ его нервной системы?

Разборъ отношеній Ростова къ любимой женщинѣ, анализъ другихъ характеровъ, болѣе сложныхъ, именно: Пьера Безухова, князя Андрея Волконскаго и Наташи Ростовой, а также общіе выводы касательно всего общества, изображеннаго въ романѣ, я считаю необходимымъ отложить до выхода въ свѣтъ четвертаго тома.

МИСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ

(Spiritual Wives. By William Hepworth Dixon. In two volumes. London. 1868).

Уильямъ Гепвортъ Диксонъ, авторъ замѣчательной книги «Новая Америка», издалъ въ началѣ нынѣшняго года новую книгу, подъ заглавіемъ: «Spiritual Wives» (Духовныя жены). Въ этой книгѣ онъ описываетъ три религіозныя движенія, въ которыхъ женщины принимали дѣятельное участіе, играли видныя роли и становились къ мужчинамъ, управлявшимъ движеніемъ, въ совершенно своеобразныя отношенія такъ называемаго духовнаго супружества. Всѣ эти движенія относятся къ первой половинѣ текущаго столѣтія. Первое изъ нихъ про-

изошло въ Восточной Пруссіи, второе—въ Англіи, третье—въ Америкѣ.

«Предметъ, говоритъ Диксонъ въ предисловіи къ своей книгѣ,—о которомъ я поведу рѣчь на этихъ страницахъ, настолько новъ, что врядъ-ли хоть одинъ изъ разсказанныхъ здѣсь фактовъ можетъ быть найденъ въ книгахъ. Человѣкъ въ своей высшей фазѣ до сихъ поръ врядъ-ли еще сдѣлался достояніемъ науки, и тѣ исторіи, въ которыхъ обнаружались его духовныя страсти, еще должны быть собираемы. Одна глава изъ одной такой исторіи предла-

гается не безъ робости въ теперешнемъ моемъ трудѣ.

«Я собиралъ мои факты въ разныхъ мѣстахъ, далеко отстоящихъ одно отъ другого: въ прибалтійскихъ провинціяхъ, въ западной Англіи, на берегахъ озера Онтарио, въ городахъ Новой Англіи. Во всѣхъ этихъ случаяхъ я самъ видѣлся съ людьми и осматривалъ мѣста».

Факты, собранные Диксономъ, очень интересны и рассказаны съ той живостью и наглядностью, о которой читатели «Новой Америки» могли уже составить себѣ достаточно ясное понятіе. Къ сожалѣнію живые и очень интересные рассказы переплетены растянутыми и туманными разсужденіями о томъ, какъ росла и развивалась идея духовнаго супружества. Эти разсужденія не даютъ читателю никакихъ новыхъ знаній и не приводятъ его ни къ какому осязательному результату. Эти разсужденія никакъ не могутъ быть названы историческими изслѣдованіями. Это какіе-то историческіе арабески, которые чертитъ безъ малѣйшей надобности рука даровитаго писателя, хорошо владѣющаго языкомъ, получившаго блестящее литературное образованіе и беззаботно почерпающаго изъ готоваго запаса своихъ знаній разные слабо связанные между собой факты.

Духъ готической расы и вліяніе Испаніи на развитіе католическаго догмата, Гете и Сведенбергъ, европейскіе коммунисты и американскіе поклонники свободной любви появляются и исчезаютъ въ этихъ разсужденіяхъ, привлекаютъ къ себѣ на минуту вниманіе читателя и затѣмъ оставляютъ его въ недоумѣніи и въ невозможности рѣшить вопросъ, зачѣмъ они вышнрнули и зачѣмъ такъ скоро уступили свое мѣсто другимъ, столь-же мимолетнымъ явленіямъ.

Книга Диксона вообще растянута какъ въ литературномъ, такъ и въ типографскомъ отношеніи. Тотъ матеріалъ, который легко можно было втиснуть въ одинъ небольшой томикъ, разведенъ на двѣ толстыя книги. Русский переводъ «Духовныхъ женъ», вызванный по всей вѣроятности успѣхомъ «Новой Америки», можетъ, какъ намъ кажется, быть признанъ излишнимъ. Все содержаніе новой книги Диксона, безспорно заключающей въ себѣ очень интересные подробности по внутренней психологической исторіи новѣйшихъ сектъ, легко можетъ быть исчерпано въ журнальной статьѣ обыкновенныхъ размѣровъ.

Это я и постараюсь дѣлать на слѣдующихъ страницахъ, но такъ какъ въ нашемъ журналѣ печатается отдѣльная, очень обстоятельная статья объ американскомъ сектаторствѣ, то я здѣсь перескажу читателю только то, что Диксонъ сообщаетъ о религіозныхъ движеніяхъ въ восточной Пруссіи и въ Англіи.

КЕНИГСБЕРГСКІЕ ПИИТИСТЫ.

I.

У одного рослаго и красиваго гренадера, служившаго въ арміи Фридриха II, родившагося въ Мемелѣ въ 1771 году сынъ Іоаннъ-Генрихъ. Фамилія гренадера была Шенгагенъ, а имя сына, взявшаго его въ плѣнъ во время семилѣтней войны, прозвали его за красоту Schöner (красивый господинъ), и это прозвище перешло собою его фамилію.

Когда Іоанну-Генриху Шенгеру было пятнадцать лѣтъ, родители отправили его въ Кенигсбергъ учиться ремеслу. Ученіе шло у него успешно; вмѣсто того, чтобы заниматься ремесломъ, юноша сталъ ходить по церквамъ, слушать проповѣди, читать библію и задумываться надъ мудрыми словами, которыхъ онъ не умѣлъ даже выразить, какъ слѣдуетъ. Въ Кенигсбергѣ, какъ и въ другихъ нѣмецкихъ университетскихъ городахъ, бѣдныхъ студентовъ всегда было много; ихъ было особенно много въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, когда Канта привлекали въ Кенигсбергъ любознательная молодежь изъ всѣхъ концовъ Германіи. Шенгеру не трудно было сойтись съ этими студентами и вызвать ихъ на философскіе споры, въ которыхъ восторженные слушатели Канта по всей вѣроятности принимали за учителя много такого, въ чемъ онъ былъ неповиненъ и отъ чего онъ самъ въ концѣ концовъ бы отказался. Идеи Канта, перенесенныя такимъ образомъ черезъ руки непритомленныхъ популяризаторовъ, падали на дѣйствительную почву молодого ума и, смѣшиваясь съ идеями съ тирадами изъ проповѣдей и съ идеями изъ библіи, производили совершенный хаосъ, изъ котораго врядъ-ли могло выдѣлаться что-либо путное.

Шенгеръ былъ очень любознательный, но онъ могъ быть даже уменъ отъ природы, впечатлѣнія, налетѣвшія на него съ разныхъ сторонъ въ Кенигсбергѣ, были такого рода, что его голова не могла переработать ихъ благополучно. Не имѣя никакихъ фактическихъ знаній, онъ сталъ задумываться о сущности вещей, о добрѣ и злѣ, о назначеніи человѣка, о безсмертіи души. Свою мучительную неуверенность, тревожную жажду своего учителя, онъ принималъ за доказательство, что онъ не можетъ дѣйствовать высшія силы, что онъ долженъ учить и спасать другихъ, и что для этого онъ долженъ прежде всего заняться изученіемъ духовныхъ очей его всѣ завѣсы и открыть имъ на всю жизнь въ то всеоружіе истинны, которымъ онъ будетъ покорять умы и сердца людей.

Окончательно бросивъ свое ремесло, Шёнгерръ поступилъ въ школу для бѣдныхъ, гдѣ воспитанниковъ нѣтъ учили даромъ, но и кормили. Учебники его конечно не удовлетворяли. Чтѣ общаго могли имѣть правила нѣмецкой грамматики или теоремы элементарной геометріи съ вопросами о сущности вещей и о загробной жизни человѣка? Шёнгерръ пробовалъ читать теологическіе трактаты, но при его кругломъ невѣжествѣ справляться съ ними было невозможно; онъ ихъ бросилъ, рѣшивъ про себя, что вся теологія сводится на пустую игру словами.

Доживъ до двадцати одного года и окончательно попортивъ свой умъ изнурительными и безплодными попытками сразу угадать смыслъ всего существующаго, Шёнгерръ сталъ ходить въ университетъ на лекціи философіи. Тамъ онъ по своему обыкновенію ничего не понималъ и также по своему обыкновенію скоро рѣшилъ, что нечего и понимать. Забравъ всю кенігсбергскую мудрость и ученость, онъ пошелъ пѣшкомъ искать себѣ умственного просвѣтленія въ другихъ университетскихъ городахъ сѣверной Германіи, и также ничего не нашелъ. Вездѣ онъ хотѣлъ начинать съ конца, вездѣ хотѣлъ, ничему не учившись, сразу узнать все, и преимущественно то, чего не знаетъ ни одинъ ученый въ мірѣ. Фокусъ этотъ нигдѣ ему не удавался, и Шёнгерръ, подъ вліяніемъ этихъ разочарований, все глубже и глубже проникался тѣмъ убѣжденіемъ, что непремѣнно надо найти и возвѣстить людямъ неизвѣстную имъ истину.

Во время своихъ скитаній, сидя однажды на берегу пруда и глядя на водяныя растенія, Шёнгерръ вдругъ попалъ на то великое открытіе, за которымъ до сихъ поръ безуспѣшно бѣгали по Германіи. Онъ мгновенно сообразилъ, что вода и свѣтъ составляютъ основныя начала всего существующаго, что вода—женскій принципъ, а свѣтъ—мужской, и что эти два первичныя вещества, связанные между собою узами вѣчнаго и необходимаго брака, достаточны для объясненія всего міроздавія. Это открытіе было такъ неожиданно и показалось Шёнгерру въ такой степени великимъ и замѣчательнымъ, что онъ приписалъ его внушенію свыше. Это внушеніе, какъ онъ думалъ, было сдѣлано для того, чтобы приготовить міръ ко второму пришествію Спасителя. А такъ-какъ это внушеніе было сдѣлано именно ему, Шёнгерру, то онъ принялъ себя за избранное орудіе этого приготовленія и объявилъ себя Параклетомъ, явившимся во плоти.

Что круглый невѣжда, одаренный пылкимъ воображеніемъ, сочинилъ нелѣпую теорію міра, что онъ самъ увѣровалъ въ эту теорію со всей слѣпой страстностью нетронутого невѣжества, что онъ даже помѣшался на своей теоріи и въ припадкѣ помѣшательства объявилъ самого

себя Богомъ—въ этомъ нѣтъ ничего особенно удивительнаго и замѣчательнаго: невѣжды часто создаютъ нелѣпыя теоріи, люди часто скопировать сума, и выдумки сумасшедшихъ обыкновенно бываютъ въ высшей степени нескладны. Но удивительно и замѣчательно то, что, вооружившись своимъ безуміемъ, Шёнгерръ пошелъ проповѣдывать по городамъ и селамъ, и что проповѣдь его, въ вѣкъ Вольтера и Руссо, на родинѣ Канта и Гёте, Лессинга, Шиллера и Фихте, не осталась безплодной.

Правда, что одинъ деревенскій пасторъ, которому Шёнгерръ грозилъ немедленной смертью, если онъ не повѣритъ тотчасъ въ теорію воды и свѣта, сбросилъ съ лѣстницы непрощеннаго гостя; правда, что въ Лейпцигѣ одинъ доброжелатель параклета изъ челоѣколюбія пристроилъ его въ мѣстной психіатрической лечебницѣ, въ которой Шёнгерръ, рѣшившись поститься сорокъ дней, чуть не уморилъ себя голодомъ. Но правда и то, что у него были вѣрующіе ученики и преданные поклонники. Одинъ изъ этихъ учениковъ спасъ его въ лечебницѣ отъ голодной смерти, подавъ ему ту мысль, что всѣ святые пророки ѣли медъ, и что онъ, Шёнгерръ, не нарушая своего поста, можетъ поддерживать свои силы этой небесной манной.

Ученикамъ удалось освободить его изъ сумасшедшаго дома. Онъ отправился въ Кенігсбергъ. Тамъ о немъ уже слышали, и носившіеся слухи были на столько привлекательны, что, какъ только онъ появился, къ нему примкнули и въ него увѣровали трое молодыхъ теологовъ: Вильгельмъ Эбель, Германъ Ольсгаузенъ и Гейнрихъ Дистель.

Изъ своей теоріи воды и свѣта Шёнгерръ вывелъ какимъ-то образомъ то ученіе, что теперь время плотской любви прошло, и что въ обществѣ, обновленномъ вѣрою въ параклета, возможна только любовь духовная. Именно это ученіе повидимому и привлекло къ нему молодыхъ теологовъ.

Вильгельмъ Эбель, блестящій молодой челоѣкъ, отлично кончившій курсъ въ университетѣ, занималъ видное мѣсто при одной изъ главныхъ кенігсбергскихъ церквей. Уже бывши студентомъ, онъ съ успѣхомъ давалъ уроки закона божія въ знатныхъ домахъ и въ модныхъ женскихъ пансіонахъ. Приобрѣтенныя такимъ образомъ связи разрослись въ значительной степени, когда проповѣди Эбеля стали привлекать въ альтштадтскую церковь всѣхъ набожныхъ кенігсбергскихъ аристократовъ обоого пола и всякаго возраста. Эбель сдѣлался любимцемъ мѣстной знати; онъ могъ рассчитывать на самую блестящую карьеру; онъ обнаруживалъ желаніе и умѣнье воспользоваться всѣми выгодами своего положенія; и однакоже, когда въ Кенігсбергѣ явился полоумный нищій, параклетъ Шёнгерръ, начитанный, даровитый и остроумный Эбель призналъ его своимъ учите-

лемъ и познакомили съ нимъ двоихъ изъ своихъ знатныхъ друзей, графа Каница и фрейлейнъ Минну фонъ-Дершау.

Шёнгерръ роздалъ всѣмъ своимъ новымъ adeptамъ имена, взятые изъ апокалипсиса. Эбеля онъ назвалъ первымъ свидѣлемъ; Каница—ангеломъ; Минну фонъ-Дершау—невѣстою агнца; Дистеля—сломителемъ седьмой печати.

Благодаря своимъ новымъ знакомствамъ, Шёнгерръ могъ безпрепятственно проповѣдывать въ Кёнигсбергѣ по два раза въ недѣлю. Нѣкоторые изъ своихъ проповѣдей онъ произносилъ въ полночь; гдѣ именно онъ проповѣдывалъ—этого Диксонъ намъ не сообщаетъ; впрочемъ вопросъ о мѣстѣ имѣетъ мало вліянія на сущность дѣла; во всякомъ случаѣ проповѣди его собирали вокругъ него толпу слушателей и производили сильное впечатлѣніе. Онъ самъ любилъ обращаться преимущественно къ низшимъ и бѣднѣйшимъ классамъ кёнигсбергскаго населенія; лодочники съ Прегеля, разные городскіе работники и крестьяне изъ подгородныхъ фермъ слушали его рассказы о приближеніи страшнаго суда съ простодушнымъ благоговѣніемъ, которое не мѣшало имъ пить дешевое пиво и покуривать трубки.

Въ 1809 году Эбель объявилъ публично, что онъ вѣруетъ въ ученіе Шёнгерра о двойственномъ началѣ всего существующаго. Духовному начальству не понравилось это объявленіе; были сдѣланы попытки взвести на Эбеля и Шёнгерра обвиненія въ ереси; были поданы доносы мѣстному архіепископу Боровскому; были приложены старанія повести Эбеля подъ судъ и выгнать Шёнгерра изъ Кёнигсберга; но всѣ эти усилія остались безплодными. Боровскій нашелъ, что Шёнгерръ безвредный энтузіастъ, котораго не стоитъ притѣснять; а нѣкоторые духовныя лица, ознакомившись съ космогоническими идеями Шёнгерра, пришли даже къ тому убѣжденію, что онъ гораздо ближе подходитъ къ библейской истинѣ, чѣмъ тѣ умствованія, которыя распространяетъ въ обществѣ испорченная и нечестивая свѣтская наука.

Связь Эбеля съ Шёнгерромъ не была порождена мимолетной вспышкой молодого увлеченія. Эта связь продолжалась нѣсколько лѣтъ, и съ годами повидимому крѣпла, вмѣсто того чтобы ослабѣвать. Въ 1816 году Эбель, которому тогда было тридцать два года и который по прежнему стоялъ на хорошей дорогѣ къ почестямъ и къ богатству, проникся такой неудержимой миссіонерской ревностью, что рѣшился принять на себя роль странствующаго проповѣдника, рискуя потерять все то, что онъ уже приобрѣлъ, и все то, на что онъ могъ надѣяться въ будущемъ. Вѣстѣ съ своимъ учителемъ и съ однимъ новообращеннымъ ремесленникомъ онъ отправился изъ Кёнигсберга

нѣшкомъ, съ котомкой за плечами, съ чашею въ рукѣ, возвѣщать людямъ догматы новаго ученія. Питаясь милостыней, путники ходили въ Берлинѣ, въ Дрезденѣ, въ Бреслау. Успѣхъ ихъ проповѣди былъ не великъ. Иходя черезъ Силезію, они нашли себѣ прѣдъ въ замкѣ графини фонъ-дербъ-Гребенъ, пролегли подъ ея гостепріимной кровлей нѣсколько недѣль и въ лицѣ владѣтельницы замка приобрѣли себѣ ревностную послѣдовательницу, обнаружившую самое рѣшительное мнѣніе о дальнѣйшую судьбу ихъ возникающей секты.

Графиня Ида фонъ-дербъ-Гребенъ была младшей дочерью фонъ-Ауэрсвальда, обер-тридента провинціи восточной Пруссіи. Одаренная рѣдкой красотой, получивъ блестящее свѣтское воспитаніе, впечатлительная, откровенная, нервно-раздражительная, легко увлекающаяся и смѣло отдающаяся тому, что увлекало Ида фонъ-Ауэрсвальдъ свезла съ собою всѣхъ молодыхъ аристократовъ и богачей восточной Пруссіи. Потомъ вышла замкомъ въ страстной любви за молодого графа фонъ-дербъ-Гребенъ и уѣхала съ нимъ изъ Кёнигсберга, гдѣ царилъ ея отецъ, въ силезское лѣсное имѣніе. Супруги были счастливы, но въ 1813 году началась война за освобожденіе Германіи. Ида отправила мужа въ дѣйствующую армію, и онъ убили въ сраженіи при Люценѣ. Молодая вдова вся отдалась своему горю; она не отказывалась отъ утѣшеній; но просьбѣ отца и родныхъ она переехала въ Кёнигсбергъ и попрежнему даже появлялась въ обществѣ, въ которомъ она недавно гордо и весело занимала первое мѣсто. Но утѣшенія на нее не дѣйствовали; свѣтскія развлеченія были ей невыносимы; въ людскомъ обществѣ ей было еще тяжелѣе, чѣмъ наединѣ съ своимъ горемъ и своими воспоминаніями. Послѣ напрасныхъ усилій утѣшиться, разсѣять и ободрить ее, родные и друзья оставили ее въ покоѣ; она уѣхала къ себѣ въ Силезію и прожила безвыѣздно три года въ томъ замкѣ, въ которомъ прошло счастливое время ея замужества.

Эту неутѣшную молодую вдову посѣтилъ и ея уединеніи Шёнгерръ и Эбель. Вслушиваясь въ ихъ горячія рѣчи, вглядываясь въ ихъ оживленные, красивые лица, любуясь блескомъ ихъ огненныхъ глазъ, графиня Ида почувствовала, что она оживаетъ, что она молода и полна силъ, что въ ея жизни еще можетъ быть счастье и интересъ, и что впереди стоитъ великая дѣла, во имя которой надо подняться на ноги, обратиться съ духомъ и воротиться въ общество живыхъ людей. У впечатлительныхъ женщинъ и вообще у художественныхъ натуръ, къ числу которыхъ принадлежала безъ сомнѣнія графиня Ида, личность проповѣдника служитъ обыкновенно самымъ вѣрнымъ ручательствомъ за достоинство проповѣди. Увлекаемая эффектной ин-

ностью, такіа художественныя натуры обыкновенно воображаютъ себя и бываютъ непоколебимо увѣрены въ томъ, что ихъ фанатизируетъ идея.

Графиня Ида полюбила Эбеля, и любовь ея облеклась въ ту форму, въ которой она могла найти себѣ радушный пріемъ въ сердцѣ неутѣшной вдовы, упорно продолжавшей увѣрять себя въ томъ, что личное счастье для нея уже невозможно. Графиня Ида увѣровала въ теорію воды и свѣта, проклала вмѣстѣ съ Шенгерромъ и Эбелемъ грѣховныя и низкія наслажденія плотской любви, рѣшилась посвятить всю свою жизнь, всѣ свои силы, все свое состояніе миссіонерскимъ подвигамъ и переехала вмѣстѣ съ Эбелемъ и Шенгерромъ изъ тихаго силезскаго помѣстья въ Кѣнигсбергъ, къ отцу.

Переворотъ, произведенный вліяніемъ Эбеля въ жизни графини Иды, доставилъ молодому проповѣднику почти репутацію чудотворца, и доставилъ ее именно въ тѣхъ высшихъ кружкахъ кѣнигсбергскаго общества, которые всего сильнѣе могли содѣйствовать его повышенію. Ауэрсвальдъ говорилъ, что Эбель воскресилъ и возвратилъ ему его любимую дочь; родные и друзья молодой графини и ея покойнаго мужа разнесли славу воскресителя по всей провинціи; всѣ женщины съ разбитыми сердцахъ наперерывъ другъ передъ другомъ стали тѣсниться вокругъ благочестиваго и прекраснаго пастыря, исцѣляющаго всѣ душевныя раны своей живительной бесѣдой; всѣ набожные аристократы восточной Пруссіи, графы фонъ-Каницъ, фонъ-Финкенштейнъ, фонъ-Мюнховъ искали случая сдѣлаться полезными новому свѣтилу, появившемуся въ Кѣнигсбергѣ. Эбель сдѣлался дорогимъ гостемъ и своимъ человѣкомъ во всѣхъ знатнѣйшихъ домахъ города, и рекомендація Ауэрсвальда скоро доставила ему санъ сначала діакона, потомъ архидіакона въ альтштадтской церкви.

Сближеніе Эбеля съ графиней фонъ-деръ-Гребенъ и его быстрое возвышеніе понемногу ослабляло его связь съ Шенгерромъ, который, къ великому неудовольствію новыхъ знатныхъ своихъ поклонниковъ, продолжалъ вести нищенскую жизнь, одѣваться грязно, таскаться по базарамъ и харчевнямъ и вербовать себѣ послѣдователей среди чернорабочихъ и оборванцевъ. На старости лѣтъ онъ влюбился въ Минну фонъ-Дершау — нареченную невесту агица — и предложилъ ей сдѣлаться его женой, съ тѣмъ однакоже, чтобы любовь ихъ была исключительно духовная. Минна приняла его предложеніе и согласилась на всѣ условія; ея вѣра не знала сомнѣній и не смущалась ни преніяствіями, ни нецѣлостіями. Какимъ образомъ Шенгерръ предполагалъ воспользоваться ея согласіемъ, какой церемоніей должно было

ознаменоваться заключеніе духовнаго брака, и по какому плану сложилась бы жизнь супруговъ — это все остается намъ неизвѣстнымъ, потому что друзья невесты успѣли помѣшать этому браку, отвлекли Минну отъ Шенгерра и перетянули ее въ болѣе аристократическій и повидимому менѣе сумасбродный кружокъ, начавшій въ это время группироваться около Эбеля. Самъ Шенгерръ также измѣнилъ свои намѣренія насчетъ Минны и объявилъ своимъ послѣдователямъ, что предложенный бракъ отменяется по приказанію свыше.

Вмѣстѣ съ Минною фонъ-Дершау, отъ Шенгерра отдѣлился графъ фонъ-Каницъ; ихъ примѣру послѣдовалъ Дистель. Разрывъ между Эбелемъ и Шенгерромъ былъ произведенъ преимущественно вліяніемъ графини Иды; причиною его были не какія либо догматическія разногласія, а только различія во вкусахъ, привычкахъ и пріемахъ. Патриціи отдѣлились отъ плебеевъ; блестящіе салоны порвали духовную связь съ рынками и кабаками.

Въ своихъ послѣднихъ совѣщаніяхъ съ своимъ бывшимъ учителемъ, Эбель старался обратить его вниманіе на политическія неудобства такой проповѣди, которая, обращаясь къ низшимъ классамъ общества, волнуетъ ихъ неразвитые умы извѣстіями о приближающемся днѣ свѣтопреставленія и страшнаго суда. Но Шенгерръ всегда былъ и остался до послѣдней минуты своей жизни совершенно искреннимъ фанатикомъ. Политическія соображенія были ему неизвѣстны. До практическихъ послѣдствій его проповѣди ему не было никакого дѣла. Онъ считалъ свои идеи безусловно истинными, и хотѣлъ во что бы то ни стало дѣлиться ими съ народомъ, съ которымъ онъ чувствовалъ себя неразрывно связаннымъ теченіемъ всей своей тяжелой нищенской жизни. Онъ съ презрѣніемъ оттолкнулъ отъ себя свѣтскую мудрость Эбеля и прервалъ съ нимъ всякія сношенія. Впослѣдствіи, когда Шенгерръ, по своему обыкновенію, очень нуждался, Эбель не разъ помогалъ ему деньгами, присылая ихъ отъ неизвѣстнаго, но Шенгерръ до конца своей жизни не хотѣлъ принимать къ себѣ своего бывшего ученика.

Въ послѣдніе свои годы Шенгерръ, неимѣвшій никакого понятія о морской архитектурѣ, задумалъ построить на Прегелѣ корабль невиданной формы и неслыханныхъ достоинствъ; планъ и всѣ размѣры этого корабля были внушены ему свыше во время сна; онъ долженъ былъ называться «Лебедемъ», строиться силою вѣтры, двигающей горы, плавать противъ вѣтра и теченія, двигаться безъ помощи парусовъ, веселъ и какой бы то ни было земной силы, и превосходить своей быстротой самые проворные клипера Балтійскаго моря. Не имѣя гроша денегъ въ карманѣ, Шенгерръ нашелъ возмож-

ность выстроить свой корабль. Вѣрующіе купцы дали ему строевой лѣсъ; вѣрующіе плотники для спасенія своей души стали работать по его указаніямъ. Ковчегъ оснастили и спустили на воду; онъ сейчасъ же пошелъ ко дну и затонулъ въ грязи.

До конца своей жизни Шенгерръ утверждалъ, что онъ никогда не умретъ, потому что онъ разъ уже умеръ и родился вновь. Съ этими словами на губахъ онъ скончался въ Юдиттентѣ, возлѣ Кёнигсберга, пятидесяти-пяти лѣтъ отъ роду.

II.

Эбель былъ повидимому одинъ изъ тѣхъ людей, которые должны постоянно почерпнать извнѣ большую часть своей энергіи и постоянно находиться подъ чьимъ нибудь преобладающимъ вліяніемъ. Изъ-подъ вліянія Шенгерра онъ перешелъ всецѣло подъ вліяніе красавицы графини фонъ деръ-Гребенъ, которая, чувствуя и обнаруживая въ отношеніи къ нему самое подобострастное обожаніе, сдѣла въ некоторомъ образѣ у его ногъ и собирая, какъ манну небесную, всѣ поучительныя слова, исходящія изъ его устъ, въ то же время повернула по своему всю его жизнь и дѣятельность, подчинила его своему господству и наложила печать своихъ личныхъ вкусовъ и стремленій на всѣ особенности, привычки и приемы того благочестиваго кружка, который сгруппировался вокругъ молодого архидіакона модной альтадтской церкви.

Три блестящія красавицы, Ида фонъ-деръ-Гребенъ, Минна фонъ-Дершау и Эмилиа фонъ-Шрёттеръ составили изъ себя, подъ предводительствомъ и по инициативѣ Иды, верховный комитетъ, который долженъ былъ наблюдать за нравственностью всѣхъ членовъ кружка и заботливо охранять обожимаго архидіакона отъ всякой напасти, отъ всякаго огорченія, отъ всякаго жесткаго столкновенія съ людскою испорченностью и вообще отъ всего, что такъ или иначе могло возмутить спокойствіе его прекрасной души. Тотъ человѣкъ, который былъ способенъ препоясать чресла веріемъ и отправиться въ путь вслѣдъ за нищимъ фанатикомъ для распространенія новыхъ истинъ по всей Германіи, незамѣтно для самого себя и безропотно отдался въ руки бдительному комитету, составленному изъ прекрасныхъ и аристократически-извѣженныхъ мечтательницъ. Дѣятельная пропаганда немедленно прекратилась. Судьба бѣднаго человечества, коснѣющаго въ безднѣ заблужденій и совершенно незнакомаго съ теоріей воды и свѣта и со всѣми ея практическими послѣдствіями, упущена изъ виду, оставлена безъ вниманія или по крайней-мѣрѣ отодвинута на самый задній планъ. Заботы о

спасеніи душъ и о процвѣтаніи новой дотри совершенно уступили свое мѣсто старымъ покаянію и лелѣянью архидіакона.

Эбель сознавалъ въ себѣ, какъ вредную, стыдную слабость, излишнюю наклонность къ ревню, излишнюю скромность въ мнѣніи о себѣ, слишкомъ сильное стремленіе и слишкомъ стыдливо склонять голову передъ каждымъ и тожитѣйшимъ человѣкомъ. По всей вѣроятности, графиня Ида подала ему мысль о томъ, что въ немъ существуетъ эта особенность, что она составляетъ недостатокъ. Та же Ида, вѣдѣвшая съ своими сотрудницами взяла на себя обязанность оберегать архидіакона отъ всѣхъ слабости и успѣла въ своемъ предпріятіи, окруживъ Эбеля со всѣхъ сторонъ атмосферою самой страстной, нѣжной и покорной любви. Чувствуя себя любимымъ, Эбель могъ чувствовать себя достаточно сильнымъ и гордымъ.

Женское вліяніе преобладало въ жизни Эбеля и давало себя чувствовать въ тѣхъ требованіяхъ, которыя ставились адептамъ. Въ обществѣ аристократокъ считалось дурнымъ тономъ, изгонялось изъ новой церкви и клеймилось именемъ грѣха. Мужчинамъ запрещалось, напримѣръ, курить и нюхать табакъ, пить вино и пить мірскія пѣсви. Все, что отзывалось разгульнымъ буржесскимъ элитизмомъ, подвергалось строгому преслѣдованію.

Женщины приняла на себя въ новыя обязанности духовниковъ и обнаружили удивительную виртуозность въ дѣлѣ вычитыванія и выслѣживанія предосудительныхъ поступковъ, легкомысленныхъ словъ и даже грѣховныхъ помысловъ. Онѣ выворачивали и изнанку душу кающагося, зондировали всѣ закоулки его совѣсти и съ особенной чуткостью выдѣлывали и прослѣживали всѣ психическія движенія, находившіяся въ какой-бы то ни было связи съ неопозволительной плотской любовью.

Искусство этихъ сыщиковъ и инквизиторовъ женскаго пола развивало въ нихъ настоятельно умѣніе хитрить, лукавить, лицемерить и прикрывать самыя обыкновенныя свои поступки цѣлыми замысловатыми построениями эшафодажами софизмовъ.

Заботы о нравственности Генриха Дистеля лежали на Миннѣ фонъ-Дершау. Дистель былъ грубый и неотесанный буршъ, человѣкъ самаго дурного тона, весь заросшій бурьяномъ и чертополохомъ самыхъ непривлекательныхъ пороковъ. Полотье этой грязной души доставляло нѣжной и утонченно-чувствительной баринѣ много неприятныхъ хлопотъ. Дистель нюхалъ табакъ, и нюхалъ его неоправданнымъ образомъ. Дистель пилъ и кутилъ, Дистель не отказывался отъ грубыхъ наслажденій плотской любви, и когда фрейлейнъ фонъ-Дершау выговаривала ему за его предосудительное поведеніе,

ссылался на священный авторитетъ Лю-, которому, какъ извѣстно, приписывается ющее легкомысленное двустипіе:

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Lebenlang.

кто не любитъ вина, женщинъ и пѣсень, на всю жизнь останется дуракомъ).

Юханне табаку Дистель ставилъ себѣ даже заслугу. Онъ говорилъ, что юханнемъ смирить свою гордость. Въ обыкновенное время имѣя въ виду свое высокое апокалиптическое призваніе, свой санъ сломителя сѣдъ печати, расположенъ ставить себя выше льного человѣчества. Тогда онъ беретъ въ табакерку, и, открывая ее, начинаетъ ствовать себя слабымъ смертнымъ. Затѣмъ, онъ чихаетъ, душа его склоняется въ сть, подавленная сознаниемъ своей немощи. Духовная наставница Дистеля не удовольвалась этими резонами, не обнаруживала какого уваженія къ веселому двустипію Лю- и требовала исправленія. Дистель каялся, щаль исправиться, и потомъ, идя домой, упалъ себѣ новый запасъ вещества, воздающаго чиханіе и смиряющаго человѣче- о гордость.

Всѣ послѣдователи Эбеля должны были ве- чистую и цѣломудренную жизнь; всѣ долж- бы считать себя братьями и сестрами, ить другъ друга святой любовью и обмѣ- аться между собою такъ-называемымъ сера- овскимъ поцѣлуемъ; вступать въ бракъ и изводить дѣтей считалось позорной сла- гью; женатымъ людямъ, поступившимъ въ ую церковь, вѣнялось въ обязанность ве- себя такъ, какъ будто они не были свя- ы между собой узами брака; въ настоящей кви святыхъ дѣйствіе естественныхъ зако- ь было приостановлено: никто не долженъ ь въ ней ни рождаться, ни умирать.

Иудейскія стремленія новой церкви были ого-монархическія, и не только консерватив- ы, но даже въ значительной степени ретро- дныя. Симпатія графини фонъ-дёръ-Гребенъ и сподвижницъ принадлежали тому време- когда феодализмъ находился въ полномъ ту. Аристократическія тенденціи эбелянъ одились въ вопіющемъ разладѣ съ однимъ ь основныхъ пунктовъ ихъ доктрины, имен- ь тѣмъ ученіемъ, что конецъ міра близокъ, то день страшнаго суда наступитъ скоро. виду такого событія, которое должно было чтожить всѣ общественныя неравенства, вратить всѣхъ людей въ подсудимыхъ и по- вить послѣдняго пастуха на одну доску съ идрихомъ-Вильгельмомъ III, сословная чо- ность и привязанность къ искусственно-со- ннымъ перегородкамъ оказывались жалкимъ ьезмысленнымъ анахронизмомъ. Но ни Эбель,

ни графиня Ида, ни другіе его ученики не отли- чались способностью къ логичному мышленію, не смущались внутренними противорѣчіями и располагали свою жизнь по своимъ привычкамъ, по прирожденнымъ и привитымъ инстинктамъ, по внушеніямъ капризнаго и разнузданнаго воображенія, нисколько не стѣсняясь требо- ваніями той вѣрной или невѣрной идеи, кото- рая лежала въ основѣ ихъ міросозерцанія. Эбе- лю правилось общество высокороденныхъ особъ, и онъ говорилъ самъ совершенно чисто- сердечно, что прокладываетъ въ области рели- гіознаго мышленія дорогу, приспособленную для ногъ графовъ и графинь.

Взявъ для построенія своей церкви чисто-ари- стократическіе элементы, Эбель, вѣроятно по внушенію графини Иды и слѣдуя при этомъ есте- ственному увлеченію знатныхъ господъ къ чинамъ, почестямъ и отличіямъ, соорудилъ такое іерар- хическое зданіе, въ которомъ было множество степеней, возвышающихся одна надъ другою. Самъ Эбель былъ центромъ и главой малень- каго теократическаго государства. Комитетъ трехъ красавицъ составлялъ его государствен- ный совѣтъ; ниже стоялъ болѣе обширный кру- жокъ, членами котораго были графиня фонъ- Финкенштейнъ, Эрнестина фонъ-Барделебенъ, старшая сестра графини Иды, фрейлейнъ Ма- рія Консенціусъ, фрейлейнъ фонъ-Ларинъ и другія. Изъ мужчинъ ближе всѣхъ къ Эбелю стоялъ Дистель, потому что въ чистой теокра- тіи духовенству должно принадлежать первое мѣсто, а Дистель, при всѣхъ своихъ порокахъ, былъ все-таки пасторомъ габербергской церкви. Затѣмъ слѣдовалъ молодой графъ Каницъ, эн- тузіастъ, обожавшій Эбеля и стремившійся только къ тому, чтобы быть его наперсникомъ. Далѣе стоялъ кружокъ первостепенныхъ ма- гнатовъ, которые, подобно графамъ Финкен- штейну и Мюнхову, своимъ вѣсомъ и вліяніемъ превращали новую церковь въ замѣтную об- щественную силу. Ниже шли дворяне менѣе знатные и вліятельные; потомъ ученые, кото- рыхъ однако было очень немного; потомъ судьи, офицеры, чиновники, внизъ до бѣдныхъ поно- жарей и церковныхъ сторожей, которые, под- метая полъ и протапливая печи въ альташтадт- скомъ святилищѣ, имѣли, при всей скромности своего общественнаго положенія, нѣкоторое право пользоваться крупницами истины, надав- шими со стола важныхъ господъ.

Когда богатый и знатный человѣкъ даетъ балъ, тогда ему незачѣмъ бѣгать по городу и упрашивать танцоровъ, чтобы они почтили его праздникъ своимъ присутствіемъ; ему стоитъ только разослать пригласительные билеты; онъ можетъ быть увѣренъ, что число желающихъ появиться въ его домѣ, посмотрѣть лю- дей и показать себя, значительно превыситъ то число, которое онъ желаетъ у себя принять,

Эбеля, какъ глава модной церкви, находился именно въ положеніи такого богатаго и знатнаго хозяина; ему нечуждо было улавливать людей сътами убѣдительною проповѣди и заманивать ихъ въ лоно церкви обольстительными обѣщаніями; люди сами бѣжали къ нему и упрасивали, чтобы ихъ уловили и пристроили къ такой компаніи, которая могла доставить своимъ знакомымъ и единомышленникамъ множество житейскихъ выгодъ и всевозможныя мелкія удовлетворенія личнаго самолюбія.

Такимъ образомъ, въ числѣ многихъ другихъ, прибѣжалъ къ архидіакону и заставлялъ себя уловить молодой, гибкій и остроумный еврей, Лудвигъ-Вильгельмъ Саксъ. Отлично кончивъ курсъ по медицинскому факультету, обладая основательными и обширными научными свѣдѣніями, сознавая въ себѣ присутствіе свѣтлыхъ умственныхъ способностей, неутомимаго трудолюбія и увлекательнаго дара слова, Саксъ стремился къ профессорской кафедрѣ, на которой онъ дѣйствительно могъ принести наукѣ и обществу самую существенную пользу. Но, по тогдашнимъ прусскимъ законамъ, еврей не могъ сдѣлаться профессоромъ. При встрѣчѣ съ препятствіями, люди, подобные Саксу, умѣютъ сгибаться и протискиваться подъ ними, если нельзя ихъ сдвинуть съ мѣста.

«Человѣкъ безъ религіознаго чувства—говоритъ Диксонъ—почти безъ малѣйшаго проблеска нравственной мягкости—существо все изъ мозга и нервовъ, холодное по природѣ, быстро соображающее ѣдкое, насмѣшливое и угрюмое, онъ смотрѣлъ кругомъ себя и снималъ мѣрку съ тѣхъ людей, съ которыми ему приходилось имѣть дѣло. Въ медицинскомъ обществѣ Кёнигсберга, гдѣ боялись его языка и цѣнили его дарованія, онъ возвысился на столько, насколько это было возможно для еврея—онъ дошелъ до степени доктора. Если онъ желалъ подняться еще выше, онъ долженъ былъ отречься отъ своихъ отцовъ и измѣнить своему вѣроисповѣданію. Въ свои позднѣйшіе годы профессоръ Саксъ былъ извѣстенъ подъ именемъ Мефистофеля и вполне заслуживалъ это прозваніе своимъ дерзкимъ умомъ, циническимъ языкомъ и презрѣніемъ къ религіи. Онъ смѣялся надъ святыней. Въ университетской аудиторіи онъ прерывалъ часто анатомическую демонстрацію, чтобы излить свой ядъ на какое-нибудь изреченіе священнаго писанія. Во имя науки онъ возмущался, съ ѣдкой ироніей, противъ непостижимыхъ таинствъ религіи. Въ глубинѣ души онъ считалъ священниковъ злыми врагами человѣчества, которымъ умные люди не должны давать никакой пощады. Опираясь на свидѣтельства своей медицинской практики, онъ утверждалъ, что студенты теологіи самые пропащіе изъ всѣхъ университетскихъ слушателей. Одинъ молодой человѣкъ съ

совершенно разрушеннымъ здоровьемъ бѣжалъ къ нему за совѣтомъ. «Вы студентъ теологіи?» спросилъ Саксъ, съ своей обычной усмѣшкой. «Нѣтъ, господинъ профессоръ, я вѣтилъ юноша, я юристъ». — «Такъ я бы вамъ посоветовалъ переимѣнить профессію. Изъ васъ выйдетъ отличный богословъ».

«Обсуждая жизнь этого человѣка, мы должны, по всей вѣроятности, принять въ расчетъ жертвы, которыя дурной законъ принудилъ его привести, прежде чѣмъ онъ могъ развить свои дарованія въ качествѣ преподавателя анатоміи».

«Въ Пруссіи министерство народнаго просвѣщенія заведуетъ всѣми дѣлами въ церквахъ и всѣми дѣлами въ коллегіяхъ; и такимъ образомъ оказалось, что та власть въ Берлинѣ, которая сдѣлала Эбеля архидіакonomъ, могла сдѣлать Сакса профессоромъ. Какъ было Саксу добраться до барона фонъ-Альтенштейна, который тогда былъ министромъ въ Берлинѣ? Черезъ фонъ-Ауэрсвальда, обер-президента въ Кёнигсбергѣ. Но Саксъ не былъ знакомъ въ замкѣ. Это было не трудно уладить. Развѣ-жъ онъ не слыхалъ, что графиня Ида управляетъ своимъ отцомъ? Развѣ-жъ не шептали, даже въ Гроссъ-Глогау, что архидіаконъ былъ всѣмъ на свѣтѣ для графини Иды? Слѣдовательно, еслибы Саксу удалось овладѣть архидіакonomомъ, то не отыскалъ-ли бы онъ, Саксъ, одинъ конецъ цѣпи, другой конецъ которой лежалъ въ Берлинѣ, въ кабинетѣ министра фонъ-Альтенштейна, гдѣ говорится и дѣлается то, чѣмъ составляются человѣческія карьеры? Разумѣется, онъ зналъ, что прежде всего онъ долженъ быть рекомендованъ факультетомъ, и онъ вполне могъ рассчитывать, что эта справедливость будетъ ему оказана; но, какъ человѣкъ свѣтскій, онъ зналъ, что научныя услуги не всегда достаточны для полученія награды. Доброе слово со стороны обер-президента придало-бы значительный вѣсъ его достоинствамъ въ глазахъ занятаго министра въ Берлинѣ. Юный еврей составилъ себѣ, такъ сказать, прейсъ-курантъ. Дорого-ли онъ стоилъ? Главное дѣло, велика-ли была его цѣна въ глазахъ Эбеля? Онъ, Саксъ, былъ извѣстенъ, какъ еврей. Это составляло главный пунктъ въ его разсчетѣ. Безвѣстный обращенный имѣлъ въ какую-нибудь цѣнность; а за обращеніе извѣстнаго человѣка стоитъ заплатить хорошаго куша. Стоитъ-ли за него, Сакса, дать мѣсто? Можетъ-ли онъ продать Моисея и пророковъ за профессорскую кафедру?

«Имѣя циническій умъ, а также жену и дѣтей, онъ пошелъ къ архидіакону Эбелю, выслушалъ съ глубокимъ вниманіемъ его исторію свѣтѣ и водѣ и затѣмъ предложилъ себя, имѣлъ въ мадамъ Саксъ и съ своимъ мазолѣннымъ сыномъ, для немедленнаго крещенія».

Обрядъ скоро совершился; Мефистофель сдѣлался членомъ альтштадтской церкви и затѣмъ, въ видѣ награды за свое преусииваніе въ благочестіи, Саксъ получилъ, по ходатайству графини Иды, мѣсто профессора медицины въ университетѣ.

«Саксъ по виду былъ очень милымъ юношей; каковъ онъ былъ при ближайшемъ знакомствѣ — этого Эбель еще не зналъ. Глядя на это нѣжное, какъ-бы дѣвическое лицо, архидіаконъ, недавно шалившій тайной половъ въ природѣ, вообразилъ себѣ, что видитъ въ немъ скорѣе отраженіе воды, чѣмъ свѣта. Эта фантазія поправилась архидіакону; онъ въ это время предавался той мечтѣ, что полъ, быть можетъ, не установившійся и законченный фактъ, а только фаза въ развитіи. Саксъ, говорятъ, поразилъ архидіакона, какъ существо женско-мужское, какъ мужчину, въ которомъ соединились оба основныя начала его вѣры; Эбель сталъ очень дорожить Саксомъ, и Саксъ также очень дорожилъ Эбелемъ».

III.

Саксъ въ одномъ мемуарѣ, подъ заглавіемъ: «Изображеніе містическихъ происковъ въ Кенигсбергѣ», рисуетъ слѣдующими яркими красками отношенія графини Иды къ архидіакону:

«Эта женщина, эта поистинѣ благородная натура все увидала въ Эбелѣ, все нашла и получила, къ чему она только могла стремиться; онъ — ея возлюбленный, ея мужъ, ея спаситель, даже — что ни при какихъ другихъ условіяхъ не было-бы возможно — онъ ея богъ; онъ — ея содержаніе на землѣ и на небѣ; служить ему во времени и въ вѣчности — это для нея свобода; чтобы принести ему жертву, она не подорожала-бы кровью своего сердца; ей милѣе всего отдаваться ему, всецѣло, безъ сопротивленія; теряться въ немъ совершенно — это высшее ея назначеніе; какъ могла-бы она сама себя чувствовать и находить лучше и облагороженнѣе, чѣмъ въ немъ! И если-бы Эбель ей сказалъ: «Ида, поди, воззи этому человеку кинжалъ въ сердце! — она-бы только изглянула на него, чтобы увидать, что онъ говоритъ серьезно; и еслибы она въ этомъ убѣдилась, то она-бы пошла и сдѣлала такъ; развѣ же онъ человекъ и способенъ ошибаться? Она даже сдѣлала-бы больше — больше по крайней мѣрѣ въ смыслѣ самопожертвованія; еслибы ей Эбель сказалъ: «Ида, поди, полюби этого человека и отдайся ему, какъ жена» — она и это исполнила-бы, быть можетъ со слезами, но безъ всякихъ сомнѣній и съ усерднѣйшей покорностью. Что это описаніе совершенно истинно и выражено самымъ умѣреннымъ образомъ, въ этомъ я твердо убѣжденъ, и къ этому убѣж-

денію я пришелъ путемъ самаго тщательнаго изученія этой личности.»

Но если графиня Ида по силѣ своей любви товила въ личности любимого человека, то по силѣ своего характера она была въ высшей степени способна поглотить этого человека и собою наполнить всю его жизнь. Считая и чувствуя себя его рабыней, гордая и счастливая этимъ рабствомъ, Ида не хотѣла и не могла допустить, чтобы кто-либо другой стоялъ ближе ея самой къ властелину и раздѣлялъ его съ ней. Ей была особенно опасна ея сотрудница по высшему женскому комитету, Минна фонъ-Дершау, едва уступавшая ей въ красотѣ и въ энергіи, связанная съ архидіакonomъ узами болѣе давней дружбы и быть можетъ даже превосходившая Иду восторженностью своего характера. Эта восторженность заставила ее сдѣлать открытіе, отъ котораго разумѣется не отказалась-бы Ида, но которое однако пришло въ голову не ей, не Идѣ, а именно ея опаснѣйшей соперницѣ.

Однажды Минна пришла къ Идѣ сообщить ей великую и страшную тайну. Ее, Минну, какъ внушеніе свыше, озарила мысль, что Эбель — сынъ человѣческой, тотъ, чье второе пришествіе составляетъ предметъ ихъ благоговѣйнаго ожиданія. Ида почувствовала немедленно, что это — чистая правда. Обѣ женщины съ трепетомъ благоговѣнія открыли свою тайну Каницу, какъ первому свидѣтелю. Тотъ также почувствовалъ, что это правда. Рѣшено было хранить объ этомъ открытіи глубочайшее молчаніе до той великой минуты, когда все тайное сдѣлается явнымъ и когда истина будетъ провозглашаться съ крышъ домовъ и на всѣхъ стогнахъ града. Въ особенности было положено не говорить ни слова самому Эбелю, которому раскрытіе его инкогнито раньше времени могло быть неудобнымъ. Въ ихъ обращеніи съ архидіакonomъ конечно выразилось то, что они считаютъ его божествомъ; но Эбель былъ уже до такой степени отуманенъ омиамамъ благоговѣнія, среди котораго онъ жилъ уже въ продолженіе многихъ лѣтъ, что ему мудрено было замѣтить какое-нибудь приращеніе въ количествѣ или измѣненіе въ качествѣ воскуряемаго омиама.

Великое открытіе, сдѣланное Минною, произвело сильное и продолжительное волненіе въ кругу ближайшихъ поклонниковъ архидіакона. Возникли вопросы: кто будетъ ближе всѣхъ къ божеству? Кто станетъ выше всѣхъ? Кому изъ трехъ избранныхъ женщинъ достанется санъ мистической невѣсты? Чтобы отбѣснить отъ этого сана Минну, которая своей способностью дѣлать великія открытія показала ясно, до какой степени она опасна, Ида задумала выдать ее замужъ, такъ какъ замужняя женщина очевидно не можетъ быть невѣстой агнца. Въ женихи для своей соперницы она выбрала

Каница: по рожденію онъ былъ графъ, по характеру рыцарь безъ страха и упрека, по наружности красавецъ; кромѣ того, и это главное — ему въ кругу эбеліанъ была отведена высокая мистическая должность *перво свидѣтеля*, должность, которую ему предстояло исправлять въ священную минуту второго пришествія. По всѣмъ этимъ причинамъ, онъ могъ считаться очень приличной партіей для фрейлейнъ фонъ-Дершау. Подчиняясь вліянію Иды, которой повидимому нечего было бояться никакихъ соперницъ, и которая дѣлала изъ своего властелина и бога, что хотѣла, Эбель возвѣстилъ обоимъ молодымъ людямъ волю неба и безъ труда убѣдилъ ихъ, что они созданы другъ для друга и что они оба вмѣстѣ — именно тѣ два свидѣтели, которые должны общими силами пророчествовать втеченіе тысячи двухъ сотъ шестидесяти дней. Каницъ сдѣлалъ предложеніе, и Минна обнаружила ту же безропотную покорность вѣлѣніямъ высшей силы, съ которой она, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, соглашалась сдѣлаться супругой бездомнаго фанатика Шёнгерра.

«Мѣсто Минны среди эбеліанъ, говоритъ Диксонъ, было теперь опредѣлено навсегда; во времени она была графиня фонъ-Каницъ, въ вѣчности она была *вторымъ свидѣтелемъ*, имѣвшимъ власть заперать небо и превращать воду въ кровь. Она больше никогда не могла стремиться къ тому, чтобы сдѣлаться *невестой*».

Пристроивъ свою соперницу, Ида нашла для себя удобнымъ женить самого архидіакона на доброй и простой женщинѣ, не посвященной въ тайны новой церкви и неспособной внушить ей, Идѣ, какія бы то ни было опасенія. Причины, почему Ида находила этотъ бракъ желательнымъ, не совсѣмъ отчетливо выяснены у Диксона. У него сказано просто, что жена Эбеля должна была служить точкой соединенія и сдѣлать домъ архидіакона нѣсколько болѣе открытымъ для его высокородныхъ друзей женскаго пола. Почему была нужна такая точка соединенія, и какимъ образомъ такой точкой могла служить непосвященная женщина, стоявшая отъ Эбеля несравненно далѣе той, которую надо было съ нимъ соединять — это совершенно непонятно. Далѣе трудно также сообразить, какъ могла такая смѣлая, страстно-влюбленная и ревнивая женщина, какъ графиня фонъ-деръ-Гребенъ, сама приблизить къ своему кумиру, въ качествѣ законной супруги, другую женщину, молодую и красивую, хотя и простую, приблизить только для того, чтобы въ глазахъ грѣховнаго свѣта, который она презирала, и который долженъ былъ подвергнуться скорой гибели — облагодѣлать свои частые и продолжительныя визиты въ домъ архидіакона. Какъ бы ни были удовлетворительны или недостаточны объясненія, представ-

ленные Диксономъ, во всякомъ случаѣ видно то, что Эбель женился, и что три женщины: вдова Ида фонъ-Гребенъ, законная супруга, госпожа Эбель, и дѣва Эмилія фонъ-Шрётеръ составили нѣкоторымъ образомъ духовное семейство, котораго центромъ былъ обожаемый архидіаконъ.

«Эбель, говорятъ Диксонъ, описывалъ следующимъ образомъ свои отношенія къ этимъ тремъ молодымъ женщинамъ: графиня Ида была его первой женой, изображала собою принципъ свѣта (*Lichtnatur*); Эмилія фонъ-Шрётеръ была его второй женой, изображала принципъ темноты (*Finsternissnatur*); госпожа Эбель была его третьей женой, представляла принципъ соединенія (*Umfassung*). Въ этомъ тройномъ бракѣ архидіакона, простая жена должна была дѣйствовать, какъ легальная точка соприкосновенія. Графиня Ида и фрейлейнъ Эмилія полагали, что въ ней и чрезъ нее онъ вошелъ въ свою мистическую связь съ своимъ супругомъ. Ида, какъ жена, изображавшая свѣтъ, имѣла полное основаніе думать, что она занимаетъ высокое положеніе *апокалиптической невесты*».

Госпожа Эбель оправдала тѣ надежды, которыя на нее возлагались. Она ничѣмъ не возбуждала ревности въ старшихъ духовныхъ лицахъ архидіакона. Она покорно замкнулась въ той скромной сферѣ матеріальныхъ заботъ, которая была ей предоставлена. Ея голосъ никогда не раздавался въ почтенномъ кругу святыхъ женщинъ, управлявшихъ церковью.

Когда новая церковь получила прочную организацію, тогда образовались тайныя доктрины, которыя оставались неизвѣстными массѣ адептовъ. Простые люди, неофиты, только-что примкнувшіе къ Эбелю, знали только, что Эбель вѣрующій проповѣдникъ, искренній и ревнивый лютеранинъ, старающійся примѣромъ своей святой жизни и вліяніемъ своего увлекательнаго краснорѣчія возбудить въ сердцахъ своихъ современниковъ чувства живого благочестія, подавленные сухими, холодными и мелкими расчетами и заботами суетливаго, корыстнаго и бездушнаго вѣка. Когда неофитъ оказывался достойнымъ большаго довѣрія, ему говорили, что онъ принадлежитъ къ церкви избранныхъ, составляющей рай наслажденій для тѣла и для духа и спасающей всѣхъ своихъ вѣрующихъ членовъ отъ той гибели, которая скоро должна постигнуть весь грѣховный міръ. Далѣе, послѣ новаго, болѣе или менѣе продолжительнаго испытанія, ему открывали тѣ способности, которыми должно бороться съ дьяволомъ и побѣждать его. При новыхъ духовныхъ успѣхахъ со стороны вѣрующаго, его посвящали въ тайну свѣта и воды. Затѣмъ, если онъ обнаруживалъ требуемыя достоинства, его учили обрядамъ освященія. Если онъ былъ способенъ къ

дальнѣйшему повышенію, ему внушали, что Эбель — высшій типъ человѣческаго совершенства. Дальше этого уже никакой адептъ, какъ бы онъ ни былъ знатенъ и чистъ душой, не могъ идти. Великая и страшная тайна, открытая графиней фонъ-Каницъ, постоянно оставалась достояніемъ четырехъ лицъ — Иды, Эмилии, Минны и ея мужа. Кажется, даже Дистель не зналъ этой тайны; во все время существованія секты, ни одно новое лицо не было принято въ этотъ высшій кружокъ. При этомъ, конечно, возникаетъ вопросъ, на который мы у Диксона не находимъ отвѣта. Если великую тайну эбеліанъ знали только четыре человѣка, и если никто изъ нихъ не измѣнилъ секты, не сдѣлался ея сознательнымъ врагомъ и не проболтался нечаянно, то какимъ образомъ эта тайна появляется въ печати? Какимъ образомъ узналъ ее Саксъ, не принадлежавшій къ высшему кружку? Что сообщилъ онъ на счетъ существованія этой тайны въ своемъ мемуарѣ — свои-ли собственные предположенія, или дѣйствительные, достовѣрно извѣстные ему факты? Всѣхъ этихъ вопросовъ Диксонъ не только не рѣшаетъ, но даже и не ставитъ. Во всей его книгѣ нѣтъ ни малѣйшаго указанія на то, чтобы кого-либо изъ членовъ высшаго кружка возможно было заподозрить въ случайной нескромности или въ умысленной измѣнѣ.

Обряды освященія были извѣстны довольно обширному кругу вѣрующихъ. Они клонились къ тому, чтобы уничтожить въ вѣрующихъ силу грѣховныхъ страстей и приготовить ихъ къ наступающему царству благодати и духовной свободы. «Кто хотѣлъ спасти свою душу — говоритъ Диксонъ — долженъ былъ подняться выше искушеній, поправить плоть ногами и побѣдоносно противиться дьявольской силѣ красоты. Въ присутствіи живой женщины онъ долженъ былъ чувствовать себя такъ, какъ будто онъ стоитъ передъ каменной стѣной. Его взглядъ долженъ оставаться холоднымъ, бѣненіе его пульса не должно ускоряться. Никакое лицо, какъ-бы оно ни было прекрасно, не должно зажигать огня въ его крови. Безъ содроганія сердца, онъ долженъ пожимать руку самой очаровательной сестры, или напечатлѣвать поцѣлуй на ея губы. Кто неспособенъ легко и свободно дѣлать все это, тотъ, по словамъ Эбеля, конечно не находится еще въ состояніи благодати».

Приобрѣтеніе такихъ навыковъ требовало продолжительныхъ и разнообразныхъ упражненій, которымъ посвящались многія изъ частныхъ собраній секты, происходившихъ въ покояхъ графини Иды или въ домѣ графини Каницъ. Во время такого собранія, одна изъ вѣрующихъ красавицъ, по приглашенію высшаго духовнаго начальства, обнажала руку, ногу или плечо, такъ чтобы всѣ присутствующіе и въ особен-

ности молодые, еще недостаточно испытанные и закаленные члены церкви, глядя на тѣ искушенія, которыми сатана губитъ слабое человечество, учились презирать эти вражескія козни и усиленно сопротивляться имъ.

При той строгой постепенности, которая господствовала въ открываніи догматическихъ тайнъ, есть достаточныя основанія предположить, что въ обрядахъ освященія была своего рода высшая школа, которой существованіе было извѣстно немногимъ избраннымъ, и въ которую вступали люди, уже достаточно укрѣпившіе себя менѣе трудными, сложными и опасными испытаніями.

Въ чемъ состояли труднѣйшія и опаснѣйшія испытанія, какими упражненіями поддерживали и развивали въ себѣ святость члены высшаго кружка — это остается неизвѣстнымъ, но профессор Саксъ даетъ понять, что стремленія къ совершенству завели графиню фонъ-деръ-Гребенъ и Эмилию фонъ-Шрѣтеръ очень далеко.

IV.

Секта, которой главная причина существованія заключается въ близости второго прішествія, не можетъ жить неопредѣленно долгое время неясными ожиданіями и благочестивыми приготовленіями. Умы вѣрующихъ неотступно заняты вопросомъ, когда-же наступитъ великій день; ихъ неретиѣ растеть, ихъ вѣра можетъ ослабѣть, и осажденный ихъ вопросами и сомнѣніями, глава и основатель секты долженъ поневолѣ, рано или поздно, дать имъ какое-нибудь опредѣленное обѣщаніе.

Изучая пророчества Даніила, Эбель додумался до того убѣжденія, что второе прішествіе должно совершиться въ 1823 году, на святой недѣлѣ. День и часъ былъ точно опредѣленъ, и такъ-какъ назначенное время было уже близко, то вліятельныя лица секты стали совѣщаться о томъ, гдѣ и какъ имъ ожидать и встрѣтить Спасителя. Одни полагали, что надо собраться въ церкви, другіе предпочитали сойтись въ какомъ-нибудь домѣ. Большинство думало, что во всякомъ случаѣ слѣдуетъ быть въ сборѣ, чтобы Спаситель увидѣлъ свою церковь на землѣ. Далѣе вѣрующіе находили, что собраніе ни подъ какимъ видомъ не должно имѣть мрачнаго или печальнаго характера. «Ихъ богъ — говорили они — былъ Богомъ любви и свѣта. Радость шла вмѣстѣ съ нимъ, и веселье готовило ему путь». Нѣкоторые находчивые люди придумали, что всего лучше будетъ устроить въ этотъ день и часъ свадебное торжество. Этотъ планъ всѣмъ очень понравился, и рѣшено было привести его въ исполненіе. Нашли молодого человѣка, готоваго жениться на комъ угодно и когда угодно для пользы и славы церкви; этому молодому человѣку подыскали

достойную невесту. Всѣ мѣры были такимъ образомъ приняты заблаговременно, и женщины высшихъ круговъ стали ожидать назначеннаго дня съ благоговѣйнымъ нетерпѣніемъ и съ несокрушимой вѣрой въ осуществленіе сдѣланнаго предсказанія.

Нѣкоторые изъ мужчинъ, принадлежавшихъ также къ высшимъ кругамъ, почувствовали, что вѣра ихъ колеблется. Слишкомъ гласныя приготовленія къ великому дню приводили ихъ въ смущеніе. Они находили до нѣкоторой степени возможнымъ то предположеніе, что Эбель ошибся въ своихъ вычисленіяхъ, что великое событіе не совершится, что гости разъѣдутся со свадебнаго пира ни съ чѣмъ, и что ихъ всѣхъ жесточайшимъ образомъ поднимутъ на смѣхъ вольнодумцы всей провинціи, всего королевства, всей Германіи. Графъ фонъ-Финкенштейнъ, какъ лицо съ вѣсомъ, съ именемъ, съ положеніемъ въ обществѣ и со связями, чувствовалъ особенно сильно неудобства этого ожидаемаго осмѣянія, и поэтому старался по возможности обуздать пылкую и шумную вѣру своихъ духовныхъ братьевъ и особенно сестеръ. Но возможности не оказалось никакой. Женщины разразились жестокими упреками; Эбель сталъ презрительно улыбаться; Дистель сдѣлалъ выговоръ; благоразумный графъ почувствовалъ себя изобиженнымъ со всѣхъ сторонъ; даже родная сестра его, которую онъ очень любилъ, осудила его за малодушіе и позорное потворство мѣтивіямъ грѣховнаго свѣта. Финкенштейнъ удался изъ собранія съ большимъ неудовольствіемъ.

Наступилъ назначенный день. Собрались свадебные гости. Совершился обрядъ, въ которомъ профессоръ анатоміи Саксъ, заслужившій въ слѣдствіи прозваніе Мефистофеля, принужденъ былъ принимать дѣятельное участіе и играть роль вѣрующаго и ожидающаго. Пиръ начался и окончился безо всякихъ сверхъестественныхъ событій. Гости принуждены были разойтись, не дождавшись второго пришествія. Начался тотъ продолжительный и обидный смѣхъ, котораго боялся предусмотрительный графъ. Пророчество Финкенштейна сбылось несравненно лучше пророчества Эбеля, и Финкенштейнъ немедленно испыталъ на своемъ себѣ вѣрность того изреченія, что никто не можетъ быть пророкомъ въ своей землѣ. Его стали преслѣдовать именно за то, что онъ слишкомъ удачно напрогночилъ. Такъ-какъ непогрѣшимость Эбеля не могла подвергаться сомнѣнію, то вѣрующіе эбеліане рѣшили, что именно маловѣріе и малодушіе благоразумнаго графа испортили все дѣло. Дамы верховнаго комитета выражали свое негодованіе самымъ откровеннымъ и энергическимъ образомъ, и когда Финкенштейнъ попробовалъ оправдаться, его заставили молчать и ему угрозили публичнымъ изгнаніемъ изъ церкви.

Финкенштейнъ испугался, смирился, сталъ просить прощенія и остался членомъ секты, а съ этого времени его отношенія къ ревностнымъ и вліятельнымъ эбеліанамъ сдѣлались въ высшей степени натянутыми.

Въ то самое время, когда вѣрующіе круги были взволнованы напраснымъ ожиданіемъ второго пришествія, одинъ кѣнигсбергскій пасторъ Лудвигъ-Августъ Келеръ выпустилъ въ свѣтъ теологическій романъ «Филагаторъ», въ которомъ архидіаконъ и его послѣдователи были выведены на сцену и представлены въ самомъ непривлекательномъ видѣ. Въ этомъ романѣ рассказывалось между прочимъ, какъ одна молодая дѣвушка, довѣрившись своей подругѣ, отправляется въ собраніе мнимыхъ святыхъ, эти святые принимаютъ ее въ свой кружокъ и начинаютъ осыпать ее поцѣлуями: она сначала покоряется, но потомъ, видя, что къ ней поцѣлывать, съ цѣлью поцѣловать ее, одинъ изъ нихъ, пользующійся репутаціей величайшаго развратника въ городѣ, она въ ужасѣ поднимается, убѣгаетъ изъ собранія къ себѣ домой, бросается на колѣни передъ своими родителями и со слезами негодованія кается имъ въ томъ, что она видѣла, слышала и испытала.

Камень попалъ въ тотъ огорождъ, куда онъ былъ пущенъ. Друзья и враги узнали Эбеля и его поклонниковъ. Сами эбеліане поняли какъ нельзя лучше, что обличительный романъ направленъ именно противъ нихъ. Но защититься печатно имъ не было возможности. Въ романѣ не было ни подлинныхъ именъ, ни такихъ определенныхъ указаній, къ которымъ можно было бы придраться. Протестовать противъ клеветы по поводу этого романа значило-бы признаться въ томъ, что намеки могутъ быть поняты, что протестующіе имѣютъ нѣкоторое основаніе считать ихъ на свой счетъ, и что подѣ преувеличеніями каррикатуры, нарисованной враждебной рукой, все-таки есть возможность распознать дѣйствительныя черты живыхъ людей. Эбеліане молча перенесли ударъ, и впечатлѣніе, произведенное на читающую публику романомъ Келера, не послужило себѣ никакого отпора. Это обстоятельство было тѣмъ болѣе непріятно для эбеліанъ, что обличительное произведеніе Келера, какъ теологическій романъ, обращалось преимущественно къ благочестивой части общества и слѣдовательно дискредитировало секту именно тамъ, гдѣ она могла рассчитывать на дѣятельное сочувствіе и гдѣ она желала его возбуждать и поддерживать.

Въ 1824 году эбеліанъ постигло новое несчастіе, болѣе серьезное и чувствительное, чѣмъ предыдущія. Оберъ-президентъ восточной Пруссіи, фонъ-Ауэрсвальдъ, отецъ графини Иды, ревностный покровитель секты, къ которой онъ самъ принадлежалъ—умеръ, и на его мѣсто поступилъ его зять, фонъ-Шенъ, правая рука и

нистра-реформатора, барона фонъ-Штейна, либераль и философъ, то-есть вольнодумецъ, отъ котораго никакіе мистики, фантазеры и энтузіасты не могли ожидать себѣ ни малѣйшей поддержки, несмотря даже на то, что онъ былъ женатъ на старшей сестрѣ графини фонъ-деръ-Гребенъ.

Профессоръ Саксъ немедленно замѣтилъ и понялъ перемену, происшедшую въ высшихъ административныхъ сферахъ, отшатнулся отъ альтиштадтской церкви и сталъ понемногу развѣртывать тѣ стороны своей личности, которыми онъ, по простотѣи нѣсколькихъ лѣтъ, приобрѣлъ себѣ прозваніе Мефистофеля.

Въ это же время профессоръ теологій Германъ Ольсгаузенъ, бывшій нѣсколько лѣтъ тому назадъ послѣдователемъ Шенгера, сталъ писать и проповѣдывать противъ эбеліанъ. Дистель взялся отвѣчать ему, пересыпалъ свой отвѣтъ ругательствами и личными выходками и обнаружилъ такую комическую ярость и такое полное презрѣніе ко всѣмъ литературнымъ приличіямъ, что скомпрометировалъ свою партію въ глазахъ того многочисленного класса людей, которые, не желая и не умѣя оцѣнивать дѣло по существу, настоятельно требуютъ отъ спорящихъ сторонъ соблюденія извѣстныхъ правилъ и общепринятыхъ формъ.

Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ огорченій и непріятностей, которыя очевидно служили только предѣстниками болѣе серьезныхъ испытаній, въ сектѣ произошло то, что происходитъ обыкновенно при подобныхъ обстоятельствахъ. Энтузіазмъ искреннихъ фанатиковъ усилился—сдѣлался глубже, подозрительнѣе и исключительнѣе, а сомнительная ревность слабыхъ, колеблющихся и своекорыстныхъ натуръ ослабла; эти два явленія, идя параллельно, должны были взаимно усиливать другъ друга; фанатики чувствовали потребность сомкнуться тѣснѣе, пересчитать свои силы и окончательно убѣдиться въ томъ, что ихъ вѣра тверда и мужество несокрушимо; осторожные и расчетливые видя мрачное воодушевленіе своихъ глубоко-убѣжденныхъ и совершенно неблагоразумныхъ товарищей, чувствовали съ своей стороны настоятельную и постоянно возрастающую потребность выбраться по добру по здорову изъ такого общества, которое съ минуты на минуту могло потянуть ихъ за собой въ дикія эксцентричности и поставить ихъ, людей положительныхъ и серьезныхъ, дорожащихъ своимъ спокойствіемъ и чувствительныхъ къ приговорами общественнаго мнѣнія—либо въ комическое, либо даже—мало ли что можетъ случиться?—въ опасное положеніе.

Графъ фонъ-Финкенштейнъ, не могшій подавить въ себѣ голосъ свѣтскаго благоразумія даже въ виду такого событія, какъ второе пришествіе, конечно не могъ сдѣлаться фанати-

комъ, когда піетизмъ пересталъ быть знаменемъ мѣстнаго правительства. Этого было достаточно, чтобы погубить его въ глазахъ фанатизированныхъ женщинъ верховнаго комитета. Его торжественно исключили изъ церкви, и его сестра прервала съ нимъ всякія сношенія.

Около этого времени умерла графиня Минна фонъ-Каницъ, умерла, несмотря на то, что она должна была, въ качествѣ *второго свидѣтеля*, присутствовать при тѣхъ великихъ событіяхъ, которыя Эбель обѣщалъ своимъ послѣдователямъ въ самомъ близкомъ будущемъ. Счелъ ли Эбель необходимымъ представить членамъ высшихъ круговъ какія-нибудь объясненія по поводу этого неожиданнаго смертнаго случая, и въ чемъ состояли эти объясненія—этого мы не узнаемъ изъ книги Диксона. Не подлежитъ сомнѣнію только то, что если какія-нибудь объясненія были представлены, то они совершенно удовлетворили вѣрующихъ, такъ что преждевременная кончина графини Минны не породила ничего похожего на смуту или ересь. По всей вѣроятности, эта смерть была объяснена нравственными несовершенствами покойницы, такими несовершенствами, вслѣдствіе которыхъ Минна была неспособна и недостойна исправлять высокую должность *второго свидѣтеля*. По крайней-мѣрѣ графиня Минна послѣ смерти своей подверглась разжалованію, и ея должность осталась вакантною, несмотря на то, что эта должность сначала была присвоена ей на всю вѣчность. На открывшуюся вакансію Эбель назначилъ сестру Финкенштейна; тогда *первый свидѣтель*, графъ фонъ-Каницъ, сдѣлалъ ей предложеніе; бракъ состоялся, и такимъ образомъ, оба свидѣтеля еще разъ оказались мужемъ и женой.

Новая графиня пожелала привлечь къ сектѣ одну изъ своихъ родственницъ, молодую, красивую и богатую дѣвушку, Зелину фонъ-Мирбахъ. Финкенштейнъ, въ качествѣ вліятельнаго родственника, написалъ къ Зелинѣ письмо, въ которомъ совѣтовалъ ей остерегаться графини фонъ-Каницъ и описывалъ самыми мрачными красками Эбеля, Дистеля и правы ихъ послѣдователей. Зелина показала это письмо графинѣ фонъ-Каницъ, которая прочитала его съ величайшимъ негодованіемъ и объявила, что оно переполнено самой отвратительной ложью. Взявъ себѣ это письмо, графиня фонъ-Каницъ созвала верховный совѣтъ секты и сообщила ему все дѣло. Совѣтъ рѣшилъ, что прежде всего божественное спокойствіе возлюбленнаго архидіакона не должно быть возмущаемо такими недостойными дразнами, что Финкенштейнъ за свое отвратительное письмо долженъ подвергнуться примѣрному и по возможности жестокому наказанію, что каждый изъ ревностныхъ членовъ секты долженъ наказывать преступника всѣми зависящими отъ него средствами, и что

письмо Финкенштейна слѣдуетъ передать Дистелю, какъ самому энергическому бойцу церкви, способному дать достаточно сильный отпоръ.

Зелина фонъ-Мирбахъ тотчасъ присоединилась къ піетистическому кружку. Графиня фонъ-Каницъ навсегда поссорилась съ своимъ братомъ и даже завела съ нимъ процессъ изъ-за какого-то имѣнія. Каницъ, въ одной клерикальной газетѣ, обвинилъ Финкенштейна въ безправственномъ образѣ жизни, называя его при этомъ по имени и указывая на то, что его жена, графиня фонъ-Финкенштейнъ, достойна почти такого же безпощаднаго осужденія. Наконецъ Дистель прислалъ Финкенштейну письмо на тринадцать листахъ большого формата, состоявшее сплошь изъ самыхъ оскорбительныхъ обвиненій и самыхъ отборныхъ ругательствъ.

Финкенштейнъ послалъ опроверженіе въ газету, помѣстившую нападеніе Каница, но не чувствуя себя способнымъ вести полемику съ Дистелемъ, представилъ его бранное письмо въ судъ. Судъ приговорилъ Дистеля къ денежному штрафу въ 200 талеровъ и затѣмъ освѣдомился о причинахъ рѣзкой переписки, завязавшейся между Дистелемъ и Финкенштейномъ. Обвиненія, заключавшіяся въ письмѣ Финкенштейна къ Зелинѣ фонъ-Мирбахъ, всплыли наверхъ, и судъ потребовалъ отъ Финкенштейна доказательствъ. Финкенштейнъ представилъ массу бумагъ, написанныхъ имъ и его женой и направленныхъ противъ Эбеля, Дистеля, Каница, графини Иды и покойной Минны фонъ-Каницъ. Тутъ было множество очень тяжелыхъ, но очень плохо доказанныхъ обвиненій въ самой отвратительной безправственности. Такъ наприимѣръ, было сказано, что Эбель, подъ видомъ совершенія благочестиваго обряда, дѣлалъ графинѣ фонъ-Финкенштейнъ предложенія, оскорбительныя для ея чести. Въ эти бездоказательныя обвиненія судъ оставилъ безъ вниманія; но такъ-какъ Финкенштейнъ указывалъ на то, что у эбеліанъ есть тайная доктрина, несогласная съ ученіемъ лютеранской церкви, то дѣло поступило на разсмотрѣніе кенигсбергской консисторіи.

Консисторія назначила слѣдователями по этому дѣлу Келера, автора «Филагатоса», и Зандера. Slѣдователи представили такой докладъ, что консисторія, впродѣ доокончанія дѣла, признала нужнымъ запретить Эбелю и Дистелю отиравленіе пастырскихъ обязанностей и послала министру духовныхъ дѣлъ, барону фонъ-Альтенштейну, отчетъ обо всѣхъ раскрывающихся беззаконіяхъ. Послѣ довольно продолжительныхъ совѣщаній между министромъ и консисторіей, было рѣшено предать Эбеля и Дистеля уголовному суду, во-первыхъ, по обвиненію въ необыкновенной нравственной испорченности, и во-вторыхъ, по обвиненію въ попыткахъ основать новую религіозную секту.

По мѣрѣ того какъ разыгрывалось это дѣло,

положеніе его перваго виновника, Финкенштейна, становилось все болѣе и болѣе шпунительнымъ. Эбеліане и въ особенности эбеліанки вредили ему и его женѣ всѣми реченными и разнообразными средствами, какъ только могутъ приискать благочестивая грѣхъ и женская изобрѣтательность. Чувствуя, какъ быть можетъ, воображая себя, что его жизнь подвергается сомнѣнію, что на его жену бросаютъ въ высшемъ обществѣ презрительныя или насмѣшливыя взгляды, Финкенштейнъ во-всѣмъ потерялъ голову и придумалъ, для оправданія своего добраго имени, самую странную и нелѣпую комбинацію. Онъ сталъ ѣздить по домамъ своихъ старыхъ друзей, вліятельныхъ, богатыхъ и знатныхъ особъ, упраснивая ихъ написать бумагу, въ которой было сказано, что графъ и графиня фонъ-Финкенштейнъ были отличались и продолжаютъ отличаться до настоящей минуты всѣми достоинствами, способными составить украшеніе прусскаго нагнати его законной супруги. Понятное дѣло, что при собираніе похвальныхъ аттестатовъ окончательно сдѣлало бѣднаго графа посмѣшищемъ всей провинціи.

Уголовное преслѣдованіе, направленное противъ Эбеля и Дистеля, началось въ 1835 году. Дистель, призванный къ слѣдователю, выговорилъ ему сразу множество дерзостей и затѣмъ въ самомъ началѣ процесса, попалъ на пять мѣсяцевъ въ крѣпость.

Въ числѣ другихъ свидѣтелей, слѣдователь вызвалъ графиню Иду. Отвѣтомъ на этотъ вызовъ былъ гордый и рѣшительный отказъ, мотивированный тѣмъ, что графиня ни за кѣмъ въ мірѣ не признаетъ права задавать ей вопросы, затрагивающіе дѣла ея совѣсти. Slѣдователь повторилъ свое приглашеніе, прибавивъ, что въ инаку по закону полагаются штрафъ или тюремное заключеніе. Ида осталась непоколебимой. Съ нея взыскали двѣсти талеровъ штрафа, но и это не подѣйствовало. Графиня приказала передать слѣдователю, что она, пожалуй, готова отправиться и въ тюрьму, но что поканинъ, противорѣчащихъ ея совѣсти, отъ нея всетаки никто не добьется. Slѣдователь, приведенный въ недоумѣніе, отправилъ ея письмо къ ея родственнику, оберъ-президенту фонъ-Шейль, и попросилъ у него совѣта, какъ поступать. Шейль отвѣтилъ, что онъ хорошо знаетъ свою родственницу, и что, по его твердому убѣжденію, ни угрозы, ни истязанія, еслибы они были возможны, не заставятъ графиню Иду дѣйствовать наперекоръ внушеніямъ ея совѣсти. Поэтому онъ совѣтовалъ слѣдователю оставить ее въ покоѣ, чтобы безполезными рѣзкостями не ронять достоинство суда и не возбуждать общественное мнѣніе въ пользу подсудимыхъ. Министръ юстиціи, которому слѣдователь доложилъ о непобѣдимомъ упорствѣ графини, на-

цель также, что сажать ее въ тюрьму неприлично и бесполезно, и приказалъ дать дѣлу такой оборотъ, чтобы ея показаніе было признано излишнимъ. Повинуясь этому приказанію, судъ призналъ взысканіе штрафа незаконнымъ и возвратилъ графинѣ Идѣ ея двѣсти талеровъ.

Главнымъ свидѣтелемъ противъ Эбеля и Дистеля выступилъ профессоръ Саксъ. Подсудимые рѣшительно отклонили его свидѣтельство и стали доказывать, что онъ — человѣкъ, не заслуживающій ни малѣйшаго довѣрія. Эбель сказалъ, что, въ качествѣ духовнаго лица, онъ, архидіаконъ, не можетъ обвинять своего ближняго; что подробности, извѣстныя ему о Саксѣ, дошли до него путемъ исповѣди, сдѣланной не ему лично, а другимъ особамъ; что открывать эти подробности онъ не можетъ и не будетъ; но что, зная Сакса такъ, какъ онъ его знаетъ, онъ, Эбель, торжественно протестуетъ противъ допущенія его въ свидѣтели.

Этотъ бездоказательный протестъ не могъ имѣть никакого серьезнаго значенія, но другой подсудимый, Дистель, не ограничился такимъ протестомъ и представилъ въ судъ двѣ подлинныя рукописи Сакса, скрѣпленныя его подписью. То были два большія письма, адресованныя къ покойной графинѣ фонъ-Каницъ и заключавшія въ себѣ полную и подробнѣйшую исповѣдь Сакса. Въ этой исповѣди профессоръ взводилъ на себя самыя грязныя и унизительныя обвиненія, такія обвиненія, которыя, дѣйствительно должны были отнять у судей всякую возможность полагаться на его слова и вѣрить его свидѣтельскимъ показаніямъ.

Судъ предъявилъ эти письма Саксу. Саксъ принужденъ былъ сознаться, что оба письма, съ первой строки до послѣдней, дѣйствительно писаны его собственной рукой.

— Стало быть, все, что тутъ написано, чистая правда? спросилъ судъ.

— Нѣтъ, не правда, отвѣтилъ Саксъ.

— Но вѣдь вы-же говорите тутъ въ первомъ лицѣ, о самомъ себѣ, и сами подписываете эти показанія.

Саксъ согласился, что все это дѣйствительно такъ, и однакоже продолжалъ утверждать, что обвиненія, взведенныя на него этими письмами, совершенно невѣрны. Онъ самъ себя не помнилъ отъ горя, когда писалъ свою исповѣдь; онъ самъ не понималъ, что говорить и что писать; онъ совершенно подчинился вліянію Минны фонъ-Каницъ, которой было поручено заботиться о спасеніи и освященіи его души; Минна настоятельно, сурово, неотступно требовала отъ него признаній; она сама внушила ему, что ему слѣдуетъ говорить, въ чемъ обвинять себя и каяться; онъ страстно желалъ пріобрѣсти и упрочить за собой ея благосклонность, и онъ исполнилъ всѣ ея требованія и добровольно очернилъ себя цѣлымъ длиннымъ спискомъ вымы-

сленныхъ гнусностей; и эту сложную и замысловатую клевету противъ самого себя онъ не только высказалъ словесно, въ пылу увлеченія, подъ вліяніемъ присутствія, взглядовъ и увѣщаній своей руководительницы, но еще подтвердилъ и письменно, оставаясь наединѣ съ самимъ собою, въ тиши своего рабочаго кабинета.

Письма, представленные Дистелемъ, были во всякомъ случаѣ тяжелымъ ударомъ для Сакса, и объясненіе ученаго профессора, какъ-бы ни посмотрѣли на него судьи, не могло въ достаточной степени оградить его репутацію. Судьи могли повѣрить этому объясненію, могли и не повѣрить. Если бы они ему не повѣрили, то они, стало быть, остановились-бы на томъ убѣжденіи, что Саксъ дѣйствительно виновенъ во всемъ, въ чемъ онъ письменно покался графинѣ фонъ-Каницъ, и что онъ теперь закончилъ длинный рядъ своихъ грязныхъ поступковъ торжественной, публичной, очень неправдоподобной и слѣдовательно тѣмъ болѣе безстыдной ложью. Въ этомъ случаѣ Саксъ является человѣкомъ обезчещеннымъ, и его свидѣтельство теряло всякую цѣну. Еслибы судьи повѣрили Саксу, то его положеніе едва-ли улучшилось бы. Повѣривъ ему на слово, по его собственному желанію, судьи должны были придти къ тому заключенію, что онъ, при тѣхъ или другихъ условіяхъ, подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ побужденій, уступая тому или другому давленію, оказался способнымъ гнуснѣйшимъ образомъ оклеветать самого себя. Тутъ неизбежно и немедленно должно было явиться то соображеніе, что человѣкъ, способный оклеветать самого себя, способенъ тѣмъ болѣе оклеветать другихъ, если представляются достаточно сильныя побудительныя причины. Слѣдовательно, и въ этомъ случаѣ полагаться на свидѣтельство Сакса было неудобно.

Но прусскіе судьи того времени были послушнымъ орудіемъ въ рукахъ администраціи. Фонъ-Шёнъ, какъ рационалистъ, былъ врагомъ той сантиментальной безсмыслицы, въ пользу которой ратовалъ кружокъ Эбеля. Вліяніе его хорошо извѣстныхъ симпатій и антипатій заставило судей упустить изъ виду ту дилемму, которая каждому безпристрастному человѣку кажется неизбежной при разсмотрѣніи вопроса о свидѣтельствѣ Сакса. Это свидѣтельство было принято и послужило главнымъ основаніемъ для приговора.

Видя, что дѣло принимаетъ очень дурной оборотъ для подсудимыхъ, всѣ знатные послѣдователи и доброжелатели Эбеля — чуть не половина аристократовъ восточной Пруссіи — стали хлопотать о перенесеніи процесса въ Берлинъ, подальше отъ вліянія кенигсбергскаго оберъ-президента. Этими стараніями управляла отчасти дѣйствительная преданность архидіакону, отчасти желаніе многихъ важныхъ господъ огра-

дить свое собственное доброе имя, которое могло бы пострадать, еслибы их наставникъ и руководитель оказался достойнымъ строгаго уголовного наказанія.

Дѣло перенесли въ Берлинъ, оно разрослось до громадныхъ размѣровъ, разрослось и въ ширину, и въ глубину; подсудимые, ихъ защитники, свидѣтели за и противъ представили въ судъ горы рукописей и печатныхъ сочиненій; судьямъ пришлось разбирать цѣлую библіотеку, не менѣе девяноста томовъ; пришлось читать трактаты по теологіи, логикѣ, церковной исторіи и метафизикѣ; пришлось ломать голову надъ вѣчно-спорными вопросами о благодати и добрыхъ дѣлахъ, о свободѣ человеческой воли, объ искупляющей силѣ вѣры; пришлось становиться на точку зрѣнія мистиковъ, фантазеровъ и энтузіастовъ; все это продолжалось два года.

Въ 1839 году состоялся суровый приговоръ. Рѣшено было Эбеля и Дистеля лишить священническаго сана и гражданскихъ правъ, объявить неспособными къ какой бы то ни было государственной службѣ и затѣмъ продержатъ Эбеля въ заключеніи до тѣхъ поръ, пока онъ не исправится и не отречется отъ своихъ опасныхъ заблужденій.

Получивъ этотъ приговоръ, оберъ-президентъ фонъ-Шёнъ не зналъ, что съ нимъ дѣлать. Въ приговорѣ не было сказано, куда посадить Эбеля, и кому наблюдать за нимъ, и какими мѣрами лечить его отъ заблужденій. Начальникъ городскихъ тюремъ, призванный для совѣщаній по этому дѣлу, сказалъ фонъ-Шёну: «Вашему прсвосходительству надо будетъ принять на себя лично эту обязанность, потому что кромѣ васъ не найдется въ Кёнигсбергѣ человѣка, кто бы отважился давать уроки архидіакону».

Пока фонъ-Шёнъ раздумывалъ, въ Берлинѣ произошла великая перемѣна. Король Фридрихъ-Вильгельмъ III умеръ, и его преемникъ Фридрихъ-Вильгельмъ IV самъ оказался піетистомъ, человѣкомъ, способнымъ вѣрить въ тайну свѣта и воды, заниматься астрологіей и отыскивать жизненный эликсиръ. На мѣсто министра Альтештейна, умершаго въ это же самое время, былъ назначенъ піетистъ Эйхгорнъ.

Благодаря этимъ измѣнившимся обстоятельствамъ, друзьямъ Эбеля удалось добиться пересмотра его дѣла. Состоявшееся рѣшеніе въ началѣ 1842 года было кассировано. Подсудимые были признаны невиновными въ умыленномъ нарушеніи своихъ обязанностей и въ основаніи новой секты. Отнятыя гражданскія права были имъ возвращены, и тюремное заключеніе, на которое былъ осужденъ Эбель, отмѣнено. Но то рѣшеніе кёнигсбергскаго церковнаго суда, въ силу котораго Эбелю и Дистелю запрещено отправлять пасторскія обязанности, осталось нетронутымъ.

«Со времени своей аппелляціи, говоритъ Дик-

сонъ, архидіаконъ жилъ вдали отъ сѣнъ графиней Идой, своей ближайшей родственной. Они переѣзжали съ мѣста на мѣсто въ восточной Пруссіи въ Силезію, изъ Силезіи въ Виртембергъ. Ида, въ защиту своего имени, написала книгу, подъ заглавіемъ *Die Liebe zur Wahrheit* (любовь къ правдѣ) и издала ее въ Штутгартѣ, въ 1850 году. Она жила въ прелестномъ городкѣ Лудвигсбургѣ, близъ Штутгарта, и тутъ, въ 1861 году, архидіаконъ умеръ; но передъ смертію оставилъ плоды своихъ трудовъ и огорченій; піетистскія общества возникли во многихъ изъ этихъ просвѣщенныхъ и промышленныхъ городовъ Германіи — въ Галле и Гейдельбергѣ, въ Берлинѣ и Гановерѣ, въ Дрезденѣ и Штутгартѣ, въ Барменѣ и Эльберфельдѣ. Говорятъ, что старость его была спокойная, и что онъ скончался такъ, какъ будто просто заснулъ».

Въ ноябрѣ 1867 года Диксону, бывшему въ это время въ Кёнигсбергѣ, удалось видѣть одну изъ новѣйшихъ манифестацій піетизма, насажденнаго много лѣтъ тому назадъ Шинромъ и Эбелемъ. Молодой проповѣдникъ, сынъ того самаго Дистеля, который смиралъ свою гордость нюхательнымъ табакомъ, собралъ толпу благочестивыхъ слушателей въ городской вокзалъ и сталъ бесѣдовать съ ними о блистающемъ второгъ пришествія. Піетисты, собравшіеся въ вокзалѣ, такъ воодушевились, что начали плакать и кричать отъ умиленія. Студенты, събившіеся на улицѣ, отвѣчали на восторженные вопли піетистовъ насмѣшливыми восклицаніями. Потомъ, когда благочестивые крики въ вокзалѣ дошли до апогея, студенты потеряли терпѣніе, вломались туда толпами, и съ возгласами: «серафимовскіе поцѣлуи!» стали обвинять и цѣловать женщинъ и дѣвушекъ, кричавшихъ и плакавшихъ вмѣстѣ съ остальной публикой. Начался беспорядокъ. Запалились драки между студентами и покровителями оскорбляемыхъ женщинъ. Наконецъ явилась полиція, пришли солдаты генерала Фогеля фонъ-Фалькенштейна и положили копецъ какъ воодушевленію піетистовъ, такъ и безчинству вольнодумцевъ.

ПРИНСЕНТЫ.

I.

Генри-Джемсъ Принсъ родился въ Батѣ, въ 1811 году. О профессіи и общественномъ положеніи его отца Диксонъ не сообщаетъ никакихъ подробностей. На развитіе мальчика отецъ не могъ имѣть никакого вліянія, потому что умеръ вскорѣ послѣ его рожденія. Вдова мистера Принса осталась въ Батѣ, въ собственномъ домѣ, съ нѣсколькими малолѣтними

тими и съ очень ограниченными денежными средствами.

Ея младшій сынъ, Генри-Джемъ былъ сынъ слабый и болѣзненный ребенокъ. Онъ любилъ и не могъ играть, бѣгать и рѣзаться съ своими болѣе крѣпкими и веселыми сверстниками. Большую часть своего времени онъ проводилъ подъ покровительствомъ добродушной и благочестивой, уже немолодой дѣвушки, Марты Фриманъ, нанмавшей квартиру въ домѣ его матери.

Марта была католичка, но повидимому не находилась въ полной умственной зависимости отъ своего духовника и позволяла себѣ читать очень прилежно и внимательно библію, которую патеры, какъ извѣстно, считают книгой недоступной и даже въ значительной степени опасной для мірянъ, и въ особенности для женщинъ. Пожилая дѣвушка, отказавшаяся отъ надежды на земное счастье, и болѣзненный ребенокъ, естественнымъ образомъ расположенный къ тихой и грустной мечтательности, часто читали вмѣстѣ евангеліе, часто молились вмѣстѣ, оплакивали свои грѣхи, размышляя о будущей жизни, вполне понимали другъ друга и воспитывали общими силами чувство взаимной привязанности, спокойной и прочной, какъ дружба, глубокой и нѣжной, какъ любовь.

Мистрисъ Принсъ хотѣла, чтобы ея младшій сынъ сдѣлался медикомъ. Шестнадцати лѣтъ отъ роду, Генри поступилъ въ ученики къ аптекарю и пробылъ въ учении около семи лѣтъ. Занимаясь аптекарскимъ дѣломъ, читая медицинскія книги, посѣщая лекціи, работая въ анатомическихъ театрахъ и въ госпиталяхъ, молодой Принсъ велъ постоянно самую чистую и строгую жизнь. Когда ему пришлось переселиться въ Лондонъ для довершенія своего медицинскаго образованія и для сдачи экзаменовъ, атмосфера столицы и встрѣча съ буйными и разгульными юношами не подѣйствовали на него развращающимъ образомъ. Онъ продолжалъ восторженно любить старую дѣву, усердно молиться и прилежно читать библію.

Выдержавъ экзамены и получивъ лекарскій дипломъ, онъ добылъ себѣ мѣсто ординатора при госпиталѣ въ Батѣ и втеченіе трехъ лѣтъ ревностно занимался отправленіемъ своихъ обязанностей, къ которымъ у него однако не лежало сердце, потому что чтеніе библіи и молитва продолжали составлять попрежнему настоящій центръ его душевной жизни. Въ 1835 г. онъ заболѣлъ, поѣхалъ въ Лондонъ совѣтоваться съ медицинскими знаменитостями, выдержалъ мучительную операцію, недѣлю пять пролежалъ въ постели, и во время томительно безсонныхъ ночей, при содѣйствіи своей вѣрной пріятельницы Марты, додумался до того убѣжденія, что ему слѣдуетъ бросить меди-

цину и обратиться къ тѣмъ занятіямъ, которыя могутъ сдѣлать его врачомъ и спасителемъ погибающихъ душъ.

Оправившись отъ операціи, Принсъ, по совету докторовъ, поѣхалъ въ Шотландію лечиться свѣжимъ горнымъ воздухомъ.

«Грубые жители сѣвера, говорятъ Диксонъ, озадачили добраго молодого человѣка изъ Бата. Они пили много, богохульствовали громко, дрались крѣпко. Взрослые мужчины любили своихъ ребятишекъ и колотили своихъ женъ. Немногіе изъ этихъ неотесанныхъ молодцовъ переступали за порогъ церкви; ихъ воскресныя утра уходили преимущественно на драки, которыми разрѣшались ссоры прошлой недѣли. Хозяева были не лучше простыхъ рабочихъ, хотя и предполагалось, что ихъ увеселенія менѣе грубы. Когда Принсъ отправлялся въ церковь, онъ слышалъ среди полей крики охотниковъ. Церковь—старая рига—была почти пуста. Вотъ стадо, думалъ Принсъ, которому безотлагательно нуженъ пастырь; и такъ было на сѣверѣ во многихъ мѣстахъ. Принсу сказали, что тутъ народъ ненавидитъ священниковъ; онъ видѣлъ, что эта ненависть дѣйствительно существуетъ, хотя у него передъ глазами возвышались соборныя башни и теологическія школы Дѣргамъ; и ему особенно больно было то, что онъ въ душѣ своей не могъ объяснить эту ненависть непризнанными достоинствами пасторовъ. Это объясненіе было невозможно».

Убѣдившись въ жалкомъ нравственномъ положеніи стада и пастырей, Принсъ окончательно рѣшился посвятить свою жизнь подвигамъ евангельской проповѣди и для этого приготовиться къ священническому званію въ Дѣргамской теологической школѣ. Марта, съ которой онъ постоянно совѣтовался, и которая, подъ влияніемъ его наставленій, перешла изъ католическаго вѣроисповѣданія въ англиканское, совершенно одобрила его намѣреніе и пожелала только, чтобы онъ изучалъ теологію не въ Дѣргамѣ, а гдѣ нибудь поближе отъ Бата. Учлище, соответствовавшее всѣмъ желаніямъ Марты и ея друга, нашлось въ Лемпистерѣ, въ Кардиганшейрѣ, одномъ изъ южныхъ графствъ Княжества Уэльскаго.

Лемпистеръ былъ недалеко отъ Бата; воздухъ тамъ былъ здоровый, мѣстоположеніе—живописное; но люди, разумѣется, не удовлетворяли строгимъ требованіямъ Принса. Всѣ ихъ заботы и развлеченія казались благочестивому юношѣ мелочными и суетными. Профессора высматривали, нельзя ли гдѣ нибудь добыть себѣ приращенія доходовъ или перескочить куда нибудь на болѣе выгодное и блестящее мѣсто; студенты занимались со страстью рыбной ловлей, попойками, гимнастическими упражненіями и пикниками; кто изъ профессоровъ и студентовъ былъ поосновательнѣе и посерьезнѣе,

тотъ усердно читалъ книги по своей специальности; но и эти труды не находили себѣ помиланія въ глазахъ Принса. Юный энтузіастъ видѣлъ въ нихъ преимущественно продукты умственной кичливости, несовмѣстной съ истиннымъ благочестіемъ.

Что думалъ и чувствовалъ Принсъ, то онъ и высказывалъ безъ утайки. Его слова не пропадали даромъ. Нѣкоторые изъ его товарищей нашли въ его словахъ краснорѣчивое выраженіе своихъ собственныхъ духовныхъ потребностей, и вокругъ Принса скоро сгруппировалась небольшая кучка вѣрующихъ и благочестивыхъ студентовъ. Они назвали себя леппитерскими братьями, стали собираться для чтенія священнаго писанія и для общей молитвы, пришли къ тому убѣжденію, что міръ вообще и ихъ училище въ особенности гибнутъ отъ нравственнаго очерствѣнія, и для спасенія погибающаго человечества рѣшились воспитать въ себѣ постомъ и молитвою и вынести съ собою изъ стѣнъ училища въ дѣятельную жизнь духъ глубокой, пламенной и неустрашимой религіозности.

Любимой книгой Леппитерскихъ братьевъ была «Пѣснь пѣсней» Соломона. Роскошные и ярко чувственные образы поддерживали въ нихъ то неопредѣленно-восторженное настроеніе, къ которому они стремились и въ которомъ они видѣли высшую цѣль человѣческаго существованія. Самому Принсу «Пѣснь пѣсней» была особенно дорога, потому что его двѣ преобладающія страсти находили себѣ въ ней превосходное выраженіе. Принсъ чувствовалъ себя страстно влюбленнымъ въ Марту Фриманъ, и его любовь была тѣмъ сильнѣе, что Марта по своимъ лѣтамъ годилась ему въ матери, и что слѣдовательно Принсу невозможно было заподозрить и отыскать въ своемъ чувствѣ грѣховный элементъ плотскаго влеченія. Съ другой стороны, Принсъ такъ же страстно стремился къ полному духовному совершенству, къ побѣдѣ надъ всѣми человѣческими слабостями и пристрастіями, къ таинственному сліянію съ верховнымъ существомъ. Читая «Пѣснь пѣсней», вдумываясь въ каждое слово и стараясь прочувствовать каждый оттѣнокъ, Принсъ могъ понимать образы превосходной лирической поэмы или въ буквальномъ, или въ аллегорическомъ смыслѣ. Если онъ понималъ ихъ буквально, какъ восторженное обращеніе влюбленнаго мужчины къ любимой женщинѣ, то передъ его глазами появлялась скромная, увядшая фигура Марты Фриманъ, и онъ съ гордой улыбкой страстнаго поклонника думалъ о томъ, на сколько духовныя совершенства этой пожилой дѣвушки, положившія свою печать на всѣ черты ея лица, выше, прекраснѣе и прочнѣе тѣхъ скоропреходящихъ прелестей юной восточной красавицы, которая прославляетъ древній поэтъ. Если онъ прибѣгалъ къ аллегорическому истол-

кованію, то его суровый идеалъ востановлялся передъ нимъ во всей своей величественной простотѣ, и онъ бросался къ нему съ тѣмъ извѣстнымъ знойной страсти, которыми проникнуты и проникнуты громадно-преувеличенныя образы азіатской поэмы. Находя передъ собою при чтеніи любимыхъ строкъ, то Марту Фриманъ, то идеалъ духовнаго совершенства, и что въ Мартѣ онъ любитъ именно тѣ черты святости, къ которымъ онъ самъ стремится, замѣчая такимъ образомъ, что объ его стрѣлахъ вмѣсто того, чтобы сталкиваться между собой, могутъ только взаимно поддерживать и укрѣплять другъ друга, Принсъ скоро довелъ себя до такого состоянія восторженной самозабвенности, которое близко подходитъ къ помѣшательству и дѣйствуетъ заразительно-заражающимъ образомъ на впечатлительные умы.

Въ первое время послѣ того, какъ Принсъ убѣдился въ силѣ своей любви къ Мартѣ, на него напали мучительныя сомнѣнія. Онъ задавалъ себѣ вопросы, нѣтъ ли въ этой любви зерна грѣховной слабости, и будетъ ли онъ Принсъ, въ состояніи побѣдить свое чувство и пожать его ногами, если это чувство выйдетъ и какимъ бы то ни было образомъ придетъ въ столкновеніе съ его обязанностями относительно Верховнаго Существа и съ высшими требованіями духовнаго совершенства.

Чѣмъ мучительнѣе были эти тревоги, тѣмъ торжественнѣе и радостнѣе оказалось наступившее за ними успокоеніе. Когда Принсъ удалось убѣдить себя, что его единственная истинная страсть находится и всегда будетъ находиться въ строгомъ согласіи съ велѣніемъ Верховнаго Существа, тогда Принсъ пришелъ къ тому убѣжденію, что у него нѣтъ страстей, способныхъ привести его къ нравственному паденію, что онъ вообще не можетъ и никогда не будетъ грѣшить, что человѣческое существо въ немъ умерло, что сліяніе его съ божествомъ совершилось, и что въ немъ мыслить, чувствовать и дѣйствуетъ святой духъ. Ему удалось убѣдить себя въ томъ, что всѣ мельчайшія нестычки въ его вседневной жизни обуславливаются внушеніями свѣше.

«Если — говорить Диксонъ — онъ шелъ на прогулку, то онъ спрашивалъ у Бога, пойдетъ ли дождь. Если ему нуженъ былъ стулъ въ его комнату, онъ спрашивалъ у Духа позволенія купить его. Онъ безъ предварительной молитвы не рѣшался надѣть новый скюртъ или взять дождевой зонтикъ. Онъ оставилъ привычку судить собственнымъ умомъ даже о самыхъ простыхъ вещахъ и сталъ слѣдовать тому, что онъ называлъ внушеніями Духа, даже когда они побуждали его дѣйствовать наперекоръ его видимому благу».

Кончивъ курсъ въ леппитерскомъ училищѣ, Принсъ женился на Мартѣ Фриманъ и полу-

жилъ мѣсто викарія въ Чарлинчѣ, въ Сомерсетшейрѣ. И то, и другое было, разумѣется, сдѣлано по внушенію свыше.

Деревня Чарлинчъ лежала въ тихой и плодородной долинѣ, вдали отъ большихъ торговыхъ центровъ и отъ бойкихъ почтовыхъ трактовъ; землевладѣльцы не жили сами въ этой деревнѣ; фермеры и ихъ работники были простые и грубые люди; церковь была мала, бѣдна и запущена; невѣжественные обыватели рѣдко въ нее заглядывали; они впрочемъ, при всемъ своемъ невѣжествѣ и религіозномъ индифферентизмѣ, не были испорчены и развращены. Въ Чарлинчѣ никогда не бывало и нѣтъ до сихъ поръ ни одного кабака. Во время назначенія Принса, приходскій священникъ (гестог) Чарлинча, Семюэль Стерки, былъ очень боленъ, и по совѣту врачей жилъ на островѣ Уайтѣ, такъ что всѣ заботы о духовныхъ нуждахъ прихода упали цѣликомъ на новаго викарія и на его жену.

Принсу, когда онъ пріѣхалъ въ Чарлинчъ, было подъ тридцать. Его женѣ, Мартѣ, было за пятьдесятъ. Она была уже сѣдая, слабая, болѣзненная старуха. Взаимная любовь обоихъ супруговъ оставалась послѣ брака такой-же платонической, какой она была во все время ихъ многолѣтняго знакомства. Настоящая цѣль ихъ брака состояла въ томъ, чтобы общими силами, словомъ и примѣромъ, наставлять ближнихъ на путь къ вѣчной жизни.

Втеченіе цѣлаго года религіозная пропаганда, веденная Принсомъ и его женой, оставалась безъ замѣтныхъ послѣдствій. Обитатели Чарлинча продолжали игнорировать церковную службу и заботиться только о земныхъ интересахъ самаго копѣчнаго достоинства. Только три человѣка, и то изъ другого прихода, навѣстили Принса и побесѣдовали съ нимъ о спасеніи души. Между тѣмъ Марта заболѣла отъ хлопотъ и огорченій, и ея мужъ повезъ ее въ Батъ, по внушенію святаго Духа.

Въ это время Стерки лежалъ при смерти на островѣ Уайтѣ.

Доктора отъ него отказались. Сидѣлка сказала ему въ одно утро, что онъ не проживетъ до ночи.

«Въ полдень—разсказывалъ онъ Диксону—мнѣ привесли письмо съ почты изъ Бата отъ одного моего пріятеля пастора. Въ письмѣ лежалъ печатный листокъ, который онъ просилъ, если не будетъ слишкомъ поздно, прочесть мнѣ вслухъ передъ смертью. То была проповѣдь. Я нашелъ, что ея слова были не только полны благодати, но полны Бога. Они упали на мою душу, какъ дождь на сухую почву. Когда чтеніе окончилось, я спросилъ нима проповѣдника. И тутъ только я услышалъ, что это проповѣдь моего собственнаго викарія, Принса. Я поблагодарилъ Бога за то, что онъ

послалъ моему стаду такого пастыря. Я чувствовалъ себя очень счастливымъ въ душѣ моей, сказалъ нѣсколько послѣднихъ словъ моей женѣ и дочери, и затѣмъ легъ опять, чтобы отойти въ мирѣ. Но я не могъ умереть. Пульсъ мой сталъ биться сильнѣе; языкъ мой разрѣшился; сила стала возвращаться къ моимъ членамъ и, черезъ нѣсколько недѣль послѣ этого призыва съ смертнаго одра, я былъ въ Чарлинчѣ, въ объятіяхъ моего викарія».

Стерки воротился въ Чарлинчъ вполне убѣжденный, что его спасли отъ смерти и призвали на святое дѣло божественнаго слова Принса, проникнутыя силою таинственной и чудотворной благодати. Считая свое выздоровленіе великимъ чудомъ, похожимъ на воскрешеніе мертвеца, Стерки сдѣлался вѣрующимъ послѣдователемъ своего викарія. Стерки былъ человѣкъ достаточный, хорошо образованный, уважаемый въ церкви и въ обществѣ. Его фамилія пользовалась давно-упроченнымъ вліяніемъ въ Сомерсетшейрѣ. Черезъ свою мать онъ находилъ въ дальнемъ родствѣ со многими перами Соединеннаго Королевства.

При содѣйствіи Стерки, проповѣдь Принса пошла успѣшнѣе, когда онъ, вмѣстѣ съ Мартой, воротился въ Чарлинчъ. Сомнѣнія объ участи души стали пробуждаться въ такихъ умахъ, которымъ до того времени были доступны только размышленія о полевыхъ работахъ и о выгодныхъ торговыхъ сдѣлкахъ. Въ короткое время человѣкъ тридцать почувствовали потребность бесѣдовать съ Принсомъ и молиться подъ его руководствомъ. Принсъ назначилъ вечернее молитвенное собраніе по вторникамъ, душе-спасительное чтеніе—по пятницамъ, специальное молитвенное собраніе—по воскресеньямъ, утромъ, до начала церковной службы. Черезъ мѣсяцъ онъ пошелъ дальше и отвелъ на молитвенные подвиги по одной ночи въ недѣлю; самые ревностные изъ его послѣдователей стали собираться съ вечера и проводить вмѣстѣ всю ночь, занимаясь чтеніемъ молитвъ, пѣніемъ гимновъ, проливаніемъ обильныхъ слезъ и возсыланіемъ къ небу глубокихъ вздоховъ.

Всѣ эти проявленія горячаго религіознаго чувства потрясли такъ сильно еще неокрѣпшіе нервы Стерки, едва оправившагося отъ продолжительной и опасной болѣзни, что онъ на нѣсколько времени потерялъ способность отправлять обязанности своего званія. Въ одно воскресное утро онъ взмогъ на церковную каедрю съ нахѣреніемъ произнести проповѣдь. Вдругъ всѣ его мысли перемѣшались у него въ головѣ, и онъ замѣтилъ съ благоговѣйнымъ ужасомъ, что онъ не въ состояніи вымолвить ни одного путнаго слова. Слезы полились у него изъ глазъ, онъ съ рыданіями попросилъ недоумѣвающихъ прихожанъ простить его немощи и молить вмѣстѣ съ нимъ Всевышняго

тотъ усердно читалъ книги по своей специальности; но и эти труды не находили себѣ поминанія въ глазахъ Принса. Юный энтузіастъ видѣлъ въ нихъ преимущественно продукты умственной кичливости, несовмѣстной съ истиннымъ благочестіемъ.

Что думалъ и чувствовалъ Принсъ, то онъ и высказывалъ безъ утайки. Его слова не пропадали даромъ. Нѣкоторые изъ его товарищей нашли въ его словахъ краснорѣчивое выраженіе своихъ собственныхъ духовныхъ потребностей, и вокругъ Принса скоро сгруппировалась небольшая кучка вѣрующихъ и благочестивыхъ студентовъ. Они назвали себя лемпитерскими братьями, стали собираться для чтенія священнаго писанія и для общей молитвы, пришли къ тому убѣжденію, что міръ вообще и ихъ училище въ особенности гибнуть отъ нравственнаго очерствѣнія, и для спасенія погибающаго человечества рѣшили воспитать въ себѣ постомъ и молитвою и вынести съ собою изъ стѣнъ училища въ дѣятельную жизнь духъ глубокой, пламенной и неустрашимой религіозности.

Любимой книгой Лемпитерскихъ братьевъ была «Пѣснь пѣсней» Соломона. Роскошные и ярко чувственные образы поддерживали въ нихъ то неопредѣленно-восторженное настроеніе, къ которому они стремились и въ которомъ они видѣли высшую цѣль человѣческаго существованія. Самому Принсу «Пѣснь пѣсней» была особенно дорога, потому что его двѣ преобладающія страсти находили себѣ въ ней превосходное выраженіе. Принсъ чувствовалъ себя страстно влюбленнымъ въ Марту Фриманъ, и его любовь была тѣмъ сильнѣе, что Марта по своимъ лѣтамъ годилась ему въ матери, и что слѣдовательно Принсу невозможно было заподозрить и отыскать въ своемъ чувствѣ грѣховный элементъ плотскаго влеченія. Съ другой стороны, Принсъ такъ же страстно стремился къ полному духовному совершенству, къ побѣдѣ надъ всѣми человѣческими слабостями и пристрастіями, къ таинственному сліянію съ верховнымъ существомъ. Читая «Пѣснь пѣсней», вдумываясь въ каждое слово и стараясь прочувствовать каждый оттѣнокъ, Принсъ могъ понимать образы превосходной лирической поэмы или въ буквальномъ, или въ аллегорическомъ смыслѣ. Если онъ понималъ ихъ буквально, какъ восторженное обращеніе влюбленнаго мужчины къ любимой женщинѣ, то передъ его глазами появлялась скромная, увядшая фигура Марты Фриманъ, и онъ съ гордой улыбкой страстнаго поклонника думалъ о томъ, на сколько духовныя совершенства этой пожилой дѣвушки, положившія свою печать на всѣ черты ея лица, выше, прекраснѣе и прочнѣе тѣхъ скоропреходящихъ прелестей юной восточной красавицы, которая прославляетъ древній поэтъ. Если онъ прибѣгалъ къ аллегорическому истол-

кованію, то его суровый идеалъ возставалъ передъ нимъ во всей своей величественной красотѣ, и онъ бросался къ нему съ тѣмъ забвеніемъ знойной страсти, который изжжены и проникнуты громадно-преувеличенными образами азіатской поэмы. Находя передъ собою при чтеніи любимыхъ строкъ, то Марту Фриманъ, то идеалъ духовнаго совершенства, онъ въ Мартѣ онъ любилъ именно тѣ черты святости, къ которымъ онъ самъ стремился, замѣчая такимъ образомъ, что обѣ его страсти вмѣсто того, чтобы сталкиваться между собою, могутъ только взаимно поддерживать и укрѣплять другъ друга, Принсъ скоро довелъ себя до такого состоянія восторженной самоабстракціи, которое близко подходитъ къ помраченію и дѣйствуетъ заразительно-покрайшимъ образомъ на впечатлительные умы.

Въ первое время послѣ того, какъ Принсъ убѣдился въ силѣ своей любви къ Мартѣ, на него нападали мучительныя сомнѣнія. Онъ задавалъ себѣ вопросы, нѣтъ ли въ этой любви зерна грѣховной слабости, и будетъ ли онъ Принсъ, въ состояніи побѣдить свое чувство попрутъ его ногами, если это чувство выйдетъ и какимъ бы то ни было образомъ упадетъ въ столкновеніе съ его обязанностями относительно Верховнаго Существа и съ высшими требованіями духовнаго совершенства.

Чѣмъ мучительнѣе были эти тревоги, тѣмъ торжественнѣе и радостнѣе оказалось наступившее за ними успокоеніе. Когда Принсу удалось убѣдить себя, что его единственная истинная страсть находится и всегда будетъ находиться въ строгомъ согласіи съ велѣніемъ Верховнаго Существа, тогда Принсъ пришелъ къ тому убѣжденію, что у него нѣтъ страстей, способныхъ привести его къ нравственному паденію, что онъ вообще не можетъ и никогда не будетъ грѣшить, что человѣческое существо въ немъ умерло, что сліяніе его съ божествомъ совершилось, и что въ немъ мыслить, чувствовать и дѣйствуетъ святой духъ. Ему удалось убѣдить себя въ томъ, что всѣ мельчайшія поступки въ его вседневной жизни обуславливаются внушеніями свыше.

«Если — говорить Диксонъ — онъ шелъ на прогулку, то онъ спрашивалъ у Бога, пойдетъ ли дождь. Если ему нуженъ былъ стулъ въ его комнату, онъ спрашивалъ у Бога позволенія купить его. Онъ безъ предварительной молитвы не рѣшался надѣть новый сюртукъ или взять дождевой зонтикъ. Онъ оставилъ привычку судить собственнымъ умомъ даже о самыхъ простыхъ вещахъ и сталъ слѣдовать тому, что онъ называлъ внушеніями Бога, даже когда они побуждали его дѣйствовать наперекоръ его видимому благу».

Кончивъ курсъ въ лемпитерскомъ училищѣ, Принсъ женился на Мартѣ Фриманъ и полу-

инилъ мѣсто викарія въ Чарлинчѣ, въ Сомерсетшейрѣ. И то, и другое было, разумѣется, сдѣлано по внушенію свыше.

Деревня Чарлинчъ лежала въ тихой и плодородной долинкѣ, вдали отъ большихъ торговыхъ центровъ и отъ бойкихъ почтовыхъ трактовъ; землевладѣльцы не жили сами въ этой деревнѣ; фермеры и ихъ работники были простые и грубые люди; церковь была мала, бѣдна и запущена; невѣжественные обыватели рѣдко въ нее заглядывали; они впрочемъ, при всемъ своемъ невѣжествѣ и религіозномъ индиферентизмѣ, не были испорчены и развращены. Въ Чарлинчѣ никогда не бывало и нѣтъ до сихъ поръ ни одного кабака. Во время назначенія Принса, приходскій священникъ (rector) Чарлинча, Семюэль Стерки, былъ очень боленъ, и по совѣту врачей жилъ на островѣ Уайтѣ, такъ что всѣ заботы о духовныхъ нуждахъ прихода упали цѣлкомъ на новаго викарія и на его жену.

Принсу, когда онъ пріѣхалъ въ Чарлинчъ, было подѣ тридцать. Его женѣ, Мартѣ, было за пятьдесятъ. Она была уже сѣдая, слабая, болѣзненная старуха. Взаимная любовь обоихъ супруговъ оставалась послѣ брака такой-же платонической, какой она была во все время ихъ многолѣтняго знакомства. Настоящая цѣль ихъ брака состояла въ томъ, чтобы общими силами, словомъ и примѣромъ, наставлять ближнихъ на путь къ вѣчной жизни.

Втеченіе цѣлаго года религіозная пропаганда, веденная Принсомъ и его женой, оставалась безъ замѣтныхъ послѣдствій. Обитатели Чарлинча продолжали игнорировать церковную службу и заботиться только о земныхъ интересахъ самаго копѣчнаго достоинства. Только три человѣка, и то изъ другого прихода, навѣстили Принса и побесѣдовали съ нимъ о спасеніи души. Между тѣмъ Марта заболѣла отъ хлопотъ и огорченій, и ее мужъ повезъ ее въ Батъ, по внушенію святаго Духа.

Въ это время Стерки лежалъ при смерти на островѣ Уайтѣ.

Доктора отъ него отказались. Сидѣлка сказала ему въ одно утро, что онъ не проживетъ до ночи.

«Въ полдень—разсказывалъ онъ Диксону—мнѣ принесли письмо съ почты изъ Бата отъ одного моего пріятеля пастора. Въ письмѣ лежалъ печатный листокъ, который онъ просилъ, если не будетъ слишкомъ поздно, прочитать мнѣ вслухъ передъ смертью. То была проповѣдь. Я нашелъ, что ее слова были не только полны благодати, но полны Бога. Они упали на мою душу, какъ дождь на сухую почву. Когда чтеніе окончилось, я спросилъ имя проповѣдника. И тутъ только я услышалъ, что это проповѣдь моего собственнаго викарія, Принса. Я поблагодарилъ Бога за то, что онъ

послалъ моему стаду такого пастыря. Я чувствовалъ себя очень счастливымъ въ душѣ моей, сказала нѣсколько послѣднихъ словъ моей женѣ и дочери, и затѣмъ легъ опять, чтобы отойти въ миръ. Но я не могъ умереть. Пульсъ мой сталъ биться сильнѣе; языкъ мой разрѣшился; сила стала возвращаться къ моимъ членамъ и, черезъ нѣсколько недѣль послѣ этого призыва съ смертнаго одра, я былъ въ Чарлинчѣ, въ объятіяхъ моего викарія».

Стерки воротился въ Чарлинчъ исполнѣ убѣжденный, что его спасли отъ смерти и призвали на святое дѣло божественныя слова Принса, проникнутыя силою таинственной и чудотворной благодати. Считая свое выздоровленіе великимъ чудомъ, похожимъ на воскрешеніе мертвеца, Стерки сдѣлался вѣрующимъ послѣдователемъ своего викарія. Стерки былъ человѣкъ достаточный, хорошо образованный, уважаемый въ церкви и въ обществѣ. Его фамилія пользовалась давно-упроченнымъ влияніемъ въ Сомерсетшейрѣ. Черезъ свою мать онъ находился въ дальнемъ родствѣ со многими перами Соединеннаго Королевства.

При содѣйствіи Стерки, проповѣдь Принса пошла успѣшнѣе, когда онъ, вмѣстѣ съ Мартой, воротился въ Чарлинчъ. Сомнѣнія объ участи души стали пробуждаться въ такихъ умахъ, которымъ до того времени были доступны только размышленія о полевыхъ работахъ и о выгодныхъ торговыхъ сдѣлкахъ. Въ короткое время человѣкъ тридцать почувствовали потребность бесѣдовать съ Принсомъ и молиться подѣ его руководствомъ. Принсъ назначилъ вечернее молитвенное собраніе по вторникамъ, душе-спасительное чтеніе—по пятницамъ, специальное молитвенное собраніе—по воскресеньямъ, утромъ, до начала церковной службы. Черезъ мѣсяцъ онъ пошелъ дальше и отвелъ на молитвенные подвиги по одной ночи въ недѣлю; самые ревностные изъ его послѣдователей стали собираться съ вечера и проводить вмѣстѣ всю ночь, занимаясь чтеніемъ молитвъ, пѣніемъ гимновъ, проливаніемъ обильныхъ слезъ и возсыланіемъ къ небу глубокихъ вздоховъ.

Всѣ эти проявленія горячаго религіознаго чувства потрясли такъ сильно еще неокрѣпшіе нервы Стерки, едва оправившагося отъ продолжительной и опасной болѣзни, что онъ на нѣсколько времени потерялъ способность отправлять обязанности своего званія. Въ одно воскресное утро онъ взомель на церковную кафедру съ намѣреніемъ произнести проповѣдь. Вдругъ всѣ его мысли перемишались у него въ головѣ, и онъ замѣтилъ съ благоговѣйнымъ ужасомъ, что онъ не въ состояніи вымолвить ни одного путнаго слова. Слезы полились у него изъ глазъ, онъ съ рыданіями попросилъ недоумѣвающихъ прихожанъ простить его немощи и молить вмѣстѣ съ нимъ Всевышняго

о ниспосланіи духовнаго свѣта недостойному служителю алтаря. Человѣкъ пятьдесятъ вѣрующихъ пошелъ вслѣдъ за онѣмѣвшимъ священникомъ изъ церкви къ нему въ домъ, стали тамъ на колѣни и постарались облегчить свои переполненные души усердными молитвами.

Даръ слова долго не возвращался къ разстроенному пастору. Нѣсколько воскресеній подрядъ Стерки всходилъ по обыкновенію на кафедру, раскрывалъ книгу, чувствовалъ въ своей головѣ ту же мучительную неурядицу и, постоявъ нѣсколько минутъ, чтобы окончательно убѣдиться въ своей безсловесности, смиренно и печально отправлялся домой молиться и плакать. Изъ окрестныхъ селъ и городовъ въ Чарлингъ собирались по воскресеньямъ толпы зѣвакъ поглазѣть на нѣмого проповѣдника и потолковать, съ шутками и насмѣшками, о его неслышанномъ и необъяснимомъ несчастіи.

Наконецъ нервы Стерки исподволь прировнялись къ тѣмъ сильнымъ ощущеніямъ, которыя ему доставляло вліяніе Принса. Мысли его установились и пришли въ порядокъ. Въ одно воскресенье, стоя на кафедрѣ, онъ почувствовалъ, что на него сошелъ свыше духъ молитвы. Онъ бросился на колѣни, и изъ его губъ, къ удивленію прихожанъ и постороннихъ зѣвакъ, полились рѣкой стройныя и трогательныя слова слезной молитвенной импровизаціи. Когда первый пылъ его воодушевленія схлынулъ, онъ поднялся на ноги, громко и внятно прочиталъ текстъ священнаго писанія и затѣмъ произнесъ такую проповѣдь, которая врѣзалась неизгладимыми чертами въ умы всѣхъ слушателей. Она, по словамъ Диксона, не отличалась блескомъ и громомъ высокаго человѣческаго краснорѣчія, но была мягка, печальна и торжественна, какъ жизнь и смерть; «производительна, какъ огонь, тяжела, какъ молоть, и острѣе обоюдоостраго меча».

Трепетъ благоговѣйнаго страха прошелъ по толпѣ прихожанъ и зѣвакъ. Многіе изъ мужчинъ закрыли лица руками или задумчиво опустили головы. Почти всѣ женщины стали рыдать и взвизгивать.

Железя ковать желѣзо, пока оно было разгорячено неожиданно убѣдительною проповѣдью Стерки, Принсъ сталъ въ своихъ поученіяхъ громить и клеймить равнодушныхъ, маловѣрныхъ и слабыхъ. Онъ называлъ ихъ негодными плеведами и говорилъ, что ихъ надо отдѣлать отъ пшеницы. Эти поученія внесли тревогу и раздоръ во многія семейства. Большая часть мужей и отцовъ оказались плеведами, и пшеница, составленная изъ фанатизированныхъ женъ и дочерей, стала сомнѣваться въ законности семейной дисциплины и обнаруживать постоянно возрастающія наклонности къ самоуправленію. Мужья и отцы стали гнѣваться и относиться очень неодобрительно къ тѣмъ влія-

ніямъ, которыя возмущали подвѣдомствѣ имъ державы. Многіе домохозяева запретили своимъ женамъ, дѣтямъ и слугамъ ходить на утреннія и вечернія молитвенныя собранія, закричали, что убѣгутъ изъ дома отъ тиранства. Мужья стали божиться, что затѣяютъ женъ до смерти за такое дерзкое и неоповиновеніе. Словомъ, поднялся и хой деревнѣ дымъ коромысломъ. Мужья ссорились на смерть съ женами, отцы съ дѣтьми, домохозяева съ батраками. Принса конечно мѣды не могли ни огорчить, ни привести въ смущеніе. У него были подъ руками тотъ копящій аргументъ, что онъ, подобно кому учителю, принесъ на землю не мечъ. Онъ продолжалъ проповѣдывать довался возрастающему волненію, какъ ному доказательству успѣха.

Слухи о возникающемъ религиозномъ движеніи скоро дошли до свѣдѣнія мѣстнаго епископа и старому прелату, Джорджу-Генри Ло, понравилось то обстоятельство, что подчиненные ему клирики вздумали вносить въ его епархію. Принсу было послано изъ епископскаго дворца приказаніе замолчать. Онъ съ тѣмъ ближайшимъ совѣтникомъ епископа, дали Принсу добрый совѣтъ привскать себѣ сто въ какомъ-нибудь другомъ графствѣ своимъ удаленіемъ успокоить взволнованный умъ. Принсъ, какъ и слѣдовало ожидать, вѣтилъ на этотъ совѣтъ, что онъ пришелъ въ Чарлингъ не по собственной волѣ, а по велѣнію свыше, и что безъ такого велѣнія онъ не можетъ съ мѣста. Тогда его отрѣшили отъ должности.

II.

Потерявъ свое офиціальное положеніе, Чарлингъ, Принсъ попробовалъ сначала заняться независимымъ проповѣдничествомъ. Онъ нанялъ себѣ комнату и объявилъ, что проповѣдуетъ тѣмъ, кто пожелаетъ его слушать. Аудиторія его составила на первый разъ изъ нѣсколькихъ фермеровъ. Но скоро призналъ удобнымъ измѣнить свой дѣйствій, который неминуемо долженъ былъ привести его къ открытому разрыву съ епархіальною церковью. Повинуясь одному изъ велѣній свыше, которыми обуславливали его поступки, Принсъ принялъ предложеніе ему мѣсто священника въ Стокѣ, близъ Бристля, въ Восточной Англіи.

Обстоятельства складывались такъ, что внушеніе свыше совпало повидимому съ естественнымъ практическимъ благоразуміемъ. Принсу представлялась возможность дѣйствовать на умы, и, идя еще къ крайнимъ мѣрамъ, то-есть, разрывая связи съ англиканскою церковью. Единородные сыновья Принса, земледельцы б

продолжавшіе признавать его своимъ вождемъ, одинъ за другимъ получили приходы въ различныхъ мѣстностяхъ въ Англіи. Находясь съ ними въ перепискѣ, Принсъ могъ дѣйствовать съ ними заодно, пока онъ оставался членомъ установленной церкви. Если же онъ захотѣлъ бы сдѣлаться основателемъ отдѣльной секты, то ему предстояла необходимость или разорвать связи съ этими друзьями и единомышленниками, которыхъ содѣйствіе въ различныхъ пунктахъ Англіи могло въ значительной степени усилить успѣхъ религіозной пропаганды, или потянуть за собой въ возникающій расколъ всѣхъ этихъ ревностныхъ сотрудниковъ, которые въ такомъ случаѣ должны были отказаться отъ своихъ приходовъ и уступить свои кафедры людямъ совсѣмъ другого образа мыслей.

Принявъ мѣсто въ Стокѣ, по внушенію выше или по другимъ, болѣе осязательнымъ соображеніямъ, Принсъ на нѣсколько времени удалилъ необходимость разрыва со всѣми его послѣдствіями. Такъ какъ назначеніе преемника отставленному Принсу зависѣло отъ Стерки, совершенно подчинившагося вліянію своего бывшаго викарія, то мѣсто въ Чарлинчѣ было отдано одному изъ лемпитерскихъ братьевъ, Джорджу-Робинсону Томасу.

Въ то время, когда надъ Принсомъ собиралась и разыгрывалась гроза со стороны епископской власти, въ его частной жизни произошла важная перемѣна. Старая и болѣзненная жена его, Марта, умерла, и Принсъ изумилъ всѣхъ своихъ друзей и знакомыхъ той необыкновенной быстротой, съ которой онъ, вслѣдъ за этимъ горестнымъ событіемъ, женился на второй женѣ. Этой второй женой сдѣлалась сестра чарлинчскаго пастора, Джулія Стерки.

Диксону случилось говорить съ Семюэлемъ Стерки объ этомъ второмъ бракѣ Принса. Диксонъ выразилъ своему собесѣднику, что всѣ порядочные люди были изумлены и непріятно поражены той поспѣшностью, которую обнаружилъ Принсъ.

— Вы не должны судить о поступкахъ Возлюбленнаго (Принса) по обыкновеннымъ правиламъ, отвѣтилъ на это Стерки. — Это было для него большое огорченіе, но онъ не могъ уклониться.

Замѣтивъ улыбку, промелькнувшую на губахъ Диксона, Стерки прибавилъ:

— Вы невѣрно его судите; онъ не могъ поступить иначе, потому что такова была воля Божія.

— Чтобы онъ во второй разъ женился?

— Это было сдѣлано для славы Бога, а не для выгоды человѣка.

Но Диксонъ думаетъ, что и выгоды человѣка были соблюдены, потому что у самого Принса не было никакого состоянія, а у его второй жены было все-таки восемьдесятъ фунтовъ годового дохода.

— Я былъ возлѣ него, продолжалъ Стерки—во все время этого испытанія. Я видѣлъ, какъ онъ страдалъ тѣломъ и духомъ. Я страдалъ вмѣстѣ съ нимъ. Я страдалъ также и вмѣстѣ съ его женой, которая была моей сестрой и моей сидѣлкой, моимъ лучшимъ товарищемъ и самымъ дорогимъ другомъ. Никто изъ насъ не могъ этого измѣнить. Ни онъ, ни она не подчинились бы добровольно этому жестокому испытанію. Они сдѣлались мужемъ и женой не по собственному желанію, а просто потому, что такъ угодно было Богу.

Женившись на Джуліи Стерки, Принсъ уѣхалъ съ ней въ Стокъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его переселенія, въ его новомъ приходѣ стало обнаруживаться то самое религіозное волненіе, изъ-за котораго Принсъ принужденъ былъ покинуть свое мѣсто въ Чарлинчѣ. Мѣстный епископъ, докторъ Элленъ, обошелся съ ревностнымъ проповѣдникомъ очень ласково и попросилъ его вести дѣло религіозной пропаганды потише, такъ, чтобы интересы спасенія христіанскихъ душъ не становились въ слишкомъ явную противоположность съ требованіями общественнаго порядка и спокойствія. Принсъ конечно отнесся къ этимъ благодушнымъ совѣтамъ, продиктованнымъ трусливой и расчетливой свѣтской мудростью, съ самымъ суровымъ презрѣніемъ. Кончилось тѣмъ, что епископъ Элленъ, при всей мягкости своего характера, послѣдовалъ примѣру епископа Ло. Неугомоннаго проповѣдника, не слушавшаго никакихъ ласковыхъ внушеній, удалили изъ Стока, но ему и здѣсь удалось поставить на свое мѣсто одного изъ лемпитерскихъ братьевъ, Льюиса Прайса.

Новый опытъ, произведенный Принсомъ въ Стокѣ и окончившійся новымъ столкновеніемъ съ высшими духовными властями, показалъ до послѣдней степени очевидно несовмѣстимость лемпитерскихъ тенденцій и вообще всякаго слишкомъ восторженнаго и бурнаго благочестія съ консервативнымъ характеромъ и традиціонной осмотрительностью англиканской церкви. Съ разныхъ сторонъ стали получаться извѣстія, способныя служить новыми доказательствами этой несовмѣстимости. Семюэлю Стерки, продолжавшему дѣло Принса въ Чарлинчѣ, было запрещено отправлять обязанности священника. За Джорджемъ Томасомъ зорко слѣдили, и надъ нимъ скоплялась та же гроза. Льюисъ Прайсъ ссорился съ своими прихожанами за ихъ закоснѣлость въ грѣхѣ, и шумъ, возбуждаемый его проповѣдями, навлекалъ на него очень неблагоклонное вниманіе высшей духовной власти, дорожившей прежде всего тишиной и спокойствіемъ, хотя бы эти неоцѣненные блага покупались полнымъ невѣжествомъ населенія и его совершеннымъ равнодушіемъ къ интересамъ религіи.

Члены гонимаго братства съѣхались для совѣщаній и порѣшили, что Принсъ и Стерки открыто отложатся отъ англиканской церкви и попробуютъ основать самостоятельную секту. Принсъ съ этой цѣлью отправился въ Брайтонъ, а Стерки въ Мелькомбъ-Реджисъ.

Проповѣдуя въ Брайтонѣ, Принсъ въ первый разъ сообщилъ своимъ слушателямъ то извѣстіе, что утѣшитель, обѣщанный міру слишкомъ 18 вѣковъ назадъ, уже явился на землю. На кафедрѣ, имѣя передъ собой толпу профановъ, въ расположеніи и вѣрѣ которыхъ онъ могъ сомнѣваться, Принсъ высказывалъ это извѣстіе въ таинственной формѣ, прикрывая его загадочными образами и символическими выраженіями. Но въ болѣе конфиденціальныхъ бесѣдахъ съ такими людьми, которыхъ онъ уже признавалъ своими вѣрными послѣдователями, онъ выражался гораздо яснѣе и прямо указывалъ на самого себя, какъ на воплощеніе обѣщаннаго утѣшителя.

Черезъ нѣсколько времени лемпистерскіе братья, подъ предсѣдательствомъ Принса, снова собрались для совѣщанія о религіозныхъ дѣлахъ. Собраніе постановило цѣлый рядъ резолюцій; Принсъ взялъ къ себѣ въ карманъ ту бумагу, на которой онѣ были написаны, и унесъ ее съ собой. Нѣсколько дней спустя, каждый изъ членовъ собранія получилъ списокъ правилъ, составленныхъ Принсомъ и значительно отличавшихся отъ принятыхъ резолюцій. Одинъ изъ лемпистерскихъ братьевъ, Рисъ, сошедшійся съ Принсомъ прежде всѣхъ другихъ студентовъ лемпистерской школы и усердно помогавшій ему въ составленіи братства, возмущенъ самымъ энергическимъ образомъ противъ той духовной диктатуры, которую явно старался присвоить себѣ его товарищъ. Принсъ попробовалъ зажать Рису ротъ тѣмъ неотразимымъ аргументомъ, что новыя правила, присланныя братьямъ, отъ перваго слова до послѣдняго, продиктованы ему, Принсу, святымъ духомъ.

Этотъ аргументъ не подѣйствовалъ. Рисъ охотно признавалъ превосходство Принса, преклонялся передъ его заслугами, платилъ должную дань уваженія его благочестію, его мужеству, его учености и краснорѣчію, но онъ не могъ видѣть въ немъ божество, признавать каждое его слово за велѣніе свыше и отречься разъ на всегда отъ всѣхъ правъ собственного разума во имя безпрекословнаго повиновенія его верховному авторитету. Уважая и любя Принса, какъ своего стараго друга, Рисъ, бывшій морякъ, человѣкъ прямодушный, откровенный и смѣлый, употребилъ всѣ усилія, чтобы образумить его и показать ему, къ какому страшному паденію его ведетъ духовная гордость, разыгравшаяся до границъ помѣшательства. Увѣщанія Риса нисколько не поколебали вѣры Принса въ свою божественность. Тогда

Рисъ объявилъ торжественно, что онъ прекращаетъ сношенія съ своимъ ослѣпленным другомъ и съ его вѣрующими приверженцами.

Изъ разказа Диксона можно заключить, что это нигдѣ не выражено у него совершенно ясно, что только одинъ Рисъ рѣшительно отказался признать Принса воплощеніемъ божества. Въ крайней мѣрѣ Диксонъ, кромѣ Риса, не упоминаетъ по имени ни одного изъ этихъ отказавшихся членовъ братства. Принсъ, Стерки, Томксъ и Коббъ остались неизмѣнно вѣрными послѣдователями Принса, выслушали безропотно всѣ его размашистыя притязанія, признали за послѣдовательно своимъ божествомъ и отнеслись съ благочестивымъ ужасомъ къ возстанію Риса.

Принсъ, какъ мы уже видѣли, проповѣдовалъ въ Брайтонѣ. Стерки вербовалъ проповѣдниковъ въ Уэймаутѣ, гдѣ у него былъ нанятъ домъ для благочестивыхъ собраній. Томксъ и Коббъ трудились въ Чарлингѣ и успѣли устроить тамъ, послѣ удаленія Принса и Стерки, диссидентскую часовню, которая составила основную конкуренцію приходской церкви. Всѣ эти соединенныя усилія могли бы положить основаніе могущественной сектѣ, но Принсу вдругъ заблагоразсудилось дать религіозному движению такой поворотъ, при которомъ дальнѣйшая пропаганда сдѣлалась невозможной.

Изъ Брайтона Принсъ переѣхалъ въ Уэймаутъ, основалъ въ томъ домѣ, который нанялъ отъ тестя, Стерки, такъ-называемое жилище любви и произнесъ въ одной городской тавернѣ рядъ проповѣдей, въ которыхъ развернулъ безъ утайки всю свою доктрину. Онъ объявлялъ своимъ слушателямъ, что второе пришествіе Спасителя близко, что погибель всего существующаго скоро наступитъ, что пришло время отдѣлать пшеницу отъ плевелъ, что спасутся только тѣ немногіе избранные, которые увѣровали въ него, Принса, какъ воплощеніе святого духа, что всѣ остальные люди, многіе милліоны людей, сдѣлаются добычей неугасимаго огня, что день милосердія и прощенія прошелъ, что день суда и мести насталъ, и что та дверь, которая была открыта для немногихъ избранныхъ, теперь закрывается навсегда, такъ-какъ всѣ избранные уже прошли черезъ нее въ царство вѣчной жизни и безконечнаго блаженства.

Принсъ самъ говорилъ Диксону, что у него въ тотъ день, когда онъ такимъ образомъ торжественно заперъ двери своего святилища, было всѣхъ послѣдователей обою пола и всякаго возраста около пятисотъ человѣкъ.

Въ жилищѣ любви, основанномъ въ Уэймаутѣ, жили далеко не всѣ пятьсотъ послѣдователей, которыхъ насчитываетъ Принсъ. По всей вѣроятности, цифра пятьсотъ стоитъ гораздо выше дѣйствительной цифры. Кромѣ того, скроенный домъ, нанятый Семюзлемъ Стерки, былъ слишкомъ малъ не только для пятисотъ, но даже

а для пятидесяти человекъ. Далѣе, среди толпы избранныхъ, которые все считались святыми, выделялись особенно избранные, люди близкіе къ Принсу, сановники его маленькаго теократическаго государства. Этихъ сановниковъ было немного, и жилище любви было основано именно для нихъ и для ихъ божественнаго повелителя. Въ этомъ жилищѣ братья и сестры жили подъ одной кровлей, ведя цѣломудренную жизнь, служа Господу и ожидая со дня на день его пришествія.

Уэймаутское жилище любви не удовлетворяло требованіямъ Принса и его придворныхъ. Оно было тѣсно, бѣдно, неудобно и во всехъ отношеніяхъ недостойно того сверхъестественнаго лица, которое въ немъ помѣщалось. Большой домъ вродѣ замка, тѣнистый садъ и роскошное помѣстье были необходимы для благодатнаго спокойствія Утѣшителя и его святыхъ послѣдователей. Томасъ и Коббъ стали расхваливать мѣстоположеніе деревни Спакстонъ, находящейся недалеко отъ Чарлинча. Тамъ было много холодныхъ ключей и прозрачныхъ ручьевъ. Холмы были покрыты густыми рощами каштановъ, дубовъ и сосенъ. Поля въ изобиліи рождали хлѣбъ. Лѣса были переполнены дичью. Жители были простодушны и миролюбивы. Ближайшій городъ Бриджватеръ лежитъ отъ этой деревни на разстояніи четырехъ миль, и дорога, пролегающая между городомъ и деревней, трудная, гористая, запущенная, такая, по которой никому нѣтъ охоты ѣздить безъ особенной надобности и по которой никуда дальше Спакстона нельзя проѣхать. Словомъ, все требующія условія были даны, чтобы сдѣлать изъ окрестностей Спакстона самое удобное мѣсто для основанія тихаго и очаровательнаго убѣжища, въ которомъ самыя смѣлыя эксцентричности могли развертываться свободно, не опасаясь ни вмѣшательства нескромной гласности, ни грубыхъ выходокъ со стороны сосѣдей, ни докучливаго любопытства праздныхъ туристовъ.

Но ни у Принса, ни у его приверженцевъ не было земли въ окрестностяхъ Спакстона, а грѣшники, которымъ эта земля принадлежала, были привязаны къ своей собственности и во все нерасположены предлагать ее въ даръ Утѣшителю и его святымъ. Землю можно было только купить, и притомъ за очень хорошія деньги. Поэтому прежде всего надо было собрать какъ можно больше денегъ.

Направляясь къ этой цѣли, Принсъ и другіе проповѣдники стали внушать своимъ послѣдователямъ, что, въ виду приближающейся катастрофы, вѣрующіе и святые должны отречься отъ частной собственности, пренебречь всеми тѣльными земными благами, продать все свое имущество и сложить вырученные деньги въ общее казнохранилище, чтобы стяжать себѣ такимъ образомъ неистощимыя сокровища въ

открывшемся царствѣ благодати и вѣчной жизни. Подъ вліяніемъ этихъ поученій, въ рядахъ вѣрующихъ обнаружилось движеніе, повидимому совершенно несвойственное нашему расчетливому и корыстолюбивому вѣку. Ремесленники стали продавать свои рабочіе инструменты, лавочники свой закупленный товаръ, крестьяне свои участки земли. У кого не было никакого имущества, тотъ жертвовалъ корзину яицъ, горшокъ молока или возъ соломы. Деньги стали такимъ образомъ стекаться въ руки Принса каплями и тоненькими ручейками. Вѣрующимъ нечего было заботиться о будущемъ. Становясь вѣрующимъ и святымъ, человекъ отказывался навсегда отъ семейной жизни и отъ всехъ родственныхъ связей. Съ той минуты, какъ онъ вступилъ въ церковь Принса, для него не существовало ни отца, ни матери, ни жены, ни дѣтей. Все его единовѣрцы, все святые, спасенные вмѣстѣ съ нимъ, были его братьями и сестрами, и всехъ ихъ онъ обязанъ былъ любить одинаково во имя той всепоглощающей любви, которую онъ долженъ былъ чувствовать къ Утѣшителю, составляющему живую и видимую связь между всеми вѣрующими. Чувственная любовь не допускалась въ церкви Принса. Мужъ и жена, вступаая въ эту церковь, должны были сдѣлаться другъ для друга братомъ и сестрой. Рожденію дѣтей не было мѣста въ обществѣ святыхъ.

Послѣ искорененія семейныхъ инстинктовъ, вѣрующему оставалась только забота о собственномъ пропитаніи, но и эта забота съ него снималась, когда онъ, продавъ все имущество, со включеніемъ рабочихъ инструментовъ, совершенно безсильный и безпомощный, весь цѣликомъ отдавался утѣшителю. Тогда онъ получалъ мѣсто за общимъ братскимъ столомъ и ѣлъ и пилъ со всеми остальными святыми, уповаая на Бога и не заботясь о завтрашнемъ днѣ.

Надо впрочемъ сознаться, что здѣсь въ разсказѣ Диксона чувствуется въ значительной степени недостатокъ подробностей. Въ умѣ читателя, сколько-нибудь внимательнаго, возникаютъ вопросы, на которые книга не даетъ отвѣтовъ. Спрашивается, все ли вѣрующіе, отдавшіе Принсу все свое состояніе, получали право до конца своей жизни ѣсть и пить за братскимъ столомъ? Повидимому тутъ возможенъ только одинъ отвѣтъ: да, все. Потому что, въ самомъ дѣлѣ, кто же согласится, даже въ виду приближающагося свѣтопреставленія, обречь себя на голодную смерть ради благосостоянія такой общины, которая не пускаетъ его въ свою среду, и даже просто отказывается въ кусокъ хлѣба ему, человеку, добровольно обобравшему и разорившему самого себя? Но, съ другой стороны, Принсу было чрезвычайно невыгодно принимать на свои хлѣба, на неопредѣленно-долгое время, такихъ людей кото-

рые, отдавая ему все свое состояніе и обнаруживая самую пламенную и несокрушимую вѣру въ его божественность, могли, при всемъ величіи своего самоотверженія, принести ему въ даръ только цѣну своихъ поддержанныхъ рабочихъ инструментовъ или стѣстныхъ припасовъ, закуленныхъ для мелочной лавочки. Это было до такой степени невыгодно, что Принсъ, вмѣсто того, чтобы набрать денегъ для пріобрѣтенія помѣстья, рисковалъ разорить и пустить по міру такимъ кормленіемъ всѣхъ своихъ сколько-нибудь состоятельныхъ приверженцевъ. Какимъ образомъ онъ выпутывался изъ этого затруднительнаго положенія, случались ли столкновенія между его министерствомъ финансовъ и такими неимущими и смышленными вѣрующими, которые были не прочь за корзину яицъ или за бутылку молока купить себѣ готовый столъ и возможность сидѣть сложа руки до конца жизни, и чѣмъ разрѣшались подобныя столкновенія—этого мы отъ Диксона не узнаемъ, хотя разъясненіе этихъ сомнительныхъ пунктовъ въ высшей степени важно для характеристики Принса и его друзей и для опредѣленія той степени искренности, которую они вносили въ свою дѣятельность.

«Принсъ—говоритъ Диксонъ—сдѣлался общарнымъ банкиромъ и повѣреннымъ всѣхъ святыхъ, которыхъ онъ спасъ. Когда ему требовались деньги, онъ посылалъ за ними, «Сестра Дженъ—писалъ онъ—Господу нужно пятьдесятъ фунтовъ. Аминь», и сестра Дженъ посылала ему свой кошелёкъ или чекъ. Нѣсколько большихъ и малыхъ суммъ было внесено въ эту сокровищницу Бога. Стерки положилъ тысячу фунтовъ. Джулія, вторая изъ пожилыхъ духовныхъ женъ Принса, предоставила Агнцу своей годовой доходъ въ восемьдесятъ фунтовъ. Готемъ Меберъ и четыре его сестры вложили вмѣстѣ не менѣе десяти тысячъ фунтовъ. Меберъ былъ, само собою разумѣется, однимъ изъ главныхъ свидѣтелей за Принса, и теперь онъ—ангелъ седьмой печати».

Читатель видитъ изъ этой цитаты, что показанія Диксона чрезвычайно сбивчивы. Если сестра Дженъ могла посылать Принсу по пятидесяти фунтовъ, когда Принсъ нуждался въ деньгахъ, то значить сестра Дженъ удержала за собой свою частную собственность, и только въ случаѣ надобности дѣлала добровольныя пожертвованія. Если Стерки, котораго Диксонъ называетъ очень состоятельнымъ человекомъ, внесъ въ общую кассу только тысячу фунтовъ, то значить даже Стерки, ближайшій другъ Принса, не пожертвовалъ всего своего имущества на общее дѣло. Слѣдовательно отреченіе отъ частной собственности не влѣялось вѣрующему въ непремѣнную обязанность, а только ставилось ему въ заслугу, когда онъ на него рѣшался въ порывѣ восторженнаго усердія.

Сдержанность и осмотрительность Страны составляютъ не совсѣмъ понятный и совершенно не разъясненный контрастъ съ тѣмъ энтузіазмомъ, подъ вліяніемъ котораго ремесленники продавали свои рабочіе инструменты и лавники—свой запасъ товаровъ.

Добровольныя пожертвованія не могли поставить Принсу сумму денегъ, достаточную для покупки приличнаго помѣстья. Для наваленія кассы понадобились новыя и экстраординарныя внушенія свыше.

Когда Принсъ былъ викаріемъ въ Стокѣ, онъ познакомился съ однимъ богатымъ старикомъ, жившимъ по сосѣдству. У этого старика, котораго звали Джозіасъ Ноттиджъ, было пять незамужнихъ дочерей. Младшей изъ этихъ дѣвицъ было около сорока лѣтъ. Всѣ дѣвицы увлеклись проповѣдями Принса, увѣровали въ него, между тѣмъ какъ ихъ родители, напротивъ того, отнеслись къ нему крайнимъ недоверіемъ и даже не захотѣли принимать его у себя въ домѣ. Старій Ноттиджъ умеръ въ то время, когда Принсъ потерявъ свое мѣсто въ Стокѣ и отложивъ отъ англиканской церкви, проповѣдывалъ въ Брайтонѣ. Каждая изъ пяти дочерей получила свою долю послѣ смерти отца по шестидесяти фунтовъ. Три изъ этихъ пяти сестеръ—Гарриетъ, Агнеса и Клара поѣхали въ Брайтонъ и поселились возлѣ той часовни, гдѣ проповѣдывалъ Принсъ. Когда утѣшитель поѣхалъ въ Уэймаутъ, сестры Ноттиджъ отправились вслѣдъ за нимъ. Въ Уэймаутѣ Принсъ собралъ святыхъ и объявилъ имъ свое намереніе переѣхать въ Спакстонъ и основать жилище любви. Повинуясь Принсу, святые и стѣ съ нимъ тронулись въ путь, и дѣвицы Ноттиджъ конечно не отстали отъ утѣшителя. И нежные средства для великаго дѣла еще были собраны въ достаточномъ количествѣ, именно во время путешествія Принсу пришла въ голову новая мысль, при содѣйствіи которой построеніе жилища оказалось возможнымъ.

Однажды утромъ въ городѣ Таппонтъ, святые остановились отдыхать на нѣсколькихъ дняхъ, Принсъ потребовалъ къ себѣ старую миссъ Ноттиджъ, Гарриетъ, и въ присутствіи своей жены, Семуэля Стерки и его сестры объявилъ ей, что для исполненія воли Божьей она, Гарриетъ, должна выдти замужъ за Джона Прайса. Гарриетъ, краснѣя, согласилась. Принсъ благосклонно закончилъ аудіенцію приказавъ до поры до времени держать въ тайнѣ сказанное и рѣшенное въ строжайшей тайнѣ.

Вслѣдъ затѣмъ Принсъ послалъ за другою сестрой, Агнесой, и сказалъ ей:

— Агнеса, Богъ посылаетъ вамъ особое благословеніе; но прежде чѣмъ я вамъ скажу, чѣмъ оно состоитъ, вы должны дать мнѣ слово, что окажете повиновеніе Господу и е-

ете его даръ. Агнеса сначала замялась, но потомъ дала требуемое обѣщаніе.

— Въ такомъ случаѣ, сказалъ Принсъ:— вы черезъ нѣсколько дней будете соединены узами брака съ братомъ Томасомъ.

Агнеса застыдилась и стала просить объ отсрочкѣ, говоря, что надо будетъ посоветоваться съ родственниками и сдѣлать различныя предварительныя распоряженія.

— Ничего этого не нужно, возразилъ Принсъ:— вамъ въ этомъ дѣлѣ надо думать не мірѣ, а о Богѣ.

— А мать моя? отпрашивалась Агнеса.

— Богъ вашъ отецъ и ваша мать, вразумилъ ее Принсъ.

— Нужно время на переговоры съ юристами, продолжала Агнеса.

— На что вамъ юристъ, милая? спросила мистрисъ Стерки.

— Надо же упрочить положеніе дѣтей, отбѣтила дѣвица, совѣмъ раскраснѣвшись.

— Дѣтей у васъ не будетъ, порѣшилъ Принсъ.—Вашъ бракъ съ вашимъ братомъ будетъ духовнымъ союзомъ. Ваша любовь къ вашему супругу будетъ чиста и согласна съ волей Господа.

Весь запасъ возраженій оказался истощеннымъ, и Агнеса покорилась.

Въ тотъ же день Принсъ пригласилъ обѣихъ просватанныхъ сестеръ къ себѣ обѣдать; у него за столомъ онѣ встрѣтились съ Прайсомъ и Томасомъ, и тутъ же произошла помолвка. Два дня спустя, третья сестра Клара согласилась выйти замужъ за Кобба.

Принсъ не далъ невѣстамъ никакой отсрочки: не позволилъ имъ ни съѣздить домой, ни свидѣться и посоветоваться съ кѣмъ-либо изъ старыхъ друзей семейства, ни даже написать къ матери о предстоящихъ событіяхъ. Онъ увезъ ихъ въ Уэльсъ, ссылаясь по обыкновенію на волю Верховнаго Существа, и отпраздновалъ съ три свадьбы въ одинъ день въ городѣ Буенси.

Нѣсколько дней спустя все имущество Гарлетъ и Клары, двѣнадцать тысячъ фунтовъ, было передано Прайсомъ и Коббомъ въ руки Принса, и Принсъ немедленно купилъ красивый домъ, большой садъ и хорошее помѣстье для новаго жилища любви.

Агнеса была умнѣе, смѣлѣе и настойчивѣе своихъ сестеръ. Ей удалось спасти свои деньги отъ той конфискаціи, ради которой были строчены три неожиданныя свадьбы.

III.

Мистрисъ Агнеса Томасъ не хотѣла быть вѣрноподанной Принса и, оградивъ отъ него свои деньги, начала даже стараться о томъ, чтобы отвлечь отъ него своего мужа. Она убѣ-

дила Томаса уѣхать съ ней изъ Уэймаута, гдѣ жилъ Принсъ съ своими святыми, дожидаясь окончанія строительныхъ работъ, предпринятыхъ въ Спакстонскомъ помѣстьѣ. Принсъ сразу отнесся недовѣрчиво къ отсутствію Томаса. «Братъ Томасъ, написалъ онъ къ нему— я приказываю вамъ встать и явиться въ Уэймаутъ. Аминь». Подчиняясь вліянію своей жены, которую онъ повидимому любилъ, несмотря на ея немолодые лѣта, Томасъ повиновался Принсу не тотчасъ, а сначала пробѣжалъ вмѣстѣ съ женой къ своей матери. Однако благоговѣйная привязанность его къ утѣшителю скоро одержала верхъ надъ всѣми противоположными побужденіями, и Томасъ пріѣхалъ въ Уэймаутъ также съ женой, которая кажется слѣдовала за нимъ неохотно въ такое мѣсто, гдѣ она за свою умственную гордость и строптивость должна была предвидѣть себѣ строгіе выговоры и крупныя непріятности. Агнесу тотчасъ послѣ ея пріѣзда обвинили въ преступномъ намѣреніи разлучить мужа съ Принсомъ. Святые обоого пола: Стерки, Прайсъ, Коббъ и ихъ жены стали единогласно порицать ея поведеніе. Родныя сестры напали на нее еще сильнѣе всѣхъ остальныхъ присутствующихъ. Принсъ сказалъ ей: «если вы осмѣлитесь внушать вашему супругу, чтобы онъ дѣйствовалъ наперекоръ моимъ приказаніямъ, то Богъ сокрушитъ васъ и сброситъ прочь съ дороги».

— Агнеса, закончилъ Томасъ:— я приказываю вамъ на будущее время повиноваться духу Божию, котораго велѣнія возвышаются мнѣ служителемъ Господа.

Вся эта сцена огорчила Агнесу, но не смирила ея. Узнавъ, что святые стараются привлечь въ жилище любви ея младшую сестру Луизу, она сѣла писать къ ней письмо, въ которомъ совѣтовала ей не поддаваться. Это начатое письмо нашли въ ея комнатѣ и представили Принсу, который, разумѣется, не могъ въ своемъ теократическомъ государствѣ допускать уваженіе къ тайнамъ частной корреспонденціи. Агнесѣ еще разъ сдѣлали сильную сцену, и ея мужъ, котораго обыкновенно заставляли въ подобныхъ случаяхъ играть въ отношеніи къ ней роль палача, объявилъ ей съ приличной торжественностью, что она больше не войдетъ въ свой брачный покой, что ей отвѣдена пустая комната и что ея новое возмущеніе противъ служителя Господа погубило ее окончательно и безвозвратно.

Вскорѣ послѣ того святые мужескаго пола уѣхали съ Принсомъ въ Спакстонъ, гдѣ строительныя работы быстро подвигались къ окончанію. Въ Спакстонѣ Принсъ получилъ странное и неожиданное извѣстіе, которое набросило густую тѣнь на добродѣтельную твердость брата Томаса. Принса увѣдомили, что Агнеса, почтенная сорокалѣтняя дама, беременна. Утѣ-

нитель пришелъ въ ярость. «Это, кричалъ онъ, отъ грѣха. Она нарушила вѣрность, она пала; ее надо исключить и прогнать».

Трудно себѣ представить, чтобы беремен- ность сорокалѣтней Агнесы, любившей своего мужа ревнивой и неосмотрительной любовью, могла дѣйствительно быть результатомъ невѣр- ности. Гораздо правдоподобнѣе и проще то предположеніе, что ея слабый и безхарактер- ный мужъ, поддавшись на первыхъ порахъ ея вліянію, согрѣшилъ противъ тѣхъ заповѣдей Принса, по которымъ его бракъ долженъ былъ оставаться духовнымъ союзомъ, а потомъ, снова подчинившись Принсу, выдалъ свою жену го- ловой и сдѣлалъ ее жертвой оскорбительныхъ подозрѣній, чтобы этимъ подвигомъ низости оправдать самого себя или по крайней мѣрѣ вымолить себѣ прощеніе.

Изъ Спакстона Томасъ послалъ своей женѣ приказаніе немедленно укладываться и ѣхать вонъ изъ Уэймаута. Агнеса уже больше не ви- далась съ своимъ мужемъ; она пріютилась въ домѣ своей матери и тамъ родила сына. Когда мальчику минуло четыре года, Стерки попробо- валь увезти его отъ матери. Значить ясно, что сами принсенты признавали его сыномъ Томаса и не считали Агнесу виновной въ невѣрности. Агнеса не уступила имъ своего ребенка и за- вела изъ-за него процессъ. Судъ рѣшилъ дѣло въ ея пользу, такъ-что мальчикъ остался въ ея рукахъ.

Младшая миссъ Ноттиджъ, Луиза, которой Агнеса хотѣла послать предостереженіе изъ Уэймаута, чувствовала постоянно возрастаю- щее влеченіе къ кружку Принса и, желая бли- же ознакомиться съ жизнью и нравами свя- тыхъ, пріѣхала погостить въ ихъ Спакстонское помѣстье. Ея родственники, знавшіе хорошо, куда пошли деньги Гарріетъ и Клары, сдѣлали отчаянное усиліе въ пользу Луизы и ея шести тысячъ фунтовъ. Трое джентльменовъ, всѣ трое родственники миссъ Ноттиджъ, сѣли въ ка- рету, пріѣхали въ Спакстонъ, ворвались въ домъ святыхъ черезъ черный ходъ, внезапно вошли въ комнату Луизы и пригласили ее ѣхать съ ними къ ея матери, которая, по ихъ словамъ, была опасно больна. Луиза отказалась ѣхать. Тогда они схватили ее и потащили за собой насильно. Она стала кричать и барах- таться, но никого изъ мужчинъ по близости не случилось, и родственники увезли ее, несмотря на ея вопли и отчаянное сопротивленіе. По доро- гѣ похитители говорили, что везутъ помѣ- шанную, и всѣ встрѣчавшіеся имъ люди совер- шенно удовлетворялись этимъ объясненіемъ, и выслушавъ его, не обращали болѣе никакого вниманія на мольбы, жалобы, стоны и бѣшеные порывы увозимой жертвы. Добѣхавъ до Лондона, джентльмены пристроили свою родственницу въ домъ умалишенныхъ, и Луиза высидѣла тамъ

въ зарерти полтора года. Въ Спакстонѣ ни- кто не зналъ, куда ее дѣвали; легко можетъ быть, что она умерла-бы въ сумасшедшемъ домѣ, а полному удовольствію троихъ джентльменъ, считавшихъ себя ея ближайшими наслѣдниками, еслибы ей не удалось случайно обмануть сторо- жей и вырваться на свободу. Очутившись за дверями своей тюрьмы, она немедленно на- далась съ Коббомъ и собралась ѣхать вмѣстѣ съ нимъ въ жилище любви, но на платформѣ желѣзной дороги ее узналъ, захватилъ въ плѣнъ и увезъ назадъ въ сумасшедшій домъ одиоз- ныхъ тамошнихъ смотрителей.

Коббъ подаль прошеніе въ то вѣдомство, отъ котораго зависить свидѣтельствовавіе сумас- шихъ. Луизу освидѣтельствовали, признали по- ровой и выпустили на волю. Она тотчасъ ѣхала въ Спакстонъ, передала Принсу въ полное собственность все свое имущество, съ соблю- неніемъ всѣхъ юридическихъ формальностей, и селилась въ жилище любви и прожила тамъ спокойно и счастливо до самой своей смерти.

Разсматривая поступки Принса въ отноше- ніи къ дѣвицамъ Ноттиджъ и сопоставляя ту не- чиную цѣль, къ которой онъ стремился, съ тѣми средствами, которыя онъ пускалъ въ ходъ, ста- тель, по всей вѣроятности, уже давно пришелъ къ тому заключенію, что Принсъ просто лживъ и дерзкій шарлатанъ, увлекающій легковѣрныхъ и впечатлительныхъ мужчинъ и женщинъ ни- ками туманнаго краснорѣчія, котораго безод- держательность превосходно извѣстна ему. Принсу, и которое все клонится исключительно къ тому, чтобы ораторъ могъ спокойно и без- бѣдно прожить жизнь насчетъ своихъ обви- нутыхъ, ослѣпленныхъ и нагло-обобрававшихъ жертвъ. Такое заключеніе очень соблазнительно по своей простотѣ. Оно представляется прежде всякихъ другихъ толкованій, когда человѣкъ смѣло и безпристрастно добывающійся истины, какова-бы она ни была, приступаетъ къ изу- ченію того разряда явленій, къ которому отне- сится дѣятельность Принса. Къ этому простому заключенію приходили и на немъ останавлива- лись всѣ французскіе философы прошлаго ста- лѣтія, когда они старались отдать себѣ отчетъ въ томъ, какъ возникали и упрочивали свое господство надъ человѣческими умами религіе- нныя ученія далекаго прошедшаго. Недостаточ- ность этого взгляда и невозможность объяснить удачнымъ поповскимъ обманомъ великія рели- гіозныя движенія, потрясавшія цѣлыя части свѣта, теперь уже не подвергаются сомнѣнію.

Всякій человѣкъ, имѣющій скольконибудь здравыя понятія о всемірной исторіи и о ея двигательныхъ силахъ, знаетъ очень хорошо, что ни Будда, ни Магометъ, ни Лойола, ни Лю- теръ, ни Кальвинъ, ни другіе основатели и преобразователи религій никогда не были лег- кими обманщиками, эксплуатирующими легко-

вріе своих послѣдователей. Но чѣмъ ближе къ намъ стоитъ дѣятель, относящійся къ той-же категоріи, чѣмъ отчетливѣе мы можемъ разсмотрѣть границы его вліянія, чѣмъ менѣе его образъ теряется въ туманѣ прошедшаго, чѣмъ овѣе и буржуазнѣе покрой его платья, чѣмъ свѣе мы различаемъ на этомъ платьѣ пятна прорѣхи, за уничтоженіе которыхъ надо платить известное количество хорошо известныхъ амъ монетъ, чѣмъ короче мы можемъ познакомиться съ обѣдами и завтраками дѣятеля и съ цѣной каждого блюда, появлявшагося на его столѣ, тѣмъ труднѣе намъ подавить въ себѣ то подозрѣніе, лестное для нашихъ собственныхъ человѣческихъ слабостей, что поступками дѣятеля управляли не идеи, въ вѣрности которыхъ онъ былъ чистосердечно и глубоко убѣжденъ, а именно цѣна, которая надо было выводить, прорѣхи, которыя слѣдовало зашивать, говядина, телятина и горошекъ, за которыми необходимо было посылать на рынокъ.

Въ отношеніи къ Принсу отъ такого подозрѣнія почти невозможно воздержаться. Многимъ читателямъ будетъ даже очень трудно предохранить себя отъ того, чтобы это подозрѣніе не разрослось въ совершенную увѣренность. Въ самомъ дѣлѣ, факты повидимому ясны, какъ день. Чего хотѣлъ Принсъ? Хотѣлъ купить себѣ домъ съ садомъ и помѣстьемъ. А что онъ для этого сдѣлалъ? Обморочилъ трехъ старыхъ дѣвъ и выманилъ у нихъ все ихъ состояніе. Кажется, просто и понятно. Гдѣ же тутъ остается мѣсто для сомнѣній?

Можно-ли однако въ самомъ дѣлѣ себѣ представить, чтобы человѣкъ, желающій купить себѣ домъ и готовый для этого пустить въ ходъ всякія средства, честныя и безчестныя, лишь-бы только они были дѣйствительны, составилъ себѣ слѣдующій планъ: пойду я въ такой-то залъ, зазову туда толпу слушателей, скажу имъ высокимъ и туманнымъ слогомъ, что я Богъ, увѣрю ихъ, что мнѣ непременно надо жить въ большомъ домѣ съ садомъ, и попрошу у нихъ денегъ. Они мнѣ сейчасъ повѣрятъ и дадутъ денегъ, и дадутъ не по шиллингу съ человѣка, а дадутъ по нѣскольку тысячъ фунтовъ, такъ что я сдѣлаюсь богатымъ человѣкомъ и куплю себѣ домъ, садъ и помѣстье.

Такой планъ немыслимъ, и немыслимъ именно со стороны ловкаго шарлатана. Такой планъ такъ очевидно, такъ отчаянно нелѣпъ, такой прямой дорогой ведетъ своего автора въ домъ умалишенныхъ и представляетъ такъ ужасно мало шансовъ успѣха, что его не можетъ придумать и на немъ не можетъ серьезно остановиться ни на минуту тотъ умный и смѣлый фокусникъ, которому счастливыя дарованія и крѣпкіе нервы давали бы возможность разыграть блистательнымъ образомъ, въ присутствіи многочисленной ау-

диторіи, трудную роль вдохновеннаго пророка. Кто можетъ выполнить этотъ планъ, тотъ не можетъ его задумать. Значитъ то, что сдѣлалъ Принсъ, можетъ сдѣлаться только самою собой, только тогда, когда во всемъ рядѣ поступковъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ и вытекающихъ одинъ изъ другого, нѣтъ ничего задуманнаго, разсчитаннаго и предусмотрѣннаго.

Здѣсь надо также обратить вниманіе и на то обстоятельство, что Принсъ дѣйствовалъ на своихъ слушателей исключительно силой проповѣди и тѣмъ общимъ впечатлѣніемъ, которое производила вся его личность. Онъ не дѣлалъ никакихъ чудесъ, не распускалъ никакихъ слуховъ о сдѣланныхъ чудесахъ и не подстроивалъ никакихъ сценическихъ эффектовъ. Онъ говорилъ просто: вѣрьте мнѣ, потому что вы должны мнѣ вѣрить; вѣрьте мнѣ, потому что я сдѣлался Богомъ; если повѣрите—будете спасены; если не повѣрите—погибнете. Онъ вызывалъ на бой невѣріе и насмѣшку, не имѣя въ рукахъ, для борьбы съ ними, никакого спеціальнаго оружія, никакого изумительнаго фокуса, ничего, кромѣ своего собственнаго упорнаго, глубокаго и дикаго убѣжденія. Шарлатаны такъ не дѣлаютъ.

Если Принсъ не шарлатанъ, то къ какому-же разряду людей слѣдуетъ его отнести?

Прежде, чѣмъ я попробую отвѣтить на этотъ вопросъ, я попрошу читателя припомнить, какъ одинъ изъ величайшихъ мыслителей нашего времени, одинъ изъ самыхъ сильныхъ, обширныхъ, глубокихъ и обработанныхъ умовъ нынѣшняго столѣтія, медленно, шагъ за шагомъ, безъ рѣзкихъ скачковъ и внезапныхъ поворотовъ, пришелъ къ тому, что провозгласилъ себя первосвященникомъ человѣчества, придумалъ цѣлый рядъ религіозныхъ празднествъ, молитвъ и обрядовъ, сталъ разсылать къ своимъ друзьямъ и знакомымъ, вѣсто писемъ и записокъ, повелительные бреве, и даже написалъ къ императору Николаю I письмо, въ которомъ приглашалъ его обратиться къ новой религіи и содѣйствовать ея распространенію. Когда творецъ положительной философіи, Огюстъ Контъ, предавался этимъ занятіямъ, онъ принималъ денежные подарки и пенсіи отъ знакомыхъ и незнакомыхъ людей, преклонявшихъ передъ его прежними великими трудами; онъ находилъ совершенно естественнымъ, чтобы въ его пользу составлялись подписки; онъ даже настоятельно требовалъ такихъ подинсковъ и публично, торжественно, печатно благодарилъ жертвователей, какъ людей, хорошо исполнившихъ свою обязанность.

Въ виду этихъ странныхъ и печальныхъ фактовъ, которые очень легко могутъ быть рассказаны игриво-насмѣшливымъ или презрительнымъ тономъ, ни одному благоразумному человѣку не придетъ однако въ голову нелѣ-

шитель пришелъ въ ярость. «Это, кричалъ онъ, отъ грѣха. Она нарушила вѣрность, она пала; ее надо исключить и прогнать».

Трудно себѣ представить, чтобы беременность сорокалѣтней Агнесы, любившей своего мужа ревнивой и неосмотрительной любовью, могла дѣйствительно быть результатомъ невѣрности. Гораздо правдоподобнѣе и проще то предположеніе, что ея слабый и безхарактерный мужъ, поддавшись на первыхъ порахъ ея вліянію, согрѣшилъ противъ тѣхъ заповѣдей Принса, по которымъ его бракъ долженъ былъ оставаться духовнымъ союзомъ, а потомъ, снова подчинившись Принсу, выдалъ свою жену головой и сдѣлалъ ее жертвой оскорбительныхъ подозрѣній, чтобы этимъ подвигомъ низости оправдать самого себя или по крайней мѣрѣ вымолить себѣ прощеніе.

Изъ Спакстона Томасъ послалъ своей женѣ приказаніе немедленно укладываться и ѣхать вонъ изъ Уэймаута. Агнеса уже больше не видалась съ своимъ мужемъ; она пріютилась въ домѣ своей матери и тамъ родила сына. Когда мальчику минуло четыре года, Стерки попробовалъ увести его отъ матери. Значитъ ясно, что сами принсенты признавали его сыномъ Томаса и не считали Агнесу виновной въ невѣрности. Агнеса не уступила имъ своего ребенка и завела изъ-за него процессъ. Судъ рѣшилъ дѣло въ ея пользу, такъ-что мальчикъ остался въ ея рукахъ.

Младшая миссъ Ноттиджъ, Луиза, которой Агнеса хотѣла послать предостереженіе изъ Уэймаута, чувствовала постоянно возрастающее влеченіе къ кружку Принса и, желая ближе ознакомиться съ жизнью и нравами святыхъ, пріѣхала погостить въ ихъ Спакстонское помѣстье. Ея родственники, зная хорошо, куда пошли деньги Гарриетъ и Клары, сдѣлали отчаянное усиліе въ пользу Луизы и ея шести тысячъ фунтовъ. Трое джентльменовъ, всѣ трое родственники миссъ Ноттиджъ, сѣли въ карету, пріѣхали въ Спакстонъ, ворвались въ домъ святыхъ черезъ черный ходъ, внезапно вошли въ комнату Луизы и пригласили ее ѣхать съ ними къ ея матери, которая, по ихъ словамъ, была опасно больна. Луиза отказалась ѣхать. Тогда они схватили ее и потащили за собой насильно. Она стала кричать и барахтаться, но никого изъ мужчинъ по близости не случилось, и родственники увезли ее, несмотря на ея вопли и отчаянное сопротивленіе. По дорогѣ похитители говорили, что везутъ помѣшанную, и всѣ встрѣчавшіеся имъ люди совершенно удовлетворялись этимъ объясненіемъ, и выслушавъ его, не обращали болѣе никакого вниманія на мольбы, жалобы, стоны и бѣшеные порывы увозимой жертвы. Добѣхавъ до Лондона, джентльмены пристроили свою родственницу въ домъ умалишенныхъ, и Луиза высидѣла тамъ

въ зарерти полтора года. Въ Спакстонѣ не знали, куда ее дѣвали; легко можно было думать, что она умерла-бы въ сумасшедшемъ домѣ, полному удовольствію тронуть джентльменовъ, считавшихъ себя ея ближайшими наслѣдниками, если бы ей не удалось случайно обмануть свѣжей и вырваться на свободу. Очутившись въ дверяхъ своей тюрьмы, она немедленно подалась съ Коббомъ и собралась ѣхать къ нему въ жилище любви, но на платформѣ желѣзной дороги ее узналъ, захватилъ въ руки и увезъ назадъ въ сумасшедшій домъ однимъ изъ тамошнихъ смотрителей.

Коббъ подалъ прошеніе въ то вѣдомство, котораго зависитъ свидѣтельствовапіе сумасшедшихъ. Луизу освидѣтельствовали, признали ее за умную и выпустили на волю. Она тотчасъ поѣхала въ Спакстонъ, передала Принсу въ полную собственность все свое имущество, съ соблюденіемъ всѣхъ юридическихъ формальностей, селилась въ жилище любви и прожила спокойно и счастливо до самой своей смерти.

Разсматривая поступки Принса въ отношеніи къ дѣвицамъ Ноттиджъ и сопоставляя эту нечистую цѣль, къ которой онъ стремился, съ средствами, которыми онъ пускалъ въ ходъ, тѣмъ, по всей вѣроятности, уже давно пришедъ къ тому заключенію, что Принсъ просто и дерзкій шарлатанъ, увлекающій легковѣрныхъ и впечатлительныхъ мужчинъ и женщинъ туманнаго краснорѣчія, котораго божественность превосходно извѣстна Принсу, и которое все клонится къ тому, чтобы ораторъ могъ спокойно и свободно прожить жизнь насчетъ своихъ чужихъ, ослѣпленныхъ и нагло-обображаемыхъ жертвъ. Такое заключеніе очень соблазняетъ по своей простотѣ. Оно представляется въ всякихъ другихъ толкованіяхъ, когда человѣкъ смѣло и безпристрастно добивающійся истины, какова-бы она ни была, приступаетъ къ изслѣдованію того разряда явленій, къ которому принадлежитъ дѣятельность Принса. Къ этому заключенію приходили и на немъ останавливались всѣ французскіе философы прошлаго вѣка, когда они старались отдать себѣ отчетъ въ томъ, какъ возникали и упрочивались господство надъ человѣческими умами религіозныя ученія далекаго прошедшаго. Недостатокъ этого взгляда и невозможность обмануть удачнымъ поповскимъ обманомъ великія религиозныя движенія, потрясавшія цѣлыя вѣка, теперь уже не подвергаются сомнѣнію.

Всякій человѣкъ, имѣющій сколько-нибудь здравыя понятія о всемірной исторіи и двигательныхъ силахъ, знаетъ очень хорошо, что ни Будда, ни Магометъ, ни Лойола, ни Кальвинъ, ни другіе основатели и преобразователи религій никогда не были кими обманщиками, эксплуатирующими

вѣе своихъ послѣдователей. Но чѣмъ ближе къ намъ стоитъ дѣятель, относящійся къ той-же категоріи, чѣмъ отчетливѣе мы можемъ разсмотрѣть границы его вліянія, чѣмъ менѣе его образъ теряется въ туманѣ прошедшаго, чѣмъ оцѣнка и буржуазнѣе покрѣй его платья, чѣмъ снѣе мы различаемъ на этомъ платьѣ пятна прорѣхи, за уничтоженіе которыхъ надо платитъ извѣстное количество хорошо извѣстныхъ амъ монетъ, чѣмъ короче мы можемъ познакомиться съ обѣдами и завтраками дѣятеля и съ цѣной каждаго блюда, появлявшагося на его столѣ, тѣмъ труднѣе намъ подавить въ себѣ то подозрѣніе, лестное для нашихъ собственныхъ человѣческихъ слабостей, что поступками дѣятеля управляли не идеи, въ вѣрности которыхъ онъ былъ чистосердечно и глубоко убѣжденъ, а именно пятна, которыя надо было выводить, прорѣхи, которыя слѣдовало зашивать, говядину, телятина и горошекъ, за которыми необходимо было посылать на рынокъ.

Въ отношеніи къ Принсу отъ такого подозрѣнія почти невозможно воздержаться. Многимъ читателямъ будетъ даже очень трудно предохранить себя отъ того, чтобы это подозрѣніе не разрослось въ совершенную увѣренность. Въ самомъ дѣлѣ, факты повидимому ясны, какъ день. Чего хотѣлъ Принсъ? Хотѣлъ купить себѣ домъ съ садомъ и помѣстьемъ. А что онъ для этого сдѣлалъ? Обморочилъ трехъ старыхъ дѣвъ и выманилъ у нихъ все ихъ состояніе. Кажется, просто и понятно. Гдѣ же тутъ остается мѣсто для сомнѣній?

Можно-ли однако въ самомъ дѣлѣ себѣ представить, чтобы челоѣкъ, желающій купить себѣ домъ и готовый для этого пустить въ ходъ всякія средства, честныя и безчестныя, лишь-бы только они были дѣйствительны, составилъ себѣ слѣдующій планъ: пойду я въ такой-то залъ, завою туда толпу слушателей, скажу имъ высокимъ и туманнымъ слогомъ, что я Богъ, увѣрю ихъ, что мнѣ непременно надо жить въ большомъ домѣ съ садомъ, и попрошу у нихъ денегъ. Они мнѣ сейчасъ повѣрятъ и дадутъ денегъ, и дадутъ не по шиллингу съ челоѣвка, а дадутъ по нѣскольку тысячъ фунтовъ, такъ что я сдѣлаюсь богатымъ челоѣкомъ и куплю себѣ домъ, садъ и помѣстье.

Такой планъ немислимъ, и немислимъ именно со стороны ловкаго шарлатана. Такой планъ такъ очевидно, такъ отчаянно нелѣпъ, такой прямой дорогой ведетъ своего автора въ домъ умалишенныхъ и представляетъ такъ ужасно мало шансовъ успѣха, что его не можетъ придумать и на немъ не можетъ серьезно остановиться ни на минуту тотъ умный и смѣлый фокусникъ, которому счастливыя дарованія и крѣпкіе нервы давали бы возможность разыграть блистательнымъ образомъ, въ присутствіи многочисленной аудиторіи, трудную роль вдохновеннаго пророка.

Кто можетъ выполнить этотъ планъ, тотъ не можетъ его задумать. Значитъ то, что сдѣлалъ Принсъ, можетъ сдѣлаться только само собой, только тогда, когда во всемъ рядѣ поступковъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ и вытекающихъ одинъ изъ другого, нѣтъ ничего задуманнаго, разсчитаннаго и предусмотрѣннаго.

Здѣсь надо также обратить вниманіе и на то обстоятельство, что Принсъ дѣйствовалъ на своихъ слушателей исключительно силой проповѣди и тѣмъ общимъ впечатлѣніемъ, которое производила вся его личность. Онъ не дѣлалъ никакихъ чудесъ, не распускалъ никакихъ слуховъ о сдѣланныхъ чудесахъ и не подстроивалъ никакихъ сценическихъ эффектовъ. Онъ говорилъ просто: вѣрьте мнѣ, потому что вы должны мнѣ вѣрить; вѣрьте мнѣ, потому что я сдѣлался Богомъ; если повѣрите—будете спасены; если не повѣрите—погибнете. Онъ вызывалъ на бой невѣріе и насмѣшку, не имѣя въ рукахъ, для борьбы съ ними, никакого спеціальнаго оружія, никакого изумительнаго фокуса, ничего, кромѣ своего собственнаго упорнаго, глубокаго и дикаго убѣжденія. Шарлатаны такъ не дѣлаютъ.

Если Принсъ не шарлатанъ, то къ какому же разряду людей слѣдуетъ его отнести?

Прежде, чѣмъ я попробую отвѣтить на этотъ вопросъ, я попрошу читателя припомнить, какъ одинъ изъ величайшихъ мыслителей нашего времени, одинъ изъ самыхъ сильныхъ, обширныхъ, глубокихъ и обработанныхъ умовъ нынѣшняго столѣтія, медленно, шагъ за шагомъ, безъ рѣзкихъ скачковъ и внезапныхъ поворотовъ, пришелъ къ тому, что провозгласилъ себя первосвященникомъ челоѣчества, придумалъ цѣлый рядъ религіозныхъ празднествъ, молитвъ и обрядовъ, сталъ разсылать къ своимъ друзьямъ и знакомымъ, вмѣсто писемъ и записокъ, повелительные бреве, и даже написалъ къ императору Николаю I письмо, въ которомъ приглашалъ его обратиться къ новой религіи и содѣйствовать ея распространенію. Когда творецъ положительной философіи, Огюстъ Ковтъ, предавался этимъ занятіямъ, онъ принималъ денежные подарки и пенсіи отъ знакомыхъ и незнакомыхъ людей, преклонявшихся передъ его прежними великими трудами; онъ находилъ совершенно естественнымъ, чтобы въ его пользу составлялись подписки; онъ даже настоятельно требовалъ такихъ подписокъ и публично, торжественно, печатно благодарилъ жертвователей, какъ людей, хорошо исполнившихъ свою обязанность.

Въ виду этихъ странныхъ и печальныхъ фактовъ, которые очень легко могутъ быть разсказаны игриво-насмѣшливымъ или презрительнымъ тономъ, ни одному благоразумному челоѣку не придетъ однако въ голову нелѣ-

ная и дрянная мысль предположить въ Огюстѣ Контѣ побужденія шарлатана, желающаго пожить сложа руки на счетъ обмороченныхъ простаковъ. Контъ оставался постоянно глубоко-искреннимъ человѣкомъ; онъ постоянно хотѣлъ служить и служилъ только своей идеѣ; онъ не примѣшивалъ сознательно къ этому служенію никакихъ мелкихъ своекорыстныхъ видовъ и расчетовъ. Любя свою идею, онъ измѣрялъ самого себя тѣми услугами, которыя онъ ей оказывалъ; при этомъ способѣ измѣренія онъ находилъ совершенно справедливо, что сдѣлалъ много великаго и прекраснаго; созерцая величіе и красоту своихъ умственныхъ подвиговъ съ совершенно естественной и законной гордостью, упиваясь нѣсколько лѣтъ подрядъ этимъ обаятельнымъ созерцаніемъ, онъ дошелъ шагъ за шагомъ, постепенно и незамѣтно, до самаго простодушнаго и добросовѣстнаго обоготворенія собственной личности. Слово *обоготвореніе* надо тутъ понимать не въ переносномъ, не въ приблизительномъ, а въ самомъ точномъ и строгомъ буквальномъ смыслѣ. Контъ совершенно упустилъ изъ виду то соображеніе, что онъ можетъ ошибаться, что его мысли могутъ быть предположеніями, которымъ ничто не соответствуетъ въ дѣйствительности, что его проекты могутъ оказаться неисполнимыми или что ихъ исполненіе можетъ принести человѣчеству больше вреда, чѣмъ пользы. Контъ, конечно не отдавая себѣ яснаго отчета, приписалъ себѣ мудрость, благость и всемогущество—три важнѣйшіе атрибута Верховнаго Существа. Все, что онъ думалъ, было по его мнѣнію, безусловно истинно. Все, что онъ рѣшалъ, было справедливо, хорошо и полезно. Все, что онъ говорилъ или писалъ, должно было, въ силу своей абсолютной разумности, сдѣлаться, для блага человѣчества, общепринятымъ и общеобязательнымъ закономъ. Еслибы все это было дѣйствительно такъ, какъ воображалъ себѣ Контъ, еслибы онъ дѣйствительно былъ не только основателемъ положительной философіи, но и существомъ абсолютно мудрымъ, благимъ и всемогущимъ, или, другими словами, если-бы люди его времени могли признать его такимъ существомъ, то ни его первосвященничество, ни его письмо къ императору Николаю, ни пенсіи и денежные подарки никому не стали-бы казаться ни странными, ни предосудительными. Допустивъ только законность обоготворенія, мы допускаемъ законность всѣхъ остальныхъ своеобразностей его поведенія. Точно такъ-же, признавъ искренность этого обоготворенія, мы признаемъ искренность всѣхъ затѣй, которыя изъ него вытекли, какъ-бы ни были эти затѣи похожи съ перваго взгляда на мелкія продѣлки шарлатана, эксплуатирующаго довѣрчивость ближнихъ.

Контъ и Принсъ конечно совершенно не по-

хожи другъ на друга. Первый—милый мечтатель, одно изъ свѣтилъ человечества; второй—жалкій и вредный мечтатель, способный только увеличить своей дѣятельности рядъ гибельныхъ человѣческихъ заблужденій. Но ко же, при всемъ крайнемъ несогласіи личностей, къ нимъ можетъ и должна быть приложена одна и та же иѣрка съ той стороны, съ которой я разсматриваю ихъ творенія собственной личности и до всѣхъ дѣлностей, вытекающихъ изъ этого осанна абсурда, то для Принса этотъ искренній выходъ въ міръ вопиющей безмыслицы представлялъ еще гораздо меньше затрудненій. Контъ воспитанный съ ранней молодости въ строгихъ школахъ положительной науки, былъ расположенъ къ трезвому взгляду на міръ и на самого себя; онъ зналъ границы человѣческаго разума; онъ чуть не на каждой страницѣ своей положительной философіи напоминаетъ читателя о крайней слабости нашихъ познавательныхъ способностей; у него, стало быть, въ рукахъ, подъ руками было все, что можетъ уродовать человѣка отъ уродливыхъ крайностей самообожавія; и однакоже это все не помешало ему упиться до самозабвенія умственнымъ величіемъ собственной личности и растерять во время опьяненія все, что составляло его это умственное величіе.

Принсъ, напротивъ того, всѣми своими питаніемъ былъ какъ будто нарочно подготовленъ ко всевозможнымъ заблужденіямъ. Онъ въ ранняго дѣтства мечталъ и сентиментализировалъ со старой замолвившейся и зачитавшейся дѣвой. Онъ прикоснулся къ положительнымъ наукамъ, или точнѣе къ ремеслу, основанному на положительной наукѣ—какъ разъ изъ стыда, на сколько это было нужно, чтобы ему почувствовать непригодность его умъ къ научнымъ занятіямъ, и чтобы дать ему поводъ относиться съ высокомернымъ и сострадательнымъ презрѣніемъ къ положительному знанію, какъ къ такому дѣлу, котораго тщета и неудовлетворительность онъ достаточно извѣдалъ. Онъ сошелся съ кучкой молодыхъ мечтателей и сталъ виѣстѣ съ ними горячить свое воображеніе «Пѣснью пѣсней» и твореніями старинныхъ нѣмецкихъ мистиковъ. Онъ пропиталъ себя мозгомъ костей такимъ міросозерцаніемъ, которое не знаетъ границъ человѣческимъ силамъ. Онъ имѣетъ понятія о неизбѣжныхъ естественныхъ законахъ и признаетъ за человѣкомъ способность возвыситься чистотой жизни и помысловъ до безконечнаго совершенства. Онъ развилъ всю свою нервную систему порывами платонической страсти къ старухѣ, такой страсти, которой не могло быть нормальнаго исхода; которая одна, сама по себѣ, способна была вести здороваго человѣка до иступленія и

ства. Наконецъ онъ выступилъ на сцену, гдѣ ему, чтобы дѣйствовать на окружающихъ людей, надо было сочинять яркія картины, то-есть, работать воображеніемъ, постоянно жить и развивать въ себѣ состояніе наглаго опьяненія.

Вѣровать въ самого себя, какъ въ бога, надо было дѣйствительно совершить области мысли много великаго, и у него образованіи, была въ рукахъ и мѣрка для оцѣнки и измѣренія собственныхъ умственныхъ подвиговъ. Онъ подвергалъ самого себя справедливой строгой критикѣ. Принсъ, напримеръ, не могъ требовать отъ своей дѣятельности осязательныхъ плодовъ. Должны были созрѣвать не на землѣ, а въ немъ. О достоинствѣ этихъ плодовъ не могли ослѣпленные грѣшники. Что, по его мнѣнію, было безуміемъ, то могло оказывать міру чистѣйшей мудростью. Въ глазахъ было безнравственностью, что для общества болѣе разумныхъ могли увидѣть и проявленія высшей добродѣтели. Существенная, самая основная и самая дѣятельная работа Принсы состояла въ томъ, чтобы расположить извѣстнымъ образомъ свое сознание и своей воли, чтобы собственнымъ инстинктамъ, влеченіямъ. Это была работа внутренней перестройки, работа, по самой своей, недопускавшая никакой проволочки, за которой никто не могъ слѣзть. Хорошъ-ли, вѣренъ-ли, разуменъ-ли планъ, по которому Принсъ хотѣлъ положить эти отношенія — объ этомъ онъ не могъ судить, и въ этомъ вопросѣ онъ признавалъ-бы компетентнымъ судьей только свою собственную совѣсть.

Если подвигается внутренняя работа, то близко она подвинулась къ цѣли, подробности выполненія соответствующаго составленнаго плана — это все вопросы, которые могъ и долженъ былъ безапелляционно самъ Принсъ, и Принсъ, безъ всякихъ ассистентовъ и помощниковъ. Но это еще не все. По мѣрѣ того, какъ шла впередъ эта внутренняя работа, Принсъ все болѣе долженъ былъ развивать способность контролировать ее, то-есть, спокойно то, что предположено, то-есть, съ тѣмъ, что дѣйствительно сдѣланная работа состояла въ насильственномъ искорененіи, поработѣ и извращеніи естественныхъ наклонностей и стремленій человѣческаго организма всѣмъ такъ тѣсно связаны и переплетены, что такія энергическія операціи, которыя надъ естественными инстинкта-

ми и влеченіями, не могутъ остаться безъ сильнаго вліянія на ту способность, которая направляетъ и контролируетъ эти операціи.

Умственные способности Принсы, на которыя Принсъ вовсе не хотѣлъ дѣйствовать, должны были искажаться и вырождаться вмѣстѣ съ тѣми инстинктами, которые онъ старался переработать. Искаженный и ослабленный умъ не могъ постоянно имѣть въ виду одинъ неизблемый идеалъ, и во имя этого идеала приносить ясно и отчетливо мотивированный приговоръ надъ производящейся внутренней работой. Отчетливость и сознательность во взглядѣ Принсы на эту работу, отъ успѣха которой зависѣло его мнѣніе о собственной личности, скоро должны были сдѣлаться невозможными. Ясное сужденіе о томъ, хорошо или дурно, быстро или медленно подвигается впередъ эта работа, скоро должно было уступить мѣсто смутному, непосредственному ощущенію ея успѣшности или неуспѣшности, ощущенію, зависѣвшему отъ того, на сколько Принсъ чувствовалъ себя утомленнымъ, измученнымъ и изломаннымъ. Это чувство усталости, измученности и изломанности Принсъ ставилъ себѣ въ заслугу. «Я—говорилъ онъ самодовольно, описывая свое превращеніе въ божество—умираю ежедневно. Моя внутренняя жизнь подвергается постепенному разрушенію». Когда это чувство дошло до своего *максимума*, когда организмъ ослабѣлъ на столько, что пересталъ обнаруживать какія бы то ни было энергическія влеченія, и когда, вмѣстѣ съ тѣмъ, притупленный умъ потерялъ способность анализировать душевныя движенія и открывать въ нихъ неистребимое зерно эгоизма, свойственнаго всему живому—тогда самодовольство Принсы разрослось до такихъ размѣровъ, что онъ съ полнымъ убѣжденіемъ провозгласилъ себя божествомъ.

Тутъ произошелъ крутой поворотъ въ отношеніяхъ Принсы къ своимъ инстинктамъ и влеченіямъ. То, что раньше превращеніе было достойно самаго строгаго осужденія и самаго неумолимаго преслѣдованія,—то послѣ совершившагося превращенія сдѣлалось предметомъ благоговѣйнаго культа. Пока Принсъ былъ человѣкомъ, онъ боролся съ самимъ собой; когда же онъ сдѣлался богомъ, тогда онъ, раз навсегда помирившись съ собственной личностью, сталъ заботливо лелѣять и развивать въ себѣ неистребимые остатки тѣхъ самыхъ человѣческихъ слабостей и влеченій, которыхъ долгое и систематическое подавленіе дало ему возможность возвыситься до сознанія своей божественности. Еслибы, оставаясь человѣкомъ, Принсъ почувствовалъ влеченіе къ хорошо-меблированнымъ комнатамъ большого дома и къ тѣнистымъ аллеямъ обширнаго сада, то онъ завязалъ бы съ этимъ влеченіемъ упор-

ную, истребительную войну. Но когда, сдѣлавшись богомъ, Принсъ почувствовалъ, что роскошная мебель, большія комнаты, живописное мѣстоположеніе, хорошій столъ могутъ доставить ему пріятныя ощущенія, тогда онъ съ полнымъ спокойствіемъ совѣсти потянулся ко всѣмъ этимъ земнымъ удобствамъ и безъ всякихъ нравственныхъ колебаній воспользовался тѣми средствами, которыя находились у него подъ руками и могли привести его къ цѣли.

Поселившись въ роскошномъ жилищѣ любви, избавившись навсегда отъ докучливыхъ матеріальныхъ заботъ, оградивъ себя отъ изнурительной борьбы съ самимъ собой установившимся сознаніемъ своей божественности, Принсъ, подѣ влияніемъ сытой, спокойной и правильной жизни, поздоровѣлъ, окрѣпъ и привелъ въ порядокъ свою нервную систему, такъ что наконецъ почувствовалъ и для себя возможность той грубой чувственной любви, которую онъ отрицалъ, проклиналъ и преслѣдовалъ во время своего стремленія къ сверхъестественному совершенству и во время своего увлеченія старой дѣвой, Мартой Фриманъ. Продолжая несокрушимо вѣровать въ свою божественность, Принсъ, разумеется, отнесся къ этому пробужденію чувственности спокойно, почтительно и нѣжно, какъ онъ, со времени своего апофеоза, относился ко всѣмъ своимъ желаніямъ и влеченіямъ. Разъ, какъ въ немъ проявилась чувственность, значитъ она хороша, чиста и свята, значитъ ей должно быть отведено почетное мѣсто въ новомъ, слагающемся благодатномъ порядкѣ міра, значитъ надо оправданіемъ и освященіемъ чувственности дополнить и завершить откровеніе, данное святымъ обитателямъ спакстонскаго жилища.

Принсъ рѣшилъ, что восемнадцать столѣтій тому назадъ дѣло дьявола было уничтожено въ духѣ, и что теперь наступило время убить его господство надъ тѣломъ. Эта новая и послѣдняя фаза искупленія должна была совершиться путемъ особаго таинственнаго акта въ спакстонскомъ жилищѣ любви.

Этотъ таинственный актъ и его торжественное совершеніе говорятъ особенно громко и выразительно, какъ мы сейчасъ увидимъ ниже, въ пользу моего взгляда на личность и дѣятельность Принса. Придумать и совершить такое дикое, скандальное и ни на что не нужное дѣло могъ только фанатикъ, домечтавшійся до помѣшательства и заразившій своей мономаніей всѣхъ окружающихъ, а ужъ никакъ не искусный, дерзкій и корыстолюбивый шарлатанъ.

Въ числѣ святыхъ, переселившихся вмѣстѣ съ Принсомъ изъ Уэймаута въ Спакстонъ, была одна молодая вдова, мистрисъ Патерсонъ, съ дочерью, очень хорошенькой дѣвочкой, уже на возрастѣ. Вскорѣ послѣ переселенія мать умерла, а дѣвочка осталась въ жилищѣ

любви, круглой сиротой и общей любимой. Она выросла, сформировалась, и наконецъ развернулась во всемъ своемъ блескѣ.

Въ это время, когда миссъ Патерсонъ уже цвѣтущей красавицей, Принсъ особымъ живо сталъ чувствовать недостаточность принятаго откровенія и безотлагательную необходимость произвести окончательное и торжественное примиреніе тѣла съ божествомъ. Принсъ объявилъ братьямъ и сестрамъ, что пришло время великихъ событій, что онъ, избравъ Бога, долженъ скоро сдѣлать дѣлу своей женой, какъ женихъ вступаетъ въ бракъ съ невѣстой, не въ страхѣ и стыдѣ, не въ тайнѣ мѣстѣ и при затворенныхъ дверяхъ, а открыто, при полуденномъ свѣтѣ, въ присутствіи всѣхъ святыхъ мужескаго и женскаго пола, и совѣтуясь о своемъ выборѣ ни съ кѣмъ, кромѣ самого себя, не спрашиваясь ничьего одобренія, и всего менѣе согласія той, которая избрана имъ.

Братья и сестры выслушали Принса въ изумленіи и недоумѣніи и стали ожидать ожидаемыхъ великихъ событій, не составляя еще о нихъ никакого опредѣленнаго понятія. Наступило, какъ говорила Диксонъ сестра Элленъ, очень нѣжное и торжественное время. Святые читали, молились и пѣли; никто не смѣлъ знать, кому достанется великій санъ истинной невѣсты. Всѣ дѣвы, находившіяся въ жилищѣ любви, молодыя и старыя, красивыя и некрасивыя, держали себя въ трепетной тишинѣ, не зная ни дня, ни часа, когда придетъ желанный женихъ.

Наконецъ Принсъ назначилъ день для таинственнаго церемоніи. Братья и сестры собрались изъ своихъ отдѣльныхъ комнатъ въ роскошный залъ, считавшійся ихъ церковью. Принсъ изнесъ имъ вдохновенную рѣчь о предстоящемъ искупленіи тѣла, съ которымъ духъ долженъ примириться и сочетаться торжественнымъ бракомъ. Затѣмъ онъ подошелъ къ миссъ Патерсонъ, взялъ ее за руку, далъ ей брачный поцѣлуй и объявилъ, что его связь съ ней будетъ знаменіемъ любви Бога къ тѣлу.

Далѣе произошло то, чему трудно найти подобіе въ длинной лѣтописи человѣческихъ блужденій, нелѣпостей, увлеченій и безумствъ. Принсъ сдѣлалъ миссъ Патерсонъ своей женой тутъ-же, на мѣстѣ, среди бѣлаго дня, въ присутствіи нѣсколькихъ десятковъ мужиковъ и женщинъ, продолжавшихъ умиляться и благоговѣть. Въ числѣ присутствовавшихъ и благоговѣвшихъ находились жена Принса и ея братъ Стерки. Ихъ въбра нѣсколько не поколебала Героиня торжества, «новая Мадонна», называемая ея Диксонъ, кротко и безропотно покорилась своей неслыханной участи.

Нѣкоторые изъ свидѣтелей церемоніи считались однако и почувствовали сомнѣніе. Въ э

ещѣ любви послышались возгласы ужаса и недоуванія. Начались толки, грозившіе повести съ собой отпаденіе смущенныхъ и усомнившихся центовъ. Эти толки усилились въ особенности тогда, когда Мадонна Патерсонъ забеременѣла, какъ самая обыкновенная женщина, и родила въ должное время дочь. Рожденіе ребенка оказалось для Принса громовымъ ударомъ. Оно доказало ему, что законы природы не отмѣнены не приостановлены для святыхъ обитателей пакстонскаго жилища. Оно на минуту поколебало всѣ его теоріи о томъ, что его тѣлесная жизнь окончена, и что въ немъ живетъ и дѣйствуетъ божество. Пораженный неумолимымъ дѣйствіемъ естественнаго закона, онъ нѣсколько времени не зналъ, что думать о самомъ себѣ и о своей дѣятельности, которая шагъ за шагомъ привела его изъ лемпистерской теологической школы въ пакстонское жилище любви. Ему, воплощенію божества, было невыносимо горько и тяжело, какъ простому смертному, принужденному въ раздумьи и въ тревогѣ, со стыдомъ и съ досадой, созерцать результаты надѣланныхъ ошибокъ.

«Вы бы стали плакать за него кровавыми слезами, говорила сестра Элленъ Диксону, если бы вы видѣли, какъ сильно онъ страдаетъ. Онъ страдаетъ такъ глубоко, и еще принужденъ нести бремя за насъ всѣхъ».

Но Принсъ зашелъ уже слишкомъ далеко, чтобы ему было возможно, подъ вліяніемъ какихъ-бы то ни было испытаній, поворотить назадъ, отречься отъ своего прошедшаго и претъ проклятію свои обаятельныя заблужденія, изъ которыхъ была составлена вся его внутренняя жизнь. Въ томъ мірѣ туманныхъ и произвольныхъ гаданій, въ которомъ виталъ Принсъ, человѣкъ при нѣкоторой гибкости и наметанности ума и воображенія можетъ доказать себѣ все, что только ему желательно, и подобрать для какихъ-бы то ни было осязательныхъ фактовъ самое удовлетворительное и пріятное объясненіе. Ребенокъ Мадонны Патерсонъ не могъ оказаться непреодолимымъ препятствіемъ, гибельнымъ для всего теологическаго эшафодажа, построеннаго Принсомъ. Достаточно потерзавшись сомнѣніями и тревогами, Принсъ, къ полному удовольствію своихъ святыхъ, рѣшилъ, что все это огорченіе, постигшее его обитель, было его послѣдней битвой съ дьяволомъ, и что несчастный ребенокъ, родившійся такъ некстати, былъ послѣднимъ прощальнымъ даромъ побѣжденнаго и низложеннаго врага.

Впрочемъ не всѣ святые остались довольны случившимся. Нѣкоторые братья отпали отъ Принса и удалились изъ жилища любви. Особенно чувствительно было удаленіе Льюиса Прайса, который увезъ съ собою свою жену

Гарриетъ, урожденную Ноттиджъ, и ея шесть тысячъ фунтовъ.

Переживъ эти волненія и раздоры, Принсъ сдвинулъ тѣсныя ряды своей духовной арміи и произвелъ своихъ непоколебимо вѣрующихъ сподвижниковъ въ тѣ высокіе чины, которые на всю вѣчность должны были оставаться ихъ неотъемлемымъ достояніемъ въ новомъ небѣ и на новой землѣ. Томасъ и Стерки были провозглашены первымъ и вторымъ помазанниками. Маберъ — Ангеломъ Послѣдней Трубы. Семь святыхъ, которыхъ имена перечислять бесполезно, названы семью свидѣтелями, вѣщающими послѣ звука седьмой трубы.

Всѣ эти сановники пакстонскаго неба вступили немедленно въ отправленіе своихъ обязанностей. Помазанники прочитали дюжину поученій о тайнахъ семи звѣздъ и семи свѣтильниковъ. Маберъ затрубилъ въ свою трубу и произнесъ слѣдующую декларацію:

«Я объявляю, что Богъ призвалъ брата Принса къ славѣ Иисуса Христа на землѣ; и что тайну Господа составляетъ здѣсь оживленіе его смертнаго тѣла святымъ духомъ, какъ печать и вершина выполненія евангелія въ немъ; я объявляю также, что Иисусъ Христосъ призналъ дѣло своего собственнаго духа въ братѣ Принсѣ, когда онъ принялъ тѣло и пострадалъ чистый за нечистаго, поднявъ его, человѣка, котораго имя «Вѣтвъ», одесную своей славы и давъ ему духъ славы».

Что понялъ изъ своей деклараціи самъ Ангелъ Послѣдней Трубы и что поняли изъ нея его благоговѣющіе слушатели—объ этомъ у Диксона свѣдѣній не имѣется.

Послѣ Мабера каждый изъ семи свидѣтелей проговорилъ въ свою очередь:

«Я свидѣтель, что въ мозганіи Иисуса Христа, какъ Сына человѣческаго, заключается полное искупленіе духа, души и тѣла отъ проклятія паденія; и чтобы вы могли знать эту тайну божію, которая въ другіе вѣка, при другіхъ завѣтахъ, не была извѣстна сынамъ человѣческимъ, какъ она теперь возвѣщена въ братѣ Принсѣ, я посылаю вамъ это откровеніе о человѣкѣ Христѣ Иисусѣ, какъ о воплощенномъ словѣ, какъ оно было дано мнѣ».

Когда эта фраза прозвучала въ жилищѣ любви въ седьмой и въ послѣдній разъ, тогда святые почислили всѣ дѣла свои благополучно оконченными и стали жить со дня на день безъ заботъ, безъ дѣятельности, безъ желаній и опасеній, безъ горя и радости, безъ цѣли и безъ плана.

— Что вы дѣлали съ тѣхъ поръ, какъ прозвучали эти трубы и были произнесены эти свидѣтельства? спросилъ Диксонъ у Семьюэля Стерки.

— Не много, отвѣтилъ онъ, по крайней мѣ-

рѣ не много такого, что вы призвали бы работою. Въ 62 году мы сдѣлали наше послѣднее воззваніе; мы послали, черезъ иностранныя посольства, письма, каждое на ихъ собственномъ языкѣ, къ царямъ и народамъ земли, объявляя всѣмъ людямъ, что тѣло спасено отъ смерти. Если люди не хотятъ насъ слушать, что-жь намъ дѣлать?

— Вы учите?

— Нѣтъ.

— Проповѣдуете?

— Нѣтъ.

— Пишете?

— Нѣтъ.

— Читаете?

— Мало.

— Хозяйничаете?

— Нѣтъ.

— Кормите бѣдныхъ?

— Нѣтъ.

— Высылаете миссіи?

— Нѣтъ.

— Какъ вы проводите время?

— У насъ нѣтъ времени.

— Вы встаете на разсвѣтѣ, вы ложитесь спать, когда стемнѣетъ. Какъ вы употребляете промежутки?

— Мы ѣдимъ и пьемъ, мы развѣждаемъ, мы сравниваемъ наши испытанія, мы переписываемся съ нашими братьями.

— Много у васъ братьевъ, которые принадлежатъ къ вашему обществу, но не живутъ въ Жилищѣ?

— Да, много. Иные въ Уэймаутѣ, иные въ Брайтонѣ, кое-кто въ Сефболѣ и въ другихъ мѣстахъ; благочестивыя женщины и проповѣдники въ церкви—всего, быть можетъ, сотенъ шесть, многіе изъ духовнаго званія; но многіе связаны съ нами по духу, хотя и не носятъ нашего имени.

— Они живутъ по вашему?

— Да. Такъ дѣлаютъ истинно призванные. Они живутъ, какъ дѣвы; любовь дьявола выброшена вонъ изъ нихъ силою Бога.

— Вы не ищете другой дѣятельности?

— Мы ожидаемъ Бога. Не намъ торопить его шаги. Въ его урочное время, конецъ придетъ.

И это все? спрашиваетъ Диксонъ, приведя этотъ разговоръ съ однимъ изъ помазанниковъ. Какой урокъ для гордости благочестія и учености! Дюжина пылкихъ клириковъ, одержимыхъ страстью спасать души, способныхъ поражать силой и убѣждать ласковой мягкостью краснорѣчія, выдержавъ нѣсколько столкновений съ міромъ, убѣгаютъ съ своихъ постовъ, запираются въ саду, фантазируютъ и мечтаютъ, окружаютъ себя прелестными женщинами, кушаютъ роскошныя обѣды, утверждая, что страсти умерли, и ожидая, среди нѣги и праздности, что весь міръ подвергнется вѣчному проклятію!

И это все?

Нѣтъ. Это не все. Въ ожиданіи этого разговора достопочтенныя джентльмены играютъ на билліардѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ прежде было ихъ церковью.

IV.

Диксонъ побывалъ въ жилищѣ любви недавно, уже послѣ своего возвращенія изъ Америки, отъ мормоновъ и шекеровъ, т. е. или въ 1866, или въ 1867 году. Онъ видѣлъ самъ, своими умными, пытливими и внимательными глазами, всѣхъ главныхъ актеровъ и корачіи тѣхъ странныхъ сценъ, которыя тамъ рассказаны на предыдущихъ страницахъ. Общественныя подробности, списанныя съ него, составляютъ, быть можетъ, самую яркую и занимательную часть его книги. Этикетъ подробностями я и закончу теперь мою статью.

Въ живописной долиנѣ лежитъ приютъ разбросанная группа строеній; церковь съ недоуланымъ шпичемъ; садъ, густо усаженный развѣсистыми деревьями и цвѣтущими кустами; оранжерея, переполненная растеніями; обширный лугъ, перерѣзанный извилистыми тропинками; рядъ красивыхъ домиковъ на дорогѣ, другой рядъ въ саду; высокія ворота возлѣ церкви; планировка строеній впереди и позади; ферма, псарни, скотные дворы, всѣ багровые отъ падающихъ осеннихъ растеній. Въ такомъ мѣстѣ представилась Диксону *Аганемоне* (греческое названіе жилища любви) съ ближайшаго дома, черезъ который пролегла ведущая туда дорога. Когда Диксонъ вѣхалъ въ открытыя ворота, то ему вышелъ на встрѣчу изъ дома первый помазанникъ Томасъ, черезъ котораго Принсъ далъ Диксону письменное разрѣшеніе посѣтить обитель. Томасъ—человѣкъ уже не молодой, высокаго роста, хорошо сложенный; лицо у него умное; глаза голубые, задумчивые; одѣвается онъ держитъ себя какъ джентльменъ, всегда чистый въ хорошемъ обществѣ; каждая линия его выразительной фізіономіи говорила Диксону, что Томасъ, котораго онъ зналъ до сихъ поръ только по скандальному процессу изъ-за дѣвицы Агнесы Ноттиджъ, пожилъ жизнью мыслителя, работалъ надъ книгами и достаточно извѣдалъ на своемъ вѣку сильныя ощущенія оратора старающагося съ церковной каѳедры потратить и размягнуть сердца слушающихъ грѣшниковъ.

Томасъ ввелъ Диксона въ главный залъ, въ которомъ Диксонъ тотчасъ узналъ церковь. Тутъ они застали трехъ дамъ; одна изъ нихъ играла на роялѣ; поклонившись гостю, эти дамы тотчасъ вышли изъ комнаты. Томасъ предложилъ Диксону, не хочетъ-ли онъ прямо идти къ Принсу. Диксонъ попросилъ позволенія сдѣлать сначала нѣсколько вопросовъ. Томасъ изъявилъ согласіе, но ему было нѣтъ то неловко раз-

варивать наединѣ съ постороннимъ человѣкомъ, его отвѣты были неясны и уклончивы и разговоръ, плохо вязавшійся, прерывался ежеминутно приходомъ которой-нибудь изъ сестеръ; стра входила, прислушивалась къ неторопливой бесѣдѣ мужчинъ, и потомъ уходила; Диксонъ скоро замѣтилъ, что эти появленія сестеръ несли случайными результатами простого женского и затворническаго любопытства. Входя и прислушиваясь, сестры дѣйствовали по обязанности службы. Въ жилищѣ любви всѣ святыя дѣламы ревнивымъ и дѣйтельнымъ образомъ наблюдаютъ другъ за другомъ. Диксону не случалось ни разу оставаться наединѣ съ мужчиной или съ женщиной впродолженіе четверти часа; его также не оставляли ни разу въ обществѣ, состоявшемъ изъ однихъ мужчинъ или изъ однихъ женщинъ. Въ окружавшихъ его рупнахъ всегда присутствовала по крайней мѣрѣ хоть одна женщина.

Поговоривъ съ гостемъ и, по возможности, ни въ чемъ не удовлетворивъ его любознательности, Томасъ вышелъ изъ зала, потомъ вернулся и предложилъ Диксону чего-нибудь выпить. Диксонъ сначала отказался, но вѣжливая и ласковая настойчивость Томаса показала ему, что это предложеніе имѣетъ, быть можетъ, какъ у арабовъ, символическое значеніе, и что отклонять его не годится. Онъ согласился выпить вина, и женщина тотчасъ внесла поднось съ бискупитами и съ двумя графинами. Она поставила этотъ подносъ на столъ, и Диксона оставили въ церкви наединѣ съ хересомъ и портвейномъ.

«Да, въ церкви—говоритъ Диксонъ.—Я сидѣлъ на красномъ диванѣ, у яркаго огня, въ окрашенномъ свѣтѣ высокихъ стрѣльчатыхъ оконъ съ богатыми цвѣтными стеклами; подъ ногами у меня лежали мягкія подушки; направо отъ меня стоялъ бильярдъ; кругомъ меня церковная мебель и утварь, дубовая и бронзовая; надъ головой священный символъ агнца и голубя, окруженный по бокамъ и снизу рядами бильярдныхъ кѣвъ.

«Я зналъ, что въ этой комнатѣ произошла великая манифестація, совершился тотъ мистическій обрядъ, которымъ, говорятъ, живое тѣло примирено съ Богомъ. Прелестна для глазъ, успокоительна для сердца—такова была, такова остается и до сихъ поръ эта комната. Цвѣтные стекла оконъ совершенно отгораживаютъ ее отъ міра, не пропускаютъ въ эти стѣны ничего менѣе зовнаго, чѣмъ лучи дневного свѣта. Богатый красный персидскій коверъ покрывалъ полъ, составляя контрастъ съ темнымъ коричневымъ дубовымъ потолкомъ. Красныя занавѣски драпировали окна, гдѣ на стеклахъ были нарисованы мистическія изображенія: агнецъ, левъ и голубь—левъ стоялъ на ложѣ

изъ розъ, съ знаменемъ, на которомъ были написаны слова:

О, привѣтъ тебѣ, святая любовь!

«Наличникъ надъ каминомъ былъ изъ рѣзного дуба, очень тонкой работы, въ готическомъ вкусѣ, съ зеркалами. Арфа стояла въ одномъ углу залы; большой рояль—въ другомъ. На столахъ лежало нѣсколько книгъ, не очень часто бывшихъ въ употребленіи: «Ночныя мысли Юнга», «Галерея Тернера», «Греція Уордсуорта» и еще тома два-три. Вдоль стѣнъ шли низкія книжныя полки, нагруженные книгами религіознаго содержанія. Костяные шары еще лежали на зеленомъ сукнѣ бильярда; должно быть сестры недавно играли. Весь залъ носилъ на себѣ печать тишины и величія, которая поражала воображеніе чѣмъ-то вродѣ страха. Какъ могъ я, сидя одинъ, не припомнить той мистической драмы, въ которой братъ Принсъ игралъ роль героя, а «мадонна» Патерсонъ роль героини?»

Черезъ полчаса къ Диксону пришелъ Томасъ, и они вмѣстѣ отправились къ Принсу. Комната, въ которую они вошли, была хорошо меблирована, какъ кабинетъ зажиточнаго землевладѣльца. Принсъ былъ въ черномъ платьѣ и въ широкомъ бѣломъ галстукѣ; у него было кроткое, серьезное лицо; онъ встрѣтилъ гостя у двери, привѣтливо поздоровался съ нимъ и усадилъ его въ покойное кресло возлѣ камина. Самъ онъ сѣлъ въ кругу своихъ избранниковъ. По лѣвую его сторону сидѣлъ Стерки, по правую—Томасъ. Возлѣ Стерки помѣщались сестра Элленъ и сестра Зоз; возлѣ Томаса сестра Анни и сестра Сара.

Стерки по лѣтамъ былъ старше всѣхъ присутствующихъ. Ему—шестьдесятъ одинъ годъ. Онъ большой, полный мужчина съ бѣлыми волосами и кроткими голубыми глазами, которыхъ неопредѣленное, мечтательное выраженіе съ перваго взгляда напомнило Диксону фizioномію его американскихъ друзей шекеровъ.

Двѣ изъ четырехъ присутствовавшихъ женщинъ были замѣчательно хороши собою. Сестра Анни была образцомъ свѣжей, здоровой, вполне развернувшейся и созрѣвшей женской красоты. «Дородая, розовая, смѣлая — говоритъ Диксонъ—съ парой смѣющихся глазъ, съ полными румяными щеками и съ волнами темнокаштановыхъ волосъ».

О сестрѣ Зоз Диксонъ отзывался даже съ какимъ-то трепетнымъ стономъ нѣжнаго и почтительнаго восторга. «То было — говоритъ онъ—одно изъ тѣхъ рѣдкихъ женскихъ созданий, которыя принуждаютъ поэтовъ пѣть, вгоняютъ живописцевъ въ отчаяніе и заставляютъ обыкновенныхъ смертныхъ отдавать душу за любовь. Вы видѣли, по прошествіи нѣкотораго времени, что эта женщина молода и стройна,

и одѣта съ безукоризненнымъ вкусомъ; но вы не могли увидѣть все это сразу; потому что, когда вы, быстро отворивъ дверь, вдругъ оказывались передъ ней, вы ничего не могли разглядѣть, кромѣ бѣлизны ея лба, мраморнаго спокойствія ея лица и удивительнаго свѣта ея большихъ голубыхъ глазъ. Она сидѣла, приютившись возлѣ Принса, въ платьѣ изъ бѣлой шелковой матеріи съ фіолетовыми шурками и крапинками; тонкія цвѣтныя полоски какъ будто рѣзче выставляли на видъ молочную блѣдность ея щекъ. Изъ-за лучистаго свѣта ея глазъ, Гверчино могъ бы списать съ такой дѣвушки одного изъ своихъ задумчивыхъ и опечаленныхъ ангеловъ. Высокій лобъ, овальный обликъ, маленькій ротъ и подбородокъ, жемчужные зубы и эти лучезарные глаза! Я право не знаю, видѣлъ ли я когда-либо лицо болѣе полное высокой, ясной и счастливой мысли; и однако, когда я смотрѣлъ на ея сложенные руки и святое чело, какой-то инстинктъ въ моей крови побуждалъ меня, совершенно наперекоръ моей волѣ, думать о ней въ связи съ той спящей, которая произошла въ близъ-лежащей церкви, съ этимъ дерзновеннымъ обрядомъ, самой странной тайной, быть можетъ самымъ чернымъ беззаконіемъ этихъ послѣднихъ дней, посредствомъ котораго Принсъ утверждаетъ и Томасъ свидѣтельствуетъ, что Богъ примирилъ съ собой живое тѣло и водворилъ на землѣ свой послѣдній завѣтъ».

Диксону было извѣстно, что фамильное имя Принсовой мадонны было Патерсонъ. Ему хотѣлось узнать, не была ли именно сестра Зоз этой миссъ Патерсонъ. Когда сестра Зоз заговорила съ нимъ въ кабинетѣ Принса, онъ спросилъ у нея, какимъ именемъ онъ долженъ называть ее въ разговорѣ съ нею.

— Зоз, отвѣтила она.

— Но подумайте, настанвалъ Диксонъ, я свѣтскій человѣкъ, я вамъ чужой; какъ могу я употреблять эти ласковыя, дружескія имена?

— Пожалуйста, дѣлайте такъ, отвѣтила Зоз. Это очень мило.

— Безъ сомнѣнія, если бы я пробылъ здѣсь мѣсяцъ; а покуда мнѣ было бы легче называть васъ миссъ...

— Зовите меня Зоз, отвѣтила она съ теплой улыбкой. Зоз, просто Зоз.

Я обратился къ Принсу.

— Люди, спросилъ я, поступающа сюда къ вамъ, принимаютъ новыя имена, какъ монахи и монахини итальянскаго монастыря?

— Не какъ монахи и монахини, отвѣтилъ Принсъ. — Мы не отдаемъ подъ покровительство нашихъ святыхъ. У насъ нѣтъ святыхъ. Мы просто отдаемъ себя Богу, котораго мѣстопробываніе въ этомъ домѣ. У наружныхъ воротъ мы оставляемъ міръ позади себя, его слова, его законы, его страсти; все это, по нашему, при-

надлежитъ къ царству дьявола. Жизнь въ подѣ, мы слѣдуемъ Его руководящему свѣту даже въ простомъ дѣлѣ нашихъ именъ. Вы въременемъ услышите ихъ всѣ. Меня зовутъ Возлюбленный. Я зову эту леди Зоз, потому что мнѣ нравится этотъ звукъ. Вотъ Томасъ и Моссу (Mossoo), потому что онъ такъ любитъ говорить по-французски.

Я никогда не могъ пойти со святыми дальше этого пункта. Когда я прощался со святыми, я сказалъ Зоз, держа ея руку въ моей:

— Нельзя ли мнѣ услышать какое-нибудь слово, которымъ я буду поминать васъ, когда буду далеко?

— Да, Зоз, сказала она и улыбнулась.

— Зоз... а дальше?

Ея тонкія губы раскрылись, какъ бы изъ того, чтобы заговорить. Чтò она собиралась сказать? было ли то имя, которое поднималось къ ея губамъ — Патерсонъ... слово, не произнесенное уже нѣсколько лѣтъ въ живомъ разговорѣ? Кто знаетъ? Вѣсто того, чтобы отвѣтить мнѣ, хотя ея пальцы были зажатые у меня въ рукѣ, она обратилась къ Принсу и прошептала своимъ пѣвучимъ голосомъ: «Возлюбленный!» Принсъ отвѣтилъ мнѣ за нее, съ откликомъ веселой нѣжности: «она Зоз; вы должны думать о ней, какъ о Зоз; ничего болѣе».

О самомъ Принсѣ Диксонъ сообщаетъ слѣдующія подробности:

«Тому джентльмену, котораго его послѣдователи называютъ Возлюбленнымъ, пятьдесятъ шесть лѣтъ; онъ худощавъ, средняго роста, и его блѣдныя, поблекшія щеки носятъ на себѣ слѣды многихъ огорченій и большой усталости. Его лицо очень кротко, его манеры очень ямки. Въ немъ есть какая-то женственная грація и прелесть. Его улыбка очень пріятна, и тонъ его голоса низкій. У него взглядъ человѣка, никогда не доходившаго до ярости и до борьбы. Въ его глазахъ, склонныхъ закрываться, мы какъ будто видимъ свѣтъ изъ какого-то другого міра. Онъ сидѣлъ въ центрѣ этого круга мужчинъ и женщинъ, погруженный въ собственные мечты, въ которыя онъ снова впадалъ съ той минуты, какъ мы пристѣли у его теплаго и веселаго камина. Когда звукъ голосовъ вызвалъ его изъ задумчивости, онъ сложилъ руки на своемъ черномъ сюртукѣ, поставилъ на коверъ свои блестящіе башмаки и принималъ живое участіе въ моемъ первомъ длинномъ и замѣчательномъ разговорѣ съ святыми».

Вотъ главныя черты изъ этого разговора, гдѣ Диксонъ, разумѣется, разспрашивалъ, а святые отвѣчали:

— Много ли васъ въ Жилищѣ? спросилъ я у Томаса.

— Всего около шестидесяти душъ.

Въ эту минуту вошелъ въ комнату служитель, одѣтый въ скромное черное платье.

— Вы считаете въ томъ числѣ и прислугу?
— Да, отвѣтилъ Томасъ: — они всѣ члены нашей семьи и дѣлать ея благословенія.

— Что, вы по очереди исправляете службу, какая требуется въ домѣ, такъ, какъ это дѣлается у братьевъ и сестеръ на горѣ Ливанъ?
Я увидѣлъ, что по лицу служителя скользнула слабая улыбка.

— О, нѣтъ, вмѣшалась сестра Элленъ. — Мы ничего такого не дѣлаемъ; наши люди намъ служатъ; но они все это дѣлаютъ въ любви.

— Вы хотите сказать, замѣтилъ я: — что они вамъ служатъ безъ жалованья?

На мой вопросъ не послѣдовало отвѣта; только леди засмѣялась, а слуга усмѣхнулся.

— На этихъ шестьдесятъ обитателей сколько приходится мужчинъ и сколько женщинъ? Сколько малолѣтнихъ, сколько взрослыхъ?

— Мужчинъ и женщинъ почти поровну, отвѣтилъ Томасъ: — дѣтей нѣтъ.

— Ни одного ребенка? спросилъ я, думая о великой манифестаціи и о томъ, что, какъ я слышалъ, отъ нея произошло.

— Вы не понимаете той жизни, которой мы живемъ здѣсь въ Господѣ. Мы не женимся и не выдаемъ замужъ. Кто былъ женатъ въ мірѣ, въ былое время, тѣ живутъ, какъ будто не было между ними брака. Мужчины помѣщаются отдѣльно отъ женщинъ и не знаютъ стремленія къ любви дьявола; они какъ ангелы на небѣ, живущіе вѣчной жизнью.

— Что вы называете любовью дьявола?

— Всякую любовь тѣлесную — всякую любовь, если она не святая, не духовная и не отъ Бога.

— Я, кажется, только-что сейчасъ видѣлъ: тутъ на лугу игралъ ребенокъ — маленькая дѣвочка.

— Она — оборванное звено въ нашемъ образѣ жизни; дитя позора, живой свидѣтель послѣдняго великаго торжества дьявола въ сердцѣ человѣка.

— Вы говорите о ребенкѣ миссъ Патерсонъ?

— Она исчадіе сатаны, дѣло сатаны въ тѣлѣ, сказалъ Томасъ съ глубокимъ волненіемъ.

Облако тоски омрачило всѣ ихъ лица, кромѣ лица сестры Зои, у которой кроткая ясность выраженія осталась ненарушенной.

— Дѣло этого времени, вставила сестра Элленъ: — было самое тяжелое, какое мнѣ только случалось испытать. Цѣлый годъ мы лежали въ тѣни смерти и близко къ аду; но Богъ выполнилъ въ насъ свое предначертаніе. Это было горькое время для всѣхъ, а особенно горько было нашему Возлюбленному.

— Ваше правило жизни подобно, стало быть, монашескому уставу — правило воздержанія?

— Правило ангеловъ, отвѣтилъ Принсъ: — правило чистаго наслажденія въ Господѣ. Наши братья и сестры живутъ въ любви, но не въ

грѣхѣ; потому что грѣхъ — смерть, а намъ принадлежитъ вѣчная жизнь въ Господѣ.

— То есть въ духѣ, въ другомъ мірѣ, какъ всѣ добрые люди надѣются жить?

— Мы понимаемъ одинаково въ тѣлѣ и въ духѣ, потому что тѣло теперь спасено и примирено съ Богомъ.

— Такъ вы принимаете физическое воскресеніе, какъ эта доктрина установлена въ англійской церкви?

— Нѣтъ; мы отвергаемъ эту доктрину. Мы сами воскресеніе; и въ этомъ мы — жизнь.

— Но вѣдь всѣ умираютъ?

— Да, сказалъ Томасъ: — такъ случалось съ большинствомъ; смерть была удѣломъ людей, и они умирали; но смерть подчинена Господу, въ которомъ мы живемъ. Мы не умремъ, если только онъ не захочетъ исключить насъ изъ числа спасенныхъ.

— Вы думаете умереть?

— Нѣтъ, никогда, сказалъ первый помазанный, — у насъ нѣтъ такихъ мыслей.

— Но вѣдь нѣкоторые изъ васъ скончались; Луиза Ноттиджъ наврѣмѣрь?

— Да, Господь совершилъ надъ ними свою волю; они погрѣшили, и они умерли; но многіе примѣры не составляютъ необходимаго правила. Родственники Іліи умерли въ плоти, но пророкъ живымъ былъ взятъ на небо. Хотя бы я увидѣлъ эту долину, переполненную десятками тысячъ труповъ, этотъ видъ не убѣдилъ бы меня въ томъ, что и я долженъ когда-нибудь умереть.

— Вы, кажется, презрительно смотрите на мертвыхъ?

— Мы видимъ въ нихъ людей, не вполнѣ спасенныхъ; они не исторгнуты изъ власти сатаны надъ тѣломъ. Кого Богъ спасъ, тѣ будутъ жить.

— Гдѣ вы хороните скончавшихся — на кладбищѣ, въ освященной землѣ, какъ другіе христіане, или въ какомъ-нибудь пустомъ полѣ, какъ шекеры?

— Иные лежатъ у фермы, другіе тамъ, подъ зеленымъ лугомъ; у насъ нѣтъ освященной земли; мы думаемъ, что прахъ, неспасенный заживо, возвращается въ землю, откуда былъ взятъ.

— Видя, что всѣ вы старѣетесь и что нѣкоторые изъ васъ угасаютъ, вы должны допустить, что смерть можетъ придти?

— Нѣтъ, сказалъ Возлюбленный: — мы никогда не думаемъ о смерти; мы никогда ее не ожидаемъ. Мы знаемъ, что Богъ есть живой Богъ, и что мы живы въ немъ. Смерть — слово, принадлежащее времени.

— Но мы всѣ живемъ во времени.

— Вы живете во времени, сказалъ Возлюбленный: — мы — нѣтъ; и мы не имѣемъ о немъ понятія.

— У васъ нѣтъ чувства времени?

— Никакого, отвѣтилъ первый помазанникъ. — Это ваши слова, не божіи; вы ихъ придумали, чтобы изображать земные факты. Мы живемъ въ другомъ мѣстѣ.

— Вы видите, какъ солнце встаетъ и закатывается, доказывалъ я: — вы знаете, что вчера была пятница, что завтра будетъ воскресенье; что весна проходитъ, и что приближается время жатвы?

— Ну, да, сказалъ Возлюбленный сострадательнымъ тономъ: — мы чувствуемъ теченіе любви, которое вы приняли за вашу мѣрку времени; но это не признакъ переменъ для насъ, потому что мы живемъ вѣчно въ живомъ Богѣ.

Читатель, вѣроятно, согласится, что исторія присенцовъ замѣчательна и наводитъ на

поучительныя размышленія о вліяніи трагическаго метода мышленія на человѣческія дѣла.

Читатель видитъ, что, подчиняясь этому методу, образованные и начитанные люди, выросшіе въ правилахъ официальной доктрины, поддержаніе которой изъ года въ годъ уноситъ у государства миллионы фунтовъ, люди, принадлежащіе къ самому консервативному слою самаго консервативнаго изъ европейскихъ обществъ — доходятъ, при самыхъ добросовѣстныхъ и неустрашимыхъ усиліяхъ отыскать истину, до такихъ ярко-разрушительныхъ и нагло-безправотвенныхъ результатовъ, какъ Великая Манифестація, мистическая драма, разыгранная, въ присутствіи спакстонскихъ святыхъ, братомъ Принсомъ и мадонной Партерсонъ.

ФРАНЦУЗСКІЙ КРЕСТЬЯНИНЪ ВЪ 1789 ГОДУ.

(Histoire d'un paysan 1789, par Erckman-Chatrian.)

1.

Лучшіе романы Эркмана и Шатриана уже извѣстны нашей публикѣ. «Тереза», «Воспоминанія рекрута 1813 г.», «Ватерло», «Юродивый Іегофъ» и «Записки пролетарія» были въ свое время — года три тому назадъ — переведены на русскій языкъ, помѣщены въ одномъ журналѣ, имѣвшемъ довольно обширный кругъ читателей, и потомъ вынуждены въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ.

Во всѣхъ этихъ романахъ авторы преслѣдуютъ одну и ту же задачу. Они стараются взглянуть на великія историческія событія снизу, глазами той обыкновенной безгласной и покорной массы, которая почти всегда и почти вездѣ молчитъ и терпитъ, платитъ налоги и отдастъ въ распоряженіе міровыхъ геніевъ достаточное количество пушечнаго мяса. Такой взглядъ снизу рѣдко бываетъ возможенъ; обыкновенно масса не имѣетъ понятія о томъ, что дѣлается въ руководящихъ слояхъ общества; ей неизвѣстны ни имена, ни лица, ни поступки, ни взаимныя отношенія, ни мысли, ни желанія главныхъ актеровъ, занимающихъ въ данную минуту сцену всемірной исторіи; она ихъ не видитъ, не слышитъ и не понимаетъ; ей не приходитъ въ голову, чтобы могла существовать какая-нибудь живая связь между дѣйствіями этихъ актеровъ и ея собственными очень мелкими, но очень жгучими заботами, лишеніями и печалями; она не можетъ и не

умѣетъ себя представить, чтобы среди этихъ блестящихъ и громко говорящихъ актеровъ, не могли быть друзья и враги, которые побѣда или пораженіе отзовется на ея собственной жизни увеличеніемъ или уменьшеніемъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ, рекрутскихъ повинностей и разнородныхъ стѣсненій, терзающихъ свободное развитіе ея труда.

Не зная самыхъ крупныхъ фактовъ новѣйшей и современной исторіи, не имѣя тѣхъ простѣйшихъ элементарныхъ свѣдѣній, которыя должны служить фундаментомъ политическаго развитія, не умѣя разбирать тѣ буквы, которыми наполненъ листокъ газеты, не понимая тѣхъ словъ родного языка, которыя составлены изъ этихъ буквъ, не привыкнувъ слѣдить внимательно за скольконибудь сложной и отвлеченной мыслью, развивающейся въ цѣломъ рядѣ предложеній и періодовъ, не имѣя возможности оторваться отъ тяжелаго скотскаго труда, который кормитъ ее въ-обрѣзъ, часто оставивъ ее впроголодь и всегда мѣшаетъ ей возвыситься до какихъ бы то ни было соображеній и обобщеній — масса обыкновенно относится ко всѣмъ своимъ страданіямъ съ одинаково-угрюмою вякорностью, не задавая себя вопроса о томъ, отчего они происходятъ, отъ тридцатиградусныхъ морозовъ, который, при данной географической широтѣ, совершенно неизбѣженъ, или отъ ненужной, разорительной и неискусно веденной войны, которую не трудно было бы предупредить, или по крайней мѣрѣ повести искусно

и окончить скорѣе. Масса обыкновенно видитъ наказаніе Божіе и въ продолжительномъ отсутствіи дождя, обусловленномъ чисто-физическими причинами, и напримѣръ въ дороговизнѣ соли, произведенной искусственнымъ путемъ, посредствомъ неудачныхъ финансовыхъ мѣропріятій. Встрѣчаясь на каждомъ шагѣ съ такими наказаніями Божіими, масса не восходитъ къ ихъ причинамъ, не задумывается надъ средствами устранить или ослабить ихъ, а дѣйствуетъ въ разсыпную, то-есть такъ, что каждый отдѣльный человѣкъ старается сберечь свою жалкую жизнь и укрыться отъ наказанія въ первое попавшееся, надежное или ненадежное убѣжище. Случится голодъ вслѣдствіе засухи — масса бредетъ въ разсыпную побиравшись, и наблюдатель народной жизни замѣчаетъ болѣе или менѣе значительное приращеніе въ общемъ итогѣ случаевъ бродяжничества, нищенства, воровства и грабительства. Происходитъ дороговизна соли вслѣдствіе налога — масса поступаетъ точно такъ-же: она выдвигаетъ изъ своей среды, смотря по удобствамъ мѣстности, сотни или тысячи контрабандистовъ, которые конечно стараются не о томъ, чтобы устранить зло, тяготящее надъ народной жизнью, а о томъ, чтобы прожить и по возможности обогатиться при существованіи и даже при содѣйствіи этого зла.

Обыкновенно масса протестуетъ противъ разнородныхъ общественныхъ золъ, отравляющихъ ея жизнь — или своими страданіями, болѣзнями и вымираніемъ, или индивидуальными преступленіями. При обѣихъ этихъ системахъ протеста, которыя обыкновенно пускаются въ ходъ одновременно, масса принимаетъ гнетущее ее зло, какъ существующій фактъ и, не пускаясь въ анализъ его причинъ, не составляетъ себѣ никакого взгляда на породившія его лица и событія, и не воспринимаетъ въ себѣ никакихъ политическихъ симпатій и антипатій.

Но не всегда и не вездѣ господствуетъ это полное отсутствіе взгляда снизу на великія историческія событія. Не всегда и не вездѣ масса остается слѣпа и глуха къ тѣмъ урокамъ, которые будничная трудовая жизнь, полная лишений и горя, даетъ на каждомъ шагѣ всякому умѣющему видѣть и слышать. Если, съ одной стороны, только въ однихъ Сѣверо-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ масса постоянно, изо дня въ день и изъ года въ годъ, слѣдитъ за ходомъ своихъ собственныхъ дѣлъ съ одинаково-неусыпнымъ, просвѣщеннымъ и разумнымъ вниманіемъ, то, съ другой стороны, въ цивилизованной Европѣ трудно найти хоть одинъ уголокъ, въ которомъ самосознаніе массъ не обнаруживало бы, хоть мимолетными проблесками, самого серьезнаго и неизгладимо-благодѣтельнаго вліянія на общее теченіе историческихъ событій.

Во Франціи такіе проблески народного самосознанія заявляли себя не разъ втеченіе восьми послѣднихъ десятилѣтій. Эркманъ и Шатріанъ стараются уловить въ своихъ романахъ именно эти проблески. Они берутъ людей народной массы въ тѣ торжественныя минуты, когда въ этой массѣ, подъ вліяніемъ многолѣтняго горя, начинается созрѣвать неотложная потребность отдать себѣ строгій и ясный отчетъ въ томъ, что мѣшаетъ ей жить здоровой человѣческой жизнью. Они стараются прослѣдить, какими путями и каналами въ народную массу медленно просачивается сознательное неудовольствіе, исподволь вытѣсняя и смѣняя собой ту неповоротливую и тупую угрюмость, которая является обыкновеннымъ результатомъ неосмысленнаго страданія и обыкновенно разрѣшается дикимъ запоемъ, безтолковыми драками и нелѣпыми преступленіями. Они пытаются угадать и показать, какая борьба мнѣній и взглядовъ разыгрывается въ великія минуты народного пробужденія у каждого самаго скромнаго семейнаго очага и въ каждомъ самомъ убогомъ деревенскомъ трактирѣ. Они стараются ввести читателя въ ту таинственную лабораторію, почти недоступную для историка, гдѣ вырабатывается — изъ безчисленнаго множества разнороднѣйшихъ элементовъ, и подъ вліяніемъ тысячи содѣйствующихъ и препятствующихъ условій — тотъ великій *гласъ народа*, который дѣйствительно, рано или поздно, всегда оказывается *гласомъ Божіимъ*, то-есть опредѣляетъ своимъ громко произнесеннымъ приговоромъ теченіе историческихъ событій.

Романы Эркмана и Шатріана можно совершенно справедливо назвать историческими, потому что они рисуютъ очень яркими и хорошо подобранными чертами духъ того времени, изъ котораго взяты ихъ сюжеты. Но эти романы нисколько не похожи на тѣ сшивки изъ реляцій, мемуаровъ, дипломатическихъ нотъ, мирныхъ договоровъ и разныхъ другихъ историческихъ документовъ, которые также называются обыкновенно историческими романами и составляютъ, въ большей части случаевъ, одинъ изъ самыхъ бесплодныхъ и непривлекательныхъ родовъ литературы. Въ романахъ Эркмана и Шатріана великіе историческіе дѣятели вовсе не выступаютъ на сцену. Въ ихъ романахъ, взятыхъ изъ временъ первой революціи, читатель не встрѣчается ни съ Робеспьеромъ, ни съ Дантономъ, ни съ королемъ Людовикомъ XVI, и вообще ни съ однимъ изъ тѣхъ лицъ, которыхъ имя сколько-нибудь извѣстно образованному человѣку. Въ романахъ изъ временъ первой имперіи мы не видимъ ни Наполеона, ни его маршаловъ, ни его враговъ. Эркманъ и Шатріанъ не позволяютъ себѣ ни отбивать хлѣбъ у историковъ, рисуя великія историческія фигуры на

основаніи матеріаловъ, сложенныхъ въ архивы и достаточно проверенныхъ строгой критикой, ни дополнять смѣлыми догадками и произвольными порывами фантазіи то, что остается и навсегда должно оставаться въ этихъ фигурахъ неяснымъ и недорисованнымъ. Эркманъ и Шатрианъ не пробуютъ вводить читателя въ такіе кабинеты, въ которые никто изъ простыхъ смертныхъ не входилъ, подслушивать такія рѣчи, которыхъ въ свое время никто не могъ слышать и записать, угадывать такія мысли, желанія и душевныя движенія, которыя остались для всего міра глубочайшей тайной.

Нашихъ авторовъ занимаетъ не ви́шній очеркъ событій, а внутренняя сторона исторіи, та сторона, которой мыслящій историкъ дорожить чрезвычайно, но которая почти всегда въ очень значительной степени отъ него ускользаетъ, и всегда будетъ ускользать, потому что онъ рѣдко имѣетъ возможность черпать изъ устныхъ источниковъ, напимѣръ изъ разсказовъ стариковъ, не имѣетъ права довѣряться такимъ источникамъ, принужденъ, пользуясь ими, стирать съ нихъ все, что въ нихъ есть индивидуальнаго, то-есть именно самаго свѣжаго и характернаго, и наконецъ обязанъ сдерживать свое воображеніе въ такихъ тѣсныхъ границахъ, которыя не существуютъ для романиста. Нашихъ авторовъ интересуетъ не то, какъ и почему случилось то или другое крупное историческое событіе, а то, какое впечатлѣніе оно произвело на массу, какъ поняла его масса, и чѣмъ она на него отозвалась.

Ви́шняя и внутренняя стороны исторіи находятся между собой въ постоянномъ живомъ взаимодействіи. Войны, мирные трактаты, переходы областей изъ рукъ въ руки, смѣны династій, министерствъ и правительственныхъ системъ, законодательныя и административныя преобразованія — все это съ одной стороны, а съ другой стороны — разныя и свойства личностей, страданій, невѣжества и долготерпѣнія массы находятся очевидно въ самой тѣсной связи между собой, хотя далеко не все видать, и далеко не всякій историкъ умѣетъ доказать и прослѣдить дѣйствительное существованіе этой неизбежной и неразрывной связи. Очевидно, что всякое крупное историческое событіе совершается или потому, что народъ его хочетъ, или потому, что народъ не можетъ и не умѣетъ ему помѣшать. Очевидно также, что всякое историческое событіе, которое дѣйствительно сто́итъ называть и признавать крупнымъ, совершается или въ ущербъ народу, или на его пользу, а это значитъ, въ общемъ результатъ, что оно или усыпляетъ, или, напротивъ того, живитъ и развиваетъ въ народѣ способность вѣрно понимать, сильно желать и твердо настаивать.

Эркманъ и Шатрианъ стараются въ своихъ романахъ уловить эту связь между внѣшней и внутренней стороной исторіи. Они стараются показать, какъ то или другое историческое событіе будило въ массѣ самосознаніе и самостоятельность, и какъ это умственное и нравственное пробужденіе массы имѣло своеобразный оборотъ и сообщало живительный толчекъ дальнѣйшему теченію событій. Это стремленіе указать массѣ на ту роль, которая по всѣмъ правамъ принадлежитъ ей и спелѣ всемірной исторіи, и которая достигалась и всегда будетъ доставаться ей на всякій разъ, какъ только она сумеетъ примыслить, выкинуть и во-время проложить свой тяжеловѣсное слово, — это стремленіе, охватывающее живую душу романовъ Эркмана и Шатриана, придаетъ этимъ романамъ важное и благотворное воспитательное значеніе.

Эти романы развиваютъ въ своихъ читателяхъ способность уважать народъ, напимѣръ на него, вдумываться въ его интересы, смотрѣть на совершающіяся событія съ точки зрѣнія этихъ интересовъ, называть зломъ все то, что усыпляетъ, а добромъ все то, что будитъ народное самосознаніе. Когда эти романы читаются человекомъ, принадлежащимъ къ высшему или среднему классу общества, тогда они возбуждаютъ въ немъ чувство спасительнаго сиренія, напоминая ему на каждомъ шагѣ, что настоящимъ фундаментомъ самыхъ великихъ и замысловатыхъ политическихъ зданій всегда и вездѣ является народная масса, и что постоянная заботливость о благосостояніи этой массы составляетъ первую и самую священную обязанность всякаго, кому эта масса своими неутомимымъ трудомъ доставила возможность сдѣлаться мыслящимъ и образованнымъ человекомъ. Когда эти романы попадаютъ въ руки простому работнику, они внушаютъ ему чувство законнаго и разумнаго самоуваженія: онъ видитъ изъ нихъ, что ему нѣтъ и малѣйшей необходимости быть пассивнымъ орудіемъ чужой прихоти и покорнымъ слугою чужихъ интересовъ; онъ видитъ, что люди той массы, къ которой онъ самъ принадлежитъ, и притомъ люди самыхъ обыкновенныхъ размѣровъ, способны не только думать по своему и обсуживать очень благоразумно свои общественныя дѣла, но и вліять на направленіе народной жизни. Когда французъ читаетъ эти романы, они помогаютъ ему цѣнить и любить въ прошедшемъ своего народъ, то, что дѣйствительно достойно почтительной любви: они учатъ его гордиться тѣмъ, что, во всей справедливости, должно возбуждать гордость умнаго и честнаго патріота. Иностранцу эти романы показываютъ наглядно, въ живыхъ образахъ, то, чего онъ долженъ желать и добиваться для своего народа. Словоомъ, кому бы

ни попались въ руки эти романы, всякаго они наведутъ на такія размышленія, которыя не останутся безплодными для его политическаго развитія.

Можно сказать безъ преувеличенія, что романы Эркмана и Шатріана составляютъ очень удачную попытку популяризовать исторію Франціи за послѣднія восемьдесятъ лѣтъ, и популяризовать именно такъ, какъ должна быть популяризована исторія. Изъ этихъ романовъ читатель не узнаетъ конечно въ какомъ году родился, женился, вступилъ на престолъ и умеръ тотъ или другой король или императоръ французовъ, съ кѣмъ онъ воевалъ и мирился, изъ-за чего и на какихъ условіяхъ, по какому поводу и когда онъ мѣнялъ своихъ министровъ. Въ этомъ смыслѣ исторія достаточно популяризована въ элементарныхъ и дешевыхъ учебникахъ, и дальше популяризовать ее нельзя и незачѣмъ. Но смыслъ главнѣйшихъ событій, то зло, или то добро, которое они внесли въ народную жизнь и которымъ народъ и его друзья должны ихъ поминать—выясняются этими романами такъ, какъ не могли бы ихъ выяснять для массы читателей никакіе учебники.

Что попытка популяризовать исторію Франціи, сдѣланная Эркманомъ и Шатріаномъ, не остается безплодной—это доказываетъ просто тѣмъ числомъ изданій, которое выдержали многіе изъ ихъ романовъ. «Тереза» до 1868 года выдержала 13 изданій; «Ватерло»—17; «Воспоминанія рекрута»—21. Когда книга въ три-четыре года выдерживаетъ больше десятка изданій, тогда очевидно ее читаютъ всѣ классы общества, читаютъ даже и простые работники, и читаютъ съ постоянно возрастающимъ удовольствіемъ, усердно расхваливая ее друзьямъ и знакомымъ, старательно вдумываясь въ нее и завязывая и выдерживая по ея поводу горячія и продолжительныя пренія. Если книга читается такимъ образомъ, то, значить, умы читающихъ людей, въ томъ числѣ и простыхъ работниковъ, направляются на тѣ предметы, о которыхъ эта книга трактуетъ. А этого послѣдняго условія совершенно достаточно, чтобы романы Эркмана и Шатріана обнаружили все свое образовательное вліяніе и принесли народному самосознанію всю ту пользу, которую они могутъ принести.

II.

Къ новому роману Эркмана и Шатріана, къ «Исторіи Крестьянина», вполнѣ прилагаются тѣ замѣчанія, которыя я высказалъ до сихъ поръ объ ихъ романахъ вообще. Въ «Исторіи Крестьянина» наши авторы стараются показать читателю, какъ жилось, что думалось и чувствовалось во французской деревнѣ, въ тотъ

знаменательный годъ, когда правительство Людовика XVI, изнемогая подъ бременемъ постоянно возрастающаго дефицита, увидѣло себя принужденнымъ приступить наконецъ къ созванію государственныхъ чиновъ.

Въ этомъ романѣ рассказъ ведется отъ имени стараго крестьянина, который былъ молодымъ мальчикомъ въ 1789 году, помнитъ совершенно отчетливо, какъ жили его родители при господствѣ стараго порядка, и потомъ видѣлъ собственными глазами всѣ фазы политическаго движенія, уничтожившаго во Франціи всѣ остатки средневѣковаго общественнаго строя.

Дѣйствіе романа происходитъ въ Лотарингіи, недалеко отъ города Пфальцбурга. Нашимъ авторамъ, повидимому, особенно хорошо знакома эта мѣстность. Имя Пфальцбурга встрѣчается почти во всѣхъ ихъ романахъ. Гнѣздо ихъ героевъ почти всегда находится гдѣ-нибудь по близости этого города. Въ «Исторіи Крестьянина» есть даже прямое указаніе на одинъ изъ прежнихъ романовъ, на «Юродиваго Іегофа», въ которомъ рассказано нѣсколько эпизодовъ изъ народной войны противъ союзниковъ въ 1814 году. Деревенскій священникъ Кристофъ Матернъ, дѣйствующій въ «Исторіи Крестьянина», оказывается роднымъ братомъ Матерна, который въ «Юродивомъ Іегофѣ» является однимъ изъ храбрѣйшихъ и вліятельнѣйшихъ волонтеровъ. То обстоятельство, что почти всѣ романы нашихъ авторовъ прикрѣплены къ одной мѣстности, даетъ намъ право предположить, что тутъ очень многія подробности, лица и положенія прямо списаны съ натуры, и что мы имѣемъ передъ собой взглядъ снизу на историческія событія, не сочиненный талантливыми и просвѣщенными писателями, а просто, въ значительной степени, если не еполнѣ, подслушанный на мѣстѣ и записанный со словъ рассказчиковъ изъ среды самаго народа. Понятно, что это обстоятельство можетъ только увеличить достоинство и усилить занимательность этихъ романовъ.

Мишель Бастіанъ, крестьянинъ, ведущій рассказъ отъ своего имени—сынъ бѣднаго корзинщика, который, вмѣстѣ съ женой, долженъ кормить шесть человѣкъ дѣтей, не имѣя на это никакихъ средствъ, ни гроша денегъ, ни клочка земли, ни козы, ни курицы, ничего, кромѣ личнаго труда, обставленнаго множествомъ разнообразнѣйшихъ стѣсненій и подвергающагося множеству такихъ же разнообразныхъ поборовъ и вымогательствъ.

Изобрѣтательность средневѣковыхъ властей въ дѣлѣ эксплуатированія простыхъ и беззащитныхъ людей была, какъ извѣстно, неистощима. Вездѣ, гдѣ можно было поставить заставу и при ней посадить караульщика, обязаннаго брать дань съ проходящихъ и съ проезжающихъ, тамъ эта застава ставилась и карауль-

щикъ сажался. Вездѣ, гдѣ можно было перехватить по дорогѣ товары, переходящіе изъ рукъ въ руки, и оторвать отъ нихъ кусочекъ въ видѣ налога или пошлины, тамъ товары, какъ-бы они ни были скромны, перехватывались и кусочекъ отрывался. Вездѣ, гдѣ можно было учредить монополію, разорительную для большинства и прибыльную только для самого вельможнаго учредителя, тамъ монополія была учреждена. Вездѣ, гдѣ можно было продать въ частныя руки какое-нибудь право, существенно необходимое каждому отдѣльному работнику, тамъ это право было продано, часто за поразительно дешевую цѣну, жадному и безсовѣстному откупщику. Накопляясь съ теченіемъ вѣковъ, эти чудеса финансовой гениальности превратились наконецъ въ такую чудовищную гору, которая совершенно придавила къ землѣ всю массу трудящагося населенія, такъ что этой массѣ представилась наконецъ альтернатива, или задохнуться подъ этой горой, или задуматься надъ вопросомъ: куда идутъ деньги, добываемыя такими энергическими и разнообразными средствами, и точно-ли они идутъ туда, куда имъ слѣдуетъ идти.

Задыхаться подъ горой финансовыхъ чудесъ—это было самое привычное дѣло для той массы, о которой рассказываетъ Мишель Бастіанъ. Рѣдкій крестьянинъ могъ осенью чувствовать себя увѣреннымъ, что ему достанетъ хлѣба до слѣдующей уборки. Рѣдкій работникъ имѣлъ достаточныя основанія надѣяться, что хлѣбъ среди зимы не сдѣлается для него предметомъ роскоши, совершенно недоступнымъ по своей дороговизнѣ. Зимой три четверти деревенскаго населенія отправлялись побираться. Капуцины и другіе нищенствующіе монахи жаловались начальству на это беззаконное обиліе конкурентовъ. Начальство, встревоженное неблагообразнымъ развитіемъ нищенства, старалось искоренить зло строгими законодательными и административными мѣрами. Нищихъ ловили, сажали въ тюрьмы и ссылали на галеры. На нищихъ дѣлались облавы. Противъ нищихъ выводили въ поле вооруженные отряды. Но голодъ былъ страшнѣе солдатскихъ штыковъ и того кнута, подъ которымъ работали каторжники, и число нищихъ росло, несмотря на жалобы капуциновъ и циркуляры начальства. Къ веснѣ, когда съѣстные припасы истощались во всей странѣ и когда каждый предусмотрительный хозяинъ сокращалъ поневолѣ разбѣры подааній, тогда многіе изъ уцѣлѣвшихъ нищихъ превращались съ голоду въ грабителей и бросались на проѣзжающихъ.

Начальство высылало войска и потомъ отправляло на висѣлицу десятки захваченныхъ преступниковъ. Такимъ образомъ гора финансовыхъ чудесъ буквально душила людей, доводя

ихъ, путемъ нищенства, бродяжничества и преступленія, до каторги и до висѣлицы.

Задумываться надъ вопросомъ о тѣхъ причинахъ, которыми гора финансовыхъ чудесъ обязана своимъ существованіемъ и возростаніемъ, было конечно несравненно труднѣе, чѣмъ такъ или иначе задыхаться подъ этой горой. Если эта гора своимъ гнетомъ дѣлала серьезные размышленія абсолютно необходимыми для спасенія подавленного народа отъ адиміи вымиранія, то эта же самая гора, тѣмъ же своимъ гнетомъ повидимому дѣлала такіе размышленія совершенно невозможными. Въ такомъ дѣлѣ, разоренному, обобранному, истощенному, голодному и прозябшему человѣку, умогающему подъ тяжестью механическаго и благодарнаго труда, необходимо, болѣе чѣмъ всякому другому, вдуматься въ свое бѣдственное положеніе, обсудить его со всѣхъ сторонъ, изучить пытливымъ взглядомъ всѣ особенности окружающихъ условій, найти выходъ и немедленно воспользоваться сдѣланнымъ открытіемъ. Но такой человѣкъ именно потому, что онъ разоренъ, обобранъ, истощенъ, голоденъ, дрожитъ отъ холода и забытъ воловьимъ трудомъ—менѣе всякаго другого способенъ изъ тѣхъ тонкихъ и сложныхъ умственныхъ операцій, для которыхъ требуется спокойствіе, досугъ, самоувѣренность, способность смотрѣть впередъ съ сознательной надеждой и относиться къ жизни съ разумной требовательностью.

Вглядываясь въ то положеніе, до котораго были доведены трудящіеся классы французскаго народа въ царствованія Людовиковъ XIV, XV и XVI, и принимая въ соображеніе ту общезвѣстную истину, что невѣжество и умственные затѣхность являются неразлучными и необходимыми спутниками крайней и безвыходной бѣдности—можно было-бы подумать, что французскому народу не оставалось въ концѣ прошлаго столѣтія никакихъ шансовъ спасенія и что онъ обнаружитъ совершенное политическое безсмысліе и самую жалкую неспособность позаботиться о самомъ себѣ, когда его правитель-ство, разоривъ его въ конецъ и очутившись передъ пустыми денежными сундуками, будетъ поставлено въ необходимость сложить съ себя на его плечи всю отвѣтственность за дальнѣйшее веденіе общественныхъ дѣлъ. Какъ и почему разоренный и забытый народъ могъ въ рѣшительную минуту развернуть и несокрушимую энергію, и глубокое пониманіе своихъ потребностей и стремленій, и такую силу политическаго воодушевленія, передъ которой оказались ничтожными всѣ происки и попытки виѣшнихъ и внутреннихъ, явныхъ и тайныхъ враговъ, какъ и почему заморенный и невѣжественный народъ сумѣлъ и своимъ паденіемъ на ноги и обновиться радикальными

уничтоженіемъ всего средневѣковаго беззаконія—это конечно одна изъ интереснѣйшихъ и важнѣйшихъ задачъ новой исторіи. Эркманъ и Шатрианъ подходятъ къ этой задачѣ съ той стороны, съ какой они могутъ къ ней подойти, оставаясь романистами. Они наводятъ читателя на поучительныя размышленія объ этой задачѣ и даютъ ему любопытныя матеріалы для ея разрѣшенія.

Мишель Бастіанъ является до нѣкоторой степени представителемъ всего французскаго народа. Въ исторіи его личности отразилась судьба цѣлой націи. По всѣмъ даннымъ, надо было ожидать, что этотъ Мишель проведетъ всю свою жизнь въ бѣдности, въ грязи, въ невѣжествѣ, снимая шапку передъ каждымъ встрѣчнымъ баринѣмъ и даже солдатамъ, цѣлуя руку у каждаго грязнаго и пьянаго капуцина и не имѣя никакихъ сознательныхъ политическихъ убѣжденій, никакихъ общественныхъ симпатій и антипатій, приобретенныхъ самостоятельнымъ трудомъ собственной мысли. Между тѣмъ на дѣлѣ оказывается совсѣмъ другое. Въ 1789 году, восемнадцати лѣтъ отъ роду, Мишель читаетъ газеты, интересуется политикой, понимаетъ очень вѣрно, хотя конечно въ общихъ чертахъ, то, чего надо желать народу, принимаетъ близко къ сердцу его благо, знаетъ и ненавидитъ его враговъ, знаетъ и любитъ его друзей, словомъ, обнаруживаетъ въ себѣ величайшую способность сдѣлаться, при сколько нибудь благоприятныхъ условіяхъ, политическимъ дѣятелемъ самаго радикальнаго образа мыслей. Въ совершенной гармоніи съ политическими убѣжденіями Мишеля находятся и его собственные, личныя, чисто человѣческія наклонности и стремленія. Свободная мысль и свободное чувство проникаютъ насеквозъ и облагораживаютъ все его существо. Воспитанный въ самой голодной нуждѣ, привыкнувъ слышать съ дѣтства, что бѣдность величайшее зло, а богатство драгоцннѣйшее благо, бывши съ малыхъ лѣтъ свидѣтелемъ того, какъ его отецъ, за неимѣніемъ вѣсколькихъ фравковъ, принужденъ былъ пресмыкаться передъ безсовѣстнымъ ростовщикомъ Робеномъ, величайшимъ негодяемъ во всемъ околоткѣ, Мишель однакоже влюбляется въ бѣдную дѣвушку, отдается всей душой своему чувству и остается совершенно равнодушнымъ къ любезностямъ богатѣйшей невѣсты во всей деревнѣ. Получивъ о предѣлахъ родительской власти такія понятія, при которыхъ ему казалось совершенно естественнымъ, что его отецъ и мать, желая расплатиться съ ростовщикомъ Робеномъ, продаютъ въ рекруты его старшаго брата—Мишель тѣмъ не менѣе рѣшается въ томъ дѣлѣ, которое ему особенно дорого, дѣйствовать по собственному благоусмотрѣнію, прямо, наперекоръ волѣ матери, не отступая и не робѣя даже передъ угрозой проклятія. Онъ остана-

вливаетъ свой выборъ на бѣдной дѣвушкѣ, да въдобавокъ еще на кальвинисткѣ, то-есть именно на той, кого родители его всего менѣе желали-бы сдѣлать своей невѣсткой. Проникнувшись въ родительскомъ домѣ привычкой благоговѣть и трепетать передо всякимъ начальствомъ, начиная съ послѣдняго сторожа и разсыльнаго, и покоряться безпрекословно всѣмъ самымъ неразумнымъ и явно противозаконнымъ требованіямъ этого начальства, Мишель въ 1879 году оказывается настолько свободнымъ отъ этой привычки, что грознымъ выраженіемъ своего лица обращаетъ въ бѣгство одного начальника, подошедшаго слишкомъ близко къ Маргаритѣ Шовель, съ цѣлью сдѣлать ей строгое внушеніе за излишнюю находчивость и неустрашимость.

Какія же обстоятельства, какія-же вліянія пересоздали внутренній міръ Мишеля и дали ему опредѣленныя мысли и смѣлыя желанія вмѣсто тѣхъ изношенныхъ формулъ трусливой покорности, мелкаго корыстолюбія и вялой безнадежности, которыя, вѣдѣвшись въ убогія стѣны его родовой хижины, составляли втеченіе столѣтій всю умственную жизнь его несчастныхъ предковъ, всю ихъ хваленую житейскую мудрость?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ задуманъ у нашихъ авторовъ такъ умно, что, взглянувъши внимательно въ этотъ отвѣтъ, мы будемъ въ состояніи объяснить себѣ до нѣкоторой степени, какимъ образомъ разрѣшается та важная и интересная историческая задача, на которую было указано выше.

III.

Вокругъ Мишеля группируются три типическія личности, имѣющія рѣшительное вліяніе на его умственное и нравственное развитіе: богатый кузнецъ, онъ же и деревенскій трактирщикъ, Жанъ-Леру, деревенскій священникъ Кристофъ Матеръ и кальвинистъ, разнощикъ книгъ и газетъ, Матюрень Шовель. О каждой изъ этихъ личностей стоитъ поговорить подробно.

Жана Леру можно назвать хорошо выбраннымъ представителемъ той части французской буржуазіи, у которой связи съ народомъ не совсѣмъ разорваны, и которая въ свое время, безъ ущерба самой себѣ, оказала народу самыя существенныя услуги. Жанъ Леру принадлежитъ, съ одной стороны, къ привилегированнымъ классамъ, потому что онъ мастеръ кузнечнаго цеха, а званіе мастера и всѣ связанныя съ нимъ выгоды обыкновенно переходили отъ отца къ сыну такъ точно, какъ званіе и помѣстья герцога, графа или маркиза. Съ другой стороны, Жанъ Леру принадлежитъ къ народу, потому что онъ не на шутку и не для виду работаетъ у себя

въ кузницѣ рядо́мъ съ своими подмастерьями. У него руки черныя и жесткія, какъ у настоящаго ремесленника. По всѣмъ своимъ вкусамъ и привычкамъ онъ стоитъ гораздо ближе къ подголо́днымъ и безправнымъ рабочимъ, чѣмъ къ господамъ хорошаго тона, носящимъ бархатные кафтаны, шпату на боку и пудру на головѣ. Онъ платитъ тяжелые налоги, отъ которыхъ эти господа свободны по праву рожденія или умѣютъ освободиться стараніями знатныхъ покровителей. Онъ принужденъ сгибаться въ дугу передъ каждымъ изъ тѣхъ многихъ мелкихъ чиновниковъ, къ которымъ господа относятся свысока и которые при каждомъ удобномъ случаѣ рады быть покорнѣйшими слугами этихъ господъ. Онъ расположенъ смотрѣть недоброжелательно на господъ съ бѣлыми руками и съ изящными манерами, во-первыхъ потому, что онъ подозрѣваетъ нѣкоторую связь между бѣлизной ихъ рукъ и изяществомъ ихъ манеръ съ одной стороны, и количествомъ тѣхъ налоговъ, которыми помирается его благополучіе—съ другой стороны, а во-вторыхъ и потому, что онъ совершенно справедливо предполагаетъ въ этихъ господахъ всегдашнюю готовность обойтись съ нимъ презрительно, грубо или даже жестоко, какъ съ безотвѣтнымъ и безчувственнымъ *roturier, manant* или *villain*.

До поры до времени симпатія Жана Леру принадлежатъ народу, но будутъ онъ ему принадлежать только до тѣхъ поръ, пока развитіе народныхъ правъ будетъ въ какомъ-бы то ни было отношеніи усиливать или упрочивать благосостояніе мастеровъ кузнечнаго цеха и деревенскихъ трактирщиковъ. Жанъ Леру кричитъ противъ несправедливостей и желаетъ глубокихъ и обширныхъ преобразованій, но онъ перестанетъ кричать и желать въ ту блаженную минуту, когда несправедливости перестанутъ производиться въ ущербъ ему и когда осуществятся всѣ тѣ преобразованія, изъ которыхъ онъ можетъ извлечь себѣ непосредственную личную выгоду. Въ эту минуту онъ отодвинетъ отъ себя блюдо съ дальнѣйшими преобразованіями, скажетъ: я сытъ, порѣшится, что народъ тоже сытъ и доволенъ, и сдѣлается злѣйшимъ врагомъ всякаго шума и всякихъ толковъ, способныхъ нарушить процессъ его здороваго пищеваренія.

Въ борьбѣ народа за свои права и за свое человеческое существованіе Жанъ Леру неспособенъ быть ни полководцемъ, ни солдатомъ. Но онъ можетъ принести значительную пользу въ качествѣ трубача, когда это дѣло не представляетъ серьезныхъ опасностей и хорошо оплачивается деньгами или почетомъ. Онъ неспособенъ въ минуту общаго замѣшательства сказать во-всеуслышаніе: вотъ что надо сдѣлать! Неспособенъ онъ также, услышавъ это вѣщее слово, броситься впередъ съ полнымъ

самоотверженіемъ и сдѣлать, презирая всю опасность, то, что соотвѣтствуетъ интересамъ даннаго затруднительнаго дѣла. Но онъ можетъ сообразить своимъ здравымъ умомъ, что вѣщій голосъ сказалъ правду, и него хватитъ смѣлости въ ту минуту, когда толпа еще колеблется, крикнуть своимъ дружнымъ басомъ: да, это точно надо сдѣлать! Поражая нервы недоумѣвающей толпы, громкая басъ производитъ часто гораздо болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ умное слово. А когда умно здоровый басъ принадлежитъ человѣку съ независимымъ состояніемъ и съ нѣкоторымъ влеченіемъ въ обществѣ, тогда онъ приобретаетъ почти неотразимую убѣдительность, потому что слушатели предполагаютъ совершенно основательно, что обладатель такого баса, состоянія и положенія не станетъ рисковать легкомысленно всѣми этими благами и увлекать за собою толпу на очень опасную дорогу. Когда же вроде Жана Леру рѣшаются крикнуть: «да, это точно надо сдѣлать», тогда они почти никогда не могутъ разсчитывать, что толпа двинется за ними и превознесетъ ихъ, какъ своихъ руководителей и благодѣтелей. Чтобы крикнуть, нужно все-таки нѣкоторая доза смѣлости, потому что въ такихъ дѣлахъ шансы неудачи никогда не могутъ быть вполне предусмотрѣны и совершенно устранены. Но смѣлости тутъ требуется именно столько, сколько требуется ея для того, чтобы пуститься въ выгодную спекуляцію. Жанъ Леру смѣлый и неглупый спекуляторъ. Чтѣ-бы онъ ни дѣлалъ, за какую-бы великую и общепользную работу онъ ни принимался, онъ всегда остается спекуляторомъ, и именно въ качествѣ спекулятора онъ при извѣстныхъ условіяхъ можетъ оказать обществу нѣкоторыя услуги.

Слѣдующій эпизодъ превосходно описываетъ личность Жана Леру. Разнощикъ Матеръ Шовель, побывавши въ Германіи, привезъ оттуда картофельныя шкурки и разсказываетъ, что если посѣять эти шкурки, то отъ нихъ родится неслыханное количество питательныхъ и вкусныхъ корней, которые навсегда могутъ въ страховать страну отъ голода. Шовель самъ видѣлъ, какъ картофель, остававшійся до того времени неизвѣстнымъ во Франціи, сѣется и родится уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ Германіи. Жанъ Леру давно знаетъ Шовеля и совершенно увѣренъ въ томъ, что Шовель, въ-первыхъ, вполне способенъ подмѣнить и продать вещи, на которыя онъ обращаетъ вниманіе, и во-вторыхъ, совершенно неспособенъ приписывать въ своемъ разсказѣ дѣйствительныя блестящими вымыслами. Зная, что изъ словъ Шовеля можно полагаться, какъ на свѣдѣтельство собственныхъ чувствъ, Леру беретъ у него шкурки, показываетъ ихъ всѣмъ своимъ сосѣдямъ и знакомымъ и совѣтуетъ имъ не

Въять ихъ для пробы. Тутъ онъ конечно поступаетъ не такъ, какъ поступилъ-бы жадный барышникъ. Тотъ взялъ-бы сразу всѣ шкурки себѣ и постарался-бы устроить такъ, чтобы картофеля можно было покупать только у него. Но Леру, во-первыхъ, вовсе не желаетъ приобрести себѣ репутацію барышника, ростовщика и кровопийцы, обращающаго себѣ на пользу общественныя бѣдствія. А во-вторыхъ, для монополизированія картофеля потребовалось бы согласіе Шовеля, на которое совершенно невозможно было рассчитывать. Шовель принесъ изъ-за границы шкурки собственно для того, чтобы произвести опытъ, полезный для страны; онъ не торговалъ этими шкурками, а отдавалъ ихъ даромъ, потому что у него самого не было ни клочка земли и, стало быть, не на чемъ было устроить пробный посѣвъ. Къ такому человѣку было совершенно неудобно обращаться съ предложеніями въ барышническомъ вкусѣ. Кромѣ того, самая глубокая типическая черта въ людяхъ, подобныхъ Жану Леру, состоитъ именно въ томъ, что они стараются и обыкновенно успѣваютъ совмѣстить вещественныя выгоды съ невещественными. Они не упускаютъ ни одного случая поживиться лишней копѣйкой, и въ то же время никто о нихъ не говоритъ и не думаетъ, что они съ неприличной жадностью гонятся за этими случаями. Всякій знаетъ, что они своихъ выгодъ не теряютъ изъ виду и не роняютъ изъ рукъ, но всякій приписываетъ это обстоятельство скорѣе силѣ ихъ ума и мужественной твердости ихъ характера, чѣмъ ихъ бездушности и мелкому пристрастію къ деньгамъ. Они богатѣютъ не по днямъ, а по часамъ, и въ то же время толпа ихъ согражданъ относится къ ихъ богатству и къ ихъ личности съ любовью и съ уваженіемъ, потому что видятъ въ первомъ, то-есть въ богатствѣ, достойную награду добродѣтелей, украшающихъ вторую, то-есть личность.

Сосѣди и знакомые, подзадоренные капуциномъ Бенедикомъ, встрѣчаютъ предложеніе Леру о сѣяніи картофельныхъ шкурокъ неодобріемъ и насмѣшками. Тогда Леру рѣшается взять себѣ всѣ шкурки и засѣять ими весь свой огородъ. Леру оказывается такимъ образомъ умѣе, предприимчивѣе и смѣлѣе всѣхъ своихъ односельчанъ, но въ сущности чѣмъ же онъ рискуетъ? Въ случаѣ неудачи, онъ только потеряетъ тѣ овощи, которые родились бы въ этомъ году у него въ огородѣ, на пространствѣ четверти десятины. Потеря для него ничтожная, и шансы неудачи до крайности малы, потому что Леру знаетъ хорошо того человѣка, который рекомендуетъ ему сѣяніе новаго растенія. Значитъ, Леру просто схватываетъ новое вѣрное средство обогащенія, отъ котораго сторонятся его земляки. Схватывая это средство,

онъ обнаруживаетъ несомнѣнно свое умственное превосходство надъ земляками и оказываетъ имъ важную услугу; но, чтобы оказать обществу такую услугу, не требуется очевидно никакихъ гражданскихъ и человѣческихъ доблестей.

До начала іюня, на землѣ, засѣянной шкурками, не показываются ростки. Вѣра Леру въ показанія Шовеля начинаетъ колебаться. Ему уже жалко потратить на опытъ нѣсколько франковъ. Онъ уже подумываетъ, не засѣять ли огородъ люцерной, чтобы земля не пропадала даромъ. Умъ и характеръ спекулятора сейчасъ даютъ себя знать, какъ только спекуляція начинаетъ принимать неблагопріятный оборотъ.

Однако усилѣхъ опыта предупреждаетъ бѣгство спекулятора. Картофель начинаетъ расти, и Леру торжествуетъ. Во время уборки онъ говоритъ: «на будущій годъ надо будетъ засадить этими корнями мои двѣ десятины на берегу; а остальное мы продадимъ по хорошей цѣнѣ: что даютъ людямъ за безцѣнокъ, того люди и не цѣнятъ ни въ грошъ».

Этими словами Леру характеризуетъ себя какъ нельзя лучше. Картофель будетъ проданъ по хорошей цѣнѣ—значитъ, интересы кармана соблюдены. Эта продажа по хорошей цѣнѣ мотивирована удовлетворительно и объясняется челоуколюбивымъ желаніемъ Леру разрушить предразсудки, встрѣтившіе первое появленіе картофеля. Значитъ, рядомъ съ интересами кармана спасается и слава Леру, какъ просвѣтителя и благодѣтеля родного края.

Въ день уборки Жанъ Леру добродушно говоритъ Шовелю: «вы обѣдаете съ нами, Шовель, мы ихъ отвѣдаемъ, и коли они хороши на вкусъ, въ нихъ будетъ богатство Баракъ» (имя деревни). Такъ бываетъ всегда и вездѣ, въ большихъ и въ малыхъ дѣлахъ. Жаны Леру, люди, потрудившіеся выслушать чужую мысль и принять къ свѣдѣнію ея достоинства, забираютъ въ свою пользу выгоды и популярность, а Шовели, настоящіе изобрѣтатели, приращившіе на своихъ плечахъ тѣ негодныя шкурки, которыя превращаются въ новый источникъ народнаго богатства, Шовели получаютъ радушное приглашеніе на обѣдъ и радуются тому, что чужой картофель уродился превосходно.

Исторія о картофелѣ кончается тѣмъ, что «мастеръ Леру, котораго глупость людей очень разсердила, продалъ имъ свои сѣмена очень дорого».

Оказавъ своимъ землякамъ существенную услугу введеніемъ картофеля, Леру оказываетъ имъ другую, еще болѣе важную услугу, которая также ровно ничего ему не стоитъ. Когда приходитъ время выбирать депутатовъ отъ деревни, тогда Леру рекомендуетъ избирателямъ

Шовеля, который дѣйствительно оказывается превосходѣйшимъ защитникомъ ихъ интересовъ. Если бы деревня Жана Леру должна была выбирать только одного депутата, и если бы Леру въ этомъ случаѣ уступилъ Шовелю, какъ достойнѣйшему, то мѣсто, которое предлагалось ему, Жану Леру—тогда тутъ была бы по крайней мѣрѣ съ его стороны доблестная побѣда, одержанная надъ собственнымъ честолюбіемъ. Но и этого не было. Бараки высылали двоихъ депутатовъ; избиратели пришли предлагать Леру первое мѣсто и совѣтоваться съ нимъ насчетъ того, кому дать второе. Леру отвѣтилъ имъ, что онъ принимаетъ званіе депутата только съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы другимъ депутатомъ былъ Шовель, калвинистъ, на котораго избиратели, добрые католики, смотрѣли какъ на человѣка совершенно невозможнаго. Поступая такимъ образомъ, Леру, во-первыхъ, предписывалъ законы избирателямъ—значить, тѣшилъ свое самолюбіе, какъ только это было возможно, и, во-вторыхъ, обезпечивалъ себѣ въ собраніи деревенскихъ депутатовъ такого товарища, съ которымъ ему невозможно было стать въ тупикъ и осрамиться.

Фигуру Жана Леру можно было-бы дополнить множествомъ мелкихъ черточекъ, разбросанныхъ въ различныхъ мѣстахъ романа, но я нахожу, что ея основной смыслъ уже теперь достаточно ясенъ. Это одинъ изъ тѣхъ людей, которые отлично служатъ общему дѣлу, когда требованія этого дѣла совпадаютъ съ интересами ихъ личнаго матеріальнаго благосостоянія.

IV.

Чтобы читатели сразу поняли личность священника Кристофа Матерна, я приведу довольно большую выписку. Матернъ приходитъ вечеромъ, въ проливной дождь, въ трактиръ къ своему пріятелю, Жану Леру.

«— Я изъ Саверна, — говоритъ онъ. — Видѣлъ этого знаменитаго кардинала де-Роганъ... Боже милостивый! Боже милостивый! И это кардиналъ, князь церкви!... Ахъ, какъ подумаешь!..

«Онъ негодовалъ. Вода текла по его щекамъ на воротникъ его рясы; онъ порывисто снялъ свои брыжи и положилъ ихъ въ карманъ, прохаживаясь изъ угла въ уголъ. Мы смотрѣли на него съ изумленіемъ; онъ какъ будто не видѣлъ насъ и говорилъ съ однимъ мастеромъ Жаномъ.

— Да, видѣлъ я этого князя, — кричалъ онъ: — видѣлъ этого великаго сановника, который обязанъ намъ подавать примѣръ доброй нравственности и всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей, видѣлъ, какъ онъ самъ правилъ своими лошадьми и скакалъ во весь опоръ по

большой Савериской улицѣ, посреди вой и глиняной посуды, разбросанной и хохоталъ, какъ настоящій безумецъ соблазнить!..

«— Ты знаешь, что Неккера въ этотъ спросилъ мастеръ Жанъ.

«— Какъ не знать! — сказалъ онъ зрительной улыбкой. — При мнѣ кѣмъ тели всѣхъ Эльзасскихъ монастырейсы, капуцины, кармелиты, барнабиты, все босоногіе проходили черезъ маршемъ черезъ переднія его высочества Ха, ха, ха!

«Онъ крупными шагами ходилъ по Онъ былъ въ грязи по поясницу, до костей, но онъ ничего не чувствовалъ его большая курчавая голова съ вздрагивала; онъ говорилъ какъ будимъ собою:

«— Да, Кристофъ, да, вотъ они, кви!.. Поди, попроси монсеньора заставить его отпа семейства; поди, покажи кто долженъ быть опорой духовенства скажи ему, что агенты фиска, якобы контрабанду, забрались даже въ тиническій домъ; что тебѣ пришлось ключи отъ твоего погреба и отъ твоей фовъ. Скажи ему, что это срамъ гражданина, кто-бы онъ ни былъ ночью отворать свою дверь вооруженнымъ безъ мундира, безъ всякаго чести-бы ихъ отличать отъ разбойниковъ этимъ людямъ вѣрять въ судъ не позволяется собирать никакихъ сплотовъ жизни и нравственности, когда въ должность и довѣряютъ ихъ отимущество, честь, иногда жизнь др. Попробуй, скажи ему, что это дѣло довести эти справедливыя жалобы на престолъ и заставить выпустить несчастнаго, засаженнаго въ тюрьму что пристава нашли у него четыре ли. Сунься... сунься... славно тебѣ Кристофъ!

«— Но, ради Бога, — сказалъ е Жанъ: — что съ тобой случилось?

«Тогда онъ остановился на двѣ секунды и сказалъ:

«— Я пошелъ туда пожаловаться на ный обыскъ, сдѣланный солданами вчера, въ одиннадцать часовъ вечера деревнѣ, и на арестованіе одного изъ хозяевъ, Якова Баумгартена. Это обязанность. Я думалъ, что кардиналъ пойметъ, что онъ скалится надъ в отцомъ семейства, купившимъ нѣсколько контрабандной соли, и велитъ отпустить. Ну, во-первыхъ, мнѣ пришлось два часа у воротъ этого великолѣпнаго куда капуцины входили, какъ въ

или поздравлять монсеньора съ благопо-
сѣбною Неккера. Потомъ мнѣ позволили
въ этотъ Вавилонъ, гдѣ кичливость
и золота и камней обнаруживается повсе-
го, въ живописи и въ остальномъ! Нако-
мента тамъ продержали съ одиннадцати
утра до пяти вечера, съ двумя бѣдными
свѣтниками съ горы. Мы слышали, какъ
зали лачен. Одинъ изъ нихъ, большой, весь
расномъ, показывался на порогѣ, смотрѣлъ
насъ и кричалъ другимъ: «поповщина все
!» Я терпѣлъ... Я хотѣлъ пожаловаться
монсеньору; вдругъ одинъ изъ этихъ наха-
приходить и говорить намъ, что аудіен-
монсеньора отложены на недѣлю Мерзавецъ
лся.

Съ этими словами священникъ Кри-
тъ, державшій въ рукахъ толстую палку,
аль ее, какъ спичку, и лицо его сдѣлалось
но.

— Этой шельмѣ стоило-бы надавать поще-
—сказалъ мастеръ Жанъ.

— Кабы мы были одни—отвѣтилъ священ-
—я взялъ-бы его за уши и отдѣлалъ-бы.
самъ я принесъ мое униженіе въ жертву
оду.

Онъ опять сталъ ходить по комнатѣ. Мы
его жалѣли. Катерина принесла ему хлѣба
на; онъ поѣлъ стоя, и вдругъ гнѣвъ его
нулъ. Но онъ сказалъ такія вещи, кото-
я никогда не забуду. Онъ сказалъ:

— Поруганіе справедливости повсемѣстно.
дѣ все дѣлаетъ, а другіе только нахаль-
ють; они попираютъ ногами всѣ добродѣ-
; они презираютъ религію. Сынъ бѣдняка
защищаетъ; сынъ бѣдняка ихъ кормитъ; и
е сынъ бѣдняка вотъ такой, какъ я, про-
дуетъ уваженіе къ имъ богатствамъ, къ
почестямъ и даже къ ихъ безчинствамъ!
о-ли это протянется? Я не знаю; но всегда
олжаться это не можетъ! это противно
одѣ, это противно волѣ Божіей. Это без-
стно проповѣдывать уваженіе къ тому, что
ойно позора! Это должно кончиться, и въ
нѣи вѣдь сказано: «кто творитъ мои запо-
и, войдетъ въ мою обитель. Но извержены
тъ безстыдные, лжецы, идолослужители:
кто любитъ неправду и творитъ ее».

Кристофъ Матернъ—одинъ изъ тѣхъ людей,
рые могутъ посвятить всю свою жизнь слу-
ую узкой, односторонней идеѣ, но которые
сякомъ случаѣ вносятъ глубокую прав-
иную серьезность во все то, чему они себя
ищаютъ. Матернъ можетъ сдѣлаться ре-
радомъ, обскурантомъ, гонителемъ и пала-
и, но какъ-бы онъ ни заблуждался, онъ
да будетъ заблуждаться съ полной искрен-
ью, постоянно прислушиваясь только къ
су собственной совѣсти. Проповѣдывать
бязанности службы то, чему онъ по совѣ-

сти не вѣритъ, или то, чему онъ вѣритъ въ
половину, играть въ жизни какую-бы то ни
было комедію, лицедрить и тартюфничать онъ
рѣшительно не въ состояніи. Ему непонятно,
какимъ образомъ можно по платью и по ти-
тулу быть кардиналомъ, а по жизни и по
привычкамъ веселымъ кутилой. Онъ принимаетъ
серьезно и совершенно буквально тѣ обязан-
ности, которыя налагаетъ на человѣка его
звание. Отъ каждаго частнаго явленія онъ тре-
буетъ, чтобы оно приближалось или по крайней
мѣрѣ обнаруживало стремленіе приблизиться
къ идеалу. Такія соображенія, что идеаль
слишкомъ высокъ, что совершенство недости-
жимо, что дорога къ идеалу устлана непобѣди-
мыми трудностями, что идеаль, созданный для
другого времени, сдѣлалъ свое дѣло и отошелъ
въ область исторіи, такія соображенія для
Кристофа Матерна не существуютъ. У него въ
основѣ его мышленія и дѣятельности лежитъ
такое правило: или добросовѣстно съ напря-
женіемъ всѣхъ силъ иди къ идеалу, или не
смѣй имъ прикрываться и во имя его брать
съ народа десятину и всевозможныя пожер-
твованія.

Личный характеръ Кристофа вполне соот-
вѣтствуетъ его общественному положенію. То
есть задатки, заключавшіеся въ природномъ
складѣ его ума, болѣе крѣпкаго, чѣмъ гибка-
го, должны были развернуться и закалиться
тѣми отношеніями къ людямъ, въ которыя его
поставило званіе деревенскаго священника.

Католическая церковь, какъ извѣстно, очень
рано стала превращаться въ политическое
учрежденіе. Папы сначала гнали за недости-
жимымъ призракомъ гильдебрандовской тео-
кратіи, а потомъ стали округлять свои владѣ-
нія въ Италіи. Французская или галликанская
церковь, желавшая сосредоточить всѣ силы
королевства въ рукахъ короля, также точно
имѣла свои политическія тенденціи, обыкно-
венно шедшія наперекоръ столь же полити-
ческимъ планамъ папъ. Это политическое на-
правленіе, которое въ своей совокупности мог-
ло быть совершенно ясно только лицамъ, вы-
соко поставленнымъ въ церкви, всегда воз-
буждало неудовольствіе въ людяхъ, искренно
и глубоко вѣровавшихъ, въ тѣхъ многихъ лю-
дяхъ, которые требовали отъ пастырей церкви
христіанскихъ добродѣтелей, а не администра-
тивныхъ или дипломатическихъ талантовъ. По-
литическое направленіе, господствовавшее въ
высшихъ слояхъ духовенства, никогда не могло
проникать собой всю корпорацію сверху до
низу. Монахи, образуя изъ себя строго-органи-
зованные и отлично дисциплинированные от-
ряды, могли быть послушнымъ орудіемъ въ
рукахъ своихъ генераловъ, посвященныхъ въ
тайны высшей политики. Но деревенскіе свя-
щенники, разбросанные среди свѣтскихъ людей

и живущіе одной жизнью со своими прихожанами, никакъ не могли слѣдить за изгибами и поворотами клерикальной политики; теряя способность понимать планы начальства и сознательно сочувствовать ему, относясь къ высшимъ политическимъ комбинаціямъ почти такъ, какъ относились наши становые къ запросамъ статистическихъ комитетовъ, деревенскіе священники должны были, смотря по своимъ личнымъ свойствамъ, пойти по одному изъ двухъ путей—или по пути набиванія кармановъ и желудковъ, или же по пути дѣятельнаго человѣколюбія. Священники, пошедшіе по этому второму пути, должны были, путемъ своей дѣятельной и честной жизни, возвыситься до очень яснаго и вѣрнаго поминанія того идеала, который они имѣли полное право считать для себя обязательнымъ. Во имя этого идеала, они должны были, при каждой встрѣчѣ, строго осуждать высшихъ сановниковъ церкви, окунувшихся съ головой въ темный омутъ политическихъ интригъ. Оппозиція незамѣтно росла такимъ образомъ въ средѣ одного изъ самыхъ привилегированныхъ сословій.

Въ XVII и XVIII столѣтіяхъ католицизмъ началъ сперва понемногу, а потомъ все быстрѣй и быстрѣй терять свое господство надъ умами. Ряды католической іерархіи стали пополняться людьми, равнодушными ко всякой религіи, не имѣющими никакихъ, ни философскихъ, ни политическихъ убѣжденій, способными только чваниться гербами и предками и усвоившими себѣ только то правило эпикурейской мудрости, что надо жить, пока живется. Въ высшихъ сферахъ католическаго духовенства стали понемногу утрачиваться даже и та серьезность и дѣловая озабоченность, которой отличались прежніе политическіе интриганы. Все чаще и чаще стали появляться такіе прелаты, у которыхъ въ жизни не было никакой другой цѣли, кромѣ полученія и проживанія громадныхъ доходовъ. Тогда глухой разладъ между высшимъ и низшимъ духовенствомъ сдѣлался еще болѣе непримиримымъ; богатые и веселые прелаты, проводящіе свою праздную жизнь среди такихъ же богатыхъ, праздныхъ и веселыхъ аристократовъ обоого пола, потеряли всякую нравственную связь съ бѣдными, трудящимися священниками, живущими среди бѣднаго, трудящагося народа. Первые стали чувствовать себя прежде всего магнатами, обязанными поддерживать всѣ привилегіи, всѣ монополіи, всѣ несправедливости стараго порядка, и противиться всему, что могло подать народу хоть отдаленную надежду на какое-бы то ни было облегченіе его участи. Вторые также почувствовали себя наконецъ прежде всего дѣтьми бѣдняковъ и стали не безъ удовольствія прислушиваться къ тому, что обѣщало этимъ бѣднякамъ освобожденіе изъ работы египетской. Замѣчая въ

своемъ духовномъ начальствѣ, при отсутствіи всякихъ христіанскихъ добродѣтелей и нравственной серьезности, холодную и систематическую вражду противъ еретиковъ и миссионеровъ, низшее духовенство, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, познакомило миссионеровъ съ мыслями этихъ гонимыхъ людей, убѣдилось, что эти люди въ сущности гораздо болѣе своихъ гонителей проникнуты духомъ христіанскаго ученія.

Въ «Исторіи Крестьянина» есть одна характерная сцена. Кристофъ Матеръ дружелюбно обѣдаетъ за однимъ столомъ Шовелемъ, продавцомъ запрещенныхъ книгъ кальвинистомъ. Входя въ комнату, онъ въ шутку говоритъ громовымъ голосомъ: предасть еретиковъ и злоумышленниковъ руки правосудія и, разумѣется, этотъ громъ никого не пугаетъ. Жанъ Леру и радушно говоритъ священнику: садись, стофъ, будемъ обѣдать, а Шовель съ улыбкой спрашиваетъ: кто-жъ тогда поставитъ Жанъ-Жаковъ господина священника? Мы узнаемъ такимъ образомъ, что католическій священникъ водитъ дѣла съ еретиками и читаетъ запрещенныя свободныхъ мыслителей. И дѣлаетъ онъ это по легкомыслію, не по равнодушію къ религіи, а именно вслѣдствіе своего глубокаго убѣжденія въ основныя принципы той доктрины, которую онъ проповѣдуетъ. Какъ онъ понимаетъ свои обязанности, какъ онъ пользуется правами своего положенія среди крестьянъ обнаруживается во время того-же обѣда.

«— Слушай, Кристофъ — говоритъ Леру, окончивъ супъ — скоро ты у себя школь ученіе начнешь?»

«— Да, Жанъ, на будущей недѣлѣ — тилъ священникъ. — Я даже затѣлъ и выискался; иду въ Пфальцбургъ за бумагой, книгами. Я было хотѣлъ начать 20-го сентября надо было кончить статую Св. Петра Абершвиллерскаго прихода; тамъ церковь строивается. Я обѣщаль, такъ хотѣлъ сдѣлать слово.

«— А, хорошо!.. Значитъ, на будущей не

«— Да, съ понедѣльника и начнешь.

«— Ты бы взялъ этого мальчика — моего крестный отецъ (Леру), указывая на мальчика. — Это мой крестникъ, сынъ Жанъ-Васіана. Я увѣренъ, что онъ съ радости дѣтъ учиться.

«Услышавъ это, я весь покраснѣлъ отъ восторга, потому что мнѣ уже давно хотѣлось ходить въ школу.

«Г. Кристофъ повернулся ко мнѣ:

«— Ну — сказалъ онъ, кладя свою голову ко мнѣ на голову — взгляни на мою руку — Я посмотрѣлъ на него похитившии

— Тебя какъ зовутъ?
— Мишель, г. священникъ.
— Ну, Мишель, милости просимъ. Дверь школы для всѣхъ открыта. Чѣмъ больше читать учениковъ, тѣмъ мнѣ пріятнѣе.
— Чудесно—вскрикнулъ Шовель—такія и слушать пріятно».

етикъ и католическій священникъ такимъ оманъ протягиваютъ другъ другу руки, когда идетъ о просвѣщеніи народа. Точно же они протягиваютъ другъ другу руки и , когда дѣло идетъ о возвышеніи материальнаго благосостоянія того же народа. Гофъ попалъ къ Жану Леру на обѣдъ въ первой уборки картофеля. Отвѣдавъ этого кушавья, Кристофъ говоритъ:

— Слушайте, Шовель! Вы, тѣмъ, что при эти шкурки въ вашей корзинѣ, а ты, тѣмъ, что посадилъ ихъ въ своей землѣ, стара на насмѣшки капуциновъ и другихъ оговъ, вы больше сдѣлали для нашей страны всѣ монахи трехъ епископствъ за цѣстолюбствіи. Эти кореня будутъ хлѣбомъ иковъ».

яность Кристофа Матерна никакъ не можетъ быть признана исключительнымъ явлениемъ. Не мало деревенскихъ священниковъ по на лѣвой сторонѣ въ учредительномъ ініи и потомъ даже въ національномъ нтѣ, рядомъ съ самыми искренними и нешними друзьями народа.

тѣмъ ближе подходила рѣшительная минута, тѣмъ становилась связь между лучшими бѣдныхъ деревенскихъ священниковъ и ими изъ бѣдныхъ прихожанъ.

Мастеръ Жанъ!—говорилъ Шовель—чѣмъ же, тѣмъ лучше идутъ дѣла; наши бѣдприходскіе священники только и хотятъ, что «Савойскаго Викарія» Жанъ Жаканоники, всякіе бенефициаріи читаютъ тера; начинаютъ проповѣдывать любовь ижнему и сокрушаются о народныхъ бѣдахъ; собираютъ деньги на бѣдныхъ. Во всемъ и въ Лотарингіи только и слуху, что брыхъ дѣлахъ. Въ одномъ монастырѣ гонитъ настоятель приказываетъ осушать прутья чтобы дать работу крестьянамъ; въ друна нынѣшній годъ прощаютъ малую дену; въ третьемъ раздаютъ порціи супа. е поздно, чѣмъ никогда! Всѣ добрыя и приходятъ къ нимъ сразу. Это люди е, очень тонкіе; они видятъ, что лодка коньку идетъ ко дну. Вотъ они и принаь себѣ друзей, чтобъ потомъ было за что иться».

ь концѣ этого монолога Шовель указыва на дѣло лукаваго и корыстнаго милоя, вынужденнаго неопредѣленнымъ и товымъ предчувствіемъ надвигающейся грою въ началѣ рѣчи, гдѣ идетъ дѣло о бѣд-

ныхъ приходскихъ священникахъ, читающихъ Жанъ-Жака, мы видимъ ясное и мѣткое указаніе на тотъ фактъ, что политическій радикализмъ сталъ находить себѣ искреннихъ адептовъ даже въ рядахъ духовенства.

V.

Матюрень Шовель—воплотѣ герой, фанатикъ общественнаго блага, человекъ, не боящійся ни труда, ни лишеній, ни опасностей, ни боли, ни смерти. Онъ ненавидитъ зло, вѣдвшееся въ народную жизнь, такую ненавистью, какою на примѣръ медикъ можетъ ненавидѣть болѣзнь, подрывающую силы его пациента, или математикъ можетъ ненавидѣть ошибку, вкравшуюся въ его вычисленіе. Понятно, что ни медикъ съ болѣзнью, ни математикъ съ ошибкой не могутъ вступать ни въ какіе переговоры, не могутъ идти ни на какія сдѣлки, не могутъ мириться ни на какихъ взаимныхъ уступкахъ. Понятно съ другой стороны, что ни медикъ не можетъ чувствовать никакой личной вражды къ тѣмъ частямъ тѣла, къ тѣмъ органамъ, въ которые засѣла болѣзнь, ни математикъ не можетъ гнѣваться на тѣ цифры или буквы, въ которые закралась ошибка. Понятно также, что медикъ, въ случаѣ надобности, безо всякаго зазрѣнія совѣсти и безъ малѣйшаго колебанія будетъ дѣйствовать на зараженную часть тѣла острыми кислотами, шпанскими мушками, растравляющими мази, яннисомъ, огнемъ и желѣзомъ, — и что математикъ, съ невозмутимымъ спокойствіемъ и съ совершенной ясностью духа проведетъ мокрой губкой по своей аспидной доскѣ, и сотретъ безъ слѣда тѣ цифры или буквы, которые испортили его вычисленіе. Медикъ отказывается отъ званія медика, когда онъ перестаетъ вести истребительную борьбу съ болѣзнью; математикъ перестаетъ быть математикомъ, когда онъ отказывается преслѣдовать ошибку въ послѣднихъ ея убѣжищахъ. Такъ точно и Шовель пересталъ-бы быть самимъ собой, если-бы могъ отказаться отъ своей ровной, спокойной, холодной, зоркой и чуткой ненависти къ общественному злу.

Вотъ какія условія сдѣлали его неподкупнымъ и непримиримымъ врагомъ средневѣковаго беззаконія:

«Онъ никогда не горячился. Я помню, какъ онъ часто съ большимъ спокойствіемъ рассказывалъ о страданіяхъ своихъ предковъ: какъ ихъ выгнали изъ Ла-Рошеля; какъ у нихъ отняли землю, деньги, дома; какъ ихъ преслѣдовали по всей Франціи, отнимая у нихъ насильно дѣтей, чтобы воспитывать ихъ въ католической религіи; какъ въ послѣдствіи, въ Ликсгеймѣ, на нихъ напускали драгуновъ, чтобы обращать ихъ въ католичество сабельными ударами; какъ отецъ убѣждалъ въ Грауфталскіе лѣса, куда за нимъ

пошли на другой день мать и дѣти, отказываясь отъ всего, во имя своей религіи; какъ дѣда отправили на тринадцать лѣтъ на Дюнкирхенскія галеры, гдѣ нога у него днемъ и ночью оставалась прикованной къ гребцовой скамьѣ; начальникомъ у нихъ былъ тамъ настоящій злодѣй, который билъ ихъ такъ, что многіе изъ этихъ кальвинистовъ умирали; а когда происходило сраженіе, тогда эти несчастные галерники видѣли, какъ англичане направляли свои большія орудія, набитыя до самого устья, въ разстояніи четырехъ шаговъ отъ нихъ, прямо на ихъ скамью. Они это видѣли, но не могли пошевелиться, и фитиль опускался на затравку! Потомъ, когда проносились пули, гвозди и картечь, ихъ переломанныя ноги отрывались отъ цѣпи, ихъ самихъ бросали въ воду, и подмечали, что оставалось.

«Онъ рассказывалъ эти вещи, приводившія насъ въ трепетъ, растирая себѣ въ ладони попишку табаку; и его маленькая Маргарита, вся блѣдная, молча смотрѣла на него своими большими черными глазами.

«Онъ всегда заканчивалъ такъ:

«— Да, вотъ чѣмъ Шовели обязаны Бурбонамъ, великому Людовику XIV и Людовику XV, Возлюбленному! Смѣшная штука — наша исторія, не правда-ли? И я самъ, до нынѣшняго дня, ни на что я негоденъ; нѣтъ у меня гражданскаго существованія. Нашъ добрый король, какъ и всѣ другіе, вступая на престолъ, среди своихъ епископовъ и архіепископовъ, поклялся насъ истреблять: «Я клянусь, что буду стараться искренно и всѣми силами объ истребленіи на всѣхъ подчиненныхъ мнѣ земляхъ всѣхъ еретиковъ, осужденныхъ церковью». Ваши священники, которые ведутъ списки и должны поступать одинаково со всѣми французами, отказываются записывать наши рожденія, браки и смерти. Законъ запрещаетъ намъ быть судьями, совѣтниками, школьными учителями. Мы можемъ только шататься по свѣту, какъ звѣри; у насъ подрѣзываютъ заранѣе всѣ корни, которыми люди прикрѣпляются къ жизни; и однако мы не дѣлаемъ зла, всѣ принуждены признавать нашу честность.

«Мастеръ Жанъ отвѣчалъ:

«— Это отвратительно, Шовель; но христіанское милосердіе?..

«— Христіанское милосердіе!.. Мы ему никогда не измѣнили—говорилъ онъ—къ счастью для нашихъ палачей! Еслибъ оно намъ измѣнило!.. Но все выплачивается съ процентами на проценты. Надо, чтобы все вышло!.. Коли не черезъ годъ, такъ черезъ десять лѣтъ; а не черезъ десять, такъ черезъ сто... черезъ тысячу... Все выйдется!

«Понятно послѣ этого, что Шовель неудовлетворился-бы, какъ мастеръ Жанъ, нѣкоторыми смягченіями, облегченіемъ въ налогахъ,

въ милиціи. Стоило только взглянуть на блѣдное лицо, на его маленькіе, живые глаза, на его тонкій горбатый носъ, на его сжатія, всегда сжатія губы, на его сухую согнувшуюся подъ тяжестью тѣла, на его маленькія ноги и руки, крѣпкія, какъ жѣсткія прутья—стоило только взглянуть на него, чтобы подумать:

«Этотъ маленькій человѣкъ хочетъ встать ничего! У него терпѣнія достаточно; онъ такъ разъ рискуетъ попасть на галеры, чтобы давать книги по своимъ идеямъ; онъ ничего не боится, онъ ничему не довѣряетъ—когда представится случай, не хорошо будетъ съ нимъ столкнуться! И дочка его уже на него похожа такая, что переломится, а ужъ не согнется!

«Я объ этомъ еще не думалъ—молоды были слишкомъ—но я это чувствовалъ; я очень жалелъ отца Шовеля; я всегда снималъ широкій шапку и говорилъ про себя: онъ любитъ добра крестьянамъ, мы съ нимъ заодно».

Постоянныя, многолѣтнія гоненія, среди которыхъ прошла жизнь Шовеля, должны были или убить его, или закалить во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ занимался такимъ ремесломъ, которое каждый день могло повести его на галеры или даже на висѣлицу.

«Ба, это все ничего—говоритъ онъ изъ дружеской бесѣды Жану Леру—теперь ты одиѣ шутки. Лѣтъ десять, пятнадцать толмача дѣло другое! Вотъ тогда меня преслѣдовали, тогда не надо было попадаться съ кельскими или амстердамскими изданными: я-бы однимъ прыжкомъ очутился изъ Баракъ на галерахъ; а нѣсколькими годами раньше, меня-бы прямо вздернули. Да, тогда было опасно; а если меня теперь арестуютъ, такъ не надолго; теперь мнѣ не будутъ ломать руки и ноги, чтобы выдать моихъ сообщниковъ».

Для Шовеля не существуетъ ни презрѣнія къ работѣ, ни страхъ передъ работой. Чтобы служить тому дѣлу, которое онъ любитъ, онъ готовъ, смотря по требованіямъ данной минуты, браться съ одинаковой охотой за самую чистую и за самую чистую работу, за самую трудную и за самую легкую, за самую простую и за самую сложную, за самую грубую и за самую тонкую. Когда ему нельзя было пристроиться ни къ какому другому дѣлу, онъ цѣлые десятилетия шатался по городамъ и селамъ съ сумкой книгъ и употреблялъ всѣ силы своего большого и гибкаго ума на то, чтобы ускользнуть отъ преслѣдованій полиціи и распространять въ мѣстечкающей провинціальной публики сочиненія тѣхъ мыслителей, которые наложили печать своего вліянія на все умственное движеніе прошлаго столѣтія. Когда его сослѣди, по рекомендаціи Жана Леру, выбрали его въ депутаты деревни, онъ принялъ это званіе и на сѣздѣ деревенскихъ депутатовъ повелъ себя такъ, что его

брали въ депутаты округа. Въ окружномъ собраніи онъ опять такъ отличился, что его выбрали въ депутаты третьяго сословія въ собраніе государственныхъ чиновъ. И онъ принялъ свое новое званіе спокойно и съ достоинствомъ, какъ приглашеніе на важную и трудную работу, на которую онъ не хотѣлъ напрашиваться, которую онъ не старался отбивать у другихъ, болѣе способныхъ и лучше приготовленныхъ кандидатовъ, но предъ которой онъ не отступаетъ и не робѣетъ, когда голосъ его согражданъ объявилъ ему, что онъ стоитъ на очереди и что впереди его нѣтъ никого. Шовель, понимавшій давно, какое значеніе имѣетъ созваніе государственныхъ чиновъ, становится однимъ изъ законодателей Франціи такъ-же спокойно, какъ въ древности Цинциннатъ сдѣлался римскимъ диктаторомъ. Разнощикъ Шовелю не нужно ничего измѣнять, подчивать или подкрашивать въ своей личности, чтобы сдѣлаться депутатомъ Шовелемъ, и депутатъ Шовель не измѣнилъ ни одного оттѣнка въ своихъ отношеніяхъ съ тѣми людьми, съ которыми былъ знакомъ и близокъ разнощикъ. Эта неизмѣнность самаго человѣка при совершенной перемѣнѣ декораций и положенія до такой степени характеризуетъ Шовеля, что дочь Шовеля, шестнадцатилѣтняя дѣвушка, Маргарита, даже не выдавшись съ отцомъ послѣ выборовъ, говоритъ Мишелю съ полнымъ убѣжденіемъ:

«— Какъ, пріѣдемъ-ли мы? Да что жъ мы станемъ дѣлать, дурачина? Ты развѣ думаешь, мы тамъ разживемся?»

«Она смѣялась.

«— Ну да, мы пріѣдемъ, и еще бѣднѣе тепершняго, повѣрь! Мы пріѣдемъ, можетъ быть, въ нывѣшнемъ году, а самое позднее на будущій годъ».

Шовель такъ воспитывалъ свою дочь, которая была его неразлучной спутницей во всѣхъ его скитаніяхъ, что ее уже не можетъ ослѣпить и ей не можетъ вскружить голову никакое земное величіе, какъ-бы оно ни было блистательно и неожиданно. Ея отецъ — избранникъ народа, выше этой чести она себѣ ничего не можетъ представить; она плачетъ отъ радости; и однако въ минуту величайшаго упоенія, уѣзжая изъ родной деревни въ Версаль, она безъ малѣйшей горечи предвидитъ совершенно ясно ту минуту, когда они вернутся бѣднѣе тепершняго и опять пойдутъ по проселочнымъ дорогамъ съ тяжелыми тюками книгъ за спиной.

По этой чертѣ въ характерѣ молодой дѣвушки можно судить о личности того человѣка, который ее сформировалъ.

VI.

Теперь надо разсмотрѣть, что же именно сдѣлала для Мишеля Вастіана каждая изъ трехъ

личностей, очерченныхъ на предыдущихъ страницахъ.

Жанъ Леру, крестный отецъ Мишеля, оказалъ ему, по своему обыкновенію, нѣсколько важныхъ услугъ, которыя ему, Жану Леру, ровно ничего не стоили. Во-первыхъ, Жанъ взялъ къ себѣ въ пастухи своего крестника, чуть только послѣднему минуло восемь лѣтъ. Условія были такого рода: Жанъ кормилъ Мишеля и давалъ ему каждый годъ по парѣ башмаковъ. Ночевать Мишель ходилъ къ себѣ домой. Ясное дѣло, что Жану это было выгодно. Пастуха все равно надо было бы нанимать, а между тѣмъ бѣдный крестникъ, считая и чувствуя себя облагодѣтельствованнымъ, такъ усердно старался угодить благодѣтелю, отъ котораго онъ получалъ только пищу и пару башмаковъ, — что въ этомъ отношеніи съ нимъ конечно не могъ потягаться наемникъ.

Вовторыхъ, Жанъ доставилъ Мишелю случай страдать и бороться за дѣло прогресса и общественнаго блага. Мишель былъ еще совѣтъ мальчишка, когда произошла рассказанная выше исторія съ картофельными шкурками. Покуда картофельные ростки не показывались, сверстники Мишеля дразнили его, какъ слугу полоумнаго человѣка, посѣявшаго какую-то дрянь у себя въ огородѣ. Мишель былъ насмѣшниковъ кнутомъ; насмѣшники въ свою очередь обрабатывали его общими силами, и Мишель, исполосованный кнутами молодыхъ рутинеровъ, могъ потомъ предаваться печальнымъ размышленіямъ о человѣческой глупости. Не трудно понять, что эта вторая услуга также ничего не стоила Жану и была оказана имъ невольно.

Въ-третьихъ, Жанъ, какъ мы уже видѣли выше, ввелъ Мишеля въ даровую школу Кристофа Матерна. Эта услуга имѣла для Мишеля неисчислимыя добрыя послѣдствія, но она также ровно ничего не стоила Жану Леру.

Кристофъ Матернъ выучилъ Мишеля читать и писать. Этимъ ограничивается его доля вліянія, но этого слишкомъ достаточно, чтобы ученикъ поминалъ его добромъ.

Шовель далъ Мишелю политическое образованіе. Мишель сначала слушалъ съ самымъ жаднымъ вниманіемъ, а потомъ читалъ самъ и вслухъ, и про себя газеты, которыя Шовель приносилъ своему пріятелю, Жану Леру. Шовель объяснялъ часто Мишелю то, чего послѣдній не понималъ, Шовель часто говорилъ о текущихъ дѣлахъ то съ самимъ Мишелемъ, то въ присутствіи Мишеля съ Жаномъ Леру, и великодушное негодованіе честнаго гражданина, горѣвшее спокойно-неугасимымъ пламенемъ въ груди Шовеля и звучавшее въ ироническомъ тонѣ его тихихъ рѣчей, переходило по немногу во все существо его молодого, даровитаго и впечатлительнаго слушателя.

Чтобы дать понятіе о томъ, какъ говорил Шовель, какъ просто и ясно онъ ставилъ вопросы, какъ онъ умѣлъ внушать самымъ неразвитымъ умамъ серьезное уваженіе къ основнымъ принципамъ разумной и честной политики, я приведу здѣсь его рѣчь, сказанную безъ приговора въ трактирѣ Жана Леру, на общедеревенскихъ избирателей.

«Всѣ глаза обратились на Шовеля; всѣ хотѣли знать, что онъ отвѣтитъ. Онъ сидѣлъ спокойно, на почетномъ мѣстѣ, бумажный колапакъ его былъ прищипленъ къ спинкѣ стула; щеки его были блѣдны, губы сжаты, глаза какъ будто скошены; онъ, совсѣмъ задумавшись, держалъ свой стаканъ. Рибоньерское вино, должно быть, пораздражило его, потому что, не отвѣчая на задравные клики другихъ, онъ сказалъ внятнымъ голосомъ:

«— Да, первый шагъ сдѣланъ! Но не будемъ еще пѣть побѣду; много намъ остается сдѣлать прежде, чѣмъ мы воротимъ себѣ наши права. Отъбита привилегій, подушной, косвенныхъ налоговъ, соляной подати, внутреннихъ заставъ, барщины — это уже много значить. Тѣ не сразу выпустятъ изъ рукъ, что держатъ, вѣтъ! они будутъ бороться, попробуютъ защищаться противъ справедливости. Надо будетъ ихъ принуждать! Они призовутъ къ себѣ на помощь всѣхъ служащихъ, всѣхъ, кто живетъ своими мѣстами и думаетъ облагородиться. И это, друзья мои, только первый пунктъ; это еще самая малость; я думаю, что третье сословіе выиграстъ это первое сраженіе; народъ того хочетъ; народъ, на которомъ лежатъ эти несправедливыя тягости, поддержитъ своихъ депутатовъ.

«— Да, да, до смерти! — закричали большой Летюме, Кошаръ, Гюре, мастеръ Жанъ, сжимаемая кулаки. — Мы выиграемъ, мы хотимъ выиграть!..

«Шовель не шевелился. Когда они перестали кричать, онъ продолжалъ, какъ будто никто ничего не говорилъ.

«— Мы можемъ побѣдить въ дѣлѣ обо всѣхъ несправедливостяхъ, которыя чувствуетъ народъ; это — несправедливости слишкомъ вопіющія, слишкомъ ясныя; но къ чему же это насъ поведетъ, если впоследствии, когда государственныя чины будутъ распущены и деньги на уплату долга доставлены, графы да маркизы опять возстановятъ свои права и привилегіи? Это уже не въ первый разъ; у насъ вѣдь ужъ бывали и другія собранія государственныхъ

чиновъ, и все, что они рѣшили въ пользу народа, уже давно не существуетъ. Послѣ уничтоженія привилегій, намъ нужна такая сила, которая помѣшала-бы ихъ возстановить. Эта сила въ народѣ; она въ нашихъ арміяхъ. Надо пѣть не день, не мѣсяцъ, не годъ; надо пѣть всегда. Надо такъ сдѣлать, чтобы негодные мошенники не возстановили медленно, окольными путями того, что опрокинуто третьимъ сословіемъ, опираясь на насъ. Надо, чтобы армія была съ нами; а чтобы армія была съ нами, надо, чтобы послѣдніе солдаты, своимъ мужествомъ и умомъ, могли повышаться въ чинахъ и пожалуй даже сдѣлаться маршаломъ и коннетаблемъ, такъ точно какъ дворяне, понимаете?

«— За здоровье Шовеля — закричали Готти Куртуа.»

Теперь мы можемъ сообразить до нѣкоторой степени, какія вліянія подготовили французскій народъ къ его политическому пробужденію.

Во-первыхъ, были низшіе слои буржуазіи, были люди, которые, подобно Жану Леру, знали жизнь простого работника, понимали его горе и нужду, и въ то же время могли читать газеты, заглядывать въ запрещенныя книжки и задумываться надъ плачевной безтолковой текущихъ событій. Этимъ людямъ выгодно и пріятно было дѣлиться съ своими рабочими плодами своихъ размышленій, и ихъ френдерскія рѣчи, падая на воспримчивую почву, порождали въ ней такой процессъ броженія, дальнѣйшее развитіе котораго трудно было остановить или предугадать.

Во-вторыхъ, было низшее духовенство, возмущенное безумной роскошью и развратной жизнью прелатовъ. Оно сближалось съ простымъ народомъ, учило его грамотѣ и вносило такимъ образомъ въ его темную жизнь лучъ свѣта, который давалъ ему нѣкоторую возможность со временемъ осмотрѣться и распознать добро и зло, друзей и враговъ, правду и ложь.

Наконецъ были Матьюрены Шовеля, люди разоренные, ожесточенные, измученные несправедливостями стараго порядка, люди, вредившіе этому порядку съ настоячностью, свойственной непримиримымъ врагамъ, и съ полнымъ знаніемъ всѣхъ его слабыхъ сторонъ.

При такихъ наставникахъ, французскій народъ, даровитый и впечатлительный, какъ иный Мишель Бастіанъ, не могъ остаться неучемъ и недорослемъ въ политическомъ отношеніи.

въ безъ помощи часовника и для устройства асовъ. Съ 13 рис. Ц. 30 к.
 а психологія. *Циена*. Переводъ под редак-
 В. Чижика. Съ 21 рис. Ц. 75 коп.
 К. Фламмаріона. Перев. съ француз-
 Предтеченскаго. Съ 64 рис. Ц. 50 к.
 ными въ семьѣ. Д-ра Энциера. Ц. 50 к.
 а. Д-ра Перге. Ц. 50 к.
 а. Съ англійскаго. Ц. 50 к.
 въ природѣ. *Жоржа Дари*. Переводъ съ
 го. Д. Голова. Съ 102 рис. Ц. 1 р. 25 к.
 . Практич. настав. для народ. учителей.
 ра. Съ 137 рис. Ц. 60 к.
 -ра Симона. Сновидѣнія, галлюцинаціи,
 аны, гипнотизмъ. Съ франц. Ц. 1 р.
 и. А. Герцена. профессор. Лозанскаго уни-
 Переводъ съ франц. Ц. 1 р.
 Составилъ *Графини*. Руководство къ до-
 ямъ ремесламъ. Пер. съ фр. Съ 400 рис.
 к. Въ пап.—1 р. 75 к. Въ пер.—2 р.
 бна. П. Мантегациа. Переводъ съ 5-го
 ія д-ра Лейкенберга. Ц. 1 р. 50 к.
 демиі. Д-ра Реняра. Перев. съ франц.
 Съ 110 рис. Ц. 1 р. 75 к.
 Популярныя очерки міровѣдѣн. 6-е изд.
 исправленное съ 65 рис. Ц. 30 к.
 астрономія. К. Фламмаріона. Перев. съ
 жасова. Съ 100 рис. 3-е изд. Ц. 80 к.
 . Популярно-астрономическія бесѣды
 аю. Съ мног. рис. Ц. 30 к.
 практическія примѣненія. Соч. *Мейера* и
 р. Д. Голова. Съ 293 рис. Ц. 2 р. 50 к.
 лементы. Соч. *Ніоде*. Перев. и дополнилъ
 Со мног. рисунками. Ц. 2 р.
 аккумуляторы. Э. Ренье. Перевелъ и до-
 Голова. Съ 76 рис. Ц. 1 р. 25 к.
 освѣщеніе. Составилъ В. Чиколевъ. Съ
 . 2 р. 50 к.
 грическое освѣщеніе и уходъ за аккумуля-
 еломена. Съ англ. 81 рис. Ц. 1. 25 к.
 элентрич. освѣщенія. Я. Чиколева. Ц. 25 к.
 магнитизмъ. А. Гапо и Ж. Маневре. Пере-
 еленкова, В. Черкасова и С. Степанова.
 . 1 р. 50 к.
 ции объ элентричествѣ и магнитизмѣ. О.
 Съ 230 рис. Ц. 2 р.
 ложенія элентричества. Э. Госпиталье.
 номъ рис. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.
 передача энергіи (передача силы на раз-
 нта. Съ 50 рис. Ц. 1 р. 60 к.
 въ домашнемъ быту. Э. Госпиталье. Сомно-
 нс. 2-е изд. Ц. 2 р.
 вонія. Боттона. Съ сѣд. о воздуш. явон-
 нс. Пер. съ англ. Голова. Ц. 1 р.
 я науки Ч. Дарвина? Популар. обзоръ его
 став. Гексли. Гейки, Дайеромъ и Рома-
 портр. Дарвина. Ц. 75 к.
 ѣ животныхъ. Эпинаса. Перев. съ франц.
 овъ. 500 стр. 2 р. 50 к.
 есныхъ силъ. Опытъ популярно-научной
 А. Секки. Перев. съ франц. Ф. Павлен-
 к. Ц. 2 р. 50 к.
 нія. Д-ра Рибо. Съ франц. 2-е изд. Ц. 40 к.
 ихъ людей. Жюли. Съ франц. 3-е изд. Ц. 60 к.
 ихопаты. Кюллера. Съ франц. Ц. 1 р. 50 к.
 помѣшательство. Ц. Ломброзо. Съ портр.
 рисунками. 2-е изд. Ц. 1 р.
 я настѣнная. Нерсена. 43 рис. Ц. 80 к.
 . Составилъ Г. Тисандье. Съ 34 рис. Ц. 50 к.
 Съ 3 рис. Барона Н. Корфа. Ц. 10 к.
 водъ. Обь устройства питомниковъ и обу-
 одству. А. Вологовскаго. Ц. 20 к.

Для дѣтей и юношества.

ыя сказки Андерсена. Полное собраніе въ
 Съ 530 рисунками. Перев. Б. Порозов-
 каждаго тома 60 коп., въ папкѣ 75 к.,
 въ перепл. по 3 тома—2 р. 50 к.
 ая сказочная бібліотека. Ф. Павленкова.
 1894 г. Всѣхъ книжекъ будетъ отъ 150 до
 о до 10 мая тридцать книжекъ, отъ
 Цѣны книжекъ отъ 5 до 20 коп.

реводъ Л. Шелмуновой: 1) Давидъ Копперфильдъ
 Домби и сынъ, 3) Оливеръ Твистъ, 4) Большая надежда
 5) Нашъ общій другъ, 6) Лавка древностей, 7) Крошка
 Дорритъ, 8) Тяжелыя времена, 9) Холодный домъ,
 10) Николай Никльби, 11) Два города, 12) Мартинъ
 Чезльвильтъ. Цѣна каждого ром. 40 к. Въ пап. 50 к.
 въ переплетѣ по 6 ром.—3 р. 25 к.
 Иллюстрированныя романы Вальтеръ-Скотта въ сокращен-
 номъ переводѣ Л. Шелмуновой. 1) Велерлей, 2) Анти-
 кварій, 3) Робъ-Рой, 4) Айвенго, 5) Астрологъ, 6) Квен-
 тинъ Дорвардъ, 7) Вулстоукъ, 8) Замокъ Кенильвортъ,
 9) Ламермурская невѣста, 10) Легенда о Монтрозѣ,
 11) Певериль Никъ, 12) Пресвитеріане, 13) Пертская
 красавица, 14) Аббатъ, 15) Монастырь, 16) Пиратъ,
 17) Карлъ Смѣлый, 18) Ричардъ-Львиное Сердце, 19)
 Обрученные, 20) Черный Карликъ. Ц. кажд. ром. 40 к.,
 въ пап. 50 к., въ перепл. по 5 роман. Ц. 2 р. 80 к.
 всакому гвоздю свое мѣсто А. Крулова. Съ 46 рис.
 Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.
 дѣтскій маснарадъ. Н. Азбелева. Ц. 16 рис. Ц. 20 к.
 Блауждающіе огоньки. Сборн. дѣтск. разсказовъ. *Бажинной*.
 Съ мног. рис. Ц. 1 р. Въ пап.—1р.25к. Въ пер.—1р.60к.
 Два проказника. Шуточн. разск. въ стихахъ. В. Буша. Пер.
 съ нѣм. 100 рис. 2-е изд. Цѣна въ папкѣ 50 к.
 Русскія народныя сказки въ стихахъ. А. Бранчанинова. Съ
 предисловіемъ И. С. Тургенева. Мног. рисунковъ.
 Ц. 2 р. Въ папкѣ 2 р. 50 к., въ переплетѣ 3 р.
 Черныя богатыри. Е. Конради. Со множествомъ рисун-
 ковъ. Ц. 2 р., въ переплетѣ 2 р. 75 к.
 Въ добрый часъ! Сборн. дѣтск. разсказовъ. А. Лякида.
 Съ рис. Ц. 75 к., въ папкѣ 1 р., въ пер. 1 р. 25 к.
 Подружка. Книжка для маленькихъ дѣтей. Сост. *Бострома*.
 Съ 130 рис. Ц. 75 к., въ папкѣ—1р., въ перепл.—1р.30к.
 Задуманные разсказы. Ц. Засодимскаго. Два тома съ 135
 рис. Ц. кажд. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2р.
 Хорошіе люди. В. Острогорскаго. Съ 45 ртс. 2-е изд.
 Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ пер. 1р. 60 к.
 Изъ жизни и исторіи. А. Арсеньева. Съ рис. Ц. въ папкѣ
 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р.
 Послушаемъ! Дѣтскіе разсказы. А. Нольде. 28 рис. Цѣна
 въ папкѣ 1 р., въ перепл. 1 р. 35 к.
 Робинзонъ. Его жизнь и приключенія. Гейбнера. Съ 107
 рис. Ц. 30 к. Въ папкѣ 40 к., въ перепл. 60 к.
 Донъ-Нихотъ. *Сервантеса*. Сокращ. перев. для юношества.
 Съ 43 рис. Ц. 50 к., въ папкѣ—60к., въ перепл.—90 к.
 Наглядныя несообразности. (Дѣтскія задачи въ картинкахъ).
 Ф. Павленкова. 10 листовъ (на каждомъ по 20 рис.).
 Ц. 1 р. «Объясненіе» къ нимъ 5 к.
 Математическія развлеченія. *Лукаса*. Переводъ съ франц.
 Съ 55 фиг. и таб. Ц. 1 р. Въ переплетѣ 1 р. 75 к.
 Тройная головоломка. В. Обреимова. Сборникъ геометр.ч.
 игръ. Съ 300 рис. и 39 кастет. Ц. 1 р.
 Образовательное путешествіе. В. Ворисюфера. Съ 73 рис.
 Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ пер. 2 р. 25к.
 Черезъ дебри и пустыни. В. Ворисюфера. Съ иллюстр.
 Ц. 2 р., въ пап. 2 р. 25 к., въ пер. 2 р. 75 к.
 Сказочная страна. В. Ворисюфера. Съ иллюстраціями.
 Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 75 к.
 Приключенія контрабандиста. В. Ворисюфера. Съ иллюс.
 Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р. 25 к.
 Мученики науки. Г. Тисандье. Переводъ подъ ред. Ф. Па-
 вленкова. Съ 55 рис. 3-е изд. Ц. 1 р. 25 к., въ пер. 2 р.
 Вечерніе досуги. А. Крулова. Съ 70 рис. 2 изд. Ц. 1 р.
 въ папкѣ 1 р. 25 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.
 Научныя развлеченія. Г. Тисандье. Пер. подъ ред. Ф. Па-
 вленкова. Съ 353 рис. 3-е изд. Ц. 1р.50к., въ пер. 2р.25к.
 Сказки Густафсона. Съ 30 рис. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ
 1 р. 50 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.
 На землѣ и подъ землею. Изъ воспомин. всемірнаго путеше-
 ственника. В. Галузова. Съ рисунками. Ц. 1 р.
 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.
 До потопа. Романъ изъ жизни первобытныхъ людей.
 Рони. Съ 16 рисунками. Ц. 50 к.
 Рыцкій графъ. Неразлучники. Дочь угольщика. П. Засо-
 димскаго. Съ рисунками. Ц. кажд. кп. по 35 к.
 Живыя картинки. А. Смирнова. Съ 50 рис. Ц. 1 р. 50 к.,
 въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплетѣ 2 р.
 Незабудки. А. Крулова. Сборникъ разсказовъ. Съ 50 рис.
 Ц. 1 р. 50 к., въ пап. 1 р. 75 к., въ пер. 2 р.
 Несчастливцы. Э. Кандеза. Съ 56 рис. Ц. 1 р. 25 к., въ
 папкѣ—1 р. 50 к., въ перепл.—2 руб.
 20 біографій образц. русск. писателей. В. Острогорскаго.
 4-е изд. Съ 20 портр. Ц. 50 к., въ папкѣ 75 к., въ пер.

въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 50 к.
Исторія открытія Америки. *Даме-Флери*. 3-е изд. Съ 52 рис.
Ц. 75 к. въ папкѣ—1 р. въ пер.—1 р. 30 к.

Учебныя руководства и пособія.

Алгебра. *Тоддентера*. Ц. 2 р. 50 к.
Курсъ начальной механики. *Рыкачева*. 197 рис. Ц. 1 р. 50 к.
Практическая геометрія. *Заболотнаго*. Съ 300 чертеж. Ц. 60 к.
Курсъ метеорологій и климатологій. *Д. А. Лачинова*. Съ
122 рисунками и 6 картами. Ц. 2 р.
Основы химич. технологій. *Селезнева*. Съ 70 рис. Ц. 1р. 50 к.
Полный курсъ физики. *А. Гако*. Переп. *Ф. Павленкова* и
В. Черкасова. 8-е изд. 1863 рис., 170 задачъ, 2 таб.
спектровъ, метеорологій и краткая химія. Ц. 4 р.
Учебникъ химіи. *Альмендингена*. 96 рис. и 140 задачъ. Ц. 2 р.
Общепринятая геометрія. *Потоцкого*. 143 фиг. Ц. 40 к.
Самостоятельныя работы въ начальной школѣ. *Т. Лубенца*. 2-е дополненное изд. Ц. 15 к.
Сборникъ самостоят. упражненій по арифметикѣ. Задачникъ
для учениковъ. *С. Житкова*. Ц. 25 к.
Методика арифметики. *С. Житкова*. 3-е изд. Ц. 75 к.
Сборникъ арифметическихъ задачъ съ учителемъ. Приложение
къ «Методикѣ арифметики». *С. Житкова*. 4-е изд. Ц. 40 к.
Начальный курсъ географіи. *Корнеля*. 11-е изданіе, съ
10-ю раскраш. картами и 82 рис. Ц. 1 р. 25 к.
Энциклопедическій курсъ всеобщей исторіи. *Кузнецова*. Ц. 1 р.
Наглядная азбука. *Ф. Павленкова*. 800 рис. 13-е изд. Ц. 20 к.
Объясненіе къ «Наглядной азбукѣ». *Ф. Павленкова*. 7-е
изданіе. Ц. 15 к.
Родная азбука. *Ф. Павленкова*. 8-е изд. 200 рис. Ц. 5 к.
Руководство къ «Зернышку». *Т. Лубенца*. Ц. 50 к.
Зернышко. Первая послѣ азбуки книга для чтенія и письма
съ прил. церк.-славянской грамоты и многими рис.
Т. Лубенца. Ц. 30 к. 2-я кн. Ц. 40 к.
Азбука-копѣйка. *Ф. Павленкова*. 8-е изд., 100 рис. Ц. 1 к.
Наглядно-звуковыя прописи. *Ф. Павленкова*. 1) къ «Родному
слову» Ушинскаго (400 рис.), 2) къ азбукѣ Бунакова (460
рис.), 3) къ «Первой учебной книжкѣ» Паульсона (480
рис.), 4) Общія наглядно-звуковыя прописи (къ другимъ
азбукамъ) (464 рис.). Цѣна каждой книжки 8 к.

Руководитель для воскресныхъ школъ. *А. Н. Бур*
Итоги народнаго образованія въ европѣйскихъ
госудахъ. *Барона Н. А. Корфа*. Ц. 60 к.
Нашъ другъ. Книга для чтенія въ школѣ и дома. *В*
А. Корфа. 15-е изд., съ 200 рис. и портрета
Начальн. рус. грамматики. *Н. Бунинскаго*. Ц.
Иллюстрированная хрестоматія. *А. Тарханова*,
учебныхъ заведеній и младш. классовъ (съ
80 рис. и портретами). 4-е изд. Ц. 60 к.
Церковно-славян. букварь. *Т. Лубенца*. 2-е изд.
Руководство къ «Ц.-С. букварю». *Т. Лубенца*.
Книга для обученія церковно-славянскому языку.
2-е изд. Ц. 20 к. «Зачѣтки для
обучающаго по этой книжкѣ»—10 к.
Азбука домоводства и домашней галлереи. *Соф*
Перевелъ баронъ Н. Корфъ. Ц. 75 к.
Триста письменныхъ работъ. Задачи для пи
сьма къ начальной школѣ. *В. А. Кор*
Первоначальное правописаніе, 40 диктовокъ съ
грамматическихъ правилъ. *Н. А. Корф*
Сборникъ задачъ по русскому правописанію.
1) Элементарныя свѣд. о право. словъ. 2)
стематическія свѣд. о право. словъ. Ц. 30
тарныя свѣдѣнія о знакахъ препинанія
Систем. свѣдѣнія о знакахъ препинанія
Сборникъ арифметическ. задачъ. *Лубенца*. 13-е
изд. и 3000 чиселъ. прил. провѣр. Ц. 40 к. 1
никъ по частямъ: Годъ I—12 к. Г. II—15 к.
Сборникъ алгебраическихъ задачъ. *М. Сави*
Первое знакомство съ физикой. *Герасимовъ*. 9
Дешевый географ. атласъ. 10 раскраш. карт.
Очерки новѣйшей исторіи. *И. Н. Григорьевъ*
съ 57 портретами. Ц. 2 р. Въ перепл.
Первыя понятія о зоологій. *Поля Бера*. Перев.
проф. *И. Мечникова*. Съ 345 рис. 2-е изд.
автора. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 20 к., въ пер.
Краткій курсъ ботаники. *М. Сави*. Съ 11
Общедоступное землѣдѣіе. *А. Колмаковъ*
рисунками въ текстѣ. Ц. 75 к.
Руководство къ рисованію амварами. *Давид*
литпажей и 6 акварелей. Ц. 1 р. 50

Съ осени 1890 г. Ф. Павленковымъ издается біографическая бібліотека подъ назв.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Въ составъ ея войдутъ біографіи 200 лицъ. Каждому изъ нихъ посвящается особая книжка, въ
80 до 100 и болѣе страницъ, снабженная портретомъ. Къ біографіямъ путешественниковъ, худож
выявленію прилагаются промѣ того карты, снимки съ картинъ и ноты. Ежемѣсячно выпускается

Цѣна каждой книжки отдѣльно—25 коп.

До мая 1894 г. вышли отдѣльными книжками 143 біографіи слѣдующихъ

Протопопа Аввакума, *Андерсена*, *Аристотеля*, *Бай*
рона, *Баха*, *Беккариа* и *Бентама*, *Бёрне*, *Бюкона*, *Буллин*
скаго, *Карла Бера*, *Беранже*, *Бетховена*, *Бойдана Хмель*
ницкаго, *Бовкачю*, *Бомарше*, *Воткина*, *Джордано Бруно*,
Рихарда Вагнера, *Леонардо да Винчи*, *Волкова* (осно
вателя русск. театра), *Вольтера*, *Воронцовыхъ*, *Гали*
лея, *Гарвея*, *Гаррибальди*, *Гаррина*, *Гегеля*, *Гейне*, *Гете*,
Гладстона, *Глинки*, *Говарда*, *Гоюля*, *Грибодова*, *Гри*
горія VII, *А. Гумбольдта*, *Гуса*, *Гутенберга*, *Гюго*, *Да*
герра и *Ніупса*, *Даламбера*, *Данте*, *Дарвина*, *Дарю*
мизкаго, кн. *Дашковой*, *Демидовыхъ*, *Державина*, *Дефо*,
Дженнера, *Диккенса*, *Достоевскаго*, *Жоржъ-Занда*, *Ива*
нова (художникъ), *Иоанна Грознаго*, *Калькина*, *Канкрина*,
Канта, *Кантемира*, *Каразина* (основателя харьк. универ
ситета), *Карлейля*, *Кенлера*, *Ковалевской*, *Колумба*, *Кон*
фуція, *Кольцова*, *Коперника*, *Барона Н. А. Корфа*,

Крамскою, *Крызова*, *Бюссе*, *Лавуазье*, *Лавла*
Леббиппа, *Лермонтова*, *Лессепса*, *Лессин*
гона, *Линкольна*, *Линнея*, *Лойбля*, *Локка*,
Лябелля, *Маколея*, *Мейербергера*, *Микелѣ-Андре*
Милтона, *Мирабо*, *Мягкевича*, *Мольера*,
Томаса Мора, *Моцарта*, *Никитина*, *Ником*
Ньютона, *Роберта Оуэна*, *Паскаля*, *Пестало*
Циолова, *Писарева*, *Писемскаго*, *Потемк*
вальскаго, *Прудона*, *Пушкина*, *Рабле*, *Рафаэ*
Сакія-Муни (Будды), *Салтыкова*, *Савонаро*
Сенковскаго, *В. Скотта*, *Адама Смитта*, *Спера*
фенсона и *Фультона*, *Струве*, *Стэнли*, *Сэрри*
Торквемады, *Уатта*, *Ушинскаго*, *Фарадея*,
Франклина, *Цингилля*, *Шенкенко*, *Шиллера*, *Ш*
опена, *Шуаяна*, *Щепкина*, *Эдисона* и *Мора*
Эліота, *Юма*, *Ведотова*.

Приготавливаются къ печати біографіи слѣдующихъ лицъ:

Аксакова, *Александра II*, *Бальзака*, *Бисмарка*, *Бояля*,
Вашингтона, *В. В. Верещагина*, *Вирхова*, *Гайдия*, *Гонча*
рова, *Граховыхъ*, *Грибовскаго*, *Декарта*, *Дидро*, *Добролю*
бова, *Екатерины II*, *Жуковскаго*, *Ибсена*, *Карамзина*,
Кетле, *Кондорсе*, *Конта*, *Н. И. Костомарова*, *Кузъ*,
Лобачевскаго, *Лютера*, *Магомета*, *Макиавелли*, *Мем*
шикова, *Меттерниха*, *Мольте*, *Т. Мюнцера*, *Напо*

леона I, *Некрасова*, *Островскаго*, *Пастера*,
ликаго, *Платона*, *Н. Полевого*, *Радичевича*, *Р*
енана, *Рихардо*, *Ротшильдъ*, *Руссо*, *Сене*
теса, *Скобелева*, *Сократа*, *С. Соловьева*, *Спен*
сера, *Станкевича*, *Суворова*, *Льва Толстого*,
Успенскаго, *Франциска Ассизскаго*, *Фадее*
рова, *Чайковскаго*, *Шекспира*, *А. Н. Эмман*

Курсивными буквами въ обонѣ столбцахъ обозначены имена русскихъ





AC
65
P5
V. 5-6

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

MAR 1 1972

APR - 6 1972

OCT 12 1972

OCT 18 1975

JAN 24 1983

